

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМИРОВИЧА
КРЕСТОВСКАГО

ТОМЪ III
КРОВАВЫЙ ПУФЪ.

РОМАНЫ:

1) ПАНУРГОВО СТАДО и 2) ДВѢ СИЛЫ.

ОЧЕРКИ:

1) Панъ Пшепендовскій и 2) Подъ каштанами Саксонскаго сада.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Ю. Л. ЕЛЬЦА



САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»
1899

Оглавление третьяго тома.

КРОВАВЫЙ ПУФЪ.

РОМАНЫ:

1) ПАНУРГОВО СТАДО. 2) ДВѢ СИЛЫ.

1) ПАНУРГОВО СТАДО.

Часть I.

	стр.
1. Воля.....	1
2. Великое и общее недоразумѣніе.....	7
3. Расправа.....	13
4. „Пошла писать губернія!“.....	17
5. En petit comité.....	18
6. Наканунѣ тризны.....	21
7. Панихида.....	22
8. Генеральное кормленіе съ музыкой и проч.....	28
9. Segla wielkiego budowania.....	32
10. Сходка.....	36
11. Кто предполагаетъ и кто располагаетъ.....	43
12. Иллюзіи и разочарованія стараго майора.....	45
13. Въ пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечеръ, съ участіемъ гг. такихъ-то и такихъ-то.....	47
14. Кому досталось расхлебывать кашу.....	50
15. Конференція совѣта гимназій.....	51
16. Вызовъ.....	55
17. Въ ожиданіи роковой минуты.....	56
18. Au profit de nos raucres, спектакль благородныхъ любителей съ живыми картинами.....	58
19. De funduszu zelaznego.....	66
20. Изъ-за „шпіона“.....	69
21. Безъ дочери.....	72
22. Великодушный Ардальонъ.....	75
23. Нежданный ходатай.....	78
24. Съ неба свалилось.....	82
25. Крестъ начерченъ.....	85
26. Изъ тѣхъ или нѣтъ?.....	85
27. Въ западнѣ.....	89
28. Женихъ.....	90
29. „Эврика“ по гречески значитъ: нашелъ.....	92
30. Игра въ половинки.....	94
31. Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою.....	99
32. Въ Жегуляхъ.....	100
33. Золотая грамота.....	105
34. Последняя литургія.....	110
35. Балъ у ея превосходительства.....	111
36. Въ саду.....	116

Часть II.

1. Въ копилкѣ.....	119
2. Славнобубенскія вѣсти.....	124
3. Провламація и сходка 23-го сентября.....	125
4. Шествіе въ Колокольную улицу.....	128

стр.

5. Докладчикъ „Центра“.....	134
6. Сходка 27-го сентября.....	135
7. „Синій день“ на Невскомъ.....	137
8. Герой въ иныхъ витаетъ сферахъ.....	141
9. „Студентскій день“.....	143
10. Бесѣда съ мудрымъ Никодимомъ.....	147
11. Надежное мѣсто.....	151
12. Дрессировка начинается.....	153
13. Еще болѣе надежное мѣсто.....	155
14. Метаморфоза.....	158
15. Кружокъ.....	161
16. Роковые вопросы.....	165
17. Aut Caesar, aut nihil!.....	167
18. Caesar.....	168
19. Нежданный гость на новую дорогу.....	170
20. Поручитель.....	173
21. Что немножко безпокоило Хвалынцева.....	175
22. Последнія инструменты.....	177
23. „Довольно!“.....	178

Часть III.

1. Наединѣ со своей душой.....	182
2. Книжная торговля и кабинетъ для чтенія Луи Благопріобрѣтова и К°.....	185
3. Призракъ дѣда.....	187
4. Вдовушка Сусанна.....	189
5. Великіе проекты продолжаютъ осуществляться.....	192
6. Вечеръ въ коммуни.....	194
7. Поздній звонокъ.....	198
8. Какимъ судьбами появилась Лубянская.....	201
9. Святые принципы Полоярова.....	202
10. Какимъ образомъ члены коммуны тяготы другъ друга носили.....	204
11. Теорія и жизнь.....	210
12. Жизнь переселила.....	212
13. Новые гости пріѣхали.....	212
14. Предъ постелью больной.....	214
15. При послѣднихъ минутахъ.....	216
16. Послѣ похоронъ.....	217

Часть IV.

1. Сумбуръ.....	219
2. Что значитъ смѣть свое сужденіе имѣть.....	227
3. Меркурій.....	231
4. Панъ грабя Тадеушъ и просто панъ Анзельмъ.....	234
5. И хочется, и колется.....	236

6. Сюрпризъ отъ вдовушки Сусанны.....	стр. 238	17. Ардальонъ съ ореоломъ мученика....	стр. 264
7. Мины и подконы.....	240	18. „Мохолая Россiя“.....	267
8. „Съ того берега“.....	241	19. Quae medicamenta non sanant—ferrum sanat, quae ferrum non sanat—ignis sanat...	268
9. Изъ угла въ уголъ по комнатѣ.....	244	20. Пожаръ 28-го мая 1862 года.....	270
10. Дождалься.....	247	21. Наши знакомцы на пожарѣ.....	276
11. Есть многое въ природѣ, другъ Горацио, что и не снилось порядочнымъ людямъ.....	249	22. Ignis non sanat.....	279
12. Добрая овца нашла своего добраго пастыря.....	255	23. Кому и какія услуги оказаны пожарными.....	280
13. Благородное слово на благородное дѣло.....	266	24. Наканунѣ чего-то новаго.....	283
14. Любить—не любишь.....	268	25. Въ виду возможности безпечальнаго будущаго.....	286
15. На что оказалась способною Сусанна.....	260	26. Вѣборы въ «военномъ кружкѣ».....	287
16. Чего никакъ не могъ предвидѣть папъ граба.....	262	27. Fatum.....	290
		28. Alea jacta est.....	292

2) Д В Ъ С И Л Ы.

Часть I.

1. Сюрпризъ на пути въ Варшаву.....	стр. 295
2. Впечатлѣнія по дорогѣ Литвою.....	297
3. Въ корчмѣ.....	298
4. „Палацъ сломяны“.....	301
5. Szkolka dla dzieci wiejskich.....	307
6. Маленькій опытъ слiянiя съ народомъ.....	340
7. За стѣною.....	313
8. Два храма.....	316
9. Кiермашъ.....	320
10. Панское полеванье.....	323
11. „Kochaјmy sie!“.....	329
12. Фацеци паньська.....	331
13. Во время безсонной ночи.....	336
14. Сеймикъ панскій.....	338
15. У отца Сильвестра.....	347
16. Одинъ изъ тысячи хлопскихъ бунтовъ того времени.....	355

Часть II.

1. Гродно и ея первые сюрпризы.....	361
2. Похороны нѣкоего „почтивега чловѣка“.....	365
3. Чего иногда могла стоять и чѣмъ могла угрожать чашка кофе.....	373
4. На Коложѣ.....	376
5. Добрая встрѣча.....	381
6. Дома у Холодца.....	388
7. На Телятникѣ.....	395
8. Панна Ванда.....	401
9. Ржондъ противъ ржонда, справа противъ справы.....	407
10. „Опять сомнѣнiя и муки“.....	411
11. Опять неприязненности.....	413
12. Послѣ бури.....	416
13. Свитка слегка показываетъ свою настоящую шкуру и когти.....	418
14. Последнее пожеланiе.....	423

Часть III.

1. Въ Варшавѣ.....	425
2. Въ первые минуты по приѣздѣ.....	429
3. За ужиномъ въ Помпейскомъ залѣ.....	430
4. Нечаянные гости.....	433
5. Впечатлѣнiя Варшавы.....	434
6. Уже на службѣ.....	436
7. Терроръ и паника, и еще нѣчто.....	438
8. Nymn pogodowy.....	439

стр.

9. Слабая струна.....	443
10. Свитка предлагаетъ сыграть въ кошку и мышку.....	444
11. На волосѣхъ.....	447
12. Въ театрѣ.....	451
13. „Сapre diem!“.....	454
14. Поручикъ Палайница.....	457
15. Варшавскій отдѣлъ „Земли и Воли“.....	462
16. Политика и жизнь наканунѣ вѣрвы.....	466
17. Жертва всеожженiя.....	470
18. Адресъ и разрывъ.....	472
19. Трибуналъ пародовый.....	475
20. Варшавскiя трущобы.....	480
21. Операторъ.....	485
22. Въ катакомбахъ.....	488
23. Узелокъ.....	492
24. Послѣ болѣзни.....	494
25. „По декрету трибунала“.....	496

Часть IV.

1. „Do bronii“.....	499
2. Генераль-довудца и его штабъ въ прадѣ-довскомъ замкѣ.....	502
3. На сборномъ пунктѣ.....	508
4. Лѣсная маювка.....	511
5. Въ лѣсномъ „обозѣ“.....	516
6. Гроза идетъ.....	518
7. Побѣда въ Червленахъ.....	519
8. Тревога.....	525
9. Мы и они.....	528
10. Вновь испеченный.....	536
11. Робакъ—кесендъ-партизанъ и вѣшатель.....	537
12. Старый знакомый нежданымъ гостемъ.....	538
13. Мученики, не внесенные въ мартирологи „Колокола“.....	539
14. Погоня.....	544
15. Вой.....	547
16. Сестра.....	553
17. Честный шагъ.....	555
18. Русская сила.....	558
19. Желѣзный чловѣкъ.....	562
20. „Патріоты“.....	565
21. Онъ самъ хотѣлъ того.....	569
22. Нѣчто о борьбѣ за существованiе.....	570
23. Последнiй изъ могиканъ.....	572
24. Хлопское „дзякуймо!“.....	574
25. Роковая дилемма.....	575

О Ч Е Р К И:

1) ПАНЪ ПШЕПЕНДОВСКІЙ.....	578
2) ПОДЪ КАПТАНАМИ САКСОНСКАГО САДА.....	598



Всеволодъ Владиміровичъ
КРЕСТОВСКІЙ.

Въ 1880 году.

ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

В о л я.

Наступилъ день 19-го февраля 1861 г.

Милліоны труждающихся и обремененныхъ осѣнили крестомъ свои широкія груди; милліоны удрученныхъ головъ, съ земными поклонами, склонились до сырой земли русской. Съ церковныхъ папертей и амвоновъ во всеуслышаніе раздалось вѣщее слово. По всѣмъ градамъ и весямъ, по всѣмъ пригородамъ и слободамъ, по деревнямъ, посадамъ и селамъ церковные колокола прогудѣли, по лицу всея земли Русской, благовѣсть воли.

Русская земля отбраздновала первый день своей всенародной свободы.

А между тѣмъ...

Въ воздухъ было что-то давящее, плавало что-то смутное, сѣрое, неопредѣленное. На горизонтѣ собирались какія-то зловѣщія, свинцовыя тучи.

* * *

— А что, Волгой не возьмѣть?

— Покинули... день съ двѣнадцать, какъ покинули... Береговымъ трактомъ ваять.

— Да вѣдь еще не ломало ее?

— Не ломало, а только вздулась, почернѣла вся... Подъ Василемъ-Сурскимъ, слышь, стоятъ уже дала: надо-быть, скоро тронется.

Этими словами молодой человѣкъ, выглядывавшій изъ приподнятаго воротника бараньей шубы, перекинулся съ мужиченкой коряваго вида, который сидѣлъ за кучера на передкѣ дорожнаго возка. Возокъ, по всѣмъ примѣтамъ, былъ помѣщичій, не изъ богатыхъ, а такъ-себѣ, средней руки. Его тащила по расхлябанной, размытой и развѣзженной дорогѣ понурая обывательская тройка разношерстныхъ клячъ.

Быль апрѣль мѣсяцъ—урочное время, когда по нашимъ первобытнымъ дорогамъ нѣтъ пути ни на колесахъ, ни на полозьяхъ. Молодой человѣкъ ѣхалъ на обывательскихъ, по вольному найму.

Дорога близилась къ Волгѣ.

Моросило сверху, слякотило снизу. Время стояло непогожее, а между тѣмъ, на дорогѣ было замѣтно какое-то необычное оживленіе... То и дѣло плелись мужики—кто въ-одиночку, кто по два, по три, а то и цѣлыми гурьбами, душъ въ десять и болѣе; иные тапились на розвальняхъ, иные верхомъ на поджарыхъ, мохнатыхъ кляченкахъ, то и дѣло понукая ихъ болтающимися ногами, когда тѣ вязли въ безконечной, невылазной грязи. И все это какъ-то оживленно, озабоченно толковало промежъ себя, все это какъ-будто торопилось куда-то и плелось по одному и тому же направленію, въ ту самую сторону, куда тапился и помѣщичій дорожный возокъ.

Корявый мужиченко, ровняясь время отъ времени съ пѣшеходами, иногда приподнималъ свой несуразный малахай и кивалъ головою. Иные изъ пѣшеходовъ, въ свою очередь, отвѣчали ему поклонами. Видно было, что всѣ эти люди болѣе или менѣе знакомые, изъ ближней окрестности.

— Стигней! а Стигней! Куда те претъ? окрикнулъ корявый мужиченко одного изъ поровнявшихся съ нимъ мужиковъ.

— Въ Снѣжки! махнулъ онъ рукою вдоль по направленію своей дороги:—всѣ въ Снѣжки махаемъ.

— За коимъ лѣшимъ въ Снѣжки?

— Да ты отколева? Нешто не слышалъ?

— Какъ не слыжать!.. Да рази не покончили?

— Зачѣмъ кончатъ... Тамъ, слышно, тепе-

рица воля заправская. Сказывали, быдто съ Питера енараль наѣхалъ въ Снѣжки—будетъ мужикамъ снѣжковскимъ волю вычитывать... И мы, значить, слухать идемъ.

— Да вѣдь батѣ въ церкви челъ уже?

— Мало чего нѣтъ!.. Теперича, баяли, самую заправскую и выложить. А то, слышь ты, снѣжковский нѣмецъ-то крестьянъ снова на барщину погналъ—какая жь эта воля?

Корявый мужиченко зацокалъ, занукалъ, замахалъ въ воздухъ кнутикомъ—животы припнужились, рванулись понуро впередъ—и возокъ опередилъ понутнаго Евстигнея.

До села Высокіе Снѣжки оставалось верстъ пятокъ, не болѣе. Молодой человѣкъ закутался покрѣпче въ свою баранью шубу и уютно откинулся въ глубь возка, на мягкія деревенскія подушки. Въ Снѣжкахъ ему предстояло переѣхать лошадей, чтобы плестись съ грѣхомъ пополамъ далѣе, въ губернский городъ, который на фантастической картѣ Россійской имперіи, существующей въ воображеніи читателя, отмѣчается довольно крупнымъ кружкомъ съ подписью при ономъ: Славнобубенскъ,—стало быть, и губернію, существующую въ нашей фантазій, мы назовемъ Славнобубенскою.

Молодой человѣкъ, съ которымъ мы повстрѣчались на дорогѣ, принадлежалъ къ числу средней руки дворянъ Славнобубенской губерніи. Читателю необходимо знать, кто онъ; поэтому авторъ долженъ рекомендовать его. Это обыкновенно неизбѣжное мѣсто всевозможныхъ повѣстей и романовъ. Сознывая это, авторъ постарается быть по возможности краткимъ. Зовутъ его—по фамиліи Хвалынцевъ, по имени Константинъ, по отцу—Семеновъ. Ни въ имени, ни въ фамиліи, какъ видитъ читатель, ничего особенно примѣчательнаго не оказывается. Хвалынцевъ съ полнымъ правомъ можетъ называться молодымъ человѣкомъ, потому что ему только-что минуло двадцать-два года. Онъ высокъ и мускулистъ, сложенъ крѣпко и красиво. Если бы спросили о его лицѣ, я бы сказалъ, что это лицо русское, совсѣмъ русское, отмѣченное своеобразною красотою. Отъ его открытой улыбки, отъ его свѣтлосѣрыхъ большихъ глазъ вѣяло чѣмъ-то симпатичнымъ. Теперь два слова о его общественномъ положеніи и о томъ, зачѣмъ онъ ѣдетъ по дорогѣ. Кромѣ того, что уже извѣстно читателю, а именно, что Хвалынцевъ принадлежитъ къ числу дворянъ и средней руки землевладѣльцевъ Славнобубенской губерніи, надобно знать еще, что онъ четвертаго курса университетскій студентъ и ѣздилъ недавно на родину хоронить одинокаго дядю да раздѣлиться съ сестрой своей оставшимся послѣ покойника наслѣдствомъ. Теперь онъ возвращается въ Петербургъ, но предполагаетъ по дѣламъ остаться нѣкоторое время въ Славнобубенскѣ.

Вотъ и все «скучное», что пока необходимо было знать читателю о молодомъ человѣкѣ.

Возокъ поднялся на пригорокъ—и передъ Хвалынцевымъ въ верстѣ разстоянія развернулись то скученныя, то широко разброшенныя группы сѣрыхъ избъ; сарай, амбары, овны и бани. Тамъ и сямъ, надъ этими группами, поднимались силуэты обнаженныхъ деревьевъ и бѣлѣлась каменная церковь съ высокой пирамидальной колокольней. Это было село Высокіе Снѣжки.

Широкая площадь между церковью и старымъ господскимъ домомъ сплошь была покрыта густыми толпами народа. Во всей этой массѣ виднѣлись только одні мужскія головы. Бабье и ребяченки жались больше по окраинамъ площади, поближе къ избамъ и, промежъ своихъ собственныхъ разговоровъ, пассивно глазѣли на волнующуюся массу крестьянскаго люда, надъ которой гудѣлъ, какъ шмелный рой, какой-то смѣшанный, тысячеголосный говоръ.

Едва Хвалынцевъ вѣхалъ на эту площадь, какъ возокъ его вмгъ окруженъ былъ толпою, и кони стали, за невозможностью двинуться далѣе.

— Енараль!... енараль, пріѣхалъ! пробѣжало изъ устъ въ уста по кучкамъ толпы — и головы ближайшихъ къ возку мужиковъ почтительно обнажились. Но это длилось не болѣе полуминутой... разглядѣли слишкомъ молодое лицо пріѣзжаго, его баранью шубу и рѣшили, что генералу таковымъ быть не подобаетъ. Обнаженные головы снова накрылись, хотя возокъ и продолжалъ еще возбуждать любопытство толпы.

— Братцы! дайте проѣхать! высунулся Хвалынцевъ впередъ изъ-подъ кузова.

— Да тебѣ куда, милый человѣкъ! отозвался чей-то голосъ.

— На стоялый дворъ... а потомъ мимо.

— Мимо... стал-быть не къ намъ... А нашто тебѣ на стоялый?

— Лошадей порядить.

— Стало, на вольныхъ ѣдешь?

— На вольныхъ.

— Ну, значить, зашабашить надо! Теперь не порядишь: не повезутъ.

— А что такъ?

— Да гдѣ ужъ везти! Не такое время... Каждый мужикъ на міру нуженъ: енарала съ Питеру ждемъ.

Между тѣмъ, корявый мужиченко кое-какъ попытался прокладывать себѣ дорогу; удавалось это ему съ величайшими затрудненіями—толпа разступалась туго, тысячи любопытныхъ глазъ пытливо засматривали подъ кузовъ! наконецъ, добрался-таки да стоялаго двора; который тутъ же, на краю площади, красовался росписными ставеньками.

Не успѣвъ Хвалынцевъ оглядѣться, распу-

стить дорожный ременный пояс да заказать самоваръ, какъ къ нему вошли нѣсколько мужиковъ и съ поклонами остановились вдоль стѣны у дверей. Бороды по большей части были сивыя, почтенныя.

— Что вамъ, братцы? Чего вы?

— Къ твоей милости, батюшко! Заступись! Обижаютъ...

— Да я-то что же?.. Я, братцы, проѣзжій.

— Ты, батюшко, сказывали, питерскаго енарада передовой... Разсуди, кормилецъ! Волю скрасть хотять у насъ! То было волю объявили, а нынѣ Карла Карлычъ, нѣмецъ-то нашъ, правяющій, на барщину снова гонить, а мы барщины не желаемъ, потому не законъ... Мы къ тебѣ отъ міра; и какъ ежели что складчину какую, такъ ты не сумлевайся: удоблетворимъ твоей милости,—только обстои ты насъ... Они всѣ супротивъ насъ идутъ...

— Кто всѣ? полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— Да всѣ, какъ есть: и становой, и исправникъ; Корвинской баринъ—предводитель—тоже за нѣмца; опять-же офицеръ какой-то съ города наѣхалъ—и тотъ за нѣмца... Одна надежда на енарада на питерскаго... Пошто же мужиковъ обижать зананрсно!

Только-что сталъ было Хвалынцевъ убѣждать ихъ, что онъ къ питерскому генералу никакого касательства не имѣетъ, что онъ просто самъ по себѣ и ѣдетъ по своей собственной надобности, какъ вошелъ новый посетитель—жандармъ, во всей своей амуниціи.

— Который здѣсь проѣзжій?

— Я проѣзжій. А что?

— Пожалуйте... полковникъ требуютъ.

— Какой полковникъ? зачѣмъ?.. что ему?

— Не могу знать,—приказано... Пашпортъ свой прихватите.

Хвалынцевъ недоумѣвая пошелъ вслѣдъ за жандармомъ.

Пришли въ прихожую стараго и давно уже нежилого господскаго дома. Тамъ помѣщался другой жандармъ, и тоже во всей своей амуниціи. Хвалынцева пропустили въ залу, а солдатъ почтительно-осторожной но неуклюже-косолопой походкой на цыпочкахъ пошелъ докладывать во внутренніе покои.

Хвалынцевъ машинально сталъ оглядывать залу: узкія потускнѣлыя зеркала съ бронзовой инкрустаціей; хрустальная люстра подъ росписнымъ потолкомъ; у мебели тонкія точенныя ножки и ручки, въ видѣ египетскихъ грифоновъ и мумій; давнымъ-давно слинялый и выцвѣвшій штофъ на спинкахъ и сидѣньяхъ; темные портреты, а на портретахъ все Екатерининская пудра да высочайшіе Александровскіе воротники, жабо да хохлы, скученные на лобъ. Надъ диваномъ потрескавшаяся большая картина съ какимъ-то мнѳологическимъ сюжетомъ и обнаженными полногрудыми же-

нами. Все это какъ-то таинственно переносило въ другой міръ—отжившій, нѣкогда блестящій, все это вѣяло какимъ-то домашнимъ преданіемъ, семейной хроникой, и свѣтлыми, и темными, но нынѣ уже потускнѣвшими красками.

Въ одной изъ смежныхъ комнатъ, куда удался жандармъ, раздавались людскіе голоса. Черезъ полминуты онъ вышелъ и, сказавъ мимоходомъ Хвалынцеву, чтобы обождалъ, удался въ прихожую.

— Уголь отъ пати... полтина очко... пять рублей мазу! послышалось изъ внутренняго покоя, сквозь неплотно припертую дверь, когда скрипъ солдатскихъ шаговъ затихъ въ передней и воцарилась прежняя тишина.

«Что-жъ это такое?» не безъ удивленія подумалъ себѣ Хвалынцевъ.

— Болеславъ Казимірычъ, да вы хоть талю-то кончите... Успѣетъ еще!..

Студентъ отвернулся къ окну и сквозь двойныя стекла, отъ нечего дѣлать, сталъ глядѣть на дворъ, гдѣ отдыхалъ помѣщичій дормезъ, рядомъ съ перекладной телѣгой, и тутъ же стояли широкія крытыя сани да легкая бричка—вѣроятно все исправничья. А тамъ, дальше—на площади колыхались и гудѣли толпы народа.

Въ залѣ послышались шаги.

Хвалынцевъ обернулся и увидѣлъ синій разстегнутый сюртукъ и, съ широкими подусниками, характерные усы высокаго штабъ-офицера, который шелъ прямо на него.

— Кто вы такой? освѣдомился офицеръ съ официально-начальственно-вѣжливой сухостью, остановившись отъ него въ двухъ шагахъ разстоянія.

Хвалынцевъ назвалъ себя.

— Вашъ видъ?

Тотъ досталъ изъ дорожной сумки, висѣвшей у него черезъ плечо, свое университетское свидѣтельство.

— Зачѣмъ вы пріѣхали въ Высокіе Снѣжки? продолжалъ офицеръ, наскоро пробѣжавъ глазами поданную ему бумагу.

— Проѣздомъ въ Славнобубенскъ.

— Гм... проѣздомъ... такъ-съ... А зачѣмъ же непременно въ Снѣжки?

— Зачѣмъ, что дорога на Снѣжки лежитъ. — Гм... дорога... А развѣ нельзя было мимо объѣхать?

— Ну, объ этомъ надо спросить, полковникъ, моего извозчика: онъ это, конечно, лучше меня знаетъ, а мнѣ здѣшніе пути не знакомы.

— Вы развѣ не знаете, что въ Снѣжкахъ возстаніе, бунтъ крестьянскій, и ѣдете прямо въ Снѣжки!

— Откуда же знать мнѣ? Я—человѣкъ проѣзжій.

— То-то я и вижу, что проѣзжій... А за-

чѣмъ вы сейчасъ мужиковъ къ себѣ собирали?

Хвалынцевъ объяснилъ ему, какъ было дѣло.

— Ваша подорожная?

— Я ѣду по вольному найму на обывательскихъхъ.

— Гм... на обывательскихъхъ... безъ подорожной... Такъ-съ.

Офицеръ смотрѣлъ на Хвалынцева пристальнымъ, испытующимъ взглядомъ: онъ, очевидно, не довѣрялъ его словамъ.

— Вы... извините, началъ онъ со вздохомъ, спустя нѣкоторое время: — я долженъ задержать васъ... тѣмъ болѣе, что и такъ вы все равно не достали бы себѣ лошадей... не повезутъ, потому—бунтъ.

Въ это время въ залу вошли изъ того же внутреннего покоя еще четыре новыя личности. Двое изъ вошедшихъ были въ сюртукахъ земской полиціи, а одинъ въ щегольскомъ пиджакѣ Шармеровскаго покроя. Что касается до четвертой личности, то достаточно было взглянуть на ея рыженькую, толстенькую фигурку, чтобы безошибочно узнать въ ней нѣмца-управляющаго.

Пиджакъ переглянулся съ Хвалынцевымъ, и оба какъ будто узнали другъ друга.

— Господинъ Хвалынцевъ, если не ошибаюсь? съ изысканной вѣжливостью прищурился немножко господинъ въ пиджакѣ.

— Не ошибаетесь, столь же вѣжливо поклонился студентъ.

— Имѣлъ удовольствіе видѣть васъ на похоронахъ вашего дядюшки... мы хотъ и разныхъ уѣздовъ, но почти сосѣди и съ дядюшкой вашимъ были старые знакомые... Очень пріятно встрѣтиться... здѣшній предводитель дворянства Корытниковъ, отрекомендовался онъ въ заключеніе и любезно протянулъ руку, которая была принята студентомъ.

Штабъ-офицеръ передернулъ характерными русыми усами и недоумѣло поглядѣлъ на того и другого.

— Послушайте, таинственно взявъ подъ руку, отвелъ онъ предводителя въ сторону, на другой конецъ залы: — студіозуса-то, я полагаю, все-таки лучше будетъ позадержать немного... Онъ хотъ и знакомый вашъ, да вѣдь вы за него ручаться не можете... А я ужъ знаю вообще, каковъ этотъ народецъ... Мы его эдакъ, подъ благовиднымъ предлогомъ... Оно какъ-то спокойнѣе.

— Какъ знаете, пожалъ плечами предводитель: — это ужъ ваше дѣло, полковникъ.

— То-то; я думаю, что лучше позадержать... Вотъ онъ—едва пріѣхалъ, а къ нему ужъ мужичье нагрянуло совѣтовъ просить. Ну, а я ужъ знаю вообще эти студентскіе совѣты!..

— Господинъ Хвалынцевъ... извините... это—маленькое недоразумѣніе! съ любезной улыбкой началъ офицеръ, направляясь къ сту-

денту и подшаркивая на ходу: — вотъ вашъ видъ; но все-таки, я полагаю, вамъ лучше бы переждать немного... Во-первыхъ—сами изволите видѣть—время тревожное, ѣхать не безопасно... Мало-ли что можетъ случиться... Это, во всякомъ случаѣ, рискъ; а во-вторыхъ—смѣю васъ увѣрить—вы здѣсь никакъ теперь лошадей не достанете, не повезутъ... До того-ль имъ теперь!.. Мы и сами вотъ какъ бы въ блокадѣ содержимся, пока до прибытія войска.

Хвалынцевъ поблагодарилъ предупредительнаго полковника, но при этомъ все-таки выразилъ желаніе попытаться—авось либо и удастся порядить лошадей.

— Мм... сомнѣваюсь, покачалъ головой полковникъ: — да если бы и удалось, я все-таки не рискнулъ бы отпустить васъ. Помилуйте, на насъ лежитъ, такъ сказать, священная обязанность охранять спокойствіе и безопасность гражданъ, и какъ же-жъ вдругъ отпущу я васъ, когда вся мѣстность, такъ сказать, въ пожарѣ бунта? Это невозможно. Согласитесь сами, — моя отвѣтственность... вы, надѣюсь, сами вполне понимаете...

Хвалынцевъ ничего не понялъ, но тѣмъ не менѣе поклонился.

— Ну, нечего дѣлать—пожалъ онъ плечами: — пойду на стоялый.

— Нѣтъ, ужъ на стоялый не ходите, торопливо предупредилъ офицеръ: — это точно также не безопасно... Вѣдь ужъ къ вамъ и то забрались мужики-то наши...

— Да что жъ имъ во мнѣ? Вѣдь не противъ меня бунтуютъ.

— Вы полагаете? многозначительно, глубокомысленно и политично. едвинулъ полковникъ брови и съ неудовольствіемъ щевельнулъ усами: — это бунтъ, такъ сказать, противусловный, и я, по долгу службы моей, не отпущу васъ туда.

— Но какъ же мнѣ быть, господинъ полковникъ?

— Остаться здѣсь до времени.

— Но мои вещи.

— Жандармы перенесутъ ваши вещи.

— Но, наконецъ, я ѣсть хочу, отдохнуть хочу...

— Все это къ вашимъ услугамъ. Вотъ—Карлъ Карлычъ—рекомендательно указалъ онъ рукою на рыженькаго нѣмца: — почтенный чело-вѣкъ, который озаботится... Вотъ вамъ комната—можете расположиться, а самоваръ и прочее у насъ и безъ того уже готово.

Хвалынцева внутренне что-то передернуло: онъ понялъ, что такъ или иначе, а все-таки арестованъ жандармскимъ штабъ-офицеромъ и что всякое дальнѣйшее препирательство или сопротивленіе было бы вполне бесполезно. Хочешь—не хочешь, оставалось покориться прихоти или инымъ глубокомысленнымъ сообра-

женіямъ этого политика, и потому, слегка поклонившись, онъ только и могъ пробормотать сквозь зубы:

— Я въ вашей власти.

— Очень пріятно! Очень пріятно-съ! — отвѣтилъ полковникъ съ поклономъ, отличавшимся той невыразимо любезной, говоровой «ггечностью», которая составляетъ неотъемлемую принадлежность родовитыхъ поляковъ: — я очень радъ, что вы приняли это благодарное рѣшеніе... Позвольте и мнѣ отрекомендоваться: полковникъ Пшецыньскій, Болеславъ Казиміровичъ; а это — указалъ онъ рукой на двухъ господъ въ земско-полицейской формѣ: — господинъ исправникъ и господинъ становой... Не прикажете-ли чаю?

— Да, я прозябъ и хотѣлъ-бы согрѣться.

— Въ такомъ случаѣ, пойдемте съ нами, — предложилъ ему предводитель, указавъ на дверь во внутренний покой, — и всѣ отправились по указанному направленію.

Здѣсь предстало Хвалынцеву новое зрѣлище. То былъ старинный барскій кабинетъ, съ глубокими вольтеровскими креслами, съ пузатымъ бюро, съ широкой оттоманкой отъ угла въ двѣ стѣны. Хроматическія гравюры, висѣвшія тутъ, изображали охотничьи сцены изъ англійской жизни да сантиментальныя похождения Поля и Виргиніи. По серединѣ комнаты стоялъ ломберный столъ, на которомъ валялись мѣлки и карты — атрибуты неоконченнаго штосса. Въ углу, на другомъ столѣ, помѣщался вмѣстительный самоваръ съ чайною принадлежностью, лимоны, бутылка коньяку, графинъ съ водкой, селедка и сыръ. Всѣ эти снѣди и питія малымъ остаткомъ краснорѣчиво доказывали, что присутствующіе успѣли уже неоднократно оказать имъ достопамятную честь.

Едва вошелъ Хвалынцевъ въ эту комнату, какъ на него злобно зарычали два мордастые бульдога, которые были привязаны сворой къ ножкѣ пузатаго бюро. Но нѣмецъ-управляющій внушительно цыкнулъ на нихъ, и они замолчали. Кромѣ яствъ и картъ, Хвалынцева не мало удивило еще присутствіе въ этой комнатѣ такихъ воинственныхъ предметовъ, какъ, напримѣръ, заряженный револьверъ, лежавшій на ломберномъ столѣ, у того мѣста, на которое сѣлъ теперь полковникъ Пшецыньскій; черкесскій кинжалъ на окошкѣ; въ углу двѣ охотничьи двухстволки, рядомъ съ двумя саблями, изъ коихъ одна, очевидно, принадлежала полковнику, а другая — стародавняя, заржавленная — составляла древнюю принадлежность помѣщичьяго дома. Вообще, эти «злющія» бульдоги на сворѣ, этотъ заряженный револьверъ, и ружья, и кинжалъ, и сабли ясно доказывали, что всѣ эти господа дѣйствительно почитали себя въ самой серьезнѣйшей блокадѣ, и намѣревались недешево продать рус-

скимъ мужикамъ свое драгоценное существованіе, если-бы тѣ задумали брать приступомъ господскую твердыню.

— Когда-же вы меня отпустите отсюда, полковникъ? когда я буду свободенъ? — спросилъ Хвалынцевъ, volens-nolens располагаясь на старой оттоманкѣ.

— О, помилуйте, вы и теперь свободны, но... только я не могу отпустить васъ раньше окончательнаго укрощенія; когда волненіе будетъ подавлено, вы можете ѣхать куда угодно.

— А когда оно будетъ подавлено?

— Это зависитъ отъ прибытія войскъ. Вчера мы послали эстафету, сегодня — надо ожидать — придутъ.

— Да что это у васъ за возстаніе такое? какъ? почему? зачѣмъ? Объясните, пожалуйста, — обратился Хвалынцевъ къ предводителю.

— О, это презапутанная и вмѣстѣ пренелѣпная исторія, съ изыщнымъ пренебреженіемъ выдвинулъ предводитель свою нижнюю губу: — никакихъ властей не признаютъ, Карла Карлыча не слушаютъ... Какой-то вредный коммунизмъ проявился... *Imaginez vous*, не хотѣтъ понять, что они должны либо снести тѣ усадьбы, которыя стоятъ ближе пятидесяти саженей къ усадьбѣ помѣщика, либо, по соглашенію съ помѣщикомъ, платить за нихъ выкупъ. Не хотятъ ни того, ни другого. «Усадьба, говорить, и безъ того моя была!» (Предводитель, ради пушей изобразительности и остроумія, крестьянскія реплики въ своемъ разсказѣ передразнивалъ на мужицкій ладъ). Вотъ и толкуйте съ ними! И теперь, *à la fin des fins*, вышли на площадь, толкуютъ *Dieu sait quoi* о томъ, что волю у нихъ украли помѣщики, и какъ вы думаете, изъ-за чего? — Для ихъ же собственной пользы и выгоды денежный выкупъ за душевой надѣлъ замѣнили имъ личной работой, — не желаютъ: «мы-де нонѣ вольные и баршшыны не хотимъ!» Мы всѣ объясняемъ имъ, что тутъ никакъ барщины нѣтъ, что это не барщина, а замѣна выкупа личнымъ трудомъ въ пользу помѣщика, которому нужно же выкупъ вносить, что это только такъ, пока — временная мѣра, для ихъ же выгоды, — а они свое несутъ: «Баршшына да баршшына!» И вотъ, какъ говорится, *inde igae*, отсюда и вся исторія... «Положенія» не понимаютъ, толкуютъ его по своему, самопроизвольно; ни мнѣ, ни полковнику, ни г-ну исправнику не вѣрять, даже попу не вѣрять; говорятъ: помѣщики и начальство настоящую волю спрятали, а прочитали имъ подложную волю, безъ какой-то золотой строчки, что настоящая воля должна быть за золотой строчкой... И вотъ все подобныя глупости!

— Но для чего же они на площадь повыходили? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Вотъ, слухи между ними пошли, что «ена-

ралъ съ Питеру» прїѣдетъ имъ «волю заправскую читать»... Полковникъ вынужденъ вчера эстафетой потребовать войско, а они, ужъ Богъ знаетъ, какъ и откуда, прослышали о войскѣ и думаютъ, что это войско и прїдетъ къ нимъ съ настоящею волею,—ну, и ждутъ вотъ, да еще и сосѣднихъ мутятъ, и сосѣди тоже поприходили.

— М-да... «енараль»... Проишетъ онъ имъ волю!—съ многозначительною ироніей пополо-скалъ губами и щеками полковникъ, отхлебнувъ изъ стакана глотокъ дуншу, и повернулся къ Хвалынцеву:—Я истощилъ всѣ мѣры кротости, старался вселить благоразуміе, пояснилъ онъ докторально-авторитетнымъ тономъ:—даже па-стырское назиданіе было имъ сдѣлано,—ничто не беретъ! Ни голосъ совѣсти, ни внушеніе вла-сти, ни слово религіи!.. Съ прискорбіемъ дол-женъ былъ послать за военной силой... Жаль, очень жаль будетъ, если разразится катастрофа.

Но... опытный наблюдатель могъ-бы замѣ-тить, что полковникъ Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій сказалъ это «жаль» такъ, что въ сущности ему нисколько не «жаль», а сказано это лишь для красоты слога. Многія губернскія дамы даже до пугливаго трепету восхищались административно-военственнымъ краснорѣ-чіемъ полковника, который пользовался репута-ціей хорошаго спикера и мазуриста.

— Необразованность!.. промолвилъ госпо-динъ становой семинарски-малороссійскимъ ак-центомъ;—это все отъ необразования!

— Русски мужикъ свинѣ! ни къ селу, ни къ городу повернулъ и свое слово рыженькій нѣ-мецъ, къ которому никто не обращался и кото-рый все время возился то около своихъ бульдо-говъ, то около самовара, то начиналъ вдругъ озабоченно осматривать ружья.

— Н-да, это грустный фактъ! изычно вздох-нулъ предводитель:—я никакъ не противъ сво-боды; напротивъ, я англичанинъ въ душѣ и стою за конституціонныя формы, *mais... savez vous, mon cher* (это «*mon cher*» было сказано отча-сти въ фамильярномъ, а отчасти какъ-будто и въ покровительственномъ тонѣ, что не совсѣмъ-то поправилось Хвалынцеву), *savez vous la liberté et tous ces reformes* для нашего рус-скаго мужика—*c'est trop tôt encore!* Я очень люблю нашего мужичка, но... свобода необходи-мо требуетъ развитія, образованія... Надо-бы сперва было позаботиться объ образованіи, а то вотъ и выходятъ подобныя сцены.

Хвалынцеву стало какъ-то скверно на душѣ отъ всѣхъ этихъ разговоровъ, такъ что захотѣ-лось просто плюнуть и уйти, но онъ понималъ въ то же время свое двусмысленное и зависимое положеніе въ обществѣ деликатно арестовав-шаго его полковника и потому благоразумно воздержался отъ сильныхъ проявленій своего чувства.

— Да, замѣтилъ онъ съ легкой улыбкой—но

дышать-то вѣдь хочется одинаково какъ обра-зованному, такъ и необразованному...

Предводитель тоже своеобразно улыбнулся и, не возразивъ ни слова, сосредоточенно сталъ крутить папирску. Зато Болеславъ Казиміро-вичъ очень нехорошо передернулъ усами и, пытливо взглянувъ искоса на студента, вышелъ изъ комнаты.

— Левъ Александровичъ! многозначительно кивнулъ онъ предводителю изъ-за двери,—и тотъ сейчасъ же удалился.

— А что, не отлично я развѣ распорядился съ арестаціей этого студіозуса? вполголоса по-хвалился полковникъ:—помилуйте, вѣдь это красный, совсѣмъ красный, каналья!.. Ужъ я, батенька, только взгляну—сейчасъ по рождѣ вижу, насквозь вижу всего!..

— Н-да, но что толку арестовать-то его?.. Только насъ стѣсняетъ... Ну, его! пускай себѣ ѣдетъ!

Пшецыньскій удивленно выпучилъ глаза и покачалъ головою.

— Ай-ай-ай, Левъ Александровичъ! Какъ-же-жъ это вы такъ легкомысленно относитесь къ этому! «Пускай ѣдетъ!»—А какъ не уѣдетъ? А какъ пойдетъ въ толпу да станетъ бунтовать, да какъ ели—борони Боже—на домъ нахлы-нутъ? Отъ подобныхъ господчиковъ я всего ожидаю!.. Нѣтъ-съ, пока не пришло войско, мы въ блокадѣ, доложу я вамъ, и я не дамъ лиш-няго шанса непріятелю!.. Выпустить его не-возможно.

Полковникъ, очевидно, очень трусилъ непрі-ятеля. Будучи храбрымъ и даже отважнымъ въ своей канцеляріи, равно какъ и въ любой гу-бернской гостиной, и на любомъ зеленомъ полѣ,—онъ пасовалъ передъ невѣдомымъ ему непріатемъ—русскимъ народомъ. Но боязни своей показать не желалъ (она сама собой ино-гда прорывалась наружу) и потому поторопился дать иное, но тоже не совсѣмъ для себя беспо-лезное, значеніе вызову предводителя на се-кретное слово.

— А что я васъ хотѣлъ просить, почтен-нѣйшій Левъ Александровичъ, вкрадчиво на-чалъ онъ, улыбаясь пріятельски-сладкой улы-бкой и взявъ за пуговицу своего собесѣдника:—малый кажется мнѣ очень, очень подозритель-ный... Мы себѣ засядемъ будто въ картишки, а вы поговорите съ нимъ—хоть тамъ, хоть въ этой комнатѣ; вызовите его на разговорецъ на эдакій... пускай-ко выскажется немножко... Это для насъ право-же не бесполезно будетъ...

Предводитель помялся, поморщился, но не сдѣлалъ ни малѣйшаго возраженія полков-нику.

— Ваше высоко-бородіе! Генералъ тре-буютъ! громогласно доложилъ жандармъ, въ эту самую минуту показавшись въ передней.

— Какъ генералъ?!... развѣ ужъ прїѣхалъ? оторопѣло спохватился Пшецыньскій.

— Сейчас зволыли прибыть.

— Ай-ай, батюшки мои!... Живѣй мундиръ!... Поворачивайся, каналья!... Скорѣе!... Полковникъ со всѣхъ ногъ бросился облекать себя въ полную парадную форму.

II.

Великое и общее недоразумѣніе.

Какъ только въ городѣ Славнобубенскѣ была получена эстафета полковника Пшецыньскаго, такъ тотчасъ казачей сотнѣ приказано было поспѣшно выступить въ село Высокіе Снѣжки и послано эстафетное предписаніе нѣсколькимъ пѣхотнымъ ротамъ, расположеннымъ въ уѣздѣ на ближайшихъ пунктахъ около Снѣжковъ, немедленно направиться туда же.

Не доходя верстъ пяти до Высокихъ Снѣжковъ, военный отрядъ былъ опереженъ шестеркою курьерскихъ лошадей, которыя мчали дорожный дормезъ. Изъ окошка выглянула озабоченная фізіономія генерала, мимоходомъ крикнувшаго командиру отряда, чтобы тотъ поспѣшилъ какъ можно скорѣе. Рядомъ съ генераломъ сидѣлъ адъютантъ, а на козлахъ и на имперьялѣ—два ординарца изъ жандармовъ. Черезъ нѣсколько минутъ взмыленная шестерка воочалась въ село и остановилась на стояломъ дворѣ, въ виду волнующейся площади.

Тысячегрудое и долгое «ура!» загремѣло надъ толпой народа, но вновь прибывшимъ лицамъ трудно было впопыхахъ разобрать настоящій смыслъ и значеніе этого могучаго привѣтствія. Въ эту минуту, подъ впечатлѣніемъ обстоятельствъ нынѣшняго и прошлыхъ дней, имъ понятнѣе была одна только оглушительная, грозная сторона крика, та сторона, которая заставляетъ скорѣе мелькать въ воображеніи представленія о бунтовщикахъ, кольяхъ, топорахъ, дубинахъ... Новоприбывшіе скрылись за дверью въ горницу. Ординарцы, вслѣдъ за ними внесли тутъ же чемоданы и прочую дорожную принадлежность. Генералъ тотчасъ же послалъ за Пшецыньскимъ.

А между тѣмъ къ нему, точно такъ-же, какъ и къ Хвалынцеву, вздумали было нахлынуть сивобородые ходаки за мѣръ, но генеральскій адъютантъ увидѣлъ ихъ въ окно въ то еще время, какъ они только на крыльцо взбились, и не успѣвъ еще совершенно оправиться отъ невольнаго впечатлѣнія, какое произвелъ на него тысячеголосый крикъ толпы, приказалъ ординарцамъ гнать ходаковъ съ крыльца, ни за что не допуская ихъ до особы генерала.

Но пока онъ самъ одѣвался и обчищался, да пока одѣвался и шелъ къ генералу, въ сопровожденіи жандарма, полковникъ Пше-

цыньскій, съ неизмѣннымъ револьверомъ въ карманѣ,—впечатлѣніе внезапнаго испуга успѣло уже пройти, и адъютантъ встрѣтилъ въ сѣняхъ Пшецыньскаго, какъ подобаетъ независимому адъютанту, сознающему важность и власть своего генерала.

— Вы, полковникъ, надѣлали Богъ знаетъ что! внушительно и даже отчасти строго началъ онъ, когда Пшецыньскій не безъ нѣкоторой запискивающей почтительности поклонился ему:—зачѣмъ вы изволили потребовать войско?... Развѣ вы не могли обойтись и безъ этой крайней мѣры?... Зачѣмъ вамъ военная сила, когда вы должны были укрощать силой вашего личнаго авторитета... Его превосходительство недоволенъ вами... Все, что говорю я,—я передаю вамъ отъ лица его превосходительства... Что это здѣсь за исправники! Что это за земская полиція, которая допускаетъ подобные безпорядки!...

Это ни на что не похоже-съ!... Такъ, ей-Богу, служить нельзя!

— Помилуйте, истощены всѣ мѣры кротости... ни голосъ религіи, ни сила власти, ничто... зарпортовалъ было Пшецыньскій, отчасти смутившійся столь начальственнымъ и безцеремоннымъ тономъ адъютанта, на оберъ-офицерскихъ погонахъ котораго сидѣло всего только три звѣздочки. Но адъютантъ, почти не слушая Болеслава Казиміровича, отворилъ дверь и жестомъ пригласилъ его войти, для личныхъ объясненій, къ его превосходительству, а самъ, даже съ нѣкоторымъ похвальнымъ безстрашіемъ, вышелъ на крыльцо—сдѣлать рекогносцировку относительно настроенія и положенія въ данный моментъ бунтующей толпы. Онъ самъ въ душѣ даже пріятно пощекоталъ себя похвалой за это безстрашіе, по поводу котораго вдругъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ.

Почти передъ самымъ крыльцомъ былъ теперь поставленъ столикъ, котораго прежде адъютантъ не замѣтилъ. Онъ былъ покрытъ чистой, бѣлой салфеткой съ узорчато-расшитыми каймами, и на немъ возвышался, на блюдѣ, каравай пшеничнаго хлѣба да солонка, а по бокамъ, обнажа свои головы, стояли двое почтенныхъ, благообразныхъ стариковъ, съ длинными, сѣдыми бородами, въ праздничныхъ синихъ кафтанахъ.

Едва ступилъ адъютантъ на крыльцо, какъ многія головы въ крестьянской толпѣ мгновенно обнажились, а старики, стоявшіе у хлѣба, почтительно отвѣсили ему по глубокому пояснуму поклону.

Поручикъ, юный годами и опытною, хотя и зная, что у русскихъ мужиковъ есть обычай встрѣчать съ хлѣбомъ и солью, однако полагалъ, что это дѣлается не болѣе, какъ для проформы, въ родѣ того, какъ подчиненные являются иногда къ начальству съ ничего незначащими и ничего не выражающими рапортами; а теперь, въ

настоящихъ обстоятельствахъ, присутствіе этого стола съ этими стариками показалось ему даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, дерзостью: помилуйте, тутъ люди намѣреваются одной собственной особой, однимъ своимъ появленіемъ задать этому мужичью добраго тренету, а тутъ вдругъ, вовсе ужъ и безъ малѣйшихъ признаковъ какого-бы то ни было страха, выходятъ прямо передъ него, лицомъ къ лицу, два какіе-то человѣка, да еще со своими поднесеніями!—Поручикъ возжелалъ съ первой-же минуты показать свою твердость и силу, коими самъ въ душѣ намѣревался не мало полюбоваться, возжелалъ, что называется, сдѣлать впечатлѣніе, или «faire une juste impression», какъ подумалъ онъ въ буквальной точности.

— Эт-та что такое?! Что это значитъ?!—рѣзко и строго возвысилъ онъ голосъ, указывая то на каравай, то на бороды выборныхъ.

— Отъ міра! Хлѣбъ да соль вашими милостямъ! — проговорили старики, сопровождая слова свои вторичнымъ поклономъ.

— Вы кто такіе?.. Откуда? Какіе люди? Какъ смѣли вы!

— Мы выборные, батюшко, отъ міра...

— Какой я вамъ «батюшка»! Не видите развѣ кто я? вспылилъ адъютантъ, принявшій за дерзость даже и «батюшку», послѣ привычнаго для его дисциплинированнаго уха «вашего благородія». При томъ же и самое слово «выборные» показалось ему зловѣще многозначительнымъ: «выборные... власти долой, значитъ... конвентъ... конституціонныя формы... самоуправленіе... революція... Пугачевъ» — вотъ обрывки тѣхъ смѣшанно-неясныхъ мыслей и представленій, которыя вдругъ замелькали и запутались въ головѣ поручика, при словѣ «выборные».

— Бунтовщики!.. Обмануть надѣетесь!.. Задобритъ хотите! закричалъ и затопалъ онъ на стариковъ!—тутъ съ бунтовщиками угощаться не стануть! Къ вамъ пріѣхали порядокъ водворять, а не ѣсть тутъ съ вами!.. Вонъ отсюда!.. Убрать все это сейчасъ-же!.. Вотъ я васъ!

Старики оторопѣли и въ величайшемъ недоумѣніи переглянулись другъ съ другомъ.

— Ну! что-же вы стали?.. Непокорство!.. Эй, ординарцы! взять ихъ!

И по слову адъютанта, два жандарма вмигъ распорядились какъ слѣдуетъ съ выборными. Столикъ съ салфеткой, и съ блюдомъ, и съ караваемъ тотчасъ-же исчезъ куда-то, словно-бы его и не было,—и одно только недоумѣніе все болѣе и болѣе разливалося на старческихъ лицахъ.

Послѣ столь энергическаго приступа къ дѣлу, поручику показалось, что онъ уже достаточно задалъ предварительнаго страха и что теперь мужики будутъ чувствовать къ его особѣ должное уваженіе.

Кончивъ объясненіе съ Пшепыньскимъ, генералъ вышелъ на крыльцо. Полковникъ какъ-то

меланхолически выступалъ за нимъ слѣдомъ, держа въ рукахъ «Положеніе». На крыльцѣ генерала встрѣтили только что подошедшіе въ это время становой съ исправникомъ и предводитель Корытниковъ, на которомъ теперь вмѣсто Шармеровскаго пиджака, красовался дворянскій мундиръ съ шитымъ воротникомъ и дворянская фуражка съ краснымъ околышемъ.

Предводителя генералъ удостоилъ поклона и даже рукопожатія, а становому съ исправникомъ буркнулъ съвозъ зубы одно только: «стыдно, господа, стыдно!»

Но тѣ рѣшительно не поняли, почему это имъ должно быть стыдно.

— Ну, не шумѣть, ребята!—громко закричалъ генералъ толпѣ:—я съ вами говорить желаю... Смирно!

Толпа стояла тихо: въ ней улегались волны и гулъ послѣднихъ движеній; она, казалось, напряженно ждала чего-то. Шапки все болѣе и болѣе слетали съ головъ.

— Тихо!.. тихо, ребята!.. Слухай!.. Сейчасъ вѣрно заправскую читать будетъ!—пробѣгалъ по толпѣ сдержанный говоръ.

— Смирно! — еще громче повторилъ генералъ:—пускай ко мнѣ выйдутъ нѣсколько человѣкъ. Я съ ними буду говорить, а они потомъ пусть всѣмъ остальнымъ сообщать мои слова.

Въ толпѣ опять заколыхались и минутъ черезъ пять болѣе десятка толковыхъ мужиковъ вышли изъ массы и, безъ шапокъ, съ видомъ явнаго уваженія, подошли къ генералу.

— Вы видите, кто я?—началъ онъ, указывая на свою грудь и плечи.

— Видимъ, батюшко, енаралъ! Видимъ! поклонились тѣ.

— Понимаете, кто я?

— Какъ-ста не понять!.. Понимаемъ... всѣ понимаемъ.

— Ну, то-то же!.. Теперь скажите мнѣ, зачѣмъ вы бунтуете, властямъ не покоряетесь?

— Гдѣ же мы бунтуемъ, батюшко, ваше благородіе!—заговорили мужики:—экъ-ли люди-то бунтуютъ!.. Мы только обиду свою ищемъ, а бунтовать не желаемъ... Зачѣмъ бунтовать?.. Мы бунтовать не согласны! Обстой ты насъ, батюшко! будь милостивцемъ!

— А зачѣмъ вы толпами на площадь собрались? Это развѣ не мятежъ, по вашему?—продолжалъ генералъ.

— Собрались мы, кормилецъ, зачѣмъ, чтобы всѣмъ миромъ отъ тебя самого волю услышать... Отъ насъ настоящую-то волю скрали.

— Какъ? Что? Какую волю?.. Вамъ была уже читана воля—чего-же вы еще хотите?

— Какая-жъ это воля, батюшко, коли насъ снова на барщину гонять... Какъ, значитъ, ежели-бы мы вольные — шабайтъ на господъ работать! А насъ опять гонять... А мы супротивъ закона не желаемъ. Теперь-же опять

взять хоть усадьбы... Экъ ихъ сколько дворовъ либо прочь сноси, либо выкупъ плати! это за што-же выкупъ?... Прежде испоконъ вѣку и отцы, и дѣды все жили да жили, а намъ на-ко-ся вдругъ—нельзя!

— Дураки! для вашей-же пользы!—пояснилъ генераль:—вѣдь вы неравно помѣщику домъ сожжете, потомъ черезполосица выходить, а вамъ не все-ль равно? Тутъ одинъ помѣщикъ только въ убыткѣ!

— Да какъ-же мужику безъ усадьбы—самъ посудитъ ты, ваше благородіе!—загалдѣли переговорщики:—мужику безъ усадьбы да безъ земли никакъ невозможно! А иной изъ нашего брата и самъ себѣ усадьбу-то ставилъ за свой коштъ, а теперича за нее плати... Этого мы несогласны!

— Да вѣдь земля господская! — снова пояснилъ генераль.

— Нѣтъ, батюшко, мы—господскіе, точно-что господскіе,—а земля наша! Искони нашей была! потому, безъ земли ужъ какой-же это мужикъ? Самое послѣднее дѣло!

— Земля по закону—господская, и вы если не хотите сносить съ нея усадьбъ, должны выкупъ платить по соглашенію. Затѣмъ, переходу я къ душевому надѣлу: для васъ-же, дураковъ, для вашей-же собственной пользы и выгоды, чтобы вамъ же облегченіе сдѣлать, вмѣсто платежа за землю по душевому надѣлу, вамъ пока предлагаютъ работу, то-есть замѣну денегъ личнымъ трудомъ, а не барщину, и вѣдь это только пока.

— Поймите вы различіе между личнымъ трудомъ и барщиною! —поучающимъ тономъ вмѣшался адъютантъ, обратясь особо къ нѣсколькимъ личностямъ изъ той-же кучки переговорщиковъ:—личный трудъ никакъ не барщина;—личный трудъ это—личный трудъ... Всѣ мы несемъ личный трудъ — и я, и вы, и... и всѣ—а барщина совсѣмъ другое; она только при крѣпостномъ правѣ была, — понимаете?

— Да вѣдь это по нашему, по мужицкому разуму—все одно выходить, возражали мужики съ плутоватыми ухмылками:—опять-же видимое дѣло—не взыщите, ваше благородіе, на словѣ—а только какъ есть вы баре, такъ барскую руку и тянете, коли говорите, что земля по закону господская. Этому никакъ нельзя быть и никакъ мы тому вѣрить не можемъ, потому—земля завсегды земская была, значитъ, она мірская, а вы шутите: господская! Стало быть, можемъ-ли мы вѣрить?

— Ваше превосходительство! явное недовѣріе!.. даже къ словамъ вашего превосходительства! подшепнулъ Пшецыньскій;—и это-ли еще не бунтъ!?! Это-ли не возстаніе!?

— Значитъ, вы мнѣ не вѣрите? спокойно спросилъ генераль.

— Да что-жъ, коли ты, батюшко, по нашему выходить, совсѣмъ не дѣло говоришь-то!

— Да вѣдь законъ... вмѣшался было Пшецыньскій.

— Да что законъ! перебили его въ кучкѣ переговорщиковъ:—ты, ваше благородіе, только все говоришь про законъ; это одинъ разговоръ, значитъ! А ты покажи намъ законъ настоящій, который, значитъ, за золотою строчкою писанъ, тогда и вѣру вамъ дадимъ, и всему дѣлу шабашъ!

— Любезные мои, такого закона, про какой вы говорите, нѣтъ, и никогда не бывало, да и быть не можетъ, и тотъ, кто сказалъ вамъ про него—тотъ, значитъ, обманщикъ и смутитель! Вы этому не вѣрьте! Я вамъ говорю, что такого закона нѣтъ!—убѣждалъ генераль переговорщиковъ.

— Эва-ся нѣтъ!.. Какъ нѣтъ!.. Мы до-длинно знаемъ, что есть! возражали ему съ явными улыбками недовѣрія: — это господа, значитъ, только намъ-то казать не хотятъ, а что есть, такъ это точно что есть! Мы ужъ извѣстны въ томъ!

Нѣсколько времени длились еще подобные споры. Одна сторона тщетно старалась убѣдить въ несуществованіи закона за золотою строчкою; другая же крѣпко стояла на своемъ, выражая явное недовѣріе къ словамъ своихъ убѣдителей. И дѣло, и взаимныя отношенія обѣихъ сторонъ, съ каждой минутой, запутывались все болѣе, такъ что въ результатѣ оставалось одно только возрастающее недоразумѣніе. Утомленный продолжительностью и полнѣйшею бесплодностью всѣхъ этихъ переговоровъ, генераль почти безнадежно махнулъ рукой и ушелъ на нѣкоторое время въ горницу освѣжиться отъ только-что вынесенныхъ впечатлѣній и сообразить возможность и характеръ дальнѣйшихъ своихъ дѣйствій. Дѣло, на его взглядъ, все болѣе и болѣе начинало принимать оборотъ весьма серьезный, съ исходомъ крайне сомнительнаго свойства.

На крыльцѣ остались адъютантъ съ Пшецыньскимъ, да почти совсѣмъ пассивная и безмолвная группа, составленная изъ предводителя и становаго съ исправникомъ.

Пшецыньскій, съ особо-энергическимъ краснорѣчіемъ, укорялъ мужиковъ-переговорщиковъ за то, что тѣ выказали такое недовѣріе къ словамъ генерала, а адъютантъ продолжалъ доказывать, что личный трудъ — отнюдь не барщина. Мужики же въ отвѣтъ имъ говорили, что пуцай генераль покажетъ имъ свою особую грамоту за царевой печатью, тогда ему повѣрятъ, что онъ точно посланъ отъ начальства, а не отъ арбъ, а адъютанту на всѣ его доводы возражали, что по ихъ мужицкому разуму прежняя барщина и личный трудъ, къ какому ихъ теперь обязываютъ, выходить все одно и то-же. Недоразумѣніе возрастало. Юный поручикъ все болѣе и болѣе терялъ не-

обходимое хладнокровіе и начиналъ не въ мѣру горячиться.

— Да ужъ что толковать! порѣшили, наконецъ, переговоришки, почесавъ затылки: — деньги мы, такъ и быть, платить, пожалуй, горазды, а на барщину не согласны.

— Кто не согласенъ? перебилъ адъютантъ, и обратился къ одному изъ кучки: — ты не согласенъ?

— Я-то ничего, да міръ не согласенъ; значитъ, всё, батюшко, высокое твое превосходительство, всё, какъ есть всё не согласны — весь міръ, значитъ! отвѣтствовалъ тотъ.

— Я не про всёхъ спрашиваю! Я спрашиваю тебя: ты не согласенъ?

— Да я что-жь, батюшко, — я человѣкъ мірской — куды міръ, туды, знамо дѣло, и я.

— Отвѣчай мнѣ, каналья! грозно затопалъ поручикъ: — ты не согласенъ?

— Виновати, батюшко! поклонился оторопѣвшій, но все-таки уклончивый мужикъ.

— Что такое «виновати»? Что это значитъ «виновати»? Я тебя въ послѣдній разъ спрашиваю: ты не согласенъ?

— Несогласенъ... тихо и путаясь, отвѣтилъ допрашиваемый.

— Взять его! мигнулъ поручикъ жандармамъ, — и мужика утащили изъ кучки и увели въ калитку стоялаго двора.

— Ты не согласенъ? обратился адъютантъ къ слѣдующему.

— Не согласенъ, ваше благородіе.

— Взять и этого!

— Ты?

— Не согласенъ.

— Туда же!

— Да всё не согласны! весь міръ не согласенъ! закричали изъ толпы тѣ передніе ряды, которымъ была видна и слышна расправа адъютанта.

— Братцы! да что-жь это онъ мужиковъ-то хватаетъ? недоумѣло стали поговаривать тамъ: за что же это?.. А волю — то не читаешь!..

— Ваше благородіе! громко выкрикнулъ чей-то голосъ оттуда: — не томи ты насъ! будь милостивцемъ! вычитай ты намъ волю-то скорѣе!..

— Волю! Волю! подхватили изъ той же толпы нѣсколько сотенъ.

— Кто смѣлъ закричать «волю»? поднялъ адъютантъ къ толпѣ свою голову, — кто зачинщики? — выходи сюда!

Въ толпѣ никто не шелохнулся.

— Господинъ становой приставъ! отыщите и возьмите зачинщиковъ!

— Помылуйте, ни якъ не можно! разстави ладони и пожимая плечами, флегматически залепеталъ было становой.

— Въ противномъ случаѣ, вы будете строго отвѣчать передъ закономъ! начальнически-отчетливымъ тономъ пояснилъ адъютантъ, вы-

разительно сверкнувъ на него глазами и безапелляціонно приглашающимъ жестомъ указавъ ему на толпу.

Физиогномію господина станового передернуло очень кислой гримасой, однако, нечего дѣлать, онъ махнулъ рукою подъ козырекъ и потрусилъ къ толпѣ. Тамъ поднялось нѣкоторое движеніе и гулъ. Становой ухватилъ за шиворотъ перваго попавшагося парня и потащилъ его къ крыльцу. Парень было уперся сначала, но позади его нѣсколько голосовъ ободрительно крикнули ему: «не робѣй, паря! не трусь! пушай ихъ!» — и онъ покорно пошелъ за становымъ, который такъ и притащилъ его за шиворотъ къ адъютанту.

Парень стоялъ безъ шапки, смиренно и почти-тельно

— Ты зачинщикъ?.. ты крикнулъ «волю»? напустился на него рылый поручикъ.

— Нѣтъ, не я... я не кричалъ, отвѣтилъ тотъ, почти безъ всякаго смущенія.

— А! запираешься!.. Я тебя заставлю отвѣтить!

— Что-жь, ваше благородіе, — твоя воля! подернулъ тотъ плечами: — мы люди темные, ничего не понимаемъ, — научи ты насъ, Христа-ради! Мы-тѣ во какое спасибо скажемъ!

— Отвѣчай, кто зачинщики! настаивалъ между тѣмъ поручикъ.

Тотъ молчалъ, понуро потупясь.

— Взять его! скомандовалъ онъ жандармамъ — и парня утащили въ калитку.

Увы!.. этотъ блестящій и, въ своемъ родѣ — какъ и большая часть молодыхъ служащихъ людей того времени — даже модно-современный адъютантъ, даже фразисто-либеральный въ мірѣ свѣтскихъ гостиныхъ и кабинетовъ, который тамъ такъ легко, такъ хладнокровно и такъ административно-либерально рѣшалъ иногда, при случаѣ, всё вопросы и затрудненія по крестьянскимъ дѣламъ — здѣсь, передъ этою толпою рѣшительно не зналъ, что ему дѣлать! Онъ чувствовалъ, такъ сказать, полнѣйшее отсутствіе почвы подъ ногами, чувствовалъ какую-то неестественность, неловкость въ своемъ положеніи, смутно сознавалъ, что слишкомъ увлекся и чересчуръ зарвался, такъ что походилъ скорѣе на Держиморду, чѣмъ на блестящаго, современнаго адъютанта. Куда дѣвался весь либерализмъ, всё эти хорошія слова и красивыя фразы! И что досаднѣе всего, — это держимордничество проявилось какъ-то такъ внезапно, почти само собою, даже какъ будто независимо отъ его воли, и теперь, словно сорвавшійся съ корды дикій конь, пошло катать и скакать черезъ пень въ колоду, направо и налево, такъ что юный поручикъ, даже и чувствуя немножко въ себѣ Держиморду, былъ уже не въ силахъ сдержатъ себя и снова превратился въ блестящаго, разсудительнаго адъютанта. Держимордничество — какъ часто случается въ иныхъ люд-

скихъ, а особенно въ кадетскихъ натурахъ— словно порывистый вихрь, подхватило его, какъ оторванную отъ корня вѣтвь, и закружило и понесло по своему произволу... Онъ не зналъ что говорить, что предпринять, на что рѣшиться, чувствовалъ, что ему лучше всего было бы съ самаго начала ничего не говорить и ни на что не рѣшиться, но... теперь уже поздно, теперь уже зарвался—и потому, начиная терять послѣднее терпѣніе, адъютантъ все болѣе и болѣе горячился и выходилъ изъ себя. Мужики не понимали его, онъ—мужиковъ. Точно также не понимали они и генерала; генералъ же, въ свою очередь, не могъ уразумѣть ихъ въ томъ пунктѣ, что земля, признаваемая закономъ собственностью помѣщика, со стороны крестьянъ вовсе таковою не признается, а почитается какою-то искони вѣковъ ихнею земскою, мірскою собственностью: «мы-де помѣщичьи, господскіе, а земля наша, а не барская».

Это было одно всесовершенное, общее, великое недоразумѣніе.

До этой минуты либеральному поручику приходилось толковать о русскомъ народѣ только въ пріятныхъ гостиныхъ, да и толковать-то не иначе, какъ съ чужихъ-словъ, съ чужихъ мыслей. Теперь же, когда обстоятельства поставили его лицомъ къ лицу съ этою толпою,—русскій мужикъ показался ему бунтовщикомъ, мятежникомъ, революционеромъ... Онъ вспомнилъ, что въ русской исторіи былъ Стенька Разинъ и Емельянъ Пугачевъ. Да и не одинъ онъ, а и всѣ эти представители власти чувствовали себя какъ-то не совсѣмъ ловко, и всѣмъ имъ хотѣлось какъ нибудь наполнить время до рѣшительной минуты, когда войско уже будетъ на мѣстѣ. Многие изъ нихъ ждали, что одинъ грозный видъ военной силы сразу утишитъ возстаніе и заставитъ толпу покориться и выдать зачинщиковъ.

— Читайте ямъ «Положеніе»! Объ ихъ обязанностяхъ читайте! обратился полковникъ Пшецыньскій къ становому, испытывая точно такую же неловкость и не зная самъ, для чего и зачѣмъ тотъ будетъ читать.

Становой глянулъ на него недоумѣлыми глазами—дескать: вѣдь ужъ сколько же разъ было имъ читано!—однако выступилъ впередъ и раскрылъ книгу.

По толпѣ опять пробѣжалъ смутный гулъ—и она замолкла чутко, напряженно...

Толпа жадно слушала, хватая на лету изъ пятаго въ десятое слово, и ничего не понимала. Въ ней, какъ въ одномъ человѣкѣ, жило одно только сознаніе, что это читають «заправскую волю».

* * *

Ковыляя по грязямъ и топямъ большой дороги, форсированнымъ маршемъ приближалась къ Высокимъ Снѣжкамъ военная сила! Въ головѣ сѣрѣвшей колонны колыбался частоколь

казацкихъ пикъ, а глубоко растянувшійся хвостъ ея терялся за горою. Вотъ, осторожно ступая по склизкому скату, кони спустились на плотину у мукомольной мельницы, приослаившейся внизу, у ручьиатаго оврага, перебрались на противоположную сторону,—и казачій отрядъ, раздѣляясь на двѣ группы, тотчасъ же на рысяхъ разлѣхался вправо и влево, и тамъ, и здѣсь растянулся широкою цѣпью, отдѣляя отъ себя гдѣ одного, гдѣ пару казаковъ, окружилъ село и занялъ всѣ выходы. Вотъ близъ того же оврага остановилась пѣхота. Люди стянулись, сомкнули стройные ряды и оправились. Черезъ нѣсколько минутъ маршъ колонны направлялся уже по широкой, опустѣлой улицѣ села. Однѣ только собаки тявкали изъ подворотень на незнакомый имъ людъ, да иногда пѣтухи, своротивъ на сторону красные гребни, какъ-то удивленно оглядывали съ высоты крестьянскихъ плетней это воинственное шествіе. Здѣсь какъ будто вымерла вся людская жизнь, и только на задахъ кое-гдѣ, да на выходахъ, между соломенными кровлями и деревянными прутьями, торчало тамъ и сямъ стальное остріе казацкой пики... Весь народъ—старъ и младъ—гудѣлъ вдали на широкой площади.

Раздался барабанный бой. Отрядъ входилъ уже на площадь и строился развернутымъ фронтомъ противъ крестьянской толпы, лицомъ къ лицу. Толпа въ первую минуту, ошеломленная рокотомъ барабановъ и видомъ войска, стояла тихо, недоумѣло...

Рыженькій нѣмецъ-управляющій, съ рижской сигаркой въ зубахъ, флегматически заложивъ за спину короткія руки, вытаскилъ на сворѣ пару своихъ бульдоговъ и вмѣстѣ съ ними вышелъ на крыльцо господскаго дома—полюбоваться предстоящимъ зрѣлищемъ. Волѣдъ за нимъ вышелъ туда же и Хвалынцевъ. Сердце его стучало смутной тоской какого-то тревожнаго ожиданія.

— Что же, вы поняли, что читали вамъ? обратился къ толпѣ Пшецыньскій.

Толпа молчала.

Тотъ повторилъ вопросъ, на который отвѣтомъ послѣдовало, опять-таки, то же самое недоумѣлое молчаніе. Адъютантъ окончательно вышелъ изъ себя. Онъ отказывался вѣрить, чтобъ смыслъ читаемаго, столь ясный для него, былъ непонятенъ крестьянамъ.

— Бунтовщики! Вы отвѣчать не хотите! закричалъ онъ:—хорошо же! съ вами найдутъ расправу!

Генералъ снова появился передъ народомъ.

— Батюшко! не сердяй! завопили къ нему голоса изъ толпы:—а дай ты намъ волю настоящую, которая за золотомъ строчкою писана! А то, что читано, мы не разумѣемъ... Опять же отъ барщины ослобони насъ!

— Ваше превосходительство! въ почтитель-

но-совѣщательномъ тонѣ обратился адъютантъ къ своему принципалу:—мнѣ казалось бы, что не мѣшало бы распорядиться послать за попомъ—пусть увѣщеваетъ... Надо первоначально испытать всѣ средства.

Черезъ нѣсколько минутъ привели священника, съ крестомъ въ рукахъ, и послали увѣщевать толпу. И говорилъ онъ толпѣ на заданную тему, о томъ, что бунтовать великій грѣхъ и что надо выдать зачинщиковъ.

— Да какіе же мы бунтовщики! слышался въ толпѣ протестующій говоръ:—и чего они и въ сам-дѣлѣ, все «бунтовщики!» да «бунтовщики!» Кабы мы были бунтовщики, нешто мы стояли бы такъ?.. Мы больше ничего, что хотимъ быть оправлены, чтобы супротивъ закону не обижали бы насъ... А зачинщиковъ... Какіе же промежъ насъ зачинщики?.. Зачинщиковъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ?.. Что они тамъ толкуютъ? почтительно косясь и оглядываясь на генерала, и видимо желая изобразить передъ нимъ свою энергическую дѣятельность, возвысилъ голосъ Пшечыньскій, который сбѣжалъ съ крыльца, однако же не приближался къ толпѣ далѣе, чѣмъ на тридцать шаговъ:—должны быть зачинщики! Выдавай ихъ сюда! Пусть всѣ безпрекословно выходятъ къ его превосходительству!.. Вы должны довѣриться вашему началству! Выдавай зачинщиковъ, говорю я!

— Да всѣ мы зачинщики!.. Всѣ, какъ есть! дружно грянуло надъ толпою:—всѣ здѣсь! всѣхъ бери!

Пшечыньскій торопливо попятился и неловко споткнулся о камень. Въ толпѣ раздался хохотъ.

— Я шутить не стану! строго замѣтилъ генералъ:—господинъ исправникъ! господинъ предводитель! прошу отправиться къ нимъ и повторить мои слова, что никакой другой воли нѣтъ и не будетъ, что они должны безпрекословно отправлять повинности и повиноваться управляющему, во всѣхъ его законныхъ требованіяхъ, и что, наконецъ, если черезъ десять минутъ (генералъ посмотрѣлъ свои часы) толпа не разойдется и зачинщики не будутъ выданы, я буду стрѣлять.

— Надо будетъ стрѣлять, ваше превосходительство! почтительнѣйше подшепнулъ Пшечыньскій, успѣвшій уже вернуться на крыльцо:—къ сожалѣнію, надо будетъ стрѣлять!.. Иначе ничего не сдѣлаемъ... Необходимъ разительный примѣръ.

Генералъ ничего не отвѣтилъ, но въ душѣ былъ согласенъ съ опытнымъ полковникомъ: все это по внѣшности, дѣйствительно, казалось бунтомъ весьма значительныхъ размѣровъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оставалось все-таки одно лишь великое обоюдное недоразумѣніе. По соображеніямъ власти, медлительность и нерѣшительность ея, въ виду того тревожнаго,

исполненнаго глухимъ броженіемъ въ народѣ, времени, которое тогда переживалось, могла отозваться цѣлымъ рядомъ безпорядковъ по обширному краю, если оказать маломальское потворство на первыхъ порахъ, при первомъ представившемся случаѣ. Таковы были соображенія власти.

Между тѣмъ, исправникъ и monsieur Корытниковъ отправились въ толпу передавать слова генерала, а самъ генералъ послѣдшилъ къ неподвижно стоявшему войску.

— Ребята! обратился онъ къ солдатамъ:—помните, что ружье дано солдату затѣмъ, чтобы стрѣлять!.. Передъ вами бунтовщики, поэтому будьте молодцами.

— Ради стараться, ваше—ство-о! откликнулся фронтъ.

А въ толпѣ все росъ и крѣпчалъ гулъ да говоръ... волненіе снова начиналось, и все больше, все сильнѣе. Увѣщанія священника, исправника и предводителя не увѣнчались ни малѣйшимъ успѣхомъ, и они возвратились съ донесеніемъ, что мужики за бунтовщиковъ себя не признаютъ, зачинщиковъ между собою не находятъ и упорно стоятъ на своемъ, чтобы сняли съ нихъ барщину и прочли настоящую волю, и что до тѣхъ поръ они не повѣрятъ въ миссію генерала, пока тотъ не объявитъ имъ самолично эту «заправскую волю за золотую строчкою».

— Стрѣлять... стрѣлять необходимо, ваше превосходительство! снова подшепнулъ со вздохомъ, подвернувшійся подъ руку, Пшечыньскій, и вздохъ его явно стремился выразить послѣднюю, грустно безвыходную рѣшимость крайняго отчаянія.

Либерально-почтительный адъютантъ былъ того же мнѣнія, и въ душѣ даже какъ будто подбодрился тѣмъ, что въ такую минуту близъ него есть люди, раздѣляющіе его собственное убѣжденіе.—Imaginez vous, могъ бы потомъ онъ рассказывать въ петербургскихъ гостиныхъ:—огромная толпа... съ другой стороны войско... и вдругъ залпъ!.. О, это была ужасная, поразительная картина!.. Это былъ своего рода эффектъ, котораго я никогда не забуду!—По странному сочетанію мыслей, въ головѣ поручика въ эти минуты главнѣйшимъ образомъ рисовалось то, какъ онъ будетъ рассказывать въ Петербургѣ о томъ, чему предстояло совершиться черезъ нѣсколько мгновеній. Онъ не думалъ, какъ именно все это совершится, но зналъ, что онъ будетъ потомъ рассказывать объ этомъ очень красивыми, изобразительными фразами.

— Господинъ майоръ! закричалъ межъ тѣмъ генералъ баталіонному командиру:—изготовьтесь къ пальбѣ!

— Батальонъ,—жай!—раздалась съ лошади зычная команда командира,—и мгновенно блеснувъ щетиной штыковъ, ружья шаркнулись

къ ногѣ. Шомпола засвистали и залязгали своимъ желѣзнымъ звукомъ въ ружейныхъ дулахъ. Крестьянская толпа въ ту-жъ минуту смолкла до той тишины, что ясно можно было разслышать сухое шелканье взводимыхъ курковъ.

Этою-то минутою думалъ было не безъ эффекта воспользоваться ретивый поручикъ.

— Ваше превосходительство! позвольте испытать... въ послѣдній разъ... послѣднее средство! быстро забормоталъ онъ, обратясь къ генералу, и затѣмъ, почти не дожидаясь отвѣта, повернулся къ толпѣ.

— На колѣни! повелительно закричалъ онъ:—на колѣни!.. Покоритесь, или сейчасъ стрѣляютъ!

— Что-жъ, стрѣлай, коли тѣ озорничать хочешь! отвѣтили ему изъ толпы:—не въ насъ стрѣлишь—въ паря стрѣлять будешь... Мы—царскіе, стало и кровь наша царская!..

Съ крыльца махнули въ воздухъ бѣлымъ платкомъ.—Вслѣдъ за этимъ знакомъ отчетливо пронеслась команда: «батальонъ—пли!»—и залпъ холостымъ зарядомъ грянулъ.

Толпа вздрогнула, но молчала. Передніе, совершенно молча, внимательно оглядѣлись вокругъ себя: никто не палъ, никто не стонетъ—всѣ живы, цѣлы, стоятъ, какъ стояли. Первая минута смущеннаго смятенія минула. Мужики оправились.

— Эге, робя! никакъ шутки шутятъ! громко замѣтилъ одинъ молодой парень:—небось, въ царскихъ хрестьянъ стрѣлять не посмѣютъ!..

— Это они только такъ, гороху наперлись! отвѣтилъ какой-то путникъ.

Въ толпѣ захохотали.

Снова мелькнулъ въ воздухъ бѣлый платокъ.

Рой пуль просвисталъ надъ головами.

Толпа инстинктивно пригнулась... Опять осматриваются—опять ни единый человѣкъ не повалился.

Это уже породило недоумѣніе: свистъ нѣсколькихъ сотенъ пуль былъ явственно слышенъ,—отчего-жъ никого не убило?

— Братцы! мужички почтенные! раздался чей-то голосъ:—самъ Богъ за наше сиротское дѣло: пули отъ насъ отгоняетъ!.. не берутъ! Стой, братцы, на своемъ твердо!

— Стоимъ!.. стоимъ! Постоимъ за миръ!.. Господи благослови! пронеслись по толпѣ отъѣтные крики.

Раздался первый роковой залпъ, пущенный уже не надъ головами. И когда разсѣялось облако порохового дыма, впереди толпы оказалось нѣсколько лежачихъ. Бабы, увидя это съ окраинъ площади, съ визгомъ бросились къ мужьямъ, сынамъ и братьямъ; но мужики стояли тихо.

— Ну, пошто вы, ваши благородія, озорничаете!.. Эка сколько мужиковъ-то задаромъ

пристрѣляли! съ спокойной укоризной обратился къ крыльцу изъ толпы одинъ высокій, ражій но значительно сѣдоватый мужикъ:—ребята! подбери нашихъ-то! — свои вѣды! указалъ онъ окружающимъ на убитыхъ: да бабы-то пушай бы прочь, а то зашибутъ неравно... Пошли-те вы!..

И затѣмъ, выступивъ на нѣсколько шаговъ впередъ, снова обратился къ группѣ, помѣщавшейся на крылечкѣ:

— Ну, а ты, ваше благородіе, теперича стрѣлай!

Раздался второй боевой залпъ—и нѣсколько мужиковъ опять повалились... А когда все смолкло, и дымъ разсѣялся,—то вся тысячаглавая толпа, какъ одинъ человѣкъ, крестилась... Надъ нею носились тихіе тяжкіе стоны и чей-то твердый, спокойный голосъ молился громко и явственно:

«Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его, и да бѣжатъ отъ лица Его ненавидящіе Его»...

Заклокотала короткая дробь третьяго залпа.

Крестьяне не выдержали: шарахнулись, смѣшались и бросились куда кому пошло.

Въ гулѣ и стонѣ можно было разслышать иногда крики: «воля!.. воля!» съ которыми все это бѣжало вонъ изъ села.

Но тамъ ожидали казаки.

III.

Расправа.

Возстаніе было укрошено.

Мужики, не пущенные на выходы казакми, разбѣжались кое-какъ по избамъ, а крестьяне сосѣднихъ деревень, окруженные конвоемъ, были согнаны на господскій дворъ, и тамъ—кто лежа, кто сидя на землѣ—ожидали рѣшенія своей участи. Казачьи патрули разбѣжали вокругъ села, за околицами, и не выпускали изъ свѣжковъ ни единой души.

Завечерѣло и съ сумерками стало подмораживать къ ночи. На площади зажглись яркіе костры: батальонъ расположился тамъ бивуакомъ. Людей постереглись до времени ставить постоемъ къ бунтовщикамъ, пока не была еще произведена окончательная расправа. Окна помѣщичьяго дома—нѣмныя и темныя Богъ-вѣсть съ коихъ поръ—тоже освѣтились, точно какъ въ тѣ умершіе старые годы, когда тамъ ликовала широкая старая жизнь. И нынѣ, какъ въ оны дни, на дворѣ стояли разнокалиберные экипажи и бѣгала дворовая прислуга, военные денщики, вѣстовые, ординарцы, и стучали ножи на кухнѣ. Въ этомъ опустѣломъ домѣ нашли себѣ временный пріютъ офицеры батальона и всѣ наѣхавшія сюда власти, господствыя и силы. Въ одномъ изъ особыхъ флигелей помѣстился полковникъ Пшечинъ-

скій и, вмѣстѣ съ генеральскимъ адъютантомъ, запершись во временномъ своемъ кабинетѣ, озабоченно строчилъ официальное донесеніе. Это донесеніе должно было завтра же летѣть въ Петербургъ.

Поручикъ чувствовалъ себя не совсѣмъ-то въ духѣ. Теперь, когда прошло уже нѣсколько часовъ съ той минуты, какъ на площади раздавались залпы, — мужицкая кровь наводила на него нѣкоторое уныніе и тревожную озабоченность о томъ, какъ взглянуть на все это тамъ, въ Петербургѣ. Пока еще не раздались эти выстрѣлы, адъютантъ почему-то воображалъ себѣ, что все это будетъ какъ-то не такъ, а иначе, и какъ будто легче, какъ будто красивѣе, а на дѣлѣ оно вдругъ оказалось совсѣмъ по другому — именно такъ, какъ онъ менѣе всего могъ думать и воображать. Дѣло было слишкомъ свѣжо для того, чтобы въ памяти поручика стерлись нѣкоторые эпизоды и сцены мужицкаго бунта. Особенно какъ-то странно и вмѣстѣ съ тѣмъ смутно-зловѣще для него самого звучали ему недавнія слова: «не въ насъ стрѣлишь — въ царя стрѣлять будешь; мы — царскіе, стало и кровь наша царская». Какое странное слово въ устахъ бунтовщика! Какая странная мысль въ головѣ революціонера!.. Чѣмъ больше думалъ поручикъ, тѣмъ больше становилось ему все какъ-то не по себѣ, было какъ-то неловко... быть можетъ, отчасти передъ собственной совѣстью.

Зато Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій не беспокоился ни мало. Онъ бойко и живо строчилъ рапортъ къ своему начальству, и энергическое краснорѣчіе его лилось каскадомъ. Онъ особенно поставлялъ на видъ, какъ были истощены всѣ возможныя мѣры кротости, какъ надлежащія власти христіанскимъ словомъ и вразумленіемъ стремились вселить благоразуміе въ непокорныхъ, — но ни голосъ совѣсти, ни авторитетъ власти, ни кроткое слово св. религіи не возымѣли силы надъ зачерствѣлыми сердцами анархистовъ-мятежниковъ, изъ коихъ весьма многіе были вооружены въ толпѣ топорами, кольями и вилами.

Когда, прочитывая свой рапортъ адъютанту, онъ дошелъ до этого послѣдняго мѣста, поручикъ остановилъ его легонькимъ возраженіемъ, что кольевъ онъ, сколько ему помнится, не замѣтилъ.

— Нѣтъ-съ, были! были! навѣрное были! съ живостью поспѣшилъ заворить Пшецыньскій: — но... видите-ли, очень легко могло случиться, что вы съ его превосходительствомъ и не обратили на это вниманія, собственно по недостатку времени, пояснилъ онъ съ іезуитски-кроткою, простодушною улыбочкою: — а я сидѣлъ здѣсь до вашего прибытія двое сутокъ и, повѣрьте мнѣ, — видѣлъ, своими собственными глазами видѣлъ. Иначе, зачѣмъ же

мнѣ было ходить съ заряженнымъ револьверомъ? Наша жизнь подвергалась большой опасности, и этимъ-то... Пшецыньскій приостановился и, не спуская пристальныхъ глазъ съ поручика, постарался особенно подчеркнуть смыслъ своихъ послѣдующихъ словъ: — этимъ-то я и объясняю наши крайнія мѣры.

Поручикъ понялъ Пшецыньскаго и одобрительно кивнулъ ему головой. Пшецыньскій, съ своей стороны, тоже понялъ поручика.

— Конечно, мы имѣли и причины такъ дѣйствовать и... тово... полномочія, началъ послѣдній, какъ-то заминаясь и пережевывая слово за словомъ: очевидно, онъ затруднялся высказать прямо начисто его тайную, тревожную мысль о своемъ опасеніи: — но... знаете... такое время... эти разные толки... этотъ «Колоколъ» наконецъ... понимаете-ли, какъ взглянуть на это?

— О, что касается до этого, съ оживленіемъ предупредилъ Пшецыньскій: — мы можемъ быть спокойны... Есть печальныя и опасныя событія, когда крайнія мѣры являются истиннымъ благодѣяніемъ. Вѣдь — не забудьте-съ! Волга — пояснилъ онъ съ весьма многозначительнымъ видомъ: — это есть, такъ сказать, самое гнѣздо... историческое-съ гнѣздо мятежей и бунтовъ... Здѣсь вѣдь раскольники... здѣсь вольница была, Пугачевщина была... Мы предъ Богомъ и совѣстью обязаны были предупредить, подавить... Въ такомъ смыслѣ я и рапортъ мой составляю.

Послѣднія слова были тоже особенно подчеркнуты, по примѣру прежнихъ.

Адъютантъ еще разъ одобрительно кивнулъ ему головой. Опасенія его за Петербургъ — городъ слишкомъ далекій отъ Волги вообще и отъ Славнобубенска въ особенности — стали проясняться. Болеславъ Пшецыньскій успѣлъ очень ловко внушить ему свою программу и дать направленіе къ объясненію сегодняшнихъ дѣйствій.

* *

А между тѣмъ въ вечернемъ сумракѣ, при заревѣ солдатскихъ костровъ да при тускломъ свѣтѣ фонарей, на площади происходила другая сцена. Тамъ распоряжалась земская полиція.

Раненые были давно уже прибраны; насчетъ же убитыхъ только что «приняли мѣры». Они всѣ были сложены рядкомъ, а политая кровью земля, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ повалились эти трупы, тщательно вскапывалась теперь солдатскими лопатами, чтобъ поскорѣй уничтожить эти черныя кровавыя пятна.

Въ темнотѣ, вслѣдъ за тускло-мигавшими огоньками фонарей, длиннымъ рядомъ двигались человѣческія фигуры. На рогахъ да на носилкахъ солдаты выносили покойниковъ изъ села на отдаленный пустырь, гдѣ только что рыть кончили глубокую общую могилу,

Ни плачу, ни причитаній не было слышно; ни знакомыхъ, ни сродниковъ не было видно—одинъ только вооруженный конвой сопровождалъ этотъ погребальный выносъ, и во мглѣстой тишинѣ одни только солдатскіе шаги шлепали по лужамъ деревенской улицы, едва затянувшимся въ ночи тонкой ледяной корой.

У могилы ожидалъ уже церковный причтъ и священникъ въ старенькой черной ризѣ. Убитыхъ свалили въ яму и начали пѣть панихиду. Восковые свѣчи то и дѣло задувало вѣтромъ: зато три-четыре фонаря освѣщали своимъ тусклымъ колеблющимся свѣтомъ темные облики людей, окружавшихъ могилу и тамъ, внутри ея, кучу чего-то безобразнаго, сѣраго, кроваваго.

Скоро была съѣдена солдатская крупа, и костры стала гаснуть, оставляя послѣ себя широкія пепелища съ красными тлѣющими углями. Батальонъ гомонился и засыпалъ на своемъ холодномъ бивуакѣ. Все село казалось въ темнотѣ какимъ то мертвымъ: нигдѣ ни голоса людскаго, ни огонька въ оконцѣ. Вдалекѣ только слышался толотъ казачьихъ патрулей, да собаки заливались порою.

Въ господскомъ домѣ тоже мало-по-малу потухли огни.

Рыженскій нѣмецъ спокойно удалился въ свой флигелекъ, пропустилъ на сонъ грядущій рюмочку шнапсу, закусилъ его домашнею ветчиною, которую запилъ куфелемъ домашнего пива и, закуривъ рижскую сигарку, сталъ размышлять... вѣроятно всего, о дикости русскаго народа.

Въ одномъ только покоѣ адъютанта долго еще свѣтился огонь, потому что долго ходилъ адъютантъ по комнатамъ и ломалъ голову надъ композиціей своего донесенія. Впрочемъ, на случай какого-либо чрезвычайнаго затрудненія, обязательный Пшецыньскій былъ подъ рукою.

Не спать еще и Хвалынцевъ. Всѣ ощущенія и впечатлѣнія дня навели на него какую-то темную тоску и лихорадочную нервность. Онъ не зналъ, зачѣмъ его арестовали и потомъ словно-бы оставили и позабыли про него, не зналъ что дѣлать завтра, или лучше сказать, что съ нимъ намѣрены дѣлать, а между тѣмъ, дѣла требовали его въ Славнобубенскъ. Это глупое, фальшивое положеніе и эта неизвѣстность нагоняли на него досаду и хандру. Онъ, лежа на оттоманкѣ, по другую сторону которой безмятежно храпѣлъ monsieur Корытниковъ, жегъ въ темнотѣ папиросу за папиросой. Тоскливая досада и неулегшіяся впечатлѣнія давешнихъ сценъ далеко отгоняли сонъ его.

* * *

А между тѣмъ, въ глубокой темнотѣ, около солдатскаго бивуака, потайно, незамѣтно и въ высшей степени осторожно шныряла какая-то невѣдомая личность, которую трудно было раз-

глядѣть въ густомъ и мглистомъ мракѣ; но зато часовые и дежурные легко могли принять ее за какого-нибудь своего же проснувшагося солдата, тѣмъ болѣе, что невѣдомая личность эта была одѣта во что-то не то въ родѣ крестьянской, не то въ родѣ солдатской сермяги. Въ теченіе получаса этотъ шныряющій человѣкъ, то тамъ, то здѣсь, въ разныхъ концахъ бивуака, осторожно подбрасывалъ какія-то свернутыя бумаги, изъ которыхъ инныя были даже запечатаны въ особые пакеты.

* * *

На утро началась расправа съ мятежниками. Судили ихъ на мѣстѣ, въ порядкѣ быстроты, то-есть безусловно административномъ и притомъ—военномъ. Солдатъ, въ награду за неудобно проведенную ночь, приказано было, по совѣту Пшецыньскаго, разставить по крестьянскимъ пѣзамъ, въ видѣ экзекуціи, съ полнымъ правомъ для каждаго воина требовать отъ своихъ хозяевъ всего, чего захочетъ, относительно пищи и прочихъ удобствъ житейскихъ. Предварительно впрочемъ, по совѣту все того же Пшецыньскаго, не забыли поблагодарить батальонъ за его молодецкое поведеніе, но при этомъ начальство осталось нѣсколько недовольно тѣмъ обстоятельствомъ, что отвѣтное «рады стараться» проиѣжало по фронту какъ-то вяло, раздумчиво и словно бы не охотно. Неудовольство начальства еще болѣе усилилось, когда было доложено ему о приключеніяхъ, случившихся въ батальонѣ въ теченіе этой ночи: одинъ солдатикъ найденъ въ овиноѣ повѣсившимся на своихъ собственныхъ подтяжкахъ, а двое дезертировали невѣстно куда, несмотря на бдительность казачьихъ патрулей.

Однако время не терпѣло проволочекъ; надо было позаботиться объ окончательномъ укрощеніи и умиротвореніи взволнованной мѣстности, а потому надлежало произвести немедленный судъ и при этомъ явить примѣры внушительной строгости.

Крестьяне опять были собраны на площади, но на этотъ разъ не добровольно. Тутъ же стояло около тридцати обывательскихъ подводъ и нѣсколько возовъ розогъ: часть батальона еще раннимъ утромъ отряжена была въ лѣсъ нарѣзать приличное количество прутьевъ. Съѣзъ батальонный командиръ подъ руководствомъ исправника и станового. Приговорены были къ наказанію и къ ссылкѣ въ Сибирь нѣсколько десятковъ народу, вмѣстѣ съ зачинщиками, въ числѣ которыхъ были два старика, подносившіе хлѣбъ-соль, молодой парень, вытасченный вчера становымъ въ качествѣ зачинщика, и тотъ десятокъ мужиковъ, которые добровольно вышли впередъ переговорщиками отъ міра.

Между тѣмъ, раненымъ надо было подать хоть какую-нибудь первую помощь. Начальство, отправляясь сюда, не предполагало, что при-

дется стрѣлять, и потому не позаботилось о докторѣ, за которымъ Пшепыньскій догадался послать только раннимъ утромъ, когда трое изъ раненыхъ уже отдали Богу душу. Разговоръ объ этомъ происходилъ въ присутствіи Хвалынцева. Занимаясь естественными науками, онъ неоднократно со слухомъ посѣщалъ клинику, видѣлъ многія перевязки и вообще имѣлъ объ этомъ дѣлѣ нѣкоторое маленькое понятіе. Поэтому, на время до прибытія медика, онъ предложилъ исправнику свои посильныя услуги. Этотъ послѣдній, имѣя въ виду трехъ уже умершихъ и нѣсколькихъ человѣкъ умирающихъ, посоветовался съ полковникомъ, а тотъ доложилъ выше—и предложеніе Хвалынцева великодушно было принято, только съ условіемъ, чтобы все это осталось подъ секретомъ. вмѣстѣ съ деревенскимъ священникомъ принался онъ кое-какъ ухаживать за ранеными.

А на утро наѣхало въ Снѣжки нѣсколько окружныхъ помѣщиковъ, бурмистровъ, управляющихъ—все за тѣмъ, чтобы поразвѣдать о вчерашнихъ происшествіяхъ.—Пріѣхала, между прочимъ, и пожилая вдова помѣщица, которая во всемъ околѣдѣ известна была подъ именемъ Перепетуи Максимовны. Фамиліи ей какъ то не полагалось, а мужики, сами по себѣ, издавна уже окрестили ее «Драчихой», по причинѣ сорокалѣтней слабости ея къ ручной работѣ. Становой сообщилъ ей, что въ числѣ раненыхъ есть одинъ изъ ея Драчихиной деревни, Драчиха непременно пожелала видѣть «мятежника».

— А, хамова душа твоя! съ какимъ-то самодовольно торжествующимъ видомъ обратилась она къ больному:—такъ и ты тоже бунтовать! Я тебѣ лѣсу на избу дала, а ты бунтовать, безчувственное, неблагодарное ты дерево эдакое! Ну, да ладно! Вотъ погоди, погоди! выздоравливай-ка, выздоравливай-ка! Вы, батюшка, докторъ, что-ли? обратилась она вдругъ къ Хвалынцеву.

— Нѣтъ, сударыня, не докторъ.

— Ну, такъ вѣрно фершалъ?

— Положимъ, хоть и такъ. А что?

— А то, что, пожалуйста, лечи ты мнѣ эту каналью поисправнѣе. Ужъ я сама поблагодарю тебя прилично, только вылечи ты мнѣ его безпрѣмѣнно.

— А зачѣмъ вамъ, сударыня, это такъ нужно?

— А у меня, мой батюшка, въ томъ свой интересъ есть; для того что, какъ онъ выздоровѣетъ, такъ чтобы наказать его примѣрно.

— Ну, теперь-то наказывать вамъ самимъ, пожалуй, что и не придется: онъ ужъ и такъ наказанъ, замѣтилъ съ подобающею скромностью священникъ.

— Какъ, батюшка, не придется! всполошилась Драчиха:—да что-жъ я, по твоему, не власть придерживающая, что-ли? Самъ попъ, значить долженъ знать, что въ писаніи показано:

«властямъ придерживашимъ да покоряются»;—а я, мой отецъ, завсегда власть была, есть и буду, и ты мнѣ мужиковъ такими словесами не порти, а то я на тебя благочинному доведу!

Священникъ, при имени благочиннаго, извиняющимся образомъ развелъ руками и замолкнулъ.

— А какъ теперь, батюшка, душевой-то надѣлъ тѣхъ, что убиты, въ чью пользу пойдетъ? тутъ же обратилась Драчиха къ становой.

— Въ точности неизвѣстенъ, а надо такъ думать, что въ пользу помѣщика, ежели полнаго тягла не окажется, пояснилъ становой.

— А моихъ мужичковъ-то много ли убито? съ живостью поинтересовалась Драчиха.

Но не всѣ помѣщики оказались одного толка съ Драчихой. Многіе изъ пріѣхавшихъ ради любопытства приняли раненыхъ изъ своихъ деревень на свое собственное попеченіе и доставили имъ всевозможныя удобства.

А на площади, между тѣмъ, раздавались крики, стоны и бабій плачъ съ причитаньями. Однихъ наказывали и отпускали домой, другихъ сажали на подводы и объявляли сибирскую ссылку. Тутъ было широкое мѣсто для раздирающихъ душу сценъ разставанья съ отцами, съ братьями, съ сыновьями... Многіе жены, съ грудными ребятими, добровольно шли въ ссылку за своими мужиками. Почти каждый изъ ссыльныхъ, прихватя въ заплечный мѣшокъ кое-что изъ одежды да изъ домашней рухляди, завертывалъ въ особую тряпицу горсть своей исконной, родной земли, съ которою отнынѣ разставался на вѣки, и благоговѣнно уносилъ съ собою эту горсть въ невѣдомую, далекую сторону.

Быстро сотворя судъ надъ зачинщиками, начальство уѣхало обратно въ Славнобубенскъ, распорядясь оставить въ Снѣжкахъ цѣлый батальонъ, на неопредѣленное время, въ видѣ экзекуціи, и предоставя окончательное умиротвореніе исправнику да становой.

Пшепыньскій вмѣстѣ съ Корытняковымъ вскорѣ тоже отправились. Впрочемъ, передъ отъѣздомъ штабъ-офицеръ благосклонно разрешилъ Хвалынцеву ѣхать куда ему угодно, и даже съ видомъ скорбяще-благодарной гуманности, рассыпался передъ своимъ вчерашнимъ плѣнникомъ въ извиненіяхъ по части ареста и въ благодарностяхъ по части ухаживанья за ранеными.

— Такое печальное событіе... такъ мнѣ это больно! наединѣ и притомъ оглядываясь, говорилъ онъ, съ грустными ужимками и даже вздохами:—я никакъ не могъ предполагать, что дѣло дойдетъ до этого... но... но... мы люди подчиненные! (Глубокій вздохъ). Во всякомъ случаѣ, за человѣчество благодарю васъ отъ лица человѣколюбія... Только, пожалуйста, не разглашайте этого никому, а то могутъ быть

къ намъ придирки, затѣмъ допустили къ дѣлу посторонняго человѣка... Вѣдь вы знаете какіе у насъ на матушкѣ-Руси порядки!.. Формалистика, бюрократія! Что дѣлать!..

И говоря это, Болеславъ Казиміровичъ обѣими руками, крѣпко, долго и горячо потрясалъ руку Хвалынцева, который съ своей стороны былъ весьма доволенъ своимъ отпускомъ изъ плѣна и, въ виду всего совершившагося, не почелъ особенно удобнымъ добиваться у полковника объясненія причинъ своего непонятнаго ареста.

Съ величайшимъ трудомъ, при помощи священника, наконецъ-то удалось ему за учетверенную плату порядить себѣ лошадей и отправиться вслѣдъ за отбывшими властями.

IV.

„Пошла писать губернія!“

По всему граду Славнобубенску ходили темныя и дикія вѣсти о снѣжковскихъ происшествіяхъ, и, можно сказать, съ каждой минутой слухи и вѣсти эти росли, ширились и становились все темнѣе, все дичѣе и нелѣпѣе. Одни слухи повѣствовали, будто власти сожгли деревню до тла, и мужиковъ, которыхъ не успѣли пристрѣлить, живьемъ позакапывали въ землю. Другіе пояснили, что между адъютантомъ и Пшецыньскимъ какая-то японская дуэль происходила, и что Болеславъ Храбрый исчезъ, бѣжалъ куда-то; что предводителя Корытникова крестьяне розгами высѣкли; что помѣщица Драчиха, вмѣстѣ съ дворовымъ человѣкомъ Кирюшкой, который при ней состоитъ въ Пугачевыхъ, объявила себя прямой наслѣдницей какихъ-то французскихъ эмигрантовъ, и вмѣстѣ со снѣжковскими мужиками идетъ теперь на городъ Славнобубенскъ отыскивать свои права, и все на пути живущее сдается и покоряется храброй Драчихѣ, а духовенство встрѣчаетъ ее со крестомъ и святою водою.

Такихъ-то необычайныхъ и фантастическихъ вѣстей и слуховъ былъ полонъ Славнобубенскъ, когда прикатили въ него герои снѣжковского укрощенія.

Губернаторъ тотчасъ же полетѣлъ къ генералу, вице-губернаторъ туда же; первые вѣстовщики порядочнаго общества — прокуроръ де-Воляй и губернаторскій чиновникъ Шписсъ, бросились къ губернатору и, не заставъ его дома, махнули къ Пшецыньскому; Корытниковъ проскакалъ къ губернскому предводителю князю Кейкулатову, князь Кейкулатовъ опять же таки къ генералу; полиціймейстеръ и предсѣдатель казенной палаты къ Корытникову, градской голова къ полиціймейстеру; графиня де-Монтеспанъ къ губернаторшѣ, madame Чапыжниковъ, madame Ярыжниковъ и madame Пруцко къ графинѣ де-Монтеспанъ;

Фелисата Егоровна и Нина Францовна къ madame Ярыжниковъ и къ madame Чапыжниковъ; г-жи Иванова, Петрова, Сидорова къ Фелисатѣ Егоровнѣ и къ Минѣ Францовнѣ; разныя товарищи предсѣдателей, члены палаты секретари и прочіе бросились кто куда, но болѣе къ Шписсу и де-Воляю, а де-Воляй со Шписсомъ ко всѣмъ вообще и въ клубъ въ особенности.

Лихой полиціймейстеръ Гнутъ (изъ отчаянныхъ гусаровъ) на обычной парѣ въ пристяжку (извѣстно, что порядочные полиціймейстеры иначе никогда не ѣздятъ какъ только на парѣ въ пристяжку), словно угорѣлый, скакалъ сломя голову съ Большой улицы на Московскую, съ Московской на Дворянскую, съ Дворянской на Покровскую, на Пречистенскую, на Воздвиженскую, такъ-что на сей день не успѣлъ даже завернуть и въ Кривой переулокъ, гдѣ обитала его Дульщина.

Словомъ сказать — «пошла писать губернія!» Трескъ и грохотъ, ѣзда и движеніе поднялись по городу такіе, что могло бы показаться, будто всѣ эти господа новый годъ справляютъ вмѣсто января да въ апрѣлѣ.

Какое широкое, блестящее поле открылось monsieur Корытникову и Болеславу Храброму для самыхъ героическихъ разсказовъ! Каждый изъ нихъ, наперерывъ другъ передъ другомъ, старался вездѣ и повсюду втиснуть прежде всего свое собственное я, я и я. Зудъ любопытства, съ какимъ ихъ слушали, доходилъ до своего рода чесотки. Болеславъ Храбрый, впрочемъ, прохаживался болѣе все насчетъ истощенія всѣхъ мѣръ кротости и вселенія благоразумія, при чемъ ни голосъ совѣсти, ни слово религіи, и прочее, и прочее, что уже давно извѣстно читателю. Зато monsieur Корытниковъ, въ своемъ пестромъ галстухѣ и щегольскомъ Шармеровскомъ пиджакѣ, являлъ изъ себя истиннаго героя. Онъ повѣствовалъ (преимущественно нѣжному полу) о томъ, какъ одинъ и ничѣмъ не вооруженный смѣло входилъ въ разъяренную и жаждущую огня и крови толпу мятежниковъ, какъ одинъ своей безстрашною грудью боролся противу нѣсколькихъ тысячъ звѣрей, которые не испугались даже и другихъ боевыхъ залповъ батальона, а онъ — однимъ своимъ взглядомъ и словомъ, однимъ присутствіемъ духа сдѣлалъ то, что толпа не осмѣлилась его и пальцемъ тронуть.

— Конечно, прибавлялъ Корытниковъ: — я зналъ, что идя почти на вѣрную смерть, я понималъ всю страшную опасность своего положенія; но я шелъ... я шелъ... *puisque la noblesse oblige*... Это былъ мой долгъ.

— Ну, и что-жь? чуть не задыхаясь, вопрошали его.

— Ну, и ничего, *comme vous voyez*! Но, знаете ли, какъ бы ни была раздражена толпа, на нее всегда дѣйствуетъ, и эдакъ магически

дѣйствуетъ, если противъ нея и даже, такъ сказать, въ сердцѣ ея появляется человѣкъ съ неустрашимымъ присутствіемъ духа... Это покоряетъ.

Короче сказать, выходило что monsieur Корытниковъ чуть-ли не одинъ, своей собственной персоной, умирилъ все возстаніе. Нѣжный полъ и безъ того питалъ элегантную слабость къ его Шармеровскимъ пиджакамъ, а теперь сталъ питать ее еще болѣе, по поводу неустрашимости. Monsieur Корытниковъ въ глазахъ нѣжнаго пола сдѣлался героемъ. Нельзя сказать однако, чтобъ и въ своихъ собственныхъ глазахъ онъ не былъ бы тѣмъ же. И только одинъ разъ смѣшался и сконфузился онъ, когда кто-то сообщилъ ему, что въ его отсутствіе по Славнобубенску пошли было слухи, будто крестьяне снѣжковскіе его немножко тово... розгами посѣкли. Но покраснѣвъ онъ съ негодованіемъ отвернулъ такое невѣроятное предположеніе, и даже самъ потомъ, при встрѣчахъ и разговорахъ, всѣмъ и каждому, въ видѣ предупрежденія, торопился высказать:

— Представьте себѣ! *On parle qu'on m'a rossé!*.. *Qu'on m'a rossé!*. Слыхали ли вы объ этомъ?

Къ вечеру весь городъ уже зналъ, приблизительно въ чертахъ, болѣе или менѣе вѣрныхъ, всю исторію печальныхъ снѣжковскихъ событій, которыхъ безотносительно правдивый смыслъ затемняли лишь нѣсколько рассказы Пшечыньскаго да Корытникова, гдѣ одинъ все продолжалъ истощать мѣры кротости, а другой плѣнялъ сердца героизмомъ собственной неустрашимости.

Общество Славнобубенска раздѣлилось на двѣ партіи. Одна, къ которой принадлежали весь высшій административный міръ и нѣсколько крупныхъ дворянъ, поздравляла водворителей порядка и готовила нѣсколько овацій. Другую партію составляли, въ нѣкоторомъ родѣ, плебеи: два-три молодцы, средней руки, номѣщика, кое-кто изъ учителей гимназіи, кое-кто изъ офицеровъ да чиновниковъ, и эта партія овацій не готовила, но чутко выжидала, когда первая партія начнетъ ихъ, чтобы заявить свой противовѣсъ, какъ вдругъ генералъ съ его адъютантомъ неожиданно былъ вызванъ телеграммой въ Петербургъ, и по Славнобубенску пошли слухи, что на мѣсто его ѣдетъ кто-то новый, дабы всегнѣшнѣе разслѣдовать дѣло крестьянскихъ волненій и вообще общественнаго настроенія плѣнаго края. Обѣ партіи остановились въ нерѣшительности ожиданія.

V.

En petit comité.

И вотъ, въ одинъ прекрасный день, славнобубенскій губернаторъ, дѣйствительный стат-

скій совѣтникъ и кавалеръ Непомукъ Анастасевичъ Гржибъ-Загржимбайло, что называется, *en petit comité*, кормилъ обѣдомъ новоприбылаго весьма важнаго гостя. Этими гостемъ была именно та самая особа, которая, по заранѣе еще ходившимъ славнобубенскимъ слухамъ, весьма спѣшно прибыла въ городъ для разслѣдованія снѣжковского дѣла и для наблюденія за общественнымъ настроеніемъ умовъ.

Баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ казался особой вполне блистательной и являлся изъ себя перетянутую въ ромочку смѣсь петербургскаго *haute volée* дендизма и государственной мудрости. Онъ старался казаться человѣкомъ, которому наиблизайшимъ и самымъ довѣреннымъ образомъ извѣстны всѣ высшіе планы, предначертанія, намѣренія и рѣшенія, который «все знаетъ», потому что посвященъ во всѣ государственныя и политическія тайны первѣйшей важности, но знаетъ ихъ про себя, и только порою, какъ бы вскользь и ненарокомъ даетъ чувствовать, что ему извѣстно и что онъ можетъ... И вмѣстѣ съ тѣмъ, баронъ такъ милъ, такъ любезенъ, такъ галантенъ, такъ изященъ, баронъ въ дамскомъ обществѣ осторожно и съ такимъ тактомъ даетъ чувствовать, что онъ тоже большой руки *fol.chon*, предъ которымъ такъ и покоряются сердца женскія...

Очаровательная и обольстительная *madame* Гржибъ (она по всей губерніи такъ ужъ извѣстна была за очаровательную и обольстительную) казалась въ этотъ день, передъ петербургскимъ свѣтиломъ, еще очаровательнѣй и еще обольстительнѣй—если только это было возможно. *Madame la generale* все скучала по Петербургу; провинціальная жизнь и губернская скука разстраивали ей нервы и причиняли страданіе, которое она называла «тикомъ». Ей только и оставалось одно развлеченіе это—музыка и «ея бѣдныя»: и бѣдныхъ, и музыку она очень любила; но теперь *madame* Гржибъ такъ рада, въ такомъ восторгѣ, въ такомъ восхищеніи, что пріѣхалъ изъ Петербурга блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, съ которымъ можно сказать «человѣческое слово».

Самъ monsieur Гржибъ всегнѣшнѣе старался показаться наиболезнѣйшимъ хозяиномъ, опытнѣйшимъ и твердымъ администраторомъ и найдобрѣйшимъ человѣкомъ, у котораго душа и сердце все превосмогаютъ, кромѣ служебнаго долга. Притомъ-же поваръ у него былъ отличный, выписанный изъ московскаго англійскаго клуба, а купецъ Санинъ поставлялъ ему самыя тонкія вина и превосходные сыры и сигары.

Остальными членами этого *petit comité* были: губернаторскій чиновникъ по особымъ порученіямъ, маленькій черненькій Шписсъ (вѣроятнобъ всего изъ могилевскихъ жидковъ) и гу-

бернскій прокуроръ Анатоль де-Воляй — престный молодой правовѣдъ, славнобубенскій ловъ и денди, который плѣнилъ сердца своимъ высокими теноромъ и ежедневно свѣжими перчатками. Всегда усердно преданный Шписсу и плѣнительный Анатоль составляли высшій цвѣтъ славнобубенской молодежи административно-аристократическаго міра и состояли неизмѣнными членами и адъютантами гостинной madame Гржибъ-Загржимбайло.

Итакъ, если взвѣсить всѣ эти ингредиенты, въ видѣ Шписса, Анатоля, сыровъ и сигаръ, винъ, повара, лобезности хозяина и очаровательности самой хозяйки, входившіе въ составъ совокупнаго угощенія, то нѣтъ ничего мудренаго, что блистательный гость, баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ чувствовалъ себя въ самомъ благодушнѣйшемъ настроеніи и расположенъ былъ питать и къ Шписсу съ Анатолемъ, и къ Непомуку Анастасевичу, и тѣмъ паче къ самой прелестнѣйшей Констанціи Александровнѣ самыя вѣжныя, благоуханныя чувства.

Обѣдъ былъ конченъ, и общество перешло въ гостиную, меблированную, какъ и всѣ губернаторскія гостинныя, или что одно и тоже — какъ и всѣ губернаторскіе дома, гдѣ мебель и вся принадлежность, заведенныя на казенный счетъ, лѣтъ сорокъ тому назадъ, всецѣло переходятъ по наслѣдству отъ одного губернатора къ другому. Но въ этой меблировкѣ, само собою разумѣется, все явно было на извѣстнаго рода представительность. Гостинная даже была не безъ комфорта. Все общество усѣлось вокругъ камина, куда были принесены и поставлены на маленькихъ столикахъ кофе и различные ликеры.

Madame Гржибъ, полнокровно-огненная и роскошная брюнетка, постоянно желала изображать изъ себя созданіе въ высшей степени нервное, идеально-тонкое, эфирное, и потому за столомъ кушала очень мало. Это, между прочимъ, она дѣлала для того, чтобы не портить своего голоса, который и Анатоль со Шписсомъ, и весь элегантнѣйшій міръ Славнобубенска находили безусловно прекраснымъ, а въ данную минуту Констанція Александровна намѣревалась еще произвести своимъ пѣніемъ рѣшительный эффектъ передъ блистательнымъ гостемъ.

Между Шписсомъ, Анатолемъ и самою генеральшей уже успѣло образоваться нѣчто въ родѣ маленькаго заговора. Ея превосходительство желала, чтобы дорогой и блистательный гость унесъ съ собою самое приятное воспоминаніе о своемъ пребываніи въ Славнобубенскѣ, и потому они сразу проектировали въ будущемъ — загородный пикникъ на картинномъ берегу Волги, два вечера, одинъ балъ и «благотворительный» спектакль съ живыми картинами въ пользу «нашихъ бѣдныхъ», въ которомъ должны были принять участіе исключительно только благородные любители. Сама

Констанція Александровна предназначала для себя главныя двѣ роли: одну въ Тургеневской «Провинціалкѣ», гдѣ прелестный Анатоль долженъ былъ изображать графа; другую — роль Татьяны въ опереткѣ «Москаль Чирвыникъ», ибо тутъ madame Гржибъ могла показать всю силу и гибкость своего очаровательнаго голоса. Черненькій Шписсъ поспѣшно вызвался при этомъ сыграть подъячаго Финтика. Что касается до живыхъ картинъ, то тутъ madame Гржибъ должна была появиться, во-первыхъ, въ видѣ «молодого грека съ ружьемъ», потомъ «царицей ночи» и наконецъ полупрозрачною «Вакханкой у ручья». Словомъ сказать, блистательный баронъ долженъ былъ уѣхать изъ Славнобубенска не иначе, какъ вконецъ очарованнымъ.

Послѣобѣденнымъ разговоромъ почти безраздѣльно владѣлъ дорогой гость. Губернаторша только задавала вопросы, прилично ахала, вставляла сожалѣнія о своей собственной славнобубенской жизни и оживленно восхищалась разсказами барона, когда тотъ, въ нѣсколько небрежномъ тонѣ, повѣствовалъ о послѣдней великосвѣтской сплетнѣ, о придворныхъ новостяхъ, о Кальцолари и Деверіа, да о послѣднемъ фарсѣ на Михайловской сценѣ.

Вдругъ вошелъ дежурный жандармъ, неизмѣнно пребывающій въ губернаторской прихожей, и подалъ губернатору пакетъ: «стахета вашему превосходительству».

Непомукъ, для показанія возможной быстроты въ дѣлахъ службы, нетерпящихъ вообще ни малѣйшаго отлагательства, очень спѣшно сорвалъ печать и, многозначительно нахмуривъ брови, принялся за чтеніе. Едва добывъ глазами до половины бумаги, онъ засопѣлъ и всполошился.

— Боже мой! Опять!.. Опять бунтъ!.. Мятѣжъ... возстаніе!... И это у меня!.. У меня! въ моей губерніи!.. Второй бунтъ!.. Вотъ дочего уже дошло!.. Вотъ они плоды... говорилъ онъ съ видомъ встревоженнаго Зевеса, но дошелъ до «плодовъ» и заппулся, ибо спохватился, что новоприбывшій гость взираетъ на эти «плоды» со стороны самой либеральной.

Между тѣмъ баронъ, не подымаясь даже съ кресла, лѣниво протянулъ къ нему руку за бумагой и, не выпуская изъ зубовъ сигары, сталъ читать самымъ спокойнымъ образомъ.

Это была эстафета отъ полковника Пшецынскаго, который объяснилъ, что, вслѣдствіе возникшихъ недоразумѣній и волненій между крестьянами деревни Пчелихи и села Коршаны, не взирая на недавній примѣръ энергическаго укрощенія въ селѣ Высокіе Снѣжки, онъ, Пшецынскій, немедленно, по полученіи совмѣстнаго съ губернаторомъ донесенія мѣстной власти о семъ происшествіи, самолично отправился на мѣсто и убѣдился въ довольно широкихъ размѣрахъ новыхъ безпорядковъ,

причемъ съ его стороны истощены уже всѣ мѣры кротости, приложены всѣ старанія вселить благоразуміе, но ни голосъ совѣсти, ни внушенія власти, ни слова святой религіи на мятѣжныхъ Пчелихинскихъ и Коршанскихъ крестьянъ не оказываютъ достодожднаго воздѣйствія, — «а посему — писалъ онъ — ощущается необходимая и настоятельная надобность въ немедленной присылкѣ военной силы; иначе невозможно будетъ черезъ день уже поручиться за спокойствіе и безопасность цѣлаго края.

Окончивъ чтеніе, баронъ умѣренно разсмѣялся въ томъ родѣ, какъ смѣются взрослые надъ дѣтскими страхами.

— Ха, ха, ха! изыщно смѣялся онъ, немножко въ носъ и немножко сквозь зубы, какъ только и умѣютъ смѣяться послѣ обѣда одни высокоблаговоспитанные люди! — бунтъ, возстаніе!.. ха, ха, ха!.. Этого полковникъ должно быть большой руки трусъ... Зачѣмъ онъ тамъ?.. Да и вообще, скажите мнѣ, что это? — я давеча не успѣлъ хорошенько разспросить у васъ.

— Да помиуйте, баронъ, горько началъ Непомукъ, какъ бы слегка оправдываясь въ чемъ-то: — третьяго дня мы получили отъ тамошняго исправника донесеніе, что, по дошедшимъ до него слухамъ, крестьяне этихъ деревень толкуютъ между собой и о подложной волѣ, — ну, полковникъ тотчасъ же и поѣхалъ туда... дали знать предводителю... исправникъ тоже отправился на мѣсто... а теперь вдругъ — опять бунтъ, опять возстаніе!..

— Ха, ха, ха! въ томъ же тонѣ продолжалъ гость: — и сейчасъ уже войско!.. И къ чему тутъ войско?.. будто нельзя и безъ войска дѣлать эти вещи!.. Тутъ главное — нравственное вліяніе своей собственной личности, а не войско. Я увѣренъ, что все это пустяки: просто-напросто мужички не поняли дѣла; ну, пошумѣли, покричали — ихъ за это наказать, конечно, слѣдуетъ... внушить на будущее время, но зачѣмъ же войско!

— Ахъ, баронъ! но вѣдь вы не знаете! съ фепіонебельнымъ прискорбіемъ вмѣшалась генеральша: — вы не знаете, что это за народъ! эта прислуга, напимѣръ! Ну, на что уже я — губернаторша — и я даже нѣсколько терплю отъ моей прислуги, и я не могу узнать ее за послѣдніе годы... Конечно, со мной они еще не очень ужъ забываются, но... вообще эта эмансипація ихъ совсѣмъ разбаловала... Нѣтъ, на первыхъ же порахъ надо, непременно надо показать имъ мѣры строгости, — иначе мы всѣ небезопасны!

Баронъ только улыбнулся и рыцарски поклонился ей въ отвѣтъ на эту тираду — дескать, сударыня, пока я здѣсь — можете поживать покойно.

Губернаторша поняла смыслъ этого покло-

на, — и гость былъ награжденъ за него улыбкой самаго обворожительнаго свойства.

— Вообще, я увѣренъ, что все это пустяки, авторитетно продолжалъ баронъ: — эти господа не умѣютъ говорить съ народомъ; я поѣду туда... я покажу имъ... Помилуйте, какъ съ какими нибудь мужиками не управиться!.. ха, ха, ха!..

— Comment!.. et vous aussi!.. Вы тоже хотите ѣхать туда? не безъ страшливаго участія распырила на него глаза генеральша.

— Непремѣнно... и даже сегодня... Мой долгъ — быть тамъ! немножко рисуясь, отвѣтилъ баронъ, внутренно весьма довольный собою по двумъ причинамъ: — во-первыхъ, что успѣлъ отчасти заявить свою будущую неустрашимость, а во-вторыхъ, тѣмъ, что возбудилъ участіе и даже опасеніе за свою личность такой прелестной особы. Въ эту минуту онъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ.

— Такъ стало быть, вы, баронъ, полагаете, что войска посылать не слѣдуетъ? совѣщательно обратился къ нему Непомукъ, заранѣе изображая выраженіемъ своего лица полнѣйшее и безпрекословное согласіе съ мнѣніемъ блистательнаго гостя.

Блистательный гость немножко призадумался.

«А ну, какъ тамъ и въ самомъ дѣлѣ чортъ знаетъ какая кутерьма?» мелькнуло у него въ умѣ въ это мгновеніе.

— Мм... нѣтъ, ужъ надобно послать, отвѣтилъ онъ совершенно равнодушнымъ тономъ: — потому — видите ли — этого полковника, вѣроятно, успѣлъ уже тамъ и мужиками погрозиться войскомъ... такъ собственно, я полагаю, на всякій случай надо послать... для того единственно, чтобы въ ихъ глазахъ авторитетъ власти не падалъ.

Непомукъ вполне согласился съ этимъ мнѣніемъ.

«А такъ-то оно все какъ будто понадежнее», подумалъ про себя баронъ фонъ-Саксенъ, и черезъ нѣсколько времени откланялся губернаторшѣ, пожелавшей ему всякихъ успѣховъ, и удалился сдѣлать нѣкоторыя распоряженія къ предстоящему отъѣзду, какъ нельзя болѣе довольный собою и даже полный мечтами о предстоящихъ гражданскихъ подвигахъ.

Въ этотъ вечеръ онъ рѣшительно казался самому себѣ героемъ.

Губернаторша въ тайнѣ была о немъ того же мнѣнія.

Самъ Непомукъ никакого мнѣнія не выразилъ, но Шписсъ вмѣстѣ съ прелестнымъ Анатодемъ помчались по всему городу и потомъ въ клубъ рассказывать интересныя новости о томъ, какъ они обѣдали нынче у губернатора вмѣстѣ съ барономъ Иксъ-фонъ-

Саксентъ, и что при этомъ говорилъ баронъ, и что они ему говорили, и какъ онъ отправился въ Пчелиху самолично укрощать крестьянское возстаніе, и что вообще баронъ, это—un charmant homme, и что они отъ него въ восторгѣ.

Весь городъ Славнобубенскъ необыкновенно интересовался новопріѣзжимъ блистательнымъ гостемъ. Про него уже кое-гдѣ начинали даже ходить своеобразно-фантастическія легенды. Однако-же, увы! баронъ не удался ни въ Пчелихѣ, ни въ сосѣднихъ съ нею Коршанахъ проявить свое гражданское мужество. Прискакавъ на мѣсто, онъ, вопреки своимъ ожиданіямъ, не нашелъ ни площади, залитой массаи народа, ни яростныхъ воплей мятежа, ни кольевъ, ни дубинъ съ топорами: мужики самымъ обыденнымъ порядкомъ справлялись у себя, по своимъ дворамъ, около домашняго обихода и ничто ни малѣйшимъ образомъ не подавало намека на то, о чемъ столь краснорѣчиво извѣщало донесеніе. Барона это озадачило. Онъ засталъ еще на мѣстѣ исправника и полковника Пшепыньскаго, который съ кисловатой фizioноміей собирался, по-добру, по-здорову, уѣзжать во-свои.

Дѣло было такимъ образомъ: между крестьянами Пчелихи и Коршанъ, дѣйствительно, ходили темные слухи о подложной волѣ, о грамотѣ «за золотую строчкою». Вдѣтельное начальство тотчасъ же не упустило, конечно, залить объ этомъ. Приѣхавъ Пшепыньскій, велѣлъ собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, онъ энергически сталъ укрощать бунтовщиковъ, но бунтовщики, по обыкновенію, за бунтовщиковъ себя не признали, и потому полковникъ прибѣгнулъ къ укрощенію еще болѣе энергическому съ помощью десятка казаковъ, которые, какъ извѣстно, имѣютъ обыкновеніе носить при себѣ нагайки. Мужики при этомъ самовольно разбѣжались по избамъ, вслѣдствіе чего полковникъ и послалъ вѣстафету съ требованіемъ военной силы. Мужики, провѣдавши объ этомъ и вспомявъ кстати Высокіе Снѣжки, что называется, воемъ взвыли и послали къ полковнику выборныхъ со слезнымъ прошеніемъ не губить ихъ животнышекъ. Полковникъ потребовалъ выдачи «зачинщиковъ». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиковъ указать не могли по той довольно простой причинѣ, что таковыхъ и не было между ними. Кто же пустил слухи о золотой строчкѣ?—А Христосъ его вѣдаетъ кто! Сказывали, будто въ кабацѣ какой-то прохожій не то парень, не то дворовый человѣкъ по виду. А кто сказывалъ?—Сказывалъ Гаврилъ Косой да Степанъ Бурлаковъ.—Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значитъ, и есть первые распространители смутительныхъ слуховъ!—Подали Гаврилу со Степаномъ. —Вы

распространяли? —Винovati, батюшка! —Въ колодки ихъ да въ острогъ на слѣдствіе! Забили въ колодки и отправили подъ конвоемъ, а въ деревнѣ все тихо и спокойно. Полковникъ не довѣряетъ и ждетъ волненія, но о такомъ и въ поминѣ нѣтъ. Полковникъ все-таки ждетъ,—волненіе не приходитъ. Онъ начинаетъ сердиться, потомъ приходитъ въ нѣкоторое уныніе, фizioномія его окисляется недовольствомъ—и Болеславъ Казиміровичъ приказываетъ закладывать себѣ лошадей, какъ вдругъ въ эту минуту, неожиданно-негадано, приѣзжаетъ блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксентъ, въ своемъ выразительномъ военномъ мундирѣ. Полковникъ пораженъ, полковникъ озадаченъ, но все это длится не болѣе минуты: вдохновеніе свыше осѣнило его голову—и съ сіяющимъ лицомъ онъ почтительнѣйше докладываетъ его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшепыньскому, при усердномъ содѣйствіи мѣстной власти, водворить порядокъ, тишину и спокойствіе, но, наконецъ, мѣры кротости, совокупно съ увѣщаніемъ св. религіи воздѣйствовали—и авторитетъ власти, стараніями ихъ, возстановленъ въполнѣ. Баронъ остается очень доволенъ усердіемъ и дѣйствіями мѣстныхъ властей и въ особенности столь почтительнаго къ его особѣ полковника, и уѣзжаетъ съ твердымъ намѣреніемъ исходатайствовать этому усердію достоюжную награду, въ сладостной надеждѣ на которую уѣзжаетъ вслѣдъ за нимъ и Пшепыньскій.

VI.

Наканунѣ тризны.

Monsieur Хвалынцевъ! Monsieur Хвалынцевъ! —закричалъ и замахалъ съ дрожекъ monsieur Корытниковъ, встрѣтась съ студентомъ подъ вечеръ, на Дворянской улицѣ.

Тотъ остановился.

Корытниковъ прыгнулъ къ нему на тротуаръ.

— Не хотите-ли участвовать? Подпишитесь-ка!

— Въ чемъ участвовать? На что подписаться прикажете?

— На обѣдъ. Мы, отъ всего нашего общества—ну, и администрація тоже—устроиваемъ обѣдъ въ клубѣ, по подпискѣ—пятнадцать рублей съ персоны.

— Да ради чего-же это?

— Mais comment «ради чего»? Обѣдъ въ честь барона фонъ-Саксена—понятное дѣло!

— Извините, monsieur Корытниковъ, немножко не понимаю, — недоумѣвая, возразилъ

Хвалынцевъ:—зачѣмъ-же это въ честь барона?

— Ну-у! Voilà la question!.. Надо-же выразить ему наше... Э-е... наше сочувствіе... нашу признательность.—Вѣдь цѣлый край въ опасности... Ваши собственные интересы: да и вы сами наконецъ, *сomme un membre de la noblesse*, можете пострадать, если бы не Саксенъ, — вѣдь почему знать, — все еще можетъ случиться!..

— Да; но покажѣть-то онъ еще ровно ничего не сдѣлалъ такого, за что мы могли-бы заявлять нашу признательность: чѣловѣкъ только что едва пріѣхать успѣлъ.

— Ну, вотъ, какъ вы все понимаете!—чуть-чуть подфыркнулъ предводитель: — «не сдѣлалъ!» ну, все равно, сдѣлаетъ! Это все равно. Такъ какъ-же? Подпишитесь?

— Нѣтъ, ужъ увольте! — сухо вато поклонился Хвалынцевъ.

— Mais pourquoi pas?—удивился Корытниковъ.

— Да такъ. Я вѣдь не изъ крупныхъ собственниковъ и, коли вы ужъ такъ хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей—деньги.

Предводитель не могъ скрыть легкой, пренебрежительной и какъ-бы сожалѣющей усмѣшки.

— А жалъ!—процѣдилъ онъ сквозь зубы:—обѣдъ проектированъ прекрасный, чтобъ ужъ лицомъ въ грязь не ударить: и музыка, и спички будутъ, и все такое...

— Ну, желаю вамъ пріятнаго аппетита, — поклонился Хвалынцевъ и повернувшись пошелъ себѣ далѣе.

«Эге! такъ вотъ ты изъ какихъ гусей!» — съ нѣкоторой злобой оскорбленія подумалъ ему вслѣдъ Корытниковъ, въ маленькомъ замѣшательствѣ прыгая на свою щегольскую эгоистку.

«И это предводитель!.. Этотъ пробковый макенетъ для Шармеровскихъ костюмовъ!» — не безъ горечи подумалъ, въ свою очередь, Хвалынцевъ.

— Ба!.. Пріятель!.. Дружиче!.. Какими судьбами?—растопыривъ объятія, загородилъ ему вдругъ дорогу маленькій плотный челоуѣкъ, плотно выстриженный подъ гребенку.

— Господи помилуй!.. Устиновъ!.. Да ты ли это?—радостно изумился Хвалынцевъ.

— Какъ видишь! Самолічно, своей собственной персоной! Вотъ встрѣча-то!.. Ну, облобызаемся!

И пріятели обнялись, и мягкія, немного влажныя губы Устинова влѣпили три звонкихъ поцѣлуища въ розовыя щеки Хвалынцева.

— Ты нѣкуда теперь особенно не торопиться?—спросилъ Устиновъ.

— Ровнехонько нѣкуда. Просто, вышелъ-себѣ пошататься.

— Ну, такъ — правое плечо впередъ и —

маршъ ко мнѣ въ мое логово! Испиѣмъ сначала пива, по-старому, а потомъ потолкуемъ. Повѣстуй мнѣ, какъ, что, почему и зачѣмъ, и давно-ли ты здѣсь?

— Можно!—согласился Хвалынцевъ: — да скажи пожалуйста, какими ты-то судьбами?

— Э! ангель мой! Я уже тутъ около года—прямо съ университетской скамейки. Учителствую, славнобубенское юношество математикой просвѣщаю. Славные, чортъ возьми, ребята! Да, кстати! ударилъ онъ себя по лбу:—ты вѣдь, конечно, съ нами завтра?

— То-есть гдѣ это съ вами? Когда?

— Да развѣ не слышалъ? Завтра, въ четыре часа, послѣ вечерни, у Покрова панихиды служится по убитымъ въ Снѣжкахъ.

— А! да?.. Но что-жъ это только теперь хватились?

— Не знаю доподлинно,—такъ ужъ вышло. Будутъ гимназія, семинарія, изъ офицерства кое-кто и еще кое-кто изъ порядочныхъ людей... Тамъ будешь?

— Конечно, да! съ охотой подтвердилъ Хвалынцевъ:—а ты слышалъ? завтра обѣдъ въ клубѣ.

Устиновъ кивнулъ головой.

— А вѣдь въ Питерѣ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ, подумаютъ, что здѣсь и ни вѣсть какія красныя страсти были, особенно какъ распишутъ-то! черезъ минуту примолвилъ онъ въ грустномъ раздумьи:—вѣдь этого мужика нашего тамъ-то теперь, гляди, хуже чѣмъ поляка въ старыя годы почитать станутъ!

VII.

П а н и х и д а .

На другой день, въ четвертомъ часу пополудни, въ городѣ было значительное движеніе, особенно по Большой и Покровской улицамъ. И тамъ, и здѣсь катились экипажи, сновали извозничьи пролетки и безобразныя дроги, на которыхъ вмѣщалось по три и по четыре челоуѣка сѣдоковъ. Дамы, не имѣющія счастья принадлежать къ сливкамъ славнобубенскаго общества, но тѣмъ не менѣе сгорающія желаніемъ узрѣть интереснаго барона Иксъ-фонъ-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улицѣ, вмѣстѣ со своими кавалерами, роль которыхъ исполняли по преимуществу господа офицеры Инфландманландскаго пѣхотнаго полка, вконецъ затершіе господъ офицеровъ батальона внутренней стражи.

День былъ солнечный, весенне-яркій. Воробы на голыхъ прутьяхъ да по заборамъ вертѣлись и трещали самымъ зазорнымъ образомъ. Мутныя ручьи бѣжали по улицамъ. Капель звонко падала съ крышъ на шапки да на носы прохожему люду. Извозничьи пролетки и «собствен-

ные» экипажи, предствительно гремя по камнямъ мостовой, обняжающимся изъ-подъ ледяной коры, останавливались передъ дверьми разныхъ магазиновъ, по преимуществу у перваго въ городѣ парикмахера-француза, да у единственнаго перчаточника, и потомъ, иногда, на минутку, подкатывали къ клубному подъѣзду. Простые же, несуразные дроги направлялись болѣе все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пѣшеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназическихъ фуражекъ и шинели семинаристовъ.

— Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу, изъ разряда «публики» стояла на паперти. Частный приставъ уже раза четыре успѣлъ какъ-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своихъ кругленькихъ, сытыхъ вятчакхъ. Вотъ вошли на паперть и затерялись въ «публикѣ» три-четыре личности, какъ будто переоде́ты не въ свои костюмы. Вотъ, на щегольскій пролеткѣ подкатилъ маленький черненькій Шпистъ, а черезъ нѣсколько времени показался въ церкви и прелестный Анатолий де-Воляй.

Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. Въ серединѣ стоялъ высокаго роста господинъ, въ синихъ очкахъ и войлочной, нарочно смятой шляпѣ, изъ-подъ которой въ безпорядкѣ падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавокъ нечесанные волосы. Клинообразная, темнорусая борода какъ нельзя болѣе гармонировала съ прической, и весь костюмъ его являлъ собою нѣсколько странное смѣшеніе: поверхъ красной кумачевой рубахи-косоворотки на немъ было надѣто драповое пальто, сшитое нѣкогда съ очевидной претензіей на моду; широкія триковыя панталоны, покроемъ а ла зюане небрежно засунуты въ голенища смазныхъ сапогъ; въ рукѣ его красовалась толстая суковатая дубинка, изъ породы тѣхъ, которыя выдѣлываются въ родѣ Козьмо-Демьянскѣ.

Подлѣ него, какъ москка передъ слономъ, вертѣлся, юлилъ, хлопоталъ и суетился крошечный, подслѣповатый блондинчикъ, съ жидкими, слабыми волосенками и мизерною щепотью какой-то скудной растительности на подбородкѣ. Это маленькая тщедушная юла была то, что называется, золотушный пискунокъ и принадлежала къ породѣ дохленькихъ. Пискунокъ состоялъ чѣмъ-то въ родѣ добровольнаго адъютанта или ординарца при особѣ своего плечистаго сосѣда въ кумачевой рубахѣ и въ разговорахъ относился къ нему съ пріятельскимъ почтеніемъ. Остальные члены этой кучки составляли народъ, болѣе или менѣе знакомый и между собою, и съ двумя изображенными господами.

— Что-жъ это плохо собираются! — суетливо пищалъ дохленькій блондинчикъ, — то обращаясь къ окружающимъ, то на цыпочкахъ устремляя взглядъ вдаль по улицѣ: — ай-ай, господа, какъ

же это такъ!.. Наши еще не всѣ на лицо... Пожалуйста же, господа, смотрите, чтобы все такъ, какъ условлено!.. Господа!.. господа! постѣ панихиды — чуръ! не расходиться!.. Пожалуйста, каждый изъ васъ пустите въ публикѣ слухъ, чтобы по окончаніи всѣ сюда, на паперть: Ардальонъ Михайловичъ слово будетъ говорить.

При этомъ блондинчикъ самодовольно, однако не безъ почтительности, искоса бросилъ взглядъ на кумачовую рубашку.

— А какое слово-то! на ухо обратился онъ къ одному изъ кучки: — то есть, я тебѣ скажу — огонь!.. огонь!.. Экая голова-то!..

— Анцыфровъ! — окликнулъ Ардальонъ Михайловичъ своего адъютантика, который тотчасъ же подбѣжалъ къ нему съ такимъ видомъ, что необыкновенно живо напомнилъ собою кобелька, виляющаго закорюченнымъ хвостикомъ: — ты что это, болванъ, болтаешь-то тамъ!.. Не можешь на полчаса подержать за зубами!..

— А... я, Ардальонъ Михайловичъ... вѣдь свои же — надобно, чтобы знали... да я, впрочемъ, что же... я, въ сущности, ничего, — оправдывался дохленькій.

— Ну, то-то!.. Ты гляди у меня!.. А вотъ что скверно, — значительно понизилъ онъ тономъ: — сѣраго-то народу почти совсѣмъ нѣтъ, чуюкъ-то этихъ мало.

— Мало, Ардальоша, мало! пожавъ плечами, вздохнулъ Анцыфровъ: — а для виду-то, для представительности не мѣшало бы...

— Такъ ты чего же спалъ-то! Вѣдь говорилъ вчера, чтобы по кабакамъ, да по харчевнямъ...

— Да я, Ардальоша... упрекнуть ты меня, кажись, не можешь! Я не то что по харчевнямъ, я и по базару пошатаюсь.

— Пошатался! передразнилъ его собесѣдникъ. — Слизнякъ ты, братецъ, вотъ что! добавилъ онъ ему съ весьма откровеннымъ и презрительнымъ пренебреженіемъ.

Анцыфровъ какъ-то неловко помялся да искательно ухмыльнулся въ отвѣтъ на эту выходку, но не возразилъ ни слова.

Въ эту минуту мимо церкви проходили два какіе-то зипуна.

Ординарчикъ, словно пущенный волчекъ, мгномъ сбѣжалъ къ нимъ со ступеней и остановилъ обоихъ.

— Братцы! обратился онъ къ нимъ: — зайдите въ церковь!.. Помолитесь вмѣстѣ!

Тѣ удивленно оглядѣли его съ головы до ногъ.

— Помолитесь!.. за своихъ... за нашихъ, за родныхъ братьевъ! продолжалъ межъ тѣмъ дохленькій.

— За какихъ-те братьевъ? спросилъ его зипунъ.

— Слыхали про Высокіе Снѣжки? какъ въ Снѣжкахъ генералы въ мужиковъ стрѣляли? — Такъ вотъ, по убитымъ теперь панихиду правимъ... Зайдите, братцы!

— Панафиду?.. Нашто же это панафиду?

— Какъ на что!—Вѣдь Христовы мученики, братцы! Помолитесь за упокой... Вѣдь это братья ваши!

— Да мы не снѣжковскіе—мы съ Чурилова погоста, возразилъ другой запунъ:—намъ-то что!

— Все равно, братцы!.. Всѣ мы—христиане, всѣ въ Бога вѣруемъ... всѣ по Христу-то вѣдь братья! приставалъ межъ тѣмъ блондинчикъ:—сегодня генералы въ снѣжковскихъ стрѣляли, завтра въ васъ стрѣлять будутъ;—это все равно!

— Въ на-асъ? недоумѣло ухмыльнулся мужикъ и снова оглядѣлъ съ головы до ногъ Анцыфрова:—что ты, шалый, что-ли!.. Пойдемъ, Митряй; что толковать-то! кивнулъ онъ своему спутнику. — Пусты, баринъ! недосугъ намъ.

И мужики прошли мимо Ардальоновскаго ординарчика, который стоялъ словно не солоно похлебавши и наконецъ медленно сталъ подыматься на паперть.

— Вотъ—самъ видишь! какъ бы оправдываясь, тихо обратился онъ къ Ардальону:—нейдутъ, а отчего—чортъ ихъ знаетъ!

— Оттого, что ты дуракъ! съ неудовольствиемъ перекосивъ брови, буркнулъ тотъ ему поди-носъ.

— Ну вотъ, и всегда такъ... обиженно пробормоталъ въ сторону ординарчикъ, разведя руками.

Подшло еще нѣсколько публики и между прочимъ двѣ-три молодыя дамы, да три-четыре дѣвицы, изъ которыхъ половина была съ остриженными волосами—прическа, начинавшая въ то время сильно входить въ употребленіе въ кружкахъ извѣстнаго рода.

— Здравствуйте, Анцыфровъ!.. Полояровъ, здравствуйте! обратилась одна изъ нихъ къ ординарцу и его патрону, протягивая обѣимъ руку.

Полояровъ оглядѣлъ ее, но не поклонился и руки не подаль.

— Полояровъ! я вамъ кланяюсь, я вамъ руку протягиваю,—не видите, что-ли? Или не узнали? широко улыбаясь, замѣтила ему дѣвица.

— Нѣтъ, вижу-съ и узналъ-съ, возразилъ Ардальонъ:—а руки не подаю — потому терпѣть не могу этихъ барскихъ замашекъ! На кой вы чортъ перчатки-то напялили? аристократизмомъ что-ли поразить насъ вздумали? ась?

Дѣвушка немножко сконфузилась и торопливо сдернула свои свѣженькія перчатки.

— Ну, вотъ теперь статья иная! Давайте сюда вашу лапу! менторски-одобрительнымъ тономъ похвалилъ Ардальонъ и крѣпко потрясъ руку дѣвушки.

— Да что-жь это богомокрицы эти нейдутъ панихиду козлогласовать-то намъ! обратился онъ къ окружающимъ, видимо желая порисоваться п щегольнуть пикантностью своей послѣдней

фразы, впрочемъ пѣликомъ почеркнутой изъ «Колокола». Анцыфровъ! слетай за ними, пригласи, что пора, молъ!—публика собралась и и ждетъ спектакля.

Анцыфровъ полетѣлъ за священниками.

— Послушайте, Полояровъ, я сейчасъ заглянула въ церковь,—обратилась къ Ардальону та самая дѣвица, которой онъ сдѣлалъ выговоръ по поводу перчатокъ:—вы говорили вчера, что въ этомъ приметь участіе народъ — тамъ почти никого нѣтъ изъ мужиковъ?

— Ну, такъ что-же-съ? хмуро повелъ брови Полояровъ.

— Да вѣдь это... какъ хотите—совсѣмъ не то выходить.

— А по вашему, что-же?.. Вы-то собственно чего-же хотѣли-бы?

— Да я.. я было думала... я увѣрена была, что все это дѣло народное.

— Вы, Лубянская, все глупости думаете!.. Когда я васъ отлучу отъ этого?.. Народъ! Да развѣ мы съ вами не народъ?

— Но я думала, что мужики...

— «Мужики! Мужики!»—что такое «мужики»?.. Мужики—это вздоръ! Никакихъ тутъ мужиковъ намъ и не надобно. Главная штука въ томъ,—значительно понизилъ онъ голосъ, наклоняясь къ лицу молодой дѣвушки:—чтобы демонстрацію сдѣлать... демонстрацію правительству — поймите вы это, сахарная голова!

— Но если-бы съ нами и мужики...

— Если-бы да ежели-бы, такъ и люди-то не жили-бы! перебилъ ее Полояровъ:—слыхали вы про это, аль нѣтъ? Однако, пойдемте въ церковь—вонъ ужъ и козлы снѣшать, рубли себѣ чуютъ,—прибавилъ онъ, кивнувъ на приближавшагося священника съ дьякономъ, вслѣдъ за которыми, перепрыгивая по грязи съ камушка на камушекъ, поспѣшала и маленькая фигурка Анцыфрова.

И вотъ, минутъ черезъ пять послѣ этого, священникъ съ дьякономъ вышли изъ алтаря, въ черныхъ ризахъ, и начали панихиду. На двухъ клиросахъ помѣщались хоры, составившіеся тутъ-же изъ публики. На правомъ пѣли преимущественно взрослые воспитанники семинаріи; на лѣвомъ — кое-кто изъ учителей, офицеровъ, гимназистовъ, чиновниковъ. Между присутствующими виднѣлось нѣсколько чужекъ, сермягъ и полшубковъ, но очень и очень немного, да и то въ число ихъ-же приходилось включить и тѣхъ трехъ-четырехъ господъ, которые явились сюда переодѣтыми въ чужіе костюмы.

— Эхъ, чортъ возьми! досадно! бурчалъ себѣ сквозь зубы Ардальонъ, поглядывая на это скудное количество субъектовъ, долженствовавшихъ изображать собою простой «народъ»—ослы! плоты!.. Ничѣмъ не прошибешь ихъ!.. *Распя-матушка!*

«Но... ничего: благо, и эти-то есть!»—успо-

копительно подумалъ онъ:—все-таки отпишемъ, что церковь-де была полна народомъ, — а тамъ педи, повѣрай насъ!.. Штука-то все-таки сдѣлана, и штука хорошая!»

Мерцаніе восковыхъ свѣчекъ въ рукахъ присутствующихъ какъ-то странно мѣшалось съ яркими лучами солнца, которые врывались за рѣшотку церковныхъ оконъ и радужно позлащали ароматныя струи ладона.

Хвалынцевъ съ Устиновымъ стояли, при-слонясь къ стѣнѣ, а рядомъ съ ними стала старушка и молоденькая дѣвушка, при появленіи которыхъ учитель молча отвѣсилъ почти-тельный поклонъ. Обѣ были одѣты въ черное. Лицо этой дѣвушки невольно остановило на себѣ вниманіе Хвалынцева. Нельзя сказать, чтобы оно кидалось въ глаза своей красотой: — далеко нѣтъ; но въ немъ было нѣчто такое, что всегда заставляло бы человѣка мыслящаго, психолога, поэта, художника изъ тысячи женскихъ лицъ остановить вниманіе именно на этомъ. Живая душа въ немъ сказывалась, честная мысль сквозилась, хороший человѣкъ чувствовался—человѣкъ, который не продастъ, не выдастъ, который если полюбитъ, такъ ужъ хорошо полюбитъ—всею волею, всею мыслью, всѣмъ желаніемъ своимъ; человѣкъ, который смотритъ прямо въ глаза людямъ, не задумывается отрѣзать имъ напрямикъ горькую правду, и самъ способенъ столь-же твердо выслушать отъ людей истину еще горчайшую. Знакомы-ли вамъ тонкія, нѣжныя черты бѣлоурыхъ женскихъ лицъ, въ которыхъ, несмотря на эту тонкость и въ высшей степени женственную нѣжность, чувствуется здоровая мысль, характеръ твердый, настойчивый и сила воли энергическая?—Таково именно было лицо этой молодой дѣвушки. На видъ ей казалось лѣтъ семнадцать, но она была старше: ей пошелъ уже двадцатый годъ. При небольшомъ ростѣ, маленькая изящная фигурка ея отличалась гибкою стройностью. Лицо было блѣдно, съ легкимъ, чуть-чуть сквозящимся румянцемъ; на вискахъ тонкія жилки голу-бѣли; но что придавало этому лицу особенную прелесть—это бархатно-густыя, темныя, длинныя рѣсницы надъ выразительно-большими глазами. Когда она задумчиво опускала вѣки, рѣсницы ея кидали тѣнь, придавая какую-то таинственную глубину взору.

Стояла эта дѣвушка, облитая веселымъ солнцемъ, которое удивительно золотило ея свѣтло-русые волосы, — стояла тихо, благоговѣнно, и на лицѣ у нея чуть замѣтно мелькалъ отгѣнокъ мысли и чувства горькаго, грустнаго: она хорошо знала, по комъ правится эта панихида... Лицо ея спутницы-старушки тоже было честное и доброе.

Хвалынцевъ, во время службы нѣсколько разъ останавливалъ глаза на обѣихъ; но лицо дѣвушки тянуло къ себѣ его взоры болѣе и

чаще. Раза два ихъ взоры скрестились и встрѣтились—и чувствовалъ онъ, что выходить это невольно, какъ-то само собою.

Дѣвица Лубянская и съ нею двѣ ея стриженныя подруги стояли рядомъ съ Полояровымъ и о чемъ-то все хихикали да перешептывались между собою. Не мало утѣшались ихъ дохленькій Анцыфровъ, который все время старался корчить умильныя гримасы, такъ, чтобы это выходило посмѣшнѣе, и представлялся усердно молящимся человѣкомъ: онъ то охаль и вздыхалъ, то потрясалъ головою, то билъ себя кулаками въ грудь, то простирался ницъ и вообще желалъ сгегольнуть передъ сосѣдними гимназистами и барышнями своимъ независимымъ отношеніемъ къ дѣлу религіи и церковной службы. Поэтому, продѣлывая всѣ свои штуки, онъ послѣ каждого пассажира искалъ себѣ глазами по сторонамъ одобрительныхъ, поощряющихъ взглядовъ, и въ таковыхъ недостатка не было.

Полояровъ тоже ощутилъ въ себѣ нѣкоторое присутствіе веселаго настроенія и все задувалъ свѣчку сосѣдки своей Лубянской, а та поминутно ее зажигала и наконецъ, въ отместку стала задувать и его свѣчку. Вообще, въ этой группѣ то и дѣло раздавалось смѣшливое фырканье и довольно громкіе, безцеремонные разговоры. Нѣсколько впереди ихъ стоялъ частный приставъ, катавшійся все время мимо церкви на своихъ виточкахъ, и теперь нашедшій нужнымъ появиться въ храмъ—«на случай могущихъ произойти безпорядковъ». У дверей торчали три-четыре полицейскіе солдата и помощникъ пристава, которые вошли сюда вмѣстѣ со своимъ принципаломъ.

Частный уже неоднократно оборачивалъ взоры на хихикающую группу, съ выраженіемъ внушительной строгости, но его Юпитеровскіе взгляды возбуждали еще болѣе веселость компаніи. А эта веселость поддерживалась не мало также и тѣмъ обстоятельствомъ, что нѣсколько школьниковъ сбрызгивали капли талаго воска на спину недогадывающагося объ этомъ блюстителя порядка.

— Эхъ, господа гимназисты стоятъ-то позади его,—сказалъ Полояровъ тихо, но такъ, что близъ стоявшіе мальчики очень хорошо могли его слышать: — что бы догадаться кому—стать-бы эдакъ на колѣнки да словно-бы невзначай и поджечь пальтишко,—вотъ-бы комедія вышла!

Такая мысль не могла не придтись по вкусу гимназистамъ, и потому исполненіе ея ни мало не замедлилось. Одинъ шустрый мальчуганъ пробрался какъ разъ къ частному, сталъ со всѣмъ близко его и — точъ-въ-точъ по рецепту Полоярова — опустился съ земнымъ поклономъ на колѣни, приблизилъ свѣчу свою къ краю форменнаго пальто пристава. Толстый драпъ

тотчасъ — же задымился и распространилъ вкругъ себя запахъ смрадной гари.

Частный озабоченно и недоумѣло поднялъ голову и, внюхиваясь, поводилъ впередъ себя носомъ. Гимназисты фыркали въ кулакъ, а компанія Полоярова корчила серьезные мины и кусала губы, чтобы вконецъ не расхохотаться.

Вдругъ, подожженный частный обернулся и поймалъ школьника на мѣстѣ: тотчасъ-же онъ его цапъ за руку и кивнулъ своему помощнику. Но такъ какъ помощникъ не замѣчалъ начальническаго кивка, то частный самолично повелъ мальчугана изъ церкви.

Перетрусившій гимназистъ поблѣднѣлъ и упираючись забормоталъ какія-то извиненія.

Двое изъ учителей, вмѣстѣ съ товарищами мальчугана, да кое съ кѣмъ изъ публики заступились.

— Господа!.. господа! — захопоталъ и забѣгалъ маленький Анцыфровъ: — полиція... полиція дѣлаетъ безпорядки... полиція первая, которая нарушаетъ!.. Это наконецъ чортъ знаетъ что!.. Этого нельзя позволить... Это самоуправство... Это возмутительно!..

Въ церкви поднялось замѣтное движеніе. Священникъ нѣсколько разъ оборачивался на публику, но тѣмъ не менѣе продолжалъ службу. Начинаясь уже нѣкоторый скандалъ. Полояровъ стоялъ въ сторонѣ и съ миной, которая краснорѣчиво выражала все его великое, душевное негодованіе на полицейское самоуправство, молча и не двигаясь съ мѣста, наблюдалъ всю эту сцену — только рука его энергичнѣе сжимала суковатую палицу.

— Полояровъ!.. Полояровъ! — шептала Лубянская, дергая за рукавъ своего сосѣда: — послушайте, вѣдь ему, пожалуй, плохо будетъ; — надо заступиться.

— Заступится! — равнодушно но съ увѣренностью отвѣтилъ Ардальонъ Михайловичъ.

— Пойдемте вмѣстѣ... всѣ пойдемте... отнимемте его!

— Отнимутъ и безъ насъ.

— Но глядите: его уже взяли полицейскіе... его уведутъ!

Дѣйствительно, двое городовыхъ, поспѣшившіе наконецъ на призывъ частнаго, подхватили мальчугана за руки и всѣмъ своимъ наличнымъ полицейскимъ составомъ повели его вонъ изъ церкви, несмотря на осаждавшую ихъ публику. Значительная кучка этой публики пошла вмѣстѣ съ ними считаться на воздухъ съ частнымъ приставомъ и выручать пойманнаго школьника.

— Полояровъ, подите и вы! Надо, чтобы вы заступились, приставала межъ тѣмъ Лубянская.

— Я-то? — отозвался Ардальонъ съ тою снисходительною усмѣшкою, какою взрослые улыбаются маленькимъ дѣтямъ: — вы, Лубянская, говорю я вамъ, вѣчно однѣ только глу-

пости болтаете! Ну чорта ли я заступлюсь за него, коли тамъ и безъ меня довольно! Мой голосъ пригодится еще сегодня же для болѣе серьезнаго и полезнаго дѣла — сами знаете; такъ чорта ли мнѣ въ пустяки путаться!

— Но что-же теперь будетъ съ нимъ, съ бѣдненькимъ?

— Что?.. А ничего больше, что выпорять маленько, да и вся недолга!

— Но вѣдь это ужасно!

— Чего-съ ужасно? — Порка-то? — Ничего! Это ихнему брату даже полезно иногда бываетъ. Насъ вѣдь тоже посѣкали, бывало; — это ничего!.. Оно, знаете ли, адакое спартанское воспитаніе, пожалуй, и не вредить: для будущаго годится, потому — мальчишка послѣ этого, гляди, озлобится больше, а это хорошо — злоба-то!

— Но вѣдь можетъ быть и хуже: его могутъ исключить изъ гимназіи.

— Ну и исключать — такъ что же? Эко горе!.. Коли есть башка на плечахъ, то и безъ гимназіи пробьетъ себѣ путь, а нѣтъ башки — туда и дорога!

Между тѣмъ двое учителей да кое-кто изъ публики частію угрозами, частію просьбами и убѣжденіями, успѣли-таки отравовать мальчугана у полиціи и съ торжествомъ привели его обратно въ церковь.

Движеніе, возбужденное всѣмъ этимъ происшествіемъ, затихло, уgomонилось, и присутствующіе довольно благообразно достояли до конца панихиды. Многіе явились въ эту церковь съ чистымъ, сердечнымъ желаніемъ помянуть убиенныхъ, и между ними были Устиновъ съ Хвалынцевымъ, да та молодая дѣвушка со старушкой, которыя стояли рядомъ съ ними. Многіе пришли такъ-себѣ, ни для чего, лишь бы поболтаться гдѣ нибудь отъ бездѣлья, подобно тому, какъ они идутъ въ маскарадъ, или останавливаются поглазѣть передъ любой уличной сценой; многіе прискакали для заявленія моднаго либерализма; но чуть ли не большая часть пожаловала сюда съ цѣлями совсѣмъ посторонними, ради одной демонстраціи, которую Полояровъ съ Анцыфровымъ почитали въ настоящихъ обстоятельствахъ дѣломъ самой первой необходимости.

Вниманіе молодой сосѣдки Хвалынцева было слишкомъ исключительно и серьезно приковано къ церковной службѣ, такъ что она мало обратила его на скандалчикъ, происшедшій по поводу подожженного пальто частнаго пристава.

Между тѣмъ пропѣли вѣчную память. Священникъ удалился въ алтарь разоблачаться, а къ сосѣдкѣ Хвалынцева, самымъ галантнымъ образомъ, вдругъ подлетѣлъ прелестный Анатоль де-Воляй и развязно раскланялся.

— Какъ и вы тоже здѣсь? — подняла на него дѣвушка свои непритворно изумленные взоры.

— А почему же бы нѣтъ? — отчасти самодовольно порисовался Анатоль.

— Да что вамъ здѣсь дѣлать, monsieur де-Воляй.

— Mais, mademoiselle... mes simpaties... mes convictions, замаялся чуточку правовѣдь.

— Et monsieur a aussi des convictions?— слегка улыбнулась дѣвушка.

— Я человекъ своего поколѣнія,—пожалъ плечами Анатоль, нѣсколько сконфузаясь отъ столь откровеннаго вопроса.

— А monsieur Шписсъ!.. вѣдь вы съ нимъ, что называется, les inséparables... Его тоже привлекли сюда симпатин и убѣжденія?— продолжала она все съ той же легкой улыбкой, замѣчая, что ея вопросы начинаютъ коробить прелестнаго правовѣда.

— Шписсъ — самъ по себѣ! — процѣдилъ тотъ сквозь зубы.

— По своей особой части, значить.

— То-есть, какъ это по особой?.. Я знаю Шписса за порядочнаго человека,—вступился де-Воляй за своего пріятеля.

— Oh, oui! un homme parfaitement comme il faut! Я въ этомъ никогда не сомнѣвалась,—подтвердила дѣвушка.— Ну, а на обѣдъ вы будете сегодня?

— Человеку сродно питать себя—заботиться о stomachъ, такъ сказать,—попытался Анатоль вильнуть въ сторону.

— Нѣтъ, я спрашиваю про клубъ—на обѣдъ въ клубъ?

— Буду,—нехотя отвѣчалъ онъ, свернувъ глаза куда-то въ пространство.

— И тоже par la conviction?—прищуряѣсь, улыбнулась дѣвушка.

— Н-нѣтъ, далеко не такъ... по... по... обязанности... та position... это, какъ хотите, обязываетъ... Не могу же я! не ловко—оправдывался вконецъ сконфуженный Анатоль, явно зная случая, какъ бы поскорѣе удрать отсюда и проклиная себя внутренно за то, что дернула же его нелегкая подойти «къ этой цывкѣ».—Mais... cependant il est temps de partir... Bonjour, mademoiselle! Je vous salue, madame!—торопливо откланялся онъ дѣвушкѣ и старушкѣ и, спѣшными шажками, поскорѣй удралъ вонъ изъ церкви, кивнувъ за собою по пути и черненькому Шписсу.

— Однако, высѣли же вы его!—обратился къ дѣвушкѣ Устиновъ.

— Ничего, тѣмъ вкуснѣе пообѣдаетъ,—отвѣчала она и, протянувъ учителю свою маленькую изящную ручку, направилась къ выходу.

— Кто это?—почтительнымъ полушопотомъ спросилъ влѣдъ ей Хвалынцевъ.

— Татьяна Николаевна Стрѣшневая, а старушка—тетка ея,—пояснилъ Устиновъ.

— Какое у нея славное лицо!—какъ бы про себя замѣтили студентъ, не отрывая глазъ отъ стройной фигурки удалявшейся дѣвушки.

— Одно слово: хорошій человекъ она—вотъ

что я скажу тебѣ, мой ангелъ!—заклучилъ Устиновъ, и пріятели тоже удалились.

* * *

На паперти, волнуясь до извѣстной степени, стояла довольно значительная кучка публики, посреди которой, опершись на суковатую палицу, возвышалась фигура Полоярова. Пальто его было распахнуто и широко раскрывало на груди красную рубашку, пиляпа надвинута на глаза, и вся физиономія, вся поза Ардальона выражала грозную рѣшимость гражданскаго мужества.

Плюгавенькій Анцыфровъ шнырялъ туда и сюда, протискиваясь между локтями и боками собравшейся публики и все убѣждалъ не расходиться.

Частнаго пристава уже не было. Онъ еще раньше поскакалъ къ полиціимейстеру.

Полояровъ выжидалъ минуту, когда и помощникъ отвернулся куда-то въ сторону, оставя паперть въ вѣдѣніи только трехъ городовыхъ.

— Зачѣмъ здѣсь полиція?! Долой полицію!—возвысилъ голосъ Ардальонъ, грозно стукнувъ палицей о каменный помостъ паперти:—долой сбировъ! къ чорту алгвазильовъ!

— Долой!.. долой полицію! къ чорту! Вонъ!—довольно дружно подхватили въ кучкѣ, но городовые продолжали-себѣ стоять, какъ ни въ чемъ не бывало, словно бы и не понимая, что эти возгласы, въ нѣкоторомъ родѣ, до нихъ касаются, и только время отъ времени флегматично замѣчали близъ-стоявшимъ, чтобы тѣ расходились — «потому — нѣможно! начальство не велеть!»

— Господа!— снова возвысилъ голосъ Полояровъ:— господа! Я обращаюсь ко всѣмъ вамъ, ко всѣмъ честнымъ людямъ, у которыхъ наше рабство не вышибло еще совѣсти! Выслушайте меня, господа!.. Нѣмецко-татарскій деспотизмъ петербургскаго паризма дошелъ до тахітима своего давленія. Дальше уже терпѣть нельзя... невозможно—или надо задохнуться!

— Молодецъ! Не труситъ!.. Вотъ это такъ! По нашему! Открыто, гласно!—одобрительно отозвались ему въ толпѣ слушателей.

Полояровъ съ самодовольною гордостью обвелъ всѣхъ глазами и подбодрился еще болѣе.

— Я говорю, господа, о фактѣ... о тысячѣ вопіющихъ фактовъ,—началъ было онъ снова, какъ вдругъ, въ эту самую минуту, лихо подкатила къ паперти полиціимейстерская пара въ пристяжку—и съ пролетки прыгнувъ экс-гусаръ Гнутъ вмѣстѣ съ жандармскимъ адъютантомъ. Гремя по ступенькамъ своими саблями, спѣшно взбѣжали они на паперть и... красно-рѣчіе Полоярова вдругъ куда-то испарилось. Самъ Полояровъ даже какъ будто сталъ немножко поменьше ростомъ, и пальто его тоже

какъ-то вдругъ само собою застегнулось, скрывъ подъ собою красный кумачъ рубашки.

— Господа! покорнѣйше прошу расходиться! Этого нельзя-съ! Это безпорядокъ! рѣзко-авторитетнымъ тономъ закричалъ полиціймейстеръ, направляясь прямо въ толпу.

Въ кучкѣ загалдѣли, задвигались, загомонились... Кто-то закричалъ по-пѣтушиному, нѣсколько человѣкъ свиснули и зашикали, многіе разсмѣялись, но въ этомъ хотѣ слышна была выдѣланная натяжка, нѣчто неискреннее и весьма принужденное.

Полиціймейстеръ еще рѣзче и строже повторилъ свой внушительный возгласъ. Значительная часть публики нерѣшительно и медленно стала расходиться.

— Господа!.. Не поддавайтесь!.. Не поддавайтесь!.. то тамъ, то здѣсь, позади другихъ, подуськивалъ да подшептывалъ Анцыфровъ, стараясь однако же не быть замѣченнымъ.

Въ это время совершенно случайно проходилъ по улицѣ взводъ Инфляндманландскаго пѣхотнаго полка. Но стоявшей кучкѣ не была извѣстна эта случайность. Кто-то крикнулъ «войско идетъ!»—и это слово какъ-то жутко подействовало на многихъ: вскинули глаза вдоль улицы и, дѣйствительно, увидѣли нѣсколько штыковъ. Анцыфровъ внимательно сталъ отыскивать глазами своего патрона и друга, но другъ его, Полояровъ, неизвѣстно куда успѣлъ уже исчезнуть.

Черезъ нѣсколько минутъ церковная паперть, безъ всякихъ особыхъ понужденій, уже очистилась, и полиціймейстеръ съ адъютантами укатили.

VIII.

Генеральное корпленіе съ музыкой и проч.

Когда публика шла изъ церкви, къ подъѣзду клуба подкатывали первые экипажи. Съѣздъ только-что начинался. Костюмированный швейцаръ, въ чулкахъ и треуголкѣ, надѣтой по-генеральски, отдавалъ входящимъ честь своей булавой. Лѣстница была покрыта параднымъ краснымъ сукномъ и уставлена цвѣтами. Прислуга оканчивала послѣднія приготовленія.—Метръ-д'отель Кирилла, гладко выбритый и пузатый, сіялъ самодовольной гордостью и чувствомъ сознанія собственной важности и достоинства. Онъ индѣйскимъ пѣтухомъ прохаживался по всѣмъ комнатамъ въ своемъ бѣломъ жилетѣ «при цѣпочкѣ», въ бѣломъ галстукѣ и въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ, а два лакея слѣдовали за нимъ сзади и на раскаленную плитку поливали амбре, дабы распространить повсюду подобающее благоуханіе. Дежурный старшина и распорядители обѣда были всѣ на лицо и важно совѣщались около стола съ *hors-d' oeuvres*.

Музыканты на одной сторонѣ хоръ настраивали свои инструменты, а въ газетной—совѣтникъ губернскаго правленія г. Богоявсенскій громко читалъ по бумажкѣ свой будущій спичъ, который черезъ часъ онъ долженъ будетъ произнести наизусть, по внезапному, такъ сказать, вдохновенію и отъ полноты сердца. Теперь же наединѣ, совѣтникъ дѣлалъ «послѣднюю речетичку». Хоры, противоположные той сторонѣ, гдѣ помѣстились музыканты, начали понемногу наполняться дамами, между которыми были исключительно сливки да сметана славнобубенскаго *mond'a*. Всѣ взоры, надежды и ожиданія славнобубенскихъ матронъ, сифидъ и фей, и Діанъ, и весталокъ стремились къ нему, къ ожидаемому гостю, къ интересному и блистательному герою этого праздника. Но пока—матроны и весталки созерцали только большіе столы, составленные покоемъ (II), на которыхъ сверкалъ граненый хрусталь, зеленіи вѣтки цвѣтущихъ камелій и возвышались серебряныя вазы, пирамидки да корзинки съ конфетками и фруктами, въ ожиданіи коихъ нѣкоторые лакомыя матроны нарочно понадевали платья съ карманами болѣе глубокими.

Но вотъ, залъ все болѣе и болѣе наполняется гостями. Съ вышины хоръ движущіеся фракы кажутся чѣмъ-то въ родѣ ползающихъ мухъ. Тамъ и сямъ сверкаетъ золото или серебро на густыхъ и не густыхъ эполетахъ, эффектно мелькаютъ регалии—отъ смѣющагося Станиславчика въ петличкѣ или медальки, до какой нибудь красавицы-звѣзды, цѣломудренно прищученной за бортъ чернаго фрака. То и дѣло идутъ поклоны, рукожатія, причемъ дамы на хорахъ очень удобно могутъ наблюдать, сквозь свои лорнеты, прически и спины мужей и знакомыхъ. Вотъ прическа съ украшеніями, вотъ гладкая, безъ украшеній, вотъ благонамѣренная, а тамъ либерально взтерошенная; вотъ показалась и элегантно-парикмахерская куафюра прелестнаго Анатоля; и курчавенькій Шписсъ мотааетъ головкой; а вотъ блестятъ и лоснятся гладко-вымытыя лысины и плыщины: одна сверкаетъ, какъ бильярдный шаръ, другая молодой рѣпѣ, а третья ноздреватому гречинскому блину уподобляются. По залѣ идетъ какое-то сдержанное жужжанье разговоровъ, и по этому жужжанью видно, что всѣ чего-то ожидаютъ и всѣ очень голодны.

Вотъ по гостямъ пробѣжали нѣкій гулъ и движеніе: его превосходительство Непомукъ Анастасьевичъ прибылъ изволилъ.—Всѣ бросаются къ его превосходительству. Спины сгибаются, прически и лысины преклоняются, улыбки украшаютъ уста, и нѣкая свѣтлая влага теплится во взорахъ. Его превосходительство любезно протягиваетъ руку толстому откупщику, препрославленному по всей губерніи своимъ либерализмомъ и патриотизмомъ, затѣмъ тучному градскому главѣ и вице-губернатору,

затѣмъ совѣтникамъ, предсѣдателямъ, разнымъ товарищамъ и господамъ дворянамъ, однако-же не всѣмъ безъ исключенія. Остальной міръ онъ обводитъ глазами и кланяется общимъ поклономъ.

Новое движеніе между присутствующими; губернской предводитель князь Кейкулатовъ появился въ залѣ. Непомукъ «наилюбезнѣйше и наипочтительнѣйше», привѣтствуетъ князя; въ свою очередь князь точно тѣмъ же платитъ Непомуку, — и оба довольны другъ другомъ, и оба въ душѣ нѣсколько поругиваютъ другъ друга; тѣмъ не менѣе взаимное удовольствіе написано на ихъ лицахъ.

Утробы все болѣе и болѣе ощущаютъ своего рода желудочную *Sehnsucht* по вкуснымъ яствамъ и питіямъ, которыя предлежатъ имъ въскорѣ. Непомукъ взглядываетъ на часы. Кажись, всѣ уже въ сборѣ? Дѣло стало за однимъ только дорогимъ гостемъ. — «Скоро-ли же пріѣдетъ! Хотя червячка заморить бы пока!» начинаютъ уже роптать почтенные гости, — но... неловко, неприлично и даже непочтительно морить червяка до появленія свѣтила. Однако, нѣкоторые не выдержали и сбѣгали въ буфетъ, гдѣ по секрету добыли таки себѣ «по рюмчонкѣ».

Но вотъ сугубо зашевелились и приободрились гости, иные крикнули въ руку, иные бабенбарды пригладили, иные жилетку подергали къ низу. Желанная минута наступила. Свѣтило еще только подкатывало къ клубу, какъ особый вѣстовой, роль котораго, ради пушгаго параду, возложена была на квартальнаго надзирателя, оповѣстилъ объ этомъ событіи. Дежурный старшина махнулъ на хоры бѣлымъ платкомъ, отъ котораго распространился крѣпкій запахъ пачули, — и оркестръ торжественно грянулъ величественный полонезъ.

Блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ вошелъ въ залу подъ аккомпанементъ этой музыки. Онъ опоздалъ ровно на столько, на сколько требовали того приличіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выдержка собственного достоинства. Толпа гостей, съ Непомукомъ и Кейкулатовымъ во главѣ, встрѣтила его почти у самыхъ дверей. Сипны, лысины и прически тотчасъ же изобразили самое почтительное согбеніе, лики освѣтились сугубо-радостными улыбками. Шписъ и де-Волий протискались впередъ и держались поближе къ кучкѣ самыхъ крупныхъ губернскихъ тузовъ, которымъ баронъ протягивалъ полную руку, и старались все время держаться на виду. Но... увы! баронъ — все какъ-то не замѣчалъ ихъ. Физиономіи двухъ достойныхъ друзей начало уже кисло коробить и передергивать отъ опасенія: а ну, какъ онъ вдругъ, при всѣхъ-то, намъ и не подастъ руки? Самая сладостная улыбка неоднократно уже появлялась на ихъ лицахъ, сипны и головы неоднократно уже пытались

сотворить почтительное согбеніе, и сами обладатели этихъ головъ изъ силъ выбивались уличить подходящую минутку, чтобы подвернуться подъ баронскіе взоры. Но взглядъ барона совершенно равнодушно и мимолетно скользилъ по ихъ физиономіямъ, словно бы по незнакомымъ, — и физиономіи пріятелей снова начинало передергивать: самолюбіе ихъ уязвлялось, — они вѣдь всему городу успѣли протрубить уши, что баронъ съ ними знакомъ чуть не пріятельски. Но, наконецъ, подвернулись таки подъ глаза: фонъ-Саксенъ замѣтилъ ихъ четвертый поклонъ и удостоилъ обоихъ легкаго полупожатія. Лики инсепараблей просіяли, самолюбіе было спасено.

Не станемъ изображать читателю, какъ гости истребляли закуски, какъ принадлегли они на желудочныя, тминныя, листовки и померанцовки, какъ задвигались и загремѣли стулья, съ какими плотоядными улыбками разсѣлись всѣ на подобающее каждому мѣсто, какъ величественно священнодѣйствовалъ у особаго стола клубный метръ-д'отель Кирилла, направляя во всѣ концы столовъ ряды лакеевъ съ многоразличными яствами, за коими въ порядкѣ слѣдовали многоразличныя питія; — скажемъ только одно, что баронъ сидѣлъ на самомъ почетномъ мѣстѣ, между Непомукомъ и княземъ Кейкулатовымъ, и что самъ Кирилла никому не пожелалъ уступить честь прислуживать этимъ тремъ лицамъ: рѣдкій и высшій знакъ почтенія со стороны амбиціознаго Кирилла. Гости кушали и пили, пили и кушали, и снова кушали, и снова пили; все сіе свершалось въ достодолжномъ порядкѣ, благочинно и вполнѣ добросовѣстно, какъ и подобаетъ благонамѣреннымъ гражданамъ, которые еще съ утра спеціально воспитывали желудки къ воспріятію подобнаго обѣда.

Былъ уже пиръ въ полупирѣ и хмѣль въ полухмѣль, какъ говорится въ старыхъ сказкахъ. Губернаторъ и предводитель успѣли уже провозгласить всѣ официальные тосты, на которые вся зала отвѣтствовала «ура», а музыка громогласными тушами. Но вотъ поднялся съ мѣста совѣтникъ губернскаго правленія, г. Бого-явисенскій, обвелъ все общество масляно-заискивающими взорами, какъ бы прося себѣ снисходительнаго вниманія, и наконецъ остановилъ эти взоры на блистательномъ гостѣ, съ какою-то сладостно-восторженною почтительностью. Онъ помѣщался какъ разъ насупротивъ барона. Все общество встало, замолкло и навестило уши.

— Милостивые государи! — началъ совѣтникъ слегка дрогнувшимъ голосомъ: — въ настоящее время, когда...

— И такъ далѣе! подшепнулъ, на дальнемъ концѣ стола, одному изъ своихъ сосѣдей, привилегированный губернской острякъ и философъ тучно упитанный и праздно проживающій, Под-

халютинъ. Известно вѣдь, еще по традиціямъ былаго времени, что каждый губернский городъ необходимо долженъ имѣть своего собственнаго, мѣстнаго остряка и философа, который ужъ такъ полагается тутъ словно бы по штату.

— Въ настоящее время,—продолжалъ межъ тѣмъ ораторъ-совѣтникъ,—когда Россія, въ виду изумленной Европы, столь быстро стремится по пути прогресса, общественнаго развитія и всесторонняго гражданскаго преуспѣнія, по пути равенства личныхъ правъ и какъ индивидуальной, такъ и социальной свободы; когда каждый изъ насъ, милостивые государи, чувствуетъ себя живымъ атомомъ этого громаднаго тѣла, этой великой машины прогресса и цивилизаціи,—что необходимо... я хочу сказать — неизбежно должно соединять насъ здѣсь, за этой дружественной трапезой, въ одну братскую, любящуюся семью,—какое чувство, какая мысль должны руководить нами?

— Бр-р-р-рава! вдругъ одиноко рывкнулъ откуда-то подгулявшій недоросль изъ богатыхъ дворянъ.

Полицеймейстеръ Гнутъ, изобразивъ на лицѣ своемъ суровую строгость, смѣшанную съ ужасомъ, и тихонько отставивъ стулъ, на осторожныхъ цыпочкахъ предупредительно направился въ ту сторону, откуда раздалась эта неумѣстная «брав».

— Одно чувство, одна мысль, милостивые государи! — витѣйствовалъ межъ тѣмъ ораторъ:—любовь и польза, польза и трудъ и надежда на радостное созерцаніе будущихъ плодовъ его. Любовь къ ближнимъ и къ общественному благу, трудъ на пользу общую—это-то и есть совокупляющее насъ чувство и единящая насъ мысль.

— Такъ! такъ!.. Bravo!.. Превосходно!.. Слушайте, слушайте! — одобрительно пробѣжало изъ устъ въ уста по толпѣ состольниковъ — и нѣсколько смущенная доселѣ фізіономія оратора облегчительно прояснилась.

— Мы знаемъ другъ друга, милостивые государи!—снова полился потокъ обѣденнаго спича;—да! мы знаемъ себя; мы всѣ воодушевлены лучшими стремленіями нашего прогрессивнаго времени. Мы пробудились отъ сна и бодро шестуемъ нынѣ впередъ и впередъ!

— Bravo!.. Бр-р-р-рава!.. Тсс!.. слушайте, слушайте!

— Будемъ же стремиться къ тому, чтобы поддерживать другъ друга, каждый индивидуально и всѣ вообще, на пути служенія нашего пользѣ общественной и интересамъ гражданственнымъ! Будемъ стремиться ко всестороннему развитію, будемъ цѣнить и по достоинству награждать труды и усердіе каждаго, и да присоединятся къ ликованію нашему наши меньшіе братія, нашъ добрый, русскій, православный мужичекъ!

Глаза оратора, при сихъ послѣднихъ словахъ, умаслились нѣкою сантиментальною, сахаристою влагою, а въ томъ концѣ стола, гдѣ присутствовалъ острякъ Подхалютинъ, какъ будто послышалось одно многозначительное, кричащее: «гм!»

— Но, милостивые государи! выпрямился и отъ преизбытка чувства глубоко вздохнулъ ораторъ,—для того, чтобы мы могли бодро и стройно, подобно музыкальному чуду нашего вѣка, называемому «органомъ», шествовать по пути развитія, цивилизаціи и прогресса, что прежде всего необходимо намъ, воспрошу я васъ?—Необходимъ намъ неуклонный и бдительный надзоръ просвѣщеннаго начальства, необходимъ намъ строгій и твердый порядокъ, дабы каждый изъ насъ могъ, такъ сказать, мирно сидѣть подъ своею смоковницею, въ вертоградѣ той дѣятельности, къ коей призванъ, и въ лонѣ семейства своего вкушать скромные, но сладкіе плоды своей гражданской дѣятельности. Безъ порядка органъ лишится своей стройности. Нарушители мирнаго теченія рѣки прогресса могутъ вредоносно воздѣйствовать на всѣ наши жизненные отправления, лишитъ насъ дружелюбія и братства, ввергнуть насъ во всѣ ужасы Франціи конца XVIII столѣтія, подвергнуть опасности не только лоно семействъ и домашнихъ очаговъ нашихъ, но и всю машину общественнаго строя, но и самую жизнь нашу, столь необходимую нынѣ для пользы всеобщаго преуспѣнія, и чрезъ то—страшно вымолвить!—рушить внезапно величественное зданіе цивилизаціи!.. И такъ, милостивые государи!—торжественно поднявъ бокалъ и обтеревъ на лбу обильный и крупный потъ, заключилъ ораторъ:—скажемъ наше доброе русское спасибо тому доблестному мужу, который мощною рукою сумѣетъ водворить порядокъ, тишину и спокойствіе въ нашей взволнованной мѣстности, коей почти еще только вчера угрожала столь страшная опасность! Я торжественно подымаю мой признательный бокалъ и провозглашаю за душевный тостъ во здравіе его превосходительства барона Адольфа Христиановича!

— Бр-р-раво-о!.. Ур-ра-а!.. Ура-а! Тушъ! тушъ!—загремѣло по залѣ. Движанье стульевъ, крики, учащенное звяканье ножей и вилокъ о края тарелокъ и чоканіе бокаловъ смѣшались съ громогласнымъ трескомъ трубъ и литавръ. Нѣкоторые чувствительные гости источали слезы умиленія отъ усерднаго чоканья, шампанское выплескивалось за края бокаловъ, и многіе фраки и жилеты были уже обильно облиты нектаромъ вдовы Кляко. Упорный недоросль, не внимая увѣщаніямъ лихова Гнута, бля кулакомъ по столу и бѣлугой ревѣлъ свое энергическое «бр-р-рава! Удружилъ!» и къ этимъ двумъ восклицаніямъ пьяненько прибавлялъ еще: «балдар-рю! балдарю, совѣтникъ!.. балдарю!..» Толпа состольниковъ наперервы стремилась удостоиться чести и удовольствія чокнуться съ бли-

стательнымъ барономъ, который горячо потрясалъ чрезъ столъ руку краснорѣчиваго спикера, не упустившаго, при видѣ протянутой къ нему баронской длани, предвѣрительно обтереть салфеткой свою собственную, черезчуръ уже запотѣлую (отъ усердія) руку. Непомукъ отъ полноты душевныхъ чувствъ ничего не вымолвилъ, но чокнувшись и тоже пожавъ руку Саксена, только просопѣлъ очень выразительно. Князь Кейкулатовъ началъ было въ эдакомъ родѣ: «позвольте, молъ, баронъ и мнѣ, какъ представителю, отъ лица благороднаго дворянства», но запнулся, смѣшался, улыбнулся и завершилъ неожиданнымъ словомъ: «чокнемтесь!» Откупщикъ и патриотъ Верхохлебовъ неистово «бѣялъ» себя въ грудь и восклицалъ: «Отчизна!.. Сыны! братья! благодѣтели!.. Я вапъ и вы мои!.. П-цалуемся!» Градской глава начиналъ уже придумывать, какое съ него теперь «пожертвованіе» взлупятъ и какую медаль за это пожалуютъ, — «а что взлупятъ, такъ ужъ это безотмѣнно». Много благодарностей, рукопожатій, чоканья и лобызаній досталось и на долю оратора. Одинъ изъ первыхъ подлетѣлъ къ нему умиленный Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій.

— Благодарю!.. благодарю! — напиралъ онъ на совѣтника, съ своимъ польскимъ акцентомъ! — особенно за то, что не забыли замолвить словечко о награжденіи за труды службы и усердіе. Это, знаете, и генералу должно понравиться. Прекрасная рѣчь! высокая рѣчь!.. И чувствую, и стиль, и мысль, и все эдакое!.. Вы пожалуйста, дайте мнѣ ее списать для себя: въ награжденіе оудущимъ дѣтямъ, потомкамъ моимъ оставлю!.. Благодарю! благодарю вамъ!

И полковникъ съ чувствомъ обнялъ спикера и облобызалъ его дважды, причемъ мокрые отъ вина полковничьи усы оставили свой влажный слѣдъ на гладко выбритыхъ, лоснящихся щекахъ совѣтника.

Засимъ поднялся нѣкоторый, впрочемъ еще довольно скромный и приличный, кавардакъ. Бокалы то и дѣло наливались и дополнялись. Губернаторъ снова предложилъ тостъ за дорогого гостя, а дорогой гость отвѣтилъ тостомъ за здоровье почтеннаго, многоуважаемаго, достойнаго и всѣми любимаго начальника губерніи; начальникъ губерніи — за здоровье князя Кейкулатова, князь Кейкулатовъ — за здоровье начальника губерніи и опять-таки дорогого гостя; дорогой гость за князя Кейкулатова; Пшецыньскій за Корытникова, Корытниковъ за Пшецыньскаго; откупщикъ за голову, голова за откупщика; вице-губернаторъ за совѣтниковъ, совѣтники за вице-губернатора; Шписсъ выпилъ за Анатоля, Анатолий за Шписса и потомъ каждый самъ за себя. На концѣ стола какая-то кучка пріятелей испивала за здоровье недоросля. Пили и многіе другіе здоровья; и за присутствующихъ и за отсутствующихъ, и за прекрас-

ный полъ славнобубенскій, и за того, кто любитъ кого, и за гражданственное преуспѣяніе, и за развитие кого-то и чего-то, и за прогрессъ нашего времени, и за цивилизацію, и наконецъ даже за здоровье клубнаго метръ-д'отеля Кириллы. Словомъ, тутъ было широкое и раздольное поле для вслѣскихъ изліяній и прочаго благодушества, — душа выходила нараспашку. Въ одномъ концѣ стола кто-то предложилъ ужъ было составить и послать телеграмму. Мысль одобрена, но въ исполненіи своемъ остановилась за тѣмъ лишь, что рѣшительно никто не могъ придумать, кому бы, въ самомъ дѣлѣ, и зачѣмъ, и о чемъ именно послать телеграмму? Другіе предлагали изобразить все это торжество достойнымъ образомъ во всѣхъ столичныхъ газетахъ, а начать съ губернскихъ вѣдомостей, — и эта мысль тоже понравилась. Взоры многихъ уже начали съ заимствующей надеждой ласково обращаться на краснорѣчиваго оратора. — Третьи заявляли, что хорошо бы было адресъ благодарственный, или хотъ признательный представить барону и основать въ честь его какую-нибудь стипендію. Насчетъ стипендіи дѣло пошло зажимисто и разыгралось болѣе какъ-то въ молчанку, потому что идетъ оно скорѣе по части именитаго купечества да на счетъ откупщика и головы градскаго; а вотъ мысль объ адресѣ признана весьма не дурною, и тѣмъ паче, что адресъ — дѣло вполнѣ современное и для кармана не убыточное. Анатолий де-Воляй соблазнительно подбивалъ уже добрую компанію отправиться съ нимъ къ какой-то Альбертинкѣ, которая по его увѣреніямъ, была просто «смакъ-женщина».

Наконецъ всѣ власти, важности и почтенности встали изъ-за стола, и дѣло перешло въ гостиныя, по части кофе, чаю, сигаръ и ликеровъ. Но многіе изъ публики остались еще за столомъ допивать шампанское, причемъ кучка около недоросля все увеличивалась. На хоры понесли корзинки и горки фруктовъ съ конфетами да мороженое угощать матронъ и весталокъ славнобубенскихъ. Туда же направился своею лѣнливою, перевалистою походкою и губернский остроловъ Подхалютинъ. Онъ любилъ «поврать съ бабами», и это было цѣлью его экспедиціи на хоры.

— Пелагея Ивановна — обратился онъ съоникъ къ одной отменно скупой, преклонныхъ лѣтъ матронѣ, которая торопливо, но усердно старалась нахватать себѣ возможно болѣе дарового угощенія, — а, Пелагея Ивановна! Если у васъ — сохрани Господи — карманы малы окажутся, такъ вы сдѣлайте одолженіе, безъ церемоніи, все, что не влѣзетъ, мнѣ препоручите: у меня просторно; а я доставлю вамъ всецѣло.

Матрона побагровѣла отъ злости и прошипѣла что-то невнятное, а остроловъ и философъ остался весьма доволенъ тѣмъ, что успѣлъ взбѣсить матрону.

— Скажите, пожалуйста—обратилась однако къ нему матрона, успѣвшая уже черезъ минуту оправиться и одуматься, — какими это судьбами вы-то—вѣдь вы у насъ такой либераль, демократъ, прогрессистъ — и вдругъ на этомъ обѣдѣ!.. Вѣдь вы за мужиковъ всегда, на словахъ-то.

— А что-жь? Я, сударыня, тризну, сирѣчь поминки справляю, поклонился Подхалютинъ, — Вѣдь я—сами изволите знать—по философской части отчисленъ,—а это у насъ все равно, что по запаснымъ войскамъ,—ну такъ значитъ, и взираю на это дѣло съ моей философской точки зрѣнія.

— Какая жь это точка? захихикали нѣкоторыя дамы, ожидая, что острословъ, вѣроятно, отрѣжетъ имъ что-нибудь скабрёзно-пикантное, — а славнобубенскія дамы, надо замѣтить, вообще питаютъ нѣкоторую слабость къ скабрёзно-пикантному.

— Философская точка, милостивыя государыни, началъ пояснять присяжный острякъ, — это самая простая и естественная, а потому самая вѣрная, настоящая точка. Вы думаете, что мы и взаправду чествуемъ этого благороднаго барона изъ остзейской стороны? Вы полагаете, что всѣ эти речи и прочее суть заявленіи нашей симпатіи и признательности? Если вы мыслите такъ, то плохо же вы, сударыни, знаете вашихъ мужей и братьевъ, скажу я вамъ! Всѣ эти речи и симпатіи—дѣло совсѣмъ постороннее: такъ-себѣ съ боку припека. Ничего этого у насъ, въ сущности, нѣтъ и не было, а вся штука въ томъ, что мы всѣ, во-первыхъ, добрые, очень добрые, и сердце у насъ какое-то мягкое, слюноточивое; а второе дѣло, что всѣ мы больно ужъ на брюхо горазды.

— Фи! какія мѣрзости!.. *Quelles phrases lâches, que vous nous exprimez!* съ притворнымъ жеманствомъ запищали нѣкоторыя матроны и сильфиды; но острословъ, ни мало не смутясь, продолжалъ въ томъ же родѣ. Онъ хорошо зналъ свою аудиторию.

— Да! именно на брюхо больно горазды. Всѣ эти речи по части прогресса, развитія тамъ симпатій, заявленій и прочаго — все это то-же самое, что бешемель при телятинѣ, то-есть нѣчто, къ самой сути дѣла, пожалуй, вовсе и не идущее. Это мы только, что называется, чорту кочергу ставимъ, мимоходомъ отдаемъ дань Ваалу нашего времени, а главная-то суть у насъ всегда была, и есть, и будетъ неизмѣнно все одна и та же: это — жратва! да, жратва, милостивыя государыни! Мы, благочестивые россияне, при всякомъ удобномъ случаѣ жремъ: на родняхъ — жремъ, на поминкахъ — жремъ, на крестинахъ чавкаемъ, на именинахъ лопаемъ, на свадьбахъ трескаемъ, и рады-радехоньки каждому случаю, коли онъ подаетъ намъ самый маленькій поводъ собраться вку-

пѣ и пожрать. Такъ точно и нынче: остзейскій баронъ и чувства признательности за будущіе его подвиги — это только случайный предлогъ къ жратвѣ, то-есть та же бешемель. Мы и чувства наши, и самого-то барона, пожалуй, завтра же забудемъ, а вотъ стерлядей аршинныхъ, да олонекскихъ рябчиковъ долго вспоминать станемъ, до первой новой... ну, хоть экзекуціи или еще какой-нибудь тамъ амансипаціи, которыя обѣ безразлично тоже будутъ удобнымъ предлогомъ. Потому-то вотъ я и присутствую на этомъ обѣдѣ, коли вы знать хотите, да и всѣ-то мы здѣсь только поэтому — ей-Богу!

Изложивъ такимъ образомъ свое объясненіе, острословъ тѣмъ болѣе охотно перешелъ въ область скабрёзно-пикантнаго, что дамы начали ужъ находить его чрезчуръ скучнымъ, — и черезъ минуту на хорахъ раздавалось уже веселое хихиканье.

IX.

Cegla wielkiego budowania.

Къ девяти часамъ вечера большинство почетнѣйшей публики уже разъѣхалось изъ клуба — кто въ театръ, кто на боковую, кто къ разнымъ своимъ подругамъ съ лѣвой стороны. Остались только тѣ, которые давно уже выступили бойцами на зеленомъ полѣ.

Волеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій вышелъ вмѣстѣ съ лихимъ полиціимейстеромъ Гнутомъ.

— Махнемъ-ка, полковникъ, въ театръ! — предложилъ отчаянный экс-гусарь: — нынче Шмиттовъ въ водевилляхъ, то-есть — я вамъ скажу — прелесть, что такое!.. Ножки, ножки эти — канальство!

— Н-нѣтъ, знаете... голова что-то болитъ, — поморщась, солиднымъ тономъ отклонился полковникъ: — я лучше прокатиться немножко поѣду.

И они разстались.

Полковникъ вскочилъ въ свои крытыя дрожки и приказалъ кучеру ѣхать совсѣмъ не въ ту сторону, куда въ сущности самъ намѣревался отправиться. Околесивъ двѣ-три улицы, онъ указалъ наконецъ возникъ своему настоящій путь и вскорѣ подѣхалъ къ высокому забору, за которымъ въ глубинѣ двора ютился въ палисадникѣ каменный одноэтажный домикъ, рядомъ съ небольшимъ католическимъ костеломъ, построеннымъ во вкусѣ тѣхъ quasi-греческихъ зданій, которыми было столь богато начало нашего столѣтія. Дворникъ растворилъ ворота, и полковничьи дрожки подкатили къ крылечку небольшого домика. Ставни были плотно закрыты, но Волеславъ Казиміровичъ смѣло, привычною рукою, дернулъ за ручку звонка. Отворить ему дверь вышла со свѣчей

въ рукѣ молодая, смазливая женщина, изъ породы тѣхъ, которыхъ очень характерно называютъ «вкусными» и «сдобными».

— Панъ ксендзъ дома?—спросилъ Пшецыньскій, игриво и ласково кивнувъ ей головою.

— Дома, дома! уже давно ждетъ пана полковника,—радушно отвѣтила сдобная женщина, съ удовольствіемъ встрѣтивъ гостя пріятливою улыбкой.

Полковникъ сбросилъ шинель и вступилъ въ покои священника.

Пріемная комната ксендза-пробоща болѣе чѣмъ скромно была меблирована простою дубовою мебелью, безъ мягкихъ сидѣній, безъ малѣйшаго намека на какой-бы то ни было комфортъ. Единственнымъ украшеніемъ ея было прѣстое, даже бѣдное Распятіе надъ оконникомъ.

На встрѣчу Пшецыньскому вышелъ неслышною, дробною походкою, потупивъ въ землю глаза, плотно-кругленькій мужчина лѣтъ сорока, въ длинной черной сутанѣ. Широкое лицо его свѣтилось безмятежно довольной улыбкой. Видно было, что человѣкъ этотъ живетъ покойно, ѣстъ вкусно, пьетъ умеренно, но хорошо, спитъ сладко и всѣ житейскія отправления свои совершаетъ въ надлежащемъ порядкѣ. «Всегда доволенъ самъ собой, своимъ обѣдомъ и... женой», сказали бы мы, еслибъ католическіе ксендзы не были обречены на безбрачіе.

— Пану Болеславу!—поклонился онъ кротко, но вполне пріятельски, — и гость вмѣстѣ съ хозяиномъ, взявъ другъ друга обѣими руками подъ локти, облобызались дважды.

— Ну, пойдѣмъ до кабинета: тамъ теплѣе и покойнѣе... потолкуемъ... Я давно уже съ терпѣніемъ ждалъ пана, — радушно говорилъ ксендзъ, предупредительно пропуская Пшецыньскаго въ смежную комнату.—Сядай, муй коханы, сядай на ту фотелю... ближе къ камину!.. Ну, то такъ ладно!.. Чѣмъ же мнѣ подчивать пана?

— Ну, ужъ ничего не могу! — прямо съ обѣда!—отказался Пшецыньскій.

— Э, нѣтъ у насъ такъ не водится!—разставилъ ксендзъ свои руки:—не пій зъ блазнемъ, не пій зъ французомъ, не пій зъ роднымъ ойцемъ, зъ коханкой не пій, а зъ ксендзею выпій—таковъ мой законъ! Я дамъ пану добрую цыгару, а Зося подастъ намъ клубничнаго варенья и бутылочку венгржины, у меня вѣдь—самъ знаешь, коханку,—завѣтныя! Отъ Фукера изъ Варшавы выписываю,—отказаться не можно!

Взглядъ у пана ксендза былъ мягонькій, тихенькій, но немного какъ будто кошачій и въ душу заползающій, и голосъ тоже былъ тихій, мягкій, немножко тягучій и отчасти сладкій. Говорилъ онъ словно бы гладилъ васъ по шерсткѣ бархатною коначьею лапкою,

такъ что пріятное щекотанье на душѣ отъ его словъ ощущалось. И вотъ, пошелъ онъ распорядиться насчетъ дружескаго угощенія, а полковникъ снялъ и поставилъ въ уголъ свою саблю, съ подергиваньемъ поправился насчетъ шароваръ, въ силу старой кавалерійской привычки, разстегнулъ скюртку и въ самой покойной позѣ погрузился въ глубокое, мягкое кресло, передъ пылающимъ каминомъ.

Этотъ уютный кабинетъ, или такъ называемы, у ксендзовъ «лабораторіумъ», былъ любимою комнатою ксендза-пробоща Ладыслава Кунцевича. Мягкій коверъ застилалъ крашеный полъ, а зеленныя рисованныя гардины, кидая на все колоритъ мягкаго полусвѣта, прикрывали большія окна, на которыхъ помѣщались розы, олеандры, левкои и магноліи. Широкій письменный столъ, освѣщаемый всяческою лампою подъ молочнымъ колпакомъ, былъ покрытъ бумагами, книгами и множествомъ такихъ бездѣлушекъ, которыя можно встрѣтить развѣ на столѣ очень красивой женщины или записного великосвѣтскаго денди; но въ этихъ бездѣлушкахъ ничто не оскорбляло вкуса и благопрістойности, ничто не нарушало строгаго порядка и своеобразной симметріи. Передъ широкой оттоманкой разстилалась на полу роскошно выдѣланная медвѣжья шкура. По одной стѣнѣ были протянуты полки съ рядами книгъ, между которыми виднѣлись сочиненія Севуа, извѣстныя высшею строгостію религіозныхъ требованій, нѣсколько почтенныхъ фоліантовъ и толстыхъ томиковъ, переплетенныхъ въ желтовато-бѣлую телячью шкуру, отъ которыхъ вѣяло почтенной древностію. По другой стѣнѣ висѣло большое Распятіе изъ чернаго дерева, съ фигурою Христа, очень изящно выточенную изъ слоновой кости, и нѣсколько гравюръ: тамъ были портреты св. Казимира, покровителя Литвы, знаменитой доудцы графини Эмили Плятеръ, графа Понятовскаго, въ уланской шапкѣ, геройски тонущаго въ Эльстерѣ, Яна Собѣскаго, освободителя Вѣны, молодцовато опершагося на свою «карабелю», св. іезуита Іосафа Кунцевича, софамильника пана Ладыслава, который почиталъ себя даже происходящимъ изъ одного съ нимъ рода, и наконецъ прекрасный портретъ Адама Мицкевича. На каминѣ между фарфоровыми вазочками, стояли двѣ гипсовыя фигурки, изъ которыхъ одна изображала Джузеппе Гарибальди, а другая—Тадеуша Костюшку въ чамаркѣ и конфедераткѣ. Въ глубинѣ комнаты возвышался молитвенный аналой съ высокимъ подколѣнникомъ, для того, чтобы необременительно было стоять на колѣняхъ во время молитвы. На аналоѣ помѣщались: бревіарій, два вазончика съ букетами искусственныхъ цвѣтовъ, изящное мраморное изображеніе Мадонны и надъ нею металлическое маленькое Распятіе. Нѣсколько другихъ картинокъ изображали все аллегорическаго да историческаго

сценки изъ исторіи Литвы и Польши, въ родѣ любовныхъ объятій Нѣмана съ Виліей, страданія какихъ-то католическихъ святыхъ и двѣ богородицы: Остробрамскую и Ченстоховскую. Но замѣчательнѣе всего по художественной части въ этой комнатѣ являлись два портрета, вѣшанные, подъ стекломъ, въ золоченныя рамки и висѣвшіе прямо передъ рабочимъ столомъ хозяина. На одномъ портретѣ очень рельефно вырисовывались энергическія черты покойнаго императора Николая; другой изображалъ государя императора Александра II.

Вкусная Зося, все съ той-же игриво-привѣтливой улыбкой, принесла на подносѣ хрустальную вазочку съ вареньемъ и темную бутылку, на поверхности которой являлись почтенные слѣды стародавняго пребыванія въ Фукеровскихъ подвалахъ.

— Добрымъ людямъ, добрую венгрину не подобаетъ пить изъ простыхъ стакановъ, докторально замѣтилъ панъ ксендзъ: — а потому мы достанемъ двѣ фамилыя дѣдушки: еще Ржечь Посполиту помнятъ!

И онъ не безъ самодовольной гордости добылъ изъ маленькаго шкафчика двѣ серебряныя стопки изящной старо-польской работы.

— То еще моему дѣду, пану Богушу Кунцевичу, самъ яснеосвѣтцоны панъ ксіонже Адамъ-Казимержъ Чарторыйскій на охотѣ въ Пулавахъ презентовалъ на памѣнтекъ, бо панъ дѣдъ Богушъ (тепчасть еще млоды чловѣкъ) добрже забилъ недзвѣдзя съ едней карабелей!—съ особеннымъ уваженіемъ пояснилъ панъ ксендзъ, поднося къ пану Болеславу свои стопки, чтобы тотъ полюбовался на ихъ отмѣнную чеканку.

Панъ ксендзъ, съ пріемами истаго знатока и любителя, серьезно освидѣтельствовалъ поданную бутылку; неторопливо и аккуратно откупорилъ ее, обтеръ и обчистилъ салфеткой горлышко, съ улыбкой истиннаго наслажденія, тихо прижмуривъ глаза, глубоко потянулъ въ себя носомъ ея ароматный букетъ, затѣмъ сталъ тихо лить вино, любуясь на его чистую, золотистую струю и, словно-бы прислушиваясь къ музыкальному шелесту и бульканью льющейся влаги, отхлебнулъ отъ края и подаль стопку своему гостю. Потомъ съ точно такимъ-же наслажденіемъ онъ наполнилъ другую для самого себя и, придвинувъ возможно ближе свое кресло, усялся какъ-разъ противъ Пшецынскаго, затѣмъ тихо дотронувшись обѣими ладошками до его колѣней и пылливо засматривая въ его глаза, спросилъ какимъ-то нѣжно-ласковымъ, какъ-бы разслабленнымъ и въ то-же время таинственно-серьезнымъ тономъ:

— Ну, и цо-жь, мой коханы?

— Ну, и ниць! — пожалъ плечами полковникъ.

— Якъ-то ниць?!.. Вѣдь стрѣляли?

— Въ Снѣжкахъ стрѣляли, а въ Пчелихъ

нѣтъ, и въ Коршанахъ нѣтъ... Да это что! Этихъ глупыхъ барановъ даже и пулей не озлобишь! Крѣпки они очень, мой ксенже канонику!..

И Пшецыньскій подробно и обстоятельно, часть за часомъ, шагъ за шагомъ, передалъ своему собесѣднику всю исторію пчелихинскихъ и снѣжковскихъ возстаній и укрощеній. Ксендзъ слушалъ серьезно и внимательно, время отъ времени отхлебывая маленькими глотками изъ своей стопки. По временамъ выраженіе лица его принимало многозначительно-довольный видъ, и онъ одобрительно поддакивалъ Пшецыньскому кивками. Когда-же полковникъ окончилъ свой отчетъ, ксендзъ-пробопъ Кунцевичъ вздохнулъ какъ-то особенно легко, выразительно-крѣпко пожалъ руку гостю и съ многодовольной улыбкой сказалъ ему:

— Терпѣніе, терпѣніе, муй коханы брацшкы!.. Я доволенъ паномъ: панъ дѣйствовалъ хорошо! Ойчизна неподлегла, вольная, не забудеть послуги паньскей!.. Каждое такое дѣйствіе, какъ было въ Снѣжкахъ, это новый кирпичъ въ фундаментъ велькего будованя!

И ксендзъ, воодушевленный завѣтною мыслью, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ, отчасти взволнованною, но вѣчно неслышимую, беззвучною походкою.

— Терпѣніе, говорю я!—продолжалъ онъ, потирая руки:—терпѣніе, терпѣніе!.. Это ничего, что это быдло кричало: «мы царскіе и что кровь наша царская!»—важно то, что въ нихъ стрѣляли, что они видѣли убитыхъ братьевъ, что они крови понюхали, — вотъ что важно! Такіе моменты не должны проходить даромъ, — человѣческая память не должна ихъ забывать! И ты, муй коханы панку, придержиася тутъ доброй политики: дѣло сдѣлалъ, совѣтъ подаль, а самъ въ сторонѣ. Этихъ псовъ вѣдь только науськать надо, а ужъ грызть они пойдутъ сами! Кто таковъ въ ихъ глазахъ посланецъ? Правительство! Сегодня они кричатъ: «мы царскіе!»—завтра перестанутъ, лишь-бы на нашу бѣдную долю доставалось побольше такихъ добрыхъ посланцевъ! Нужды нѣтъ, чтоэтобыдло не будетъ съ нами: намъ его и не нужно; оно будетъ само по себѣ и само за себя; лишь бы поднялось одновременно съ нами—и тогда дѣло наше выиграно! Мы разомъ дадимъ шахъ и матъ! Они для насъ дрова, которые мы сжигаемъ. Но... будемъ казаться пока братьями... Это нужно! Вотъ я покажу пану одну штуку!—продолжалъ ксендзъ, отперевъ свое бюро, въ которомъ подавилъ незамѣтную пружину, раскрывшую потайной ящичекъ: — вотъ, я не далѣе какъ на дняхъ еще, въ полнѣйшее подтвержденіе нашихъ собственныхъ мыслей и плановъ, получилъ отъ бискула съ забранаго края маленькую цидулу... я вѣдь писалъ туда. Тутъ и манпа ¹⁾ прило-

¹⁾ Планъ, ландкарта.

жена. Эту мапшу составилъ одинъ изъ наивысшихъ филаровъ велького будованя, панъ грабя Скаржинскій. Панъ, конечно, слыхалъ про пана грабего и знаетъ, что то есть за дроги чловѣкъ!.. Вотъ что пишетъ бискупъ:

«Недоразумѣніе между хлопами и панами, вслѣдствіе царства тмы и дьявола, должны усложняться, и уже сильно усложнились по всему забранему краю. Паны, какъ добрые обыватели, остаются въ сторонѣ, а дѣло идетъ черезъ посессоровъ, экономовъ, арендаторовъ и въ особенности черезъ пакцяжей¹⁾. При первыхъ недоразумѣніяхъ, и намъ и имъ (разумѣю добрыхъ пановъ), подобно Понтію Пилату, надлежитъ умывать руки и (политично для холопскихъ глазъ) стараться ввести въ дѣло войско и власть наѣзда. Эмиссары дѣлаютъ свое дѣло и по корчмамъ пускаютъ слухи, что московскій царь, чрезъ своихъ катовъ и гицелей-желнержей, душитъ и пановъ, и холоповъ вмѣстѣ; что паны рады бы дать хлопамъ и волю, и землю, да Москва мѣшаетъ: москали не хотятъ воли. Озлобленіе на ржондъ московскій, по свѣдѣніямъ нашимъ, сильно растетъ между хлопами,—Богъ и свентій Казимержъ помогаютъ свентей справѣ. Панъ грабя систематично намѣтилъ на мапшѣ, отъ пункта до пункта, гдѣ, какъ и когда должны происходить воинскія экскурціи. Онъ строго и обдуманно расчелъ, что если въ пунктѣ А произошло столкновеніе между хлопами и бидломъ наяздовымъ, то до какихъ географическихъ предѣловъ можетъ и долженъ распространиться въ народѣ слухъ и молва объ этомъ столкновеніи. Тогда послѣдовательно избирается новый пунктъ В, и такъ далѣе. Такіе округи помѣнены на мапшѣ особыми кружками, а направленіе молвы и слуховъ приблизительно опредѣлено въ видѣ радіусовъ, расходящихся отъ извѣстнаго центра особыми красными лучами и линіями. Эту мапшу я рекомендую преимущественно пану, для зависящихъ соображеній, а если можно, то и для распоряженій. Для успѣха нашего дѣла было бы весьма желательно, чтобы подобныя явленія повторялись чаще и систематичнѣе во всей коренной Россіи, а особенно на Волгѣ, гдѣ край, по нашимъ свѣдѣніямъ, преимущественно склоненъ къ волненіямъ. Первой задачей, при совершившемся разрѣшеніи крестьянскаго чили хлопскаго вопроса, которое разрѣшеніе, въ принципѣ, является для насъ, какъ для людей шляхетныхъ, все-таки фактомъ весьма печальнымъ,—должно быть съ нашей стороны стараніе поселить въ народѣ недовѣріе къ правительству и затѣмъ возбудить ненависть и вражду къ нему. Остальное сдѣлаютъ Богъ, время и неусыпные труды добрыхъ патріотовъ нашихъ, по преимуществу же

труды и усилія свентего костела и напей свентей вяры. Надобно изъ самаго зла извлекать для себя возможную пользу: потщимся и силу дьявольскую эксплуатировать въ пользу костела! Минута благоприятствуетъ, и посему не теряйте времени, да не застанетъ васъ всѣхъ во тмѣ слѣпыми и спящими великій Судія и Рѣшитель судебъ, какъ тать въ ночи приходящій, но да предстанете предъ Него бодрствующими, съ горящими свѣтильниками въ рукахъ и опоясанными поясомъ любви къ ойчизнѣ. Борьба наша есть борьба царствія свѣта съ царствомъ тмы дьявола; а Христось сказалъ: «созижду церковь Мою на камнѣ крѣпкомъ, и врата адовы не одолѣютъ ее». Ergo: побѣда за нами! Шлю вамъ мое пастырское благословеніе и, любя васъ во Христѣ, пребываю — смиреннѣйшій рабъ рабовъ — къ вамъ всегда благосклоннымъ. «Benedicat vos Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen».

Подписи не было.

По прочтеніи письма, и гость и хозяинъ сосредоточенно погрузились въ нѣкоторую задумчивость.

Вдругъ за печкой сверчокъ цвирикнулъ.

Пшецыньскій въ тотъ же мигъ насторожилъ уши и, сдѣлавъ ксендзу рукою жестъ, который въ точности выражалъ предупредительное междометіе «тсс!» — прислушиваясь осторожно и чутко, закусилъ себѣ нижнюю губу, внимательно осмотрѣлся вокругъ и особенно покосился на окна и двери. Но сверчокъ цвирикнулъ вторично — и полковникъ успокоился.

— Черезъ кого получено? — поднялъ наконецъ онъ голову, съ облегчительнымъ вздохомъ, когда Кунцевичъ подиалъ изъ бутылки въ обѣ стопы.

— Конечно, частнымъ путемъ. Новый эмиссаръ пріѣхалъ передъ вашимъ отъѣздомъ въ Свѣжки, — таинственно сообщилъ хозяинъ: — онъ и привезъ мнѣ это.

— Кто такой? — столь-же таинственно полюбопытствовалъ Пшецыньскій.

— Нѣкто Францишекъ Пожондовскій, молодой, но надежный чловѣкъ; изъ казанскаго университета... былъ на Литвѣ, оттуда прямо и пріѣхалъ... посланъ къ намъ, въ нашу сторону.

— По-русски хорошо говоритъ?

— Якъ самъ москаль! Чловѣкъ годящійся.

— Ну, то лучше!.. А еще не началъ?

— Южъ! — махнувъ рукою, тихо засмѣялся ксендзъ-пробощъ; — и теперь вотъ, я думаю, гдѣ нибудь по кабакамъ шатается! На другой-же день, какъ пріѣхалъ, такъ и отправился въ веси. Лондонскихъ прокламацій понавезъ съ собою — ловкій чловѣкъ, ловкій!

— А вѣдь я къ пану за совѣтомъ! — послѣ небольшого молчанія, началъ Пшецыньскій, закуривъ новую сигару: — ксендзъ каноникъ знаетъ, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитымъ въ Свѣжкахъ?

¹⁾ Pakciarz — еврей, арендующій панскихъ ко-

Кунцевичъ въ отвѣтъ кивнулъ головою, какъ о дѣлѣ досконально ему извѣстномъ.

— Я посылалъ туда адъютанта, да и кромѣ того мнѣ донесли о всѣхъ почти, кто тамъ находился,—продолжалъ Пшецыньскій:—только не знаю, какъ лучше сдѣлать теперь: донести-ли сейчасъ, или какъ нибудь помягче ступевать это происшествіе?

Ксендзъ отхлебнулъ изъ стопки и, многозначительно уставивъ глаза въ землю, съ раздумчивымъ видомъ пошевелилъ и поцмокалъ губами.

— Мм... Донести! Я такъ полагаю, что непременно надо донести, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, порѣшилъ онъ.—Не забывай, коханы пршія-целю, назидательно промолвилъ онъ:—что мы люди подлегальные, а потому намъ всегда слѣдуетъ прятаться подъ легальность.

— Но вѣдь потомъ, вѣроятно, арестовать придется?—возразилъ Болеславъ Казиміровичъ.

— Ну, и цо-жь! Ну, и арестовать!.. Надо только донести съ разборомъ и арестовать съ разборомъ. Людей одинокихъ, безродныхъ, изъ тѣхъ, которые покрасивѣй да позадорливѣй, мы не тродемъ, развивалъ ксендзъ свою теорію—тѣ намъ и самимъ еще впредъ пригодятся. А тѣхъ, у которыхъ есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менѣе энергичны въ дѣлѣ, — тѣхъ позабираемъ и отправимъ до казематовъ. Такимъ способомъ мы двухъ зайцевъ убьемъ! Хе, хе, хе! — тихо посмѣивался пзбоченившійся ксендзъ-пробоцъ, ласково хлопнувъ полковника по колѣну и плутовато подмигивая ему глазомъ: — все-таки двухъ зайцевъ разомъ!—продолжалъ онъ;—все, что пригодно, то останется, а о тѣхъ, которые будутъ забраны, и въ семьяхъ, и въ обществахъ, пойдутъ толки, сожалѣнія, сѣтованія да ропотъ... Недовольство станетъ возрастаться, все-таки лишняя капля горечи въ чашу, а Панургово стадо не ослабѣетъ, если нѣсколько барановъ будутъ зарѣзаны!.. Надо только, чтобы бараны были такъ-себѣ, не важные, изъ неособенно тонкорунныхъ. Это намъ, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигдѣ упускать своихъ нитей!

Полковникъ благодарно обнялъ и звучнымъ поцѣлуемъ отъ души облобызалъ своего глубоко-тонкаго и политично-умнаго совѣтника. Не даромъ оба они называли себя цеглой велького будованія ¹⁾).

Пріятели роспили завѣтную бутылку; ксендзъ вдосталь молакомился вареньемъ, и Пшецыньскій сталъ прощаться. Опять они взялись подъ локти и взаимно облобызались дважды.

— Ахъ, да!.. Чуть было не забылъ!—остановилъ Кунцевичъ своего гостя, провожая его въ прихожую: — если панъ увидитъ завтра

утромъ панн Констанцію, то пусть скажетъ, что я заѣду къ нимъ часовъ около трехъ; надо внушить, ей пускай-ко постарается хоть слегка завербовать въ стадо этого фонъ-Саксена... Онъ, слышно, податливъ на женскіи рѣчи... Можетъ, дастъ Богъ, и изъ этого барона выйдетъ славный баранъ! — съ обычнымъ своимъ тихимъ и мягкимъ смѣхомъ завершилъ Кунцевичъ, въ послѣдній разъ откланиваясь Пшецыньскому.

Они разстались, но оба въ тотъ вечеръ не закончили еще свою дѣятельность на пріятельскомъ разговорѣ. И тотъ и другой долго еще сидѣли за рабочими столами въ своихъ кабинетахъ. Одинъ писалъ донесеніе по своему особому начальству, другой—къ превелебному пану бискупу съ забраного края.

Сходка.

Дня два спустя послѣ панихиды въ номеръ къ Хвалынцеву заглянулъ Устиновъ.

— А я къ тебѣ на минутку,—началъ онъ, снимая калоши и разматывая гарусный шарфъ.—Съ тобой желаетъ познакомиться одна милая дѣвица... Лубянская. Можетъ ты замѣтилъ? стриженная; стояла около этого Полоярова, что въ кумачѣ-то ходить.

— Что же этой милой дѣвицѣ нужно отъ меня? лѣниво проговорилъ Хвалынцевъ, лѣниво подымаясь съ дивана.

— Ну, какъ «что!» Ты вѣдь, въ нѣкоторомъ родѣ, интересная личность, новый человекъ здѣсь, да еще и въ Снѣжкахъ былъ... Нѣтъ, она въ самомъ дѣлѣ добрая! Если хочешь, отправимся нынче вечеромъ,—я забѣгу за тобою.

— Да вѣдь скука, поди-ко? поморщился было Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, ничего! Увидишь разныхъ народовъ... Между прочимъ, Татьяна Николаевна Стрѣшневна будетъ,—какъ бы въ скобкахъ замѣтилъ учитель.

— Ахъ, это—та! воскликнулъ студентъ, не сумѣвъ воздержаться отъ хорошей, открытой улыбки.

— Она самая.

— Ну, пожалуй, поѣдемъ!.. Я не прочь.

— А кстати, слышалъ ты самую новую новость? серьезно спросилъ Устиновъ, собравшись уже уходить отъ пріятели.—Говорятъ, что нынче ночью арестовали нѣсколькихъ чело-вѣкъ изъ бывшихъ на панихидѣ.

Хвалынцева слегка покорило, словно бы и за самимъ собою почувствовалъ онъ возможность быть арестованнымъ.

— Что-жь, мудренаго ничего нѣтъ,—пожалъ онъ плечами.

— Штука скверная... и довольно грустная. Вечеромъ, вѣроятно, услышимъ кой-какія цо-

¹⁾ Cegła—кирпичъ. Wielkie budowanie—великое строеніе,—стародавній, специальный терминъ, для обозначенія конспиратной дѣятельности польской sprawy. Возникъ онъ первоначально отъ „бѣ-лыхъ“.

дробности,—заклучилъ Устиновъ, подавалъ руку на прощанье.

* * *

На весьма скромной и порядкомъ-таки пустынной улицѣ, называемой Перекопкой, стоялъ довольно ветхій деревянный домикъ о пяти окнахъ. Наворотная жестянка гласила, что домъ сей принадлежитъ отставному майору Петру Петровичу Лубянскому. Въ калитку этого самаго дома, часовъ около восьми вечера, прошли двое нашихъ друзей.

Почти въ самыхъ дверяхъ изъ прихожей въ небольшое зальце Хвалынцева встрѣтила милостивая брюнеточка, въ простомъ люстриновомъ платьѣ темнаго цвѣта, съ пухленькимъ личикомъ въ томъ характерѣ, который наиболѣе присущъ брюнеткамъ чисто русской породы.

— Хвалынцевъ? вскинула она на него улыбающіеся глазки, не прибавя къ его имени обычнаго прилагательнаго «господинъ».

— Хвалынцевъ,—подтвердилъ ей студентъ съ поклономъ.

— Ну, здравствуйте! Я хотѣла познакомиться съ вами. Пожалуйста безъ церемоній,—можете дѣлать что захочется: хотите—сидите, хотите—курите, молчите, или разговаривайте—какъ найдете для себя удобнѣе, хотя мнѣ собственно хотѣлось бы болѣе, чтобы вы разговаривали; но... это, впрочемъ, для васъ нисколько не обязательно.

Прощебетавъ все это довольно быстро, дѣвушка отошла къ большому креслу предъ рабочимъ столикомъ и усѣлась за какое-то шитье.

— Папахенъ! — закричала она въ другую комнату:—ступай сюда, познакомься! Къ намъ новый гость пришелъ!

Изъ смежной комнаты послышалось шлепанье туфель—и въ дверяхъ показался, въ чистомъ стеганомъ халатикѣ, сивенькій старичокъ съ очень добродушнымъ лицомъ, которое носило на себѣ почтенную печать многихъ походовъ и долгой боевой жизни.

— Очень пріятно!.. очень пріятно!—привѣтливо заговорилъ онъ, съ видимымъ радужіемъ сжимая и трясая обѣими руками руку Хвалынцева: — извините старика... что я къ вамъ эдакъ... по домашнему.

— Ну, папахенъ! ты это оставь! Хвалынцевъ, конечно, знаетъ пословицу, что въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ.

Студентъ немножко сконфузился, почувствовавъ при этихъ словахъ маленькую неловкость: показалось оно ему больно ужъ оригинальнымъ; но онъ тотчасъ же и притомъ очень поспѣшно постарался самъ себя успокоить тѣмъ, что это, молъ, и лучше,—по крайней мѣрѣ безъ всякихъ церемоній, и что оно по настоящему такъ и слѣдуетъ.

— Я гостей своихъ не рекомендую другъ другу,—обратилась Лубянская къ Хвалынцеву

изъ-за своей работы:—это однѣ только скучныя официальности, а коли угодно, каждый можетъ самъ знакомиться.

Студентъ молча поклонился и, снова опустивъ нѣкоторую неловкость, разсѣянно перевелъ глаза на обстановку комнаты.

Небольшое зальце было убрано весьма просто, кое-какая сборная мебель, кисейныя занавѣски, старыя клавикорды, а по стѣнамъ портреты Ермолова, Паскевича, Воронцова и двѣ литографіи, изображающія подвиги простыхъ русскихъ солдатиковъ: умирающаго рядового, который передаетъ товарищу спасенное имъ полковое знамя, да другого, такого же точно солдата, съ дымящимся фпгилемъ предъ пороховымъ погребомъ, въ то время, когда малочисленные защитники укрѣпленія почти всѣ уже перебиты да перерѣзаны огромными полчищами горцевъ. Въ этихъ портретахъ, да въ этихъ литографіяхъ, быть можетъ, заключались лучшія, самыя завітныя и самыя теплыя воспоминанія стараго майора.

Прітели наши застали уже здѣсь кое-кого изъ гостей. Въ углу дивана помѣщался въ развалисто-небрежной позѣ и въ неизмѣнной красной рубахѣ—Ардаліонъ Полояровъ, а рядомъ съ нимъ сидѣла дама лѣтъ двадцати семи, весьма художавая, однако не безъ остатковъ прежней милостивости. Волоса ея точно также были острижены; но то, что довольно еще шло къ молодому личику хозяйки, вовсе ужъ было не къ лицу ея двадцати-семи-лѣтней гостьѣ, придавая всей фizioноміи ея не то какой-то птичій, не то—деревянно-кукольный и даже непріятный характеръ. Дама эта—по имени Лидинька Затцъ—вмѣстѣ съ Полояровымъ жгла папиросу за папиросой и, время отъ времени, кидала на него, исподтишка, довольно нѣжные взоры.

Маленькій Анцыфровъ, заложивъ въ карманы руки и на ходу постукивая каблуккомъ о каблукъ, безъ всякой видимой надобности, скучно слонялся изъ угла въ уголъ по комнатѣ.

Майоръ, усадивъ Хвалынцева, какъ-то застѣнчиво удалился въ свою комнату, запахивая халатикъ, а Полояровъ при этомъ довольно безцеремонно оглядѣлъ усѣвавшегося студента пристальнымъ взглядомъ; но изъ-подъ синихъ очковъ характеръ этого взгляда не могъ быть хорошо замѣченъ, такъ что Хвалынцевъ скорѣе почувствовалъ его на себѣ, нежели увидалъ.

— Вы студентъ?—началъ наконецъ Ардаліонъ, повернувшись къ нему голову и продолжая свое разсматриваніе.

— Это видно по моему синему воротнику—слегка улыбулся Хвалынцевъ.

— Синій воротникъ, батюшка, ничего не доказываетъ. Вонъ и у жандармовъ тоже синій воротникъ. Синій воротникъ—это одна

только форма, а я спрашиваю: по духу студентъ-ли вы?

Хвалынцеву показалось это достаточно наглымъ.

— А что васъ такъ интересуетъ?—впадая въ тонъ Ардаліона, въ упоръ спросилъ онъ его.

— То-есть меня-то, собственно, оно несколько не интересуетъ, — уставя глаза въ землю и туго, медленно потирая между колѣнъ свои руки, сталъ какъ-то выжимать изъ себя слова Полояровъ, — а я собственно потому только спрашиваю, что люблю все на чистоту: всегда, знаете, какъ-то пріятнѣй сразу знать съ кѣмъ имѣешь дѣло.

— Но вѣдь пріятель мой доселѣ, кажется, не имѣетъ съ вами никакого дѣла?—довольно мягко вступился Устиновъ.

Этотъ неожиданный отпоръ слегка озадачилъ Полоярова.

— Все равно!—поправился онъ въ ту же минуту;—мы вотъ вмѣстѣ въ гостяхъ теперь у Лубянской, стало-быть, вотъ ужъ вамъ и есть, въ данный моментъ, общее дѣло.

— Ну, коли это такъ интересно знать, я пожалуй успокою васъ,—помиривъ учитель все съ тою же деликатно-снисходительною улыбкою:—я вполне уважаю моего пріятеля. Довольно съ васъ этого?

Полояровъ исподлобья бросилъ косой взглядъ на Хвалынцева и, въ знакъ удовлетворенія, съ какою-то медвѣжьею угрюмостью слегка кивнулъ головою.

— Стало-быть, вы нашъ. Это хорошо!—бурчалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Вы вѣдь, кажется, помѣщикъ здѣшній?—Я такъ слышала что-то... прищурилась на Хвалынцева, спросила Лидинька Затцъ, все время не переставшая уничтожать папироски.

— Помѣщикъ, сударыня.

— Гм... Стало-быть собственникъ. Это не хорошо!—ввернулъ свое слово Полояровъ.

Студента начинало покоробливать отъ всѣхъ этихъ разспросовъ и замѣчаній, такъ что онъ уже сталъ недоумѣло и вопросительно поглядывать на Устинова: что, молъ, все это значить? куда и къ кому, молъ, завелъ ты меня?

— Анна Петровна!—обратился учитель къ хозяйкѣ, намѣреваясь сразу повернуть разговоръ въ другую сторону,—слыхали вы, нынче ночью аресты сдѣланы?

— Да, да! Представьте, кака я подлость!—вдругъ разгораясь и круто повернувшись на каблукѣхъ, запицалъ и замахалъ руками плюгавенькій Анцыфровъ,—это... это чортъ знаетъ что!—Дѣйствительно, арестовано множество, и я не понимаю, какими это судьбами уцѣлѣли мы съ Ардальономъ Михайловичемъ... Впрочемъ, пожалуй, гляди, не сегодня-завтра и насъ арестуютъ.

Анцыфровъ, видимо, желалъ порисоваться,—показать, что и онъ тоже такого рода важная

птица, которую есть за что арестовать. Полояровъ, напротивъ, какъ-то злобно отмалчивался. По свѣдѣніямъ хозяйки оказалось, однако, что забрано въ ночь вовсе не множество, на чемъ такъ упорно продолжать настаивать Анцыфровъ, а всего только четыре человѣка: одинъ молодой, но семейный чиновникъ, одинъ офицеръ Инфляндманландскаго полка, племянникъ соборнаго протопопа, да гимназистъ седьмого класса — сынъ инспектора врачебной управы.

Устиновъ и стриженная дама весьма удивились: всѣ четверо хотя и присутствовали на панихидѣ, но были люди далеко не бойкіе и едва ли въ чемъ особенно замѣшанные.

— Это все Пшецыньскій! все онъ!.. Но я вамъ, напротивъ, говорю, что взято множество! вы еще не знаете! — продолжалъ между тѣмъ Анцыфровъ.—Этотъ Пшецыньскій—это такая продувная бестія...

— А еще полякъ!—съ горькимъ упрекомъ замѣтила г-жа Затцъ.—Безчестить польское имя!

— Ну, ужъ я вамъ доложу-съ — по моему крайнему убѣжденію вотъ какъ выходитъ,—заговорилъ Полояровъ:—я поляковъ люблю и уважаю; но коли полякъ разъ вошелъ на эдакую службу, такъ ужъ это такой подлый кремень, который не то что насъ съ вами, а отца родного не пощадитъ! Это ужъ проданный и отпѣтый человѣкъ! въ немъ поляка ни на столько не осталось!—заклучилъ Ардальонъ, указывая на кончикъ своего мизинца—и всѣ безусловно согласились съ его компетентнымъ мнѣніемъ.

Къ воротамъ подкатила крытая колясочка въ одну лошадь и черезъ минуту въ комнату вошла Татьяна Николаевна Стрѣшнева.

Лицо Хвалынцева замѣтно прояснилось и даже заиграло яркимъ румянцемъ. Онъ вообще очень плохо умѣлъ скрывать свои ощущенія. И самъ не вѣдая какъ и почему, онъ неоднократно, въ теченіе этихъ двухъ сутокъ, вспоминалъ ея разговоръ въ церкви съ Анатолемъ и всю ея изящную, стройную фигурку, и эти воспоминанія безотчетно были ему пріятны.

Вотъ и теперь вошла она такъ просто, такъ хорошо и спокойно, въ простомъ, но очень изящномъ нарядѣ, съ своими честными, умными глазами, съ своею безмятежною улыбкою, и Хвалынцеву стало хорошо и весело при ея появленіи.

Весело, но немножко принуждено встрѣтила ее Лубянская. Старый майоръ нарочно вышелъ къ ней въ залу и здороваясь душевно подѣловалъ ея русую головку, причемъ Полояровъ никакъ не удержался, чтобы не буркнуть про себя: «скажите, пожалуйста, какія нѣжности!» Устиновъ, который, повидимому, былъ съ нею въ очень хорошихъ отношеніяхъ, представилъ

ей Хвалынцева, и Хвалынцевъ при этомъ покраснѣлъ еще болѣе, за что, конечно, остался на себя въ нѣкоторой досадѣ.

— А вы никакъ въ своемъ экипажѣ пріѣхали? — адресовался къ ней Ардальонъ, подойдя къ окну и заложивъ большіе пальцы рукъ за поясъ.

— Въ тетушкиномъ, — удовлетворила его любопытству Татьяна Николаевна.

— Такъ-съ!.. Аристократничаете, значитъ.

Стрѣшневъ оглядѣла его спокойно, но холодно.

— Желаете папироску? — продолжалъ Ардальонъ, подавая ей вынутую пачку.

— Вы, кажется, знаете, что я не курю.

— Я, кажется, знаю это, подтвердилъ онъ — но терпѣть не могу, когда люди вообще сидятъ, ничего не дѣлая! Папироску сосать — все-таки какое-нибудь занятіе. Вотъ и Лубянскую пріучаю, да плохо что-то. Все это, доложу я вамъ, жангильничанье!.. Женственность, изволите видѣть, страдаетъ; а по нашему, первымъ дѣломъ каждая порядочная жевщина, то-есть *женщина опла*, должна прежде всего всякую эту женственность къ чорту!

Ардальонъ попалъ на одну изъ любимѣйшихъ своихъ темъ и потому пошелъ расписывать. Анцифровъ то и дѣло поддакивалъ, мотая бѣлобресенькой головенкой.

— Намъ нужна женщина-работникъ, женщина-товарищъ, женщина-человѣкъ, а вѣрнѣе сказать — женщина-самка, — продолжалъ Полояровъ, — а эта гнилая женственность, это одинъ только изящный развратъ, который изъ вашего брата дѣлаетъ куколъ. Это все эстетика! (послѣднее слово было произнесено съ особеннымъ презрѣніемъ). — Лубянская, хотите, что ли, папироску? Бавфра, что называется, Сампсонъ крѣпкій.

Лубянская не посмѣла отказаться отъ предложеннаго курева и морщась стала втягивать въ себя струю крѣпкаго дыма. Полояровъ глядѣлъ на нее забавляючися и самодовольно улыбался.

Вскорѣ пришли еще двое новыхъ гостей: докторъ Адамъ Яроць и учитель латинскаго языка Подвилянскій. Подали чай. Подвилянскій отозвалъ въ сторону Полоярова и тайнственно показалъ ему изъ боковаго кармана сложенный печатный листъ.

— Новый нумеръ, вчера только-что получили; интересный статья есть, — сообщая оъ тихо.

Ардальонъ кивнулъ доктору.

— Послушайте, Яроць, — началъ онъ тише чѣмъ вполголоса, — уведите-ка глупаго старца, да засядьте съ нимъ въ пашки, чтобы не мѣшалъ, а мы тутъ почитаемъ пока.

Яроць отвѣтно мигнулъ на это: дескать, смекаемъ, пріятель, и политично отправился къ майору.

Но оказалось, что майора теперь, пожалуй, не скоро сдвинешь съ точки его разговора. Петръ Петровичъ тоже попалъ на любимую свою тему и завербовалъ въ разговоръ Татьяну Николаевну да Устинова съ Хвалынцевымъ. Онъ толковалъ своему новому знакомому о воскресной школѣ, которую, наконецъ-то, удалось ему, послѣ многихъ хлопотъ и усилій, завести въ городѣ Славнобубенскѣ. Эта школа была его созданіе и составляла одну изъ первыхъ сердечныхъ его слабостей.

— Вотъ, спасибо Татьянѣ Николаевнѣ да Андрею Павлычу (старикъ указалъ на Устинова), помогаютъ доброму дѣлу! Самъ я кое-какъ грамотѣ обучаю; законъ Божій — пречистенскій дьяконъ, отецъ Сидоръ, ходитъ преподавать; Андрей Павлычъ по ариеметикѣ, а Татьяна Николаевна съ Анютой мнѣ, старику, насчетъ грамоты помогаютъ, да вотъ тоже которыя дѣвочки есть у насъ, такъ тѣхъ рукодѣлію разному обучають. И пока, надо благодарить Бога, отлично шло дѣло: восемнадцать мальчиковъ да одиннадцать дѣвочекъ обучаються — итого двадцать-девять человѣкъ-съ! Ужъ сколько благодарностей отъ родителей получали. Бѣдные люди-съ, за ученье платить не изъ чего, ну, и благодарять... И теперь вотъ много желающихъ есть, да помѣститься-то негдѣ: помѣщеніе у насъ тѣсновато, вотъ и все тутъ, какъ видите! (Старикъ указалъ на комнату и обвелъ ее по стѣнамъ глазами). Ужъ мы тутъ что себѣ надумали: хорошо бы эдакъ концертикъ какой-съ литературнымъ чтеніемъ въ пользу школы устроить! Если бы только рублишекъ полтора ста собрать, такъ можно бы и пособій кое-какихъ купить: грифельныхъ досокъ, букварей, катихизисовъ, да вотъ по сосѣдству тутъ за сто рублей въ годъ просторную квартиру уступаютъ, вотъ бы и нанять ее подъ школу-то: человѣкъ до ста могло бы обучаться! Ужъ я рѣшилъ отправиться къ губернаторшѣ; она, говорятъ, добрая; буду просить ея покровительства да содѣйствія насчетъ концертика-то. Какъ вы полагаете? Авось, Богъ поможетъ! а?

— А я вамъ доложу-съ, что вы это насчетъ школы не тово, — вмѣшался въ разговоръ подошедшій въ это время Полояровъ; — у васъ со-всѣмъ не рационально-съ ведется дѣло.

— Какъ это, то-есть, не рационально? уставился на него недоумѣлыми глазами Петръ Петровичъ.

— А такъ-съ! Нѣтъ настоящаго принципа, здороваго направленія нѣтъ въ преподаваніи. Кабы я повелъ это дѣло, я бы сейчасъ съ самаго же начала по-боку этого вашего отпа Сидора.

— Это почему?! изумились разомъ и старикъ, и Устиновъ со Стрѣшневой.

— А потому, что глупый человѣкъ. Что онъ ихъ эти молитвы вдолбляку заставляетъ учить да побасенки рассказываетъ! Тутъ нужно не

того: нужно имъ разъяснить это дѣло въ настоящую! въ корень! Нужно здоровую почву подготовить, закваску хорошую дать.

— Конечно, по Штраусу и по Ренану? съ легкою проніей замѣтила Стрѣшневая.

— Пожалуй, даже менѣе по Ренану, а вотъ по Штраусу-то не мѣшало бы, — подтвердилъ Полояровъ. — Потомъ въ этомъ же направленіи можно бы, пожалуй, отчасти допустить и естественныя науки, въ самомъ популярномъ изложеніи, а главное насчетъ развитія: нужно бы чтеніе здоровое дать.

— А что это вы понимаете подъ здоровымъ? — слегка нахмурясь спросилъ старикъ.

— Ну, ужъ это мы про себя разумѣемъ, отклонился Полояровъ: — разное есть.

— Нѣтъ, батюшка, извините меня, старика, а скажу я вамъ по-солдатски! рѣшительнымъ тономъ завершилъ Петръ Петровичъ. — Дѣло это я почитаю, ровно царскую службу мою, святымъ дѣломъ, и вился я за него, на старости лѣтъ, съ молитвой да съ Божьимъ благословеніемъ, такъ ужъ дьявола-то тѣшить этимъ дѣломъ мнѣ не приходится. Я, сударь мой, хочу обучать ребятъ, чтобъ они были добрыми христіанами да честными русскими людьми. Мнѣ за нихъ отчетъ Богу давать придется; такъ ужъ не смущайте вы нашего дѣла!

— Да нѣтъ, это такъ невозможно оставить! въ вашу школу необходимо ввести освѣжающій элементъ, а безъ того все это ни къ чорту! Эдакъ-то вы намъ только ребятъ перепортите!

Петръ Петровичъ рукой лишь махнулъ съ затаенной досадой и ушелъ въ свою комнату.

Докторъ Яроць улучилъ подходящую минуту и предложилъ ему партію въ шашки. Старикъ не отказался.

А тѣмъ часомъ, осторожно притворивъ дверь его комнаты, Подвилянскій съ таинственно-многозначительнымъ видомъ вынулъ изъ кармана свернутый печатный листъ и, торжественно держа его надъ головою, показалъ всему обществу.

— *Колоколъ!* — проговорилъ онъ нѣжно-почтительнымъ и даже священно-благословѣннымъ шопотомъ.

Все общество необыкновенно живо подвинулось къ столу, за которымъ усѣлся Подвилянскій, и жадно, нетерпѣливо приготовилось слушать съ тѣмъ чувствомъ живѣйшаго интереса, который уже переходилъ въ лихорадочный зудъ любопытства.

Подвилянскій началъ чтеніе своимъ нѣжно-мягонькимъ, тихимъ голосомъ. Полояровъ въ иныхъ мѣстахъ выражалъ одобреніе довольно сдержаннымъ мычаньемъ, а неодобреніе пощмокиваньемъ да хмурыми гримасами; зато Анцыфровъ каждый разъ просто взвизгивалъ и подпрыгивалъ отъ избытка наслажденія.

— Нѣтъ, чортъ возьми, это все не то! не

выдержалъ, наконецъ, Ардадьонъ Полояровъ; — этого Александра Ивановича пора ужъ и въ архивъ бы сдать: выдыхаться начинаетъ, сердечный! Да и глупъ сталъ! Ну, что онъ тутъ дуракомъ-то эдакимъ привѣтствуетъ всѣ эти реформы!.. Какія тутъ, у чорта, реформы!... Тутъ реформа одна только — во! (и онъ выразительно выдвинулъ при этомъ на показъ свой кулакъ). Тутъ реформа — топоръ!... Кровоопусканьице маленькое учинить нужно господамъ дворянамъ да собственникамъ, тогда и реформы сами собою явятся, а безъ того — все комедь да сапоги въ смятку!..

Хвалынцевъ наблюдалъ, какое впечатлѣніе производятъ на присутствующихъ вѣщанія Ардадьона. Все общество, за исключеніемъ Стрѣшневой да Устинова, слушало его съ весьма страшною вѣрой, и работѣннымъ благоговѣніемъ. Самоувѣренность, съ какою обыкновенно изрекалъ свои приговоры Ардадьонъ Полояровъ, показывала, что онъ давно уже привыкъ почитать себя какимъ-то избранникомъ, гениемъ, оракуломъ, пророкомъ, вѣщанія котораго рѣшительны и непогрѣшмы; онъ до такой степени былъ уже избалованъ безусловнымъ вниманіемъ, уваженіемъ и вѣрою въ его слова, что требовалъ отъ всѣхъ и cadaго почти тельнаго благоговѣнія къ своей особѣ, принимая его въ смыслъ необходимо-достоудолжной данн.

Стрѣшневая слушала, слушала и наконецъ не выдержала. Дсвольнo явная ироническая усмѣшка заиграла на ея хорошенькихъ губкахъ, а глаза глядѣли на вѣщателя съ безпощаднымъ пониманіемъ всей его внутренней сути.

Тотъ это замѣтилъ. Его покоробило и передернуло подъ ея спокойнымъ взглядомъ; брови насупились и на лицо выступила багровая краска.

— Вы!.. Стрѣшневая! послушайте! — началъ онъ тѣмъ нахальнымъ тономъ, который уже прямо сбивался на явную и предумышленную дерзость.

— Во-первыхъ, господинъ Полояровъ, прежде чѣмъ я васъ послушаю — перебила она его совершенно спокойно и не измѣняя характера своей прежней улыбки, — я охотно желала бы напомнить вамъ, что у меня есть имя. Зовутъ меня Татьяной Николаевной.

— Да кто тамъ будетъ еще помнить всѣ ваши имена!.. Моей головѣ нѣтъ лишняго времени заниматься такими пустяками!

Полояровъ все болѣе и болѣе терялъ необходимое хладнокровіе.

— Въ такомъ случаѣ, чтобы не утруждать себя, продолжала дѣвушка, — вы бы могли очень просто прибавить къ моей фамиліи маленькое слово «госпожа». Это вѣдь не трудно, и вѣжливо.

— Ну, я насчетъ галантерейностей не мастеръ! Это все рутинна-сь!.. Я, извините, за-

бываю все, что въ васъ эта барская закваска сидитъ. Я хотѣлъ только спросить, чего это вы такъ ухмыляетесь, на меня глядячи? Изволили вы найти въ моихъ словахъ что-нибудь смѣшное и несообразное? Любопытно было бы знать, что именно?

— О, если это вамъ такъ любопытно, такъ извольте!

— Потрудитесь объясниться.

Полояровъ избоченился и приготовился слушать съ тѣмъ высокомернымъ, Зевесовскимъ достоинствомъ, которое почиталъ убійственнымъ, уничтожающимъ для каждого дерзновеннаго, осмѣливавшагося такимъ образомъ подойти къ его особѣ. А между тѣмъ въ немъ кипѣла и багровыми пятнами выступала на лицо вся его злоба, вся боль уязвленного самолюбія. Въ ту минуту у него руки чесались, просто, взять да прибить эту Стрѣшневую.

Татьяна Николаевна очень хорошо видѣла и понимала его внутреннее состояніе: онъ не прощалъ ей этого упорнаго отсутствія всякаго поклоненія его особѣ, и въ тотъ моментъ ей сильно захотѣлось, что называется, порядкомъ проучить Ардаліона Полоярова.

— «Ухмыляюсь» я, какъ вы выразились, тому,—начала она еще съ большимъ спокойствіемъ,—что мнѣ жалко васъ стало. Ну, что вы насъ, дѣвчонокъ, удивляете вашимъ радикализмомъ!.. это не трудно. А жалко мнѣ васъ потому, что вы сами вѣдь ни на горчичное зерно не вѣруете въ то, что проповѣдуете.

— Мое дѣло не расходится съ моимъ словомъ! съ гордымъ презрѣніемъ и будто неуязвимымъ достоинствомъ перебилъ Полояровъ;—за меня факты-съ!.. Я, мпlostивая государыня, не далѣе какъ два дня назадъ съ паперти говорилъ народу!

Анцыфровъ, который было смиренненько съежился при словахъ Стрѣшневой, теперь вдругъ просіялъ и, потирая руки, даже слегка подпрыгнулъ на своемъ стулѣ.—«Что, моль, взяла!»—Онъ торжествовалъ побѣду своего друга.

— Эхъ, Ардалъонъ Михайловичъ, полноте! съ горькимъ сожалѣніемъ покачала головой дѣвушка.—Слышала я и видѣла, что вы говорили, и что дѣлали! Улучили минутку, когда кварталный куда-то отвернулся, а подѣхала полиціеинспекторская пара въ-пристяжку... Извините, но я бы очень хотѣла знать, что случилось съ вами и съ вашимъ краснорѣчіемъ въ ту самую минуту?

Устиновъ не выдержалъ и разсмѣялся. Легкая улыбка покосила и губы Хвалынцева; Анцыфровъ же снова примолкъ и съѣжился. Остальные сидѣли молча, пригнетенные, словно бы ожидая, что вотъ-вотъ сейчасъ разразится гроза и буря. Одна только Стрѣшневая была совершенно спокойна и улыбалась своей ясной, безмятежной улыбкой.

Пунцовый Ардалъонъ вдругъ поблѣднѣлъ и

поднялся мѣста. Это уже было слишкомъ. Этого онъ даже и отъ Стрѣшневой не ожидалъ. Кулаки его судорожно были сжаты! губы нервночески подергивало злобственной усмѣшкой. Онъ видимо боролся съ собою, стараясь сдержать и подавить въ себѣ какое-то нехорошее чувство, и потому угрюмо запагалъ по комнатѣ.

Всѣ молчали, и всѣмъ это молчаніе было особенно тягостно; но никто не чувствовалъ ни возможности, ни желанія заговорить о чемъ бы то ни было—первымъ.

— Такъ по вашему убѣжденію я струсилъ?—съ проницательной гримасой, но уже гораздо мягче и на нѣсколько тоновъ ниже заговорилъ наконецъ Полояровъ, остановясь предъ Стрѣшневой.—Нѣтъ-съ, Татьяна Николаевна, ошибаться изволите!.. Не трусость, а благоразуміе во мнѣ говорило! Эта самая голова-съ (и онъ, не безъ поползновенія на эффектъ указавъ на свою кудластую шевелюру), да! эта вотъ самая-съ башка пригодится еще и впредь на что-нибудь болѣе серьезное... Въ наше время каждый честный дѣятель обязанъ побережеть себя до рѣшительной минуты. Поживете, такъ увидите; а не увидите, такъ услышите! вѣско и многозначительно закончилъ онъ съ легкимъ полупоклономъ,—и фигурка Анцыфрова снова просіяла, да и всѣ присутствовавшіе почувствовали словно камень съ плечъ у нихъ скатился.

Ардалъонъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что авторитетъ его снова восстановленъ, и ему теперь захотѣлось хоть чѣмъ-нибудь поскорѣе сгладить послѣдніе слѣды недавняго настроенія своихъ поклонниковъ, чтобы окончательно закрѣпить въ ихъ глазахъ полную незыблемость своего авторитета. Поэтому онъ подошелъ къ Подвилянскому и, хлопнувъ его слегка по плечу, сказалъ съ улыбкой:

— Ну, пане-брате, воспроизведи-ко что-нибудь на фортопьясъ!

Подвилянскій не заставилъ долго просить себя и на разбитомъ фортепіано сталъ брать какіе-то аккорды.

— Что это такое вы играете?—спросилъ его кто-то.

— Польское, — отвѣчалъ онъ тихо, но гордо.—Это нашъ гимнъ: «ze dymemъ rozagów».

Всѣ удвоили вниманіе и прослужили гимнъ съ видимымъ удовольствіемъ и большой симпатіей. Анцыфровъ захлопалъ въ ладоши и присталъ повторить.

— Нѣтъ, стойте!—перебилъ Полояровъ,—я вамъ спою штуку! Играй-ко, пане-брате, помнишь, я училъ тебя онамедни, на голосъ: «Я посю-ль, молода-младенька». Слыхали вы, господа, русскую марсельезу?

— Bravo! bravo!—завизжалъ Анцыфровъ.

Подвилянскій взялъ нѣсколько новыхъ аккордовъ, а Полояровъ, видимо рисуясь, сталъ въ размашисто-ухарскую позу, откинувъ на-

задъ свои волосы, обдергалъ книзу кумачевую рубаху и запѣлъ звучнымъ басомъ:

„Долго васъ помѣщичи душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодѣю
Подставлять мы шею.
Въ страхъ васъ квартальные держали,
Нѣмцы муштровали,
Про царей попы твердили міру...“

Но въ эту самую минуту изъ кабинета позвалъ майоръ въ своемъ халатикѣ.

— Ну, нѣтъ, батюшка, у меня въ домѣ такихъ пѣсенъ не пойте!—остановился онъ Ардаліона прямо и рѣшительно.—И какъ это вамъ не стыдно: взяли хорошую солдатскую пѣсню да на-ко тебѣ, какую мерзость на нее сочинили! Перестаньте, пожалуйста!

— Ха-ха-ха!—расхохотался Полояровъ.—Что это вы, батенька, никакъ Пшецыньскаго испужались?

— Что-съ? Пшецыньскаго?—слегка прищурился на него старикъ;—я, сударь мой, турка не пугался, черкеса не пугался, да англичанина съ французомъ не испугался, такъ ужъ вашего-то Пшецыньскаго мнѣ и Богъ да и совѣсть бояться не велѣли! А пѣсню-то вы все-таки не пойте!

— Стало-быть прынцыпы, убѣжденія не позволяютъ? ась? аляповато подтрунилъ Полояровъ.

— Да ужъ тамъ какія ни есть убѣжденія, а свои, не купленные!—отрѣзалъ ему Петръ Петровичъ.—Я, сударь мой, старый солдатъ!.. Я, сударь мой, на своемъ вѣку одиннадцать ранъ за эти свои убѣжденія принялъ, такъ ужъ на старости-то лѣтъ не стать мнѣ мѣняться.

— Ну, папахенъ! что это такое!—съ неудовольствіемъ фыркнула Лубянская.

— Что, моя милушка? Что, голубчикъ?

— Ужъ и пѣсню наконецъ нельзя пѣть!.. Это чистыя глупости! Это деспотизмъ!

— Пѣсню, дружокъ, пой сколько хочешь, а мерзостей пѣть да слушать не слѣдуетъ.

— Ну, хорошо, хорошо!.. съ многозначительною сухостью подхватила дѣвушка, —я съ тобой *потомъ* поговорю! Теперь не время.

Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старикъ въ замѣшательствѣ, съ невыразимою тоскою бросилъ тихій взглядъ на свое дѣтище. По всему было видно, что онъ любитъ свою дочку безпредѣльно, до безумія, до всякой слабости.

— Ну, ну, полно,—забормоталъ онъ, словно бы извиняясь.—Ну, Господь съ тобой, Нюточка!.. Развѣ я тебя стѣсняю въ чемъ!.. Пой себѣ, коли охота такая, только дай мнѣ уйти прежде, я ужъ этихъ пѣсенъ слушать не стану.

И съ тихимъ, подавленнымъ вздохомъ онъ ушелъ изъ комнаты.

Полояровъ снова-было запѣлъ какъ ни въ

чемъ не бывало, но Татьяна Николаевна тотчасъ же поднялась съ мѣста, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслѣдъ за ней поднялись и Устиновъ съ Хвалынцевымъ. Подвиляньскій, обладавшій бѣлымъ тактомъ, чѣмъ его пріятель Полояровъ, пересталъ аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.

Лидинька Затцъ подошла къ Ардаліону и попросила проводить себя.

— Ну, нѣтъ! ужъ увольте!—отклонился онъ, значительно поморщась, и вслѣдъ затѣмъ прибавилъ тише чѣмъ въ полголоса:—я хотѣлъ бы лучше ужъ здѣсь какъ-нибудь остаться на ночь.

Лидинька бросила на него взглядъ вопросительнаго и нѣсколько ревниваго свойства.

— Это для чего-съ? Скажите пожалуйста!—тихо прошипѣла она очень нервичнымъ голосомъ.

— Да такъ... не хотѣлось бы дома, —заямлся Ардаліонъ,—неровно и въ самомъ дѣлѣ полиція... жандармы... Ужъ лучше эти дни кое-гдѣ по чужимъ мѣстамъ переждать бы... Спокойнѣе!

— Ступайте къ намъ ночевать!—охотно и поспѣшно предложила Затцъ.

— Да вѣдь вашъ благовѣрный!..

— Это ровно ничего не значитъ... Онъ теперь въ клубъ... Мы, кажется, всегда вамъ рады.

— Ну, инъ быть по вашему! Куда ни шло!—махнулъ наконецъ рукой Ардаліонъ, послѣ нѣ котораго колебанія, и сталъ прощаться.

Лубянская крѣпко сжала его руку, и Устиновъ замѣтилъ, что она съ какимъ-то опасеніемъ, подустрожомъ и полунадеждой проводила его за порогъ тревожными и влюбленными глазами.

На душѣ Хвалынцева, особенно послѣ маленькой исторіи съ пѣсней, было какъ-то смутно и неловко, словно-бы онъ попалъ въ какое мѣсто не во-время и совсѣмъ некстати, такъ что, только очутившись на свѣжемъ воздухѣ, грудь его вздохнула легко, широко и спокойно.

Вышли на улицу почти всѣ разомъ. Подвиляньскій съ докторомъ кликнули извозчика и укатали. Полояровъ закутался, поднялъ воротникъ пальто, упряталъ въ него носъ и бороду и низко надвинулъ на глаза свою шляпу. Очевидно, послѣ сегодняшнихъ арестовъ, онъ даже и ночью боялся быть узнааннымъ. Стриженная дама повисла на его рукѣ.

— Анцыфровъ!—обернулся онъ на своего адъютанта,—я нынче не ночью дома—можешь располагаться свободно.

— Какъ же такъ?.. Вѣдь хотѣли же вмѣстѣ?.. Это собственно какъ же? заегозилъ оторопѣвшій пискунокъ, который совсѣмъ не ожидалъ такого пассажа.

— Какъ знаешь... Мнѣ-то что!

— Но... какъ же это такъ, ей-Богу!.. одному-то?.. Ужъ лучше бы какъ-нибудь вмѣстѣ... Я тоже не хочу домой къ себѣ... У меня тоже вѣдь не безопасно... Ужъ право лучше бы вмѣстѣ...

— Ну, ладно! Проваливай къ чорту!—порѣшилъ Полояровъ и, безъ дальнѣйшихъ перемонъ, пошелъ себѣ со своей дамой, не обращая на злосчастнаго пискунка ни малѣйшаго вниманія.

Тотъ постоялъ съ минуту въ самой затруднительной нерѣшительности и, нечего дѣлать, скрѣпя сердце, потрусилъ кое-какъ воясы.

Ночь стояла ясная, тихая и сухая, съ легкимъ морозцемъ.

— А хорошо-бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболѣла,—сказала Стрѣшневая, —и Хвалынцевъ предложилъ ей руку, а Устиновъ пошелъ рядомъ съ ней сбоку. Крытыя дрожки шагомъ ѣхали сзади.

— А, кажется, не долюбливаетъ васъ этотъ Полояровъ,—началъ Хвалынцевъ.

— Обоихъ не долюбливаетъ,—улыбнулась дѣвушка, —и меня, и Андрея Павлыча; но меня болѣе.

— За что же такая немилость.

— А такъ. Мнѣ, видите-ли, немножко извѣстно его прошлое.

— Но развѣ это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тѣхъ, кто знаетъ его?

— Отчасти, да. Мнѣ, конечно, Богъ съ нимъ, какое мнѣ до него дѣло! Но Анюту жалъ. Она добрая и хорошая дѣвушка, а этотъ баринъ ее съ толку сбиваетъ. Вѣдь онъ у всѣхъ у нихъ въ рангѣ какого-то идола, полубога. Вѣдь ему здѣсь поклоняются.

— Но... странное дѣло! — замѣтилъ студентъ;—сколько могу судить, онъ, кажется, и не особенно уменъ.

— Э, помилуйте! А наглость-то на что? Вѣдь у него чтò не имя, то дуракъ, чтò ни дѣятель не его покроя, то подлецъ, продажный человѣкъ. Голосъ къ тому же у него очень громкій, вотъ и кричитъ; а съ этимъ куда какъ легко сдѣлать себя умникомъ!—Вся хитрость въ томъ, чтобы другихъ всѣхъ ругать дураками. Вѣдь тутъ кто раньше всталъ да палку взялъ—тотъ и капралъ.

— Ну, а прошлое-то его какое?—полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— По питейной части служилъ, когда Верхолебовъ въ Солггородской губерніи откупъ держалъ, а потомъ очень недолгое время становымъ былъ, но... что называется съ «начальствомъ не поладилъ». Впрочемъ, Ардаліонъ Михайловичъ о своемъ прошломъ не любитъ распространяться.

— А теперь-то онъ что же?—продолжалъ

Хвалынцевъ, котораго послѣ всего этого заинтересовала нѣсколько личность Полоярова.

— Теперь?.. А вотъ, великимъ дѣятелемъ сталъ, статьи разныя пишетъ, въ журналы посылаетъ.

— Ну, и печатаютъ?

— Отчего-жъ не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человѣка! Вѣдь тамъ не знаютъ его. Но это бы все Богъ съ нимъ! А мнѣ Анюту жалъ и старика-то жалъ. — Хорошій старикъ.

— Да неужели-же она не видитъ и не знаетъ?

— Какое! и слушать ничего не хочетъ, и не вѣрить. Вѣдь онъ,—говорю вамъ, богъ для нихъ. Совсѣмъ забралъ въ руки дѣвочку, такъ что въ послѣднее время со мною даже гораздо холоднѣе стала, а ужъ на что были друзьями.

Вскорѣ наши путники дошли до дому, гдѣ жила Стрѣшневая со своей теткой. На прощанье, она совсѣмъ просто пригласила Хвалынцеву зайти какъ-нибудь къ нимъ, буде есть охота. Тотъ былъ радъ и съ живѣйшею благодарностію принять ея приглашеніе. Послѣ этого онъ вернулся домой, въ свою гостиницу, чувствуя себя такъ легко и свѣтло на душѣ и такъ много довольный даже и выпившимъ вечеромъ, и собою, и своимъ пріятелемъ, и ею—этою хорошей Татьяной Николаевной.

XI.

Кто предполагаетъ и кто располагаетъ.

На другое утро Петръ Петровичъ составилъ и чистенько переписалъ коротенькую докладную записку о разрѣшеніи литературно-музыкальнаго вечера въ пользу его школы; затѣмъ напялилъ свой отставной мундиръ, со всѣми регаліями, и отправился помолясь къ губернаторшѣ.

Констанція Александровна дѣловые приемы свои назначала обыкновенно во второмъ часу. Гораздо ранѣе этого времени Петръ Петровичъ сидѣлъ уже на стулѣ въ ея пріемной. Онъ попросилъ доложить о себѣ. Лакей угрюмо покосился на него и хотѣлъ было пройти мимо; но майоръ тоже зналъ достодолжную въ этихъ случаяхъ сноровку и потому, подмигнувъ лакею, сунулъ ему въ руку двугривенничекъ. Ея превосходительство высала сказать майору, чтобы онъ обождалъ—и Петръ Петровичъ ждалъ, испытывая томительное состояніе просительской скуки.

Нѣсколько разъ мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновникъ промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару дѣтей мадамъ Гржибъ, а майоръ все ждетъ себѣ, оправляясь да побрякивая при проходѣ каждого лица, и все съ надеждой устре-

мляетъ взоры на дверь, ведущую въ покой губернаторши.

Вотъ смиренно-мягкою, неслышною походкою прошелъ за эту завѣтную дверь славнобубенскій ксендзъ-пробощъ Кунцевичъ, и о его приходѣ, повидимому, никто не докладывалъ. Послѣ него майору пришлось еще сидѣть, по крайней мѣрѣ, около часу. Просительская скука начинала въ немъ уже переходить въ просительскую тоску, какъ вдругъ лакей съ какою-то особенною официальною распахнулъ двери—и изъ смежной комнаты послышался шорохъ тяжелого шелкового платья.

Майоръ молитвенно вздохнулъ, перекрестился мелкимъ крестикомъ, поклевавъ сложенными пальцами между третьей и четвертою пуговицами своего мундира и, въ нѣкоторомъ волненіи, поднялся съ мѣста.

Губернаторша вошла довольно величественно, распространивъ вокругъ себя легкій запахъ лондонскихъ духовъ, и съ официально-благосклонною снисходительностью остановилась передъ майоромъ. Отъ всей позы, отъ всей фигуры ея такъ и вѣяло губернаторшей, то есть въ нѣкоторомъ родѣ правительницей, властью предрежащею.

— Отставной майоръ Лубянской, — отрекомендовался Петръ Петровичъ и протянулъ впередъ руку съ докладной запиской.

Констанція Александровна отвѣтила величественнымъ кивкомъ и устроила на лицѣ такую мину, которая ясно говорила, что она готова благосклонно выслушать.

— Къ вашему превосходительству... зная ваше доброе сердце... во имя просвѣщенія и человѣколюбія... — неловко заговорилъ Петръ Петровичъ, сбиваясь на фразы заранѣе обдуманной рѣчи.

Старикъ умѣлъ служить и точно исполнять приказанія, умѣлъ когда-то стойко драться съ непріятелемъ и стоять подъ огнемъ, но никогда, во всю свою жизнь, и ни о чемъ не умѣлъ просить какое бы то ни было «начальство» или какую бы то ни было «знатность». Поэтому и въ данную минуту онъ почти совсѣмъ переконфузился, особенно встрѣчая на себѣ этотъ неотводный, вопросительный взглядъ губернаторши.

— Мы учредили воскресную школу, — продолжалъ онъ кое-какъ свои объясненія, — бѣдныя дѣти... кое-какъ обучаются, но скудость средствъ, помѣщенія... Тутъ, впрочемъ, все это обстоятельно изложено, — добавилъ онъ, указывая на докладную записку.

Губернаторша опять кивнула головой и продолжала вопросительно глядѣть на него.

— Для поддержки дѣла осмѣливаюсь просить ваше превосходительство принять его, въ нѣкоторомъ родѣ, подъ свое покровительство... Мы предположили литературно-музы-

кальный вечеръ... надобно разрѣшеніе... и потомъ если бы ваше превосходительство пожелали помочь намъ своимъ сочувствіемъ и участіемъ... и вотъ тоже по части раздачи или рекомендаціи билетовъ, то наша школа процвѣла бы, благодаря вашему превосходительству.

Склеивъ кое-какъ эти фразы и развернувъ ихъ наконецъ предъ губернаторшей, майоръ вздохнулъ свободно, словно бы грузъ какой сбросилъ съ своей шеи.

— Вы хотите, чтобы я приняла что-нибудь въ концертъ? — спросила г-жа Гржибъ, которая, будучи очарована собственнымъ голосомъ, никогда и нигдѣ почти не упускала приличнаго случая похвастаться имъ передъ публикой.

— О, ваше превосходительство!.. я даже и не смѣлъ-бы подумать... но если вы столь добры и великодушны, то это все, чего мы только могли бы желать!.. Вѣдь бѣдныя дѣти, ваше превосходительство... вѣдь это для нихъ тотъ же хлѣбъ насущный!..

— Хорошо. Я подумаю... Все, что могу, сдѣлаю для васъ непременно... Я постараюсь; будьте увѣрены! — проговорила губернаторша самымъ благосклоннымъ тономъ и отпустила майора, наградивъ его новымъ кивкомъ величественнаго свойства.

Майоръ ушелъ необыкновенно довольный собою и вполне счастливый такимъ результатомъ своей просьбы, послѣ котораго онъ, въ простотѣ душевной, считалъ существованіе школы вконецъ обезпеченнымъ.

* * *

Возвратившись отъ духовной своей дщери, имѣвшей обыкновеніе, во всѣхъ почти дѣлахъ своихъ, прибѣгать къ пастырскому совѣту, ксендзъ Ладиславъ тотчасъ же написалъ маленькую записочку къ учителю Подвилянскому, въ которой убѣдительноше просилъ его пожаловать къ себѣ въ возможно скорѣйшемъ времени. Записка эта была отправлена съ однимъ изъ костельныхъ прислужниковъ.

Подвиляньскій не замедлилъ явиться и былъ принятъ въ скромной пріемной комнатѣ, потому что комфортабельный «лабораторіумъ» предназначался у ксендза-пробоща только для самыхъ короткихъ пріятелей. Впрочемъ, и на этотъ разъ дверь въ прихожую была тщательно приперта самимъ хозяиномъ.

— Припомнилъ я, — началъ Кунцевичъ, услышавъ поближе къ своему духовному сыну, — панъ повѣдалъ мнѣ разъ, что имѣетъ знакомство съ майоромъ Лубяньскимъ. Что то есть за чловѣкъ тѣмъ панъ майоръ Лубяньскій?

— Москаль... и самый заядлый москаль, — отрекомендовалъ учитель своего знакомаца.

Кунцевичъ, въ какомъ-то соображающемъ размышленіи, многозначительно поднялъ брови падъ опущенными въ землю глазами.

— Гм... такъ и думалъ!.. Такъ и думалъ!..— раздумчиво прошепталъ онъ, какъ бы самъ съ собою.—Гм... А какъ онъ вообще до дѣла... безвредный?

— Н... не думаю, усомнился Подвилянскій.—Дочка его—та годится, а самъ—не думаю.

— Что же онъ?

— Старый солдатъ... заядлый схизматикъ... на царя своего Богу молится... Нѣтъ, чело-вѣкъ не годящійся!

— А на школу имѣетъ влияние?

— О! и преболюшее!—самъ учить, самъ надъ всѣмъ надзираетъ... Учить, конечно, въ своемъ, въ московскомъ духѣ.

— Гм... вотъ какъ!.. Это неудобно... неудобно! Ну, а если-бъ отъ него перенять какъ-нибудь школу въ другія руки, понадежнѣе?

— Для дѣла вообще это было бы хорошо. И люди нашлись бы. Я такъ думаю.

Ксендзъ внимательно поднялъ глаза на своего собесѣдника.

— А есть на примѣтъ?—спросилъ онъ.

Учитель въ знакъ утвержденія склонилъ голову.

— Изъ нашихъ?—продолжалъ Кунцевичъ съ легкой улыбкой.

— То есть нѣтъ, изъ стада—пояснилъ Подвилянскій;—люди завзятые; повели бы дѣло бойко.

Ксендзъ опять опустилъ глаза въ землю и на нѣсколько времени задумался.

— А что, не отказался бы панъ—пытливо началъ онъ,—кабы начальство вмѣшалось въ дѣло и передало бы пану администрацію этой школы?

Подвилянскій немножко изумился и, въ свою очередь, задумчиво сталъ глядѣть на полъ.

— Хоть бы на первое время, продолжалъ каноникъ,—лишь бы только дѣло поставить какъ слѣдуетъ, а тамъ можно будетъ передать съ рукъ на руки другому надежному лицу изъ нашихъ; самъ въ сторонѣ останешься, и опасаться, значить, нечего!

Учитель, въ нерѣшительности, задумчиво пожалъ плечами.

— Это—дѣло совѣсти,—спокойнымъ и строгимъ голосомъ проговорилъ каноникъ, не сводя пристальныхъ глазъ со своего духовнаго сына.—Это—дѣло Бога и... ойчизны, прибавилъ онъ тихо, но выразительно: ни единымъ хлѣбомъ живъ будетъ челоуѣкъ! надо глядѣть въ будущее...

Подвилянскій подумалъ и согласился.

— Только какъ же мы устроимъ это?—спросилъ онъ.

Ксендзъ загадочно улыбнулся и слегка развелъ руками.

— Подумаемъ и придумаемъ, съ Божьею помощью!—сказалъ онъ, покорно склоняя го-

лову, какъ предъ высшей волей Провидѣнія.—Сказано: толпыте и отверзятся, ищите и обрящете—ну, стало быть, и поищемъ! А если что нужно будетъ, я опять увѣдомлю пана.

Подвилянскій смиренно подошелъ къ нему подъ благословеніе и они разстались.

XII.

Иллюзіи и разочарованія стараго майора.

Въ самомъ счастливомъ настроеніи духа, ретиво принялся майоръ за свои хлопоты. Съѣздили къ старшинамъ клуба и выпросили залу, околесили пол-города, приглашая участвовать разныхъ любителей по части музыки и чтенія, заказалъ билеты, справился, что будутъ стоить афишки, съ бумагой, печатаніемъ и разноской по городу, и, наконецъ общими усиліями съ Устиновымъ и Стрѣшневой, составилъ программу литературно-музыкальнаго вечера. Оставалось только губернатору разрѣшить, цензору пропустить, полиціейстеру подписать и затѣмъ—печатать и выпускать афишу.

— Но судьба готовила майору нѣсколько разочарованій, и первое изъ нихъ наступило для него въ ту минуту, когда онъ пріѣхалъ къ полиціейстеру получить отъ него разрѣшенную и подписанную программу.

— Ея превосходительство поручила мнѣ передать вамъ, сообщилъ ему полковникъ Гнутъ—что она по особымъ и непредвидѣннымъ обстоятельствамъ не можетъ участвовать у васъ въ концертѣ; поэтому я уже самолично распорядился вычеркнуть ея имя.

— Эхъ!.. Какъ же это такъ!—съ раздумчивымъ сожалѣніемъ прищмокнулъ да покачалъ головою опѣшенный Петръ Петровичъ.—Ну, жаль, очень жаль!.. Ея превосходительство была такъ милостива, сама даже предложила... Мы такъ надѣялись... Очень, очень жаль... А участіе ея много помогло бы доброму дѣлу... Много помогло бы!

— Онъ говорилъ это какъ-то разсѣянно и равнодушно, глядя въ переносицу Гнуту, но словно бы и не видя его.

— Н-да! Но... что же дѣлать!—пожалъ тотъ плечами.—Ея превосходительство весьма сожалѣетъ и... даже извиняется; но... она тѣмъ не менѣе готова всячески помочь вамъ, и потому поручила мнѣ взять отъ васъ нѣсколько билетовъ для раздачи.

— Ея превосходительство сама раздать желаетъ?—освѣдомился старикъ.

— Н-да... то-есть нѣтъ! Она поручила мнѣ распорядиться этимъ дѣломъ... Да вы не беспокойтесь—ужъ я какъ-нибудь постараюсь.

Съ скрипучимъ чувствомъ на душѣ вышелъ майоръ отъ полиціейстера.

— Вотъ-те, бабушка, и Юрьевъ день!.. вотъ-те и сочувствіе! съ горечью помыслилъ

онъ;—эдакъ-то и безъ вашего превосходительства обошлись-бы... Выходить, что просить не стоило!»

Майоръ однако не унывалъ. Тридцать билетовъ онъ отплатилъ къ полиціймейстеру да нѣсколько штукъ вручилъ для раздачи Устинову съ Татьяной Николаевной, да самолично позавозилъ еще кое къ кому и весьма многимъ разослалъ въ конвертахъ вмѣстѣ съ афишами. И тутъ-то, вотъ для него начались новыя разочарованія. Иные отказывались отъ билетовъ, говоря что возьмутъ потомъ, или что уже взяли, другіе поприсылали ихъ обратно—кто при вѣжливо извинительныхъ записочкахъ, выставя какое-нибудь благовидное препятствіе къ посѣщенію вечера, а кто, то-есть большая часть, безъ всякихъ записокъ и поясненій, просто возвращали въ тѣхъ же самыхъ, только уже распечатанныхъ конвертахъ, чрезъ своего кучера или съ горничною, приказавъ сказать майору, «что для нашихъ, молъ, господъ не надо, потому—не требуется». И майоръ очень сердился на то, что почти всѣ кучера, возвращавшіе билеты, переминаясь просили у него же «на чаеѣ-съ».

— Ну, ужъ это и въ самомъ-дѣлѣ, чортъ знаетъ что! разводилъ онъ руками;—словно бы ты у нихъ для самого себя на бѣдность выпрашиваешь! Эдакое англійское равнодушіе! (майоръ полагалъ, что вообще англичане всѣ очень равнодушны). Вѣдь общественный же интересъ! Вѣдь свое же родное, русское дѣло!.. Тыфу, ты, что за народъ нынче пошелъ!

— Да-съ, вотъ то-то оно и есть! — въ отвѣтъ на это поддразнивалъ его Полояровъ, который почти дня не пропускалъ безъ того чтобы не побывать у Анны Петровны и, за-одно ужъ, позавтракать тамъ, либо пообѣдать, либо чаю напиться.—А кабы мы-то дѣлали, такъ у насъ не то бы было.

— Вы!.. Да что такое вы? досадливо горячился Лубянской.

— Мы-то?.. А мы сила живая—вотъ мы что. А вы—сила мертвая, ваша пѣсенка слѣта, оттого и общественнаго сочувствія вамъ нѣтъ..

— Ну, батенька, пошли! поѣхали!

Петръ Петровичъ только рукой махалъ на это.

Сутокъ за двое до назначеннаго дня вдругъ стало извѣстно по городу, что графиня де-Монтеспанъ большой «раутъ» у себя дѣлаетъ, на которомъ будетъ весь элегантнѣйшій Славнобубенскъ и, какъ нарочно, дернула же ее легкая назначить это «раутъ» на то самое число, на которое и майоръ назначилъ свой вечеръ. Вольной или невольной причиной этому явилась все та же очаровательная Констанція Александровна, которая давно уже собиралась къ графинѣ, а теперь совсѣмъ и изъ ума ей вонъ про майорскій концертъ! — По забывчивости же сама же назначила ей день этого «раута».

Майоръ просто въ отчаяніе пришелъ. Что тутъ дѣлать! Отложить вечеръ! — Но афиши уже напечатаны да и клубъ уступилъ ему залу только на это именно число. Хотя совсѣмъ отказываясь отъ завітной идеи! Но... и отказываться было уже поздно: всѣ необходимые предварительные расходы уже сдѣланы, деньги затрачены, а Лубянской вообще было далеко не изъ числа обладателей излишнихъ капиталовъ. Оставалось положиться на авось да на волю Божию. Такъ онъ и сдѣлалъ. А тутъ еще—новый сюрпризъ: въ самый день концерта, часа за два до начала, полиціймейстеръ возвратилъ ему, изъ числа тридцати, девятнадцать билетовъ не проданныхъ, извиняясь при этомъ, что, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не успѣлъ разсовать почтеннѣйшей публикѣ болѣе одиннадцати билетовъ. Зато въ это время, среди всяческихъ горечей, довелось майору познать и сладость маленькаго утѣшенія: Болеславъ Казиміровичъ Пшеницкій не только не отказался отъ посланнаго ему билета, но еще прислалъ за него, сверхъ платы, три рубля преміи, при очень милой запискѣ, въ которой благодарилъ Петра Петровича за оказанное ему вниманіе и при-сокуплялъ, будто почитаетъ себя весьма счастливымъ, что имѣетъ столь прекрасный случай оказать свое сочувствіе такому истинно благому и благородному дѣлу, какъ просвѣщеніе русскаго народа.

— Вотъ, и судите тутъ послѣ этого! Ругаютъ человека за то только, что жандармскій мундиръ носить! горячо увлекался Петръ Петровичъ, показывая всѣмъ и каждому изъ своихъ друзей письмо полковника, — а онъ, хоть и полякъ, а посмотрите-ка, получите многихъ русскихъ оказывается!.. А вы ругаете!

И дѣйствительно, друзья Петра Петровича находили поступокъ жандарма прекраснымъ и вполне достойнымъ каждаго порядочнаго человека. Особенно цѣнили въ немъ, въ жандармѣ, это нѣкъмъ не жданное сочувствіе «тому принципу». Одинъ только все отрицающій Полояровъ умалывалъ значеніе штабъ-офицерскаго великодушія.

— Эка штука три рубля! — говорилъ онъ фыркая и задирая голову.—Оттого и сочувствуетъ, что у Петра Петровича и у самого-то преподаваніе-то идетъ почитай-что на тѣхъ же самыхъ жандармственныхъ принципахъ; а небойсь, кабы мы вели эту школу, такъ намъ бы кукнишъ съ масломъ прислалъ! Эта присылка только еще больше все дѣло компрометируетъ.

— Ну, батенька! Опять пошли-поѣхали! На васъ не угодишь! отмахивался Петръ Петровичъ.

XIII.

Въ пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечеръ, съ участіемъ гг. такихъ-то и такихъ-то.

Въ ярко-освѣщенной залѣ довольно много пустыхъ мѣстъ, особенно въ первыхъ рядахъ, но все-таки нельзя сказать, чтобы было уже пусто. Публика мало-по-малу набиралась. Приѣхали даже на короткое время многіе изъ приглашенныхъ на «раутъ» графини де-Монтеспанъ, куда явиться было слишкомъ еще рано. Поэтому нѣсколько дамъ блистали своими черезчуръ открытыми плечами (славнобубенскія жены и дщери вообще очень любятъ декольтироваться), а мужчины черными фраками и бѣлыми галстуками,—обстоятельство, придававшее майорскому вечеру нѣсколько официально-парадный характеръ. Задніе ряды въ залѣ были даже полны: поддерживали господъ офицеры Инфлянцманландскаго полка да чиновничество второй и третьей руки, которые преимущественно разбирали билеты при входѣ, а ужъ о хорахъ нечего и говорить: тамъ было биткомъ набито, и душно, и говорно, словно въ пчелиномъ ульѣ, ибо верхами почти безраздѣльно владѣли гимназисты съ семинаристами. Цѣны, кромѣ первыхъ рядовъ, майоръ позначалъ весьма дешевыя и потому теперь съ живѣйшимъ удовольствіемъ сталъ замѣчать, что въ убытокъ никакъ не останется, а кажись еще и желаемую сумму соберетъ. То были блаженныя времена, когда всякіе литературные вечера не успѣли еще утратить своей свѣжести, своей отчасти «прогрессивно-либеральной» моды.

Вышелъ Устиновъ и прочелъ что-то изъ Голя. Ему умѣренно похлопали.

Вышла какая-то дебелая барышня и громко отбарабанила нѣчто изъ Мендельсона-Бартольди. И ей тоже похлопали.

Хвалынцевъ прочиталъ «*Развеселое житіе*» изъ Щедринскихъ рассказовъ, а за нимъ появилась другая барышня и, подъ аккомпанементъ Лидинки Затцъ, пропѣла довольно сносно арію изъ «*Карла Смѣлаго*» и романсъ «*Я очи, знаю, о, эти очи*», составлявшій тогда модную слабость града Славнобубенска. И барышня, и Хвалынцеву похлопали дружище, чѣмъ прочимъ.

Затѣмъ на эстрадѣ появился высокій гимназистъ седьмого класса, Иванъ Шишкинъ, который очень хорошо читалъ стихи. Гимназистъ былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій на хорахъ, и бойко наизусть декламировалъ Некрасовскаго «*Филантропа*», по окончаніи котораго, чтеца вызывали раза три или четыре, причемъ онъ форсисто, но неловко раскланивался.

Затѣмъ играли, читали и пѣли разные любители, и публика всѣхъ ихъ награждала благодарнымъ хлопаньемъ. Майоръ хлопалъ благо-

душище всѣхъ остальныхъ и, сидя въ уголкѣ, на особомъ стулѣ, просто сіялъ отъ восторга: тутъ воочию сбывалась заветная мечта о расширеніи и преуспѣяніи его родного дѣтища, его воскресной школы. Онъ все время находился въ какой-то ажитации: то порывисто срывался съ мѣста и убѣгалъ въ смежную «артистическую» комнату, предназначенную для участвующихъ, то озабоченно приказывалъ челоуѣку поправить какую-нибудь свѣчу или лампу, то снова торопился сѣсть на свое мѣсто, чтобы не пропустить начала какого-нибудь нумера и успѣть похлопать при встрѣчѣ исполнителю! А въ «артистической комнатѣ», смежной съ клубнымъ буфетомъ, кипѣлъ самоваръ и стоялъ лимонадъ съ оршадомъ. Сюда специально прикомандировались Полояровъ съ Анцыфровымъ и Подвилянскій, которые совсѣмъ почти не показывались въ залѣ. Полоярова всѣ эти дни куда какъ сильно подмывало съ эффектомъ показать свою особу на публичной эстрадѣ; но... хотя боязнь ареста и поуспокоилась въ немъ, однако же не на столько еще, чтобы рискнуть появленіемъ предъ публикой, и Полояровъ къ тому же полагалъ, что ужъ если онъ заявитъ себя, то долженъ заявить не иначе какъ только чѣмъ-нибудь сильно «въ носъ шибательнымъ». А это находилъ онъ не совсѣмъ-то удобнымъ въ разсужденіи полковника Пшепыньскаго.

Подвилянскій потребовалъ изъ буфета бутылку шампанскаго и предложилъ Полоярову съ Анцыфровымъ распить ее по-пріятельски. Въ это время подвернулся на глаза ему гимназистъ Шишкинъ.

— Господинъ Шишкинъ, пожалуйста-ка сюда—кликнулъ его учитель.—Вы что еще будете читать?

— «*Клермонскій соборъ*», Майкова,—словно на экзаменѣ, отчетливо отчеканилъ юноша, въ силу давно ужъ усвоенной ученической привычки.

— И тоже наизусть будете?

— Наизусть... Я всегда наизусть.

— А не хотите-ли для храбрости?

— Чего это-съ?

— А вотъ, стаканчикъ сладенькаго?

— Нѣтъ-съ, покорно благодарю, — смутился юноша.

— Э, полноте! Вѣдь мы не въ классѣ! Не бойтесь, я не скажу инспектору! — пріятельски улынулся Подвилянскій, подавая ему полный и довольно уемистый стаканъ.—Пейте-ка, пейте! Это вѣдь легонькое вино, слабое, совсѣмъ дамское... Ну, хватайте-ка!

— Да я... извините... признаться сказать... принимая стаканъ, замаялся немножко гимназистъ, ободренный внутренне такою пріятельскою фамиллярностью своего учителя, — признаться сказать, я ужъ тутъ... по секрету... два стакана пуншику хватилъ... Не много-ли-съ будете ужъ?

— Но, что за вздоръ!.. Не маленькій вѣдь,

не свалитесь!.. Сами, батюшка, бывали когда-то въ вашей шкурѣ; знаемъ, какъ пьютъ гимназисты! Ну-ну! для храбрости! безъ разговоровъ!

Вконецъ уже ободренный и подзадоренный юноша, которому сказали, столь лестную, хотя и косвенную похвалу, насчетъ того, какъ умѣютъ пить гимназисты, слегка поклонился и залпомъ выпилъ въ себя стаканъ шампанскаго. Ему хотѣлось показать предъ учителемъ и предъ этими двумя господами, что онъ совсѣмъ молодецъ.

— Вотъ такъ! по нашему! по ученому! — похвалил Подвилянскій. — Берите-ка стулъ да присядьте.

Гимназистъ развязно двинулъ стулъ и опустился на него совсѣмъ уже бойко, что называется, по-гимназически, «съ форсомъ».

— Славно читаетъ стихи, — кивнулъ на него Подвилянскій, обращаясь къ Анцыфрову и Полоярову. — Вы знакомы, господа?

— Еще бы! Ивана Шишкина да не знать! — подхватилъ пискунокъ, — вѣдь на серебряную медаль кончаетъ!.. А?.. Каковъ?

— Можетъ, и на золотую дернемъ! не безъ самодовольно-гордой заносчивости похвалился юноша, покосаясь на барышень. Онъ уже началъ понемногу хмѣлѣть и все болѣе чувствовать себя молодцомъ.

— А славно, ей-же-Богу, славно декламируетъ! — воскликнулъ Подвилянскій и даже прижмурилъ глазки, будто при воспоминаніи о томъ наслажденіи, какое доставляетъ ему декламация Шишкина. — Онъ... вѣдь вы съ нимъ не шутите. Онъ помнитъ чортъ знаетъ сколько запрещенныхъ стиховъ. Кажется, всю «*Полярную звезду*» наизусть выучилъ. Память-то богатая какая!.. А?.. Каковъ?!.. Изъ «*Полярной*»-то!.. изъ «*Полярной*»!.. Послушайте, душечка Шишкинъ, — искренно и ласково примолвилъ онъ, хлопнувъ гимназиста по колѣну, — скажите-ка намъ «*Орла*!» А? Не бойтесь! Ничего! Вѣдь между своими... никто не услышитъ... шпионовъ нѣтъ. — кажись. Прелесть, господа, что за стихи, послушайте!.. Ну, Шишкинъ, ваяйте!

— Да я... не помню... слегка озираясь, отклонился юноша.

— Ну, вотъ вздоръ какой, «не помню»!.. На прошлой недѣлѣ читалъ же у меня въ классѣ, а тутъ вдругъ «не помню»!.. Э, батюшка, я не зналъ, что вы такой трусъ!

Послѣднее слово окончательно уже подожгло гимназиста. Онъ предварительно крикнулъ и прочелъ «*Орла*».

— Bravo! Bravo!.. молодецъ — пискнулъ было Анцыфровъ и тихонько хлопнулъ въ ладоши.

Полояровъ въ сосредоточенномъ молчаніи взялъ руку гимназиста и выразительно потрясъ ее.

Подвилянскій, успѣвшій уже мигнуть, что-бы подати вторую бутылку, налилъ еще стаканъ юному декламатору, который и не замедлил порядочно изъ него отвѣдать.

— А вотъ бы штука-то была, — съ оживленіемъ началъ учитель, словно подъ напѣтиемъ внезапно блеснувшей мысли, — если бы этого самаго «*Орла*» да дернуть сегодня на публичномъ чтеніи?

— Bravo! bravo!.. Отлично! великолепно! — записалъ и заерзалъ на стулѣ Анцыфровъ, подслѣповато отыскивая свой налитый стаканъ.

— А что-жъ? Я бы прочелъ, да... выдерутъ, пожалуй? — сомнѣвающимся тономъ тихо спросилъ гимназистъ, уже полурѣшившись на эту выходку.

— Выдерутъ? — угрожливо насунился Полояровъ, — а во? этого не хотятъ ли? Пушай попробуютъ — вкусно ли пахнетъ!

— Ну-у, гдѣ выдрать! — солидно возразилъ учитель, — теперь и вообще-то не дерутъ, а тутъ еще ученикъ на выпускѣ. Развѣ такъ что-нибудь... въ карцеръ посадятъ на недѣлку, и только.

— Такъ я хвачу!.. Ей Богу хвачу! — съ живостью подхватилъ Шишкинъ, срываясь съ мѣста.

— Ну, вотъ вздоръ какой! Я вѣдь только такъ... — пошутилъ, отклонился учитель, все въ томъ же солидномъ тонѣ.

— Отлично бы хватить, да не хвѣтите! — вздохнулъ Анцыфровъ.

— Не хвачу? А почему... позвольте узнать... почему вы думаете, что не хвачу.

— Да такъ, смѣлости не хватить.

— Смѣлости?.. У меня-то? У Ивана-то Шишкина смѣлости не хватить? Ха-ха! Мы въ прошломъ году, батюшка, французъ бенефисъ цѣлымъ классомъ задавали, такъ я въ него во-первыхъ жвачкой пустилъ прямо въ рожу, а потомъ парикъ сдернулъ... Цѣлыхъ полторы недѣли въ карцерѣ сидѣлъ, на хлѣбъ и на водѣ-съ, а никого изъ товарищей не выдалъ. Вотъ Феликсъ Мартыновичъ знаетъ! — сослался онъ на Подвилянскаго, — а вы говорите смѣлости не хватить!.. А вотъ хотите докажу, что хватить? Мнѣ что? Мнѣ все равно!

— Нѣтъ-съ, тутъ, батюшка, не парикъ и не жвачка, — опонировалъ пискунъ, — тутъ нѣчто побольше да посерьезнѣе, да и подоблестнѣе-съ!.. Тутъ гражданское мужество нужно-съ!

— А вотъ увидимъ, коли такъ! Увидимъ! — хорохорился гимназистъ, у котораго голова ходенемъ пошла съ двухъ стакановъ шампанскаго.

— Ну, нѣтъ, не дѣлайте глупостей! — сталъ было солидно урезонивать Подвилянскій, и эта солидность оказалась у него очень искусно сдѣланною, такъ что даже на посторонніе глаза ее смѣло можно бы было принять за солидность настоящую и вполне искреннюю.

— Чего тамъ не дѣлайте! — обернулся на него Шишкинъ, — они меня за труса считаютъ, такъ нѣтъ же, чортъ возьми! Я имъ докажу!

— Господинъ Шишкинъ! Господинъ Шишкинъ! — хлопотливо вѣбжалъ въ комнату Петръ

Петровичъ. — Пожалуйте поскорѣе, вашъ чередъ!

Шишкинъ бойко и самоувѣренно взомель на эстраду. Положровъ, Анцыфровъ и Подвилянскій съ любопытствомъ ожиданія подошли къ дверямъ и приготовились слушать.

— «Орелъ!» — раздался звучный голосъ декламатора.

Анцыфровъ пискнулъ, хихикнулъ и даже присѣлъ отъ удовольствія.

— Молодецъ!.. Ей-Богу, молодецъ!.. Я никакъ не думалъ, — прошепталъ онъ.

По залѣ понеслись звучныя строфы:

„Я нашель, друзья, нашель,
Кто виновникъ безтолковый
Нашихъ бѣдъ и нашихъ золъ!
Виновать во всемъ гербовый,
Двуязычный, двухголовый
Всероссійскій нашъ орелъ!“

И пошелъ, и пошелъ все дальше да дальше...

По залѣ понеслось волненіе, шопотъ, недоумѣніе; удивленіе, слушатели оглядывались другъ на друга и вокругъ себя, иные опасались за смѣлаго чтеца, иные искали глазами, не слушаетъ ли гдѣ-нибудь полиція...

Эффектъ вышелъ полный и неожиданный.

Лубянской поблѣднѣлъ и стоялъ, словно бы на него столбикъ нашель. Взыонованный и перегреженный, въ страхѣ за чтеца, онъ искалъ глазами Пшечинскаго, но того не было въ залѣ. Полковникъ ограничился только присылкою преміи, а самъ не почтилъ вечера своимъ присутствіемъ.

Но въ сущности легче ли было отъ этого? Измѣнило ли его отсутствіе хоть сколько-нибудь участь цыплаго Шишкина? И едва кочилъ онъ, какъ раздались взрывъ неистовыхъ криковъ и топанья. Особенно отличались хоры, шумѣвшіе по двумъ причинамъ: первая та, что читалъ свой братъ гимназистъ, котораго поэтому «нужно поддержать»; а вторая, читалось запрещенное—слово, вѣчно заключающее въ себѣ что-то влекущее, обаятельное.

Большинство вошло «браво!» и требовало «bis!» Только немногіе сохранили необходимую сдержанность и приличіе, и въ числѣ этихъ немногихъ между прочимъ были докторъ Адамъ Яроцъ и самъ Подвилянскій, незамѣтно проскользнувшій въ залу. Теперь онъ старался держаться на глазахъ у всѣхъ и съ видомъ серьезнаго равнодушія оглядывалъ неистовавшую часть публики.

Одурманенный виномъ и успѣхомъ, Шишкинъ шелъ уже на эстраду съ тѣмъ, чтобы повторить «Орла», какъ вдругъ изъ одного конца залы смѣло раздавалось рѣзкое шиканье.

Всѣ обернулись въ ту сторону. Тамъ, приложивъ щиткомъ руки къ губамъ, что есть мочи шикалъ одинъ только человѣкъ. И этотъ одинъ, къ удивленію многихъ, былъ Устиновъ.

— Молчать!.. Не шикать!.. Кому не нравится,

такъ вонъ!.. Не мѣшайте слушать!.. Долой шпикальщика!.. A' bas le siffleur! съ разныхъ концовъ залы раздались нѣсколько ретивыхъ, задорныхъ голосовъ.

Устиновъ, не обращая вниманія, продолжалъ свое дѣло.

Къ счастью, Шишкинъ не былъ допущенъ на эстраду. Майоръ удержалъ его за руку и почти насильно увелъ въ «артистическую комнату».

— Что вы надѣлали!.. Господи! Что вы надѣлали! — въ ужасѣ качалъ онъ головою, заслоня собою гимназисту проходъ въ шумѣвшую залу.

— Вы думаете выдерутъ? Не бойсь, не сомѣютъ!.. Въ карцеръ развѣ, а это—нѣтъ! Пустите меня, публика требуетъ! — порывался тотъ, стараясь выскользнуть изъ рукъ Лубянскаго.

А публика все еще шумѣла, стучала, хлопала... Скандалъ былъ полный и всесовершенный.

Частный приставъ возвысилъ-было голосъ, — нѣсколько человѣкъ вытолкали его вонъ изъ залы и наглухо захлопнули входную дверь.

Майоръ былъ въ отчаяніи и поспѣшилъ выслать на эстраду двухъ барышень: покоющую, и вопиющую, которыя громогласнымъ дуэтомъ хотѣли заглушить стукъ и крики. Нѣкоторое время длилась борьба между пѣніемъ и шумомъ, но храбрыя и стойкія барышни преодолѣли публику — и она наконецъ снисходительно замолкла.

Вечеръ кончился какъ-то странно. Одни выходили изъ залы въ недоумѣніи, другіе, то-есть большинство, весьма шумно. Тамъ и сямъ, какъ послѣдніе выстрѣлы отступающихъ солдатъ, раздавались еще выкрики: «Шишкина!.. Орла! Bis!.. Браво!.. Шишкина!»

— Это съ какой стати вы шикать изволплі? — дерзко вызывающимъ тономъ обратился къ Устинову Положровъ.

— Съ такой, что если разъ уже сдѣлана глупость, то не слѣдуетъ повторять ее! — рѣшительно отчеканилъ Устиновъ, не смутясь отъ Положровскаго взгляда.

— А въ чемъ эта глупость, по вашему, и почему это не повторять ее, позвольте полюбопытствовать?

— Глупость въ томъ, что она вредитъ хорошему почтенному дѣлу, а повтореніе ея могло бы отозваться еще болѣе горькими послѣдствіями для Шишкина.

— Все это вздоръ! Никакихъ послѣдствій не будетъ и быть не можетъ! Тутъ голосъ общественаго мѣнилъ-съ!

— Въ такомъ разѣ напрасно сами вы не вышли вмѣсто гимназиста и не прочли «Орла». Скажите, пожалуйста, отчего это вы пропустили такой прекрасный случай?

Послѣдній вопросъ былъ предложенъ съ весьма чувствительною ѣдкостью и попалъ прямо по назначенію. Положрову нечего было отвѣтить и потому, промывавъ проницательное «гм!», онъ отъвернулся отъ Устинова.

XIV.

Кому досталось расхлебывать кашу.

На другое утро къ воротамъ майорскаго дома прискакалъ казакъ и привезъ Петру Петровичу повѣстку изъ губернаторской канцеляріи.

Эта повѣстка вызывала его прибыть къ его превосходительству въ одиннадцать часовъ утра. Лаконизмъ извѣщенія показался майору довольно зловѣщимъ. Онъ зналъ, онъ предчувствовалъ, по поводу чего будутъ съ нимъ объясненія. И хуже всего для старика было то, что не видѣлъ онъ ни малѣйшихъ резонновъ и оправданій всему этому дѣлу.

Когда майоръ вступилъ въ губернаторскую залу, тамъ уже толкались кое-какія силы officialнаго міра. Правитель канцеляріи и нѣсколько чиновниковъ ожидали со своими докладами; лихой полиціймейстеръ Гнутъ расхаживалъ съ рапортомъ; дежурные—канцеляристъ и квартальный суетились около какихъ-то шнуровыхъ разграфленныхъ книгъ и сортировали только-что полученные пакеты. Лихой Гнутъ попытался было мимоходомъ окинуть майора внушительно-строгимъ, соколинымъ взглядомъ; но того этотъ взглядъ не смутилъ ни мало. Въ своемъ мундирѣ, тщательно вычищенномъ и щеткой, и метелкой, при всѣхъ регаліяхъ, стоялъ майоръ у окна и съ тайной смутой на сердцѣ ожидалъ что-то будетъ.

Прошло одиннадцать,—губернаторъ не показывается.

Пришелъ черненькій Шипсъ, небрежно мотнувъ головой на поклоны нѣкоторыхъ чиновниковъ, фамильярно подавъ руку правителю канцеляріи и пріятельски заболталъ съ подполковникомъ Гнутомъ о вчерашнемъ «раутѣ» графини. Пришли и еще двое чиновниковъ по особымъ порученіямъ, изъ которыхъ одинъ обладалъ весьма либеральной бородой, либеральными усами, либеральной прической и либеральными панталонами. Онъ небрежно поигрывалъ стальною цѣпочкою отъ часовъ, которая изображала собою въ нѣкоторомъ родѣ кандалы, съ ядромъ и «мертвою головою». Либеральный чиновникъ желалъ обратить вниманіе присутствовавшихъ на свою цѣпочку и, дѣйствительно, лихой Гнутъ вскорѣ замѣтилъ ее:

— Посмотрите, господа, какая оригинальная цѣпочка!

И всѣ кинулись разсматривать цѣпочку либеральнаго чиновника. Одинъ только ничему непричастный майоръ попрежнему оставался у окна.

— Это—Жанъ-Вальжанъ, цѣпь каторжныхъ галерниковъ,—самодовольно пояснилъ чиновникъ,—совсѣмъ новая новинка! Только что получены.

— Гдѣ? гдѣ? скажите пожалуйста! У кого

это? — хоромъ насѣли на него заинтересованные чиновники.

— Въ Сарептскомъ магазинѣ... Цѣлая партія прислана.

— А! надо купить!.. непременно надо! Отличная штука!

И чиновники долго еще любовались Жанъ-Вальжаномъ своего либеральнаго собрата.

Прошло половину двѣнадцатаго—нейдетъ губернаторъ.

Чиновники по особымъ порученіямъ либерально расхаживаютъ по залѣ вмѣстѣ съ «правителемъ» и Гнутомъ, тогда какъ всѣ почтительно дожидаются, не двигаясь съ мѣста.

Вотъ на минуту растворилась дверь, и вышелъ изъ нея, вполне серьезный, полковникъ Пшечинскій, представителью бряцая шпорами и поддѣтою на крючекъ саблей, при чемъ кисточки его серебряныхъ эполетъ болтались весьма эффектно. Онъ на ходу отвѣтилъ любезнымъ склоненіемъ головы на общій поклонъ чиновниковъ и, съ озабоченнымъ видомъ, прошелъ въ прихожую, мимо майора, котораго хотя и видѣлъ, но будто не замѣтилъ.

Прошло двѣнадцать. Опять на минуту растворилась дверь, и губернаторскій лакей пронесъ на подносѣ корзинку съ хлѣбомъ, да два пустые стакана послѣ кофе.

Либеральные чиновники продолжаютъ расхаживать, болтая о «раутѣ», о madame Прудко, о Людовикѣ Наполеонѣ, объ Шмиттофѣ, о какой-то статьѣ въ «Современникѣ», о внезапномъ повышеніи по службѣ какого-то Кузмы Демьяновича, о новомъ рысакѣ Верхохлебова... и о многихъ иныхъ, подобныхъ предметахъ, о которыхъ вообще и всегда, отъ нечего дѣлать, болтаютъ губернаторскіе чиновники въ ожиданіи своего патрона.

Но вотъ раздался кабинетный звонокъ, и дежурный канцеляристъ, застегивая послѣднюю пуговицу вѣщ-мундира, со всѣхъ ногъ бросился на призывъ его превосходительства. По прошествіи нѣкотораго времени онъ опять показался въ залѣ и собственноручно открылъ самымъ торжественнымъ образомъ половину двери. Послышались вѣскіе шаги, съ легкимъ скрипомъ—и въ дверяхъ появился Непомукъ Анастасьевичъ Гржибъ-Загржимбайло.

— Гдѣ? — лаконично произнесъ онъ, обративъ вопросительный взглядъ на дежурнаго.

Тотъ указалъ рукой на майора.

Губернаторъ, отдавъ всѣмъ общій поклонъ, вышелъ на середину залы и остановился. Онъ не позвалъ майора въ кабинетъ, но нарочно хотѣлъ «распушить» его въ залѣ при всѣхъ, дабы всѣ видѣли Непомуковскую строгость и высшую благонамѣренность.

— Пожалуйте-ка сюда, господинъ Лубянский! издали обратился онъ къ Петру Петровичу тѣмъ officialно-деревянннымъ тономъ, который не предвѣщалъ ничего добраго. Ста-

рикъ и чувствовалъ, и понималъ, что во всякомъ случаѣ ему рѣшительно нечего говорить, нечего привести въ свою защиту и оправданіе, и потому онъ только произнесъ себѣ мысленно: «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» и, по возможности, твердо и спокойно пошелъ къ губернатору.

— Что это у васъ такое произошло! грозно загнулъ и засопѣлъ его превосходительство. — Воззваніе къ бунту!.. Демонстраціи!.. Порипаніе правительственнаго принципа!.. И вы думаете, что я это потеряю? Вы думаете, что со мною можно безнаказанно такіа шутки шутить?.. Да знаете-ли, милостивый государь, что я васъ административнымъ порядкомъ въ двадцать четыре часа изъ города вонъ въ Тобольскую упрячу!.. Вы у меня народъ агитировать, молодежь развращать!.. Я вырву съ корнемъ это гнусное сѣмя!.. Стыдитесь! вы—старикъ, штабъ-офицеръ; на васъ эти кресты, эти медали—и вы... вы...

Послѣдній незаслуженный упрекъ былъ слишкомъ горекъ и обиденъ старому солдату. Онъ поблѣднѣлъ и задрожалъ отъ волненія.

— Ваше превосходительство... ваше превосходительство! возвысилъ онъ голосъ, — въ вашемъ положеніи оскорбить человѣка легко-съ. Но... я за двухъ моихъ государей двадцать пять лѣтъ мой лобъ и мою грудь подставлялъ... я одиннадцать ранъ имѣю-съ, такъ не мнѣ, на старости лѣтъ, подускивать на бунты!

И повернувшись, онъ твердыми шагами пошелъ изъ комнаты.

— Стойте!—закричалъ ему вслѣдъ губернаторъ.

Майоръ словно бы и не слышалъ.

— Стойте же, говорю я вамъ!.. Я еще не кончилъ... Остановите его.

Дежурный квартальный преградилъ ему выходъ.

Потухшіе глаза майора вдругъ сверкнули нестарческимъ огнемъ. Если бы полицейскій офицеръ только дотронулся до него... было бы не хорошо. Петръ Петровичъ на мгновеніе замедлился передъ нимъ, словно бы соображая, на что ему рѣшиться. Улыбающееся личико дочери вдругъ мелькнуло въ его воображеніи—и этотъ спасительный образъ, къ счастью, удержалъ его отъ многого...

— Потрудитесь вернуться... и выслушать!—кричалъ между тѣмъ Гржибъ-Загжимбайло.

Лубянской подошелъ къ нему твердымъ шагомъ.

— Изъ уваженія къ вашимъ сѣдинамъ, я не хочу лишить васъ покоя и потому оставляю въ городѣ,—продолжалъ Непомукъ уже гораздо сдержаннѣе.—Но за подобныя вещи отдадутъ, по крайней мѣрѣ, подъ строгій надзоръ полиціи... Послѣ этого я не имѣю права дозволить вамъ учить дѣтей и не могу оставить школу въ вашихъ рукахъ. Но я не хочу такъ

же, чтобы бѣдныя дѣти, которыя ни въ чемъ невиноваты, благодаря вамъ, лишились того образованія, которое уже они получали; поэтому я учреждаю надъ школой административный надзоръ, и вы потрудитесь передать завѣдываніе ею тому благонадежному лицу, которое будетъ мною назначено!.. Ему же передадите вы отчетъ и сумму отъ вчерашняго вечера. Теперь можете идти!

И онъ вѣжливѣе, но очень выразительнымъ жестомъ указалъ на дверь майору.

Старикъ, почти не помня себя, вышелъ на улицу убитый, оскорбленный, уничтоженный и разомъ лишенный лучшаго и завѣтнѣйшаго дѣла своей тихой и честной старости.

XV.

Конференція совѣта гимназіи.

Объявленіе, положенное на столѣ сборной учительской комнаты, извѣщало господъ учителей объ экстренномъ засѣданіи совѣта гимназіи, которое имѣетъ быть сегодня, въ два съ половиною часа пополудни. Учителя болѣе или менѣе знали уже о чемъ пойдетъ рѣчь на этомъ засѣданіи.

Въ половинѣ третьяго, по окончаніи классовъ, когда гурьба гимназистовъ съ гамомъ и шумомъ высыпала на улицу, учителя собрались въ конференцъ-залу, по стѣнамъ которой стояли высокіе шкафы съ чучелами птицъ и моделями звѣрей; на шкафахъ—глобусы и семь мудрецовъ греческихъ; на столахъ и въ витринахъ около оконъ—электрическія и пневматическія машины, вольтовъ столбъ, архимедовъ винтъ, лейденскія банки, минералогическія и археологическія коллекціи. По срединѣ залы стоялъ длинный столъ, покрытый краснымъ сукномъ, и вокругъ него рядъ креселъ. На площадкѣ, передъ этой комнатой дожидалась чего-то бѣдно одѣтая старушка и молча, но съ невыразимо-госкливой мольбой во взорѣ провожала каждаго входившаго въ дверь конференцъ-залы. Пока еще директоръ не занялъ предсѣдательскаго мѣста, члены совѣта въ группахъ разговаривали между собою. Устиновъ отозвалъ Подвилянскаго въ сторону и сказалъ ему тихо:

— Я надѣюсь, Феликсъ Мартыновичъ, вы употребите всѣ усилія, всѣ старанія, чтобы облегчить участь Шишкина... Это—долгъ вашей совѣсти, Феликсъ Мартыновичъ!—прибавилъ онъ съ удобопонятною для Подвилянскаго выразительностью.

— Конечно... все, что могу... — процѣдилъ тотъ сквозь зубы.

Раздался призывный колокольчикъ—и учителя заняли свои мѣста.

— Предварительно обсужденія главнаго вопроса нынѣшней конференціи, началъ ди-

ректоръ, видимо стремившійся усвоить себѣ парламентскія формы, — я долженъ сообщить вамъ, милостивые государи, вотъ что: сегодня приглашалъ меня къ себѣ его превосходительство Непомукъ Анастасьевичъ для совмѣстнаго обсужденія весьма важнаго вопроса о воскресной школѣ. Послѣ всего происшедшаго во вчерашній вечеръ, его превосходительство полагаетъ совершенно невозможнымъ оставить за вѣдываніе школой въ рукахъ майора Лубянского, ни дозволить ему дальнѣйшее преподаваніе. Это крайнее и послѣднее рѣшеніе. Его превосходительство намѣренъ предложить администрацію и наблюденіе за ходомъ преподаванія въ школѣ господину Подвилянскому и спрашивалъ меня о благонадежности Феликса Мартыныча въ политическомъ и нравственномъ отношеніи. Я, съ своей стороны, конечно, могъ дать только самый лестный отзывъ.

Подвиляньскій при этомъ слегка поклонился съ скромной улыбкой благодарности.

— Что касается меня, — продолжалъ директоръ, — я не нашелъ ничего противъ предложенія его превосходительства и въ принципѣ совершенно соглашаюсь съ нимъ. Остается только узнать на этотъ счетъ рѣшеніе самого Феликса Мартыныча, и если Феликсъ Мартынычъ согласенъ, то...

— Я соглашаюсь, — подхватилъ Подвиляньскій. — Конечно... у меня есть много занятій, но... для пользы такого дѣла... просвѣщеніе народа — вы сами, конечно, понимаете... я не считаю себя въ правѣ отказаться.

— Въ такомъ случаѣ я извѣщу объ этомъ Непомука Анастасьича, а вы потрудитесь завтра утромъ отправиться къ его превосходительству, и онъ сообщитъ вамъ нѣкоторые инстинкціи.

Феликсъ Мартыновичъ поклонился вторично въ знакъ полного и покорнаго своего согласія.

— Какъ!.. Позвольте-съ? — поднялся съ мѣста озадаченный и даже ошеломленный Устиновъ; — но вѣдь эта школа — дѣло совершенно частное; какое же тутъ вмѣшательство...

— Разрѣшеніе на школу дано все-таки администраціей, — рѣшительно перебилъ директоръ, — и если направленіе преподаванія или духъ школы идетъ въ разрѣзъ съ правительственными видами, администрація всегда имѣетъ полное право...

— Но вѣдь надо же сперва узнать, надо изслѣдовать, по крайней мѣрѣ, все дѣло! Вѣдь такъ нельзя же! Вѣдь это что-жъ такое, наконецъ!... Вредный духъ школы — да Господи Боже мой! взгляните прежде...

— Я ничего не знаю; это касается администраціи; можете къ ней адресоваться, — настойчиво прервалъ директоръ Устинова. — Администрація во вчерашнемъ происшествіи имѣетъ на лицо достаточно краснорѣчивый

фактъ, противъ котораго я не нахожу возможности спорить, и если заговорилъ объ этомъ, то для того только, чтобы передать Феликсу Мартынычу рѣшеніе, до него лично касающееся. Засимъ дебаты объ этомъ предметѣ я считаю оконченными и предлагаю перейти къ главному нашему вопросу.

Будто почувствовавъ важность этой минуты, всѣ какъ-то подбодрились, оправились, подвинули ближе къ столу свои кресла и приготовились слушать.

— Вамъ, милостивые государи, — началъ директоръ, вздохнувъ съ печально важнымъ видомъ, — извѣстно уже вчерашнее грустное происшествіе; поэтому я избавлю себя отъ прискорбнаго труда повторять вамъ сущность его. Всѣ вы и безъ того хорошо знаете дѣло. — Антонъ Антонычъ, — обратился онъ къ инспектору, — какъ распорядились вы съ Шишкинымъ?

— Съ утра еще посаженъ въ карцеръ, на хлѣбъ и на воду.

— Это хорошо-съ. Теперь, господа, вашему обсужденію предлежитъ вопросъ: что сдѣлать съ нимъ? Господинъ Шепфенгаузенъ, вы, какъ младшій, потрудитесь изложить намъ ваше мнѣніе, — отнесся предсѣдатель къ учителю чистописанія, черченія и рисованія.

— Зъ большинства загля-асентъ, — сгибая колѣнки и осклаля глупой улыбкой свою лошадиную челюсть, приподнялся скромный и немногословный господинъ Шепфенгаузенъ.

— Очень хорошо-съ. Господинъ Краузе?

— Висѣкать и вигонать, — рѣшилъ учитель нѣмецкаго языка.

— Очень хорошо-съ. Monsieur Fume! Votre opinion.

— Oh, oui! розгъ, et cachôt, et вигани-и... et tout! ce que vous voulez! O, c'est un grand gaillard ce Chichkin là! Эти сквэрнъ мальшишк! Tout, ce que vous voulez, monsieur le directeur! et вигани, et cachôt, et розгъ — voilà mon opinion! жестикулировалъ учитель французскаго языка, который точилъ противъ Шишкина старый зубъ еще за прошлогодній бенефисъ съ жвачкой и сдернутымъ парикомъ.

— Очень хорошо-съ. Не угодно ли вамъ, господинъ Подвиляньскій?

— Съ большинствомъ согласенъ, уклончиво отвѣтилъ учитель латинскаго языка.

— То-есть, позвольте-съ! какъ же это съ большинствомъ? — сказалъ Устиновъ, въ упоръ и строго глядя въ глаза ему; — до сихъ поръ большинство за розги и исключеніе? И вы тоже на сторонѣ большинства?

— Господинъ Фуше имѣетъ свои основанія подать мнѣніе этого рода, — опять-таки уклонился Подвиляньскій, обращаясь не къ Устинову, но ко всѣмъ вообще. — Я прошу позволенія напомнить совѣту, что прошлаго года этотъ самый Шишкинъ высидѣлъ полторы не-

дѣли въ карцерѣ за грубые дерзости, которые онъ позволилъ себѣ относительно господина Фуше.

— Я нахожу, что напоминаніе ваше едва ли уместно, — покраснѣвъ отъ негодованія, сдержанно проговорилъ Устиновъ. — Были другіе, которые были виноваты гораздо болѣе Шишкина, но Шишкинъ не захотѣлъ выдать товарищей и на самомъ себѣ понесъ все наказаніе. Я нахожу, что это черта весьма благородная.

— И такъ, Феликсъ Мартыновичъ, ваше мнѣніе? — обратился председатель къ Подвилянскому.

— Остаюсь при прежнемъ, — коротко поклонился тотъ.

Устиновъ поглядѣлъ на него честными, изумленными глазами.

— Вы что скажете, Андрей Павловичъ? — повернулся директоръ къ Устинову.

— Я скажу одно, — поднялся маленький математикъ; — пощадите, господа, молодого человека!.. Если у васъ есть въ сердцѣ хоть капелька человѣческой крови — пощадите его! Онъ виноватъ — не спорю. Ну, выдержите его въ карцерѣ, сколько вамъ будетъ угодно; ну, лишите его домашнихъ отпусковъ до конца курса; ну, постарайтесь представить предъ собраніемъ товарищей весь позоръ, всю глупость его проступка; но, только Бога ради, не выгоняйте его!

— Это будетъ весьма недостаточное наказаніе: поступокъ его заражаетъ большинство весьма дурнымъ примѣромъ, — замѣтилъ инспекторъ.

— Эхъ, Антонъ Антоновичъ! — возразилъ Устиновъ. — Видно, что своихъ дѣтей у васъ нѣтъ и никогда не было!.. Какъ это все легко говорится!.. Вѣдь Шишкинъ способнѣйшая, даровитая голова! Вѣдь онъ у насъ который годъ первымъ ученикомъ идетъ! Ну, натура у него немножко широкая, русская, увлекающаяся натура, но вѣдь онъ честный юноша! Вѣдь ему черезъ два мѣсяца курсъ кончатъ, изъ гимназіи выходить, а вы вдругъ хотите лишить его всего, — всего, за одну глупость, которую вдобавокъ и сдѣлалъ-то онъ, какъ я не безъ основанія подозрѣваю, по чужому внушенію.

Подвилянскій, при этихъ словахъ, отчасти измѣнился въ лицѣ и сталъ сосредоточенно обмахивать обшлагъ своего вѣща — мундира, словно бы въ немъ засѣла какая-то упрямая пылинка.

— Господа! продолжалъ Устиновъ, — здѣсь, за дверью, какъ жизни или смерти ожидаетъ вашего рѣшенія несчастная старуха-мать этого Шишкина. Вѣдь вся ея радость, единственная надежда, единственный кусокъ хлѣба на старости лѣтъ... Пощадите же Христа ради!

— Для чего же вы сами шикали вчера! ехидственно спросилъ Подвилянскій.

Устиновъ, прежде чѣмъ отвѣтить, посмотрѣлъ на него холодно-презрительными и строгими глазами.

— А я васъ спрошу, началъ онъ вѣско и размѣренно: — для чего вы подуськивали его?

— Какъ!.. Позвольте, милостивый государь! Гдѣ? Когда я подуськивалъ его! горячо сорвался съ мѣста Феликсъ Мартыновичъ. — Я?.. Я, напротивъ, удерживалъ, отговаривалъ его, у меня есть свидѣтели, очевидцы!.. Я представлю доказательства!.. Я не позволю никому оскорблять меня такимъ образомъ! Я не могу допустить, чтобы такъ нагло клеветали на мою благонамѣренность!.. Это уже называется подкопами!..

— Обвиненіе столь важно, перебилъ председатель, — что я полагаю лучше допросить объ этомъ первоначально самого Шишкина... Пусть онъ намъ скажетъ вѣшалъ ли ему кто или нѣтъ. Антонъ Антоновичъ, распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели его сюда изъ карцера.

Черезъ нѣсколько минутъ подсудимый стоялъ предъ ареопагомъ своихъ наставниковъ и воспитателей. Едва успѣлъ онъ войти, какъ Подвилянскій, упреждая возможность перваго вопроса со стороны директора, къ которому арестантъ, естественно, не могъ быть подготовленъ, стремительно поднялся вдругъ съ кресла и съ особенною торопливостью обратился къ гимназисту;

— Господинъ Шишкинъ! Какъ честный человекъ, скажите откровенно, останавливалъ ли я васъ, чтобы вы не дѣлали этой глупости? Скажите по совѣсти!

Шишкинъ поглядѣлъ на него пристально и твердо отвѣтилъ:

— Да; говорили... Останавливали.

Подвилянскій съ гордымъ презрѣніемъ вымѣрлялъ торжествующимъ взглядомъ Устинова.

— Повремените немного! сказалъ ему послѣдній, очень хорошо понявъ значеніе этого безмолвнаго торжества. — Господинъ Шишкинъ! Я не хочу допустить мысли, чтобы вы сдѣлали вашъ проступокъ безъ чьего-нибудь посторонняго побужденія. Скажите откровенно, кто подуськалъ васъ на это? Или какъ, по крайней мѣрѣ, вслѣдствіе чего пришла вамъ эта несчастная мысль прочесть «Орла»?

Подвилянскій опять почувствовалъ маленькую неловкость и опять было прибѣгнулъ къ старательному обтиранію обшлага; но изъ этого спокойнаго положенія, къ счастью, вывелъ его преподаватель географіи Бенедиктъ Кулькевичъ.

Шишкинъ еще не собрался отвѣтить, какъ уже раздался голосъ этого Бенедикта.

— Я полагаю, — началъ онъ, — вопросъ господина Устинова не совсѣмъ уместенъ; мы здѣсь, во-первыхъ, не слѣдственная по политическимъ дѣламъ коммисія...

Последняя фраза была сказана съ такою ѣдкою ироніей, которая прямо была на то, чтобы подѣйствовать на щекотливую струнку самолюбія членовъ.

— Да, но мы здѣсь тѣмъ не менѣе рѣшаемъ судьбу молодого человѣка! горячо перебилъ его Устиновъ.

— Во-вторыхъ—продолжалъ Кулькевичъ, не обративъ вниманія на это возраженіе,—мнѣ кажется, что такой вопросъ даже оскорбительнъ для самого господина Шишкина. — По крайней мѣрѣ, если-бъ я былъ на его мѣстѣ, я бы оскорбился за мое самолюбіе: господинъ Устиновъ какъ будто предполагаетъ въ господинѣ Шишкинѣ совсѣмъ глупенькаго, неразумнаго ребенка, мальчишку, дурачка, котораго такъ вотъ вдругъ можно взять да и подуськать на что либо; какъ будто господинъ Шишкинъ недостаточно взрослый и самостоятельный юноша, чтобы дѣйствовать по собственной инициативѣ? Впрочемъ, это только мое личное мнѣніе; можетъ, кто и «подуськивалъ» его, я не знаю. Объ этомъ онъ самъ, конечно, лучше знаетъ.

Сказано все это было какъ нельзя болѣе кстати, и расчетъ оказался вѣренъ. Шишкинъ, какъ одинъ изъ лучшихъ и при томъ бойкихъ учениковъ, естественно, былъ самолюбивъ. Кулькевичъ зналъ за нимъ это качество и его-то именно рѣшился задѣть въ нужную минуту. Восемнадцатилѣтній юноша переживалъ то время, когда школьническій гимназическій мундиръ становится уже тѣсень, малъ и узокъ на человѣкѣ, когда самолюбіе тянетъ человѣка на каждомъ шагѣ заявить себя взрослымъ, когда онъ, такъ сказать, борьбою добываетъ себѣ эту привилегію на взрослость въ глазахъ тѣхъ, которые продолжаютъ еще считать его мальчишкой и школьникомъ.

— Меня никто не усыкалъ... Я самъ читалъ, по своему побужденію,—съ достоинствомъ проговорилъ юноша. Честный малый—онъ даже былъ убѣжденъ въ эту минуту, что свершаетъ нѣкій подвигъ гражданскаго мужества.

— Хорошо-съ, можете отправляться обратно въ карцеръ!—сухо отвѣтилъ ему на это директоръ.

Когда арестантъ удалился, Подвилянскій, весь пылая чувствомъ гордаго и удовлетвореннаго достоинства, смѣло и твердо поднялся съ мѣста.

— Господа!—возвысилъ онъ голосъ,—послѣ того, что сказано здѣсь самимъ Шишкинымъ, я не считаю нужнымъ отвѣчать на обвиненіе господина Устинова: пускай онъ самъ назоветъ его достойнымъ именемъ.

— Я остаюсь при прежнемъ своемъ мнѣніи—стойко и не смутясь отвѣтилъ Устиновъ,—и только прибавлю къ нему одно, что *легально* вы остались совершенно правы, съ чѣмъ васъ и поздравляю.

— Такъ послѣ же этого!!.. запальчиво вскопчилъ было Феликсъ Мартыновичъ, но председатель прекратилъ ихъ преніе настойчивымъ призывомъ къ порядку и продолжалъ отбирать мнѣнія членовъ совѣта.

Большинство трехъ голосовъ оказалось на сторонѣ исключенія. Два изъ нихъ принадлежали самому председателю, который нѣкоторое время колебался было, отдать ли эти два голоса въ пользу Устиновскаго предложенія, или въ пользу его противниковъ, но изъ столь затруднительнаго колебанія вывелъ его опять-таки все тотъ же находчивый и предусмотрительный Феликсъ Мартыновичъ Подвилянскій.

— Господа, сказалъ онъ съ видомъ величайшей искренности, положивъ руку на сердце.—Вѣрьте моей совѣсти, я отъ души радъ бы былъ сдѣлать все возможное, лишь бы только облегчить участь молодого человѣка, я вполне сочувствую господину Устинову и прочимъ, которые подали голоса противъ исключенія, но, господа!.. все это вполне бесполезно! Проступокъ Шишкина не такого рода, чтобы администрація оставила его безъ вниманія: доказательство—сегодняшнее рѣшеніе господина губернатора. Они уже знаютъ объ этомъ! Если мы не исключимъ Шишкина, его все-таки заберетъ въ свои лапы жандармерія и, стало-быть, все-таки, *volens-nolens*, онъ будетъ исключенъ, а мы, между тѣмъ, можемъ подвергнуться со стороны министерства серьезному замѣчанію въ потворствѣ... заподозрять благонамѣренность нашего направленія—и что-жъ изъ того выйдетъ? Какаѣ пользы, я васъ спрашиваю? Ни себѣ, ни ему! Лучше же умыть руки, сдѣлать достойное и—дальнѣйшее предоставить администраціи: какъ тамъ себѣ хотятъ, такъ пусть и дѣлаютъ, абы мы въ сторонѣ были!

Этотъ взглядъ, безспорно, имѣлъ на своей сторонѣ много эгоистически-успокоительнаго и, стало быть, весьма подкупающаго, а потому председатель и отдалъ свои голоса въ пользу исключенія.

Конференція окончилась. Члены совѣта оставляли залу и выходили на ту площадку, гдѣ ожидала скромно одѣтая старушка.

Едва показался инспекторъ, какъ она, въ величайшемъ напряженіи ожиданія, въ борьбѣ между страхомъ и надеждой, молча, но съ выразительнымъ вопросомъ въ глазахъ и во всемъ лицѣ своемъ подступила къ Антону Антоновичу.

— Къ сожалѣнію, ничѣмъ не могу утѣшить васъ, сударыня! грустно пожалъ онъ плечами:—большинствомъ голосовъ вашъ сынъ приговоренъ къ исключенію изъ гимназіи. Завтра утромъ можете явиться за его бумагами.

Старуха страшно поблѣднѣла, нижняя челюсть ея вдругъ какъ-то безсильно отвалилась

отъ верхней, подбородокъ замѣтно запрыгалъ, задрожалъ и сама она вся затряслась; да какъ стояла, такъ и хлопнулась на мѣстѣ о каменныя плиты помоста.

— Господинъ Подвилянскій! — съ силой схватилъ вдругъ Феликса за руку взволнованный Устиновъ.

Онъ говорилъ съ трудомъ, почти задыхаясь. Въ его зрачкахъ сверкало вдохновеніе бѣшенства.

Феликсъ оробѣлъ и попятился.

— Господинъ Подвилянскій, — повторилъ онъ, все крѣпче сжимая его руку между локтемъ и кистью, — вы... вы подлецъ!

Это страшное слово было громко и смѣло брошено ему въ лицо въ присутствіи всѣхъ сотоварищей по службѣ, и послѣ этого слова Устиновъ съ презрѣніемъ, даже болѣе, съ омерзѣніемъ, словно отъ какой-нибудь холодной и склизкой гадины, отдернулъ отъ него свою руку.

— Господа!.. господа!.. вы слышали?—взволнованно забормоталъ потерявшійся учитель. — Я этого не могу такъ оставить... Мое имя... моя честь... Я требую сатисфакціи!.. Сатисфакціи!

— Къ вашимъ услугамъ! сходя со ступенекъ и, повидимому, уже спокойно, съ полнымъ самообладаніемъ, обернувшись къ Феликсу, поклонился Устиновъ.

XVI.

В ы з о в ъ.

Скромно пообѣдавъ обычнымъ образомъ за четвертакъ въ кухмистерской на Московской улицѣ, но невольно найдя всѣ три блюда какими-то прѣсными, безвкусными, Андрей Павловичъ Устиновъ отправился во-свояси напиться чаю да отдохнуть часокъ-другой пока до вечера. Послѣ давешней крутой сцены онъ чувствовалъ какую-то усталость, какой-то упадокъ въ груди; весь онъ какъ-то былъ утомленъ, разбитъ, словно-бы послѣ длиннаго перехода или послѣ непомѣрно-долгой верховой ѣзды, но только это была усталость и разбитость не совсѣмъ физическая, а болѣе моральная, душевная, — ощущенія, которыя, впрочемъ, почти всегда сопровождаютъ и сильную усталость физическую. Организмъ просилъ сна, покоя, отдохновенія, потому что экстазъ бѣшенства непремѣнно обезсиливаетъ человѣка.

Послѣобѣденное время было обыкновенною порою, когда Хвалынцевъ заходилъ поболтать къ Устинову. Такъ ужъ дѣлалъ онъ раза три или четыре. Подходя къ дому, учитель и сегодня почти у самыхъ воротъ столкнулся со старымъ своимъ пріятелемъ. Нынче онъ обрадовался ему болѣе, чѣмъ когда-либо: для человѣка очень часто есть томительная потребность по-

дѣлиться съ другою сочувствующею душою своими черезчуръ ужъ сильными ощущеніями и мыслями, которыя переполняютъ вмѣстѣ его внутренняго міра. Тѣмъ отраднѣе потомъ, послѣ этого вліянія, будетъ отдохновеніе, несущее съ собою миръ и покой душевный.

Но не успѣли пріятели распить по стакану чая и не успѣлъ еще Устиновъ окончить свой рассказъ, какъ въ дверь его постучались.

— Войдите, — пригласилъ учитель съ недовольной миной.

Вошелъ Полояровъ вмѣстѣ съ Анцыфровымъ, и оба, не снимая ни пальто, ни галошъ, подошли къ Андрею Павловичу.

— Мы къ вамъ отъ Подвилянскаго, — тотчасъ же началъ Ардаліонъ, не сядя по приглашенію, но опираясь на свою дубину, — и предваряю, по весьма нелѣпому порученію, которому я, по моимъ принципамъ, нисколько не сочувствую, но не отказался единственно изъ дружбы. Онъ васъ вызываетъ на дуэль, а мы вотъ секунданты его.

И проговоривъ это, Полояровъ засмѣялся, словно бы сказалъ или услышалъ самую наивную глупость.

Устиновъ тоже слегка улынулся и, въ ожиданіи, что изъ этого воспослѣдуетъ далѣе, слегка поклонился.

— Ну-съ?—проговорилъ онъ, видя что Полояровъ какъ-то переминаясь комкаетъ свою сѣрую шляпу.

— Да что «ну-съ»... «Ну-съ» по-нѣмецки значитъ орѣхъ! А я нахожу, что все это глупость! Какая тутъ дуэль? По моему просто: коли повздорили другъ съ другомъ, ну возьми, другъ друга да и потузи сколько душѣ твоей угодно!.. Кто поколотилъ, тотъ, значитъ, и правъ!.. А то что такое дуэль, я васъ спрашиваю? Средневѣковой, феодально-аристократическій обычай! Ну, и къ чорту бы его!.. Но въ этомъ въ Подвилянскомъ все-таки этотъ гоноръ еще шляхетскій сидитъ, традиціи, знаете, и прочее... Такъ вотъ, угодно что-ли вамъ драться?

Устиновъ пожалъ плечами.

— Можетъ-быть, оно и очень глупо, отвѣчалъ онъ съ усмѣшкой, — и спорить объ этомъ мы съ вами, конечно, не станемъ, но... если меня вызываютъ, я не считаю себя въ правѣ отказать, чтобы не подать поводъ, хотя бы даже и господину Подвилянскому, обозвать меня малодушнымъ трусомъ. Передайте ему, господа, что я согласенъ.

Это неожиданное согласіе видимо озадачило обоихъ секундантовъ: они словно бы и не ожидали получить его.

Подвилянскій, впрочемъ, требуетъ, — торопливо вмѣшался пискунокъ Анцыфровъ, — чтобы вы при всѣхъ учителяхъ извинились передъ нимъ и взяли назадъ свои слова. Онъ только въ крайности, ежели бы вы не согласились на это, предлагаетъ вамъ дуэль... Въ противномъ слу-

чай, онъ поручилъ передать вамъ, что онъ найдеть свою собственную расправу.

Учитель вспыхнулъ отъ негодованія.

— Ну, я хоть и малъ да крѣпокъ, возразилъ онъ весьма внушительнымъ тономъ, — и меня застрашивать да запугивать нечего! Расправа, о которой вы говорите, будетъ для господина Подвилянскаго пожалуй-что поубыточнѣе чѣмъ для меня! Но... я, во всякомъ случаѣ, извиняться не стану, и сколь ни находить это глупымъ господинъ Полояровъ, предпочитаю дуэль, и принимаю вашъ вызовъ.

Оба пріятеля опять на нѣкоторое время остались вполнѣ озадачены такимъ рѣшительнымъ поворотомъ дѣла, и не то недоумѣло, не то совѣщательно переглянулись между собою.

— Когда же вы намѣрены драться? спросилъ Ардальонъ послѣ минутнаго раздумья.

— Это совершенно все равно. Когда ему будетъ угодно.

— Онъ хотѣлъ бы завтра утромъ, такъ, часовъ въ восемь.

— Ну, въ восемь такъ въ восемь, я ничего не имѣю противъ.

— А на чемъ вы воевать желаете?

— И это точно также совершенно все равно для меня: я ни на чемъ не умѣю.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Эхъ, вы воптели!.. Какъ же это такъ-то?.. Ну, не лучше-ли же по-моему на кулачыхъ?.. Ха-ха-ха!..

— Впрочемъ, Подвилянскій желалъ бы лучше на пистолетахъ, опять вмѣшался пискунокъ не безъ нѣкоторой многозначительности въ тонѣ. — Вы какъ на этотъ счетъ думаете, господинъ Устиновъ?

— Ну, на пистолетахъ, такъ на пистолетахъ.

— И будете стрѣлять? недоумчиво, но шуточно спросилъ Полояровъ.

— Васъ, конечно, не попрошу за себя.

— Ха-ха-ха!.. Да я и не пошелъ бы. Нашли дурака!.. И то ужъ и въ секунданты-то, такъ только, по дружбѣ. Ну, а кто же у васъ секундантомъ-то будетъ?

— Я буду, — отозвался Хвалынцевъ.

— Вы?.. Ну, очень пріятно!.. Значить, по крайности, вынужку послѣ того хорошую устроимъ, ась?

— Нѣтъ, ужъ пить вмѣстѣ съ господиномъ Подвилянскимъ мы не станемъ, сухо и рѣзко возразилъ Устиновъ. — Довольно съ него и этой чести, что я не отказываюсь отъ его вызова.

— Ну, ладно! была бы честь предложена, а отъ убытка Богъ избавилъ! Такъ такъ-то-съ? Значить, воюемъ? Ну-съ, а вы, господинъ секундантъ, зайжайте ко мнѣ, либо я къ вамъ зайду; прощаясь обратился Полояровъ къ Хвалынцеву; — надо вѣдь еще насчетъ мѣста условиться.

Студентъ общалъ зайхать въ девять часовъ вечера, и секунданты Феликса Мартыновича удалились.

— Какъ тебѣ нравится еще эта милая выходка? обратился, по уходѣ ихъ, учитель къ своему пріятелю.

— Ничего изъ этого не выйдетъ! съ полною увѣренностью отвѣчалъ тотъ; — просто-на-просто запугать хотѣлъ.

— Ну, не на таковского напалъ, дружочекъ!.. Я, признаться, съ перваго же слова, почувствовалъ это. Однако, что-жъ теперь дѣлать? въ недоумѣніи пожалъ плечами учитель, — вѣдь вся эта штука очень сильно глупостью попахиваетъ.

— Такъ-то оно такъ, согласился Хвалынцевъ, — и потому-то вотъ до времени ровно ничего не слѣдуетъ дѣлать. Погоди, вотъ въ девять часовъ я поѣду къ нему, тогда поглядимъ, а теперь ложись-ка спать; тебѣ успокоиться надо.

Устиновъ охотно послѣдовалъ совѣту стараго товарища и, проводивъ его отъ себя, завалился на свою кушетку. Не прошло еще пяти минутъ, какъ онъ уже храпѣлъ глубокимъ и темнымъ сномъ сильно усталаго человѣка.

XVII.

Въ ожиданіи роковой минуты.

Ну, братъ Андрюша, вставай! просыпайся! разбудилъ учителя Хвалынцевъ, вернувшись къ нему въ половинѣ десятаго: — дѣло въ-серъезъ пошло!.. Какъ ни глупо, а драться, кажись, и взаправду придется.

— Былъ у Полоярова? — протирая глаза, потянулся и зѣвнулъ Устиновъ.

— Сейчасъ только оттуда. Деретесь завтра, какъ назначено, въ восемь часовъ, въ оврагъ... знаешь, тамъ, въ этой роцѣ за Духовымъ монастыремъ.

— Ну что-жъ, въ оврагъ такъ въ оврагъ! И прекрасное дѣло! съ напускнымъ равнодушіемъ сказалъ учитель, подымаясь съ постели. Въ сущности же въ эту минуту нѣчто жуткое слегка стало похватывать его за душу.

— Стало-быть, не отказывается? вопросительно остановился онъ предъ Хвалынцевымъ.

— Куда тебѣ!.. махнулъ тотъ рукою, — говорятъ, теперь и слышать не хочеть! У нихъ уже тамъ и пистолеты приготовлены: достали откуда-то. Анцыфровъ такъ и старается около нихъ!

Легкая усмѣшка, выражавшая не то полупрезрѣніе, не то полуравнодушіе, покривила чуть-чуть губы учителя.

— Ну, и пускай!.. Ну, и чортъ съ ними! — пробурчалъ онъ, принимаясь шагать по комнатѣ.

Около четверти часа прошло въ совершенномъ молчаніи, Хвалынцевъ сидѣлъ и барабанилъ ногтями по столу, а Устиновъ все еще продолжалъ расхаживать, и только время отъ

времени та же самая полупрезрительная, полуравнодушная усмѣшка появлялась на его губахъ. Порою самому ему казалось, будто онъ совершенно равнодушенъ ко всему, что бы ни случилось, и, дѣйствительно, въ эти мгновенья на него вдругъ наплывало какое-то полнѣйшее, абсолютное равнодушіе; а порою это жуткое нѣчто, этотъ невольный инстинктъ молодости, жизни, самохраненія опять-таки войно хваталъ и щемилъ его сердце. Въ эти-то послѣднія минуты на губахъ его и появлялась та принужденная усмѣшка, посредствомъ которой силится онъ если не прогнать и разсѣять, то хоть не выдать свои ощущенія.

— Послушай,—прервалъ наконецъ Хвалынцевъ это молчаніе, и отъ внезапнаго звука его голоса Устиновъ какъ-то чутко вздрогнулъ,—ты совсѣмъ-таки не умѣешь стрѣлять?

— Всеосвоеннѣйше не умѣю.

— Гм!.. Это не удобно!.. Но зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, ты не отказался? Вѣдь выборъ оружія на твоей сторонѣ.

— Э, Боже мой! Да не все ли равно? Вѣдь я жъ говорю тебѣ, что ни на чемъ не умѣю... Развѣ только «на кудачьяхъ», какъ говорилъ Полоярковъ, да и на тѣхъ не пробовалъ.

Опять на нѣкоторое время сосредоточенное молчаніе смѣнило кратковременный разговоръ ихъ.

— А вотъ что было бы не дурно! придумалъ студентъ по прошествіи нѣкотораго времени.—У меня тамъ, въ номерѣ, есть съ собою револьверъ, такъ мы вотъ что: завтра утромъ встанемъ-ка пораньше да отправимся хоть въ ту же рощу... Я тебѣ покажу какъ стрѣлять, какъ цѣлять... все-же-таки лучше; хоть нѣсколько выстрѣловъ предварительно сдѣлаешь, все же наука!

Устиновъ махнулъ рукой.

— Чего ты махаешь?

— Не стоитъ, мой ангелъ, ей-Богу не стоитъ!—промолвилъ онъ съ равнодушной гримасой;—вѣдь ужъ коли всю жизнь не бралъ пистолета въ руки, такъ съ одного урока все равно не научишься. Да и притомъ же... мнѣ такъ сдается... что въ человѣка цѣлять совсѣмъ не то, что въ мишень, хоть бы этотъ человѣкъ былъ даже и Феликсъ Подвилянскій, а все-таки...

Хвалынцевъ молча согласился съ этимъ мнѣніемъ.

— А ты вотъ что,—предложилъ ему учитель,—коли хочешь, такъ оставайся ночевать у меня, я тебѣ въ той комнатѣ свою постель уступлю, а самъ на кушеткѣ... А завтра встанемъ пораньше и отправимся. Идетъ, что-ли?

Студентъ согласился, и кое-какъ скоротали они остатокъ вечера. Устиновъ взялся за книгу. Хвалынцеву тоже попался какой-то истрепанный номеръ «Современника», и они принялись за чтеніе, изрѣдка перекидываясь между собою

кой-какими незначущими фразами и замѣчаніями. Разговоръ въ этотъ вечеръ, вообще, какъ-то не клеился между ними. Наконецъ, студентъ пожелалъ учителю спокойной ночи и удалился въ его спальню, а тотъ межъ тѣмъ долго и долго еще сидѣлъ надъ своей книгой; только читалось ему нынче что-то плохо и больно ужъ разсѣяннo, хотя онъ всѣми силами напрягалъ себя, чтобы посторонней книгой отвлечь отъ завтрашняго дня свои не совсѣмъ-то веселыя мысли.

Поутру онъ проснулся первымъ, умылся, одѣлся и совсѣмъ бодро и даже довольно весело пошелъ будить Хвалынцева, объявляя ему, что ужъ половина седьмого и самоваръ уже поданъ.

Хвалынцевъ быстро, на босую ногу, вскочилъ съ постели, взялъ за плечи учителя и, повернувъ его къ свѣту, сталъ вглядываться въ лицо ему.

— Чего ты смотришь?—удивился тотъ.

— Ничего... Молодецъ! Какъ и быть надлежитъ! Однимъ словомъ, свѣжъ и душистъ! и духъ бодръ, и плоть не немощна, такъ и слѣдуетъ! Са іга! са іга!—весело подпѣлъ онъ въ заключеніе, предполагая, что его веселость поддержитъ въ товарищѣ достодожную твердость и необходимое спокойствіе духа. Въ нѣсколько минутъ онъ былъ уже одѣтъ, и пріятель усѣлся за чай.

— Однако, распорядился ли ты?—озабоченно спросилъ студентъ.

— То-есть, что это? Насчетъ извозчика? Найдемъ!

— Какой тамъ «извозчикъ»?.. Я спрашиваю... вѣдь всяко можетъ случиться... почему звать!..

— То-есть, коли подстрѣлять?

— Ну, хоть и такъ!

— Такъ что-жъ такое?

— Ну, все-жъ таки... письмо къ кому какое... завѣщаніе тамъ, что-ли... родные, можетъ...

Устиновъ искренно разсмѣялся.

— Эка, о чемъ заботится... А мнѣ и не въ домекъ! Нѣтъ, ангелъ мой, вздохнулъ онъ,—писать мнѣ не къ кому, завѣщать нечего... вѣдь я, что называется, «бѣдна, красна сирота, веселаго живота»; плакать стало-быть, некому будетъ... А есть кое-какіе долгишки пустячные, рублей на сорокъ; тамъ въ бумажникѣ записано... счетъ есть. Ну, такъ ежели что, продай вотъ вещи да книги, да жалованья тамъ есть еще за полцѣсяца, и буду я, значитъ, квитъ!

— А больше ничего?—пытливо взглянулъ на него Хвалынцевъ.

— Больше?... Да что больше-то? Больше ничего. Кланяйся хорошимъ людямъ... Татьянѣ Николаевнѣ кланяйся, — прибавилъ учитель какъ-то застѣнчиво и словно бы нехотя.

Хвалынецъ бросилъ на него быстрый и скользкій взглядъ еще пытливе прежняго; ему почудилось, что въ голосѣ пріятеля дрогнула, при этихъ послѣднихъ словахъ, какая-то нотка, болѣе нервная и теплая, чѣмъ та, которую могло бы вызвать чувство одной только простой дружбы.

— Да впрочемъ, признаться сказать,—промолвилъ Устиновъ,—я и самъ не знаю почему, только совѣмъ не разсчитываю нынче быть убитымъ. Вчера казалось, будто и да, а выспался—какъ рукой снимо!

— А что, и въ самомъ дѣлѣ, — схватился съ мѣста студентъ,—какъ вдругъ этотъ Подвилянскій возьметъ да и не придетъ на дуэль-то?—Вотъ будетъ штука-то!

— Ну, ужъ это было бы глупѣе всего. Мы то тогда ужъ совѣмъ дураковъ изъ себя разыграемъ, добрымъ людямъ на потѣху. Впрочемъ, нѣтъ, увѣренно прибавилъ Устиновъ,—не думаю, онъ хоть и мерзавецъ, а этого не сдѣлаетъ.

Въ это время кто-то постучался въ двери. Пріятели изумленно переглянулись: «кто-бы могъ быть въ такую пору столь раннимъ посѣтителемъ?»

Вдругъ, къ удивленію ихъ, вошли вчерашніе секунданты.

— Что же, господа, вы за нами что-ли, — пошелъ къ нимъ на встрѣчу Хвалынецъ.— А мы думали встрѣтиться съ вами тамъ?

— Нѣтъ-съ, мы тамъ не встрѣтимся,—сухо и вскользь поклонился Полоярровъ, не подавая руки.

— Господинъ Устиновъ!—самымъ официальнымъ образомъ обратился онъ къ Андрею Павловичу.—Нашъ другъ, Подвилянскій, поручилъ передать вамъ, что послѣ всего того, что мы узнали объ васъ вчера самымъ положительнымъ образомъ, онъ съ вами не дерется: порядочный и честный человекъ не можетъ драться со шпиономъ Третьяго отдѣленія. И оскорбленіе ваше, значить, само себя хѣритъ!

Ошеломленный Устиновъ но успѣлъ еще опомниться и придти въ себя, какъ Полоярровъ со своимъ спутникомъ уже удалились самымъ поспѣшнымъ образомъ. Въ этой поспѣшности, конечно, не малую роль играло серьезное опасеніе за несокрушимость своихъ шей, боковъ и физиономій.

Хвалынецъ раньше его собрался съ мыслями послѣ столь неожиданнаго пораженія и, какъ сидѣлъ на кушеткѣ, такъ и покагился со смѣху.

— Чему ты заливаешься?

— Ха, ха, ха, ха, ха!.. Вотъ тебѣ и шляхетскій гоноръ!.. Вотъ тебѣ и бретеры!.. Ха, ха, ха!.. Однако, выкинулъ же, бестія, штуку!.. Увернулся!.. Находчиво, нечего сказать, весьма

находчиво!.. Ахъ, какой же это мерзавецъ однако!..

— Н-да!—съ раздумчивой усмѣшкой проговорилъ Устиновъ.—Вотъ тутъ и вспомнишь невольнаго Александра Сергѣевича Пушкина: «Вы храбры на словахъ, попробуйте-жь на дѣлѣ»... Однако... что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ!.. Ужъ и шпиономъ... Тыфу ты! Какая гнусная мерзость!—съ презрительнымъ отвращеніемъ сплюнулъ онъ въ сторону.

XVIII

Au profit de nos pauvres,

СПЕКТАКЛЬ БЛАГОРОДНЫХЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ

СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ.

Ея превосходительство madame Гржибъ-Загржимбайло, все время, пока длились разсказанныя нами происшествія, была въ большихъ хлопотахъ и заботахъ. Никникъ на картинномъ берегу Волги, балъ и спектакль благородныхъ любителей—вотъ сколько важныхъ и многообразныхъ вещей надлежало устроить ея превосходительству, создать ихъ силою своего ума, вдохновить своей фантазіей, освѣтить своимъ участіемъ и сочувствіемъ, провести въ общество и ходко двинуть все дѣло своимъ желаніемъ, своимъ «я такъ хочу». Madame Гржибъ разочла, что лучше всего начать благороднымъ спектаклемъ, продолжить пикникомъ и завершить баломъ, и таковой планъ явился у нея плодомъ извѣстнаго рода стратегическихъ соображеній. Въ спектакль она успѣла поразить дорогого гостя разнообразіемъ своихъ блестящихъ талантовъ и прелестями своей наружности, которыя станутъ предъ нимъ въ эффектѣ нѣсколькихъ положеній и костюмовъ. Ко времени пикника, сердце барона, пораженное эффектомъ прелестей и талантовъ огненной генеральши, будетъ уже достаточно тронуто, для того чтобы искать романа; стало-быть, свобода пикника, прелестный вечеръ (а вечеръ непременно долженъ быть прелестнымъ), дивная природа и всѣ прочіе аксесуары непременно должны будутъ и барона и генеральшу привести въ особенное расположеніе духа, настроить на ладъ сантиментальной поэзіи, и они въ многозначительномъ разговорѣ (а разговоръ тоже непременно долженъ быть многозначительнымъ), который будетъ состоять большею частью изъ намековъ, взглядовъ, интересныхъ недомолвокъ etc., доставятъ себѣ нѣсколько счастливыхъ, романическихъ минутъ, о которыхъ оба потомъ будутъ вспоминать съ удовольствіемъ, прибавляя при этомъ со вздохомъ:

„А счастье было такъ возможно,
Такъ близко“...

Отношенія ихъ, безъ всякаго сомнѣнія, останутся въ области чистаго платонизма—такъ, по крайней мѣрѣ, предполагала сама Констанція Александровна. Наконецъ, всѣ эти удовольствія достойно увѣнчаются баломъ, который, такъ сказать, добьетъ милаго непріятеля, ибо на балѣ madame Гржибъ явятся въ блестящемъ ореолѣ своей красоты, прелестей, граціи, своихъ брюсселей и своихъ брильянтовъ—и блистательный гость разстанется съ городомъ Славнобубенскомъ, а главное съ нею, съ самой представительницей этого города, вкоонецъ очарованнымъ, восхищеннымъ и... какъ онъ станетъ потомъ тамъ, въ высокихъ сферахъ Петербурга, восторженно рассказывать о томъ, какой мудрый администраторъ Неломукъ Гржибъ и что за дивная женщина сама madame Гржибъ, и какъ она оживляетъ и освѣщаетъ собою темныя трущобы славнобубенскаго общества, какъ умѣетъ благотворить, заботиться о «своихъ бѣдныхъ» и пр. и пр.

Весь Славнобубенскъ встрепенулся и оживился при вѣсти о благородномъ спектаклѣ, а въ Славнобубенскѣ вѣсти разлетаются съ немовѣрной быстротою. Всѣ эти mesdames Чапыжниковъ, Ярыжниковъ, Пруцко и Фелисата Егоровна, Нина Францевна и Петровы, и Ершovy, и Сидоровы переполошились и засуетились, и забѣгали другъ къ другѣ, къ каждой порознь и ко всѣмъ вообще, словно посыпанные бурой тараканы. Но болѣе всѣхъ расстроивался шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, которыхъ острословъ и философъ Подхалютинъ довольно мѣтко прозвалъ княжнами Тугоуховскими. Извѣстно, что ни одинъ губернской городъ, не обходящійся безъ своего мѣстнаго остролова, не можетъ обойтись и безъ своихъ собственныхъ княженъ Тугоуховскихъ. Княжны Тугоуховскія необходимо должны быть въ каждомъ добропорядочномъ губернскомъ городѣ Россійской имперіи, и притомъ въ количествѣ не менѣе шести. У княженъ необходимо есть князь-раръ и княгиня-тапал; былъ у нихъ и князь-дѣдушка, котораго они знаютъ только по закомпѣтому фамиліному портрету и который былъ очень богатъ и очень знатенъ, но жизнь велъ черзуръ уже на широкую ногу и потому оставилъ князю-раръ очень маленькое наслѣдство, а князь-раръ, служившій нѣкогда въ гусарахъ, постарался наслѣдство это сдѣлать еще менѣе, такъ что шестерикъ княженъ, въ сущности, причитается къ лику бѣдныхъ невѣстъ, и двѣ старшія княжны навѣрное уже на всю свою жизнь останутся невѣстами неневѣстными. Но, въ силу своего княжескаго титула, онѣ всегда стараются держаться около высшихъ властей губернскихъ и составляютъ «высшее общество»; и каждый губернаторъ, каждый предводитель считаетъ какъ-бы своею священной обязанностью доставлять княжнамъ скромныя раз-

влеченія, приглашать ихъ въ свою ложу и на свои вечера, причемъ княженъ привозятъ и отвозятъ въ каретѣ того, кто пригласилъ ихъ, потому что у князя-раръ нѣтъ своей кареты. По скромности состоянія княжны Тугоуховскія не могутъ жить въ Москвѣ (о Петербургѣ нечего ужъ и говорить) и принуждены прозябать и увядать въ противномъ Славнобубенскѣ, гдѣ у нихъ находится еще покуда, какъ остатокъ прежняго величія, старый деревянный домъ, во вкусѣ старинныхъ барскихъ затѣй, съ большимъ запущеннымъ садомъ.

Итакъ, шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ переполошился чуть-ли не болѣе всѣхъ остальныхъ дамъ и дѣвицъ славнобубенскихъ. Большая часть матронъ, діанъ и весталокъ втайнѣ тревожились неизвѣстностью, получать ли онѣ отъ самой madame Гржибъ приглашеніе на любительскій спектакль или не получать, что конечно будетъ для нихъ величайшимъ афронтомъ. Инымъ хотѣлось самолично участвовать въ спектаклѣ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, дабы публично обнаружить свои таланты и прелести, причемъ особенно имѣлся въ виду блистательный и дорогой гость: каждая мечтала такъ или иначе затронуть его баронское сердце, и поэтому каждая наперерывъ другъ передъ дружкой изощряла всѣ силы остроумія и фантазіи насчетъ туалета: madame Чапыжниковой хотѣлось во что бы то ни стало перещеголять madame Ярыжникову, а madame Пруцко сторицею желаніемъ затмить ихъ обѣихъ, поэтому madame Чапыжникова тайкомъ послала свою горничную поразвѣдать у прислуги madame Ярыжниковой, въ чемъ думаетъ быть одѣта ихъ барыня, а madame Пруцко нарочно подкупила горничныхъ той и другой, чтобъ онѣ сообщали ей заранѣе всѣ тайнства туалета двухъ ея пріятельницъ. Положеніе княженъ Тугоуховскихъ было печальнѣе, чѣмъ можно себя вообразить. Всѣмъ шестерымъ непременно хотѣлось участвовать и въ спектаклѣ, и въ живыхъ картинахъ, и онѣ знали, что неизбѣжно будутъ участвовать и въ томъ и въ другомъ, а особенно въ живыхъ картинахъ, потому что madame Гржибъ, и графиня де-Монтеспанъ всегда къ нимъ очень благосклонны, княжны такъ наивно и такъ котячьи-нѣжно умѣютъ къ нимъ ласкаться и лизаться, и чмокаться. Дѣло, конечно, не обойдется безъ участія княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, хотя бы ради одной представительности, заключающейся въ ихъ княжескомъ имени, — ну, да и madame Гржибъ, съ высоты своего губернаторскаго величія, никогда не забывала протектировать бѣднымъ, но титулованнымъ невѣстамъ и потому при всякомъ подходящемъ случаѣ выдвигала ихъ на выставку. Но вотъ въ чемъ главная бѣда и величайшее горе: къ спектаклю и особенно къ живымъ картинамъ неизбѣжно придется дѣлать

новые костюмы, свѣжіе туалеты, а тамъ еще, — чортъ его возьми, балъ въ виду имѣется, значитъ, опять-таки шей свѣжія платья, а тутъ на прошлой недѣлѣ князь-раръ изволилъ въ клубѣ проигратъся, и денегъ въ виду никакихъ и ни откуда! Ни модистка Уззо, ни портниха Боришина, ни купецъ Ласточкинъ, того и гляди, не отпустить въ кредитъ матеріала; придется просить, выпрашивать, увѣрять, кланяться и, можетъ быть, все это понапрасну. Поэтому весь княжескій домъ былъ преисполненъ вздоховъ, оховъ, истерическихъ всхлипываній и бранчивыхъ возгласовъ. Княгиня-шапапъ первно корила князя-раръ въ томъ, что онъ не отецъ своимъ дѣтямъ, а прямой расточитель, что онъ не хочетъ счастья своихъ дочерей, губить ихъ молодость, ихъ судьбу, ихъ карьеру. Князь-раръ пыхтѣлъ изъ своего длиннаго черешневаго чубука и громко желалъ себѣ провалиться въ преисподнюю изъ этого каторжнаго дома. Двѣ старшія невѣсты неневѣстныя поругались съ шапапъ, поругались съ раръ, поругались съ сестрицами, со своею злосчастною горничною, которая наконецъ просто очумѣла, оглуѣла и сбилась съ толку отъ бѣготни, хлопотъ, подшиванья, глаженья, брани и крика. Въ заключеніе невѣсты неневѣстныя переругались между собой и теперь обѣ лежали въ истерикахъ, а младшія княжны продолжали свое: кто вертѣлась передъ зеркаломъ въ залѣ и «тра-ла-лакая» повторяла на вальса, кто продолжалъ еще доканчивать прежнюю брань и крики и слезы. Словомъ сказать, князь-раръ былъ совершенно правъ, когда называлъ домъ свой каторжнымъ, а всю эту чепуху и сумятицу сущимъ Содомомъ.

Анатоль со Шписсомъ изрыскали весь городъ, объявляя повсюду, что одинъ играетъ въ Тургеневской «*Провинціалкѣ*» графа, а другой будетъ Финтикомъ въ «*Москаль Чаривникъ*». Анатолий цѣлыя утра проводилъ передъ зеркаломъ, громко разучивая свою роль по тетрадкѣ, превосходно переписанной писцомъ губернаторской канцеляріи, и даже совершенно позабылъ про свои прокурорскія дѣла и обязанности, а у злосчастнаго Шписса, кромѣ роли, оказались теперь еще сугубо-особыя порученія, которыя ежечасно давали ему то monsieur Гржибъ, то madame Гржибъ, и черненькій Шписсъ, сломя голову, леталъ по городу, заказывая для генеральши различныя принадлежности къ спектаклю, то устраивалъ оркестръ и руководилъ капельмейстера, то толковалъ съ подрядчикомъ и плотниками, ставившими въ залѣ дворянскаго собранія временную сцену (играть на подмосткахъ городского театра madame Гржибъ нашла въ высшей степени неприличнымъ), то объяснял что-то декоратору, приказывалъ о чемъ-то костюмеру, глядѣлъ парики у парикмахера, порхалъ отъ одного участвующаго къ другому, отъ одной «благородной любительницы» къ другой, и всѣмъ и каждому старался угодить, сдѣлать

что-нибудь пріятное, сказать что-нибудь любезное, дабы всѣ потомъ говорили: «ахъ, какой милый этотъ Шписсъ! какой онъ прелестный!» Что касается, впрочемъ, до «мелкоты» въ родѣ подрядчика, декоратора, парикмахера и тому подобной «дряни», то съ ними Шписсъ не церемонился и «приказывалъ» самымъ начальственнымъ тономъ: онъ вѣдь зналъ себѣ цѣну.

Наконецъ, роли кое-какъ были розданы, причемъ не обошлось безъ огромнѣйшихъ затрудненій. Что касается до «*Провинціалки*» и «*Москаля*», то насчетъ этихъ шесъ не могло уже быть ни малѣйшихъ возраженій и разговоровъ, ибо сама прелестнѣйшая madame Гржибъ взяла на себя главную роль какъ въ той, такъ и въ другой, и закрѣпила постановку ихъ своимъ безирекословнымъ «я такъ хочу». Но бѣда произошла съ водевилемъ: всѣ дамы непремѣнно хотѣли играть первую роль, и не иначе какъ первую, но никто не желалъ играть старуху; еще менѣе того нашлось желающихъ взять на себя роль горничной, которая была единогласно сочтена за роль предосудительную и унижительную. Супруга одного уѣзднаго предводителя не на шутку обидѣлась, когда Шписсъ предложилъ ей дочери взять на себя «эту рольку». Молоденькой барышнѣ сильно хотѣлось заявить свой талантъ, хотя бы даже и въ роли горничной, но маменька на-отрѣзъ запретила ей даже и думать о спектаклѣ, сочтя все это дѣло за желаніе со стороны губернаторши пустить ей шпильку, и усмотрѣла въ немъ даже оскорбленіе всему дворянскому сословію, почему и поспѣшила заявить Шписсу, что отнынѣ нога ея не будетъ не только-что въ спектаклѣ, но и въ домѣ самой губернаторши. Напрасно клялся, увѣрялъ и распинался злосчастный Шписсъ, напрасно хныкала барышня, — гордая уѣздная предводительша осталась непреклонною и оченъ сухо откланялась черненькому Шписсу. Шписсъ ухалъ въ отчаяніи: приходилось просто хотъ самому играть и старуху, и горничную. Наконецъ-то подыскали для горничной какую-то бѣдную сироту, изъ чыхъ-то безгласныхъ племянницъ или воспитанницъ, а старуху почти что приказали сыграть супругъ какого-то частнаго пристава—и любительскій спектакль, слава Богу, былъ окончательно обставленъ. Маленькій Шписсъ впервые вздохнулъ свободно.

Начались репетиціи, которыя такъ любятъ артисты—«любители» въ родѣ прелестнаго Анатоля. И такъ не жалуютъ ревнивые супруги иныхъ «любительницъ». Во всѣ дни, пока продолжаютъ любительскія репетиціи, — блаженное время для влюбленныхъ, заинтересованныхъ и ухаживающихъ, — городскія сплетни начинаютъ разрастаться и идутъ все crescendo и crescendo, завершаясь въ концѣ концовъ обыкновенно нѣ сколькими ссорами и даже скандалами. Madame Чапыжниковъ начинаетъ зорко наблюдать за madame Ярыжниковъ и за ея «халахономъ»,

madame Ярыжниковъ слѣдить за «предметомъ» madame Чапыжниковъ, и глядь, на другой день, madame Пруцко, которая тоже подъ сурдинку придерживается той пословицы, что «грѣхъ сладокъ, а человекъ падокъ», начинаетъ повѣствовать по секрету Фелисатѣ Егоровнѣ: «Душечка моя? слышали вы, срамъ какой! Эта противная Ярыжникова, представьте! вчера-то на репетиціи въ темной кулисѣ цѣловаться изволила съ своимъ аманомъ, а потомъ безъ стыда безъ совѣсти уѣхали вдвоемъ кататься куда-то за городъ... Это ночью-то, ночью! И при всѣхъ! Думають, что всѣ такъ глупы и слѣпы, что никто ничего не замѣчаетъ!» Фелисата Егоровна въ ужасѣ качаетъ головой, и идетъ рассказывать—какъ противная Ярыжникова, въ неприличной позѣ, за кулисами шепталась и цѣловалась, и обнималась со своимъ аманомъ, а на слѣдующій день весь городъ уже увѣрилъ, что madame Ярыжникова дѣлала въ кулисахъ такое, про что и сказать невозможно.

Сама губернаторша имѣла обыкновеніе часомъ и даже двумя опаздывать на репетицію, причемъ всѣ остальные должны были кротко и терпѣливо дожидаться прибытія ея превосходительства. Являлась она не иначе какъ въ черномъ платьѣ, въ черныхъ гишорахъ, въ черныхъ перчаткахъ, съ черными четками на шеѣ, съ которыхъ спускался на грудь черный крестъ, сдѣланный такъ, что имѣлъ видъ креста, сломаннаго. Ни единой цвѣтной ленточки не было замѣтно въ строго-траурномъ нарядѣ генеральши, только изъ-подъ четокъ сквозило серебро небольшой брошки, которая изображала одноглаваго орла съ поднятыми крыльями. Тридцати - двухлѣтняя madame Гржибъ, надо отдать ей полную справедливость, въ своемъ одноцвѣтномъ и строго-обдумавномъ нарядѣ казалась очень эффектной женщиной и была даже хороша. Славнобубенцы замѣтили, что съ нѣкотораго времени это черное платье и эти украшения сдѣлались неизмѣннымъ обыденнымъ костюмомъ губернаторши. Графиня де-Монтеспанъ,—единственная женщина, которая дерзала еще ставить себя почти на одну доску съ нею,—изъ подражанія ей, тоже облекала себя въ черное, сообщая въ началѣ, до разъясненія дѣла, что это «англоманія». И шестерикъ княженокъ Почечуй-Чухломинскихъ, само собою, не отставалъ отъ своихъ протектрисъ, благо черныя платья, сшитыя еще два года назадъ, когда померла ихъ тетка, навались подъ руку. Теперь они были только почищены да передѣланы на болѣе модный, современный фасонъ. И глядь, чрезъ нѣкоторое время, почти все, что только имѣло претензію причислять себя къ славнобубенскому «порядочному обществу», необыкновенно возлюбило черныя платья, найдя этотъ цвѣтъ чрезвычайно изящнымъ выраженіемъ высшаго *comme il faut*. Особенно

жены чиновниковъ стремились подражать губернаторшѣ. Мода вообще заразительна, а мода, инициатива которой исходитъ отъ власти, становится почти обязательною для каждой благонамѣренной чиновницы. Въ Славнобубенскѣ же мода эта особенно пошла въ ходъ послѣ одного маленькаго случая. Madame Пруцко явилась на одну изъ репетицій въ яркомъ цвѣтномъ платьѣ, въ яркой сѣткѣ и въ яркихъ перчаткахъ. Губернаторша только молча покосилась на эту праздничную яркость и перекосилась взглядомъ съ графиней де-Монтеспанъ, которая изобразила на губахъ пренебрежительную усмѣшку. Когда madame Пруцко подлетѣла къ нимъ съ поклономъ, графиня, суховаато протянувъ руку, спросила ее какъ-то сквозъ зубы:

— Что это вы, ma chère, именины сегодня празднуете?

Madame Пруцко нашла себя очень «аффирированной» такимъ страннымъ вопросомъ и, весьма удивленная, съ живостью отвѣтствовала:

— Именины?!.. Нѣтъ. А что?

Графиня не договорила и только плечами пожала въ заключеніе.

— А что же? Это платье Уззо мнѣ шила по зимней картинкѣ,—возразила Пруцко.

— О, я въ этомъ увѣрена!—подхватила Монтеспанъ,—но... но эта яркость... знаете ли, ma chère, такое ли теперь время, чтобы радоваться, носить цвѣтное!.. Помилуйте!—вспомните, что на бѣломъ свѣтѣ творится!.. Люди страдаютъ, мученики гибнутъ, вездѣ слезы, скорбь... Знаете ли, ma chère, скажу я вамъ по секрету между нами, въ такихъ обстоятельствахъ, нечему намъ особенно радоваться... Черный цвѣтъ приличнѣе... и тѣмъ болѣе, что это мода... Взгляните напримѣръ, на Констанцію Александровну: не выходитъ изъ чернаго цвѣта.

Madame Пруцко хотя и не совсѣмъ-то ясно уразумѣвала, гдѣ эти слезы и скорбь, и какіе именно мученики гибнутъ, однако, убѣжденная послѣднимъ аргументомъ касательно губернаторши, на другой же день облеклась въ черное и, по секрету, разблаговѣстила всѣмъ пріятельницамъ о своемъ разговорѣ съ графиней.

И вскорѣ послѣ этого, элегантный Славнобубенскъ щеголялъ уже въ траурѣ, отыскивая по всѣмъ галантерейнымъ лавкамъ черныхъ крестовъ и четокъ, а Славнобубенскъ не элегантный показѣлъ все еще продолжалъ косить въ своемъ невѣжествѣ.

За недѣлю до спектакля билеты почти уже всѣ были разобраны. Это показываетъ, во-первыхъ, на сколько Славнобубенскъ интересовался игрою «благородныхъ любителей», а во-вторыхъ, объясняется тѣмъ, что предварительную продажу билетовъ взяла на себя сама Констанція Александровна, задніе же ряды

были поручены полиціеймейстеру, а тотъ уже «принялъ свои мѣры», чтобы всѣ билеты были пораспишаны, и въ этомъ случаѣ,—хочешь не хочешь,—отдывалось своими карманами преимущественно именитое купечество. Всякій благонамѣренный гражданинъ, желая заявить свое усердіе, спѣшилъ воспользоваться случаемъ, чтобы лично, изъ ручекъ ея превосходительства, заполучить билетецъ. Ея превосходительство распорядилась назначить цѣну мѣстамъ вообще довольно высокую и при этомъ печатно заявила, что всякое пожертвованіе будетъ принято ею съ благодарностью. Послѣ этого, понятное дѣло, ей только и оставалось изъявлять благодарности.

Пріѣзжаетъ къ ней, напримѣръ, какой-нибудь господинъ съ визитомъ. Первымъ дѣломъ, послѣ нѣсколькихъ словъ незначащаго разговора, она приступала къ гостю:

— Ахъ, да! monsieur такой-то, вы, конечно, будете въ нашемъ спектаклѣ?

Monsieur такой-то спѣшилъ любезнымъ склоненіемъ головы подтвердить ей полное и все-непремѣнное свое намѣреніе присутствовать на любительскомъ представленіи.

— Въ такомъ случаѣ позвольте предложить вамъ билетъ, вѣдь вы не запаслись еще?

И генеральша,—тутъ какъ тутъ,—вытаскивала уже карточку, изящно отпечатанную на глазированномъ пергаментѣ. Monsieur такой-то съ любезною застѣнчивостью освѣдомляется что это стоятъ?

— О, это вполнѣ зависитъ отъ вашего благожеланія—предупреждаетъ губернаторша;—чѣмъ больше, тѣмъ лучше! Вѣдь это въ пользу моихъ милыхъ бѣдныхъ. Вы доброе дѣло сдѣлаете!

Прелестная женщина произноситъ эти слова съ такимъ граціозно-прелестнымъ выраженіемъ просьбы, доброты и человеколюбія, что monsieur такой-то тотчасъ-же изображаетъ улыбкою своею полнѣйшую и вселюбезнѣйшую готовность закладывать самого себя въ пользу милыхъ бѣдныхъ губернаторши. И вотъ, въ италулку ея превосходительства причется синяя или красная депозитка, за мѣсто, стоящее два или три рубля. Ея превосходительство благодаритъ такъ мило и, граціозно протатывая для пожатія свою благоухающую руку, прибавляетъ съ такою очаровательною кокетливостью:

— Смотрите же, хлопайте мнѣ, вѣдь я сама играю!

И господинъ уѣзжаетъ, общая не жалѣть для нея ни перчатокъ, ни ладоней.

Съ другими же господами, которые, что называется, на карманъ туговаты, Констанція Александровна принимала тактику иного рода, и эту тактику мы могли бы назвать милымъ нахальствомъ. Получивъ билетъ, освѣдомляется, напримѣръ, господинъ о выставленной цѣнѣ своему мѣсту и вытаскиваетъ изъ кармана ка-

кія-нибудь двѣ желтенькія бумажки. Генеральша тотчасъ же встрѣчаетъ ихъ своимъ кокетливымъ удивленіемъ.

— Что это! Только-то! Это въ пользу моихъ-то бѣдныхъ?—произноситъ она съ милою, недовольною гримаскою;—фи, какой вы не добрый! Какой вы скупой! Извольте жертвовать больше, чтобы я могла поблагодарить васъ, а то когда бы знала я это, такъ и билета не дала бы вамъ.

Господинъ конфузится, неловко улыбается и, нечего дѣлать, вытаскиваетъ добавочныя деньги.

А съ иными, которые желали жертвовать рубля два или три сверхъ номинальной цѣны, но, не имѣя при себѣ мелкихъ бумажекъ, подавали губернаторшѣ для сдачи какую-нибудь красную, а не то и лиловую депозитку, она обращалась еще съ большею безцеремонностью:

— Что это, сдачу хотите? (при этомъ слѣдовало все тотъ-же мило и граціозно-удивленный взглядъ). Но у меня нѣтъ мелкихъ; я не имѣю сдачи, значитъ ужъ надобно жертвовать все... Я васъ буду очень, очень благодарить за это, отъ лица моихъ милыхъ бѣдныхъ!

И генеральша съ невыразимою любезностью, съ невыразимо-пріятнымъ взоромъ и улыбкой потрясаетъ руку невольно-щедрому жертвователю.

И такимъ образомъ, еще задолго до спектакля въ ея роскошной шкатулкѣ накопилась уже весьма и весьма порядочная сумма.

Наконецъ наступилъ и парадный часъ «благороднаго спектакля». Нечего рассказывать о томъ, что зала была биткомъ набита публикой, среди которой собрался цвѣтъ славнобукенскаго общества, что madame Гржибъ въ роли madame Ступендьевой была встрѣчена громомъ рукоплесканій, при чемъ ей былъ поданъ изъ оркестра прелестный букетъ—плодъ особенныхъ стараній находчиваго Шписса. Скажемъ только, что Ступендьева блистала изяществомъ своихъ манеръ, прелестный Анатоль явился прелестнѣйшимъ графомъ, и всѣ прочіе артисты хотя далеко уступали въ изяществѣ, зато роли свои выдолбили превосходно: нельзя же иначе — потому играютъ съ губернаторшей, и само высшее начальство на ихъ игру взиравъ изволить. «Москаль Чаривникъ» прошелъ столь же блистательно. Майоръ Перехонинъ, командиръ баталіона внутренней стражи, изображалъ солдата и явился предъ публикой истиннымъ бурбономъ, что было весьма характерно и все время сопровождалось аплодисментами. Madame Гржибъ, въ роли казачки Татьяны, плѣнила всѣхъ своимъ костюмомъ и своимъ пѣніемъ. Цѣль ея была достигнута: баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ плавалъ въ маслѣ восторга и все время щурился на нее сладостными взорами. Но когда усердно-преданный Шписсъ, въ видѣ приказанаго Финтика,

выползъ изъ-подъ печи, весь перепачканный сажей, и смиренно поползъ на колѣнкахъ, восторгамъ и хохоту не было конца. Предводитель князь Кейкулатовъ даже расчихался отъ смѣху, а Непомукъ хохоталъ всей утробой и всѣмъ соплѣнемъ своимъ, такъ что трудно было рѣшить чего издастъ онъ болѣе: хохоту или соплѣня? Непомукъ въ тотъ же счастливый мигъ рѣшилъ, что Шписса необходимо нужно представить къ слѣдующей наградѣ. Водевилю апплодировали менѣе, потому что губернаторша въ немъ не участвовала, а игру частной приставши даже многіе весьма раскритиковали, хотя представша отличалась ничуть не хуже прочихъ.

Наконецъ, пошли живыя картины—главное поприще шестерика княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, madame Пруцко и mesdames Чапыжниковъ съ Ярыжниковой. Три старшія княжны изображали собою трехъ грацій, при чемъ двѣ невѣсты вневѣстные стояли боковыми граціями. Весь шестерикъ кое-какъ уладилъ свои затрудненія относительно костюмовъ. Купецъ Ласточкинъ, дѣйствительно, не возжелалъ отпустить имъ матерій, а madame Oiseau не бралась шить и ставить прикладъ, но княжны заявили о своемъ слезномъ горѣ Констанціи Александровнѣ,—и ея превосходительство въ ту-жъ минуту откомандировала Шписса къ непокорному невѣжѣ Ласточкину, съ приказаніемъ немедленно отпустить подобающее количество разныхъ матерій, по приложенному реестру княженъ, а модистку Oiseau велѣла позвать къ себѣ, переговорила съ нею о чемъ-то наединѣ—и madame Oiseau въ три дня пошила костюмы на весь шестерикъ. Такимъ образомъ княжны были и обуты, и одѣты, и на показъ публикѣ поставлены. «Трехъ грацій» княжны изображали хотя и не совсѣмъ вѣрно съ оригиналомъ, тѣмъ не менѣе весьма многіе любители нашли ихъ удовлетворительными: онѣ выставили себя передъ публикой въ кисейныхъ туникахъ, чего собственно для грацій не полагается. Отъ этого, конечно, пострадала мѣологическая истина, зато выиграла дѣвическая скромность. Это были граціи вполнѣ цѣломудренныя. Засимъ mesdames Ярыжниковъ, Чапыжниковъ и Пруцко аллегорически изобразили изъ себя три рѣки: «Вислу, Оку и Волгу». «Висла» печально, но гордо стояла поодаль, а «Волга» принимала «Оку» въ свои объятія. Одна изъ среднихъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ предстала въ видѣ «Свободы», одѣтой въ красную фригійскую шапку, и острословъ Подхалютинъ довольно громко замѣтилъ при этомъ, что «Свобода» ничего бы себѣ, да жаль, что больно тощая. —Замѣчаніе это найдено многими неприличнымъ, а иными иносказательнымъ. Вслѣдъ за этимъ madame Гржибъ показала себя въ нѣгѣ, полупрозрачной «Вакханкой у ручья», и никакъ не воздержалась, чтобы не метнуть при этомъ на Саксена взоръ весьма выразительнаго свойства.

Непомукъ, увидя супругу свою въ такомъ соблазнительномъ видѣ, опустилъ глаза долу и поскорѣе полѣзъ въ задній карманъ за золотой табакеркой, чтобы въ медленной понюшкѣ табаку найти себѣ приличное занятіе, пока длится эта краснорѣчивая картина. Добавитъ-ли, что появленіе супруги въ такомъ видѣ сказалось ему втайнѣ не совсѣмъ-то удобнымъ ощущеніемъ? Зато Саксенъ чуть не подпрыгнулъ въ креслѣ отъ избытка сладострастнаго восторга; зато публика встрѣтила полупрозрачное поприще своей начальницы восторженными рукоплесканіями; зато усердно-преданный Шписсъ замиралъ отъ почтительнаго и въ то же время дерзостнаго (до извѣстной степени) наслажденія. Послѣ «Вакханки у ручья» слѣдовала картина подъ названіемъ «*Фитанъ невинности*». На картинѣ стоялъ картонный барашекъ, а подлѣ барашка вторая средняя княжна Почечуй-Чухломинская съ опрокинутой урной въ рукахъ, изъ которой примѣрно истекла фольговая вода. Подхалютинъ пришелъ въ нѣкоторое недоумѣніе и спросилъ, гдѣ же тутъ собственно невинность: въ княжнѣ или въ кувшинѣ, и если въ кувшинѣ, то напрасно княжна Тугоуховская столь безразсчетно тратить ее, и что напрасно не участвуетъ въ этой прекрасной картинѣ mademoiselle Сидорова. Сидѣвшая рядомъ съ нимъ подруга Сидоровой, ради которой собственно и была пущена острословомъ эта неприличная выходка, ничего ему не возразила, но зато весьма коварно и не безъ удовольствія улыбнулась. Были и еще двѣ или три картины, въ родѣ «Пляски съ тамбуриномъ», «Ангела ночи», «Амура и Психеи», которые всѣ до единой приняты публикой съ полнымъ одобреніемъ. Одинъ только Подхалютинъ оставался не совсѣмъ доволенъ, но и то потому, что на предварительномъ совѣщаніи относительно картинъ не было принято его предложеніе.

— Помилуйте,—говорилъ онъ,—я предлагалъ имъ поставить двѣ русскія и очень поучительныя картины. Обѣ изъ басенъ Крылова. Одну—«*Лягушки просятъ царя*», а другую—«*Квартетъ*». — «Помилуйте,—говорятъ мнѣ: какъ же это лягушекъ вдругъ изображать? кто же станетъ лягушками?» — Какъ, Боже мой, кто! А madame Пруцко? а Чапыжникова съ Ярыжниковой? а Фелпсата? да и мало-ли ихъ тутъ? И чѣмъ же не годятся? а что касается до «*Квартета*», то тутъ даже и костюмовъ не надо: возьмите просто членовъ губернскаго правленія и поставьте—цѣликомъ, какъ есть, будетъ картина въ лицахъ! И при томъ очень поучительно!

Но блистательнѣе всего было заключеніе этого спектакля. Madame Гржибъ заранѣе еще задумала поразить почтеннѣйшую публику неожиданнымъ сюрпризомъ. Никто не ожидалъ ея появленія, какъ вдругъ, при громѣ удалой

мазурки поднялась завѣса — и изумленнымъ очамъ зрителей предстала ея превосходительство въ польскомъ національномъ костюмѣ... Малиновая конфедератка съ бѣлымъ султаномъ лихо была взброшена на бекрень, рукава бѣлаго кунтуша еще лише откинута назадъ, красные сапожки со шпорами изящно облекали икры вкусныхъ ножекъ генеральши, въ рукахъ бельгійскій штуцеръ, сбоку блистающая сабля. Констанція Александровна произвела рѣшительный фуроръ. Даже самъ Непомукъ, несмотря на всю свою солидную осторожность, не выдержалъ и усиленно захопалъ въ ладоши, а Саксенъ просто ослабѣлъ отъ избытка наслажденія и упоенно втягивалъ въ себя воздухъ, какъ-то шипяще вздыхалъ «*charmant!.. charmant!*».. Пшецыньскій не хлопалъ, но сладко улыбался и залихватски покручивалъ да пощипывалъ русый усть: онъ былъ очень доволенъ неожиданнымъ сюрпризомъ. Зато лихой полиціймейстеръ Гнутъ, вообще цѣнитель женской красоты—упоенный жгучими прелестями ея превосходительства, надсѣдался всею грудью, стучалъ каблуками, и саблею, — и проводилъ все это безъ малѣйшей задней мысли, но вполне безкорыстно, восхищенный, такъ сказать, одной эстетической стороною дѣла. Эта неожиданная картина пошла у генеральши взаимнѣ «Молодого Грека съ ружьемъ».

Въ спектаклѣ благородныхъ любителей появилась весьма замѣтная, но едва ли случайная особенность: очень много дамъ, которыя составляли чуть ли не большинство славнобубенскаго общества, явились на этотъ спектакль въ строго черныхъ нарядахъ. Между ними были даже и такіе, которыхъ никто никогда и не запомнилъ, чтобы онѣ носили черное, а теперь и эти вдругъ блистаютъ мрачнымъ цвѣтомъ своего костюма.

— Астафій Егорычъ, обратился въ антрактъ къ Подхалютину одинъ изъ его знакомыхъ. — Что это, батенька? замѣчаете вы, почти всѣ въ черномъ? Слово бы трауръ у нихъ!

— Да трауръ и есть, подтвердилъ славнобубенскій философъ.

— Господи помилуй! Но по комъ же, однако?

А здравый смыслъ погребаютъ. Это одно;

— крѣпостное право только-что ско-

акъ же тутъ не плакать?

— А вы все свое городите! Нѣтъ, я васъ уважаю въ-серьезную, вѣдь это, взгляните, просто въ глаза бросается!

— А что въ дѣлѣ любопытная штука! — пробурчалъ Подъ носъ философъ, окинувъ въ изумленнымъ взглядомъ всю залу, — мода это, — завелась у нихъ такая? Пойду спрошу у Марьи Ивановны, благо и сама тоже въ черномъ: она вѣдь человекъ компетентный.

И остротой направился своею лѣниво-пе-

ревалистою походкою къ одной полной, пожилой дамѣ, которая, не взирая на двухъ взрослыхъ и рядомъ съ нею сидящихъ дочерей, все еще стремилась молодиться и правиться, и разговаривая съ людьми, глядѣла на нихъ не иначе какъ сквозь лорнетъ.

— Здравствуйте, маменька! подсѣлъ къ ней Подхалютинъ. — Скажите мнѣ на милость, зачѣмъ это вы на такое блистательное позорище явились вдругъ чуть не въ траурѣ? И барышни тоже вотъ въ черномъ, — промолвилъ онъ, кивнувъ на двухъ ея дочекъ.

— А вы инспектируете наряды?.. Это скорѣе бы дѣло полиціи! слегка колко, но очень мило отвѣтствовала маменька.

— Нѣтъ, я только любопытствую, — оправдывался философъ, — и прошу просвѣтить меня, въ темнотѣ ходящаго. Что это, мода у васъ нынче такая, или что?

— Не мода, а обязанность, долгъ нашъ! довольно гордо и не безъ самодовольной рисовки отвѣтила одна изъ барышень.

Немало изумленный Подхалютинъ выпучилъ глаза.

— До-олгъ?.. Обязанность? — недоумѣло протянулъ онъ; — то-есть какъ же это?

— А вы хотите, чтобы мы радовались, когда родина наша страдаетъ? — съ задорливой искоркой застрекотала другая дочка.

— Э, барышня, что это вы такое говорите! снисходительно усмѣхнулся Подхалютинъ, — ну, гдѣ тамъ страдаетъ! Наша родина вообще страдаетъ только тремя недугами: желудкомъ послѣ масляницы, тифомъ на Святой, по веснѣ, да финансовымъ разстройствомъ, *en générale*, которое, кажется, нынче перейдетъ въ хроническое. Вотъ и всѣ наши страданія.

— Да; это *ваша* родина, можетъ быть; но *ваша* не *наша*, — продолжала та же барышня.

— Такъ по вашему Польша не страдаетъ? — подхватила другая сестрица.

— Польша?.. Да какое намъ съ вами дѣло до Польши? — удивленно пожалъ плечами Подхалютинъ. — Вы развѣ польки?

— Польки! — гордо отвѣти ли, каждая за себя, обѣ барышни.

— Вотъ сюрпризъ-то! — Подхалютинъ даже съ мѣста вскочилъ при этомъ. — Марья Ивановна! Маменька! — обратился онъ къ полной дамѣ, — да что это онѣ у васъ за вздоръ говорятъ?

— Ни чуть не вздоръ — возразила та, — мы, дѣйствительно поляки.

— Давно ли это? — продолжалъ все болѣе изумляться Подхалютинъ.

— Вотъ вопросы! всегда поляками были!

— Ну, полноте, маменька!.. Ужъ вы не шутите ли надо мною?

— Съ какой же стати! Да и что же за шутки? Развѣ такими вещами можно шутить?

— Господи помилуй! — пожималъ плечами

философъ.—Поляки... Въ первый разъ слышу!.. Такъ и папенька вашъ, Матвѣй Осипычъ Яснопольскій, тоже полякъ?

— Разумѣется! — амбиціозно подфыркнули барышни.

Подхалютинъ перекрестился обѣими руками.

— Господи Боже мой!—продолжалъ онъ,—двадцать лѣтъ знаю человѣка, встрѣчаюсь каждый день, и все считалъ его русскимъ, а онъ вдругъ, на тебѣ, полякъ оказывается! Вотъ ужъ не ожидалъ-то! Ха-ха-ха! Ну, сюрпризъ! Точно что сюрпризъ вы мнѣ сдѣлали! А вѣдь я какое угодно пари ставъ бы держать, что славнобубенскій стряпчій нашъ Матвѣй Осипычъ — русакъ чистокровный!.. Вѣдь я даже думалъ, что онъ изъ поповичей!

— Это намъ очень грустно, если вы насъ за русскихъ считаете—сухо отвѣтствовали ему барышни.

Подхалютинъ внимательно посмотрѣлъ на нихъ полуиспытующимъ, полусоображающимъ взглядомъ, молча отвѣсилъ почтительный поклонъ и отретировался.

— Ольга Назаровна!—подошелъ онъ вслѣдъ за тѣмъ къ одной старушкѣ, сидѣвшей на противоположномъ концѣ того же ряда,—ужъ и вы, матушка, тоже не полька ли?

— Что такое?—не разслышавъ или не понявъ, прищурилась на него старушка.

— Я спрашиваю, не полька ли вы?

— Полька?? Да что ты, мой батюшка, очумѣлъ что-ли? Какая я тебѣ полька!

— А зачѣмъ же вы тоже въ черномъ, вы, которая такъ любите и розы, и алыя ленты, и цвѣтные матеріи? а?

— Въ черномъ? — Старушка оглядѣла самое себя и обдернула свое шелковое платье.—Да какъ тебѣ сказать это, мой батюшка!.. Всѣ вишь, нынче носятъ черное, ну такъ и я заодно ужъ надѣла.

— По пословицѣ, значить: куда люди, туда и мы?

— По пословицѣ, родной, по пословицѣ. А ты, мой батюшка, все шалберничаешь,—погрозила она ему пальцемъ; — а нѣтъ того, чтобы зайти къ старухѣ посидѣть!.. Приходи что-ли; въ бостонъ, по старой памяти, поиграемъ. А мнѣ кстати изъ деревни медвѣжьихъ окорока прислали, ты вѣдь любишь пожрать-то!

— Это мы можемъ, потому на томъ живемъ!—согласился Подхалютинъ, и въ знакъ благодарности поцѣловалъ ея ручку.

Черезъ день послѣ спектакля, въ неофициальномъ отдѣлѣ славнобубенскихъ губернскихъ вѣдомостей на первомъ мѣстѣ красовалась статейка подъ названіемъ: «Благотворительный спектакль благородныхъ любителей съ живыми картинами». Статьи эта умиленно отдавала дань признательности и восхищенія всѣмъ участвовавшимъ; но на первомъ планѣ, конечно, стояла ея превосходительство,

супруга достойнаго начальника губерніи, Констанція Александровна Гржибъ-Загржимбайло.

«Въ настоящее время, когда вся Россія спѣшитъ обновиться и обогатиться плодами прогресса и европейской цивилизаціи,—вѣщала эта статейка,—и нашъ далекій городъ Славнобубенскъ тоже не отстаетъ отъ другихъ своихъ собратьевъ, раскинутыхъ на всемъ могуче-необъятномъ пространствѣ нашей родной, широкой матушки-Руси. И мы, славнобубенцы, въ нашемъ мирномъ далекомъ уголкѣ, тоже стремимся положить свою лепту въ общую сокровищницу, и мы тоже порой умѣемъ веселиться и поднимать свой нравственный и интеллектуальный уровень истинно-эстетическими удовольствіями». Засимъ слѣдовало цвѣтистое описаніе самаго спектакля, «который почтимо своимъ присутствіемъ наше славнобубенское общество въ лицѣ всѣхъ лучшихъ его представителей». Тутъ отдавалась вполнѣ справедливая дань талантамъ Анатоля, Шписса и гарнизоннаго майора Переховина. «Наши милыя и достойно уважаемыя дамы,—говорила далѣе статейка,—неожиданно и очень пріятно поразили насъ своимъ искусствомъ и дарованіями, коимъ могла бы истинно позавидовать не одна столичная артистка. Нельзя не поблагодарить также молодыхъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, которыя украсили собою превосходно поставленные живыя картины. Присутствовавшая избранная публика вполнѣ оцѣнила и отдала имъ должную дань справедливости, похвалъ и одобренія. Г-жи Ярыжникова, Чапыжникова и Пруцко съ граціей, достойной ихъ наружности, плѣнили зрителей картиннымъ сочетаніемъ и эффектно поставленной аллегоріи трехъ рѣкъ славянскихъ. (Въ этомъ мѣстѣ по опискѣ или по невѣжеству усердствовавшего автора было поставлено прежде «русскихъ», но Непомукъ, къ которому для просмотра и одобренія была предварительно доставлена корректура, зачеркнулъ слово «русскихъ» и собственноручно вмѣсто его изволилъ написать «славянскихъ»). Но болѣе всѣхъ оживила нашъ скромный спектакль,—продолжалъ авторъ статейки,—это, безъ сомнѣнія, ея превосходительство, достойная супруга г-на начальника губерніи, Констанція Александровна Гржибъ-Загржимбайло. Исполненная ею роль Ступеньиной въ Тургеневской *«Провинціалкѣ»* не оставляетъ желать ничего лучшаго. Звучный тембръ ея сильнаго гибко-страстнаго, выразительнаго и отлично обработаннаго органа, въ роли Татьяны изъ *«Москвы Чаривника»*, приводилъ всѣхъ въ истинный и неподдѣльный восторгъ и, казалось, переносилъ мечтающую и упоенную душу зрителя въ какой-то иной, невѣдомый, дивно-фантастическій и волшебносказочный міръ... Казалось, какъ будто въ самомъ воздухѣ вѣяло роскошными, ароматными степенями блаженной Украины, столь божественно

воспѣтой Гоголемъ». Воздавъ достождную дань поклоненія артистамъ-любителямъ, авторъ въ заключеніе перешелъ къ благотворительной цѣли спектакля: «Теперь,—восклицалъ онъ,—благодаря прекрасному сердцу истинно-добродѣтельной женщины, благодаря самоотверженно-неусыпнымъ трудамъ и заботамъ ея превосходительства, этой истинной матери и попечительницы нашихъ бѣдныхъ, не одну хижину бѣдняка посѣтитъ и озаритъ внезапная радость, не одна слеза неутѣшной вдовицы будетъ отерта; не одинъ убогій, дряхлый старецъ съ сердечною благодарностью помянетъ достойное имя своей благотворительницы, не одинъ отрокъ, призрѣаемый въ приютѣ, состоящемъ подъ покровительствомъ ея превосходительства, супруги г-на начальника губерніи, вздохнетъ изъ глубины своей невинной души и вознесетъ къ небу кроткій взоръ съ молитвенно-благодарственнымъ гимномъ къ Творцу міровъ за ту, которая замѣнила ему, этому сирому отроку, нѣжное лоно родной матери. И всѣ они: эта убогая вдовица, этотъ согбенный и сирый старецъ, этотъ отрокъ невинный благословятъ отъ чистаго сердца своего ангела-утѣшителя».

Словомъ сказать, статейка вышла очень трогательная.

Неусыпно-дѣятельный и трудолюбивый Шписсъ составилъ отчетъ о спектаклѣ. Въ отчетѣ въ этомъ сборѣ былъ показанъ по номинальнымъ цѣнамъ, и изъ этого сбора, за покрытіемъ всѣхъ издержекъ, въ число коихъ входили неоднократные чаи, закуски, конфеты и лимонады съ оршадами для любителей, во время репетицій, осталось чистой выручки 127 р. 32³/₄ коп. сер. Эти деньги, при форменномъ отношеніи, и были препровождены въ приказъ общественнаго призрѣнія.

XIX.

De funduszu zelaznego.

А между тѣмъ, въ шкатулкѣ ея превосходительства хранилось около тысячи рублей, собранныхъ ею изъ вольныхъ пожертвованій сверхъ номинальной цѣны.

Въ кабинетѣ Констанціи Александровны дверь была весьма предусмотрительно заперта на задвижку. Тяжелая портѣра вплотную закрывала ее собою. Шторы на окнахъ тоже были опущены, такъ что ничей нескромный глазъ не могъ бы подглядѣть и ничье постороннее ухо не могло бы подслушать того, что дѣлалось въ данную минуту въ комфортабельномъ кабинетѣ славнобубенской губернаторши.

Прелестная женщина сидѣла на бархатномъ пате, передъ раздвижнымъ столикомъ, а противъ нея, за тѣмъ же столикомъ, помѣщался на мягкомъ табуретѣ ксендзъ Кунцевичъ. Предъ обоими стояло по чашкѣ кофе, а между чаш-

ками—изящная шкатулка губернаторши, очень хорошо знакомая всѣмъ ея вольнымъ и невольнымъ жертвователямъ «въ пользу милыхъ бѣдныхъ». Ксендзъ, изрѣдка прихлебывая кофе, очень внимательно выводилъ на бумагѣ какіе-то счета. Констанція Александровна съ неменьшимъ вниманіемъ слѣдила за его работой.

— Такъ. Теперь вѣрно,—тихо сказалъ наконецъ каноникъ, кладя карандашъ.—Негласной офяры переправлено мною 110 рублей; отъ лотереи въ пользу приюта удѣлено 230; отъ публичныхъ лекцій Кузькевича и Подвилянскаго 50 рублей; костельнаго кружечнаго сбора 31 рубль 50 копѣекъ; старогорскій исправникъ Шипчинскій съ пяти волостей, изъ сбора на погорѣлыхъ, удѣлилъ тогда 20 рублей; отъ пана Болеслава получено мною 15, да нынѣ 941 рубль: итого выходитъ 1,397 рублей 50 копѣекъ. Въ пять мѣсяцевъ съ одного только Славнобубенска—дали-Бугъ, не дурно!

И ксендзъ съ удовольствіемъ потеръ свои мягкія, бѣлыя ручки.

— Я хочу,—поднялась съ мѣста губернаторша,—я хочу, чтобы на нынѣшній разъ мы отправили ужъ такъ-таки полную тысячу. Пусть тамъ получаютъ они круглую сумму! Поэтому я офирую изъ своихъ собственныхъ пятьдесятъ-девять рублей, да страховыхъ съ вѣсовыми двѣнадцать.

И она достала изъ своего бюро и подала ксендзу счетомъ семьдесятъ одинъ рубль.

Кунцевичъ благоговѣнно благословилъ ея подающую руку и съ видомъ теплой благодарности присоединилъ эти деньги къ полномѣсной пачкѣ, перевязанной тесемкою.

— Какъ же переправить ихъ? озабоченно спросила пани Констанція.

Ксендзъ поклонился на это такъ, что поклонъ его явно выражалъ:

«Ужъ мы-де знаемъ! Вполнѣ на насъ положитесь!»

— Прямо до бискупа?—продолжала она.

— Ой, нѣтъ! Какъ же-жъ такъ-такъ до бискупа? До бискупа дойдутъ своимъ чередомъ. Тамъ ужъ у насъ есть надежные люди—на нихъ и отправимъ. А тамъ ужъ передадутъ... Я думаю такъ, что рублей четыреста самъ я пошлю, а объ остальныхъ попрошу пана Болеслава, либо Подвилянскій пусть поручитъ пану Яроцю, а то неловко одному переправлять такую большую сумму.

— Надо поскорѣе-бы...

— Поскорѣй не можно... поскорѣй опять неловко будетъ: какъ же-жъ такъ-такъ сразу послѣ спектакля?.. Мало-ль что можетъ потомъ обернуться! А мы такъ, черезъ мѣсяць, сперва Яроцю, а потомъ я. Надо напередъ отправить наши росписки, то-есть будто мы должны тамъ, а деньги прямо на имя полиціи; полиція потребуетъ кредиторовъ и уплатитъ сполна, а намъ росписки перешлетъ обратно. Вотъ это

такъ. Это дѣло будетъ, а то такъ, по-татарську — ни съ бухты, ни баракты! — «Завше розумне и легальне и вширко розумне и легальне!»

Ксеандъ допилъ кофе, бережно положилъ въ боковой карманъ пачку денегъ и, благословивъ свою духовную дочь, удалился, имѣя въ нынѣшній день еще много работы. Онъ опустилъ шторы въ своемъ «лабораторіумѣ», приказалъ Зосѣ сказывать всѣмъ, за исключеніемъ развѣ Пшецыньскаго или Подвилянскаго, что его нѣтъ дома, и усѣлся за письменный столъ. Писалъ онъ долго, съ видимымъ удовольствіемъ:

«Превелебный пане!

«In nomine Dei et Filii et Spiriti Sancti начинаю мое всенижайшее донесеніе. Не имѣю пока достаточныхъ свѣдѣній, такъ ли идетъ въ другихъ городахъ и провинціяхъ Московіи, но у насъ — успѣхъ за успѣхомъ, и каждый успѣхъ малый успѣхомъ большимъ. Вамъ уже извѣстно происшествіе въ Высокихъ Снѣжкахъ, пока еще не оправдавшее надеждъ насчетъ здѣшняго варварски-тупого народа, въ сравненіи съ которымъ волкъ, огрызающийся на разящую его руку, является существомъ болѣе свободолюбивымъ и болѣе разумнымъ. Впрочемъ, никакъ не слѣдуетъ отчаиваться. Здѣсь не теряютъ надежды: агитація по селамъ непремѣнно должна сдѣлать свое дѣло. Здѣшній центръ, какъ уже было доносимо, организовался давно и необыкновенно счастливо: имѣя по правую руку высокопоставленную вліятельную женщину, а по лѣвую добраго сына отчизны, можно дѣйствовать, соображать, наставлять и направлять по тройственному усмотрѣнію. *Центръ* хорошо спрятанъ, отлично смаскироваль: его никто не знаетъ, никто не подозреваетъ. Въ недавнее время начинается и здѣсь идти въ ходъ система *троекъ*¹⁾. Ни съ правою, ни съ лѣвою рукою никто кромѣ главы, съ благословенія превелебной мосци поставленной, никакихъ сношеній не имѣетъ и причастности ихъ къ центру не знаетъ. Въ послѣдніе дни, послѣ неспѣшной, но удачной подготовки, образовался центръ подцентральный, который репрезентуетъ себя въ одной только особѣ нѣкоего учителя, имѣющаго непосредственныя и исключительныя сношенія съ главою, но не знающаго о содѣйствіи рукъ. Этотъ-то подцентральный

центръ служить для двухъ посвященныхъ низшей степени осозаемымъ центромъ, и эти двое (докторъ и другой учитель) почитаютъ его въ убѣжденіи своемъ, какъ мѣстный и притомъ единственный центръ, облеченный самостоятельностью и независимостью. Эти послѣдніе двое успѣшно завербовали себѣ тройки, зная, что мѣстный центръ, въ *чемъ-то* лицѣ существуетъ, но въ *чемъ?* — то пока остается для нихъ непроницаемой тайной, да надѣмся, таковою и навсегда останется. По свѣдѣніямъ, лица, составляющія эти тройки, каждое въ отдѣльности, съ успѣхомъ уже занялись вербованіемъ слѣдующихъ своихъ собственныхъ троекъ. Рѣшено было нарочито принять систему *троекъ*, а не *десятокъ*, въ томъ предпочтеніи, что тройка, являющая собою единицу меньшую количествомъ чѣмъ десятокъ, наименѣе опасна для цѣлости и стройности остальной организаціи, ежели бы кто по малодушію не удержалъ языкъ свой предъ врагами.

«Слово святаго костела и тайна конфессіонала сдѣлали, съ помощію Бога, то, что тѣ лица и даже члены семейства, которыя, живя долгіе годы въ чуждой средѣ, оставили въ небреженіи свой языкъ и даже національность, нынѣ вновь къ нимъ вернулись съ раскаяніемъ въ своемъ печальномъ заблужденіи и тѣмъ болѣе съ сильнымъ рвеніемъ на пользу святой вѣры и отчизны.

«Общество враговъ растлѣнно и легкомысленно, и та часть онаго, которая болѣе оказываетъ сочувствіе дѣлу для нея чуждому, но истиннѣ, болѣе достойна величайшаго презрѣнія. Польская земля, гордая любовью и вѣрою сыновъ своихъ, покрасѣла бы отъ сраму и заплакала бы кровавыми слезами въ тотъ день, когда изъ нѣдръ ея могло бы народиться столько отщепенцевъ, столько Искаріотовъ! Но къ счастью, Польша не Татарія. Это отребье земли своей, эти псы богохульные, глумясь въ гордынѣ безвѣрія своего надъ Богомъ и надъ своею (хотя бы то и схизматическою) вѣрою, затѣяли отслужить панихиду по убитымъ въ Снѣжкахъ. Сколько гнуснаго глумленія, сколько франтовства своимъ невѣріемъ, достойныхъ омерзительнаго презрѣнія! Тѣмъ не менѣе, они сдѣлали изъ своей панихиды добрую демонстрацію, и весьма значительная часть здѣшняго общества этой демонстраціи сочувствуетъ. Въ этомъ, конечно, для насъ есть весьма много полезнаго. Ихъ можно презирать, но ими необходимо пользоваться, ибо нынѣ они — сила.

«Симпатіи къ *унетаемой* все болѣе и болѣе высказываются въ здѣшнемъ обществѣ: работа нашихъ не пропадетъ даромъ. Все высшее общество (правда, хотя и изъ глупаго подражанія) облеклось въ *жалобу*: черный цвѣтъ является преобладающимъ въ женскихъ нарядахъ; на языкѣ у многихъ слова сожалѣнія, сочувствія къ намъ и слова порицанія своего

¹⁾ Въ послѣднемъ польскомъ заговорѣ были приняты системы *троекъ* и *десятокъ*. Каждый членъ заговора избиралъ себѣ двухъ товарищей и составлялъ съ ними тройку. Избравшій составлялъ звено съ тѣмъ лицомъ, которое самого его выбрало и т. д. Такимъ образомъ тройка (въ Россіи) и десятокъ (въ Польшѣ и Западномъ краѣ) являлись вполне самостоятельными, изолированными и въ то же время непрерывно связанными звеньями заговорной цѣпи. Членъ, принадлежащій къ тройкѣ, звалъ только лицъ входящихъ въ ея составъ; лица же другихъ троекъ извѣстны ему не были. Показанія и сообщенія передавались послѣдовательно отъ избравшихъ къ избраннымъ и т. д.

російскаго правительства. Либераловъ и красныхъ располагаетъ все болѣе. Вредные до извѣстной степени въ родной средѣ поляковъ, красные въ Россіи являются намъ полезнымъ подспорьемъ.

«Къ числу положительныхъ пріобрѣтеній надо отнести также и воскресную школу, находившуюся доселѣ въ рукахъ человѣка почтеннаго и честнаго, но, къ сожалѣнію, вреднаго своимъ противнымъ и фанатическимъ направлениемъ. Нынѣ, чрезъ вмѣшательство администраціи, школа эта ввѣрена благонадежному лицу изъ нашихъ, которое само уже почти отстранилось отъ нея, а передало все дѣло въ руки Москалей изъ самыхъ заклятыхъ либераловъ. Работа съ этимъ переходомъ пошла весьма успѣшно. Прежній же руководитель школы находится подъ надзоромъ полиціи. Одинъ изъ преподавателей гимназій, а равно и воскресной школы, оказался человѣкомъ направленія вреднаго; въ то же время вліяніе его на учениковъ было достаточно сильно. Для пресѣченія вреда, могущаго постоянно происходить отъ этого человѣка, авторитетъ его и, къ сожалѣнію, даже самое доброе имя необходимо должны были быть подорваны. Мѣра крайняя, но вполнѣ необходимая, въ виду зла, имѣвшаго парализовать многія добрыя начинанія.

«Немалую силу (безъ сомнѣнія, подлежащую борьбѣ) являетъ въ лицѣ своемъ здѣшній епархіальный архіерей Іосафъ—оплотъ восточной схизмы, человѣкъ пользующійся большимъ вліяніемъ на паству. Есть нѣкоторые признаки, по которымъ заключаю, что онъ можетъ быть вреденъ. Впрочемъ, это покажетъ будущее.

«Быль спектакль любителей, на которомъ особенно ярко проявились симпатіи къ распятой на крестѣ отчизнѣ нашей. Вскорѣ на имя извѣстныхъ вамъ особъ будетъ прислана до фундусу желѣзнаго тысяча рублей. Напередъ вышлемъ на себя росписки. О дальнѣйшемъ донесу своевременно, а пока смиренно прошу благословенія на дѣло неустанныя служенія своего.

Подписи не было, но вмѣсто нея выставленъ шифрованный знакъ «12—11», что въ сущности означало «L—K», начальныя буквы имени и фамиліи ксендза-пробоща.

Не успѣлъ еще онъ, по окончаніи письма, выпить предобѣденную рюмку настойки да закусить свѣжею молодою редискою со сливочнымъ масломъ, какъ въ смежной комнатѣ раздались знакомое бряцаніе сабли полковника Пшецыньскаго, для котораго ксендзъ-пробощъ «всегда былъ дома».

— Вѣкъ нашъ крутки—выпіемы вудки... А ну-бо! По килишку!—весело подмигнулъ хозяинъ только-что вошедшему гостю.

Гость не отказался, и не выпилъ, но что называется «вонзилъ» въ себя полную рюмку, послѣ чего вкуюно поморщился, какъ обыкновенно морщится отъ добраго глотка хорошій

гость, желая сдѣлать этимъ комплиментъ хозяйской водкѣ, и въ заключеніе очень выразительно крикнулъ.

Ксендзъ ухмыльнулся и подмигнулъ вторично.

— Вѣкъ нашъ не долги, выпіемы по другой!—пустилъ онъ свою обычную прибаутчку,—а потомъ возыжемъ за скромную монашескую трапезу!

Отъ трапезы полковникъ отказался, но насчетъ недолгаго вѣка, по поводу котораго надлежало выпить по другой, сказалъ по-русски, что умныя рѣчи пріятно и слышать. И пріятели хватили еще по килишку.

— Панъ заѣхалъ кстати,—пожалъ Кунцевичъ руку Пшецыньскому:—у меня тутъ только-что цыдула окончена. Если хочешь прочесть—вотъ она.

Полковникъ взялъ еще не сложенное письмо. — Что-жь, надо отправить?—спросилъ онъ, какъ о дѣлѣ давно привычномъ и самомъ обыкновенномъ.

— Съ надписомъ: «конфиденціально», — пояснилъ панъ Ладиславъ, изображая сложенными пальцами одной руки на раскрытой ладони другой какъ бы предполагаемую надпись. — Только будь такъ ласковъ, брацишку, отправь поскорѣ... въ казенномъ пакетѣ, за печатью... жебы вишкетко было якъ сенподоба.

— На бискупа, или на полиціймейстера?—освѣдомился полковникъ.

— Какъ самъ знаешь, — пожалъ плечами ксендзъ. — Только думаю, что на полиціймейстера натуральнѣе; а то что за корреспонденція у жандармовъ съ бискупами! На полиціймейстера спокойнѣе будетъ: его превелебна моєць писалъ уже, чтобы такъ поступать намъ, ужъ они тамъ знаютъ!.. Имъ это лучше извѣстно!

Полковникъ пріятельскимъ кивкомъ вполнѣ одобрилъ соображенія своего предусмотрительнаго друга.

— А, кстати! — вспомнилъ Кунцевичъ. — Панъ еще ничего не сдѣлалъ съ тѣмъ... съ гимназистомъ?

— Да вѣдь панъ каноникъ самъ же просилъ оставить пока, я и не трогалъ его.

— Ну, и лучше!.. Онъ, сдается мнѣ, пригидется еще къ дѣлу.

— Мм... молодъ!—съ кислой гримасой замѣтилъ Пшецыньскій.

— Э, ничего, что молодъ! Подвилянскій аттестовалъ его подходящимъ. Къ чему терять лишнія чужія руки? Пусть это будетъ на добро да на пользу.

Полковникъ взглянулъ къ себѣ на часы и сталъ прощаться.

— Э, нѣ, нѣ! Почекай трошечку!—остановилъ его ксендзъ, наливая рюмки,—такъ не водится! Слухай коханы: «жебы быць намъ спугне на тымъ свѣцѣ, выпіемы, брацишку, по тринедей!»

И чокнувшись они опрокинули и закусили по третьей—на прощанье.

XX.

Изъ-за „шпіона“.

Андрей Павлович Устиновъ никакъ не ожидалъ тѣхъ послѣдствій, которыя произошли изъ его шпіонства, импровизированнаго Подвилянскимъ. Молва о тайной миссіи учителя математики очень быстро разнеслась по всему Славнобубенску, что, впрочемъ, и немудрено, такъ какъ она весьма ловко была пущена въ среду гимназистовъ, которымъ пояснено, будто Устиновъ потому-то и шикнулъ Шинкину, что самъ онъ шпіонъ и что онъ-то собственно и погубилъ Шинкина своимъ шиканьемъ. Гимназисты разнесли молву по своимъ семействамъ, а тѣ по своимъ знакомымъ, и, глядь, сутокъ черезъ двое весь Славнобубенскъ былъ уже убѣжденъ, что въ средѣ его ходитъ, подглядываетъ и подслушиваетъ весьма опасный агентъ тайной полиціи — учитель Устиновъ. Очень многіе стали чуждаться Андрея Павловича. Входить онъ, напримѣръ, въ сборную учительскую комнату, нѣкоторые изъ сослуживцевъ многозначительно переглядываются между собою и прекращаютъ разговоры. Поклоны ихъ стали гораздо суше; иные избѣгали протягивать ему руку. Проходя изъ класса по гимназическому корридору, онъ встрѣтилъ гурьбу учениковъ, которая, пропустивъ его мимо себя, вдругъ единодушно зашишикала, и среди этого шума раздалось нѣсколько голосовъ: «шпіонъ! шпіонъ! Устиновъ шпіонъ!» Тотъ обернулся, обвелъ гурьбу измученнымъ взглядомъ и улыбувшись прошелъ мимо.

Въ кухмистерской, на Московской улицѣ, точно также при входѣ его весьма многіе изъ присутствующихъ, знавшихъ его въ лицо, прерывали нѣкоторые изъ своихъ разговоровъ, переглядывались и перешептывались между собою и окидывали его иногда какимъ-то осторожнымъ, непріязненнымъ взоромъ. При встрѣчахъ на улицѣ, очень многіе изъ знакомыхъ дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ его, и на поклонъ отвѣчали словно бы нехотя, вскользь, торопливо и съ видимымъ смущеніемъ.

Вскорѣ и самъ онъ замѣтилъ, что положеніе его становится какимъ-то глупымъ, неловкимъ, неестественно-натянутымъ, и это стало то бѣсить, то сильно огорчать его. Но болѣе всего горькою и обидною была потеря довѣрія и привязанности учениковъ. Взаимныя отношенія ихъ, помимо его воли, какъ-то сами собою перемѣнились; въ нихъ явилась холодность, непріязнь и даже школьнически-своеобразное презрѣніе къ нему, выразившееся какимъ-нибудь безмолвнымъ взглядомъ, свис-

томъ или возгласомъ «шпіонъ», брошеннымъ ему за спиною, и положительнымъ отсутствіемъ весело-довѣрчивыхъ разговоровъ и разспросовъ, какъ бывало прежде.

Устиновъ сознавалъ, что все это было слишкомъ мелко и черезчуръ уже глупо для того, чтобы обратить на подобныя проявленія серьезное вниманіе, а между тѣмъ новое положеніе втайнѣ начинало уже очень больно и горько хватать и грызть его за сердце.

Кажется, во всемъ городѣ Славнобубенскѣ только и осталось три-четыре человѣка, отношенія которыхъ ни на йоту не измѣнились къ Андрею Павловичу, и это были: Хвалынцевъ, майоръ Лубянской да Татьяна Николаевна со своею старою теткою. Все остальное разомъ отшатнулось отъ учителя.

Разъ какъ-то зашелъ онъ къ майору. Анна Петровна, встрѣтивъ его весьма сухимъ поклономъ, тотчасъ же удалилась изъ комнаты. Зато майоръ обрадовался отъ чистаго сердца.

— Ну, голубчикъ мой! Наконецъ-то!—протянулъ онъ ему обѣ руки.—Пойдемъ въ мою келью, потолкуемъ-ка!.. Хоть душу отведешь съ человѣкомъ!

Устиновъ глянулъ на старика и замѣтилъ, что онъ видимо измѣнился за послѣднее время: сивая щетинка на бородѣ уже нѣсколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирѣло, въ глазахъ порою на мгновеніе мелькало легкою тѣнью нѣчто похожее на глухую затаенную кручину. При взглядѣ на Петра Петровича, Устинову стало еще грустнѣе.

— Ну, что, какъ живете-можете?—началъ онъ, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.

— Да что, голубчикъ, скверно старикамъ стало жить на свѣтѣ, скверно!—съ глубокимъ, сокрушеннымъ вздохомъ покачалъ головой Лубянской.—Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порокъ какой тамъ что-ли, а нынѣ за одну только старость пренебрегать начали. Иль я ужъ и въ самомъ дѣлѣ изъ ума выжилъ, или что, и самъ не понимаю; а только вдругъ, на шестомъ десяткѣ, подъ сюркупъ полицейскій попалъ! Чуть-что не каждый день вдругъ квартальный сталъ шататься да житье-бытье мое повѣрять! «Вы, говорить за неблагонамѣренность подъ призоръ отданы, и я долженъ за поведеніемъ вашимъ наблюдать!» Легко-ли это, и васъ спрашиваю!.. Издѣваются они надо мной, что-ли? Да кто же далъ имъ нынѣ это право такое надъ честнымъ солдатомъ издѣваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Ужъ я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грѣшный человѣкъ, далъ по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали... А слышали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слышали? Вы не бываете тамъ больше?

— Мнѣ Подвилянскій прислалъ письмо, съ извѣщеніемъ, что я могу прекратить мой дальнѣйшія занятія тамъ,—сказалъ Устиновъ.

— Я такъ и зналъ! Такъ и зналъ я это! — махнулъ старикъ.—А съ отцомъ-то Сидоромъ что сдѣлали? Не слышали-съ?

— Признаюсь, не слыхалъ еще.

— Ну, ужъ это чистое невѣжество! — развелъ майоръ руками.—Приходитъ онъ это въ школу, а на встрѣчу ему господинъ Полояровъ: «вы, говоритъ, зачѣмъ сюда?»—«Какъ зачѣмъ! Я законъ Божій читаю».—«Теперь, говоритъ, я вмѣсто васъ законъ Божій читаю, а вы, говоритъ, ступайте прихожанъ своихъ эксплуатируйте (такъ и сказалъ! Это самое слово!). Всѣ вы, говоритъ, за зловерность направленія отсюда уволены!» Это что-жъ такая за наглость-то наконецъ, я васъ спрашиваю! До чего-же это дойдетъ у нихъ?!.. Отецъ Сидоръ хочеть владыкъ жаловаться,—да и въ самомъ дѣлѣ, вѣдь ужъ тутъ просто житья нѣтъ никакого! Нагналъ это туда новый-то распорядитель учителей хорошихъ: всѣ эти Полояровы да Анцыфровы, да Лидиньки разныя... подика, чай, хорошему научать!.. Ужъ они мнѣ, батюшка,—вотъ они всѣ гдѣ сидятъ-то мнѣ! указалъ старикъ на свое горло.—Вѣдь ужъ я терпѣливъ, ну да и мое терпѣніе допнетъ скоро!

— Полояровъ-то бываетъ у васъ? — спросилъ Устиновъ.

— Ужъ не говорите лучше!—съ негодованіемъ отплюнулся Петръ Петровичъ,—не знаю какъ избавиться! И что это такое съ Нюточкой сдѣлалось, просто не понимаю! Не далѣе какъ годъ назадъ вѣдь это прелесть что за дѣвочка была—сами, чай, помните! — а нынѣ (старикъ съ боязливою осторожностью покопился на дверь и значительно понизилъ голосъ), нынѣ—Богъ ее знаетъ! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нея какая-то вдругъ... Что ни скажешь, ни сдѣлаешь — все это не такъ, все это не по ней... одного только *этого*... *ей-то* — только его и слушаетъ. Начнешь говорить ей,—сейчасъ въ раздраженіе: «вы говоритъ, меня стѣсняете, лишаете меня свободы!» Ты ей резоны представляешь, а она сейчасъ: — «произволь! насиліе!.. Это, говоритъ деспотизмъ родительской власти»... Господи Боже мой! Андрей Павлычъ! (голосъ старика дрогнулъ отъ волненія) сами вы знаете—ну, стѣсняю-ли я чѣмъ ее? Ну, могу-ли я стѣснять? Я... я души въ ней не чаю, а она... деспотъ... деспотизмъ. Да что-жъ это такое, ей-Богу!..

Старикъ примолкъ и огорченно поникъ головою.

— Теперь хоть это: хорошо-ли это съ ея стороны?—продолжалъ онъ черезъ минуту. — Отца осрамили, отцу учить запретили, подъ надзоръ полиціи отдали, школу отняли, а она въ этой школѣ продолжаетъ учить, какъ ни въ чемъ не бывадо. Съ *этими-то*... съ *эти-*

ми-то вмѣстѣ учить, въ одной компаніи... съ врагами!.. Вѣдь они враги-съ дѣлу-то! Ну, прилично-ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только провѣдала про всю эту компанію?.. И я же еще стѣсняю ее! Я деспотствую!.. Эхъ, голубчикъ мой, горько мнѣ все это! горько!.. И откуда на насъ вся эта напасть?—продолжалъ старикъ, ходючи по комнатѣ и закуривъ свою коротеѣчку трубочку. — Отчего же прежде у насъ на Руси ничего такого не было? Иль ужъ и въ самомъ дѣлѣ всѣ мы прежде до такой степени были глупы и слѣпы, и подлы, что на насъ теперь и плюнуть не стоитъ порядочному человѣку, или что—я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь такъ-то вотъ себѣ ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мнѣ). Только нѣтъ, думаешь себѣ, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? вѣдь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди—да вотъ, хоть взять теперь намъ старика Алексѣя Петровича Ермолова, или напимѣръ покойникъ Воронцовъ Михайло Семеновичъ,—вѣдь это все какіе люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значитъ, были же и между нами доблестные граждане; умѣли же и мы любить свое отечество, и жили честно—не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то всѣ мы огуломъ охаяны да оплеваны? Вѣдь это обидно! Вѣдь и сами же *они* будутъ стариками—значить, и ихъ заплуютъ? Да отчего же мы-то на своихъ отцовъ не плевали, отчего-же мы любили и чтили заслуги ихъ?.. Отчего-жъ это такъ вдругъ все перевернулось у насъ? Откуда это, я васъ спрашиваю? И вотъ все это, голубчикъ мой, мучаютъ меня всѣ эти неотвязныя мысли проклятыя, и никакого я себѣ отвѣта найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикамъ на свѣтѣ!—грустно заключилъ онъ, выколачивая въ черенокъ золу изъ своей носогрѣйки.

Потолковалъ онъ и еще кое-что на ту же самую тему, а потомъ, чтобы разбить нѣскольکو свои невеселыя мысли, предложилъ учителью партійку въ шашки. Сыграли они одну и другую, и третью, а тамъ старая кухарка Максимовна принесла имъ на подносі два стакана чаю, да сливокъ молочникъ, да лотокъ съ ломтиками бѣлаго хлѣба. Былъ седьмой часъ въ началѣ.

— А гдѣ же барышня-то? Что ее не видать? спросилъ старикъ у кухарки.

— Барышня нѣту-ти. Аны еще давеча, какъ Андрей Павлычъ пришли только, такъ ушли *изъ* дому.

— Куда же это? Не сказала?

— Ничего не сказывали; а только вышли одѣвшись и пошли.

— Ну, хорошо... Ладно; ступай-себѣ!

— Вотъ, батюшка мой,—обратился майоръ

къ Устинову, когда кухарка вышла за дверь,— это вотъ тоже новости послѣдняго времени. Присе, бывало, идетъ куда, такъ непремѣнно хотъ скажется, а нынче—вздумала-себѣ—хватъ! одѣлась и шмыгъ за ворота! Случись что въ домѣ, храни Богъ, такъ куда и послать-то за ней, не знаешь. И я же вотъ еще свободы ее при этомъ лишаю!

Устиновъ посидѣлъ еще съ полчаса и простился.

Вскорѣ послѣ него вернулась домой Анна Петровна. На хмуромъ личикѣ ея написано было молодое нетерпѣніе поспѣшной рѣшимости. Снимая передъ зеркаломъ свою гарибальдійку и приглаживая короткіе волосы, она даже ножкой досадливо топала. Видно было, что ей поскорѣе хочется рѣшить что-то на *да*, или *нѣтъ*, и что на этотъ послѣдній ладъ она кѣмъ-то настроена.

— Гдѣ была, Нюточка? ласково и тихо обратился къ ней Лубянской.

— Гдѣ была, тамъ ужъ нѣту! отвѣчала она съ усмѣшкой. А ты вотъ что, папахентъ... Мнѣ съ тобой надо поговорить серьезно и... рѣшительно. Угодно тебѣ меня выслушать?

— Говори, дружочекъ...—еще тише промолвилъ старикъ, у котораго вдругъ упало сердце отъ этого тона рѣчи. Онъ смутно предчувствовалъ что-то недоброе.

— Извольте-съ. Я буду говорить,—начала она, съ какой-то особенною рѣшимостью ставши предъ отцомъ и скрестивъ на груди руки. — Скажи мнѣ, пожалуйста, папахентъ, для чего ты принимаешь къ себѣ въ домъ шпионовъ?

— Шпионовъ?.. Какихъ это шпионовъ?—поднялъ на нее глаза Лубянской.

Изъ этого вопроса онъ уже понялъ о чемъ пойдетъ дѣло.

— Какъ какихъ? Какъ будто Полояровъ не при тебѣ говорилъ?

— Э, дѣвочка! Мало ли что говорить Полояровъ...

— Но это всѣ говорятъ!.. Весь городъ знаетъ.

— Ну, мало ли что!.. Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ—слышала, чай, пословицу? У насъ вѣдь чего не болтаютъ?

— Но это не болтовня, это правда! Намедали у самого Пшецыньскаго спрашивали, такъ онъ только какъ-то странно улынулся на это и сталъ увѣрять, что вздоръ и выдумки. Одно ужъ это увѣрѣніе достаточно подтверждаетъ фактъ.

— Ну, Нюта, полно пустяки болтать!.. Ни въ жизнь я такимъ вздорамъ не повѣрю и даже слушать-то про нихъ не хочу.

— Ха, ха, ха!.. Это мило! Это мнѣ нравится!—нервно потирая руки, зашагала она по комнатамъ. — Ну, такъ я же тебѣ говорю, что я не желаю, не хочу—слышишь ли, папахентъ?—не-хо-чу, чтобъ у насъ въ домѣ бывалъ этотъ

шпионникъ! Послѣ этого къ намъ ни одинъ порядочный человѣкъ и носу не покажетъ. Мнѣ ужъ и то говорятъ всѣ!..

— Кто говорить-то? какой-нибудь Полояровъ...

— Во-первыхъ,—перебила дѣвушка съ ярко проступившею на щекахъ краской досады,—во-первыхъ, Полояровъ вовсе не «какой-нибудь», а порядочный человѣкъ, котораго я уважаю, и потому покорнѣйше прошу о немъ такъ не говорить!

— Да ты сама-то, Нюта, какъ говоришь со мной, съ отцомъ-то своимъ? Что-жъ, тебѣ Полояровъ ближе отца сталъ, что ли?

— Это вопросъ совсѣмъ посторонній; и замѣчаній мнѣ тоже не надо, а я тебя спрашиваю въ послѣдній разъ: угодно тебѣ быть знакомымъ со шпионами?

— Я Андрея Павлыча за шпиона не почитаю и почитать не буду,—рѣшительно и твердо отвѣтилъ онъ на это,—и знакомства съ нимъ отъ какихъ-нибудь нелѣпыхъ сплетенъ не прерву. Вотъ тебѣ, Нюта, мое слово!

— Покорнѣйше благодарю!—иронически поклонилась она.—Я и не знала, что тебѣ этотъ баринъ дороже дочери и собственнаго добраго имени.

— Матушка!—покачалъ головой майоръ,—не Анцыфровымъ какимъ-нибудь дарить меня добрымъ именемъ, а его самъ себѣ добылъ; и не имъ его вырывать отъ меня! А о себѣ ты и не говори... Нюта, Нюточка! да неужто же ты не видишь, голубка моя, какъ люблю я тебя!—съ глубокою нѣжностью протянулъ онъ къ ней руки.

— Скажите, пожалуйста! Да въ чемъ это любовь-то ваша?—съ пренебреженіемъ выдвинула она свои губки.—Велика заслуга—любовь! Каждое животное, собака—и та любитъ ценять своихъ: просто, животное-эгоистическое чувство и больше ничего! Это очень естественно!

Старикъ въ какомъ-то ужасѣ поднялся съ мѣста.

— Нюта, Нюта!—горько покачалъ онъ головою.—И это ты!.. это ты говоришь такіе вещи!.. Да кто это вселилъ въ тебя мысли-то такіе?.. Боже мой! Родительское чувство... отца вдругъ съ собакой... со псомъ приравняла!.. Да что-жъ это, ей-Богу!.. Нюта, это не ты говоришь... это чудится мнѣ только!.. Нюта! родная моя!.. Поди ко мнѣ.

— Оставь, пожалуйста, нѣжности, папахентъ!—мимоходомъ махнула она рукой. — Я тебѣ повторяю, если хочешь жить со мной въ мирѣ, то чтобы въ домѣ у насъ не было больше Устинова, а если онъ еще разъ придетъ, то я надѣлаю ему такихъ дерзостей, какихъ онъ еще ни отъ кого не кушалъ.

— Ну, ужъ нѣтъ! Этого не будетъ!—опять-таки рѣшительнымъ тономъ возразилъ Петръ Петровичъ.—Гостя, каковъ бы онъ ни былъ, въ

моемъ домѣ оскорблять не позволю, потому что онъ гость мой.

— Ха, ха, ха! Это у тебя все твои эти кавказскія, восточныя правила!—насмѣшливо проговорила она;—да если этотъ гость шпионика, подлеца, мерзавецъ?

— Сударыня! да постыдись ты, Христа-ради!—укорливо всплеснулъ старикъ руками,—вѣдь ты благородная дѣвушка! Ну, что ты дѣвичьи уста свои оскверняешь такими гнусными словами! Откуда все это? И что это за тонъ-то у тебя нынче? Гдѣ-жъ твоя скромность, голубка ты моя?!

— Мнѣ это наконецъ надоѣло!—топнула она ногой, снова скрепивая руки и становясь предъ отцомъ,—я хочу знать рѣшительно: будутъ ли у насъ бывать шпионы, или не будутъ?

— Шпионовъ не бывало и бывать не будетъ,—категорически отвѣтилъ старикъ, поднявшись съ мѣста,—а Андрей Павлычъ будетъ! И пока я живъ, я никому не позволю оскорбить его въ моемъ домѣ, и никто этого не осмѣлится!

— А, когда такъ,—такъ хорошо же!—взвизнула Анна Петровна, заливаясь гнѣвными слезами;—это деспотизмъ... это насилие... это самодурство, наконецъ!.. Этого я выносить не стану!.. я не въ силахъ больше!.. Терпѣніе мое лопнуло, такъ и я не хочу, не хочу, не хочу больше!—возвышала она голосъ.—Слышите ли, не хочу, говорю я вамъ!.. Послѣ этого между нами все кончено! Прощайте, Петръ Петровичъ!

И стремительно вырвавшись изъ комнаты, она мимоходомъ захватила гарибальдійку да бедуинъ, перекинутый черезъ спинку стула, и бросилась вонъ изъ дому.

— Нюта! Нюточка! голубчикъ!.. Куда ты!.. вернись! вернись, Христа-ради! вдругъ переполошившись схватился старикъ вдогонку за дочерью. Словно ошалѣлый, выбѣжалъ онъ за калитку и, какъ былъ въ одномъ халатѣ, безъ шапки побѣжалъ по улицѣ.

Нюточка спѣшно обернулась на его голосъ и видя, что онъ ее, пожалуй, догонитъ, сама торопливо пустилась бѣжать отъ него, махая встрѣчному извозчику, и, поравнявшись съ его дрожками, съ разбѣгу прыгнула въ нихъ.

— Пошелъ!.. Пошелъ живѣе! Поворачивай! чуть не задыхаясь, толкала она своего возницу—и тотъ, въ надеждѣ на хорошую вырубку, со всеусердіемъ сталъ хлестать свою лошадь.

Въ эту минуту молодая дѣвушка вся была въ какой-то изступленно-нервной экзальтаціи. Ее душилъ приливъ злостной досады избалованнаго, капризнаго ребенка; слезы ручьями катились по щекамъ; лихорадочная дрожь колотила все тѣло. Она сама не помнила и не понимала хорошенько, чтó съ нею и чтó она дѣлаетъ.

Старикъ поглядѣлъ ей вслѣдъ и поплкъ головою. Изъ разныхъ оконъ на эту сцену уже гля-

дѣли любопытныя головы. «Господи! чужіе люди видѣли!» чѣмъ-то колочимъ отозвалось въ сознаниі Петра Петровича, и онъ вдругъ какъ-то осяблся, сконфузился и, стараясь ни на кого не глядѣть, побрѣлъ въ свою калитку.

XXI.

Безъ дочери.

Не скоро пришелъ въ себя старый Лубянский, но все-таки мало-по-малу болѣе спокойное, сознательное горе тихо овладѣло имъ, и среди этого горя нашлось еще мѣсто надеждѣ. Надежда же явилась потому, что слишкомъ велика была любовь его.

«И куда это поскакала она, сумасшедшая?—думалъ себѣ майоръ, слоняясь изъ угла въ уголъ по всѣмъ комнатамъ;—къ дурницѣ къ этой Затчихѣ, что ли? или къ Татьянѣ Николаевнѣ?.. Нѣтъ, та не того покроя, къ той не поскачетъ!.. Неужели къ Полоярову? вдругъ мелькнула ему жуткая, страшная мысль, которую онъ всячески постарался тотчасъ же отогнать отъ себя.—Нѣтъ, нѣтъ... нѣтъ, не можетъ этого быть!.. Какія глупости бредутъ мнѣ въ голову!.. Это я разстроены нынче, это оттого все... Моя Нюточка, нѣтъ, нѣтъ, она этого не сдѣлаетъ... Вѣрно у Затчихи... Она скоро вернется, утѣшалъ онъ себя баюкающею надеждою,—образумится и вернется... Она благоразумная вѣдь... не можетъ не вернуться... Надо тогда поговорить съ ней... Надо покротче, поласковѣе... Вѣдь и я ужъ тоже! Развѣ можно эдакъ-то круто?.. Эдакъ нельзя... Надо уговорить, урезонить... Она пойметъ же вѣдь наконецъ».

А между тѣмъ время шло да шло себѣ, и пробило уже десять часовъ.

Майоръ снова начиналъ тревожиться и сердиться.

«Вѣдь эдакая, право, скверная, упрямая дѣвчонка! Характеръ-то какой настойчивый!.. Это хочеть, чтобы я покорился, чтобы я первымъ прошенія просилъ да по ея бы сдѣлалъ... Ну, ужъ нѣтъ-съ, извините! Этого не будетъ! Этого нельзя-съ!.. Да-съ, этого нельзя-съ!.. Изъ-за пустой поблажки да честныхъ, хорошихъ людей обижать, это называется бабствомъ! А я не баба, и бабой не буду!.. Да-съ, не буду бабой я! вотъ что!»

Майоръ, жестикулируя, размахивая руками и говоря самъ съ собою въ пол-шопота, все къ кому-то обращался, словно бы въ этой комнатѣ сидѣла воображаемая Нюточка.

«Нѣтъ, надо будетъ взять другія мѣры!.. Непремѣнно другія мѣры!» совѣтовалъ онъ самому себѣ.—Но какія именно будутъ эти предполагаемыя мѣры, старикъ не опредѣлялъ, и даже будто избѣгалъ такого опредѣленія: онъ только какъ бы утѣшалъ и баюкалъ себя тѣмъ, что мѣры не-

премѣнно должны быть другими. «Хорошо бы всѣхъ этихъ господъ тово... въ шею! показаль онъ выразительнымъ жестомъ,—чтобы и духомъ ихъ тутъ не пахло! тогдабудетъ отлично... тогда все какъ нельзя лучше пойдетъ!.. Да-да, непременно другія мѣры»...

«Но, Господи! Что же это Нюточка?!»

Пробило одиннадцать, а ея все нѣтъ еще. Вотъ и половина двѣнадцатаго, вотъ и двѣнадцать, но Нюта не возвращается. Безпокойство все болѣе и болѣе овладѣвало старикомъ, и къ этому безпокойству примѣшивалась и тоска, и страхъ безотчетный. Онъ рѣшился ожидать до часу, и все время, въ открытую форточку, напряженно и чутко прислушивался—не дребезжатъ ли на улицѣ дрожки, не слышать ли легкихъ, приближающихся шаговъ... Онъ бы по чутью угадалъ звукъ походки своей дочери. И вотъ изрѣдка послышится чьи-нибудь шаги,—майоръ встрепенется, сердце его станетъ биться порывистѣй, напряженнѣе... но нѣтъ,—не она!.. все не она это! все другіе посторонніе: либо не доходя гдѣ нибудь остановятся и затихнутъ въ какой-нибудь чужой калиткѣ, либо все мимо да мимо проходятъ, а ея все нѣтъ, какъ нѣтъ!.. И когда же, наконецъ, она будетъ? И когда затихнетъ и уляжется этотъ страхъ, эта тоска, все болѣе и все мрачнѣе растущая въ сердцѣ стараго майора? Но вотъ и *часъ* простоналъ глухой колоколъ на далекой соборной колокольнѣ.

Майоръ съ лихорадочною поспѣшностію сталъ одѣваться и ушелъ изъ дому, къ несказанному, но безмолвному удивленію заспанной Максимовны.

Спѣшнымъ шагомъ, и почти-что рысцой, направился онъ въ Кривой переулокъ, гдѣ жила Лидинька Затцъ. Но въ Кривомъ переулкѣ все было глухо и тихо, и у одного только подъѣздика полиціймейстерской Дульциней обычнымъ образомъ стояла лихая пара подполковника Гнута, да полицейскій хожалый, завернувшись въ тулупъ, калякалъ о чемъ-то съ кучеромъ. Майоръ поспѣшно прошелъ мимо ихъ, стараясь спрятать въ воротникъ свое лицо, чтобы не видали его, словно бы, казалось ему, они могли и знать, и догадываться, куда онъ идетъ и кого отыскиваетъ.

Лидинька Затцъ не спала еще и, понятное дѣло, съ подобающимъ изумленіемъ встрѣтила посѣтителя, столь поздняго, столь рѣдкаго и при томъ въ такую странную, необычную пору. Она еще болѣе удивилась, когда тотъ спросилъ о своей дочери. Лидинька не знала гдѣ она, и сегодня весь день даже не видала ее. Майоръ ушелъ еще болѣе озадаченный и разстроенный.

— Не у Стрѣшневыхъ ли она? — сказала Затцъ вдогонку ему, на лѣстницѣ.

— Не знаю... Побѣгу сейчасъ.

— А можетъ быть...

Хотѣла еще что-то сказать она, но по дого-

ворила и замолкла. Видно было, что самое ее одолѣло вдругъ какое-то сомнѣніе.

— Что «можетъ быть?» жадно и тревожно обернулся на нее Лубянский.

— Нѣтъ... ничего, я такъ только...

— Что «можетъ быть?» Говорите, не бойтесь!—настойчиво повторилъ онъ.

— М-м-можетъ быть, она... у Полоярова, — сомнительно высказалась Лидинька, которую засосала червячекъ ревности.

Старика словно вѣтромъ шатнуло, такъ что онъ едва успѣлъ ухватиться за перила. Это было слово, котораго онъ самъ себѣ не смѣлъ выговорить, предположеніе, котораго страшился, вопросъ, котораго даже не дерзалъ онъ задать себѣ. Нѣсколько секундъ простоялъ Петръ Петровичъ въ нѣмомъ раздумьи и, наконецъ, снова повернулся къ Лидинькѣ.

— Нѣтъ; этого нѣтъ и быть не можетъ!—твердо сказалъ онъ ей рѣшительнымъ и поддѣльно увѣреннымъ тономъ.—Это вздоръ!.. нелѣпость!.. Она... я знаю гдѣ, она—у Стрѣшневыхъ.

— Ну, ступайте, ищите! Помогай вамъ Господи!—проговорила Затцъ, закрывая двери, и въ голосѣ ея послышалась боль и насмѣшка уязвленной ревности и страдающаго самолюбія...

Петръ Петровичъ пошелъ въ другую часть города, гдѣ жили Стрѣшневы. Но въ окнахъ у нихъ было темно: тамъ, очевидно, всѣ давно уже спали.

«Что-жъ стучаться-то, тревожить понапрасну, подумалъ себѣ майоръ,—стало быть ее тамъ нѣтъ... Только одинъ лишній скандалъ... Нечего и спрашивать!.. А кабы ночевать осталась, или заболѣла, такъ прислали бы сказать»...

«Куда жъ теперь?»—спросилъ онъ себя мысленно. И стало ему вдругъ страшно, жутко и холодно... Замерещилось, будто онъ, онъ самъ жестоко обидѣлъ, оскорбилъ свое родное дитя, и оно, бѣдное, безумное, съ горя пошло да въ Волгу кинулось... утопилось... умерло... плыветъ теперь гдѣ-нибудь... или къ берегу прибило волной его мертвое тѣло...

И полный этихъ черныхъ мыслей, онъ, какъ къ единственной надеждѣ своей, бросился къ Устинову.

Учитель еще не спалъ и работалъ, обложенный какими-то книгами да математическими вычисленіями. Въ первую минуту онъ даже испуганно отшатнулся отъ своего неожиданнаго гостя, до того было болѣзненно-блѣдно и разстроено лицо Лубянскаго.

— Петръ Петровичъ! Что съ вами?

Тотъ кое-какъ, съ трудомъ рассказалъ въ чемъ дѣло.

— Пойдемъ искать вмѣстѣ... помогите мнѣ... вмѣстѣ скорѣе, можетъ... какъ-нибудь... спасите се!—говорилъ онъ урывками какихъ-то смутныхъ мыслей, въ какой-то полупомѣшанной растерянности.

Учитель молча, но поспѣшно сталъ одѣваться, и въ двѣ-три минуты былъ уже готовъ.

— Куда же идти-то?—спросилъ онъ, выйдя на улицу.

— На Волгу... на Волгу идти... Она тамъ вѣрно... тамъ... Гдѣ же больше? — бормоталъ майоръ, вась дрожа нервическимъ трепетомъ.

— Нѣтъ, Петръ Петровичъ, этого быть не можетъ, — самымъ увѣреннымъ тономъ сталъ успокаивать его Устиновъ. — Я головой готовъ ручаться, что не можетъ!.. Просто такъ подурила себя немножко, а это нѣтъ, это вы только напрасно себя беспокоите... Тутъ что-нибудь иное...

— Иное?... Да что-жъ иное? Затѣ говорила... что у этого... у Полоярова... Но вѣдь Затѣ дура... она вреть это... этого быть не можетъ, — съ одышкой сказалъ наконецъ Лубянской.

Устинову мелькнула вдругъ новая мысль, новая догадка.

— А вы тамъ были? у Полоярова-то? — осторожно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не былъ... Затѣмъ же туда?.. Тамъ вѣдь нѣту...

— Да все-таки... попытаемся, сходимъ... можетъ, онъ знаетъ.

Отправились къ Ардальону. У воротъ того дома, гдѣ обиталъ онъ, дремалъ дежурный дворникъ.

— Дома господинъ Полояровъ, не знаешь ты?—спросилъ Устиновъ.

— Нѣтъ его дома; не бывалъ еще.

— А не была тутъ вечеромъ... молодая... дѣвушка? съ трудомъ проговорилъ Лубянской.

— У Полоярова-то? — переспросилъ дворникъ.

— Да, да, у Полоярова...

— Какая это? Чернявенькая така? Стриженная?

— Ну, да, да!.. Она самая... Не была?

— Вечеромъ? такъ часу, значитъ, въ девятомъ?

— Такъ, такъ; въ девятомъ, въ началѣ девятого.

— Была, приѣзжала, — подтвердилъ дворникъ. — Да она тутъ часто у него бываетъ.

— Гдѣ жъ она? здѣсь? — перебилъ Устиновъ.

— Нѣтъ; теперя нѣтъ ее, уѣхавши...

— Какъ уѣхавши!.. Куда? — почти вскрикнулъ Петръ Петровичъ.

— А не знаю доподлинно... Слышалъ, такъ, часу въ одиннадцатомъ, рядили аны тутъ вдвоемъ извозчика за-городъ, значитъ, какъ быдто въ Гулянкину рощу... Самъ-то, кажись, маленько выпимши былъ, а въ точности не знаю, можетъ, и не туда... потому, назадъ еще не бывали.

— Ну, спасибо, спасибо, голубчикъ, — заговорила Лубянской, торопливо порывшись въ карманъ и сунувъ въ руку дворника какую-то

монетку. — На, на, возьми себя! Пойдемте, Андрей Павлычъ... Пойдемте отсюда... Что жъ намъ здѣсь дѣлать?

И старикъ торопливымъ шагомъ побрелъ отъ воротъ, гдѣ провожалъ его глазами удивленный дворникъ. Устиновъ пошелъ слѣдомъ и сталъ замѣчать, что Лубянской усиленно старается придать себѣ бодрость. Но вотъ завернули они за уголъ, и здѣсь уже Петръ Петровичъ не выдержалъ: оперши на руку голову, онъ прислонился локтями къ забору и какъ-то странно закашлялся; но это былъ не кашель, а глухія старческія рыданія, которыя, сжимая горло, съ трудомъ вырывались изъ груди.

Учитель тихо отошелъ на нѣсколько шаговъ въ сторону, чтобы не мѣшать своимъ присутствіемъ этому порыву глубокаго горя, и въ то же время не спускалъ внимательныхъ глазъ со старика, будучи готовъ при первой надобности подать ему какую-либо помощь. Прошло нѣсколько минутъ, пока нарыдался Лубянской. Тихо отклонясь отъ забора, онъ, патаючись, сдѣлалъ два шага и присѣлъ на тумбу, подперевъ свой лобъ рукою.

Минуло еще нѣсколько минутъ, когда, наконецъ, учитель рѣшился подойти къ нему.

— Петръ Петровичъ!.. а, Петръ Петровичъ!.. Пойдемте-ко лучше домой... Я провожу васъ, — осторожно и тихо сказалъ онъ, съ участіемъ дотронувшись до плеча Лубянскаго.

— А?.. что?.. какъ?.. — пробормоталъ тотъ, словно бы очнувшись. — А, это вы, голубчикъ?.. Что вы говорите?

— Я говорю, пойдемте домой... дома лучше... Что-жъ сидѣть-то!..

— А?.. Домой?... Хорошо, пойдемъ домой... Хорошо... пойдемте...

Устиновъ помогъ ему подняться съ тумбы и подъ руку повелъ по улицѣ. Старикъ видимо ослабѣлъ и даже слегка пошатывался.

Молча дошли они до самой калитки, и здѣсь Петръ Петровичъ какъ будто пріободрился немного.

— Спасибо вамъ, голубчикъ, спасибо, — сказалъ онъ сжимая руку учителя; — теперь ужъ я самъ... Извините, что потревожилъ васъ... Не беспокойтесь, я самъ... я самъ какъ-нибудь.

Учитель понялъ, что ему хочется остаться одному-одинешеньку со своей душой, со своимъ великимъ горемъ, и потому, не входя во дворъ, простился у калитки.

Столь же, повидимому, бодро вошелъ старикъ и въ комнату. Сонная кухарка зажгла ему свѣчу и поставила ее на столъ, гдѣ еще съ десяти часовъ вечера былъ собранъ холодный ужинъ, за который майоръ никогда не садился безъ дочери. Два прибора и закуски до сихъ поръ оставались не тронутыми.

— Ступай, Максимовна, спи себѣ, ты не нужна мнѣ, — обернулся онъ къ кухаркѣ, которая, зѣвая и почесываясь, стояла у дверей.

Оставшись, наконецъ, совершенно одинъ, Петръ Петровичъ долго стоялъ по срединѣ комнаты не то въ какомъ-то разсѣянномъ раздумьи, не то въ полномъ оцѣпенѣломъ безмыслии. Даже лицо его не выражало теперь никакого отбѣнка горя, тоски или думы, или другого какого ощущенія, но не сказывалось въ немъ тоже и равнодушія, ни апатичной усталости, а было оно, если можно такъ выразиться, вполне безлично, безвыразительно.

Съ тѣмъ же тупымъ, безличнымъ взглядомъ подошелъ онъ къ столу, разсѣянно налилъ рюмку водки, разсѣянно пропустилъ ее сквозь зубы и, не закусивъ ни кусочкомъ хлѣба, медленно отошелъ на прежнее мѣсто.

Странное раздумье все еще владѣло имъ, и черезъ нѣсколько времени онъ опять повторилъ тотъ же маневръ съ рюмкой, словно бы и не помня, что одна уже выпита, и тихо, на цыпочкахъ, протрался въ комнату дочери.

Передъ благословеннымъ образомъ покойной жены его тихо мерцала тамъ лампадка, которую никогда не забывала зажечь на ночь старая Максимовна, и свѣтъ этой лампадки слабо озарялъ предпостельный столикъ со свѣчей и графиномъ воды, кисейную занавѣску, нѣсколько книгъ на окошкѣ, дѣвическую кровать, застланную чистымъ, свѣжимъ бѣлымъ и тщательно, какъ всегда, приготовленную на ночь. Надъ кроватью висѣлъ небольшой портретъ покойной жены Петра Петровича, умершей назадъ тому четыре года. Фотографическій оттискъ давно уже сталъ выцвѣтать, но все еще довольно живо хранилъ добрыя, мягкія, спокойныя черты немножко пожилой женщины.

Майоръ остановился и надолго застылъ въ раздумьи предъ постелью своей дочери.

Эта чистая, дѣвическая постель еще въ первый разъ въ жизни оставалась въ такую глущую, позднюю пору ночи пустою и несмятою.

«Гдѣ она?.. Что съ нею?»..

Что-то колющее, какъ тонкая холодная игла, щекотно проникало старику въ самую заповѣдную глубь сокрушеннаго сердца.

«Ушла... Сама ушла... И вѣтъ ей... и не будетъ больше... Кабы жива была покойница, можетъ этого не случилось бы».

Словно больной, надобѣдливый зубъ, сердце все ныло и ныло такъ тихо, но непрестанно, и такъ долго, такъ однообразно...

Майоръ присѣлъ на стулъ передъ кроватью, около столика, безотчетно поправилъ отвернувшийся край простыни, подперъ руками голову и безъ думы, безъ мысли, съ одною только болью въ сердцѣ, сталъ глядѣть все на тѣ же бѣлыя подушки да на тотъ же портретъ, смотрѣвшій на него со стѣны добрыми, безмятежными глазами. Такъ застали его первые лучи солнца. Онъ спалъ теперь сномъ глухимъ и тяжелымъ.

XXII.

Великодушный Ардальонъ.

Въ десятомъ часу утра, отправляясь въ гимназію, Устиновъ нарочно далъ крюку и вернулся къ майору провѣдать, что съ нимъ теперь дѣлается. Онъ очень опасался за его здоровье. Майоръ уже проснулся, вымылся, оправился и, судя относительно, глядѣлъ довольно бодро.

— Что же мнѣ дѣлать теперь, Андрей Павлычъ? Научите, посоветуйте; я вѣдь просто голову потерялъ, — грустно говорилъ онъ Устинову. — Не знаю, хорошо ли это, но думаю пойти туда... все-таки что-нибудь.

— А не подождать ли, можетъ, сама вернется...

— Ахъ! да вѣдь сердце-то все мое изныло!.. Не могу я такъ, — тоскливо перебилъ старикъ. — Ужъ хоть бы знать что-нибудь положительное! Ну, умерла она — ну, такъ бы, по крайней мѣрѣ, и зналъ, что умерла; а бросила — такъ бросила!.. Господь съ нею!.. А то, эта неизвѣстность хуже всего! Вѣдь ужъ я измучился!

Устиновъ не нашелъ возраженій противъ этого чувства, и старикъ вмѣстѣ съ нимъ вышелъ изъ дому. Одинъ пошелъ на службу, другой къ Ардальону Полоярову.

* * *

Анна Петровна проснулась давно и притомъ очень рано. Ей спалось плохо; перерывистый сонъ былъ смутенъ и тревоженъ; быть можетъ, новизна мѣста, а можетъ, и новизна положенія способствовали такому лихорадочному состоянію. Подобравъ подъ себя ноги и плотно закутавшись въ свой бедунинъ, она прижалась въ уголокъ кожанаго дивана, и раздумье о новомъ своемъ положеніи, о новой жизни, помимо ея собственной воли, неотступно брело въ ея голову. У другой стѣны, примостившись кое-какъ на составленныхъ креслахъ и стульяхъ, спалъ Ардальонъ Полояровъ, и дѣвушка порою влюбленно переводила взглядъ на его рослую фигуру и долго, внимательно останавливала его на лицѣ своего друга. Въ комнатѣ было грязно и безпорядочно, и вся обстановка съ перваго взгляда показывала, что здѣсь живетъ холостой бобыль-бездомовникъ.

Ардальонъ потянулся, почавкалъ губами, зѣвнулъ, и, открывъ глаза, приподнялся на локтяхъ со своихъ стульевъ.

— А, матушка, уже проснулась? — улыбнулся онъ Аннѣ Петровнѣ. — А что самоварчикъ? Побаловаться бы горяченькимъ, а то смерть какъ скверно!

Самоваръ давно уже стоялъ на столѣ и давно парился на немъ чайникъ, но новая хозяйка даже и не дотронулась до налитой чашки. Она молча подошла теперь къ столу, налила стаканъ и подала Полоярову.

— Что это? Никакъ глазки на слезки? — спро-

силъ онъ, взглянувъ на смутное, опечаленное лицо дѣвушки.—О чемъ это? Ужъ не о папенькѣ ли стосковались?

— Да, о немъ,—отвѣтила она очень серьезно.

— Э, барышня! Это надо же было предвидѣть! Вѣдь рано ли, поздно ли, ты все равно должна же была оставить его.

— Да, но такъ оставить, какъ я оставила...

— Рѣшительно все одно и то-же. Важна сущность факта, а сущность законна, потому что естественна, а обстановка—такъ ли, или иначе совершился фактъ, это не суть бо важная; это пустяки!

— Но вѣдь дворникъ сказывалъ, что насъ спрашивали... Это вѣрно онъ былъ,—задумчиво проговорила дѣвушка, отвѣчая не Полоярову, но какъ будто самой себѣ, на какую-то свою собственную, отдѣльную мысль.

— Всенепремѣнно онъ... и должно-быть съ Устиновымъ,—подтвердилъ Ардальонъ.

— Я боюсь, что придетъ и сегодня,—сказала Нюточка.

— Ха-ха-ха! «боюсь»!... Чего же тутъ бояться?.. Ну, и пусть его приходитъ!.. Я бы даже желалъ, чтобы онъ пожаловалъ.

— Это зачѣмъ? — подняла она удивленные взоры.

— А зачѣмъ, чтобы поглядѣть, какъ вы встрѣтитесь. Это тебѣ, матушка, будетъ хорошій оселокъ... что называется, проба пера. До сихъ поръ все пустяки были, а теперь игра пойдетъ въ серьезную. Вотъ ты и испытай, на сколько ты боишься жизни! Теперь и узнаешь, есть ли у тебя настоящій характеръ или, просто, ты тряпичка, кисейная барышня... Полно-ка, матушка, возьми лучше голову въ руки и будь заправскою женщиною, а сентиментальничанье къ чорту, если хочешь, чтобы я уважалъ тебя! Коли передъ всякимъ старикомъ кинуть, такъ что же ты станешь дѣлать предъ настоящимъ, предъ серьезнымъ-то дѣломъ?

Въ дверь заглянула квартирная хозяйка и объявила Ардальону, что его какой-то старичокъ спрашиваетъ.

Лубянская смутилась и принужденной улыбкой хотѣла скрыть это чувство предъ Полояровымъ, который, въ свою очередь, окинулъ ее пристальнымъ испытующимъ взглядомъ.

— Ну, Анютка... Смотри, молодцомъ у меня!.. Смѣйся! — подмигнувъ онъ ей и растворилъ майору дверь своей комнаты.

Петръ Петровичъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, но вдругъ тревожнымъ взглядомъ окинулъ всю обстановку и невольно попятился къ дверямъ, смущенный, сконфуженный и какъ бы пришибленный какою-то внезапностью.

Онъ ожидалъ многого, но то, что увидѣлъ онъ здѣсь, было сверхъ его ожиданій.

Эта грязная, пропитанная табачнымъ дымомъ комната, эти составленные стулья, этотъ диваншко съ брошенной подушкой; этотъ расте-

гнутый воротъ кумачной рубахи, и среди всей этой обстановки вдругъ она, его чистая голубка, его родное, любимое дѣтище... Майоръ смѣшался и сконфузился до того, что не могъ ни глаза поднять, ни выговорить хоть единое слово.

Полояровъ вызывающимъ взглядомъ глядѣлъ на дѣвушку.

Стараясь побороть въ себѣ чувство смущенной неловкости, она, съ улыбкой напускного равнодушія, словно бы ничего особеннаго и не случилось съ ней, направилась къ отцу, стоявшему на порогѣ:

— А, это ты, папахент? Здравствуй!.. Что же ты не входилъ?

— Нюта!.. Гдѣ ты?.. Что съ тобой? — глухо проговорилъ онъ наконецъ, не двигаясь съ мѣста.

— Какъ, Боже мой, гдѣ? У Ардальона Михайловича—отвѣтила она все съ тою же дѣланною улыбкой. Да чего ты такой странный, папахент? Ровно ничего такого особеннаго не случилось, чтобы въ священный ужасъ приходитъ! Повздорили мы съ тобой вчера немножко, ну что же дѣлать, всяко бываетъ! Вчера повздорили, а сегодня помиримся.

Старикъ стоялъ и глядѣлъ на нее изумленно и недоувѣрчиво, точно бы онъ и въ самомъ дѣлѣ не вѣрилъ, что это дочь его.

— Да чего ты такъ глядишь на меня,—продолжала она, ласково положивъ на плечо ему руку,—своя, не чужая! Все та же, что и прежде. Ну, хочешь, поцѣлуемся?

— Нюта! Голубушка! Что это ты надъ собою сдѣлала?—не выдержавъ наконецъ, зарыдалъ отецъ и припалъ на плечо дочери. — За что ты себя опозорила!.. Нюта... Нюта моя!..

— О, Какіе ты вздоры говоришь, папахент!—ласково засмѣялась она.—Ну, чѣмъ же я себя опозорила? Что-жъ, я подлость какую сдѣлала? украла? продала кого? Въ чемъ позоръ-то?

— У него... Нюта! у него на квартирѣ... ночью.. одна!.. Боже мой, Боже! до чего дожилъ я!

— Экая важность, что у него! — возразила дѣвушка, успѣвшая уже оправиться и даже нѣсколько успокоиться и облегчить себя тѣмъ, что отецъ такъ мягко встрѣтилъ ее. — Что у него, что въ другомъ мѣстѣ,—не все ли равно? А зачѣмъ притѣсняешь меня? Кабы ты больше уважалъ мои человѣческія права, я бы не ушла отъ тебя. А ушедши, куда же мнѣ было дѣваться? Конечно къ Полоярову, потому мы друзья съ нимъ.

— Нюта моя! Пощади ты мою сѣдую голову! Не говори ты такихъ словъ ужасныхъ!

И онъ вдругъ упалъ предъ ней на колѣни.

— Умоляю тебя!.. Господи! Кабы все это одинъ только сонъ былъ! Кабы ничего этого не было!.. Я не вѣрю... не могу вѣрить... Нюта!

скажи ты мнѣ, вѣдь этого ничего нѣту? Да?.. да? Вѣдь нѣту?

— Да чего нѣту? О чемъ ты хлопчешь, папахень? Не понимаю тебя я!

— Ну... хоть обмани ты меня... но только... Да нѣтъ, неужели же все это правда?

И онъ мучительно, тоскливо схватилъ себя за голову.

Дѣвушка, не зная что дѣлать, что отвѣчать ему, недоумѣло пожала плечами бросила взглядъ на Полоярова, какъ-бы прося его помощи и со- вѣта. Но Ардальонъ, закуря папирску, спокойно разсѣлся на диванѣ и, заложивъ ногу на ногу, безучастно созерцалъ эту сцену.

— Ахъ, да встань же ты, папахень!—досадливо принялась Анна Петровна подымать старика съ колѣнъ. Ну, что это, право, за глупости!.. Это, наконецъ, скучно!.. Я разсержусь, папахень, слышишь ли? И чего тебѣ отъ меня хочется, понять не могу!

— Хочется мнѣ... хочется, Нюта... знать тебя чистой... не опозоренной... Вѣдь это все неправда? Ничего этого не было? Да?

— Старикъ заговаривается,—пробурчалъ Полояровъ.

— Я?.. Я?—поднялся вдругъ Петръ Петровичъ. И ты еще осмѣлился!

И онъ въ изступленіи, порывисто кинулся на Ардальона.

— Стопъ, машина! Стопъ! Не ву горяче па! Полегче!—отстранилъ его Полояровъ. — Вѣдь вамъ не сладить со мной: я маленько посильнѣе буду, да и горячиться-то не изъ чего! А вы присядьте-ка, да успокойтесь, мы вамъ чайку нальемъ, пожалуй, да тогда и потолкуемъ какъ слѣдуетъ.

— Папахень, милый мой!—обняла Лубянского дѣвушка, удерживая его дрожащія руки,—ей-Богу, все это напрасно! Ну, что за траги-комедія? И все изъ-за такихъ пустяковъ! Ну, можешь успокоиться: я все та же и люблю тебя попрежнему. Довольно съ тебя этого?

— Ахъ, Нюта, Нюта! Еслибъ у людей не было памяти!—сокрушенно вздохнулъ онъ, понемногу приходя въ себя.—Какъ вспомню, я съ ума схожу!.. За что ты убила меня? что я сдѣлалъ тебѣ? А вы!—обратился онъ къ Полоярову.—Я принималъ васъ въ домъ къ себѣ какъ честнаго человѣка, а вы вотъ чѣмъ отплатили!... Спасибо вамъ, господинъ Полояровъ!.. И тебѣ спасибо, дочка!

— Эхъ, почтеннѣйшій мой, Петръ Петровичъ!—махнулъ рукой Ардальонъ,—какую вы, право, ерунду городите, такъ даже слушать смѣшно! Ну, что же я такого безчестнаго сдѣлалъ противъ васъ. Что дочка-то ваша пришла ко мнѣ? Такъ не выгнать же мнѣ ее! Ну, все равно, что пришелъ бы Анцыфровъ или Подвильяньскій, то и она! Я вѣдь въ этомъ вашихъ пошлыхъ различій не дѣлаю, да и не понимаю ихъ. По мнѣ, это все равно! Она та-

кой же пріятель мой, какъ и тѣ. Ну, попросилась переночевать. Кабы у меня была лишняя комната, я бы, конечно уступилъ ее, а нѣтъ комнаты, такъ гдѣ же мнѣ взять?

— А по ночамъ въ Гулянкины трактиры ѣздить съ порядочною дѣвушкою, это по вашему не безчестно?—презрительно и строго спросилъ его Лубянский.

— Въ трактиры?.. М-да! Это какъ на чей взглядъ, конечно... По моему,—не безчестно; просто, погулять людямъ захотѣлось, ну и поѣхали. Самое естественное дѣло!

— Естественное дѣло позорить имя дѣвушки!

— Имя!.. ну, что такое имя?.. Какое-то фиктивное понятіе! Пишите ваше имя на вашей дверной доскѣ, на вашей книгѣ, на вашихъ векселяхъ тамъ, что ли,—это я все понимаю; а что люди погулять поѣхали, такъ причемъ тутъ имя-то? Все это, батюшка мой, одни только нелѣпыя предрассудки! Эта пѣсня стара, ее бросить пора. Ну, да ужъ такъ и быть!—съ рѣшимостью какой-то внезапной мысли, махнулъ вдругъ рукой Полояровъ. — Хоть это и въ корень противно моимъ принципамъ и убѣжденіямъ, но... ужъ куда ни шло! лишь бы только кончить эти скучныя объясненія. Мнѣ, пожалуй, все равно! Коли вы находите, что Анна Петровна опозорена мною, я, извольте, женюсь на ней! То-есть формально сочетаюсь законнымъ бракомъ! Угодно вамъ этого? Ну ужъ, кажется, «благородіе» невозможно!

Дѣвушка изумленно и радостно вскинула на него глаза свои.

— Папахень! голубчикъ! Старикашка ты мой милый!—весело зашебетала вдругъ она, ластясь и увиваясь около отца.—Ну вотъ видишь ли, какъ все это вдругъ хорошо устроилось! Ну, о чемъ же печалиться? Ну, улыbnись мнѣ, что ли! Вѣдь чего же тебѣ еще больше? Вѣдь мы съ нимъ любимъ другъ друга!

«Вишь, заегозила, какъ про аналой-то услыхала!»—молча и саркастически подумалъ себѣ Полояровъ. «Вотъ она, натура-то, и сказала!» Дрянъ же ты, матушка, какъ погляжу я!.. Кисейная дрянь!»

Но старикъ не обрадовался. Великодушіе Ардальона не произвело на него ни малѣйшаго эффекта. Онъ стоялъ въ глубоко-грустномъ и сосредоточенномъ раздумьи, и только глаза его были устремлены на головку дочери, съ какою-то болѣзненно-тоскливою нѣжностью.

— Пойдемъ, Нюта, домой!—грустно проговорилъ онъ, и въ голосѣ его сказались тихая мольба и полное прощеніе во имя неизбежной покорности предъ судьбой и совершившимся фактомъ.

— А ты не будешь притѣснять меня? Не станешь дѣлать наперекоръ мнѣ? заторгова-

лась вдругъ она.—Въ ней мигомъ проснулась кайризно-своеправная, избалованная натура.— Я, пожалуй, вернусь, но только на вчерашнихъ моихъ условіяхъ! Не иначе!

— Пойдемъ, Нюта, домой!—тихо повторилъ старикъ, беря ее за руку.—Я ни въ чемъ тебѣ... ни въ чемъ не поперечу.

И лицо его нервно передернуло нѣчто горькое при этомъ послѣднемъ словѣ.

— И въ самомъ дѣлѣ, ступайте-ка вы лучше домой пока, охотно поддакнулъ Полояровъ.— Только ужь, пожалуйста, Петръ Петровичъ, вы ее не тово... Ужъ теперь мнѣ, какъ жениху, предоставьте право слѣдить за ея поступками; не вамъ, а мнѣ вѣдь жить-то съ нею, такъ вы родительскую власть маленько тово... на уздечку. Ха-ха-ха! Такъ, что ли, говорю-то я? ась?..

— Падахентъ!—защебетала снова радостная дѣвушка,—да что же ты не сказалъ еще ни слова! Радъ или не радъ? Я рада! Вѣдь говорю тебѣ, я люблю его! Ну, скажи же намъ, скажи, какъ это въ старыхъ комедіяхъ говорится: «дѣти мои, будьте счастливы!»—съ комическою важностью приподнялась она на цыпочки, разставляя руки въ видѣ театральнаго благословенія и, наконецъ, не выдержавъ, весело расхохоталась.

Старикъ глубоко вздохнулъ и покачалъ головою.

— Эхъ, милая моя!.. радоваться-то особенно нечему!—сказалъ онъ,—надо говорить правду: не такого жениха я всегда мечталъ тебѣ—извините, господинъ Полояровъ... Ну, да коли любишь, выходи, Господь съ тобою! Изъ двухъ золь это, конечно, все-жъ-таки меньшее... Одѣвайся, голубка!—Прощайте, господинъ Полояровъ.

И чрезъ минуту онъ увелъ свою дочь изъ этой безотчетно мерзкой для него квартиры.

XXIII.

Нежданный ходатай.

Первый часъ пополудни. Въ губернаторской столовой, за большимъ столомъ, сидитъ самое отборное общество града Славнобубенска и за-втракаетъ. По правую руку отъ хозяйки—графиня де-Монтеспанъ, по лѣвую—баронъ Искфонъ-Саксенъ. На другомъ концѣ стола—хозяинъ, а около него ксендзъ Ладиславъ Кунцевичъ и полковникъ Пшецыньскій. Пространство по обѣ стороны между этими двумя полюсами занимаютъ: княгиня-тапал и князь-раръ Почечуй-Чухломинскіе, шестерикъ княжень-дочекъ, маленький Шиписъ и Анатолий де-Воляй. Одинъ только ни къ чему непригодный князь раръ, съ ни къ чему не нужною княгиней-тапал составляли тутъ нѣчто въ родѣ официально-неизбѣжнаго зла. Засимъ все остальное

общество въ наличномъ составѣ своемъ представляло самый интимный кружокъ губернаторскаго дома. Тутъ были всѣ тѣ, кого особенно жаловала madame Гржибъ-Загржимбайло.

Констанція Александровна праздновала сегодня день своего рожденія. Она хотѣла придать этому дню исключительно семейный характеръ и потому большого приѣма не дѣлала. Служащіе, кто повыше, оставляли въ прихожей свои визитныя карточки, а кто пониже, тотъ расписывался на особомъ листкѣ, по которому Непомукъ потомъ опредѣлялъ степень благонамѣренности и служебной добросовѣстности славнобубенскихъ чиновниковъ. Ея превосходительство нарочно не желала обременять себя утренними приѣмами, чтобы сохранить надлежащую бодрость и свѣжесть къ вечеру, такъ какъ сегодня у нея заранѣе условленный пикникъ на картинномъ берегу Волги.

Непомукъ Анастасевичъ любилъ хорошо поѣсть и хорошо выпить въ хорошей, интимной компаніи, а такъ какъ теперь собралась у него компанія самая хорошая и самая интимная, и такъ какъ при этомъ всѣ обрѣтались въ самомъ счастливомъ, въ самомъ праздничномъ настроеніи духа, то Непомукъ достаточно успѣлъ уже оказать подобающую честь разнымъ соленьямъ и сырамъ, пропустивъ предварительно двѣ ведсдлыя рюмочки хорошей старой водки, которую «презентовалъ» ему любезный ксендзъ-пробошъ и теперь готовился оказать еще болѣе подобающую честь огромному ростбифу, который будетъ запить великолѣпнымъ англійскимъ элемъ.

И въ эту-то минуту едва лишь начавшихся гастрономическихъ наслажденій въ столовой неожиданно появилась официальная фигура дежурнаго канцеляриста.

Непомукъ вообще терпѣть не могъ, чтобъ его беспокоили какими бы то ни было дѣлами и официальностями въ минуты наслажденія собственной его утробы, и потому онъ уже кинулъ выразительно-строгій взглядъ на смущеннаго чиновника, осмѣливавшагося завѣдомо нарушать губернаторскія привычки, какъ вдругъ тотъ почтительно доложилъ, что его преосвященство, владыко Юсафъ, изволили пожаловать.

Визитъ былъ крайне рѣдкій, вполне неожиданный, и потому показался всѣмъ нѣсколько страннымъ.

Непомукъ недоумѣло перекинулся взглядами съ супругой. Что дѣлать и какъ быть въ столь экстренномъ случаѣ? Прерывать свое упитыванье, лишь начавшееся при столь счастливыхъ обстоятельствахъ, и прерывать его, быть можетъ, на неопредѣленное время, для какихъ-нибудь дѣловыхъ разговоровъ, это значило-бы лишить себя одного изъ высшихъ наслажденій благами жизни и погрузиться на весь остальной день въ самое непріятное расположеніе духа. Отказать владыкѣ въ приѣмѣ—не ловко, коли ужъ онъ разъ пріѣхалъ; заста-

вить его дожидаться — еще неловче; а доброе впечатлѣніе завтрака во всякомъ случаѣ уже испорчено этимъ неожиданнымъ и притомъ, втайнѣ, весьма неприятнымъ гостемъ. Непомукъ порядкомъ-таки не долюбивалъ владыку и между *своими* интимно называлъ его иронически «столпомъ» и «строгимъ ревнителемъ *du pravoslavie*».

Констанція Александровна, встрѣтя вопрошающій взглядъ супруга, своей миной и пожатіемъ плечъ послала ему отвѣтъ, что, молъ, нечего дѣлать, надо принять, и Непомукъ торопливо направился въ залу.

Посреди бѣлой залы рѣзко выдѣлялась черная высокая фигура владыки. Раса тонкаго сукна и влобукъ, съ котораго почти до пятъ спадали складки креповой наметки, составляли его нарядъ, всегда отличавшійся самою строгою простотою, наравнѣ съ любимымъ рядовымъ монахомъ его епархіи. Сѣдая, длинная борода обрамляла его продолговатое, блѣдное и худощавое лицо. Въ тихихъ глазахъ свѣтился умъ, улыбка дышала кротостію, и только одни характерные углы губъ давали чувствовать, что, въ случаѣ надобности, у этого человѣка найдется достаточно энергіи, мужества, силы воли и твердости характера.

Молчаливый поклонъ, которымъ опривѣтствовалъ онъ входящаго Непомука, отличался простотою и достоинствомъ.

— Ваше преосвященство! Чему обязанъ такую честию?—любезно заговорилъ Гржибъ-Загржимбайло, подавая владыкѣ руку (какъ католикъ, онъ не подходилъ подъ его благословеніе).

— Я, кажется, къ вамъ не во-время?—съ видомъ извиняющейся предупредительности, освѣдомился Іосафъ, замѣтивъ то особенное чавканье и чмоканье губами, которыя всегда почти сопровождаютъ рѣчь только-что ѣвшаго, но недоѣвшаго человѣка.

— О, это рѣшительно все-равно! Такой почетный гость всегда во-время!—торопливо заговорилъ Непомукъ съ нѣсколькимъ принужденіемъ, но зато весьма изысканною любезностью.—Позвольте просить ваше преосвященство въ кабинетъ...

И хозяинъ съ вѣжливымъ поклономъ сдѣлалъ ему пригласительный жестъ по направлению кабинетной двери.

Славнобубенскаго владыку сильно не долюбивало все то, что интимно терлось около славнобубенскаго губернатора и особенно около губернаторши. Отношенія ихъ давно уже были натянуты. Какъ характеристику этихъ отношеній, въ Славнобубенскѣ рассказываютъ одинъ анекдотъ, сущность котораго не подлежитъ, по отзывамъ славнобубенцевъ, ни малѣйшему сомнѣнію. Однажды, по какому-то, чуть-ли не официальному случаю, владыка долженъ былъ обѣдать у губернатора. Непомуку, конечно,

посадилъ Іосафа за столomъ рядомъ съ собою. Подавались между прочимъ свиные котлеты. Въ это время у нихъ завязался какой-то административно-дѣловой споръ, а Непомукъ вообще терпѣть не могъ ничего дѣловаго за столomъ, во время упитыванія. Въ досадѣ на владыку, и желая размѣнять дѣло на шутку, чтобы потомъ ужъ больше къ нему и не возвращаться, онъ, собственноручно наложивъ на тарелку свиныхъ котлетъ, любезно подалъ ихъ архіерею, говоря съ самою пріятною улыбкой:

— Ну, о дѣлѣ мы, ваше преосвященство, поспѣ! А теперь—неудобно ли? «Примите и ядите!» такъ вѣдь это, кажется, у васъ говорится?

Владыка на мгновеніе вспыхнулъ въ лицѣ и, смотря на губернатора, удивленно отклонился на спинку стула.

— Ваше преосвященство! я къ вамъ обращаюсь!—говорилъ межъ тѣмъ Непомукъ, держа передъ нимъ котлеты.—Примите и ядите!

— Продолжайте,—ваше превосходительство, продолжайте,—съ очень вѣжливою улыбкой повернулъ Іосафъ свое спокойное лицо къ губернатору.

Такъ въ лоскъ и положило сконфуженнаго Непомука, предъ цѣлымъ столomъ, это неожданное, но напавалъ бывшее «продолжайте!»

Старикъ Іосафъ былъ прежде всего твердый русскій человѣкъ, который презиралъ всякую кривду, всякое шатаніе житейское, какъ умственное, такъ и нравственное, шелъ неуклонно своимъ прямымъ путемъ, паче зѣнницы ока оберегая русскіе интересы православной русской церкви и своей многочисленной паствы; онъ охотно благословлялъ и содѣйствовалъ открытію воскресныхъ и народныхъ школъ, но не иначе какъ подъ руководствомъ священниковъ или людей лично ему извѣстныхъ; къ нему шелъ за совѣтомъ и помощью всякій, дѣйствительно нуждающійся въ совѣтѣ либо въ помощи, и никогда не получалъ себѣ отказа. Немногоглаголивое и не частое слово его, раздававшееся съ епископской кафедрой, звучало вѣрой въ Бога, любовью къ православной Россіи, надеждой на добрые плоды благихъ царскихъ починовъ, которыми будетъ нѣкогда красоваться земля свято-русская. Это строгое, неблазное, самоуважающее слово порою умѣло чутко поднимать въ массѣ ея русское народное чувство, ея вѣру въ Бога и въ свою силу и крѣпость, ея безграничное довѣріе и преданность Русскому государю. Сказать короче, въ тѣхъ особенныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ мы застаемъ городъ Славнобубенскъ, при тѣхъ призрачныхъ надеждахъ, которыя въ то время вообще возбуждало Поволжье—владыка Іосафъ на своемъ мѣстѣ былъ человѣкъ исключительно вредный. Понятно, почему не долюбивали его въ салонѣ тадаме Гржибъ-Загржимбайло. Съ нимъ нужно бы было бороться,

и необходимость этой борьбы очень хорошо понимать и чувствовалъ Ксэндъзъ Кунцевичъ; его, по настоящему, надо бы было постараться какъ нибудь выжить отсюда подальше, гдѣ бы онъ могъ быть менѣе вреденъ. Но какъ бороться и въ особенности какъ выжить, если подъ него, что называется, иголки не подточишь, если этотъ старикъ на виду у всѣхъ, идетъ себѣ тихо, но вѣрно своею прямою дорогою и честно дѣлаетъ свое дѣло! Задача не малая, которую, такъ или иначе, необходимо нужно было рѣшить въ свою пользу.

Но... тамъ, гдѣ часто останавливаются великія силы, вдругъ иногда помогаютъ дѣлу маленькія и совсѣмъ ничтожныя, совсѣмъ пустыя обстоятельства, лишь бы только ловкій умъ сумѣлъ ими воспользоваться.

— Я нынѣ просителемъ къ вашему превосходительству! уже въ кабинетѣ тихо началъ владыка, обращаясь къ Непомуку. — Вы, конечно, позволите мнѣ ходатайствовать предъ вами за одного изъ моей паствы?

— За кого это? серьезно сдвинувъ брови, спросилъ губернаторъ, которому былъ уже не понутру самый разговоръ подобнаго рода, въ то время, когда въ столовой ждетъ эль и ростбифъ.

— За старичка тутъ одного... за майора Лубянского, пояснилъ ему владыка. — Тѣмъ болѣе, ваше превосходительство, — продолжалъ онъ, — что въ этомъ дѣлѣ, какъ мнѣ достоверно извѣстно, вы были даже въ обманъ введены, а это, полагаю, даетъ мнѣ тѣмъ болѣе добрую возможность раскрыть предъ вами истину. Вы конечно, не посѣтуете на меня за это?

— Я это дѣло хорошо знаю, ваше преосвященство; я *очень* хорошо знаю это дѣло! отпарировалъ Непомукъ, котораго задѣли за живое слова Иосафа.

«Съ какой стати и по какому праву мѣшается этотъ старикъ въ непринадлежащую ему область гражданской администраціи?» — подумалъ онъ въ досадѣ на архіерея.

— И такъ, ваше превосходительство не посѣтуете на меня, если я все-таки буду продолжать по предмету моего ходатайства, — говорилъ владыка; — я нарочно самъ лично пріѣхалъ къ вашему превосходительству, потому что я очень беру къ сердцу это дѣло. Подъ полицейскій надзоръ отданъ человѣкъ вполне почтенный, котораго я знаю давно какъ человѣка честнаго, благонамѣреннаго, — примите въ томъ мое ручательство. Вамъ, полагаю, не вѣрно доложили о немъ.

— Ваше преосвященство, — началъ оправившись Непомукъ, — я осмѣлюсь замѣтить вамъ на это, что я слишкомъ хорошо знаю моихъ чиновниковъ и, какъ начальникъ, обязанъ вступиться за ихъ добрую славу: ни одинъ изъ нихъ *не можетъ* сдѣлать мнѣ невѣрный

докладъ! И... наконецъ, я самъ слишкомъ подробно вникаю въ мои дѣла, и потому не могу быть обманутымъ. Сфера нашей гражданской администраціи, конечно, нѣсколько менѣе знакома вашему преосвященству, чѣмъ мнѣ, и потому... извините, ваше преосвященство! — я имѣю скромную претензію знать то, что творится въ моемъ хозяйствѣ, и что касается до этого майора, то мы имѣли достаточно данныхъ, основываясь на которыхъ, обязаны были поступить такъ, а не иначе. Это можетъ подтвердить и господинъ мѣстный жандармскій штабъ-офицеръ!

— То-есть, ваше превосходительство, хотите дать мнѣ уразумѣть, что я мѣшаюсь не въ свое дѣло, — благодушно улыбаясь, замѣтилъ Иосафъ; — но вѣдь я прошу только снизойти на просьбу, я въ этомъ случаѣ обращаюсь къ сердцу человѣка.

— Ваше преосвященство, — возразилъ губернаторъ, — моему сердцу жаль его, можетъ не менѣе, чѣмъ вамъ; но... сердце человѣка должно молчать тамъ, гдѣ дѣйствуетъ неуклонный долгъ администратора. Будучи сами администраторомъ своей епархіи, вы, конечно, поймете меня, и я, повѣрьте, весьма радъ бы сдѣлать все удобное вамъ, но въ данномъ случаѣ мой долгъ положительно воспрещаетъ мнѣ всякое послабленіе. Да самое лучшее вотъ что — домекнулся вдругъ Непомукъ. — Дѣло это такого рода, что я самъ ни за что не возьму на себя разрѣшать его согласно вашему ходатайству... И надо мной вѣдь тоже есть власти... А мы вотъ что, ваше преосвященство: у меня, кстати, теперь сидитъ баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, какъ сами знаете, для общихъ наблюдений за направлениемъ края. Чего же лучше! Мы вотъ спросимъ его мнѣнія. Если онъ согласится, я сію же минуту исполню желаніе вашего преосвященства. Тогда я въ сторонѣ по крайней мѣрѣ.

И прежде чѣмъ Иосафъ успѣлъ что-либо вымолвить, губернаторъ бросился къ дверямъ въ столовую и позвалъ Саксена:

— Адольфъ Кристьяновичъ!.. Извините!.. Пожалуйста сюда на минуточку! Дѣло есть!

Баронъ неохотно поклонилъ свою прелестную сосѣдку и небрежною походкою направился въ кабинетъ,

— Что скажете, mon cher?

Непомукъ изложилъ сущность ходатайства владыки и свои затрудненія удовлетворить его просьбѣ.

Нѣмецъ фонъ-Саксенъ остался нѣсколько недоволенъ тѣмъ, что владыка, при видѣ его, не выразилъ ему лично никакихъ особенныхъ знаковъ почтенія, и въ душѣ отдалъ въ этомъ отношеніи большое преимущество Кунцевичу, который всегда такъ видимо и почтительно умилялся предъ особо-поставленнымъ блестящимъ положеніемъ барона.

— Я точно такъ-же не возьму на себя рѣшать этого,—съ суховатымъ поклономъ отклонился баронъ.

— Итакъ, ваше преосвященство сами изволите видѣть!—пожалъ плечами Непомукъ. — Я говорилъ, что тутъ никакое послабленіе невозможно. Помилуйте, въ этой школѣ его Богъ знаетъ что дѣлалось.

— Не дѣлалось, а дѣлается, — съ значительнымъ удареніемъ, скромно поправилъ владыка;—и вотъ именно, въ качествѣ администратора моей епархіи, на обязанности коего лежить, между прочимъ, блюсти за духовною нравственностью своей паствы, я считаю долгомъ своимъ обратить вниманіе вашего превосходительства на то, что нынѣ дѣлается въ здѣшней воскресной школѣ. Эта школа стала школой безбожія: тамъ открыто проповѣдуются такія мысли и ученія, отъ какихъ избави Богъ каждаго честнаго человѣка. Прежній законоучитель, человѣкъ достойный, котораго я самъ благословилъ на это дѣло, изгнанъ вдругъ чуть не съ позоромъ, а на мѣсто его учить какой-то исключенный изъ службы становой, вопреки постановленію закона.

— Но почему же становой, хотя бы исключенный, не можетъ быть хорошимъ учителемъ? — вмѣшался въ разговоръ фонъ-Саксенъ.—Сколько я понимаю, это одно къ другому не относится.

— Я и не говорю, что *не* можетъ, — отвѣтилъ владыка; — я говорю только, что этотъ человѣкъ открыто проповѣдуетъ безбожіе; читаетъ тамъ воспрещенныя брошюры и дѣлаетъ на нихъ свои комментаріи, отвращаетъ учениковъ отъ церкви, наконецъ... Вотъ что говорю я, ваше превосходительство!

— Н-да-а! Это, конечно, дурно!—небрежно протянулъ сквозь зубы фонъ-Саксенъ. — Хотя собственно говоря, въ нашъ вѣкъ болѣе важно, чтобы церковь была построена въ сердцѣ человѣка, чтобы онъ въ сердцѣ своемъ имѣлъ церковь... Это, конечно, важнѣе, чѣмъ онъ будетъ ходить, ничего не чувствуя и не понимая, въ видимую церковь.

Иосафъ спокойно и нѣсколько строго посмотрѣлъ на либеральнаго Саксена.

— Да, ваше превосходительство изволили совершенно справедливо замѣтить, — сказалъ онъ тихо и медленно.—Въ нашъ вѣкъ дѣйствительно появилось—къ прискорбію истинной церкви—очень много людей, которые говорятъ, что ихъ церковь въ одномъ только сердцѣ построена; но—странное дѣло! я самъ знаю очень много подобныхъ и почти всегда замѣчалъ при этомъ, что если церковь въ сердцѣ, то колокольня непременно въ головѣ построена... и колокола вдобавокъ очень дурно подобраны.

И сказавъ это своимъ старчески-ровнымъ,

спокойнымъ голосомъ, владыка поднялся съ мѣста.

— Извините, ваше превосходительство, что беспокоилъ васъ,—поклонился онъ губернатору;—а мнѣ пора и къ дому.

Непомукъ, не удерживая его, пошелъ провожать до передней.

Фонъ-Саксенъ былъ жестоко уязвленъ словами Иосафа. Въ первую минуту онъ покраснѣлъ и закусилъ губы, но тотчасъ-же овладѣвъ собою, изобразилъ одну только улыбку презрительнаго пренебреженія— дескать, эти слова оскорбить меня никакъ не могутъ: я слишкомъ уменъ и слишкомъ высоко стою для этого!

— Какая грубость! *Malottu!*—быстро вошелъ въ столовую Непомукъ, выражая и лицомъ, и голосомъ, и походкой значительную степень негодованія. Онъ словно-бы желалъ показать, до какой степени возмущена вся его внутренность.—Это, наконецъ, чистое невѣжество!

— Ну, что-жъ! — съ небрежною снисходительностью погримасничалъ Саксенъ,—на это вѣдь нельзя сердиться, онъ, во-первыхъ, уже въ тѣхъ предѣлахъ старости, за которыми все простиительно, а во-вторыхъ... во-вторыхъ... чего-жъ вы хотите отъ людей его званія? Это вполнѣ понятно!

Однако-же, произнося всѣ эти успокоительныя фразы для внѣшняго огражденія своего достоинства, баронъ въ душѣ весьма былъ золъ на владыку, ибо самымъ живѣйшимъ образомъ отнесъ на свой собственный счетъ его послѣднее слово.

— Это, наконецъ, ужъ Богъ знаетъ что такое!—въ презрѣньи тонѣ продолжалъ Непомукъ;—до которыхъ же поръ будутъ продолжаться эти вмѣшательства!.. Вѣдь я не вмѣшиваюсь въ его управленіе, съ какой же стати онъ въ мое вмѣшивается? Этого, наконецъ, уже нельзя болѣе терпѣть, и я рѣшительно намѣренъ сдѣлать представленіе объ огражденіи себя на будущее время.

— О чемъ это онъ просилъ, я хорошенько не понималъ?—не выказывая особеннаго любопытства, съ обычною небрежностью спросилъ фонъ-Саксенъ.

— *Mais... imaginez-vous, cher baron,* администрація отдастъ человѣка подъ надзоръ полиціи за зловредность его дѣйствій, за явный призывъ къ неповиновенію власти, за публичный скандалъ, за порицанія, наконецъ, правительственнаго и государственнаго принципа, администрація даже—каюсь въ томъ!—оказала здѣсь достаточное послабленіе этому господину, а его преосвященство—какъ сами видите—вдругъ изволитъ являться съ претензіями на наше распоряженіе, требуетъ, чтобы мы сняли полицейскій надзоръ! Если мнѣ на каждомъ шагу будутъ дѣлать подобныя заглазки я

ни за что не могу отвѣчать предъ правительствомъ!

— Н-да; его преосвященство безпокойный, очень, очень безпокойный человекъ, надо сознаться въ томъ! многозначительно шевельнувъ усами, съ нѣкоторымъ прискорбіемъ замѣтилъ Пшечинскій.

— Помилуйте!—волновался губернаторъ,— я, изъ крайней необходимости, учреждаю надъ школой административный надзоръ, поручаю его человекъ, лично извѣстному мнѣ своею благонамѣренностью, человекъ аттестованному съ самой отличной стороны директоромъ гимназіи, человекъ способному и прекрасному педагогу, а его преосвященство вмѣшивается въ дѣло и видитъ въ этомъ распространіе какихъ-то зловредныхъ идей, а самъ вступаетъ за господина, который устраиваетъ антиправительственныя демонстраціи! Это наконецъ ни на что не похоже! При такихъ порядкахъ, и особенно въ настоящее смутное время, я рѣшительно отказываюсь управлять губерніей, если правительство не позаботится оградить меня! Или я губернаторъ, или я пѣшка!

— Но зачѣмъ же вы не дѣлаете представления? Чего же ждать еще?—замѣтилъ фонъ-Саксенъ.—На вашемъ мѣстѣ я давно бы постарался оградить себя.

— Ахъ, баронъ!—прискорбно вздохнулъ губернаторъ; — это не такъ-то легко, какъ кажется; у нихъ тамъ въ синодѣ я не знаю какіе порядки и какими соображеніями они руководствуются: для насъ это вполне terra incognita; но... я очень радъ, что все это случилось при васъ, что вы сами были свидѣтелемъ... Теперь вы видите что это такое! Я непремѣнно приму свои мѣры и приму ихъ, немедленно; а будетъ ли успѣхъ, ей-Богу не знаю!

— Въ успѣхѣхъ нечего сомнѣваться!—авторитетно рѣшилъ баронъ. — Въ этомъ случаѣ, если что будетъ зависѣть отъ меня, я конечно подтверждаю одну только голую истину. Но этого, дѣйствительно, невозможно такъ оставить!

Непомуку не продолжалъ, и разговоръ на этотъ разъ прекратился. Веселое расположеніе духа его было поколеблено, и завтракъ испорченъ. Тѣмъ не менѣе, это непріятное приключеніе не измѣнило программу нынѣшняго дня, и пикникъ устроился своимъ порядкомъ.

На другой день въ почтовой конторѣ были приняты, съ казенными печатами, четыре пакета для отправки въ Петербургъ: одинъ отъ владыки, другой отъ губернатора, третій отъ жандармскаго штабъ-офицера и четвертый отъ барона Иксъ-фонъ-Саксена.

XXVI.

Съ неба свалилось.

Прошло около двухъ недѣль съ тѣхъ поръ, какъ исключили Шишкіна. Ударъ внезапнаго

горя столь сильно подѣйствовалъ на его старуху-мать, что она серьезно заболѣла. Дома лечить было не на что и пришлось отправиться въ городскую больницу. Шишкінъ остался одинъ въ убогой квартиршкѣ, за которую было уже заплачено хозяевамъ за мѣсяцъ впередъ. Старуха жила скуднымъ пенсіономъ, да тѣми крохами, которыя удѣляли ей кое-кто изъ достаточныхъ знакомыхъ. Сынъ ея давалъ уроки въ трехъ домахъ и получалъ за это ежемѣсячно двѣнадцать рублей, но послѣ злосчастнаго «Орла» ему сразу отказали два дома, и молодому человекъ пришлось остаться на четырехъ рубляхъ въ мѣсяцъ, а на эту сумму не только въ Славнобубенскѣ, но даже и въ какомъ-нибудь Енотаевскѣ или Бузулукѣ особенно не разживешься, и потому Иванъ Шишкінъ начиналъ уже голодать. Занятій, или какого-либо дѣла онъ еще не подыскалъ себѣ и не зналъ пока что предлѣжить ему въ дальнѣйшемъ будущемъ. Что можно было заложить изъ домашняго скарба, то онъ уже снесъ къ армянкѣ-ростовщицѣ и часть денегъ отдалъ матери, на ея скудныя больничныя нужды, а остальное проѣлъ. Но вотъ опять стали подходить крутыя обстоятельства—закладывать было почти уже нечего—и Шишкінъ въ весьма грустномъ настроеніи духа похаживалъ по своей горенкѣ. Онъ былъ золъ и печаленъ: нужда со всѣхъ сторонъ, а помощи ни откуда и, какъ обыкновенно бываетъ съ неособенно сильными людьми, въ подобномъ положеніи, самъ онъ терпѣлся и рѣшительно не могъ придумать чѣмъ бы и какъ пособить своему горю. Положеніе казалось ему безвыходнымъ и отчаяннымъ. Былъ десятый часъ вечера. Молодой человекъ уныло ходилъ въ темной комнатѣ, потому что свѣчу, купить было не на что. Одинъ только лучъ маслянаго фонаря слабо закрадывался съ улицы въ его окошко и чуть свѣтлой полосой ложился на стѣну. Благодаря его безплатному свѣту, Шишкінъ могъ еще кое-какъ ходить по комнатѣ. Вдругъ замѣтилъ онъ, что кто-то заглянулъ къ нему въ окошко, но сначала не обратилъ на это обстоятельство никакого особеннаго вниманія и продолжалъ ходить по-прежнему. Черезъ нѣсколько времени темный обликъ чьей-то вглядывавшейся фигуры опять появился на томъ же мѣстѣ. Шишкінъ вскинулъ глаза, быстро подошелъ къ окну, но въ эту самую минуту обликъ исчезъ. Онъ подождалъ, приглядѣлся и подумалъ, что это все только такъ ему показалось.

«Должно быть, нервы разстроены», рѣшилъ онъ самъ съ собою.

Вдругъ въ снѣгахъ послышались чьи-то незнакомые шаги, очевидно, нащупывавшіе полъ, чья-то рука шарилъ по двери, отыскивая ручку, и въ ту же минуту незапертая дверь довольно быстро и смѣло отворилась.

— Господинъ Шишкинъ здѣсь? — спросилъ вполне незнакомый голосъ.

— Здѣсь. А что вамъ?

— Кажется, вы сами и есть?

— Да, это я. Что вамъ угодно?

— Письмо къ вамъ. Извольте получить.

И незнакомый человѣкъ, котораго ни наружности, ни костюма не могъ разглядѣть юноша, вручилъ ему запечатанный конвертъ.

— Отъ кого это? — спросилъ онъ.

— Тамъ написано... узнаете, — торопливо отвѣтилъ этотъ кто-то, и вдругъ исчезъ изъ комнаты, плотно прихлопнувъ за собою дверь. Въ сѣняхъ послышалось поспѣшное шарканье быстрыхъ, удаляющихся шаговъ.

— Да отъ кого же, однако? — закричалъ въ догонку ему Шишкинъ, взволнованно выбѣжавъ на дворъ, но чья-то тѣнь безъ отвѣта мелькнула въ калиткѣ и скрылась на улицѣ.

Экс-гимназистъ постоялъ въ нѣсколько тревожномъ раздумьи и вернулся въ горницу.

«Что-жь бы это значило?.. И что за странная таинственность!» думалъ онъ, ощущая конвертъ. «Прочесть его; да какъ прочесть-то?.. Хозяева не дадутъ вѣдь свѣчки».

Но недаромъ говорится, что голь хитра на выдумки. Вспомнилъ онъ, что подъ кроватью валяется какая-то старая досочка — дерево, стало быть, сухое. Онъ нашарилъ ее рукой и накололъ лучины. Спички, слава Богу, тоже нашлись, и Иванъ Шишкинъ устроилъ себѣ освѣщеніе.

Посмотрѣлъ онъ на конвертъ — нѣтъ никакой надписи; недовѣрчиво сорвалъ печать, развернулъ письмо: изъ бумажки выпала двадцати-пяти-рублевая ассигнація.

«Господи!.. да что-жь это?.. благодѣтель какой-то невѣдомый!» вскрикнулъ онъ въ радостномъ восторгѣ, и вѣря, и не вѣря глазамъ своимъ. Оцупалъ поднятую бумажку, внимательно осмотрѣлъ ее предъ огнемъ: такъ, дѣйствительно двадцать пять рублей, и эта цифра не подлежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію. — Что-жь это значитъ?

Взглянулъ на почеркъ; рука была совсѣмъ незнакомая. Онъ жадно сталъ читать письмо:

«Вашъ смѣлый поступокъ на литературно-музыкальномъ вечерѣ доказать, что вы обладаете въ достаточной мѣрѣ гражданскимъ мужествомъ. Ваше послѣдующее благородное поведение побуждаетъ насъ вѣрить, что вы человѣкъ честный, который дѣйствовалъ сознательно, изъ служенія своему принципу. Хотите ли стать въ ряды тѣхъ дѣятелей, которые несутъ съ собою новое социальное устройство свободного общества? Хотите ли приносить пользу честному дѣлу? Если да, то дайте отвѣтъ. Вамъ дается срокъ два дня на то, чтобы подумать и рѣшиться. Отвѣтъ вы можете дать слѣдующимъ образомъ: завтра, или послѣ завтра, ровно въ четыре часа пополудни, въ городскомъ саду, на поворотѣ изъ

главной аллеи въ поперечную среднюю, противъ второй скамейки, начертите тростью на пескѣ дорожки крестъ, такъ чтобы его можно было удобно замѣтить. Зная ваши временно сѣсенныя обстоятельства, покорнѣйше просимъ не отказаться отъ *блгшественнаго пособія* изъ того фонда, который существуетъ въ нашемъ обществѣ для вспоможенія его членовъ въ ихъ полезныхъ предпріятіяхъ. Во всякомъ случаѣ, — угодно ли вамъ будетъ принять наше предложеніе, или нѣтъ — вы должны прежде всего хранить самое строгое молчаніе, подѣ страхомъ неминуемой отвѣтственности предъ трибуналомъ общества».

Волненіе отъ всей этой внезапности; радость при неожиданныхъ и весьма значительныхъ для него деньгахъ; страхъ предъ страннымъ тономъ письма и особенно предъ заключительною и весьма-таки полновѣсною угрозою; заманчивость этой загадочно-таинственной неизвѣстности, за которою скрывается какая-то невѣдомая, но должно быть грозная и могучая сила (такъ по крайней мѣрѣ думалъ Шишкинъ) и наконецъ это лестно-пріятное шекотаніе по тѣмъ самымъ стрункамъ самолюбія, которыя пробуждаютъ въ молодомъ человѣкѣ самодовольно-гордое сознаніе собственнаго достоинства и значительности, что вотъ, молъ, стало быть и я что-нибудь да значу, если меня ищутъ «такіе люди». Вотъ мысли, чувства и ощущенія, которыя овладѣли восемнадцатилѣтнимъ юношей по прочтеніи письма, невѣдомо кѣмъ поданнаго. Все это такъ странно, такъ неожиданно, внезапно, въ такую пору, въ такую минуту — кто же, и что же это такое? У Шишкина просто голова закружилась. Онъ отчасти испытывалъ ощущенія человѣка, стоящаго на самомъ краю площадки очень высокой башни. «А ну, какъ поймаютъ, какъ все это раскроется, обнаружится? — тогда что?.. Страшно, чортъ возьми!.. Страшно, но заманчиво. Служить честному, великому дѣлу, быть членомъ... самому быть членомъ... Меня зовутъ... меня ищутъ... они первые обратили на меня вниманіе, они, а не я... значитъ, я стою того, если меня избираютъ!»

И онъ снова перечиталъ письмо, и старался вчитываться въ отдѣльныя, наиболѣе льстящія самолюбію фразы, повторяя ихъ про себя по два и по три раза, и словно бы любуясь этими фразами, ихъ смысломъ, значеніемъ, ихъ красивою сверткою.

Имъ овладѣло какое-то шекотно-щемящее, захватывающее, жуткое чувство. Самолюбіе разыгрывалось все болѣе. Онъ уже такъ живо сталъ воображать себя дѣятелемъ... чего? — это ему самому не было еще вполне ясно, — дѣятелемъ *чего-то*, но чего-то высокаго, честнаго, благороднаго, дѣятелемъ, окруженнымъ таинственностью грозной силы. «Новое социальное устройство свободного общества», кажется,

такъ сказано въ этомъ письмѣ? — Да, такъ точно! Онъ воображалъ себя устраивающимъ нѣчто большое, предъ чѣмъ всѣ преклоняются, дивятся ему и завидуютъ... Онъ извѣстенъ, онъ знаменитъ, имя его гремитъ во всѣхъ русскихъ и европейскихъ газетахъ и журналахъ, о немъ говорятъ, имъ интересуются, ему удивляются... Его вездѣ и повсюду встрѣчаютъ почетъ и любовь, и слава народная... Онъ говоритъ съ народомъ, даетъ ему новыя свободныя права, народъ избираетъ его своимъ диктаторомъ... Наполеонъ... Вѣдь могъ же Наполеонъ добиться всего этого! Простой артиллерійскій поручикъ!.. Директоръ и инспекторъ гимназіи приходитъ къ нему и униженно вымаливаютъ пощадъ, потому что на площади эшафотъ стоитъ... Онъ отсылаетъ ихъ на эшафотъ, но тамъ, въ самую роковую минуту, даритъ имъ пощадъ и жизнь, въ виду восторженнаго народа, и даже награждаетъ весьма значительными деньгами... хорошенъкая племянница директора вѣя себя отъ радости, кидается ему на шею. Да что племянница! тутъ ужъ не племянница, а княгини и графини... Но нѣтъ! Онъ не унижится до брака съ княгиней... Его жена (если ужъ жениться!) должна быть гражданкой, демократкой... А вдругъ жандармы? вдругъ Пшечинскій является?.. Обыскъ, арестъ, казематы... Его вывозятъ на площадь, читаютъ приговоръ... Онъ гордо и смѣло всходитъ на эшафотъ... «Я умираю за васъ!» — говоритъ онъ народу... На ногахъ его кандалы, на рукахъ кандалы, на плечахъ каторжная сермяга съ бубновымъ тузомъ... Длинная, безконечно-длинная сѣбная пустыня... кандалы — звякъ, звякъ... плѣня долгая поется во всю широкую грудь... Тобольскъ прошли... Томскъ прошли... Иркутскъ прошли... Нерчинскъ. Такъ вѣдь, кажется? «Тобольскъ, Омскъ, Томскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, Чита — главный городъ Забайкальской области», Богъ-знаетъ, по какому сцѣпленію мыслей и почти машинально вспоминаетъ Шишкинъ старшій, давно уже наизусть заученный урокъ изъ географіи. И онъ идетъ бодро и гордо... Онъ страдаетъ, но не падаетъ духомъ... «Я за васъ страдаю», говоритъ онъ кому-то; «вы не признали, вы отвергли меня!.. Я гибну... Что жъ? Ничего!.. Пусть гибну я, но я гибну за честное дѣло! за свободу!.. за свободу миллионъ братьевъ моихъ!»...

Такъ мечталъ юноша. Мысль его перелетала отъ знаменитости и диктатуры къ кандаламъ и Нерчинску; но одно его прельщало, другое же не пугало нисколько: въ обоихъ случаяхъ онъ чувствовалъ и мечталъ себя героемъ... И все это казалось ему такъ просто, такъ легко и возможно — я яркое восемнадцатилѣтнее, золотое воображеніе заносилось все дальше и дальше, все выше, все привлекательнѣй... Онъ почувствовалъ себя какъ-то жутко, болѣзненно-

счастливымъ. Двадцатипяти-рублевая ассигнація лежала передъ нимъ; онъ взялъ ее, и съ тѣмъ особеннымъ наслажденіемъ, которое хорошо знакомо людямъ, очень рѣдко имѣющимъ въ рукахъ своихъ деньги, пощупалъ и пошурстѣлъ ею между кончиками пальцевъ. Онъ воображалъ себя почти богатымъ. «Теперь деньги будутъ!» — говоритъ онъ себѣ съ непоколебимою увѣренностью. «Теперь-то ужъ навѣрное будутъ!.. И много будетъ... У нихъ вонъ фондъ какой-то есть... для членовъ... значить, будутъ!.. Матушкѣ надо рублей десять снести... То-то обрадуется!.. Скажу: заработалъ!.. «Молчать подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности»... Ну, еще бы тебѣ болтать! что я, мальчишка, что ли!.. Хорошо бы кумачевую рубаху завести, какъ у Ардальона Михайлыча... А вѣдь онъ вѣрно тоже тово?.. Впрочемъ, нѣтъ, — гдѣ ему?!.. Только надо бы еще и поддевку... плисовую... Если когда случится то, такъ непременно такой указъ надо издать, чтобы фраки и мундиры долой, а однѣ бы только поддевки»...

Но мечтая такимъ образомъ и быстро перебѣгая отъ одной мысли къ другой, Шишкинъ вспомнилъ, что онъ сегодня очень плохо обѣдалъ, то-есть, лучше сказать, совсѣмъ не обѣдалъ, а съѣлъ одну только трехкопеечную булку, которую купилъ на бурлацкой пристани. Желудокъ, при этомъ воспоминаніи, не преминулъ заявить о себѣ довольно чувствительнымъ голодомъ. Юноша запряталъ письмо въ комодъ, отыскалъ шапку и весело отправился въ трактиръ, аппетитно разрѣшая вопросъ: чего бы лучше заказать себѣ, поросенка подъ хрѣномъ, или московскую селянку на сковородкѣ?

Вернувшись домой уже сытый и притомъ съ фунтомъ стеариновыхъ свѣчей подъ мышкой, да съ пачкой папирсъ въ карманѣ, Шишкинъ почувствовалъ себя еще болѣе довольнымъ и счастливымъ. На сытый желудокъ, при ровномъ свѣтѣ свѣчи и въ струйкахъ табачнаго дыму, лежа на постели, мечталось еще лучше. Онъ часто и такъ довѣрчиво улыбался широкою, мечтательною улыбкою на свои увлекательныя фантазіи, поминутно ворочался съ боку на бокъ и очень долго не могъ заснуть. Порою нѣчто острое и жуткое возвращало его изъ міра поэзіи въ міръ дѣйствительности, и вставалъ предъ нимъ серьезный и словно бы какой-то лотерейный вопросъ: что же дѣлать? Какъ быть? Вѣдь завтра или послѣ-завтра!

«Ну, конечно, крестъ! Есть тутъ долго думать о чемъ!..» беззвѣтно порѣшилъ онъ себѣ.

«...Противъ второй скамейки, на поворотѣ изъ большой въ среднюю поперечную... Однако же, какъ подумаешь, Господи, какъ страшно все это!»

Наконецъ-то Шишкинъ заснулъ, и снились

ему все тѣ же грезы, — снилась широкая, сибѣжная пустыня... снилось дарованіе новыхъ правъ и диктатура надъ Русскою землею, и уничтоженный инспекторъ, и директорская племянница, и плясовая поддевка... Это были золотые, счастливые, героическіе сны и грезы.

XXV.

Крестъ начерченъ.

Шишкинъ съ нетерпѣніемъ ждалъ назначеннаго часа. На нынѣшнее утро раздумье почти уже не приходило ему въ голову. Онъ рѣшился: «была не была!» Утромъ сходилъ въ больницу къ матери и снесъ ей десять рублей, сказавъ что получилъ два новыхъ и очень выгодныхъ урока по рублю за часъ. Старуха, дѣйствительно, и удивилась, и обрадовалась несказанно, да и сынъ-то былъ доволенъ, что успѣлъ доставить ей эту надежную радость.

— Теперь, маменька, вы только выздоравливайте! — утѣшалъ онъ ее, — а денегъ у насъ съ вами будетъ вдвойнѣ! Вотъ погодите: заживемъ припѣваячи.

Та слушала, и старое сердце ея дрожало любовью и слезами...

«А какъ же, если Сибирь... какъ же она-то?» — мелькнула ему непріятная, укорливая мысль, и онъ самъ себя удивился, что до этихъ поръ во всѣхъ его мечтахъ и предположеніяхъ, при всемъ ихъ калейдоскопическомъ разнообразіи, мысль о матери ни разу не пришла ему въ голову.

«Какъ же мать-то?.. Что она тогда?» — думалъ онъ, и тотчасъ же утѣшилъ себя самымъ успокоительнымъ завѣреніемъ, что Сибирь — вздоръ! «Сибири не будетъ; надо только умѣть молчать хорошо... Вѣдь ужъ *они*-то, при ихъ силахъ, при ихъ средствахъ, знаютъ же что дѣлаютъ».

Кто были эти *они* — Шишкинъ не зналъ, и какъ ни бился со вчерашняго вечера, все-таки никакъ не могъ опредѣлить себя *изъ* даже приблизительно; но при этомъ, въ немъ почему-то поселилось твердое убѣжденіе, что *они* сила, ворочающая очень большими и могучими средствами.

Онъ ждалъ-не-дождался, когда-то, наконецъ, придутъ эти желанные четыре часа, и время сегодня казалось ему какимъ-то безконечнымъ. Уйдя отъ матери, онъ долго безъ цѣли бродилъ по городу, наконецъ, въ два часа пообѣдалъ въ трактирѣ и прямо оттуда отправился въ городскую садъ. Вотъ и условный перекрестокъ, вотъ и вторая скамейка... на этой самой дорожкѣ будетъ начерченъ крестъ... Кто же замѣтитъ его? Кто прочтетъ этотъ отвѣтъ? Кто такой это будетъ? Теперь уже Шишкина завлекло лихорадочное любопытство разгадать поскорѣй, кто такіе эти таинственные, невѣ-

домые *они*, которымъ онъ уже весь принадлежить и душою, и тѣломъ, на жизнь и на смерть (такъ ему думалось).

День былъ прекрасный. Въ саду пестрѣло много гуляющихъ. Юноша пытливо и при томъ съ особенною выразительностью вглядывался во многія лица, стараясь разгадать: не одинъ ли *изъ нихъ* это идетъ мимо него.

Но вотъ, наконецъ, на соборной колокольнѣ пробило четыре.

«Что жъ, чертить, или нѣтъ?..

«Или панъ, или пропанъ!.. Все равно теперь!»

Онъ торопливо, но внимательно оглядѣлся во всѣ стороны: кажется никто не обращаетъ на него особеннаго вниманія. Встанъ со скамейки и принявъ равнодушно-разсѣянный видъ, нервно-дрожащею рукою рѣзко начертилъ онъ на пескѣ крестъ и, посвистывая да поглядывая вверхъ на вѣтки и прутья, съ независимымъ видомъ, и какъ ни въ чемъ не бывало, пошелъ собою вдоль по дорожкѣ.

А между тѣмъ лицо его было нѣсколько блѣдно, и сердце билось шибко-шибко и немного боѣзненно.

«Ну, теперь ужъ кончено!.. Баста на вѣки!.. Теперь ужъ нѣтъ возврата» думалъ онъ собою — и было ему, по вчерашнему, такъ жутко и такъ радостно, только ощущенія эти сказывались теперь еще ярче и сильнѣе.

Онъ прошелся нѣсколько разъ по аллеѣ, все ожидая, что вотъ-вотъ кто-нибудь сейчасъ подойдетъ къ нему, дотронется легонько до плеча, шепнетъ какое-то условное, таинственное слово и поведетъ за собою, и приведетъ *куда-то*, и тамъ будутъ *они*, и онъ всѣхъ ихъ увидитъ, и начнутъ они сейчасъ «дѣло дѣлать»...

Но тщетно прохаживался и ждалъ увлекающійся юноша, тщетно заглядывалъ въ лицо чуть не каждому прохожему, — къ нему никто не прикасался и не шепталъ таинственнаго слова.

Онъ прошатался по саду до поздняго вечера, да такъ и не дождался, и ушелъ съ досадой и почти-что съ полнымъ разочарованіемъ въ сердцѣ. Мечтамъ его на сей день не суждено было сбыться.

XXVI.

Изъ тѣхъ или нѣтъ?

На другой день, навѣстивъ нарочно пораньше свою мать, Шишкинъ отправился, по вчерашнему бродить по саду. Но всѣ ожиданія его точно также были тщетны. Думая, что крестъ его либо не былъ замѣченъ, хотя онъ очень хорошо видѣлъ двѣ рѣзкія черты, — либо никто *изъ нихъ* не пришелъ вчера, вѣроятно, ожидая на сегодня крайняго назначеннаго срока, — онъ, едва лишь пробило четыре часа,

начертилъ новый крестъ на томъ же самомъ мѣстѣ, со всѣми вчерашними предосторожностями, и отправился гулять по главной аллеѣ. Предполагивъ, что его прогулка мимо креста, выказывая извѣстную степень ненужнаго любопытства, быть можетъ, послужила причиной, что никто не подошелъ къ нему, изъ понятной предосторожности, онъ на нынѣшній разъ сдѣлавъ должное, нарочно сталъ прохаживаться по другимъ дорожкамъ.

Но опять-таки и на сегодня, до самаго поздняго вечера были тщетны всѣ его ожиданія, Озадаченный и еще болѣе раздосадованный, онъ рѣшился на завтра цѣлый день не выходить изъ сада, и точно: привелъ это рѣшеніе къ самому аккуратному исполненію, но результатъ оказался все такъ-же безуспѣшенъ.

Тѣмъ не менѣе ретивый юноша рѣшился продолжать ежедневно свои прогулки, до тѣхъ поръ, пока не добьется чего-нибудь положительнаго.

«Вѣдь не можетъ же быть, чтобы мистификація! Да и съ какой же стати?» разсуждалъ онъ самъ съ собою. «Какой же дуракъ, ради одной шутки, станетъ посылать такія деньги? А если кто-нибудь и рѣшился оказать мнѣ помощь, такъ тотъ, конечно, не сталъ бы шутить и издѣваться надо мною. Это было бы несообразно».

Заключенія Шишкина были вполне разсудительны. Онъ гулялъ по саду, почти уже потерявъ всякую надежду на осуществленіе нетерпѣливой мечты своей, но все-таки ходилъ, почти изъ одного упрямства. Странная обстановка всего этого приключенія положительно сбивала его съ толку. Онъ ломалъ себѣ голову надъ разрѣшеніемъ мудреной загадки и все-таки ни до чего не добился. Думалъ было въ третій разъ начертить условный знакъ, такъ какъ прежній былъ уже стертъ ступнями гуляющаго люда, но поостерегся, чтобы не подать этимъ кому-либо излишнихъ подозрѣній. Уже четвертый день сряду проводилъ онъ въ городскомъ саду.

Былъ третій часъ въ началѣ.

День стоялъ прекрасный. Теплое и весенне-яркое солнце высоко горѣло среди чистаго весенне-синяго неба. Молодая иѣжная поросль быстро прорѣзывалась изъ почекъ, и мягко-желтоватою зеленью запушила сочно налитыя, упругія вѣтви, въ которыхъ свистали, заливаясь и переключивались весеннія птицы.

Иванъ Шишкинъ, уставши наконецъ шататься по дорожкамъ, сѣлъ въ тѣни стараго вяза на скамейку, помѣщавшуюся у площадки предъ павильономъ, куда на лѣтній сезонъ переселился нѣкій предприниматель и открывать тамъ кафе-ресторанъ и кондитерскую. По краямъ площадки, передъ скамейками стояли зеленые столики—признакъ того, что предприниматель уже открылъ свою лѣтнюю дѣя-

тельность, къ услажденію славнобубенской гуляющей публики. Эксъ-гимназистъ снялъ фуражку, обтеръ со лба потъ, взъерошилъ немножко волосы и закурилъ папироску.

Вскорѣ на той же площадкѣ появился какой-то молодой человѣкъ, довольно привлекательной наружности, лѣтъ двадцати пяти, въ костюмѣ совершенно безвыразительномъ, обыкновенно-сѣроватомъ, но вполне приличномъ, который, ничѣмъ особеннымъ не кидаясь въ глаза, точно также ничѣмъ не отличался отъ тысячи городскихъ костюмовъ, встрѣчаемыхъ на каждомъ шагу.

Шишкинъ сначала не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Этотъ неизвѣстный господинъ присѣлъ на другой конецъ той же скамейки и сталъ отдуваться, какъ обыкновенно отдувается человѣкъ, утомленный ходьбою подъ солнечнымъ жаромъ. Затѣмъ неторопливо скрутилъ онъ себѣ папироску, вставилъ ее въ простой мундштучекъ и два раза искоса взглянулъ на своего сосѣда.

— Позвольте у васъ попросить огоньку!—вѣжливо обратился онъ къ Шишкину, подвигаясь ближе тѣмъ на пол-скамейки. Тотъ молча подаль-ему папироску, съ обычною въ такихъ случаяхъ готовностью.

— Очень вамъ благодаренъ. Фу, батюшки, какая жара сегодня!.. Это, кажись, еще первый день такой.

— Да, тепловато,—проговорилъ Шишкинъ, чувствуя какъ бы нѣкоторую необходимость отвѣтить на фразу, которая въ данную минуту ни къ кому, кромѣ него, не могла относиться.

— Даже и черезчуръ, я нахожу. Эй, человѣкъ!—закричалъ неизвѣстный сосѣдъ лакею, торчавшему на терасѣ павильона,—подай-ка мнѣ сюда пива бутылку, да только холоднаго!.. Смерть пить хочется!—какъ бы въ скобкахъ замѣтилъ онъ, обращаясь въ пол-взгляда къ Шишкину.

Тотъ ничего не отвѣтилъ на это, кромѣ какого-то безотнositельнаго «мг!», сопровождаемаго легкимъ кивкомъ, и продолжалъ курить свою папиросу.

Прошла минута молчанія. Незнакомецъ искоса поглядывалъ порою на сосѣда и раза два откашлился.

— Извините... Если не ошибаюсь, вы, кажется, господинъ Шишкинъ?—вѣжливо и немного застѣнчиво спросилъ онъ.

— Такъ точно-съ.

Гимназистъ оторопѣлъ и смутился.

«Вотъ оно!.. Это изъ нихъ! изъ нихъ навѣрно!.. Наконецъ-то!» думалъ онъ, силясь поскорѣй отдѣлаться отъ своего неумѣстнаго смущенія.

— Имѣлъ удовольствіе слышать васъ на публичномъ чтеніи,—продолжалъ незнакомый

съ легкимъ, но пріятнымъ поклономъ.—Ваше дарованіе... это, знаете, вѣдь надо особое искусство умиѣть читать... Вы имъ вполне обладаете.

Теперь уже Шишкинъ, въ свою очередь, сдѣлалъ легкій, но пріятный поклонъ:

«Изъ нихъ или нѣтъ?.. Изъ нихъ или нѣтъ?» прыгаль въ умъ его неотвязный вопросъ. — «Какъ бы это разрѣшить себѣ поскорѣе! Какъ бы вызнать его?»

— Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю удовольствие говорить?—полусклонясь, приподнял онъ свою фуражку.

— Василий Свитка, изъ хохловъ,—какъ бы шути, отрекомендовался незнакомый.—Бывшій казанскій студентъ... теперь, въ нѣкоторомъ родѣ, торговыми предпріятіями занимаюсь. Я еще недавно здѣсь, въ Славнобубенскѣ,—говорить онъ совершенно просто и добродушно;—по дѣламъ зятя моего.

— А вашъ зять что такое?—безцеремонно спросилъ юноша.

— А тѣснотопромышленникъ... На Камѣ большія дачи у него... Жду вотъ теперь плотовъ, по первому половодью погнали... Лѣсъ сплавляемъ до Астрахани, такъ надо вотъ встрѣтить, провѣрку сдѣлать... да тутъ еще съ купцомъ съ однимъ заподрядиться надо... Вотъ и сижу пока.

«Нѣтъ, это не изъ тѣхъ, должно быть», сомнѣвался юноша, пытливо разсматривая соседа и слушая его болтовню, простую и, по-видимому, вполне искреннюю, вполне лишенную всякихъ заднихъ мыслей.—«Нѣтъ, не изъ тѣхъ!.. Это просто такъ себѣ, добрый малый какой-то и только!» рѣшилъ онъ и успокоился.

Лакей принесъ на подносѣ бутылку.

— Не хотите ли?—предложилъ Свитка;—по жарѣ хорошо это, холодненькаго.

— Нѣтъ, благодарю васъ,—замѣтившись, нерѣшительно отказался Шишкинъ.

— Пожалуйста, не церемоньтесь!.. Мнѣ очень пріятно... Эй, человѣкъ! Тащи еще стаканъ, да скорѣе!

— Для перваго знакомства!—кивнулъ головой Свитка, дотронувшись краемъ своего стакана до налитаго стакана Шишкина.—Мнѣ очень пріятно... Я здѣсь, знаете ли, совершенно одинъ и никого почти не знаю, ни съ кѣмъ не знакомъ... Должно-быть, у васъ тутъ въ Славнобубенскѣ скука ужасная?..—То ли дѣло, бывало, у насъ, въ Казани!.. Дивный городъ, я вамъ скажу! Вы не бывали?

— Въ Казани? Нѣтъ?

— А жаль. Вамъ бы понравилось. Вы, конечно, въ университетъ намѣрены?

— Право, не знаю еще... какъ случится.

— Если поступать, такъ поступайте въ Казанскій, я вамъ совѣтую.

— Да мнѣ это довольно трудно... вѣдь я... замялся немного Шишкинъ, глядя въ землю,—

вѣдь я за это самое чтеніе исключенъ изъ гимназій.

— Какъ исключены!.. Быть не можетъ! сорвался съ мѣста неожиданно изумленный Свитка,—да за что же-съ?

— А вотъ, за «Орла».

— Ну, что за мерзости!.. И за что же исключать-то тутъ? Ахъ ты, Господи Боже мой!.. А я и не зналъ этого!

«Нѣтъ, это не изъ тѣхъ!.. Совсѣмъ не изъ тѣхъ!» окончательно убѣждалъ себя въ душѣ Иванъ Шишкинъ.

— Что жъ вы намѣрены дѣлать теперь?—съ участіемъ спросилъ Свитка.

— А право, не знаю... Я не рѣшилъ еще.

Свитка призадумался.

— Гм!.. Это не хорошо. Мой совѣтъ все-таки въ университетъ. Экзаменъ вѣдь не затруднитъ васъ?

— Экзаменъ-то? Нисколько! Я экзамена не боюсь. Но... средства... Какъ добраться-то? У меня средствъ нѣтъ.

— А пѣшечкомъ?—пояснилъ Свитка, искоса взглядывая пытливо на соседа,—и пѣшечкомъ можно! Не вы первый, не вы и послѣдній. По крайности, прогуляетесь, время теперь хорошее, съ народомъ познакомитесь, а это вѣдь никогда не лишнее.

— Н-нѣтъ... Мнѣ это неудобно,—отклонился эксъ-гимназистъ, вспомяни о своей прикосновенности къ какому-то «дѣлу».

— Почему такъ? съ живостью спросилъ Свитка.

— Такъ... Я ужъ лучше тутъ какъ-нибудь устроюсь. А развѣ потомъ какъ-нибудь...

Тотъ какъ-то особенно и чуть замѣтно улыбнулся про-себя и опять заговорилъ съ прежнимъ участіемъ:

— Если хотите поступать, я могу объяснить вамъ все дѣло, какъ и что, однимъ словомъ, весь ходъ, всю процедуру... Научу какъ устроиться, заочно съ профессорами познакомлю, то-есть дамъ ихъ характеристики... Ну, а кромѣ того есть тамъ у меня товарищи кое-какіе, могу познакомить, дамъ письма, это все вѣдь на первое время необходимо въ чужомъ городѣ.

— Благодарю васъ... я подумаю.

— Подумайте, подумайте!.. Вообще господинъ Шишкинъ,—прибавилъ онъ, радушно и любезно протягивая руку,—мнѣ бы очень пріятно было познакомиться съ вами поближе... Извините, можетъ быть вы примете это за навязчивость съ моей стороны, но... я здѣсь одинъ, просто, слова не съ кѣмъ перемолвить.

Эксъ-гимназистъ охотно принялъ предложеніе этого знакомства.

— Я стою здѣсь въ нумерахъ Щепкова,—пояснилъ Свитка.—Милости просимъ ко мнѣ когда-нибудь, очень радъ буду! Да самое лучшее вотъ что: вы ничего не дѣлаете нынче вечеромъ?

— Особенного ничего.

— Так приходите-ко ко мнѣ!.. Поболтаемъ, закусимъ, а?

Шишкинъ согласился.—Юноши этого возраста вообще очень легко и скоро сходятся съ людьми.

Часу въ восьмомъ вечера онъ уже сидѣлъ въ гостяхъ у новаго своего знакома. Тотъ рассказывалъ ему о Казанскомъ университетѣ, о жизни въ Казани... Потолковали и о современном положеніи дѣлъ вообще, и о Россіи въ особенности. Въ рѣчахъ Василія Свитка было очень много симпатіи къ Польшѣ. Шишкинъ тоже вполне раздѣлялъ это чувство.

— Я думаю, что и наша матушка - Русь тоже тово... накануне какой-нибудь большой революціи, — замѣтилъ хозяинъ, бросая пристальный взглядъ на гостя.

— Да вотъ ужъ въ Высшихъ Слѣзкахъ поднимались, тамъ уже началось, авось и другіе подхватятъ, подтвердилъ ему Шишкинъ.

— Да, да; вообще въ воздухѣ, кажись, сильно пахиваетъ чѣмъ-то, — согласился Свитка; — но все-таки, мнѣ кажется, что всѣ эти бунты не приведутъ ни къ чему большому безъ послѣдовательной агитаціи... Въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, нужна система, планъ; а безъ него будутъ однѣ только отдѣльныя вспышки. Если бы тутъ какая-нибудь организація была, ну тогда другое дѣло.

— А можетъ-быть и есть уже организація, — задорливо возразилъ Шишкинъ.

Свитка быстро вскинулъ на него глаза и, не сводя съ его лица своего внимательно наблюдающаго взора, спросилъ:

— Организація?.. А почему вы думаете, что есть?

Юноша спохватился, что чуть было не сказалъ лишняго. «Подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности предъ трибуналомъ общества», отчеканилась въ его сознаніи знакомая фраза.

— То-есть, я... конечно, ни на чемъ собственно не основывая этого, пояснилъ онъ, — но... такъ, одно предположеніе... Почему-жъ и не быть ей? Если Италія, напримѣръ... отчего-жъ бы и намъ тоже?

— Нѣтъ-съ, батюшка, мы, русскіе, слишкомъ еще дураки для этого, — авторитетно возразилъ Свитка съ какимъ-то презрѣніемъ; — вы говорите: Италія! Такъ вѣдь въ Италіи, батюшка, карбонаріи-съ, Италія вся покрыта сѣтью революціонныхъ кружковъ, тайныхъ обществъ, въ Италіи былъ Буонаротти, тамъ есть — шутка сказать! — голова дѣлу, Мадзини, есть, наконецъ, сердце и руки, Джузеппе Гарibaldi-съ! А у насъ-то что.

— А Герценъ? а Огаревъ? горячо вступился Шишкинъ? юное самолюбіе котораго особенно задѣли за живое эти презрительные отзывы о дуракахъ—русскихъ.

— Ну что же!.. Конечно, Герценъ-то есть, да

вѣдь одна ласточка весны еще не дѣлаетъ!.. Ну, положимъ, что есть у насъ и Герценъ, и Огаревъ, и еще кто-нибудь кто ихъ тамъ знаетъ! Да гдѣ же наши кружки? гдѣ наша организація? Я нигдѣ и ни въ чемъ не вижу ея пока! Ну, вотъ сойдемся, напримѣръ, мы съ вами и потолкуемъ по душѣ, и оба, кажись, одушевлены одними стремленіями, однѣми симпатіями, а что изъ этого выходитъ? Пуфъ! Словоизверженіе одно, а чего-нибудь *дѣйствующаго* мы все-таки никогда не составимъ, и эта недѣятельность, эта апатія лежитъ въ нашей національной глупости, потому что мы, русскіе, — рабы по натурѣ своей и лучшаго ничего не желаемъ! И организація у насъ нѣтъ и никогда не будетъ!

Шишкина такъ и подмывало схватиться съ мѣста и сказать ему: «Анъ, нѣтъ молъ есть же! есть!» и показать въ подтвержденіе полученное имъ письмо и деньги, и для окончательной убѣдительности признаться, что самъ онъ членъ тайнаго общества и что, стало быть, русскіе не совсѣмъ ужъ круглые дураки и презрѣнные рабы, какими изволятъ изображать ихъ господинъ Свитка. Однако-же попридержалъ на время свою прыть «подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности».

— Н-ну, какъ знать чего не знаешь! — процѣдилъ онъ сквозь зубы не безъ нѣкоторой многозначительности въ тонѣ.

Хозяинъ исподлобья оглядѣлъ его своимъ изучающимъ взглядомъ и улыбнулся про себя, какъ прежде, чуть замѣтною, странною усмѣшкою.

Этотъ взглядъ и усмѣшка были замѣчены Шишкинымъ.

«Неужели *изъ толъ!*» — быстро мелькнуло въ его соображеніи; но всѣ предшествовавшія обстоятельства изъ знакомства противорѣчили такому предположенію. «Зачѣмъ же онъ такъ пылливо взглянулъ на меня? Чему онъ такъ улыбнулся?» думалъ экзъ-гимназистъ. — «Боже мой! ужъ не шпіонъ ли это какой-нибудь?.. Можетъ, заодно съ Пшецыньскимъ... Можетъ, онъ хочетъ выпытать меня?»

И Шишкинъ вдругъ поблѣднѣлъ и тревожно забѣгалъ глазами по комнатѣ.

— Однако прощайте... мнѣ пора, — поднялся онъ съ мѣста, неловко и нѣсколько смущенно протягивая хозяину руку.

— Куда же вы? — изумился тотъ. — А я думалъ, мы цѣлый вечеръ проведемъ вмѣстѣ, чаю нальемъ, закусимъ... Оставайтесь-ко, полноте!

— Нѣтъ, ей-Богу, пора!.. Не могу я больше... Прощайте-съ.

— Ну, какъ знаете! До свиданья.

«И чего я такъ испугался?» думалъ Шишкинъ, подходя уже къ своей квартирѣ. «Вѣдь я самъ чуть не похвастался, что какъ знать чего не знаешь. Можетъ, онъ оттого-то только и поглядѣлъ на меня едакъ... а онъ ужиналъ приглашалъ!.. Дуракъ, право, дуракъ я! И съ

чего онъ вообразился мнѣ то вдругъ изъ тѣхъ, то вдругъ шпиономъ, а онъ, кажись, просто такъ-себѣ, добрый малый и очень не глухой... А я, какъ дуракъ, струсилъ!»

И на будущее время Шишкинъ рѣшился уже не трусить болѣе новаго знакома.

XXVII.

Въ западнѣ.

На слѣдующій день, около четырехъ часовъ пополудни, прохаживаясь по главной аллеѣ городского сада, Шишкинъ, все еще не терявшій надежды, что ожиданія его увѣнчаются какимъ-нибудь успѣхомъ, вдругъ завидѣлъ идущаго на встрѣчу Василия Свитку, который еще издали кивалъ ему головой и махалъ руками.

— Здравствуйте, батюшка,—сказалъ онъ, подходя къ Шишкину.—А вы, кажись, частенько тутъ прогуливаетесь?

Тотъ немного смутился.

— Нѣтъ, я такъ только... отъ нечего дѣлать.

Свитка подхватилъ его подъ руку и, дойдя до поворота въ среднюю поперечную аллею, повернулъ туда какъ бы неумышленнымъ и совсѣмъ машинальнымъ образомъ.

— Фу? какъ усталъ я!.. Все время на пристаняхъ шатался... Ходилъ плоты встрѣчать. Присядьте-ко малость!

И онъ опустился какъ разъ на вторую скамейку.

Шишкинъ опять слегка смутился. Нѣкоторое сомнѣніе закралось ему въ голову: случайно все это, или нѣтъ? Изъ тѣхъ, или шпионить? Но взглянувъ внимательно на лицо своего знакома и прочтя на немъ полнѣйшее и открытое простодушіе, онъ снова рѣшилъ, что Свитка ни то, ни другое.

— Послушайте, Шишкинъ,—началъ тотъ, усаживая, подлѣ себя эксъ-гимназиста;—простите мою нескромность, но я все думалъ объ васъ какъ вы ушли отъ меня, и знаете-ли, что пришло мнѣ въ голову?

— Что такое?

— Вѣдь вы тутъ ровно ничего не дѣлаете, ничѣмъ особенно не занимаетесь?

— Уроки кой-какіе имѣю.

— Н-да, конечно это не маловажно... А я хотѣлъ было вамъ предложить прокатиться вмѣстѣ со мной до Астрахани, сплавились бы на плотяхъ, а тамъ у меня есть знакомые изъ компанейскихъ, такъ что назадъ на пароходѣ ничего бы не стоило. Отличное бы дѣло, ей-Богу? а? Прямо бы въ Казань и предоставилъ, какъ разъ къ началу курса.

Шишкинъ задумался. Предложеніе имѣло свою заманчивую сторону, но... какъ-же тѣ-то? какъ-же отказаться отъ блестящей перспективы

быть заправскимъ, серьезнымъ дѣятелемъ «такого дѣла» или, по крайней мѣрѣ, хотъ узнать-бы прежде что-нибудь положительное: есть-ли тутъ что, или одна только мистификація.

— А скоро поѣдете вы?—спросилъ онъ.

— А право не знаю еще!.. Думаю, скоро, на дняхъ.

— Н-нѣтъ, на дняхъ-то мнѣ неудобно.

— Отчего неудобно? — съ живостью спросилъ Свитка.

— Да такъ!.. Не могу я.

— Отчего не можете?

— Да мало-ли?.. Ну, уроки... ну, матушка у меня... нездоровая,—замаялся Шишкинъ; да и вообще, просто не могу.

Оба примолкли.

— А я знаю, почему вы не можете!—вѣско и медленно началъ наконецъ Свитка, смотря ему въ глаза пристально и нагло.

Сердце юноши ёкнуло тревогой страха и ожиданія.

— Почему?—едва могъ проговорить онъ.

Тотъ, вмѣсто отвѣта, взялъ отъ него трость и рѣзко начертилъ ею крестъ на пескѣ дорожки.

Шишкинъ поблѣднѣлъ. Чувство внезапности, удивленіе, испугъ и страхъ, и радость разомъ отразились на его физиономіи, на которую неотводно продолжалъ глядѣть Свитка своимъ наглымъ взглядомъ.

— Дайте вашу руку!.. Вы человѣкъ годящійся! — похвалилъ онъ съ видомъ покровительства.

Юноша не успѣлъ еще придти въ себя.

— Но зачѣмъ-же вы только теперь!.. Зачѣмъ не сразу... не тогда, какъ я крестъ поставилъ?

Тотъ усмѣхнулся будто на ребяческое слово.

— Гм... Сразу ничто, мой другъ, не дѣлается. Надо было прежде дать вамъ срокъ, чтобы поглядѣть, на сколько серьезна ваша рѣшимость, потомъ попытать вашу скромность, удостовѣриться, умѣете-ли вы держать языкъ на привязи, — ну, экзаменъ оказался удаченъ, значить теперь можно поздравить.

— Я вальтъ—и душой и тѣломъ!—восторженно воскликнулъ юноша.—Дѣлайте со мной что хотите!.. Когда вы меня представите?

— Какъ это представите? куда? кому! — серьезно поморщился Свитка.

— Ну, понятно: членамъ нашего общества,—пояснилъ Шишкинъ.

— Членамъ? Да вы уже представлены: васъ знаютъ тамъ.—Развѣ безъ этого рѣшились бы выбрать васъ?

Этотъ отвѣтъ польстилъ самолюбію эксъ-гимназиста.

— Но когда-же я увижу ихъ?—оживленно спросилъ онъ.

— Кого это «ихъ»?

— Ну, разумѣется, членовъ!

— Полагаю, что совсѣмъ не увидите. Да это и не нужно. Вы знаете меня, и больше никого, и по всѣмъ дѣламъ будете сноситься только со мною.

— Стало-быть общества нѣтъ никакого?

— Напротивъ, есть, и весьма сильное, весьма многочисленное; но знать всѣхъ членовъ—это совершенно излишне и даже вредно; да наконецъ, и нѣтъ возможности: ихъ слишкомъ много, они разсѣяны повсюду.

— Что же я обязанъ дѣлать?—пожавъ плечами, спросилъ юноша. Дѣло выходило совсѣмъ не такъ, какъ мечталъ онъ, и въ мечтахъ оно казалось ему лучше, красивѣе какъ-то.

— Дѣлать? а вотъ что дѣлать, пояснилъ Свитка.—Вы будете строго и неуклонно исполнять то, что вамъ укажутъ. Впослѣдствіи, съ моего разрѣшенія, вы можете избрать себѣ двухъ помощниковъ изъ надежныхъ и лично вамъ извѣстныхъ людей, но кромѣ васъ, они точно также не должны ничего и никого знать, я и самъ точно также никого не знаю. Понимаете? И вотъ, все что вамъ предоставляется. Средства на веденіе дѣла вы будете получать отъ меня, а за измѣну дѣлу, предваряю васъ, послѣдуетъ неминуемая кара.

— То-есть, какъ-же это?—оторопѣло спросилъ Шишкинъ.

— А такъ, что въ одинъ прекрасный день можно отправиться *ad patres*, очень серьезно отвѣтилъ Свитка.—Поэтому, будьте осторожны и прежде всего—языкъ за зубами. Назадъ ужъ, конечно, отступленія нѣтъ; вы понимаете...

— Но... отправиться *ad patres*... Это легко сказать...

— Легко сказать, и не трудно исполнить: какая-нибудь маленькая доза стрихнину, уколъ отравленною булавкой, да и, Боже мой! мало ли есть средствъ для этого?

Свитка на первыхъ же порахъ нарочно старался побольше запугать неопытного юношу, чтобы тѣмъ легче забрать его въ руки и сдѣлать ему невозможнымъ поворотъ назадъ. Шишкинъ призадумался и даже пріунылъ немного. Онъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи мышенка, попавшагося въ мышеловку изъ кушечекъ свиного салца.

— Ну, другъ любезный! чуръ, головы не вѣшать! хлопнувъ по плечу, весело подбодрилъ его Свитка.—Знаете, говорятъ, это вообще дурная примѣта, если конь передъ боемъ вѣситъ голову. Смѣйтесь! Будьте достойны той чести, которую сдѣлалъ вамъ выборъ общества, будьте же порядочнымъ человекомъ! Надо помнить-то святое дѣло, за которое вы теперь взяли своею охотой!

— О, Боже мой, да я готовъ!.. Я готовъ! Неужели вы можете сомнѣваться?—воскликнулъ Шишкинъ.—Но въ чемъ же дѣло? И только давайте поскорѣе!

— Дѣло въ томъ, что дня черезъ два-три мы отправимся съ вами по Поволжью: гдѣ итѣшечкомъ, гдѣ на лодочкѣ, а гдѣ и конно, какъ случится; ну, и станемъ мужичкамъ православнымъ золотыя грамоты казать.—Понимаете-съ? прищурился Свитка.—Нынче вечеромъ будьте у меня: я покажу вамъ экземплярчикъ, и вообще потолкуемъ, условимся, а пока прощайте, да помните же хорошенько все, что сказалъ я вамъ.

И пожавъ ему руку, Свитка быстро пошелъ изъ сада.

* *

Передъ вечеромъ онъ постучался у двери ксендза-пробоща. Зося, отворивъ ему, объявила, что его мостцы нѣтъ дома. Свитка вырвалъ листокъ изъ записной книжки и, написавъ на немъ нѣсколько словъ, тщательно свернулъ и отдалъ женщинѣ для передачи по принадлежности, а вечеромъ, возвратясь домой, ксендзъ Кунцевичъ не безъ труда разобралъ на этомъ листочкѣ слѣдующее:

«Дѣло съ гимназістомъ кончено неуспѣшнѣйше, послѣ завтра, въ ночь отправляемся».

«Фр. Пожондковский».

Черезъ сутки, дѣйствительно, Шишкинъ исчезъ изъ города. На прощанье, онъ вручилъ матери еще десять рублей и увѣрилъ ее, что ѣдетъ на вакацію къ одному помѣщику приготавливать къ гимназіи его сына.

XXVIII.

Женихъ.

Ардальонъ Полояровъ, совсѣмъ неожиданно для самого себя, очутился въ положеніи жениха. Онъ былъ, въ нѣкоторомъ родѣ, жертва собственнаго великодушія. Зато Лубянская все время оставалась вполне довольна своею судьбою, въ качествѣ будущей супруги Ардальона Михайловича. Но о самомъ майорѣ далеко нельзя сказать того же. Въ странныхъ какихъ-то отношеніяхъ вдругъ очутились между собою эти три лица, съ той минуты, какъ слово великодушія нежданно-негаданно было произнесено Полояровымъ. Старикъ не перечилъ, но и не радовался; напротивъ, теперь чаще, чѣмъ когда-либо, онъ, изъ своего уголочка, подолгу сталъ засматриваться на дочку съ молчаливою, но глубокою и тоскливою грустью. Хотя онъ и молчалъ, но по всему было видно, что сердце его и не чаесть для дочери ничего хорошаго въ будущемъ, и не ждетъ никакого счастья въ этомъ бракѣ. Съ Полояровымъ отношенія его были суховато вѣжливы: въ нихъ проглядывало такое чувство, какъ будто, подавая руку Ардальону или говоря съ нимъ, старикъ боялся быть укушеннымъ какой-нибудь гадиной или чѣмъ-нибудь запачкаться,—чувство, давно не испытанное его простымъ, отзывчиво откоро-

веннымъ сердцемъ. Онъ какъ-то все не вѣрилъ въ чистоту Полоярвскаго великодушія, и порою казалось ему, будто брака этого никогда не будетъ, чтѣ въпрочемъ нисколько его и не печалило, лишь бы только быть увѣреннымъ, что она, чистая голубка его, осталась такою же, какъ и прежде; но... этой-то увѣренности и не хватало ему. Самъ Полоярвъ ни мало въпрочемъ не смущался подобнымъ отношеніемъ къ собственной особѣ; онъ, говоря его словами, «игнорировалъ глупаго старца» и, какъ ни въ чемъ не бывало, въ качествѣ жениха, почти ежедневно ходилъ къ нему то обѣдать, то чай пить, то ужинать. Только въ отношеніи Нюточки тонъ его сдѣлался еще рѣзче и нахальнѣе. Когда же майоръ замѣтилъ ему это однажды, то Ардальонъ отвѣчалъ, что «какъ мы съ нею теперь женихи, то особенно перемониться нечего, потому не съ тономъ жить, а съ человѣкомъ».

Одна только Нюточка, повидимому, казалась довольна и счастлива. Вѣра ея въ Полоярва была безгранична: ужъ если онъ сказалъ, ужъ если онъ что сдѣлалъ, значить, это такъ и должно, значить, иначе и быть ничего не можетъ, и все, что ни сдѣлаетъ онъ, все это хорошо, потому что Полоярвъ не можетъ сдѣлать ничего дурного, потому что это человѣкъ иного закала, иного развитія, иного ума, даже просто, наконецъ, иной, совсѣмъ новой породы, тѣмъ болѣе, что и самъ онъ называлъ себя «новымъ человѣкомъ». Дѣвушка привязалась къ нему еще больше съ той минуты, какъ онъ, ради нея, ради любви къ ней, поступилъ даже самыми коренными изъ своихъ убѣжденій, предложивъ ей «формальнымъ образомъ окрутиться вокругъ аналая». Она видѣла въ этомъ величайшую, съ его стороны, жертву, и жертва его льстила ея самолюбію.

Съ какимъ удовольствіемъ бѣгала она въ ряды, въ гостинный дворъ, закупать то себѣ, то ему разныя принадлежности къ своему приданому. Каждая вещица, каждая наволочка, полотенце, каждая дюжина чулокъ или платковъ носовыхъ, купленная на скромныя деньгишки, прикопленные для нея майоромъ, приводила ее въ восторгъ. Съ какою радостію припасала она все это къ устройству будущаго своего хозяйства! Сколь свѣтло мечтала о томъ, какъ это у нихъ все такъ хорошо, такъ просто и мило будетъ устроено! Съ какимъ живымъ наслажденіемъ показывала жениху всѣ эти покупки и приготовленія, сама любуясь и на нихъ, и на него своими влюбленными глазами!

Но Полоярвъ всѣ эти радости и восторги встрѣчалъ совершенно холодно: больно ужъ не по нутру они ему были. И именно въ тѣ самыя минуты, когда она показывала ему новыя свои покупки, рассказывая намѣренія и планы будущаго житія-бытія, онъ глядѣлъ совсѣмъ

равнодушно, какъ на нѣчто постороннее, и слушалъ вполне безучастно, а иногда съ видимымъ даже раздраженіемъ и неудовольствіемъ.

Все это искренно огорчало любящую дѣвушку.

— Ардальонъ! да что это съ тобой!—высказала она ему однажды съ полудосадливымъ и полунѣжнымъ упрекомъ.—Я хлопочу, я бѣгаю, стараюсь, прошу твоего совѣта, одобренія, а ты глядишь на все это, словно бы совсѣмъ чужой, словно бы даже тебѣ непріятно это!.. Ей-Богу, хоть бы маленькое участіе!.. Неужели же тебя это нисколько не занимаетъ?

— Да чему тутъ особенно занимать-то?.. Есть на что радоваться!—фыркнулъ онъ, скосивъ губы;—ну, нравится тебѣ это,—ну и занимайся! Я не жѣлаю... Миѣ-то что!

Нюта поглядѣла на него пристально, рѣшительнымъ взглядомъ.

— Послушай,—начала она послѣ нѣкотораго молчанія,—миѣ кажется, ты раскисаешься въ своемъ намѣреніи... Пожалуйста, не стѣсняй себя; скажи миѣ прямо—вѣдь еще есть время...

Ардальонъ молчалъ и хмурился.

— Ну, вотъ видишь, ты молчишь, ты серднишься!.. Зачѣмъ все это! Не лучше ли прямо?.. (на рѣсницахъ ея задрожали слезы).—Милый ты мой!.. Ты знаешь, что миѣ лично, пожалуй, и не нужно этого пустого обряда: я и безъ того люблю тебя—вѣдь ужъ я доказала!.. Миѣ ничего, ничего не нужно, но отецъ... вѣдь это ради отца... Я вѣдь понимаю, что и ты-то ради него только рѣшился. Милый мой! я тебя еще больше полюбила за эту жертву.

— Хм!.. Полюбить-то, пожалуй, и больше полюбила, — согласился онъ, по обыкновенію, медленно и туго потирая между колѣнъ свои руки и глядя мимо очковъ въ какое-то пространство предъ собою.—Насчетъ любви—не знаю, можетъ и такъ, а можетъ и нѣтъ; но уважать-то ужъ, конечно, менѣе стала.

— Какъ!.. Почему это? — отклонилась дѣвушка, широко раскрывъ на него изумленные взоры.

— А потому, что за такіе пассажики нельзя никого уважать, да и не за что!.. Развѣ ты можешь уважать человѣка, измѣняющаго своими принципамъ, идущаго противъ убѣжденія? Ну, стало-быть, и меня не уважаешь!

— Но, милый мой, это совсѣмъ другое...

— Э, матушка! одно и то же! — перебилъ Ардальонъ, съ гримасой махнувъ рукою.

— Такъ не женись на миѣ! Кто-жъ тебя принуждаетъ! — открыто и просто предложила она.

Полоярвъ скорчилъ новую, досадно-нелюбимую гримасу и нѣсколько времени не отвѣчалъ ни слова, только попрежнему теръ себѣ ладони. Нюточка тихо заплакала.

— Ну, ужъ что сказано разъ... такъ ужъ

нечего говорить, пробурчалъ наконецъ Ардальонъ сквозь зубы, въ какомъ-то раздумьи.— Да, пожалуйста, слезы-то въ сторону!—прибавилъ онъ, замѣтивъ, что невѣста вытерла платкомъ свои глаза;—терѣть не могу, когда женщины плачутъ: у нихъ тогда такое глупое лицо — не то на моченую рѣпу, не то на каучуковую куклу похоже... Чего куксишь-то? Полно!.. Садись-ка лучше ко мнѣ на колѣни—это я, по крайности, люблю хоть; а слезы—къ чорту!

Нюта исполнила его желаніе, но съ этой минуты отлетѣли отъ нея всѣ счастливые мечты и планы. Она уже безъ удовольствія стала ходить въ ряды и даже неохотно готовила себѣ приданое, никогда болѣе не заставляя жениха любоваться на свои покупки. Въ душу ея закралось тяжелое и темное раздумье о своемъ сомнительномъ будущемъ...

Майоръ молчалъ и курилъ свою трубочку, но сердце его чувало и родной глазъ очень хорошо замѣчалъ все, что дѣлается съ дѣвочкой.

Однажды она пошла въ ряды и, сдѣлавъ какую-то покупку, забѣжала «по пути» къ жениху, хотя, собственно говоря, это было вовсе не по пути ей.

Полояровъ спалъ на диванѣ. Нюта осторожно подкралась къ нему и разбудила своимъ любящимъ поцѣлуемъ.

— Здравствуй, милый! Что я тебѣ скажу... начала она весело и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то таинственно и отчасти смущенно.

— Ну, ладно!.. Послѣ, послѣ!.. Теперь я спать хочу... Убирайся, пожалуйста!.. Не мѣшай мнѣ, или—коли хочешь — посиди, пожалуйста, пока выплыву, — пробормоталъ Ардальонъ, и калачемъ отвернувшись къ спинкѣ дивана, въ ту же минуту сонно засопѣлъ съ носовымъ присвистомъ.

Дѣвушка постояла, посмотрѣла ему въ спину, повернулась и ушла. Съ большимъ чувствомъ обиды возвратилась она домой, усѣлась на полу, на маленькую скамеечку, за какимъ-то календаромъ, который въ тотъ день кроила, и, положивъ на колѣни подпертую ладонями голову, заплакала тихо, беззвучно, но горько.

Майоръ, запахнувъ халатикъ, подкрался на ципочкахъ къ двери и осторожно заглянулъ на дочь изъ своей комнаты. Тревога отеческой любви и вмѣстѣ съ тѣмъ негодующая досада на кого-то чѣмъ-то трепетнымъ отразились на лицѣ его. Нервно сжимая въ зубахъ чубучокъ своей носогрѣйки, пришелъ онъ въ залъце, гдѣ сидѣла Нюта, не замѣчавшая среди горя его присутствія, и зашагалъ онъ отъ одного угла до другого, искоса взглядывая иногда на плачущую дочку.

— Ну, его къ чорту!—нервно дрогнувъ головой старика.—Брось, Нюта!.. брось!.. Не стой!.. Не думай ты о немъ больше!.. Право!.. Весь-то онъ, какъ есть, одной твоей слезинки

не стоитъ!.. Ну его!.. Ей-Богу, говорю, — брось ты все это!

И онъ еще крѣпче защемилъ между зубами свой чубучокъ, потому что и у самого-то уже навертывались на глаза жгучія слезы обиды, боли и досады. Но Нюта, не подымая головы, только медленно и отрицательно покачала ею, и въ этомъ движеніи было такъ много чего-то кручиннаго, безнадежнаго, безпомощнаго...

Она теперь уже ощущала внутри себя нѣчто новое, въ чемъ ни за что не призналась бы старому майору.

XXIX.

„Әврика“ по-гречески значитъ: нашель.

Ардальона разбудили вторично. Но на этотъ разъ предъ нимъ уже стояла не улыбающаяся Нюточка, а почтальонъ, принесшій ему съ почты письмо. На конвертѣ значился петербургскій штемпель. Заспанный Полояровъ однакоже почти сразу догадался отъ кого было это посланіе.

«Все готово. Предпріятіе наше прочно поставлено на ноги, говорилось въ письмѣ, открываемъ типографію, швейную, переплетную, читальню и много еще другого. Если можешь, пріѣзжай поскорѣе, ты былъ бы теперь здѣсь очень кетати..»

«До свиданія!

«Весь твой Лукашка».

«Не многоглаголиво, но ясно!» улыбнулся про-себя Полояровъ.—Письмо это заставило его призадуматься.

«Какъ-же тутъ быть? Неужели и въ самомъ дѣлѣ жениться? Чорта съ два?.. Добро-бы еще выгода какая», мыслить, онъ самъ съ собою, «а то вдругъ ни съ того, ни съ сего,—на тебѣ! Фу!.. взялъ да и окрутился! Честь имѣемъ поздравить! Будущій отецъ семейства и славнобубенскій домовладѣлецъ съ улицы Перекопки,—пріятная перспектива! очень пріятная! — Нѣтъ, братъ, Ардальонъ Михайловичъ! — широко вздохнулъ онъ съ чувствомъ гиганта, — тебя ждетъ дѣло посерьезнѣе и почестнѣе, такъ тутъ нечего бабиться! Женщина, или дѣло—тутъ для порядочнаго человѣка выборъ одинъ. Ради удовольствія добродѣтельнаго папенки такъ вотъ взять да и пожертвовать принципами? Да что-же я за дрянъ-то послѣ этого!.. Что-же я за свинья-то!.. Любить... ну и любить!» продолжалъ онъ свои думы, вспомяну о Нюточкѣ, «я-то что-же?.. Сама вѣдь шла, доброй волей; не пыткой принуждали-же! Такъ чего тутъ? Коли ты, матушка, не дрянъ, а женщина, такъ ты поймешь, что для людей нашего закала — дѣло прежде всего, а потомъ ужъ любовь и прочее... Любишь, такъ и такъ любить будешь!.. Можешь какъ нибудь пріѣхать потомъ; а нѣтъ—значитъ, дрянъ, значитъ, замужъ только хочется выскочить!.. Ну,

и ищи себѣ подходящаго субъекта, а я... пожалуй, и я не прочь любить, и все такое... да только не въ такое время!.. Такъ и сказать ей это—небойсь, пойметъ барышня!—Однимъ словомъ, такъ или иначе, а этой канители, значить, шабашъ!» окончательно рѣшили Полояровъ.

Но вслѣдъ затѣмъ предъ нимъ вставали другіе, гораздо важнѣйшіе вопросы:

«Ѣхать... Конечно, надо Ѣхать!» размышлялъ онъ, «объ этомъ нечего и говорить, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, а то еще гляди, пожалуй, окрутятъ какъ-нибудь... заставить... Начальство, власти и прочее... Въдѣ добродѣтельный папенька, пожалуй, и на это способенъ!.. Но какъ тутъ, чортъ возьми, уѣдешь!.. Занять-бы у кого, что-ли?.. Хм... Какъ-же! поди займи въ этомъ подломъ обществѣ! Дадутъ чорта съ два!.. Дожидайся! Развѣ какъ-нибудь у Затцъ да у Нюточки прихватить?.. Сотнигу-бы, что-ли, — тогда хватить... Да бѣда, капиталы-то въдѣ у добродѣтельнаго папахена въ шкатулкѣ! Кабы у самой, такъ и говорить бы не о чемъ, а тутъ вотъ и домай себѣ голову!»

И дѣйствительно, Ардальонъ Полояровъ упорно ломалъ голову надъ разрѣшеніемъ трудной задачи. При дальнѣйшихъ размышленіяхъ выходило, что и у Нюточки не совѣтъ-то ловко взять деньги: станеть подозрѣвать, догадается, пойдутъ слезы, драмы и прочее, а лучше махнуть такъ, чтобъ она узнала объ этомъ только по письму, уже послѣ отъѣзда; тогда дѣло короче будетъ. Оставалась одна только Лидинька Затцъ; но и тутъ встрѣчалось нѣкоторое сомнѣніе: Лидинька и безъ того уже зла на него за Лубинскую, за его предпринимаемую женитьбу. Но, положимъ, что на этотъ счетъ можно бы легко разубѣдить ее; для этого потребуется только немного нѣжности да бойкій разговорецъ въ томъ духѣ и въ тѣхъ принципахъ, которымъ поклоняется съ нѣкотораго времени Лидинька, и сердце ея умягчится, и прикажетъ она своему благовѣрному добыть ей, какъ бы то ни было, денегъ, и благовѣрный въ этомъ случаѣ не будетъ послушникомъ обожаемой супруги, только съ получателя документецъ возьметъ на всякій случай. Но главное сомнѣніе не въ этомъ. «А какъ дернетъ ее нелегкая», думалъ Полояровъ, «бросить благовѣрнаго? Да какъ ко мнѣ на шею накачается: бери, молъ, съ собою! тогда что?.. Куда мнѣ съ нею?.. А это весьма легко можетъ случиться!»

Вознись съ Лидинькой Затцъ никакъ не входило въ дальнѣйшіе расчеты и планы Ардальона Михайловича, и потому онъ еще бродилъ въ лабиринтѣ своихъ сомнѣній и предположеній, не останавливаясь ни на чемъ рѣшительномъ относительно путей добычи.

Какъ часто бываетъ съ человѣкомъ, который въ критическую минуту полнѣйшаго отсутствія какихъ бы то ни было денегъ начинаетъ вдругъ шарить по всѣмъ карманамъ стараго своего

платья, въ чаюніи, авось-либо обрѣтется гдѣ какой-нибудь забытый, завалящій двугривенникъ, хотя самъ въ то же время почти вполнѣ убѣжденъ, что двугривенника въ жилеткахъ нѣтъ и быть не можетъ,—такъ точно и Ардальонъ Полояровъ, ходючи по комнатамъ, присѣлъ къ столу и почти безотчетно сталъ рыться въ ящикахъ, перебирая старыя бумаги, словно бы онѣ могли вдругъ лодать ему какой-нибудь дѣльный, практический совѣтъ.

Принялся онъ за это занятіе разсѣянно, почти и самъ не опредѣляя и даже не зная цѣли, зачѣмъ и для чего это дѣлаетъ, и вотъ, перебирая машинально бумагу за бумагой, цѣлый ворохъ писемъ и записокъ, адресовъ, рецептовъ, гостиничныхъ и иныхъ счетовъ, начатыхъ и неоконченныхъ статей, выписокъ, замѣтокъ, наткнулся онъ вдругъ на одну свою старую и позабытую рукопись. Листы ея были залиты кофе и частію закапаны саломъ, но рукопись эта напомнила Ардальону то крутое время, когда откупщикъ Верхохлебовъ, послѣ самоличной ревизіи, прогналъ вдругъ его съ очень вкусной и питательной должности. Она напомнила ему время, когда онъ только-что сталъ мечтать о литературномъ поприщѣ и принимался уже кое-что пописывать. Эта рукопись была даже чуть ли не первой его попыткой. Фигурировалъ въ ней откупщикъ Верхохлебовъ—въ тѣ дни либераль и патріотъ сольгородскій, какъ нынѣ все такой же либераль и патріотъ славнобубенскій. Фигурировалъ онъ въ этой рукописи своей собственной персоной, купно съ сожигательницей законной и незаконной, со чады и домочадцы, и со всѣми дѣлами и помышленіями своими, со всѣмъ домашнимъ обиходомъ, и явными, и тайными грѣхами и провинностями, по части откупныхъ и иныхъ не совсѣмъ-то свѣтлыхъ операций, которыя сильно пахивали уголовщиной. Писалъ тогда Полояровъ эту рукопись подъ впечатлѣніемъ свѣжихъ ранъ, причиненныхъ ему лишеніемъ питательнаго мѣста, подъ наплывомъ яростной злости и личнаго раздразненія противъ либерала и патріота сольгородскаго, и слѣды сей злобы явно сказывались на всемъ произведеніи его, которое было пренеполнено обличительнаго жара и блистало молніями благороднаго негодованія и пафосомъ гражданскихъ чувствъ, то-есть носило въ себѣ всѣ тѣ новыя новинки, которыя познала земля Русская съ 1857 года,—время, къ коему относилась и самая рукопись. Но такъ какъ въ тѣ поры Ардальонъ Полояровъ былъ еще писатель юный и начинающій, а извѣстно, что юнымъ и начинающимъ писателямъ весьма свойствененъ бываетъ пересолъ увлеченія, то поэтому и онъ черезчуръ пересолить въ своемъ произведеніи всѣ благородныя и гражданскія чувства. Но въ то время все это казалось ему безусловно прекраснымъ и возвышеннымъ. Онъ гордился

своимъ произведеніемъ и, желая полною неожиданностью поразить сердце Верхохлебова, переписалъ начисто и втихомолку отправилъ свое созданіе въ одну изъ редакцій. Долго ждалъ онъ послѣ этого появленія его въ печати и даже писалъ письма въ редакцію, но неизвестно почему редакція не воспользовалась созданіемъ Ардальона Полоярова, которое такъ и погибло въ ея непригодномъ хламѣ. Слѣдующее произведеніе Ардальона, не касавшееся патріота съ его сожителями и домашними обиходомъ, было счастливѣе перваго; а затѣмъ вскорѣ получилъ онъ мѣсто становаго пристава и, среди новыхъ впечатлѣній и занятій, позабылъ про свою рукопись. Такъ она съ тѣхъ поръ и лежала чернякомъ въ его столѣ, изрѣдка попадаясь случайно на глаза, при переборкѣ бумагъ, но уже не возбуждая собою никакихъ особыхъ соображеній. Впослѣдствіи даже самъ авторъ созналъ въ своемъ дѣтищѣ нѣкоторые недостатки, и это сознаніе не мало способствовало полному забвенію, тѣмъ болѣе, что и самыя раны, нанесенныя автору патріотомъ, отъ времени успѣли затянуться.

И вотъ теперь, въ критическую минуту жизни, сидитъ Ардальонъ надъ своею рукописью и въ разсѣянной задумчивости перебираетъ поблеклыя листы ея, прочитывая кое-какія мѣста и переносясь мыслію въ прошедшее.

Вдругъ его словно бы что-то кольнуло.

Быстро восклонясь отъ стола, онъ приложилъ палецъ къ губамъ и серьезно задумался.

Затѣмъ на лицѣ его отразилось нѣкоторое колебаніе, мелькнула тѣнь сомнѣнія; затѣмъ скользнула яркій лучъ надежды и наконецъ все оно самоодовольно оживилось лучезарною и радостною улыбкою.

— Эврика!.. эврика, по-гречески значитъ: нашель! — воскликнулъ онъ, пѣликомъ повторяя знаменитую фразу Михайлы Васильевича Кречинскаго.

Черезъ полчаса послѣ этого, Ардальонъ уже сидѣлъ за перепискою рукописи, въ то же время значительно поправляя, сокращая и уснащая ее перцемъ и солью.

XXX.

Игра въ половинки.

Черезъ день вся эта работа была уже готова. Полояровъ отправился къ Верхохлебову и приказалъ доложить о себѣ по весьма важному «для самого барина» и безотлагательно-нужному дѣлу.

Либераль и патріотъ поморщился при имени Ардальона Полоярова, однако же, имѣя въ соображеніи какую-то невѣдомую важность и безотлагательность, приказалъ выпустить его.

Ардальонъ по мягкому коврау вступилъ въ

кабинетъ патріота, причемъ сопровождавшій лакей не безъ презрительной злобы покосился на его смазныя сапожкища.

Славнобубенскій откупщикъ жилъ на широкою ногу. Кабинетъ его, какъ и весь домъ, носилъ яркую печать алиповатой, но снѣговой роскоши. Тутъ все блистало бархатомъ и позолотой: точеный орѣхъ и рѣзной дубъ, ковры и бронза, и серебро въ шкафахъ за стекломъ, словно бы на выставкѣ, и призовые ковши и кубки (онъ былъ страстный любитель рисистыхъ лошадей), дорогое и рѣдкое оружіе, хотя самъ онъ никогда не употреблялъ его и даже не умѣлъ имъ владѣть, но держалъ затѣмъ единственно, что «пушай, молъ, будетъ; потому зачѣмъ ему не быть, коли это мы можемъ, и пушай всякъ видить и знаетъ, что мы все можемъ, хона собственно намъ на все наплевать!» По стѣнамъ, въ роскошныхъ золоченыхъ рамахъ, висѣли разныя картины весьма сомнительнаго достоинства, но тѣмъ не менѣе на досчечкахъ при нихъ красовались имена Кукука, Калама, Верне, Делароша и прочихъ. Всѣ эти произведенія искусства обиль ему въ Петербургѣ, за очень выгодный кушъ, нѣкій аферистъ, и Верхохлебовъ необыкновенно былъ доволенъ покупкой, «по крайности, стѣны не будутъ голыя и все же дому украшеніе». И въ залѣ, и въ гостиной, и въ кабинетѣ, — словомъ, повсюду, гдѣ только могъ, либераль и патріотъ поразвѣшивалъ масляныя и фотографическія изображенія собственной персоны, и не иначе какъ во всѣхъ своихъ медаляхъ и регаліяхъ «за пожертвованія». Особенно въ этомъ отношеніи отличались залъ и кабинетъ, гдѣ висѣли портреты его во весь ростъ «въ самой государственной позитурѣ», какъ говорилъ онъ. Слабость къ регаліямъ доходила въ немъ до того, что онъ даже сдѣлалъ какое-то пожертвованіе самому шаху персидскому, за что и получилъ большую звѣзду Льва и Солнца, которую неукоснительно возлагалъ на себя во всѣхъ важныхъ и экстренныхъ случаяхъ жизни.

— Что скажете-съ? — въ пол-оборота и почти черезъ плечо обратился онъ къ Полоярову, встрѣтя легкимъ кивкомъ его поклонъ.

— Скажу очень многое! — съ многозначительной усмѣшкой отвѣтилъ гость, ни мало не измѣняя своему обычному, такъ сказать, Полояровскому достоинству. — У васъ есть на часъ свободнаго времени?

— Это смотря какъ: иное дѣло и на два и на три есть, а иное — и на пол-секунды нѣту.

— Ну, для моего, я надѣюсь, найдется! — съ полною увѣренностью замѣтилъ Ардальонъ. — Дѣло, говорю вамъ, очень важное, и вы будете мнѣ даже весьма благодарны за то, что я не пошелъ съ нимъ помимо васъ.

— Да въ чемъ дѣло-то? Вы мнѣ толкуйте

прямо, а не съ походомъ, — сказалъ Верховлебовъ, показывая знаки нетерпѣнія.

— Своевременно узнаете, — спокойно возразилъ Полояровъ. — Намъ нужно будетъ поговорить ладкомъ, по-божьи, чтобы толкомъ кончить. Прибавьте-ка никого не принимать, пока я здѣсь.

— Да зачѣмъ-же это? — съ неудовольствіемъ замаялся откупщикъ.

— А за тѣмъ, что присутствіе лишняго человѣка будетъ для васъ самихъ обременительно — вотъ увидите!

Верхохлебовъ позвонилъ и отдалъ требуемое распоряженіе.

— Вотъ это такъ! Это хорошо! одобрилъ нецеремонный гость. — Теперь ужъ не взыщите — я присяду, и вамъ посовѣтую сдѣлать тоже, потому, знаете, стоя-то неловко.

И усѣвшись въ малиновое бархатное кресло, онъ вынулъ изъ бокового кармана рукопись.

— Что это? Никакъ статья какая? — прищурился Верховлебовъ. — У меня, сударь мой, времени нѣтъ. Это ужъ оставьте!

— Но Полояровъ, разъ уже добившись такого свиданья, рѣшительно не желалъ и не могъ даже оставить дѣло и уйти изъ этого кабинета безъ какого-либо положительнаго результата.

— Эй, Калистратъ Стратилактовичъ, смотрите, чтобъ не пришлось потомъ горько покаяться, — предостерегъ онъ весьма полноувѣсно и внушительно; — знаете пословицу: и близокъ локоть, да не укусишь; такъ кусайте-ка пока еще можно! Говорю, сами благодарить будете! Вы вѣдь еще по прежнимъ отношеніямъ знаете, что я малый не дуракъ и при томъ человѣкъ предпримчивый, а нынче вотъ не безъ успѣха литературой занимаюсь. Полноте! что артачиться! А вы лучше присядьте, да выслушайте: это недолго будетъ.

— Проектъ, что ли, какой? — недовѣрчиво спросилъ Калистратъ Стратилактовичъ!

— Н-да, пожалуй, въ ѣкоторомъ родѣ, есть и проектъ. Вотъ погляжу, какъ вы найдете... одобрите ли его. Прощу прослушать!

И комфортно разсѣвшись въ глубокомъ креслѣ да заложивъ ногу на ногу, Ардальонъ Михайловичъ, не безъ внутренняго удовольствія, принялся за чтеніе, и читалъ, что называется, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, наблюдая, время отъ времени, изъ-подъ своихъ очковъ, какое дѣйствіе производятъ его статьи на Калистрата Стратилактовича. Но въ началѣ не было замѣтно никакого дѣйствія. Верховлебовъ даже пренебрежительно перебилъ его:

— Что это? Никакъ повѣстулка какая-то?... Это къ намъ не подходящее!

— Постойте, не торопитесь, — остановилъ Полояровъ. — Оно только въ началѣ такъ ка-

жется; «но подождемъ конца!» сказалъ дуракъ какой-то. Вотъ и вы, батюшка, подождите: своевременно все выяснится, все-съ обнажится!

И чтеніе продолжалось. И по мѣрѣ того, какъ продолжалось оно, оказывалось и должное воздѣйствіе его на либерала и патріота славнобубенскаго. Брови его сунулись, лицо хмурилось, губы подергивало нервическою гримаскою. Онъ то блѣднѣлъ, то наливался пунцовымъ піономъ и дышалъ тяжело, съ какимъ-то сопѣньемъ; на лбу проступали капли крупнаго поту, а въ глазахъ выраженіе злости и негодованія смѣнялось порою выраженіемъ ужаса и боязни.

До этой минуты либераль и патріотъ славнобубенскій ни разу еще въ жизни своей не испытывалъ на собственной шкурѣ канчуковъ и плетей той «благодѣтельной гласности», за которую онъ столь часто и столь горячо распинался.

Полояровъ очень хорошо подмѣчалъ все, что съ нимъ дѣялось, и это обстоятельство придавало ему еще болѣе прыти. Онъ, не смущаясь ни мало, читалъ еще съ большимъ чувствомъ, толкомъ и разстановкой.

Опубликованіе подобной статьи, во всякомъ случаѣ, было въ высшей степени неблагопріятно, невыгодно для Калистрата Стратилактовича. Она, изъ тѣмы винныхъ подваловъ и изъ-подъ спуда собственной его совѣсти, выводила на свѣтъ Божій множество такихъ дѣлишекъ, которые либераль и патріотъ считалъ безвозвратно канувшими въ пучину забвенія. А тутъ вдругъ, нежданно-негаданно, всплываютъ они на показъ почтеннѣйшей и благоклонной публикѣ, во всей своей неприкосновенности, во всемъ величіи своей подпольной красоты. Особенно не кстати было все это именно въ настоящее время, когда патріотъ только-что сдѣлалъ новое «пожертвованіе» и, чрезъ ходатайство фонъ-Саксена и иныхъ сильныхъ людей въ Петербургѣ, ожидалъ полученія святыя Анны на шею.

Святая Анна! Боже мой!.. Онъ такъ давно и такъ сердечно мечталъ о ней, такъ томился, ждалъ и надѣялся, совершенно основательно полагая ее гораздо выше Льва и Солнца, «хоча Левъ будетъ и не въ примѣръ показистѣе», — онъ ужъ даже призывалъ къ себѣ живописца и заранѣе заказалъ ему перемалевать на портретахъ свои регалии, чтобы выше всѣхъ прочихъ начертить сердечно-пріятную Анну, и теперь, когда Анна готова уже украсить собою его шею — вдругъ, словно съ неба, свалился — на-ко тебѣ! — эдакой позорный скандалище! «И хоть бы имя-то какъ-нибудь замаскировалъ, злодѣй, а то такъ-таки и катаетъ прозрачнымъ псевдонимомъ: вмѣсто Верховлебова, да вдругъ Низкохлебовъ — ну, кто-жъ не узнаетъ? И для кого еще останется хотя малѣйшее сомнѣніе? Но главное тутъ — Анна, святая Анна, которая

столь привлекательно улыбается ему въ недалекой перспективѣ, а послѣ этой мерзости—того и гляди — придется на вѣки сказать ей нѣжное прости! И весь капиталъ, значитъ, пошелъ ни къ чорту! Верховлебовъ уразумѣлъ теперь ясно, что по всѣмъ вѣроятіямъ придется ему теперь дѣлать новое «пожертвованіе», только ужъ не въ пользу казны, и въ тайникѣ сердца своего рѣшилъ, что сдѣлать его необходимо.

«Десяти тысячъ не пожалѣю, думалъ онъ, — а ужъ этой пакости не допущу!.. Потому имя мараешь... Лишь бы болѣе не запросилъ, каналья... Въ случаѣ надобности, можно и поторговаться. А какъ упрется?.. Вотъ она штука-то!.. Коли упрется, пожалуй, что и уступишь... Эка напасть, помилуй Господи!..»

Полояровъ кончилъ.

Патріотъ отдувался, словно кузнецкіе мѣхи и вытиралъ платкомъ обильный потъ со своей пуцовой физиономіи.

— Какъ вы находите это, почтеннѣйшій Калистратъ Стратилактовичъ?—не безъ гордой ироніи, отнесся къ нему Ардаліонъ Михайловичъ.

— То-есть! что же-съ?—пробормоталъ тотъ невнятно; — пашквилъ какой-то... Значитъ, пашквиллями заниматься изволите... Что-жь, это похвально!

— Да не въ томъ сила-съ!—Каждый занимается чѣмъ можетъ: кто отъ откуповъ наживается, плоть и кровь народную высасываетъ, а кто литературнымъ трудомъ добываетъ; дѣло это, значитъ, отъ талантовъ и отъ способностей. А вы скажите-ка мнѣ лучше, узнаете ли вы кого-нибудь въ господинѣ Низкохлебовѣ?

— Почему же мнѣ знать-съ!.. Что вы тамъ напишете. — я знать этого не могу... Откуда-жь мнѣ!..

— Э, полноте, батюшка! Чего тутъ политику-то эту!.. Давайте лучше дѣло на чистоту: эта рукопись приготовлена мною для печати и отсылается завтра же въ Питеръ, въ самыхъ вѣрныхъ и надежныхъ рукахъ. Вы знаете, что вѣдь меня всѣ журналы печатаютъ, а за эту штуку обѣими руками ухватятся! Одна «Искра-то» чего стоитъ, а ужъ о другихъ нечего и говорить!.. Впрочемъ я въ «Искру» дамъ одно только извлеченіе, а всю эту штуку помѣщу въ «Современникъ». Скажите же откровенно: угодно вамъ, чтобы это все было дѣйкомъ, какъ есть, пропечатано?

— Да мнѣ-то что же-съ!.. Конечно... я-то, собственно, не желалъ бы... Потому что жъ это... мараť отечественную литературу такими пашквиллями. Дѣло зазорное-съ!

Полояровъ нагло расхохотался.

— Да полноте вамъ, почтеннѣйшій, влять-то!.. Вѣдь мы отлично понимаемъ другъ друга!—Не бойтесь, одинъ другого не проведетъ! Скажите на прамкѣ: я, молъ, не желаю, что-

бы это было напечатано! Тогда у васъ и разговоръ пойдетъ настоящій, значитъ, по-божьи!..

— Да вѣдь за это можно и къ суду потянуть... Это вѣдь дѣло персональное-съ, — погорзился патріотъ.

— Ге-ге! Куда хватили! — ухмыльнулся обличитель.—А позвольте спросить, за что же вы это къ суду потянете? Что же вы на судѣ говорить-то станете?—что вотъ, меня, молъ, господинъ Полояровъ изобразилъ въ своемъ сочиненіи? Это, что ли?—А судъ васъ спросить: стало быть, вы признали самого себя? Ну, съ чѣмъ васъ и поздравляю! Вѣдь нынче, батюшка, не тѣ времена-съ; нынче гласность! газеты!—въ темную, значитъ, нельзя сыграть! Почему вы тутъ признаете себя? Развѣ Низкохлебовъ то же самое, что Верховлебовъ.

— Не то же, да похоже,—возразилъ сбитый съ пункта Калистратъ Стратилактовичъ.

— Похоже да не съ рожи, хоша къ дѣлу и гоже—знаете, какъ говорится это, по-простому!—подхватилъ Ардаліонъ.

— Но я... я могу сказать, какъ дѣло было-съ, какъ вы у меня въ кабинетѣ все это читали, какъ торговались...

— Можете!—согласился Полояровъ.—А гдѣ, позвольте узнать,—гдѣ у васъ на все на это свидѣтели найдутся? Дѣло-то вѣдь у насъ съ глазу на глазъ идетъ, а я—мало ль зачѣмъ могъ приходить къ вамъ! Кто видѣлъ? Кто слышалъ? Нѣтъ-съ, почтеннѣйшій, ни хера вы на этомъ не возьмете! И мы вѣдь тоже не лыкомъ шиты! А вы лучше, совѣтую вамъ, эдакъ душевно, по-божьи! Ну-съ, такъ что же-съ?—вопросительно прибавилъ онъ въ заключеніе,—говорите просто: желаете, аль нѣтъ?

— Не желаю, — тихо и какъ бы стыдливо сказалъ, наконецъ, Верховлебовъ, упорно глядя на коверъ сильно потупленными глазами. Въ эту минуту у него просто духъ захватило, «а ну, какъ хватитъ, каналья, сейчасъ такую цифрищу, отъ которой семь круговъ огненныхъ въ глазахъ заколесаются?!»

— Не желаете? — прищурился Ардаліонъ. Ну, такъ покупайте за тысячу рублей!

Верхохлебовъ чуть съ мѣста не вскочилъ, чуть въ глаза не расхохотался своему мучителю, чуть дуракомъ сго не назвалъ. Но ярославская смѣтка молніей озарила его голову. Онъ тотчасъ же быстро сообразилъ положеніе противника, сравнительно со своимъ собственнымъ, и солидно сдержалъ себя отъ всякихъ сильныхъ и неумѣстныхъ проявленій своихъ чувствъ и мыслей.

«Эге! подумалъ онъ. Малый-то, какъ видно, голякъ, шелкоперъ... Ну, другъ любезный, для тебя и тысящи, значитъ, ужъ больно много... Не кѣрылу тебѣ деньги такіе... Не умѣешь ты ими пользоваться!»

— Хе, хе, хе!—тихо засмѣялся онъ въ бороду, съ чисто великорусскимъ шильническимъ

лукавствомъ истаго кулака. Тысящу!.. За что же-съ тутъ тысящу?.. Какъ это вы легко такіа крупныя суммы ваяете!.. У меня вѣдь не самодѣльные, чтобы на вѣтеръ, зря, по тысящѣ кидать!.. А вы не заламывайте—вы по душѣ скажите!

— Н-нѣтъ, менѣе тысячи нельзя,—запнувшись, сказалъ Полояровъ, и въ голосѣ его явно дрогнуло внутреннее сомнѣніе.

— Чего тутъ нельзя!.. Вамъ нельзя взять, а мнѣ нельзя дать—у каждаго, значитъ, свои расчеты. А вы возьмите половинку? пятьсотъ? ась? Пятьсотъ рубликовъ? Что вы на это скажете?

— Н-нѣтъ, пятьсотъ слишкомъ мало... Пятисотъ невозможно!..

— Эхъ, любезнѣйшій! Ну, что вы мнѣ говорите! Вѣдь напечатать-то, такъ вамъ за нее сущю пустяковину дадутъ! Знаемъ мы тоже, что вашему брату платить-то! Ну, что-жъ это такое?—говорилъ Верховлебовъ, взявъ рукопись и перелистывая ее да прикидывая на вѣсъ по рукѣ.—Такъ-себѣ, жиденькая тетрадка... Ну, сколько тутъ листиковъ-то этихъ? Сушная бездѣлица! Поди-ка, и всей-то бумаги на четверть фунта не будетъ, а вы вдругъ—тысящу! Берите-ка лучше по чести пятьсотъ! Деньги хорошія! Вѣдь акіе куши на панели не валяются... берите, что-ль, а то я неравно разсержусь!

— Нѣтъ, пятьсотъ мало... Ей-Богу нельзя, никакъ нельзя мнѣ! — полуседался колеблющійся обличитель.

— Ну, такъ печатайте! Мнѣ все равно!.. Мнѣ это ровно что напечатать, коли вы чести не понимаете!—рѣшительно махнулъ рукой Верховлебовъ.—Прощайте! Извольте уходить отсюда!.. Извольте!.. Мнѣ некогда тутъ съ вами!.. Поважнѣе вашего дѣла есть. Ступайте, любезнѣйшій, ступайте!

И онъ его выпроводилъ за двери.

«Что же, коли напечатать ее?» грустно раздумывалъ Полояровъ, очутясь уже внѣ кабинета, «вѣдь тутъ не болѣе какъ два съ половиной листа печатныхъ, а дадутъ за нихъ... ну, много-много, коли по пятидесяти съ листа... И то ужъ красная плата! Значитъ, за все сто двадцать пять, а гляди, и того меньше будетъ... Что-жъ, пятьсотъ рублей цѣна хорошая, вѣдь это выходитъ по двѣсти съ листа. Да такой благодати во вѣкъ не дождешься! Ну его къ чорту, помирюсь и на этомъ!»

И онъ направился обратно къ кабинету.

А въ это самое время Верховлебова одолѣвали мысли и сомнѣнія другого рода.

«А ну, какъ напечатаетъ!» волновался онъ въ нерѣшимости. «Вѣдь скандалъ-то какой! Скандалище!.. А тутъ Анна... а тутъ срамъ, позоръ... да и слѣдствіе, пожалуй!.. Вернуть его нешто? Ужъ куда ни шла тысяща! Дамъ ему!»

И онъ тоже направился вдогонку за Полояровымъ.

Столкнулись они въ самыхъ дверяхъ.

— А, вы еще здѣсь!.. Чего вамъ?—окинулъ его парютъ притворно-удивленнымъ взглядомъ, сразу смекнувъ, что фонды его не совсѣмъ еще плохи.

— Я, Калистратъ Стратилактовичъ, согласенъ,—угрюмо проговорилъ обличитель.

— То-есть насчетъ чего-съ это?—прищурился тотъ съ обычнымъ шильничествомъ.

— Да насчетъ пятисотъ... Ужъ такъ и быть! Для васъ только!

— Ахъ, насчетъ пятисотъ!.. Да-съ; ну, такъ что же?

— Вотъ вамъ рукопись, и позвольте деньги.

— Да-съ... Рукопись? Очень хорошо-съ. Такъ вы теперь согласны?.. Такъ-съ, такъ-съ... Да я-то вотъ, видите-ли, не согласенъ уже: я раздумалъ.

— Какъ же это такъ, право! почти жалобно простоналъ Полояровъ.

— А такъ, что надо было не привередничать, а сразу брать тогда, когда давалъ. Вотъ оно что-съ, любезнѣйшій!

— Да нѣтъ, это вы шутите!.. Давайте пятисотъ и покончимъ!

— Нѣтъ-съ, сударь мой, теперича ужъ я вамъ не дамъ пятисотъ, а не угодно ли помириться на половинкѣ? игриво предложилъ Верховлебовъ.

«Да что жъ это, дневной грабежъ, просто!» въ отчаяніи помыслилъ Ардальонъ, почувствовавъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, къ стѣнѣ припертымъ.

— Нѣтъ, перестаньте, Калистратъ Стратилактовичъ!—угваривалъ онъ уже чуть не просительнымъ тономъ.—Ей-Богу, клянусь вамъ, меньше пятисотъ никакъ невозможно!

— Нѣ, нѣ! Полно, любезнѣйшій, полно! Что баловать-то!—отрицательно замахалъ откупщикъ.—Бери двѣсти пятьдесятъ, а то черезъ минуту и половины-то не дамъ!

Ардальонъ живо смекнулъ, что половина двухсотъ пятидесяти будетъ какъ разъ сто двадцать пять, то есть тахіміумъ журнальной платы.

— Ну, нечего дѣлать! Получайте рукопись!—съ глубоко скорбнымъ и досадливымъ вздохомъ сказалъ онъ.—Только не думалъ же я, Калистратъ Стратилактовичъ, чтобы вы были такой!.. Эхъ, право!

— Ну, а ты напредки думай! Это, значитъ, наука!

— Да ужъ что съ вами!.. Вотъ вамъ тетрадка, давайте деньги.

Верховлебовъ принялъ съ рукъ на руки Полояровскій пасквиль и внимательно поглядѣлъ на рукопись.

— Да вѣдь это бѣлякъ?—спросилъ онъ.

— Бѣлякъ, Калистратъ Стратилактовичъ.

— Ну, то-то, я вижу что бѣлякъ. А вы мнѣ, батюшка, чернячокъ пожалуйте, а безъ того нельзя. Мнѣ и чернячокъ тоже нуженъ. Доставьте прежде чернячокъ, тогда и деньги получите.

— Да на что же вамъ чернякъ-то? Не все ли равно это?

— Нѣтъ, ужъ все-таки для спокойствія... Такъ-то поблагонадежныѣ будетъ.

Полоярова покорило. Онъ понялъ, что этого гуся никакъ не проведешь.

— Хорошо-сь, я вамъ доставлю завтра утромъ,—попытался вильнуть онъ въ-последнее.

— Э, нѣтъ, милѣйшій, завтра ужъ будетъ поздно! — отрицательно развелъ руками патриотъ.—А вы мнѣ его сейчасъ же доставьте, не медля ни секундошки, тогда и деньги съ рукъ на руки.

Ардальонъ согласился и на извозчикѣ полетѣлъ домой за черною рукописью. Его душила злость и досада, но въ тѣсномъ безиліи злобы онъ только награждалъ себя названіями осла и дурака, а Верхохлебову посылалъ эпитеты подлеца и мерзавца. «Двѣсти пятьдесятъ рублей—шутка сказать!—такъ-таки ни за что из-подъ носа вотъ прахомъ развѣялись!... Экой мерзавецъ! Чуть три половины не отнял! Три половины! Тѣфу, подлецъ какой!»

Черезъ четверть часа онъ опять уже стоялъ въ откупщицѣмъ кабинетѣ.

— Ну что, милѣйшій, привезли?

— Привезъ, Калистратъ Стратилактовичъ! Извольте получить.

Верхохлебовъ взялъ чернякъ и тщательно провѣрилъ его съ бѣловою.

— Да ужъ не беспокойтесь, вѣрно! Не надую, повѣрьте слову!—убѣждалъ его Ардальонъ Михайловичъ.—Вы мнѣ деньги-то поскорѣ да-вайте!

— Позвольте, батюшка!.. Деньги!.. Такъ дѣла не дѣлаются. Своевременно и деньги получите; не задержу-сь, не бойтесь! А вы сперва вотъ что,—солидно предложилъ онъ съ видомъ исполнѣ довольнаго, резоннаго челоуѣка.—Извольте-ка мнѣ прежде выдать такую подписку, что вы обязуетесь ни на меня, ни на мое семейство никакихъ болѣе пашквилей не писать во всю вашу жизнь, и что все написанное вами въ переданныхъ нынѣ статейхъ есть ложь и пашквиль, одна только ваша чистая выдумка, отъ которой вы, по совѣсти, отказываетесь и нигдѣ болѣе ни письменно, ни устно повторять этой лжи не станете. Вотъ, какъ вы мнѣ дадите такую подписку, я вамъ и деньги вручу-сь. Понимаете?

Полояровъ увидѣлъ, что тутъ, какъ ни вертись, а ровню ничего не подѣлаешь, и потому присѣлъ къ столу и подъ диктовку Верхохлебова настроилъ требуемую подписку.

Калистратъ Стратилактовичъ внимательно перечелъ ее, аккуратно сложилъ пополамъ и,

вмѣстѣ съ двумя рукописями, заперъ въ свой массивный нестарасмый шкафъ, ключъ отъ котораго неизмѣнно носилъ въ карманѣ. Оттуда же, изъ одной полновѣсной пачки (Ардальонъ очень хорошо замѣтилъ эту полновѣсность быстрымъ и горящимъ взоромъ) отсчиталъ онъ двѣ новенькія радужныя бумажки да одну сѣрую, и съ полупоклономъ подалъ ихъ Полоярову.

— Таперича, значитъ, дѣло между нами чисто,—сказалъ онъ съ облегченно-сіяющей физиономіей.

— Послушайте, Калистратъ Стратилактовичъ,—въ минорномъ тонѣ заговорилъ Ардальонъ, кисло и жалостно пожимаясь,—вѣдь вы у меня, ей-Богу, за безцѣнокъ приобрѣли, сами понимаете!... Вѣдь только одна крайность моя... Вы бы что нибудь прибавили... право! Ей-Богу, не грѣхъ бы вамъ! Вѣдь не разоритесь!

— Ну, ну! не скрипи, не скрипи! Ужъ такъ и быть, куда ни шло, одну красненькую накинну!—пренебрежительно утѣшилъ его патриотъ, выбрасывая на столъ десятирублевую ассигнацію.

И вдругъ захотѣлось ему, жестоко захотѣлось, до какого-то дьявольскаго зуда во всей волѣ и во всемъ помысленіи, во всемъ сердцѣ своемъ, безпопадно поддразнить Ардальона Полоярова.

Онъ выждалъ, пока тотъ положилъ деньги въ карманъ и сталъ откланиваться.

— Пстой-ка, милый, постой малость самую!—остановилъ онъ его.—Слово тебѣ хочу сказать еще одно.

И самодовольно растопыривъ ноги и фертонъ заложа въ карманы панталонъ мясистыя руки свои, съ серьезнымъ лицомъ, но нагло издѣвающимся глазами сталъ онъ глядѣть въ Полояровскую физиономію.

— Что вамъ угодно?—угрюмо повернулся обличитель.

— А мнѣ угодно сказать тебѣ, что ты дура! Какъ есть дура-баба несурзая! Вѣдь пойми, голова, что я тебѣ за этотъ самый твой пашквиль не то что тысящу а десяти, пятнадцати тысячѣ не пожалѣлъ бы!... Да чего тутъ пятнадцать! И всѣ бы двадцать пять отдалъ! И за тѣмъ не постоялъ бы, кабы дѣло въ-крутую пошло! Вотъ лопни глаза мои, чтобъ и съ мѣста съ этого не сойти, когда лгу.... А потому что какъ есть ты дура, не умѣлъ пользоваться, такъ будетъ съ тебя и двухъ съ половиною сотенекъ. Вотъ ты и упустилъ всю фартуну свою! Упусти-ли!

И онъ весело и самодовольно расхохотался прямо ему въ лицо своимъ широкимъ, размашистымъ и неудержимымъ смѣхомъ. Полояровъ поблѣднѣлъ и даже зашатался отъ этого неожиданнаго удара. Лицо его перекосила злостная судорога.

— У меня... все-жъ-таки остались факты!—проговорилъ онъ съ трудомъ и чуть не задыхаясь.

— Факты!—шпыльнически прищурился Верхохлебовъ.—Нѣтъ, братъ, врешь! Вонъ они гдѣ, факты-то, у меня въ шкапчикѣ!... И только, значить! пикни ты мнѣ, такъ ничего не покажешь, а ужъ засужу! За бугры спроважу!.. И всю подписку твою цѣликомъ пропечатаю! Ну, да теперь уже кончено! Что съ возу упало, то пропало!—благодушно-плутовски махнулъ онъ рукою.—Пошелъ, пошелъ отсюда! Проваливай, сударь! Не досугъ мнѣ съ тобою!.. Ишь, сапожищами-то по ковру наслѣдилъ какъ! У меня, братъ, ковры дорогіе, одинъ, поди чай, стоитъ дороже тебя самого и со всѣми-то потрохами твоими. Ну, убирайся же, съ Богомъ, убирайся! Христось съ тобою!

И онъ, безъ церемоній, деликатными, легонькими толчками выпроводилъ его изъ комнаты.

XXXI.

Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою.

Какъ представить всю великую степень досады и злобы, которыми воспыалъ Ардальонъ Полояровъ, по выходѣ отъ Верхохлебова. Онъ, дѣйствительно, почувствовалъ, что лишился всей фортуны своей и кромѣ того еще дозволилъ насмѣяться и надругаться надъ собою «какому-нибудь» Калистрату Верхохлебову, тогда какъ часть тому назадъ онъ изъ этого самаго Калистрата веревки могъ вить, и Калистратъ не пикнулъ бы. Хуже всего то, что самъ Ардальонъ чувствовалъ и сознавалъ, какъ разыгралъ онъ жалкаго дурака и упустилъ изъ рукъ своихъ львиную силу. «Какъ Исавъ... какъ Исавъ, за чечевицную похлебку!» думалъ онъ; «да и тотъ-то поступилъ умнѣе, потому продалъ какое-то тамъ фиктивное первенство, а я капиталъ... капиталъ!.. двадцать пять тысячъ серебромъ продалъ за двѣсти пятьдесятъ рублишекъ!» И на глаза его чуть слезы не проступали отъ боли всей злобы его.

Послѣ такого пассажа и тѣмъ паче невозможно было оставаться въ Славнубуенскѣ; Ардальону казалось (впрочемъ совершенно неосновательно), будто здѣсь каждая собака, каждый камень на улицѣ будетъ знать, какого дурака разыгралъ онъ и какъ надругался надъ нимъ—шутка сказать, надъ нимъ, надъ Ардальономъ Полояровымъ!—какой-нибудь кабатчикъ... Самолюбіе вопіяло. Надо было удирасть поскорѣе. Онъ поѣхалъ на пристани узнать, когда отходятъ вверхъ пароходы. Оказалось, что *Самолетскій* пойдетъ завтра въ двѣнадцать часовъ дня,—«стало-быть, съ нимъ и поѣдемъ».

Вернувшись домой, Ардальонъ наказалъ хозяйкѣ, что кто бы его ни спрашивалъ, а особенно Затцъ и Лубянская, говорить всѣмъ «дома нѣтъ и когда будетъ—неизвѣстно и комната моя заперта, и ключъ унесъ съ собою». Послѣ таковой мѣры предосторожности, онъ спѣшно

упаковался, уложилъ въ чемоданъ всѣ свои пожитки да бумаги и принялся за письмо къ невѣстѣ.

«Лубянская! Васъ, конечно, удивитъ это посланіе, писалъ онъ, но удивляться тутъ въ сущности нечему. Я получилъ извѣщеніе, которое немедленно призываетъ меня къ дѣлу. Надѣюсь, вы поймете, что дѣло для насъ прежде всего. Я бы позволилъ каждому назвать себя презрѣннымъ эгоистомъ и подлецомъ, если бы ради моего личнаго комфорта и счастья, ради моихъ личныхъ выгодъ, рѣшился пожертвовать счастьемъ миллионновъ и дѣломъ, которое составляетъ высшія стремленія людей нашего закала. Мой разумъ, моя совѣсть наконецъ рѣшительно воспрещаютъ мнѣ думать исключительно о себѣ тамъ, гдѣ надо безкорыстно служить дѣлу. Думать и желать иначе было бы малодушно. Я люблю васъ и, сколь ни горестно это, вижу тѣмъ не менѣе, что намъ необходимо разстаться. На долго ли? Это покажетъ будущее. Если со-временемъ ваше чувство ко мнѣ не остынетъ, можете пріѣхать въ Петербургъ, гдѣ я, вѣроятно, и останусь. Тогда отъ насъ будетъ зависѣть продолжать ли наши отношенія или нѣтъ; тогда же, глядя по обстоятельствамъ, быть можетъ, успѣемъ и сочетаться законнымъ бракомъ. Если же вамъ понравится кто-либо другой, можете спокойно назвать его своимъ супругомъ и быть увѣренною, что я ни на минуту не позволю себѣ стѣснять какими бы ни было обязательствами вашу судьбу. Во всякомъ случаѣ, надѣюсь, мы разстанемся друзьями. Пожелайте мнѣ успѣха въ нашихъ честныхъ начинаніяхъ, въ нашемъ общемъ великомъ дѣлѣ. Если всѣ сѣмена, брошенныя мною на вашу почву, не пропали безслѣдно, то я съ полнымъ моимъ уваженіемъ буду считать васъ женщиной дѣла, а какъ женщина дѣла, вы не имѣете даже права выстав-лять на первый планъ ваши личные, эгоистическія желанія и чувства, и охотно покоритесь необходимости. Постарайтесь легко перенести нашу разлуку, быть-можетъ, только временную. Со-временемъ, если обстоятельства позволятъ, повторю вамъ, вы можете пріѣхать. Васъ ожидаетъ тогда новая жизнь съ неизмѣнно преданнымъ вамъ

«Ардальономъ Полояровымъ».

«Р. S. Нарочно уѣзжаю экспромптомъ и даже не прощаюсь съ вами, чтобы избѣжать лишннихъ слезъ и печалей. Дальніе проводы—лишнія слезы, знаете пословицу, а я слезъ, вообще, терпѣть не могу, какъ вамъ уже хорошо извѣстно. Вѣрьте одному, что мнѣ очень тяжело разставаться съ вами. Кланяйтесь отъ меня всѣмъ добрымъ пріятелямъ».

Заклеивъ пакетъ и написавъ адресъ, Ардальонъ отдалъ письмо хозяйкѣ съ точнымъ приказаніемъ отнести его къ Лубянской завтрашній день, въ три часа пополудни.

Въ двѣнадцатомъ часу онъ уже былъ на па-

лубъ и все старался держаться болѣе за трубу, по ту сторону борта, которая обращена къ Волгѣ. Ему не хотѣлось, чтобы кто-либо изъ знакомыхъ могъ замѣтить его: онъ думалъ избѣжать обыкновенныхъ въ этихъ случаяхъ разспросовъ.

Но вотъ уже раздался послѣдній колоколъ, капитанъ съ бѣлаго мостика самолично подалъ третій пронзительный свистокъ; матросы засуетились около трапа и втащили его на палубу; шипѣвшій доселѣ пароходъ впервые тяжело вздохнулъ, богатырски ухнулъ всей утробой своей, выбросивъ изъ трубы клубы черного дыма, и медленно сталъ отваливать отъ пристани. Вода забулькала и замутилась подъ колесами. Раздались оживленныя чѣмъ прежде сотни голосовъ и отрывочныхъ возгласовъ, которые перекрешивались между пристанью и пароходнымъ бортомъ.

— Прощайте!.. Прощайте!

— Возвращайся скорѣй!

— Adieu-u!

— Adieu, ma chere!..

— Б! чортъ, лѣшій! Право, чортъ!

— До свиданья, Валентинъ Захарычъ.

— N'oubliez pas!..

— Эхъ! Опоздалъ! Савоха, вѣдь говорилъ тѣ, дьяволу...

— Батюшки!.. батюшки!.. Я еще не сѣла! Подождите! Не отчаливайте!

— Кланяйтесь ея превосходительству!

— Хорошо, хорошо!

— Въ Тетюшахъ не забудь, голова, забросить!..

— Auf widersehen, mein liebster! auf wiedersehen!

— Не плачь, бабонька! Ничаво!

— Ей!.. косушку!.. косушку-то!..

— Есть!

— Шерочка! dites à la princesse, quand elle reviendra...

— Маничку поцѣлуйте!..

И т. д. и т. д.

Головы кивали, нѣкоторыя руки крестились, бѣлые платки кое-гдѣ мелькали въ воздухѣ; рядомъ съ ними крутились шапки въ поднятыхъ рукахъ. Иныя лица глупо улыбались, иныя кисло слезливались и куксались. Полоярровъ вздохнулъ совсѣмъ свободно и вышелъ изъ-за трубы.

— Ардальонъ Михайлычъ! Ардальонъ Михайлычъ!—раздались отчаянные голоса съ пристани.

Онъ съ неудовольствіемъ метнулъ взоръ въ ту сторону. Тамъ, протискавшійся къ самому борту, стояли, вопили и махали ему руками запыхавшіяся Анцыфровъ и удивленная Лидинька Затцъ.

Ардальонъ приподнялъ войлочную шляпу.

— Мы сейчасъ только-что отъ васъ,—кричала

Лидинька.—Что это значитъ?.. Такъ внезапно!.. Куда это?

— Къ чорту на кулички!—ухмыльнулся Полоярровъ и сдѣлалъ ей ручку.

— И даже не простившись!.. Хорошо, батюшка!

— Чего тамъ «непростившись»? Ну, прощайте!.. Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!—продекламировалъ онъ и захохоталъ своимъ несуразымъ смѣхомъ.

— Свиныя!—злостенно буркнула ему Лидинька и оскорбленно отвернулась.

— Что-жъ это?... Что-жъ это теперь?... Какъ же я-то?—въ недоумѣніи разставляя руки, лепеталъ смущенный Анцыфровъ.

Лидинька не отвѣчала ему и съ видомъ разсѣяннаго равнодушія оглядывала суетню удалявшейся въ городъ публики.

Анцыфровъ, какъ брошенный на берегу пеньокъ, который, приподнявъ переднюю лапку, визгливо тавкаетъ и смотритъ, вилая хвостикомъ, на удаляющагося хозяина, провожалъ теперь глазами все далѣе и далѣе отходящій пароходъ и недоумѣло шепталъ себѣ:

«Господи!.. Какъ же я-то теперь, ей-Богу!.. Какъ же это, право!..»

— Володенька!—повернулась къ нему Затцъ, когда на пристани почти уже никого не осталось,—давайте мнѣ вашу руку. Объявляю вамъ, что отнынѣ я назначаю васъ безсмѣннымъ адъютантомъ при моей особѣ.

Послѣднія слова были сказаны ею не безъ игриваго кокетства, что весьма удивило плюгавенькаго пискуна, ибо Лидинька никогда еще не обращалась къ нему въ подобномъ тонѣ.

— Ну, что же вы, хомякъ эдакой!—дернула она его за рукавъ.—Слышали мое приказаніе? Давайте руку и пойдемте.

Анцыфровъ самодовольно пискнулъ, и крепделькомъ подставивъ руку, на которую крѣпко и выразительно оперлась стриженная дама, задорнымъ воробьемъ поскакалъ съ нею вверхъ по сходнямъ.

XXXII.

Въ Жегуляхъ.

На лѣвомъ берегу Волги, у протока Куней Воложки, окруженной темными лѣсистыми горами, приютился городокъ Ставрополь со своими двумя каменными церковками. Начиная отъ этого городка, Волга беретъ прямо къ востоку до двухъ совершенно однообразныхъ, похожихъ одна на другую, каменистыхъ горъ, которыя называются поэтому «Двумя Братями». Одинъ братъ стоитъ на правомъ берегу, другой какъ разъ насупротивъ его, на лѣвомъ. Съ этого послѣдняго мѣста будетъ виднѣться уже направо къ югу, въ голубоватой дали, городъ Самара. Отъ Самары Волга круто пой-

доть на западъ, вплоть до города Сызрани. Нѣсколько выше Ставрополя, на правомъ берегу, лежить деревня Жегуля, и весь заворотъ Волги отъ Жегулей до Сызрани извѣстенъ подъ именемъ Луки Самарской. Въ Россіи рѣдко найдется мѣсто красивѣе горъ Жегулевскихъ, извѣстныхъ просто подъ именемъ Жегулей. На всемъ протяженіи ихъ, верстъ на восемьдесятъ, Волга, скатая между крутизнами, словно широчайшій каналъ, течетъ ровно, прямо, стрѣлой. «Словно бы она тутъ тобѣ вразъ кнутомъ шибанута», говорятъ о ней мѣстные поволжане, характеризуюа прямолинейное гатравленіе своей «матушки».

Дичь, глушь, тишина и величіе.

Вонъ потянулось они вверхъ, на восемьдесятъ и на сто сажень надъ рѣчнымъ уровнемъ, эти утесистые великаны: то цѣлая сплошная масса ровно тянется съ версту, словно валъ гигантской крѣпости, заросшая дремучимъ, темнымъ, непроходимымъ лѣсомъ; то, глядишь, сплотился цѣлый рядъ скалистыхъ конусовъ, покрытыхъ, словно зеленой мерлушкой, кудрявымъ кустарникомъ. Подъемъ туда, на эти вершины, почти неприступенъ: тамъ гнѣздится соколъ, плаваютъ крупный крапчатый коршунъ да орель-бѣлохвостъ. По дѣвственнымъ вѣтвямъ прыгаетъ большая бѣлка-бѣлянка; при корняхъ сѣро-пестрый гадъ ползаетъ, а ниже, межъ водомойнъ и узкихъ ущелій, въ трупобахъ да въ берлогахъ, да въ каменныхъ пещерахъ, вырытыхъ либо водой, либо временемъ, залегаетъ черный и красноватый медвѣдь, порскаетъ лисица, рыщетъ волкъ понурый да ходитъ человекъ бездомный, котораго народъ знаетъ подъ общимъ именемъ «куклима четырехсторонней губерніи», а самъ онъ себя при дознаніяхъ показываетъ спокойно и просто «Иваномъ родства непомнящимъ».

Плывешь ты внизъ по рѣкѣ, а справа по горамъ точно развалны замковъ какихъ-то разбросаны: вонъ, точно столбъ какой или обломленная колонна высится, и на вершинкѣ ея тонкое деревцо у самаго края прилѣпилось. Вотъ, подпертая контрофорсами, выступаютъ остатки стѣнъ какого-то замка съ разрушенными башнями, и точно бы еще скважины бойницъ и амбразуры оконъ видны тамъ; вонъ цѣлый бастионъ выдается угломъ впередъ, и весь онъ украшенъ причудливыми нишами да колонками. И невольно даешь ты разгулъ воображенію, которое на каждомъ шагу поражается этими обломками какой-то стародавней, фантастической, вѣками изжитой уже жизни... Но... никакихъ замковъ, никакой особо фантастической жизни и ничего никогда тутъ небывало, а всѣ эти чудеса понадѣлала природа изъ скалистыхъ известковыхъ горъ, да вѣчная Волга, которая прорыла да пробуравивала въ этихъ скалахъ множество причудливыхъ пещеръ и водомойнъ. То насуваются тихія горы

къ самой водѣ почти отвѣсными скалами, то разодвинутся узкимъ глубокимъ ущельемъ, въ которомъ взоръ замѣчаетъ другія, за другими третьи курчавыя и сизо-темныя лѣсистыя вершины. Налетитъ вѣтеръ, и пойдетъ по горамъ ровный гулъ и мягкій шумъ и шопотъ между лѣсами. Набѣжитъ гроза, и посыплется трескучіе, громоносные, долгиe раскаты, которые переливисто подхватываетъ и несетъ по дальнимъ ущельямъ гудкое, содрогająceеся горное эхо. Жегулевскій старецъ-отшельникъ перекрестится въ отвѣтъ «Вѣжему гнѣву» и тихо зачитаетъ про себя псаломъ: «Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго». Въ Жегуляхъ, по природнымъ пещерамъ, либо въ нарочито вырытыхъ землянкахъ, спасаются иные старцы-отшельники; но всѣ они принадлежатъ не «Никоновской церкви», всѣ они люди «древняго благочестія». Скрудно и сурово-подвижнически живетъ жегулевскій старецъ, въ постѣ и молитвѣ, и дикій звѣрь его не трогаетъ, и гадъ ползучій не жалитъ. По зарямъ выходитъ онъ молиться на востокъ, и мѣрно владетъ земные поклоны. Вотъ пароходъ «бѣжитъ» мимо, старецъ долго машетъ ему бѣлымъ рушникомъ и шлетъ свое благословеніе странствующимъ и путешествующимъ. Вонъ по низу бурлаки съ однообразнымъ, протяжнымъ стономъ идутъ бечевою, старецъ съ вершины горы своей благословляетъ труждающагося и обремененнаго человека, и бурлакъ, завидѣвъ святого старца, благоговѣнно на ходу обнажаетъ свою облитую потомъ голову. А взобравъ на вершину да глянуть окрестъ себя — Господи! что за кругозоръ откроется предъ тобой! что за даль раскинется тамъ верстъ на девяносто въ окружности! Вонъ подъ ногами, внизу, эта полоса Волги, «кнутомъ шибанутая», а тамъ, въ далекой-далекой дали «Сенгилѣвы Уши» виднѣются. Обернись на югъ, на западъ — замѣтишь индѣ искры солнца на крестахъ церквей православныхъ. Вонъ онъ, этотъ размашистый просторъ, эта необъятная ширь свято-русская! Вонъ она!

И долго, до самаго «Царева Бугра», до самыхъ «Двухъ Братьевъ» тянется эта безлюдная, дико и сурово-прекрасная пустыня. На всемъ протяженіи ея приткнулись по рѣдкимъ лоцинкамъ три-четыре деревни, и окрестъ этихъ сѣрыхъ деревнюшекъ мѣсто всегда такое хорошее, красивое, благодатное и покрытое тучной пашней, либо сочнымъ, веселымъ лугомъ. Близъ деревень, по берегу рѣки, у подножія нѣкоторыхъ скалъ, крестьяне мѣстами жгутъ извесь и промышляютъ ею. Сказываютъ тоже иные изъ усольскихъ и жегулевскихъ мужиковъ, будто въ горахъ, кромѣ извести да сѣры, есть и золото самородное; но слова ихъ никѣмъ еще не провѣрены на дѣлѣ.

Теперь по Волгѣ то и дѣло «бѣгаютъ» па-

роходы, и потому бурлакъ спокойно себѣ тянетъ бечеву Жегулями и спокойно плыветъ мимо ихъ расшива и бѣлыя, а еще не далѣе какъ лѣтъ двадцать назадъ Жегули, это классическое мѣсто волжскихъ разбоевъ, были далеко не безопасны. Вдругъ, бывало, надъ гладью рѣки раздастся зычно молодецкое *сарынь на кичку!*—и судохозяинъ вмѣстѣ съ батраками, въ ужасѣ, ничкомъ падаетъ на палубу и лежитъ неподвижно, пока въ его суденышкѣ шараютъ, хозяйничаютъ да шалятъ вольные ребята.

Но если оживленіе стало на рѣкѣ, то въ горахъ, по стародавнему — все та же тихая, дивно-дикая пустыня. Тутъ гулялъ нѣкогда «батьюшка», котораго понизовскіе поволжане обзываютъ въ разсказахъ то «Стенькой», то чествуютъ и величаютъ по изотчеству «Тимоененчемъ». Вамъ и теперь укажутъ въ Жегуляхъ нѣсколько горъ и овраговъ, которые называются Стенькиными горами и Стенькиными оврагами. Здѣсь всецѣло живутъ богатые преданья о понизовской вольницѣ, потому что и обсадили-то эти мѣста все больше бѣглецы изъ помѣщичьихъ да монастырскихъ крестьянъ, да кое-кто изъ служилаго люда, словомъ, тотъ народъ, который въ устахъ своихъ теперешнихъ потомковъ, когда ихъ спрашиваютъ про предковъ, характеризуется словами, что былъ, молъ, это всякій сбродъ да наволока.

Надъ Жегулями собирались тучи. Въ лѣсу былъ сумрачно и такъ тихо, какъ будто все, что ни есть въ природѣ, притаило дыханье. Листъ шелестя упадетъ съ дерева, птица пугливо затрепещетъ крыломъ, сухая хворостинка хрустнетъ подъ ступнею зайца—все эти звуки чутко слышатся въ пригнетенномъ, недвижномъ воздухѣ. Надъ горами скапливалась гроза—первая весенняя гроза. Дѣло шло къ вечеру, былъ часъ восьмой въ началѣ. По лѣсу брели два человѣка, одѣтые въ простыя сермяги, съ небольшими котомками за плечами. Опираясь на свои самодѣльные дубинки, они ступали довольно бодро и видимо торопились добраться, пока до грозы, до какого-нибудь жилья.

Вдругъ зашумѣло и загудѣло по лѣсу—и этотъ мѣрный и ровный гулъ, начавшійся гдѣ-то издавеча, побѣжалъ по лѣснымъ пространствамъ, пригнетая деревья на вершинахъ и сердито воя по ущельямъ. Только на днѣ глубокихъ овраговъ, залегшихъ котловинами между горъ, было все тихо и глухо: туда не залеталъ горный вихрь. Стрижи и чайки, учуя бурю, низко-низко замелькали зигзагами надъ рѣкой, черкая воду своимъ острымъ крыломъ. Воронѣ тревожно закаркало и стаями съ разныхъ концовъ потянуло куда-то на югъ, а гулъ все шелъ да шелъ по лѣсамъ и слышался въ немъ скрипучій и рѣзкій трескъ ломаю-

щихся стволовъ и сучьевъ. Лѣсная сова одиноко гукала на какомъ-то деревѣ, и въ этомъ гуканьи было нѣчто такое жалобное и похожее на дѣтскій больной стонъ, что прохожихъ невольно хватала за сердце пугливая тоска. Вдругъ въ лилово-свинцовой тучѣ какою-то судорогою затрепетала молнія и съ быстро перерывчатымъ трескомъ брызнула изъ нея бѣлый огонь внизъ на горную вершину. Въ ту-жъ минуту, съ того самаго мѣста, гдѣ упалъ онъ, пока еще громовые раскаты перекликались по ущельямъ, закурился бѣлый дымокъ: какое-то дерево загорѣлось. Нѣсколько тяжелыхъ капель прилеплились на листья. Дрогнула еще одна молнія въ другомъ концѣ неба—и сразу послѣ нея зашумѣлъ частый и ровный ливень. Съ этимъ мгновеніемъ какъ будто немножко полегчало въ природѣ: дождевая влага разрѣжала эту густую, насыщенную электричествомъ сухость воздуха.

Путники спустились въ оврагъ. По глинистому дну его бурлилъ и крутился пѣнистый ручей, взбученный дождевой водой, и въ немъ кружились и стремительно неслись внизъ оторванные листья, сучья, вѣтви, корни и комья земли да глины, сейчасъ только отмытые отъ грунта.

Вдругъ, въ серединѣ ската, у подошвы каменистой скалы, путники замѣтили человѣческую фигуру. Это былъ высокій, босой старецъ въ длинной, холщевой рубахѣ, съ обнаженной, лысой головой, который спокойно глядѣлъ на небо и медленно крестился. Вѣтеръ взвѣивалъ остатки его волосъ и длинную совсѣмъ сѣдую бороду.

Въ первое мгновеніе оба путника даже вздрогнули и отступили шагъ назадъ—до того было неожиданно и странно это внезапное появленіе такой необыкновенной человѣческой фигуры, подъ страшною грозою, въ этой дикой пустынѣ.

— Э! жегулевскій старецъ!—оправясь отъ внезапнаго впечатлѣнія и отчасти обрадовавшись, сказалъ своему товарищу тотъ, который постарше.

— Гей! дѣдушка! — закричалъ онъ вслѣдъ за тѣмъ, сѣясь перекричать гулъ бури,—пусти, Христа ради, переждать грозу!

Тотъ повернулъ на крикъ голову и сталъ вглядываться да вслушиваться: кто зоветъ и что кричатъ ему?

— Грозу переждать пусти! — еще громче повторилъ спутникъ.

Старецъ призывно замахалъ имъ рукою и знаками силился указать имъ тропинку, по которой слѣдуетъ спуститься.

Путники уразумѣли, и хватаясь одной рукою за мокрая вѣтви, а другой опираясь на дубинки, осторожно стали сходить внизъ по крутому и склизкому скату.

— У него вѣрно тутъ землянка гдѣ-ни-

будь, — сказал старший. — Смотри, входя не забудь перекреститься, а то выгнать, пожалуй. Съ этимъ народомъ надо умѣть ладить: народъ нужный; ужъ я немножко успѣлъ изучить ихъ!

Спутникъ не отвѣчалъ, но къ свѣдѣнію принималъ.

Еще не доходя нѣсколькихъ шаговъ до старца, передній почтительно снялъ шапку и низенько поклонился; «лучше пересолить, чѣмъ не досолить», подумалъ онъ. Товарищъ его неукоснительно повторялъ все то, что продолжалъ наболѣвший.

— Миръ вамъ! — степенно и просто поклонился старецъ. — Переждите пока.

— Впусти, дѣдушка! Мы люди добрые, — молвилъ старший.

— Коли добрые, и того лучше, опять поклонился тотъ; — а и злой человѣкъ такъ все одно же: злему человѣку взять съ меня нечего! Войдите Бога-для! Милости просимъ.

— Благослови, дѣдушка!

И старший, склоняясь передъ старикомъ, прошелъ вмѣстѣ съ товарищемъ въ узкій проходъ, завѣшенъй простой цыновкой.

Это была пещера, высѣченная самою природою въ глубинѣ известково-каменистой скалы. Внутренность ея слабо освѣщала огонекъ неугасимой лампы передъ образами очень древняго письма, которые помѣщались на деревянной полочкѣ, вдѣланной въ каменную стѣну. По другой стѣнѣ держались двѣ другія полочки: на одной лежало нѣсколько книгъ въ древнихъ кожаныхъ переплетахъ съ застежками; на другой — коровай пшеничнаго хлѣба, да съ десятокъ луковокъ и кой-какая скудная деревянная посуда. Въ углу была свалена грудка картофеля. Обрубокъ сѣна, перетасченный сюда изъ лѣсу, замѣнялъ столъ, а ворохъ сѣна, покрытый старенькимъ овчиннымъ тулупомъ, служилъ постелью старцу-отшельнику.

— Вотъ гроза перейдетъ, разложимъ костерокъ, — сказалъ старецъ; — тогда обсушитесь, а пока — Господь съ вами... Посидите, на постели-то...

— Эка нѣпогоди! ужасъ просто! — замѣтилъ младшій. — И съ чего это вдругъ поднялось!

— Божья благодать! — простодушно и кротко молвилъ старецъ. — Какъ хлѣба-то пойдутъ!.. Землѣ прохлада и насыщеніе. Жарынь-то какая стояла-все!..

И онъ пошелъ изъ пещеры.

— Дѣдушка, вѣдь тебя измочить всего?

— Э, милый! гроза — Божье дѣло!.. Богъ съ небеси, значитъ, всякую тварь земную святою водою своею кропитъ. Въ это время молиться надо.

И онъ скрылся по ту сторону цыновки.

— Послушай-ко, Шишкинъ, штука хорошая! — шопотомъ началъ Свитка, чуть лишь они остались одни. — Вѣдь эти старцы имѣютъ

огромное вліяніе на народъ; къ нимъ вотъ сюда и подаваніе приносятъ, и за совѣтомъ, и за поученіемъ идутъ — святыми почитаютъ — кабы этому старцу-то, что называется, очки втереть? Настроить бы по-легоньку на такой ладъ, чтобы самъ подходящую пѣсенку запѣлъ?... А?... Что ты на это скажешь?

— А что-жъ, надо воспользоваться! — согласился Шишкинъ, — только съ чего начать? Какъ приступить-то?

— Ну, тамъ увидимъ! Къ чему-нибудь приступимся.

Гроза все еще продолжалась. Но дождь шумѣлъ уже тише и ровнѣе, припускаясь иногда только на минуту съ новою, тревожно-напряженною силою и опять ослабѣвая. Блескъ молніи не залеталъ въ пещеру, и громовые удары слышались въ ней глухо. Казалось, будто вся эта сила гудитъ и гремитъ гдѣ-то тамъ, выше, надъ землею, а здѣсь — такая тишина, миръ и спокойствіе въ этомъ ровномъ, кроткомъ, колеблющемся мерцаніи лампы, озаряющей темные, сурово-строгіе, святыя лики. Но вотъ громовые удары стали все рѣже и глуше, и мѣрный шумъ дождя, все болѣе слабѣя, почти прекратился.

Вскорѣ отшельникъ снова появился въ кельѣ.

— Ну, что гроза, дѣдушка?

— Перешла, слава Господу!.. Пошла теперь туда на востокъ, на Самару, а на закатѣ расчистило... Солнышко садится.

Путники выглянули изъ-подъ цыновки.

Въ воздухѣ разнеслась живительная свѣжесть, вмѣстѣ съ тихою вечернею прохладою. Листва стала какъ-то крѣпче и темнѣе, словно вся она подбодрилась, вымылась, наполнилась и напиталась во время грозы, и теперь такая сочная, свѣжая и нарядная спокойно готовится къ ночи, на сонъ грядущій. Тамъ, вдали на востокѣ и земля, и небо, и рѣка, — все было темно и подернуто сизо-свинцовымъ колоритомъ. Уходящія тучи, въ которыхъ порою все еще судорожно вздрагивали зеленовато-бѣлые и лиловые молніи, красовались тѣми разнообразно-суровыми и красивыми тонами, которыми всегда бываютъ окрашены разорванные облака удаляющейся сильной грозы. А на западѣ все небо, весь воздухъ, и вода и скалы, и верхушки деревьевъ были залиты ярко-розовымъ, золотистымъ блескомъ заката. Прямо надъ головою висѣло далеко-далеко ушедшее въ глубь густо-синее небо, по которому кое-гдѣ неслись еще разорванные клочья бѣлыхъ, полупрозрачныхъ облаковъ. Вся природа бодро и тихо дышала какою-то неизъяснимою прелестью и могуче-спокойною силою молодой, обновленной жизни.

— Эка красота... красота-то какая! съ полнымъ наслаждающимся вздохомъ раздался тихій голосъ позади путниковъ.

Оба обернулись. За ними стоялъ старецъ и глядѣлъ вдаль, на закатъ, на горы и воды, играющія золотыми, струистыми полосами. На лицѣ его стояла безмятежная, свѣтлая улыбка.

— Ну, вотъ, дѣтushки, теперь и костерокъ разложимъ, пообсушимся да картошки подваримъ, дѣло-то и ладно будетъ!

И онъ опустился на нѣсколько сажень въ оврагъ. Тамъ находилась другая небольшая пещерка. На полу былъ сложенъ валежникъ, сушолье да дрова, а подъ потолкомъ сережками подвѣшены связки вяленой рыбы облы, которую поволжане зовутъ «воблой», мережи да лѣсы съ удочками. Старикъ иногда занимался рыболовствомъ. Онъ притащилъ теперь изъ своего запаснаго магазина связку сухой облы да охапку хвороста и разложилъ костеръ на площадкѣ, предъ входомъ въ свою келью. Двѣ-три пригоршни прошлогоднихъ листьевъ, подожженныхъ съ помощью трута, быстро занялись пламенемъ: огонекъ затрещалъ и побѣжалъ по прутьямъ, изъ костра закурился ѣдкій бѣлый дымокъ. Черезъ нѣсколько минутъ валежникъ горячо разгорѣлся. Старикъ подвѣсилъ надъ нимъ на треногѣ небольшой котелокъ съ водой и картофелемъ и, вмѣстѣ съ гостями своими, присѣлъ на корточкахъ, поближе къ огню, сушиться. Тѣ ждали, что онъ начнетъ спрашивать ихъ, что за люди, откуда и куда путь держать и зачѣмъ идутъ; но старикъ даже и не подумалъ предложить хоть одинъ изъ подобныхъ вопросовъ. Это все было для него дѣло постороннее, чуждое, мірское; онъ зналъ только, что къ нему пришла два человѣка просить гостепріимства, и радушно предложилъ имъ все, что могъ, какъ предложилъ бы каждому, кто пришелъ бы къ нему за этимъ.

— Что, дѣдушка, хорошо въ пустынь-то? — спросилъ Василій Свитка.

— Хорошо, милый человѣкъ, хорошо! Тихо!

— И не страшно тебѣ?

— Зачѣмъ страшно? Человѣкъ одного только гнѣва Божьяго да дня суднаго страшиться долженъ.

— А звѣрь всякій? а змѣя? Вѣдь тутъ ихъ всего этого страсть! — подхватилъ Шипкинъ.

— Звѣрь не трогаетъ и змѣя не кусаетъ, потому имъ отъ Бога такой предѣлъ положенъ. Звѣря ты не тронь, и онъ тебя не тронетъ. Онъ на этотъ счетъ тоже справедливый. Ну опять же кто Бога знаетъ, тому по писанію «дадеся власть наступити на змію и скорпію и на всю силу вражію». Значитъ, чего-жъ тутъ страшиться? Надо только вѣру имати. Сказано: «отъ Господа вся возможная суть».

— И въ міръ не хочется? — спросилъ Свитка.

Старецъ тихо поглядѣлъ на него и взгляды его словно бы выразилъ: чего это малый пугаетъ-то бланзо?

— Въ міръ? — молвилъ онъ, помолчавъ немного. — Да что въ міру-то дѣлать? Я и тутъ въ міръ... Вотъ онъ, міръ Божій, окрестъ меня... и тихъ и прекрасенъ... Чего же еще-то?

— Да, чѣмъ дальше отъ людей, тѣмъ лучше, — замѣтилъ Шипкинъ. — Теперь въ міру-то Богъ вѣсть что дѣлается!.. Кажись, никогда еще такого не бывало... Вѣру, дѣдушка, обижать!

Старикъ внимательно посмотрѣлъ на юношу.

— Вѣру? Какую такую вѣру-то?

— Нашу, дѣдушка, нашу! Христіанскую.

— Кто-жъ обижаетъ-то?

— Какъ кто!.. Извѣстно, начальство, власти...

Тотъ, прежде чѣмъ отвѣтитъ, еще разъ внимательно поглядѣлъ на обоихъ.

— За что-жъ имъ свою-то вѣру обижать? — возразилъ онъ. — Они, напротивъ того, блюдутъ свою вѣру-то; имъ не стать обижать ее.

— Да имъ это все одно, дѣдушка!

Старикъ тихо улыбнулся. «Молодо — зелено», сказала улыбка его.

— Нѣтъ, чадушко, не все одно! — вздохнулъ онъ. — Ты какую вѣру разумѣешь-то? Вѣры есть разныя, и всяка себя православной нарицаетъ. Кабы нашу вѣру обижать, ну, это дѣло иное, потому вѣра наша старозаконная. Она же просія дrevле съ южныхъ странъ, отъ Кіева града. А нынѣ пошла все вѣра искаженная лашецами да цепотниками. Одни только наши отцы, что живутъ въ нѣмцахъ да въ туркахъ, прости Господи, остались невредимы въ вѣрѣ-то. А спаслись они по старымъ книгамъ, которыя писаны прежде Никона патріарха, ходяще по образу Божію и по подобію его. А которые и по Россіи живутъ, такъ и тѣхъ, слышно, нынѣ не трогаютъ. Да и что же трогать, коли они, по писанію, кряхуся въ горахъ и вертепахъ, и въ пропастьхъ земныхъ, и никому никакого зла не творять?

— Э, дѣдушка! да мало ли гоненій на васъ бывало! Такъ неужто же все это терпѣть!.. Да до коихъ же поръ?

— А что же, милый? Гоненьевъ точно-что много было. Ну, гонимы — и терпимъ; хулимъ — утѣшаемся о Господѣ нашемъ. Упованіе наше Отецъ, прибѣжище наше Сынъ, покровитель есть Духъ Святъ, и защита наша есть самъ Спаситель, равно соцарствующій Святой Троицѣ. Ты вотъ такъ строитиво мыслишь: до коихъ, молъ, поръ терпѣть-то?.. А что сказано-то? Сказано: «претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ». Значитъ и терпи.

— Да; вотъ какъ поляки, напимѣрь, тѣ тоже такъ разсуждаютъ, — сказалъ Свитка. — Ихъ тоже въ Польшѣ ужъ какъ вѣдь мучаютъ! И казнять и огнемъ жгутъ, и въ Сибирь ссылаютъ тысячами, а они все терпѣли и терпятъ... Только собираются всѣмъ народомъ въ церковь Богу молиться за свое горе, чтобы Богъ избавилъ ихъ, а въ нихъ тутъ, въ самомъ же храмѣ Божьемъ,

изъ ружья стрѣляютъ, штыками колютъ... и женщинъ, и малыхъ дѣтей, всѣхъ безъ разбору!

Старикъ сострадательно покачалъ головою.

— Кто-жь это ихъ такъ-то?—спросилъ онъ.

— Какъ кто!.. Да все наши же, русскіе! Солдаты... начальство.

— Ну, нѣтъ, милый! Это ты, должно, блазное слово молвишь! Чтобы русскій человѣкъ малыхъ ребятъ сталъ штыкомъ колоть, этого ни въ жизни невозможно! Вотъ у насъ, точно что бывало, злоторцы наши, чиновники земскіе понаѣдутъ, молебны позапираютъ, иконы святые отберутъ, иной озорникъ и надругательство какое сотворить, это все точно бываетъ объ иную пору, а чтобы бабъ съ ребятами въ церкви колоть—это ужъ неправда!

— Чего неправда!—горячо подхватилъ Шинкинъ;—а вотъ недавно еще, съ мѣсяцъ назадъ, въ Славнобубенской губерніи, въ Высокихъ Снѣжкахъ, помѣщики да генералы съ солдатами по-мужикамъ стрѣляли! Сколько народу-то перебили, говорятъ! Страсти просто!

— Для чего-жь это они стрѣляли?—недовѣрчиво спросилъ старецъ.

— А такъ вотъ! Здорово живешь!

Тотъ съ видимымъ недовѣріемъ сомнительно покачалъ головою.

— Нѣтъ, что-нибудь да не такъ,—сказалъ онъ. — Здорово живешь стрѣлять не стануть... Знавалъ я нѣкогда и Высокіе Снѣжки, хорошее село. Только тамъ вѣдь больше все, почитай, народъ никоніанецъ живетъ. За что же въ нихъ стрѣлять-то. Помѣщику своихъ крестьянъ морить—себѣ же убытокъ.

— А за то, за самое, что имъ теперь волю дали! Помѣщики злы на это!

— Хм... злы-то, оно можетъ и злы, да вѣдь кто же волю-то далъ? Вѣдь царь далъ? А солдаты чьи? Все царскіе же? Такъ какъ-же-жь царь пошлетъ солдатъ бить крестьянъ за свою же волю? Это ты, малый, не вѣсть, что городишь! Тутъ, вѣрно, что-нибудь да не такъ!..

— Да вѣдь быть-же, напримѣръ, хотъ тѣхъ-же самыхъ поляковъ, ни за что, ни про что!—подвернулъ Свитка свое слово.

— Поляка коли и быть, такъ за то, что полякъ бунтуетъ, — увѣренно возразилъ старикъ. — Онъ еще издревле мутитъ землю Русскую, все подъ свой римскій крыжъ поддаты насъ хочетъ, за то его и быть... Поляка, милый, быть, за дѣло. А впрочемъ, не нашему разуму судить про то!—рѣшительно завершилъ старикъ, — и вы меня, милые, такими рѣчами не блазните! не смущайте меня!.. Я этихъ самыхъ дѣлъ не знаю, и не вѣрю вамъ, и слушать не желаю!.. Мнѣ не о томъ надлежитъ помысленіе имѣть! А вотъ и картошка никакъ поспѣла!—заглянулъ онъ въ котелокъ. — Вотъ и поѣдимъ съ рыбицей. Ыщите себѣ, ничтоже сумняся! Милости просимъ!

Онъ отдѣлилъ себѣ въ особую посудинку

нѣсколько картофелинъ, а остальные подвинулъ гостямъ своимъ. И всѣ молча, съ молитвой, по примѣру старика, принялись за ужинъ.

Наступила уже ночь, а съ ея тишиной стало опутительнымъ то особенное явленіе, которое лѣтомъ всегда замѣчается на Волгѣ: вдругъ, откуда-то съ юга пахнетъ въ лицо тебѣ струя теплаго, сильно нагрѣтаго воздуха, обвѣтъ всего тебя своимъ нѣжащимъ, мягкимъ дыханіемъ, то вдругъ вслѣдъ затѣмъ, съ сѣверо-востока рѣзкимъ холодкомъ потянетъ и опять, спустя дѣкоторое время, теплая струя, и опять холодокъ, а въ промежуткахъ — ровная тишь и мягкая ночная прохлада. Изъ-за горъ показался край полнаго мѣсяца въ темно-синемъ, чистомъ небѣ, и сквозь необыкновенно прозрачный воздухъ на золотистомъ дискѣ этого мѣсяца отчетливо и рѣзко вырисовывались черныя вѣтви молодыхъ деревьевъ на той вершинѣ, изъ-за которой онъ прорѣзывался. Гдѣ-то иволга тихо стонала; дикія утки крикали изрѣдка подъ берегомъ, а по водѣ, волнистыми струями, начинали бродить прозрачные туманы. И тихое безмолвіе жегулевской ночи нарушалось иногда только мѣрнымъ шумомъ парохода, который выбрасывалъ изъ трубы мѣриады красныхъ искорокъ, длинной полосой кружившихся змѣйками за кормомъ.

Путники улеглись въ пещерѣ, а на площадкѣ долго еще молился жегулевскій старецъ, кладя положенное число поклоновъ, и — пока до сна — разсѣянное ухо молодыхъ людей слышало слова благоговѣйной молитвы: «Боже, милостивъ буди ми грѣшному!.. Боже, направи ми на путь Твоея святая истины и отъ злыхъ избави и отврати помыслы отъ лукаваго, да нѣтъмъ же смущаемъ предстану предъ Тобою!»

XXXIII.

Золотая грамота.

Утро встало тихое, сіяющее. День былъ воскресный. Судя по солнцу, должно быть, былъ уже часъ одиннадцатый. Путники спускались съ горы въ лощину, гдѣ засѣла небольшая деревнюшка, дворовъ въ сорокъ. Еще издали можно было легко отличить кабакъ по той нестрой кучкѣ народа, которая стояла и галѣла передъ крылечкомъ... Кабачная изба глядѣла наряднѣе прочихъ. Между сермягой и пестрядью ярко выдѣлялся кое-гдѣ розовый, желтый и голубой ситецъ, давая чувствовать собою каждому, что день дѣйствительно былъ праздничный. У кабака стояла небольшая крашеная тележка въ одну лошадку, въ какихъ обыкновенно ѣздить малой руки управляющіе, сельскіе попы, да приказчики хлѣбныхъ торговцевъ, скупающіе товаръ на мѣстѣ. Сытая лошадка стояла безъ привязи, потупя голову и терпѣливо отмахивалась хвостомъ отъ докуч-

ливой волжской мошки. Встрѣченные лаемъ собакъ, отмахиваясь отъ нихъ дубинками, вступили путники въ деревню и прямехонько направились къ кабаку.

— Съ праздникомъ, господа честные!—мимоходомъ поклонились они кучкѣ народа, взбираясь на крылечко.

— И васъ съ тѣмъ же!—отвѣтили имъ.— Откуда Богъ несетъ?

— Съ подь-Новодѣвичья... Пока, до Самары бредемъ.

— А что такъ?

— Да такъ... бурлачили, да животомъ заболѣли подь Новодѣвичимъ-то... Приказчикъ и покинулъ... Теперь бредемъ, пока Богъ дастъ что.

— Ну, помогай вамъ Христосъ!

И они прошли въ кабачную горницу, разсѣлись въ уголку передъ столикомъ и спросили себѣ полуштофъ. Передъ стойкой, за которой возсѣдала плотная солдатка-кабатчица въ пестрыхъ ситцахъ, стояла кучка мужиковъ, съ которыми вершилъ дѣло захмѣлѣвшій кулакъ, въ синей чуйкѣ нѣмецкаго сукна. Рѣчь шла насчетъ пшеницы. Повидимому, только-что сейчасъ совершенно было между ними рукобитье и теперь запивались магарычи. Свитка досталъ изъ котомки гармоникѣ и заигралъ на ней развеселую пѣсню.

Шишкинъ молодецки хватилъ шкаликъ, подщелкнулъ языкомъ, поморщился и крикнулъ, да закусилъ со стойки сухарикомъ и захватски заплѣлъ подь гармоникѣ:

Какъ алодѣюшка чужа жена,
Да прельстила добра молодца меня,
За колѣчушко я бракъ! бракъ! бракъ!
А собачушка-то тяфъ! тяфъ! тяфъ!
А сердечушко-то юкъ! юкъ! юкъ!
А какъ мужъ во дворъ да скокъ! скокъ! скокъ!
Мою спинушку набухали,
Что четырьмя ли обухами,
А какъ пятый-то кистень
По бокамъ свистѣлъ.
Ой, свистѣ! свистѣ! свистѣ!
Плетка хлыстѣ! хлыстѣ! хлыстѣ!

— Эка черти! Важно! важно! — крикнулъ приказчикъ, подернувъ плечомъ и стукнувъ кулакомъ по стойкѣ.—Тетка! Ставь еще сладкой водки!

Заслыша звуки гармоникѣ, въ кабакъ повалила и та кучка народа, что галдѣла предъ крылечкомъ. Солдатка привѣтливо ухмылялась, чуя хорошую выручку. Путники межъ тѣмъ, не обращая вниманія на новыхъ слушателей, продолжали свое дѣло. Свитка перемѣнилъ пѣсню и заигралъ новую. Шишкинъ съ той же молодецкой ухваткой, выразительно подмигивая нѣсколькимъ молодыцамъ да дѣвкамъ, ухарски подхватилъ ее:

Пѣтушокъ, пѣтушокъ,
Золотой гребешокъ!
Зачѣмъ рано встаешь,

Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
Съ милымъ спать не даешь?
И я встану ли, младешенька,
Раннимъ рано ли, ранешенько,
Я умоюсь ли, младешенька,
Бѣлымъ мылицемъ бѣлешенько,
Я взойду ли подь насѣсточку,
Пѣтушка возьму за крылышко,
За правильное за перышко,
Я ударю объ насѣсточку:
Еще вотъ-тѣ, пѣтушокъ,
За ночной за смѣшокъ!
Зачѣмъ рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
Съ милымъ спать не даешь!

— Ишь ты, какъ бурлаки-то пѣсни играютъ!—восхищались въ кучкѣ народа.—Ай, лядъ жѣ дери ихъ!.. Хорошо, бирай!.. Что и говорить!.. И отколь это такіе развеселые.

Пѣсни, видимо, душевнымъ образомъ располагали народъ въ пользу двухъ бурлаковъ. Надо было еще болѣе завладѣть этимъ хорошимъ, привѣтливымъ расположеніемъ, чтобы тѣмъ успѣшнѣе подготовить начало дѣла.

Шишкинъ подмигнувъ товарищу, налилъ еще немного изъ полуштофа и заплѣлъ новую:

Ой, чтобъ чеба-чобъ
Чеботочки мои!
Черевички невелички,
Алы бархатны!
Ужъ я вышла молода
За новыи ворота,
Черевички скриняетъ,
А молодчики глядятъ.
Ахъ, молодчики глядятъ—
Все гулять со мной хотятъ,
Меня въ гости зовутъ,
Въ карманъ золото кладутъ.

— Ай, лихо играютъ!.. Молодца! ей-ей, молодца!.. Веселые!—замѣчали слушатели.—И съ чего это ихъ такъ раззудило?

— Съ воли радуемся!—обратился къ мужикамъ Шишкинъ,—потому новѣ, ребятушки, совсѣмъ ужъ пошла вольная воля! Слышали, братцы?

— Чего этта?.. Волю?—Какъ-ста не слышать! По церквамъ читали.

— Ну, это не та, что по церквамъ—это совсѣмъ особая!

— Какая особая?—недоумѣло переглянулись въ кучкѣ.

— Напольѣновская! Вотъ какая!—подхватилъ Свитка.—Императоръ Наполеонъ третій, Бонапартъ, подарилъ эту волю.

— Эко чудовый парень!—ухмыльнулись нѣкоторые изъ слушателей.—Банапартъ... анцираторъ!.. Какой-тѣ Банапартъ? У насъ въ Расей одицъ государь Лександра Миколаичъ! Что толкуешь то, несуразный!

— А то и толкую! Слышали, братцы, про Крымскую войну? про Севастополь-то?

— Какъ-ста, не слышать!.. Некрутчина тогда большая была...

— Ну, такъ вотъ, противъ насъ тогда воевалъ французъ...

— И турка!—подсказалъ кто-то изъ кучки.

Свитка глянулъ туда и замѣтилъ отставного солдата въ заплатанномъ солдатскомъ пальтишкѣ.

— Ну да, и турка,—согласился онъ.—Такъ вотъ, Наполеонъ съ тѣмъ только и мировую подписалъ съ нашимъ государемъ, чтобы мужичкамъ безпремѣнно волю дать, а коли не дашь, говорить, такъ будемъ опять воевать, и все ваше царство завоеуемъ.

— Ишь ты, какъ!—замѣчали озадаченные слушатели.—Да что-жъ это ему такая объ насъ забота? Съ чего это?

— Потому и забота, что онъ — добродѣтельный человѣкъ и хочетъ, чтобы всѣ вольные были. Вотъ, сказываютъ, и поляковъ тоже освободить велѣлъ.

— Поляковъ?—подхватилъ солдатикъ. — Ну, ужъ это совсѣмъ напрасно! Полякъ глупъ, его, напротивъ, въ струнѣ надо содержать, а безъ того сейчасъ забунтуетъ.

— Эхъ, голова! какъ это такъ легко сказать!—горячо вступился Свитка. — Если намъ съ тобой хорошо жить на свѣтѣ, и никто насъ не обижаетъ, развѣ мы станемъ бунтовать?—да Господи помилуй! Зачѣмъ намъ это?

— Ну, такъ то мы, а то поляки!—возразилъ солдатикъ.

— Да развѣ не все одно это?

— Нѣтъ, не все! Ужъ про поляка ты мнѣ лучше и не говори. Поляка, братъ, я знаю, потому въ этой самой ихъ Польшѣ мы три года стояли. Первое дѣло—лядащій человѣкъ, а второе дѣло, что на всю-то ихъ Польшу комаръ на хвостъ мозгу принесъ, да и тотъ-то бабы хватали! Это слово не мимо идетъ!

Въ кучкѣ отзывчиво, дружно и весело раздался смѣхъ удовольствія. Очевидно, слово пришлось по сердцу.

У Василія Свитки при этомъ только слегка подернуло мускулъ справа надъ верхней губой.

— Н-да, вотъ тамъ толкуй, какъ знаешь,—продолжалъ онъ, — а Наполеонъ все-таки приказалъ волю дать, и дали! А кабы не онъ, быть бы намъ вѣчно крѣпостными!

— Поймай, парень!.. Поймай... Ты это не то!—разводя руками, вмѣшался въ разговоръ захмѣлѣвшій приказчикъ. — Мы тоже на этотъ счетъ не безызвѣстны!.. Намъ старики тоже сказывали, какъ въ двѣнадцатомъ годѣ этого самаго Бонапартя мы метлой изъ Расеи погнали; и онъ, значитъ, за это за самое, oprичъ одной злобы, ничего къ намъ питать не можетъ!

— Такъ то былъ дядя, сказываютъ!—возразилъ Свитка, — а теперь на тронѣ сидитъ племянникъ, и онъ разсуждаетъ по-христіански: ваши мужички, говоритъ, моего дядю обидѣли, а я хочу имъ за зло добромъ заплатить, и пото-

му пускай всѣ будутъ вольные. Вотъ онъ какъ разсуждаетъ!

— Нѣтъ, братъ, стой! — подошелъ къ столу солдатикъ. — А зачѣмъ-же онъ, коли такъ, эту Крынску кампанію свою затѣялъ? Сколько народу-то покалѣчилъ у насъ! Коли онъ такой сдобольный, такъ онъ бы лучше Богу молился. Вотъ что!

— Ну, ужъ это не нашего ума дѣло, а лучше скажи-ка ему спасибо за его приказъ!

— Да кто-жъ это нашему государю можетъ приказывать! — горячо стукнулъ солдатъ ладонью по столу. — Ты, братъ, эти глупыя рѣчи покинь лучше, пока мы тѣ бока не намяли! Пѣсни вотъ ты хорошо играешь, а ужъ слова-то говоришь совсѣмъ какъ есть дурачкія!

— Поймай, братцы!—перекрикивая всѣхъ, вмѣшался Иванъ Шишкинъ. — Чѣмъ по пустому толковать, такъ лучше настоящее дѣло! Пускай всякъ видитъ и судитъ. Вотъ что, братцы: какъ были мы подъ Новодѣвичимъ, такъ при насъ тамъ вотъ какую грамоту читали и раздавали народу. Одна и на нашу долю досталась... Прислушайте-ко, пожалуйста!

И развязавъ свою котомку, онъ досталъ изъ нея сложенный вчетверо листъ плотной бумаги и показалъ его присутствующимъ.

На листѣ красивымъ шрифтомъ, съ золотомъ и киноварью, было отпечатано: «Золотая грамота».

— Это что-жъ такое?—съ любопытствомъ и недоумѣніемъ пытали въ кучкѣ. Всѣ придвинулись поближе къ Шишкину.

— Это, братцы манифестъ! Царская грамота!—пояснилъ онъ.—Слушайте!

И сталъ громко и внятно читать:

«Божіею милостію, Мы, Александръ Второй, Императоръ Всероссійскій, Царъ Польскій, Великій Князь Финляндскій и проч. и проч. и проч.

«Въ постоянной заботливости Нашей о благѣ всѣхъ вѣрноподанныхъ Нашихъ, Мы, указомъ въ 19-й день февраля 1861 года, признали за благо отмѣнить крѣпостное право надъ сельскимъ сословіемъ, Богомъ вѣренной Намъ, Россіи. Нынѣ, призвавъ Всемогущаго на помощь, настоящимъ Манифестомъ объявляемъ полную свободу всѣмъ вѣрноподаннымъ Нашимъ, къ какому-бы званію и состоянію они ни принадлежали. Отнынѣ свобода вѣры и выполненіе обрядовъ ея церкви составлять достояніе cadaго. Всѣмъ крестьянамъ, какъ бывшимъ крѣпостнымъ, такъ и государственнымъ, даруемъ въ опредѣленномъ размѣрѣ землю, безъ всякой за оную уплаты, какъ помѣщикамъ, такъ и государству, въ полное, неотъемлемое потомственное ихъ владѣніе».

— Это, значитъ, господа, помѣщикамъ больше ни копейки! какъ есть шишъ одинъ!—пояснилъ Свитка.

— О?! И въ самъ - дѣлѣ?.. Это, братцы,

намъ на руку! — съ видимымъ удовольствіемъ откликнулся кое-кто изъ кучки. — Это и очень намъ любезно!.. Ну-ну! Валяй-ко дальше! Что еще тамъ прописано?

«Полагаясь на вѣрность народа Нашего,— продолжалъ Шишкинъ, весьма подбодренный сочувственнымъ отношеніемъ слушателей—Я, призналъ за благо для облегченія края упразднить армію Нашу! Мы отнынѣ впредь и навсегда освобождаемъ Нашихъ любезныхъ вѣроподданныхъ отъ всякаго рода наборовъ и повинностей рекрутскихъ; затѣмъ, солдатамъ арміи Нашей повелѣваемъ возвратиться на мѣста ихъ родины».

— Значить, некрутинѣ шабашъ?—спросилъ кто-то.

— Шабашъ!—подтвердилъ Свитка.—Отнынѣ и навсегда шабашъ и некрутинѣ, и наборамъ, и всякому войску! Ни одного солдата больше не должно быть въ цѣлой Россіи! Всѣ будутъ вольные! Всякъ, значить, дѣлай, что хочешь!

— Э?! Это важно!.. А насчетъ повинностей какъ?

— А вотъ, слушай далѣе!

«Уплата подушныхъ окладовъ, имѣвшихъ назначеніемъ содержаніе столь многочисленной арміи, со дня изданія Манифеста, отмѣняется. Всѣмъ солдатамъ, возвращающимся изъ службы, также всѣмъ дворовымъ людямъ, фабричнымъ и мѣщанамъ повелѣваемъ дать безъ всякаго возмездія надѣлы земли изъ казенныхъ дачъ обширной Имперіи Нашей».

— Э, робя! Это, ей-ей, хорошо!..

— Что и говорить! Чего лучше!.. Надо только Бога молить...

— Да только неужто же все это французъ?

— Все онъ!—съ непоколебимою увѣренностью подтвердилъ Свитка.

— А какъ же насчетъ теперича лѣсу, ну и опять же всяко хозяйство надо обзавести себѣ, избу поставить, скотинку тамъ, что ли.— безъ того нельзя же вѣдь, хоша и солдату, али дворовому. Это-то какъ же? Сказано про то аль нѣтъ?

— Про это хотъ и не сказано, а слышали мы такъ, будто все это брать отъ помѣщиковъ,—объявилъ Свитка.—Помѣщикъ долженъ отдавать все безпрекословно, а ежели кто заартачился сейчасъ его своей расправой, и бери все, что хочешь!

— Это хорошо!—одобрилъ чей-то голосъ, но большинство не подхватило, а напротивъ того, о чемъ-то сомнительно раздумалось!

— Ну, да этого не сказано; это, должно, малый вреть, а ты читай далѣ!—молвилъ какой-то мужикъ.

«Въ каждой волости, равно въ городѣ,— продолжалъ Шишкинъ,—народъ избираетъ четырехъ, пользующихся его довѣріемъ, человекъ, которые, собравшись въ уѣздномъ городѣ, из-

берутъ совокупно уѣзднаго старшину и прочія уѣздныя власти. Четыре депутата отъ каждого уѣзда, собравшись въ губернской городъ, избираютъ губернскаго старшину и прочія губернскія власти. Депутаты отъ каждой губерніи, призванные въ Москву, составятъ Государственный Совѣтъ, который съ Нашею помощью будетъ управлять всею Русскою землею. Такова Монаршая воля Наша».

— Теперь, братцы, значить, сами управлять ся будемъ.

— Такъ, слышите, царь желаетъ!—комментировалъ Свитка.

Мужики призадумались.

— И бумаги править намъ же?—спросилъ одинъ.

— И бумаги, и все, какъ есть, всѣмъ самимъ заправлять.

— Самимъ?.. Ну, это что-то не тово... Какъ же теперь стану я заправлять, коли я грамотѣ не знаю.

— А мозги на что?.. Есть мозги—значить, и валяй!

— Да все-жъ безъ грамоты не управимся. Тутъ, вона, мало ли чего нужно!..

— Ну, грамотныхъ выбирайте...

— Такъ-то, оно такъ!.. И значить, это мужики всѣмъ царствіемъ заправлять будутъ?

— Значить, будутъ.

— А господа-то куды же?

— А къ чорту! Куда хотятъ, туда и идутъ! А нѣтъ, и на сукъ можно вздернуть!

— Ишь, какой приткой!.. На сукъ!.. За что же это на сукъ?.. Душа-то вѣдь тоже крещеная!.. За эти дѣла и кнутѣмъ на площади порятъ да въ каторгу шлютъ.—Нѣтъ, это ты, братъ, дуришь!.. Да ну, ладно! Читай далѣ.

«Всякій объясняющій противное и не исполняющій Монаршей воли Нашей есть врагъ нашъ. Уповаемъ, что преданность народа оградитъ престолъ Нашъ отъ покушеній злонамѣренныхъ людей, не оправдавшихъ Наше Монаршее довѣріе. Повелѣваемъ всѣмъ подданнымъ Нашимъ вѣрить одному Нашему Монаршему слову».

— Такъ вотъ, слышишь, любезный, что самъ царь повелѣваетъ!—строго обратился Свитка къ мужику, высказавшему нѣкоторое сомнѣніе.— Ты, значить, ослушникъ волѣ царской!.. За это въ кандалы!.. За это вяжутъ да къ становому нашего брата, а ты, значить, молчи да вѣрь, коли это пропечатано!

— Да я что-жъ... я ничево... я такъ только... Извѣстно, супротивъ царя не пойдешь,—опѣшилъ мужикъ и смущенно примолкнулъ.

«Если войска, обманываемыя ихъ начальниками,—продолжалъ межъ тѣмъ Шишкинъ,—если генералы, губернаторы, посредники осмѣлятся силою воспротивляться сему Манифесту—да возстанетъ всякій для защиты даруемой Мною свободы и, не щадя живота, выступи-

пить на брань со всѣми, дерзающими противиться сей волѣ Нашей. Да благословитъ Всемогуцій Господь Богъ начинанія Наши! Съ Нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтесь, яко съ нами Богъ!»—громко и торжественно заключилъ Шишкинъ, вторично обращаясь къ слушателямъ и показывая красиво расписанный листъ.

На листъ глядѣли съ любопытствомъ, но въ каждой почти головѣ царило недоумѣніе и сомнѣніе. Манифестъ давалъ уже такъ много, что невольно рождался въ душѣ вопросъ: да ужъ точно ли правда все это?—хотя бытъ-можетъ, каждый не прочь бы былъ воспользо-ваться его широкими посулами. Перспектива казалась заманчивою.

— Значить, коли начальство не согласно,—сейчасъ бунтовать?—спросилъ кто-то.

— Такъ, голова! Вѣрно!.. Сейчасъ и бунтуй!—съ полною увѣренностью одобрили оба бурлака.

— А отчего-жъ это доселева за бунты-то все наказывали?

— Теперь, милый, другіе порядки пошли. Теперь самъ царь бунтовать велитъ.

Наступило новое раздумье и молчаніе.

— Други почтенные! братцы!—вдругъ возвысилъ голосъ отставной солдатикъ.—Это, надо быть, и вправду французъ всю эту штуку выдумалъ! Потому онъ, первымъ дѣломъ, въ этой грамотѣ что говоритъ?—Говоритъ, что войско прочь, что солдатомъ больше не требуется!—Такъ-ли?

— Такъ, такъ!.. Не требуется.

— А кто же Расею-то защищать будетъ?—продолжалъ онъ;—коли войска нѣтъ, сейчасъ, значитъ, непріятель подошелъ, и сейчасъ заполонилъ себѣ какъ есть всю землю. Это онъ подѣлалъ насъ, значитъ, ловкую штуку подводитъ!.. Никакъ тому быть не возможно, безъ войска-то! Онъ, значитъ, только глаза отводитъ!..

— Э!.. И въ самъ-дѣлѣ!—одобрили въ кучкѣ.—Оно точно, что такъ... А то бы съ чего ему сердоболствовать!

— Безпремѣнно такъ, братцы!.. Опять же хотъ это взять: сами, говоритъ, управляйтесь. Теперь будемъ говорить по-солдатски! Примѣромъ взять—батальонъ. Какъ же-жъ этта управится батальонъ безъ камандеровъ? Никакой каманды нѣтъ, и не знаешь ни куда тебѣ идти, ни что дѣлать. Солдатъ этому не обученъ, а камандеръ обученъ, онъ всю эту штуку знаетъ. Въ батальонѣ, теперича, только шестьсотъ, а въ семьсотъ, а въ Расеѣ-то тьма народу! Какъ же-жъ тутъ-то управиться? Это, значитъ, французъ подѣлалъ Расею всю эту штуку подводитъ, чтобы способнѣй заполнить-то было! Ей-Богу, такъ, братцы!.. Этому вы ничему не вѣрите.

— Э, другъ любезный! Ты, стало быть, противъ царя! Ослушникъ воли царской!—напустился Свитка на солдата.—Братцы! Слыша-

ли, что царь насчетъ ослушниковъ сказалъ? Чего глядите-то?

— Нѣтъ, ты погоди!—выступилъ впередъ солдатикъ.—Нешто волю царскую такъ объявляютъ? Волю царскую по церквамъ, подъ колоколами читаютъ, а не въ кабакахъ! Царское слово черезъ начальство, да черезъ священство идетъ; а ты что за человекъ? По какому ты праву? а?

— Эй почтенные! Находка!—закричалъ вдругъ приказчикъ.

Пока Шишкинъ читалъ, а Свитка дѣлалъ поясненія, онъ подобрался къ раскрытой котомкѣ, изъ которой чуть-чуть высовывался край другой подобной же грамоты. Подбравшись и смекнувъ, что дѣло тутъ, кажись, не совсѣмъ-то чисто, онъ подъ шумокъ запустилъ въ нее руку и досталъ цѣлую пачку «золотыхъ грамотъ».

— Вонъ сколько съ ними добра!—кричалъ хмѣльной кулакъ.—Дѣло не чистое!.. Это, ребята, бунтовщики... Смуту варятъ!.. Бей ихъ!.. Бей въ мою голову!.. всѣхъ бей!.. Держи ихъ, ребята!.. Вяжи по рукамъ, да къ станому.

Агитаторы поблѣднѣли. Шишкинъ совсѣмъ почти растерялся, но Свитка не утратилъ присутствія духа. Минута была критическая. Люди, за нѣсколько еще минутъ расположенные вѣрять имъ, теперь готовы уже были кинуться на обоихъ и начать свою страшную расправу.

— Гдѣ твой кистень?.. Держись за мною!.. Не робѣй!—быстрымъ шопотомъ обратился къ Шишкину Свитка и мигомъ досталъ изъ-за пазухи заряженный револьверъ.

Солдатикъ, съ крикомъ «вяжи!» первый ретиво кинулся на него.

— Убью!—закричалъ тотъ и выстрѣлилъ почти въ упоръ.

Пуля, вырвавъ клочъ сукна изъ лѣваго рукава, шлепнулась въ стѣну.

— Кто первый подступится, убью на мѣстѣ!—грозно кричалъ Свитка.

И съ этимъ словомъ, пятясь къ дверямъ вмѣстѣ съ товарищемъ, онъ воспользовался минутнымъ ошеломленіемъ присутствующихъ и выскочилъ изъ горницы.

— Держи! держи!—раздались за ними крики. Но Свитка успѣлъ уже вскочить въ телѣжку, Шишкинъ вслѣдъ за нимъ—и сразу захватилъ вожжи. Ударивъ ими, что было мочи, по лошадакъ, онъ отчаянно заикалъ, продолжая непрерывно хлестать ее—и озадаченная лошадь, дергая головою, быстро сорвалась съ мѣста и пошла вскачь—вонъ изъ деревни.

— Держи! держи!—раздавались межъ тѣмъ громкіе крики.

Весь народъ выскочилъ изъ кабака, и нѣсколько человекъ погнались за бѣглецами.

Свитка, упершись колѣномъ въ сидѣнье,

стоять, обернувшись назадъ къ преслѣдователямъ, и держалъ револьверъ наготовѣ.

— Удирай живѣй!.. Хлещи ее!.. Нагоняютъ!—задыхаясь, кричалъ онъ товарищу, и тотъ немилосердно гналъ бойкую лошадку.

Одинъ парень совсѣмъ уже почти хватался руками за задокъ телѣжки.

— Кистень!.. дай кистень сюда!.. живѣе—говорилъ Свитка и, не отвращая лица отъ преслѣдователя, протянулъ назадъ руку.

Шишкинъ торопливо вложилъ въ нее требуемое оружіе.

Парень уже держался за задокъ и на бѣгу старался заскочить въ телѣжку. Свитка хватилъ его кистенемъ въ лобъ,—тотъ вскрикнулъ и опрокинулся на дорогу. Остальные, не преслѣдуя бѣглецовъ, раздумчиво остановились надъ ушибленнымъ парнемъ, который съ посинѣлымъ лбомъ лежалъ безъ чувствъ поперекъ дороги.

Телѣжка межъ тѣмъ скрылась въ лѣсу, но Шишкинъ все еще гналъ и билъ возжами лошадей.

Черезъ часъ бѣглецы очутились уже верстъ за семь. Конь былъ вконецъ заморенъ и не могъ уже двинуться съ мѣста. Они его покинули въ кустахъ, вмѣстѣ съ телѣжкой, и покрались кустами же вдоль по берегу. Теперь опасность погони нѣсколько миновала. На счастье ихъ, неподалеку отъ берега стояла на водѣ рыбацья душегубка, и въ ней мальчишка какой-то удилъ рыбу. Они крикомъ стали звать его. Рыбакъ подчалилъ, бѣглецы прыгнули въ лодку и за гривенникъ, безъ излишнихъ торговъ и разговоровъ, перебрались на лѣвый берегъ, въ Самарскую губернію.

Здѣсь, пока, они уже были внѣ опасности.

XXXIV.

Послѣдняя литургія.

Прошло съ небольшимъ мѣсяцъ съ тѣхъ поръ, какъ владыка Іосафъ приѣзжалъ къ губернатору ходатайствовать за майора Лубянского. И вдругъ теперь по городу Славнобубенску быстро пронеслась вѣсть, что владыка покидаетъ свою кафедрю, на которой честно служилъ столько лѣтъ, и что онъ переводится на дальний сѣверъ, въ другое епископство. Эта неожиданная вѣсть поразила многихъ. Большинство недоумѣвало. «Какъ? что? за чѣмъ и почему?» пыталъ каждый, и въ отвѣтъ встрѣчалъ только пожатіе плечами: никто почти не зналъ и даже не подозревалъ настоящей причины этого внезапнаго смѣщенія. Весьма и весьма многіе искренно сожалѣли объ отъѣздѣ Іосафа: онъ никому не одѣлалъ никакого зла; напротивъ, сколько людей оставляло въ сердцѣ своемъ благодарное воспоминаніе о томъ добрѣ, которое творилъ старикъ по силѣ своей возможности! Никто не могъ укорить его въ чемъ-либо недобромъ, и каждый

сознавалъ въ душѣ, что старикъ былъ глубоко правдивымъ и честнымъ человѣкомъ. Тѣмъ страннѣе казался непосвященному большинству этотъ переводъ въ отдаленную, заброшенную полосу Россіи, переводъ, похожій скорѣе на какую-то ссылку.

По городу стало извѣстно, что въ слѣдующее воскресенье владыка въ послѣдній разъ будетъ литургисовать въ кафедральномъ соборѣ. Эта литургія смущала нѣсколько полковника Пшечиньскаго и Непомука. И тотъ и другой ожидали, что старикъ не уйдетъ безъ того, чтобы не сказать какое-нибудь громовое, обличающее слово, во всеуслышаніе православной паствы своей. И если бы такое слово было произнесено, положеніе ихъ стало бы весьма неудобнымъ.

Но вотъ наступило и воскресенье.

Церковь была полнехонька, безъ различія какихъ бы то ни было кастъ и сословій. Между народомъ, поближе къ кафедрѣ, затершись въ одномъ уголкѣ, стоялъ Феликсъ Подвиляевскій вмѣстѣ съ докторомъ Яроцемъ. Оба рѣшились выстоять всю службу, чтобы самолично быть свидѣтелями того, что произойдетъ сегодня. Они тоже ожидали чего-то...

Владыка служилъ, какъ и всегда, величественно и просто. Ясность душевная и твердое спокойствіе были написаны на его строгомъ и въ то же время кроткомъ лицѣ. Слова молитвы произносилъ онъ тихо, но явственно, такъ что голосъ его отчетливо былъ слышенъ во всѣхъ концахъ древняго храма. Подъ впечатлѣніемъ того сознанія, что эта литургія уже послѣдняя, прощальная, предстоящему народу служба владыки казалась еще величественнѣе, еще торжественнѣе. Но вотъ окончилась литургія. Всѣ взоры напряженно обратились къ алтарю, всѣ ожидали появленія владыки на кафедрѣ, но кафедра оставалась пуста. При звукахъ «исполаети деспота!» разоблаченный архіерей взмошелъ на амвонъ, посреди храма, и пѣніе замолкло.

Перекрестясь на алтарь, онъ положилъ земной поклонъ Богу и храму его, съ которымъ отъ нынѣ прощался на вѣки. Затѣмъ тихо отдалъ, на всѣ четыре стороны, по одному глубокому поясному поклону. Это было безмолвное прощаніе его съ народомъ.

— Прощайте, возлюбленные! Прощайте!—раздался его любящій, но твердый старческий голосъ.—Разставаясь съ вами, скажу одно вамъ: будьте твердыми сынами нашей Православной Восточной церкви; будьте твердыми и честными людьми русскими! Ежели кого обидѣлъ или прегрѣшилъ я предъ кѣмъ-либо изъ васъ, простите мнѣ ради Христа, простившаго врагамъ своимъ свое великое поруганіе, свою страшную крестную смерть. Прощайте!

И съ этимъ словомъ, благословивъ народъ, онъ пошелъ изъ храма.

Всѣ разомъ бросились къ владыкѣ. Каждый хотѣлъ получить отъ него еще одно благослове-

ніе и въ послѣдній разъ обლობызать пастырскую руку. На многіхъ глазахъ видѣлись слезы.

Владыко уѣзжалъ почти нищимъ. Весь небольшой капиталъ, скопленный имъ изъ своего жалованья, около пяти тысячъ, онъ пожертвовалъ на богадѣльню, больницы и народныя школы своей бывшей епархіи. Вѣсть объ этомъ пожертвованіи какъ-то успѣла разнестись между предстоящими еще во время литургіи, — и это безкорыстіе еще болѣе возвысило владыку въ глазахъ покидаемой паствы.

— Виншуенъ пану! — сойдя съ палерти, обратился Подвильяньскій къ Яроцю. — Поздравляю!

И онъ, съ многодогольной улыбкой, весело протянулъ и пожалъ руку своему пріятелю.

— Выпендяили, хвала Богу! — съ такимъ же удовольствіемъ отвѣтствовалъ Яроць.

Въ это время мимо ихъ сходилъ со ступенекъ Лубянский. Онъ былъ растроганъ и шелъ, уныло понуривъ голову.

— Пану пулковнику! — прелюбезно снимая шляпу и пресладостно улыбаясь, обратился къ нему докторъ; — а когда же мы въ шапки сразимся!

Подвильяньскій тоже любезно раскланялся.

Майоръ отвѣтилъ обоимъ очень сухимъ поклономъ.

— Какъ жаль, что архіерей покидаетъ насъ! — съ гримасой сожалѣнія продолжалъ Яроць, увязавшись за Лубянскимъ и таща за собою подъ руку Подвильяньскаго. — И скажите пожалуйста, отчего это такъ внезапно?

— Добрые люди постарались! — нехотя отвѣтилъ майоръ.

— Ай-ай-ай!.. Неужели такъ?!.. А говорятъ, онъ нѣкоторую частичку изъ своихъ капиталовъ пожертвовалъ на что-то? Правда-ли это?

— Не частичку, а все что имѣлъ! — выразительно поправилъ Лубянский; — и завѣщалъ намъ еще быть твердыми и честными людьми русскими. Впрочемъ, это до васъ, господа, не касается: вы вѣдь поляки. — И, проговоривъ все это довольно рѣзкимъ тономъ, старикъ круто повернулъ отъ нихъ въ другую сторону.

XXXV.

Баль у ея превосходительства.

Въ тотъ же день вечеромъ, передъ губернаторскимъ домомъ, былъ огромный съѣздъ экипажей. Жандармы на коняхъ, частный приставъ пѣшкомъ, квартальные и полицейскіе творили порядокъ и внушали достоподобное почтеніе толпѣ народа, собравшейся поглазѣть на ярко освѣщенные окна. Это былъ балъ по случаю скорого отъѣзда барона Иксъ-фонъ-Саксена, послѣдній маневръ, которымъ правительница губерніи намѣревалась «добыть милаго непріятеля».

Хозяйка и царица бала, она была совсѣмъ

обворожительна. Брильянты на головѣ, брильянты на открытой шеѣ, золото и дорогіе камни на рукахъ, парижскіе цвѣты, старыя бросески, беспощадно открытыя, сверкающія плечи, обворожительная улыбка, полная, вкусно-сдѣланная руки съ розовымъ локоткомъ, роскошное платье, представлявшее символическое соединеніе польскихъ цвѣтовъ, кармазиннаго съ бѣлымъ, — вотъ то сверкающее, очаровательное впечатлѣніе, которымъ поражала въ первый мигъ прелестная женщина каждаго, при входѣ въ ея парадную большую залу.

Она какъ царица встрѣчала своихъ гостей, окруженная своимъ собственнымъ штатомъ, въ составѣ коего неизмѣнно стоялъ весь шестерикъ князей Почечуй-Чухломинскихъ.

Непомукъ, въ черномъ фракѣ, изъ-за борта котораго скромно выглядывала звѣзда, глядѣлъ совсѣмъ дипломатомъ и съ каждымъ былъ необыкновенно любезенъ, ни на іоту, впрочемъ, не спуская своего губернаторскаго значенія.

Прелестный Анатолий, первымъ дѣломъ, придя въ сокрушительный восторгъ отъ эффектнаго вида губерніаторши и не замедливъ тогда же сообщить ей самой объ этомъ восторгѣ, за что и былъ награжденъ очаровательной улыбкой, поспѣшилъ отправиться съ такими же восторгами къ другимъ представительницамъ славнобубенскаго тонда. Черненькій Шписсъ поспѣвалъ рѣшительно повсюду: и насчетъ музыкантовъ, и насчетъ прислуги, и насчетъ поправки какой-нибудь свѣчи или розетки, и насчетъ стремительнаго поднятія носового платка, уроненнаго губернаторшей; онъ и старичковъ разскаиваетъ за зеленые столы, онъ и стаканъ лимонада несетъ на подносикѣ графинѣ де-Монтеспанъ, онъ и полкируетъ съ madame Пруцко, и вальсируетъ со старшею невѣстой неневѣстною, и говоритъ почтительныя, но пріятныя любезности барону Иксъ-фонъ-Саксену; словомъ, Шписсъ вездѣ и повсюду, и какъ всегда — вполне незамѣнимый, вполне необходимый Шписсъ, и всѣ говорятъ про него: «Ахъ, какой онъ милый! какой онъ прелестный!» И Шписсъ доволенъ и счастливъ, и Непомукъ тоже доволенъ, имѣя такого чиновника по особымъ порученіямъ, и рѣшаетъ про себя, что Шписса опять-таки необходимо нужно представить къ слѣдующей награждѣ.

Mesdames Чапыжниковъ и Ярыжниковъ, и Пруцко, и Фелисата Егоровна, и Нина Францевна, и Петровы, и Ериновы, и Сидоровы, всѣ преуспѣваютъ по мѣрѣ силъ и способностей. Всѣ очень нарядны, очень декольтированы, очень эффектны и прелестны (по крайней мѣрѣ, каждая сама о себѣ такъ думаетъ), и всѣ надѣются прельстить чье-нибудь слабое сердце... О сердцѣ барона онъ отложили нынѣ уже всякое попеченіе, ибо это остзейское сердце оказалось давно уже въ плѣну у губерна-

торши. Дамы злились, но признавали это совершившимся фактомъ.

О баронѣ нечего говорить: онъ, какъ и всегда, былъ блестящелень.

Но зато вниманіе публики на этомъ балѣ сильно привлекала одна новая и притомъ весьма интересная личность.

Это былъ сосланный, по политическимъ дѣламъ, на жительство въ Славнобубенскъ, графъ Северинъ-Маржецкій. Онъ только-что вчера, въ ночь, былъ привезенъ сюда съ жандармами. Еще недѣли за полторы до пріѣзда графа, ему былъ нанятъ на его собственный счетъ цѣлый домъ съ мебелью и всею утварью, такъ что пріѣхалъ онъ на все на готовое. Привезли его ночью прямо къ Непомуку. Констанція Александровна, спѣшно накинувъ свой изысканный шлафрокъ, вышла сама къ сіятельному изгнаннику.

Приложивъ руку къ сердцу и дѣлая глубокой реверансъ, она въ нѣсколько торжественномъ тонѣ, весьма эффектно сказала ему привѣтливымъ голосомъ:

— Нехъ пршіймуе ясновельможны панъ первше приивитанье къ краю непришнцельскемъ одъ кобѣты польскей!

Растроганный графъ поклонился ей съ глубокимъ почтеніемъ и молча, но тепло поцѣловалъ протянутую ему руку.

Его приняли здѣсь какъ родного. Пани Констанція сама принялась хлопотать насчетъ теплаго чая и вкусной закуски для графа; а Непомукъ даже самолично проводилъ его потомъ въ приготовленное ему помѣщеніе, въ своей собственной каретѣ.

На утро, едва успѣвъ проснуться ясновельможный изгнанникъ, камердинеръ подалъ ему раздушенный пакетецъ. Это было особенное приглашеніе на сегодняшній балъ, написанное по-польски рукою самой Констанціи Александровны.

Графъ былъ весьма польщенъ такимъ вниманіемъ, такимъ теплымъ участіемъ на далекой чужбинѣ. Появленіе его вечеромъ въ губернаторской залѣ произвело рѣшительный эффектъ. Всѣ уже заранѣе знали о польскомъ графѣ, привезенномъ «въ наше захолустье» подъ надзоръ полиціи. Ея превосходительство рассказала нѣсколькимъ своимъ приближеннымъ съ такимъ участіемъ о «еще одномъ новомъ политическомъ страдальцѣ», и это придало еще болѣйшій интересъ новопрібывшему графу. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали его появленія.

И вотъ, вмѣстѣ съ оповѣстительнымъ звономъ изъ швейцарской, раздался громкій голосъ ливрейнаго гайдука, поставленнаго при входной двери въ залу:

— Его сіятельство графъ Маржецкій.

По залѣ пробѣжали нѣкоторый гулъ и вол-

неніе. Всѣ взоры обратились къ двери. Хозяйка съ хозяиномъ пошли на встрѣчу.

И вотъ, наконецъ, въ дверяхъ появился и отдалъ почтительный, но полный неизмѣримаго достоинства поклонъ хозяйка и хозяину высокій, плотный мужчина лѣтъ пятидесяти. Лицо его носило на себѣ печать истого полка, а его выраженіе и вся фигура сразу показывали аристократическій характеръ стараго магната. Высокій, закатистый лобъ, широкія скулы и щеки, полный достоинства, спокойный и увѣренный взглядъ свѣтло-сѣрыхъ глазъ, нѣсколько орлиный носъ и энергически выдавливаясь впередъ нижнія скула, и круто загнутый подбородокъ придавали всей физіономіи графа такой характеръ самоувѣренной настойчивости и силы, который легко и притомъ всегда могутъ относиться ко всему остальному міру съ тонкимъ, иногда удачно выставленнымъ, иногда же удачно скрываемымъ, аристократическимъ презрѣніемъ. Закинутые назадъ короткіе и въющіеся волосы съ серебристымъ оттѣнкомъ и нѣкогда черные, но нынѣ уже сивые усы придавали всей фигурѣ графа Маржецкаго какое-то рыцарское, кавалерійское удалство и самоувѣренность. Короче сказать, на пятьдесятъ-первомъ году жизни это былъ еще бравый и видный красавецъ и, замѣтитѣ, какъ особенное свойство польскаго типа,—красавецъ-аристократъ, красавецъ-магнатъ старо-польскій.

Можете представить себѣ, что сдѣлалось со всѣми этими mesdames Чапыжниковъ и Пруцко, со всѣми этими Фелисатами Егоровнами и Нинами Францевнами, со всѣми Марьями Ивановнами и ихъ невѣстами-барышнями!

Графъ приковалъ къ себѣ всеобщее вниманіе.

Судя по тому, какъ встрѣтилъ его губернаторъ-хозяинъ и губернаторша-хозяйка, какъ вопель и поклонился имъ графъ, какъ окинулъ онъ все общество равнодушно-холоднымъ и въ то же время снисходительнымъ взглядомъ, который, казалось, говорилъ: «Какіе вы всѣ жалкіе, мои милые! какіе вы всѣ, должно-быть, глупые! Но я постараюсь быть съ вами любезно-снисходительнымъ!»—и такъ, судя по всему этому, можно было сразу предположить, что сосланный графъ Северинъ-Маржецкій займетъ одно изъ самыхъ видныхъ и уважаемыхъ мѣстъ въ славнобубенскомъ обществѣ.

Констанція Александровна, во-первыхъ, отрекомендовала его барону. Графъ поклонился ему точно такъ же, какъ и хозяйкамъ, то-есть, почтительно и въ то же время съ неимовѣрнымъ, хотя и притворно-скромнымъ достоинствомъ: «Древне-родовитый магнатъ, я нахожусь, по волѣ политическихъ обстоятельствъ, въ отчужденіи и несчастіи, крестъ которыхъ впрочемъ сумѣю нести на себѣ съ полнымъ человѣческимъ и гордо-молчаливымъ достоинствомъ»—

вотъ что выражалъ молчаливый поклонъ его. Саксенъ весьма любезно пожалъ ему руку, съ тою сочувствующею улыбкою, какую вызываетъ въ благовоспитанныхъ людяхъ несчастіе ближняго, который равенъ намъ по общественному положенію и имѣетъ право на особенное уваженіе наше по своему несчастію.

На мужинѣ фигура графа тоже производила весьма замѣтное впечатлѣніе. Въ это время высланцы изъ Польши вообще были еще въ диковинку по «нашимъ захолустьямъ», и всякъ почти вмѣнялъ себѣ какъ бы въ священный долгъ сочувствовать «политическому страдальцу» (*мода* на это была такая). Мужчины, равно какъ и женщины, очень хорошо замѣтили изящнаго покроя лондонскій великолѣпный фракъ графа Северина и его брильянты, сверкавшіе у него въ запонкахъ на тончайшей батистовой сорочкѣ и на правой рукѣ, съ которой была сдѣрнута перчатка. Чиновный людъ, усматривая особенное вниманіе, оказываемое графу со стороны губернаторской четы, по долгу служебнаго рвенія, утроилъ свою почтительность къ политическому высланцу: это показывало и внутреннюю либеральность чиновничьяго люда, и тонкое пониманіе служебно-дисциплинарныхъ отношеній, потому что «если самъ губернаторъ, то мы и тѣмъ паче...»

Констанція Александровна представляла графу нѣкоторыхъ дамъ, а Непомукъ Анастасевичъ кое-кого изъ служащихъ (познавательнѣе) и кое-кого изъ дворянства. И всѣ представляемые были встрѣчаемы графомъ Северинымъ все съ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ снисходительнаго достоинства, сквозь которое просвѣчивала холодность и сдержанность человѣка, поставленнаго обстоятельствами въ чуждую и презираемую среду, имѣющую надъ нимъ въ данный моментъ перевѣсъ грубой, физической силы: графъ чувствовалъ себя членомъ угнетенной національности, членомъ европейски-цивилизованной семьи, безпомощно оторваннымъ силой на чужбину, въ плѣнъ къ дикимъ, но довольно благодушнымъ и наивнымъ татарамъ.

Но замѣчательнѣе всего, что всѣ тѣ, которые имѣли честь быть представлены графу, въ глубинѣ души своей очень хорошо понимали и чувствовали, относительно себя, то же самое что чувствовалъ къ нимъ и графъ Маржецкій,—словно бы, дѣйствительно, всѣ они были варвары и татары предъ этимъ представителемъ европейской цивилизации и аристократизма; и въ то же время каждый изъ нихъ какъ бы стремился изобразить *чѣмъ-то*, что онъ-то собственно самъ по себѣ, да и всѣ-то мы вообще вовсе не варвары и не татары, а очень либеральные и цивилизованные люди, но... сила, поставленная выше, и т. д. «Это, молъ, она все, а не мы, а мы-то, собственно, что-

же? мы рады, но мы пока ничего не можемъ... мы вовсе не такіе, повѣрьте! но... что дѣлать, ваше сіятельство...»

. Поэтому всѣ лица, представляемые графу, имѣли на своихъ фizioноміяхъ какое-то извиняющееся выраженіе, словно бы они въ чемъ виноваты предъ нимъ и всею душою желаютъ оправдаться, желаютъ, чтобъ онъ считалъ виноватыми не ихъ собственно, а кого-то другого, посторонняго. Это было почти всеобщее выраженіе и мужчинъ и женщинъ. Однѣ только остро словъ и философъ Подхалютинъ, по обыкновенію, не воздержался отъ своеобычнаго выходки. Когда Анатолий де-Воляй подвелъ его съ представленіемъ къ графу Северину, Астафій Егоровичъ, вытянувъ руки по швамъ и почтительно сгибая спину, съ выраженіемъ искренно-благоговѣйнаго сознанія собственной виновности, произнесъ вдругъ самымъ серьезнымъ и покаяннымъ тономъ:

— Виноватъ, ваше сіятельство!.. Извините!

Графъ окинулъ его недоумѣлымъ и вопрошающимъ взглядомъ.

Виноватъ-съ!—повторилъ Подхалютинъ.

— То-есть, въ чемъ же? — медленно и съ усиленіемъ произнесъ Маржецкій, показывая видъ, будто ему очень трудно выражаться на чужомъ и почти незнакомомъ языкѣ. Сказалъ онъ это «въ чемъ же» все съ тѣмъ же неизмѣннымъ выраженіемъ снисходительности и величайшей, но холодной вѣжливости, которыя болѣе чуткому на этотъ счетъ человѣку могли бы показаться даже въ высшей степени оскорбительными, но «наше захолустье» вообще мало понимало и различало это.

— Въ чемъ же?—повторилъ графъ съ тѣмъ же усиленіемъ и затрудненіемъ.

— Въ чемъ? И самъ не знаю, ваше сіятельство!—вдохнулъ и развелъ руками философъ.—Но вы, какъ и я же, успѣли уже, вѣроятно, замѣтить, что здѣсь всѣ какъ будто въ чемъ-то виноваты предъ вашимъ сіятельствомъ; ну, а я человѣкъ мірской и, вмѣстѣ со всѣми, инстинктивно чувствую себя тѣмъ же и говорю: «виноватъ!» Я только, ваше сіятельство, болѣе откровененъ, чѣмъ другіе.

Анатолий досадливо краснѣлъ и кусалъ себѣ губы. Графъ, какъ будто немного смутился, не зная, какъ понять ему выходку Подхалютина: счесть ли ее за дерзкую насмѣшку, или отнести къ плодамъ русской наивности? Подхалютинъ очень хорошо видѣлъ досаду одного и смущеніе другого, и въ душѣ своей очень веселился такому обстоятельству.

Графъ сидѣлъ въ гостиной, окруженный дамами, которыя являли собою лучшій букетъ эlegantнаго Славнобубенска. Ни тѣни какой бы то ни было рисовки своимъ положеніемъ, ни малѣйшаго намека на какое бы то ни было фатовство и ломанье, ничего такого не сказывалось въ наружности графа, спокойной и сдержанно-

увѣренной въ своемъ достоинствѣ. Онъ весь былъ въ эту минуту олицетворенная польско-аристократическая вѣжливость и блистала равнодушною, нѣсколько холодною простотою.

Графиня де-Монтеспанъ, какъ женщина, играющая послѣ хозяйки первую роль въ ея обществѣ, взяла на себя преимущественное право занимать графа Северина, избѣгая впрочемъ вопросовъ о его родинѣ, ибо предположила себѣ, что воспоминанія о Польшѣ должны пробуждать въ немъ горькое и тяжелое чувство. Но нѣкоторые изъ окружающихъ сильфидъ и фей славнобубенскихъ были на этотъ счетъ мнѣе проницательны, чѣмъ графиня, и потому поминутно принимались бомбардировать гостя вопросами именно этого рода. Графиня морщилась и старалась заминать такіе разговоры, но матроны съ сильфидами не унимались. Разговоръ, конечно, шелъ исключительно по-французски и, надо замѣтить, что графиня усердно старалась и заботилась объ этомъ, дабы не утруждать гостя отвѣтами на чуждомъ и притомъ враждебномъ ему языкѣ, который ни въ какомъ случаѣ, казалось ей, не могъ быть ему приятенъ. Но нѣкоторые изъ сильфидъ, владея не совсѣмъ-то ловко французскимъ діалектомъ и въ то же время желая, во что бы то ни стало, быть любезными, то и дѣло мѣшали, по привычкѣ, французское съ нижегородскимъ.

— Скажите, пожалуйста, графъ,—приставала madame Ярыжниковъ,—правда ли, что у варшавянокъ у всѣхъ прелестныя ножки?

Графъ снисходительно улыбался и, въ нѣкоторомъ затрудненіи пожавъ плечами, отвѣчалъ, что и славнобубенскія ножки, сколько ему кажется, ничѣмъ не уступаютъ варшавскимъ.

Ярыжникова, принимая это на свой счетъ, кокетливо улыбалась и самодовольно-торжествующимъ взоромъ обводила гирлянду своихъ приятельницъ.

— Это вѣдь больше зависитъ отъ обуви,—замѣтила madame Пруцко, уязвленная до извѣстной степени торжествомъ Ярыжниковой: — у иной и вовсе не хороша нога, но мастерскія ботинки—и кажется, будто прелестная ножка, а она совсѣмъ не хороша... Это бываетъ!..

— А вѣдь Варшава славится своими ботинками, замѣчала Фелисата Егоровна.—У меня тамъ кузенъ въ гусарахъ служилъ, такъ когда онъ въ отпускъ пріѣзжалъ, разъ привезъ мнѣ нѣсколько паръ... Превосходныя!..

Графъ отвѣчалъ только все одною и тою неизмѣнною своею улыбкою.

— Мнѣ кузенъ говорилъ,—продолжала Фелисата,—что Варшава очень веселый городъ.

— Былъ когда-то,—сдержанно замѣтилъ графъ.

— Э алистанъ?—вопросала она.—Вузава ля боку дѣ театръ, дѣ концертъ, э сюръ-ту юнъ грандъ сосѣтъ! Онъ парль ке се тутафе юнъ буръ эуропезнъ!

— Тамъ теперь не до веселья!—съ благочестивымъ вздохомъ замѣтила, потупляя взоры графиня и желая изобразить этимъ извѣстную долю сочувствія къ предметамъ, близкимъ сердцу графа Северина. Многія изъ дамъ, каждая по своему, повторили ея прискорбный взоръ и жестъ, и тоже не безъ побужденія сдѣлать этимъ пріятное графу.

— Но неужели же ваши женщины совсѣмъ не веселятся?—спросила Чапыжникова.

— Онѣ отвыкли отъ этого и не хотятъ, и даже забыли веселиться,—отвѣтилъ Маржецкій.

— О, Боже мой!.. бѣдняжки, право, эти польскія женщины! Какъ я отъ души сочувствую имъ!—жеманничая, говорила Чапыжникова, съ видимымъ желаніемъ придать себѣ мило-игривую и дѣтски-прелестную напность.—И какіе, право, противные эти наши русскіе!.. Зачѣмъ они ихъ обижаютъ!.. Я вѣдь, графъ, большая либералка, предупреждаю васъ! Я очень большая либералка! Мнѣ ужъ и то мой мужъ говорить, что я какъ-нибудь попадусь въ Петропавловскую крѣпость, право!.. Но я все-таки не могу не сочувствовать тому, что возвышенно и прекрасно... И скажите пожалуйста,—оживленно продолжала она свое щебетанье,—эти бѣдныя наши польскія сестры, что же онѣ дѣлаютъ, если у нихъ нѣтъ теперь никакихъ развлеченій?

— Молиться и плакать—это все, что осталось имъ въ настоящее время,—тихо, но отчетливо и медленно проговорилъ графъ съ благоговѣйнымъ выраженіемъ глубокаго почтенія въ лицѣ, придавая тѣмъ самымъ значительную вѣскость своимъ серьезнымъ словамъ, вмѣстѣ съ которыми всталъ съ мѣста и пошелъ на встрѣчу хозяйкѣ, показавшейся въ дверяхъ залы.

Графъ Маржецкій въ теченіе цѣлаго вечера служилъ предметомъ вниманія, разговоровъ и замѣчаній, изъ которыхъ почти всѣ были въ его пользу. Русское общество, видимо, желало показать ему радушіе и привѣтъ, и притомъ такъ, чтобы онъ, высланецъ на чужбину, почувствовалъ это. Но главное, всѣмъ очень хотѣлось постоянно заявлять, что они не варвары, а очень цивилизованные люди.

Балъ дотянулся до мазурки. Графъ стоялъ въ залѣ отдѣльно и одиноко, любясь на Шписса и Анатоля, на майора Перехонина и эксгусара Гнута. Гнугъ танцевалъ «по-гусарски», прохаживаясь болѣе насчетъ пощелкиванья каблучками да поэжикиванья шпорами, майоръ же выступалъ, какъ и всегда, истиннымъ бурбономъ, съ такимъ выраженіемъ лица и всей фигуры, какъ будто подходилъ къ фельд-маршалу на ординары. Шписсъ и въ мазуркѣ оставался все такимъ-же усердно преданнымъ чиновникомъ особыхъ порученій, а прелестный Анатоль выдѣлывалъ свои на съ тою небрежною самоувѣренностью и въ томъ характерѣ,

которымъ всегда почти отличаются въ мазуркѣ плетомцы Училища Правовѣднія. О дамахъ нечего говорить: русскія дамы вообще, за доволью рѣдкими исключеніями, не умѣютъ танцевать мазурку и по большей части напоминаютъ собою въ это время то бѣгающихъ цыплятъ, то перевалистыхъ утокъ въ ту минуту, когда тѣ шлепаются съ берега въ воду. Диржировалъ фигурами Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій, почитавшійся первымъ мазуристомъ града Славнобубенска. Онъ выступалъ теперь въ первой парѣ съ губернаторшей. Констанція Александровна танцевала прелестно. Одинъ изъ мѣстныхъ литераторовъ-обывателей, удостоенный приглашенія на балъ, глядя на нее, уже свертывалъ въ умѣ своемъ фразу, по которой выходило, что «длинный шейфъ ея блистательнаго платья граціозно и покорно слѣдовалъ за своею царственною повелительницею». И дѣйствительно, это была королева мазурки. Въ ней сказывалась та живая жилка, та вдохновительная искорка, которая по натурѣ присуща въ мазуркѣ родовой и красивой полькѣ.

Графъ Северинъ-Маржецкій любовался ею, и губернаторша танцевала отъ этого еще лучше, еще вдохновеннѣе, ибо знала и чувствовала, что ею любуются, что сегодня есть человѣкъ, который можетъ артистически понимать ее...

Пшецыньскій устроилъ, по ея просьбѣ, фигуру, въ которой дама сама выбираетъ себѣ кавалера. Въ первый разъ Констанція Александровна, предварительно устроивъ себѣ обворожительную улыбку, удостоила своимъ выборомъ тающаго барона Иксъ-фонъ-Саксена, и баронъ прошелся съ ней, какъ умѣлъ, то-есть, немножко по-нѣмецки, аккуратно и отчетливо, чѣмъ и вызвалъ легкую, едва скользящую усмѣшку на губахъ графа Северина.

Когда же снова дошла очередь до Констанціи Александровны, она, выйдя на середину залы и будто отыскивая кого-то глазами, замедлилась на минуту и потомъ прямо направилась къ одиноко стоящему графу. Тотъ въ смущеніи и отчасти съ испугомъ глядѣлъ на нее, какъ-бы вымаливая себѣ пощады.

— Одинъ туръ! — граціозно слегка склонилась предъ нимъ пани Констанція.

— Попадите старость! — любезно пожалъ плечами, съ поклономъ пролепеталъ Маржецкій.

— А лежъ-бо прошенъ пана! — какъ-то порывисто и гнѣвно прошептала она. — Ну!.. На погибель Москвы.

Графъ покорно подалъ ей руку.

Несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, онъ танцевалъ такъ, какъ никто не умѣлъ танцевать въ Славнобубенскѣ. Всѣ теперь глядѣли на него, всѣ только и любовались этой блестяще-артистической парой. Даже самъ Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій, танцевавшій отлично, съ военно-кавалерійской искор-

кой, залюбовался на графа и долженъ былъ сознаться въ душѣ, что пальма первенства остается за Маржецкимъ. Тутъ было нѣчто выше чѣмъ военно-кавалерійская искорка, тутъ была и беззавѣтная старо-польская удалъ, и тонкое изящество; это танцевалъ полякъ и аристократъ. Последняго-то именно и не доставало Болеславу Казиміровичу.

Ловко закрутивъ свою даму и еще ловчѣе опустил ее на ея стулъ, онъ почтительно поклонился и съ равнодушнымъ спокойствіемъ отошелъ на прежнее свое мѣсто.

— Еще Польска не згинѣла! — замѣтилъ при этомъ Подхалютинъ, обращаясь къ кому-то изъ своихъ сосѣдей, подобно ему любовавшихся на блистательную пару.

— Еще бы сгнать, коли тамъ люди умѣютъ и вставать и страдать за свою свободу! — замѣтилъ ему этотъ кто-то, желая заявить нѣкоторую либеральность.

— Нѣтъ, не страдать, а танцевать за свободу! — поправилъ славнобубенскій философъ. — И не згинѣла Польска до тѣхъ поръ, пока тамъ будутъ умѣть вотъ этакъ плясать мазурку.

Каждая изъ славнобубенскихъ матронъ и сильфидъ, порхавшая по этой залѣ, укрыла теперь въ душѣ своей злостный умыселъ противъ графа: каждая рѣшила наперерывъ другъ передъ дружкой выбирать его своимъ кавалеромъ, но Маржецкій какъ будто проникъ тайнымъ уразумѣніемъ ихъ замыслы и потому скорѣй незамѣтно удался изъ залы.

За ужиномъ по одну сторону подлѣ хозяйки сидѣлъ баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, а по другую графъ Северинъ-Маржецкій.

— Графъ, позвольте предложить вамъ тостъ, — исполгоса сказала она, выразительно глядя на своего сосѣда.

— Въ честь чего или кого? — спросилъ Маржецкій, внимательно склонясь къ ней въ пол-оборота.

— Въ честь того, чего мы болѣе всего желаемъ, — тихо проговорила губернаторша, метнувъ на него еще болѣе выразительный и восторженный взглядъ. Графъ понялъ, и чокнувшись залпомъ выпилъ бокалъ.

Потомъ она чокнулась и съ барономъ, со вздохомъ сожалѣнія по случаю его скорого отъѣзда. Балъ кончился въ пятомъ часу утра, и многіе, уѣзжая съ него, дѣлали свои соображенія относительно ссыльнаго графа. Появленіе его на этомъ балѣ, вниманіе губернатора, любезность хозяйки, туръ мазурки, мѣсто за ужиномъ, нѣкоторыя фразы и умѣнье держать себя въ обществѣ и, наконецъ, этотъ особенный ореолъ «политическаго мученичества», яркій еще тогда по духу самаго времени, — все это давало чувствовать проницательнымъ славнобубенцамъ, что графъ Северинъ-Маржецкій сразу занялъ одно изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ мѣстъ «въ на-

шемъ захохотѣлъ», что онъ большая и настоящая сила.

XXXVI.

Въ саду.

Солнце садилось за низкую тучу и послѣднимъ своимъ отблескомъ окрашивало ее въ густой темно-розовый и почти багряный цвѣтъ съ ярко-золотистыми скважинами въ серединѣ и излучинами по краямъ, сверкавшими словно растопленное золото. Волга мѣстами тоже была подернута этимъ багрянымъ отливомъ послѣднихъ лучей, которые жаркими искрами замирали на прорѣзныхъ крестахъ городскихъ церквей и колоколенъ да на причудливыхъ верхушкахъ высокихъ мачтъ у расшивъ, и горѣли кое-гдѣ на откосахъ большихъ надутыхъ парусовъ, которые тамъ и сямъ плавно несли суда внизъ по теченію.

Въ воздухѣ было тихо и тепло. Порою легкій вѣтерокъ съ Заволжья приносилъ воздушною струею свѣжій запахъ воды и степныхъ весеннихъ травъ. Стояли послѣдніе дни мая.

Въ небольшой и легкой плетеной бесѣдкѣ, сплошь обвитой побѣгами наводъ и хмѣля, на зеленой скамьѣ, передъ зеленымъ садовымъ столикомъ сидѣла Татьяна Николаевна Стрѣшневна и шила себѣ къ лѣту холстинковое платье. Передъ нею лежали рабочій баулъ и недавно сорванные съ клумбы двѣ розы. По саду начинали уже летать майскіе жуки да ночныя бабочки, и какъ-то гуще и сильнѣе запахло къ ночи со всѣхъ окружающихъ клумбъ ароматомъ резеды и садоваго жасмина.

Дѣвушка старалась шить прилежнѣй, потому что чувствовала, будто сегодня ей какъ-то не шьется. Голова была занята чѣмъ-то другимъ; взоръ отрывался отъ работы и задумчиво летѣлъ куда-то вдаль, на Заволжье, и долго, почти неподвижно тонулъ въ этомъ вечернѣющемъ пространствѣ; рука почти машинально останавливалась съ иглою, и только по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, словно бы опомнясь и придя въ себя, дѣвушка замѣчала, что шитье ея забыто, а непослушныя мысли и глаза опять-вотъ блуждали гдѣ-то!

«Господи! Да чтѣ это со мной сегодня?» недоумѣло шептала она себѣ и снова, еще прилежнѣй, принималась за работу.

Или вдругъ начинала она пристально вглядываться и вслушиваться въ садовую чашу, словно бы ожидая чьего-то прихода. Но замѣтивъ, что слухъ и глаза опять обманули ее, снова наклонилась къ шитью, и только одна какая-то жилка въ нервно-молодомъ, впечатлительномъ лицѣ на мновеніе вздрагивала досадливымъ нетерпѣніемъ. Задумчиво-ясная улыбка появлялась порой на глазахъ и во взорѣ, и свѣтло блуждала нѣкоторое время по

лицу, словно бы въ эти минуты дѣвушка вспоминала о комъ-то и о чемъ-то, словно бы ей приходили на память чьи-то хорошія слова, чей-то милый образъ, какія-то пріятныя мновенія, уже перешедшія въ недавнее прошлое, быть-можетъ только вчера, быть-можетъ еще сегодня... И она снова, нетерпѣливо и выжидательно, начинала вглядываться въ чашу.

Но въ саду было совсѣмъ тихо, только комарикъ какой-то звенѣлъ недалеко надъ ухомъ, да соловей гдѣ-то рано начиналъ выщелкивать, да еще гуще пахло резедой и жасминами.

Вдругъ по песку ближней дорожки послышались быстрые, легкіе молодые шаги.

Дѣвушка чутко вздрогнула, затаила свѣтлую, всю душу выдающую улыбку и принудила себя наклониться къ работѣ, старалась сдѣлать видъ, будто она вся поглощена этимъ занятіемъ.

«Нѣтъ! Чего лгать-то!» мелькнула ей мысль,—и спѣшно отодвинувъ свой баулъ да холстинку, она нетерпѣливо и радостно подняла глаза и вся ждала ими, вотъ-тотъ, оію секунду появленія предъ собою кого-то, давно ужежданнаго и желаннаго.

Вошелъ Хвалынцевъ.

— Чтѣ такъ поздно?—съ легкимъ укоромъ, но внутренне довольнымъ тономъ, спросила Татьяна Николаевна, протягивая ему руку.

— Да вотъ, только-что съ дѣлами упрямился.

— Кончили?

— Совсѣмъ уже.

— И стало быть, завтра?—задумчиво проговорила она, опять устремляя долгій, блуждающій взглядъ на Заволжье.

— Завтра... Прощайте, Татьяна Николаевна!.. — тоже задумчиво и не сразу отвѣтилъ студентъ, садясь на зеленую скамейку.

— Ну, прощайте... Дай Богъ вамъ...

Она не договорила и отвернувшись глядѣла все въ ту же прозрачно-мгlistую даль.

— А не хочется уѣзжать!.. Ей-Богу, такъ привыкъ я за все это время... заговорилъ онъ, глядя себѣ въ ноги, словно бы боялся прямымъ взглядомъ на нее выдать свои ощущенія.

— Нельзя, Константинъ Семеновичъ... нельзя. Надо ѣхать. Надо дѣло дѣлать.

— Эхъ, ей-Богу, и вы туда же!—съ нѣкоторою досадой махнулъ онъ рукой.—Отъ всѣхъ вкругъ только и слышишь «дѣло» да «дѣло», а какое дѣло-то?.. Какъ подумать-то хорошенъко, такъ и дѣла-то никакого нѣтъ!

— А учиться?.. Развѣ это не дѣло?

— Положимъ и такъ; да чтѣ толку-то?

— Ну, коли о толкѣ говорить, такъ это длинныя разговоры пойдутъ. Надо, голубчикъ мой, чтобъ у каждаго человѣка какое-нибудь дѣло было, какая-нибудь задача въ жизни.

— Вы, кажись, резонировать начинаете?—мягко улыбнулся Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, а такъ мнѣ кажется. Скучно безъ дѣла-то.

— Хм!.. Ну, возьмемъ къ примѣру васъ хоть: какое у васъ дѣло?

— А вотъ—какъ видите; платье холстинковое шью себѣ.

— И въ этомъ задача жизни? — пошутилъ онъ.

— Вы къ словамъ придираетесь. Задача, положимъ, и не въ этомъ, а умѣть самой шить себѣ платье—дѣло не лишнее.

— Да вѣдь это все такъ-себѣ, одни слова только или отъ нечего дѣлать! Задача въ жизни!.. легко сказать!.. И всѣ мы любимъ тѣшить себя такими красивыми словами. Оно и точно: сказалъ себѣ «задача въ жизни»—и доволенъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ однимъ уже этимъ словомъ что-то опредѣлено, что-то сдѣлано, а разобрать поближе—и нѣтъ ничего! Ну, какая, напримѣръ, ваша задача въ жизни? Простите за вопросъ!—улыбнулся Хвалынцевъ.

Татьяна Николаевна поглядѣла на него серьезно и просто.

— Очень не хитрая,—сказала она.—Быть честной женщиной.

— Понятіе условное-съ. Одни понимаютъ его такъ, другіе иначе. Да вотъ вамъ, для нагляднаго сравненія: мать Агаѣоклея потеряла жениха, пошла въ монастырь, всю жизнь осталась вѣрна его памяти, все имѣніе раздала нищимъ и на старости лѣтъ имѣетъ полное право сказать о себѣ: «я честная женщина»; ну, и наша общая знакомка Лидинька Зайцъ тоже вѣдь съ полнымъ убѣжденіемъ и совѣмъ искренно говоритъ: «я честная женщина».

— Что-жь, можетъ-быть, съ своей точки зрѣнія и Лидинька права,—пожала плечами Стрѣшневна,—какъ права и мать Агаѣоклея. Я, Константинъ Семеновичъ, понимаю это дѣло такъ,—продолжала она.—Прожить свою жизнь такъ, чтобы ни своя собственная совѣсть, ни людская ненависть ни въ чемъ не могли упрекнуть тебя, а главное—собственная совѣсть. Для этого нужно немножко сердца, то-есть чело-вѣческаго сердца, немножко разсудка да искренности. Ну, вотъ и только.

— Рецептъ не особенно сложенъ,—возразилъ Хвалынцевъ,—и былъ бы очень даже хорошъ, если бы сердце не шло часто наперекоръ разсудку, вотъ, какъ у меня, напримѣръ, разсудокъ говоритъ: поѣзжай въ Петербургъ, тебѣ, братъ, давно пора, а сердце, быть-можетъ, проситъ здѣсь остаться. Что вы съ нимъ подѣлаете! Ну, и позвольте спросить васъ, что бы вы сдѣлали, если бы, выйдя замужъ да вдругъ... вѣдь всяко бываетъ!—глубоко полюбили бы другого?

Стрѣшневна, прежде чѣмъ отвѣтить, поглядѣла на него серьезно и нѣсколько строго, словно бы желая опредѣлить себѣ, подъ какимъ побужденіемъ былъ сдѣланъ этотъ вопросъ.

Хвалынцевъ глядѣлъ на нее, какъ и всегда, и серьезно, и съ уваженіемъ.

— Что бы я сдѣлала?—медленно проговорила она.—Во-первыхъ, я бы не вышла иначе замужъ, какъ только убѣдясь прежде въ самой себѣ, что я *точно* люблю человѣка, что это не блажь, не вспышка, не увлеченіе, а дѣло крѣпкое и серьезное. Ну, и послѣ этого... мнѣ бы ужъ, конечно, не пришлось полюбить другого.

— Да если другой-то будетъ лучше!

— Тутъ нѣтъ, мнѣ кажется, ни лучше, ни хуже,—столь же серьезно продолжала дѣвушка.—Можетъ-быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человѣка, потому что любишь не *за что-нибудь*, а любишь просто, потому что любитъ, да и только. Знаете пословицу: не по хорошу миль, а по милу хорошъ. Но дѣло въ томъ, мнѣ кажется, что можно полюбить разъ да хорошо, а больше и не надо! Больше, ужъ это будетъ не любовь, а Богъ знаетъ что! Одно баловство, ну, а я такими вещами не люблю баловаться.

— Но какъ же послѣ этого Лидинька-то права, положимъ, хоть и «съ своей точки зрѣнія»?—спросилъ Хвалынцевъ, думая поймать на словъ собесѣдницу.

— Лидинька? Да Лидинька не понимаетъ и никогда не понимала этого. И развѣ она виновата въ томъ? Вѣдь человѣкъ не виноватъ, если родился слѣпымъ или безрукимъ. О немъ только пожалѣть можно. То же самое и Лидинька.

— Однако, вѣдь эдакъ и все оправдать легко?—сомнительно улыбнулся студентъ.

— Обвинить еще легче. Лидинька никогда не любила, а теперь ужъ едва-ли и можетъ полюбить серьезно. Она «за свободу чувства», какъ говоритъ она, и совершенно искренно стоитъ за эту свободу, не понимая, что это такое; притомъ же Лидинька не убила, не уворовала вещи какой-нибудь, словомъ, не сдѣлала ничего такого, что на условномъ языкѣ называется «подлостью». Лидинька, къ тому же еще «свои убѣжденія имѣетъ», и потому съ полнымъ правомъ и съ полною искренностью называется себя честной женщиной. Ей бы только, по настоящему, замужъ выходить не слѣдовало, но... это ошибка ея родныхъ; ее выдали, не спрашивая согласія, чуть не ребенкомъ.

Хвалынцевъ задумался.

— Такой взглядъ на серьезное чувство, безспорно, хорошъ,—сказалъ онъ наконецъ,—но вѣдь съ нимъ иногда рискуешь быть очень несчастливымъ въ жизни.

— То-есть, какъ это?—подняла голову дѣвушка.

— А такъ, что если вы любите человѣка вѣтренаго, увлекающагося, который разлюбитъ потомъ, который въ каждомъ смазливомъ личикѣ будетъ находить себѣ источникъ чувства или развлеченія, тогда что?

— Да, тогда не хорошо,—согласилась Стрѣшневна.—Это безспорно, величайшее несчастье, но это еще не недостаточная причина, чтобы и самой дѣлать то же.

— Опять маленькое резонерство!—подхватилъ Хвалынцевъ.—Это говоритъ голова или, пожалуй, сознание долга, но никакъ не сердце. Такого нестоющаго человѣка какъ не люби, а наконецъ все-таки станешь къ нему равнодушною. Тогда что?

— Тогда? Уйти въ свою улитку и затвориться.

— А коли душа снова запроситъ солнца, свѣта, воздуха; коли кровь еще въ каждой жилкѣ будетъ напоминать про молодость?

— А сила воли на что?

— Но вѣдь это какое-то факирство! Это значитъ душисть самоѣ себя!

— Потому-то вотъ прежде и надо прочувствовать хорошо свое чувство, а потомъ уже рѣшиться,—серьезно сказала дѣвушка.

— А если обманешься и, главное, выйдешь замужъ, да потомъ увидишь, что дѣло-то плохо? Она улыбнулась и собралась съ мыслями.

— Вы, Константинъ Семеновичъ, кажется, думаете, что я замужество полагаю первымъ и непремѣннымъ условіемъ серьезнаго чувства?—осторожно отчасти застѣнчиво спросила Татьяна Николаевна.—Скажу вамъ на это вотъ что: да, если я полюблю человѣка, то хотѣла бы любить его откровенно и прямо, не стыдясь глядѣть въ глаза цѣлому свѣту, не прятаться, не скрывать свою любовь, а говорить всѣмъ: да, молъ, я люблю его! Поэтому я во всякомъ случаѣ предпочла бы быть женою, чѣмъ не женою любимому человѣку. Предпочла бы еще и потому, что, мнѣ кажется, я за себя могу отвѣтить: ужъ если полюблю, такъ хорошо полюблю и не заставлю ни разу ни покраснѣть за себя, ни пожалѣть о томъ, что взялъ меня замужъ! И, наконецъ, во власти самой женщины сдѣлать такъ, чтобы человѣкъ всегда любилъ ее, чтобы ему и въ голову не пришло о возможности увлечься другою. Это *можетъ* сдѣлать женщина. Надо только умиѣть любить прежде всего и... вѣрить!.. Въ себя вѣрить!

Она говорила съ увлеченіемъ искренно, горячо. Голубые глаза ея горѣли и щеки раскраснѣлись молодымъ и горячимъ румянцемъ.

Хвалынцевъ жадно слушалъ и любовался ею, ловя глазами каждый ея взглядъ, каждое движеніе бровей, губъ, улыбку, выраженіе лица и чувствовалъ, какъ нѣчто острое и жуткое идетъ гдѣ-то внутри его и проникаетъ собою весь его составъ.

Ему было хорошо въ эту минуту. Онъ всѣмъ сердцемъ, всѣмъ разумомъ, всею волею склонялся передъ этой открытой простотой и беззаветной искренностью.

Разомъ обдавъ его своимъ яснымъ взглядомъ, дѣвушка замѣтила, угадала и поняла все и, еще больше зардѣвшись, вдругъ примолкла и тихо,

немножко смущенно опустила на прежнее мѣсто.

Разговоръ самъ собою прекратился, да и не къ чему было возобновлять его: на душѣ у обоихъ было такъ полно, такъ хорошо, такъ молодо и счастливо, что слова были излишни. Наступило полное и совсѣмъ спокойное молчаніе, въ которомъ еще отчетистѣй звенѣлъ какой-то назойливый комарикъ или ночная пчелка, и перерывисто раздавались надъ уснувшимъ берегомъ яркіе соловьиные раскаты. Она сидѣла, подпершись рукою, и въ задумчивости небрежно перебирала лепестки розы, а онъ сосредоточенно курилъ свою сигару и тихо глядѣлъ на ея полуопущенную русую головку. Съ того самаго раза, какъ Стрѣшневна пригласила его къ себѣ, послѣ сходимы у Лубянской, онъ часто и почти ежедневно сталъ бывать въ домѣ ея тетки. Къ нему скоро привыкли и перестали стѣсняться. Татьянѣ Николаевнѣ незамѣтно даже стало нравиться его присутствіе, онъ и ей, и старухѣ пришелся по сердцу. Дѣвушка любила быть съ нимъ и говорить съ нимъ, а молодое весеннее чувство межъ тѣмъ обоимъ закрадывалось въ душу, и какъ это сдѣлалось—они сами того не знали и не замѣчали; а оно шло все дальше и все глубже запуская въ сердце свои живучіе молодые корни. Они ни разу даже не подумали объ этомъ чувствѣ, ни разу не позаботились заглянуть во внутрь себя и дать себѣ отчетъ о томъ, что это такое; слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а между тѣмъ въ этотъ часъ оба инстинктивно какъ-то поняли, что они не просто знакомые, не просто пріатели или друзья, а что-то больше, что-то ближе, теплѣй и роднѣ другъ другу.

Поняли и молчали.

— Итакъ, завтра ѣдете?—прервала она, наконецъ, это молчаніе.

— Завтра... — проговорилъ Хвалынцевъ и бросилъ отъ себя окурокъ сигары.

— А въ самомъ дѣлѣ, грустно какъ-то разставаться,—задумчиво сказала она.—До послѣдней минуты объ этомъ и не думаешь, а тутъ—гляди—и грустно... Такъ все это хорошо было... время летѣло незамѣтно... и вдругъ ничего этого не будетъ...

— Остаться развѣ?—нерѣшительно и робко отозвался Хвалынцевъ.

Дѣвушка мелькомъ взглянула на него, но тотчасъ же потупясь отвернулась и молчала, не отвѣчая ни словомъ, ни жестомъ.

— Остаться?—еще тише молвилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Поѣзжайте... поѣзжайте... Надо ѣхать!—быстро и рѣшительно проговорила Татьяна Николаевна, какъ-то нервно и озабоченно принимаясь ошипывать лепестки своей розы, словно бы въ этомъ занятіи была теперь вся ея главная, сосредоточенная и серьезная забота.

— Значитъ, такъ и не увидимся больше?— спросилъ онъ, стараясь придать своему голосу спокойное и даже равнодушное выраженіе.

— Зачѣмъ не увидаться? Приѣдете опять какъ-нибудь!.. А можетъ, и мы съ тетуской по осени тоже въ Питеръ соберемся!.. Вотъ и увидимся.

Опять наступило молчаніе.

— Таня!—громко раздался съ террасы дома знакомый голосъ старушки. — Таня! гдѣ ты? Пора чай пить!.. Андрей Павлычъ пришелъ!

— Устиновъ здѣсь,—тихо вымолвилъ Хвалынцевъ.

Дѣвушка, ничего не отвѣтя, быстро собрала шитье, надѣла на руку баулъ и поднялась съ мѣста. Глаза ея встрѣтились съ глазами Хвалынцева.

— Ну, прощайте! — тихо, но рѣшительно

сказала она, усиливаясь придать себѣ улыбку, тогда какъ щека ея нервно подрагивала и въ груди колесомъ ходило что-то похожее на подступающія слезы.

— Прощайте!.. Нѣтъ, до свиданья! — прошепталъ Хвалынцевъ и, взявъ протянутую ему руку, долго, тихо и горячо, не отрываясь, сталъ цѣловать ее.

— До свиданья... до свиданья...—вся слегка дрожа, тихо шептала и принужденно улыбалась дѣвушка и глядѣла въ его лицо, отрывая и въ то же время не желая отрывать отъ его губъ свою руку. — Ну, будетъ... будетъ... Пойдемте!.. Пора!.. Тетуска ждетъ къ чаю!..

И они молча пошли по дорожкѣ въ сумракъ сада, сквозь который привѣтливо и весело глядѣла на нихъ изъ-за вѣтвей яркій свѣтъ лампы въ окнахъ хорошенькаго домика.

ПАНУРГОВО СТАДО

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ копилкѣ.

18-го сентября 1861 года, утромъ, въ половинѣ девятаго часа, Хвалынцевъ шелъ въ университетъ. Въ этотъ день открывались лекціи. Шелъ онъ бодро и весело, въ ожиданіи встрѣчъ со старыми товарищами, съ знакомыми профессорами.

«Что-то предстоитъ на нынѣшній годъ? какія дѣла, какіе интересы? будетъ ли все такъ же, попрежнему, процвѣтать своя домашняя, университетская «публицистика»? что *Сборникъ* студентскій? что «касса» сходки? Фишеръ, конечно, по-прежнему будетъ вѣщать, что «педагогика раздѣляется на три половины, изъ которыхъ первая говоритъ о воспитаніи, но вторая равно о воспитаніи, а зато третья... тоже о воспитаніи». Ну, да впрочемъ Фишеръ—Богъ съ нимъ! а вотъ лекціи Костомарова, Спасовича, Кавелина—тутъ ужъ вознаградимъ себя за всѣ три половины! Еще одинъ годъ—кандидатскій дипломъ въ руки—и гуляй себѣ Константинъ Семеновичъ по бѣлому свѣту, распоряжаясь своєю личностью, какъ признаешь удобнѣе!»

Весело мечтая такимъ образомъ, Хвалын-

цевъ почти и не замѣтилъ, какъ очутился передъ университетскимъ подъѣздомъ.

— А! старая гвардія! — привѣтливо, какъ стараго знакомаго, встрѣтилъ его въ сѣняхъ, на площадкѣ, почтенный университетскій швейцарь. — Старая гвардія! добро пожаловать! Съ новымъ курсомъ, съ новымъ счастьемъ!

— Здорово, Савельичъ! Спасибо тебѣ! А что новаго?

— О, новаго много, много новаго! полны карманы наложнищъ новостей, и то не оберешься! —махнувъ рукой, ухмыльнулся старый Савельичъ. — Письмо есть къ вашей милости — нѣсколько дней ужъ лежитъ.

И порывшись у себя на столикѣ, гдѣ у него обыкновенно раскладывались письма, адресованные въ университетъ, на имя студентовъ, онъ старчески внимательно, поодаль отъ глазъ, разобралъ надпись и подалъ Хвалынцеву запечатанный конвертъ.

— Ну, ладно, послѣ прочтемъ на досугѣ, — проворчалъ себѣ подъ носъ студентъ и, сунувъ письмо въ боковой карманъ разстегнутаго сюртука, повѣсилъ дально и быстрыми шагами поднялся наверхъ, по лѣстницѣ. Какъ разъ на верхней площадкѣ, носъ къ носу, столкнулась съ нимъ единая отъ полицейско-университетскихъ властей.

— Ай, ай, господинъ Хвалынцевъ, опять

воротнички! опять воротнички у васъ выпущены! и въ прошломъ году воротнички, и въ позапрошломъ воротнички, и нынче опять воротнички!—говорила власть, тщетно стараясь принять авторитетный тонъ, ибо чувствовала, что въ послѣдніе годы авторитетъ ея сильно расшатался.

— Ну да, Александръ Ивановичъ, и воротнички, и волосы длинноваты — это вѣдь мой всегдашній недостатокъ! Ничего, свои люди — какъ нибудь сочтемся! — полушутя, полунебрежно отбѣтилъ студентъ, трескающаяся въ дверь мимо власти, которая только развела руками да головой послѣдъ ему покачала.

Въ длинномъ университетскомъ корридорѣ, тамъ и сямъ, около аудиторій, слонялись довольно уже людныя группы студентовъ. Въ этихъ слоняющихся группахъ даже непривычный глазъ могъ бы сразу отличить новичковъ отъ «старой гвардіи», по выраженію Савельича. Старая гвардія бойко ходила, громко говорила, весело смѣялась и держала себя по домашнему, «своими людьми», съ видимою независимостью; новички же, тщательно застегнутые на всѣ пуговицы, отличались несмѣлостью движеній и взглядовъ, и въ выраженіи лица всецѣло еще носили робкое и почти идеальное благоговѣніе ко «храму науки».

Мимоходомъ кивнувъ кой-кому головою, кой-кому показавъ на ходу руку, Хвалынцевъ миновалъ наконецъ длинный корридоръ и спустился внизъ, въ курильную комнату, прозванную студентами по просту «коптелкой». Тамъ — все по старому: тѣ же грязно-желтыя стѣны, тѣ же двѣ-три убогія скамьи, тотъ же дымъ и окурки; тотъ же подслѣпчатый сторожъ со своимъ запахомъ и тотъ же бородатый маркитантъ въ синей поддевкѣ, а у маркитанта все тѣ же неизмѣнные бутерброды съ колбасой и сыромъ да слоеные пирожки съ яблоками, вкусъ которыхъ уже много лѣтъ отмѣнно хорошо знакомъ всему университету.

Коптелка была полна молодежью. Кромѣ синихъ студентскихъ воротничковъ, составлявшихъ, конечно, значительное большинство, тутъ въ разныхъ углахъ виднѣлось довольно таки много военныхъ усовъ, съ офицерскими погонами, нѣсколько черныхъ чамаровъ и кавказскихъ чекменей, нѣсколько поддевокъ, партикулярныхъ сюртуковъ и пиджаковъ. Несмотря на ранній часъ утра, табачный дымъ уже стоялъ коромысломъ и не одинъ десятокъ молодыхъ звучныхъ голосовъ кричалъ и надсѣдался, что есть мочи, горячо стараясь переперичать всѣхъ остальныхъ, чтобы подать свое личное мнѣніе въ какомъ-то общемъ спорѣ. Чтò это былъ за споръ, свѣжему человѣку разобрать не представлялось ни малѣйшей возможности, потому что коптелка была преисполнена невообразимымъ гамомъ и гуломъ. Въ одной изъ группъ, прислонясь спиною къ окну, стояла молодая и

довольно недурненькая собою дѣвушка, съ кокетливо-отброшенными назадъ короткими волосами, въ синей кашемировой юбкѣ, безъ кринолина, и съ узенькой лебучей синяго галстучка, облегающаго мужской воротничекъ багетовой маншкы. Фланелевая темная гарбальдѣйка скрывала ея стройную талію. Дѣвушка поминутно шуря, изъ-подъ синихъ очковъ, свои глазки, курила наотмашь папироску и горячо о чемъ-то говорила цѣлой группѣ разношерстной молодежи. Подлѣ нея, взмогшійся на подоконникъ и свѣсивъ оттуда ноги, сидѣлъ п ораторствовалъ молодой студентъ въ золотыхъ очкахъ. Выразительные глаза и красивое, но не совсѣмъ пріятное лицо его носило въ себѣ явный отпечатокъ еврейскаго типа. По его костюму, которому онъ тщательно старался придать демократическую небрежность, все-таки ясно можно было видѣть, что студентъ этотъ — сынъ очень богатыхъ родителей.

— А! Хвалынцевъ! Вотъ и онъ! здравствуй! Сюда, сюда! скорѣй сюда! дѣло есть! Слышалъ? — накинулось на студента нѣсколько наиболѣе знакомыхъ ему молодыхъ людей, едва лишь онъ успѣлъ переступить порогъ коптелки.

— Въ чемъ дѣло, господа? какое дѣло? Гамъ такой, что и разобрать ничего невозможно.

— Общее дѣло! Петлю надъ нами затягиваютъ! мѣртвую петлю! Говорятъ, сходы запрещены! — кричали разные голоса.

— Какъ запрещены? Этого быть не можетъ! — возразилъ удивленный Хвалынцевъ. — Запретить ихъ могъ тотъ, кто разрѣшалъ, а Высочайшаго повелѣнія не было.

— Обошлись и такъ! Да это не все: касса отъ насъ отобрана, пособія изъ нея присуждаются не студентами, а инспекторомъ; редакторовъ и депутатовъ будетъ избирать правленіе университета.

— То есть, университетскій совѣтъ? — въ видѣ наиболѣе точной поправки спросилъ Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, не совѣтъ, а *правленіе*, то есть канцелярія: секретарь, спидикъ, казначей и чиновники.

— Вздоръ! Это не имѣетъ смысла!

— О смыслѣ не говорятъ, — говорятъ о фактѣ.

Хвалынцевъ недоумѣло пожалъ плечами.

— Вы нынче держали переходный экзаменъ? — спросилъ его съ ошкѣ студентъ съ еврейскимъ типомъ лица.

— Нѣтъ, не держалъ; а что?

— А то, что, значитъ, похѣрять изъ университета.

— За что? Коли я, по праву, могу не держать изъ третьяго въ четвертый!

— По праву? Было такое, да сплыло! Теперь если вы не держите экзамена, или не выдержали его — вонъ безъ дальнихъ разговоровъ! Свидѣтельства о бѣдности тоже похѣрены:

и бѣдный, и богатый—все равно, плати 50 рублей, а нѣтъ ихъ—вонъ! Матрикулы какія-то вводить...

— Какъ... что... матрикулы?... Это еще что такое? что это за матрикулы.

— Чортъ ихъ знаетъ!... Яснаго понятія на этотъ счетъ не имѣется.

— Господа, да этого быть не можетъ! этому вѣрить нельзя!—проговорилъ озадаченный Хвалынцевъ.

— Повѣришь, какъ на собственной шкурѣ почувствуешь.

— Да вы что? Вы за правительство, что-ли?—грубо вызывающимъ тономъ обратился къ нему одинъ изъ близъ-стоявшихъ студентовъ.

Хвалынцевъ вспыхнулъ и, несмущенно глядя ему въ глаза, произнесъ твердо и отчетливо: — За здравый смыслъ и за законное право. Все это, повторяю, не имѣетъ смысла. Кто вамъ сказалъ это?

— Да вы откуда сами-то? изъ Японіи, что-ли, пріѣхали? Кто сказалъ!.. Весь городъ говорить! Въ газетахъ официально отпечатано!

— А намъ-то было-ли объявлено официально, черезъ попечителя, черезъ ректора, черезъ начальство?

— Начальство!.. Ха, ха, ха! Начальство трусило!.. Его и нѣтъ, оно и не показывается!

— Что-же дѣлать теперь?

— Объ этомъ-то вотъ и толкуется!

Хвалынцевъ, по пріѣздѣ изъ Славнобубенска, все дѣло, почти до вчерашняго дня, прожигая у одного своего пріятеля въ тиши и глуши чухонской деревушки, на финляндскомъ берегу, прожилъ безъ газетъ, безъ писемъ, безъ новостей, и теперь вернулся въ Петербургъ къ началу курса, не имѣя обо всѣхъ университетскихъ перемѣнахъ ни малѣйшаго понятія. Все, услышанное въ копилкѣ, ударило его какъ обухомъ. Здравый смыслъ отказывался вѣрить, а не вѣрить оказалось невозможно. Чувство досады и злости охватило его. «Какъ, за что, почему, по какому праву?» закипали въ немъ протестующіе вопросы.—«Лишать права посылать изъ среды своей избранныхъ депутатовъ для заявленія студентскихъ нуждъ—да кто же будетъ объясняться? вся масса, что-ли? Инспекторъ можетъ по своей прихоти утвердить или нѣтъ пособие моему товарищу изъ кассы, которая принадлежитъ исключительно самимъ студентамъ, которая создавалась ихъ собственною инициативой, которая сложилась и поддерживается на наши собственные гроши. И надъ этою кассой посторонній контроль, постороннее распоряженіе ею! И это совершается въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ голосъ профессора проповѣдуетъ съ кафедры о юридическомъ, о гражданскомъ правѣ! И послѣ этого можно вѣрить въ непреложность этого права! А эти 50 рублей—поворотъ къ ограниченію числа

студентовъ; это значитъ сдѣлать университетъ для большинства недоступнымъ, сдѣлать его достояніемъ касты, достояніемъ достаточныхъ людей. И не нашлось человѣка, который бы поднять голосъ противъ этого!—Господи! да что-жъ это такое!»

Такъ думалъ Хвалынцевъ, негодуя во всемъ пыломъ юношескаго увлеченія, а число людей, наполнявшихъ копилку, съ каждой минутой возрастало и общій шумъ становился все сильнѣе. Сдѣлалось уже очень тѣсно и душно, табачный дымъ ѣлъ глаза, шумъ голосовъ, старавшихся перекричать другъ друга, немилосердно раздиралъ барабанную перепонку. И все-таки невозможно было понять что-либо въ этомъ гамѣ, и тѣмъ больше наполнялась копилка, тѣмъ запутаннѣе становилось дѣло. Каждый въ отдѣльности зналъ, какія причины вызвали эту сходку, но никто не понималъ о чемъ, въ сущности, въ данную минуту идетъ весь этотъ гвалтъ, о чемъ и кто собственно спорить, чего кто хочетъ, что слѣдуетъ предпринять и на что рѣшиться? Лекціи уже читались въ аудиторіяхъ, но объ нихъ не думали: большинство студентовъ было въ копилкѣ. Ежеминутно то одинъ ораторъ, то вдругъ нѣсколько заразъ вскакивали на скамейки, на подоконники, кричали, махали руками, тщетно требуя слова—шумъ не умолкалъ. А если кому изъ этихъ ораторовъ и удавалось на нѣсколько мгновеній овладѣть вниманіемъ близъ-стоящей кучки, то вдругъ на скамью карабкался другой, перебивалъ говорящаго, требовалъ слова не ему, а себѣ, или вступалъ съ предшественникомъ въ горячую полемику; слушатели подымали новый крикъ, новые споры, ораторы снова требовали вниманія, снова зывали надсѣдающимъ до хрипоты голосомъ, жестикулировали, убѣждали; ораторовъ не слушали, и они, махнувъ рукой, послѣ всѣхъ усилій, покидали импровизованную трибуну, чтобъ уступить мѣсто другимъ или снова появиться самими-же черезъ минуту, и увы!—все это было совершенно тщетно. Прошло уже около часу, а дѣло не пришло еще даже къ намеку на какой-либо результатъ.

Хвалынцевъ сталъ приглядываться къ группамъ спорщиковъ, стараясь уловить хоть въ одной изъ нихъ какую-нибудь нить настоящаго серьезнаго дѣла и вдругъ, къ удивленію своему, увидѣлъ старую знакомую фізіономію, которую никакъ не ожидалъ встрѣтить здѣсь въ эту минуту.

По срединѣ одной кучки, въ красной кумачевой рубашкѣ и въ драповомъ пальто, стоялъ и разглагольствовалъ Ардальонъ Михайловичъ Поляровъ. Вокругъ него раздавались разнообразные голоса, но ихъ нестройный хоръ, то и дѣло, покрывался басистымъ голосомъ Ардальона. Онъ собственно не говорилъ, а только время-отъ-времени перебивалъ говоръ другихъ

своими возгласами и замѣчаніями, по большей части, отрицательнаго свойства.

— Шесть лѣтъ мы пользовались правомъ сходакъ и правомъ узаконеннымъ,—слышалось въ его группѣ.

— Что сходки? Сходки вздоръ-съ!—вдругъ перебилъ Полояровъ,—не въ сходкахъ сила! Сила въ насъ самихъ, коли мы сила!

— Депутаты... раздавался опять чей-то голосъ.

— И депутаты въ сущности вздоръ!—еще рѣшительнѣе и ровно ничего не выслушавъ, перебивалъ Ардальонъ.—Что такое депутаты?

— Да вы чего же собственно хотите?—уцѣпился за него одинъ студентъ, видимо раздосадованный этимъ безусловнымъ подведеніемъ всѣхъ студентскихъ нуждъ и потребностей подъ категорію вздора.

— Я-то?.. А вы чего?—увертливо отгрызнулся Полояровъ.

— Да мы-то знаемъ чего хотимъ, а вы все это отрицаете. Чего же, по вашему, нужно? Что же не вздоръ?

— Что не вздоръ? А потрудитесь сами догадаться,—отвѣтилъ Ардальонъ и, безъ церемоніи повернувшись къ студенту спиной, сталъ опять разглагольствовать:

— И ничего этого не нужно!.. Матрикулы... Вы говорите матрикулы?.. И матрикулы вздоръ! А надо показать, что мы сила, что съ нами нельзя шутить безнаказанно... Дѣйствовать надо!

Ардальона никто не слушалъ, его мнѣнія никто не спрашивалъ, но онъ насильственно врывался съ нимъ въ кружковый споръ, и когда, несмотря на это громогласно насильственное вторженіе, его все-таки не слушали, онъ продолжалъ колотить воздухъ словами, не обращаясь ровно ни къ кому, и раздражался всѣмъ этимъ словоиъзерженіемъ единственно ради услажденія своей собственной особы. Ему очевидно, хотѣлось взять первенство въ спорахъ, заставить всѣхъ внимать одному себѣ, порисоваться предъ всею толпою, но толпѣ этой было теперь не до Полоярова, и потому, volens-nolens, онъ услаждался самимъ собою и ради самого же себя.

Но на одно мгновеніе ему удалось-таки приковать къ себѣ почти всеобщее вниманіе.

Въ копилку вошли два-три студента аристократа, гладко прилизанные, подвитые, съ пробормомъ на затылкѣ, въ бѣлыхъ жилетахъ, чистенькіе, щепетильненькіе, съ тоненькими папиросками въ зубахъ. Вошли они, очевидно, не ради сходки, а ради тоненькихъ папиросокъ и сладкихъ пирожковъ.

— Къ чорту аристократовъ! Долой бѣложилетниковъ!—громовымъ голосомъ заоралъ Ардальонъ Михайловичъ, нарочно для этого вскочивъ на скамейку и гнѣвно сверкая глазами.

— Аристократы, вонъ!—ретиво подхватилъ

съ подоконника сынъ очень богатыхъ еврейскихъ родителей, во что бы то ни стало стремившійся быть «студентомъ волкомъ», ибо «волки» составляли антарктический полюсъ «бѣложилетниковъ».

— Долой! вонъ!—еще болѣе возвысилъ голосъ Ардальонъ, столь удачно поддержанный возгласомъ съ подоконника.—Вонъ, аристократы! Имъ нѣтъ и не должно быть мѣста между честнымъ студенчествомъ!

Толпа вскинула взгляды на молодецкую фигуру Полоярова, затѣмъ перевела ихъ на жиденькія фигурки аристократиковъ, и нѣсколько десятковъ голосовъ завопили: «Вонъ! вонъ отсюда!» И аристократики удалились, впрочемъ, не безъ старанія изобразить на лицахъ презрительную выдержку собственного достоинства.

— Господа! за что же? Развѣ они не такіе же студенты? Развѣ они не товарищи наши?—попытался-было Хвалынцевъ противустать вопиющимъ голосамъ.—Что за разъединеніе! Быть можетъ, имъ также было бы близко и дорого наше общее дѣло! За что же мы лишаемъ ихъ права принять въ немъ участіе?

— За то, что они аристократы!—ретиво возразилъ богатый студентъ еврейскаго типа.

— Но они студенты!—горячо вступился Хвалынцевъ.—Единодушнѣе, господа, надо! Чѣмъ больше-насъ будетъ безъ различія кастъ и словій, тѣмъ лучше!

Нѣсколько крайнихъ изъ «волчьей партіи» взвѣлись на Хвалынцева.

— Заступникъ аристократовъ! Адвокатъ бѣложилетниковъ!—раздались ихъ негодующіе возгласы.—Противъ всѣхъ! противъ общественнаго мнѣнія.

— Подъ судъ! подъ судъ за это!—равкнулъ чей-то голосъ.

— Подъ судъ адвокатовъ и заступниковъ! Подъ судъ барскихъ лизоблюдовъ!—подхватили нѣсколько голосовъ.—Сходку собрать, сходку! Судить! Выгнать къ чорту! Это пзмѣна общему дѣлу! Это подлость!

Хвалынцевъ побагровѣлъ отъ негодованія.

— Кто произнесъ слово подлость, тотъ глупъ!—смѣло и громко сказалъ онъ, обводя взоромъ сомкнувшуюся вокругъ него многочисленную кучку.—Если онъ не трусъ, то пусть выйдетъ сюда и я докажу ему, почему я считаю его глупымъ. Суда же я не боюсь, потому что знаю, что я правъ, а что я не барскій лизоблюдь, такъ это знаютъ мои товарищи и порукою въ томъ мое трехлѣтнее студентство. На такую выходку можно отвѣчать только презрѣніемъ. Но, господа! съ жаромъ заключилъ онъ, — умоляю васъ, оставьте на время наши личные счеты: судить меня вы успѣете и послѣ; напередъ подумайте лучше о нашемъ общемъ дѣлѣ! Да только потолковѣе!

— Bravo! bravo! Молодецъ!.. Дѣльно! Хорошо!—закричали и захлопали вокругъ него въ ла-

доши, и затѣмъ немедленно же поднялся прежній гамъ и шумъ, и споры, и опять потерялась всякая возможность разобрать что-либо въ этой кутерьмѣ и безладницѣ.

Хвалынцевъ, убѣдясь наконецъ, что сегодня тутъ никакихъ толковыхъ результатовъ не добьешься, собрался уже подняться наверхъ и идти въ аудиторію, какъ вдругъ до его плеча кто-то дотронулся.

— Господинъ Хвалынцевъ... извините... позвольте вамъ напомнить о себѣ, обратился къ нему высокій, но очень еще молодой человекъ, въ сильно заношенномъ партикулярномъ платьѣ. — Мы съ вами видѣлись еще въ Славнобубевскѣ... помните, литературное-то чтеніе... Шишкіна, можетъ помните? Шишкіна... Читали еще вмѣстѣ... Я вотъ Шишкінъ-то самый и есть!

И онъ раскланялся съ широкою, добродушно-привѣтливою улыбкою.

— А, какъ же, какъ же! Помню! — протянулъ ему руку Хвалынцевъ. — Какими вы судьбами здѣсь? Давно ли?

— Съ середины августа... Обстоятельства, знаете, нѣкоторые заставили пріѣхать. Я тутъ съ однимъ товарищемъ, можетъ знаете Свитка Василій? Ну, такъ вотъ я съ нимъ... Поступилъ вольнослушателемъ.

— Ну, очень пріятно встрѣтиться! — еще разъ пожалъ ему руку Константинъ Семеновичъ, намѣреваясь удалиться.

— Господинъ Хвалынцевъ, хотя я и не знаю васъ, но позвольте отъ души позжать вамъ руку! — подойдя къ обонмъ, произнесъ молодой человекъ въ черной чамаркѣ.

Хвалынцевъ поглядѣлъ на него недоумѣвающимъ, удивленнымъ взглядомъ.

— Ахъ, вотъ и кстати! Позвольте познаться! — предупредительно вмѣшался Шишкінъ. — Мой товарищъ, про котораго я сейчасъ говорилъ, Василій Свитка! Васъ называть не нужно: онъ уже знаетъ васъ.

— Да, подтвердилъ съ поклономъ товарищъ Шишкіна. — Хотя я только сегодня впервые узналъ васъ, но я васъ уже уважаю.

— За что же это? — нѣсколько смущенно пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— За вашъ честный и смѣлый поступокъ! — отчетливо и съ пріятно вѣжливой улыбкой проговорилъ Свитка, немного склонясь передъ Константиномъ Семеновичемъ. — Вы не задумались сдѣлать вызовъ на объясненіе тому глупцу, который оказался трусомъ; вы одинъ, почти противъ всѣхъ, не задумались смѣло высказать ваше мнѣніе въ защиту этихъ аристократовъ. Дѣйствительно, никто не имѣлъ ни малѣйшаго права и повода оскорбить ихъ такимъ образомъ, пока они имѣютъ честь носить студентскій мундиръ. И вы одинъ только противъ всѣхъ возвысили голосъ. Это съ вашей стороны и смѣло, и честно. Позвольте за это позжать вашу руку!

Слова эти, хотя Хвалынцевъ и нашелъ ихъ какъ-то выдѣланно фразистыми, весьма пріятно пощекотали его самолюбіе, и онъ добродушно, крѣпко и съ видимымъ удовольствіемъ стиснулъ протянутую ему руку.

Тонкій вѣніемъ осторожной лести закрался въ темный уголокъ его души. Хвалынцеву было и пріятно, несмотря на подмѣченную фразистость Василя Свитки, и вмѣстѣ съ тѣмъ почувствовалъ онъ себя какъ-то гордѣ, удовлетвореннѣ.

— Мы, конечно, будемъ встрѣчаться здѣсь, — продолжалъ Свитка, — а потому мнѣ было бы очень, очень пріятно считать васъ своимъ знакомымъ.

— Ну, такъ будемте знакомы! — охотно согласился Константинъ Семеновичъ, въ третій разъ потрясая руку Свитки. — Будемте безъ фасоновъ, по-студентски!

— Ба, ба, ба! знакомыя все лица! — пробасилъ надъ самымъ его ухомъ голосъ Ардальона Полоярова. — Здравствуйте, Шишкінъ! Сегодня мы съ вами еще не поздоровались. А вѣдь вы, какіе-съ, господинъ Хвалынцевъ? — прищурился онъ на студента.

— Такъ точно, господинъ Хвалынцевъ, — съ твердымъ удареніемъ, сухо и въ упоръ ему отвѣтилъ Константинъ Семеновичъ.

— Ну вотъ, я васъ и узналъ! Здравствуйте! Давайте лапку!

И не дожидаясь, чтобы студентъ протянулъ руку, онъ безцеремонно взялъ его повыше кисти и хлопнулъ его ладонью по всей своей пятернѣ, въ которой сжалъ и потрясъ пальцы Хвалынцева.

— Что за церемонія, помилуйте! Мы вѣдь не аристократы какіе, — беззапѣчиво возразилъ Полояровъ. — Что на душѣ, то и на дѣлѣ.

— Все это прекрасно, только я-то, помните, никогда не имѣлъ съ вами фамиллярнаго знакомства.

— Э, батенька, я ни съ кѣмъ церемонныхъ-то знакомствъ не имѣю! — махнулъ рукой Ардальонъ. — Я вѣдь человекъ прямой! Мы вѣдь съ вами никакихъ столкновеній не имѣли — такъ чего-же намъ? А что если я тогда былъ секундантомъ у Подвиляньскаго, такъ это что-жъ? дѣло прошлое! А я собственно ни противъ васъ, ни противъ Устинова ничего не имѣю, да и все это, знаете, въ сущности-то, одна только ерунда! Ей-Богу, ерунда! Порядочнымъ людямъ изъ-за такого вздора расходиться нечего! Все это се sont des пустяки! Дайте-ка мнѣ пипросочку.

Хвалынцевъ только и могъ улыбнуться да позжать плечами на эту до наивности безстыдную наглость, и желая поскорѣй отвязаться, подалъ ему раскрытый портсигаръ.

— Э, вишь ты, какія у васъ богатые напиросницы, — замѣтилъ онъ, вытягивая сигаретку. — Во всемъ-съ видна дворянская-то

струйка! А мы, батенька, по простотѣ: коли есть курево, такъ въ бумажномъ картузикѣ носимъ. Оно и дешево, и сердито! Вы долго еще пробудете здѣсь.

— До конца лекцій.

— Ну, такъ вѣрно еще встрѣтимся. До свиданья!

Хвалынцевъ небрежно кивнулъ ему головою, подалъ еще разъ руку Шишкину и Свиткѣ и удалился изъ шумной и дымной копилки.

II.

Славнобубенскія вѣсти.

Придя домой въ самомъ скверномъ настроеніи духа, Хвалынцевъ вспомнилъ, что въ карманѣ у него есть письмо. Взглянулъ на конвертъ: штемпель Славнобубенской почтовой конторы. — «Вѣрно отъ Устинова», подумалъ онъ, распе- чатывая, и не ошибся: письмо, дѣйствительно, было отъ него.

«Любезный другъ

Константинъ Семеновичъ!

«Давно уже собирался писать тебѣ, долго раскачивался, раскачивался (то лѣнь, то дѣло) и, наконецъ, раскачался. Приготовься выслушать мой длинный рапортъ, если это тебя хоть сколько-нибудь интересуетъ. Съ чего начать бы только? По свойственному людямъ себялюбію, начну прежде всего съ самого себя. Поживаю я отлично скверно, до того скверно, что бѣжалъ бы куда глаза глядятъ, да жалъ, что некуда! И не то, чтобы былъ нездоровъ—нѣтъ, мать-природа въ избыткѣ надѣлила меня *вождедѣльствомъ*, а просто жить скверно, въ нравственномъ смыслѣ. Едва ли повѣришь ты, если я скажу, что глупая и пошлая клевета о моей принадлежности къ тайной полиціи получила самое широкое развитіе, проникла во всѣ углы и закоулки богоспасаемаго Славнобубенска и вѣллась во всеобщее убѣжденіе столь прочно, что шпионство мое стало на степень непреложнаго, несомнѣннаго факта. Это поставило меня въ невыносимое положеніе, не лишенное, однако, самыхъ комическихъ сторонъ. Разныя власти и чиновники, у которыхъ рыльце въ пуху, стали сильно меня побаиваться и оказывать всяческія любезности, но ты хорошо поймешь то чувство, которое заставляетъ меня уклоняться отъ воспріятія ихъ любезностей, а эта уклончивость еще болѣе упрочиваетъ въ нихъ убѣжденіе, что я «тайный агентъ». Зачастую приходится мнѣ получать безымянныя письма, съ просьбами «донести куда слѣдуетъ», иногда даже «во имя либеральнаго прогресса и гуманности», или, какъ здѣсь болѣе выражаются, «ради человѣчества». И если бы ты только могъ представить себѣ, какихъ невообразимыхъ мерзостей, какихъ извѣтовъ, подвоховъ и подкоп- повъ исполнены эти анонимныя писанія «во

имя человѣчества!» Вся закулисная сторона славнобубенской жизни, отъ стола любого присутственнаго мѣста до арестантской камеры, отъ приемной губернатора до спальной чужой жены—все это служить удобнымъ матеріаломъ для этихъ писемъ, гнусныхъ до примитивной, наивной, несознающей себя подлости! Хотя къ заигрываньямъ властей и можно иногда относиться съ комической точки зрѣнія, но, воля твоя, жить въ этой средѣ и знать, что каждый чувствуетъ въ тебѣ шпиона—это невыносимо! Я совершенно бросилъ общество, нигдѣ не показываюсь, со всѣми почти пересталъ кла- няться, и все-таки тяжело! Вѣдь это приходится ежедневно выносить нравственную пытку. Я ретивѣе ударился въ свои занятія, въ учительство—но увя! прежде столь сильное, нравственное влияніе мое на учениковъ теперь совершенно исчезло: я ничего не могу подѣ- лать! Самолюбіе, сознание человѣческаго своего достоинства, чувство долга, наконецъ, не по- зволяютъ мнѣ смалодушничать, бросить все, признать себя побѣжденнымъ и бѣжать отсю- да; я еще борюсь пока, и буду бороться, но борьба, подчасъ, чересчуръ уже тяжела стано- вится—тяжела потому, что безцѣльна, потому что этимъ дон-кихотскимъ боемъ съ вѣтраннымъ мельницами только свое я, свое самолюбіе тѣ- шишь, а въ результатѣ бокамъ твоимъ все-же больно! Какъ тамъ ни презирай среду за ея баранью глупость и пошлость, а она вотъ все- таки деспотически давитъ тебя, и ты ежеми- нутно чувствуешь надъ собою силу ея гнета!

«Но довольно пока о себѣ, поговоримъ вообще о градѣ Славнобубенскѣ. Здѣсь—чортъ его знаетъ!—какая-то невообразимая и очень стран- ная кутерьма происходитъ. Возьмемъ, напри- мѣръ, гимназію. На послѣднемъ учительскомъ совѣтѣ, Феликсъ Подвилянскій внесъ на все- общее обсужденіе вопросъ: не признаетъ ли совѣтъ благопотребнымъ и даже необходимымъ, для наиболѣе успѣшнаго умственнаго и нрав- ственнаго развитія учениковъ, и для ознако- мленія ихъ съ ходомъ событій современной жи- зни Россіи, въ которой имъ придется быть дѣя- телями, допустить въ гимназіи безпрепятствен- ное чтеніе «*Колокола*» и прочихъ заграничныхъ изданій? Комментаріевъ я никакихъ не дѣлаю, но скажу, что предложеніе это, пущенное на голоса, отвергнуто большинствомъ одного толь- ко голоса, и то лишь изъ приличія, подан- наго предсѣдателемъ, противъ Подвилянскаго. Въ чиновныхъ и чиновничьихъ сферахъ про- явился какой-то новый, особенный жанръ: ру- гать на-паваль все, что носитъ на себѣ рус- ское имя, дарить высокомернымъ презрѣніемъ все, что отличается русскими симпатіями. Слово *patriotъ* стало у насъ какимъ-то по- зорящимъ ругательствомъ. Предсѣдатель ка- зенной палаты однажды не на шутку обидѣ- ся, когда къ нему обратились, чтобы онъ далъ

въ какомъ-то вопросѣ свое мнѣніе, «какъ добрый патріотъ», и отвѣчалъ, что онъ слишкомъ считаетъ себя развитымъ человѣкомъ, чтобы держаться такихъ узкихъ, отжившихъ понятій, какъ нелѣпое понятіе о патріотизмѣ. Особенно дамы преуспѣваютъ. Эти-то съ чего? ужъ Господь ихъ знаетъ! Слышно, что кое-гдѣ по городу гудяють какія-то прокламаціи, подъ названіемъ *«Великоруссъ»* и *«Къ молодой Россіи»*, но видѣть ихъ самому еще не приходилось, а толки-то — толки объ этомъ предметѣ идутъ горячіе и нескончаемые! Впрочемъ, Славнобубенскъ вообще веселится. Здѣсь живетъ нѣкто графъ Северинъ-Маржецкій, высланный сюда на жительство по политическимъ дѣламъ. Я, конечно, его не знаю, но кажется, что это открытая, честная и добрая душа. Онъ очень богатъ и постоянно щедрой рукой помогаетъ, безъ разбора, всѣмъ славнобубенскимъ бѣднымъ. Его очень хвалятъ. Онъ живетъ открыто, бываетъ за-просто у очень многихъ, даже и не изъ важныхъ, а у себя задаетъ еженедѣльно вечера, на которые съѣзжается, безъ разбору, чуть не весь Славнобубенскъ. Вотъ что значитъ цивилизованный человѣкъ: ссыльный и при томъ аристократъ по происхожденію, а ни тѣни ненависти къ русскимъ, ни тѣни кичливости въ выборѣ своихъ знакомствъ — ровень, милъ и любезенъ со всѣми, безъ различія. Я раза два видѣлъ его въ городскомъ саду: старикъ, а еще можно сказать, красавецъ. Наши барышни и барыни просто съ ума по немъ сходятъ и распѣвають какіе-то польскіе гимны, которые у насъ тутъ теперь въ большой модѣ между барышнями. Ну, что-жь бы тебѣ еще сказать о Славнобубенскѣ? Ахъ, да! Жандармскій полковникъ Пшечинскій, арестовавшій тебя въ Высокихъ Снѣжкахъ, недавно получилъ Анну на шею за снѣжковское укрощеніе и по этому поводу лихо откалывалъ (съ орденомъ на шеѣ) мазурку на семейномъ вечерѣ въ лѣтнемъ помѣщеніи клуба. Это обстоятельство можетъ напомнить тебѣ мудрое изреченіе російскихъ прописей, что «усердіе не остается безъ награды».

«Всѣ эти новости я знаю черезъ Татьяну Николаевну, которая поручила тебѣ очень и очень кланяться. Ты, вѣроятно, вскорѣ увидишь ее въ Петербургѣ. Онѣ съ теткой намѣреваются провести тамъ зиму. А мнѣ, стало-быть, будетъ еще грустнѣе и темнѣе въ моей и безъ того непріятной жизни. Это вѣдь единственный домъ, гдѣ я бываю, гдѣ я просто отдыхаю душой, гдѣ мнѣ тепло и уютно, а теперь и этого не будетъ... Только и останется у меня одинъ старый майоръ Петръ Петровичъ. Да впрочемъ, и его-то жизнь не пригляднѣе моей. Съ дочкой-то его, кажись, что-то нехорошее. Она скрывается, отецъ не видать, а кончится чѣмъ-нибудь нехорошимъ. У меня просто душа болитъ за этого старика,

да и ее-то бѣдную, жаль... Мерзавецъ Поляровъ!

«Нашъ бывшій кружокъ совершенно распался; впрочемъ, это началось при тебѣ. Воскресная школа осталась безъ всякаго призора, потому что съ завѣдывателями ея случился нѣкоторый скандаликъ. Заодно ужъ сплетничаю тебѣ и объ этомъ! Въ послѣднее время завѣдывала ею знаменитая Лидинька Затцъ, вмѣстѣ съ плюгавенькимъ Анцыфрикомъ. Только вдругъ, въ одно прекрасное утро, по Славнобубенску разнесся слухъ, что Анцыфрикъ (вообще, по отъѣздѣ Полярова, ютившійся подъ ея крылышкомъ) похитилъ Лидиньку отъ мужа; другіе же рассказывали, что не Анцыфровъ Лидиньку, а Лидинька Анцыфрова похитила и увезла съ собою въ Питеръ, но при этомъ взяла отъ мужа обязательство въ ежемѣсячномъ обезпеченіи, и тотъ, будто бы, далъ таковое съ удовольствіемъ. Такимъ образомъ, видишь ли, сколько великихъ дѣятелей эмигрировали изъ Славнобубенска, и все это богатство достается на долю вашего Питера! Однако, довольно сплетничать. Скажи-ка лучше, что это за слухи о новыхъ правилахъ, опубликованныхъ для университетовъ? Чѣмъ вызвана такая явная несправедливость относительно бѣднѣе, если только это справедливо? Вѣдь я, напримѣръ, будь я въ университетѣ, я бы не имѣлъ возможности кончить курсъ. За что все сіе бысть? Пиши мнѣ, пожалуйста, обо всемъ объ этомъ, а пока желаю тебѣ всякаго благополучія.

«Твой Андрей Устиновъ».

Это письмо измѣнило настроеніе Хвалынцева. Вѣсть о скоромъ пріѣздѣ Стрѣшневой окрылила его, какъ птицу въ ясномъ воздухѣ, свѣтлою радостью. «Она пріѣдетъ... Она не забыла своего обѣщанія, она помнитъ его, вѣлда ему очень, очень кланяться». — Хвалынцевъ еще и еще разъ перечелъ это мѣсто изъ Устиновскаго письма. — «Чего же болѣе? Теперь-то и жить, теперь-то и работать!.. Зная, что она тутъ, близко—она, такая свѣтлая, умная, милая, хорошая,—что она будетъ награждать его трудъ своимъ вниманіемъ, участіемъ, дарить за него своей лаской.—Господи! да тутъ чего же не сдѣлаешь! да тутъ почувствуешь силы Атланта! Одинъ, еще одинъ только годъ труда,—а тамъ рука объ руку, вмѣстѣ, ступай, работай, наслаждайся и живи, живи, живи».

Хвалынцевъ вспрыгнулъ съ кушетки и быстрыми шагами радостно заходилъ по комнатамъ.

III.

Прокламація и сходка 23-го сентября.

Всю недѣлю въ университетѣ продолжались волненія. Большая и шумная сходка собралась

20-го сентября. Предъ началомъ ея было вывѣшено воззваніе, приглашавшее студентовъ къ единодушію; но единодушія, столь желаемого въ данныхъ обстоятельствахъ, не было, хотя необходимость его сознавалась почти каждымъ членомъ университетской корпораціи. На этой сходкѣ, равно какъ и наканунѣ, присутствовало въ стѣнахъ университета очень много постороннихъ лицъ, служащихъ и неслужащихъ, которые, видимо, заявляли свое сочувствіе студентскому дѣлу. Сходка 20-го сентября не выработала никакихъ опредѣленныхъ положеній, не привела ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, кромѣ того, что всеобщее недовольство возросло еще болѣе. Оно возрастало съ каждымъ днемъ и у многихъ переходило въ озлобленіе. Толковали, что всякія сходки положительно и безусловно воспрещены «Дополненіемъ къ министерскимъ правиламъ отъ 21-го іюня», но никто изъ участвующихъ лицъ не появлялся передъ студентами съ объявленіемъ объ этомъ воспрещеніи. Ни начальство, ни полицейско-университетскія власти ни разу не появились ни на одной студентской сходкѣ: они словно бы исчезли куда-то. Студенты же воплѣ за собою считали свое шестилѣтнее право сходокъ, пока имъ не объявлено прямо и формально о ихъ воспрещеніи и пока не розданы еще вновь вводимыя матрикулы. Всѣ эти дни университетъ былъ полонъ народомъ и вмѣщалъ въ стѣнахъ своихъ аудиторій до полуторы тысячи человѣкъ. Это были дни шумные, смутные и тяжелые для студентства.

* * *

23-го сентября, въ субботу, съ утра еще въ сборной залѣ стояла огромная толпа. На дверяхъ этой залы была вывѣшена прокламація, которая потомъ висѣла безпрепятственно въ теченіе шести часовъ сряду. Ни единая душа изъ начальства, по примѣру предыдущихъ дней, не появлялась даже въ виду студентовъ.

Хвалынцевъ еще внизу, въ швейцарской, услышалъ о какой-то прокламаціи и вмѣстѣ съ нѣсколькими товарищами спѣшно направился въ сборную комнату, изъ которой одни выходили, другіе входили, такъ что отлѣвъ постоянно пополнялся новымъ приливомъ, и такимъ образомъ толпа ни на минуту не уменьшалась.

Не безъ труда пробрался Константинъ Семеновичъ поближе къ дверямъ, на которыхъ висѣло воззваніе, желая поближе разузнать въ чемъ дѣло.

Одинъ изъ студентовъ читалъ громко и явственно.

Нашъ вѣкъ желѣзный, вѣкъ царей,
Штыковъ, законовъ безтолковыхъ,
Плодить безъ счету не людей —
Людшесѣ, дрянненькихъ, грошовыхъ“.

«Правительство бросило намъ перчатку, теперь посмотримъ, сколько наберется у насъ рыцарей, чтобы поднять ее. На словахъ ихъ очень много: куда ни обернешься — вездѣ красные, только какъ бы вамъ не пришлось краснѣть за нихъ.

«Студенты буйствуютъ, студенты своевольничаютъ», брюзжать стѣдовласые столпы отечества (прямые столпы), и вотъ являются передъ глазами публики декреты: выпускать въ университетъ только платящихъ (выражаясь примѣе: души въ невѣжествѣмъ массу); запретить всякія сходки (то-есть, *dividere et impregare*, а какъ *impregare*, почувствуемъ впоследствии). Вотъ покуда дѣла образчика нѣжности.

«Этого мало? Да, конечно. Но это только цвѣтики... Но что же намъ дѣлать? Да ничего... молчать. И потому *молчите, молчите, молчите*.

«Русскій народъ издавна отличался долготерпѣніемъ. Били насъ татары—мы молчали просто, били цари—молчали и кланялись, теперь бьютъ нѣмцы—мы молчимъ и уважаемъ ихъ... Прогрессъ!.. Да въ самомъ дѣлѣ, что намъ за охота заваривать серьезную кашу? Мы вѣдь широкія натуры, готовые на грязные полицейскіе скандалы подъ пьяную руку. Это только тамъ, гдѣ-то на Западѣ, есть такіе души, которыхъ ведетъ на подвиги одно пустое слово — *la gloire*.

«Теперь намъ запрещаютъ рѣшительно все, позволяютъ намъ сидѣть скромно на скамьяхъ, слушать цензурованные страхомъ лекціи, вести себя прилично, какъ слѣдуетъ въ классѣ, и требуютъ не *разсуждать*, слышите ли — не *разсуждать*! Ха, ха, ха!»

По толпѣ пробѣжалъ громкій смѣхъ. Чей-то голосъ выкрикнулъ: — «Слушаемъ, ваше превосходительство! рады стараться!» и общій смѣхъ разлился еще дружнѣе.

«Но господа, — снова продолжалъ чтець, — если, паче чаянія, взбрѣдетъ намъ, что и мы тоже люди, что у насъ есть головы — чтобы мыслить, языкъ — чтобы не доносить, а говорить то, что мыслимъ, есть цѣлыхъ пять чувствъ — чтобы воспринимать ощущенія отъ правительственныхъ ласкъ и глазомъ, и ухомъ, и прочими благородными и неблагородными частями тѣла, что если о всемъ этомъ мы догадаемся нечаянно? Какъ вы думаете, что изъ этого выйдетъ? Да ничего... Посмотрите на эпиграфъ и увидите что выйдетъ».

— Вздоръ! Не правда! Межъ нами найдутся честные люди! Это незаслуженные укоры! — раздали тамъ и сямъ протестующіе возгласы.

«Всѣ данныя имѣются у насъ теперь, чтобы обмануться въ нашихъ словахъ», говорилось далѣе въ прокламаціи.

— И обманетесь! обманетесь! Вы уже и обманулись! — громко отвѣчали на это слушатели.

Студентъ продолжалъ читать:

«Мы—легіонъ, потому что за насъ здравый смыслъ, общественное мнѣніе, литература, профессоры, безчисленные кружки свободно-мыслящихъ людей, западная Европа, все лучшее, передовое за насъ. Насъ много, болѣе даже, чѣмъ шпіоновъ. Стоитъ только показать, что насъ много. Теперь кто же противъ насъ? Пять, шесть олигарховъ, тирановъ, подлыхъ, крадущихъ, отравляющихъ рабовъ, желающихъ быть господами; они теперь выворачиваютъ только тулупы, чтобы пугать насъ, какъ малыхъ дѣтей, и чтобъ еще болѣе уподобиться своей братіи—звѣрямъ, но бояться ихъ нечего, стоитъ только пикнуть, что мы не боимся; потомъ противъ насъ нѣсколько тысячъ штыковъ, которыхъ не смѣютъ направить противъ насъ. Вотъ и все. Что же тутъ страшнаго?»

Иванъ Шишкня, стоявшій и слушавшій въ толпѣ, какъ-то вдругъ почувствовалъ, что и точно ничего нѣтъ страшнаго.

«Итакъ всѣ, кто не боится, пусть сплываются въ массу и... пусть будетъ, что будетъ. Худого не можетъ быть. Мы не за худое».

— Бояться! Х-хе! Чего бояться? Плевать!—съ выразительной интонаціей прибавилъ Арда-льонъ Полояровъ и, ради пущей изобразительности, отменно хорошо плюнулъ на полъ, словно бы этимъ самымъ дѣйствіемъ торжественно и всенародно подтвердилъ, что и въ-заправду плевать на всѣхъ и вся. Его выходка нѣкоторымъ весьма понравилась: ее встрѣтили одобрительнымъ смѣхомъ—обстоятельство, очень польстившее Полоярову.

«Главное, бойтесь разногласія и не трусьте энергическихъ мѣръ», вѣщала далѣе прокламація. «Имѣйте въ головѣ одно: *стрѣлять въ насъ не смѣютъ*,—изъ-за университета въ Петербургѣ вспыхнетъ бунтъ. Уже теперь наши начальники твердятъ, покачивая головами: «*Столица не спокойна*». На нашихъ мы менѣе надѣемся, чѣмъ на поляковъ». Въ нихъ болѣе благороднаго самоотверженія; они умѣли смѣло покушаться нѣсколько разъ на пріобрѣтеніе своей свободы, умѣли безъ страха идти на пытку, въ рудники, страдать за идею, и поэтому нашъ братскій призывъ къ нимъ: принять самое дѣятельное участіе въ общемъ дѣлѣ, подѣлаться съ нами своей энергіей».

Кое-гдѣ между слушателями послышался легкій говоръ и шопотъ сомнѣнія. Сомнѣвались въ томъ, захотятъ ли и теперь поляки поддерживать своимъ участіемъ общее университетское дѣло. Сомнѣвались исключительно почти одни только старые студенты, которые уже по трехъ-четырехлѣтнему опыту знали, что польскіе студенты всегда, за весьма и весьма ничтожными исключеніями, избѣгали общества студентовъ русскихъ и старались по возможности не имѣть съ ними никакого общаго дѣла. Поляки строго держались всегда своего отдѣль-

наго, замкнутаго кружка, не хотѣли пользоваться студентской бібліотекой, не обращались и не принимали пособій изъ студентской кассы, хотя многіе изъ нихъ доходили порою до послѣдней крайности. Они избѣгали даже протягивать руку знакомымъ русскимъ студентамъ, тогда какъ русскіе (и это могутъ подтвердить почти всѣ бывшіе въ университетѣ въ промежутокъ между 1857—60 годами) неоднократно протягивали польской партіи свои братскія объятія, предлагая полное единеніе и дружеское сліяніе во имя науки и общихъ интересовъ. Вѣжливо холодное, сухое и гордое презрѣніе, всегда слишкомъ явно сквозившее въ отношеніяхъ поляковъ къ русскимъ, было ихъ постояннымъ отвѣтомъ на эти беззавѣтно-хорошіе юношескіе порывы. И вотъ поэтому давній опытъ старыхъ студентовъ породилъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говоръ сомнѣнія въ эту минуту.

«Энергія, энергія, энергія!» гласила въ заключеніе прокламація. — «Вспомнимъ, что мы молоды, а въ это время люди бываютъ благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего, повторяемъ еще разъ, хотя бы пришлось всему университету идти въ келью богомольнаго монастыря».

«Судите!.. Но не напонимайте собою эпиграфа».¹⁾

Когда окончилось это чтеніе, Хвалынцевъ пробрался въ корридоръ, который былъ полонъ народомъ. Едва успѣвъ Константинъ Семеновичъ перекинуться кое-съ кѣмъ изъ знакомыхъ нѣсколькими словами, какъ мимо него понеслась огромная гурьба, съ криками: «на сходку! на сходку! въ актовую залу!» Студенты бѣжали, опережая другъ друга. Увлеченный общимъ потокомъ, и Хвалынцевъ направился туда же.

Комнаты, прилегающія къ актовой залѣ, были биткомъ набиты народомъ. Въ толпѣ пробѣгалъ сильный ропотъ: двери залы оказались запертыми. Начальство, думая помѣшать сходкѣ, отдало приказъ не отпирать ихъ. Нѣкоторые предлагали собраться, все равно, въ XI-й аудиторіи, но XI-я аудиторія, устроенная амфитеатромъ и самая обширная изъ всѣхъ остальныхъ, не могла вмѣстить въ себѣ всего числа людей, желавшихъ присутствовать на сходкѣ. Напрасно прождавъ здѣсь долгое время и видя въ этой замкнутой двери явное намѣреніе помѣшать сходкѣ, студенты подвигли сильнѣйшій ропотъ. Толпа оставалась въ нерѣшительности, чтò ей дѣлать и на чтò рѣшиться, какъ вдругъ кому-то пришла мысль направиться въ корридоръ смежный съ актовой залой, куда выходили стеклянные двери. Толпа повалила на этотъ зовъ,—въ корридорѣ раздался трескъ и звонъ вышибленнаго стекла, чья-то рука чрезъ

¹⁾ См. „Колоколъ“ 1861 г., листъ 116, стр. 966. „Матеріалы для исторіи гоненія студентовъ.“

образовавшееся отверстие отодвинула задвижку, которою дверь запиралась—и препятствие было устранено. Шумный поток тѣсной и густой толпы хлынул въ актовую залу и въ минуту наполнилъ ее.

Тотчасъ же потребовали профессора, исполнявшего должность ректора, для объясненій касательно новыхъ правилъ. Смущенный профессоръ, вмѣсто того, чтобы дать какой-либо ясный, категорическій отвѣтъ, сталъ говорить студентамъ о томъ, что онъ—профессоръ, и даже сынъ профессора, что профессоръ, по родству души своей со студентами, отгадываетъ ихъ желанія и проч. и проч., но ни слова о томъ, что студенты должны разойтись. Раздались свистки, шиканье, крики—профессоръ спѣшно удался.

И вотъ, окончивъ такимъ образомъ расчетъ съ исправляющимъ должность ректора, студенты на этой сходкѣ окончательно рѣшили: новымъ правиламъ не подчиняться, 50 рублей не платить, матрикеры, которые будутъ розданы, и билеты для входа уничтожить. Сходка, продолжавшаяся болѣе получаса, разошлась шумно.

IV.

Шестіе въ Колокольную улицу.

25-го числа, въ понедѣльникъ утромъ, придя по обыкновенію на лекціи, Хвалынцевъ былъ остановленъ передъ запертою дверью университета, около которой стояла все болѣе и болѣе прибывавшая кучка молодежи.

— Въ чемъ дѣло, господа? Чего вы тутъ стоите?

— А вотъ читайте, полюбуйтесь!

На дверяхъ было прибито краткое объявленіе, гласившее, что чтеніе лекцій въ университетѣ прекращено впредь до дальнѣйшихъ распоряженій.

— Вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день!—острилъ кто-то въ кучкѣ.

Съ университетскаго двора прошло нѣсколько человѣкъ студентовъ, которые объявили, что точно такія-же объявленія вывѣшены на всѣхъ наружныхъ дверяхъ, и что—еще сюрпризъ!—лабораторія и студентская бібліотека, какъ они сами въ томъ убѣдились, точно также закрыты.

— Егго: университетъ закрытъ!—почти единодушно рѣшили въ толпѣ.

А толпа съ каждой минутой все прибывала и росла, такъ что до середины мостовой улица была занята ею. Среди молодежи были очевидцы, которые увѣрили, что сосѣднія зданія Кадетскаго корпуса, Академіи наукъ и биржи заняты жандармами, спрятанными на всякій случай. Извѣстіе это, весьма быстро переда-

вавшееся изъ устъ въ уста, пныхъ встревожило, а инымъ весьма польстило самолюбію: а вѣдь насъ-де бояться!

— Ничего, что жандарміоны! Палки у насъ здоровыя! Справимся!—съ молотцоватою самонадѣянностью, громко заявлялъ Ардалонъ Полояровъ, потрясая, всѣмъ на показъ, своею козьмодемьянскою палицею.

— А! и вы, батенька, здѣсь!—замѣтивъ Хвалынцевъ, подошелъ онъ къ нему.

— Да я-то здѣсь, это не удивительно,—отвѣчалъ тотъ,—а вотъ вамъ-то что здѣсь дѣлать? Вѣдь вы не вольнослушатель?

— Гм... Хотя и не вольнослушатель, но посѣщаю. Я—другъ науки!—съ комически-важною улыбкою заявилъ Ардалонъ, словно-бы ему и самому-то казалось смѣшнымъ, что онъ—другъ науки.—Знаете, какъ это говорится: «amicus Plato, sed major amicus veritas», такъ вѣдь это, кажется? А ужъ я, батенька, за правду всегда и вездѣ... Это ужъ мы посстоимъ! съ тѣмъ и возьмите!—говорилъ онъ, внушительно опираясь на свою дубину.

— А вы слышали, ваши славнобубенскіе друзья здѣсь, въ Петербургѣ,—сообщилъ ему Константинъ Семеновичъ.

— То-ѣсть какіе это друзья?—нахмуясь и какимъ-то подозрительнымъ тономъ, нерѣшительно и неохотно спросилъ Полояровъ.

— Господинъ Аяцыфровъ и госпожа Затцъ,—пояснилъ Хвалынцевъ.

— А! да, да! какъ-же гдѣсь!—съ прояснившимся лицомъ подхватилъ Ардалонъ Михайловичъ.—Мы даже вмѣстѣ живемъ: коммуны себѣ составили.

— Какъ это коммуны?—удивился Хвалынцевъ.

— А такъ, какъ есть, настоящую коммуны, на основаніи социалистовъ. Вѣдь вы, сударь мой, вѣроятно, маракуете кое-что въ социалистахъ?.. Ну, тамъ, знаете, Фурье, Сенъ-Симонъ, Бюхнеръ, Мошотъ, Прудонъ... ну, тамъ, Фохтъ еще... ну, и прочіе—маракуете?

— Положимъ, что «маракую»,—удостовѣрилъ его Хвалынцевъ, съ трудомъ воздерживаясь отъ улыбки при этомъ вавилонскомъ смѣшеніи именъ.

— А когда маракуете, такъ и нашу коммуны поймете. Самое любезное дѣло! Дайте-ка напирску. У васъ хорошія.

Толпа студентовъ между тѣмъ возрасла до девянтисотъ человѣкъ, увеличиваясь партикулярными лицами, такъ или иначе приобщившими себя съ студентскому кругу. Улица была почти уже запружена, поэтому нѣсколько наиболѣе вліятельныхъ личностей, пользовавшихся авторитетомъ между товарищами, желая предупредить неумѣстное столкновеніе съ полиціей, подали мысль отправиться на большой дворъ, чтобы быть такимъ образомъ все-таки въ стѣнахъ университета, не подлежащаго вѣдѣнію

общей бюстительницы градскаго порядка,— и толпа хлынула въ ворота.

Долго еще шумѣли, судили, рядили внутри двора, но никто еще не зналъ окончательно, на что слѣдуетъ рѣшиться въ данномъ положеніи. Наконецъ притащили откуда-то лѣстницу и приставили ее къ стѣнѣ. Эта лѣстница послужила трибуной для ораторовъ. Полояровъ вскарабкался на дрова, сложенные въ большомъ количествѣ тутъ-же на дворѣ и, съ высоты своего поста, ежеминутно порывался вѣщать народу. Рядомъ съ нимъ взгромоздились еще нѣсколько личностей, и между ними та хорошенькая студентка, которую замѣтилъ Хвалынцевъ недѣлю тому назадъ въ курильной комнатѣ.

На лѣстницѣ то появились, то исчезали фигуры студентовъ: нѣсколько ораторовъ смѣняли одинъ другого; толпа то слушала, то шумѣла среди всеобщихъ совѣщаній.

— Депутатовъ! Послать къ попечителю депутатовъ за объясненіемъ! — раздавались изъ среды ея громкіе голоса.

— Нѣтъ, ждать на дворѣ, пока пріѣдетъ попечитель! — кричали другіе.

— Чего тамъ ждать! просто всѣмъ, какъ есть всѣмъ, идти къ попечителю и требовать объясненій! — взывали третьи.

— Требовать немедленнаго открытія университета! уничтоженія матрикулъ! отмѣны платы! — слышались разные голоса.

— Господа! господа! — вопилъ на дровахъ Ардальонъ Полояровъ. — Господа, я прошу: слова! Если мы общественная сила, господа, то надо дѣйствовать рѣшительно и силой взять то, что намъ принадлежитъ. Высадимъ просто любую дверь и займемъ университетъ! И университетъ будетъ открытъ и выгнать насъ изъ него не посмѣютъ. Войдемте, господа, силой!

Хвалынцевъ пробрался къ лѣстницѣ, и послѣ нѣкоторыхъ усилій, ему удалось вскарабкаться на эту трибуну.

— Господа! громко и рѣшительно началъ онъ; — одну минуту терпѣнія и вниманія! Выслушайте меня!

Студенты въ теченіе трехъ лѣтъ успѣли хорошо узнать Хвалынцева. Въ очень многихъ кружкахъ онъ пользовался любовью, какъ добрый и честный товарищъ, и уваженіемъ, какъ хорошій, дѣльный, работающій студентъ. Поэтому, при появленіи его на лѣстницѣ, толпа замолкла и приготовилась выслушать.

— Законъ запретилъ намъ выбирать и посылать нашихъ депутатовъ для заявленія нашихъ нуждъ и потребностей, началъ онъ свою рѣчь, — исполните законъ, не станемъ ему противиться.

Кое-гдѣ зашикали, нѣсколько голосовъ закричали: «Вонъ! долой!» но Хвалынцевъ не смутился.

— Между тѣмъ, намъ надо знать, за что,

какъ, по какому случаю закрыть университетъ? — продолжалъ онъ. — Наконецъ, если начальство нашло нужнымъ прекратить чтеніе лекцій, то зачѣмъ заперты университетская и наша собственная, студентская бібліотеки? зачѣмъ заперта лабораторія, тогда какъ и тѣ, и другая бывають открыты постоянно и даже во время каникулъ, когда нѣтъ лекцій? Мы имѣемъ полное и неоспоримое право знать, за что насъ лишили лекцій, лабораторіи и бібліотеки? Съ насъ взята установленная плата за слушаніе лекцій, за право быть студентами; слѣдовательно, мы имѣемъ право на слушанье лекцій и право на объясненіе, за что и надолго ли насъ лишили университета! Мы купили себѣ это право.

— Bravo! bravo! Такъ! Хорошо! — одобрительно закричали въ толпѣ.

Хвалынцевъ выждалъ, пока умолкъ этотъ крикъ одобрения и продолжалъ:

— Но какимъ путемъ добиться необходимыхъ объясненій? Депутаты запрещены; адреса письменные и запросы наши, какъ уже доказано фактомъ, не передаются по назначенію. Что же дѣлать? Мнѣ кажется, что тѣ, которые предлагаютъ отправиться всѣмъ университетомъ къ попечителю и требовать у него объясненій, имѣютъ на своей сторонѣ тотъ шансъ, что это — единственный возможный намъ путь, послѣ запрещенія депутатовъ. Но, такъ какъ въ сосѣднихъ зданіяхъ спрятаны жандармы, то это явно показываетъ, что отъ насъ ожидаютъ уличныхъ беспорядковъ и демонстрацій. Господа! обманемте ихъ добрыя ожиданія и надежды! Мы пойдемъ всѣмъ университетомъ къ попечителю, но пойдемъ такъ, что никому не удастся, при всемъ желаніи, сдѣлать изъ насъ фрондеровъ и демонстраторовъ. Пока, мы еще не лишены права свободно и чинно ходить по улицамъ. Поэтому я, господа, предлагаю: отнюдь не выходя изъ предѣловъ легальности, идти смирно, благочинно, не по улицѣ, а по тротуару, по два, а много по три человѣка въ рядъ, на извѣстномъ разстояніи пара отъ пары, чтобы не мѣшать постороннимъ прохожимъ и чтобы насъ не могли назвать толпой. Куреніе папирсовъ громкіе возгласы и прочее тому подобное строго устраняется. Согласны ли вы, господа, на мою программу.

— Bravo! Хорошо! Отлично! Согласны! Всѣ согласны! — дружно подхватили въ толпѣ — и Хвалынцевъ сошелъ съ лѣстницы, привѣтствуемый горячими рукопожатіями многихъ своихъ товарищей.

— Хвалынцевъ! Господинъ Хвалынцевъ! — кричалъ ему съ дровъ Ардальонъ Полояровъ. — Все это отлично, только легальность-то эта ужъ вовсе напрасно! А по-моему, коли идти, то такъ чтобы чертямъ было тошно! Дернуть бы эдакъ «Марсельезку», или «Долго насъ помѣщики ду-

пили», а то что такъ-то! Идти какимъ-то пансіономъ благородныхъ дѣвицъ! Ну, на чорта ли это похоже! Надо, господа, залитьъ открыто, что мы—сила прежде всего! У насъ за плечами вся западная Европа стоитъ и смотритъ на насъ, а мы вдругъ—пансіономъ благородныхъ дѣвицъ! Ха, ха, ха, ха!

— Депутатъ! депутатъ отъ медицинской академіи. Слушайте, смотрите,—зашумѣли въ толпѣ. И дѣйствительно, на лѣстницѣ показался какой-то медико-хирургическій студентъ и объявилъ, что онъ, отъ лица медиковъ, выражаетъ сочувствіе студентамъ университета.

Медику похлопали, покричали «браво», показали руки въ знакъ благодарности.

Послѣ него вскарабкался на лѣстницу какой-то офицеръ и тоже заявилъ, съ своей стороны, сочувствіе.

И офицеру тоже похлопали, покричали «браво» и показали руки.

Офицеръ сошелъ съ трибуны и присоединился къ той группѣ, гдѣ стояло нѣсколько чамарокъ, и между ними Василій Свитка съ Иваномъ Шишкинымъ, которые тоже показали ему руку, горячо и благодарно, какъ доброму и близкому знакомцу.

Господа! Товарищи! —раздался на дровахъ звучный и полный увлеченія женскій голосъ.

Толпа обернулась на этотъ зовъ: на дровахъ стояла и махала платкомъ хорошенькая студентка.

— Желаю вамъ полного, счастливаго успѣха,—говорила она. — Отъ всей души желаю! Только помните одно, господа—какъ можно болѣе единодушія! Единодушіе, единодушіе и единодушіе! Это мое послѣднее слово!

— Bravo! bravo, Попова! Bravo студентка! Молодецъ Попова! Благодаримъ! — зашумѣла толпа и чинно-тихо, въ величайшемъ порядкѣ, стала выходить съ университетскаго двора на набережную.

Путь лежалъ чрезъ Дворцовый мостъ и по Невскому проспекту отъ Адмиралтейства до Владимірской.

Василій Свитка нагналъ дорогою Хвалынцевъ.

— Спасибо вамъ, великое спасибо!—заговорилъ онъ, горячо пожимая ему руку.—Недѣлю тому назадъ вы показали благородную смѣлость противъ толпы, а сегодня показали хорошее умѣніе владѣть этою толпою и направлять ее. О, это золотое качество! Это драгоценное свойство, а я вижу, что вы имъ отлично владѣете. И главное, умѣли направить съ величайшимъ тактомъ и вполне легально. Вотъ что важно? Отъ этого много зависитъ!

«Чего этотъ баринъ все комплименты мнѣ говорить!» пробѣжала мысль въ головѣ Хвалынцевъ; но самолюбіе было опять-таки польщено и заглушило зародышъ сомнѣнія. — «А

впрочемъ, онъ, кажется, хорошій господинъ», успокоительно убаюкалъ себя Константинъ Семеновичъ и не безъ удовольствія отвѣтилъ приѣздомъ на горячее пожатіе Свитки.

— Эхъ, право! — заговорилъ подошедшій въ эту минуту Полояровъ,—и на кой чортъ въ эту тишину и спокойствіе выдумали! Этимъ мы показываемъ имъ, будто боимся ихъ. Съ «Марсельезкой-то» эффектише было бы.

— Ну, ступайте на другой конецъ улицы и пойте себѣ, коли вамъ нравится! — досадливо оборвалъ его Хвалынцевъ.

— Кто? Я-то? — насмѣшливо прищурился Полояровъ.

— Да, вы-то!

— Да меня... полиція заберетъ.

— Ну, вотъ то-то же и есть. А вы не смущайтесь, вы покажите ей ваше гражданское мужество.

— Хе, хе... Оно конечно... Но знаете, одинъ въ полѣ не воинъ. Кабы всѣ — другое дѣло; всѣхъ не тронуть! А вы, господинъ Хвалынцевъ, я васъ полюбилъ, ей-Богу полюбилъ! — продолжалъ Ардальонъ, отчасти въ протекторскомъ, отчасти въ подлаживающемся тонѣ.—Я васъ не зналъ прежде... Вѣдь я, признаться сказать, думалъ все, что вы шпионъ.

— Представьте, что я зналъ васъ прежде и всегда думалъ, что вы дуракъ,—съ дерзкимъ смѣхомъ и твердо глядя ему въ глаза, напрямикъ отрѣзалъ Хвалынцевъ.

Полояровъ отшатнулся назадъ и побагровѣлъ отъ злости. Онъ всегда былъ наглъ съ тѣмъ, кто смущался этимъ Полояровскимъ свойствомъ, и чѣмъ кто болѣе смущался, тѣмъ наглостію его становилась сильнѣй и назойливѣй; ею онъ постоянно бралъ верхъ и придавалъ себѣ тонъ авторитета. Но вдругъ коса нашла на камень. Онъ никакъ не ожидалъ подобнаго отпора и осялся сразу. Онъ почувствовалъ ясно, что Хвалынцевъ не труситъ и никогда ни въ какомъ случаѣ не струситъ предъ его внушительной особой. Даже вся закипѣвшая въ немъ злость въ минуту оказалась безсильною передъ твердымъ, прямымъ и спокойнымъ взглядомъ студента. Онъ почувствовалъ себя какъ-то нравственно слабѣе Хвалынцева, почувствовалъ какую-то подчиненность болѣе сильному и смѣлому человѣку и потому сразу въ душѣ возненавидѣлъ его. Но ни ненависти, ни даже оскорбленія показать не рѣшился, а такъ какъ эта пилула была имъ проглочена въ присутствіи другихъ лицъ, то Ардальонъ моментально сообразилъ за лучшее обратить все дѣло въ шутку.

— Хе, хе, хе!.. Однако вы, батенька, тово!.. шутникъ... ей-Богу шутникъ! — принужденно улыбаясь мило-пріятельскою улыбкой, заговорилъ онъ.—Такъ-таки и дуракъ, по-вашему? Хе, хе, хе!.. Нѣтъ-съ, батенька, кто знаетъ меня поближе, тотъ не скажетъ, что Ардальонъ

Полояровъ дуракъ, да и вы не скажете, когда узнаете... Но путникъ, право путникъ.

— За шутку шуткой,—отвѣчалъ Хвалынцевъ;—знаете пословицу: что посеешь, то и пожнешь.

— Да я не обижаюсь!.. Кто же вамъ сказалъ, что я*обижаюсь? На все обижаться, такъ и печенокъ не хватитъ!.. Вѣдь брань на ворота не виснетъ, скажу я вамъ другую пословицу. Да это все *ce sont des* пустяки, а давайте мнѣ лучше папиросочку. Смерть, курить хочется!

— Вѣдь былъ же уговоръ—на улицѣ не курить.

— Да что мнѣ уговоръ! Я человекъ независимый и ливреи не ношу, хотя бы и студентской. А впрочемъ, коли скупитесь дать, мы и свою достанемъ.

И онъ, подъ благовиднымъ предлогомъ куренія, отсталъ отъ Хвалынцева.

— Какъ вамъ нравится этотъ субъектъ?—спросилъ послѣдній у Василя Свитки.

— Знаю я его. Пустельга; ни къ чорту не годенъ!—съ презрительной миной махнулъ рукой Свитка.

Колонна студентовъ чинно тянулась по Невскому проспекту. Множество встрѣчныхъ постороннихъ лицъ, оглядывая съ изумленіемъ это собраніе студентскихъ фуражекъ, шинелей и пальто, спѣшили освѣдомляться, въ чемъ дѣло, и присоединялись къ шествію. Такимъ образомъ процессія тянулась почти на цѣлую версту и все увеличивалась постоянно присоединяющимися партіями разныхъ лицъ, мужчинъ и женщинъ, военныхъ, моряковъ, гимназистовъ, чиновниковъ, кадетовъ и даже уличныхъ разносчиковъ. Студенты межъ тѣмъ, несмотря на возрастающее скопище народа, шли попарно, либо по три человека, чтобы не занимать весь тротуаръ, не производить замѣшательства на улицѣ, и въ нѣкоторомъ разстояніи между парами, дабы, по возможности, неѣе походить на корпоративное скопище. Но масса ихъ синихъ околышей была столь велика, что стараніе это осталось совершенно тщетнымъ, и шествіе, неволью, само по себѣ, принимало видимый характеръ уличной демонстраціи. На дорогѣ встрѣтился имъ попечитель, который ѣхалъ въ университетъ. Онъ не остановился и проѣхалъ мимо. Но узнавъ, уже въ университетѣ, цѣль, съ которою отправились студенты, поспѣшилъ вернуться домой. Городскія власти, свѣдавъ объ этой процессіи, рассказали вслѣдъ за нею и, догнавъ студентовъ у Аничкина моста, вдругъ поѣхали шагомъ позади колонны, слѣдя и наблюдая за нею. Такой странный видъ имѣлъ этотъ поѣздъ на посторонніе глаза каждаго человека.

На Владимирской сопровождавшія власти вышли изъ экипажей и пошли пѣшкомъ по другой сторонѣ улицы. Одинъ изъ представи-

телей власти, спѣшными шагами достигнувъ головы процессіи, сталъ поперекъ идущимъ студентамъ и крикнулъ внушительно и строго:

— Куда?.. Назадъ!

— Мы идемъ къ попечителю! — отвѣчали въ толпѣ.

— Его нѣтъ дома.

— Это намъ сообщить лакей въ его квартиру. Впрочемъ ничего, мы подождемъ.

И продолжали идти дальше, наконецъ повернули въ Колокольную улицу и здѣсь остановились передъ домомъ, въ которомъ жилъ попечитель.

У подъѣзда стоялъ полиціймейстеръ, съ казаконъ ординарцемъ, и потребовалъ, чтобы студенты немедленно же разошлись.

— Мы разойдемся тогда,—отвѣчали ему,—когда получимъ объясненіе отъ попечителя, а если вамъ угодно, чтобы это случилось поскорѣе, то пошлите за нимъ своего казака.

Полиціймейстеръ отказался и въ бездѣйствіи продолжалъ стоять себѣ у подъѣзда.

Толпа зашумѣла всю улицу. Любопытные изъ публики взбирались на ступеньки сосѣднихъ подъѣздовъ, на тумбы, на фонари, на фундаментъ ограды Владимирской церкви, чтобы съ болѣе возвышеннаго пункта видѣть, что происходитъ въ средѣ студентской толпы.

Черезъ нѣсколько минутъ пріѣхалъ и попечитель.

Его окружили и стали требовать объясненій. Попечитель, совершенно справедливо находя неудобнымъ объясненіе съ толпою на улицѣ, просилъ ее разойтись. Ему предложили принять объясненіе на квартирѣ.

— Но, господа... у меня семейство, дѣти,—возразилъ онъ.

— Мы ручаемся, мы отвѣчаемъ за ихъ безопасность!—кричали голоса изъ толпы.

Въ эту минуту показались въ улицѣ конные жандармы.

— Жандармы! давить будутъ!—вскрикнуло нѣсколько человекъ—и вся толпа пришла въ ярость. Забыто было и объясненіе, и попечитель. Раздались свистки, шиканье и крики: «Вонъ! вонъ!»

Жандармы шагомъ двигались далѣе.

Толпа всей гурьбой кинулась къ нимъ на встрѣчу и охватила ихъ съ фронта и съ фланговъ. Среди криковъ и шиканья, поднялись въ воздухъ палки, въ особенности знаменитая дубина Ардальона Полоярова работала исправно по мордамъ жандармскихъ лошадей «ради пользы общественной». Жандармы удалились.

Студенты снова окружили попечителя и продолжали объясненіе.

— Но что же вамъ угодно, наконецъ, господа? — въ видимомъ затрудненіи спросилъ онъ.

— Долой матрикулы! долой министерство! долой пятидесятирублевую плату!—съ трудомъ

можно было слышать крики въ общемъ шумѣ и гвалтѣ раздраженной толпы. Съ минуты одержанія побѣды надъ жандармами спасительное благоразуміе было забыто — дурныя страсти и буйныя инстинкты стали усиленно бродить и разгудиваться въ толпѣ.

— Мы хотимъ знать, почему закрыть университетъ? — приступили къ попечителю немногіе изъ наиболѣе благоразумныхъ и скромныхъ въ своихъ требованіяхъ.

Попечитель пожалъ плечами. Студенты передавали потомъ другъ другу, будто онъ отвѣчалъ, что не знаетъ, почему университетъ закрыли. Но такъ ли это, или нѣтъ, а достоверно извѣстно, что почти получасовые резоны и убѣжденія его имѣли тотъ смыслъ, что объясняться на улицѣ онъ не можетъ, а дастъ отвѣтъ въ университетѣ.

— Нѣтъ, на улицѣ! Здѣсь же! Сейчас! — вошелъ Полояровъ. — Университета нѣтъ! университетъ закрытъ, значитъ въ университетѣ нельзя давать объясненій! Требуйте, господа, на улицѣ! Напирайте, не спускайте!.. На улицѣ, чортъ возьми, на улицѣ! — завопилъ онъ, въ заключеніе, что было мочи, во всю свою здоровенную глотку.

Многіе подхватили его возгласъ.

Между тѣмъ въ Колокольной заблистали мѣдныя каски пожарныхъ, появились отряды городскихъ съ револьверами, жандармовъ съ саблями и рота стрѣлковаго баталіона, которая была остановлена на пути своемъ въ крѣпость, куда шла для занятія карауловъ. Отряды эти загородили выходъ изъ улицы со стороны Владимірской.

— Войско! Сбродъ всякій! Сволочь полицейская! Гнать ихъ отсюда! Вонъ! долой! — снова поднялись яростные крики и вопли, и толпа вторично готова была ринуться на войско. какъ вдругъ раздался рѣзкій звукъ сигнального рожка.

— Господа! насъ атакуютъ!... это атака!.. Въ насъ будутъ стрѣлять! сейчасъ стрѣляютъ! — смутно пронесся по толпѣ тревожный говоръ. У многихъ вырвался короткій вопль ужаса. Ужасъ и томительная тоска ежемгновеннаго ожиданія отразились на многихъ лицахъ. Многіе поблѣднѣли, перепугались и, растерянные, заматались во всѣ стороны. Поднялась суета, смятеніе, суматоха. Тамъ и сямъ неприятно-рѣзко послышался женскій визгъ. Смущеніе и паника были написаны почти на каждой, мгновенно поблѣднѣвшей физиономіи. Ардашонъ Полояровъ, блѣдный, дрожащій, перепуганный суетился чуть ли не болѣе всѣхъ и, усердно работая руками и ногами, какъ можно скорѣе искалъ себѣ выхода изъ толпы и, наконецъ прорвавшись кое-какъ къ тротуару, впопыхахъ опрокинулъ какую-то торговку съ яблочками, разсыпалъ весь ея товаръ и, словно заяцъ подъ кочку, далъ поскорѣе

стрекача въ первый попавшійся подъѣздъ, въ которомъ и скрылся благополучно за стеклянною дверью.

— Ахъ, трусы, трусы! — злобно и презрительно ворчалъ себѣ сквозь зубы Василій Свитка; — и тутъ постоять за себя не могутъ!.. «А для довершенія эффекта хорошо, кабы разикъ горошкомъ хватили», подумалъ онъ; «послѣдствія, дастъ Богъ, были бы добрыя... поднялось бы скорѣй».

— Господа, чего вы! — стараясь придать себѣ спокойствіе и хладнокровіе, громко обращаясь къ студентамъ стоявшій рядомъ со Свиткой, Хвалынцевъ. — Не стыдно ли? Студенты, мужчины!.. Стрѣляютъ? Ну, что же, умѣйте стоять честными людьми, коли дѣло дошло до этого!

Его слова и спокойный видъ подѣйствовали на многихъ. Многимъ стало, и въ самомъ дѣлѣ, стыдно, особенно послѣ того, какъ голосъ Хвалынцева былъ поддержанъ молодой дѣвушкой студенткой.

Черезъ минуту болѣе половины этой толпы уже очнулось и было готово встрѣтить огонь. «Ура!!» громко и радостно вырывалось изъ нея, вмѣстѣ съ другими ободрительными криками и возгласами.

— Господа! успокойтесь! опаснаго нѣтъ ничего! — снуя по толпѣ, убѣждали между тѣмъ нѣсколько офицеровъ. — Это не пальба и не атака, это сигналъ «разсыпать цѣпь». Васъ просто хотятъ окружить, оцѣпить всѣ выходы и забрать удобнѣе.

Убѣжденія и доводы компетентныхъ людей возымѣли достодолжное дѣйствіе и на остальныхъ студентовъ. И они тоже вскорѣ оправились отъ паники, вполне овладѣвъ собою. Вмѣстѣ съ этимъ вернулась прежняя самоувѣренность, и вся толпа ринулась къ жандармамъ.

Во всеобщей суматохѣ, жандармскій офицеръ и два-три солдата, спертые со всѣхъ сторонъ, обнажили сабли. Это уже переполнило чашу ярости и раздраженія. Снова раздался крики: «Войско вонъ! полиція вонъ!» — и толпа уже смѣло двинулась къ выходу изъ улицы.

Войско на нѣсколько шаговъ подалось впередъ, но попечитель, почтенный кавказскій генералъ, сталъ между солдатами и толпою — и этимъ быстрымъ, удачнымъ движеніемъ ему счастливо удалось предупредить столкновеніе.

Войско разступилось и пропустило мимо своихъ рядовъ толпу студентовъ съ попечителемъ, который шелъ во главѣ молодежи. Эта толпа направилась обратно въ университетъ, гдѣ должно было произойти обѣщанное объясненіе.

Между тѣмъ, вѣсть объ этомъ происшествіи быстро разнеслась по городу. Толпы народа всѣхъ званій, возрастовъ и состояній затопили близъ-лежащія улицы. Многіе провожали это

шествіе, многіе ограничивались простымъ любопытнымъ глазѣнемъ. Вездѣ или самые разнорѣчивые толки. Въ иныхъ кучкахъ выражали сочувствіе студентамъ, въ другихъ сочувствіе полиціи.

— Это, братцы, все дворяне, все помѣщичьи дѣти бунтуютъ, объяснилъ одинъ зипунъ съ солдатскими усами.—Это все за то, что царь крестьянъ у нихъ отнялъ, да волю далъ, такъ это они таперича за то за самое!

— Нѣтъ, это все поляки! Извѣстно, на то и полякъ, чтобы бунтовать! полякъ всегда бунтуетъ!—объясняли другіе зипуны и чуйки, и это послѣднее объясненіе было наиболѣе общимъ, наиболѣе распространеннымъ въ простомъ народѣ.

— Это, братцы, они за то, что, слышно, ихнее заведеніе закрыли, — толковали иные извозчики.—Мы это доподлинно знаемъ, потому заведемъ возмъ ихъ на Островъ въ это самое заведеніе.

Уличные мальчишки бѣгали по улицамъ, висѣли на флангахъ студентской толпы и попрыгивая кричали: «Бунтъ! бунтъ!..»

Ардальонъ Полояровъ, убѣдясь наконецъ, что никакой серьезной опасности нѣтъ и не будетъ, покинулъ свое временное убѣжище въ сѣняхъ за подъѣздомъ и, присоединясь къ толпѣ студентовъ, ускорилъ и натравливалъ мальчишекъ:

— Кричи, ребята: «рѣжь публику!» «Рѣжь публику» кричи! Жаръ погромче! На прядники получите!

— Господинъ Полояровъ! Что вы глупости дѣлаете!—обернувшись къ нему, досадливо огрызнулся Хвалынцевъ;—или вамъ, въ самомъ дѣлѣ, угодно натравливать на насъ полицію?

— А что же? Я—ничего!—осклабсь, оправдывался Ардальонъ.—Я ихъ только добру учу, чтобъ они «республику» кричали... Общественное мнѣніе, знаете... Это ничего! это все пустое!..

Между тѣмъ студенты снова собрались на университетскомъ дворѣ. Когда они подходили къ цѣли своего путешествія, то увидѣли, что на площади, между университетомъ и академіей, уже былъ отрядъ жандармовъ. За университетомъ тоже стояли солдаты, спѣшно вызванные изъ казармъ Финляндскаго полка.

Начальство пожелало объясниться со студентами черезъ депутацію.

— Но вѣдь депутація запрещены самую же властью, самимъ правительствомъ?—возразили на это желаніе.

— Все равно; высылайте депутатовъ.

Это «все равно» породило въ толпѣ недоумѣніе: какъ-же, молъ, такъ? часть тому назадъ депутаты запрещены, черезъ часть опять дозволены; законъ межъ тѣмъ не отмѣненъ, а два представителя власти говорятъ «все равно, высылайте».—Да что-жъ это такое? гдѣ же чер-

та, которая отдѣляетъ границу закона отъ личнаго произвола? роптали студенты.—Что же такое было самое сегодняшнее шествіе, какъ не прискорбная необходимость, вслѣдствіе лишения стараго права? И теперь, когда эта уличная демонстрація сдѣлана, когда, того и гляди, можно было ожидать ежеминутной кровавой стычки съ полиціей и войскомъ, стычки, въ которой, пожалуй, приняла бы участіе въ ту или другую сторону толпа постороннихъ людей,—когда все это совершилось, вдругъ два представителя закона и власти говорятъ «все равно, высылайте!»—Въ этомъ «все равно» студенты явно увидѣли свою побѣду, свое торжество. Авторитетъ власти и закона былъ компрометированъ этою непослѣдовательностью. Студенты уполномочили для переговоровъ бывшую редакціонную комиссію и еще нѣсколько другихъ товарищей.

Объясненія депутатовъ съ попечителемъ и столичными властями длились довольно долгое время. Толпа студентовъ на университетскомъ дворѣ терпѣливо ждала возвращенія уполномоченныхъ. Къ ней присоединилось много постороннихъ лицъ: партикулярныхъ и военныхъ, моряковъ, медиковъ, юнкеровъ и воспитанниковъ разныхъ учебныхъ заведеній.

Въ это время на дворъ вошелъ сѣдой какъ лушь адмиралъ, который пріобрѣлъ себѣ всесвѣтную почтенную извѣстность своими учеными морскими путешествіями. Онъ шелъ мѣрными шагами, заложивъ руки назадъ и смотрѣлъ на толпу. Толпа почему-то нашла его взглядъ гордымъ и презрительнымъ. Студенты встрѣтили его смѣхомъ, а одинъ изъ нихъ, выступивъ впередъ, назойливо обратился къ нему шутовски-вѣжливымъ тономъ:

— Ваше превосходительство! позвольте у васъ попросить папироску! Ваше превосходительство, одолжите пожалуйста папироску! Ваше превосходительство! а, ваше превосходительство! я прошу папироску! Я у васъ прошу, ваше превосходительство! одну только папироску—не болѣе, ваше превосходительство!

Студенты хохотали.

Старикъ внимательно поглядѣлъ на стоявшихъ вблизи морскихъ офицеровъ и, не сказавъ ни слова, пошелъ со двора.

Наконецъ появились депутаты. Толпа съ нетерпѣніемъ жаднаго любопытства бросилась къ нимъ на встрѣчу.

— Что? какъ? въ чемъ дѣло?—раздалась со всѣхъ сторонъ перекрестная перестрѣлка тысячи вопросовъ.

— Господа!—объявили депутаты,—начальство поручило передать вамъ, что университетъ будетъ открытъ 2-го октября.

— Bravo! очень хорошо! Но зачѣмъ не сегодня? Зачѣмъ не сейчасъ? Мы требуемъ сегодня же! сейчасъ! сію минуту! безъ оттяжки, безъ разговоровъ!—раздались въ толпѣ шумныя замѣчанія.

— А закрыть онъ пока,—продолжали депутаты,—какъ бы вы думали, для чего?

— Ну? ну?!

— Закрыть онъ пока только... для изготовленія матрикулъ.

Толпа засмѣялась. Натяжка этого объясненія была слишкомъ очевидна. Сами студенты очень хорошо понимали настоящую причину закрытія.

— Библіотека и лабораторія будутъ открыты съ завтрашняго дня, то есть съ 26-го сентября,—передавали далѣе депутаты,—и никто изъ студентовъ арестованъ не будетъ. Намъ дано честное слово въ непермѣнномъ исполненіи этихъ обѣщаній...

Извѣстіе это было встрѣчено одобреніемъ толпы, но многіе выразили недовѣрчивое сомнѣніе.

— Засимъ мы передали попечителю и властямъ рѣшеніе субботней сходки,—продолжали депутаты.—Мы объявили имъ, что студенты новымъ правиламъ ни въ какомъ случаѣ подчиняться не будутъ, и что если начальство не хочетъ отмѣнить ихъ, то пусть лучше не открываетъ университета, — а если начальство вздумаетъ употребить старинную тактику, то есть, по одному заставлять подписывать матрикулы, то студенты, конечно, подпишутъ ихъ, но правилъ исполнять не будутъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ согласіе ихъ будетъ вынужденное. На это начальство отвѣчало, что съ него требуютъ, чтобы матрикулы были подписаны, а потому оно должно настаивать на исполненіи этого, а тамъ студенты могутъ дѣлать, что хотятъ.

Эти слова были встрѣчены точно также взрывомъ самыхъ шумныхъ одобреній въ одной части студентовъ, тогда какъ другая часть была недовольна такимъ отвѣтомъ: она требовала безусловнаго уничтоженія матрикулъ самимъ правительствомъ.

— Наконецъ, господа, депутація поручилась, что студенты тотчасъ же по выслушаніи ея отвѣта разойдутся,—завершили свой отчетъ уполномоченные.—Поэтому, господа, не ставьте насъ и себя въ ложное положеніе,—разойдемся спокойно.

Студенты, кучками, толкуя между собой, немедленно стали очищать университетскій дворъ и расходиться въ разныя стороны отдѣльными группами. Очень многіе были недовольны и неудовлетворены отвѣтомъ.

— Bravo! викторія!—весело шумѣлъ Половровъ.—Почти полная викторія! То-есть, такъ сказать, «ты побѣдилъ, Галилеянинъ!»

V.

Докладчикъ „Центра“.

Въ этотъ же самый день, часу въ восьмомъ вечера, Василій Свитка слѣзъ съ извозничьихъ

дрожекъ на углу Канонерской улицы въ Коломнѣ и спѣшно поднялся по лѣстницѣ большого каменнаго дома. На одной изъ дверей, выходившихъ на эту лѣстницу, была прибита доска съ надписью: «Типографія І. Колтышко». Онъ постучался и спросилъ управляющаго типографіей. Рабочій, отворившій дверь, проводилъ его въ типографскую контору. Тамъ сидѣлъ и сводилъ какіе-то счеты человекъ лѣтъ тридцати, довольно тщедушной, рыжеватой наружности.

— А! вотъ вы! Наконецъ-то!—нетерпѣливо обратился онъ къ вошедшему изъ-за своей высокой конторки.—Что такое было сегодня? Что за происшествіе? Садитесь и рассказывайте скорѣе. Наши рабочіе болтаютъ,—бунтъ?

— Ну, бунтъ не бунтъ, а могло быть около того.

И Свитка рассказалъ исторію нынѣшняго утра. Управляющій выслупалъ внимательно и пунктуально какъ бы формальное служебное донесеніе и спросилъ.

— А наши? Какъ держали себя наши?

— Съ величайшимъ тактомъ. Да вѣдь наши не дураки, лицомъ въ грязь не ударятъ! — похвалилъ Свитка съ самодовольной миной.

— Однако, что-жь они?

— Да что-жь... Послѣ субботней сходки, мы вечеромъ собрали свой сеймикъ. Утромъ тамъ была прокламація... въ нашихъ заискивали. Мы положили—на время отбросить старую систему и сблизиться. Оно лучше; дѣло будетъ казаться болѣе общимъ.

— Ну, а между жожаками были наши?—любопытно спросилъ управляющій.

— Ни одного! Дѣло вели русскіе.

— Ни одного?! Прекрасно! Если такъ, то дѣйствительно съ тактомъ.

— Мы порѣшили еще на сеймикѣ инициативу предоставить русскимъ, а самимъ отнюдь не выдвигаться. Быть въ толпѣ—дѣло другое. Мы честно были въ толпѣ и честно вели себя, но въ жожаки — а ни Боже мой!

— А относительно сліянія, какое впечатлѣніе на русскихъ?—спросилъ управляющій.

— О, еще бы! — подхватилъ Свитка. — Очень польщены! Многіе вѣдь сомнѣвались. Наши вообще не балуютъ ихъ общеніемъ, поэтому теперь тѣ очень и очень довольны. О «братствѣ» кричатъ.

— Кричатъ? Гм... Ну, и пусть ихъ кричатъ!

— На здоровье! Нашихъ вѣдь оттого не убудетъ! И такъ, пане Лѣсницкій, будутъ мнѣ какія инструкціи?—впадая въ нѣсколько officialный тонъ и съ полупоклономъ подымаясь съ мѣста, спросилъ Свитка.

— А какъ-же, какъ-же!.. Подождите,—торопиться еще некуда, — удержалъ его управляющій и, вставъ изъ-за конторки, заходилъ — руки въ карманы — по комнатѣ въ сосредоточенномъ обдумываніи чего-то.

На нѣкоторое время наступило молчаніе, наполняемое мѣрнымъ шумомъ типографской скоропечатной машины за стѣною.

— Вотъ въ чемъ дѣло, — медленно началъ Лѣсницкій, какъ бы обдумывая каждое свое слово. — На дняхъ въ *Центръ* было совѣщаніе... Рѣшено, по возможности, осторожно и съ обдуманнымъ, тщательнымъ выборомъ притягивать къ дѣлу и русскихъ, то-есть собственно къ *нашему* дѣлу, — пояснилъ онъ. — Обстоятельства еще покажутъ впереди, какъ выгоднѣе: направить-ли ихъ на свою особую дѣятельность, какъ уже направлена «Земля и Воля», а мы будемъ въ этомъ случаѣ только незамѣтно для нихъ руководить и контролировать; или-же изъ наиболѣе пригодныхъ сдѣлать прямыхъ нашихъ бойцовъ? Объ этомъ теперь еще вопросъ въ *Центрѣ*.

— Да развѣ мы сами не справимся? — съ горделиво-увѣреннымъ достоинствомъ спросилъ Свитка. — Развѣ петербургскій *Центръ* все еще не полагается на однѣ польскія, народныя силы?

— Э, нѣтъ, не въ томъ дѣло! — перебилъ управляющій. — Во-первыхъ, говоря откровенно между нами, русскіе имѣютъ очень основательную пословицу насчетъ того, что выгоднѣй чужими руками жаръ загребать. Мы на этотъ разъ вполнѣ вѣримъ ихъ доброй пословицѣ. Это одно. А другое вотъ въ чемъ: русскіе бойцы въ нашемъ дѣлѣ очень хорошая декорация предъ Европой, предъ глазами западнаго общественнаго мнѣнія.

— То-есть, какъ-же такъ? — сомнѣваясь и морщась, спросилъ Свитка.

— А, очень просто! Если ужъ москали, наши заклятые враги, наши палачи, сами идутъ очистительными жертвами въ польскій народный лагерь и бьются за польскую независимость, — развѣ этотъ фактъ не освящаетъ еще болѣе предъ глазами всего міра наше святое дѣло? Намъ нуженъ извѣстнаго рода декорумъ. Если уже сами русскіе за насъ, то Европа и по-давно! Была-бы общественная совѣсть на нашей сторонѣ: намъ облегчится побѣда! При-сутствиемъ русскихъ бойцовъ правительство будетъ озадачено, сконфужено, оно не будетъ знать, кого, наконецъ, считать своими, гдѣ враги, гдѣ друзья его, оно вконецъ уже растеряется и рухнетъ... по крайней мѣрѣ рухнетъ для Польши. Вотъ для чего нужны намъ русскіе. Можете вы указать на кого-нибудь изъ подходящихъ между студентами? — заключилъ онъ вопросомъ, останавливаясь предъ Свиткой.

Тотъ основательно подумалъ и назвалъ нѣсколько именъ.

— Но болѣе всѣхъ, какъ мнѣ кажется, — значительно промолвилъ онъ, — будетъ подходить одинъ...

— Кто такой? — съ живостью спросилъ Лѣсницкій.

— Студентъ Хвалынцевъ.

— А!.. Я немножко слыхалъ ужъ про него. Что-жъ, какъ вы его находите?

— Я наблюдалъ его и даже, такъ сказать, выпытывалъ слегка... вотъ въ эти послѣдніе дни.

— Да? ну, и что-жъ?

— Да вотъ какъ скажу: человекъ смѣлый, рѣшительный, въ крутыя минуты хорошо владѣетъ собой... Говорить немного, но бойко и рѣзко и при этомъ отлично умѣетъ опираться на легальность... Я ужъ въ немъ эту черточку подмѣтилъ. Все старается въ колею легальности!

— А, это очень важно! — въ скобкахъ замѣтилъ Лѣсницкій.

— То-то же и есть! — не безъ самодовольствія отозвался Свитка. — На товарищѣ имѣетъ вліяніе. Когда всѣ думали, что будутъ стрѣлять, онъ стоялъ рядомъ со мною, ну, и онъ былъ одинъ изъ немногихъ, которые нисколько не смутились... напротивъ, безъ излишняго азарта, совсѣмъ спокойно пристыдилъ товарищѣ, и тѣ оправились... Да, да, имѣетъ вліяніе!.. И въ то же время на сознательное увлеченіе способенъ.

Свитка, въ подтвержденіе своей характеристики, разсказалъ поведеніе Хвалынцева въ копилкѣ и на университетскомъ дворѣ.

— Ого! да этотъ совсѣмъ годится! Такихъ бы побольше! — подаль свое мнѣніе управляющій, не безъ удовольствія потирая руки. — Хорошо! Очень хорошо! Я сообщу о немъ.

— Такъ что же, пане Лѣсницкій, вербовать? Даете благословеніе?

— Вербовать! Вербовать непременно! Найдите возможность показать намъ его. Да и остальныхъ, которыхъ думаете, тоже вербуйте.

— Хорошо, а Хвалынцева покажу вамъ поближе при первомъ удобномъ случаѣ.

— Очень желаю. А пока до свиданія, теперь можете отправляться, — наскоро откланялся управляющій.

Свитка удалился, а Лѣсницкій, почти немедленно по его уходѣ, отправился во внутренніе покои смежной квартиры, съ экстреннымъ докладомъ о только-что полученныхъ новостяхъ.

VI.

Сходка 27-го сентября.

На другое утро многіе студенты явились въ университетскую бібліотеку за книгами. Дверь была заперта, и на ней, равно какъ и на всѣхъ наружныхъ выходахъ, прибито было объявленіе, что по случаю повторившихся безпорядковъ чтеніе лекцій прекращено и входъ въ университетъ закрытъ впредь до дальнѣйшихъ распоряженій.

Тутъ же было узнано, что вся депутація, высланная вчера, и много другихъ студентовъ арестованы въ ночь и отправлены въ казематы Петропавловской крѣпости. Нѣкоторые очевидцы ночного арестованія товарищей сообщили, что оно было производимо внѣ законныхъ основаній: арестуемымъ не предъявляли предписанія начальства, не объявляли причины ареста, а нѣкоторыхъ постороннихъ лицъ будто бы брали по подозрѣнію, что они раздѣляютъ студентскій образъ мыслей¹⁾.

Всѣхъ студентовъ, арестованныхъ въ эту ночь, было сорокъ два человѣка.

Послѣ нѣкоторыхъ совѣщаній, положено было собрать на завтрашній день новую сходку, въ десять часовъ утра, на университетскомъ дворѣ.

Студенты начали собираться въ университетъ ранѣе назначеннаго срока, еще до девяти часовъ. Предполагалось вступить въ новое объясненіе съ попечителемъ. Онъ вскорѣ пріѣхалъ и былъ окруженъ въ швейцарской толпою, которая стала упрекать его въ несдержаніи слова. Попечитель объяснилъ, что все это не его распоряженія, что онъ любитъ университетъ и студентовъ, а доказательство тому было не далѣе, какъ третьягодня, въ Колокольной улицѣ, гдѣ, если бы не онъ, весьма легко могло бы произойти кровавое столкновеніе и что, наконецъ, депутаты арестованы административною властью въ смыслѣ зачинщиковъ всѣхъ происшедшихъ безпорядковъ. Ему сказали, что начальство поступило бы еще лучше, если бы вовсе не призывало войска противъ безоружныхъ людей, тогда, какъ теперь, вѣроятно, отсутствующему Государю дали знать въ Ливадію, что студенты бунтуютъ, выставили ихъ бунтовщиками и потому-де вынуждены были употребить военную силу. На это студенты получили отвѣтъ, что напротивъ въ донесеніи о третьягодняшемъ происшествіи о нихъ былъ данъ отзывъ съ возможно лучшей стороны, и что этотъ отзывъ принятъ министромъ за основаніе въ донесеніи Государю. Въ это время пріѣхалъ генералъ-губернаторъ и вмѣстѣ съ попечителемъ удалился въ университетскую канцелярію.

¹⁾ Въ „Официальной запискѣ по дѣлу о безпорядкахъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ“ читаемъ: „Въ дѣлѣ комиссіи находится актъ о заарестованіи студента Колениченко. Приставъ Выборгской части, Ф., арестовавшій его, выразился въ официальномъ актѣ слѣдующимъ образомъ: „Хотя въ списокѣ студентовъ, подлежащихъ аресту, Колениченко и не значится, но онъ, приставъ, счелъ не лишнимъ и его арестовать!“ Колениченко жилъ въ отдѣльной квартирѣ, одинъ, и у него никто не проживалъ изъ лицъ, подлежащихъ аресту. Такимъ же образомъ одинъ изъ надзирателей 3-й части арестовалъ одного гимназиста за то, что онъ, по мнѣнію его, надзирателя, раздѣляетъ образъ мыслей студентовъ“.

Между тѣмъ, студентовъ собралось довольно уже много, и сходка на дворѣ была открыта. На мѣсто арестованныхъ явились новые руководители, и вотъ, послѣ долгихъ преній, былъ принятъ большинствомъ голосовъ адресъ министру. Смыслъ адреса заключался въ томъ, что въ университетѣ никакихъ зачинщиковъ нѣтъ и не было, что всѣ студенты одного и того же мнѣнія и дѣйствовали единодушно безъ чьихъ бы то ни было подстрекательствъ, и потому пусть начальство или освободить арестованныхъ товарищей, или же заберетъ остальныхъ. Прикатили откуда-то кадку, опрокинули ее вверхъ дномъ, положили на нее листы бумаги и приступили къ подпискѣ адреса.

Вдругъ раздался барабанный бой. Это подходилъ Финляндскій полкъ въ полномъ составѣ. Часть его помѣстили у однихъ воротъ университетскаго зданія и часть у другихъ. На набережной, передъ воротами, развѣзжали верхами, въ каскахъ съ султанами, видимо озабоченные представители столичной власти и нѣсколько другихъ генераловъ, адъютантовъ и штабъ-офицеровъ. Попечитель стоялъ въ воротахъ, между студентами и войскомъ. Онъ былъ въ простомъ сюртукѣ и фуражкѣ. Трогуть по набережной былъ занятъ массаи самой разнородной публики и густою цѣнью городской полиціи и жандармовъ.

Однако, не взирая на это грозное предупрежденіе, студенты рѣшились не расходиться до окончанія сходки и, въ случаѣ нападенія войска или жандармовъ, стоять смѣрно и отнюдь не пускать въ дѣло палокъ. Подняли вопросъ, избрать ли депутатовъ для подачи адреса, или идти съ нимъ опять всею массою, какъ третьягодня? Большая часть видѣла въ послѣднемъ способѣ ручательство въ томъ, что всѣхъ не арестуютъ, а коли брать, то пусть берутъ всѣхъ. Противная же партія говорила, что хотя очень вѣроятно, что депутатовъ и арестуютъ, но лучше арестъ нѣсколькихъ человѣкъ, чѣмъ стычка съ войсками. Многие не ручались за то, что они хладнокровно, безъ сопротивленія, выдержатъ натискъ солдатъ, а тогда все дѣло будетъ испорчено. И наконецъ, шествіе массою останется еще въ запасъ какъ послѣднее, крайнее средство. Большинство голосовъ рѣшило избрать депутатовъ.

Въ это самое время была отдана команда, и баталіонъ сталъ входить на университетскій дворъ.

Въ публикѣ, стоявшей на набережной, раздались свистки, шиканье и громкіе крики протеста и негодованія.

Приказано тотчасъ же ударить отбой, и войска возвратились на прежнее мѣсто.

Студенты продолжали стоять и выбирать депутатовъ. Рѣшили отправить ихъ съ адресомъ сейчасъ-же и ожидать возвращенія.

Едва успѣли тѣ отправиться и дойти до воротъ, какъ раздались крики: «Депутатовъ забрали! депутаты арестованы!» — и вся толпа ринулась къ воротамъ выручать ихъ.

Столичные власти старались успокоить взволнованную массу и убѣждали, что депутаты никакъ не будутъ арестованы, а что онѣ, власти, просто хотятъ только переговорить немного съ ними и поэтому просятъ господъ студентовъ ни мало не беспокоиться, а возвратиться во дворъ и безъ опасеній продолжать свою сходку.

Властямъ отвѣчаютъ, что имъ не вѣрятъ, потому что онѣ арестовали же третьягодня ночью депутатовъ прошлой сходки, тогда какъ, по ихъ же слову: «все равно высылайте», они были избраны.

Власти на это возражаютъ, что хотя и точно депутаты арестованы, только никакъ не по ихъ распоряженію, что онѣ, власти, тутъ ровно не при чемъ и не знаютъ даже, какъ и кѣмъ произведены аресты депутатовъ, и что, наконецъ, если они и арестованы, то отнюдь не какъ депутаты, а какъ зачинщики и что поэтому пусть господа студенты пожалуйста ни мало не тревожатся и сдѣлаютъ такое одолженіе удалиться во дворъ и продолжаютъ свои пренія.

Студенты отвѣчаютъ, что удалиться во дворъ они не желаютъ, а чтобы сдѣлать приятное властямъ, пожалуй, согласны отступить на нѣсколько сажень.

Власти очень любезно соглашались на эти нѣсколько сажень и затѣмъ вступаютъ въ объясненія съ депутатами, говоря, что онѣ никакъ, ни подъ какимъ видомъ не могутъ пропустить ихъ къ министру. Депутаты отвѣчаютъ, что въ такомъ случаѣ студенты пойдутъ всею массою. Шестыя массы власти опять же никакъ не желаютъ. Выборные говорятъ, что студенты точно также его не желаютъ, и поэтому надо пропустить ихъ выборныхъ. Власть отвѣчаютъ, что пропустить ихъ не могутъ. Бесплодный споръ на эту тему длится около четверти часа; обѣ стороны говорятъ и много любезнаго, и много довольно рѣзкаго другъ другу, но къ соглашенію придти не могутъ. Наконецъ, власти соглашаются пропустить депутатовъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы студенты не дожидались ихъ отвѣта, а разошлись бы немедленно. Студенты на это не соглашаются и настаиваютъ на пропускѣ безусловномъ. На безусловный пропускъ опять-таки власти не соглашаются. Обѣ стороны спорятъ и выходятъ изъ себя. Наконецъ, власти объявляютъ, что онѣ имѣютъ приказъ считать сборище студентовъ за обыкновенную толпу, такъ какъ университетъ закрытъ и, слѣдовательно, студентовъ не существуетъ. Депутаты соглашались, что и въ самомъ дѣлѣ закрыть, и что поэтому власти, пожалуй, и могутъ думать, что

студентовъ не существуетъ, что они, депутаты, даже готовы на время согласиться въ этомъ съ властями, но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы призвали убѣждать насъ попечителя? Вѣдь онъ, стало быть, намъ больше не начальникъ! Власть обходятъ молчаніемъ столь коварный вопросъ и объявляютъ депутатамъ, что если студенты тотчасъ же не разойдутся, то чрезъ полчаса будетъ надвинуто войско. Депутаты объявляютъ объ этомъ сходкѣ, которая рѣшаетъ, что, пожалуй, можно и разойтись, и говорить депутатамъ, что они могутъ отправиться съ адресомъ въ другое время, а буде кто желаетъ узнавать новости касательно университета, то для этого, начиная съ завтрашняго дня, ежедневно собираться въ два часа пополудни на Невскомъ проспектѣ, гдѣ и можно будетъ сговориться насчетъ плана дѣйствій. Но расходясь студенты требуютъ, чтобы войско, неизвѣстно для чего, отступило на сто шаговъ. Власть отдаютъ приказъ, чтобы никакъ не болѣе, а ровно на сто. И войско ровно на сто шаговъ отступаетъ. Студенты спокойно проходятъ мимо его рядовъ и расходятся. Въ это время пріѣзжаетъ въ университетъ министръ народнаго просвѣщенія. Узнавъ о его пріѣздѣ, многіе съ пути поспѣшаютъ опять къ университету и ждутъ его выхода передъ подъездомъ, гдѣ опять собирается толпа, только на сей разъ уже безъ полиціи, властей и войска. Министръ, наконецъ, выходитъ. Его встрѣчаютъ шиканьемъ и свистомъ. Онъ садится въ экипажъ и уѣзжаетъ, сопровождаемый этими звуками. Толпа снова расходится.

VII.

„Синій день“ на Невскомъ.

На слѣдующій день, въ два часа пополудни, Невскій проспектъ представлялъ очень оживленное зрѣлище. Это было не то обычное оживленіе, какимъ онъ кипитъ ежедневно между часомъ и четырьмя. Такое оживленіе было на немъ, конечно, какъ всегда, и въ этотъ день, но оно носило на себѣ совершенно особый отпечатокъ, благодаря вчерашнему рѣшенію сходки.

Къ двумъ часамъ, тамъ и сямъ стали появляться небольшія группы студентовъ. Они ходили обыкновеннымъ прогулочнымъ образомъ, встрѣчались съ другими подобными же группами, останавливались, горячо толковали между собою и расходились, или же составляли одну слитую группу, которая принимала со-вмѣстную прогулку, разомкнувшись однако же на столько, чтобы къ ней не могъ придраться никакой полицейскій жокалый. Тутъ происходили встрѣчи съ новыми кучками, съ новыми группами; члены однихъ переходили на мѣсто

другихъ и снова расходились, и снова натыкались на новыя кучки. Такимъ образомъ, между университетскою молодежью шелъ обмѣнъ мыслей, замѣчаній, наблюденій и новостей, и все это, при помощи широкихъ тротуаровъ Невскаго проспекта, живо передавалось изъ одной группы въ другую, изъ другой въ третью и т. д. Множество лицъ, такъ или иначе близкихъ студентству и принадлежащихъ университету въ качествѣ вольнослушателей, любителей, студентокъ, и множество лицъ къ университету не принадлежащихъ, но почему-либо сочувствующихъ студентскому движенію, явились тоже на Невскій. У большей части изъ нихъ, въ какомъ-нибудь атрибутѣ костюма проглядывалъ синій цвѣтъ—цвѣтъ воротниковъ студентской формы. У многихъ служащихъ были надѣты синіе галстуки, или синія ленточки на шляпѣ. Ардальонъ Полояровъ вывѣсилъ на свою скомканную войлочную шляпу широкую синюю атласную ленту, которой хватило бы на цѣлый длинный кушакъ женскаго платья. Этой лентой онъ позаимствовался у Лидиньки Затцъ, и такимъ образомъ, съ широко развѣвающимися позади его синими хвостами, разгуливалъ по Невскому, сожалѣя объ одномъ, что его козьюмодемьянская дубина не могла быть, ради сей okazji, перекрашена въ синій цвѣтъ. Женщины тоже отличались чѣмъ-нибудь синимъ: ленточкой, галстучкомъ, шляпкой, платьемъ, зонтикомъ, или чѣмъ-нибудь подобнымъ. Синій цвѣтъ долженствовалъ изображать собою видный знакъ сочувствія студентскому дѣлу и какъ бы давалъ право предъявителю его на участіе въ разспросахъ и преніяхъ о студентскихъ интересахъ.

Это былъ какой-то день синяго цвѣта на Невскомъ проспектѣ.

Разныя офіціальныя лица озабоченно и шибко катались въ это самое время туда и сюда вдоль по Невскому. Сильная озабоченность и тревожное ожиданіе чего-то были, по большей части, написаны на ихъ лицахъ. Они внимательно посматривали на бродячія кучки синихъ околышей, на группы служащихъ и женщинъ, отличавшихся какою-либо синею вывѣской и, казалось, ожидали, что вотъ-вотъ сейчасъ что-то такое вспыхнетъ, что-то начнется...

Но ничего не вспыхивало и ничего не начиналось.

Время шло, начальство скакало, синія кучки шлѣлись, полиція, и явная и тайная, усердно наблюдала—первая наблюдала, занимая фронтовую вытяжку свои посты, вторая—въ различныхъ образахъ шнырила тутъ и тамъ, вездѣ и нигдѣ, приноживалась, прислушивалась, старалась какъ-нибудь затесаться промежъ синихъ кучекъ; и той и другой было здѣсь нынче количество изрядное, но... все-таки ничего не вспыхивало и ничего не начиналось...

Зачѣмъ озабоченно скачетъ и катается начальство, зачѣмъ сталкиваются и шатаются эти синія кучки, зачѣмъ шнырять и вытягивается во фронтъ полиція? Зачѣмъ и для чего все это дѣлается? Всѣ эти вопросы, на глаза посторонняго, безпристрастнаго и хладнокровнаго наблюдателя, могли бы произвести одно только недоумѣвающее пожатіе плечами.

И Василій Свитка, и панъ Лѣсницкій, и Иванъ Шишкинъ тоже гуляли по Невскому, но только безъ малѣйшихъ вышнихъ отличій синяго цвѣта. Зато маленькій Анпифрикъ, вмѣстѣ съ Лидинькой Затцъ, припилили себѣ цѣлыя кокарды, одинъ къ мерлушечей шапкѣ, другая къ лѣвому плечу на бурнусѣ, и въ такомъ видѣ, подъ ручку, прогуливались рядомъ съ Ардальономъ Полояровымъ, который сегодня рѣшительно обращалъ на себя всеобщее вниманіе своими развѣвающимися по вѣтру лентами.

— Ба! Хвалынцевъ! Вотъ и вы наконецъ, появились!—растопыривъ руки, загородилъ ему дорогу Полояровъ. — Слыхали-сѣ? Университетъ-то?.. Казарму сдѣлали! Рота солдатъ и день и ночь внутри дежурить, ворота всѣ заперты, никого не выпускаютъ и даже тѣ, кто живетъ-то тамъ, такъ и тѣ выходятъ не иначе, какъ съ билетомъ... Вотъ оно, какіе порядки!

— Что-жъ, этого надо было ожидать,—пожалъ плечами студентъ.

— Нѣтъ, но это... это чортъ знаетъ что! Это свинство! Это возмутительно!—входи въ паеосъ, продолжалъ Ардальонъ.

— Возмутительно! Свинство! Подлосты!—пищаль изъ-подъ руки его Анцыфровъ.

— Что-жъ прикажете дѣлать?

— Что дѣлать? А во! Идти и выгнать!—пояснилъ Ардальонъ, показавъ свою дубину.

— Поставятъ цѣлый баталіонъ.

— И баталіоны выгнать!

— И баталіоны выгнать, и всѣхъ выгнать,—поддакивалъ и горячился плюгавенькій Анцыфровъ.

Хвалынцевъ, не желая продолжать пустыхъ рѣчей, махнулъ рукою.

— Ступайте и выгоните,—сказалъ онъ, надѣясь поскорѣе отъ нихъ отвязаться.

— Нѣтъ, господинъ Хвалынцевъ,—вмѣшалась Лидинька Затцъ.—Въ васъ, я вижу, развитъ nepазволительный индиферентизмъ, вы равнодушны къ общему дѣлу. Если вы порядочный господинъ, то этого нельзя-сѣ, или вы не принадлежите къ молодому поколѣнію и заодно съ полиціей, а только такой индиферентизмъ... Вы должны отъ него отказаться, если вы честный господинъ и если хотите, чтобъ я васъ уважала.

И пошла и пошла Лидинька, какъ мелкою дробью, сыпать словами на эту тему.

Хвалынцевъ, не дослушавъ ея, вѣжливо при-

поднять фуражку и поднялся на лѣсенку къ Доминику.

— Э? батенька! Пойдите-ка минуточку! На два слова! догналъ его Полояровъ.— Вы куда? къ Доминику?

— Какъ видите.

Они пошли въ ресторанъ. Хвалынцевъ усѣлся за особымъ столикомъ и спросилъ себя котлетку. Полояровъ помѣстился тутъ-же подлѣ него и потребовалъ себя того-же.

— Н-да-съ, я вамъ скажу, пришли времена!—со вздохомъ началъ онъ вполголоса, подзвѣтно и сурово озираясь во всѣ стороны.— Знаете-ли что, будемте-ка лучше говорить потише, а то вѣдь здѣсь, поди-ка, и стѣны уши имѣютъ... Всѣ, вездѣ, повсюду, весь Петербургъ стоитъ и подслушиваетъ... весь Петербургъ!— Я вамъ скажу, то-есть, на каждомъ шагу, повсюду-съ!.. Что ни тумба, то шпионъ, что ни фонарь, то полицейскій!

— Такъ лучше не говорить, если вы такъ опасаетесь. Да не къ чему: все безъ того хорошо извѣстно, новаго ничего вѣдь не скажемъ,— замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Какъ знать-съ, можетъ, что и новое въ голову придетъ,—возразилъ Ардальонъ:—мысль требуетъ обмѣна. Теперича я вотъ какъ полагаю: времена-съ, батюшка мой, такіа, что всѣ честные дѣятели должны силотиться воедино,— тогда мы точно, будемъ настоящею силою. Каждый на это дѣло обязанъ положить свою лепту... Тутъ рядомъ идутъ принципы экономическіе, социальныя и политическіе—знакомы вы съ социалистами?

— Вы ужъ мнѣ предлагали однажды этотъ вопросъ.

— Да-да, помню!.. Ну, такъ стало быть, съ вами толковать можно. Мы, батенька, проводимъ въ жизнь эти самые принципы, для насъ они дѣло плоти и крови-съ!

— То-есть, кто-же это «мы»?—спросилъ студентъ.

— Мы! то-есть, я, напримѣръ... я, Анцыфровъ, Затцъ... Вотъ пріятель есть у меня одинъ, Лукашка,—у, какая у бестія богатая башка, я вамъ скажу!—Ну, вотъ мы... и еще есть нѣкоторые... Люди-то найдутся! У насъ, сударь мой, слово нейдетъ въ разладъ съ дѣломъ.

— О! Въ самомъ дѣлѣ?—улыбнулся Хвалынцевъ.

— Да вы не улыбайтесь сомнительно!—подхватилъ Ардальонъ.—Я вамъ не пустяки болтаю. Да вотъ какъ скажу вамъ: прежде всего—принципы экономическіе и социальныя. Нужно весь строй этого глупаго и подлаго общества радикально измѣнить, передѣлать, сломать и уничтожить; все это должно рушиться!

— И что же будетъ тогда?—спросилъ студентъ, съ наивно-невиннымъ видомъ.

— А будетъ-то, чему уже положено нѣкоторое начало, — утвердительно сказалъ Поло-

яровъ.—Да вотъ, хоть наша коммуна, къ примѣру сказать. Это—дѣло прочное-съ, и оно приживется, оно пойдетъ въ жизнь, потому у насъ все общее: общій трудъ, общій фондъ. Я, напримѣръ, литераторъ (это слово произнесъ онъ съ отгѣнкомъ горделиваго достоинства), ну, занимаюсь литературнымъ трудомъ, подписываю статейки тамъ въ разныхъ журналахъ и получаю, значитъ, свою плату; другой коробки клеить, третья при типографскомъ дѣлѣ: каждый свое зарабатываетъ—и въ общій фондъ, на общія потребности. Квартира у насъ общая, чай-сахаръ общій, столъ общій, а главное—убѣжденія общія. Тутъ, сами видите, принципъ экономическій тѣсно связанъ съ социальнымъ. Это, батюшка мой, разумный и явный протестъ противъ эксплуатирующаго собственничества, протестъ за право каждого на святой трудъ и борьба противъ обособляющихъ элементовъ.

— То-есть, что же вы разумѣете подъ обособляющимися элементами?—спросилъ Хвалынцевъ, котораго понемногу стали забавлять Полояровскіе курьезы.

— Обособляющіе элементы, это... это, какъ бы вамъ сказать... Велите-ка прежде дать мнѣ еще водки рюмку, а потомъ и обособляющіе элементы пойдутъ у насъ!

Хвалынцевъ тотчасъ же исполнилъ просьбу Полоярова.

— Обособляющіе элементы, это изволите ли видѣть,—началъ онъ поучающимъ тономъ,—напримѣръ, чинъ, сословіе, каста—это обособляющій элементъ; капиталъ, сосредоточенный въ однѣхъ рукахъ, который естественно требуетъ эксплуатаціи чужого труда—то же обособляющій элементъ; потомъ, напримѣръ, семья—опять же обособляющій элементъ. Поэтому борьба противу кастъ, сословій, противъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, противъ семьи, брака и тому подобныхъ мерзостей составляетъ задачу новыхъ людей нашего времени. Стало-быть, вы видите, что тутъ изъ связи принциповъ экономическихъ и социальныхъ вытекаютъ сами собою и принципы политическіе; додуматься не трудно! Понимаете-съ—многозначительно подмигнувъ онъ глазомъ.—Дайте-ка мнѣ папирску!

Хвалынцевъ подозвалъ гарсона и сталъ расплачиваться.

— Э-хмм... Послушайте, батенька,—отворотился отъ гарсона, тише чѣмъ въ полголоса обратился Ардальонъ къ Константину Семеновичу.—Заплатите-ка ему заодно ужъ и за меня... со всѣмъ изъ ума вонъ: деньги забылъ, не захватилъ съ собою.

Хвалынцевъ со всею любезною предупредительностью постѣгивалъ исполнить просьбу Ардальона Михайловича.

— Н-да-съ, батюшка мой,—закуривъ папирску, глубоко и какъ-то интимно вздохнулъ Полояровъ, какъ обыкновенно вздыхаетъ че-

ловѣкъ, когда собирается съоткровенничать отъ сердца. — Вотъ, видите меня. Кромѣ честнаго труда, ничего не имѣю, а между тѣмъ вы знаете ли, что я... что вотъ этотъ самый Ардальонъ Полояровъ, — говорилъ онъ, начиная входить въ нѣкоторый умѣренный пафосъ и тыча себя въ грудь указательнымъ пальцемъ, — н-да-съ! вотъ этотъ самый человѣкъ, не далѣе какъ нынѣшней весною, могъ бы быть богачемъ капиталистомъ! Да вѣдь какъ-съ! Громадный капиталъ вотъ уже совсѣмъ въ рукахъ былъ, взятъ бы его, да въ карманъ положить, а я — нѣтъ-съ. И не то, чтобы капиталъ-то сомнительный, — нѣтъ, своимъ честнымъ трудомъ добытый, никому за него не обязанъ!

— И что-жь? — спросилъ Хвалынцевъ.

Полояровъ махнулъ рукой.

— Э! дуракъ былъ... не умѣлъ воспользо-ваться! — съ досадою сорвалось у него съ языка, и студентъ замѣтилъ, какъ лицо его передернула какая-то скверная гримаска досадливаго сожалѣнія о чемъ-то. Но Ардальонъ вдругъ спохватился. — То-есть вотъ видите ли, — сталъ онъ поправляться въ прежнемъ рисуемомъ тонѣ, — все бы это я могъ легко имѣть, — капиталъ, цѣлый капиталъ, говорю вамъ, — потому все это было мое, по праву, но... я самъ добровольно отъ всего отказался.

— Это для чего же? — полюбопытствовала студентъ.

— Для идеи!.. Да, милостивый государь, для идеи-съ и изъ-за идеи-съ, — съ удареніемъ и внушительно-горделиво отчеканилъ Полояровъ. — Я всѣмъ пожертвовалъ, все бросилъ: и не задумался, нѣтъ, въ ту же минуту бросилъ и отказался!.. Даже, если ужъ вы такъ знать хотите, связи съ любимой женщиной порвалъ, какъ только почувалъ первый клещъ идеи. Нашъ братъ, батюшка мой, — наставительно прибавилъ онъ почти шопотомъ, — это тотъ же аскетъ: тамъ, гдѣ дѣло идетъ, тамъ нѣтъ ни отца съ матерью, ни дома, ни любовницы, ни капитала — всѣмъ жертвуешь, все отвергаешь!

— Такъ и слѣдуетъ! — со скрытой проницей похвалилъ его Хвалынцевъ.

Полояровъ, тѣмъ не менѣе, принялъ это за чистую монету.

— А, вы понимаете это! Вашу руку! Дайте позвать ее! — многозначительно промолвилъ онъ. — Послушайте, голубчикъ, у меня до васъ будетъ одна маленькая просьбица, — вдругъ переимѣнилъ онъ тонъ и заговорилъ въ фамиллярно-заигрывающемъ и пріятельски-заискивающимъ родѣ, — не можете-ли одолжить мнѣ на самый короткій срокъ сущую бездѣлицу: рублишекъ десятокъ, не болѣе... Я долженъ за свою послѣднюю статью получить послѣзавтра... Мы съ вами сочтемся.

— Нѣтъ, извините, не могу, къ сожалѣнію! — отозвался Хвалынцевъ.

— Гм... не можете.. Ну, такъ хоть пятишнику дайте...

— Къ сожалѣнію и въ этомъ принужденъ отказать вамъ.

— Э, да вѣдь вы, голубчикъ, мы знаемъ васъ! Вы человѣкъ денежный! Въ нѣкоторомъ родѣ собственникъ! — подмигивалъ Полояровъ; — у васъ деньга водится!.. Одолжите, если не можете пяти, хоть зеленую.. Ей-Богу, честное слово, отдамъ, какъ только получу.

Хвалынцевъ, видя, что тутъ ничего не подѣлаешь, вынулъ и далъ ему трехрублевую бумажку.

— Сочтемся! — пробурчалъ Ардальонъ, пряча ее въ карманъ и даже не кивнувъ головой. — А послушайте-ка, батенька, — промолвилъ онъ, — переходите-ка въ нашъ лагерь, въ нашу коммуны! Ей-Богу, самое любезное дѣло! Вы подумайте! Это статья дѣльная. У насъ вѣдь и женщины есть въ нашей общинѣ, — какъ-то двусмысленно прибавилъ Полояровъ, словно бы имѣлъ затаенную мысль поддѣть на соблазнительный крючекъ Хвалынцева.

— Нѣтъ, слуга покорный, — иронически поклонился Константинъ Семеновичъ и пошелъ изъ ресторана.

Полояровъ подозрительно и сурово поглядѣлъ ему вослѣдъ и мрачно нахлобучилъ на глаза свою войлочную шляпу. Длинные хвосты широкихъ лентъ развѣваясь понеслись за нимъ сзади. Онъ вышелъ на Невскій и пошелъ отыскивать Анцыфрова съ Лидинькой, которыхъ и нашелъ, наконецъ, у Аничкина моста.

— Послушай, Полояровъ, это, наконецъ, изъ рукъ вонъ! — запальчиво обратилась къ нему Лидинька (съ пріѣздомъ въ Петербургъ она очень прогрессировалась и, не стѣняясь никѣмъ и ничѣмъ, «по принципу» говорила Полоярову съ Анцыфровымъ прямо «ты»). — Это чортъ знаетъ что! Съ какой стати ты водилъ съ этимъ господиномъ?

— Съ какимъ господиномъ? — покосясь на нее, проворчалъ Ардальонъ. — Чего ты?!

— Съ этомъ фатинкой, аристократишкой... Чего ты увязался за нимъ къ Доминику?

— Увязался!.. Вовсе не увязался! Я самъ по себѣ былъ. Скорѣй же онъ самъ за мной увязался, а ужъ никакъ не я! — оправдывался Полояровъ.

— Я изъ вашего давешняго разговора совершенно убѣдилась, что этотъ господинъ п не вѣжа и подлець! — раздраженно тараторила Лидинька. — Заодно съ жандармами, заодно съ полиціей. Оправдываетъ правительство...

— Ну, гдѣ же оправдываетъ! — попытался было заступиться Ардальонъ.

— Пожалуйста, ты не противорѣчь! — перебила Затцъ. — Сама знаю, что говорю! Учить меня нечего! Этотъ гнусный индифферентизмъ, этотъ небрежный тонъ, какъ будто *удостоиваетъ, снисходитъ*, говори съ нами; еле покло-

нился... уходить, руки не протягивает... Нехалъ, подлецъ, фатишка и мерзавецъ! А ты съ нимъ якшаешься!

— Да честнѣе же слово, онъ самъ! Я и не думалъ... Мнѣ что? Мнѣ на него плевать! — отчурался Ардалюнь отъ ея нападеній.

— А мы съ Анцыфровымъ положительно убѣждены, что этотъ господинъ въ связи съ Третьимъ отдѣленіемъ! — брякнула вдругъ Лидинька.

— Ну, вотъ... Почему ты думаешь?

— Такъ. Это мое убѣжденіе.

— На чемъ же оно основано?..

— А хоть на томъ, что онъ не арестованъ... Почему онъ не арестованъ, когда другихъ то и дѣло берутъ?.. Зачѣмъ? Почему? я тебя спрашиваю...

— Гм!.. — глубокомысленно промычалъ Полюровъ, подумавъ надъ ея словами. — А, впрочемъ, чортъ его знаетъ! Мнѣ и самому, пожалуй, сдается, что тутъ что-то подозрительное...

— Да ужъ повѣрь, что такъ. У меня на этотъ счетъ нюхъ! Отличный нюхъ есть! — горячо убѣждала Лидинька. — Наконецъ, вспомни, въ Славнобубенскѣ эта дружба его съ отъявленнымъ, патентованнымъ шпиономъ; развѣ это недостаточное доказательство?

— Ну, и чортъ съ нимъ! Шпионъ, такъ шпионъ! Намъ-то что? Не знаться съ нимъ больше, да и вся не долга! — порѣшилъ Полюровъ.

— Нѣтъ, братъ, Ардалюша, ты этого такъ не говори! — вмѣшался золотушный пискунокъ; — это такъ оставить нельзя! Долгъ cadaго порядочнаго господина, если мы узнали такую шутку, нангъ прямой долгъ чести предупредить поскорѣй порядочныхъ людей объ этомъ, а то вѣдь другіе пострадать могутъ...

— Конечно! разумѣется! — подхватила Лидинька. — Чѣмъ болѣе шпионовъ будутъ извѣстны, тѣмъ болѣе мы безопасны.

Вскорѣ столкнулись они съ одною студентскою кучкою и затесались въ нее.

— Господа, будьте осторожныѣе со студентомъ Хвалынцевымъ, — внушительно-вѣскимъ тономъ предупредила Лидинька.

— Съ Хвалынцевымъ?.. Что такъ? — отозвались ей изъ кучки.

— Да ужъ такъ!.. Мы только для вашей же пользы предупреждаемъ: будьте поосторожныѣе! погрозились Анцыфровъ. — Знаете, чай, пѣсенку:

„У паря у нашева
Ловкихъ слугъ довольно...“

Студенты переглянулись. По лицамъ ихъ пробѣжала тѣнь сомнѣнія, недоумѣнія... Однако сообщеніе Лидиньки было принято къ свѣдѣнію.

Два-три такихъ «будьте поосторожныѣе», оброненныя въ двухъ, трехъ кучкахъ, послужили со-

вершенно достаточнымъ поводомъ, чтобы молва полетѣла изъ одной группы въ другую, изъ одной въ третью и т. д., и т. д. — и тѣнь сомнѣнія на личность честнаго товарища была брошена, а иные приняли ее тотчасъ же, сразу за несомнѣнную истину. Масса, въ такіе дни и въ такихъ положеніяхъ, какіе были тогда переживаемы петербургскимъ студентствомъ, обыкновенно становится весьма способною на подозрительность, на недоувѣріе къ личностямъ, даже весьма ей близкимъ. Она какъ бы теряетъ, во многихъ случаяхъ, чутье распознаванія своихъ отъ чужихъ, черное отъ бѣлаго, и въ томъ подозрительномъ недоувѣріи, во всемъ склонна видѣть одно только черное, въ отношеніи котораго становится весьма легковѣрна.

VIII.

Герой въ иныхъ витаетъ сферахъ.

Выйдя отъ Доминика, Хвалынцевъ пошелъ по направленію къ Полицейскому мосту. Не доходя голландской церкви, близъ магазина Юнкера, онъ почувствовалъ, что кто-то легонько дотронулся сзади до его локтя, обернулся, и вдругъ онѣмѣлъ отъ неожиданнаго радостнаго изумленія.

Передъ нимъ стояла Татьяна Николаевна Стрѣшчева.

Лицо ея улыбалось и радовалось.

— Господи!.. Давы ли это? — воскликнулъ студентъ, протягивая ей обѣ руки. — Здравствуйте! Когда? Давно ли?

— Вчера только пріѣхали, — отвѣчала она голосомъ, переполненнымъ волненія. — А какъ и рада, что встрѣтилась!.. Вѣдь я все думала да ломала голову себѣ, какими бы судьбами отыскать васъ? хотѣла дать знать, увѣдомить, — говорила она, глядя ему въ лицо свѣтлыми, радостными глазами. — Сегодня утромъ даже въ университетъ нарочно съѣздила, но тамъ Богъ знаетъ что такое: все заперто... солдаты.. останавливаютъ, не пропускаютъ, такъ ничего и не добились! Вдругъ выхожу отъ Юнкера, а вы тутъ какъ тутъ!.. Ну, какъ я рада! Здравствуйте еще разъ! Да жмите же, что ли, руку-то крѣпче! Ну, вотъ такъ! Теперь — хорошо, по-дружески! Да что это у васъ такое множество студентовъ на Невскомъ? Это у васъ всегда такъ бываетъ?

— Нѣтъ, не всегда, отвѣчалъ Хвалынцевъ; — но что и какъ, это слишкомъ долго рассказывать.

— Ну, хорошо, расскажете и послѣ; а теперь вамъ нечего дѣлать? Если нечего, то пойдѣте къ намъ. Тетушка рада будетъ. Мы здѣсь близехонько: въ Малой Морской, Hôtel de Paris. Хотите?

Хвалынцевъ предложилъ ей руку и они отправились.

Тетка обрадовалась ему какъ родному. Обѣ

онѣ оставили его у себя обѣдать — и Константинъ Семеновичъ, незамѣтно ни для нихъ, ни для самого себя, досидѣлъ въ ихъ номерѣ до поздняго вечера. Разговорами и разспросами съ обихихъ сторонъ не было конца — и какъ это всегда бываетъ у хорошихъ, сердечно близкихъ и и давно не видавшихся знакомыхъ, которымъ есть что попередать другъ другу — рассказы перебывались вопросами, вопросы рассказами, одинъ разговоръ быстро, по мгновенно блеснувшему, кстати или не кстати, воспоминанію, смѣнялся другимъ, другой перебывался вдругъ внезапнымъ вопросомъ или замѣчаніемъ, затѣмъ опять переходилъ къ продолженію старой, оставленной темы. Тутъ фигурировали и Славнобубенскъ, и Москва, и Петербургъ, и общіе знакомые, и книги, и новыя сочиненія, и студенты, и кой-какія маленькія сплетни, къ которымъ кто-жъ не питаетъ маленькой слабости? — и театръ, и вопросы о жизни, о политикѣ, о Лидинѣ Затцѣ, и музыка, и современные событія, и тѣ особенные полунамеки, полувзгляды, полуулыбки, которые очень хорошо и очень тонко бываютъ понятны людямъ, когда у нихъ, при встрѣчѣ, при взглядѣ одного на другого сильнѣй и порывистѣй начинаетъ биться сердце, и въ этомъ сердцѣ сказывается какое-то особенное радостно-щемящее, хорошее и свѣтлое чувство.

Кажется, ужъ обо всемъ вдосталь наговорились, а между тѣмъ и Татьяна Николаевна, оставшись одна предъ своей постелью, и Хвалынцевъ, возвращаясь къ себѣ домой — оба одинаково и равно чувствовали, что темы для разговоровъ далеко еще не истощены, что далеко не все еще сказано, о чемъ-бы хотѣлось высказаться, что много и много еще нужно будетъ передать другъ другу...

Хвалынцевъ сталъ бывать у нихъ ежедневно. Весь молодой, внутренній міръ его, въ первые дни, такъ всецѣло наполнился этимъ присутствіемъ, этою близостью любимой дѣвушки, что онъ рѣшительно позабылъ все остальное на свѣтѣ — и университетъ, и студентовъ, и общее дѣло, и науку, о которой еще такъ ретиво мечталъ какую-нибудь недѣлю тому назадъ. Для него, на первыхъ порахъ, перестало быть интереснымъ или, просто сказать, совсѣмъ перестало существовать все, чтò не она.

Почти цѣлые дни напролетъ онъ проводилъ съ нею у тетки. Татьянѣ Николаевнѣ такъ жадно хотѣлось все видѣть, все осмотрѣть, все узнать, со всѣмъ познакомиться, — чувство, слишкомъ хорошо знакомое всѣмъ людямъ, зажившимся въ провинціи и попавшимъ наконецъ на «свѣтъ Божій». Хвалынцевъ взялся быть ея неизмѣннымъ чичероне. Ей хотѣлось быть и въ Эрмитажѣ, и въ музеяхъ, и въ Публичной библіотекѣ, и въ Академіи художествъ, и въ оперѣ, и въ русскомъ театрѣ, и во французскомъ, и на клубныхъ семейныхъ вечерахъ, и послу-

шать, какъ читаютъ російскіе литераторы на публичныхъ чтеніяхъ, и поглядѣть на этихъ російскихъ литераторовъ, каковы-то они суть въ натурѣ, по наружности; словомъ, желаніямъ Татьяны Николаевны не было конца, и кидалась она на все это съ жадной любознательностью новичка, который наконецъ-то дорвался до столь желаннаго и долгожданнаго предмета, о которомъ ему еще такъ давно и такъ много мечталось.

Проводя у Стрѣшневыхъ почти все свое время, Хвалынцевъ только вскользь успѣвалъ слѣдить за ходомъ университетскихъ событій, за движеніемъ и толками въ обществѣ, которые были вызваны этими событіями. А между тѣмъ въ городѣ толковали, что нѣсколько гвардейскихъ полковъ заявляютъ сильное движеніе въ пользу студентовъ и положительно отказываются идти, если ихъ пошлютъ противъ нихъ; что студентовъ и многихъ другихъ лицъ то и дѣло арестовываютъ, хватаютъ и забираютъ гдѣ ни попало и какъ ни попало, и днемъ, и ночью, и дома, и въ гостяхъ, и на улицѣ, что министръ не принялъ университетской депутаціи съ адресомъ. О новыхъ правилахъ и матрикулахъ, распубликованныхъ министерствомъ отъ 28-го сентября, въ обществѣ ходили самые нелестные толки. Большинство публики образованныхъ слоевъ было ими сильно недовольно. «Times» и другія заграничныя газеты то и дѣло печатали самыя неутѣшительныя корреспонденціи изъ Россіи, преисполненныя затаеннаго злорадства: для нихъ Россія представлялась теперь крѣпостью, подъ которую повсюду подведены пороховыя мины, крѣпостью, которая сама себя подкопала. Газеты эти весьма злобно и остроумно критиковали министерскія правила. «Колоколъ» билъ набатъ и даже «Le Nord» замѣтилъ, что многія изъ этихъ правилъ годны скорѣе для десятилѣтнихъ мальчиковъ, чѣмъ для студентовъ. Петербургская журналистика хранила молчаніе и только изрѣдка гдѣ-нибудь, между строками прорывался темный сочувственный студентамъ намекъ на современные университетскія событія. Толковали между студентами и въ обществѣ, что всѣ офицеры артиллерійской академіи подали по начальству рапортъ, въ которомъ просятъ удерживать пять процентовъ изъ ихъ жалованья на уплату за бѣдныхъ студентовъ; съ негодованіемъ передавали также, что стипендіи бѣднымъ студентамъ будутъ отнынѣ выдаваться не въ университетѣ, а чрезъ полицію, въ полицейскихъ камерахъ; толковали, что профессора просили о смягченіи новыхъ правилъ, потомъ просили еще, чтобы имъ было поручено изслѣдовать все дѣло, и получили отказъ и въ томъ, и въ другомъ, просили о смягченіи участи арестованныхъ студентовъ — и новый отказъ. Нѣкоторые вѣстовщики распространяли, подъ рукой, слухи, будто студентовъ въ крѣпости пытаются, что ихъ будутъ

ссылать въ Сибирь, разстрѣливать, и много еще подобныхъ нелѣпостей, и эти послѣднія нелѣпости, точно такъ же, какъ и вѣсти основательныя, находили таки свое приложенье въ нѣкоторыхъ сферахъ общества и распространялись даже усерднѣе и скорѣе, чѣмъ извѣстія болѣе положительнаго и разумнаго свойства.

Хвалынцевъ, увлеченный теперь дѣлами своего сердца болѣе, чѣмъ дѣлами студентства, не былъ на сходкѣ, которая собралась около университета 2-го октября—день, въ который начальство словесно обѣщало открыть лекціи. Но лекціи открыты не были. По этому поводу на сходкѣ произошли нѣкоторыя демонстраціи, результатомъ которыхъ были немедленные аресты. Между прочимъ арестованы тутъ же нѣсколько лицъ, къ университету не принадлежавшихъ.

* * *

11-го октября, вернувшись поздно вечеромъ домой, Хвалынцевъ нашелъ на столѣ у себя слѣдующее письмо:

«Нужды нѣтъ, что письмо это безъ подписи. Будьте твердо увѣрены, что вамъ придетъ другъ и тайный вашъ доброжелатель. Вы вправе принять или отвергнуть совѣтъ, внушенный уваженіемъ и искреннимъ расположеніемъ къ вамъ. Зачѣмъ вы покинули вашихъ товарищей, ваше общее дѣло? Васъ не видать было нигдѣ: ни въ условные часы на Невскомъ, ни на сходкѣ 2-го октября, ни на частныхъ сходкахъ у товарищей. Многие озадачены вашимъ поведеніемъ. Здѣсь уже успѣли пустить слухи, что вы (не расхохочитесь только!), что вы—шпіонъ. Сколь ни глупо, а многие вѣрятъ. Вамъ надо поведеніемъ своимъ снять съ себя эту мерзкую клевету. Завтра открывается университетъ для взявшихъ матрикулы. Не-матрикулисты намѣрены собраться передъ началомъ лекцій, чтобы не допустить малодушныхъ товарищей своихъ покориться министерскимъ фурукамъ. Имъ помѣшаютъ, ихъ не допустить заявить свою покорность и смиренномудріе. Мы ждемъ васъ завтра, какъ честнаго товарища, на предстоящей сходкѣ.

«Вашъ искренній доброжелатель».

Письмо это и озадачило, и раздосадовало Хвалынцева. «Что за тайный доброжелатель? Что за контроль надъ частною жизнью человека, надъ личными его отношеніями? Меня не видать тамъ-то и тамъ-то! — Да вамъ-то какое дѣло, гдѣ меня видать?!.. И сейчасъ уже «шпіонъ»... Господи, какъ это у нихъ все скоро!.. И глупо, и больно, и досадно!..»

И нервно крутя пальцами въ трубочку письмо, Хвалынцевъ заходилъ по комнатѣ. Онъ принялъ къ сердцу полученное извѣстіе — и тайнѣ его печалило, грызло и бѣсило заявленіе о его шпіонствѣ: «что это — нелѣпое ли предостереженіе, съ пѣлымъ пострадать, или въ самомъ дѣлѣ правда?» Кровь кидалась ему

въ голову, какъ только начиналъ онъ думать и воображать себѣ, что его фамилія сопоставляется «съ этимъ словомъ». Хвалынцевъ—шпіонъ!.. «Э, нѣтъ мои милые, я вамъ докажу... я вамъ докажу, что такъ нельзя!.. Это уже слишкомъ!» злобно бормоталъ онъ, стиснувъ зубы, а разсудокъ межъ тѣмъ скромно подшептывалъ въ это самое время простой вопросъ: «чѣмъ же ты это, любезный другъ, имъ докажешь?»—И досадливая злоба еще пуще подступала къ его сердцу.

Онъ долго не могъ уснуть. Все одна и та же оскорбительная мысль, все то же злобное чувство, даже и въ короткомъ, перерывчатомъ снѣ, не давало ему покою.

IX.

„Студентскій день“.

Утромъ, часу въ одиннадцатомъ, онъ поѣхалъ къ Стрѣшневымъ.

Татьяна Николаевна сразу замѣтила, что ему какъ-то не по себѣ.

— Что съ вами нынче?—почти на первомъ же словѣ спросила она.

— А вотъ, прочтите и узнаете,—отвѣтилъ онъ, подавая вчерашнее письмо.

Та развернула бумагу и быстро принялась читать. По ея лицу можно было видѣть, какое впечатлѣніе производитъ на нее это посланіе.

— Какія мерзости! — вырвалось у нея съ негодованіемъ, когда она дочла до послѣдней строки.—Неужели это правда? Неужели у васъ такія нелѣпости распространяются такъ-же легко и быстро, какъ въ Славнобубенскѣ?

— А что-жъ, мудренаго нѣту!

— Но послѣ этого мало-мальски самостоятельному человѣку просто жить нельзя!—Чуть высказалъ мнѣніе, несогласное съ большинствомъ—сейчасъ шпіонъ, сейчасъ подлецъ! Да это хуже всякаго рабства!

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— Устиновъ правъ: среда, дѣйствительно, тотъ же палачъ и деспотъ, — тихо сказалъ онъ; — какъ ее ни презирай, а она, помимо твоего презрѣнія, дастъ-таки почувствовать себя слишкомъ чувствительнымъ образомъ.

Татьяна Николаевна остановилась въ какой-то внутренней, сосредоточенной борьбѣ со своимъ собственнымъ раздумьемъ. Рѣшить ли такъ, или эдакъ? высказывалось въ ея взорѣ, въ ея суровой морщинкѣ надъ бровями, въ ея медленномъ и рѣдкомъ подергиваніи углами губъ. Видно было, что обвиненіе, павшее на Хвалынцева, слишкомъ успѣло задѣть ее за живое.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ!—рѣшительно подняла; наконецъ, она на него свои глаза.—Хоть это все и мерзость, и глу-

пость, но... мнѣ кажется, оставлять безъ вниманія такія вещи не должно. Ваше имя, ваша честь должны стоять слишкомъ высоко! Они не должны ни минуты оставаться подъ какой бы то ни было тѣнью!

— Что-жъ прикажете дѣлать?—горько улыбувшись, спросилъ онъ.

— Что дѣлать?—быстро и оживленно подхватила дѣвушка.—Прежде всего разъяснить это дѣло. Можетъ-быть, все это не болѣе, какъ плоская шутка какого-нибудь благопріятеля, не слишкомъ разборчиваго на средства; въ такомъ случаѣ наказать его за это, выставить его поступокъ на позоръ товарищей.

— О, помилуйте! до того ли имъ теперь!—перебилъ студентъ.—Въ университетѣ идетъ дѣло поважнѣй моего личнаго самолюбія. Да и едва ли шутка: мы, надо сознаться, слишкомъ скоры на самые рѣшительные приговоры.

Стрѣшневъ снова задумалась.

— Въ такомъ случаѣ вотъ что: уважаете вы вашихъ товарищей или нѣтъ? Уважаете вы общее мнѣніе студентской массы?

— Вопросъ даже излишній,—возразилъ Хвалынцевъ.—Я самъ студентъ.

— Значитъ, уважаете, — утвердительно заключила дѣвушка. — Ну, такъ поѣзжайте сейчасъ же на сходку! Сейчасъ поѣзжайте! Тамъ вы сами воочию убѣдитесь, на сколько тутъ правды—и если да, то постарайтесь своимъ поведеніемъ доказать товарищамъ, что они на вашъ счетъ заблуждаются. Поѣзжайте! Вотъ вамъ рука моя на счастье... Я буду ждать васъ...

Хвалынцевъ съ любовью и благодарностью поцѣловалъ протянутую руку и отправился на сходку.

* * *

Подѣзжая къ университету, онъ еще издали увидѣлъ огромную толпу, запрудившую всю набережную. Въ этой толпѣ пестрѣла самая разнообразная публика, сѣрѣли ряды войска, надъ которыми видѣлись тонкія, частыя иглы штыковъ; нѣсколько гарпунщиковъ на мѣстѣ всадниковъ замѣтно выдавались надъ головами; еще далѣе—стройный рядъ конныхъ жандармовъ... Все это могло бы предвѣщать нѣчто недоброе, если бы частое повтореніе подобныхъ явленій за послѣднее время не приучило студентовъ смотрѣть на нихъ, какъ на нѣчто весьма обыкновенное, въ родѣ необходимой декорации при театральнѣй комедіи.

Хвалынцевъ расплатился съ извозчикомъ и спѣшно отправился пѣшкомъ по набережной. Квартальный надзиратель и нѣсколько полицейскихъ пропустили его безпрепятственно. Онъ уже съ трудомъ пробирался между рядами солдатъ, съ одной стороны, и массою публики—съ другой, какъ вдругъ дорога ему была загорожена крупомъ строевой лошади. На сѣдлѣ красовался какой-то генералъ и жестикулируя говорилъ о

чемъ-то толпѣ и солдатамъ. Хвалынцевъ пріостановился.

— Это мальчишки, которыхъ правительство кормить, поить и одѣваетъ на свой счетъ,—раздался голосъ съ коня,—а они, неблагодарные, бунтуютъ!.. Изъ нихъ, братцы, со временемъ выйдутъ подьячіе, которые грабятъ васъ, грабятъ народъ—дадимъ имъ хорошій урокъ!

Вся кровь бросилась въ голову Хвалынцевъ. Изъ груди, переполнившейся негодованіемъ, готовы были вырваться слезы.

— Ваше превосходительство! не всѣ средства хороши и позволительны! — закричалъ онъ.—Это ложь! это клевета!

Генералъ повернулся, желая поймать голосъ, осмѣлившійся встрѣтить его слова столь громкимъ протестомъ.

Ближайшая толпа изъ публики, смекнувъ въ чемъ дѣло, въ тотъ же мигъ закрыла собою студента и образовала между нимъ и всадникомъ довольно плотную и густую стѣну. Хвалынцевъ рванулся было впередъ, но его задержали и закрывая продолжали оттирать назадъ.

— Найти и взять, — крикнулъ генералъ, обращаясь къ близъ стоявшему городовому.

Тотъ расторопно кинулся въ толпу, но толпа, встрѣтившая его гуломъ и смѣхомъ, все болѣе и болѣе оттирала студента въ глубь, такъ что всѣ усилія полицейскаго остались тщетны.

Отчасти сконфуженный, генералъ шагомъ поѣхалъ далѣе, къ университету.

Хвалынцевъ, съ трудомъ пролагая себѣ дорогу въ толпѣ, отправился въ томъ же направленіи. Вотъ заснѣли передъ нимъ студентскіе околыши, вотъ онъ уже примкнулъ къ ихъ толпѣ. На сердцѣ у него было такъ смутно и такъ тревожно: онъ не зналъ, какъ отнесутся теперь къ нему его товарищи; онъ втайнѣ боялся за свое доброе имя и сознавалъ, что минута встрѣчи съ ними должна быть роковою, что послѣ нея нужно рѣшиться на что нибудь-такое, что сразу разубѣдило бы ихъ, разсѣяло всѣ предубѣжденія. Но чѣмъ именно должнобыть это «что-нибудь такое», въ чемъ оно должно заключаться? студентъ не зналъ и не могъ еще дать самому себѣ яснаго отчета; онъ только былъ твердо увѣренъ, что «что-нибудь такое» онъ сдѣлаетъ, что оно будетъ и будетъ непремѣнно. У страха глаза велики, говоритъ пословица. У предубѣжденного въ какую-либо сторону челоуѣка они точно такъ же велики, а Хвалынцевъ явился сюда уже предубѣжденнымъ, настроеннымъ въ извѣстномъ направленіи, и потому былъ способенъ видѣть въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ пожатіи руки, въ каждомъ словѣ и движеніи знаменательное для себя явленіе, явленіе, направленное противъ своей личности въ дурную, враждебную сторону. Можетъ-быть, въ сущности, многого изъ того что ему казалось, вовсе и не было, но ужъ онъ-то самъ, по внутреннему настроенію, склоненъ былъ глядѣть на все

преувеличенными глазами и объяснять себя все такъ, какъ подсказывало ему его собственное, болѣзненное чувство. Ему показалось, что на него весьма многие стали вдругъ косо глядѣть, что нѣкоторые какъ будто уклонились отъ встрѣчи съ его взглядомъ, отъ его поклона, что самыя рѣчи какъ будто становились сдержаннѣе, при первомъ его появленіи въ томъ или другомъ мѣстѣ толпы. Болѣзненное чувство досады и незаслуженнаго оскорбленія подымалось въ его душѣ, а на подобное настроеніе очень много повліяли и дурно проведенная ночь, и возбужденіе нервовъ, и неожиданное столкновеніе съ ораторствовавшимъ генераломъ. «А вѣдь струсилъ, подло струсилъ», самъ себя упрекалъ въ душѣ Хвалынцевъ. — «Слѣдовало бы не прятаться въ толпѣ, а выйти прямо къ нему и честно сказать: «это я сказалъ», а я почти безпрепятственно позволилъ оттереть себя. Арестовали бы, ну и пускай!.. Тогда бы, по крайней мѣрѣ, всѣ знали, всѣмъ бы было извѣстно»...

«И все вздоръ! И никто бы не зналъ, и никому не было бы извѣстно!» слѣдовалъ въ немъ новый потокъ мыслей. — «То было бы тамъ, а *они* здѣсь, откуда-жъ бы узнали *они*? Никто изъ нихъ этого и не увидѣлъ бы... Доказать... Но чѣмъ доказать... Нужно, необходимо нужно что-то такое сдѣлать, чтобы всѣ увидѣли, чтобы всѣ поняли... Но что такое сдѣлать?.. Что именно нужно?...

Чѣмъ болѣе поддавался Хвалынцевъ этимъ мыслямъ, тѣмъ все смутнѣе и тяжелѣе становилось ему, и онъ вдругъ какъ-то почувствовалъ себя одинокимъ, чужимъ, лишнимъ среди этой толпы товарищей, отторгнутымъ отъ нея членомъ, вслѣдствіе какого-то тайнаго, невѣдомаго, высшаго приговора. Ему стало очень горько и больно; досада и злость, и сознаніе своего безсилія еще пуще стали сжимать и щемить его душу.

«Какъ я приду къ ней? Что я скажу ей?.. Она вѣдь ждетъ меня, она сама, можетъ, такъ же страдаетъ», думалось ему. — «Нѣтъ, надо *сдѣлать*!.. надо сейчасъ доказать имъ... Но, Господи! Что же я сдѣлаю!... О, будь толпа за меня, будь я попрежнему безъ малѣйшей тѣни въ ея глазахъ, я былъ бы силенъ ею... я все бы сдѣлалъ тогда, все было бы такъ легко и такъ просто... а теперь, чортъ знаетъ, словно будто бы связанъ по рукамъ и ногамъ, словно будто бы паутиной какой-то спутанъ...»

— Господинъ Хвалынцевъ! Господинъ Хвалынцевъ! — послышался вдругъ ему чей-то дружескій, привѣтливый голосъ.

Константинъ Семеновичъ обернулся на зовъ и увидѣлъ на тротуарѣ набережной, между массою публики, Василія Свитку, который улыбаясь махалъ ему рукой.

Хвалынцевъ, погруженный въ свои тяжелыя

думы и опущенія, обрадовался этому голосу, какъ какому-то спасительному, благовѣстному звуку. Онъ поспѣшилъ пробраться къ Свиткѣ съ чувствомъ, весьма близкимъ къ чувству утопающаго, которому вдругъ представляется доска или сучокъ прибрежнаго кустарника.

Свитка стоялъ въ рядахъ публики, но нѣсколько человѣкъ его сосѣдей, какъ показалось Хвалынцеву, составляли какъ будто особую кучку знакомыхъ между собою людей. Тутъ были и Шишкинъ, и Лѣсницкій, физіономія котораго показала студенту нѣсколько знакомою: онъ вспомнилъ, что видѣлъ, какъ-то, этого самаго господина вмѣстѣ со Свиткой и въ университетѣ однажды, и въ тотъ день, когда въ условленные часы гулялъ по Невскому.

Кромѣ этого господина, тутъ же стояло нѣсколько офицеровъ, между которыми особенно выделялась фигура капитана генеральнаго штаба съ очень умнымъ, энергическимъ лицомъ. Этотъ капитанъ разговаривалъ съ блондиномъ чиновничьей наружности, очень скромнымъ и приличнымъ на видъ. Нѣсколько выдвинутая впередъ нижняя челюсть и тонкія подобранныя, сжатія губы, несмотря на общую болѣзненность физіономіи, придавали его лицу какое-то презрительное и вмѣстѣ съ тѣмъ энергическое, твердое выраженіе рѣшимости и силы. Это лицо было изъ тѣхъ, которыя невольно останавливаютъ на себѣ нѣкоторое вниманіе. Онъ стоялъ въ распахнутомъ бобровомъ пальто и между развернувшимися бортами его кашне Хвалынцевъ замѣтилъ какой-то орденъ на его шеѣ. Несмотря на то, что сѣрые глаза его дышали наглостью, общее выраженіе ума и энергіи, вмѣстѣ съ изящною скромностью манеры держать себя, имѣло въ себѣ нѣчто подкупающее и даже располагающее въ его пользу.

— А молодцы матрикулисты! ей-Богу молодцы! — не безъ увлеченія похвалилъ Свитка, дружелюбно пожимая руку Хвалынцева.

— А что такъ? — спросилъ этотъ.

— Да какъ же! Собрали сходку и торжественно изорвали свои матрикулы... Это фактъ утѣшительный! Не-матрикулисты хотѣли помѣшать лекціямъ, но оказалось, что и мѣшать нечему: все само собою сдѣлалось какъ не надо лучше.

Хвалынцевъ съ высоты тротуара оглядѣлъ толпу. Болѣе двухсотъ студентовъ-матрикулистовъ стояли отдѣльной группой; человѣкъ полтора, изъ незаявившихъ матрикулы, помѣщались неподалеку отъ нихъ. Разное начальство и власти, конныя и пѣшія, стояли около этихъ двухъ группъ и горячо о чемъ-то спорили, убѣждали, доказывали, то принимаясь грозить, то вдругъ увѣщевать; властямъ возражали — и власти снова начинали горячиться и снова грозить, но угрозы ихъ встрѣчались

или равнодушіемъ, или смѣхомъ; власти терялись, опять приступали къ заявленіямъ своей любви и симпатіи къ «молодому поколѣнію», молодое поколѣніе на любовь не поддавалось, и потому власти опять — таки выходили изъ себя.

Все уже это, на сей день, было старо, а отъ частыхъ повтореній становилось даже и скучнымъ.

Вдругъ раздался чей-то рѣзкій, взбѣшенный крикъ:

— Впередь!.. Бей!.. Обходи!..

И рота солдатъ—ружья на руку, штыками впередъ—бросилась на толпу матрикулистовъ. Съ другой стороны въ нее врѣзались конные жандармы. Поднялся неистовый крикъ. Студентскія палки и нѣсколько солдатскихъ прикладовъ поднялись въ воздухъ. Среди крика, шума и свалки слышались удары и отчаянные вопли.

Минута была ужасная.

Вдругъ Хвалынцевъ замѣтилъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него грохнулся на мостовую человѣкъ. Онъ взглянулъ и узналъ знакомаго: то лежалъ одинъ кандидатъ университета, кончившій курсъ нынѣшнею весной. Лицо его было обито кровью. Первымъ движеніемъ студента было броситься къ нему на помощь, но чья-то сильная рука предупредила его порывъ.

— Останьтесь!.. Куда вы!?! Бога ради, останьтесь! — шепталъ ему Свитка, крѣпко ухвативъ его подъ руку.

Хвалынцевъ отъ сильнаго волненія не могъ выговорить ни слова и только взглядомъ и жестами показывая на окровавленнаго человѣка, все порывался къ нему.

Въ это время двое солдатъ подняли лежачаго и пособили ему держаться на ногахъ, а одинъ даже обмахнулъ обилагомъ грязь съ полы его пальто. Раненый, очевидно, подъ впечатлѣніемъ сильной боли, плохо сознавалъ, что дѣлается вокругъ него и несвязно бормоталъ какія-то слова. Солдаты, подхвативъ его подъ руки, утащили куда-то.

Свалка продолжалась еще нѣсколько секундъ. Ключья разорваннаго платья, два-три лежащихъ и нѣсколько окровавленныхъ человѣкъ были ея результатомъ.

Солдаты окружили и оттѣснили на нѣкоторое разстояніе толпу матрикулистовъ. Лежащихъ тотчасъ же подняли и отправили въ госпиталь.

— Въ крѣпость!.. Маршъ! — скомандовалъ кто-то изъ начальства.

И толпа матрикулистовъ, окруженная конвоемъ, двинулась съ мѣста.

— Берите и насъ!.. Арестуйте и насъ вмѣстѣ съ ними! Мы хотимъ быть съ нашими товарищами! — раздался вдругъ крикъ изъ особой толпы не-матрикулистовъ, и вся она

хлынула впередъ, на соединеніе съ арестованными.

Конвой разступился и безпрепятственно допустилъ это соединеніе.

Хвалынцевъ снова бросился впередъ.

— Да куда же вы, наконецъ?!.. Куда вы!— съ досадою остановилъ его Свитка.

— Пустите!—рванулся тотъ отъ него локтемъ.—Мое мѣсто тамъ... вмѣстѣ съ ними.. Оставьте меня!

— Не оставлю!—спокойно возразилъ Свитка.—Прежде всего — это глупо!.. Что за неумѣстное донъ-кихотство!..

— Какое вамъ дѣло до меня!.. Мнѣ не нужно нянекъ!.. Пустите же, говорю вамъ!

И онъ успѣлъ вырваться изъ-подъ руки Свитки и кинулся впередъ.

Какой-то городской налетѣлъ на него и, ухвативъ за шиворотъ, потащилъ къ арестованной толпѣ. Хвалынцевъ не противился.

— Оставьте!.. Пусти его, каналья!—строго начальственнымъ тономъ проговорилъ въ эту самую минуту капитанъ генеральнаго штаба, подоспѣвшій на выручку вмѣстѣ съ двумя-тремя офицерами, которые доселѣ стояли въ толпѣ, около Свитки.

Городовой тотчасъ же выпустилъ шиворотъ Хвалынцева и, почтительно вытянувшись предъ офицерами, спѣшно взялъ подъ козырекъ.

Двое изъ нихъ въ ту же минуту подхватили подъ руки студента и почти насильно оттащили его въ толпу народа, на тротуаръ набережной.

А въ это время студенты подъ конвоемъ успѣли уже двинуться далѣе.

Хвалынцевъ, слишкомъ много переживавшій и перестрадавшій въ эту ночь и въ это утро, взволнованный и возмущенный видомъ стычки, видомъ крови, наконецъ не выдержалъ. Ощущенія его за все это время были слишкомъ тягостно-разнообразны. Отворотясь отъ толпы, онъ облокотился на гранитныя перила набережной, судорожно закрывъ лицо руками и нервно зарыдалъ. Это были рыданія болѣзненнаго озлобленія.

— Полноте... успокойтесь,—тихо говорилъ ему Свитка, облокотившійся рядомъ съ нимъ на перила.

— Оставьте, говорю! — злобно прохрипѣлъ студентъ.—Чего вамъ отъ меня надо?.. Кто васъ просилъ мѣшаться?.. По какому праву?..

— По праву товарища,—спокойно пояснилъ Свитка.

— Вы мнѣ не товарищъ... Мои товарищи тамъ... А я не съ ними.

— Ну, а кого жъ бы вы особенно удивили, если-бы были съ ними?—съ дружеской улыбкой возразилъ Свитка.—Эхъ, господинъ Хвалынцевъ! Донъ-кихотство вещь хорошая, да только не всегда!.. Я возмущенъ, можетъ-быть, не ме-

нѣе, но... если мстить, то мстить разумнѣе, — прибавилъ онъ шопотомъ и очень многозначительно. — Быть бараномъ въ стадѣ еще не велика заслуга, коли въ человѣкѣ есть силы и способность быть вожакомъ.

Хвалынцевъ окинулъ его недомѣвающимъ взглядомъ.

— Полноте, успокойтесь, говорю вамъ, — продолжалъ Свитка. — Первый актъ траги-комедіи, можно сказать, конченъ... ну, и слава Богу!.. Полноте же, будьте мужчиной!.. Пойдемте ко мнѣ и потолкуемъ о дѣлѣ... Я доведу васъ... Я не отпущу васъ теперь одного: вы слишкомъ взволнованы, вы можете надѣлать совершенно ненужныхъ глупостей. Давайте вашу руку!

Въ тонѣ Василя Свитки было столько чего-то авторитетнаго, столько спокойствія и благо-разумнаго сознанія своего права и силы и рѣшительности, что Хвалынцевъ, успѣвшій уже до извѣстной степени нравственно ослабѣть подъ ударами столькихъ впечатлѣній, почти безпрекословно подчинился волѣ этого новаго и неожиданнаго ментора.

Свитка нанялъ извозчика и повезъ Хвалынцева на свою квартиру, въ 13-ю линію Васильевскаго острова.

* * *

Въ общественныхъ толкахъ, этотъ достопамятный для петербургскаго университета день былъ названъ «студентскимъ днемъ». Это названіе надолго осталось за нимъ и въ воспоминаніяхъ тогдашняго и послѣдующаго студентства.

Х.

Бесѣда съ мудрымъ Никодимомъ.

Охъ, господинъ Хвалынцевъ, да какой же вы, право, нервный! — говорилъ Свитка, качая головою, когда студентъ усѣлся уже въ старое, но очень мягкое и покойное кресло. — Ишь вѣдь, и до сихъ поръ, нѣтъ-нѣтъ, а все-таки дергаетъ лицо дрожью!

— Не дрожью, а злостью дергаетъ! — отвернувшись отъ него, проворчалъ Хвалынцевъ.

— Злость — чувство очень почтенное, когда оно разумно направлено! — какъ бы между прочимъ замѣтилъ Свитка. — А знаете, выпейте-ка стаканъ бургонскаго; это васъ и освѣжитъ, и подерѣвитъ, какъ слѣдуетъ; кстати, дома есть бутылочка, и посылать не надо... Я вѣдь человѣкъ запасливый! — говорилъ онъ, доставая изъ шкафчика темную бутылку и пару стакановъ.

Хвалынцевъ давно уже чувствовалъ внутреннюю, нѣсколько воспаленную, болѣзненную сухость и потому залпомъ выпилъ стаканъ вина, которое утолило его лихорадочную жажду.

— Хотите сигару, или папиросу? Только

предупреждаю, сигарѣнка такъ-себѣ, весьма посредственнаго достоинства — говорилъ Свитка, подвигая студенту и то и другое. — Главное у меня — чтобы вы успокоились. Это прежде всего. Сидите, лежите, курите, пейте, а когда будете совсѣмъ спокойны — будемъ толковать.

Хвалынцевъ съ улыбкой послѣдовалъ его предупредительнымъ, любезнымъ совѣтамъ, закурилъ себѣ сигару, налилъ въ стаканъ еще вина и съ ногами перемѣстился на диванъ, подложивъ себѣ подъ бокъ кожаную подушку.

— Ну-съ, теперь я въ совершенно покойномъ положеніи. Можете начинать, — полушутя обратился онъ къ своему любезному хозяину.

— Могу и начинать, — въ томъ же духѣ отвѣтилъ Свитка, въ свою очередь подливая себѣ бургонскаго. — Прежде всего, милостивый мой государь, господинъ Хвалынцевъ, да будете вамъ извѣстно, что вы — арестантъ.

Студентъ вскинулъ на него вопросительный взглядъ.

— Да-съ, вы — арестантъ, — продолжалъ Свитка, какъ-бы въ отвѣтъ на этотъ взглядъ, — потому что вы арестованы... Понимаете-съ?

— Немножко не понимаю, — улыбнулся Хвалынцевъ.

— Вы арестованы мною и у меня, и вскорѣ будете переправлены въ болѣе надежное мѣсто.

— Буде до того времени не уйду изъ-подъ ареста, — въ видѣ добавленія къ словамъ Свитки и впадая въ его тонъ, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Это само собою разумѣется! — поклонился тотъ, вполне соглашавшійся со своимъ гостемъ. — Но буде вы уйдете изъ-подъ ареста, то рискуете быть арестованнымъ санктъ-петербургскою явною или тайною полиціею. Вамъ это желательно?

— Мнѣ это рѣшительно все-равно.

— Какъ «все-равно»?.. А Малая Морская улица?

Хвалынцевъ въ замѣшательствѣ и въ нѣсколько тревожномъ недоумѣніи вскочилъ съ дивана.

— Ну, вотъ видите, я говорилъ вамъ, что вы еще не совсѣмъ спокойны. Оно такъ и есть! — полусмѣясь, замѣтилъ Свитка. — Ложитесь-ка лучше опить, и пейте, и курите, и ведите бесѣду, какъ подобаетъ мужу мудрому.

— Все это прекрасно, — возразилъ студентъ, возвращаясь на диванъ въ прежнее свое положеніе, — но...

— Что такое *но*? — лукаво улыбаясь, прищурился Свитка.

— Но?.. Но вы начинаете говорить загадки.

— А! на то и существуютъ на свѣтѣ загадки, чтобы ихъ отгадывать. Вы видите, что мнѣ кое-что извѣстно, и — повѣрьте слову — я бы никакъ не сталъ заводить рѣчь о такихъ деликатныхъ предметахъ, какъ Малая Морская

улица, если бы въ этомъ не было самой настоятельной надобности.

— Вѣрю вполне, но мнѣ было бы интересно знать, кто васъ уполномочилъ на это?

— Н-да... я вижу, что коснулся дѣйствительно щекотливаго предмета!—уставя въ землю глаза, медленно проговорилъ Свитка.— Кто уполномочилъ меня?... хм!.. Полагаю, вашъ собственный интересъ, ваша собственная польза.

— Ну, что-жъ! Мнѣ, стало быть, остается только поблагодарить васъ за участіе къ моимъ позамъ.

— О, я въ этомъ и не сомнѣваюсь! Но это вы успѣете сдѣлать и потомъ, впоследствии!—говорилъ Свитка, притворяясь, будто не понималъ настоящаго смысла фразы Хвалынцева.— Вѣдь не можетъ же быть, чтобы человѣкъ въ вашемъ положеніи добровольно пожелалъ сидѣть, Богъ знаетъ сколько времени, въ Петропавловскихъ казематахъ.

— Какъ знать!..—пожалъ плечами студентъ.—Вы сегодня же видѣли противное, и если бы не вы, да не тѣ господа офицеры, то и сидѣть бы!—Вѣдь отвели-же цѣлыхъ триста человѣкъ.

— Э, господинъ Хвалынцевъ! — перебилъ Свитка,—но вѣдь это отвели барашковъ... это отвели хоръ, а вы въ хоръ не годитесь: вы изъ породы солистовъ. Вѣдь туда, если я не ошибаюсь, какись, и Полоярова нынче же отвели съ толпою; но какому же порядочному, серьезному человѣку охота стоять въ одной категоріи, съ позволенія сказать, съ господиномъ Полояровымъ? Помилюйте!

— Да; но какъ-бы то ни было, а только вы далеко не услугу оказали мнѣ, помѣшавъ моему аресту,—сдержанно замѣтилъ Хвалынцевъ.

Свитка, облокотясь на столъ надъ своимъ стаканомъ и подперевъ кулаками обѣ щеки, пристальнымъ взглядомъ уставился на студента.

— И. вы серьезно хотѣли быть арестованнымъ?—спросилъ онъ.

— А положимъ, что и такъ; положимъ, что хотѣлъ совершенно серьезно.

Свитка тихо засмѣялся, и смѣхъ его вполне выражалъ мысль, которая могла бы быть совершенно ясно сформулирована словами: «нѣтъ, милый, ты меня не проведешь!»

— Ну, положимъ! — согласился онъ.—Но, извините за безцеремонный вопросъ: для чего же вы это хотѣли?

— Да хоть для того, чтобы быть вмѣстѣ съ моими товарищами, чтобы дѣлать ихъ участь.

— И для этого вы даже пожертвовали бы безъ всякаго сожалѣнія Малою Морскою улицей?—Простите новую нескромность.

— Н-ну, это другой вопросъ! — возразилъ студентъ.—Безъ сожалѣнія... не скажу.

— А, вотъ видите ли!.. Нѣтъ, господинъ Хвалынцевъ! — со вздохомъ поднялся онъ съ

мѣста, однакоже не спуская съ собесѣдника пристальнаго взгляда.—Не потому только, чтобы быть съ товарищами, желали вы ареста!

— Такъ почему-жъ, по вашему? — нахмурясь спросилъ студентъ.

— По моему?... Я предполагаю, что ужъ если было такое желаніе, то была и другая причина и... быть можетъ, я догадываюсь, какая! выслушайте меня!

И подсѣвъ рядомъ къ нему на диванъ, Свитка дружески, какъ бы располагая въ пользу интимной откровенности, дотронулся ладонью до его колѣна.

— Можетъ быть, я и ошибаюсь,—началъ онъ,—а можетъ быть и нѣтъ. Не хотѣли ли вы доказать вашимъ арестомъ, что вы... что вы не шпионъ, какъ распустили объ васъ тутъ нѣкоторые близорукіе болваны.

Хвалынцевъ мгновенно вспыхнулъ при этомъ словѣ, которое уязвило его подобно каплѣ растопленнаго свинца, упавшей на тѣло. Свитка, какъ нельзя вѣрнѣе, попалъ въ настоящую суть дѣла.

— Что вы не шпионъ, то въ этомъ безусловно убѣжденъ каждый честный и порядочный человѣкъ, кто хоть сколько нибудь знаетъ васъ,—съ полнымъ спокойствіемъ и весьма вѣско продолжалъ онъ;—что на каждого честнаго человѣка это слово, это нареканіе производить такое же дѣйствіе, какъ и на васъ сію минуту — это вполне естественно, иначе и быть не можетъ; но что вашъ арестъ вмѣстѣ съ товарищами ровно ни въ чемъ не разубѣдилъ бы близорукіхъ болвановъ, то это также не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. «Помилуйте, скажетъ любой изъ нихъ, да его нарочно посадили, чтобы, во-первыхъ, глаза намъ отвести, а во-вторыхъ, чтобы и здѣсь удобнѣе наблюдать за нами, а потомъ донести полиціи!» Вотъ что навѣрное скажетъ каждый оселъ! И, стало быть, арестъ вашъ былъ бы совершенно напрасенъ.

— Да... пожалуй, что и такъ... пожалуй, что вы и правы,—медленно и глухо проговорилъ наконецъ Хвалынцевъ, послѣ нѣкотораго раздумья надъ его словами.

— Да ужъ повѣрьте на честь, что такъ! — утвердилъ Свитка.— И при томъ же аресты огуломъ хороши только для хора, повторяю вамъ, а для солистовъ они совсѣмъ не годятся-съ?

— Можетъ быть,—согласился студентъ,—но кто же вамъ сказалъ, что я-то солистъ.

— Э, батюшка! виденъ соколъ по полету, говорятся пословица. И потому-то надо поберечь васъ, а чтобы поберечь, надо было арестовать.

Хвалынцевъ очень внимательно поглядѣлъ на Свитку. По его словамъ и, главное, по тону никакъ нельзя было сказать утверди-

тельно, говорится ли это серьезно, или такъ только, одной шутки ради.

— И вы меня арестовали? — улыбаясь, спросилъ онъ.

— И я васъ арестовалъ! — поклонился Свитка. — Арестовалъ пока у себя, а къ вечеру какъ уже сказано, переправлю въ болѣе надежное мѣсто. Надо убрать васъ подальше отъ Цѣпного моста.

— Да вы это серьезно, или въ шутку? — приподнявшись съ дивана, озабоченно спросилъ студентъ.

— Что за шутки, помилуй Богъ!

— Но...

— Опять «но»?

— Да непременно! Я хочу спросить васъ, на чемъ вы все это основываете?

— На томъ, что знаю, что васъ хотятъ арестовать и, можетъ быть, не далѣе, какъ нынѣшнюю ночью.

Эти слова были произнесены съ самою точною и непоколебимою увѣренностью, какъ дѣйствительный фактъ, какъ истина, самая непреложная.

— Но за что же, наконецъ? — пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— За то, что 25-го числа вы предложили шествіе въ Колокольную улицу, въ извѣстномъ порядкѣ, по извѣстной программѣ. Достаточно съ васъ этого?

— Но отчего жъ меня не арестовали прежде, въ ту же ночь?

— Оттого, что изъ слѣдственнаго дознанія объ этомъ узнали они только вчера утромъ въ девять часовъ. Теперь понимаете?

— Это-то понять не трудно; но не понимаю одного: откуда вы-то все это знаете и притомъ съ такою точностью? — возразилъ озадаченный Хвалынцевъ.

— Хм... Вы, кажись, начинаете нѣсколько сомнѣваться въ моей личности? — добродушно и въ то же время лукаво улынулся Свитка. — Не сомнѣвайтесь! Я — вашъ добрый геній.

— Этого для меня мало. Я хочу знать, — замѣтилъ студентъ.

— Отчего же, когда-нибудь, можетъ, и узнаете, — отвѣчалъ Свитка, въ томъ же полшутливомъ и полусерьезномъ тонѣ. — Вы видите, что *намъ* кое-что извѣстно, и не только насчетъ вашего ареста, но и насчетъ Малой Морской.

— Вопросъ не въ томъ! — перебилъ Хвалынцевъ, — а въ томъ, откуда, почему и какъ извѣстно.

— Извѣстно ровно на столько и такъ, какъ оно есть въ дѣйствительности, — самымъ положительнымъ образомъ заврѣилъ Свитка, — а почему извѣстно, это, вотъ видите ли, я вамъ объясню на сколько возможно. Кромѣ правительственной полиціи, есть еще другая, которая, быть-можетъ, слѣдить, въ свою очередь,

и за правительственною. Это, такъ-сказать, полиція внѣ полиціи. Вѣдь согласитесь, если на васъ нападаютъ, если противъ васъ изыскиваютъ разные тайные пути, которые должны вредить вамъ, то съ вашей стороны будетъ очень естественно подумать о самозащитѣ, о томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности, парализовать эти вредные происки и замыслы. Ну, вотъ вамъ, отсюда и вытекаетъ полиція внѣ полиціи или, вѣрнѣе сказать, контръ-полиція.

Хвалынцевъ не на шутку раздумался надъ этими словами, которыя его и поразили, и озадачили, и какъ будто сказали многое, тогда какъ въ сущности не было сказано ровно ничего опредѣлительнаго. Эти слова только слегка, только чуть-чуть приподняли для него край непроницаемой завѣсы, за которою вдали, какъ можно предполагать и догадываться, кроется во мнѣ что-то большое, важное, таинственное, серьезное и сильное, но что именно — распознать за мглову не возможно. Студентъ однако же сдѣлалъ еще одну попытку пощупать это неуловимое нѣчто.

— Хорошо, — сказалъ онъ. — Положимъ, вамъ удастся припрятать меня на время отъ жандармовъ, но что жъ изъ этого? Вѣдь я же не могу вѣкъ быть спрятаннымъ, вѣдь рано ли, поздно ли, они все-таки найдутъ и притянутъ меня къ дѣлу.

— Объ этомъ не заботьтесь! Объ этомъ предоставьте заботу другимъ! — успокоительно и авторитетно отвѣчалъ Свитка. — Дѣло можно устроить и такъ, что все обойдется пустяками. Для этого руки найдутся, а спрятать васъ необходимо собственно на первое только время, пока тамъ идетъ вся эта передрыга. Погодите: угомонятся.

Недоумѣніе Хвалынцева все-таки ни мало не разъяснилось.

— Вашъ арестъ будетъ сопряженъ для васъ съ нѣкоторымъ лишеніемъ, — продолжалъ Свитка, — то-есть я разумѣю Малую Морскую, но вы не беспокойтесь: мы найдемъ возможность тотчасъ же тамъ предупредить и успокоить; а показываться вамъ самимъ въ Hôtel de Paris неудобно по той причинѣ, что жандармамъ, точно такъ же какъ и намъ, уже кое-что извѣстно по поводу Морской, въ этомъ ужъ вы мнѣ повѣрьте! И потому васъ могутъ захватить и тамъ, а это будетъ очень непріятно не одному только вамъ, а и другимъ особамъ.

Хвалынцевъ колебался, не зная, въ какую сторону направить свое рѣшеніе: принять ли предложеніе Свитки, или не принять его.

Свитка замѣтилъ это колебаніе и угадалъ внутренний смыслъ его.

— Дѣлайте, какъ хотите, — сказалъ онъ, принимая равнодушный видъ; — хотите согласиться со мною — соглашайтесь, а не желаете, такъ какъ угодно. Я, конечно, настаивать и удерживать васъ насильно не стану: я не имѣю права

на это. Но только знайте, господинъ Хвалынцевъ: если вы выйдете изъ-подъ моей опеки, вамъ грозитъ арестъ неминуемый. Каковы будутъ послѣдствія этого ареста, мнѣ, конечно, неизвѣстно еще, но во всякомъ случаѣ, они будутъ несравненно тяжелѣе, и самый арестъ продолжительнѣе, чѣмъ арестъ у меня. Я говорю все это вамъ не на вѣтеръ, а совершенно серьезно. И такъ, угодно вамъ имѣть дѣло съ вашимъ почтеннѣйшимъ слугою, или угодно имѣть его съ Третьимъ отдѣленіемъ и Петропавловскими казематами?

— Господинъ Свитка, — началъ Хвалынцевъ, послѣ нѣкотораго раздумья, — я васъ слишкомъ мало знаю, для того чтобы... для того чтобы... ну, однимъ словомъ...

— Однимъ словомъ, для того, чтобы вполне довѣриться мнѣ, повѣрить моимъ словамъ, хотите сказать вы, не правда ли? — перебилъ онъ.

— Пожалуй, и такъ. Вы угадали.

— Гм... такъ вотъ въ чемъ дѣло! — ухмыльнулся Свитка, руки въ карманы, пройдясь по комнатѣ и остановясь, наконецъ, передъ своимъ гостемъ. — Другими словами, въ переводѣ на безцеремонный языкъ, ваша мысль формулируется такимъ образомъ: я не могу довѣриться тебѣ, любезный другъ, потому что ты, быть-можетъ, не болѣе, какъ ловкій полицейскій шпионъ и можешь головой выдать меня правительству. Такъ что ли, господинъ Хвалынцевъ?

Студентъ немного сконфузился и промолчалъ: Свитка вполнѣ разгадалъ мысль его. Хвалынцевъ началъ и чувствовать, и понимать, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ настолько умнымъ и проницательнымъ, что отъ него трудно вліять куда-нибудь въ стороны.

— Ну, хорошо. Положимъ, что я шпионъ, — продолжалъ межъ тѣмъ Свитка. — Стало быть, въ данную минуту вы уже въ рукахъ тайной полиціи, которая можетъ сдѣлать съ вами все, что заблагоразсудитъ, и никто знать этого не будетъ, потому что никто не знаетъ и не видѣлъ какъ и гдѣ, и кѣмъ и когда вы арестованы. Если я шпионъ, то и бѣжать вамъ отсюда некуда, потому что — почему вы знаете? можетъ, за этою дверью стоятъ уже жандармы, которые, чуть вы носъ покажете, схватятъ васъ, усадятъ въ темную карету и умчатъ хоть туда, куда Макарь телятъ не гонялъ. Ха, ха, ха!... Полноте, господинъ Хвалынцевъ, не опасайтесь меня! — шутиливо заключилъ Свитка, протягивая руку студенту. — Я прошу только немножко довѣрія, ради вашей же собственной пользы. Неужели это такъ трудно?

— Но кто же вы, наконецъ, и что все это значитъ? — показавъ плечами, нетерпѣливо вскопчилъ съ мѣста Хвалынцевъ.

— Повторяю вамъ еще разъ: я — вашъ добрый геній, а значитъ все это — полиція внѣ полиціи, или такъ-сказать, контръ-полиція. Болѣе это объяснять вамъ пока, ей-Богу, не могу и не

имѣю права. Но еще разъ предвѣщаю: внѣ моей опеки васъ ждетъ арестъ неминуемый.

— Да что же это, наконецъ, за участіе такое къ моей особѣ? Чѣмъ вызвалъ, чѣмъ заслужилъ я его? Почему не къ другимъ, а къ одному только мнѣ?..

— А почему вы знаете, что къ одному только вамъ? — Не беспокойтесь: есть и другіе! — удостовѣрилъ его Свитка. — А что касается участія къ вашей особѣ, то оно вызвано тѣмъ, что опять-таки мѣры, пригодныя для хора, не всегда годятся для солистовъ. Васъ надо поберечь. Они могутъ стричь наши волосы, брить нашу бороду, — но обрубать наши пальцы мы не можемъ дозволить. Обрубите пальцы — рука ваша ни къ чорту не годится. Дѣло вѣдь, кажется, ясное? Вотъ почему мы и бережемъ наши живыя, дѣятельныя силы. Если вы сами не хотите еще сознавать въ себѣ эту дѣятельную, живую силу, то другіе очень хорошо провидятъ ее въ васъ. И такъ, угодно вамъ отдаться въ мое распоряженіе?

Хвалынцевъ начиналъ чувствовать досаду. Сознаніе, что онъ въ рукахъ у этого человѣка, который, очевидно, составляетъ звено какой-то тайной силы, но какой? — не извѣстно, — это сознаніе становилось все болѣе и болѣе опутительнымъ для студента. Онъ, конечно, болѣе всего не хотѣлъ быть арестованъ правительственной полиціей: вся неприятная сторона такого ареста и всѣ лишенія, сопряженныя съ нимъ, говорили слишкомъ громко въ пользу того, чтобы вслѣдствіи стараться избѣжать ихъ, особенно послѣ этой бесѣды съ Василиемъ Свиткой. Одно уже лишеніе встрѣчи и свиданій съ Татьяной Николаевной на неопредѣленное и, конечно, болѣе или менѣе продолжительное время, казалось ему невыносимымъ. Арестъ у Свитки хотя тоже требовалъ этого послѣдняго лишенія, но все же не на столь долгій срокъ, и все же, въ сущности, этотъ послѣдній арестъ былъ несравненно легче перваго, уже потому, что онъ могъ быть только добровольнымъ. Стало-быть, колебавъ въ выборѣ того или другаго для Хвалынцева теперь уже не было. Но ему становилось досадно при сознаніи, что вотъ этотъ человѣкъ, съ которымъ онъ едва знакомъ, забираетъ надъ нимъ какую-то силу, какое-то нравственное преобладаніе, отъ которыхъ, пожалуй, можно и освободиться, да только не иначе, какъ въ явный ущербъ самому себѣ же. Стало-быть, благоразумнѣе будетъ пока подчиниться ему. Но, подчиняясь, невольно становившись въ соприкосновеніе съ какою-то таинственной и, какъ кажется, правильно и прочно организованной силой. Что эта за сила? Куда, какъ и кѣмъ она направлена? На сколько могуча и чѣмъ могуча она? — Все это были вопросы, неразрѣшимые теперь для Хвалынцева. Кое о чемъ можно было догадываться, но однихъ догадокъ слишкомъ мало казалось ему: хотѣлось знать,

а знать нельзя. Что же дѣлать? Или, зажмуря глаза, отдаться на авось этому потоку, этой таинственной и потому заманчивой силѣ? Она-то, можетъ быть, и есть настоящая, спасительная сила, а можетъ въ ней-то и заключается гибель.— Между чѣмъ выбирать тутъ? Отдаться подъ опеку Василия Свитки, значить слѣпо довѣриться этой силѣ, которая, какъ водоворотъ, притянетъ, закружитъ и, можетъ быть, засосетъ, поглотитъ тебя. Отказаться отъ Свитки—значить самому идти въ руки другой силы, которая навѣрное не посылитъ ничего свѣтлаго въ будущее. Первый молодого человѣка достаточно уже были взбудоражены всѣми предшествовавшими впечатлѣніями. Онъ самъ чувствовалъ, что въ настоящемъ своемъ положеніи рѣшительно не можетъ относиться холодно и спокойно къ тѣмъ задачамъ и вопросамъ, которые подымались въ его головѣ: онъ не могъ теперь обсудить вполне хладнокровно, какъ нѣчто постороннее, шансы того и другого—жандармовъ и Свитки. На сторонѣ той невѣдомой силы, которая въ лицѣ этого Свитки протягиваетъ теперь ему руку, онъ, какъ будто, чуялъ и свѣтъ, и правду и свободу или по крайней мѣрѣ борьбу за нихъ. Другая же сила представлялась ему враждебной и свѣту, и правдѣ, и свободѣ: неужели же онъ, полный молодости вѣры и силъ, отдастся безъ всякой борьбы этой послѣдней, враждебной силѣ? Нѣтъ, надо теперь избѣжать ее, укрыться отъ нея, для того чтобы потомъ успѣшнѣе бороться съ нею. Кромѣ этихъ соображеній, отрывочно и не совсѣмъ ясно мелькавшихъ въ глазахъ студента, на сторону Свитки тянуло его еще и любопытство, которое такъ легко и такъ заманчиво возбуждается въ предприимчивомъ и впечатлительномъ человѣкѣ, когда онъ приходитъ въ первое соприкосновеніе съ чѣмъ-то таинственнымъ, неизвѣданнымъ.

— Ну, что же вы? Я жду, наконецъ, вашего отвѣта!—дружески, но рѣшительно обратился Свитка къ своему гостю, послѣ довольно продолжительной паузы.

— Дѣлайте какъ знаете!—подать ему руку Хвалынцевъ.—Признаю себя вашимъ арестантомъ.

— Это все, что могли вы сдѣлать лучшаго! поклонился Свитка,—и повѣрте, каяться не станете. Какъ стемнѣетъ, я перевезу васъ въ болѣе надежное мѣсто. Тамъ вы будете вполне безопасны.

XI.

Надежное мѣсто.

Въ началѣ шестого часа, когда совсѣмъ уже стемнѣло, Свитка привезъ Хвалынцева на уголъ Канонерской улицы и поднялся въ ту хорошо знакомую ему квартиру, на дверяхъ которой сіяла мѣдная доска съ надписью: «Типографія І. Колтышко». Тотъ же самый ры-

женскій Лѣсницкій на высокомъ табуретѣ сидѣлъ за высокой конторкой и сводилъ какіе-то счеты.

— Господинъ Хвалынцевъ!—громко назвалъ его Свитка, подходя къ конторкѣ.

Лѣсницкій тихо, изъ-за бумагъ, поднялъ глаза на студента, всталъ съ табурета и, не произнеся ни слова, какъ-то отрывисто стиснулъ и дернулъ его руку, въ знакъ пожатія.

— Мы разсчитываемъ на ваше гостепріимство,—продолжалъ Свитка.

Лѣсницкій сутуловато и отрывисто поклонился, оскаливъ широкой улыбкой свои рѣдкіе, но крупные бѣлые зубы и, подойдя къ двери, сдѣлалъ пригласительный жестъ своимъ посѣтителемъ.

Тѣ пошли вмѣстѣ съ нимъ по корридору, въ концѣ котораго управляющій отворилъ дверь въ особую, непроходную комнату, служившую жилищемъ если не ему, то кому либо изъ принадлежащихъ къ типографіи, и, указавъ на нее новымъ пригласительнымъ жестомъ, промолвилъ:

— Вотъ.

— Здѣсь вамъ, пока до времени, будетъ очень удобно,—пояснилъ Свитка.

Комната дѣйствительно была и удобна, и тепла, и уютна. Широкій, мягкій диванъ, письменный столъ, шкафъ и полки съ книгами составляли ея убранство.

— Вы обѣдали, господа?—спросилъ Лѣсницкій.

— Нѣтъ еще, не успѣли.

Управляющій торопливо удалился изъ комнаты, а черезъ нѣсколько времени лакей принесъ туда два прибора и обѣдъ, который былъ сѣдѣнъ съ большимъ аппетитомъ двумя проголодавшимися юношами.

— Дайте мнѣ записку къ вашей хозяйкѣ, предложилъ Свитка студенту,—я привезу вамъ кое-что изъ бѣлья да тѣ вещи, которыя вамъ болѣе всего нужны, а въ Малую Морскую ничего не пишите.

— Отчего такъ? нѣсколько удивился Хвалынцевъ.

— Да ужъ такъ. Довѣрьтесь мнѣ во всемъ, пожалуйста! Я вамъ худого не желаю. Надобно, чтобы никому не было извѣстно мѣсто вашего пребыванія... Вѣдь почемъ знать, и въ Малой Морской ничѣмъ не обезпечены отъ внезапнаго обыска; а если ваша записка какъ-нибудь не уничтожится—лишній документъ будетъ... Надо какъ можно болѣе избѣгать вообще документовъ. Къ чему подвергать лишнимъ затрудненіямъ если не себя, то другихъ? Я лучше самъ сейчасъ же съѣзжу туда и успокою насчетъ полной вашей безопасности.

— Дѣлайте, какъ знаете,—согласился Хвалынцевъ.

Свитка вскорѣ послѣ обѣда уѣхалъ.

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого, въ

дверь осторожно и тихо постучался Лѣсницкій.

— Не хотите ли почитать что-нибудь? любезно предложилъ онъ;—вся полка къ вамъ услугамъ. Впрочемъ тутъ больше все польскія да французскія. Есть нѣсколько и англійскихъ книжонокъ, а вы, можетъ быть, хотите русскаго.

— Пожалуй, дайте хоть русскаго.

Лѣсницкій отперъ одинъ изъ шкафчиковъ письменнаго стола и досталъ нѣсколько брошюръ, листовъ и томиковъ. Это все были лондонскія изданія Вольной русской книгопечатни.

— Вотъ вамъ. Можетъ, найдете что-нибудь нечитанное. А если что понадобится—позвопте: человекъ придетъ. До свиданія.

И управляющій опять дернулъ руку студента и удалился.

Хвалынцевъ раздумался надъ настоящимъ своимъ положеніемъ.—«Какъ все это странно!» думалось ему. «Арестъ—не арестъ, а между тѣмъ нѣтъ своей воли, и нѣтъ ея по своей собственной охотѣ, по своему же выбору... Опека этого Свитки, котораго я почти совсѣмъ не знаю... Это участіе, это вниманіе—что все это такое? И за что, главное дѣло?.. И гдѣ, и у кого я теперь?.. «Типографія Колтышко»—но гдѣ же этотъ Колтышко? Вѣдь рыженькій баринъ, кажись, не долженъ быть Колтышкой... Онъ что-то въ родѣ фактора, конторщика... И кто онъ такой, и какъ его фамилія?.. Фу, ты, чортъ возьми! Хоть убей, если я что-нибудь понимаю во всемъ этомъ!.. «То, что годится для хора, не годится для солистовъ»... Да почему же я солистъ, наконецъ, и съ чего такое странное, хотя и лестное для меня заключеніе?.. «Мы не можемъ позволить обрубить себѣ пальцы»... «Контръ-полиція»... Все-то имъ извѣстно, все-то они знаютъ... Общество это тайное, что ли? Но гдѣ же оно? Кто его члены, и сколько ихъ, и въ чемъ его силы?.. Заманчиво, чортъ возьми!»

И сколько онъ ни думалъ, и что ни гадалъ обо всѣхъ этихъ обстоятельствахъ,—въ концѣ концовъ размышленія его приходили къ одному исходу: заманчиво и любопытно. И, кромѣ этого единственнаго исхода, никакого болѣе точнаго положительнаго отвѣта не представлялось на всѣ вопросы, которые ставило ему его странное положеніе. А любопытство, межъ тѣмъ, всея влекущей и заманчивой стороной своей разыгрывалось въ немъ все болѣе и болѣе. Онъ порѣшилъ, наконецъ, совершенно покориться своему загадочному положенію и терпѣливо ждать, что будетъ дальше, что изъ всего этого воспослѣдуетъ?

Прошло уже болѣе двухъ часовъ времени, а его никто и ничѣмъ не обезпокоилъ, только слуга принесъ стаканъ очень хорошаго чая. Такимъ образомъ, онъ могъ чувствовать себя

совсѣмъ какъ дома. Свитка не возвращался, а Константину Семеновичу, межъ тѣмъ, очень хотѣлось поскорѣй узнать результатъ его посѣщенія Малой Морской улицы. Отъ нечего дѣлать, принялся за чтеніе и мало-по-малу увлекся. Въ то время съ такимъ жаднымъ интересомъ, съ такою вѣрою и увлеченіемъ поглощалась каждая строка, выпедная изъ-подъ станка Вольной русской типографіи. А теперь въ рукахъ Хвалынцева, благодаря рыженькому господину, былъ такой обильный запасъ этихъ изданій, и столько нашелъ онъ въ нихъ новаго, еще не читаннаго. Кое-что попадалось ему и прежде, но болѣею частію урывкомъ, кое-что было извѣстно вскользь или только по слуху, по отзывамъ, по разговорамъ, а теперь все оно здѣсь, воочию, въ полномъ его распоряженіи, съ возможностью читать не вскользь, а основательно и прочно, углубляясь и вдумываясь въ смыслъ всего того, что въ то время и не одному Хвалынцеву, съ его увлекающейся юностью, казалось высшей и безусловной правдой, высшимъ откровеніемъ.

Такъ онъ и не дождался въ этотъ вечеръ Василия Свитку, а Свитка, между тѣмъ, пріѣзжалъ въ типографію и бесѣдовалъ съ Лѣсницкимъ, и послѣ этой бесѣды, отпустивъ отъ себя Свитку, Лѣсницкій тотчасъ же отправился во внутренніе покои квартиры, смежной съ типографіей.

Въ просторномъ кабинетѣ, за большимъ столомъ, при слабомъ освѣщеніи двухъ свѣчей, подъ зелеными абажурами, сидѣлъ хозяинъ этой квартиры. Комфортабельная и вмѣстѣ съ тѣмъ скромная обстановка, судя по обилію книгъ, корректуръ и дѣловыхъ казенныхъ бумагъ, указывала, что кабинетъ этотъ принадлежитъ лицу, которое соединяетъ въ себѣ литератора-издателя съ довольно значительнымъ чиновникомъ. Этотъ литераторъ-издатель и вмѣстѣ съ тѣмъ значительный чиновникъ былъ собственникъ типографіи, надворный совѣтникъ Іосифъ Игнатьевичъ Колтышко.

— Что еще новаго?—отрываясь отъ бумагъ, спросилъ онъ Лѣсницкаго.

— Все еще о Хвалынцевѣ,—оскала короткой улыбкой свои зубы, поклонился управляющій.

— Ага! Прекрасно! въ чемъ же дѣло?

— Францишекъ общается полный успѣхъ. Говоритъ человекъ стоить, чтобы призаняться..

— Чтѣ-жь, тѣмъ лучше. Займитесь оба.

— Но... Тутъ есть одно обстоятельство... Маденькая любовь... Францишекъ по этому поводу дѣлалъ уже свои наблюденія, справки многія собралъ, нашелъ даже хорошій случай познакомиться въ гостиницѣ съ горничною этой особы, ну, и онъ полагаетъ, что эту любовь надо бы какъ-нибудь устранить.

— А чтѣ такъ?

— Да такъ. Говорить, что можетъ помѣ-
нать успѣху.

— Гм... Почему онъ такъ думаетъ?

— У него свои соображенія. Дѣвушка эта любить, конечно, эгоистически, то-есть прежде всего для самой себя и едва-ли захочетъ жертвовать женихомъ для какого бы то ни было дѣла. А тотъ вѣдь думаетъ жениться на ней. Стадо-быть, если позволить развиваться этому чувству, окончательно привяжется къ ней, а она такъ и теперь уже, кажется, имѣетъ на него вліяніе—ну, и тогда ужъ онъ погибъ для дѣла. Да еще вдобавокъ у обоихъ въ Славно-бубенской губерніи есть кой-какія имѣніица. А человекъ между тѣмъ, какъ есть, совсѣмъ подходящий:—жалъ будетъ упустить! Францишекъ того убѣжденія, что необходимо, во что бы то ни стало, разорвать эту любовишку. И я думаю тоже.

— Гм... Легко сказать: разорвать!.. Какъ же вы разорвете?

— Дѣло не невозможное,—пожалъ плечами Лѣсницкій, снова скаля большіе, рѣдкіе зубы,—стоить влюбиться въ другую. Оно, конечно, мудрено немного, потому—тутъ нуженъ и случай, и время. Но... можно найти и то, и другое. У насъ уже есть свой маленький планъ, и если вы намъ поможете,—дастъ Богъ,—будетъ и удача.

— Вотъ какъ! Ужъ и планъ готовъ!—шутливо улыбнулся Колтышко.—Любопытно знать, въ чемъ дѣло?

— Дѣло? Дѣло въ графинѣ Маржецкой.

Колтышко, откинувшись на спинку своего кресла, быстро скинулъ взглядъ на Лѣсницкаго и поглядѣлъ на него пристально, внимательно и серьезно.

— Выдумка довольно оригинальная,—замѣтилъ онъ сквозь зубы,—но не слишкомъ ли ужъ много для какого-нибудь студента?

— А какъ знать, чѣмъ можетъ быть для насъ этотъ студентъ?—пожалъ плечами Лѣсницкій.—Смотрѣть, какъ вы смотрите, такъ мы ровно никого не вербуемъ. Если уже рѣшено разъ, что москали въ нашихъ рядахъ необходимы—надо вербовать ихъ, и чѣмъ скорѣе, чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Кладите же начало!

— За мной дѣло не станетъ!—замѣтилъ Колтышко:—но... тутъ не я,—тутъ графиня. А что скажетъ графиня на это?

— А что же можетъ сказать она, если *дѣло* потребуетъ этого?—въ свою очередь спросилъ онъ.—Неужели же вскружить голову юношѣ—такой трудный и великій подвигъ, такая страшная жертва, на которую она не могла бы рѣшиться? И, наконецъ, чего же стоитъ ей эта полезная шалость, и къ чему она ее обязываетъ?.. Вѣдь только вскружить,—не болѣе!

— М-м... да; это не дурно!—согласился наконецъ Колтышко.—Мы подумаемъ объ этомъ.

— Э, Боже мой! о чемъ тутъ думать?.. Говорю, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, —махнулъ рукою Лѣсницкій.

И онъ принялся объяснять своему патрону кое-какія соображенія относительно задуманнаго плана.

XII.

Дрессировка начинается.

Только на другой день, въ четвертомъ часу, Василій Свитка посѣтилъ, наконецъ, Хвалынцева. Онъ привезъ ему сакъ съ бѣльемъ и необходимыми вещами, извиняясь тысячами хлопотъ и бездною дѣлъ въ томъ, что не успѣлъ пріѣхать ранѣе. Эта же тысяча хлопотъ помѣшала Свиткѣ быть вчерашній день у Стрѣшневыхъ. Онъ говорилъ, что сейчасъ только оттуда, что молодой Стрѣшневымъ не видалъ, такъ какъ ее не было дома, а видѣлъ только старую тетку, которую вполне успокоилъ насчетъ Хвалынцева, сказавъ, что онъ теперь вѣдь всякой опасности, въ благонадежномъ мѣстѣ, но что нѣкоторыя, весьма важныя обстоятельства требуютъ недальняго отъѣзда его изъ Петербурга на непродолжительное время, и потому-де Хвалынцевъ просить ни мало не беспокоиться его отсутствіемъ. Болѣе сказаннаго, Свитка, пока до времени, ничего не могъ объяснить старушкѣ, только просилъ ее передать все это Татьянѣ Николаевнѣ, и засимъ держать въ секретѣ и его посѣщеніе, и сообщенныя имъ извѣстія. Старая тетка, по его словамъ, вполне успокоилась и даже послала свой поклонъ Хвалынцеву—«буде вы увидите его раньше».

Хотя всего сообщеннаго было слишкомъ мало для Константина Семеновича—онъ ждалъ, что Свитка увидитъ самую Татьяну Николаевну и привезетъ отъ нея если не письмо, то хоть пріятное, ободряющее, доброе слово—«но все же это лучше чѣмъ ничего», рѣшилъ онъ; «по крайней мѣрѣ, беспокоиться и опасаться не стануть».

Уходя отъ Хвалынцева, Свитка внушительно предупредилъ его!

— Вамъ, вѣроятно, предстоитъ знакомство съ Колтышкой,—сказалъ онъ,—такъ вы смотрите, не выдайте ни словомъ, ни взглядомъ о закулисной сторонѣ нашихъ отношеній и разговоровъ. Колтышко, предваряю васъ, ничего не знаетъ. Онъ ни во что не посвященъ.

— Да вѣдь и я ничего не знаю, и тоже ни во что не посвященъ,—возразилъ студентъ.

— Ну, все-таки теперь знаете неизмѣримо болѣе, чѣмъ онъ, поэтому—осторожность!

Хвалынцевъ мелькомъ, недовѣрчиво взглянулъ на Свитку. Въ этихъ послѣднихъ словахъ ему показалось что-то не совсѣмъ-то искреннее, что-то притворное.

— Но въ какомъ же смыслѣ и въ какомъ родѣ будетъ наше знакомство? — спросилъ онъ. — И не лучше ли, въ такомъ случаѣ, не знакомиться намъ вовсе?

Свитка немножко замаялся.

— Н... нѣтъ, познакомиться-то необходимо, — сказалъ онъ, — вѣдь онъ все-жь-таки хозяинъ этой квартиры. Да вы не беспокойтесь: Лѣсницкій представитъ васъ какъ своего добраго знакомаго.

— Но чѣмъ же онъ объяснитъ мое присутствіе въ квартирѣ господина Колтышки.

— А тѣмъ и объяснить, что вы не желаете участвовать въ студентскихъ беспорядкахъ и попасться въ лапы жандармовъ, а потому просили его избавить васъ отъ тѣхъ и отъ другихъ въ этомъ укромномъ убѣжищѣ, — очень развязно и улыбаясь объяснилъ Свитка.

— Послушайте, добрый опекунъ, вы однако ставите меня въ очень фальшивое положеніе, — весьма серьезно замѣтилъ Константинъ Семеновичъ. — Я вамъ безконечно благодаренъ за ваше участіе и расположеніе ко мнѣ; но если... если все это необходимо сопряжено съ такого рода фальшью, то я, признаюсь вамъ, весьма затрудняюсь принимать ваше доброе участіе.

Свитка окинулъ его безпокойнымъ взглядомъ и лукаво улыбнулся.

— А жандармы? — многозначительно спросилъ онъ.

— Что-жь?.. Конечно, это очень невкусно, но... предъ жандармами у меня, по крайней мѣрѣ, нѣтъ и не будетъ фальшиваго положенія.

Свитка, притворяясь равнодушнымъ, спокойно прошелся по комнатѣ. Онъ понималъ, что сдѣлалъ промахъ, заговоривъ съ Хвалынцевымъ о предстоящемъ ему знакомствѣ и ведя весь послѣдующій разговоръ. Надо было, во что бы то ни стало, поправить теперь этотъ промахъ. Выпустить изъ рукъ своихъ Хвалынцева ему точно также не хотѣлось, да теперь это было бы и не расчетливо, послѣ того какъ ради его сдѣлано уже столько подходовъ и даже кое-что разоблачено до извѣстной степени. Свитка сообразилъ, что поправить промахъ свой онъ можетъ не иначе, какъ напустивъ на себя тонъ полной искренности и откровенности.

— Ну, Хвалынцевъ, будемте говорить по братски, по душѣ! — рѣшительно предложилъ онъ, остановясь передъ студентомъ и открыто протянувъ ему руку. — Въ чемъ вы видите фальшь своего положенія?

— Въ томъ, что вы меня заставляете играть роль какого-то подловатенькаго трусишки, который изъ боязни жандармовъ хочетъ укрыться отъ своихъ товарищей, отстать отъ общаго дѣла. Я не согласенъ на это.

— Ха, ха, ха! тихо засмѣялся Свитка. — Ну, я такъ и зналъ! Я такъ и зналъ, что не что иное, какъ это!.. Ну, дайте сюда вашу руку — помиритесь!.. Это, дѣйствительно, фальшь —

ну, значить, и долой ее!.. Выслушайте меня: Лѣсницкій объяснитъ Колтышкѣ прямо, что вамъ до времени нужно убѣжище, чтобъ избѣжать полицейскихъ агентовъ. Вѣдь это такъ и есть на самомъ дѣлѣ? Вы согласны?

Хвалынцевъ утвердительно кивнулъ головой.

— Колтышкѣ можно объяснить это вполне откровенно, — продолжалъ Свитка; — это на столько порядочный и честный человекъ, что онъ, во-первыхъ, никакъ не лишитъ васъ этого убѣжища, во-вторыхъ, никому и ни за что не выдастъ васъ. Въ этомъ ужъ мы на него смѣло можемъ положиться. Но... Колтышко, повторю вамъ еще разъ, *ровно ничего не знаетъ* (послѣднія слова были произнесены съ особенною многозначительностью). Вы помните нѣчто изъ моихъ вчерашнихъ интимныхъ сообщеній?

Хвалынцевъ опять кивнулъ головой.

— Ну, такъ Колтышко ни о чемъ такомъ и малѣйшаго понятія не имѣетъ. Между прочимъ, сегодня вы, вѣроятно, будете обѣдать у него. За обѣдомъ, вѣроятно, будутъ и постороннія лица. — Онъ очень хлѣбосолень. — Между этими лицами могутъ быть и такія, которыя уже посвящены кое во что, а будутъ и такія, которыя ровно ни о чемъ, какъ и онъ же, понятія не имѣютъ и не должны имѣть. Такъ вотъ именно въ виду чего я говорилъ вамъ, что будете какъ можно осторожнѣй и не показывайте ни малѣйшаго вида, что вамъ хоть чуточку что-нибудь извѣстно. Понимаете-съ?

— Это-то понять не мудрено, — возразилъ студентъ, — но вы мнѣ указываете на лицъ, посвященныхъ и непосвященныхъ. Во что посвященныхъ, — вопросъ? Я-то самъ, я лично, повторю вамъ, ровно еще ни во что не считаю себя посвященнымъ.

Свитка опять тихо и лукаво засмѣялся.

— Э, Боже мой! Нельзя же сразу. Постепенность и послѣдовательность есть первое правило каждаго сильнаго и серьезнаго дѣла! — докторально замѣтилъ онъ студенту. — Неужели же вы хотите, чтобы мы на всѣхъ перекресткахъ о себѣ кричали? Подождите, придетъ время — и закричимъ! Наше вниманіе и участіе къ вамъ ровно еще ни къ чему не обязываетъ васъ. Намъ достаточно одного убѣжденія, что вы — честный человекъ, что вы во всякомъ случаѣ не доносчикъ. Вы сами, надѣюсь, крѣпко убѣждены въ этомъ, и этого одного убѣжденія достаточно, чтобы мы ни минуты не задумались протянуть вамъ руку помощи, оказать честную, братскую услугу. Вѣдь вы насъ не знаете и никогда не узнаете, если не захотите идти заодно съ нами. А захотите — тогда другое дѣло! Намъ нужны люди, свободно и сознательно отдавшіеся дѣлу. Вы строго подумайте сначала, взвѣсьте свои силы, свои шансы pro и contra, и тогда рѣшайтесь. Да, — такъ да, а нѣтъ — такъ нѣтъ! Въ послѣднемъ случаѣ мы мирно и тихо разоидемя какъ порядочные люди; вы насъ не узнае-

те и никто из нас—ни вы, ни мы—претендовать друг на друга не будемъ. Повторяю еще разъ: въ честности и благородствѣ вашемъ мы убѣждены безусловно; стало-быть, мы вполне спокойны за то, что если разойдемся, то настоящія отношенія будутъ тайной для всѣхъ и навсегда,—однимъ словомъ, умрутъ между нами. Ну, достаточно ли я сказалъ вамъ, господинъ Хвалынцевъ?

— Я вамъ могу пока поручиться за одно,—съ достоинствомъ и твердо заговорилъ студентъ.—Я, дѣйствительно, прежде всего и болѣе всего убѣжденъ, что я—честный человѣкъ и не дамъ вамъ повода разочароваться во мнѣ въ этомъ отношеніи.

— Ну, а остальное, что Богъ дастъ!—подхватилъ Свитка, хлопая ему по рукѣ своею ладонью;—а между прочимъ, я уже объяснилъ вашей хозяйкѣ, что вы по самой экстренной и непредвидѣнной надобности уѣхали за городъ и что она, въ случаѣ надобности, можетъ въ полицію отмѣтить васъ выѣхавшимъ изъ Петербурга. Квартира, однако оставлена за вами. А теперь прощайте. Мнѣ некогда.

XIII.

Еще болѣе надежное мѣсто.

Въ обѣденную пору, часовъ около пяти, въ дверь Хвалынцева раздался знакомый уже ему осторожный стукъ, по которому онъ узналъ Лѣсницкаго.

— Иосифъ Игнатьевичъ васъ ждетъ къ обѣду,—сообщилъ управляющій, дернувъ руку студента своимъ обычнымъ пожатіемъ;—если готовы, пойдемте.

— Онъ уже знаетъ обо мнѣ? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Знаетъ.

— Вы какъ именно объяснили ему?

— Вполнѣ сообразно вашему желанію,—съ улыбой поклонился Лѣсницкій.

Дѣло обошлось безъ рекомендацій. Колтышко, замѣтя изъ своего кабинета входящаго Хвалынцева съ Лѣсницкимъ, самъ пошелъ къ нимъ на встрѣчу и какъ знакомый, молча, но съ милой, привѣтливой улыбкой протянулъ и радушно пожалъ руку студента.

— Пойдемте, я васъ познакомлю съ моими гостями,—сказалъ онъ, взявъ его подъ руку, и повелъ въ кабинетъ.

Тутъ было двое какихъ-то чиновниковъ, весьма приличной и солидной наружности, фамиліи которыхъ хотя и были названы, но Хвалынцевъ—какъ это зачастую случается—черезъ минуту, хоть убей, не помнилъ уже этихъ фамилій. Кромѣ чиновниковъ находился тутъ еще капитанъ генеральнаго штаба.

— Капитанъ Чарыковский,—назвалъ его Колтышко, подводя къ нему студента.

Физиономіи хозяина и этого капитана сразу сказались чѣмъ-то знакомымъ, и очень недавно знакомымъ Константину Семеновичу. Умное и энергическое лицо Чарыковского и нѣсколько выдвинутая впередъ нижняя челюсть Колтышки, съ его тонкими, подобранными и сжатыми губами, придававшими его лицу какое-то презрительное и вмѣстѣ съ тѣмъ энергическое, твердое выраженіе рѣшимости и силы, и эти наглые сѣрые глаза, дышавшіе умомъ, и эта изыщная скромность манеръ—все это сразу напомнило Хвалынцеву вчерашній день передъ университетомъ и ту минуту, когда онъ подошелъ къ Василию Свиткѣ. Теперь онъ вспомнилъ очень ясно, что подлѣ Свитки стоялъ именно капитанъ Чарыковский, крикнувшій вмѣстѣ съ другими офицерами на полицейскаго, когда тотъ схватилъ за шиворотъ Хвалынцева; а тотъ блондинъ чиновникъ, въ распахнутомъ бобровомъ пальто, съ орденомъ на шеѣ, былъ не кто иной, какъ Иосифъ Игнатьевичъ Колтышко. «Кто изъ нихъ посвященъ, и кто не посвященъ?» думалъ себѣ Хвалынцевъ, стараясь разгадать свой вопросъ по лицамъ присутствующихъ. «Капитанъ, кажется, знаетъ. Эти чиновники—Богъ вѣсть: можетъ и да, а можетъ и нѣтъ; а вѣрнѣе, что нѣтъ. Но Колтышко... Неужели Колтышко ни во что не посвященъ?.. Этого быть не можетъ!.. Одна физиономія—одна физиономія-то чего стоитъ!.. Но гдѣ же тутъ правда и гдѣ мистификація? И кто кого, наконецъ, надуваетъ?»

Эти соображенія студента были прерваны шорохомъ и легкимъ свистомъ шелковаго женскаго платья. Хвалынцевъ поднялъ глаза—на порогѣ стояла женщина, вся въ черномъ. Колтышко предупредительно бросился къ ней на встрѣчу и, съ видомъ глубокой почтительности, подаль руку.

«Фу! какая красавица!» невольно помыслилъ Хвалынцевъ при первомъ взглядѣ на эту женщину. И точно: въ ней была бездна красиваго. Ее невозможно было назвать красавицей въ строгомъ смыслѣ этого слова, но въ ней эффектно сверкнуло нѣчто поражающее, сценическое, декоративное. Высокій ростъ, необыкновенно соразмѣрная, гармоническая стройность; упругость и гибкость всѣхъ членовъ и сильнаго стана; лицо, полное игры и жизни, съ такимъ румянцемъ и такимъ цвѣтомъ, который явно говорилъ, что въ этомъ организмѣ много силъ, много крови и что организмъ этотъ созданъ не сѣверомъ, а развился подъ болѣе благодатнымъ солнцемъ: блестящіе каріе глаза подъ энергически очерченными бровями и совершенно пепельные, роскошные волосы—все это, въ соединеніи съ необыкновенно симпатичной улыбкой и чисто славянскимъ типомъ лица, дѣлало эту женщину не то что красавицей, но лучше, поразительнѣе красавицы: оно отличало ее чѣмъ-то особымъ и говорило про фанатическую энер-

тѣмъ характера, про физическую мощь и въ то же время—сколь ни рѣдко такое сочетаніе—протонкую и старую аристократическую породу.

— Графиня Маржецкая... громко назвалъ ее своимъ гостямъ Іосифъ Колтышко.

«Графиня Маржецкая... Опять-таки знакомая фамилія!» припомнилъ себѣ студентъ. «Устиновъ писалъ про какого-то сосланнаго графа Маржецкаго».

Колтышко отдѣльно представилъ ей Хвалынцеву. Съ капитаномъ Чарыковскимъ, Лѣсницкимъ и однимъ изъ чиновниковъ она, повидимому, была уже раньше знакома.

Гости отправились въ столовую. Обѣдъ былъ очень оживленъ; бойкая, искристая веселость красивой графини невольно электризовала каждого. Хвалынецъ сидѣлъ рядомъ съ нею, что подавало ей поводъ очень часто обращаться къ нему съ разговоромъ и за маленькими услугами, въ родѣ просьбы налить стаканъ воды или рюмку вина. Въ обращеніи ея было столько милого, привлекательнаго и такое отсутствіе принужденности, что Хвалынецъ какъ-то сразу почувствовалъ себя, относительно, ея знакомымъ. Разговоръ все время шелъ то по-русски, то по-французски и только вскользь было обречено кое-кѣмъ нѣсколькихъ польскихъ фразъ, непонятныхъ для Хвалынцеву. Графиня, впрочемъ, показывала видъ, будто плохо изъясняется по-русски и потому въ устахъ ея раздавался почти исключительно бойкій и изящный французскій языкъ.

При первомъ ея появленіи Хвалынецъ ждалъ, что сію минуту выйдетъ и хозяйка дома, но таковая не вышла, да и вся обстановка этой прекрасной квартиры явно показывала, что Іосифъ Игнатьевичъ Колтышко — человекъ холостой и одинокій. Вслѣдствіе этого, студенту показалось нѣсколько страннымъ появленіе аристократической особы за обѣдомъ холостого общества. — «Или эта графиня не графиня, или хоть и графиня, но какая-нибудь куртизанка и авантюристка, или... или ужъ я и не знаю что!» подумалъ себѣ Хвалынецъ. «Но нѣтъ, и на куртизанку не похожа: держитъ себя хоть и развязно, но въ высшей степени прилично и съ такимъ тактомъ, и потомъ эта глубокая почтительность, съ которою къ ней всѣ относятся,—да что же наконецъ, все это такое!» За обѣдомъ она кстати упомянула въ разговорѣ нѣсколько именъ извѣстныхъ аристократическихъ домовъ, съ которыми, повидимому, у нея было знакомство и свои отношенія, и это еще болѣе заставило студента отдалиться отъ предположенія, что его сосѣдка—свѣтская куртизанка.

Послѣ обѣда, ведя ее въ гостиную, Колтышко наклонился къ ней и тихо спросилъ:

— Ну, какъ вы находите этого юношу?

— Ничего, онъ мнѣ нравится, — съ легкой, но очень милой гримаской отвѣтила она.

— Желаете, заняться?

— Отчего же; пожалуй.

— Ну, въ такомъ случаѣ, мы заранѣе поздравляемъ себя съ полнымъ успѣхомъ. Но имѣйте въ виду главное то, что я уже объяснилъ вамъ.

— Ахъ, это соперницу?—улыбнулась она. — Надѣюсь не остаться побѣжденною.

И она все время была очень внимательна къ Хвалынцеву, что до извѣстной степени весьма льстило его юному самолюбію. Вечеромъ же, часовъ около девяти, переговоривъ о чемъ-то съ Лѣсницкимъ и отправивъ его распорядиться насчетъ экипажа, графиня совершенно неожиданно обратилась къ студенту съ просьбой проводить ее домой. Тотъ немножко смѣшался отъ неожиданности такого вызова, но поспѣшилъ отвѣтить ей полною готовностью.

Они отправились въ наемной каретѣ. У Владимірской графиня указала остановиться предъ подъездомъ одного большого дома. Хвалынецъ повелъ ее въ третій этажъ по освѣщенной лѣстницѣ и остановился передъ дверью, съ мѣдною доской, на которой было написано: «графиня Цезарина Фердинандовна Маржецкая».

— Войдите,—предложила она ему, когда человекъ изнутри отворилъ дверь.

Хвалынецъ не почелъ возможнымъ отказаться.

— Я попрошу васъ подождать минуту. Я только переодѣнусь,—сказала она въ гостиной и, шумя своимъ чернымъ шлейфомъ, скрылась за тяжелой портьерой боковой двери.

Хвалынецъ присѣлъ къ столу, заваленному роскошными кипсеками и альбомами. Обстановка этой гостиной была изящна и роскошна. Прошло минутъ десять, когда изъ-за портьеры показалась очень приличная камеристка и сказала Хвалынцеву, что графиня проситъ его къ себѣ. Онъ пошелъ вслѣдъ за дѣвушкой, которая привела его въ будуаръ.

— Вы меня извините, что я принимаю васъ совсѣмъ по домашнему,—сказала Маржецкая, впервые протягивая ему руку.—Я ужасно устала... поэтому мнѣ такъ хочется побаловать себя!..

И, закинувъ надъ головою руки, она съ какою-то тигриною граціею и въ то же время улыбаясь дѣтски-свѣтлою, безпечною улыбкою, потянулась въ широкое покойномъ креслѣ.

— Впрочемъ, я люблю баловать себя только тогда, когда это возможно,—продолжала она,—а то я могу совершенно спокойно обходиться и безъ малѣйшаго комфорта. Для меня это все-равно.

Хвалынецъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Да; мнѣ приходилось на моемъ вѣку скакать на перекладныхъ, ночевать въ литовской курной хатѣ, обѣдать въ жиновской корчмѣ,

злянуть на морозъ или мокнуть подъ дождемъ на лосиной охотѣ, и такія рѣзкія перемены ни мало меня не беспокоятъ. Я переносу ихъ какъ добрый хлопецъ. Нервы у меня сильные.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора, Хвалынцевъ взялся за фуражку и поднялся съ мѣста.

— Куда же вы? — вскинула она на него глаза, съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Вы устали, да и мнѣ домой пора, — сказалъ онъ.

— Домой?.. Но вы дома!

Хвалынцевъ выразилъ явное недоумѣніе на эту послѣднюю фразу.

— Ну да, вы дома, — подтвердила Маржецкая. — Вы остаетесь здѣсь, у меня, въ моей квартирѣ.

Недоумѣніе студента достигло высшаго предѣла. Онъ не зналъ, какъ понять ему все это, и молча, однимъ недоумѣвающимъ взглядомъ, устремленнымъ на свою собесѣдницу, ждалъ отъ нея дальнѣйшихъ объясненій.

— Развѣ тамъ ничего вамъ не сказали? — спросила она.

— Ничего. И я ровно ничего не понимаю.

— Оставаться тамъ далѣе для васъ было бы неудобно, — продолжала Маржецкая, — здѣсь же васъ уже никто не найдетъ: у меня вы вполне безопасны. Вы проживете здѣсь столько, сколько потребуютъ обстоятельства.

Хвалынцевъ хотѣлъ было сдѣлать какое-то возраженіе.

— Вы меня ничѣмъ не стѣсните и не можете стѣснить, — торопливо предупредила она, какъ-бы предугадавъ, въ чемъ будетъ состоятъ это возраженіе. — Я уже распорядилась: для васъ сейчасъ будетъ готова комната, рядомъ съ комнатою моего сына.

— Но согласитесь, мое проживание у васъ можетъ казаться весьма страннымъ... Оно не можетъ же остаться тайною для всѣхъ. Ваша прислуга... наконецъ, кто-нибудь изъ вашихъ знакомыхъ какъ и чѣмъ они могутъ объяснить себѣ мое странное присутствіе въ вашемъ домѣ?

— Моя прислуга — лакей и дѣвушка знаютъ меня съ дѣтства и очень мнѣ преданы. Они такіе же поляки, какъ и я, и потому опасаться ихъ нечего! — успокоила графиня; — а что касается моихъ знакомыхъ, то хотя-бы кто изъ нихъ и узналъ какъ-нибудь, — такъ что-жь? У меня есть пятнадцатилѣтній сынъ, которому нуженъ уже гувернеръ. Для моихъ знакомыхъ, вы гувернеръ моего сына.

— Виновать, но — позвольте еще одинъ вопросъ? — слегка поклонился Хвалынцевъ. — Почему мое присутствіе тамъ найдено неудобнымъ?

Цезарина пожала плечами.

— Съ фактической точностью я не могу отвѣтить вамъ на это: я не знаю, — сказала она; —

но вообще, типографія слишкомъ открытое мѣсто; туда можетъ придти всякій, хоть подъ предлогомъ заказовъ; наконецъ, наборщики, рабочіе — вѣдь за cadaго изъ нихъ нельзя поручиться; и между ними легко могутъ быть подкупленные, шпіоны... Вотъ почему, полагаю, вамъ неудобно было оставаться тамъ. А здѣсь, у меня вы безопаснѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Никому ничего и въ голову не придетъ, и у меня ужь никакъ васъ не отыщутъ!

Хвалынцевъ остался предъ нею, стоя съ фуражкой въ рукахъ, въ замѣтномъ смущеніи.

— Ну, о чемъ же вы такъ задумались? — нѣсколько задорно и нѣсколько насмѣшливо улыбулась она.

Студентъ еще болѣе смутился.

— Признаться откровенно, меня озадачиваетъ одно, — заговорилъ онъ, наконецъ. — Меня все удивляетъ, чѣмъ и за что заслужилъ я такое вниманіе къ моей особѣ со стороны людей или мало, или вовсе мнѣ незнакомыхъ?.. Вотъ, хоть бы напримѣръ и вы, графиня...

Она опять съ улыбкой пожала плечами.

— Чѣмъ заслужили вы это, мнѣ тоже неизвестно, — отвѣчала она. — Я знаю только одно: меня просили укрыть васъ на время отъ розысковъ полиціи, и я — какъ видите — въ точности исполняю это, зная, что этимъ я оказываю маленькую услугу честному юношѣ. Вотъ все, что я знаю.

Вошла камеристка и доложила, что комната готова. Графиня предложила Хвалынцеву вмѣстѣ осмотрѣть ее. Комната была и просторна и удобна. Диванъ, долженствовавшій служить постелью, былъ застланъ свѣжимъ прекраснымъ бѣльемъ и заставленъ ширмами. Все это было приготовлено въ какіе-нибудь полчаса. Графиня Маржецкая, одна съ сыномъ и съ двумя челоуѣками прислуги, занимала очень просторную и очень удобно расположенную квартиру, въ которой все говорило о довольствѣ и изобиліи матеріальныхъ средствъ молодой хозяйки.

— Я васъ прошу ни мало не стѣсняться! — въ высшей степени любезно предложила она; — хотите остаться здѣсь — располагайтесь, какъ у себя дома, а нѣтъ — пойдемте ко мнѣ, посидимъ, поболтаемъ еще. Я съ вами тоже не буду церемониться, и когда захочу спать, то такъ и скажу вамъ, тогда вы меня оставите.

Хвалынцевъ просидѣлъ проболталъ весь остатокъ вечера. Она съ живымъ участіемъ разспрашивала его про студентскую исторію, про причины и весь ходъ ея; сама, въ свою очередь, рассказывала про Варшаву, про Польшу, про страданія своей отчины и даже про свои семейныя обстоятельства, изъ которыхъ Хвалынцевъ узналъ, что мужъ ея, по одному дикому произволу русскихъ властей, высланъ подъ присмотръ полиціи, на житье въ Славнобубенскъ, что она нарочно пріѣхала въ Петер

бургъ хлопотать за него, за облегченіе его печальной участи, и живетъ уже здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ. Хвалынцевъ сообщилъ ей о ея мужѣ тѣ небольшія свѣдѣнія, которыя были ему извѣстны изъ письма Устинова, и графиня, казалось, съ такою радостью, съ такимъ теплымъ участіемъ и интересомъ выслушала его сообщенія, что можно было подумать, будто она изъ Славнобубенска не получаетъ никакихъ извѣстій. Она, впрочемъ, и жаловалась ему на крайнюю строгость полицейскаго вниманія къ письмамъ ея мужа. Было уже очень поздно, когда разстались они совершенно добрыми друзьями, и придя въ свою комнату, студентъ засталъ на столѣ у себя газеты, сигары, папирсы и легкій ужинъ съ бутылкой вина. Все это являло еще одинъ новый знакъ предупредительнаго вниманія къ его особѣ.

Онъ долго не могъ уснуть. Весь этотъ водоворотъ событий и приключеній, въ который попалъ онъ за послѣднее время, кружилъ ему голову. Эти студентскія демонстраціи, эти уличныя столкновенія съ войскомъ, это анонимное письмо съ извѣщеніемъ о нелѣпой клеветѣ, Стрѣшневъ, Свитка, Колтышко, контръ-полиція, опека, жандармы, какое-то таинственное общество и наконецъ, эта графиня Цезарина Маржецкая и неожиданный пріютъ въ ея домѣ—что же все это такое? И какими судьбами онъ-то, почти помимо своей воли, даже помимо своего пониманія, пришелъ въ столкновение со всѣмъ этимъ таинственно-загадочнымъ міромъ? «Графиня Маржецкая... Какъ? Неужели и она, думалъ Хвалынцевъ, — она, съ ея связями, съ ея положеніемъ, неужели и она тоже принадлежитъ къ «этому обществу»?.. А можетъ и не одна она... Можетъ, ихъ много тутъ такихъ, какъ она...» Его подавляло ясное почти до опущенія сознаніе какой-то большой и таинственной силы, въ область которой судьба толкнула его и которая теперь всецѣло тяготѣетъ надъ нимъ. Но этотъ гнетъ не казался ему тягостнымъ: онъ не хотѣлъ освободиться изъ-подъ него; напротивъ, его манило отдаться теченію всѣхъ этихъ странныхъ обстоятельствъ, проникнуть далѣе и далѣе въ глубь и сущность дѣла, увидѣть, понять, разгадать что это за міръ и что за сила и, быть можетъ, сознательно отдаться ей... И среди всей этой вереницы мыслей мелькалъ сверкающій такою оригинальною красотою образъ графини Цезарины, которая въ эту самую минуту здѣсь, рядомъ, подъ одною кровлею, такая спокойная, простая, сильная и вмѣстѣ съ тѣмъ загадочная... И этотъ образъ подавлялъ и затмевалъ своимъ блескомъ тихій обликъ другой женщины. Хвалынцеву было это даже досадно, онъ усиленно гналъ его изъ своего воображенія; но какъ-то невольно, независимо отъ него самого, этотъ блистательный образъ

вырывался въ область его думъ и поминутно прерывалъ собою нить его размышленій...

XIV.

Метаморфоза.

Поутру лакей передалъ ему сакъ съ вещами и объяснилъ, что этотъ сакъ, часть тому назадъ, принесъ какой-то молодой человѣкъ, для передачи по назначенію, сказавъ, что тутъ же находится и тѣ книги, что читалъ господинъ Хвалынцевъ. Отомкнувъ сакъ, студентъ дѣйствительно нашелъ тамъ цѣлую связку тѣхъ самыхъ лондонскихъ изданій, которыя такъ любезно предложилъ ему для прочтенія Лѣсницкій. «Все это очень любезно и очень внимательно», могъ только подумать Хвалынцевъ. Дни заточенія въ квартирѣ графини Маржецкой текли для него быстро и почти незамѣтно. Онъ очень скоро освоился въ новомъ своемъ помѣщеніи, благодаря той свободѣ, какую предоставила ему внимательная хозяйка. Всѣ утра его проходили почти исключительно въ чтеніи. Это чтеніе, которому отдавался онъ съ юношескимъ и почти невольнымъ увлеченіемъ, постепенно производило на него свое наркотическое вліяніе. Обѣды вмѣстѣ съ Цезариной, и потомъ, зачастую, цѣлые вечера въ ея обществѣ, съ глазу на глазъ съ этой интересной, умной и прелестной женщиной, рѣшительно не давали ему глубже вдуматься въ себя, въ свое положеніе, и даже чувство къ Татьянѣ Николаевнѣ мало-по-малу все какъ-то сглаживалось въ немъ и отходило на задній планъ, и онъ самъ все меньше и меньше замѣчалъ въ себѣ эту внутреннюю и какъ-то невольно совершавшуюся метаморфозу. Иногда по вечерамъ Цезарина просила его прочитать что нибудь и для нея, и въ такихъ случаяхъ всегда сама выбирала и давала ему книги. Это были листки французскихъ брошюръ, почти исключительно произведенія польской эмиграціи, которыя въ яркихъ, поражающихъ чертахъ изображали несчастія польской земли, стоны польскаго народа и не скупились на самыя черныя краски для обрисовки русскихъ отношеній къ Польшѣ и русскаго гнета. Цезарина слушала внимательно и даже благоговѣйно, хотя для нея всѣ эти книги и брошюры были давно уже знакомы. Часто нервическое, злобное движеніе отражалось на ея лицѣ, и тогда въ ея карихъ глазахъ свѣтилась фанатическая, непримиримая ненависть, и руки судорожно начинали мять и вертѣть какую-нибудь вещь, въ родѣ случайно попавшейся бумажки, батистоваго платка или бахромки на шали. Хвалынцевъ, отрывая глаза отъ печатныхъ строкъ, мелькомъ взглядывалъ на это лицо, и оно казалось ему еще болѣе пре-

краснымъ въ этомъ живомъ одушевленіи гнѣва и ненависти. А иногда, при чтеніи о пыткахъ, жестокихъ мукахъ и страданіяхъ какого-либо польскаго героя, въ глазахъ Цезарины вдругъ начинали сверкать слезы, и тогда лицо это казалось Хвалынцеву еще вдохновеннѣе, еще прекраснѣе.

Въ то время вообще на Руси такъ мало было извѣстно о Польшѣ, о польскихъ дѣлахъ и притязаніяхъ; изъ русскаго лагеря не подымалось ни единого голоса для разъясненія нашихъ отношеній къ этой несчастной странѣ; тридцать лѣтъ у насъ на этотъ счетъ все молчало; все было темно, мертво и глухо, и эта мертвенность и глухота набрасывали мрачную и антипатичную тѣнь на эти русскія отношенія. Въ эти глухіе и нѣмые три десятка годовъ память современниковъ, свидѣтелей и очевидцевъ 1831 года понемногу притуплялась; негодование если въ нихъ и было, то намного смирилось и угмонялось самимъ временемъ; въ русскомъ сердцѣ давно уже поселилось если не примиреніе и забвеніе, то равнодушный и спокойный индифферентизмъ. Мы Польша не знали; большинство думало, что разъ она была усмирена, покорена и что затѣмъ съ нею навсегда уже покончены всѣ расчеты. Молодое же поколѣніе, благодаря все той же нѣмотствующей глухотѣ общественнаго сознанія, выросло въ полнѣйшемъ и всестороннемъ невѣдѣніи этой древней русско-польской тяжбы. Молодое поколѣніе, благодаря школьной скамьѣ, знало только стихотвореніе Пушкина «*Клеветникамъ Россіи*», но плохо понимало, ради чего оно написано. Находились иные радѣтели, которые рѣшались даже утверждать, что поэтъ былъ подкупленъ, соблазненъ камеръ-юнкерскимъ шитьемъ и дворскими милостями—и не было громкаго, разъясняющаго голоса въ защиту оскорбляемой памяти русскаго поэта. Знало еще молодое поколѣніе, что въ 1830 году Польша поднялась за свою свободу и независимость, за что была раздавлена русскими войсками, и это смутное знаніе естественно могло рождать въ каждомъ честномъ молодомъ сердцѣ одно только сочувствіе къ угнетенному и поработенному народу. А между тѣмъ противная сторона не дремала. Въ эти глухіе тридцать лѣтъ тамъ, на Западѣ, эмиграція создала своихъ историковъ, поэтовъ, публицистовъ, голоса которыхъ громко и дружно, на всю Европу, раздавались въ защиту польскаго дѣла, и эти голоса подхватывались чуждыми людьми другихъ національностей, усилившими общій негодующій хоръ, а мы все молчали и молчали, и съ этимъ молчаніемъ въ наши «образованныя» массы, мало-по-малу, но все болѣе и все прочнѣе проникало сознаніе, что правы *они*, а виноваты *мы*. «Колоколъ» громко и неустанно будилъ общественную совѣсть и взывалъ къ покаянію. И мы, позабывъ отъ

времени самую сущность, самое ядро стараго дѣла, начинали уже смиренно каяться... Въ этомъ случаѣ, все, что относится къ *намъ*, могло всецѣло относиться и къ моему юному герою. И вдругъ, подъ ловкою и потому незамѣтною эгидою польской женщины, этому юношѣ раскрывается цѣлая исторія страданій, горя, угнетеній, насильствъ и мукъ поработеннаго народа. Онъ только тутъ узналъ про эти муки, онъ ежедневно слышалъ свѣжіе рассказы еще о вчерашнихъ только событіяхъ изъ устъ молодой женщины, онъ видѣлъ порою взрывы ея невольнаго негодованія, порою ея слезы и... и, потупляя глаза, краснѣлъ за себя, за свой народъ, за свое правительство, которое становилось ему ненавистнымъ въ эти тяжелыя минуты. И что-жъ ему оставалось дѣлать? Онъ зналъ и выслушивалъ только одну сторону. Другая сторона, какъ и онъ же, все еще молчала въ своемъ невѣдѣніи и конфузилась.

Часто, приходя въ будуаръ Цезарины, онъ заставлялъ ее за работой. На широкихъ и большихъ пальцахъ была натянута красная шелковая матерія, подшитая съ исподней стороны матеріей бѣлою. Работа графини близилась къ концу. Хвалынцевъ могъ свободно разсматривать на пуговочномъ фонѣ изображеніе креста съ терновымъ вѣнцомъ и двѣ пальмовыя вѣтви, а надъ всѣмъ этимъ парящаго бѣлаго орла. На исподней сторонѣ былъ вышитъ образъ Богородицы съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами и съ надписью вокругъ: «*Boz, zmiłoj cie pad pamię!*» Надъ бѣлымъ орломъ тоже красовалась надпись, надъ окончаніемъ которой трудилась теперь графиня. Эта надпись, вышитая серебряною нитью и блестками, была сдѣлана на русскомъ языкѣ и гласила: «*За свободу вашу и нашу*».

Хвалынцева уже давно интересовала эта работа, но онъ все какъ-то не рѣшался спросить, чтѣ это и для чего графиня вышиваетъ? Наконецъ, однажды вечеромъ, сидя подлѣ нея и утомивъ нѣсколько чтеніемъ, онъ отбросилъ въ сторону брошюру и сталъ слѣдить за интересовавшимъ его рукодѣльемъ. Графиня встала и, поднявъ бѣлую салфетку, до половины покрывавшую ея работу, стала любоваться на свое произведеніе.

— Хорошо?—спросила она, ласковымъ взглядомъ обратясь къ студенту и вызывая его этимъ на участіе.

— Прекрасно!—отъ души похвалилъ онъ.— Я ужъ давно люблюсь на это вышиванье и давно хотѣлъ спросить, чтѣ это такое вы работаете?

— Это?—какъ-то загадочно и вмѣстѣ съ тѣмъ горделиво усмѣхнулась Цезарина.— Это для нашихъ будущихъ героевъ.

Хвалынцевъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Это знамя,—продолжала она,—знамя сво-

боды, которое, со-временемъ, я вручу достойнѣйшему, а можетъ... раздумчиво замедлилась она,—можетъ и сама понесу его на встрѣчу вашимъ солдатамъ... Вѣдь тутъ не даромъ же написано: «за свободу вашу и нашу!»

При этихъ словахъ Хвалынцевъ замѣтилъ въ ней какую-то странную, отчасти театральную, но очень эффектную экзальтацію.

— Но нѣтъ!—минуту спустя, со вздохомъ продолжала она, закрывая салфеткой пальцы,—эта послѣдняя мечта едва-ли когда осуществится!.. Это знамя не для васъ, оно для поляковъ!.. Вы вѣдь умѣете быть только нѣмыми рабами вашего правительства.

И говоря это, она не скрyla безпощадно-презрительной усмѣшки, заигравшей на ея одушевленномъ лицѣ.

— Вы позволяете бить себя и угнетать, отказываетесь отъ свободы для того только, чтобы въ свою очередь бить и угнетать другихъ народности. Кто только подъ вами не стонетъ! Все ваше народное самолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы быть хоть рабскимъ, но варварски-сильнымъ государствомъ и служить пугаломъ каждой цивилизации. Для этого вы даже нѣмцамъ продаетесь. Нѣтъ, вы не славяне, вы—рабы, татары.

— Но эти татары еще только вчера освободили двадцать миллионъ рабовъ, и своихъ татарскихъ и вашихъ польскихъ!—возразилъ, задѣтый за-живое, Хвалынцевъ. Въ глубинѣ души онъ не могъ не сознаться, что графиня сильно задѣла его русское самолюбіе.

— Польскихъ?—изумленно возразила она и съ гордымъ достоинствомъ отрицательно покачала головой.—Вы ошибаетесь, вы не знаете исторіи: въ Польшѣ, слава Богу, давно уже нѣтъ рабовъ. Въ Польшѣ крестьяне лично свободны.

Студентъ, благодаря своему всероссійско-полному невѣдѣнію, ничего не сумѣлъ возразить ей на это. Ему было только больно и горько слушать упреки этой женщины, и слушая ихъ, онъ все-таки не могъ не любоваться ею, не могъ не сознавать въ ней какого-то превосходства, которое даетъ человѣку его возвышенное и гордое страданіе.

— Но это зная... заговорилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія,—отчего вы думаете, что нашъ солдатъ не пойметъ такихъ простыхъ и ясныхъ словъ: «за свободу вашу и нашу?» Слова общечеловѣческія.

— Вашъ солдатъ!.. Вашъ солдатъ уже цѣлые десятки поколѣній рождается и умираетъ рабомъ; въ немъ давно уже убито все человѣческое. Вашъ солдатъ умѣетъ только стрѣлять въ безоружную толпу, въ молящихся дѣтей и женщинъ.

— Графиня! Ну гдѣ же, когда-же это?—наконецъ не выдержавъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Гдѣ?... А, вы сомнѣваетесь!.. Я окажу вамъ

гдѣ! Хоть-бы въ Варшавѣ... Боже мой!.. Какъ сейчасъ помню... это было только семь мѣсяцевъ назадъ... На Зигмунтовой площади, предъ замкомъ, стояли тысячи народа... Я тутъ же, въ одномъ изъ домовъ, глядѣла съ балкона... Вечеръ ужъ былъ, темно становилось; солдаты ваши стояли противъ народа; въ этотъ день они нашъ крестъ изломали... и вдругъ раздали выстрѣлы... Помню только какой-то глухой ударъ и больше ничего, потому что упала замертво.

— Какъ! Вы, графиня?—тихо произнесъ изумленный Хвалынцевъ.

— Да, я!.. Что вы такъ удивляетесь?... Я была рапена. Вы не вѣрите? Вотъ, смотрите!

И быстрымъ движеніемъ руки, она отступила воротъ кашемироваго пеньюара и, близко наклонясь надъ Хвалынцевымъ, обнажила предъ нимъ часть груди и все свое лѣвое, удивительно созданное, бѣлое плечо.

— Вотъ она, эта рана! Смотрите!—говорила Цезарина, указывая на темнобурое, круглое пятнышко и бороздку къ плечу, образовавшіяся отъ стянутой кожи. — Пуля ударила меня выше ключицы и скользнула по плечу. Два съ половиной мѣсяца я пролежала тогда. Десять человѣкъ было убито и болѣе ста ранено!). Я всѣмъ и каждому смѣло могу показать эту русскую рану!—съ гордымъ увлеченіемъ продолжала она. — Я горжусь ею, все-таки и моя капля крови пролилась за родину, за свободу!

Хотя все это было сдѣлано и сказано опять-таки съ какимъ-то присущимъ этой женщинѣ сценическимъ эффектомъ, но эффектъ удался какъ нельзя болѣе: онъ вполнѣ подѣйствовалъ на юношу, и Хвалынцевъ съ глубокимъ, почти благоговѣйнымъ уваженіемъ посмотрѣлъ на графиню Цезарину.

И въ эту ночь, опять-таки, долго не могъ уснуть онъ и долго ходилъ у себя по комнатѣ. И сердце, и голова его какъ-то мутились. Онъ силился дать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ, въ своихъ чувствахъ, и не смѣлъ, боялся произнести окончательный и вѣрный приговоръ надъ собою. Въ первые дни его влекло къ этой женщинѣ одно только любопытство, возбужденное странностью его исключительнаго положенія. Въ то время ему хотѣлось только проникнуть въ заманчивую загадку того таинственнаго міра и той дѣятельности, въ которыхъ вращались Цезарина Маржецкая, Лѣсницкій и Свитка. Въ то первое время, замѣчательная, оригинальная красота этой женщины хотя и производила на него свое невольное обаятельное впечатлѣніе, но эта красота, это богатство и роскошь тѣла говорили одной только чувственности — ощущеніе, которое, при

*) Демонстрація въ Варшавѣ 27-го марта (8-го апрѣля, 1861 г.

мысли о любви къ Татьянѣ, Хвалынцевъ гналъ отъ себя и безусловно осуждалъ его, хотя это ощущение все-таки, помимо его собственной воли, какъ татѣ закрадывалось въ душу и смущало его порою. Но теперь, когда прошло уже нѣсколько дней его таинственного пребыванія въ домѣ этой женщины, когда ежедневныя и довольно долгия бесѣды съ нею каждый разъ открывали ему въ ней какое-нибудь новое нравственное достоинство, когда, наконецъ, вотъ въ этотъ послѣдній вечеръ, она на столько высказалась предъ нимъ, онъ увидѣлъ въ ней нѣчто высшее, царящее надъ ея физической красотой, нѣчто героическое. Теперь ему сказала въ ней нравственная мощь и великая, всепроникающая сила страстной любви къ своей родинѣ, къ свободѣ, къ народу своему, — сила, освященная страданіемъ и даже кровью. Ему казалось, что для подобной женщины можно все въ рискнуть, все въ пожертвовать, на все рѣшиться.

И подъ наплывомъ этихъ мыслей и ощущений, въ немъ страстно совершалась теперь внутренняя метаморфоза.

XV.

Бружокъ.

Вскорѣ послѣ этого вечера, графиню Маржецкую постигъ капитанъ Чарыковский. Когда лакей доложилъ о его приѣздѣ, Хвалынцевъ, по обыкновенію, поднялся съ мѣста, чтобъ удалиться въ свою комнату, но Цезарина просила его остаться, предупредивъ, что Чарыковский изъ такихъ людей, съ которыми можно отбросить въ сторону подобную осторожность.

— Рекомендую: губернёръ моего сына, — представила она студента.

— А, да мы уже, кажется, знакомы, если господинъ Хвалынцевъ не забылъ меня? — любезно и радушно пожимая руку Константина Семеновича, сказалъ капитанъ.

Тотъ, съ небольшою любезностью, поспѣшилъ заявить ему о своей памяти.

— Но нашъ молодой менторъ, кажется, скучаетъ, — продолжала Цезарина, всеело поглядывая то на студента, то на своего гостя. — Я вѣдь живу почти отшельницей, развлеченій у меня никакихъ, а вы, monsieur Хвалынцевъ, надѣюсь, привыкли къ обществу.

Хвалынцевъ отвѣтилъ что-то нескладное, въ родѣ того, что ея общество онъ предпочитаетъ все въ другимъ на свѣтѣ, и самъ немножко сконфузился и смѣшался.

— Ну, это такъ, одна только любезная фраза! улыбнулась Цезарина, — а шутки въ сторону; я думаю, вы таки-скучаете. Вѣдь онъ такъ усердно посвятилъ себя занятіямъ съ моимъ сыномъ, — обратилась она къ Чарыковскому, — такъ ревностно предался своему дѣлу,

что вотъ уже болѣе недѣли, какъ никуда не показывается, никуда даже изъ дому не выходитъ!

Чарыковский съ вѣжливо-снисходительною усмѣшкой слушалъ эту болтовню Цезарины. Въ самыхъ простыхъ и незначительныхъ фразахъ своего разговора, обращаясь къ Хвалынцеву, онъ выказывалъ очень внимательную предупредительность и любезность, видимо желая понравиться молодому человѣку, расположить его въ свою пользу. Разговоръ перешелъ на университетскія событія, все еще составлявшія главную тему толковъ того времени. Капитанъ началъ порицать двусмысленное поведение нѣкоторыхъ профессоровъ, которыхъ Хвалынцевъ сталъ горячо отстаивать. Зная лично этихъ профессоровъ, ихъ образъ мыслей и отношенія къ студентамъ, онъ не могъ допустить и тѣни сомнѣнія относительно ихъ личности и потому горячо заспорилъ съ капитаномъ.

— Вы хотите доказательствъ? Если угодно, я готовъ! — предложилъ Чарыковский. — Мнѣ самому не менѣе васъ больно разочарованіе въ этихъ людяхъ, но я могу доказать вамъ фактами, документами. Да самое лучшее вотъ что: если вы такъ живо принимаете это къ сердцу, приѣзжайте ко мнѣ, мнѣ будетъ очень пріятно видѣть васъ у себя, — сказалъ онъ, радушно пожимая руку студента, — и не зачѣмъ откладывать въ долгій ящикъ, приѣзжайте сегодня же вечеромъ, часу въ восьмомъ, у меня мы и потолкуемъ, а я постараюсь убѣдить васъ довольно осязательными документами.

— Ну, вотъ и прекрасно! — подхватила графиня; — monsieur Хвалынцевъ, по крайней мѣрѣ, хоть сколько-нибудь разсѣется, а кстати и я нынче вечеромъ не буду дома. Въ самомъ дѣлѣ, побѣжайте-ка, побѣжайте! А то у меня вы все въ одиночаете, анахоретомъ, нелюдимомъ сдѣлаетесь.

Чарыковский подаль ему свою визитную карточку, на которой былъ его адресъ. Хвалынцевъ поблагодарилъ его и обѣщалъ приѣхать. Хотя за всѣ эти дни онъ уже такъ успѣлъ привыкнуть къ своей замкнутости, которая стала ему мила и пріятна постояннымъ обществомъ умной и молодой женщины, и хотя въ первую минуту онъ даже съ затаеннымъ неудовольствіемъ встрѣтилъ приглашеніе капитана, однако же поощрительный, веселый взглядъ графини заставилъ его поколебаться. — «Къ тому же и она нынче не дома», подумалъ онъ и согласился.

— У него вы ничѣмъ не рискуете: ни непріятной встрѣчей, ни непріятными послѣдствіями, а нѣкоторое разсѣяніе для васъ все-таки необходимо. Побѣжайте! — сказала Маржецкая, послѣ того какъ Чарыковский удался изъ ея гостиной.

Въ назначенный часъ Хвалынцевъ отпра-

вился по данному адресу. Капитанъ встрѣтилъ его въ высшей степени любезно, но студентъ вскорѣ замѣтилъ, что хозяинъ какъ-то мнется, какъ будто чѣмъ-то стѣсняется.

Константинъ Семеновичъ началъ уже думать, что посѣщеніе его пришлось почему-либо не совсѣмъ-то кстати, какъ вдругъ Чарыковскій предупредилъ его дальнѣйшее раздумье.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ (капитанъ еще утромъ очень внимательно осмѣдомился о его имени и отчества), вы не будете на меня въ претензіи, если я предложу вамъ, вмѣсто того чтобы провести вечеръ у меня, отправиться вмѣстѣ къ однимъ моимъ знакомымъ?—обратился онъ къ студенту.—Люди холостые и безцеремонные—они рады будутъ, а давеча мнѣ совсѣмъ было и изъ ума вонъ, что я общалъ имъ прѣхать. Поѣдемъ-ка вмѣстѣ, и ручаюсь вамъ, мы проведемъ вечерокъ недурно, только вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь и не думайте, что ихъ чѣмъ-нибудь стѣсните! Церемоніи всѣ въ сторону!

— А кто они такіе?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А наша молодежь изъ военной академіи. Люди простые, честные и хорошие, и—повторяю—очень будутъ рады намъ. Катимте!

Хвалынцеву было теперь все равно гдѣ ни провести вечеръ, и онъ согласился тѣмъ охотнѣе, что ему еще съ обѣда у Колтышко почему-то казалось, будто Чарыковскій непременно долженъ быть посвященъ въ тайны Лѣсницкаго и Свитки, а теперь — почему знать—можетъ, чрезъ это новое знакомство, предъ его пылливо-любопытными глазами приподнимается еще болѣе край той непроницаемой завѣсы, за которой кроется эта таинственная «сила» съ ея заманчивымъ, интереснымъ міромъ, а къ этому міру, послѣ столькихъ бесѣдъ съ Цезариной и послѣ всего, что довелось ему перечитать за нѣсколько дней своего заточенія и надъ чѣмъ было уже столько передумано, онъ, почти незамѣтно для самого себя, начиналъ чувствовать какое-то симпатическое и словно бы инстинктивное влеченіе. Теперь уже, пожалуй, и не одно только простое любопытство влекло его къ этому міру. Въ этомъ влеченіи стала играть извѣстную роль и симпатія,—правда, пока еще заочная, но уже настолько замѣтная, что одно только мимолетное предположеніе о вѣроятной возможности заглянуть поближе въ тайникъ Лѣсницкаго и Свитки заставило его съ живымъ удовольствіемъ принять предложеніе новаго знакомства. Чарыковскій порадилъ извозчика въ Офицерскую улицу, и они поѣхали. Про доказательство двусмысленнаго поведения профессоръ не было сказано ни слова.

Такъ этотъ вопросъ и канулъ для капитана въ Лету. Онъ былъ для него не болѣе какъ

случайнымъ предлогомъ, чтобы заручиться посѣщеніемъ Хвалынцева.

Въ пяти довольно просторныхъ и помѣстительныхъ комнатахъ, составившихъ одну холостую квартиру, было говорно и людно. Тамъ ходили, сидѣли, разговаривали, пили чай, курили, спорили и читали человѣкъ тридцать народу. Это, большею частію, была все военная молодежь, въ сюртукахъ различныхъ родовъ оружія, и по преимуществу съ «ученымъ» артиллерійскимъ, либо инженернымъ кантомъ. Гвардейскій кавалерійскій мундиръ совершенно дружественно братался здѣсь со скромными петлицами армейскаго пѣхотинца; зеленый кантъ путейца горячо, но пріятно спорилъ съ малиновымъ кантомъ лѣсницкаго. Изъ партікулярныхъ костюмовъ замѣтны были только чамарка Василія Свитки да черный сюртукъ Лѣсницкаго.

Большой раскладной столъ въ просторной гостиной былъ заваленъ русскими и иностранными журналами, газетами, брошюрами и книгами. Въ смежной комнатѣ, на такомъ же большомъ раскладномъ столѣ, кипѣлъ вмѣстительный самоваръ, окруженный коллекціей разнокалиберныхъ стакановъ и чашекъ, а рядомъ съ нимъ помѣщалась небольшая батарея бутылокъ, разныхъ закуски и подносы съ цѣлою горою сухарей, булокъ и пеклеваннаго хлѣба. Во всѣхъ комнатахъ было уже дымно отъ папиросъ и сигаръ, и вечеръ, несмотря на относительно ранній еще часъ, былъ уже въ полномъ разгарѣ. Надъ всѣмъ этимъ говорливымъ, оживленнымъ обществомъ вѣялъ какой-то духъ молодости, задора и горячки увлеченія.

Тутъ было четверо хозяевъ-сожителей — молодыхъ офицеровъ-академистовъ, которые подъ предлогомъ «литературныхъ вечеровъ», еженедѣльно собирали подъ своимъ безцеремоннымъ гостепріимнымъ кровомъ всю эту компанію.

Всѣ члены этого общества, какъ показалось Хвалынцеву, состояли въ довольно короткомъ знакомствѣ между собою, что впрочемъ и не мудрено, такъ какъ они были постоянными и неизмѣнными посѣтителями «литературныхъ вечеровъ» этой холостой квартиры.

Чарыковскій былъ принятъ хозяевами болѣе чѣмъ радушно: его встрѣтили съ радостью и почтеніемъ. Точно такая же пріятливая почтительность выражалась въ отношеніи къ нему со стороны всѣхъ присутствующихъ. По всему можно было замѣтить, что капитанъ Чарыковскій въ этомъ обществѣ играетъ очень видную роль и пользуется большимъ авторитетомъ. Хвалынцевъ сразу замѣтилъ это, и ему стало особенно пріятнымъ то обстоятельство, что вводитъ его сюда именно капитанъ Чарыковскій. Обстоятельство это не ускользнуло и отъ вниманія почти всѣхъ остальныхъ членовъ собравшейся компаніи, которые, въ силу его,

при первомъ же знакомствѣ, оказали студенту радушное и какъ бы товарищеское вниманіе.

Чарыковский представилъ Константина Семеновича чetyремъ хозяевамъ, а тѣ, въ свою очередь, познакомили его кое съ кѣмъ изъ своихъ гостей.

Найдя здѣсь Лѣвинскаго и Свитку, Хвалынцевъ, въ первое время, все отыскивалъ глазами Колтышку, но Колтышки не было, и не было его ни въ началѣ, ни въ концѣ вечера.

— А что же Іосифа Игнатьевича нѣтъ?—спросилъ онъ, между прочимъ, у Свитки,—или онъ не бываетъ здѣсь?

— Нѣтъ, бываетъ иногда, но очень рѣдко,—отвѣчалъ тотъ, съ нѣкоторой неохотой, какъ показалось Хвалынцеву, и тотчасъ же переѣхалъ разговоръ.

Все общество, въ разныхъ углахъ комнатъ, разбивалось на кружки, и въ каждомъ кружкѣ шли очень оживленные разговоры; толковали о разныхъ современныхъ вопросахъ, о политикѣ, объ интересахъ и новостяхъ дня, передавали разныя извѣстія, сплетни и анекдоты изъ правительственнаго, военнаго и административнаго міра, обсуждали разные проекты образованія, разбирали вопросы исторіи, права и даже метафизики, и всѣ эти разнородныя темы обобщались однимъ главнымъ мотивомъ, который въ тѣхъ или другихъ варіаціяхъ проходилъ во всѣхъ кружкахъ и сквозь всѣ темы, и этимъ главнымъ мотивомъ были Польша и революція—революція польская, русская, общевропейская и, наконецъ, даже общечеловѣческая.

Хвалынцевъ замѣтилъ, что очень многіе за разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ обращались къ Чарыковскому, который сидѣлъ въ самой отдаленной комнаткѣ, среди очень небольшого и тѣснаго кружка. Чарыковский вообще говорилъ мало и держалъ себя весьма сдержанно, но все, что произносилъ онъ, носило скорѣе характеръ краткихъ и окончательныхъ приговоровъ, чѣмъ споровъ и разсужденій.

Много было толковъ о современномъ состояніи русскаго общества, и всѣ мнѣнія болѣе или менѣе согласовались въ томъ, что общество теперь наканунѣ огромнаго революціоннаго переворота, при чемъ проводили параллель между Россіей и Франціей 1788 года. Назначалось даже время, къ которому, общерусская революція вспыхнетъ необходимо и неизбежно, и временемъ этимъ долженствовала быть 1863 г., когда окончательно прекратятся временно-обязательныя отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ, а причина будущей революціи видѣлась въ томъ, что помѣщики недовольны и ропщутъ, и что правительство «понадуло» крестьянъ, и крестьяне будто бы увидятъ это по прекращеніи обязательныхъ отношеній. Чѣмъ пменно правительство «понадуло», объ этомъ не гово-

рилось, но всѣ какъ-то единодушно были согласны, что «понадуло, да и конецъ!» У многихъ на устахъ была знаменитая и, какъ видно модная въ этомъ кружкѣ фраза «Колокола»: «народъ обманутъ!» Говорили и о финансовомъ кризисѣ, и о томъ, что Россія не сегодня-завтра — круглый банкротъ.

Въ тѣ времена почти вездѣ и зачастую слышались разговоры на подобныя темы. Хвалынцеву и самому не однажды доводилось разговаривать объ этихъ «матеріяхъ важныхъ»; но въ другихъ домахъ и въ другихъ кружкахъ, при разсужденіяхъ о печальномъ положеніи Россіи, онъ зачастую подмѣчалъ какую-то горечь русскаго сердца и боль русской души о своемъ кровномъ, родномъ дѣлѣ. Здѣсь же не могъ не замѣтить онъ нѣкотораго злорадства, которое явно сквозило во всѣхъ препирательствахъ и толкахъ о печальномъ современномъ положеніи. Болѣе общимъ вопросомъ былъ вопросъ о томъ, какъ встрѣтить и перенести будущую русскую революцію образованному и военному сословію.

— Я, полагаю,—говорилъ одинъ бравый поручикъ въ конно-артиллерійской формѣ,—я полагаю, что въ русскомъ обществѣ необходимо должны составитья свои центры дѣйствія, которые противопоставятъ силѣ правительства силу общественнаго заговора.

— Правительство уже безсильно!—съ шумомъ возражали ему съ разныхъ сторонъ.—Развѣ недостаточно доказательствъ хотъ бы въ студентской исторіи? Развѣ всѣ эти стѣснительныя мѣры не доказательство слабости.

— Кружки! центры дѣйствія!—возражалъ другіе.—Но любопытно бы знать, какъ это организуются они среди *русскаго* общества?

— Какъ бы то ни было, но они, по силѣ вещей, должны организоваться!—съ убѣжденіемъ настаивалъ бравый поручикъ;—тихо, или быстро, явно или тайно—это зависитъ отъ силы людей, отъ сближенія, отъ согласія ихъ, но они образуются! Остановиться теперь уже невозможно. Тутъ все можетъ способствовать: и общественные толки, и слово, и печать, и дѣло—все должно быть пущено въ ходъ. Задача въ томъ, чтобы обезсилить окончательно власть.

— А войско?—возразилъ Хвалынцевъ.

— Э, что такое войско?—заспорилъ конно-артиллеристъ.—Я самъ солдатъ, я знаю! Дисциплина въ нашемъ войскѣ держится только страхомъ палки, шницъ-рутенами, а вотъ погодите: отмѣнять тѣлесныя наказанія, дисциплина разомъ упадетъ до нуля, и войско сдѣлаетъ ручку правительству. Я убѣжденъ въ этомъ, я знаю. Вообще теперь самое полезное—оставлять коронную службу: этимъ власть обезсиливается.

— А я думаю, что иногда гораздо полезнѣе внести *свое* вліяніе въ служебную дѣятель-

ность, — скромно замѣтилъ офицеръ въ коммисаріатской формѣ.

— Да, иногда, — согласился бравый поручикъ, — но отнюдь не въ гражданской службѣ. Въ военной иное дѣло. Чѣмъ больше будетъ у насъ развитыхъ, образованныхъ офицеровъ, тѣмъ успѣшнѣе пойдетъ пропаганда: солдаты, во-первыхъ, не пойдутъ тогда противъ крестьянъ, когда тѣ подымутся всею землею; во-вторыхъ, образованные офицеры не помѣшаютъ освободиться и Польшѣ. Розовѣте вы, какъ слѣдуетъ, пропаганду между офицерами — вы облегчите революцію и вызовете ее гораздо скорѣе. Образованный офицеръ не пойдетъ противъ поляковъ.

— Русскіе-то? Ха, ха, ха!.. всегда пойдутъ! — съ презрительной усмѣшкой махнулъ рукою путешецъ.

— Не пойдутъ! — настойчиво убѣждалъ поручикъ. — Я самъ солдаты, говорю вамъ, я знаю!.. Не пойдутъ, если будутъ убѣждены, что выходятъ русскихъ войскъ изъ Польши необходимъ, и если — *conditio sine qua non* — сила правительства будетъ равняться нулю.

— Но что вы заставите ихъ въ этомъ случаѣ разумѣть подъ Польшей? — скромно возразилъ Хвалынцевъ. — Тотъ-ли клочокъ земли, который извѣстенъ подъ именемъ Царства Польскаго, или...

— Какъ это «Царство Польское?» — съ недоумѣніемъ перебилъ его конно-артиллеристъ. — Не Царство разумѣю я, а всю, всю Польшу, какъ она есть, — всю, въ границахъ 1772 года! Всѣ тѣ земли, гдѣ масса народа или говорить польски, или привязана къ прежней униатской вѣрѣ, всю Литву, Білоруссію, Волынь, Украину, Подолію, Малороссію, все это едина и нераздѣльная Польша. Иной я не признаю и не понимаю.

— Но вѣдь народъ въ Малороссіи... снова попытался было возразить Хвалынцевъ, но поручикъ не далъ ему даже досказать и заговорилъ еще съ большимъ жаромъ!

— Народъ!.. Во всѣхъ этихъ земляхъ народъ если и не носитъ офиціально имени поляковъ, то все же онъ полякъ, — полякъ до мозга кости своей, потому что въ немъ жизнь польская, стремленія польскія, духъ польскій; потому что этотъ народъ былъ польскимъ. Этому вѣдь только въ офиціальныхъ учебникахъ не учатъ, а на дѣлѣ оно такъ! Я это лучше знаю! И вамъ, господа русскіе, вамъ, честное, молодое поколѣніе, пора, наконецъ, проснуться отъ долгой русской летаргіи; и вы сами съ своимъ развитіемъ должны же понять, что вашъ первый, священнѣйшій долгъ освободить Польшу и даже идти за нее передовыми бойцами, потому что, освобождая Польшу, вы освобождаете и Россію, себя освобождаете! Неужели вамъ, честнымъ юношамъ, не стыдно глядѣть въ глаза всей Европѣ, которая съ пре-

зрѣніемъ клеймятъ васъ названіемъ палачей и варваровъ? Смойте же, наконецъ, это позорное пятно! Докажите цѣлому свѣту, что вы честные, справедливые люди, что вы такіе же славные, какъ и поляки, и не хотите вѣшать и стрѣлять своихъ братьевъ!

Офицеръ говорилъ бойко, краснорѣчиво, съ энергіей убѣжденія и фанатическимъ жаромъ. Въ его выразительныхъ глазахъ, въ его видной, красивой и энергической наружности было очень много симпатичнаго и невольно подкупавшаго. Поминутныя фразы «я знаю», «я это лучше знаю», фразы, которыя указывали на маленькое самолюбіе и маленькую самоувѣренность этого офицера и которыя въ началѣ чуть было не заставили улыбнуться Хвалынцеву, не помѣшали ему однако выслушать очень серьезно всю эту краснорѣчиво-горячую тираду. Слова «палачи и варвары», сопоставленные со словами «честное молодое поколѣніе» даже ударили его по очень тонкой стрункѣ молодого самолюбія, а въ послѣдніе дни эта самая струнка очень часто и очень ловко задѣвалась графиней Цезариной.

— Вы говорите о насъ, о русскомъ молодомъ поколѣніи, — обратился онъ къ поручику. — Неужели вы думаете, что мы не понимаемъ, не чувствуемъ сами всѣ эти упреки, которые высказываютъ Россіи? Но что же мы можемъ сдѣлать? Вѣдь все это хорошія слова, мы и сами ихъ хорошо умѣемъ говорить, но вы скажите намъ что дѣлать? Если тутъ нужно дѣло, укажите его!

— Не сидѣть сложа руки, — горячо и выразительно началъ офицеръ, методически высчитывая по пальцамъ. — Это разъ! Потомъ, не глядѣть равнодушно на безобразія администраціи и вообще власти; организовать изъ себя кружки, которые и словомъ, и дѣломъ, и вообще чѣмъ только можно, противодействуютъ этимъ безобразіямъ. Затѣмъ — вносить и словомъ и дѣломъ свою пропаганду въ массы общества; не служить ни въ какой службѣ, исключая какъ во фронтѣ, для подготовки войска, или брать только такія мѣста, гдѣ можно имѣть непосредственное вліяніе на мужиковъ — вотъ что нужно дѣлать! И во всякомъ случаѣ, идти рука объ руку съ поляками, потому что невозможно отдѣлать дѣло польской свободы отъ русскаго дѣла. Помогая полякамъ, вы только самимъ же себѣ помогаете, не болѣе!

— Но вопросъ въ томъ, захотятъ ли поляки нашего участія? — возразилъ Хвалынцевъ. — У насъ къ нимъ одно сочувствіе и ни тѣни ненависти. Но я знаю по трехлѣтнему университетскому опыту, поляки всегда чуждались насъ; у нихъ всегда для насъ одно только сдержанное и гордое презрѣніе; наконецъ, сколько разъ приходится слышать намъ отъ поляковъ слова злорадства и ненависти не къ правительству, но къ намъ, къ Россіи,

къ русокому народу, такъ нуждаются ли они въ нашемъ сочувствіи?

Говоря это, Хвалынцевъ думалъ сдѣлать легкій намекъ, что не далѣе какъ сегодня же, въ этой самой комнатѣ, все то, что въ русскомъ сердцѣ могло бы вызвать только боль и скорбь, здѣсь встрѣчало какое-то злорадство. Конно-артиллеристъ, казалось, угадалъ его мысль.

— Во-первыхъ, вездѣ есть свои фанатики, — заговорилъ онъ; — и смотрите на нихъ не болѣе, какъ на фанатиковъ. Случалось ли вамъ какъ-нибудь, примѣръ, вколачивая гвоздь, хватить нечаянно молоткомъ по пальцу и въ первое мгновеніе, съ досадой, а то еще и выругавшись, швырнуть отъ себя молотокъ? Ну, за что вы изругали молотокъ? Вѣдь онъ не виноватъ, онъ только орудіе, но вы выругали его, потому что это орудіе причинило вамъ боль, вы вѣдь сдѣлали это почти безсознательно, не такъ ли?

Студентъ согласился.

— Ну, вотъ то же самое и фанатики! — живо подхватилъ поручикъ. — Они чувствуютъ боль и, отуманенные болью, не разбирая, ругаютъ молотокъ, а вѣдь молоткомъ-то является тутъ все же русскій народъ въ рукахъ правительствъ. А что касается студентовъ, то чего же вы могли и ждать отъ людей угнетенныхъ, давленныхъ? Кто страдалъ такъ много и долго, тому свойственна и замкнутость, и недовѣріе. Вы имъ предлагали доброе слово — предложите теперь доброе дѣло, дайте не риторикѣ, а хлѣбъ насущный, и тогда посмотрите, будутъ ли васъ чуждаться. Наконецъ, вы молодое поколѣніе, должны, совсѣмъ смиреніемъ, первые протянуть руку дѣла полякамъ, чтобы искупить долгій историческій грѣхъ вашихъ отцовъ. Фанатиковъ вѣдь немного, а за ними стоятъ цѣлый народъ, который съ надеждой смотритъ на васъ и ждетъ отъ васъ помощи.

Эта бесѣда сдѣлала-таки свое впечатлѣніе на Хвалынцева и впечатлѣніе становилось тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе старался онъ найти возраженій на доводы собесѣдника, а возраженій межъ тѣмъ не находилось. Студентъ, наконецъ, сознался въ глубинѣ души, что ему больше нечего сказать своему противнику.

«Стало-быть, правы все-таки они, а не мы. Что же дѣлать? Что дѣлать теперь?» снова поднялся въ немъ старый вопросъ, который уже неоднократно и прежде тысячу сомнѣній тревожилъ и умъ его и совѣсть, а теперь вдругъ сталъ предъ нимъ со всею настойчивою и безпощадною неотразимостью.

Хвалынцевъ ясно почувствовалъ, что пора наконецъ на что-нибудь рѣшиться.

XVI.

Роковые вопросы.

Въ нервно-возбужденномъ состояніи выпшелъ онъ на улицу вмѣстѣ со Свиткой. Услужливый Свитка, подъ тѣмъ предлогомъ, что давно не видался и не болтали, вызвался пройти съ нимъ, по пути. Хвалынцеву болѣе хотѣлось бы остаться одному, со своею мучающею, назойливою мыслью, но Свитка такъ неожиданно и съ такой естественной простотой предложилъ свое товарищество, что Константинъ Семеновичъ, взятый врасплохъ, не нашелъ даже достаточнаго предлога, чтобы отдѣлаться отъ него. Ночь была ясная и звѣздная.

— Ну что, вамъ не надоѣлъ еще вапъ арестъ? — шутя спросилъ Свитка, дорогой.

— Пока еще нѣтъ. А все-таки, скоро ли онъ кончится?

— Теперь уже не долго... Дайте еще только чуточку поуспокоиться властямъ предержавшимъ, и мы васъ выпустимъ: гуляйте себѣ на всѣ четыре стороны!

Хвалынцеву вдругъ стало даже жалко какъ-то, что скоро кончится для него эта прелесть таинственной жизни, подъ одною кровлею съ женщиной, которая все болѣе и болѣе овлаживала его помыслами и чувствомъ.

— А какъ вы находите графиню Маржецкую? — неожиданно спросилъ Свитка.

— Я ее уважаю, — отвѣтилъ вполне серьезно и даже нѣсколько сухо Хвалынцевъ, не желая дѣлать эту женщину предметомъ пражной, легкой болтовни, что чувствовалось по тону вопроса. — А вотъ выскажите мнѣ лучше, кто этотъ конно-артиллеристъ? — спросилъ онъ.

— О, это голова!.. Кабы такихъ побольше между офицерами!

— Фамилія его?

— Бейгушъ. Онъ съ забраннаго края, съ Литвы. А какъ вы его находите?

— Онъ говоритъ дѣло, и хорошо говоритъ.

— Еще бы. Я думаю!.. А что, пане Хвалынцевъ, помните вы наши послѣдніе разговоры? — съ простодушною шутливостью предложилъ вдругъ Свитка новый вопросъ.

— Разговоры были не такого свойства, чтобы можно скоро забыть.

— Ну, я говоря откровенно, какъ теперь ваше мнѣніе?

— Вы хотите полной откровенности? Извольте! — согласился Хвалынцевъ. — Я сочувствую этому дѣлу, сочувствую, какъ мнѣ кажется, на сколько могу, всею душою моею, но...

— Вотъ всегда у васъ это «но» является, — смѣясь перебилъ Свитка; — а вы безъ «но»; говорите прямо!

— Я прямо и говорю вамъ.

— Итакъ, въ чемъ же «но»?

— «*Но*» въ томъ, что меня мучить одно весьма серьезное сомнѣніе. Я сомнѣваюсь въ себѣ самомъ, въ своихъ силахъ. Вѣдь чтобъ отдаться дѣлу, нужно взвѣсить и сообразить многое, и прежде всего, нужно знать его.

Свитка помолчалъ немного, обдумывая, что и какъ отвѣтить.

— Вы знаете уже достаточно, — серьезно заговорилъ онъ. — Если вы убѣждены, по собственному опыту, что то положеніе, въ какомъ принуждены жить и вы, и мы, есть положеніе невыносимое; если вы чувствуете, что не созданы быть малодушнымъ и подлымъ рабомъ — простите мой рѣзкій языкъ! — и если вы, наконецъ, сознаете, что такъ или иначе надо измѣнить это положеніе — вы уже знаете достаточно, чтобы рѣшиться! А когда вы окончательно рѣшитесь, то окончательно и все узнаете. Ранѣе же этого знать *все* невозможно: дѣло слишкомъ большое и серьезное. Скажу вамъ пока только то, что къ этому дѣлу принадлежатъ уже не сотни, но тысячи честныхъ и надежныхъ людей, по всѣмъ концамъ Россіи, на всѣхъ, такъ сказать, ступеняхъ общества.

— И вы увѣрены, что между этими тысячами не найдется хоть одного Іуды? — спросилъ Хвалынцевъ.

Свитка засмѣялся.

— О, такая увѣренность была бы слишкомъ наивна! — возразилъ онъ. — Тридцать серебряниковъ для мелкой душонокъ всегда будутъ достаточной приманкой. Но мы Іудъ не боимся, они для насъ ни мало не опасны. Все дѣло въ организаціи общества, а организація такая, что Іуда, во всякомъ случаѣ, можетъ выдать не болѣе трехъ человѣкъ, никакъ не болѣе! Ну, а убилъ нѣсколькихъ головъ нѣсколько не повредитъ общему великому строю дѣла, потому что главные нити и пружины — ухъ, какъ далеко и высоко отъ насъ грѣшныхъ!.. Каждый членъ имѣетъ свой опредѣленный кругъ обязанностей, и внѣ этого тѣснаго круга ему ничего неизвѣстно. Вѣдь и тутъ есть своя тайная іерархія и своя постепенность, — сразу никому не открывается *все*, а съ расширеніемъ дѣятельности и кругъ зрѣнія расширяется. Наконецъ, противъ Іудъ есть и противоудія хорошія: вспомните хотя бы контр-полицію! Наши сидятъ вездѣ и повсюду, и слѣдятъ за всѣмъ, такъ что мы имѣемъ всегда полную возможность предупредить слишкомъ дурныя послѣдствія. А Іуды несутъ заслуженное возмездіе; вѣдь для нихъ существуетъ и специальное дерево — осина! И такъ, все-таки въ чемъ же, ваше «*но*», я не понимаю? — спросилъ въ заключеніе Свитка.

— Мое «*но*», говорю вамъ, — сомнѣніе въ самомъ себѣ, въ своихъ силахъ. Чѣмъ могу я быть полезенъ? что могу сдѣлать для дѣла? Соціальное положеніе мое слишкомъ еще ма-

ленькое, средства тоже не Богъ-вѣсть какія; подготовки къ дѣлу ни малѣйшей! Вы назвали меня солистомъ, но вотъ именно солиста-то въ себѣ я и не чувствую, а быть трутнемъ, какъ подумаю хорошенько, ужъ нѣтъ ровно никакой охоты.

— Благородная скромность и честное сомнѣніе въ себѣ всегда были и будутъ отличительными признаками людей недюжинныхъ! — менторски-серьезно и докторально замѣтилъ Свитка. — Одна только пустельга самоувѣренна и ни въ чемъ не сомнѣвается. Что вы изъ солистовъ, то это почувствуете вы сами при первомъ прикосновеніи къ серьезному дѣлу, а засимъ, вспомните что сказано: «имѣйте вѣру съ горчичное зерно, и вы будете двигать горами!» Не вѣрьте въ себя, но твердо вѣруйте въ дѣло, въ его правоту и святость, и вы тоже будете двигать, если и не горами, то массами живыхъ людей, которые для насъ теперь поважнѣе горъ!

Среди оживленнаго разговора Хвалынцевъ и не замѣтилъ, какъ они прошли болѣе половины пути. На углу Мѣщанской и Невскаго проспекта Свитка остановился и подаль на прощанье руку.

— Ну, такъ какъ же? Въ дѣло или нѣтъ? — рѣшительно спросилъ онъ.

Студентъ пожалъ плечами.

— Э, Боже мой! Рѣшайтесь! — ободрительно махнулъ рукой Свитка, — рѣшайтесь такъ: *aut Caesar aut nihil!*

— А если *nihil*? — сомнительно спросилъ Хвалынцевъ.

— *Nihil*!.. *Nihil* все-таки лучше, чѣмъ рабское прозябанье, чѣмъ эта апатія и нравственная мертвечина! Коли побѣдимъ — честь намъ и слава, а нѣтъ — исторія тоже не забудетъ насъ, да и собственное сознаніе останется, что погибли по крайней мѣрѣ не безславно, а за честное дѣло, за братскую свободу. Вѣдь умѣли же гибнуть наши отцы въ двадцать пятую и тридцать первомъ годахъ. Что же мы, чортъ возьми, хуже ихъ, что ли? Или ужъ мы не дѣти своихъ отцовъ? Вѣдь за насъ и сочувствіе, и любовь, и помощь всей Европы, всего либеральнаго міра! Вѣдь и гибнуть-то такимъ образомъ не каждому такая честь дается! Такъ что же вы, *да* или *нѣтъ*?

Хвалынцевъ почувствовалъ какую-то мучительно-трепетную и сладкую тоску.

— Бога ради... Бога ради! — взволнованно заговорилъ онъ, крѣпко стискивая руку Свитки, — дайте мнѣ однѣ только сутки, одну только ночь, еще разъ подумать, взвѣсить и смѣрить самого себя, и я скажу вамъ! Я прошу для того, что не хочу ни себя, ни васъ обманывать.

— Ну, бере! быть по сему! — порѣшилъ Свитка и простился.

Хвалынцевъ кликнулъ извозчика и поѣхалъ на Владимірскую.

«Да что же я, наконецъ?! Что я за человекъ-то, въ самомъ дѣлѣ?» досадно раздумывалъ онъ. — «Все ли равно мнѣ, какъ ни жить и что ни терпѣть, или нѣтъ? И изъ-за чего не могу я рѣшиться ни туда, ни сюда? Ну что меня заставляетъ быть не съ ними, что меня удерживаетъ? Что же *здесь-то* въ самомъ дѣлѣ? Отсутствіе всякаго права, стѣсненіе слова, закрытіе университетовъ, свобода и стрѣляніе въ крестьянъ, какъ въ Высокихъ Снѣжкахъ, стрѣляніе въ поляковъ, въ безоружныя толпы дѣтей и женщинъ—это все, что-ли, такъ мило и достолюбезно? За это, что-ли, стою я? Чего же мнѣ жалъ-то тутъ?!. А тамъ, тамъ хоть можетъ быть и мечтаютъ, и увлекаются, да вѣдь какія мечты, какія увлеченія! Какія цѣли великія и какая подготовка! Итакъ, другъ любезный, кто же ты, наконецъ, и за что стоишь ты?»

И съ этимъ роковымъ, но все еще не рѣшеннымъ окончателно вопросомъ въ душѣ, Хвалынцевъ вернулся домой, въ квартиру графини Маржецкой.

XVII.

Aut Caesar, aut nihil!

Тихо пройдя въ свою комнату, онъ услышалъ звуки рояля. Человекъ на вопросъ его отвѣтилъ, что графиня одна и цѣлый вечеръ никуда не выѣзжала изъ дома. Это она играла. Чтобы не прерывать ея игры, Константинъ Семеновичъ осторожно вошелъ въ залу, освѣщенную одной только матовой лампой, и тихо остановился въ дверяхъ, позади Цезарины. Изъ-подъ ея изящно-блѣдныхъ, тонкихъ пальцевъ гремѣли полновзвучные, могучіе аккорды—и было въ нихъ что-то величественное, грозное и скорбящее. То были звуки какого-то религіознаго гимна, какъ показалось Хвалынцеву. Онъ стоялъ и слушалъ, какъ переливались эти звуки, какъ окрылялись они парящею въ небеса силой, словно грозно-молящія стоны и вопли цѣлаго народа, и какъ потомъ стали стихать, стихать понемногу, переходя въ болѣе мягкіе, нѣжные тоны—и вдругъ, вмѣстѣ съ этимъ переходомъ, раздался страстно-пѣвучій, густой и полный контраalto Цезарины:

Боже, что Польшу родимую нашу
Славой лелѣялъ столь долгіе вѣки,
Ты, отврацавшій намъ горькую чашу
Броней своей всемогущей опеки,
Нынѣ къ Тебѣ мы возносимъ моленье:
Отдай намъ свободу! Пошли избавленье!

Она пѣла по-польски. Константинъ Семеновичъ вслушался и узналъ знакомыя слова той знаменитой «*Boże coś Polske*», которую столько разъ декламировала и переводила ему Цезарина. Но пѣнія ея до сей минуты онъ

еще не слыхалъ ни разу. Его поразило и этотъ звучный, симпатичный голосъ, и эта страстно-религіозная выразительность самой манеры пѣнія. Онъ стоялъ тихо, почти затаивъ дыханіе, изъ боязни обнаружить свое присутствіе и нарушить имъ вдохновеніе этой минуты. А эта женщина, казалось, вся была полна теперь вдохновенія и религіознаго восторга. Одѣта она была совсѣмъ по домашнему, въ кашемировый пенюаръ, съ черными четками на шеѣ. На рукѣ, открытой гораздо выше кисти, чернѣлъ вороненый браслетъ, въ видѣ каторжной цѣпи. На плечи и спину ея падали густыми, тяжелыми волнами распущенныя пепельные волосы—самая модная польская прическа того времени, служившая однимъ изъ символовъ скорби по отчизнѣ. Графиня, когда оставалась дома, почти всегда носила эту прическу, которая еще болѣе придавала оригинальной прелести ея и безъ того оригинальной красотѣ.

Она кончила свой гимнъ, а звуки, не переставая торжественно гремѣть и стонать подъ ея пальцами, мало-по-малу перелились въ иные тоны, которые дышали еще болѣе, почти фанатическимъ религіознымъ экстазомъ, и снова зазвучалъ ея контраalto:

Съ дымомъ пожаровъ и съ кровію братій
Бьетъ въ небеса нашъ отчаянный голосъ.
Вопли послѣдніе... стоны проклятій...
Съ этихъ молитвъ побѣлѣетъ и волосъ!

Этотъ молящійся женскій голосъ, эти религіозно-торжественные звуки, этотъ напѣвъ, полный фанатизма и чего-то трагическаго, и наконецъ, самый смыслъ этихъ изступленныхъ многоскорбныхъ словъ—все это глубоко проникало въ душу юноши и произвело на него потрясающее дѣйствіе. Многое поднялось и заговорило въ немъ въ эту минуту: и сладкій трепетъ религіознаго восторга, и упоеніе звуками прекраснаго голоса, и теплое, страстное чувство увлеченія этою женщиною, и боль щемящая, и энергическая рѣшимость все принести въ жертву ради этого идола. Онъ стоялъ, какъ онемѣлый, какъ зачарованный, только внутренняя дрожь пробѣгала по всему тѣлу, да слезы, иными мгновеніями, готовы были хлынуть.

Цезарина встала изъ-за рояля и только тутъ замѣтила Хвалынцева. Она нѣсколько смутилась этою неожиданностью, но замедлясь на мигъ, прямо подошла къ нему и ясно увидѣла то впечатлѣніе, подъ которымъ онъ находился.

Словъ у него не было, но глаза говорили лучше словъ, и Цезарина поняла, что это такая минута въ нравственной жизни его внутренняго міра, которой нельзя дать пройти безплодно.

— Поздравьте меня: мое знамя готово! Сегодня кончила!—свѣтло улыбаясь, протянула

она ему руку; — я предпочла остаться нынче дома, и хорошо сдѣлала. Пойдемте, я вамъ покажу.

Въ немъ только-что начиналъ еще разсѣиваться туманъ очарованія.

— Ну, что же вы стоите? Пойдемте, говорю!

— Пойдите... Дайте опомниться... Отчего вы раньше никогда не пѣли?

Цезарина съ улыбкой пожала плечами.

— Такъ... не хотѣлось... Я вообще пою мало и рѣдко, развѣ ужъ потребность такая на душу найдетъ, да и то только когда бываю одна, совсѣмъ одна. Однако-же, мнѣ хочется похвастаться предъ вами моимъ знаменемъ.

И она провела его въ будуаръ — обычное мѣсто ея работы.

Великолѣпное богатое знамя, отороченное золотой бахромой, съ золотыми кистями по концамъ, было уже снято съ палецъ и брошено, для виду, на высокую спинку широкаго готическаго кресла. Въ немъ дѣйствительно было на что полюбоваться и было чѣмъ похвалиться, и Цезарина сама залюбовалась на свое произведение.

— Все, какъ видите, все сработано моими собственными руками! — говорила она. — Никому не уступила я чести приложить къ этой работѣ свою руку! Даже весь матеріалъ, каждую нитку, каждую шелковинку сама покупала. Польское знамя должно быть сработано польскими же руками.

— И знамя исполнѣе достойно дѣла! — съ похвалою замѣтилъ Хвалынцевъ.

— А не странно ли! — вдругъ сказала она. — Вы, русскій, москаль, и вы первый увидѣли у меня это знамя, первый узнали про мою работу, на вашихъ глазахъ она кончилась, и даже первый похвалили ее вы, москаль!.. Москаль, говорю я!.. Но кто-то первый подыметъ и понесетъ его? — съ грустно-раздумчивымъ вздохомъ добавила она, послѣ короткаго молчанія.

— Найдется человѣкъ! — какъ-то неопредѣленно замѣтилъ Хвалынцевъ.

— О! если такой найдется, и если счумѣетъ быть дѣйствительно героемъ, — тихо говорила она, съ тою-же блуждающею по лицу грустно-раздумчивою улыбкою; — да я не знаю, на что бы я рѣшилась для такого человѣка! Вся благодарность польки... даже... вся душа, все сердце, вся жизнь, вся любовь моя принадлежала бы этому человѣку!..

— А если бы этотъ человѣкъ былъ русскій, москаль, какъ вы называете? — тихо спросилъ Хвалынцевъ, у котораго вдругъ захолонуло сердце.

— Все равно, кто бы ни былъ, лишь бы шелъ за свободу моей отчизны, лишь бы точно былъ героемъ! — съ огнемъ увлеченія заговорила Цезарина.

У Константина въ глазахъ даже замутилось.

Онъ былъ блѣденъ. Онъ чувствовалъ, что сейчасъ должно свершиться съ нимъ что-то рѣшительное, роковое и безповоротное. Теперь уже, казалось, не самъ онъ идетъ къ этой пѣли, а такая-то независящая отъ его воли велпкая, внутренняя сила сама влечетъ и толкаетъ его дальше, дальше и дальше...

— А если... если я возьму и понесу это знамя? — съ трудомъ, почти задыхаясь, глухо проговорилъ наконецъ Хвалынцевъ.

Цезарина долго и серьезно посмотрѣла на него. Онъ неотводно глядѣлъ въ ея лицо, какъ-бы желая прочесть въ немъ свой приговоръ.

Она вдругъ тихо подняла свои руки и положила къ нему на плечи.

— Если это будетъ такъ, я вапа! — медленно и твердо сказала она. — Но знайте, только тогда... Тогда, но не раньше!

Хвалынцевъ восторженно схватилъ ея руки и сталъ покрывать ихъ безчисленными благодарными и влюбленными поцѣлуями. Онъ не видѣлъ ея лица, не видѣлъ того выраженія и той улыбки, которая играла на немъ въ эту минуту, но чувствовалъ, что эта женщина близко склоняется надъ его поникшимъ лицомъ, почти приникаетъ къ самому плечу его; чувствовалъ на горячей пекѣ своей легкой, случайное прикосновеніе ея душистаго локонъ; чувствовалъ, что она не отрываетъ и не хочетъ отрывать рукъ изъ-подъ его поцѣлуевъ, и какое-то странное благоговѣніе къ ней проникало всю его душу.

— Aut Caesar, aut nihil! — шепталъ онъ, покрывая восторженными поцѣлуями ея блѣдныя, артистически созданныя руки.

XVIII.

Caesar.

На другой день, рано утромъ, графиня Маржецкая отослала съ человѣкомъ къ Іосифу Колтышкѣ записку, и въ тотъ же день, послѣ обѣда, совершенно неожиданно поспѣлъ Хвалынцевъ Свитка.

— Ну, пане Константы! я къ вамъ сегодня радостнымъ вѣстникомъ! — заговорилъ онъ, хлопнувъ своею ладонью въ руку студента; — поздравляю! вы свободны — арестъ вашъ конченъ, однимъ словомъ, гуляйте гдѣ благоугодно!

— И такъ все уже кончено? — безъ особенныхъ признаковъ радости спросилъ Константинъ Семеновичъ.

— То-есть, главная-то гроза миновала. Я говорю насчетъ арестовъ, казематовъ, допросовъ и прочихъ удовольствій, — пояснилъ Свитка; — но тутъ еще остаются кое-какія маленькія загвоздки, которыя, впрочемъ, легко будутъ устранены, если только вы сами того захотите.

— Въ чемъ дѣло? Какія загвоздки?

— А это ужъ по части администраціи и унпверситета. Вы этого, можетъ быть, еще не знаете, а тамъ, что называется «свыше», рѣшено, буде кто не взялъ матрикулы — долой изъ студентовъ! А кто долой, тѣхъ въ сорокъ восемь часовъ высылаютъ изъ столицы на мѣсто родины, подъ надзоръ полиціи, если нѣтъ въ Петербургѣ близкихъ родныхъ или надежныхъ поручителей. Однимъ словомъ, очень по-печительно! Нашихъ уже очень многихъ выслали на казенный счетъ, въ Польшу да въ Литву... Ха, ха, ха!.. Молодцы, ей-Богу! Мы имъ весьма даже благодарны за это. А есть у васъ кто-нибудь изъ родныхъ здѣсь?—спросилъ онъ.

— Никого не имѣется.

— Фю-фю-ю!.. Ну, эдакъ пожалуй черезъ двое сутокъ будете на пути въ славнобубенскія дебри и веси!.. Плохо дѣло!.. Надо будетъ, вначитъ, подыскать надежнаго поручителя. Есть въ виду кто-нибудь?

Студентъ сталъ припоминать въ умѣ разныхъ своихъ знакомыхъ и сомнительно пожалъ плечами. Вполнѣ подходящаго и настолько короткаго знакомаго, къ которому можно бы обратиться съ такой просьбой, у него не было на примѣтѣ.

— Право не знаю теперь... Надо подумать,—сказалъ онъ.

— Ну, вы думайте себѣ, и мы тоже подумаемъ, авось кто-нибудь и выдумаетъ! Надо постараться, — весело усмѣхнулся Свитка и взялся за шапку.

— Пойдите, — остановилъ его Хвалынцевъ.—Да слова насчетъ нашего послѣдняго разговора—я рѣшился.

Свитка притворился пріятно удивленнымъ.

— То-есть, aut Caesar, aut nihil? или рѣшился прочь?

— Я вашъ и душой и тѣломъ! дѣлайте со мною все, что потребуетъ польза дѣла,—сказалъ студентъ, и почувствовалъ послѣ этихъ словъ, словно бы какая-то гора у него съ плечъ скатилась.

Свитка въ отвѣтъ молча заключилъ его въ свои объятія и разцѣловался нѣсколькими крѣпкими поцѣлуями.

— Ну, вотъ за это спасибо! — радостно проговорилъ онъ.—И такъ, полный, нерушимый и братскій союзъ!.. Дѣло! что дѣло, то дѣло! А теперь съ первой же минуты, необходимо сообщить вамъ кой-какія главныя инструкціи. Прежде всего помните пословицу: ѣшь пирога съ грибами, а языкъ держи за зубами. Это главнѣе всего. Если вы даже и будете знать, что такой-то, напримѣръ, принадлежитъ къ организаціи, то все-таки отноудъ не выдавайте ему себя; развѣ ужъ будетъ вамъ поручено какое-либо дѣло лично къ нему—ну, въ этомъ случаѣ можно открыться, и

то потому только, что необходимость заставить. Потомъ не старайтесь узнавать фамиліи принадлежащихъ къ организаціи. Это необходимо въ видахъ обезпеченія общей нашей безопасности. Часто, по какому-нибудь дѣлу, вамъ можетъ быть указанъ человекъ, совершенно вамъ неизвѣстный. Вамъ не скажутъ ни его фамиліи, ни его квартиры, но сообщатъ какой-нибудь внѣшній характеристичный признакъ и укажутъ мѣсто, гдѣ встрѣтиться—на улицѣ, въ церкви, въ театрѣ, въ трактирѣ, гдѣ бы то ни было. Чтобы подойти и заявить ему себя, вамъ скажутъ заранѣе двѣ или три цифры, которыя вы можете показать ему на клочкѣ бумажки, либо еще лучше, подойти и сказать это число. Онъ уже будетъ знать, что вы свой и что у васъ есть дѣло лично къ нему. Это, вотъ видите, я поясню вамъ примѣромъ. Напримѣръ, вы и я. Предположите, что мы совсѣмъ не знаемъ другъ друга. Центръ поручаетъ мнѣ передать вамъ какое-нибудь сообщеніе. Вы имѣете свой собственный, постоянный и неизмѣнный номеръ или число; положимъ, что это число будетъ хоть 330.441. Я, вовсе не зная васъ, подхожу къ вамъ и осторожно, какъ будто про себя и въ сторону, говорю либо три первыя, либо три послѣднія цифры вашего числа, смотря по тому, который изъ нихъ будутъ сообщены мнѣ чрезъ моего непосредственнаго старшаго. Этотъ условный знакъ покажетъ вамъ, что я заслуживаю въ извѣстной мѣрѣ довѣрія. Если же я произнесу полное ваше число, то это значитъ, что я заслуживаю полнаго довѣрія. Тогда вы можете, во всѣмъ извѣстномъ вамъ дѣламъ, говорить со мной совсѣмъ откровенно. Затѣмъ вотъ что: всѣ дѣла ведите болѣе на словахъ, а не на бумагѣ, чтобы никакихъ уликъ не оставалось, а если иногда необходимость и заставить писать, то старайтесь выражаться какъ-нибудь вносказательно или намеками, но никогда не высказывайтесь открыто и прямо. Можете съ осторожностью вербовать себѣ новыхъ адептовъ. Обыкновенно вербуйте двухъ, съ которыми вы сами составите тройку. Тройка принята въ основаніе здѣшней организаціи. Три двойки, одна тройки и единица составляютъ десятокъ. Когда ваша двойка наwerbуетъ въ свой чередъ адептовъ, вы будете старшимъ десятникомъ, потомъ сотникомъ, и такъ далѣе. Вотъ и все, что вамъ надо пока принять къ свѣдѣнію, но это только пока, на первое время! И такъ руку, добрый товарищъ!

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ подалъ ему руку, и они снова разцѣловались. Въ душѣ его въ эту минуту заговорило чувство гордаго довольства собою, что вотъ уже сдѣланъ первый шагъ на томъ пути, идти по которому онъ вчера далъ такое торжественное обѣщаніе графинѣ Цезаринѣ.

— Ахъ, да! Еще одно!—спохватился Свит-

ка.—У насъ принято въ сношеніяхъ съ членами, и особенно въ письменныхъ сношеніяхъ, избѣгать собственныхъ именъ и настоящихъ фамилій. Это тоже въ видахъ общей безопасности. Поэтому изберите для себя какой-нибудь псевдонимъ; только псевдонимомъ лучше взять названіе какой-нибудь вещи или отвлеченнаго предмета, чѣмъ фамилію, а то, пожалуй, еще *qui pro quo* какое-нибудь выйдетъ. Что вы хотите выбрать?

Хвалынцевъ подумалъ, — и мысль его невольно вилась около Цезарины, царившей теперь и надъ его чувствомъ и надъ всѣми помыслами.

— Вы мнѣ совѣтовали вчера рѣшиться на Caesar, *aut nihil*, сказалъ онъ, — я такъ и рѣшился. Пускай же, если нужно, и псевдонимъ мой будетъ Caesar!

— Bravo! захопалъ въ ладоши Свитка, улыбувшись про себя такому мальчишеству. Bravo! Славный и многознаменательный псевдонимъ! Отлично! Безподобно!

«Имя ея, имя Цезарины напоминаетъ», подумалъ про-себя Хвалынцевъ, только ради этого напоминанія и избравшій себя такой псевдонимъ. Въ этомъ было немножко и мальчишества, немножко и рыцарственнаго донъ-кихотства, и много юношеской влюбленности.

XIX.

Нежданный гость на новую дорогу.

Свитка отсовѣтовалъ Хвалынцеву тотчасъ же перебраться на старую квартиру. Онъ ему прямо, «какъ старшій», указывалъ оставаться у графини Маржецкой до того времени, пока не будетъ присланъ надежный поручитель, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, полиціи могла бы придратъся къ экзе-студенту и выслать его на родину въ теченіе двухъ сутокъ. Въ сущности же, Свитка дѣлалъ это для того, чтобы вновь завербованный адентъ еще болѣе укрѣпился въ своемъ рѣшеніи, а кто же лучше графини могъ поспособствовать этому?

На другой день утромъ онъ опять заѣхалъ къ Константину и, сообщивъ адресъ конно-артиллериста Бейгуша, сказалъ, что Бейгушъ будетъ ждать его нынче въ началѣ восьмого часа и что Хвалынцевъ непременно долженъ явиться къ нему въ назначенное время.

Хвалынцевъ явился со всею аккуратностью новичка, усердно стремящагося къ исполненію своего долга, что для самолюбія всевозможныхъ добродѣтельныхъ новичковъ вообще бываетъ лестно и утѣшительно: это обыкновенно тѣшитъ ихъ на первое время.

Бейгушъ, вопреки ожиданіямъ Хвалынцева, ни полуслова не обронилъ ему насчетъ вступленія его въ тайное общество; онъ не выска-

залъ, по этому поводу, ни одобренія, ни признательности, ни даже какого бы то ни было мнѣнія, а прямо, безъ дальнихъ околичностей, спросилъ его:

— Вы не взяли себѣ матрикулы?

— Не взялъ.

— Стало-быть, вы окончили съ университетомъ?

— По неволѣ окончилъ.

— Въ университетѣ вы посвящали себя какой-либо исключительной специальности?

— Никакой. Я искалъ только университетскаго образованія.

— Для гражданской службы?

— Для чего бы то ни было.

— Но вы думали служить?

— Можетъ быть. Впрочемъ, окончательно я не рѣшилъ еще себѣ этотъ вопросъ.

— Такъ. Но теперь, въ настоящее время, не думаете ли вы посвятить себя какой-либо специальной дѣятельности?

— То-есть, въ какомъ это смыслѣ?

— Въ смыслѣ, напримѣръ, педагога, инженера, агронома, чиновника, врача, технолога, адвоката-юриста, и тому подобное.

— Нѣтъ, не думаю. Вообще, говорю, я не избралъ еще себѣ никакой исключительной дѣятельности.

— Но къ чему болѣе чувствуете себя склоннымъ?

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— У васъ есть какая-нибудь собственность?

— Есть часть имѣнія послѣ дяди и свое кой-какое.

— Можетъ быть, вы хотѣли бы служить по крестьянскимъ учрежденіямъ?

— Да; такая служба, мнѣ кажется, согласовалась бы съ моими способностями и симпатіями; но я пока еще не считаю себя достаточно подготовленнымъ для такой дѣятельности: у меня нѣтъ практическаго знакомства съ дѣломъ, съ бытомъ крестьянъ. Сначала, полагаю, надо эту сторону дѣла узнать покороче.

— Конечно; это безъ всякаго сомнѣнія. И такъ, вы пока еще не опредѣлили своего дѣйствительнаго пути?

— Какъ видите.

— Стало быть, для васъ, въ сущности, совершенно все равно, избрать тотъ или другой родъ дѣятельности?

— Пожалуй, кромѣ шпионскаго, — шутливо улыбунулся Хвалынцевъ.

Бейгушъ посмотрѣлъ на него вопросительно и серьезно.

— Отчего же такъ? — спросилъ онъ. — Вы смотрите на это съ очень узкой и притомъ ошибочной точки зрѣнія.

Хвалынцевъ въ свою очередь поглядѣлъ вопросительно и недоумѣло.

— Да; это такъ! — продолжалъ Бейгушъ. — Должностей безчестныхъ нѣтъ. Есть только без-

честные люди. Вспомните, что не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ—мѣсто.

— Но какими же судьбами человѣкъ можетъ украшать собою мѣсто шпіона?—смѣясь спросилъ Хвалынцевъ. Онъ былъ убѣжденъ, что Бейгушъ либо шутитъ не совсѣмъ-то кстати, либо съ разныхъ сторонъ испытываетъ его.

— Какими судьбами?—переспросилъ поручикъ;—а очень просто. Представьте себѣ, что тайная полиція Луи-Наполеона вся наполнена людьми, и душою и тѣломъ преданными революціи; представьте себѣ, что нашъ корпусъ жандармовъ, наши секретныя канцеляріи переполнены прочными людьми нашего направленія: были-ли бы возможны аресты, ссылки, неудачныя движенія и взрывы? Положительно нѣтъ! И если въ этихъ учрежденіяхъ есть уже *наши*, то не должны ли мы благодарить ихъ, преклоняться, благословлять, даже благоговѣть предъ великимъ гражданскимъ подвигомъ этихъ самоотверженныхъ людей, которые, ради пользы великаго дѣла, не задумались навлечь на себя общественное нерасположеніе, недовѣріе, презрѣніе, однимъ словомъ, рѣшились покрыть себя позоромъ имени шпіона. Это высшій героизмъ! Это болѣе, чѣмъ на баррикадахъ подставить грудь свою подъ пули. На баррикадахъ вы жертвуете только собою и получаете въ награду красивое имя отважнаго героя; здѣсь-же вы точно такъ-же жертвуете собою, даже лучшею частию своего нравственнаго я, своимъ именемъ, своею честью, и охраняете сотни, тысячи людей, спасаете отъ гибели, можетъ быть, самое *дѣло* и въ награду за все несете общественное презрѣніе слѣпыхъ глупцовъ и непосвященныхъ, пользуетесь именемъ подлеца и шпіона: въ чемъ же болѣе жертвы? Что по вашему самоотверженію и что болѣе достойно чести и удивленія?

— Согласенъ; но это уже цѣль оправдывающая средства,—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Да; цѣль оправдывающая средства!—съ спокойнымъ и твердымъ убѣжденіемъ подтвердилъ Бейгушъ.—Васъ, кажется, пугаетъ то, что это правило іезуитовъ? Не такъ-ли?

— Признаюсь, я не сочувствую іезуитскимъ правиламъ.

Бейгушъ тихо засмѣялся.

— Не сочувствуете, потому что не знаете ихъ. Это несочувствіе съ чужого голоса. Іезуиты, повѣрьте мнѣ, въ принципѣ стремятся къ высшему благу, къ торжеству высшей свободы всего человѣчества.

— На этихъ словахъ поручикъ остановился, замѣтивъ, что Хвалынцевъ начинаетъ морщиться.

— Но оставимъ іезуитовъ: они сами по себѣ, а мы сами по себѣ. Я сказалъ это такъ только, къ слову,—доспѣшилъ онъ оправдаться.—Дѣло не въ іезуитахъ, а въ извѣстномъ принципѣ. Но вѣдь и іезуиты не все же вырабатывали одну

только скверность, выработали же и они что-нибудь хорошее, пригодное и для не-іезуитовъ. Отчего-жъ бы намъ не позаимствоваться и у нихъ этимъ хорошимъ? Вѣдь это ребячество—думать иначе! Если вы хотите парализовать силы своего врага, боритесь съ нимъ оружіемъ, если не превосходящимъ, то хотя равнымъ, боритесь его же оружіемъ. Всѣ почти революціи шли этимъ путемъ; а иначе и заговоръ невозможенъ, и невозможенъ уже потому, что онъ, по самой сущности своей, обреченъ на тѣму и тайну, пока не настанетъ часъ выказать его со всею прямою, гордо и блистательно. Что дѣлать,—такова сущность вещей!

Хвалынцевъ не возразилъ ни слова.

— Но мы уклонились въ сторону,—продолжалъ поручикъ.—Я вамъ хотѣлъ сообщить только мой личный взглядъ, который, впрочемъ, раздѣляется очень и очень многими, на то, что называется шпіонствомъ. Я хотѣлъ только сказать, что если оно полезно для дѣла, то не слѣдуетъ имъ пренебрегать и гнушаться. Собственно, главнѣе-то всего, я хотѣлъ спросить васъ, совершенно ли вы равнодушны къ выбору той, или другой дѣятельности?

— По крайней мѣрѣ, специальности у меня нѣтъ еще никакой,—отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, а что вы думаете о военной службѣ?

— Хм... ухмыльнулся студентъ;—я ее не совсѣмъ-то уважаю.

— Отчего такъ?

— Оттого что, по моему, самая война есть величайшее зло и безобразіе въ человѣчествѣ, --стало-быть, какъ-же послѣ этого уважать ремесло и орудіе этого безобразія!

— Да; но это безобразіе пока неизбѣжно, и потому не лучше ли подумать о томъ, чтобы сдѣлать зло менѣе вреднымъ для хорошаго дѣла?

— Да что вы съ нимъ подѣлаете?

— Какъ что! Помилуйте! Внесите въ войско свою пропаганду, привейте къ солдатамъ, подѣйствуйте на ихъ убѣжденія, на ихъ чувства, на совѣсть, и вотъ зло уже на половину парализовано! Коли солдатъ не станетъ стрѣлять въ поляка, такъ вы уже достигли своей цѣли, а когда онъ вообще не захочетъ стрѣлять въ человѣка, въ ближняго, кто-бы тотъ ни былъ—вы уже на верху торжества своей идеи.

А если ближній, въ родѣ турка или француза, въ меня или въ русскаго солдата вдругъ стрѣлять пожелаетъ?—шутя возразилъ Хвалынцевъ.

— Не пожелаетъ. Никто не пожелаетъ, если идеи блага проникнуть въ общенародное сознание!—съ жаромъ отвѣчалъ Бейгушъ.—Но для того-то вотъ людямъ нашего заката, нашихъ убѣжденій и нужно, прежде всего, вносить пропаганду въ войско. Если у васъ нѣтъ въ жизни особой специальности, вступайте въ

военную службу, сближайтесь съ солдатомъ, вліяйте на него, старайтесь въ полкахъ завести кружки, тайныя общества, а главное — имѣйте въ виду солдата. Вы поступите юнгеромъ, — стало-быть, вы будете гораздо ближе къ солдату чѣмъ офицеръ, ваши отношенія будутъ проще, короче офицерскихъ; вотъ и постарайтесь этимъ воспользоваться для дѣла.

Хвалынцевъ слушалъ молча. Въ душѣ онъ уже во многомъ соглашался съ Бейгушемъ.

— Намъ нужны въ войскѣ хорошіе, прочныя дѣлятели не изъ корпусовъ, но вотъ именно люди вашего, напримѣръ, развитія, — продолжалъ Бейгушъ. — Въ войскѣ вы сдѣлаете пользы для дѣла неизмѣримо болѣе, чѣмъ на всякомъ другомъ мѣстѣ. И какъ погляжу я на васъ, отчего бы вамъ и въ самомъ дѣлѣ не идти? — пожавъ плечами, остановился поручикъ передъ студентомъ; — молодость и сила у васъ есть, здоровье, даже красота, все это на вашей сторонѣ. И вдобавокъ, есть кой-какое состояніе: значить, жить совсѣмъ можно. Ступайте-ка, право, господинъ Хвалынцевъ! Я указываю вамъ чудную дорогу.

— Но вѣдь тутъ, кажется, есть множество формальностей для начала, при самомъ вступленіи, — усомнился Константинъ.

— Никакихъ! — съ живостью предупредилъ Бейгушъ, — то-есть, рвнехонько никакихъ! Уже мы вамъ все это дѣло обдѣлаемъ и справимъ, и всѣ хлопоты устранимъ, все пойдетъ какъ по маслу, а вы только поступайте.

— Хорошо я подумаю, — согласился Хвалынцевъ.

Прежде чѣмъ окончательно рѣшиться, онъ хотѣлъ еще переговорить съ Цезариной. Идея о военной службѣ захватила его внезапно, врасплохъ. До нынѣшняго дня онъ никогда ни разу и не помышлялъ даже о возможности для себя военной карьеры. Люди тѣхъ кружковъ, въ которыхъ по преимуществу онъ вращался, смотрѣли на этотъ родъ службы скорѣе даже неблагоклонными и неуважительными, чѣмъ равнодушными глазами, и потому теперь, когда для дальнѣйшей жизни его предстали вдругъ новыя задачи и цѣли, — ему показалось какъ-то странно и дико видѣть и сознавать себя вдругъ военнымъ человѣкомъ, хотя поразобравъ себя, онъ вовсе не нацѣль въ душѣ своей особенной антипатіи къ этому дѣлу. Онъ хотѣлъ знать теперь, какъ взглянетъ на эту идею та женщина, для которой онъ чувствовалъ въ себѣ рѣшимость почти на все, чего бы она ни пожелала.

Въ тотъ же вечеръ онъ сообщилъ Цезаринѣ о предложеніи Бейгуша, и ждалъ, что она встрѣтитъ его слова такой улыбкой, какой обыкновенно встрѣчаются всякія несерьезныя, пустыя идеи. Но Цезарина, сверхъ ожиданія, отнеслась къ этой новости очень серьезно.

— Въ словахъ этого офицера много дѣльна-

го, — сказала она. — Да, онъ правъ, потому что дѣйствительно теперь настало такое время, что необходимо какъ можно скорѣе подготовить войско, и если вы точно не избрали еще никакой специальности — ступайте! Я васъ благословляю.

— Но я никогда не думалъ... какъ это, я... и вдругъ военный...

Онъ пожалъ плечами и сомнительно улыбнулся.

— А кто вызывался поднять и нести мое знамя? — насмѣшливо прищурилась на него Цезарина; — или, быть можетъ, вы — трусъ, господинъ Хвалынцевъ?

Эта шутка заставила его вспыхнуть яркимъ румянцемъ. Она уязвила его самолюбіе. Онъ почувствовалъ въ этой фразѣ оскорбленіе, но тутъ же въ душѣ сознался, что оно вызвано его же собственною нерѣшительностью и сомнѣніемъ.

— Трусъ ли я — не знаю, — отвѣтилъ онъ сдержанно, — можетъ и да, а можетъ и нѣтъ. Это покажетъ дѣло. Но, рѣшаясь на такой шагъ, я хотѣлъ только знать ваше мнѣніе.

— Мнѣніе женщины онамѣреніяхъ мужчины распорядиться своей жизнью! — иронически замѣтила графиня. — Въ этихъ случаяхъ у человѣка должно быть свое собственное мнѣніе.

Хвалынцевъ вновь почувствовалъ себя уязвленнымъ. Ему стало даже мальчишески досадно и на себя, и на Цезарину, и потому именно досадно, что показалось, будто она смотритъ на него въ эту минуту какъ на мальчика.

— Стоять противъ штыковъ и пуль вовсе не такъ страшно, какъ кажется, — добавила она послѣ короткаго молчанія; — вотъ все, что могу сказать я вамъ, и говорю по собственному опыту.

Это былъ новый чувствительный ударъ его самолюбію.

Хвалынцевъ начиналъ уже кусать себѣ губы отъ смущенія и досады. «Но что-жъ это! Или она въ самомъ дѣлѣ считаетъ меня за мальчишку и малодушнаго труса?» думалось ему. Графиня замолчала и равнодушно занялась просмотриваніемъ какой-то брошюры. Константинъ же положительно не чувствовалъ въ себѣ рѣшимости снова заговорить на эту тему. Молчаніе начинало уже казаться ему тягостнымъ, и съ каждой новой минутой этого неловкаго молчанія внутренняя, сдержанная досада на самого себя закипала въ немъ все больше и сильнѣе. Наконецъ, онъ какъ-то порывисто сорвался съ мѣста и молча протянулъ ей руку.

— Куда же вы? — равнодушно подняла она на него глаза изъ-за книги.

— Хочу написать этому офицеру, что я рѣшился, — сухимъ, но не совсѣмъ-то естественнымъ и внутренне раздраженнымъ тономъ сказалъ Хвалынцевъ.

— Къ чему же такая экстренность? — замѣтила Цезарина. — Это вы успѣете сдѣлать и

завтра, и притомъ на словахъ гораздо лучше, чѣмъ на бумагѣ.

— Если я, графиня, и колебался минуту, — смущенно и тихо заговорилъ онъ, — то вѣрьте, это оттого, что мнѣ... Ну, да! мнѣ больно, мнѣ тяжело разстаться съ вами!..

Послѣднія слова онъ даже почти выкрикнулъ голосомъ, въ которомъ сказывались и напряжение досады, и сдержанные слезы.

— Зачѣмъ же разстаться? — съ легкимъ недоумѣніемъ подняла она брови.

— Да вѣдь вы же уйдете отсюда!.. Будь я свободенъ, — это другое дѣло! я повсюду пошелъ бы за вами, я дѣлалъ бы все, чего бы вы ни потребовали!.. Но приковать себя къ службѣ, къ полку...

— Вы должны дѣлать не для меня, а для дѣла, которому служите, — строго замѣтила она; — но, впрочемъ, что же васъ тутъ особенно беспокоитъ? Мой отъѣздъ въ Варшаву? Ну, поѣзжайте и вы туда! Опредѣляйтесь въ какой-нибудь полкъ изъ тѣхъ, что стоятъ въ самой Варшавѣ; вотъ вамъ и разрѣшеніе вашей трудной проблемы!

И вмѣстѣ съ этими словами, она кинула на него ясный, мягко улыбающійся взглядъ, въ которомъ онъ почувствовалъ примиреніе и забвеніе, и свѣтлый и радостный, съ облегченной душою, съ безповоротною рѣшимостью на новое дѣло, Хвалынцевъ подошелъ къ своему столу.

— Такъ, значитъ, вы благословляете?

— Благословляю, разрѣшаю и отпускаю!

И она, поднявъ руку какъ бы для благословенія, шутя и кокетливо дотронулась до его лба кончиками своихъ пальцевъ.

XX.

Поручитель.

Черезъ день, рано утромъ, къ Хвалынцеву опять-таки прѣхалъ Свитка.

— Ну, пане Хвалынцевъ, вставайте и какъ можно скорѣй одѣвайтесь!

— Это еще ради чего такъ?!

— Поручитель вамъ найденъ. Да вѣдь какой поручитель-то! Особа! Превосходительная особа — поймите вы это! Вѣдь съ такимъ поручителемъ вы какъ у Христа за пазухой!

— Да къ чему сейчасъ одѣваться-то?

— Э, батюшка: время! Онъ принимаетъ только до одиннадцати часовъ, а въ одиннадцать къ нему являются съ докладами, а въ двѣнадцать ужъ уѣзжаетъ на службу, — то-есть преаккуратный старикъ, я вамъ скажу! Вы теперь поѣзжайте къ Колтышкѣ: онъ васъ будетъ ждать.

— А къ Колтышкѣ зачѣмъ еще?!

— Ха-ха!.. Зачѣмъ!.. Да вѣдь мы-то и все дѣло черезъ Колтышку обдѣлали! Самымъ на-

политичнымъ образомъ! Колтышко, спасибо, добрый человекъ, не отказался помочь, а то вамъ плохо было-бы!.. Ну, такъ живѣй, живѣй одѣвайтесь, батюшка! Нечего мѣшкать!

Въ полчаса Хвалынцевъ былъ уже совершенно готовъ предстать предъ очи особы и поѣхалъ къ Іосифу Игнатьевичу. Тотъ уже дѣйствительно дождался его, и они отправились.

Особа эта состояла на русской государственной службѣ, въ рангѣ тайнаго совѣтника, занимала очень видное и даже вліятельное мѣсто, пользовалась съ разныхъ сторонъ большимъ репешкомъ, была украшена различными регалиями и звѣздами, имѣла какую-то пожизненную казенную аренду, благопріобрѣтенный капиталъ въ банкѣ, подругу въ Средней Подъяческой, кресло въ оперѣ и балетѣ, авторитетный голосъ въ обществѣ и репутацію въ высшей степени благонамѣреннаго человека въ высшихъ сферахъ. Именовалась эта вѣская особа Маріаномъ Адалбертовичемъ Почебутъ-Коржимскимъ.

Въ передней особы, форменный курьеръ или вѣстовой снялъ съ обоихъ посѣтелей верхнюю одежду и пошелъ докладывать.

— Ихъ превосходительство изволятъ просить васъ пожаловать въ кабинетъ, — отнесся онъ по выходѣ отъ особы исключительно къ Іосифу Игнатьевичу.

— Вы подождите пока въ приемной, — шепнулъ Колтышко Хвалынцеву.

Кабинетъ его превосходительства обрисовывалъ въ немъ и любителя просвѣщенія, и любителя государственной службы, и любителя прекраснаго пола, и любителя благонамѣренности. Объ изяществѣ и комфортѣ нечего и говорить. Три письменные стола съ дѣловыми бумагами, «Сенатскими Вѣдомостями» и Сводомъ Законовъ краснорѣчиво указывали на разнообразныя государственно-служебныя занятія Маріана Адалбертовича; тысячи полторы томовъ въ изящныхъ дубовыхъ шкафахъ, съ бюстами Сократа, Платона, Демосфена, Коперника и Мпцкевича громко говорили о его любви къ просвѣщенію. Копія съ Нефовской Наяды и съ двухъ его же нимфъ, мясистая вакханка подъ тѣнью винограда, французскія гравюры, изображающія Фанни Эльслеръ, двухъ паѣздищъ и еще что-то въ этомъ же родѣ; наконецъ, двѣ или три большія фотографіи балетныхъ танцовщицъ съ задранными ножками, показывали, что сей почтенный старецъ цѣнитъ искусство, пластику и можетъ претендовать на репутацію цѣнителя женской красоты, а цѣлый рядъ портретовъ Императорскаго Дома, начиная съ Петра Перваго, убѣждалъ всѣхъ и каждого въ его благонамѣренности и въ добрыхъ вѣрноподданническихъ чувствахъ.

Несмотря на ранній часъ утра, особа была уже гладко выбрита, въ напояженномъ и подвитомъ парикѣ, въ форменномъ вицъ-мундирѣ,

со звѣздами. Его превосходительство казался глубокомысленно погруженнымъ въ подписываніе чего-то, когда въ кабинетъ почтительно вошелъ Іосифъ Игнатьевичъ.

— Вы, вѣроятно, съ этихъ студентомъ? — снисходительно и мягко улыбнулась особа, дѣлая Колтышкѣ округло-мягкій жестъ въ видѣ ручья.

— Ваше превосходительство угадали.

— Такъ онъ въ самомъ дѣлѣ стоитъ, чтобы ручаться?

— Это общее мнѣніе людей, уснѣвшихъ коротко узнать его за послѣднее время.

— Хм... Не довѣряю я этой русской молодежи!.. Нѣтъ въ нихъ, знаете, этой стойкости, упора... выдержки настоящей нѣтъ.

— Этотъ человѣкъ, по отзывамъ, обѣщаетъ быть очень полезнымъ. Онъ съ тактомъ и достоинствомъ держалъ себя, напримѣръ, во всей этой студентской исторіи.

— Глухая исторія! — брызгливо и пренебрежительно двинулъ нижней губой его превосходительство.

— Совершенно согласенъ, но она была необходима, — возразилъ Колтышко.

— Несвоевременно, — пробормоталъ Потебунъ-Коржимскій. — И что за плоды! Усиленіе полицейскаго надзора, всеобщая репрессія... По моему, она только повредила ходу дѣла.

— То-есть, чѣмъ же? — скромно возразилъ Колтышко.

— Какъ чѣмъ?! Заставила оглянуться, насторожить уши... И все, что было уже сдѣлано къ должной подготовкѣ молодежи — все это назадъ теперь!

— Н-нѣтъ... Я позволяю себѣ думать, что опасенія вашего превосходительства нѣсколько напрасны, — осторожно замѣтилъ Колтышко. — Мы вѣдь ничего серьезнаго и не ждали отъ всей этой исторіи, и не глядѣли на нее какъ на серьезное дѣло. Она была не больше какъ пробный шаръ — узнать направленіе и силу вѣтра; не болѣе-съ! Польская фракція не выдвинула себя на показъ ни единымъ жокакомъ; стало быть никто не смѣетъ упрекнуть отдѣльно однихъ поляковъ: дѣйствовалъ весь университетъ, жожаки были русскіе.

— Да это я все очень хорошо и самъ знаю! — пожала плечами вѣская особа.

— Исторія если и была вызвана, съ помощью благоприятныхъ обстоятельствъ, — скромно продолжалъ Колтышко, — то единственно за тѣмъ, чтобы опредѣлить почву подъ ногами, и не столько для настоящаго, сколько для будущаго. Надо было узнать на опытъ, на сколько подготовлено общество, масса, общественное мнѣніе и, пожалуй, даже войско. Это одно, а потомъ необходимо было знать, на сколько слабо или сильно правительство. Къ счастью, оно оказалось непослѣдовательнѣе и слабѣе даже, чѣмъ мы думали.

— Да въ этомъ-то отношеніи я и прежде понималъ все дѣло точно также, — согласился Потебунъ-Коржимскій, — вы мнѣ новаго ничего этимъ не говорите. Дѣйствительно, дѣло не болѣе какъ пробный шаръ, какъ барометръ общественнаго настроенія, — это такъ; но зло исторіи, по моему, въ томъ, что теперь огромная масса молодежи лишена своего естественнаго и легально-гарантированного центра, какимъ былъ университетъ. Теперь же эти силы разбросались, онѣ раздроблены, разъединены. А вліять на людей въ однородной массѣ, такъ сказать въ кучѣ, въ стадѣ, или вліять на каждого порознь и въ одиночку — это двѣ совсѣмъ разныя задачи, и вторая несравненно, неизмѣримо труднѣе! Вотъ въ чемъ нанесли вы ударъ самимъ себѣ! И я говорилъ вамъ это и прежде!

— Въ этомъ ваше превосходительство правы, — почтительно согласился Іосифъ Игнатьевичъ, — но дѣло далеко не непоправимое.

— А чѣмъ вы его поправлять будете? На поправку нужно время, нужно хотя бы наружное, но полное успокоеніе.

— Время своимъ чередомъ, а успокоенія, пожалуй, что и не нужно теперь, — возразилъ Колтышко. — Будутъ составляться кружки, тайныя братства, потайная пресса будетъ давать направленіе — и для того, и для другого есть уже достаточно подготовленныхъ дѣятелей, — стало быть пропаганда пойдетъ своей дорогой, если еще даже не сильнѣе. А дѣло это, кромѣ пробнаго шара, неожиданно дало теперь еще и положительныя, хорошіе результаты: оно озлобило молодежь, во-первыхъ, во вторыхъ — общественное мнѣніе...

— Что до результатовъ, то я вижу только одинъ хорошій, перебила особа, — и это именно то, что правительство распорядилось экстренною высылкой на родину большей части не-матрикулистовъ.

— Это-то вотъ я и хотѣлъ сказать вашему превосходительству, — съ видимымъ удовольствіемъ подхватилъ Колтышко. — Мѣра необыкновенно удобная, необыкновенно кстати! Благодаря ей, сколько энергичныхъ агентовъ и пропагандистовъ разсѣялось теперь по Литвѣ, по Польшѣ! Каждый сдѣлаетъ свое дѣло, и дѣло не малое!

Его превосходительство, въ знакъ полного согласія, улыбнулся мягкой и многодоговальной улыбкою.

— Такъ какъ же, ваше превосходительство, насчетъ молодого бозла? — шутиливо обратился къ нему Колтышко.

— Да что-жъ, я готовъ, пожалуй... Вы что съ нимъ намѣреваетесь сдѣлать?

— Его убѣдили идти на военную службу.

— Гм... Это хорошо. Гдѣ же онъ опредѣляется? Здѣсь, въ Петербургѣ?

— То-есть, снарядимъ-то мы его здѣсь, но не въ гвардію, а пошлемъ въ какой-нибудь изъ

варшавскихъ полковъ. Тамъ онъ будетъ теперь полезенъ. А Чарыковский все это обдѣляетъ въ Главномъ Штабѣ и быстро и хорошо!

— Хм... Прекрасно! — задумчиво одобрила osoba.—Такъ что-жь, пожалуй, кликните сюда этого юношу.

Колтышко ввелъ въ кабинетъ Хвалынцева.

— Иосифъ Игнатьевичъ просилъ меня торопиться за васъ передъ начальствомъ,—стереотипно-официальнымъ тономъ обратился Маріанъ Адалбертовичъ къ Константину, не протягивая ему руки и не сажая, для чего между прочимъ и самъ поднялся съ мѣста.—Вы, молодой человѣкъ, надѣюсь, очень хорошо понимаете значеніе всякаго поручительства, и потому, конечно, постараетесь поведеніемъ своимъ оправдать то участіе, какое беретъ въ васъ, вотъ, почтеннѣйшій Иосифъ Игнатьевичъ. Я тѣмъ охотнѣе готовъ сдѣлать для него это маленькое одолженіе, что и самъ былъ когда-то молодъ, и самъ тоже увлекался, и до сихъ поръ даже сохранилъ любовь къ наукѣ и молодости... Я не врагъ молодого поколѣнія; напротивъ, я люблю молодое поколѣніе и жду отъ него многого... м-м... много хорошаго. Поэтому дѣлаю для васъ тѣмъ охотнѣе...

Хвалынцевъ слегка поклонился.

— Вы, я слышалъ, желаете избрать себѣ военную карьеру?

— Да, я поступаю въ военную службу.

— Хотя я и гражданскій человѣкъ, но... одобряю!—замѣтилъ, съ благосклоннымъ жестомъ, его превосходительство.—Военная служба для молодого человѣка на мѣшаетъ... это формируетъ, регулируетъ... Это хорошо, однимъ словомъ!.. Постарайтесь и на новомъ своемъ поприщѣ стойко исполнять то, къ чему вызываютъ долгъ и честь, и ваша совѣсть. Я надѣюсь, что вы исполнѣ оправдаете ту лестную рекомендацію, которую сдѣлалъ мнѣ о васъ многоуважаемый Иосифъ Игнатьевичъ.

Хвалынцевъ еще разъ отдалъ легкій поклонъ.

— Я напишу сейчасъ же маленькую записочку къ свѣтлѣйшему, а вы отправитесь съ нею къ нему въ канцелярію, дождитесь его выхода къ просителямъ и тогда вручите ему лично. Я напишу, что прошу освободить васъ отъ полицейскаго надзора на мои поруки и даже прибавлю, что вы поступаете въ военную службу. Это ему будетъ приятно,—съ улыбкой замѣтилъ, въ скобкахъ, Почебуть-Коржимскій.—Вы передайте его свѣтлости отъ меня, что я самъ заѣду къ нему сегодня, если позвolyтъ дѣла службы. Прошу садиться.

И указавъ Хвалынцеву на стулъ, его превосходительство присѣлъ къ столу и въ очень почтительныхъ выраженіяхъ, не въ формѣ «маленькой записочки», но въ формѣ письма, написалъ къ свѣтлѣйшему, что онъ покорнѣйше проситъ его за студента Хвалынцева и

прочее, что требовалось въ данномъ случаѣ. Въ этомъ же письмѣ было и извиненіе, что многообильныя и важныя дѣла службы лишаютъ его удовольствія выразить лично эту просьбу предъ его свѣтлостью.

Маріанъ Адалбертовичъ запечаталъ конвертъ собственнымъ перстнемъ и съ мягкой любезностью вручилъ свое посланіе Константину.

— Итакъ, молодой человѣкъ, желаю вамъ успѣха на вашемъ поприщѣ. Прощайте!

И Хвалынцевъ тотчасъ же откланялся.

XXI.

Что немножко беспокоило Хвалынцева.

Въ этотъ же самый день Константинъ могъ считать себя совсѣмъ уже свободнымъ человѣкомъ. Поручительство вѣской особы, принятое исполнѣ благосклонно въ канцеляріи его свѣтлости, становилось ему теперь болѣе чѣмъ достаточной гарантіей личной безопасности и спокойствія. Оно могло служить какъ бы патентомъ на благонамѣренность молодого человѣка въ глазахъ властей предержавныхъ. Веселый и какъ нельзя болѣе довольный собою, полетѣлъ Хвалынцевъ на извозчикѣ къ Иосифу Игнатьевичу горячо поблагодарить его за такое существенное участіе къ его особѣ. Въ типографской конторѣ онъ засталъ и Лѣсницкаго, и Свитку и даже самого Колтышку. Всѣ они поздравляли его съ счастливымъ исходомъ, а Василій Свитка выказалъ даже радость и, повидимому, непритворнаго свойства. До прибытія Хвалынцева, въ этой самой конторѣ, между этими тремя лицами происходили нѣкоторыя совѣщанія, предметомъ которыхъ между прочимъ былъ и «новый козелъ», какъ спеціально прозвали они Константина, въ качествѣ единаго отъ членовъ многочисленнаго «*Панурова стада*». Свитка доказывалъ, что хотя Хвалынцевъ и «уловленъ», тѣмъ не менѣе его пока еще невозможно выпустить на полную свободу: «нянька все еще нужна куда», говорилъ онъ; «спусти его съ привязи, пожалуй, забрыкается». Возможность этого брыканья Свитка предусматривалъ въ неизбежной встрѣчѣ Хвалынцева со Стрѣшневой. Надо было не допустить этой встрѣчи по крайней мѣрѣ хоть до тѣхъ поръ, когда все уже будетъ кончено, когда рекомендательное письмо отъ очень значительнаго лица изъ Главнаго Штаба къ полковому командиру и начальнику дивизіи будетъ добыто чрезъ Чарыковского, когда деньги и подорожная будутъ лежать въ карманѣ, такъ что только бы завтра сѣсть и ѣхать, тогда пусть себѣ на прощанье повидается. Все это могло быть сдѣлано менѣе чѣмъ въ недѣлю времени, и на эти-то дни Свитка думалъ перетянуть Хвалынцева къ себѣ на квартиру, подъ свой ближній контроль, ради

пугаго развитія и укрѣпленія въ новомъ «символѣ вѣры». Петербургскій центръ имѣлъ въ виду для Константина довольно значительное, по его соображеніямъ, назначеніе въ Варшавѣ, въ сферѣ тайной революціонной дѣятельности, и назначеніе именно такое, на которомъ *долженъ* быть отнюдь не полякъ, но непременно русскій.

Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, Свиткѣ удалось наконецъ получить согласіе Константина на переездъ въ его квартиру. Они немедленно же отправились къ старой хозяйкѣ Хвалынцеву, у которой онъ нанималъ себѣ комнату, для того чтобы, не теряя лишняго времени, сейчасъ же разсчитаться съ ней и заняться переездомъ на новое помѣщеніе.

Хозяйка очень обрадовалась внезапному появленію стараго и всегда очень исправнаго въ расчетахъ жильца, и съ первыхъ же почти словъ объявила, что въ его отсутствіе какъ-то пріѣзжала сюда какая-то молоденькая барышня и очень беспокоилась и спрашивала, не извѣстно ли какъ и куда, и когда онъ уѣхалъ, и когда будетъ назадъ, но ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ хозяйка не могла дать ей никакого отвѣта.

— Она оставила записку вамъ, вотъ здѣсь, на письменномъ столѣ,—пояснила она въ заключеніе.

«Эге, такъ барышня даже и на квартиру при- скакала... Это неудобно!» подумалъ-себѣ Свитка, выслушавъ всѣ эти новости, послѣ чего еще болѣе созналъ необходимость поскорѣе удалить Константина отъ возможности преждевременной встрѣчи.

Хвалынцевъ торопливо кинулся къ письменному столу, гдѣ на виду лежалъ оторванный полустать бумаги, въ нѣсколькихъ строкахъ исписанный карандашемъ быстрымъ и тревожнымъ женскимъ почеркомъ.

Свитка внимательно слѣдилъ за выраженіемъ его лица и видѣлъ, какъ тревожно забѣгали его глаза по этимъ косымъ строчкамъ.

«Бога ради, гдѣ вы и что съ вами?» стояло въ этой запискѣ. «Эта ужасная неизвѣстность въ-конецъ измучила меня. Я просто голову теряю. Если вы вернетесь въ эту квартиру живы и здоровы, то Бога ради, не медля ни одной минуты, сейчасъ же пріѣзжайте къ намъ. Все равно въ какое время, только пріѣзжайте. Если же нельзя, то хоть увѣдомьте. Я жду. Ваши Т.»

«Мы перемѣнили квартиру. Адресъ: Литейная улица, домъ № 00».

Свитка подмѣтилъ, какъ какое-то сильное движеніе внутренняго недовольства первически передернуло лицевые мускулы Хвалынцева.

Онъ еще разъ перечиталъ записку и молча опустился въ кресло, полускрывъ глаза рукою.

Странное дѣло! Въ послѣдніе дни онъ даже какъ-то совсѣмъ забылъ про Стрѣшневу. Въ головѣ его ни разу не мелькнулъ вопросъ: «Что

съ ней? Что она думаетъ объ его странномъ отсутствіи? Какъ на нее должна дѣйствовать эта томительная неизвѣстность?» Предъ его помыслами, предъ его душой и сердцемъ, въ его воображеніи, въ его волѣ и желаніи стояла одна только Цезарина и Цезарина, вездѣ и во всемъ лишь она одна всецѣло и нераздѣльно. Всѣ эти дни онъ жилъ какою-то усиленною напряженною и одурманенною жизнью, среди какого-то фантастическаго міра затаенно-страстныхъ внутреннихъ ощущеній, подъ царящимъ обаяніемъ необыкновенной и могучей, какъ казалось ему, женщины. А теперь этотъ болтливый разсказъ квартирной хозяйки и эти нѣсколько строкъ, написанныя тревожною рукою и дышавшія такимъ взволнованнымъ чувствомъ тоски и любовью, разомъ спустили его изъ міра восторженныхъ грезъ въ дѣйствительность настоящей жизни.

Онъ почувствовалъ острый уколъ укоризны, который нанесло ему его собственное сознаніе, его собственная совѣсть. Онъ ясно сознавалъ всю глубокую неправду свою предъ этою любимою дѣвушкою и въ томъ, что его одолѣло новое чувство къ другой женщинѣ, и въ томъ, что послѣ этой записки слѣдовало бы сейчасъ же, бросивъ все, летѣть къ ней, а между тѣмъ на такой подвигъ онъ рѣшительно не чувствовалъ въ себѣ силы. Поѣхать къ ней, успокоить, обрадовать ее, быть такимъ съ нею какъ прежде, а возможно ли это теперь быть такимъ какъ прежде? Притвориться, играть комедію? Но это не честно, да и къ чему жъ оно поведетъ въ концѣ концовъ-то? Осудить себя за чувство къ Цезаринѣ, задушить его, выгнать его вонъ изъ сердца,—но опять-таки возможно ли это, когда это чувство, Богъ-вѣсть какъ и когда, незамѣтно и невольно, но такъ могуче овладѣло имъ, когда изъ-за него онъ всю будущность, всю жизнь свою поставилъ уже на карту, когда безповоротно сказано себѣ: «aut Caesar, aut nihil», когда наконецъ и теперь, послѣ этой записки, послѣ всѣхъ колючихъ укоровъ совѣсти, послѣ сознанія своей неправоты, это проклятое чувство наперекоръ всему—и разсудку, и долгу, и совѣсти,—вотъ такъ и взмываетъ его душу, какъ птицу въ ясную высь, въ неизвѣстную даль и все заглушаетъ, все уничтожаетъ собою. И посреди этого внутренняго хаоса, въ его душѣ ясно стоитъ одинъ только яркій и чудный образъ Цезарины, съ ея знаменемъ въ рукахъ, съ ея героическимъ призваніемъ, съ ея обѣтомъ полной и беззаветной любви, и вотъ такъ и манитъ, такъ и влечетъ къ себѣ словно какой-то сверхестественной, чарующей силой и симпатіей.

— Ну, батюшка, некогда мечтами заниматься! Время и за дѣло! Давайте-ка собираться поскорѣе да разсчитывайтесь съ хозяйкой!—настойчиво заторопилъ его Свитка, и юноша по первому его слову озабоченно захопотапалъ со свирными сборами. Онъ обрадовался первой возможности ухватиться за какое-нибудь дѣло, а

тѣмъ болѣе за дѣло, не терпящее отлагательства, для того, чтобы этимъ дѣломъ, хотя бы механически, перебить наплывъ своихъ тяжелыхъ мыслей и ощущений, и для того, наконецъ, чтобы въ немъ найти баюкающій предлогъ и оправданіе самому себѣ въ томъ, что не летитъ тотчасъ же къ Стрѣшневой по ея призыву. Этими сборами, этимъ нетерпящимъ дѣломъ онъ просто вильнулъ передъ собственной совѣстью, просто думалъ обмануть себя, стакнуться съ самимъ собою, и все это оттого, что въ данную минуту рѣшительно не чувствовалъ въ себѣ силъ исполнить молящую просьбу дѣвушки и самъ съ собою не рѣшилъ еще, какъ быть и что дѣлать относительно ея дальше.

Сборы были не долгіе, и часа черезъ полтора Хвалынцевъ уже переѣхалъ на квартиру Свитки. Онъ рѣшилъ себѣ, что во всякомъ случаѣ надо поѣхать къ Стрѣшневымъ. Пришла было ему мысль замѣнить собственное посѣщеніе письмомъ, и онъ даже сѣлъ къ столу и принялся за писаніе, но дѣло какъ-то не клеилось.

«Нѣтъ, прямо на словахъ лучше!» порѣшилъ онъ наконецъ, бросая перо. «Слова нѣтъ, оно тяжело, очень тяжело и ей, и мнѣ будетъ это объясненіе, но все же лучше прямо!.. Надо ѣхать самому»....

Но рѣшивъ, что надо ѣхать, Хвалынцевъ все-таки не ѣхалъ. Все что-нибудь да останавливало, задерживало, мѣшало ему исполнить это намѣреніе. Въ сущности же ничто не мѣшало и ничто, при твердой волѣ, не могло бы остановить, если бы самъ Хвалынцевъ не радъ былъ придратъ къ малѣйшему предлогу, чтобы отсрочить часть своего посѣщенія. Все ему было некогда. Утромъ онъ говорилъ себѣ, что поѣдетъ послѣ обѣда или вечеромъ. Но тутъ подвертывался Свитка съ какимъ-нибудь дѣломъ, съ какими-нибудь наставленіями и инструкціями касательно будущихъ дѣйствій въ Варшавѣ, то надо было брать изъ университета бумагу, писать прошеніе объ опредѣленіи въ военную службу и отвозить все это къ Бейгушу, то вдругъ Свитка тапилъ его за чѣмъ-нибудь къ Лѣсницкому или на «литературный вечеръ», въ «вружокъ» Офицерской улицы, то вдругъ графиня Цезарина присылала сказать, что нынче она ждетъ къ себѣ Хвалынцева обѣдать, и вотъ такимъ образомъ, глядишь, день и промелькнулъ, а къ Стрѣшневымъ все-таки не съѣзжано.

— Ахъ, Боже мой, опять!.. Да когда жъ я, наконецъ, поѣду!.. Вѣдь нужно, вѣдь это необходимо! Вѣдь это подождетъ, наконецъ, не ѣхать! — горько и мучительно посылалъ себѣ Константинъ Семеновичъ укоры, ложась въ постель, и вслѣдъ за тѣмъ баюкалъ себя твердымъ рѣшеніемъ: «Ну, ужъ завтра баста! Завтра утромъ непременно поѣду!»

Но наступало завтра, и рѣшеніе изъ столь твердаго «непремѣнно» переходило въ шаткое: «надо съѣздить»; а тутъ опять подвертывается

препятствующій случай, и «надо съѣздить» отлагалось до вечера. И такъ шелъ день за день. Хвалынцевъ чувствовалъ, что относительно Татьяны у него не чиста совѣсть, а чѣмъ дольше тянутся эти проволочки, тѣмъ нечище и тяжелѣе становится на совѣсти, но признаться въ этомъ самому себѣ, безпощадно обнажить передъ собою это нехорошее чувство, назвать его настоящимъ именемъ у него духу не хватало. Онъ какъ бы старался закрыть себѣ глаза, забыться, закружиться въ какомъ-нибудь вихрѣ, и не могъ: укоряющее чувство, нѣтъ-нѣтъ, да все-таки колюче больно, до стыдливой краски въ лицѣ, вставало передъ нимъ во многія минуты этихъ дней. Такъ часто бываетъ съ людьми, которые знаютъ, что имъ нужно, напримѣръ, съѣздить туда-то и сдѣлать то-то, но которымъ исполнить это почему-либо неприятно или неловко, совѣстно, тяжело, и они день за день откладываютъ свое рѣшеніе, и съ каждымъ днемъ выполнение даннаго рѣшенія становится для нихъ все труднѣе, все неловче и тяжелѣе, тогда какъ сразу, по первому порыву, оно было бы неизмѣримо и легче, и проще, и короче. Такъ точно было и съ Хвалынцевымъ, и онъ хорошо чувствовалъ все это, но... все-таки баюкалъ и обманывалъ себя разными оправдательными предлогами, не смѣя или боясь сознать въ себѣ малодушную нерѣшительность. Человѣкъ всегда склоненъ думать о себѣ лучше, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, внутри своей сокровенной сущности.

XXII.

Послѣднія инструкціи.

Однажды утромъ къ двумъ новымъ сожителямъ пріѣхалъ Бейгушъ.

— Ну, поздравляю васъ! — съ торжествующимъ видомъ обратился онъ къ Хвалынцеву. — Письмо уже послано въ дивизію вмѣстѣ съ бумагами. Да вѣдь какое письмо-то, батюшка! Какая рекомендація! Да послѣ этого, знаете ли вы, полковой-то командиръ передъ вами просто на заднихъ лапкахъ станетъ ходить! Ха-ха!.. Теперь вы, можно сказать, почти ужъ и опредѣлены. Стоять будете въ самой Варшавѣ, при полковомъ штабѣ. Ну-съ, нижній чинъ! Что же вы? Извольте встать и вытянуться предъ офицеромъ! Руки по швамъ! — весело шутилъ онъ. — Вѣдь я теперь въ нѣкоторомъ родѣ начальство надъ вами. А и лихой же солдатъ будетъ! ей-Богу лихой!.. Ха-ха-ха!.. Вотъ какъ мы скоро васъ обдѣляли! Разъ, два и готово!

— Дѣйствительно скоро! — удивился Хвалынцевъ, никакъ не ожидавшій такой быстроты.

— Потому что, батюшка, все это въ нашихъ рукахъ, всѣмъ мы этимъ орудуемъ! — самодовольно похвалился Бейгушъ; — а вотъ вамъ кстати ужъ и подорожная готова. Озаботился,

батюшка, самъ взялъ, чтобы васъ отъ лишнихъ хлопотъ избавить!—объявилъ онъ, подавая Хвалынцеву бумагу;—а остальные документы всѣ уже посланы съ письмомъ же. Ну-съ, довольны вы такою, по истинѣ, военною быстротою?

— Я даже и опомниться не успѣлъ,—улыбнулся Хвалынцевъ.

— То-то же вотъ и есть! А вы только слушайте своему дѣлу какъ слѣдуетъ, понимаете-съ?—какъ слѣдуетъ: умно, ловко, дѣятельно, такъ только ротикъ разинете, какъ увидите съ какою быстротою пойдетъ служебная карьера-съ!.. Ха-ха-ха!.. И повышенія, и отличія, и все это будетъ!

— Да я къ этому равнодушенъ,—махнулъ рукою Константинъ Семеновичъ.

— Вы равнодушны, да мы-то не равнодушны!—возразилъ Бейгушъ.—Для насъ необыкновенно важно, чтобы въ ту минуту, когда наступитъ для насъ полное торжество, наши люди возвышались надъ массами не однимъ только личнымъ вліяніемъ, но и вѣдѣнными отличіями. Декорумъ, батюшка, великая вещь! Декоруму-то вѣдь массы скорѣе и охотнѣе подчиняются. Вы, напимѣръ, юнкеръ, а я поручикъ; и вы, и я, положимъ, оба имѣемъ нравственное вліяніе на солдата, но будь-ка вы полковой командиръ, а я дивизионный—вліяніе-то наше вѣдь на сто градусовъ поднялось бы!.. Будь-ка въ головахъ полковыхъ колоннъ все наши люди—ге-ге!.. Посмотрѣли бы вы, что изъ этого вышло бы!.. Но оно и будетъ! Оно и будетъ такъ!—одушевленно заключилъ поручикъ, со всею полнотою и твердостью искренняго убѣжденія.

— Когда же я могу ѣхать?—освѣдомился Хвалынцевъ.

— Да хоть завтра. Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Деньги на дорогу есть?

— Есть пятьсотъ рублей свободныхъ.

— Ну, на первое время въ Варшавѣ этого будетъ очень и очень достаточно, а если бы тамъ, сверхъ ожиданія, вдругъ понадобились деньги, то я вамъ передъ отъѣздомъ дамъ одинъ адресъ и маленький бланкъ; съ этимъ бланкомъ вы явитесь по адресу, и вамъ въ извѣстной степени будетъ открытъ кредитъ. Ну-съ, а теперь главная суть дѣла: центръ назначаетъ васъ членомъ варшавскаго отдѣленія русскаго общества «Земли и Воли». Главная ваша цѣль—пропаганда въ войскѣ, а частности и подробности и вообще указанія о своей дѣятельности вы узнаете уже на мѣстѣ отъ предсѣдателя. Номинація ваша на эту должность послана уже въ Варшаву. Ваше число—(Бейгушъ вынулъ свой бумажникъ и прочелъ въ записной книжкѣ), ваше число, на всякій случай, будетъ 7,342. Запишите его у себя и запомните. И вотъ вамъ еще одинъ адресъ,—сказалъ онъ, подавая Константину клочекъ бумажки.—Вы отыщите по немъ поручика Палаяницу, и когда вы придете къ нему, то подайте ему еще вотъ этотъ клочекъ,

и это, смотрите, не забудьте же сдѣлать при первой рекомендаціи, прежде всего. Это очень важно. Да смотрите, не потеряйте его какъ-нибудь!

Хвалынцевъ принялъ изъ рукъ Бейгуша еще одинъ новый клочекъ бумажки, зигзагами оторванный съ одной стороны, на которомъ было написано: *заслужив...*

Писаніе это доходило какъ разъ до оторваннаго края, а продолженіе слова или фразы, очевидно, должно было находиться на другой половинѣ этой бумажки.

Константинъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Бейгуша.

— Что же это должно означать?—спросилъ онъ.

— А, это необыкновенно важный клочекъ. Это для насъ все равно что вашъ паспортъ или вашъ нравственный аттестатъ,—пояснилъ поручикъ.—Вы видите, что эта бумажка оторвана зигзагомъ; ну, такъ вотъ другая ея половинка отослана въ Варшаву, вмѣстѣ съ вашей номинаціей, а тамъ ужъ она будетъ передана Палаяницѣ, и когда вы къ нему явитесь и предъявите вашу половинку, то онъ свѣритъ ее со своей, и это будетъ для него подтвержденіе, что вы дѣйствительно то самое лицо, на имя котораго у нихъ имѣется номинація. На той половинкѣ обозначена и степень довѣрія, на которую вы имѣете право. Такъ вы сами видите теперь, что клочекъ этотъ весьма важенъ,—заключилъ Бейгушъ.—Въ такомъ великомъ дѣлѣ, батюшка, надо имѣть въ виду всѣ случайности и обезопаситься всевозможными предосторожностями. Это необходимо!

Бейгушъ торопилъ его отъѣздомъ, да Хвалынцевъ и самъ желалъ поскорѣй разстаться съ Петербургомъ, уйти въ новую среду, въ новую заманчивую дѣятельность, гдѣ ему въ непродолжительномъ времени предстояла встрѣча съ графиней Цезариной, уже на варшавской почвѣ. Онъ рѣшилъ выѣхать завтрашній же день, а на сегодня сдѣлать кое-какія послѣднія приготовленія къ отъѣзду и въ послѣдній разъ заѣхать къ Цезаринѣ—проститься до новаго свиданья.

Не теряя времени, онъ тотчасъ же выѣхалъ изъ дому.

XXIII.

«Довольно!»

«А вѣдь надобно заѣхать къ Стрѣшневымъ; вѣдь это невозможно же уѣхать такъ, не повидавшись, не простившись. Совсѣмъ даже неблагоприятно выходитъ», думалъ Хвалынцевъ, проѣзжая по Невскому. И вдругъ, обращая къ самому себѣ всѣ эти укоризненные наставленія, замѣтилъ онъ случайно, что на встрѣчу ѣдетъ кто-то, какъ-будто похожій на Татья-

ну Николаевну, и въ этотъ самый мигъ болѣзненно почувствовалъ, что его словно жаромъ всего обдало. Спѣшно юркнулъ онъ лицомъ въ бобровый воротникъ шинели и спрятался въ немъ. Это было какое-то скорѣе безотчетно-инстинктивное, чѣмъ сознательное движеніе. Но поровнявшись со встрѣчной женщиной, Константинъ Семеновичъ робко кинулъ на нее искоса пытливый взглядъ и увидѣлъ, что онъ ошибся. Это была не Татьяна Николаевна. Ему стало совѣстно и стыдно за самого себя.

«Фу, Боже мой, какая я дрянь, однако!» презрительно и съ досадой подумалъ онъ, «а еще въ заговорщики собрался! И чего это я струсилъ?.. и вдругъ, словно мышонокъ въ нору юркнулъ... Экая подлость сидитъ въ человѣкѣ-то! И зачѣмъ я прлчусь, зачѣмъ я давно не ѣду къ ней? Что это за странная боязнь! Сдѣлалъ я противъ нея какое-нибудь низкое, черное дѣло?— Нѣтъ. Разлюбилъ ее, полюбилъ другую?— Да! Въ этомъ и все дѣло. Но любя, давалъ ли я ей какія-нибудь клятвы, обѣщанія?— Никакихъ... Объ этомъ чувствѣ ни слова, даже намека яснаго не было сдѣлано между нами... Отношенія не заходили далѣе простаго поцѣлуя руки, да и то не всегда позволялъ себѣ; такъ чего же я мнусь и прячусь? Это была скорѣе хорошая, теплая дружба, чѣмъ... это чувство. И развѣ я виноватъ, что полюбилъ другую? Развѣ я искалъ этого?.. Случай, судьба—и только».

Такими-то софизмами оправдывалъ себя Константинъ Семеновичъ, и въ нихъ почерпалъ для себя необходимую бодрость и твердость для предстоящаго посѣщенія. Онъ порѣшилъ ѣхать сейчасъ же, и приказалъ извозчику повернуть на Литейную. А какое-то внутреннее, ноющее чувство все-таки копошилось въ немъ, несмотря ни на какіе успокоительные софизмы, и порою исподтишка смутно шептало ему, что онъ все-таки что-то не хорошее дѣлаетъ относительно любящей его дѣвушки.

«Ну, какъ бы то тамъ ни было, а ужъ теперь поздно!» злобно рѣшилъ онъ, вставая съ извозчика передъ домомъ, гдѣ жили Стрѣшневые. «Пусть оно и нехорошо... Пусть даже подло, но... Цезарина... Это женщина, которая и изъ подлнца сдѣлаетъ честнаго человѣка, и изъ честнаго — подлнца!.. А она для меня— все!.. Помогі же мнѣ, Цезарина!»

И съ этою мыслью онъ остановился передъ дверью квартиры Стрѣшневыхъ.

* * *

Въ тотъ день, когда Хвалынцевъ явился къ Татьянѣ Николаевнѣ съ анонимнымъ письмомъ и по ея убѣжденію отправился на послѣднюю студентскую сходку, окончившуюся кровавымъ столкновеніемъ, молодая дѣвушка нетерпѣливо ждала его возвращенія. Но прошелъ цѣлый день, прошелъ вечеръ, — онъ не вернулся. Ею овладѣло сильное безпокойство.

Поутру она нарочно поѣхала къ однимъ своимъ знакомымъ, узнать какого рода происшествія были вчера передъ университетомъ. Тамъ рассказали ей, какъ было дѣло, даже со множествомъ не существовавшихъ подробностей, которыя тогда въ изобиліи плодилось въ городскихъ толкахъ. Татьяна вернулась домой взволнованная и разстроенная. Ей уже чудилось, что Хвалынцевъ убитъ, не то израненъ, не то сидитъ теперь въ Петропавловскихъ казематахъ, и Богъ вѣсть какъ и на сколько продлится его заключеніе и что-то еще будетъ потомъ? чѣмъ-то все это кончится?..

Все это представлялось ей съ ясностью неизбежнаго, несомнѣннаго и почти уже совершившагося факта, и во всемъ случившемся съ Хвалынцевымъ она укоряла и обвиняла одну только себя! «Не приди мнѣ эта нелѣпая мысль посоветовать ему ѣхать туда, ничего бы этого не было! Онъ остался бы п цѣль и на свободѣ», думала она, «а теперь... все я, одна я всему причиной! И не все ль равно для меня, что какіе-то дураки будутъ о немъ того или другого мнѣнія? Вѣдь я-то сама знаю, я-то вѣдь убѣждена, что онъ честный—чего же мнѣ болѣе!.. Онъ изъ-за меня теперь терпитъ, мучится... за что?..»

Она не знала, что ей дѣлать, къ кому обратиться, чтобъ узнать о судьбѣ Константина, а время шло, съ каждымъ часомъ тщетнаго ожиданія росла ея тоска и мучительное безпокойство. Она поѣхала въ правленіе университета, въ надеждѣ — не знаютъ-ли тамъ о немъ чего-нибудь. Въ это время къ ей теткѣ пріѣхалъ въ гостиницу Василій Свитка и привезъ свое темное, но все-таки успокоительное извѣстіе. Татьяна стала ждать, что называется, у моря погоды. Въ университетѣ она узнала отъ швейцара, на всякій случай, прежній адресъ Хвалынцева, и когда прошло болѣе недѣли, а Свитка все не появлялся вторично и о Хвалынцевѣ ни слуху — Татьяна снова затосковала. Опять ей стали мерещиться разные страхи и ужасы, которымъ онъ, по ея заключенію, долженъ былъ подвергаться въ это время, и, наконецъ, въ этой тоскѣ не совладала она со своимъ неугомоннымъ сердцемъ: взяла и поѣхала къ нему на квартиру. Это посѣщеніе точно также не принесло ей ничего утѣшительнаго. Въ смутной надеждѣ, что авось онъ вдругъ и вернется какъ-нибудь, полувѣря и полуневѣря этому, она, на всякій случай, написала ему тутъ же нѣсколько строкъ на первомъ попавшемся клочкѣ бумаги.

Но и съ тѣхъ поръ прошло уже больше полуторы недѣли, а о Константинѣ ни слуху, ни духу. Татьяна въ-конечъ истосковалась. Отъ вѣчно-тревожной, одной и той-же думы и безсонныхъ ночей, она осунулась и поблѣднѣла. Она совсѣмъ перестала показываться на свѣтъ Божій, никуда не выѣзжала, сидѣла большею

частію въ своей комнатѣ или бродила безъ цѣли по всей квартирѣ. Все ей опостылѣло, все раздражало — и работа, и чтеніе — просто рукъ ни къ чему приложить не могла. Тетка серьезно стала опасаться за ея здоровье. Въ то время онѣ уже переѣхали на постоянную квартиру, которая, по случаю временнаго отъѣзда хозяйевъ, сдавалась на шесть мѣсяцевъ со всею мебелью и принадлежностью. Для старушки это была истинная находка, и съ тѣхъ поръ она всегда съ большою похвалою отзывалась о «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ», въ которыхъ помѣщаются такія полезныя объявленія.

* *

Татьяна Николаевна была одна. Тетка отправилась къ поздней обѣднѣ, ко «Всѣмъ Скорбящимъ»; и еще не возвращалась. Часовая стрѣлка показывала еще только двѣнадцатый часъ въ началѣ.

Вдругъ звякнулъ колокольчикъ, и Татьяна услышала въ передней знакомый голосъ, который спрашивалъ ее.

Вся кровь прихлынула ей къ сердцу, и застучало оно порывисто и шибко. Какъ стояла, такъ и осталась она на мѣстѣ, словно бы онѣмѣла вся. Послѣ столькихъ дней тщетнаго ожиданія, ей смутно представлялось, что это дѣйствительность. Но она боялась повѣрить въ то, что это все на яву, что это точно его голосъ.

Въ комнату вошелъ Хвалынцевъ.

— Голубчикъ!.. Милый ты мой!.. Здравствуй! — стремительно кинулась она къ нему, вся внѣ себя отъ счастья, радости и восторга.

Это нечаянное *ты*, еще впервые только сорвавшееся для него съ ея устъ, словно обожгло его. Столь сильный и неожиданный порывъ смутилъ молодого человѣка. Онъ почему-то ждалъ болѣе обыденной и болѣе сдержанной встрѣчи. Не допуская себя принять ея объятія, радостныя до полного самозабвенія, онъ, отступя на шагъ, тихо встрѣтилъ ея простертыя къ нему руки и съ чувствомъ, но очень сдержанно пожалъ ихъ.

— Здравствуйте, Татьяна Николаевна, — сказалъ онъ, стараясь казаться спокойнымъ.

Та, не отнимая отъ него рукъ, отшатнулась легкимъ движеніемъ назадъ и съ недоумѣніемъ заглянула ему въ глаза.

— Развѣ такъ друзья встрѣчаются послѣ такой разлуки?

— Миѣ нужно поговорить съ вами, Татьяна Николаевна... Я не надолго... Я пріѣхалъ проститься... Завтра уѣзжаю...

Внутренняя тревога и смущеніе, несмотря на напускной спокойный тонъ, сквозили въ невольномъ отрывистыхъ и мало связныхъ фразахъ Хвалынцева.

Татьяна еще съ большимъ недоумѣніемъ поглядѣла на него.

— Что?.. Проститься?.. Уѣзжаете?.. Какъ это... куда уѣзжаете? Зачѣмъ? — пролепетала она.

— Да не близко ѣду... Можетъ, и не увидимся больше.

— Господи, да что это все такое!.. Гдѣ вы до сихъ поръ-то были, — говорите мнѣ!

— Я уѣзжаю изъ Петербурга... и... сегодня только пріѣхалъ, — солгалъ Хвалынцевъ.

— Гдѣ же вы были? — продолжала она спрашивать съ возрастающимъ недоумѣніемъ. Сердце ея тревожно подсказало ей, что во всемъ этомъ кроется что-то недоброе.

— Гдѣ я былъ, — пожалъ онъ плечами, — этого я вамъ сказать не могу.

— Константинъ Семенычъ! да что вы, шутки шутите, что ли?

— Нѣтъ, я говорю совершенно серьезно.

— Такъ что же это за таинственность?!.. Почему это *мнѣ* вы вдругъ сказать не можете?

— Не имѣю права... Это не отъ одного меня зависитъ...

— Да вы мнѣ скажите толкомъ: сидѣли вы гдѣ-нибудь? Арестованы были? — Высылаютъ васъ теперь изъ города, что-ли?

— Нѣтъ, я самъ уѣзжаю, своей доброй охотой.

— Куда?

— Въ Варшаву.

Она молча оглядѣла его испытующимъ взглядомъ.

— На долго вы ѣдете?

— Не знаю... Можетъ, и навсегда.

— Что-жъ это за странное рѣшеніе?

— Служить ѣду.

— Служить! — удивилась она. — Да прежде же курсъ вѣдь кончить надо! Куда же вы безъ диплома служить пойдете? И что за идея!

— Для моей службы можно и безъ дипломовъ; я вѣдь въ военную.

Изумленіе Стрѣшневой дошло до крайней точки, она даже руки опустила.

— Константинъ Семенычъ!.. Да что же вы, наконецъ, мистифицируете меня, или что?.. Если все это шутки, такъ кончите, пожалуйста! Хорошенькаго понемножку.

— Никакихъ тутъ шутокъ нѣту! Я вамъ говорю самымъ серьезнымъ образомъ! — вступился онъ за себя въ нѣсколько амбиціозномъ тонѣ; — да и что же тутъ невъѣроятнаго, что человѣкъ пошелъ служить?

— Въ военную?! — подхватила Стрѣшневая.

— Да, въ военную, какъ будто это не все равно: военная или гражданская.

— Но это, вѣроятно, покаместъ такъ только... одни мечты, предположенія, намѣренія? — улыбнулась Татьяна, которой рѣшительно не хотѣлось вѣрить въ дикую идею Хвалынцева.

— Далеко не мечты и не намѣренія, — возразилъ онъ. — Я уже поступилъ... Я и теперь, можно сказать, считаюсь на службѣ... Я уже зачисленъ въ N-скій полкъ.

Хвалынцевъ все это солгалъ, ради пушаго удостовѣренія въ справедливости словъ своихъ, но солгавши разъ, и въ этой лжи какъ бы даже порисовавшись предъ нею въ новомъ положеніи, онъ какъ будто самъ повѣрилъ въ истину сказаннаго; ему вдругъ и самому стало казаться, что все это точно такъ и есть, что онъ точно зачисленъ и уже служить.

Стрѣшневъ молча поглядѣлъ на него вглядчивымъ, внимательнымъ взглядомъ.

— Что же за цѣль, наконецъ?—тихо спросила она, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Цѣль... чуть-чуть замислся Хвалынцевъ. — Боже мой, да надо же человѣку что-нибудь дѣлать съ собою!.. Не небо же коптить, вотъ и цѣль вамъ!

Татьяна чутко чувствовала въ глубинѣ души, что это все что-то не то. Разъ два молча прошла она по комнатѣ и вдругъ съ веселымъ и рѣшительнымъ видомъ остановилась предъ Хвалынцевымъ.

— Полноте-ка, Константинъ Семенычъ! Оставьте все это!—съ убѣжденіемъ заговорила она, взявъ его руки и ласково глядя въ глаза. — Бросьте всѣ эти пустяки!.. Ей-Богу!.. Ну, что вамъ?!.. Давайте-ка лучше вотъ что: если вамъ здѣсь очень ужъ надоѣло, укатимте въ Славнобубенскъ, побзжайте въ имѣніе, при займитесь хозяйствомъ, ей-Богу-же, такъ-то лучше будетъ!.. А то что вдругъ—служба, да еще военная, да еще въ Варшаву... Нѣтъ, право, бросьте, голубчикъ!

— Все это такъ легко только говорить, — возразилъ онъ, видимо стараясь придать словамъ своимъ и серьезность и значительность, — но что сдѣлано, то сдѣлано, и назадъ его не вернешь!.. Это ужъ теперь зависитъ не отъ моей воли, Татьяна Николаевна!

— Какъ не отъ вашей?.. Какъ не отъ вашей?!.. Вздоръ! Чисто отъ васъ одного только и зависитъ, больше ни отъ кого!—входя въ нѣкоторый азартъ, возражала и доказывала Стрѣшневъ. — Во-первыхъ, если васъ зачислили, то могутъ и отчислить, вѣдь это не кабада же какая, не запродажей, не контрактомъ, а своею доброю охотою!.. Ну, вчера вамъ хотѣлось, а сегодня расхотѣлось... Ну, тамъ по домашнимъ обстоятельствамъ, по болѣзни, по встрѣтившимся препятствіямъ... да Господи! мало-ли можно найти предлоговъ для отставки!.. Стопъ захотѣть только! Ну, захотите, Константинъ Семенычъ!.. Ну же, ну?! Скорѣй!.. Да захотите же, Боже мой! Ну, что вамъ стоитъ отказаться отъ такой пустой идеи?..

На эту живую, ласковую шутку, онъ только хмуро, съ опущенными внизъ глазами, отрицательно покачалъ головою.

Стрѣшневъ снова пристально и долго поглядѣлъ на него пытливымъ, осторожнымъ взглядомъ и тихо опустила на кресло подлѣ него.

Оба молчали, и обоимъ начинало становиться

какъ-то неловко, и оба чувствовали въ то же время одинъ въ другомъ ту-же самую неловкость. А неловкость эта нашла оттого, что Стрѣшневъ все больше и больше угадывала въ Хвалынцевѣ присутствіе какой-то неискренности и затаенности, и онъ тоже понималъ, что она угадала въ немъ именно это. Молчаніе начинало становиться тягостнымъ.

— Константинъ Семенычъ, это все не то... я чувствую, что не то,—очень серьезно начала наконецъ Татьяна, побора въ себѣ нѣчто такое, что сильно удерживало ее отъ предстоящей послѣдней попытки. — У васъ что-то есть надущъ, вы что-то, кажись, таите, скрываете... Ну, скажите мнѣ, зачѣмъ?.. Если это тяжело вамъ, не лучше ли облегчить себѣ душу?.. Предъ мной вы можете говорить прямо, вы знаете меня... Вѣдь мы же друзья не на-вѣтеръ!

И она кротко взяла и не выпуская стала держать руку Хвалынцева, и вся фигура ея, и взглядъ, и лицо, и самый поворотъ головы, все это выражало собою теплое и любовное участіе. Раскрытая душа ея ждала, что вотъ-вотъ сейчасъ другая сочувственная душа перельетъ въ нее все свое горе, всю свою тайну, и она затихнетъ, умиротворитъ, убаюкаетъ и испѣлитъ эту другую, дорогую ей душу.

Константинъ сидѣлъ угрюмо, понурясь и не глядя на нее. Онъ чувствовалъ, что въ эту минуту предъ Татьяной не скроешься, что она чутьемъ угадаетъ правду, которой онъ и не хотѣлъ утанвать отъ нея, но только высказать эту правду было такъ тяжело, такъ мучительно-тяжело ему!..

— Вы хотите правды... Ну, скажу я вамъ эту правду!—выговорилъ онъ, наконецъ, стараясь напускной усмѣшкой замаскировать свою невольную и темную угрюмость. — Отчего-же и нѣтъ... Сказать, вѣдь это всего одна только минута... не болѣе... Да; конечно, я скажу вамъ, но... если бы знали какъ тяжело это... какъ тяжело это высказывать-то!..

И при этихъ словахъ, дѣвушка замѣтила, какъ лицо его передернулось движеніемъ внутренняго глухого страданія.

— Говорите, говорите,—тихимъ и ласковымъ шепотомъ ободрила она.

— Татьяна Николаевна!.. Я всю жизнь свою поставилъ на карту... безповоротно, безнабашно, и предъ мною нѣтъ болѣе никакого выхода изъ этого положенія!..

— Но... изъ-за чего же все это?—участливо спросила она.

— Изъ-за женщины... глухо, смутно и чуть слышно отвѣтилъ Хвалынцевъ, весь блѣдный, и низко потупясь опущенными глазами.

Этимъ словомъ сказалось все. Татьяна не стала спрашивать далѣе. Къ чему ей были слова, объясненія, подробности, когда однимъ лишь этимъ словомъ все безпопачно обнажи-

лось предъ нею: онъ любить другую женщину, онъ для нея всю жизнь поставилъ на карту, о чемъ же тутъ больше спрашивать? Что еще беречь ему сердце? И что еще, наконецъ, нужно знать больше этого?.. Все сказано, все сдѣлано, — довольно!

И она съ твердостью, словно пожомъ отряхнула, сказала сама себѣ это внутреннее «довольно!»

Хвалынцевъ медленно поднималъ на нее глаза, и ему показалось страннымъ лицо этой дѣвушки: онъ никакъ не ждалъ встрѣтить у нея такое лицо въ эту минуту. Нельзя сказать, чтобы даже тѣнь какой-либо болѣзненной мысли скользнула по немъ, чтобы хоть на мгновение дрогнуло въ немъ страданіе, злоба, укоръ, оскорбленіе, презрѣніе; нѣтъ, ни единое изъ этихъ ощущеній не выдавало себя въ лицѣ Татьяны. Оно было совершенно спокойно, и только ровная глубокая блѣдность сплошь разлилась и застыла на немъ. И глаза тоже глядѣли спокойно, но эти глаза какъ-то вдругъ потухли, словно бы умерли, словно бы искра жизни отлетѣла отъ нихъ.

— Ну, вотъ, я, кажется, ужъ все сказалъ вамъ! — пересохшимъ, хриплымъ голосомъ промолвилъ Хвалынцевъ, подымаясь съ мѣста. Весь онъ былъ какой-то погнутой, притиснутой, словно бы на плечи ему навалилась какая-то тяжкая, темная сила и все удручаетъ, все гнететъ его собою.

Стрѣшневъ тоже поднялась.

Разговоръ между ними съ этой минуты пропалъ, и больше не нужно было ни ему, ни ей никакихъ разговоровъ.

— Если можете, не отымайте отъ меня вашей дружбы, — смущенно и тихо попросилъ онъ, и въ тонѣ его просьбы Татьянѣ чутко сказалося затаенное страданіе.

— Дружбу! — повторила она, слегка пожавъ плечами, — берите!... если только когда-нибудь и на что-нибудь пригодится вамъ моя дружба.

Хвалынцевъ съ чувствомъ теплой благодарности пожалъ ей руку.

Снова наступило молчаніе. Оба стояли одинъ противъ другого, не глядя другъ на друга.

— Ну, прощайте, Татьяна Николаевна! — проговорилъ онъ наконецъ, съ полнымъ груднымъ вздохомъ; — коли можно, такъ не забывайте лихомъ! Это послѣдняя и единственная просьба.

Она махнула рукой, словно бы говоря: «что ужъ! зачѣмъ лихомъ!..»

— Ну, дай вамъ Господи всякаго счастья! — непритворно пожелала она ему на прощанье, все съ тѣмъ же мертвеннымъ спокойствіемъ въ лицѣ и во взорѣ.

Дверь за ушедшимъ Хвалынцевымъ затворилась.

Татьяна почувствовала теперь, что она одна.

ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Наединѣ со своею душой.

Хвалынцевъ ушелъ. Татьяна Николаевна слышала, какъ захлопнулась за нимъ выходная дверь въ прихожей и оставалась все въ томъ же, повидимому, спокойномъ положеніи. Въ совершенную противоположность Константину, который очень плохо умѣлъ скрывать свои внутреннія ощущенія, она не любила выдавать ихъ наружу. Всѣ ея глубокія и сильные впечатлѣнія таила она внутри себя и тамъ перерабатывала ихъ силою собственной сосредоточенной натуры. Хвалынцеву не нужно

было много словъ, чтобы заставить ее уразумѣть все, что такъ трудно казалось ему высказать. Довольно было сказать одно только слово, въ одномъ словѣ «женщина» выразить причину столь страннаго и спѣшнаго отъѣзда съ перемѣною своей жизненной карьеры, — и Татьяна поняла все остальное своимъ чуткимъ женскимъ инстинктомъ. Эта женщина была не она; это была другая... Мгновенность и нечаянность такого горькаго сознанія сильно уязвили ее. Она поблѣднѣла, и эту невольную блѣдность ей невозможно было скрыть: только ею одною и выразился ударъ, нанесенный Хвалынцевымъ. Понялъ ли онъ, нѣтъ ли — что ей было до того за дѣло? Она нашла въ себѣ достаточно силъ, чтобы ни словомъ, ни взглядомъ

домъ не показать ему того, что съ нею дѣлалось. Она сохранила видимое спокойствіе, прощаясь съ любимымъ человѣкомъ, не болѣе какъ съ обыкновеннымъ хорошимъ знакомымъ—всякое другое прощаніе было бы слишкомъ тяжело и неловко для него: она чувствовала это, молча проводила его глазами до дверей, и осталась одна.

Ни слезы, ни жалобы не вырвалось у нея. Порою одно только нервное дрожаніе какой-то жилки около губъ да трепетное появленіе легкой морщинки между бровями слабо выдавало всю тяжелую работу, кипѣвшую внутри.

Старая тетка вернулась домой и не замѣтила въ своей Танѣ ничего особеннаго.

— Новость, *ma tante!*—обыденнымъ спокойнымъ тономъ и между прочимъ разговоромъ сообщила она старухѣ. — Константинъ Семеновичъ пріѣзжалъ безъ васъ.

— Да?.. Выпустили его?.. Гдѣ же онъ?.. Зачѣмъ ты его не оставила?—съ живымъ участіемъ всполошилась добрая старуха.

— Онъ заѣзжалъ на минутку проститься, и просилъ передать вамъ его поклонъ.

— Какъ проститься?.. Куда?.. Что такое?..—недоумѣло пожимала та плечами.

— Чуть ли не сегодня уѣзжаетъ въ Варшаву... Поступилъ въ военную службу.

— Да что ты, морщишь меня, что ли?

— Нѣтъ, я вамъ передаю совершенно серьезно то, что онъ говорилъ.

— Господи!.. Варшава... военная служба,—пожимала плечами старуха.—Но что же за причины, по крайней мѣрѣ?

— Этого я не знаю. Причинъ онъ не объяснилъ,—какъ-то коротко и нѣсколько отрывисто проговорила Стрѣшнева, не глядя на тетку.

Зато тетка во все глаза глядѣла на нее вопросительно и удивленно, какъ бы ожидая отъ самой Татьяны объясненія этихъ причинъ и побужденій.

— Таня, что же все это значить?—послѣ нѣкотораго молчанія, тихо и какъ бы робко обратилась она къ племянницѣ.

— Не знаю, *ma tante*.

Опять наступило молчаніе, все съ тѣмъ же удивленнымъ взглядомъ старухи, вопросительно устремленнымъ на племянницу.

— Таня, будь со мной откровенна!—еще тише сказала наконецъ она съ мягкой, родственною просьбою въ голосѣ. — Ты вѣрно знаешь?.. Его вѣрно высылаютъ, насильно отдаютъ въ солдаты?.. да?..

— Самъ идетъ, добровольно; а больше я ничего не знаю.

«Нѣтъ, тутъ что-то не то!» домекнулась про себя старуха.—«Это спокойствіе въ ней... сдержанность эта... что нибудь да не то»...

— Таня... съ робкимъ участіемъ снова обратилась она къ ней,—какъ же ты-то теперь?

— Я? вскинула та глазами, въ которыхъ отсвѣчивало какое-то равнодушное удивленіе,—а что же я?... Я какъ и была... все по старому...

И это... Это тебя не трогаетъ, не волнуетъ?

Досадливое нетерпѣніе, а можетъ и сжатая внутренняя боль чуть-чуть дрогнули въ какой-то жилкѣ на лицѣ Татьяны.

— Вотъ что, *ma tante*,—рѣшительно сказала она, — мы больше объ этомъ говорить не будемъ... Дай ему Богъ всякаго счастья, ну, я... довольно!

Старуха поняла, что дѣвушка слишкомъ тяжело говорить на эту тему, и потому, сколь ни хотѣлось ей самой узнать подробности и пружины всего этого страннаго обстоятельства, разговоръ между ними о Хвалынцевѣ не возобновлялся болѣе ни разу. Бывало, нарочно съ тайною мыслью про себя, какъ-нибудь ксати прилетѣтъ старуха его имя, вспомя, что вотъ это, молъ, рассказывалъ Константинъ Семеновичъ, а вотъ то-то случилось при Константинѣ Семеновичѣ, а вотъ это блюдо онъ очень любилъ, или къ тому-то вотъ такъ-то относился; но при всѣхъ этихъ случаяхъ втайнѣ любопытный взоръ ея не могъ отыскать въ лицѣ дѣвушки ничего такого, что помогло бы хоть чуточку раскрыть ей загадку. Татьяна, отвѣчая на подобныя заявленія тетки, вспоминала о Хвалынцевѣ хотя и кратко, не распространяясь, но совершенно просто и спокойно, какъ и о многихъ хорошихъ знакомыхъ. Никогда ни малѣйшей тѣни ѣдкой горечи, злобы, упрека или сарказма не вырвалось у нея при упоминаніи этого имени, словно бы и въ самомъ дѣлѣ Хвалынцевъ былъ для нея не болѣе какъ случайный, хотя и хорошій знакомый—и только.

А между тѣмъ, внутри ея творилось другое.

Она никогда не придавала Хвалынцеву никакихъ особенныхъ героическихъ качествъ, идеальныхъ свойствъ и добродѣтелей, ради того лишь что онъ ей нравился: она была слишкомъ положительный человѣкъ для этого, глядѣла на жизнь и людей слишкомъ просто и прямо. Она не изукрашивала его, не глядѣла на него сквозь радужную призму, словомъ, не творила себѣ изъ него кумира, и между тѣмъ такъ много и глубоко полюбила его,—даже глубже и болѣе, чѣмъ сама могла думать до дней, послѣдовавшихъ за окончательной разлукой. Но какъ и за что полюбила?—ни того, ни другого объяснить себѣ она не могла, да и не старалась, а если-бы стала объяснять, то объясненіе это было бы фальшивое, измышленное ради самообмана. А въ натурѣ ея лежало слишкомъ много искренности, чтобы лгать предъ другими, и твердой прямоты, чтобы обманывать самое себя. Какъ полюбился онъ ей? Полюбился незамѣтно, исподволь, такъ что и слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а она уже чувствовала, что любить. Шло и росло это чувство такъ тихо, просто и какъ бы совсѣмъ спокойно; но чѣмъ тише

и проще, тѣмъ прочнѣй и глубже пускало оно корни въ ея душу. За что полюбился онъ ей? Этотъ вопросъ, послѣ разлуки съ нимъ, она и сама себѣ задавала неоднократно, и была на него только одинъ отвѣтъ. Вспоминался Татьянѣ тотъ теплый, майскій вечеръ въ Славнобубенскѣ, когда въ бесѣдкѣ, обвитой густыми побѣгами павоя и хмѣля, сидя надъ шитьемъ, ожидала она обычного прихода Хвалынцева. Въ этотъ вечеръ былъ его послѣдній, прощальный приходъ: завтра утромъ онъ долженъ былъ ѣхать. И ясно, почти до малѣйшихъ подробностей, вспоминался ей случайный разговоръ, возбужденный тогда Хвалынцевымъ. Какъ-то довольно кстатъ предложилъ онъ ей нѣсколько щекотливый вопросъ: «что-бъ она сдѣлала, если бы, выйдя замужъ, глубоко полюбила впоследствии другого?» Отвѣтъ былъ ясенъ и простъ: «я бы не вышла иначе, какъ только убѣдившись напередъ въ самой себѣ, что я *точно* люблю человѣка, что это не блажь, не вспышка, не увлеченіе, а дѣло крѣпкое и серьезное, и послѣ этого мнѣ ужъ конечно не пришлось бы полюбить другого».

Теперь же Татьяна, къ несчастію, все болѣе убѣждалась, что ея чувство не блажь и не увлеченіе, а то крѣпкое и серьезное дѣло, которое точно должно назвать настоящею любовью, и при которомъ нельзя полюбить другого.

«Да если другой-то будетъ лучше?» задалъ ей Хвалынцевъ новый вопросъ въ тотъ вечеръ. И точно также, съ полною ясностью вспоминался теперь Татьянѣ ея отвѣтъ, который былъ ея всегдашнимъ, прочнымъ убѣжденіемъ, ибо она инстинктомъ чувствовала, что иначе и быть не можетъ. «Тутъ нѣтъ, мнѣ кажется, ни лучше, ни хуже», отвѣчала она, «можетъ-быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человѣка, потому что любишь не за *что-нибудь*, а любишь просто, *потому что любится*, да и только. И довольно полюбить разъ да хорошо, а больше и не надо—и одного хорошаго раза на всю жизнь хватить...»

И этотъ-то *разъ* былъ теперь для нея роковымъ разомъ. Не то, чтобы запало въ нее сознаніе, что Хвалынцевъ дурной человѣкъ: то чтò думалось ей порою, было хуже этого сознанія—ее брало сомнѣніе, что онъ человѣкъ легкій, вѣтреный, поверхностный и вообще ненадежный, на котораго едва ли можно въ какомъ-либо дѣлѣ крѣпко опереться. И эта-то ненадежность, эта нравственная, какъ казалось ей, слабость и шаткость болѣе всего навели на нее горечь и досаду. Былъ ли таковъ Хвалынцевъ на самомъ дѣлѣ—это ужъ другой вопросъ; но ей стало иногда казаться теперь, будто онъ таковъ, и въ такомъ ея взглядѣ на него—надо сознаться—чуть ли не главную роль играло эгоистическое чувство любви къ отвернувшемуся отъ нея человѣку и женское самолюбіе, по струнамъ котораго онъ больно ударилъ тѣмъ, что предпочелъ ей

другую, «до *такой* степени», до полного самопожертвованія. Вбальмошный фактъ поступленія въ военную службу и этотъ быстрый отъѣздъ, причиной котораго была «женщина», казались ей, по невѣдѣнію настоящихъ причинъ и побужденій, фактами сумасброднаго самопожертвованія. Когда она, забывъ про самое себя или, такъ сказать, отрѣшившись отъ себя, глядѣла на этотъ поступокъ какъ бы со стороны, онъ ей даже нравился своею сумасбродною рѣшительностью: «значитъ любить», думалось тогда Татьянѣ. Но когда уязвленная гордость, самолюбіе и пренебреженная любовь болѣзненно напоминали ей, что вѣдь это она, она сама оставлена и забыта, что все это сдѣлано для какой-то другой—въ душѣ ея закипало и ревнивое чувство злобы противъ Хвалынцева, и эгоистическое умаленіе того самаго поступка, который за минуту ей нравился и, можетъ, продолжалъ бы нравиться, если бы Хвалынцевъ былъ для нея постороннимъ, чужимъ человѣкомъ, если-бъ она любила не его, или никого не любила. Самолюбіе щемило, обиженная любовь не засыпала и противъ воли бродила въ ея сердцѣ—надо было убаюкать, ухаживать, задуть въ себя и то, и другое—и вотъ, плодомъ этого «надо» у нея и являлось сомнѣніе въ Хвалынцевѣ, въ его надежности. Это быдъ для нея своего рода отводъ, который мучилъ ее чуть ли еще не болѣе чѣмъ все остальное. Чѣмъ бы ни казался ей порою Хвалынцевъ, она понимала, чувствовала и такъ сказать, со всею внутреннею осязательностью души ощущала, что все-таки любить, и любить не переставая, не умаляясь въ своемъ, Богъ-вѣсть почему, глубоко и сильнымъ чувствѣ.

Такія натуры, дѣйствительно, любятъ разъ да хорошо; въ нихъ это чувство зарождается тихо, кроется и коренится глубоко и высказывается просто, безъ аффектацій, да кромѣ того, эти натуры еще не любятъ казать его предъ посторонними глазами.

Вспоминалось еще Татьянѣ, какъ въ тотъ самый прощальный, майскій вечеръ, Хвалынцевъ, раздумавшись надъ ея словами, сказалъ ей, что ея взглядъ на серьезное чувство, пожалуй, хорошъ, да только та бѣда, что съ нимъ рискуешь иногда быть очень несчастливымъ въ жизни, если вдругъ ошибешься, да полюбишь человѣка вѣтренаго, увлекающагося, который разлюбитъ тебя потомъ, который въ какомъ-то смазливомъ личикѣ будетъ находить себѣ источникъ чувства или развлеченія, — тогда что? спросилъ онъ въ томъ разговорѣ. «Да, тогда не хорошо!» согласилась съ нимъ Татьяна, — «и это, безспорно, величайшее несчастіе». Да, тогда не хорошо, часто и теперь повторяла она себѣ, раздумываясь и надъ его словами, и надъ своимъ упрямымъ, невольнымъ чувствомъ. «А я говорила ему тогда, что во

власти самой женщины сдѣлать такъ, чтобы человѣкъ *«всегда любилъ тебя»*, горько думалось Татьянѣ въ эти минуты, «только одну тебя! чтобы ему и въ голову не пришло о возможности увлечься другою. Я говорила ему, что это *можетъ* сдѣлать женщина, что для этого ей надо только уметь любить, любить прежде всего и вѣрить, въ себя вѣрить. Ну, вотъ, ты и вѣрила въ себя, ты и любила, и любишь, что же ты не сдѣлала такъ, чтобы онъ не ушелъ отъ тебя, чтобы онъ не увлекся другою, чтобы онъ любилъ только тебя одну, что жъ ты не сдѣлала этого? Или силенки не хватило? Или мало любила еще?» Все это были желчныя, ядовитые вопросы, полные саркастическихъ упрековъ самой себѣ, и этими бесплодными вопросами она еще пуще бередила свою больную, раненую душу. Эта глухая борьба и внутренняя работа надъ собою становились порой слишкомъ тяжелы. Нуженъ былъ какой-нибудь исходъ, какое-нибудь отвлеченіе, отдыхъ, а этого не было. Сказать все теткѣ, подѣлиться съ ней душою Татьяна не могла, не хотѣла. Хотя и знала она, что тетка сердечно, сочувственно приметъ ея исповѣдь, но какое-то внутреннее «нельзя», «не надо», «не къ чему», удерживало ее отъ этого: есть натуры, которые отъ наиболѣе близкихъ, родственниковъ и любящихъ ихъ людей наиболѣе ревниво оберегаютъ тайникъ своего внутреннего міра. Татьяна чувствовала, что былъ одинъ только человѣкъ, къ которому она могла бы совѣтъ разумно, совѣтъ сердечно и просто придти и сказать свое горе, и что этотъ человѣкъ понималъ бы ее скорѣе и глубже чѣмъ всякій другой. Такимъ человѣкомъ былъ для нея Андрей Павловичъ Устиновъ. Подавляемая своими тяжелыми думами, она вспомнила теперь про него, про свою добрую дружбу къ нему. Какъ женщина и притомъ женщина чуткая, она не могла не замѣчать въ немъ то полное глубокаго, почти благоговѣйнаго уваженія чувство, которое питалъ онъ къ ней. Это чувство было на столько скромно, застѣнчиво и робко, что онъ какъ бы боялся не только высказать, но даже дать ей хоть сколько-нибудь замѣтить его. Татьяна между тѣмъ очень хорошо это видѣла и понимала, что маленькій математикъ любить ее такъ же тихо и глубоко, какъ она Хвалынцева. Но подмѣтивъ въ немъ это чувство, она взаимно могла дать ему только дружбу. Подъ наплывомъ своихъ воспоминаній, въ одну изъ тѣхъ въ высшей степени рѣдкихъ у нея минутъ, когда переполненная душа настоятельно запросила подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ горемъ. Татьяна въ какомъ-то экзальтированномъ порывѣ сѣла и написала письмо Устинову. Это была полная и откровенная исповѣдь всей глухой борьбы, которую она теперь столь упорно, но тщетно осиливала. Внутреннее одиночество, душевное сп-

ротство томило ее, и она просила Устинова, если возможно, пріѣхать въ Петербургъ. Она знала, что онъ безъ того часто предъ ея отъѣздомъ высказывалъ намѣреніе покинуть, ради Петербурга, постылый ему Славнобубенскъ, а теперь, по первому ея призыву, явился бы сюда непременно. Только въ немъ одномъ казалось ей возможнымъ найти себѣ безкорыстную, нравственную поддержку и дружеское успокоеніе. Но часъ спустя, перечитавъ свое письмо, Татьяна разорвала его на куски. «Не надо!» рѣшила она себѣ. «Ты вѣдь знала и раньше, что онъ любитъ тебя; такъ зачѣмъ же не раньше, а только теперь? Оттого что тебя больно ударили, такъ ты и бѣжишь какъ малый ребенокъ подъ крылышко няньки, чтобы она тебя утѣшила, успокоила... А вѣдь онъ любитъ тебя такъ же какъ ты *этого*; но вѣдь онъ ни подъ чье крылышко не прятался, когда ты ему платила равнодушіемъ подъ видомъ дружбы,—а теперь, какъ больно стало, такъ и къ нему!.. Нѣтъ, не надо! Не пойду я къ нему, ни къ кому не пойду!.. И никого, и ничего мнѣ не надо!»

Она рѣдко стала выходить изъ дому,—развѣ только для прогулокъ, выбирая для нихъ улицы менѣе людныя, потому что ей какъ-то безсознательно досаденъ становился весь этотъ кипучій шумъ и грохотъ, вся эта толчея бойкой городской жизни. Она съ удовольствіемъ промѣняла бы теперь этотъ Петербургъ на двухъ-оконную комнатку въ глухой, степной деревнюшкѣ: ей захотѣлось уйти и спрятаться отъ всѣхъ и всего, а болѣе отъ самой себя, отъ своей тоски и думы. Знакомыхъ у ея тетки здѣсь было очень не много, да и тѣ-то стали въ тягость Татьянѣ; даже театр, который она такъ любила, утратилъ для нея всю свою прелесть. Мало-по-малу на нее стала пѣлыми днями находить какая-то лѣнливо-сонная апатія. Но такое состояніе скоро было замѣчено ею, и она испугалась его. «Нѣтъ, надо кончить это! Надо дѣло дѣлать, а то эдакъ въ-конецъ распустишь себя!» сказала она себѣ и нравственно встрепенулась. Но какое дѣло? Въ чемъ дѣло и гдѣ найти его, это дѣло по душѣ, по сердцу? Въ окружающей обстановкѣ данной минуты Татьяна не видѣла для себя этого спасительнаго дѣла, которое исцѣлило бы ее, да его тамъ и не было. Какъ же, наконецъ, быть-то? задала она себѣ вопросъ. Читать и учиться! больше учиться, больше читать — это все, что до времени остается ей, а тамъ... время, говорить, вылечить. И Татьяна остановилась на этомъ рѣшеніи.

II.

**Ближняя торговля и кабинетъ для чтенія
Луки Благопріобрѣтова и К^о.**

Эти слова яркими и крупными буквами были пачертаны на большой вывѣскѣ, прибитой надъ

пятью окнами первого этажа одного изъ большихъ домовъ, на одной изъ бойкихъ, промышленныхъ улицъ, и эти-то самыя слова случайно, во время прогулки, попались на глаза Татьянѣ Николаевнѣ Стрѣшневой.

«Вотъ и кстати!» подумала она. «Дай зайду, авось можно абонироваться, чтобъ брать книги на домъ».

Подумала и зашла.

Обстановка магазина довольно прилична. За ясеневою конторкою стоитъ какая-то дама весьма привлекательной наружности, съ пенснѣ на носу, и вписываетъ что-то въ конторскую книгу. Полурасстворенная дверь позволяетъ видѣть часть смежной внутренней комнаты, которая, судя по обстановкѣ, служила кабинетомъ для чтенія. Изъ этой комнаты доносилось нѣсколько одновременно спорящихъ голосовъ, между которыми вымѣшивался порою и голосъ женщины.

Стрѣшневая обратилась къ дамѣ, стоявшей за конторкой.

Дама, прежде чѣмъ отвѣтитъ на ея вопросъ, оглядѣла ее всю съ ногъ до головы и, продолжая вписывать, спросила въ свою очередь:

— А вы на какія книги хотите абонироваться?

— Тамъ смотря какъ... Это будетъ зависѣть отъ моего выбора.

— Мы на глупыя книги не принимаемъ абонементъ,—ни съ того, ни съ сего замѣтила вдругъ дама въ пенснѣ.—Если вы на такое чтеніе думаете подписаться, такъ обратитесь лучше въ другія бібліотеки.

Такая неожиданная выходка, нпчѣмъ не вызванная со стороны Стрѣшневой, показалась ей по меньшей мѣрѣ очень странною. Она уже готовилась возразить, что, по ея мнѣнію, въ книжномъ магазинѣ, ради его собственныхъ выгодъ, должны быть всякія книги, а на выборъ для чтенія той или другой изъ нихъ едва-ли можно налагать такія условія, какъ вдругъ въ эту самую минуту съ порога смежной комнаты громко раздался пріятно удивленный голосъ:

— Ахъ!.. Стрѣшневая!.. Неужели это вы? Да какими судьбами? Здравствуйте!

Татьяна Николаевна обернулась и увидѣла старую свою знакомку.

На порогѣ, съ неизмѣнной папирской въ рукахъ, стояла Лидинька Затцъ.

Въ Славнобубенскѣ онѣ были нѣсколько лѣтъ сряду хорошими знакомыми. Лидинька не безъ внутреннего удовольствія называла себя даже пріятельницею Стрѣшневой и, несмотря на все свое подчиненіе авторитету Ардальона Полоярова, не долбляившаго Татьяны, имѣла твердость не измѣнять къ ней своихъ отношеній, хотя отношенія эти и были чисто внѣшнія. Въ сущности, Лидинька не понимала Стрѣшневой, да никогда и не задавалась мыслью понять ее; но такъ какъ разъ уже установилось между

ними доброе знакомство, и такъ какъ Стрѣшневая оказывала ей нѣкоторое вниманіе, всегда была очень мила и ласкова съ нею, и наконецъ, такъ какъ она, благодаря себѣ и теткѣ, была довольно хорошо и независимо поставлена въ славнобубенскомъ «обществѣ», то Лидинька и считала за лучшее сохранять съ ней свои хорошія отношенія и по-своему даже «любила» ее.

Она и теперь, повидимому, очень обрадовалась этой неожиданной встрѣчѣ и даже поцѣловалась съ Татьяной.

— Здравствуйте, миленькая моя! Какими вы судьбами забрели сюда? Ступайте къ намъ сюда, сюда, вотъ въ эту комнату: это наша читальня!—тараторила Лидинька, таща Стрѣшневую за собою.—Какъ у насъ тутъ прекрасно! Просто первый сортъ! Пойдемте, поболтаемте, я васъ съ нашими познакомлю... Господа! вотъ вамъ Стрѣшневая, моя славнобубенская пріятельница!—возгласила она въ заключеніе своей болтовни, введя Стрѣшневую въ читальную комнату, гдѣ засѣдали три-четыре человѣка весьма разнообразной наружности.

— А это вотъ, — продолжала Лидинька, указывая по очереди на засѣдавшихъ господъ, — Благопріобрѣтовъ, Малгоржанъ - Казалдзе, Фрумкинъ и князь Сапово-Неплохово, въ нѣкоторомъ родѣ благородная отрасль древняго аристократическаго рода, хотя намъ на это наплевать!

При этихъ словахъ, господинъ, названный княземъ, съ поклономъ новой гостьѣ, глупооскалилъ свои зубы и еще глупѣе какъ-то загоготалъ громкимъ смѣхомъ. Это «наплевать», очевидно, весьма ему понравилось. Лука Благопріобрѣтовъ, имя котораго красовалось на вывѣскѣ, былъ рябъ и вихроватъ. Желтые, короткіе волосы его вихрами торчали во все стороны какъ на головѣ, такъ и на лицѣ. Весьма несуразо скроенный, одѣтый въ неуклюжій пиджакъ и туфли онъ былъ высокъ, узловатъ въ костяхъ и все какъ-то сутулился, ежился, пружился, и говорилъ не иначе какъ угрюмымъ басомъ и при томъ очень воздержно, только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, ограничиваясь болѣе либо выразительнымъ молчаніемъ, либо же краткимъ мычаньемъ очень глубокомысленнаго свойства. Онъ сохранялъ въ себѣ явные слѣды провинціальной семинаріи добраго стараго времени и на взглядъ казался уже пожилымъ человѣкомъ, хотя ему еще не было и тридцати лѣтъ.

Малгоржанъ-Казалдзе принадлежалъ къ расѣ «восточныхъ человѣковъ» армянскаго происхожденія и немного подходилъ къ тому достолюбезному типу, который извѣстенъ подъ именемъ отвратительныхъ красавцевъ. Впрочемъ Малгоржанъ и самъ, по общей слабости своихъ соотчичей, думалъ о себѣ, что онъ «молодца и красавица» и что поэтому ни одна женщина противъ его красоты устоять не можетъ.

Мойсей Исааковичъ Фрумкинъ, очень вертлявый молодой человекъ, довольно красивой наружности, постоянно старался держать себя какъ можно бойче и развязнѣе, втайнѣ желая тѣмъ самымъ скрыть свое семитическое происхождение, и въ силу этой же причины очень огорчался въ душѣ своей тѣмъ печальнымъ обстоятельствомъ, что носилъ выдающее имя Мойсея, да еще вдобавокъ Исааковича.

Князь Сапово-Неплюхово являлъ изъ себя тощаго, длиннаго, безбородаго юношу, съ пошлой фizioноміей и въ безукоризненномъ костюмѣ по послѣдней модной картинкѣ. Этотъ князь, повидимому, весьма гордился тѣмъ, что находится въ обществѣ Малгоржана, Фрумкина, Затцъ и Благопріобрѣтова, къ которымъ охотно относился со знаками искренняго почтенія. Онъ былъ здѣсь всѣхъ моложе и всѣхъ глупѣе, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствовала его фizioномія! Болѣе сего сказать о немъ нечего.

Всѣ эти личности состояли членами той компаніи, для которой Лука Благопріобрѣтовъ служилъ вывѣской. Лидинька тараторила какъ сорока, не умолкая почти ни на минуту. Слова: «ассоціація, трудъ, капиталъ, раздѣленіе труда, индивидуализмъ, дѣло, подлость, подлецы, правомѣрность, цѣлесообразность, коммунизмъ, прогрессизмъ, социализмъ, позитивизмъ, реализмъ» и т. п., каскадомъ лились съ языка Лидиньки, которая съ переѣздомъ въ Петербургъ, какъ замѣтила теперь Стрѣшневъ, стала еще бойче и въ извѣстномъ направленіи полированнѣе. По всему было замѣтно, что общество Фрумкина и Благопріобрѣтова очень хорошо отшлифовало ее относительно этого направленія. Лидинька не безъ увлеченія повѣствовала Стрѣшневой, что они, вообще новые люди (то есть и она въ ихъ числѣ), устроили свою жизнь на совершенно новыхъ началахъ, что у нихъ организовалась правильная ассоціація съ общимъ раздѣленіемъ труда и заработка, что эта ассоціація завела вотъ уже книжную торговлю и переилетную мастерскую, и теперь хлопочетъ о заведеніи швейной и типографіи, и что всѣ они, а она, Лидинька, въ особенности, ужасно теперь заняты дѣломъ, и что дѣла у ней вообще просто по горло: «вся въ дѣлѣ, ни на минуту безъ дѣла», тараторила она, и Стрѣшневъ довольно внимательно слушала ея болтовню. Фрумкинъ вызвался руководить выборомъ ея чтенія и предложилъ на первый разъ Бокля, котораго Татьяна хотъ и читала, однако же не прочъ была и еще разъ перечитать повнимательнѣе; но Благопріобрѣтовъ не одобрилъ такого выбора.

— Бокль, это такъ-себѣ. Онъ, пожалуй, хотъ и изрядный реалистъ, — замѣтилъ Лука, — а все-таки швахъ! До точки не доходить... филистеръ! А если читать—никого и ничего не читайте! Однихъ нашихъ! Наши честнѣй и послѣдовательнѣй... ничего не боялись, не струсли ни передъ кѣмъ... Наши пошли гораздо

логичнѣе, дальше пошли, чѣмъ всѣ эти хваленые Бокли. Это повѣрьте, ей-Богу такъ.

— Что это, Благопріобрѣтовъ, кака у васъ скверная привычка: все «ей-Богу», да, «ей-Богу»! — тотчасъ же замѣтила Лидинька. — Прѣдоставьте дуракамъ и невѣждамъ употреблять это слово, а мы, кажется, можемъ обойтись и безъ подобныхъ пошлостей.

Благопріобрѣтовъ, нисколько не стѣсняясь, замѣтилъ на это Лидинькѣ, что она сказала глупость, но Лидинька съ апломбомъ возразила ему, что она только послѣдовательна.

Стрѣшневъ просидѣла въ читальнѣ около часу. Лидинька просила ее заходить почаше и сама тоже общалась какъ-нибудь завернуть къ ней. Въ концѣ концовъ ее снабдили абонементнымъ билетомъ и связкою нѣсколькихъ книжекъ, по преимуществу состоявшихъ изъ собранныхъ и переплетенныхъ воедино кой-какихъ журнальныхъ статей. Выборъ этихъ книжекъ удостоилъ сдѣлать для Татьяны самъ Лука Благопріобрѣтовъ, сказавъ, что эти статьи не достаточно прочесть, но надо даже изучать какъ догматъ всякому порядочному и честному человѣку.

Хотя Стрѣшневъ и не слѣпо повѣрила на первый разъ рекомендаціи Благопріобрѣтова, тѣмъ не менѣе въ этихъ книжкахъ заключался для нея извѣстный интересъ, и онѣ были охотно приняты ею.

Теперь, казалось ей, былъ отысканъ хотъ призракъ какого-нибудь дѣла: книга все же представляла нѣкоторое отвлеченіе отъ тяжелыхъ думъ и гнетущаго чувства.

III.

Призракъ дѣла.

Сначала чтеніе подвигалось туго. Часто случалось такъ, что, водя глазами по печатнымъ строчкамъ, Татьяна машинально читала одни только слова, когда какъ мысли ея были далеко отъ книги. Но каждый разъ словно бы очнувшись, она замѣчала въ себѣ эту разсѣянность и приневоливала свою мысль и вниманіе. Однажды въ читальнѣ она увидѣла на полкѣ Гумбольдтовъ «Космосъ» и взяла его. Съ первыхъ страницъ и съ «Космосомъ» пошла у ней та же исторія машинальнаго бѣганія глазами по строчкамъ, но нѣсколько разъ переломивъ свою разсѣянность, она стала внимательнѣй вдумываться въ смыслъ читаемыхъ страницъ и мало-по-малу великій интересъ великой книги охватилъ ея умъ и приковалъ къ себѣ все ея вниманіе. Ярко поэтическая, исполненная глубокаго смысла, картина цѣлаго міра развертывалась предъ ея глазами. «Космосъ» увлекъ ее и сдѣлалъ тотъ внутренній переворотъ, котораго она тщетно искала доселѣ. Въ спокойной, мощной и строгой мысли поэта-ученаго она мало-по-

малу нашла свой собственный миръ и покой душевный. Хотя въ этомъ и не было забвенія прошлаго, но онъ принесть ей съ собою то, что въ ея думахъ и воспоминаніяхъ все менѣе и менѣе оставалось теперь ѣдкой горечи и то-скливаго гнета. Это былъ покой тихій и нѣ-сколько грустный, похожій на медленное вы-здоровленіе тяжело больного человѣка. Выздо-ровленіе часть за часомъ, день за днемъ при-носить съ собою частичку свѣжихъ, обновлен-ныхъ силъ, съ которыми все болѣе пробуждается въ организмъ потребность жизни и дѣятельно-сти. То же было и съ Татьяной: задавшись разъ исканіемъ дѣла, она не покинула своей задачи; напротивъ, съ наплывомъ этого ти-хаго мира и покоя душевнаго, въ ней стала все громче и сильнѣе говорить потребность какого-нибудь живого, плодотворнаго дѣла. Весь вопросъ для нея былъ теперь только въ томъ: какого?

Теперь уже ее стали одолевать сомнѣнія иного рода. Что это были за сомнѣнія, пусть расскажетъ отрывокъ изъ ея собственнаго пись-ма къ Устинову. Татьяна совершенно не ожи-данно получила отъ него письмо, гдѣ онъ со-общалъ о своемъ окончательномъ рѣшеніи бро-сить въ самомъ скоромъ времени службу въ Славнобубенскѣ, чтобы пріѣхать въ Петербургъ, и спрашивалъ у Татьяны объ ея столичномъ житіи-бытіи, о Хвалынцевѣ, о Полоярвской компаніи, о которой отзывался хотя и вскользь но не безъ ироніи. Стрѣшневa обрадовалась случаю писать къ нему и, не откладывая въ дальній ящикъ, принялась за отвѣтъ.

«Вы спрашивали про мое житіе-бытіе да про то, что я дѣлаю», между прочимъ писала она въ своемъ отвѣтѣ. — «Что вамъ сказать на это? Стыдно сознаться, а утаить не могу, что пока ровно еще ничего не дѣлаю. Только всего и дѣла-то у меня что читаю, но это, какъ на-чинаетъ мнѣ теперь казаться, еще не дѣло, а только призракъ дѣла, или пожалуй, оно мо-гло бы быть при случаѣ подготовкой къ дѣлу. Помните ли, моимъ всегдашнимъ убѣжденіемъ было, что скучно жить на свѣтѣ безъ дѣла, что необходимо надо, чтобы у каждого чело-вѣка было хоть какое-нибудь дѣло, цѣль, за-дача въ его жизни. И—увъ!—съ убѣжденіемъ такого рода, я сама ясно вижу, что вотъ имен-но у меня-то, у меня самой и нѣтъ ровно никакого серьезнаго жизненнаго дѣла. Вы, мой добрый другъ, проииззируете надъ Лидинькой Затцъ и Полоярвской компаніей, а я вамъ—къ величайшему вашему удивленію — скажу на это, что иронія тутъ совершенно напрасна. Я сама еще очень недавно относилась къ нимъ точно такъ-же, а теперь... теперь у меня на хва-тило бы духу на это, потому что я чувствую, что съ подобнымъ отношеніемъ я была бы неправа передъ ними. Можно было посмѣивать-ся надъ этими людьми, когда они только раз-

глагольствовали, когда все *дѣло* ограничива-лось у нихъ одними только словами да звон-кими фразами. Но хватить ли у васъ духу смѣяться, когда вы увидите, что фраза не осталась фразой, что эта фраза, проникнутая вѣрой и убѣжденіемъ, переходитъ на прак-тическую, житейскую почву, воплощается уже въ серьезномъ насущномъ дѣлѣ? Оставьте въ сторонѣ всѣ Полоярвскія недѣлности о пре-словутомъ «гнетѣ петербургскаго царизма» et cetera, да и самого Полоярва тоже въ сто-рону! Но вотъ, напримѣръ, открытіе книжной торговли, учрежденіе переплетной мастерской, швейной, типографіи, и все это на разумныхъ и строгихъ началахъ ассоціаціи—это уже не недѣлность, а практическое, насущное дѣло, ве-дущее въ концѣ концовъ къ тому, чтобы упрочить честный трудъ на честныхъ основа-ніяхъ, на его свободѣ и на справедливости. Тутъ уже дѣло идетъ о вѣрномъ и честномъ кускѣ хлѣба, стало быть о томъ, чтобы людямъ было легче и удобнѣе жить на свѣтѣ. И надъ этимъ стремленіемъ, осуществляемымъ прак-тически, мы съ вами смѣяться, конечно, не станемъ. Все сдѣланное доселѣ въ данномъ отношеніи этими людьми не болѣе какъ пер-вая попытка, первое зерно, брошенное въ почву; но если ростъ этого зерна будетъ правиль-нымъ, сколько блестящихъ, неоцѣненныхъ плодовъ принесетъ оно!.. Я въ Петербургѣ совершенно случайно натолкнулась на этихъ «новыхъ лю-дей». Я еще ихъ очень мало знаю, встрѣчаюсь съ ними не особенно часто; но я стала при-стальнѣе приглядываться къ нимъ и разду-мываться надъ ними. Конечно въ нихъ есть свои странныя, неуклюжія, пожалуй, и смѣш-ныя стороны, есть и свои крайности, но при-этомъ, какъ мнѣ кажется, въ нихъ много ха-рактера, энергіи, упорства и вѣры въ свое дѣло. Они едва ли способны на крупныя уступ-ки и сдѣлки съ тѣмъ порядкомъ вещей, на борь-бу съ которымъ ихъ вызываетъ стремленіе къ своему идеалу. Все это, повторяю вамъ, мнѣ такъ кажется. Они уже тѣмъ неизмѣримо сча-стливѣе меня, что нашли свое дѣло и идутъ своей дорогой, съ твердою вѣрой и въ это дѣло, и въ свое призваніе, а я... я все еще стою на какомъ-то распутьи и жду. А зачѣмъ стою и чего жду,—про то и сама не знаю. Вы го-ворите про Лидиньку Затцъ. Мы съ вами знавали ее въ Славнобубенскѣ пустою и нѣ-сколько эксцентричною болтуней; но тѣмъ-то мнѣ и горше, что даже эта пустельга дѣлаетъ дѣло на сколько можетъ и умѣетъ дѣлать, что даже и она нашла себѣ его, а я, грѣшная, остаюсь только при однихъ исканіяхъ да доб-рыхъ порываньяхъ, отъ которыхъ въ резуль-татѣ все-таки нуль оказывается. Это-то вотъ горькое раздумье надъ собою, приведшее меня къ такому сознанию, и заставило меня нѣсколь-ко иначе посмотреть на Лидиньку и ей по-

добныхъ. Я вглядываюсь теперь и хочу вглядѣться въ нихъ еще ближе, еще пристальнѣе. Во всякомъ случаѣ, теперь я стала глядѣть на людей этой категоріи гораздо серьезнѣе, чѣмъ прежде».

Такова была исповѣдь Татьяны, таковы были мотивы, побуждавшіе ее пока если не къ окончательному сближенію съ ея новыми знакомцами, то къ установкѣ извѣстнаго взгляда на нихъ. Причиной этого была все та-же неопредѣленная жажда жизненной дѣятельности, своего рода *Sehnsucht*, стремление къ призракѣ *дѣла*, такого хорошаго, полезнаго дѣла, которому можно бы было отдать себя вполнѣ и въ немъ окончательно уже найти забвеніе и успокоеніе душевное.

IV.

Вдовушка Сусанна.

Въ Петербургѣ есть цѣлыя дома съ такимъ расположеніемъ большинства квартиръ, которое какъ нельзя удобнѣе приспособлено къ устройству въ нихъ такъ называемыхъ *chambres garnies*. Общій, наиболѣе распространенный типъ подобной квартиры неперемѣнно представляетъ длинный, полутемный корридоръ, съ двухъ сторонъ котораго идутъ дверки, ведущія въ отдѣльныя комнаты. Одна или двѣ изъ такихъ комнатъ размѣрами своими всегда превосходятъ всѣ остальные и какъ бы заранѣе предназначаются «подъ хорошаго жильца». Эти квартиры рѣдко остаются въ Петербургѣ пустыми и постоянно приносятъ хорошій доходъ какъ съемщикамъ, такъ и домовладѣльцамъ. Одна изъ подобныхъ квартиръ, въ одномъ изъ недалекихъ отъ центра кварталовъ, была нанята на имя вдовы штабсъ-ротмистра Сусанны Ивановны Стеклыштрома.

Сусанна Ивановна въ полномъ совершенствѣ была то, что называется «интересная вдовушка». Для того чтобы быть «интересной вдовушкой», у нея имѣлось все: двадцать восемь лѣтъ отъ роду, очень привлекательная наружность, извѣстнаго рода деньги и капиталъ. Капиталъ — это главное. А капиталъ Сусанны Ивановны простирался ровно до шестидесяти тысячъ. У Сусанны Ивановны были великолѣпныя густыя и длинныя каштановыя волосы и агатовыя каріе глаза. Это были глаза большіе, лѣживо-томные и безконечно добрые съ нѣскольکو коровинымъ отблескомъ въ выраженіи, что придавало имъ только извѣстный характеръ, но отнюдь не мѣшало ихъ красивости. Та же доброта высказывалась и въ ея крупныхъ, чувственныхъ губахъ. Эти волосы и эти глаза, съ этимъ очеркомъ губъ и съ мягкой полнозвучностью всей ея комплекціи, при правильной соразмѣрности средняго роста, дѣлали изъ Сусанны Ивановны, какъ сказано

уже, очень привлекательную женщину. Мужчины смотрѣли на нее съ тѣмъ особеннымъ выраженіемъ, которое находится у мужчинъ далеко не для каждой женщины и которое всегда является, напримѣръ, у ремонтеровъ и у страстныхъ любителей лошадей при взглядѣ на хорошую, красиво-статистую лошадь. Въ общемъ и наиболѣе постоянномъ выраженіи красиваго лица Сусанны Ивановны господствовала все та же безконечная доброта, отчасти апатичная лѣнливость и еще кака-то недалёковидность. Мужчины, поглядывая на Сусанну Ивановну, не безъ нѣкотораго своекорыстія, обыкновенно думали про себя: «а хорошо бы, чортъ возьми, порасшевелить эту бабенку!» Все это доказываетъ только, что интересная вдовушка принадлежала къ числу такъ называемыхъ «вкусныхъ и одобныхъ» женщинъ, вѣчно служащихъ для огромнаго большинства субъектовъ непрекраснаго пола одною изъ самыхъ лакомыхъ приманокъ. Даже самая недалёковидность, отражавшаяся въ ея физиономіи, не вредила общему впечатлѣнію, ибо — по замѣчанію нѣкоторыхъ компетентныхъ сѣнителей — недалёковидность въ иныхъ случаяхъ относится никакъ не къ недостаткамъ, но къ положительнымъ достоинствамъ женщинъ.

Сусанна Ивановна семнадцати лѣтъ вышла замужъ за гусарскаго корнета Стеклыштрома и при томъ вышла по самой страстной, неукротимой любви къ этому корнету. Все имущество корнета, кромѣ носильнаго платья, заключалось въ серебряныхъ ментшикетахъ да въ дорожномъ погребцѣ, при чемъ однако онъ какими-то судьбами могъ служить въ гусарахъ; этому, впрочемъ, помогало необыкновенно ловкое умѣнье дѣлать долги, не теряя собственнаго достоинства. Сусанна Ивановна, единственная дочь и наслѣдница очень богатаго южно-степного помѣщика, съ ея стотысячнымъ приданымъ, была блистательной приманкой и не для одного только гусарскаго корнета. А тутъ вдругъ эта пылкая любовь къ его особѣ. Корнетъ Стеклыштромъ въ одинъ мигъ сообразилъ, что съ его стороны было бы величайшею и непростительнѣйшею глупостью не воспылатъ къ Сусаннѣ Ивановнѣ взаимною любовью — и воспылалъ. И что всего замѣчательнѣе, воспылалъ совершенно искренно, со всѣмъ корнетскимъ пыломъ. Родитель о такомъ бракѣ и слышать не хотѣлъ; тогда корнетъ Стеклыштромъ выкралъ Сусанну Ивановну изъ родительской усадьбы, увезъ ее въ эскадронъ и обвинчался экстреннымъ манеромъ. Сусанна Ивановна была въ восторгѣ и отъ того, что ее увезли потайнымъ образомъ, и отъ того, что у нея такой хорошенькій мужъ, въ голубомъ гусарскомъ долманѣ, и на третій день послѣ столь радостнаго событія подкатила четверней къ родительскому крыльцу, вмѣстѣ съ молодымъ мужемъ, въ великолѣпномъ дормезѣ,

нарочно взятомъ для этого случая у полкового командира. Родитель было первымъ дѣломъ на дыбы: «ты, молъ, не дочь моя! у меня нѣтъ болѣе дочери! видѣть не хочу!» и проч. А Сусанна Ивановна ему на это: «Батюшка! мы дѣти ваши! мы любимъ» и т. д., словомъ, все совершенно такъ, какъ бываетъ въ театраль-ныхъ представленіяхъ, для выщаго сходства съ которыми, родитель, въ концѣ концовъ, простеръ надъ ними руки и очень трогательно произнесъ: «Дѣти мои, будьте счастливы» и задалъ великолѣпный банкетъ всему гусарскому полку и всему мѣстному «благородному дворянству». Родитель даже очень полюбилъ своего зятя и по прошествіи трехъ лѣтъ отписалъ ему, что такъ какъ его родительское здоровье становится плохо, то и хотѣлъ бы онъ послѣдніе дни свои провести съ дѣтьми и внуками, а посему выходило-ко въ отставку и перебрался ко мнѣ въ деревню. Зять такъ и сдѣлалъ, а мѣсяцевъ десять спустя родитель скончался—и madame Стекльштромъ сдѣлалась обладательницей богатаго наслѣдства. Отставной штабсъ-ротмистръ зажилъ широко, на гусарско-барскую ногу, и супруга была этимъ очень довольна. Прожили они такимъ образомъ во взаимномъ мирѣ, любви и согласіи почти девять лѣтъ, считая со дня своей свадьбы. Самъ Стекльштромъ за все это время успѣлъ сильно облѣниться, обрюзгнуть, растолстѣть и сталъ страдать одышкой. Madame же Стекльштромъ только хорошилась собою на привольной помѣщичьей жизни. Было у нихъ двое дѣтей—двое мальчиковъ, и родители съ обоюднаго своего согласія порѣшили, что пора, молъ, для мальчиковъ, взять гувернера, который былъ бы заодно ужъ и учителемъ. Бонна-француженка у нихъ ужъ была, и мальчуганы хорошо болтали по-французски; къ нѣмецкому же языку и къ нѣмцамъ самъ Стекльштромъ, несмотря на свою отчасти германскую фамилію, питалъ, — сколько странно это—самое непримиримое отвращеніе и учить дѣтей «этому телячьему языку» ни за что не хотѣлъ. Поэтому рѣшено было не брать въ гувернеры ни нѣмца, ни француза. Случилось ему быть по дѣламъ въ Ростовѣ-на-Дону, и тутъ ему кстати отрекомендовали хорошаго гувернера. Отрекомендовалъ нѣкоторый нахичеванскій купецъ-армянинъ, съ которымъ Стекльштромъ имѣлъ дѣла по шерстяной торговлѣ. Въ качествѣ искомаго гувернера къ экс-гусару явился молодой человѣкъ армянскаго происхожденія и отрекомендовался студентомъ, который «по домашнимъ обстоятельствамъ» не успѣлъ докончить университетскаго образованія. Точноли молодой человѣкъ былъ студентомъ и на сколько въ показаніяхъ его правды, Стекльштромъ не справлялся, а просто «морда» ему понравилась, и онъ взялъ его въ гувернеры. Этотъ гувернеръ изъ восточныхъ человѣковъ былъ Малгоржанъ-Казаладзе.

Этотъ Малгоржанъ, какъ сказано уже, въ силу солидарности со всѣми своими единородцами, воображалъ о себѣ, что онъ «молодцѣ и красавица», и вдругъ — увы! къ несчастью толстаго Стекльштрома, Сусанна Ивановна нашла его тоже «молодцомъ и красавицей»... Помѣщичьи хлѣба въ то время были еще хорошіе, жирные, деревенское житѣе привольное, спанье на пуховикахъ сладкое, деревенская скука великая, и барское, а особенно женское бездѣлье неисчерпаемое,—и вотъ, въ силу всѣхъ этихъ совокупныхъ причинъ, а болѣе всего отъ скуки и бездѣлья, ползла дурь въ голову Сусанны Ивановны. А тутъ еще этотъ Малгоржанъ со своими «новыми идеями». Онъ сразу почти принялся «развивать» Сусанну Ивановну, и развитіе это касалось болѣе того, что жить такъ, какъ Сусанна Ивановна живетъ, для «мыслящей женщины» невозможно, что эдакъ можно задохнуться — и Сусанна Ивановна вдругъ стала сознавать, что и точно можно задохнуться и что она уже задыхается. Потомъ Малгоржанъ сталъ увѣрять, что она хотя еще и не развитая, но очень замѣчательная, «мыслящая и изъ ряду вонъ выходящая женщина»—и Сусанна Ивановна стала чувствовать, что она и мыслить, и изъ ряду выходить, хотя до Малгоржана ни того, ни другого въ себѣ не замѣчала; но тѣмъ-то и болѣе чести этому Малгоржану, тѣмъ-то и выше заслуга его, что онъ первый подмѣтилъ въ ней это выдаваніе изъ ряду, что онъ первый «разбудилъ» въ ней «трезвую мысль». Сталъ Малгоржанъ говорить ей, что хотя ея супругъ, быть можетъ, и очень почтенный по-своему человѣкъ, но что онъ, во всякомъ случаѣ, человѣкъ ретроградный и «не понимаетъ» своей супруги, и даже не можетъ понимать ее—и Сусанна Ивановна вдругъ стала замѣчать, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаетъ и понять не можетъ, что онъ только спитъ да ѣстъ, да со старостой объ овсахъ толкуетъ. Малгоржанъ сталъ увѣрять ее, что она, вслѣдствіе всего этого, очень несчастлива въ своей семейной жизни, что эта обстановка не по ней—и Сусанна Ивановна увѣровала, что и точно она очень несчастлива и что ей какъ можно скорѣй надо другую обстановку. Результатъ всего этого развитія, которое тѣмъ только и ограничилось, былъ очень лакомъ для нахичеванскаго Малгоржана. Со скуки Сусаннѣ Ивановнѣ казалось даже, что она очень привязана къ Малгоржану, что безъ него она жить не можетъ, что онъ первый, который «понялъ, разбудилъ и воззвалъ ее къ новой жизни», что онъ всегда, даже и до своего появленія въ ихъ домѣ, былъ ея идеаломъ, что она всегда стремилась къ такому идеалу и только теперь обрѣла его. Сначала все было плохъ хорошо у нихъ въ этой новой жизни при старой обстановкѣ. Развитіе благополучно дошло до точки, желанной Малгоржану; толстый

Стеклыштромъ по-прежнему ѣлъ, спалъ и толковалъ объ овсахъ со старостой, какъ вдругъ этотъ самый злодѣй-староста, «жалѣючи пана», поднепнулъ ему однажды, что у самой пани «съ тымъ голоцуцымъ гармяшкой шось-то такѣ скоромне — бодай стонадцать чортывъ ёго батьковн!»

Стеклыштромъ зналъ, что староста мужикъ честный, вѣрный и правдивый, который на-вѣтеръ зря слова не кинетъ, тѣмъ не менѣ очень разсердился, вспылѣлъ, сказалъ ему дурака и каналью и съ топотомъ выгналъ изъ кабинета. Но старостино слово заронилось ему въ душу и втайнѣ стало сосать и тревожить его. Толстякъ исподволь началъ наблюдать за женой и гувернеромъ, и скорѣ долженъ былъ убѣдиться, что старостино слово не мимо шло. Онъ, ни мало не думая, принялъ Малгоржана въ аранники, и послѣ горячей собственноручной расправы, вытурилъ изъ дому, «чтобъ черезъ часъ и духу его на десять верстъ не пахло!» Сконфуженный Малгоржанъ удалился въ родную Нахичевань, а у Стеклыштрома съ этой несчастной минуты пошелъ непрерывный кавардакъ въ его семейной жизни. Съ Сусанной Ивановной стали дѣлаться нервные припадки, пошли истерики, вопли, слезы, укоры, брань... Дѣти, видя, что мать чего-то вопитъ, тоже ревъ поднимають, и идетъ этотъ ревъ и вой по всему дому. Супружескія крупныя сцены вспыхивали ежедневно, а то и по нѣскольку разъ на день. Сусанна Ивановна томилась по своему Малгоржану и все порывалась летѣть къ нему и за нимъ хоть на край свѣта; дѣти забыты, заброшены, заверяшены и неумыты; хозяйство ползетъ въ-рознь, всякое дѣло изъ рукъ валится; за столомъ въ горло кусокъ нейдетъ, вся домашняя прислуга съ толку «билась и въ барскихъ комнатахъ ходитъ какъ одурѣлая... Адомъ сталъ этотъ домъ и эта жизнь для толстаго и лѣниваго Стеклыштрома. Наконецъ Сусанна Ивановна рѣшительно объявила ему, что жить болѣе съ нимъ не намѣрена и уѣзжаетъ сегодня же, что онъ съ дѣтьми можетъ оставаться въ деревнѣ, а она съ своей стороны, такъ какъ все состояніе принадлежитъ ей, будетъ высылать ему и дѣтямъ ежегодно известнаго рода пенсію, и засимъ проситъ считать ее свободно во всѣхъ отношеніяхъ. Стеклыштромъ ни слова не возразилъ ей на это: онъ радъ былъ избавиться отъ домашнего ада—и Сусанна Ивановна укатила, впрочемъ очень нѣжно простясь со своими мальчюками. Черезъ двѣ-три недѣли послѣ этого она уже была въ Петербургѣ, въ сопровожденіи своего «кузена» Малгоржана-Казаладзе.

Однако столь рѣзкая перемѣна въ семейныхъ обстоятельствахъ не прошла даромъ для экс-гузара. Онъ затосковалъ, и съ горя, въ кругломъ безвыѣздномъ одиночествѣ, сильно сталъ придерживаться чарочки! Онъ сдѣлался еще лѣнивей и сонливѣе, по цѣлымъ суткамъ не сползалъ

со своего дивана и кончилъ тѣмъ, что черезъ полгода подобной жизни, въ одну дупную ночь хватилъ его кондрашка; къ полудню случился второй ударъ, вечеромъ третій — и штабсъ-ротмистръ Стеклыштромъ переселился въ обители горни.

Сусанна Ивановна сдѣлалась «интересной вдовушкой».

Она съѣздила въ деревню за тѣмъ, чтобы надъ могилой мужа воздвигнуть приличный мавзолей, свести свои счеты да дѣла и забрать своихъ ребятъ, которыхъ намѣревалась помѣстить въ Петербургѣ въ полный пансіонъ къ одному педагогу. По сведеніи счетовъ оказалось, что въ теченіе девяти лѣтъ прожито безъ малаго шестьдесятъ тысячъ, что, при широкой жизни, сравнительно говоря, было еще не особенно много. Сусанна Ивановна порѣшила продать свое имѣніе, ужасно продешевилась на этой продажѣ, но все-таки въ концѣ концовъ у нея осталось наличныхъ еще около шестидесяти тысячъ, съ которыми она и прикатила опять въ Петербургъ, въ объятія восточнаго кузена. У Малгоржана были здѣсь его старые знакомые, съ которыми онъ сошелся еще года за два предъ симъ, въ то время какъ въ качествѣ вольнослушателя посѣщалъ университетскія лекціи. Между этими знакомцами первую роль играли Лука Благопріобрѣтовъ и Моисей Фрумкинъ. Малгоржанъ уважалъ и того, и другого. Появись въ Петербургѣ съ такою интересною особою, какъ Сусанна Ивановна, онъ никакъ не воздержался, чтобы не познакомить съ нею своихъ уважаемыхъ пріятелей, предъ которыми предварительно распространился о томъ, какаа это замѣчательная женщнна, какъ онъ постарался дать ей человѣческое развитіе и затѣмъ вырвалъ изъ когтей тирана и деспота мужа. Лука съ Моисеемъ весьма благосклонно отнеслись къ «кузинкѣ» Малгоржана.

Лука Благопріобрѣтовъ хотя и былъ чловѣкъ узкій, односторонній, но въ высшей степени своеобразно честный. Это былъ по природѣ своей фанатикъ, и не будь онъ «новымъ чловѣкомъ», то навѣрное былъ бы самымъ суровымъ отшельникомъ-монахомъ. Другихъ исходовъ для него не существовало бы. Онъ и теперь велъ жизнь самую суровую, исполненную всяческихъ, и вольныхъ и невольныхъ, лишеній. Это былъ идеалистъ реализма или, вѣрнѣе сказать, мистикъ реализма, которому поклонялся съ фанатизмомъ индійскаго факира. И онъ глубоко вѣровалъ въ то, чему поклонялся. Будучи нищъ и убогъ средствами, но твердъ и богатъ своею вѣрою, онъ упорно мечталъ о множествѣ проектовъ, ведущихъ къ пересозданію рода чловѣческаго, къ обновленію соціальнаго строя чловѣческой жизни. Ему хотѣлось, чтобы люди жили въ великолѣпныхъ аллюминіевыхъ фаластерахъ, предъ которыми казались бы жалки

и ничтожны дворцы сильныхъ міра сего, чтобы всякій трудъ исполнялся не иначе, какъ съ веселой пѣсней и пляской, чтобы каждый человѣкъ имѣлъ въ день три фунта мяса къ обѣду, а между тѣмъ самъ Лука зачастую не имѣлъ куда голову преклонить, спать на бульварѣ, ходилъ работать на биржу, когда не было въ виду ничего лучшаго, и иногда сидѣлъ безъ обѣда. Но собственныя несчастія и неудачи какъ-то мало его беспокоили; привыкъ-ли онъ къ нимъ, или натура ужъ у него была такая закаленная, только эти лишенія и невзгоды составляли для него даже предметъ самоудовольной гордости. Онъ именно какъ-бы гордился тѣмъ, что ему ѣсть нечего и голову преклонить некуда, и еще самъ даже старался увеличивать свои неудобства. Когда, напримеръ, кто-нибудь изъ товарищей предлагалъ Лукѣ теплую комнату и мягкую постель, Лука зачастую отказывался и уходилъ спать на бульваръ или въ паркъ Петровский.

Моисей же Фрумкинъ былъ великій практикъ въ дѣлахъ міра сего и обладалъ чисто іудейской увертливой и находчивой смѣткой. Когда Малгоржанъ-Казаладзе повѣдалъ двумъ своимъ пріятелямъ о подвигѣ развитія, учиненномъ надъ помѣщицей Сусанной, и о томъ, что у этой Сусанны есть шестьдесятъ тысячъ чистогономъ, Фрумкину вдругъ явилась блестящая идея приспособить Сусанну «къ дѣлу». Онъ сообразилъ, что хорошо было бы убѣдить эту Сусанну основать на часть ея денегъ нѣчто въ родѣ фаланстера для совмѣстнаго сожитія «новыхъ людей» и тутъ же кстати примкнуть швейную, переплетную и прочія блага. Эту богатую идею сообщилъ онъ Лукѣ, и Лука схватился за нее со всею жаромъ: онъ видѣлъ въ ней фактическое осуществленіе своей заветной мечты о перерожденіи и перевоспитаніи рода человѣческаго. Когда друзья посвятили Малгоржана въ свой проектъ, то Малгоржанъ сильно поморщился, однако же послѣ довольно долгихъ и энергическихъ убѣжденій, боясь потерять репутацію «новаго человѣка» и уваженіе Луки и Моисея, склонился на ихъ доводы, склонился съ затаеннымъ сокрушеніемъ сердца, ибо втанѣ ласкалъ себя пріятною мыслію, что эти шестьдесятъ тысячъ въ силу, такъ сказать, нравственнаго сродства съ Сусанной, принадлежать и ему, въ нѣкоторомъ смыслѣ. Но убѣжденный наконецъ краснорѣчивыми доводами Фрумкина, онъ разсчелъ, что устройство фаланстера и прочихъ благъ потребуетъ немного — что-нибудь въ родѣ пяти-шести тысячъ, и потому, какъ ни больно это было въ сущности, далъ друзьямъ свое согласіе и обѣщалъ дѣйствовать на Сусанну заодно съ ними.

Фрумкинъ приступилъ къ интересной вдовушкѣ поподволь, гораздо глубже и дѣльнѣе, чѣмъ Малгоржанъ, посвящая ее въ пѣдра но-

выхъ идей новаго человѣчества. Съ нею, впрочемъ, работы ему было не много: врожденныя качества недалекости и безконечной, коровьей доброты, столь ярко написанныя на ея лицѣ, помогли ему въ этомъ случаѣ чуть ли не болѣе, чѣмъ все великія идеи и горячія убѣжденія. Вдовушка Сусанна никому никогда и почти ни въ чемъ не умѣла отказывать, а потому весьма охотно согласилась нанять на свое имя пригодную квартиру и, подъ видомъ жильцовъ, пускать въ нее на жительство тѣхъ людей, на которыхъ укажетъ Малгоржанъ и его пріятели. Трудъ и капиталъ въ этомъ случаѣ предполагались общіе, на основаніи строгой ассоціаціи, такъ что Сусанна, судя по доводамъ Фрумкина, и не могла быть въ какихъ-нибудь особенныхъ убыткахъ. Съ основаніемъ фаланстера предполагалось тотчасъ же приступить къ осуществленію и прочихъ проектовъ.

Мечтатель Лука, продолжая измозжать свою плоть добровольными лишеніями, былъ совершенно счастливъ, и въ это-то время написалъ къ Полонорору то немногослаголивое, но яснорѣчивое посланіе, которое побудило Ардальона летѣть изъ Славнобубенска въ Питеръ.

V.

Великіе проекты продолжаютъ осуществяться.

Шатался по Петербургу безъ всякаго дѣланій юный князь Салово-Неплюхово. Воспитаніе и образованіе свое съ грѣхомъ пополамъ кое-какъ окончилъ онъ въ одномъ изъ привилегированныхъ разсадниковъ «статскихъ» дѣтей земли Русской. Впрочемъ, онъ не то, чтобы даже окончилъ курсъ, а просто выдали ему изъ разсадника свидѣтельство, что находится, молъ, въ такомъ-то заведеніи. Поэтому князь Салово-Неплюхово, въ сущности, былъ то, что называется «любитель просвѣщенія». Естественное предназначеніе этого князя, казалось бы, должно заключаться въ граненія тротуаровъ Невского проспекта, въ посѣщенія французскихъ спектаклей да различныхъ Бланшъ, Жозефинъ, Прозерпинъ и проч. Но у князя открылась вдругъ одна злосчастная слабость: князь возжелалъ сдѣлаться великимъ человѣкомъ, свѣтиломъ своего отечества, — онъ ощутилъ до такой степени сильный зудъ писательства, что во что бы то ни стало заказалъ себѣ быть литераторомъ. «Быть литераторомъ» — это стало любимѣйшею мечтою, счастливѣйшею надеждою, неотступною идеею юнаго князя, которая преслѣдовала его и наяву, и во снѣ. Князь сочинялъ стихи, романы, очерки, драмы, эпопеи, водевили, критическіе и социальные этюды, политическія статейки, фельетоны, словомъ — все, чѣмъ только можетъ быть богата самая разнообразная литература.

Это былъ самый плодovitѣйшій отецъ своихъ твореній. Каждое изъ нихъ отдавалось отличному каллиграфу, который переписывалъ княжеское произведение отчетливѣйшимъ образомъ и трудился надъ затѣйливимъ изукрашеніемъ заглавнаго листа, послѣ чего тетрадь поступала къ переплетчику и выходила изъ его мастерской не иначе, какъ въ великолѣпной бархатной и золотомъ тисненой обложкѣ. Можно съ полною увѣренностью утверждать, что ни одно изъ произведеній самыхъ величайшихъ гениевъ челоvѣчества не удостоилось чести побывать въ рукахъ своего творца съ такою роскошною внѣшностью, какъ произведенія князя Сапово-Неплохово. Но при этой неукротимой и почти болѣзненной слабости къ писательству и при громадномъ авторскомъ самолюбіи, неизбежно соединенномъ съ нею, князь Сапово — увь! былъ бездаренъ и глупъ. И эти два качества отражались въ каждомъ его произведеніи. Но, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, они ярко кидались въ глаза всѣмъ и каждому, исключая самого князя, который считалъ себя самымъ разнообразнымъ гениемъ, потому что можетъ писать все—отъ физиологическаго трактата до водевиля. Князь жаждалъ извѣстности и славы. Со своими роскошно отдѣланными тетрадями онъ кидался во всѣ рѣшительно редакціи, отъ «Современника» до «Домашней Бесѣды», и конечно, не было въ Россіи челоvѣка, который бы лучше и тверже зналъ напaустъ адреса всевозможныхъ петербургскихъ и московскихъ редакцій, а князь изучилъ ихъ по многократнымъ, собственноличнымъ опытамъ.

Но увь!—не нашлось ни одной газетки, ни одного журнальчика, который рѣшился бы украсить свои страницы однимъ изъ безчисленныхъ произведеній Сапово-Неплохово. И что же?—Князь не падалъ, не унывалъ духомъ, не разочаровался, даже не озлобился ни на единую изъ редакцій! Черта похвальнаго, рѣдкаго великодушія и незлобivosti, при авторскомъ самолюбіи князя. Онъ вслѣдствіе искалъ знакомства съ русскими литераторами, зачастую назойливо являлся ко многимъ изъ нихъ на поклонъ и радъ былъ кормить ихъ обѣдами и ужинами. Охотники, конечно, находились. Князю было рѣшительно все равно какого сорта эти литераторы—лишь бы только литераторы! Онъ довольствовался счастливымъ сознаніемъ, что это «писатели», помѣщающіе статьи свои въ журналахъ. И вотъ, этого-то князя, со всѣми его слабостями, намѣтилъ себѣ однажды Моисей Исааковичъ Фрумкинъ, который въ одной изъ редакцій занимался иногда переводами.

Для Фрумкина подобный князь былъ неоцѣненной находкой—и Фрумкинъ рѣшилъ, что и его, точно такъ-же какъ Сусанну Ивановну, необходимо нужно «приспособить къ дѣлу». Князь сохранилъ еще нѣкоторые остатки отъ состоя-

нія, тысячъ до тридцати. Этотъ капиталецъ можно было пустить въ предпріятіе. Фрумкинъ познакомилъ князя съ Лукою и «литераторомъ» Полояровымъ.

Князь остался въ восторгѣ и отъ того, и отъ другого, а особенно отъ Полоярова, который, будучи предупрежденъ Фрумкинѣмъ, сталъ расхваливать княжескія стихотворенія. Ардальонъ сразу огорошилъ князя такою новостью, что всѣ журналисты, молъ, сволочъ, эксплуататоры честнаго труда и вдобавокъ ни уха, ни рыла не смыслятъ, и что гораздо лучше взять да основать свой собственный отдѣльный и независимый органъ, и въ немъ уже невозбранно печатать все, чего только душа пожелаетъ. Князю необыкновенно улыбнулась идея — самому быть редакторомъ и печатать въ *своемъ* журналѣ всѣ свои произведенія.

На такое дѣло онъ ни на минуту не призадумался бы ухлопать все свое состояннышко. Но Фрумкинъ, хотя и очень сочувствовалъ такой идее, однако же находилъ, что сначала практичнѣе было бы устроить дѣло книжной торговли съ общественной читальней, которая могла служить общимъ центромъ для людей своего кружка, а при книжной торговлѣ можно сперва, въ видѣ подготовительнаго опыта, заняться изданіемъ отдѣльных хорошихъ книжекъ, преимущественно по части переводовъ, а потомъ уже приступить и къ журналу.

Князь и отъ этой идеи остался въ восторгѣ, а такъ какъ ее поддерживалъ и Лука Благопріобрѣтовъ, то ей и суждено было осуществиться раньше журнала. Былъ подысканъ одинъ полуразорившійся книгопродавецъ, у котораго на княжескія деньги купленъ магазинъ,—и вотъ, въ одно прекрасное утро, надъ окнами этого магазина появилась извѣстная уже вывѣска: «Книжная торговля и кабинетъ для чтенія Луки Благопріобрѣтова и К^о». Имя Луки появилось на этой вывѣскѣ по просьбѣ самого князя, который не хотѣлъ (хотя и не сознавался въ томъ), чтобы его аристократическое имя блистало на уличной, торгашеской вывѣскѣ.

Фрумкинъ по этому поводу прочелъ блистательный панегирикъ его скромности. Магазинъ хотя и былъ пріобрѣтенъ исключительно на княжескія деньги, но, по проекту Моисея и Ардальона, все это дѣло предполагалось основаннымъ на началахъ ассоціаціи: князь внесъ капиталъ денежный, а остальные должны были внести капиталъ умственнаго и матеріальнаго труда и чрезъ этотъ вкладъ сдѣлаться равноправными дольщиками. Но въ сущности, если кто и трудился неусыпно и неустанно, то это одинъ Лука Благопріобрѣтовъ, который ради этого дѣла отказался отъ житія въ фаланстерѣ и поселился кое-какъ въ узенькой

и темной каморкѣ, паходившейся тутъ же, при книжномъ магазинѣ. Нужды нѣтъ, что каморка походила болѣе на тѣсный чуланъ, чѣмъ на комнату—неприхотливый Лука былъ сю совершенно доволенъ, и все свое время проводилъ при книжномъ дѣлѣ. Днемъ приводилъ въ порядокъ книги, справлялъ должность библиотекаря, конторщика, бухгалтера, приказчика и даже разсылнаго, а ночью составлялъ каталоги, писалъ отчеты и еще успѣвалъ справляться за сторожа, для чего собственно и поселился въ каморкѣ. Онъ поутру и печи топилъ, и полъ подметалъ, и на всѣ эти работы у него какъ-то съ избыткомъ хватало времени. Однимъ словомъ, это былъ самый дѣятельный участникъ предпріятія, и имя его не даромъ стояло на вывѣскѣ. Остальная компанія, въ ожиданіи будущаго успѣховъ и барышей, была только пріятной компаніей—не болѣе. Впрочемъ, и вдовушку Сусанну пріурочили къ дѣлу, «чтобы не даромъ ѣла хлѣбъ». Ее поставили за магазинную конторку и, въ помощь Лукѣ, заставили продавать книги. Вдовушка, сдѣлавшись компаньонкой, отполировалась въ этой компаніи почти не менѣе Лидиньки Затцъ. Хотя и многого она не понимала, и хотя вообще «новыя идеи» шли къ Сусаннѣ въ родѣ того, какъ сѣдо къ коровѣ, тѣмъ не менѣе она съ большимъ успѣхомъ усвоила себѣ тотъ особенный тонъ и жанръ, который показался такъ страннымъ Татьянѣ Николаевнѣ, когда Сусанна встрѣтила ее предположеніемъ, что ей нужны, вѣроятно, глупыя книжки.

Князь былъ совершенно счастливъ. Онъ чувствовалъ живѣйшую благодарность къ Фрумкину, Лукѣ и Ардальону, и все время плавалъ въ восторгѣ, что наконецъ-то добрая судьба поставила его въ обществѣ «такихъ людей». Моисей увѣрилъ его, что онъ даже въ нѣкоторомъ родѣ Меценатъ и, вмѣстѣ съ Полояровымъ, сбывалъ ему очень выгодно на чистыя деньги разныя свои статейки, въ качествѣ матеріаловъ для будущаго журнала. Этихъ Моисеевскихъ и Полояровскихъ матеріаловъ набралось у князя уже изрядное количество, и не мало денегъ было за нихъ заплачено двумъ даровитымъ авторамъ, а дѣло о журналѣ все еще стояло на точкѣ замерзанія. Фрумкинъ находилъ, что прежде чѣмъ затѣвать журналъ, необходимо основать свою собственную типографію, въ которой онъ могъ бы печататься, и завыдываніе этою типографіею взять въ свои собственные Моисеевы руки. И вотъ, вскорѣ плохенькая типографія была пріобрѣтена, тоже по случаю, и Лидинька Затцъ занялась было наборщицкимъ дѣломъ, но вскорѣ впрочемъ нашла, что это дѣло не по ней, и что она несравненно будетъ полезнѣе въ читальной, хотя бы даже однимъ своимъ присутствіемъ.

VI.

Вечеръ въ коммуѣ.

У обитателей «фаланстера», извѣстнаго болѣе подъ именемъ «коммуны», былъ «вечеръ». Они порѣшили сообща—разъ въ недѣлю дѣлать сборные вечера для знакомыхъ. Тутъ присутствовали теперь всѣ наличные обитатели этой коммуны: Лидинька Затцъ, Анцыфровъ, Полояровъ, Малгоржанъ-Казаладзе, юный князь и вдовушка Сусанна. Мы застаемъ ихъ теперь въ «общей комнатѣ». Эта общая комната, хотя въ ней и сидѣло теперь нѣсколько человѣкъ, все почему-то невольно напоминала какой-то нежилой покой: совершенно голыя стѣны, голыя окна, пзъ которыхъ въ одномъ только висѣла, Богъ-вѣсть для чего, коленкоровая штора, у стѣнъ въ безпорядкѣ приткнулись нѣсколько плетеныхъ стульевъ, въ одномъ углу валялись какія-то вещи, что-то въ родѣ столовой да кухонной посуды, какія-то картонки, какая-то литографія въ запыленной рамкѣ, сухая трава какая-то въ бумажномъ тюричкѣ, попка отъ сломаннаго кресла... По срединѣ комнаты стоялъ большой раздвижной столъ съ нѣсколькими безобразно приготовленнымъ чайнымъ приборомъ. Словомъ, эта «общая комната» дѣлала такое впечатлѣніе, какъ словно бы она совѣмъ нежилая, или бы въ нее только-что переѣзжаютъ новые жильцы, не успѣвшіе еще устроиться.

Здѣсь собралось уже нѣсколько гостей. Однимъ изъ первыхъ по времени былъ Лука Благопріобрѣтовъ, который не то скромно, не то угрюмо и совершенно молча, недолгимъ сидѣлъ въ углу на стулѣ. Вдовушка помѣщалась за чайнымъ столомъ и занималась приготовленіемъ чая, а о-бокъ съ нею присосѣдился Василій Свитка и бравый конно-артиллерійскій поручикъ Бейгушъ, который довольно весело и непринужденно болталъ съ Сусанной Ивановой, къ видимому неудовольствію Малгоржана, искоса поглядывавшаго на нихъ изъ другого конца комнаты. Болтовня браваго поручика, очевидно, была весьма пріятна вдовушкѣ Сусаннѣ, а это тѣмъ болѣе бѣсило восточнаго кузена. Остальные гости занимались кто чѣмъ хотѣлъ, не стѣсняя ни себя, ни хозяевъ.

Въ передней раздался звонокъ, возглаголавшій новаго почитателя.

— Малгоржанъ! подите, отворите двери!—вскричалъ Полояровъ восточному человѣку.

— Ходите сами!—возразилъ Казаладзе.

— Подите, говори! Это къ вамъ гости.

— А почему вы думаете, что ко мнѣ? А можетъ это къ вамъ?

Звонокъ повторялся.

— Малгоржанъ! Да подите же!

— Я не пойду... Ступайте вы, Анцыфровъ, коли онъ не хочетъ.

— Да это не ко мнѣ; это, вѣроятно, къ вамъ звонять,—отозвалась дохленькій.

— Нѣтъ, къ вамъ.

— Нѣтъ, не ко мнѣ, потому что...

— Потому что не потому что, а я уже разъ отворилъ, а теперь очередь за другими. Пускай кто хочетъ, тотъ и идетъ!

Звонокъ повторился въ третій разъ.

— Малгоржанъ, да не спорьте же!—досадливо возгласилъ Полояровъ.—По теоріи вѣроятностей, это къ вамъ, говорю!

Бейгушъ, съ весьма сдержанной проницательской улыбкой слушавшій этотъ курьезный споръ сообитателей, всталъ наконецъ съ мѣста и прошелъ въ переднюю. Лидинька подбѣжала къ дверямъ полюбопытствовать, кого еще принесло тамъ?

Бейгушъ отомкнулъ задвижку и впустилъ даму, которой весьма предупредительно помогъ снять салопъ.

— А! Стрѣшнев! здравствуйте, миленькая! наконецъ-то вы къ намъ забрались!—застреготала Лидинька.

Полояровъ сдѣлалъ кислую гримасу.—«И на кой чортъ они ее сюда поваживаютъ!» пробурчалъ онъ себѣ подъ носъ.

Татьяна Николаевна раза по два въ недѣлю обыкновенно заходила за книгами въ компанейскую читальню и тамъ проводила нѣсколько времени въ разговорахъ съ ея неизмѣнными *завсегдатаями*. Въ послѣднее время это было для нея почти единственнымъ развлеченіемъ. Лидинька Затцъ вмѣстѣ съ Сусанной Ивановой чуть-ли не каждый разъ приглашали ее посѣтить какъ-нибудь ихъ «коммуну», и Стрѣшневъ общалась, но все какъ-то не успѣвала собраться, а Лидинька между тѣмъ, безъ особыхъ претензій, заѣзжала къ ней уже дважды. Татьяна знала, что въ коммуны бываютъ вечера, и вспомнивъ, что именно сегодня тамъ вечеръ, взяла и поѣхала, предваривъ тетку, чтобы за нею прислали человѣка часу въ двѣ надплатомъ. Ей все еще хотѣлось разсмотрѣть поближе этихъ «новыхъ людей», которымъ она втайнѣ даже нѣсколько завидовала, воображая, что они живутъ «для дѣла» и приносятъ свою посильную пользу насущнымъ и честнымъ требованіямъ жизни, а всѣ тѣ книжки и статьи, которыми снабжали ее изъ читальной, еще крѣпче поселяли это убѣжденіе въ ней, къ «копительницѣмъ неба», какъ она себя называла.

— А вотъ, господа, ксати!—хлопнула въ ладоши Лидинька, входя въ залу и обращаясь ко всѣмъ вообще.—Дѣло касается женскаго вопроса. Сейчасъ вотъ Бейгушъ снялъ со Стрѣшневой салопъ, имѣетъ-ли право мужична снимать салопъ съ женщины?

— Отчего же нѣтъ?—отозвалась вдовушка.

— А по-моему не имѣетъ, потому что это

униженіе женщины. Да-съ!—торжественно раскланялась Лидинька.—А я бы на мѣстѣ Стрѣшневой не позволила бы ему. Все равно тоже что и руку у женщины цѣловать! Это все поэзія-съ, гниль, а по отношенію къ правамъ женщины, это—оскорбленіе... Вообще, сниманье салона, цѣлованье руки и прочее, это есть символъ рабства. Отчего мы у васъ не цѣлуемъ? Отчего-съ? Отвѣчайте мнѣ!

Бейгушъ съ улыбкой, въ которой выражалась явная затруднительность дать ей какой-либо отвѣтъ на это, только плечами пожать; но изъ двухъ «вопросовъ», возбужденныхъ Лидинькой, возникъ очень оживленный и даже горячій споръ, въ которомъ приняла участіе большая часть присутствующихъ. И послѣ долгихъ пререканій, порѣшили наконецъ на томъ, что ни снимать салопъ, ни цѣловать руку мужчины женщиной отнюдь не долженъ. Лидинька искренно торжествовала.

— Новыя начала жизни вырабатываемъ, душечка!—пояснила она Татьянѣ.

Между тѣмъ Свитка съ Бейгушемъ и Сусанной, почти съ самого начала этого спора, устранились отъ всякаго въ немъ участія. Они, подъ прикрытіемъ большого самовара, усѣлись себѣ совершенно отдѣльной группой и вели свои разговоры, не обращая ни малѣйшаго вниманія на прочихъ. Когда же, наконецъ, былъ порѣшенъ вопросъ о поцѣлуѣ и салопѣ, нестройный говоръ затихъ и наступила минута мимолетнаго, но почти общаго молчанія, что иногда случается послѣ долгихъ и горячихъ словопреріи. Въ эту-то самую минуту вниманіе нѣкоторыхъ почти невольнымъ образомъ остановилъ на себѣ бравый поручикъ. Въ рукахъ у него была случайно подвернувшаяся книга,—кажись, какой-то журналъ за прежніе годы—и Бейгушъ что-то читалъ по ней тихо, почти въ-полголоса, но выразительно-красивое лицо его было одушевлено какимъ-то особеннымъ чувствомъ, какъ будто въ этой книгѣ онъ сдѣлалъ неожиданную, но въ высшей степени пріятную находку.

Вдовушка Сусанна слушала его съ апатично-привѣтливой улыбкой, но едва-ли понимая, что онъ читаетъ.

«Когда меня ты будешь покидать,—декламировалъ Бейгушъ,

Не говори „прощай“ мнѣ на прощанье;
Я не хочу въ послѣдній мигъ страдать,
И разставаясь, зная о разставаньи!
Въ послѣдній часъ, я веселъ, и счастливъ,
У ногъ твоихъ, волшебница, я сяду
И вѣчно „люблю“ проговоривъ,
Изъ рукъ твоихъ приму я каплю яду;
И головой склонившись моею
Къ тебѣ на грудь, подруга молодая,
Засну, глядясь въ лазурь твоихъ очей
И сладкія уста твои любая;
И такъ просплю до страшнаго суда;
Ты въ оный часъ о другѣ не забудешь;
Съ небесъ сойдешь ты ангеломъ сюда

И легкою рукой меня разбудишь,—
Вновь на груди владычицы моей
Проснусь тогда роскошно мечтая,
Что я дремалъ, глядясь въ лазурь очей
И сладкія уста твои лобзая!

— А мастерски передалъ!—съ увлеченіемъ воскликнулъ онъ, окончивъ свою декламацию.

Нѣкоторые господа еще во время чтенія педоумѣло переглядывались между собою.

— Фу! фу! фу!.. Кажись поэзіей понесло откуда-то!.. Батюшки мой! стихи читаетъ!—смѣшливо затараторила Затцъ, потянувъ по воздуху носомъ и тотчасъ же защемивъ себѣ ноздри двумя пальцами. Она желала этимъ игриво и мило изобразить чувство отвращенія.

Многіе захохотали, изглянувъ на комическій жестъ Лидиньки и, очевидно, найдя ея выходку въ извѣстной степени остроумною.

— Что это вы за ерундищу читали?—спросилъ Казададзе задорнымъ тономъ пренебрежительной ироніи, которая относилась, повидимому, не къ Бейгушу, а къ стихамъ, хотя въ душѣ-то у Малгоржана кипѣла злоба противъ самого Бейгуша.

— Ерундищу?!—вскинулъ тотъ на него удивленные взоры.—Это Мицкевичъ.

— Это ерунда!—подтвердилъ въ отвѣтъ Казададзе.

— Вы, вѣроятно, не разслышали: это, говорю вамъ, Адамъ Мицкевичъ въ великолѣпномъ переводѣ.

— Ну, такъ что-жъ что Мицкевичъ?! И весь-то вашъ Мицкевичъ выгѣденнаго лйца не стоитъ!

— И конечно! Что-жъ такое Мицкевичъ?!—подхватили нѣкоторые, присоединяясь къ Казададзе, въ виду удобной возможности новаго словопренія.

Легкая иронія дрогнула на губахъ Бейгуша.

— Для насъ, для поляковъ, Мицкевичъ—священное знамя, — сказалъ онъ; — для насъ Мицкевичъ, пожалуй, побольше, чѣмъ для русскихъ Пушкинъ или Лермонтовъ.

— Ха-ха! Значить, оба лучше! Одинъ былъ глупѣе другого, другой былъ глупѣй одного!—подхватилъ Полояровъ.—Одинъ—разочарованный гвардейскій моншеръ, юнкерскій поэтъ, а другой—полудурье, флюгеръ въ придворной ливрѣ. Мицкевича вашего я не знаю, а судя по этимъ стишонкамъ,—такъ-себѣ, клубничку воспѣваетъ.

— Такъ это по вашему, клубничка?—не безъ азарта привсталъ поручикъ съ мѣста, опираясь на столъ кулаками.

— А то что же-съ? Вѣдь онъ же тутъ про любовь что-то болтаетъ?

— Такъ послѣ этого и Венера Милосская клубничка, и Мурильевская Мадонна клубничка!

— Ну, и разумѣется, клубничка! А вы какъ полагали?.. Батюшка мой, я вамъ скажу-съ, —

ударяя себя въ грудь и тоже входя въ азартъ, говорилъ Полояровъ, — я вамъ скажу-съ, по моему убѣжденію, есть въ мірѣ только два сорта людей: мы и подлецы! А поэты тамъ эти всѣ, артисты, художники, это все подлецы! Потому что человѣкъ, воспѣвающий клубничку и разныхъ высокихъ особъ, какъ напримѣръ Пушкинъ Петра, а Шекспиръ Елизавету—такой человѣкъ способенъ воровать платки изъ кармана!

— Ну, а Дантъ? а Гомеръ? — подстрекнулъ Бейгушъ.

— Э, полноте, пожалуйста!—досадливо махнулъ рукою Ардалонъ; — что вы про Гомера толкуете!.. Дуракъ, обскурантъ! вѣрилъ въ какихъ-то тамъ боговъ...

— Въ какихъ же?—улыбнулся Бейгушъ.

— Въ какихъ-съ?..

Полояровъ чуточку замаялся.

— Да что вы экзаменовать меня что-ли хотите?

— Нѣтъ, мнѣ просто любопытно знать,—не болѣе.

— Ну, а я ужъ такими пустяками не занимался-съ. Человѣку нашего поколѣнія и нашего развитія пожалуй-что оно и стыдно бы, да и некогда заниматься подобными глупостями! Хм! говорятъ тоже вотъ, что Шекспиръ этотъ реально смотрѣлъ на вещи! — продолжалъ онъ, благо ужъ имена ему подъ руку подвернулись,—ни чорта въ немъ нѣтъ реальнаго! Во-первыхъ, невѣжда: корабли у него вдругъ къ Богеміи пристають! Ха, ха, ха!.. къ Богеміи!

— А гдѣ это Богемія?—совершенно невинно вопросила вдовушка.

— Въ Германіи, мимоходомъ буркнулъ ей Полояровъ. — А во-вторыхъ, какая же это реальность,—продолжалъ онъ, — коли вдругъ вѣдмъ повывдумывалъ да Гамлетову тѣнь еще тамъ, да чортъ знаетъ что!.. Или вдругъ относится серьезно къ такому пошлomu чувству какъ ревность, и драму на этомъ строитъ! Вѣдь узкость, узкость-то какая! А дураки ротъ развѣваютъ да кричатъ ему: геній! геній!.. Плевка онъ стоитъ, этотъ вашъ геній!

— Это все не то. Это все праздна рѣчи!—глухимъ своимъ голосомъ выѣшался въ споръ Лука Благопріобрѣтовъ, медвѣжевато выползалъ изъ своего угла. И Пушкинъ вашъ, и всѣ эти баре — все это одинъ голый развратъ, потому что сама эстетика и это, такъ называемое, искусство пресловутое — тоже развратъ. И всѣхъ бы ихъ на осину за это! Вотъ что-съ!

Лука Благопріобрѣтовъ въ совершенно спокойномъ или въ злѣющемъ состояніи обыкновенно молчалъ, а если и заявлялъ свое мнѣніе, то всегда очень кратко, почти односложными словами, а то и просто мычаньемъ. Но когда онъ оживлялся, что впрочемъ случалось очень рѣдко, или если его ужъ чересчуръ что-нибудь за-живое задѣвало — тогда глаза его начинали

сверкать, на хмуромъ лбу напряженно выступали синія жилы, и весь онъ такъ и напѣминалъ собою фанатическаго отшельника, инквизитора.

— Взгляните-съ на дѣло исторически,—обратился онъ къ Бейгушу.—Гдѣ и при комъ испоконъ вѣковъ ютилась эта мерзость? Когда наиболѣе процвѣтало это ваше искусство и чему оно служило?—На содержаніи у разныхъ аристократовъ, у разныхъ Медичиссовъ, да Меценатовъ!.. Какіе сюжеты-съ? — Микель-Анджело вдругъ эдакую возмутительную пошлость какъ «*Страшный Судъ*» изображаетъ; и не въ каррикатурѣ, а серьезно-съ, трагически! вмѣсто того, чтобы вести къ разоблаченію мистификаціи и предразсудковъ, онъ этой картиной еще болѣе запугиваетъ простое воображеніе, оказываетъ услугу невѣжеству и клерикальнымъ эксплуататорамъ! А всѣ эти Мурилы, Рафаэли и прочая сволочь малюютъ ангеловъ, да мадоннъ, да героевъ съ богами, тогда какъ у нихъ подъ носомъ кишми-кишатъ такіе восселяющіе пейзажики, какъ голодъ, нищета народная, невѣжество массъ, рабство и тиранія, а они, подлецы,—на-ко тебѣ!—въ небесахъ витать изволятъ! Искусство, батюшка мой, только и можетъ жить, что при дворѣ тирановъ! Искусство—это лизоблюдничество, пресмыканье! Для меня эти слова—синонимы! У народа нормально развитого и свободнаго никакого искусства нѣтъ и не должно быть! А занимаешься искусствомъ, такъ тебя надо либо въ больницу умалишенныхъ, либо въ исправительный домъ! У свободнаго народа вмѣсто искусства полезныя ремесла должны стоять на первомъ планѣ, потому что выдѣлка хлонка или сапоги хорошо сшитые гораздо нужнѣе народу, они полезнѣе, а стало быть и выше всѣхъ этихъ мадоннъ и Шекспировъ!

— Н-да-съ! И вотъ если бы ирландцы питались вмѣсто картофеля горохомъ,—визгливо закричалъ вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, маленький Анцыфрикъ,—такъ они были бы и умнѣе, и богаче, и свободнѣе! Н-да-съ!

— А я изъ всѣхъ искусствъ признаю одно только повивальное искусство, которому и намѣрена посвятить себя!—громогласно заявила Лидинька во всеобщее свѣдѣніе, хотя всѣ и безъ того знали, что она теперь хочетъ быть повитухой, какъ мѣсяцъ тому назадъ хотѣла быть наборщицей, а два мѣсяца назадъ—закройщицей. У Лидиньки вообще было очень много самыхъ разнообразныхъ, но всегда самыхъ благихъ хотѣній.

— Такъ вотъ-съ и выходитъ, что вашъ «священный» Мицкевичъ—лизоблюдъ, въ нѣкоторомъ родѣ!—нахально подступилъ къ Бейгушу ревнивый восточный кузень, которому все хотѣлось какъ нибудь оборвать счастливаго своего соперника.

— По-моему выходитъ только то, что если я чего не знаю, то о томъ и спорить не буду!—сбѣдливо вставалъ съ мѣста, возразилъ пору-

чикъ.—Я полякъ, я патріотъ, и говорю это открыто и громко, а потому мнѣ дорога каждая строка моего народнаго поэта.

— О! ужъ и на патріотизмъ пошло!—замахавъ руками, подхватилъ юный князь Саново-Неплюхово и залился скалзубнымъ, судорожнымъ смѣхомъ.—Патріотомъ быть! ха, ха, ха, ха! Патріотомъ!.. Ой, Боже мой! до какихъ просто!.. ха, ха, ха! Но вѣдь это ниже всякаго человѣческаго достоинства! ха, ха, ха, ха! Какой же порядочный человѣкъ въ наше время... Нѣтъ, не могу, ей-Богу!.. Ха, ха, ха!.. Ой, батюшки, не могу!.. Патріотомъ!

И князь, слюсая и слюнявсь отъ слезнаго хохота, снова покатывался на стулѣ, какъ будто въ словѣ «патріотъ» заключался для него талисманъ неистощимаго смѣха.

Бейгушъ смотрѣлъ на него сначала недоумѣло, а потомъ съ усмѣшкой грустнаго снисхожденія. На губахъ у него какъ будто шевелилось и готово уже было сорваться слово «дуракъ», но Василий Свитка предупредительно дотронулся до него подъ столомъ ногою—и Бейгушъ воздержался отъ всякихъ изъявленій своего мнѣнія.

— А вотъ новость, господа! Новость!—возопила Лидинька, вдругъ спохватившись съ этою новостью, про которую не успѣла вспомнить ранѣе.—Въ нѣкоторомъ родѣ событіе, господа!—Бюхнеръ вышелъ! Цѣна два съ половиной! Кто не купитъ, тотъ подлецъ!

— Всенепремѣннѣйше подлець!—авторитетно скривилъ Положровъ.

— Почему же это такъ строго?—съ улыбкой спросила Стрѣшневна у Лидиньки.

— Потому, душечка, что только одни матеріалисты могутъ быть честны. Объ этомъ вонъ и въ «Современномъ Словѣ» такъ пишутъ.

— Ну, «Современное Слово» еще не авторитетъ,—замѣтила Татьяна.

— Нѣтъ-съ, какъ для кого, а для мыслящаго реалиста авторитетъ! И не малый!—комнететно вмѣшался Положровъ, котораго все время подмывало, по старой памяти, сказать Татьянѣ что нибудь колкое.

— Это доказываетъ только, что авторитеты бываютъ разные!—съ миролюбивымъ цѣлѣмъ, снисходительно и мягко помирила ихъ Лидинька.

— Конечно разные,—согласился Ардадьонъ;—для иныхъ вонъ и Гумбольдъ авторитетъ, пожалуй.

— И для меня въ томъ числѣ,—съ улыбкой замѣтила Татьяна.

— Ну, а для насъ онъ только прусской службы дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ!—отвѣтилъ Положровъ, съ выразительной презрительностью наперевъ на свое опредѣленіе Гумбольда.—Больно ужъ онъ разные крестикъ да ордена любилъ, чтобы быть для насъ авторитетомъ!

— Ужъ вы, кажись, нынче и Гумбольдта

отрицаете?—съ улыбкой прищурясь на Ардальона, обратился къ нему Бейгушъ со своего мѣста.

Свитка опять предупредительно толкнулъ его ногою.

— Отрицаю-съ. А что?

— Нѣтъ ничего... Я только такъ... Почему-жь и не отрицать, въ самомъ дѣлѣ?

— Всеконечно-съ!—выѣшался Малгоржанъ-Казаладзе, — потому что отрицаніе — это сила! единственная, можно сказать, сила, а прочее все вздоръ и гиль!

— Старая истина!—любезно согласился Бейгушъ. — Въ этомъ родѣ еще и Репетиловъ когда-то сказалъ, что «водевиль есть вещь, а прочее все гиль».

Свитка опять толкнулъ его ногою, но на сей разъ почти напрасно, такъ какъ восточный человѣкъ не домекнулся въ чемъ суть и подумалъ, что дѣло идетъ вѣроятно о какомъ нибудь литературѣ стараго времени.

Вскорѣ послѣ этого Свитка съ Бейгушемъ перемигнулись и взялись за шапки. Вдовушка Сусанна, съ самодовольно-лѣнивой улыбкой выслушавшая послѣднія любезности, обращенныя къ ней тише чѣмъ въ полголоса, довольно крѣпко и не безъ нѣжности пожала на прощанье руку браваго артиллериста. Малгоржанъ же, не протягивая руки, удостоилъ его однимъ только сухимъ поклономъ. Оба пріятеля удалились, далеко недождавшись окончанія «вечера».

* *

— Фу, ты, чортъ возьми! Ажно голова затрепала съ дурнями!—широко вздохнулъ Бейгушъ, очутясь на улицѣ. — Вотъ народы-то!.. Ей-Богу, кабы не эта вкусная вдовушка, нога моя не была-бы у этой сволочи!

— Что дѣлать, мой другъ!—нельзя! Надо бывать иногда, надо слѣдить, отношенія поддерживать,—возразилъ Свитка. — А ты крайне неостороженъ! Я ужъ толкалъ, толкалъ: нѣтъ, неметса-таки человѣку!

— Да вѣдь невыносимо же, наконецъ!.. Уши вянутъ! Тфу!.. И поручикъ энергически плюнулъ.

— А ты пересиль себя. Я вотъ только слушаю да услаждаюсь. Пусть ихъ врутъ себѣ что угодно и сколько угодно! Чѣмъ больше вранья, тѣмъ лучше.

— Но вѣдь въ этомъ же смысла нѣтъ человеческого! Какой-то хаосъ, путаница понятій, сумбуръ непреходимый!

— Этотъ сумбуръ имѣетъ теперь большой ходъ и огромное примѣненіе въ российскомъ обществѣ. Вѣдь это, милый мой, все «новые люди», передовые люди, ихъ теперь слушаютъ, имъ поклоняются, ихъ даже — смѣшно сказать, а вѣдь такъ,—ихъ боятся! Они теперь авторитеты. Вѣдь всю это белиберду, самъ знаешь, они въ журналахъ болтаютъ. Достаточно какому-нибудь Полозарову выхватить любое уважае-

мое имя, заплевать его, зашвырять грязью какихъ-нибудь темныхъ намековъ собственнаго изобрѣтенія, сказать во всеуслышаніе: это молъ, дуракъ, или это подлецъ—и что же?—вѣдь все великое всероссийское стадо, какъ одинъ баранъ, заблестъ тебѣ: дуракъ! дуракъ! подлецъ! подлецъ! Чего же ты хочешь, если они теперь и въ самомъ дѣлѣ огромная сила въ этомъ обществѣ?

— Нечего сказать, хороша сила и хорошо общество!—презрительно фыркнулъ поручикъ.

— По Сенькѣ и шапка, мой другъ!—развелъ руками Свитка;—а я знаю только одно, что если они сила, и большинство ихъ слушаетъ—ну, и стало быть, они намъ полезны! Ну и пользуйся ими! Пропагандируй, внушай, братъ, исподволь, развивай незамѣтно свою идею, долби ихъ, какъ капля камень, а они ребята добрые — небойсь, разнесутъ твою идею по бѣлому свѣту, проведутъ ее и въ печать, и въ общество, въ массы. да еще будутъ думать при этомъ, будто твоя идея ихъ же собственное изобрѣтеніе. Ну, и пускай ихъ! А ты знай себѣ только пользуйся!

— Все это очень резонно,—согласился поручикъ, — да къ сожалѣнію черезчуръ уже скучно.

— Ну, и поскучай, а вдовушка Сусанна тебѣ будетъ развлеченіемъ.

— Н-да! вдовушка эта, чортъ возьми! очень-таки вкусная! — ухмыльнулся поручикъ!

— А пятьдесятъ тысячъ и того еще вкуснѣе? подмигнулъ Свитка. — Ну, а что? какъ?.. Кажись, что крѣпость обложена, мины кой-куда подведены и атака подвигается?

— Подвигается! — самодовольно сообщилъ поручикъ.

— И стало быть, крѣпость наша возьмется штурмомъ, или сама сдастся на капитуляцію бравому пану поручику и будемъ мы праздновать побѣду? а?

— И будемъ праздновать побѣду!—весело и декламаторски заключилъ Бейгушъ.

VII.

Поздній звонокъ.

И на кой чортъ къ намъ эти разные офицерышки таскаются!—ѣдко и озлобленно началъ Малгоржанъ тотчасъ по уходѣ Бейгуша. — Эдакъ скоро и кварталные, и жандармы, пожалуй, сдѣлаются у насъ членами!

— Бейгушъ ко мнѣ ходитъ; онъ мой гость,—отозвалась вдовушка.

— То-то чтовашъ! Только срамъ одинъ!.. Между порядочными, честными людьми и вдругъ эта ливрея, выѣска деспотизма! Его просто слѣдуетъ не пускать сюда больше!

Я имѣю право принимать своихъ гостей,—утверждала Сусанна. — Мы и всѣ такъ условились съ самаго начала.

— Нѣтъ-съ, не имѣете! отнюдь не имѣете!

Вы можете принимать только тѣхъ, кого вамъ дозволить все общество... Это только подъ контролемъ общества можно, а иначе это измѣна общему дѣлу, иначе это подлость! Почему я знаю, что это за господинъ? Можетъ онъ шпионъ какой-нибудь!

— Да вѣдь вы же сами меня съ нимъ познакомили... Чего вы привязались?.. Сами хвалили: и такой, и эдакой, а теперь вдругъ—шпионъ!

Казаладзе, ходючи по комнатѣ, словно бы остунился: его совсѣмъ подѣлало на минуту простое возраженіе простоватой Сусанны.

— Это онъ ревнуетъ, — глухо буркнулъ изъ своего угла Благопріобрѣтовъ.

Всѣ засмѣялись. Малгоржану нечего было отвѣчать. Онъ только злобно окинулъ смѣющихся своими красновато-жирными восточными глазами и самъ принужденно засмѣялся.

— Ну-съ, граждане и гражданки!—возгласилъ Полояровъ, входя въ комнату съ полными руками: въ одной рукѣ тащилъ онъ цѣлую корзину съ дюжиной пивныхъ бутылокъ, въ другой нѣсколько тюричковъ съ разными припасами. — Для гражданъ пиво, а есть и водка, и колбаса найдется; а для гражданокъ яблочки и прянички — дамскія удовольствія! Впрочемъ, если кто изъ гражданокъ возжелаетъ чего иного, хотя бы и водочки, то и это не возбраняется! Матушка-Сусаннушка, не хотите ли опрокинуть стакашекъ? Хватимъ-ка заедино! Ей-Богу!.. Приучайтесь къ напитку! Дѣло годящее! Потому ежели пойдемъ въ страны Сибирскія — тамъ вѣдь холодно — ну, и по неволѣ придется водочкой тѣлеса согрѣвать; такъ вы ужъ лучше заранѣе приучайтесь.

— Я въ Сибирь не пойду; мнѣ не къ чему, — апатично отозвалась Сусанна, кутая плечи въ кашемировый платокъ.

— А я такъ вѣроятно пойду!.. Прогуляюсь! — съ какой-то особенной самодовольной похвалой ухмыльнулся Полояровъ.

— Нѣтъ, не пойдешь... Что тамъ тебѣ дѣлать! — замѣтилъ Лука.

Это мимолетное замѣчаніе немножко уцѣпнуло Ардальона Михайловича.

— Какъ что? — полушутя подмигнулъ онъ. — Пойду! И всеконечно пойду! Такъ сказать, пионеромъ цивилизаціи и свободы... Да вы что о Сибири-то думаете? Сибирь-съ предстоитъ блистательная будущность: это будутъ, я вамъ скажу-съ, наши Сѣверо-Американскіе штаты, потому сторона она здоровая, непочатая, да и закуска въ ней хорошая сидитъ, благодаря нашему брату-колонизатору. Сибири съ Россіей нечего дѣлать, въ Россіи все гниль одна! И теперича сошли они меня въ Сибирь, да я пмѣ первый за это великое спасибо скажу! Лучшей услуги они мнѣ и оказать не могутъ! И вы, братцы, по мнѣ не плачьте тогда, а радуйтесь!

— И что жъ ты тамъ дѣлать станешь? — поддразнивалъ Лука, строго храня самый невинный видъ.

— А ужъ это наше дѣло? — съ глубокомысленной многозначительностью увильнулъ Полояровъ отъ прямого отвѣта, что всегда дѣлалъ онъ, когда въ головѣ прямыхъ отвѣтовъ не находилось.

— А ты не таи; ты скажи. Шпионовъ нѣтъ вѣдь.

— Да чего ты присталь-то ко мнѣ со шпионами?! Чорта ли мнѣ шпионы! Не боюсь я вашихъ шпионовъ! Певать!

— Что шпионовъ не боишься, это похвально. Да только мы вѣдь не про шпионовъ, а про то, что ты въ Сибири дѣлать станешь?

— Что дѣлать стану?.. Революцію дѣлать стану! Вотъ что стану!.. Чего привязался! — отгрызнулся Ардальонъ, обрадовавшись въ глубинѣ души тому, что нашелъ подходящее слово — и пошелъ ораторствовать на тему «революціи».

— Теперича тамъ эти господа поляки у себя въ Варшавѣ гимны все какіе-то поютъ, — говорилъ онъ, — гимны!.. Чортъ знаетъ, что такое!.. Какіе тутъ гимны, коли тутъ нужно во!.. Кулакъ нуженъ, а они гимны!.. Тоже, слышно, вотъ, капиталы все собираютъ, пожертвованія, а никакихъ тутъ, въ сущности, особенныхъ капиталовъ и не требуется! Дайте мнѣ только десять тысячъ рублей, да я вамъ за десять тысячъ всю Россію подыму! Какое угодно пар!.. Ничего больше, какъ только десять тысячъ! Да и того много, пожалуй!

Татьяна Николаевна, едва скрывая улыбку, поглядѣла на Ардальона сильно изумленными глазами.

— Вы удивляетесь?.. Вы не вѣрите? — подхватилъ онъ, поймавъ ея взглядъ. — Я вамъ сейчасъ докажу-съ, такъ сказать, ариметически! По пальцамъ разочту-съ!.. Десять тысячъ рублей — и хоть какую угодно революцію сейчасъ же можно сдѣлать! Вѣдь я ужъ, матушка моя, думалъ-таки надъ этимъ предметомъ! Я рассчитывалъ, и высчитывалъ, и концы съ концами сводилъ!.. Н-да-съ! Не съ вѣтру говорю вамъ! Теперича будемъ класть такъ, — приступилъ онъ къ дѣлу, высчитывая по пальцамъ, — поѣздка въ Лондонъ, туда и обратно, и потомъ житье въ Лондонѣ... ну, хоть мѣсяцъ срокомъ; житье, конечно, самое скромное; все это обойдется триста рублей. Это разъ.

— Зачѣмъ же въ Лондонъ? Можно и въ Берлинъ. Въ Берлинъ дешевле, — рассудительно замѣтила Лидинька.

— Не мѣшай ты, чортъ! — буркнулъ ей Полояровъ, тряхнувъ волосами. — Въ Лондонѣ мы изготовимъ хорошенькую прокламацію-съ, — продолжалъ онъ развивать свою тему; — да не такую, какъ эти вамъ тамъ всѣ «Великороссы» да «Земля и Воля» — это все слабо-съ. Ну, «Къ

молодой Россіи» еще туда-сюда, подходитъ, но и та дрянъ, говоря въ сущности; а мы изготавимъ гориченькую, самую настоящую, которая понятна была бы всѣмъ сословіямъ. Ну-съ, Трюбнеръ съ Герцекомъ отпечатаютъ намъ ее по дешевой цѣнѣ, а то можно убѣдить ихъ, чтобы и даромъ, потому для эдакого предпріятія не грѣхъ. Прокламацію надо будетъ отпечатать въ шестистахъ тысячахъ экземпляровъ: шесть-сотъ тысячъ—это очень достаточно на всю грамотную Россію, а то можно и прибавить потомъ, сколько потребуется, вторымъ изданіемъ. Прокламація должна быть кратка и отпечатана убористо, шрифтомъ боргесомъ или петитомъ, бумагу можно достать въ кредитъ—это опять же Александръ Ивановичъ съ Трюбнеромъ сварганятъ, тѣмъ паче, что печать съ бумагой будетъ единственная услуга, которую Россія съ нихъ потребуетъ, потому что, по моему крайнему убѣжденію, Герценъ слишкомъ ужъ отсталъ и ни на что болѣе не пригоденъ. Итакъ, печать даромъ, а бумага въ кредитъ. Это два.

— А если не дадутъ въ кредитъ?—улыбнулась Стрѣшневъ.

— Кто это-съ?.. Англичане-то?.. Фи-фю—съ присвистомъ прищурился Полояровъ.—На эдакое дѣло да кредиту не сдѣлать! Пѣтъ-съ, матушка моя, англичане слишкомъ умны, чтобы не понять всѣхъ выгодъ! Рискъ тутъ для нихъ не большой, а коли предпріятіе удастся, такъ вѣдь они очень хорошо понимаютъ, что тутъ вѣдь свободной торговлей пахнетъ для нихъ! Вотъ что-съ!

— Это все, конечно, такъ!—вполнѣ согласился и одобрилъ князь Сапово-Неплюховъ.—Но... трудно такую массу переправить въ Россію: я ѣздилъ границу — меня въ таможенѣ осматривали...

— Ничего тутъ труднаго нѣту!—съ убѣжденіемъ возразилъ Анцыфровъ;—проходить же контрабанда, и «Колоколъ» проходить, и «Молодая Россія» прошла. Можно цѣлый корабль нанять для этого.

— Ну, конечно, можно и корабль, — согласился Ардальонъ; — стоитъ это будетъ рублей тысячу. Это три. Итого, пока еще только тысяча триста.

— Но зачѣмъ же непременно въ Лондонъ? И для чего тутъ Лондонъ?—настаивала межъ тѣмъ Лидинька Затцъ, суетливо обращаясь поочередно ко всѣмъ и каждому,—на что намъ Лондонъ!—Гораздо же дешевле можно здѣсь, у себя дома, въ своей собственной типографіи? Не такъ ли я говорю? Не правда ли?

— Въ Лондонѣ шрифты и бумага лучше, — возразилъ Полояровъ; — и притомъ здѣсь, въ этомъ подомѣ обществѣ, ты ни у чорта не достанешь въ кредитъ такого количества бумаги, да и подозрѣніе, пожалуй, возникнетъ: для чего, молъ, понадобилось вдругъ столько бумаги? А тамъ, это все безопасно. Ну-съ, за-

тѣмъ тысяча три на разѣзды по матушкѣ Россіи, съ остановками по разнымъ городамъ, для заведенія надежныхъ агентуръ, которые уже будутъ дѣйствовать, пускать въ народъ эти прокламаціи, — и вотъ, почти что и всѣ расходы: четыре тысячи триста! Остальное въ запасный фондъ, на непредвидѣнные и экстренные расходы. Но это все одна только матеріальная часть, а теперь разберемъ шансы нравственные. Во-первыхъ, вся Россія недовольна: крестьяне недовольны тѣмъ, что обмануты волей, дворяне недовольны тѣмъ, что крестьянъ отняли, духовенство недовольно своимъ положеніемъ, купечество недовольно разными стѣсненіями торговли и упадкомъ кредита, войско недовольно разными нововведеніями, мѣщанство налогами, чиновничество начальствомъ за оставленіе за штатомъ—да всѣ, однимъ словомъ! вся Россія недовольна! Тутъ, значитъ, и вари свою кашу!.. Ге-ге! да дайте мнѣ эти деньги — я вамъ все предпріятіе устрою!...

— А вѣдь я бы могъ!—съ грустно-раздумчивымъ вздохомъ прибавилъ онъ черезъ минуту.—Я бы могъ!.. Вѣдь у меня-съ недалше какъ нынѣшней весной цѣлый капиталъ въ рукахъ былъ!.. Капиталъ-съ!.. Шутка сказать двадцать-пять тысячъ серебромъ!.. Двадцать-пять тысячъ!.. Н-да-съ, кабы мнѣ теперь да эти денежки — что бы тутъ было!... И-и, Боже мой, что бы было!..

И печально покачивая головой, онъ замолкъ въ грустномъ раздумьѣ.

Вдругъ въ эту минуту, среди всеобщаго молчанія, раздался сильный звонокъ.

Полояровъ растерянно вздрогнулъ и даже поблѣднѣлъ немного.

Время было уже позднее: двѣнадцатый часъ ночи. Обычные посѣтители комунныхъ вечеровъ, кажись, всѣ на лицо.—Кому бы быть въ такую позднюю пору? Этотъ неожиданный и притомъ такой смѣлый, сильный звонокъ почти на всѣхъ присутствующихъ произвелъ довольно странное впечатлѣніе: иныхъ покорило, инымъ какъ-то жутко стало, а у кой-кого и легкій морозецъ по спинѣ побѣжалъ. Всѣ какъ-то невольно переглянулись, но рѣшительно ни единая душа не тронулась съ мѣста, чтобы идти въ прихожую и отворить тамъ двери.

Звонокъ повторился еще съ большей силой.—Малгоржанъ, подите... отворите тамъ... смущенно проговорилъ Полояровъ.

Восточный человѣкъ досадливо передернулъ плечами.

— Ходите сами... Я-то съ какой стати?!

— Эхъ, ей-Богу, вѣчно вы!.. Мнѣ оно не тово... не совѣмъ-то ловко... Поймите же!

— Я не пойду!—рѣшительно отрѣзалъ Малгоржанъ-Казаладзе.

— Анцыфровъ, ступай ты, голубчикъ.

— Можетъ, полиція... жандармы, — весь съжившись, кинулъ пискунокъ робко-молящій взглядъ на своего патрона.

Почти всѣ изъ присутствующихъ сдѣлали, каждый про себя, подобное же предположеніе. Полояровъ смущенно, съ какимъ-то тревожнымъ сосаньемъ подъ ложечкой, припомнилъ себѣ, что въ письменномъ столѣ его хранится завалящійся номеръ «Колокола», карточка Герцена и листокъ «Великоросса», невѣдомо кѣмъ подобранный недавно къ дверямъ общежительной квартиры.

«И нужно же было оставить!.. И дернула-жь нелегкая не уничтожить!» — корилъ онъ себя мысленно.

— Господа, да кто же пойдетъ наконецъ? — спросила храбрая Лидинька Затцъ, впрочемъ не двигаясь съ мѣста.

— Ей-Богу, господа, жандармы!.. Кому же больше? — смущенно улыбаясь, прошепталъ Анцыфровъ.

— А я такъ думаю, что это просто за мной пришли, — сказала Стрѣшневa, направляясь въ прихожую. — Я распорядилась, чтобы въ двѣнадцатомъ часу за мной человѣка прислали.

Всѣ находились въ жутко-напряженномъ ожиданіи, пока она отворила дверь, но зато какъ же всѣ ожили, и какъ отлегло у всѣхъ отъ сердца, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ какое недоумѣніе пришли всѣ, когда въ прихожей вдругъ раздались два женскія восклицанія и вслѣдъ за тѣмъ послышались быстрые, звонкіе поцѣлуи.

Полояровъ первый очень храбро подлетѣлъ теперь къ двери, внимательно вглядѣлся въ новоприбывшее лицо, и вдругъ, словно бы не вѣря собственнымъ глазамъ, отступилъ назадъ, еще болѣе смущенный, чѣмъ за минуту предъ этимъ.

— Ба!.. Лубянская... Какими судьбами?.. Вотъ сюрпризъ-то! — растеряннo пробормоталъ онъ, опустивъ глаза и руки.

VIII.

Какими судьбами появилась Лубянская.

Дѣйствительно, это былъ сюрпризъ и не для одного Полоярова. Стрѣшневa и Лидинька съ Анцыфровымъ изумились не менѣе его, когда увидѣли передъ собою Нюточку Лубянскую столь неожиданно и въ такую неурочную, позднюю пору. Татьяна первая замѣтила въ ней явные признаки какого-то волненія и разстройства. По всему было видно, что она не то огорчена чѣмъ-то, не то испугана и не успѣла еще придти въ себя, какъ слѣдуетъ.

Лидинька Затцъ засуетилась съ чаемъ, съ яблоками, съ поцѣлуями, которые у нея въ первую минуту были совершенно искренни и безразсчетны, и въ то-же время засыпала Нюточку

сотней разспросовъ. Оказалось, что Лубянская не далѣе, какъ сегодня утромъ одна-одиношенька прикатила въ Петербургъ изъ Славнобубенска. На дебаркадерѣ подвернулся какой-то услужливый факторъ съ предложеніемъ, не нужно-ли ей остановиться въ номерахъ, расхвалилъ эти номера, и ловко подхвативъ ее сакъ-вояжъ, повлекъ за собою въ нѣкую Гончарную улицу и привелъ въ какую-то грязную трущобу, увѣряя, что лучше этихъ номеровъ она въ цѣломъ Петербургѣ ничего не отыщетъ. Лубянской, очутившейся въ первый разъ въ жизни совсѣмъ одиношенькой, въ совершенно незнакомомъ, чужомъ городѣ, было теперь не до комфорта. Она думала, что и въ Петербургѣ, какъ въ Славнобубенскѣ, всякій знаетъ всякаго, и потому первымъ дѣломъ освѣдомилась у фактора, гдѣ тутъ живетъ Лидинька Затцъ или Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ, но факторъ только ухмыльнулся на столь странный вопросъ и объяснилъ, что для такихъ надобностей въ здѣшней столицѣ адресный столъ имѣется, для чего и послалъ ее на Садовую улицу, въ домъ Куканова.

Въ адресномъ столѣ, за двѣ копейки серебромъ, Лубянской объявили, что и Лидинька Затцъ, и Ардальонъ Полояровъ проживаютъ тамъ-то и тамъ-то. Узнавъ это, она намѣревалась завтра же разыскать ихъ, а пока вернулась въ свои номера на Гончарной улицѣ и, чувствуя сильное утомленіе съ дороги, легла отдохнуть; но какіе-то мужчины въ сосѣдней комнатѣ рѣшительно не давали ей покою; тамъ, очевидно, шло пьянство, картежъ и поминутные споры. Наконецъ, когда она вышла въ корридоръ, чтобы приказать подать себѣ обѣдъ, одинъ изъ этихъ господъ нахальнымъ образомъ присталъ къ ней съ любезностями и сталъ тащить къ себѣ въ номеръ, а когда ей удалось вырваться отъ него, онъ началъ ломиться въ дверь, ея комнаты. Нюточка заперлась на ключъ, съ твердымъ намѣреніемъ завтра же выбраться вонъ изъ этой трущобы, но веселые сосѣди то и дѣло стучали къ ней въ дверь, которая вела къ нимъ изъ ея комнаты, просовывали въ замочную скважину гусиное перышко, прикладывали глазъ къ щелкѣ, сопровождал все это безконечными двусмысленностями и циническою бранью на ея упорство. Наконецъ, уже поздно вечеромъ, у сосѣдей послышались веселые женскіе голоса, и вскорѣ все это разразилось неистовыми криками, руганней, буйнымъ скандаломъ и дракой... Били какого-то мужчину, били двухъ какихъ-то женщинъ, били бутылки и посуду... Поднялась возня, суматоха, женскіе вопли, отчаянные крики, «караулъ»!.. Хозяйка номеровъ бѣгала по корридору и вопила... кто-то побѣждалъ за полиціей, кто-то накинулся на хозяйку, да заодно ужъ и ее избилъ; одна женщина, обезумѣвъ отъ страха и побоевъ, въ разсержанномъ видѣ бѣгала по корридору и ревмя-

ревѣла неистовымъ, истерическимъ голосомъ— и все это среди чада и смрада, въ туманѣ табачнаго дыма, при тускломъ свѣтѣ корридорной лампочки. Нюточка до такой степени перепугалась, что, вся дрожа какъ осиновый листъ, наскоро накинула на себя платокъ да салопчикъ и, съ сакъ-воижемъ подъ полой, опрометью бросилась вонъ изъ этихъ нумеровъ. Тамъ было не до нея въ ту минуту, и потому ее никто не остановилъ, никто даже и вниманія не обратилъ, какъ и когда она шмыгнула изъ корридора— благо, выходная дверь стояла настежь растворена. Нюточка долго бѣжала по улицѣ отъ этого вертепа, бѣжала куда глаза глядятъ, пока нѣсколько не пришла въ себя, и тогда только при свѣтѣ фонари отыскала въ портмоне записку, данную ей давеча въ адресномъ столѣ, вслаивозчика и поѣхала разыскивать Ардальона Полоярова. Кромѣ этого, она не знала ни на что рѣшиться, ни куда дѣваться ночью, среди незнакомаго города.

Добрая вдовушка, узнавъ исторію всѣхъ этихъ приключеній, очень радушно предложила Лубянской свою комнату.

— Да зачѣмъ же непременно вашу?—возразила Затцъ;—вѣдь есть же еще три свободныя комнаты. Лубянская можетъ занять подъ себя хоть любую. Она вѣдь тоже изъ нашихъ... Что-жь!.. А я съ своей стороны испрошу, пожалуй, чтобъ и она жила. Вѣдь мы здѣсь живемъ коммуной, на равныхъ основаніяхъ, и другъ другу ничѣмъ не обязаны,—пояснила она Нюточкѣ, и вслѣдъ за тѣмъ обратилась ко всѣмъ вообще.—Такъ какъ, господа? Принимаете, что-ли, новую гражданку?

Сожители дали утвердительный отвѣтъ, и лишь одинъ Полояровъ промывчалъ нѣчто неясное, не то-бы соглашаясь, не то-бы глухо протестуя.

— А впрочемъ, и я согласенъ,—какъ-то особенно ухмыляясь, рѣшилъ онъ послѣ минутнаго соображенія.

Юный князь слонялся отъ одного гостя къ другому, глупо скаля зубы отъ удовольствія, и всѣмъ пожималъ руку, приговаривая:

— А нашего полку прибыло!.. А?.. Прибыло!.. га-га-га!.. прибыло вѣдь! а?.. неправда-ли? а?..

Полояровъ же то похмуро пружился, туго и медленно потирая между коѣнъ свои ладони, то слегка ухмылялся какъ-бы въ отвѣтъ какой-то бродившей въ немъ мысленкѣ, и больше все отмалчивался, устремляя на Нюточку изъ-подъ синихъ очковъ пытливые взгляды.

Лубянская осталась въ коммунѣ.

IX.

Святые принципы Полоярова.

Гости разъѣхались. Сусанна стала хлопотать надъ устройствомъ комнаты для Нюточки

и кое-какъ приладила ей на диванѣ постель. Нюточка все время сама помогала доброй вдовушкѣ въ этихъ неособенно сложныхъ и непродолжительныхъ хлопотахъ. Менѣе чѣмъ въ четверть часа все было уже готово, и Сусанна простилась съ Лубянской, сказавъ, что ей не въ моготу спать хочется, какъ всегда, когда въ коммуѣ бываетъ много гостей.

Нюточка осталась одна и медленно, въ раздумѣ, стала раздѣваться. Это раздумье брало ее насчетъ Полоярова: онъ какъ-то такъ странно и неловко встрѣтился съ нею, какъ будто эта встрѣча почему-то была ему не по вутру, почему-то досадна и неприятна;— что же это значить? какъ понять ей это?.. А между тѣмъ... между тѣмъ, не могла же она и не прійхать: на это вынудила крайняя необходимость. Чѣмъ же теперь все это кончится, и что дальше будетъ.

Кто-то взялся за дверную ручку и потрогалъ ее.

— Кто тамъ?—окликнула Нюточка.

— Я!—отозвался Полояровъ;—что это вы заипраться-то вздумали? У насъ это /совсѣмъ не принято. Отворите-ка.

— Да я ужъ совсѣмъ почти раздѣта.

— Ну, такъ что же? Одѣта-ль, раздѣта-ль—это до меня нисколько не касается. Ко мнѣ, пожалуй, входите сколько угодно, когда я раздѣтъ—это мнѣ все единственно. Отворите же, что-ли, говорю вамъ! Нужно мнѣ васъ!

Нюточка накинула на плечи дорожный пледъ и выпустила Полоярова.

— Скажите, какія нынче скромности у насъ!—съ усмѣшкой прощѣдилъ онъ сквозъ зубы, кинувъ взглядъ на пледъ, окутавшій собою всю фигуру дѣвушки, и сѣлъ на приготовленную ей постель.

— Ну, здравствуйте, Анна Петровна!

— Здравствуйте, Ардальонъ Михайловичъ.

— Что-жь такъ-то?—усмѣхнулся онъ.—Давайте, что-ли, лапу сюда, по старому, по бывалому; ну, и тово... сольемте уста, такъ сказать, въ блаженствѣ поцѣлуй!.. Ась?

И онъ потянулъ было ее къ себѣ, но Лубянская сдержанно и сухо отклонила въ сторону. Вообще она была съ нимъ теперь какъ будто на-сторожѣ: это сказывалось въ каждомъ словѣ, въ каждомъ взглядѣ и движеніи, во всей манерѣ ея относительно Ардальона.

— Это что-жь такое?—скосилъ онъ на нее глаза и губы.— Не желаете-съ?.. И не надо! Хотите, такъ хотите, а не хотите, такъ какъ хотите.

— Ардальонъ Михайловичъ, мнѣ не до поцѣлуевъ и не до шутокъ!—съ какою-то горечью въ тонѣ и не глядя на него, тихо проговорила дѣвушка.

— Хм... Вотъ какъ!.. Такъ для чего же вы собственно пожаловали-то сюда?

Нюточка горько усмѣхнулась.

— А вы еще не догадались?.. Мнѣ такъ ужъ на людей даже совѣстно глядѣть... Я скрывала, я пряталась пока было возможно, а теперь... мнѣ нельзя было оставаться тамъ долѣе — поймите вы это.

— Не понимаю. Отчего же такъ?

— Да вѣдь тамъ отецъ!.. А онъ ничего не знаетъ!

— Да скажите вы толкомъ: беременны вы, что ли? — нахмурясь и морщась, перебилъ Полояровъ.

Нюточка покраснѣла и тихо опустила глаза.

— Э-э!.. А мнѣ и не въ-домекъ съ перваго разу! — протянулъ онъ, крути себѣ папироску. — Ну, что-жъ? — самое натуральное и простое дѣло. Естественное предназначеніе каждой самки; что-жъ тутъ особеннаго!.. Вы читали «О происхожденіи видовъ» Дарвина.

Она съ досадливымъ сожалѣніемъ взглянула на своего бывшего друга и пожала плечами.

— Я хочу говорить съ вами серьезно. Мнѣ необходимо это, поймите вы! — убѣдительнымъ тономъ проговорила Нюточка.

— Да и я вѣдь серьезно! — отозвался Ардалъонъ. — Я васъ къ тому спрашиваю про Дарвина, что ежели бы вы что-нибудь дѣльное вычитали изъ него, такъ поняли бы, что это ваше естественное назначеніе, какъ самки, и тогда бы вы не стали творить драмъ и романовъ изъ-за такого пустяка. Отецъ!.. Ну, что-жъ такое отецъ? При чемъ онъ-то тутъ въ этомъ процессѣ? Тутъ дѣло акушерки, а не отца! И зачѣмъ это вдругъ понадобилось вамъ скрывать отъ него? — Не понимаю!

— Что-жъ, по вашему, я должна была гордиться и хвастать?

— Ни то, ни другое, а и скрывать-то нечего: простой физиологическій процессъ — и basta.

Нетерпѣливое чувство досады отразилось на лицѣ дѣвушки.

— Ардалъонъ Михайловичъ! — рѣшительно сказала она, становясь передъ нимъ. — Звонкихъ словъ я и прежде слыхала отъ васъ не мало. Оставьте ихъ хоть теперь-то. Я пришла къ вамъ не за фразами, а за помощью... Вѣдь вы же будете отецъ этого ребенка!.. Вы должны войти въ мое положеніе, если вы честный человѣкъ.

Ардалъонъ, въ свою очередь, досадливо переревнулся на своемъ мѣстѣ.

— Да я-то что же? — возразилъ онъ, пожавъ плечами. — Вотъ вы, не бойсь, укоряете меня въ звонкихъ фразахъ, а сами еще пуще того звонкія-то словечки въ ходъ пускаете!.. «Должны, долгъ, честный человѣкъ»... Да что такое этотъ вашъ долгъ честь-то? — Понятіе совершенно условное-съ. Австралійскіе дикари, напримѣръ, ѣдятъ человѣчину и находятъ, что это вполне

честно и правдиво, потому что они, побѣдители, ѣдятъ своихъ враговъ, побѣжденныхъ; а дураки англійскіе миссіонеры говорятъ, что это безнравственно кушать себѣ подобныхъ; а мы, напримѣръ, находимъ, что это ни нравственно, ни безнравственно, а просто штука въ томъ, что мы не сдѣлали себѣ привычки жрать человѣчину, или предки наши почему-то отвыкли отъ этого; ну, или просто отъ того, наконецъ, что это у насъ не принято, не въ обыкновеніи — и только! Ну, и кто же тутъ правъ: дикари, или миссіонеры? — По своему, пожалуй, и тѣ и другіе, потому что понятіе-то самое о нравственномъ и законномъ — совершенно условное понятіе. Я могу понимать такъ, а вы иначе. И наконецъ, то, что нравственно и честно для пошляковъ и филистеровъ, то по нашимъ убѣжденіямъ и безнравственно, и подло.

Лубянская поблѣдѣла и хмуро изъ-подъ сведенныхъ бровей уставилась глазами въ Полоярова.

— Вы для чего же все это говорите мнѣ? — медленно и тихо спросила она, подавляя въ себѣ накупивъ внутренняго негодованія и волненія. — Какъ, наконецъ, прикажете понять все это? Такъ ли, что вы отказываетесь и отъ меня, и отъ своего будущаго ребенка и бросаете меня въ эту минуту совершенно на произволъ судьбы? Такъ, что ли?

Вопросъ былъ поставленъ слишкомъ ясно и прямо. Полояровъ нѣсколько позамялся.

— Н-то есть... какъ вамъ сказать? — съ трудомъ началъ онъ выматывать изъ себя слова, медленно потирая между колѣнъ свои ладони. — Если вамъ угодно будетъ припомнить факты, которые даетъ намъ, напримѣръ, зоологія, то вы увидите, что въ натуральномъ бракѣ самецъ имѣетъ свое особое назначеніе, а забота о потомствѣ лежитъ исключительно на особахъ женскаго пола. Это самое естественное и потому самое рациональное. Помилуйте-съ! Я васъ считаю за порядочную и развитую дѣвушку, а вамъ вдругъ приходится вмѣсто того такіе азбучные истины втолковывать! Это стыдно-съ!.. Роль каждого самца ограничивается только...

— Скажите же наконецъ прямо! — нервно перебила его Нюточка. — Вѣдь отъ всѣхъ этихъ изворотовъ вы въ моихъ глазахъ ни на волосъ не станете лучше! Говорите прямо!

— Я прямо и говорю. Я говорю, что, основываясь на разумныхъ началахъ физической природы и слѣдуя ея законамъ, я имѣю право считать себя ничѣмъ не связаннымъ; но это еще не значитъ, чтобы я отказывался помочь вамъ. Я только все еще не могу изъ толкъ себѣ взять хорошенько, въ чемъ именно эта помощь?.. Какого рода помощи вы отъ меня желаете? Если это законный бракъ, то я пастъ! Потому что законный бракъ противорѣчитъ всѣмъ моимъ принципамъ, и наконецъ, въ моеѣ

жизни—почемъ вы знаете? — въ моей жизни, быть можетъ, есть или могутъ быть такого рода предприятия, когда человѣку въ пору только за одну свою голову отвѣтъ держать. Каждое честное дѣло прежде всего требуетъ свободы—съ, и я, всей душой принадлежа моему дѣлу, не имѣю права связывать себя, а иначе я подлецъ! Такъ вы скажите мнѣ, въ чемъ же помощь-то?

— Успокойтесь: законнаго брака я никогда и ни въ какомъ случаѣ отъ васъ не потребу! — твердо сказала она, бросивъ на своего собесѣдника взглядъ ледяного презрѣнія. — Это было бы ужь совсѣмъ безуміе!

Полояровъ недоувѣрчиво и осторожно покоился на Нюточку, желая убѣдиться, въ какой мѣрѣ истинно сказанное ею. Взглянулъ и успокоился. Даже лицо его прояснилось. Словно упала съ плечъ гиря, которая тяготила его съ минуты перваго появленія Нюточки въ этой квартирѣ.

— Ну, такъ въ чемъ же, голубчикъ мой, помощь-то? Говорите—я все готовъ... все что могу... располагайте мною!—заговорилъ онъ вдругъ мягко и ласково. Въ душѣ его въ эту самую минуту незамѣтно проползло своекорыстное соображеніе, что къ чему же, молъ, совсѣмъ ужь отталкивать отъ себя эту молодую и хорошенькую Нюточку?

— Я все-таки попрошу васъ прежде выслушать меня... тѣмъ же сухимъ и сдержаннымъ тономъ начала дѣвушка.—О моемъ положеніи вы знали еще до вашего отъѣзда изъ Славнобубенска, стало быть, для васъ это не составляетъ новости. Мнѣ остается теперь нѣсколько менѣе двухъ мѣсяцевъ. Признаться отцу я не могла... не рѣшалась... Онъ не перенесъ бы такого позора... Если это и убьетъ его, когда узнаетъ, ну, такъ хоть не на моихъ глазахъ (при этихъ словахъ въ голосѣ ея дрогнули сжатые слезы). Я довольно передумала объ этомъ, пока рѣшила себѣ какъ быть—продолжала она.—Я лгала, я скрывалась, пока можно было лгать и скрываться... Далѣе ужь нельзя. Мнѣ, говорю вамъ, совѣстно на людей смотрѣть! Осталось либо съ мосту да въ воду, либо бѣжать отсюда. Все еще есть надежда, авось-либо отецъ какъ-нибудь перенесетъ этотъ ударъ, что ушла-то я отъ него, а можетъ быть еще скрою какъ-нибудь... Коли перенесетъ, тогда вернусь, а то нѣтъ!.. Я ушла тайкомъ; записку только оставила Устинову, чтобы поберегъ безъ меня старика... Онъ честный—я теперь убѣдилась... Онъ это какъ-нибудь обдѣлаетъ, устроитъ... Признаться только не могла ему... Ну, да все равно!.. Паспорта у меня нѣтъ никакого, а вѣдь это надо, кажется? Теперь, вотъ все, что я попрошу у васъ: вы помогите мнѣ какъ-нибудь скрыть все это и до времени не оставьте ребенка. Можете вы мнѣ это сдѣлать, или не можете?

Полояровъ чутьчку подумалъ. «Только-то и всего?» сказалъ онъ мысленно самому себѣ, «а я-то думалъ и не вѣсть что такое!»

— Могу!—отвѣтилъ онъ рѣшительно и даже не безъ веселости.—Се сонъ де пустяки. Мы всю эту штуку вамъ во какъ обдѣлаемъ! И овцы будутъ цѣлы, и волки сыты. Это я все могу, а только ты, Нюта, не сердись. Дутье-то въ сторону! А лучше протяни-ка лапку старому другу!.. Честно и открыто протяни! Отъ сердца! Ну, Нюта!.. Что же?.. Я жду!.. ласково понудилъ онъ, поставивъ ей свои ладони.— Хочешь услуги отъ меня, такъ мирись!

Дѣвушка слегка колебалась, но потомъ въ молчаніи и не глядя на него, медленно и холодно протянула ему руку. Богъ ее знаетъ—а только она и сама-то хорошенько не понимала, презираетъ ли, ненавидитъ-ли, или все еще любитъ этого человѣка. А по правдѣ сказать, въ ея чувствѣ къ нему тѣлосъ пока еще и то, и другое, и третье...

Совсѣмъ уже прояснившійся Полояровъ почти насильно притянулъ къ себѣ все еще безмолвную Нюточку и звонко поцѣловалъ ее.

— Ты только моихъ святыхъ принциповъ не тронь,—самодовольно заключилъ онъ, обливъ ей плечи;—а-то во всемъ прочемъ я какъ есть человѣкъ хорошій!

X.

Какимъ образомъ члены коммуны тяготы другъ друга носили.

Коммуна, какъ сказано уже, обогатилась новымъ членомъ. Лубянская осталась тамъ на житье. Вынудила ее на это самая простая и неизбежная необходимость, такъ какъ иначе что же оставалось ей, неопытной и молодой дѣвушкѣ, одинопенькой въ громадномъ и совсѣмъ незнакомомъ, совсѣмъ чужомъ городѣ, почти безъ средствъ, и при томъ въ такомъ исключительномъ положеніи, которое поневолѣ устраняло всякую возможность работы ради насущнаго куска хлѣба. Она бросилась въ Петербургъ сгоряча, очертя голову, не зная, какъ тамъ все это будетъ, и какъ-то еще все обойдется и устроится—бросилась на авось, съ одной темной надеждой, что вѣроятно какъ-нибудь да обойдется, что Полояровъ ее выручитъ, что отецъ, можетъ быть, и не узнаетъ, что какими бы то ни было судьбами надо будетъ скрыть, обмануть его, отвести всѣ подозрѣнія, а какъ именно—этого-то она и не знала, но только думала, что тамъ Полояровъ, конечно, чтонибудь придумаетъ и устроитъ. Въ этой дѣвчкѣ всецѣло процвѣтала еще крайняя и совсѣмъ зеленая молодость. Своенравное и балованное дома дитя, она съ дѣтства еще, безъ призора матери, привыкла совсѣмъ

самостоятельно распоряжаться собою, и потому не долго думала надъ проектомъ побѣга въ Петербургъ. Этотъ проектъ созданъ молодымъ затаеннымъ горемъ, опасностью огласки, стыдомъ передъ цѣлымъ городомъ, мыслью о горькомъ позорѣ стараго отца, котораго она по своему любила дѣтски-деспотическою любовью, а съ тѣхъ поръ какъ, покинутая Полояровымъ, осталась одна со своей затаенной кручиной, полюбила его еще болѣе, глубже, сердечнѣе, серьезнѣй. Словомъ, этотъ възбалаемый проектъ побѣга создало безвыходное отчаяніе. Подѣлиться мыслью не съ кѣмъ, спросить совѣта не у кого, да и стыдно, и не безопасно.—Что тутъ дѣлать? Явилась блаженная мысль — Нюточка за нее и ухватилась, да не долго думая и привела въ исполненіе. Какъ ни работалъ надъ ея «развитіемъ» Ардальонъ Полояровъ, какъ ни успѣшно увѣщались его труды капризнымъ порывомъ ея беззавѣтнаго увлеченія, однако же этому ментору не удалось искоренить изъ нея того «предразсудка», который называется дѣвичьей стыдливостью. Полояровское «развитіе» не успѣло еще проникнуть у нея въ корень, а прошло одну только верхнюю оболочку. Нюта боялась и стыдилась предстоящаго позора и неизбежной огласки, если это случится въ Славнобубенскѣ. И вотъ, по ея искреннему, глубокому убѣжденію, ей осталось одно изъ двухъ: либо съ моста въ воду, либо сбѣжать на время. Чтò изъ этого выйдетъ—она не знала; но нѣкоторая смутная надежда на какой-нибудь, быть можетъ, сносный исходъ заставилъ ее выбрать побѣгъ. Безъ паспорта, съ однимъ легенькимъ саквояжемъ да со ста рублями, скопленными за долгое время изъ подарковъ отца, сѣла она на пароходъ. На дворѣ стояла уже поздняя осень, навигація того и гляди, не сегодня—завтра прекратится, поэтому надо было спѣшить. Она оставила Устинову короткое письмо, въ которомъ, не объясняя причинъ, сообщала, что непредвидѣнными и очень важными обстоятельства вынуждаютъ ее, безъ позволенія отца, уѣхать мѣсяца на три, и умоляла устроить дѣло какъ-нибудь такъ, чтобы отецъ не очень сокрушался и беспокоился о ней, такъ какъ ей не предстоитъ ровно никакой опасности, и проч. Пароходъ, на который сѣла Нюточка, дѣлалъ уже чуть ли не послѣдній изъ своихъ самыхъ позднихъ рейсовъ. Она доѣхала водою до Твери, а оттуда по желѣзной дорогѣ махнула въ Петербургъ. Дальнѣйшая исторія уже извѣстна.

* *

На другой же день утромъ Полояровъ открыто и совершенно неожиданно для Лубянской заявилъ членамъ коммуны о томъ, что состоитъ съ нею въ натуральномъ бракѣ; но такая откровенность, къ удивленію дѣвушки, никому не показалась ни странною, ни эзоповою, ни неумѣстною; напротивъ, всѣ приняли

извѣстіе это, какъ самую простую, достоудожную и обыденную вещь, и только одна Лубянская сама же покраснѣла до ушей и, со слезами досады на глазахъ, не знала куда дѣваться отъ устремившихся на нее равнодушныхъ и какихъ-то словно бы оцѣночныхъ взглядовъ.

— Конфузиться, матушка, нечего! — полупути и полувнушительно замѣтилъ ей Полояровъ.—Это въ тебѣ пошлый предразсудокъ конфузится, а ты его по сусаламъ, по сусаламъ предразсудокъ-то этотъ!.. Гони его, стервеца! Надо жъ было отрекомендоваться и привести въ ясность, что ты моя натуральная жена. Что жъ такое! Святое дѣло!

— Эхъ, братъ Анютка!—замѣтилъ онъ ей потомъ, неодобрительно качая головою, — со всѣмъ ты безъ меня испортилась, какъ я полагаю! То-есть, вся моя работа надъ тобой словно-бъ ни къ чорту!.. теперъ хотя сызнова начинай! А кстати: у тебя съ собою денегъ-то есть?—спросилъ онъ тутъ же дѣловымъ тономъ.—Сколько денегъ-то?

— Пятьдесятъ рублей съ мелочью осталось. — Ну, такъ ты, матушка, изволь-ка ихъ сейчасъ же вручить мнѣ, для приобщенія въ общую кассу: тутъ вѣдь у насъ даромъ-то никто не живетъ, туеядства не водится; а въ концѣ каждаго мѣсяца я всѣмъ членамъ представляю отчетъ, и тогда можешь повѣрять меня.

Лубянская вручила ему свои деньги, и Полояровъ записалъ ихъ на приходъ; но эта записка несколько не помѣшала ему тутъ же изъ этихъ самыхъ денегъ отдать долгъ сапожному подмастерью за новыя подметки къ его собственнымъ сапогамъ, принесеннымъ въ это время.

Полояровъ распоряжался кассой и вообще былъ главнымъ администраторомъ коммуны. Разъ въ мѣсяцъ онъ обязанъ былъ въ общемъ собраніи представлять членамъ-общекителямъ отчетъ во всѣхъ приходахъ и по всѣмъ расходамъ, употребленнымъ на общія нужды. Поэтому у Ардальона чаще и больше чѣмъ у другихъ водились деньги. Въ крайнемъ же случаѣ онъ всегда обращался либо къ Сусанинѣ, либо къ князю Сапово-Неплюхово съ просьбою дать въ долгъ на имя коммуны, и конечно, никогда почти не получалъ отказа: дѣлалъ долгъ вѣдь не Ардальонъ, а коммуна!

Странное впечатлѣніе дѣлала эта коммуна съ непривычки на Лубяскую. Она казалась ей какой-то квартирой безъ хозяевъ; живутъ-себѣ какіе-то люди, словно бы и вмѣстѣ, а словно бы и порознь, одинъ съ другимъ не чинится, не церемонится, каждый творитъ себѣ что хочетъ, и никому ни до чего дѣла нѣтъ. Полояровъ какъ будто распоряжается, но и онъ не хозяинъ. Квартира на имя Сусанина, по и она держитъ себя простой жилищей. По

всѣмъ комнатамъ вѣчная грязь, пыль и безпорядокъ. Мебели мало, да и та какая-то обродная и грядитъ такъ, какъ будто она тутъ ровно ни къ чему непригодна. Въ одной комнатѣ помѣщается, на примѣръ, диванъ, и только; въ другой—Богъ-вѣсть для чего стоитъ трюмо въ одномъ углу, а въ другомъ кожаное кресло; въ третьей столъ да комодъ и тюфякъ на полу: это комната маленькаго Анцыфрика; четвертая меблирована одними только стульями; въ пятой ровно ничего нѣтъ—и вотъ все въ этомъ родѣ, а комнатъ между тѣмъ много. Трудно, почти невозможно опредѣлить, на что именно походила эта квартира: казарма не казарма, и на *chambres garnies* не похожа. Было въ ней что-то затхлое, холодное, нежилое. Обстоятельной осѣдлости, того что называется очагомъ, не сказывалось въ ней вовсе, а все казалось какъ словно бы по то вѣзжають, но то выѣзжаютъ какіе-то жильцы, и такъ-то вотъ изо-дня-въ-день, постоянно, неизмѣнно. Захочетъ, на примѣръ, дворникъ принести дровъ и воды, ну есть дрова съ водою, а не захочетъ—сидятъ безъ того и другого. А въ квартирѣ холодно, ажко паръ отъ дыханія ходитъ, и чайку испить смерть-бы хотѣлось. Жильцы ѣжались и негодуя на Полюярова.

— Полюяровъ! Да что же это наконецъ такое!—пристаешь къ нему то тотъ, то другой.—Опять воды ни капли нѣту!.. Ардальонъ Михайлычъ, да что жъ это, ей-Богу! Просто руки отъ холода коченѣють. Что это вы не распорядитесь! Пошли бы приказали, чтобъ онъ, каналъ, хоть дровъ-то притащилъ. Вѣдь такъ жить невозможно!

— А мнѣ-то что! — огрызается Полюяровъ, кутаясь въ свою чуйку на собачьемъ мѣху.

— Да вѣдь холодно! Таракановъ морозить, что ли!

— Ну, и морозьте.

— Да подите же, распорядитесь, наконецъ.

— А мнѣ-то что, говорю вамъ! Что я къ вамъ въ халуи напился, что ли? Кому зябко, тотъ и ступай, и распорядяйся, а мнѣ не холодно, мнѣ и такъ хорошо.

Обыкновенно, никакой прислуги въ коммуны не водилось, потому что, сколько ни нанимали ее, ни одинъ человѣкъ болѣе трехъ-четырехъ дней рѣшительно былъ не въ состояніи у нихъ выжить. Поживетъ, поглядятъ да и объявятъ: «Нѣтъ ужъ, молъ, пожалуйста мнѣ мой пашпортъ».

— Что-жъ такъ? Зачѣмъ вамъ пашпортъ?

— Да ужъ такъ... не рука намъ...

— Отчего же не рука? Вѣдь вы же такой человѣкъ, какъ и мы; и мы вамъ всякое уваженіе, кажись, оказываемъ; нравственная личность ваша здѣсь не страдаетъ, трудъ вашъ оплачивается... Отчего же вамъ не жить?

— Да ужъ что это за жизнь! Помните!

Ни хозяевъ, никого и ничего нѣтъ, не знаешь кого тебѣ слушаться. Одинъ кричитъ—сапоги ему чисти, а другой—мыться дай! третьему въ лавочку аль на почту бѣги, четвертому поясницу растирай, пятому полъ подмети, и все въ одно время, и всякій кричитъ, требуетъ, обижается, что не исполняешь, а гдѣ жъ тутъ? У меня не десять рукъ, не разорваться...

И прислуга получаетъ свой паспортъ.

— Что мало жилось? Аль не вкусно?—спрашиваетъ прислугу дворникъ при заявленіи о выпискѣ.

Прислуга только рукой машетъ.

— Штой-то, милый человѣкъ! говорятъ.—Сколько ни живали по людямъ, а нигдѣ еще таково-то не видывали! Дураково логово какое-то, а не фатера!

— Это вы истинно такъ, что дураково логово!—ухмыляясь соглашается дворникъ.

И вотъ, въ силу того обстоятельства, что никакая прислуга не могла выжить въ коммуны и всѣ попытки къ прочному найму и удержанію ся оставались тщетны, члены порѣшили, наконецъ, между собою: не нанимать болѣе никакой прислуги, а всѣ обязанности ея исправлять самимъ, для чего и распредѣлить ихъ между всѣми. Ардальонъ Полюяровъ, однако, въ качествѣ главнаго администратора и артельщика, устранилъ себя отъ всякой «черной работы». Такимъ образомъ на долю князя Сапова-Неплохова досталось выливать грязную воду и выносить помой. Анцыфровъ долженъ былъ сапоги всѣмъ чистить, что впрочемъ приходилось не часто, въ силу принципа, исключавшаго всякій внѣшній доскъ и щегольство; обязанность Малгоржана заключалась въ побѣгушкахъ въ лавочку за всѣми надобностями и въ мытьѣ посуды; а Моисей Фрумкинъ подметалъ полы, въ чемъ тоже не было особенно частой потребности; Лидинька Затѣвъ взялась чулки штопать на всю братію и наставлять самоваръ. Последняя обязанность была довольно-таки затруднительна, такъ какъ самоваръ цѣлый день почти не сходилъ съ общаго стола коммуны. Вдовушка же Сусанна должна была разливать всѣмъ чай и вести счетъ бѣлье, а для возложенія на нее такой, сравнительно, весьма легкой обязанности у Полюярова имѣлись свои особыя причины и соображенія, которымъ остальные члены мало противорѣчили, и то лишь по присущей имъ страсти противорѣчить. Причины и соображенія заключались въ томъ, что карманъ вдовушки зачастую оказывалъ услуги превыше всякихъ служительскихъ обязанностей, а для того, чтобы пользоваться услугами ея кармана, надо же было сдѣлать ей хоть какую-нибудь льготу, а то вдругъ—гляди—какъ закапризничаетъ дура, да пожалуй еще не захочетъ жить въ коммуны, такъ тутъ и засядешь какъ ракъ на мели.

Что же касается до обязанности отворять

дверь приходящимъ, то эта обязанность никому не была передана въ исключительное вѣдѣніе, и вотъ потому-то каждый раздававшійся у дверей звонокъ служилъ поводомъ къ постояннымъ и безплоднымъ пререканіямъ между членами: «Подите, молъ, вы отворите; это вѣроятно къ вамъ!» — «Нѣтъ, вы; это къ вамъ!» и т. д. Но съ поселеніемъ на житье Нюты Лубянской, обязанность отворять двери была возложена на нее, какъ не требующая особеннаго физическаго труда, во вниманіе къ ея положенію. Ради этого Нюта большею частью должна была сидѣть дома. Такимъ-то вотъ образомъ всѣ члены-общекители, словно бы по-писанію, тяготы другъ друга носили.

Иногда къ коммунистамъ приходили гости. Эти посѣтители раздѣлялись на общихъ и частныхъ. Общие—если они были со всѣми равно знакомы и появлялись на коммуновыхъ вечерахъ, а частные ходили къ кому-либо изъ членовъ. На такого гостя остальными членами не обращалось уже не малѣйшаго вниманія: если Полояровъ ходилъ въ одномъ только нижнемъ бѣльѣ, то такъ и продолжалъ себѣ; если Лидинька Затцъ громко ругалась съ Анцыфровымъ и лѣзла къ нему въ-цѣпки, то такъ и продолжала лѣзть и ругаться, ничто же не сумняся и не стѣсняясь ни мало присутствіемъ посторонняго человѣка. Если на столѣ стоитъ чай, то гостю никто не предложитъ стакана, пока онъ самъ не догадается взять себѣ, потому что иначе это была бы «пошлая жантидность». Или если, напримѣръ, гость пришелъ къ Малгоржану, а Полояровъ или Лидинька за что нибудь противъ этого гостя зубы точили, то опять же, ни мало не стѣсняясь приступали къ нему съ объясненіемъ и начинали зубъ-за-зубъ считаться, а то и до формальной ругани доходило, и Малгоржанъ не находилъ умѣстнымъ вступаться за своего гостя: «пушай его самъ, молъ, какъ знаетъ, такъ и вѣдается!» Вообще же такое нестѣснительное отношеніе къ посѣтителямъ коммуны образовалось изъ этого принципа, что весь міръ раздѣляется на «мы» и «подлецы»; то что не *мы*, то подлецы да пошляки, и обратно. Другихъ градаций нѣтъ и не допускается. Стало быть, пошляки и подлецы ужъ никомъ образомъ не могли быть допущены въ кругъ коммунистическаго знакомства, а *со-своими* людьми, «сз нашими», чиниться нечего: тутъ вся душа нараспашку. А ежели бы какими ни-на-есть судьбами случайно и затесался въ коммуны какой-нибудь подлець и пошлякъ, то съ нимъ уже и подавно нечего стѣсняться, а напротивъ слѣдуетъ сразу же огорочить его такъ, чтобы онъ впредь ужъ и носа сюда показывать не осмѣлился.

Полояровъ верховодилъ всей компаніей, хотя и никто изъ нихъ не призналъ бы этого, если бы указать имъ прямо на существованіе

такихъ отношеній между нимъ и членами. Напротивъ, каждый совершенно искренно, съ убѣжденіемъ и даже не безъ задѣтаго самолюбія сталъ бы увѣрять, что Полояровъ для нихъ нуль, ровно что наплевать, что они всѣ совершенно равноправные члены и никто ни надъ кѣмъ и ни надъ чѣмъ не верховодитъ. А между тѣмъ Полояровъ распоряжался всѣмъ въ коммуны чуть ли не самопроизвольно. Если бы кто что дѣлалъ къ общей пользѣ помимо Полоярова—Полояровъ непременно это охаетъ и найдется ни къ чорту не годнымъ. Только то, что онъ самъ сдѣлаетъ, то и безупречно, то и прекрасно, а остальные всѣ дураки, и никто ничего не можетъ, никто ничего не знаетъ и не понимаетъ. Анцыфровъ не понимаетъ какъ сапоги чистить, князь не понимаетъ какъ слѣдуетъ помой выливать, Лидинька носокъ штопать не умѣетъ, Малгоржанъ толку въ покупкахъ не смыслитъ, Сусанна не имѣетъ понятія о томъ какъ чай разливается, а вотъ если бы онъ, Полояровъ, взялся за дѣло, такъ у него все кнѣло бы.

— Ну, такъ чего же вы!.. Вотъ и взялись бы!..

— Я-то?.. Хм!.. У меня и безъ этого много дѣла! Безъ меня, не бойсь, по моей части п одинъ-то день никто справиться не можетъ. Я, батюшка не дармождъ и не подлець, чтобы своими обязанностями манкировать!

День въ коммуны и начинался и кончался безалаберно. Съ восьми и до двѣнадцати часовъ самоваръ со стола не сходитъ, Лидинька то и дѣло раздуваетъ его голенищемъ Полояровскаго сапога, подбавляетъ воды, углей и ругается. Вообще, какъ только коммуна проснулась, такъ и руганъ въ ней подымается. Ругаются всѣ вообще и каждый порознь. Анцыфрова ругаютъ, что сапоги скверно вычистилъ; князя, что помой середь комнаты разлилъ; Лидиньку за то, что самоваръ съ чадомъ принесла, Полоярова за то, что холодно, а вдовушку за то, что косички расплетаетъ да сидитъ себѣ за своими пудрами и колѣдкремами, тогда какъ тутъ люди просто издыхаютъ: такъ чаю пить хотятъ! И всѣ ругаемые, въ свой чередъ, отругиваются изъ разныхъ концовъ п логовищъ общежительнаго обиталища. А тутъ, между тѣмъ, то и дѣло въ прихожей звонки раздаются: то къ тому, то къ другому посѣтителю являются, гости, которые вообще не были стѣсняемы временемъ своего появленія, а также и особы въ родѣ дворника, водовоза, лавочника со счетомъ,—и эта послѣдняя публика претъ все больше къ администратору Полоярову, а Полояровъ, по большей части, дома не сказывается и велитъ всѣмъ отказывать, либо же утѣшать ихъ тѣмъ, что поѣхалъ-де въ редакцію деньги за статьи получать.

Наконецъ, кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ, вся эта публика расходилась, а за нею пе-

много погода и обитатели, по большой части, направляли стопы свои въ разные стороны града. Кто шелъ въ читальню или, вѣрнѣе сказать, говорильню при магазинѣ Луки Благотворительнаго, кто въ редакцію, кто въ типографію, а кто и просто себѣ наблюдать жизнь и нравы на Невскомъ проспектѣ и размышлять о высшей несправедливости судебъ и о подломъ устройствѣ социальныхъ отношеній. У Лидиньки Затѣцъ чуть ли не каждую недѣлю являлись какія нибудь новыя великія начинанія: то она на юридическомъ факультетѣ лекціи слушаетъ, то въ анатомическій театръ въ медицинскую академію бѣгаетъ и все наровитъ «запустить скальпель въ кадаверъ» (Лидинька очень любитъ такія слова), то она швейному, то переплетному дѣлу обучается, то въ наборщицы поступаетъ, то стенографіи учится, то въ акушерки готовится, то вдругъ дѣтей обучаетъ и открываетъ у себя бесплатную школу.

Находятся кой-какіе неспѣшныя родители, которые, соблазнившись, главное дѣло, бесплатностью, посылаютъ ребятишекъ къ Лидинькѣ въ науку.

А Лидинька обучаетъ слѣдующимъ образомъ. Дѣти, напримѣръ, приходятъ съ букварями.

— Вы что это за книженки принесли? Азбуку?—Этого вовсе не нужно! Это все потомъ, какъ-нибудь послѣ, а теперь главное о развитіи вашемъ надо позаботиться. Вы, мальчуганъ, напримѣръ, какъ васъ зовутъ?

— Степкой.

— Ну, хорошо-съ. Такъ вотъ что, Степка, въ Бога вы вѣруете?

— Вѣрую-съ.

— Это очень глупо съ вашей стороны. Почему же вы вѣруете? Сообразите-ка хорошенько и дайте мнѣ отвѣтъ: почему это вы вѣруете?

Степка не понимаетъ и упорно молчитъ.

— Какъ вы полагаете, Богъ-то есть или нѣтъ?

— Какъ-же!.. Богъ есть.

— Гдѣ же онъ есть?

Мальчуганъ вглядывается въ уголь, но образа не находитъ.

— Въ церкви есть,—говоритъ онъ.

— Въ церкви Бога нѣтъ. Церковь это такой же домъ, какъ и этотъ, только что архитектура въ ней особенная. Вотъ и все... Вы Бога-то видѣли?

— Видѣлъ.

— Гдѣ же вы его видѣли?

— А на иконѣ нарисованъ.

— Икона это не Богъ, а простая доска. Бога-то, миленькій мой, нѣтъ и не бывало, а если вамъ говорятъ что есть, такъ это васъ только обманываютъ.

— Затѣмъ же обманывать? — вопрошаетъ недоумѣвающимъ мальчуганъ.

— А затѣмъ, чтобы массы держать въ невѣжествѣ и рабствѣ, и чрезъ то легче эксплуатировать ихъ. Это политика такая.

Степка ровно ничего не понимаетъ и смотритъ, выпуча глаза.

— Такъ стало въ церковь-то ходить не надо?

— Не надо, миленькій.

— И Богу молиться не надо?

— И Богу не молитесь. Это все глупости, одна только лишняя трата времени, которое вы могли бы употребить болѣе производительно.

Потомъ развитіе продолжается слѣдующимъ образомъ:

— Когда вы, миленькій, встрѣтите на улицѣ попа, или полицейскаго, или офицера, такъ вы плюньте или выругайтесь про-себя,—говоритъ Лидинька самымъ серьезнымъ менторскимъ тономъ.

— Затѣмъ?—вопрашаетъ поучаемый.

— Затѣмъ, что вы всѣхъ ихъ должны ненавидѣть. А ненавидѣть ихъ надо за то, что всѣ они служатъ ложному принципу; они агенты грубой силы, поддержка деспотизма и централизаціи. Понимаете, миленькій Степка?

Степка конфузится и сознается, что не совсемъ-то понимаетъ.

— Ну, это оттого, что вы еще дуракъ, а когда разовьетесь тогда поймете.

Впрочемъ, Степка изъ всего ученія понялъ, что молиться не надо, а на поповъ и военныхъ слѣдуетъ плевать; Лидинька же остается довольна пока и этими первыми шагами умственного и нравственного развитія маленькаго Степки. Но вскорѣ и менторство надобѣдается ей, а потому она объявляетъ, что заниматься ей некогда и проситъ миленькихъ Степокъ не приходить къ ней болѣе.

Къ первому часу дня коммуна совершенно пустѣла. Оставалась въ ней одна только Нюточка, которую пока еще нельзя было пригнать ни къ какому «дѣлу», кромѣ отворянія дверей приходившимъ. Пустота царствовала въ коммунахъ вплоть до вечера, когда все населеніе ея собиралось опочить отъ многотрудныхъ и разнообразныхъ дѣлъ своихъ и предприятий. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы коммуна всегда оставалась пустою; иногда въ ней, безъ всякой надобности и повода, цѣлый день толкались ея обитатели, или тотъ и другой изъ нихъ, а иногда хоть возьми ее всю да и выкради.

Обѣда въ коммунахъ не стряпали, а вся братія ходила питать себя по близости въ одну кухмистерскую, которую содержала нѣкоторая дама или дѣвица, принадлежавшая тоже къ лику «новыхъ людей». Въ эту кухмистерскую могли имѣть доступъ только «свои», присовокупленные къ тому же лику, а изъ постороннихъ, изъ незнакомыхъ людей ни одинъ чловѣкъ не нашелъ бы себѣ тамъ ни тарелки супу,

ни куска мяса. Попасть въ эту кухмистерскую можно было не иначе какъ по личной рекомендаціи кого-либо изъ хорошо знакомыхъ, постоянныхъ ея членовъ-посѣтителей, и только лишь въ этомъ случаѣ новый человекъ приобреталъ себѣ право получать за свои тридцать копеекъ два-три блюда и уничтожать ихъ въ стѣнахъ этой фдальни и въ состоятельности ея почетныхъ членовъ. Хотя обѣды и не всегда удовлетворяли достодождной доброкачественности, хотя въ грязноватомъ на видъ бульонѣ и плавали подѣ-часъ перья или волосы стрипухи, а говядина иногда уподоблялась скорѣе зажаренной подошвѣ, чѣмъ говядинѣ, тѣмъ не менѣе члены-состоятели стончески переваривали все это «изъ принципа»: посѣщая эту кухмистерскую, они «поддерживали принципъ» и при томъ уже были увѣрены, что ни одинъ пошлякъ и подлецъ сюда не проникнетъ и не будетъ есть съ ними перловаго супа.

Впослѣдствіи, обжившись уже въ коммунѣ и приглядѣвшись къ коммуной жизни, Нюта невольно подмѣтила въ ней такія отношенія, которыя едва-ли могли удовлетворять идеалу чистаго коммунизма. Но эти отношенія обходились какъ-то всеобщимъ молчаніемъ, словно бы всѣ ужъ такъ условились, чтобы о нихъ не упоминать и не замѣчать ихъ существованія. Чѣмъ далѣе и глубже вникала Лубянская въ жизнь коммуны, тѣмъ болѣе убѣждалась, что всѣ эти Полояровы, Анцыфровы, Лидиньки, Малгоржань, Фрумкины живутъ на счетъ добродушно-простоиватой вдовушки Сусанны и князька-идіота. Сами же вносятъ въ общую сокровищницу очень мало или почти ничего. Въ лавкѣ, напримеръ, забираютъ на книжку, а придетъ срокъ расплачиваться, Полояровъ идетъ къ Сусаннѣ:

— Матушка Сусаннушка, одолжите-ка пока деньжонокъ... вотъ, въ лавку надо платить... А при мѣсячномъ расчетѣ коммуна съ вами сквитается.

— Сколько вамъ?

— Столько-то.

— Извольте.

— Вѣдь за вами, Полояровъ, есть ужъ, кажется, достаточно денегъ?—вступаетъ восточный кузень, всегда очень чуткій на карманные интересы своей «кузинки».

Полояровъ, въ отвѣтъ на это, считаетъ своимъ своимъ обидѣться:

— За мною!.. Чтѣ это значить «за мною»?!

Я попрошу васъ не употреблять такихъ выраженій. Это глупо и пошло, потому что вы очень хорошо знаете, что тутъ не я, а коммуна, стало быть и вы, и Сусанна Ивановна, и всѣ! Я не для себя беру, а для коммуны! А по мнѣ, пожалуй, чортъ съ вами! распорядитесь сами какъ знаете! Посмотрю я, какъ-то вы безъ меня управитесь!

— Малгоржанъ, какъ вамъ не стыдно!—накидываются на восточнаго кузена всѣ Анцыф-

ровы, Фрумкины и Лидиньки. — Это довольно даже подло съ вашей стороны! Оскорбляя Полоярова, вы насъ всѣхъ оскорбляете. Во-первыхъ, не ваше дѣло мѣшаться; во-вторыхъ, на основаніи ассоціаціи, мы всѣ несемъ равные расходы и всѣ вмѣстѣ обезпечиваемъ наши общіе долги. Если берутся деньги у Сусанны, такъ это ровно еще ничего не значить: сегодня у нея, а завтра могутъ быть у меня взяты, а тамъ у Фрумкина, у Анцыфрова, у васъ... Стало быть, это глупо и пошло укорять Полоярова! Мы еще должны быть благодарны Полоярову!

И вдовушка начинаетъ чувствовать въ глубинѣ души, что и она также должна быть благодарна Полоярову. Чувствуетъ ли Малгоржанъ тоже самое—это остается въ неизвѣстности, но онъ во всякомъ случаѣ умолкаетъ, побѣжденный общимъ напоромъ ассоціаторовъ.

Точно такимъ же образомъ Полояровъ обращался за ссудами и къ князю, но кромѣ Ардальона, къ князю обращались еще и всѣ остальные, если кому-либо требовались деньги на собственные, не коммунистическія надобности. Все это забиралось у князя въ счетъ будущихъ трудовъ по будущему его журналу: Лидинька брала въ счетъ будущихъ своихъ переводовъ, Анцыфровъ въ счетъ будущихъ корректуръ, остальные въ счетъ будущихъ статей и т. д. Одинъ только Малгоржанъ-Казаладзе былъ столь гордъ, что не обращался къ князю; но за то во всѣхъ подобныхъ случаяхъ онъ исключительно и безконтрольно обращался съ глазу на глазъ къ своей милой и доброй кузинкѣ. И въ силу этого Малгоржанъ думалъ, что онъ можетъ игнорировать князя.

Не трудно было Лубанской подмѣтить и тѣ особенныя отношенія, которыя существовали между нѣкоторыми изъ членовъ коммуны и которыя даже «по принципу» ни для кого не составляли тайны. Лидинька Затѣ дружила съ плюгавенькимъ Анцыфрикомъ и строго держала его въ рукахъ. Дружба между ними началась еще въ Славнобубенскѣ, немедленно послѣ отъѣзда оттуда Полоярова, и въ силу этой дружбы, Лидинька даже похитила Анцыфрова изъ Славнобубенска и увезла съ собою въ Питеръ.

Полоярову же Анцыфровъ постоянно былъ нуженъ, какъ самый вѣрный сеидъ, безусловно поклоняющійся каждому Полояровскому слову и дѣланію. Потому-то, входя въ коммуны, Полояровъ прежде всего втащилъ въ нее и Анцыфрова, а за Анцыфровымъ, разумеется, послѣдовала туда и Лидинька, по убѣжденію того же Ардальона Полоярова. Лидинькѣ было пріятно и удобно дружить съ маленькимъ золотушнымъ пискуномъ, и именно потому, что она его въ рукахъ держала. Когда еще въ Славнобубенскѣ она дружила съ Полояровымъ, то Полояровъ деспотически и безцеремонно управлялъ ею по своему произволу — и Лидинька подчинялась болѣе сильной натурѣ,

хотя ей подѣ-часть и тяжело бывало такое подчиненіе. Съ отѣздомъ же Ардальона, она сразу эмансипировалась отъ его вліянія и. подруживъ съ Анцыфровымъ, заняла относительно его ту самую деспотическую роль, какую по отношенію къ ней занималъ Полояровъ. Пискунокъ былъ самый вѣрный рабъ ея; она дѣлала съ нимъ все, что хотѣла, держала его на посылкахъ, на побѣгупкахъ, заставляла обдѣлывать разные свои дѣлишки, и въ иную злую минуту изливала на немъ свои душевныя ощущенія и капризы, такъ что въ коммуны не въ рѣдкость было услышать провозительный, бранящійся голосъ Лидиньки и жалобный визгъ пискуна. Она его и парала, и щипала, и даже била порою. Положеніе его въ коммуны было далеко не завидное: по совершенному отсутствію какой бы то ни было силенки и самостоятельности въ характерѣ, онъ постоянно долженъ былъ подчиняться теперь обоюдному вліянію и Лидиньки, и Полоярова, изъ которыхъ зачастую одно становилось прямо въ разрѣзъ другому, вслѣдствіе какого-нибудь каприза Лидиньки и Ардальона. Угодишь одной, попадешь подъ гнѣвъ другого, и такимъ образомъ Анцыфрику постоянно приходилось, что называется, сидѣть между двумя стульями. Словомъ, это былъ совсѣмъ жалкій, совсѣмъ несчастный пискунокъ.

Точно такимъ же образомъ не укрылась отъ Лубянской и особенность дружбы Малгоржана съ Сусанной. Но—увѣ!.. эта дружба доживала свои послѣдніе дни, вися на тонкомъ волоскѣ, ежеминутно готовомъ оборваться; и восточный кузенъ очень чутко начиналъ это чувствовать, хотя все еще продолжалъ по старому пользоваться карманомъ кузинки. Бравый Бейгушъ все чаще и чаще показывался въ коммуны и, не обращая на кузена ни малѣйшаго вниманія, открыто велъ свою атаку на вдовушку Сусанну. Онъ къ ней одной ходилъ въ гости и никого больше знать не хотѣлъ. Восточный человѣкъ мучился ревностью, но какъ ревновать, если ревность признана чувствомъ позорнымъ! Надо было скрывать ее, а скрывать Малгоржанъ не умѣлъ и въ то же время чувствовалъ полное безсиліе свое передъ бравымъ поручикомъ.

А между тѣмъ, Сусанна оказывала поручику очень замѣтное вниманіе и даже благосклонность. Малгоржанъ увидѣлъ въ ней явную холодность и даже въ поведеніи ея сталъ подмѣчать нѣчто странное. Такъ, напримѣръ, случалось нѣсколько разъ, что вдовушка манкировала своею обязанностью конторщицы и вдругъ куда-то исчезала изъ книжнаго магазина, а иные знакомые потомъ говорили, что въ это самое время видѣли ее на Набережной или въ Лѣтнемъ саду подъ руку съ какимъ-то конно-артиллеристомъ. Потомъ стало случаться и такъ, что вдовушка и вечеромъ не показы-

вается въ коммуны, а возвратится домой уже поздною ночью. Малгоржанъ, спротивуясь въ часы ея отсутствія, скрежеталъ зубами и грызъ себѣ ногти, ходючи по своей комнатѣ, и ясно предчувствовалъ начало конца. Это же общее начало конца смутно начинали уже предчувствовать и нѣкоторые другіе члены коммуны.

XI.

Теорія и жизнь.

То, чего ждала и чего такъ страшилась Лубянская, наконецъ совершилось: она стала матерью. Полояровъ заранѣе уговорился на сей конецъ съ одной знакомой акушеркой, принимавшей къ себѣ на квартиру скрывающихся родильницъ, и Нюточка, въ ожиданіи предстоящаго событія, дней за пять до него, перенеслась къ этой акушеркѣ. Участь ребенка, еще до его рожденія, была уже опредѣлена Ардальономъ. Онъ порѣшилъ сдать его въ Воспитательный домъ и на томъ покончить къ нему всѣ дальнѣйшія отношенія. Нюточка, пока еще не знала, что такое *мать*, не противорѣчила Ардальону и даже соглашалась съ нимъ, находя что это конечно всего удобнѣе, хотя въ душѣ у нея какое-то смутное чувство и шептало въ то же самое время, что такой удобный расчетъ съ будущимъ существомъ сдается почему-то и не совсѣмъ удобнымъ. Однако, пока ничего еще не было—все казалось, по-видимому, и легко и просто.

Но не то почувствовала она, когда наконецъ стала матерью. Неодолимый инстинктъ самки и нравственное, человѣческое чувство матери громко заговорили въ ея сердцѣ. Когда она услышала слабый крикъ своего хилого мальчика, когда потомъ съ невольной свѣтлой улыбкой заглянула въ его младенчески сморщенное личико и нѣжнымъ осторожнымъ поцѣлуемъ прикоснулась къ его теплой пунцовой щечкѣ, она почувала, что это слабое, хилое, беспомощное существо—ея ребенокъ и что разстаться съ нимъ, бросить его на произволъ Воспитательнаго дома нельзя, невозможно. Чувство женщины, чувство матери и даже простое инстинктивное чувство самки возмущались такимъ черствымъ рѣшеніемъ. То, что прежде казалось такъ легко, теперь стало неодолимо трудно. И эта нравственная метаморфоза совершилась сама собою, безъ какихъ бы то ни было вліяній: она родилась естественно вмѣстѣ съ рожденіемъ ребенка. Что предстоитъ этому ребенку далѣе? Какая судьба ожидаетъ его? Какимъ образомъ нужно будетъ распорядиться его вскормленіемъ, его воспитаніемъ?—Нюта еще не знала, но твердо и ясно знала только то, что на произволъ судьбы она его ни за что не броситъ. Не только Полояровъ, но и родной отецъ, и никто и ничто въ цѣломъ

міръ не заставили бы ее теперь отступиться отъ своего ребенка: Такое рѣшеніе было въ ея силъ, въ ея воли; оно было просто невозможнo.

Ардальонъ Полояровъ между тѣмъ думалъ совсѣмъ иначе. Особенная Полояровская простота воззрѣній на жизнь и человѣческія отношенія дѣлала ему все и яснымъ, и легкимъ, и очень возможнымъ—была бы лишь своя охота! Скорѣе сбытъ ребенка съ рукъ было прямымъ его расчетомъ: ребенокъ этотъ—какъ ни вертись—являлся прямой уликой такихъ отношеній, расплатою за которыя можетъ послѣдовать законный бракъ, особенно если старый майоръ настойчиво и формально поведетъ дѣло.—«А чортъ его знаетъ, можетъ и поведетъ!» думалъ себѣ Полояровъ, и порѣшилъ во что бы то ни стало избавиться отъ явной улики. Нельзя сказать, чтобы онъ являлъ собою особенно нѣжнаго отца и мужа. Появившись у постели Нюточки въ первый день рожденія сына, онъ въ слѣдующій разъ пожаловалъ только на четвертый и, безъ дальнихъ околичностей, сразу заговорилъ о томъ, что ребенка-то пора бы ужъ и пристроить.

— Надо бы хоть окрестить-то прежде,—замѣтила акушерка.

— А на что это крестить? — возразилъ Ардальонъ и даже притворился удивленнымъ.

— Да какъ же не крестивши-то?—пожала та плечами.

— Вотъ еще глупости!.. Лишній расходъ—попамъ на водку давать.

— Да все же, ужъ порядокъ такой.

— Глухой порядокъ и больше ничего. Словно безъ того ужъ и жить нельзя?

— А какъ имя-то? Вѣдь имя ему надо же?

— Ну, что-жъ такое имя?.. Не все-ль равно имя? Ну, вздумается мнѣ его «Чеснокомъ» назвать, ну и будетъ Чеснокомъ!.. Чеснокъ—чѣмъ же не имя?—Препотличное имя! И очень даже благозвучно выходитъ.

— Ну, что это, ей-Богу, вы словно ко псу младенца приравниваете!.. Вамъ дѣло говорить, а вы Богъ знаетъ что! Вѣдь безъ крещенія не обойдетесь, коли на то законъ такой!

— Ну, какъ сдѣдимъ въ Воспитательный, тамъ пушай и крестятъ его какъ хотятъ, а намъ, мать моя, некогда такими пустяками заниматься!

Нюта, у постели которой происходилъ весь этотъ разговоръ, сначала было слушала его молча, но при послѣднихъ словахъ вдругъ вспыхнула въ лицѣ и съ твердой рѣшимостью въ слабомъ больномъ голосѣ проговорила:

— Окрещенъ онъ будетъ завтра же, а въ Воспитательный отдавать я его не позволю.

— Такъ я и спросилъ твоего позволенія!—полушутя возразилъ ей Полояровъ.

— Я этого не позволю,—повторила она еще съ большей твердостью, разстановивая слова.

— Почему-жъ это ты «не позволишь»?—слегка нахмурился Ардальонъ.

— Потому что это мой ребенокъ.

— Мой ребенокъ!.. Онъ столько же и мой, какъ твой.

Нюта отвѣтила на эти слова какой-то странной, почти презрительной усмѣшкой.

— А я скажу,—вмѣшалась акушерка,—что если ужъ сдавать маленькаго въ Воспитательный, такъ лучше теперь сдавать, а то вы, Анна Петровна, пуще привыкнете къ нему, тогда тяжелѣе будетъ. Съ непривычки-то всегда легче.

— Я ужъ привыкла,—сказала Нюта все тѣмъ же тономъ, который выражалъ полную внутреннюю рѣшимость.

— Хм!.. когда-жъ это ты успѣла привыкнуть?—съ пріятельской ироніей замѣтилъ Полояровъ.

— Съ первой минуты.

— А! скажите пожалуйста!.. Вотъ какъ!.. И какъ не стыдно порядочной, развитой женщины такую ерунду пороть!.. Нѣтъ, братъ, Анютка, погляжу я на тебя—никуда-то ты не годишься!.. Всѣ мои труды ни къ чорту!.. Ну, разсуди, пожалуйста, логически: что ты станешь дѣлать съ этимъ лишнимъ грузомъ? Я, какъ честный человѣкъ, считаю съ своей стороны долгомъ предупредить тебя, что я не возьму на себя ни малѣйшей заботы объ этомъ ребенкѣ, если ты вздумаешь дѣлать глупости, оставлять его. Согласиться на это было бы съ моей стороны просто подло: я такъ считаю. Я не могу, не имѣю права взять на себя это! У меня—сама знаешь—и безъ того много заботъ и много серьезнаго дѣла. А это значитъ связывать себя!.. Ужъ ты тогда для дѣла, братъ, шабашъ! А я весь принадлежу дѣлу, прежде всего и болѣе всего!

Досадливо-нетерпѣливая гримаска покривила губы Лубянской.

— Оставьте вы, Христа ради, эти вѣчныя фразы о дѣлѣ! — сказала она съ раздраженіемъ.—Какое дѣло-то, и сами не знаете!.. Васъ никто и не проситъ!.. Развѣ я навязываю вамъ?.. Обойдусь и безъ васъ!.. Мой ребенокъ, моя и забота!

— Но вѣдь это, наконецъ, нелѣпо!—пожимая плечами, продолжалъ онъ убѣждать и настаивать.—Ну, разсуди ты здраво, эгоистически: съ какой стати обременять себя этимъ лишнимъ грузомъ, когда забота о воспитаніи дѣтей должна бы естественнымъ образомъ лежать на прямой обязанности цѣлаго общества? Вѣдь не мнѣ и не тебѣ, не Ивану и не Марѣ, а всему обществу нужны дѣятели, граждане—ну, оно и заботься, оно и воспитывай; а разъ, что ты родила—твое дѣло исполнено, и баста! Есть Воспитательный домъ—ну, и пользуйся имъ! А то что же, наконецъ? Проповѣдуемъ мы одно, а дѣлаемъ другое! Гдѣ же послѣ этого

твой принципы, глупая ты коза моя, гдѣ же служеніе дѣлу, идеѣ?

— Нѣтъ у меня никакихъ вашихъ идей и принциповъ!—со злобой отрѣзала ему Нюта.—Сказала разъ нѣтъ—и нѣтъ! И не будетъ по нашему! И пока жива, никогда я этого не позволю!

— Ну, 'ладно, ладно!—какъ бы соглашаясь, замахавъ рукой Полояровъ и въ то же время выразительно подмигнувъ акушеркѣ: дескать, пусть ее болтаетъ, а мы-таки свое сдѣлаемъ.

Нюта подмѣтила этотъ взглядъ и чутко поняла его значеніе.

Въ душу ея закралось тревожное опасеніе, какъ бы Полояровъ насильно или обманомъ не отнялъ у нея ребенка. На нее напалъ затаенный и мучительный страхъ. Что онъ въ состояніи сдѣлать это—она не сомнѣвалась; поэтому надо быть теперь вѣчно на-сторожѣ, надо, можетъ, тяжелой борьбой отстаивать свое материнское право.

По уходѣ Ардальона, она настояла, чтобы ребенокъ былъ немедленно перенесенъ въ ея комнату и положенъ рядомъ съ ея постелью. Ему кое-какъ приладили ложе изъ двухъ составленныхъ креселъ. Нюта нѣсколько успокоилась, но все-таки не покидала въ душѣ своихъ опасеній.

XII.

Жизнь пересилила.

Два дня послѣ этого прошли благополучно. Полояровъ не показывался, однако же Нюта не отпускала ребенка изъ своей комнаты. Подъ вечеръ третьяго благополучнаго дня она заснула, но вскорѣ ее разбудилъ легкій скрипъ двери. Все время настроенная воображеніемъ на ожиданіе недобраго, она чутко раскрыла глаза и первый взглядъ тревожно кинула на постель ребенка. Постель была пуста.

Она громко окликнула акушерку — та не откликнулась. Въ испугъ и волненіи стремительно вскочила больная съ кровати и, какъ была, на босую ногу, опрометью кинулась вонъ изъ спальни. Спѣшно перебѣжавъ двѣ смежныя комнаты, Нюта влетѣла въ гостиную. Тамъ стоялъ Полояровъ, въ своей собачьей чуйкѣ, съ пашкой въ рукахъ, а рядомъ акушеркина кухарка въ платкѣ и пугаѣ. Сама же акушерка укутывала въ салопъ младенца.

Съ крикомъ «не дамъ!» кинулась на нее Нюта и стала отнимать ребенка.

— Бога ради... Что вы!.. Успокойтесь... Вы себя губите!.. убѣждала та, стараясь своими вразумленьями пересилить вопли матери.

Но Нюта словно обезумѣла. Она ничего не слышала, не понимала и не видѣла, кромѣ своего ребенка.

— Прочь ты, сумасшедшая!—гнѣвно отстра-

нилъ ее Полояровъ.—А вы не слушайте! дѣлайте, пожалуйста, свое дѣло!.. Чего стали-то?!

— Ахъ ты Господи! Говорила же я, что не надо этого дѣлать!.. послушалась сдуру!.. и вышло такъ!—бормотала растерянная повитуха, остановясь въ нерѣшительности.

— Дѣлайте, говорю вамъ, свое дѣло!—настаивалъ Ардальонъ.—Эй ты, тетка, бери-ка ребенка да и ѣдемъ! Чтѣ тутъ глядѣть-то ей въ зубы!

И онъ подступилъ было къ Нютѣ съ тѣмъ, чтобы силою взять отъ нея младенца, но та, какъ раненная волчиха, крѣпко прижавъ дитя къ своей груди, впиалась въ Полоярова такими безумно-грозными, горящими глазами и закричала такимъ нестово-отчаяннымъ, истерическимъ крикомъ, что тотъ струснулъ и здорово чертыхнувшись, бросился вонъ изъ квартиры.

Нюту колотила конвульсивная дрожь. Она глядѣла впередъ, прямо передъ собою, помѣшанными, бѣгающими глазами, и съ непрерывными всю душу раздирающими криками жала къ груди своего ребенка. Эти страшные крики вырывались у нея совсѣмъ безсознательно, помимо ея разсудка и воли. Всѣ убѣжденія двухъ женщинъ были тщетны: она не допускала къ себѣ ни ту, ни другую, встрѣчалъ обѣихъ такимъ же грознымъ, волчьимъ взглядомъ, какъ и Полоярова, при малѣйшемъ ихъ подступѣ. Тѣ окончательно растерялись и перетрусили. Наконецъ, быстрымъ, неожиданнымъ движеніемъ сорвалась она съ мѣста, со своей драгоценной ношей, и бросилась въ свою комнату. Тамъ, почти въ безсознательномъ, изступленномъ состояніи упавъ на постель и не выпуская изъ рукъ ребенка, несчастная разразилась страшными, истерическими, дающими рыданіями, а конвульсивная, судорожная дрожь межъ тѣмъ все болѣе, все сильнѣе подымала ея члены. Такое состояніе продолжалось болѣе часу.

Акушерка бросилась за докторомъ. Когда тотъ пріѣхалъ, больная уже стихла, и вся изнеможенная, вся въ холодномъ поту, лежала почти безъ чувствъ и совсѣмъ безъ сознанія. Только грудь высоко и медленно напиралась и опускалась съ какимъ-то тяжелымъ, надорваннымъ хрипѣньемъ. Зубы были стиснуты, глаза закатились, а цѣпкія руки словно приросли къ ребенку. Врачъ осмотрѣлъ ее внимательно, подробно разспросилъ о симптомахъ, какими сопровождалось болѣзненное состояніе и нашелъ въ болѣзнь сильное, почти безнадежное горячее состояніе въ соединеніи съ неизбѣжнымъ помѣшательствомъ.

XIII.

Новые гости пріѣхали.

Таня! а Таня!.. Бѣги скорѣ сюда! Погляди кто пріѣхалъ-то! — раздался изъ залы радостный и громкій голосъ Стрѣшневой-тетки.

Татьяна вышла въ залу и въ радостномъ недоумѣніи отшатнулась назадъ.

— Андрей Павлычъ!..

— Собственной персоной! Здравствуйте!

И Устиновъ, крѣпко пожавъ протянутую ему руку, нагнулся своею плотно стриженною головою и поцѣловалъ ее.

— Какъ вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали!.. На долго?

— Не знаю, на долго ли, не знаю, какъ и куда еще шатнеть судьба отсюда, но съ Славнобубенскомъ простился... Не въ могу!

— А вы знаете, кто еще здѣсь изъ тамошнихъ?—Лубянская, Нюта,—сообщила тетка.

Устиновъ утвердительно кивнулъ головою.

— Знаю-съ, и вотъ именно благодаря-то отчасти ей и я въ Петербургѣ.

— Какъ такъ? — съ живымъ интересомъ спросила Татьяна.

— Я вѣдь не одинъ... Мы съ Петромъ Петровичемъ, съ майоромъ прикатили.

— И старикъ тоже здѣсь? — спросили обѣ дамы.

— Вмѣстѣ, говорю. Онъ за дочкою. Скажите, знаете вы что съ нею? Гдѣ она? Мы ничего этого не знаемъ.

Дамы переглянулись и помолчали.

— Она развѣ ничего не писала? — уклончиво и съ нѣкоторой неловкостью спросила Татьяна.

— Ни полслова! Старикъ искалъ ее въ Москвѣ—но тамъ ни слѣда. Поѣхали сюда... И почему-то былъ твердо убѣжденъ, что она здѣсь, въ Петербургѣ. Ей иначе нигдѣ и быть нельзя, по нѣкоторымъ соображеніямъ. Видитъ ли, въ чемъ дѣло и почему собственно я-то тутъ принимаю участіе, — сталъ объяснять Устиновъ, придвинувъ поближе къ столу свое кресло.—Она вѣдь убѣждала... И такъ это вдругъ, неожиданно... Отецъ и не подозрѣвалъ, и не предчувствовалъ ничего себѣ. Но вдругъ я получаю престранное и отчасти безтолковое письмо, гдѣ она меня проситъ побережъ старика и говорить, что, можетъ, вернется мѣсяца черезъ три, а можетъ, и совсѣмъ не вернется. Представьте себѣ мое положеніе! Думаю-себѣ: что же тутъ теперь станешь дѣлать? Во-первыхъ, самъ ничего не понимаю и не знаю какъ и что тутъ произошло; во-вторыхъ, и своихъ-то собственныхъ непріятностей куча, а тутъ еще старикъ... Что же съ нимъ-то теперь будетъ, думаю-себѣ. Ёду къ старику и застаю его въ постели... совсѣмъ убитый горемъ. Потрясло его все это ужасно, такъ что вѣдь онъ пять недѣль съ постели не вставалъ, и мы ужъ было думали, что конецъ; однако ничего, пересидилъ. Натура-то вѣдь крѣпкая еще кака!.. Вывезла! Я на все время болѣзни просто ужъ къ нему перебрался, а то вѣдь лежить, бѣдняга, одинъ и приглядѣть-то за нимъ некому: одна баба въ домѣ, да и та съ

ногъ сбилась совсѣмъ. Ну, сталъ онъ тутъ, наконецъ, поправляться и говорить мнѣ какъ-то: вы, говоритъ, въ Питеръ собирались; поѣдьте вмѣстѣ; я тоже хочу, говоритъ. «Ужъ куда тебѣ, батюшка, думаю, въ Питеръ!» Однако не перечу. Что-жъ вы думаете? Какъ только маломальски оправился, первымъ же дѣломъ сталъ торопить отъѣздомъ.— Поѣдмете, говоритъ, живую, или мертвую, а ужъ я найду ее!.. Какъ это тамъ... она, безъ денегъ, безъ вида, безо всего... Не могу я безъ нея, говоритъ. Ну вотъ и поѣхали. Въ Москвѣ прожили недѣлю, искали, справлялись — ничего! Сегодня только-что съ машины. Его-то я оставилъ пока въ номерѣ въ гостиницѣ, а самъ вотъ, первымъ дѣломъ къ вамъ прикатилъ. Помогите чѣмъ можете въ нашемъ дѣлѣ! Не знаете ли вы чего?—обратился онъ въ заключеніе съ просьбою къ дамамъ.

— Знаю и могу, пожалуй, дать ея адресъ, сказала Татьяна,—только надо это вамъ сдѣлать какъ нибудь осторожнѣе,—съ послѣдней озабоченностью прибавила она.— Я не знаю, какія тамъ у нея отношенія съ отцомъ, но прежде чѣмъ ѣхать ему, мнѣ кажется, лучше бы вамъ самимъ сперва съѣздить къ ней и повидаться.

— Вы давно ее видѣли?—спросилъ Устиновъ.

— Въ послѣдній разъ недѣли съ три тому... А съ тѣхъ поръ не видала.

— Гдѣ жъ она живетъ?

— Въ коммуны.

Устиновъ въ недоумѣніи вскинулся на Стрѣшневу глазами.

— Гдѣ?—повторилъ онъ, какъ бы не слышавъ.

— Въ коммуны,—улыбнулась Татьяна.

— Въ коммуны?.. Это что жъ еще такое?.. Какіе же тамъ коммунисты?

— Наши общіе знакомцы... Полояровъ, Анцыфровъ, Лидинька...

— Ахъ, вотъ оно что!.. Да, теперь понимаю!—полупоклонился Устиновъ, какъ-то раздумчиво показавъ своей большою стриженною головою.—Стало быть, надо, не теряя времени, ѣхать въ эту коммуны.

Стрѣшневая вспомнила, что отношенія между Устиновымъ и Полояровымъ съ братьею еще въ Славнобубенскѣ стали весьма натянуты, и потому ей не хотѣлось подвергать его непріятной встрѣчѣ съ этими господами.

— Погодите, посидите-ка лучше съ нами, дайте на себя поглядѣть!—весело предложила она старому своему пріятелю;—а мы лучше дѣло-то вотъ какъ устроимъ: чѣмъ самимъ вамъ ѣздить, такъ лучше я напишу къ ней записку, чтобы она пріѣзжала сейчасъ же, безотлагательно, по очень важному дѣлу, и на извозчикѣ пошлю за нею челоуѣка. Это будетъ гораздо удобнѣе.

Устиновъ охотно согласился.

Посланный вернулся черезъ часъ и подалъ Татьянѣ заклеенное облаткой письмо.

Молча пробѣжавъ его глазами, она какъ-то смутилась и поглядѣла на тетку и на Устинова, и опять на письмо, словно бы затрудняясь передать имъ его содержаніе.

Тѣ вопросительно-ожидающимъ взглядомъ глядѣли на нее.

— Ну-съ, въ чемъ дѣло?— спросилъ Андрей Павловичъ.

— Прочтите, — отозвалась Стрѣшневъ и передала ему листокъ.

Устиновъ сталъ читать про себя.

«Миленькая Стрѣшневъ, Лубянской уже нѣтъ въ коммуны. Двѣ недѣли тому назадъ она перѣѣхала къ знакомой акушеркѣ, такъ какъ должна была родить. Теперь она уже родила, но находится въ очень опасномъ положеніи. Если вамъ хочется видѣть ее, такъ вотъ вамъ адресъ: Пески, Слоновая улица, домъ № 00, у акушерки Степановой. Вся вапна Л. Затцъ.

«Письмо ваше къ Лубянской препровождаю обратно; я его не читала, потому что читать чужія письма считаю подлостью».

— Н-ну... Скупризь для старика! — тихо, съ испугомъ и озабоченно проговорилъ Устиновъ. — Я, признаться, и прежде еще подозрѣвалъ, что не что иное, какъ это и есть настоящая причина ея побѣга, но... Петръ-то Петровичъ... какъ только онъ это вынесетъ!..

— Я поѣду... медлить-то нечего! — черезъ минуту поднялся онъ съ мѣста. — Дайте-ка адресъ... Слоновая улица, Пески, у Степановой... Хорошо; не забуду. До свиданья!..

И озабоченный Устиновъ откланился дамамъ.

XIV.

Предъ постелью больной.

Онъ поѣхалъ прямо по данному адресу и въ скорѣ отыскалъ акушерку Степанову.

Въ маленькой, тѣсной комнаткѣ, съ низкимъ потолкомъ, съ кислотовато-затхлымъ воздухомъ, чувствовалось присутствіе тяжело больного человѣка. Устиновъ заглянулъ за ширмы и въ полумракѣ разглядѣлъ больную. Она лежала разметавшись, желтовато-блѣдная, исхудалая, въ сильномъ горячечномъ жару. Неподвижные глаза были широко раскрыты, но глядѣли безсмысленно, ничего не видя. Появленіе посторонняго человѣка не оказало на нее никакого впечатлѣнія: она была въ безпамятствѣ. Устиновъ осторожно дотронулся до ея лба. Лобъ былъ сухъ и неестественно горячъ. Неподвижные глаза все такъ же глядѣли въ пространство. Она не замѣтила и прикосновенія.

— Анна Петровна... тихо прозвнесъ учитель.

Больная не шелохнулась, не откликнулась.

«Плохо!» помыслилъ онъ со вздохомъ и обратился къ акушеркѣ:

— Давно ужъ такъ?

— Третьи сутки, — отвѣчала та скорбнымъ пошопотомъ.

— А ребенокъ гдѣ?

— Взяли! — махнула она рукою. — Я говорила еще и прежде имъ, чтобы они этого не дѣлали — ну, не послушались... А это вотъ и подѣйствовало на нее такимъ образомъ... Ни за что не хотѣла отдать младенца-то...

— Кто же взялъ-то его и куда? — спросилъ Устиновъ.

— Господинъ Полоярковъ-съ. Они все въ Воспитательный желали, а ей этого ни за что не хотѣлось. Въ первый-то разъ какъ пріѣхали они брать его, такъ она, и Боже мой, какъ противъ этого! Вырвала ребенка и не отдала... И вотъ отъ этого потрисенья-то больше и случилось... какъ видите.

— Да какъ же вы-то, сударыня, допустили до этого?

Повитуха оробѣло поглядѣла на Устинова.

— Да я-то... помилуйте, что же я могу?.. Они вѣдь отецъ ребенку... Я съ своей стороны какіе могла, такіе резоны имъ и представляла, ну, они и слушать ничего не желали...

— Такъ когда же онъ окончательно ребенка-то взялъ?

— А вчерашняго дня утромъ пріѣзжали въ каретѣ съ какой-то дамой... Больная въ безпамятствѣ была... Они потребовали, стали настаивать, что это необходимо, я и отдала... Я тутъ что же-съ?.. Я человѣкъ посторонній и мнѣ ихнія семейныя дѣла неизвѣстны... Мнѣ ужъ и то хлопотъ-то теперь столько, что кабы знала все это раньше, такъ и, Господи! ни за какія деньги, какіе-съ, не взяла бы на себя всю эту обузу!.. Избави Богъ!.. И то ужъ совсѣмъ съ ногъ сбилась съ нею!.. Помилуйте, вѣдь я, говорю вамъ, человѣкъ посторонній, ея совсѣмъ даже не знаю, а при томъ занятія свои тоже, практику имѣю — и все это теперь въ сторону!.. Конечно, по христіанству только... не выгнать же отъ себя, коли ужъ такое горе случилось.

— И что-жь, она все одна такъ и лежитъ? Присмотрѣть есть ли за нею хоть какой?

— Да вотъ, приглядываю по силамъ; ужъ и то, говорю вамъ, всю практику бросила на это время... Оставить-то не на кого... Ну, тоже докторъ — спасибо ему — навѣщаетъ пока, а что господинъ Полоярковъ, такъ очень даже мало ѣздитъ; я просто удивляюсь на нихъ... Эдакой, подумаешь, ученый, умный человѣкъ, писатель, и никакого состраданія!.. Какъ даже не грѣшно!..

— Одного я только боюсь, — совсѣмъ уже тихимъ шопотомъ прибавила она, помолчавъ немного; — вида-то у нея при себѣ никакого

нѣтъ; и когда я спросила про то господина Полоярова, такъ они очень даже уклончиво отвѣтили, что видъ имъ будетъ; однако вотъ все нѣтъ до сей поры. А я боюсь, что какъ неравно—не дай Богъ—умреть, что я съ ней тутъ стану дѣлать-то тогда безъ вида? Вѣдь у насъ такъ на этотъ счетъ строго, что и хоронить, пожалуй, не станутъ, да еще исторію себѣ съ полиціей наживешь... Боюсь я этого страхъ какъ!

— Не безпокойтесь, видъ будетъ: ея отецъ теперь прѣхалъ,—успокоилъ ее Устиновъ.— Я вотъ сейчасъ съѣзжу за старикомъ и привезу его...

Въ это время тихо скрипнула дверь.

Андрей Павловичъ обернулся и увидалъ медвѣжоватова входящаго на ципочкахъ Ардальона Полоярова. Тотъ невольно остановился, пораженный неожиданнымъ появленіемъ такого необычнаго и притомъ крайне непріятнаго посѣтителя. Они въ упоръ почти вымѣряли другъ друга злобными глазами.

— Вы здѣсь какими судьбами?—шопотомъ, но грубо спросилъ Полояровъ.— Кто васъ привелъ сюда?.. Чего вамъ здѣсь надо?

— Это не ваше дѣло!—рѣзко, но тоже шопотомъ отвѣчалъ Устиновъ.

— Нѣтъ-съ мое, потому она на моемъ попеченіи...

— Оца на попеченіи отца своего, котораго я сейчасъ привезу сюда.

При этомъ неожиданномъ извѣщеніи, Полояровъ вдругъ поблѣднѣлъ, смутился и насупился.

— Отца, вы говорите?

— Да отца... Онъ сейчасъ будетъ здѣсь.

— Ну, что-жь... пушай его!—принужденно ухмыльнулся Полояровъ.

Въ душѣ Устинова кипѣла противъ него злоба.

— Я посмотрю, такъ ли вы будете ухмыляться,—вѣско проговорилъ онъ,—когда всѣ ваши поступки съ этой несчастной будутъ обнаружены предъ судомъ, предъ правительствомъ... наконецъ, гласно предъ судомъ общественнаго мнѣнія... Я посмотрю тогда!

Въ душѣ у Полоярова ёкнуло что-то жуткое и тревожное; однако онъ постарался выдержать, на сколько могъ, свой прежній равнодушно-пренебрежительный тонъ!

— Вотъ какъ-съ!.. Предъ судомъ и гласно... и даже предъ правительствомъ... Больно ужъ вы, господинъ Устиновъ, любите прибѣгать подъ защиту благодѣтельнаго правительства!.. Что жъ! это какъ кому по вкусу и по наклонности!.. Только желалъ бы я знать, въ чемъ это вы намѣрены обвинять меня предъ вашимъ правительствомъ? Не въ томъ ли, что я, совсѣмъ чужой, посторонній человѣкъ, изъ одного только простого чувства человѣческаго состраданія, рѣшился помочь моей старой

знакомой въ ея крѣпическомъ положеніи и сдѣлать для нея все, что могъ? Въ этомъ, что-ли, обвинять вы меня будете?

— Не забѣгайте-съ впередъ! Здѣсь не это, а ребенокъ...

— Такъ что жъ, что ребенокъ?—удивился Ардальонъ!—Ребенокъ ея, а не мой!.. Мнѣ какое дѣло до ребенка? Отецъ я ему, что ли?!

Устинова глубоко поразила такая безпредѣльная наглость.

— Честный вы человѣкъ! такъ вы и отъ этого отказываетесь?

— А вы желали бы, чтобъ я и это на себя взялъ?.. Ха, ха, ха!.. Какой вы щедрый однако!—презрительно усмѣхнулся Полояровъ.— Этотъ ребенокъ столько же мой, сколько и вашъ!.. Почему знать, съ кѣмъ она прижила его! Можетъ, и съ вами! Вѣдь вы были съ нею такой же знакомый, какъ и я!..

Повитуха, не менѣе Устинова пораженная этой наглостью, даже руками всплеснула.

— Какъ!.. Вчера былъ вашъ, а сегодня не вашъ!—подступила она къ Полоярову.—И вы это можете при мнѣ говорить?.. при мнѣ, когда вы вчера, какъ отецъ, требовали отъ меня этого ребенка? Да у меня свидѣтели-съ найдутся!.. Моя прислуга слышала, докторъ слышалъ какъ больная въ бреду называла васъ отцомъ!.. Какой же вы человѣкъ послѣ этого!.. Отъ своего ребенка отказываться.

Полояровъ растерялся. Онъ понялъ, что необдуманно увлекшись пререканіемъ съ Устиновымъ, попалъ теперь въ силки, что даже и юридически, пожалуй, ничего не подѣлаешь противъ совокупности столь многоразличныхъ доказательствъ, между которыми и его письмо, и его обѣщаніе жениться, и участіе, какое принималъ въ родильницѣ, и наконецъ эти свидѣтели.

Много же послѣ этого сообразилъ онъ, что взятый маневръ негодится, что наглостью тутъ ничего не возьмешь, и потому въ глубинѣ души струсилъ не мало.

— Ну, полноте! все это глупости!—въ мягкомъ, примирительномъ тонѣ заговорилъ онъ Устинову, тщетно лова для заискивающаго пожатія его руку.— Вы не повѣрите... видя всѣ эти ея страданія, я самъ такъ изстрадался, такъ измучился душою, что просто себя не помню! Не помню, что дѣлаю, что говорю... Я просто теперь какъ сумасшедшій (онъ тяжело взялся за голову и медленно, какъ бы пробуждаясь, провелъ рукой по лбу). Какъ добрый и порядочный человѣкъ, извините меня, Бога ради, если я сказалъ вамъ что нибудь глупое или рѣзкое... Я въ такомъ странномъ состояніи... Такъ тяжело мнѣ... такъ тяжело.

И онъ тяжело опустился на стулъ и кручинно подперъ лицо облокоченными на столъ руками. Но переходъ отъ одного настроенія къ другому былъ сдѣланъ и рѣзко, и аляповато,

такъ что обнажилъ въ Полояровѣ неумѣлаго актера.

Устиновъ окинулъ его гадливо-презрительнымъ взглядомъ и, не сказавъ ни слова, направился къ двери, но тамъ на минуту замедлился въ раздумьи и снова подошелъ къ Полоярову.

— Я васъ прошу удалиться отсюда заблаговременно, — сказалъ онъ, — потому что черезъ полчаса здѣсь будетъ отецъ ея.

Полояровъ показалъ видъ, будто онъ настолько удрученъ тяжкимъ горемъ, что даже не слышитъ обращенной къ нему рѣчи.

Устиновъ повторилъ еще вразумительнаго требованіе и вышелъ изъ комнаты.

XV.

При послѣднихъ минутахъ.

Мрачный и смущенный, вернулся онъ въ номеръ гостиницы, гдѣ нетерпѣливо ожидалъ его старикъ Лубянской.

Взглянувъ на лицо Устинова, майоръ чутко угадалъ, что тотъ, должно быть, принесъ вѣсти недобрыя.

Андрей Павловичъ молчалъ, либо старался отдѣлываться фразами и вопросами о совѣмъ постороннихъ предметахъ, но все это какъ-то не клеилось, какъ-то неловко выходило. Онъ боялся, онъ просто духомъ падалъ предъ необходимостью раскрыть старику всю ужасную истину. — «Тотъ же ножъ» думалъ онъ. — «Возьми его да и ударь ему прямо въ сердце... тоже самое будетъ!»

Но это молчаніе и усиленное стараніе заводить разговоръ о постороннихъ вещахъ еще болѣе убѣждали старика въ томъ, что Устиновъ принесъ съ собою что-то недоброе.

— Да расскажите же наконецъ, — приступилъ онъ къ учителю. — Ну, были вы у Стрѣшневыхъ?.. ну, и что же?.. Какъ? Говорили вы тамъ?.. Спрашивали?

— Былъ же, говорю! — какъ бы нехотя, отвѣчалъ тотъ.

— Ну, и что же?..

— Да ничего... Все такія же... Вамъ кланяются...

— Да нѣтъ! Я спрашиваю, говорили ли...

— Да что говорить-то тамъ... Такъ, говорили... разное тамъ...

Старикъ молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ. Онъ словно бы сосредоточивался, словно бы внутренне приготавлился, рѣшаясь на что-то важное, большое и наконецъ сталъ предъ учителемъ, спокойно и твердо глядя ему въ глаза.

— Андрей Павлычъ, — началъ онъ съ такимъ спокойствіемъ непреклонной рѣшимости, которое поразило Устинова. — Не скрывайте, говорите лучше прямо... Меня вы не обманете: я вижу, я очень хорошо вижу по васъ, что

вы знаете что-то очень недоброе, да только сказать не рѣшаетесь... Ничего!.. Какъ бы ни было худо то, что вы скажете, я перенесу... Я ужъ много перенесъ... ну, и еще перенесу... Вы видите, я спокоенъ... Вѣдь все равно же, рано-ли, поздно-ли, узнаю... Говорите лучше сразу!

Старикъ замолкъ и ожидалъ рокового удара все съ тѣмъ же твердымъ спокойствіемъ.

Учитель собрался, наконецъ, съ духомъ.

— Да что сказать-то! — какъ-то глухо, подавленно началъ онъ. — Поѣдьте къ ней... умираетъ... Внука вамъ Богъ далъ, да скрали вчера... въ Воспитательный сбросили.

И онъ угрюмо отвернулся въ сторону, стараясь не взглянуть въ лицо старику.

Дѣйствительно, лицо его было страшно въ эту минуту. Мрачные глаза потухли, а на вискахъ и въ щекахъ, словно желѣзные, упруго и круто заходили старческіе мускулы. Майоръ, только уперся напряженными пальцами въ столъ и стоялъ неподвижно. Онъ ломалъ себя нравственно, дѣлалъ надъ собою какое-то страшное усиліе, пряча въ самую сокровенную глубину души великій грузъ своего неисходнаго горя. Устиновъ, отвернувшись, слышалъ только, какъ, раза два короткимъ, невыразимо-болѣзненнымъ скрежетомъ закрипѣли его зубы.

— Ну, поѣдьте... Теперь я готовъ! — глухо, но спокойно сказалъ старикъ черезъ минуту.

И они отправились.

* * *

Больная была все въ томъ же безнадежномъ безпамятствѣ. У нея уже начинались признаки медленной, но мучительной агоніи.

— Часъ спустя послѣ прѣзда къ ней отпа въ этой маленькой комнатѣ тускло мерцала лампадка предъ образомъ, который былъ поставленъ на предпостельный столикъ, покрытый чистой, бѣлой салфеткой.

Священникъ, въ темной рясѣ и въ старенькомъ эпитрахиль, шепталъ надъ изголовьемъ больной глухую исповѣдь. Старый майоръ, опустясь предъ постелью на колѣни и тихо склонившись лицомъ къ холодеющей рукѣ до чери, молился почти безъ словъ, но какою-то глубокою, напряженною, всю душу пронизающею молитвою. За нимъ, шагахъ въ двухъ, тоже на колѣняхъ, стояла акушерка и тоже молилась, набожно, но какъ-то обыкновенно, въ должную мѣру. Въ дверяхъ помѣстилась кухарка и глядѣла на все съ тупымъ любопытствомъ, столь же тупо крестясь и кланаясь порою, съ быстрымъ размахомъ руки и корпуса. И тутъ же, у дверной притолоки, прислонясь къ ней, стоялъ Устиновъ. Крѣпко стиснувъ пальцы сложенныхъ рукъ, онъ не молился, и по угрюмому лицу его бродили темныя тѣни какихъ-то злобныхъ, мрачныхъ и тяжелыхъ думъ.

Священникъ кончилъ свое дѣло и перекре-

стиль умирающую. Она подавала еще слабые признаки жизни легким хрипѣиѣмъ и медленной икотой, но посинѣлыя падыцы рукъ и вытянутыя ноги все больше и больше холодѣли. Смерть одолѣвала...

Часа два спустя, въ маленькой залѣ, наискось къ переднему углу, стоялъ уже столъ, покрытый простынею и пахло только-что накуренымъ ладаномъ.

XVI.

Послѣ похоронъ.

Похороны были не пышны и не многочисленны; майоръ съ Устиновымъ, Стрѣшневъ съ теткой, повитуха Степанова да Лидинька Затѣцъ со вдовушкой Сусанной—вотъ и вся публика, почтившая покойницу проводами. Ардальона Подорова не было.

Священникъ торопливо отпѣлъ надъ могилой послѣднюю литію и спѣшно удалился съ дьячкомъ по другія требы; удалились и Лидинька съ Сусанной читать надгробныя надписи—обыкновенное занятіе всѣхъ, кто безъ особеннаго горя личной потери рѣдко посѣщаетъ кладбища. Надъ зарываемой могилой оставались теперь только майоръ да старуха Стрѣшнева. Татьяна, чтобы разсѣять нѣсколько чувство дурноты и головной боли, навѣяное спертымъ воздухомъ церкви, отправилась вмѣстѣ съ Устиновымъ пройти немного по деревяннымъ мосткамъ, ведущимъ вдоль аллеи въ глубину кладбищенской роши.

День былъ тихій, безсолнечный, съ небольшими морозцемъ. Между прутьями и сучьями кустовъ держались наскѣвшие на нихъ хлопья пушистаго снѣга. Эти хлопья изрѣдка, медленно и тихо, то тамъ, то сямъ падали съ вѣтвей на землю. Надъ куполомъ церкви щебетали галки, а на верхушкѣ березы гдѣ-то воронъ тихо посылалъ къ кому-то свое короткое: «кррукъ! кррукъ!..»

Могила была, наконецъ, зарыта. Двое могильщиковъ, снявъ шапки и медля уходить, стояли въ ожиданіи «чайка-съ». Лубянской далъ сколько-то мелочи, и они удалились съ безконечно-свѣтлыми лицами, что, повидимому, такъ противорѣчило ихъ мрачной профессіи.

— Ну, Нюта!—вздыхнулъ майоръ. — Теперь не моя, а Божья... Богъ далъ, Богъ и взялъ. Не хорошо, сударыня моя,—прибавилъ онъ съ какой-то горькой улыбкой, обращаясь къ старухѣ,—не хорошо на старости дѣтъ дѣтей хоронить.

— Что дѣлать! Божья воля! — отвѣтила та, лишь бы что отвѣтить.—Надо покориться...

— Покориться! — усмѣхнулся Лубянской; — да что-жъ тутъ и дѣлать-то больше, сударыня моя, какъ не покориться... Кабы въ человѣкѣ сила была безсмертная, ну, такъ боролся бы! А

это (онъ кивнулъ головой не окружающія могилы), это вѣдь сильнѣе! Да я что-жъ, я не ропщу!—прибавилъ старикъ, помолчавъ немного. — Что ропотъ?!.. ропотомъ согрѣйшишь, а дѣла все-жъ не поправиши!.. Его святая воля! — Зналъ, что творилъ... Можетъ, оно и лучше, что она умерла... Да и что за жизнь ея была бы? Всѣ радости дѣвичьи, всѣ деньки-то ея красныя—все это добрые люди отняли да обворовали!

Старуха Стрѣшнева, боясь какъ-бы потеря дочери не произвела на старика слишкомъ сильнаго потрясенія и какъ бы онъ въ-конецъ не затосковался въ одиночествѣ, думала хоть чѣмъ-нибудь разсѣять его на первое время, чтобы былъ онъ больше на людяхъ, а не наединѣ съ самимъ съ собою, и потому предложила ему переехать, пока что, къ ней на квартиру.

— Все же лучше, чѣмъ въ трактиръ,—говорила она,—да и вамъ спокойнѣе.

— Да я что-жъ... я спокоенъ, сударыня, я спокоенъ теперь,—полусмущенно и благодарно говорилъ онъ.—Спасибо вамъ... за ваше участіе доброе спасибо!... Переѣхать къ вамъ — это, полагаю, стѣснительно будетъ, да и при томъ же ужъ я такъ... съ Андреемъ вотъ Павлычемъ вмѣстѣ... а посѣщать васъ почаще, это вотъ вы мнѣ позвольте.

Старуха предложила ему довести его до дому въ ея каретѣ.

— А я, тетя, пройдуся немного пѣшкомъ съ Андреемъ Павлычемъ—погода хорошая,—сказала Татьяна и подала руку Устинову.

Карета тронулась изъ кладбищенскихъ воротъ.

— Замѣчаете вы,—обратилась къ нему Татьяна,—какъ спокоенъ старикъ-то? Я думала-было, что это окончательно убьетъ его, но нѣтъ,—слава Богу, ничего еще пока... держится.

— Онъ ужъ давно убить! грустно усмѣхнулся Устиновъ.—Два раза живуя терять ее такъ, какъ онъ терялъ — это было тяжелѣе, чѣмъ мертвую хоронить. Если бы вы знали, если бы вы только могли представить себѣ все, что онъ вытерпѣлъ и какъ перестрадалъ!... Если выдержалъ и не умеръ до этого, такъ теперь-то выдержать!... Это все же легче, чѣмъ то!... А что горя-то у него было столько, какъ не дай Богъ никому... Но теперь все это горе, знаете, выкипѣло, перегорѣло въ душѣ, и оттого онъ кажется спокойнымъ. Черезъ чуръ ужъ глубокое, тяжелое горе всегда спокойно.

— А жалъ Лубянскую... Такъ рано и такъ ужасно умереть!... раздумчиво и грустно замѣтила Стрѣшнева.

— Да, въ Лубянской многого и многихъ жалъ — нѣсколько помолчавъ, и какъ бы въ отвѣтъ на какую-то свою собственную мысль проговорилъ Устиновъ.—Она, пожалуй, не годилась бы въ героини романа, но въ судьбѣ ея есть много поучительнаго. Знаете ли, меня

просто злость беретъ, какъ раздумавшись надо всѣмъ этимъ! Вѣдь что такое, въ сущности, эта Нюточка Лубянская? — Самая обыкновенная дѣвушка, какихъ вы встрѣтите тысячи. Были у нея добрые, честные порывы, были стремленія къ хорошему, къ новой и свѣтлой жизни, къ труду — и потому-то вотъ мнѣ еще досаднѣе и больнѣе за всѣхъ этихъ Нюточекъ! Не встрѣться ей на дорогѣ господинъ Полояровъ — не то бы, можетъ, и изъ Нюты вышло. Она, какъ хотите, даже хорошо сдѣлала, что догадалась умереть во-время!

Стрѣшневъ посмотрѣла на него вопросительно и съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Да въ самомъ дѣлѣ! — продолжалъ онъ въ отвѣтъ на ея взглядъ, — потому что, что-жъ оставалось ей въ жизни? Отъ одного берега отстала, къ другому не пристала, да и пристать-то никогда не могла бы. Вотъ эти всѣ господа Полояровы стремятся — на словахъ, по крайней мѣрѣ — къ тому, чтобы вывести женщину на новую дорогу. Прекрасно-съ, зачѣмъ нѣтъ? Да только дорога дорогѣ рознь. Оно, конечно, такіе казусы, какъ съ Нюточкой, и безъ новыхъ людей сплошь да рядомъ встрѣчаются; «отцы» тоже маху не давали, и сущность осталась та же, но форма, внѣшняя форма измѣнилась. Прежде брали нѣжными вздохами, блестящимъ мундиромъ, красивой рожцею, а теперь господа Полояровы берутъ на удочку новыхъ идей, приманкой «новой жизни», благо въ женщину заронилось смутное стремленіе выбиться изъ своего тѣснаго положенія. Но вотъ что скверно-съ, что Полояровы все это въ «принципъ» возводятъ. Сдѣлаетъ человѣкъ мерзость, и убѣжденъ, что ему и должно такъ дѣлать! Сдѣлай ту же самую мерзость гвардейскій офицеръ, маменькинъ сыночекъ и вообще всякъ, кого они пошлецомъ обзываютъ — всѣ Полояровы въ набатъ забьютъ, тенденціозную повѣсть напишутъ, съ гражданской скорбью, съ цивическимъ негодованіемъ и ужъ какъ чувствительно выставятъ «несчастную жертву» пошлеца! А сдѣлалъ вотъ то же самое не гвардейскій пошлецъ, а самъ господинъ Полояровъ — и объ этомъ никто изъ нихъ ни гу-гу! Промолчатъ-съ, замажутъ, запрячутъ и прогло-

тятъ всю суть дѣла... И Боже васъ избави назвать за это подлецомъ Полоярова! — Разбой! доносъ! клевета! завопить на васъ все стадо, и выльется на вашу голову вся клоака са-мыхъ гнусныхъ мерзостей собственнаго ихъ изобрѣтенія, лишь бы дохватъ васъ не мытьемъ, такъ катаньемъ! А почтеннѣйшая публика, слыша ревъ, и сама начинаетъ вторить: разбой! клевета! доносы!... Тыфу, ты Господи! да что же это наконецъ такое! — Повальный сумбуръ какой-то!

Устиновъ досадливо замолчалъ и шелъ нѣсколько времени, не проронивъ слова. И по его лицу, и по его тону Стрѣшневъ замѣтила, что въ немъ искренно высказывается теперь все то, что давно уже успѣло накопиться на сердцахъ.

— Или вотъ тоже еще! — снова началъ маленькій математикъ, опять увлекаясь своей темой. — Какъ поглядишь, какіе все это лрые амансипаторы, всѣ эти господа Полояровы! Черезъ два слова въ третье Джонъ-Стюартъ Милль на языкѣ, угнетеніе женщины, свобода и равноправіе отношеній, свобода чувства, безобразіе брака — и какія вѣдь все хорошія слова, подумаешь! Даже повѣсти и романы специально на этотъ предметъ сочиняютъ. Но странное дѣло! Замѣчали-ль вы, что во всѣхъ этихъ повѣстяхъ они тщательно избѣгаютъ дѣтей? Такъ избѣгаютъ, чтобы въ головѣ читателя даже и намекъ на вопросъ о дѣтихъ не возникло бы! Я не помню, чтобы которая изъ ихъ героинь имѣла ребенка. Устраиваютъ для нея новую жизнь, новое счастье, новыя отношенія, но о дѣтихъ опять-таки ни гу-гу! Что это, скажи-же на милость: наивная-ли простота и невѣдѣніе, или же лукавое передергиваніе житейской правды? А придай-ка они любой своей героинѣ хоть одного ребенка — и конечно! тенденціознаго романа не существуетъ! И вотъ вамъ живой примѣръ — та же самая Нюточка. Романъ-то, пожалуй, и вышелъ, да только со-всѣмъ въ другомъ вкусѣ, и господа Полояровы этого романа не напишутъ, а и прочтутъ, такъ не одобрять, а изъ всѣхъ силъ лоторопятся поскорѣй, на весь міръ крещеный, обозвать его клеветой да подлымъ доносомъ!

ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

С у м б у р ь.

Наступилъ годъ 1862, — годъ тысячелѣтія Россіи. Въ Великомъ Новѣ-городѣ ставили поэтѣмъ поводъ памятникъ. Лондонскій «Колоколъ» съ самодовольною скромностію нашелъ, что форма памятника очень льститъ ему, ибо напоминаетъ собою «Колоколъ» — «только который?—вѣчевой или лондонскій?» спрашивалъ г. Герценъ.

Всевозможные Малгоржаны и Анцыфровы были убѣждены, что конечно лондонскій, но что объ этомъ не догадались только *наверху*. Нѣкоторые ученые писали статьи и изслѣдованія на тему «тысячелѣтія»; и по поводу этого же самаго пресловутаго тысячелѣтія газеты и журналы трубили торжественный тушъ нашему прогрессу и совершенствованію.

Дѣйствительно, совершенствованіе было великое.

Главнѣйшимъ образомъ былъ открытъ и усовершенствованъ отечественный канканъ.

Въ то же время послѣдовало открытіе новаго рода невѣдомой дотолѣ болѣзни, которая названа специалистами «гражданскою скорбью»; засимъ, однимъ изъ цивическихъ скорбныхъ поэтовъ была открыта «долина, въ которой спятъ слезы гражданина».

Усовершенствована до послѣдней степени брань литературная.

Усовершенствованы способы борьбы съ противниками мнѣній и убѣжденій.

Усовершенствованъ штатъ санктъ-петербургской полиціи, воспріятіемъ въ нее «болѣе либеральныхъ элементовъ».

Происходили ученые сѣзды, гдѣ на жизнь или смерть рѣшалась судьба злосчастныхъ буквъ Ъ, Ѣ и У.

Левъ Камбекъ издавалъ журналъ подъ названіемъ «Ерунда». — Это, по истинѣ, было знаменіе времени,—увы! ни единымъ проніцательнымъ человѣкомъ тогда неопѣненное.

Появился трактатъ «о табунныхъ свойствахъ

русскаго человѣка», который очень не понравился великимъ дѣятелямъ «Искры». Они никакъ не соглашались признать себя ржущимъ стадомъ, хотя такого признанія никто отъ нихъ и не требовалъ.

Появился трактатъ о пользѣ шпипрутеневъ и объ удобствѣ палокъ, которыми можно дуть солдатъ за фронтомъ, даже во время дѣла, подъ огнемъ непріятеля. Къ чести русской арміи, 106 офицеровъ разнаго рода оружія протестовали противъ этого трактата. Впервые печатно было названо имя г. Герцена. Осмѣлился на это, понятно не безъ разрѣшенія, г. Шедо-Ферроти и тѣмъ стяжалъ собѣ славу: его имя, доселѣ неизвѣстное, было связано теперь съ громкимъ именемъ нашего *refugie*. Добродушныхъ сыновъ отечества весьма радовало печатное появленіе фамиліи г. Герцена: семь буквъ этой фамиліи, крупнымъ шрифтомъ красовавшіяся въ окнахъ книжныхъ магазиновъ, пріятно ласкали глазъ сыновъ отечества, ибо въ этихъ семи буквахъ они прозирали либеральную уступку либеральнымъ требованіямъ вѣка. Фактъ этотъ былъ отнесенъ ими къ числу общественныхъ пріобрѣтеній.

Къ числу таковыхъ же надо отнести и убѣжденіе, что всѣ тѣ, кому стукнуло за сорокъ, суть «отсталые», и не имѣютъ уже права принадлежать къ молодому поколѣнію, сколько бы передъ нимъ ни лебезили.

Тверскіе гимназисты торжественно выгнали изъ общественнаго собранія даму, несмотря на то, что у нея имѣлся входной билетъ, за то только, что она была... жена капельмейстера. Тверскіе гимназисты имѣли мужество издѣваться надъ смущеніемъ и слезами этой женщины.

Директоръ Коммерческой академіи въ Москвѣ торжественно публиковалъ въ своемъ «Отчетѣ» о томъ, что онъ ввелъ въ это учебное заведеніе изданіе журнала и каррикатурнаго альбома подъ названіемъ «Чепуха», гдѣ воспитанники (они же и издатели, и сотрудники) осмѣиваютъ своихъ надзирателей, учителей и т. п. Господинъ директоръ самъ цензоровалъ «Чепуху» и заявилъ, что эта «Чепуха» составляетъ его «иногда отъ души посмѣяться».

Тотъ же самый директоръ и въ томъ же самомъ «Отчетѣ» публиковалъ, что при всей его прогрессивности, онъ не могъ воздержаться отъ тѣлесныхъ наказаній учениковъ и не сумѣлъ обойтись безъ розогъ.

Это была эпоха финансовыхъ, торговыхъ, общественныхъ и всяческихъ затрудненій, съ которыми Россія вступала во второе свое тысячелѣтне.

Безденежье достигло до того, что мелкое серебро совершенно исчезло изъ обращенія, и говоря о немъ, всегда прибавляли «блаженной памяти, 84-й пробы». Въ виду такого финансового кризиса, правительство сдѣлало новый заемъ въ 15 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ у парижскихъ и лондонскихъ Ротшильдовъ.

Былъ впервые опубликованъ государственный бюджетъ и поднялся вопросъ о поземельныхъ банкахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ носились слухи, что съ новымъ тысячелѣтнемъ отмѣнятся старые шпигруты, клейма и плети.

Поднялся вопросъ объ измѣненіи законовъ о печати. Литературныя силы были призваны къ усиленному участию въ обсужденіи этого вопроса; но литературныя силы, говоря относительно, мало обратили на это вниманія: имъ было не до того — всѣ способности, всѣ дѣятельность ихъ оставались направленными на взаимное заушеніе и оплеваніе.

Съ января мѣсяца въ Москвѣ, въ Тулѣ, въ Калугѣ и въ Петербургѣ открылись дворянскіе съѣзды, съ обычною цѣлью выборовъ. Но эти съѣзды получали теперь новый характеръ: они были первые послѣ уничтоженія крѣпостного права, первые въ новой эрѣ жизни. Само правительство предложило на обсужденіе дворянъ вопросы касательно земско-выборнаго начала въ управленіи, въ финансахъ, въ судѣ. Эти вопросы, въ такомъ видѣ, предлагались еще впервые: съ нихъ починалась новая полоса жизни, и пренія по необходимости должны были получить характеръ совѣщательно-государственный. Поднялись разные вопросы: одинъ, по поводу распространенія выборнаго начала, на все земство вопіетъ «о неумѣстности соединенія дворянства въ одной комисіи съ прочими сословіями»; другой, становясь подъ охрану «Дворянской Грамоты» Екатерины II, доказываетъ права дворянъ на землю и на неудобства въ надѣлѣ ея крестьянъ, а потому предлагаетъ господамъ дворянамъ нѣкоторые измѣненія въ Положеніи 19-го февраля, сообразно съ «Дворянскою Грамотою», третій требуетъ новаго утвержденія на помѣщичью землю, введенія какихъ-то вѣчныхъ паспортовъ; четвертые добровольно отказываются отъ всѣхъ своихъ сословныхъ правъ и преимуществъ.

Толковали и даже писали, будто дворянство цѣлой губерніи, одно изъ самыхъ передовыхъ,

уже совершило надъ собою добровольный актъ закланія, принесло жертву самоуничтоженія и просило о слияніи его со всей остальной массой народа — въ формѣ уничтоженія всѣхъ своихъ правъ. Объ уничтоженіи тѣлесныхъ наказаній пока только говорили, но и *de jure* и *de facto* они еще благоденствовали, и потому многіе искренно удивлялись, что вотъ-де какіе передовые люди: готовы лечь даже подъ розги и подъ плеть во имя прогресса! Вмѣсто того, чтобы подымать на уровень *своихъ* правъ всю остальную массу народа, мы приносимъ жертву самоотреченія и самоуничтоженія и думаемъ, что это прогрессъ.

Въ то же самое время, какъ тверскіе гимназисты изгоняли изъ собранія даму, тринадцать лицъ, принадлежавшихъ къ составу мировыхъ учрежденій Тверской губерніи, изъ которыхъ многіе уже перешагнули границу лѣтъ, гдѣ по тогдашней вѣрѣ молодого поколѣнія начиналась область «отсталости», были арестованы, привезены въ Петропавловскую крѣпость и преданы суду Сената. По официальному извѣщенію «Сѣверной Почты», эти тринадцать лицъ «позволили себѣ письменно заявить мѣстному губернскому по крестьянскому дѣлу присутствію, что они впрямь намѣрены руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ воззрѣніями и убѣжденіями, не согласными съ Положеніемъ 19-го февраля 1861 года, и что всякій другой образъ дѣйствій они признаютъ враждебнымъ обществу».

Все это въ совокупности знаменовало собою чрезвычайную, напряженную возбужденность тогдашняго хода дѣла и общественнаго положенія.

Изъ Польши доходили смутныя вѣсти. Что такое тамъ дѣлалось — мы мало еще смыслили, ограничиваясь перепечаткою краткихъ сухихъ извѣстій изъ официальной «Газеты Польской». Слышно было, что въ Варшавѣ поднялись новыя демонстраціи, особенно противъ Фелинскаго, что тамъ опять заиграли гимны...

Польскій вопросъ только еще нарождался въ русской литературѣ. Однѣ лишь «День» подымалъ его; но и то въ теоретической, отвлеченной сферѣ. Это были честныя усилія, честныя стремленія и золотыя мечты поставить его на обсужденіе людей нашего и польскаго лагеря. «День» хотѣлъ обоюдно вынести дѣло, придти къ полюбовному соглашенію и дружно идти впередъ, рука объ руку. Ему откликнулся писатель Грабовскій, открыто и смѣло доказывая права Польши на западную нашу окраину, на основаніи католическо-пляхетской цивилизаціи. Народъ при этомъ не принимался ни въ какое соображеніе. Грабовскій заявилъ, что интересы католицизма и Польши суть одно и то-же. Это былъ въ то время въ высшей степени знаменательный голосъ, который однако же кое-гдѣ въ литературѣ былъ найденъ лишь ультрамонтанскимъ отголоскомъ, не болѣе.

Литература не понимала еще сути этого дѣла. Въ тогдашнихъ органахъ ея, не исключая даже оффиціознаго «Нашего Времени», Сѣверо-Западный край зачастую назывался просто Польшею. Извѣстія изъ Виленской и Минской губерніи были «извѣстіями изъ Польши». Литература и сама-то еще не знала хорошенько, Россія ли это, или Польша? Когда Иванъ Аксаковъ называлъ стремленія и посягательства поляковъ на Западный край и на Кіевъ политическимъ безуміемъ, то такъ называемое «общественное мнѣніе», въ лицѣ всѣхъ журналовъ, напало на него «за рѣзкія выраженія, направленные противъ поляковъ».

Мы еще вѣрили себѣ въ гражданскій долгъ дѣлать имъ граціозные книксены, приправленные сантиментальными улыбками. Мы слыхали только, что поляки хотятъ свободы—и этого слова для насъ было уже достаточно, чтобы мы, во имя либерализма, позволили карнать себя по Днѣпръ, отъ моря до моря. Они говорили намъ, что «это, молъ, все наше» — мы кланялись и вѣрили. Не вѣрить и отстаивать «захваченное» было бы не либерально, а мы такъ боялись, чтобы кто не подумалъ—будто мы не либеральны.

А въ это время въ Парижѣ панъ Духинскій уже громко проповѣдывалъ съ кафедры, что мы, москаль, не славяне, а какая-то презрѣнная помѣсь финско-татарскаго племени, ублюдки азіатской семьи, дикіе и варварскіе Тураны, грозящіе гибелью славянству и европейской цивилизаціи. Доказательства этому панъ Духинскій находилъ между прочимъ и въ томъ, что наши женщины отличаются маленькою ножкой—явный признакъ сродства съ китайками, и что москаль вовсе не подверженъ ревматизму, который будто бы есть специальная болѣзнь цивилизованной Западной Европы; мы же до того монголы, что не можемъ даже чувствовать ревматической ломоты, и что, стало быть, въ видахъ охраненія цивилизованнаго міра, надо возстановить на мѣстѣ нынѣшней Россіи старую Польшу, а москалей прогнать за Уралъ въ Средне-Азіатскія степи. Въ Парижѣ цѣлое ученое общество принялось издавать карту, гдѣ мы были отмежеваны, въ качествѣ туранскихъ выходцевъ, въ подобающія намъ границы—и европейское общественное мнѣніе съ живымъ, горячимъ участіемъ ухватилось за пропаганду идей пана Духинскаго.

Наша литература пренебрегла или прогля-дѣла этотъ фактъ. Ей было не до того: она за-давала сама себѣ «вселенскую смазь» и «заги-бала салазки», по выраженію автора «Очерковъ бурсы». Одинъ только «Колоколъ» вопіялъ о незаконности и преступности нашего нѣмецки-казарменнаго и татарски-благодѣтельнаго обла-данія несчастною страной, полною такихъ свѣ-лыхъ воспоминаній вольнолюбивой, республи-канской старины, полною стремленій къ свѣту,

свободѣ, цивилизаціи, въ которой она далеко превзошла наше московско-татарское вар-варство.

Мы благоговѣнно внимали, поучались и—сознательно, или безсознательно—повторяли всѣ эти фразы.

Между тѣмъ Польша, черезъ часъ по столо-вой ложкѣ, давались кой-какія льготы; предпо-лагалось реорганизовать суды, пересмотрѣть ко-дексъ наказаній... Шагъ впередъ—шагъ на-задъ; сегодня вдругъ строгости усиленныя, а завтра—ни съ того, ни съ сего самая странная слабость. Все это было шатко, все показывало отсутствіе какой бы то ни было системы, во всемъ являлся рядъ полумѣръ, полууступокъ, словно бы люди и не знали дотолѣ, что за звѣрь такой эта Польша, съ которою ему вдругъ теперь приходится возиться? Власть безъ авто-ритета, авторитетъ безъ голоса, сомнѣвающийся даже въ собственномъ своемъ правѣ—это было положеніе человѣка, съ связанными глазами, который въ незнакомой комнатѣ и съ незнако-мыми людьми играетъ въ жмурки. Его пят-наютъ, скользятъ изъ-подъ рукъ, тычутъ и щиплютъ спереди и сзади, съ боковъ, сверху, снизу,—а онъ, стараясь поймать хоть кого-ни-будь, тщетно машетъ руками и бьетъ по воз-духу, съ каждымъ шагомъ боясь оступиться и упасть—къ общему удовольствію играющихъ. Такая политика клонилась къ явному и неиз-бѣжному ущербу нашего національнаго и госу-дарственнаго достоинства.

* * *

Бываютъ, точно, времена
Совсѣмъ особеннаго свойства!

Какого же свойства были времена 1862-го года?

То были времена, когда по преемственному завѣту 1858-го—59-го года, большинство га-зетныхъ статей все еще начиналось извѣстною стереотипною фразою «въ настоящее время, когда» и т. д.

Передъ этимъ въ нашей литературѣ всецѣло господствовалъ «безобразный поступокъ» «Вѣ-ка». Всѣ журналы, всѣ газеты наполнялись этимъ «безобразнымъ поступкомъ», а одна изъ нихъ чуть ли даже не открыла специальный отдѣлъ для этого «поступка».—«Камень Вино-горовъ... «Вѣкъ»... madame Толмачева... безо-бразный поступокъ «Вѣка»... Виногоровъ... безобразный» только и слышалось со всѣхъ сторонъ литературной арены.

Къ началу 1862 года мы нѣсколько поуто-монились и попримолкли съ этимъ «безобраз-нымъ поступкомъ», успѣвшимъ надобѣсть всѣмъ и каждому до послѣдней крайности: на сцену готовился выйти! кукельванъ въ шивѣ г. Крона.

Сама madame Толмачева появилась передъ санктпетербургскою публикою на одномъ лите-

ратурномъ вечерѣ, благодарила господъ литераторовъ за столь ревностные протесты противъ «безобразнаго поступка» «Вѣка» и прочла какіе-то либеральные стишки, впрочемъ прочла довольно неискусно. Публика привѣтствовала ее восторженными рукоплесканими и затѣмъ—всему этому суждено было кануть въ Лету забвенія.

То были времена такъ называемой «благодѣтельной гласности». По вопросамъ государственнымъ, политическимъ и общественнымъ гласности еще никакой не было: она не простиралась даже и на столько, чтобы передавать пренія дворянскихъ сѣздовъ, но зато всѣ понимали «благодѣтельную гласность» какъ плеть для наказанія преступника, или какъ дубину для самозащиты, и это было еще самое лучшее, самое чистое пониманіе ея. Въ нѣкоторыхъ же литературныхъ органахъ она понималась какъ прекрасное средство швырять собственную грязь въ противниковъ, или же какъ пугало противъ трактирныхъ буфетчиковъ, когда тѣ требовали уплаты за напитокъ и наѣденное. Въ этихъ случаяхъ петербургскими трактирщикамъ грозились «спалить ихъ одною «Искрою»—и трактирщики трепетали предъ такою «благодѣтельною гласностью».

То были времена вокабулъ, Икса, Играка и Зета, времена алфавитной гласности, когда въ «Искрѣ» обличались какой-то идилликъ Филимонъ, какой-то воевода Болотный, какіе-то Мидасъ, Психъ, Урлукъ, Рыковъ и Макарь-Гасильникъ; обличались города Чертогорскъ, Уморскъ, Грязнославъ и проч., и когда въ обличительныхъ стишкахъ, разъ въ недѣлю, неизбежно какъ смерть, приемовались «Вѣкъ» и Левъ Камбекъ, Краевскій и «берегъ Невскій», Чичеринъ, «меринъ» и «благодѣтель-ренъ».

Къ этому времени не осталось уже ни одного имени не заплеваннаго, ибо вѣрнѣйшее средство прослыть прогрессистомъ заключалось въ томъ, чтобы ругаться надъ достойными людьми: значить, молъ, я достойнѣйшій, если достойныхъ забрызгиваю грязью.

Басня о Слонѣ и Моськѣ повторялась въ тысячахъ примѣровъ, и часто Моськи, благодаря своему лаю, становились Слонами.

Это еще было время доброй, наивной вѣры во всякаго, кто кричалъ громко и называть себя либераломъ. — Какъ же? человекъ вѣдь кричитъ: я либералъ!—ну, значить и точно либералъ.

Время искренней вѣры, время вѣры въ искренность кричавшихъ!

И какое раболѣпіе выказывали эти господа предъ барами, бросавшими имъ подачки: все равно, будь этотъ баринъ оракулъ-литературный, или откупщикъ, давшій деньги на изданіе сатирическаго журнала, съ тѣмъ чтобы его тамъ не задѣвали. И зато съ какою

вольнонаемною наглостью накидывались они на всякаго, на кого только этимъ барамъ угодно было натравить ихъ! Усердіе, достойное лучшей участи...

И какъ мы были лакомы тогда до всяческихъ протестовъ, въ которыхъ однако выступали на борьбу не мысли, не идеи противъ идей, а по преимуществу чванство нравственнымъ достоинствомъ противъ мнимой нравственной низости.

То были времена, когда, по словамъ одного тогдашняго стихотвореньица,—

Сикофанты, адаманты
И гиганты прессы
Собиралися всѣ вмѣстѣ
Сочинять прогрессы.—

И точно: это было сочиненіе своихъ собственныхъ прогрессовъ въ ущербъ прогрессу дѣйствительной жизни и здраваго смысла.

Нѣкто, во имя собственныхъ прогрессовъ сталъ отрицать, напримѣръ, литературную собственность.—«Можетъ ли авторъ сказать, писалъ этотъ нѣкто, что мысль, изложенная имъ въ своемъ сочиненіи, есть его личная собственность? Только люди очень самолюбивые и не достаточно слѣдившіе за процессомъ мышленія могутъ въ каждой своей мысли видѣть свою исключительную собственность. У мысли нѣтъ отдѣльнаго хозяина, какъ нѣтъ хѣзьяна у воздуха, и рѣшительно несправедливо говорить, что такая-то мысль принадлежитъ такому-то, а такая-то такому-то... Мысль не собственность и оплачиванію не подлежитъ. Тутъ продается возможность усвоивать ее, называемая печатаніемъ. Если въ этомъ дѣлѣ такую роль играетъ печатаніе, то въ такомъ случаѣ награда слѣдуетъ не автору, а Гуттенбергу; а какъ Гуттенберга нѣтъ въ живыхъ, то и давать ее некому. Если же рѣчь о возможности усвоенія разсматривать отдѣльно отъ печатанія, то вѣдь и устная рѣчь представляетъ ту же возможность: все чтеніе лекцій основано на этой возможности. А какъ за лекціи берутъ деньги, то отчего же не брать денегъ за всякій разговоръ, за всякую мысль, которая покажется кому-либо его собственной? Развивая теорію возможности усвоенія мыслей, не трудно придти къ тому, что люди не должны говорить ни одного слова даромъ, потому что всякій разговоръ есть рядъ мыслей»¹⁾.—По этой своеобразной логикѣ, нѣтъ литературной собственности, нѣтъ права на мысль, права на изображеніе, права на имя, и вовсе не надо даже и литературы, и прессы вообще, а вмѣсто всего этого давайте, молъ, говорить! Мы будемъ говорить и поучать васъ, а вы слушайте; а кто не слушаетъ и не согласенъ съ нами, тотъ «тупоумный глупецъ», «дрянной пошлякъ» и проч.

¹⁾ «Современникъ», мартъ 1872 годъ. «Литературная собственность».

Но все это еще только наивно и странно; мы же на томъ не остановились, мы дошли до столбовъ Геркулесовыхъ. Для доказательства истинности своихъ «убѣжденій» и для вѣщаго распространенія ихъ, мы прибѣгали ко всечеловѣческимъ насиліямъ: явная ложь, клевета, самовосхваленіе — словомъ, всѣ темныя силы, какія только находились въ распоряженіи поборниковъ истины, были пущены въ ходъ для зажатія рта противникамъ, подымавшимъ голосъ во имя простого здраваго смысла.

Въ виду всѣхъ нелѣпостей и промаховъ всевозможныхъ плюгавыхъ Анцыфириковъ, журнальные оракулы приказывали здравому смыслу молчать, потому «пусть лучше ошибаются, но пусть не забываютъ общаго дѣла».

Это была своего рода фатовство, фанфаронство «общимъ дѣломъ». Въ чемъ оно, это «общее дѣло»? — того и сами не знали большинство этихъ фатовъ и фанфароновъ. Одни въ этой фразѣ поклонялись какому-то невѣдомому кумиру, другіе эксплуатировали ее въ пользу собственныхъ кармановъ или самолюбій. И это понятно: въ тѣ времена у насъ не было еще дѣйствительной общественной жизни, не было истиннаго, дѣйствительнаго участія въ общемъ дѣлѣ. Общество слышало только голоса разные, но дѣла не видѣло, и потому оцѣнка общественныхъ дѣятелей была очень трудна. Подъ видомъ ихъ, могли свободно фигурировать всякія побужденія, не выключая простого фатовства и фанфаронства, со стремленіемъ чѣмъ нибудь уклонать свой доуугъ, лишь бы заявить себя.

Настало вавилонское смѣшеніе ролей: рутинна и невѣжество выдавались за передовое направленіе, а прямое, истинное передовое направленіе провозглашалось рутинною и отсталостью.

Должность либерально-прогрессивнаго доносчика, должность литературнаго палача, производящаго торговую казнь надъ именами и мнѣніями, сталъ почетнымъ. Изъ разныхъ угловъ и щелей выполняли на свѣтъ Божій боксеры и спадассины нигилизма, жандармы прогресса, будочники гуманности, сыщики либерализма — все это были великіе прогрессисты на пути общественнаго паденія!..

Расплодилось множество людей, желавшихъ сдѣлаться эффектными жертвами, людей, игравшихъ роль того самаго матроса, который до того любилъ генерала Джаксона, что, не зная чѣмъ бы лучше доказать ему любовь свою, бросился съ высоты мачты въ море, провозгласивъ: «я умираю за генерала Джаксона!» — И это великое множество, безспорно, были въ большинствѣ своемъ даже хорошіе и честные люди, и о нихъ можно развѣ пожалѣть, что такой энтузіазмъ не нашелъ себѣ тогда болѣе достойнаго примѣненія. Но было и нѣчто хуже: мы были свидѣтелями своего рода биржевой

игры въ гражданскія добродѣтели, гдѣ одному подставляли ногу, чтобы поднять курсъ на акціи гражданской честности и достоинства другого.

Жандармы прогресса и будочники нигилизма открыто провозглашали ультиматумъ такого рода: «кто не съ нами — того мы обязаны уничтожить, смѣшать съ грязью, заклеить какъ врага челоуѣчества. Мы обязаны это дѣлать, потому, что всякій кто не за насъ — тотъ противъ насъ, и можетъ повредить успѣху нашего великаго дѣла». Они съ гигантской беззастѣнчивостью объявляли, что въ полемической статьѣ позволительно, умѣстно и, пожалуй, даже хорошо взваливать на своего противника всевозможныя нелѣпости и всячески издѣваться надъ нимъ, разсыпаясь въ остро-тахъ и колкостяхъ¹⁾.

Какое полное, какое блистательное торжество іезуитизма!

* * *

Февральская книжка «Русскаго Вѣстника» принесла съ собою «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева. Поднялась дѣлая буря толковъ, споровъ, сплетенъ, философскихъ недоразумѣній въ обществѣ и литературѣ. Ни одно еще произведеніе Тургенева не возбуждало столько говора и интереса, ни одно не было болѣе популярно и современно. Все то, что бродило въ обществѣ какъ неопредѣленная, скорѣе ощущаемая, чѣмъ сознаваемая сила, воплотилось теперь въ опредѣленный, цѣльный образъ. Два лагеря, два стремленія, два потока обозначились рѣзко и прямо.

Въ гостиныхъ, въ клубахъ, въ департаментахъ, въ ресторанахъ, въ аудиторіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ первые два-три мѣсяца только и толковъ было что объ «Отцахъ и Дѣтяхъ». — «Ты за кого? за «Отцовъ» или за «Дѣтей»? зачастую было обычнымъ и первымъ вопросомъ двухъ пріятелей при встрѣчѣ. — «Люди общества и литературы продолжаютъ имъ заниматься наравнѣ съ самыми неотлагательными своими заботами и имѣя при этомъ самыя разнообразныя цѣли и задніи мысли: кто хочетъ осмотрѣться при этомъ огонькѣ и заглянуть впередъ, кто выглядываетъ врага, кто узнаетъ единомышленника, кто разрываетъ связь, заключенную въ темнотѣ и по ошибкѣ, кто срываетъ съ себя предубѣжденіе, кто отказывается отъ напускнаго дурачества, а кому огонекъ рѣжетъ глаза, тому, разумѣется, хочется поплевать на него». — Эта характеристика впечатлѣній, замѣчательная по своей мѣткости, принадлежитъ одной изъ лучшихъ и честныхъ статей того времени объ «Отцахъ и Дѣтяхъ»²⁾.

¹⁾ «Современникъ», мартъ 1872 г. «Русская литература», стр. 70.

²⁾ «Библиотека для Чтенія», май 1862. «Не въ бровь, а въ глазъ».

Въ лагерѣ проповѣдниковъ новыхъ началъ вдругъ произошло по поводу Базарова странное и неожиданное раздвоение: своя своихъ не познаша.

Прежде всего накинулись на самого автора, на его личность, одни съ пренебрежительнымъ сожалѣніемъ «къ его тупоумію, недалновидности и несообразительности», другіе просто со слюною бѣшеной собаки, но это уже былъ крикъ нестерпимой боли, это были вопли Ситниковыхъ и Кукшиныхъ, которые почувствовали на себѣ рубцы бичующей правды. Критики этого направленія провозгласили, что съ этого времени и всѣ прочія произведенія Тургенева должны считаться ничего нестоящими.

То же было и по поводу Писемскаго, и при томъ въ то же самое время: «Искра», одобренная и поддерживаемая «Современникомъ» въ лицѣ четырехъ его соредакторовъ, специально заивившихъ ей въ особомъ благоволивомъ адресѣ свое одобрение, сдѣлала знаменитый силлогизмъ такого рода: «Никита Безрыловъ написалъ фельетонъ, достойный всякаго порицанія; следовательно романы и повѣсти г. Писемскаго, да и самъ г. Писемскій должны быть преданы всеобщему поруганію». Это была совсѣмъ особая логика, — логика Гоголевской мѣщанки Пошлепиной, объяснимая и оправдываемая только крикомъ боли и «слюною бѣшеной собаки».

«Современникъ» объявилъ Базарова лицомъ несуществующимъ, ложью, фальшью, гнусною и преступною клеветою на людей новаго направленія, сравнилъ Базарова съ Асмодеемъ нашего времени, являющимся въ какомъ-то романѣ В. Аскоченскаго; и при этомъ поставилъ Тургенева во всѣхъ отношеніяхъ неизмѣримо ниже сего послѣдняго автора. «Современникъ» кричалъ, что Тургеневъ — ненавистникъ всякаго образованія, особенно женскаго, ненавистникъ всего народа и молодежи, проповѣдникъ помѣщичьяго разврата, и даже не можетъ поднести лица своего къ микроскопу, для наблюденій надъ козявкой, «а наши, молъ, дѣвушки готовы смотрѣть въ микроскопъ на что только угодно и даже ручками потрогать»¹⁾.

«Русское Слово» представило собою явный контрастъ воплямъ «Современника». Оно съ похвальною искренностью признало въ Базаровѣ полный типъ человѣка своего направленія. Съ высоты своего величія отнесся къ Тургеневу съ сожалѣніемъ за отсутствіе въ немъ настоящаго пониманія новыхъ задачъ, оно тѣмъ не менѣе объявило, что романистъ, помимо своего вѣдома и собственной воли, написалъ похвальный панегирикъ «новымъ людямъ». «Русское Слово» сдѣлало въ высшей степени замѣчательную характеристику новаго типа и его «принциповъ». — «На людей, подобныхъ Базарову,

можно негодовать сколько душѣ угодно, говорилъ этотъ журналъ устами Д. Писарева, но признать ихъ искренность рѣшительно необходимо. Эти люди могутъ быть честными гражданскими дѣателями и — отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить, и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать открытія въ области наукъ и общественной жизни... Ни надъ собою, ни въ себя, ни внутри себя онъ (Базаровъ) не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. — Впереди никакой высокой цѣли, въ умѣ — никакого высокаго помысла и, при всемъ этомъ, силы огромныя... Китайскіе тайпинги и индійскіе душители, въ сравненіи съ послѣдователями этой секты (Базаровщины), просто ягнята, люди они образованные, но положиться на нихъ можно столько же, какъ на извѣстнаго Фарингеа. Это вотъ какой народецъ: захочетъ — сдѣлаетъ полезнѣйшую реформу, захочетъ — зарѣжетъ человѣка, захочетъ — откроетъ истину въ наукѣ, захочетъ — вскрыетъ шкатулку у васъ въ кабинетѣ»¹⁾.

И эти слова не безобразная клевета, не фальшивый доносъ!.. Нѣтъ, напротивъ! Дѣлая подобную рекомендацію, критикъ «Русскаго Слова» восторженно, съ увлеченіемъ признавалъ въ Базаровѣ своего выразителя, свой типъ, свою силу, красоту и надежду.

До сихъ поръ жандармы и сыщики этого направленія именovali себя то «свистунами», то «сектой поморцевъ». — Базаровъ называлъ себя «нигилистомъ», и съ тѣхъ поръ это слово стало самымъ популярнымъ по лицу земли Русской.

Въ первое время послѣ «Отцовъ и Дѣтей» это направленіе окрестили было «Базаровщиной», а послѣдователей его «Базаровцами»; но вскорѣ два эти термина были вытѣснены изъ употребленія. Ихъ окончательно замѣнили слова «нигилизмъ» и «нигилисты».

Слово было найдено — понятіе уяснилось.

* *

А наука? А стремленіе къ знанію, къ просвѣщенію? На этотъ вопросъ лучше всего отвѣтятъ намъ слова, сказанныя въ то время однимъ почтеннымъ профессоромъ, котораго никто не заподозритъ ни въ клеветѣ, ни въ пристрастіи, ни въ отсутствіи любви къ наукѣ, и который имѣлъ случай извѣдать на опытѣ людей и тенденціи извѣстнаго сорта. Вотъ эти знаменательныя и характеристичныя слова:

«Между молодыми людьми въ послѣднее время, намъ случалось встрѣчать такихъ господъ, которые проповѣдуютъ, что наука сама по себѣ не только бесполезна, но даже вредна,

¹⁾ «Современникъ», мартъ 1862. «Русская литература».

¹⁾ «Русское Слово», мартъ 1862. «Русская литература».

потому что отвлекаетъ умы отъ другихъ, болѣе *плодотворныхъ* сферъ дѣятельности. «Теперь не то время, говорятъ эти господа, пришла пора общественной дѣятельности—будемъ заниматься современными вопросами». Слѣдствіе этого, они требуютъ отъ профессора, чтобы онъ передъ своими слушателями кокетничалъ модными, либеральными фразами, притягивалъ факты своей науки къ любимымъ моднымъ тенденціямъ, хотя бы то было ни къ селу, ни къ городу, и вообще имѣлъ бы въ виду не научную истину, а легкое приложение того-сего изъ своей науки къ современнымъ вопросамъ жизни. Чуть только профессоръ въ своихъ чтеніяхъ объективенъ — эти господа рѣшаютъ, что онъ *отсталъ*, что сущность его лекцій—*мертвечина*, что поэтому его не только не должно слушать, но слѣдуетъ прогнать. При этомъ не берется во вниманіе то, что есть много другихъ слушателей, которые находять для себя не безполезнымъ посѣщать его аудиторію. Вадумается воображающимъ себя *передовыми* людьми молодого поколѣнія устроить демонстрацію — профессоръ долженъ показывать къ нимъ сочувствіе, хотя бы противъ собственнаго убѣжденія, иначе—ему грозятъ свистками, ругательствами, даже побоями... Дивный способъ распространенія либеральныхъ и гуманныхъ идей!»¹⁾

Къ этой характеристикѣ прибавлять намъ отъ себя болѣе нечего.

* *

Къ началу 1862 года возникло очень много воскресныхъ школъ. Вопросъ о народномъ образованіи казался однимъ изъ самыхъ горячихъ, животрепещущихъ и насущныхъ вопросовъ. Никогда еще онъ не стоялъ въ такихъ благоприятныхъ обстоятельствахъ, какъ именно въ это самое время. Въ обществѣ создалась идея необходимости сближенія съ народомъ. «Положеніе 19-го февраля» порѣшило крѣпость, крестьянамъ предоставлялись права самосуда и самоуправленія—все это были двигатели такого рода, что по неволѣ гнали къ сознанію о настоятельной нуждѣ и пользѣ грамотности и давали толчекъ стремленію къ ней. Поэтому и воскресныхъ школъ возникло великое множество. Ихъ заводили при гимназіяхъ, при училищахъ, и въ частныхъ домахъ, и въ приходсахъ, и въ войсковыхъ казармахъ. Люди, объявившіе себя передовыми и прогрессистами, почти вездѣ захватили въ свои руки власть, и голосъ, и преподаваніе въ этихъ школахъ. Духовныя лица почти повсюду были тщательно устранены отъ дѣла. Кромѣ того, стали заводить народныя бесплатныя читальни. Въ Петербургѣ одна была открыта при Галваниче-

ской ротѣ, другая при воскресной Самсоніевской школѣ на Выборгской сторонѣ.

Въ началѣ успѣхъ этихъ школъ былъ блистательнъ. Особенною популярностью въ обществѣ пользовались Самсоніевская и на Петербургской сторонѣ Введенская. Въ пользу ихъ то и дѣло устраивались подписки, концерты, лекціи, литературные вечера, любительскіе спектакли, такъ что въ средствахъ не было недостатка. Самое устройство школъ устраняло всякія стѣсненія. Администрація не вмѣшивалась въ дѣло своимъ цензурскимъ контролемъ, всѣмъ ходомъ дѣла и преподаванія завѣдывали сходы учителей, распорядительная власть принадлежала лицамъ, выбраннымъ самою сходкою, и сходка же ихъ контролировала. Ученики дѣлились на кружки, и каждый кружокъ поручался неизмѣнно одному преподавателю. Множество молодежи, студенты, медики, офицеры, гимназисты, семинаристы, дѣвушки и даже свѣтскія дамы и барышни стремились записаться въ число дѣятелей и преподавателей.

Мода на воскресныя школы пошла ужасная, невообразимая — все это бросилось поучать народъ, все толковало о сближеніи съ народомъ, о привитіи къ нему новыхъ идей и свободныхъ началъ «новой жизни».

И что же?..

Не прошло и года, какъ множество школъ уже закрылось, умерло естественною, ненасильственной смертью. Жаръ охладѣлъ, энергія смѣнилась апатіей... Мода проходила, мода успѣла уже надобѣсть своимъ мниметнымъ приверженцамъ.

Тѣ изъ школъ, существованіе которыхъ еще кое-какъ продолжалось, стали бѣдны и средствами, и учителями, и учениками. Радѣтели и «любители народа» начинали манкировать дѣломъ, опаздывать на уроки и вовсе не являться въ школу. Вмѣсто ученія завелось гулянье: ученики и учителя расхаживали, прогуливались по заламъ, толкуя не объ *азакъ*, а о современныхъ вопросахъ. Большинство же учениковъ хотѣло *азосъ*, а такъ какъ азами зачастую никому было заниматься, потому что нынче тотъ, а завтра этотъ кружокъ оставались безъ учителя, то вскорѣ недовольство стало проникать въ среду учащихся; за недовольствомъ слѣдовало охлажденіе, ученики оставляли школу — и школа умирала естественною смертью.

Дѣло спуталось, довѣріе было подорвано, и «любители народа» сами же нанесли тяжкій ударъ столь облюбованному ими народному просвѣщенію.

* * *

А въ общество, между тѣмъ, невѣдомо откуда, сыпались многочисленныя произведенія подпольной печати. Рѣдкая недѣля проходила безъ какой-нибудь новой прокламаціи, воззванія, программы дѣйствій, программы требованій,

¹⁾ Н. И. Костомаровъ. „Мѣшать или не мѣшать учиться“. Май, 1862.

ультиматумовъ, угрозы... Тутъ были и «Великороссъ», и «Земля и Воля», и многое другое.

Эти листки приклеивались невидимою рукою къ фонарнымъ столбамъ, на углахъ улицъ, къ стѣнамъ домовъ; подбрасывались въ магазины, въ харчевни, въ трактиры, въ кабаки; ихъ находили на тротуарахъ, на рынкахъ, въ церквахъ, въ присутственныхъ мѣстахъ, въ казармахъ, въ учебныхъ заведеніяхъ. Они присылались по городской почтѣ къ людямъ извѣстнымъ, почтеннымъ и высокопоставленнымъ. Часто, возвращаясь домой, хозяинъ находилъ на лѣстницѣ предъ дверьми своей квартиры какой-нибудь конвертъ съ подобной прокламаціей; часто въ чьей-нибудь прихожей раздавался звонокъ — и неизвѣстный человѣкъ, сунувъ въ руку лакея или горничной свернутый листокъ, горопливо сбѣгалъ внизъ и, скрывшись за подъѣздомъ, удиралъ во все лопатки на лихачѣ-извозчикѣ.

Безперемежность въ распространѣніи этихъ подметныхъ листовъ дошла до того, что во время заутрени въ Свѣтлое Воскресенье, въ самомъ Зимнемъ дворцѣ, при многочислѣнномъ собраніи, было разбросано во многихъ экземплярахъ воззваніе «къ русскимъ офицерамъ». Оно валялось на подоконникахъ, на мебели, и многіе изъ офицеровъ, не выключая и весьма почтенныхъ генераловъ, совершенно неожиданно находили у себя въ заднемъ карманѣ, вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ, и эту прокламацію.

* *

А въ это же самое время процвѣтало царство скандала и канкана.

Канканъ самый неистовый, невообразимый сталъ процвѣтать съ зимы 1861 года, какъ разъ послѣ студентскихъ исторій, и все шелъ гресцендо и гресцендо, съ шумомъ, съ блескомъ и трескомъ, такъ что къ веснѣ изображаемаго времени, покрытый скандальнымъ ореоломъ своей блистательной славы, достигъ уже полного апогея.

Маскарады Большого театра впервые пріютили и узаконили его въ яркой хранилѣ Талія и Мельпомены. Тамъ подвизались наемные танцоры и танцовки, разряженные въ невозможно причудливые и весьма декольтированные костюмы. Иные изъ нихъ, какъ слышно было, плясали даже и по наряду, то-есть, въ нѣкоторомъ родѣ, какъ бы официально, по службѣ. Обыкновенно болѣе шести тысячъ народа, бывало, ломилось въ залу Большого театра, и вокругъ каре танцующихъ была вѣчная давка. Взрывы неистовыхъ «браво!» и рукоплесканій привѣтствовали каждое пикантное или безцеремонно-наглое тѣлодвиженіе, каждую приподнятую выше колѣна юбку, каждый смѣлый и ловкій взмахъ ноги, когда красивая маска носкомъ своей ботинки заодно сбивала шляпу съ выразительно подставленной къ ней головы своего vis-à-vis кавалера.

Въ этихъ маскарадахъ не было ни изящества, ни остроумія, ни таинственно-заманчивой поэтической прелести, словомъ — ничего такого, чѣмъ столь изобильно отличался маскарады добраго стараго, романтическаго времени. Тутъ было одно безконечное царство канкана. Изъ-подъ бархатныхъ полумасокъ по преимуществу слышался нѣмецкій говоръ, и стремленія каждой интриги сводились на исканіе — какъ бы нашелся какой-нибудь дуракъ, который угостилъ бы даровымъ ужиномъ и даровымъ шампанскимъ. И дѣйствительно, употребленіе крѣпкихъ напитковъ дѣлало здѣсь прогрессъ неимовѣрный.

Великосвѣтскія дамы ѣздили въ ложы и оттуда любовались сквозь свои лорнеты и бинокли на вальпургіевы ночи самаго циническаго канкана.

Но и маскарадный канканъ являлся сущю ничтожностью сравнительно съ тѣмъ, который свирѣпствовалъ въ танцъ-классахъ.

Ежедневно на всевозможныхъ загородныхъ балахъ, у Излера, въ Екатерингофѣ, въ Петровскомъ вокзалѣ, на Крестовскомъ, въ Александровскомъ паркѣ только и былъ одинъ канканъ и канканъ.

Кадриль Штрауса «Hommage à St.-Petersbourg», вальсъ «Al baccio» и полька «Folichon» все вечера и напролетъ все ночи гремѣли въ этихъ пріютахъ канкана.

Но всего этого оказалось еще мало.

Канкану покровительствовали, а по системѣ протекціонизма, надо было заботиться о его развитіи, и потому канканъ-танцклассы открывались уже не на окраинахъ, а въ самомъ центрѣ Санктъ-Петербурга. Пальму первенства взялъ знаменитый Ефремовъ, неподалеку отъ Цѣпного моста, на углу Моховой и Пантелеймоновской улицъ. Передъ входомъ горѣла ярко иллюминированная транспарантная вывѣска, на которой огромными красными буквами значилось:

Танцевальный вечеръ, начало въ 9 часовъ, цѣна 1 рубль.

Всевозможные Гебгардты, Егаревы и Марцикевичи изъ кожи лѣзали, стремясь перещеголять другъ друга и оспорить пальму первенства у Ефремова. А кромѣ этихъ главныхъ антрепренеровъ, сколько развелось еще второстепенныхъ, третьестепенныхъ и вовсе безстепенныхъ, труппонныхъ танцъ-классиковъ! Звукъ «фолишоновъ» ежедневно оглашали во всевозможныхъ концахъ и направленіяхъ улицы столицы.

И тутъ были тоже свои официальные танцоры и танцовки, были свои извѣстности и знаменитости, между которыми блистали громадный Фокинъ и такъ называемая Катъка-Ригольбошъ. Этотъ Фокинъ былъ въ своемъ родѣ

первый левъ сезона, его слава росла, о немъ говорили, его поили, имъ занимались, ему рукоплескали, фельетонисты разныхъ газетъ посвящали ему плоды своихъ вдохновеній.

Но кромѣ этихъ официальныхъ танцоровъ, образовался многочисленный классъ добровольныхъ «благородныхъ любителей»—и все это подвизалось и преуспѣвало въ ужасающихъ па, поражаело чудесами эквилибристики и канканнаго воображенія. Массы молодыхъ и старыхъ зрителей наполняли всѣ эти залы. Новинка привлекала. Разнузданность и цинизмъ танцорокъ достигали до такой степени, что пріѣзжіе истые парижане не вѣрили глазамъ своимъ, увѣряли, что у нихъ въ Парижѣ ничего равнаго этому и нѣтъ, и не было, и не видывано, и безконечно удивлялись *par le principe de la liberté russe*.

И все это бѣснованіе, чѣмъ дальше, тѣмъ все больше, текло бурнымъ, неудержимымъ потокомъ.

Впрочемъ, принципъ веселья изобрѣтенъ не нами: мы только потщились пересадить его на петербургскую почву. Честь этого принципа принадлежитъ вѣнскимъ австрійцамъ. По ихъ теоріи, канканъ — хорошій признакъ: веселье изгоняетъ дурныя и мрачныя политическія мысли.

И это было истинное, великое торжество канкана.

* * *

Дикости въ проявленіяхъ жизни общественной, разногласіе во всѣхъ сферахъ общества, фанфаронство общимъ и народнымъ дѣломъ, вопросительный знакъ значительной части дворянства предъ новымъ экономическимъ бытомъ, финансовый кризисъ, зловѣщія тучи на окраинахъ, государственныя затрудненія, неумѣлость, злорадство, апатія къ серьезному здравомысленному дѣлу, непониманіе прямыхъ народныхъ интересовъ, подпольная интрига и козни, наплывъ революціонныхъ прокламацій и брань, брань, одна повальная брань въ несчастной полуѣмоствующей литературѣ и, наконецъ, въ видѣ палативы, эта безумная и развратная оргія канкана,—вотъ общая картина того положенія, въ которомъ засталъ Россію 1862 годъ.

И точно: это былъ какой-то сумбуръ, какая-то тяжелая, хмѣльная, чадная оргія.

Но это было явленіе нормальное.

Это было прямое и естественное слѣдствіе причинъ историческихъ, начиная съ Гатчинщины, Аракчеевищины и кончая тридцати-лѣтнимъ гробовымъ молчаніемъ.

Это была расплата за прошлое.

А между тѣмъ, забавляясь и фарфароня «общимъ дѣломъ», всѣ, еже о нигилизмѣ юродствующіе, доигрывались мало-по-малу не только до сумасшедшаго дома, но и гораздо далѣе

того. Они доигрывались до крупной услуги ярому обскурантизму.

II.

Что значить смѣть свое сужденіе имѣть.

Сезонъ 61 — 62 года былъ необыкновенно богатъ всевозможными любительскими спектаклями, концертами и литературными чтеніями. Все это предлагалось публикѣ въ пользу «бѣдныхъ учащихся», народныхъ читателей, студентовъ и медиковъ, воскресныхъ школъ и литературнаго фонда.

Послѣ закрытія университета, нѣкоторые профессора согласились между собою читать публичныя лекціи. Петропавловская школа и Городская Дума уступили имъ для этой цѣли свои залы. Плата была самая доступная, по четвертаку за лекцію, и такимъ образомъ въ Петербургѣ открылся родъ общедоступнаго, партикулярнаго университета, что могло бы быть весьма важно для тѣхъ экс-студентовъ, которые, въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ, оказались лишенными возможности докончить прежнимъ путемъ свое образованіе. Но въ дѣйствительности, для нѣкоторыхъ негласныхъ вожakovъ и подстрекателей молодежи это было важно главнѣйшимъ образомъ потому, что хотя главный органъ науки и былъ закрытъ, но ходъ агитации, подъ прикрытіемъ якобы науки, могъ продолжать свое дѣло, и ею кромѣ студентовъ могъ теперь удобно и просто, безъ всякихъ стѣснительныхъ формальностей, пользоваться каждый желающій. Профессора распредѣлили между собою часы лекцій, нѣсколько бывшихъ студентовъ взяли на распоряженіе продажѣ билетовъ, такъ какъ выручка предназначена была въ пользу «ихъ бѣдныхъ товарищей»—и дѣло двинулось ходко, энергически и, казалось, имѣло на своей сторонѣ всѣ шансы блистательнаго успѣха.

Тотчасъ же явилась мода на публичныя лекціи, но увы!—для многихъ цѣлью этой моды далеко не была одна наука.

Болѣе всѣхъ полны были аудиторіи на лекціяхъ гг. Костомарова, Павлова, Стасюлевича, Утина, Кавелина и Спасовича.

Костомаровъ читалъ «Исторію Московской Руси XVI вѣка», и лекціи его, отмѣченныя мастерствомъ изложенія, представляли интересъ увлекательный, такъ что аудиторія его достигала до двухъ тысячъ слушателей. Большинство между ними составляли диллетантки, такъ что зала казалась наполненною однаи только женщинами. Эти посѣлительницы лекцій рѣзко дѣлились на два разряда: одни были «студентки», другія, то есть большинство — просто диллетантки. Первые занимались преимущественно юридическими науками и посѣщали аудиторіи еще до закрытія университета,

вторых познакомились съ университетской наукой только съ тѣхъ поръ, какъ открылись публичныя лекціи, и отличались тѣмъ, что носили шляпки, шиньоны, кринолины, перчатки и, по невѣдѣнію, въ разговоры о Бюхнерѣ, Фогтѣ, Молешотѣ и Фейербахѣ, какъ и вообще въ «большіе разговоры» не вступали. Этими диллетантками въ дѣлѣ науки руководила пока еще одна только современная мода, а наиболѣе скромныя и серьезныя изъ нихъ посѣщали лекціи Фаминцына «о физиологіи растений». Многія дамы прѣзжали въ каретахъ и съ либрейными лакеями, но французскій языкъ слышался очень мало. Нѣкоторые изъ нихъ записывали.

Много и мундировъ попадалось на этихъ лекціяхъ; даже тамъ и сямъ блестяли иногда и генеральскіе погоны. Рвеніе къ лекціямъ простиралось до того, что публика вламывалась потокомъ въ дверь аудиторіи въ то время, какъ профессоръ еще не кончилъ чтенія. Студентки видимо старались выдѣлиться изъ массы диллетантокъ стриженными волосами и оригинальнымъ костюмомъ, неизмѣнную принадлежность котораго составляли отсутствіе кринолина и мужская гарибальдійка, либо мужская же барашковая шапка. Страніе выдѣлиться замѣчалось также и въ силѣ преній о «вопросахъ» и вообще о матеріяхъ важныхъ. Въ антрактахъ и на лекціяхъ, до появленія профессора, онѣ всегда вели оживленныя и довольно шумныя бесѣды.

Но между мужчинами не замедлили явиться «спеціалисты» по части «женскаго вопроса». Они тотчасъ же поставили своей задачей перераспознакомиться чуть ли не со всѣми слушательницами: и со студентками, и съ диллетантками. Съ галантерейной любезностью, а иные и безъ галантерейной, но просто съ любезностью сновали они отъ одного женскаго кружка или кучки къ другимъ, къ третьимъ, пока не перепорхають по всѣмъ безъ исключенія; тамъ спорили, здѣсь говорили комплименты, мѣнялись лекціями, жали ручки, сбѣгали внизъ и предупредительно надѣвали салопы, и вообще старались показать, что они кавалеры не безъ современности и не безъ пріятности. Другіе же, напротивъ, проповѣдывали простоту нравовъ и эгоизмъ, а въ силу того и другого ни за что не соглашались уступать свой стулъ ни одной слушательницѣ, сколь бы она о томъ ни просила.

Вообще на этихъ лекціяхъ, благодаря ихъ модѣ, «новые люди» и «новые нравы» сталкивались лицомъ къ лицу съ людьми и нравами пресняго закала.

* *

2-го марта, въ огромной залѣ Руадзе, считавшейся тогда самой модной концертной залой, былъ литературно-музыкальный вечеръ въ пользу литературнаго фонда.

Антонъ Рубинштейнъ игралъ на роялѣ, Венявскій на скрипкѣ, Лагруа пѣла, нѣсколько литераторовъ читали свои произведенія... Публики собралось гораздо болѣе тысячи чело-вѣкъ: тутъ присутствовали литераторы и ученые всѣхъ кружковъ и партій, люди велико-свѣтскіе и средняго класса, моряки, студенты, военные, особенно генеральнаго штаба,—словомъ, на этомъ вечерѣ было необыкновенно удачно собрано все образованное меньшинство Петербурга, который до того дня еще не запомнилъ болѣе многочисленнаго и блистательнаго собранія на литературныхъ чтеніяхъ.

Тутъ же присутствовала и наша «коммуна» въ лицѣ всѣхъ своихъ представителей. Лидинька Затцъ, одѣтая съ вѣсѣмъ «по домашнему», громко объясняла какой-то стриженной и вѣроятно прѣзжей дѣвцѣ свойства, качества и особенности присутствовавшихъ литераторовъ и ученыхъ. Она безцеремонно тыкала на нихъ указательнымъ пальцемъ, поясняя, что «это, молъ, дураки-постепеновцы, а этотъ—порядочный господинъ, потому что «пзъ нашихъ», а тотъ—подлецъ и шпіонъ, потому что пишетъ въ газетѣ, которая «ругаетъ нашихъ», а кто нашихъ ругаетъ, тѣ всѣ подлецы, мерзавцы и шпіоны; а вотъ эти двое—дрянные пошляки и тупоумные глупцы, потому что они оба поэты, стишонки сочиняють; а этотъ профессоръ тоже дрянной пошлякъ, затѣмъ что держится политико-экономическихъ принциповъ; а тотъ совсѣмъ подлецъ и негодяй, такъ какъ онъ читаетъ что-то такое о полицейскихъ и уголовныхъ законахъ, въ духѣ вѣрняемости, тогда какъ вообще вся идея вѣрняемости есть подлость, и самый принципъ права—въ сущности, нелѣпость, да и вся-то юриспруденція вообще самая рабская наука и потому вовсе не наука, и дураки тѣ, кто ею занимаются!»

Анцыфровъ, Малгоржанъ и князь заранѣе приготовляли ладони для аплодисментовъ нѣкоторымъ изъ чтецовъ, которыхъ они считали «изъ нашихъ». Ардальонъ Полояровъ, скрепивъ нагруді руки и нарочновсклочивъ болѣе обыкновеннаго волоса, старался глядѣть «язвительнымъ литераторомъ» и все напущалъ на себя молчаливо-свирѣпую мрачность. Ему вообще очень хотѣлось быть замѣченнымъ, чтобы публика, взирая на него, вопрошала: кто это, молъ, съ такимъ умнымъ, выразительнымъ лицомъ, съ такою замѣчательною фizioноміей?—«Это?—это нашъ извѣстный литераторъ Ардальонъ Полояровъ», не безъ почтительности отвѣчаютъ вопрошающимъ.—По крайней мѣрѣ, самому Полоярову мечталось, что и спрашивать, и отвѣчать должны непременно въ этомъ родѣ.

Ради чего же собственно отличался такую экстраординарную блистательностью вечеръ 2-го марта?

Разгадка этого обстоятельства крылась въ томъ, что нынче долженъ былъ впервые показаться передъ публикой Чернышевскій, стоявшій въ тѣ дни въ апогеѣ своей славы и имѣвшій множество горячихъ поклонниковъ и горячихъ враговъ. Поклонники заранѣе уже готовили своему идолу блистательную овацію, а публика нейтральная вообще интересовалась увидѣть воочию того, о комъ столько кричали и писали, кого такъ страстно превозносили и такъ страстно порицали и въ обществѣ, и въ литературѣ, и кого наконецъ въ журнальномъ мірѣ столь много боялись либо изъ раболобія предъ авторитетомъ, либо изъ трусости предъ его безцеремонно-рѣзкимъ словомъ въ полемикѣ.

Когда онъ появился на эстрадѣ, въ залѣ вдругъ разразился такой громъ продолжительныхъ встрѣчныхъ рукоплесканій, какого рѣдко кто изъ литераторовъ и ученыхъ удостоивался до сего времени.

Онъ началъ... Но это было не чтеніе, а экспромптъ, импровизація. Онъ рассказывалъ «о знакомствѣ своемъ съ Добролюбовымъ». Монологъ его, крайне неискusstный и вялый, сопровождавшійся къ тому же странными, до своей безцеремонности, манерами, не прерывался ни единымъ знакомъ одобренія со стороны слушателей. Публика очевидно ожидала не этого. Недоумѣніе ея росло все болѣе, слышался ропотъ, даже смѣшливое фырканье... Наконецъ, кто-то подошелъ къ кафедрѣ и сказалъ, что пора кончить, и когда публицистъ замолкъ, вдругъ раздались свистки, шипѣнье, пиканье и крики негодованія. Напрасно ярые приверженцы его старались хлопаньемъ своимъ заглушить этотъ общій взрывъ,—увы! всѣ невѣроятныя усилія ихъ легкихъ, гортани, каблукъ и ладоней оказались тщетны. Бура свиста пересиливала всѣ другія бури.

Князь Саповъ-Неплюхово не зналъ, какъ ему быть: Малгоржанъ съ Фрумкинымъ хлопалъ, а одинъ великосвѣтскій однокашникъ князя шикалъ и подталкивалъ его на то же самое. Лидинька же глазами дѣлала ему знаки хлопать, какъ можно усерднѣе. Добродушный, но злосчастный князь, желая угодить и той, и другому, вдругъ зашикалъ и захлопалъ въ одно и то же время. Свистящія губы его улыбались въ знакъ довольства самимъ собою, ибо юному князю казалось, что совмѣстивъ аплодисменты со свистомъ, онъ нашелъ самое остроумное разрѣшеніе труднѣйшей проблемы.

Полояровъ не свисталъ, но и не хлопалъ. Онъ только хранилъ свой мрачный видъ и въ эту минуту постарался сдѣлать его еще мрачнѣе и суровѣе. Это тоже было своего рода разрѣшеніе проблемы: взглянувъ на Ардаљона, можно бы было подумать, что онъ негодуетъ... можетъ, на импровизатора, а можетъ, на пу-

блику. Но внутри его копошилось довольство и радость. Самолюбивая и завистливая душа его вообще никому не прощала никакого успѣха, и потому эта душа ликовала теперь, созерцая полнѣйшее публичное фіаско того, котораго Ардаљонъ Полояровъ снисходительно заявлялъ «солидарнымъ съ собою».

Въ послѣдующіе дни большинство литературныхъ органовъ возстало противъ «публичнаго поведенія» знаменитаго публициста: и въ фельетонахъ, и въ обзорнѣяхъ внутренней политики, и въ полемическихъ статьяхъ заговорили о его самовосхваленіи, о его панегирикахъ своему уму, о непримѣнѣи его тона и вышнихъ приѣмовъ передъ публикой. Газета «Наше Время» посвятила даже цѣлую передовую статью специально «манерамъ» г. Чернышевскаго. Одинъ лишь вольнонаемно-сатирическій журналецъ сплился защититъ и оправдать его поведеніе, но этими своими усиліями оказалъ ему лишь то, что называется медвѣжьей услугой.

Но вечеръ 2-го марта былъ знаменателенъ не столько этимъ фіаско, сколько другимъ обстоятельствомъ, которое въ ближайшемъ будущемъ разрѣшилось послѣдствіями весьма печальнаго свойства.

На этомъ же самомъ вечерѣ профессоръ петербургскаго университета, П. В. Павловъ, читалъ статью «Тысячелѣтіе Россіи», встрѣченную публикой съ энтузіазмомъ.

6-го же марта въ газетѣ «Сѣверная Почта» было напечатано слѣдующее:

«При чтеніи статьи, г. Павловъ дозволилъ себѣ выраженія и возгласы, не находившіеся въ статьѣ, пропущенной цензурою, и клонившіеся къ возбужденію неудовольствія противъ правительства. Вслѣдствіе сего, статскому совѣтнику Платону Павлову запрещено чтеніе публичныхъ лекцій и сдѣлано распоряженіе о высылкѣ его на жительство, подъ надзоръ полиціи, въ отдаленный уѣздный городъ».

Это возбудило къ нему сильное сочувствіе въ обществѣ. Тотчасъ же нашлись ловкіе господа, которые, думая воспользоваться столь удобной минутой, возжелали и несчастіе челоуѣка поэксплуатировать въ пользу своихъ гаденькихъ стремленій. Эти «промышленники прогресса», которые не умѣли или не хотѣли прежде, до его публичной выходки, почувствовать голосу профессора, вздумали теперь записать его въ свои ряды, прицѣпить и его имя къ своей разношерстной кликѣ. Это была своего рода передержка въ глазахъ общества, такъ какъ профессоръ никогда не принадлежалъ къ Полояровско-Анцыфровскимъ партіямъ прогресса.

* * *

8-го марта въ Александровской залѣ городской думы профессоръ Костомаровъ читалъ свою лекцію. Аудиторія была биткомъ набита.

Еще до начала чтенія, въ публикѣ сказывалось какое-то лихорадочное броженіе. Въ строеніи ея на этотъ разъ было что-то ненормальное, экзальтированное. Разные господа перебѣгали отъ кучки къ кучкѣ, шнырили между рядами стульевъ, шептались, передавали что-то, дѣлали какія-то предупреденія, распоряженія, планы, и вообще суетились болѣе обыкновеннаго. Публика, очевидно, была къ чему-то подготовлена, ожидала чего-то особеннаго, крупнаго, выходящаго изъ ряда обычныхъ явленій. Тамъ и самъ упоминалось имя Павлова, передавались обстоятельства вечера 2-го марта...

«Коммуна» была вся налицо. Полояровъ протискивался впередъ, чтобы быть поближе къ кафедрѣ, Анцыфровъ лѣтучкомъ слѣдовалъ за нимъ, держась за полу его пальто и подслѣповато наступая на ноги всѣмъ встрѣчнымъ. Лидинька Затцъ, забравшись сначала въ самую середину одного ряда стульевъ, гдѣ она завела громогласную бесѣду съ нѣсколькими своими знакомцами и знакомками, захотѣла обратиться тоже поближе къ кафедрѣ; но такъ какъ и въ ту, и въ другую сторону проходить было весьма затруднительно, по причинѣ множества столпившагося народу, то она не долго думая подобрала юбку и зашагала цѣлкомо по стульямъ, валяя напрямикъ черезъ спинки и крича во весь голосъ:—«Полояровъ! Анцыфрикъ! Подождите, черти, менѣ! Сядемъ всѣ вмѣстѣ!» Ни мало не стѣсняясь тѣмъ, что мокрыхвостыя юбки и грязныя ноги ея задѣваютъ по плечамъ и даже по фязіономіямъ впереди сидящихъ слушателей, она храбро прокладывала себѣ дорогу впередъ, пока наконецъ не соединилась со своими пріятелями. Впрочемъ, такой оригинальный способъ передвиженія былъ уже здѣсь не въ диковину, потому что еще и прежде лныя студентки зачастую прибѣгали къ нему для сокращенія разстояній.

Лекція прошла въ какомъ-то напряженномъ ожиданіи. Большинству слушателей едва сидѣлось отъ нетерпѣнія, скоро-ли она кончится.

Профессоръ кончилъ и сошелъ съ кафедры. Тогда на мѣстѣ его тотчасъ же появился какой-то лохматый господинъ и громогласно объявилъ, что такъ какъ профессоръ Павловъ сосланъ, то распорядители порѣшили, что публичныя лекціи сегодняшнимъ числомъ прекращаются и никакихъ болѣе чтеній впредь уже не будетъ.

Публика захопала и закричала «браво!»

Профессоръ же, очевидно, приведенный въ недоумѣніе столь самовольнымъ и неожиданнымъ заявленіемъ, въ которомъ заключалась такая странная логика, снова взмошелъ на кафедру и въ свою очередь обратился въ публикѣ съ вопросомъ: желаетъ ли она продолженія его лекцій, такъ какъ между ссылкой и публичными лекціями нѣтъ никакой достаточно законной и ра-

зумной причины, которая оправдывала бы столь самовольное и насильственное прекращеніе чтеній?

Болѣе сотни голосовъ съ разныхъ концовъ залы закричали: «Читайте! Читайте! Къ чему прекращать?! Отчего не продолжать? Мы хотимъ слушать! Читайте!»

Послѣ этого профессоръ объявилъ, что онъ будетъ читать.

Но едва лишь сказалъ онъ эти слова, какъ въ залѣ раздался свистъ, шиканье, шипѣнье, крики: «вонъ! долой!» и даже... площадныя ругательства.

— Онъ подкупленъ!—оралъ Полояровъ, жестикулируя указывая на человѣка, который всей своей жизнью доказалъ долготѣнюю и неизмѣнную преданность либеральной идеѣ.—Онъ за-одно съ жандармами!...

— Подкупленъ!.. подкупленъ правительствомъ, полиціей!—орала, какъ стадо барановъ, свистающая и гикающая толпа.

— Эй, вы! за сколько васъ наняли? сколько вамъ заплатили?—кричалъ Полояровъ, не выставляя однако очень близко на показъ свою фязіономію.

— Ступайте читать свои лекціи въ Третье Отдѣленіе! Тамъ васъ будутъ слушать!—пронзительно визжала Лидинька, стоя на стулѣ, среди поднявшейся толпы.

— Въ Третье! въ Третье!.. Тамъ будутъ!—вторило стадо.

Профессоръ не смутился. Въ лицѣ его было спокойствіе и твердость, и только въ движеніи энергически очерченныхъ губъ сказывалось, быть можетъ, подавляемое негодованіе.

Онъ снова сталъ говорить, несмотря на шумъ и гвалтъ, и говорилъ громко, твердо и яственно.

Толпа на минуту примолкла.

Онъ говорилъ, что не намѣренъ потакать такому пошлому либерализму, что гаерство не достойно науки и ея цѣлей, и что извѣстные поступки, въ родѣ настоящаго деспотическаго и безнравственнаго насилія надъ человѣческой личностью, характеризуютъ не либераловъ, а Репетилыхъ, изъ которыхъ въ послѣдствіи легко выходятъ Расплюевы.

Вновь поднялась неистовая буря озлобленныхъ криковъ, гама, свиста, гоготанья... и опять площадныя ругательства, опять безобразныя, гнусныя намеки и предположенія, опять комки нравственной грязи и оскорбленій.

Въ этотъ день совершенно былъ подвигъ настоящаго гражданскаго мужества. Противъ болѣе чѣмъ двухтысячной толпы, расточительно щедрой въ своемъ деспотически-зломомъ опьяненіи на всяческую хулу, оскорбленіе и насиліе, стоялъ одинъ человѣкъ, незащищенный ничѣмъ, кромѣ своего личнаго убѣжденія, кромѣ непоколебимаго, глубокаго сознанія долга, права и чести. Среди двухтысячнаго стада,

которым коноводили нѣсколько завязатыхъ вожаковъ, бывшихъ, въ свою очередь, передовыми баранами въ другомъ, еще большемъ, громаднѣйшемъ стадѣ, выдвигалась одна только самостоятельная личность, не захотѣвшая, во имя правды и науки, подчиниться никакому насилию, — и противъ этого *одного*, противъ этого честнаго права, противъ законной свободы личности поднялся слѣпой и дикій деспотизмъ массы, самообольщенно мнившей о своемъ великомъ либерализмѣ. А сколько въ этой толпѣ было еще тѣхъ самыхъ юношей, которые не далѣе какъ годъ назадъ восторженно выносили на своихъ рукахъ этого же самаго профессора изъ его аудиторіи!

8-е марта показало самымъ нагляднымъ и убѣдительнымъ образомъ, чего стоитъ свобода личнаго мнѣнія, во сколько цѣнится независимость убѣжденія и вообще что значить «смѣть свое сужденіе имѣть», и этимъ-то самымъ 8-е же марта для меньшинства образованнаго общества поднесло первую склянку отрезвляющаго спирта: оно сдѣлало поворотъ въ извѣстной части наименѣе зависимаго общественнаго мнѣнія, и въ этомъ, такъ сказать, историческая заслуга 8-го марта; въ этомъ лежитъ его право на память въ лѣтописяхъ санктъ-петербургскаго развитія и прогресса.

* * *

Изъ разныхъ угловъ литературы поднялся лай.

Но на кого? На тѣхъ, кто поступили по Репетиловски? — Нѣтъ, осужденію и лаю подвергся профессоръ. И это понятно: могли ли мы, смѣли ли мы поднять голосъ противъ такъ называемаго «молодого поколѣнія»? Мы такъ боялись и гнѣва журнальных оракуловъ, и того, чтобы о насъ не подумали, будто мы «отсталые»; каждому изъ насъ такъ хотѣлось, въ родѣ Петра Ивановича Бобчинскаго, «пѣтушкомъ, пѣтушкомъ» побѣждать за «молодымъ поколѣніемъ», заявить всѣмъ и каждому, что и я, молъ, тоже молодое поколѣніе. И такъ уже мы всѣ привыкли рабѣнно льстить этому кумиру, что что бы ни выкидывали иные господа, прикрывавшіеся этой соблазнительной фирмой, мы уже заранѣе всегда были на ихъ сторонѣ. Впрочемъ, это не мѣшало намъ проповѣдывать о гражданской честности.

Но — надо отдать справедливость — въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» поднялся одинъ голосъ противъ теченія. Правда, голосъ не совсемъ-то громкій и смѣлый, но и за то уже великое спасибо! Тамъ была напечатана маленькая статейка: «Учиться, или не учиться?» На нее послѣдовалъ отвѣтъ: «Учиться, но какъ?» гдѣ, конечно, осуждался профессоръ, ибо авторъ писалъ «въ защиту молодого поколѣнія». Затѣмъ въ «Современникѣ» въ защиту того же «поколѣнія» появилась статья: «Научились ли?»

мечущая перуны гнѣва и презрѣнія въ топоумныхъ попляковъ и проч.

И въ сколь многихъ изъ этихъ писаній каждому свѣжему чутью слышался поддѣльный неискренній тонъ сочувствія и приторная лезть новому идолу! Прежде, бывало, курили сильнымъ и высокимъ міра; нынѣ — «молодому поколѣнію». Мы только переименовали ярлычки на кумирахъ, а сущность осталась та-же: мы поклонялись *силѣ*, разумной или нѣтъ — это все равно: была бы только сила!

Между тѣмъ, многіе слушатели словесно и письмененно стали заявлять профессору, чтобы онъ возобновилъ свой курсъ, прерванный 8-го марта — и профессоръ объявилъ въ газетахъ, что, подчиняясь желанію слушателей, онъ вновь начнетъ свои чтенія, лишь только прищется новую аудиторію.

Между его противниками, сдѣлавшими скандалъ 8-го марта, поднялось новое броженіе. Многіе изъ нихъ спѣшили запастись мѣдными и полицейскими свистками да мочеными яблоками, чтобы встрѣтить ими открытіе чтеній. Къ профессору посылались пасквильныя, безимянныя письма и угрозы; даже нѣкто выкинулъ гнусный фарсъ, грози ему смертію за противодѣйствіе общему дѣлу.

Черезъ недѣлю Костомаровъ объявилъ, что его лекціи вновь открываются въ залѣ Руадзе. Сонмъ противниковъ уже совсемъ было приготовился къ новому великому скандалу «во имя свободы», какъ вдругъ на слѣдующій день «въ Сѣверной Почтѣ» появилось слѣдующее объявленіе.

«По распоряженію г. управляющаго министерствомъ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе безпорядковъ, бывшихъ на лекціи г. профессора Костомарова, навлекающихъ нареканія на студентовъ здѣшняго университета, прекращаются разрѣшенныя прежде публичныя лекціи слѣдующихъ гг. профессоровъ и преподавателей: Костомарова, Утина, Спасовича, Менделѣва, Калиновскаго, Благовѣщенскаго, Ивановскаго, Гайковскаго, Лохвицкаго и Гадолина».

Итакъ, лекціи были запрещены, но это запрещеніе не вызвало даже никакихъ, сколько-нибудь сильныхъ оппозиціонныхъ толковъ. Мимолетная мода уже миновала, какъ миновала она на воскресныя школы и на многое другое...

III.

Меркурій.

Начиная съ зимняго сезона 60-го, или 59-го года, на петербургскомъ горизонтѣ время отъ времени стала появляться нѣкоторая новая личность. Хотя на петербургскомъ горизонтѣ появляется ежесезонно многое множество личностей, которымъ вообще можно дать имя метеоровъ: онѣ появляются, вертятся, иногда на мно-

вене блистають и потомъ исчезаютъ невѣдомо куда и невѣдомо когда, никѣмъ незамѣченныя, никѣмъ не воспоминаемыя, на другой же день всѣми забытыя; но та личность, которую мы имѣемъ въ виду представить читателю, приобрѣла себѣ нѣкоторую извѣстность въ петербургскомъ свѣтѣ и вообще была замѣтна.

Это былъ метеоръ, но метеоръ болѣе блестящій, чѣмъ другіа, подобныя ему тѣла газобразнаго свойства.

Метеоръ извѣстенъ былъ въ свѣтѣ подъ именемъ графа Слончицкаго, а въ польскомъ кружкѣ его титуловали просто графомъ Тадеушемъ, то-есть звали однимъ только именемъ, ибо метеоръ былъ настолько популяренъ, что достаточно было сказать «нашъ грабя Тадеушъ» — и всѣ уже хорошо знали о комъ идетъ рѣчь, и при томъ же совокупленіе титула съ однимъ только собственнымъ именемъ, безъ фамиліи выражаетъ по-польски и почтеніе, и дружельность и даже право на нѣкоторую знаменитость: дескать, всѣ должны знать кто такой графъ Тадеушъ; какъ, напримѣръ, достаточно сказать: князь Адамъ, или графъ Андрей — и уже каждый, въ нѣкоторомъ родѣ, обязанъ знать, что дѣло идетъ о князѣ Чарторыйскомъ и о графѣ Замоискомъ. Для поляковъ же нетитулованныхъ, кажется, нѣтъ выше наслажденія, какъ похвастаться передъ кѣмъ бы то ни было личными отношеніями къ своимъ магнатамъ. Въ этомъ случаѣ они готовы сѣманивать даже самихъ себя насчетъ важности и блеска титуловъ графа такого-то и такого-то, и даже самого мизерненькаго графика, извѣстность котораго простирается едва лишь на свой маленькій муравейникъ, они непременно произведутъ въ первые магнаты, лишь бы только онъ былъ «панъ грабя».

Но насколько панъ Слончицкій въ дѣйствительности имѣлъ правъ на графскій титулъ, этого не разрѣшила бы ни одна герольдія въ мірѣ. Вообще, онъ былъ графъ самаго сомнительнаго качества, — болѣе для виду, и едва ли не самъ себѣ доставилъ графскую корону.

Въ Петербургѣ его можно было встрѣтить вездѣ и повсюду: и на обѣдѣ въ англійскомъ клубѣ, и на раутѣ князя Г., въ салонѣ графини К., въ оперѣ, и вообще въ любомъ спектаклѣ, на биржѣ, и на бѣгахъ, въ Лѣтнемъ саду, у генеральши Пахонтьевой, у любой артистки, въ танцъ-классахъ у Гебгардтъ и Марцинкевича, въ гостяхъ у содержателя гласной кассы ссудъ Карповича, въ редакціи «Петербургской Сплетни», въ гостиниѣ любой кокетки — словомъ, куда ни подите, вездѣ вы могли бы наткнуться на графа Слончицкаго. Но болѣе всего любилъ онъ тереться въ кругахъ, которые такъ или иначе стремятся называть себя «избранными», аристократическими.

Онъ отлично владѣлъ французскимъ, весьма

порядочно русскимъ и недурно нѣмецкимъ языками, да при этомъ еще отличался польскіеязичною развязностью манеръ и тою особенною наглостью, которая повсюду растворяла ему любыя двери. И дѣйствительно, у него было необыкновенное умѣнье втираться въ домъ и въ дружбу. Ему ровно ничего не значило со второй встрѣчи съ человѣкомъ прямо, ни съ того, ни съ сего начать съ нимъ вдругъ *на ты*, самымъ пріятельски-фамиліярнымъ тономъ: «Ахъ, шоп сшег, какъ, дескать, поживаешь?!.. Что, душечка, подѣлываешь? Давно былъ у нашего милаго князя?.. А, кстати, что тебя такъ давно не видать у нашей прелестной Жозефины?» и т. д. все въ такомъ же миломъ родѣ.

Но зато такъ же точно ровно ничего не значило ему въ другой разъ, столкнувшись носъ къ носу съ тѣмъ же самымъ импровизированнымъ пріателемъ, вдругъ не узнать его или не отвѣтить на поклонъ. И вѣдь не то, чтобы онъ и въ самомъ дѣлѣ не узналъ человѣка, нѣтъ, узналъ очень хорошо, но притворился незнакомымъ. Иногда у него это дѣлается по минованіи надобности въ человѣкѣ или по какимъ-либо расчетамъ, а иногда и вовсе безъ всякихъ расчетовъ, а просто такъ, потому лишь, что онъ — панъ грабя Слончицкій.

Это былъ панъ, чрезвычайно легкій на подъемъ. Сегодня онъ, напримѣръ, въ Петербургѣ, а черезъ недѣлю въ Парижѣ или въ Лондонѣ, а тамъ — глядь! — въ Вильнѣ въ генераль-губернаторскихъ салонахъ трется, то вдругъ въ недѣлю въ Неаполь слетаетъ и назадъ въ Петербургъ вернется, а то въ какихъ нибудь Тельшахъ или Шавляхъ съ жидами какія-то сдѣлки заключаетъ, потомъ его видать на Тверскомъ бульварѣ въ Москвѣ, а черезъ трое сутокъ онъ уже въ Варшавѣ, въ кондитерской у Люрса «Curjega Warszawskiego» пробѣгаетъ и прохладжается «вѣдой содѣвей съ цитриновымъ сокомъ», но черезъ недѣлю — глядь! — опять нашъ панъ грабя бѣжитъ своею торопливою походкою по Невскому проспекту.

Иногда панъ грабя ходитъ, причесавъ отъ людей, въ старенькомъ пиджачкѣ, и вся фигура его невольнo изображаетъ собою видимое отсутствіе «пенѣнзы». И что же! — не далѣе какъ вчера еще встрѣтили вы его въ такомъ, говоря относительно, убожествѣ, такъ что даже онъ самъ поспѣшилъ отвернуться отъ васъ къ окну перваго встрѣчнаго магазина и внимательно заняться разсматриваніемъ всякихъ бездѣлушекъ, нарочно для того, чтобы вы его не узнали, а сегодня онъ уже ѣдетъ въ Парижъ, и не иначе какъ въ вагонѣ перваго класса, а черезъ двѣ-три недѣли возвращается оттуда съ великолѣпнѣйшимъ фраккомъ, съ огромнымъ запасомъ самаго тонкаго бѣлья, съ

самым разнообразным и причудливым выбором всевозможных атрибутов гардероба и туалета. Между тем виленьские «родаки» его очень хорошо знают, что у пана грабего, кроме фантастического титула, за душою нет ни кола, ни двора и ни в едином из европейских банков никаких капиталов на его имя не хранится.—Откуда же, однако, из каких богатых источников черпает наш грабя Тадеуш средства на эти ежеминутные летанья по всей Европѣ и на эти рѣзкіе переходы от старенькаго пиджачка къ великолѣпнымъ парижскимъ фракамъ? Въ Петербургѣ, при встрѣчѣ съ такимъ вопросомъ, люди обыкновенно дѣлаютъ самое индифферентное заключение: «А чортъ его знаетъ! должно быть, играетъ въ карты, а впрочемъ, онъ ничего, славный малый!»

И точно: онъ былъ и славный малый, и *bon-vivant*, и бонмотистъ, и каламбуристъ, и артист, и въ карты игралъ, и фокусы отлично показывалъ; но не богиня зеленого поля была его добрымъ гениемъ, открывавшимъ ему финансовые источники.

У пана грабего Слончицкаго былъ свой, собственный добрый гений совсѣмъ особаго рода. Что это за добрый гений—про то не вѣдалъ никто, даже и изъ «виленьскихъ родаковъ», за исключеніемъ весьма и весьма ограниченного числа лицъ посвященныхъ...

Въ высшихъ сферахъ «святой sprawy» панъ грабя Слончицкій былъ извѣстенъ подъ специальнымъ прозвищемъ «Меркурія», — *c'est le Mercure de l'Hôtel Lambert* отчасти иронически, отчасти покровительственно отзывались о немъ нѣкоторые «филяры велькаго будования». У него имѣлись два специальные назначенія. Одно изъ нихъ было такъ называемая «салонная миссія» (*missia salonowa*), въ силу которой Меркурій обязанъ былъ постоянно вертѣться во всевозможныхъ салонахъ, незаметно и ловко, между болтовней объ оперѣ и вчерашнемъ раутѣ, пропагандировать и такъ и сякъ свою «великую идею», подчасъ поразжать умы сердобольныхъ барынь повѣствованіями о русскихъ ужасахъ и варварствахъ, о страданіяхъ несчастной, угнетенной Польши, возбуждать салонное и особенно дамское сочувствіе польскому дѣлу, подчасъ же ловко втирать очки доверчивому и умѣренно-либеральному сановнику насчетъ консервативности западнаго «дворянства» и скрытно-революционныхъ элементовъ «хлопства», которое только и можно удерживать въ повиновеніи посредствомъ воинскихъ экзекуцій. Кроме этого, панъ грабя обязанъ былъ всячески вынюхивать и вывѣдывать о всевозможныхъ новостяхъ правительственного и административнаго міра, о всякомъ малѣйшемъ мѣропріятіи, проектѣ, предположеніи, которыя такъ или иначе могутъ имѣть то или другое отношеніе къ польскому

дѣлу. Часто какой-нибудь случайный разговоръ, какая-нибудь фраза, оброненная тѣмъ или другимъ высокопоставленнымъ лицомъ, служили для пана грабего великимъ поводомъ къ своимъ, совершенно особымъ соображеніямъ, выводамъ, заключеніямъ,—и обо всемъ этомъ, о слышанномъ, видѣнномъ, о сдѣланномъ и подстроеномъ онъ немедленно же сообщалъ по назначенію въ Парижъ или въ Варшаву, въ Вильну—словомъ, куда требовалось, смотря по обстоятельствамъ. Зачастую, вслѣдствіе этихъ сообщеній, онъ получалъ какое-нибудь экстренное назначеніе изъ Ламберова Отеля, и тогда-то у пана грабего, совершенно неожиданно для всѣхъ его знакомыхъ, вдругъ являлась самая спѣшная, безотлагательная необходимость летѣть въ Москву, въ Дрезденъ, въ Римъ, въ Тельши, въ Женеву, въ Казань, въ Константинополь... Словомъ, вчера онъ и самъ не зналъ, гдѣ будетъ сегодня, а сегодня не вѣдаетъ, гдѣ проночуетъ завтра. Въ этихъ повсюдныхъ перелетахъ заключалось его второе специальное назначеніе. Онъ леталъ политическимъ курьеромъ къ дипломатическимъ представителямъ Ламберова Отеля при разныхъ правительственныхъ передняхъ Европы и къ тайнымъ представителямъ польской sprawy внутри Россіи, привозя съ собою тѣмъ и другимъ сообщенія наиболѣе важнаго свойства.

Въ этой-то второй миссіи и заключалась загадка его великолѣпныхъ фракковъ, его финансовъ, его существованія и его говора. Добрый гений пана грабего ютился въ кабинетѣ Ламберова Отеля, и вотъ почему дано ему было специальное прозвище «Меркурія».

Онъ благоденствуетъ и доселѣ. Графъ Муравьевъ его не повѣсилъ. Напротивъ, въ самый разгаръ временъ повстанскихъ, панъ грабя, когда только бывалъ въ Вильнѣ, неукоснительно являлся въ пріемные дни на поклонъ къ Муравьеву. Его имя, впрочемъ безъ графскаго титула, можно найти на всевозможныхъ «дворанскихъ адресахъ», въ которыхъ онъ свѣдѣтельствовалъ, если и не о вѣрнопопданствѣ своемъ, то о высокихъ чувствахъ своего «вѣрнопреданства». Пана грабего и доселѣ можно встрѣтить иногда то въ Петербургѣ, то въ Вильнѣ, то въ Парижѣ и проч., и проч.—Полезная миссія его не кончилась.

Въ наши дни онъ съ подобающимъ ужасомъ распространяется въ нѣкоторыхъ петербургскихъ салонахъ о революционныхъ и социалистическихъ началахъ Муравьевскихъ «дѣятелей» въ Западномъ краѣ и вообще враждебно относится какъ къ русской, такъ и къ польской «партіи красныхъ». Онъ, конечно, самый консервативный и самый «вѣрнопреданный изъ наивѣрнопреданныйшихъ» польскихъ пановъ.

IV.

Панъ грабя Тадеушъ и просто панъ Анзельмъ.

Онъ былъ знакомъ и съ Бейгушемъ. Онъ не могъ не быть съ нимъ знакомымъ, во-первыхъ потому, что съ кѣмъ же и не знакомъ онъ Петербургѣ, а во-вторыхъ, и это главное, Бейгушъ, какъ добрый патриотъ, былъ связанъ съ нимъ единствомъ идеи, общностью дѣла. Конно-артиллерійскій мундиръ поручика, въ глазахъ Слончицкаго давалъ ему право на аттестацію «поржонднѣго хлопака» и вслѣдствіе того панъ грабя любезно снисходилъ до пріятельскаго знакомства съ бравымъ поручикомъ. Хотя въ аристократическихъ салонахъ—гдѣ, впрочемъ, панъ Тадеушъ съ паномъ Анзельмомъ не встрѣчались—онъ и не признался бы въ пріятельствѣ съ безвѣстнымъ офицеромъ, но въ сферахъ пониже, и особенно въ польскихъ кружкахъ, весьма охотно называлъ себя его хорошимъ знакомымъ. Тутъ уже панъ Анзельмъ былъ въ его рекомендаціи не иначе какъ «муй добржы прііяціолекъ».

Въ плохія или, такъ сказать, въ «пиджачныя» времена, когда въ карманѣ не сказывались дома лишніе «пенензы», когда жаль было лишній рубль бросить на пропитаніе въ модномъ ресторанѣ и когда не предстояло случая попасть на обѣдъ въ какое-нибудь аристократическое семейство, панъ грабя зачастую направлялъ алчущія стопы свои «до прііяцеля Анзельма» и снисходительно пользовался его офицерской похлебкой. Панъ же Анзельмъ, съ своей стороны, не мало гордился въ душѣ тѣмъ, что можетъ назвать своимъ короткимъ пріятелемъ «ясневельможнѣго пана» съ такимъ аристократическимъ титуломъ. Въ «кружкѣ» знали объ этой дружбѣ, и находились иные родовитые шляхтичи, которые даже отчасти завидовали дружбѣ Бейгуша съ аристократствующимъ проходимцемъ. Въ таковомъ чувствѣ родовитыхъ шляхтичей, конечно, первую если не единственную роль игралъ ясновельможный графскій титулъ.

Однажды, въ плохое время господства стараго пиджака, панъ грабя пришелъ покормиться къ Бейгушу и увидалъ у него на письменномъ столѣ фотографическую акварельную карточку прехорошенькой женщины, обдѣланную въ очень изящную рамочку.

— Ah, tiens!.. Ба, ба, ба!.. Это что значить?!—развязно вскричалъ онъ, схватывая со стола портретикъ и любуясь на него.—Пане капитане!.. Прііяцелю!.. Такъ вотъ мы какими дѣлами занимаемся!?

Бейгушъ—не въ силахъ сдержаться отъ невольнаго проявленія внутренняго самодоволь-

ства, со скромной улыбкой покрутилъ свой красивый усь.

— Кто такая?.. купчиха? чиновница? гувернанточка?.. а? лукаво подмигивая и продолжая любоваться, допытывалъ грабя.

— Нѣтъ... барыня одна... знакомая... такъ-себѣ, просто... какъ бы неохотно сообщилъ Бейгушъ, тогда какъ въ душѣ весьма и весьма охотно бы разсказалъ ему всю суть своей «офицерской интрижки».

— Барыня!?. Sapristi!! Да какъ же это я ее не знаю?—удивился Слончицкій.—Я, кажется, ихъ всѣхъ на перечетъ знаю!.. Должно быть нездѣшная?.. а?.. пріѣзжая, вѣрно?

— Н-нѣтъ... она здѣсь живетъ.

— Mais, mon cher!.. Кто-жъ она такая, если это не нескромно съ моей стороны?

— Нигилистка,—улыбнулся Бейгушъ.

— Ah, ça!.. une nihiliste!.. Аум!—плотоядно мурлыкнулъ онъ.—Vraiment c'est piquant—la petite nihiliste!.. а?.. Прехорошенькая!

— Н-да, превкусная барынька!—многозначительно согласился Бейгушъ.

— Voilà c'est le mot!.. Именно превкусная!.. Глаза-то какіе!.. А губы? а ноздри?—О, многообѣщующія ноздри! И при томъ же еще нигилистка! Да это, ей-Богу, пріинтересно!.. Але-жъ естешъ тѣнги ходакъ, душѣчко!—весело хлопнулъ онъ по плечу поручика.—Но только отчего-жъ у нея волосы не острижены? Вѣдь у этихъ нигилистокъ, говорятъ, волосы подъ гребенку стригутъ? Только фис!.. Это, положимъ, оригинально, однако очень некрасиво.

— Нѣтъ, эта не выстрижется!.. Эта не изъ такихъ нигилистокъ!—заступился Бейгушъ.—А у нея, надо отдать ей всякую справедливость, просто-божественные волосы!.. Роскошны!

— О, да это видно! Это видно сейчасъ же!—съ видомъ компетентнаго судьи, поспѣшилъ согласиться панъ грабя.—А ты продолжаешь поспѣвать нигилистовъ?—впадая въ дѣловой, серьезный тонъ, обратился онъ къ Бейгушу.

— Какъ же, постоянно бываю!

— Ну, и каково теперь настроены эти инструменты?

— Да, признаться сказать, настраиваетъ ихъ болѣе одинъ пріятель мой, Свитка, а я, грѣшный человекъ я болѣе насчетъ этой прелестной вдовушки.

— А она еще и вдовушка, вдобавокъ?

— Вдовушка. Да это что! А ты скажи, что кромѣ этого и богата вдобавокъ!—похвалился Бейгушъ.

— О?!. Еще и богата!.. А какъ богата?

— Около пятидесяти тысячъ чистоганомъ.

— Тсс!—покачалъ головой панъ грабя.—От-то пѣнка шука!.. Послушай же, коханку! Если она такъ добра къ тебѣ и такъ богата, съ нея слѣдовало бы слупить сколько можно въ пользу дѣла, въ фундушъ народѣвы?

— Не беспокойся! свое дѣло знаемъ!—подмигнувъ панъ Ансельмъ;—триста рублей на прошлой еще недѣлѣ подписала. Уговорилъ.

Панъ грабя плотоядно улыбнулся и весело потеръ себѣ руки

— А у прочихъ какъ идетъ подписка?—спросилъ онъ.

— Ничего-себѣ. Гдѣ лучше, гдѣ хуже, но въ общемъ довольно порядочно. Ужъ на что коммунисты: вѣдь это все народъ, что называется, *ni foi, ni loi*, однако Свитка и съ тѣхъ ухитрился слупить малую толику.

— А эти триста рублей... ты ихъ отправилъ уже?—съ какой-то особенной заботливостью спросилъ панъ грабя.

— Н-нѣтъ еще... раздумчиво отвѣтилъ Бейгушъ, и сейчасъ же вдругъ спохватился.— Ахъ, это триста-то рублей?—Какъ же, какъ же! Тогда же отправлены!

«Какъ-то покойнѣе, а то еще займы попросить», подумалъ онъ себѣ и поспѣшилъ перевести разговоръ на другую тему.

— Да, да!.. дѣло вообще не дурно идетъ!—говорилъ онъ.—Тѣ, что панъ ведетъ въ салонахъ, Свитка проводитъ въ коммунахъ! я—и тамъ, и сямъ, а больше въ казармахъ, то-есть такъ-себѣ, исподволь, въ батарейной школѣ, потому тутъ большая осторожность нужна.

— Дѣло идетъ!—компетентно и съ видимымъ удовольствіемъ подтвердилъ панъ грабя.—Теперь гляди, душа моя, вотъ какъ: у меня—пропаганда салонная, у Колтышки—литературка и наукова, Чарыковского—пропаганда войсковая, у Почебуть-Коржимскаго—«между столпами отечества», такъ сказать, у тебя съ этимъ Свиткой твоимъ—коммуны и и нигилисты... А разныя министерства, канцеляріи, управленія? А университетъ? а корпуса? а школы, гимназін, институты?—Охо-охо!..

Еще Польша не агинзела
Пуки мы жіємо!

запѣлъ онъ вдругъ, прихлопнувъ въ ладоши, и въ два-три пѣ прошелся мазуркой по комнатахъ.—Тутъ и стадо салонное, и стадо наукове, и стадо войсковое, а вишестко у купе—едне вельке стадо дуракове! Ха, ха, ха, ха!—весело заключилъ онъ—руки въ карманы—граціозно поворачиваясь на одномъ каблукѣ, видимо довольный эффектомъ послѣдней фразы.

Послѣ обѣда, въ которомъ денщикъ Голембикъ показывалъ свое кулинарное искусство, панъ-грабя Слосичицкій, разваливъ въ креслѣ и ковыряя въ зубахъ съ такимъ сибаритскимъ видомъ, какъ будто онъ только что всталъ изъ-за Лукулловскаго пиришества, снова завелъ съ поручикомъ разговоръ насчетъ прелестной вдовушки. Его ужасно интересовало: кто она?—Но Бейгушъ съ видомъ притворной скромности сказалъ, что онъ не имѣетъ обыкновенія назы-

вать фамиліи тѣхъ особъ, которыя дарятъ его своею благосклонностью. Однако, черезъ пять минутъ, увлеченный жаромъ своего разсказа и такимъ внимательнымъ, даже пріятельски заинтересованнымъ участіемъ друга Тадеуша, выболталъ что «моя-де Сусанна—это божество! вдова гусарскаго полковника барона Стекльштрома (полковника и барона онъ прибавилъ для пущей важности), что эта прелесть готова ему всѣмъ пожертвовать, что она влюблена въ него безъ памяти, что вообще, это—добрѣйшее и благороднѣйшее существо изъ всѣхъ, какихъ онъ только зналъ на свѣтѣ, существо которое ни въ чемъ не умѣетъ отказывать, и вотъ доказательство: эти триста рублей, пожертвованные въ пользу народоваго дѣла, но... одно лишь безконечно жаль: москѣвка!

— Такъ что-жъ, что москѣвка?—выпучилъ глаза Тадеушъ.

— А то, что кабы не москѣвка, честное слово—женился бы сейчасъ же!

— А я бы на твоёмъ мѣстѣ и непременно женился бы! И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!—резонерскимъ тономъ заговорилъ панъ грабя.—Если дѣйствительно, какъ ты говоришь, изъ нея веревки вить можно, да еще если къ тому же эта добродѣтель ни въ чемъ отказывать не умѣетъ, а для тебя готова всѣмъ жертвовать—я бы вотъ сію же минуту «къ алтарю». Къ алтарю, сударыня, безъ всякихъ разговоровъ! И пусть себѣ Исаія ликуетъ по-москѣвскую! Я тоже стану ликовать съ нимъ вмѣстѣ!

— Жениться на москѣвкѣ!—съ пренебрежительной гримасой повелъ плечами поручикъ.

— От-то еще!.. «на москѣвкѣ»!.. Да я-бъ на Юліи Пастранѣ женился!—Абы пенензы!

— Да, но могу ли я связывать себя, когда отчизна не сегодня-завтра можетъ потребовать меня къ дѣлу?—съ видомъ благороднаго достоинства возразилъ Бейгушъ.

— Ну, когда потребуетъ, ты и развяжись.

— Съ законною-то женою?

— А хоть бы съ перзаконной!.. Что жъ такое!.. Кто мѣшаетъ тебѣ въ одно прекрасное утро пропѣть романсъ: «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!» сдѣлать ручку и улыбнуться... А то и пѣть ничего не нужно, а просто втихомолку улетучился да и баста!.. «Ищи меня въ лѣсахъ Литвы»... Штука-то простая!

— Ну, это, пожалуй, не такъ легко, какъ кажется!

— Чего тамъ не легко! Что жъ она, пойдетъ тебя разыскивать, преслѣдовать черезъ полицію, что ли? Погорюетъ двѣ недѣли, и по добротѣ, общей всему Евину роду, постарается утѣшить кого-нибудь въ одиночествѣ, и сама вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшится, ну, и только!.. А пятьдесятъ тысячъ, мой другъ, это легко вымолвить, но не легко добыть. Пятьдесятъ тысячъ по улицамъ не валяются! Вѣдь это —

шутка сказать! — это триста семьдесят пять тысяч польских золотых!.. Ух!.. да это дух захватывает!

Панъ грабя даже выскочилъ изъ своего глубокаго, покойнаго кресла.

— Анзельмъ, — съ рѣшительнымъ видомъ остановился онъ передъ Бейгушемъ. — Если ты не женишься, это будетъ величайшая ошибка!.. Э, да чего тамъ ошибка! Это будетъ пошлая, непростительная глупость съ твоей стороны! Понимаешь?.. Я считаю тебя слишкомъ умнымъ и расчетливымъ малымъ, чтобы ты могъ упустить такой кладъ! И именно вотъ на тотъ самый случай, когда, какъ ты говоришь, Польша призоветъ тебя къ дѣлу, что жъ ты съ пустыми руками пойдешь на встрѣчу ойчизнѣ?.. Э, браишкю! Дратся на голодные зубы куда какъ скверно!.. Будемъ смотрѣть практически, будемъ предусмотрительны! Ежели бы, напри- мѣръ, чего не дай Богъ и чего, я увѣренъ, не случится, но все-таки, положимъ, что *ежели бы*... Итакъ, ежели бы мы проиграли: имѣя въ карманѣ деньги, всегда можно, при нѣкоторой ловкости, удрать за границу и жить себѣ въ Парижѣ или въ Швейцаріи препорядочнымъ образомъ, и работать сколько можно на пользу дѣла, а безъ денегъ что ты? Что предстоитъ тебѣ? — Вятка или Иркутскъ! И это еще самое легкое! Я, братъ, человекъ прежде всего практической. Я самъ подчасъ увлекаюсь и люблю помечтать о томъ, о семъ, но... практики при этомъ никогда не забываю!

Бейгушъ сидѣлъ, вытянувъ ноги, и молчалъ не то колеблясь, не то соображая что-то.

Панъ Тедеушъ, насвистывая какую-то французскую шансонетку и подщелкивая пальцами, съ легкимъ канканымъ подергиваніемъ прошелся по комнатѣ и снова сталъ предъ Анзельмомъ.

— Педантъ-моралистъ, пожалуй скажетъ, что это не совѣтъ-то тово... снова заговорилъ онъ, развивая свою тему, но, мой другъ, во-первыхъ, между мужемъ и женою — все общее: что мое то твое — это первое правило, а во-вторыхъ, я понялъ бы такую щепетильность относительно польки, французенки, словомъ, относительно всякой порядочной женщины любой націи цивилизованной, европейской; но относительно москевки — воля твоя, душа моя, — я этого не понимаю! Мало того: я рѣшительно *не допускаю* этого!

Панъ грабя пришелъ даже въ нѣкоторый патріотическій азартъ и говорилъ сильно жестулируя.

— Какъ! — продолжалъ онъ, наступая. — Они сто лѣтъ уже грабятъ наши дома, наши земли, наши финансы, нашихъ дѣдовъ, отцовъ и насъ теперь грабятъ, а мы будемъ деликатничать съ ними!.. Вздорь!.. Ты только тѣмъ или другимъ способомъ берешь назадъ, возвращаешь себѣ свое добро, свое кровное, законно

тебѣ принадлежащее!.. Съ этой точки зрѣнія я оправдываю и взятки и казнокрадство! — Ей-Богу такъ!.. Я передъ тобой говорю теперь откровенно, да и чего намъ скрываться другъ передъ другомъ?.. Они твою родину распластали, подѣлили ее и ограбили, а ты будешь еще думать да церемониться: можно ли, да слѣдуетъ ли мнѣ воспользоваться капиталомъ моей жены-москевки? — Спроси цѣлую Польшу — и вся Польша отвѣтитъ тебѣ: «не можно, а должно!»

Панъ грабя былъ даже величествененъ въ своемъ паеосѣ.

Бейгушъ, видимо убѣжденный, тихо улыбался въ отвѣтъ какому-то своему особому расчету и соображенію.

— А что? не рискнуть ли и въ самомъ дѣлѣ? — повернулъ онъ прояснившееся лицо къ пріятелю.

— Онъ еще спрашиваетъ! — возведя глаза къ потолку и пожавъ плечами, воскликнулъ Слоспицкій. — Онъ еще спрашиваетъ!.. О, тяжелая артиллерія! Да что это, ей-Богу!.. Рискуй, душа моя! Прямо рискуй! — Рискъ благородное дѣло.

V.

И хочется, и колется...

Нѣсколько дней спустя послѣ похоронъ Лубинской, члены коммуны въ одно далеко не прекрасное утро были поражены совершенно неожиданной новостью.

Въ это самое далеко не прекрасное утро нѣкоторые изъ членовъ, слѣдя повседневному обыкновенію, отправились для препровождения времени въ книжный магазинъ Луки Благопріобрѣтова и Комп.

Но вообразите себѣ всю степень паническаго недоумѣнія ихъ, когда входную дверь они нашли не только запертою, но и запечатанною, и при этомъ оказалось, что печать насомнѣнно принадлежитъ кварталу мѣстной полиціи. Члены толкнулись съ черной лѣстницы въ другую дверь, но и тамъ то-же самое. Позвали дворника, и тотъ объяснилъ, что нынѣшнею ночью прѣзжали жандармы съ полиціей, сдѣлали большой обыскъ, запечатали магазинъ и забрали самого Луку Благопріобрѣтова.

Всѣ ужасно переполошились. Какъ, за что и почему взялъ Лука — никто не зналъ. Недоумѣнію не было предѣловъ. Никто даже и подозрѣвать не могъ, чтобы возможно было арестовать Благопріобрѣтова, этого, повидимому, столь скромнаго, немногословнаго, всегда осторожно сдержаннаго, осторожно поступающаго подвижника. Ему, казалось, только и дѣла было, что до своей конторки, до своихъ книжныхъ полокъ... Правда, любилъ онъ постоянно мечтать о возрожденіи человѣ-

чества для новаго духа и новой жизни въ алюминіевыхъ фаланстерахъ—но что жъ изъ того? Кому теплѣй, или холоднѣй было отъ мечтаній Луки Благопріобрѣтова? Члены коммуны чуть ли даже не единодушно были убѣждены, что этотъ вѣчный труженикъ способенъ только смотрѣть за книжнымъ магазиномъ, корпѣть надъ конторскими книгами и счетами, да еще по принципу добровольно измозжать плоть свою, а онъ вдругъ тѣмъ-то еще такимъ занимался, за что люди знакомятся съ секретными комнатами близъ Цѣпного моста. Но тѣмъ же занимался Лука Благопріобрѣтовъ? Что такое творилъ онъ? Для чего ни единой души изъ коммунистовъ не посвятилъ въ свои предпріятія?—На эти вопросы никто не могъ подыскать отвѣта, и только одно недоумѣніе все сильнѣй разрасталось?

— А?.. Каковъ?.. Лукашка-то нашъ?.. А? обращался ко всѣмъ Ардалонъ Полояровъ.

— Чортъ знаетъ, что такое!.. И кто бы ждалъ отъ него! Кто бы могъ ожидать!—пожимая плечами, топырили руки члены коммуны.

Всѣхъ ужасно заинтересовало, что такое именно дѣлалъ Лука и за что, и куда именно спрятанъ теперь?

Съ помощью Сусанны навели черезъ Бейгуша стороной кой-какія справки и пронюхали, что взять Луку по очень важному дѣлу, за какое-то особенное «предпріятіе»; но что за «предпріятіе» такое и въ чемъ его важность—это оставалось покрыто мракомъ неизвѣстности.

Зато начиная съ этой минуты, уваженіе къ таинственному Лукѣ возвысилось на сто градусовъ. Но вмѣстѣ съ уваженіемъ, на сто же градусовъ возвысился и страхъ нѣкоторыхъ коммунистовъ: «а ну, какъ и меня такъ же сжамкаютъ?» За что бы собственно сжамкать Малгоржана или Анцыфрова—этого ни Малгоржанъ, ни Анцыфровъ и сами не вѣдали, но почему же, казалось имъ, и не сжамкать, если сжамкали Луку? Вообще, очень затруднительно опредѣлить то особенное психическое настроеніе, которое одолѣло членовъ коммуны послѣ ареста Луки. Это было очень странное настроеніе. Каждому изъ нихъ и очень страшно было ареста, и очень хотѣлось его. Каждый хотѣлъ бы быть арестованъ, потому что это тотчасъ же возбуждаетъ въ цѣломъ обществѣ говоръ, толки, участіе, сочувствіе,—словомъ, дѣлаетъ изъ человѣка въ нѣкоторомъ родѣ героя, а если и не героя, то во всякомъ случаѣ очень интересную личность: «А, молъ, Анцыфровъ-то! Представьте — бѣдный!.. Въ крѣпости, въ казематахъ». — «Неужели?» — «Да, взять»... — «Ай-ай!.. скажите пожалуйста!.. Какъ жалъ!.. И вѣдь это все наши лучшіе люди!» Всѣмъ вообще Анцыфровымъ казалось, что если говорить о нихъ, то не иначе, какъ о лучшихъ людяхъ земли Русской — дескать, сокъ и соль наша. И вотъ, въ силу таковыхъ-

то побужденій, заманчиво щекочущихъ самодушіемъ, и восточнымъ Малгоржанамъ, и маленькимъ Анцыфрикамъ, и Моисеямъ Фрумкинскимъ, и даже князю Сапово ужасно какъ хотѣлось быть арестованными, и при томъ не иначе какъ ночью, и не иначе какъ съ жандармами, съ каретой, съ казематами,—словомъ, со всѣми эффектными атрибутами, которые придають ореолъ мученичества и политическій интересъ личности каждаго плюгавенькаго Анцыфрика. Но всѣмъ имъ непременно хотѣлось быть мучениками при томъ лишь единственномъ и неизмѣнномъ условіи, чтобы ихъ всѣхъ взяли, поддержали-себѣ маленько и потомъ благополучно бы выпустили съ Богомъ на волю, дабы они могли безпрепятственно опять гулять между любезными согражданами, засѣдать въ читальной Благопріобрѣтова, проживать въ коммунѣ и повѣствовать о своемъ гражданскомъ мужествѣ и подвигахъ онаго во время заточенія. О, при этихъ условіяхъ сколь желательно и сколь лестно быть политически арестованнымъ! Это вѣдь просто отличіе, въ нѣкоторомъ родѣ повышеніе въ чинъ или орденъ на шею!

Но... если арестуютъ, да не поддержать и выпустить, а вдругъ ушлютъ въ какой-нибудь городъ Кадниковъ или Бугульму, подъ надзоръ мѣстныхъ властей полицейскихъ,—словомъ, въ какія-нибудь такія допотопныя страны, гдѣ ни о гражданскомъ мужествѣ, ни о гражданской скорби еще и не слыхивали... Вдругъ эдакая-то бѣда стряется!—Тогда что?.. Оно, конечно, можно и въ Кадниковѣ, идти, такъ сказать, пионеромъ цивилизаціи и гражданскихъ чувствъ, но, чортъ возьми, тамъ насчетъ этихъ предметовъ и слова-то сказать не съ кѣмъ! Ты имъ будешь о гражданскомъ мужествѣ и о прочемъ, а они тебѣ на это:—«Н-да-съ... Такъ-съ... Да это, молъ, что-съ! А вотъ не хотите ли въ стуколку?» Главная бѣда, что тамъ разговаривать-то рѣшительно не съ кѣмъ! И поэтому, въ силу соображеній о Кадниковѣ и Бугульмѣ, члены коммуны, вмѣстѣ съ желаніемъ эффектнаго ареста, въ то же время и сильно потрухивали его.

Каждый Анцыфрикъ, каждый Малгоржанъ въ то же самое утро, какъ только узнали объ арестѣ Луки, поспѣшили домой и тщательно перерыли и пересмотрѣли всѣ книжки, всѣ бумажки свои; но запретныхъ плодовъ между ними, за исключеніемъ двухъ-трехъ невинныхъ фотографическихъ карточекъ, рѣшительно не оказалось, несмотря на все стремленіе этихъ господъ подвести хотя что-либо, собственной цензурой, подъ категорію запрещеннаго. Тѣмъ не менѣе, для вышлаго успокоенія, они побросали въ огонь и карточки, и много разнаго хлама въ родѣ старыхъ корректуръ, старыхъ рукописей, записокъ, писемъ, счетовъ и прочаго.

Это существеннѣе всего способствовало облегченію ящиковъ стола и собственного ихъ духа.

Каждый въ отдѣльности, невольно поддаваясь въ душѣ чувству страха за возможность неблагоприятнаго ареста, хотѣлъ бы какъ нибудь увильнуть отъ него и потому стремился исчезнуть куда ни-на-есть изъ коммуны, укрыться гдѣ-нибудь на сторонѣ, въ мѣстѣ укромномъ, глухомъ и безопасномъ, и каждый, въ то-же самое время, ясно провидѣлъ въ другомъ подобное же эгоистическое стремленіе; но Малгоржану, напригнѣвъ, не хотѣлось, чтобы Анцыфровъ избѣжалъ ареста, тогда какъ самъ онъ, оставаясь въ коммунѣ, подвергнется ему; равно и Анцыфрову не хотѣлось, чтобы и Малгоржанъ укрылся, если ему, Анцыфрову, предлежитъ сія печальная участь.—«Ужъ лучше всѣмъ вмѣстѣ, всѣмъ за-одно», думаетъ каждый въ глубинѣ души, и потому одинъ за другимъ зорко наблюдаетъ, чтобы тотъ не увильнулъ какъ-нибудь изъ коммуны. Такимъ образомъ, первое время всѣ члены коммуны держались какъ бы въ стадѣ, и если выходили куда, то старались сдѣлать это, по возможности, гуртомъ. Одна только вдовушка Сусанна, не раздѣляя этихъ опасеній, ни за что не желала подчиниться теперь стаднымъ свойствамъ и требованіямъ. Какъ ни убѣждали ее сидѣть дома, какъ ни увѣряли ревнивый Малгоржанъ, что это даже подлость не сидѣть, когда всѣ сидятъ, Сусанна все-таки урывалась изъ коммуны и возвращалась только позднимъ вечеромъ. Малгоржанъ-Казаладзе, быть можетъ и не безъ основаній, подозрѣвалъ, что причина этихъ настойчивыхъ уклоненій и продолжительныхъ отлучекъ «кузинки» лежитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ бравыхъ свойствахъ красиваго Бейгуша.

Впрочемъ, сама «кузинка», несмотря на всѣ назойливыя приставаыя, не давала восточному человѣку ни малѣйшаго отчета въ своихъ послѣднихъ поступкахъ. Восточный человѣкъ бѣсплсся, выходилъ изъ себя и жестоко испытывалъ то самое чувство, которое — увы! — онъ еще почти вчера называлъ гнуснымъ и недостойнымъ порядочнаго человѣка, проповѣдуя, что чувство это совершенно тождественно съ тѣми побужденіями, въ силу которыхъ пошляки и подлецы не позволяютъ другому человѣку надѣть своего носильнаго платья или брезгаютъ пить изъ одного и того же стакана одну и ту же воду. Короче, онъ жестоко ревновалъ свою «кузинку».

Прошло нѣсколько дней послѣ ареста, надѣлавшаго столько переполоха. Сожители все ожидали, что не сегодня-завтра нагрянутъ жандармы и ихъ заберутъ. Каждый внезапный и порывистый звонокъ приводилъ ихъ въ смущеніе. И чего такъ страшились эти политическіе жеребята, они и сами не знали, но только

страшились, потому что время тогда такое было... «Тамъ берутъ, тутъ берутъ — отчего же и насъ не взять?» все думаетъ-себѣ Малгоржанъ или Анцыфровъ, безпрестанно возвращался все къ одной и той же господствующей и тревожащей мысли.

Но проходила ночь за ночью, день за днемъ, а роковой звонокъ не раздавался. Если и были звонки, то все такіе, которые Полояровъ называлъ «глупыми»: они возвѣщали либо знакомыхъ, либо кредиторовъ. Жандармы не появлялись. Это, наконецъ, становится даже досадно, зачѣмъ они не появляются! И именно досадно потому, что съ каждымъ днемъ вѣроятность ареста уменьшалась, а вмѣстѣ съ этимъ уменьшеніемъ опасности пропорціонально росло заманчивое желаніе быть эффектно арестованнымъ—само собою, съ соблюденіемъ того условія, что поддержать маленько да и выпустятъ. И съ каждымъ же днемъ Малгоржаны и Анцыфровы, всякъ про себя, почему-то все болѣе убѣждались, что если возьмутъ, то непременно выпустятъ здрава и невредима. Это было желаніе играть въ герои и болѣзнь дурныхъ шансовъ игры—совершенно по пословицѣ: «и хочется и колется»...

Одна только Сусанна, всецѣло занятая другими мыслями, была чужда этихъ желаній.

Но... дни шли за днями, ареста не послѣдовало—и члены мало-по-малу совсѣмъ успокоились.

А между тѣмъ, съ исчезновеніемъ Луки Благопріобрѣтова, всѣ дѣла ассоціаціи стали какъ-то расплзаться, не клеятся. Ужъ не говоря о книжномъ магазинѣ, которымъ онъ одинъ только и занимался какъ слѣдуетъ и который доставлялъ довольно значительную поддержку для существованія коммуны,—всѣ эти швейныя и переплетныя тоже пошли врознь. Богъ-вѣсть какъ и отчего, члены и сами не понимали, только съ отсутствіемъ Луки все у нихъ стало не клеиться. Этотъ немногословный, медлѣжеватый, узколобый Лука, который постоянно уклонялся отъ сожителства въ коммунѣ, быть можетъ для того, чтобы успѣшнѣе заниматься какимъ-то своимъ особымъ таинственнымъ «предпріятіемъ», этотъ Лука, на котораго всѣ склонны были смотрѣть почти какъ на послѣднюю спицу въ колесницѣ—онъ-то, невѣдомо для сочленовъ, и былъ настоящею, живою душою всего дѣла, главнымъ направителемъ, руководителемъ и дѣвателемъ всей работы, всѣхъ предпріятій, клонившихся къ возрожденію человѣчества. Духъ отлетѣлъ—и организмъ сталъ разрушаться.

VI.

Сюрпризъ отъ вдовушки Сусанны.

Не прошло и мѣсяца послѣ ареста Луки, какъ членовъ коммуны поразила новая и весьма существенная непріятность.

Однажды вдовушка Сусанна исчезла и нечаять не вернулась. Малгоржанъ очень тревожился. Прошли еще сутки, а вдовушки нѣтъ какъ нѣтъ. Малгоржана уже начинали мучить нѣкоторые темныя предчувствія. Онъ ужъ замышлялъ-было подавать въ полицію объявку объ исчезновеніи «кузинки», какъ вдругъ на третій день утромъ Лидинька Затцъ получила съ городской почты письмо. Хотя это письмо и было адресовано на ея имя, но содержаніе его относилось ко всѣмъ вообще. Это было, въ нѣкоторомъ родѣ, посланіе соборное.

«Любезные сограждане! (писала Сусанна) Спѣшу васъ удивить очень пріятною для меня новостью: третьяго дня вечеромъ я сочеталась формально-законнымъ бракомъ съ поручикомъ конной артиллеріи Анзельмомъ Людвиговичемъ Бейгушъ. Новое мое положеніе препятствуетъ мнѣ продолжать старую жизньъ съ вами, мои любезные сожителѣ. Поэтому, я прошу мою милую Лидиньку вещи мои собрать и переслать ко мнѣ по прилагаемому адресу. Мужу моему и мнѣ будетъ очень пріятно видѣть у себя всѣхъ васъ безъ исключенія. По воскресеньямъ вечеромъ мы всегда дома. Въѣстѣ съ этимъ, нахожу нужнымъ увѣдомить васъ, что я сегодня же препроводила къ хозяину дома деньги, слѣдующія ему за послѣдній мѣсяцъ, и на дальнѣйшее время отказалась отъ квартиры. Если желаете оставаться въ ней, то постарайтесь уже сами какъ-нибудь устроить это. Вѣрьте, мои друзья, что время, проведенное мною съ вами, останется для меня навсегда однимъ изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній. Остаюсь преданная вамъ
«Сусанна Бейгушъ».

Карась, внезапно свалившійся съ неба, не могъ бы произвести болѣе сильнаго, болѣе неожиданнаго впечатлѣнія, чѣмъ это недлинное посланіе. «Какъ замужемъ?.. А какъ же мы-то теперь?» мелькнуло прежде всего въ головѣ каждаго.

Полояровъ, изобразивъ гримасу, которая выражала собою какъ-бы восклицаніе: вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!—обратился съ комическимъ поклономъ къ Малгоржану. Тотъ былъ внѣ себя.

— Дайте мнѣ кинжалъ!.. Я восточный человекъ!.. Я... я съ кинжаломъ пойду!.. Я этого не позволю!—чуть не задыхаясь и бѣгая по комнатѣ, съ крѣпко сжатыми кулаками, не заговорила, а какъ-то захаркалъ гортаннымъ своимъ голосомъ Малгоржанъ-Казаладзе. Когда онъ былъ взволнованъ или раздраженъ чѣмъ-нибудь, то быстрый говоръ его всегда переходилъ въ какое-то горловое харканье—почти общее свойство людей его расы. Глаза Малгоржана налились кровью, губы дрожали, въ душѣ кипѣла ревность, а въ головѣ вставалъ призракъ вопроса: какъ же ты теперь безъ кузинки существовать-то будешь?..

— Это подлость!.. Это измѣна! Измѣна дѣлу!—тараторила азартная Лидинька. — Законный бракъ... и еще съ военнымъ... съ офицершккой!.. Гдѣ жъ принципъ, послѣ этого?.. Это низость, мерзость, пошлость!.. Это надо огласить! Непременно надо! Чтобы во всѣхъ газетахъ, во всѣхъ журналахъ оттрепали ее за этакую подлую измѣну!.. Надо, чтобы «Искра», чтобы каррикатуры... Погоди-жь ты, голубушка!.. Я, господа, я это устрою!.. Непременно устрою!.. Это такъ нельзя оставить! Это до всѣхъ касается, до всѣхъ честныхъ и мыслящихъ людей!.. Это общее дѣло, господа!.. Анцыфровъ, приготовь мнѣ бумагу, я буду сейчасъ же карриатуру въ «Искру» сочинять!

Животрепещущая Лидинька горячилась не менѣе оскорбленнаго Малгоржана.

— Какъ же теперь квартира?—размышлялъ болѣе практичный Моисей Фрумкинъ. — Князь! надо, чтобы это вы теперь на себя взяли, на свое имя... съ квартирой-то...

— Да, да, съ квартирой... на свое имя... на себя взяли... безсознательно, но благодушно повторялъ князь, улыбаясь и хлопая глазами въ одно и то же время.

— Дайте жъ мнѣ кинжалъ! Я восточный человекъ!.. азіатскій человекъ!.. Понимаете?!.. Я... я пойду... Я съ кинжаломъ!—харкалъ межъ тѣмъ азартно бѣгающій Казаладзе.

— Ну, и что жъ, что ты съ кинжаломъ?—философски ухмылялся, обращаясь къ нему болѣе всѣхъ спокойный Полояровъ.

— Я съ кинжаломъ!.. съ большимъ кинжаломъ!—не слушая его, оралъ покинутый кузенъ.

— Ну, и съ большимъ! Ну, и что жъ изъ того, что ты съ большимъ кинжаломъ?

— Я ее заколю, его заколю, всѣхъ заколю!.. Я не позволю!.. Она мнѣ деньги должна еще... Она мнѣ пускай деньги мои прежде отдастъ... Я жаловаться буду... Я мои права имѣю!..

— Азія!.. Смирися!.. Смирися, безобразіе Азіи, говорю тебѣ!—комически-ораторскимъ тономъ взывалъ къ нему Ардальонъ, простирая руки.—Не ву горяче па! Что съ возу упало, то пропало!.. Гляди на жизньъ философски, какъ гляжу я—и благо ти будетъ! Ну, что же, что кузинка носъ показала? Укротись и старайся сыскать новую—и будешь ты утѣшенъ! Вотъ тебѣ мое вѣрное слово!

И долго еще подымалась въ тотъ день пыль смятенія въ коммунѣ. Долго еще возглашала Малгоржанъ о своемъ восточномъ происхожденіи, долго и Лидинька тараторила объ измѣнахъ, подлости и пошлости, то принимаясь за карриатуру, то измышляя горяченькую обличительную статейку, чтобы хорошенько хлестнуть въ ней Сусанну за измѣну принципамъ и общему дѣлу. А Моисей Фрумкинъ и Ардальонъ Полояровъ, каждый втайнѣ, самъ про себя, измышляли уже новые пути и планы для обезпеченія собственнаго и коммуннаго житья-бытья безъ

посредства щедрого кармана безкорыстной вдовушки.

VII.

Мины и подкопы.

Планы эти естественным образом сошлись на князь Сапово-Неплохово. Да и кто-жь бы иначе могъ замѣнить вдовушку Сусанну? Ни Ардальонъ, ни Фрумкинъ не повѣрили другъ другу своихъ сокровенныхъ цѣлей и стремлений: каждый дѣйствовалъ особо, потому что каждый рассчитывалъ приобрести себѣ исключительное вліяніе на князя; и оба въ то же время чувствовали, что одинъ другому мѣшаетъ, перебиваетъ дорогу и, пожалуй, даже ногу не прочь подставить. Изъ этого возникла затаенная вражда Моисея къ Ардальону и Ардальона къ Моисею. Это были два врага, которые одновременно вели осаду на одну и ту же крѣпость: оба хотѣли взять крѣпость и въ то же время сокрушить другого осаждающаго.

Моисею ужъ давно было не по душѣ то нравственное преобладаніе, которымъ пользовался въ коммуниѣ Полояровъ, тѣмъ болѣе, что смысленный Моисей какъ нельзя лучше понималъ, что все это преобладаніе, всѣми чувствуемое, но въ-явь никѣмъ не признаваемое, построено единственно на безпардонномъ нахальствѣ Ардальона, на его наглости, на его громкомъ голосѣ и на его безапелляционно-авторитетномъ тонѣ, которымъ онъ рѣшалъ, что всѣ—дураки и пошляки, и никто ничего не знаетъ, не смыслить и не умѣетъ, давая тѣмъ самымъ чувствовать, что уменъ и свѣдущъ одинъ только онъ, Ардальонъ Полояровъ. Самолюбіе Фрумкина давно уже страдало втайнѣ и отъ Полояровскаго первенства, и отъ Полояровской безцеремонности отношеній. Оно страдало тѣмъ болѣе, что Фрумкинъ чувствовалъ и признавалъ, что и онъ точно такъ же могъ бы играть ту же самую роль, какую теперь играетъ Полояровъ и что немножко бы только нахальства—и ничто тому не помѣшаетъ. Моисей въ глубинѣ души своей рѣшилъ сокрушить Ардальона и стать на его мѣсто. Ардальонъ же, пользуясь столько времени своими преимуществами, считалъ себя съ этой стороны вполне обезпеченнымъ, несокрушимымъ, и стремился только къ тому, чтобы не допустить Моисея до исключительнаго вліянія на князя Сапово-Неплохово. Но задавшись такою цѣлью, онъ совершенно упустилъ изъ виду, что кромѣ Моисея, въ коммуниѣ существуютъ еще и другіе члены, которыхъ впрочемъ онъ привыкъ считать за ничто, а этими-то именно членами и воспользовался исподволь Моисей Фрумкинъ. Полояровъ, въ безпечномъ спокойствіи своемъ, ничего еще и не подозрѣвалъ, а Фрумкинъ между тѣмъ

съ этой стороны успѣлъ уже подвести подъ него весьма значительныя мины.

Каждый изъ коммунистовъ, конечно, не мѣняе Фрумкина чувствовалъ на себѣ тягость Полояровскаго преобладанія, каждый, быть можетъ, признавалъ, что Полояровъ третируетъ его въ душѣ какъ дурака, но... такъ какъ Полояровъ разъ уже завоевалъ себѣ это привилегированное положеніе и всѣ подчинились такому порядку вещей (сначала, конечно, безсознательно), то потомъ уже всѣ и молчали. Кто молчалъ изъ малодушія, изъ трусости, кто отъ безхарактерности или въ силу подчиненія болѣе сильной натурѣ Ардальона, а кто и отъ самолюбія: «какъ-же, молъ, я сознаюсь, что Ардальонъ командуетъ надо мною... Хоть оно, молъ, и такъ, а только я виду не покажу». И такимъ образомъ, чувствуя извѣстнаго рода тягость, всѣ молча выносили ее до поры до времени. Можетъ быть, этимъ господамъ пришлось бы и очень еще долго выносить ее, если бы въ душѣ Моисея не возникла коварная мысль воспользоваться Ардальоновскими преимуществами.

Этимъ побужденіями болѣе всего руководили расчеты на карманъ глупаго князя, въ который и Ардальонъ протягивалъ свою лапу. Были тутъ у Моисея и еще кое-какія соображенія, и тоже финансоваго свойства: Моисей былъ самый работающій человекъ изъ всѣхъ коммуническихъ сожителей. Онъ и переводами занимался, и корректуры правилъ, и фельетончики въ одну газетку поставлялъ, за что и получалъ приличное вознагражденіе. Сумма его мѣсячнаго заработка превышала заработокъ другихъ; поэтому Моисею было обидно, что съ какой же стати онъ долженъ свой заработокъ отдавать въ кассу, находящуюся въ завѣдываніи Полоярова, и съ какой стати этотъ самый Полояровъ, зарабатывая гораздо меньше, но пользуясь равными условіями жизни, живетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, на его, Фрумкина, счетъ? Что оба они, равно съ прочими, жили на счетъ князя и Сусанны—этого Моисей въ расчетъ не принималъ и вообще старался исключать изъ своихъ соображеній, какъ нѣчто къ дѣлу вовсе не подходящее; но помнилъ онъ только себя и свой собственный, личный заработокъ.

Моисей мало-по-малу успѣлъ и прочимъ членамъ внушить мысль, что Полояровъ, зарабатывая самъ очень немного и въ то же время распоряжаясь общими деньгами, живетъ по преимуществу на ихъ общій счетъ. Это открытіе очень понравилось членамъ и оно-то послужило началомъ возстанія противъ Ардальона. Полояровъ обязанъ былъ ежемѣсячно представлять отчетъ общему собранію членовъ, но прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ, а онъ объ отчетѣ и не думалъ, да и ему никто не напоминалъ про это. Всѣ, казалось, жили спустя

рукава, а Полояровъ болѣе всѣхъ, и потому позамотался-таки и позапутался въ расчетахъ весьма изряднымъ образомъ.

Подготовка свою партію, Фрумкинъ, наконецъ, явно возсталъ противъ Ардальона. Всѣ, въ одинъ голосъ, потребовали у него отчетовъ. Ардальонъ почувствовалъ весьма критическое положеніе. Хотѣлъ было, по обыкновенію, взять нахальствомъ, — не удалось, хотѣлъ и такъ и сикъ вильнуть въ сторону — и тоже не удалось. Члены настойчиво предъявляли свои требованія, Фрумкинъ кричалъ болѣе всѣхъ и даже грозился предать гласности всѣ поступки Полоярова, если тотъ не представитъ самаго точнаго, вполне удовлетворяющаго отчета.

Даже маленькій Анцыфрикъ совсѣмъ вышелъ изъ повиновенія. Полояровъ растерялся. Авторитетъ его видимо падалъ и почти уже превратился въ ничто. Въ коммуны поселился раздоръ, раздвоеніе, или, вѣрнѣе сказать, возстаніе противъ Ардальоновской диктатуры. Такимъ образомъ, этотъ развѣнчиваемый кумиръ испытывалъ теперь на себѣ общую судьбу всевозможныхъ диктаторовъ: пока не появлялось соперника — онъ могъ дѣлать все, что угодно, и всѣ ему подчинялись, всѣ молчали, всѣ терпѣли; но чуть явился соперникъ въ лицѣ Моисея — всѣ разомъ поднялись и завопили противъ Полоярова. Всѣмъ даже и лестно, и пріятно было теперь вымести на немъ все свое прошлое униженіе, презираемость, повиновеніе и молчаніе. Фрумкинъ явно одолѣвалъ, — Ардальону оставалось только покориться со смирениемъ...

VIII.

«Съ того берега».

Но не таковъ былъ Ардальонъ, чтобы сразу смириться передъ Фрумкинымъ. Еще въ тѣ времена, когда онъ былъ становымъ приставомъ, онъ сдѣлалъ себѣ такую привычку, чтобы всѣ ему покорялись, а теперь вдругъ какой-нибудь Мошка Фрумкинъ одолеваетъ! Нѣтъ, этого нельзя! Это невозможно! Горше всего была потеря авторитета, потеря преобладанія. Во что бы то ни стало, надо приложить всѣ усилія, пустить въ ходъ всѣ способы, всю изобрѣтательность къ тому, чтобы возстановить свой авторитетъ въ прежней силѣ. Разъ, что онъ возстановленъ, преобладаніе и безконтрольность администрации явятся сами собою, какъ естественныя слѣдствія Полояровскаго авторитета, и тогда Ардальонъ наступитъ на василиска и покоритъ подъ ногу свою змія и скорпія и Мошку Фрумкина.

Хотя Ардальонъ и былъ теперь весьма сконфуженъ, хотя онъ и въ-концѣ растерялся, тѣмъ не менѣе продолжать третировать въ душѣ своихъ сотоварищей, какъ дураковъ. А

между тѣмъ самолюбіе вопіетъ, злоба на Мошку кипитъ, обаяніе недавней власти требуетъ возстановленія падшаго достоинства, мозги работаютъ надъ скорѣйшимъ изобрѣтеніемъ способовъ для этого возстановленія, а тутъ эта сконфуженность мѣшаетъ, эта растерянность и самая необходимость поспѣшности лишаютъ возможности спокойно сосредоточиться въ своихъ мысляхъ, обдумать, обстроить получше, обставить половче все дѣло — и вотъ, Ардальонъ Полояровъ стгоряча додумывается до замѣчательнаго изобрѣтенія.

* * *

Члены назначили ему вечеръ, когда онъ сблизанъ былъ представить имъ отчеты. Такъ какъ Фрумкинъ опасался съ ихъ стороны охлажденія къ дѣлу, думая, что Ардальонъ успѣетъ подвести подъ нихъ какую-нибудь такую механику, которая возвратитъ ему общее ихъ довѣріе и расположеніе, то и рѣшился поэтому дѣйствовать стгоряча, не давалъ ни членамъ, ни Полоярову сообразиться и одуматься. Впрочемъ, члены достаточно сильно поднялись противъ своего администратора и сами назначили ему слѣдственное засѣданіе на другой же день послѣ возстанія.

Съ утра они, по обыкновенію, разбрелись; но Полояровъ остался дома и все время запершись сидѣлъ въ своей комнатѣ. Вечеромъ же, когда всѣ собрались, онъ самъ, безъ всякаго зова и понужденія, очень спокойно вышелъ къ нимъ въ залу. Въ лицѣ его было гордое и нѣсколько презрительное спокойствіе незаслуженно-оскорбленнаго достоинства. Это лицо какъ-будто говорило: «а все-таки вы-де дурачье, и я стою на столько высоко, что всѣ ваши оскорбленія никакъ до меня не достигнутъ».

— Извините, господа, — началъ Ардальонъ очень тихо, сухо и сдержанно. — Извините меня, что я не успѣлъ приготовить вамъ отчетъ... Я попрошу на это еще дня два сроку... сегодня никакъ не могъ, потому что получилъ изъ-за границы очень важное для меня письмо и долженъ былъ по поводу его заняться нѣкоторыми соображеніями.

— Какое намъ дѣло до вашихъ писемъ! — отозвался Фрумкинъ. — Изъ-за вашихъ корреспонденцій не терпѣтъ же общему интересу! Это довольно странно!

— А можетъ эта корреспонденція касается еще болѣе важныхъ и болѣе общихъ интересовъ чѣмъ ваши? — загадочно и вѣско возразилъ Полояровъ. — Вы думаете, что весь міръ только въ вашихъ однихъ интересахъ и заключается?.. Но я повторяю вамъ, что я не могъ и даже... просто не имѣлъ права оставить безъ извѣстныхъ соображеній это письмо.

— Да какое письмо-то?.. Откуда письмо? — не утерпѣла любопытная Лидинька.

— Изъ Лондона,—какъ бы не-хотя и равнодушно отвѣтилъ ей Полоярвъ.

Всѣ насторожили уши.

— Изъ Лондона?—протянула удивленная и озадаченная Затцъ.— Это еще новости какія-то!.. Хм... Съ кѣмъ же это у васъ корреспонденціи въ Лондонѣ завелись?

— А вы полагали, что я только съ вами и могъ вести ихъ? Слишкомъ много чести мнѣ!—пронически поклонился ей Ардальонъ.

— Вы изъ Лондона письмо получили? Отъ кого же это!—вмѣшался Малгоржанъ, любопытный не менѣе Лидиньки.

— Отъ Герцена... Отъ кого же еще!—опять какъ бы не-хотя и равнодушно отвѣтилъ Полоярвъ.

Это послѣднее сообщеніе произвело-таки своего рода эффектъ. Фрумкинъ смутно сталъ предчувствовать, что противникъ подводитъ какіе-то еще невѣдомые ему подвохи. Всѣ переглянулись — и въ этихъ скрестившихся взглядахъ сказалось и недоумѣніе, и сильное любопытство: «Какъ это, молъ, Ардальонъ Полоярвъ — и вдругъ письмо отъ Герцена!.. Герценъ и Полоярвъ!.. Э!.. Значитъ, Полоярвъ-таки молодецъ... Штука-то не простая!» помыслилъ каждый про-себя не безъ того, чтобы не ощутить въ душѣ маленькій позывъ на возвратъ нѣкотораго уваженія къ Ардальону.

— Да! — со вздохомъ началъ Полоярвъ грустнымъ и горько-проническимъ тономъ, вынимая изъ бокового кармана разорванный конвертъ. — Мои друзья, тѣ, на кого я такъ надѣялся, кому я вѣрилъ, кого я считалъ людьми одинаковыхъ убѣждений со мною, всѣ тѣ, для которыхъ я готовъ былъ по-братски жертвовать и временемъ, и трудами, и моимъ честнымъ заработкомъ кускомъ хлѣба—всѣ тѣ отъ меня отвернулись, подозреваютъ меня въ какихъ-то продѣлкахъ, считаютъ за какого-то подлеца и мерзавца!.. Это въ благодарность за мое-то братское радушіе!.. А вотъ люди иного сорта, люди, съ которыми я, положимъ, лично и не знакомъ, но эти люди и заочно знаютъ меня и дѣлаютъ мнѣ честь и уваженіе... Они вотъ и заочно успѣли понять и оцѣнить меня... А мнѣ больше ничего и не нужно! Я и тѣмъ счастливъ! Считайте меня послѣ этого за кого вамъ угодно — мнѣ рѣшительно все равно: я все-таки знаю, что за мною остается уваженіе такихъ людей, до которыхъ намъ съ вами далеко, господя.

Всю эту рѣчь, очевидно подготовленную заранее, Полоярвъ произнесъ даже растроганнымъ голосомъ и при томъ съ чувствомъ неуязвимаго, благороднаго достоинства, которое знаетъ себѣ настоящую цѣну.

— Да мы тебя вовсе и не думаемъ за подлеца считать! — вступилась Лидинька. — Мы только отчета хотимъ, потому что это такъ въ правилахъ положено... Что-жъ тутъ такого?

— А о чемъ пишеть-то? Покажи, душа моя... прочти, пожалуйста!—ласково приступилъ Малгоржанъ, въ которомъ сила любопытства значительно умячила на время силу враждебности къ сотоварищу.

Моисей Фрумкинъ мрачно стоялъ поодаль у окна и въ злобномъ молчаніи кусалъ себѣ ногти. Онъ сильно опасался теперь, что члены примирятся съ Ардальономъ, и вся его стратегика рухнетъ, опрокинутая ловкимъ противникомъ. Глухой князь, побѣжденный именемъ Герцена, уже юлилъ около Полоярва и искательной улыбкой ослаблялъ свои зубы. За исключеніемъ одного только Моисея, всѣ члены любопытно подвинулись къ Ардальону Михайловичу и не безъ благосклонности приготовились услышать Герценовское посланіе.

Полоярвъ развернулъ письмо и началъ читать:

«Милостивый Государь

«Ардальонъ Михайловичъ!

«Мы не знакомы съ вами лично. Вы выступили бойцомъ на ваше поле далеко позднѣе насъ: мы были уже тогда вдали отъ родины, и здѣсь, на этомъ берегу, готовились къ святому служенію ей... Мы вышли ранними сѣтелями. Вамъ досталась доля болѣе завидная чѣмъ намъ: вы насъ моложе, вы насъ бодрѣе. Вы на мѣстѣ осизаете вашу родную почву, и вамъ, быть можетъ, предстоитъ честная жатва... А мы... мы только издали можемъ смотрѣть на нее, наблюдать ее, мучительно скорбѣть о ней, о нашей, пока еще несчастной родинѣ и присоединять нашъ горячій голосъ, но увы! только голосъ — къ свѣтлой благородной дѣятельности людей нашего поколѣнія. Мы не знакомы съ вами лично, но мы заочно знаемъ васъ. Добрыя вѣсти о дѣятельности честныхъ людей хорошо доходятъ къ намъ изъ Россіи, несмотря на російско-нѣмецкія таможи, татарскія цензуры и рафинированную жандармерію. Вы остаетесь однимъ изъ тѣхъ немногихъ дѣятелей, которые высоко держатъ въ Россіи знамя демократическаго социализма. Съ свѣтлымъ упованіемъ обращаются наши очи на этихъ апостоловъ, бѣдныхъ числомъ, но богатыхъ духомъ и вѣрою. Идите же твердо и неуклонно вашимъ тернистымъ путемъ къ источнику новой жизни! Борьба неизбежна—боритесь! Мы будемъ благословлять васъ. Вы побѣдите—мы будемъ братски ликовать съ вами. Вы падете—мы запишемъ на вѣчную память всему міру ваши громкія имена въ наши срытые мартирологи, мы вплетемъ ихъ въ славный вѣнецъ нашихъ мучениковъ свободы. Идите!—надъ вами заря побѣды! Отходящіе бойцы кланяются новымъ побѣдителямъ. Привѣтъ вамъ изъ нашего далѣка! Горячо жму вашу руку. Вашъ А. Герценъ».

Письмо это сначала озадачило всех слушателей. Малгоржанъ уже сталъ было сладко улыбаться своими жирными глазами. Анцыфровъ ласково заегазилъ и головенкой, и руками и ногами—точь-въ-точь какъ маленькій пѣсикъ съ закорюченнымъ хвостикомъ, а князь просто заржалъ отъ восторга и, слюняво сюсюкая, горячо ухватилъ и трясъ руку Полоярова:

— Bravo!.. Поздравляю!.. Благодарю!.. благодарю!.. лепеталъ онъ захлебываясь.— Bravo! ей-Богу, браво! Я радъ... я душевно радъ!..

— А покажите-ка конвертъ? — съ какимъ-то затаеннымъ умысломъ и съ видимымъ недоверьемъ обратился къ Ардальону Фрумкинъ.

Легкая тѣнь смущенія пробѣжала по лицу Полоярова. Онъ насупился и кашлянувъ отвернулся, будто и не слышалъ словъ Моисея.

Тотъ повторилъ свое требованіе.

— На кой вамъ чортъ конвертъ еще понадобился?

— Такъ. Видѣть желаю.

— Нечего вамъ тутъ видѣть! Ничего вы дальше своего носа не увидите.

— А вы все-таки покажите. Отчего это вы такъ упорно не желаете показать мнѣ?

— Да мнѣ чтѣ!.. Пожалуй, нѣ-те! глядите!

И онъ пренебрежительно бросилъ конвертъ Моисею.

Тотъ взялъ его со стола и внимательно оглядѣлъ съ обѣихъ сторонъ.

— Какими же вы судьбами получили это письмо?.. Тутъ что-то ни нашихъ ни заграничныхъ штемпелей не видать... да и марокъ тоже нѣту.

Фрумкинъ вопросительно испытующимъ взглядомъ поглядѣлъ въ лицо Полоярову.

Ардальонъ свесилъ глаза свои внизъ и въ сторону.

— Экой вы младенецъ невинный! — помолчавъ немного, но все-таки не глядя на Моисея, насмѣшливо заговорилъ онъ. — Какой же это дуракъ сталъ бы такіа письма прямо по почтѣ пересылать? Для этого надо не имѣть въ башкѣ ни капли человѣческаго смысла! Развѣ такіа вещи по почтѣ пересылаются?

— А какъ вы получили его? — любопытно допытывалъ Малгоржанъ съ пріятной улыбкой.

— Да нынче вотъ... Служу я это надъ вашими расчетами (слово «расчеты» Полояровъ произнесъ не безъ преднамѣренной ироніи), вдругъ звонюкъ. Я отворяю, смотрю—какой-то совершенно незнакомый господинъ. — «Здѣсь, говоритъ, живетъ Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ?» — Здѣсь, говорю: — я самъ и есть; а вамъ чтѣ, говорю, угодно? Тутъ онъ мнѣ подаль это самое письмо. «Я, говоритъ, изъ друзей... вы не сомнѣвайтесь! Проѣздомъ изъ-за границы и ѣду теперь въ Москву, а черезъ нѣсколько дней вернусь, и тогда, говоритъ, непременно буду у васъ». Я заперъ дверь за нимъ, распечатываю и просто глазамъ не вѣ-

рю!.. Да—прибавилъ Ардальонъ въ заключеніе съ самодовольной улыбкой, — порадовалъ-таки меня Александръ Ивановичъ — спасибо ему, голубчику!.. Это вѣдь просто патентъ, въ нѣ-которомъ родѣ... Этимъ можно гордиться-съ!

— Гордиться-то можно, да только не вамъ, — съ ѣдкой замѣтилъ Фрумкинъ.

— Отчего жъ бы это и не мнѣ-съ?

— А оттого, что не вы ли сами всегда обзываете Герцена и дуракомъ-то, и отсталымъ-то, и лишнимъ человѣкомъ, и краснобаемъ. Вспомните-ка, вѣдь это все ваши эпитеты! То вдругъ еще вчера онъ у васъ выдохшійся болтунъ, пустельга-колотовка, а сегодня ужъ вы гордитесь имъ!.. Послѣдовательно-съ! И главное, прочность вашихъ убѣжденій рисуется!

Полояровъ побагровѣлъ и злобно вскинулся глазами на Моисея.

— Я съ вами и говорить-то не хочу! — презрительно пробурчалъ онъ отворачиваясь.

— Это всеконечно такъ-съ! — съ улыбкой поклонился Фрумкинъ. — Больше вамъ и сказать-то мнѣ нечего.

Онъ чувствовалъ, что шансы его борьбы съ Полояровымъ начинаютъ колебаться, и потому, какъ утопающій за соломинку, хватался теперь за каждый малѣйшій крючекъ, чтобы повернуть дѣло въ свою пользу.

— А мнѣ, господа, это письмо кажется очень сомнительнымъ! — не стѣняясь присутствіемъ Ардальона, громко обратился онъ къ присутствующимъ. — И странно это, право! Отчего вдругъ Ардальонъ Михайловичъ получаетъ отъ Герцена хвалебный гимнъ своей честности, какъ разъ въ то самое время, когда мы настойчиво потребовали отъ него отчетовъ? Не знаю, какъ вы, господа, а я нахожу, что это очень странная игра случая!

Лидинька громко захохотала одобрительнымъ смѣхомъ. Анцыфровъ вслѣдъ за нею тоже было фыркнулъ, но заячьимъ взглядомъ взглянувъ на Ардальона, тотчасъ же струсилъ и примолкъ. И Малгоржанъ, глядя на другихъ, сооронилъ вдругъ лукавую усмѣшку, озаренный новою мыслію со стороны Моисея. Фрумкинъ же, видя это, начиналъ уже ощущать предвѣстіе нѣкотораго торжества.

Полояровъ въ первое мгновеніе окончательно смутился. Злоба въ немъ закипала все болѣе.

— Я... я... я... отрывисто заговорилъ онъ, заикаясь отъ волненія и злости, — я за такіа сомнѣнія морду колочу!

Эти слова сопровождались весьма выразительнымъ жестомъ въ воздухѣ.

И нужно же ему было произнести такое слово! И нужно же было изобразить такой жестъ!.. Эта «морда» сразу сдѣлала то, что члены-сожителі снова и всецѣло переадились на сторону Фрумкина. Весь эффектъ Герценовскаго посланія пропалъ задаромъ. Эта «морда» очень

живо напомнила членамъ Полоярвскія свойства и качества, его безцеремонность, его самомнѣніе, его нравственную диктатуру, которую только вчера, благодаря Фрумкинѣ, они успѣли сбросить съ своей шеи. Герценовское письмо разставляло имъ новыя сѣти, и это очень хорошо повлияло теперь злосчастные коммунисты. Они поняли, что примириться съ Полоярвымъ, поддавшись обаянію Герценовскихъ похвалъ его особѣ, значитъ опять пойти къ нему въ кабалу, и потому очень живо отшатнулись отъ Ардальона, тѣмъ болѣе, что Моисей Фрумкинъ успѣлъ даже заронить въ нихъ сомнѣніе касательно подлинности хвалебнаго письма.

— Нѣтъ, главное, онъ-то! Онъ-то въ дѣтели попалъ!—пронзительнымъ своимъ голосомъ затараторила Лидинька, которая, какъ флюгеръ по вѣтру, перешмыгивала отъ одного къ другому.—Скажите пожалуйста, какіе нынче дѣтели!.. Нѣтъ, настояще-то дѣтели не такъ поступаютъ... Вотъ Лука у насъ былъ настоящий дѣтель, такъ тотъ, небойсь, писемъ не получалъ и всенародно не хвастался ими. Дѣтели-то теперь по казематамъ сидятъ... Вотъ гдѣ дѣтели!.. И въ самомъ дѣлѣ, поглядишь, то тотъ арестованъ, то другой, того взяли, тотъ сосланъ,—берутъ ежедневно и здѣсь, и тамъ, а одно только наше красно-солнышко, нашъ дѣтель, свѣтъ-Ардальонъ Михайловичъ, на свободѣ гуляетъ... Нѣтъ-съ, батюшка, кабы ты былъ настоящий дѣтель, такъ тебя ужъ давнымъ-давно бы арестовали, а ты вишь все еще промежъ насъ толкаешься. А отчего ты не арестованъ? Отчего?

— Глупый вопросъ!—пожавъ плечами, буркнулъ Полоярвъ.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, отчего ты не арестованъ?—какъ пивка выплась Лидинька все съ однимъ и тѣмъ же вопросомъ.

— Оттого, что ты дура.

— Это, сударь мой, не причина-съ. А ты мнѣ все-таки скажи, отчего Лука вотъ арестованъ, а ты нѣтъ? Ты скажи мнѣ, а я послушаю!

— Н-да-съ! Отчего вы и въ самомъ дѣлѣ не арестованы, если вы такой важный дѣтель, если вы одинъ только высоко держите знамя демократическаго социализма?—ядовито поддерживалъ Лидиньку Моисей Фрумкинъ.—Тутъ вотъ поглядишь, кто и гораздо пониже васъ держали знамя-то это, однако и тѣхъ позабирали, а вы благоденствуете на свободѣ. Какіе это боги покровительствуютъ вамъ.

— Нѣтъ, ты скажи намъ, отчего и зачѣмъ ты не арестованъ?—приставала между тѣмъ Лидинька.

— А вы мнѣ скажите, зачѣмъ вы не арестованы?—руки въ боки и ноги врозь, съ нахально смѣющимся лицомъ обратился Полоярвъ ко всѣмъ присутствующимъ.

— Да мы вѣдь писемъ отъ Герцена не получаемъ,—отвѣтилъ за всѣхъ Моисей Фрумкинъ.

— А отчего вы не получаете?

Нѣкоторые изъ членовъ совѣщательно переглянулись между собою. Фрумкинъ молчалъ.

— Ну-съ, такъ отъ чего же вы не получаете?—съ возрастающимъ нахальствомъ наступалъ на нихъ Полоярвъ.

Что было отвѣчать ему на такой назойливый вопросъ?

— Отчего мы, и въ самомъ дѣлѣ, не получаемъ?—хлопая глазами и принимая все это въ самую серьезную сторону, тихо спросилъ наивный князь у Моисея.

— А я вамъ скажу отчего!—продолжалъ Ардальонъ, стоя фертомъ передъ всею компаніею.—Оттого, что вы рыломъ еще не вышли получать-то такія письма! Вотъ отчего!

— Ладно, ладно! А вы намъ, милостивый государь, извольте все-таки отчеты представить!—завопило на Полоярва все общество, въ-конецъ уже оскорбленное послѣдней выходкой. Вы намъ отчеты подайте, а если черезъ два дня у насъ не будетъ отчетовъ, такъ мы ихъ у васъ гласно, печатнымъ образомъ потребуемъ! Въ газетахъ отшлепаемъ-съ! И посмотримъ, какія тогда-то вотъ письма къ вамъ станутъ Герценъ писать!

Полоярвъ, махнувъ рукою, ретировался въ свою комнату.

IX.

Изъ угла въ уголъ по комнатѣ.

Ему было жутко. Герценовское письмо, на которое онъ такъ рассчитывалъ, окончательно не вывезло. Упорная наглость—элементъ наиболѣе присущій, наиболѣе естественный въ натурѣ Полоярва—тоже не помогла. «Ахъ, кабы не жиды!» думаетъ себѣ Ардальонъ. «Кабы не онъ, все бы шло, какъ по маслу!.. Съ остальными бы управился!» Но эти остальные были сильны теперь жидомъ, а жидъ ими, и въ результатѣ, сколь ни прикидывалъ и такъ и сякъ Полоярвъ—выходило, что все-таки ничего противъ этой соединенной силы не подѣлаешь... Главнѣйшимъ образомъ смущала эта угроза «предать его благотѣльной гласности».—«Охъ, ужъ эта благотѣльная!» злобно сжимая зубы, мыслилъ Полоярвъ.—«А ну, какъ отпечатаютъ?» Эта мысль приводила его въ содроганіе: если отпечатаютъ; тогда въ журнальномъ мірѣ погибла его репутация, тогда эти каналы Фрумкины сбѣлаютъ, что и статей его, пожалуй, принимать не станутъ; тогда по всѣмъ кружкамъ, по всѣмъ знакомымъ и незнакомымъ, по всѣмъ союзникамъ, друзьямъ и врагамъ самое имя его эти Фрумкины пронесутъ, яко золь глаголъ.—«Всѣ эти «Искры» въ набатъ ударятъ, пойдутъ теребить, потрошить, копаться въ тебѣ, и на всѣ лады, и въ стихахъ и въ прозѣ, перевероятъ всю твою внутрен-

ность». — И Полояровъ съ наслажденіемъ начинаетъ желать, чтобы надъ всѣми этимп «Искрами» надъ всѣми газетами, надъ всѣми Фрумкиными вдругъ стрясалась бы такая бѣда, такая гроза, чтобы слова про него некому было пикнуть. Эти самыя «Искры» и Фрумкины еще только вчера составляли его силу, его первую угрозу «подлецамъ и пошлякамъ», эти самыя «Искры» вчера еще съ такимъ ласковымъ почтеніемъ относились къ нему, а сегодня онъ уже ихъ боится... И все это надѣлалъ какой-нибудь Мошка Фрумкинъ

— Нѣтъ, надо какъ ни-на-есть поправить это дѣло! — рѣшаетъ себя Полояровъ. — Лобъ разшибу, а поправлю!

«Просить у нихъ прощенія, что-ли?» мелькаетъ ему мысль. «Нѣтъ, не годится!.. Простить-то, пожалуй, простать, но ужъ прежняго уваженія не будетъ... п каналья Фрумкинъ на твое мѣсто сядетъ».

— Какъ!.. Чтобы вдругъ Фрумкинъ... Да никогда!.. Ни въ жисть! — азартно схватывается съ мѣста Полояровъ, и начинаетъ шагать по комнатѣ.

«Эхъ, любезные друзья мои!» продолжаетъ онъ думать, не безъ злорадства потирая руки. «Кабы это я былъ теперь становымъ, а вы бы у меня въ станѣ прошивали, показывали бы я вамъ куда Макарь телятъ гоняетъ... Всѣхъ бы эдакъ: ты что, молъ, естъ за человѣкъ такой? Ты, молъ, Фрумкинъ? — Тарахъ тебѣ, каналья!.. Тарахъ-трахъ!.. Разъ-два!.. Справа налево!.. Въ острогъ! въ секретную! При отношеніи — такъ, молъ, и такъ»...

— Пррасшибу! — въ увлеченіи вскрикнулъ Полояровъ, описавъ по воздуху разящее движеніе кулакомъ, и съ размаху хватилъ имъ по столу. Ни въ чемъ нешовойный столъ затрясся и задрезжалъ со стоявшимъ на немъ стаканомъ недопятаго чая.

— Тише ты, дьяволъ! — огрызнулся на него въ полъ-оборота Ардалонъ Михайловичъ и снова зашагалъ по комнатѣ.

И вотъ, все больше и больше предается онъ злорадственнымъ мечтамъ; думается ему, что онъ и точно становой приставъ и дѣлаетъ облаву на Фрумкина, на Малгоржана... Лидышка въ ногахъ у него валяется, прощенія просить... Я те прощу! Я те прощу сейчасъ, голубушка! Эй, сотекій, приготовь-ко горяченькихъ... Ну, магушка моя, съ Богомъ!.. А ты, іудейская твоя морда... Тарахъ!.. въ кандалы его!.. Я те дамъ социализмы заводить!.. Я те вспишу пропаганду! Ты думалъ, что ты можешь мнѣ не покоряться? Ты бунтовать? Ты народъ смущать?.. Ты власть мою не признавать?.. Вотъ-съ, ваше превосходительство! Вотъ онъ на лицо предъ вашимъ превосходительствомъ! главный бунтовщикъ-съ!.. И всѣ они здѣсь же, подъ конвоемъ-съ! Всѣхъ захватилъ и изловилъ...

— Не стоитъ благодарности-съ, ваше превосходительство... Помилуйте-съ... Мой долгъ... радъ животъ положить!.. Какое распоряженіе изволите теперь сдѣлать-съ?.. Въ острогъ?.. — Очень хорошо-съ. Ну, любезнѣйшіе, пожалуйста-съ!.. Милости просимъ на казенное содержаніе!.. А что? Будете теперь сомнѣваться, отъ кого мы письма получаемъ? Будете требовать отчетовъ? ась?..

И куда-куда не заносить злорадно-золотыя мечты огорченнаго Ардалона! Эти мечты въ данную минуту были и его утѣшеніемъ, и его отместкой врагамъ за свое недавнее поруганіе. Воображается ему, что его за усердіе къ ордену на шею представляютъ, что онъ даже въ донскіе казаки переходитъ и командуетъ пѣлымъ казачьимъ полкомъ, специально предназначеннымъ для того, чтобы переловить и истребить всѣхъ Фрумкиныхъ на свѣтѣ. И тутъ же почему-то представляется ему его послѣдняя статья «О пауперизмѣ и пролетариатѣ въ смыслѣ четвертаго сословія», за которую благодарный редакторъ предлагаетъ ему по тысячѣ съ листа, а благодарная Европа даритъ почетную премію, и разныя ученые общества, клубы, ассоціаціи присылаютъ ему дипломы на званіе почетнаго члена... Губернаторъ снова благодаритъ его и снова представляетъ къ награждѣ, къ чину, къ ордену... И этотъ губернаторъ вдругъ не кто иной, какъ самъ Александръ Ивановичъ Герценъ... который съ гордостью называетъ его своимъ другомъ и велитъ публиковать о томъ во всѣхъ газетахъ...

Эти золотыя мечты переходили почти въ какой-то бредъ и грезы, что впрочемъ и не мудрено при томъ возбужденномъ состояніи, въ какомъ находился теперь Ардалонъ Михайловичъ.

Но возвращаясь, по временамъ, къ дѣйствительности, голова его додумалась-таки до рѣшенія какъ быть и что слѣдуетъ дѣлать. Присѣвъ къ столу и вынувъ чистый листъ бумаги, онъ принялся писать, медленно выводилъ буквы и какъ бы обдумывая каждое слово.

«Его Высокопревосходительству....» но вдругъ зачеркнулъ написанное и вмѣсто того выставилъ:

«Его Сіятельству Господину Шефу Корпуса....»

Засимъ подумалъ, пустил нѣсколько колецъ табачнаго дыма, еще подумалъ и снова зачеркнулъ, и сталъ писать такъ:

«Въ Третье...»

— Нѣтъ, не такъ! — рѣшилъ онъ, наконецъ, еще разъ подумавъ, и снова прочиталъ полный титулъ того, кому адресовалась бумага, а затѣмъ уже сталъ излагать самое дѣло:

«Симъ имѣю честь, по долгу вѣрноподданнической присяги и по внушенію гражданскаго моего чувства, почтительнѣйше извѣстить, что вольно-

проживающій въ городѣ Санктъ-Петербургѣ *нигилистъ* Мойсей Исааковъ Фрумкинъ распространяетъ пропаганду зловредныхъ идей, вредящихъ началамъ доброй нравственности и Святой Религіи, подрывающихъ авторитетъ Высшей Власти и Закона, стремящихся къ ниспроверженію существующаго порядка и наносящихъ ущербъ дѣлости Государства. А посему...»

На этомъ «посему» Полояровъ опять останавливается.

«Нѣтъ «посему» еще рано!.. Надо бы прежде еще что-нибудь такое... пополновѣснѣе, а потомъ уже «посему»... Но что бы такое?»

И снова сталъ онъ ходить по комнатѣ и придумывать нѣчто полновѣснѣе, но среди этихъ раздумываній пришла ему вдругъ мысль: «А что какъ ничего этого не удастся?.. Какъ если Фрумкина-то возьмутъ, поддержать-поддержатъ, да и выпустятъ, а онъ тогда вернется къ намъ—го-го, какимъ фертомъ!.. Не подходитъ! Да какъ начнетъ опять каверзы подъ меня подводить?.. Тутъ ужъ basta!.. Вся эта сволочь прямо на его сторонѣ будетъ... Какъ же, молъ, мучился, терпѣлъ... сочувствіе и прочее...»

— Нѣтъ, это не годится! Это не подходящее!—порѣшилъ Полояровъ и въ мелкіе кусочки изорвалъ начатый доносъ свой. —Этимъ я только дамъ ему же лишніе выгодные шансы противъ себя самого. А лучше бы что нибудь другое!.. Но что жъ другое?.. Что?

И снова зашагалъ онъ по комнатѣ.

Въ залѣ раздавались межъ тѣмъ веселые голоса и громкій смѣхъ. Громче всѣхъ хохотала Лидинька. О чемъ тамъ разговаривали, Полоярову не было слышно сквозь затворенную дверь. Можно было только догадываться, что надъ чѣмъ-то или надъ кѣмъ-то смѣются.—«Ага, вѣрно меня на смѣхъ поднимаютъ!» domeкнулся Полояровъ, и на пипочкахъ подошелъ къ двери, внимательно сталъ вслушиваться сквозь замочную скважину. Но и подслушивание не опредѣлило ему точнѣе причину общаго смѣха. Слышно было только нѣсколько голосовъ, раза два какъ будто словно «онъ» сказали, да еще какъ будто слово «*дьятель*», — такъ по крайней мѣрѣ слышалось... А можетъ, и не *дьятель*... можетъ, *сыгатель*, а можетъ и другое что — чортъ его знаетъ!— Не разберешь! И опять этотъ невнятный шумъ говора покрылся взрывомъ дружнаго смѣха.

«Ну да!.. «Онъ»... «*дьятель*»... Это они надо мною!.. Надо мною!» думалъ Полояровъ, злобно кусая себѣ губы. Ему сдѣлалось и больно, и досадно, и просто избилъ бы ихъ всѣхъ!.. Но главное, это такъ больно и такъ обидно, что хотъ плакать готовъ...

И онъ на нѣсколько минутъ, подъ вліяніемъ щемящаго до слезъ ощущенія обиды и боли, вдругъ почувствовалъ себя такимъ несчастнымъ, пришибленнымъ, такимъ несправедливо угне-

теннымъ, такимъ отверженнымъ и жалкимъ, но въ высшей степени честнымъ и благороднымъ человѣкомъ.

— Да! вотъ всегда таково-то правда людская на свѣтѣ!—печально и горько вздыхалъ онъ.— Ты душу за нихъ отдать готовъ, ты на крестъ, на плаху идешь, а они надъ тобой издѣваются, они въ тебя камнями и грязью швыряютъ... Люди, люди!.. братьями вы называетесь!.. Что-жъ, рвите меня по-братски! бейте меня, плюйте, терзайте!..

И Полоярову представляется, какъ его бьютъ и терзаютъ «за правду», и какъ онъ благородно переноситъ все это! Какъ возвышенно страдаетъ онъ!.. О, да! Онъ невинно страдаетъ! Онъ — мученикъ правды, мученикъ человѣческой злобы, зависти, интриги!.. Это они всѣ его уму, его гению, его таланту, его успѣхамъ завидуютъ! Это все одна черная, низкая зависть!

И опять представляется ему, что онъ, изнуренный, обезсиленный безплодной борьбой противъ людского зла и неправды, умираетъ въ злѣйшей чахоткѣ, въ смрадной больницѣ на гниломъ соломенномъ тюфякѣ... Вотъ кляча на роспускахъ везетъ некрашенный, убогій гробъ, и въ этомъ гробу онъ, Ардальонъ Полояровъ... И всѣ эти люди приходятъ глядѣть на него... Да!

И только трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,
И какъ любилъ онъ, ненавидя!..

начинаетъ наконецъ онъ патетически думать и мечтать Некрасовскими стихами.

— Тыфу!!!—какъбы опомнившись, энергически плюнулъ Полояровъ почти въ ту же минуту.— Да что жъ это я, въ самомъ дѣлѣ?!.. Ужъ до стиховъ!.. Ерундища какая-то все въ голову ползетъ... Смѣшно, право!

«А ты скажи, зачѣмъ ты не арестованъ? Нѣтъ, ты, братъ, постой! Ты намъ прежде скажи, зачѣмъ и почему ты не арестованъ? Зачѣмъ Лука арестованъ, а ты нѣтъ?»—смутно звучать въ ушахъ Полоярова какъ будто бы давнишніе голоса.

«А и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я не арестованъ?» остановясь среди комнаты, задаетъ онъ вдругъ самому себѣ неожиданный вопросъ и даже не безъ нѣкотораго удивленія. «Для чего я не арестованъ доселѣ, и почему мнѣ не быть арестованнымъ?..

.... «А что, если бы вдругъ хотъ сегодня ночью нахлынули жандармы и взяли бы меня?..

.... «Хм!.. А вѣдь это даже недурно бы было!.. Ей-Богу, недурно!.. Во-первыхъ, всѣ эти отчеты тогда къ чорту!.. во-вторыхъ...

.... «Во-вторыхъ, арестовали же Луку... значить, и меня можно!..

.... «Н-да! вотъ, нейбось, какъ сжамкали Луку, такъ и куды какъ всѣ уважать его стали!.. Кто, почитай, и совсѣмъ-то не зналъ его, или былъ

на однихъ только шапочныхъ поклонахъ, такъ и тотъ теперь, поди-ка, вездѣ трубятъ: «какъ же молъ, очень коротко знакомы были!.. Даже, можно сказать, пріятелями!..» И сколько этихъ пріятелей сразу же найдется, чуть только скажутъ человѣка! Каждому, небойсь, хочется, чтобъ Лукашкина извѣстность и слава хоть заднимъ концомъ, а и меня бы чутьчку задѣла... Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отъѣнная это штука быть арестованнымъ!.. Сейчасъ это они тебя въ десять разъ больше уважать начинаютъ».

«Нѣтъ, ты, братъ, скажи, зачѣмъ ты не арестованъ, коли ты держишь знамя демократическаго социализма? Ты скажи, какіе боги тебѣ покровительствуютъ?»— снова начинаютъ смутно гудѣть въ головѣ Ардальона всѣ эти давешніе возгласы.

«И въ самомъ дѣлѣ, отличная штука!» размышляетъ онъ далѣе. «То-есть вотъ какъ: если заберутъ меня завтра или послѣ завтра, то отчеты, главное дѣло, сейчасъ же фю-фю!.. А потомъ какъ выпустятъ, такъ этихъ дурацкихъ отчетовъ ужъ никто съ меня не потребуетъ... Го-го! поглядѣлъ бы я тогда, кто это осмѣлится!.. Нѣтъ, братцы, шалишь! Тогда всѣ вы, сколько васъ ни есть, опять и знакомствомъ моимъ, и дружбой гордиться станете... Уважать меня станете, подлизываться ко мнѣ... Ну, Іудей! Чтѣ взять?!. Сѣлъ на мое мѣсто? а? Нѣтъ, братъ, тогда ужъ и духомъ твоимъ въ нашей коммуны не попахнетъ!.. Выживу!.. Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отъѣнная штука!.. Вотъ фортель-то!.. Ну, братъ, Ардальонъ Михайловичъ, крѣпись! Шевели мозгами, пошевеливай!..

«И для чего бы, въ самомъ дѣлѣ, не быть мнѣ арестованнымъ?.. Это даже для приличія, такъ сказать, для конвенансу, для поддержки собственного достоинства слѣдовало бы. Вѣдь я все-жъ таки—чортъ возьми!—извѣстнаго рода общественное положеніе имѣю... Какъ поглядишь, всѣ болѣе или менѣе порядочные люди, то-есть почти всѣ арестованы, а я нѣтъ!.. Гм... Это даже и стыдно, и обидно отчасти. Чтѣ же, развѣ я уже такъ ничтоженъ, что и ареста не стою?.. И вѣдь каждый мозглякъ Анцыфровъ, каждая дура Лидинька послѣ этого въ правѣ будутъ подумать про меня, что я сущая ничтожность... И точно: какой же я серьезный дѣятель, если гуляю себѣ на свободѣ, когда даже Лука Благопріобрѣтовъ арестованъ!..

«И не понимаю просто, чего эти жандармы ждуть?!. Чего они медлятъ-то?.. Просто, дѣломъ своимъ не занимаются, какъ слѣдуетъ. У насъ вѣдь и все такъ! все спустя рукава!..

«Ахъ, ты Господи! Если бы надумило ихъ явиться и забрать меня хоть сію минуту!

«Ну что-жъ, поддержать да и выпустить. Какіе улики? гдѣ факты?—Нигдѣ и никакихъ!.. Въ чемъ виноватъ?—Ни въ чемъ рѣшительно. Все чисто!.. Стало быть, тутъ мнѣ и опасаться

ничего... И всеконечно такъ, что поддержать да и выпустить... Но только какъ же бы это сдѣлать, чтобы быть арестованнымъ?» задалъ себѣ Ардальонъ новый и послѣдній вопросъ самаго серьезнаго свойства, и снова сосредоточенно зашагалъ по комнатѣ.

Черезъ полчаса, онъ тихо и спокойно уже подошелъ къ своему столу, досталъ листъ бумаги, погнулъ на ногтѣ стальное перо и тщательно обмакнулъ его въ чернила.

Х.

Дождались.

Прошелъ день—Полояровъ не говорилъ ни съ кѣмъ изъ членовъ коммуны или, лучше сказать, съ нимъ говорить не хотѣли. Въ этотъ день онъ только утромъ часа на два уходилъ изъ дому, а потомъ все сидѣлъ запершись. На слѣдующій день наступилъ крайній срокъ, назначенный ему для представленія отчетовъ. Ардальонъ Михайловичъ казался больнымъ, все время лежалъ подъ своей чуйкой и довольно смиренно просилъ у Малгоржана передать членамъ, что и сегодня онъ не можетъ по болѣзни представить имъ отчеты, и потому покорнѣйше просить имѣть къ нему маленькое состраданіе, ради болѣзни, и отсрочить еще на нѣкоторое время.

Члены согласились, и Мойсей Фрумкинъ почти торжествовалъ: въ этомъ отлыниваньи Полоярова и въ его на много пониженномъ, смиренномъ тонѣ онъ провидѣлъ уже зорю своей побѣды.

Но вдругъ...

Въ этотъ же самый день, но уже ночью, часу въ третьемъ, когда вся коммуна покоилась глубокимъ сномъ, въ прихожей раздался звонокъ...

Разъ... другой... третій...

Боже мой, чтѣ-жъ это значитъ?!. Вся коммуна переполошилась.

— Анцыфровъ!.. вы слышите?

— Слышу... Но что это такое?

— А вотъ узнаемъ. Ступайте отворите!

— Нѣтъ, ужъ увольте-съ!.. Встаньте вы, Малгоржанъ... вамъ ближе.

— Да я сплю... Не заставляйте же дожидаться!

— Но у меня туфлей нѣтъ...

— У меня возьмите!

Но въ это время въ корридорѣ зашлепали тяжелые шаги Полоярова и вскорѣ послышался звукъ отмыкаемой двери.

— Господинъ Полояровъ дома?—спросилъ чей-то чужой, незнакомый голосъ.

— Дома. Я Полояровъ.

По корридору раздались шаги нѣсколькихъ людей, сопровождаемые звяканьемъ шпоръ и легкимъ лягзомъ сабеля.

Малгоржанъ высунулъ постъ въ щель своей

полупритворенной двери. Изъ противоположной щели выглядывалъ носъ Анцыфрова. Въ третьей двери бѣлѣлась ночная кофта Лидиньки, и только изъ комнаты князя раздавался далеко не аристократическій и никакими звонками не возмутимый храпъ юнаго Мецената.

Наѣхавшіе люди скрылись за дверью Полюаровской комнаты.

— Полиція... жандармы... жутко и испуганно прошепталъ Малгоржану плюгавенькій, словно бы дѣлалъ еще меньше и еще плюгавѣе отъ страху.

— Дождались!—со вздохомъ, тихо воскликнулъ восточный человѣкъ, и сталъ одѣваться.

Въ комнату шелъ горячій обыскъ. Обыскивали бумаги и у Малгоржана, и у Лидиньки, и у всѣхъ остальныхъ, но тщательнѣе всего обыскивали у Полюарова.

Ардальонъ во все время обыска былъ невозмутимо спокоенъ, въ совершенную противоположность прочимъ своимъ сожителямъ, которые праздновали-таки трусу не малую.

Но вдругъ онъ словно вспомнилъ про что-то и поблѣднѣлъ, тяжело проведя по лицу рукою.

«Какая злая провія судьбы! Какая коварная насмѣшка сльбоного случая!.. И какъ было не подумать раньше! Какъ было не предусмотрѣть, не уничтожить?.. Совсѣмъ даже изъ головы вонъ, при этихъ всѣхъ передрыгахъ!.. Эдакая непростительная, необъяснимая разсѣянность!.. Эдакое разгильдяйство!.. А все эти дьяволы Фрумкинъ!.. Вотъ что значитъ всецѣло увлечься одной стороной дѣла!—Кажись вѣдь ужъ какъ думалъ-то! и все обдумалъ, и все передумалъ, а это и упустилъ... не додумался! Словно бы, какъ нарочно... И вѣдь пустякъ-то какой!.. Господи! что жъ теперь будетъ?!»

Полюаровъ нечаянно спохватился, что въ боковомъ карманѣ его пальто осталось письмо за подписью Герцена, которое онъ, потерпѣвъ фіаско, впопыхахъ сунулъ туда да и позабылъ куда именно сунулъ. И какъ это такъ?!—Словно затмение какое нашло. Вотъ ужъ именно врагъ-то гдѣ попуталъ.

Все еще не довѣряя себѣ и своей памяти, онъ, совсѣмъ одѣвшись уже, для пущаго удостовѣренія, запустилъ руку въ боковой карманъ и пощупалъ тамъ.—Такъ и есть!.. лежать... лежать, проклятое!..

«И какъ это право! недоумѣваетъ Полюаровъ. «Еще третьяго дня вечеромъ, перебираючи бумаги, мнѣ вѣдь казалось, что я его сжегъ вмѣстѣ съ прочимъ лишнимъ хламомъ... Вотъ оно, что значитъ дѣлать дѣла въ такомъ ненормальномъ, возбужденномъ состояніи духа!.. Теперь ниши: пропало!..

«Надо бы какъ нибудь поосторожнѣе вынуть его оттуда и уничтожить, лишь бы только не замѣтили», домекнулся Ардальонъ Михайло-

вичъ и, улучивъ минутку, повидимому, самую удобную, запустилъ руку въ карманъ и сжалъ въ кулакъ скомканное письмо, съ намѣреніемъ при первой возможности бросить его куда-нибудь въ сторону, когда станутъ уходить изъ квартиры или садиться въ карету.

Однако это движеніе руки было далеко не своевременно, что служило явнымъ доказательствомъ новой ненормальности душевнаго состоянія, которое весьма естественно овладѣло Ардальономъ, чуть лишь онъ вспомнилъ про Герценовское письмо. Онъ плохо сообразилъ, хотя расчесть и казался вѣрнымъ.

Это роковое и уже вторичное движеніе руки въ боковой карманъ, несмотря на то, что, по мнѣнію Ардальона, минутка казалась очень для того удобною—не укрылось-таки отъ зоркаго и староопытнаго глаза одного изъ господъ полицейскихъ.

— Потрудитесь вынуть вашу руку!—очень деликатно даже не безъ нѣкоторой нѣжности предложилъ онъ Полюарову.

— Это зачѣмъ же-съ?—глухо пробурчалъ тотъ.

— Такъ. Я васъ прошу сдѣлать это въ личное мнѣ одолженіе.

Ардальонъ оставилъ въ карманѣ скомканное письмо и, вынувъ руку, показалъ ее растопыренной ладонью вѣжливому офицеру, какъ бы для выщаго доказательства, что въ рукѣ у него ровно ничего не находится.

Это, повидимому, ничего не значущее и самое естественное движеніе показалось опытному докѣ весьма подозрительнымъ: оно навело его на пущее подозрѣніе, что въ боковомъ карманѣ Полюарова должно быть что-то не ладно...

— Вы, конечно, будете столь обязательны и не откажетесь вынуть то, что лежитъ у васъ въ этомъ карманѣ?—еще мягче, слаще и любезнѣе предложилъ онъ своему «субъекту».

— У меня тамъ... ничего нѣтъ,—запнулся слегка Полюаровъ.

— Однако?

— Ей-Богу, ничего!..

— Тѣмъ лучше-съ. Но тогда вы, для большаго убѣжденія, конечно, не откажетесь выворотить и показать намъ этотъ кармашекъ?

— Да развѣ вы мнѣ не довѣряете?

— О, нѣтъ!.. Помилуйте, какъ это вы можете думать!.. Но... знаете-ли—что дѣлать! уже это наша обязанность такая... нашъ долгъ, такъ сказать...

Полюаровъ ни кармана не выворачивалъ, ни довода никакого не представлялъ, а стоялъ себѣ безъ движенія, словно бы и не понимая, чего хочется офицеру.

— Ужъ вы меня извините, если такъ!—съ подалономъ любезно пожалъ офицеръ плечамъ.— Я, конечно, со всей моей деликатностью... но... я прикажу унтеръ-офицеру обез-

покоить васъ маленькимъ обыскомъ... Что дѣлать-съ!.. Бога ради, извините... Эй! Изотовъ!

Полояровъ увидѣлъ ясно, что влопался теперь окончательно и, скрѣпя сокрушенное сердце, отдалъ роковое письмо.

Офицеръ очень деликатно, дѣйствуя болѣе большимъ и указательными пальцами рукъ, развернулъ и тщательно расправилъ скомканную бумажку и все съ той же мягкой, приятной улыбочкой посмотрѣлъ на заголовокъ посланія и на подпись.

— А!.. Герцень!—съ видомъ какого-то почтительнаго благоговѣнія, почти шопотомъ произнесъ онъ, разсматривая подпись; полюбовался ею, далъ полюбоваться и другимъ своимъ товарищамъ и рачительно присоединилъ письмо къ прочимъ бумагамъ.

— А замѣчательный человѣкъ-съ! — добродушно и даже съ маслищемъ въ улыбающемся взорѣ обратился онъ къ Полоярову, такимъ постороннимъ, совсѣмъ неофициальнымъ тономъ, какъ будто велъ самую приятную, задушевную бесѣду.—Да-съ, истинно замѣчательный человѣкъ!.. Какой талантъ! И вѣдь сколько бы пользы могъ принести отечеству! Конечно, есть нѣкоторыя крайности, увлеченія, но... Бойкое перо! бойкое! Мнѣ въ особенности, знаете, стиль его нравится. Прекрасный стиль!

Полояровъ стоялъ и только хлопалъ глазами.

Обыскъ въ коммуны былъ наконецъ оконченъ. Бумаги всѣхъ сожителей—каждая пачка отдѣльно—были перевязаны бечевками и запечатаны.

Поклонникъ Герценовскаго стиля очень любезно извинился передъ всѣми членами коммуны, что по долгу службы нашелся въ необходимости обезпокоить ихъ въ такую позднюю пору, и еще любезнѣе предложилъ Полоярову одѣть чуйку и слѣдовать по назначенію вмѣстѣ съ обыскной комисіей.

Вскорѣ послѣ этого они отправились.

По уходѣ ихъ, и Фрумкинъ, и князь, и Лидинька съ Анцыфровымъ, словно сконфуженные, стояли по серединѣ залы, и не говоря ни слова, только поглядывали другъ на друга.

— Н-ну, дождались!—протянулъ, наконецъ, Малгоржанъ, разводя руками.

— Дождались! — въ отвѣтъ ему повторилъ про-себя каждый изъ членовъ.

Нельзя сказать, чтобы остатокъ ночи провели они спокойно.

XI.

Есть многое въ природѣ, другъ Горацио, что и не снилось порядочнымъ людямъ.

Дня три спустя послѣ этого ареста, Андрей Павловичъ Устиновъ получилъ черезъ полицію приглашеніе пожаловать въ назначенный часъ

въ одно очень важное административное вѣдомство. Недоумѣвая, что бы могло значить и предвѣщать это краткое официальное приглашеніе, онъ далъ подписку, въ томъ, что требованіе будетъ исполнено, а къ назначенному времени облекся во фракъ и отправился куда требовалось.

Его провели въ особую комнату какой-то особой канцеляріи или экспедиціи, гдѣ нѣкоторый весьма благонамѣренно-внушительной наружности чиновникъ съ либеральными бакенбардами, очень любезно предложилъ ему занять кресло у заваленнаго бумагами стола, за которымъ самъ занимался. Кромѣ этого чиновника здѣсь никого больше не было.

— Извините, что мы васъ обезпокоили,—началъ онъ,—но видите-ли, намъ надо получить отъ васъ нѣкоторыя необходимыя объясненія по поводу вашего доноса.

Устинову показалось, что онъ либо не понималъ, либо ослышался.

— Какъ вы изволили сказать?—внимательно подаль онъ впередъ свою голову, наставляя ухо.

— Нѣкоторыя дополнительные свѣдѣнія и объясненія по поводу доноса,—вразумительнѣе повторили благонамѣренно-либеральныя бакенбарды.

— То-есть... какого доноса?.. стараясь вникнуть въ суть, еще болѣе подалься впередъ учитель.—Извините, я, можетъ, не совсѣмъ точно понимаю... Развѣ на меня доносъ кѣмъ-либо сдѣланъ?

— О, нѣтъ! — улыбнулся чиновникъ. — Но намъ нужны отъ васъ объясненія по поводу вашего собственнаго доноса.

— Доноса?!.. Моего?!.. въ крайнемъ изумленіи откинулся Устиновъ на спинку кресла.—Извините-съ, тутъ должно быть какое-нибудь недоразумѣніе... Я ни на кого никакихъ доносовъ не дѣлалъ!

Теперь уже чиновникъ въ свой чередъ внимательно и недоумѣло поглядѣлъ на Устинова.

— Но какъ же это однако?.. Позвольте...

И онъ вытащилъ изъ кѣпы бумагъ какую-то записку и свѣрилъ съ нею.

— Вы вѣдь господинъ Устиновъ?

— Да, я Устиновъ.

— Ваше имя Андрей Павловичъ?

— Да, это мое имя.

— Вы бывший учитель Славнобубенской гимназіи?

— Совершенно вѣрно.

— Ну, такъ вы это и есть. Ошибки быть не можетъ. Вы Ардальона Полоярова знаете?

— Полоярова?—Знаю.

— Вы знакомы съ нимъ?

— Былъ когда-то, но теперь раззнакомился.

— По какимъ причинамъ?

Устиновъ покачалъ плечами. «Зачѣмъ ему отъ меня все это нужно знать?» подумалось ему.

— Да безъ всякихъ особенныхъ причинъ,—объяснилъ онъ,—просто потому, что не люблю глупыхъ знакомствъ.

— Но... какъ же доносъ-то?

— Какой доносъ, наконецъ?—уже не безъ прорывавшейся досады возразилъ Устиновъ.

Чинovníкъ снова поглядѣлъ на него внимательно.

— У насъ полученъ доносъ на Полоярова, подписанный вашимъ именемъ.

— Это мистификація!—воскликнулъ Устиновъ.— Но... позвольте, однако, взглянуть на него... Это очень любопытно. И притомъ крайне меня удивляетъ! Кому бы могла придти мысль и съ какою цѣлью писать доносы отъ моего имени?

Чинovníкъ порылся у себя на столѣ и подалъ Устинову бумагу.

Тотъ сталъ читать:

«Симъ имѣю честь, по долгу вѣроподданнической присяги и по внушенію гражданскаго моего чувства, почтительнѣйше извѣстить, что вольно-проживающій въ городѣ Санктъ-Петербургѣ (слѣдуетъ адресъ) *нигилистъ* Ардаліонъ Михайловъ Полояровъ имѣетъ весьма зловередное вліяніе на нѣкоторыхъ лицъ, проживающихъ въ одной съ нимъ квартирѣ. Вышепояннутый нигидистъ Полояровъ ведетъ дѣятельную пропаганду идей и дѣйствій, вредящихъ началамъ доброй нравственности и Святой Религіи, подрывающихъ священныя авторитеты Закона и Высшей Власти, стремящихся къ ниспроверженію существующаго порядка и наносящихъ ущербъ цѣлости Государства. Фактическія доказательства его злонамѣренности, заключающіяся въ его бумагахъ, сочиненіяхъ, корреспонденціи и въ хранящихся у него брошюрахъ и книгахъ могутъ быть почерпнуты посредствомъ немедленно произведеннаго обыска въ занимаемой имъ квартирѣ. Онъ же сильно прикосновененъ къ дѣлу уволеннаго изъ духовнаго сословія Луки Благопріобрѣтова, о чемъ долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія надлежащей власти.

«Бывшій учитель Славнобубенской гимназіи Андрей Павловъ Устиновъ».

Маленькій математикъ прочелъ все это и въ величайшемъ недоумѣніи только пожалъ плечами.

— Невѣроятная мистификація!... Чья-то очень глупая и очень злая шутка, не болѣе!—проговорилъ онъ.—И на сколько я знаю Полоярова,—это просто дуракъ; пожалуй, пустой болтунъ, какихъ теперь тысячи щеголяютъ по бѣлому свѣту, но что касается до какихъ-либо дѣйствій и идей, то у него ровно никакихъ идей въ головѣ не имѣется, и полагаю, что каждый мало-мальски серьезный заговорщикъ постыдился бы назвать его своимъ сотоварищемъ.

— Это ваше убѣжденіе? — пытливо спросилъ чинovníкъ.

— Да, это мое искреннее убѣжденіе, основанное на достаточномъ знаніи господина Полоярова.

— Мы по этому-то поводу и пригласили васъ,—пояснилъ чинovníкъ,—потому что, видите ли, при самомъ тщательномъ обыскѣ ни у кого во всей этой квартирѣ не оказалось ровно ничего подозрительнаго... бумаги, письма—все это самое пустячное! Къ дѣлу Благопріобрѣтова, которое теперь выяснилось для насъ всестороннее и какъ нельзя полнѣе, этотъ Полояровъ ровно никакого отношенія не имѣетъ. Но вотъ, нашлось тутъ у него одно письмо за подписью Герцена; мы его свѣряли съ нѣсколькими подлинными письмами Герцена, но въ почеркѣ и тѣни нѣтъ сходства! Напротивъ, этотъ почеркъ, очевидно измѣненный нарочно, очень походитъ на почеркъ самого доноса. И притомъ конвертъ—мы знаемъ лондонскіе конверты—этотъ не похожъ ни мало, а просто слишкомъ знакомая всѣмъ напа домодѣльная, гостинодворская работа. Это видно сразу, и оно-то еще болѣе наводитъ на мысль, что письмо не изъ Лондона, а вѣроятно все та же поддѣлка.

— Въ такомъ случаѣ,—замѣтилъ Устиновъ,—я еще болѣе прихожу къ убѣжденію, что все это—дѣло чьей-то гнусной шутки, жертвою которой сдѣланы Полояровъ и мое имя.

Чинovníкъ, какъ бы соображая и обдумывая что-то, запустилъ руки въ свои либеральныя бакенбарды и плавно сталъ пропускать ихъ между пальцами.

— Это, во всякомъ случаѣ, требуетъ разъясненія,—медленно процѣдилъ онъ сквозь зубы и обратился къ Устинову.—Вы не откажетесь, конечно, въ видахъ собственнаго своего интереса, разъяснить, на сколько возможно, это дѣло?

— Дѣло слишкомъ близко и чувствительно касается моего имени,—подтвердилъ Андрей Павловичъ.—Но какъ же мнѣ разъяснить его, если я самъ пока еще ровно ничего тутъ не понимаю?

— Не знаете ли вы, наиримѣръ... не помните ли, можетъ, есть кто-нибудь, кто пытается и къ вамъ, и къ Полоярову личную вражду, ненависть?

— И ко мнѣ, и къ Полоярову вмѣстѣ? Нѣтъ, такихъ рѣшительно не знаю.

— А ваши личныя отношенія къ нему, въ настоящее время, какого свойства? Совершенно равнодушныя?

— Мм... То-есть, какъ вамъ сказать?..

— Я къ тому васъ спрашиваю объ этомъ,—пояснилъ чинovníкъ, съ граціознымъ достоинствомъ поправляя положеніе своего шейнаго ордена на бѣлой сорочкѣ,—что, можетъ быть, тотъ, кто сыгралъ съ вами эту шутку, имѣлъ въ виду, конечно, обставить ее такъ, чтобы все дѣло не противорѣчило вашимъ личнымъ,

дѣйствительнымъ отношеніямъ къ Полоярову; потому что странно же предположить, чтобы такая продѣлка была сдѣлана отъ имени совѣтъ посторонняго, незнакомаго человѣка. Вѣроятно, тотъ, кто подписалъ здѣсь ваше имя, рассчитывалъ на какую-нибудь особенность вашихъ личныхъ отношеній къ этому господину, и вотъ почему именно я спрашиваю васъ, какого свойства ваши отношенія: равнодушными или враждебными?

— Мм... Враждебныя—это уже было бы черезчуръ много въ отношеніи такого господина, какъ Полояровъ, но конечно, отношенія эти уже никакъ не могутъ назваться дружескими.

— Стало быть, скорѣе приближаются къ враждебнымъ?

— Да; пожалуй.

— Не на нихъ ли тутъ и рассчитывалось?

— Не знаю; можетъ быть.

Чинovníкъ снова запустилъ пальцы въ бакейбарды и снова сообразительно подумалъ о чемъ-то.

— Какъ вы полагаете,—совѣщательно обратился онъ къ Устинову,—не помогло ли бы отчасти разъясненію ваше, напимѣръ, личное свиданіе съ Полояровымъ? Можетъ быть, переговоривъ съ нимъ, мы бы всѣ вмѣстѣ напали на какія-нибудь нити?—Какъ знать? умъ хорошо, а два лучше, говоритъ пословица.

— Мнѣ все равно; я не прочь, пожалуй,—согласился Устиновъ.

— Въ такомъ случаѣ, я бы просилъ васъ на нѣкоторое время удалиться въ ту комнату... Это будетъ недолго; а когда понадобится, я попрошу васъ опять. Вы тамъ найдете газеты и журналы, если угодно.

Андрей Цавловичъ удалился, а чинovníкъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы привели арестанта Полоярова.

Черезъ нѣсколько минутъ Ардальонъ предсталъ предъ благонамѣренно-либеральныя бакейбарды солиднаго чинovníка, и ему, точно такъ же какъ и Устинову, любезно было предложено то-же самое кресло.

Полояровъ совершенно спокойно, и даже не безъ нѣкоторой рисовки своимъ положеніемъ, занялъ указанное ему мѣсто.

— Вы знаете, что доносъ на васъ сдѣланъ нѣкимъ учителемъ Устиновымъ?—помолчавъ немного, внезапно спросилъ чинovníкъ арестанта.

— Да!—вполнѣ утвердительно кивнулъ головой Полояровъ.

Это «да» и такая увѣренная положительность жеста и тона, какими оно сопровождалось, показались чинovníку очень странными.

— Да; это такъ,—подтвердилъ и онъ ему въ свою очередь.—Но вы-то почему это знаете?

Послѣдній вопросъ былъ сопровождаемъ самой благосклонной улыбкой.

— То-есть, я такъ догадываюсь,—поправился Полояровъ,—потому что кому же больше?

— О?... Такъ значить, у этого господина есть какіе-нибудь особые поводы на это?

— Непремѣнно такъ,—подтвердилъ Ардальонъ;—потому что онъ радъ бы меня въ ложкѣ воды утопить, и при томъ же онъ еще въ Славнобубенскѣ, какъ слышно было, любилъ заниматься доносами,—ну, такъ это ему съ-руки болѣе чѣмъ кому-либо!

— Стало быть, вы полагаете, что это сдѣлано изъ личной вражды къ вамъ?

— Не иначе-съ! Чтобы надѣлать мнѣ лишнихъ непріятностей, выставить въ невыгодномъ свѣтѣ предъ правительствомъ. Что же касается меня, — съ видомъ благороднаго достоинства прибавилъ Полояровъ, — я знаю только одно, что я невиненъ и оклеветанъ напрасно.

— А письмо отъ Герцена? — улыбнулся чинovníкъ.

— Что же-съ?... Я ничѣмъ не заслужилъ такихъ похвалъ!.. Я и дѣлъ-то съ нимъ никогда никакихъ не имѣлъ и даже, по моему крайнему убѣжденію, считаю его просто выдохшимся болтуномъ, который даже и вредить-то не можетъ! А мнѣ это письмо принесъ какой-то неизвѣстный въ тотъ самый вечеръ, какъ меня арестовали. Вся бѣда моя только въ томъ, что я не успѣлъ его уничтожить... Я не придалъ ему ровно никакого значенія и посмѣлся надъ нимъ, просто какъ надъ глупостью. Но теперь я вижу ясно, что и оно должно быть тоже Устиновской работы, чтобы вѣрнѣе погубить меня... Но Богъ съ нимъ, съ этимъ милымъ бариномъ!—великодушно махнулъ Ардальонъ рукою и даже вздохнулъ при этомъ:—зломъ за зло платить не хочу и не желаю ему ничего дурного... Богъ съ нимъ! Справедливый законъ, безъ сомнѣнія, увидитъ мою правоту и невинность, и тогда, если я буду освобожденъ, я не стану его преслѣдовать и буду даже тогда просить его сіятельство оставить и забыть все это дѣло... Пусть же лучше его накажетъ собственная совѣсть!

— Это конечно! Наказаніе Вожеское сильнѣй человѣческаго,—съ чувствомъ согласился чинovníкъ и позвонилъ.

Вошелъ унтеръ-офицеръ.

— Тамъ ждетъ меня въ этой комнатѣ одинъ господинъ... Скажи ему, что онъ можетъ войти.

— Слушаю-съ.

— Прикажете мнѣ удалиться?—приподнялся Полояровъ.

— Сію минуту-съ!—безразлично и вскользь кивнулъ ему чинovníкъ, наклонившись надъ кипю своихъ бумагъ и будто отыскивая въ нихъ что-то.

Растворилась дверь и вошелъ Устиновъ.

Ардальонъ вздрогнулъ, вскочилъ съ мѣста, отшатнулся назадъ и поблѣднѣлъ мгновенно.

Онъ могъ бы ожидать чего хотите, но только

никакъ не этого появленія въ настоящую минуту.

Величайшее смущеніе покрыло собою всю его фигуру.

Эта внезапность въ одинъ мигъ сдѣлала то, что онъ въ-конецъ растерялся и никакъ не могъ ни овладѣть собою ни собрать своихъ мыслей.

— Господинъ Полояровъ рѣшительно утверждаетъ, что этотъ доносъ написали вы по личной къ нему ненависти,—обратился чиновникъ къ Устинову.—Господинъ Полояровъ даже весьма страннымъ образомъ изумилъ меня, сказавъ сразу самымъ рѣшительнымъ тономъ, что это не кто иной и быть не можетъ, какъ только вы, господинъ Устиновъ.

Краска негодованія выступила на лицѣ учителя.

— Господинъ Полояровъ лжетъ,—съ твердостью проговорилъ онъ, глядя въ упоръ въ смущенное, перепуганное лицо Ардальона.—Соберите всѣ мои письма, записки, рукописи, созовите экспертовъ и они вамъ подтвердятъ, что это наглая ложь! Вотъ, кстати, со мною какъ разъ есть одно мое письмо, я не успѣлъ забросить его въ почтовый ящикъ,—продолжалъ Андрей Павловичъ, вынувъ изъ бокового кармана и сламывая печать.—Вотъ оно! Сличите сейчасъ мою руку, мою подпись... Подписывая доносъ своимъ именемъ, я, конечно, не имѣлъ бы ни малѣйшей надобности измѣнять свой почеркъ. Позвольте же теперь, господинъ Полояровъ, узнать цѣль, съ которою вы это утверждаете?!

— А за-одно ужъ,—домекнулся чиновникъ,—мы сличимъ и почеркъ господина Полоярова да и его друзей,— здѣсь, кстати, довольно есть разныхъ писемъ,—авось до чего и доберемся! Сходство нѣкоторыхъ отдѣльныхъ буквъ, какъ тамъ ни измѣняй, а все-таки узнаешь! У насъ вѣдь есть на это и опытные эксперты подъ рукою!

Онъ позвонилъ. Явился унтеръ-офицеръ, которому было приказано позвать какого-то Карла Ивановича.

Вошелъ Карлъ Ивановичъ—благоприлично-благонамѣренной наружности чиновникъ, щупленькій, сивенькій, лѣтъ около пятидесяти, съ орденомъ въ петлицѣ.

— Вотъ, Карлъ Ивановичъ, потрудитесь, пожалуйста, сейчасъ же сличить почерки этихъ рукъ,—обратился къ нему обладатель либеральныхъ бакенбардъ, подавая доносъ, Герценовское письмо, письмо Устинова и одинъ листокъ изъ рукописи Полоярова.

Карлъ Ивановичъ, не торопясь протеръ свои толстые золотые очки, методически осѣдлалъ ими востренькій носикъ и сосредоточенно погружился въ разсмотрѣніе предложенныхъ ему бумагъ.

— Это совсѣмъ посторонняя рука,—сказалъ онъ наконецъ, откладывая въ сторону письмо

Андрея Павловича. — А это п это похоже... очень похоже,—объявилъ онъ черезъ нѣсколько времени, указывая либеральнымъ бакенбардамъ на доносъ и письмо отъ Герцена.—Всѣ эти три бумаги писаны одною рукою, компетентно порѣшили онъ, наконецъ, сличивъ ихъ съ рукописью Полоярова,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, потому что, глядите сами, характеръ отдѣльныхъ буквъ—вотъ, напримѣръ: р, б, ж, д, к, т, в,—во всѣхъ трехъ бумагахъ точенъ и одинаковъ до поразительности. Въ нихъ измѣненъ только наклонъ почерка, но характеръ руки—все одинъ и тотъ же. Я вѣдь уже двадцать лѣтъ этимъ дѣломъ занимаюсь, слава Богу, зубы съѣсть успѣлъ на немъ! — Это одна рука писала,—повторилъ онъ еще разъ тономъ непоколебимаго убѣжденія.

Ардальонъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, взятымъ за горло и крѣпко притиснутымъ въ уголъ къ стѣнѣ. Все сорвалось, все лопнуло и все уже кончено!.. Гдѣ доводы? Гдѣ оправданія? Что тутъ выдуманешь?.. Ни одной мысли порядочной нѣтъ въ головѣ! Логика, находчивость—все это сбилось, спуталось и полетѣло къ чорту! Пропалъ человекъ, ни за грошъ пропалъ!.. Все потеряно, кромѣ... да нѣтъ, даже и «кромѣ» потеряно!

— Простите!.. Пощадите!.. Винавать... одинъ... одинъ кругомъ виноватъ!—глухо пробормоталъ онъ дрожащими, посинѣлыми губами, съ безконечно жалкимъ, глубоко-растеряннымъ и перетрусившимъ видомъ приближаясь къ столу чиновника.

— Въ чемъ-съ прикажете простить васъ и въ чемъ вы одинъ виноваты? — методически размѣренно, пунктуально, съ спокойной-ледяной улыбочкой спросилъ чиновникъ, приставивъ съ мѣста и эластически упираясь на столъ сжатыми пальцами.

Въ головѣ Полоярова точно колесило что-то, въ ушахъ только звенѣло и въ глазахъ рябило какими-то плавающими сверху внизъ водянистыми мушками. Онъ смутно и бессмысленно видѣлъ только сверканіе дорогого перстня на упертомъ въ столъ указательномъ пальцѣ своего неприступно и морозно-вѣжливаго допросчика.

— И такъ, спрашиваю васъ еще разъ: въ чемъ прикажете простить васъ и въ чемъ вы одинъ виноваты-съ?

— Я... я... этотъ доносъ... я самъ на себя написалъ его.

Устиновъ, широко раскрывъ и ротъ, и глаза, даже отшатнулся назадъ отъ изумленія: столь неожиданно и нелѣпо было это признаніе! Логика его просто отказывалась понять такое дикое, ни съ чѣмъ не сообразное дѣйствіе.—Доносъ на самого себя!

— А письмо Герцена къ вашей особѣ?—металлически звучалъ между тѣмъ спокойный, ничѣмъ не возмутимый голосъ допросчика.

— Тоже самъ написалъ... сконфуженнымъ

попотомъ пробормоталъ Полояровъ, не зная куда дѣваться отъ двухъ съ разныхъ сторонъ устремленныхъ на него взглядовъ.

— Съ какою цѣлью вы это дѣлали?—допрашивалъ чиновникъ.

— По глупости-съ... Винавать... Поощадите... Поощадите!.. Я круглый сирота... Ни отца, ни матери!..

И онъ началъ тяжело всхлипывать. Лицо его искривилось, нижняя губа конвульсивно задергалась, и въ глазахъ показались непритворныя, настоящія слезы...

Дѣйствительно, онъ былъ очень жалокъ въ эту минуту.

— Сядьте... успокойтесь, придите въ себя!—вдругъ предупредительно и мягко заговорилъ чиновникъ, наливая ему въ стаканъ воды изъ граненаго графина.—Выпейте воды... нѣсколько глотковъ—это васъ облегчитъ... Успокойтесь же, успокойтесь!..

Полояровъ почти норовилъ въ подставленное ему кресло, трясущеюся рукою взялъ отъ чиновника стаканъ и жадно вытянулъ изъ него всю воду. Вслухиванья стали меньше. Черезъ нѣсколько минутъ онъ сдѣлался гораздо спокойнѣе, но все-таки въ величайшемъ смущеніи чувствовалъ, что глазъ поднять не можетъ ни на своего столь внимательнаго допросчика, ни на глубоко пораженнаго Устинова, и особенно на Устинова.

— Ну, скажите же мнѣ теперь откровенно: что васъ побудило писать на самого себя доносъ?—уже мягко и участливо приступилъ чиновникъ къ новому допрашиванью.

— Хотѣлъ быть арестованнымъ,—тихо проговорилъ Полояровъ.

— Но что за цѣль?!.. Кому же пріятно быть арестованнымъ?—пожалъ плечами допросчикъ.

— Такъ...

— Какъ «такъ!» — Этого же быть не можетъ!.. И я увѣренъ, что, сознавшись въ главномъ, вы не захотите скрыть и причинъ. Вѣдь были же причины?!

— Это все Фрумкинъ,—говорилъ Ардалонъ, все такъ-же со смущенно потушенными глазами.—Фрумкинъ вотъ, да еще Малгоржанъ Казаладзе... да Затцъ...

— Ну, да, это все ваши сожители. Такъ что же этотъ Фрумкинъ и прочіе?

— Это все они-съ... Они стали ко мнѣ приставать, что, молъ, всѣ честные и порядочные люди арестованы и сидятъ, а я одинъ хожу на свободѣ, одинъ не арестованъ... Они все приставали и смѣялись надо мною... Мнѣ это обидно сдѣлалось...

— Ну, и что же?

— Я и написалъ. Они говорили, что могутъ только тѣхъ уважать, кто арестованъ... а меня всякаго уваженія лишили... Мнѣ же это обидно и больно было...

— А вы очень развѣ дорожите ихъ уваженіемъ?—улыбнулся чиновникъ.

— Да какъ же-съ... вмѣстѣ живемъ вѣдь...

— Ну, а письмо къ самому себѣ написали?

— Письмо-съ...

Полояровъ запнулся и растерянно поглядѣлъ вокругъ себя опущенными глазами.

— Письмо-съ... Это такъ.

— Ну, вотъ! Опять у васъ это «такъ».

— Да это все поэтому же... Они меня ругали... все-равно какъ за дрянъ какую почитали... даже ругать стали мерзавцемъ...

— А вы и написали письмо, чтобы разубѣдить ихъ?

— Да-съ... потому они сейчасъ уважать начинаютъ... Впрочемъ, я все это такъ больше... по молодости и опрометчивости...

— Ну, какая же у васъ молодость, однако!—улыбнулся чиновникъ.—Вы, конечно, не старикъ, но уже и не юноша...

— По опрометчивости-съ... Я, признаться сказать... я въ ненормальномъ состояніи всѣ эти дни находился.

Счастливая мысль блеснула въ головѣ Полоярова. Эта мысль была первымъ проблескомъ возвращавшагося самообладанія, и онъ за нее ухватился.

— Что вы называете ненормальнымъ состояніемъ?—спросилъ чиновникъ.

— Пьянъ былъ-съ... Такъ какъ мнѣ это все очень было горько и обидно, что они меня такъ обзываютъ, то я съ горя-съ... Всѣ эти дни вотъ... И въ этомъ состояніи мнѣ пришла мысль написать письмо и доносъ... Я думалъ, пусть же лучше мнѣ пропадать, чѣмъ терпѣть все это!

— Но для чего же вы подписывали доносъ именемъ господина Устинова?

— Надо же было какъ-нибудь подписать. Это я помнилъ, что безымянный доносъ силы не имѣетъ,—я и подписалъ...

— Но почему же непременно именемъ господина Устинова, а не другимъ?

— Такъ это... Еще въ Славнобубенскѣ слышно было, будто они занимаются доносами... Я это вспомнилъ себѣ и подписалъ... Потому тоже, что никакого другого имени не вспомнилъ себѣ въ ту пору... Я тогда никакъ не предполагалъ, чтобы это все могло такъ обернуться, какъ теперь вдругъ обернулось.

— То-есть, вы рассчитывали, что мы не станемъ разыскивать господина Устинова и не потревожимъ его, чтобы удостовѣриться?

— Да, я рассчитывалъ...

— Ну, надо отдать справедливость, вы рассчитывали на нашу очень... очень большую наивность.

— Пьянъ былъ-съ, — вздохнулъ Полояровъ. — Это съ-пьяну все.

— Однако, нельзя сказать, чтобы доносъ

былъ написанъ пьяною рукою,—замѣтилъ чиновникъ, разсматривая бумагу.

— Ей-Богу, пьянъ былъ-съ!.. Богомъ клянусь!.. Рука у меня, впрочемъ, всегда очень твердая.

— Ну, можетъ быть. А вотъ въ письмѣ къ самому себѣ вы пишете, что вы—одинъ изъ немногихъ, которые высоко держатъ знамя демократическаго социализма въ Россіи. Вы, значить, сочувствуете этимъ убѣжденіямъ?

— Ей-Богу, нѣтъ! Видитъ Богъ—нисколь-ко!.. Честное слово! — оторопѣло и торопливо сталъ отпѣкиваться и завѣрять Полояровъ, ударяя себя въ грудь рукою, но все еще избѣгая взглядовъ на Устинова. — Помилуйте, я даже самъ занималъ нѣкогда должность въ полицейской администраціи... Могу ли я! А что я точно, всей душой сочувствую прогрессу, который намъ указанъ самимъ правительствомъ; но чтобы сочувствовать *этой* — Боже меня избави!.. Я, напротивъ, спорилъ съ ними всегда, и они меня за то мерзавцемъ стали обзывать... Это они вотъ сочувствуютъ... Они всѣ сочувствуютъ! Это повѣрьте!

— Кто это они? — спросилъ пунктуальный чиновникъ.

— Они-съ... То-есть Фрумкинъ вотъ, въ особенности... Малгоржанъ, Анцыфровъ, князь Сапово-Нонлохово, госпожа Затцъ, Благопріобрѣтовъ... пояснилъ Полояровъ, стараясь припомнить еще нѣсколько именъ своихъ знакомыхъ.

— Но въ такомъ случаѣ, если вы такъ расходитесь съ этими господами въ убѣжденіяхъ, то для чего же вамъ понадобилось писать къ себѣ письмо подобнаго рода?

— Они же меня ругали, я вамъ докладываю! — съ жалкой миной, развелъ руками Полояровъ.

— Ну такъ вамъ-то что?.. Вы бы плюнули на ихъ брань, и только!

— Мнѣ это очень, говорю, обидно было... Они при томъ же про меня даже печатать хотѣли... Мою гражданскую и литературную репутацію замарать, чтобы нигуда моихъ статей не принимали, а я человѣкъ бѣдный... я только моимъ честнымъ трудомъ живу... Мнѣ и ѣсть послѣ этого нечего было бы!

— Ну, стали бы работать въ другихъ редакціяхъ.

— Помилуйте-съ, это невозможно.

— Отчего же невозможно?

— Да какъ же-съ... Они вѣдь противнаго лагеря... У нихъ направленіе совсѣмъ другое... и въ убѣжденіяхъ мы расходимся.

— Да вѣдь вы же расходитесь въ убѣжденіяхъ съ вашими сожителями?

— Это такъ, да все же... Съ другими-то я не знакомъ... и кланяться не люблю.

— Ну, наконецъ, если вы сочувствуете правительственному прогрессу и либерализму,

работали бы въ официальныхъ газетахъ, въ «Сѣверной Почтѣ», напримѣръ.

— Да что жъ, я пожалуй... Я не прочь бы... Если бы это можно было устроить—я готовъ, съ своей стороны!.. Почему же?..

Устинову стало ужъ очень противно слушать все это. Онъ взялся за шляпу и обратился къ чиновнику:

— Могу я теперь удалиться, такъ какъ дѣло, полагаю вполне уже разъяснилось?

— Pardon!.. Сію минуту-съ!.. съ предупредительной любезностью и даже безъ извѣстной граціи полуобернулся тотъ къ учителю и снова заговорилъ съ Полояровымъ. — Очень жаль мнѣ васъ, господинъ Полояровъ, но все-таки долженъ я вамъ сказать, что въ результатъ всего этого дѣла, вы сами приготовили себѣ весьма печальныя послѣдствія.

Выраженіе испуга и тревоги опять отразилось въ смущенномъ лицѣ Ардальона.

Вы дозволили себѣ подписаться подъ доносомъ именемъ другого, — продолжалъ чиновникъ, — а вы знаете, какъ это называется и къ какого рода преступленіямъ относится вашъ поступокъ?

— Простите!.. Я прошу милости... Снисхожденія прошу, — забормоталъ Ардальонъ съ какою-то мятущеюся тоскою въ испуганныхъ взорахъ. — Съ пьяну... по глупости-съ... Если возможно, я готовъ чѣмъ угодно искупить мою вину... Все что знаю, все что мнѣ только извѣстно, я могу — какъ передъ Богомъ — безъ утайки... съ полной откровенностью... Я раскаиваюсь... Простите, Бога ради!..

Полояровъ готовъ уже былъ начать плести и впутывать всѣхъ своихъ знакомыхъ, всѣхъ кого знаетъ, всѣхъ про кого могъ только вспомнить что-либо, даже всѣхъ тѣхъ кого и не зналъ лично, но про кого слышалъ что-нибудь такое подходящее, или даже и не подходящее ни къ селу, ни къ городу. Въ случаѣ же надобности, можно, пожалуй, и изобрѣсти нѣчто, основываясь на болѣе или менѣе вѣроятныхъ догадкахъ и предположеніяхъ. — Словомъ, все что можешь — все плети и путай въ дѣло: и нужное, и не нужное, лишь бы самому какъ-нибудь вынырнуть. Бодрость окончательно покинула его. Этотъ арестъ и все это дѣло, казавшіяся такими пустяками на свободѣ, стали теперь странно пугать его, въ особенности послѣ того, какъ это приняло такой неожиданный оборотъ и какъ пришлось отвѣдать на опытъ что такое значить арестъ извѣстнаго рода. Полоярову стали теперь мерещиться разные страхи: и казематы, и сѣрыя куртки, и ссылки, и всякія мытарства.

Болѣе струсить и пасть духомъ было уже невозможно. Въ эту минуту всѣ эти чувства дошли въ немъ даже до какого-то лихорадочнаго, щекотнаго ощущенія заячьяго страха.

— Простите!.. Простите *вы* меня! — расте-

рянно обратился онъ къ Устинову, ловя его руки.— Не сдѣлайте меня несчастнымъ!.. Умоляю васъ!

— Если тутъ можетъ имѣть на сколько-нибудь значенія мой голосъ,—обратился Андрей Павловичъ къ чиновнику,—то я покорнѣе прошу оставить это дѣло безъ послѣдствій. Я не желаю преслѣдовать господина Полоярова.

— Вамъ, конечно, прежде всего принадлежитъ право преслѣдованія,—замѣтилъ чиновникъ.

— Если только мнѣ, то я отказываюсь отъ этого права.

Устиновымъ овладѣло такое чувство презрѣнія и гадливости и вмѣстѣ съ тѣмъ сожалѣнія къ этому уничтоженному существу, которое стояло теперь передъ нимъ, тщетно ловя его руки, что ему хотѣлось только вырваться поскорѣй отсюда на свѣжій воздухъ, на свѣтъ Божій. Это ужасное, жалкое, оскорбительное для всякаго человѣческаго достоинства положеніе, въ какое поставилъ себя Ардалонъ Михайловичъ Полояровъ, исключало уже возможность негодованія на него. Оно исключало всякую возможность соприкосновенія съ нимъ, даже возможность преслѣдованія его путемъ закона. Можно было только плюнуть и постараться поскорѣе забыть, что бываютъ въ жизни случаи, когда то, что называется человекомъ, можетъ падать такъ низко.

Полоярова подъ конвоемъ унтеръ-офицера увели въ его нумеръ.

Устиповъ послѣ этого поспѣшилъ откланяться.

XII

Добрая овца нашла своего добраго пастыря.

Панъ Анзельмъ рискнулъ и... женился. Все это произошло очень просто.

Однажды вечеромъ, когда офицерскій кабинетъ, онъ же и гостиная, и столовая, и зала, былъ таинственно освѣщенъ лампою подъ темнымъ бумажнымъ абажуромъ и, вмѣстѣ съ хозяиномъ, казалось, представлялъ таинственное ожиданіе чего-то или кого-то, когда вдругъ послышался въ этомъ кабинетѣ тихій шелестъ женскаго платья и то, что когда-то, во времена оны, называлось гармолей устъ и созвучіемъ поцѣдуевъ,—панъ Бейгушъ, среди страстныхъ изъясненій своихъ восторженныхъ чувствъ, объявлялъ, что существованіе врознь другъ отъ друга ужасно тяготитъ его, что долѣе такъ продолжаться не можетъ, или иначе онъ пулю въ лобъ себѣ всадитъ. Вдовушка не на шутку испугалась этой пули. Затѣмъ Бейгушъ пѣзсянилъ, что онъ на столько горячо ее любитъ, и самый любовь его столь свята,

велика, чиста и возвышенна, что онъ хотѣлъ бы не скрывать ее нигдѣ и ни при комъ, хотѣлъ бы гордиться ею предъ цѣлымъ свѣтомъ.— Короче сказать, если вдовушка не хочетъ губить его, сдѣлать на вѣки несчастнымъ, то пусть вмѣстѣ съ сердцемъ возьметъ и руку, пусть вмѣсто любовника назоветъ его мужемъ.

Вдовушка, словно музыку какую, слушала весь этотъ сумбурный пылъ офицерскихъ признаній и восторгалась...

«Ахъ, какъ онъ меня любить! Боже мой, какъ онъ любить меня!» восхищалась она въ душѣ, упоенная этой музыкой и счастьемъ подобной любви.

«А вѣдь славно будетъ съ такимъ бравымъ красивымъ муженькомъ, въ такомъ щегольскомъ мундирѣ съ бархатомъ, показаться въ собраніи, въ оперѣ, прогуляться подъ-руку по Невскому!» мечтала себѣ Сусанна. «Онъ такая прелесть, я тоже не дура: да на насъ просто заглядываются будутъ!.. Лидька вся высохнетъ отъ зависти. Воображаю себѣ, какъ это она озлится!.. сейчасъ шучьи зубы свои выставить и вся позеленѣетъ... Ахъ, ей-Богу, прелесть! Надо будетъ сдѣлать себѣ новую бархатную шубку съ соболями и соболью шапочку... Ахъ, это будетъ чудо какъ хорошо! Карточки визитныя закажу себѣ: Сусанна Ивановна Бейгушъ... *Susanne de Beugouche*... Ахъ, какая хорошая фамилія! Кто это такая хорошенькая дамочка?—Это? это *madame Beugouche*... Ахъ ей-Богу, какое счастье!»

А панъ Анзельмъ межъ тѣмъ у ногъ ея пламенно требовалъ согласія.

— Сусанна! радость моя!.. шепталъ онъ, обнимая ея колѣни.— Если ты не согласишься быть моею и предъ людьми, и предъ Богомъ—клянусь тебѣ!—вотъ револьверъ! я пушу въ себя всѣ шесть пуль разомъ!.. Клянусь тебѣ въ томъ моею любовью! Всѣ шесть пуль въ эту голову!

«Ахъ, какъ онъ меня любить! Боже мой, какъ онъ любить меня!» восхищалась простодушная вдовушка и, конечно, поспѣшила дать ему полное свое согласіе: видѣть его пронизаннымъ всѣми шестью пулями разомъ было бы такъ ужасно, такъ жестоко,—могла-ль она не согласиться.

Бейгушъ приказалъ ей молчать обо всемъ до дня свадьбы и особенно въ коммунѣ хранить на этотъ счетъ самую строгую тайну. Она, на другой же день послѣ его предложенія, принесла ему всѣ свои бумаги, необходимыя при вѣнчаніи, а поручикъ дѣятельно сталъ хлопотать у начальства «о разрѣшеніи вступленія въ первый законный бракъ». Начальство препятствій не встрѣтило, и черезъ три недѣли Сусанна Ивановна торжественно перемѣнила фамилію Стекльштромъ на Бейгушъ, а къ тому времени и визитныя карточки, и шубка съ соболями, и шапочка со-

болья были готовы, — словомъ все выходило точно такъ, какъ она о томъ мечтала.

Бейгушъ подобралъ четырехъ свидѣтелей: пана грабего, Свитку да двухъ своихъ товарищей-артиллеристовъ (панъ грабя былъ даже его шаферомъ), и такимъ образомъ, безъ торжественнаго шума, безъ лишнихъ глазъ, тихо и скромно повѣнчался въ одной изъ домашнихъ церквей. Къ этому времени у него была уже нанята и обмѣлирована маленькая, но не дурная, уютная квартирка, куда онъ тотчасъ же перевезъ жену свою. Счастливая и веселая Сусанна называла ее своимъ маленькимъ раемъ. На третій день послѣ свадьбы она, подъ диктовку мужа, написала въ коммуу извѣстное уже письмо и тѣмъ покончила всѣ отношенія къ бывшимъ своимъ сожителямъ.

XIII.

Благородное слово на благородное дѣло.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ—медовый мѣсяцъ супружеской жизни Бейгуша. Сусанна блаженствовала: ее всѣ называли теперь madame Beugouche; на визитныхъ карточкахъ, которыми она поразвозила въ нѣсколько знакомыхъ домовъ ея мужа, стояла даже красивая частица de; бархатная шубка съ шапочкой необыкновенно шли ей къ лицу; она ѣздитъ съ мужемъ и въ собраніе, и въ театръ; нѣкоторые дѣйствительно обращаютъ маленькое вниманіе на красивую парочку, но счастливой, самообольщенной Сусаннѣ это вниманіе кажется огромнымъ и почти всеобщимъ, и она этимъ такъ довольна, такъ счастлива, а у себя дома еще довольнѣй и счастливѣе: мужъ ее такъ любитъ, онъ такъ внимателенъ, такъ нѣженъ, его ласки такъ горячи, такъ полны страсти... Сусанна окончательно привязалась къ своему бравому мужу. За такое счастье, за такія ласки, добрая, мягкая душа ея стала способна для него на все, на всякій подвигъ, на всякую жертву.

Между тѣмъ къ концу перваго мѣсяца счастливый и столь облюбленный мужъ сталъ порою задумываться... Его начинала смущать именно эта, повидимому, безграничная привязанность Сусанны. Ея крупныя чувственные губы, ея живоотно-добрые, сладострастные глаза просили все больше и больше новыхъ поцѣлуевъ, новыхъ ласкъ, а ему все это успѣло уже поприсытиться. Онъ начиналъ чувствовать нѣкоторую тягость и скуку, оставаясь продолжительное время наединѣ съ женою. Говорить съ нею... но о чемъ говорить съ нею? Она только добра, но увь!—не умна ни мало!.. Говорить съ нею не о чемъ, кромѣ какъ о поцѣлуяхъ, о новой шляпкѣ, о фасонѣ новаго платья, о коммуѣ, о любви да о томъ, какъ была вчера въ театрѣ одѣта такая-то, или такая-то. Бейгушу это подѣ-часъ становилось даже досадно,

но онъ былъ терпѣливъ, подавляя въ себѣ злобное чувство и стараясь искусственно подогрѣвать себя на новыя нѣжности и ласки.

Какъ-то разъ, находясь въ непріятномъ расположеніи духа и въ грустномъ раздумьи, по поводу этихъ самыхъ причинъ, шелъ Бейгушъ одинъ по Невскому проспекту и нечаянно столкнулся съ паномъ Слоспицкимъ. Панъ грабя на сей разъ былъ въ аванажѣ, одѣтъ изящно и потому добръ, веселъ и изобрѣтателенъ на всякую остроумную штуку.

— А я только вчера изъ Варшавы, говорилъ онъ Бейгушу, фланерски ухватя его подъ руку и направляя праздныя стопы свои въ одну съ нимъ сторону.—Ну, душа моя, дѣла наши идутъ пока отлично! Наяздъ сковфуженъ, потерялъ я руки, и голову, и носъ опустилъ на квинту!.. Варшава теперь чудо что такое!.. Эдакая пестрота, движеніе, чамарки, кунтуши, конфедератки, буты, то-есть просто душа радуется!.. Доброе времячко! Ну, а ты какъ?.. Что семейная сладость и прочее?.. а?

— Да что, братъ, я тоже опустилъ носъ на квинту!—съ грустной досадою проговорилъ Бейгушъ.

— Те, те, те!.. Что я слышу!? Медовый мѣсяцъ не кончился, а онъ на квинту?.. Или жена не любить?

— То-то что черезчуръ уже влюбилась.

— Значить, тѣмъ лучше! А веревки вьешь изъ нея?

— И это, пожалуй, можно.

— Ну, такъ пять съ плюсомъ тебѣ за поведеніе! Въ чемъ же дѣло? Или капиталовъ оказалось меньше чѣмъ думалъ?

— Нѣтъ, на этотъ счетъ, слава Богу, не ошибся.

— Э, душа моя, такъ кричи vivat!.. Ей-Богу, просто позавидовать можно человѣку: и любить-то его, и веревки-то онъ вьетъ, и въ капиталахъ не разочаровался, и женка предостъ какая хорошенькая! Да ты, mon cher, просто привередничаешь послѣ этого!

— Да, привередничаешь! — кисло вато пробрюзжалъ Бейгушъ.—Связалъ себя по рукамъ и по ногамъ, тогда какъ почти-что равнодушенъ къ женщинѣ!

— Ну, стало быть, и того еще лучше!—подхватилъ панъ грабя.—Если такъ, то тѣмъ легче можешь во всякое время сдѣлать ей ручку и улыбнуться. Капиталы перевелъ уже на свое имя, или нѣтъ еще?

— То-то что нѣтъ.

— Э, братъ, швахъ!.. За это тебѣ изъ поведенія нуль! А еще хвалишься, что веревки вьешь! Чего же ты медлишь-то?

— Да какъ тебѣ сказать!.. Ужасно вѣдь не ловко это... И какъ приступить?.. Вѣдь это ей покажется и странно, и подозрительно, если покажешь «ни съ бухты ни съ баракты» лишнешь ей: переведи, молъ, все состояніе на мое имя!.. А

сама она еще не догадалась объ этомъ... Надо какъ-нибудь исподволь, поосторожнѣй да половче, а тутъ, можетъ, ни сегодня—завтра придется браться за дѣло, уходить въ Литву. Вотъ тутъ и раздумывай надъ такою задачею.

— То-есть, по-просту сказать, ты либо деликатничаешь некстати, либо не умѣешь взяться за дѣло,—порѣшилъ панъ грабя.—И при томъ, я понимаю, душа моя!.. Я очень хорошо понимаю тебя!—тебѣ хотѣлось бы прежде всего остаться въ ея глазахъ и вообще выйти изъ этого дѣла джентльменомъ. Не такъ-ли?

Бейгушъ молчалъ и шелъ потупясь.

— Ты молчишь, — продолжалъ, пылливо взглянувъ на него, Слѣпичицкій;—ну, конечно такъ! Молчаніе есть знакъ согласія. А что ты мнѣ скажешь,—вдругъ полноувѣсно и съ торжествующею загадочностью заговорилъ онъ,—что скажешь ты мнѣ, если бы напимѣръ, я, твой пріятель, помогъ тебѣ обдѣлать всю эту исторію такъ, что и деньги завтра-же у тебя въ карманѣ будутъ, и джентльменомъ ты передъ женой останешься?.. Ну-те, пане капитане, отвѣчайте мнѣ!

— Хм... Что-жъ отвѣчать на это!—полусоблазняясь, полунедовѣрчиво усмѣхнулся Бейгушъ.—Нѣтъ, братъ, ты отвѣти!.. Я вѣдь говорю тебѣ серьезно, не на вѣтеръ! Только ты постой напередъ! Такъ дѣла не дѣлаются. А ты вотъ что: хочешь идти со мной на условіе?

— На какое условіе?—все съ тою же усмѣшкой спросилъ поручикъ.

— Во-первыхъ, обѣдъ у Дюссо съ трюфелями и шампанскимъ,—это прежде всего! Во-вторыхъ, пять процентовъ со всего капитала, который хоть завтра же, при моей помощи, перейдетъ къ тебѣ въ руки.

— Да; но какъ перейдетъ—вопросъ?—усомнился Бейгушъ.

Панъ грабя при этомъ поспѣшилъ даже, хотя пріятельски, но благородно обидѣться.

— Странное дѣло!—воскликнулъ онъ, оскорбленно подфыркивая.—«Какъ перейдетъ?» Неужели же ты можешь предполагать что-нибудь нечестное, неблаговидное!.. Хм!.. Ты, кажется, долженъ бы хорошо знать меня, что я, какъ дворянинъ и порядочный человѣкъ, не въ состояніи предложить ничего неблагороднаго! Объ этомъ даже и думать нехѣло. Я полагаю, что и ты, и я—оба мы такъ поставлены въ свѣтъ и по рожденію, и по положенію, и по образованію, что не можемъ сдѣлать ничего такого, за что общественное мнѣніе могло бы набросить на насъ какую-нибудь тѣнь. Если я тебѣ, какъ доброму пріятелю, предлагаю помощь, то понятно, что въ ней нѣтъ ничего компрометирующаго. Я вѣдь только изъ участія къ тебѣ же, а впрочемъ какъ хочешь.

— Ну, вотъ, ты ужъ и обидѣлся, кажись!—поспѣшилъ Бейгушъ поправить свою неосторожность.—Зачѣмъ такъ странно принимать каждое

слово! Я, напротивъ—я буду безконечно тебѣ благодаренъ, если ты укажешь путь, чтобъ она сама, добровольно, предложила мнѣ деньги.

— А условіе?—торгуясь, подмигнулъ панъ грабя.—У меня, братъ, дружба дружбой, а деньги деньгами. Даешь пять процентовъ?

— Прекрасно, да съ какой же суммы?—за-торговался въ свою очередь и Бейгушъ.

— Съ какой бы ни было! Однимъ словомъ, съ той, какая очутится у тебя въ карманѣ.

— Изволь, даю, но помни: только съ тѣмъ, чтобы жена отдала мнѣ сама доброю своею охотою.

— А то какъ же иначе?—опять подфыркнулъ Слѣпичицкій.—Такъ пять процентовъ?

— Пять.

— Значитъ, идетъ?

— Идетъ!

— И кромѣ того обѣдъ у Дюссо съ трюфелями и шампанскимъ. Чуръ!—по картѣ я самъ заказывать стану! Это условіе я тоже выговариваю себѣ заранѣе.

— Не прочь и отъ этого,—согласился поручикъ.—Ты заказывать, я платить.

— Вотъ, вотъ оно-то самое и есть!—съ жпвостью подхватилъ панъ Тадеушъ.—А ты актеръ хорошій?

Бейгушъ посмотрѣлъ на пріятеля съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ..

— Это что же значитъ?—спросилъ онъ, смѣясь.

— О! ты не сомнѣвайся,—увѣрилъ тотъ,—это статья очень важная въ нашемъ дѣлѣ... Такъ какъ же,—хорошій?

— Въ любительскихъ спектакляхъ раза два подвизался?

— Ну, и эдакъ тово!.. въ драмахъ и въ трагедіяхъ?

— Нѣтъ, больше въ водевиляхъ.

— Э... Ну, мы соединимъ водевилъ съ трагедіей и закончимъ комической развязкой, къ общему удовольствію, — порѣшилъ веселый и довольный собою панъ грабя.—А насчетъ трагедіи ты можешь?

— Не знаю, не пробовалъ.

— Не пробовалъ?—Такъ вотъ тебѣ первый дебютъ! Впрочемъ, я полагаю, что гдѣ дѣло своего кармана коснется, тутъ ой-ой! всякій человѣкъ, не бойсь, отличнымъ актеромъ вдругъ сдѣлается! и въ водевилѣ запоетъ, и въ трагедіи завоетъ! Такъ какъ же,—по рукамъ?

— По рукамъ! уже сказано!

— И исполнено будетъ точно?

— Точно и вѣрно.

— Слово гондремъ?

— Слово гондремъ!

— Ну, давай же, примемся за дѣло!

XIV.

Любишь — не любишь.

На другой день послѣ этого разговора у Бейгуша было назначенъ маленькій «вечеръ». Были человѣка два-три военныхъ, Свитка и панъ грабя Слончицкій. Изъ фамилій офицеровъ, которыми нѣтъ никакой надобности обременять память читателя, ни одна ни оканчивалась на *овъ*, или *инъ*, а все на *ицкій*, *еицкій* и *евичъ*. Изъ дамъ никого не было. Сусанна очень любила дѣлать у себя *petites soirées* подобнаго рода: ей пока еще нравилась роль молодой хозяйки, ее такъ забавляло сидѣть за чайнымъ столомъ, дѣлать тартинки и разливать гостямъ чай въ свѣтлые, гранснаго хрустала стаканы. Все это было такъ мило, уютно и красиво, послѣ первобытной простоты коммунаго обихода. Матовый фонарикъ въ гостиной, яркій каминъ, зелень на окнахъ, красивая покойная мебель и мягкіе ковры—все это такъ красило ея новую обстановку, посреди которой, въ роли счастливой молодой хозяйки, она и постороннимъ, и самой себѣ казалась еще прелестнѣе. Сусаннѣ грезилось, что она дѣйствительно нашла теперь свой маленький рай и свое большое счастье... Все у нея есть; красивый мужъ, у мужа веселые, милые друзья, есть миленькая квартирка, и сколько свѣжихъ, модныхъ нарядовъ!

Двое изъ офицеровъ специально прикомандировали себя къ молодой хозяйкѣ и даже слегка ухаживали за нею, что ей очень нравилось и подавало поводъ къ мадленскому кокетству. Сусанна хотъ и сильно облюбовала своего мужа, но... видя около себя ухаживающаго мужчину—по припроденной ей слабости, никакъ не могла воздержаться отъ нѣкотораго кокетства: ей хотѣлось, чтобы всѣ безъ исключенія были ею заинтересованы и находили бы ее прелестной.

Остальные, въ томъ числѣ и самъ Бейгушъ, засѣли за столъ, въ невинный ералашъ «по маленькой».

Вечеръ тянулся своимъ чередомъ до ужина, который былъ обленъ и веселымъ разговоромъ, и добрымъ виномъ. Послѣ ужина гости вскорѣ взились за шапки и откланялись. Остался одинъ Слончицкій.

Онъ шутя присѣлъ къ ломберному столу и, промежъ болтовни, прокинулъ направо и налево.

— А что, не рѣснуть ли на маленькую?—игриво предложилъ ему Бейгушъ.

— Поздно,—взглянувъ на часы, уклонился панъ Тадеушъ.—Вы люди молодые, вамъ и бабай пора!

— Нѣтъ, что за поздно!.. Шутя, двѣ-три тали, не болѣе!—приставалъ между тѣмъ Бей-

гушъ. — Садись-ка, садись, пріятель! Дай-ка я тебя вздую немножко на сонъ грядущій!

— Да что жъ, я пожалуй... если тебѣ такъ хочется,—не-хотя согласился панъ грабя, вынимая бумажникъ и заложивъ банкъ въ двадцать пять рублей.

Бейгушъ взялъ колоду и приготовился понтировать. Сусанна полуприсѣла къ нему на ручку кресла и обвила его шею рукою.

— А вы, пани Бейгушова, не мастерица въ «любишь не любишь»?—шутя обратился къ ней Слончицкій.

— Я? Нѣтъ, я люблю!—похвалилась она.

— Такъ что жъ?.. Не хотите ли поставить карточку?

— О, съ удовольствіемъ!

— Я васъ тоже съ *удовольствіемъ* обыграю! Вѣдь вы истая москѣвка?

— Россіянка *rug-sang*.

— А я—полякъ *пюрсановы*.

— Ну, такъ что жъ?

— Э! какъ «что жъ»!.. весело подхватилъ панъ грабя.—Я, видите ли, полякъ и непавижу русскихъ, и потому обыгрываю ихъ въ карты.

Сусанна засмѣялась.

— Да, смѣйтесь! Вотъ и васъ поэтому обыграю. Ну, что вы поставили?

— Я?... Червонный король!—отозвалась молодая супруга, выбирая карту.

— А что цѣна ему?

— Рубль.

— Э, дешево же вы королей цѣните!.. Вишь, какая, республиканка!.. А ты, душа моя, что ставишь?—обратился онъ къ Бейгушу.

— Анзельмъ, ставъ даму!—подтолкнула мужа Сусанна.

— Пожалуй, можно и даму, — улыбнулся Анзельмъ.

— Э?... И оба червонные!—воскликнулъ грабя, взглянувъ на Бейгушеву карту.—Значить, полный марьяжъ! Король и дама—молодая чета. Такъ и слѣдуетъ въ медовомъ мѣсяцѣ! А что идеть?—вопросительно поднялъ онъ глаза на партнера.

— Тоже рубль! — весело отвѣтила за мужа оживленная Сусанна.

— Однако, послушайте! — серьезно и внушительно предостерегъ ее Тадеушъ, — эдакъ вѣдь какъ разъ можно жестоко зарваться! Первыя карты въ рубль! Вѣдь такъ-то и тысячи спустишь въ одинъ вечеръ! Начало въ рубль—во что же конецъ у васъ будетъ? Не уменьшитъ ли кушкѣ?... а?... Право, благоразумнѣе будетъ!

— Нѣтъ, нѣтъ! пускай по рублю идутъ!.. По рублю!.. И слышать ничего больше не хочу! Понимаете? Я хочу такъ! Не смѣете мнѣ противорѣчить!—кокетливо и капризнымъ тономъ балованнаго ребенка притопнула на него Сусанна.

— Ну, нѣтъ быть по сему,—со вздохомъ согласился панъ грабя и сталъ метать отчетливо и изыщно.

— Дама дана!—возгласилъ онъ, прокинувъ нѣсколько картъ.

Глазами, блещущими отъ удовольствія, Сусанна съ живымъ интересомъ слѣдила за ходомъ игры, быстро ловя взорами выпадающія карты.

— Король битъ! А что?—обратился къ ней Слѣпичицкій,—а что? Не говорилъ я вамъ, что какъ добрый врагъ, поражаю москалей на картахъ?... Хе-хе!.. А вы мнѣ не вѣрили!.. Ну, такъ вотъ же вамъ! Рублишко имѣю за вами.

Супруги поставили еще по картѣ. Обѣ карты были даны. Успѣхъ еще болѣе оживилъ и подзадорилъ Сусанну. Она загнула уголъ и присоединила нѣсколько очковъ мазу.

Карта снова была дана ей.

Не въ силахъ сдержаться отъ внутренняго удовольствія, она захлопала въ ладоши и радостно засмѣялась какъ ребенокъ.

— Уголъ!.. еще разъ уголъ!—говорила она, выдергивая новую карту.

— Вишь, какая вы азартная, однако!—шутя покачалъ головою панъ грабя.—Съ новой карты да прямо уголъ!

Карта была бита,—Сусаннѣ пришлось разстаться съ выигрышемъ. Поворотъ успѣха ущипнулъ ее и задѣлъ за живое. Съ разгорѣвшимися щеками и глазами, думая сразу вернуть весь проигрышъ, она поставила на карту равную ему сумму. Карта снова дана. Успѣхъ малый породилъ жажду успѣха болѣе шаго. Она поставила на *не*—и взяла.

— Э, да вы у меня ужъ весь банкъ сорвали!.. Нѣтъ, съ вами бѣда играть!—говорилъ Слѣпичицкій, передавая ей деньги,—да мало того, еще и приплатиться приходится.

Онъ досталъ бумажникъ и вынулъ сторублевую.

— Ну, меньше нѣтъ. Пожалуйста сдачи, а то я на извозчика не будетъ,—сказалъ онъ, кладя на столъ бумажку.—А можетъ хотите еще попытать счастья?—заманчиво подмигнулъ ей панъ грабя.—Вишь, вамъ все идетъ «любишь да любишь!» Какая, право, счастливая! И въ жизни везетъ, и въ картахъ везетъ, и въ любви везетъ! Такъ что же, угодно еще немножко?

Сусанна, раздраженная уже столь легкимъ выигрышемъ, съ радостью согласилась.

Слѣпичицкій снова началъ метать съ той особенной отчетливо-изыщной граціей и хладнокровіемъ, которыя дѣлали игру съ его особой въ высшей степени пріятною. Въ немъ сразу былъ виденъ опытный, ловкій и свѣтскій игрокъ-джентльменъ. Недаромъ же панъ грабя въ великосвѣтскомъ кругу показывалъ и фокусы порою...

Сначала игра шла съ переменнымъ счастьемъ. Бейгушъ игралъ сдержанно и осторожно;

зато Сусанна увлекалась безъ мѣры и ставила все крупные куши. Каждый маленькій успѣхъ придавалъ ей рѣшимость и смѣлость дальнѣйшаго риска, а каждал крупная неудача колола подъ сердце, волновала, будила новый азартъ и желаніе отыграться скорѣе, сразу, съ одной карты! Въ ея игрѣ не было ни малѣйшей сдержанности, ни малѣйшаго благоразумія, такъ что панъ грабя только улыбался да головою покачивалъ, глядя на азартныя выходки ретивой партнерки.

Но чѣмъ далѣе шла игра, тѣмъ все болѣе склонялось счастье на сторону банкмета. Онъ убилъ уже подъ-рядъ нѣсколько крупныхъ картъ Сусанны.

— Ну, однако, матушка, баста!—рѣшительно и серьезно остановилъ ее Бейгушъ.—Еще и четверти часа не прошло, а ты уже шестьсотъ рублей спустить успѣла! Ступай-ка спать лучше! Теперь только въ пору мужу поправлять твои грѣхи. Надо отыгрываться!

— Нѣтъ, я хочу еще!.. Я сама буду!—настойчиво говорила Сусанна, словно совсѣмъ хмѣльная отъ своего азарта.

— Ну, не дури же, Сусанна!.. Это глупо, наконецъ!—насупилъ брови Бейгушъ.—Я говорю тебѣ серьезно. Вѣдь подумай: шестьсотъ рублей въ какія-нибудь пятнадцать минутъ!

— Да я не дальше какъ двѣ минуты назадъ была триста въ выигрышѣ!—возражала она.

— Ну, то было да сплыло.

— Но я хочу играть!—притопнула молодая сунруга.

— А я не хочу,—рѣшительно возразилъ ей сунругъ.

— Графъ! мечите же!.. Я играю!—настойчиво обратилась она къ Тадеушу.

Тотъ положилъ карты на столъ и сидѣлъ сложа руки.

— Мечите же, графъ, говорю вамъ!

— Полноте, Сусанна Ивановна!.. Что за ребячество!—увѣщательно заговорилъ онъ.—Я рѣшительно не стану болѣе метать для васъ.

— Но я требую!

— А я не стану.

— Ну, я прошу... Графъ, слышите ли?—Я, я *прошу* васъ.

— А я все-таки не стану.

— Но это, наконецъ, невѣжливо.

— Пусть такъ! И пусть я буду невѣжей, а метать все-таки не стану вамъ.

Сусанна съ сердцемъ бросила на столъ свои карты.

— Ну, это наконецъ уже выходитъ изъ всякихъ границъ!—поднялся Бейгушъ съ мѣста.—Ступай спать, говорю тебѣ. Я этого требую, Сусанна, или мы серьезно поссоримся.

Онъ проговорилъ все это рѣшительнымъ и строгимъ тономъ. Въ недовольномъ взорѣ его свѣтилась непреклонная, мужская воля.

Сусанна взглянула на него и, какъ ребенокъ, пойманный на шалости, робко и сконфуженно потупилась. Ее до сихъ поръ никто еще въ строгихъ рукахъ не держалъ, а она, напротивъ, любила строгія руки. Это-то именно и нравилось, и было ей любо въ мужчинѣ.

Бейгушъ молча обнялъ ее за талію и повелъ изъ комнаты въ спальню.

— Будь же умница и ложись-себѣ! — полушутливо и полустрого сказалъ онъ ей. — Шестисотъ рублей — шутка ли сказать! Помолись лучше Богу, чтобъ я отыгралъ ихъ поскорѣе, тогда скорѣй и къ тебѣ приду!

И поцѣловавъ ее въ лобъ, онъ спокойно вернулся къ Слоничицкому.

Игра началась снова.

Но Сусанна не раздѣлась и не легла. Она походила изъ угла въ уголъ, посидѣла на кушеткѣ, снова походила и снова посидѣла, но наконецъ не вытерпѣла: осторожно на ципочкахъ вышла въ гостиную и оттуда, притаясь за портьерой, стала глядѣть на играющихъ. Ужъ ей теперь хотѣлось, чтобъ они поскорѣе кончили. Но игра продолжалась и, повидимому, очень серьезно. Счастіе было на сторонѣ Слоничицкаго.

Сусанна постояла минутъ съ десять и тихо удалилась въ спальню.

Бейгушъ, по шороху въ смежной комнатѣ, очень хорошо слышалъ ея присутствіе, но и виду не показавъ, что замѣчаетъ ее. Напротивъ, чувствуя, что она стоитъ и смотритъ изъ-за портьеры, онъ, ероша рукою волосы, устроилъ себѣ серьезную и даже озлобленную физиономію и еще внимательнѣе погрузился въ игру.

Слоничицкій улынулся и не безъ коварства кивнулъ на дверь по уходѣ Сусанны.

А она, между тѣмъ, все еще не ложилась. Уютно помѣстивъ на кушеткѣ, съ поджатыми подъ себя ножками, она принялась за какой-то романъ Поль-де-Кока, — писателя, котораго отъ души находила теперь несравненно занимательнѣй всѣхъ Дарвиновъ и Боклей на свѣтѣ. Но и чтеніе на сей разъ какъ-то не давалось ей. Нетерпѣливое ожиданіе — скоро ли тамъ наконецъ, кончатъ, скоро ли мужъ придетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ Евино любопытство узнать, что тамъ дѣлается и какъ идетъ игра, заставили ее, спустя часъ времени, снова на ципочкахъ выйти въ гостиную и помѣститься за портьерой.

Они все еще играли. Предъ обоими стояло по стакану краснаго вина; множество гнутыхъ картъ валялось подъ столомъ. Злобно сжимая въ зубахъ сигару, Бейгушъ, повидимому, такъ взволнованно и тревожно ставилъ карту за картой, а панъ грабя билъ ихъ такъ отчетливо, хладнокровно и изящно. Счастіе рѣшительно повернулось спиной къ поручику.

Вдругъ онъ, какъ-будто замѣта чье-то при-

сутствіе за портьерой, раза два строго и взглядчиво вскинулъ туда злые глаза и закричалъ, будто выведенный изъ терпѣнья.

— Стушай же, наконецъ, спать Сусанна!

Молодая супруга даже струхнула предъ этимъ взглядомъ и голосомъ и, надувъ губки, окончательно уже удалилась къ себѣ, помѣстившись передъ зеркаломъ и медленно стала раздѣваться.

«А вѣдь, ей-Богу, я еще прехорошенькая!.. превкусная!» съ наивно свѣтлой улыбкой подумала она, глядя на себя въ зеркало, на свои глаза, блестящіе отъ давешняго волненія, на эти свѣжія, красивыя плечи и на эти волнистые, роскошныя волосы, упавшіе въ ту самую минуту густыми, тяжелыми прядями на стройную спину.

XV.

На что оказалась способною Сусанна.

Въ залѣ между тѣмъ продолжалась игра.

Сусанна не-хотя, медлительно раздѣлась, не-хотя легла въ постель, не-хотя принялась за книжку. Но вскорѣ строки стали двоиться, пестрить, рябить и сплываться въ глазахъ, книжка неслышно выпала изъ руки на одѣяло — Сусанна заснула.

Сонъ ея былъ не совсѣмъ-то покоенъ. Разъ два просыпалась она, широко раскрывала сонныя глаза, осматривалась вокругъ — все одна... мужа нѣтъ еще. «Ахъ Боже мой! чтó это они тамъ!.. Надо бы сходить посмотрѣть», думаетъ она, но сонъ моритъ, сладко смыкаетъ вѣки, оковываетъ волю — и она снова засыпаетъ.

Когда въ третій разъ проснулась Сусанна, свѣча совсѣмъ ужъ оплыла и догорѣла, сквозь занавѣску пробивался свѣтъ утра, а мужа все еще не было.

Крайне встревоженная и даже раздосадованная послѣднимъ обстоятельствомъ, она наскоро вдѣла въ туфли босыя ножки, торопливо накинула на плечи шлафрокъ и пошла въ залу.

Тамъ, къ удивленію ея, никого уже не было. Одинъ только раскрытый столъ, разбросанныя карты, мѣлки и щетки да распитая бутылка свидѣтельствовали о недавней игрѣ.

Сусанна подумала, что мужъ ушелъ изъ дому вмѣстѣ съ Слоничицкимъ, и заглянула въ переднюю: шинель висѣла на своемъ обычномъ мѣстѣ и пальто тоже.

Она разбудила человѣка.

— Баринъ ушелъ куда?

— Никакъ нѣтъ... Они дома.

— Гдѣ же онъ?

— Не знаю-съ... Я хотѣлъ раздѣть ихъ, — они сказали, что сами, и прошли въ кабинетъ. «Милый!» подумала Сусанна.. «Это онъ не хотѣлъ меня потревожить».

Она подошла къ двери кабинета и взялась

за ручку—дверь оказалась запертою на замок. Она заглянула въ скважину — заперто изнутри и ключъ въ замкѣ оставленъ.

«Странно!.. зачѣмъ ему вдругъ пришла охота заператься?» подумалось ей.

Въ эту минуту въ кабинетѣ слышались шаги, тихіе, осторожные, съ явнымъ намѣреніемъ скрыть малѣйшій шелестъ, но Сусанна очень хорошо ихъ слышала.

— Анзельмъ!.. Ты не спишь?.. Отвори мнѣ! — сказала она, снова потрогавъ ручку.

— Въ кабинетѣ никто не откликнулся и шаги тотчасъ же окончательно притихли.

— Анзельмъ! Ты слышишь?.. Отвори мнѣ!.. Это я! — повторила Сусанна.

И снова ни отклика, ни звука.

Это ее встревожило. Въ сердце кольнуло предчувствіе чего-то недобраго.

— Анзельмъ! Отвори мнѣ сейчасъ, говорю тебѣ! — настойчиво и громко заговорила она, съ силою дергая дверную ручку, такъ что если-бъ Анзельмъ даже спалъ глубокимъ сномъ, то не могъ бы не проснуться отъ стука и шума.

Опять ни отклика и звука, словно бы въ кабинетѣ и нѣтъ никого.

— Анзельмъ! Я буду кричать... Я стану ломиться, созову людей, если ты сейчасъ же не отворишь! — нервно и со слезами въ голосѣ закричала испуганная Сусанна.

— Ступай и ложись... Я сейчасъ приду къ тебѣ!.. тихо отвѣтилъ Бейгушъ пзъ-за запертой двери.

— Отвори мнѣ, говорю тебѣ!.. Я не уйду отсюда, пока ты не отворишь!

И она съ новой силой стала дергать за ручку.

— Анзельмъ!.. Анзельмъ! — раздавались подъ дверью ея громкіе истерически-рыдающіе крики!

Ключъ щелкнулъ въ замкѣ, и Сусанна въ тотъ же мигъ стремительно растворила себѣ дверь.

Предъ нею стоялъ мужъ — блѣдный, со взъерошенными волосами, съ явнымъ разстройствомъ въ омраченномъ лицѣ.

Сусанна зоркимъ окомъ окинула мужа и комнату: на столѣ лежалъ револьверъ, кучка пороха съ двумя-тремя пулями на листѣ бѣлой бумаги и недописанное письмо.

— Анзельмъ... что это значить? — оторопѣло проговорила она, переводя бѣглые, взволнованные взоры съ лица своего мужа на всѣ эти предметы, прежде всего кинувшіеся ей въ глаза.

Тотъ не отвѣчалъ и, отвернувшись отъ жены, мрачно прошелся по комнатѣ.

Сусанна быстрымъ движеніемъ схватила со стола револьверъ и сунула его въ карманъ плафрока, а потомъ разсыпала на полъ весь порохъ съ листа бумаги и взялась за письмо.

Бейгушъ, въ величайшемъ изнеможеніи какъ

бы уставши и видѣть, и понимать что вокругъ него происходитъ, погрузился въ кресло и, положивъ на столъ руки, опустил на нихъ отяжелевшую голову.

Сусанна жадными, тревожными глазами забѣгала по строчкамъ его писанья.

«Милая и неоцѣненная моя Сусанна! Прощай! Прощай на вѣки и не кляни, а прости своего несчастнаго мужа. Я не стою тебя — я сознаю это — и потому не долженъ, не имѣю болѣе права жить на свѣтѣ. Мнѣ остается только одно: пустить себѣ въ лобъ пулю, что и исполню сейчасъ же. Боже мой! Если-бъ ты знала, какъ я несчастенъ и какъ я люблю тебя — тебя, моя добрая, красивая, нѣжная!.. Чего бы не далъ я теперь за новую возможность наслаждаться съ тобою и жизнью, и счастьемъ!.. А жизнь только-что стала такъ весело и привѣтно улыбаться намъ обоимъ, сулила столько счастья, столько радостей и блаженства взаимной любви!.. И увы! всему конецъ теперь!.. Будь проклятъ тотъ часъ, когда дьяволъ подтолкнулъ меня сѣсть за зеленый столъ! Теперь въ расплату за все, я отдаю ему свою душу. Но ты, моя чистая, прекрасная голубица, послѣ того какъ трупъ мой, лишенный христіанскаго погребенія и зашитый въ рождоу, будетъ брошенъ въ яму на собачьемъ кладбищѣ, вмѣстѣ со всякою падалью, — ты не прокляни меня, но прости и помолись, какъ добрый ангелъ, за мою погибшую душу!.. Шутя сѣвъ играть, я проигралъ Тадеушу сорокъ тысячъ. Карточный долгъ для каждаго порядочнаго человѣка есть долгъ священный, а я — увы!.. я нищій! Я ничего не имѣю кромѣ моихъ эполетъ, которые не хочу покрывать позоромъ: я не хочу, чтобы кто-либо могъ указать на меня пальцемъ какъ на несостоятельнаго игрока. Я сдѣлалъ подлость, позволивъ себѣ увлечься до такой цифры, тогда какъ самъ не имѣлъ возможности уплатить, и за эту подлость долженъ быть наказанъ. Мнѣ не остается ничего болѣе, какъ умереть. И чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Прощай же, моя несравненная, моя...»

На этомъ мѣстѣ письмо прерывалось.

Сусанна громко рыдала, читая эти строки, а Бейгушъ все сидѣлъ неподвижно, положивъ на руки свою голову и, казалось, ничего не видѣлъ и не слышалъ.

Она подбѣжала къ нему и обвила его шею.

— Анзельмъ!.. Безумный ты!.. Милый!.. Да подыми же голову!.. И тебѣ не стыдно? не совѣстно? Развѣ мое состояніе не твое?.. Я твоя и все твое!.. все! все! Бери все у меня! — въ страстномъ и нѣжномъ порывѣ говорила она, стараясь поднять его голову. — Анзельмъ! Да откликнись же! Взгляни!.. Ахъ, да не пугай же ты меня!.. Господи! что это съ нимъ!

И она зарыдала, прижавъ къ плечу его.

Онъ поднялъ голову и ласково провель рукою по волосамъ жены.

— Полно, Сусанна... полна, милая! тихо, по безнадежно-грустно проговорилъ онъ.— Что сдѣлано, того не поправишь!.. Успокойся же...

— Нѣтъ, поправишь! поправишь!—съ новой силой убѣжденія воскликнула она, оживленная этими знаками пробужденія и участія къ ней,— поправишь, мой милый! Сейчасъ же поѣдемъ въ банкъ, вынемъ сорокъ тысячъ — и ты отвези ихъ!.. И о чемъ убиваться!.. Боже мой, ну не все ли равно?.. Ну, разъ проигралъ, въ другой ужъ не будешь!.. Ну, и полно же, Анзель мой! ну, прояснись! ну, улыбнись мнѣ, солнышко мое!.. Ну же?.. ну?..

И она, смѣясь и улыбаясь сквозь слезы, съ нѣжностью старалась заглянуть ему въ отуманенные глаза, какъ бы выжидая отвѣтной улыбки, но онъ грустно и отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ, Сусанна... благодарю тебя, но... я никогда не возьму твоихъ денегъ!.. Ты, можетъ быть, потомъ раскаешься въ этомъ добромъ порывѣ!.. Какъ знать!.. Ты можешь разлюбить меня, разойтись со мною... да и мало ли что!..

— Разлюбить тебя!.. Тебя-то?.. Розойтись съ тобой! — воскликнула она, порывисто отклонясь отъ него. — Сумасшедшій ты!.. Что это ты бредишь!.. Нѣтъ, ужъ разъ что ты мой, такъ ужъ мой навсегда!.. Я покаюсь!.. Ха, ха, ха!.. Я покаюсь, что спасла тебя отъ смерти для самой же себя! — Нѣтъ, ты нынче рѣшительно съ ума сошелъ, мой милый. Вотъ тебѣ мой сказъ: вынь изъ банка деньги и отвези ему. Я тебѣ велю это... Я тебѣ приказываю. — Слышишь.

— Ребенокъ!.. добрый ребенокъ! И всю жизнь ты будешь ребенкомъ! — грустно усмѣхнулся онъ. — Все отдать за одну ночь подлаго увлеченія!.. Все твое состояніе!.. Нѣтъ, не хочу, Сусанна!

— А я хочу!.. И во-первыхъ, вовсе не все состояніе: у насъ остается около десяти тысячъ. Ну, что-жь? — мы еще молоды, ты будешь служить, я трудиться, — проживемъ какъ-нибудь!

«Глупая, но добрая бабенка!» не безъ чувства подумалъ въ душѣ Бейгушъ и поцѣловалъ Сусанну.

— Такъ что же?.. Берешь ты эти деньги?.. Они твои... Ну, если такъ не хочешь — я дарю тебѣ ихъ!.. Можешь дѣлать съ ними что угодно! Мнѣ, кромѣ тебя, ничего не нужно. Они твои, говорю тебѣ!

— Эй, покаешься! — еще разъ предостерегъ ее Бейгушъ, но уже видимо проясненный и успокоившійся.

— Ну, ужъ покаюсь ли, нѣтъ ли — это мое дѣло! — порѣшила она, — только я отъ своего слова не отступлюсь!

Обрадованный мужъ крѣпко сжалъ ее въ объятіяхъ и зацѣловалъ безчисленными поцѣлуями.

Сусаннѣ только этого и нужно было. Она вѣрила въ свѣтлое будущее, вѣрила въ возможность прожить хорошо и счастливо безъ копейки, то-есть вѣрнѣе сказать, едва ли понимала она, что значить жизнь безъ копейки, съ вѣчнымъ трудомъ и заботой. Доселѣ испытывать этого ей еще не доводилось, и потому взглядъ ея на жизнь былъ и легокъ, и поверхностенъ. Съ ея расплывающейся добротой, съ ея распушенною безечностью ей нужно было только ласкъ человѣка, котораго она любила въ данную минуту.

«А какъ видно, порядочный — таки дуракъ былъ этотъ восточный кузенъ», подумалъ про себя Бейгушъ. «Вѣдь ужъ давнымъ-давно могъ бы обернуть ее, какъ липку!»

— Ну, моя спасительница! Спасибо тебѣ! — говорилъ онъ вслухъ. — Ты просто мой добрый гений, мое провидѣніе! Пятью бы минутами поздне — и всему конецъ.

— Но ужъ впередъ такой глупости не будетъ... Нѣтъ? не будетъ? Покаянись мнѣ! поклянись всѣмъ, что тебѣ всего дороже на свѣтѣ! — горячо приступила она къ мужу, не выпуская его изъ объятій. — А ужъ этотъ проклятый пистолетишко! Ужъ погоди жъ ты: я его такъ теперь упрячу, что ужъ никогда не найду тебѣ!.. Нѣ-нѣтъ, ужъ это кончено!

Въ то же самое утро молодые супруги вынули изъ банка сорокъ тысячъ.

XVI.

Чего никакъ не могъ предвидѣть панъ грабя.

Итакъ, поздравляю! въ тебѣ есть положительный драматическій талантъ! — весело похвалилъ панъ грабя пана Анзельма, наслаждаясь тонкимъ обѣдомъ въ одномъ изъ отдѣльных кабинетовъ ресторана Дюссо. — И что-жь ты теперь сдѣлаешь съ этими деньгами?

— Очень просто: придется переложить ихъ на свое имя, — повѣдалъ пану Тадеушу панъ Анзельмъ.

— Благоразумно! анпробую! — еще разъ похвалилъ Тадеушъ.

Это было на другой день послѣ только-что описанной исторіи. Бейгушъ свято держалъ свое слово: панъ грабя получилъ пять процентовъ и тонкій обѣдъ по собственному заказу.

— И такъ-таки сразу сама предложила? — продолжалъ онъ.

— Предложила, подарила, умолила, заставила взять; все, что ты хочешь, — подтвердилъ поручикъ.

— Ага!.. Теперь, душа моя, видишь, какой я вообще тонкій знатокъ женскаго сердца? — похвалился грабя.

— Впью, и отдаю полную справедливость!

— Но этого мало: я еще къ тому и великодушный друг! Другой за такую науку слушалъ бы съ тебя не пять процентовъ; но я и ѣтпмъ доволенъ. Я доволенъ въ особенности тѣмъ, что, оказавъ маленькую услугу тебѣ, какъ доброму другу, вмѣстѣ съ тѣмъ оказалъ услугу и нашему дѣлу. Теперь у тебя, по крайней мѣрѣ, руки развязаны, а то что бы ты сталъ дѣлать въ рѣшительную минуту?! Намъ, братъ, нужны теперь средства, и охъ-какъ нужны!—съ серьезнымъ вздохомъ подтвердилъ Слпчичьскій.—Фундушъ народовой и родова офъра—это все прекрасно, но на всякій случай не мѣшаешь адакъ, знаешь, ощущать въ своемъ карманѣ свой собственный капиталъ. Скрывать отъ самихъ себя нечего: дѣло, во всякомъ разѣ, очень рисковое!

— Это такъ, — согласился Бейгушъ, — но знаешь ли, была минута, когда я серьезно готовъ былъ отступиться отъ нашего плана и отказаться отъ денегъ и отъ всего!

— Э! это ужъ не хорошо!.. Не одобряю!—замѣтилъ грабя, качая головой. — Тогда бы ты, значить, лишилъ меня удовольствія скупать съ тобою этотъ обѣдъ. За что же такъ?.. Это ужъ было бы не по-пріятельски!

— Но я бы тебя поставилъ на мое мѣсто! Вѣришь ли, она такъ искренно, такъ свято и безкорыстно предложила мнѣ эти деньги, что мнѣ просто стало совѣстно. — За что я, думаю себя, такъ жестоко обманываю ее?.. Ахъ, другъ мой, еслибъ она была немножко поумнѣе и еслибъ немножко поменѣе меня любила, все это было бы гораздо легче сдѣлать!

— Но вѣдь и теперь, сколько я вижу, не особенно трудно, — замѣтилъ Слпчичьскій.

— Что говорить про то! — подхватилъ Бейгушъ, — но мнѣ-то самому, мнѣ, моей совѣсти трудно — пойми ты это!

— А, вотъ оно въ чемъ дѣло! — насмѣшливо, но серьезно улыбнулся Тадеушъ. — Ну, братъ, берегись! Ты, я вижу, москалиться начинаешь!.. Эдакъ, пожалуй, когда они опять станутъ насъ грабить и рѣзать, тебѣ тоже совѣстно сдѣлается, и ты будешь просить у нихъ прощенья за ихъ же преступленія?

— Это совсѣмъ другое, — возразилъ Бейгушъ! — Тѣ наши враги, и мы ихъ ненавидимъ; но это моя жена, которая меня любитъ.

— А ты ее любишь? — все тѣмъ же насмѣшливымъ, но серьезнымъ тономъ спросилъ Слпчичьскій.

— Она жена моя, — уклончиво отвѣтилъ Анзельмъ.

— А къ какой націи имѣетъ честь принадлежать ваша супруга? И чего ради въ сущности женились вы на ней?

— Это все такъ; это все я очень хорошо знаю, — согласился Бейгушъ, — но, другъ мой, ей-Богу, я не ожидалъ столько самоотверженія!

— По глупости, прости за откровенность. Самоотверженіе по глупости! Такая ему и цѣна!

— Нѣтъ, по любви! — не безъ самохвальной горделивости возразилъ поручикъ.

— Ну, и по любви!.. Не въ послѣдній разъ! На твой вѣкъ хватить еще женской любви, съ избыткомъ! Ну, и ты тоже люби ее за это, пока любится, — надобдите же когда нибудь другъ другу. Но позволь спросить безъ обиняковъ: кого ты больше любишь — Польшу или Сусанну?

— Объ этомъ не можетъ быть даже и вопроса! — съ достоинствомъ промолвилъ поручикъ.

— А не можетъ быть вопроса, значить не можетъ быть и сомнѣній и колебаній, значить нѣтъ и выбора, — порѣшилъ панъ грабя.

— Пусть такъ, но все же... раздумчиво проворилъ Бейгушъ, — все же какой-то бѣсъ смущаетъ меня... шепчетъ мнѣ, что это...

— Ну?.. Что же именно «это»? — выжидательно глядя на состольника пытающимъ взглядомъ, спросилъ Слпчичьскій.

— Что это не хорошо! — съ тяжелымъ вздохомъ, но рѣшительно закончилъ Бейгушъ.

— Мало того, что не хорошо, пусть будетъ это даже подлость и преступленіе! Допускаю; пусть такъ! — говорилъ Тадеушъ, сдвинувъ свои брови. — Но подлость противъ заклатаго, потомственного врага не есть подлость! Преступленіе противъ москаля не есть преступленіе! Это есть законная, святая месть! Это есть подвигъ.

— Но вѣдь тутъ женщина!.. любящая женщина! — защищался Бейгушъ, и въ тонѣ его дрогнуло даже что-то похожее на внутреннее страданье.

— Эта женщина не полька.

— Не все-ль равно?!

— Нѣтъ, не все! — горячо вступился Тадеушъ. — Еслибъ это была полька, — о, да! такой поступокъ противъ нея былъ бы величайшею низостью. Но любовь москѣвки я не признаю любовью! Жабы любить не могутъ и ихъ любить невозможно! Если полька выходитъ замужъ за москаля, — это горько, но это я еще понимаю: она можетъ на пользу родинѣ вліять на мужа, парализовать его вредную дѣятельность, можетъ дѣтей своихъ воспитать честно, сдѣлать изъ нихъ добрыхъ поляковъ. Но много-ль честныхъ поляковъ женятся на москѣвкахъ? — Это рѣдкія исключенія! И если ужъ полякъ допустилъ себя до подобной женитьбы, то развѣ ради какихъ нибудь особыхъ и важныхъ цѣлей, а иначе это подлость, измѣна своимъ, измѣна родинѣ, для которой и онъ, и все его потомство погибли навсегда и безвозвратно! А если ты не доглядѣлъ за собою, если ты полюбилъ безъ расчета, такъ не будь же тряпкой и постарайся вырвать изъ себя это чувство, потому что оно мараешь, оно позоритъ тебя!

Анзельмъ молчалъ нахмурился и медленно тянулъ вино изъ уместаго стакана.

Слпчичьскій поглядѣлъ на него, улыбнулся

п, хлопнувъ его по плечу, перемѣнилъ свой горячій, фанатически-суровый тонъ на прежнюю пріятельски-веселую и насмѣшливо-беззаботную ноту.

— Эхъ, дружище,—заговорилъ онъ, чокаясь о край стакана своего пріятеля, — кажется, вѣдь оба мы съ тобой воспитывались когда-то въ Вильнѣ у превелебныхъ отцовъ миссіонерской¹⁾, и хоть были они—между нами будь сказано—скоты препорядочные, но я ихъ уважаю! Во-первыхъ, жить умѣли, во-вторыхъ, пить умѣли, а въ третьихъ, все-таки были добрыми, если не лучшими патриотами, и то что они въ меня насадили, то во мнѣ крѣпко живетъ, и никакимъ московскимъ вдовушкамъ, ни графинямъ, ни княгинямъ ни чиновницамъ, ни танцовщицамъ этихъ корней изъ меня не вырвать! А ты, какъ видно, забываешь менторскія назиданья... Это не хорошо, дружище!.. Встряхнись!

Бейгушъ вернулся домой съ обѣда не въ веселомъ расположеніи духа. Онъ много выпилъ, но вино не дало ни хмѣлю, ни облегченія: оно только болѣзненно-тяжело подѣйствовало ему на организмъ и принесло еще болѣе мрачное настроеніе.

Сусанна, по обыкновенію, встрѣтила его любовно и беззаботно. Со вчерашняго утра ни тѣни упрека, ни тѣни сожалѣнія о безпутно утраченныхъ деньгахъ не встрѣтилъ онъ въ этой женщинѣ. Она была съ нимъ какъ и всегда, словно бы ничего такого и не случилось, словно жизнь и не должна теперь ни на волосъ измѣниться; напротивъ, Сусанна какъ будто стала еще теплѣе и мягче, еще любовнѣе съ нимъ, оттого что для нея была ужасна мысль потерять его на вѣки. Она не сознавала, но чувствовала, что съ той минуты, какъ спасла его отъ смерти и сохранила для самой себя, онъ сталъ ей еще милѣе и дороже. Странное дѣло,—но то что въ первое время ихъ близкихъ отношеній было для нея не болѣе какъ прихоть, капризомъ, новымъ развлеченіемъ отъ надоевшаго кузена, то съ теченіемъ времени, и особенно послѣ свадьбы, стало для нея дорогимъ и завѣтнымъ. Это уже было свое, родное. Капризъ и прихоть незамѣтно перешли въ чувство любви, въ отрадное опущеніе надъ собою болѣе разумной, болѣе крѣпкой воли и силы.

Замѣтивъ, что мужъ не совсѣмъ-то здоровъ, Сусанна, безъ воркотни, безъ неудовольствія, уложила его въ постель и почти всю ночь, какъ добрая сидѣлка, нѣжно, кротко и терпѣ-

ливо ухаживала за нимъ, охраняла его покой, предупреждала малѣйшій взглядъ, малѣйшее желаніе.

Все это минутиами еще болѣе кололо и щемило душу Бейгуша. Давешнія убѣжденія и доводы пана *грабъ* разбивались объ это простое даже мало сознающее себя чувство любви и безграничной привязанности, которое такимъ яркимъ огнемъ горѣло для Анзельма въ сердцѣ Сусанны. Но чѣмъ яснѣй дѣлалось въ немъ сознаніе этого простого и столь глубокаго чувства, тѣмъ хуже и темнѣй на душѣ становилось ему, тѣмъ гнуснѣе представлялась недавняя комедія съ деньгами...

«О, какъ же я подлѣ и низокъ передъ нею!» посылалъ онъ себѣ мысленные упреки.

И послѣ этого каждый новый знакъ участія и вниманія жены, какъ капля растопленнаго свинца, жегъ и колочуе пронизывалъ его душу. Въ эти минуты въ немъ, быть-можетъ помимо собственной его воли, но одною только неотразимою силою жизненнаго факта, совершался внутренній переворотъ: изъ грязи паденія, оправдываемаго принципомъ народной, исторической вражды, выросло хорошее, честное чувство уваженія, любви и благодарности. *Москвека* ужъ не существовала: предъ его нравственнымъ взоромъ стояла теперь *женщина*, которая была его *женою*.

XVII.

Ардальонъ съ ореоломъ мученика.

Полоярова подержали-поддержали да и выпустили. Да и что-жъ болѣе оставалось съ нимъ дѣлать, какъ не выпустить? Не держать же человѣка за одну только глупость его! Впрочемъ, арестъ былъ вымѣненъ ему въ наказаніе.

Полояровъ снова очутился на свободѣ.

Но теперь ужъ это былъ не прежній Полояровъ, а рафинированный.

Это былъ Полояровъ-мученикъ, Полояровъ, «страдавшій за убѣжденіи».

Какъ гордо несъ онъ теперь свою голову! Какую усиленную, сосредоточенную мрачность старался сообщить своему взору! Съ какою таинственностью подавалъ при встрѣчѣ руку своимъ знакомымъ!

— Ардальонъ Михайлычъ... Батенька!.. Чтѣ съ вами? вопрошаютъ его знакомые,—вы, говорятъ, арестованы были?

— Былъ-съ, — съ какою-то таинственною, озлобленною и въ то же время торжествующею мрачностью лаконически подтверждаетъ Полояровъ.

— За что и какъ? Расскажите пожалуйста!

— Такъ-съ. У насъ эти вещи очень просто совершаются.

— Но однако? Какъ же и за что?

— По доносу-съ.

¹⁾ Отцы миссіонеры были прямыми преемниками и наслѣдниками отцовъ іезуитовъ. Въ ихъ рукахъ до 1863 года, главнѣйшимъ образомъ, сосредоточивалось воспитаніе юношества въ Польшѣ и въ Западной Россіи. Въ Варшавѣ имъ принадлежалъ богатый монастырь Св. Креста—одинъ изъ важнѣйшихъ пріютовъ повстанскаго организациіи.

— Кто же донесъ-то? Непзвѣстно?

— Нѣтъ-съ, извѣстно. Нашлись добрые людишки... Ну, да вѣдь и мы тоже не лыкомъ шиты! Что-нибудь да смекаемъ! Одинъ учительшко есть тутъ... Устиновъ вѣкто, такъ это вотъ они-съ изволятъ сими похвальными дѣлами заниматься.

— Какой мерзавецъ!—качая головой, восклицаетъ соболѣзнующій знакомый и старается запечатлѣть въ своей памяти имя «учителишки Устинова», для того, во-первыхъ, чтобы самому знать на случай какой-нибудь возможной встрѣчи съ нимъ, что этогъ, молъ, баринъ шпіонъ, и потому поосторожнѣе, а во-вторыхъ, чтобы и другихъ предупредить, да и вообще не забыть бы имени при разказахъ о томъ, кто и что были причиной мученичества «нашего Ардальона Михайловича».

— Но тутъ и не одинъ Устиновъ, тутъ и другіе есть!—многочислительно продолжаетъ Полояровъ, видимо желая показать, что теперь, послѣ мученій, ему ой-ой-ой какъ много кое-чего извѣстно!

— Кто же другіе? Надо всѣхъ знать! Чѣмъ больше знать ихъ, тѣмъ безопаснѣе!—горячо настаиваетъ на мученика вопрошающій знакомецъ.

— Есть тутъ... *изъ нашихъ*, изъ своихъ же, такіе подлецы!—какъ бы не-хотязамѣчалъ Полояровъ.

— Но кто-же? кто?.. Чего скрывать! Къ позорному столбу ихъ! Въ «Колоколъ»! Имена ихъ отпечатать! Пускай же всѣ знаютъ!

— Да слѣдовало-бы!.. Вы вѣдь, кажись, знакомы съ господиномъ Фрумкинѣмъ?

— Да, я кое-гдѣ съ нимъ встрѣчался. А что?

— Да такъ... Коли знакомы, такъ разнакомьтесь и вообще держитесь при немъ поосторожнѣе! Это вамъ мой добрый, пріятельскій совѣтъ; потому, что за охота потерпѣть изъ-за какого-нибудь подлеца, изъ-за Иуды!..

Знакомецъ крайне удивленъ, однакоже и это сообщеніе принимаетъ къ свѣдѣнію.

— Фрумкинъ!.. Скажите! Кто бы могъ ожидать!.. Мнѣ онъ казался такимъ порядочнымъ человѣкомъ...

— Н-да-съ! Всѣ они порядочные до поры до времени!

— Но на основаніи чего же вы такъ думаете про него?

— Ну, батенька! это долга исторія повѣствовать-то вамъ! Да и наскучило ужъ мнѣ!.. Однимъ словомъ, повѣрьте: если я говорю такъ, то ужъ, значитъ, есть серьезныя основанія! Я на-вѣтеръ говорить не стану... Я вѣдь самъ-съ, на своей шкурѣ перенесъ все это!—энергически увѣряетъ Ардальонъ Полояровъ.

— Ну, а какъ тамъ-то?... любопытно вопрошаетъ знакомецъ.—Какъ держали-то васъ? какъ обращались?..

— Хм!.. Какъ держали!—сквозь стиснутые

зубы бормочетъ Полояровъ и тотчасъ же устраиваетъ себѣ озлобленно-мрачную физиономію.—Могу сказать, хорошо держали!

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, хорошо?

— Н-да-съ, не дурно! Селедками, наприимѣръ, кормили и пить не давали... въ нетопленной комнатѣ по трое сутокъ сидѣть заставляли... спать не давали. Чуть ты заснешь, сейчасъ тебя ужъ будятъ: «пожалуйте къ допросу!» А допросы всѣ, надо вамъ сказать, все ночью у нихъ происходятъ. Ну-съ, спросятъ о чемъ-нибудь и отпустятъ. Ты только что прилежъ, опять будятъ: «еще къ допросу пожалуйте!» И вотъ такъ-то все время-съ!

Знакомецъ въ ужасѣ и съ соболѣзнованіемъ качаетъ головою.

— Н-да-съ!... Инквизиція! Утонченная, рафинированная инквизиція-съ!—восклицаетъ Ардальонъ. — И знаете ли, я вамъ скажу, надо имѣть слишкомъ твердый характеръ, слишкомъ большой запасецъ силы воли, чтобы не пасть духомъ и не сдѣлаться подлецомъ при такой инквизиціи.... Тутъ-съ, батенька мой, вотъ ужъ именно-что гражданское мужество нужно!... Н-да-съ!... Но ужъ за то же, могу сказать, и закалился же я теперь!.. Теперь они могутъ дѣлать со мной все, что угодно, ни ниша имъ отъ меня не добиться.

— Но какъ же они васъ выпустили?—недоумѣваетъ удивляющійся знакомецъ.

— Да такъ вотъ и выпустили! Что-жъ такое!—разводитъ руками Полояровъ.—Поддержали-съ, да и выпустили, потому убѣдились, что со мной ничего не подѣлаешь. Я и самъ, впрочемъ, не понимаю, какъ это они рѣшились! Но это что! Нѣтъ-съ, я вамъ лучше скажу-съ! Они меня подкупили хотѣли.

— Какъ подкупить?!

— Да такъ-съ. Очень просто. Предлагали мнѣ отличнѣйшее мѣсто, карьеру и прочее... Единновременно цѣлый капиталъ предлагали! Пятнадцать тысячъ рублей!.. Предлагали журналъ основать съ тѣмъ, что онъ даже можетъ себѣ быть *нашимъ*, либеральнымъ органомъ, а они во всякомъ случаѣ субсидію постоянно будутъ давать. То-есть, конечно, все это очень тонко и политично предлагалось, но такъ, что я могъ очень хорошо понять, куда оно клонить.

— И вы отказались?!

— И я отказался. Я имъ говорю на это: милостивые вы мои государи! Ардальона Полоярова можно сослать въ каторгу, можно пытать, можно, наконецъ, казнить, повѣсить, но *купить* Ардальона Полоярова нельзя-съ!

— Такъ и сказали?!

— Такъ и сказалъ-съ. Да чего же? Что я церемониться съ ними буду, что ли? Вотъ еще!.. Надо было, батенька мой, вести себя со строгимъ сознаніемъ своего достоинства. Вѣдь я—шутка ль сказать!—я предъ звѣздами-съ, предъ цѣлою комисіей истязался-то!

— И вы гдѣ же сидѣли?

— Въ крѣпости-съ. Въ Алексѣевскомъ ра-
велинѣ.

— Неужели?!

— Н-да-съ! И еще въ томъ самомъ нуме-
рѣ, гдѣ Пестель сидѣлъ. Вотъ мы, батюшка,
какъ! Это мнѣ послѣ плацъ-майоръ сообщилъ.
«Хотя мы, говорятъ, и принуждены были васъ
арестовать, но зато, говорятъ, вы сидите въ
томъ самомъ казематѣ, въ которомъ знамени-
тый Пестель сидѣлъ». Ха-ха-ха!.. Какъ вамъ
это нравится?.. а? хорошо-съ? Нѣтъ, каково
утѣшенье-то!.. Чудаки, ей-Богу!

— И васъ послѣ этого выпустили?!

— Какъ видите: цѣлъ, здоровъ и невредимъ.
Да и что-жъ бы они со мной подѣлали, если
противъ меня нѣтъ никакихъ уликъ и фак-
товъ? Мы, батенька, тоже вѣдь мозгами-то
пошевеливаемъ не хуже, коли не получше дру-
гихъ, и за себя еще потягаемся-съ!

Ардальонъ хотя и напугалъ на себя злоб-
ственную мрачность, тѣмъ не менѣе въ глубинѣ
души былъ очень доволенъ собой: ему всѣ
удивлялись, всѣ его слушали, всѣ ему сочув-
ствовали, даже... уважать его стали гораздо
болѣе прежняго. Такимъ образомъ, относитель-
но уваженія онъ не ошибся въ расчетѣ.

Онъ продолжалъ очень живописно повѣство-
вать всѣмъ и каждому объ инквизиціонныхъ
мученіяхъ и пыткахъ, которые ему довелось
испытать, о своемъ великомъ гражданскомъ
мужествѣ, о своемъ подвигѣ, и отъ столь ча-
стыхъ повѣствованій съ теченіемъ времени и
самъ наконецъ убѣдился, что все это точно
такъ и было въ дѣйствительности. И если-бы
кто-нибудь вдругъ возразилъ ему, что «послу-
шай-ка, братъ, Ардальонъ, вѣдь ты это все
врешь и выдумываешь», то онъ не на шутку
оскорбился бы и горячо сталъ бы вступаться
за истину, ибо самъ былъ теперь уже твердо
убѣжденъ, что все это чистая истина, все это
точно *было*, все это онъ говорилъ и все это
съ нимъ дѣлали.

Ардальонъ вошелъ нѣкоторымъ образомъ въ
славу: надъ нимъ возсіялъ ореолъ политиче-
скаго мученика, и какой же бы Фрумкинъ
осмѣлился теперь пикнуть противъ него хоть
единое слово?

Впрочемъ, Фрумкину не для чего уже было
возставать противъ Ардальона. Во время его
ареста, практичный Мойсей счумѣлъ такъ
ловко обдѣлать свои дѣлишки, что за долги
коммуны, принятые имъ на себя, перевелъ
типографію на свое имя, въ полную свою соб-
ственность, совсѣмъ уже забралъ въ руки юна-
го князя и кончилъ тѣмъ, что въ одно пре-
красное утро покинуть вмѣстѣ съ нимъ на
произволъ судьбы коммуны и ея обитателей.
Князь переселился къ Фрумкину мечтать о
скорѣйшемъ осуществленіи «собственного своего
журнала».

Наличные обитатели коммуны, т. е. Лидинь-
ка съ Анцыфровымъ и Малгоржаномъ, очут-
лись въ очень стѣснительномъ положеніи, и по-
тому поспѣшили перемѣнить квартиру. Эти «ну-
мера» стали уже не подъ силу ихъ соединен-
ному карману; новыхъ охотниковъ на комму-
ное сожителство какъ-то все не подыскива-
лось, хотя Лидинька съ Малгоржаномъ и пы-
тались неоднократно перетянуть къ себѣ кое-
кого изъ другихъ петербургскихъ комму-
нъ. Они наняли, наконецъ, небольшую квартирку
въ Троицкомъ переулкѣ, въ четвертомъ этажѣ
одного большого дома. Всѣ предпріятія въ родѣ
швейныхъ и переплетныхъ полопались сами
собой послѣ ареста Луки Благопріобрѣтова, и
ко времени переѣзда въ Троицкій переулокъ
окончательно уже умерли естественною смертию.
Для Лидиньки наступило время дѣйствитель-
наго «личнаго труда», о которомъ она всегда
столь много хлопотала на словахъ; но этотъ
личный трудъ, состоявшій въ переводахъ съ
французскаго, далеко не показался ей теперь
вкуснымъ, по той причинѣ, что Лидинька ни
къ какому труду, кромѣ обильныхъ словонизвер-
женій, рѣшительно не была способна. Поэтому
она чуть не ежедневно бомбардировала свое-
го благовѣрнаго письмами, въ которыхъ на-
стойчиво изображала, что если онъ «мало-малы-
ски честный и порядочный, то пусть присы-
лаетъ ей побольше денегъ, въ противномъ же
случаѣ, въ Петербургѣ, молъ, есть генераль-
губернаторъ Суворовъ, и я, молъ, твоя закон-
ная жена, на всякій скандалъ пушусь и на-
дѣлаю тебѣ много пакостей». Благовѣрный, бу-
дучи человѣкомъ характера робкаго и миролю-
биваго и притомъ, по духу времени, смирясь
предъ эмансипированными стремленіями къ
независимому труду и жизни своей супруги,
спѣшилъ высылать ей денегъ, по скольку лишь
было ему возможно. Лидинька съ его помощью
кое-какъ перебивалась и еще находила возмож-
ность поддерживать иногда существованіе обо-
ихъ своихъ сожителей, которымъ «трудъ», за
исключеніемъ разговорнаго, тоже какъ-то все
не давался. Оба они не находили дѣла, соот-
вѣтствующаго своимъ способностямъ и призванію.
Впрочемъ, Анцыфровъ правилъ гдѣ-то,
съ грѣхомъ пополамъ, корректуру, хотя самъ
и не особенно силенъ былъ по части ореогра-
фіи, а Малгоржанъ нашелъ себѣ «урокъ», обу-
чать по-русски какого-то восточнаго человѣка
изъ «восточныхъ конвойныхъ князей», кото-
рый, кромѣ платы, угощалъ его еще и ша-
шлыкъ-кебабомъ.

Потерявъ шедрую «кузинку», Малгоржанъ
принялся съ горю объяснять свою восточную
страсть Лидинькѣ Затѣ и былъ ею утѣшенъ
въ самомъ непродолжительномъ времени. Ма-
ленькій Анцыфрикъ сталъ было ревновать, но
Лидинька каждый разъ его просто-на-просто
била за столь неумѣстное, непоследовательное

и дикое чувство. И каждый раз послѣ такой трепки злосчастный пискунокъ взмалцовался съ ножками на подоконникъ и принимался горько плакать, думая себѣ, за что это онъ уродился такимъ несчастнымъ, что всѣ его обижаютъ.

Какъ-то разъ приходитъ кто-то изъ гостей и застаётъ его въ слезахъ, съ испарпанной фizioноміей.

— Анцыфрикъ! о чемъ это вы плачете?

— Лидька побила... всхлипывая, отвѣтилъ золотушный пискунокъ и обтеръ обшлагомъ свои горькія слезы.

— Побила?... Да вы бы ей сдачи!

— Не могу я... Она... она сильнѣе меня.

— Вотъ еще!.. Сильнѣе! Ха-ха!.. Да вы бы ей... ну, хоть бы носъ откусили, что-ли!

— Я ужъ что-нибудь да сдѣлаю... я непременно сдѣлаю! Я только терпѣливъ, потому что ссориться не люблю... а я тоже... если меня разсердятъ... такъ ужъ я... я тоже сердитый... я очень сердитый! И постою за себя!.. Я не позволяю!..

Маленькій пискунокъ, стараясь унять свои всхлипыванія, топорищился и показывалъ свою храбрость; но чуть вошла въ комнату Лидинька, тотчасъ же примолкъ и обиженно съезжился на своемъ подоконникѣ.

Однако, мысль о томъ, что если ужъ не побить, такъ хоть носъ откусить своей «натуральной супругѣ» и тѣмъ отмстить ей за всѣ ея царапанья и обиды, крѣпко засѣла ему въ голову. Онъ возмѣлъ пламенное желаніе при первомъ удобномъ случаѣ привести эту мысль въ исполненіе. Лидинька же, ничего не подозревая о его затаенныхъ коварныхъ умыслахъ, продолжала попрежнему держать при себѣ этого «натурального мужа» на посылакахъ и побѣгушкахъ, чѣмъ-то въ родѣ комнатной собачки.

Въ такомъ-то положеніи находились дѣла и отношенія тройственной коммунистической четы, когда выпустили изъ-подъ ареста Ардальона Михайловича Полоярова.

Ему не трудно было, справясь у дворника прежней квартиры, отыскать ихъ новое жилище.

Храня сухой и сдержанный видъ человѣка обиженного и поссорившагося, онъ явился къ нимъ, подъ предлогомъ, чтобы забрать кое-что изъ оставшихся вещей своихъ, бѣлье да платье, однако же съ спланнымъ желаніемъ въ душѣ, чтобы дѣло приняло удачный оборотъ и дало бы ему возможность снова поселиться въ коммуны и снова верховодить ея сожителями. Въ сущности онъ очень хорошо сознавалъ, что внѣ коммуны ему почти некуда и дѣваться.

Сожители встрѣтили его ласково и радостно, и на столько радостно, что это вышло даже сверхъ всякихъ ожиданій Ардальона. Онъ все же былъ между ними наиболѣе сильный и

предпримчивый характеръ. А въ затруднительныхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ, его силы и предпримчивость были теперь для коммуны сущимъ кладомъ. Кромѣ того, всѣ эти люди были въ сущности вовсе незлобивые люди. Они только такъ себѣ, отъ нечего дѣлать, какъ флюгарки по-вѣтру вертѣлись, впрочемъ, при неизмѣнно либеральномъ скрипѣ. Удалился отъ нихъ Фрумкинъ со своими каверзами, и вся ихъ злоба на Ардальона сама собой исчезла, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ «томился въ заключеніи». Это «заключеніе» разомъ подняло его въ ихъ глазахъ, разомъ породило вѣру и въ Герпеновское письмо, и въ то, что онъ одинъ только высоко держитъ въ Россіи знамя демократическаго социализма. Когда арестъ его возбудилъ нѣкоторое кудактанье въ нигилистическихъ курятникахъ, то флюгарки стали даже въ нѣкоторомъ родѣ хвастаться и гордиться его дружбой и совѣстнымъ сожителствомъ. Поэтому его внезапное появленіе, его «возстаніе изъ мертвыхъ» и поразило ихъ столь радостно.

Ардальонъ не упустилъ благоприятнаго случая распространиться предъ ними объ ужасахъ инквизиціи и своей гражданской стойкости, и тѣмъ окончательно покорилъ сердца ихъ. Они первы стали теперь трубить о его славіи и осѣнили главу его ореолъ мѣ политическаго мученичества. Они первые предложили ему тотчасъ же по-братски поселиться въ коммуны на прежнихъ основаніяхъ, и Ардальонъ, конечно, ни замедлилъ тотчасъ же забрать администрацию въ свои руки, а сожители до извѣстной степени были даже рады тому, что предпримчивый администраторъ избавляетъ теперь ихъ головы отъ многихъ лишнихъ хлопотъ и заботъ.

XVIII.

«Молодая Россія».

19-го апрѣля с.-петербургскій оберъ-полицеймейстеръ публиковалъ приказъ по полиціи, въ которомъ предписывалъ ей наблюдать за тѣмъ, чтобы подпольныя воззванія не появлялись въ столицѣ, и даже самое появленіе ихъ относилъ къ недостаточности полицейскаго надзора. Полиція, конечно, наблюдала, но... наблюденія ея оставались сами по себѣ, а прокламации тоже сами по себѣ благополучно продолжали «возмущать спокойствіе мирныхъ обывателей». Эти разнообразныя листки, тянувшіе всѣ болѣе или менѣе сказку про бѣлаго бычка, частію приходили изъ-за границы, а частію печатались дома на ручныхъ станкахъ, что можно было отличить сразу, по одной ихъ вышности. Сначала это были памфлеты на правительство и его представителей, потомъ вслѣдствіе программы политическаго и обществен-

наго обновленія, и наконецъ, призывъ къ топору и истребленію.

Въ началѣ мая мѣсяца, съ особеннымъ обиліемъ стала распространяться по Петербургу довольно длинная и многорѣчивая прокламация «Къ молодой Россіи».

«Мы требуемъ уничтоженія брака, гласила она между прочимъ, какъ явленія въ высшей степени безнравственнаго и немыслимаго при полномъ равенствѣ половъ и безъ котораго немыслимо уничтоженіе наслѣдства. Мы требуемъ полного освобожденія женщины, дарованія ей всѣхъ тѣхъ политическихъ и гражданскихъ правъ, какими будутъ пользоваться мужьяны. Мы требуемъ уничтоженія семьи, препятствующей развитію человѣка. Мы требуемъ общественнаго воспитанія дѣтей, требуемъ содержанія ихъ на счетъ общества, до конца ученія. Мы требуемъ заведенія общественныхъ фабрикъ, управлять которыми должны лица, выбранныя отъ общества, обязанныя по истеченіи извѣстнаго срока давать ему отчетъ; требуемъ заведенія общественныхъ лавокъ, въ которыхъ продавались бы товары по той цѣнѣ, которой они дѣйствительно стоятъ, а не по той, которую заблагоразсудится назначить торговцу для своего скорѣйшаго обогащенія». Религія какая бы то ни было, а христіанская и православіе въ особенности, совершенно отмѣнилась. Церкви немедленно должны быть упразднены. Всякая собственность—долой! Каждый собственникъ—воръ и преступникъ! «Мы изучали исторію Запада, гласилось тамъ далѣе, и это изученіе не прошло для насъ даромъ: мы будемъ послѣдовательнѣе не только жалкихъ революціонеровъ 48-го года, но и великихъ революціонеровъ 93-го года. Мы не испугаемся, если намъ придется пролить вдвое болѣе крови, чѣмъ пролито якобинцами въ 90-хъ годахъ». Словомъ, требовалось немедленное уничтоженіе всѣхъ тѣхъ началъ, на которыхъ основано современное бытіе всякаго общества и государства. Герценъ объявлялся отсталымъ и ни на что непригоднымъ человѣкомъ.

Затѣмъ, въ числѣ самыхъ настоятельныхъ, первыхъ дѣйствій «Молодой Россіи», представлялась неизбѣжная необходимость вырѣзать, по крайней мѣрѣ, хоть полтораста тысячъ русскихъ дворянъ и помѣщиковъ, смертію казнить вообще всѣхъ собственниковъ, положить подъ топоръ всѣхъ вообще ретроградовъ и противниковъ благотѣльной радикальной реформы и идей «Молодой Россіи». «Кто не съ нами, тотъ противъ насъ, тотъ врагъ нашъ, а враговъ слѣдуетъ истреблять всѣми средствами». Это называлось самымъ простымъ и обыкновеннымъ «освѣженіемъ политической и общественной атмосферы». А въ случаѣ сопротивленія, авторы «Молодой Россіи» грозились «камня на камень не оставить». «Насъ слишкомъ много, и

мы имѣемъ полную вѣру въ себя и въ свои силы», заявляла эта «Молодая Россія». Прокламация, кончавшаяся призывомъ къ скорѣйшему возстанію, заключалась торжественнымъ возгласомъ, который былъ отпечатанъ даже особымъ шрифтомъ и долженствовалъ служить лозунгомъ дѣла и бойни: «Да здравствуетъ Молодая Россія и русская социально-демократическая республика!»

«Молодая Россія» разсчитывала, что никакой другой, а именно этотъ самый возгласъ будетъ гремѣть въ устахъ народа, когда этотъ народъ пойдетъ дѣлать революцію съ его плотничьими топорами. Она даже съ полною увѣренностью заявила: «мы-де надѣемся на сочувствіе народа».

Русское общество положило, наконецъ, себѣ въ ротъ палецъ недоумѣнія.

«Нѣтъ, ужъ это, чтѣ жъ такое!.. И меня, значить, рѣзать?.. Да за что же меня-то? Помилуйте!» поднялся говоръ съ разныхъ концовъ и слоевъ этого общества. «Нѣтъ ужъ воля ваша, а это сумбуръ какой-то!.. Это, значить, я моего Ваньку да Надюшу въ Воспитательный сбрось, а мою Марью Ивановну въ люпанаръ отведи? Да за чтѣ же такъ?.. Развѣ Марья Ивановна въ люпанарѣ-то лучше будетъ?»

Такъ разсуждало «нравственное мѣшанство», неспособное, по своей тупоумной пошлости, высидѣться до пониманія столь великихъ, въ своей первобытной простотѣ и ясности, идей «Молодой Россіи».

XIX.

Quae medicamenta non sanant—ferrum sanat, quae ferrum non sanat—ignis sanat.

16-го мая, Каретной части, по Литовкѣ, въ домѣ подъ № 224, въ шесть часовъ по полудни, произошелъ пожаръ. Загорѣлись надворныя деревянныя службы и огонь быстро перешелъ на сосѣднія нежилыя зданія, которыя, за ветхостію ихъ, скорѣй всѣ сгорѣли и разбросаны. Причина пожара осталась неизвѣстною ¹⁾.

17-го мая, Нарвской части, по 6-й ротѣ Измайловскаго полка, въ пять часовъ по полудни, при домѣ № 14, загорѣлся нежилой сарай, гдѣ хранилась старая мебель. Пожаръ прекра-

¹⁾ Свѣдѣнія о пожарахъ и большая часть подробностей и отдѣльных эпизодовъ заимствованы изъ нѣкоторыхъ официальныхъ записокъ и документовъ, а также изъ газетъ и журналовъ 1862 года. Впрочемъ, многое изъ того, что въ этихъ послѣднихъ источникахъ являлось какъ факты, необходимо должно было теперь подвергнуться строгому анализу и критикѣ, а потому все то, что не имѣетъ фактической достовѣрности авторъ передаетъ, какъ слухи и толки, ходившіе въ обществѣ того времени, ибо всѣ эти слухи и толки имѣютъ ту особенность, что необыкновенно рельефно характеризуютъ напряженную и во многихъ отношеніяхъ замѣчательную эпоху 1862 года.

шенъ безъ вреда для сосѣднихъ зданій, причина же пожара осталась неизвѣстною.

19-го мая, въ пять часовъ утра, Рождественской части, по Невскому проспекту, въ домѣ подъ № 26, произошелъ пожаръ, который вскорѣ прекращенъ, безъ особеннаго вреда строенію.

20-го мая, въ пять часовъ по полудни, Московской части, по Загородному проспекту, во дворѣ зданія лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, загорѣлось деревянное нежилое помѣщеніе, принадлежащее музыкантской командѣ. Строеніе это сгорѣло до основанія, но бывшія съ нимъ въ сосѣдствѣ деревянныя постройки отстоены. Причина пожара осталась неизвѣстною.

21-го мая, въ пять часовъ утра, произошелъ пожаръ на Большой Охтѣ. Онъ начался съ дома мѣщанки Макарихиной, на Большомъ Охтенскомъ проспектѣ, противъ пожарной части Охтенскаго квартала, въ деревянномъ зданіи котораго отъ жару потрескались всѣ стекла. Огонь, гонимый сильнымъ вѣтромъ отъ Невы, распространился съ быстротою по тремъ улицамъ: Георгіевской, Конторской и Оградской, которыя до самой рѣчки Черныя превращены въ пепель. Въ продолженіе менѣе чѣмъ полутора часа сгорѣло около двадцати пяти домовъ, со службами, въ томъ числѣ и находившаяся на берегу рѣчки, на Георгіевской улицѣ, часовня во имя Смоленской Божіей Матери, заложенная Петромъ Великимъ въ 1703 году. По неимовѣрной быстротѣ пожара, жителямъ почти ничего не удалось спасти изъ своего имущества. Погорѣло много коровъ, (охтянки—почти единственныя петербургскія молочницы), лошадей и домашней птицы. Обгорѣлые трупы лошадей и коровъ еще на слѣдующіе дни валялись на пожарахъ. Причина пожара осталась неизвѣстною.

22-го мая было два пожара. Первый, въ восемь часовъ утра, на Петербургской сторонѣ, куда потребовалось нѣсколько пожарныхъ частей, второй ровно въ полдень, въ Ямской. Загорѣлось въ деревянномъ сараѣ, на заднемъ дворѣ дома № 243. Не далѣе, какъ черезъ восемнадцать минутъ двѣ пожарныя команды были уже на мѣстѣ, близъ церкви Іоанна Предтечи, на набережной Лиговки, за мостомъ черезъ Обводный каналъ. Но, несмотря на то, что вслѣдъ за этими двумя командами прискакала еще и третья, предотвратить страшное бѣдствіе было невозможно. Сильный, порывистый вѣтеръ, старая деревянная надворная строенія, поставленные слишкомъ близко одно къ другому, предшествовавшее сухое время, все это вмѣстѣ было причиною, что черезъ полчаса отъ начала пожара уже шесть домовъ, съ ихъ надворными строеніями, были охвачены пламенемъ. Пять минутъ спустя, на другой сторонѣ Лиговки, почти мгновенно, охватило нѣсколько домовъ и надворныхъ строеній, за Шмелевымъ переулкомъ. Къ часу дня

уже длинная линія горѣвшихъ домовъ отняла у пожарной команды возможность дѣйствовать совокупными силами въ одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, тѣмъ болѣе, что надо было отряжать трубы на противоположную сторону Лиговки, гдѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ безпрестанно начинало горѣть, но распространеніе огня предупреждалось усиліями частью пожарной команды, а частью и самихъ жителей. Всѣ дома со всѣми надворными строеніями по лѣвой сторонѣ Лиговки, отъ № 126 до № 164, сгорѣли совершенно; на правой—отъ № 243 до 253. Причины пожаровъ, какъ на Петербургской, такъ и въ Ямской, остались неизвѣстными.

23-го мая было пять пожаровъ: въ два часа утра, при сильномъ вѣтрѣ, начался пожаръ на Малой Охтѣ, въ Солдатской слободѣ, которая и сгорѣла вся до основанія—около 40 домовъ, населенныхъ исключительно бѣднымъ, работающимъ людемъ. Еще не всѣ части пожарныхъ командъ успѣли возвратиться въ казармы, какъ вдругъ, около трехъ съ половиною часовъ по полудни, загорѣлось въ Гороховой улицѣ, между Семеновскимъ мостомъ и Садовою, въ домѣ Яковлева, гдѣ сгорѣлъ каменный двухэтажный флигель и каменная служба съ сѣноваломъ, въ которыхъ хранился разный столярный матеріалъ. Въ этихъ-то службахъ и загорѣлось. Пожаръ въ Гороховой далеко еще не былъ потушенъ, какъ уже выкинули шары Каретной части: здѣсь загорѣлось опять-таки въ Ямской, въ Кобыльей улицѣ, съ задовъ дома № 104, откуда огонь распространился на всѣ дома по Лиговкѣ, такъ что весь громадный четырехугольникъ между улицами: Кобыльею и Лиговкою и отъ церкви Іоанна Предтечи до Глазовскаго моста, сгорѣлъ до основанія. Въ это же время, какъ полагаютъ, отъ переключенаго огня, загорѣлся на противоположной сторонѣ Лиговки, въ Разъѣзжей улицѣ, шестой домъ отъ моста. Огонь распространился на четыре сосѣдніе дома, изъ которыхъ одинъ былъ деревянный, и всѣ они сгорѣли. Пожаръ шелъ такъ быстро и такъ внезапно охватывалъ дома, что многіе люди едва успѣвали спастись, спускаясь изъ оконъ и съ балконовъ. Сгорѣло много извозничьихъ лошадей; одинъ хозяинъ лишился ихъ до шестидесяти головъ. Въ одно время съ пожарами въ Гороховой и Ямской, загорѣлось въ Лештукоскомъ переулкѣ, въ домѣ купца Ушкова. Здѣсь пожаръ обнаружился въ деревянномъ сараѣ, наполненномъ складомъ тряпья, пуха и перьевъ. Огонь пошелъ быстро катать по сосѣднимъ каменнымъ флигелямъ, которые оба сгорѣли. Сюда могла прибыть только одна изъ пожарныхъ частей, и она успѣла остановить распространеніе пожара, отстоявъ сосѣдній домъ Колчина, при помощи мѣстныхъ жителей, усердно тащавшихъ воду въ ведрахъ и въ шайкахъ. Еще всѣ пожарныя команды были на пожарѣ въ Ямской, гдѣ заливали горѣвшія развалины, какъ въ

одиннадцать часовъ вечера вспыхнулъ новый пожаръ на Невскомъ проспектѣ, между Николаевскою и Владимірскою улицами, въ домѣ Вилъе. Здѣсь онъ начался въ надворныхъ службахъ, гдѣ помѣщались сѣноваль и сарай, на второмъ дворѣ, и перешелъ на два дома въ Стремянной улицѣ. Огонь прекращенъ къ четыремъ часамъ утра. Причины всѣхъ этихъ пожаровъ остались неизвѣстны... А между тѣмъ еще къ утру 24-го мая можно было видѣть всѣ степени пожара въ длинномъ рядѣ домовъ по набережной Литовки. Одинъ изъ нихъ, уже совершенно уничтоженные, представляли только дымившіяся развалины; въ другихъ огненная работа сосредоточивалась внутри, пожирая остатки балокъ и обрушившихся стропилья; въ третьихъ полыми длинными языками вырывалось еще изъ всѣхъ оконъ. Пожаръ у Александровскаго рынка тоже еще далеко не былъ потушенъ.

24-го мая, опять-таки на Гороховой улицѣ, вспыхнулъ пожаръ въ домѣ протоіерея Окунева, начавшійся въ деревянномъ пустомъ сараѣ и окончившійся въ каменныхъ флигеляхъ этого дома. Вслѣдъ затѣмъ загорѣлось на Васильевскомъ островѣ, но огонь вскорѣ прекращенъ. Причины этихъ двухъ пожаровъ остались неизвѣстны.

26-го и 27-го мая городъ вспыхивалъ съ разныхъ концовъ, но эти пожары, которые вскорѣ тушились, казались уже ничтожными петербургскимъ жителямъ, привыкшимъ въ предыдущіе дни къ огню громадныхъ размѣровъ, истреблявшему цѣлыя улицы, цѣлые кварталы. Говоря сравнительно, въ эти дни было пожарное затишье; но народъ не успокаивался; онъ какъ бы какимъ-то инстинктомъ чувствъ, что это — тишина предъ бурей. Ходили смутные слухи, что на этомъ не кончится, что скоро сгоритъ Толкуцій рынокъ, а затѣмъ и со всѣмъ Петербургомъ будетъ порѣшено.

26-го мая, въ субботу, на Апраксиномъ дворѣ были подброшены письма, извѣщавшія о пожарѣ, имѣющемъ быть на завтра, въ Троицынъ день.

И дѣйствительно: въ воскресенье Апраксинъ дворъ загорался три раза, но неудачно. Огонь успѣвали замѣчать во-время и тушили.

28-го мая, IV-й Адмиралтейской части, въ одиннадцать часовъ утра, въ каменномъ домѣ купца Прокофьева, изъ запертой кладовой при щепенной лавкѣ купца Георгіева, показался сильный дымъ, но прибывшею тотчасъ пожарною командою начинавшійся пожаръ потушенъ. Горѣлъ лежавшій у штукатурной перегородки разный хламъ.

28-го же мая по Апраксину переулку, въ домѣ Трифонова, въ два съ половиною часа по полудни показался дымъ изъ деревяннаго сарая, прилегавшаго задней стѣной къ рядамъ Толкучаго рынка. По осмотру сарая, оказалась въ немъ таившая подброшенная («вѣроятно съ

умысломъ», какъ замѣчаетъ полицейская газета) пакля, которая и была тотчасъ потушена. Послѣ этого среди Апраксина двора, въ промежутокъ двухъ часовъ времени, два раза тушили пули хлопка и пакли, пропитанные смолою.

28-го мая былъ праздникъ, Духовъ день. Торговля на Апраксиномъ дворѣ на сей разъ шла весьма незначительная. Большинство лавокъ и ларей оставались запертыми. Впрочемъ, кое-кто поторговывалъ, и по всѣмъ направленіямъ рынка бродили сторожа; а потому купечество надѣялось, что угроза не будетъ исполнена.

XX.

Пожаръ 28-го мая 1862 года.

Погода стала теплая: даже было жарко, что становилось особенно ощутительно послѣ холодной, дождливой и, можно сказать, суровой весны. Вторая половина мая стояла хотя сухая, но очень холодная. Порывистые, сѣверо-западные вѣтры дули съ рѣдкимъ постоянствомъ.

Въ Духовъ день Петербургъ гуляетъ.

Около четырехъ часовъ по полудни улицы были полны народомъ, въ праздничныхъ нарядахъ. По Фонтанкѣ снова являлись съ праздничными пассажирами; кто направлялся въ Екатерингофъ, кто въ Лѣтній садъ. И тамъ, и здѣсь въ Духовъ день Петербургъ искони справляетъ народное гулянье. Въ Лѣтнемъ саду — по преимуществу праздникъ купечества. Въ прежніе годы здѣсь происходилъ выборъ и выставка купеческихъ невѣстъ, разряженныхъ въ марабу, шелки, и въ жемчугъ, и въ брильянты. Съ годами, конечно, вывелись эти смотрины, но самый обычай посѣщать въ Духовъ день гулянье Лѣтняго сада всецѣло сохранился и до сихъ поръ въ средѣ петербургскаго купечества изподъ Невскаго, съ Ямской, съ Ивановской улицы. Весь Щукинъ и Апраксинъ дворы имѣютъ тутъ полный комплектъ своихъ представителей: тутъ и хозяева съ хозяйками и съ дочерьми, тутъ и приказчики, и просто молодцы, и сидѣльцы, и конторщики, и лавочные мальчишки. Народъ торопился на свое гулянье, спѣша воспользоваться нѣсколькими часами, когда наконецъ и въ воздухѣ потеплѣло, и въ городѣ какъ будто поуспокоилось чутье послѣ цѣлыхъ двѣнадцати сутокъ безпокойствъ, страха и пожарной передрыгки.

Въ Лѣтнемъ саду гремѣло нѣсколько оркестровъ музыки и кишмя-кишѣла густая, празднично-пестрая толпа. Народу столклось, что называется, видимо-невидимо.

Вдругъ, въ шестомъ часу по полудни, съ разныхъ концовъ раздались громкіе крики: «Горимъ! Горимъ! Пожаръ! Толкуцій горитъ!» Сквозь просвѣты деревьевъ можно было разглядѣть вдали густую черную и громадно-широкую

пелосу дыма, которая сталаась по небу и быстро мчалась нескончаемой лентой густых клубовъ все дальше и дальше... При первых крикахъ тревоги, гуляющие бросились къ воротамъ. Началась давка, суета, суматоха, и въ этой-то суматохѣ шелъ самый дерзкій, неслыханный доселѣ грабежъ. Съ мужичи срывали часы, нагло, лицомъ къ лицу, запускали руку въ карманы и вытаскивали бумажники, съ женщинъ рвали цѣпочки, браслеты, фермуары, даже вырывали серьги изъ ушей, не говоря уже о шляхахъ и бурнуссахъ, которые просто стягивались съ плечъ, причемъ многія даже сами спѣшили освободиться отъ нихъ, изъ боязни задушиться, такъ какъ застегнутый воротъ давилъ собою горло. Многія изъ женщинъ выходили изъ сада измятыя, избитыя, изорванныя, окровавленные, съ оборванными ушами; многихъ вытаскивали безъ чувствъ или въ истерикѣ. Садъ стоналъ отъ звуковъ музыки, отъ криковъ, воплей, брани и рыданій...

У многихъ тысячей дрожало въ душѣ чувство, что въ эту минуту они выходятъ изъ сада, быть можетъ, уже круглыми нищими.

Чѣмъ болѣе приближались толпы къ пожарищу, тѣмъ все явственнѣе становился тотъ жуткій, зловѣщій людской гулъ, который всегда порождается какъ бы въ самомъ воздухѣ, въ виду великой бѣды общественной. Этотъ гулъ шаговъ, экипажей, голосовъ, говора, крика смѣшался съ подобнымъ вихрю трескомъ и ревомъ пожара. Какой-то болѣзненный, дрожащій, сумрачный отпечатокъ испуга и тревоги отпечатывался не только на лицахъ, но какъ будто на самомъ городѣ, на камняхъ, на зданіяхъ, на стеклахъ, въ самихъ улицахъ, въ свинцовой ряби воды!... Громадная туча дыму заслонила собою солнце, которое еле-еле проглядывало изъ-за нея какимъ-то тускло-багровымъ, каленымъ пятномъ и наводило на всѣ предметы тотъ особый свѣтъ, который придавалъ имъ зловѣщій характеръ тоскливости и смятенія.

Съ каждой минутой красновато-черный столбъ дыма все выше и дальше протягивался по небу. Изъ-за домовъ и строеній не видать еще было самого пожарища, но страшные языки густого и тусклого пламени, казалось, облизывали небо. Въ черныхъ клубахъ сверкали и неслись, подхваченные кружащимся вихремъ, крупныя искры, уголья, головки, листы бумаги, доскутыя какихъ-то тканей, оборвыши всяческаго хлама.... Стая голубей бѣсновались со стаями ласточекъ, воробьевъ и галокъ. Съ отчаянными криками и пискомъ они вздымались высоко-высоко, кружились въ воздухѣ, черкая его крыльями въ зигзагахъ своего полета, и, какъ ошалѣлые, гдѣ бы улетать скорѣе отъ пожара, они, напротивъ того, ныряли въ самое пламя, пропадали въ облакахъ дыма... Пламя хлестало ихъ концами своихъ языковъ или вдругъ охватывало всею своею огненною млагою—стай вырывались изъ огня, и то тамъ,

то здѣсь падали мертвыя и дымящіяся птицы. Цѣлый дождь искръ, угольевъ, пеплу и горящихъ головней сыпался съ неба на крыши, на мостовыя, на головы прохожихъ. И это небо, съ его солнцемъ, съ этимъ огненнымъ дождемъ и мятущимися стаями птицъ представлялось испуганнымъ глазамъ народа въ грозно-страшномъ, ужасающемъ величіи.

Даже въ такихъ отдаленныхъ отъ мѣста катастрофы улицахъ, какъ Офицерская, замѣтно было сильное, необычное движеніе, а въ Мышанской становилось уже тѣсно отъ столпленія двухъ потоковъ народа, изъ которыхъ одинъ стремился на пожаръ, а другой убѣгалъ съ пожара. Черезъ Каменный мостъ никого не пускали въ экипажахъ, и на самомъ мосту уже являлись предвѣстники бѣды: испуганныя лица, дрожки, кареты и возы, нагруженные вещами, пожитками и товарами, суматоха, брань, крики, слезы, проклятія.... По ту сторону моста, хотя до пожараща лежало еще болѣе полуверсты разстоянія, начиналась уже сильная давка. Всѣ окрестные переулки, что ведутъ на Садовую, были запружены бѣгущимъ народомъ, грудями мебели, тучами товаровъ, сброшенныхъ въ огромныя кучи. Громадный потокъ толпы стремился къ Апраксину двору, тѣснилъ, сбивалъ съ ногъ, захватывалъ и уносилъ съ собою и тѣхъ, кто шелъ на встрѣчу, и тѣхъ, кто спасалъ изъ домовъ свои пожитки. Никакія усилія полиціи и конныхъ жандармовъ не могли сдержать этого напора, который опрокидывалъ и людей, и лошадей, давившихъ подъ своими копытами и всадника, и того, кто имѣлъ несчастье подвернуться тутъ въ эту минуту. Въ переулкахъ уже было такъ тѣсно, что нагруженные возы при встрѣчѣ едва могли разбѣжаться. На перекресткахъ въ особенности была страшная давка; на одномъ изъ нихъ въ нѣсколько минутъ нагромодили пропасть разныхъ вещей, и столпилось столько народу, что не только проѣхать или пройти, но просто съ мѣста двинуться не было ни малѣйшей возможности. Полиція принялась растаскивать народъ — народъ сталъ растаскивать вещи, а тащить, между тѣмъ, некуда. Изъ соседнихъ домовъ тоже выбираютъ и стаскиваютъ пожитки въ эту же грудю; со всѣхъ сторонъ и везуть, и несутъ, и народъ валитъ. Груда вещей съ грохомъ валится на мостовую, давить, зашибаетъ людей... крики, стоны, ругательства... По Садовой тоже навалены груды разныхъ вещей и товаровъ, и снуютъ массы народа, и тѣснота стоитъ такая, что пожарныя команды и бочки съ водой едва-едва могутъ пробираться шагомъ, поминутно цѣпляясь колесами за всевозможную мебель и поневолѣ останавливаясь, чтобы не давить народа. Изъ каменныхъ корпусовъ Апраксина двора летятъ звенья разбиваемыхъ оконъ, выламываются двери лавокъ; изъ оконъ и изъ

дверей летить на улицу нужное и не нужное: мѣха, шубы, шапки, цѣлыя груды сапогъ, куски всевозможныхъ матерій, женскіе уборы, ящички галантерейныхъ вещей, пустыя картонки, коробки. Летящія изъ оконъ тяжести кого съ ногъ сшибаютъ, кому попадаютъ въ голову. Тамъ вонъ несутъ замертво окровавленнаго человѣка: ящичкомъ, говорятъ, зашибло, а сейчасъ опять пронесли обгорѣлаго солдата пожарной команды съ переломленными ногами: съ крыши упалъ въ самое полмя. Кто-то — неизвѣстно для чего — лѣзетъ вверхъ по водосточной трубѣ, двое какихъ-то кадетъ, тоже невѣдомо зачѣмъ, отдираютъ вывѣску; офицеръ какой-то, вышибя каблукомъ окно, опускаетъ на веревкѣ мебель, студентъ съ ломомъ бросается къ двери и выламываетъ ее. Никто и самъ не знаетъ, зачѣмъ онъ дѣлаетъ то или это; испугъ, озлобленіе, растерянность неумѣлость ярко написаны на всѣхъ лицахъ этой безконечной толпы. Жандармы стараются оттереть толпу отъ огня — масса пьтится, опрокидывается на груды вещей, ломаетъ себѣ шею, руки и ноги, падаетъ, давитъ другъ друга, а сзади, между тѣмъ, напираютъ другія массы, которыя не видятъ что творится впереди и лѣзутъ къ огню съ неудержимой силой. Одинъ растерявшійся квартальный гонитъ въ одну сторону, другой, невѣдомо зачѣмъ, оттираетъ въ другую, городовые валяютъ шапки съ головъ зазѣвавшихся зрителей и прутъ на толпу въ третій конецъ; но новыя массы, какъ волны, валятъ и валятъ одна за другою, и все впередъ, все на огонь, и давятъ и опрокидываютъ все встрѣчное, несутся съ ревомъ чрезъ груды вещей и ломаютъ все, что ни поало. Каждый атомъ этихъ живыхъ массъ воодушевленъ однимъ стремленіемъ спасать и помогать, но ни одинъ не знаетъ что дѣлать, что спасать, кому помогать, куда направиться. Все ошалѣло, все помутилось и потеряло голову. Одна великая, мірская бѣда царитъ надо всеми.

Въ Апраксиномъ переулкѣ становится такъ жарко, что начинаютъ загораться дома, противоположные рынку. Заливать ихъ уже невозможно отъ жару. Народъ, валя другъ друга, бѣжитъ изъ этого переулка, — торопится не задохнуться и не сгорѣть заживо въ пеклѣ огня и дыма.

Въ Чернышевомъ переулкѣ нѣсколько менѣе жарко, но жаръ зато невыносимый. Изъ воротъ Щукина двора вдругъ летитъ цѣлый ураганъ пуху и перьевъ, которые съ трескомъ и шипѣньемъ разносятся по вѣтру и распространяютъ отвратительный смрадъ. Куры, цесарки, утки, гуси, индѣйки, павлины и всякая мелкая птица изъ птичнаго ряда квокчетъ, крикаетъ, гогочетъ, кричитъ и стонетъ, тщетно выбываясь изъ своихъ клѣтокъ; а которымъ удалось какими-то судьбами освободиться изъ нихъ, тѣ кружатся, снуютъ

и бѣгаютъ, какъ шалыныя, по пожарищу, ища, но не находя себѣ выхода и, наконецъ, живьемъ запекаются и жарятся въ этой адской кухнѣ. На тротуарѣ, какъ и на Садовой, валяются разные товары: груды полушубковъ, груды трико, драпу, дорогихъ суконъ, груды битаго хрусталя, фаянса и всякой посуды, перья, подушки, тюфяки, диваны и громадныя простѣлочныя зеркала. Головы сахару, разбитыя бочки кофе, цибки чаю валяются въ грязи, рассыпаются по мостовой. Народъ непестово накидывается на миנדаль, пастилу и орѣхи, хватаетъ горстями просыпанный чай, набиваетъ карманы разными продуктами. Приказчики ломаютъ двери и выбрасываютъ что ни поало: изъ оконъ летятъ ананасы, банки съ вареньемъ, вина, трюфели, виноградъ, всяческіе консервы; бочки съ фруктами бьются въ дребезги; груши, яблоки и апельсины прыгаютъ по мостовой какъ мячики, разлетаются какъ картечи и катятся во всѣ стороны. Толпа огуломъ накидывается на всѣ эти блага, давитъ ихъ подъ ногами и въ одинъ мигъ расхищаетъ все, что лишь возможно расхитить. «Ничего братцы! Бери знай!.. Сѣбѣсное, не грѣхъ! Все одно прахомъ пойдетъ!» раздаются въ этой толпѣ поощрительныя возгласы.

Верхній этажъ пылаетъ, а многія лавки внизу еще заперты. Прибѣжалъ хозяинъ одной пѣзнихъ, взглянулъ на пламя, поднялъ руки вверхъ и тутъ же замертво хлопнулся объ землю.

Съ противоположнаго берега Фонтанки, около Лештукова переулка и Мѣшанской галдін, открывалась страшная, поразительная картина пожара, во всемъ его адскомъ ужасѣ. Изъ воротъ, выходившихъ на набережную, спѣшно выкатывали разные экипажи: кареты, тарантасы, коляски, дормезы, сани и дрожки. Тутъ же тѣснились телѣги, на которыя торговцы набрасывали свой товаръ, — больше все разный пестрый хламъ изъ Лоскутнаго ряда; валили его также на барки, на плоты и на лодки, подхлѣдившія къ гранитному берегу. Множество всякихъ узловъ, вещей, и хламу, и рѣдкостей, оружіе, картины, бронзы, китайскія вазы, рѣдкія книги и груды вообще книжнаго товара, домашняя утварь, желѣзо, мебель — все это валилось съ берега, чрезъ чугунную рѣшетку, на суда, но великое множество изъ этихъ вещей падало въ воду и тонуло.

Между тѣмъ, барки съ дровами спѣшили поскорѣй уйти отъ пожарища внизъ по теченію. На водѣ шла такая же толкотня и сумятица, какъ и на сушѣ. Не прошло и двадцати минутъ отъ начала пожара, какъ огонь побѣждалъ уже по самому забору рынка. Уголь его, выходившій на набережную и Апраксинъ переулокъ, занятъ былъ громаднымъ дровянымъ складомъ. Квадраты досокъ и бревенъ, тѣсно сплоченные одни возлѣ другихъ, возвышались надъ землею болѣе чѣмъ на три сажени. Къ этому складу примыкали каретный

и желѣзныи ряды. Все это менѣе чѣмъ въ десять минутъ пылало гигантскимъ, сокрушительнымъ пламенемъ. Народъ еще копошился на той сторонѣ, пока пожаръ не дошелъ до забора; но когда золотыя полосы и жилки огни пробились сквозь его щели—жаръ вдругъ сдѣлался невыносимъ до такой степени, что чрезъ минуту на набережной не было уже ни одной души. За нѣсколько мгновений предъ бѣгствомъ отсюда, выломали въ нѣсколькихъ мѣстахъ чугунную рѣшетку, своротили съ мѣста нѣсколько гранитныхъ тумбъ и поспрасывали въ воду значительное число экипажей, надѣясь спасти ихъ хоть этимъ средствомъ. Впрочемъ, много каретъ и колясокъ, за недостаткомъ времени, остались на опустѣлой набережной, которая, съ отсутствіемъ людей, вдругъ приняла какой-то мертвенный, тоскливо-пустынный и мрачный видъ. Огонь работалъ. Вѣтеръ клубками катилъ по набережной комья и пучки какого-то горящаго хлама. Горѣли черныя кареты, горѣли фонарные столбы.

Рядомъ съ Мѣщанскою гильдией, на противоположной сторонѣ Фонтанки, съ балкона дома Шамо, гдѣ жилъ тогда пинущій эти строки, открывался чуть ли не лучший, чуть ли не самый страшный видъ въ цѣломъ городѣ на это пожарище. Внизу, подъ балкономъ, кипѣла и гудѣла непроходимая толпа, сквозь которую съ неимовернымъ трудомъ прокладывали себѣ дорогу воинскія команды, торопившіяся на свои экстренные посты. Духота и жара были здѣсь такія, что всѣ стекла полопались; желѣзная рѣшетка балкона раскалилась до такой степени, что обжигала руки, оконныя рамы и ворота тлѣли и загорались. Надо было ежеминутно обливать ихъ водою, но чуть растворилъ дверь балкона, какъ палищій жаръ такъ и обдастъ тебѣ все лицо. Оставаться на балконѣ не иначе было возможно, какъ покрывъ голову мокрой салфеткой. Но едва успѣли обдать стекла и рамы нѣсколькими ведрами воды какъ чрезъ минуту жаръ каленаго воздуха уже высушивалъ ихъ, и дерево начинало тлѣть сызнова.

А на той сторонѣ, прямо предъ глазами бушевало, ревѣло и свистало цѣлое море сплошного огня. Заборъ давно уже рухнулъ. Желѣзо плавилось потоками и клочкотало, какъ въ калильной печи, раздражая глазъ невыносимо яркимъ свѣтомъ. Тутъ же горѣли купоросъ и сѣра, которая свѣтилась переливами великолѣпнаго зеленого и голубого огня. Въ воздухѣ поднялась цѣлая буря. Сильный и порывистый морской вѣтеръ гналъ потоки пламени прямо на громадное зданіе министерства внутреннихъ дѣлъ. Огненные языки уже лизали его стѣны, и черезъ нѣсколько минутъ министерскій домъ пылалъ, какъ и Толкучка. Дома въ Апраксиномѣ переулкѣ тоже горѣли. Пламя крутилось и металось во всѣ стороны; иногда столбъ его,

какъ огненный смерчъ, высоко уходилъ въ небо и крутился длинною спиралью. А тамъ, вдали, за этимъ моремъ, мгновенно виднѣлось другое, густо-багровое и даже какъ будто какое-то темное, черноватое пламя: то горѣли каменные флигеля суконныхъ рядовъ, выходящіе на уголъ Садовой и Чернышева переулка.

Въ семь съ половиною часовъ пламя вырвалось наконецъ на Садовую улицу, противъ оптовыхъ лавокъ, между Мучнымъ переулкомъ и Государственнымъ банкомъ. Ломовые извозчики подбѣжали безпрестанно, вещи съ мостовой укладывались и увозились по мѣрѣ возможности, но все-таки цѣлыя груды ихъ оставались еще на улицѣ. Брошенные шкафы, ящики и множество другихъ деревянныхъ удобовозгорающихся вещей валялись въ томъ положеніи, какъ повыбрасывали ихъ изъ оконъ второго этажа. Весь этотъ хламъ тоже начиналъ загораться и угрожалъ собою зданіямъ противоположной стороны; и дѣйствительно, одинъ изъ флигелей Государственного банка уже загорѣлся, но вскорѣ его отстояли. Надо было очистить улицу отъ хлама. Народу было множество, но онъ стоялъ себѣ простымъ зрителемъ и только пренятствовалъ разбѣзжаться повозкамъ. Цѣпи военныхъ часовыхъ еще не было. Солдаты продолжали выносить вещи, но спасали по указанію самихъ же купцовъ, потерявшихъ голову, совсѣмъ ничтожные и даже непригодные предметы, въ родѣ сапожныхъ подошвенныхъ шпильковъ, сломанныхъ дивановъ и стульевъ, битыхъ зеркалъ, разную бумагу, корзины, гвозди, пуговицы, вату и тряпье. Хотѣли солдаты ломать крышу, но не случилось ни топоровъ, ни ломовъ, которые явились уже гораздо позже. Солдаты тщетно бѣгали по лавкамъ, въ надеждѣ отыскать ихъ у торговцевъ, но желѣзныхъ лавокъ по близости не было.

Кто-то подаль дѣльную мысль, чтобы брошенные на улицѣ вещи втаскивать обратно подъ арку Апраксина—работа закипѣла, и единственно лишь этому слѣдуетъ приписать спасеніе Государственного банка и вообще зданій противоположной стороны Садовой улицы. Нѣкоторыя лавки, послѣ того какъ въ нихъ были выломаны двери, къ неожиданному и крайнему удивленію свидѣтелей, оказались внутри совершенно пустыми. Это возбудило громкій ропотъ, жалобы и подозрѣнія на хозяевъ въ томъ, что они, очевидно, вывезли весь товаръ предъ пожаромъ, вѣроятно знали, что онъ случится.

— Гляди, банкротами объявятся!—замѣчали въ толпѣ.

— А можетъ ради иного злостнаго банкротства и Толкучій горить!—предположилъ нѣкто.

— Нѣтъ, баринъ, врешь! Толкучій не купечество, а хичные люди подожгли! Ужъ они давно на него зарились! Тѣ самые, что народъ православный по міру пустить хотѣтъ, да не

хорошія бумаги подбрасывают! Это уж мы доподлинно знаем! Это вѣрно!

Лавки, оказавшіяся пустыми, стояли подъ №№ 40, 44 и 45.¹⁾

Солдаты выносили товары и вещи, но все это было вполнѣ бесполезно. Ни купцы, ни приказчики не условливались съ ними о мѣстахъ складки, и тѣ впопыхахъ, роняя по дорогѣ и подымая вещи, или будучи задержаны толпой, теряли изъ виду своихъ провожатыхъ и потомъ отыскивали ихъ при шумѣ и замѣшательствахъ, нарочно производимомъ многочисленными мошенниками, на которыхъ слышались жалобы изъ разныхъ мѣстъ и лавокъ, и которые объявляли себя хозяевами чужого добра. Приказчики разгоняли ихъ, дубася по чѣмъ попало желѣзными замками, звали полицейскихъ офицеровъ и солдатъ; но тѣ и сами не знали, въ какую имъ сторону идти и брать ли этихъ господъ, отъ которыхъ хотя и припахивало водкой, но которые по большей части одѣты были прилично, называли себя дворянами или чиновниками, и съ примѣрнымъ безкорыстіемъ, усердствовали въ разбитіи дверей тѣхъ лавокъ, хозяева которыхъ не успѣвали во-время явиться на мѣсто.

Вообще, повсюду шель грабежъ страшнѣйшій. Хозяева вещей стараются поймать вора, ловятъ и правого и виноватаго, завязывается драка, вступается полиція, а грабежъ тѣмъ часомъ идетъ еще болѣе.

А тутъ у Апраксина переулка «поджигателя» вдругъ поймали.

— Гей! ребята! Вали смотри! Поджигатель! Поджигатель! — реветъ толпа, обуйная аллобй и лобопытствомъ.

Человѣкъ десять ухватили какого-то блѣднаго отъ страха молодого человѣка, предъ которымъ стоитъ лавочникъ и держитъ въ рукахъ бутылку съ какимъ-то чернымъ порошкомъ и коробокъ спичекъ, отнятые у «поджигателя».

— Что это за порошокъ, любезный?

— Э, робя! Это порохъ!.. Ей-ей, порохъ! Ишь, какой блестящій!

— Мажь ему рожу! Мажь эфтимъ самымъ суставомъ!—вопитъ толпа.

— Держи, братцы, крѣпче! Вотъ я ему сейчасъ!—говоритъ лавочникъ, насыпая въ руку порошокъ изъ бутылки.

Пойманный судорожно присѣдаетъ.

— Стой, братцы!—кричитъ кто-то.—Давай, я на языкъ попробую!

— Не трошь! Ротъ обдеретъ!

¹⁾ Фактъ этотъ засвидѣтельствованъ официально нѣсколькими лицами. Съ какою цѣлью и почему были вынесены изъ этихъ лавокъ всѣ товары? О цѣли, конечно, судить трудно; но почему?—это другой вопросъ. О предстоявшемъ пожарѣ Апраксина и Толкучки уже заранѣе ходили темные слухи, а 26-го мая были подброшены извѣстательныя письма.

— Полно!.. Еще, гляди, помрешь, аль лопнешь сею секуятою!

— Небойсь!.. Не помремъ!.. Давай!.. Я сейчасъ узнаю!

Порошокъ оказывается обыкновеннымъ чернымъ пескомъ, для засыпки письма.

— Ну, ступай съ Богомъ! Христосъ съ тобой! Не сердися!.. Самъ видишь, время нонѣ какое!

Пойманный перекрестившись пускается бѣжать, что есть духу.

— Держи! Держи! Воръ бѣжитъ! Воръ!—престѣдуетъ его крикомъ какая-то баба, въ-конецъ ошалѣлая отъ страха.

Нѣсколько человѣкъ изъ толпы кпаются ловить «вора», который сейчасъ только-что былъ «поджигателемъ». Къ счастью, полиція поспѣшаетъ на выручку.

А въ это же самое время бѣжитъ по улицѣ, выпучивъ глаза, какой-то растрепанный, оборванный, но бывшій порядочно одѣтымъ человѣкъ, безъ шапки, съ обезображеннымъ лицомъ. Онъ безсмысленно смотритъ впередъ, безпорядочно машетъ руками и вопитъ страшныя проклятія.

— Сумасшедшій!.. Помѣшался! Господи!.. Человѣкъ въ умѣ помѣшался!—проносится въ толпѣ стонъ состраданія.

Помѣшанный бѣжитъ далѣе и исчезаетъ въ народъ.

Какая-то растрепанная женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, вдругъ бросается съ низгомъ подъ пожарную тройку.

— Стой!.. Стой!.. Берегись! Раздавли!.. Подъ лошадей попала!.. Ребенокъ-то, ребенокъ!.. Ай-ай-ай, Господи!.. проносятся отчаянные крики.

Пьяный господинъ, въ отставномъ пальто, съ кокардой на красномъ околышѣ потертой фуражки, азартно колотитъ по зубамъ ветрѣныхъ и поперечныхъ и хрипло, начальственныхъ тономъ оретъ.

— Назадъ!.. Назадъ, говорю вамъ! Сюда нельзя! Не смѣй ходить сюда!

Смущенная толпа молча пятится предъ азартною кокардой.

То тамъ, то здѣсь появляются разные самозванные начальники и запретители, которые обращаются съ приказаніями къ толпѣ, что «и сюда, молъ, нельзя, и туда нельзя». Иногда толпа послушаетъ запретителя и попятится, а иногда какой-нибудь смѣльчакъ и по зубамъ его съѣздитъ. За симъ неизбежно поднимается драка, кончающаяся цѣлой свалкой...

— Поберегись!.. Уйди!.. Прочь съ дороги! Убью!.. Берегись! Караулъ!.. Ка-ра-у-у-уль! Стой!.. Что за человѣкъ такой? неумолкаемо раздается со всѣхъ сторонъ надъ одурѣвшею толпою.

Какой-то старикъ съ длинной сѣдой бородой, припавъ лицомъ къ стѣнѣ, вдругъ таяко

и страшно зарыдалъ разбитымъ, старческимъ рыданьемъ.

— У!.. Разбойники!.. Жечь ихъ! самихъ жечь!—гудѣло въ толпѣ со стономъ и скрипящею злобою.

Страшный вѣтеръ отрывалъ отъ пожара цѣлые клубы пламени и несъ ихъ въ воздухѣ отдѣльными клочьями.

Около шести часовъ по полудни огонь показался на противоположной сторонѣ Фонтанки. Быть-можетъ его пересбросило. Здѣсь, повидимому, никто не чаялъ новаго пожара, какъ вдругъ, почти мгновенно, освѣтило дровяные дворы и досчатые склады; затѣмъ и четверти часа не прошло, какъ уже пылали Чернышевъ, Троицкій и Щербаковъ переулки. Въ послѣдній, въ особенности, было страшно взглянуть: это самый узкій изъ всѣхъ петербургскихъ переулковъ, застроенный, по большей части, ветхими деревянными лачугами, и теперь въ немъ кипѣла и трещала цѣлая рѣка непрерывнаго, сплошнаго огня: тамъ уже ни души не было. Оттуда можно было только спастись, но не спастись. Въ общей сложности, горѣло пространство, по крайней мѣрѣ, на три версты въ окружности. Тринадцать частей съ ихъ резервами—все, чѣмъ богатъ въ этомъ отношеніи городъ—были раскинуты на столь громадномъ протяженіи и совершенно терлились въ немъ. Работа ихъ, повидимому, была вполне беспильна. Пожарные солдаты, измученные длиннымъ рядомъ предшествовавшихъ непрерывныхъ пожаровъ, въ теченіе цѣлыхъ двѣнадцати дней лишены сна и покоя, часто по цѣлымъ суткамъ голодные отъ недостатка времени проглотить какой-нибудь кусокъ,—въ настоящую минуту еле двигали руки и ноги. Сколько изъ нихъ, бывало, въ ожиданіи воды, присядутъ къ колесу бочки и тотчасъ же засыпаютъ глубокимъ сномъ; сколько, бывало, валились съ ногъ на мостовую въ совершенно безчувственномъ состояніи; одинъ сталъ—было колѣнами на подножку, склонилъ голову на дрогъ, да такъ и остался недвижимъ: никакими усилиями не могли его растолкать—онъ онѣмѣлъ совершенно. А сколько этихъ людей калѣчилось, убивалось, гибло въ огнѣ жертвами собственного самоотверженія! Спасибо еще, что находились добрые люди, которые привозили имъ на пожаръ хлѣба, вина и калачей,—и трудно представить себѣ, до какой степени простиралась благодарность этихъ солдатъ. Хвативъ глотокъ водки и на-ходу закусывая кускомъ хлѣба, они съ новой энергіей кидались въ свою каторжную работу и дѣлали все, что только въ состояніи сдѣлать человѣческія силы.

Въ минуту тяжкихъ общественныхъ испытаний какъ-то само собою сглаживается и исчезаетъ то, что зовется кастою, сословностью, разностью положеній, званій и состояній. Въмѣсто этого является масса, сила, міръ, нѣчто

единое, или то, что можно понимать подъ словомъ *народъ*, въ самомъ широкомъ смыслѣ. Такъ было и теперь. Пожаръ сталъ общою бѣдою; тушить его стало общимъ дѣломъ. Офицеры гвардіи и отставные солдаты, чиновники, пажи, гимназисты и студенты, лицеисты и правовѣды, денди въ изящѣйшихъ пальто, съ пенсне на носу, и пролетаріи съ Сѣнной площади, священники, негоціанты, капиталисты и нищіе, лица заслуженныя и простые работники, баре п мѣщане,—словомъ, всѣ, кто только могъ, послыно помогали дѣлу; карабкались на подмостки пожарныхъ машинъ и, облитые потоками грязной воды, обсыпанные пепломъ, подъ дождемъ сыплющихся искръ и углей, усердно качали и качали воду, опустошая на всѣхъ пунктахъ цѣлыя сотни бочекъ. Въ одномъ мѣстѣ какой-то заслуженный, сѣдой генералъ, видя, что рвеніе толпы къ помощи начинаетъ ослабѣвать, а утомленные, между тѣмъ, выбиваются изъ послѣднихъ силъ, влѣзъ на пожарную трубу и, не говоря ни слова, что было мочи, сталъ качать воду. Этотъ примѣръ былъ своего рода электрической искрой: сотни рукъ въ одну минуту двинулись къ машинѣ, чтобъ освободить честнаго добраго человѣка отъ непосильнаго ему труда. Двое кадетъ инженернаго корпуса видѣлись вмѣстѣ съ нѣсколькими пожарными на объятый пламенемъ крышѣ высокаго, пятиэтажнаго дома и усердно работали тамъ топорами. Какой-то молодой человѣкъ, безъ куртки, одѣтый въ одну рубашку и панталоны, съ студентской фуражкой на головѣ, съ топоромъ за кожанымъ поясомъ, предводительствуя небольшою группою своихъ товарищей-студентовъ, просто поразилъ толпу, смотрѣвшую на пожаръ, чудесами неимовернаго мужества. Сначала онъ работалъ около министерства внутреннихъ дѣлъ, но потомъ, когда тутъ нечего уже было дѣлать, бросился со своими товарищами въ Троицкій переулокъ. За нимъ послѣдовала цѣлая толпа, чтобы полюбоваться на молодецкій образъ дѣйствія отважнаго юноши. Тутъ онъ, по лѣстницѣ бросился на одинъ изъ загорѣвшихся уже домовъ, и толпа снизу видѣла какъ изъ-подъ его топора летѣли щепы, когда онъ быстро рубилъ горѣвшія балки. Товарищи его помогали ему сбрасывать балки на-земь, но вдругъ раздается злобщій трескъ, подъ студентомъ рушится потолокъ и онъ проваливается. Крикъ ужаса вырвался у глядѣвшей толпы. Прошло минуты двѣ ожиданія, обдающаго нѣмой тишиной и дрожью, и холодомъ. Но вотъ онъ однако показывается въ окнѣ пылающаго верхняго этажа. Товарищи его, успѣвшіе между тѣмъ спуститься внизъ, помогаютъ ему сдѣлать то же, приставляютъ лѣстницу, но онъ видимо страдаетъ отъ боли. Не прошло и пяти минутъ, какъ снова, заткнувъ топоръ за поясъ,

онъ вновь взбирается по лѣстницѣ на другой горящій домъ, хотя толпа и не пускала его. Это самоотверженіе тѣмъ болѣе могло назваться подвигомъ, что толпа громко говорила, будто Петербургъ жгутъ поляки и студенты. Одинъ видъ синяго околыша студентской фуражки возбуждалъ уже въ этой слѣпой толпѣ враждебную подозрительность и негодованіе.

Примѣры великодушія являли многіе городскіе и ломовые извозчики. Болѣе полтораста ломовыхъ прикатили къ мѣсту пожара съ Калашниковой пристани, чтобы перевозить товары за самую ничтожную плату и даже вовсе безъ всякой платы. Одинъ извозчикъ, съ Литейной, прислалъ для той же цѣли безвозмездно пятнадцать четверо-мѣстныхъ каретъ. Но зато были и такіе спекулянты, которые за перевозку клади отъ Гостинаго двора на Царицынъ лугъ, разстояніе менѣе чѣмъ полверсты, драли по тридцати-пяти рублей съ воза или по пятидесяти съ омнибуса. Кто хотѣлъ въ мутной водѣ рыбу ловить, тому было теперь вслѣшное раздолье.

XXI.

Наши знакомцы на пожарѣ.

Андрей Павловичъ Устиновъ въ этотъ день обѣдалъ у Стрѣшневыхъ. Еще сидѣли за столомъ, когда принесена была вѣсть, что Толкучій горитъ. Черезъ полчаса опять приближала горничная и объявила, что пожаръ — страсти какой! что въ Петербургѣ отродясь такого и не видало! Татьянѣ Николаевнѣ вздумалось пойти поглядѣть, что тамъ такое дѣлается, и она отправилась вмѣстѣ съ Устиновымъ.

Литейная, Владимірская, Александринская площадь, Садовая, словомъ, всѣ ближайшія къ пожару улицы, площади и переулки были запружены народомъ и экипажами, загромождены мебелью, завалены товарами, узлами и всякими пожитками. Бабы ревмя ревѣли, сидя на нихъ и карауля остатки своего добра отъ расхищенія. Солдаты съ ружьями тамъ и сямъ стояли часовыми при горахъ имущества. Длинные цѣпи ихъ протянулись вдоль ближайшихъ улицъ. Изъ домовъ продолжали выносить и спасаться жильцы. Со всѣхъ сторонъ было одно и то же: пламя, дымъ, обгорѣлыя бревна, стропила, доски, оторванные листы желѣзныхъ крышъ, мрачные остовы сгорѣвшихъ домовъ, закопченные стѣны, выбитыя окна, искры и головни... Повсюду бѣготня, вѣда, суета, сумятица, слезы и вопли, крики, ругательства и проклятія, и все это покрывается свистомъ порывистаго вѣтра, ревомъ пожара, трескомъ рушащихся домовъ и шипѣньемъ высокихъ струй воды, направляемыхъ въ самыя сильныя пѣкля.

— Поджигаютъ!.. Поджигаютъ! — слышалось со всѣхъ сторонъ, отъ встрѣчнаго и поперечнаго.

Кто поджигаетъ? — Тѣмъ предположеній, но ни одного положительнаго, вѣрнаго отлѣта. Одно только чувство немедленной и безпощадно-страшной мести невидимымъ, тайнымъ врагамъ съ каждой минутой все болѣе и болѣе разгорается въ массахъ народа.

Устиновъ, подъ руку со Стрѣшневой, пробрались по Троицкому переулку. Предъ воротами одного дома имъ поневолѣ пришлось остановиться, такъ какъ огромная толпа стояла тутъ не двигаясь и глядѣла на загоравшійся домъ съ противоположной стороны переулка.

— Батюшки! да никакъ это наша коммуна выносятся, — сказала Стрѣшневая, замѣтивъ въ двухъ шагахъ отъ себя Лидиньку Затцъ, сидѣвшую на грудѣ узловъ и мебели. — Ну, такъ и есть, вонъ и Малгоржанъ тащить сюда что-то! — Лидинька! Здравствуйте! — крикнула ей Татьяна.

Затцъ обернулась. Лицо ея было нервно и встревожено. На немъ явно отпечатлѣвались испугъ и растерянность.

— Ахъ, это вы!.. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая! — быстро и взволнованно заговорила она, видимо обрадовавшись. — Голубушка, помогите, Христа ради!.. Выносятся!.. сейчасъ вѣрно и у насъ загорится!.. Помогите, покарауйте вотъ!.. За всѣмъ не доглядишь, а у меня ужъ и то новое пальто украли!.. Эдакое бѣдствіе!.. Ахъ, ужъ, кажется, если бы только узнать, кто эти мерзавцы поджигатели, вотъ бы ужъ, кажется, своими руками!.. Разстрѣлывать эдакихъ изверговъ мало!.. Вѣдь тутъ народъ цѣлый народъ страдаетъ!.. Подлецы эдакіе!.. Но пальто мое!.. Господи! на прошлой недѣлѣ только двадцатьпять рублей заплатила!.. и представьте, сейчасъ стащили вотъ!.. Эдакая обида!

Вдругъ, въ эту самую минуту изъ-подъ воротъ послышались отчаянные крики: «держи!.. держи, братцы, держи!» и вслѣдъ затѣмъ выскочила какая-то блѣдная, испитая, оборванная фигурка, безъ шапки, кутая что-то подъ мышкой, и тотчасъ же за нею появился Ардальонъ Полояровъ. Блѣдный и растрепанный, съ горящими, опалѣлыми глазами, онъ гнался во всю прыть за испитою, оборванной фигуркою и простирая впередъ руки, силясь догнать и поймать ее.

— Держи, братцы, держи!.. Воръ! Мазурникъ!.. Сейчасъ штаны мои изъ-подъ руки стащилъ! — вопилъ запыхавшійся Ардальонъ, вслѣдъ за которымъ, словно мячикъ, выкатился и Анцыфрикъ, пища во весь свой плюгавый голосенокъ. — Держи! штаны укралъ!.. штаны наши! Держи его!.. въ полицію!.. Батюшки!.. грабятъ!..

Толпа тотчасъ же задержала испитого мазурника, который, весь дрожа и присѣдая отъ страха, кидаль вокругъ себя дикіе, молящія взгляды.

Полояровъ нагналъ его и цапнулъ за волосы.
— Вотъ онъ, кто поджигатель-то!.. Вотъ онъ!—вопилъ Ардальонъ Михайловичъ!—Отдай штаны, подлецъ!.. Братцы помогите! Отымите! За что-жь имъ грабить-то позволять!

Коммунисты гуртомъ бросились спасать Полояровскіе штаны. Толпа мигомъ окружила и Ардальона, и мазурика, и загудѣла своимъ смѣшаннымъ, но зловѣщимъ гуломъ.

— Бей его!.. Бей, братцы! — раздавался сквозь этотъ гулъ озлобленно-растерянный голосъ Ардальона.

Нѣсколько кулаковъ замелькали надъ головами шпрокими размахами, и вслѣдъ за тѣмъ всю душу раздирающій крикъ и жалобные стоны пронесли надъ толпою.

— Уйдемте... Бога ради, уйдемте поскорѣй отсюда!—прошептала поблѣднѣвшая Татьяна, прижимаясь къ рукѣ Устинова.

Они съ величайшимъ трудомъ прокладывали себѣ дорогу. Иногда волна людской толпы захлестывала ихъ собою, подхватывала и несла впередъ своимъ собственнымъ невольнымъ движеніемъ, и въ такія минуты было легче идти: приходилось только защищать свои бока, но самому продираться было уже не къ чему: толпа несла сама собою.

Такимъ образомъ, и сами не понимая какъ, они вмѣстѣ съ захлестнувшимъ ихъ потокомъ очутились на Чернышевской площади, предъ пылающимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Тутъ было нѣсколько просторіе и потому сказывался кой-какой порядокъ. Груды бумагъ и «дѣлъ» валялись на мостовой. Порывы вѣтра подхватывали ихъ, рвали, кружили и разносили въ стороны. Нѣсколько студентовъ захватили пять или шесть пазовичихъ дрожжекъ и, наваливъ туда кupy этихъ бумагъ, отвозили ихъ подъ своимъ надзоромъ въ болѣе безопасное мѣсто. Другіе ловили и подхватывали на лету отдѣльные листы и отдавали ихъ тѣмъ же студентамъ. Фасадъ министерства стоялъ подъ вѣтромъ и потому языки огненного пламени, выкатывавшіеся изъ всѣхъ оконъ верхняго и средняго этажей, плавно подымались вверхъ, и уже оттуда вѣтеръ металъ ихъ во всѣ стороны. Сквозь пролетныя арки сосѣдняго дома министерства народнаго просвѣщенія, несмотря на огонь адскаго пожара, порою открывалось вдаль на нѣсколько мгновеній небо, все багровое отъ послѣднихъ лучей заходящаго солнца. Начиная смеркаться. Въ воздухѣ понемногу темнѣло, и вмѣстѣ съ синевою сумерекъ увеличивалось зарево пожаровъ. Оно становилось теперь какимъ-то грознымъ, зловѣщимъ, ярко-краснымъ. Стая голубей и листы бумаги все еще высоко кружились надъ пожарищемъ, мгновенными сверкая подъ лучами огня своею яркою бѣлизною. Иногда бумага казалась птицею, а птица бумагой. Вода въ Фонтанкѣ вся поворобѣла, и на мелкихъ изломахъ ея зыби, словно

на стальной чешуѣ, мпіадами свѣтлыхъ точекъ, полосокъ и змѣекъ играли отблески кроваваго огня. По теченію медленно плыли одна за другой три покинутыя барки, наполненныя дровами. Одна изъ нихъ горѣла.

Устиновъ и Стрѣшневъ молча, съ какою-то обмирающею скорбью въ душѣ, глядѣли на всю эту мрачную, ужасную картину.

Спнною къ нимъ, въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія, оставились двое молодыхъ людей и, повидимому, любовались пожаромъ.

— Это тоже изъ коммунистовъ, — шепнула Татьяна, указавъ на одного изъ нихъ глазами. — Я и другого, кажется, тамъ встрѣчала...

То были Моисей Фрумкинъ и Василій Свитка, печально столкнувшіеся гдѣ-то на пожарѣ. Свитка, противъ обыкновенія, щеголялъ теперь не въ чамаркѣ, а въ обыкновенномъ пиджакѣ.

— А славно горить... Просто прелесть, какая картина! — съ улыбкой обратился онъ къ Моисею.

— Н-да! эффектно, чортъ возьми! — процѣдилъ тотъ сквозь сжатые зубы.

Какой-то пожилой, обрюзглый господинъ съ рыжими усами и съ чиновничьею кокардой на шапкѣ, стоявшій тутъ же по сосѣдству, почти рядомъ съ ними, свирѣпымъ взглядомъ поглядѣлъ на обоихъ, молча, но въ высшей степени подозрительно.

Тѣ однако, продолжая любоваться эффектомъ огня, не замѣтили этого взгляда.

— Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!¹⁾ тихо, но вѣско проговорилъ Свитка.

Чиновникъ снова метнулъ на него подозрительный взглядъ и сталъ прислушиваться.

— Это старая истина и, кажись, справедливая, — согласился Фрумкинъ. — А вѣдь, говорить, будто это полики? а? — съ улыбкой обратился онъ къ пріятелю.

Тотъ поглядѣлъ на него черезъ плечо такимъ взглядомъ, въ которомъ сквозила и насмѣшка и презрѣніе.

— Вы полагаете? — сказалъ онъ. — Говорятъ тоже, будто русскіе студенты, но я этого не полагаю. Чтѣ же касается до поликовъ, то у нихъ шюка еще, слава Богу, есть другія средства борьбы; а на это дѣло и изъ своихъ, изъ русскихъ, найдется достаточно героевъ.

— Н-да, сѣверный исполнѣ просыпается — съ отбѣнкомъ какого-то самодовольнаго самохвальства замѣтилъ Моисей Фрумкинъ.

— Да намъ-то что до этого «исполнѣ», до этого Росса-колосса! Вѣдь мы съ вами не принадлежимъ къ его туранской національности, — съ легкою провіей замѣтилъ Свитка.

— Конечно, я космополитъ въ сущности! —

¹⁾ Чему лекарство не поможетъ — желѣзо поможетъ, чему желѣзо не поможетъ — огонь поможетъ.

поспѣшилъ объясниться Фрумкинъ, подмѣтившій проноію пріятеля и, какъ еврей, понявшій, куда она мѣтитъ.—Но вѣдь космополитизмъ не врагъ идеѣ о національности, если только эта идея подымается во имя революціоннаго начала, въ смыслъ общеевропейской революціи.

Рыжіе усы съ кокардой очевидно ловили каждое слово этой неосторожной бесѣды.

— *Ignis sanat*, — продолжалъ между тѣмъ Фрумкинъ.—Это конечно такъ! Средство слишкомъ радикальное, но оно должно наконецъ подѣйствовать, именно потому, что это радикально!

— А что ваша типографія? — перебилъ его Свитка.

— Слава Богу, я успѣлъ застраховать ее! — мимоходомъ отвѣтилъ Моисей и поспѣшилъ вернуться къ дальнѣйшему развитію своей темы. — Какъ бы то ни было, но мы видимъ, что правительство безсильно, говорилъ онъ; — правительство не можетъ и не умѣетъ бороться даже и съ этими пожарами: оно само горитъ. Сегодня, дастъ Богъ, сгорятъ эти два министерства, а завтра, можетъ, и остальные. И народъ тоже вѣдь очень хорошо видитъ и понимаетъ это безсиліе, онъ начнетъ завтра же презирать ту власть, которая сегодня не можетъ и не умѣетъ помочь народу. А между тѣмъ горятъ-то все не богатые, а самые бѣдные кварталы — значитъ, тотчасъ же возникнетъ пролетаріатъ, съ ненавистью къ правительству и къ капиталу, который не горитъ теперь, а выѣзжаетъ на дачи. Пожары — вотъ вы увидите, окончательно раздражатъ народъ и сдѣлаютъ его воспримчивѣе для принятія новыхъ идей и порядковъ, — ну, и конечно, хочешь-не-хочешь втолкнутъ его въ революцію. А вѣдь этого, въ сущности, только и нужно, и съ этой стороны я понимаю и даже оправдываю пожары.

Но не успѣлъ еще Моисей договорить послѣдней фразы, какъ подслушивавшій чиновникъ съ яростію ухватилъ его сзади за шиворотъ.

— Братцы! Православные! Бунтовщикъ! Поджигатель! — закричалъ онъ на всю площадь своимъ хриплымъ басомъ! — Эй! Народъ русскій! Сюда! Ко мнѣ! Я врага отечества поймалъ! В-р-р-рага отечества! Казни его, народъ православный! Выдаю тебѣ его головою! Вотъ онъ!

Рыжіе усы мощной рукой потрясали шиворотъ стѣжившаго Фрумкина, который, какъ ни старался вывернуться, однако ничего не подѣлалъ. Свитка же, чуть лишь замѣтилъ въ самый первый мигъ эту руку, схватившую его за воротъ, тотчасъ же юркнулъ назадъ и затерялся въ толпѣ.

Нѣсколько десятковъ человѣкъ самаго разношерстнаго народа въ ту же минуту плотно окружили со всѣхъ сторонъ чиновника и Моисея.

— Хвалилъ пожары! Говоритъ, что это хорошее дѣло, что онъ одобряетъ! — докладывалъ толпѣ поимщикъ. — Обыскать его братцы!

— Обыскать! Обыскать! — подхватили въ толпѣ, и нѣсколько рукъ запустилось во всѣ карманы какъ смерть поблѣднѣвшаго Фрумкина.

— Вотъ оно!.. Вотъ!.. Нашелъ!.. Всю механику, братцы, нашелъ! — выкрикнулъ одинъ голосъ — и передъ глазами толпы появились мельхиоровая спичечница съ желтымъ селитреннымъ фитилемъ, пара сигаръ, какіе-то пять порошковъ въ аптекарскихъ конвертикахъ.

— Это у тебя зачѣмъ имѣются поджигательные снаряды? — допытывалъ чиновникъ въ героической позѣ судьи и рѣшителя. Хотя отъ этого оратора и сильно отдавало сивушинымъ масломъ, но толпа на такое обстоятельство не обратила ни малѣйшаго вниманія, которое было поглощено «поджигателемъ» и сдѣланными у него находками.

— Я тебя спрашиваю, для чего у тебя эти поджигательные снаряды? — продолжалъ яростный ораторъ-судья и слѣдователь.

— Это спички... папиросы зажигать, — пробормоталъ въ-конецъ оробѣвшій Фрумкинъ.

— Папиросы зажигать? А можетъ, и столицу поджигать?

— Это такъ! «Поджигать»! Это вѣрно! — гудѣли голоса въ окружавшей толпѣ.

— А зачѣмъ у тебя эти порошки?.. Это, братцы, самый составъ-то и есть, которымъ поджигаютъ! — объяснилъ чиновникъ, обращаясь ко всему ареопагу.

— Боже мой... жвините, это Доверовы порошки... позвольте, я поглочу одинъ хоть сейчасъ же... вы увидите! — бормоталъ Фрумкинъ, тщетно ища себѣ хотя въ комъ-нибудь нѣкоторой поддержки.

Но всѣ глаза такъ предупрежденно, такъ подозрительно и съ такою злобою смотрѣли на него, что тутъ ужъ рѣшительно нечего было ждать себѣ защиты.

— Православные! — хрипѣлъ между тѣмъ чиновникъ. — Я самъ былъ земскимъ засѣдателемъ по этимъ дѣламъ! Я знаю, что это зажигательный снарядъ... Я самъ все время слышалъ, какъ онъ хвалилъ пожары!.. Полицію сюда! Полицію!

— На што полицію! — отзывался въ толпѣ, — съ полиціей лишняя возня, а лучше своимъ судомъ!

— Своимъ! Своимъ судомъ лучше! — подхватили десятки новыхъ голосовъ. — Въ огонь его, душегуба, да и вся недолга! Въ огонь!.. Бери, братцы! Подхватывай!.. Чего ждатель-то!.. Швыряй прямо въ огонь-то!.. Псу песья и смерти! Пупай подыхаетъ! Въ огонь его! Въ подыма! Умѣлъ поджигать, умѣй и жариться таперя.

— Братцы!.. Я русскій!.. Я православ-

ный... Я увѣ Бога вѣрую!—молящимъ голосомъ бормоталъ Фрумкинъ, и спѣшно сталъ креститься для доказательства, что онъ и русский, и въ Бога вѣруетъ.

— Русский? откликнулись ему въ толпѣ. — Врешь, братъ—жидъ! по голосу слышно!.. По рожѣ видно, что нехристь! Небось, не надуешь!.. Въ огонь, его, братцы!.. Берися!..

Десятка полтора охотихъ рукъ подхватили несчастнаго Моисея за руки и за ноги, и потащили къ огню, съ намѣреніемъ раскатать его и швырнуть въ пламя.

Въ эту самую минуту, къ счастью замѣтивъ особенное движеніе толпы, налетѣлъ на нее какой-то полицейскій майоръ верхомъ и двое жандармовъ.

— Гасиладинъ офицеръ! гасиладинъ офицеръ! Бога ради!.. Спасите!.. Невиннаго спасите!—громко молящимъ, отчаяннымъ голосомъ взывалъ къ нему Фрумкинъ.

Майоръ, съ помощію жандармовъ, силою разогналъ толпу, и всѣ они тотчасъ же взяли подъ свою непосредственную опеку злосчастнаго космополита, о которомъ, впрочемъ, толпа почти тутъ же и позабыла: вниманіе ея въ эту самую минуту всецѣло отвлеклось въ другую сторону.

XXII.

Ignis non sanat.

На площадь валла несмѣтная масса народа. Гулъ сотенъ тысячъ голосовъ разражался въ потрясенномъ воздухѣ однимъ гигантскимъ, единодушнымъ крикомъ—однимъ безконечнымъ «ура». Надъ этими массами развѣвались султаны нѣсколькихъ всадниковъ. Впереди былъ одинъ. Онъ медленно подвигался впередъ на своемъ конѣ, совершенно отдѣленный, отрѣзанный отъ остальныхъ всадниковъ живыми волнами плотной массы народа. Это ему кричали «ура» эти сотни тысячъ грудей, поднятыхъ однимъ восторженнымъ порывомъ, однимъ стремленіемъ. Это на него были устремлены эти сотни тысячъ глазъ, горѣвшихъ одною мыслию, одной надеждой, одной вѣрой и любовью. Русский народъ встрѣчалъ Русскаго Царя. Иной встрѣчи и быть не могло: у нихъ одна и та же радость и горе, одинъ и тѣ же друзья и недруги, и это высшее единеніе чувствовалось инстинктивно, само собою, никѣмъ и ничѣмъ не подсказанное, никакимъ искусствомъ не прививаемое: оно органически, естественно рождалось изъ двухъ близкихъ словъ, изъ двухъ родныхъ понятій: *народъ и царь*.

«Батюшка!.. Царь!.. Спаси!.. Заступись! Ты одинъ наша надежда! Отецъ нашъ!» вопилъ народъ, кидаясь къ царскому стремени, и обнимая ноги государя. «Мы знали, что Ты съ нами! Ты нашъ! Ты не оставишь... Мы

всѣ съ Тобою! Всѣ за Тебя! Не выдадимъ! Умремъ—не выдадимъ!..»

И снова тысячегрудое, громовое «ура» потрясало воздухъ и заглушало свистъ и ревъ пожара.

Съ трудомъ прокладывая себѣ дорогу чрезъ волнующееся море народныхъ массъ, государь продолжалъ одинъ, безъ свиты, оставленной далеко позади, медленнымъ шагомъ ѣхать впередъ. У Чернышева моста онъ на минуту остановилъ коня и оглядѣлся. Впереди было море огня, позади море огня. Надъ головою свистала буря и сыпался огненный дождь искръ и пепла—и среди всего этого хаоса и разрушенія раздавались тяжкіе стоны, рыданья, вопли о помощи, о защитѣ и могучее, восторженное, ни на единый мигъ несмолкавшее «ура» всего народа.

Всѣ мысли, всѣ взоры были теперь прикованы къ лицу государя. Это лицо было блѣдно и величественно. Оно было просто искренно, и потому такимъ теплымъ, восторженнымъ и благоговѣйнымъ чувствомъ поражало души людскія. Оно было понятно народу. Для народа оно было свое, близкое, кровное, родное. Сквозь кажущееся спокойствіе, въ этомъ блѣдномъ лицѣ проглядывала скорбь глубокая, проглядывала великая мука души. Нѣсколько крупныхъ слезъ тихо скатилось по лицу государя...

Народъ видѣлъ эту скорбь, видѣлъ эти слезы. Быть можетъ, никогда еще не былъ онъ такъ близокъ народу, такъ высоко популяренъ, какъ въ эти тяжкія минуты всенародной бѣды. Не было такой непреходящей преграды, которая бы не преодолѣлась, не было такой великой жертвы, которая не принеслась бы народомъ, съ восторгомъ несокрушимой силы и любви, съ охотою доброй воли, по единому *его* слову.

Съ этой минуты для народа онъ, одинъ онъ былъ *все*: Въ *его*, мимо *его* народъ ничего не зналъ, ничего не видѣлъ. Старая историческая связь закрѣпилась теперь еще разъ новыми узами.

19-го февраля 1861 года, они опознали другъ друга въ словѣ и дѣлѣ свободы. 28-го мая 1862 года огонь пожаровъ закалилъ ихъ нравственные узы. Горящій городъ, — все равно какъ и Москва 1812 года, — сталъ огненною купелью ихъ взаимной силы и единенія.

Быть можетъ, ни раньше, ни позже, а именно въ эту самую глубоко-скорбную минуту свершился тотъ нравственный кризисъ, тотъ благодѣтельный переломъ въ тифозной горячкѣ общественнаго организма того времени, который потомъ съ такою мощью и достоинствомъ сказался на весь міръ однимъ годомъ позднѣе.

Ignis non sanat. Это уже было рѣшено. Кто думалъ иначе, тотъ былъ слѣпъ. Но радикальное лекарство, дѣйствительно, произвело и ра-

дикальныя послѣдствія, — только совсѣмъ въ другую сторону.

Новыя массы, новыя живыя рѣки людей отовсюду стремились на встрѣчу государю. Вѣсть о томъ, что онъ самъ здѣсь же, на пожарѣ, вмѣстѣ со всѣмъ народомъ, какъ электрическая искра, пробѣгала въ массахъ и крики «ура» оглашали воздухъ за версту и болѣе разстоянія отъ того мѣста, гдѣ находился царь. Тамъ его не видѣли, но чувствовали его присутствіе.

— Слышите?.. Слышите эти крики?—говорила Татьяна съ невольными восторженными слезами на глазахъ: она сейчасъ была свидѣтельницей этой встрѣчи, этихъ порывовъ; она тоже и притомъ близко видѣла этотъ блѣдный, величественный обликъ, съ медленно катящеюся слезой—и отзывчивое, простое и чуткое сердце ея дрожало тѣмъ же восторгомъ, тою же любовью, какъ и сердце всего этого народа.

— Да, точно: исполнѣнъ просыпается!—отозвался ей Устиновъ!—да только проснется-то онъ вовсе не такъ и не за тѣмъ, какъ ждутъ и надѣются господа Фрумкины!.. Любители народа!.. Показать бы ихъ теперь этому народу! Пускай бы послушали, не кричить ли онъ по ихъ рецепту: «да здравствуетъ молодая Россія и русская соціально-демократическая республика!»

XXIII.

Кому и какія услуги оказаны пожарамъ.

На слѣдующіе дни Петербургъ былъ похожъ на городъ въ осадномъ положеніи: дымящіяся развалины, по всѣмъ площадямъ таборы погорѣльцевъ, груды пожитковъ, слезы и нищета, усиленные военные патрули, часовые съ ружьями на скрытыхъ и явныхъ экстренныхъ постахъ по всѣмъ улицамъ и во многихъ дворахъ. Ворота домовъ на заборѣ, дворники день и ночь на строгомъ дежурствѣ, повсюду наготовѣ бочки, ушаты и ведра съ водою. Ночью не дозволяютъ ходить по тротуарамъ, днемъ не пускаютъ во дворы и на лѣстницы пока не скажешь къ кому идешь—тогда одинъ изъ дворниковъ отправляется по слѣдамъ и доводитъ до самой двери. Повсюду самая усиленная бдительность, и несмотря на это—29-го мая загорѣлся отъ поджога Александринскій театръ, въ то время когда еще очень много было огня и на Толкучемъ, и въ Троицкомъ, въ Щербаковомъ и въ иныхъ мѣстахъ за Фонтанкой, а 30-го мая сдѣлано болѣе десяти поджоговъ. Сильный вѣтеръ благопріятствовалъ. Въ этотъ день спѣшно горѣли Пески, гдѣ дворники очень исправно караулили до пяти часовъ утра, а въ этотъ часъ, по общему соглашенію, отправились отдохнуть,—и черезъ полчаса Пески загорѣлись. По-

жаръ этотъ заранѣе былъ уже назначенъ подметными письмами на 30-е мая, что и исполнено въ точности. Другіе поджоги въ тотъ день были: на Мѣщанской, около ломбарда, на углу Мѣщанской и Вознесенскаго, около склада антикарскихъ и москательныхъ товаровъ, затѣмъ во дворѣ откупной конторы, гдѣ помѣшались большіе запасы водки и спирта, два поджога въ Коломнѣ, въ Большой Подъяческой и др. 31-го мая поджигали Первый Сухопутный госпиталь и Кушелевку, и тогда же были подброшены новыя письма о предстоящихъ большихъ пожарахъ на 3-е іюня и о поджогахъ пороховыхъ погребовъ. Призывали экспертовъ для сличенія рукъ, и тѣ нашли, что всѣ письма писаны одной рукой, но измѣненными почерками (прямѣе или косѣе). Поджигатели дѣйствовали неутомимо.—«Ишь ты, мореходы какіе!» говорилъ народъ; «по вѣтру дѣйствуютъ! Все вѣтра ждутъ». 1-го и 2-го іюня все время шелъ дождь и потому поджоговъ, сравнительно, было менѣе. Съ этого же времени стала на десять дней совсѣмъ осенняя, свирѣпая непогода, Реомюръ падалъ до 4 градусовъ тепла. Безостановочный, мелкій, осенній дождь и студеныя вѣтры довершали несчастье погорѣльцевъ, которые ютились на площадяхъ, подъ открытымъ небомъ, въ грязи и мокротѣ, чуть не на морозѣ—и какіхъ только проклятій не посылалось тутъ поджигателямъ!

Нравственное состояніе жителей было возбуждено въ высшей степени: чуть ли не въ каждомъ прохожемъ подозрѣвали тайнаго врага. За молодыми людьми слѣдили повсюду, такъ что нѣкоторые изъ студентовъ являлись въ редакціи газетъ, прося вступиться и защитить ихъ печатнымъ словомъ. Сцены кровавыхъ уличныхъ расправъ и самосуда повторялись безпрестанно, такъ что просто опасно стало ходить по улицамъ. Ночью народъ останавливалъ всякаго, по малѣйшему подозрѣнію, обвинялъ и заставлялъ говорить: «Какъ ты говоришь-то, какъ выговорь-отъ у тебя—русскій ли?» До утра 1-го іюня было взято девятнадцать человѣкъ по подозрѣнію въ поджогахъ и болѣе четырехсотъ мелкихъ ворюшекъ. О пожарѣ на Толкучемъ купецъ Александровъ, въ лавкѣ котораго первоначально загорѣлось, далъ показаніе, что «28-го мая, въ пятомъ часу, пришли къ нему въ лавку четверо молодыхъ людей, перебирали товары—все будто не находятъ что имъ нужно, пошли къ нему наверхъ, рылись и ушли, купивъ на рубль разнагохламу. Чрезъ четверть часа, услышавъ запахъ гари, Александровъ вышелъ посмотреть, не горитъ ли въ сосѣднемъ трактирѣ, который загорался наканунѣ, возвращается въ свою лавку.—а ужъ оттуда дымъ валитъ». 1-го іюня, въ Александрово-Невской лаврѣ, въ саду, монахи поймали молодого человѣка съ зажигательными снарядами, спрятавшагося за кустъ. 1-го же іюня

были подброшены письма о томъ, что пожаровъ болѣе не будетъ, такъ какъ народъ русскій оказался глупъ до такой степени, что не могъ понять высокой цѣли, для достиженія которой онъ дѣлался, и что поэтому отнынѣ стануть отравлять. Это уже была величайшая нелѣпость, какую только могла продиктовать безысходная, безсильная злоба; тѣмъ не менѣе вѣсть эта наводила на легковѣрныхъ ужасъ болѣе даже, чѣмъ самые пожары. Народъ ожесточался и свирѣпѣлъ съ каждымъ днемъ все хуже и хуже въ виду этихъ слуховъ и ежедневныхъ новыхъ поджоговъ. Петербургъ сталъ океаномъ сплетенъ и самыхъ нелѣпыхъ толковъ. Кто болѣе трусилъ, тотъ болѣе сочинялъ. Толковали, что дворникъ поймалъ на поджогъ протоиерея въ камиллавѣ; что поджигаетъ главнѣйшимъ образомъ какой-то генераль, у котораго сипья намазана горючимъ составомъ, такъ что стоитъ ему почесаться сипью о заборъ—онъ и загорится; что за Аракчеевскими казармами приготовлено пять висѣлицъ, и на одной изъ нихъ уже повѣшенъ одинъ генераль «за измену»; что пожарные представили одного иностранца и одного русскаго, которые давали имъ 100 р., чтобы только они не тушили Толкучаго рынка; что семидесятилѣтняя баба ходила въ Смольный поджигать и, схваченная тамъ, объяснила на допросѣ будто получила 100 рублей, но не откроетъ-де, кто далъ ей деньги, хоть въ кусочки искрошите; что Петербургъ поджигаетъ цѣлая шайка въ триста человекъ, и что видѣли, какъ ночью Тихвинская Богородица ходила, сама изъ Тихвина пришла и говорила: «вы, голубчики, не бойтесь, эфтому кварталу не горѣть». Николай Чудотворца тоже видѣли ночью, — «ходить, оберегаетъ». Толковали также и въ народѣ, и въ газетахъ, будто 29-го мая, въ третьемъ часу по полудни, ѣхалъ въ дрожжахъ мимо министерства внутреннихъ дѣлъ молодой человекъ, съ небольшою бородкой, хорошо одѣтый, въ статскомъ пальто, и будто онъ бросилъ небольшою шаръ или клубъ, который высоко прыгнулъ и потомъ упалъ, не зажегши ничего. Бывшіе тутъ немногіе люди закричали «держи! лови!» но неизвѣстный успѣлъ уже ускакать. Одинъ изъ служащихъ въ министерствѣ (нѣкто П., какъ назвало «*Наше Время*») представилъ-де этотъ шаръ по начальству, и оказалось, что «бомба» сдѣлана изъ трута, напиканнаго внутри разными вещами, какъ маленькія курительныя свѣчи, но не чернаго, а бураго цвѣта, и будто люди, свѣдующіе въ химіи, объявили, что бомба могла быть сдѣлана не иначе-де, какъ въ химической лабораторіи. Та же газета сообщила, что въ комисіи о поджогахъ одинъ изъ членовъ будто-бы говорилъ о необходимости пытокъ, но прочіе-де не согласились на это. Подметныя письма посылались по городской почтѣ и разбрасывались

по улицамъ. Въ комисіи была собрана ихъ огромная пачка, въ которой нѣныя оказались писаны на плохомъ французскомъ языкѣ, а нѣныя даже въ стихахъ.

И въ это же время приходили официальные вѣсти о большихъ пожарахъ изъ провинціи: 27-го мая сгорѣли присутственныя мѣста и половина города Боровичей; 27-го же мая, во время обѣдѣ, горѣлъ Могилевъ, при сильномъ вѣтрѣ, при чемъ уничтожено 24 зданія. 30-го мая горѣлъ Малый Ярославецъ. 31-го мая, ночью, горѣлъ Черниговъ, гдѣ погибло 27 домовъ, 17 флигелей, 133 номера лавокъ и нѣкоторые присутственныя мѣста. Москва тоже не избѣгла общей участи: 24-го мая, въ полдень, Пятницкой части въ домѣ Васильевой произошелъ пожаръ въ холостомъ деревянномъ строеніи съ дровами, соломою и угольями. Причина пожара осталась неизвѣстною. Въ тотъ же день, въ 9 часовъ вечера, горѣли мясные ряды на Миусской площади, гдѣ вдругъ, и тоже отъ неизвѣстной причины, загорѣлся подъ навѣсомъ лѣсной матеріалъ. Въ тотъ же день, когда еще не кончился пожаръ въ рядахъ, загорѣлся въ третьемъ часу ночи домъ Масловой, Серпуховской части, гдѣ, точно также отъ неизвѣстной причины, огонь показался въ сѣняхъ. Въ ночь на 29-е мая, въ первомъ часу, Серпуховской же части, вдругъ загорѣлась тесовая обшивка домового угла у мѣщанина Антонова, и тоже отъ неизвѣстной и совершенно непонятной причины.—Все это усиливало панику не только народа, но и страховыхъ обществъ, изъ которыхъ нѣкоторые отказывались принимать на страхъ имущества. Народъ негодовалъ на медленность слѣдственной пожарной комисіи и громко требовалъ мести. Каждое утро всѣ, бывало, кидались на полицейскую газету: нѣтъ ли тамъ объявленія о казняхъ. Всюду высказывалось нетерпѣніе, ропотъ на слѣдователей, на юстицію. Вчерашніе либералы вдругъ заговорили о томъ, что надо вѣшать и разстрѣливать, что надо пытать хоть двухъ или трехъ изъ пойманныхъ поджигателей; вчерашніе ярые прогрессисты сегодня вдругъ превратились въ ярыхъ ретроградовъ, и сами не подозрѣвали при этомъ, сколько комизма было во вчерашнемъ ихъ радикальномъ либеральничаньи и въ сегодняшней внезапной метаморфозѣ, и сколько гнуснаго въ этомъ требованіи казней и пытокъ.

31-го мая, въ 8 часовъ утра, вывезли на Мытининскую площадь гвардейскаго офицера Владимира Обручева для публичнаго объявленія ему приговора. Онъ присуждался къ каторжной работѣ за распространеніе «Великоросса». Площадь была полна народомъ, и въ этой массѣ слышалось злобное рычанье, ропотъ на то, что мало казнить такимъ образомъ, а слѣдуетъ вѣшать, вѣшать за ребро на желѣзный

криокъ. Когда же каторжная шапка, надѣтая палачемъ на осужденнаго, нахлобучилась ему на глаза—въ народѣ вдругъ раздался хохотъ... Фактъ безобразный и доселѣ никогда не бывалый въ народѣ, у котораго для преступника, каковъ бы онъ ни былъ, нѣтъ имени *злодѣя*, а существуетъ человѣческое слово *несчастный*. Но этотъ, самъ по себѣ возмутительный, фактъ слишкомъ ярко рисуетъ каково было въ тѣ дни общее настроеніе массы, какова была сила народнаго озлобленія.

Заграничная пресса тоже очень много занималась пожарами. «*Siècle*» совершенно серьезно рассказывалъ, напримѣръ, что Петербургъ телеграфировалъ Москвѣ: «Горю! пришлите трубы!» въ ту самую минуту, какъ Москва слала ему депеши: «Пожаръ! тушите!»—Но странное дѣло: въ заграничной прессѣ было всеобщее убѣжденіе, что наши пожары суть дѣло особой пропаганды, особаго комитета и имѣютъ исключительно политическую цѣль.

* *

Погорѣльцамъ немедленно были отведены разные казенныя помѣщенія, казармы, мажоры, и были розданы пятьсотъ палатокъ, которыя тотчасъ же раскинулись таборомъ на Семеновскомъ плацу и на самомъ пожарницѣ. Въ этихъ таборахъ тотчасъ же возникъ новый торгъ. Но убытки толкучнаго пожара были громадны: они простирались за шестьдесятъ милліоновъ рублей серебромъ. Болѣе двадцати тысячъ человѣкъ сидѣльцевъ, приказчиковъ, мальчиковъ, рабочихъ, хозяевъ ларей остались положительно безъ куска хлѣба. Толпа этого народа нѣсколько разъ собиралась у станціи Царскосельской желѣзной дороги и ждала государя, а когда государь выходилъ на крыльцо, она становилась на колѣни и кричала «ура!», вопія въ то же время о хлѣбѣ и защитѣ. 8-го іюня въ таборъ погорѣльцевъ на Семеновскомъ плацу пріѣхала государыня, останавливалась у множества лавокъ, покупала разную мелочь и платила съ избыткомъ наиболѣе нуждавшимся.

Съ 31-го мая Петербургъ раздѣлился на три военныя генераль-губернаторства, и издано повелѣніе о томъ, чтобы всѣхъ, кто будетъ взятъ съ поджигательными снарядами и вещами, а равно подстрекателей къ безпорядкамъ судить полевымъ военнымъ судомъ въ 24 часа, съ предоставленіемъ военному генераль-губернатору права подтверждать и приводить въ исполненіе приговоры военного суда.

Въ Исаакіевскомъ соборѣ митрополитъ Исидоръ совершилъ молебствіе объ отвращеніи бѣдствій, и такія же молебствія ежедневно отправлялись во всѣхъ церквахъ. Со всѣхъ ступеней общества стали стекаться пожертвованія въ пользу погорѣльцевъ и вскорѣ досрости до весьма значительной цифры.

Вскорѣ послѣ грознаго объявленія о поле-

вомъ военномъ судѣ пожары совершенно прекратились, а между тѣмъ послѣдовало нѣсколько вызванныхъ исключительно ими правительственныхъ мѣръ весьма знаменательнаго свойства.

3-го іюня объявлено о закрытіи Самсоніевской и Введенской воскресныхъ школъ и объ учрежденіи особой комисіи для изслѣдованія дѣйствій ихъ преподавателей и распорядителей. Въ объявленіи, опубликованномъ по этому поводу «Сѣверной Почтой» сказано: «Показаніями фабричныхъ работниковъ обнаружено, что въ этихъ воскресныхъ школахъ преподается ученіе, направленное къ потрясенію религіозныхъ вѣрованій, къ распространенію социалистическихъ понятій о правѣ собственности и къ возмущенію противъ правительства. Два работника, сперва посѣщавшіе Самсоніевскую, а нынѣ посѣщающіе Введенскую школу, позволили себѣ возмутительные толки, отзываясь о политическихъ переворотахъ, о пользѣ пожаровъ, о надобности сжечь весь Петербургъ» и т. п.

6-го іюня всѣмъ начальникамъ губерній предоставлено право судить полевымъ военнымъ судомъ поджигателей и раскидывателей угрозыливыхъ подметныхъ писемъ.

6-го же іюня закрытъ Шахматный клубъ. Въ объявленіи было сказано, что это распоряженіе состоялось «въ видахъ прекращенія встревоженнаго состоянія умовъ и къ предупрежденію между населеніемъ столицы не имѣющихъ никакого основанія толковъ о современныхъ событіяхъ». Въ Шахматномъ клубѣ, говорило официальное объявленіе, происходятъ и изъ него распространяются тѣ неосновательныя сужденія».

Въ тотъ же день закрыты всѣ народныя читальни. Въ объявленіи говорилось, что «мѣра эта принята вълѣдствіе замѣченнаго вреднаго направленія нѣкоторыхъ изъ учрежденныхъ въ послѣднее время народныхъ читаленъ, кою даютъ средства не столько для чтенія, сколько для распространенія между посѣщающими ихъ лицами сочиненій, имѣющихъ цѣлю произвести безпорядки и волненіе въ народѣ, а также для распространенія безосновательныхъ толковъ».

8-го іюня было объявлено о закрытіи воскресныхъ школъ и другихъ училищъ, учрежденныхъ при войскахъ, для лицъ, не принадлежащихъ къ военному вѣдомству. «Несмотря на всѣ установленныя правила для надзора за воскресными и бесплатными школами, говорилось въ объявленіи, нынѣ положительно обнаружено, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, что подъ благовиднымъ предлогомъ распространенія въ народѣ грамотности, люди злоумышленные покушались въ этихъ школахъ развивать вредныя ученія, возмутительныя идеи, превратныя понятія о правѣ собственности и безвѣріе. Государь импе-

раторъ, имѣя въ виду, что при многихъ вопиющихъ частяхъ также учреждены воскресныя бесплатныя школы, что по затруднительности за ними надзора, злоумышленные люди могутъ и въ этихъ школахъ проводить вредныя и ложныя ученія, что притомъ обнаружены уже нѣкоторыя преступныя покушенія увлечь и нижнихъ чиновъ къ нарушенію долга службы и присяги, высочайше повелѣть соизволить, въ предупрежденіе могущихъ быть пагубныхъ послѣдствій, нынѣ же закрыть всѣ учрежденныя при войскахъ воскресныя школы и вообще всякія училища для лицъ, не принадлежащихъ къ военному вѣдомству, и впредь никакихъ сборищъ постороннихъ людей въ зданіяхъ, занимаемыхъ войсками, отнюдь не допускать».

12-го іюня объявлено о закрытіи воскресныхъ школъ и читаленъ во всей Имперіи, вслѣдствіе обнаруженнаго во многихъ изъ нихъ подобнаго же направленія.

14-го іюня объявлено о закрытіи недавно учрежденнаго при «Обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ» особаго отдѣленія для вспоможенія студентамъ. Въ этотъ же день объявлено высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы «чтеніе публичныхъ лекцій въ Петербургѣ впредь разрѣшать не иначе, какъ по взаимному соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія съ военнымъ генералъ-губернаторомъ и главнымъ начальникомъ III-го отдѣленія».

Вскорѣ былъ напечатанъ приказъ и о томъ, что трое офицеровъ гвардейскаго сапернаго баталіона предаются военному суду за содѣйствіе, противъ порядка службы, къ уничтоженію бумагъ, имѣвшихся при бывшемъ студентѣ Петербургскаго университета Яковлевѣ, во время его арестованія, 10-го мая, когда означенный Яковлевъ, придя въ казармы лейбъ-гвардіи сапернаго баталіона, старался возмутить нижнихъ чиновъ онаго.

* * *

Петербургскіе пожары кончились, но толки о нихъ и повсемѣстная паника долго еще не проходили въ обществѣ. Всѣхъ вообще поражаало это холодное, какъ бы обдуманное и послѣдовательное дѣйствіе поджоговъ, которое повольно указывало на существованіе цѣлаго систематическаго плана. Горѣли почти исключительно кварталы бѣднаго работающаго населенія, горѣлъ рынокъ, исключительно удовлетворявшій самымъ первымъ, насущно-необходимымъ потребностямъ бѣднаго класса. Кто винилъ агитаторовъ особаго рода, а кто простыхъ мошенниковъ; но противъ послѣдняго обвиненія даже и въ литературѣ возражали недоумѣніемъ, что для чего бы-де мошенникамъ жечь бѣдняковъ, у которыхъ и грабить-то нечего, тогда какъ кварталы богатыхъ людей остаются нетронутыми: для чего имъ жечь Толкучій, когда онъ всконн служилъ для ихъ

сбыта единственнымъ и незамѣнимымъ приносомъ? Иностранная же печать, какъ сказано уже, видѣла тутъ исключительно политическія цѣли, желаніе вызвать насильственно пролетаріатъ, который помогъ бы государственному перевороту. Комисія, составленная для изслѣдованія причинъ пожаровъ, канула словно въ воду, и всѣ ея дѣйствія, несмотря на громкія требованія газетъ, журналовъ и общественнаго мнѣнія, несмотря на лихорадочное ожиданіе всего населенія Петербурга, всего русскаго общества, не опубликовала результатовъ ни своихъ дѣйствій, ни ни своихъ свѣдѣній. Отчего это вышло такъ, а не иначе — никому не извѣстно. «Journal de St.-Petersbourg», отъ 19-го іюня, напечаталъ даже статью, предназначенную специально для успокоенія толковъ европейской печати, изъ которой можно заключить, что никакихъ особенныхъ пожаровъ, вызванныхъ поджогами, въ сущности, пожалуй, и не было, и что пожары въ Россіи составляютъ слишкомъ обыкновенное, всегдѣшнее явленіе. Въ послѣднемъ, конечно, нельзя не согласиться съ этимъ журналомъ.

Итакъ, на вопросъ: кто же, наконецъ, поджигалъ Петербургъ и былъ ли онъ поджигаемъ? — нынѣ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, оставаясь строго добросовѣстнымъ, можно отвѣтить лишь одно: *мы не знаемъ*. Мы только правдиво и безпристрастно сгруппировали факты, заимствованные преимущественно изъ официальныхъ данныхъ.

XXIV.

Наканунѣ чего-то новаго.

Послѣ пожаровъ вдругъ наступило какое-то мрачное затишье. Время отъ времени слышно было, что того-то и того-то взяли жандармы, а такой-то сидитъ въ крѣпости. Такимъ образомъ были взяты и посажены нѣсколько довольно видныхъ и даже крупныхъ литературныхъ дѣятелей радикальной партіи.

На все общество, какъ тихая, непроедѣнная туча, наплыла тяжелая паника: нѣмѣ ждали какихъ-то новыхъ бѣдствій, нѣмѣ новыхъ арестовъ... Разговоры стали тише, таинственнѣе.

16-го іюня во рву Новогеоргіевской крѣпости были разстрѣляны офицеры Арнольдтъ, Сливинскій и унтеръ-офицеръ Ростовскій, за распространеніе въ войскахъ возмутительныхъ воззваній, а наканунѣ ихъ казни въ Петербургъ пришла изъ Варшавы телеграмма, извѣщавшая, что въ Саксонскомъ саду ранили пулею сзади, въ шею, намѣстника Царства Польскаго генерала Лидерса. 16-го же числа на мѣсто Лидерса былъ назначенъ великій князь Константинъ Николаевичъ.

* * *

Былъ холодный, дождливый вечеръ, въ концѣ іюня мѣсяца, который въ этомъ году весь выстоялъ сырой и холодный. Въ гостиной у Стрѣшневыхъ собралось маленькое общество: тетка съ племянницей да Устиновъ со старымъ майоромъ.

— И вы не шутя говорите, что пришли проститься?—полугрустно и полунедовѣрчиво глядя на Лубянского, сказала Стрѣшнева-тетка.

— Завтра-съ или много что послѣзавтра ѣду,—съ легкимъ наклоненіемъ головы улыбнувшись въ отвѣтъ Петръ Петровичъ.

— И такъ внезапно, неожиданно!

— А что жъ? Долго ли нашему брату, солдату-то старому, въ походъ собратся! Дѣло привычное!

— Да что вамъ за охота? Вѣдь тамъ время теперь такое смутное..

— Эхъ, да вѣдь надо жъ съ собой дѣлать что-нибудь!—беззавѣтно махнулъ рукою Лубянский. — Вѣдь меня тоже тоска взяла жить-то такъ, какъ я живу! Сами вы посудите, сударыня, что-бъ я сталъ дѣлать? Вернуться въ Славнобубенскъ, — ну, претить мнѣ это! Не могу! И думалъ ужъ было, да не могу!.. И вы сами, конечно, хорошо понимаете мои чувства, отчего и почему не могу я... вѣдь тамъ мнѣ на каждомъ шагу...

Майоръ не договорилъ, но по лицу его скользнуло что-то сдвленное, горькое, колющее.

Старуха въ отвѣтъ ему сочувственно качнула головой. Она, дѣйствительно, понимала, что возвратиться въ Славнобубенскъ и жить тамъ по-старому было для него очень трудно и больно: кромѣ толковъ и пересудовъ про дочку, пересудовъ и злыхъ, и фальшиво-сочувственныхъ, и равнодушно-вздорныхъ, на которые ему нѣволью приходилось бы ежедневно наткаться, тамъ каждый уголокъ въ его домикѣ, каждая вещьца служили бы неотвязнымъ и горькимъ воспоминаніемъ про нее и про ея преждевременную потерю. Возвратиться туда значило бы, вмѣсто возможнаго успокоенія, самому идти на безконечное, ежеминутное усиленіе боли самой чуткой, самой больной струны его сердца...

— Оставаться здѣсь тоже не по-сердцу мнѣ какъ-то,—продолжалъ майоръ. — Вѣдь кромѣ васъ двухъ да Андрея Павловича у меня никого и ничего здѣсь нѣту. Да и вы вѣдь не вѣчно же въ Петербургѣ. А тутъ для меня и жизнь, и люди—все какое-то не свое, все чужое. Куда же дѣваться?—Силы, слава Богу, еще есть и здоровья хватить; дряхлость еще не совсѣмъ одолѣла. Пока дочка была на свѣтѣ—ну, думалъ, для нея жить стану, замужъ выдамъ за хорошаго человѣка, а тогда ужъ на покой... Ну, видно, не суждено было этого!.. А вѣдь съ самимъ собою надо же какъ-нибудь распорядиться человѣку, я и рѣшился...

— Да какъ это вы, право, надумались такъ

быстро, я и въ толкъ себѣ не возьму!—развела руками старуха.

— А какъ надумался?—очень просто, сударыня!—попснилъ майоръ. — Недѣли съ двѣ тому назадъ иду я какъ-то по Садовой, мимо комендантскаго управленія, а оттуда изъ подъѣзда въ это самое время выходитъ полковникъ какой-то. Воззрился это я на него совсѣмъ машинально, только чу!—какъ будто лицо что-то знакомое... Гляжу и онъ на меня тоже эдакъ пристально смотреть. «Петръ Петровичъ! ты ли это?» говоритъ. Тутъ я его сейчасъ по голосу-то и призналъ: Пчельниковъ—старый, закадычный пріятель, однополчанинъ. Ну, обнялись мы это, разцѣловались... Вѣдь и не мудрено, сударыня: на Кавказѣ-то у насъ, бывало, пріятельскія отношенія не на фу-фу устанавливались! Изъ одного котелка кашницу хлебали, на одной буркѣ спали, у одного костерка отогрѣвались. Это истинно сказать, что братская армія была!.. Ну, затащилъ онъ это меня сейчасъ же къ себѣ, обѣдать оставилъ. Разговорились мы. Какъ и что ты? спрашиваю.—А такъ и такъ, говоритъ, полкомъ нынѣ команду, въ Польшѣ стоимъ, а сюда въ двадцати-восьми-дневный отпускъ по дѣламъ прикатидъ. Пошло на откровенности... ну, тутъ и я старому другу про свои невеселыя исторіи рассказалъ. А и вамъ скажу, сударыня, что если человѣкъ сирота-сиротой на свѣтѣ, такъ это самое одиночество-то его никогда ему не покажется грустнѣе, какъ если вдругъ встрѣтишься со старымъ товарищемъ, съ которымъ ты дѣлилъ когда-то свои лучшіе, свѣтлые дни, да какъ если разговоришься по душѣ про все это!.. Горько и мнѣ въ ту пору стало!.. Разболтались про бывшее, про полкъ, про лѣвый флангъ, про товарищевъ, да про экспедиціи — расшевелило меня все это не на шутку! А онъ мнѣ и говоритъ: что тебѣ, говоритъ, такъ-то по свѣту чужакомъ скитаться!—все равно, бобыль! Ступай-ка лучше опять на службу царскую! Я, говоритъ, не молю тебѣ, а службу еще; отчего и тебѣ не служить бы? Ступай, говоритъ, ко мнѣ въ полкъ; при первой вакансіи баталіонъ получишь. Жизнь, говоритъ, тебѣ знакомая, своя родная, и по крайности будешь не одинъ, а со мною; а я старый холостякъ—тоже, значитъ, бобыль! И такъ онъ мнѣ это тепло да радушно предложилъ, такъ это сказалось у него отъ сердца, по-братски, что меня не на шутку радумье взяло. Стали мы это судить, рядить, и то, и сѣ, забрала меня охота; значитъ, вновь зашкотала старая жилка. Что-жъ, думаю себѣ, силы, и въ самомъ дѣлѣ, есть еще довольно, маяться по свѣту скучно безъ дѣла... А и то сказать, признаться откровенно, такая на меня порою, послѣ Нютиной смерти, тоска находитъ, что радъ бы въ омутъ; а тутъ все-таки дѣло какое ни-на-есть, занятіе по душѣ, старый товарищъ... Подумалъ я это, взвѣсилъ

все и рѣшился. Я даже сердечно радъ, что такъ неожиданно и такой счастливый исходъ представлялся. Это просто спасеніе мнѣ... просто, я такъ считаю, Божій промыселъ надо мною!

— И вы уже все порѣшили и все устроили?— не безъ удивленія покала плечами старуха.

— Господи, да много ли на это времени-то надо! — улыбнулся майоръ. — Прошеніе въ инспекторскій департаментъ на другой же день подали, Пчельниковъ похлопоталъ, и завтра или послѣ завтра, я думаю, ужъ въ «Инвалидѣ» будетъ приказъ пропечатанъ. Я вмѣстѣ съ Пчельниковымъ и ѣду.

Старуха только головою качала.

— А я такъ отъ души завидую даже Петру Петровичу, — вмѣшался Устиновъ. — И право, блаженъ человѣкъ, если въ эти годы еще находится въ себѣ столько силы и воли, чтобы сыскать себѣ дѣло по душѣ и взяться за него! Оно вѣдь все же *дѣло* и притомъ честное. Тамъ-то вѣдь все-таки настоящая, живая жизнь, а здѣсь-то что!.. Куда ни оглянись—вездѣ одинъ лишь повальный и безконечный сумбуръ! Рядъ величайшихъ и самыхъ нелѣпыхъ противорѣчій слова съ дѣломъ, дѣла съ живою жизнью и здравымъ смысломъ! Кабы только возможно—я радъ бы не знаю куда бѣжать отъ этого сумбура, да жалъ, что некуда!

— Экой вы непосѣда! — шутя улыбнулась Татьяна. — Изъ Славнобубенска бѣжить въ Пигеръ, а теперь отсюда радъ бѣжать.

— Ну, ужъ не отъ васъ бы это слышать! — вскинулъ на нея глаза Устиновъ. — Что-жъ, по вашему, здѣсь прекрасно?

— Да вѣдь и вездѣ все то же! Въ Славнобубенскѣ развѣ не тотъ же сумбуръ?

— Мм... То-есть, какъ вамъ сказать!.. Тамъ онъ наивнѣе, тамъ онъ болѣе безсознательнѣе. Тамъ скорѣе одни только отголоски того, что творится здѣсь. Въ Славнобубенскѣ стадо, а вожаки пасутъ его въ городѣ Санктъ-Петербургѣ. И кто же вожаки-то?—Смѣшно и стыдно сказать!—Полояровы съ Анцыфриками!

— Ну, гдѣ же Полояровы!.. Развѣ это вожаки?—усомнилась Татьяна.

— А развѣ нѣтъ, спрошу я васъ въ свою очередь? Развѣ то, что проповѣдуетъ Полояровъ, не слушается и не принимается тысячами головъ? Я согласенъ, что очень обидно за то общество, гдѣ голоса Полояровыхъ могутъ имѣть такое значеніе, но развѣ вы сами не видели множества примѣровъ?

— Что-жъ это доказываетъ? — спросила Стрѣшневна.

— Это доказываетъ то, что наше общество теперь находится въ какомъ-то дикомъ, угарномъ чадѣ—это своего рода хмѣль, оргія,—и что необходимъ хорошій нашатырный спиртъ, который отрезвилъ бы его. Намъ нужна добрая встряска, чтобы мы очнулись, и я не знаю, отъ куда она придетъ: изнутри или извнѣ и

что именно послужитъ въ этомъ случаѣ отрезвающимъ спиртомъ, но что это будетъ, что это случится и довольно скоро, въ томъ, кажется, не должно быть сомнѣній. Такъ продолжать невозможно, и никакое общество не можетъ жить въ подобномъ угарѣ... Я удивляюсь только одному,—нѣсколько помолчавъ, опять обратился Устиновъ къ Стрѣшневой,—какъ это вы, съ вашимъ простымъ и яснымъ здравымъ смысломъ, могли сойтись съ этими «новыми людьми»? Какъ вы могли такъ долго заблуждаться на ихъ счетъ? Неужели же вы не разглядѣли, что такое, въ сущности, всѣ эти Фрумкины и Малгоржаны? Вотъ что мнѣ странно!

— Андрей Павловичъ,—серьезно начала въ отвѣтъ ему Татьяна. —Во-первыхъ, вы сами, и притомъ одинъ только вы, лучше всѣхъ знаете тѣ побужденія, какія свели меня съ ними. Мнѣ казался въ нихъ призракъ серьезнаго, насущнаго и хорошаго дѣла, а я бездѣльемъ страдаю. Это одно. А во-вторыхъ, не всѣ же тамъ были Фрумкины да Малгоржаны. Было кое-что по-сильнѣе и посерьезнѣе. Вѣдь не я одна заблуждалась: такъ-же точно заблуждалось множество мнѣ подобныхъ!

— Кто же именно въ нихъ носилъ и посерьезнѣе?—пожалъ плечами Устиновъ.

— Кто? А напимѣръ хоть этотъ Лука Благопріобрѣтовъ. Признаться сказать, если что и заставило меня поближе подойти къ нимъ, тамъ именно эта оригинальная личность, съ ея фанатической вѣрой, съ ея упорнымъ трудомъ. Вѣдь это же человѣкъ честный, а онъ былъ для меня совсѣмъ новымъ, невиданнымъ явленіемъ жизни. Вотъ, если хотите, мое оправданіе.

— И вы... немножко увлеклись имъ?

Татьяна слегка вспыхнула.

— Нѣтъ,—отвѣтила она твердо и просто.— Я только старалась разглядѣть; другого у меня не было; но... при другихъ обстоятельствахъ... сложилась моя внутренняя жизнь не такъ странно и капризно, какъ она теперь сложилась, что же?... быть можетъ, я и могла бы имъ увлечься!

Устиновъ нѣсколько мгновеній раздумчиво поникъ головою.

— Нѣтъ, Татьяна Николаевна!—поднялъ онъ наконецъ на нее грустные, но въ то же время ясные взоры.—Все это не то! Не то, чего вамъ надобно! Въ васъ сидитъ просто-себѣ хорошая русская женщина; вы все дѣла себѣ ищите, а его пока еще нѣтъ... Погодите, придетъ и оно! Сама жизнь обнаружитъ его предъ вами, безъ всякихъ особенныхъ исканій. Дѣло, быть можетъ и скоро, всѣмъ найдется; быть можетъ, оно будетъ и не громкое, не блестяще-героическое, да за то прочное и честное, и серьезное дѣло! Не отрывайтесь только отъ родной почвы и не ищите его въ заоблачныхъ сферахъ, въ тео-

ретпескихъ утопіяхъ; сама жизнь, но только не такая, какъ здѣсь теперь, а простая, трезвая жизнь приведетъ живого человѣка къ живому и трезвому дѣлу. А теперь... (Устиновъ вздохнулъ, какъ бы высвобождая грудь изъ-подъ какой-то тяжести), теперь бы вонъ отсюда, изъ этого города!.. Посмотрите, какая грустная темень, какой гнетъ повсюду... холодно, неприглядно... и этою гарью, гарью удушливою въ воздухѣ пахнетъ... Нѣтъ, ей-Богу, счастливый майоръ, что можетъ убѣжать отсюда!..

XXV.

Въ виду возможности безпечальнаго будущаго.

Анзельмъ Бейгушъ создалъ самъ себѣ тайникъ нравственной муки. Съ той минуты, какъ въ Сусаннѣ исчезла для него *москеевка* и возродилась женщина, называвшаяся его женою, эта сокровенная мука стала грызть его душу. Предъ всепобуждающимъ сознаниемъ любви и самоотверженія этой женщины исчезали и разсѣивались какъ дымъ всѣ софизмы, всѣ оправдательные доводы, созданные теоріей Слочичькаго. — «Она недалека, она всегда казалась мнѣ такою, — думалъ Бейгушъ о своей женѣ; — пусть будетъ такъ!.. Но много ли на свѣтѣ умныхъ женщинъ съ такимъ сердцемъ!.. И что тутъ умъ, если всѣ ея недостатки она способна восполнить однимъ своимъ чувствомъ, этою безконечною любовью!»

Быть можетъ, онъ теперь идеализировалъ себѣ свою жену; быть можетъ, ея самоотверженный поступокъ пристрасталъ изъ побужденій болѣе простой сущности, потому что и въ самомъ дѣлѣ, будь Сусанна поумнѣе, она, быть можетъ, не взирая на всю свою прирожденную доброту и на всю свою страстность къ Бейгушу, не поддавалась бы столь легко въ подставленную ей ловушку: все это конечно было такъ; но теперь и эта идеализація со стороны Бейгуша была понятна: ее подсказывало ему собственное его самолюбіе, собственная гордость: «это, молъ, *меня* такъ любить, это *для меня* приносятъ такія жертвы, не задумываясь ни единой минуты!» Одно лишь было тутъ ясно: это — безгранично добрая любовь. «А въ отвѣтъ на такую любовь нельзя надругаться надъ женщиной!» думалъ себѣ Бейгушъ. «Если даже она и сама не сознаетъ, не понимаетъ вполнѣ всего значенія своего поступка; если онъ съ перваго мгновенья казался ей такимъ легкимъ, такимъ простымъ и естественнымъ дѣломъ, то даже это самое непониманье еще болѣе возвышаетъ силу ея любви. И ты... ты не стоишь этой женщины, ты подлецъ, обманщикъ, воръ предъ нею! Смѣйся теперь, если можешь! Издѣвайся надъ нею! Превозноси себя за свою собственную низость! Низость во имя патріо-

тизма!.. Что-жъ вѣдь побужденіе высокое? вѣдь такъ? Вѣдь ты же былъ убѣжденъ, что для славы и свободы отечества всѣ средства хороши и позволительны? — И что же! Несмотря на все это, въ душѣ у тебя все-таки сидятъ кто-то, который шепчетъ тебѣ ежеминутно «подлеца» за твой патріотическій поступокъ!»

— Нѣтъ, подлецомъ я не буду!.. Еще есть время... еще не все для меня кончено! — съ твердымъ убѣжденіемъ говорилъ Бейгушъ самому себѣ, говорилъ и... все-таки молчалъ предъ Сусанной, все-таки тайлъ у себя ея деньги.

«Надо отдать ихъ! Надо признаться!.. Но какъ признаться? Какъ языкъ-то повернется на такое признанье?.. И неужели она проститъ и это?.. Проститъ! Проститъ навѣрное! Но тѣмъ-то оно горше для собственной твоей совѣсти! Если бы возможно было тотчасъ же разстаться, разойтись заклятыми врагами, это, какъ-бы, и лучше, и легче бы мнѣ было; но встрѣтитъ въ отвѣтъ на твою низость всепрощающій, любящій взглядъ — это ужасно, это невыносимо!»

Бейгушъ словно бы стоялъ теперь на распутіи: предъ нимъ двѣ дороги, и онъ знаетъ, что по которой-нибудь надо же наконецъ, неизбѣжно надо идти; но по которой? — Сомнѣнья нѣтъ, по той, которая прямѣе и честнѣе; но какъ ступить на нее? какъ сдѣлать этотъ тяжкій первый шагъ? Онъ зналъ, что это *надо*, но пока еще стоялъ и медлил на распутіи, желая и не рѣшаясь занести ногу. И такъ-то изо-дня-въ-день въ душѣ его безпрестанно подымался цѣлый рядъ роковыхъ вопросовъ, сомнѣній, мученій совѣсти, укоризнъ, а тихая семейная жизнь текла между тѣмъ для него своею ровною и скромною чередою. Сусанна и не подозрѣвала, что творится въ душѣ ея мужа. Видя порою его угрюмую и какъ будто озлобленную мрачность, а порою глубокую, молчаливую тоску, она въ простотѣ сердца думала, что онъ все томится по своему злосчастному проигрышѣ, и потому вслѣдствіи старалась, на сколько могла и умѣла, облегчить его грусть, разсѣять тяжелую думу, утѣшить его хотя бы своею собственною безпечальною вѣрою въ свѣтлую, безбѣдную будущность.

— Ну, стоятъ ли эти глупыя деньги, чтобы убиваться о нихъ такимъ образомъ! — говорила она ему порою, съ такою свѣтлою, искреннею улыбкою. — Я, ей-Богу, никогда не давала имъ ужъ такой особенной цѣны. Ну, проживемъ какънибудь!

— Какъ? — грустно улыбался въ отвѣтъ ей Бейгушъ.

— Ну, какънибудь!.. Я ужъ не знаю тамъ... Живутъ же люди!

«Развѣ обрадовать ее?.. Сказать, что деньги здѣсь, у меня, цѣлешеньки?» мелькала ему свѣтлая мысль. И какъ самому-то хотѣлось въ эти минуты облегчить себя полнымъ, искреннимъ признаніемъ! Вотъ уже это признаніе почти совсемъ готово, вотъ уже оно вертится на языкѣ,

само высказывается въ глазахъ, но... Богъ знаетъ почему, только чувствуется въ то же время, что въ этомъ признаніи есть что-то роковое—и слово, готовое уже сорваться, какъ-то невольно, само собою замираетъ на языкѣ, а тяжелая дума еще злѣе послѣ этого ложится на сердце, въ которомъ опять вотъ кто-то сидитъ и шепчетъ ему страшное названіе, и даритъ его такимъ безконечнымъ самопрезрѣніемъ.

Ни одной жалобы, ни одного упрека за все это время не вырвалось у Сусанны. Бейгушъ ждалъ, что такъ или иначе непременно будетъ и то, и другое, но ожиданія его оказывались напрасны. Онъ сталъ замѣчать въ женѣ даже нѣчто противное своимъ ожиданіямъ: она, незамѣтно отъ него, старалась экономничать и суживать не только свои прихоти, но и потребности, зачастую отказывая себѣ даже въ извозчикѣ.

— Сусанна, тебѣ бы нужно новую весеннюю шляпку, — говорилъ онъ ей, напрямѣръ, замѣчая, во время прогулки, что она съ живымъ любопытствомъ останавливаетъ глаза на соблазнительныхъ окнахъ модныхъ магазиновъ.

— Нѣтъ, голубчикъ мой, у меня и прошлогодняя еще очень хороша! — торопилась она успокоить и умѣрять его желаніе, тогда какъ самой — смерть какъ хотѣлось бы поцеловать и въ новой шляпкѣ.

Бейгушъ очень хорошо все это видѣлъ, чувствовалъ и понималъ. Собственное сердце и чувство справедливости невольно подсказывали ему, что за всю эту простую, безкорыстную любовь надо платить хоть отвѣтною доброю ласкою, — и онъ, почти самъ того не замѣчая, сталъ платить ею Сусаннѣ и легко, и охотно. Таковой переворотъ совершился въ немъ исподволь, но прочно, потому что это было естественно. Тихая супружеская жизнь, съ ея уютной обстановкой, начинала уже ему нравиться. Подъ-часть, мечтая съ самимъ собою, онъ уже сталъ находить въ ней влекущую прелесть, впереди уже мерещилась ему возможность спокойнаго счастья... И эта возможность дѣйствительно была, потому что Сусанна чувствовала надъ собою превосходство его нравственной силы, потому что ей нужно было, и она даже сама хотѣла, чтобы ее «въ рукахъ держалъ» тотъ, кого она любитъ, потому что, наконецъ, въ Бейгушѣ были всѣ данныя, необходимыя для этого, данныя, которыхъ — увы! совѣсть не обрѣталось ни въ покойникѣ Стекльштромѣ, ни въ восточномъ кузенѣ Малгоржанѣ. Впрочемъ, ни того, ни другого она, въ сущности, никогда не любила. Настоящее, дѣйствительное чувство — насколько была способна по-своему чувствовать Сусанна — впервые пришло къ ней только съ Бейгушемъ.

«Надо бы только какъ ни-на-есть выйти изъ этой джип, изъ этого гнуснаго, фальшиваго положенія», думалъ себѣ Бейгушъ въ минуты своихъ мечтаній, «а тамъ... тамъ будетъ и миръ, и покой.. и счастье...»

Наконецъ, въ одну счастливую минуту поѣтила его мысль о такой удобной комбинаціи, которая даже сразу разрѣшила бы всю тяжесть его ложнаго положенія.

«Такъ и быть!» рѣшилъ онъ самъ съ собою, «куда ни шло, но... надо сыграть еще одну и уже послѣднюю комедію въ своей жизни!.. Надо уловить первую подходящую удобную минуту и открыть ей, что деньги цѣлы, что вся эта исторія съ проигрышемъ была не болѣе какъ комедія... комедія, которую я разыгралъ, желая испытать ее... испытать, насколько она любитъ, на сколько можетъ простираться ея самоотверженіе... Надо — увы!.. надо обмануть еще одинъ, но уже послѣдній разъ!.. Затѣмъ... затѣмъ возратить ей деньги и, если можно, постараться навсегда уже жить съ нею честнымъ человѣкомъ!»

XXVI.

Выборы въ «военномъ кружкѣ».

Въ самый день этого счастливаго, по мнѣнію Бейгуша, рѣшенія, онъ совершенно неожиданно получилъ небольшую записку отъ капитана Чарыковского, который приглашалъ его на нынѣшній вечеръ, отложивъ всѣ текущія дѣла и занятія, непременно явиться къ назначенному часу, для весьма важныхъ и экстренныхъ совѣщаній, въ Офицерскую улицу, въ квартиру, занимаемую четырьмя слушателями академіи генеральнаго штаба, гдѣ обыкновенно собирався, подъ видомъ «литературныхъ вечеровъ», польскій «военный кружокъ Петербурга».

Бейгушъ отправился, торопясь не опоздать на назначенному часу.

«Кружокъ» былъ почти уже въ полномъ сборѣ. Поджидали еще только двухъ-трехъ членовъ, такъ какъ Чарыковский не хотѣлъ открывать совѣщаній, пока не будутъ на лицо всѣ приглашенные. Всѣ пять комнатъ были наполнены исключительно военными разнаго рода оружіемъ и спеціальностей. На большинствѣ изъ нихъ красовались академическіе аксельбанты и «ученые» кавтики по низу бархатныхъ воротниковъ. Тутъ были инженеры и путейцы, артиллеристы и телеграфные, и горные, пѣхота и кавалерія, гвардія и армія, круглымъ числомъ до сорока офицеровъ. Въ комнатахъ было дымно отъ папирсъ и шумно отъ самаго разнообразнаго, но почти исключительно польскаго говора.

Наконецъ, когда всѣ уже оказались въ сборѣ, капитанъ Чарыковский занялъ предѣлательское кресло въ залѣ, на концѣ большаго раздвижнаго стола, и громкимъ звонкомъ призвалъ всѣхъ наличныхъ членовъ къ тишинѣ и вниманію.

Залъ переполнилась народомъ. Каждый торо-

пился занять себѣ мѣсто поудобнѣе: на стульяхъ, на подоконникахъ, но большинство тѣснилось у стола, поближе къ предсѣдателю.

Черезъ минуту наступила достодолжная тишина, и капитанъ Чарыковскій, положивъ предъ собою какія-то бумаги, не безъ торжественности поднялся со своего кресла.

— Панове-братья!—началъ онъ громко и самоуверенно, не глядя ни на кого, помимо всѣхъ устремляя спокойный взоръ въ противоположную ему стѣну.—21-го юня въ 11 часовъ вечера, какъ всѣмъ вамъ уже извѣстно, варшавская телеграмма принесла сюда извѣстіе, что новый намѣстникъ, великій князь Константинъ, раненъ изъ пистолета. Тому прошло уже пять дней. Сегодня утромъ мы получили изъ Варшавы сообщенія, которые собственно и вызвали наше экстренное собраніе. Положеніе тамъ натянуто до послѣдней возможности; такъ что народный взрывъ можетъ случиться ежеминутно. Но... если Польша готова къ головному взрыву, то и русскія войска, вѣроятно, готовы къ сопротивленію, а вы сами солдаты, стало-быть понимаете, что каковъ бы ни былъ этотъ взрывъ, ему трудно, почти невозможно устоять противъ нѣсколькихъ батальоновъ регулярнаго войска. Варшава требуетъ отъ насъ организаторовъ, инструкторовъ, офицеровъ, доводцовъ. Она требуетъ, чтобы мы какъ можно скорѣе высылали военныхъ агентовъ и въ Конгрессовку, и въ Литву, и въ Кіевъ, и въ Житомиръ. Народовое войско готово, есть и оружіе, и запасы, но нѣтъ еще офицеровъ, нѣтъ организаторовъ. И тѣхъ, и другихъ въ нашемъ лицѣ подготовила сама Россія для нашей отчины. Наше время, господа, приспѣло; надо торопиться. И я отъ себя точно также повторяю вамъ: надо торопиться! И вотъ по какимъ именно соображеніямъ: до самыхъ послѣднихъ дней наши миссіи и наша пропаганда, какъ нельзя успѣшнѣе, подготовили русское общество къ сочувствію нашему святому дѣлу. Европа уже давно за насъ; но вы конечно согласитесь, что сочувствіе громаднаго числа москалей гораздо будетъ поважнѣе для насъ, чѣмъ сочувствіе Европы! Масса москалей своимъ голосомъ очень можетъ сдѣлать то, что правительство не осмѣлится рѣшительно противодѣйствовать намъ, оно должно будетъ уступить, будучи раздавлено общественнымъ мнѣніемъ своего же собственнаго народа, тѣмъ паче, когда оно увидитъ въ рядахъ нашихъ бойцовъ своихъ же собственныхъ, чистокровныхъ русскихъ. А эти бойцы уже есть, и ихъ найдется еще больше! Теперь два слова объ этомъ самомъ русскомъ обществѣ: въ немъ очень сильно бродительное начало; оно само, пожалуй, не знаетъ хорошенько чего ему хочется, потому что вся сумма его національной жизни въ послѣднее время показываетъ какую-то непродолимую, темную путаницу понятій и отношеній; но во

всей этой нелѣпой путаницѣ для насъ ясны двѣ вещи: сильное броженіе и подготовленное нами же сочувствіе нашему дѣлу. Однако, въ послѣднее время пресловутая «Молодая Россія», да еще пожары и два выстрѣла въ Варшавѣ сдѣлали, къ сожалѣнію, то, что въ этомъ обществѣ подымается весьма замѣтная реакція. Она уже слышна и въ литературѣ. Мы не должны допустить ее развиться до значительной силы, потому что тогда намъ уже гораздо труднѣе будетъ справиться. Надо еще торопиться и потому, наконецъ, что съ будущаго года прекращается двухлѣтнее переходное состояніе крестьянъ. «Земля и Воля» къ тому времени имѣетъ прочную увѣренность поднять революцію внутри Россіи. «Земля и Воля» обѣщаетъ намъ самую дѣятельную поддержку. Но главное, чего мы должны опасаться, это все-таки реакція, потери сочувствія массы образованнаго общества. Крупныя событія, въ родѣ здѣшнихъ пожаровъ и варшавскихъ выстрѣловъ, ставятъ дѣло такъ, что оно быстро должно идти къ своимъ конечнымъ результатамъ. Событія не ждутъ и, какъ видите, опережаютъ даже благоразуміе и осторожность, но эти же самыя событія знаменуютъ всю силу нетерпѣливаго броженія. Массы ждутъ только сигнала, чтобы подняться. Горько будетъ, если онъ подымусь нестройными, неорганизованными, и если черезъ то самое не удастся наше великое дѣло. Поэтому-то, въ силу всего сказаннаго, намъ—*volens, volens*—надо торопиться, чтобы не проиграть. Надо работать, пока еще не охладѣло постороннее сочувствіе. А времени межъ тѣмъ немного господа! Самое долѣе, что остается намъ, это какихъ нибудь шесть мѣсяцевъ, да и того-то дай-Богъ! И въ этотъ краткій срокъ намъ необходимо надо осѣлѣть всю Польшу въ ея старыхъ границахъ нашею военною организаціею. Организациа административно-гражданская уже есть давно, какъ вы знаете, и дѣйствуетъ превосходно. Вся остановка за нами. Мы должны изъ готораго уже, но сырого матеріала организовать стройныя военные отряды, народную нашу армію, обучить на сколько возможно нашихъ будущихъ солдатъ, чтобы они ловко умѣли дѣйствовать и косою, и саблей, и штыкомъ, и пулей, ввести дисциплину, а духъ свободы и духъ военный—старый польскій духъ, благодаря Бога, еще не умеръ! Задача трудна, господа, особенно въ виду столь короткаго срока, но... въ насъ есть энергія, есть молодая сила, есть твердая вѣра въ свое дѣло, есть любовь къ свободѣ и родинѣ, есть, наконецъ, способности и разумъ, а быть можетъ, найдутся между нами и гениальные военные таланты! Съ такими данными, господа, намъ нечего задумываться, а надо поскорѣе дѣло дѣлать! Поэтому всякъ изъ насъ, кто только чувствуетъ въ себѣ честнаго поляка, пусть немедля возьмется за дѣло! По порученію варшавскаго народнаго комитета, я имѣю честь

предложить вамъ, господа, чтобы вы немедленно же приступили по собственной своей свободной инициативѣ къ выбору изъ среды себя наиболѣе способныхъ организаторовъ въ разныя части Польши, Литвы и Руси. Я не сомнѣваюсь, что выборъ будетъ сдѣланъ вполне достойный, потому что это дѣло есть дѣло Бога и отчизны!

Чарыковский кончилъ и съ легкимъ поклономъ опустился въ свое кресло. Онъ говорилъ горячо, отчетливо, складно, и потому рѣчь его была прелюбимая съ величайшимъ вниманіемъ. Когда замолкъ, наконецъ, его звучный выразительный голосъ, въ залѣ нѣкоторое время царствовала еще полнѣйшая тишина. Слово его сдѣлало замѣтно сильное, вѣское впечатлѣніе. Едва лишь чрезъ двѣ-три минуты стали члены пошевеливаться и совѣщаться, но скорѣ сдержанный говоръ перешелъ въ горячіе громкіе споры. Панъ А. не хотѣлъ пана В., а панъ В. не хотѣлъ пана А., но хотѣлъ пана С. Панъ же С. хотѣлъ всѣхъ трехъ разомъ, а чрезъ минуту никого не хотѣлъ кромѣ своей собственной особы. Въ этихъ спорахъ, доходившихъ уже кое у кого до колкостей и до крупной перебранки, прошло болѣе часу времени, и казалось, что споры могутъ продолжаться сколько угодно часовъ, могутъ дойти, пожалуй, до перепалки, до потасовки, до вызова, до пощечины, но только отнюдь не до сути дѣла. Капитанъ Чарыковский видѣлъ это и, не безъ горькой грусти, подпершись рукою, молча сплѣлъ на своемъ предсѣдательскомъ креслѣ. Наконецъ, рука его нервно дернула колокольчикъ. Споры не умолкали, и Чарыковский еще энергичнѣе повторилъ свой звонокъ.

— Панове-братья! — съ ѣдкой улыбкой возвысилъ онъ свой голосъ. — Неужели и теперь, въ такую минуту и ради такого дѣла, мы въ сто тысячъ первый разъ повторимъ на себѣ ту проклятую пословицу, которая гласитъ, что гдѣ два поляка, тамъ три убѣжденія? Если такъ, то лучше разоидемтесь и отвѣтите нашимъ варшавскимъ братьямъ, что мы свое личное самолюбіе предпочитаемъ общему дѣлу!

Эти немногія слова были чѣмъ-то въ родѣ ушата холодной воды, внезапно пролитого на головы горячихъ и самолюбивыхъ спорщиковъ: большинство сконфузилось и примолкло, кое-кто пытался защититься и отстоять свое мнѣніе, но Чарыковский, послѣ своей рѣчи не принимавшій до этой самой минуты никакого участія въ преніяхъ, сталъ теперь хотя и косвенно, но очень ловко руководить выборами. Онъ исподволь подходилъ то къ тому, то къ другому, то къ третьему кружку, прислушивался, переманивался съ тѣмъ или другимъ изъ членовъ, и каждой партіи успѣвалъ всучить свое собственное мнѣніе, навести на желанную ему личность, подписать ту или другую фамилію — и, благодаря только этой

удовкѣ, выборы наконецъ совершились. Между нѣсколькими организаторами, которымъ почти немедленно предстояло отправиться въ назначенные пункты, было и имя Бейгуша. Когда до слуха его коснулся звукъ собственной его фамилии, онъ невольно поблѣднѣлъ и смутился. Это назначеніе, почетное со стороны патристической идеи, показалось ему теперь равносильнымъ самому жестокому приговору. Сердце его ёкнуло такой тоской, такъ болѣзненно сжалось и такъ упало вслѣдъ за тѣмъ, что казалось, будто онъ свое существованіе поставилъ на роковую, предательскую карту, которая ему измѣнила. — «Неужели жъ это въ самомъ дѣлѣ будетъ такъ? Неужели я точно долженъ бросить, разорвать все и идти? Неужели это уже рѣшено безперемѣнно, безповоротно?» думалъ онъ, стоя отдѣльно отъ прочихъ. «Нѣтъ, этого быть не можетъ! Это невозможно! По крайней мѣрѣ, для меня и теперь это невозможно!»

Въ эту минуту въ первый разъ въ своей жизни онъ сознательно и серьезно почувствовалъ, что любить, что ему кровно дорога женщина, называющаяся его женою.

Подавляя въ себѣ признаки внутренняго волненія, блѣдный и пасмурный, выступилъ онъ впередъ и попросилъ у собранія слова.

Почти всѣ благосклонно приготовились выслушать его.

— Благодарю васъ за честь, господа, которую вы мнѣ сдѣлали вашимъ выборомъ, — началъ онъ не совсѣмъ-то твердымъ голосомъ. — Честь эта слишкомъ велика для меня, но... потому-то я и не чувствую себя вполне достойнымъ ея... Я готовъ служить нашему дѣлу, но только не тамъ, а здѣсь, въ Петербургѣ... Я прошу у васъ позволенія остаться... прошу назначить мнѣ здѣсь какой-либо родъ дѣятельности, и я постараюсь выполнить его добросовѣстно. Еще разъ: увольте меня, господа, отъ этого назначенія!

Слова его были совсѣмъ неожиданны и показались странными. Каждый глядѣлъ на него съ недоумѣніемъ, не понимая его цѣлей и побужденій. Чарыковский былъ изумленъ не менѣе прочихъ.

— Конечно, не чувство расчета и самохраненія говорить вашими устами? — проговорилъ онъ хотя и сквозь зубы, но очень явственно.

Бейгушъ вспыхнулъ и гордо поднялъ голову.

— Надѣюсь, капитанъ, что никакъ не оно! Вы, кажется, достаточно меня знаете.

Капитанъ молча поклонился въ знакъ своего согласія.

— Вы, поручикъ, принадлежите къ организации, — сказалъ онъ, — и потому не имѣете права отказываться отъ общаго выбора.

— Но я прошу о снисхожденіи... Я не отказываюсь отъ служенія дѣлу, но неужели же

здѣсь, въ Петербургѣ, не найдется для меня никакихъ полезныхъ занятій.

— Что заставляетъ васъ просить объ этомъ?

Бейгушъ нѣсколько смуглся: «Какъ сказать имъ настоящую, сокровенную причину? Пойметъ ли, уважитъ ли ее чужое, нелюбящее сердце?»

— Вы спрашиваете, что заставляетъ меня? — проговорилъ онъ наконецъ; — заставляетъ мои семейныя обстоятельства.

Чарыковский съ изумленіемъ поглядѣлъ на него.

— Вы ли это говорите, Бейгушъ! Васъ ли я слышу?! пожалъ онъ плечами. — Развѣ въ такомъ дѣлѣ могутъ что-нибудь значить какія бы то ни было семейныя обстоятельства? Что это вы сказали! Опомнитесь!

Бейгушъ поникъ головою. Онъ чувствовалъ, что на него внимательно устремлены теперь всѣ взоры, и чувствовалъ, что въ этихъ взорахъ уже просвѣчиваетъ нѣчто враждебное и презрительное.

— Какъ другъ, какъ солдатъ, какъ полякъ, умоляю васъ еще разъ: опомнитесь! возьмите назадъ свои слова! — съ чувствомъ и убѣдительно, положивъ руку на грудь, проговорилъ Чарыковский.

— Повторяю вамъ, я не отказываюсь отъ дѣла! — тихо сказалъ Бейгушъ. — Но, господа, какъ знать чужое сердце и какъ судить его! Берите отъ меня все, что я могу дать, но оставьте же мнѣ хоть одинъ маленькій уголокъ моей личной, исключительно мнѣ принадлежащей жизни! Неужели-жъ отъ этого можетъ сколько нибудь пострадать дѣло моей родины? Я не герой, а простой работникъ... Перемѣните на шахматной доскѣ двѣ рядомъ стоящія пѣшки, поставьте одну на мѣсто другой — развѣ отъ этого ваша игра хоть сколько нибудь измѣнится?

— Слишкомъ много скромности съ вашей стороны, господинъ поручикъ! — не безъ ѣдкости замѣтилъ Чарыковский. — Вы не пѣшка, а офицеръ, и потому на шахматной доскѣ имѣете свои особые ходы. Впрочемъ... какъ вамъ угодно!

Чарыковский сухо поклонился и сѣлъ, явно показывая, что считаетъ оконченными всѣ дальнѣйшія пренія на эту тему!

Между членами организаціи пошелъ смутный шопотъ. До слуха Бейгуша, какъ будто долетѣло слово «измѣнникъ». — Вся кровь хлынула ему въ голову. Удаляясь изъ собранія, онъ прошелъ, въ нѣкоторомъ родѣ, сквозь строй безпощадно-враждебныхъ и холодно-презрительныхъ взглядовъ.

XXVII.

F a t u m.

Какой страшный разладъ между идеей, дѣломъ и своимъ сердцемъ почувствовалъ Бей-

гушъ! Согласить одно съ другимъ было невозможно: этотъ разладъ, по самой сущности своей, являлся непримиримымъ. Надо было чѣмъ-нибудь однимъ пожертвовать: или отказаться отъ дѣла, которому былъ преданъ душой и убѣжденіемъ, въ которое вѣровалъ, отказаться съ тѣмъ, чтобы потомъ уже всю жизнь нести на себѣ клеймо отверженія, имя «измѣнника»; или же ради дѣла жертвовать любовью, грезами мирнаго, покойнаго счастья. «Какъ согласить одно съ другимъ?» пытался Бейгушъ задавать себѣ трудную задачу. «Взять съ собой Сусанну, вѣхать съ нею вмѣстѣ? — Но моя идея для нея не своя, а чужая! Положимъ, она пойдетъ за мною, но вѣдь она не одна, у нея здѣсь же, въ Петербургѣ, двое сыновей воспитываются. По какому праву я отыму у нихъ мать? Какъ оставить ихъ на произволъ судьбы? И наконецъ, можно ли взять на совѣсть судьбу этой женщины, заставить ее, быть можетъ, скитаться съ собою по лѣсамъ, обречь ее на тысячи лишеній, на темное будущее... А если... если придется сложить свою голову — что съ нею тогда? Если дѣло не удастся, если и меня, и ее вмѣстѣ со мною поймутъ, захватятъ, тогда что? — Тюрьма, ссылка, Сибирь, и опять-таки тысячи всяческихъ лишеній... И это все въ награду за ея самоотверженіе, за ея любовь!.. И изъ-за чего? Изъ-за моего лишь эгоистическаго побужденія, изъ-за того, что я полюбилъ ее!.. Нѣтъ, не возьму я этого на совѣсть!» рѣшилъ себѣ Бейгушъ. «Гибнуть одному, а не четверемъ вмѣстѣ, пѣзъ которыхъ трое совѣстѣ чужды этому дѣлу!»

Онъ провелъ безсонную, мучительную ночь. Свѣжее воспоминаніе о сценѣ, разыгравшейся вечеромъ въ «кружкѣ», воспоминаніе объ этихъ взглядахъ и улыбахъ, объ этомъ безмолвномъ, но уничтожающемъ презрѣніи давило ему грудь, истерическими спазмами душило горло и словно желѣзными тисками стигивало голову. Онъ всталъ съ постели полубольной, съ какой-то моральной и физической тяжестью во всемъ организмѣ. Хотѣлось бы на воздухъ — освѣжиться, разсѣяться, — и Бейгушъ ушелъ изъ дому. Въ этотъ день случайно онъ встрѣтился на улицѣ съ двумя своими короткими пріятелями. Оба были офицеры, оба принадлежали къ той же организаціи и оба присутствовали во вчерашнемъ собраніи. Бейгушъ, по всегдашней привычкѣ, кивнулъ имъ головою, но тѣ не отвѣтили на поклонъ, и не то чтобы отвернулись отъ него, не то чтобы сдѣлали видъ будто не узнаютъ его; напротивъ, оба прямо и твердо глядѣли ему въ глаза, и въ ихъ взорѣ онъ ясно прочелъ то же самое презрѣніе, то же самое имя «измѣнника».

Бейгушъ смугился и потупилъ взглядъ. Эта встрѣча словно обожгла его. — «Нѣтъ, жить такъ далѣе, продолжать бесконечно выносить такіе взгляды... Нѣтъ, это невозможно!» рѣшилъ онъ самъ съ собою. «Если бы ты не вѣрилъ въ дѣло, не сочувствовалъ ему, — ну,

тогда куда-бъ ни шло еще!.. Но любя ихъ всѣхъ, страдая съ ними одною болью, дѣля ихъ мысли, ихъ убѣжденія, молясь одному Богу, слытъ между ними «измѣнникомъ», добровольно лишить себя честнаго имени поляка... нѣтъ, это невозможно!» повторилъ себѣ еще разъ Бейгушъ.

Эти взгляды двухъ его пріятелей показались ему знаменательными. Понявъ ихъ значеніе, онъ уже зналъ, что могутъ они предвѣщать ему въ будущемъ. Какъ полякъ и притомъ до вчерашняго дня столь дѣятельный членъ петербургской организаціи, онъ зналъ чему подвергается, не говоря уже объ измѣнникѣ, простой ослушникъ предписаній высшаго революціоннаго комитета. Онъ слишкомъ близко стоялъ къ дѣлу, чтобы не знать этого. Онъ могъ теперь ожидать всякихъ непріятностей и несчастій по службѣ, въ обществѣ, въ жизни. Ловкіе «воротилы дѣла» могли путемъ тайной интриги подвести подъ него такую каверзу, что начальство, считавшее его доселѣ однимъ изъ лучшихъ и благонадежныхъ офицеровъ, вдругъ могло бы найти его весьма неблагонадежнымъ, могло придаться къ какому-нибудь случайному унушенію по службѣ (а мало ли ихъ!), чтобы отдать его подъ судъ, могло найти вреднымъ его образъ мыслей или какіе-нибудь его поступки и исключить изъ службы. Но это все было бы еще самымъ легкимъ и ничтожнымъ въ сравненіи съ тѣмъ, что могло угрожать ему. Въ обществѣ—того и гляди—о немъ могли пойти самые дурные слухи, могла быть замарана его репутація, подорванъ его нравственный кредитъ, онъ легко могъ быть сдѣланъ молвою и мошенникомъ, и негодеемъ, и піиономъ, и лжецомъ, и воромъ и всѣмъ, всѣмъ, чѣмъ угодно. Наконецъ, онъ зналъ, что власть и сила польскаго ржонда велика, что корни ея на огромное пространство развѣтвляются подъ землей, а ползучіе побѣги, незаметно, но цѣпко поднимаются очень высоко, что въ этомъ ржондѣ существуетъ верховный тайный трибуналъ, который судить безапелляціонно и неуклонно приводитъ въ исполненіе свои приговоры надъ ослушниками и отступниками. Въ этихъ приговорахъ бывали и ножъ изъ-за угла, и ядъ въ кускѣ хлѣба или въ стаканѣ воды. Исполненіе этихъ приговоровъ не могло быть стѣсняемо ни временемъ, ни пространствомъ. Все это очень хорошо понималъ Бейгушъ и при этомъ чувствовалъ, что если надъ нимъ будетъ произнесенъ подобный приговоръ, то для него онъ будетъ суровѣе и безпощаднѣе, чѣмъ для многихъ другихъ, потому что Бейгушъ стоялъ слишкомъ близко къ дѣлу, ему было извѣстно много такого, что являлось весьма важнымъ и существеннымъ для успѣха и для многихъ лицъ петербургской организаціи, которая теперь весьма легко становилась опасаться, что отступничество столь дѣл-

тельного члена можетъ имѣть и для нихъ, и для дѣла очень вредныя, а быть можетъ, и непоправимыя послѣдствія. Ясно, что эти люди постараются теперь избавиться отъ него какъ можно скорѣе и при томъ самымъ радикальнымъ образомъ.

И между тѣмъ Бейгушъ не чувствовалъ въ себѣ отступника. Онъ все-таки горячо любилъ и этихъ людей, и дѣло, но столь же горячо любилъ и Сусанну.

«Да, вотъ она, казнь за черныя умыслы, за воровское подлое намѣреніе!—горько раздумывалъ онъ.—Ты сдѣлалъ ее своею женою, съ тѣмъ чтобы ограбить и бросить, какъ старую перчатку... а вмѣсто того, и самъ не знаю какъ, полюбилъ ее, пуще самаго дорогого, самаго заветнаго!.. Какая иронія! Какая отмстка!»

Бейгушъ, давая себѣ строгій отчетъ о своихъ мысляхъ и побужденіяхъ, сознавалъ, что почти не чувствуетъ ни малѣйшаго страха предъ возможностью подпольной казни: смерть тѣмъ или другимъ способомъ страшила его не столько, какъ это проклятое имя Іуды, измѣнника.—«Измѣнникъ своимъ братьямъ, Іуда идем, отступникъ своей родины, своей матери-Польши... бррр!.. Вотъ что ужасно! вотъ что невыносимо! вотъ что скажутъ о тебѣ и вотъ какую память по себѣ ты оставишь!» думалъ Бейгушъ—и при одной этой мысли его обдавало холодомъ и дрожью. Онъ чувствовалъ, что надъ нимъ тяготѣетъ какой-то страшный fatum, который—хочешь не хочешь—подчиняетъ себѣ его волю, его поступки, его помысленія, который словно бы говоритъ ему: иди или умри съ именемъ Іуды!—И этотъ fatum является въ лицѣ того же «кружка», того же тайнаго комитета «святой sprawy», этотъ вершащій все и вся Deus ex machina есть его же собственное личное сопричастіе къ дѣлу, къ «организаціи». И никакихъ выходовъ нѣтъ изъ этого положенія!

«Если-бъ еще одна женщина, одна любовь могла все замѣнить собою человѣку», мыслилъ онъ въ самомъ мучительномъ состояніи духа. «Пусть даже будетъ такъ! Являю въ это!.. Что-бъ съ тобой ни случилось, какимъ бы именемъ тебя ни заклемили, пусть тебя навѣки похоронятъ въ Сибири, въ какомъ-нибудь Обдорскѣ, пусть сошлютъ въ каторгу, въ рудники: пусть все это такъ; но если ты безпредѣльно любишь, если она, твоя любовь съ тобою,—тутъ, пожалуй, можно бы еще все перенести, все выстрадать! Какъ бы страшно ни заклемили тебя эти люди, твои же братья, но зная, что есть на Божьемъ свѣтѣ хоть одна бѣдная душа, которая тебя любитъ и вѣритъ въ тебя, которая для тебя на все готова,—о! зная это, можно стать выше всѣхъ этихъ людей и всей слѣпой злобы ихъ! Можно бы уйти внутрь себя, жить своимъ сердцемъ, своей душою... Да; все это можно, если бы только

такъ!.. Но если тебя не сегодня-завтра ждетъ заугольная смерть, тогда что? Какой результатъ?—Лучше люди твоей родины съ ненавистью и презрѣніемъ скажутъ про тебя: собака и смерть собачья! Умереть съ именемъ Іуды, измѣнника—и только!.. Нѣтъ, видно, великое дѣло требуетъ и жертвъ великихъ!.. Иди, иди—и нѣтъ тебѣ другой дороги, другого выхода!»

Въ первомъ и возбужденномъ состояніи Бейгушъ, послѣ непродолжительной, но страшной и роковой борьбы съ самимъ собою, поѣхалъ вечеромъ къ капитану Чарыковскому.

Тотъ встрѣтилъ его сухо, однимъ лишь просительнымъ взглядомъ.

— Я прошу васъ забыть все прошлое,—трудно дыша, смущеннымъ, но рѣшительнымъ тономъ началъ Бейгушъ.—Я виноватъ предъ общимъ дѣломъ... виноватъ тѣмъ, что допустилъ себя увлечься своимъ личнымъ чувствомъ, но... теперь я пріѣхалъ сказать вамъ, что съ этой минуты я попрежнему вашъ... весь вашъ!.. Забудьте и протаните мнѣ честно вашу руку!

Лицо его дрожало внутреннимъ волненіемъ, на глазахъ блистали слезы.

Чарыковскій ступилъ шагъ впередъ, горячо обнявъ его, и оба они разцѣловались.

Съ этой минуты мнръ съ «кружкомъ» былъ восстановленъ; но далеко еще не было такого же мира съ самимъ собою въ наболѣвшей душѣ Бейгуша.

XXVIII.

Alea jacta est.

Въ нѣсколько дней официальная сторона дѣла, долженствовавшая служить ему благоприличной и легальной маской, была обработана: Бейгушъ получилъ отъ военного вѣдомства экстренную командировку въ Литву, по одному изъ тѣхъ дѣлъ третьей степени важности, на которыя во всякомъ вѣдомствѣ зачастую и при томъ самымъ обыкновеннымъ образомъ случаются командировки. Все это очень легко и очень быстро обработалъ ему Чарыковскій, который въ то время пользовался хотя косвеннымъ, но весьма значительнымъ вліяніемъ, какъ дѣльный, умный, ученый и необыкновенно способный человекъ. И труды, и мнѣнія его по военно-спеціальнымъ вопросамъ очень уважались, да и вообще онъ пользовался хорошимъ авторитетомъ и не въ однихъ лишь «кружкахъ организаціи». Точно такимъ же образомъ, при его посредствѣ, подъ разными служебными предлогами были отправлены, подобно Бейгушу, и всѣ остальные организаторы въ разныя мѣста Западнаго края.

У Бейгуша все уже было готово къ отъѣзду: инструкция и дорожная вмѣстѣ съ прогнами

въ карманѣ, субсидія отъ организаціи тоже, вещи, то-есть самое лишь необходимое, исподволь, понемногу перенесены къ Чарыковскому, такъ что теперь оставалось только садиться въ вагонъ и ѣхать. А какъ не хотѣлось бы ѣхать! Какъ томительно просятъ собственное сердце остаться, помедлить... хоть нѣсколько бы дней еще помедлить!..

Бейгушъ скрывалъ отъ Сусанны и свои приготовления, и свой отъѣздъ. Онъ зналъ, что она настойчиво стала бы просить его отказаться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ отъ казеннаго порученія, что въ крайнемъ случаѣ сама рѣшилась бы ѣхать съ нимъ, убѣдила бы, умолила бы его своею любовью согласиться на это. Но разсудокъ громко и твердо говорилъ ему, что ѣдучи на такое рискованное дѣло, было бы и опасно да и грѣшно тащить ее за собою. Въ умѣ своемъ онъ уже рѣшилъ, что этому не бывать ни подъ какимъ условіемъ; но въ то же время боялся, что слишкомъ тепло любитъ ее для того, чтобы ея просьбы и слезы не поколебали его рѣшимости, и потому онъ дѣлалъ все это тайнѣ.

Подъ вліяніемъ мысли о необходимости близкой и можетъ-быть вѣчной разлуки, онъ невольно сталъ еще добрее и нѣжнѣе къ этой женщинѣ, онъ чувствовалъ, будто теперь она стала ему еще дороже, будто полюбилась ему еще болѣе. Сусанна, въ простотѣ сердечной, въ эти дни просто была на верху блаженства. Ей уже, дѣйствительно, не хотѣлось болѣе ни новыхъ шляпокъ, ни ложъ въ театрѣ, ни дачи въ Павловскѣ: ласки мужа, его внимательная и какая-то болѣзненно-задушевная нѣжность замѣнили ей всѣ посторонніе помыслы и желанія. Отчасти смущало ее порою только то, что среди ласковаго, веселаго разговора, мужъ ей вдругъ, ни съ того, ни съ сего, на нѣсколько мгновений становился какъ-то тоскливо угрюмъ и озабоченъ, или вдругъ нападала на него то непонятная разсѣянность, то какая-то глубокая подавляющая дума. Сусанна попросту думала-себѣ, что это онъ все о проигранныхъ деньгахъ, и потому въ благодарность за его ласки еще живѣе старалась всячески развлечь, приголубить и успокоить его.

Бейгушъ жадно впитывалъ теперь жизнь, полную любви, наслажденія и тихихъ семейныхъ радостей. Ему такъ сильно хотѣлось взять отъ этой жизни все, что только можно взять, все, что только можетъ она дать ему, хотѣлось до послѣдней капли осушить эту чашу, чтобы потомъ разбить ее въдребезги, но за то чтобы впослѣдствіи, при иной, грядущей, темной и одинокой жизни, было чѣмъ помянуть эти немногія, но хорошія, свѣтлыя минуты!

Хотѣлось ему открыть Сусаннѣ, что деньги ея цѣлы и что именно вся комедія была разыграна имъ для одного лишь испытанія, но... силъ не хватало на это. Его нравственное

чувство, возрожденное и очищенное силой любви, решительно возмущало его против новой уловки, новой лжи. «Къ чему хитрить и притворяться! Къ чему еще разъ обманывать эту дѣтски-наивную, простую душу, которая и безъ того ничего не хочетъ, ничего не требуетъ, кромѣ добраго слова да теплой ласки!» думалось Бейгушу, и онъ молчалъ, рѣшившись внутренно открыть ей на прощанье всю горькую правду.

Наконецъ наступилъ канунъ отъѣзда. Заграничное утро — крайній, послѣдній срокъ. Дѣло не ждетъ, Чарыковский нетерпѣливо и настойчиво понукаетъ. Надо ѣхать, надо кончить все и беззавѣтно махнуть на все рукою!

Въ теченіе послѣдняго вечера Бейгушъ нѣсколько разъ пытался высказать Сусаннѣ правду о ея деньгахъ, и все-таки силъ не хватало. Жалко и больно было, пока самъ еще здѣсь на лицо, хоть на мгновеніе помутить счастливое чувство мира и покоя, чувство ся безграничной вѣры въ его нравственную личность.

Онъ выждалъ пока, наконецъ, Сусанна заснула, и тихо, осторожно вышелъ изъ спальни.

Быль уже въ исходѣ четвертый часъ ночи. Блѣдный разсвѣтъ петербургской бѣлой ночи глядѣлъ въ окна.

Бейгушъ долго просидѣлъ въ глубокомъ и тижкомъ раздумьи предъ своимъ кабинетнымъ столомъ, но наконецъ встрепенулся, смутно проведъ по лицу рукою и сталъ писать.

«Все кончено, Сусанна! Надо, наконецъ, сказать тебѣ всю горькую правду, писалъ онъ. Я женился на тебѣ ради самаго гнуснаго обмана, съ намѣреніемъ обокрасть тебя и бросить. Но не знаю, сама ли судьба, или безграничная любовь твоя отомстили мнѣ за мою низость. Задумавъ надругаться надъ тобою, я кончилъ тѣмъ, что глубоко полюбилъ тебя, побѣжденный твоею же любовью. Деньги твои цѣлы почти сполна, за исключеніемъ двухъ тысячъ, отданныхъ по условію моему достойному сообщнику. Они лежатъ въ банкѣ, а билеты ты найдешь въ среднемъ ящикѣ моего стола. Ключъ я оставляю».

Затѣмъ Бейгушъ подробно рассказалъ всю исторію мнимаго проигрыша.

«Теперь уже не ради комедіи, какъ въ томъ письмѣ, продолжалъ онъ, а взаправду скажу тебѣ: *прости меня, если можешь!* Мы не увидимся больше; развѣ счастливая судьба сведетъ насъ какъ нибудь впослѣдствіи. И какъ бы желалъ я этой счастливой судьбы! Какъ страстно желалъ бы!.. Не спрашивай, не допытывай ни у кого и никогда, почему я расстаюсь съ тобою такъ странно, такъ внезапно. Предупредить этого ничѣмъ нельзя: *это такъ должно*. Разспрашивая и разглашая объ этомъ, ты можешь только повредить мнѣ самымъ страшнымъ образомъ. Почему это такъ,—я въ

настоящее время не имѣю права сказать тебѣ. Впослѣдствіи, и даже быть можетъ скоро, сама все узнаешь изъ дѣла, безъ справокъ и разспросовъ. Скажу пока одно: я уѣзжаю въ Литву по экстренному порученію моего начальства. Такъ ты это и знай, такъ и говори знакомымъ, буде станутъ спрашивать. Но вообще, если любишь меня, то не распространяйся и какъ можно менѣ говори обо мнѣ. Я наказанъ вдвойнѣ: и тѣмъ, что полюбилъ тебя, и тѣмъ, что долженъ разстаться.

«Да, какъ полякъ, я не имѣлъ права полюбить русскую женщину. Какое жестокое, ужасное положеніе!.. Будь проклята и эта пламенная, историческая вражда, и то, что породило ее! Благодаря ей, вся моя личная жизнь (да и одна ли моя только!) построена на фальши, на противуестественномъ умерщвленіи въ себѣ самыхъ лучшихъ, самыхъ святыхъ и завѣтныхъ чувствъ во имя одной идеи.

«И это необходимо! Отказаться отъ этого не въ моей власти, не въ моей волѣ, если только я хочу сохранить себѣ честное польское имя, если я не сдѣлаюсь измѣнникомъ Польши. А я имъ никакъ и никогда не сдѣлаюсь!.. Что жъ дѣлать мнѣ, если я люблю и *ее, и тебя!* Но которую же больше?.. Сердце шепчетъ: *тебя*, а долгъ и клятва кричатъ мнѣ: *Польшу! Польшу!* ее одну и никого и ничего болѣе!.. Такова наша суровая, историческая заповѣдь. Нужно только безконечно жалѣть и сокрушаться о томъ, что есть въ жизни народа такіе неспиримимыя положенія, когда отдѣльная личность, даже помимо собственной воли, насильственно принуждена разрывать самыя дорогія свои связи и отношенія. Такъ точно и со мною. Пожалѣй же обо мнѣ, моя Сусанна!

«Я не хотѣлъ тебѣ говорить и объяснять причину, а вышло вотъ какъ-то, что сказалось даже гораздо болѣе, чѣмъ бы слѣдовало. Не оставляй у себя этого письма и никому не говори про него. Самое лучшее: прочти, пойми его сердцемъ и сожги, чтобъ и слѣдовъ не осталось. Это моя послѣдняя просьба. А *послѣднія* просьбы всегда исполняются строго.

«Нѣтъ, есть и еще одна: прости, благослови заочно и люби меня, какъ умѣла любить до этой минуты. Авось еще и не все кончено! Авось еще встрѣтимся, но только дай Богъ, чтобъ на радость и счастье!»

Онъ дописалъ. Быль седьмой часъ въ началѣ. Лакей уже проснулся и подметалъ въ столовой. Бейгушъ, со всевозможною осторожностью, прошелъ въ спальню и положилъ письмо на туалетѣ, такъ что оно прежде всего должно было кинуться въ глаза женѣ, когда она встанетъ съ постели.

Сусанна спала тихо и безмятежно, сладкимъ утреннимъ сномъ, подложивъ обнаженную красивую руку подъ свою розовую щеку.

Затаивъ дыханіе, безъ малѣйшаго движенія,

Бейгушъ глядѣлъ и любовался на нее влюбленными глазами.

Наконецъ-таки не осилилъ себя: приблизился къ постели и съ жуткимъ чувствомъ въ душѣ приникъ трепещущими губами къ щекамъ жены.

Сусанна не-хотя раскрыла глаза, увидѣла мужа, и думая, что онъ уже всталъ за тѣмъ, чтобы по обыкновенію отправляться въ свою батарею, улыбнулась ему и, повернувшись на другой бокъ, тотчасъ же снова заснула.

Послѣ этого Бейгушъ спѣшно одѣлся у себя въ кабинетъ и ушелъ изъ дому. Онъ отправился

къ Чарыковскому, который лично хотѣлъ проводить его на желѣзную дорогу.

Утро стояло свѣтлое и свѣжее. Ночью шелъ дождикъ, и разорванные тучи плавали еще по небу, но солнце блистало ярко и радостно, словно привѣтствуя и маня своимъ блескомъ отходящаго въ трудный и темный путь.

— Ну!.. *alea jacta est!*—съ глубокимъ и полнымъ вздохомъ сказалъ себѣ Бейгушъ. — Да, жребій брошенъ! Подготовительный періодъ нашъ конченъ. Теперь—борьба! На арену выступаютъ двѣ силы... Что-то будетъ? Что-то выйдетъ?... Но... вернуться уже нельзя, невозможно: *alea jacta est.*



ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Сюрпризъ на пути въ Варшаву.

Станція Луга. Двадцать-пять минутъ. Буфетъ!

Хвалынцевъ вышелъ изъ вагона и, вмѣстѣ съ толпой алчущихъ и жаждущихъ пассажировъ, направился въ залу, гдѣ дымящіяся блюда разнообразныхъ снѣдей, среди столовъ, покрытыхъ свѣжимъ бѣлымъ, яснымъ хрусталемъ, бутылками и цвѣтами, такъ вкусно и привѣтливо манили къ себѣ взоры и аппетитъ проголодавшихся путешественниковъ.

Онъ спросилъ себѣ обѣды и, съ торопливостью—по большей части свойственною непривычнымъ желѣзно-дорожнымъ путникамъ, которые боялись опоздать при роковомъ звонкѣ—принялся нстрѣблять поданныя ему блюда.

Но не успѣлъ онъ еще изрядно потрудиться надъ крыломъ пулярки подъ рисомъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то сзади хлопнулъ его по плечу самымъ пріятельскимъ образомъ.

Константинъ обернулся и просто ошалѣлъ отъ изумленія.

Предъ нимъ стоялъ и улыбался Свитка, воочию тотъ самый Свитка, который давеча проводилъ его на желѣзную дорогу и простился, такъ что Хвалынцевъ былъ убѣжденъ, что посвятитель и менторъ его остался въ Петербургѣ, а онъ вдругъ—на тебѣ!—черезъ четыре часа пути является тутъ какъ тутъ, неожиданный, негаданный.

— Вы какими судьбами?—пробормоталъ изумленный Константинъ Семеновичъ.

— Хм... Не судьбами, батюшка; судебъ вообще нѣтъ, а есть желѣзныя дороги и непредвидимыя случайности, и вотъ въ силу одной изъ таковыхъ случайностей я и ѣду съ вами.

Хвалынцевъ недоувѣрчиво поглядѣлъ на него.

— Но вѣдь вы же, провожая меня, сколько я понимаю, никакъ не располагали отправиться вмѣстѣ?—замѣтилъ онъ,—и вдругъ...

— И вдругъ отправился!.. ха, ха, ха... оно точно чудно немножко, но... въ нашемъ дѣлѣ, батюшка, случается иногда непредвидимыя и совершенно неожиданныя случайности: одна изъ такихъ, говорю вамъ, и постигла меня.

— Но когда же, наконецъ, она успѣла васъ постигнуть, если вы, не думая ѣхать, простились со мною за три минуты до отхода машины?

— А вотъ въ эти-то три минуты и постигла.

— Дѣйствительно чудно... Нельзя не согласиться!—съ скептической улыбкой замѣтилъ Хвалынцевъ.—Куда же вы ѣдете?

— По пути съ вами.

— Я это вижу, но далека ли ваша путь?

— О, еще пространствуемъ малую толику! Я ѣду въ Литву.

— Надолго?

— Мм... смотря по тому, какъ потребуютъ обстоятельства... Впрочемъ, не думаю, чтобы надолго: недѣли на полторы, на двѣ—не болѣе.

— И что же, это вы сами надумали ѣхать?

— Напротивъ, я и не воображалъ. Меня послали.

— Хм...

И кромѣ этого «хм!» Хвалынцевъ ровно ничего не нашелъ отвѣтить ему, хотя въ душѣ и подумалъ себѣ, что тутъ что то не такъ...

Въ душу его закралось темное подозрѣніе: ужъ не съ тою ли, молъ, цѣлю, чтобы слѣдить за каждымъ его шагомъ, приставленъ къ нему этотъ Свитка?—«Чего добраго, они, можетъ, думаютъ, что я обману ихъ довѣріе, что я измѣню имъ, и потому такъ зорко слѣдятъ за мною?» думалось ему. «Хм... Ну, все равно, пусть слѣдятъ, осторожность, говорятъ, не мѣшаетъ».

— Вы вѣдь во второмъ классѣ ѣдете?—отнесся къ Хвалынцеву Свитка.

— Во второмъ.

— А я въ третьемъ. Я и билетъ-то себѣ взялъ только на Царскосельской станціи, а дотуда заплатилъ уже въ вагонѣ оберъ-кондуктору.

— И какъ-же вы это такъ — безъ бѣлья, безъ вещей, безо всего?

Свитка только улыбнулся и беззаботно махнулъ рукою.

— Есть мнѣ когда думать о такихъ пустякахъ! — сказалъ онъ. — Были-бы деньги со мною, а прочее все вздоръ! Сорочку лишнюю куплю себѣ въ Вильнѣ, въ первомъ попавшемся магазинѣ, а не то и добрые люди одолжатъ на время, а больше мнѣ ничего и не надо. Послушайте!—какъ бы подѣ впечатлѣніемъ новой мысли, предложилъ онъ Хвалынцеву. — Пересаживайтесь-ка вы мнѣ въ третій! Въ третьемъ, конечно, менѣе комфорту, но за то гораздо веселѣе и занимательнѣе. Ей-Богу! Третій классъ не лишенъ даже своего рода поучительности. Садись-ка право! А когда захочется спать, для пушаго комфорту, пожалуй, и я тогда съ вами во второй переберусь.

Хвалынцевъ согласился, и они поѣхали вмѣстѣ.

«Чортъ ихъ знаетъ», думалъ себѣ Константинъ Семеновичъ. «Это какой-то своего рода театральнѣйшій эффектъ, такое неожиданное появленіе; какъ будто этого нельзя было сдѣлать гораздо проще?! Или же они, въ самомъ дѣлѣ, слѣдятъ за мною?.. Но, если вѣрить имъ, въ ихъ дѣлѣ участвуютъ многія тысячи людей, а надъ каждымъ изъ этихъ тысячъ возможно ли устроить такой зоркій и бдительный контроль? Что-же касается меня», пришелъ онъ къ скромному заключенію, «то я пока еще вовсе не такая важная птица въ этомъ дѣлѣ, чтобы за мною нужно было слѣдить особо. Не разберешь!»

И дѣйствительно, разобрать ему всю эту путаницу было невозможно, хотя, въ сущности, ларчикъ открывался просто. Дѣло въ томъ, что изъ «Петербургскаго центра» Свитка, дня за три до отъѣзда Хвалынцева, дѣйствительно получилъ порученіе съѣздить въ Литву для нѣкоторыхъ совѣщаній и переговоровъ съ мѣстными «филиями», а за-одно ужъ ему было поручено еще и прослѣдить за Хвалынцевымъ, убѣдиться въ окончательной прочно-

сти его намѣреній и убѣжденій и, такъ-сказать, проконвоировать его подѣ своимъ личнымъ досмотромъ до возможно дальнѣйшаго пункта, пользуясь этимъ временемъ, между прочимъ, и для того, чтобы пуше и пуше укрѣплять его мысли, волю, желаніе и убѣжденіе на новой почвѣ общаго дѣла. Агенты святой народной sprawy никогда не упускали даже малѣйшаго случая въ этомъ направленіи, если только случай представлялъ имъ къ тому мало-мальскую возможность и удобство. Но... Свитка и не подозрѣвалъ, что именно его-то послѣдняя миссія и заронила въ душу новаго адепта первое сѣмя сомнѣнія.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ, — весело и радушно предложилъ онъ какъ-то во время пути, — вѣдь и для васъ, и для дѣла, въ сущности, рѣшительно все-равно, пріѣдете ли вы въ Варшаву нѣсколькими днями раньше или позже; никто отъ этого, при настоящемъ положеніи дѣла, ни выиграетъ, ни проиграетъ, могу васъ смѣло увѣрить въ томъ моимъ словомъ. А я вамъ хочу предложить одну маленькую, но очень пріятную экскурсію.

— Что такое?—съ нѣкоторымъ недовѣріемъ спросилъ Хвалынцевъ, уже невольно ожидая еще какого-нибудь новаго сюрприза.

— А вотъ что: хотите вы познакомиться съ нашею милою патріархальною Литвою?—предложилъ Свитка. — Могу васъ увѣрить, знакомство это ни въ какомъ случаѣ не будетъ для васъ лишнимъ. Край превосходный, и посмотрите, какъ онъ дивно настроенъ! Вотъ ужъ именнно, батюшка, если гдѣ можно съ пользой для дѣла поучиться чему-либо, такъ это у насъ, въ Литвѣ! Мы съ вами пробѣжали-бы немного по краю, побывали-бы у кой-какихъ помѣщиковъ... Поглядите на нихъ... Можетъ, и понравятся вамъ... А что за женщины! О, какія женщины, чортъ ихъ возьми! Ей-Богу, поѣдьте!—соблазнялъ Свитка. — Побываемъ мимоѣздомъ въ Вильно, въ Гродно, вы тутъ по крайней мѣрѣ воочию посмотрите, что такое были наши польскіе да и вообще европейскіе города въ XVII и XVIII вѣкѣ; вѣдь тамъ, батюшка мой, чуть не на каждомъ перекресткѣ что ни домъ, то цѣлая исторія двухъ столѣтій! Да и вообще знакомство съ цѣлымъ краемъ, въ общей суммѣ знаній, вещь далеко не лишняя, а жизнь и путешествіе намъ почти ничего не будетъ стоить—развѣ сущую бездѣлицу... И такъ, рѣшайте-ка!—подавъ онъ въ заключеніе свою руку. — Поѣдемъ, тѣмъ болѣе, что все это продлится дней пять-шесть, ну, много недѣлю, но ужъ никакъ не дольше.

Хвалынцевъ, послѣ нѣсколькихъ соблазнительныхъ увѣщаній, далъ ему слово.

II.

Впечатлѣнія по дорогѣ Литвою.

Пески, болота, тощія рѣченки, тощія пашни на глинистомъ или песчаномъ грунтѣ, сосновые лѣса и тоже большею частію на пескѣ; верескъ да очеретъ, опять пески и пески, опять лѣса, лѣса и болота; убогенькія и словно пришибленные къ землѣ сѣрые деревюшки; убогіе и точно также пришибленные пѣз-сѣра-бѣлые крестьяне, которые при встрѣчѣ съ противнымъ-немужиномъ уничиженно обнажаютъ головы; тощія маленькія лошаденки рыжей масти; жиды на подводахъ съ бочками водки; нпщѣ при дорогамъ; на-бѣло вымазанныя глиною корчмы съ жидами и жиденятами; кое-гдѣ на выгонахъ убогая скотинка; свиньи подъ каждымъ заборомъ, въ каждой деревенской лужѣ; высокіе кресты на плѣшинахъ песчаныхъ пригорковъ, обозначающіе убогія, необнесенныя оградами кладбища; такіе-же высокіе кресты, тамъ и сямъ разбросанные по полямъ, вблизи и вдали, на сколько хватить око, цѣлыя группы крестовъ при деревенскихъ околицахъ; кое-гдѣ аллея пирамидальныхъ тополей при вѣздахъ въ панскую усадьбу; высокіе, бѣлокаменные, крытые черепицею, двухбашенные костелы и низенькія, убогія, почернѣлыя, покосившіяся на богъ православныя церкви; сытый, усатый панъ въ нетычанкѣ; самодовольно выбритый ксендзъ на сытой лошади и грязно, убого одѣтый священникъ пѣшкомъ или въ хлопскомъ «полукóшкѣ» — голъ, нищета, какой-то гнетъ, какаля-то безконечно-унылая, безпросвѣтная пришибленность, забитость, скудость во всемъ и повсюду, — вотъ то неприглядное впечатлѣніе, которое съ перваго взгляда сдѣлала эта хвалецкая «Литва» на свѣжую душу Хвалынцева, привыкшаго доселѣ къ широкимъ картинамъ великорусской, поволжской жизни. Онъ не воздержался, чтобы не высказать эти впечатлѣнія своему спутнику.

— Хм! — злобно и не безъ горечи ухмыльнулся въ отвѣтъ ему Свитка. — Васъ поражаетъ пришибленность! а кто довелъ край до такого положенія, какъ не русское правительство?

— Но, позвольте-съ, — не совсѣмъ смѣло на первый разъ возразилъ Хвалынцевъ, желая сдѣлать возраженіе свое и поделкатнѣе, но въ то же время такъ, чтобы въ немъ и нѣкоторая доля «самостоятельности» проглядывала. — Позвольте-съ, вѣдь то же самое правительство и въ великорусскихъ губерніяхъ, а разница межъ тѣмъ сильно замѣтна.

— Хм... И то да не то!.. Оно такъ только кажется. Свой своему по неволѣ братъ, а здѣсь вѣдь край чужой, заграбленный — ну, такъ и дави его! Чего жалѣть-то! Въ этомъ-то и вся пехитрая правительственная система.

— Ну, нельзя сказать, помѣщики на видѣ у васъ глядѣтъ-таки сытенько, а крестьянинъ вонъ только подгулялъ на этотъ счетъ, — замѣтилъ Хвалынцевъ.

Свитка, съ коварной усмѣшкой, какъ будто согласился въ душѣ съ возраженіемъ Хвалынцева, но нарочно, посвистывая, отвернулся въ сторону и сдѣлалъ видъ, будто не разслышалъ или не обратилъ вниманія на заключенія своего спутника.

— Но ужъ, надѣюсь, вы никакъ не станете утверждать, — началъ онъ черезъ минуту, — что это край русскій. Худо ли, хорошо ли, но это у насъ свое, самобытное, литовское! Да-съ! Возьмите хоть самую внѣшность края, возьмите ее вы, человекъ мимоѣзжій, чужой, и скажите по совѣсти: представляется ли все это вамъ краемъ русскимъ? Развѣ хоть эти вонъ кресты, эти костелы не говорятъ вамъ прямо, что здѣсь католицизмъ и Польша?

Въ это самое время, какъ будто нарочно, неподалеку въ сторонѣ, показалась убогаго, жалкаго вида православная церквушка съ покосившимся восьмиконечнымъ русскимъ крестомъ.

— Что это, костель? — обратился Хвалынцевъ къ подводчику.

— Гэто?... нѣ, паночку, гэто церква! — указалъ тотъ на убогій срубъ своимъ кнутикомъ.

— Ну, а это-то какъ же? — съ пытливымъ сомнѣніемъ взглянувъ на Свитку, возразилъ Хвалынцевъ. — Попы да церкви-то какъ же?

Свитка съ проницательнымъ пренебреженіемъ подфыркнулъ и скосилъ свои губы.

— Пфе!.. Ну, ужъ нашли возраженіе! — сказалъ онъ. — Попы!.. Да вѣдь эти всѣ попы или посажены сюда вашимъ же правительствомъ, или насильно обращены изъ униатовъ! Правительство и церковей настроило, обману ради. Тоже вѣдь своя пропаганда. Но только обмануть-то ему никого не удастся.

Хвалынцевъ замолчалъ и на минуту погрузился въ нѣкоторое раздумье.

— Но отчего же эти церкви въ такомъ жалкомъ видѣ, если правительство настроило ихъ ради пропаганды? — снова принялся онъ упорно возражать, воображая тѣмъ самымъ поддержать свою самостоятельность и независимость мнѣній. — Вѣдь для такой пропаганды, которая дѣйствуетъ обманомъ, нуженъ блескъ прежде всего?

— Отчего-съ? А оттого, что здѣсь крестьянство и весь народъ вообще душой преданъ католицизму либо же бывшей униі и ненавидитъ всѣхъ православіе, — горячо заговорилъ Свитка, какъ бы заранѣе предчувствуя торжество своей аргументаціи. — Оттого, что въ костель идетъ народъ охотой, а въ церковь по полицейскому принужденію, закономъ. На благоустройство костела жертвуетъ и панъ, и хлопъ свою лишнюю копейку, а на церковь никто вамъ ни гроша не дастъ, а ремонтныя деньги, что идутъ на поддержку отъ прави-

тельствва, благочинные да попы въ свой карманъ кладутъ, да на бумагѣ фантастическіе итоги выводятъ. Вотъ вамъ и причины этого «жалкаго вида», да и вообще православная церковь жалка и бѣдна здѣсь потому, что она чужда всѣмъ и каждому, а костелъ здѣсь свой, и свой потому, что въ немъ польская вѣра, польскій духъ, а на ихъ сторонѣ всѣ народныя симпатіи, и вы это увидите, вы сами убедитесь въ этомъ. Вотъ, погодите, поѣдемъ мы съ вами по помѣщикамъ. Вѣдь вы имѣете, конечно, понятие о томъ что такое вашъ великорусскій помѣщикъ?—спросилъ Свитка опять-таки съ какимъ-то затаеннымъ коварствомъ въ душѣ, съ какою-то внутреннею двусмысленностью и вообще не безъ задней мысли.

— Отчасти-съ. Самъ вѣдь тоже принадлежу къ ихъ лику,—отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, да вы-то исключеніе. А вотъ вы посмотрите-ка на нашихъ! Это, батюшка мой, по общему убѣжденію, дѣйствительно представители краевой интеллигенціи и цивилизаціи; тутъ хоть и патріархальность, но въ ней есть движеніе, жизнь есть, отсутствіе косности. Да впрочемъ что! Я хвастаться не хочу, а вы лучше сами увидите, сами посмотрите отношенія ихъ къ общему дѣлу, и вотъ въ чемъ именно задатки нашего будущаго успѣха. Вся Польша, вся Литва, это какъ одинъ человѣкъ!

Просвѣщая такимъ образомъ своего спутника, Свитка чуть ли не всю дорогу избиралъ Литву и мѣстныя отношенія почти исключительно своихъ разговоровъ, и, пока они были другъ подлѣ друга, нельзя сказать, чтобы старанія Свитки оставались безплодными; онъ имѣлъ преимущество компетентнаго абorigена предъ мимоѣзжимъ пришлецомъ, и Хвалынцевъ по неволѣ вѣрилъ, если не всему, то очень и очень многому, потому что прежде всего онъ вѣрилъ въ безусловную честность самого Свитки, и если порой наплывала на него нѣкоторая тѣнь сомнѣнія, то онъ старался гнать ее, какъ чувство недостойное порядочнаго челевѣка, разъ уже отдавнагося душой извѣстному «дѣлу».

III.

Въ корчмѣ.

— Мы съ вами, любезный другъ, ѣдемъ теперь къ пану Котырло—старый мой добродѣй и золотая душа!—сообщилъ на послѣдней смѣнѣ лошадей Василій Свитка, который, по наблюденіямъ Хвалынцева, съ тѣхъ поръ какъ охватило его литовскою жизнью и природой, какъ сталъ дышать роднымъ литовскимъ воздухомъ, сдѣлался какъ-то слащавѣе, сентиментальнѣе, словно этотъ воздухъ и природа умаслили и размягчили его дупу. О всемъ литовскомъ онъ говорилъ и вспоминалъ не иначе какъ съ по-

хвалой и нѣкоимъ сладостнымъ умиленіемъ. «Чувство родины», думалъ про-себя Хвалынцевъ, и потому мало въ чемъ перечилъ ему относительно «Литвы» и ея прелестей.

— Кто этотъ панъ Котырло?—полюбопытствовалъ узнать Константинъ Семеновичъ.

— Э, золотая душа!—подтвердилъ Свитка—Чуть-чуть не магнатъ, батюшка! былъ два трехлѣтія понятѣвымъ маршалкомъ! И родство, и связи, и состояніе! Очень старая дворянская фамилія! А ужъ какъ насъ примутъ!

— Да за коимъ чортомъ, скажите пожалуйста, мы къ нему поѣдемъ?—перебилъ его Хвалынцевъ, который, зная Свитку за демократа и краснаго, недоумѣвалъ что ему дѣлать у пана Котырло, «чуть не магната», съ родствомъ, связями и состояніемъ.

— Для васъ это должно быть вопросомъ совершенно равнодушнымъ,—замѣтилъ Свитка.—А впрочемъ, недурно будетъ, если вы сами посмотрите на быть и жизнь нашего шляхетства. Лишнее знакомство въ этомъ отношеніи не мѣшаетъ, и даже будетъ полезно.

При этихъ словахъ Хвалынцевъ опять-таки уловилъ въ лицѣ пріятеля мимолетную улыбку затаеннаго каварства. Ему показалось, какъ будто у этого Свитки есть на душѣ своя особая идея, особая цѣль, особые планы, которыхъ онъ не высказываетъ, но словно жаждетъ *подвести* подо что-то своего пріятеля и заставить его самого доглядѣться и додуматься *до чего-то*.

* * *

Часовъ около восьми вечера путники наши выѣхали въ мѣстечко Червлёны, которымъ владѣлъ панъ Котырло. Сквозь приясло осенняго тумана, Хвалынцевъ замѣтилъ обширную, четырехстороннюю площадь, по краямъ которой вкривь и вкосъ лѣпились то сѣрые, то выбѣленные домишки, а по срединѣ смутно вырисовывались двѣ башни надъ темной массой каменнаго костела. Свитка приказалъ подводику ѣхать въ «заѣздный домъ».

Деревянный домишко, къ которому съ одной стороны прилѣпилась сквозная галлерея на покосившихся столбикахъ, а сзади, подъ одною и тою же кровлею, примкнулъ сарай для воевъ и лошадей, представлялъ собою и заѣзднй дворъ, и корчму, и клубъ для мѣстнаго населенія.

Сыроватый туманъ отъ людского дыханія и тютюновый дымъ, ошибающій запахъ сивухи, бочка которой лежала на видномъ мѣстѣ, нѣсколько сѣрыхъ фигуръ за большимъ столомъ и на лавкахъ вдоль стѣнъ, тускло освѣщаемыхъ, сквозь чадный туманъ, мутнымъ свѣтомъ коптящагося каганца; неопредѣленныхъ лѣтъ грязная шинкарка-жидовка; визгъ и вой нѣсколькихъ жиденятъ, малъ-мала меньше, да суетящійся жидъ, который обрадовался пріѣзду новыхъ постояльцевъ, въ сладкой надеждѣ на барыши съ ихъ постоя, — вотъ что встрѣтило

Хвалынцева, чуть только онъ переступилъ порогъ «заѣзднаго дома».

Смежная комната, куда нашихъ путниковъ проводилъ суетливый еврей, носила названіе «панской» и отличалась относительно чистотою. Крашеный столъ, два прежесткіе дивана, три-четыре стула грубой работы, да кривое, до невозможности засиженное мухами. зеркало составляли его убранство, къ которому надо присоединить еще и тѣ старыя, и тоже до невозможности засиженные мухами литографіи, какія только и можно еще встрѣтить по заходутнымъ заѣзжимъ домамъ да на почтовыхъ станціяхъ. Тутъ уже менѣе ошибало сивупнымъ масломъ, но зато господствовалъ характеристичный еврейскій запахъ чернушки, безъ сѣмянъ которой не пекутся еврейскія булки.

Предоставивъ Хвалынцеву располагаться здѣсь какъ хочетъ со всѣмъ дорожнымъ скарбомъ, Святка тотчасъ же приказалъ проводить себя въ панскую усадьбу.

Не раздѣваясь, Хвалынцевъ разлегся на одномъ изъ жесткихъ дивановъ и, какъ человѣкъ, которому ровно нечего дѣлать и который достаточно усталъ съ дороги для того, чтобы думать о чемъ либо, сталъ разсѣянно глядѣть въ полуоткрытую дверь и невольно прислушиваться къ разговору въ смежной горницѣ. Говоръ былъ пьяноватъ, и потому достаточно громокъ.

На сколько Хвалынцевъ могъ замѣтить мелькомъ, тамъ сидѣло нѣсколько крестьянъ, и между ними человѣкъ лѣтъ подъ-сорокъ, который и наружностью, и манерами своими старался приблизиться къ типу мелкаго шляхтича-офиціалиста. По его жилеткѣ и длиннополому сюртуку, по его смазнымъ сапогамъ, усамъ и бакамъ, спускавшимся подъ подбородокъ, почти безошибочно можно было заключить, что этотъ субъектъ, котораго мужики не безъ нѣкоторой почтительности титуловали «добродѣемъ, мопанковмъ и паномъ Михаломъ», принадлежитъ либо къ числу приказчиковъ вотчинной панской конторы, либо же просто къ панской дворовой челяди.

— Цяпѣръ ни ни!.. Цяпѣръ воля!—разглагольствовалъ одинъ изъ пьяненькихъ крестьянъ, энергически ударяя по краю стола закорузой ладонью. — Треба тольки Богу та Цару дяковаць што вызволиу!

— Ябъ лму ще й большъ подзяковау, кабъ іонъ мяне вызволиу спады Янкеля!—замѣтилъ на это другой, неменѣе пьяненькій крестьянинъ, намекая не безъ задней мысли на суетливаго корчмаря-еврея. — Спакуль панъ не зъбу, то Янкель зъѣсць! Заусимъ сьѣсць, бадай лму!..

— Н-н-ну?—гнусаво и не безъ претензіи на амбицію протянулъ Янкель съ характерно-еврейской растяжкой и пѣвучестью. — Скажигъ спизжалуста, Янкель изъѣлъ. Зацѣмъ я тиби изъѣлъ и што я изъѣлъ? Н-н-ну?

— Чаго «ну»!—азартно приподнялся мужикъ. — Ты у мяне за сколькои квартоу мого пол-кавалка зямля на рокъ узюу? га?.. За дзевяць квартоу? А я цябѣ засѣлау, тай зяну хлѣбъ, тай пазвазюу у пуню за сколькои квартоу? га?.. За три?.. Уся моя праца тай увесь мой хлѣбъ за двадцать квартоу пайшоу! А цяпер мянѣ ажъ на полкварты вѣры нема! А большъ таго празъ цябѣ пропасць повинентъ и заусимъ, зъ дзѣцямі! Усѣ гаспадарство гѣтъ до чорта! А усѣ празъ цябѣ!

— Не ты адзянѣ, куме! И усѣ такъ-то! Усѣ пады Янкелемъ! и усѣ спады Янкеля живуць!—примирительно замѣтилъ третій, съ безнадежностью махнувъ рукою, словно желая выразить, что таковой порядокъ вещей предопредѣленъ уже свыше непреклонной судьбой и ничего, значитъ, противъ него не подѣлаешъ.

— Н-ну-у? Хай зконка несе штуку халсины, я цебѣ дамъ ажъ цалу кварту!—свеликодупничалъ Янкель.

Мужикъ только взглянулъ на него изъ подлбья и, укоризненно помотавъ головой, въ безсильной и сдержанной злобѣ отвернулся въ сторону. Очевидно, у жинки не было уже въ запасъ лишней штуки холста, за которую Янкель столь соблазнительно сулилъ цѣлую кварту водки.

— Павѣръ на бирку? Ну што, бачъ, табе!—убѣждалъ Янкеля кумъ примиритель, которому тоже весьма желательно бы было распить съ кумомъ по лишней чаркѣ.

— На биркѣ?—ухмылялся Янкель. —А он-то и сито такого?—краснорѣчиво указалъ онъ на дверной косякъ, на которомъ въ длинномъ рядѣ сдѣланныхъ мѣломъ черточекъ послѣдовательно отмѣчалось количество отпущенной въ долгъ водки. —Болшъ на биркѣ а ни ниць!

— А сколько ты наддау? Какъ мы не знали таго! — аллегически убѣждалъ кумъ, намекая корчмарю на самовольныя и плутовскія прибавки черточекъ на дверномъ косякѣ.

— Н-ну, малчи, сшволачь! — презрительно возвысилъ тотъ голосъ и отвернувшись, явно показывая видъ, что не намѣренъ долѣе продолжать разговоръ съ такими грубыми мужиками.

— Пачайкайце, панове! Я вамъ пагажду!—вмѣшался дворовый. — Гей, Янкель! Ставь кварту за мяне! Дай Боже на здарѣе панѣмъ, бо кабъ не панъ, дакъ бы и горѣлки не пакупиць!

— Але?!—протянулъ одинъ изъ мужиковъ, кидая вопросительный взглядъ на двороваго. — Чи ще й мало было батоуу?

— А што-жъ іонъ сблаговаль гля цябе? ') вступился дворовый.

— А нѣ? не сблаговаль?—насунивъ брови, горячо возразилъ пьяненькій и потому расхо-

1) Сблаговать—причинять какую либо мерзость, сдѣлать недоброе.

дивнѣйшій кумъ. — Што было шкоды якой, то усё адъ няго! Нада прауду казаць! Насъ было у бацкі три сыны — ледва усьхъ трохъ у солдаты непоздавау, тай то двоухъ здау, адзинъ л застау, бо падъ мѣрку не падайшоу, а тобъ бацьку зъ маткой по міру хадзиць! А сколько батоуоу празъ егѡ-мосць изъѣу! А цѣснотѡ, а бѣднотѡ! А дѣбучатъ сколько пашкодзиу намъ? Ой, та што тамъ, Боже мой... Млѣстно й гутариць! ¹⁾ Панъ!.. Не панъ а чортъ іонъ быу глѡ насъ! От-што!

— Гѣто такъ, такъ! — одобрительно подтвердили нѣкоторые изъ состояльниковъ; — прауду кажучи, треба вяльми Богу та Цару дзяковаць за волю, бо цяперъ хоць батожиць, може, не будуць; а й то згоднѡ! ²⁾.

— А усё жъ безъ панѡу Царъ недау бы и воли, бо панамъ такъ схацѣлось, кабъ хлопѡ вольны были, отъ Царъ и зрабу по паньскому! — на перекоръ общему мнѣнію возразилъ дворовый, очевидно принявшій на себя защиту панскихъ интересовъ.

— Ай, што брехаць непутнѡ! — махнувь рукой, какъ на пустыя рѣчи, выкрикнулъ пьянѣнкій кумъ. — Паны!.. А што-жъ паны упародъ не хацѣли кабъ намъ воля была, а цяперъ удругъ схацѣли яну?.. Сь чаго жъ такъ?.. Полна, добрадзѣю.

— Нашъ панъ заусягды хацѣу! — упорно отстаивалъ панскій защитникъ.

— Нашъ панъ?.. Ге-ге!

При этомъ возраженіи хлопѡ — себѣ на умѣ — только усмѣхнулись.

— Але! — подтвердилъ дворовый, — бо іонъ сильно магуць панъ и багатъ незличито! И есць у няго много й золота, й сярэбра, й бумажны манеты, и іонъ якъ захоче, то усьхъ свайхъ хлопоу адзалазиць! Нада только зъ имъ пакорна абхадзицца та слухаць яго воли: што укаже, то й мусимъ рабиць, и усимъ намъ зъ таго згода будзе!

— А то такъ... такъ, такъ! — поддакнулъ и Янкель, — бо взже іонъ вельки панъ! И усцѣ и сцѣ захоцѣть, то изъ вамъ й издѣлаиць! И сшамъ панъ ассессорѣ ³⁾ и сшамъ панъ шпрачникъ, и усцѣ началство зподъ пана зживуць, и сшамъ энгераль-губернаторъ изъ имъ вельки шпѣціулекъ! Ну-у, и сцѣшошъ ви тутъ гворитю!

— Пачайкайце, панове! Пачайкайце трошку! — не безъ нѣкоторой восторженности сталъ жестикулировать дворовый, возвысивъ свой голосъ. — Паны хацяць кабъ скарѣйшъ наврацилася Польша, и якъ только яна наврацицца, намъ усьмъ тоды жиць будзе, якъ нетреба найлепшъ! ⁴⁾ Уся зямля наша, уся воля наша, ни начальства, ни падушныхъ, ни чѡго не будзе, а буд-

земъ мы усѣ роуно якъ паны! Кабъ толькѡ Польша!..

— Польша!.. Ге-ге! — возразилъ ничѣмъ недовольный и во всемъ скептический кумъ. — Дѣдъ мой помѣрь ще за й за тридцать рокоу, такъ я ще тодысь памятуу, іонъ сказувау яка така была та Польша, бадай яну черци драли! Щей й горшъ было, якъ при панщизнѣ!

— Ну, горшъ панщизны не може й быць! — замѣтили нѣкоторые.

— А забій мяне Богъ, калѡ не горшъ! Старѡ людѣи кажуць! Старѡ людѣи не ашукѡюць ¹⁾. Яны лепшъ, якъ мы памятууць сабѣ.

Въ это время изъ усадьбы приближалъ казачекъ звать Хвалынцева въ домъ, такъ что Константинъ лишился уже возможности быть невольнымъ слушателемъ разговоровъ, имѣвшихъ для него даже нѣкоторую долю поучительности. Наскоро поправивъ свой туалетъ, онъ пошелъ вслѣдъ за казачкомъ, думая себѣ: «ну, каковъ-то этотъ панъ Котырло?»

Пьяныя рѣчи корчемной публики на много противорѣчили тѣмъ розовымъ картинамъ, которыя рисовались столь идиллически-яркими красками въ рассказахъ Василія Свитки. Все то, что изъ-за полупритворенной двери удалось Хвалынцеву разслушать въ этой пьяной, но не лишенной смысла бесѣдѣ, навело его на нѣкоторыя мысли, породившія въ душѣ еще и еще нѣсколько зачатковъ новыхъ сомнѣній. Противорѣчіе выходило явное. Свитка говоритъ, что между хлопомъ и помѣщикомъ дружба, любовь, согласіе и взаимная поддержка, а рѣчь подгулявшаго хлопа дышитъ неудержимою ненавистью къ благодѣтелю пану. Свитка говоритъ, что народъ ненавидитъ русское правительство, а пьяный хлопъ тепло благодаритъ Русскаго царя за волю, въ которой пока еще, — да и то сомнительно, — видитъ единое лишь благо, что, можетъ, теперь паны не станутъ уже больше его батожить. Свитка говоритъ, что народъ спитъ и видитъ, какъ бы поскорѣй возвратилась прежняя Польша съ ея порядками, а пьяный хлопъ проклинаятъ эту желанную Польшу хуже чѣмъ недавнюю барщину. Свитка говоритъ, что у здѣшняго народа нѣтъ ровно ничего общаго съ народомъ великорусскимъ, а между тѣмъ онъ, Хвалынцевъ, отлично съ перваго разу понимаетъ рѣчь этого народа, которая отличается только нѣкоторыми мѣстными особенностями. Свитка говоритъ, что здѣсь вездѣ и во всемъ чистѣйшая Польша, вѣсть польскій духъ, звучитъ польская рѣчь, а между тѣмъ онъ, Хвалынцевъ, вмѣсто польской рѣчи слышитъ бѣлорусскій, родственный по духу и смыслу говоръ; польскій же духъ находитъ только въ дворовомъ челоуѣкѣ, да отчасти въ шинкарѣ-евреѣ, которые оба по своему положенію терлись и трутѣли болѣе около панства, приходятъ съ панствомъ

¹⁾ Млѣстно — тошно.

²⁾ Згоднѡ — выгодно, удобно.

³⁾ Ассессоръ — становой приставъ.

⁴⁾ Найлепшъ — наилучшее.

¹⁾ Не ашукѡюць — не обмануть.

все-таки въ большее соприкосновеніе, чѣмъ хлопъ-земледѣлецъ, и потому дѣйствительно заражаются польскимъ духомъ. — «Но гдѣ же здѣсь собственно Польша?» — думаетъ себѣ Хвалынцевъ; «гдѣ же она? Въ этихъ придорожныхъ крестахъ? Въ этомъ костелѣ? Въ этой усадьбѣ развѣ?»

Онъ вступилъ въ широкій, обсаженный пирамидальными тополями панскій дворъ, и встрѣченъ былъ дружнымъ лаемъ собакъ, отъ которыхъ казачекъ ретиво отмахивался кнутикомъ, выгадывая такимъ образомъ безопасный проходъ своему спутнику.

IV.

„Палацъ сломяны“.

Длинный, низенькій, одноэтажный деревянный домъ, съ высокой соломенной кровлей, бока которой справа и слѣва были срубаны, — домъ съ выдающимся по срединѣ крыльцомъ, которое такимъ образомъ дѣлило его посредствомъ сѣней на двѣ равныя половины, взглянулъ на Хвалынцева изъ вечерней мглы рядомъ освѣщенныхъ окошекъ. По сторонамъ двора, вокругъ и около, можно было разглядѣть нѣсколько жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, въ какомъ-то хаотическомъ видѣ.

Едва вступилъ Хвалынцевъ въ сѣни и сталъ скидывать съ себя верхнюю одежду, какъ дверь изъ залы отворилась и на порогѣ ея, въ сопровожденіи Свитки, показался самъ панъ Котырло, и притомъ съ самымъ радушнымъ, предупредительнымъ видомъ.

Это былъ мужчина лѣтъ за пятьдесятъ, весьма еще бодрый и нѣсколько дородный, очень живо напоминавшій собою тѣхъ неслужащихъ дворянъ-помѣщиковъ, которые, большую часть своихъ досуговъ посвящая лошадямъ и собакамъ, арапникамъ и зайцамъ, стараются всю наружность свою, весь складъ свой, весь типъ свой приблизить къ типу лихихъ, старослуживыхъ отставныхъ майоровъ-поляковъ, которые любятъ, чтобы въ отставкѣ ихъ титуловали полковниками.

Панъ Котырло, пожимая обѣими руками руку Хвалынцева и весь расплываясь въ сладко-привѣтливой улыбкѣ, еще въ сѣняхъ обратился къ нему на французскомъ языкѣ съ привѣтствіемъ, которое заключалось въ томъ, что онъ душевно радъ видѣть у себя челоѣка родственной національности, съ которымъ познакомился уже заочно изъ рекомендаціи Свитки, и потому-де просить войти въ свой домъ, какъ въ домъ искренняго друга. Это привѣтствіе и весь складъ его, очевидно, были уже нѣсколько обдуманы заранее.

Хвалынцевъ вступилъ въ залу, гдѣ и былъ представленъ всему семейству. Ему тотчасъ

же съ самою предупредительною любезностью былъ предложенъ на почетномъ мѣстѣ, возлѣ самого хозяина, стулъ за длиннымъ чайнымъ столомъ, вокругъ котораго сидѣло теперь все общество. На столѣ было вдоволь наставлено разныхъ разностей: вареній и печеній, на которыя вообще такія мастерицы польскія хозяйки. Тутъ были и бабы, и мазурки, и сухарѣчки, и вендіана, и шинка, и палатки, и кишки, и колбасы—и все это въ большомъ изобиліи. Тутъ же красовались какія-то разнокалиберныя, сбродныя чашки, блюда и стаканы, и глиняная крышка со сливками, прямо съ погребца, и великолѣпнѣйшія тарелки стараго саксонскаго фарфора подъ жирными кишками и палатками, и простой молочникъ съ отбитымъ носкомъ и со склеенною сургучомъ ручкою.

Все семейство пана Котырло въ отношеніи Хвалынцева сразу же постаралось выказать самый радушный пріемъ.

Сама пани Котырлова—высокая худощаво-болѣзненная женщина, лѣтъ уже за сорокъ, постоянно хранила какъ бы нѣсколько обиженный и богомольный видъ, поджимала губы и закатывала порою глаза, но въ сущности казалась бабой не злою. Она держала себя съ нѣкоторою церемонностью, очевидно, желая изобразить собою особу весьма хорошаго тона. Подлѣ нея лежалъ ворохъ корпіи, которую она щипала очень тщательно, съ богомольнымъ видомъ сестры милосердія. Такіе же ворохи корпіи за этимъ столомъ Хвалынцевъ увидѣлъ еще предъ двумя или тремя особами. Двѣ дочери—двѣ панны Котырловны, прилежно заняты шитьемъ мужскихъ сорочекъ и портовъ изъ самаго грубаго холста, весьма напоминали собой пухлый, сдобный папушникъ домашняго печенья. Видно было, что онѣ съ младенчества и по сей день отлично выкормлены въ деревнѣ на сытыхъ помѣщичьихъ хлѣбахъ. Изъ себя довольно крупныя, сильно и здорово румяныя, востроглазыя и смѣшливныя, хотя и не очень-то граціозныя, онѣ постарались сразу завладѣть Хвалынцевымъ и, въ-перебой другъ дружѣ, обратились къ нему на польскомъ языкѣ съ банальнымъ вопросомъ: «давно ль онъ въ ихнихъ краяхъ и какъ нравится ему Польша?»—и только тогда лишь, какъ замѣтили, что гость ихъ затрудняется отвѣтомъ, не вполнѣ точно уяснивъ себѣ смыслъ любезныхъ вопросовъ, обѣ рѣшились повторить ихъ на языкѣ французскомъ.

— О, мы васъ будемъ учить по-польски. Непремѣнно будемъ!—тараторили обѣ Котырловны.—И мы васъ выучимъ! Навѣрно выучимъ! И отлично!.. Вѣдь вы же кое-что понимаете?.. Это такой прекрасный языкъ!.. Языкъ Мицкевича!

— Кое-что—да!—согласился Хвалынцевъ.—Въ нашемъ языкѣ есть много общаго съ русскимъ...

— Мм... то-есть съ *русинскимъ*, или вообще со славянскимъ, но не съ московскимъ, раз *avec la langue moscovite!*—замѣтили ему на это панны, оставшіяся какъ будто нѣсколько недовольны тѣмъ, что Хвалынцевъ заявилъ о сходствѣ польскаго языка съ русскимъ.

Онѣ, въ отношеніи своего гостя, съ первыхъ же минутъ пустили въ ходъ то особое, небольшое хитростное и небольшое суразное кокетство, которое свойственно большей части этихъ паненокъ, выросшихъ среди деревенскихъ усадебъ, промежъ окольныхъ заматерѣлыхъ сосѣдей, и все старающихся копировать, впрочемъ, по большей части весьма неудачно, одну изъ героинь Мицкевича, сентиментальную Зосю. ¹⁾ Тутъ было и стрѣлянье глазами, и наивничанье, вовсе не наивное, и нѣкоторое жеманство, съ претензіей походить на грацію котенка; но хорошаго во всемъ этомъ было, по крайней мѣрѣ, то, что оно казалось искренно. Видно было, что паненки наскучались въ деревнѣ и рады-радехоньки новому челоуѣку, да еще молодому, да еще и столь недурному собою!

Молодой паничъ, ихъ братецъ, являлъ изъ себя довольно красиваго, но упорно молчащаго юношу, въ длинныхъ сапогахъ и сѣрой чамаркѣ. Кромѣ этихъ лицъ, составлявшихъ семейство пана Котырло, тутъ же находилась еще не то племянница, не то сирота какая-то; потомъ еще нѣчто блеклое и сухопарое, въ родѣ бывшей гувернантки, а нынѣ—родъ компаньонки или ключницы. И та, и другая сидѣли за шитьемъ портовъ и сорочекъ, точно такъ же, какъ и обѣ паненки.

Когда Хвалынцевъ въ послѣдствіи, подѣ конецъ уже вечера, нескромно полюбопытствовалъ узнать, для чего собственно онѣ въ восемь рукъ столь прилежно занимаются шитьемъ изъ столь грубаго матеріала, то онѣ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ сперва значительно переглянулись между собою, а затѣмъ уже одна изъ паненокъ отвѣтила ему не совсѣмъ-то увѣреннымъ голосомъ:

— Это такъ... просто, для домашнихъ надобностей... ничего болѣе!

Далѣе отъ эксъ-гувернантки, за тѣмъ же столомъ, скромненько и тихонько сидѣлъ какой-то дальній, пожилой и притомъ бѣдный родственникъ, конечно родовитый шляхтичъ, всегда подобострастный къ пану и пани; а потомъ еще тоже родственникъ, только уже подѣ стать паничу-сыну, казавшійся чѣмъ-то въ родѣ великовозрастнаго, но некончалаго гимназиста, который на все очень добродушно, но очень глупо улыбался и пучилъ глаза. Но за исключеніемъ болтливой гувернантки, все это были лица безъ рѣчей, служившія лишь для пополненія семейной картины и шипавшія корпю. Они и жили, и пили, и ѣли въ Котырловской усадьбѣ, выка-

зывая за то своимъ патронамъ чувства глубокой почтительности и благодарности, выразившіяся въ гуртовомъ цѣлованіи рукъ у пана и пани, послѣ каждого завтрака, обѣда, чаи и ужина, причемъ, впрочемъ, эксъ-гувернантка и пожилой родственникъ самого пана Котырло лобызали не въ руку, а въ плечо.

— Какъ вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали именно теперь, а не позже!—застрекотала одна изъ паненокъ, обращаясь къ обоимъ пріятелямъ, и потому ухитряясь съ необыкновенною быстротою одну и ту же фразу произносить по-польски и тотчасъ же переводить ее, Хвалынцева ради, по-французски.—Я говорю, что вы необыкновенно хорошо и умно сдѣлали, пріѣхавши теперь: у насъ тутъ послѣ-завтра кіермашъ, гости понайдутъ, охоту устроимъ—вотъ весело-то будетъ!.. Я васъ заранѣе ангажирую на первую кадрили!—стрѣльнула она на Хвалынцева.

— А жалоба?—замѣтилъ Свитка, указавъ глазами на его траурное платье.

Паненка нѣсколько смутилась.

— Жалобу скинемъ на этотъ разъ!—храбро поддержала ее сестрица.

— А что скажутъ?—продолжалъ Свитка.

— Ай, Іезусъ!.. «Что скажутъ»!.. Но мы такъ давно не танцовали!.. Вы, впрочемъ, не думайте, чтобы мы были дурныя польки!—поспѣшила она зашутить.—О, нѣтъ! далеко нѣтъ! И вы увидите! Мы вамъ докажемъ! Но вѣдь ужасная же скука, а это такъ рѣдко удается!.. И, наконецъ, вѣдь въ Вильнѣ танцовали же всѣ, публично, на Бельмондѣ, да еще какъ! Самыя знатныя дамы!..

— Да, но тамъ была политическая цѣль!—возражалъ Свитка.—Тамъ графъ Тышкевичъ дѣлалъ визиты портному и открыто катался съ нимъ въ своемъ экипажѣ; тамъ первыя аристократки танцовали съ мастеровыми, съ ремесленниками, съ лакеями, даже съ сапожниками ¹⁾, но тамъ оно понятно: тамъ дѣло шло о пропагандѣ сліянія.

— А мы развѣ не можемъ устроить то же съ нашими хлопамъ?—воспримчиво подхватила шустрая паненка.—О, непременно устроимъ! И я заранѣе предлагаю вамъ туръ вальса на погребъ Москвы! Ну-съ, посмотримъ: какъ добрый патриотъ, посмѣете ли вы отказаться отъ этого тура, если онъ будетъ предложенъ вамъ съ такой идеей?

Свитка любезно и смиренно склонилъ свою голову, въ знакъ покорности и согласія.

«Бѣдныя паненки!» думалъ про себя Хвалынцевъ. «И потанцовать-то имъ нельзя просто! Даже и подѣ вальсъ нужна политическая подкладка!»

¹⁾ У поляковъ, вообще, званіе сапожника почему-то изстари пользуется наибольшимъ прервеніемъ, несмотря на то, что изъ этого деха у нихъ выходили и выходять патристическіе дѣятели, имена которыхъ приобрѣли даже нѣкоторую историческую извѣстность, какъ напримѣръ, Килинскій, Гишпанскій и др.

¹⁾ Въ „Панѣ Тадеушѣ“.

Самъ панъ Котырло, подъ шумокъ общей болтовни, вставляя время отъ времени какое нибудь слово, вопросъ или замѣчаніе, старался осторожно выпытывать Хвалынцевъ съ болѣе серьезныхъ сторонъ. Такъ, между прочимъ, смѣсью французскаго, польскаго и даже русскаго языка сообщилъ онъ ему, что теперь Литва серьезно взялась за умъ, потому времена-де такія: освобожденіе и прочее, что панъ дѣйствительно задумываютъ серьезное сліяніе съ народомъ, заботятся о народной нравственности, учреждаютъ братства трезвости, устраиваютъ школы, просвѣщаютъ, вразумляютъ и прочее.

— И у меня вѣдь тоже школа заведена!—не безъ нѣкоторой благодушной гордости похвалился онъ. — Ксендзъ обучаетъ, органистъ обучаетъ, ну, и онъ воть тоже иногда,—кивнулъ онъ головой на своихъ дочекъ. — Если васъ этотъ предметъ интересуесть, я воть вамъ завтра утромъ покажу ее.

— И много уже такихъ школъ у васъ заведено?—полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— Да таки порядочно. Въ каждой парафіи ¹⁾ стараются имѣть; нельзя иначе: съ этимъ дѣломъ торопиться надо! Дѣло благое!

— Ну, и успѣшно идетъ?

— О, еще какъ!.. Вѣдь инициатива-то наша! Да воть вы сами увидите!

— Значитъ, правительство тутъ совершенно не заботилось объ этомъ предметѣ?—освѣдомился Хвалынцевъ.

— Мм... то-есть какъ вамъ сказать!—замылся нѣсколько Котырло. — Правительственныя школы, положимъ, хоть и есть кое-гдѣ, но онѣ всѣ въ упадкѣ: народъ не любитъ ихъ, да и учить тамъ не умѣютъ.

— Что-жъ за причина?—удивился Хвалынцевъ.

— А причина, видите ли, та, что тамъ пошъ, а здѣсь ксендзъ.

— Такъ что жъ?—выразилъ гость еще большее удивленіе.

— О, Боже мой! — компетентно улыбнулся Котырло. — Вы спрашиваете «что жъ», да кто же не знаетъ, что нашъ ксендзъ во сто разъ ученѣй попа и образованнѣй, и цивилизованнѣй! Вѣдь пошъ здѣсь ничѣмъ почти не отличается отъ хлопа: та же грубость, то же невѣжество! Тогда какъ на сторонѣ ксендза и знаніе, и умѣнье, и метода, и любовь къ дѣлу; и, наконецъ, ксендзъ, какъ хотите, и роднѣе, и ближе мужику, — однимъ словомъ, симпатичнѣе: мужикъ ему вѣритъ, мужикъ его любитъ, уважаетъ его. Отъ этого и успѣхъ такой въ нашихъ школахъ. Тутъ все-таки *свое*, а тамъ — извините — *наяздовое*, чужое.

Дѣля вниманіе свое одновременно между разговоромъ пана Котырло и болтовней его дочекъ, Хвалынцевъ въ то же самое время огля-

дывалъ и обстановку, среди которой онъ находился.

Эта обстановка дѣлала на него своеобразное и, до нѣкоторой степени, даже странное по своей новизнѣ впечатлѣніе. Свитка еще заранѣе рекомендовалъ ему, какъ идеаль старо-польскаго радушія и довольства, Котырловскій «палацъ сломяны», то-есть дворецъ подъ соломенной кровлей. «Дворецъ» тѣмъ паче долженъ былъ заинтересовать свѣжаго, мимоѣзжаго человека. И дѣйствительно, оригинальность бросалась въ глаза сама собою, съ перваго взгляда: панъ Котырло, обладатель пѣлаго мѣстечка, такъ сказать, крупный собственникъ, крупный землевладѣлецъ, человекъ «съ состояніемъ, съ родствомъ и связями», съ вліяніемъ, какъ бывшій два трехлѣтія «маршалокъ понятовъ» ¹⁾, и наконецъ «чуть не магнатъ», какъ рекомендовалъ его Свитка, и что же? этотъ «чуть не магнатъ» живетъ въ «сломяномъ палацѣ» съ низенькими, заплатанными окошками, на ржавыхъ желѣзныхъ петляхъ и задвижкахъ съ расщелистымъ, скрипучимъ поломъ, со стѣнками, бѣлеными мѣломъ и глиной, съ низкимъ потолкомъ, настланнымъ на поперечныя и ничѣмъ не маскированныя балки. И тутъ же воть у пана Котырло висятъ по мазаннымъ стѣнамъ прекрасныя старыя картины въ тяжелыхъ золоченныхъ рамахъ, между которыми Хвалынцевъ замѣтилъ два приморскихъ вида, созданныхъ, по всѣмъ видимостямъ кистію Жозефа Верне, двѣ маскарадные сцены, на которыхъ явно сказался характеръ Вато, замѣтилъ одного Вувермана, съ неизмѣннымъ, характернымъ крупномъ бѣлой лошади. Но рядомъ же съ этими замѣчательными произведеніями висѣли плохо раскрашенныя, чуть не дубочныя литографіи, изъ которыхъ одна изображала семейство польскаго старца-магната, изгнанника, за которымъ на заднемъ планѣ пылаетъ его фамильный замокъ, сжигаемый московскими казаками, а на другой — извѣстная могила Наполеона на островѣ Св. Елены, гдѣ склонившіяся надъ могилою плиты деревьевъ образуютъ въ просвѣтахъ своими сучьями и вѣтвями печально склоненный силуэтъ императора въ традиціонной маленькой шляпѣ и даже со шпагой. Тутъ же стояли старинныя бронзы, французскія и китайскія вазы, старый фарфоръ на двухъ простѣлочныхъ горкахъ; надъ диваномъ красовалось большое роскошно-широкое зеркало, и вмѣстѣ со всѣмъ этимъ жесткая, сборная, неудобная мебель «краѣвего», если даже не домашняго издѣлія, самой грубой, такъ сказать, Собакевичевской работы, изъ простой сосны и ясени. Смежная гостиная, куда все общество, со своими корпіями и шитьемъ, перемѣстилось послѣ чая, была въ томъ же родѣ, только сильно припахивала какою-то затхлостью

¹⁾ Парафія — приходъ.

¹⁾ Уѣздный предводитель дворянства.

и всецѣло носила на себѣ характеръ временъ консульства и первой имперіи, но въ ней, крайней мѣрѣ, случайно, или по преданію, былъ хоть какой-нибудь характеръ. Въ этой гостиной у окна стояли неизмѣнныя пальцы съ неизмѣннымъ вышиваньемъ подушки, для которой дѣлался теперь по узору польскій «бѣлы оржезъ» со всѣми его атрибутами. Надъ диваномъ помѣщалась картина «Страшнаго суда», гдѣ Христосъ принимаетъ въ свои объятія измученную женщину, въ цѣпяхъ и терновомъ вѣнцѣ, а Вельзевулъ когтями разрываетъ на части дебелую бабишу въ сарафанѣ и кокошникѣ, подъ которою въ гееннѣ огненной жарятся и корчатся православные чернецы, генералы, казаки, любодѣи, обжоры, Иуда Искаріотскій и прочіе тяжкіе грѣшники; апостолъ Петръ отмыкаетъ врата рая, и въ нихъ входитъ цѣлый легіонъ праведниковъ, одѣтыхъ въ кунтуши и конфедератки. По бокамъ «Страшнаго суда» висѣли портреты: хозяина въ маршалковскомъ мундирѣ, опирающагося на книгу, и хозяйки, съ пунцовымъ розаномъ въ ненатурально извороченной рукѣ. Всѣ эти три произведенія, обличавшія весьма безкитостную кисть, были работаны лѣтъ пятнадцать тому назадъ живописцемъ-самоучкой изъ дворовыхъ челядинцевъ одного сосѣдняго помѣщика, снабжавшаго такимъ образомъ большою любезностью сломяные палацы и костелы всего околodka произведеніями собственнаго своего крѣпостнаго генія. Подъ «Страшнымъ судомъ», въ старинныхъ инкрустированныхъ рамочкахъ чернаго дерева, висѣли рядомъ двѣ миниатюры на слоновой кости: одна представляла бабушку нынѣшнихъ внучекъ—паненокъ Котырлувъ,—въ бѣломъ коротенькомъ лифчикѣ на сборкахъ, съ громадными коками, съ поджатыми губами, какъ будто бы собирающимися произнести слово *romme*, а другая изображала ихъ дѣдушку, въ разукрашенномъ нарядѣ польскаго каштеляна. Далѣе по стѣнамъ помѣщались въ рамочкахъ, оклеенныхъ золотымъ бордюромъ, литографическіе портреты разныхъ польскихъ патріотическихъ знаменитостей, да еще кое-какіе варшавскіе виды.

Едва прошелъ какой-нибудь часъ съ того времени, какъ все общество изъ-за чайнаго стола переселилось въ гостиную, едва панъ Котырло успѣлъ вдосталь похвалиться успѣхомъ крайнихъ обществъ трезвости, вводимыхъ между хлопамъ по иниціативѣ ксендзовъ и помѣщиковъ, а паны Котырлувы, въ-перебой ему, не успѣли узнать въ достаточной точности танцуетъ ли и любитъ ли гость мазурку, и правятся ли ему польки (въ этомъ, впрочемъ, онѣ не сомнѣвались), сама же пани Котырлова не успѣла вдосталь наиздыхаться при воспоминаніи о послѣдней проповѣди отца-визитатора, пріѣзжавшаго въ сосѣдній монастырь,—какъ въ дверяхъ гостиной появился доморощенный

лакей, въ штанахъ засунутыхъ въ голенища смазныхъ сапоговъ, но зато въ ливрейномъ фракѣ съ фамильными пана Котырло гербами, и объявилъ, что ужинъ поданъ.

— Прошенъ, панове, до коляцы!—сентиментально-прискорбнымъ, но радушинымъ тономъ пригласила гостей пани Котырлова, полуболѣзненно подымаясь съ мѣста и указывая жестомъ на дверь,—и всѣ направились въ столовую комнату, соблюдая неизмѣнную градацію мѣстъ и отношеній: сначала хозяева съ гостями, потомъ паненки съ паничомъ, а потомъ уже приживальныя лица безъ рѣчей. Панъ Котырло подъ руку подвелъ Хвалынцева къ маленькому, отдѣльно въ углу стоявшему столику, на которомъ былъ поставленъ графинчикъ и старофамильная серебряная чарка. Пожилой, скромный родственникъ, съ меланхолическимъ видомъ, медленно потирая руки, уже поташывался около этого привлекательнаго столика и коснулся взоромъ на завитый графинчикъ, почтительно, хотя и съ внутреннимъ нетерпѣніемъ, выжидая своей очереди.

— Я васъ попотчую правдивой старой литевкой!—сказалъ своимъ гостямъ панъ Котырло, и сказалъ это тѣмъ отчасти торжественно-таинственнымъ тономъ, который всегда служитъ предвареніемъ о чемъ-нибудь необыкновенномъ, достопримѣчательномъ, чѣмъ можно и удивить приятно, и съ удовольствіемъ похвалиться. При этомъ онъ даже слегка чмокнулъ кончики своихъ пальцевъ, затѣмъ взялъ въ одну руку графинчикъ, а въ другую чарку и, держа ее предъ Хвалынцевымъ, съ толковымъ видомъ знатока сталъ неторопливо наполнять ее желтоватой влагой литовскаго нектара. Константинъ уже было совсѣмъ протянулъ къ чаркѣ свою руку, какъ вдругъ панъ Котырло съ поклономъ поднесъ ее къ собственнымъ губамъ и, откинувъ назадъ голову, мигомъ осушилъ ее. Не впопадъ протянутая рука гостя торопливо и неловко опустилась книзу, и эта маленькая ошибка нѣсколько смутила и сконфузила Хвалынцева. Хозяинъ, какъкъ, замѣтилъ это и, опрокинувъ въ себя чарку, тотчасъ же любезно подаль ее Константину, самолично налилъ до верха и, сдѣлавъ рукою пригласительный жестъ съ радушною любезностію промолвилъ:

— Прошенъ.

Хвалынцевъ выпилъ, не успѣвъ еще достаточно оправиться отъ своего конфуза, и почувствовалъ, какъ внутри его распространяется какая-то пріятная, бархатно-гладкая и живительная теплота. «Стара литевка» была дѣйствительно достопримѣчательна. Но выпивъ, онъ подмѣтилъ, что Котырло, въ виду его смущенія, очень хорошо имъ разгаданнаго, смотритъ на него какимъ-то улыбающимся, благодушно-проническимъ взглядомъ. Эта подмѣтка была для Константина причиной новаго маленькаго конфуза.

— Что, хорошо? — прищуривъ глаза, спросилъ Котырло тономъ неминуемо ожидающимъ похвалы великой.

— Кге!.. дѣйствительно, прекрасно!.. великопипная водка!.. никогда еще не пилъ такой! — крикнулъ Хвалынцевъ, ощущая внутри пріятную жгучую теплоту, разливающуюся, что называется, по всѣмъ жилкамъ и суставчикамъ.

— Хе, хе, хе! — благодушно усмѣхнулся Котырло. — А ужъ это у насъ на Литвѣ обычай такой, — продолжалъ онъ, въ намѣреніи разъяснить Хвалынцеву настоящую причину его конфуза. — У насъ всегда первую чарку пьетъ самъ хозяинъ, а ужъ потомъ, тотчасъ-же послѣ себя, передаетъ ее своему гостю и самъ наливаетъ. Это стародавній обычай! Хе, хе!.. Польща вѣдь только стариной и держится!.. А вы ужъ простите великодушно, потому что мы, поляки, отъ своихъ родныхъ и старыхъ обычаевъ никогда п нигдѣ не отступаемъ.

— Это похвальная, прекрасная черта! — замѣтилъ Хвалынцевъ. — Но что-же онъ обозначаетъ собою, этотъ вашъ обычай?

— А вотъ видите, — самодовольно пояснилъ Котырло. — Обычай этотъ идетъ вотъ откуда: случалось въ былыя времена, что на пирахъ и на банкетахъ иногда отравлялъ виномъ какого-нибудь гостя, соперника тамъ, что-ли, по любви, по выборамъ, по наслѣдству, или тяжбника, понимаете? Ну, конечно, въ древности чего не случалось... Такъ вотъ съ тѣхъ поръ у насъ и обычай такой завелся, чтобы хозяинъ пилъ не иначе какъ первый изъ той самой чарки и изъ той самой бутылки, изъ которыхъ онъ потчуетъ своего гостя. Это для того, видите-ли, чтобы гость былъ совершенно покоенъ, что ни чарка, ни водка не отравлены. Ну, конечно, старина, обычай, — вы понимаете? Прошу покорно до колыцны!

И онъ подъ руку повелъ Хвалынцева къ столу и посадилъ рядомъ съ собою.

«Хорошо, однако, правы и обычаи были», подумалъ про себя Константинъ Семеновичъ.

Столъ на половину только былъ покрытъ грязною-распрегрянною скатертью, которая уже чортъ знаетъ сколько времени была въ употребленіи, такъ что пестрѣла со всѣхъ концовъ разными масляными, винными, суповыми и соусными пятнами. За столомъ прислуживали: какая-то задрипанная, зашлепданная и грязная-распрегрянная дѣвка, рваный и заплатанный казачекъ, босикомъ, и лакей въ фамильномъ фракѣ съ аристократическими гербами. Дѣвка поражала глазъ своею смоклою грязью, казачекъ вліялъ на аппетитъ шмыганьемъ своего носа и тасканьемъ изъ онаго, а лакей дѣйствовалъ на обоняніе вонью сала и дегтя отъ своихъ смазныхъ сапожищъ, красовавшихся на немъ вмѣстѣ съ аристократической ливреей.

Хвалынцевъ развернулъ салфетку и увидѣлъ, что она, подобно скатерти, была вся грязная-

распрегрянная, затертая, пятнистая, давно уже незнакомая съ мытьемъ и притомъ вся въ дыркахъ, вся рваная отъ долгаго употребленія. Но тѣмъ не менѣе въ одномъ изъ угловъ ея красовался шифръ пана Котырло и неизвѣстно по какому праву приплетенная надъ шифромъ графская корона. Остальныя салфетки были точно также грязныя и дырявыя. Но зато между столовыми вещами кое-гдѣ виднѣлся богатый хрусталь и саксонскій фарфоръ, и все это точно также съ графскими коронами и Котырловскими шифромъ!

Ливрейный лакей внесъ и поставилъ предъ эскъ-гувернанткой большую, дымящуюся миску съ кипяченымъ молокомъ, въ которомъ изобильно плавали «оборанки», нѣчто въ родѣ нашихъ русскіихъ клецокъ. Когда тарелка этого блюда была поставлена предъ Хвалынцевымъ, причемъ казачекъ, подавшій ее, оставилъ на закраинѣ ясный слѣдъ своего грязнаго, окунутого въ молоко пальца, то панъ Котырло не безъ самодовольства пояснилъ своему гостю, что это національное польское блюдо называется «мнихи» и при этомъ посоветовалъ подложить въ него «еще трошечку» масла да подсыпать перцу, соли и сахару, что и исполнилъ для самого себя въ количествѣ весьма изобильномъ. Хвалынцеву польскіе «мнихи» не понравились, но онъ принудилъ себя съѣсть тарелку.

За этимъ блюдомъ шли неизмѣнные: «бигосъ» и «зразы съ кашей», потомъ жареный «гемъ зе сливками и зъ яблоками» и потомъ «налѣсники зе повидлами». Все это заливалося разными наливками: малинѣвкой, вишнѣвкой и помаранчѣвкой, а въ заключеніе послѣдовала вдругъ, совершенно неожиданно для Хвалынцева, жирная «кава за смѣтанкой». Онъ не привыкъ ужинать и при томъ былъ уже давнымъ давно сытъ, но хозяева такъ радушно и насильно подкладывали ему на тарелку и такъ изобильно подливали въ рюмки, что онъ, наконецъ, нешутя, сталъ опасаться за свой желудокъ и свою голову. Это черезчуръ радужное гостепріимство, напоминавшее собою всеславянскую Демьянову уху, начинало уже походить на нѣчто въ родѣ настоящей физической пытки, такъ что Хвалынцевъ подъ конецъ ощутилъ въ себѣ даже злобственное настроеніе духа.

Вскорѣ послѣ ужина, который стоялъ добраго обѣда, путниковъ нашихъ отпустили на покой. Казачекъ проводилъ ихъ черезъ дворъ въ отдѣльный флигель, гдѣ для нихъ была уже приготовлена вытопленная комната съ постелями, въ которыхъ подушки были непозволительно мягки, а тюфяки замѣнялись «сѣнниками», т. е. большими мѣшками, набитыми сѣномъ.

— Фу-у!!.. Слава тебѣ, Господи!.. Наконецъ-то! — съ облегченнымъ, но не безъ злобы вырвав-

шимся вздохомъ пропзнесъ Хвалынцевъ, разлегшись на своемъ сыроватомъ сѣняикѣ, когда казачекъ совсѣмъ уже удалился изъ комнаты.

— Чего вы? — приподнявшись на локтѣ, уставился на него глазами Василий Свитка.

— Одолѣли, проклятые! — пробормоталъ Константинъ Семеновичъ.

— То-есть, что это?

— Да все, мой батюшка!.. Ну, ударь разъ, ударь два, да и удовольствуйся; а то вѣдь все боксомъ да боксомъ!.. Эдакъ вѣдь, пожалуй, и лопнешь!..

— Закурили? Хе, хе, хе!.. — ухмыльнулся Свитка. — За то, батюшка, по нашему, по-польски!.. Ну, а какъ вамъ понравилось?

— То-есть, что понравилось?

— Да все вообще?

— Мм... какъ вамъ сказать!.. Я нахожу, что все это, въ сущности ужасное свинство.

Свитка при этихъ словахъ даже привскочилъ съ постели.

— Вотъ-те пая! — смѣясь, воскликнулъ онъ. — То-есть, что вы собственно называете свинствомъ? Объяснитесь пожалуйста!

— Свинствомъ? — да *е*, если угодно! — отозвался Хвалынцевъ, пыхтя своей папирсой. — Это лучше всего я вамъ объясню сравненіемъ.

— Ну-съ?!.. Очень любопытно. Я васъ слушаю.

— А вотъ, видите-ли-съ, — началъ Константинъ, — меня прсжде всего поражаетъ здѣсь эта странная, какал-то таборная, полу-цыганская обстановка бита и жизни. И, надо вамъ сказать, достаточно хорошо знакомъ со всевозможными обстановками великорусской помѣщичьей жизни, начиная отъ великолѣпныхъ тузовъ славнубубенскаго дворянства и до послѣдней мелкой сошки. Но картины этой жизни совсѣмъ не подходятъ къ картинамъ той: тутъ у васъ, дѣйствительно, нѣчто свое, не похожее на великорусскій бытъ.

— Ну, вотъ то-то же и есть, что свое! сами соглашаетесь! — перебилъ Свитка.

— Погодите любезный другъ! — возразилъ Хвалынцевъ. — Дѣло-то, вотъ видите ли, въ чемъ: тамъ, бывало, если помѣщикъ лвлаетъ изъ себя туза, такъ ужъ онъ тузъ до конца ногтей своихъ, до малѣйшей подробности своей жизни, а если грязнецъ, то ужъ такъ во всемъ и всегда грязнецомъ и смотритъ. Тамъ, бывало если человѣкъ только *тянется*, чтобы походить на туза, такъ ужъ онъ изъ кожи лзаетъ для этого, и наружную свою обстановку, такъ или иначе, но ужъ устроить, по возможности, соотвѣтственнымъ образомъ, хоть и знаетъ, что въ перспективѣ чрезъ это имѣнію навѣрное грозитъ продажа съ молотка. А если нѣтъ у него такихъ стремленій и нѣтъ достатковъ, то ужъ на нѣтъ и суда нѣтъ! Вообще тамъ у насъ, какъ мнѣ кажется, все какъ-то *проше*, безпритязательнѣе, соотвѣтственнѣе дѣйстви-

тельной сущности дѣла, потребностямъ и жизни.

— Ну-съ, а здѣсь?.. не безъ нѣкоторой ироніи подстрекнулъ его Свитка.

— А здѣсь, — началъ Хвалынцевъ, — меня поражаетъ, и уже не въ первый разъ, рядъ противорѣчій, которыя для непривычной натуры звучатъ рядомъ крупныхъ диссонансовъ.

— Хм... Это любопытно! — замѣтилъ Свитка. — Объясните пожалуйста.

— А вотъ сейчасъ. Тамъ у насъ, вотъ видите-ли, грязца, такъ грязца, а комфортъ, такъ ужъ комфортъ, чортъ возьми! Здѣсь же... здѣсь полнѣйшее отсутствіе порядочности въ обиходныхъ привычкахъ жизни и тысяча самыхъ кичливыхъ претензій и магнатски-спѣсивыхъ замашекъ. Здѣсь нѣтъ потребности и, кажись, нѣтъ даже самаго понятія о настоящемъ достоинственномъ, человѣчески самоуважающемъ комфортѣ жизни, несмотря на средства и достатки. Зато куда какъ много есть крупной, но — извините за откровенность — дпо шляхетской спѣси!.. И это сказывается какъ-то невольно, само-собою, съ перваго разу, съ перваго взгляда!

— То-есть, въ чемъ напрімѣръ? — нѣсколько нахмурился Свитка.

— Во всемъ-съ! — подтвердилъ Хвалынцевъ. — Не говорю уже о черзчуръ сельской простотѣ этого сломянаго палаца, но эти Вато, Вуверманы. Верне рядомъ со «Страшными судами» и «Могилами Наполеона», эти севры и саксы рядомъ съ крынками и рванными грязными салфетками, эти гербовыя ливреи съ заплатами и смазными сапожищами, — все это, батюшка мой, какъ хотите, выходятъ магнатскія претензіи съ прорѣхами.

На этихъ словахъ, Свитка вдругъ погасилъ свѣчку и со словами: «Ну, прощайте, однако, я спать хочу!» — рѣшительно перевернулся на другой бокъ, лицомъ къ стѣнѣ.

Хвалынцеву показалось, что пріятель остался какъ будто не совсѣмъ-то доволенъ его откровеннымъ и столь обильнымъ словозаліяніемъ. Онъ и самъ сознавалъ, что, увлекшись откровенностью, сказалъ, быть можетъ, нѣсколько лишняго, нѣсколько такого, чего бы человѣку политикующему, находясь въ чужомъ мѣстѣ, подъ чужою, національно враждебною, но столь назойливо гостепріимною кровлею, не слѣдовало бы вовсе высказывать, но... въ то же время онъ чувствовалъ, что нѣсколько рюмокъ разныхъ вишниковъ, малинвоковъ, намаранчувоковъ и прочаго невольно развивали языкъ его.

...«И чортъ его знаетъ, что оно такое!» думается Хвалынцеву, мысль котораго сама собою все возвращалась къ предмету только что оконченныхъ откровенныхъ изліаній. «Это вѣдь не спѣсивая голь, не наслѣдіе донъ-Сезарь де-Базана и вѣдь не прорѣхи бѣдности, — нѣтъ, напротивъ! тутъ во всемъ виденъ

достатокъ, видны хорошія средства: но это просто неумѣніе жить, незнакомство съ порядочною жизнью, съ комфортомъ, съ гармоническимъ соответствіемъ житейской обстановки; тутъ просто отсутствіе порядочныхъ привычекъ, просто нравственное захолустье какое-то и прирожденное свинячество, которое въплоть въ плоть и кровь и стало достолюбезнымъ!»

И вотъ при всѣхъ этихъ мысляхъ и впечатлѣніяхъ, Хвалынцевъ опять и опять-таки долженъ былъ сознаться, что хваленая Литва пока еще ровно ни въ чемъ не показала ему привлекательную.

«Или ужъ я самъ такой закоренѣлый русакъ, и все мнѣ это, значитъ, чужое», подумалось вдругъ ему, «или у меня ужъ такое скверное расположеніе духа за всѣ эти дни, или... или ужъ я и не знаю, наконецъ, что это такое!.. Знаю только одно, что все это мнѣ крайне не по душѣ, но... вѣдь я-то самъ, я вѣдь съ ними, я вѣдь за нихъ... Что же въ нихъ есть хорошаго?.. Что?»

«Цезарина!» въ отвѣтъ на этотъ вопросъ подшепнуло ему какое-то глубоко-затаившееся чувство—и яркій, красивый образъ польской женщины, на нѣсколько мгновений, снова всталъ, со всѣмъ своимъ обаяніемъ предъ его нравственными очами...

V.

Szkolka dla dzieci wiejskich.

Эту надпись прочелъ Хвалынцевъ на доскѣ надъ крылечкомъ небольшого домика, куда на другое утро повелъ его и Свитку обизательный панъ Котырло. Предъ этимъ они только что осмотрѣли хозяйственные постройки, стодолу, сарай, конюшни и птичникъ, скотный дворъ, винокурню, овчарню, псарню, мельницу, и гости не могли не замѣтить, что на всемъ этомъ хозяйствѣ лежала печать прочнаго, солидно-помѣщичьяго благосостоянія. Особенно понравились Хвалынцеву совсѣмъ почти незнакомыя въ Великороссіи красивыя и вѣковѣчныя постройки сараевъ изъ полевого булыжнаго камня, скрѣпленнаго надежнымъ цементомъ. Контрастъ между «паладомъ сломянымъ», какъ личнымъ обиталищемъ пана Котырло, и всѣмъ этими хозяйственными заведеніями, расположенными хотя и хаотично, но зато построенными вполне солидно, прочно, хозяйственно и прекрасно, не могъ не броситься невольно, самъ собою въ глаза его гостямъ. Панъ Котырло хотѣлъ, что называется, товаръ лицомъ показать, и потому, произведши уже на гостей пріятное впечатлѣніе своимъ матеріальнымъ благосостояніемъ, намѣревался теперь поразить ихъ заботами о нравственномъ и умственномъ благосостояніи своихъ «подданныхъ» и по-

тому-то напоследокъ уже привелъ ихъ въ устроенную имъ сельскую школу.

Когда они вошли туда, тамъ уже кишѣла какъ будто нарочно собранная на показъ толпа ребятишекъ, человекъ до тридцати, въ присутствіи сельского ксендза, — и учитель ихъ, мѣстный костельный органистъ, въ наипочтительнѣйшемъ согбеніи, подошелъ къ яновель-можному пану и облобызалъ его руку; ксендзъ же, которому была протянута рука, слегка облобызалъ панское плечо, за что былъ награжденъ мимолетнымъ небрежнымъ поцѣлуемъ въ високъ. Вообще, на поцѣлуи въ руку и въ плечо панъ не изъявлялъ ни малѣйшаго сопротивленія, изъ чего Хвалынцевъ справедливо заключилъ, что эти лобызанія тутъ дѣло обычное. Ребятишки тоже было бросились подобоострастно цѣловать, но уже не руку, а только полу панскаго пальто; однако процедура эта, вѣроятно, показала пану слишкомъ продолжительною, и потому онъ всѣхъ ихъ прогналъ на мѣста, явно желая, впрочемъ, обнаружитъ при этомъ отеческую ласковость тона.

Наружность школьной комнаты сдѣлала на Хвалынцева очень благоприятное впечатлѣніе: отсутствіе всякаго сора на полу, чистота стѣнъ, шкафчикъ съ книжками, нѣсколько простыхъ длинныхъ столовъ со скамейками, на стѣнахъ литографическія изображенія изъ Евангелія и изъ Библии, въ родѣ исторій блуднаго сына, Іова многостраднаго, Юдѣи, отрубающей голову нечестивому царю Олоферну, Фараона, гибнущаго съ войскомъ въ пучинѣ морской, десяти казней египетскихъ и прочаго въ родѣ назидающаго и устрашающаго. Затѣмъ тутъ же висѣла таблица съ портретами «крулей польскихъ», портреты Костюшки, Собіескаго, Понятовскаго и Мицкевича, а въ переднемъ углу нѣсколько образовъ, между которыми, кромѣ неизбежныхъ Ченстоховской и Остробрамской, красовались «свѣнты Станиславъ, патронъ польскенъ, свѣнты Казимержъ, патронъ Литвы и свѣнты Юзефъ, патронъ Руси». У входной двери на стѣнѣ было повѣшено маленькое распятіе съ раковинкой—«кршестельничкой», въ которую была налита вода святая, дабы каждый входящій, буде онъ только добрый католикъ, могъ-бы омочить въ нее ковецъ большого пальца и сотворить крестное знаменіе. Все это, какъ нельзя болѣе гармонируя одно другому, вполне соответствовало понятію о самой образцовой, самой благоустроенной сельской школѣ. Но особенное вниманіе Хвалынцева остановили на себѣ надписи вдоль стѣнныхъ карнизовъ, сдѣланныя по-печатному черными крупными литерами. Эти надписи, въ родѣ краткихъ молитвъ, гласили, конечно по-польски. «Боже, змилуй сенъ надъ нами!» «Боже, збавъ ойчизненъ!» «Подъ твоенъ обронеъ уцѣкмы сенъ!» и далѣе въ подобномъ же духѣ.

Соображая видѣнное и осмотрѣнное въ это

утро, и особенно глядя на эту «школку», Хвалынцевъ очень горько укорилъ себя въ душѣ за скороспѣлость сдѣланныхъ имъ вчера заключеній о «свинячествѣ» домашней обстановки и жизни пана Котырло. «Если тамъ и есть это свинячество», подумалось ему, «зато здѣсь какое благоустройство! зато въ какомъ порядкѣ все хозяйство!» И онъ преисполнился въ душѣ нѣкотораго уваженія къ создателю того и другого и съ непритворнымъ удивленіемъ высказалъ ему, что не ожидалъ встрѣтить ничего подобнаго и что сельскимъ школамъ «у насъ, въ Россіи», далеко до такого образцоваго устройства.

Это замѣчаніе пролило нѣкоторый отрадный слей на сердце пана Котырло, который съ добавочною самодовольною скромностью отвѣтилъ, что радъ всегда, по силѣ возможности, служить народу.

— Оно хоть и въ клерикальномъ духѣ немножко, — прибавилъ онъ, какъ-бы извиняясь предъ Хвалынцевымъ, лишь только замѣтилъ, что тотъ обратилъ особенное вниманіе на стѣнные надписи, — но кто знаетъ нашъ литовскій народъ, тотъ знаетъ, что для него это всего необходимѣе.

«Панъ органыста», руководимый отчасти ксендзомъ, сталъ показывать свою педагогическую дѣятельность и успѣхи своихъ школьниковъ. Прежде всего онъ заставилъ ихъ спѣть всѣмъ хоромъ, на костельный ладъ, какое-то величаніе и благодареніе благодѣтельному и «найяснѣйшему» ойцу и пану Котырло за всѣ его великія милости и заботы. Потомъ нѣкоторые изъ школьниковъ писали цифрѣ на доскѣ, а нѣкоторые читали по своимъ букварямъ. Хвалынцевъ любопытствовалъ заглянуть въ одинъ изъ нихъ и очень удивился въ душѣ, увидя, что русскій языкъ, то-есть мѣстный бѣлорусскій говоръ, на которомъ въ этомъ букварѣ были составлены нѣкоторые изреченія и правила, изображается вдругъ латинно-польскими буквами. На первый разъ это показалось ему нѣсколько страннымъ, потому что, казалось-бы, и естественнѣе, и проще русскую рѣчь изображать и русской грамотой, но спутникъ и менторъ его, очень хорошо угадавъ по выраженію лица мысль своего Телемака, предупредилъ его минутное недоумѣніе своимъ разъясненіемъ.

— Что вы смотрите на букварь? — съ улыбкой спросилъ онъ въ полголоса, въ то время какъ вниманіе Котырло и прочихъ было отвлечено отвѣтами учениковъ. — Вѣрно что онъ по-польски?

— Да, — кивнулъ ему Хвалынцевъ.

— О, это вполне понятно, если вы возьмете въ соображеніе ту непримиримую антипатію, которую чувствуетъ здѣшній народъ ко всему «москевскому». Эта антипатія, повѣрьте мнѣ, простирается даже и на шрифтъ мо-

скевскій, и по русскому букварю онъ вамъ ни за что не станетъ учиться!

Панъ Котырло, видимо развеселенный и удовольствованный впечатлѣніемъ, сдѣланнымъ на гостей его школой и успѣхами школьниковъ, захотѣлъ — *rouge la bonne bouche* — показать степень ихъ бойкости и развитія.

— А ну бо, хлопцы! — возвысилъ онъ голосъ (съ крестьянами и школьниками Котырло изъяснялся мѣстнымъ говоромъ). — Кто скаже мнѣ цяперъ вѣрши? Ну, ты! — обратился онъ къ одному мальчугану изъ тѣхъ, что былъ бойчѣе видомъ, — деклямуй мнѣ вѣрши! «Гуторку двохъ сосѣдоу» вѣшь?

— Вѣмъ, пане! — бойко вскочилъ мальчуганъ съ мѣста.

— Ну, деклямуй! А мы послушаемъ! Они у насъ и это умѣютъ! Вы не думайте! — обратился онъ къ Хвалынцеву.

Мальчишка торопливо и монотонно, какъ заданный урокъ, сталъ говорить стихи, видимо стараясь не сбиться и во-время припомнить слѣдующее слово:

Мой саколику сусѣдзе,
Муси канецъ свѣта будзе,
Бо вже надто царь гуляе
И людей, якъ псоу, стрѣлае,
Чуваць, што въ русской губерни
Гдѣсь народъ яму быу вѣрний
Дзѣсяць тысячъ разстрѣляли,
За то што правду искали.

— Ну ты, далѣй! — ткнулъ Котырло пальцемъ на слѣдующаго мальчугана.

Тотъ, робѣя, и еще болѣе боясь какъ бы не сбиться, продолжалъ стихи такимъ же монотоннымъ, но уже заикающимся голосомъ:

А у Варшавѣ усѣ касціолы,
Наветъ усѣ жидоуски школы
Ободрали, обокрали,
И людѣ за касціолоу забрали
Да й у неволю засадили.
Кабъ большъ Бога не хвалили.

— Ты цяперъ! Далѣй! — ткнулъ Котырло еще одного школьника, и тотъ сразу же подхватилъ гораздо бойче своего предшественника:

А усе по указу цара,
Може ещѣ нечиста вѣра,
Антихристѣ, што кажуць людзѣ,
Бо ещѣ вельми крупиць, муциць,
Народъ Божій баламуциць,
Себѣ богомъ называе,
Кто не вѣриць, тыхъ стрѣлае.

— От-такъ, такъ, хлопче! «Себѣ богомъ называе, а кто не вѣриць, тыхъ стрѣлае!» Добреже, хлопче! добреже! — перебилъ его Котырло, видимо довольный всею этою сценою, и потрепалъ хлопца по щекѣ въ знакъ своего высшаго панскаго одобренія.

Онъ не оставилъ безъ подобнаго же благоволенія и остальныхъ хлопцевъ, которые успѣли отличиться такъ или иначе предъ посѣти-

телями, а въ знакъ высшей награды, роздалъ имъ нѣсколько копеекъ и позволилъ облобызать свою руку. Мальчишки жадно пѣловали протанутую имъ панскую длань, но еще жаднѣе прятали себѣ за пазуху только что полученные копейки. Последнія, какъ видно, составляли для нихъ лучшее поощреніе, чтобы заучивать наизусть подобныя «вѣрши».

— Это, конечно, только такъ... однѣ лишь шутки, шутки, вы понимаете! — обратился Котырло къ Хвалынцеву насчетъ стиховъ такимъ добродушно пріятельскимъ тономъ, въ которомъ сказывалась какъ бы просьба о снисхожденіи и оправданіе себя въ столь невинной забавѣ. — Но... знаете, это воспитываетъ... вкореняетъ... Это шутки... а онѣ межъ тѣмъ возбуждаютъ духъ... духъ, вы понимаете!.. Какъ хотите, а мы все-таки дѣти Ржечи Посполитой, и этого намъ забыть невозможно — никогда и никому, отъ перваго магната до послѣдняго хлопа!

Хвалынецъ сочувственно кивнулъ головой, въ подтвержденіе того, что онъ дѣйствительно понимаетъ; но, въ сущности, въ голову его засѣло новое сомнѣніе, вызванное опять-таки новымъ противорѣчіемъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ? Вчера вотъ въ корчмѣ отцы этихъ дѣтей, въ пріятельской откровенной бесѣдѣ, съ тешлою, живою благодарностью поминаютъ Царя за недавнюю волю, а здѣсь вотъ, въ школѣ, дѣти этихъ самыхъ отцовъ, подъ ферулой пана Котырло, ксендза и пана органысты, трактуютъ того же самаго Царя антихристомъ, который себя Богомъ называетъ и стрѣляетъ въ тѣхъ, кто не вѣритъ въ его божественность.

«Конечно, пропаганда», успокаивалъ себя Хвалынецъ. «Это все понятно, какъ необходимость со стороны пропаганды, но...»

Въ этомъ-то «но» и явился камень преткновенія, какой-то рифъ, коварно и предательски скрытый подъ гладко-текущею поверхностью воды. Въ пропагандѣ, направленной подобнымъ образомъ со стороны помѣщика, шляхетскаго пана и «чуть не магната», смутно и почти инстинктивно слышалась Хвалынцеву какая-то ложь, неискренность, задняя, фальшивая мысль, какой-то разладъ между лицевою стороною дѣла и его подкладкой, между жизнью и пропагандой. Но въ чемъ именно кроется этотъ разладъ, эта затаенная фальшь и неискренность, Хвалынецъ пока еще не могъ объяснить, не умѣлъ дать себѣ яснаго отчета. Онъ только вдругъ сталъ чувствовать, что тутъ все это дѣло, кажись, не совсѣмъ-то ладно и не совсѣмъ-то такъ выходитъ, какъ его увѣряли, да и теперь еще всячески стараются увѣрить.

Потомъ... потомъ и еще одно не могло не броситься въ глаза: хозяйство пана Котырло такъ благоустроено, и школа у него такая

прекрасная, и такъ заботился онъ, повидимому, объ умственной и нравственной пищѣ этихъ ребятишекъ, хоть отцы въ корчмѣ вчера и сильно-таки поругивали его (ну, да впрочемъ, темный народъ эти отцы!), но вотъ что грустно: зачѣмъ эти мальчишки, то-есть большая часть изъ нихъ, на видъ такіе все хилые, болѣзненно-блѣдные, словно заморенные? Зачѣмъ, по крайней мѣрѣ, двѣ трети изъ нихъ въ эту прекрасную филантропическую школу являются не то что безъ сапогъ или въ босыхъ лапотникахъ, а чисто-на-чисто босикомъ, по холодной ноябрьской грязи и слякоти и всѣ одѣты просто-таки въ заплаткахъ, въ оборышкахъ, въ нищенскихъ рубищахъ? Отчего это такъ? Отчего этотъ панъ Котырло, столь богатый и благоустроенный, столь гуманно пекущійся о развитіи своихъ хлоповъ, которые чуть не вчера еще были его «подданными», не пошекс раньше хоть немного о томъ, чтобы крѣпостные его въ рубищахъ не цеголяли? Неужели же и въ этомъ все тотъ же «ржондъ московскій» причиненъ и повиненъ?

— Итакъ, вамъ понравилась наша школа? — спросилъ Хвалынцева Котырло, пожимая ему руку съ такимъ радушіемъ, на которое, повидимому, не могло воспослѣдовать ничего иного, кромѣ безусловнаго комплимента.

— А у васъ въ Россіи есть подобныя школы? — вслѣдъ за тѣмъ спросилъ онъ.

— Можетъ быть и есть гдѣ-нибудь, — отвѣтилъ Констанція, — но, говоря откровенно, мнѣ подобное устройство приходится видѣть еще въ первый разъ.

— Въ Россіи! — пренебрежительно подфыркнулъ себѣ подъ носъ Василій Силга. — Въ Россіи ничего нѣтъ, кромѣ кнута и острога.

— Грустная истина! — вздохнулъ, поднимая глаза вверхъ, панъ Котырло. — Грустная и горькая истина!.. Но это потому, что въ Россіи вообще нѣтъ народа, въ настоящемъ смыслѣ этого слова.

Это замѣчаніе и удивило, и задѣло за живое Хвалынцева.

— Виновать, я это не совсѣмъ-то понимаю, — замѣтилъ онъ, — и вы конечно извините меня, если послѣ вашихъ словъ я спрошу васъ: что вы называете *народомъ*?

— Народомъ?.. Народъ — это *мы*, — увѣренно съ полнымъ убѣжденіемъ отвѣтилъ Котырло.

— То-есть... опять-таки прошу извинить меня: кто это *мы*? Для меня, русака, оно не совсѣмъ-то понятно.

— Мы, то есть цивилизованный слой Польши: духовенство, студентство, н-ну, пожалуй, ремесленники вообще, но, главнѣйшимъ образомъ, тотъ слой, который свято хранитъ въ себѣ преданія завѣтной вольной старины, преданія свободы и Ржечи Посполитой, то-есть шляхетство, магнаторія...

— Понимаю, но... все-таки магнатерія не народъ.

— А что же?—поднявъ брови, живо спросилъ Котырло.

— Магнатерія — это магнатерія, то-есть аристократія, каковою она была вездѣ и повсюду, но это не народъ.

Въ отвѣтъ на это Котырло улыбнулся очень глѣжливо, но очень тонкой улыбкой.

— Н-да, я согласенъ,—сказалъ онъ. — Въ Россіи я даже, пожалуй, вездѣ это такъ. Но въ Литвѣ и Польшѣ,—а въ Литвѣ по преимуществу—народъ это магнаты.

— Хм... не зная Литвы, не смѣю спорить,—сомнительно пожалъ плечами Хвалынцевъ.— Но мнѣ кажется, что двадцать-тридцать фамилій еще не составляютъ того, что называется *народомъ*.

— О, да! Согласенъ!.. Ну, а двадцать-тридцать тысячъ дворянъ-помѣщиковъ составляютъ его по вашему или нѣтъ?

— По нашему? Едва ли?!.. Да и вообще едва ли двадцать-тридцать тысячъ составляютъ *народъ*, тамъ гдѣ есть нѣсколько миллионъ крестьянъ; не говорю уже о прочихъ не шляхетныхъ сословіяхъ.

— Ахъ, господа москаль! Вотъ и всѣ-то вы таковы!—досадливо, но стараясь не потерять вида любезности, воскликнулъ, пожимая плечами, панъ Котырло.—У васъ у всѣхъ, только Бога ради извините меня,—у васъ у всѣхъ, говорю я, совершенно фальшивый взглядъ на демократію. По вашему выходитъ, что и Мирабо не смѣетъ быть демократомъ потому только, что онъ *графъ* Мирабо. Для васъ демократія это — *мужикъ*, тогда какъ у насъ, поляковъ, мужикъ—это есть въ сущности не болѣе какъ сырой, если только не мертвый экономическій матеріалъ.

Хвалынцевъ, выпуча глаза, даже откинулся нѣсколько назадъ отъ неожиданности такой фразы.

— Не пугайтесь казупейся рѣзкости такого опредѣленія,—мягко, взявъ его за локоть, съ сладкой убѣдительностью сказалъ Котырло. — Не пугайтесь, мой добрый и честный москаль!.. потому что, видите ли, по нашему народъ—это то, что живетъ, мыслить, чувствуетъ, стремится къ свободѣ, къ знанію... то, что цивилизуетъ, подымаетъ нравственно, гуманизируетъ, образовываетъ темную, полудикую массу. Вотъ это народъ по нашему!

— А по нашему,—возразилъ Хвалынцевъ,—это могло бы быть, пожалуй, жожаками народа, подобно тому какъ офицеры—жожаки солдатъ, да и то еще въ такомъ только случаѣ, если бы настоящій народъ захотѣлъ и согласился признать ихъ за жожаковъ своихъ, если бы они сами по духу и по крови принадлежали къ тому же народу, были бы, такъ сказать, плоть отъ плоти его и кость отъ кости его.

— Э, Боже мой!—махнулъ рукой Котырло.— Оицъ таки вы употребляете слово *народъ* въ нашемъ, извините меня, странномъ, исключительно московскомъ смыслѣ!

— Я иного не понимаю,—замѣтилъ Хвалынцевъ.—Для меня нѣтъ иного понятія въ словѣ *народъ*; для меня это только совокупность всѣхъ живыхъ силъ отдѣльной націи, безъ всякихъ кастъ, сословій и различій по происхожденію, образованію, капиталу и по чему бы то ни было. Мы не выдѣляемъ изъ народа ни мужика, ни аристократа, ни невѣжды, ни цивилизованнаго.

— Хорошо, — согласился Котырло; — но какую же активную силу имѣетъ сама по себѣ эта темная, нецивилизованная масса, инертная по самой своей природѣ? Вѣдь для хлопа, какъ и для вашего крестьянина, нѣтъ другихъ интересовъ, кромѣ интересовъ его желудка, то-есть кромѣ экономическихъ интересовъ.

— У насъ были 1612 и 1812 годы,—скромно замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, оицъ-таки тѣ же самые экономическіе интересы,—возразилъ Котырло,—потому что въ первомъ случаѣ поляки, а во второмъ французы мѣшали вашему «народу» отпавлять свои естественныя, экономическія надобности. Мы хорошо понимаемъ, что «народа» въ его настоящемъ полудикомъ состояніи не сдвинешь съ экономической почвы, и потому-то мы образовываемъ, цивилизуемъ его, стараемся всевозможными успіями поднять его на высоту того гражданственнаго сознанія, что онъ и мы—народъ единый и нераздѣльный. Не мы до него спускаемся, но его до себя подымаемъ, и неужели же вы за это осудите насъ?

Хвалынцевъ, не имѣвшій почти никакого понятія объ историческихъ отношеніяхъ польской шляхты къ ея «быдлу», могъ только отдать полную дань похвалы и почтенія такому гуманному стремленію.

— Да-съ!.. И вотъ потому-то, — продолжалъ Котырло!—шляхетство наше, которое создало для себя такую благородную миссію, и имѣетъ всѣ права называться *народомъ* по преимуществу. Мы еще только готовимъ мужика, но интеллигенція наша, дворянство наше, духовенство наше—у всего этого только и есть одинъ великій лозунгъ: «великая, всецѣлая и нераздѣльная наша старая Польша».

VI.

Маленькій опытъ сліанія съ народомъ.

Прибѣжалъ запыхавшійся казачекъ и объявилъ, что гости ѣдутъ. Панъ Котырло затопился на встрѣчу этимъ новымъ гостямъ.

По тополевой аллеѣ шибкою рысью приближался шикарный фэтонъ, запряженный парой добрыхъ узкокопеекъ и длинноухихъ коней поль-

ской породы. Блестящая упряжь отличалась польско-краковским характеромъ. Кучеръ въ кракусѣхъ, съ расшитой пелериной, съ рядами блестящихъ наборчатыхъ блухъ на поясѣ, съ длиннымъ бичемъ въ рукѣ, которымъ онъ такъ громко, такъ щегольски похлопывалъ, а самъ глядѣлъ молодцомъ и словно бы настоящимъ кракусомъ. Гайдукъ на запяткахъ, не менѣе молодцовато и какъ бы безпечно, крестомъ на груди сложивъ свои руки, сидѣлъ, видимо красуясь своей конфедераткой и чамаркой сѣраго сукна, съ зеленой оторочкой. Онъ даже былъ вооруженъ револьверомъ и охотничьимъ ножомъ на лакированной портупеѣ, въ томъ родѣ, какъ у посланничьихъ выѣздныхъ лакеевъ, и такимъ образомъ являлъ собою какъ бы стража и тѣлохранителя своего пана, который съ сигарой въ зубахъ, въ изящнѣйшемъ парижскомъ костюмѣ, небрежно покоился на эластическихъ подушкахъ своего фэатона. Поровнявшись съ Котырло, этотъ панъ привсталъ въ своемъ экипажѣ и, проносясь мимо, сдѣлалъ «манп-фестацію» своей гарибальдѣйкой, широкимъ размахомъ руки поднялъ ее надъ своею тщательно-завитую расчесанною и напомаженною головою. Судя по его «люшкѣ» и по вытянутымъ въ мышинные хвосты усымъ, Хвалынцевъ принялъ было его за характернаго француза, но, по объясненію пана Котырло, оказалось, что это Селява-Жабчинскій, мѣстный мировой посредникъ, либераль и *bon-vivant*, жившій большею частію то въ Парижѣ, то въ Варшавѣ, и притомъ большой «авантюристъ». Теперь для Хвалынцева стало ясно, почему наружность его столь напоминаетъ и парикамахера, и свѣтскаго шуллера вмѣстѣ. Сильно наоблеченная и наруганная дама, которая сидѣла подлѣ него, могла бы показаться если не матушкой, то по крайней мѣрѣ почтенной тетушкой этого господина; но оказалось, что некрасивая, хотя и желающая быть прелестною, особа—ни больше, ни меньше, какъ богатая супруга пана-посредника; причемъ значительная разница лѣтъ, вѣроятно, не служила помѣхой для ихъ семейнаго счастья.

Фэатонъ, сопровождаемый разливистымъ лаемъ собакъ, шикарно подкатилъ къ крыльцу сломянаго палаца. Паненки и паничи повыбѣгали на встрѣчу. Ахи, восклицанія, поцѣлуй—словомъ: всѣ радости пріятнѣйшей встрѣчи сопровождали прибытіе этой четы, которая и по состоянію, и по посредничьему положенію пользовалась въ избыткѣ ласкательнымъ вниманіемъ и почетомъ. Тотчасъ появився завтракъ съ неизмѣнной «старой литевкой», съ жирной «кавой» и всевозможными вкусно-стями домашней кладовой и кухни. А тѣмъ часомъ и еще новые гости подѣхали: панъ ассесоръ Шпарага и панъ Косачъ—земскій засѣдатель. Это, конечно, были гости не важные, но тѣмъ не менѣе люди нужные, и потому отка-

зу въ любезностяхъ для нихъ тоже не было, хотя панъ Котырло, какъ родовитый состоятельный шляхтичъ, бывшій «маршалокъ» и «чуть не магнатъ» держалъ себя предъ Шпарагой и Косачемъ съ замѣтнымъ оттънкомъ благосклоннаго къ нимъ достоинства.

Послѣ завтрака кракусъ-кучеръ, отпирягшій уже было коней и занявшійся въ людской пріятною «люлькою тютуну» въ неменѣе пріятной бесѣдѣ, вдругъ былъ потревоженъ очень досаднымъ приказаніемъ снова закладывать коней въ фэатонъ и живѣе подкатывать къ крыльцу.

Панъ Котырло, очень оживленно и даже не безъ громкаго хохота разговаривавшій о чемъ-то съ посредникомъ въ своемъ кабинетѣ, вышелъ оттуда съ нимъ облаченный во фракъ и готовый, повидимому, ѣхать куда-то. Панъ Селява-Жабчинскій тоже переодѣлся въ этотъ парадный костюмъ и, для пущаго блеску, навѣсилъ на грудь посредничью цѣпь. О чемъ они тамъ между собою такъ весело разговаривали, Хвалынцевъ, конечно, не зналъ, но слышалъ, какъ, выходя изъ кабинета, Котырло, со смѣхомъ пожимая плечами, говорилъ посреднику:

— Алезъ то глупство, муй пане! то южъ надто! ⁴⁾

— Ну, ну, ничего! Такъ надо! Ыдемъ, ѣдемъ!—поощрительно похлопывая его слегка по рукѣ около плеча, уговаривалъ посредникъ и, натянувъ свѣжія палевыя перчатки, не безъ граціи изобразилъ легкій поклонъ всему обществу.

Сѣли въ фэатонъ и поѣхали.

— Куда это они?—спросилъ Хвалынцевъ у Свитки, глядя въ окно на отѣзжавшій экипажъ.

— Кажись, съ визитами,—пояснилъ тотъ вкратцѣ.

Часа черезъ два они вернулись, а къ этому времени подѣхали еще двое гостей—двое помѣщиковъ солиднаго, старосвѣтскаго покроя, панъ Хомчевскій, стрѣлокъ и латинистъ-классикъ, и панъ Прындицъ, просто себѣ такъ «старожитный» панъ, безъ всякихъ индивидуальныхъ отличій.

— Ну, панове, потѣха!—съ громкимъ смѣхомъ влетѣлъ въ залу парадный посредникъ,—давно ужъ такой потѣхи не видалъ! Ха, ха, ха!.. Ый-Богу, потѣха!

— А что? А что такое?—оживленно обстучили гости вошедшихъ.

— Шляхетный панъ-маршалокъ дѣлалъ визиты своимъ хлопамъ!—торжественно пояснилъ Селява, указывая на Котырло шутивно-церемониальнымъ рекомендательнымъ жестомъ.

— Ну, вотъ! Самъ же потащилъ меня!—съ полусмущенной улыбкой оправдывался маршалокъ, который хотя уже и не былъ маршалкомъ, но всѣми безъ исключенія титуловался

⁴⁾ Слишкомъ, чересчуръ.

этимъ прозваніемъ въ силу стараго польскаго обычая, гдѣ бывало достаточно человѣку разъ побыть чѣмъ нибудь отъ маршалка до «вознаго», чтобы потомъ уже на всю свою жизнь серьезно титуловаться «паномъ маршалкомъ» или «паномъ вознымъ»¹⁾.

— Хлопамъ!.. Визиты хлопамъ!—выпучилъ глаза панъ Приндичъ, который былъ просто себѣ панъ старожитный. Онъ весь былъ повергнутъ въ пучину несказаннаго изумленія, тогда какъ другой панъ, Хомчевскій, стрѣлокъ и классикъ, улыбкой своею выражалъ явное недовѣріе,—шутись, молъ, братъ, знаемъ!

— А ей-Богу же правда. Выѣстѣ дѣлали!—подтвердилъ посредникъ. —То-есть ко всѣмъ наиболѣе вліятельнымъ и богатымъ, но и къ двумъ тоже самымъ бѣднымъ и ничтожнымъ, pour l'égalité, для уравниванія.

— Да за какимъ дьяволомъ, съ позволенія сказать, извините, понадобилось вамъ дѣлать визиты къ хлопамъ?—развелъ руками недоумѣвающимъ старожитный гость.—Развѣ они понижаютъ шляхетное обращеніе?

— О, ретроградъ!—съ комическимъ ужасомъ, качая головой, воскликнулъ посредникъ.—«За какимъ дьяволомъ!» А я бы посоветовалъ и вамъ-то поскорѣй взяться за умъ! Надѣвайте-ка фракъ, да и къ своимъ отправляйтесь, по нашему примѣру! Я ужъ это не въ первый разъ дѣлаю.

— А лежъ за якимъ дзяблемъ!?—начиная уже нѣсколько горячиться, повторилъ ретроградъ.

— Э! Вы все свое! А интересы сліянія?.. Ну, ну и... гражданская равноправность, пожалуй... Нѣтъ, это не лишнее, это не мѣшаетъ... и въ свое время, повѣрьте мнѣ, очень-таки можете пригодиться намъ! Политиковать, такъ ужъ политиковать, мой пане! Вы думаете это наше изобрѣтеніе, или что мы одни такъ дѣлаемъ? Извините-съ! Магнаты, князья, графы и тѣ не гнушаются! Почитайте-ка, да послушайте-ка, чтó дѣлается на Волини! Вотъ съ кого примѣръ брать надо, если мы добрые потрюты!

— Ну, да! А самъ говоритъ: «потѣха»!—кивнулъ на него головой классикъ.

— А что-жъ, и дѣйствительно потѣха! Только потѣха не въ томъ, что мы дѣлали визиты, а въ томъ, какъ они эти визиты принимали! Ха, ха, ха!.. О, Боже-жъ мой! Нѣтъ, это просто стоитъ въ лицахъ представить!.. Вообразите себѣ, напримѣръ, подѣзжаемъ... гайдукъ сыргиваетъ съ запятокъ, бѣжить, освѣдомляется: дома ли? принимаютъ ли? могутъ ли принять?

И панъ Селява-Жабчинскій очень живо и изобразительно представилъ въ лицахъ то глупое недоумѣніе и недовѣріе хлопцевъ, съ ка-

кимъ они на первый разъ, съ непривычки, принимали панскіе визиты, какъ пугались бабы и дѣвки, какъ онѣ, словно шальные, опрометью кидались въ хлѣвы и закуты прятаться отъ панскаго посѣщенія, какъ ребяташки при видѣ такой паники начинали ревѣть и визжать со страху, какъ недоумѣлые хлопцы долго не могли взять себѣ въ толкъ, что это молъ «визитъ», а не бѣда какая, не реквизиція, грозящая разореніемъ и ссылкой или солдатчиной, и наконецъ, какъ скверно пахнетъ, какой воздухъ тяжелый и отвратительный въ этихъ грязныхъ, поганныхъ, противныхъ хатахъ, такой тяжелый и такъ это тамъ все грязно, что нужны, молъ, вся сила гражданского мужества и все самоотверженіе ради великаго дѣла, ради ойчизны, чтобы рѣшиться на подобные визиты, но... это необходимо, этого требуетъ долгъ.

Вслѣдъ затѣмъ панъ Селява-Жабчинскій очень юмористично, обращаясь преимущественно къ дамамъ, рассказалъ, какъ они съ паномъ Котырло, чуть не каждый разъ стучаясь объ низкія притолки дверей, входили въ своихъ фракахъ и раздушенныхъ перчаткахъ въ эти противныя хаты, какъ пожимали руку хлопцу (хорошо, что хоть рука-то въ перчаткѣ), какъ разсаживались на лавкѣ, словно въ великосвѣтской гостиной, и приглашали хлопа садиться рядомъ съ собою, но глупый хлопъ только кланялся да все пятился отъ нихъ подальше, либо къ печкѣ, либо къ двери; какъ они спрашивали о томъ: «все ли онъ въ добромъ здоровьи? Какъ поживаетъ его супруга? Что дѣтки подѣлываютъ? Хорошо ли идетъ хозяйство и пр.»; какъ объясняли ему, что теперь онъ такой же панъ, какъ и они, такой же гражданинъ равноправный, и что они, молъ, все выѣстѣ, безъ всякихъ различій, одинъ и тотъ же народъ, одни и тѣ же дѣти общей матери Польши, а глупый хлопъ, все-таки съ непривычки же на первый разъ, только глазами хлопалъ да кланялся учашенно.

— Впрочемъ, ничего! доброе начало положено! А тамъ все пойдетъ уже само собою!—утѣшался розовой надеждой либерально-шляхетный посредникъ.

Слушатели съ живымъ участіемъ внимали его веселому разсказу, который очень часто прерывался ихъ неудержимымъ смѣхомъ; но этотъ смѣхъ относился никакъ не къ самому пану Селявѣ-Жабчинскому.

Хвалынецъ, хотя и не вполне еще понималъ по-польски, но все-таки понималъ всю сущность разсказа. Сначала онъ, по нѣкоторому малодунію, изъ чувства условнаго приличія относительно гостепріимныхъ хозяевъ, которые такъ искренно и такъ усердно хохотали, тоже состроилъ было нѣчто въ родѣ смѣющейся гримасы, но потомъ, почувствовавъ весь смыслъ панскаго издѣвательства, онъ ощутилъ въ душѣ присутствіе нѣкотораго злобнаго на-

¹⁾ Возный — мелкая должность въ старыхъ польскихъ судахъ въ родѣ пристава

строения. Ему стало не то гадко, не то больно от этого циническаго насмѣхання и отъ всего этого безконечно-іезуитскаго лицемерія, которое побудило либеральныхъ пановъ дѣлать визиты, любезничать и толковать о слияніи и равноправности со своими жалкими хлопами, которыхъ эти господа столь глубоко и столь шляхетно презираютъ.

«Нѣтъ! тутъ опять-таки что-то не то! Опять-таки фальшь какая-то!» подумалось ему снова, и опять въ душѣ зацепила боль неяснаго сомнѣнія.

VII.

За стѣною.

Деревенскій помѣщикій день проходитъ главнѣйшимъ образомъ въ ѣдѣ, и ѣдою же подраздѣляется на части: отъ чая до закуски, отъ закуски до завтрака, отъ завтрака до новой закуски, а тамъ до обѣда, до лакомства разными вареньями и сладостями, до чая, до ужина, послѣ котораго эта растительная жизнь завершается сномъ богатырскимъ на мягкихъ перинахъ.

Въ теченіе всего утра Хвалынцевъ вдосталь находился и насмотрѣлся на всевозможныя хозяйственныя учрежденія пана Котырло, такъ что не грѣхъ было и устать, а потому послѣ сытаго и, по обыкновенію, польски жирнаго обѣда, ему стала-таки улыбаться заманчивая мысль: пойти и прилечь на часочекъ. Онъ отправился въ отдѣльной флигелекъ, гдѣ еще со вчерашняго вечера для него и Свитки была отведена комната и гдѣ постоянно помѣщалась контора пана Котырло, въ которой, какъ бы въ некоемъ центральномъ министерствѣ, сосредоточивалось управленіе всѣми сельскими и экономическими дѣлами. Комната, занимаемая Хвалынцевымъ, отдѣлялась отъ этой конторы одною лишь тонкою досчатою перегородкою, которая, впрочемъ, доходила вплоть до потолка, но изобилвала достаточнымъ количествомъ щелей между досками, и эти щели, волей-неволей давали полную возможность отчасти видѣть и въ совершенствѣ слышать все, что происходить за стѣною.

Хвалынцевъ, питая въ душѣ сладкую надежду на послѣобѣденный сонъ, нарочно постарался уйти никѣмъ не замѣченный, изъ опасенія чтобы паненки такъ или иначе не завадѣли его особой, а паче всего не вздумали бы затѣять какія-нибудь *petits jeux* или засадить его за разбитыя клавикорды. Маневръ ему удался, и потому, пробравшись черезъ дворъ въ свою комнату, онъ спустилъ на окошкѣ мату, очень искусно сплетенную изъ соломы домодѣльной работой, устроилъ въ комнатѣ полную темноту, улегся самымъ удобнымъ образомъ и тотчасъ же заснулъ. Но не прошло

и получаса, какъ сквозь сонъ до него стали долетать отзвуки какого-то говора, которые наконецъ-таки и разбудили его. Говорили за стѣной въ конторѣ. Хвалынцевъ перевернулся на другой бокъ и зажмурилъ глаза въ надеждѣ заснуть вторично. Не тутъ-то было: застѣнные разговоры принимаютъ все болѣе и болѣе оживленный характеръ, и Хвалынцевъ, хочешь не хочешь, по неволѣ долженъ слушать ихъ. Тѣмъ не менѣе, надежда на сонъ пока еще не окончательно его оставила: онъ всячески старался уснуть, не обращая вниманія на говоръ, но черезъ нѣсколько минутъ, съ досадою въ душѣ, долженъ былъ оставить свои пріятныя надежды.

За стѣной очень явственно можно было различить голоса мирового посредника, самого пана Котырло и нѣсколькихъ крестьянъ. Что это голоса крестьянскіе, Хвалынцевъ сразу угадалъ по тому сдавленному, гортанному звуку голоса, которымъ обыкновенно говорятъ слабогрудые люди и который служитъ однимъ изъ характеристичныхъ признаковъ бѣлорускаго крестьянина. И помѣщикъ, и посредникъ совокупными усиліями старались, повидимому, въ чемъ-то убѣдить призванныхъ хлоповъ и относились къ нимъ необыкновенно мягкимъ, ласковымъ, вразумляющимъ тономъ. Съ мужиками разговоръ у нихъ шелъ на томъ смѣшанномъ, не то польскомъ, не то бѣлорусскомъ нарѣчій, которое, кажись, является продуктомъ чуть ли не мѣстнаго изобрѣтенія самихъ же пановъ для объясненій съ ихъ хлопами. По крайней мѣрѣ, польскій панъ никогда не объясняется съ бѣлорусскимъ крестьяниномъ ни на чистомъ польскомъ языкѣ, какъ на не совсемъ понятномъ для бѣлоруса, ни на мѣстномъ нарѣчій, искони почитаемомъ «хлопскимъ», то-есть униженнымъ для шляхетнаго пана; поэтому житейская практика пановъ и выработала здѣсь эту средне-пропорціональную мѣшанину.

Хвалынцевъ, слушая по неволѣ, вскорѣ сталъ догадываться и разумѣть, о чемъ именно идетъ дѣло за стѣною. Мировой посредникъ вмѣстѣ съ паномъ Котырло всячески старались втолковать мужикамъ, что если они желаютъ на будущее время остаться крестьянами и получить на выкупъ ту самую землю, которою они искони и по сей день пользуются, то «по закону» имъ придется платить въ годъ по сорока рублей серебромъ за участокъ, но что помѣщикъ, панъ Котырло, «отъ своей ласки панской», отъ всего чистаго своего сердца желаетъ имъ, хлопамъ, сдѣлать добро за всю ихъ вѣрную службу, а потому великодушно соглашается отдать имъ ту самую землю *на аренду* по двадцати рублей въ годъ за участокъ; но согласіе свое на это даетъ въ томъ только случаѣ, если они изъ крестьянъ перейдутъ въ дворовые, а этотъ переходъ въ дворовые бу-

детъ для нихъ «незличито выгоденъ» въ томъ отношеніи, что они-де, будучи дворовыми, будутъ пользоваться льготой и отъ платежа податей, и отъ рекрутчины, и что все это въ высшей степени благодѣтельное для нихъ дѣло есть такой пустякъ, въ сущности, что стоитъ лишь имъ, хлопамъ, не теряя золотого времени, сейчасъ-же подписать добровольный актъ, что они-де отказываются отъ своихъ правъ на выкупъ ихъ участковъ, а оставляютъ тѣ участки у себя въ арендѣ—вотъ и все! А ужъ перечисленіе ихъ въ дворовые совершится самымъ законнымъ путемъ, и это-де не ихняя уже забота, такъ какъ, самъ панъ Котырло съ паномъ посредникомъ постараются объ этомъ, но что во всякомъ случаѣ дворовымъ быть и гораздо почетнѣе, и гораздо выгоднѣе, чѣмъ крестьяниномъ, и что панъ Котырло единственно изъ своей ласки панской, изъ великодушія, для ихъ же добра предлагаетъ имъ такую прекрасную сдѣлку.

«Мм... не дурно», думаетъ про себя Хвалынецъ; «у пана Котырло, какъ видно, губа-то не дура. Двадцать рублей вмѣсто сорока, аренда вмѣсто выкупа, а въ результатѣ, на дѣйствительномъ-то фактѣ одно лишь круглое обезземеленіе хлопа... крестьянскій пролетаріатъ, вѣчная зависимость отъ пана—ей-Богу не дурно! и въ то же время гуманныя школы, гуманное «сліяніе», визиты къ хлопамъ, высокія идеи о вольной ойчизнѣ, да что жъ это, однако! И неужели тѣ не поймутъ и согласятся?»

Однако-же хлопы, насколько можно было предположить себѣ за стѣной, стали мяться и почесываться, выказывая раздумчивую нерѣшительность.

— А вы, паночку, кажеде, што павинны мы по сорокъ рублеу на рокъ за кавалокъ плаццъ?—послышался наконецъ одинъ неуверенный голосъ.

Посредникъ подтвердилъ, что если на выкупъ, то «по закону» надо будетъ по сорока.

— А выбачайце, яснавьяльможный!—продолжалъ несмѣло другой голосъ,—бо мы цемны людъ, може што й не зрозумѣли... А какъ знаць намъ, по якому закону?

Посредникъ нѣсколько замедля и пояснилъ, что «по закону», то-есть собственно значить по уставной грамотѣ.

Хлопы снова зачесали въ затылкахъ и раздумчиво потупились.

— Алежъ яна ще й не зготована, ще й не подписана громадой?—замѣтилъ кто-то изъ хлоповъ.

— А, муй коханы! Алежъ то вшистка рувне!—ласково сталъ убѣждать посредникъ.—Не подписано теразъ, ну, усе равно заутра, чи на послѣзаутра подпишамы, громада же безъ мала уся сгодилась, лечьбы насчетъ выгона

да лѣсовыхъ укосовъ сгодиться-бы, а то и скончѣно!

— Але!—подтвердили нѣкоторые хлопы.

И посредникъ вмѣстѣ съ паномъ снова принялись ублажать неподатливыхъ хлоповъ и изображать имъ въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ всю сладость выгоды, весь почетъ перехода изъ крестьянства въ дворовые, причемъ главное что не сорокъ, а двадцать только, всего на всего двадцать рублей платить придется!

Крестьяне все еще раздумывали, покрякивали, потаптывались съ ноги на ногу и тупили глаза да головы въ землю.

— А може й такъ, выбачайце, паночку яснавьяльможный!—заговорилъ наконецъ одинъ изъ нихъ.—Може мой такій дурны розумъ, а я сабѣ мыслю такъ што... ну, добро жъ: цяперъ мы пирамѣнимся зъ хлопоу на дворовы, а патымъ намъ вже й не вольно буде зъ дваравыхъ та й зноу на хресцяны абернутьца. То кажу, такъ?

— А то такъ, такъ!—подтвердили и панъ, и посредникъ.

— Ну, нехай, такъ! И я мыслю сабѣ, што муся быць такъ!.. А цяперъ панъ мнѣ каже, какъ я за двадцать рубли зяну на гаранду мой кавалокъ; ну, гѣто такъ, гѣто гля мяне гѣжо. А може й тамъ, патымъ, празъ сколько время, панъ мнѣ скажець: невольо большъ за двадцать, а плацц каже напяродъ тридцять, альбо сорокъ рубли, кали хочешъ гарандоваць, а не то, каже, вопъ пайшолъ! Ну, и што жъ тоды мнѣ будзе, безъ земли, безъ усяво?

И панъ, и посредникъ необычайно поспѣшили возмутиться такимъ неувѣроятнымъ и коварнымъ предположеніемъ. Селява-Жабчинскій принялся увѣрять, что это вовсе невозможно, что ихъ панъ, панъ Котырло, такой добрый, такой честный, благородный, великодушный человекъ, что онъ не то что не захочетъ, а и не подумаетъ никогда сдѣлать со своимъ вѣрнымъ и добрымъ хлопомъ подобную мерзость. Панъ Котырло со своей стороны клялся и божился, ударяя себя въ грудь кулакомъ и призывая пана Бога во свидѣтели, что никогда ничего такого и быть не можетъ. Онъ горячо увѣрять, что любитъ своихъ хлоповъ, и что только изъ чистосердечнаго, искренняго желанія добра для нихъ же, дураковъ, дѣлаетъ имъ столь выгодное предложеніе, что онъ даже не ожидалъ отъ нихъ за всю свою искренность и панскую ласку такого обиднаго, оскорбительнаго предположенія, что онъ всегда желалъ быть для нихъ «якъ панъ ойтець» и думалъ, что и они до него тоже «якъ добры дзѣци», а вмѣсто того... Панъ Котырло «деклямовалъ» все это не безъ горячаго увлеченія, и при томъ столь огорченнымъ, даже оскорбленнымъ отечески-ласковымъ тономъ! А панъ посредникъ

тотчасъ же, подмѣтя въ панѣ Котырло эту огорченную струнку, грустно сталъ укорять неблагодарныхъ хлоповъ, что какъ же, молъ, имъ не стыдно и не совѣстно, и какъ даже предъ Богомъ не грѣшно, въ оплату за всю панскую ласку, за всю любовь и заботу панскую, за всѣ попеченія объ ихнемъ же хлопскомъ благѣ, платить ему такимъ обиднымъ недоумѣемъ, что имъ-де слѣдуетъ покаяться, просить у пана прощенія, просить его о позволеніи поцѣловать руку панскую, и закончилъ тѣмъ, что панъ Котырло, по добротѣ своей, вѣрно не откажется простить ихъ и, въ знакъ примиренія, велитъ поднести имъ по добродушію «кручку паньской водки».

Добродѣтельный панъ, въ знакъ того, что у него мягкое, незлопамятное сердце, тотчасъ же распорядился послать за водкой своего конторщика, пана Михала, а панъ Михалъ не замедлилъ явиться съ цѣлымъ двухведернымъ боченкомъ. Оскорбленный помѣщикъ, въ своемъ присутствіи, приказалъ пану Михалу угощать оскорбителей-хлоповъ, прибавя со вздохомъ, что въ «такое время» онъ не желаетъ, чтобы между имъ и хлопами оставалось какое-нибудь зло и недоразумѣніе, и что онъ охотно имъ все прощаетъ и забываетъ.

Хвалынцевъ слышалъ, какъ забулькала изъ боченка хмельная влага, и ошибающій сивушный запахъ тотчасъ же достигъ до его обонянія сквозь узкія щели перегородки. Заинтересованный всей этой сценой, онъ приподнялся съ подушки и заглянулъ въ одну изъ ближайшихъ щелей. У большого стола, разглядѣвъ онъ, сидѣлъ Котырло съ посредникомъ, на которомъ красовалась его золотая цѣпь, и по взволнованнымъ ихъ лицамъ можно было догадаться, что ихъ весьма живо и существенно интересуетъ благопріятный для ихъ желаній и цѣлей исходъ предлагаемой сдѣлки. На столѣ предъ посредникомъ лежалъ нацѣло переписанный листъ бумаги, по всей вѣроятности, актъ добровольнаго отреченія отъ выкупнаго надѣла. У дверей помѣщалось челоуѣкъ двадцать хлоповъ, которыхъ въ эту минуту усердно угощалъ водкой панъ конторщикъ, и въ этомъ послѣднемъ Хвалынцевъ сразу же узналъ того самаго двороваго челоуѣка, въ длинномъ сюртукѣ, который вчера въ корчмѣ пропагандировалъ хлопамъ желанное возстановленіе Польши и прославлялъ неизреченную доброту пана Котырло.

Послѣ перваго «крючка», панъ былъ столь добръ и ласковъ, что разрѣшилъ угостить по второму, а послѣ второго, ужъ куда ни шло, чтобы произвести цѣлесообразное дѣйствіе—и по третьему. По три «крючка» на брата не замедлили произвести его: блѣдно-болѣзненные, забитыя, зачухавшія лица хлоповъ раскраснѣлись, оживились и повеселѣли. Въ тонѣ ихъ придавленныхъ изнутри, тоще-гортанныхъ го-

лосовъ послышалась кака-то расплывающаяся мягкость. Они всѣ поочередно подходили къ пану съ приниженнымъ, согбеннымъ выраженіемъ своей благодарности; кто посмѣлѣй, тотъ цѣловалъ панскую руку, а кто поробчѣе, тотъ ограничивался благоговѣнно-почтительнымъ лобызаніемъ передней полы панской драповой венгерки, щегольски отороченной бѣлыми смутками и фигурно расшитой черными шелковыми шнурками. Послѣ этой церемоніи, которую панъ Котырло принималъ какъ должное, какъ необходимое, съ самымъ невозмутимымъ чувствомъ сознанія своего родового, шляхетнаго превосходства, хлопны загалдѣли межъ собою, а посредникъ еще пуще сталъ распинаться предъ ними за ихъ собственное благо, за льготы быта дворовыхъ людей, которые межъ тѣмъ остаются такими же крестьянами, при тѣхъ же участкахъ, а главное за эти соблазнительные двадцать вмѣсто сорока рублей платы. Въ средѣ хлоповъ уже раздавались поддающіеся, сочувственные голоса, и не прошло десяти минутъ, какъ согласіе ихъ на сдѣлку было дано, и актъ добровольнаго отказа отъ выкупныхъ надѣловъ подписанъ и скрѣпленъ самымъ надлежащимъ и законнымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, цѣлая деревня въ двадцать дворовъ, сосѣдняя съ мѣстечкомъ, но въ числѣ прочихъ точно также принадлежащая пану Котырло, переходила у него въ состояніе безземельныхъ дворовыхъ. Двадцать прекрасныхъ участковъ, вслѣдствіе добровольныхъ отказовъ пьяныхъ крестьянъ, становились его полною и неотъемлемою собственностью на вѣки-вѣчныя. Вмѣстѣ съ этими двадцатью участками было приобрѣтено, по крайней мѣрѣ, сорокъ безземельныхъ, вполнѣ отъ пана зависимыхъ батраковъ-пролетаріевъ.

Панъ Котырло вздохнулъ свободнымъ, облегченнымъ вздохомъ, и отъ нескрывяемаго внутреннего удовольствія, потирая свои мягкія полныя руки, расщедрился во вся и приказалъ пану Михалу поднести крестьянамъ, за ихъ покорство и разумность, еще водки по сколько тамъ придется на весь остальной боченокъ.

Хлопы всѣмъ гуртомъ кланялись и благодарили еще разъ за панскую милость и ласку.

Дѣло было кончено, и черезъ нѣсколько минутъ контора опустѣла.

Вся эта сцена сдѣлала на Хвалынцева возмущающее впечатлѣніе. Будучи самъ помѣщикомъ, и едва лишь девять, десять мѣсяцевъ тому назадъ заключая со своими крестьянами добросовѣстный актъ уставной грамоты, онъ не могъ не понять теперь, кака-я гнусная обманная продѣлка кроется подъ великодушіемъ пана Котырло. Оставаясь въ потемкахъ своей комнаты и лежа на сѣнникѣ съ заложенными подъ голову руками, онъ невольно погружался въ новое, тяжелое и глубокое раздумье.

VIII.

Два храма.

На другой день, отъ раннего утра еще, мѣстечко Червлёны кишѣло народомъ, который обрелся сюда съ разныхъ окрестныхъ деревень, усадебъ, фольварковъ, и мѣстечекъ по случаю «кіермаша». Червлёнский костель праздновалъ свой храмовой праздникъ, а въ Червлёнахъ искони уже съ храмовымъ праздникомъ была неразлучна ярмарка—кіермашъ. Мелкая шляхта, въ бричкахъ и телѣжкахъ, останавливала лошадей и задавала имъ кормъ либо на дворѣ у костельной ограды, либо же въ заѣздныхъ домахъ у «пани Янкелевой» и у «пана Эльки», а все что на общественной лѣстницѣ стоитъ ниже «дробной шляхты», какъ напримѣръ: войты, полѣсовщики, сотскіе и десятскіе, да и крестьяне, которые позажиточнѣй, все это гуртомъ лѣнилось по корчмамъ, которыми въ немаломъ количествѣ изобиловали Червлёны. Окрестные паны прїѣзжали въ крытыхъ нетычанкахъ и въ допотопныхъ коляскахъ, но не иначе какъ въ польской упряжи «съ бичемъ», и ѣхали, кто познатнѣй и покороче знакомѣй, прямо въ усадьбу къ пану Котырло, а прочіе бѣгомъ набивались въ двухъ-трехъ «панскихъ» комнатахъ заѣздныхъ домовъ, гдѣ пани и паненки торопливо переодѣвались въ праздничную, парадную «жалобу», боясь опоздать къ «набожѣнству», такъ какъ на вышкѣ костельной колокольни давно уже трезвонили въ раскачивающіеся «дзвоны». Мужики въ бѣлыхъ, начисто выстиранныхъ «кошляхъ» и въ новыхъ свиткахъ, бабы съ цвѣтными хустками на головахъ, дѣвки въ лентахъ и въ яркихъ искусственныхъ цвѣтахъ, заплетенныхъ въ косы, и тѣ и другія съ разноцвѣтными «папюрками» на шеяхъ и съ неизмѣнными «шкаплѣржами», выставленными нарочно на показъ, ради щегольства, поверхъ бараньихъ «кожѣшковыхъ» и суконныхъ «сукмянцевъ», церехваченныхъ въ тали, все это и пѣшкомъ и на возахъ, въ плетеныхъ изъ лозы «полукѣшикахъ», съ разныхъ сторонъ направлялось къ базарной площади, которая сплошь уже заставлена была возами, такъ что почти не было и проходу. Одни изъ нихъ оставались «доглядѣть» возы, другіе шли «до косыціолу», третьи до «церквы», которая, сгорбившись и покосившись отъ ветхости, тоже благоустоила себѣ въ убогій колоколышко, гдѣ-то тамъ вдалекѣ, на выѣздѣ изъ мѣстечка, около кладбища.

«До плебани, на обѣдѣ до пробоща», точно также какъ и «до пана Котырло» понаѣхали свои особые гости въ образѣ сосѣднихъ ксендзовъ, между которыми въ видѣ непремѣннаго и неизмѣннаго чирья, еще со вчерашняго вечера уже затесался какой-то стран-

ствующій краснорожій бернардинъ «квестражъ», «ксензъ-брацішекъ», учувшій пѣкимъ инстинктомъ предстоящій «обѣдѣ съ колдунями, съ тушеной капустой, со старой литѣвкой, пѣвкомъ, мѣдкомъ и ксендзовскими наливками». Странствующій бернардинъ, какъ и подобаетъ смиренно-скудному служителю Божію, не имѣлъ при себѣ ничего, кромѣ своей коричневой хламиды да небольшого чемоданчика, сплошь набитаго тетрадками проповѣдей, приноровленныхъ ко всевозможнымъ празднествамъ католическаго костела. Съ этимъ чемоданчикомъ, да еще съ запасомъ всевозможныхъ «новинокъ», сплетень, «диктеріекъ» и анекдотовъ, онъ обтекалъ міръ литовскій, сказывая свои проповѣди и анекдоты, и за то получая отъ ксендзовъ и пановъ временной пріютъ, лакомый кусокъ, а иногда и подводу съ живымъ бараномъ—до слѣдующей плебани.

Весь проходъ отъ ограды до паперти занятъ былъ рядами нищихъ, убогихъ, хромыхъ, горбатыхъ и слѣпыхъ обоого пола, и въ ихъ средѣ голосами разными и воплями дикими раздавался нестройный хоръ всевозможныхъ «кантычекъ». Одинъ «старушекъ» подкосьцѣльны съ «ксензкою» и «кіемъ» въ рукахъ, разбитымъ старческимъ голосомъ завываетъ «Лазаржа».

Певны человекъ богаты
Въ золото, серебро, шкарлаты,
Ядзъ, пилъ, тылько танцъвалъ,
Дзень и ноцъ банкетовалъ...

Другой «старушекъ», увѣшанный «ружанцами, крижниками, медалками и шкаплѣржами», заправляетъ цѣлой партіей, горюлая съ ожесточеніемъ подхватываетъ за нимъ «Дзесенціору»:

А Богъ розказалъ: вѣржъ въ Бога едного,
Други: імѣня не бержъ дармо Его,
Трѣщѣ: памѣнтай, бысь свѣнциль дни мѣе,
Чвартѣ: папуай ойца, маткон' твоѣн',
Піонте: не забій, шусте; не цудзѣложъ,
Сюдме: не крадвій; усьме: фальшу не множъ,
А дзевенте: не побондай,
До цудзыхъ жѣнѣкъ не пршисѣндай.

И все это козлогласованіе покрывается въ перебой «жебраньемъ» въ самомъ плачевномъ, скрипучемъ надѣдлимомъ тонѣ:

— Пандѣку! Панѣнко! Дрогѣньки, злоцѣньки! Хоцъ грошичекъ на мяне бѣднаго калѣку!— причемъ къ мимоидущимъ протягиваются десятки рукъ, шалоковъ, тарелокъ, и чуть лишь грошикъ попадаетъ въ которую изъ нихъ, тотчасъ же начинаются завистливые щипки, тычки, колотушки и ругань вперемежку съ «пандѣку, злоцѣньки! Матко Бѣжско!» и пр.

Тутъ же рядомъ съ нищими ютятся столпи и стойки, покрытые и завѣшанные четками, крестиками, образками, нестрыми шкаплѣржами, литографіями Ченстоховской и Остробрамской Богоматери, распятіями, «крштѣленни-

цами» и прочими предметами подобного рода, служащими на религиозныя потребности «добро-чинныхъ католиковъ».

Коляска пана Котырко уже дважды подѣзжала къ костелу, подвозя поочередно все его семейство, которое помѣщалось впереди всѣхъ, на особомъ видномъ мѣстѣ, гдѣ на широкомъ коврѣ было поставлено нѣсколько креселъ и стульевъ. Органъ гудѣлъ и гремѣлъ съ высоты хоръ, и голосъ пана-органиста звучалъ и разливался особенно звонко какими-то праздничными трелями, когда Хвалынцевъ вмѣстѣ съ Святкой вошли въ костелъ. Алтарь, убранный по праздничному кружевами, букетами фальшивыхъ цвѣтовъ и рядами длинныхъ восковыхъ свѣчъ; по бокамъ главнаго и меньшихъ алтарей позолоченныя и раскрашенныя статуи разныхъ святыхъ, съ характерно-католическими физиономіями, въ какихъ-то пысканыхъ и какъ бы театральныхъ позахъ; воздѣтыя руки и длѣшій затылокъ ксендза, облаченного въ кружева и въ пестрый коротенькій «орнатъ», а по бокамъ его двое колѣнопреклоненныхъ мальчиковъ въ «комжахъ» съ разноцвѣтными лентами на груди и съ пронзительными колокольчиками въ рукахъ; по бокамъ скамеекъ и по стѣнамъ ряды разноцвѣтныхъ «хоронгви» въ видѣ знаменъ, — все это, увидѣнное въ первый разъ, произвело на Хвалынцева довольно яркое и пріятное впечатлѣніе. Невольно давая себѣ въ немъ отчетъ, онъ замѣтилъ, что все въ этомъ храмѣ рассчитано на внѣшній эффектъ, все такъ и бьетъ на зрѣніе, на слухъ, на внѣшнее чувство, и не могъ не сознаться, что все это дѣйствительно хорошо и очень красиво, хотя и чересчуръ уже изысканно и декоративно.

Оглядывая молящуюся публику, которая размѣстилась по рядамъ скамеекъ, онъ тоже не могъ не замѣтить, что на скамейкахъ этихъ разсѣлось все то, что такъ или иначе причисляетъ себя къ крупной и дробной шляхтѣ: крупная шляхта впереди, дробная назадъ; на самыхъ же заднихъ мѣстахъ засѣдали разные офиціалисты, лакеи, горничныя, псары, егеря и вообще наиболѣе крупныя личности изъ панскихъ дворенъ; хлопны же смиренно тѣснились, и уже не сидя, а стоя позади всѣхъ избранныхъ и шляхетныхъ, въ полутемномъ пространствѣ подъ хорами. Всѣ эти пани и паненки въ красивыхъ и разнообразныхъ жакетахъ, всѣ эти солидные паны въ смушковыхъ венгеркахъ и молодые паничи въ чамаркахъ, порой старались изобразить на лицахъ своихъ напряженное чувство религіознаго экстаза (въ особенности же молодыя пани и панны), но по большей части шунукались между собою и съ видимымъ праздничнымъ удовольствіемъ глазѣли по сторонамъ, а иногда не безъ кокетства кидали какъ бы случайные взоры на молодыхъ паничей, которые въ свою очередь

видимо рисовались своими небрежно-красивыми позами и щегольскими чамарками. Кто изъ нихъ хотѣлъ казаться въ нѣкоторомъ родѣ демократомъ, тотъ щеголялъ чамаркой изъ простого сѣраго сукна, а кто желалъ проявить въ себѣ тенденции аристократическаго свойства, тотъ облакался въ драповыя или, что еще грандіознѣе, въ бархатныя; но какъ аристократическія, такъ и демократическія венгерки и чамарки необходимо были съ величайшею изысканностію расшиты шелковыми шнурками, такъ что въ тѣхъ и другихъ собственно казавался лишь великолѣпный шикъ двойаго рода: шикъ аристократическій и шикъ демократическій, — такъ сказать, шикъ Чарторыйскихъ и шикъ Мѣрославскаго.

Но если жалоба, и оба шика, и кокетливыя взгляды съ непринужденными позами, и вызываемое по временамъ напряженно-религіозное выраженіе лицъ носили на себѣ какъ-бы дѣланный и очевидно показной характеръ, то хлопны въ своемъ тѣсномъ, полутемномъ углу молились съ тупымъ, но искреннимъ фанатизмомъ, почти не вставая съ колѣнъ и то ударяя себя въ грудь кулаками, то распростираясь на полу ницъ, что называется «кржижемъ». Эти отгѣнки молитвеннаго настроенія шляхты и хлоповъ сами собой сказывались слишкомъ ярко, для того, чтобы наблюдательный взглядъ свѣжаго, посторонняго человѣка, какимъ былъ теперь Хвалынцевъ, не могъ сразу-же ихъ подмѣтить.

«Гдѣ-же однако народъ?» подумалось Хвалынцеву, глядя на ряды скамеекъ, переполненныхъ шляхтой, и на темное пространство подъ хорами, гдѣ тѣснилось нѣсколько десятковъ сѣрыхъ свитковъ и сукмяновъ. — Гдѣ же эти хлопны, которые такъ привержены костелу? Неужели-же тутъ вотъ и все?»

Сомнѣніе взяло Хвалынцева: ему насаждали слишкомъ много, такъ что дѣйствительность, сравнительно съ рассказами, казалась теперь скудна и мизерна. «Этого быть не можетъ!» подумалъ онъ и рѣшилъ удостовѣриться собственными глазами. Для этой цѣли онъ пошелъ въ ту убогую «церквѣ», которая гдѣ-то тамъ, на выѣздѣ, какъ-бы заброшенная и заглохшая, уныло звякала въ убогій колоколышко. Ему захотѣлось посравнить и посмотреть, что за публика собирается тамъ въ этой церкви?

— Гдѣ тутъ церковь? Это, что-ли? — спросилъ онъ у ветрѣчнаго хлопа, дойдя до самой околицы.

— Але, паночку! Ось та сама! — пробормоталъ хлопъ, обнажая почтительно голову и указывая на ветхое, покосившееся, заплѣсневѣлое и какое-то облупленное зданіе. Хвалынцевъ не безъ изумленія окинулъ взоромъ-то, что называлось храмомъ Божиимъ. Хотя и въ душѣ, и на дѣлѣ онъ признавалъ себя человекомъ вполне пидифферентнымъ къ дѣлу религіи вообще, но

тутъ—и самъ не вѣсть почему—почувствовалъ вдругъ какое-то горькое, обидное ощущение: эта церковь называлась въ этомъ краѣ *русскою* церковью, тогда какъ костелъ назывался *польскимъ* костеломъ. А сравненіе между тою и другимъ, при первомъ-же взглядѣ на нихъ, невольно било въ глаза, невольно и при томъ само-собою напрашивалось въ мысли: тотъ красуется на площади, на лучшемъ, на самомъ видномъ мѣстѣ селенія, а эта запрятана въ какую-то трущобку, словно-бы ее стыдно и на глаза показывать добрымъ людямъ; тотъ гордо выситенъ своими бѣлыми башнями, красуется своимъ фронтономъ и прорѣзными, причудливо-узорчатыми крестами, а эта стоитъ себѣ словно-бы пришибленная къ землѣ, и если бы не покосившійся крестъ надъ входомъ, то ее скорѣе можно-бы было принять за заброшенный хлѣбный амбаръ, чѣмъ за церковь—до такой степени во всей вѣншиности ея отсутствовали признаки благолѣпія, подобающаго даже самому бѣдному храму. Привыкнувъ на всемъ знакомомъ ему пространствѣ Великороссія встрѣчать множество церквей, то щегольски-богатыхъ новой архитектурой, то изящныхъ въ простотѣ своего древняго стиля, и во всякомъ случаѣ благолѣпныхъ, Хвалынцевъ былъ просто пораженъ этимъ четырехугольнымъ срубомъ, дѣйствительно, напоминавшимъ что-то въ родѣ амбара или сарая.

Онъ вошелъ въ притворъ и выступилъ на средину храма. Два узенькихъ оконца съ затмѣваемыми стеклами, тускло пропускавшими нѣсколько скудныхъ лучей дневного свѣта, освѣщали блѣдный иконостасикъ, съ образами какого-то смѣшаннаго характера: не то это были католическіе образа, не то православные. Тоненькія свѣчи желтаго воску теплились предъ мѣстными иконами не въ паникадилахъ, а въ какихъ-то высокихъ желѣзныхъ подсвѣчникахъ, изображавшихъ собою утвержденный на подножкѣ и увѣнчанный обручемъ прутъ, который былъ утыканъ горящими свѣчами. Эти подсвѣчники являлись, по всей вѣроятности, произведеніемъ мѣстной кузницы. Священникъ облаченъ въ убогую, старенькую, изношенную ризу; на клиросѣ нестройно поетъ дьячекъ съ какимъ-то любителемъ изъ хлоповъ и двумя крестьянскими мальчиками. И все это вокругъ такъ бѣдно, такъ скудно, такъ пришиблено!..

Хвалынцевъ оглядѣлъ молящихся, пришелъ въ изумленіе, оказавшееся, послѣ нѣкотораго размышленія, изумленіемъ поучительнаго свойства. Въ церкви было не много народа, но народъ этотъ былъ исключительно *сър-й*—куда ни глянь—все однѣ только свитки хлопскія, сукмань да колушки, и нигдѣ ни тѣни, ни малѣйшаго признака того, что могло бы напомнить собою принадлежность если не къ шляхтѣ, то хоть къ помѣщичьимъ дворовымъ людямъ: одни только хлопы и хлопы!..

«Вотъ она *русская-то* церковь!.. Что-жь

это, однако?!..» снова подумалось Хвалынцеву, и теперь для него уже вполне стали ясны тѣ мимолетныя выраженія, которыми, во время своего путешествія по Литвѣ, тамъ и сямъ удалось ему подслушать: «хлопська вяра; погъ до хлопа, плебанъ до пана».—Русскій инстинктъ, русское чувство, помимо собственной его воли, закрадывались въ душу Хвалынцева, незамѣтно подтачивая кору напускного космополитизма, и это чувство, чѣмъ болѣе теперь глядѣлъ онъ на представшую ему картину, тѣмъ глубже сказывалось какой-то обидой, какой-то горечью и грустнымъ раздумьемъ. Это чувство смутно подсказывало ему, что во всемъ слышанномъ отъ Свитки и Котырло о «казенной вѣрѣ», о «казенной церкви» опять-таки кроется какая-то фальшь, какал-то утайка лицевой стороны дѣла, какая-то тенденціозная маска!..

Въ церкви было холодно. По ней ходилъ сырой паръ отъ людского дыханія, который, мѣшаясь съ дымомъ ладона, наполнялъ внутренность храма какимъ-то мглыстымъ туманомъ. Хвалынцевъ сталъ вглядываться въ лица молящихся, и ни въ одномъ изъ нихъ не подмѣтилъ того изступленно-фанатическаго дѣланнаго экстаза, который столь крупными чертами кидался въ глаза въ костелѣ. Здѣсь, напротивъ, общее выраженіе лицъ было обиденное и до того спокойное, что глаза поверхностнаго наблюдателя скорѣй бы даже могъ принять его за признакъ религіознаго индифферентизма, и на это послѣднее предположеніе могло бы пожалуй натолкнуть отчасти и то обстоятельство, что многія женскія груди украшались католическими шкаплержами, въ рукахъ у нѣкоторыхъ изъ бабъ были очевидно польскіе молитвенники, а нѣкоторые изъ нихъ такъ даже и крестились по-римски; но все-таки общее впечатлѣніе слишкомъ различествовало отъ впечатлѣній, только что унесенныхъ Хвалынцевымъ изъ костела.

Когда онъ пришелъ въ церковь, то засталъ почти уже самый конецъ обѣдни, которая здѣсь кончилась гораздо ранѣе костельной «мши». Вскорѣ прихожане стали выходить изъ церкви и группами останавливались, «балакая» промежъ себя въ церковной оградѣ. Вышелъ и священникъ—изъ себя поджарый, захудалый попикъ, не молодыхъ, но еще и не преклонныхъ лѣтъ, въ тощенькой шубенкѣ. Еще едва показавшись онъ на паперти, какъ многіе изъ хлоповъ, съ фамиллярно-почтительною привѣтливостью снявъ свои шапки, подходили подъ благословленіе «пана ойца», а нѣкоторые, безъ малѣйшихъ признаковъ робости или застѣнчивости, замѣчаемой въ нихъ постоянно въ отношеніяхъ съ панами и панскими официалистами, привѣтливо и радушно вступали съ «паномъ ойцомъ» въ разговоры, такъ что, судя по этому обращенію, можно было безошибочно предположить, что панъ ойтець для сѣраго хлопа свой чело-вѣкъ, родной и близкій его быту, его жизни, его

интересамъ. Одна кучка хлоповъ, человѣкъ въ пять или шесть, отличавшаяся наибольшою солидностію, обступила священника, очевидно, прося у него какого-то совѣта, и паничъ ойтецъ, степенно толкуя о какомъ-то дѣлѣ, скрылся вмѣстѣ съ ними въ низенькой двери своей на-чисто выбѣленной хаты.

«Да, хоть тутъ и шкаплержи у иной бабы, и два польскіе молитвенника, и кажущійся индифферентизмъ», подумалъ себѣ Хвалынцевъ, глядя на эти группы расходящагося люда, «но... все-таки Польша, кажись, не здѣсь, а тамъ, въ костелѣ... Здѣсь—одни хлопы, а тамъ биткомъ-набито шляхтой... и все-таки *здѣсь-то* ни мало не похоже на Польшу», рѣшилъ онъ самъ съ собою. «Это скорѣй же что-то свое, самобытное, если ужъ не считать его русскимъ». — Пойду еще поглядѣть на Польшу! сказалъ онъ себѣ, и снова направился къ костелу.

Пришедши туда, онъ засталъ уже на высотѣ кафедры краснорожаго бернардина, который съ сильной жестикуляціей и съ декламаторскими приѣмами католическаго оратора горячо импровизировалъ какую-то проповѣдь. Голосъ его то возвышался до визга фальцетныхъ нотъ, то падалъ до глухого, гробового баса, то гремѣлъ громовыми раскатами, то стихалъ до умиленно-нѣжнаго шопота. Публика слушала его съ напряженнымъ и живымъ вниманіемъ, чутко ловя каждое слово, каждый жестъ,—и на лицахъ присутствующихъ ясно отпечатлѣвалось выраженіе какой-то мрачной, глухо-изступленной ненависти, сдавленной боли, внутреннего страданія... Многія пани и паненки утирали тихія слезы, паны слушали въ какомъ-то фанатическо-озлобленномъ молчаніи, хлопы же изъ своего полутемнаго пространства подъ хорами устремляли на проповѣдника взоры, исполненные тупого вниманія. Казалось, что слово проповѣдника, главнѣйшимъ образомъ, имѣло въ виду именнo хлоповъ и по преимуществу къ нимъ обращалось.

Хвалынцевъ, конечно, съ трудомъ выкалтъ въ смыслъ этой рѣчи, но все-таки кое-что понималъ. Бернардинъ говорилъ о страданіяхъ Богоматери предъ крестомъ и гробомъ распятаго Христа и проводилъ параллель между Ея страданіями и мукою ойчизны, которая плачетъ надъ гробомъ распятаго народа польскаго; говорилъ, что какъ Христосъ воскресъ отъ смерти, такъ и народъ польскій долженъ возстать, чтобы воскреснуть «въ рувндсти, вольности и неподлеглости изъ-подъ неволи московской». Для этой цѣли каждый добрый католикъ долженъ избѣгать всякаго общенія со схизматиками, даже до такой степени, что если бы въ отсутствіи ксендза пришлось какому отцу крестить своего умирающаго ребенка, то пусть лучше ребенокъ умираетъ некрещенымъ, чѣмъ принявшимъ крещеніе отъ поганой руки «схизматичскаго по-

па», ибо въ этомъ случаѣ чистая душа его уподобляется духу пса и утрачивается не только для Польши, но и для неба. Слово свое бернардинъ заключилъ, наконецъ, тѣмъ, что каждый добрый полякъ уже потому долженъ всѣ свои силы и средства употребить на дѣло отчизны, что и самъ Христосъ былъ «родовиты полякъ» и не за что иное, какъ только за свое польское происхожденіе распятъ и замученъ жидами и москалями⁴⁾.

Весь этотъ грубый, дубоватый фанатизмъ бернардинской проповѣди поразилъ Хвалынцева въ особенности тѣмъ, что непосредственное, прямое вліяніе его всецѣло отразилось всею своею положительною стороною не на хлопяхъ, на которыхъ оно было рассчитано, а главнѣйшимъ образомъ на цивилизованной шляхтѣ. Это была для него своего рода новость, вполне неожиданная: до сей минуты онъ никакъ не могъ себѣ представить, чтобы на людей, которыхъ Свитка столь многократно выдавалъ ему въ своихъ бесѣдахъ за сокъ интеллигенціи края, можно было подѣйствовать столь грубыми наркотическими средствами. На миловидныхъ личикахъ этихъ паненокъ, на фізіономіяхъ всѣхъ этихъ статныхъ паннечей и пановъ родовитыхъ, въ эту минуту столь ярко отпечатлѣвалось чувство фанатической ненависти, что въ источникъ ея уже невозможно было усомниться.

«Что же послѣ этого всѣ тѣ рѣчи, которыя мы слышали!» съ горечью подумалось ему, «всѣ эти возгласы о взаимномъ братствѣ, о борьбѣ «за свободу вашу и нашу»!.. неужто опять-таки фальшь, опять лицемеріе!?»

Болѣзненное чувство горечи, обиды и тяжкаго сомнѣнія все болѣе и болѣе закрадывалось въ его душу; давленіемъ космополитъ петербургскихъ болотъ здѣсь, «на Литвѣ», почти помимо собственной воли, начиналъ чувствовать себя русскимъ. Это общество было ему чуждо, и въ ту минуту онъ до поразительной ясности созналъ въ себѣ ощущеніе одиночества и полной отчужденности. Одинъ только образъ Цезарина яркими блесками мелькалъ мгновеніями въ его влюбленномъ воображеніи; но теперь этотъ образъ уже не примирялъ, а только смирялъ его внутреннюю борьбу и на минуту баюкалъ его сомнѣнія.

«Мша» была кончена. Въ костелѣ готовились къ какой-то процессіи. Молодые паненки подняли на плечахъ своихъ парадныя носилки съ образомъ Ченстоховской Богоматери, убран-

⁴⁾ Такого рода мысли во многихъ проповѣдяхъ того времени далеко не составляли исключенія, и даже нелѣпости, подобныя родовитошляхетному происхожденію Христа, сколь онъ ни кажутся теперь невѣроятными, находили въ нихъ свое мѣсто. Это факты, на которые легко могутъ быть даны доказательства, тѣмъ болѣе, что въ свое время они не были пропущены даже и русскою литературою.

пымъ въ кисею, кружева и пестрые ленты; паничи схватились за древки знаменъ и хоругвей, которые плавно заколыхались надъ толпою своими разноцвѣтными полотнищами; предъ алтаремъ поднялся балдахинъ съ кистями, подъ которымъ помѣстился ксендзъ съ реликвіями въ рукахъ, прижатыхъ къ груди—и вотъ загудѣлъ органъ, зазвенѣли колокольчики—и всѣ присутствовавшіе разомъ опустились на колѣни.

Костелъ въ то же время наполнился громкими и торжественными звуками, въ которыхъ сразу послышалось Хвалынцеву что-то знакомое: онъ узналъ ихъ. Это былъ тотъ самый знаменитый гимнъ «Боже цось Польске», который еще столь недавно пѣла Цезарина въ тотъ роковой вечеръ и который тогда же порѣшилъ его судьбу...

Теперь тѣ же самые звуки съ изступленіемъ и силой вырвались изъ сотни человѣческихъ грудей и заглушали собою гулъ и аккорды органа. Но вотъ всѣ присутствовавшіе поднялись съ колѣнъ—и процессія медленно и торжественно двинулась вонъ изъ костела. Впереди ея сакристиянъ на длинномъ посеребренномъ древкѣ несъ распятіе, покрытое траурнымъ крепомъ; за нимъ, въ рукахъ какого-то дюжого панича, склонялась напередъ черная похоронная хоругвь съ серебряными позументами и кистями, какъ бы осѣняя собою траурный крестъ; за этою хоругвью рядами потянулись остальные костельные стяги, паненки съ разукрашеннымъ образомъ, паны и пани съ зажженными свѣчами, мальчишки съ пронзительными колокольчиками и наконецъ самъ ксендзъ подъ балдахиномъ, благоговѣнно поддерживаемый подъ руки самими паномъ Котырло и вообще самыми важными, вліятельными панами околodka. Вся эта процессія, съ неумолчнымъ пѣніемъ того же гимна, при звукѣ колоколовъ, обошла вокругъ костела и остановилась въ оградѣ, неподалеку отъ главныхъ воротъ, гдѣ была вырыта довольно глубокая яма въ аршинъ окружности.

Нѣсколько дюжихъ хлопцовъ, откуда ни возьмись, притащили громадный крестъ, окрашенный въ черный цвѣтъ съ бѣлыми траурными каймами по всѣмъ ребрамъ и съ какою-то надписью поперекъ продольнаго бруса. Ксендзъ пробормоталъ по книжкѣ какия-то приличные случаю молитвы, окропилъ святою водою яму, въ высокій крестъ былъ водруженъ, врытъ въ землю, забытъ клинѣями и камнями, для пущей крѣпости, и наконецъ освѣщенъ при пѣніи «Боже цось Польске».

Подъ вліяніемъ охватившаго всю душу чувства одиночества и отчужденности, Хвалынцевъ хотъ и вышелъ вмѣстѣ съ толпою изъ костела, но теперь отдѣлился отъ нея и, выйдя за ограду, примкнувъ къ толпѣ сѣрыхъ хлопцовъ, любовытно глазѣвшихъ на торжественно-краси-

ливое шествіе. Онъ подпиралъ глаза на траурный крестъ, только-что водруженный на надлежащее мѣсто, и прочелъ на немъ крупную надпись: «Тень кржижъ поставіоны ту на паміонтекъ о дню 2-ого марта 1861 року въ Варшавѣ».

«А, это значить, на память о пяти патристическихъ жертвахъ!» вполне основательно додумнулся онъ.

А въ это время изъ сотни шляхетскихъ грудей еще лучше гремѣлъ, потрясая холодный воздухъ, неизмѣнно повторяющійся пригвѣтъ народнаго гимна:

Пршедь Тве олтаржи занесимъ благане;
Ойчизны вольность рачъ намъ вруциць, Пане!

— Анакейка! слышь, братецъ? Цудно!.. Яй-Богуцудно!—обратился по сосѣдству съ Хвалынцевымъ какой-то сѣрый и уже подгулявшій хлопъ къ стоявшему рядомъ съ нимъ бѣлобрысому парню.—Штойта, слышь Анакейка, паны спѣваюць, кабъ панцизна наврацилась... Яй-Богу!

— Ну-у?—недовѣрчиво обернулся на него бѣлобрысый.

— А такъ!—подтвердилъ сосѣдъ.—Вотъ-яна, слышь, панцизны вольнасць!..

Хвалынцевъ прислушался и точно: въ гулѣ и шумѣ смѣшанныхъ поющихъ голосовъ и ярмарочнаго гвалту у пѣвцовъ выходило какъ-будто и въ самомъ дѣлѣ *панцизна*, вмѣсто *ойчизна*.

— Ай, добрадзео, и то!—съ наивнымъ удивленіемъ согласился бѣлобрысый парень.

— Яны вже дауно пра то спѣваюць,—замѣтилъ на это кто-то изъ толпы.—Усе у Бога моляць, кабъ яна збѣдъ варацилась...

— А пекъ имъ! Бодай ихъ и зямля не пріймала бы!—прорычалъ бѣлобрысый, медвѣжеватю косясь на процессію, и въ голосѣ, которымъ сказаны были эти слова, явно прозвучала нотка какой-то стародавней, накупѣлой и наболѣлой ненависти.—Пайдземъ лучшъ до кѣрчмы, дабрадзео!—прибавилъ онъ, хлопнувъ по плечу сосѣда,—кабъ и не чуваць пра то!

«Вотъ тѣ и нѣ!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ и даже мысленно при этомъ присвистнулъ сардонически. «Это уже всего прелестнѣй! Паны объ «ойчизнѣ», а «сырой экономическій матеріалъ», вмѣсто того, знай себѣ «панцизну» чуесть! Вотъ и поди ты тутъ!»—И онъ, хочешь-нехочешь, не могъ воздержаться, чтобы не засмѣяться при этомъ горькимъ и нѣсколько озлобленнымъ смѣхомъ.

IX.

Кіермашъ.

Послѣ сцены съ крестьянами, которую случайно и подневозльно выгладѣлъ и выслушалъ

Хвалынцевъ за стѣною панской конторы, нравственному чувству его стало претить дальнѣйшее пребываніе подъ гостепріимнымъ кровомъ пана Котырло. Не находя удобнымъ въ данный моментъ пускаться со Свиткой въ интимныя объясненія по этому предмету, онъ въ тотъ же вечеръ объявилъ было ему, что хочетъ ѣхать далѣе, но Свитка, погруженный въ свои собственныя дѣла и порученія, и при томъ постоянно развлекаемый привольною жизнью въ радушной семьѣ старыхъ своихъ знакомыхъ, не имѣлъ ни времени, ни охоты вглядываться и вдумываться въ нравственное состояніе своего спутника: онъ не подмѣтилъ ни затаенной борьбы, ни сомнѣній, волновавшихъ Хвалынцева, и потому просто-напросто сталъ уговаривать его повременить отъѣздомъ еще какой нибудь денекъ-другой, съ тѣмъ, чтобы потомъ заразъ уже тронуться вмѣстѣ.

— Я еще не кончилъ тутъ своихъ порученій, а вамъ все равно, да и люди вѣдь хорошіе!—говорилъ онъ, убѣждая пріятеля остаться. Но о томъ какого рода его «порученіе»—Свитка вообще отзывался довольно глухо, а Хвалынцевъ, помня одно изъ первыхъ правилъ «организациі»—отнюдь не вывѣдывать того, что не касается прямыхъ и непосредственныхъ обязанностей его, какъ члена, не почиталъ умѣстнымъ допытываться у Свитки о родѣ и свойствахъ его дѣлъ и порученій; онъ зналъ только, что эти порученія касаются «общаго дѣла». Но при наплывѣ тѣхъ сомнѣній, которыя неожиданными сюрпризами ставили передъ нимъ самыя простыя столкновенія съ самой обыденной житейской практикой здѣшнихъ мѣстъ, онъ чувствовалъ, что словно бы съ нимъ играютъ въ жмурки, что онъ долженъ случайно и при томъ ощупью наталкиваться на здѣшнюю фальшь и здѣшнюю правду. Эти сомнѣнія начинали втайнѣ грызть и мучить его, потому что, благодаря имъ, онъ чувствовалъ внутренній разладъ между своей однажды принятой рѣшимостью безповоротно отдаться «дѣлу» и тѣмъ голосомъ внутренней правды, который сталъ подсказывать ему, что о дѣлѣ-то собственно онъ вотъ и до сихъ поръ все еще почти понятія не имѣетъ, и что оно во многомъ, кажись, выходитъ вовсе не таково, какимъ ему старались его представить. Но... своего рода *point d'honneur*, вѣрность разъ данному слову и, главнѣйшимъ образомъ, обаятельное чувство къ обаятельной женщинѣ заставляли его идти впередъ безъ оглядки, и потому, самъ пугаясь своихъ сомнѣній, онъ сначала было намѣревался сгоряча ужъ лучше сразу убѣжать отъ нихъ и для того поскорѣе уѣхать отсюда. Онъ сознавалъ, что это, положимъ, безхарактерно и глупо, ибо напоминаетъ страуса, прячущаго голову въ виду опасности; но въ то же время оно казалось ему и вполне послѣдова-

тельнымъ въ виду разъ даннаго обѣта. И такимъ образомъ, онъ стоялъ теперь, въ нерѣшительномъ раздумьи на явившемся передъ нимъ распутьи. Однако, убѣдительныя просьбы Свитки повременить двумя днями и основательно представленные имъ резоны о крайней затруднительности путешествія одному «москалю» по незнакомому, глухому краю, заставили Хвалынцева покориться перспективѣ дальнѣйшаго пребыванія въ Червлѣнахъ. Теперь же, послѣ костела и церкви, послѣ только что разыгравшейся любовитной и поучительной сценки между какимъ-то «добродѣлемъ» и «Аникейкой» и, наконецъ, послѣ столь ясно и живо сознаннаго чувства собственной отчужденности отъ всего этого шляхетскаго міра—Хвалынцеву уже самому захотѣлось поприглядѣться да понаблюдать по возможности болѣе этотъ мірокъ и мѣстныя отношенія. «Отъ самого себя не уйдешь», рѣшилъ онъ размышляя о всѣхъ своихъ сомнѣніяхъ, «ужъ если разъ они закрались въ тебя—кончено! не выживешь! куда ни бѣги, повсюду погонятся за тобою, пока не разубѣдишься такъ или иначе!»

Послѣ довольно шумнаго и люднаго завтрака у пана Котырло, Хвалынцевъ отправился вмѣстѣ со Свиткой бродить по ярмаркѣ. Базарная площадь предъ костеломъ еще болѣе, чѣмъ давеча, загромождалась крестьянскими возами, такъ что лавировать въ узкомъ лабиринтѣ межъ оглоблями, лошадиными хвостами, колесами и воловьими мордами было весьма затруднительно. Волы, коровы, лошади, овцы, свиньи, телята, возы, люди, солома, сѣно, гуси, индюшки—все это перемѣшалось между собою въ самомъ пестромъ безпорядкѣ. Тамъ вонъ навалена цѣлая гора новенькихъ ведеръ, боченковъ, балеекъ и кадушекъ; тутъ невыносимо сельдами воняетъ; здѣсь натыкаешься на груды горшковъ, на копу овса; справа продаютъ косы и грабли, слѣва—сапоги, валенки, полшубки, а нѣсколько далѣе разныя сласти: пряники, фиги, орѣхи; вотъ повесело съ одной стороны дегтемъ, съ другой—цыбулькою; а тамъ вонъ пестрѣетъ «панскій товаръ»: яркія ленты, ситцевые платки и шерстяныя матеріи; тамъ шапки и картузы; тамъ кнуты и ободья, колеса, сани, и тутъ же толкуются бабы и молодичи, какія-то шляхтянки, какіе-то солдаты. Городскіе барышники и наѣзжіе паничи въ венгеркахъ, съ араппиками въ рукахъ, шныряютъ между возами и прицѣпиваются по преимуществу къ конямъ. Земскія власти, въ родѣ войтовъ и сотскихъ, степенно похаживаютъ съ кнутиками и дубинками. Полѣсовщики, съ охотничьими барсуковыми сумками черезъ плечо, стараются сбить пристрѣленнаго зайца или дикую козу. Евреи сплываютъ во всѣ стороны съ вѣчно своею хлопотливостью и гвалтомъ, въ-явь олицетворяя собою изреченіе царя Соломона: «суета суетъ»

и всяческая суета». Нищие слѣпцы ухѣлись на самомъ бойкомъ мѣстѣ и въ цѣлыхъ шесть глотокъ что есть мочи дерутъ своего «Лазар-жа», и вмѣстѣ съ ихъ гнусавымъ пѣніемъ несетя по площади ржаніе жеребятъ, коровье мычаніе, хрюканье и визгъ огорчаемыхъ просятъ, гусинный гоготъ, гулъ людского говора и разнообразные крики, а наипаче всего гвалтъ жидовскій — безконечный, всеодолѣвающий, повсюду слышимый и непрерывный. Вотъ какая-то хмельная баба, верхомъ на лошаденкѣ, избочаясь, продирается сквозь толпу, встрѣчаемая и сопровождаемая громкимъ смѣхомъ, а рядомъ съ нею выплясываетъ трепака загулявшій хлопъ, подъ звуки визгливой скрипичи, прибрѣтенной отъ какого-нибудь захожаго солдатика. Двое другихъ хлоповъ обнявшись слѣдуютъ за плясуномъ и усердно подпѣваютъ ему:

Чики, чики, чичику
Вдаецъ баба на быку,
Пытается у Василя
Чи далеко до сяла?
Ахъ ты баба косовѣка
Видишь, сѣло недалеко!

Публика, глядя на нихъ, утѣшается и сопровождаетъ всю эту компанію дружнымъ, одобрительнымъ смѣхомъ.

Проходя мимо одной корчмы, пріятели наши заслышали звуки диковатой музыки.

— Зайдемъ-ка, поглядимъ: это любопытно, — предложилъ Свитка.

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ согласился, и они въ ту же минуту очутились въ дымной пропитанной винными парами атмосферѣ довольно просторной комнаты, въ которой скупилось человѣкъ шестьдесятъ народу. Въ углу, подлѣ шинкарскаго стола, помѣщались музыканты: старикъ еврей бойко дѣйствовалъ руками на цымбалахъ, молодой еврейчикъ съ увлеченіемъ, раскачиваясь всѣмъ корпусомъ и закидывая назадъ растрепанную голову, лихо пилилъ на скрипичѣ, а другой азартно гудѣлъ на бубнѣ. Нѣсколько паръ, гдѣ молодца съ парнемъ, а гдѣ и просто баба съ бабой, обнявшись подъ руки другъ съ другомъ, танцовали, такъ называемые «кружки», нѣчто въ родѣ вальса, и при этомъ подпѣвали себѣ въ ладъ коротенькія пѣсни.

Ахъ ты мати мая,
А я дочка твая,
Чамужъ мяне не учила
Якъ я маленька была?

притапывая каблуками и манерно склоняя на бокъ голову, голосила одна разбитная молодца, а здоровенный «дзѣцюкъ», надавая ей кончить, подхватывалъ на перебой:

Дзѣвчиначка го, го, го!
Люби мяне голаго:
Я сарочки не маю
Жаницися думаю.

Якъ сарочку адабуду,
Жаницися не буду.

А въ это же самое время другой «дзѣцюкъ», не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на музыку, ни на танцы, сидѣлъ облокотясь обѣими руками на столѣ, предъ своей кружкой пива, и проливая, повидимому, совершенно безпричинныя слезы, зычно горланилъ себѣ особую, самостоятельную пѣсню:

Забалѣла галава адъ зяленаго вина;
Сабералась галава до слауна горада Масквы,
А на той же на Масквѣ долга улица широка..

Хвалынцевъ съ живѣйшимъ любопытствомъ прислушивался ко всѣмъ этимъ пѣснямъ, къ ихъ своеобразнымъ напѣвамъ, въ которыхъ неизмѣнно слышится что-то тягостное, тягуче-то-скливое, но въ которыхъ однако же чутко сказывалось ему какъ будто что-то свое, знакомое, родное...

— Гей! музыка! Кабъ пѣ ободрана кабыла споткалася! Грай казачка! Казачка, кажу! Танцоваць хачу! — хлопнувъ ладонью по столу и вытеревъ сермяжнымъ рукавомъ слезы, поднялся съ мѣста парень, только что пѣвшій про Москву, и затѣмъ, раздвинувъ танцующія пары, выступилъ на середину комнаты и выбралъ себѣ пьяненькую партнерку, которая, руки въ боки, помѣстилась напротивъ него.

Музыка не заставила долго просить себя и тотчасъ же грянула «казачка». Дзѣцюкъ, прислушиваясь къ звукамъ, подергивалъ въ тактъ плечами, а молодца сѣменила на мѣстѣ, какъ вдругъ онъ рванулся отчаянно впередъ, взмахнулъ рукою, схватился за пасмы волосъ своихъ и пошелъ, и пошелъ работать и отчеканивать то носкомъ, то каблуками, съ самымъ серьезнымъ и даже мрачнымъ выраженіемъ лица.

А по корчмѣ раздавалась разухабистая, лихая пѣсня:

Ой, ты, дзѣвка, лебѣдка мая
Сподобалася мнѣ паходка твая!
Якъ ты идзѣшь, то мнѣ мило глядзѣць,
Якъ ты сядзѣжъ, мае серцо дрыжиць,
Якъ ты ходзишь, дакъ ты цѣшишь мяне,
Якъ ты станешъ, дакъ смѣшишь мяне!

Но вдругъ дзѣцюкъ остановился, не кончивъ и даже какъ-то разомъ оборвавъ свою пляску. Онъ перевалисто, медвѣжеватыми шагами воротился на свое прежнее мѣсто, отодвинувъ съ него какого-то хлопчика, и снова подперевъ голову обѣими руками, сосредоточенно понурился надъ своей недопитой квартой пива. Черезъ нѣсколько минутъ, всё такъ же, ни на кого не обращая вниманія и съ тѣмъ же мрачнымъ выраженіемъ лица, онъ вдругъ, словно бы былъ совсѣмъ одинъ въ этой горницѣ, заголосилъ себѣ новую пѣсню:

Ой, сподь Слуцка, та сподь Клецка
 Ъаде дружба ¹⁾ модецка,
 Одъ княжати изъ-подъ Минска,
 Вояваці мѣста Пинска,
 Мѣста Пинска вояваці,
 Отъ Ляхѣу обѣроняці
 Хоць прійшли не дали рады: ²⁾
 Погинули усѣ отъ зрады. ³⁾
 А я пойду у постъ вялікій
 До Турова, до владыки,
 Щобъ молебну одслужыці,
 Да й покаюся за грѣхи,
 Дзень и ноць буду малиці,
 Дзень и ноць буду прасыці,
 Кабы сгинули Ляхи.

— И вы говорите, что это не Русь!—не выдержавъ себя, наконецъ, съ дружескимъ укоромъ обратился къ Свиткѣ Хвалынцевъ, долго съ серьезнымъ вниманіемъ присматривавшійся и прислушивавшійся къ этой пѣснѣ.—И вы хотите доказать, что это... (онъ не договорилъ и замаялся на минуту). Ахъ, любезный дружище! кой-чортъ! Это просто та же самая наша Русь сиволапая! Какъ и вездѣ—все одна и та же!

Свитка улыбнулся съ легкой ироніей.

— Вы полагаете?—проговорилъ онъ самоуверенно, авторитетнымъ тономъ.

— Не полагаю, я убѣждаюсь,—со вздохомъ подтвердилъ Хвалынцевъ.—Пѣсня не вретъ, а вы вслушайтесь въ эту пѣсню: въ ней все, и звуки, и складъ, и пошибъ, все это русское, наше. Да и дѣтина-то этотъ горланить себѣ, небойсь, не про Варшаву, а про «славный городъ Москву», чай, сами слыхали? И мнѣ кажется, какъ вы съ этимъ народомъ не бейтесь, ничего вамъ противъ этого не подѣлать!

— Ну, это еще бабушка нѣдвое сказала!—съ тою же самоуверенною ироніею замѣтилъ Свитка.

— Нѣдвое?.. Ой-ли?.. Глядите, не ошибитесь бы намъ!.. Вѣдь эта бабушка—сама жизнь, понимаете ли, *жизнь*, а тутъ она становится чуть-ли не въ разрѣзъ съ нами.

— А давеча въ костелѣ?.. что?..

— Въ костелѣ?.. А давеча въ церкви?—скажу я вамъ на это.

У Свитки чуть замѣтно дрогнули углы губъ и нахмурились брови, отъ какого-то неприятнаго, скрытаго чувства.

— А вы были тамъ?—какъ бы совѣмъ равнодушно спросилъ онъ Хвалынцева.

— Былъ-съ; и тамъ и здѣсь—въ обоихъ.

— Ну, и что же?

— А то, что коли ужъ говорить откровенно, хоть на Литвѣ, по вашему, народъ—это шляхта, а эта сѣрочъ,—«простой экономическій матеріалъ», говоря вашими же словами, но...

— Что же «но»?—съ худо скрытой досадою улыбнулся менторъ.

— Но... но чѣмъ больше вглядываюсь, тѣмъ

больше убѣждаюсь, и просто чую моимъ русскимъ инстинктомъ, что онъ, этотъ «экономическій матеріалъ», не пойдетъ вмѣстѣ съ нами!

— Не пойдетъ охотой, все равно пойдетъ силой,—съ спокойною увѣренностью проговорилъ Свитка.

— Силой? Да кто же его заставитъ? Ужъ не шляхта-ли?

— Къ чему же шляхта? На это есть у насъ другіе факторы: русское правительство заставить.

Хвалынцевъ не безъ изумленія посмотрѣлъ ему въ глаза и, въ виду этого самосознательно увѣреннаго, спокойнаго тона, невольно разсмѣялся.

— Qui vivra, verra!—пожавъ плечами, отвѣтилъ на его смѣхъ пріятель.

X.

Панское полеванье.

На другой день, еще на разсвѣтѣ, часовъ около шести, казачекъ явился въ опочивальню нашихъ пріятелей и сталъ настойчиво будить ихъ. Хвалынцеву хотѣлось еще понѣжиться въ томъ сладкомъ снѣ, который всегда одолеваетъ подъ утро не въ пору разбуженнаго челоуѣка, но Свитка быстро вскочилъ съ сѣнника и, поѣживаясь отъ легкаго холода, проворно сталъ надѣвать сапоги и мыться, чтобы поскорѣй разогнать остатки одолевавшей дремоты.

— А ну-те бо! вставайте, вставайте! Нечего нѣжиться! На службѣ вѣдь вамъ этого не позволять!—тормошилъ онъ Хвалынцева, наскоро совершая свой туалетъ.—Слышите, вонъ ужъ охотники собрались, ружья справляютъ, собаки визжать... Да и кони-то никакъ готовы! Ну, ну просыпайтесь! Полно вамъ въ самомъ дѣлѣ! Ясю! давай пану одѣться!

Хвалынцевъ, наконецъ, преодолѣлъ свою дремоту и вскочилъ съ постели.

Подъ окнами на дворѣ, дѣйствительно, слышенъ былъ звонкій, веселый визгъ собакъ, забираемыхъ на смычки, фырканье и топотъ засѣдланыхъ коней, громыханье колесъ о промерзлую почву и разные людскіе голоса, говоръ, возгласы, споры и распоряженія. Хвалынцевъ приподнялъ соломенную мату и, протеревъ запотѣлое стекло, вглядчиво прищурилъ глаза: сквозь утренній туманъ на дворѣ было замѣтно большое движеніе: псары, егеря, кучера, лакеи и всякая дворовая челядь хлопотливо и спѣшно снаряжалась къ охотѣ. Судя по этому легкому туману, день обѣщалъ быть хорошимъ, съ легкимъ, бодрящимъ морозцемъ. Ага! да кромѣ изморози, и легкій снѣжокъ еще выпалъ—первый ноябрьскій снѣгъ—и бѣлоу скатертью сплошь запушилъ крыльцо съ протоптанными свѣжими, мокрыми слѣдами, соло-

¹⁾ Дружина, рать.

²⁾ Помощи, пособія.

³⁾ Измѣны.

менные крыши, обширный дворъ и тамъ вдали, за греблей, широкія поля на отлогихъ косо-горахъ. Слава Богу! самый подходящий денекъ для доброй охоты! Видъ этого свѣжаго перваго снѣга, паръ, валившій изъ конскихъ ноздрей, веселый визгъ слегка озябшихъ собакъ, суета людская на дворѣ и легкій холодокъ въ комнатѣ, гдѣ остывшая за ночь печка не давала уже тепла, все это произвело на Хвалынцевъ бодрящее, веселое впечатлѣніе, и онъ, съ невольной улыбкой въ лицѣ и съ ощущеніемъ легкаго здороваго озноба во всемъ тѣлѣ, поспѣшно сталъ натягивать свое платье. За стѣною, въ панской конторѣ, тоже слышались негромкіе голоса и щелкали осматриваемые курки; шомпола шипѣли въ дулахъ, загоняя пыжи изъ пакли; дробь и картечь съ мелкимъ рокотомъ сыпались въ стволы, поминутно скрипѣла и хлопала дверь, то впуская то выпуская кого-нибудь изъ охотниковъ и каждый разъ при этомъ напуская въ комнату утренняго холода, который рѣзкимъ ощущеніемъ давалъ себя чувствовать даже сквозь щели перегородки, отдѣлявшей отъ конторы комнату нашихъ друзей.

Менѣе чѣмъ въ четверть часа Хвалынцевъ былъ уже готовъ: затянулъ ремнемъ свою дубленку, и черезъ темныя сѣни переступилъ пороги конторы. Тамъ онъ нашелъ становаго, пана Шпарагу, который былъ страстнымъ охотникомъ, и пана Косача, который хотя охотникомъ и не былъ, но отъ компаніи не отставалъ. Либеральный панъ посредникъ, несмотря на столь раннюю пору, уже успѣлъ облечься въ изящный англійскій охотничій костюмъ и, попивая чай съ коньякомъ, наблюдалъ, какъ его лакей, тоже одѣтый по-охотничьи, запряжалъ его дорогую лондонскую двухстволку. Двое старосвѣтскихъ пановъ, панъ Хомчевскій и панъ Прындичъ, очевидно привычныя и бывалые охотники, вырядились по-свойски: въ русскія кенгги да въ теплые полушубки, и никому кромѣ самихъ себя не довѣряя заряжать свои старыя винтовки, закусывали на дорожку копченымъ саломъ и запивали его изъ «добрыхъ килишковыхъ» «гданскою» водкою. На столѣ, посреди разнокалибернаго прибора, носившаго на себѣ явный характеръ спѣшнаго холостого безпорядка, шипѣлъ уѣмистый самоваръ, и Хвалынцевъ съ величайшимъ удовольствіемъ хватилъ стаканъ горячаго чаю.

Въ костелѣ звякалъ колоколъ: это панъ Котырло, какъ добрый, старый охотникъ, свято исполнявшій всѣ традиціи и обычаи заправскаго «полеванья», еще съ вечера заказалъ ксендзу на утро литію святому Губерту, покровителю охоты, и теперь ксендзъ исполнялъ приказъ своего пана.

Хвалынцеву тоже одолжили кое-какое старенькое одноствольное ружьишко, на замкѣ котораго онъ прочелъ россійскую надпись «Ту-

ла». Черезъ полчаса, одинъ изъ псарей явился доложить, что все уже готово. Старосвѣтскіе паны вмѣстѣ со становымъ Шпарагой наскоро пропустили еще по одному килишку — и вся компанія высыпала на дворъ. Псаря съ доѣзжачимъ, на кое-какъ засѣданныхъ клячахъ, вытянулись предъ крыльцомъ въ одну шеренгу; впереди ихъ на сворахъ, переминаясь на холодомъ снѣгу и поджимая съ холоду ноги, по-визгивали и облизывались собаки. Далѣе стояли запряженные повозки, брички и нетычанки; изъ нихъ одни были приготовлены для охотниковъ, которые предпочитали ѣхать въ экипажахъ, а другіе дожидались выхода дамъ. Пани и паненки тоже хотѣли присутствовать на охотѣ, но, по всегдашнему обыкновенію запаздывать при раннемъ вставаньи, въ настоящій моментъ были еще неготовы, справлялись со своимъ туалетомъ. Нѣсколько коней, по болѣе-шей части изъ кавалерійскаго брака, стояли у крыльца, засѣданные, — который англійскимъ, который казацкимъ, а который и Богъ вѣсть какимъ сѣдломъ, въ ожиданіи панства. Но вотъ, появился на крыльцѣ самъ панъ Котырло съ персидскимъ кинжаломъ за поясомъ, съ буйволовымъ рогомъ черезъ плечо и съ черкесской нагайкой въ рукѣ. Опытнымъ, строгимъ глазомъ окинулъ онъ всю охоту, пожалъ руки гостямъ, кивнулъ головою остальнымъ охотникамъ, почтительно снявшимъ свои шапки, и вскарабкавшись на подведенную ему сѣрую кобылу, набожно перекрестился и далъ знакъ трогаться со двора. Охотники, крестясь и нахлобучивая шапки, при радостномъ визгѣ и лаѣ собакъ, потянулись вслѣдъ за паномъ Котырло. который, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, никому не уступалъ почетнаго званія маршала охоты. Хвалынцевъ съ Василіемъ Свиткой, предпочитая ѣхать въ таратайкѣ, тронулись вслѣдъ за другими, вмѣстѣ съ фурой, въ которой помѣщались сѣдобные запа-сы, выпивка и походная кухня.

Охота, какъ видно, готовилась на славу, потому что по дорогѣ, выѣзжая то на встрѣчу, то съ боковыхъ проселковъ, время отъ времени, присоединялись къ главному корпусу новыя охотники, — кто въ повозкѣ, кто верхомъ со сворами, — почтительно кланялись пану Котырло, какъ главнокомандующему соединенныхъ силъ, пріятельски здоровались съ остальными и, весело болтая, смѣшались съ пестрою толпою пановъ, псарей и доѣзжачихъ.

Спусти около получаса, всю эту компанію нагнали и экипажи съ дамами. Веселыя, разрумянившіяся на утреннемъ холодѣ лица паненокъ и ихъ звонкое молодое щебетанье тотчасъ же послужили значительной приманкой для многихъ охотниковъ, особенно изъ тѣхъ, кто побойчѣй да помоложе, такъ что они со всѣхъ сторонъ облѣпили своими конями дамскіе экипажи и, разсыпавшись въ тысячахъ лю-

безностей и комплиментовъ, старались заставить гарцовать своихъ Россинантовъ и вообще заботились о томъ, чтобы держаться какъ можно болѣе лихими молодцами.

Хвалынцевъ не безъ улыбки оглядывалъ этотъ кортежъ, да по правдѣ сказать, нельзя было и не улыбнуться: молодые панчи и даже нѣкоторые изъ солидныхъ пожилыхъ пановъ снарядились словно бы не на охоту, а на неприятеля. У кого за поясомъ торчалъ ятаганъ турецкій, у кого револьверъ, у кого въ кабурахъ пара дѣдовскихъ пистолей, у кого даже сабля или шашка съ боку, и всѣ при этомъ еще съ ножами, съ кинжалами, съ ружьями, винтовками, двухстволками, а нѣкій пожилой панъ, выѣхавшій къ охотѣ съ одного проселка, вмѣстѣ съ двумя своими гайдуками, явился даже одѣтымъ въ уланскій колетъ, съ красными отворотами, съ лядункой черезъ плечо, въ старой, Николаевскаго времени, уланской шапкѣ съ помпономъ, отъ которой спускались на спину шнурки серебряныхъ этишкетовъ; съ боку у него лязгала кавалерійская сабля, а разбитый на ноги конь былъ засѣдланъ съ уланскимъ вальтрапомъ. Панъ отдалъ всѣмъ подъ козырекъ, по-военному, и, стараясь держать посадку, то и дѣло закручивалъ свои сивые нафабранные усы. Несмотря на посинѣлое отъ мороза лицо, онъ стойчески переносилъ холодъ, предпочитая красоваться въ своемъ кургузомъ колетѣ, коротенькія фалдочки котораго преуморительно шлепали на рысяхъ обѣ жирныя, круглыя ляжки воинственнаго пана; и самъ онъ при этомъ тоже грузно шлепалъ въ сѣдло, встряхиваясь всѣмъ корпусомъ и эполетами. Несмотря на то, что былъ давно уже въ отставкѣ, эскъ-уланъ все-таки не воздержался, чтобы ради этакого парада не напаять на себя закоптѣлые отъ времени эполеты. Это былъ панъ Копецъ, титузуемый не иначе какъ «паномъ пулковникомъ», хотя на самомъ дѣлѣ былъ только ротмистромъ въ отставкѣ. Панъ пулковникъ знаменитъ былъ на весь околородъ воинственнымъ жаромъ своихъ гиперболическихъ разсказовъ о баснословныхъ дѣлахъ и невѣроятныхъ подвигахъ былого времени. Только иногда онъ сбивался въ показаніяхъ, говоря, что служилъ то въ знаменитыхъ «чвартакахъ», то въ «уланьской легіи рабовъ ойчизны», тогда какъ въ сущности, самая служба его началась гораздо позже 1831-го года, и всѣ это очень хорошо знали, но тѣмъ не менѣе всѣ любили пана пулковника за его воинственный жаръ и даже съ увлеченіемъ шляхетнаго гонора слушали его разсказы.

Къ пану пулковнику тотчасъ же пристроились челоуѣкъ двѣнадцать всадниковъ, и онъ не приминулъ построить ихъ на ходу въ одну шеренгу, а самъ, ставъ передъ ними и преуморительнымъ образомъ, сбиваясь въ командныхъ словахъ, давно уже имъ полузабытыхъ

и наполовину присочиняемыхъ, браво и громко командовалъ всей этой ватагѣ:

— Швадронъ! У право по три заѣдзь! Прамо, дырѣкція у право!.. Швадронъ! до фронту тршмай! Маршъ!

И всѣ эти паны и паничи, въ своихъ разнообразныхъ чамаркахъ, венгеркахъ и дубленкахъ, со всѣмъ своимъ разнокалибернымъ оружіемъ, то и дѣло дергая поводьями коней, неизмѣнно стараясь при этомъ гарцовать и красоваться на виду у дамъ, повидимому, самымъ серьезнымъ образомъ подчинялись импровизированной командѣ пана пулковника и продѣлывали разные эволюціи: то вдругъ заѣзжали по три, то справа рядами, то строили фронтъ,—и панъ пулковникъ, видимо войдя въ роль командира, хвалилъ ихъ самымъ начальственнымъ тономъ. Но вдругъ онъ выхватилъ свою саблю и, закричавъ «швадронъ! пикн къ ата-а-кѣ!.. маршъ-маршъ!» всадилъ шпоры коню и, неистово размахивая саблей, пустился въ карьеръ вдоль по вспаханному полю. «Швадронъ» во весь опоръ, съ гикомъ и крикомъ, бросился за нимъ. Раздалось вдругъ нѣсколько выстрѣловъ. Но громче всѣхъ гремѣлъ голосъ пана пулковника.

— Напршудъ, панове!.. за мной!.. Бей! коли!.. руби!.. шахъ-махъ!.. Гопъ-гопъ!.. «Маршъ маршъ, Хлопицкій, а за нимъ Дембицкій»!.. «Еще Польска не згинѣла»!.. За мной!

Богъ вѣсть, до какихъ поръ продолжалась бы вся эта потѣха, если бы панъ Котырло, съ досадливой миной на недовольномъ лицѣ, не остановилъ своимъ властнымъ маршалковымъ крикомъ воинственную компанію, выговаривая ей, что неумѣстными, преждевременными выстрѣлами они только звѣрину поугааютъ и безъ толку коней потомятъ, такъ что и вся охота, пожалуй, пойдетъ ни къ чорту.

Алежъ знатно, пане, москаля побили! Досконале!—покручивая усъ, похвалялся панъ пулковникъ, возвратясь со своею пестрою ватагою къ дамскимъ экипажамъ. Паненки вполне одобрили его воинственный жаръ, за что онъ отблагодарилъ ихъ кавалерійскимъ салютомъ своей сабли. Паничи тоже казались необычайно довольны подвигомъ своей побѣдоносной атаки на москаля и съ гордо самодовольными улыбками присоединялись къ эскорту дамскихъ экипажей.

— Экъ имъ любо-то въ солдатики играть!—говорилъ въ это время Хвалынцевъ своему пріятелю.—Ради чего все сіе бысть, однако? И ради чего этотъ баринъ въ какомъ-то шутовскомъ нарядѣ выѣхалъ, скажите мнѣ, пожалуйста?

Свитка немного поморщился.

— Чтѣ жъ, тутъ дурного ничего нѣту, — процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— Дурного нѣтъ, но смѣшного много.

— Какъ кому!.. А по-моему и это не лишнее: можетъ пригодиться.

Хвалынцевъ недоувѣрчиво засмѣялся.

— Ну, полноте!—сказалъ онъ,—серьезный вы человѣкъ, а говорите неподобное! Вѣдь не научить же такая потѣха и взаправду бить москалей!

— Все-таки... это... это духъ воспитываетъ.

— Хм... Развѣ что духъ!—помолчавъ, согласился Константинъ, видя, что тонъ и направленіе его замѣчаній не нравятся Свиткѣ.

Межъ тѣмъ компанія прибыла уже на условный пунктъ, къ опушкѣ Карначевской роши. Эта небольшая роща, въ которой на обычномъ мѣстѣ тотчасъ же расположился поварь съ походными таганцами и вертелами и со всею своею фурю, должна была, по заранѣе составленному плану, находиться въ тылу линіи охотниковъ. Шагахъ въ пятистахъ отъ нея синѣлъ сосновый боръ, извѣстный подъ именемъ «Вишювника»: Когда Хвалынцевъ, озадаченный странной этимологіей этого слова, освѣдомился у своего возницы, откуда происходитъ и что обозначаетъ это странное названіе, то тотъ весьма наивно и просто отвѣтилъ ему:

— А то, паночку, гля таво, што въ ёмъ спакуль вѣку усѣ вѣшаютца... гля таво й Вишювникъ.

— То-есть какъ это вѣшаются?—переспросилъ Константинъ, оставаясь въ нѣкоторомъ недоумѣніи предъ такимъ объясненіемъ.

— А такъ, якъ услгды!—тѣмъ же тономъ отвѣтилъ возница,—на поясцу, чи на ярѡвци... захлястонецъ за сукъ, пятлю сдѣлаецъ, та й гатова!

— И много тутъ вѣшалось?

— А усѣ, кому гѡро якѡ, аль такъ сабѣ марно жиць на свѣци...

— И давно ему такое прозваніе дано?

— А дауно. Ще й отъ дѣдоу zostалося... То здауна такъ, паночку!

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— Чего вы?—озирнулся на него Свитка.

— А того, что сколько ни жилъ въ Россіи,—отвѣчалъ Константинъ,—и въ сколькихъ мѣстахъ ни перебивалъ, но, ей-Богу, нигдѣ не встрѣчалъ такого характернаго названія!

— Не доводилось, значить, — замѣтилъ Свитка.

— Да!.. А вотъ здѣсь довелось!—съ нѣкотораго рода маленькимъ злорадствомъ отпарировалъ Хвалынцевъ, понявъ изъ тона Свитки сокровенный смыслъ его замѣчанія, которымъ онъ хотѣлъ сказать, что и въ Россіи молъ тоже самое. Всѣми этими случайностями, на-лету подхватываемыми свѣдѣніями обогащалась сокровищница знакомства Хвалынцева съ хваленю Литвою.

Между Карначевскою рощею и Вишювникомъ, почти по самой опушкѣ, растянулась полукруглою линіею длинная цѣпь охотниковъ,

занимая собою отъ одного фланга до другого разстояніе версты въ полторы, коли не больше. Хвалынцеву досталось мѣсто при самой дорогѣ, которая, пролегая мимо Карначевской роши, уходила въ глубь сосноваго бора. Онъ выбралъ себѣ наиболѣе удобный пунктъ, около старой, опаленной и разбитой грозю сосны, которая одиноко высилась своимъ искалѣченнымъ стволомъ надъ мелкимъ хвойнымъ кустарникомъ, и довольно удобно примостился за ея прикрытіемъ, въ огражденіе себя отъ чуткаго вниманія зоркаго звѣря. Наторенный проселокъ, со своими двумя глубокими колеями, пролегалъ отъ него шагахъ въ пяти, не болѣе. Вправо и влѣво отъ себя, шаговъ на пятьдесятъ разстоянія, Хвалынцевъ могъ видѣть двухъ сосѣднихъ стрѣлковъ, которые оба принадлежали, кажись, къ дворнѣ пана Котырло. «Если и дамъ промахъ, значить, тѣ поддержать», подумалъ себѣ Константинъ, не имѣвшій претензіи считать себя ни особенно ловкимъ, ни особенно опытнымъ и страстнымъ охотникомъ. Онъ въ охотѣ всегда любилъ болѣе окружавшую его природу и потомъ хороший способъ убить праздное время не безъ пользы для собственнаго здоровья.

Въ воздухѣ было тихо и чулся легкій морозецъ. Въ лѣсу тоже стояла тишина невозмутимая, только вѣтеръ порою съ легкимъ шумомъ тянулъ по вершинамъ. Прошло съ добрый часъ времени съ тѣхъ поръ, какъ Хвалынцевъ занялъ свое мѣсто подъ опаленною сосною. Вдругъ далеко-далеко въ лѣсу послышался короткій лай собакъ. Черезъ нѣсколько мгновеній къ нему присоединился другой собачій голосъ, къ другому третій, а тамъ еще и еще, и минуты черезъ три лѣсъ огласился знакомою переливчатою музыкою... Гончія дружно вели по звѣрю. Хвалынцевъ заботливо осмотрѣлъ свой курокъ и прислушался: направленіе собачьяго лая казалось значительно лѣвѣе... «Далеко; не на насъ ведутъ»... Въ эту самую минуту ухо его различило другой, совѣмъ посторонній звукъ. Онъ обернулся и увидѣлъ, что позади, приближаясь къ нему, громыкаетъ по замерзлымъ колеямъ легкая повозка, запряженная въ одну лошадку. По морозцу лошадка бѣжала бойко, такъ что повозка приближалась довольно быстро. Вдругъ сосѣдній стрѣлокъ справа непستово замахалъ на нее руками, какъ бы желая остановить, но видя, что это не помогаетъ, рѣшился наконецъ закричать въ полголоса, продолжая свою жестикуляцію:

— Стой!.. Стой!.. Назадъ!.. Невольно!.. Невольно далѣй!.. Пречъ зъ колѣн!

Повозка почти приблизилась къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хвалынцевъ.

— Тпру-у!.. Тпру-у-ся!—послышался изъ нея недовольный голосъ. Лошадка стала и отфыркнулась.

Хвалынцевъ обернулся и увидѣлъ священника, того самого, какъ показалось ему, который вчера служилъ обѣдню въ Червленской церкви. Онъ одинъ сидѣлъ въ своей повозкѣ и самъ правилъ.

— Полеванье, запѣвне?—началъ было онъ по-польски, замѣтивъ Хвалынцева и приподнявъ ему свою широкополую шляпу.

— Да, батюшка, охота—отвѣчалъ тотъ по-русски.

— Такъ-съ... проѣхать, значить, не можно?

— Не знаю, право... Вѣроятно, нельзя. Поэтому облава съ той стороны—сюда, значить, гонять.

— Такъ-съ... Хм... Какая жъ досада, право!—со вздохомъ припмокнуть языкомъ, проговорилъ священникъ, безразлично осматриваясь въ лѣсъ и по сторонамъ озабоченнымъ взглядомъ.

— А вамъ очень спѣшно?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да надо бы... болящій тутъ у меня одинъ—вотъ въ Минькахъ, за лѣсомъ тутъ... версты чегыре будетъ.

— Такъ вы что же, навѣстить?

— Да; лекарнице везу...

— Сами лечите?—продолжалъ спрашивать Хвалынцевъ, который, соскучившись стоять болѣе часу на одномъ мѣстѣ и слыша по лаю, что звѣря гонять совсѣмъ въ другую сторону, радъ былъ случаю развлечься немножко болтовнею съ постороннимъ человекомъ, который къ тому же представлялъ собою для него нѣкоторый интересъ, какъ русскій священникъ этого края.

— Да-съ, врачуемъ съ Божьею помощью,—скромно и просто отвѣчалъ тотъ.—Медиковъ-то по близости нѣтъ, ну да не всегда и ѣдутъ они охотно къ селянину... Такъ вотъ по необходимости... и тѣмъ паче своего прихода. А вы, осмѣлюсь полюбопытствовать, сдается мнѣ, русскій?—съ нѣкоторою застѣнчивостью вдругъ спросилъ онъ.

— Русскій, батюшка. А что?

— Такъ, по выговору слышно. Очень пріятно... Знаете, въ здѣшнемъ краѣ это на рѣдкость, если кто изъ Россіи. Вѣрно на службу прибыли изволили?

— Нѣтъ, батюшка, проѣздомъ... Совсѣмъ случайно попалъ.

— Сродниковъ, значить, или знакомыхъ имѣете?

— Да вотъ почти только что познакомился. У попутчика моего тутъ знакомые, а я ужъ такъ только съ нимъ.

— Такъ-съ, такъ-съ,—раздумчиво проговорилъ священникъ, взглядывая въ даль дороги все тѣмъ же безразличнымъ взглядомъ.—Вчера, если не ошибаюсь,—вдругъ прибавилъ онъ, привѣтливо обращаясь снова къ Хвалынцеву,—

въ церкви нашей изволили быть... сдается мнѣ, будто примѣтилъ за обѣдней...

— Какъ же, батюшка, былъ,—словоохотливо подтвердилъ Константинъ.—Это первая еще церковь, въ которой мнѣ довелось быть въ здѣшнемъ краѣ.

— Церкви-то вообще здѣсь не богатыя,—замѣтилъ священникъ, какъ бы извиняясь въ нищенской внѣшности своего храма.

— Зато костелы, кажись, очень богаты?

— Костелы... Н-да, костелы богаты... Ну, да большому кораблю большое и плаванье, говорится...

— А развѣ православная церковь здѣсь такой маленькій корабликъ?

— Не маленькій, а знаете... извините на моемъ откровенномъ словѣ,—забытый, такъ сказать, обиженный корабль, и трудно плавать въ здѣшнихъ моряхъ-то: очень ужъ много всякихъ камней подводныхъ...

— Почему такъ?

— Да по всему-съ: и духовно, и матеріально. Теперь начать хотя бы съ матеріальнаго: вѣдь ксендзъ вонъ, даромъ что безбраченъ, а одного казеннаго положенія получаетъ почти втрое болѣе противъ нашего брата, ну и отъ помѣщиковъ тоже поддержка большая, а намъ откуда же? Хлопы народъ вѣдь бѣдный, круглый годъ картошку да хлѣбъ съ мякиной ѣдятъ... на поддержку храма и то вонъ во сколько лѣтъ никакъ не скопимся... А въ Россіи-то насъ, къ тому же, кажется, какъ будто и за русскихъ совсѣмъ не почитаютъ... и не знаютъ насъ даже... совсѣмъ позабыты... Такъ вотъ и сиротствуемъ—и народъ, и церковь, и священнослужители...

Хвалынцеву, послѣ столь откровенно и безпритязательно высказанныхъ словъ, захотѣлось, придравшись къ случаю, проверить нѣсколько достовѣрность Свиткинскихъ и Котырловскихъ сообщеній.

— А меня, напротивъ, всѣ увѣряли тутъ, сказалъ онъ,—что правительство костель притѣсняетъ, а всячески проагандируетъ православіе, что даже въ заграничныхъ газетахъ жалуются.

Священникъ усмѣхнулся.

— Кто это увѣряетъ-съ?

— Да вотъ новые мои знакомые.

— Да?... ну что жъ... бываетъ.—Священникъ какъ бы затруднился исполнѣ открыто высказать свою мысль передъ незнакомымъ человекомъ,—бываетъ такъ, что увѣряютъ иногда будто и бѣлое—не бѣлое, а черное. Всякое на свѣтѣ бываетъ! А что это насчетъ заграничныхъ газетъ говорить вы изволите,—продолжалъ онъ,—такъ я вамъ скажу, что намъ-то даже вотъ и жаловаться некуда и некому.

— Что жъ такъ?—удивился Хвалынцевъ.

— Безполезно-съ. Ужъ таковъ нашъ опытъ историческій. Пожалуйся—изъ тебя сейчасъ

сдѣлають ябедника, безпокойнаго человѣка, ославятъ доносчикомъ, шпиономъ, а то пожалуй административнымъ порядкомъ и въ дальній монастырь на заточеніе упрячуть... У насъ и эти примѣры есть.

— Но вѣдь есть же у васъ, наконецъ, и безпристрастные, честные, справедливые люди?

— Конечно-съ... какъ не быть, да поди, доберись до нихъ! Надо прежде сквозь двадцать мытарствъ перейти, а на каждомъ изъ нихъ тебѣ шею свернуть могутъ. Вѣдь они здѣсь сила!

— То-есть кто это?

— А господа дворяне... ну, и чиновничество тоже разумѣю въ томъ же счетѣ... Да, большая сила!—раздумчиво и неспѣшно повторилъ священникъ, но вдругъ, какъ бы спохватившись, приподнявъ слегка свою шляпу и съ смущенной торопливостью обратился къ Хвалынцеву, словно бы извиняясь въ чемъ.—Вы, впрочемъ, милостивый государь, не обезсудьте на такомъ моемъ словѣ... можетъ, я что и вопреки... съ такой моей откровенностью... Но такъ какъ собственно думалъ себѣ, что русскаго человѣка встрѣтилъ, то больше поэтому!.. Вѣдь намъ это въ рѣдкость!.. А то, знаете, и высказать-то здѣсь некому... въ себѣ таишь все это... Но впрочемъ, извините, ежели что не такъ...

Хвалынцевъ въ отвѣтъ на это поспѣшилъ открыто и радушно протянуть ему руку и просилъ отнюдь не сомнѣваться въ немъ.

— Меня, напротивъ, все это крайнѣ интересно, всѣ эти здѣшнія отношенія,—говорилъ онъ,—вѣдь я тутъ просто какъ въ темномъ лѣсу, такъ что, ей-Богу, сердечно радъ каждому случаю, каждой встрѣчѣ, которая мнѣ разъясняетъ мои собственные сомнѣнія... Я, видите ли, батюшка, я и самъ начинаю убѣждаться,—признался онъ въ заключеніе,—что здѣсь многое не такъ, какъ я думалъ и какъ меня увѣряли...

— Да-съ,—продолжалъ съ легкою устѣшкой священникъ.—Хотя бы вотъ насчетъ того, какъ вы изволили выразить, будто костель въ притѣсненіи; а знаете ли, какъ называется здѣсь наша православная церковь, православная вѣра?—«хлопская цѣрковь», «хлопская вѣра», и нѣтъ имъ другого имени опричь какъ «хлопскія»; спросите любого крестьянина какой ты вѣры?—онъ вамъ отвѣтитъ «хлопской» и православнаго крестьянина они иначе не называютъ, какъ презрительнымъ словомъ «попадьюкъ», то-есть это значить, что онъ къ поцу ходитъ на духовныя требы, съ попомъ, а не съ ксендзомъ дѣло имѣетъ; а римская вѣра «панской вѣрой» величается,—ну, вотъ вамъ и позвольте видѣть, какое ей утѣсненіе.

Мало-по-малу разговоръ перешелъ на животрепещущій въ то время вопросъ объ отношеніяхъ крестьянъ къ помѣщикамъ. Хвалынцевъ замѣтилъ, въ похвалу здѣшнихъ помѣщиковъ,

что они были первые, которые поспѣшили столь либерально откликнуться на призывъ къ эмансипаціи.

— Да-съ, они вообще очень ловкіе!—согласился священникъ.—Почему же однако и не заявить себя съ либеральной стороны, коли за кулисами можно дѣло обдѣлать по-своему?

— То-есть?—попыталъ Хвалынцевъ, желая вызвать собесѣдника на объясненіе.

— То-есть посредники-то вѣдь свои же люди,—а по пословицѣ: рука руку моетъ. Почему же и не обсчитать темнаго хлопа, напримѣръ, показавши хотя бы въ уставныхъ грамотахъ и земельный надѣлъ, и всякія угодья меньше того, что на самомъ дѣлѣ? ну, а одѣлочную норму можно и гораздо повыше взять,—вѣдь дѣлапы-то всѣ, милостивый государь, люди-то свои, говорю вамъ, а хлопу одно прозваніе: «быдло!» А черезъ то, глядя и землицы побольше выгадаемъ, и выкупная сумма понадобится, а деньги-то намъ теперь ой, какъ нужны... время такое... И это вѣдь не отдѣльный какой-либо случай: это въ нашемъ краѣ всеобщее теперь, заведенное явленіе.

— Такъ неужели же не найдется никого, кто бы раскрылъ глаза хоть бы хлопамъ-то этимъ? — въ изумленіи пожалъ плечами Хвалынцевъ, не мало возмущенный этими свѣдѣніями, которые въ ту пору составляли для него совершенную и притомъ неожиданную новость.

— А вотъ изволите видѣть, — усмѣхнулся священникъ съ оттѣнкомъ ѣдкой, накинѣлой горечи,—помѣщикъ—это панъ, посредникъ тоже панъ, чиновникъ, какой вамъ угодно, тоже панъ, и ксендзъ, по положенію своему, панъ и пану же служить, и все это вкупуъ называется поляками, а крестьянинъ—это хлопъ, быдло, существо иной природы... Ну, вотъ намъ, попамъ своимъ, хлопъ пока еще вѣрнѣе, приходитъ зачастую: такъ и такъ, пане ойче, объясните. Ну, конечно, совѣсть требуетъ не держать его во тьмѣ; объяснишь ему, наставишь, а за этимъ у насъ тоже зорко слѣдятъ, и какъ только провѣдаютъ, сейчасъ каверзу на тебя, доносъ: такой-то попъ народъ смущаетъ, бунтъ производить, социалистскія и коммунистскія идеи распространяетъ, неповиновеніе властямъ и помѣщикамъ и все такое прочее. Ну, сейчасъ слѣдствіе, прійдетъ слѣдователь—опять же панъ; а пойдете въ судъ—и судья, и секретарь, и всѣ остальные—все паны, все шляхетные... И бывали случаи, да даже еще недавно, что кромѣ хлопотъ и несприятностей, нашего брата и съ приходоу смѣшали. Да-съ, мудрецо здѣсь плавать, говорю вамъ,—ой, какъ мудрено-то: вездѣ и во всемъ большую силу имѣютъ!

— Но вѣдь это же безвыходное положеніе!—воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Пока—совершенно безвыходное,—согла-

силъ священникъ, — а будущее въ рукахъ Божией... Его святая воля!

Въ это время съ лѣвой стороны раздалось нѣсколько выстрѣловъ, перекатнымъ эхомъ пронесшихся по лѣсу, и черезъ минуту музыка собачьяго лая была покрыта побѣдно-призывными звуками охотничьяго рога.

— Надо полагать, звѣря забили, — замѣтилъ священникъ, прислушиваясь къ этимъ звукамъ; — викторію трубятъ.

Хвалынцевъ оглядѣлся по сторонамъ. Оба сосѣдніе стрѣлка тронулись уже съ мѣстъ и шли по направленію влѣво на звукъ призывнаго рога.

— Конечно, что-ли? — окликнулъ Константинъ подходившаго охотника.

— Скончѣну, панѣчку! — подтвердилъ тотъ, приподымая свою сѣрую барашковую шапку.

— Ну, теперь и мнѣ, значить, вольно проѣхать, — замѣтилъ священникъ. — Очень пріятно!.. очень пріятно! — привѣтливо приподнимая шляпу, отнесся онъ къ Хвалынцеву. — Благодарю за бесѣду... душевно благодарю.

— Позвольте, батюшка, познакомиться! — обратился къ нему Константинъ Семеновичъ, протягивая руку и назвавъ себя.

— А, очень радъ! Отецъ Коновичъ, Сильвестръ, отрекомендовался въ свой чередъ священникъ, и, завернувшись илотнѣ въ свою старенькую заячью шубу, тронулъ вожжи. Застоявшаяся лошадка потрусилъ бодрой рысцой въ глубину сосноваго лѣса.

Хвалынцевъ, проводивъ его глазами, вскинулъ ружье за плечо и зашагалъ по цѣлнѣ широкимъ шагомъ, поспѣвая вслѣдъ за другими охотниками къ сборному пункту.

XI.

«Kochajmy sie!»

Зычный рогъ доѣзжачаго, скликавшій собакъ п охотниковъ, возвѣщалъ торжество немалое: на пана-посредника Селяву-Жабчинскаго какъ разъ выбѣжалъ кабанъ. Посредникъ прицѣлился и далъ промахъ, спустилъ другой курокъ и тоже мимо, вслѣдствіе чего и задалъ тягу въ сторону, а кабанъ былъ положенъ мѣткимъ выстрѣломъ въ самое ухо, который во слѣдъ ему пустилъ старосвѣтскій помѣщикъ, панъ Хомчевскій, въ ту самую минуту, когда панъ Селява давалъ стрекача, а кабанъ, ваяя цѣликомъ все въ одномъ направленіи и ломая на ходу низенькія молодыя вѣтви и сучья кустарниковъ, перешелъ уже линію охотничьей цѣпи. На свѣгу, обогренномъ нѣсколькими пятнами крови, лежалъ полныйѣсный и неуклюжій трунъ его, окружаемый группами подходившихъ охотниковъ, вслѣдъ за которыми подошелъ и Хвалынцевъ. Перекрестный огонь веселыхъ шутокъ, поздравленій, разспросовъ,

разказовъ, восторговъ, похвалъ, объясненій и горячихъ споровъ трещалъ надъ тушей убитаго звѣря. Голодные собаки съ жадностью въ глазахъ, но осторожно приподнявъ переднюю ногу, аппетитно и пытливо обнюхивали кабана и исподтишка слизывали тихо капавшую кровь. Панъ Селява-Жабчинскій горячо отвергалъ фактъ собственнаго «драпака» и оспаривалъ у старосвѣтскаго помѣщика честь ловкаго выстрѣла. Эксъ-уланъ, натянувъ поверхъ колета вольчю шубу и все-таки порядкомъ продрогнувъ а можетъ только и подъ предлогомъ холода, исправно тянулъ изъ горлышка охотничьей фляги. Дамы и паненки, потаптываясь зазябытыми ножками, весело смѣялись и звонко тараторили, пуская мимо ушей любезности комплименты чамаржовыхъ паничей, такъ какъ въ эту минуту ихъ несравненно болѣе занималъ дюжій кабанъ, чѣмъ всѣ эти паничи съ ихъ чамарками, сердцами и комплиментами. Наконецъ, подѣхала повозка, на которую егера свалили убитаго звѣря, а панъ Котырло, въ качествѣ маршала охоты, примирилъ двухъ спорящихъ соперниковъ, заставя ихъ поцѣловаться, но все-таки честь выстрѣла оставивъ за старосвѣтскимъ паномъ, и вслѣдъ затѣмъ охотники стали расходиться, занимая цѣпь въ совсѣмъ новомъ направленіи, для вторичной облавы, версты за полторы отъ прежняго мѣста. Эта вторая облава не имѣла уже такого блистательнаго успѣха, но все-таки взяла, если не качествомъ, то количествомъ добычи: она принесла одну серну и трехъ зайцевъ.

Вся компанія уже и прозябла, и проголодалась порядочно. Былъ второй часъ пополудни. Маршалокъ объявилъ охоту коиченной и съ любезностью старо-польскаго хозяина пригласилъ всѣхъ безъ исключенія гостей — и своихъ, и участвовавшихъ — въ Карначевскую рощу.

Тамъ уже панскіе челядинцы, подъ надзоромъ и руководствомъ стараго дворецкаго, успѣли приготовить все, что было необходимо къ импровизированному пиру: для дамъ раскинуто была большая палатка, устланная коврами и волчьими шкурами, а для мужчинъ помѣщеніе хотя и не отличалось такимъ комфортомъ, зато было весьма живописно: между составленными экипажами и стволами нѣсколькихъ деревьевъ, на приподнятыхъ вверхъ дышлахъ и оглобляхъ, были съ подвѣтренной стороны прилажены большіе пестрые ковры, брезенты и цыновки; подобные же ковры устлали землю въ огороженномъ такимъ образомъ пространствѣ, гдѣ стоялъ подъ бѣлою скатертью большой складной столъ, уставленный батареями бутылокъ, башнями тарелокъ, кареями стакановъ и горами ножей, вилокъ и ложекъ. Нѣсколько складныхъ стульевъ помѣщались вокругъ стола, а кромѣ того валялись еще на коврахъ нѣсколько кожаныхъ подушекъ, матраисковъ и экипажныхъ сидѣній. Предъ входомъ пылалъ

и трещалъ большой костеръ, а нѣсколько въ сторонѣ другой подобный же, у котораго, на разныхъ гаганцахъ и треножкахъ, поваръ съ двумя поварятами разогрѣвалъ, заранѣе еще въ ночь приготовленные, соусы и жарилъ на вертелѣ мясо. Около него стояли ящики, банки и боченки съ разными припасами, и суетилась прислуга. Эти пестрые навѣсы, эти ковры, экипажи съ привязанными около нихъ лошадьми, которыя мѣрно хрустѣли зубами надъ заданными торбами овса, эти своры разношерстныхъ собакъ, эти ярко-пылающіе костры и оживленные группы охотниковъ и женщинъ— все это вмѣстѣ представляло разнообразную, пеструю, довольно поэтическую и очень красивую картину, напоминавшую собою отчасти нѣчто въ родѣ цыганскаго табора.

День былъ почти безвѣтренный и ясный; морозъ не превышалъ двухъ градусовъ, а костры и время отъ времени приносимыя въ дамскую палатку жаровни, при помощи вина и теплаго платья, дѣлали вовсе не чувствительнымъ даже и тотъ маленькій холодъ, который чувствовался въ воздухѣ. На столѣ вкуснымъ паромъ дымились блюда, приносимыя разомъ, безъ всякаго особеннаго порядка. Тутъ главную роль играли: столъ излюбленная польскими охотниками тушоная капуста, и бигосъ, и зразы и жаренныя куропатки. Вино, хоть и не весьма-то высокаго качества, все больше съ рижскими ярлыками, лилось въ изобиліи и поглощалось съ примѣрнымъ аппетитомъ. Чѣмъ болѣе охотники пили и ѣли, ѣли и пили, тѣмъ болѣе разгорались ихъ бодрія, здоровыя лица и тѣмъ громче и свободнѣе становился перекрестный огонь разсказовъ, споровъ, восклицаній и смѣха. Панъ Селява-Жабчинскій повѣствовалъ о томъ, какъ онъ въ Тирольскихъ альпахъ убилъ въ одну охоту трехъ ланей, вися надъ обрывомъ, на такой узенькой тропкѣ, что еле-еле гдѣ было ногу поставить, а въ Уэльзѣ вмѣстѣ съ герцогомъ Кембриджскимъ, ни болѣе ни менѣе, какъ съ нимъ самимъ, да еще съ лордомъ Шесбюри, затравилъ громаднѣйшаго медвѣдя. Становой Шпарага утверждалъ, что своимъ глазами видѣлъ у одного полѣшука, на Полѣсьи, заколдованное ружье; которое бьетъ хоть на тысячу шаговъ только дикаго звѣря, но въ домашнее животное, будь то хоть волъ, хоть свинья, хоть самъ панъ Шпарага, въ двухъ-трехъ шагахъ дастъ непременно промахъ! А въ отвѣтъ ему кто-то увѣрялъ, что все это ровно еще ничего не значитъ въ сравненіи съ похождениями барона Мюнгаузена; но панъ Шпарага въ простотѣ и невинности сердечной и не подозрѣвалъ кто такой этотъ баронъ Мюнгаузенъ и какое отношеніе имѣютъ похождения сего знаменитаго барона къ его повѣствованію о заколдованныхъ ружьяхъ. Старый экс-уланъ, молодцовато и не безъ видимой

рисовки опирался на саблю, порицалъ временна настоящія и хвалилъ прошедшія, восторгался воспоминаніемъ о томъ, какъ пили уланы, какъ били рабы ойчизны, какъ плясали мазурку чвартѣки, и опять путалъ свою воображаемую службу между тѣмъ и этимъ полками и, наконецъ, дойдя до высшаго пагоса, вдругъ выхватилъ изъ ноженъ свою саблю и сталъ отчаянно махать ею по воздуху, изображая какъ они рубились съ москалемъ въ прежніе годы. Эта послѣдняя эволюція пана Копца была столь внезапна, что слушавшіе панячи разомъ отскочили въ стороны, опасаясь какъ бы невзначай не задѣла ихъ уланская сабля, а собаки съ азартнымъ лаемъ бросились было на пана-пулковника, но угрожаемая его кликомъ, держались въ оборонительныхъ позиціяхъ на благородной дистанціи и не переставали на него лаять, такъ что чѣмъ больше онъ махаетъ, тѣмъ громче и сильнѣй подымается вой и лай собакъ.

Выпито было уже очень и очень изрядно, когда панъ Котырло приказалъ подать нѣсколько большихъ бокаловъ стараго богемскаго хрустала, съ гравюрами, надписями и съ выпуклымъ дномъ, безъ ноженъ, такъ что бокалы этой конструкціи никоимъ образомъ не могъ быть поставленъ на столъ: надо было или выпивать его до дна, или держать въ рукахъ пока не выпьешь, а по приговору пана-маршала ни сосѣди, ни слуги ни отъ кого не могли принимать недопитаго бокала. Откупорили нѣсколько бутылокъ «венгржина» и наполнили ими эти монстры. Панъ Котырло, поднявшись со своего предсѣдательскаго мѣста, провозгласилъ любимымъ старо-польскій тостъ:

— Кохаймы сен', панове! *)

И вмѣстѣ съ этими словами, нагнувшись къ своему сосѣду, тому самому старожитному пану Хомчевскому, который мѣткимъ выстрѣломъ положилъ кабана и чрезъ то сталъ, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ и лауреатомъ нынѣшняго полеванья, панъ Котырло съ чувствомъ облобызался съ нимъ дважды-и залпомъ выпилъ свою стопу.

Панъ Шпарага затынулъ приличную случаю пѣсню, панъ Копецъ сталъ вторить баскомъ, кое-кто подтянулъ разными голосами, и наконецъ весь хоръ грянулъ дружное: «цѣпу-лѣпу, лѣпу-цѣпу!»

— «Выпилъ Кѣба до Якѣба», начиналъ панъ Шпарага.

— «Якѣбъ до Михала», подхватывалъ панъ пулковникъ, отчеканивая тактъ своей саблей.

Выпилъ ты, выпилъ я—
Компанія цала!

— «А кто не выпіе», присоединялись голоса любителей, «тѣго ве два кія!» И вслѣдъ

*) Возлюбимъ другъ друга.

за нимъ «компанія цѣла» подхватывала во всю глотку:

Цу-пу-лупу! лупу-цу-пу!
Тѣго вѣ два кія!

Хвалынцевъ въ полголоса попросилъ у Свитки объяснить ему значеніе столь оригинальнаго пригѣва, и Свитка пояснилъ что «цѣпу-лѣпу, лѣпу-цѣпу» есть очень наглядное звуко-подражательное выраженіе палочныхъ ударовъ по спинѣ.—Кто не выпиваетъ, того, значить, цѣпу-лѣпу въ двѣ палки, понимаете? — добавилъ онъ шуточно.

Хвалынцеву, дѣйствительно, стало теперь вполне понятно, что нѣкоторые паны для усиленія впечатлѣнія этого «цѣпу-лѣпу» громко въ тактъ шлепали себя ладонями по колѣнямъ, а панъ Шпарага увлекся до того, что даже не безъ азарту и весьма выразительно сталъ при каждомъ пригѣвѣ лупить съ двухъ сторонъ собственными руками свои же собственные щеки.

Застольная пѣсня шла далѣе:

Индикъ съ сосемъ, барщъ съ бигосемъ,
Ядлы пегдысь паны,
Дзисъ шинкарка и кухарка
Бѣзон' якъ боцаны.
Кто жабами жие,
Тѣго вѣ два кія!
Лупу-цу-пу! цу-пу-лупу!
Тѣго вѣ два кія!

Хвалынцевъ просилъ Свитку объяснить ему смыслъ всей этой пѣсни, которая казалась столь характерною. Добрый товарищъ, чувствуя теплое и милое настроеніе духа послѣ нѣсколькихъ стакановъ вина, охотно согласился исполнить желаніе своего пріятеля. Смыслъ охотничьей пѣсенки, кромѣ поясненнаго уже куплета, былъ таковъ:

«Старинный панъ, хотя и ходилъ въ жупанѣ (одежда, почитавшаяся простою), зато какъ шляхтичъ, какъ дворянинъ, ворочалъ деньгами, золотомъ; теперь же всякій—увъ! ходитъ въ куцомъ фракѣ, а межъ тѣмъ въ карманѣ у него піишъ! Но кто живетъ безъ гроша, того лупи въ двѣ палки! Цѣпу-лѣпу! лѣпу-цу-пу! Того лупи въ двѣ палки! Индюка съ соусомъ и борщъ съ бигосомъ нѣкогда паны лишь ѣдали, а теперь всякая шинкарка (обыкновенно изъ евреекъ) и всякая кухарка ѣдятъ, словно апсты (то-есть позволяютъ себѣ дѣлать нѣкоторый выборъ въ своей піишѣ, какъ бы приравниваются къ панамъ). А кто жаелаетъ наслаждаться блюдами изъ лягушекъ, кто живетъ напыщенно (какъ могутъ жить магнаты) того бей въ двѣ палки! Цѣпу-лѣпу! лѣпу-цу-пу! Бей того въ двѣ палки! Нѣкогда только одна лишь сама лани, барыня, носила кружева и перлы, а теперь—увъ! всякая кухарка и шинкарка позволяютъ себѣ одѣваться какъ важная дама. Но если кто позволяетъ себѣ жить выше

своего прирожденнаго общественнаго положенія, того лупи въ двѣ палки! Цѣпу-лѣпу! лѣпу-цу-пу! Того лупи въ двѣ палки!»

— Ну какъ вамъ нравится эта наша древняя пѣсня, которая даже и по сей день, несмотря на древность, все-таки поется? Мы любимъ и чтимъ свою святую старину!—проговорилъ Свитка, на видъ какъ будто распливчиво и масляно, а въ сущности не безъ хитраго какого-то умысла.

— Да вы это какъ, въ насмѣшку, чтѣ-ли, спрашиваете меня?—отозвался Хвалынцевъ.

— Въ насмѣшку?—будто-бы удивился Свитка.—Да чтѣ же тутъ смѣшнаго? Просто милая пѣсенка, которая совѣтуетъ каждому жить по средствамъ, по состоянію—чтѣ жъ тутъ достойнаго смѣха?

— По вашему, ничего,—возразилъ Константинъ,—а по моему... если только хотите, чтобъ я откровенно...

— Ахъ, пожалуйста! Откровенность прежде всего!

— Ну, такъ я вамъ долженъ сказать, что во всю свою жизнь еще я не слыхалъ ничего, чтѣ выражало бы болѣе характерно всю мелочность замкнутаго самолюбія шляхтича, всю нелѣпую притязательность стараго аристократизма, чтобы ни кто не осмѣливался жить столь же комфортабельно, сколь живетъ оно, дворянство. Это по-моему, одна изъ самыхъ кастовыхъ, изъ самыхъ бѣлокостныхъ пѣсенъ всего міра, несмотря на всю ея пустоту и напвность!

— Ну, вотъ! вы все это съ точки зрѣнія своего русскаго сиволапаго демократизма!—махнулъ рукой Свитка.

А между тѣмъ, веселая компанія продолжала все ту же пѣсню, и послѣ каждого «цѣпу-лѣпу» сосѣдъ передавалъ сосѣду опорожненный бокалъ, а этотъ, наполнивъ его до краевъ, возглашалъ новое «кохайны сенъ!»—и старыя стопы довольно быстро и дружно, подъ звуки характернаго пригѣва, обходили кругъ со-стольниковъ.

XII.

Фацеція паньська.

Въ то самое время какъ тосты «кохаймы сенъ» вмѣстѣ съ «цѣпу-лѣпу» дошли до полного разгара, такъ что въ панскихъ головахъ пошли уже колесомъ вертѣться разныя — и удалыя, и шалхетныя мысли, проекты и фантазіи, вдругъ послышалось на пролежавшей мимо и неподалеку дорогѣ громаханье приближавшей повозки. Первый, обратившій вниманіе на это совершенно ничтожное и случайное обстоятельство, былъ эскъ-уланъ, который подошелъ къ костру запалить свою коротенькую охотничью «файку»¹⁾.

¹⁾ Трубку.

— Попъ ѣдетъ, панове! Плюнуть надо! — возгласилъ онъ, обращаясь къ компаніи, и при-
свокупилъ въ поясненіе:

— Какъ служилъ я въ уланахъ, такъ у насъ въ полку было повѣрье, что встрѣчаться съ по-
помъ означаетъ неудачу и несчастье, а чтобъ оно
не случилось, то надо поскорѣе во слѣдъ ему плю-
нуть.—Плюйте, панове!

— Э, да это онъ, панскій добродѣй!—вос-
кликнулъ панъ Селява-Жабчинскій, обративъ
и съ своей стороны вниманіе на приближав-
шуюся повозку.

— А вѣдь опять смущалъ хлоповъ! Мнѣ до-
несли-таки!—съ нѣсколько злобной досадою ти-
хо сказалъ панъ Котырло, обращаясь къ по-
среднику.

— О?.. Опять? — нахмурился Селява. —
Когда? давно?

— Вчера еще... но я ужъ вечеромъ зналъ.
Посредникъ произнесъ только сквозъ зубы:
«тссъ» и озабоченно покачалъ головой.—Ужъ
не насчетъ ли перехода въ дворовые?—спро-
силъ онъ.

Котырло подтвердилъ его догадку.

— От-го, пане, бастія!—съ досадою, хлоп-
нувъ рукой по столу, воскликнулъ Селява. —
Смотрите, все дѣло испортить!.. Эхъ, проучить
бы слѣдовало!.. За позволеніемъ панскимъ,
ябъ его сію же минути!..

— Цѣпу-лѣпу, лѣпу-цѣпу! попа ве два кія—
прибавилъ на распѣвъ становой Шпарага.

Компанія расхохоталась въ отвѣтъ этой
импровизации и подхватила ее нестройными
уже голосами.

Между тѣмъ подгулявшій панъ Селява-Жаб-
чинскій успѣлъ въ это время перемигнуться,
перешепнуться и стакнуться о чемъ-то съ
предпріимчивымъ и еще болѣе подгулявшимъ
экзе-уланомъ, такъ что едва лишь замолкъ
послѣдній звукъ припѣва, панъ Копецъ энер-
гично вскочилъ съ мѣста и громко воззвалъ
ко всей компаніи:

— Панове-браця! Кто хочетъ въ охотники
на штурмъ?.. въ атаку на попа?.. Кто желаетъ,
тотъ къ конямъ! Къ конямъ, панове! До бро-
ни! И гайже на попа!...

— Гай-гай!.. Гайда, панове! Къ конямъ!..
браво!.. подхватило нѣсколько голосовъ, и съ
шумомъ и смѣхомъ челоуѣкъ семь молодежи
азартно посрывались со своихъ мѣстъ и бро-
сились къ гайдукамъ съ приказаніемъ скорѣе
подтягивать лошадямъ подпруги.

Котырло попытался было остановить, но
расходившіяся уланы вмѣстѣ съ Селявой убѣ-
дительно принялись успокаивать и увѣрять его,
что ничего непріятнаго не случится, что просто
они только захватятъ попа, ради потѣхи, по-
пугаютъ его немного, приведутъ сюда и заста-
вятъ его пить, а затѣмъ прочтутъ добрую но-
тацію, чтобы зналъ какъ смущать хлоповъ на
будущее время, и, не тронувъ его ни паль-

цемъ, отпустить съ миромъ. Котырло не успѣлъ
еще отвѣтить ни да, ни нѣтъ на ихъ увѣренія,
какъ молодежь была уже на коняхъ, а экзе-
уланъ, договаривая еще свои послѣднія успо-
коительныя увѣренія, занесъ ногу въ стремя,
грузно перевалился въ сѣдло и крикнувъ:
«маршъ-маршъ! за мной!» погнался крупной
рысью за проѣхавшей повозкой.

Отецъ Сильвестръ межъ тѣмъ, ничего не
подозрѣвая, трусилъ себѣ легонькой рысцой по
дорогѣ и уже оставилъ за собою панскій та-
боръ саженьяхъ во ста, когда на него неждан-
но-негаданно съ гикомъ и гвалтомъ вдругъ
налетѣли съ боковъ и сзади восемь всадни-
ковъ.

— Стой! стой!.. Здавайся въ плѣны! Въ
плѣны!.. И безъ капитуляціи!—оралъ вмѣстѣ
съ молодежью панъ Копецъ, ставъ поперекъ
дороги предъ повозкой и махая своей саблей.

— А-ни съ мѣста, или пулю въ лобъ!—кри-
чали паничи, и чтобы нагнать на непріятеля
пушаго страху, не безъ эффекта прицѣлива-
лись въ него, примѣрно, кто изъ ружья, кто
изъ пистолета, а кто замахивался охотничьимъ
ножомъ, и все это сопровождалось хохотомъ,
гвалтомъ и криками: «въ плѣны, стой! ви-
вать!» и т. п.

Оторопѣвшій отецъ Сильвестръ, рѣшительно
непонимая въ чемъ дѣло и чего хотятъ отъ
него, придержалъ вожжи и растерянно погля-
дывалъ то на того, то на другого. Межъ тѣмъ
кто-то схватилъ за поводъ его лошадку и по-
вернулъ ее назадъ по дорогѣ, такъ что отцу
Сильвестру волей-неволей пришлось ѣхать въ
лѣсъ подъ конвоемъ торжествующихъ свою по-
бѣду паничей.

Весь остальной таборъ встрѣтилъ этотъ
повѣдъ громкими виватами, рукоплесканіями
и стаканами вина. Побѣда была полная.

На растерянномъ и смущенно-блѣдномъ лицѣ
священника сказывалась однако догадка, что
его желаютъ выпутить, поднять на-смѣхъ, а
можетъ и оскорбить чѣмъ-либо. Онъ молча и
совершенно пассивно сидѣлъ въ своей повозкѣ,
держа вожжи, но не правя ими, и ждалъ что
будетъ.

— Слѣзай, пане попе!.. Вылѣзай, свенты
ойче схизматыцьки!—распоряжался межъ тѣмъ
экзе-уланъ.—Гей, хлопцы! Ссадить его!

Двое гайдуковъ схватили отца Сильвестра
подъ руки и стали высаживать его изъ по-
возки.

Священникъ не оказывалъ ни малѣйшаго
сопротивленія.

— Вотъ такъ, такъ его!.. Молодцы!.. Ставь
его на землю! ставь!.. А теперь послѣ такой
побѣды можно и вина выпить! Пусть преле-
стныя панны будутъ столь любезны и въ на-
граду за нашу побѣду не откажутъ сами изъ
своихъ божественныхъ ручекъ поднести по
стакану рыцарямъ!

И панны дѣйствительно не отказали. Напротивъ онѣ очень весело и съ большой охотой предложили по стакану желающимъ. Никто, конечно, изъ рыцарей не отказался отъ такой награды, а эскъ-уланъ первый, преклонивъ колѣно предъ угощавшей его панной Котырлувной и приложивъ руку къ сердцу, разомъ и какъ-то бравурно осушилъ стаканъ и съ чувствомъ чмокнулъ подносящую ему ручку.

Компанія при этомъ все также рукоплескала и кричала «вивать!»

Рыцари всѣ до одинаго послѣдовали примѣру своего «довудцы»: каждый становился предъ какой-либо изъ дамъ на одно колѣно, глядѣлъ на нее сантиментальнымъ взоромъ, а иной и сантиментальный вздохъ испускалъ, затѣмъ выпивалъ свой стаканъ и чмокалъ руку.

А священникъ межъ тѣмъ стоялъ между двухъ гайдуковъ и молча, безучастно выжидалъ что будетъ далѣе...

— Теперь надъ военнопленнымъ надлежитъ нарядить военный судъ! — предложилъ эскъ-уланъ, обращаясь ко всей компаніи. — Панове! Ржечь-Посполита! Кого найяснѣйшее панство желаетъ избрать презусомъ комисіи судной?

— Пана Копца! Пана пулковника! Пана до-вудцу! — отозвался цѣлый хоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ, и эскъ-уланъ былъ избранъ въ презусы единогласнымъ рѣшеніемъ всей Ржечи-Посполитой.

— Благодарю за честь! — приложивъ руку къ сердцу, почтительно, однимъ раскачивающимся на весь полукругъ поклономъ, отвѣтилъ панъ Копецъ всему собранію и сѣлъ на предполагаемое предсѣдательское мѣсто.

— Вице-президентомъ будетъ нашъ почтенный панъ посредникъ, прокуроромъ панъ Шпарага, а ассессорами мои боевые товарищи, — продолжалъ панъ презусъ. — Панове-судъ! прошу занять ваши мѣста! Гей, хлопцы!.. Вы будете жандармерія народовъ! Введите подсудимаго и поставьте его предъ трибуналъ! Атрибутами суда у насъ будетъ бутылка, пробка и стаканъ.

Гайдуки крѣпко ухватили священника подъ руки и, не выпуская его рукъ, ущемленныхъ между ихъ здоровыми мускулами, привели его къ столу и поставили на указанномъ мѣстѣ противъ презуса.

Презусъ поднялся со стула и комическиторжественно — официальнымъ тономъ обратился къ отцу Сильвестру:

— Ну, вацпане! за всѣ твои проступки и преступленія военный судъ приговариваетъ тебя къ повѣшенію за бороду на колокольнѣ или къ разстрѣлію фасолей и горохомъ, но по неизрѣченной своей милости смертную казнь замѣняетъ тебѣ слѣдующею карой: ты, свѣнты ойче, долженъ намъ проплясать трепака и выпить кварту водки. Вина тебѣ не дадимъ, потому что ты въ немъ толку не смыслишь, и

притомъ сказано: не мечите бисера предъ вепржовыми ¹⁾ братьями. Ты видишь, что я выражаюсь еще очень деликатно. Итакъ, пляши трепака! Пляши же, свѣнты ойче!

Компанія хохотала, находя своего презуса въ высшей степени остроумнымъ человѣкомъ.

— Я прошу отпустить меня... мнѣ, право, некогда, да и не мѣсто мнѣ здѣсь, — совершенно просто и серьезно проронилъ отецъ Сильвестръ свое первое слово.

— Пляши, пане попе! Пляши безъ возраженій! Хуже будетъ! — настойчиво кричала ему вмѣстѣ со своимъ презусомъ компанія хмѣльныхъ ассессоровъ.

Священникъ стоялъ неподвижно и холодно-серьезнымъ взглядомъ смотрѣлъ на своихъ судей.

— А, не хочешь! Гей, хлопцы, бери его подъ руки и пляши!.. Панове, надо пѣсно! безъ пѣсни что за трепака!

И презусъ затанулъ невѣрнымъ хмѣльнымъ голосомъ:

Съ тамъ-тѣй ²⁾ страны Вислы
Компала сен ³⁾ врона,
А панъ попъ нашъ мыслялъ,
Же то его жона!

Гайдуки кинулись было къ отцу Сильвестру исполнять отданное имъ приказаніе, но тотъ съ силой рванулся отъ нихъ руками, и съ такимъ повелительнымъ пылающимъ взоромъ, такимъ внушительнымъ, полнымъ достоинства и грознымъ голосомъ крикнулъ имъ: «прочъ», что тѣ невольно попятились и стали въ нерѣшительности, не зная что теперь имъ дѣлать.

— А, понимаю! — приложивъ палецъ ко лбу, доめкнулся презусъ, — панъ попъ не хочетъ плясать, не подкрѣпившись предварительно! Ну, и конечно: что за пляска безъ вина! Гей! поднести вацпану кварту водки! живо!

Гайдуки мигомъ распорядились, какъ слѣдуетъ.

— Пей, пане ойче!.. Ты вообрази, что это свѣнта кровь и пей! — сказалъ посредникъ Селыва.

Священникъ вздрогнулъ при этомъ кошунствѣ и, рѣшительно отвернувшись, пошелъ быстрыми шагами къ своей повозкѣ.

— А, утекать! Нѣтъ, стой!.. Хлопцы! держите! не пускайте!.. Ты думаешь, не заставятъ? Нѣтъ, заставятъ! Выпьешь!

Священника опять сзади ухватили за руки. Посредникъ сорвался съ мѣста и стремительно подскочилъ къ нему.

— А что! — злобно-шипящимъ полупопотомъ быстро сталъ онъ выговаривать, грозя пальцемъ предъ лицомъ отца Сильвестра; — а что, будешь теперь возмущать хлоповъ? будешь

¹⁾ Вепржъ — кабанъ.

²⁾ Съ той стороны.

³⁾ Купалась.

учить ихъ не вѣрить намъ, законнымъ властямъ? будешь нашептывать, чтобы пану своему не повиновались?.. Га?.. будешь?.. Подожди, это такъ тебѣ только шутки, а ужъ я тебя уку!.. уку!.. Вздумалъ съ кѣмъ тягаться! Ты думаешь, на васъ администрація нѣтъ? Подожди же!..

— Что, все пить не хочетъ? — приподнимаясь на локтяхъ, громко спросилъ Копецъ! — не хочетъ? Ну, такъ за бороду лить! на голову, за шиворотъ, куда ни попало! Лей, хлопцы! Лей мою властною рукою!.. Какъ? ты благородной шляхтѣ сопротивляться?! Тебя благородное панство удостоиваетъ своей компаніи, другой былъ бы радъ и счастливъ тѣмъ, а ты сопротивляться?!.. Лей ему, хлопцы, за шиворотъ! Лей!

Лакей, державшій кварту, съ холопскимъ хихиканьемъ поднялъ было руку, чтобы вылить за воротникъ священнику водку, но тотъ снова рванулся что лишь было мочи отъ державшихъ его гайдуковъ и этимъ движеніемъ удалось ему нечаянно вышибить изъ рукъ лакея кварту, которая отлетѣла въ сторону, выплеснувъ изъ себя всю водку прямо въ лицо посреднику Селявѣ.

Священникъ почувствовалъ себя свободнымъ, кинулся бѣжать куда ни попадя отъ этого скопища.

— Свору! свору сюда! — задыхаясь, кричалъ разъяренный панъ Селява и сталъ натравливать на отца Конотовича нѣсколько собакъ, пустившихъ за нимъ въ догонку. — Иш-га! ишга!.. на-на-на-на! бери его!.. Уж-га-а!

Нѣсколько собакъ, натравленныхъ посредникомъ, бросились на священника.

Хвалынцевъ, весь блѣдный отъ негодованія, тяжело и трудно дыша, быстрыми шагами пошелъ къ пану Котырло и нервно крѣпко схватилъ его руку.

— Какъ честный человѣкъ, прекратите эту гнусную сцену! — сказалъ онъ, и въ тотъ же моментъ, поднимая валявшійся на коврѣ охотничій арапникъ, не слушая, не дожидая какого-либо рѣшенія и отвѣта со стороны хозяина, бросился на выручку къ отцу Сильвестру, когда тотъ съ испуганными криками тщетно отмахивался отъ налетѣвшихъ собакъ, которыя трепали уже полы его заячьей шубенки. Нѣсколько ударовъ бича по собакамъ освободилъ отца Сильвестра. Самъ Котырло, смущенный въ душѣ словомъ Хвалынцева и только теперь домекнувшись о всей неловкости, всей неумѣстности сцены, разыгравшейся въ глазахъ посторонняго человѣка, и притомъ москаля (хоть и бардо поржонднѣго человѣка, а все жъ москаля!) поспѣшилъ за нимъ, цыкая на собакъ и ругая, примѣрно, псарей, какъ, молъ, они осмѣлились спустить свору и не удержать ее во-время! Для виду онъ даже извинился слегка предъ священникомъ и вы-

разилъ ему свое сожалѣніе, что произошла вся эта непріятность, которой онъ вовсе не желалъ и даже не могъ предвидѣть.

Перепуганный священникъ, еще не успѣвъ придти въ себя, только оглядывалъ порванные полы своей шубенки. Хвалынцевъ проводилъ его до повозки, и отецъ Сильвестръ, съ благодарностью пожавъ ему руку, отправился, не преслѣдуемый уже никакими выходками. Вернувшись къ охотничьей компаніи, Константинъ Семеновичъ засталъ тамъ довольно горячій споръ между паномъ Котырло и посредникомъ. Котырло утверждалъ, что не слѣдовало доводить шутку до такихъ предѣловъ, и даже вовсе не слѣдовало трогать поа, а Селява-Жабинскій вмѣстѣ съ эксъ-уланомъ и нѣсколькими паничами доказывали, что напротивъ, такъ-то и слѣдуетъ, что все это въ сущности величайшіе пустяки, что нужно было бы проучить посеребръе «москельскаго шпега», и что наконецъ почему же имъ и не продѣлать всю эту штуку надъ какимъ-нибудь подлымъ шпегомъ, если имъ вдругъ пришла въ голову такая «фацеція»: это, молъ, не болѣе какъ одна изъ хорошихъ фацецій, на которыя еще наши дѣды и прадѣды были такіе великіе мастера.

Въ это самое время раздалось вдругъ нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, обратившихъ на себя общее вниманіе. Выстрѣлы трещали въ рощѣ близъ дороги, по которой проѣзжалъ отецъ Конотовичъ. Взглянувъ въ ту сторону, Хвалынцевъ увидѣлъ, что лошадка, преслѣдуемая ружейною трескотнею, шархнувшись съ перенугу въ сторону и понесла. Повозка, прыгалъ и подскакивая на камняхъ и колеяхъ, кренясь то въ ту, то въ эту сторону, мчалась со слишкомъ достаточною быстротою, чтобы сѣдокъ съ успѣхомъ могъ подвергнуться риску свернуть себя шею и переломить ребра. Черезъ минуту онъ пропалъ изъ виду вмѣстѣ съ прыгающею повозкою и опалѣлою лошадыю. Паны хохотали. Оказалось, что вся эта новая штука есть продолженіе милой фацеціи панской. Панъ Селява вмѣстѣ съ паномъ Копцемъ, еще раньше, въ то время какъ только что привезли плѣннаго поа, успѣли шепнуть доѣзжающему, чтобы тотъ сію же минуту распорядился выслать на дорогу незамѣтнымъ образомъ нѣсколькихъ егерей, а тѣ пусть засядутъ за кустами и, какъ только поа поѣдетъ мимо, вѣстрѣтятъ и проводятъ его холостыми выстрѣлами. Планъ удался въ совершенствѣ и эффектъ вышелъ блистательный.

Но общая гармонія была уже нарушена, и это чувствовалось каждымъ. Нарушилъ ее все тотъ же москаль, хоть и поржондны человѣкъ — Хвалынцевъ своимъ откровенно высказаннымъ пану Котырло взглядомъ на всю эту сцену, назвавъ ее, въ минуту возмущеннаго негодованія, «гнусною» и затѣмъ кинувшись съ арапникомъ на

выручку отца Сильвестра. Этот порывъ слѣшкомъ явно нарушилъ единство отношенія къ панской фалееи, показалъ собою, что она не пользуется единодушною симпатіею, на чтѣ, конечно, разсчитывали творцы фалееи, не принимая ровно ни въ какой расчетъ Хвалынцева. Этотъ порывъ заставилъ сполитиковать и пана Котырло, который изъ приличія, и притомъ уже явно ради своего гостя-москаля сталъ на его сторону и даже горячо заспорилъ противъ Селявы и Копца. А разъ чтѣ гармонія была нарушена, въ праздничной компаніи явилось чтѣ-то натянутое, и гости стали готовиться къ отъѣзду. Нѣкоторые изъ нихъ тихо разговаривали между собою и искоса поглядывали на Хвалынцева взглядомъ далеко не дружелюбнымъ. Очевидно, его заступничество за «схизматыцкаго попа» и при томъ еще «москвевскаго шпег» пришлось здѣсь далеко не понутру и даже на самого заступника кинуло невыгодную тѣнь подозрительнаго свойства. Нѣкоторые изъ пановъ подходили къ Свиткѣ и о чемъ-то тихо говорили съ нимъ, какъ видно разспрашивали его насчетъ Хвалынцева: «чтѣ это, молъ, за гусь и зачѣмъ, для чего и откуда онъ взялся?» Константинъ Семеновичъ очень хорошо чувствовалъ, что всѣ эти тихіе разговоры касаются его, и ощущая нѣкоторую томительную неловкость, не могъ дожидаться, когда-то наконецъ можно будетъ удалиться изъ этой компаніи. Онъ рѣшилъ себѣ: завтра же, во что бы то ни стало, разстаться съ гостепріимнымъ кровомъ пана Котырло. Онъ былъ золъ и на себя, и на всѣхъ этихъ господъ, испытывая какъ въ отношеніи къ нимъ, такъ равно и къ самому себѣ чувство нѣкотораго презрѣнія, съ тѣмъ лишь отъѣнкомъ, что эти господа внушали ему кромѣ презрѣнія какую-то еще особенную гадливость.

«Но», думалось ему въ то же время, «они-то тутъ всѣ свои, родики чтѣ-называется, и всѣ эти фалееи—это ихъ плоть и кровь, ихъ привычки, ихъ обычаи и нравы—это у нихъ все свое, все родное; а ты-то, другъ любезный, ты-то съ коего чорта затесался между ними? Чтѣ у тебя-то общаго можетъ быть съ этими господами? Революція?.. Общее дѣло?»

Въ первый разъ въ жизни эти три слова: «революція» и «общее дѣло» прозвучали въ его душѣ какою-то смутною фальшью. Ему почувствовалось, что такъ-называемое «общее дѣло» вовсе «не общее», что его «идеалы» и стремленія этихъ всѣхъ господъ слѣшкомъ расходятся между собою, даже... даже слово «революція» вдругъ показалось какъ будто немножко смѣшнымъ и немножко пустымъ нашему революционеру. «За кого и противъ кого революція?» За свободу нашу и нашу, вспомнились ему при этомъ вопросы знаменательныя слова, красиво вышитыя на знамени графини Цезарины. «Хороша свобода, нечего сказать! Свобода травить поповъ собаками, сво-

бода обжогивать ловкимъ манеромъ темнаго хлопа... Нѣтъ, чортъ возьми, тутъ все фальшь кака-то!.. Но *какая* и въ чемъ ея суть? Вотъ чего надо добиться. Надо этотъ темный вопросъ разрѣшить», думалось Хвалынцеву. «Да и во мнѣ-то самомъ все та же фальшь сидитъ!» порѣшилъ онъ съ досадою. «Цезарина—это не фальшь, это страсть... Можетъ-быть слѣпая, глупая, дикая, но страсть, и страсть всепоглощающая... Ради нея куда хочешь—хоть на каторгу, хоть подъ пули!» И опять яркій образъ польской графини на нѣсколько мгновеній затмилъ своимъ блескомъ въ его смущенной, колеблющейся душѣ всѣ остальные чувства и сомнѣнія. «Да, да, она одна! И только она!.. И ничего болѣе!» жаркой душой прильнувъ къ этому образу, мысленно говорилъ самому себѣ Константинъ.—«Все, все для нея, вся жизнь, вся судьба, вся будущность—бери все себѣ, все! За одну ласку, за одинъ привѣтъ...»

И онъ, взволнованный до внутренней нервной дрожи, до колючей сухости во рту и въ горлѣ, жадно выпилъ стоявшій предъ нимъ стаканъ вина.

«А это все сволочи!» рѣзко и безцеремонно порѣшилъ онъ въ душѣ, перенося мысль къ окружавшимъ его Копцамъ, Шпарагамъ и Селявамъ.

— Поѣдемъ; наша бричка запряжена,—пошелъ къ нему Свитка.

Хвалынцеву показалось, что слова эти были сказаны тѣмъ особеннымъ, нѣсколько суховатымъ тономъ, который одновременно изобличалъ и внутреннее недовольство имъ самого Свитки, и нѣкоторую смущенную неловкость предъ нимъ за свои только-что оконченные разговоры о немъ съ панами.

Константинъ молча слѣдовалъ за своимъ менторомъ, и они поѣхали вслѣдъ за другими.

Оба довольно долгое время молчали. Обоимъ было какъ-будто неловко чего-то.

Наконецъ Свитка первый рѣшился нарушить это молчаніе, начинавшее становиться тягостнымъ.

— И чтѣ вамъ, право, за охота была, Константинъ Семеновичъ, вступаться за этого попа!—началъ онъ поддѣльно мягкимъ дружелюбнымъ тономъ.

Хвалынцевъ, ощутивъ внутри себя какое-то враждебное чувство, огородилъ себя имъ какъ будто цитомъ и кинулъ въ лицо Свиткѣ холодно-вопросительный взглядъ.

— А по-вашему надо бы было ашлодировать чтѣ ли, когда человѣка собаками травятъ?—немножко рѣзко сказалъ онъ.

Свитка, замѣтивъ эту рѣзкость тона и какъ стальную твердость холоднаго взгляда, тотчасъ же постарался придать своему голосу и выраженію лица еще болѣе мягкости и дружелюбія.

— Нѣтъ, не то,—заговорилъ онъ,—а такъ

только, разсуждая что чортъ ли вамъ въ немъ, совѣмъ посторонній человѣкъ, да и попъ еще къ тому же.

— Мнѣ кажется, кто бы ни былъ — это рѣшительно все равно! — не измѣняя тона, возразилъ Хвалынцевъ.

— А мнѣ такъ право досадно немножко, продолжалъ Свитка, — все это такъ было хорошо, шло такъ мило, интимно такъ, и вдругъ... Да и они всѣ такіе, право, славные ребята, и такъ были расположены къ вамъ...

— Расположены? — перебилъ Хвалынцевъ, чувствуя, что злоба снова начинаетъ подступать къ нему. — Расположены, вы говорите? Ну, а я вамъ признаюсь, что я вовсе не расположенъ къ нимъ! Я злю на самого себя, я готовъ самого себя презицать за ту подленькую шепетильность, за ту малодушную уступчивость, которая, изъ чувства обязанности гостепріимствомъ, заставила меня безвольно сидѣть и быть свидѣтелемъ всей этой гнусности съ самаго ея начала... Я, не обинуясь, называю это подлостью въ самомъ себѣ! Слѣдовало не допустить этого въ самомъ началѣ-съ, а не тогда уже, какъ собаки стали рвать человѣка! Есть положенія, знаете, когда чересчуръ покладливая деликатность, какъ у у меня вотъ, переходитъ въ низость, становится подлостью!

— Ахъ, голубчикъ мой, Константинъ Семеновичъ! — хихикнулъ по обыкновенію Свитка, — ну, добро бы было изъ чего докличотствовать, а то вѣдь сами посудите: съ одной стороны порядочные люди, стоящіе у одного съ нами дѣла, а съ другой какой-то попъ-доносчикъ, и вдругъ... И наконецъ, вѣдь все же это были не болѣе какъ шутки!

— Порядочные люди! — презрительно усмѣхнулся Хвалынцевъ. — Порядочные люди, любезный мой другъ, узнаются точно такъ-же и по ихъ шуткамъ, какъ и по серьезнымъ дѣламъ; а съ этими господами, стоящими, какъ вы говорите, у одного съ нами дѣла, я, извините меня, рядомъ съ ними ни у какихъ дѣлъ стоять не желаю!

Свитка окинулъ его бѣглымъ, удивленнымъ и немножко даже встревоженнымъ взглядомъ, но лучъ какой-то затаенной своекорыстной радости и торжества на одно мгновение блеснулъ въ его взорѣ.

— Ахъ, ты, Господи, Боже мой! — пожалъ онъ плечами, — и изъ-чего только человѣкъ волнуется! Да вѣдь говорю же вамъ, голубчикъ мой, что этотъ попъ — это человѣкъ положительно вредный для нашего дѣла... Это доносчикъ, шпионъ, который, какъ и всѣ они здѣсь, посаженъ на своемъ мѣстѣ правительствомъ, чтобы слѣдить за каждымъ нашимъ шагомъ, подглядывать, да подслушивать! Да этихъ каналій, по настоящему, на колокольныхъ вверхъ ногами вѣшать бы слѣдовало! — уже съ азартомъ досады заключилъ монологъ свой Василій Свитка.

Хвалынцевъ поглядѣлъ ему въ глаза, усмѣхнулся и молча повернулъ въ сторону лицо свое.

— Чему вы усмѣхаетесь? — всѣхъ вспыхнувъ и словно булавкой уколотый, быстро спросилъ его пріятель. Константинъ отвѣтилъ не сразу.

— Больно ужъ всѣ вы, господа, какъ погляжу я, стрѣлять да вѣшать охочи! — съ легкимъ ироническимъ вздохомъ проговорилъ онъ, и разговоръ на этомъ оборвался, не возобновляясь уже ни единымъ словомъ до самаго конца дороги. Обоимъ было досадно и какъ-то не по себѣ, оба были недовольны другъ другомъ, а Хвалынцевъ еще отчасти даже и разочарованъ въ своемъ менторѣ и другѣ.

XIII.

Во время безсонной ночи.

Вернувшись съ охоты, Хвалынцевъ прошелъ прямо къ себѣ во флигелекъ и попросилъ Свитку извиниться за него, буде спросятъ о немъ, и сказать, что онъ чувствуетъ себя слишкомъ усталымъ. Ему не хотѣлось болѣе ни видѣть всѣхъ этихъ пановъ, ни якшаться съ ними. Онъ еще разъ твердо рѣшилъ себѣ завтра же ѣхать отсюда. Нервы его были разстроены, раздражены, и состояніе духа желчное и досадливое. Не то, чтобы онъ чересчуръ уже свисока взиралъ на всѣхъ этихъ пановъ, не то, чтобы чувствовалъ какое-либо свое превосходство предъ ними; напротивъ, онъ казился своимъ собственнымъ малодушіемъ, онъ въ эти минуты дѣйствительно презиралъ самого себя и злобился на себя же, — но при всемъ этомъ была еще и особая причина, которая вызывала и поддерживала его желчно-досадливое настроеніе: онъ все яснѣе и яснѣе чувствовалъ внутренний разладъ съ самимъ собою, чувствовалъ себя вполне чуждымъ всему и всѣмъ въ этомъ краѣ, въ этой жизни, для которыхъ онъ отдалъ свою собственную жизнь и дѣятельность и отдалъ «безъ поворота», какъ казалось ему. Что тутъ, въ этой панской средѣ, задумано и стряпается нѣчто большее, нѣчто серьезное, это чувствовалось само собою; но опять же чувствовалось ему и то, что вся эта стряпня и всѣ эти ихъ задачи, какіе-съ, совѣмъ не такіе, о которыхъ идеально мечталъ еще столь недавно нашъ юный другъ, думая объ «общемъ дѣлѣ». Мало того, что «общее дѣло» онъ начиналъ находить далеко не «общимъ», но сверхъ того минутами ему вдругъ стало казаться, что въ отношеніи его-то самого это вовсе лишнее и совѣмъ постороннее дѣло, что никакихъ этихъ революцій совѣмъ даже не нужно ему дѣлать купно съ какими-то польскими панами. Онъ наконецъ сознался себѣ, что съ поразительнымъ легкомысліемъ свои собственные мечты — и не болѣе какъ мечты — принималъ до сихъ поръ за «общее дѣло», тогда какъ въ сущности да-

же вовсе не знаетъ, что это за дѣло и куда оно клонить. Онъ сознался себѣ, что просто съ завязанными глазами кинулся, очертя голову, на какой-то неизвѣстный ему путь, гадательно предположивъ себѣ заранѣе, что путь этотъ долженъ быть такимъ-то и такимъ-то и приведетъ къ такой-то вотъ цѣли. И вдругъ теперь оказывается, что путь вовсе не таковъ, какъ о немъ думалось, а цѣль—совсѣмъ другая, посторонняя и даже Богъ ее знаетъ какъ именно...

Краска стыда выступила на его щеки. Въ эти минуты онъ самому себѣ начиналъ казаться жалкимъ и смѣшнымъ человѣкомъ, и даже не человѣкомъ, а глупымъ мальчишкой, мышенкомъ, собравшимся творить великія дѣла и вдругъ попавшимся въ ловушку.

Это печальное сознаніе, эта ѣдкая досада, этотъ стыдъ жгучій до слезъ, до боли, до скрежета зубнаго, и рядомъ съ ними образъ Цезаряны — увлекательный, неотразимо-манящій и зовущій за собою всѣмъ обаяніемъ молодости, впервые въ жизни почувствованной страсти—страсти еще неудовлетворенной, но полной самыхъ живыхъ, самыхъ свѣтлыхъ и сладкихъ надеждъ...

Въ этихъ-то двухъ крайностяхъ, въ этихъ двухъ несомнѣстныхъ противоположностяхъ и крылась настоящая причина того внутреннего разлада съ самимъ собою, который Хвалынцевъ ощущалъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе вглядывался въ глубь себя и въ явленія окружавшей его среды и жизни.

Онъ легъ въ постель раньше обыкновеннаго, но очень и очень долго ему не спалось.

Къ наплыву этихъ думъ и ощущеній приплеталось еще очень много другихъ, постороннихъ. Онъ, напримѣръ, испытывалъ злобное чувство враждебности ко всѣмъ этимъ Котырламъ, Селявамъ, Шпарагамъ, Косачамъ и Копцамъ, ко всѣмъ этимъ позирующимъ, гарцующимъ и рисующимся паничамъ въ чамаркахъ и конфедераткахъ, ко всѣмъ этимъ самодовольнымъ и нагло-шляхетнымъ солиднымъ панамъ, и къ ихъ ханжеско-патріотическимъ супругамъ, и къ кокетничающимъ панямъ, къ сахаристымъ взаимнымъ утчивостямъ всѣхъ этихъ господъ, къ утчивостямъ, вовсе ненужнымъ въ простой обиходной жизни и даже какъ-то странно рѣжущимъ глазъ постороннему человѣку, къ ихъ приторнымъ, сантиментальнымъ ухаживаньямъ за этими панями и паненками, къ ихъ нахальной, хвастливой похвалѣ, къ ихъ манерамъ, потомъ къ свинячеству ихъ домашней обстановки и жизни, къ спѣсиво-надутымъ претензіямъ, къ ихъ шляхетности и къ гонору, даже къ красиво-театральнымъ эффектамъ ихъ ксендза и костела. Даже ихъ радушіе казалось приторнымъ, дѣланымъ, а потому противнымъ, гостепріимство же излишнимъ и тягостно-обременительнымъ. Эта враждебность ми-

нутами доходила въ Хвалынцевъ до раздражительной, мелочной придирчивости: онъ съ злобнымъ удовольствіемъ старался выискивать въ нихъ все дурное, а не видѣть ничего хорошаго было ему въ то же время такъ легко и просто, потому что оно самымъ естественнымъ образомъ дѣлалось какъ-то такъ, что ничто хорошее не приходило въ голову, настроенную столь односторонно. И эту враждебность возбуждало въ его душѣ не что иное, какъ гнетущее чувство собственного внутренняго одиночества, собственной отчужденности, болѣзненное сознаніе, что я здѣсь какъ-то лишній, посторонній, что я здѣсь всѣмъ чуждъ и мнѣ равно всѣ чужды—всѣ и во всемъ, что, невзирая на все радушіе, чувствуешь себя все-таки въ какихъ-то холодныхъ тискахъ, все-таки внутренне-замкнутымъ человѣкомъ и, несмотря на какое-то воображаемое «общее дѣло», не находишь ни единой общей точки нравственного соприкосновенія съ ними, тогда какъ вотъ хотя бы этотъ попъ, этотъ отецъ Сильвестръ—странное дѣло!—какъ-то и ближе, и роднѣе кажется почему-то... Ну, казалось бы, «что ему Гекуба и что онъ ей!» и не особенно-то онъ поамъ сочувствовалъ еще съ университета, а религіознымъ индифферентистомъ самого себя почиталъ, а вотъ—поди жъ ты! съ этимъ самымъ попомъ Сильвестромъ сразу почувствовалъ себя какъ-то совсѣмъ иначе, чѣмъ съ милыми, любезными панями: какъ-то проще, доступнѣе, сердечнѣе и легче... Видъ ужъ на что бы вотъ, казалось, Котырло и Свитка: товаръ лицомъ ему показываютъ, всячески стараются убѣдить, заставить его вѣрить, а все не вѣрится, все фальшь какая-то чувствуется въ ихъ увѣренностяхъ; а попъ Сильвестръ, вовсе не думая и не заботясь о довѣріи, между тѣмъ сразу какъ-то безхитростно вызываетъ его.

Одну минуту Хвалынцевъ сталъ было «напущать» на себя «трезвые взгляды», говоря себѣ общеизбитыя формулы о томъ, что чувство подобнаго озлобленія есть низменное, недостойное чувство, что цивилизація должна-де гуманизировать отношенія къ людямъ, должна уравнивать ихъ помимо различій національности, кастъ и прочаго, что симпатія къ попу вытекаетъ у него изъ узкаго чувства національнаго предпочтенія и есть не что иное, какъ та же «національная безтактность». — «Нѣтъ, впрочемъ, не изъ національнаго, а изъ демократическаго принципа», попытался онъ тутъ же оправдаться и поправиться предъ самимъ собою, но чрезъ минуту уже самъ надъ собою началъ злобно издѣваться за эти «похвальные трезвые мысли» — и чувство злобы послѣ этого еще сильнѣе заговорило въ немъ.

— Ахъ, да какой же все это вздоръ, какая пошлая глупость всѣ эти хорошія слова и похвальные мысли! сказалъ онъ самому себѣ.—

«Демократическій, вдругъ принципъ»... «цивилизация»!.. «уравнение»!.. Ну, и уравнивайся! Ну, и травы вмѣстѣ съ ними поповъ да зайцевъ, или зайцевъ да поповъ! Вѣдь все одно и то же!

...«Нѣтъ видно тутъ не «демократическій принципъ» и не одно «національное предпочтеніе», а нѣчто другое, болѣе глубокое, лежащее въ основаніи»...

Но вотъ этого-то «нѣчто» и не могъ еще Хвалынцевъ вполне ясно и осязательно опредѣлить себѣ въ своемъ умѣ; онъ только чувствовалъ его въ своемъ сердцѣ,—чувствовалъ, что подгоняемая кнутомъ цивилизация отношенія къ панамъ суть не что иное, какъ фальшь въ сокровенной своей сущности, а въ невольной симпатіи къ травленному хлопскому попу, совѣмъ помимо измышленнаго какого-то тамъ «демократическаго принципа», лежитъ нѣчто простое, искреннее и правдивое, нѣчто въ высшей степени жизненное и душевное.

И вотъ опять охватываетъ его болѣзненное чувство злобы и презрѣнія къ самому себѣ за подленькую уступчивость, за то молодущіе, которое допустило его нѣсколько минутъ скрывать въ себѣ человѣческій протестъ и оставаться безучастнымъ, хотя и не равнодушнымъ зрителемъ, когда надъ этимъ попомъ начались панскія издѣвательства.

«Нѣтъ, вонъ отсюда! Вонъ поскорѣе», чуть не въ сотый разъ порѣшилъ онъ, злобно и нервически ворочаясь въ темнотѣ на своей постели.

XIV.

Сеймикъ панскій.

Въ то самое время какъ Хвалынцевъ, сказавшись усталымъ, предавался въ уединеніи своей комнаты все́мъ этимъ болѣзненно-желчнымъ думамъ и ощущеніямъ, въ главномъ флигелѣ господскаго дома было ярко освѣщено; однако движенія особеннаго или шумной веселости вовсе не замѣчалось. Напротивъ, тамъ было даже какъ-то тише, чѣмъ всегда, хотя въ усадьбу и съѣхалось нѣсколько гостей, нарочно, вѣнгомолку приглашенныхъ паномъ Котырло послѣ охоты. По Хвалынцеву, конечно, вовсе не скучали, и даже когда Свитка передалъ его извиненіе въ столь раннемъ отходѣ на покой, то хозяева остались весьма довольны: все же лишній, посторонній человѣкъ не будетъ на глазахъ торчать въ такое время, когда подлежить настоящая надобность толковать о дѣлахъ весьма серьезныхъ и важныхъ. Свитка тоже былъ доволенъ не менѣе, если только не болѣе прочихъ.

Общество сидѣло въ двухъ отдѣльных и не смежныхъ комнатахъ: мужчины заперлись въ кабинетѣ, а дамы въ гостиной, въ своемъ

особомъ и тѣсномъ кружкѣ. Онѣ почти шопотомъ и съ таинственнымъ видомъ сообщали разныя новости и слухи, неизмѣнно касавшіеся «ойчизны». Одна передавала, будто знаетъ навѣрно, отъ самыхъ что ни есть достоверныхъ людей, что Гарибальди находится теперь въ Варшавѣ, для того, чтобы въ нужную минуту принять главное начальство надъ народнымъ войскомъ; другая увѣряла, что «ангелѣска эскадра» съ десантомъ находится уже въ Поневѣжѣ, и что вотъ тоже одинъ благочестивый ксендзъ предсказаніе одно сдѣлалъ насчетъ французскаго флота: къ этому ксендзу, видите-ли, являлась Ченстоховская Богородица и сообщила, что на 25-е декабря, на самое «Боже народзѣне» Она приведетъ по Вислѣ, подъ самую Варшаву, весь броненосный французскій флотъ и будетъ бомбардировать цитадель и сожжетъ ее, и москалей всѣхъ повыгонитъ, и стало-быть надо намъ только подождать 25-го декабря. Одна пѣз паненокъ по этому поводу разохла сколько дней, сколько часовъ, сколько минутъ и секундъ остается отъ сего дня до желаннаго срока, и обѣщала каждодневно читать особую литію Ченстоховской Богородицѣ, чтобы Она какъ-нибудь сократила эти дни, часы и минуты. Но занимательнѣе всѣхъ оказалась красавица прелестныхъ лѣтъ — супруга пана Селявы-Жабчинскаго. Она хлопотливо порылась въ своемъ ридикюлѣ, вытащила оттуда свой молитвенникъ и достала сложенную между его страницами бумажку, которую тотчасъ же, попросивъ всеобщаго вниманія, стала читать таинственно-тихимъ, но тѣмъ не менѣе торжественнымъ тономъ. Это было весьма распространенное и въ многочисленныхъ спискахъ ходившее по рукамъ въ то время «Предсказаніе нѣкоей ясно-видящей нѣмки».

«Отъ Россіи, охваченной общимъ кровавымъ мятежемъ,—внятно читала посредница,—котораго жертвой пали правительство и тайный сенатъ, отпадаютъ всѣ пограничныя области, даже черкесы возвращаютъ себѣ свое давнее достоинство. Польша, въ давнихъ границахъ, перестраиваетъ карту Европы. Развѣнчанные монархи: царь русскій, императоръ австрійскій и король прусскій, спасаются въ Лондонъ. Умираетъ Наполеонъ III, и поляки, избавясь отъ всѣхъ враговъ и соперниковъ, созываютъ въ 1865 году на общій конгрессъ представителей вновь возникшихъ государствъ въ Варшаву, которая становится центральной столицей всей Европы».

Слушательницы съ благоговѣйнымъ восторгомъ и съ безусловной вѣрой, что все непременно такъ и сбудется, внимали торжественному чтенію посредницы. Но сама пани Котырлова пожелала закрѣпить это предсказаніе свидѣтельствомъ духовъ, дабы ни въ комъ уже не оставалось ни малѣйшихъ сомнѣній. Она

вмѣстѣ съ религіознымъ фанатизмомъ соединила еще и фанатическую вѣру въ спиритизмъ, подобно безчисленному множеству полекъ того времени, и сама себя почитала медіумомъ. Пани Котырлова взяла карандашъ, утвердила его вертикально на подложенномъ подъ руку листѣ бумаги и задумалась. Водворилось всеобщее молчаніе. Всѣ взоры устремились на карандашъ съ напряженнѣйшимъ вниманіемъ и даже съ нѣкоторымъ страхомъ и трепетомъ. И вотъ минутъ черезъ десять, усталая, безъ всякой подпору, рука стала шевелиться—карандашъ вывелъ какія-то каракули. Всѣ нагнулись смотрѣть что написали духи и по этимъ каракулямъ единодушно порѣшили, что такъ тому и быть, ибо духи дали отвѣтъ ясный и утвердительный.

Послѣ этого дамская бесѣда продолжалась въ этомъ же родѣ, до самаго ужина, изрѣдка перерывалась развѣ какою-нибудь стократно уже жеванною и пережеванною слитнею изъ окрестнаго околodka.

Но не то было въ кабинетѣ, гдѣ, запершись отъ любопытныхъ глазъ и ушей лакеевъ и дѣвокъ, сидѣло почти все наиболѣе вѣское «панство повятовъ».

— Шановне панство,—началъ Василій Свитка, когда всѣ разсѣлись попокойнѣе и закурили кто сигару, а кто трубку съ длиннымъ чубукомъ изъ кабинетной коллекціи пана Котырло,—я очень радъ, что подъ предлогомъ кіермаша и охоты мы собрались теперь здѣсь въ числѣ нѣсколькихъ избранныхъ. Въ томъ, что мы честные патріоты, которые не выдадутъ общую тайну ни предъ Сибирью, ни подъ пыткой даже, кажется, нечего сомнѣваться.

Паны зашевелились: кто молча кивнулъ головой, кто промывчалъ себѣ подъ носъ, въ видѣ утвержденія, нѣчто въ родѣ: «конечно!» «а якъ же жь!» «натуральне!» «ого!»

— Поэтому,—продолжалъ Свитка,—позвольте мнѣ рекомендовать себя предъ вами: я посланъ отъ Петербургскаго Центра съ нѣкоторыми порученіями, съ которыми буду имѣть честь познакомить васъ, а въ доказательство, что я имѣю на то извѣстное полномочіе, вотъ мой мандатъ ¹⁾, потрудитесь взглянуть на него.

И вынувъ изъ бумажника небольшой билетикъ, исписанный мелкимъ почеркомъ и скрѣпленный голубою печатью Петербургскаго Центра, онъ предъявилъ его всему собранію.

Посредникъ, морщась и шуриясь, поднесъ близко къ лампѣ бумажку и прочелъ Свиткино полномочіе.

— Сомнѣній нѣтъ: печать Петербургскаго Центра, и мандатъ совершенно правиленъ, рѣ-

шающимъ, авторитетнымъ тономъ проговорилъ онъ, возвращая билетъ, и прибавилъ: «мы къ вашимъ услугамъ».

Всѣ сидѣли, кто гдѣ и кто какъ, а Свитка въ видѣ докладчика, опершись обоими кулаками на столъ и стоя въ любезно-почтительной, но тѣмъ не менѣе самодостойственной позѣ, обращался ко всему собранію.

— Въ нашемъ Центрѣ получено самое достойное дипломатическое сообщеніе,—началъ онъ, обводя глазами,—да впрочемъ, вѣроятно и вамъ оно извѣстно. Слова въ высшей степени знаменательны! Наши эмигранты чрезъ принца Наполеона еще разъ хлопотали у императора французовъ за наше дѣло. Вы знаете отвѣтъ, который имъ былъ переданъ? Я могу сообщить вамъ его буквально отъ слова до слова, вотъ онъ: «Поляки должны сами подать первый знакъ жизни; но поляки-обыватели спокойны, а я не могу воскрешать мертвыхъ». Когда-же ему стали говорить о нашихъ будущихъ границахъ, то вотъ опять-таки его слова на это: «Пролитіе крови обозначить, гдѣ собственно таятся естественныя границы Польши: возстаніе намѣтитъ ихъ».

— Вивать, Наполеонъ! Вивать цесаржъ! восторженно сорвались съ мѣстъ и загалдѣли нѣсколько пановъ разомъ.—О, теперь баста! наше дѣло выиграно! Теперь *finis Moscoviae!*.. *Consumptum est!*

— Позвольте, шановне панство! позвольте!—перебилъ Свитка,—прошу не забыть словъ: «я не могу воскрешать мертвыхъ»,—это что значитъ? Это значитъ, что намъ надо скорѣе подумать о прочной организаціи вооруженнаго повстанія.

— Э, что тамъ долго думать!—махнулъ рукою эксъ-уланъ.—Просто тремъ-бремъ! шахъ-махъ!.. бей москаля и баста! По-мѣму такъ!.. Я на этотъ счетъ все-равно какъ *Кропитель* у нашего Мицкевича: тремъ-бремъ и баста!

— Это дѣлаетъ честь вашей храбрости,—вышелъ Селява,—но все-таки надо обсудить сначала...

— Нечего тамъ судить!

— Однако-же позвольте!..

— Вздоръ! Ничего не хочу слушать!.. Шахъ-махъ и баста!

— Но такъ-же невозможно!..

— Что-съ?.. А кто мнѣ запретить?.. Кто смѣетъ?.. Или я не такой-же благородный шляхтичъ, какъ и вы, какъ и всѣ? Да мой родъ еще, можетъ, постарше... да въ нашемъ гербѣ...

— Да нѣтъ, позвольте...

— Вздоръ! не желаю! ничего не желаю! Какъ шляхтичъ, я могу мое мнѣніе имѣть... Мое такое право на то есть!.. И мое мнѣніе я сумѣю поддержать моею саблею...

— Ну, вотъ! ну, вотъ! ужъ и до сабель! За сабли всегда еще успѣемъ схватиться!—мягко и примпрительно вступился между спорящими

¹⁾ Мандатъ—то же что номинація, нѣчто въ родѣ патента на извѣстную должность и удостовѣреніе, что предъявитель есть точно должностное лицо.

панъ Котырло, наливая и поднося завязтому эскъ-улану большую рюмку наливки.—Ну, успокойтесь, панове, и будемъ слушать, будемъ толковать... Лучше вотъ пейте!.. Вишнявка добрая!

— *In vino veritas!*—скрѣпилъ панъ Хомчевскій, лауреатъ нынѣшней охоты, который по старинѣ любилъ свою рѣчь уснащать латинскими изреченіями, и къ самой латыни относился всегда восторженно, называя ее не иначе какъ «свѣнта латина».

Червленскій ксендзь, тоже приглашенный на сеймикъ и тоже весьма любившій мудрыя латинскія изреченія, но плохо съ ними управлявшійся, считалъ неперемѣннымъ своимъ долгомъ, при каждомъ классическомъ изреченіи Хомчевскаго, благоволивъ и съ удовольствіемъ мотнуть головою и поддакнуть ему этимъ безмолвнымъ выраженіемъ своего компетентнаго одобренія, дескать: «апробую! они не понимаютъ, а мы съ вами понимаемъ, мы люди ученые!» Впрочемъ, благодушный ксендзь участіе свое въ сеймикѣ ограничивалъ одной лишь аппробаціей «свѣнтей латины», да усерднымъ прислушиваньемъ къ чужимъ рѣчамъ, причемъ, въ видѣ вниманія къ словамъ ораторовъ и размышленія надъ ними, онъ очень серьезно и глубокомысленно поводилъ бровями, а самъ, главнѣйшимъ образомъ, только потѣлъ и усердно, но систематически, то-есть исподволь и неторопливо, приналегалъ на Котырловскую вишнявку.

Эскъ-уланъ, послѣ мировой съ Селявой, ворта подъ носъ, наконецъ-то кое-какъ успокоился надъ своей рюмкой.

— Чтѣ касается границъ, — продолжалъ Свитка, снявъ со стѣны ландкарту и разложивъ ее на столѣ предъ собою, —то тутъ, я полагаю, не можетъ быть и толковъ. Мы обязаны твердо и непреклонно держаться границъ 72-го года.

— Мало!.. Не хочу!.. Не желаю!.. Мало! — забурлилъ опять панъ Копецъ.

— Были совѣщанія въ Вильнѣ и Петербургѣ, —не обративъ особеннаго вниманія на папа Копца, говорилъ далѣе Свитка, —и такъ какъ по дипломатическому сообщенію, границы Польши должны быть намѣчены самимъ повстаніемъ, то и рѣшены три главные передовые пункта, въ которыхъ оно должно начаться одновременно, если даже не раньше, съ повсемѣстнымъ возстаніемъ внутри края. Эти пункты... вотъ они (Свитка склонился къ картѣ и сталъ водить по ней пальцемъ): крайній сѣверо-восточный около Люцина, на рубежѣ Псковской губерніи и Эстляндской; затѣмъ прямо на востокъ, около Смоленской границы будутъ у насъ Горки — пунктъ крайне важный и многообѣщающій: Горыгорецкій институтъ почти весь уйдетъ въ лѣса! Ну и, наконецъ, крайнимъ юго-западнымъ предполо-

жено избрать Кіевъ и даже жниѣ, то-есть лѣса около Бѣлой-Церкви и Таращи, а можетъ еще и далѣе, хоть до Умани. Таковъ, господа, первоначальный планъ движенія на восточной нашей границѣ.

— Не согласенъ!.. Мало! — хлопнувъ кулакомъ по столу, снова вскочилъ завязанный панъ Копецъ.—Граница 72-го года! Да чтѣ это за граница?! Это не граница, а тѣфу! Съ такими границами и жить нельзя!

— А пану пулковнику чего бы хотѣлось? — прищурился на него задира-посредникъ.

— А вотъ чего!

И онъ подскочилъ къ ландкартѣ и, взглядываясь въ нее бѣгающими взорами, сбивчиво, торопливо и неуверенно сталъ водить по ней пальцемъ.

— Позвольте-съ... вотъ... вотъ... сейчасъ... Во-первыхъ, —торжественно и авторитетно началъ онъ, отыскавъ наконецъ то, чего ему хотѣлось, —во-первыхъ, Курляндія была наша?

— Такъ, подѣ протекторатомъ нашимъ, — подтвердилъ панъ Хомчевскій.

— Все равно; значить, наша! Значить, безъ Курляндіи намъ невозможно. Во-вторыхъ — Псковъ.

— Псковъ!?! удивленно выпучили на Копца глаза свои чуть ли не всѣ присутствующіе.

— Псковъ, неперемѣнно Псковъ! И не иначе! —несмущенно подтвердилъ онъ.—Въ-третьихъ Смоленскъ, —и какъ тотъ, такъ и другой со всей ихъ территоріей. Далѣе на югъ, по теченію Днѣпра вплоть до Чернаго моря. Днѣпръ — рѣка польская, а безъ моря намъ невозможно. Словомъ: отъ моря и до моря. Вотъ моя граница и на иную я не согласенъ!

— Позвольте-съ, —снова вмѣшался посредникъ, — Псковъ-то со Смоленскомъ на какомъ же практическомъ основаніи? Тамъ вѣдь нашихъ и не пахнетъ, сколько помнится.

— Отвоюемъ, чортъ возьми! —снова хлопнувъ по столу Копецъ.—Отвоюемъ и будетъ наше!

— Но... практическое основаніе?

— А тѣ, что Смоленскъ былъ за нами, а подѣ Псковъ еще Баторій ходилъ. Я вѣдь тоже, чортъ возьми, исторію знаю!

— Этакъ, пожалуй, Жолкевскій когда-то и въ Москвѣ сидѣлъ!

— А чтѣ жъ? И Москву отвоюемъ!.. Москва городъ хорошій!.. Пригодится!

Почти всѣ засмѣялись, но не язвительно, а дружелюбно.

— А такъ! —убѣдительно и съ азартомъ подтвердилъ эскъ-уланъ, —все, гдѣ есть или гдѣ были когда-либо наши должно быть нашимъ!

— Ну, такимъ-то образомъ, —опять ввернулъ слово Селява, —нашихъ слишкомъ достаточно было и есть, да и еще будетъ, пожалуй, хоть бы въ Сибирѣ, напримѣръ...

— И Сибирь отвоюемъ! расходился было панъ пулковникъ, но вдругъ словно бы оскѣся,

поперхнулся и плюнул, — и Сибирь! Э, вѣтъ!.. Тыфу!!! Сибирю не надо, панове! Ну его къ дзядьбу! Только своихъ выберемъ оттуда, а самого не нужно!.. Сибирю не хочу!.. Кэпськи интэресъ, муй пане!

Всѣ опять засмѣялись.

— Позвольте, господа, — возвысилъ голосъ Свитка. — Мысль о Сибири вовсе не столь комична, какъ кажется! И притомъ мысль о возстаніи въ Сибири далеко не новая мысль! Еще наипъ знаменитый дѣятель тридцать-перваго года, Петръ Высоцкій, первый сталъ было приводить ее въ исполненіе, а потомъ позднѣе бывшій овручскій Базыльянскій опатъ Сieroцинскій, у котораго все уже было готово: самый обширный военный заговоръ... Сибирь — сторона почтенная: тамъ всякихъ революціонныхъ элементовъ пропасть! И мы даже теперь имѣемъ свои основанія сильно разсчитывать на нее въ нашѣмъ дѣлѣ.

Панъ пулковникъ при этомъ самодовольно и залихватски покрутилъ слывый усь свой.

— Охъ, черезчуръ ужъ много съ насъ будетъ, панове! — вздохнулъ, покачавъ головою, старый Хомчевскій. — Не вытянемъ. *Dormit parum possessor divitiarum!* — прибавилъ онъ назидательно.

— *Asinus asinorum in secu'a seculorum!* бухнулъ ему на это пріятель его Копецъ.

Хомчевскій вскочилъ какъ уязвленный и вспыхнулъ.

— Примѣните къ себѣ! — закричалъ онъ. И новая ссора готова была уже загорѣться; панъ вѣѣнились бы другъ другу въ чубы, но панъ Котырло поспѣшилъ урезонить пріятелей и угворилъ пана пулковника взять назадъ свое дерзкое слово. Кончилось тѣмъ, что пріятеля выпили и угомонились безъ злобы другъ на друга.

— Сибирь, конечно, будетъ сама по себѣ, — продолжалъ Свитка; — она, по всей вѣроятности, составитъ особую, совершенно самостоятельную республику въ родѣ Соединенныхъ Штатовъ, но лишь бы она поднялась одновременно съ Россіей и съ нами: тогда онѣ обѣ помогутъ намъ освободиться. Планъ таковъ: охватить возстаніемъ всю Россію съ двухъ фланговъ. Мы и Малороссія съ запада; съ востока на Волгѣ и на Уралѣ — мужики, казаки, киргизы, татары и всякіе инородцы; съ сѣвера — архангельскіе, вологодскіе и костромскіе раскольники; съ юга Донъ и Кавказъ, да еще Сибирь въ резервъ — вездѣ уже тутъ закинуты сѣти, повсюду кипитъ работа и кипитъ отлично! Мы держимъ въ рукахъ своихъ хорошія нити; мнѣ поручено сообщить и вамъ объ этомъ. Свѣдѣнія наши вполне достовѣрны: сомнѣній быть не можетъ. Но мы все-таки должны подняться первые, а тѣ ужъ за нами!

— *Per me licet!* Я, пожалуй, и согласенъ,

но какъ? — вздохнулъ и безпомощно развелъ руками старосвѣтскій панъ.

— А такъ, что тремъ-бремъ и квитъ!.. «Катай-валяй, стрѣляй по ребрамъ, по усамъ! Шахъ-махъ! Коли-руби! Не поддавайся самъ!» — съ азартною жестикующею и даже прыскающею, продекламровалъ изъ Мицкевича панъ-пулковникъ. «Кропить, дупить, крестить — и весь тутъ разговоръ!» заключилъ онъ, молодцовато уперевъ одну руку въ бокъ, а другою хватаясь за усь и выразительно прикусивъ его зубами.

— *Atque iterum!* — безнадежно махнулъ на него рукою панъ Хомчевскій.

— Вы спрашиваете: какъ? — сказалъ Свитка, обращаясь преимущественно къ обожателю «свѣтей ладины». — Планъ есть, обсужденный, выработанный, все какъ должно!.. Конечно, — продолжалъ онъ, — планъ нѣсколько смѣлый, но не невозможный, если взять въ соображеніе, что подъ Россію со всѣхъ концовъ подведены свои же внутреннія, но вѣрныя мины. Планъ очень осуществимый!

— А именно, — полюбопытствовалъ посредникъ.

— А именно, вотъ чтò, — приступилъ Свитка къ новымъ объясненіямъ. — Изволите видѣть, планъ этотъ думанъ и передуманъ и такъ, и сякъ; по поводу его были даже сношенія и съ Лондономъ, и съ Парижемъ, а думали-то надъ нимъ хорошіе специалисты: ни болѣе, ни менѣе, какъ люди русскаго генеральнаго штаба-съ. Планъ широкій и распадается такъ-сказать на двѣ вѣтви: внутреннюю и вѣшнюю!

Всѣ подвинулись ближе къ рассказчику и приготовились внимательно выслушать его. Дѣло, видимо, начинало живо интересоваться ихъ.

— Ну, чтò-то тамъ генеральный штабъ придумалъ на погибель Москвы? — съ усмѣлкой легкаго недовѣрія къ силамъ генеральнаго штаба пробурчалъ себѣ подъ носъ панъ пулковникъ.

— *Attentissime!* — поднявъ руку кверху и втягивая въ себя воздухъ, шипяще какъ-то прошептала «свѣта ладина».

— Вѣтъ внутренняя состоитъ въ томъ, — продолжалъ Свитка, — чтобы, во-первыхъ, все населеніе забраннаго края вовлечь въ мятежъ.

— Легко сказать, — сомнительно мотнувъ головою, вздохнулъ панъ Котырло.

— Легко! — съ убѣжденіемъ подтвердилъ докладчикъ. — Легко-съ! надо только, что называется, роями, тучами цѣлыми напустить на край мелкія банды, такъ-сказать, наводнить его мелкими отрядами, у которыхъ будетъ особая задача, а именно: первымъ дѣломъ терроръ!.. Терроромъ, и безошаднымъ терроромъ, надо заставить хлопа идти въ банду, коль не пойдетъ охотой.

— Ну, тутъ и новые смазные чоботы не ма-

лую роль играть будутъ, какъ добрая при-
манка!—съ видомъ знатока, небрежно уронилъ
слово Селява-Жабчинскій.

— Тѣмъ лучше! — замѣтилъ Свитка. — Но
терроръ, это главное. Затѣмъ—единовременно
дѣлать повсюду всякіе безпорядки: портить до-
роги, жечь казенные склады, рвать телеграф-
ныя проводки, какъ можно болѣе утомить
царскія войска, не давая имъ ни дня, ни ночи
покою; для этого наши классическіе лѣса да-
дутъ намъ возможность укрываться отъ пре-
слѣдованія, дѣлать быстрые и неожиданные ма-
невры, однимъ словомъ, надо, чтобы пожаръ
охватилъ весь край сразу, чтобы какъ громъ
грянулъ!

— А то такъ! такъ! какъ громъ! и сразу!
браво! вивать! —опять съ восторженными воз-
гласами посрывалось съ мѣстъ воспримчивое
панство, живо увлекшись картиной такой эне-
ргической и разносторонней войны.

— Позвольте! Это еще не все, а одна толь-
ко первая вѣтвь нашего плана!—предупредилъ
Свитка.—Однѣ массы будутъ разсыяны роями,
другія же должны быть компактны, сосре-
дочены въ цѣлые военные корпуса, въ брига-
ды, въ дивизіи, и для нихъ предназначается
пная роль. Это уже вторая вѣтвь—внѣшняя.

Свитка замедлился на минутку, вздохнулъ,
какъ бы собираясь съ мыслями, и принялся
за дальнѣйшее развитіе плана.

— Нѣкто, извѣстный намъ лично,—загово-
рилъ онъ снова,—человѣкъ военный и замѣ-
чательный, котораго однако я не имѣю права
назвать вамъ по имени, но, пожалуй, объявлю
его будущій псевдонимъ, такъ какъ онъ уже
избралъ себѣ псевдонимъ: онъ явится подъ
именемъ «Топора». Топоръ,—не правда ли, зна-
менательно и мѣтко? ⁴⁾

— Ухъ!.. Красный?!—сильно поморщась, съ
недовѣрчивостью и нескрываемымъ недоволь-
ствомъ вскричалъ Котырло.

Большая часть присутствующихъ тоже
устроила себѣ кислыя и сомнѣвающіяся фи-
зіономіи.

— Не красный, а умный, и потому побѣ-
лѣетъ какъ настанетъ для того время нужное!—
успокоилъ Свитка.—Онъ предназначается для
Россіи, а тамъ можно взять только крайнюю
красноту, поэтому и Топоромъ назвалъ онъ
себя; тамъ это имя будетъ понятно!

Физиономіи пановъ прояснились. Котырло
даже сдѣлалъ видъ, что теперь онъ домекнулся и
вполнѣ понять въ чемъ дѣло, и потому одоб-
ряетъ его отъ всей души своей.

— Этотъ Топоръ откроетъ военныя дѣйствія
въ Горкахъ, на рубежѣ Смоленской губерніи.—
продолжалъ Свитка.—Съ помощью Горигорец-
кихъ студентовъ онъ возьметъ Горки, Бори-

совъ, Рогачевъ и Кричевъ; добудетъ въ Кри-
чевѣ цѣлую батарею артиллеріи, которая уже
столько времени стоитъ себѣ безъ всякаго при-
крытія; а офицеры тамъ уже и теперь на
двѣ трети—все наши! Затѣмъ вмѣстѣ со сту-
дентами и поднятымъ народомъ явится въ
Россію, а молва пойдетъ далече, еще гораздо
раньше его, что Топоръ-де съ польскою ратью
и съ пушками идетъ освобождать народъ отъ
уставныхъ грамотъ. Маршрутъ его будетъ та-
ковъ: онъ обязанъ пройти сквозъ губерніи:
Смоленскую, Тверскую, Московскую, Влади-
мирскую и Нижегородскую, и поднятъ весь пра-
вый берегъ Волги, а въ это-же самое время,
другой флиръ ⁵⁾ въ Казани подымаетъ пуга-
чевщину на лѣвомъ берегу. Калужская губер-
нія подхватитъ бунтъ отъ сосѣдки своей, Мо-
сковской, и уже черезъ Орловскую и Курскую
поведетъ далѣе на югъ, для соединенія съ
нашимъ повстаньемъ на юго-западъ и въ Ма-
лороссіи. Вотъ нашъ планъ, панове!

— Вивать, Топоръ!.. нѣхъ-же Топоръ! Это
такъ!.. Это по нашему!.. Кропить, такъ кропить,
а крестить, такъ крестить! На всѣ стороны!..
Браво!—поднялся новый гвалтъ и движеніе въ
табачномъ дыму просторнаго кабинета.

— Однако, позвольте, панове! И это еще не
все!—возвысилъ голосъ Василій Свитка.—Намъ
надо имѣть прочный опорный пунктъ, безъ него
не обойдемся; поэтому нужно взять Динабург-
скую крѣпость.

— Ну-у!.. Куда тамъ! Ужъ и Динабургъ!—бо-
лѣ чѣмъ сомнительнымъ тономъ, какъ-бы въ
виду очевидной нелѣпости, заговорили почти всѣ
присутствующіе кромѣ эксъ-улана, которому
весьма понравилась красивая идея взять штур-
момъ русскую крѣпость.

— Да, именно Динабургъ,—увѣренно подтвр-
дилъ Свитка.—Конечно, если-бъ я сказалъ вамъ,
что мы возьмемъ его посредствомъ правильной
осады или штурмомъ, то это была-бы такая не-
лѣпость, послѣ которой надо-бы было пану Ко-
тырло тотчасъ-же послать за докторомъ и пу-
стить мнѣ кровь, въ предупрежденіе сумасшед-
шей горячки; но я ни о чемъ подобномъ и не
заикаюсь. Мы возьмемъ нашу крѣпость совер-
шенно спокойно и самымъ вѣрнымъ путемъ.

Присутствующіе при этихъ словахъ вырази-
ли знаки самаго живого, нетерпѣливаго любопыт-
ства, и еще ближе сплотились около Свитки.

— Мы нападѣмъ на крѣпость не извнѣ, а
изнутри.

— То-есть какъ-же это?

— А очень просто!—отвѣчалъ онъ.—Подъ
предлогомъ постройки костела, который уже
предположенъ самимъ правительствомъ внутри
крѣпости, мы введемъ туда, въ видѣ рабочихъ,
массу нашихъ людей. Дѣло, какъ видите, бого-

⁴⁾ Лудвигъ Жвиржовскій, капитанъ генераль-
наго штаба.

⁵⁾ Киневичъ, дѣйствовавшій въ Казани вмѣстѣ
съ Чернякомъ и другими.

угодное! Кроме того, теперь уже идет сильная и успешная пропаганда в динабургских арестантских ротах, так что в назначенную ночь и часть офицеры, между которыми есть очень много наших, откроют тюрьмы, арсеналы, вооружат людей, арестуют коменданта, переколют часовых, и крепость, меньше чѣмъ въ какой-нибудь часъ времени, будетъ наша! И все это произойдетъ такъ тихо, такъ гладко, что когда городъ проснется поутру, такъ ахнетъ отъ изумленія предъ неожиданностію и чистою тою такой работы.

Панъ просто плавали въ маслѣ восторга. Планъ дѣйствительно былъ превосходенъ.

— Но и это еще не все! — продолжалъ Свитка. — Другой изъ нашихъ дѣятелей, которому, по всей вѣроятности, предстоитъ играть на Литвѣ громадную роль и котораго я рѣшусь назвать вамъ опять-таки не по имени, а по его будущему псевдониму — Долэнго ¹⁾, человекъ весьма уважаемый русскимъ правительствомъ. Этотъ человекъ стянетъ десятитысячный корпусъ въ Ковенскую губернію, соединится съ иностраннымъ десантомъ, потому что къ этому времени уже подоспѣетъ обѣщанная помощь французамъ и англичанъ, и съ этими соединенными силами онъ пойдетъ подымать Остзейскій край, а затѣмъ двинется на Вильну. Въ это время, замѣтите, возстаніе уже будетъ въ полномъ разливѣ и въ Конгресувкѣ, и на Украинѣ. Топоръ овладѣетъ линіей Дибпра, а Долэнго линіей Двины, и такимъ образомъ царскія войска будутъ окружены, отрезаны и безпомощны. Мы дадимъ имъ полнѣйшій шахъ и матъ.

— То-есть шахъ-матъ! — и плюскъ! — съ разительнымъ размашистымъ жестомъ скрѣпя панъ пулковникъ.

— *Certe certissime!* Вѣрнѣе вѣрнаго! — вскочилъ съ мѣста даже и панъ Хомчевскій, увлеченный столь блестящею и, повидимому, весьма возможною картиною будущихъ побѣдъ и успѣховъ.

— Все это прекрасно! — послѣ нѣкотораго раздумья вздохнувъ замѣтилъ панъ Котырло. — Но я смотрю на дѣло не увлекаюсь. Для такихъ предпріятій нужны руки, нуженъ народъ, а что вы съ нашимъ народомъ проклятымъ подѣлаете!

— Обратите народъ въ чернь! — возразилъ Свитка, — и вы всего достигнете!

— Легко сказать: обратите!.. А гдѣ возможность?

— Возможность вся въ вашихъ рукахъ, господа помѣщики, вся въ вашей волѣ, была бы лишь охота да энергія! Во-первыхъ, — сталъ считать Свитка, — костель, который свое дѣло дѣлаетъ непримѣрно хорошо; во-вторыхъ, ваши школы; въ-третьихъ, институтъ нашихъ мировыхъ посредниковъ, съ помощью которыхъ можно расплодить еще болѣе пролетаріата.

¹⁾ Сигизмундъ Сѣраковскій, капитанъ генеральнаго штаба.

— Надо обезземеливать, — промолвилъ Котырло.

— Совершенно справедливо! Надо обезземеливать, и обезземеливайте! Переводите ихъ въ дворовые, въ кутники, дѣлайте что хотите, но только увеличивайте пролетаріатъ, усиливайте классъ батраковъ. При участковомъ владѣніи это въ тысячу разъ легче, чѣмъ при общинномъ. Но помните: одно изъ первыхъ условій, чтобы народъ поскорѣе былъ обращенъ въ чернь! Это ручательство вѣрнаго успѣха!

— *Certi sime!* — съ удовольствіемъ потирая руки, возгласилъ панъ Хомчевскій. — Съ этимъ я вполне согласенъ, но... (онъ вздохнулъ и возвелъ глаза къ потолку) гдѣ ручательство, что наши блестящіе планы безпрепятственно приведутся въ исполненіе, что все такъ и будетъ, такъ и случится, какъ мы предполагаемъ, что они до времени не станутъ извѣстны москалю? Кто мнѣ поручится, что все это будетъ, такъ-сказать, *in fine* — безнаказанно, безопасно?.. Я хоть и вѣрный стрѣлокъ, но безъ вѣрнаго расчета не желалъ бы рисковать ни моею головою, ни моимъ маенткомъ ¹⁾, а ни даже зарядомъ моей охотничьей двухстволки.

— Ручательство въ слѣпотѣ москѣвскей, ужь если говорить совсѣмъ откровенно! — подхватилъ Свитка. — Да чего же лучше! Вотъ вамъ одинъ образчикъ: вы знаете ли, напримѣръ, кѣмъ оберегается безопасность нашего тайнаго комитета въ Вильнѣ?

— А ну-те? — съ живымъ любопытствомъ отозвался Хомчевскій.

— Да ни болѣе, ни менѣе, какъ русскимъ же карауломъ, русскими штыками!

— То-есть это аллегорія, конечно?

— Какая тамъ аллегорія! Буквально! Вы знаете, гдѣ этотъ комитетъ собирается? гдѣ происходить его секретныя совѣщанія.

— А ну-те?

— Въ генераль-губернаторскомъ кабинетѣ.

Многіе выпучили глаза и засмѣялись этому сообщенію, какъ фарсу.

— Честное слово! — подтвердилъ Свитка. — Не только что въ генераль-губернаторскомъ домѣ, но иногда даже въ собственномъ кабинетѣ его высокопревосходительства. Тамъ, въ портфелихъ, между дѣловыми бумагами, передаются по назначенію и наши бумажки, тамъ же во время официальныхъ докладовъ и пріемовъ происходятъ и наши доклады и пріемы; а это, конечно, самое умное и самое безопасное: Боско все свои фокусы, безъ всякихъ аппаратовъ, дѣлалъ на глазахъ всей почтеннѣйшей публики и оттого его никогда ни поймать, ни разгадать не могли. То-то и хорошо, господа, что нѣсколько нашихъ добрыхъ фіаларовъ сидятъ за большими плечами — и виленскими, и петербургскими.

Паны согласились, что это дѣйствительно хорошо.

¹⁾ Имѣніемъ.

— Ахъ, чуть было не забылъ! — хлопнул себя по лбу Василий Свитка. — Еще одно интересное сообщенье. Наши очень успешно хлопочутъ у Ротшильда и Монтефиори, чтобы тѣ посодѣйствовали пониженію русскихъ фондовъ на всѣхъ европейскихъ рынкахъ.

— Ого, ну и что же? — спросилъ Котырло.

— Содѣйствіе обѣщано почти что навѣрное, какъ скоро начнется возстаніе; а между тѣмъ къ тому же времени и въ Лондонѣ, и въ Парижѣ уже заготавливаются громадныя выпуски русскихъ фальшивыхъ серий и ассигнацій, которыми мы будемъ въ состояніи просто наводнить всю Россію — и кредитъ ея лопнетъ. А поддѣлка артистическая!.. Неотличишь, а-ни-ни.

— Хм!.. раздумчиво крутя усь, произнесъ панъ Коонецъ. — Эдакъ, пожалуй, камуфлетомъ въ самихъ себя же хватимъ съ этими ассигнаціями... Жиды принимать не станутъ... Средство-то немножко того...

— Средство освещенное еще великимъ Наполеономъ, — гордо поднявъ голову, замѣтилъ Свитка. — Дѣло не въ жидакъ, а въ томъ, чтобы парализовать врага на всѣхъ существенныхъ пунктахъ.

— А, Наполеономъ — разводя руками, — почтительно и даже благоговѣнно произнесъ эксуланъ. — Да!.. Ну, это иное дѣло!.. Наполеоны!.. Предъ этимъ именемъ я склоняюсь ницъ и молчу, я молчу, муй пане!

— Теперь, господа, я желаю бы знать, — снова заговорилъ Свитка, — какъ вы смотрите, то-есть лучше сказать, какова программа вашихъ современныхъ дѣйствій, вашъ взглядъ на задачу относительно *настоящаго* именно времени? Мое любопытство будетъ простительно, — принимая деликатно-извиняющійся тонъ, пояснилъ онъ, — если я скажу, что мнѣ поручено собрать объ этомъ свѣдѣнія для соображеній Петербургскаго Центра... Это даже одинъ изъ пунктовъ моей инструкціи.

— Нашъ взглядъ... да какъ сказать?... нашъ взглядъ, то-есть...

Паны очевидно пришли въ затрудненіе предъ вопросомъ, поставленнымъ такимъ образомъ.

— То-есть я разумно программу дѣйствій дворянства относительно правительства въ настоящее время, — пояснилъ Свитка. — Весьма бы желательно, — прибавилъ онъ, — во всемъ Западномъ краѣ достигъ по этому предмету полнѣйшей гармоніи и единообразія.

— А, да-а! — подхватилъ солидный и разсудительный панъ Котырло. — Не знаю, какъ гдѣ, но мы, по крайней мѣрѣ, держимся политики галицкихъ помѣщиковъ сороковыхъ годовъ, то-есть все броженіе относимъ къ агитаціямъ красныхъ, къ волненію умовъ между хлопами. Когда требуютъ объясненій, мы даемъ отзывы, что дескать положеніемъ 19-го февраля пользуются какіе-то невѣдомые намъ агитаторы и мутятъ народъ, который, выйдя изъ-

подъ власти помѣщиковъ, думаетъ себѣ, что онъ ужъ можетъ теперь не повиноваться и власти правительства, и что стало-быть мѣстныя власти обязаны укрощать крестьянъ.

— Ну, а что касается самихъ крестьянъ, — весело подхватилъ Селява-Жабчинскій, — то тутъ мы проводимъ сляніе, любовь, братство, равноправность и прочія подобныя конфетки. Средство, ничего себѣ, дѣйствуетъ. Ловятся и на эту удочку! Ну, конечно, подъ рукой постоянно пускаются слухи, что освобожденіемъ обязаны они никакъ не правительству, — это тоже съ одной стороны не мѣшаетъ, помня галиційскую рѣзню 46-го года.

Свитка чуть замѣтно, но очень коварно улыбнулся про себя и въ то же мгновеніе поспѣшилъ принять прежнее спокойное выраженіе.

— Да, — подтвердилъ Котырло, — и чтобы подобныя сцены не могли повториться, по неволѣ надо содѣйствовать распространенію братства трезвости, даже себѣ въ убытокъ, потому что сколько ужъ винокурень совсѣмъ стали, да и моя тоже! — прибавилъ онъ съ хозяйственно-сокрушеннымъ вздохомъ.

— Теперь, господа, я подхожу къ самой существенной, къ самой важной части моего порученія, — опять припавъ дѣловой и какъ бы officialный тонъ, сказалъ Свитка, и снова занялъ у стола прежнее мѣсто и прежнюю позу. — Наше общее дѣло, на которое смотрятъ вси Европа, весь міръ, должно имѣть видъ п формы вполне благоустроеннаго возстанія.

— Натуральне! — подаль голосъ Селява.

Прочіе выразили минами и жестами полное свое согласіе съ заявленнымъ мнѣніемъ Свитки.

— Благоустройство же мы можемъ достигнуть, — продолжалъ тотъ, — единственно посредствомъ *организации*, то-есть намъ надобно позаботиться о томъ, чтобы заблаговременно, гораздо ранѣе рѣшительнаго дня и часа, даже чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, устроить и ввести повсюду въ дѣйствіе нашу тайную революціонную администрацію. Вся *организация* должна быть строго подчинена одной высшей, такъ-сказать, центральной распорядительной власти — *ржонду народовому*. Организация должна прочно связать всѣ сословія, собрать и правильно распределить наши народныя силы и систематически употребить ихъ для предстоящей борьбы, а безъ того и наши широкіе, наши блестящіе планы не удадутся!.. Населеніе должно прямо, незамѣтно для самого себя и какъ бы совершенно естественно перейти отъ русской власти подъ нашу революціонную.

— Мм... это такъ, конечно, — замѣтилъ Котырло; — но... тутъ есть одинъ весьма существенный вопросъ, такъ-сказать, вопросъ жизни или смерти.

— То-есть? — спросилъ Свитка.

— То-есть, въ чьихъ рукахъ будетъ нахо-

даться эта высшая, центральная власть? Если въ рукахъ красной сволочи, то слуга покорный...

Свитка опять улыбнулся про себя тонкою, чуть замѣтною, но очень коварною улыбкою и опять еще скорѣе поспѣшилъ смаскировать ее строго-серьезной миной.

— Мнѣ кажется, что для Литвы объ этомъ не можетъ быть и вопроса,—сказалъ онъ.—Въ Литвѣ и власть, и вліяніе всегда останутся на сторонѣ бѣлыхъ.

— Хм... А если эта центральная красная власть однимъ декретомъ изъ Варшавы скасуешь и бѣлыхъ, и всю ихъ организацію, да пойдетъ терроромъ вводить свои социальныя и коммунистическія бредни на счетъ нашей собственности и нашихъ родовыхъ привилегій. Тогда что?

— Тогда?.. Тогда мы можемъ и отложиться отъ Варшавы. Какая же надобность непремѣнно идти за нею на привязи? Идемъ пока намъ это пужно и удобно; а неудобно—только они насъ и видѣли! Не Литва въ Польшѣ, а Польша въ Литвѣ нуждается!—съ силою искренняго убѣжденія прибавилъ Свитка.—Литва, слава тебѣ Боже, слишкомъ достаточно сильна, чтобы существовать совершенно самостоятельно и независимо; а Польшѣ одной безъ насъ не вытянуть: мы для нея житница, мы для нея ость-индскія колоніи. Польша безъ Литвы—это и географическій, и политическій абсурдъ, а если мы сила, такъ гнись подъ насъ, пляши подъ нашу музыку или пропадай себѣ. Варшавскіе красные сапожники намъ ни сколько не страшны.

Эта рѣчь Свитки бодро, освѣжительно подействовала на присутствующихъ. Онъ говорилъ съ такою увѣренностью, съ такою силою убѣжденія, и столь ловко умѣлъ задѣть чувствительную струну «мѣстнаго патріотизма», что на физіономіяхъ пановъ заиграли самодовольныя улыбки гордаго сознанія своей силы и значенія. Имъ даже очень понравилась мысль, что они, коли захотятъ, то могутъ и наплевать на Польшу и быть сами по себѣ, а Польша сама по себѣ—пускай-де намъ кланяется и нашей милости панской выпрашиваетъ. Новая идеяка эта очень лестно и пріятно щекотала мѣстно-литовское самолюбіе шляхты.

— И такъ, панове, насчетъ организаціи,—приступилъ къ дѣлу Свитка.—Мѣстная организація должна состоять изъ начальниковъ: воеводскаго, повятоваго, окренговаго и парафіяльнаго ⁴⁾. Для сбора податей должны быть назначены особые поборцы, а для мѣстныхъ бандъ особые доводцы, по воеводствамъ же—военные воеводы; мѣстные доводцы будутъ пока организаторами мѣстныхъ военныхъ силъ. Кромѣ того, отъ высшаго ржонда въ каждое воеводство будетъ назначенъ особый комисаръ, со значительнымъ полномочіями, для общихъ наблюденій за испол-

⁴⁾ То-есть изъ начальниковъ губернскаго, уѣзднаго, станового и приходскаго.

нительностью членовъ организаціи и за теченіемъ дѣла вообще, а своевременно, то-есть когда необходимость укажетъ дѣйствовать на инерцію массъ терроромъ, предполагается въ каждомъ повѣтѣ учредить трибуналъ съ немедленной карой за неповиновеніе.

— От-то такъ! От-то по нашему!—обрадовался панъ Копецъ, но панъ Котырло далеко не выразилъ такого же чувства, Онъ, напротивъ, пощмокивая, морщась, тужась и разглядывая свои ногти, выжималъ изъ себя завѣтную мысль.

— Видите ли, мм... оно все, пожалуй, очень стройно придумано,—говорилъ онъ, медленно и тягуче,—но... мы бы думали... по-мѣду, по крайней мѣрѣ... мнѣ сдается, что этотъ трибуналъ, комисары и прочее, все это пахнетъ какъ-то краснотою... А мы бы думали то же самое сдѣлать, да только проще, интимнѣе...

Свитка нахмурился и закусилъ губу.

— То-есть какъ же бы, напримѣръ?—спросилъ онъ сквозь зубы и, чтобы не слишкомъ явно выдать свои внутреннія ощущенія, закурилъ папирокъ.

— По крайней мѣрѣ, наставленія Ламберова Отелы, которыя *намъ* ни въ какомъ случаѣ нельзя не принимать въ соображеніе,—продолжалъ Котырло,—именно указываютъ намъ на такое простое, интимное устройство. Мы, видите ли, склонны смотрѣть на возстаніе какъ на свое домашнее дѣло и рассчитываемъ имѣть по уѣздамъ двухъ-трехъ человекъ, которые поведутъ дѣло, и конечно въ каждомъ изъ насъ будутъ имѣть послушнаго и надежнаго помощника... И такую организацію подготовили бы къ тому времени, когда по нашимъ расчетамъ, настанетъ для этого пригодная, безопасная пора... Впрочемъ красные, коли хотятъ, пускай начинаютъ дѣло, а мы поглядимъ.

Эти мысли пришли въ крайне не по вкусу скромному на видъ Василию Свиткѣ. Онъ становился поперекъ его собственнымъ планамъ и цѣлямъ, поперекъ той двойной и огромной игрѣ, которую онъ, втайнѣ ото всѣхъ, давно уже задумалъ и сообразилъ въ своемъ умѣ, шансы которой рассчитывалъ и преслѣдовалъ постоянно, прикидываясь, гдѣ нужно, умѣреннымъ, бѣлымъ, чуть не консерваторомъ и, пока до времени, играя второстепенную роль въ Петербургскомъ Центрѣ. Выслушавъ возраженіе пана Котырло, онъ собрался съ мыслями и началъ, по возможности, ровнѣе и спокойнѣе.

— Такъ нельзя, господа,—заговорилъ онъ, обращаясь преимущественно къ своему оппоненту.—Или мы любимъ болѣе всего свой комфортъ и свою собственность, или же дѣло своей *родины*. Съ такою выкидательною политикою вы рискуете остаться за флагомъ, рискуете обремениться при шансахъ самой вѣрной игры. Въ такомъ случаѣ лучше ужъ прямо, разъ навсегда, махнуть рукою на дѣло и садиться писать вѣрнопопданническіе адреса.

Но этот свой смертный приговор мы еще успеем подписать и послѣ, когда все лопнетъ... Не торопите же его вашею нерѣшительностью. Вы пугаетесь красныхъ, а между тѣмъ сами хотите выждать, пока они всю власть захватятъ въ свои руки; вы сами и власть, и себя головой выдаете имъ... Ахъ, господа, господа!—со вздохомъ воскликнулъ онъ, укоризненно покачивъ головою. — Съ вашими пустыми страхами вы забываете, что красные на Литвѣ—это нуль. Вся сила у насъ въ собственникахъ, въ шляхтѣ. Въ васъ весь залогъ успѣха, а вы выпускаете инициативу изъ своихъ рукъ.

— Напротивъ, мы желаемъ удержать ее,—возразилъ Котырло.

— И между тѣмъ упустите. И это вѣрно вѣрно.

— Позвольте-съ однако...

— Да такъ же! Вѣдь согласитесь, что въ настоящую минуту общій ходъ дѣла зашелъ уже слишкомъ далеко, такъ что сторонись вы или не сторонись, удерживай его или не удерживай—это рѣшительно ничего не значитъ: вамъ его не удержать. Дѣло все-таки идетъ и пойдетъ помимо васъ своей собственной силой, собственнымъ движеніемъ, инерціей. Вѣдь ужъ ему сколько же толчковъ было дано! Вы сами давали ихъ чуть не до сего дня. А на полудорогѣ остановиться нельзя. Но пока вы сторонитесь да выжидаете, красные, понятное дѣло, заберутъ все въ свои руки: роковая сила обстоятельствъ, логика жизни къ нынѣшнему нулю прибавитъ одну или даже двѣ единицы, и тогда...

Свитка не окончилъ, но завершилъ выразительнымъ и вполне понятнымъ жестомъ.

Горячій потокъ его рѣчи, начатой столь спокойно, начиналъ дѣйствовать. Большая часть присутствовавшихъ была на его сторонѣ и даже самъ Котырло колебался раздумался надъ его словами. Ораторъ замѣтилъ про-себя дѣйствіе, произведенное его рѣчью.

— Ахъ, господа! — съ жаромъ воскликнулъ онъ, послѣ минутнаго молчанія. — Забудемте на время и красныхъ, и бѣлыхъ, и синихъ, и всякихъ, а будемте пока только честными патриотами, честными литвинами. А счета свои покончимъ и послѣ. Прежде съ москалями покончимъ.

— Bravo, такъ, вѣрно! О чемъ тутъ думать да сомнѣваться!.. Вѣрно!—загомонила вся «шановна шляхта».

Котырло медленно восклонилъ свою голову и съ чувствомъ протянулъ Свиткѣ руку.

«Фу-у!.. Слава тебѣ, Господи! Наконецъ то!» облегченно и радостно вздохнулъ въ глубинѣ души своей этотъ послѣдній, съ такимъ чувствомъ, какъ будто бы вытянулъ въ гору на собственныхъ плечахъ великій и богатый грузъ.

— Господа!—воскликнулъ онъ. — Ваше по-

чтенное собраніе представляетъ здѣсь все наиболѣе вѣское, вліятельное и интеллигентное здѣшняго повѣта («ничего, надо масличемъ подмазать», подумалъ онъ про себя). Зачѣмъ вамъ медлить предъ исполненіемъ наиболѣе существеннаго дѣла? Произведите тотчасъ же между собою выборы начальниковъ повѣтовыхъ и окрестныхъ, чтобы хоть не даромъ собрался нашъ нынѣшній сеймикъ.

— Bravo!.. Идетъ!.. Согласны!.. Мы, чортъ возьми, сила; мы власть изъ рукъ упустить не желаемъ! Мы сами и безъ красныхъ сумѣемъ быть красными, когда потребуется! Да!.. гадѣли воспримчивые паны и, покинувъ свои мѣста, толкались по всему кабинету.

Но когда начались выборы, когда одинъ сталъ предлагать того-то, а другой другого, третій же третьяго, и т. д., то дѣло дошло до споровъ и крупныхъ разговоровъ. Панъ Хомчевскій все мирилъ и улаживалъ своей «свѣтлой лачиной», панъ Селява егозилъ, элегантночалъ и старался казаться извѣтельнымъ и тонкимъ политикомъ (ему очень хотѣлось быть выбраннымъ во что-нибудь); панъ Копецъ горячился, прыскался, краснѣлъ какъ ракъ, крутилъ усь, кричалъ «не желаю»!.. И этого не желаю, и того не желаю, «ничего не желаю!» кричалъ, по старинѣ: «не позва́дямъ! Veto!» такъ какъ извѣстно, что безъ этихъ двухъ завітныхъ словечекъ ни единый панскій сеймъ и сеймикъ, во вся времена и вѣки, никонимъ образомъ и ни въ какомъ случаѣ, обойтись не можетъ, ибо иначе и сеймъ не въ сеймъ уже будетъ. Дошло до того, что кому-то и за что-то, но за что именно и самъ не понималъ толкомъ, панъ пудковникъ опять сталъ грозиться своей саблей. Тутъ появились на свѣгъ Божій и старая, полузабытая дрязга и сплетни, и взаимныя покоры, и фамильные гербы, и шляхетныя привилегіи; фигурировали и давнія права, и родственныя связи, и даже степень благонадежности предъ російскимъ начальствомъ,—словомъ, всего было вдосталь и въ-волю. Паны расходились. Говоръ, споры, ссоры, толки, уговоры, наконецъ даже слезы, добзаныя и примиренья и опять взрывы крупныхъ споровъ, рисовка своимъ благородствомъ, шутки, смѣхъ, шумъ и безурядица, все эти длилось болѣе часа. Наконецъ, кое-какъ «сгладзили сенъ» ¹⁾. Недоумѣнія разрѣшились—выборы были сдѣланы. Должность «начальника повѣтового» предложили было пану Котырло, но тотъ подъ разными, болѣе или менѣе благовидными предлогами уклонился, заявивъ впрочемъ, что кромѣ этой должности, къ которой онъ, по совѣсти, не чувствуетъ достаточно силъ, энергія и способности, вся его жизнь и все состояніе принадлежитъ «свѣнтей справѣ» ²⁾ и «ойчизнѣ».

¹⁾ Согласились.

²⁾ Святому дѣлу.

Вмѣсто папа Котырло на повятовые выбрали пана Селяву-Жабчинскаго. Этотъ былъ необыкновенно доволенъ, словно бы его въ генералы произвели и арендой пожаловали, и съ нескрываемою радостью, даже съ нѣсколько горделивымъ достоинствомъ и уже 'отчасти покровительственно пожималъ панамъ руки, благодаря ихъ за то, что почтили его своимъ шляхетнымъ довѣріемъ. Пана Хомчевскаго выбрали въ окренговые, при чемъ онъ только развелъ руки и, поднявъ глаза къ потолку, словно бы выражая тѣмъ покорность волѣ судьбы, произнесъ со вздохомъ: «Sic astra volunt!» Выбрали и еще нѣсколько пановъ: кого тоже въ окренговые, кого въ парافیальные, а эксъ-улану пану Концу предоставили честь, ради его воинственности, быть мѣстнымъ доводцей и организаторомъ будущихъ воинскихъ силъ. Панъ пулковникъ тоже былъ необыкновенно доволенъ предстоящею ему ролью.

— Вышколимъ, чортъ возьми, вашу братью, панове!—похвалялся онъ, крутя усь и гоголемъ похаживая между панамъ.—Такъ-то вымуштруемъ, что цѣлый чварты корпусъ москесвскій отъ одного виду нашего лытки покажетъ! Шахъ-махъ! Плюскъ и баста!

Въ заключеніе же, поздравляя другъ друга, паны лобызались, умилялись, похвалялись, обѣщались, другъ другу клялись и, въ силу предложенія пана Хомчевскаго, выраженного по обыкновенію въ латинской формѣ: «ergo bibamus!» распили еще нѣсколько бутылокъ «венгршны» при дружныхъ и бурныхъ возгласахъ:

— Нѣхъ жіе Польска! ¹⁾ Нѣхъ жіе вольносцы!... Пречъ за москалями!... Засмродзили ²⁾ Польске! москале!.. Убирайтесь къ чертамъ!

Свитка былъ очень доволенъ.

«Ну, любезные друзья мои!» думалъ онъ, уже поздно ночью возвращаясь въ свой флигелекъ; «вы хотите «красною сволочью» воспользоваться какъ убойной скотиной, какъ пушечнымъ мясомъ, а «красная сволочь» васъ къ дѣлу приспособила. Посмотримъ, кто кого перехитритъ!.. Карманъ-то во всякомъ случаѣ, а можетъ и лбы, и гербы ваши пригодятся намъ».

Придя въ свою комнату, когда Хвалынцевъ уже спалъ, Свитка тщательно, особо имъ изобрѣтенными буквами и знаками записать въ своей записной книжкѣ всѣ имена и соотвѣтственные должности выбранныхъ нынче дворянъ.

«Теперь вы, голубчики, въ моихъ рукахъ!» съ истиннымъ удовольствіемъ подумалъ онъ, съ наслажденіемъ потягиваясь и расправляя свои члены, какъ-бы послѣ многотрудной работы. «Теперь, чуть что заартачитесь въ рѣшительную минуту, такъ можно вамъ и русскими жандармами и слѣдственной тюрьмою

пригрозить: имена-то всѣ въ книжкѣ, а факты, дасть Богъ, будутъ на-лицо... Вотъ вамъ, бѣлые друзья мои, и красная сволочь!»

И онъ, потирая ладони, самодовольно разсмѣялся веселымъ, но злораднымъ смѣхомъ.

XV.

У отца Сильвестра.

Проснувшись послѣ крѣпкаго и безгрезнаго подѣ-утренняго сна, Хвалынцевъ всталъ довольно рано, осторожно одѣлся, чтобы не разбудить спавшаго товарища, и пошелъ на мѣстечко—попытать, нельзя-ли гдѣ порядить себѣ лошадей? Жиды однако везти не соглашались, потому что была пятница и, значить, къ вечеру у нихъ «шабангъ заходитъ».

День былъ такой-же ясный, сухой безвѣтренный, какъ и вчера.

Константинъ, въ надеждѣ найти себѣ какого-нибудь подводчика между крестьянами, пошелъ бродить по мѣстечку. Свѣжій, бодрящій утренній воздухъ, ясное ноябрьское солнце, тишина и легкій моционъ какъ-то утихомирили его вчерашнюю желчность и навели на душу ясное спокойствіе. Онъ, незамѣтно для себя самого, забрелъ на самый конецъ мѣстечка, туда гдѣ стояла православная церковь, и проходя мимо начисто выбѣленнаго домика, крытаго соломой, услышалъ стукъ топора и сквозь незапертыя ворота увидалъ внутри двора отца Сильвестра. Попъ, въ одномъ сѣренькомъ наковомъ подрясникѣ, рубилъ какую-то доску и вмѣстѣ съ батракомъ своимъ трудился надъ починкой ветхаго сарайчика, который они совокупными усиліями приводили въ надлежащій видъ, прилаживая къ нему досечки и подпирая стѣны его колыями.

Случайно обернувшись въ это самое время, отецъ Сильвестръ замѣтилъ Хвалынцева и на его привѣтствіе отвѣтилъ радушнымъ поклономъ.

— Гулять изволите?—окликнулъ онъ его, выпустивъ топоръ и обѣими руками расправляя изнатужившуюся поясницу.

— Лошадей ищу, уѣзжать хочу отсюда,—объяснилъ Хвалынцевъ.

— Такъ зачѣмъ-же дѣло стало? На мызѣ вамъ изъ экономіи дадутъ. Вамъ самимъ и трудиться нечѣмъ.

— Нѣтъ, Господь съ ними!—непріятно поморщась, поспѣшилъ возразить Константинъ Семеновичъ.—Къ чему ихъ еще и этимъ одолженіемъ стѣснять!.. Я не хочу. Но только вотъ бѣда въ чемъ...

И онъ разсказалъ свое затрудненіе съ жидами по поводу шабаша.

— Ну этому горю можно пособить,—утѣшилъ его отецъ Конотовичъ.—Ежели вамъ угодно будетъ обождать у меня малое время, то я за-

¹⁾ Да здравствуетъ Польша.

²⁾ Испакостили.

разъ пошло батрака, вотъ онъ приведетъ какого ни есть хозяина, вы и пойдитесь.

Хвалынецъ поблагодарилъ и согласился.

Онъ окинулъ взглядомъ дворъ и домъ и всѣ хозяйственные пристройки: все это дышало какою-то мирною домовитостью. Избытка не оказывалось ни въ чемъ никакого, но ото всего вѣяло скромнымъ, нравственнымъ и матеріальнымъ довольствомъ, тѣмъ непреходящимъ довольствомъ труда и старанія, котораго достигаетъ иногда неунышно-заботящаяся, непрестанно-борящаяся, работающая бѣдность. На обѣздной и засохлой старой соснѣ приютилось широкое гнѣздо аистовъ, которыхъ здѣсь называютъ «боцнами» или «черногузами». Нынѣ оно опустѣло по осени, но съ будущей весной вновь будетъ занято тою же самою прошлогоднею парюю крылатыхъ обитателей. Надъ низенькими небольшими окошками поповскаго домика сѣрбуютъ, тоже опустѣлыя, ласточки гнѣзда, — но Боже избави, чтобы кто осмѣлился дотронуться и разорить ихъ! То же самое и въ отношеніи аистовыхъ гнѣздъ: ласточка-благодѣтельница есть Божія излюбленная птичка, а аистъ-змѣеистребитель человеку на великую пользу живетъ, и какъ тотъ, такъ и другія дому сему Божье благословленіе и благодать своимъ пребываніемъ приносятъ.

Соломенная кровля, поросшая отъ старости густымъ и плотнымъ ярко-зеленымъ мхомъ, вся изрыта чернѣющими норками воробьиныхъ гнѣздъ. По выбѣленнымъ стѣнамъ на шнуркахъ и дротахъ взвиваются снизу вверхъ засохшіе побѣги хмѣля, тыквы, фасоли, павоя и дикаго винограда. Въ маленькомъ садикѣ, межъ огородныхъ грядокъ, торчатъ корявыя деревца яблонекъ, раскидистыя, высокія груши, поджарыя, тонкостволая сливы да вишни. У крылечка двѣ клумбы съ незатѣйливыми поблѣлыми цвѣтками, между которыми высоко торчатъ облетѣлыя стебельки мальвъ, извѣстныхъ болѣе подъ именемъ туберозы, и тутъ же въ разныхъ уголкахъ рассажены кустики сирени, розъ, бузины и пахучаго Божьаго дерева. На дворѣ, въ кучѣ навоза, кудахтая, рожется пестрая куры и поросята, утки полощатся во врытомъ въ землю корытѣ, и гордо похаживаетъ павлинъ. Баба-работница, съ подтыканной высоко за поясъ юбкой, обнаруживающей почти по колѣни ея босыя, закорузлыя ноги, тащитъ звонкія ведра къ студеному колодцу — и высокій «журавель» медленно скрипитъ и рыпится, погружая бадью въ темную глубь криницы, а мохнатый старый пѣсь дворовый лѣниво и по-нуро повертѣлся раза два на мѣстѣ, обнюхалъ его и улегся на крылечкѣ, и дремлетъ себѣ, грѣя на солнышкѣ свои старослуживыя кости. Пахло слегка дымкомъ, навозомъ, дегтемъ и утренняя, сухимъ осенне-холодноватымъ воздухомъ. И все это такъ просто и такъ ясно говорило про скромный, упорный трудъ черно-ра-

бочій, и еще болѣе навѣяло на Хвалынцеву мягкое ощущеніе внутренняго мира, тишины и какого-то кроткаго и серьезнаго спокойствія.

— А хорошо у васъ тутъ! — съ невольнымъ полнымъ, облегчающимъ вздохомъ сказалъ онъ, послѣ минуты раздумчиваго созерцанія.

Священникъ какъ-то грустно и спокойно усмѣхнулся.

— Ничего себѣ... живемъ кое-какъ съ Божьей помощью, — проговорилъ онъ. — Вотъ, прачуемъ,⁽¹⁾ саѣркой⁽²⁾ постукиваемъ: хлѣвушку надо починить, а то зимою, гляди, все развалится, какъ снѣгу наверхъ навалить. Да не прикажете ли до хаты, въ горницу? — вдругъ спохватился отецъ Сильвестръ, — что на дворѣ-то стоять?.. Милости просимъ!.. Зайдите пока!

Черезъ темныя, но чистенькія сѣнцы, гдѣ пахло мятой и другими цѣлительно-ароматическими травами, сушеные пучки которыхъ висѣли здѣсь подъ потолкомъ, Хвалынецъ прошелъ въ смежную горницу, служившую отцу Сильвестру и гостиной, и кабинетомъ. Въ горницѣ чуть-чуть припахивало ладномъ. У окошекъ, на доводильныхъ горкахъ, стояли горшечки цвѣтовъ: герань, левкой, фуксія, мирты, а по угламъ въ деревянныхъ кадункахъ произрастали два довольно уже рослые олеандра. Надъ окнами, между скромныхъ кисейныхъ занавѣсокъ, висѣли двѣ затѣйливыя клѣтки: въ одной канарейка, въ другой скворецъ; а по стѣнамъ нѣсколько сбродныхъ картинъ подъ стекломъ и два-три образа, вѣроятно, перенесенные изъ церковной ризницы. Въ переднемъ углу предъ образомъ теплилась лампадка на полочкѣ, съ которой спускалась небольшая лиловая пелена, отороченная золотымъ позументомъ и съ позументнымъ же крестомъ посрединѣ. На столѣкѣ подъ образами лежали: Требникъ въ темной кожѣ, засохшая просфора, почернѣлый небольшой крестъ изъ аглики и небольшое-же Евангеліе въ слиняломъ бархатномъ переплетѣ съ финифтяною живописью по угламъ верхней доски; а невдалекѣ отъ передняго угла были прибиты три полки: верхняя занята книгами, очевидно, духовнаго содержанія, въ старинныхъ кожаныхъ переплетахъ съ металлическими застежками, а на двухъ нижнихъ былъ всякій печатный сбродъ: нумера «Сына Отечества» и «Виленьскій Курьеръ», и растрепанныя книжки «Отечественныхъ Записокъ» да старинной «Библиотеки», «Домашній лѣчебникъ» и «Опытный садоводъ» и прочій подобный случайный сбродъ, который обыкновенно, встрѣчается у людей любящихъ почитать, но не систематизирующихъ свою бібліотеку. Подъ этими полками, въ простѣнѣкѣ между двухъ окошекъ, помѣщался простой рабочій столъ отца Сильвестра, обтянутый черной клеенкой, а надъ ясеневымъ диваномъ, предъ-

⁽¹⁾ Работаемъ.

⁽²⁾ Топорикомъ.

ставлявшимъ собою какъ-бы часть гостиной, висѣли двѣ раскрашенные литографіи въ рамкахъ: на одной былъ изображенъ государь въ порфирѣ, а на другой императрица въ русскомъ нарядѣ. Въ незатѣливой, безхитростной обстановкѣ этой горенки все было такъ чистенько и просто, но вмѣстѣ съ тѣмъ порядочно, домовито и уютно, что Хвалынцеву невольно, самъ собою, напросился на сравненіе контрастъ соломеннаго палаццо пана Котырлы. Если правда, что по характеру обстановки жилища можно предполагать и о характерѣ его обитателя, то горница отца Сильвестра сдѣлала на Хвалынцева столь симпатичное впечатлѣніе, что симпатію свою онъ еще болѣе перенесъ на хозяина этого дома.

Прошло не болѣе пяти минутъ, какъ въ горницу вошла работница съ большимъ подносомъ и поставила на преддиванный столъ бутылку наливки, графинчикъ водки, маринованныхъ грибовъ, еще кое-чего и три тарелочки варенья: малины, вишенъ и крыжовнику, а вслѣдъ за нею появилась въ бѣломъ чепцѣ и въ ковровомъ платкѣ сама попадья, женщина лѣтъ подъ сорокъ, низенькая и дородная, съ безхитростно-простоватымъ, но безконечно-добродушнымъ, располагающимъ лицомъ.

— А вотъ и матушка моя, — отрекомендовалъ ее отецъ Сильвестръ; — двадцать-третій годъ сожителствуемъ.

Матушка, съ неловкими, но очень привѣтливými поклонами, захопотала около поданной закуски, причемъ все кругленькое лицо ея озарилось такою несходящею съ него мягкою и доброю улыбкою, что масляные глазки ея совсѣмъ ушли въ маленькія щелочки и глядѣли оттуда съ такимъ выраженіемъ, что все лицо ея, вся фигура ея высказывали одно безконечное стремленіе чѣмъ ни-на-есть, но только побольше, порадовать, отъ всей души угодить гостю.

— Прошен' папа! — залепетала она по-польски своимъ мягкимъ голосомъ, подвигая къ Константину и варенье, и наливку, и грибки, и колбасу домашняго копченія.

При звукахъ польскаго языка, Хвалынцевъ почти невольно кинулъ на нее мимолетный взглядъ, въ которомъ сказался отгѣнокъ удивленія.

Отецъ Сильвестръ, казалось, замѣтилъ это.

— Господинъ Хвалынцевъ — русскіе, съ нѣкоторымъ смущеніемъ, но внушительно предупредилъ онъ свою матушку.

— А, панъ зъ Россіи! еще привѣтливѣе и радужнѣе залепетала она. — То для-мне бардзо приіемне!.. Прошен' пана закоштоваць...¹⁾

— Они по-польски не говорятъ! — съ пущею вразумительностью, но съ улыбкой еще большаго смущенія, обратился къ ней отецъ Коновичъ.

¹⁾ А, панъ изъ Россіи! Это для меня очень пріятно. Прошу пана откушать.

Матушка поняла, наконецъ, въ чемъ дѣло и смутилась сама чуть ли не болѣе своего мужа.

— Звыните!.. мы такъ... привыкли... тутъ все по-польску, — заговорила она, видимо затрудняясь въ прискиваніи словъ и выражений.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!.. Я... розумлю... поспѣшилъ предупредить Константинъ, почему-то вдругъ начавъ коверкать русскую рѣчь, изъ желанія поддѣлаться въ ладъ матушкѣ, словно его языкъ сталъ бы понятнѣе для нея отъ этого коверканья на будто бы польскую статью.

— Нѣтъ, ужъ вы, матушка, лучше по простому, по хлопскому! — добродушно посовѣтовалъ женѣ отецъ Коновичъ. — Все же понятнѣе будетъ, и для васъ оно за привычку.

Матушка только улыбалась да слегка покланивалась съ какимъ-то извиняющимся видомъ.

— Вы лучше подите да насчетъ чайку намъ распорядитесь, — указывая ей значительнымъ взглядомъ на внутреннюю дверь, сказалъ отецъ Сильвестръ — и жена его сейчасъ же удалилась, все съ тою же безконечно доброю улыбкою и съ тѣмъ же нѣсколько оторопѣлымъ, извиняющимся видомъ.

Хвалынцеву сдѣлалось даже неловко и совѣстно какъ-то при мысли, что онъ сталъ причиной такого смущенія и столькихъ хлопотъ для этихъ простыхъ и добрыхъ людей.

Минутку спустя по уходѣ матушки, послѣ небольшого молчанія, слегка покашливая да побряхтывая и все еще не оправаясь отъ нѣкотораго затруднительнаго смущенія, отецъ Сильвестръ обратился къ Хвалынцеву.

— Вы извините... для васъ, конечно, показалось очень страннымъ, — началъ онъ въ оправданательно-объяснительномъ тонѣ, — что вдругъ это... матушка православнаго священника, п вдругъ по-польски... но — прибавилъ онъ со вздохомъ, — что дѣлать!.. Отчасти, это, конечно, наша собственная вина, собственное небреженіе, но это здѣсь — общее... это всѣ онѣ такъ у насъ.

— Да что жъ тутъ?.. Почему жъ и не говорить, — пробормоталъ было Хвалынцевъ, чтобы какъ-нибудь сгладить неловкое смущеніе хозяина.

— Э, нѣтъ, не смотрите такъ! — серьезно перебилъ его отецъ Сильвестръ. — Мы вотъ только теперь начинаемъ чувствовать плоды нашихъ небреженій вообще!.. Оно, казалось бы, пустяки, но изъ подобныхъ обыденныхъ пустяковъ вѣдь и вся жизнь человѣческая складывается и свои результаты приносить. Положеніе-то наше горькое такое въ этомъ краѣ!.. Вы представьте себѣ, что у насъ не только во всей епархіи, но во всемъ Сѣверо-Западномъ краѣ нѣтъ ни одной школы, ни одного училища для дѣвицъ духовнаго званія.

— Неужели? — удивленно и какъ будто съ нѣкоторымъ недоумѣемъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Да-съ! и нѣтъ, и не было, да Богъ вѣсть и будетъ ли еще когда!—съ горечью подтвердилъ отецъ Конотовичъ.—Ну, а дочерямъ-то все-таки хочется дать какое ни на-есть воспитаніе; ужъ это какъ будто и совѣсть, и долгъ родительскій обязываютъ! А гдѣ его данш! Иное дѣло, конечно, самъ при займешся, научишь, чего самъ еще не забылъ съ семинарской скамейки, да вѣдь не всякій къ этому даже возможность имѣетъ, такъ что благо и то, когда лишь писать, читать да считать дочку свою обучишь—и то благодареніе Господу!.. Потому-то вотъ многіе изъ насъ по неволѣ дочерей въ польскіе пансіоны сдаютъ; русскихъ учительницъ нѣтъ вовсе, да если-бъ и завелась какая, то господа поляки сразу выкурятъ какимъ ни-на-есть способомъ! Ну, а вѣдь наши нынѣшнія матушки—это вѣдь все еще дочери нашихъ отцовъ, такъ сказать, старое поколѣніе; эти-то и совѣтъ на Польшѣ выросли и воспитались! Дома-то между собой говоримъ конечно все больше по-простому, по-бѣлорусски, а въ обществѣ не принято какъ-то... совѣстятся! Да и заговори-ка, такъ каждый шляхтичъ, каждая шляхтянка засмѣются! Положеніе грустное и дай Богъ только силы кое-какъ бороться съ нимъ!

— Да; здѣсь, кажись, сколько я замѣчаю, что-то странное творится,—промолвилъ Хвалынцевъ, желая какъ-нибудь навести разговоръ на существенно-интересовавшія его темы.

Священникъ многозначительно усмѣхнулся.

— Хм... странное, говорите вы,—сказалъ онъ.—Не странное, а гнусное!.. Да вотъ, дастъ Богъ, скоро все станетъ ясно!.. Авось-либо тогда прозрять наши слѣпорожденные!

Заложивъ руки въ карманы подрясника, онъ съ нѣкоторымъ отгѣнкомъ досадливаго волненія прошелся по комнатѣ и вдругъ остановился предъ Хвалынцевымъ,

— Обманъ на обманѣ сидятъ и обманомъ погоняетъ, какъ говорится!—вѣско промолвилъ онъ.—Вездѣ и повсюду одинъ великій и безконечный обманъ! Вотъ чтѣ такое этотъ край несчастный! И все это для доказательства, что тутъ исконная Польша!

Хвалынцевъ посмотрѣлъ на него вопросительно, взглядомъ, безмолвно вызывающимъ на дальнѣйшее объясненіе,

— Да такъ!—продолжалъ священникъ.—Теперь хотъ положеніе народа возьмите. Дали свободу. Хорошо-съ. Казалось бы, какая первая при этомъ забота дворянства? Разъяснить ему самую суть Положенія, да честно разверстаться? А здѣсь нѣтъ! Здѣсь какъ бы затемиить побойте. Мужикъ царю благодаренъ, а намъ это хуже остраго ножа; надо убить въ немъ это чувство, надо заставить его думать, что не царь, а паны съ Чарторыйскимъ дали полю, что они вмѣстѣ съ Наполеономъ послѣ Крыма заставили дать ее; а сами межъ тѣмъ

и вкривь, и вкосъ, какъ кому вздумается, въ своихъ личныхъ видахъ толкуютъ Положеніе. Ну, хлопъ вѣдь темень, безграмотенъ, забыть, на него прикрики—онъ и вѣрить. А въ это время мы его и обмѣриваемъ, и переселяемъ, и совѣтъ обезземеливаемъ, а чуть кто вступится за свои человѣческія права, мы сейчасъ: «бунтъ! разбой! коммунизмъ!» сейчасъ бумаги, донесенія пишемъ, присылки войскъ требуемъ. Ну, конечно, войска являются съ поспѣшностію! сейчасъ экзекуція и прочее. Хлопы, конечно, взвоютъ, а имъ тутъ подъ рукой: «а по, добродѣи, отъ якъ вамъ каже, вашъ царъ жалуетъ! Отъ яка его милосць, яка, каже, воля его!»

— Но отчего же вы, напримѣръ, священники православные, отчего вы не разъясните народу?—воскликнулъ Хвалынцевъ.

Отецъ Конотовичъ усмѣхнулся.

— Русскимъ священникамъ,—сказалъ онъ,—со стороны администраціи крѣпко на крѣпко запрещено вмѣшиваться въ эти дѣла.

Хвалынцевъ только плечами пожалъ.

— Но все-жъ-таки отступленія отъ закона бываютъ столь возмутительны и обманъ столь великъ,—продолжалъ отецъ Сильвестръ,—что нашъ братъ, несмотря на все свое униженіе, рѣшается порою взяться за роль разъяснителя и даже заступника; но только Боже ты мой—чтѣ жъ изъ этого и происходитъ!

— А чтѣ?—отозвался Хвалынцевъ.

— Извѣстно чтѣ? Сейчасъ это отъ помѣщиковъ, отъ посредниковъ, отъ становыхъ жалобы, что полъ народъ смущаетъ. Затѣмъ начнутъ тебя тягать на слѣдствія, отрѣшати отъ прихода и мало ли чтѣ!.. Да впрочемъ, мы уже съ вами еще вчера, во время полеванья, насчетъ этого предмета разговоръ имѣли. Но замѣчательно,—прибавилъ онъ,—что противъ ксендзовъ не поступило еще ни единой жалобы! Администрація наша, изволите видѣть, почитаетъ ихъ самымъ вѣрнымъ оплотомъ порядка и власти, а мы, попы сиволапые, мы—бунтовщики, смутьяны; за нами строгій глазъ да и глазъ нуженъ! Вотъ какъ!

— Но вѣдь есть же между помѣщиками и хорошіе люди, съ гуманными воззрѣніями?—сказалъ Хвалынцевъ.

— Надо полагать, что свѣтъ не безъ добрыхъ людей,—отозвался отецъ Сильвестръ.—Вотъ нашъ посредникъ, панъ Селява-Жабчинскій, конечно, изволите знать его?

— Знаю, а что?

— Большимъ либераломъ нынѣ показываетъ себя! А между тѣмъ у этого либерала чуть что не до 19-го февраля шлея съ хомутомъ была въ повседневномъ употребленіи.

— То-есть чтѣ это значить?—недоумѣвалъ, спросилъ Константинъ.

— А, это, изволите видѣть, въ здѣшнемъ край былъ избрѣтенъ и даже распространенъ

весьма много особый приборъ, который въ барщинные дни надѣвался на нѣкоторыхъ хлопотъ. Онъ такъ и называется *хомутъ со шлеей*. Какъ надѣнуть, такъ хлопъ по-неволѣ целый день ни голову опуститъ, ни присѣсть не можетъ, а все стоять да работаетъ, потому что присѣсть или голову опустить—сейчасъ на острые гвозди наткнешься, острия-то и дадутъ себя знать! Вотъ какой приборъ остроумный!

Хвалынцевъ просто глаза выпучилъ отъ изумленія.

— Да-съ,—продолжалъ Конотовичъ.—А вотъ вы, поди-ка, у себя-то въ великой Россіи и не слыхали про такія тонкости? Ну, а у насъ это, говорю вамъ, въ большомъ обыкновеніи было!.. Но хомутъ со шлеей не мѣшаетъ либерализму, и панъ Селява-Жабчинскій большой даже либераль, хоть и собаками людей травитъ,—прибавилъ онъ съ улыбкой. Да впрочемъ вѣдь и это либерально: вѣдь попа травилъ!

— Да, кстати,—съ живостью спохватился Хвалынцевъ,—неужели этому негодяю такъ безнаказанно сойдетъ съ рукъ его вчерашняя мерзость?

Священникъ только усмѣхнулся въ виду очевидной наивности подобнаго вопроса.

— А что же вы хотите?—сказалъ онъ.

— Но вѣдь есть же какой-нибудь законъ и управа?

— Ни закона, ни управы никакой здѣсь нѣту,—спокойно, просто и утвердительно отвѣтилъ отецъ Конотовичъ;—здѣсь, государь мой, бываютъ примѣры, что не только панская травля, но и панскія убійства, панскія заступленія на смерть съ рукъ сходятъ. Одинъ напавшійся панъ всю слѣдственную комисію нагайками перепоролъ, живыхъ людей по груди въ землю на трое сутокъ въ наказаніе закапывалъ—и то ничего ¹⁾. Начать съ ними дѣло, такъ ужъ заранѣе петлю на шею! А еще тѣмъ паче «русскому попу»: вѣдь мы здѣсь только «терпимы» пока еще; такъ намъ это и нѣкоторые начальственные лица внушаютъ. Только терпимы, поймите вы это!

— Все это очень грустно,—согласился Хвалынцевъ,—но въ то-же время, мнѣ кажется, все это доказываетъ то, что само правительство смотритъ на этотъ край, какъ на край польскій.

— Польскій?—нахмурилъ брови отецъ Конотовичъ.—А вотъ каковъ онъ польскій! Извольте посмотреть на маленькій образчикъ хотя бы исторической польщины, если ужъ не желаете принимать во вниманіе такого аргумента, какъ живой языкъ живого народа, то-есть я говорю не о панахъ-пришельцахъ или перевертняхъ; я говорю о хлопахъ. Извольте вотъ взглянуть сюда.

И онъ подвелъ Хвалынцева къ одной изъ висѣвшихъ на стѣнѣ картинокъ. Это была очень древняя, рѣзная на мѣди гравюра, которая съ надписями надъ изображенными предметами представляла видъ какого-то города. Надписи были латинскія.

— Это видъ города Гродны въ 1593 году,—пояснилъ священникъ.—Гравюра—собственность еще моего дѣда, а заимствована она изъ одной древней географіи XVI же вѣка; была у дѣда такая, да крысы въ кладовой поѣли болѣе чѣмъ на половину, а вотъ это только и всего, что сохранилось. Но полное изданіе ея есть, я знаю, въ Виленскомъ музеѣ ¹⁾. Тутъ вотъ сверху,—пояснилъ онъ, указывая на части картинки,—вы видите гербъ: пѣгонь, орелъ одноглавый и архангелъ Михаилъ, а по срединѣ медвѣдь; тогда еще гродненскій гербъ былъ не «зубръ», а «медвѣдь». Это гербъ соединенныхъ земель: Литвы, Польши и Руси; стало-быть изображеніе относится къ тому времени, какъ Литва была уже съ «короной». Но вотъ обратите вниманіе на эту надпись по сторонамъ герба: тутъ написано: «Grodna»—замѣтьте, а въ окончаніи, а не о, какъ теперь пишутъ поляки «Вильно», «Гродно», «Ковно», чтобы доказать ихъ польскій корень. Нѣтъ-съ, а это есть та же самая русская *Городня*, о которой ея древніе акты и записи упоминаютъ. Но это еще все ничего-съ, а вотъ взгляните на эти надписи: «*Templum Russorum latericium*», «*Templum Russorum muro circumdato*», «*Templum Russorum in urbe*», и всѣхъ церквей православныхъ въ это время было въ городѣ Гроднѣ девять числомъ,—у меня вотъ тутъ вымѣтка сдѣлана. Но вотъ извольте взглянуть на эту баненку и надпись: *Templum Polonorum in urbe*. На девять русскихъ церквей одинъ только *Templum polonorum*! И это въ 1593 году, то-есть за 268 лѣтъ до нашего времени, до сего текущаго 1861 года! Что вы на это скажете-съ?

— Доказательство краснорѣчивое, согласился Хвалынцевъ,—и противъ него ничего не скажешь.

— Ну, такъ вотъ то-то же и есть! А тамъ-то и не одинъ гродненскій видъ; а находятся

¹⁾ Это факты, относительно, весьма еще недавніе, несмотря на то, что кажутся невѣроятными. Напримѣръ, князь Ог—скій, ковенскій помѣщикъ, снискалъ себѣ большую извѣстность своими деспотическими тиранствами: сѣкъ поповъ, становыхъ, застѣвателей, исправниковъ, убивалъ неоднократно людей, крестьянъ своихъ въ наказаніе въ землю закапывалъ. А слѣдчики его даже недавно отличились на попримѣръ воронья со своими «надворными казаками». Какъ о томъ, такъ и объ этомъ даже наша публицистическая литература упоминала.

¹⁾ Авторъ видѣлъ это замѣчательное изданіе у одного польскаго графа П., который, впрочемъ, кажись, и не подозреваетъ, какой обличающій, антипольщизновый документъ хранить онъ въ своей прекрасной коллекціи древностей.

виды и Вильны, и Ковны, и других городов литовских и съ такими же краснорѣчивыми доказательствами. Но я еще не говорю вамъ про древніе мѣстные акты, которые въ послѣдніе годы господа поляки стараются всячески истреблять; но въ Вильнѣ сохранилось еще достаточно, чтобъ убѣдить невѣрующаго... Мы, государь мой, здѣшніе старожилы, уроженцы здѣшніе, такъ намъ исторія-то своего края доподлинно извѣстна, а что російскіе чиновники да ученые нѣкоторые такъ ужъ точно что изумляютъ насъ иногда своими взглядами! Надо чести ихъ приписать.

— Да, батюшка; это конечно все такъ,—вздумалъ возразить Хвалынцевъ,—но... чтобы судить о современныхъ намъ вещахъ, надо брать этотъ край не въ его историческомъ прошломъ, а въ его настоящемъ; ну а вѣдь настоящее, на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, представляеть здѣсь Польшу или ужъ сильное преобладаніе «польщизны», какъ вы называете это.

— Да, *преобладаніе*, я съ вами совершенно согласенъ!—сказалъ отецъ Коновичъ;—и особенно съ того времени, какъ край этотъ отошелъ подъ власть Россіи. Никто даже лучше не спосѣбствовалъ сему въ ущербъ народу, какъ русское правительство съ русскими генералъ-губернаторами!

Хвалынцевъ засмѣялся.

— Вы смѣтаете?.. Хм... Я самъ смѣяться бы сталъ, если бы не хотѣлось плакать, горько плакать, государь мой!—покачалъ головой отецъ Сильвестръ.—За доказательствами ходить не далеко-съ! Да вотъ, къ примѣру, когда не будетъ скучно, могу разсказать вамъ вкратцѣ весьма назидательную исторію хотя бы виленской православной святыни—нашей древней святыни! Есть тамъ Митрополитальный соборъ Пречистыя, то-есть *былъ* во время оно, при польскихъ короляхъ, а нынѣ въ немъ еврейскія кузницы устроены, а допрещъ кузницъ вестеринарная конюшня помѣщалась, и на такое употребленіе съ разрѣшенія правительства отдалъ храмъ Пречистыя бывшій попечитель Виленскаго учебнаго округа, князь Адамъ Чарторыйскій, тотъ самый, чѣмъ при блаженныи памяти императоръ Александръ Благословенномъ былъ русскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, а съ 31 года бѣжалъ за границу и мнилъ себя «польскимъ крулемъ» быти,—такъ и называлъ себя «Адамомъ первымъ», и паны его тоже такъ титуловали по самый день кончины, въ іюнѣ сего года.

Хвалынцевъ опять засмѣялся.

— Не вѣрите?—ухмыльнулся отецъ Коновичъ.—Оно и точно! Есть одинъ стихъ, слыхалъ я: «свѣжо преданіе а вѣрится съ трудомъ!» ну, а это вовсе даже и не преданіе, а настоящее, но незнакомый человѣкъ не то что съ трудомъ, а совсѣмъ не повѣритъ!.. Да-съ!

Или вотъ тоже,—продолжалъ онъ, послѣ нѣкотораго раздумья, все съ тою же горькой улыбкой.—Былъ въ Вильнѣ, еще даже и при русскомъ правительствѣ, храмъ Святыхъ Параскевы, «первый каменный храмъ, возведенный Богу Истинному на землѣ Литовской», какъ говоритъ лѣтописецъ; въ этомъ храмѣ покоятся останки великой княгини Маріи Ярославны, въ этомъ храмѣ императоръ Петръ Великій пѣлъ благодарственные молебны за одержанныя побѣды и поставилъ въ немъ на памятникъ потомкамъ отбитое шведское знамя, а нынѣ этотъ храмъ-то въ развалинахъ, достигнутыхъ почти искусственно, нарочно, насильно почти! Нынѣ онъ отданъ на домашнія потребности разнорѣчпамъ, и даже... срамно и вымолвить! на мѣстѣ престола Божія публичныя отхожія мѣста отведены! И это все творится на глазахъ російскихъ генералъ-губернаторовъ, при русскомъ правленіи. Ну, конечное дѣло, какъ же тутъ не убѣдиться каждому, что православіе только терпимо, а римская или польская вѣра есть господствующая, коренная въ краѣ?! И вотъ такъ-то на нашихъ глазахъ и создается историческая ложь,—тысяча неправдъ историческихъ.

— Ну, а костелы-то какъ же?—спросилъ Хвалынцевъ.

— То есть чѣмъ это «какъ-же»?—отозвался отецъ Сильвестръ.—Есть, конечно много и древнихъ, край-то вѣдь великъ! и особенно много по городамъ; да и какъ имъ не быть и не множиться, если сами правительственные лица, чиновники російской службы, говорятъ намъ иногда, что правительство интересуется здѣсь только костеломъ и ни мало не интересуется православною церковью⁴⁾. Вы изволили видѣть, какъ въ нашемъ-же мѣстечкѣ позавчера латинскій крыжъ водружали?

— Какъ-же, имѣлъ это удовольствіе,—подтвердилъ Константинъ Семеновичъ.

— Имѣли? Ну, такъ я вамъ скажу, что въ послѣдніе годы они особенно стараются поправить ихъ повсюду какъ можно больше, а при томъ еще какіе костелы великолѣпные возводятъ! Да вотъ какъ,—продолжалъ Коновичъ.—Съ 1854 года по настоящее время въ однихъ только шести западныхъ губерніяхъ возведено болѣе трехсотъ новыхъ костеловъ⁵⁾, а русскіе храмы гниютъ и разрушаются. Да зачастую случается и такъ, что умереть священникъ или выбудетъ куда, храмъ упразд-

⁴⁾ Факты несомнѣнные, документальныя, которые въ случаѣ надобности могутъ быть подтверждены даже и именами російскихъ чиновниковъ того времени.

⁵⁾ Съ 1854 по 1863 годъ возведено въ Сѣверо-Западномъ краѣ 339 новыхъ латинскихъ костеловъ, не говоря уже о томъ, сколько каплицъ и філій обращены въ приходскіе храмы, зачастую обманнымъ путемъ и безъ всякаго правительственнаго разрѣшенія

няется, или хорошо еще, коли только нѣсколько мѣсяцевъ останется безъ настоятеля, тогда какъ въ латинскихъ костелахъ — при каждомъ живеть и работаетъ на *святу справу* по три, по четыре ксендза.

— Къ чему же всё эти старанія насчетъ крестовъ и костеловъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Какъ къ чему!?—Понятное дѣло!—возразилъ священникъ.—Къ тому, чтобы придать цѣлому краю какъ можно болѣе католическую, сирѣчь, польскую внѣшность. Ну вотъ, напримеръ, хоть вы, новый, свѣжій человекъ проѣзжаете, смотрите на все это и думаете себѣ: а и вправду вѣдь страна-то совсѣмъ польская выходитъ! Но тутъ не одни проѣзжіе, а нѣчто поважнѣе, позначительнѣе въ виду имѣется: на этой внѣшности строятся политико-историческія притязанія-сь!

— Но если массы народа почти на половину остаются православными?—возразилъ Хвалынцевъ.

— Нѣтъ-съ, извините, побольше гораздо чѣмъ на половину!—оспорилъ отецъ Сильвестръ.—Да вѣдь это въ глаза-то никому не кидается, а *крижъ* ¹⁾, да костелъ—онъ, такъ сказать, вопіетъ собою. Ну, и при томъ, при императорѣ Александрѣ I, да и въ прошлое десятилѣтіе тоже, особенно въ глухую пору Крымской войны, здѣсь по всему краю большія совращенія бывали; помѣщики и ксендзы насильно, истязаніями отрывали народъ отъ церкви: бывало, батожемъ, розгами, да не березовыми, а терномъ и шиповникомъ къ костелу-то прилучили. Попъ безъ панскаго разрѣшенія не смѣлъ даже крестить крестьянскаго, православнаго младенца! Бывали примѣры, что цѣлый приходъ, въ тысячу душъ, подобными путями присоединялся къ латинству. Вѣдь здѣсь, государь мой, *костелъ* и *Польша* суть синонимы; стало-быть дѣло понятное!

И священникъ снова взволнованно заходилъ по горницѣ.

— Ну, а школы каково идутъ здѣсь?—спросилъ нѣкотораго молчанія, освѣдомился Хвалынцевъ.—Вотъ вамъ вѣрное и хорошее средство противъ пропаганды!

— Казенныя школы плохо идутъ; но панскія и ксендзовскія школки отлично,—отвѣчалъ отецъ Сильвестръ.

— Чтѣ-жь такъ?

— А то, что крестьянамъ съ костельныхъ кафедръ, не говоря уже о конфессіоналахъ, именемъ Бога запрещается отдавать ребятъ въ казенныя сельскія школы. Гдѣ православныя приходы, тамъ идутъ еще кое-какъ, но тоже плохо, потому что и посредники, и помѣщики, и станковые, и старшины иные, все это препятствуетъ, всячески придирается, тормозитъ все дѣло. Кое-какъ боремся однако. Вы

думаете, даромъ что-ли пань-то нынѣ такъ часто между собою собираются?—продолжалъ онъ снова, останавливаясь предъ Хвалынцевымъ.—Вы думаете, что это они и въ-правду для кіермаша или для полеванья понаѣхали?

— А для чего?—спросилъ Константинъ.

— Кіермашъ или полеванье — это только благовидные предлоги,—пояснилъ отецъ Сильвестръ,—а дѣло-то въ томъ, что панство да шляхтѣнство нынѣ по всему краю собирается. Это у нихъ все свои сеймики окрєгновыє ¹⁾, да поватовыє ²⁾ идутъ; все, видите-ли, насчетъ плановъ о будущемъ повстаніи совѣщаются, какъ-бы дѣйствовать дружиѣ. Это вотъ что-сь!

— Ну, чтѣ-жь, это понятно, если они общее дѣло затѣваютъ,—возразилъ Хвалынцевъ.

— Какъ-же не понятно!—отчасти злобно воскликнулъ отецъ Конотовичъ,—слишкомъ даже хорошо понятно! Одни только слѣпорожденные наши, кажись, ничего не видятъ и не понимаютъ... Да впрочемъ-что!—махнулъ онъ рукой.—Можетъ, и ваша правда, что правительство смотритъ на нашъ край какъ на Польшу, но... правительство вольно смотрѣть какъ ему благоугодно,—сила не въ этомъ.

— А въ чемъ-же?

— Въ томъ, какъ народъ нашъ будетъ смотрѣть; это главное!—вѣско и многозначительно проговорилъ отецъ Конотовичъ.—Правда, народъ забитъ, народъ задавленъ, но... пока народъ не умеръ окончательно, пока не разложился духовно, онъ только не болѣе какъ прижатая стальная пружина... повстанье отпустить эту пружину и она отпрыгнетъ! Отпрыгнетъ тѣмъ съ большею силою, чѣмъ больше ее нажимали!

Отецъ Конотовичъ произносилъ эти слова голосомъ твердаго и глубокаго убѣжденія. Сжатые брови его нервно дрожали, взоръ горѣлъ, а узловато-костистый указательный палецъ крѣпко сжатого кулака угрожающе и выразительно постукивалъ о край стола. Видно было, что внутри этого человека много и много уже и накипѣло, и наболѣло, и теперь, какъ возмущенная стоячая вода, все поднялось наружу, и, какъ вода же, крутило и мутило на взволнованной поверхности.

— Не дай Богъ, конечно, — продолжалъ онъ,—но если и въ-правду правительство станетъ продолжать глядѣть на насъ какъ на Польшу, не дай Богъ, говорю, но... не поручусь, чтобы здѣсь не повторилось нѣчто подобное галиційской рѣзнь 46 года!... Хлопъ покоренъ, но онъ свирѣлъ бываетъ!... И тогда уже самъ, помимо правительства, порѣшитъ свое дѣло!

На нѣсколько минутъ воцарилось полнѣйшее молчаніе, только и слышно было, какъ скво-

¹⁾ Крестъ.

²⁾ Окружные.

³⁾ Уѣздные

репъ встряхивался порою крыльями да канарейка, изрѣдка чиликая тихимъ, короткимъ высвистомъ, перепархивала съ донца на жердочку, съ жердочки на донце, гдѣ чистила своей носикъ и, долбя имъ, поклеивала конопляное сѣмя. Отецъ Сильвестръ, понуря голову и попрежнему заложивъ руки въ карманы подрясника, съ похмурымъ лицомъ, ходилъ по комнатѣ, а Хвалынцевъ неподвижно сидѣлъ въ креслѣ, облокотясь на столъ и подперевъ руками голову. Онъ почувствовалъ глубокую искренность и правду во всемъ, что говорилъ отецъ Сильвестръ, и глубоко задумался надъ его словами. Пелена все болѣе и болѣе спадала съ глазъ его, но вмѣстѣ съ этимъ все безвыходнѣе представлялось ему свое собственное положеніе...

— Словомъ, все ложь, ложь и ложь! вездѣ и повсюду!—проговорилъ вдругъ, какъ бы въ заключеніе всего сказаннаго, отецъ Сильвестръ, останавливаясь по срединѣ комнаты. — Это даже и не заговоръ, а просто какая-то мерзкая подпольная интрига; про Польшу — не знаю, но здѣсь, въ этомъ краѣ, по крайней мѣрѣ, одна интрига съ самыми неблагоприятными цѣлями. Съ самыми неблагоприятными даже во всечеловѣческомъ смыслѣ!

Хвалынцевъ поднялся съ мѣста подъ впечатлѣніемъ посѣтившей его мысли.

— Послушайте, отецъ Сильвестръ,—началь онъ. — Все, что вы мнѣ говорили, до того для меня ново, что я просто пораженъ!.. У насъ, въ Россіи, вѣдь никто и не подозреваетъ ничего подобнаго! Мы вѣдь и понятія объ этомъ краѣ не имѣемъ!

— Гдѣ вамъ тамъ имѣть! Стать ли тамъ, въ Россіи, нами заниматься!—съ горечью перебилъ священникъ.

— Ну, вотъ то-то-же и есть! по пословицѣ, батюшка: дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ.

— Для глухой и слѣпой матери плачь, не плачь, все едино!—махнулъ тотъ рукою.

— Ну, вотъ оттого-то, что она глуха,—подхватила Хвалынцевъ,—ей и надо кричать, погромче кричать, чтобъ услышала! Кричать всѣми силами, пока не услышитъ наконецъ. Отчего, напримѣръ, вы, зная и переживъ, и перевидавъ такъ много, между тѣмъ молчите? Не грѣхъ ли это?

Священникъ поднялъ на него удивленный взглядъ.

— А что же, по вашему мнѣнію, я долженъ дѣлать?—глухо спросилъ онъ.

— Что? Писать! печатать! во всеуслышанье, на весь грамотный людъ! Въ Россіи есть честные журналы и газеты,—они дадутъ вамъ мѣсто. Вотъ что дѣлать!

— Н-да!... вотъ оно что! — съ горько-злобною проіей ухмыльнулся отецъ Конотовичъ. — Писать, вы говорите... Хм... А я вамъ скажу, государь мой, что были у насъ эти писатели;

одного изъ нихъ я самъ даже нѣкогда лично знавалъ, но судьба его, по милости писанья, оказалась очень плачевна!.. Изъ него усердные чиновники сдѣлали яко бы шпіона, лжедоносчика, безпокойнаго чловѣка, смутяна; тягали, тягали по слѣдствіямъ, по тюрьмамъ, да и кончили тѣмъ, что административнымъ порядкомъ съ жандармами спровадили изъ края въ дальній, глухой монастырь на пожизненное заточеніе. Вонъ оно, каково у насъ писательство кончается! Да не въ этомъ сила,—прибавилъ онъ многозначительно, съ сознаніемъ всей важности и серьезности своей мысли. — У насъ стоитъ на череду настоятельное, петерпящее дѣло поважнѣе всякаго писательства. Намъ надо народъ соблюсти,—это главное. Это наша святая задача! Соблюсти его Богу и землѣ родной вѣрна и честна!... А кто блюсти-то будетъ? Все тотъ же попъ сиволапый! Видно ужъ и въ самомъ дѣлѣ говорится не даромъ, что «плебанъ для пана, а попъ для хлопа!»—заключилъ онъ уже съ мягкой полувеселою улыбкою.

Въ эту минуту въ комнату вошелъ батракъ и остановился у двери.

— Что скажешь, хлопче?

— Нѣма кѣнци, пане ойче,—объявилъ онъ. — Шукаю, шукаю ¹⁾, ажъ ниhto не вьзещъ...

— Что такъ?—удивился священникъ.

— А такъ! бо байдѣжо усѣ спалахнѣлися. Щей зъ вечѣръ соцкій хадзю по хатамъ та народъ на раду ²⁾ у паньскій дворъ сдымаю, кабъ йшли зрану.

— Что тамъ за рада? (Это на сходъ,—пояснилъ онъ Хвалынцеву.)

— А хто е зна штось тамъ такѣ,—отозвался батракъ. — Какъ я бѣгъ (бѣжалъ), такъ жиды скъзували, што бунта якъсь-то... Ажъ усѣ сяло тамъ!..

— Бунты!.. Что за вздоръ!—нахмурился, проговорилъ отецъ Сильвестръ и вопросительно поглядѣлъ на Хвалынцева.

— Гавбраць, бунта,—подтвердилъ работникъ.

— Ну, хорошо! Ступай себѣ!

Тотъ неспѣшно удалился.

Священникъ поплотнѣе приперъ за нимъ двери.

— Надо, однако, пойти посмотрѣть, узнать что тамъ такое? — берясь за шапку, сказалъ Хвалынцевъ.

— Штука извѣстная!—махнулъ рукою отецъ Сильвестръ. — Они вѣдь все теперь стараются бить на бунты! Но готовъ прозакладывать что хотите, сто противъ одного пойду,—прибавилъ онъ съ силой глубокаго и прочнаго убѣжденія,—что никакого бунта нѣтъ! Панскія штуки-съ! И будь я не попъ Сильвестръ, если все это не кончится воинской экзекуціей. Вотъ посмотрите!—Только къ тому вѣдь и клонятъ.

Хвалынцевъ дружески съ нимъ разстался и

¹⁾ Искать.

²⁾ Совѣщаніе.

пошелъ въ усадьбу съ намѣреніемъ въ послѣдній разъ, но уже рѣшительно побудить Василю Свитку къ скорѣйшему отъѣзду—сегодня-же.

XVI.

Одинъ изъ тысячи хлопскихъ бунтовъ того времени.

Подстрекаемый понятнымъ любопытствомъ, Хвалынецъ сѣбно вернулся въ усадьбу. Предъ панской конторой стояла толпа хлоповъ, состоявшая исключительно изъ однихъ «господарей» или хозяевъ, такъ какъ батракамъ и безземельнымъ тутъ нечего было дѣлать. Въ толпѣ, по обыкновенію, галдѣли и горлопанили, какъ и на всякой мірской сходѣ. На крылечкѣ стояли посредникъ въ золотой цѣпи и панъ Котырло, поэтому хлопы все время пребывали съ почтительно обожанными головами. Становой, или «ассесоръ» панъ Шпарага, который вчера тотчасъ же послѣ полеванья уѣхалъ по службѣ въ одну изъ ближнихъ волостей, а нынѣ утромъ нарочно возвратился въ Червлёны, стоялъ теперь тоже на крылечкѣ, нѣсколько позади пана Котырло и Селявы, которые хранили его здѣсь на всякій случай, какъ бы въ видѣ резерва. У самыхъ ступенекъ, предъ крыльцомъ, занимали мѣсто личности наиболѣе толковитыя и вліятельныя между крестьянами, и между ними конторскій писарь, панъ Михалъ, староста, сотскій и десятскіе, волостной писарь и волостной старшина; всѣ съ кнутиками или съ посошками, являвшими собою знакъ данной имъ власти. Панъ Михалъ избралъ свой постъ предъ ступеньками съ особенною дѣлюю—подмѣчать спорщиковъ и говорунцовъ наиболѣе несогласныхъ съ предложеніями пана и посредника. Этими спорщикамъ, въ случаѣ неблагополучнаго для хлоповъ исхода всего дѣла, конечно предстояла весьма печальная перспектива, какъ зачинщикамъ и подстрекателямъ, и хлопы очень хорошо понимали роль пана Михала, а потому косились на него крайне боязливымъ и недружелюбнымъ образомъ. Но панъ Михалъ, какъ истый панскій клеветъ, чувствовалъ всю свою силу и «потенцію», особенно въ присутствіи самого «наияснѣйшаго» пана, а потому изображалъ полнѣйшее и даже презрительное равнодушіе къ недружелюбнымъ взглядамъ и пошептываніямъ хлопской «громады».

Посредникъ уговаривалъ хлоповъ покончить съ уставною грамотою, подписать ее, согласиться съ предложеніями пана, который-де вамъ не желаетъ шкеры,—однимъ словомъ, кончить все это скорѣе, теперь же, безъ всякихъ споровъ и пререканій, за что панъ, по своей ласкѣ, жалуетъ имъ на всю громаду десять ведеръ водки.

Громада не соглашалась, и на всѣ разспросы посредника, заминалась, отвѣтствовала одно

только, что «намъ-де такъ, вапо великое величество, не згодно».

И долго Селява-Жабчинскій не могъ добиться толку, почему именно «не згодно». Громада, очевидно была себѣ на умѣ, но затруднялась высказать свои опасенія и всѣ тѣ мысли и думки, что лежали у нея на душѣ. На всѣ краснорѣчивыя и привлекательно соблазнительныя увѣренія посредника въ громадѣ высказывалось одно общее недовѣріе и сомнѣніе, которое можно было ясно прочесть на каждой хлопской физиономіи.

Посредникъ все добивался, отчего они не хотятъ подписывать уставную грамоту.

— Та што-жъ, каже, вапо великое величество, кабы мы яну знали якъсь-то яна,—отозвался наконецъ одинъ голосъ изъ толпы,—а то вавество усѣ до насъ: «пышитъ, та пышитъ», а што пысано й што пысать мы й незнаемо.

— Да грамоту-жъ, — досадливо пояснилъ Селява.

— Дакъ покажиць намъ яну.

— Та когда-жъ въ насъ вѣры нѣма?

— Э, нѣ, яснавильможный, не то, а такъ, каже... заминалась и почесывалась громада, не рѣшалась отвѣтить прямо, что дѣйствительно въ ней вѣры нѣтъ.

— Вы, панове-громада,—ласково ублажалъ Селява,—вы пану сваму вѣрте якъ пану Богу... Панъ не ошукаецъ ¹⁾.

— А такъ; мы й вѣруймо... Алежъ покажиць тую хграмоту.

Селява увѣрилъ, что это совершенно излишняя процедура, что онъ на словахъ выяснилъ имъ всѣ статьи и пункты, и что самую грамоту будутъ видѣть въ конторѣ выборные отъ громады и всѣ тѣ, которые станутъ ее подписывать и класть кресты ²⁾.

— Алежъ мы хочемо, кабы-то при усѣй громадци было,—настаивали хлопы.

Посредникъ уклонялся отъ послѣдняго требованія, и такимъ образомъ дѣло уже сколько времени не двигалось ни взадъ, ни впередъ.

Вмѣшался становой и съ начальственными покрякиваніями объявилъ имъ, что это съ ихъ стороны не болѣе какъ упрямство и явное непокорство власти посредника.

Хлопы приниженно кланялись, но на подпись грамоты, въ тѣхъ условіяхъ, какъ имъ было предлагаемо, согласія своего все-таки не давали.

— Эге, да это бунтъ, — заголосилъ панъ Шпарага.—Бунтовщики!.. Здрайцы!.. ³⁾ Въ

¹⁾ Не обманетъ.

²⁾ Неграмотные обыкновенно пишутъ своею рукою три креста, противъ которыхъ писарь отмѣчаетъ имя приложившаго руку. Таковые кресты, на основаніи закона, равносильны собственно ручной подписи.

³⁾ Измѣнники.

кайданы ¹⁾ всёхъ забью!.. Въ лозы прийму!.. Всёхъ до Сибири отправлю!.. Вы бунтовать, канальи!.. Вы власти, вы закона не слушаться, бестии!.. Вотъ я вамъ!..

Хлопы въ первую минуту оторопѣли было при видѣ поднятыхъ и угрожающихъ кулаковъ пана «ассессора» и при его неистовыхъ взвизгиваньяхъ и крикахъ, но потомъ одумались и уже молча выслушивали потокъ его угрозъ, покорно склонивъ свои обнаженные головы.

— Ну, какъ по вашему бунта, дакъ нехай бунта, а по нашему ни... Мы сваму Царю не зрадимъ ²⁾,—послышались голоса въ хлопской громадѣ.

Но однихъ возгласовъ пана станового было совершенно достаточно для того, чтобъ ихъ подхватилъ кое-кто изъ панской дворни, а отсель переняли, по принадлежности, вездѣшнiе, всезнающiе жидки — и вотъ въ какiи-нибудь четверть часа тревожная вѣсть о хлопскомъ бунтѣ успѣла уже изъ конца въ конецъ облетѣть все мѣстечко.

Дѣло межъ тѣмъ ни на шагъ не подавалось. Крестьяне смутно чужды какой-то обманъ, какую-то неправду, затѣянную противъ нихъ, и потому крѣпились и наставляли, чтобъ имъ вочию была показана уставная грамота. Рѣшились, наконецъ, вынести и показать имъ бумагу. Хлопы вытолкнули впередъ какого-то Марцина Осташеню, наиболѣе бойкаго грамотея изъ своей среды, съ тѣмъ чтобъ онъ во всеуслышанье прочелъ имъ грамоту.

— Я самъ буду читать,—возразилъ посредникъ.

— А выбачайце ³⁾, ваше великое величества, нехай вже така ваша ласка паньска, нехай Осташеня читае, бо уся громада Осташеню хоче.

Посредникъ однако уклонялся отъ этого требованiя подъ разными увертливыми предлогами и никакъ не хотѣлъ вручить грамоту смиренно выпяченному впередъ и смиренно стоявшему Осташенѣ. Оно и понятно, потому что словесный уговоръ съ громадой на разверстанiе угодiй и условiя выкупа были одни, а въ уставной грамотѣ показаны другiя, то-есть тѣ же, но съ весьма значительными измѣненiями въ пользу помѣщика сообразно съ фальшиво-составленнымъ въ его пользу имущественнымъ инвентаремъ, и это-то обстоятельство ни пану Котырло, ни пану Селявѣ не хотѣлось обнаруживать предъ хлопами. Они оба расчитывали, что съ помощью ласковыхъ уговоровъ и десяти ведеръ водки, а въ случаѣ крайности и угрозами станового, заставятъ хлопъ зря согласиться на подпись—однимъ словомъ, питали сладкiя надежды ловкимъ манеромъ

обдѣлать тепленькое дѣльце съ патриотической подкладкой, а теперь, благодаря неожиданному упрямству громады, эти надежды начинали колебаться.

Наконецъ остроумному пану Селявѣ пришла вдругъ одна недурненькая мысль. Онъ кивнулъ пану Котырло и становому, и всѣ трое удалились на короткое время въ контору для необходимыхъ совѣщанiй. Минутъ чрезъ десять оттуда вышли уже только двое: посредникъ съ помѣщикомъ, а панъ ассессоръ благодарсудилъ лучше пообождать, пока его не потребуютъ опять на крылечко.

— Ну, что жъ, панове-громада? Не упи-найтесь!—опять принимая ласковый тонъ, обратился къ міру Селява.

— А то жъ, якъ казали, то такъ и будзе,—непреклонно, хотя и съ обыкновеннымъ покорнымъ видомъ, отвѣтило нѣсколько голосовъ.

— Ну, нехай по-вашему.... Читайте.

И онъ подалъ бумагу Марцину Осташенѣ.

Тотъ небойко, но съ видимымъ старанiемъ придать какъ можно болѣе вразумительности своему чтенiю, сталъ разбирать грамоту. Громада обступила его со всѣхъ сторонъ и внимательно, боясь проронить хоть единое слово, съ открытыми ртами, съ выпученными глазами и настороженнымъ ухомъ вслушивалась въ слова, внятно произносимыя Осташеней. Только время отъ времени, когда статьи грамоты разногласили со словеснымъ уговоромъ, какой-нибудь сосѣдъ исподтишка толкалъ въ бокъ сосѣда и дѣлалъ ему выразительный взглядъ,—дескать, смекай-ко! На что другой коротко кивалъ головою: эге, моля, разумѣмъ!

Когда же чтенiе было кончено, то вся громада раздумчиво понурила головы.

— А лежъ тутъ у гхрамотци нишей пропысано!—заговорили нѣкоторые,—не такъ, якъ мы згодзились тодысь!..

— То було панъ казѣу, што Пацюровсько урочисько гля насъ адаецъ, а ципѣрачки ажъ и заусѣмъ нѣтъ яго.

— Тай лѣсу нима а-ни прѣнта, а-ни кавѣлка, а такъ саможъ казѣу...

— Тай што тамъ лѣсу! Бо дай Боже й такъ! А и волю пасвиць нима гдѣ; кабъ кѣ пастьбисько, а и то ни кавѣлка.

— А юнъ на то й низважѣя! ⁴⁾ От-што! Яму што?!

— Такѣ жицьє то горей за собаку будзе!

— Дбай. кабъ не горей! бири просто торбу та кiекъ, тай хадзи-сабѣ рабоваць гдѣ—шукай скориночки ⁵⁾.

— Отто жъ така й прауда паньска!

Но и это еще было не все, что крестьяне лишались тѣхъ луговъ, лѣса и выгона, которыми пользовались искони, при помѣщичьемъ.

¹⁾ Цѣпи.

²⁾ Не зрадимъ—не измѣнимъ.

³⁾ Извините.

⁴⁾ Не обращаетъ вниманiя.

⁵⁾ Рабоваць—просить милостыню. Скориночки—корки хлѣба. Дбай—думай, заботься.

правѣ. Въ силу уставной грамоты, большая часть ихъ поселковъ окружалась отнынѣ помѣщичьею землею, а крестьянскія пахоты отведены въ значительной отдаленности, и даже тѣ несчастныя угоды, которые предоставлялись въ ихъ пользованіе, были разбросаны Богъ-знаетъ гдѣ и какъ и почти всѣ окружены такъ или иначе панскими владѣніями, такъ что для крестьянъ (но никакъ не для помѣщика) выходила ужаснѣйшая черезполосица, при которой ужъ никоимъ образомъ нельзя было вести самостоятельнаго, правильнаго хозяйства. Потравы при такомъ порядкѣ должны быть и постоянны, и неизбѣжны, а за потравы плати безпрестанно *штрафы*, приходи въ вѣчныя столкновения съ паномъ, въ которыхъ ты всегда останешься виноватымъ... Но зато подобная несамостоятельность и вообще весь порядокъ дѣлъ такого рода былъ весьма выгоденъ для помѣщика, во-первыхъ тѣмъ, что его владѣнія были сконцентрированы, а во-вторыхъ тѣмъ, что онъ приобретаетъ отнынѣ гнетъ постоянного преобладанія надъ хлопами, которые должны будутъ очутиться у своего бывшаго пана въ изрядной-таки зависимости, съ присоединеніемъ для него новой и значительно выгодной статьи дохода отъ штрафовъ за потравы.

Сколь ни считали паны этихъ хлоповъ тупыми и забытыми, однако же хлопы сразу поняли, что эта уставная грамота затягиваетъ надъ ними мертвую петлю, что изъ огня прежней крѣпостной «панщины» они вдругъ, падаютъ теперь въ полымя новой и уже безъисходной зависимости отъ того же самого пана.

— Нѣ, ясно-являющійся, выбачайце, адначожъ намъ гэтаго подысуваць, ниякъ не можна!—заговорили въ громадѣ.—Мы хочемо, кабъ намъ аддали, што намъ самъ Царь палажиу, а большъ таго намъ не треба.

Посредникъ, казалось, только этого и ждалъ. Съ ретивостью, достойною лучшей участи, сталъ онъ увѣрять хлоповъ, что это-то самое и есть все то, что имъ слѣдуетъ по закону, по царскому Положенію, и что самая грамота строго составлена въ силу этого лишь царскаго Положенія, а что касается до обѣщанныхъ угодъ: какъ лѣсъ, луга и выгонъ, то панъ, хотя и не обязанъ по закону отдавать ихъ, но охотно подаритъ ихъ потомъ, со-временемъ, изъ своей панской милости и ласки и если онъ теперь же не оговариваетъ ихъ въ уставной грамотѣ, то только потому, что это бы было противузакономъ.

— Нѣ!... не хочемо мы таго! Не треба намъ паньскихъ подарунковъ, загалдѣтъ міръ,—а намъ што одъ Цара положѣно то бѣ намъ и даць! То бѣ мы только сабѣ и хацѣди!... Отшто!.. А одъ паньскихъ подарунковъ а-ни славы, ни ужитку! ¹⁾

¹⁾ Ни славы, ни пользы нѣтъ.

И опять идутъ новыя распинанья, что царь именно и велѣлъ отдать имъ только то, что поставлено въ уставной грамотѣ.

— А пакажиць же намъ, гдысь то іонъ пра то одпысау? У якому лісту?—отозвались хлопы.—Якъ дастѣ намъ таго лісту, за Царскими печатъмы, дакъ повѣруймо, а то нѣтъ чаго дарѣмне й балакаць ту!

Но панъ Селява-Жабчинскій, несмотря на всю свою изобрѣтательность, въ данную минуту не могъ никоимъ образомъ изобрѣсти «лісту» подобнаго сорта. Онъ обратился къ Котырлѣ и по-французски, да и то почему-то въ полголоса, сталъ совѣтоваться, что-жъ, молъ, теперь намъ остается дѣлать?!

Въ это самое время изъ толпы выдвинулось цѣлыхъ двѣнадцать человекъ и всѣ они разомъ бухнулись въ ноги предъ крылечкомъ. Это были тѣ самые, которые добровольно возжелали перечислиться въ дворовые. Бухнувшись въ ноги, они слезно стали вымаливать, чтобы Котырло «съ ласки» ¹⁾ своей панской отпустилъ ихъ снова на «господарство» ²⁾, что они передумали и желаютъ лучше выплачивать по сорока рублей въ годъ выкупа, чѣмъ по двадцати арендной платы, «абы зноу поварапицца на хлопн, бо то наша одъ вѣку батьковщина була» ³⁾.

Но тутъ панъ Котырло и разговаривать не сталъ, а просто прогналъ ихъ вонъ, сказавъ имъ, что они «дурни», своей же выгоды не понимаютъ. Актъ добровольнаго соглашенія былъ вѣдь уже подписанъ и хранился въ его бюро, стало-быть, чего-же еще ему и разговаривать? Но все-таки онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что эти дурни, представившіе собою цѣлый отдѣльный выселокъ, бросились со своими мольбами предъ цѣлою громадою, а это обстоятельство могло угрожать тѣмъ, что дальнѣйшія выгодныя сдѣлки такого рода, пожалуй, больше у него и не состоятся: охотниковъ не найдется!..

— Я знаю, чьи все это штуки! знаю, кто васъ науькалъ!—погрозилъ онъ имъ пальцемъ, вспомни ненавистнаго «схизматыцкѣго» попа Сильвестра.—Только смотрите, какъ-бы вамъ съ вашимъ учителемъ не улетѣтъ къ чертямъ, съ веревкой на шеѣ!

Затѣмъ панъ Котырло подозвалъ къ себѣ своего конторщика, пана Міхала, который все время неослабно наблюдалъ за хлопской громадою, и шепнулъ ему что-то на ухо. Тотъ удалился въ контору, и черезъ минуту, въ сопровожденіи его, выпуская дымъ послѣдней трубочной затяжки, появился оттуда панъ асесоръ.

— Такъ что-жъ, панове-громада,—возгласилъ

¹⁾ По милости.

²⁾ Хозяйство.

³⁾ Чтобы снова обратиться въ крестьянъ, потому что это искони была наша батьковщина.

при этомъ посредникъ,—не хотите по царскому Положенію сгодиться на грамоту?

— Пакажиць намъ тое Положене, штобъ мы забачили! Хоть зирнуць якось-то яно! А такъ неможна! — отвѣтили въ толпѣ.

— Такъ не хотите? — рѣшительно и настойчиво повторилъ посредникъ.

— Та што-жь, кали не згодна!

— Въ остатній разъ пытаю: не хотите?

— Не хѡчемо, ваше великое величество, поки не забачимо сами!.. Не хѡчемо!

— Пана ассессорже! — обратился Селява къ Шпарагѣ, — прошу прислушать: Высочайшаго Положенія не принимаютъ! *Высочайшаго* Положенія!.. Царскому слову вѣры не даютъ!

— Такъ не хотите? — повернулся онъ еще разъ къ громадѣ.

Въ толпѣ понуро молчали.

Селява еще разъ повторилъ свой томительный вопросъ.

Но онъ остался безъ отвѣта. Тягостное молчаніе, еще ниже пригнетая долу и безъ того уже понурия, беззащитныя хлопскія головы, всепѣло царило надъ громадой.

— Мы ждемъ остатняго слова! Отвѣчайте! — крикнулъ посредникъ.

Прошло еще одно мгновеніе колеблюшаго, мрачно-томительнаго молчанія, и вдругъ...

— Не хѡчемо! — однимъ, единодушно-отчаяннымъ вздохомъ и рѣшительнымъ воплемъ вырвалось послѣднее слово изъ груди нѣсколькихъ десятковъ хлопской громады.

Даже панъ Селява былъ пораженъ эффектомъ этого едиводушнаго вопля. На одно мгновеніе онъ даже поблѣднѣлъ и отшатнулся назадъ; но это продолжалось у него только мгновенье: онъ въ ту-жь минуту совладалъ съ собою и, окнянувъ понурую толпу холоднымъ и строгимъ взглядомъ, выступилъ шагъ впередъ.

— Э-э!.. да тутъ и точно бунтъ! — протянулъ онъ съ какой-то зловѣщей угрозой. — Такъ вы не только-что пану своему законному не покоряетесь, не только-что не признавать власти моей и пана-ассессора, но даже и Царскому указу противитесь!.. Положенія 19-го февраля не признаете... Пана ассессорже! — обратился онъ вдругъ къ Шпарагѣ, снимая свою цѣпь, — мое дѣло кончено. Начинайте! Теперь уже ваше дѣло, пана ассессорже!

Становой не заставилъ долго просить себя. Внушительно и неторопливо засучивъ рукава, причемъ изъ-подъ одного изъ нихъ очень ловко успѣлъ выпустить казацкую нагайку, онъ съ яростнымъ визгомъ, махая въ воздухѣ кулакомъ и своимъ страшнымъ снарядамъ, ринулся на толпу впередъ всею деbeleю грудью, всѣмъ откормленнымъ пузомъ, локтями, каблуками и колѣнками — и здоровая нагайка въ ту-жь минуту пошла гулять по чѣмъ ни попади... Только слышно было частое щелканіе ея о хлопскія спины, головы, плечи и груди. По

нѣсколькимъ лицамъ уже струилась кровь, на другихъ накалились полосами сине-бурые и багровые волдыри, а нагайка пана-ассессора все еще продолжала свою административную работу. Но хлопы, какъ стадо барановъ, ошалѣвъ отъ страха и боли, все пуще жались въ кучу и толкались на мѣстѣ. Изрѣдка изъ этой кучи вырывался короткій, болѣзненный стоны, слѣдовавшій непосредственно за глухимъ плыканьемъ нагайки, удары которой слышались болѣею частью въ совершенной тишинѣ, такъ что иной любитель могъ бы по ея короткому, отрывистому шелканью, сосчитать число избыточно-щедрыхъ ударовъ. Раздавался одинъ только запыхавшійся, хрипливо-визжащій голосъ становаго, который въ этомъ случаѣ, быть-можетъ вопреки польскому патриотизму, оказался весьма изобрѣтательнымъ любителемъ крѣпкихъ выраженій чисто-россійскаго свойства. Онъ словно охмѣлѣлъ отъ удовольствія щелкать нагайкой и видѣть кровь. Но какъ ни надѣдался своей глоткой, какъ не упражнялъ свои мускулы рукъ и ногъ — кромѣ молчанія, нарушаемаго изрѣдка все тѣми же короткими воплями нестерпимой боли, ничего не выходило изъ этой толпы. Хлопы все такъ-же ошалѣло, покорно толкались на одномъ мѣстѣ и жались въ кучу. Только кровавыя пятна на землѣ, на лицахъ, на одеждѣ свидѣтельствовали о примѣрномъ усердіи административной нагайки.

Наконецъ панъ Шпарага усталъ работать. По его лицу и съ широкой лысины градомъ капался избыточный потъ. Было мокро и подъ мышками и за шиворотомъ, но моціонъ всегда приносилъ ему очень большую пользу, и притомъ панъ-ассессоръ былъ вообще большой любитель рукопашныхъ работъ подобнаго рода, а тѣмъ паче теперь, когда этотъ случай, при свидѣтельствѣ посредника и Котырло, заявляя столь краснорѣчиво о его безстрашіи и гражданскомъ мужествѣ въ смыслѣ укротителя бунтовъ, давалъ ему право на большее вниманіе со стороны высшаго начальства и позволялъ даже разсчитывать какъ на пріятную и лестную награду, такъ равно и на стократное подтвержденіе и безъ того уже упроченной репутаціи примѣрнаго, благонадежнаго и благонамѣреннаго чиновника. Притомъ и въ глазахъ прекраснаго пола этотъ пассажъ могъ поставить его очень высоко въ томъ смыслѣ, что онъ одинъ — *одинъ*, лишь со своей нагайкой, ни на мгновеніе не призадумался, когда потребовалось столь мужественно, столь героически-храбро ринуться въ «громадную» толпу взбунтовавшихся хлоповъ; а извѣстно, что ни одинъ родовитый шляхтичъ, танцующій мазурку, хотя бы даже и въ шкурѣ становаго, никакъ не можетъ не принимать въ соображеніе и мнѣнія о немъ прекраснаго пола. Однимъ словомъ, панъ Шпарага вспотѣлъ, панъ Шпарага усталъ, но онъ чувствовалъ себя въ нѣкоторомъ родѣ героемъ, онъ успѣлъ съ

избыткомъ удовлетворить жгдному чувству своей административной исполнительности и потому былъ «бардзо уконтэтованы» ¹⁾).

Селява-Жабчинскій снова надѣлъ свою позлащенную цѣпь и выступилъ впередъ на мѣсто удалившагося станового.

— Такъ что вы, все еще не хотите?— возвысилъ онъ къ толпѣ свой голосъ.

Прошелъ моментъ молчанія, и вдругъ изъ всей толпы разомъ вырвался все тотъ же прежній вопль:

— Не хочемо!!!!

— Но только теперь уже въ немъ слышалась разрывающая грудь, озлобленная, непримиримая, непреклонная и остервенѣлая рѣшимость.

— Маршъ до дому, лайдаки!—затопавъ ногами, закричалъ посредникъ. — Не хотѣли добромъ соглашаться, все равно царскія казаки заставятъ!.. Москале не паны—шутить не будутъ!.. Не хотите пановъ слушать, послушаетесь царскихъ штыковъ. А то не наша вина, коли намъ приказъ такой!.. Намъ нечего дѣлать!.. Не своя воля! царскую жъ волю справляемъ!.. Пеняйте на себя теперь, а мы не виноваты... Маршъ, говорю, до дому, шельмы, неблагодарныя твари!..

И «свободные» хлопны, все такъ-же понутивъ въ безпомощномъ раздумьи свои головы, утирая «юшку» ²⁾ съ окровавленныхъ лицъ и тихо толкуя о чемъ-то межъ собою, неспѣшно побрели со двора, затѣмъ постояли немного за воротами и, наконецъ, небольшими группами стали расходиться по хатамъ.

А въ это время подъ диктовку Селявы и станового, панъ Михаль уже строчилъ донесеніе къ разнымъ подлежащимъ властямъ, учреждениямъ и начальствамъ, о томъ, якобы крестьяне Червлѣнской волости, несмотря на кроткія увѣщанія посредника, не желали подписывать уставную грамоту, на которую еще прежде послѣдовало ихъ согласіе, въ чемъ онъ усматриваетъ зловредныя подстрекательства со стороны мѣстнаго православнаго священника. Когда же, наконецъ, былъ исчерпанъ весь запасъ ласковыхъ увѣщаній и строго законныхъ предъявленій, основанныхъ на прямомъ смыслѣ «Положенія», то крестьяне выказали столь много злостнаго и закоренѣлаго упорства, что оказали открытое сопротивленіе власти посредника и станового пристава, позволивъ себѣ даже кощунственно сомнѣваться въ подлинности Высочайшаго указа и Высочайше утвержденныхъ положеній. Вслѣдствіе чего помѣщикъ находится въ справедливомъ опасеніи не только за собственность, но даже и за жизнь свою и своего семейства. «Во всемъ этомъ, къ прискорбію, нельзя не усмотрѣть, добавляло донесеніе, явныхъ плодовъ тѣхъ зловредныхъ

ученій коммунизма, социализма и отрицанія авторитета всякой власти, распространеніе которыхъ все сильнѣе съ нѣкотораго времени замѣчается въ крестьянской средѣ, а потому-де ощущается настоятельнѣйшая надобность въ самоскорѣйшей присылкѣ военной экзекуціи для огражденія собственности и личности помѣщика, а равно и для возстановленія надлежащаго уваженія къ закону и поправленной власти».

Паны, въ нужныхъ случаяхъ, подобныхъ настоящему, умѣли отлично изъясниться и даже весьма краснорѣчиво писать по-русски. Донесенія и извѣщенія тотчасъ же были отправлены съ нарочными, которымъ приказано «лупить во всѣ лопатки».

Когда Хвалынцевъ, озлобленный еще болѣе вчерашняго, по окончаніи всей этой исторіи, которую онъ видѣлъ и слышалъ только урывками сквозь окно своей комнаты, собрался было предложить Свиткѣ немедленный отъѣздъ изъ «этого проклятаго гнѣзда», предположивъ сказать ему, что въ случаѣ несогласія, онъ самъ немедленно, хотя бы пѣшкомъ, уходитъ отсюда, Свитка вдругъ, къ его крайнему изумленію, самъ сообщилъ, что они уѣзжаютъ сегодня же послѣ обѣда.

— Ну, вы обѣдайте! а я съ ними ни ѣсть, ни видѣться больше не стану! Съ меня ужъ слишкомъ довольно!—сказалъ Хвалынцевъ, ни мало не думая скрывать своего желчнаго презрѣнія.

— Ну, полноте!—съ обычной своей ухмылкой притворно и потому приторно-добродушнымъ тономъ началъ Свитка.—Смотрите вы на это нѣсколько иначе, какъ я напримѣръ... Презрѣніе презрѣніемъ, а обѣдъ обѣдомъ!

— Послушайте, — перебилъ Хвалынцевъ ухвативъ его за руку слишкомъ выразительно для того, чтобы тотъ не понялъ значенія и смысла такого пожатія. — Разъ на всегда: оставьте вы этотъ вашъ тонъ со мною... и вообще не будемте лучше вовсе говорить объ этомъ... по крайней мѣрѣ, до времени!.. Я надѣюсь, вы уважите мою просьбу!

Свитка только съ крайнимъ и нѣсколько тревожнымъ изумленіемъ посмотрѣлъ ему прямо въ лицо, что даже было противу его обыкновенія, ибо онъ избѣгалъ вообще прямыхъ взглядовъ и все болѣе косилъ внизъ и въ стороны и, не сказавъ ни слова, отвернулся и вышелъ изъ комнаты.

Константинъ сталъ собирать свои дорожныя вещи.

Спустя нѣкоторое время, казачекъ пришелъ звать его къ завтраку. Онъ приказалъ благодарить. Казачекъ удалился, и скорѣй вернулся опять, уже съ цѣлымъ подносомъ закусокъ и дымящимся кускомъ ростбифу, но Хвалынцевъ безъ всякой церемоніи послалъ его къ чорту. Тотъ вылетѣлъ еще быстрѣе, чѣмъ при-

1) Очень доволенъ.

2) Кровь.

летѣлъ, а злобствующій герой нашъ былъ радъ, что хоть на какомъ-нибудь и хоть отчасти успѣлъ сорвать кипѣвшую въ немъ злобу, сожалея объ одномъ лишь, что мало и не столь крѣпко, какъ хотѣлось, пожалъ руку своему благопріятелю Свиткѣ.

Часа полтора спустя Свитка возвратился, посвистывая и поковыривая перышкомъ въ зубахъ; весело, какъ ни въ чемъ ни бывало, въ одну минуту собрался въ дорогу—бричка уже стояла у крыльца—и обратясь къ Хвалынцеву, сказалъ, что можно ѣхать. Тотъ не заставилъ повторять себѣ этой фразы, такъ какъ былъ уже давно готовъ. Наскоро, и притомъ довольно сухо и обоудно холодно простился онъ на крыльцѣ, не входя даже въ домъ, съ самимъ наномъ Котырлю, вовсе не заботясь о томъ, насколько это вѣжливо или невѣжливо, поблагодарилъ его за гостепріимство, попросилъ передать свое почтеніе супругѣ и всѣмъ домашнимъ и, пока Свитка съ чувствомъ лобызался съ наномъ, прыгнулъ въ бричку и уже ни на что болѣе усиленно старался не обращать никакого вниманія. Поведеніе его, безъ всякаго сомнѣнія, должно было казаться крайне страннымъ, но онъ объ этомъ ни мало не заботился, напротивъ, даже испытывалъ въ душѣ своей, именно по этому самому поводу, какое-то злобное удовольствіе.

Бричка тронулась, и онъ навсегда простился съ гостепріимнымъ кровомъ Червлѣнскаго пана.

Пріятели долго молчали, испытывая каждый то-же самое неловкое чувство недовольства другъ другомъ и обоуднаго недоверія, которое испытывали уже однажды, возвращаясь вмѣстѣ съ панской охоты. Каждый чувствовалъ межъ тѣмъ, что надо, необходимо надо говорить много, долго и серьезно, что надо объясниться, наконецъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ—и оба, межъ тѣмъ, молчали, изрѣдка перекидываясь развѣ какими-нибудь ничтож-

ными фразами, не имѣвшими ровно никакого отношенія къ волновавшимъ ихъ мыслямъ и чувствамъ; даже оба притворно старались при этомъ казаться «какъ всегда», словно бы между ними ровно ничего не вышло и не прозвучало въ ихъ отношеніяхъ ни малѣйшаго диссонанса.

Въ такихъ натянутыхъ, притворныхъ отношеніяхъ прошла вся дорога.

* * *

На другой день, подъ вечеръ, остановившись въ одномъ попутномъ мѣстечкѣ кормить лошадей, они встрѣтили подымавшуюся съ привала сотню донскихъ казаковъ, которые сядились уже на своихъ поджарыхъ коней, готовясь выступить въ дальнѣйшій походъ.

— Куда Богъ несетъ?—обратился Хвалынецъ, выйдя у корчмы изъ брички, къ одному отсталому уряднику, который, запаливъ себѣ «носогріѣлку», грузно перевалился всѣмъ корпусомъ чрезъ сѣдло, взбирался на свою добрую клаченку.

— На ахсѣкудю... въ Червлѣны,—отозвался тотъ, не глядя на вопрошавшаго и не выпуская изъ зубовъ коротенькую трубку.—Но-о, ты, стерво!—рыкнулъ онъ вслѣдъ загѣмъ на свою нестоявшую смирно лошадь и, влѣпивъ ей въ бока нѣсколько здоровыхъ нагаекъ, помчался, раскачиваясь въ сѣдлѣ, въ-догонку за сотней, которая обыкновенною казачьею «ходой» удалась изъ мѣстечка съ лихою, разухабистою цѣснею.

Со донскимъ-и молодымъ-и казакомъ-да
Я бы вольной казачкой была!

съ вывистомъ и гарканьемъ раздавался хоръ здоровыхъ, дюжихъ голосовъ, уже на греблѣ, за шумящею мельницею, и тонкіе подголоски долго еще развилисто звенѣли и дрожали въ чуткомъ, вечерѣющемъ, морозно-ясномъ воздухѣ и все дальше, все тише уходили, терялись и таяли гдѣ-то тамъ, за горою...



ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Гродна и ея первые сюрпризы.

Въ городъ Гродну пріѣхали вечеромъ и остановились у Эстерки, на Мостовой улицѣ.

Едва наши усталые и разбитые съ дороги путники успѣли занять номеръ—грязноватую и припахивающую не топленою, но сажистого печью комнату съ окнами на улицу, едва успѣли внести туда чемоданъ Хвалынцева, какъ ужь осторожно пріотворилась дверь и въ ея щели показался чей-то носъ. На обстоятельство это сначала не было обращено вниманія, и потому дверь немножко скрипнула, и носъ выставился нѣсколько болѣе.

— Кто тамъ? окликнулъ Хвалынцевъ.

— То ми,—съ деликатною робостью, но въ то же время съ нагловатою настойчивостью возвыстиль голосъ, принадлежащій очевидно обладателю просунувшагося носа.

— Кто вы?

— Ми... гасшпидинъ Гершко...

И вслѣдъ за симъ носъ высунулся еще болѣе, за носомъ показалась кивающая борода, за бородкой нѣкоторый намекъ на пейсы и, наконецъ, въ комнату юркнула фигурка поджараго еврейчика и остановилась у дверей, съ нѣсколькими лукаво-почтительными, ужимковатыми поклонами.

— Чтò вамъ угодно?—спросилъ Хвалынцевъ.

При этомъ вопросѣ поджарый еврейчикъ съ нескрываемымъ удивленіемъ и даже недоумѣло выпучилъ на него глаза: онъ совсѣмъ не привыкъ къ подобнымъ деликатнымъ формамъ обращенія: *вы*, да еще *угодно*—совсѣмъ какъ-то странно и даже смѣшно выходить.

Константинъ, уже нахмурясь, внушительнѣе повторилъ свой вопросъ.

Поджарая фигурка снова стала кланяться съ тѣми же характерными ужимками и плутоватою почтительностью.

— Ми... такъ... факторъ тутѣйши, гасшпидинъ Гершко,—отрекомендовался еврейчикъ.—Можже гасшпидинъ баро-онъ сгхоче спасшійлаць куды, альбо можже сшто пакупиць—то хэто ми... ми усшѣ мозжемъ.

Хвалынцевъ объявилъ, что ему ровно ничего не нужно, но фигурка не удалялась. Она только отвѣтила покорнѣйшимъ поклономъ и продолжала, какъ ни въ чемъ не бывало, стоять у двери, высматривая чтò дѣлають, о чемъ говорятъ и какія вещи раскладываютъ новоприбывшіе.

— Чтò же вы тутъ стоите еще?—обернулся на фигурку Хвалынцевъ.

— Ми... такъ... можже тенъ панъ цосъ потшебѣе? ¹⁾—пронирливо вильнулъ Гершко носомъ и глазами на Свитку, словно бы какимъ-то инстинктивнымъ нюхомъ угадывая въ немъ поляка.

— Ниць, муй коханы!

«Гасшпидинъ» Гершко опять наипочтительнѣйше поклонился на это, но опять-таки настойчииво, хотъ и плутовато-смиренно, продолжалъ занимать свой цосъ у двери и высматривать всякую малѣйшую мелочь своими хитрыми, внимательными глазами.

Хвалынцевъ вопросительно-строгимъ взглядомъ окинулъ назойливаго еврея.

— Можже для гасшпидинъ баро-онъ сшаме-ва-аръ, то ми мозжемъ приказаць.

¹⁾ Можетъ этому пану что-нибудь потребуется.

— Уже приказано.

— То ми можемъ изновъ сшказаць, кабъ найскорѣйшъ.

— Ненужно!

— Н-ну, то хай такъ.

Факторъ не удаляясь выждалъ подходящую минуту и снова заявилъ о своемъ присутствіи:

— А може панъ герба́ту піе зъ румемъ, або съ ара́кемъ, чи зъ коньякемъ, чи то зъ сокемъ лкимъ, то усшѣ хэто можемъ.

Хвалынцевъ наконецъ съ весьма рѣшительнымъ видомъ сталъ наступать на еврея.

Тотъ чуть замѣтилъ этотъ маневръ, какъ въ то же мгновеніе юркнулъ за дверь, въ послѣдній разъ кивнулъ изъ-за нея своимъ носомъ и спѣшно захлопнулъ за собою половинку. Но не прошло и трехъ-четырехъ минутъ, какъ пылливый носъ изъ-за двери показался снова, а вслѣдъ затѣмъ и вся поджарая фигурка «гасшпи-дина» Гершки очутилась на прежнемъ своемъ мѣстѣ.

— Опять вы тутъ?! — крикнулъ Хвалынцевъ, смѣясь и досадуя въ одно и то же время.

— Живните!.. Мы вамъ одного спшлова гхочемъ сшказаць. Може вы лѣубите музикумъ спшлюштить, то ми до васъ переведемъ одного какогхо еврей, катори вамъ и на сшкрипка, и на віоля, и на флю́тка, и на губы якъ на тромбо-онъ зыграе... И такъ дазже отченъ даволна гхарасшью-о!.. И мазуречка, и полка, и зъ оперу, и зъ увертуру, и усшѣ сшто ни схочите!.. И па русшкку «па матушкку» засшпѣва, и «ай гевалтъ Насштасья», и усшѣ.

— Какую тамъ «па матушкку?» — разсмѣялся Хвалынцевъ.

— Н-ну, какъ зже жъ піѣтъ? — съ достоинствомъ увѣренности возразилъ еврей. — Гасшпинъ баро-онъ сшамъ русшкки; а сшамъ не зжнайтъ?.. «На низъ па матушкку», такой есть піѣсень... Н-ну, ф-фэ!.. Гасшпинъ баро-онъ усшѣ изжнайтъ! — подмигнувъ онъ съ любезной плутоватостью, — ви такъ толки изъ намъ сшпміѣтся, а ви усшѣ изжнайтъ!

— Убирайтесь вы съ вашей музыкой и съ матушкой, и со всѣмъ, и съ потрохами своими! — крикнулъ Хвалынцевъ, широко растворяя ему дверь и компчески-церемоннымъ жестомъ приглашая выйти вонъ изъ комнаты.

— Н-ну, какъ не нада, то хай такъ! — ужимковато поклонился сынъ Израилевъ и съ покорнымъ вздохомъ вышелъ изъ номера.

Но и этимъ еще не кончилось.

Черезъ малый промежутокъ времени дверь снова пріотворилась и во всей послѣдовательности произошло повтореніе прежней процедуры осторожнаго появленія носа, пейсъ, мигающей бородки и прочаго, пока фигурка Гершки сполна не очутилась на обычномъ мѣстѣ.

— Еще чтѣ такое?!.. Вѣдь это ужъ, наконецъ, просто ни на что не похоже!

— Живните!.. поспѣшилъ предупредить герръ-факторъ. — Ми вамъ ище одного спшлова имѣемъ сшказаць... Отченъ важнйи и деликатни закратъ!

И онъ съ плутоватой усмѣшкой подмигнувъ Хвалынцеву, приглашая его приблизиться къ себѣ на кратчайшую дистанцію.

— Ну, чтѣ за секретъ? Говорите!

— Пардонъ, мусшье! усшлюхъ не можна! — нѣсколько освоившись, и потому уже съ извѣстнаго сорта шутивымъ заигрываньемъ возразилъ «гасшпинъ» Гершко. — Какъ ми зжнакомѣ изъ отчинъ гхардесши баро-оны и гасшпида, и какъ насъ изнайтъ гхграфъ Валицки и гхграфъ Косаховски, и панъ Пешепендовски, и панъ Цержиньски, и кхнязь Щеремисовъ, и усшѣ ингераль и пулковники, и усшѣ гхусша-ары и вуляны, и усшѣ гасшпида оффици-иръ, и усше панство...

— Ну, да ладно! безъ прелюдій!.. Въ чемъ дѣло-то? — нетерпѣливо перебилъ Хвалынцевъ.

Гершко лукаво поманилъ его и пальцемъ, и глазомъ, и головой, и даже плечомъ поближе къ себѣ, и когда Константинъ приблизился къ нему на желанное для герръ-фактора разстояніе, то-есть когда онъ уже слишкомъ ясно ощутилъ характеристичный запахъ «цыбульки», чернушки и жидовскаго поту, — герръ-факторъ съ большою таинственностью, улыбаясь и подмигивая, сталъ сообщать ему свой «деликатни закратъ», на соблазнительность котораго онъ сильно рассчитывалъ и потому все время держалъ его въ запасъ къ послѣднему концу, какъ средство, противу котораго, по мнѣнію Гершки, устоять невозможно и которое, стало-быть, достойно вознаградить всѣ его факторскіе труды, предложенія и услуги.

— Убирайся ты къ черту со своими деликатностями! — вдругъ мѣняя *вы* на *мы*, внушительно топнулъ на него Хвалынцевъ. — Ничего не нужно! Слышишь-ли? Вонъ пошелъ!

Герръ-факторъ вздохнулъ, покорно пожалъ плечами: какъ, молъ, вамъ будетъ угодно! и быстро метнулъ на всѣ предметы послѣдній внимательный разбѣгающійся взглядъ, которымъ въ такомъ совершенствѣ, кажется, только и умѣютъ владѣть одни лишь сыны Израиля.

— Живните!.. До свшданья вамъ! — разочарованно и даже съ видомъ обиженнаго достоинства проговорилъ онъ, отвѣшивая поклонъ, и съ явной неохотой, неторопливо удался изъ номера.

Послѣ этого уже никто не нарушалъ спокойствія нашихъ путниковъ. Печка была имъ топлена, самоваръ принсенъ и, напившись чаю, они улеглись съ миромъ. Хвалынцевъ, съ дороги, чувствовалъ себя достаточно-таки усталымъ и потому какъ улегся, такъ почти тотчасъ же и захрапѣлъ богатырскимъ сномъ, предавая въ безнаказанную жертву голоднымъ жидовскимъ клопамъ блохамъ свое брѣнное гѣло.

Проснувшись по-утру отъ яркаго солнца, которое сквозь незавѣщенное окно до рѣзи въ глазахъ било ему прямо въ лицо своимъ холоднымъ ноябрьскимъ блескомъ, онъ морщась и щурясь, протянулъ руку къ столу къ папироской и карманнымъ часамъ. Стрѣлки показывали уже безъ десяти минутъ девять.

— Однако, здорово выспался! Чуть не двѣнадцать часовъ сряду!.. Свитка!—громко окликнулъ онъ,— вставать пора! Уже девять!

Но, поднявъ вслѣдъ за этимъ съ подушки свою голову, онъ къ удивленію увидѣлъ, что Свиткина постель уже пуста, а самого Свитки въ комнатѣ и духу не пахло: Богъ его знаетъ, когда и какъ успѣлъ проснуться, потихоньку одѣться и еще тише улизнуть изъ номера. Хвалынцевъ только присвистнулъ: «фи фюю» и закурилъ папироску. Яркое солнце такъ весело било въ окна, съ улицы такъ суетно доносился давно уже неслышанный гомонъ и шумъ городской жизни, а продолжительный покойный сонъ такъ бодро и освѣжительно подѣйствовалъ на весь молодой, здоровый организмъ Хвалынцева, что ему ужасно какъ захотѣлось скорѣе встать, умыться, одѣться и весело сбѣжать внизъ на улицу, чтобы безъ дѣли потеряться въ шумъ и движенія ея жизни, при этомъ веселомъ, хоть и не грѣющемъ солнечномъ блескѣ.

Закуривъ папироску, онъ сталъ глазами искать софетку, но таковой слѣдъ не оказалось. Въ корридорѣ, между тѣмъ, слышалось чье-то поминутное, проворное шмыганье башмаками по полу и мѣрный, шаркающій звукъ чищенія сапогъ. Онъ крикнулъ человѣка. Никто не откликнулся. Онъ въ другой разъ посильнѣе, и вслѣдъ за тѣмъ въ третій еще громче; но результатъ былъ столь же безуспѣшенъ, какъ и съ перваго разу. Тогда, нечего дѣлать, босякомъ вскопалъ съ постели и пріотворилъ дверь въ холодный корридоръ. Человѣкъ, почти тутъ-же, въ какихъ-нибудь пяти шагахъ, флегматично чистилъ чьи-то сапоги. Чертыхнувшись съ досады на глухую тетерю, Константинъ кликнулъ его къ себѣ въ номеръ и приказалъ подать умыться. Глухая тетеря, не-хотя, процѣдила сквозь зубы: «заразъ» и, какъ ни въ чемъ ни бывало, продолжала свое дѣло. Продрогавшій Хвалынцевъ поспѣшилъ юркнуть подъ теплое одѣяло. Но не прошло и двухъ минутъ, какъ словно-бы по вчерашнему, съ легкимъ скрипомъ, осторожно пріотворилась дверь и опять показался изъ ея щели чей-то пронырливый носъ и кивающая бородка.

— Дѣтки, мидло, вода колѣньска, щѣтки, гхребѣонки, пемада, сшями какъ ни нада наилучши, парижеки... скороговоркой пробормоталъ чей-то горланый голосъ, но только не Гершкинъ, и вслѣдъ за этимъ съ тремя коронами неторопливо, но настойчиво вползъ горба-

тенькій еврейчикъ, и покланяся Хвалынцеву, очень серьезно произнесъ:

— Зждрасштуйте вамъ!

— Чтѣ тебѣ?— съ нетерпѣливо досадливымъ вопросомъ поднялъ тотъ голову.

— Мидло, пемада, белявки, сшкарпѣтки, дѣтки, вода колѣньска, антраментъ ¹⁾...

— Слыхалъ, слыхалъ!.. Убирайся къ чорту!

Еврейчикъ только поклонился, но къ чорту убираться и не подумалъ, а напротивъ, систематически, аккуратно принялся развизывать и раскладывать всѣ свои три короба.

— Ничего не куплю! Слышишь-ли? Ничего!.. Все это совершенно напрасно!

— Н-ну, хай, ничегх!.. Хай толки панъ такъ пасшмотриць.

— Лучше убирайся! Напрасный трудъ!

— Н-ну и сшто зъ тогху пану? Хай напрешни! Алезжъ мой трудъ, не паньски! У пана очи не вивалицца, якъ панъ забачиць.

Противу столь философскаго аргумента Хвалынцевъ не нашелъ никакого возраженія и, пока не придетъ человѣкъ съ водою, рѣшился терпѣливо выносить назойливое присутствіе горбатенькаго еврейчика.

— Ни мидло, ни колѣньска вода, ни дѣтки ни пемады парижеки пану не потсѣбне?

— Сказано разъ не надо.

— А гхарѣсше мидло!.. и сшкарпѣтки гхарѣсши! Французски! Ну, а може плѣтки батыстови?

— Не надо!—слегка сgrimасничалъ Константинъ, котораго однако начинала нѣсколько развлекать эта болтовня.

— Ну, это може пачтѣва бемагха? шургучъ кувѣрты? пѣрье въ сшталной?

Хвалынцевъ только молча отряпательно мотнулъ головой.

— Може гѣлки, белявки, нитки ангѣльсшкі, — продолжалъ еврейчикъ, выкладывая все больше и больше свой безконечный хламъ.—Зжѣпенки, гудзики, педтяшки, перечинна нѣ-озжикъ, бпсержъ?..

— Ну, на какого-же дьявола мнѣ твоего бисеру? Ну скажи пожалуйста!—отозвался Константинъ.

— Н-ну, то може вакса ангѣльсшка?.. Запалки вѣньски? Перешокъ въ жкубы пану?

— Ничего мнѣ не надо! Понимаешь-ли ты?! Русскими словами говорю тебѣ: ничего ровнѣхонько!

— Н-ну, и сшто зжъ ви гхля мине ни якого гандлу не хочише изждѣлаць?.. Дайце зжъ минѣ хоць трошѣчку тарговаць одъ васъ... Скѣдова минѣ зжиць? Я зжъ бѣдны еврей!.. Никакой гешѣфтъ махенъ невозможна такъ!

— Да мнѣ-то какое дѣло! — разсмѣялся Хвалынцевъ на эти укоризненные притязанія.

— Ой-вай! Каму зжъ и дѣло какъ не вамъ?.. Такі гхарѣсши гашшпда!

¹⁾ Чернила.

Еврейчикъ въ колеблющемся раздумьи за-
медлился на одну минутку.

— Н-ну, жэвните, гасшпидинъ! — рѣши-
тельно и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественно-таин-
ственнымъ тономъ заговорилъ онъ, снова при-
нимаясь рыться въ коробкахъ. — Тѣразъ я
гхля васъ ймѣю такого товаръ показаць,
такого товаръ... ай-вай, какой! Такой снго
ни якимъ сншасобемъ не мозжна не паку-
ницъ!.. Жэвльте пасшматрѣць! Хоць зъ аднимъ
гязкомъ пасшматрѣць!

И онъ съ заранѣе торжествующимъ видомъ
вытащилъ предосудительнаго содержанія фо-
тографическія карточки и еще нѣкоторые, хо-
рошо извѣстные въ секретной продажѣ, пред-
меты.

Очевидно, что эти послѣдніе товары, словно
какъ и у Гершки его вчерашній «деликантъ
закрѣтъ», составляли для горбунка крайній
резервъ, долженствовавшій дѣйствовать неот-
разимо. Но каково-же было его изумленіе и
испугъ, когда Хвалынцевъ, мелькомъ взгля-
нувъ на всѣ эти прелести, вдругъ не шутя
закричалъ ему:

— Убирайся ты къ чорту съ этими мер-
зостями!.. Вовъ!

Жидъ торопливо подобралъ кое-какъ въ
охабку всѣ свои разбросанные по полу товары
и спѣшно вышмыгнулъ изъ комнаты. Но...
сердце не камень! Полминуты спустя, еврей-
скій носъ опять просунулся въ скрипнувшую
дверь и гортанный голосъ снова затараторилъ
скороговоркой:

— А може гальштуки пану? Сшарпѣчки,
ренкавички, карватѣлки?.. А?

Но на этотъ разъ съ сильнаго размаху пу-
щенный въ дверь сапогъ заставилъ спѣшно
ретироваться іудейскій носъ—и дверь затво-
рилась.

Но испытаніе этимъ не кончилось: почти
вслѣдъ за горбункомъ явилась «мадамъ Сорка»
съ холстомъ подъ мышкой и картонками въ
пятерняхъ, гдѣ у нея были «манѣчки, фокд-
ли, чѹлки, плѣтки, ленты» и прочій товаръ
подобнаго рода; явился Янкель-перчаточникъ
съ предложеніемъ своихъ услугъ; явился ча-
совщикъ какой-то:—«А може пану часи на-
чиниць?»—Не надо! — «Ну, то хоць пасшма-
трѣць пазжвольте!» И едва этотъ вылетѣлъ за
дверь, какъ показался какой-то Ицекъ и пред-
ложилъ «щигѣрке контрабандовы», и все
приставалъ, чтобы взять у него хотъ «одногхо
щигѣрке на перѣба, бо такой щигѣрке снго и
самъ Напольонъ не куриць и на цалы Гам-
бурхъ такой не знайци!» Сѣдой старикъ про-
крался тихохонько, съ красноватыми слезя-
щимися глазками и съ пожелтѣлыми отъ вре-
мени пейсами. Этотъ изображалъ изъ себя
несчастнаго — «тѣки сляби сштарушекъ» — и
со вздохами, назойливѣйшимъ образомъ при-
ставалъ «пакуницъ» у него янтарные мунд-

штуки, янтарныя бусы, сережки, брошки, ко-
лечки, запонки — все это «янтарѣве, буршты-
новѣ, чи то рогѣве», и все это ровнѣхонько
никуда не пригодное дорожному человѣку; но
«сшляби сштарушекъ» такимъ несчастнымъ то-
номъ просилъ «пакуницъ» у него хоць снго-
нѣбуць», дать ему «одъ добры гасшпидинъ хоць
на хлѣбъ заработаць», что Хвалынцевъ—куда
ни шло — купилъ за рубль серебра дрянной
мундштучникъ, вся цѣна которому была трид-
цать копеекъ. Но въ таковой его щедрости
крылось и его наказаніе, не замедлившее тот-
часъ же проявить свою кару. Какъ только жиды
пронюхали, что «сшляби сштарушекъ» сдѣлалъ
такой богатый, такой «вѣгодни гешефтъ», от-
куда ни возьмись ихъ явилась цѣлая куча: тутъ
былъ и портной, и сапожникъ и «щирульникъ»,
и еще одинъ старушекъ «оптыкъ» и мозольный
операторъ въ одно и то же время, который при-
ставалъ, чтобы «пакуницъ» у него «окуляры»,
или позволить вырѣзать мозоль, или по крайней
мѣрѣ хотъ пластырь наложить; тутъ были и
старые, и малыя, и мадамъ Хайка, и мамзэлъ
Мерка, и Ривка, и Рашка, и Баска и Лейка—
«и усшѣ зъ насшихъ, съ тутѣйшихъ, съ грод-
нѣнскихъ, и усшѣ такой гхарошій мадамы!»
Нужды дѣтъ, что Хвалынцевъ былъ въ одномъ
нижнемъ бѣльѣ: «мадамы» этимъ не стѣснялись
ни мало, «абы гандель зрѣбиць!» Мадамъ Сор-
ка—такъ та даже подошла къ нему и на ощупь
осмотрѣла качество холста его «невыразимыхъ»
причемъ заявила, что у нея «найлѣпшій одъ
этого!»

— Но этому конца не будетъ! — взбѣсился
наконецъ Хвалынцевъ, потерявъ уже остатки
послѣдняго терпѣнія. — Вонъ!.. Къ чорту!..
Всѣ!..

И для пущей вразумительности онъ ухватилъ
за спинку первый попавшійся стулъ и размах-
нулся имъ въ направленіи рода Израилева.

Радикальная мѣра эта подѣйствовала. Гас-
шпида, мадамы и мамзэли мигомъ повывлетѣли
въ корридоръ, и Константинъ, захопнувъ за
ними на ключъ свою дверь, избавился наконецъ
отъ нашествія іудейскаго.

Умывшись, онъ присѣлъ къ столу, наскоро
сдѣлать свой туалетъ, какъ вдругъ въ это са-
мое время со звономъ и дребезгомъ посыпались
на полъ осколки стекла и вмѣстѣ съ этимъ
что-то тяжелое влетѣло въ комнату и удари-
лось неподалеку отъ Хвалынцева. Онъ огля-
нулся вокругъ: пара стеколъ въ двойной рамѣ
была выбита камнемъ, пущеннымъ сюда съ
улицы, и самый камень, съ дѣтскій кулакъ ве-
личиною, лежалъ посреди комнаты.

Первымъ движеніемъ Хвалынцева было под-
скочить къ окну, чтобы посматрѣть, кто это
изволитъ заниматься такими милыми шалостя-
ми; но на улицѣ все было суетно-спокойно,
какъ и всегда: люди шли—каждый по своему
дѣлу, каждый самъ по себѣ, а выбитыхъ сте-

кожь, кажись, и не замѣчалъ никто: никакой кучки на противоположномъ тротуарѣ не стояло, никакихъ мальчишекъ не бѣгало. А между тѣмъ камень несомнѣнно пущенъ съ улицы.

Вошелъ нумерной съ выпяченными плечемъ,—но безъ особеннаго удивленія взглянулъ на выбитыя стекла и какъ-то странно улыбнулся про-себя. Отъ Хвалынцева не ускользнула мимолетная игра его фizioноміи.

— Что жъ это наконецъ такое?.. То жиды въ дверь, то камни въ окно!—сталъ говорить онъ съ чувствомъ понятнаго негодованія.

— А по жь, сшибу ¹⁾ выбили,—равнодушно замѣтилъ нумерной, какъ бы выражая своимъ тономъ, что — что-жъ тутъ такого? Ничего, молъ особеннаго не случилось; такъ, молъ, и должно это быть; и ничего удивительнаго тутъ нѣту!—Затѣмъ, поднявъ съ полу камень, онъ съ тѣмъ же равнодушіемъ и апатичной улыбкой сталъ его разглядывать и прикидывать на вѣсъ:

— А дужы-таки... Ого!.. Цѣнжки!.. ²⁾

— Кто это занимается у васъ такими шутками?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Альбо я вѣмъ?—пожалъ плечами лакей.—То не шутки, а такъ бываетъ. На прешлей недѣли то такъ само жъ повибивали... то для тѣго, жебы москалювъ не пршіймывать до готѣлю.

«А, такъ вотъ оно что!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «Это, значитъ, не простая случайность, что камень попалъ сюда, а потому-то именно и сюда, что здѣсь москаль стоитъ, и непросто уличная мальчишеская шалость, а сознательная мерзость съ политической подкладкой... Недурно!»—И глядя на это спокойно-равнодушное и отчасти насмѣшливо улыбавшееся лицо поляка-лакея, Константину показалось, что панъ-лакей какъ будто весьма даже доволенъ, что произошелъ такой казусъ.—«А можетъ быть», подумалось ему, «тутъ дѣло и не безъ того-таки, чтобы ему не было извѣстно, кто именно пускаетъ камни въ окна нумеровъ, занимаемыхъ москалями».

— Что жъ теперь дѣлать? — пожалъ онъ плечами, глядя на пустой переплетъ, сквозь который съ улицы тянуло весьма чувствительнымъ холодомъ.

Панъ-лакей, въ отвѣтъ, и себѣ тоже пожалъ плечами.

— Альбо-жъ я вѣмъ?—процѣдилъ онъ сквозь зубы все съ той же полускрытой насмѣшкой.—То для тѣго же панъ есть москаль,—съ наглостію было прибавлено имъ вслѣдъ за симъ, ради пушаго поясненія.

Хвалынцева скребануло за сердце такое чувство, видимымъ проявленіемъ котораго должна бы была быть непосредственная про-

гулка палки или чего ни поало по нагло-спокойной и какъ бы вызывающей фizioноміи пана-лакея. Но онъ сдержалъ въ себѣ такой «нецивилизованный и антигуманный» порывъ и, проглотивъ пилюльку, рѣшился сдѣлать видъ будто не слышалъ или не понималъ того, что было ему сказано, и это, конечно, было самое благоразумное, потому что поднять исторію съ паномъ-лакеемъ, который вдобавокъ, кажись, весьма желалъ этого, было бы, во всякомъ случаѣ, весьма некрасиво.

— Есть у васъ, по крайней мѣрѣ, другіе нумера, въ которые нельзя пускать камня?—спросилъ онъ, примѣтно начиная ощущать рѣзкій холодъ, сквозь голландскую сорочку.

— Такихъ нѣма... ве впиетке можно, — ухмыльнулся лакей.

— Все равно, какой нибудь другой номеръ!—Не сидѣть же здѣсь въ холоду!

— Нѣма... заѣнты!—коротко и какъ бы нехотя отвѣчалъ тотъ.

Хвалынцевъ снова ощутилъ въ себѣ непохвальный, дикій зудъ «нецивилизованнаго и негуманнаго желанія». Онъ испытывалъ чувство личнаго раздраженія, личной злости противъ пана лакея, а въ то же время стыдился въ душѣ этого чувства и отнюдь не желалъ выказать, что панъ-лакей можетъ стать съ нимъ какъ-бы на одну доску, можетъ его раздражить, задѣть за живое, подзадорить и вызвать, сообразно своему желанію, на скверную исторію; а что у пана-лакея было такое желаніе, Хвалынцевъ понималъ очень хорошо и нимало въ томъ не сомнѣвался.

— Пожалуйста, чтобы стекла были сейчасъ-же вставлены,—сдержанно и, вопреки своимъ ощущеніямъ, даже мягко сказалъ онъ. — По крайней мѣрѣ, къ тому времени, какъ я вернусь, чтобы это было уже сдѣлано.

Лакей молча повернулся и пошелъ къ двери.

— Вы слышите-ли и понимаете-ли, что я сказалъ вамъ?—возвысилъ голосъ Хвалынцевъ уже до предѣла внушительной строгости.

Лакей обернулся, кивнулъ въ отвѣтъ головой и вышелъ.

Дрожа отъ холоду и наскоро одѣвшись, Константинъ Семеновичъ въ непріятномъ, раздражительномъ состояніи духа вышелъ на улицу.

II.

Похороны пѣкогого «почтивега чловѣка».

Солнце сіяло все такъ-же ярко и весело. Въ воздухѣ пахло легкимъ морозцемъ, отчего, казалось, и самое движеніе на улицахъ становилось какъ-то живѣе, веселѣе, словно-бы это солнце подбодряло и людей, и лошадокъ извозчичьихъ, и собакъ, бѣгавшихъ стаями, и свиней, разгуливавшихъ по улицамъ въ спокойствіи безмятежнаго созерцанія сточныхъ ка-

¹⁾ Стекло.

²⁾ Тяжелый.

навокъ. Со всѣхъ сторонъ слышался гортанный, неугомонный говоръ евреевъ; особенно-же еврейки, сидя на жаровняхъ, у дверей своихъ пестрыхъ и грязно-тѣсныхъ лавченокъ, шумно перекикались и переговаривались съ сосѣдками тѣмъ особеннымъ, свойственнымъ только еврейскимъ женщинамъ звукомъ голоса, который очень напоминаетъ утиное криканье, когда цѣлое стадо этихъ птицъ сойдется пополоскаться у деревенской лужи. Еврейскій говоръ господствовалъ здѣсь вездѣ и повсюду. Жидовки, по большей части, сидѣли у лавченокъ и занимались «гандліемъ», а жиды шныряли по всѣмъ направленіямъ, топотались на узенькихъ тротуарахъ, сталкивались другъ съ другомъ и столкнувшись тотчасъ-же начинали между собой безконечные разговоры. Казалось, что всѣ они знали другъ друга, всѣ были другъ съ другомъ знакомы, родственны и другъ другу пріятны и достоблюбезны, и каждый до другого имѣлъ какое-либо безотлагательное дѣло. Но это только такъ казалось. Въ сущности-же никакого дѣла не было, а въ этихъ шныряньяхъ, сталкиваньяхъ и разговорахъ выражалось одно лишь вѣчное стремленіе къ удовлетворенію неодолимой еврейской потребности, которая можетъ быть названа потребностью къ непосѣдливости, къ вѣчному движенію и къ ненасытному любопытству. Сбивъ на затылокъ свои шапки, и непремѣнно не иначе какъ на затылокъ, — съ тростью въ рукахъ, на которую однако ни одинъ изъ нихъ никогда не опирается, а просто несетъ ее, ухватившись за середину палки, и помахиваетъ да поигрываетъ ею; въ вѣчныхъ длинныхъ хламидахъ, въ нанковыхъ сѣрыхъ или черныхъ длиннополыхъ сюртукахъ, или въ такихъ-же пальто, съ низкой таліей, сыны Израиля цѣлый день шатаются себѣ по улицамъ и вынюхиваютъ нельзя-ли гдѣ, какими-нибудь судьбами, сдѣлать какой-нибудь «гешефтъ». И нужды нѣтъ, что «гешефтъ», этотъ, вовсе не собразно трудамъ и хлопотамъ, принесетъ ему какую-нибудь полупшку прибыли: еврей и тѣмъ доволенъ, потому что у него ужъ такая естественная потребность, какъ воздухъ, какъ пища, чтобъ «айнъ гешефтъ махенъ!» Это какая-то страсть, безкорыстная любовь къ «гешефту» ради «гешефта», своего рода искусство для искусства.

Хвалынцева развлекало это юркое, пестрое и говорливое движеніе. Гродна показалась ему городомъ очень многочленнымъ и оживленнымъ самою кипучею дѣятельностью. Оно и немудрено, потому что доселѣ онъ присмотрѣлся къ однимъ лишь великорусскимъ городамъ, гдѣ и въ десятую долю нѣтъ такой уличной жизни, и гдѣ поэтому кажется все такимъ сонливымъ, безмятежно-валымъ и мирно-апатичнымъ.

На площади, предъ гауптвахтой, стояли

возы съ дровами и разными сельскими продуктами, а въ смежной улицѣ бабы, разсѣвшись на тротуарахъ и занявъ своими товарами все ихъ пространство, продавали горшки, корыта, капусту, картофель, лукъ и прочую овощь. Въ этихъ двухъ послѣднихъ мѣстахъ къ еврейскому говору замѣтно примѣшивалось уже и хлопское, бѣлорусское «дзяканье». Тутъ, по площади, кромѣ «штучныхъ» продавцовъ-евреевъ, носившихъ на рукахъ кто сапоги, кто гору картузовъ, кто ворохъ всякаго платья, толклись и бабы, и «хлопы», и мѣщане, и солдаты, и вообще всякій сѣрый людъ, неопредѣленный съ виду городского или подгороднаго характера.

Хвалынцевъ прошелъ мимо рядовъ и ратуши и вышелъ на лежавшую передъ нею площадку, носящую прозаическое имя «Телятника». Эта площадка со всѣхъ сторонъ была обрамлена аллеей великобѣльныхъ, вѣковыхъ пирамидальныхъ тополей и составляла любимѣйшее мѣсто городскихъ прогулокъ. Налѣво предъ Хвалынцевымъ, за древнею каменною оградой, приспособленною къ помѣщенію въ ней торговыхъ рядовъ, возвышалось высокое бѣлое зданіе православнаго собора, отчасти въ готическомъ вкусѣ, безъ куполовъ, — къ чему такъ не привыкъ великорусскій глазъ, — но зато съ высокой остроконечной башней, которуй, впрочемъ, далеко нельзя назвать красивою. Направо же отъ Константина, изъ-за высокихъ тополей, казалось, взлетали на небо двѣ очень изящныя башни католической «фары», изукрашенные колонками и разными завитками да орнаментами въ родѣ вазоновъ, съ исходящими изъ нихъ остроконечными листьями; изъ-за этихъ башенъ виднѣлась темная масса тяжело насаженного главнаго купола. Фара на видъ казалась довольно изящной и дѣлала пріятное впечатлѣніе. Рядомъ съ нею виднѣлось угрюмое грязно-желтое зданіе по-іезуитскаго монастыря, похожее болѣе на тюрьму, стѣны которой впрочемъ бѣлѣлись тутъ же, въ ближайшемъ сосѣдствѣ. На тополевою площадку, со стороны, противоположной ратушѣ, выходилъ рядъ разнокалиберныхъ, крытыхъ черепицею домовъ, стѣны которыхъ, окрашенные то въ голубую, то въ зеленую, то въ розовую, то въ желтую краску, помнили еще времена Стефана Баторія, Зигмунда-Августа и Владислава IV. Отъ всего этого на взглядъ такъ и вѣяло почтенною, сѣдою древностью, городовыми привилегіями, шляхетскою крѣпостью и магдебургскимъ правомъ временъ «Ржечи Посполитой».

Разбѣгаясь глазами на весь этотъ пестрый видъ и движеніе, которые сосредоточились на такомъ тѣсномъ, небольшомъ пространствѣ, Хвалынцевъ по-неволѣ увлекся новостью картины, новостью производимыхъ ею впечатлѣній, и это помогло ему окончательно стряхнуть съ

себя то неприятное расположение духа, съ которым онъ вышелъ полчаса тому назадъ изъ своего номера.

Подойдя поближе къ фарѣ, Константинъ увидѣлъ предъ нею довольно большую толпу, состоявшую преимущественно изъ мужчинъ, и между ними виднѣлось нѣсколько «чамарокъ» бекешъ и пальто, которые, въ силу «краёвой» моды, были по большей части, со шнурками, переплетенными на груди въ родѣ какъ у гусаръ. Толпа стояла на мѣстѣ, противъ главнаго входа и никуда не двигалась. Тутъ же ожидали чьего-то гроба запряженный цугомъ погребальныя дроги. Въ толпѣ гудѣлъ исключительно польскій говоръ. Хвалынцевъ приблизился къ ней съ намѣреніемъ пробраться какъ-нибудь въ костелъ, но здѣсь вниманіе его случайно было остановлено на минуту одной маленькой спенкой, которая показалась ему довольно характеристичною. Близъ этой толпы и почти совѣмъ принадлежа къ ней, стоялъ какой-то высокій офицеръ съ великолѣпными русыми усами и говорилъ что-то, кажись, касательно служебныхъ дѣлъ, какому-то унтеру, который, снявъ шапку, стоялъ предъ нимъ на вытяжку и выслушивалъ начальническое распоряженіе. Но главное, что во всемъ этомъ заставило Хвалынцева обратить вниманіе, что показалось ему весьма страннымъ и даже удивительнымъ, такъ это чистѣйшій польскій языкъ, на которомъ офицеръ обращался къ своему унтеру, а унтеръ, въ свою очередь, отвѣчалъ ему по-польски же, поминутно вставляя въ свою рѣчь одно только русское выраженіе: «ваше благородіе».

«Хм... это, какъ видно, дѣйствительное приобрѣтеніе польщизны», подумалось ему не безъ нѣкоторой назидательности, по поводу того, что впервые въ жизни довелось видѣть человека, одѣтаго въ русскую солдатскую шинель, который говоритъ по службѣ со своимъ офицеромъ на польскомъ языкѣ. Фактъ, дѣйствительно, былъ мимолетный и совсѣмъ случайный, но тѣмъ-то онъ и казался знаменательнѣй.

Хвалынцевъ кое-какъ мимо толпы, межъ рядами нищихъ, осаждавшихъ лѣстницу и притворъ, пробрался во внутрь костела. Тамъ было полнымъ-полно народа. Что-то яркое, блестящее, лѣпное, пестрое, и вверху густые гудящія аккорды органа, да столбъ солнечнаго свѣта, прорѣзывавшій сверху внизъ всю внутренность храма—вотъ все, что въ первый моментъ поразило здѣсь глазъ и слухъ не успѣвшаго еще осмотрѣться Хвалынцева.

У самаго входа, гдѣ стоитъ большой крестъ съ грубымъ рѣзнымъ изображеніемъ распятаго Христа въ терновомъ вѣнцѣ, съ изобильно окровавленнымъ лицомъ, руками и бокомъ, и гдѣ обыкновенно помѣщаются «христельницы» со святой водой, Константинъ обратилъ вниманіе на совершенно особенное явленіе. По обѣимъ сторонамъ около двери, молитвенно опер-

шись колѣнками въ подушки стульевъ, а руками облокотясь на спинки, стояли двѣ замѣчательно хорошенькія женщины въ глубокомъ, но очень изящномъ траурномъ нарядѣ и держали предъ собою жестыя кружки, изрѣдка потряхивая ими для привлеченія вниманія входящихъ и выходящихъ. Около этихъ особъ, съ боковъ и позади ихъ стульевъ, помѣщалось нѣсколько франтовъ, изъ которыхъ на нѣкоторыхъ виднѣлись чамарки. Эти франты, стараясь казаться изящными и элегантными, наперерывъ напештывали что-то двумъ хорошенькимъ патріоткамъ, съ тѣмъ особенно приторнымъ выраженіемъ лицъ, которое составляетъ неизмѣнную присущую принадлежность полячка, ухаживающаго за женщиной. Патріотки выслушивали своихъ обожателей съ кокетливою благосклонностью, стараясь въ то же время не потерять выраженія благоговѣнно-молитвеннаго вниманія на своихъ хорошенькихъ личикахъ. Замѣтивъ остановившагося рядомъ Хвалынцева и его взглядъ, устремленный на одну изъ нихъ, патріотка перемигнулась со своею vis-à-vis и выразительно трянула кружкой. Другая тотчасъ же повторила этотъ маневръ, поднявъ прямо на Константина свои ясные глазки. Но тотъ, какъ имъ казалось, не понималъ, въ чемъ дѣло.

— «Офяра народѣва»⁴⁾, внятно проговорила патріотка своимъ тихимъ, мелодичнымъ голосомъ, повидимому не относясь ни къ кому, но краснорѣчивымъ взглядомъ адресуя эти какъ будто безразличныя слова прямо къ Хвалынцеву, и снова вразумительно трянула кружкой.

Константинъ, наконецъ, догадался, что ему слѣдовало сдѣлать, и сталъ шарить въ карманъ; но увы! тамъ не оказалось ни одной копейки мелочи. Покраснѣвъ, самъ не зная отчего, онъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ вынулъ бумажникъ, въ надеждѣ отыскать тамъ какой-нибудь рублишко. Но въ пачкѣ его денегъ самую меньшей величины оказались трехрублевыя бумажки. Досадно, а нечего дѣлать: придется три рубля выложить, такъ какъ прятать назадъ свои деньги уже не позволило бы чувство собственнаго достоинства, и онъ, краснѣя еще болѣе, смущенно всунулъ зеленую бумажку въ прорѣзъ жестяной кружки.

Хорошенькая патріотка выразительно привѣтливымъ взглядомъ и очаровательной улыбкой поблагодарила его за эту невольную щедрую жертву, которая была тоже замѣчена и близъ стоявшими франтами. Они переглянулись между собою и оглядѣли неизвѣстнаго имъ жертвователя, одни, какъ показалось ему, взглядомъ далеко не дружелюбнымъ, другіе же, напротивъ, довольно благосклонно.

Теперь только Хвалынцевъ оглядѣлся и почувствовалъ внутреннюю возможность наблюдать и разсматривать. Храмъ былъ свѣтелъ и обши-

⁴⁾ Жертва на народное дѣло.

ренъ. Прямо предъ глазами съ двухъ сторонъ шли впередъ два ряда древнихъ рѣзныхъ скамеекъ, сплошь набитыхъ молящимся народомъ, среди котораго преобладалъ черный цвѣтъ «жа-лобы». По бокамъ этихъ скамеекъ, у внутренняго прохода, пестрѣлъ цѣлый рядъ разноцвѣтныхъ хоругвей; и по сторонамъ главнаго алтаря, надъ балюстрадой, какъ бы осѣняя входъ къ нему, склонялись развернутыя полотнища такихъ же костельныхъ стиговъ, съ нашитыми на нихъ бѣлыми, красными и позументными большими крестами. Сочетаніе цвѣтовъ этихъ стиговъ явно носило на себѣ національно-польскій характеръ: бѣлый съ краснымъ, желтый съ синимъ и амарантовый. Главный алтарь, украшенный цвѣтами, безчисленными мигающими звѣздочками зажженныхъ свѣчъ, рѣзбой и позолотой, былъ великолѣпенъ и производилъ впечатлѣніе чего-то красиво-грандіознаго, чему особенно помогали окружающіе его на приличной высотѣ тринадцать колоссальныхъ бѣлыхъ статуи апостоловъ съ Христомъ по срединѣ.

Лѣпные ангелы и херувимы, напоминавшіе болѣе французскихъ амуровъ и купидоновъ, а равно и распрашенные, раззолоченныя статуи святыхъ у множества боковыхъ алтарей были тоже весьма красивы и, по обыкновенію, отличались фанатически-сладостно и экстазно-католическимъ выраженіемъ лицъ и театральною изысканностью своихъ позъ, въ которыхъ сказывалось даже какъ будто что-то балетное.

Нѣсколько дней тому назадъ, костель въ Червлѣнахъ показался Хвалынцеву очень эффектенъ, но теперь внутренній эффектъ гродненской фары превзошелъ всѣ его ожиданія, тѣмъ болѣе, что доселѣ ему вовсе не доводилось видѣть католическихъ храмовъ, ибо, живя въ Петербургѣ и проходя чуть ли не ежедневно мимо костела Св. Екатерины, ему какъ-то ни разу даже и въ голову не забрело зайти и осмотрѣть его.

Впередѣ длиннаго ряда скамеекъ, по срединѣ храма возвышался черный катафалкъ съ очень высоко вознесеннымъ на него чернымъ же гробомъ. Катафалкъ былъ изобильно декорированъ цвѣтами, зеленью растеній, коврами, огнями восковыхъ свѣчъ и какими-то четырьмя пирамидами по угламъ съ символическими изображеніями страданія и смерти, причемъ всѣ эти терновые вѣнцы, клещи, гвозди, плетки, крючья, копыя и адамовы головы со скрещенными костями очень рельефно выдѣлялись своимъ бѣлымъ, серебрянымъ цвѣтомъ на черномъ фонѣ пирамидъ, служившихъ тумбами для вѣтвистыхъ канделябровъ, горѣвшихъ тамъ, наверху, цѣлыми клубками огня, которые какъ-то странно мигали и рѣяли предъ глазами въ рѣзкомъ столбѣ солнечнаго свѣта.

Органъ съ высоты хоръ гудѣлъ, вибрируя воздухъ похоронными, мрачными аккордами, къ которымъ присоединялось нѣсколько

людскихъ голосовъ и струнныхъ инструментовъ.

«Requiem» былъ торжествененъ и великолѣпенъ въ полномъ смыслѣ. На многихъ женскихъ лицахъ видны были слезы; нѣсколько человѣческихъ фигуръ, по обыкновенію, лежали «крик-жемъ»¹⁾, распростершись ницъ и растопыря ноги и руки на холодномъ каменномъ помостѣ.

— Скажите, пожалуйста, кого это отпѣваютъ!—спросилъ по-русски Константинъ Семеновичъ у одного изъ рядомъ стоявшихъ франтовъ.

Франтъ весьма непріязненно и нагло оглядѣлъ его съ ногъ до головы и грубо отвернулся. Другіе тоже, не выключая и прелестной патріотки, за минуту еще благодарившей нашего героя столь дивной улыбкой, оглядѣли его крайне-враждебно, ненавистно и даже презрительно.

— Шнегъ москескскі! ²⁾ — слышалось въ ихъ средѣ довольно явственно сдѣланное замѣчаніе. Хвалынцевъ почувствовалъ себя очень неловко. Его разбирало и смущеніе, и досада, и тѣмъ сильнѣе, тѣмъ дольше оставался онъ подъ дерзкими, вызывающими взглядами кучки патріотовъ. Но... дѣлать нечего! пришлось нравственно съежиться и скромненько перейти на другую сторону, чтобы затеряться въ толпѣ. Боковымъ проходомъ, мимо древнихъ, рѣзныхъ конфессіоналовъ, пробрался онъ впередъ, на правую площадку и сталъ у стѣны, подлѣ какихъ то двухъ очень прилично одѣтыхъ господъ, изъ которыхъ одинъ даже держалъ въ рукахъ форменную фуражку съ кокардой. Эти господа тихо говорили между собою по-польски.

На этомъ, вновь избранномъ мѣстѣ, по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, злосчастный герой нашъ оправился и отчасти успокоился отъ своихъ смѣшанныхъ чувствъ смущенія, неловкости и досады съ нѣкоторою примѣсью злости. Онъ уразумѣлъ, что тутъ, какъ видно, ничего не подѣлаешь, что досадовать и сердиться на такіе сюрпризы будетъ очень глупо, а обижаться на грубость даже невозможно. «Самъ же виноватъ, зачѣмъ заговорилъ по-русски!» малодушно упрекнулъ онъ себя, и черезъ минуту додумался до будто успокоивающей мысли, что выходка эта никакъ-де не относится ко мнѣ лично, а ко всѣмъ вообще моимъ соотчичамъ, и что стало быть... виноваты сами же соотчичи, а я такъ только, случайно подвернувшийся субъектъ, имѣвшій неосторожность заявить себя русскимъ.

«Однако же, какая страшная сила ненависти!» подумалось ему. «И неужели же придется прятаться и скрывать, что ты рус-

¹⁾ Крестомъ.

²⁾ Шпіонъ московскій.

скій?.. Неужели же нужно будетъ вѣчно краснѣть за это несчастное имя!»

Такая мысль показалась ему горькою и оскорбительною даже до какого-то болѣзненного, колючаго и ноющаго чувства. Сколь ни старался онъ извинять такое отношеніе поляка къ русскому, сколь ни оправдывалъ его, взваливая всю тяжесть отвѣтственности за него на одну лишь русскую сторону, но какой-то голосъ высшей внутренней правды и справедливости инстинктивно говорилъ ему, что это фальшь, что это не такъ, или по крайней мѣрѣ не совсѣмъ-то такъ, и что русскіе въ этой враждѣ вовсе не столь исключительно виноваты.

Межъ тѣмъ прекрасные, перекатные, торжественно-печальные звуки, эффектно-поставленный катафалкъ, эффектно служащіе ксѣнды и столько разнообразныхъ молящихся лицъ и выраженій, и между ними столько хорошенеккихъ и зачастую тоже эффектныхъ въ своемъ траурномъ уборѣ женскихъ головокъ, все это, по прошествіи еще нѣсколькихъ минутъ, успѣло еще разъ настолько развлечь Хвалынцева, разсѣять его невеселыя мысли и на столько успокоить состояніе духа, что ему вновь захотѣлось удовлетворить своему любопытству, узнать, кто этотъ знаменитый покойникъ, удостоившійся такого многочисленнаго сборища и столь великолѣпныхъ похоронъ?

Но на этотъ разъ, дабы не быть снова оплеваннымъ ни за-что, ни про-что, онъ рѣшился покривить немножко душою, и потому отнесся къ своему сосѣду съ чиновничьей кокардой на французскомъ діалектѣ.

Кокарда сначала оглядѣла его недоумѣвающимъ и даже сомнѣвающимся взглядомъ, а потомъ вопросительно переглянулась со своимъ сосѣдомъ, затѣмъ опять заглянула въ самое лицо вопрошавшаго Хвалынцева и наконецъ рѣшилась заговорить тономъ нѣкотораго замѣчанія и даже выговора:

— Чи-жь панъ не мѣви по-польску? панъ не розуме? ¹⁾

Хвалынцевъ при этомъ устроилъ себѣ такую физиономію, какъ будто онъ слушаетъ, но рѣшительно не понимаетъ того языка, на которомъ къ нему относятся.

— Est-ce que monsieur n'est pas Polonais? — вѣжливо спросилъ его другой изъ сосѣдей.

— Non, monsieur — съ живостью подхватилъ Константинъ Семеновичъ, рѣшившійся до конца уже малодушно кривить душою. — Относительно здѣшняго края я иностранецъ. — Je suis un étranger.

И чиновничья кокарда, и ея солидный сосѣдъ, казалось, вполне удовлетворились такимъ отвѣтомъ, несмотря на его гибкую и нѣсколь-

ко уклончивую форму. Они даже съ большою охотою вступили съ «чужеземцемъ» ⁴⁾ въ очень любезные разговоры.

— Вы, сударь, желаете знать кого мы хоронимъ? — начала кокарда, которая казалась гораздо юнѣе своего солиднаго сосѣда, и начала это, конечно, по-французски, съ глубоко-грустнымъ вздохомъ, не забывъ устроить себѣ предварительно печальную физиономію. — Вы видите предъ собою гробъ еще одной новой жертвы!

Хвалынцевъ бросилъ на него удивленно-вопросительный взглядъ.

— Да, милостивый государь, — подтвердилъ чиновникъ, — вы видите новую жертву изъ безчисленнаго ряда нашихъ жертвъ... Жертву, конечно, русскаго варварства и насилія... О, если бы вы знали что они съ нами дѣлаютъ!.. Но вѣтъ, вы иностранецъ, вы не можете имѣть о томъ никакого понятія! Никакое воображеніе, никакая фантазія не въ состояніи представить вамъ этихъ ужасовъ!!!..

Чиновникъ, ради пушей экспрессіи, закатилъ глаза и весь содрогнулся, и притомъ такъ сильно, что вмѣстѣ съ нимъ содрогнулась даже его форменная фуражка съ кокардой.

— Кто жъ этотъ мученикъ, скажите пожалуйста, и что съ нимъ такое сдѣлали? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Это... это такъ, простой обыватель, ремесленникъ... нѣкто Пшездецкій, — нѣсколько замѣшавшись, но ни мало не смутясь, отвѣтилъ чиновникъ. — Вся его вина въ томъ, что онъ былъ добрый патриотъ и открыто выражалъ свои мысли, ни для кого впрочемъ не вредныя... Его схватили, посадили въ острогъ, въ мрачное подземелье, гдѣ у *нихъ* помѣщается инквизиція, и тамъ замучили пытками и голодною смертію... На всемъ тѣлѣ его видны ужасные глубокіе рубцы и раны... Я самъ видѣлъ!.. *Они* вѣдь, вы знаете ли, какъ мучатъ? — Раскалываютъ, на примѣръ, на огнѣ стальные прутья, съ заостренными крючками, и сѣкутъ этимъ по груди и животу... крючки, какъ когти впиваются въ тѣло, раздираютъ и жгутъ его, а слѣдственная комисія въ это самое время тутъ же закусываетъ и пьетъ водку!.. А чѣмъ они кормятъ? Боже мой!.. Этотъ несчастный, говорю вамъ, съ голоду умеръ... Они, на примѣръ, даютъ супъ изъ гнилыхъ провіантскихъ крысъ! Буквально такъ! Говядину, видите ли, надо еще покупать, тогда какъ крысы имъ даромъ приходятся. Но подъ конецъ, этому несчастному даже и крысъ не давали, такъ что онъ умеръ буквально голодною смертію! Вѣдный былъ человекъ... семейство большое въ крайней нищетѣ оставилъ...

— Но эти великолѣпныя похороны?.. Кто жъ его хоронитъ? — спросилъ Хвалынцевъ.

¹⁾ Развѣ панъ не говоритъ по-польски? Панъ же понимаетъ?

⁴⁾ Чужеземцемъ.

— Мы народъ польскій... Мы умѣемъ чтить своихъ мучениковъ,—съ достоинствомъ благородной гордости отвѣчалъ чиновникъ.— Вы иностранецъ, и не можете знать того, что дѣлаютъ эти кровопийцы съ нашимъ несчастнымъ краемъ... Вы ѣдете въ Россію или изъ Россіи?

— Въ Литву,—сказалъ Хвалынцевъ.

— О, не ѣздите, не ѣздите!.. Лучше вернитесь въ Европу!—съ живымъ участіемъ и даже съ выраженіемъ испуганнаго соболѣзнованія заговорилъ чиновникъ.—Вы не можете представить себѣ что тутъ дѣлается! Пьяные солдаты и казаки бродятъ шайками по цѣлому краю, жгутъ цѣлыя деревни, сѣкутъ помѣщиковъ, а иногда даже, среди бѣлаго дня, нападаютъ на проѣзжихъ, грабятъ, рѣжутъ и убиваютъ—и все это вполнѣ безнаказанно!.. Я вамъ говорю это навѣрное, потому что знаю ближайшимъ образомъ: я служу чиновникомъ по особымъ порученіямъ при здѣшнемъ губернаторѣ, и потому на точность моихъ свѣдѣній вы можете вполнѣ положиться.

Хвалынцевъ, наконецъ, потерялъ всякое терпѣніе выслушивать эту нахальную ложь и притворяться иностранцемъ. Въ немъ закипѣло чувство нѣкотораго злораднаго удовольствія, при одной мысли, которую онъ, по первому порыву, не задумался тотчасъ же привести въ исполненіе.

— Послушайте, милостивый государь,—совершенно неожиданно заговорилъ онъ вдругъ по-русски,—или вы каждого иностранца считаете за круглаго дурака, или ужъ любовь къ отечеству самому вамъ затмила послѣдній рассудокъ? Позвольте же вамъ теперь откровенно высказать, что я не вѣрю ни единому слову изъ того, что вы мнѣ рассказывали, и говорю вамъ прямо въ глаза, что вы—лгунъ, вы, губернаторскій чиновникъ!

Все это было сказано весьма хладнокровно и вѣско, но на столько тихо, что ни на одну минуту не обратило на Хвалынцева вниманія даже ближайшихъ изъ молившихся, и такимъ образомъ видимое, внѣшнее уваженіе къ храму не было нарушено.

Оба сосѣда были такъ поражены этой неожиданной выходкой, что не нашлось у нихъ ни единого слова, ни единого звука, ни даже движенія какого-либо, чтобы отвѣтить на нее.

Краснорѣчивый губернаторскій чиновникъ сконфузился и растерялся до послѣдней крайности. Онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ и, безпрестанно мигая, смотрѣлъ не видя на Хвалынцева безсмысленно-тупыми оловянными глазами. Ошеломляющій ударъ нанесенъ былъ столь внезапно, что вышибъ изъ его головы послѣдніе остатки какихъ-либо мыслей и соображенія. Это былъ своего рода столбнякъ и какъ бы морально-безсознательное состояніе.

Хвалынцевъ несмущенно и прямо глядѣлъ

ему въ глаза, выжидаая, что изъ всего этого воспослѣдуетъ; но кромѣ хлопанья туманно-бараньими бѣльмами не воспослѣдовало ровно ничего. Хвалынцевъ выждалъ такимъ образомъ нѣсколько секундъ, которыя—онъ чувствовалъ это—были невыносимо-тягостны, просто уничтожающія съ лица земли для обоихъ этихъ субъектовъ, но убѣдясь, наконецъ, что больше ничего не будетъ, сколько ни стой передъ ними, онъ молча поклонился обоимъ проницески-почтительнымъ поклономъ и спокойно ровнымъ, неторопливымъ шагомъ отошелъ нѣсколько въ сторону.

Между тѣмъ гробъ сняли съ катафалка. Раздался рѣзкимъ диссонансомъ чей-то истерическій вопль, въ разныхъ концахъ храма послышались женскія рыданія, и народъ повалился изъ костела. Подхваченный живою и довольно плотною массою, Хвалынцевъ тоже направился вмѣстѣ съ общимъ потокомъ и, не безъ нѣкоторыхъ затрудненій и усилій въ общей тѣсотѣ и давкѣ, очутился наконецъ на улицѣ.

Вскорѣ процессія вытянулась по Бригитской улицѣ и тронулась чрезвычайно медленнымъ шагомъ по направленію къ кладбищу.

Хвалынцевъ и слыхалъ, и въ газетахъ читалъ кое-что о варшавскихъ похоронныхъ демонстраціяхъ.—«Ужъ это не демонстрація-ль?» домекнулся онъ и, въ ожиданіи какой-нибудь вѣроятной любопытной развязки, рѣшился слѣдовать вмѣстѣ съ процессіей.

А процессія была столь же великолѣпна и торжественна, какъ и отпѣванье. Впередѣ шель частный приставъ съ нѣсколькими полицейскими солдатами и, наблюдая за порядкомъ, расчищалъ дорогу. За ними гусинымъ шагомъ выступалъ костельный сакристіантъ ¹⁾ въ бѣлой кдмжѣ и на черномъ древкѣ несъ высоко поднятое Распятіе. За сакристіаномъ слѣдовали по-парно члены костельныхъ братствъ съ довольно толстыми зажженными свѣчами изъ желтаго воску. Сначала шли братчицы, а за ними братчики. За братчиками точно такъ-же выступали по-парно францисканскіе монахи въ своихъ черныхъ хламидахъ съ каптурами и капюшонами—и Боже мой, какихъ только тутъ не было фizioномій: и фанатически-суровыхъ, и сухопаво-постныхъ, и добродѣтельно-лисныхъ, и смиренно-кроткихъ-волчьихъ, но достолюбезное большинство ихъ все-таки отличалось тою лосвящеюся, румяно самодовольною полнотою и дородностью, которыя служатъ вѣрнымъ признакомъ безмятежно-эпикурейской жизни. За монашествующей братьей несли безчисленное множество костельныхъ хоругвей, а за хоругвями шло приходское духовенство: ксендзы и клерики, а послѣ ксендза-дзекана ²⁾ выступала съ печальною сантпментальностью,

¹⁾ Попомарь.

²⁾ Благочиннаго.

склонивъ нѣсколько въ его сторону свою голову, нѣкоторая весьма эксцентричная особа. Это была женщина уже значительно преклоннаго, хотя молодящагося возраста. На ней былъ траурный костюмъ совершенно особаго рода: мужская конфедератка съ чернымъ плюмажемъ и длинное, черное драповое пальто, на которомъ сзади, немного пониже талии, была нашта большая бѣлая «трупья голова» со скрещенными костями. Не мало подивясь на эксцентричный костюмъ этой особы, Хвалынцевъ хотѣлъ было причислить ее къ лицу какого-нибудь женскаго монашествующаго ордена, но плюмажъ и конфедератка, но растрепанная съ кокетливыми претензіями куафюра и слой бѣлилъ да румянъ на старушечьемъ лицѣ—заставили его отказаться отъ своего первоначальнаго предположенія. Такъ онъ съ тѣмъ и остался, что никѣмъ образомъ не могъ опредѣлить себѣ, что это за странная особа съ Адамовой головой на бурнустъ? За духовенствомъ слѣдовали, тихо покачиваясь, дроги съ балдахинѣмъ, подъ которымъ очень эффектно стоялъ черный гробъ, обитый серебрянымъ позументомъ и такими же гвоздиками. За гробомъ несли траурную хоругвь, съ изображеніемъ сломаннаго креста, въ память извѣстнаго варшавскаго событія ¹⁾, и тутъ же шли цеховыя знамена, такъ какъ покойный принадлежалъ къ классу ремесленниковъ. Затѣмъ уже, и по сторонамъ, и сзади, валомъ валили густыя толпы народа. И весь этотъ народъ, всѣ эти братчики и братчицы, ксендзы, францисканы и клерики оглашали улицу раздирательно-завывающимъ и крайне нестройнымъ пѣніемъ. Все это соборіще, надеждась во всю грудь, голосами разными вопіяло: «свѣнты Боже! свѣнты моцны!! свѣнты немертѣльны!!! змилуй сен, надъ нами!!!» ²⁾.

Уличные мальчишки, гимназисты младшаго и старшаго возраста, къ которымъ присоединилось нѣсколько чамарковыхъ паничей и даже одинъ какой-то господинъ весьма солидной и отчасти внушительной наружности, усердно занимались тѣмъ, что всѣмъ встрѣчавшимъ извозчикамъ оралъ: «стой! тржимай на бокъ, пся юха! ³⁾ на бокъ!» — и извозчики должны были стѣзжать мѣстами даже на тротуаръ, чтобы дать дорогу величественной процессіи. Кромѣ этого дѣла, компанія мальчишекъ, гимназистовъ и чамарковыхъ паничей, купно съ солиднымъ паномъ, занималась еще и тѣмъ, что со всякаго встрѣчнаго жида съ-налету сди-

рала шапку и швыряла ее на землю, норовя, по возможности такъ, чтобы каждая жидовская шапка непременно выкупалась въ грязной сточной канавкѣ. Но и этимъ похвальнымъ дѣломъ не ограничивалась еще миссія юныхъ патріотовъ: они точно также старались сталкивать въ сточныя канавки зазѣвавшихся жиденятъ, жидовокъ и русскихъ прохожихъ солдатъ. Но насколько часто и зѣлѣнно повторялась эта веселая процедура съ еврейками и жиденятами, на столько же рѣдко удавалась она съ солдатами. Поэтому относительно солдатъ дѣятельная компанія юныхъ патріотовъ ограничилась по большей части тѣмъ, что въ изобиліи плевала имъ во слѣдъ, норовя попасть своими плевками сзади на полы и въ спину солдатской шинели. Патріотки въ этомъ отношеніи были гораздо смѣлѣе: онѣ нерѣдко рѣшались плевать прямо въ солдатскую физиономію. Хвалынцеву удалось даже быть свидѣтелемъ одной довольно типичной сцены этого рода. Одна прехорошенькая, преграціозная патріотка, одѣтая въ очень изящную «жалѣбу», очень мило и даже не безъ кокетства плюнула на встрѣчнаго усачулана, который, по силѣ своей физики, могъ бы не только-что эту субтильную паненку, но и весьма многихъ изъ этихъ дюжихъ пановъ, что-называется, однимъ ногтемъ прищелкнуть. Храбрая паненка норовила попасть прямехонько-таки въ усастую уланскую физиономію, но на ходу недостаточно изловчилась, такъ что плевокъ вмѣсто физиономіи попалъ за грудь. Здровенный, ражій уланина, только ухмылялся, головой покачалъ; а затѣмъ, вытирая обшлагомъ полновѣсный плевокъ, обернулся на граціозную паненку и самымъ добродушнѣйшимъ образомъ, все съ той же бойкой ухмылкой и все такъ-же покачивая усастой мордой, громко и внятно проговорилъ ей во слѣдъ:

— Ай, братъ-полечка, нехорошо-о, братъ!.. Шинель-ать—вещія казенная, такъ наштожь ее сваими плевками марать?!.. Нехорошо-о, право нехорошо!

Хвалынцевъ не могъ не расхохотаться отъ всей души при этомъ, повидимому, наивно-добродушномъ, по въ сущности довольно-таки бойкомъ и ѣдкомъ замѣчаніи, каковое проявленіе столь неумѣстной веселости тотчасъ же вызвало противъ него нѣсколько грозныхъ взглядовъ и непріязненныхъ, подозрительныхъ пошептываній со стороны ближайшихъ къ нему патріотовъ обоаго пола.

Погребальная процессія приближалась уже къ мосту, ведущему за городъ на Скидельскую дорогу, подъ которымъ проложены желѣзнодорожные рельсы, какъ вдругъ въ это самое время на мостъ, направляясь съ Татарской улицы, вступала другая духовная процессія. Это были тоже похороны, только очень и очень скромныя. Открытый гробъ, съ крышкой впереди, несли на рукахъ нѣсколько солдатиковъ,

¹⁾ Въ 1861 году по всему Сѣверо-Западному краю, можно сказать, не было почти ни одного костела, гдѣ бы не имѣлось черной хоругви съ нашитымъ на ней бѣлымъ сломаннымъ крестомъ и подписями въ родѣ „Боже змилуй-сенъ надъ нами!“ „Боже збавъ ойчизненъ“ и т. п. (Боже, помилуй насъ! Боже, спаси отечество).

²⁾ Святый Боже, Святый крѣпкій и проч.

³⁾ Держи въ сторону, собачья кровь!

а предъ гробомъ шелъ православный священникъ въ предшествіи большого церковнаго креста. Хотя эта послѣдняя процессія вступила уже на мостъ, но гурьба гимназистовъ разомъ бросилась на перерѣзъ ей, съ криками: «Пречъ зъ колѣи! Назадъ! Идзце до дзыбля, присклѣнте! Пречъ зъ москалями!»¹⁾ А частный приставъ, наблюдавшій за благочиніемъ, поспѣшилъ туда же, вслѣдъ за гурьбою школяровъ да чамарокъ, и силою своего полицейскаго авторитета, при помощи внушительно-властнаго распорядительнаго покрикиванья и жестуляціи, «возстановилъ должный и законный порядокъ», то-есть заставилъ гробъ осадить назадъ и даже сойти съ моста вспять на перекрестокъ всю злосчастную православную процессію, которая, нужды нѣтъ что по времени поспѣла впередъ, а все-таки должна была остановиться и смиренно ждать, пока сполна не пройдетъ длинная и пышная процессія польскаи. Панъ Пшездецкій во гробъ своемъ подъ балдахиномъ, съ плавно-качающимися кистями, изволилъ наконецъ, съ подобающимъ гоноромъ и величіемъ, прослѣдовать мимо простого, тесоваго гроба, въ которомъ терпѣливо дожидалось своей смиренной очереди нешляхетное, брѣнное тѣло какого-то усопшаго отставнаго солдата.

Однако и это было еще ничто-себѣ; но Хвалынцева до глубины души возмутило то, что несмотря на присутствіе креста, равно общаго какъ для православныхъ, такъ и для католиковъ, нѣкоторые патріоты и патріотки—а послѣднія даже по преимуществу — проходя мимо, стали выкидывать кое-какіе кощунственные куштіи и нахально дѣлать нагло-циническія и неприличныя замѣчанія и насмѣшки надъ «попемъ» и «москевскимъ» покойникомъ. Несмотря на свое равнодушіе (то-есть Хвалынцевъ привыкъ думать, будто онъ равнодушенъ) ко всякимъ религіознымъ предметамъ и темамъ вообще, онъ почувствовалъ, какъ при этой наглости вся душа его возмутилась. Кровь прилила къ вискамъ и къ сердцу, въ груди что-то кипучее колесомъ заходило, колючія слезы подступили къ горлу, а кулаки и скулы межъ тѣмъ судорожно сжимались подъ давлениемъ чувства сознательно-безсильной злобы и оскорбленія. Онъ понимаетъ, что это оскорбленіе нарочно наносится этому попу и покойнику единственно потому, что это православный, то-есть русскій попъ, и православный, то-есть русскій же покойникъ.

Ему вдругъ стало мерзко, противно продолжать путь за паномъ Пшездецкимъ, противно отъ одного сознанія, что и онъ, хотя-бы то однимъ лишь своимъ пассивнымъ присутствіемъ, принадлежитъ къ этой чуждой и вра-

ждебной ему толпѣ—и онъ остановился. Нарочно, подъ вліяніемъ вѣзвпапно прихлынушаго чувства, мысл и желанія показать предъ всею польскою толпою, а главное предъ собственною совѣстью и предъ этими убогими солдатами и попомъ—буде кто изъ нихъ замѣтитъ его, а хоть и не замѣтитъ, такъ все равно!—показать, что онъ русскій, что онъ не принадлежитъ ни духомъ, ни тѣломъ къ этой гордо проходящей толпѣ, Хвалынцевъ искренно снялъ шапку и сознательно трижды осѣнилъ себя широкимъ, русскимъ, православнымъ крестомъ, съ невольнаго благоговѣннымъ чувствомъ въ душѣ поклоняясь этимъ безнаказанно оскорбляемымъ русскимъ: кресту и покойнику.

Затѣмъ, давъ пройти этой послѣдней процессіи, онъ вскочилъ на перваго попавшагоси извозчика и поѣхалъ обратно въ городъ.

— Скажи, пожалуйста, кого это хоронятъ?—спросилъ онъ, ѣдучи, у своего извозчика.

— Пшаздецкаго,—отвѣтилъ тотъ такимъ удивленнымъ тономъ, какъ будто не допускалъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, чтобы сѣдокъ его могъ не знать, кто такой Пшездецкій.

Но Хвалынцевъ тотчасъ-же сразу и предложилъ ему этотъ самый вопросъ: кто-же, молъ, такъ этотъ панъ Пшездецкій?

— А такъ-сабѣ... абывацель, — отвѣтилъ возница.

— Чѣмъ-же замѣчательнъ этотъ обыватель?

— А ничѣмъ!.. Чѣмъ-жа яму быць замѣчательному?.. Сказуваюць, римесляниникъ—чабатаръ быу, швецъ?

— А ты не зналъ его?

— Я?... Нѣ, баринка, не знау.

— Но, конечно, слыхалъ про него прежде?

— Пра кого-сь то? — переспросилъ извозчикъ.

— Да про Пшездецкаго-жъ?

— Пра Пшаздецкаго?... Нѣ, слыхаць, ничого не слыхау, баринка.

— Такъ за чтѣ же ему такія почести воздаютъ?

Извозчикъ подумалъ нѣсколько и отвѣтилъ не вдругъ. Очевидно, такой вопросъ самому ему ни разу еще не приходилъ въ голову.

— А кто ё знае!—сказалъ онъ наконецъ.— Гѣто усѣ паны наши... Ани нѣничь зачasto такъ, случаница хороняць...

— Ну, да хорошо: будь это панъ, оно было бы понятно,—возразилъ Хвалынцевъ,—но почему-же все это великолѣпіе собственно для саложника Пшездецкаго?

— А такъ-сабѣ, — пожалъ плечами извозчикъ,—гля таго, што юнъ, кажуць, «пачтивы чловѣкъ¹⁾ быу»... От-што!

«Н-да, такъ это значить похороны «почтивѣго чловѣка», улыбулся про себя Хвалынцевъ, и вспоминая, что онъ какъ всталъ еще

¹⁾ Прочъ съ дороги! Назадъ! Убирайся къ черту проклятые! Прочъ съ москалями!

¹⁾ Почтенный, честный.

съ постели, до сей поры не хлебнуть ни глотка чаю, приказалъ везти себя въ какую-нибудь кофейную или кондитерскую изъ тѣхъ, что получше.

III.

Чего иногда могла стоять и чѣмъ могла угрожать чашка кофе.

Но гродненскія кондитерскія—онѣ-же и кофейныя—оказались обѣ хуже: выбирать было не изъ чего: у Кантлера то же что у Аданки, а у Аданки то же, что и у Кантлера, то-есть та же изобильная гризля, тѣ же спертые кислотатые запахи, тѣ же, какъ камень соохшіеся торты и миндальныя печеня, тѣ же крахмальныя, выкрашенныя конфекты да леденцы; та же водка и «гродненскаго» производства разные ликеры, та же жирная «кава» и «чеколяда» ¹⁾ и въ заключеніе тотъ-же вылинявшій окривѣлый бильярдъ въ пыльно-дымной табачной атмосферѣ, съ пожелтѣлыми отъ времени шарами.

На бильярдѣ звучно щелкали кіями какой-то комисариатскій офицеръ и какой-то паничъ, почему-то сильно напоминавшій собою канцелярскую службу въ губернскомъ правленіи. И офицеръ, и паничъ, весьма занятые игрой, переговаривались между собою по-польски, дѣлая по большей части тѣ отличающіеся плоскимъ жаргомъ замѣчанія, которыя обыкновенно дѣлаютъ игроки дурного тона, когда чувствуютъ себя въ хорошемъ игрецкомъ настроеніи духа. Тутъ-же возсѣдало нѣсколько пановъ, палатскихъ и иныхъ чиновниковъ да два-три пѣхотныхъ офицера, — кто за стаканомъ кофе, кто за кружкой пива, кто играя въ домино или въ шашки, а кто и просто такъ-себѣ, въ сухую слѣдя за игрой или углубясь въ чтеніе газетъ. Газеты-же были здѣсь исключительно польскія.

Хвалынцевъ сѣлъ у столика, близъ окошка, и спросилъ себѣ чашку кофе. Мальчишка въ грязномъ фартучкѣ, съ продранными локтями, котораго подозвалъ онъ къ себѣ, выслушалъ отданное по-русски приказаніе и отойдя, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ на прежнее свое мѣсто, прислонясь къ стѣнкѣ да заложивъ за спину руки, и началъ равнодушно слѣдить за игрой.

Хвалынцевъ всталъ и, подойдя къ нему, повторилъ свое требованіе.

Мальчишка только шмугнулъ носомъ, обтирательно проведя подъ нимъ рукою, и затѣмъ, отойдя шага два-три въ сторону и уже не обращая на незнакомаго гостя-москаля ни малѣйшаго вниманія, продолжалъ попрежнему расѣянно слѣдить за игрою.

Такая дерзкая наглость въ мальчишкѣ начинала уже снова вводить Хвалынцева въ досаду, чувство которой во всѣ эти дни доводилось испытывать ему столь часто и столь много. Онъ снова подошелъ къ нему, и на сей разъ внушительно строгимъ голосомъ и даже грубо передалъ свое требованіе.

Мальчишка злобно озирнулся на него исподлобья и, пробормотавъ «зѣрасть, пане!» — неторопливо, съ явной неохотой, пошелъ изъ комнаты отдавать трижды полученное приказаніе.

«Что это за испорченный народишко, однако!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «Говоришь ты ему что ласково, по человѣчески, онъ рыло воротитъ, онъ чуть не плюетъ на тебя, а едва прикрикнешь да выругаешься, сейчасъ и струситъ, сейчасъ и «зѣрасть, пане», хоть и при этомъ все-же свой гоноръ шляхетный выдерживать старается. Экая гнусность!» досадливо выругался онъ еще разъ, въ заключеніе, и терпѣливо сталъ дожидаться своего кофе.

Но рядъ мелочныхъ испытаній далеко еще не окончился для него.

Время отъ времени въ «цукерню» и «каварю» прибывали разные новые посѣтители.

Двое изъ нихъ спросили себѣ тоже кофе и, несмотря на то, что оба пришли позже Хвалынцева, требованіе ихъ было удовлетворено почти безотлагательно: сначала принесли одному, потомъ нѣкоторое время спустя и другому.

— А что-же мнѣ-то?—окликнулъ здѣшечный герой нашъ.

— Зѣрасть!—не глядя на него, обронилъ слово мальчишка и прошмыгнулъ въ заднюю дверь.

Посѣтителямъ, и старымъ и новымъ, безпрепятственно подавали кому пиво, кому чай, кому шоколадъ, смотря по требованію, и только одного Хвалынцева, казалось, хотѣли заставить изощрять чувство его долготерпѣнія.

Пришелъ еще какой-то панъ и потребовалъ «шклянку кавы», и кофе черезъ минуту явился къ услугамъ панскаго ашегита.

Константинъ ясно увидѣлъ, наконецъ, что вся эта продѣлка съ его долготерпѣніемъ совершается не иначе, какъ нарочно, что такимъ невниманіемъ къ его требованію имѣется въ виду выказать явное пренебреженіе къ «москалю», для котораго нѣтъ здѣсь не то-что чашки кофе, но даже стакана простой воды за его собственныя деньги, что «добрый обывацѣли» готовы поступиться своими мелочными интересишками, лишь бы сдѣлать какую-либо непріятность незнакомому человѣку, который виноватъ предъ ними только тѣмъ, что носитъ ненавистное имъ имя «москаля».

Не желая, однако, продолжать служить мишенью для подобныхъ выходокъ, онъ всталъ и направился къ двери съ намѣреніемъ уйти изъ патріотической «каварни», какъ вдругъ, въ до-

¹⁾ Кофе и шоколадъ.

гонку ему, изъ-за прилавка раздался нецеремонный голосъ господина, стоявшаго у конторки:

— Пршепрашамъ пана! Панъ еще не заплацилъ пенѣнды: злѣты и грѣшы пентць. ¹⁾

Хвалынцевъ обернулся на него съ вопрошительнымъ взглядомъ.

— Панъ не заплацилъ пенѣнды, — еще громче и нахальнѣе повторилъ застоечный панъ, явнѣе тѣмъ намѣреніемъ, чтобы его слова были услышаны посторонними посѣтителями.

— Вы ошибаетесь, — сдержанно проговорилъ Константинъ, — мнѣ не за что платить: я ничего не пилъ и не ѣлъ у васъ.

Панъ заказалъ филижанкенъ ²⁾ кавы, съ безусловнымъ сознаніемъ своей правоты возразилъ панъ изъ-за прилавка.

— Да; но мнѣ ее не подаютъ, тогда какъ другимъ въ это время успѣли подать уже нѣсколько стакановъ; а мнѣ ждать некогда.

— Пршепрашамъ пана!.. Алежъ для цалѣго святу одъ рѣзу невозможно!.. А кеды панъ южъ заказалъ, то трѣба заплациць! Пану вольно пиць, чи нѣницъ — длѣ мнѣ то вишисто рувне ³⁾ плюхо-прослщимъ тономъ выговаривалъ застоечный панъ, съ «гоноровою шляхетностью» разводя руками и пожимая плечами.

— Цо ту такѣго? ⁴⁾ — вполголоса пытливо вопрошали другъ у друга въ это самое время разные панки, появляясь въ дверяхъ изъ другой комнаты, привлеченные сюда необычно громкимъ голосомъ застоечнаго пана, что очевидно предвѣщало имъ нахлсывающійся скандалчикъ. — Прошен' пана, цо ту такѣго?

— Панъ москаль нѣхце плациць пенѣнды, и вѣнцей ниць! ⁵⁾ пояснилъ кто-то изъ этой кучки.

— А, то почтцѣвы москаль!

— Пфѣ, пане! москале нигды не плацон'. Така южъ натура!

Подобнаго сорта милыя замѣчанія готовы были излиться цѣлымъ потокомъ на злосчастную голову нашего героя. Положеніе его было одно изъ самыхъ непріятнѣйшихъ. Онъ очень хорошо понималъ, что застоечному пану хочется покуражиться надъ нимъ, ибо застоечный панъ сознавалъ, что онъ въ изрядномъ количествѣ окруженъ «своими» и что стало-быть панъ москаль дѣлай чтѣ хочешь, хоть «до самого пана губернатора» ступай, а все-таки въ концѣ-концовъ останется съ носомъ; поэтому куражиться можно было вполнѣ безна-

казанно. Понимая же это, Хвалынцевъ сознавалъ полнѣйшую необходимость воздержаться теперь отъ всякаго рѣзкаго проявленія, дабы не наткнуться на скандалъ, который ему съ такимъ удовольствіемъ готовы были подстроить, а этого удовольствія на свой счетъ онъ и не желалъ имъ доставлять. Но въ то же время ему крайне не хотѣлось удовлетворить неосновательному и столь нахально выражаемому требованію застоечнаго пана. Не въ 17 копѣйкахъ былъ расчетъ, а въ томъ, что эта уступка дерзкому нахальству доставитъ всѣмъ этимъ полячкамъ мелкое торжество: «чтѣ, дескать, заставили таки дружка сдѣлать по своему! Ага, молъ, струсилъ, панъ москаль! Ничего, братъ, плати даже за то, что мы, шляхетные люди, должны были нѣсколько минутъ выносить твое присутствіе среди нашей компаніи!» Хвалынцевъ понималъ, что и съ его стороны это точно такое же мелкое чувство, которое, пожалуй, ни въ чемъ не уступаетъ мелкому торжеству этихъ полячковъ; но понимая это, онъ все-таки никакъ не могъ отрѣшиться отъ него, стать выше своего низменнаго, въ данную минуту, самолюбія. «Конечно, лучше бы бросить имъ эти гроши и уйти», мелькала ему благая мысль, но застоечный панъ глядѣлъ въ упоръ такъ нагло, а стоявшіе въ дверяхъ полички столь были увѣрены именно въ такомъ самомъ исходѣ всей этой исторіи и столь безцеремонно подсмѣивались на его счетъ, что онъ чувствовалъ всю окончательную невозможность и уйти, не платя ни полушки, и заплатить ни за-что, ни про-что. «Ни то, ни другое!» смутно, но рѣшительно мелькало въ его головѣ, тогда какъ чувство оскорбленія и злости начинало просто душить его, отдавалось тяжкимъ стѣсненіемъ въ груди и заволакивало глаза безразличнымъ туманомъ. «Ни то, ни другое... Но чтѣ же? Чтѣ?..» А панки между тѣмъ глядятъ и ждутъ. Онъ не видя чувствовалъ на себѣ ихъ неотводные взгляды. «Хватить развѣ чѣмъ ни попадѣ? раскрой башку и тѣмъ, и этому? молніей мелькнула вдругъ ему безумная мысль подъ гнетущимъ давленіемъ безысходной злобы.

И Богъ вѣсть, чѣмъ бы могла кончиться вся эта исторія — вѣрнѣе всего, очень бы скверно — если бы въ эту самую минуту не вошелъ замурзанный мальчишка съ чашкой кофе на подносѣ и не поставилъ ее на столикъ возлѣ Хвалынцева, промолвивъ:

— Для папа.

Исходъ былъ хоть и вовсе не блистателенъ, ибо послѣ всего, чтѣ случилось, сидѣть на глазахъ у застоечнаго пана и глотать кофе казалось Хвалынцеву крайне миролюбиво и даже очень жалостно: «что, молъ, бѣдненькій сжалились наконецъ надъ тобою?» Однако надо было сознаться, что это все же единственный, сколько-нибудь возможный для самолюбія

¹⁾ Прошу извинить! Панъ еще не уплатилъ денегъ: семнадцать съ половиною копеекъ.

²⁾ Филижанка — чашка.

³⁾ Извините, сударь! Но вѣдь на весь міръ сразу не поспѣешь. А если панъ уже заказалъ, то и слѣдуетъ уплатить. Пану вольно пить или не пить — мнѣ это все равно.

⁴⁾ Чтѣ тутъ такое.

⁵⁾ Господинъ москаль не хочетъ платить, и все тутъ!

исходъ изъ того нелѣпаго положенія, въ которое былъ поставленъ злосчастный герой нашъ. Мысль о томъ, чтобы хватить чѣмъ ни попа- ло, была сама по себѣ безобразна. Оно бы, пожалуй, возможно, и даже пройди еще одна лишь секунда и не выручи этотъ мальчишка, Хвалынцевъ чувствовалъ, что онъ хватилъ бы, непременно хватилъ бы, невольно, по- ми- мо разсудка, въ силу однихъ лишь все за- тмѣвающихъ животныхъ инстинктовъ злости и бѣшенства, но... эта чашка кофе, подоспѣвшая такъ кстати, все-таки хоть мало-мальски вы- ругнула: во-первыхъ, нахальное требованіе бу- фетчика осталось неудовлетвореннымъ, во-вто- рыхъ, панки лишились ожидаемаго торжества, и, наконецъ, въ-третьихъ, требованіе самого Хвалынцева было исполнено, хоть и поздно, а все жъ таки исполнено. Теперь онъ, какъ слѣ- дуетъ, совершенно справедливо заплатить день- ги и уйдетъ спокойнымъ порядочнымъ челове- комъ, а не струсившимъ и ослѣваннымъ маль- чишкой, надъ которымъ покуражились какъ только хотѣли. «Кажется, я ни разу не взгля- нулъ на этихъ пановъ?» задавалъ онъ само- му себѣ сомнѣвающийся вопросъ. «Но точно ли ни разу?.. Кажется что такъ!.. Да; помню, дѣйствительно ни разу!.. Точно!.. И какъ это хорошо, въ самомъ дѣлѣ!.. Полнѣйшее презрѣ- ніе: будто и не замѣтилъ!.. А что если эти какія-то глупыя замѣчанія ихнія... за которые стоило бы морду побить!» мелькнула ему вдругъ какъ-то сама по себѣ «какъ незаконная ко- мета», побочная мысль «антигуманнаго свой- ства». — «Н-да... Но и то еще для нихъ вѣдь сомнительно, попали ль они въ цѣль: я вѣдь «москаль» и польскаго языка не понимаю... Это надо будетъ какъ-нибудь заявить имъ, что я не понимаю!» какъ бы въ скобкахъ сдѣ- лалъ онъ самому себѣ внутреннюю нотабену.

Но все-таки чашка жирнаго кофе далеко не показалась ему такою вкусною, какою онъ навѣрное нашелъ бы ее, послѣ прогулки нато- щакъ, не случись всей этой непріятной исторіи, а теперь... теперь онъ глотаетъ жирную влагу помимо всякаго желанія. Горячій кофе теперь противенъ ему, и даже въ глотку не лѣзетъ, даже вкусу никакого онъ въ немъ не чув- ствуетъ, а все-таки пьетъ, пьетъ по необходи- мости, такъ сказать, для выдержки, для харак- теру, для самолюбія, для того, наконецъ, чтобы имѣть законное право заплатить застоечному нахалу 17 копеекъ, или, какъ выражаются здѣсь, «злоты, гроши пентъ». Бѣдный герой мой! Онъ пьетъ, обжигаетъ себѣ нѣбо, а все- таки пьетъ, съ одною дашь мыслию, какъ бы допить поскорѣе «и показать... показать имъ».

Что показать? — Это и самъ онъ сознавалъ довольно-таки смутно; чувствовалъ только, что «надо показать... над... и очень много... нака- зать ихъ, каналий!»

Но какъ наказать? — Опять-таки представле- ніе объ этомъ было самое смутное.

Выпивъ, наконецъ, чашку и морщась отъ боли въ обожженномъ рту, но съ такимъ видомъ, какъ будто вовсе не отъ боли, а отъ проглочен- ной мерзости, онъ неторопливо досталъ папи- роску, неторопливо повертѣлъ ее съ равнодуши- нымъ, разсѣянно-задумчивымъ видомъ и нето- ропливо же подошелъ къ огню закурить ее. И это была нарочная, умышленная неторопли- вость, будто бы ради выдержки собственного достоинства, тогда какъ самому хотѣлось бы поскорѣе вырваться и убѣжать отсюда, ибо онъ чувствовалъ, какъ въ груди опять начинается ко- лесомъ ходить что-то жуткое и въ горлѣ опять давить что-то такъ сухо, давить какимъ-то спазматически-колючимъ сжатіемъ, такъ что, чувствуя все это, онъ дѣлалъ надъ собою большое усиліе, чтобы глотать и давить въ себѣ эти тяже- лыя ощущенія, которые вотъ-вотъ того и глади прорвутся наружу самымъ неумѣстнымъ про- явленіемъ и разрѣшатся озлобленными рыдані- ями, и тогда... тогда нѣтъ ничего мудренаго, если прихлынетъ бѣшеное затменіе и опять явится шальная мысль хватить на-повалъ чѣмъ ни попадя! Онъ чувствовалъ, что внутри его кипитъ сильное, почти истерическое раз- драженіе, и напиралъ всю силу воли, чтобы подавить его.

Закуривъ наконецъ папироску, все съ той же гримасой, будто бы отъ проглоченной мер- зости, подошелъ онъ къ стойкѣ и недоволь- нымъ, но презрительно-спокойнымъ голосомъ спросилъ, указывая взоромъ на выпитую чашку:

— Что стоятъ эти помои?

— Якъ-то? — устроивъ себѣ глупую физионо- мію, отозвался застоечный панк. Теперь уже онъ притворялся, будто онъ не понимаетъ языка русскаго.

— Я спрашиваю, что стоятъ эти помои, ко- торыя вы подаете подъ именемъ кофе? — съ вразумительной разстановкой словъ и нарочно придавъ металлическую звучность своему, нѣ- сколько повышенному голосу, повторилъ свой вопросъ Константинъ Семеновичъ.

— Не розѹмемъ!.. ¹⁾ пожалъ плечами бу- фетчикъ и, смотря на него притворно-недо- умѣвающимъ взглядомъ, прибавилъ, помолчавъ малое время:

— Цо вацпанъ потребеѹе? ²⁾

Хвалынцевъ упорно глядѣлъ ему прямо въ глаза блестяще-холоднымъ и твердымъ взгля- домъ, тогда какъ внутри себя онъ чувствовалъ, какъ тамъ въ груди *играетъ* что-то, играетъ и ходитъ, и дрожитъ всѣми жилками, всѣми нервами чувство живой, только-что вновь на- родившейся ненависти. И вдругъ судьба ему дала на одно мгновеніе счастливое, злорадное

¹⁾ Не понимаю.

²⁾ Что вамъ, сударь, угодно?

удовольствие: онъ увидѣлъ, какъ подъ вліяніемъ его твердаго, холоднаго, смѣлаго взгляда, нахальные глазенки застоечнаго пана вдругъ потупились и смущенно забѣгали внизъ и въ стороны, всячески избѣгая новой встрѣчи съ этимъ неприятно-блестящимъ, стальнымъ и острымъ взглядомъ «пршкелентёго ¹⁾ москаля». Это неожиданное открытіе вдругъ какъ-то нравственно подняло Хвалынцева, подняло духъ его и, вмѣстѣ съ пробудившеюся увѣренностію въ самомъ себѣ, придало столь нужное ему теперь не дѣланное, а настоящее спокойствіе—спокойствіе сознанной силы и нравственнаго перевѣса.

— Але пожъ вацпанъ потребеуе?.. продолжалъ межъ тѣмъ бормотать, уже замѣтно поспустивши тонъ, застоечный шляхтичъ, все такъ-же бѣгая глазенками и избѣгая встрѣчи со взглядомъ Хвалынцева.

— Если вы не понимаете по-русски, то приплите вмѣсто себя кого другого, кто-бы понималъ меня,—все тѣмъ-же ровнымъ, повышеннымъ голосомъ заговорилъ послѣдній,—потому что я точно также не понимаю по-польски.

Эту послѣднюю фразу онъ постарался произнести особенно отчетливо и ясно.

— Алежъ нема кого, пане!—пожимая плечами, бормоталъ буфетчикъ.— А въ реци ²⁾, махнуль онъ рукою,—зъ пана—злоты, грѣшы пенцѣ.

«Ага! понялъ голубчикъ! заставилъ-таки понять!» съ чувствомъ нѣсколько мелочнаго самодовольствія подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «И все это врутъ они: всѣ они отлпно понимаютъ!.. Одно только притворство!» Онъ неторопливо раскрылъ бумажникъ, небрежно вынулъ пачку ассигнацій—ту, что была потолоще—оставивъ двѣ другія нѣсколько на виду въ бумажникѣ; затѣмъ какъ-бы нечаянно, мелькомъ давъ замѣтить въ ней нѣсколько крупныхъ бумажекъ, онъ вытащилъ зелененькую и небрежно швырнулъ ее на конторку подъ самый носъ застоечному пану. И все это продолжалъ умышленно, нарочно, даже съ чувствомъ какого-то ребяческаго самоуслажденія: вотъ-же, молъ, тебѣ! На, смотри, каналья!.. Смѣетъ думать, полячишко поганый, будто семнадцать копеекъ нѣтъ!

Теперь уже Хвалынцеву почему-то вдругъ вообразилось, что тотъ непременно думалъ это. У него даже образовалась какая-то увѣренность въ томъ, совершенно безосновательная, но твердая.

Получивъ сдачу, которая, къ пріятному удивленію Хвалынцева, была ему подана довольно вѣжливо («что значить, однако выдержка!» самодовольно подумалось ему при этомъ; «стоило лишь показать рѣшительную и твердую смѣ-

лость—полячокъ и струсилъ!»), онъ вышелъ наконецъ на свѣжій воздухъ и только тутъ вздохнулъ легко и свободно.

Однако-же отголоски внутренняго раздраженія, чуть было не разразившагося истерикою злости, давали еще ему чувствовать себя то волненіемъ, то нервнымъ ощущеніемъ дрожи въ рукахъ и внутри груди, то холодными мурашками за спиною и въ верхней части рукъ отъ локтя къ плечу и лопаткѣ.

Онъ чувствовалъ настоятельную потребность хорошоенько пройтись, освѣжиться, успокоиться и хоть сколько-нибудь разсѣять себя, и потому тотчасъ-же отправился бродить куда глаза глядятъ, съ цѣлью «осматривать городъ», или, лучше сказать, просто безъ всякой опредѣленной цѣли.

IV.

На Коложѣ.

Хвалынцевъ любилъ испытывать то, что можетъ быть названо чувствомъ чужого, незнакомаго мѣста, чужого города. Если судьба заносила его въ совершенно неизвѣстный ему, никогда невиданный имъ городъ, гдѣ у него даже нѣтъ никого знакомыхъ, онъ любилъ пойти безъ всякой цѣли бродить по незнакомымъ улицамъ, площадямъ, переулкамъ, приглядываться къ домамъ, къ людямъ, къ характеру нечаянно открывавшейся мѣстности, перспективы, пустыря-ли какого, или древняго храма, думать, какіе-то здѣсь люди живутъ и что-то у нихъ за нужды, что за жизнь, что за борьба, какія стремленія, хлопоты, интересы, какіе характеры, какіе у нихъ домики, и по виду этихъ домиковъ дополнять, дорисовывать въ воображеніи картину повседневнаго быта и жизни ихъ обитателей. Каждый домикъ какъ будто свою особую фізіономію имѣетъ, свой личный характеръ оказываетъ, чему особенно помогаютъ окна, играющія въ этомъ отношеніи роль глазъ человѣческихъ. Одинъ домишко глядитъ на улицу весело, словно бы улыбается, другой стоитъ себѣ состроивши кислую гримасу, третій своими окнами-глазками словно бы жалуется на что-то, словно бы обидѣли его, четвертый глядитъ на все какъ-то подозрительно скосившись. Хвалынцевъ очень любилъ совсѣмъ потеряться въ этихъ незнакомыхъ улицахъ и переулкахъ съ этими самыми домиками, любилъ идти, ни у кого не пытая дороги, а просто такъ-себѣ на удачу, куда Богъ ни выведетъ. Въ это время глазъ всегда дѣлается какъ-то внимательнѣе, приглядчивѣе, развивается чувство наблюдательности; мысль, не занятая ничѣмъ особеннымъ, работаетъ межъ тѣмъ съ какою-то пытливою прихотливостію, а воображеніе помогаетъ ей изукрашивать эту работу... Какъ-то впечатлительнѣе

¹⁾ Проклятаго.

²⁾ Впрочемъ

становишься въ это время и все стараешься запомнить, усвоить себѣ характеръ и видъ какихъ-либо предметовъ, зданій, перспективъ, для того чтобы не забыть ихъ впослѣдствіи—запомнить даже самое впечатлѣніе, подъ которымъ ихъ видѣлъ.—Любилъ Хвалынцевъ и это чувство полного, круглаго одиночества, среди многолюдья: я, дескать, никого не знаю, и меня никто не знаетъ; броди себѣ, гляди, мечтай, наблюдай—никому до тебя никакого дѣла нѣтъ, никто не остановитъ, не развлечетъ, и не побеспокоитъ тебя. Хорошо! славнотакъ!—И каждый разъ, попавши въ чужой городъ, онъ съ удовольствіемъ переживалъ это чувство чужого, незнакомаго мѣста.

Такъ точно и теперь вотъ съ нимъ было. Движеніе, свѣжій воздухъ, яркое солнце и это самое чувство осадилъ, успокоили окончательно его волненіе. Онъ даже и не старался о томъ, чтобы не думать о давешней исторіи: по прошествіи нѣкотораго времени оно какъ-то само-собою незамѣтно перестало думаться; мысли и впечатлительность настроились на другое—и мало-по-малу эта знакомое, тихое, пріятное и немного какъ-будто грустное, но хорошо-щемящее чувство чужого мѣста всецѣло охватило собою Хвалынцева. Онъ побродилъ уже достаточно, но усталости не испытывалъ ни малѣйшей. Прошелъ мимо желтаго одноэтажнаго, построеннаго покоемъ зданія, съ какою-то статуей на куполѣ крыши, за которою чернѣли вѣковые деревья обширнаго сада, и по присутствію полицейскихъ да казаковъ догадался, что это—губернаторскій домъ. Впрочемъ, губернаторскіе дома, почти во всѣхъ губернскихъ городахъ, всегда какъ-то сразу, сами собою узнаются: около нихъ неизмѣнно царитъ какая-то неуловимая, невѣсть въ чемъ именно заключающаяся, но тѣмъ не менѣе чувствуемая, словно перемѣна воздуха, какая-то офиціальная атмосфера: такъ вотъ тутъ и пахнетъ тебѣ губернаторскимъ домомъ!

Затѣмъ, оставя вправѣ отъ себя какіе-то пустыри, пошелъ герой нашъ по пустынной площади, по направленію къ виднѣвшемуся прямо впереди какому-то трехэтажному голубому дому, къ заднему фасаду котораго тоже примыкали обширныя сады. По «всевидающему», изображенному на фронтонѣ, да по вышедшему изъ воротъ монаху и двумъ-тремъ попавшимся на встрѣчу субъектамъ въ шинеляхъ семинарскаго покроя съ пѣвческими фізіономіями, Хвалынцевъ догадался, что голубое зданіе должно быть архіерейскій домъ, и не переходя мостикъ, спустился налѣво въ глубокій оврагъ, по крутымъ, размытымъ бокамъ котораго кое-гдѣ лѣпились убогія бѣленыя мазанки, сарайчики да сачочки, а по дну извивалась рѣченка Городничанка, чрезъ которую мѣстами можно было просто перешагнуть съ небольшимъ напряженіемъ. Мѣсто это очень

оригинально и довольно красиво, и при томъ выходитъ изъ всякаго условно-городскаго характера. Не замѣтно для самого себя, бредя все дальше да дальше по этому оврагу—гдѣ, подымаясь тропинкой на откосы боковъ, а гдѣ спускаясь на самое дно—онъ вдругъ замѣтилъ, какъ неожиданно впереди сверкнула въ глаза ему, словно воронѣная сталь въ солнечныхъ блесткахъ, полоса рѣки, и оглянувшись вокругъ себя. Онъ былъ на днѣ широко-раздвинувшагося оврага. И направо, и налѣво подымались значительныя крутизны. У самой вершины лѣвой кручи видѣлись какія-то древнія развалины: будто остатки башни, выступы стѣнъ, угловъ и даже темное окошко можно было замѣтить въ стѣнѣ пониже уровня вершины. Это были развалины древнихъ городненскихъ укрѣпленій, остатки окруженнаго глубокимъ рвомъ замка, отъ котораго нынѣ уцѣлѣлъ только одинъ изъ флигелей, и этому флигелю новѣйшая цивилизація постаралась придать казенный, строго-казарменный характеръ. На вершинѣ правой крутизны, изъ-за купы древнихъ деревьевъ, тоже видѣлись какія-то развалины: колонны и стѣны, а прямо за рѣкою вырисовывалась на синемъ фонѣ неба красивенькая колокольня надъ желтыми стѣнами и черепичными кровлями францисканскаго «кляштора»¹⁾. По обоимъ склонамъ крутъ бродили козы, тихо пощипывая пожелтѣлую, прихваченную морозомъ травку. Черныя силуэты этихъ козъ съ необыкновенною отчетливостію вырисовывались и на самой вершинѣ лѣвой крутизны, тамъ, гдѣ среди развалинъ, надъ самымъ обрывомъ спокойно разсѣлись, посасывая трубочки, двое какихъ-то русскихъ солдатиковъ, тоже ясно обозначившіеся своими силуэтами на голубомъ фонѣ прозрачнаго воздуха.

«Ахъ, какъ хорошо тутъ!» невольно вздохнулось Хвалынцеву. «Какая прелесть!..»

И ему захотѣлось побродить среди этихъ развалинъ, рассмотреть ихъ поближе и поглядѣть, каковъ-то долженъ быть видъ оттуда, съ этихъ вершинъ, на городъ и на широкую даль прилегающихъ за Нѣманомъ окрестностей. Подъѣмъ на правую крутизну былъ нѣсколько отложе, чѣмъ на лѣвую, которая зато примыкала къ самому городу, и потому Константинъ рѣшилъ себѣ: сначала взобраться направо, а потомъ уже осмотрѣть развалины замка, откуда будетъ гораздо ближе вернуться въ городъ. Такъ онъ и сдѣлалъ. Хватаясь иногда за обнажавшіеся корни деревьевъ, перевѣсившихъ свои голыя вѣтви надъ его головою, по узенькой, извилистой тропинкѣ, которая мѣстами пролежала по самому обрыву, Хвалынцевъ добрался до вершинъ, гдѣ предъ нимъ открылась ровная площадка, засаженная старыми

¹⁾ Монастыря.

деревьями, между которыми высокіе пирамидальные тополи занимали весьма видное мѣсто. Тутъ же были и развалины.

Надъ самой кручей, на краю высокаго, почти отвѣснаго обрыва, высидили полуразрушенныя стѣны, одна часть которыхъ нѣкогда, вмѣстѣ съ глыбою почвы, рухнула въ Нѣманъ, оставивъ на вершинѣ, кромѣ уцѣлѣвшей части стѣны, еще и нѣсколько отдѣльных, устоявшихъ съ того времени колоннъ, на которыя когда-то упирались высокіе своды. Это были остатки храма, характеръ постройки котораго свидѣтельствовалъ о его глубокой древности. Всѣ стѣны были выведены изъ дикаго камня, сплоченнаго между собою надежнымъ цементомъ. Полукруглая алтарная стѣна, обращенная на востокъ, вмѣстѣ со стѣною сѣверною, въ которой были пробиты двери и окна, а равно и часть западной сохранились еще очень хорошо. Съ наружной ихъ стороны можно было видѣть мозаичныя украшенія въ видѣ крестовъ и звѣздъ, цвѣта которыхъ и доселѣ еще очень свѣжи; внутреннія же стѣны испещрена были правильно-круглыми отверстиями. Это были *голосники*, то-есть кувшины, замурованные въ стѣны для благозвучнаго резонанса внутри храма. Теперь голосники эти являли собою прочный и безопасный пріютъ для воробьевъ, которые во множествѣ посвивали свои гнѣзда въ темной глубинѣ этихъ акустическихъ кувшиновъ. Хвалынцевъ вспомнилъ, что нѣкогда гдѣ-то читалъ онъ, что подобнаго рода кувшины-голосники являлись въ церковныхъ постройкахъ X—XII вѣковъ; это одно уже указало ему приблизительно на время, къ которому можно было отнести сооруженіе над-нѣманскаго храма. На алтарномъ сводѣ, кое-гдѣ мѣстами, сохранились еще остатки фресковой живописи: слабо виднѣлся очеркъ головы какого-то святого и расписной, каѣмчатый карнизъ. У ногъ чернѣлъ полузаваленный сходъ въ церковные склепы. Тамъ и сямъ, и внутри, и внѣ храма, валялось нѣсколько намогильныхъ плитъ, и Хвалынцевъ съ величайшимъ трудомъ могъ разобрать совсѣмъ почти стершіяся надписи двухъ изъ этихъ камней. На одномъ виднѣлось имя какой-то Голицыной, на другомъ высѣченное по-латыни имя Лизогуба. Разбросанная вокругъ и около масса кирпичей, булыжника, гранита, мусора и щебня валялась въ особенномъ изобиліи въ сохранившейся части восточной и сѣверной стѣны. Вокругъ все было такъ тихо и глухо. Легкій вѣтеръ свистѣлъ иногда въ оголенныхъ прутьяхъ высокихъ тополевыхъ вершинъ. Солнце ласковымъ свѣтомъ обливало это картинное мѣсто запустѣнія; внизу, глубоко подъ ногами, сверкала стальная полоса Нѣмана, и было на немъ все тоже такъ пустынно: на одной лодочке, никакой жизни, кромѣ быстрого движенія вѣчныхъ волнъ. На-

лѣво городъ виднѣлся, скученный въ довольно тѣсномъ пространствѣ со своими буро-красными, остроконечными и высокими черепичными кровлями, со своими башнями, куполами и изящно легкими, причудливо прорѣзными крестами католическихъ колоколенъ. Прямо предъ глазами, за рѣкою — широкая даль открывалась, даль, синѣвшая лѣсами и туманомъ; направо убѣгалъ Нѣманъ и прятался за излучинами своихъ крутыхъ и лѣсистыхъ береговъ... Нѣманъ — старая порубежная рѣка: тамъ, за нею, сейчасъ-же начинается Польша...

Хвалынцевъ долго любовался на всю эту широкую картину, отъ которой вѣло на душу какую-то тихую, свѣтло-спокойную грусть. Тамъ каждая пядь земли безмолвно свидѣтельствовала о старой, исторической борьбѣ, о бурной жизни давно минувшихъ временъ... Отъ этой картины онъ снова перевелъ взоръ свои на окружавшія его развалины. Уцѣлѣвшія стѣны и колонны были исчерчены всевозможными надписями и стихами. Надписи почти исключительно были польскія и отчасти русскія, но послѣднія довольно-таки безграмотны, и по конструкціи рѣчи можно было заключить, что вышли онѣ изъ-подъ руки польской. Это были по большей части разныя пошлости, плоскія изъясненія въ любви, и стихами, и прозой; отчасти надписи писквильнаго свойства, а отчасти и совсѣмъ неприличнаго, циническаго характера. Но одна изъ нихъ особенно обратила на себя вниманіе Константина. Она была сдѣлана на алтарной стѣнѣ, съ правой стороны, и по-польски гласила слѣдующее:

„Псе глосы неидон' подъ неб.сы! *)

Грубый цинизмъ обыкновеннаго зазорнаго свойства, казалось, былъ еще какъ-то сноснѣе: по крайней мѣрѣ, можно было думать, что такіа надписи чертила неумѣлая рука едва научившагося писать школьника, который совершенно безразлично чертитъ то же самое на любомъ заборѣ или на стѣнѣ этихъ развалинъ, не вѣдая и не понимая, какія это стѣны и какія развалины. Но «псе глосы» своимъ фдкимъ сарказмомъ свидѣтельствовали ясно, что эту послѣднюю надпись начертала сознающая и ненавидящая рука.

«Песни голоса не возносятся въ небеса! — какая эпитафія къ этимъ смертнымъ останкамъ, къ этимъ развалинамъ!» съ невыразимо-меланхолическою грустью подумалось Хвалынцеву. — «Песни голоса!...» Какова-же однако сила слѣпой ненависти, если она не пощадила даже могильныхъ остатковъ древности, этой святыни христіанскаго храма!»

Чѣмъ больше разбиралъ онъ подобныя надругательства, шеголявшія кошунствомъ патріотической ненависти, тѣмъ грустнѣе и горьче

*) Собачьи голоса не возносятся въ небеса.

становилось ему на душѣ. А эта пустыньность, эта тишина вокругъ, эти голыя вѣтви и перебѣгающій шумъ вѣтра, доносившійся снизу плескъ рѣки, унылость поздней осени и гдѣ-то невдалекѣ однообразное, короткое карканье вѣрона на вершинѣ березы—все это еще болѣе и болѣе, въ соединеніи съ горькими мыслями и сознаніемъ собственнаго одиночества, собственной отчужденности, навѣвало на душу щемящее, зарывающее ощущение грусти—грусти тихой, но садящей, колючей и чуть не до слезъ захватывающей всего человѣка.

Быть можетъ, долго бы еще простоялъ Хвалынцевъ въ этомъ нѣмомъ опѣшеніи грусти, если бы до слуха его не достигли отзвуки чьихъ-то тихо бродившихъ шаговъ и невнятнаго старческаго бормотанья гдѣ-то тутъ же, близко за стѣною.

Онъ встряхнулся и вышелъ посмотрѣть, кто тамъ бродитъ.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божій, помилуй и прости. Эка грѣхъ какой!.. Эка люди нехороше... А-ахъ!.. Ну, ужъ только! Ишь ты какъ!.. съ соболѣзнованіемъ и досадой шамкалъ чей-то старческій голосъ.

Хвалынцевъ завернулъ за алтарную стѣну и увидѣлъ древняго, совсѣмъ сѣдого старичка, который, сгорбившись отъ лѣтъ, невѣрными, старческими руками тщательно отmetalъ метлою нечистоты отъ церковной стѣны и сбрасывалъ ихъ внизъ по обрыву.

Замѣтивъ посторонняго, старикъ обернулся и, щиткомъ приложивъ руку къ глазамъ, вглядчиво, незоркимъ окомъ старался разглядѣть, что за человѣкъ такой подходитъ?

— Здравствуй, дѣдушко! Богъ помочь!—приподнявъ шапку, внятно и громко проговорилъ Хвалынцевъ.

Старикъ дрожащею рукой снялъ тоже свою шапченку и поклонился почтительно-степенно, хотя, какъ показалось Хвалынцеву, словно бы съ какою-то недоувѣрчивостью.

— Здравствуйте,—прошамкали его старческія губы.

— Чтѣ дѣлаешь, дѣдушко?—совсѣмъ близко подойдя къ нему, проговорилъ Хвалынцевъ съ особенною ласковостью въ улыбкѣ и голосѣ. Услыхавъ русскую рѣчь, онъ хотѣлъ какъ-нибудь завязать бесѣду.

— Да вотъ, паскудятъ все мѣсто святое... Ишь ты!—проговорилъ старикъ съ такимъ видомъ, въ которомъ чулось внутреннее возмущенное чувство.

Хвалынцевъ соболѣзновательно покачалъ головою.

— Кто-жъ это?—спросилъ онъ.

— А люди... нехорошіе... Злые люди... Нѣтъ, вишь, имъ другого мѣста! Храмъ Божій для экого дѣла напили! Ты вотъ тутъ очистишь, а они, гляди, на другой день опять!

— Чтѣ-жъ, неужели это нарочно?

— А то не нарочно?! Знаю я ихъ!

— Кто-жъ это? поляки?

— Извѣстно, поляки! Паничи ихніе—вотъ чтѣ учатся... И чему ихъ тамъ только учать, прости Господи!.. Нешто не видно, что мѣсто святое?!. Хотя и завалилось, а все же престолъ Господень стоялъ. О-охъ, грѣхи наши тяжкіе!—со вздохомъ покачалъ онъ головою, снова принимаясь за свою работу.

— А ты, дѣдушко, ихъ подкараулилъ бы да пристыдилъ хорошенько, — посовѣтовалъ Хвалынцевъ.

— Стидилъ!—махнулъ дѣдъ рукою.—Ты ихъ стыдишь, а они въ тебя каменьями да грязью швыряютъ... да насмѣхаются еще!... Одно слово: злые люди... нехорошіе...

И метла снова зашуркала въ его старческихъ рукахъ.

— Вотъ тутъ тоже, я замѣтилъ, надписи есть нехорошія по стѣнамъ, — сказалъ Константинъ,—ты бы стеръ, аль замазалъ ихъ, дѣдушко.

— Гдѣ?—озабоченно обернулся старикъ,—покажи, Христа ради!.. Я ужъ сколько разовъ и въ кон-то годы все стираю, да все, вишь, пишутъ... Глазами нонѣ совсѣмъ плохъ сталъ—не вижу... такъ иное дѣло и не различишь чего... Покажи, сдѣлай милость хрестіанскую!.. Я замажу коѣ мѣсто—глины то есть достаточно... кабы только знатъ!

Старикъ кончилъ, наконецъ, свое дѣло и вошелъ во внутрь развалинъ. Хвалынцевъ указалъ ему, гдѣ были надписи. Тотъ замѣтилъ себѣ эти мѣста, укоризненно и грустно качая головою.

Константинъ присѣлъ на камень.

— Ты, дѣдушко, русскій, конечно?—спросилъ онъ.

— А то какой-же? Извѣстно, русскій!.. Съ-подъ своего, съ-подъ Бѣлаго Царя живемъ!—съ движеніемъ какого-то нравственнаго достоинства проговорилъ старикъ, тоже присѣвши рядомъ.

— Ты изъ какихъ же мѣстъ?—продолжалъ разспрашивать Хвалынцевъ.

— Я-то?.. Я здѣшній, гродненскій; изъ мѣщанъ.

Константинъ съ удивленіемъ вскинулся на него глазами.

— Чтѣ воззрился такъ?—добродушно ухмыльнулся дѣдъ.

— Да удивительно мнѣ то, что такъ чисто по-русски говоришь, словно бы ты изъ коренной Россіи.

— Да здѣсь-то развѣ не Россія?—возразилъ старикъ.—Все же она одна, какъ есть, вездѣ... Одиный Царь, одиный корень, одна граница, и одно званіе есть—Имперіи.

— А поляки говорятъ, что Польша, и отвоевать хотятъ,—улыбнулся Константинъ, думая подстрекнуть его.

— Польща... отвоевать! — недовольно мотнув головою, прошамкалъ старикъ. — Войки тоже!.. Имъ бы гдѣ блудить развѣ, да мѣсто святое паскудить—вотъ ихъ весь и предѣлъ!

— Но въ самомъ дѣлѣ, ты отлично говоришь по-русски!—снова замѣтилъ Хвалынцевъ, которому, дѣйствительно, было и странно, и интересно слышать такой говоръ изъ устъ мѣстнаго коренного жителя.

— Я-то?—улыбнулся дѣдко.—Да какъ мнѣ не говорить, когда я весь вѣкъ въ солдатахъ служилъ?.. Фанагорійскаго Гарнадерскаго свѣтлѣющаго князя Суворова-Рымницкаго полку—вотъ гдѣ я служилъ!—съ отгѣнкомъ нѣкоторой гордости и даже похвалыбы проговорилъ онъ, вразумительно отдѣляя каждое слово въ титулѣ своего полка.

— И кавалеріи имѣешь?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А то нѣтъ?—весь-то вѣкъ служимши!—гордо мотнулъ дѣдко головою, — имѣю святѣя медали! И за француза, и за туречину, и безпорочную, и хрестъ тоже за польское укрощеніе имѣю—за Арнаву, значить.

— И француза помнишь, — удивился Хвалынцевъ.

— Какъ его не помнить! Я съ того самаго года и въ службу пошелъ, какъ по небу красная планида съ хвостомъ ходила, а на другой годъ опосля того и французъ съ двадцать языкъ на Россію пришелъ... Вотъ я съ коихъ поръ! Четыремъ императорамъ на своемъ вѣку присяги держалъ, а при двухъ въ службѣ находился...

— Скажи, пожалуйста, какъ это мѣсто называется?—послѣ короткаго молчанія спросилъ Константинъ, окинувъ окрестъ себя глазами.

— Это-та?.. Это Колѣжа называется; и церковь тоже Коложанская, значить.

— Православная церковь-то была?

— Какъ же! Извѣстно, православная! Для того ей вотъ и честь-то такая!—съ горькою проніей, грустно усмѣхнулся старикъ.

— А древняя, должно быть...

— Хм... какъ не древняя, коли ей вѣку всего ея больше какъ за семьсотъ годовъ есть.. Самая что ни есть древнѣющая церковь во всей гродненской странѣ.. И въ экомъ-то вотъ запущеніи!.. Издревле-то вишь ты,—пояснилъ онъ,—тутъ все благочестіе было... польской вѣры еще не было... польская-то ужъ потомъ пошла, а допрежь тово—старые люди сказывали, и въ книгахъ быдо тоже есть писано, что все какъ есть одно благочестіе было!.. И-хи-хи!.. Времена-то теперь слезовыл!—помолчавъ немного, вздохнулъ онъ и грустно закачалъ головою.

— А ты, значить, сторожемъ сюда приставленъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Я-то?.. Я самъ себя приставилъ,—усмѣхнулся дѣдко.—Какъ рѣшили меня эта въ чи-

стую, такъ я, значить, въ свое мѣсто пришелъ и жилъ вотъ... Ну, а потомъ вижу-себѣ: годы идутъ мои ужъ дряхлые; надо, думаю, какъ ни-на-есть Богу потрудиться... Вижу, опять же, мѣсто святое и такая вдругъ дустыня и въ эдакомъ запущеніи... подумалъ я себѣ это да и облюбилъ его... Ну, и живу вотъ, поколь Богъ смерти не дастъ.

— А гдѣ же живешь?—спросилъ Константинъ.

— Кто-ся?—отозвался старикъ.

— Да ты же, дѣдко?

— Я-то?.. А вотъ тутъ! — И онъ указалъ рукою на груду кирпичей подъ сохранившимся въ цѣлости алтарнымъ сводомъ.

— Какъ, то-есть, тутъ?—переспросилъ удивленный Хвалынцевъ.—Да гдѣ же тутъ жить?!

— А вотъ тутъ и жить!—совершенно просто, какъ о самомъ естественномъ дѣлѣ, подтвердилъ старикъ.—Чѣмъ же не мѣсто?

— Да развѣ можно такъ-то?

— А зачѣмъ же не можно?.. Что жъ, мѣсто Божье, а мнѣ немного надо.

— А спишь-то ты гдѣ же?

— А тутъ и сплю же; вотъ, за камешками.

Хвалынцевъ полюбопытствовалъ взглянуть на стариково ложе и убѣдиться въ точности его словъ. Подойдя къ грудѣ кирпичей и вскарабкавшись на нее, онъ дѣйствительно увидѣлъ своеобразно наложенное мѣсто, гдѣ былъ брошенъ небольшой пучекъ слежалой соломы да старенькій продранный кожушекъ. Убѣдясь въ истинѣ простыхъ, безхитростныхъ словъ дѣдки, онъ невольно посмотрѣлъ на него со страннымъ, смѣшаннымъ чувствомъ удивленія и благоговѣнія къ этой простой, безвѣстной, но столь могуче-твердой силѣ подвижническаго духа.

— Но ты, конечно, только лѣтомъ здѣсь спишь?—все еще не вполне убѣдясь, спросилъ онъ его.

— Нѣтъ, завсегда почти.

— Даже и зимою?

— И зимой когда, тоже... Развѣ ужъ дюдой морозъ дойметъ, ну, тогда къ сосѣду въ хату постучишься... Добрый человекъ сосѣдъ тутъ у меня есть неподалеку... привитаецъ тоже когда, грѣшнымъ дѣломъ... приютъ даетъ...

— Но вѣдь тутъ же, наконецъ, и холодно, и дождикъ, и снѣгъ къ тебѣ западаетъ?—участливо промолвилъ Хвалынцевъ.

— Случается. Да это что жь!.. Дождичекъ, аль снѣжокъ, извѣстно, Божье дѣло! Тоже вѣдь и ему нужно же идти—безъ того нельзя вѣдь! Ну, а у меня кости-то походныя, одно слово, гарнадерскія! сизмалѣства приобыкли!.. Наше дѣло теперича такое: гдѣ прилегъ тутъ тебѣ и постеля, камешекъ за подушечку, а нѣбушко за положокъ, а тутъ коли еще соломки малость да кожушекъ,—такъ и очень прекрасно!.. Спокой!.. Ну, а какъ ежели морозъ, тогда ужъ—слабъ че-

ловѣкъ!—иное дѣло и не выдержишь, къ сосѣду попросишься.

— И давно такъ живешь ты?

— Нѣтъ недавно...

— А какъ недавно-то?

— Да такъ, годовъ съ шестнадцать будетъ, не болѣ.

— А кормишься съ чего ты?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Какъ съ чего?!.. Вѣдь я же государственную пенсію получаю... свою, значить, заслуженную... Ну, и сосѣдъ тоже когда прикармливаетъ... Да мнѣ чтѣ, мнѣ много ль и нужно-то?.. хлѣбца въ водичку размочишь себѣ, пососеешь малость—и сытъ!

«Вотъ она, эта безвѣстная, темная, но какая же зато великая сила духа!» съ невольнымъ благоговѣніемъ думалось Хвалынцеву. «И вся-то она вотъ кроется въ простомъ русскомъ человѣкѣ... И не требуетъ себѣ ни похвалъ громкихъ, ни удивленій... Умреть чловѣкъ, вѣдь и знать никто не будетъ... Да вѣдь и то сказать, не для людей, не для мірской славы, а для Бога вѣдь и дѣлается... Сила вѣры какая! Стойкость-то какая! Да и простота же какая великая при этомъ!»

Сѣдой дѣдко глядѣлъ такимъ круглымъ, непокрытымъ бѣднякомъ въ своей потертой шапчкѣ, въ своемъ заплатанномъ, тощенькомъ сукманцѣ, и такъ онъ былъ худъ и блѣденъ съ лица и съ тѣла, и такъ старчески потрясывалась порою его голова и руки (одни глаза только были глубоко и кротко покойны), что Хвалынцеву, по мгновенному и невольному движенію сердца, захотѣлось вдругъ чѣмъ нибудь пособить его убогой бѣдности.

Онъ досталъ изъ бумажника пятирублевую ассигнацію и подошелъ къ старику.

— Дѣдушко!—сказалъ онъ, немного смущаясь,—вотъ что, голубчикъ, спасибо тебѣ, во-первыхъ, за бесѣду твою... Позволь мнѣ... На вотъ, тебѣ пригодится...

Старикъ съ покойнымъ удивленіемъ посмотрѣлъ на ассигнацію, а потомъ на Хвалынцева.

— Это что же?.. Зачѣмъ?—спросилъ онъ, видимо недоумѣвая.

— Это я, тебѣ... возьми, дѣдушко! — проговорилъ Константинъ, тѣсно сунувъ ему бумажку.

— Мнѣ-ѣ?.. Да зачѣмъ же мнѣ-то?

— Возьми... все равно пригодится.

— Хм... Спасибо, добрый человѣкъ... Только это напрасно! Я, какъ есть, всѣмъ доволенъ... И куды же мнѣ такіа деньги?.. Нѣтъ, ужъ ты лучше спрячь ихъ!.. Твое дѣло молодое, тебѣ пригодятся, а мнѣ куда же?!..

— Ну, коли себѣ не хочешь, такъ отдай сосѣду! — нашелся Хвалынцевъ, — сосѣдъ-то вѣдь поди-ка человѣкъ бѣдный.

— Извѣстно, бѣдный! Съ чего же богатому быть?—Человѣкъ трудящійся.

— Ну, такъ вотъ ты и отдай ему отъ меня.

Старикъ, колеблясь, призадумался на мигъ и принялъ деньги.

— Развѣ что для сосѣда!—сказалъ онъ.— Дѣло бѣдокурое: семья!.. Спасибо-те, милый человѣкъ!.. За это тебѣ, значить, Господь воздастъ...

Хвалынцевъ почувствовалъ искреннюю радость и довольство, когда старикъ согласился, наконецъ, взять отъ него деньги; а то ему начинало становиться больно и совѣстно при мысли, что, можетъ, онъ нечаянно обидѣлъ дѣда своимъ предложеніемъ. Но мысль объ обидѣ была слишкомъ далека отъ простого и кроткаго сердца этого простого же и непосредственнаго человѣка: онъ потому только и не взялъ для себя этихъ денегъ, что къ чему же онѣ ему? И, вдобавокъ, не заслужилъ-то онъ ихъ ничѣмъ, подобно своей «государской пенсіи», ну, а для бѣднаго сосѣда дѣло другое!

Хвалынцевъ вдругъ почувствовалъ у себя на душѣ такъ легко, свѣтло, такъ хорошо и спокойно, что снова ему захотѣлось остаться одному—вполнѣ, совсѣмъ какъ есть одному, наединѣ съ самимъ собою, съ своею собственною утихомирленною и просвѣтленною душою, и потому онъ поспѣшилъ проститься со старымъ ветераномъ.

— Постой, добрый человѣкъ... Постой-ка малость!—окликнулъ его старикъ въ догонку,—тебя какъ звать-то? Крѣстное имя тебѣ какое?

— А что?—обернулся Хвалынцевъ.

— Да такъ; надобно...

— Да зачѣмъ тебѣ?

— Экой ты какой, право! — мотнулъ головой дѣдко,—ну, значить, надобно.

— Ну, а ты скажи зачѣмъ? — улыбнулся Константинъ Семеновичъ.

— Ишь ты!.. Ничего съ тобой не подѣлаешь!.. Ну, зачѣмъ и надобно, чтобы знать, какъ помянуть тебя... Богу за-тебя помолиться... человѣкъ-то ты молодой еще...

— Константиномъ крещенъ, — сказалъ ему Хвалынцевъ.

— Константиномъ?.. Ладно; будемъ помнить... Ну, теперь прощай... Дай Богъ тебѣ!..

И старикъ съ тихимъ степеннымъ поклономъ проводилъ его съ площадки ¹⁾.

V.

Добрая встрѣча.

Прощатавшіеся столько времени, Хвалынцевъ почувствовалъ наконецъ голодъ и легкую усталость. Онъ зашелъ домой, гдѣ только-что кончали вставлять стекла. Комната за все это время сильно все-таки выстудилась, такъ что оставаться въ ней до новой вытопки было рѣшительно невозможно. Онъ справился относительно Свитки, но оказалось, что тотъ до сихъ поръ еще не возвращался. А между тѣмъ хо-

¹⁾ Этотъ старикъ, очень мало извѣстный даже въ самой Гроднѣ, былъ живъ еще недавно.

тлось быть. Что тут дѣлать? Возбѣжаніе какихъ-либо новыхъ непріятныхъ столкновеній съ задиристыми патріотами, Константинъ намѣревался было, несмотря на холодъ, пообѣдать дома, но это оказалось невозможнымъ, потому что «мадамъ Эстерка» въ своемъ «за-здномъ домѣ» для постояльцевъ стола не держала. Приходилось значить какъ ни-на-есть, идти отыскивать какого-нибудь трактирнаго обѣда. Эта печальная необходимость вновь повергла нашего героя въ несовѣсть-то пріятное расположение духа. Впрочемъ, какъ бы то ни было, но онъ рѣшилъ себѣ не терять собственнаго достоинства и не притворяться болѣе иностранцемъ, а быть самимъ собою — русскимъ, такимъ какъ и всегда, какимъ сотворила его природа и выростила родная, русская почва. — «Нечего, и въ самомъ дѣлѣ, плясать по дудѣ этихъ нахаловъ!.. Что за малодушіе!» сказалъ онъ самому себѣ и отправился на поиски обѣда. У Эстерки ему сказали, что обѣдъ можно найти въ «реставраціи» и растолковали, какъ найти ее. Последнее было вовсе не трудно: стоило только дойти до устья Мостовой улицы, къ гостинному двору, и тутъ же, заворотивъ налѣво, первая дверь въ угловомъ домѣ и будетъ эта самая «реставрація».

Подходя къ цѣли своихъ исканій, Хвалынцевъ нагналъ двухъ какихъ-то офицеровъ, которые, повидимому, направлялись туда же. И дѣйствительно, онъ не ошибся въ своемъ предположеніи: офицеры скрылись какъ разъ за указанною ему дверью. — «Ну, вотъ и прекрасно!» подумалъ себѣ Константинъ; «ежели опять случится какая-нибудь непріятность, я просто обращусь къ нимъ какъ проѣзжіи, какъ русский, наконецъ, къ русскимъ же офицерамъ, и, въ случаѣ надобности, попрошу принять въ себѣ участіе... Конечно, ежели порядочные люди, они въ этомъ не откажутъ... Можно даже будетъ сообщить имъ, какъ-нибудь à propos, что я самъ ѣду въ Варшаву въ полкъ», додумалъ онъ себѣ кетати, не безъ нѣкотораго юнаго самодовольствія, что-декасть «и я тоже почти военный, и какъ будущій собрать и прочее»... Однимъ словомъ, Хвалынцеву, по молодости лѣтъ, не непріятно было при мысли о возможности немножечко заявить себя съ будущей воинственной стороны, и не только что предъ этими офицерами, но отчасти и предъ самимъ собою порисоваться чуткою своимъ будущимъ военнымъ званіемъ. За все это время онъ успѣлъ уже на столько свыкнуться съ мыслию о предстоящемъ ему положеніи, что иногда находилъ въ немъ даже свои пріятныя и красивыя стороны, даже не безъ нѣкотораго самодовольствія думалъ о томъ, что гусарскій долманъ, панка и сабля будутъ идти къ нему, даже передъ зеркаломъ становился иногда въ красиво-воинственную позу и на мгновеніе воображалъ се-

ся уже кавалеристомъ. Но такія удаленія въ область мечтаній находили на него только мгновеніями, и онъ тотчасъ же отрезвлялъ, осаживалъ себя, и съ насмѣшливой улыбкой надъ собственною особою, краснѣя отъ сознанія въ себѣ какой-то внутренней неловкости предъ самимъ же собою, качалъ головой и бормоталъ сквозь зубы: «экое ребячество, однако!.. Вотъ глупость-то!» Ему уже какъ-будто было стыдно давать столь беззавѣтно естественную дань своей все еще «бѣлогубой» и потому золотой юности.

Подъ влияніемъ надежды на содѣйствіе офицеровъ, «къ которымъ можно обратиться въ случаѣ крайней надобности», Хвалынцевъ вошелъ въ трактиръ. Въ первой комнатѣ щелкали бильярдные шары, видѣлись нахальные рожки и пахло пивомъ, табачнымъ дымомъ, кухоннымъ чадомъ жаренаго масла и какой-то комнатной кислотности. Однимъ словомъ, первое впечатлѣніе, все равно какъ и давеча въ «цукернѣ», было непріятное. Во второй комнатѣ за буфетомъ сидѣлъ какой-то громадный, коренастый, плотный панъ въ галстухѣ ярко-кроваваго цвѣта, съ пивною, одутливою и лоснящеюся физиономіею и съ неумолчно сопящимъ богатырскимъ носомъ, а подлѣ него, съ претензіями на кокетливость, вертѣлась какая-то пани въ жалобѣ, — не дурнушка и не хорошенькая, а такъ-себѣ, и притомъ лѣтъ уже подъ тридцать. Около этой пани, не безъ военной ловкости, небрежно оперлись на буфетную стойку; стояли тѣ самые офицеры, на которыхъ рассчитывалъ юный герой нашъ, и очень любезно болтали съ ней о чемъ-то, но увъ! — опять разочарованіе для Хвалынцева! — болтали по-польски.

Константинъ прошелъ въ смежную столовую и сразу занялъ себѣ у большаго стола свободное мѣсто.

— Чѣго панъ потрѣбуе? ¹⁾ — съ обычной фразой, очень вѣжливо подлетѣлъ къ нему съ грязной салфеткой въ рукѣ грязно одѣтый трактирный слуга.

Хвалынцевъ на минутку замялся, и вдругъ: — Обѣдъ, — проговорилъ онъ, скрадывая отчетливость звуковъ и замѣняя въ этомъ словѣ букву *н* буквою *я*, а удареніе ставя на первой гласной и такимъ образомъ коверкая русское: *обѣдъ* на польское: *обѣда*.

— Заразъ, пане! ѣдней хвили! ²⁾ — очень вѣжливо и предупредительно поклонился лакей, и обернувшись къ другому, возвышающемуся съ чѣмъ-то у одного изъ столиковъ, вскричалъ ему:

— Эй, Станішекъ! Прошен' картѣчкен' порційнен' для пана! ³⁾

А Хвалынцевъ, межъ тѣмъ, вспыхнулъ багровою краской стыда и досады: «Опять!.. опять смалодушничалъ!» укорилъ онъ себя мысленно.

¹⁾ Что вамъ угодно.

²⁾ Сейчасъ, въ одну минуту.

³⁾ Обѣденную карту.

Станішекъ тотчасъ-же принесть требуемую картѣчку. Вѣжливый лакей выхватилъ ее у него изъ рукъ и предупредительно подаль Хвалынцеву.

Тотъ сталъ разбирать безграмотно написанный листокъ:

«Зупа ракова, зупа цытринова, штука-менецъ, фляки господарски, колдѹны, гузарска печень, валѣснѣики... Чортъ ихъ разберетъ что оно такое!» съ досадой пожалъ онъ плечами и, конфузясь еще болѣе, несмѣло поднявъ глаза на вѣжливо ожидавшаго лакея и спросилъ его:

— А по-русски написанной карточки у васъ развѣ нѣту?..

— Цо пану? — нахмурился вдругъ лакей, будто-бы не разслышавъ.

Константинъ повторилъ свой вопросъ.

— Пришепрашамъ пана, не розѹмемъ, по якому панъ мѹви... Ницъ не розѹмемъ! ¹⁾

Хвалынцева разбирала досада.—Онъ чувствовалъ, что снова начинается притворство, но тѣмъ не менѣе, вопреки самому себѣ, снова невольно какъ-то смалодушничалъ. У него была одна изъ тѣхъ мягкихъ, деликатныхъ натуръ, которыя, какъ *timosa pudica*, инстинктивно какъ-то ѣжятся и подбираются въ первую минуту при встрѣчѣ съ каждымъ нахальствомъ и съ какою-бы то ни было наглостью.

— Я... прѣшу... русскъ... то-есть москѣвску картѣчку,—сковеркалъ онъ будто бы на польскій ладъ свою фразу, предполагая тѣмъ самымъ подкупить въ свою пользу лакея.

Но тотъ былъ истинно-граждански неподкупенъ.

— Цо то за москѣвски картѣчки?.. Тутай нима такихъ! ²⁾—съ гордымъ пренебреженіемъ проговорилъ онъ и тотчасъ же отошелъ отъ Хвалынцева съ такимъ видомъ, какъ будто на томъ мѣстѣ, гдѣ тотъ сидѣлъ, никого не сидѣло, а было просто пустое мѣсто.

Константинъ Семеновичъ вскипѣлъ негодованіемъ, но... осадилъ себя тотчасъ же. Онъ ужасно боялся всякихъ скандальныхъ исторій, а особенно здѣсь, въ чужомъ, незнакомомъ и столь враждебно настроенномъ городѣ. У него была именно одна изъ тѣхъ натуръ, которыя человѣку, значительно превосходящему ихъ общественнымъ положеніемъ, въ состояніи смѣло наговорить много рѣзкихъ и даже дерзкихъ вещей, будучи на то вызваны первою дерзостью и пренебреженіемъ; человѣку равному имъ по общественному или нравственному положенію эти натуры, послѣ перваго смущенія, всегда бываютъ въ состояніи дать достойный порядочнаго человѣка отвѣтъ, показать отпоръ и при случаѣ даже какъ слѣдуетъ наказать нахала; но съ нахаломъ на

лакейской подкладкѣ, съ наглестомъ, стоящимъ гораздо ниже на общественной лѣстницѣ, эти натуры, — быть можетъ, изъ привитаго имъ воспитаніемъ щекотливаго и деликатнаго чувства гуманности и сознанія человѣческаго «равноправія»,—рѣшительно осѣкаются, конфузятся, краснѣютъ, и, во имя принципа «равноправія», почему-то вдругъ начинаютъ чувствовать себя какъ будто даже нѣсколько виноватыми предъ халуйскою наглостью какого-нибудь лакея. Какъ въ первыхъ двухъ случаяхъ, такъ и въ послѣднемъ это происходитъ въ подобныхъ натурахъ изъ одинаковаго источника: причина тутъ чересчуръ деликатная, щекотливая и строго охраняющая высоту собственного самолюбія щепетильность. Только въ послѣднемъ случаѣ она боится, чтобы какъ-нибудь не уронить себя, и потому ѣжится, подбирается и молчаливо сноситъ всякое нахальство...

Такъ было теперь и съ Хвалынцевымъ. Всею раздосадованною душою своею желая строго осадить трактирнаго патріота-лакея, онъ между тѣмъ осадился самъ и молчалъ, чувствуя, какъ все болѣе краснѣетъ и хлопаетъ вѣками.

«Къ офицерамъ развѣ»... мелькнула было ему спасительная мысль; но офицеры съ такою игривою любезностью продолжали болтать съ вертлявой полькой, что напрасно было бы ихъ и затрогивать. «Да и что, въ самомъ дѣлѣ, я за младенецъ такой, что мнѣ непременно нужны чужія помочи!» съ досадой на себя подумалъ Хвалынцевъ и въ нерѣшительности продолжалъ сидѣть надъ непонятной «картѣчкой порціонной», не предпринимая ровно ничего и не зная даже, какъ теперь поступить ему.

Въ эту самую минуту, въ разстегнутомъ на распахку форменномъ сюртукѣ, съ ухарски-помятой фуражкой на головѣ, твердою, увѣренной походкой вошелъ въ комнату какой-то военный докторъ съ хлыстомъ и чуднымъ, волнисто-чернымъ сетеромъ и посвистывалъ съ громомъ отодвинулъ себѣ стулъ. Не снимая съ головы фуражки и не замѣчая ровно никого, онъ непринужденно усѣлся какъ-разъ напротивъ Хвалынцева и бойко оглянулся вокругъ, ища человѣка.

— Эй, вы!.. Канальи!.. Обѣдать мнѣ!.. Да живо у меня, чег-р-ртъ васъ возьми! — чистѣйшимъ русскимъ языкомъ и звучнымъ приятнымъ баритономъ закричалъ онъ, нѣсколько картавя, и потому съ особенною старательностью налегая на букву *p*, которая въ соединеніи съ *z* выходила у него какъ-то особенно красиво, какимъ-то придыхательно-рокошущимъ звукомъ.

Оба лакея въ ту жъ минуту живо бросились къ нему: одинъ съ грязной салфеткой, другой съ «картѣчкой» и оба готовые съ подневольной охотой предупредить его малѣйшее желаніе.

¹⁾ Извините, не понимаю по каковски вы это говорите, ничего не понимаю.

²⁾ Что это за московскія карточки? Тутъ нѣтъ такихъ.

«Какая славная, симпатичная рожа! Именно рожа!» съ особеннымъ удовольствіемъ и съ особенною ласковостью, глядя на это лицо, подумалось Хвалынцеву. А между тѣмъ лицо вовсе не отличалось изяществомъ и красотой; напротивъ, на немъ, какъ говорится, чортъ въ свайку игралъ: все оно было вихрявое, корявое, въ оспинахъ, съ ухарски закрученными усами, съ взъерошенными волосами, но такое открытое, умное, добродушно-честное, съ такимъ разумнымъ, круглымъ и выпуклымъ лбомъ, съ такими свѣтлыми, мужественно-добрыми и смѣлыми глазами, что, несмотря на рябоватость и вихры, оно стоило лица любого красавца, и даже если бы этого человѣка поставить рядомъ съ любымъ патентованнымъ, писаннымъ красавцемъ предъ любую смыслящую женщиною и шепнуть ей: «выбирай, котораго хочешь себѣ въ мужья или въ любовники?» то нѣтъ сомнѣнія, что женщина, указавъ на корявую рожу, съ восторгомъ увлеченія сказала бы: «этого». Это было одно изъ тѣхъ красиво-некрасивыхъ, свѣтло-умныхъ, мужественныхъ лицъ, которымъ дано свыше въ счастливый удѣлъ нравиться хорошимъ женщинамъ и—внѣ всякаго донъ-жуанизма и сердцеѣдства—невольно, инстинктивно покорять себѣ женскую волю, женское чувство. Такимъ это лицо показалось теперь Хвалынцеву. Онъ вглядывался урывками въ эти привлекательныя черты, въ эту высокую, мужественно-стройную, коренасто-сильную фигуру, и вдругъ:

«Боже мой, какое знакомое лицо!.. Я гдѣ-то видѣлъ его, гдѣ-то встрѣчался съ нимъ!» мелькнуло въ умѣ Константину. «Да, дѣйствительно встрѣчался... Но гдѣ?.. Когда?..»

Онъ напрягалъ всѣ усилія своей памяти, стараясь припомнить себѣ, но тщетно; между тѣмъ, чѣмъ болѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣждался, что это лицо знакомо, навѣрное знакомо ему!—«Ахъ, ты, чортъ возьми, неужели же я не вспомню!.. Какая досада!.. А между тѣмъ... эти черты... улыбка... взглядъ... вихры, все это такъ знакомо мнѣ, все это я видѣлъ гдѣ-то и когда-то, и все это такъ напоминаетъ мнѣ что-то смутное, хорошее»... И дѣйствительно, оно напоминаетъ ему *нѣчто*, подобно тому, какъ иногда какая-нибудь отрывочная, выхваченная откуда-то музыкальная фраза, стихъ забытаго и невѣдомо чьего стихотворенія, внезапно разлившейся запахъ духовъ, употреблявшихся кѣмъ-то и когда-то, или вдругъ принесенный съ вѣтромъ откуда-то весенній аромат цвѣтовъ какихъ-то, неожиданно повѣетъ на васъ чѣмъ-то знакомымъ, былымъ, изжитымъ, и хорошо изжитымъ, но давно позабытымъ... «Чѣмъ же это, чѣмъ повѣяло на тебя? Когда и гдѣ, и какъ все это было?» задаешь самому себѣ напряженно-мучащіе вопросы — и не можешь припомнить!.. Припоминаешь — до паразительности ясно запахъ, звукъ, то-есть изжитое нѣ-

когда *ощущеніе*, впечатлѣніе факта, а самый фактъ, словно нарочно и такъ досадно, какъ будто дразни тебя, ускользаетъ изъ твоей памяти!

Докторъ, казалось, замѣтилъ взглядъ Хвалынцева и потому раза два искоса поглядывалъ на него съ мимолетнымъ, равнодушнымъ вниманіемъ.

«Къ нему развѣ?..» мелькнуло въ сознаніи Константина—и онъ тотчасъ же, что называется съ-ѣдику, рѣшился обратиться къ доктору:

— Извините,—сказалъ онъ, и вдругъ почувствовалъ послѣ этого, что уже начинаетъ смущаться.—Я попрошу васъ помочь мнѣ... («Тѣфу, совсѣмъ не то!» говорила въ это самое время внутренняя мысль, — «не то! не такъ!»), то-есть, оказать нѣкоторое содѣйствіе... маленькую услугу...

Докторъ смотрѣлъ на него взглядомъ вѣжливо-холоднаго вниманія.

— Къ вашимъ услугамъ... чѣмъ могу-съ?—проговорилъ онъ невнятной скороговоркой.

— Я русскій... проѣзжій... («А что, какъ онъ вдругъ думаетъ, что я у него денежнаго пособія хочу просить?» съ внутреннимъ ужасомъ и мурашками по спинѣ промелькнуло въ умѣ Хвалынцева — и онъ окончательно сконфузился. «Какая глупость!.. Нѣтъ!.. По внѣшности долженъ же видѣть, что не то!»)

— Ну-съ?—поощрительно ласковымъ взглядомъ подбодрилъ его докторъ, замѣтя эту конфузливую застѣнчивость.

— Я по-польски не говорю и не понимаю ни слова, а меня, кажись, здѣсь за это наказываютъ самымъ наглымъ невниманіемъ къ моимъ требованіямъ, а между тѣмъ ужасно ѣсть хочется!—поправился наконецъ Хвалынцевъ, ободренный взглядомъ своего *vis-à-vis*, и когда проговорилъ всю эту фразу, то вдругъ облегченно почувствовалъ, будто у него цѣлая гора съ плечъ свалилась.

— Ну, въ этомъ мы вамъ поможемъ!—улыбнулся докторъ и обернулся къ лакею. — Эй, ты! вацпанъ! поди-ка сюда!

— Што барыну вгодно?—подлетѣлъ къ нему и, почтительно сгибался, проговорилъ тотъ самый лакей, который Хвалынцеву сейчасъ лишь заявилъ, что онъ «нищъ не розѹме».

— Видите?.. понимаетъ! говоритъ! отлично!—указалъ на него докторъ,—и всѣ они такъ-то, повѣрите! Чтoby у меня сію минуту вотъ имъ былъ поданъ обѣдъ! Слышишь?

— Слушаю, барынь.

— Ну, то-то-же!.. Маршъ!.. А карточку я вамъ переведу по-русски, вы себѣ и выберете,—прибавилъ онъ, обратясь къ Хвалынцеву, который самымъ искреннимъ образомъ выразилъ ему тутъ же свою безконечную благодарность.

Когда Константину подали (въ самомъ не продолжительномъ времени) «зупу цытринѣву»,

докторъ, подперевъ свои скулы обѣими ладонями и пристально глядя въ него, сказалъ вдругъ:

— А мнѣ ваше лицо ужасно знакомо!

У Хвалынцева, при этихъ неожиданныхъ словахъ, дрогнула внутри какая-то радостная жилка живого удовольствія.

— Представьте, я это же самое думалъ о васъ!—воскликнулъ онъ съ свѣтлой улыбкой.— Мы съ вами гдѣ-то и когда-то встрѣчались... только гдѣ-вотъ?—хоть убей, не могу припомнить!.. А ужасно знакомо!

— Я вамъ сейчасъ припомню, гдѣ,—сказалъ докторъ,—мы встрѣчались съ вами раза два-три у студента Устинова.

— У Андрея Павлыча?—съ живостью перебилъ Константинъ.

— У Андрея Павлыча,—подтвердилъ докторъ,—назадъ тому это уже года три, пожалуй.

— Господи!.. Да вѣдь это-же мой другъ большой!—искренно, но съ затаеннымъ самодовольствомъ воскликнулъ Хвалынцевъ. Онъ уважалъ Устинова и, гордясь въ душѣ дружбой и довѣріемъ этого человѣка, радъ былъ и предъ общимъ знакомымъ намекнуть на свои къ нему отношенія.

— Ну, и мой тоже «вольки пріятель»,—отозвался докторъ.— Я былъ тогда еще въ Медико-Хирургической Академіи на пятомъ курсѣ, а онъ тоже свою физико-математику кончалъ.

Подобно тому, какъ часто случается, что повѣявшій на душу чѣмъ-то давно знакомымъ, но давно забытымъ, запахъ или звукъ—какъ скоро ты вспомнишь себѣ, что именно онъ напоминаетъ—озаряетъ вдругъ, одновременно въ твоей памяти самымъ яркимъ свѣтомъ и до малѣйшихъ мелочей и подробностей всю позабытую картину прошлаго, съ которымъ этотъ звукъ или запахъ тѣсно соединенъ, и озаряетъ ее съ тѣмъ большею ясностію, съ тѣмъ большими деталями и подробностями, чѣмъ болѣе ты не могъ припомнить, что именно онъ напоминаетъ тебѣ,—такъ точно и теперь: одно напоминаніе имени Устинова и того обстоятельства, что напомнившій присовокупилъ еще о себѣ, что онъ былъ въ то время медико-хирургическимъ студентомъ, вдругъ озарило яркимъ свѣтомъ память Хвалынцева. Онъ съ необыкновенною ясностію, живо и подробно, въ одно мгновеніе, воспроизвелъ въ воображеніи своемъ всю картину того прошлаго времени: маленькую студенческую комнатку на «Острову», съ ея табачнымъ дымомъ и запахомъ холодного жилья, съ ея самоваромъ и лавочною колбасою, съ ея черной доской, на которой мѣломъ были выведены быстрой рукой написанныя сложно-математическія формулы; вспомнилъ маленькаго большеголоватаго математика, вспомнилъ ясно и эту корявую «рожу» съ ея вѣчно-беззаботной, умной улыбкой и съ ка-

кою-то беззащитною размашистостью улатой русской натуры... Все, все это до послѣднихъ мелочей вспомнилось теперь Хвалынцеву, моментально озаренное яркимъ и теплымъ солнцемъ юношескаго воспоминанія.

— Да вы... позвольте... ваша фамилія Холодецъ?—вдругъ припомнивъ и это, быстро спросилъ онъ.

— Холодецъ,—подтвердилъ докторъ,—только не польскій холодецъ, то-бишь «хлудникъ».—прибавилъ онъ съ улыбкой,—а російскій. Впрочемъ, чортъ его знаетъ какой! Отецъ былъ съ Хохландіи, мать ярославская, а самъ я aus Kurland!..

— Ну, такъ, такъ!.. Холодецъ!—со свѣтлой улыбкой удовольствія говорилъ Константинъ,—да Боже мой! еще недавно, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, онъ неоднократно, бывало, поминалъ ваше имя... говорилъ про васъ...

— Гдѣ онъ теперь?—съ живостью спросилъ докторъ.

— Теперь можетъ-быть въ Петербургѣ, но послѣднее письмо я получилъ отъ него въ сентябрѣ еще изъ Славнобубенска.

— Учительствуетъ тамъ?

— Учительствуетъ.

— Ну, а мы вотъ тутъ во древнемъ градѣ Городнѣ подвизаемся. Эка судьба-то людей швыряетъ, подумаешь!.. А вы, сдается мнѣ такъ, буде не ошибаюсь,—прибавилъ докторъ,—вы кахисъ вѣдь Хвалынцевъ?

— Хвалынцевъ!—подтвердилъ Константинъ, испытывая въ душѣ пріятное чувство отъ сознанія того, что и его фамилія была припомнена.

— Ну, такъ здравствуйте!.. Вѣдь мы, значитъ, старые знакомые!—привставъ съ мѣста и открыто, радушно протягивая чрезъ столъ свою руку, сказалъ Холодецъ.—*Les amis de nos amis sont nos amis*,—какъ говорятъ французы.

Они пожали другъ другу руки, и Хвалынцевъ съ особеннымъ удовольствіемъ въ душѣ ощутилъ впечатлѣніе правдиво-прямого и честнаго, именно, *честнаго* пожатія руки со стороны доктора.

Въ этихъ лучисто-свѣтлыхъ глазахъ, въ этой корявой, милой рожи, въ открытой улыбкѣ, въ звучномъ голосѣ, во всей этой коренасто-размашистой, смѣлой и сильной фигурѣ было нѣчто влекущее, располагающее, нѣчто озаряющее теплымъ, хорошимъ внутреннимъ свѣтомъ того, кто открыто и просто приближался къ этому человѣку. Онъ былъ почти непонятно, невольно, но очень, очень симпатиченъ.

Хвалынцевъ отъ души былъ радъ своей неожиданной встрѣчѣ.

Оба разговорились какъ-то просто, безцеремонно, по душѣ, какъ дѣйствительно старые знакомые. Да впрочемъ съ Холодцомъ надобно было одно изъ двухъ: или совсѣмъ не говорить, или же говорить по душѣ,—такой ужъ человѣкъ былъ.

Константинъ разсказалъ ему въ нѣсколько

комическомъ тонѣ всѣ свои затрудненія и неприятности, перенесенныя въ теченіе нынѣшняго дня въ «пукернѣ» и въ «реставраціи» до счастливаго столкновенія съ нимъ, Холодцомъ, и спросилъ его:

— Скажите, пожалуйста, какими судьбами устраиваете вы, напримѣръ, такъ, что говорите по-русски, и они вамъ никакихъ шикановъ не дѣлаютъ, а напротивъ относятся къ вамъ даже съ очень замѣтнымъ почтеніемъ?.. Или ужъ это оттого, что вы обжились здѣсь и попривыкли они къ вамъ, а я вотъ пробѣзжій, такъ потому это, что-ли... ужъ и не знаю, какъ объяснить себѣ!

— Да, батюшка мой, — отвѣтилъ Холодецъ, — могу сказать, что я ихъ приучилъ къ своей особѣ, заставилъ привыкнуть къ себѣ, а сначала они тоже было и ко мнѣ со своимъ гонимомъ, все-равно какъ къ вамъ вотъ... Да я отучилъ ихъ отъ этого сразу. Надо вамъ сказать, — пояснилъ онъ, — что мы всѣ прѣзжаемъ сюда изъ Россіи, не имѣя объ этихъ «тутѣйшихъ» панакхъ ни малѣйшаго понятія, и все прилагаемъ къ нимъ наши школьныя общегуманныя теоріи и воззрѣнія, тогда какъ здѣсь это все окончательно неприменимо, и они, чѣмъ больше вы съ ними гуманничаете, тѣмъ они нахальнѣе садятся вамъ на шею и уничтожаютъ васъ, такъ или иначе. Здѣсь, батюшка мой, Дарвиновская «борьба за существованіе» идетъ: чья возьметъ, значить. Дѣло-то здѣсь на ножахъ стоитъ, а не на гуманныхъ теоріяхъ.

— Сначала, какъ прѣхалъ я этта въ полкъ, — продолжалъ словоохотливо Холодецъ, — прямо изъ Академіи (ну, знаете, со всѣми этими нашими гуманностями и прочими конфетками), они были и нашіи на меня, все-равно какъ и на васъ-же. Да куда! Еще хуже гораздо!.. Ну, обидно стало, наконецъ... Да вотъ, въ этомъ-же самомъ кабацкѣ было. Прихожу я, знаете, сюда однажды вечеромъ: поѣсть захотѣлось, а самъ (пришлось, знаете, какъ-то такъ!) порядкомъ былъ «дрыгнувши», — случается!.. Они мнѣ, видя такое мое состояніе, вдругъ этта очень ужъ обидную наглость изобразили. Вздвинуло меня это. «Ахъ, вы, растакъ васъ!» думаю себѣ, — ну, и разнесъ-же ихъ! То-есть, что называется, въ пр-рахъ разнесъ!.. Мужикъ-то я, какъ сами видите, здоровый, и силу въ себѣ имѣю большую, а они меня очень ужъ наглостью своею озлили, — я и разнесъ... то-есть вотъ какъ! — вотъ и эту прилаводную свиную морду тоже!.. Бить не люблю, но тутъ пришлось! Ну, жаловаться пошла. Конечно хотя мнѣ изъ-за нихъ, скотовъ, сутки на гауптвахтѣ посидѣть пришлось, зато ужъ они меня всѣ, сколько ихъ нп есть въ Гроднѣ, съ тѣхъ самыхъ поръ отъ души уважаютъ; и по русски вѣдь понимаютъ со мною! Я — грѣшный человѣкъ — я ихъ въ струнѣ содержу. Это имъ полезно бываетъ, все равно какъ *oleum ricinum*, или какъ добрая синализма! ей Богу! Вы что думаете себѣ?.. Это,

я вамъ скажу, вотъ какой народецъ: чуть ты къ кому по-человѣчески, онъ, во-первыхъ, поровить сейчасъ же осѣдлатъ и замундштучить тебя, сдѣлать изъ твоей персоны свою выючную скотину, а во-вторыхъ, непременно, какъ пина-есть, напаскудить тебѣ, да и не просто вѣдь, не православно напаскудить, а непременно «съ гордосцю народовей!» Вотъ какъ!.. Но чуть ты ему показалъ свой кулакъ да ногти, онъ сейчасъ тебѣ: «падамъ до ногъ!.. пришепрашамъ, нане лсневельможны!» сейчасъ-же, мерзецъ, пятки твоей благоговѣйно, со вкусомъ лизать начинаетъ. Вотъ, батюшка мой, каковъ народецъ! И съ нимъ иначе нельзя! — заключилъ Холодецъ, и Хвалынцевъ не могъ въ душѣ своей не согласиться, что въ его словахъ заключается очевидная правда.

Онъ кстати разсказалъ при этомъ утреннее столкновеніе свое въ костелѣ съ двумя приличными съ виду панами.

— Эге, постойте, батенька!.. перебилъ его, выслушавъ почти всю исторію, Холодецъ. — Вы говорите, что съ кокардой-то губернаторскимъ чиновникомъ назвался?

— Губернаторскимъ, — подтвердилъ Константинъ Семеновичъ.

— А какой онъ съ виду-то? Не эдакой ли рыжѣнькій, золотушенькій, что какъ посмотрѣишь, такъ невольно фридрихъ-гераусъ хочется сотворить? Однимъ словомъ: глесту съ краснымъ околышемъ напоминаетъ? Эдакую, знаете, то-енькую глесту съ кокардой?

Опредѣленіе Холодца хотя было, такъ сказать, и метафорически-аллегорично, но до такой степени мѣтко, яркообразно и характерно, что Хвалынцевъ, сразу узналъ, кого онъ подразумѣваетъ.

— Онъ! онъ!.. Какъ есть, онъ живой! — невольно воскликнулъ Константинъ Семеновичъ.

— Э, да это значить, панъ Пришподхлѣбный! Знаю я его... Какъ не знать пана Стася Пришподхлѣбнаго... Только вы говорите, будто онъ назвался себя «по особымъ порученіямъ»?

— Да, губернаторскимъ чиновникомъ по особымъ порученіямъ, подтвердилъ Хвалынцевъ.

— Ну, это онъ вретъ! — замѣтилъ Холодецъ. — Онъ точно губернаторскій чиновникъ, только не по особымъ, а просто для писемоводства, канцелярскій перваго разряда. Да впрочемъ, повышение въ степеняхъ — это у нихъ общая слабость, постоянная болѣзнь, все равно, какъ швейцарскій кретинизмъ или петербургскіе тифы да холеры. У нихъ, напримѣръ, ротмистръ или майоръ непременно «панъ пулковникъ», сельскій учитель не иначе, какъ «панъ профессоръ», гимназистъ — «панъ студентъ», фельдшеръ — «панъ докторъ» и т. д... а что эта шляхта, напримѣръ, дворяне, паны посессіонаты, сирѣчь помѣщики, такъ ужъ изъ этихъ, навѣрное, кто владѣлъ двумястами хлопскихъ душъ, того всѣ величаютъ «панъ грабя», а не то и «ксіонжс найясѣйши», — сейчасъ же придадутъ графскій

или княжескій титулъ; а сами эти импровизированные графы да князья ни мало этимъ не оскорбляются; напротивъ, сами же на ложкахъ своихъ, на салфеткахъ (буде у кого есть), на фронтахъ, на каретахъ, на конвертахъ и почтовыхъ бумажкахъ да на печатяхъ своихъ сейчасъ «прши свдимъ гѣрбу» выставляютъ свой шифръ и графскую или княжескую корону. Таковъ уже здѣсь воздухъ аристократическій!.. А этого-то пана Пришподхлѣбнаго я знаю!.. Онъ у нихъ то, что называется «комиссаржъ опініи публічней».

— Это что же такое? — изумился Хвалынецъ, не понявшій такого громкаго титула.

— А это, видите, есть у нихъ своя «организация революційна народовъ», — пояснилъ Холодецъ, — и это мы стороною знаемъ про-себя доподлинно! Такъ вотъ видите ли, въ этой организации существуютъ разныя должности, и между прочимъ должность «комиссаржа опініи публічней», обязанность котораго состоитъ въ томъ, чтобы быть ходячимъ телеграфомъ, ходячей газетой, олицетворенной сплетней политической и распространять какъ можно болѣе всякіе слухи, а наипаче всякую недѣльную, но пикантную ложь.

— Да зачѣмъ же это? — недоумѣвая, пожалъ плечами Хвалынецъ.

— Вотъ вопросъ!.. Понятное дѣло зачѣмъ! — сказалъ докторъ. — Зачѣмъ, батюшка мой, чтобы въ темныхъ массахъ неослабно поддерживать «духъ народовъ», а произжихъ разныхъ, въ родѣ какъ вы вотъ, да иностранцевъ вводить въ сердобольный ужасъ и въ негодование на «ржондѣ московскій». Ну, молва-то вѣдь бѣжитъ, растетъ, распространяется; а этого намъ только и нужно. Тутъ вѣдь всякія средства хороши и пригодны!

— Но вѣдь этотъ... какъ его?.. Пши... Пши...

— Пришподхлѣбный, — подсказалъ Холодецъ.

— Да, панъ Пришподхлѣбный! Онъ же вѣдь состоитъ на государственной службѣ, — возразилъ Хвалынецъ.

— Состоитъ, — подтвердилъ докторъ. — Что жъ изъ этого? Тутъ, батюшка мой, это никакъ не помѣха, а напротивъ, одно другому очень помогаетъ.

«Да вѣдь я-то! я-то самъ чѣмъ же на-мѣреваюсь быть? развѣ не тѣмъ же? развѣ не тоже служить двумъ богамъ?» съ колючимъ и горькимъ ударомъ въ самое сердце вдругъ подумалъ себѣ Хвалынецъ — и ему вдругъ стало совѣстно, стыдно и даже недостойно какъ-то сидѣть и такъ откровенно, дружески говорить съ этою прямою и честною душою, которая такъ смѣло, ясно и привѣтливо глядѣла на него изъ симпатичныхъ, довѣрчивыхъ глазъ доктора.

«Нѣтъ! Нѣтъ!.. Я не буду такимъ!.. Я не пойду! не пойду за ними!» вдругъ заговорилъ какой-то сильный, внутренній голосъ въ душѣ

Константина — и, принявъ это, повидимому, твердое рѣшеніе, онъ вдругъ почувствовалъ себя какъ-то честно; легко и спокойно.

— Вотъ тоже!.. Глядите сюда, налѣво, вотъ на этого достопочтеннаго субъекта, съ такою административно-внушительною и джентльменски-аристократическою наружностью! — указавъ глазами, но нисколько не понизивъ голоса, обратилъ Холодецъ вниманіе Хвалынцова на одного господина, сидѣвшаго за отдѣльнымъ столикомъ, въ компаніи двухъ-трехъ родовитыхъ пановъ, тоже весьма джентльменскаго свойства: — Замѣйте, прислушайтесь, — говорилъ Холодецъ, — разговоръ тамъ идетъ по-польски да по-французски... Богъ его знаетъ какой. Это для насъ; конечно, совершенно постороннее дѣло и даже не интересно нисколько; но *по-польски* — вонъ что замѣтить надобно! И этотъ баринъ хотя и плохо, но *старается* говорить по-польски!

— А кто это такой? — тихо спросилъ Хвалынецъ.

— Это?.. Это, батюшка мой, одинъ изъ нашихъ высокихъ губернскихъ тузовъ, — пояснилъ докторъ. — Это князь ***, недавно пріѣхавшій изъ Россіи. Настоящій, а не тутѣйшій князь, такъ сказать, прямой Рюриковичъ, и видите, какъ тутѣйшіе-то обрабатываютъ на свой ладъ нашихъ русскіхъ князей и администраторовъ.

— Зачѣмъ же онъ обѣдаетъ въ скверномъ трактирѣ? — удивился Хвалынецъ.

— Что жъ дѣлать, коли лучшаго нѣту. А князь общество любитъ, и эти паны навѣрное пригласили его расписать съ собою нѣсколько бутылочекъ шампанскаго: русскій князь любить-таки это! Случилось мнѣ быть съ нимъ какъ-то разъ въ одномъ домѣ, — продолжалъ Холодецъ, — ну и послушался же я!.. Во-первыхъ, презрѣніе къ намъ грѣшнымъ самой высокой, 96-й аристократической пробы; во-вторыхъ, вѣроятно, въ силу этого же презрѣнія, его снѣдательство по пріѣздѣ своимъ тотчасъ же постарался дружески сойтись съ тутѣйшими родовитыми панамъ и сталъ, въ крутой уцербъ хлопъ, тянуть во всемъ панскую руку; а въ-третьихъ, беззастѣнчиво, при русскихъ, и при такихъ русскихъ, которые достаточно-таки знаютъ и исторію здѣшняго края, этотъ баринъ, не краснѣя, изволилъ проповѣдывать, что «помилюйте, молъ, насъ надо всѣхъ скорѣе выгнать отсюда! И странное, молъ, дѣло, какъ это Россія не видитъ, что въ этомъ краѣ нѣтъ ровнехонько ничего русскаго, что онъ составляетъ съ собственно-Польшею какъ есть одно тѣло и одинъ нераздѣльный духъ!» — Ну, панамъ это и на руку: они ему рукоплещутъ, они его за это шампанскимъ поятъ. А что? — примолвилъ онъ вдругъ, — не расписать ли ужъ и намъ, ксати, бутылочку холодненькаго, ради доброй встрѣчи?

Это было предложено такъ хорошо, такъ пріятельски радушно, что Хвалынцевъ не почелъ возможнымъ отказаться. Но не желая остаться въ долгу, онъ и съ своей стороны потребовалъ бутылку, по окончаніи первой,—и новые пріатели, дружески калякая между собою, незамѣтно усидѣли двѣ бутылки редереру, что впрочемъ ни мало не подѣйствовало на ихъ головы. Холодецъ вообще былъ очень крѣпокъ, и могъ свободно выпить, что называется, чортову пропасть, такъ что не только свалить съ ногъ, но просто заставить его охмѣлѣть, было дѣло далеко не легкое. Въ холостыхъ, дружескихъ попойкахъ ему, въ концѣ концовъ, обыкновенно доставалась хлопотливая роль «оберегателя и развозителя полныхъ тѣлъ».—Такъ онъ уже и зналъ это свое назначеніе.

VI.

Дома у Холодца.

— А знаете что, если вамъ теперь нечего дѣлать, пойдѣте ко мнѣ чай пить,—предложилъ докторъ, когда другая бутылка была кончена.

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ согласился, и они отправились.

— А подѣ вечеръ, какъ отдохнемъ, выйдѣмъ, пожалуй, прогуляться на Телятникъ, тамъ тоже иногда любопытныя штуки бывають,—сообщилъ онъ Константину.

Холодецъ жилъ на одной изъ самыхъ тихихъ и вѣчно пустынныхъ улицъ, которыя, обрамляясь съ обѣихъ сторонъ своихъ фруктовыми садами, тянутся параллельными линиями между Роскошью и Ржевницкой¹⁾. Онъ занималъ въ глубинѣ закрытаго двора отдѣльный деревянный флигелекъ, который двумя сторонами своими вдавался въ небольшой садъ, гдѣ весной и лѣтомъ должно быть просто прелесть какъ хорошо! Два окошка изъ кабинета и одно изъ спальни выходили у Холодца прямо въ зелень этого садика,

— Чаю, Ибрагимовъ! да живѣе, голубчикъ!—еще входя въ сѣни, вскричалъ онъ своему денщику, изъ касимовскихъ татаръ, и вдругъ, откуда ни возмись, съ радостнымъ визгомъ и лаемъ бросилось къ нему тутъ же нѣсколько собакъ, между которыми былъ и бернаръ, и волкодавъ, и понтеръ, и булька, и великолѣпная, граціозная борзая.

— Ну, вы, благодѣтели!.. Ладно!.. будетъ!.. довольно!.. говорилъ имъ докторъ, снимая пальто, тогда какъ собаки визжали и, махая хвостами, вились около него и нѣжно, ласково кидались ему на грудь.—Ну, ты, Кавуръ... Эка, подлець, чуть съ ногъ не сбиль!—крикнулъ онъ на громаднаго чернаго бернара, съ

необыкновенно умною и кротко добродѣтельною мордочю.—Проходите, Хвалынцевъ, вотъ сюда, въ эту дверь, а то эти скоты, пожалуй, съ ногъ совсѣмъ сплбуютъ васъ. У меня вѣдь ихъ цѣлая псарня: шесть душъ крѣпостныхъ имѣю благопріобрѣтенныхъ.

Хвалынцевъ прошелъ въ указанную ему дверь и очутился въ очень милой, симпатичной комнатѣ.

Эта комната, служившая кабинетомъ и всѣмъ чѣмъ угодно, какъ нельзя болѣе обрисовывала собою и характеръ самого хозяина. Впрочемъ и вся его квартира была въ томъ же духѣ. Прежде всего здѣсь слегка, но непріятно чувствовался тотъ особенный «холостой» запахъ мужчины, который такъ свойствененъ нѣкоторымъ офицерскимъ и студентскимъ квартирамъ, что составляетъ по преимуществу ихъ характеристичный запахъ. Потомъ здѣсь съ перваго взгляда кидался въ глаза хаотическій, по очень красивый беспорядокъ во всей обстановкѣ. Бывають разные беспорядки подобныхъ обстановокъ: бывають иногда очень красивые, но вы чувствуете въ нихъ какую-то изысканность, словно бы этотъ беспорядокъ придумывался нарочно, словно бы надъ вамъ измышляли: какъ бы это, молъ, сдѣлать, устроить его покрасивѣе, поизящнѣе!—и тутъ уже явно сказывается претензія, иногда очень изысканная, но все-таки претензія. Здѣсь же, прежде всего чувствовалось явное отсутствіе какихъ бы то ни было претензій, какой бы то ни было предвзятой, нарочной мысли. Этотъ хаосъ и красивый беспорядокъ здѣсь являлся какъ-то самъ собою и былъ вполне естественъ, такъ что казалось, будто доктора Холодца и невозможно вообразить себѣ безъ этого хаотическаго беспорядка. Стѣны были завѣшены персидскими и французскими бархатными коврами. Иные изъ нихъ уже совсѣмъ выцвѣли отъ ветхости и употребленія, другіе же, напротивъ, глядѣли своими яркими цвѣтами, точно бы сію вотъ минуту изъ-подъ ткацкаго станка. Рисунки этихъ пестрыхъ ковровъ изображали букеты, арабскаго коня съ бедуномъ, оленя, преслѣдуемаго собаками, отдыхающаго льва и задумчивую амазонку. На полу валялись тоже стертые ковры и неотдѣланныя волчьи шкуры,—трофеи неоднократныхъ травль самого доктора. Въ углу блестѣлъ наконецъ рогатины, но рогатина эта не отличалась ни малѣйшимъ щегольствомъ, а заставляла себя практическою крѣпостью, которая надежно могла бы выдержать тяжесть медвѣжьей туши. На одномъ изъ стѣнныхъ ковровъ висѣло три охотничьихъ ружья, пара старинныхъ пистолетовъ съ золотой насѣчкой, офицерскій форменный револьверъ, базалаевскій кинжалъ и персидская шашка. Пропасть всевозможныхъ книгъ въ беспорядкѣ валялась вездѣ и повсюду: на столѣ, на полкахъ, на стульяхъ, на

¹⁾ Названіе улицъ въ городѣ Гроднѣ,—нынѣшня Садовая и Полицейская.

подоконникахъ, и между ними можно было замѣтить самыя разнообразныя изданія: «Военно-Медицинскій Журналъ», «Медицинскій Вѣстникъ», истрепанный «Современникъ», «Записки», «Revue des deux Mondes», «Воинскій Уставъ», Фогтъ, Дарвинъ, Четы-Миней въ древнемъ корешкѣ и французскія компактыя иллюстрированныя изданія Бальзака и Польде-Кока, — все это находило себѣ мѣсто въ хаотическомъ беспорядкѣ изобильно разбросанныхъ книгъ доктора Холодца. На простой те-совой полкѣ видѣлись разные химическіе препараты, реторты, склянки съ разноцвѣтными жидкостями, медицинскіе и хирургическіе аппараты и инструменты, и оттуда же, ослабляясь, выглядывали два черепа, на одномъ изъ которыхъ была ухарски напылена старая уланская фуражка, вѣроятно, позабытый и оставленный въ такомъ же положеніи плодъ веселаго настроенія котораго-нибудь изъ военныхъ пріятелей доктора. Папиросные окурки и табачная зола разбросаны были повсюду.

По одной стѣнѣ чернѣлись скрещенныя рапиры съ эспадронами и двѣ маски. Чья-то маленькая, лиловая женская перчатка очень лукаво выглядывала на свѣтъ Божій, нечаянно высунувшись изъ-подъ книгъ, на письменномъ столѣ, гдѣ и самое существованіе ея, очевидно, было позабыто и хозяиномъ этой комнаты, и той шалуньей, которая ее здѣсь неарокомъ оставила. На письменномъ столѣ, между бумагами, лежали двѣ подковы, нѣсколько раковинъ да минераловъ, разбросанныхъ тоже и на подоконникахъ и на полкѣ, и на шкафчикѣ, а подлѣ подковъ стоялъ микроскопъ, стетоскопъ, стереоскопъ и два женскіе акварельные портрета: на одномъ была изображена очень почтенная старушка, по всѣмъ вѣроятіямъ — мать доктора; на другомъ какая-то очень красивая женщина — надо такъ думать, отмѣченная чѣмъ-нибудь особеннымъ въ его цыгански-безшабашномъ сердцѣ... Тутъ же пылился и холодалъ съ утра недопитый стаканъ чая съ лимономъ, забытый точно такъ же, какъ и все остальное, и денщикомъ, и баринномъ. На дверяхъ была прибита картонная мишень съ этикеткой Пражскаго Лебедя, очень мѣтко пробитая маленькими пистолетными пулями комнатнаго монтекристо. У оконъ, на простыхъ деревянныхъ стойкахъ, зеленѣли цвѣты и кое-какія экзотическія растенія, а по стѣнамъ развѣшано было нѣсколько гравюръ и двѣ масляныя картины безъ рамъ, — обѣ старой, хорошей работы: на одной какой-то сельскій видъ, на другой очень экспрессивная голова страдающаго Христа.

Когда Хвалынцевъ мелькомъ заглянулъ въ смежную комнату, гдѣ помѣщалась спальня доктора, то замѣтилъ надъ желѣзною походною кроватью, рядомъ съ бархатнымъ надпостельнымъ ковромъ, древняго письма образъ

въ древней же кованой и позолоченной ризѣ. Онъ не утерпѣлъ, чтобы по минутному, необдуманному побужденію не освѣдомиться на этотъ счетъ у доктора.

— Что это у васъ за образъ? — спросилъ онъ, никакъ не ожидая въ спальнѣ «современнаго» человѣка и притомъ еще «медика» встрѣтить вдругъ православную святыню.

— Это предсмертное благословеніе моей матери, — отвѣтилъ докторъ серьезно, просто и совершенно спокойно.

Хвалынцеву, послѣ такого несмущеннаго и столь естественнаго отвѣта, стало нѣсколько стыдно въ душѣ за то чувство, которое вызвало его на нескромный вопросъ, и потому, отвернувшись къ стѣнѣ, онъ сталъ разсматривать висѣвшія тамъ гравюры подъ стекломъ, въ простыхъ, черныхъ узенькихъ рамкахъ. Между этими произведеніями искусства сказывалось тоже нѣчто беспорядочное: тутъ были очень красивыя эскизы лошадиныхъ головъ, хромотографическій портретъ бульдога въ гороховомъ сюртукѣ, съ сигарою въ зубахъ, фотографія съ группы Лаокоона, портреты доктора Пирогова и Гоголя, фотографіи Венеры Медицейской, Сикстинская Мадонна и двѣ-три шикарныя гравюры, изображавшія полуобнаженныхъ женщинъ и парижскихъ гризетокъ въ изысканно-пикантныхъ костюмахъ и въ изломанно-изящныхъ и тоже весьма пикантныхъ позахъ.

— Что это вы разсматриваете? — мимоходомъ спросилъ Холодецъ, руки въ карманы и посвистывая расхаживавшій по комнатѣ.

— Да вотъ, на это сочетаніе гляжу, — отвѣтилъ Константинъ, указавъ глазами на Мадонну и гризетокъ.

— Э, батюшка! — улыбувшись, махнулъ рукою докторъ. — Оно и точно, странно немного. Но... вѣдь я отчасти то, что называется *ки-никъ*. У меня все это ужасно нелѣпо, но какъ-то органически совмѣщается во мнѣ: идеализмъ съ матеріализмомъ, святой Августинъ и Молешоттъ, Гегель и Фейербахъ, Сикстинская Мадонна и гризетки, арапники и хирургическіе инструменты, Шекспиръ и Поль-де-Кокъ, Добролюбовъ съ Чернышевскимъ и Фетъ съ Полонскимъ. Чортъ его знаетъ! это какая-то ерунда выходитъ, но вѣдь и самъ-то я въ сущности не что иное, какъ олицетворенная ерунда и безалаберность! Да что вы стоите все? Садитесь-ка! — обернулся онъ вдругъ къ Хвалынцеву и, бросивъ кожаную подушку, указавъ ему покойное мѣсто на диванѣ. — Э, да тутъ страхъ какая пыль!.. Ибрагимовъ!.. Сотри-ка, братецъ!.. просто сѣсть нельзя! Извините, пожалуйста!

Ибрагимовъ явился съ тряпкой и сталъ стирать обильную пыль съ дивана и креселъ. Хвалынцевъ замѣтилъ при этомъ, что пыли доста-

точно-таки лежало на всѣхъ безъ исключенія вещахъ и предметахъ докторской комнаты.

— Что это у васъ такое?—вдругъ спросилъ онъ, усмотрѣвъ въ углу пудовыя гири и круто изогнутую кочергу.—Кто это занимается?

— Да все я же!—отвѣтилъ докторъ, ходючи изъ угла въ уголъ.

— Какъ!.. неужто сами гнете такъ!?

— Бываетъ, по малости!.. Чортъ его знаетъ!.. Иногда, я вамъ скажу, чувствуешь въ себѣ такой избытокъ этой безпричинной силищи, что, кажись, не только кочергу, а и самого чорта все хотѣлось бы гнуть да ломать!.. Время такое на меня находить каторжное!

— Но это любопытнѣ!—невольнo и какъ бы про себя, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Да что тутъ любопытнаго!.. Такіе пу-
стыки!

— Покажите, пожалуйста, если не въ трудъ!—присталъ Константинъ Семеновичъ.

— Извольте, пожалуй,—усмѣхнулся докторъ и, взявъ изъ угла на одну ладонь два связанные веревкой пудовика, на отвѣсѣ вытянутой рукой поднялъ ихъ въ воздухъ предъ собой, не выше лица и, словно не съ пудовиками, а съ какимъ-нибудь десятифунтовикомъ, продѣлалъ предъ Хвалынцевымъ, легко и свободно, нѣсколько такихъ мудреныхъ штукъ, которыя самымъ нагляднымъ образомъ показывали страшную его физическую силу. Послѣ этого становилось вполне понятно, что онъ одинъ могъ, какъ нельзя легче, разнести цѣлую «реставрацію».

«Эка силища-то!» любясь на его статную фигуру, подумалъ про себя Хвалынцевъ. «Экой молодчина, право!.. Ему-бы, ей-Богу, не то что докторомъ, а развѣ-бы въ уланахъ служить, да и только!..»

Ибрагимовъ внесъ кипящій самоваръ и поставилъ его на столикъ.

— А!.. Вотъ и панъ Чаинскій, то бишь Герботовскій пршѣхалъ до насъ!—швырнувъ въ уголъ свои гири, воскликнулъ Холодецъ.—У меня, знаете, изъ всѣхъ нигилистическихъ добродѣтелей осталась только одна—любовь къ чаю, но и то я не люблю, когда чай денщики гдѣ-то тамъ, на кухнѣ, разливаютъ; а я люблю эдакъ, знаете, чтобы самоварчикъ передо мною пошипѣлъ себѣ маленько!.. Ужасно люблю это шипѣнье!.. Дѣтство, знаете, какъ-то напоминаетъ... Да что вы не курите? Хотите сигару?

— Есть у меня; благодарю васъ.

Константинъ закурилъ и спокойно раскинулся на кожаномъ диванѣ.

Ибрагимовъ принесъ два стакана въ мельхиоровыхъ подстаканникахъ, ромъ, лимонъ, сливки и какихъ-то сухариковъ.

— Я и это все люблю, чтобы, такъ-сказать, матримоніально было, — замѣтилъ Холодецъ, распоряджаясь у чайнаго столика.

Въ это время откуда ни возьмись набѣжало вдругъ полдюжины собакъ, какъ видно, издавна

прирученныхъ приходивъ къ своему хозяину въ положенные часы закуски и чая, въ сладкой надеждѣ на подачку какого-нибудь лакомага кусочка, и вмѣстѣ съ этимъ изъ другой комнаты послышался громкій клѣктъ и хлопанье сильныхъ крыльевъ.

— Ибрагимовъ! отвяжи-ка, братъ, кречета!—крикнулъ Холодецъ.

— У васъ и этотъ есть?—удивился Хвалынцевъ.

— Мало-ли какой дряннѣтъ у меня!—усмѣхнулся докторъ.—Сидитъ тамъ себѣ на цѣпочкѣ, въ спальнѣ, и жердочка ему прилажена такая.

— Что-же это вы, охотитесь?

— Да; и всякую охоту люблю. А болѣе того, знаете, просто люблю приручать ихняго брата. У меня вонъ въ темной комнатѣ и волченокъ на привязи сидитъ; тоже оцивилизовать стараюсь... Не знаю только, что выйдетъ изъ этого... можетъ и удастся. Ну, ты, Ксендзъ! Куда лѣзешь со своимъ рыломъ! Жди!—крикнулъ онъ на прекрасную узкомордую, поджарую собаку чистокровной борзой породы.

— Какъ? какъ онъ у васъ называется?—смѣясь, подхватилъ Хвалынцевъ.

— Ксендзъ—обернулся на него докторъ.—Вы только взгляните вотъ на эту морду анаемскую—нѣ, вотъ просто какъ есть характерная польско-ксендзовская морда! Такъ іезуитомъ и смотреть, каналья, да отъ ксендза-же щенкомъ и добыть, потому и кличка такая; только вотъ боюсь все, какъ-бы его, сердечнаго, за это не убили.

— А что такъ!—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да такъ; паненки наши все обижаются, какъ когда ежели на улицѣ покличешь его. Я ужъ и то Ибрагимову говорю, чтобы пуще глаза берегъ.

— Бережемъ, ваше благородіе,—отозвался денщикъ.—Ничего, будьте благонадежны! Что ему, псу экому, дѣлается!

— Ну то-то! Ты гляди у меня!

— Слушаю-съ; какъ есть, не извольте беспокоиться. Онъ самъ зубастъ, обидѣтъ себя не дозволить.

«По барину и собаки», подумалъ про себя Хвалынцевъ; но въ это самое мгновеніе, случайно взглянувъ близъ себя на полъ, онъ вдругъ припрыгнулъ на диванъ, вздрогнувъ отъ ужаса, и поспѣшилъ поджать подъ себя обѣ ноги.

— Чего вы?—выпучилъ на него глаза свои докторъ.

Константинъ, съ выраженіемъ испуга, безъ словъ указавъ ему пальцемъ на полъ: изъ-подъ дивана, медленно и красиво сгибая изъ-сѣра-стальную спину, выползло что-то длинное, тонкое, пресмыкающееся.

— А!.. И Василискъ Ивановичъ тутъ! И ты, братъ, выползъ! Знать, сливочки почувалъ!—ласкательно улыбнулся Холодецъ.—Не бойтесь,—обратился онъ къ Хвалынцеву, — это у меня

простой ужъ. Они вѣдь не опасны, а Василискъ Иванычъ и совсѣмъ ручной къ тому-же.

— Откуда-же и этотъ-то у васъ, накопецъ?—спросилъ Хвалынцевъ, все-таки не рѣшаясь спустить свои ноги.

— А я его еще прошлымъ лѣтомъ, такъ-сказать, въ младенческомъ возрастѣ поймалъ и на воспитаніе къ себѣ принялъ,—сообщилъ докторъ. — Ничего себѣ, удалось приручить, какъ не надо лучше!

— У ихъ благородія всякая гадина водится,—любезно и дружелюбно ухмыляясь, замѣтилъ Ибрагимовъ. — Вонъ тамъ тоже и черепаха есть... тоже на содержаніи.

— Гдѣ-жъ она?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А тамъ вонъ, въ кухнѣ; шуршитъ себѣ за печкой... И пречудной звѣрь, надо такъ доложить. Иное время забьется себѣ въ уголь, подъ печку, и по сколько недѣль не выйдетъ! Ты ей хлѣба, коренья какого, аль говядинки сырой тамъ что-ли покормишь, а она и не дотронется! И по мѣсяцу случается вѣдь ничего не трескается, ей-Богу-съ! Съ чего только живетъ, подумаешь? Совсѣмъ какъ есть неядущій звѣрь! Вотъ Василискъ Иванычъ, тотъ у насъ жаднѣе-таки, а та нисколько!

Ужъ между тѣмъ доползъ до стула, на которомъ сидѣлъ Холодецъ, приготовившій ему тѣмъ часомъ блюдо сливокъ съ моченымъ сахарикомъ да съ сахаромъ, и остановился, растянувшись на полу, и пытливо приподнялъ, поводи въ стороны, свою довольно красивую головку.

— Ну, ну, ступай сюда! Ползи, ползи! — проговорилъ докторъ, нагнувшись со стула и подставивъ ему свою ладонь, на которую ужъ, поводи головкой, тотчасъ же вползъ самымъ дружелюбнымъ, безбоязненнымъ образомъ.

— Онъ вѣдь у насъ ученый тоже, цивилизованный!—ласково говорилъ Холодецъ. — Ну, видишь, братъ, свою порцію?.. а?.. видишь?.. чувствуешь?.. Ну, проси, проси и кланяйся, какъ слѣдуетъ благоприличному джентльмену!.. Проси!..

И ужъ, очевидно приученный къ пониманію нѣкоторыхъ движеній и словъ своего хозяина, расположившись очень удобно и цѣпко на рукѣ и обнявъ сюртука, вдругъ приподнялся вверхъ, почти до половины своей длины, и, раскрывъ свою пасть, зашипѣлъ и, очень красиво, очень граціозно изгибаясь своимъ тѣломъ, сдѣлалъ два раза движеніе, которое дѣйствительно весьма комично, напоминало поклонъ.

— Ну, вотъ такъ! Молодецъ, молодецъ! — хвалилъ его докторъ; но вдругъ, замѣтивъ, что Хвалынцеву какъ будто нервно-непріятно видѣть это животное, обратился къ своему денщику. — Ибрагимовъ, возьми-ка, братъ, Василиска Иваныча, покорми тамъ его.

— Ну, ты, Божья гадина, ходи сюда, ходи, братъ! — промолвилъ денщикъ, принимая изъ

бариновыхъ рукъ ужа и блюдо со сливками. — Пойдемъ-ка, покормимся!

И онъ унесъ его изъ комнаты, причеми ужъ, не выказавъ ни малѣйшаго беспокойства, привычнымъ образомъ обвился вокругъ руки Ибрагимова.

«Вотъ человѣкъ-то: и люди, и животныя любятъ его. Всѣмъ-то онъ симпатиченъ!» добродушно подумалъ себѣ Хвалынцевъ, и подъ влияніемъ этой послѣдней мысли, вдругъ сказалъ ему:

— Послушайте, Холодецъ, а вѣдь васъ должно быть дѣти очень любятъ.

— Почему-же вы такъ думаете?—съ улыбкой удивленія отозвался докторъ.

— Н-не знаю, но мнѣ такъ кажется.

— Да, — подумавъ нѣсколько, отвѣтилъ тотъ, — меня дѣйствительно любятъ дѣти и собаки. Да только они одни и любятъ.

— А люди?—спросилъ Константинъ.

— Люди?.. Какъ вамъ сказать? Всяко случается: одни любятъ, а другіе и куда какъ не жалуютъ! Да это, впрочемъ, что-же? По-моему это ужъ значитъ совсѣмъ плохой человѣчишко, котораго будто-бы любятъ всѣ безъ исключенія. Это значитъ, что въ сущности его никто не любитъ.

— А пожалуй, что и правда! — подумавъ, согласился Хвалынцевъ.

— Скажите-ка мнѣ лучше,—перевелъ разговоръ докторъ на другой предметъ, — какими судьбами вы это вдругъ у насъ въ Гроднѣ очутились?

— Да такъ вотъ, проѣздомъ въ Варшаву... Захотѣлось поглядѣть, что это за города въ здѣшнемъ краѣ?

— За границу вѣрно ѣдете?

— Нѣтъ, я въ самую Варшаву... на службу ѣду.

— О? Это дѣло хорошее! Русскимъ людямъ хоть и плохо тамъ теперь, но они нужны. Мѣсто имѣете, что-ли?

— Н-нѣтъ, я... я вѣдь въ военную,—сказалъ Хвалынцевъ, и вдругъ почему-то почелъ нужнымъ сконфузиться.

— Да?—отозвался докторъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ. — Что-жъ, это дѣло хорошее!

— Вы находите?—съ какою-то безразличной и гибко-понимаемой улыбкой замѣтилъ Константинъ Семеновичъ.

— Я-то? Да я что-жъ?.. Я нахожу, что всякая вообще честная служба есть хорошее и полезное дѣло,—пожалъ Холодецъ плечами.

— Н-ну, знаете, не всѣ такъ смотрять на военную собственно...

— То-есть въ какомъ же это отношеніи?—остановился противъ него докторъ.

— Да такъ; вѣдь существуетъ мнѣніе, что военная служба это такъ-сказать «агентура грубой силы кулака», «поддержка деспотизма» и пр.

— Ну-у! — махнул рукою Холодецъ. — Знаемъ мы, слышали когда-то эти нѣсни! Дескать, полезнѣе и гуманнѣе сабли и штыки перековать и перелить на скоропечатныя машины. Оно, конечно, слова нѣтъ, что гораздо полезнѣе, да вѣдь для этого надо подождать, когда прекратится Дарвиновскій законъ борьбы за существованіе и когда, значить, на землѣ алюминіевый вѣкъ настанетъ.

— Какой, какой? — съ живостью переспросилъ Хвалынцевъ.

— Алюминіевый, говорю. Были вѣдь, какъ знаете, вѣка: золотой и мѣдный, нынѣ стоитъ, какъ молвятъ мудрецы, желѣзный, а въ будущемъ грядетъ «самый цымный», говоря по-живовски, то-есть алюминіевый.

— Это что-жъ такое? — усмѣхнулся Константинъ.

— А это значитъ, когда люди станутъ жить въ алюминіевыхъ дворцахъ, ровно какъ теперь солдаты въ казармахъ, и когда потекутъ молочныя рѣки въ берегахъ кисельныхъ, а съ неба станетъ медовый дождикъ капать и вмѣсто свѣга повалить клочья американскаго хлопка. Да пеужто-же вы не знаете этого двѣнадцатаго члена нигилистическаго символа вѣры?

— Какъ не знать! Но что-же, это одно изъ самыхъ свѣтлыхъ упованій! — рѣшился мягко возразить Константинъ Семеновичъ.

— Кто говоритъ! Да только вотъ бѣда: жить-то въ этихъ алюминіевыхъ казармахъ по заведеннымъ часамъ невыносимо будетъ для живыхъ людей! Вѣдь это отсутствіе увлеченій, эта безошибочность, размѣренность, эти положенныя часы приливамъ и отливамъ, они вѣдь всякую самостоятельность, всю независимую, свободную личность человѣческую въ прахъ стираютъ. Вѣдь это все-равно, что сказать себѣ: «я свободный рабъ», — ну, что это выйдетъ? Полнѣйшій абсурдъ! Вѣдь жить такимъ образомъ, это все-равно, что весь вѣкъ маршировать по ровно-укатанному плацу или твердить таблицу умноженія. Куда какъ весело! Не знаю, какъ вы, а я отъ такого удовольствія, ради столь прелестной жизни, на первой-же осинѣ удавился-бы!

— Стало быть, вы нисколько не вѣрите въ наши, такъ называемыя, «нигилистическія теоріи?» — спросилъ Хвалынцевъ.

— Каюсь! грѣшный человѣкъ! даже ни одной минуточки не вѣрилъ! — съ покаиннымъ видомъ развелъ руками Холодецъ. — Я слишкомъ практически положителенъ; даже... даже слишкомъ матеріалистъ для того, чтобы вѣровать въ такую ерунду! Вѣдь новѣйшій нигилизмъ — онъ, въ сущности, очень сродни средневѣковому фанатическому мистицизму. Всѣ эти алюминіевыя казармы, вся эта нетерпимость — развѣ это не пахнетъ тѣмъ же мистицизмомъ? Идолы только какъ будто переимѣнились, а подкладка, реальная сущность дѣла все та же осталась.

— Стало быть, отчуждаясь отъ нихъ, вы ихъ презираете? — немножко не кстати спросилъ Хвалынцевъ.

— Я! — расширивъ на него глаза, остановился Холодецъ. — Я? Боже меня избави! Я слишкомъ толерантенъ для этого! Есть, конечно, между ними много мерзавцевъ, которымъ, по настоящему, прямое бы мѣсто въ острогѣ между негодями и мошенниками, но есть и много честныхъ, высокочестныхъ идеалистовъ! И за что же ихъ презирать или ненавидѣть?.. Развѣ можно, напримѣръ, презирать намъ Саванароллу — этого фанатическаго мистика и католика — за то, что онъ за свои убѣжденія безстрашно взомелъ на костеръ!.. Да Боже меня избави отъ этого!.. А между *этими* есть тоже своего рода маленькіе Саванароллы. Это вѣдь — все то же вѣчное стремленіе человѣческой души къ отвлеченному идеализму, и если они теперь клянутся не иначе какъ Льюисомъ, Бюхнеромъ и Модепоттомъ, такъ это значитъ только, что они вмѣсто Николы-Святителя молятся Симеону Столпнику, а еще больше оттого, что они добренькіе дурачки и не понимаютъ того, чѣмъ клянутся. И знаете: какъ тѣ, мистики, надѣлали много зла людямъ въ свое время, такъ и эти могли бы его надѣлать, дай лишь волю! — Трезвый человѣкъ никогда не пойдетъ вмѣстѣ съ ними!

— А съ кѣмъ же? — спросилъ несмѣло, удивленный этими рѣчами, Константинъ Семеновичъ.

— Съ кѣмъ? — Съ своимъ живымъ народомъ, къ которому онъ принадлежитъ плотью и кровью и всѣмъ своимъ нравственнымъ складомъ; а если ужъ нѣтъ подъ нимъ этой *своей* прирожденной почвы, такъ трезвый человѣкъ ужъ лучше ни съ кѣмъ не пойдетъ, а самъ по себѣ будетъ.

— И ничего съ него не будетъ! — улыбувшись, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, и ничего съ него не будетъ!.. Это хоть и плохо, а по-моему, все же лучше, чѣмъ распинаться за метафизику такого рода, какъ, напримѣръ, отчего вмѣсто свѣга не сыпется хлопковъ, который пригрѣлъ бы бѣдняка-рабочаго? распинаться, когда подъ рукою есть насущное дѣло, и тѣмъ только портить его.

Хвалынцева въ то время поразилъ подобный взглядъ на людей, къ которымъ не безъ нѣкотораго гордаго самодовольства онъ и себя причислялъ отчасти, и если не причислялъ совсѣмъ, то только потому, что, ставя ихъ очень высоко въ своемъ мнѣніи, гдѣ у него были намѣчены яркія имена тѣхъ которыхъ передовыхъ двигателей этого направленія, — онъ считалъ себя пока еще недостойнымъ развязать даже ремня отъ сандаліи ихъ, — и вдругъ такой неожиданный взглядъ встрѣчаетъ онъ на этихъ людей у человѣка, которому, казалось бы, самому, уже только какъ медику и потому матеріалисту, слѣдовало принадлежать къ ихъ лику! Но этотъ человѣкъ вдругъ об-

винаетъ въ крайнемъ идеализмѣ людей, распинающихся, повидимому, за материалистическія теоріи, и попросту, безъ церемоній тиглуется ихъ жалкими глупцами и невѣждами. А между тѣмъ, не принимая уже въ соображеніе Ардальона Полоярова, Анцыфрика, Лидивку Затцъ и имъ подобныхъ, но останавливаясь только на лучшихъ, на свѣтлыхъ экземплярахъ этого направленія, онъ не могъ не сознаться, что въ безопасномъ взглядѣ доктора Холодца лежитъ очень много неотразимой правды.

— Но, сами вы что же? реалистъ, конечно?—спросилъ Хвлынцевъ.

— Я-то?—подумавъ, сказалъ Холодецъ,—да какъ вамъ сказать?.. Если ужъ непременно нужны какіе-нибудь ярлыки, то, конечно, реалистъ, и полагаю, поосновательнѣе, чѣмъ всѣ эти господа.

— Ну, а образа и Мадонны?—улыбнулся Константинъ.

— Что жъ такое?—возразилъ докторъ.—Образъ—предсмертная память моей матери, а Мадонна—гениальное произведеніе человѣческаго духа. Неужели жъ вы думаете, что научный реализмъ и разумно-практическое, правдивое отношеніе къ жизни исключаютъ изъ человѣческой сущности такія теплыя и хорошія стороны, какъ любовь къ тому, что дорого, что естественно для сердца и что прекрасно, какъ любовь къ отцу и матери, напримѣръ, любовь къ искусству, любовь къ своей родинѣ? Да если такъ, то это не реализмъ, а, извините, какое-то абсолютное свинство.

— Но вѣдь въ нихъ все же есть хорошія стороны,—заступился Хвлынцевъ, думая тѣмъ самымъ вызвать доктора на исповѣдь еще болѣе подробную.

— Да; напримѣръ, донъ-кихотство; но и то далеко не во всѣхъ, а въ лучшихъ, идеальнѣйшихъ субъектахъ этой породы; пожалуй, я согласенъ, это хорошая, хотя и праздная, со-всѣмъ бесполезная сторона,—согласился Холодецъ.—Вотъ въ томъ-то и бѣда,—дополнилъ онъ,—что лучшіе изъ нихъ заслуживаютъ одного только сожалѣнія. Сожалѣніе—это есть единственное человѣческое къ нимъ отношеніе, а вѣдь если не это, то остается одно лишь презрѣніе. Но, согласитесь, это было бы очень ужъ грустно.

— Есть и кромѣ донъ-кихотства кое-что,—возразилъ Константинъ Семеновичъ.

— Напримѣръ?—улыбнулся докторъ.

— Напримѣръ демократическій закалъ.

— Согласенъ; но демократическаго закала вы и у насъ не отымете. А затѣмъ-съ?

— Затѣмъ, напримѣръ, гуманность.

— Позвольте-съ,—съ живостью перебилъ докторъ.—Вы говорите гуманность; да въ чемъ же она, коли эти господа весь міръ дѣлятъ на *мы* и *подлецы*, и что *не мы*, то *подлецы*, а

противъ подлецовъ всѣ средства хороши и позволительны? А я вамъ скажу, что въ каждомъ изъ нихъ сидитъ свой маленькій Аракчеевъ, графъ Алексѣй Андреевичъ, который «безъ лести преданъ», и вся ихъ гуманность не простирается далѣе идеальнаго устройства аракчеевскихъ военныхъ поселеній; они весь міръ готовы бы обратить въ социально-коммунистическое военное поселеніе, надъ которымъ каждый изъ нихъ былъ бы графомъ Алексѣемъ Андреевичемъ. Гуманность!.. Хм!.. продолжалъ Холодецъ, снова начиная оживленно расхаживать по своей комнатѣ.—Эти всѣ громкія слова потому-то имъ и любы, что ровно ничего не выражаютъ собою. Вы мнѣ укажите, на чемъ это въ практическомъ-то, житейскомъ примѣненіи отразилась эта ихняя гуманность?

— Ну, а напримѣръ сочувствіе къ Польшѣ, къ польскому дѣлу?—проговорилъ Хвлынцевъ, имѣя про-себя свою заднюю мысль пощупать на этотъ счетъ доктора.

Но докторъ только расхохотался.

— Чему вы?—спросилъ его Константинъ.

— Какъ чему, батюшка вы мой!.. Очень ужъ смѣшно!.. Сочувствіе къ тому, о чемъ они ни малѣйшаго понятія не имѣютъ. Это-то самое сочувствіе и представляетъ самое смѣшное, самое уродливое и невѣжественное явленіе у нашихъ нигилистовъ.

Хвлынцевъ попросилъ разъяснить ему, что именно находятъ докторъ здѣсь смѣшнымъ и уродливымъ.

— Да какъ же,—возразилъ Холодецъ,—они вѣдь, прежде всего, отвергаютъ всякую религію, а Польша вся въ католицизмѣ и имъ только и держится. Эта есть самая католически-истиннѣйшая дщерь римскаго престола; затѣмъ они ярые демократы и красные, а истинная Польша—вся бѣлая, вся шляхетная, магнатски-аристократическая; они стоятъ за разрушеніе общества даже въ его современныхъ, американскихъ началахъ, а Польша вся въ своихъ средневѣковыхъ, магнатски-феодалныхъ тенденціяхъ и привилегіяхъ; они, наконецъ, желали бы раздробить и въ-концѣ отвергнуть не только Россію, но и всякое государство, а Польша всѣми силами стремится возстановить свое дряблѣе, гнилое, *панское* государство, въ самой государственной формѣ польской Речи Посполитой, да еще при этомъ основываетъ его на господствѣ надъ пятнадцатію милліонами русскаго народа, чуждаго ей и по происхожденію, и по языку, да даже и по вѣрѣ больше чѣмъ на половину: и вдобавокъ еще, этотъ народъ долженъ быть лишентъ всякаго права на человѣческое свободно-гражданское существованіе, а превратиться въ *быдло*, какимъ онъ былъ и до сегодня. Ну, согласитесь сами, развѣ это сочувствіе не верхъ невѣжества и безобразія?

— И вы ни въ какомъ случаѣ не протя-

нули бы этой Польшѣ руку помощи?—вскричалъ задѣтый за живое Хвалынцевъ.

— Я!—сдѣлавъ строго изумленные глаза, повернулся къ нему докторъ.—Что вы называете рукою помощи? Если эта помощь коснулась бы моей специальности, то, конечно, какъ медикъ, я обязанъ былъ бы подать ее каждому человѣку, кто бы онъ ни былъ; но что касается до помощи политической, то извините! Я на двухъ стульяхъ сидѣть не умѣю, а сижу ужъ всегда на какомъ-нибудь одномъ. Достаточно того, что я до мозга костей чувствую себя русскимъ. Да кромѣ того у меня есть еще и свои родовыя, традиціонныя причины не являться съ ними: мой прадѣдъ былъ замученъ въ Варшавѣ вмѣстѣ съ тридцатью гайдамаками Гонты и Желѣзняка, у моего дѣда панъ Потоцкій выкроилъ изъ спины два ремня на бритвы своему «служенному», мой отецъ раненъ въ бедро на вылетъ польскою пулею въ 31 году при штурмѣ Варшавы. Въ трехъ поколѣніяхъ, батюшка мой, въ трехъ поколѣніяхъ моего рода повторяется все одна и та же кровавая исторія по милости поляковъ; такъ какъ же вы хотите, чтобъ я являлся вдругъ съ ними противъ своихъ же?

Съ жуткимъ, щемящимъ чувствомъ въ душѣ слушалъ Хвалынцевъ этого человѣка.— «Какъ счастливъ онъ!» думалось ему, «какъ счастливъ онъ этою твердостью, этою безбоязненною прямою своихъ отношеній къ *нашему* дѣлу!.. Какъ ясно и спокойно должно быть у него на душѣ!.. Какъ открыто и честно онъ долженъ всегда себя чувствовать!.. Счастливый человѣкъ!.. А я?..

«Боже мой, какое гнусное, какое рабское положеніе!.. Я уже не свободенъ, я закрѣпощенъ, закрѣпощенъ дѣлу, котораго не знаю, людямъ, которымъ не сочувствую...

«Господи! какъ бы хотѣлось сбросить съ себя весь этотъ грузъ! Какъ бы хотѣлось чувствовать и сознавать себя въ свободномъ независимомъ положеніи этого славнаго Холодца!.. О, какъ бы дорого я далъ теперь за эту возможность!..

«А что? не попытаться ли?.. сегодня-же? сразу?» мелькнула вдругъ ему соблазнительная мысль.

«А слово?.. честное слово, сознательно данное однажды?» заговорилъ вдругъ на это какой-то другой голосъ, поднявшійся въ его душѣ съ какой-то темной, безпросвѣтной тучей,—а месть? а наказаніе?..

«Что наказаніе!.. Это не страшно!.. Пусть!

«А измѣна?.... Измѣнникомъ назовутъ.... Иудой!

«А русскіе, *свои-то*, развѣ не назовутъ гѣмъ же Иудой и измѣнникомъ?.. Да вотъ онъ, этотъ самый честный, прямой Холодецъ,—онъ развѣ не назоветъ меня тѣмъ же? не станетъ презирать меня?

«О, Боже мой!.. Какое страшное, фальшивое положеніе!.. Идти на дѣло, чуть не ненавидя, чуть не проклиная его!.. Идти противу своихъ за чужими!.. И развѣ эти чужіе въ душѣ не станутъ презирать меня точно также?..

«Нѣтъ! Нѣтъ!.. Не пойду я съ ними!» чуть было не вскрикнулъ Хвалынцевъ, глубоко и всецѣло отдавшись своимъ, всю душу раздирающимъ мыслямъ—и выраженіе глубокаго, душевнаго страданія, борьбы и мучительнаго волненія вдругъ отразилось на поблѣднѣвшемъ лицѣ его.

«А Цезарина?» всталъ вдругъ передъ нимъ роковой вопросъ и—увъ! опять затмилъ собою всѣ другіе вопросы и сомнѣнія...

Константинъ грустно и бессильно поникъ головою.

— Что это съ вами? Не дурно ли?—быстро и озабоченно спросилъ вдругъ докторъ, замѣти въ немъ это печальное состояніе.

— Н-нѣтъ... ничего... это такъ, пройдетъ!—черезъ силу отвѣчалъ Хвалынцевъ,—со мной иногда бываетъ это... такъ, находить, знаете... Просто раздумался себѣ, и немножко какъ-то грустно стало.

— О чемъ?—ласково улыбнулся Холодецъ и сочувственно взялъ его за руку.

— Такъ... Мало ль о чемъ!—И о прошломъ, и о будущемъ...

— Ужъ не военная ль служба пугаетъ?—шутливо замѣтилъ докторъ.

— А что вы думаете?—ухватился за эту мысль Константинъ.—Бдешь почти въ чужую землю, ни родныхъ, ни знакомыхъ, то-есть буквально никого!.. А тамъ, позади себя брошено много хорошаго... Да и Богъ-вѣстъ, съ какими людьми придется служить? Сойдусь-ли?

— Вона о чемъ!.. Словно бы желтоносый птенчикъ впервые изъ-подъ крылышка матушки!.. Есть о чемъ думать!—дружески подтрунилъ докторъ.—Объ этомъ, сударь мой, не беспокойтесь. Военная служба, какъ и всякая другая честная служба, дѣло хорошее, и буде не трусь вы, то пугаться ея нечего! Съ полачемъ, конечно, возжаться не станете, да и они съ вами не станутъ!

При этихъ словахъ Константинъ невольно какъ-то съ нервнымъ содроганіемъ сжалъ руку доктора, которую тотъ во все время не выпускалъ изъ его руки. Эти слова больно кольнули его подъ сердце, словно бы укоръ неумной и строгой совѣсти, такъ что вдругъ захотѣлось взять да и высказать предъ этимъ человѣкомъ всю правду, всѣ свои муки и сомнѣнія. Одно мгновеніе Константина такъ и подмывало на этотъ порывъ, но... духу какъ-то не хватало, странно стало сдѣлать вдругъ, сразу такой рѣшительный шагъ; образъ Цезарины снова молниеноснымъ лучомъ сверкнулъ въ его воображеніи и пронизалъ собою всю душу—и онъ оскѣся, остановился и сдержалъ въ себѣ свой безза-

вѣтно-стремительный, честный порывъ, совсѣмъ уже было готовый вырваться наружу.

— И притомъ же, — спокойно продолжалъ докторъ досказывать ему свою мысль, — притомъ же вы въ каждомъ полку навѣрное встрѣтите двухъ-трехъ вполне развитыхъ, даже очень образованныхъ людей, изъ университетскихъ тоже, съ которыми, при доброй волѣ, вамъ не трудно будетъ сойтись по-человѣчески и какъ слѣдуетъ; кромѣ того, можно держать сто противъ одного, что вы попадете въ простую, но честную среду добрыхъ и хорошихъ людей, которые васъ примутъ какъ добраго товарища. Повѣрьте мнѣ въ этомъ! — Я вѣдь уже знаю нѣсколько наши русскіе армейскіе полки; и плюньте вы тѣмъ въ глаза, кто станетъ увѣрять васъ, что тамъ все одни мордобійцы да стекловышибатели, бурбоны да солдафоны, — право такъ! Вѣдь и полки наши стараются заплевать теперь, какъ и многое другое хорошее на Руси, а вы не вѣрьте и ступайте себѣ съ Богомъ своею дорогою!.. Дорога честная!

Хвалынцеву было и грустно, и отрадно какъ-то слушать эти искреннія, добрыя рѣчи.

«О, какъ бы я на самомъ дѣлѣ могъ быть счастливъ», думалось ему, «если бы только могъ войти въ эту полковую среду совсѣмъ честнымъ человѣкомъ, безъ всякихъ революціонныхъ заговоровъ и цѣлей, безъ сидѣнья на двухъ стульяхъ; если бы могъ каждому товарищу прямо и честно посмотреть въ глаза, зная, что я имѣю право смотреть такъ. А теперь ужь, быть можетъ, и поздно...

«Нѣтъ, нѣтъ! почему знать, можетъ, и не поздно еще!.. можетъ еще все, все хорошее вернется ко мнѣ?» въ-перебой предыдущей мысли, какимъ-то свѣтлымъ, дѣтскимъ упованіемъ подымался вдругъ въ душѣ его новый, желанный голосъ, и онъ жарко, всей душой, напряженно хотѣлъ внимать и вѣровать этому доброму, утѣшительному голосу.

— Однако теперь уже самое время, — сказалъ Холодецъ, посмотрѣвъ на часы. — Если желаете прогуляться да взглянуть еще кое на что, такъ отправимтесь!

И они пошли на Телятникъ.

VII.

На Телятникѣ.

Хвалынцевъ съ докторомъ раза два прошли по тополевой аллеѣ и ушли на одной изъ деревянныхъ скамеекъ. На Телятникѣ было довольно-таки гуляющей публики; но что наиболѣе кидалось въ глаза, такъ это постоянное присутствіе въ этомъ мѣстѣ какихъ-то темныхъ личностей, о которыхъ никто изъ старожилыхъ городскихъ обывателей, пожалуй,

не сдумалъ бы сказать кто и что это за люди, чѣмъ занимаются, къ какому классу принадлежатъ: не то ремесленники, не то лакеи, не то мелкіе чиновники, такъ, что-то такое, неподходящее ни подъ какую категорію, ни подъ одно опредѣленіе. Между ними были очень молодые, почти ребята, были и юноши, были и люди среднихъ лѣтъ, одѣтые кто показистѣе, то есть относительно показистѣе, а кто и совсѣмъ глядѣлъ обшарпанцемъ. Они цѣлые дни проводили на улицахъ и преимущественно на этомъ Телятникѣ; по крайней мѣрѣ Хвалынцевъ, бывши здѣсь еще утромъ, потомъ проходя мимо съ Холодцомъ изъ трактира, и теперь вотъ, подъ-вечеръ, замѣчалъ все тѣхъ же неопредѣленнаго качества господъ, которые гуляли, шатались, плялись, сидѣли на скамейкахъ, курили папироски, сходились иногда кучками и толковали между собой, толковали такъ, какъ толкуютъ люди, которымъ равнехонько-таки нечего дѣлать. Первое, что кидалось въ глаза у всѣхъ этихъ господъ, какъ отличный, характеристичный признакъ, это ихъ постоянная и полнѣйшая праздность: вѣчно на улицѣ и вѣчно праздны. Иногда, сходясь между собою, они говорили очень тихо, какъ будто разсуждая объ очень серьезныхъ и чуть не таинственныхъ вещахъ, иногда же галдѣли о чемъ-то очень громко, съ шуточками и задиричками, сопровождаая тѣ и другія хохотомъ. На прохожихъ и гуляющихъ посматривали они съ какою-то независимою наглостью, отпуская иногда и на ихъ счетъ какую-нибудь плоскую и часто циническую шуточку, а иныхъ такъ, пожалуй, непрочъ были бы и задѣть; по крайней мѣрѣ нагло вызывающіе взгляды, кидаемые ими на нѣкоторыхъ, по преимуществу солидныхъ, степенныхъ и хорошо одѣтыхъ людей, явно вызвали охоту задирииво задѣть челоуѣка, лишь бы только былъ мало-мальски подходящій поводъ.

Этотъ бездѣльно шатающійся людъ сдѣлалъ на Хвалынцева, какъ на свѣжаго челоуѣка, впечатлѣніе непріятное.

— Скажите, пожалуйста, что это за шатуны?.. И вѣчно торчатъ здѣсь! — отнесся онъ къ доктору.

— Чортъ ихъ знаетъ, кто они и откуда! — пожалъ тотъ плечами. — Это явленіе наблюдается въ Гроднѣ, относительно, съ недавняго еще времени, такъ, съ лѣта или съ весны, а прежде никогда ничего подобнаго не бывало. Но то же самое, говорятъ, замѣчаютъ и въ другихъ городахъ, — прибавилъ онъ, — въ Вильнѣ, въ Ковнѣ, въ Варшавѣ, да вездѣ почти!

— Должна же быть какая причина? — замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Не безъ того!.. Ужъ конечно не даромъ! — согласился докторъ, — да коли хотите, профессія то ихъ ясна: вотъ, наприимѣръ, чуть какая демонстрація, въ родѣ сегодняшнихъ похоронъ — они тутъ первые; окна ли выбивать въ квартирахъ «москескихъ чинувнѣковъ» и у «злыхъ

поляковъ», опять они же; «копью¹⁾ музыку» устроить, цѣпной шлейфъ оборвать, сѣрной кислотой облить—это все ихъ специальность. И замѣчательно, что полиція, зная ихъ отлично, ни одного, межъ тѣмъ, не хватаетъ!

— Глядятъ какими-то пролетаріями,—замѣтилъ Хвалынцевъ, издали глядя на одну изъ собравшихся кучекъ.

— Да, вообще трущобными джентльменами,—отозвался докторъ.

— Но чѣмъ же они существуютъ, если этакъ весь день на площади?.. На какія средства?—удивленно спросилъ Константинъ.

— Это-то вотъ и есть загадка!—отвѣтилъ докторъ.—Меня самого, признаюсь, интересуетъ-таки этотъ вопросъ. Стало-быть, кто-нибудь да ужъ заботится о ихъ желудкахъ и даже о прихотяхъ, потому что и сыты, и одѣты кое-какъ, и папироски покуриваютъ, и пыльны иногда бываютъ; но кто содержитъ всю эту сволочь—вопросъ темный!

Кромѣ этихъ подозрительныхъ джентльменовъ по Телятнику рыскало еще множество оборвышей, нищенствовавшихъ уличныхъ мальчишекъ и гимназистовъ всѣхъ возрастовъ, въ ихъ форменныхъ фуражкахъ.

— Вотъ и эти тоже,—обратилъ докторъ на послѣднихъ-вниманіе Хвалынцева.—Загляните въ гимназію, въ классы—пусто! Цѣлые дни, съ утра до ночи, вотъ все такъ по городу и шнырюютъ, тоже скандальчики, гдѣ можно, устраиваютъ, а чтобы учиться,—вотъ годъ ужъ скоро, какъ и помину нѣтъ!

— Скажите пожалуйста, что это за эксцентричная особа—вонъ-вонъ тамъ, видите, съ адамовой головой на спинѣ?—любопытно спросилъ Хвалынцевъ, замѣтивъ вдругъ давешнюю процессіонную барыню, которая теперь быстрыми шагами разгуливала по серединѣ Телятника, окруженная гимназистами, и очень оживленно, очень весело разговаривала съ ними. Гимназисты не то подтрунивали надъ этой странной женщиной, не то дружили съ нею.

— О, адамову-то голову! Какъ не знать!.. Ее вся Гродна знаетъ!—улыбнулся докторъ.—Это, батюшка мой, жена чиновника русской коронной службы. Сейчасъ какъ только кака-нибудь костельная процессія—сейчасъ эту головку сантиментально на бочекъ и маршъ на самомъ видномъ мѣстѣ! Такъ и щеголяетъ!

— Я думалъ, монахиня какая, что ли...

— Нѣтъ, это наша крайняя патріотка съ крайнимъ демократическимъ закаломъ,—красная. Вотъ всѣ эти «лобузы»²⁾ большіе съ нею пріятеля.

— А мертвая голова-то зачѣмъ?

— А это, такъ сказать, *кричащій* патріотизмъ. Она, сказываютъ, губернатора здѣшняго за ногу укусила.

— Что такое?—разсмѣялся Хвалынцевъ.—Какъ это за ногу?

— Такъ-таки просто зубами, то-есть самымъ натуральнымъ способомъ. Полюбилося это имъ всѣмъ гуртомъ къ губернатору шататься,—началъ рассказывать докторъ,—соберутся всѣ эти жалобницы да лобузы и—вали-валомъ! Ломятъ въ приемную залу, будто съ какой-нибудь просьбой общественной, а въ сущности скандала ради. Вотъ этакъ-то приперли однажды цѣлымъ кагаломъ, а она предъ губернаторомъ бацъ въ ноги, будто съ просьбой, знаете, колѣни отпа и благодѣтеля обнять желаетъ, да вдругъ и цапъ его за икру!.. Такъ вѣдь и впила съ зубами, словно бульдогъ какой! Тотъ визжитъ и ежится, потѣетъ и прыгаетъ, а она его какъ захватила обѣими челюстями и баста! не пушцаетъ и шабанъ! А кагалъ надрывается съ хохоту. Такъ вѣдь что? Насилу вырвался, да какъ задастъ стрекача въ огороды да потомъ все пустырями, пустырями—такъ и изъ города удралъ!.. Ей-Богу! Отъ конфузіи да отъ страха въ бѣгство обратился. Вотъ они, батюшка, каковы здѣсь милые дѣти! А еще слабый и нѣжный полъ, такъ сказать!

Въ эту самую минуту предъ новыми нашими пріятелями прошли какія-то миловидныя паненки въ кокетливой жалбѣ и подлѣ нихъ три или четыре офицера, которые очень любезно, какъ добрые знакомые, болтали съ этими паненками по-польски.

— Скажите, пожалуйста, вотъ это еще очень удивляетъ меня,—замѣтилъ Константинъ Семёновичъ.—Въ третій разъ встрѣчаю офицеровъ, и все они по-польски да по-польски; что это значитъ?

И онъ кстати рассказалъ про то, какъ утромъ у костела видѣлъ офицера, говорившаго по-польски съ унтеромъ.

— Что-жъ мудренаго,—сказалъ Холодецъ,—коли одни и тѣ же войска стоятъ здѣсь въ этомъ краѣ чуть не тридцать лѣтъ. Придетъ изъ Россіи дивизія чистенькая, русская, а здѣсь сейчасъ же начинаютъ набираться въ нее юнкера изъ тутѣйшихъ пановъ; ну, ихъ, конечно, въ офицеры, а они сейчасъ въ полку постараются занять всѣ штабныя должности, а тамъ и мѣста ротныхъ, эскадронныхъ, батальонныхъ командировъ: своя отъ своихъ, что называется, за уши въ гору тянуть, такъ что даже должности нижнихъ чиновъ—всѣ эти тамъ фельдфебеля, вахмистры, унтера, каптенармусы—все это почти-что на двѣ трети изъ поляковъ, а тамъ, глядишь, черезъ нѣсколько лѣтъ въ полку изъ русскихъ осталось вдругъ какихъ-нибудь два-три офицера, два-три татарина, два-три нѣмца, а остальное все какъ есть одни поляки! Тутъ, батюшка, иногда до

¹⁾ Кошачью.

²⁾ Лобузами въ Варшавѣ называютъ уличныхъ шагуновъ, иногда „лобузы“ значитъ то же, что въ Москвѣ жулики, въ Петербургѣ мазурики.

того доходить, что на домашнихъ ученьяхъ чуть не командуютъ по-польски; а что ежели ротный утерамъ распекацію даетъ или какіе интимно-хозяйственные разговоры съ фельдфебелемъ ведетъ, такъ ужъ это изъ десяти случаевъ пять навѣрное будетъ по-польски; такъ что жъ мудренаго, если эти офицерики, ухаживая за полечками и желая быть галантными кавалерами, болтаютъ себѣ на языкѣ Мицкевича? Этимъ-то ужъ, такъ сказать, и Богъ велѣлъ. Здѣсь иногда и русскій человѣкъ, особенно въ недавнее прошлое время, ужасно какъ быстро ополячивался!—добавилъ Холодецъ.—Да и теперь-то зачастую случается.

Гуляющія пары и группы межъ тѣмъ проходили мимо нашихъ собесѣдниковъ.

Русской рѣчи почти вовсе не было слышно, развѣ долетало какое-нибудь слово, но и то какъ исключительная рѣдкость. Даже евреи со своими супругами, если только не по своему, то ужъ навѣрное говорили по-польски. Здѣсь прогуливались евреи, причислявшіе себя къ «цивилизованнымъ», а признакомъ цивилизации у супруга служилъ цилиндръ на головѣ, отсутствіе пейсы, аккуратно подстриженная бородка и пальто-пальмерстонъ съ неимоверно длинной таліей и съ полами до пятъ, а у супруги кринолинъ, шиньонъ и модная шляпка; дѣвочки же еврейскія, несмотря на поздне-осеннее, прохладное время, щеголяли съ непокрытыми головами. Ни на одной изъ женщинъ нельзя было замѣтить цвѣтнаго платья: все черное да черное, все та же характерная, повальная жалоба, зачастую съ покрытымъ крепомъ широкимъ бѣлымъ плерезомъ на подолѣ.

— Неужели здѣсь и еврейки даже носятъ трауръ?—удивился Хвалынецъ.

— А какъ же! Патриоты вѣдь увѣряютъ ихъ, что они «братья поляки Мойжешовѣго признанія»¹⁾; ну да и изъ экономіи: что за охота вернуться домой съ подоломъ, прожженнымъ сѣрной кислотой?

— А русскія барыни?

— О, эти еще болѣе, чѣмъ кто-либо! Имъ и въ жалобѣ-то рискованное дѣло показываться на улицѣ одиѣмъ безъ мужнины: не только что кислоты, а и оскорбленій не оберешься! Да впрочемъ ихъ вѣдь и немного у насъ; а изъ тѣхъ, что официально только называются русскими, то-есть тѣ, которые отъ смѣшаннаго брака, такъ эти зачастую еще полячистѣе самихъ полекъ; нужды нѣтъ, что православныя, а бѣгаютъ все по костеламъ, въ процессіяхъ этихъ, въ демонстраціяхъ разныхъ всегда чуть не на первомъ мѣстѣ, вѣчно съ польскими молитвенниками, и не иначе, какъ съ гордостію говорятъ о себѣ, что они «польки русскей вѣры чили всходнего признанія». Это самыя задалыи!

¹⁾ Моисеева закона.

Въ эту самую минуту вниманіе Хвалынцева было отвлечено мальчишескими криками, усканьемъ и поддразниваньемъ, раздававшимися по срединѣ Телятника. Черезъ площадку проходилъ православный священникъ, въ обычной городской священнической одеждѣ. Толпа гимназистовъ, держась тѣсною кучею и слѣдуя за нимъ въ нѣсколько осторожномъ отдаленіи, кричала ему сзади:

— Попъ! попъ! Чортъ твою душу хопъ! чортъ твою душу хопъ!.. Схизматыкъ!.. Попъ прискеленты!¹⁾

— Чтѣ это за безобразіе!—невольно возмущаясь этою сценой, пожалъ плечами Хвалынецъ.— За чтѣ же это, наконецъ, такія наглыя оскорбленія?

— Э, еще и не то бываетъ! Это что!—возразилъ Холодецъ,—это вотъ вамъ легенькій образчикъ польской вѣротерпимости. А это еще какой попъ-то, надо замѣтить: онъ, какъ говорятъ по крайней мѣрѣ, совсѣмъ полякъ въ православной рясѣ; говоритъ не иначе, какъ по-польски, дружить съ ксендзами, даже нѣкоторыхъ прихожанъ и исповѣдуетъ-то на польскомъ языкѣ, а у себя въ алтарѣ къ пономарю обращается напимѣръ: «Пане Яне! Прендзей казидло, прошен' пана!»²⁾ Вотъ это попь-то какой! Такъ имъ бы, казалось, лѣзть бы только эдакого-то человѣка золотого, а вотъ нѣтъ же!.. Поди-ка ты! До такой степени сильна фанатическая ненависть къ православной рясѣ, что даже польскія его добродѣтели забываются!

— Чего же, наконецъ, полиція-то смотритъ?—воскликнулъ вдругъ нашъ революціонеръ, и... увы! ни мало не почувствовалъ въ душѣ угрызения совѣсти за столь ретроградное восклицаніе. — Вѣдь этакъ просто по улицамъ ходить невозможно!

— Полиція-то? — усмѣхнулся докторъ.—А вонъ она!.. Видите, вонъ тутъ же на углу «панъ стойковый» торчитъ себѣ для порядку да мило улыбается на милыхъ шалуновъ. Тутъ, батюшка, и полиція-то вся, отъ старшихъ до младшихъ, все это полячки, изъ «добрыхъ обывцаелей»; полиція-то имъ и есть самый лучший другъ и пособникъ.

Хвалынецъ только плечами пожалъ отъ печально-досаднаго изумленія.

— Послушайте!—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго раздумья.—Вѣдь всѣ эти штуки, это ужъ чисто социальная сторона дѣла, а въ социальныхъ вопросахъ правительство зачастую бываетъ безсильно; противоѣдствовать этой пропагандѣ и вообще всѣмъ безобразіямъ, на мой взглядъ, по крайней мѣрѣ, должно бы было само здѣшнее русское общество. Это вѣдь уже чисто его вина.

¹⁾ Проклятый.

²⁾ Скорѣй казидло, прошу папа.

Докторъ въ отвѣтъ на это засмѣялся.

— Русское общество!.. «Здѣшнее русское общество», говорите вы?—воскликнулъ онъ.— Да гдѣ же оно прежде всего? У насъ есть здѣсь польское и еврейское общество и, знаете ли, очень и очень-таки хорошо, плотно организованное; но русскаго общества нѣтъ да никогда не бывало.

— Какъ! позвольте!—возразилъ Хвалынцевъ,—а великорусскіе чиновники, напримѣръ? А православные бѣлоруссы изъ городскихъ обывателей? А поны православные? Конечно вѣдь не всѣ же таковы, какъ вотъ этотъ, что прошелъ сейчасъ. Развѣ все это не составляетъ элементовъ для общества?

— А вотъ посмотримъ!—началъ ему на это Холодецъ. — Возьмите сначала хоть послѣднихъ, то-есть поповъ. Между ними, я вамъ скажу, всякіе бывають. Я не говорю объ одной Гроднѣ, но о цѣломъ краѣ, на сколько я его знаю. Между ними очень многіе искренно сожалеють, напримѣръ, объ униі и мечтають, «кабы она зновъ навроцилася»; эти всѣ почти сочувствуютъ полякамъ. Да оно и понятно: правительство ихъ «возсоединило» и затѣмъ бросило на произволъ судьбы, а «наіяснѣйшее панство», которое допрежь сего и почетъ уніатскому попу оказывало, и поддержку, и пособіе, и все, что хотите,—панство вдругъ отъ него круто отвернулось, какъ отъ малодушнаго человѣка, который принялъ «схизму»—и несчастный попъ волею російской власти вдругъ очутился на самомъ критическомъ распутии. Что дѣлать? Бѣсть-то да пить все-жъ таки хочется: правительство ничѣмъ не помогаетъ, панъ прекратилъ свои подачки—ну, вотъ тутъ-то и пошли такіа явленія, что попъ ради гарнца овса сталъ подлизываться къ ксендзу, заискивать его дружбы и покровительства у пана, «абы жиць съ чего было!» Худшіе, то-есть малодушнѣйшіе, изъ ихняго брата бывають просто домашними шутами у пана; кто же поумнѣе, тотъ покорнѣйшій слуга того же пана, а кто почестнѣе, тотъ окончательно ушелъ въ «хлопство», въ «быдло» своего прихода; и хоть панство дѣлаетъ ему на каждомъ шагу всевозможныя мерзости, но онъ все-таки твердо держится своего; это изъ нихъ, конечно, люди самые честные и достойные всякаго уваженія, да и слава Богу еще, что въ нихъ нѣтъ недостатка; благодаря имъ-то и простой сельскій народъ остается пока еще самими собою, несмотря на долю религіознаго индифферентизма, который вы иногда замѣтите здѣсь въ православномъ собственно населеніи. Это все я говорю о попахъ сельскихъ,—продолжалъ Холодецъ,—а что касается до городскихъ, ну... то они всѣ болѣею частію отмѣнные практики и политики; держатся того берега, гдѣ теченіе сильнѣе, поэтому при настоящемъ положеніи дѣлъ, они, можно сказать, не составляютъ равно

никакого пригоднаго элемента для русскаго общества: теченіе-то вѣдь неизмѣримо сильнѣе съ польской стороны.

Свѣдѣніе это было для Хвалынцева совсѣмъ ново, но онъ все-таки не хотѣлъ оставить своей первоначальной мысли, подавшей поводъ къ этому спору.

— Ну, хорошо-съ; а великорусскіе чиновники, которые есть же тутъ?—сказалъ онъ.

Докторъ только рукою махнулъ.

— Объ этихъ лучше и не говорить!—презрительно проронилъ онъ сквозь зубы.—Высшій экземпляръ этого рода вы изволили давеча за обѣдомъ видѣть въ трактирѣ, въ лицѣ его сѣмательства князя ***. Ну-съ, хорошъ?

— Жалостенъ!—усмѣхнулся Хвалынцевъ.

— Жалостенъ? А это еще чуть ли не лучший! Во-первыхъ, — продолжалъ Холодецъ,— всѣ мы пріѣзжаемъ сюда съ убѣжденіемъ, что здѣсь Польша, и рѣдко кто изъ насъ задаетъ себѣ трудъ взглянуть, точно ли здѣсь Польша? А иной хоть и раскуситъ, но какъ же не тянуть панскую руку? Это вѣдь будетъ такъ нелиберально, такъ отстало, такъ—съ позволенія сказать — русски-патріотично! За это вѣдь, пожалуй, чего добраго, еще и въ *Колоколѣ* отшлепають, и всю карьеру свою тогда потеряешь! А вѣдь мы, прежде всего, стараемся, какъ бы не подумали о насъ, что мы не либералы. Ты хоть скажи мнѣ пожалуй, что я подлецъ, но только либеральный подлецъ — и я тебя за это въ умиленіи расцѣлую! Это вотъ одинъ сортъ нашихъ русскихъ чиновниковъ. Затѣмъ другой сортъ—это просто взяточники и честолюбцы, которые потому тянутъ за лановъ, что тѣ имъ въ руку за это изрядно суютъ и всячески стараются для нихъ темными путями о крестахъ, чинахъ и отличіяхъ. Третій сортъ, наконецъ, знай-себѣ строчить только входящія да исходящія, рапорты да отношенія и ни до чего больше ему и дѣла нѣтъ; онъ и не слыхалъ даже, что это, молъ, за звѣръ такой польская пропаганда? Ему лишь бы къ празднику наградныя да мѣсячное жалованье получить, а затѣмъ... а затѣмъ — «какъ начальство-съ прикажетъ!» И будь тутъ для него Россія ли, Польша ли, Турція или даже Патагонія—«Гудокъ ли, гусли—Литва ли, Русь ли»—это ему рѣшительно все равно! Вотъ вамъ три типа нашихъ великорусскихъ чиновниковъ, а всѣ вмѣстѣ, въ совокупности, мы дичимся другъ друга и сидимъ по своимъ берлогамъ, въ разбродъ, въ одиночку, особнякомъ, и почти не знаемъ другъ друга, а все оттого, что русскій чиновникъ прежде всего *чиновникъ*, и кромѣ рапортовъ да исходящихъ, да жалованья, да еще либерализма ни до какихъ социальныхъ, больныхъ и щемящихъ вопросовъ ему и дѣла нѣтъ! Итакъ, вотъ вамъ и второй общественный элементъ у насъ круглымъ нулемъ оказывается.

— Да неужели же всё такие?—недовѣрчиво воскликнул Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, попадаютъ иногда счастливыя исключенія,—сказалъ докторъ,—но... одна ласточка еще весны не дѣлаетъ и къ тому же еще одинъ въ полѣ не воинъ, какъ сами, поди-ка чай, знаете!

— Но объясните же, Бога ради,—воскликнулъ Константинъ,—откуда это, отчего это въ русскихъ людяхъ вдругъ является такая паскудная уступчивость всѣмъ этимъ наглýmъ притязаніямъ, это подлизыванье, уклончивость эта?

— Э! а вы ни во что не берете наше мелкое самолюбіе да чванство!—возразилъ докторъ. Во-первыхъ, мы либералы,—не забывайте! Во-вторыхъ, мы начальства и Колокола боимся, а въ-третьихъ, насъ хлѣбомъ не корми, лишь бы только поляки сказали про насъ: «А, то хочъ и москаль, алежъ поржѣдны москаль и такі добреже-мыслѣнцы!»¹⁾ Вѣдь подобный отзывъ это для насъ въ нѣкоторомъ родѣ праздникъ сердца, именины души! Пропадай тамъ пропадомъ «мать-Россій» —лишь бы «чужіе» сказали, что мы «либералы». О, для этого мы готовы подъ эту сиволапую «Россій» даже собственноручно втихомолку огоньку подложить и палнуть еще ее вдобавокъ во всю свою мочь ослину!.. Это вѣдь такъ либерально!

— Но... возвращаясь къ прежнему вопросу, продолжалъ Хвалынцевъ,—а третій же элементъ? Православные и образованные бѣлорусы? Эти-то что же?

— Эти тоже бываютъ двоякаго рода,—началъ было Холодецъ, какъ вдругъ...

Въ эту самую минуту приблизились двое какихъ-то господъ, довольно прилично, хоть и скромно одѣтыхъ, и опустились на ту же самую скамейку, гдѣ сидѣли наши пріятель. Одинъ изъ новопрішедшихъ курилъ папиросу.

Хвалынцеву вдругъ тоже захотѣлось покурить. Онъ вынулъ портъ-сигаръ, досталъ одну сигару себѣ, другую предложилъ доктору, и затѣмъ очень вѣжливо обратился къ своему курившему сосѣду, сказавъ ему по-русски:

— Позвольте, пожалуйста, попросить у васъ огня?

Но сосѣдъ въ отвѣтъ на это оглядѣлъ его съ ногъ до головы и потомъ обратно съ головы до ногъ нагло-удивленнымъ взглядомъ, потомъ передернулъ плечами, пересмѣхнулся о чемъ-то со своимъ пріателемъ и вдругъ съ дерзкимъ нахальствомъ бросилъ свою почти только-что закуренную папиросу на землю, какъ разъ предъ Хвалынцевымъ, затопталъ ее и поднялся со скамейки вмѣстѣ съ товарищемъ въ намѣреніи удалиться.

— Экой невѣжа!—нарочно громко сказалъ

ему вслѣдъ Константинъ, возмущенный этимъ безпричинною дерзостью.

— Какъ нельзя болѣе кстати!—воскликнулъ Холодецъ.—Не беспокойтесь, у меня съ собой воздушныя спички... На-те вамъ, закуривайте. Но это, говорю, какъ нельзя болѣе кстати!—продолжалъ онъ.—Я хотя и незнакомъ, но знаю этого барина. Это вамъ одинъ изъ образчиковъ православнаго бѣлорусса-горожанина. Ихъ у насъ, какъ я сказалъ уже, двѣ категоріи: одни—это чиновники, вышедшіе изъ поповичей, изъ мѣщанъ, однимъ словомъ, не изъ шляхетнаго сословія; это почти все народъ честный, скромный, преданный своей русской національности, но народъ бѣдный, маленькій и потому забытый. Притомъ же они почти всё и всегда и повсюду состоятъ подъ начальствомъ поляковъ, которые всегда занимаютъ здѣсь наиболѣе видныя, вліятельныя и доходныя мѣста, а отъ этихъ начальниковъ зависятъ ихъ единственный трудовой кусокъ хлѣба; стало быть, подумайте сами, ужъ до борьбы ли тутъ съ какою бы то ни было пропагандой, когда дай Богъ только кое-какъ поддерживать борьбу за собственное свое несчастное существованіе. Эти, значить, сами ис себѣ опять же таки не сила для общества; они лишь могли бы быть силой при хорошей нравственной поддержкѣ со стороны русскихъ.

— Затѣмъ, вторая категорія, къ которой принадлежитъ вотъ только-что ушедшій «невѣжа»,—продолжалъ докторъ.—Это, какъ есть, тѣ же самые поляки «восточнаго вызванія»,¹⁾ потому что это потомки древней шляхты, нѣкогда буянившей на сеймахъ, или приписаны къ гербу милостью какого-нибудь магната и изъ халуевъ панской двораи возведены панскою милостью во дворянское Россійской имперіи достоинство. Эти за стыдъ почитаютъ говорить по-русски и въ православную церковь ходятъ, потому что она русская; бредятъ Мицкевичемъ и Польшей, а о Пушкинѣ да о Россіи и понятія никакого не имѣютъ, и подымись только возстаніе, они одни изъ первыхъ схватятся за оружіе! Какого же вы хотите тутъ русскаго общества, когда здѣсь всё почти, за исключеніемъ хлопковъ да на половину поповъ и горсточекъ чиновниковъ—все это, какъ есть, заражено явно или тайно политическимъ польскимъ сифилисомъ.

Хвалынцевъ долго и грустно раздумался надъ словами доктора.

— Господи! А тутъ еще всякую попытку къ отпору наши же публицисты «національною безтактностью» клеймятъ!—проговорилъ онъ горько, качая головой.

— «Національная безтактность!»—иронически усмѣхнулся Холодецъ.—Да, дѣйствительно, эта пресловутая статья есть «національная безтактность» и притомъ величайшая безтакт-

¹⁾ А, это хоть и москаль, но дѣльный москаль и такой благомыслящій.

¹⁾ Восточнаго исповѣданія.

ность... со стороны автора! Въдѣ тутъ ненависть и борьба не противъ правительства, а противъ всего русскаго народа, противъ русскаго смысла, противъ русскаго православія, противъ всего соціальнаго и государственнаго склада жизни русской. Это историческая ненависть; а философы-то наши этого не понимаютъ! Эхъ, да что! Легко имъ говорить-то тамъ сидючи у себя по своимъ петербургскимъ кабинетамъ!—досадливо и горячо продолжалъ онъ.—Слышишь вотъ тоже, что ссылаютъ этихъ господъ полонофиловъ то въ Вятку, подѣ надзоръ, а то еще куда и подальше; только это совсѣмъ напрасно. Ихъ бы не въ Вятку, а вотъ сюда бы высылать на свободное жительство. Пускай бы пожили маленько да поглядѣли, да на собственной своей шкурѣ все это примѣрили бы; небойсь, тогда какъ разъ другую пѣсенку запюютъ!.. И это было бы для нихъ, можетъ-быть, лучшее наказаніе и лучшее исправленіе!

Хвалынцевъ на это ничего не отвѣтилъ, но собственная его совѣсть тихо и укорливо подшепнула ему, что докторъ правъ, и правъ безусловно.

Онъ уже въ одинъ лишь день пребыванія своего въ Гроднѣ успѣлъ достаточно примѣрить на себѣ и переиспытать на собственной шкурѣ малую толику отъ сладости этихъ польскихъ прелестей, воздвизающихся за «братство, любовь и свободу *вашу и нашу!*»

Начинало все болѣе и болѣе смеркаться. Скучные фонари имѣютъ обыкновеніе горѣть въ Гроднѣ только двѣ недѣли въ мѣсяцъ, притомъ зажигаются довольно поздно, поэтому во мглѣ сѣрѣющихъ сумерокъ и, такъ сказать, подѣ ея покровительствомъ, предѣ фарой, не сходя однако съ Телятника, стали собираться сначала отдѣльныя кучки гимназистовъ, а къ нимъ присоединялись группы тѣхъ подозрительныхъ джентльменовъ, которыхъ специальность состояла въ повседневномъ торчаніи на площадкѣ. Такимъ образомъ изъ этихъ группъ и кучекъ мало-по-малу собралась довольно-таки порядочная толпа, которая казалась еще значительнѣе, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, оттого что кучи жиденятъ и жидковъ, держась отъ нея въ нѣкоторомъ, весьма небольшомъ впрочемъ, отдаленіи, стояли, глазѣли и любопытно выжидали, что-то сейчасъ будетъ?

Толпа сначала было погалдѣла, пожужжала между собою, но вскорѣ изъ среды ея раздалось нѣсколько дѣтскихъ нестройныхъ голосовъ, къ которымъ не дружно присоединялись понемногу и голоса взрослыхъ. Неспѣвшаяся предварительно толпа желала исполнить предѣ фарой «гимнъ народовъ», то-есть все ту же знаменитую «Боже, цось Польскенъ», но изъ желанія этого ровно ничего не выходило, кромѣ какого-то дикаго, нестройнаго оранья, которое драдо ухо своими нестерпимыми диссонансами

и въ которомъ преобладали мальчишескіе выкрики и надсѣданья во всю грудь.

Пѣніе всѣхъ этихъ гимновъ къ тому времени было уже формально запрещено правительствомъ, и потому какъ только раздалось это козлогласованье, отъ городской гауптвахты направился казачій и пѣхотный патруль, человѣкъ шесть, не болѣе, но не успѣлъ онъ еще пройти и половины площади, какъ жидки, которые первые усмотрѣли его, тотчасъ же сообщили пѣвунамъ о приближеніи «москалей», и толпа въ тотъ же мигъ разсыпалась во всѣ стороны, оглашая воздухъ гикомъ, визгомъ, ревомъ и побѣдными криками: «ура!.. вивать!.. Пречъ зѣ москалями!.. Нѣхъ жіе Польска! 4)

Но чуть лишь патруль, обойдя площадку, возвращался къ гауптвахтѣ, какъ кучки мало-по-малу начинали снова сходитьсѣ; предѣ фарой снова образовывалась толпа, и чрезъ минуту какой-нибудь дребезжащій мальчишескій голосъ неуверенно начиналъ уже выводить: «Бо-оже цось По-ольскенъ»... Толпа подхватывала. Казаки появлялись снова, и снова все разсыпалось какъ горохъ, и снова воздухъ оглашался тѣмъ-же гикомъ, визгомъ и криками *ура!* и прочаго...

Такая продѣлка повторялась раза три, а можетъ-быть и больше, но Хвалынцеву надобно уже наблюдать все одну и ту же школьническую штуку, да къ тому-же, послѣ столь разнообразныхъ впечатлѣній и физической дѣятельности нынѣшняго дня, онъ чувствовалъ потребность отдохнуть, тѣмъ болѣе, что завтра утромъ надо было торопиться на желѣзную дорогу, чтобы ѣхать въ дальнѣйшій путь — въ Варшаву.

Онъ разстался съ докторомъ, который обѣщался придти завтра на бангофъ проводить его, и пошелъ на Мостовую, къ номерамъ Эстерки. Но едва сошелъ онъ съ Телятника, какъ вдругъ сзади кто-то мимоходомъ такъ толкнулъ его въ бокъ, что Константинъ оступился съ края тротуара, по которому шелъ, и выше чѣмъ по щиколотку бутылкнулся въ грязную лужу сточной канавки. Онъ оглянулся: мимо его, руки въ карманы, сгнѣнной походкой прошмыгнули два джентльмена, по характеру своей наружности—насколько можно было различить — смахивавшіе на присяжныхъ за-всегдаевъ Телятника.

— Ф-фэ! засмродзили польскенъ'москале!— съ наглымъ смѣхомъ воскликнулъ одинъ изъ нихъ, тогда какъ другой продолжалъ напѣвать себѣ въ полголоса:

Еще Польска не згинѣла
Поки мы жіеми!

«Однако какъ они все это слѣдятъ и быстро подмѣчаютъ!» думалъ себѣ Константинъ, послѣ первой минуты испуга и злобной досады, возвра-

4) Долгой москалей! Да здравствуетъ Польша!

шаясь домой, но держась уже поближе къ стѣнкѣ. «Это вѣроятно, наказаніе за русскую рѣчь на Телятникѣ».

Злополучный герой нашъ, думая такъ, и не воображалъ, что въ ту минуту надъ нимъ уже было совершенно еще и другое наказаніе, поубыточнѣе какого-нибудь толчка въ грязную канавку.

VIII.

Панна Ванда.

Подъ утро Василю Свиткѣ спалось плохо. Онъ часто пробуждался, боясь не проспать нужного ему часа. Въ окнахъ только еще брезжилъ сѣрый полусумракъ разсвѣта. «Нѣтъ, еще рано», думалъ себѣ Свитка и поворачивался на другой бокъ, и снова засыпалъ тревожнымъ и какъ-бы бдительнымъ сномъ, чтобы чрезъ какіе-нибудь полчаса снова на одну секунду проснуться. Наконецъ, въ половинѣ восьмого онъ совсѣмъ уже пробудился, взглянулъ на часы и тихо, осторожно сталъ одѣваться, боясь не потревожить сладкій утренній сонъ своего усталого съ дороги товарища. Свитка располагалъ вернуться въ общій ихъ номеръ часамъ къ одиннадцати и рассчитывалъ, что такимъ образомъ онъ еще захватитъ Хвалынцева дома; но обстоятельства выдались совсѣмъ вопреки послѣднему предположенію, что и послужило начальною и невольною причиною всѣхъ мелочныхъ передрягъ, которыя въ теченіе гродненскаго дня довелось переиспытать Константину и которыя уже достаточно извѣстны читателю.

Одѣвшись и выйдя тихо изъ комнаты, Свитка умылся уже въ корридорѣ и спѣшно сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ. Быстрымъ и легкимъ шагомъ, весело напѣвая себѣ что-то подъ носъ и улыбаясь широкой, свѣтлой улыбкой, онъ шелъ по улицѣ и вскорѣ, мимо большого деревяннаго креста, поднялся на парадетъ, застроенный плохенькими жидовскими домишками и ведущій въ ограду Бернардынскаго монастыря. Это былъ часъ, когда въ монастырскомъ костелѣ совершается равняя «мша». Онъ вошелъ въ храмъ, подъ громадными и высокими сводами котораго его обдало сыроватымъ холодомъ. Тамъ было совсѣмъ почти пусто. Прекрасный органъ тихо игралъ въ вышинѣ какую-то тихую и сладостную мелодію. Ксєндзъ въ простомъ облаченіи тихо совершалъ евхаристію. Двѣ-три колѣнопреклоненныя, черныя фигуры женщинъ виднѣлись у боковыхъ алтарей, а одна, склонившись къ рѣшеткѣ древняго дубоваго конфессіонала, украшеннаго изящною рѣзьбою, горячо и грустно шептала свою исповѣдь. Два-три нищихъ старика ежелись и горбились у входныхъ «крштеленицъ» и въ полголоса бормотали какія-то молитвы, медленно ударяя себя въ грудь озябшими кулаками. Медленные шаги Василя Свитки

гулко раздались подъ чуткими сводами. Онъ искалъ кого-то глазами и шелъ налѣво къ одному изъ боковыхъ алтарей, какъ бы уже къ заранѣе извѣстному, условному мѣсту. Пройдя еще нѣсколько шаговъ, онъ вздрогнулъ и, сдерживая закусенною губою лукаво-радостную свѣтлую улыбку, затаился у одной изъ массивныхъ колоннъ и ждалъ, и трепеталъ внутреннимъ легкимъ трепетомъ, и глядѣлъ неостоднымъ взоромъ...

Предъ нимъ въ пяти шагахъ, спиною къ нему, стояла колѣнопреклоненная женщина. Густая, темно-каштановая коса ея, небрежно свернутая и упрятанная подъ тонкую сѣтку, выбивалась изъ-подъ бѣлой кокетливой конфедератки и тяжело падала на спину, нѣсколько ниже прекрасно очерченнаго изгиба молодой бѣлой шеи. Женщина эта, уронивъ на колѣни сложенные руки и прислонясь головою къ балюстрадѣ алтаря, задумчиво остановила взоръ свой на изваяніи какого-то святого и, казалось, отдыхала послѣ горячей молитвы въ какомъ-то благоговѣйномъ полузабытіи, подъ обаяніемъ тихихъ аккордовъ той сладостной мелодіи, что звучала и зыбко струилась по храму съ высоты хоръ.

— Магдалина... совсѣмъ Магдалина у подножьи креста!—восторженно шепталъ Свитка, пожирая жадно-блестящими глазами стройно склоненную фигуру этой женщины. Ему и хотѣлось бы, чтобы она обернулась и вдругъ нечаянно увидѣла его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не хотѣлось, потому что хотѣлось еще и еще глядѣть, затаясь трепетно въ своемъ чувствѣ и все бы любоваться на этотъ стройный очеркъ...

Но вдругъ, вѣроятно какии-то инстинктомъ почувявъ устремленный на себя сзади взглядъ, она, воскочивъ отъ балюстрады, оглянулась и даже вздрогнула вся, отшатнувшись назадъ съ широко раскрытыми, радостно изумленными глазами.

Еще мгновеніе—и она, легче и гибче молодой серны, была уже подлѣ него.

— Константы!.. ¹⁾ милый!.. восторженно шептала она, сжимая его руки въ своихъ маленькихъ, изящно-длинныхъ ручкахъ и, точно такъ-же какъ и онъ, пожирая радостнымъ взоромъ все лицо его. — Константы!.. да неужто это ты!.. здѣсь! Да какъ же?.. когда?.. какимъ образомъ?..

— Здравствуй... здравствуй, моя прелесть!—шепталъ онъ ей въ отвѣтъ, чувствуя, какъ все усиливается въ немъ внутренняя дрожь радостнаго волненія. — Я зналъ, и чувствовалъ, что найду тебя здѣсь... на обычномъ мѣстѣ... вѣдь это же твой часъ... а ты, моя радость, ты—вѣдь я знаю!—ты постоянна въ своихъ привычкахъ и симпатіяхъ... Ну, здравствуй же!.. здравствуй!.. Боже мой, такъ и хочется поцѣловать ее!.. Такъ и зацѣловать бы всю!..

¹⁾ Констанція.

— Тсс!.. внимательно и быстро озираясь по сторонамъ, приложила она пальчикъ къ смѣющимся губкамъ. — Постой, погоди!.. Ахъ какой ты!.. Не здѣсь... Успѣешь еще...

— Знаю, что успѣю, да ждать-то нѣтъ терпѣнія!..

— Ага!.. терпѣнія нѣтъ! а зачѣмъ такъ долго не ѣхалъ?.. Твоя бѣдная Ванда просто изныла вся!.. Зачѣмъ не ѣхалъ? зачѣмъ мучилъ меня? такъ мучься самъ же теперь!.. Даже и не писалъ сколько времени... Ы! противный! гадкій!.. Пошелъ!.. не люблю! терпѣть не могу! Вотъ же тебѣ!

— А между тѣмъ глаза говорили совсѣмъ другое, и тонкіе пальчики въ лайковой черной перчаткѣ все такъ же нервно и крѣпко сжимали его руки.

— Ну, пойдемъ... мотнувъ головкой къ выходу, шепнула она и, въ послѣдній разъ преклонивъ предъ алтаремъ колѣни да перекрестясь какъ истая католичка, она быстро и весело, какою-то радостно порхающею, легкою походкою пошла на нѣсколько шаговъ впереди своего друга и, проходя мимо немногихъ прихожанъ, нарочно, но неудачно старалась все придать своему лицу серьезное и даже строгое выраженіе, и все это затѣмъ, чтобы тѣ не подумали про-себя, будто это она обрадовалась такъ и бѣжить изъ костела на свиданіе съ молодымъ человѣкомъ.

Выйдя изъ храма, она было направилась прямою дорогою, но онъ круто повернулъ тотчасъ же вправо.

— Куда же ты?—подняла она изумленные глазки.

— Иди, моя радость! Не спрашивай!

— Да куда же?

— Ахъ, да иди ужь!

Она только пожала плечами и, какъ-то поттихъ, осторожно переступая своими ножонками, изящно обутыми въ высокіе венгерскіе сапожки на кривыхъ высокихъ каблучкахъ, съ лукавой усмѣшкой качая головою, пошла за своимъ другомъ.

Онъ велъ ее вдоль костельной стѣны на пустынный монастырскій дворъ, въ заросшій кустами палисадникъ, туда гдѣ за заднимъ фасомъ костела возвышались стройные тополи, длинныя тѣни которыхъ причудливо бѣжали косяками вверхъ по бѣлой стѣнѣ, ярко залитой холоднымъ солнечнымъ блескомъ.

Здѣсь онъ остановился, прислонясь къ углу, между стѣною и выступомъ контрафорса, и зорко прислушиваясь, оглядѣлся вокругъ себя. Она, ставъ напротивъ его, выжидательно глядѣла на него пытающими глазами.

Все было тихо и глухо. На дворѣ ни души. Изъ костела слабо доносятся звуки органа, да воробьи трещатъ въ тополевыхъ прутьяхъ, весело разыгравшись на солнышкѣ.

— Ну, ступай сюда... ближе... ближе, голубка моя!.. Ну, давай же теперь губки свои! Нако- нецъ-то!..

— Господи! только за тѣмъ-то?! — смѣясь, прошептала она и въ то-жъ мгновеніе невольно потянулась къ нему, привлеченная объятіемъ рукъ, сильно и страстно обхватившихъ весь ея гибкій станъ.

Свитка въ какомъ-то забытѣ восторга покрывалъ безчисленными поцѣлуями ея губы, глазки, щеки, все румяно-похолодѣвшее лицо ея, обвѣянное этимъ легкимъ, пріятнымъ на ощущеніе холодкомъ свѣжаго утренняго воздуха.

— Ну, будетъ!.. будетъ!.. довольно!—стонущимъ шопотомъ говорила она изъ-подъ его поцѣлуевъ. — Тсс!.. Идутъ... ей-Богу, идутъ... идетъ кто-то... Ахъ, да оставь же!

И она съ силой вырвалась изъ его ошалѣлыхъ объятій.

— Ну, что это право!—тономъ шутливаго неудовольствія говорила она, оправляя свою прическу, платѣ и шапочку. — Стыда нѣтъ у сорванца!.. Въдѣ грѣхъ-то какой!.. У самаго костела!.. Нашелъ мѣсто хорошее... Вотъ теперь по вашей милости и ступай завтра на исповѣдь, и кайся у конфессіонала! Очень пріятно!.. Что я ксендзу теперь говорить-то буду!

— Такъ и скажи, что со мной цѣловалась,—смѣялся Свитка. — По крайней мѣрѣ, хоть позавидуешь.

— Ну, теперь куда же?.. Конечно, къ намъ надѣюсь?—спросила она, совершенно ужь оправясь.

— Нечего и спрашивать! Разумѣется къ вамъ.

— «Разумѣется! разумѣется!»—передразнила она его съ уморительной гримасой, — а какъ по четыре мѣсяца ни строчки не отвѣчать на письма, такъ это тоже «разумѣется»?.. Стоило бы тебя за это... знаешь ли?.. Ну, да ужь хорошо же! Теперь я тебя не выпущу!.. Пойдемъ блазень противный!

— И подхвативъ его подъ руку, она весело пошла со двора своею легкой, нѣсколько раскачивающейся походкой.

Спустясь подъ руку съ Мостовой, они направились по Подольной улицѣ къ той высокой аркѣ, по которой пролетаютъ гремя и клубяся поѣзды желѣзной дороги и которая пересѣкаетъ эту скромную и тихую гродненскую улицу на половинѣ ея протяженія, предшествовая тому громадному длинному мосту, что необыкновенно смѣло, легко и граціозно переброшено на значительной высотѣ черезъ Нѣманъ, покоясь надъ нимъ на четырехъ высокихъ и стройныхъ колоннахъ, по двѣ въ рядъ, что придаетъ этому мосту вмѣстѣ съ дальними перспективами крутыхъ лѣсистыхъ береговъ и съ древнимъ городомъ, раскинувшимся уступами по горѣ со своими башнями и колокольнями и высокими острыми кровлями, красоту, дѣйствительно замѣчательную, особенно если взгля-

нута на всю эту картину съ середины рѣки, съ другого городского моста.

— Ну, рассказывай, что братъ, что матушка?—пыталъ овою подругу Свитка.

— Да что рассказывать! Увидишь!.. Матушка совсѣмъ почти ослѣпла,—говорила она.— Все спиритизмомъ занимается, духовъ какихъ-то будто чувствует, все допытывается у нихъ про дѣло наше, про Польшу, а если не это, то либо все молится, либо ворчитъ на сестренку да на братишку на малаго. Впрочемъ, я ее нынче въ рукахъ немного держу, чтобы на меня по крайней мѣрѣ не ворчала.

— Ну, и что же духи ей рассказываютъ?—иронически спросилъ Свитка.

— Да ты чего?—строго посмотрѣла на него панна Ванда.—Почемъ мы знаемъ, можетъ и правда... Нынче у насъ многія этимъ занимаются... Стало-быть, есть же что-нибудь.

— Брата найду ли я дома?—серьезно, помолчавъ немного, спросилъ Свитка. — Мнѣ нужно о многомъ и объ очень важномъ переговорить съ нимъ.

— Увидишь, какъ вернется... Теперь онъ въ должности.

— А что, какъ сборы?.. На какую сумму теперь?

— Ну-съ, а какъ ваша милость изволить думать?—бойко поддразнила его Ванда.

— Да почемъ я знаю! — пожалъ онъ плечами.

— А ты догадайся!

— Не мастеръ на отгадки.

— А я не скажу! Догадайся, коли можешь!

— Скажешь, мой другъ, какъ представляю тебѣ номинацію ¹⁾.

— Такъ не скажу же вотъ!

— Ну, полно! Говори, въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь это вещь серьезная.

— Пятнадцать тысячъ злотыхъ! — помолчавъ немного, съ торжествующимъ и полномѣрнымъ видомъ объявила Ванда. — Пятнадцать тысячъ, моя гадкая прелесть!.. И это съ однихъ только обывательскихъ сборовъ за послѣдніе два мѣсяца! Каково?

— Н-недурно? — процѣдилъ сквозь зубы Свитка,—но надобно бы больше...

— Съ одного-то Гродна?

— Городъ не маленький.

— Да, но тутъ я не считаю эти аристократическіе костельные кружечные сборы да складки помѣщиковъ; до меня это не касается, а отъ нашихъ собственно побурцовъ податковыхъ ²⁾—это, какъ хочешь, отлично.

— Отчеты еще не представлены?—послѣ

новаго раздумчиваго молчанія, озабоченно и серьезно спросилъ Свитка. •

— У брата все въ порядкѣ, все приготовлено... Можно сдать хоть сегодня.

— Деньги у тебя еще?

— По обыкновенію, въ моей шкатулкѣ.

— Ты... вотъ что... замаялся нѣсколько Свитка.—Ты мнѣ выдай пять тысячъ... мнѣ нужно.

— Дашь квитанцію, выдамъ,—подумавъ, согласилась Ванда.

Свитка помолчалъ и слегка поморщился.

— А ты безъ квитанціи... улыбнулся онъ какъ-то деликатно и робко.

— А ты стоишь того?—укорливо стала она выговаривать.

— Стою, голубка! ей-Богу стою!.. Денегъ у меня совсѣмъ мало остается.

— Константы! вѣдь это же не мои... Подумай!—серьезно предупредила она.

— Ахъ, Боже мой, знаю, что народовъ!.. Что за напоминаніе!

— Онъ же еще и сердится!.. Это мнѣ нравится!—подтрунивая надъ нимъ, разсмѣялась Ванда.—А ну, покажите, покажите вашу надутую мордочку!

— Ахъ, Ванда! право мнѣ не до шутокъ!—досадливо цмокнулъ онъ губами.—Ты добрая дѣвушка, ты должна понять это!.. Кому же тебѣ и дать, какъ не мнѣ?

— Послушай!.. безсовѣстный ты!—укорила она, приостановясь на минутку и заглянувъ ему въ глаза.—«Кому же какъ не мнѣ»!.. Да ужь если я тебѣ себя отдала, если я себя не пожалѣла, такъ что говорить о деньгахъ!.. Но... вѣдь не мои, говорю тебѣ!.. Ксендзъ Эйсмонтъ на-дняхъ встрѣтился съ братомъ, такъ и то ужь напоминалъ, что пора бы, молъ, сдать къ нему въ общую кассу...

— Къ чорту всѣхъ этихъ ксендзовъ Эйсмонтовъ! — вспыхнулъ Свитка. — Очень нужно сдавать ему!.. Единство кассы, подумаешь, выдумали!.. Нѣтъ, господа, погодите, дайте маленькій срокъ, я все это уничтожу и въ бараній рогъ согну всѣхъ этихъ непрошенныхъ контролеровъ!.. Ксендзъ Эйсмонтъ!.. А кто этого ксендза уполномочивалъ?

— Какъ кто?!.. Онъ же вѣдь избранъ былъ,—возразила Ванда.

— Вотъ я его выберу, дай только въ Вильну добраться!.. грозилъ вспыльчивый Свитка.—Очень нужно въ однихъ рукахъ такіе громадные суммы оставлять; а онъ возьметъ да потихоньку и удеретъ съ денежками за границу. Вотъ ты и ищи его тамъ и взыскивай фундушъ народовой, а онъ тебѣ фигу покажетъ!.. Не отдавать ему денегъ!.. Слышишь ли? Не смѣть отдавать больше, и кончено!

— Если бы моя власть, Константы... заговорила было дѣвушка, но Свитка круто перебилъ ее.

¹⁾ Документъ, опредѣляющій назначеніе на какую-либо должность или полномочіе на какое-либо особое порученіе.

²⁾ Сборщиковъ податей.

— Не твоя власть, а моя!.. Я знаю, что говорю и что дѣлаю!.. Я говорю тебѣ,—продолжалъ онъ черезъ минуту, уже успокоясь,—я говорю тебѣ, дай только мнѣ до Вильны добраться, и я устрою, что «выдзять» ¹⁾ тотчасъ же вышлетъ полную номинацію на твое имя. Тогда не ксендзъ Эйсмонтъ, а ты у меня будешь главной казначейшей. Намъ еще, Ванда, нужны, очень нужны будутъ деньги,—внушительно и вѣско добавилъ онъ.—Погоди, вотъ я переговорю съ тобой и съ братомъ, такъ ты сама увидишь и согласишься... Намъ надо, Ванда, какъ можно крѣпче сплотить и расширить свою собственную партію... У меня уже есть планъ... хороший, выработанный планъ!.. И люди найдутся!.. Такъ что же, моя прелесть, даешь что ли мнѣ пять тысячъ?—заклучилъ онъ нѣжно-ласковымъ, заигрывающимъ тономъ.

Дѣвушка помолчала и поглядѣла на него пристально и нѣжно.

— Развѣ твоя Ванда можетъ отказать тебѣ въ чемъ-либо?—улыбнулась она своей свѣтлой улыбкой.

— Молодецъ дѣвочка!.. Люблю!—воскликнулъ Свитка, крѣпко сжавъ подъ своимъ локтемъ ея руку. — Не будь здѣсь народу на улицѣ, такъ бы и расцѣловалъ тебя за это!

— А безъ того и не подумалъ бы?—лукаво усмѣхнулась она.

— И-то?.. А вотъ погоди, дай время, лишь одну минутку удобную: я тебѣ напомню старину!.. Твой Константы — твой по прежнему! Твой безраздѣльно!—проговорилъ онъ со страстнымъ увлеченіемъ, судорожно сжимая ея ручонку, которая граціозно покоилась у него подъ рукою.

Въ это время они приблизились къ воротамъ, прорѣзаннымъ въ высокомъ деревянномъ заборѣ, и вошли въ калитку.

Въ глубинѣ поросшаго травой двора стоялъ старенькій покривившійся отъ времени, но чистенько выбѣленный деревянный домишко съ гонтовою кровлею, съ крытымъ, выдающимся на столбикахъ крылечкомъ по срединѣ передняго фасада и съ небольшимъ садикомъ позади, который спускался почти къ самому Нѣману.

Этотъ домишко принадлежалъ матери панны Ванды, вдовѣ надворнаго совѣтника Влодко, который во время онъ занималъ недурненькое мѣстечко въ губернской іерархіи, и плодомъ этого мѣстечка—впрочемъ, плодомъ весьма скромнымъ—оказался у него домишко на Подольной улицѣ, гдѣ теперь помѣщалась его вдова, старая пани Влодкова, съ дочерью панной Влодкунной и сыномъ Юзефомъ, котораго еще покойный отецъ успѣлъ довольно выгодно пристроить на коронную службу. Остальныя

дѣти пани Влодковой, дочка Анця и сынъ Стасикъ, какъ малолѣтки, въ особенный расчетъ еще не принимались.

Панна Ванда вошла сама и ввела съ собою въ этотъ домикъ своего гостя, какъ полная и самовластная хозяйка. Анця съ визгомъ, въ припрыжку бросилась къ ней на встрѣчу со своими подстриженными волосами, угловатыми плечиками, красными, худощаво-длинными ручонками и гусиными плоскими ногами. Анця вступала въ ту пору, когда дѣвочки физически «тянутся» вверхъ и потому становятся некрасивы.

Стасикъ, мальчонка лѣтъ десяти, не ходившій въ гимназію гимназистъ, какъ до сестри-на прихода, такъ и теперь продолжалъ съ увлеченіемъ заниматься своимъ дѣломъ: повѣсивъ на стѣну портретъ князя Паскевича-Варшавскаго, онъ усердно разстрѣливалъ его острою деревянной стрѣлкой изъ самодѣльнаго самострѣла—и портретъ весь былъ истыканъ и изъ-явленъ до того, что на немъ уже просто мѣста живого не оставалось.

— А, старый пріятель!—воскликнулъ Свитка, входя въ маленькую, скромно убранную залу.—Чѣмъ это заниматься изволишь? А?

— Графа Паскевича разстрѣливаю, — бойко отвѣчалъ мальчонка.—Я ужъ много московскихъ генераловъ перестрѣлялъ.

— Молодецъ, браишкун! Практикуйся, — потрепавъ его по плечу и щеки похвалилъ Свитка.—Практикуйся. Это пригодится. А за каждаго забитаго москаля семьдесятъ-три грѣха тебѣ простятся.

— Э! Я одинъ ихъ двѣ дюжины положу. Четырехъ-застрѣлю, шестерыхъ заколю пикой, шестерыхъ штыкомъ проткну, а остальныхъ всемъ саблею головы прочь, — похвалился бойкій мальчонка.

— А латинскую грамматику учишь?.. Ну-тка, просклоняй мнѣ *tena*.

— Какая тамъ *tena*, —махнулъ тотъ рукою.—Теперь у насъ никто ничего не учитъ... И въ гимназію больше не ходимъ... Хорошо такъ! Славно!..

— Ну, а матушка гдѣ?

— А тамъ, —кивнулъ мальчонка на запертую дверь.—Богу все молится. Ну, графъ Паскевичъ, теперь я тебѣ въ носъ!—снова обратился онъ къ прерванному на минуту занятію, и сталъ очень старательно прицѣливаться въ носъ ненавистнаго покорителя Варшавы.

— Пойдемъ ко мнѣ, —многоходомъ кивнула Свиткѣ панна Ванда, успѣвшая уже скинуть свою шубку, и провела его въ свою комнату, затворивъ за собою двери.

— Ну, теперь ты мой!.. Совсѣмъ мой, —говорила она, сама вдругъ первая кинувшись ему на шею, но чрезъ минуту по прошествіи этого внезапнаго порыва, она уже спокойно сидѣла предъ зеркаломъ туалетнаго столика и,

¹⁾ Отдѣлъ ржопда.

высвободить из-под сѣтки свою волнистую косу, мягко и плавно стала проводить по ней черепаховымъ гребнемъ, и когда расчесала наконецъ вполнѣ, то закинула ее всю однимъ размашистымъ движеніемъ за спину, слѣдую общепольской модѣ того времени, когда расчесанная и распущенная коса служила вмѣстѣ съ жалобой видимымъ символомъ глубокой скорби по ойчизнѣ.

Эта маленькая комнатка, убранная чрезвычайно просто, казалась очень мила, если не брать въ расчетъ ея юбокъ и прочаго. Ситцевыя занавѣски и зелень на окнахъ; на стѣнахъ нѣсколько картинокъ въ «бординныхъ» рамкахъ подъ стекломъ, изображавшихъ какіе-то римскіе да константинопольскіе виды и нѣсколько военныхъ подвиговъ Наполеона I; какъ тѣ, такъ и другія были отчетливо гравированы на стали и очевидно заимствованы изъ какихъ-то изданій. Затѣмъ фотографическія карточки въ рамкахъ, изъ которыхъ выглядывали фізіономіи разныхъ родныхъ и знакомыхъ, и между прочимъ фізіономія красиваго ксендза и Василия Свитки, въ чамаркѣ и конфедераткѣ, молодецки заломленной на бекрень. Въ переднемъ углу, гдѣ висѣлъ образъ Остробрамской мадонны, былъ прилаженъ столикъ, покрытый бѣлою вязаною салфеткою, и на немъ устроенъ маленький «олтаржикъ»: металлическое Распятіе, предъ нимъ Библія и молитвенникъ, а по бокамъ два «вазончика» съ искусственными цвѣтами. Надъ «олтаржиномъ» въ углу красовался цѣлый рядъ миниатюрныхъ раскрашенныхъ гравюръ въ рамкахъ, все съ католическими священными сюжетами, и разрисованныя молитвы «до найсвѣтѣйшей панны Маріи» и «до сердца Іезусоваго». А съ другой стороны, у стѣны, завѣшанной бархатнымъ ковромъ или, какъ называютъ здѣсь, «диваномъ», стояла дѣвическая кровать панны Ванды, за которою далѣе на стѣнѣ висѣли ничѣмъ не прикрытыя плосныя чистыя и грязныя юбки, кофты и капоты. У окна стоялъ письменный (онъ же и рабочій) столикъ, а на столикѣ красовались два фотографическіе портрета въ ореховыхъ рамкахъ: одинъ, поменьше и попроще, представлялъ того же самаго ксендза, карточка котораго висѣла на стѣнѣ, а на другомъ, на роскошномъ, былъ изображенъ солидныхъ лѣтъ офицеръ въ жандармскомъ мундирѣ съ эксельбантомъ на лѣвомъ плечѣ.

— Этотъ зачѣмъ у тебя здѣсь?—ткнувъ на него пальцемъ, съ неудовольствіемъ пробормоталъ Свитка.

— Подарилъ,—пожавъ плечами, вскинула на него глаза свои Ванда, словно бы желая выразить этимъ движеніемъ, что вотъ, молъ, вопросъ, какъ будто не понимаетъ! Самое естественное дѣло.

— Скажите, пожалуйста, какія нѣжности

еще, — насмѣшливо и брюзгливо выдвинувъ нижнюю губу, проворчалъ Свитка.

— Какой ты странный, Константы,—отозвалась дѣвушка, — будто не знаешь, что это необходимо.

— Хм... Какъ не знать!.. Къ сожалѣнію, очень хорошо знаю!.. Развѣ у васъ все еще продолжается? — подозрительно и глухо спросилъ онъ послѣ нѣкотораго раздумчиваго молчанія.

Ванда, въ маленькомъ смущеніи закуривая папиросу и не глядя на пріятеля серьезно и озабоченно-прищуренными глазками, вмѣсто отвѣта словомъ, только утвердительно кивнула головой.

— Бываетъ у тебя? — съ какимъ-то мрачнымъ удовольствіемъ самоугрызенія продолжалъ допытывать ее Свитка.

Дѣвушка, опять не глядя на него, повторила свой отвѣтный кивокъ.

— Каждый день бываетъ?

Та отрицательно покачала головкой.

— Но часто?

Кивокъ утвердительный.

— Ну, а ты у него?

— Ахъ, да конечно бываю! — съ маленькой досадою проговорила наконецъ она, отвернувшись къ стѣнѣ, и стала что-то очень ужъ усердно копошиться въ своихъ разнообразныхъ юбкахъ.—И что спрашиваетъ человекъ! Какъ будто не знаетъ! И будто не понимаетъ, что это необходимо ради собственной же пользы, ради общаго дѣла?! Вотъ еще на-дняхъ я его убавкала послѣ обѣда, а сама — къ столу его къ письменному! И очень важныя бумажки успѣла подсмотреть!.. Что дѣлать, мой другъ,—печальная необходимость!

— Надѣюсь, ни ты къ нему, ни онъ къ тебѣ сегодня не пожалуетъ?—все съ тѣмъ же злымъ удовольствіемъ продолжалъ Свитка.

— Ну, разумѣется! Я пошла сказать ему, что не могу, занята, что дома нѣтъ и такъ далѣе! — проговорила она, граціозно на одномъ каблукѣ поворачиваясь къ своему другу.

— Ты, пожалуйста, спрячь куда-нибудь эту жандармскую морду, чтобъ она мнѣ глазъ не мозолила, да и этого быка тоже убери! — ткнулъ онъ пальцемъ на красивую рожу дорожнаго ксендза.

Ванда, всплеснувъ руками, однимъ ловкимъ пируэтомъ, съ смѣющимся лицомъ подлетѣла къ нему и ласково обхватила своими слегка надушенными ладонями его щеки.

— Да ты что это?.. Ужъ не ревновать ли меня вздумалъ?.. А?.. Этого только не доставало! — зашебетала она. — Жандарма изволь, пожалуй, уберу, а милого моего ксендза Винтора ни за что!.. И не приставай!.. Это мой другъ, пріятель, не такой какъ ты, гадкій!

— То-то! Онъ, кажись, у всѣхъ у васъ

тутъ въ Гродно пріятель,—оттого быкомъ та-
кимъ и смотреть.

— Эй, Константы!.. Перестань!—пригрози-
ла она пальчикомъ; опускаясь на его колѣно.—
Лучше перестань, говорю! А не то уши выде-
ру! И больно вѣдь выдеру! Цѣлый день го-
рѣть будутъ!.. И что это за глупость вдругъ:
ревновать! — продолжала она капризно-коша-
чьимъ тономъ.—И какое ты имѣешь право
ревновать меня къ Винтору? Если бы даже
у меня и было что... вѣдь я тебя не допы-
тываю, какъ ты тамъ въ Петербургѣ у себя
живешь!

Свитка съ грустно-мягкой улыбкой погля-
дѣлъ на ея граціозную фигурку и тихо пока-
чалъ головою.

— Ахъ, ты моя милая, трижды милая, но
трижды вѣтреная Ванда! — со вздохомъ при-
мирительно произнесъ онъ.

— Ну, не хмуриться! И кончено!—повели-
тельно топнувъ ножкой, приказала она.— По-
жарю, ужъ такъ и быть, зашвырну обоихъ,
пока ты въ Гродно! Только чтобъ объ этомъ
у насъ никакихъ болѣе разговоровъ! Пони-
маете-съ?.. И что за вздоры, право! Кто бы
тамъ ни былъ, но сегодня — я твоя... вся
твоя... И ты мой!—горячо лепетала она, стре-
мительно отдаваясь опыту своему беззаветно-
му, нервно-страстному порыву.—Ну, чего тебѣ
еще надо?... Чего, шальная голова?!.. Ну, цѣ-
луй меня!.. Цѣлуй, пока позволяю!.. Кто
бы ты тамъ ни былъ, но знай, отвратитель-
ный, гадкій человѣкъ, что сердцемъ моимъ,
душою моею я люблю только тебя и никого
болѣе!.. Первый ты былъ, кого я полюбила,
и навсегда ты у меня первымъ останешься!

Ванда была права. Она говорила искренно.
Жандармъ она любила не любя, но ради патріо-
тического долга, ради пользы общаго дѣла.
Не было той административной тайны, которая,
невѣдомо для ея усатаго немилаго друга, не
была бы ей вполне известна, а чрезъ нея
и всѣмъ друзьямъ Свиткиной партіи. Ксендза
она любила какъ истая католичка-полька,
которая, сколько известно, никакъ не можетъ
обойтись безъ того, чтобы хоть разъ въ своей
жизни не облюбить какого-нибудь ксендза или
монаха; но зато истиннаго «коханка» своего
пана Константего любила она всей душой,
всѣмъ сердцемъ, всѣми нервами своими, на-
стоящую, неподдѣльную любовь. Одно толь-
ко странно: какимъ образомъ всѣ эти три
лица могли совмѣщаться въ ея сердцѣ? Но...
они совмѣщались.

— Сколько, ты говоришь, тебѣ нужно?—
спросила она, выдвинувъ верхній ящикъ ко-
мода и доставъ оттуда изящно инкрустирован-
ную шкатулку,—пять тысячъ что-ли?

— Пять, моя радость!

Ванда открыла шкатулку ключикомъ, ви-
сѣвшимъ у нея на шеѣ вмѣстѣ съ крестикомъ

и образкомъ, нажавила какую-то искусно ма-
скированную пружину—и вдругъ внутренность
ящика, заключавшая въ себѣ, на бархатномъ
подбоѣ, весь женскій несесеръ съ нѣкоторыми
туалетными принадлежностями, поднялась и
остановилась на полвершка выше верхняго
края шкатулки. Ванда осторожно сняла ее
прочъ и, нажавивъ другую пружинку, открыла
фальшивый полъ шкатулки, за которымъ по-
мѣщался потайной ящикъ, туго наполненный
кредитными билетами и нѣкоторыми бумагами
политически-секретнаго свойства. Надо со-
знаться, что лучшаго и наиболѣе секретнаго
хранилища для народной кассы трудно было
и желать: даже опытный полицейскій сыщикъ
ни на минуту не усумнился бы въ полной
невинности этого несесера, даже опытный
механикъ призадумался бы нѣсколько надъ
его остроумно-простымъ, но двойнымъ секре-
томъ.

Ванда тщательно, аккуратно отсчитала тре-
буемую сумму и подала Свиткѣ пачку ассиг-
націй.

Тотъ благодарно пожалъ и поцѣловалъ ея
щедрюю ароматную ручку.

— Однако, какъ-же ты сдѣлаешься на-
счетъ этихъ денегъ съ отчетами-то? — озабо-
ченно спросилъ онъ ее черезъ минуту, когда
шкатулка была снова уже спрятана въ ко-
модъ.

— Ну, это ужъ не твое дѣло!—ласково, но
круто обрѣзала Ванда.—Получилъ сколько хо-
тѣлось и молчи! Будь доволенъ!

Свитка глядѣлъ на нее возлюбленно-улы-
бающимися глазами.

— Экая ты прелесть въ самомъ дѣлѣ!—
воскликнулъ онъ, однимъ порывистымъ дви-
женіемъ стиснувъ себѣ руки столь сильно,
что даже суставы пальцевъ хрустнули.— Со-
всѣмъ прелесть!.. Мадонна моя!.. Королева
моя!

— Ахъ, мой другъ... увя! Только твоя! —
съ шутливымъ вздохомъ покачала она го-
ловкой.

Другъ на это лишь загадочно улыбнулся.

— Почему ты знаешь!—значительно по-
дернулъ онъ бровью и плечами.— А вдругъ
ты и въ самомъ дѣлѣ будешь чѣмъ-нибудь въ
родѣ королевы?.. а?.. Что тогда?

— Тогда?.. тогда я тебя первымъ-же ука-
зомъ моимъ въ Сибирь отправлю, потому что
иначе ты тотчасъ-же заговоръ противъ наше-
го королевскаго величества составишь.

Свитка разсмѣялся и, припавъ предъ нею
на колѣни, обнявъ ея станъ и глядѣлъ ей въ
глаза восторженно-нѣжнымъ молящимся взо-
ромъ.

— Нѣтъ, а что ежели?.. а?.. Подумай-ка!..

— Я ужъ тебѣ сказала «что», — отвѣтила
Ванда, перебирая своими пальчиками его во-
лосы.

— Прелесть моя!—не спуская съ нея глазъ, выразительно шепталъ онъ.—Мадонна!.. Крулева!.. Ванда!.. Ванда!.. крулева Литвы!

— А кто-же крулемъ будетъ?—улыбнулась она.

— Крулемъ?.. Хм...

Свитка не отвѣтилъ, кто.

— У насъ уже есть одинъ круль Друзеницкій,—засмѣялась дѣвушка;—такъ и называется Друзеницкимъ крулемъ! Ужь не онъ-ли?

— Хм... Нѣтъ, не онъ, моя радость!

— Такъ кто-же?.. Ужь не ты-ли?..

— Хм... А хоть-бы и я, напрімѣръ?

— Ахъ, вотъ оно кто!.. Честъ имѣю поздравить ваше будущее величество!.. Ахъ ты, рожа, рожа!.. Крулемъ быть захотѣлъ! Скажите пожалуйста!—хохотала она, всплеснувъ руками, и вдругъ вскочивъ съ мѣста, притащила Свитку къ своему туалету.

— Поди-ка, поди сюда!—шебетала она, заливаясь смѣхомъ,—смотри въ зеркало!.. Ну, смотри-же, коли приказываю!

— Да зачѣмъ-же это?

— Хочу примѣрить къ тебѣ будущую корону... Поглядѣть хочу, насколько она будетъ къ тебѣ идти... Ну, смотри-ся!

И поставивъ Свитку предъ зеркаломъ, она съ лукаво-шаловливой улыбкой завела сзади его свою руку и приставила ему надъ макушкой головы въ видѣ роговъ два свои пальчика.

— Въ самый разъ!.. Какъ не надо лучше!.. Удивительно какъ идетъ къ тебѣ!—воскликала она, кивая надъ нимъ своими пальцами-рожками.—Ахъ, какъ хорошъ!.. Просто прелесть!

И вдругъ стремительно схвативъ той-же рукой его щеку, она неожиданно придвинула къ нему свое личико и звучно поцѣловала въ самыя губы веселымъ, полнымъ вкуснымъ поцѣлуемъ.

— Экая школьница!—пробормоталъ онъ, любясь на свою шаловливую подругу.

— Такъ какъ же? Такъ-таки и круль? а? смѣялась Ванда.—Константы первши, круль Литвы!

— Н-ну, круль, не круль, а... диктаторъ, пожалуй!—не то шутя, не то серьезно замѣтилъ Свитка.

Дѣвушка вдругъ перестала смѣяться, поглядѣла ему въ лицо серьезнымъ, пытающимъ взглядомъ.

— Да ты это чтѣ же задумалъ себѣ, а?—спросила она, взявъ его за руку.—Ну-ка, братъ, кайся!

— Молчи... Умѣй молчать; когда-нибудь узнаешь!—значительно, внушающимъ тономъ проговорилъ ей Свитка.

— Я хочу знать теперь... сейчасъ же, сію минуту!—топнула она ножкой.

— Н... насколько можно, быть-можетъ, и сегодня узнаешь.

— Да нѣтъ, ты это въ самомъ дѣлѣ серьезно?

— Я жъ тебѣ говорю, что дѣло не шуточное и очень серьезное. Надо только умѣть молчать: отъ этого *все* зависить.

— Ну, я-то, гдѣ нужно, молчать умѣю!—съ сознаніемъ своей собственной силы и характера тихо замѣтила Ванда и вышла вскричать служанкѣ, чтобы та подала ей спиртовой кофейникъ и приготовила бы все какъ слѣдуетъ: и сметанку, и сухарѣчки, и двѣ филижанки, да несла бы все это поскорѣе сюда, къ ней въ комнату.

— Ну, мой будущій круль и повелитель!—снова уже веселая шаловливая вернулась Ванда къ своему другу,—пока тамъ чтѣ будетъ, то Богъ вѣсть, а сегодня я знаю навѣрное только то, что цѣлый день тебя не выпущу отъ себя: сегодня ты—мой безраздѣльно! И потому сейчасъ же пошла Зоську за двумя бутылками шампанскаго... въ честь рѣдкаго посѣщенія нашего будущего величества... Ужь куда ни шло! Кутить, такъ кутить, разоряться, такъ ужъ разоряться!.. Вы какъ объ этомъ думаете, моя мерзкая прелесть?

— Умныя рѣчи пріятно и слышать, говорятъ москали,—замѣтилъ ей на это Свитка.

— А брату къ тому же ксендзъ Винторъ прислалъ на дняхъ одну бутылку превосходной старки, просто на рѣдкость!—соблазнительно похваливала Ванда.—А къ обѣду прикажу сдѣлать вашъ любимый битгосъ и колдуны. Я вѣдь хозяйка хорошая и знаю къ тому же, что у вашей милости губа не дура! Да кетати, не хочешь ли пока закусить теперь-же?

И не дожидая даже отвѣта, она быстро побѣжала на кухню, чтобы самолично, какъ истая, домовитая полъка-хозяйка, распорядиться насчетъ закуски для своего друга и собственными ручками нарѣзать и наложить ему разныхъ печеній, копченій, вареній и солений.

IX.

Ржондъ противу ржонда, справа противу справа.

Вечеромъ, въ пріятномъ и тепломъ настроеніи духа, послѣ обѣда съ шампанскимъ, Свитка сидѣлъ все въ той же комнаткѣ панны Ванды вмѣстѣ съ нею и съ братомъ ея Юзефомъ Влодко. На столѣ кипѣлъ самоваръ. Дверь была тщательно притворена и самый разговоръ шелъ тихо, почти въ полголоса. Весьма важная сущность этого разговора обуславливала собою необходимость этихъ двухъ предосторожностей, даже относительно собственныхъ домашнихъ.

Юзефъ Влодко, очень скромный на видъ чело-вѣкъ лѣтъ двадцати-восьми, съ наружностію старательно-исполнительнаго чиновника,—весь находился подъ влияніемъ своей сестры, а стало быть и Свитки. Онъ былъ весьма не глупъ, но

въ высшей степени скромнаго мнѣнія о самомъ себѣ, о своемъ значеніи, о своихъ способностяхъ и характерѣ. Будь онъ предоставленъ самому себѣ, изъ него никогда не вышло бы не только революціонера, но даже и чиновника, до такой степени простиралось его недовѣріе къ собственнымъ силамъ. Надъ нимъ всегда были необходимы близость и вліяніе болѣе сильной, болѣе самоувѣренной натуры, въ которой онъ находилъ бы нравственную поддержку, и такую натурой была для него сестра Ванда. Безусловная точность и исполнительность, безусловная вѣрность однажды усвоенному плану и стремленію — конечно, не иначе, какъ при вліяніи болѣе сильной натуры — составляли главные добродѣтели характера Юзефа Влодко. Самъ по себѣ это былъ человѣкъ очень мягкій и даже, можно сказать, женственно-деликатный. Умѣніе держать свое слово и хранить чужую тайну также относилось къ числу его достоинствъ, что показываетъ въ немъ уже присутствіе нравственно-стойкихъ качествъ. Эти-то качества вмѣстѣ съ его величайшею скромностію и послужили для ксендза Эйсмонта достаточной гарантіей къ тому назначенію, которое Юзефъ Влодко, по настоянію сестры, занялъ въ организаціи народовой: онъ служилъ передаточной и контрольной инстанціей между сборщиками «податковъ народныхъ» и ксендзомъ Эйсмонтомъ, личность, значеніе и дѣятельность котораго, по неизмѣннымъ принципамъ организаціи, должны были оставаться подъ мракомъ глубокой тайны для всѣхъ ниже стоящихъ членовъ «свѣтлей справы». Но скромный Юзефъ былъ надѣленъ отъ природы особаго рода энергіей въ настойчивомъ преслѣдованіи и преодоленіи разъ заданныхъ ему цѣлей и плановъ, хотя эта неуклонная энергія была точно такъ-же скромна, какъ и все прочее въ этомъ человѣкѣ. У него было только полнѣйшее отсутствіе собственной инициативы. По природѣ своей это былъ идеальнѣйшій исполнитель. Эта способность къ слѣпому повиновенію, къ безусловной исполнительности цѣлей и приказаній человѣка, въ котораго онъ вѣрилъ, могла бы, при случаѣ, сдѣлать изъ него даже нѣчто въ родѣ Равальяка. Если бы такой обвѣрованный имъ человѣкъ далъ ему въ руки кинжалъ и сказалъ: «ad maiorem Dei et Patriae gloriam и ради пользы общаго дѣла ступай и убей такого-то общаго нашего врага» — скромный, женственно-мягкій и даже сантиментально-чувствительный Юзефъ, вопреки всѣмъ добрымъ инстинктамъ своей натуры, подавивъ въ себѣ нравственное отвращеніе, взялъ-бы кинжалъ вмѣстѣ съ благословеніемъ — и рука его не дрогнула-бы заколотъ намѣченную жертву, какъ потомъ и самъ онъ не дрогнулъ-бы предъ эшафотомъ, а напротивъ взмошелъ-бы на него и умеръ со своею обыкновенною скромностію, безъ фарсовъ, безъ картинно-героической рисовки, но съ сознаниемъ безусловно и вѣрно исполненнаго

долга и съ молитвой въ душѣ, да отпущено ему будетъ преступленіе убійства, искупаемое собственною казнью. Такіе люди, какъ Юзефъ Влодко, — золотые, неоцѣненные, незамѣнимые люди для вожаковъ всякихъ заговоровъ и тайно-политическихъ партій. Свитка очень хорошо понималъ это и потому глубоко цѣнилъ въ душѣ Юзефа Влодко и дорожилъ имъ, оберегая его для нужной и рѣшительной минуты. Ванда и Юзефъ — лучшихъ сотрудниковъ, помощниковъ и исполнителей было-бы невозможно и желать ему! Ванда любила этого тайно-политическаго, хотя и столь *обыденнаго* на видъ «пана Константего». Она вѣрила въ него, — этого было достаточно, чтобъ и Юзефъ точно также любилъ и не вѣрилъ, а вѣровалъ въ него, ибо въ Юзефѣ любовь способна переходить въ обожаніе, а вѣра въ вѣрованіе. Онъ глубоко уважалъ въ своей скромной душѣ этого пана Константего за его умъ, за его универсальное образованіе, котораго совсѣмъ не было у самаго Юзефа, за его обширно-дѣятельную и — насколько Юзефъ догадывался своимъ чутьемъ — очень и очень немаловажную, хотя на видъ тоже довольно скромную роль въ патріотической организаціи, а главное за то, что сестра Ванда любила и тоже уважала этого человѣка. «Сестра Ванда» — этого уже было довольно для брата Юзефа.

Бесѣда за чайными стаканами, надъ которыми носился ароматъ лимона и хорошаго рома, шла хотя и въ полголоса, но очень оживленно, съ большимъ участіемъ, интересомъ и вниманіемъ со стороны Ванды и Юзефа, подъ легкій шумокъ шипящаго самовара.

— Былъ я между ними, видѣлъ и наблюдалъ опять всю эту шляхетную гниль! — говорилъ Свитка. — Ничего себѣ, подъ шумокъ пошаливаютъ да дѣлишки свои обдѣлываютъ. Имъ вотъ — совсѣмъ по русской пословицѣ: — «и хочется, и колется, и маменька не велитъ».

— А что такъ? — съ живостію спросилъ Юзефъ.

— Да то, что возстаніе имъ хотѣлось бы сдѣлать какъ бы своимъ частнымъ, домашнимъ дѣломъ, а нашего брата, котораго они «красною сволочью» величаютъ, желалось бы имъ очень пустить подъ первый огонь, въ качествѣ пушечнаго мяса; инициативу власти удержатъ межъ тѣмъ за собою, загребя жаръ нашими руками, и оставить съ носомъ, а въ случаѣ неудачи дѣла свернуть все на хлопковъ да на «красную сволочь».

— Планъ не дуренъ! — улыбнулся Юзефъ.

— Еще бъ тебѣ дуренъ!.. Но штука-то въ томъ, что желая добыть себѣ всѣ эти лакомства, они въ то же время побаиваются и шибко побаиваются красной-то сволочи. Нюхомъ чуютъ, откуда грозитъ имъ настоящая опасность.

— А ты, поди-ка, побѣлѣлъ въ этой компаніи? — замѣтила Ванда.

— О, еще какъ!... Такимъ бѣлымъ барашкомъ прикинулся, что просто прелесть! — похвалился Свитка. — Да вѣдь нельзя же иначе. Наша программа, друзья мои, — продолжалъ онъ, — должна заключаться въ томъ, чтобы до времени, до рѣшительной минуты, слиться съ бѣлыми и съ варшавскимъ ржондомъ въ самый тѣсный и замкнутый кругъ, притворяться самыми наибѣлѣйшими, изъ бѣлыхъ бѣлыми, а между тѣмъ добиться у Варшавы утверждения на мѣстахъ организаціи своихъ собственныхъ креатуръ, людей нашей партіи. Пусть бѣлые составляютъ свою собственную организацію и мечтаютъ себѣ, что вся она замѣщена здѣсь «своими людьми». Чѣмъ они болѣе будутъ убѣждены въ этомъ, тѣмъ лучше для насъ. Только, чуръ, не дремать, а осторожно, исподволь, подводить подъ бѣлыхъ нашу собственную тайную организацію. Пригодные люди для этого найдутся въ мелкой шляхтѣ, въ чиновникахъ, въ офицерахъ, въ батракахъ безземельныхъ, и въ данную минуту мы всѣхъ этихъ ясновельможныхъ прихлопнемъ, такъ что и не опомнятся! Терроромъ и страшнымъ терроромъ надо будетъ дѣйствовать! Земля, конечно, вся сполна крестьянамъ и каждому, кто захочетъ быть земледѣльцемъ. Ничего, галиційская рѣзня была дѣло хорошее, и повтореніе этого beneficia можетъ и намъ пригодиться. Этого они ужасно боятся и потому все торопятся съ этими обществами трезвости. Для насъ-то оно неудобно; но зато милые бѣлые друзья какъ нельзя болѣе стараются въ нашу пользу тѣмъ, что обезземеливаютъ хлопа да экзекуціи наводятъ на него. Въ концѣ концовъ хлопъ озлобится уже непримиримо и противъ нихъ, и противъ Москвы, а этого-то намъ и надо. Тогда только терроръ, атака—и хлопсъ!.. Но до времени все-таки намъ надо солидарными трудами, взаимною помощью и поддержкою укрѣплять свое собственное дѣло, — заключилъ Свитка. — Безъ пановъ, къ несчастію, на Литвѣ ничего не подѣлаешь: и сила, и средства всѣ въ ихъ рукахъ; поэтому надо какъ можно тише и ловче подвести и провести ихъ!

— Все это прекрасно, — замѣтила Ванда, — но... что скажетъ Варшава? Центральный Комитетъ?

— Что? — сдвинулъ брови Свитка. — Да неужто же ты думаешь, что такой безтолковой баншѣ, какъ Варшава, можно вѣрять будущую судьбу Литвы? Да будь я проклятъ, если когда-нибудь соглашусь на это! Какъ равный съ равнымъ, какъ свободный съ свободнымъ, это, пожалуй, извольте! На основаніи вольной федераціи, но не иначе! А позволить имъ тутъ у насъ хозяйничать и распоряжаться — да никогда! Литва должна быть вполнѣ самостоятельна и будетъ! Она, слава Богу, достаточно еще сильна для того, чтобы быть вполнѣ независимою и отъ Москвы, и отъ Варшавы.

— Но вѣдь варшавскій ржондъ это сила, на-

стоящая сила! — замѣтила Ванда. — Нужна будетъ борьба; даромъ они вѣдь власти не уступятъ, а какъ ты одолѣешь ихъ? Вѣдь съ ними и паны наши соединятся.

— Есть у меня, мой другъ, и на тѣхъ и на другихъ порошокъ персидскій! — улыбнулся Свитка. — Противъ ржонда я уже завязываю узелокъ съ мѣрославчиками, заклатыми его врагами, а противъ нашихъ ясновельможныхъ у меня всегда есть дѣйствительная угроза, которая ихъ заставитъ нѣмѣть и дрожать предо мною: мнѣ извѣстна вся ихъ организація, — я вѣдь самъ теперъ бѣлый, прошу не забывать этого, — въ случаѣ неповиновенія можно будетъ пригрозиться опубликовать всѣ ихъ имена, должности и дѣйствія въ газетахъ. Черезъ это что выходитъ? Съ одной стороны, ответственность предъ наяздовымъ правительствомъ, конфискаціи, ссылки, казни, а съ другой — компрометація предъ лицомъ Польши: дескать, тормозы и измѣнники дѣлу свободы. Имъ-то вѣдь составъ нашей особой организаціи не будетъ извѣстенъ, поэтому и бороться противъ насъ тѣмъ же оружіемъ нельзя!

— Фортель хорошій! — съ выраженіемъ удовольствія подхватилъ Юзефъ. — Дѣйствительно, это въ своемъ родѣ порошокъ персидскій! Но вѣдь потомъ съ мѣрославчиками придется разсчитываться?

— О, эти намъ не опасны! — пренебрежительно махнулъ рукою Свитка. — Они сильны, пожалуй, на столько, чтобы вредить своему заклтому врагу, варшавскому ржонду, подвести подъ него интригу, подконтать его; но сами изъ себя они никогда не составятъ прочной организаціи; въ нихъ вѣдь только красивый задоръ да фанатизмъ, пожалуй, но ни на каплю здраваго смысла и политическаго такта. Они годятся для уличной рѣзни, но не для административной организаціи. Мы имъ всегда успѣемъ потомъ дать камуфлетъ! И наконецъ, пускай себѣ, что хотятъ, то и творятъ въ Варшавѣ, а въ Литву, чуръ, не мѣшаться! Я имѣю основаніе думать, что они на эту сдѣлку пойдутъ, если объявить имъ, что въ интригѣ противъ варшавскаго ржонда литовскій комитетъ съ ними солидаренъ.

— Какія же собственно должности намъ надо будетъ замѣстить своими, — спросилъ Юзефъ, — если вся организація въ рукахъ бѣлыхъ?

— А вотъ въ томъ-то и штука! — хитрецки усмѣхнулся Свитка. — Главное дѣло, чтобы воеводскіе комисары были изъ нашихъ ¹⁾. Для

¹⁾ Въ каждое воеводство отъ высшей инстанціи (варшавскаго ржонда) назначался особый комисаръ, который былъ полновластнымъ распорядителемъ мѣстныхъ средствъ и наблюдателемъ за исполнительностью всѣхъ членовъ организаціи своего воеводства. Онъ могъ уже отъ себя назначать и требовать утвержденія въ должности комисаровъ повятовыхъ, которые были ближайшими наблюдателями въ уѣздахъ.

это-то я и думаю вскорѣ отправиться въ Варшаву и выхлопотать у комитета назначенія нашихъ кандидатовъ. Этого-то я съумѣю добиться во что бы то ни стало!

— Да, тогда-то, конечно, уже легко будетъ подтасовать всю организацію изъ нашихъ!—согласился Юзефъ.

— А трибуналы учредимъ уже мы сами, безъ ихней помощи,—продолжалъ Свитка.—Трибуналъ будетъ въ непосредственномъ вѣдѣніи воеводскаго комисара, стало-быть въ нашихъ рукахъ! И трибуналъ долженъ быть неумолимъ, террористиченъ, съ немедленной смертной карой за малѣйшее неповиновеніе! Съ населеніемъ должно будетъ обращаться несравненно суровѣе, чѣмъ московскія власти,—это первый залогъ успѣха!

Ванда въ эту минуту любовалась своимъ другомъ. Когда онъ говорилъ, все лицо его какъ-то преобразилось: брови сурово сдвигались, губы сжимались выраженіемъ непреклонной воли и силы, взоръ горѣлъ рѣшимостью и вѣрой въ себя и въ «дѣло», а въ лицѣ,—въ щекахъ и скулахъ,—такъ энергически ходили какъ бы желѣзные мускулы... Онъ дѣйствительно сдѣлался хорошъ въ эти минуты, хорошъ до вдохновенія, до фанатизма.

Юзефъ межъ тѣмъ сосредоточенно задумался, глядя неподвижными глазами на сѣрый пепелъ своей дешевенькой сигарки.

На нѣсколько минутъ воцарилось глубокое молчаніе.

Свитка, тоже погрузясь въ свои думы, все съ тѣмъ же медленнымъ энергическимъ движеніемъ скулъ, твердыми шагами ходилъ по комнатѣ. Ванда тихо слѣдила за нимъ своимъ любимымъ, свѣтлымъ взоромъ. Наконецъ онъ встряхнулъ волосами, словно-бы сбрасывая съ себя весь грузъ тяжелыхъ размышленій, и вздохнувъ съ просвѣтленной улыбкой подошелъ къ глубоко задумавшемуся Юзефу.

— Ну, встряхнись!.. О чемъ ты?—дружески положилъ онъ ему руки на плечи.

Влодко вздрогнулъ и, какъ-бы пробуждаясь отъ своего состоянія, въ которомъ только-что находился, произнесъ своимъ скромнымъ, несмѣлымъ голосомъ:

— Удастся-ли!

— Что за сомнѣнія, мой милый!—ободрительно воскликнулъ Свитка.—Вѣрь, что удастся, и удастся!.. «Имѣйте вѣру съ горчичное зерно, и вы будете двигать горами!.. Тогдаже, иотверитесь!» Изъ всѣхъ евангельскихъ истинъ я уважаю только эту! Повѣрь, мой другъ, что въ нужную минуту я съумѣю захватить въ свои руки безусловную диктатуру надъ всею Литвою!.. Да и чорта-ли намъ тянутъ въ хвостъ петербургскаго или варшавскаго центра, когда гораздо удобнѣе стать самимъ во главѣ своего самостоятельнаго дѣла? И выгоды, и почести, и все что хочешь!.. Отъ этого, повѣрь, ни мы, ни

наша партія, ни демократія, ни Литва, никто не будетъ въ накладѣ, кромѣ Москвы, да ясно-вѣроятныхъ!

— Хм!.. Чорта-ли мнѣ въ самомъ дѣлѣ,—продолжалъ онъ черезъ минуту, снова заходявъ по комнатѣ.—Чорта-ли мнѣ быть какимъ-то разсылнымъ при петербургскомъ центрѣ, вертѣться пятою спицей въ колесницѣ, когда я чувствую въ себѣ силы быть осью и рычагомъ всего дѣла... А если ужъ гибнуть, такъ ужъ лучше гибнуть за себя самого, за свою собственную идею, чѣмъ пропадать въ качествѣ прихвостня какихъ-то тамъ ясно-вѣроятныхъ и чиновныхъ вожakovъ, которыхъ я вотъ въ эту самую каждую рукавицу могу сжать и выпхвyrнуть куда мнѣ угодно!

Ванда въ какомъ-то экзальтированномъ экстазѣ, возбужденномъ въ ней этою гордою и энергическою рѣчью, этимъ смѣлымъ замысломъ (Константы какъ будто еще болѣе выросъ въ ея глазахъ), этими надеждами и вѣрой въ дѣло и въ собственные силы этого милаго ей человѣка, подошла къ нему, подвела его къ брату и соединила ихъ руки.

— Онъ пойдетъ за тобой!—произнесла она увѣреннымъ, твердымъ голосомъ.—И онъ, и я—мы твои!.. Вмѣстѣ побѣдимъ или погибнемъ, все-равно!.. Но зато вмѣстѣ!

Свитка обоимъ крѣпко пожалъ руки.

— Да, друзья мои!—заговорилъ онъ въ какомъ-то свѣтломъ волненіи,—наша святая задача: вмѣстѣ съ политической революціей произвести и социальную; а безъ этого все та же панская, старо-польская гниль выйдетъ! Помните-же программу: глубокая тайна, во-первыхъ! Потомъ собственная организація и терроръ... А девизъ нашъ: «Ржондъ противъ ржонда и справа противъ справы!»

Крѣпкій и дружескій союзъ на новое, отчаянно-смѣлое предпріятіе былъ заключенъ.

Затѣмъ Свитка уже сталъ развивать Юзефу нѣкоторыя частности и подробности своего плана въ тѣхъ частяхъ, для которыхъ собственно ему было необходимо содѣйствіе Влодка въ его отсутствіи. Онъ зналъ, что это помощникъ лучший изъ лучшихъ, лишь-бы только его увлечь да разъяснить, что собственно нужно дѣлать, а ужъ исполнить онъ тихо и скромно, но образцово-точно!

Юзефъ внималъ и запечатлѣвалъ въ сердцѣ и въ памяти слова своего предпріимчиваго друга.

— Ахъ! однако мнѣ пора!—посмотрѣвъ на часы, воскликнулъ Свитка, когда всѣ инструкціи и наставленія были уже сообщены.—Вѣдь меня тамъ мой бѣлобый пажокъ дожидается!..

Онъ еще за обѣдомъ сообщилъ, что странствовалъ доселѣ съ Хвалынцевымъ.

— Скажи на милость, зачѣмъ ты еще этотъ привѣсокъ за собою таскаешь?!—пожала плечами Ванда.

Свитка улыбнулся.

— Онъ нуженъ мнѣ... Со-временемъ еще пригодится: приспособимъ.

— Да; но онъ — ты говоришь — какъ-то чрезчуръ уже *по московску* оппозируетъ во всемъ...

— Это ничего! Вытанцуетъ!.. Это въ немъ все отъ излишняго гуманизма да отъ «демократическаго закала», какъ говорить онъ, — пояснилъ Свитка. — Въ панахъ, вишь, разочаровался. Но это, въ сущности, еще не большая бѣда: тѣмъ лучше его къ своей сворѣ приспособимъ!

— А коли не удастся?

— Ну, а не удастся, такъ вѣдь и сбыть его легко! — порѣшилъ онъ. — Къ тому же ихъ брать, русачокъ, намъ и для европейской декорации нуженъ... Мнѣ, признаться, отчасти некогда было всѣ эти дни признаваться имъ какъ слѣдуетъ; ну да еще время не ушло! И въ Варшавѣ успѣю!

И Свитка простился со своими друзьями, пообѣщавшись на завтра снова придти къ нимъ потолковать и пообѣдать.

Ванда, накинувъ платокъ, выбѣжала проводить его въ холодныя сѣни и на крылечкѣ наградила на прощанье своимъ горячимъ, свободнымъ, ничѣмъ постороннимъ присутствіемъ невозмущеннымъ поцѣлуемъ.

Свитка ушелъ довольный, и счастливый, и любящій, чувствуя въ себѣ избытокъ какой-то долго сдержанной внутри, но кипучей, неугомонной жизни и жажды дѣятельности и громкой, блестящей славы.

Ванда... дѣло... свой замыселъ... весь стройный, обдуманый ходъ его... любовь... успѣхъ... Хвалынецъ... диктатура... пять тысячъ злотыхъ... Литва... слава... все это вмѣстѣ и разомъ какъ-то перемѣшалось и радужно-блестящимъ колесомъ ходило въ закружившейся головѣ его.

Онъ слишкомъ долгое время вынашивалъ и таилъ въ себѣ всѣ свои мысли и планы — и сегодня только въ первый разъ въ жизни довелось ему ихъ высказать предъ посторонними.

Поэтому онъ чувствовалъ себя и жутко, и легко...

И все хотѣлось жизни, жизни, — больше, какъ можно больше простору и жизни, которая въ немъ, словно вновь пробившійся родникъ, бурлила, кипѣла и рвалась наружу — разлиться широкимъ потокомъ по вольному бѣлому свѣту...

X.

„Опять сомнѣнія и муки“.

«Что же мнѣ дѣлать, однако, и какъ быть?» задавалъ себѣ мучительный вопросъ Хвалынецъ, идучи съ Телятника въ свой номеръ, послѣ того, какъ пришлось неожиданно при-

нять ножную ванну въ сточной канавкѣ. «Что же мнѣ дѣлать, въ самомъ дѣлѣ, и на что, наконецъ, рѣшиться? — Вѣдь такъ же нельзя!.. Невозможно!»

«Бросить развѣ все это да ѣхать обратно въ Питеръ... въ Славнобубенскъ... засѣсть себѣ въ деревнѣ, хозяйничать, приглядываться къ быту, а тамъ — искать потомъ должности посредника... у себя же, въ своемъ участкѣ... въ Славнобубенскѣ наѣзжать буду... тамъ Устиновъ, Лубянский старикъ... Стрѣшневъ... Таня Стрѣшневъ... А вѣдь она милая!.. И правила же мнѣ!.. Вотъ, можетъ опять будемъ собираться маленькимъ своимъ кружкомъ... толковать... жить... вечеръ, садъ, красный закатъ и искры солнца на крестахъ за широкою рѣкою... соловьи и сирень... Ахъ, какъ тогда хорошо было! И давно ли, подумаешь! — всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ назадъ... Хорошо такъ!.. Славно! Уютно и тепло такъ было!..

«Махнуть развѣ въ Славнобубенскъ?.. а?.. Къ чорту всю эту «свѣтлую справу» и прочее!.. Ну, какой я революціонеръ, и въ самомъ дѣлѣ? Курамъ на смѣхъ!»

... «Таня... А вѣдь славная она дѣвушка!.. И какъ это я могъ такъ скоро разлюбить ее!.. А можетъ еще... можетъ еще и опять все вернуться, все по старому будетъ... можетъ, я ее опять... опять полюблю?.. а?.. Почему знать?»

Но нѣтъ!.. рядомъ съ милою головкою этой маленькой Тани, всегда такъ просто умной, такъ просто милой, такъ просто любящей, подымался и обдавалъ какимъ-то сверкающимъ, неотразимымъ обаяніемъ царственный образъ графини Цезарины... Онъ магнетически зачаровывалъ и рабски притягивалъ къ себѣ, къ своимъ ногамъ — этимъ страннымъ обаяніемъ красоты и силы, предестью таинственности, атмосферой какого-то непроницаемаго, невѣдомаго, но великаго заговора и какою-то захватывающею духъ прелестью ощущеній человека, котораго подхватили сзади подъ локти и держать въ воздухѣ, надъ глубокою, темною, зияющею бездною... Этотъ образъ приковывалъ къ себѣ чѣмъ-то загадочно-демоническимъ и горячею, упоительною поэзіею чувственныхъ, сладострастныхъ грезъ... Это было какое-то могущественное и злобное обаяніе царицы-Клеопатры, заговорщицы-польки, демона-бабдерки и очковой змѣи вмѣстѣ и въ одно и то же время.

Онъ чувствовалъ, какъ становится ничтоженъ предъ нею, какъ падаетъ вся его рѣшимость, вся отрезвляющая сила воли и разсудка, даже... даже чести предъ соблазномъ и хмѣлемъ этого обольстительнаго, прекраснаго дыла-женщины.

«Вернуться въ Питеръ...» думалъ Хвалынецъ, «но тамъ вѣдь теперь и она, и Таня, и тетка ея, и Устиновъ... Вернуться, а что скажутъ?.. Что подумаютъ обо мнѣ?.. Да и

одни ли они? А Сплетка? а Бейгуш? а Колтишко? а Чарыковский?.. А главное, что она скажет, что она подумает?.. Какими глазами я встрѣчусь и съ нею, и съ Таней, и со всѣми этими людьми?.. Вѣдь это срамъ будетъ, малодушіе... даже больше: это будетъ глупо и смѣшно, дурацки смѣшно!.. Поѣхалъ вдругъ человѣкъ въ военную службу вступать и вдругъ на тебѣ! чрезъ двѣ недѣли вернулся: «Здравствуйте! я къ вамъ обратно...» Что жъ такъ? Значить струсилъ, любезный? аль мужества и силенки не хватило? алъ мальчишка еще?.. Вѣдь это срамъ, позоръ! Это всеобщее презрѣніе будетъ, смѣхъ, сарказмъ, насмѣшки... Положимъ, хотъ и не выскажутъ мнѣ этого въ лицо, но я самъ, я въ глазахъ читать все это буду. я буду чувствовать это!.. Даже хуже: мнѣ вѣчно казаться будетъ это!

«Нѣтъ, вернуться окончательно невозможно!» твердо порѣшилъ себѣ Хвалынцевъ. «Надо идти впередъ, дальше, выше... Куда?—Богъ вѣсть куда!.. Иди съ завязанными глазами, куда ведутъ тебя!.. Ты вѣдь рабъ теперь—рабъ собственного честнаго слова и... этой женщины!..»

И онъ на нѣсколько минутъ, повидимому, безповоротно, безпомощно, безъ всякой попытки на борьбу, отдался этому теченію.

Но воспоминанія гродненскаго дня и всей этой литовско-панской недѣли какъ-то невольно, сами собою пришли опять ему въ голову.

«Какъ же, однако, идти мнѣ и съ ними, съ людьми, съ которыми у меня нѣтъ да, какъ видно, и не можетъ быть ничего общаго, и никогда не будетъ?» снова задалъ онъ себѣ мучительный вопросъ. «Вѣдь не выдержи! Чувствую, что не выдержи, не вынесу я ихъ и всей этой ихъ ненависти, узкости, мелкости, и всей ихъ жизни и характера, которые мнѣ такъ глубоко противны...»

... «Фу! Боже мой!.. Подумаешь: въ какое я болото залѣзъ, въ какую безвыходную ловушку попался!..»

При этомъ онъ даже остановился по срединѣ улицы.

... «Ахъ ты, жалкій, жалкій, ничтожный безхарактерный ты человѣчишко!..»

Это самоугрызеніе, самобичеваніе было невыносимо тяжело и въ то же время какъ-то жутко, болѣзненно-приятно, словно бы давно уже ноющий больной зубъ, который все ноетъ, ноетъ, потомъ какъ будто начинаетъ затихать, замирать понемногу, все тише и тише, все легче и легче, и вотъ совсѣмъ затихъ, замеръ... и такъ приятно, такъ хорошо это утомленно-нервное забытье... И вдругъ опять его схватило, задергало! Опять заныль, еще пуще, еще больнѣе прежняго... И такъ повторяется все это дальше и дальше, каждый часъ, каждую ночь, недѣли и мѣсяцы, безконечно, непрерывно, безнадёжно и безпродѣльно...

«Фу! какое проклятое существованіе!

... «Но какъ же быть, однако, и что дѣлать?» опять встаетъ все тотъ же роковой, неотразимый вопросъ.

... «Надо рѣшиться.

«Да; надо. Но на что рѣшиться?

... «Ѣхать въ Варшаву и...

«Служить?

... «Да, служить въ военной службѣ, коли ужъ рѣшился разъ и нарочно поѣхалъ за тѣмъ. Служить... Конечно! И непременно служить!

«И какъ?.. Пожалуй, «вѣрой и правдой?»—насмѣшливо подшептываетъ какой-то внутренній, безпощадно язвильный, ироническій голосъ.

... «Да!.. И вѣрой и правдой, какъ служить Холодецъ, Устиновъ, напимѣръ, какъ всѣ порядочные и честные люди... «Я на двухъ стульяхъ сидѣть не умѣю»—ахъ, какое это у него убійственное колющее, безпощадное, прожигающее слово вырвалось сегодня!..

«А вы, милостивый государь, не бойсь, п на двухъ какъ-нибудь усидите, сбалансируете? ась?

... «Нѣтъ, чортъ возьми!.. Врешь!.. Врешь, подлецъ!»—съ нервнымъ скрежетомъ зубовъ и съ подергиваньемъ личныхъ мускуловъ, говорить какой-то внутренній возмущившійся честный голосъ: «Не стану! Не усажу! Не хочу, не буду сидѣть!»

«А Цезарина?»

И опять наплыветъ темное, безпомощное, беззащитное безсиліе, которое какъ-то сковываетъ и душу, и мысль, и руки, опущенныя, повисшія какъ плети...

... «И такъ! опять-таки на что же рѣшиться?

«Ѣхать и служить... служить просто, ничего не предпринимая по этому дѣлу, не ходить къ Паляницѣ, не предъявлять ему своего условнаго числа... то-есть ровно-таки ни шагу не дѣлать въ этомъ направленіи самому и ждать, пока что-нибудь не случится особенное.

... «Да что же именно?

«Что? Не знаю... Что-нибудь!.. Какъ судьба укажетъ...»

Онъ въ эту минуту былъ похожъ на того голоднаго фаталиста-дервиша, который подставлялъ свою голову подъ страшную грозовую тучу и, ничего впередъ не загадывая точнаго и опредѣленнаго, ждалъ что будетъ? ждалъ *бъ надёжно*, что можетъ изъ этой тучи убить его громомъ небеснымъ, а можетъ она же пошлетъ ему и небесную манну.

Между тѣмъ, несмотря на всѣ сомнѣнія, на всю нерѣшительность, на все безсиліе вопли предъ всепокоряющей мыслью о Цезаринѣ, несмотря даже на недавно зародившееся злобное отвращеніе къ панамъ-полякамъ и ихъ панскому дѣлу, его все словно бы тянуло перенестись черезъ тоненькую жердь, зыбко-обра-

млявную этот колодезь, и пытливо заглянуть въ его темную, мглисто-черную глубину. Это въ Хвалынцевѣ было нѣсколько похоже на давешнее чувство при видѣ ужа: его и тянуло любоваться на красиво-изгибающуюся змѣю, и почему-то непріятно, нервно тяжело было смотрѣть на нее, какъ она обвивалась вокругъ руки доктора и продѣлывала свои уморительно смѣшныя, но въ то же время граціозныя курбеты.

Это также похоже было и на «чувство темноты», на то особенно знакомое дѣтямъ чувство темной комнаты, когда они, въ темнѣющіе сумерки, забывшись въ уголокъ около печки и тѣсно прижавшись другъ къ другу, рассказываютъ себѣ страшныя, морозомъ подпирющія сказки о мертвецахъ и привидѣніяхъ, а густая, таинственная тьма смежной пустой комнаты, межъ тѣмъ, глядѣть на нихъ сквозъ открытую дверь... И такъ жутко становится на душѣ, такъ боязно, а между тѣмъ что-то такъ и подмываетъ, чтобы — нѣтъ-нѣтъ да и бросить косящійся взглядъ въ эту нѣмую и почему-то страшную, пугающую тьму... и все думаешь, слушаешь, ежишься и ждешь, что вотъ-вотъ сейчасъ оттуда — покажется изъ темноты и заглянетъ слегка въ дверь что-то бѣлое, страшное, невѣдомое... и боишься его, и хочешь, чтобы оно показалось, — и потому снова и снова невольно, съ какимъ-то жуткимъ, замирающимъ наслажденіемъ ужаса коснись на страшную темноту, глядищую въ дверь этой смежной комнаты.

Нѣчто подобное, напоминающее ощущенія дѣтства, только вызванное болѣе серьезной причиной, испытывалъ теперь Хвалынцевъ, шагая по значительно опустѣвшей, темной улицѣ незнакомаго города.

Онъ, наконецъ, оглянулся, пришелъ въ себя и замѣтилъ, что зашелъ не туда, куда слѣдовало, и очутился около воротъ Борисо-Глѣбскаго монастыря... Лампада тускло мерцала предъ образомъ, въ глубинѣ надворотной часовни... Вокругъ все такъ пусто, тихо, безлюдно... Вдалекѣ кое-гдѣ огоньки виднѣются въ окнахъ убогихъ деревянныхъ домишекъ... Собака гдѣ-то завываетъ такъ жалобно и протяжно. Хвалынцеву вдругъ стало еще жутче какъ-то. Онъ быстро повернулся и спѣшными шагами пошелъ назадъ къ нумерамъ Эстерн.

«И такъ, на чемъ же мы остановились?» задалъ онъ себѣ опять пытающій вопросъ. «Да!.. Бѣжать, служить, ничего не предпринимая и... ждать что будетъ».

И—странное дѣло!—остановясь на такомъ почти неопредѣленномъ рѣшеніи, онъ вдругъ почувствовалъ себя какъ-то легче и спокойнѣе.

Это опять-таки было чувство страуса, въ минуту опасности, въ минуту преслѣдованія врагомъ, прячущаго свою голову въ колючій кустъ изсохшаго терновника и воображающа-

го, что если онъ не видитъ, то значитъ, уже укрытъ и безопасенъ.

Страусъ, конечно, жестоко ошибается; но страусу все-таки становится отъ этого и легче, и спокойнѣе.

XI.

Опять непріятности.

Приди въ свой номеръ, Хвалынцевъ узналъ, что Свитка все еще не возвращался.

«Ну, какъ бы то ни было, придетъ онъ, или не придетъ, а завтра утромъ я ѣду», рѣшилъ себѣ Константинъ, скидал и передавал челоуѣку свое пальто.

Тотъ вздѣлъ его на вѣшалку и вдругъ съ удивленіемъ и улыбкой въ голосѣ процѣдилъ себѣ сквозъ зубы:

— Э-э!.. От-то штука!.. а-га!.. Бардо 1) чисто!.. Осъ якъ!.. И-и!.. и тутъ!

— Что тамъ такое? — обернулся на него Хвалынцевъ.

— Прошенъ пана!.. Нехъ панъ самъ зобачи!

И онъ развернулъ обѣ полы, Вся спина пальто какъ бы не существовала: на ней въ нѣсколькихъ мѣстахъ виднѣлись пятнистыя дыры различныхъ величинъ, словно бы вещь была облита сзади какою-либо ѣдкою жидкостью.

— Что это!?—въ недоумѣніи спросилъ Хвалынцевъ.

— Витріоля! 2)—съ обычною своею плюхо-просящею, равнодушно-подсмѣивающеюся ухмылочкою пояснилъ ему нумерной.

— Ахъ ты чортъ возьми!.. Гдѣ это угораздило такъ!?

— Альбожъ я вѣмъ?—пожалъ плечами лакей,—а пенкне такъ панъ убралсен!..

— Экіе мерзавцы! — съ досадою выбранился Хвалынцевъ. — Хорошая вещь — и теперь хоть къ чорту бросай!.. Какіе негодяи, однако!

— Ктось то? — съ наглою, притворно-непонимающею и какъ бы дразнящею миною, уставился на него лакей глазами.

— Кто?.. Ваша братья полячишки поганые!.. Вотъ кто!

— Пришепрамамъ паяа! Нигды!—поднялъ лакей свою голову съ тою характерною «гордостью народовей», по выраженію Холодца, которая способна еще болѣе раздражать и безъ того уже раздраженного челоуѣка. — Нигды, муй пане! Поляцы то завше сонъ наипоржондѣйшы людъ у свѣци! То шляхетны людъ, муй пане, а не таки, якъ панъ муди!.. А може для тѣго такъ сробили пану,—пояснилъ

1) Очень.

2) Царская водка (сѣрная кислота).

онъ, помолчать немного,—же панъ есть мо-
скаль... може панъ, на улицы размаивалъ зъ
кимъ по-московську?

— Такъ по-каковски же мнѣ говорить, чортъ
васъ возьми!

— А, ну—то такъ есть!

— Въ полицію—бы за это... за рѣшетку!
чтобы поморили хорошенко!—досадливо бор-
мotalъ себѣ, подъ яносъ нашъ революціонеръ,
возмущавшійся бывало при самомъ словѣ «поли-
ція» — и увѣ! опять-таки не почувствовалъ
теперь за столь преступную мысль ни малѣй-
шихъ угрызений совѣсти.

— А! до полиціи?—Можно и такъ! Алезъ
впршудъ налѣжы бытъ зланаць, а панъ не
злапалъ... Хе, хе, хе-ее ⁴⁾!

— Ну, жаль, что не замѣтилъ, а ужъ избилъ
бы хотъ, по крайней мѣрѣ!—ходючи по комнатѣ
говорилъ Хвалынцевъ, срывая свою безсиль-
ную досаду этимъ бесплоднымъ бормотаньемъ,
хотя самъ въ душѣ своей и зналъ, что вѣдь ни-
какъ бы не избилъ; но теперь ему хотѣлось
такъ думать, что избилъ-бы непременно.

Лакей опять ухмыльнулся съ выводящею
изъ предѣловъ терпѣнія «гордосцю наро-
дowej».

— А-а, бицьсен!—разставлялъ онъ руки, по-
жимая плечами.—Пршепрѣшамъ пана! биць-
сен! ту не вольне!.. Може въ Россіи то воль-
не—нѣвѣмъ тѣго, а въ Польскей—то кѣпъ-
ски интѣресъ, муѣ пане... О-ой, бардзо кѣпъ-
ски!

Хвалынцеву стало, наконецъ, казаться, что
панъ-лакей не то издѣвается надъ нимъ, не
то нотаціи ему читаетъ. Это его взорвало.

— Что?! — крикнулъ онъ, сдвинувъ сер-
дито брови и быстро подступая къ пану-
лакею.

Но сей нимало не испугался. Напро-
тивъ, все лицо его такъ и вызывало на исто-
рію, такъ и говорило: голубчикъ, сдѣлай одол-
женіе, хвати меня! Лучшей услуги ты мнѣ
и оказать не можешь! Только хвати, а ужъ
я тебя сейчасъ-же «злапаю», и впутаешься
ты у меня въ скандалъ, и подѣлишься со мною
въ заключеніе своимъ карманомъ на самомъ
легальномъ основаніи, и потому панъ-лакей,
въ отвѣтъ на его грозное «что!?» вылупя глаза
и близко подставивъ ему свою фізіономію,
съ невыразимо шляхетнымъ нахальствомъ
отвѣтилъ:

— А то!—да такъ и остался предъ нимъ
съ нагло-выпущенными бѣльмами и съ плюхо-
вызывательно подставленной мордой.

Въ первое мгновеніе у Хвалынцева уже за-
стучало было въ вискахъ, въ глазахъ заря-
било и отъ макушки головы побѣжали, стекая
и прыгая внизъ по всему тѣлу, зловѣщія му-

раші бѣшенства, но къ счастію, онъ какъ-бы
сквозь тяжелый сонъ опомнился и понялъ,
что его *вызываютъ* на крайность, что именно
этого-то и хочется...

А лакей межъ тѣмъ продолжалъ еще стоять
въ своей дразнящей позѣ, которая безмолвно
какъ-бы говорила все то же: «а то»!

Эта выдержка лакейской наглости, какъ
только Хвалынцевъ опомнился и сдержалъ
себя, во второе мгновеніе уже заставила его,
какъ мимозу, по обыкновенію съѣжиться.

— Счетъ мнѣ податы!—рѣзъ сказалъ онъ,
отходя отъ нумерного.—Утромъя їду. Только
чтобы счетъ былъ по-русски, я вашихъ поль-
скихъ не понимаю.

Лакей, избѣнивъ вызывающую позу на
прежнюю равнодушно-спокойную, продолжалъ
стоять и разсматривать дыры на пальто.

— Счетъ, говорю! И убирайся къ чорту!—
всплывчиво топнулъ Константинъ ногою, въ-
досадѣ уже на самого себя за то, что вотъ
опять-таки, невольно съѣжился и уступилъ
польско-лакейской наглости.

Лакей, очевидно, разочарованный въ своихъ
приятныхъ ожиданіяхъ плюхи, скандала и воз-
награжденія, повернулся и угрюмо, но не-
спѣшно вышелъ за двери.

— О, Господи!.. Когда-же, наконецъ, это
кончится!—схватясь за голову, съ отчаяннымъ
вздохомъ проговорилъ себѣ Хвалынцевъ.

Черезъ нѣсколько минутъ лакей вернулся
и подаль счетъ.

— Но вѣдь это по-польски,—сказалъ Кон-
стантинъ, взглянувъ на бумажку,

— А такъ,—подтвердилъ тотъ.

— Ступай и принеси по-русски.

— А, муѣ пане!—досадливо дернулся ла-
кей.—Кѣды жъ ту нѣма никого, кто-бытъ
розумѣлъ и писалъ по-русську! Альбожъ для
пана не вишѣтко то рувне?!

Хвалынцевъ въ нарочномъ спокойствіи под-
нялся съ мѣста.

— Если мнѣ чрезъ пять минутъ не будетъ
принесено русскаго счета,—сказалъ онъ рѣши-
тельно и твердо,—то я съ этимъ вотъ самымъ
счетомъ пойду въ полицію и попрошу, чтобы
мнѣ тамъ перевели его по-русски; въ такомъ
случаѣ и деньги будутъ тамъ же уплачены.
Но не иначе! Ступай!

Минутъ чрезъ десять нумерной явился съ
русскимъ счетомъ. Послѣдняя угроза возымѣла
надлежащее дѣйствіе, потому что хотя грод-
ненская полиція и была переполнена добрыми
патріотами, но составители счета очень хорошо
чувствовали и понимали, что ни одинъ изъ
этихъ полицейскихъ патріотовъ не упуститъ
приятнаго случая слупить съ нихъ лишній
рубличко «за безпокойство». Хвалынцевъ при-
нялъ изъ рукъ лакея длинноватую бумажку и
не безъ нѣкотораго усилія сталъ разбирать ее:

⁴⁾ Но впередъ слѣдовало поймать.

Рахунекъ.

За выписъ двоихъ паспорта	40 гроши
За номеръ двѣ сутки	3 рубля
Самоварекъ еденъ	40 гроши
Двѣ свицы	2 злоты 10 гроши
Двѣ постелю въ близинѣ	1 рубель
Двѣ порціи дрова	3 злоты 10 гроши
Шкло выбитѣ и друге шкло	1 рубель
Огулемъ	6 рубли гроши 50

— Да это разбой!—невольно вскричалъ Хвалынцевъ, дойдя до итога.—Шесть рублей за скверную комнату! за клоповникъ!.. И наконецъ, съ какой же стати мнѣ еще и за стекла платить?

— А кто жъ быль мусяль заплацить?! Може панъ мнѣма собѣ, ижъ то я повиненъ плацить? то приепрашамъ: ёстемъ не коптовны, не пенензы чловѣкъ!

— Это вы что же, со всѣхъ такъ дерете? Или только съ меня за то, что я «москаль»?—съ раздраженно-злобной усмѣшкой спросилъ Хвалынцевъ.

— Тѣго нѣвѣмъ, муй пане! алежъ таки есть рахунекъ,—развелъ руками лакей.

— Позови мнѣ хозяиня!—додумался Константинъ Семеновичъ.

— Его нѣма въ дому, муй пане!—доложилъ нумерной.

— Ну, такъ конторщика тамъ, что ли!

— Такъ само, муй пане.

— Что такое!?

— Такъ само, муй пане.

— Да что такое «такъ само», чортъ возьми?! Тоже дома нѣту, что ли?

— Такъ само, муй пане.

— Тѣфу, ты чортъ,—досадливо плюнулъ Хвалынцевъ.—Наладилъ себя «такъ само».. Ну, ужъ народецъ, нечего сказать!.. Да на вашего брата не «московский», а развѣ татарскій бы «ржондъ» только въ пору!.. Ахъ, вы анаемы эдакіе!

— Не разумѣмъ, по панъ вѣржи.. Нидъ не разумѣмъ!

— Ну, если нѣтъ и конторщика, такъ есть же кто-нибудь, наконецъ?—спросилъ Константинъ.

— Нѣма никдо, муй пане.

— Да вѣдь «рахунекъ»-то этотъ писалъ же кто-нибудь?

— Такъ есть, муй пане.

— Ну, такъ кто-же писалъ его?

— Чловѣкъ, муй пане.

— Такъ позови же ты мнѣ этого «чловѣка»?

— Такъ само-жъ, муй пане.

— Что такое опять «такъ само»!?

— Пршедставымъ пану, ижъ такъ само.

— Фу, ты, Господи!.. Да съ ними, наконецъ, каменное терпѣніе, и то лопнетъ!.. Я тебя спрашиваю: что такое «такъ само»?.. Тоже дома нѣту, что ли?!

— Такъ есть, муй пане.

— Врешь, каналья!—крикнулъ выведенный изъ себя Хвалынцевъ, стукнувъ кулакомъ по столу.

Лакей тотчасъ-же принялъ позу «гонорѣву», исполненную великаго собственнаго достоинства.

— Прѣшенъ пана не урднгацсенъ бо естемъ шляхцицъ родовиты одъ потопу! приинаймѣй бѣдны, алежъ родовиты, правдздивы шляхцицы!—Такъ само якъ и панъ, и може й ёще вѣнцей¹⁾ одъ пана! Алежъ бѣдны и тыле для тѣго на служебницкемъ урождованью!²⁾

— Позвать мнѣ того, кто писалъ!—еще настойчивѣе крикнулъ Хвалынцевъ.

— Мамъ гѣноръ доложницъ пану, же нѣма въ дому!—вразумительно отвѣтилъ съ поклономъ лакей.

— Кто же есть, наконецъ?

— Естемъ самъ до услуги паньской!—снова поклонился нумерной.

— Такъ это ты писалъ, значитъ?

— Я-а!—гордо отклонился онъ назадъ, всѣмъ же благородно-польскимъ жестомъ указывая себя на грудь.—Приепрашамъ пана, по москеевску не имѣмъ ни мувицы, а-ни читаць, а-ни писаць: ёстемъ крѣвны полякъ, муй пане!

Хвалынцевъ все болѣе и болѣе убѣждался, что надъ нимъ издѣваются самымъ наглѣмъ, самымъ неопозволительнымъ образомъ. И хуже всего, что (онъ понималъ), разъ начавши исторію изъ-за разбойничьяго счета, взять теперь и уплатить значило бы признать себя побѣжденнымъ, а въ такомъ случаѣ изъ чего же было и подымать всю исторію? Сказать, что заплачу, молъ, послѣ—не значить ли подать имъ поводъ думать, что это съ его стороны тоже косвенное признаніе себя побѣжденнымъ, или же пустой, вздорный капризъ, или же наконецъ, что хуже всего, подать имъ подозрѣніе, будто у него и денегъ-то нѣтъ ни копейки, и что онъ думаетъ подождать возвращенія товарища, который за него заплатитъ?

Однимъ словомъ, Хвалынцевъ понималъ, что съ своею ребяческою запальчивостію онъ попалъ въ самое нелѣпое, въ глупѣйшее положеніе, изъ котораго просто не знаешь, какъ и выпутаться хотя бы съ какимъ-нибудь достоинствомъ.

«Какой же я жалкій, безсильный младенецъ», думалось ему съ досадою и ѣдкой горечію надъ самимъ собою. «Какое же я, должно быть, ничтожество, если всякій лакей, первый попавшійся прохвостъ можетъ безнаказанно куражиться и издѣваться надо мною!.. И наконецъ... наконецъ, какъ низко, какъ презрительно втоптанно здѣсь въ грязь русское имя!.. Вѣдь это все за то, что я русскій!.. О, Боже!—«Естемъ родовиты полякъ, муй пане», еще какъ будто

¹⁾ Больше.

²⁾ На частной службѣ.

бы звучали, межъ тѣмъ, въ его ухахъ полныя шляхетной гордости и достоинства послѣднія слова нахальнаго пана-лакея.

— Мнѣ нѣтъ дѣла до того, какого сорта ты прохвость, польскій или жидовскій!—все болѣе выходилъ изъ себя, ругался и кричалъ Хвалынцевъ.—Если ко мнѣ тотчасъ же не придетъ тотъ, кто писалъ этотъ счетъ, то я сію же минуту поѣду хоть къ губернатору и найду на васъ, скотовъ эдакихъ, управу! Слышишь ли ты, мерзавецъ!?

— Прошенъ пана не кричишь, бо я й самъ закриченъ! еще й глоснѣй и грѣзнѣй!—съ дерзкой угрозой возвысилъ голосъ лакей, и вызывающе поднимая свою голову, сдѣлалъ кулакомъ угрожающій жестъ своему противнику.

Хвалынцевъ просто задыхался отъ бѣшенства. Это было похоже на тяжкое, сковывающее всѣ члены, языкъ и волю ощущеніе сопнаго кошмара.

— Вонъ, негодай!.. Или убью на мѣстѣ!—съ невѣроятнымъ усиленіемъ высвобождая голосъ изъ онемѣвшей гортани и груди, дико завопилъ онъ и, схвативъ за спинку первый попавшійся довольно-тяжелый стулъ, какъ перышко, съ неестественной, необычайной нервной силой, угрозя вмахнувшись имъ надъ головою.

Лакей попятился и закричалъ словно бы его рѣжутъ:

— Ратуйце, панове!.. Гвалтъ!.. Варта!.. Ой-ой-ой, варта, панове!..¹⁾

Въ это самое мгновеніе внезапно распахнулась дверь, и на порогѣ—весь блѣдный, недоумѣвающий появился Василій Свитка.

Хвалынцевъ чуть-чуть лишь мимо головы лакея съ размаху съ громомъ и трескомъ швырнулъ свой стулъ въ пустой уголъ. Ну-мерной едва-едва успѣлъ уклониться отъ страшнаго удара.

— Что это?.. Боже мой, что тутъ такое?!—взволнованно забормоталъ Свитка и вдругъ, замѣтивъ лакея, повелительно крикнулъ ему: «вонъ!»—но не довольствуясь еще и этимъ, ухватилъ его за шиворотъ и вышвырнулъ за дверь.

XII.

Послѣ бурн.

Что съ вами?.. Константинъ Семеновичъ... батюшка!.. Голубчикъ, что съ вами?—перепуганно бормоталъ, весь блѣдный, Свитка, ухвативъ его за руку и заглядывая въ лицо.—Успокойтесь, Бога ради... Въ чемъ дѣло-то?.. а?.. голубчикъ!..

Но Хвалынцевъ не могъ говорить. У него потерялся голосъ и, какіе, самая возможность,

самая способность произнести хотя бы-то одно какое-нибудь слово. Онъ только хрипло, тяжело и медленно дышалъ широко раскрытымъ пересохшимъ ртомъ, какъ-то захлебываясь вдыхаемымъ воздухомъ, словно бы ему мало было этого воздуха или бы что-нибудь не пускало его проникнуть въ легкія. Кровь до такой степени прихлынула къ груди, что онъ все еще задыхался и былъ блѣденъ, какъ синеватое полотно. Все тѣло дрожало конвульсивно-лихорадочною дрожью, и одни лишь глаза горѣли тусклымъ зловѣщимъ огнемъ бѣшеной собаки. Онъ пока еще не помнилъ себя: *человѣкъ* исчезъ въ немъ окончательно, осталась одна физическая, животная сторона быденства, свойственная лишь сумасшедшему или же дикому звѣрю. Грудь съ какимъ-то истерическимъ запяньемъ рыданій глухо клокотала внутри и то подымалась, то опускалась высоко и медленно. Онъ былъ страшенъ. Состояніе его было близко къ нервному удару.

Свитка испугался не на шутку и, не говоря уже ни слова, тихо, на цыпочкахъ отошелъ въ сторону и робко поглядывалъ изъ угла на своего пріятеля, сомнительно ожидая, чѣмъ-то все это кончится и не мало-таки струхнувши въ душѣ за свою собственную безопасность.

Такъ прошло минуты три.

Вдругъ Хвалынцевъ повалился на кровать, около которой стоялъ, и разразился глухими, истерическими рыданьями.

Въ нихъ теперь было его единственное спасеніе. А если-бы не они, то нервный ударъ не замедлилъ бы.

«Эге, братъ, такъ вотъ ты каковъ дикій гусь», подумалъ себѣ Свитка, все еще не осмѣливаясь снова подойти къ нему.—Да съ тобою, какъ видно, шутки-то иногда и плохи бываютъ!..

«Это и хорошо, и дурно», продолжалъ онъ думать; «съ одной стороны хорошо, даже очень хорошо, а съ другой очень дурно»...

Хвалынцевъ продолжалъ рыдать, но конвульсивныя вздрагиванія становились уже рѣже и тише. У него наконецъ-то выжались слезы, и уже онъ теперь начинали одерживать внутреннюю побѣду надъ потрясеннымъ организмомъ. Со слезами понемногу возвращалось и нравственное сознаніе.

Замѣтивъ этотъ благополучный переломъ, Свитка съ нѣкоторою осторожностію рѣшился наконецъ приблизиться къ пріятелю.

— Константинъ Семеновичъ,—робко и тихо заговорилъ онъ,—а, Константинъ Семеновичъ!.. Да очнитесь же хоть чуточку!.. Ну, успокойтесь... придите въ себя... Да вотъ что, выпейте-ка воды, это лучше будетъ... успокоить васъ... Ну, хоть одинъ глоточекъ...

И онъ, поспѣшно наливъ стаканъ, поднесъ его къ Хвалынцеву и въ эластичной позѣ, готовый тотчасъ-же отпрыгнуть назадъ при ма-

¹⁾ Караулъ.

лѣйшемъ угрожающемъ движеніи, рѣшился осторожно приподнять съ подушки его голову.

— Ну, голубчикъ... ну, миленькій... ну, хлебните-же... хоть глоточекъ-то! — дружески, умоляющимъ голосомъ лепеталъ онъ.

Константинъ жадно прильнулъ губами къ краю стакана и изъ рукъ Свитки опорожнилъ его большими, тяжелыми, булькающими въ груди глотками.

— Еще! — просипѣлъ онъ невнятнымъ шопотомъ, вздыхая при этомъ содрогающимся, перерывчатымъ вздохомъ, какимъ обыкновенно вздыхается людямъ, а особенно дѣтямъ, послѣ тяжелыхъ слезъ, натовившихъ и обезсилившихъ грудь конвульсіями рыданій.

Свитка поспѣшилъ налить и подать ему второй стаканъ и даже взялъ въ руки графинъ на случай, если бы понадобилось наливать третій, или защищаться отъ быснаго нападенія: онъ все еще не вполне былъ увѣренъ въ наступившей безопасности.

Хвалынцевъ и этотъ стаканъ хватилъ столько же жадно и залпомъ.

— Чтò это съ вами, другъ мой?.. Скажите, Бога ради, какъ? чтò? почему? — успокоительно и участливо приступилъ къ нему Свитка.

— Н-н-не мо-гу... п-потомъ, — черезъ силу произнесъ Константинъ.

— Ну, ну, не надо, не надо теперь... послѣ... а теперь вы, главное, успокойтесь!.. Да не надо-ли лавровишневыхъ капель?.. а?.. Я пошлю сейчасъ!

Тотъ отрицательно и съ нервной гримасой покачалъ головою.

— Ну, хорошо, хорошо... только успокойтесь... Воды еще не хотите?

И онъ предупредительно налилъ третій стаканъ, отъ котораго тоже не послѣдовало отказа, и послѣ этого, едва лишь черезъ полчаса слишкомъ, Хвалынцевъ на столько успокоился и пришелъ въ себя, что могъ думать, соображать и безпрепятственно владѣть языкомъ, однимъ словомъ, разговаривать.

— Боже мой, вѣдь я чуть не убилъ его! — медленно, отъ глазъ къ затылку проводя по головѣ рукою, проговорилъ онъ.

— Н-да-съ... вонъ стулице-то и то лежитъ въ углу разломанный, — замѣтилъ Свитка.

Хвалынцевъ покачалъ головою.

— Счастливый случай, — прошепталъ онъ.

— Чтò это, счастливый случай? — недоумѣвалъ, переспросилъ его приятель.

— Да то, что Богъ уберегъ... вѣдь чуть-чуть правѣе, да не увернись онъ во-время — и на смерть-бы!.. на мѣстѣ!..

— Да... это ужасно! — раздумчиво согласился Свитка. — Но расскажите-же теперь, — присовокупилъ онъ, дружески взявъ его за руку, — чтò васъ такъ взволновало?

— Да многое-съ!.. Это съ самаго утра еще началось.

И онъ, на сколько позволяло ему теперь настоящее его состояніе, рассказалъ своему ментору и посвятителю исторію съ камнемъ, съ кондитеромъ, съ лакеемъ трактирнымъ, казусъ ножной ванны въ сточной канавкѣ, казусъ съ пальто и наконецъ всю возмутительную продѣлку плехо-просившаго лакея, который, наконецъ, дошелъ не только что до крику, но до наступательной угрозы замахвающимися кулаками.

— Вонъ, полюбуется на мое пальто да и на этотъ счетецъ! — заключилъ Хвалынцевъ.

Свитка, взглянувъ на первое, только головой помоталъ огорченно да сдѣлалъ видъ, будто эта продѣлка до глубины души возмущаетъ его.

— А что до счета, — сказалъ онъ, беря булавку, — то позвольте, это что-нибудь да не такъ: либо недоразумѣніе какое, либо-же просто сами лакеи думали сорвать съ васъ липку... Позвольте, я сейчасъ-же пойду самъ и все эти разузнаю.

И онъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты

— Ну, такъ и есть, возвѣстия! — онъ, возвращаясь минутъ черезъ десять, въ теченіе которыхъ Хвалынцевъ, особенно послѣ облегченія души рассказомъ, почти совершенно успокоился, — такъ и есть! И вышло по моему, что жидокъ-конторщикъ, то-есть не конторщикъ собственно, а помощникъ конторщика, который навараксалъ эти каракули, хотѣлъ попользоваться малою толикою и — вретъ бестія! — отговаривается тѣмъ, что перепуталъ нечаянно записъ нашу съ сосѣднимъ нумеромъ, да еще тѣмъ, что плохо понимаетъ русскій языкъ, — послѣднее-то, конечно, справедливо.

— Ну, ужъ это какъ водится!.. Знаемъ мы! — недовѣрчиво пробормоталъ Хвалынцевъ.

— А чортъ ихъ знаетъ! можетъ, и правда, а можетъ, и врутъ! — сказалъ на это Свитка. — Но дѣло въ томъ, что съ насъ всего-то на всего, какъ оказалось теперь, приходится только два рубля семь гривенъ, и ни за какія стекла ничего этого не нужно: значитъ, на вашу долю рубль тридцать-пять.

— Чтò тамъ за доли!.. Стоятъ ли о такихъ пустякахъ! — махнулъ рукою Константинъ. — Позвольте ужъ мнѣ одному... вѣдь все равно?!.. Вы же на дорогѣ платили...

— Н-ну, какъ хотите! — какъ бы не хотя согласился приятель.

— Только позвольте попросить васъ... будьте такъ добры, кликните этого мерзавца нумерного.

— Да-а... Зачѣмъ онъ вамъ?... Лучше потомъ ужъ.

— Чего вы? — съ доброй улыбкой поднялъ на него глаза Хвалынцевъ, — не бойтесь, не убью... теперь ужъ прошлю.

Свитка исполнилъ его желаніе — и нумерной

явился вдруг как шелковый, — словно бы совсѣмъ въ другого человѣка переродился.

Хвалынецъ замѣтилъ про себя столь рѣзкую и столь быструю метаморфозу, причѣмъ не безъ основанія подумалъ, что ею онъ обязанъ все тому же своему ментору и почитателю, который, вѣроятно, задалъ тамъ этому лакею добрую и патріотически-внушительную головомойку. Оно такъ и было дѣйствительно: Свитка даже припугнулъ всѣхъ этихъ пановъ-лакеевъ и конторщиковъ великимъ и таинственно-важнымъ значеніемъ Хвалынцева, что это, молъ, такой человѣкъ, который, коли захочетъ, то всѣхъ ихъ завтра же, если даже не въ ночь, можетъ хоть бы въ слѣдственную политическую комиссію отправить и въ тюрьму засадить, и что этимъ человѣкомъ даже сами патріоты и наивельможнѣйшіе паны дорожатъ и стараются заслужить его благоволеніе, и что съ нимъ было поступлено очень, очень опрометчиво и глупо.

Свитка вралъ, но сумѣлъ соврать все это столь серьезно, вѣско и внушительно, и притомъ съ такимъ чувствомъ доброжелательной, патріотической и польски-родственной пріязни къ опрометчивому лакею, что и шляхтичъ-лакей, и конторщикъ повѣрили ему, пожалуй, болѣе даже чѣмъ на половину.

Панъ-лакей весьма вѣжливо и почтительно принялъ отъ Хвалынцева слѣдующія деньги и еще почтительнѣе приподнесъ ему на блюдечкѣ причитающуюся сдачу. Когда же Константинъ пренебрежительно отодвинулъ эту сдачу нѣсколько въ сторону, ясно давъ понять нумерному, что онъ можетъ взять ее въ собственную свою пользу, то «родовиты шляхциѣ одъ потѣпу» какъ-то преподленько и прегнусенько изогнувшись, съ заискивающей улыбкой припалъ было къ локтю Хвалынцева, но тотъ быстро и съ пренебреженіемъ отдернулъ свою руку. — Отпотопный шляхтичъ, слегка клюнувшись носомъ, чмокнулъ цѣлующими губами одинъ лишь воздухъ и съ глубокимъ поклономъ, въ почтительнѣйшемъ согбеніи, на цыпочкахъ удалился изъ номера.

XIII.

Свитка слегка показываетъ свою настоящую шкуру и когти.

Ну вотъ вы теперь, кажись, и въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ успокоились!.. Я такъ радъ, право! — привѣтливо и даже весело заговорилъ Свитка. — Простите меня, Бога ради, что я васъ такъ не деликатно бросилъ сегодня на произволъ судьбы!.. Я никакъ не рассчитывалъ!.. Предполагалъ вернуться домой еще утромъ, часамъ къ одиннадцати, но... вышелъ такой непредвидѣнный казусъ... дѣла, обстоятельства разныя задержали... И знаете ли, очень и

очень такъ важныя дѣла!.. Ей-Богу!.. Ужъ я было порывался къ вамъ — и совѣсть-то мучить, и беспокоюсь, но... вотъ только-что теперь успѣлъ отдѣлаться и покончить!.. Бога ради, вы ужъ извините меня!..

— Да полноте! — перебилъ его Хвалынецъ протягивая руку, — я ни мало не думаю претендовать на васъ! Нужное дѣло прежде всего!.. Объ этомъ, что-жъ, и говорить нечего!

— Такъ вы не сердитесь?! — весело схватилъ его руку Василій Свитка.

— Да нѣтъ же, говорю вамъ! Во-истинно нѣтъ!

— Ну, вотъ, благодарю васъ, голубчикъ!..

— Ахъ, знаете, я такъ радъ, такъ доволенъ нынѣшнимъ днемъ! — съ какимъ-то трудно-сдержаннымъ внутреннимъ увлеченіемъ говорилъ черезъ минуту Свитка, быстро и легко расхаживая по комнатѣ и весело, свѣтло улыбаясь. — Такъ доволенъ, что просто и сказать не умѣю!.. Дѣла идутъ отлично! Планы удаются превосходно!.. въ нѣкоторомъ родѣ «и солнце, и любовь», и все, что угодно! — такъ вѣдь это, кажется, въ какомъ-то романсѣ поется?.. Но это все пустяки, такъ себѣ, бирюльки, привѣски, а всего главнѣе то, что дѣло — *дѣло-сз*, батюшка мой, удастся!

— Знаете ли что? — быстрымъ поворотомъ остановился онъ вдругъ предъ Хвалынцевымъ. — Я сегодня въ такомъ исключительномъ настроеніи, что ужасно какъ хочется выпить!.. Я ужъ пилъ сегодня порядочно; но все-таки хочется еще... «паки и паки!..» Выпьемте-ка бутылочку! Тѣмъ болѣе, что завтра мы расстаемся, такъ ужъ на прощанье!.. а?..

Хвалынецъ послѣ всей этой послѣдней передраги чувствовалъ какую-то внутреннюю жажду, такъ что и самъ не прочь былъ бы чего-нибудь выпить, и потому онъ не отказался отъ сдѣланнаго ему предложенія.

Свитка въ припрыжку вылетѣлъ въ корридоръ и заказалъ бутылку шампанскаго, которое очень скоро явилось къ его услугамъ, такъ какъ у «мадамъ Эстерки» имѣлся свой собственный погребецъ.

Когда шелковый шляхтичъ-лакей, откупоривъ бутылку, налилъ вино и удалился, Свитка поднялъ свой стаканъ.

— Ну, за успѣхъ нашего общаго дѣла! — предложилъ онъ toastъ, изъясняя намѣреніе чокнуться съ пріятелемъ.

Но послѣдній, къ крайнему его удивленію, стакана не поднялъ и не чокнулся.

— Константинъ Семеновичъ!.. Чтò же это вы, батюшка? — вытаращаль на него менторъ свои глаза. — Или не слышали моего тоста?

— Нѣтъ, слышалъ очень хорошо-сѣ!

— Такъ чтò жъ не пьете-то?

— Я, любезный другъ мой, не имѣю обыкновенія пить за то, чего не знаю и даже не

понимаю вовсе,—сказалъ онъ тихо, размѣренно и внятно.

Свитка чуть даже стакана не выронилъ. Его словно бы такъ и отшатнуло назадъ.

— То-есть какъ же это?.. Объяснитесь, Бога ради!—пробормоталъ онъ.

— Да, намъ, дѣйствительно, надо объяснить-ся; и хорошенько, окончательно переговорить между собой!—все тѣмъ же ровнымъ и спокойнорѣшительнымъ тономъ согласился Хвалынцевъ.

— Извольте, я готовъ... Я васъ слушаю,—промолвилъ Свитка и, выпивъ залпомъ свой стаканъ, придвинулъ себѣ кресло и усѣлся поближе къ столу и къ Хвалынцеву.

— Прежде всего я долженъ вамъ сказать,—собравшись съ духомъ, началъ Хвалынцевъ,—что я поступилъ крайне опрометчиво, крайне малодушно и даже... даже *недобросовѣстно*, давши вамъ слово на такое дѣло, которое для меня была тьма непроницаемая. Но извините меня, Свитка: я буду вполне откровенъ и, можетъ-быть, даже рѣзокъ.

— Я васъ слушаю,—слегка склонивъ въ знакъ согласія свою голову, промолвилъ менторъ.—Въ чемъ же-съ «но»?

— Хм... «*Но*» мое въ томъ, какъ я думаю,—продолжалъ Хвалынцевъ,—что и вы поступили *недобросовѣстно*, взявши съ меня слово. И тѣмъ болѣе, вы вѣдь очень хорошо знали, что слово-то я, совсѣмъ какъ дуракъ какой, даю вамъ, а о дѣлѣ самъ-то понятія ни малѣйшаго не имѣю!

— Вы ошибаетесь: вы знаете столько, сколько вамъ *нужно* знать... Вы знаете даже нѣсколько болѣе!—внушительно и вѣско замѣтилъ Свитка.

— О, да!—подтвердилъ Хвалынцевъ.—Теперь-то я дѣйствительно, узналъ его гораздо болѣе, чѣмъ бы вамъ хотѣлось, можетъ-быть! Вы совершенно правы. Поэтому-то я и говорю теперь съ вами... Я буду продолжать.

— Слушаю-съ.

— Въ то время, какъ я имѣлъ непростительную глупость дать вамъ мое слово, у меня, признаюсь вамъ, были *свои* воззрѣнія на это дѣло, собственные прелестныя иллюзіи, основанныя отчасти Богъ-вѣсть на чемъ, на своей фантазіи что ли, а отчасти на увѣреніяхъ вашихъ и... той женщины... Вы знаете ее. Эти-то вотъ мои иллюзіи и заблуждающіеся взгляды могутъ отчасти, если не извинить, то хотя бы объяснить вамъ мою опрометчивость. Чѣмъ извинять прикажете васъ—я не знаю.

Свитка сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Пойдите, не перебивайте меня... благо ужъ такъ меня прорвало!—слегка дотронулся до него Константинъ. — Я разочаровался въ вашемъ дѣлѣ. Я узналъ его, конечно, еще слишкомъ мало; но уже слишкомъ много

и горько разочарованъ даже и тѣмъ, что узналъ,—а что же будетъ далѣе?.. Помните ли, Свитка, вы мнѣ постоянно толковали, что у насъ съ вами одинъ общій врагъ, это—наше русское правительство?

Менторъ утвердительно кивнулъ головою.

— Ну-съ, а я теперь съ болью, но воочію убѣдился, что врагъ вашъ не правительство, а русскій народъ, русскій смыслъ, весь складъ русской народной, земской и государственной жизни (Хвалынцевъ повторялъ теперь давешнюю мысль Холодца, какъ бы за свою собственную). А съ правительствомъ съ такимъ-то вы бы еще ужились, да пожалуй и удобно, отлично ужились бы!

Свитка только улыбнулся себѣ подъ носъ очень иронической и горькой усмѣшкой.

— Затѣмъ-съ,—продолжалъ Константинъ Семеновичъ,—и вы неоднократно, и графиня Цезарина увѣряли меня, что это дѣло идетъ «за свободу вашу и нашу».

— Да, да! За свободу!.. За свободу вашу и нашу!—съ энтузіазмомъ перебилъ менторъ и налилъ себѣ новый стаканъ.

— Хороша же свобода, нечего сказать!—теперь уже въ свою очередь съ горечью усмѣхнулся Хвалынцевъ.—Въ чемъ она и гдѣ она, эта *ваша*, но не наша хваленая свобода? Вы толкуете о свободѣ и братствѣ, и о любви всечеловѣческой; а это братство и любовь—ужъ не въ травлѣ-ль православнаго попа? не въ обираіи-ль темнаго, забитаго хлопа? не въ лишеніи-ль его послѣдняго куска хлѣба? не въ этихъ ли импровизованныхъ бунтахъ, нагайкахъ и казацкихъ экзекуціяхъ, гдѣ этотъ «ржондъ московскій» является вдругъ—на смѣхъ и горе здравому смыслу—вашимъ лучшимъ, усерднѣйшимъ и безкорыстнымъ пособникомъ? Въ этомъ что ли ваша свобода-съ?.. И почему, позвольте васъ спросить, напимѣръ, почему ваши милые, «либеральные», «интеллигентные» паны травили попа? Нутъ-ка, почему-съ?

— Н...да такъ! просто глупая скверная шутка!

— Нѣтъ-съ, извините! А я такъ думаю—потому, что это православный, то-есть *русскій* попъ. Ксендза, небойсь, не травите! Ксендзъ у васъ въ почетѣ! Потому, почему въ такомъ загонѣ, въ такомъ жалкомъ видѣ православныя церкви?—Опять-таки потому же, что это русскія церкви! Почему въ такомъ ужасномъ угнетеніи народъ, который вашимъ панамъ желалось бы и вовсе пустить съ сумою по міру?—Опять же таки потому, любезный другъ мой, что это племя чуждое вамъ по крови даже; потому-то оно у васъ и не народъ, а *быдло*, потому-то вы его и въ «плею съ хомутомъ» заковываете въ рабочіе дни!.. И это, по вашему, свобода «ваша и наша», общее братство и любовь?!.. Нѣтъ-съ, это традиціонная,

историческая, племенная... да, къ несчастію, племенная ненависть! Ну, да и народъ же этотъ тоже и васъ-то не меньше ненавидитъ!.. Слыхалъ я кой-какія тепленькія рѣчи его! Да и вы сами—вспомните-ка хотя бы въ корчмѣ, на кіермашѣ, ту пѣсенку, въ которой хлопъ-то этотъ, захожій человѣкъ, молитъ Бога «кабы сгинули ляхи»—я ее по вѣкъ мой не забуду! Она мнѣ—спасибо ей—чуть не впервые глаза раскрыла!

— Эта вражда ничего не значить, — возразилъ Свитка. — Она дѣлу не помѣха, а скорѣе подспорье.

— Какъ подспорье! — вскинулся на него Хвалынцевъ. — Да что же вы, въ смѣшкѣ со мною играете, что ли!.. Не помѣха!.. Хороша не помѣха, если ужъ—да хоть бы я, напри-мѣръ—человѣкъ, отдавшійся вашему дѣлу, человѣкъ, имѣющій нѣкоторую претензію на цивилизацію, на умственное и нравственное развитіе; человѣкъ, который эту вражду и такъ, и сякъ старается, до извѣстной степени, оправдывать, извинять, и при всемъ этомъ я не могу ее выдержать! Въ теченіе этихъ нѣсколькихъ дней, а особенно сегодня, я почти на каждомъ шагѣ встрѣчалъ такую страшную ненависть, подвергался такимъ оскорбленіямъ, что—простите за откровенность — но я чувствую, какъ во мнѣ самомъ начинается зарождаться и пускать корни такая же ненависть и къ польскому дѣлу вашему, и ко всей вашей Польшѣ. А этой ненависти во мнѣ и тѣни не было! Напротивъ, было самое теплое, братское, искреннее сочувствіе! И за что же, наконецъ, вся эта злоба, вся эта ненависть? — Смѣшно и дико сказать! — За то лишь, единственное за то лишь, что я *русскій*!.. Боже мой! да скажите по совѣсти, что же послѣ этого можетъ быть между нами общаго? И какъ же это я-то пойду за ваше «общее» дѣло?

Свитка нѣкоторое время молчалъ, въ глубокомъ раздумьи понурия свою голову.

— Другъ мой! — поднялъ онъ ее наконецъ съ грустнымъ вздохомъ. — Одно вамъ скажу на это: *смирение*!.. Смирение предъ страдальцей, распятой на крестѣ человѣчества на Голгоѣ свободы вашими русскими палачами!.. Смирение, говорю, потому что вы, русскіе, слишкомъ долго и безнаказанно мучили, терзали и оскорбляли ее!

— Фраза, фраза. И еще разъ фраза! — тоже помолчавъ нѣсколько, отчеканилъ ему на это Хвалынцевъ. — Если, во-первыхъ, заглянуть въ исторію, то эта распятая страдальца и насъ не мало оскорбляла и распинала, а бѣлорусса — такъ вотъ по сей день преотмѣнно распинаетъ. Это первое-съ. А во-вторыхъ, вы говорите: «смирение». Хорошо-съ. Я поглядѣлъ бы, какъ бы это *вы* смирились, если бы вамъ, напри-мѣръ, какъ мнѣ сегодня, приходилось чуть не

на каждомъ шагѣ наткнуться на мелкія, положимъ, но нестерпимыя оскорбленія. Что бы вы тутъ заговорили? И не въ правѣ ли вы были бы подумать, что французскій репетитъ смиренія что-то больно пахнетъ неумѣстной насмѣшкой и подбавляетъ только еще болѣе горечи и отравы?.. *Смирение*!.. Ха-ха!.. И это еще одинъ лишь день, а что же будетъ дальше?.. Или, можетъ быть, вы посоветуете еще мнѣ, ради избѣжанія столкновеній съ вашими, наклеить печатную этикетку на свою шапку, гдѣ было бы изображено, что я, молъ, членъ ржонда народоваго, да съ этой вывѣской и пеголять по варшавскимъ улицамъ? Это бы что ли еще? а? Какъ вы полагаете?.. Я такъ думаю, что это вполнѣ стоитъ вашего *смирения*.

— Ну-съ, и такъ, что-же? — вновь поднялъ на него глаза свои Свитка.

— Что-же? А вотъ что-съ! — категорически отвѣтилъ Хвалынцевъ. — Такъ какъ я къ такому смирению ни мало не чувствую себя способнымъ, — а вонъ, чуть было не убилъ человѣка, — и такъ какъ на шапку свою предохранительнаго ярлыка наклеивать тоже не намѣренъ, то долгомъ своимъ поставлю предупредить васъ, чтобъ отъ сей минуты вы болѣе на считали меня принадлежащимъ къ вашей организаціи.

Свитка сдѣлалъ какое-то странное, порывистое движеніе, словно-бы Хвалынцевъ падалъ въ пропасть, и онъ хотѣлъ удержать его.

— Позвольте-съ! — нѣсколько отстранилъ его слегка рукою Хвалынцевъ. — Дайте мнѣ кончить. На мой счетъ вы можете быть совершенно покойны: вы видѣли, что я не задумался вполнѣ искренно и честно высказать вамъ все то, что лежало у меня на сердцѣ; поэтому повѣрьте точно также моей искренности и чести еще разъ, если я вамъ скажу, что я не Іуда и не продамъ, не выдамъ — даже и подъ пыткой не выдамъ ни васъ, и никого изъ вашихъ, и ни дѣла вашего, котораго подробности для меня — *terra incognita*. Опасаться меня вамъ нечего, можете просто лишь вычеркнуть меня изъ вашихъ списковъ.

— Что-же вы намѣрены дѣлать? — съ плохо скрываемой тревогой спросилъ Василій Свитка.

— Бѣжать въ Варшаву и служить въ военной службѣ.

— И только?

— И только-съ.

— Но... послушайте, Хвалынцевъ!.. Подумайте: ваше честное слово, клятва ваша?

— Я вамъ сказалъ уже: я не Іуда и Іудой не буду.

— Не въ томъ сила: Іуды — вы знаете — намъ не страшны. Отъ нихъ очень удобно и легко мы отдѣływаемся, въ случаѣ надобности; но... но я васъ долженъ предупредить, что

наше общество не прощает произвольнаго нарушения разв даннаго слова.

— Хм... Помнится, прежде вы не то говорили,—полунасмѣшливо улыбулся Хвалынцевъ.—Склоняя меня вступить въ ваше общество, вы увѣряли, что если не сойдемся, то разойдемся просто и спокойно, какъ честные, порядочные люди, а теперь... вѣтры, вѣроятно, измѣнились?.. а?.. Но, все-таки любопытно-бы знать, что дѣлаетъ ваше общество съ нарушителями обманомъ взятаго слова?

— Что-съ? *Ка-ра-етъ* ихъ!—выразительно проговорилъ Свитка.

— Ахъ, вотъ оно что!.. *Караетъ!* презрительно усмѣхнулся Хвалынцевъ.—Что-жь, это впрочемъ совершенно естественно, и вы во всякое время, даже хотя-бы сегодня ночью можете исполнѣ свободно «покарать» меня—заколоть, зарѣзать, застрѣлить, удушить—смотря по тому, что болѣе по душѣ придется. Я, съ своей стороны, даже на столько не попрепятствую вамъ, что не потружусь перейти и въ другую комнату, а чтобы не заставлятъ васъ долго томиться ожиданіемъ, то сейчасъ-же раздѣваюсь и ложусь спать. Покойной ночи желаю вамъ!—презрительно поклонился въ заключеніе Хвалынцевъ.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ, за что-же вы меня-то собственно оскорбляете теперь!—съ чувствомъ дружескаго упрека заговорилъ Свитка.—Богъ съ вами!.. Не ожидалъ я этого!.. Я понимаю, вы сегодня слишкомъ раздражены, разстроены... и потому я не серджусь... я не могу и не хочу принять этихъ словъ такъ, какъ, можетъ-быть, принялъ-бы въ другое время. Но... надо-же кончить нашъ разговоръ.

— Я уже кончилъ, — возразилъ Хвалынцевъ.—Прибавлю въ заключеніе одно развѣ, что за дѣло народное, за принципъ демократическій я могъ еще идти вмѣстѣ съ вами. Но за дѣло въ пользу дворянъ и ксендзовъ вашихъ, за революцію кастовую, шляхетскую и ксендзовскую я—«баричъ» и «дворянинъ» по происхожденію,—я не пойду, несмотря на всѣ ваши «кары» и прочее, и потому я беру назадъ, я возвращаю себѣ мое, обманомъ взятое у меня, честное слово. Довольно-ли съ васъ этого?

— Пока совершенно довольно!—вѣжливо, но безъ малѣйшей злобы или ироніи поклонился Свитка.—Ну-съ, вы сказали уже *все*, что хотѣлось?

— Какъ видите!

— Прекрасно-съ. Я васъ слушалъ; теперь же прошу васъ, выслушайте въ свою очередь и вы меня.

— Къ вашимъ услугамъ! — слегка поклонился Хвалынцевъ и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Я у васъ къ тому прошу вниманія,—пояснилъ менторъ,—что, выслушавъ меня, вы можете быть одумаетесь и возвратите мнѣ

обратно, съ полнымъ довѣріемъ, ваше отнятое теперь слово.

Все это было произнесено столь увѣренно, столь, повидимому, разумно-сознательно, что Константинъ невольно окинулъ Свитку изумленно-любопытнымъ взоромъ.

— Все, что говорили вы о панахъ и о народѣ, и о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—началъ послѣдній спокойно, сосредоточенно, словно-бы какую лекцію,—все это, говорю я, исполнѣ вѣрно, и я, относительно пановъ и народа, безусловно раздѣляю вашъ взглядъ.

Хвалынцевъ даже съ мѣста вскочилъ, пораженный такою неожиданностью.

— Дѣйствительно, Константинъ Семеновичъ, вы глубоко правы!—продолжалъ менторъ.—Великорусскій шагъ крестьянина и въ сотую долю не имѣетъ понятія о томъ, что вынесъ на своей несчастной спинѣ отъ панскихъ милостей нашъ литовскій хлопъ... Объ этомъ, если писать, то писать цѣлые томы, и то перомъ развѣ Виктора Гюго!.. Наша магнатерія, наше панство — все это гниль и мерзость, которую надо съ корнемъ вырвать. Я васъ, знакомя съ Литвой, нарочно повезъ къ моему добродѣю пану Котырло, чтобы вы сами приглядѣлись ко всей этой бѣлой сволочи. Я заранѣе былъ почти увѣренъ, я зналъ, какого рода впечатлѣнія должны вы унести изъ такой панской трущобы, и—какъ видите—я не ошибся. У меня вѣдь въ этомъ своя цѣль была, добрыйшій мой Константинъ Семеновичъ!.. Всѣ эти нумерные лакеи, кондитеры, трактирщики, все это панская сволочь, такая-же, какъ и паны, изъ той-же самой панской дворни, и все это та же самая порча, гниль и зараза, которую точно также прочь! свести *на нѣтъ*, и разомъ!..

Хвалынцевъ глядѣлъ на своего ментора все болѣе и болѣе недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Позвольте!—перебилъ онъ.—Да не вы ли же сами говорили мнѣ постоянно въ ихъ записку, и увѣряли, что это все прекраснѣйшіе люди, сокъ и соль земли вашей? И что-же!

— Да-съ, говорилъ, говорилъ, почтеннѣйшій Константинъ Семеновичъ и увѣрялъ васъ въ этомъ,—безпрекословно согласился Свитка.—Я нарочно становился на панскую, на бѣлую точку зрѣнія, нарочно эдакъ мягонько противорѣчилъ вамъ,—продолжалъ онъ,—а вѣдь вы-то отъ этихъ противорѣчій, поди-ка, еще болѣе мозгами сами въ себѣ шевелили, еще болѣе критическій взглядъ себѣ усвоивали. Ну, признайтесь-ка, не такъ-ли? Ну, говорите откровенно, по совѣсти, правъ я или не правъ?

— М... можетъ-быть,—подумавъ, согласился Хвалынцевъ.

— Хе, хе, хе. Вотъ то-то же и есть, голубчикъ вы мой!.. Въ этомъ-то и штука-съ —постучалъ пальцемъ объ столъ Свитка.—Итакъ повторяю вамъ, все это панство, шляхетство, магнатерія — все это гнилые корни, которые надо

скорѣ прочь и печку подтопить ими. Они теперь испугались царской воли, да и повторенія галиційской рѣзни тоже побавляются и потому, во-первыхъ, совсѣмъ обилие съ панталыку, не знаютъ какъ быть имъ теперь съ хлопомъ: то они съ нимъ братаются, заигрываютъ, визиты, вишь, дѣлаютъ, а то нагайками дупятъ да казаковъ наводятъ; а во-вторыхъ, схватились за разговоръ и думаютъ сыграть выгодную партію въ политическую революцію, въ *политическую*, замѣтите, а не въ *соціальную*. «Какъ можно! Боже избави, молъ, насъ отъ такого смертнаго грѣха». Ну, и пусть себѣ тѣшатся пока еще не пришелъ часъ ихъ!.. Однимъ словомъ,—продолжалъ Свитка,—эта шляхетная панская и наполовину ксендзовская Польша, это одинъ лишь видимый, верхній слой; это навозъ, который долженъ покрыть и удобрить намъ почву. Онъ удобряетъ ее своими материальными средствами, которые должны стать нашими. Итакъ, это *видимая* Польша и *видимая* революція. Но есть еще Польша и революція другая, невидимая, тайная, подземная, о которой паны-то, можетъ-быть, едва ли и догадываются. Эта другая Польша есть литовско-польско-славяно-русская соціально-демократическая и, конечно, республиканская федерація, а революція эта подземная, то-есть наша-то, не просто политическая, а политическо-соціальная-съ, революція «земли и воли». Наше дѣло можетъ лопнуть: меня, можетъ-быть, повѣсятъ со-временемъ во градѣ Гродно или Вильно, все это легко можетъ случиться... Но попомните мое слово: не пройдетъ и десяти лѣтъ, какъ ваше русское и славянское общество, а можетъ быть даже и ваше правительство, почувствуютъ, сознаютъ всю животворность, всю великую будущность идеи все-славянскаго вольнаго союза, подъ гегемоніей кого-нибудь старшаго — насъ или васъ. И это будетъ! Будетъ непременно, необходимо, неизбежно! Это естественный порядокъ вещей. Простая историческая логика событій и жизни незамѣтно приведетъ къ этому. Россія съ Польшей въ данную минуту — это двѣ борющіяся противоположныя силы, но ни та, ни другая, безъ вольной всеславянской федераціи, настоящей силы не составляютъ. Настоящая великая сила будетъ только во всеславянствѣ, потому что на западѣ, по сосѣдству, подъ бокомъ зрѣетъ другая сила, и буде не сплотимся въ крѣпкій союзъ—она васъ приготовить подъ нѣмецкимъ соусомъ и съѣсть, скушаютъ себѣ на здоровье, какъ скусала уже лужичанъ, поморянъ-поруссовъ да и нашу Познань на придачу. Вотъ попомните мое слово! И знаете-ли, ей-Богу я не шучу, когда говорю, что даже ваше правительство скоро пойметъ это: оно только съ республикой не помирится, а съ демократическимъ принципомъ, судя по началу, пожалуй, охотно пойдетъ рука объ руку. Но... одни только наши польскіе паны, шляхетство и

магнатерія наша никогда не поймутъ этой простой штуки—и потому ее къ чорту!.. Вотъ попомните мое слово, говорю вамъ: меня, вѣроятно, повѣсятъ или разстрѣляютъ тамъ, что ли (это вѣдь у нихъ какъ-то тамъ одно благородіе другого почитается), но это все равно; а вотъ идея-то наша—это, сударь мой, живучая идея, и она одолѣваетъ! Да это, впрочемъ, первоначально-то еще идея чеховъ да вашихъ московскихъ славянофиловъ, а мы только соціально-республиканскую подкладку дополнили къ ней, не болѣе. Внѣ славянства нѣтъ спасенія,—заключилъ Свитка,—ни намъ, ни вамъ. Такъ вы это и знайте.

И онъ залпомъ выпилъ третій стаканъ шампанскаго.

Хвалынцевъ съ какимъ-то страннымъ, смѣшаннымъ чувствомъ удивленія, недовѣрія и анализа глядѣлъ теперь на своего ментора. Предъ нимъ вдругъ раскрылся теперь совсѣмъ другой, совсѣмъ новый человѣкъ, о присутствіи котораго, и вдобавокъ о такомъ страстномъ присутствіи, въ этомъ скромномъ, тихонькомъ Василии Свиткѣ онъ и не подозрѣвалъ до сей минуты. И, странное дѣло! Хвалынцевъ невольно долженъ былъ сознаться себѣ, что въ нѣкоторыхъ идеяхъ и какъ-то пророчески вдохновенныхъ рѣчахъ этого новаго, совсѣмъ новаго человѣка было много такого, что казалось ему въ высшей степени симпатичнымъ, чѣмъ-то такимъ, за что можно было бы, пожалуй, пойти и рискнуть своей головой, если бы только не эта проклятая, племенная вражда и злоба.

— Вы говорите объ экзекуціяхъ да объ обезземеливаніи,—продолжалъ межъ тѣмъ Свитка.—Это ничего. Пусть бѣлая сволочь потѣшается. На свою же вѣдь голову. Повѣрьте. Мы этому не должны препятствовать, потому что земля вмѣстѣ съ волей все равно будетъ же таки принадлежать сполна всѣмъ свободнымъ земледѣльцамъ, кто бы они ни были. Пускай ихъ тѣшатся, говорю вамъ, пока еще не пришелъ роковой часъ ихъ!.. Пускай! пускай все такъ и будетъ!.. А онъ придетъ, этотъ часъ... мы, подземные, мы приведемъ его на ихъ голову и... и тогда... Свитка поднялся съ мѣста. Ноздри его расширились, глаза горѣли, и во всемъ этомъ вдругъ преобразившемся человѣкѣ засіяло, какъ молнія изъ черной тучи, что-то грозное, энергически-мощное, фанатически-вдохновенное.—И тогда,—говорилъ онъ, твердо опершись кулакомъ о столъ,—нашъ святой мужицкій топоръ и честный рабочій ножъ не должны остановиться даже... даже и надъ колыбелью панскаго ребенка! ¹⁾

¹⁾ Исторически вѣрныя слова и постоянное profession de foi бывшаго диктатора Литвы.

Хвалынцевъ наконецъ пришелъ даже въ какой-то ужасъ.

— Позвольте, Свитка!—вскричалъ онъ, тоже подымаясь съ мѣста.—Позвольте!.. Я помню, вы еще недавно соглашались съ вашимъ Котырломъ, что хлопъ — это не болѣе, какъ мертвый, сырой экономическій матеріалъ, а что истинный народъ въ Литвѣ—это все то, что мыслить, жить, цивилизуется, то-есть, значить, шляхта и магнаты!

— Да, соглашался, Хвалынцевъ!—подтвердилъ менторъ.—Соглашался и даже самъ говорилъ то-же! Я нарочно становился предъ вами на точку зрѣнія напихъ бѣлыхъ, старался даже гораздо сильнѣе предупреждать все то, что вы могли бы услышать и возмутиться еще болѣе, чѣмъ теперь, среди этой гнусной среды!.. Да, я говорилъ все это!

— А теперь! теперь-то что же вы говорите!.. И чему же, наконецъ, я долженъ вѣрить: тому, или этому?.. Вѣдь вы и тогда казались столь же искренни! И... и кто же, наконецъ, вы сами-то, послѣ этого?! Кто вы?

— Я?... Я—Василій Свитка!—спокойно-насмѣшливымъ и загадочно-испытующимъ взоромъ глядя на Хвалынцева, неторопливо произнесъ менторъ.—А впрочемъ, я и не Василій Свитка, а Францисекъ Пожондковский!..

Хвалынцевъ съ новымъ необычайнымъ изумленіемъ восклонился отъ стола и въ упоръ пытливо оглядѣлъ своего собесѣдника.

— А впрочемъ, коли хотите,—тѣмъ же тономъ продолжалъ тотъ,—я и не Францисекъ Пожондковский, а «иной, еще невѣдомый избранныкъ»... Однимъ словомъ, я — Конрадъ Валенродъ въ плебейской волчьей шкурѣ. Теперь понимаете-съ *кто* я?... Я вамъ показалъ отчасти мою шкуру и мои когти.

Хвалынцевъ, не произнося ни единого слова, продолжалъ глядѣть на него все съ тѣмъ же чувствомъ возрастающаго изумленія.

— Да-съ, — продолжалъ межъ тѣмъ Свитка.—И вотъ этотъ самый плебей Валенродъ предлагаетъ вамъ, славнобуренскому Россійской имперіи, столбовому дворянину Константину Семенову сыну Хвалынцеву: угодно вамъ будетъ честно раздѣлить съ нимъ одно изъ двухъ: или громкую славу и счастливую будущность при осуществленіи великой идеи, или же за ту же самую великую идею двѣнадцать штурцеровыхъ пуль, а можетъ и постлю гницеля. Впрочемъ, послѣднее есть уже изысканный вариантъ второго. Итакъ, угодно вамъ, Хвалынцевъ?

И Свитка выжидательно протянулъ ему руку.

Константинъ глубоко раздумался и наконецъ медленно, отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ!—сказалъ онъ, подымая на Свитку прямой и открытый взглядъ.—Все, что я могу сказать вамъ вполне искренно въ настоящую минуту, такъ это мое рѣшеніе, на которомъ я

остановился, идучи вечеромъ сюда, вотъ въ этотъ самый номеръ: я ѣду служить и *только* служить... а тамъ... какъ угодно будетъ случаю... Что будетъ, то и будетъ!.. Вотъ вамъ! И больше ничего вы отъ меня не требуйте!

Лицо Свитки окончательно прояснилось.

— Ну, и прекрасно!—заключилъ онъ, схвативъ въ свою ладонь руку Хвалынева.—На этомъ, значить, пока и помиримтесь. Вы успокойтесь, поживете въ Варшавѣ, поразмыслите, а тѣмъ временемъ, можетъ, и я туда понаѣду—мы, конечно, свидимся, откровенно, по душѣ потолкуемъ и, авось, на чемъ-нибудь и порѣшимъ: такъ дакъ-такъ, а нѣтъ—какъ хотите... неволить не будемъ. А пока, докончимте-ка, уже безъ всякихъ тостовъ, наше шампанское.

Пріятели выпили и уgomонились.

XIV.

Послѣднее пожеланіе.

На другой день утромъ, торопясь не опоздать, Хвалынцевъ вмѣстѣ со Свиткой пріѣхали на дебаркадеръ желѣзной дороги.

Константинъ, выгрузивъ съ извозчика свои вещи, тотчасъ же направился къ кассѣ брать билетъ, но такъ какъ онъ спросилъ его по-русски, то патріотъ-кассиръ, пустивъ мимо ушей его просьбу, усердно раздавалъ билеты всевозможнымъ жидамъ и полякамъ. Хвалынцевъ принужденъ былъ, наконецъ, обратиться къ жандарму, предварительно давъ ему на водку вмѣстѣ съ суммой на добычу второкласснаго билета.—«И тутъ у меня не обошлось-таки безъ власти предержавшей, да еще какой! жандармской!» съ грустною ироніей надъ самимъ собою подумалось ему.

Свитка обѣщалъ опять, можетъ-быть скоро, пріѣхать къ нему въ Варшаву, но Хвалынцевъ выслушалъ это хотя, повидному, и очень любезно, однако же вполне равнодушно.

Не такъ бы онъ слушалъ его двѣ недѣли тому назадъ!..

Раздался звонокъ. Подходилъ виленскій поѣздъ. Пассажиры, толпясь и толкаясь, бросились къ вагонамъ, поспѣвая занять себѣ мѣста поудобнѣе. Хвалынцевъ тоже послѣдовалъ примѣру всей почтеннѣйшей, хотя и толкающейся публики, и ему удалось добыть себѣ хорошее мѣстечко, въ отдѣльномъ купе, у окна, которое онъ и не замедлилъ открыть сію же минуту.

Свитка стоялъ на платформѣ предъ его окошкомъ и заботливо освѣдомлялся, хорошо ли и «выгодно ли» помѣстился его пріятель.

Ударилъ второй звонокъ. Кондукторы спѣшно стали захлопывать дверцы вагоновъ. Служащіе при станціи въ своихъ форменныхъ фуражкахъ, съ офиціально-форменными и нарочно, ради прибывшаго поѣзда, начальниче-

ски устроенными физиономіями, безъ всякой видимой цѣли и надобности стояли на платформѣ и глазѣли на готовый отойти поѣздъ.

Вдругъ хлопнула стеклянная дверь и показался Холодецъ. Онъ спѣшно шагаль по платформѣ, отыскивая кого-то глазами.

Хвалынцевъ домекнулся, что это его онъ ищетъ.

— Я здѣсь, докторъ! здѣсь!—закричалъ онъ, высунувшись изъ окошка.

— А!.. вотъ вы гдѣ!.. Здравствуйте!—поднявшись на вагонную ступеньку, протянулъ онъ ему черезъ окошко руку.—А ужъ я-то торопился!.. Проклятаго Шлюмку-извозчика всю дорогу кулаками во всѣ лопатки подбодрялъ... думалъ, что опоздаю!.. Фу, ты Господи! А все эта служба задержала—что дѣлать!.. Ужъ не взыщите! И то слава Богу, что поспѣлъ-таки!

Свитка недоумѣвающимъ, вопросительнымъ взглядомъ посматривалъ то на незнакомаго ему Холодца, то на Хвалынцева, какъ бы говоря тѣмъ самымъ: «Что же, молъ, сей сонъ означаетъ?»

Раздался третій звонокъ, вслѣдъ за которымъ съ задняго конца поѣзда послышался рѣзкій, дрожащій свистокъ оберъ-кондуктора.

Паровозъ тоже гукнулъ въ отвѣтъ и медленно запыхалъ чернымъ дымомъ.

— Ну, прощайте!—говорилъ Холодецъ.—Дай вамъ Богъ всего тамъ хорошаго! Одно только паче всего помните: прямо и честно! по-русски! И все пойдетъ прекрасно!.. Прощайте!

— До свиданья!—крикнулъ Хвалынцевъ.

— А и то правда! Что за «прощайте!» Лучше до свиданья... подхватилъ докторъ.— Говорятъ, только гора съ горой не того... а человѣкъ съ человѣкомъ всегда. Авось еще разъ судьба столкнетъ гдѣ-нибудь, почему знать!.. Ну, до свиданья, голубчикъ! и да хранятъ васъ всѣ святыя угодники!.. До свиданья!

Поѣздъ въ это время уже тронулся. Хвалынцевъ глядѣлъ изъ окошка, привѣтливо улыбаясь доктору. Наконецъ клубы густого, бѣлаго дыма застлали ему собою платформу и въ свою очередь скрыли и его отъ глазъ провожающихъ.

Они остались вдвоемъ другъ предъ другомъ—Свитка и Холодецъ—и почти невольно, почти машинально, но внимательно смѣрили одинъ другого пытающимъ взглядомъ и разошлись.

И тотъ, и другой, въ своемъ родѣ, были тоже—«двѣ силы».



ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Въ Варшавѣ.

Октября 5-го ¹⁾ 1861 года, умеръ высокочтимый польскими патриотами варшавскій архіепископъ Фіалковский.

Революціонный тайный комитетъ по поводу его смерти издавъ слѣдующее печальное воззваніе:

«Соотечественники!

«Богу угодно было поразить скорбью сердца наши, воззавъ къ своей славіи покойнаго архіепископа Фіалковского. Дабы почтить заслуги и память его, просимъ возложить на себя знаки глубокаго траура и носить ихъ въ продолженіе восьми дней».

Днемъ торжественныхъ похоронъ его было назначено 10-е октября.

А на этотъ-же самый день въ маленькомъ городишкѣ Городлѣ, Люблинской губерніи, гдѣ за 448 лѣтъ, въ 1413 году, совершился актъ уніи восточной церкви съ западною, собралось для празднованія годовщины этого событія великое множество польской шляхты со всѣхъ владѣній и земель бывшаго Польскаго королевства. Здѣсь, какъ гласитъ протестъ «противъ нарушенія нашихъ вольностей и противъ невольническаго образа правленія», составленный тамъ-же и того-же числа, участвовали: воеводство Познанское, земля Всковская, герцогство Силезское, воеводства: Калишское, Гнѣзненское Сѣрадское, земля Велюнская, воеводства: Лэнчицкое, Брестъ - Куякское, Инowрацлавское, земля Добржинская, воеводства: Плоцкое, Ма-

зовецкое, земли: Черская, Варшавская, Визская, Вышеградская, Закрочимская, Цыновская, Ломжинская, Рожанская, Ливская, Нивская, воеводство Равское, земли: Сохачевская, Гостынская, воеводства: Хелмское, Мальборгское, Вармیا, Краковское, Сандомірское, Киевское, Русское, земли: Львовская, Перемышльская, Санская, Галицкая, Хелмская, воеводства: Волынское, Подольское, Люблинское, земля Луковская, воеводства: Белзское, Подляское, земли: Дрибницкая, Мельницкая, Бѣльская, воеводства: Брацлавское, Черниговское, Виленское, Трокское, княжество Жмудское, воеводства: Смоленское, Полоцкое, Новгородское, княжество Слупское, воеводства: Витебское, Брестское, Мстиславское, Минское, Лифляндское и Курляндское.

Варшавскій митрополитъ, обязавшійся честнымъ словомъ не допускать никакихъ демонстрацій при похоронахъ своего архіепископа, избралъ именно этотъ знаменательный день для его торжественнаго погребенія. Всѣ приготовленія къ похоронамъ были облечены глубокою таинственностью; только наканунѣ громогласно вступили въ Варшаву вытребованныя распоряженіемъ тайнаго комитета партіи крестьянъ, долженствовавшія изображать собою «скорбь народа польскаго» при торжественныхъ проходахъ. Эти партіи, подъ предводительствомъ своихъ помѣщиковъ и гминныхъ войтовъ, встрѣчались на заставахъ депутаціями «Варшавскихъ братьевъ» и вступали въ городъ съ пѣніемъ гимновъ.

Въ три часа пополудни печальное шествіе двинулось изъ Медовой улицы; но вмѣсто кратчайшей дороги, избрало длиннѣйшій путь по самымъ многочисленнымъ улицамъ, съ которыхъ вся городская полиція была предупредительно

¹⁾ По старому стилю—23-е сентября.

убрана прочь, дабы видомъ своимъ не раздражать страстей народныхъ, и замѣнена обывательскими констаблями. Процессія этихъ похоронъ превосходила великолѣпнѣе своимъ всё остальные процессіи демонстраціоннаго періода и даже далеко оставляла за собою знаменитое торжество погребенія «пяти жертвъ», изъ которыхъ впрочемъ одна оказалась живою и здоровою, а роль «жертвы» изображалъ собою пустой гробъ, наполненный для соотвѣтственной тяжести камнями и, конечно, плотно закупоренный крышкою. Нечего уже говорить о тѣхъ безчисленныхъ рядахъ духовенства и монашескихъ орденовъ, которые со свѣчами, крестами и хоронгами предшествовали гробу; но непосредственно за траурной колесницей несли огромное знамя съ изображеніемъ бѣлаго орла и погони, а за нимъ на бархатныхъ подушкахъ съ кистями слѣдовали короны: польская королевская и литовская великокняжеская. Затѣмъ шли чиновники всѣхъ гражданскихъ управленій по вѣдомствамъ и разрядамъ, члены магистрата, цехи со своими знаменами, воспитанники всевозможныхъ учебныхъ заведеній съ польскими значками, подъ предводительствомъ своихъ директоровъ, инспекторовъ и наставниковъ, а за этими уже двигались отряды крестьянъ подъ предводительствомъ помѣщиковъ, одѣтыхъ въ національные костюмы. Крестьяне шли тоже со значками, а различались отрядъ отъ отряда по цвѣту одежды и конфедератокъ. Тротуары, окна, балконы, крыши, трубы — все это было покрыто безчисленными массами народа. Гробъ архіепископа опустили въ подальтарный епископскій склепъ Свято-Янскаго кафедральнаго собора, подъ сѣною знаменъ и коронъ, съ обычнымъ пѣніемъ патріотическихъ гимновъ и съ горячими патріотическими рѣчами.

Въ тотъ-же день, въ великолѣпной столовой Европейскаго отеля, отдѣланной въ помпейскомъ вкусѣ, было устроено публичное угощеніе и чествованіе роскошнымъ обѣдомъ всѣхъ крестьянъ, прибывшихъ на архіепископскіе похороны, причемъ внѣ всякихъ сословныхъ различій, поселянамъ старались оказывать всяческій почетъ, уваженіе и заискивающую ласку. Къ каждому изъ нихъ нарочно придали ассистента изъ членовъ делегаціи и бывшаго агрономическаго общества, которымъ было поручено, не щадя усилій, всячески настраивать хлопковъ на революціонный, но братски дружельбный панамъ и патріотическій ладъ. Тутъ, при обильныхъ возліяніяхъ, не было недостатка въ восторженныхъ рѣчахъ, гдѣ выставлялось въ самихъ яркихъ образахъ оскорбленіе народа и римской вѣры сынами дьявола — москалями, стоны Польши подъ кровавымъ игомъ Москвы и наконецъ было сдѣлано приглашеніе всѣмъ вѣрнымъ сынамъ ойчины возстать поголовно и передушить, пережечь, перерѣзать враговъ

святой Польши. Затѣмъ шли объятія, поцѣлуи, клятвы братской любви, клятвы биться на жизнь или смерть съ москалями, и наконецъ все это заключилось проходами еще болѣе торжественными чѣмъ вчерашняя встрѣча: тысячи экипажей и пѣшихъ массъ тянулись съ привѣтственными кликами и гимнами въ разныхъ направленіяхъ къ заставамъ и къ станціи желѣзной дороги, чтобы еще разъ братски проститься и, по возможности, еще болѣе задобрить будущихъ ратниковъ и бойцовъ за свободу отчизны.

Правительство колебалось, не зная что дѣлать, на что рѣшиться. Вновь хотѣли дѣйствовать то войскомъ, то благодушной терпимостью, то либерализмомъ, то полумѣрами, и въ концѣ концовъ, не дѣйствовали никакъ. Авторитетъ власти падалъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ. Наконецъ варшавскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Гершенцвейгъ, побуждаемый двумя столь крупными демонстраціями, какъ Городельскій сеймъ и похороны Фіалковскаго, происшедшими въ одинъ и тотъ-же день, настоялъ на мѣрѣ, повидимому, рѣзкой и энергической.

Утромъ 14-го октября на всѣхъ площадяхъ и перекресткахъ Варшавы появились войска, занявшія опредѣленные посты и пункты, а на углахъ улицъ варшавяки прочли афиши, объяснившія о введеніи военнаго положенія. Высшая власть при этомъ нашла нужнымъ обратиться къ «полякамъ» съ особой прокламаціей, въ которой сѣтовала, что несмотря на ея надежды возстановить нарушенное въ краѣ спокойствіе мѣрами кротости, «враги общественнаго порядка, приписывая снисходительность правительства не благимъ его намѣреніямъ, а вѣроятно безсилію, съ каждымъ днемъ становятся дерзновеннѣе. Толпы уличной черни», гласила далѣе эта сѣтующая прокламація, «насилственно врываются въ жилища мирныхъ гражданъ, разбиваютъ лавки и мастерскія, грабятъ въ особенности осѣдлыхъ здѣсь иностранцевъ и, стараясь посредствомъ внушеннаго ими страха овладѣть волей всѣхъ сословій, не остановились даже нанести безчестіе священному для народа сану епископа. Полиція не только не уважается, но ежедневно подвергается обидамъ. Войско, призываемое для водворенія порядка, встрѣчается оскорбленіями. Повсемѣстно распространяются самыя возмутительныя объявленія и воззванія къ народу. Подъ видомъ религіозныхъ обрядовъ совершаются политическія демонстраціи... Потворство и преступное содѣйствіе нѣкоторыхъ лицъ римско-католическаго духовенства превратили католическіе храмы въ мѣста враждебныхъ правительству изъявленій. Священники проповѣдуютъ ненависть и неуваженіе къ верховной власти. Въ костелахъ и внѣ оныхъ поютъ воспрещенные правительствомъ гимны,

производить сборы денег и вещей на революционные цѣли и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершаемыя въ высокоторжественные дни молебствія за Государя Императора были заглушены пѣніемъ тѣхъ же гимновъ». Законная власть созначала въ той прокламаціи, что «все это составляетъ рядъ такихъ преступленій, которые не могли быть терпимы, но предстоящіе выборы въ уѣздные и городскіе совѣты побуждали-де ее воздержаться отъ принятія рѣшительныхъ мѣръ, дабы не нарушить общественнаго спокойствія. Между тѣмъ ходъ выборовъ не оправдалъ ожиданій», жаловалась далѣе все та же прокламація. «Во многихъ мѣстахъ они совершились подъ вліяніемъ нравственнаго насилія и сопровождались тѣми же враждебными правительству намѣреніями!.. Подобныя дѣйствія, угрожающія ниспроверженіемъ законной власти и водворившія въ край анархію, вынуждаютъ правительство прибѣгнуть къ мѣрамъ, болѣе дѣйствительнымъ». Такимъ образомъ, какъ бы извиняясь предъ поляками за введеніе военнаго положенія, эта прокламація, достопримѣчательная по своему откровенно сѣтующему тону и смыслу, обращалась къ тѣмъ же полякамъ съ просьбой отъ лица власти приблизить своимъ добрымъ поведеніемъ то время, когда можно будетъ снять военное положеніе и снова приступить къ правильному развитію дарованныхъ Царству Польскому либеральныхъ учрежденій.

Первыя минуты по прочтеніи этой прокламаціи были отмѣчены общественнымъ недоумѣніемъ, нѣкоторымъ раздумьемъ въ виду неожиданнаго препятствія, что и было принято властью за признакъ устрашенія, но потомъ, и весьма скоро, недоумѣніе и раздумье разрѣшились презрительнымъ смѣхомъ. Варшава слишкомъ хорошо уже знала и слишкомъ привыкла къ этой «политикѣ мягкой, благодушной кротости и воздержанія», которая была въ сущности политикой конфуза и недоумѣвающего безсилія. Военное положеніе и не удивило, и не остановило Варшаву: она, напротивъ, желала даже вызвать новое кровавое столкновеніе народа съ войскомъ.

Нѣсколько ранѣе правительственной прокламаціи было выставлено во множествѣ экземпляровъ украшенное портретомъ Костюшки объявленіе тайнаго комитета. Теперь же оно разными таинственными путями стало распространяться еще болѣе. Оно гласило къ народу:

«15-го октября — годовщина смерти покойнаго Өаддея Костюшки. Въ день этотъ постановлено почтить память вождя, ниспосланнаго Богомъ для возрожденія и избавленія Польши отъ ига, — вождя, который выполнилъ свою жертву предъ Богомъ и отчизной, хранивъ непоколебимо до послѣдней минуты своей жизни пречистое польское и христіанское знамя. Будемъ же далѣе нести съ самопожертвованіемъ

это знамя истины и свободы, дабы оно содѣлалось триумфомъ, радостью и основой величія и счастья великаго по мысли Божіей народа!»

Итакъ, на другой день послѣ объявленія военнаго положенія, съ утра еще всѣ лавки въ городѣ были заперты и ни одна изъ нихъ не открылась при наступленіи обычнаго часа. Хотя 15-е октября было днемъ будничнымъ, однако же народъ густыми толпами, какъ словно въ великій праздникъ, валилъ въ костелы, а по преимуществу къ фарѣ, къ бернардинамъ и къ массіонаржамъ,¹⁾ которыхъ костелъ Свентого Кржижа²⁾ съ 60-го года сдѣлался самымъ моднымъ въ Варшавѣ, такъ что громадная церковь не могла вмѣстить въ себѣ желающихъ молиться и пѣть въ ней гимны, а потому отцы миссіонаржи стали продавать мѣста въ своемъ храмѣ, и такимъ образомъ за привилегированное мѣсто на хорахъ модныхъ аристократическихъ клерикалки платили святымъ отцамъ по 100 и по 150 руб. годовой платы. Приготовленія къ торжественной панихидѣ дѣлались во всѣхъ вообще варшавскихъ костелахъ, но въ этихъ трехъ они должны были поразить своимъ великолѣпіемъ: пышные катафалки, цвѣты, знамена, эмблематическіе знаки и изображенія, докораціи—все это должно было напоминать народу старому вождю и кричать о страданіяхъ ойчизны.

По окончаніи панихиды, едва началось пѣніе гимновъ, какъ тотчасъ же ко входамъ этихъ трехъ костеловъ были придвинуты войска, для того чтобы при выходѣ арестовать пѣвшихъ мужчинъ. Но народъ не выходилъ изъ храмовъ, и дѣло такимъ образомъ затянулось до одиннадцати часовъ вечера. У Свентого Кржижа одураченное войско давно уже впрочемъ сторожило пустой костелъ, потому что весь народъ выбрался изъ него неизвѣстнымъ начальству потайнымъ ходомъ во дворъ, въ садъ и незамѣтно спасался черезъ недоступныя для глазъ заборы и крыши домовъ, прилегавшихъ сзади и со стороны къ монастырю миссіонаржей. Въ одиннадцать часовъ вечера приказали солдатамъ составить ружья въ козлы, снять шапки и войти въ костелъ, чтобы понудить народъ къ выходу. Поднялся вой, крикъ, вопли, слезы, однако-же мужнины, которыхъ въ обоихъ костелахъ оказалось до 3,500 человекъ, безъ сопротивленія очистили костелы и въ тотъ же вечеръ были отведены въ цитадель. Но замѣчательно, что между коноводами этой костельной исторіи, кромѣ ксендзовъ, ретивѣйшими дѣятелями оказались евреи.

Разбирая безпристрастно всѣ обстоятельства этого происшествія, невольно приходишь къ заключенію, что власть, кажись, едва ли сама себѣ уяснила надлежащимъ образомъ пѣль,

¹⁾ Миссіонерамъ.

²⁾ Св. Креста.

ради которой устроила эту облаву, потому что на слѣдующее же утро почти всѣ забранные люди были выпущены изъ цитадели. Ихъ опрашивали только кто къ какому сословію принадлежитъ, словно бы это нужно было для какихъ-либо статистическихъ свѣдѣній. Поэтому множество лицъ шляхетныхъ нарочно пачкали себѣ лицо сажей, терлись одеждой объ выбѣленные стѣны и при опросѣ называли себя ремесленниками, изобрѣтая вымышленныя фамиліи. Такимъ образомъ всѣ важнѣйшіе вожаки и залѣзавы ускользнули, а въ концѣ концовъ власть была поднята на смѣхъ при убѣжденіи, что она какъ ни грозись, а ничего сдѣлать не можетъ и не смѣетъ.

На утро 16-го числа разыгрался скандалъ великій.

По смерти Фіалковского на должность архіепископа былъ избранъ капитуломъ, но еще не утвержденъ правительствомъ, нѣкто прелатъ Бялобржескій.

Это былъ человѣкъ довольно ограниченный и даже не особенный фанатикъ, но какъ нельзя болѣе пригодный къ дѣлу подъ руководствомъ мужей искусившихся и мудрыхъ, какими были полковъ капитула варшавскій. Бялобржескій въ ту же ночь собралъ капитула на экстренное совѣщаніе, къ которому было приглашено нѣсколько свѣтскихъ лицъ, и вотъ, плодомъ ихъ ночного совѣта явилось то, что Варшава на утро, къ удивленію своему, проснулась безъ обычнаго костельнаго авона и народъ нашелъ церкви запертыми. Совѣщаніе признало, что костелы Свенто-Кржижскій и Бернардинскій осквернены появленіемъ въ нихъ войска московскаго и потому должны быть запечатаны впредь до новаго очищенія, а всѣ прочіе костелы, въ предупрежденіе подобнаго оскверненія, надлежитъ закрыть на неопредѣленное время и вообще прекратить вездѣ всякое богослуженіе. Мѣра эта была приведена въ исполненіе немедленно. Но замѣчательно при этомъ одно нелишенное извѣстной доли комизма обстоятельство, заключавшееся въ томъ, что еврейскій божничій надзоръ вдругъ съ своей стороны нашелъ нужнымъ закрыть тоже и еврейскую синагогу на Налевахъ, которой однако никто и ничто не угрожало и не «оскверняло». Власть обратилась къ Бялобржескому съ требованіемъ объ отмѣнѣ столь невѣроятнаго распоряженія капитула. Руководимый же и наставляемый столь премудрыми мужами, прелатъ съ рѣзкостью отозвался, что исполнитъ это въ такомъ только случаѣ, если солдатамъ и полиціи будетъ окончательно воспрещенъ входъ въ костелы, и всѣ арестованные какъ во храмахъ, такъ и на улицахъ, немедленно освобождены, ибо арестъ ихъ, какъ лицъ принадлежащихъ римско-католической церкви, нарушаетъ ея священныя права. Вслѣдъ затѣмъ, по обыкновенію, потянулись бесплод-

ные и длинные переговоры, а между тѣмъ по городу и въ обществѣ какъ русскомъ, такъ и польскомъ пошли темныя слухи о какой-то американской дуэли между намѣстникомъ Царства и генераломъ Герштенцвейгомъ, и будто бы послѣдній, въ силу вынутаго жребія, долженъ былъ застрѣлиться... Толковъ и сплетенъ ходило много, одна другой нелѣпѣе, одна другой причудливѣе и таинственнѣе. Среди безплодныхъ переговоровъ съ администраторомъ архіепархіи и варшавскимъ капитуломъ высшій представитель законной власти, графъ Ламбертъ, заболѣлъ и выѣхалъ за границу; на мѣсто его былъ назначенъ генераль-адъютантъ Лидерсъ, а до его прибытія въ управленіе Царствомъ вступилъ вторично военный министръ Сухозанетъ. Вообще съ 18-го (30-го) мая 1861 года, то-есть со дня смерти весьма престарѣлаго и благодушнаго намѣстника, князя Горчакова, и до прибытія генерала Лидерса, въ теченіе какихъ-нибудь пяти мѣсяцевъ, смѣнилось четыре временныхъ представителя намѣстничьей власти. Генералъ Лидерсъ былъ пятымъ. Въ этихъ частыхъ перемѣнахъ представителей высшаго правительства; въ этихъ рѣзкихъ, крутыхъ переходахъ отъ благодушія къ стрѣльнямъ, отъ бездѣйствія къ ублаженіямъ и жалобамъ, отъ увѣщаній къ новымъ стрѣльнямъ и опять къ благодушію, къ выжиданію, къ воздержанію, къ либеральнымъ мѣропріятіямъ, къ угрозамъ и страханіямъ къ новымъ сѣтованіямъ и укорамъ и наконецъ къ невнушающему достожднаго страха военному положенію,—во всемъ этомъ поляки, самодовольно покручивая усь, да ухарски заломивъ на-бекрень «рогатывку» и вызывательно посяматривая на «зайца-москаля», видѣли одни лишь колебанія, сконфуженность, неумѣлость, робость и отсутствіе всякой системы у русскаго правительства и уже нетерпѣливо высчитывали мѣсяцы и дни, когда они окончательно, вооруженной рукой должны будутъ побѣдоносно «выпѣндзиць¹⁾ пана заенца-москаля²⁾ изъ предѣловъ земли польской за Двину, за Днѣпръ и даже за Волгу—въ Туранскія степи.

Одинъ только человѣкъ держался доселѣ, казалось бы, и прочно и крѣпко, и этотъ одинъ былъ графъ Віелепольскій, маркизъ Гонзаго-Мышковскій, сначала весьма непопулярный, но потомъ мало-по-малу, вслѣдствіе своего постоянного антагонизма представителямъ военнаго элемента, сдѣлавшійся достолубезнымъ для добрыхъ бѣлыхъ патріотовъ своей партіи. Но и этотъ одинъ наконецъ повихнулся; правда, весьма не надолго, но повихнулся.

Въ концѣ октября прибылъ въ Варшаву генералъ Лидерсъ, а въ началѣ ноября графъ Віелепольскій былъ вытребованъ въ Петер-

¹⁾ Выгнать.

²⁾ Зайца

бургъ и вслѣдъ затѣмъ всемілостивѣйше уво-
ленъ отъ должности главнаго директора (то-
есть министра) духовныхъ дѣлъ и народнаго
просвѣщенія. Произошло это по настояніямъ
генерала Сухозанета о необходимости удалить
его изъ Царства Польскаго. Впрочемъ, партія
его не унывала и твердо вѣрила въ его ско-
рое возвращеніе въ величіи и сіяніи новой
славы и могущества. Одни только красные
продолжали ненавидѣть какъ орудіе русскихъ
цѣлей и не понимать этого тонкаго, новѣйшаго
Конрада Валенрода земли польской.

Таково-то было положеніе дѣлъ въ Варшавѣ
въ то время, когда юный герой нашъ, надрес-
сированный графиней Маржецкой, и послѣ сво-
его путешествія по Литвѣ, и послѣ гроднен-
скихъ разочарованій, на всѣхъ парахъ летѣлъ
въ этотъ мудреный городъ.

II.

Въ первыя минуты по прїѣздѣ.

Поѣздъ тихо подошелъ къ громадному де-
баркадеру Варшавской станціи. Множество
жидковъ, факторовъ, коммиссіонеровъ отъ раз-
ныхъ отелей, съ бляхами на шапкахъ, друж-
карей ¹⁾ въ гороховыхъ ливреяхъ съ пелери-
нами, толклись въ большой залѣ, гдѣ выдаютъ
билеты и багажъ.

— Отель Эуропейски, — прошенъ пана! —
приподнимая фуражку съ бляхою, выразитель-
но проговорилъ коммиссіонеръ почти надъ са-
мымъ ухомъ Хвалынцева. — Панъ мѣ багажъ
прини собѣ? ²⁾

Константинъ, проученный уже гродненскимъ
днемъ, рѣшилъ изображать собою иностранца,
хотя бы на первыя минуты, пока не осѣдятся
въ какой-нибудь гостиницѣ; поэтому онъ мол-
ча вынулъ багажный билетъ и передалъ его
коммиссіонеру, который очень предупредитель-
но проводилъ новаго своего кліента къ эки-
пажу. Дружкарь шелкнулъ бичомъ, и пара
длинноухихъ, длинношеихъ польскихъ коней
тронувшись бойкою рысью. Прага не показалась
особенно привлекательною Хвалынцеву: сна-
чала—длинные, желтые заборы, длинные ба-
раки, а далѣе разнокалиберные бѣлые домиш-
ки; жиды, жиденята, бабы съ повязками на
головахъ, бублики, яблоки, солдаты, дозорца
полицейскій на углу, пригородные обыватели
и опять жиды да жидовки, а на вывѣскахъ:
«пиво марцовѣ», «пиво овсяне», «закладъ ви-
на», «фляки господарске», «Дыстрыбуція». Но
вотъ мѣстность расширилась, рѣка мельк-
нула въ глазахъ, за рѣкою что-то красивое,
оригинальное...

Висла катить свои мутно-желтыя воды межъ
песчаныхъ отмелей... нѣсколько «берлинокъ»
видяются на ней у пристани...

А по ту сторону рѣки, дѣйствительно, пре-
лестъ что за картина!.. Вдали направо вид-
нѣются желтыя и красно-кирпичныя стѣны
цитадели, валы, эспланада, силуэты пирами-
дальныхъ тополей. Вдали налѣво, по сю сто-
рону неотчетливо вырисовываются въ мягкомъ
туманѣ округлыми, крупными лиловатыми очер-
ками купы деревъ и райны «Сасской Кэмпы»,
а по ту сторону рѣки, еще лѣвѣе и совсѣмъ
уже вдали — еще болѣе смутными, мягкими
абрисами выступаютъ сады и паркъ Лазенков-
скій. Прямо предъ глазами—сѣздъ и опять-
таки тополи, кучи острыхъ, черепичныхъ кро-
вель, разнокалиберныя, тамъ и сямъ разбро-
санныя башенки. Правѣ сѣзда выступаютъ
темнокоричневыя стѣны королевскаго замка
съ его террасами и пристройками, съ его дву-
мя башнями и причудливыми куполами, съ
прихотливыми шпицами: лѣвѣе отъ сѣзда
видна, какъ-то плотно осѣвная, темно-сѣрая
масса Бернардинскаго костела и его четырех-
угольная, простая, но тоже плотная башня.
За королевскимъ замкомъ выдается такъ-на-
зываемая «Гноёва гура», по которой словно
бы каскадами прядаютъ внизъ хвостообразныя,
длинные свѣсившіеся прутья какихъ-то гу-
стыхъ кустарниковъ, надъ коими амфитеатромъ
возвышаются узенькіе, высокіе, многоэтаж-
ные каменные домики, въ одно, два, или-много
въ три окошечка по фасаду. Эти домики—
очень древней постройки—пестрятъ разны-
ми цвѣтами: желтымъ, голубымъ, грязно-ро-
зовымъ, бѣлымъ, сѣрымъ, а надъ ними легко и
какъ будто прозрачно стремятся вверхъ, въ не-
беса, невысокая, но очень изящная, прихотливо
прорѣзанная колоколенка и готическія колонки
со статуей Христа надъ самымъ верхнимъ
фронтономъ фары. Еще далѣе за «Гноёвой гу-
рой», надъ кучами черепичныхъ кровель, уже
сквозь легкій туманъ, прорѣзываются въ воз-
духъ купола Сакраментокъ на Фретѣ, башенки
и шпицы реформатовъ, францишкановъ и вы-
сокая, четырехугольная, самаго простаго роман-
скаго стиля, башня «Панны Маріи». А кинуть
взглядъ налѣво, за темносѣрыхъ бернардыновъ,
подъ которыми внизу лѣнятся домишки «Маріен-
штадта» и Броварной улицы — тамъ, вдалекѣ,
надъ каменными массами домовъ «Новаго Свя-
та», стройно уходятъ въ небо два темные шпи-
ля съ пѣтухами надъ знаменитымъ Свентымъ
Кржижемъ... Хвалынцевъ, сѣзжая къ мосту,
невольнo залюбовался на эту широко-раски-
нувшуюся за рѣкой картину. Въ ней было
для него много чего-то новаго, невиданнаго
еще доселѣ, много своеобразнаго, совсѣмъ не
похожаго на *наше*, русское. Какою-то но-
вою, неизвѣданною еще жизнью пахнуло на
него отъ этихъ стѣнъ и башенокъ, къ кото-
рымъ, онъ теперь приближался съ такимъ
любопытствомъ, съ такимъ ожиданіемъ чего-
то...

¹⁾ Извозчиковъ.

²⁾ Съ собою.

Вотъ переѣхалъ онъ черезъ мостъ; вотъ, хлопывая бичомъ, дружка поднялась въ гору мимо замка и бернардынувъ — вотъ площадь Зигмунда, обставленная древними домами, и на ней колонна съ фонтанами и съ изображеніемъ короля Сигизмунда-Августа, нанесшаго ударъ своею саблею. Свернули налѣво въ знаменитое «Краковске пршедмѣсце»: *) налѣво гауптвахта, пріютившаяся подъ тѣнью четырехъ красивыхъ каштановъ, а впереди, прямо предъ глазами, каменное изваяніе Богородицы, на пьедесталѣ которой подвѣшены шкалики, фонарики, лампадки, зажигающіяся по вечерамъ, а на ступеняхъ повержены вѣнки, букеты, нѣсколько колѣнопреклоненныхъ фигуръ мелькнуло въ глаза предъ этою статуей — больше все женщины, въ черномъ... Вотъ улица съузилась до такой степени, что два экипажа съ трудомъ могутъ развѣхаться. «Славное мѣстечко для устройства баррикады», подумалъ съ улыбкою Хвалынцевъ. По обѣимъ сторонамъ этого узенькаго пространства высятся каменные, многоэтажные старые дома, большею частію съ зелеными ставенками во всѣхъ этажахъ; на тротуарахъ снуютъ народъ, черныя женскія тѣни, конфедератки... говоръ, гомонъ и шумъ городской жизни... много движенія и вѣзды... Въ окнахъ безчисленныхъ магазиновъ мелькаютъ разные товары и бездѣлушки, фрукты и бутылки, фотографія, ружья, бронзы, перчатки, матеріи, шляпки, табакъ, конфеты и пр. Яркія выписки бьютъ въ глаза своими французскими и польскими надписями. Все это мелькаетъ предъ глазами такъ быстро, что Хвалынцевъ, напрягая все любопытное вниманіе, могъ только схватывать общее мимолетное впечатлѣніе.

Но вотъ и знаменитый «Оталь Эуропейски». Толстый швейцаръ съ нахально-шляхетскою, т.-е. польски-приличною фizioноміею встрѣтилъ Хвалынцева въ дверяхъ, причемъ быстро оглядѣлъ его съ ногъ до головы и, вѣроятно рѣшивъ про-себя, что птица, молъ, должно быть неважная, не удостоилъ его никакими знаками своего шляхетно-швейцарскаго вниманія. Помощникъ этого пана-швейцара повелъ Константина по довольно широкой каменной лѣстницѣ наверхъ, въ четвертый этажъ, предполагая по виду новоприбывшаго постояльца, что ему требуется одинъ изъ самыхъ дешевыхъ номеровъ — и въ этомъ отношеніи онъ ни мало ни разошелся съ Хвалынцевымъ, предугадавъ его желаніе занять комнату попроще и подешевле. Впрочемъ комната, хотя и маленькая, хотя и подъ небесами, однакожь оказалась довольно приличною. Хвалынцевъ, рѣшившійся изображать собою иностранца, обратился къ человѣку по-нѣмецки — и вслѣдствіе этого къ нему былъ тотчасъ же доставленъ нѣмецъ-лакей, очень предупредительно исполнявшій его приказанія. Но роль

иностранца продолжалась недолго: помощникъ швейцара спросилъ для прописки его видъ — и національность новаго постояльца была немедленно открыта. Впрочемъ, это обстоятельство, хотя и поселило точтась же нѣкоторую сухость, холодность и сдержанность въ отношеніи къ нему лакея, за минуту еще столь предупредительнаго; однако же ни мало не нарушило его вѣжливости и исполнительности. Видно было, что прислуга здѣсь, несмотря на разлитую въ самомъ воздухѣ патріотическую ненависть къ москалямъ, была выдрессирована изрядно. «И за то спасибо!» смиренно подумалъ себѣ Хвалынцевъ, достаточно уже проученный городомъ Гродной и его лакейско-патріотическими прелестями.

III.

За ужиномъ въ Помпейской залѣ.

Вечеромъ, сойдя въ столовую, въ ту самую знаменитую столовую въ помпейскомъ вкусѣ, гдѣ послѣ похоронъ Фіалковского паны угощали хлоповъ — Константинъ спросилъ себѣ закусь. Зала была ярко освѣщена газомъ. Группы партикулярныхъ мужчинъ и нѣсколько скромныхъ траурныхъ женщинъ сидѣли за разными отдѣльными столиками и за большимъ табль-д'отнымъ столомъ, къ которому прісѣлъ и Хвалынцевъ. Въ залѣ было довольно говорно, но вдругъ послышался легкій лязгъ сабель, возвѣстившій приходъ въ столовую трехъ-четырехъ офицеровъ. При видѣ ихъ въ одинъ мигъ все смолкло — и одни только враждебные, вызывающіе и нахальные взгляды со всѣхъ сторонъ впивались въ русскіе мундиры, которые однако весьма скромно заняли себѣ мѣста за большимъ столомъ, почти рядомъ съ Хвалынцевымъ, и къ прислугѣ адресовались не иначе какъ по-польски. Прошло не болѣе какой-нибудь минуты, въ теченіе которой партикулярная публика, сидѣвшая за тѣмъ же столомъ, оставалась въ какомъ-то безмолвномъ недоумѣніи или замѣшательствѣ, какъ вдругъ вся она почти разомъ поднялась и, забравъ свои приборы и бутылки, переселилась — кто куда — на другіе боковые столики, при чемъ люди совершенно незнакомые весьма радушно дѣлились тамъ своими мѣстами. Въ одну минуту большой столъ опустѣлъ, словно бы за нимъ помѣстилась чумная зараза. Остались одни офицеры да Хвалынцевъ. — «Однако, нечего сказать, милое положеніе!» подумалъ себѣ послѣдній. Офицеры, быть можетъ, по неволѣ дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ этой демонстраціи, и старались держать себя какъ можно скромнѣе, хотя между собою и говорили по-русски. Партикулярная публика впрочемъ ограничилась оставленіемъ большого стола да враждебно вызывающими взглядами, и болѣе ничего не предпринимала противъ русскихъ мундировъ.

*) Краковское предмѣстье.

Пришло еще нѣсколько офицеровъ и, видя мундиры, заняли мѣста за тѣмъ же столомъ.

Очевидно, военные, чувствуя всю тягость, всю отчужденность своего общественнаго положенія среди поляковъ, невольно и почти инстинктивно жались въ общую кучу, ближе другъ къ другу, ближе къ собрату по полетамъ. Почти сейчасъ же вслѣдъ за появленіемъ послѣдней офицерской компаніи, какая-то темная, глубоко-траурная фигура молодой и очень красивой женщины съ очень блѣднымъ лицомъ и фосфорически свѣтящимся взглядомъ большихъ глазъ отдѣлилась отъ одного стола и медленно проходя по залу мимо столиковъ, занятыхъ партикулярными группами, у каждаго мимоходомъ шептала что-то—и партикулярныя группы одна за другой слѣпили добавить свои куски, допивать стаканы, расплачиваться съ прислугой и удалялись изъ залы, такъ что спустя какихъ-нибудь семь-восемь минутъ столовая совсѣмъ почти опустѣла. Оставалась одна только офицерская группа за главнымъ столомъ.

— Скажите пожалуйста, что все это значить? — спросилъ одинъ изъ офицеровъ въ адъютантскомъ сюртукѣ, очевидно, человекъ новоприбывшій, свѣжій и потому совсѣмъ незнакомый съ обстоятельствами и условіями мѣстной современной жизни. — Для чего всѣ эти господа, во-первыхъ, повскакали изъ-за нашего стола, а потомъ всѣ поудирали отсюда?

— Это значитъ, — пояснилъ ему товарищъ, — что они не желаютъ дышать воздухомъ, зараженнымъ присутствіемъ москалей.

— Ну что за вздоръ, мой милый!

— Ничуть не вздоръ, а сущая правда. Загляните въ любую цукерню: чуть покажется русскій мундиръ — ему сейчасъ непріятный скандалъ устроить. Мы потому уже и не ходимъ по одиночкѣ, а всегда компаніей! Ну, а придешь компаніей, они сейчасъ либо со стола долой, либо и совсѣмъ вонъ изъ комнаты.

— Но вѣдь это же невыносимо, такое положение! — пожалъ адъютантъ плечами.

— Ничего; насъ приучаютъ къ кротости и терпѣнію! — улыбнулся одинъ изъ офицеровъ. — Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ было не въ примѣръ хуже, да и то—ведѣно было терпѣть—и терпѣли! А теперь-то что! — теперь еще сносно!

— Но вѣдь это уже, господа, оскорбленіе не лицамъ (потому-что они насъ не знаютъ), а явное оскорбленіе мундиру.

— Э, помилуйте! — горько усмѣхнулся собеседникъ. — Что ужъ тутъ говорить объ оскорбленіяхъ мундиру, если мы сносили оскорбленія знаменамъ!

— Какъ знаменамъ?!.. Что вы говорите! — воскликнулъ адъютантъ, сдѣлавъ большіе, удивленные глаза.

— Да такъ-съ, очень просто: бывало, проходить со знаменемъ караулъ къ намѣстнику

въ замокъ, а съ тротуаровъ разные лобусы да панки мѣвыряютъ въ знамя и камнями, и грязью! А идетъ караулъ вотъ этимъ узкимъ мѣстомъ Краковского предмѣстья, такъ на него, бывало, съ верхнихъ этажей льютъ изъ горшковъ всякую мерзость!

— Да! — подтвердилъ одинъ изъ офицеровъ. — Грустно, а правда!.. Или вотъ тоже, — продолжалъ онъ, — выходитъ, на примѣръ, отъ бернардиновъ духовная процессія, а гауптвахта тутъ же, какъ знаете, подъ каштанами. Ну, сейчасъ «караулъ вонъ!» воинскую почесть отдавать процессіи. Такъ что-жъ вы думаете! Каждый «добры обывацель», каждая пани и панна священнымъ долгомъ своимъ считаетъ, проходя мимо часового и мимо взвода, плюнуть имъ въ лицо, такъ что, бывало, пока проходить процессія—фронтъ стоитъ весь заплаканный и держитъ на «караулъ!»

— Какъ! И офицеры это дозволяли?

— А что-жъ бы они сдѣлали, позвольте васъ спросить?

— Да я не знаю что бы тутъ сдѣлалъ, но не стоять же и не терпѣть!

— Уставъ о гарнизонной службѣ предписываетъ отдавать воинскую почесть духовнымъ процессіямъ.

— Да за такое оскорбленіе какъ это, или какъ швырянье грязью въ знамя... я бы, кажется... въ штыки бы принялъ того, кто осмѣлился бы сдѣлать это, и, по совѣсти, считалъ бы себя совершенно правымъ!

— Въ штыки-съ? — усмѣхнулся офицеръ. — А вотъ вамъ маленькій примѣръ, въ отвѣтъ на это. Какъ оно вамъ понравится? Проходить однажды по Краковскому предмѣстью одинъ офицеръ; вдругъ на встрѣчу ему выходятъ изъ цукерни трое пановъ въ чамаркахъ и конфедераткахъ, съ толстыми дубинами въ рукахъ, стали у дверей, избоченились и усы покручиваютъ... Тотъ, не обращая на нихъ ни малѣйшаго вниманія, проходитъ себѣ мимо, какъ вдругъ одинъ изъ пановъ, ни съ того ни съ сего, развернулся да и трахъ его въ физиономію!.. Тотъ ошалѣлъ и по-первому, весьма понятному, движенію, выхватилъ саблю и полоснулъ ею пана по башкѣ. Ну, сейчасъ гвалтъ: «Ратуйце, панове! Здрайца! Москале биен!»¹⁾ Набѣжала въ минуту толпа, офицера сшибли съ ногъ, избили чуть ли не до полу-смерти, да благо наскочили польскіе полиціанты: отняли! Ну, и чѣмъ же кончилось: офицеръ былъ преданъ суду за обнаженіе оружія противъ мирныхъ гражданъ и угонялъ туда, куда Макаръ телятъ гоняетъ! Потому-то мы и не ходимъ уже въ одиночку...

— И это вы все, господа, выносили! — съ горькой укоризной, въ раздумьи покачалъ адъютантъ головою.

¹⁾ Вьютъ.

— Выносили-съ!.. Помилуйте: вступиться за себя, за мундиръ, за знамя,—а что Европа, а что «Колоколъ», что «либеральная пресса» скажетъ!.. Варварами, татарами назовутъ!.. Какъ можно! Мы этого такъ боимся! Я вамъ говорю: къ долготерпѣнью, кротости и смиренію приучаютъ!.. Но серьезно говоря,—продолжалъ офицеръ,—вы знаете ли, здѣсь было одно время, что мы не на шутку опасались, какъ бы вмѣсто польскаго возстанія да не разыгралось бы вдругъ возстаніе русскихъ солдатъ противъ здѣшнихъ властей за допущеніе всѣхъ этихъ безнаказанныхъ оскорбленій! Солдатики уже сильно-таки и грозно ронтали и злобились, такъ что продолжись еще немного эта система смиренія,—Богъ-вѣсть, что бы могло въ нашихъ полкахъ разыграться и чѣмъ бы кончилось, да хорошо, что во-время хоть чуточку спохватились!

При Хвалынцевѣ незнакомые офицеры говорили не стѣняясь, такъ какъ по опыту уже оставались увѣрены, что онъ или русскій, предъ которымъ, значитъ, нечего скрываться, какъ предъ своимъ, или же иностранецъ, и стало-быть не понимаетъ по-русски; но ужъ ни въ какомъ случаѣ не полякъ, потому что полякъ, кто бы онъ ни былъ, ни за что не осмѣлился бы остаться за однимъ столомъ съ офицерами, коль скоро всѣ другіе оставили самую залу.

— А между тѣмъ вы знаете ли, господа,—замѣтилъ адъютантъ,—какое общее и громадное сочувствіе къ этому «польскому дѣлу» тамъ у насъ, въ Россіи! Я вамъ могу поручиться за двѣ трети гвардейскихъ офицеровъ, которые во всѣхъ салонахъ открыто говорятъ, что въ случаѣ польскаго возстанія, они ни за что не пойдутъ драться противъ поляковъ.

При этомъ сообщеніи большинство офицеровъ нахмурилось съ видомъ неудовольствія.

— Ну, мы на этотъ счетъ думаемъ нѣсколько иначе,—замѣтилъ капитанъ, рассказывавшій про скандалы со знаменемъ.—Мы, во-первыхъ, видите ли, глубокая армія, и потому полагаемъ, что смотрѣть на польское дѣло петербургскимъ образомъ можетъ только какой-нибудь моншеръ съ Невскаго проспекта; а пустить бы этого моншера сюда, въ Варшаву, въ нашу среду, такъ небойсь, чрезъ недѣлю другое бы запѣлъ, голубчикъ, какъ пришлось бы на собственной шкурѣ примѣрить, что такое эти вацпаны!

«Опять! опять и здѣсь вотъ наши русскіе люди повторяютъ тоже самое!» подумалъ Хвалынцевъ, вспомя при этомъ подобныя же мысли и замѣчанія доктора Холодца. «И это слышишь съ перваго шага! съ первой встрѣчи!.. Неужели же всѣ мы тамъ, въ Петербургѣ и въ Россіи, такъ жестоко заблуждаемся?!..»

— Но развѣ и у насъ нѣту подобныхъ?—замѣтилъ капитану одинъ изъ его однополчанъ-товарищей.

— У насъ-то?.. Хм!.. То-есть, найдется, пожалуй въ каждомъ полку два-три дурачка, сбитыхъ съ толку Искандеромъ, да нѣсколько полячковъ, которые всѣ смотрятъ на утѣкъ, но ужъ это вѣдь «своя отъ своихъ», такъ что оно и не удивительно.

— Какъ! а такой-то и такой-то, и вотъ такіе-то? (офицеръ назвалъ нѣсколько чисто-русскихъ фамилій).

— Такъ развѣ это наши?—огрызнулся на него капитанъ.—Вѣдь это же все это «моментъ», ¹⁾ другъ мой! Да и то не всѣ, а только развѣ тѣ, что приѣзжаютъ сюда прямо изъ Петербурга да и хвастаются, что я, молъ, все время въ кружкѣ «Современника» находился, и самъ Чернышевскій мнѣ руку трясъ!—Эко счастье какое!.. Такъ вѣдь «моментъ» развѣ это человѣкъ? Онъ только и умѣетъ какъ заведенная машинка—трррррррр... на каждую заданную тему. Да и то мы еще посмотримъ, какую пѣсенку запоютъ всѣ эти господа генеральные либералы, какъ дѣло-то до ихъ собственной шкуры коснется!.. А я, по крайней мѣрѣ, такъ полагаю, что все это у нихъ одна модная болтовня пустая и больше ничего, а чуть до настоящаго дѣла дойдетъ, повѣрьте мнѣ, другое выйдетъ!—заключилъ капитанъ, допивая свою бутылку пива.

— Но тутъ вотъ вѣдь еще въ чемъ роковая-то штука!—ввернулъ свое слово другой офицеръ.—Главный вопросъ вовсе не въ томъ, пойдутъ ли противъ поляковъ *всѣ* офицеры безъ исключенія, или не пойдутъ; вся сила въ томъ, что *солдаты* пойдутъ поголовно и съ величайшей, съ адской охотой, потому что они оскорблены и озлоблены уже до нѣльзя, и горе тому офицеру, который не пойдетъ или въ рѣшительную минуту не поведетъ своихъ солдатъ въ дѣло! Ужъ и теперь тѣхъ изъ нашихъ, которые проповѣдуютъ деликатность и смиреніе, солдатики промежъ себя обзываютъ измѣнниками.

— Это плохо рекомендуетъ вашу дисциплину, господа,—замѣтилъ адъютантъ.

— Что-съ? Нѣтъ-съ, извините!—горячо вступились нѣсколько офицеровъ.—Дисциплина-то у насъ значитъ въ порядкѣ, если мы, несмотря на весь градъ невыносимыхъ оскорбленій, и чисто-военныхъ, и человѣческихъ, сумѣли однако до сихъ поръ сдерживать солдатъ отъ взрыва!

— Ну, какая-же тутъ однако измѣна!—какъ о явной нелѣпости отнесся адъютантъ.

— Да для насъ-то съ вами,—возразилъ ему,—оно дѣло совсѣмъ ясное, что тутъ просто поли-

¹⁾ «Моментами» въ арміи принято называть тѣхъ изъ офицеровъ генеральнаго штаба, говоруновъ, которые, практически не смысли военнаго дѣла, разражаются при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ краснорѣчиво-туманными теоріями о немъ, и кичатся своимъ «ученымъ» званіемъ предъ простыми смертными — фронтовыми офицерами.

тическая неумѣлость, конфузъ какой то, а солдаты политическихъ тонкостей не понимаетъ, а то что для насъ съ вами конфузъ и неумѣлость, то для него «измѣна». Вѣдь солдаты когда-то и Барклая, и Дибича измѣнниками называли, а это во всякомъ случаѣ плохо!

Хвалынцеву было крайне интересно и поучительно слушать всѣ эти разговоры; но давно уже окончивъ свою закуску и не находя болѣе никакихъ удобныхъ предлоговъ оставаться безъ всякой надобности въ столовой, онъ счелъ дальнѣйшее свое присутствіе среди посторонней компаніи не совсѣмъ-то ловкимъ и потому удалился въ свой номеръ.

«Фу, ты, Господи!» съ тяжелымъ и полнымъ вздохомъ сказалъ онъ самому себѣ, оставшись одинъ въ своей комнатѣ. — «Скоро-ли все это со мною кончится?.. Ужъ хоть-бы приткнуться поскорѣй къ какой-нибудь сторонѣ, къ какому-нибудь дѣлу, хоть къ службѣ, что-ли, лишь бы только съ плечъ долой весь этотъ грузъ фальши и сомнѣній!»

IV.

Нечаянные гости.

На утро, едва онъ всталъ съ постели, едва успѣлъ нѣсколько сдѣлать свой туалетъ и приказать челоуѣку подать себѣ чаю, какъ въ дверь его номера осторожно постучались.

— Entrez! — крикнулъ Хвалынцевъ.

Дверь растворилась, и въ комнату вошли двое совершенно незнакомыхъ господъ. И тотъ, и другой были одѣты вполне прилично. Константинъ успѣлъ мелькомъ замѣтить, что за дверью въ корридоръ остался еще третій, какъ будто на-сторожѣ. Одинъ изъ вошедшихъ остановился у порога, а другой, вынимая изъ кармана записную книжку, подошелъ къ Хвалынцеву и отчетливымъ голосомъ произнесъ по-русски, но съ сильнымъ польскимъ акцентомъ.

— № 97-й, дворянинъ Хвалынцовъ. Двадцать-пять рублей.

— Что вамъ угодно, господа? — обратился къ нимъ Константинъ, сильно изумленный этимъ страннымъ и неожиданнымъ визитомъ.

— № 97-й, дворянинъ Хвалынцовъ. Двадцать-пять рублей! — ностойчиво, но вѣжливо и притомъ какимъ-то официальнымъ тономъ повторилъ господинъ съ записной книжкой.

— Какіе двадцать-пять рублей?.. Кому? За чѣмъ и за что?.. Я не понимаю!.. Объяснитесь пожалуйста! — нахмурился Константинъ Семеновичъ, кидая недоумѣлые взгляды на того и на другого посѣтителя, и вдругъ въ эту самую минуту замѣтилъ, что господинъ, стоявшій у двери, быстро вынулъ изъ бокового кармана маленькій револьверъ и, какъ-бы приготовляясь къ выстрѣлу, наложилъ большой

палецъ правой руки на курокъ, а указательный на собачку.

— Я не понимаю, чего вы отъ меня хотите? — нѣсколько смѣшавшись отъ таковой неожиданности, проговорилъ Хвалынцевъ.

— Двадцать-пять рублей народныхъ податкувъ, — очень вѣжливо пояснилъ ему господинъ съ записной книжкой! — Потрудитесь, пожалуйста, заплатитъ поскорѣйшнѣ, бо намъ некогда.

Хвалынцевъ пожалъ плечами и видя, что съ такими милыми гостями ничего не подѣлаешь, пошелъ въ бумажникъ доставать деньги.

— Благодарю вамъ! — проговорилъ господинъ, принимая двадцати-пяти-рублевую бумажку и пряча ее въ карманъ вмѣстѣ съ записной книжкой. — Теперь позвольте вамъ выдать квитанцію въ полученію.

И онъ изъ какой-то тетрадоочки вырвалъ одинъ листочекъ, на которомъ было что-то написано, стояла синяя печать и значилась чья-то подпись, и очень любезно подаль ее Хвалынцеву.

— Теперь вы можете жить совершенно спокойно въ вашемъ номеру: васъ болѣй никто не потревожитъ, а ежели и придутъ за податками, то покажите имъ только эту карточку. Прощайте!

И оба таинственные гостя очень вѣжливо откланялись и удалились изъ номера.

Хвалынцеву стало ужасно досадно и за свое нѣсколько трусливое поведеніе — «Вѣдь не посмѣлъ-же бы выстрѣлить, чортъ возьми!» — и за эту вѣжливо-нахальную безцеремонность, и даже за двадцать-пять рублей, брошенныхъ чортъ знаетъ кому и чортъ знаетъ на что! «Сборщики... а можетъ быть вовсе и не сборщики, а какіе-нибудь мазурики!» Но... досаду, не досаду, а ужъ ничего не подѣлаешь: видно, это здѣсь въ порядкѣ вещей, если Богъ-вѣсть что за люди средь бѣла дня могутъ свободно входить въ номера многолюдной и лучшей гостиницы и нагло требовать съ заряженнымъ револьверомъ какихъ-то «податковъ народныхъ».

Однако, на всякій случай, онъ спряталъ въ свой бумажникъ полученную квитанцію, и сдѣлалъ это собственно для опыта, что, молъ, изъ этого выйдетъ, въ случаѣ новаго появленія какихъ-либо сборщиковъ? Затѣмъ, одѣвшись и не дождавшись чаю, онъ спустился на улицу и зашелъ въ находящуюся въ томъ-же домѣ извѣстную кондитерскую Конти, съ цѣлью выпить стаканъ кофе. Расписной плафонъ, колонны подъ яшму и мраморъ, фрески по стѣнамъ, статуи въ нишахъ, мозаичный полъ, мраморные столы, прекрасная, мягкая, бархатная мебель и значительное число партикулярныхъ посѣтителей, между которыми были цѣлыя семейства съ траурными дамами и дѣтьми, являющіяся сюда пить свою утреннюю «каву» — вотъ каковою представилась Ха-

лынцева эта известная въ Варшавѣ «цукер-
ня». Большинство мужчинъ и даже нѣкоторые
женщины сидѣли совсѣмъ углубясь въ чтеніе
политическихъ газетъ—и это составляло здѣсь
(какъ и во всѣхъ, впрочемъ, варшавскихъ цу-
керняхъ того времени) явленіе довольно ха-
рактеристическое: все это траурное, волну-
ющееся, непосѣдливое населеніе жаждало поли-
тическихъ новостей и жадно накидывалось на
газеты. Значительные взгляды, таинственное
перешептыванье, шушуканье, тихіе, вѣчно-
серьезные разговоры, подозрительное поглядыва-
ванье на незнакомыхъ лицъ, глубокой трауръ
и эти женскія блѣдныя лица съ горящими,
блуждающими, злыми, или задумчивыми, или
же тревожно-фанатическими глазами—все это
такъ и пахло какимъ-то заговоромъ, чѣмъ-то
зловѣщимъ, роковымъ и враждебнымъ, что, ка-
залось, было разлито въ самомъ воздухѣ, какъ
то удушливое электричество, которое является
предвѣстникомъ страшной грозы... Хвалынцеву
поневоѣ стало какъ-то жутко одному одинач-
еньку, русскому и чужому, среди всѣхъ этихъ
враждебныхъ, страдающихъ и ненавидящихъ
лицъ. Онъ, подъ вліяніемъ этого тягостнаго
впечатлѣнія, поспѣшилъ допить свою «шлян-
ку» и, по своему обыкновенію, пошелъ безъ
цѣли бродить по незнакомому, чужому городу,
или, такъ-сказать, «знакомиться» съ нимъ.

V.

Впечатлѣніе Варшавы.

Онъ шелъ по Краковскому предмѣстью, въ
направленіи къ площади Зигмунда, къ той
исторически-знаменитой площади, которая бы-
ла ареной большей части варшавскихъ рево-
люціонныхъ демонстрацій. День былъ сухой и
яркій съ чуть замѣтнымъ морозцемъ, и потому
Краковское предмѣстье кишѣло народомъ и
было въ глаза своимъ траурнымъ цвѣтомъ;
все та же черная жалоба на изящныхъ по-
своему варшавянкахъ, черныя чамарки, пока-
зававшіяся на улицахъ, несмотря на пра-
вительственное запрещеніе, и все то же вы-
раженіе лицъ, которое за минуту назадъ, равно
какъ и вчера вечеромъ, поражало Константина
въ кондитерской и за табль-д'отомъ. Въ окнахъ
магазиновъ виднѣлись роскошно драпирован-
ные уборы, наряды и матерія, но эти уборы
и эти матеріи были все исключительно чер-
наго цвѣта съ разными траурными оттѣнками.
Всевозможныя «багательки» ¹⁾ и украшенія,
въ родѣ серегъ, брошекъ, браслетовъ, бусъ,
цѣпочекъ, поясныхъ пряжекъ, все это было
точно такъ же темное, черное, траурное, съ
бѣлыми каемками и патристическими надпися-
ми; булавки и пряжки съ бѣлымъ польскимъ
орломъ, брошки съ вѣнкомъ терновымъ и сло-

маннымъ крестомъ, стальныя цѣпочки къ ча-
самъ, исключительно въ видѣ каторжныхъ цѣ-
пей съ ядромъ и мертвою головою. Въ эстамп-
ныхъ магазинахъ были выставлены портреты
разныхъ польскихъ знаменитостей: Мицкевича,
Костюшки, Каминскаго, Красицкаго, Сыро-
комли, Крашевскаго, Понятовскаго, Эмили
Плятеръ, раввина Йомелеса, который являлъ
собой современную патристическую известность,
и какого-то еврея въ гусарскомъ мундирѣ, по
прозванію, кажется, Берко, который отличался
своею храбростію и патристизмомъ въ возстаніи
30 года; тутъ же виднѣлась и типическая
фигура старика Гарибальди, и прекрасная ли-
тографія съ знаменитой картины Юзефа Зим-
млера «Смерть крулевы Барбары Радзивил-
лунны». Между фотографическими выставками
красовались разныя красивыя пани и панны,
то съ грустными и страдающими, то съ фа-
натически-вызывающими, гордыми лицами и
непрѣменно съ непричесанными, распущен-
ными волосами; рядомъ съ ними выставлялись
портреты разныхъ лихихъ пановъ и паничей
съ польскими усами, въ чамаркахъ и кунту-
шахъ, портреты и карточки все тѣхъ же
артистическихъ, литературныхъ и патристиче-
скихъ знаменитостей, между которыми осо-
бенно кидалась въ глаза курчавая голова въ
натуральную величину, съ крайне-нахальной,
самоувѣренной фizioноміей. Это былъ самъ
панъ Гишпанскій—знаменитый панъ Гиш-
панскій, сапожникъ съ Длугой улицы, отли-
чавшійся въ недавно уничтоженной «делегациі»
варшавскихъ обывателей, возникшей по сла-
бости мѣстной власти вслѣдъ за убіеніемъ «пяти
жертвъ». Карточки этого пана Гишпанскаго
съ сапожной колодкой въ рукахъ, торчали на
каждомъ почти шагу рядомъ съ карточками
балмачника Килинскаго, еще болѣе знамени-
таго въ известную подъ именемъ «Варшав-
ской заутрени» рѣзю 1794 года. На углахъ
улицъ нестрѣютъ разныя объявленія и афиши,
гласящія, что на театрѣ «Розмаятосьци» идетъ
комедія «Панъ Гельдхабъ» съ Жолкевскимъ въ
главной роли, а на «Велькемъ театру» ¹⁾ ба-
летъ «Моднярки» ²⁾ или «Орфеушъ въ пеклѣ» ³⁾
съ паннами: Дылевской, Олевинской, Квицин-
ской, съ панами Квятковскимъ, Тарновскимъ,
Попелемъ и Филиборномъ, и вѣчно здѣсь какая
нибудь праздная кучка стоитъ и читаетъ.
Такія же кучки глазѣютъ и въ окна магази-
новъ и лавченокъ. А вонъ въ окнѣ одного
чайнаго магазина какими-то судьбами приль-
нулся вдругъ «спѣвъ гисторичны о Болеславѣ
Хробрымъ». Зачѣмъ здѣсь этотъ патристическій
и «гисторичны спѣвъ» ⁴⁾ вмѣстѣ съ чаемъ?

¹⁾ Большомъ театрѣ.

²⁾ «Модистки».

³⁾ «Орфей въ аду».

⁴⁾ Историческая пѣснь.

¹⁾ Бездѣлушки.

про то ужь одинъ Богъ знаетъ: но это здѣсь тоже «въ порядкѣ вещей». Но вотъ Зигмундова площадь со своимъ наикатоличѣйшимъ крулемъ Зигмундомъ, съ верху своей колонны якобы посѣжающимъ «глувы невѣрныхъ—*ad maiorem Dei gloriam*», а тамъ вонъ и замокъ Зигмундовъ, опѣлненный мрачно и тихо расхаживающими часовыми съ заряженными ружьями. Сквозь ворота этого замка видѣются во дворѣ и мѣдныя орудія на зеленыхъ лафетахъ, со всѣмъ готовыя къ дѣйствію.

Вотъ, въ углу площади, словно узкій и темный корридоръ открывается Свято-Янская улица, одна изъ самыхъ древнихъ въ Варшавѣ. Грязь, вонь, кочни капусты, виноградъ, фрукты, груши-сапезанки, морковь, бабы и жидаы, повозки съ мусоромъ, повозки съ овощью, грязные, замурзанные жиденята, собаки, дыбулька, жидовки въ дверяхъ лавченокъ, наполненныхъ всякимъ хламомъ, съ подвѣшеннымъ надъ входомъ краснымъ зонтикомъ, который, замѣняя собою вывѣску, раскачивается по волѣ вѣтра; древніе, высокіе дома безъ воротъ, но съ одною лишь массивною, окованною въ желѣзо дверью, съ гербами, съ надписями на чугунныхъ доскахъ, съ разными изваяніями и аллегорическими изображеніями надъ каждымъ почти входомъ, и тутъ же великолѣпный фасадъ древняго кафедральнаго собора, или такъ называемой «фары»; но этого фасада не разглядишь, благодаря узости самой улицы, а за нимъ, почти сейчасъ же, черезъ нѣсколько домовъ, знаменитое «Старе място», небольшая четырехугольная и безобразно грязная площадка, сплошь обставленная древнѣйшими разноцвѣтными домами, узкими, высокими, съ черепичными острыми кровлями, съ балкончиками, фонариками, вышками, съ безчисленнымъ множествомъ зеленыхъ ставней, съ разными фигурками и изваяніями на крышахъ, а посреди этой площадки, на которой нѣкогда казнили Остапа Бульбу, Гонгу, Желѣзняка и многихъ иныхъ борцовъ за дѣло православія и вольной казачины, возвышается круглая цистерна, съ прекрасной бронзовой статуей, изображающей роскошную женщину съ рыбьимъ хвостомъ, которая, подставивъ щитъ, смѣло и широко замахнулась на кого-то въ воздухѣ польскою саблею. Это—муниципальный гербъ города Варшавы. «Сирена... прекрасная, поющая и разящая; какъ много въ этомъ поэтическаго смысла и политическаго, роковаго значенія», подумалось Хвалынцеву, глядя на это художественное изваяніе.

Но все это: «Старе място», Свято-Янская улица, фара, узкіе дома, барельефы, надписи, гербы, евреи, монахи, нищіе, торговки, пестрыя лавчонки и какая-то наивность грязной уличной, обыденной жизни, не скрывающей никакихъ своихъ отравленій,—все это вѣяло историческимъ прошлымъ, отзывалось средними вѣками и являло какую-то особую, своеобразную

и въ высшей степени характерную жизнь. Хвалынцевъ, между прочимъ, обратилъ нѣкоторое вниманіе и на оригинальныя старинныя вывѣски, которые красовались надъ входами въ разные кабачки, ядальни, дыстрыбуцій, мелочныя и хламныя лавчонки: на одной, напримѣръ, изображена звѣзда, на другой олень, на третьей всевидящее око и *страшанный* левъ, или крутогрудый лебедь, или же бѣлый орелъ, и сообразно этимъ изображеніямъ находятся надписи: «подъ гвиздонъ» «подъ эленемъ» «подъ свентымъ оземъ», «подъ левемъ» «подъ лабендземъ», «подъ бялымъ држлемъ»,—все это относилось по крайней мѣрѣ къ прошлому XVIII вѣку, да такъ съ тѣхъ поръ и осталось здѣсь нерушимо надъ дверьми тѣхъ же самыхъ кабачковъ и дыстрыбуцій, которые въ своихъ стѣнахъ выдывали еще пра-предковъ нынешнихъ варшавяковъ.

Бродя по кривымъ, извилистымъ и узкимъ улицамъ «старого города», Хвалынцевъ незамѣтно вышелъ въ болѣе чистую часть и очутился близъ Саксонскаго сада. Онъ вошелъ подъ сѣнь этихъ роскошныхъ, величественныхъ каштановъ, которые помнятъ еще времена Зигмунда-Августа; на многихъ деревьяхъ держались еще листья, хотя уже прихваченные морозомъ, но все еще зеленые. Идетъ онъ по аллеѣ, но и здѣсь все тѣ же черныя, траурныя тѣни съ блѣдными лицами бродятъ по дорожкамъ, тѣ же чамарки, то же шушуканье на скамейкахъ, съ которыхъ мигомъ исчезаетъ партикулярная публика, чуть только присядетъ туда офицеръ или завѣдомо русскій; тѣ же пытливо и тревожно пронзающіе васъ взгляды, а иногда и нахально-самоувѣренныя, вызывающія улыбки; всматриванье, поглядыванье, подслушиванье, исканіе скандала, буде только является маломальская возможность устроить его какому-нибудь одинокому москалю... Все точно такъ же и здѣсь, какъ и въ столовой, въ пукерняхъ, на улицахъ, пахнетъ разлитію въ воздухѣ враждой и таинственнымъ заговоромъ. Траурныя тѣни движутся тихо, медленно, словно бы составляють собою какую-то безконечную и зловѣщую похоронную процессію. Въ однихъ только дѣтскихъ группахъ замѣтна говорливая, быстро движущаяся жизнь: вотъ двѣ партіи мальчугановъ раздѣлились между собою и играютъ «въ москалей и поляковъ»; поляки храбро атакуютъ москалей, бьютъ ихъ и всегда остаются побѣдителями, вслѣдствіе чего охотниковъ принимать на себя роль ненавистныхъ москалей становится все меньше и меньше. Траурныя дѣвочки возятъ въ черныхъ повозкахъ одѣтыхъ въ трауръ куколъ и катаютъ по дорожкамъ траурныя, черныя съ бѣлой каемкою обручи. Какою-то невыразимою, захватывающею духъ и шемающею грустью повѣяло на Хвалынцева при видѣ этихъ тихо блуждающихъ «черныхъ тѣней и этихъ траурныхъ игръ, дышащихъ скорбью

и ненавистью, и онъ поспѣшилъ уйти изъ этого «похороннаго» сада.

Возвращаясь изъ него по Саксонской площади, мимо обелиска, воздвигнутаго въ память польскимъ генераламъ и офицерамъ, сохранившимъ вѣрность своему Царю въ возстаніе тридцатаго года, памятника, нарочно служившаго въ настоящее время общественнымъ мѣстомъ нѣкоторыхъ естественныхъ отправленій публики, — Хвалынцевъ еще разъ наглядно могъ убѣдиться въ страшной силѣ той непримиримой, глубокой ненависти, которая чрезъ тридцать лѣтъ не пропадетъ даже мертвымъ; испунившимъ собственною мученическою смертию то, что они считали за истину и святой долгъ и что въ глазахъ польскихъ революціонеровъ было измѣной дѣлу отчизны. Но перебирая въ умѣ своемъ впечатлѣнія нынѣшняго дня, вспоминая всѣ эти памятники многовѣковой и если не народной, то во всякомъ случаѣ городской и шляхетной жизни; возстановляя предъ собою всѣ эти древнія зданія замка, бернардиновъ, Зигмундовой колонны, фары, Старога мѣста, всѣ многолѣтніе дома, покрытые еще доселѣ средневѣковою плѣсенью и историческими воспоминаніями цѣлыхъ столѣтій бурно и славно прожитой жизни, Хвалынцевъ, какъ честный человѣкъ, не могъ не придти къ одному достопримѣчательному сознанию, которое онъ въ тотъ же день, подъ свѣжимъ, неизгладившимся впечатлѣніемъ, занесъ въ свою записную книжку.

«Да! здѣсь есть за что встать и за что бороться!» съ глубокимъ убѣжденіемъ писалъ онъ тамъ. «Всѣ эти монастыри, костелы и колонны, историческія площади, мѣста и улицы, историческіе дома и зданія, — со всѣмъ этимъ соединено здѣсь столько славныхъ, свѣтлыхъ и столько горькихъ воспоминаній, что они не скоро изгладятся изъ памяти народнаго сердца!.. Это такой же славянскій центръ, какъ наша Москва, какъ чешская Прага; здѣсь вѣками прошла цѣлая жизнь своеобразная, богатая и характерная. Здѣсь легъ въ основаніе быта совсѣмъ особый, нимадо не похожій на нашъ, культъ жизни, понятій, вѣрованій, стремленій, политики, государства, что нѣтъ ничего мудренаго, если и до сихъ поръ невозможно забыть этого культа! Всѣ эти мѣста для поляка то же самое, что для насъ московскій Кремль съ его святынями. Отъ этого всего не легко... даже нельзя, невозможно отказать, потому что всѣ эти памятники стародавней жизни просто мозолятъ глаза собою: они кричатъ, они вопіютъ о прошломъ и требуютъ его возвращенія! Надо одно изъ двухъ: либо сполна отдать ихъ полякамъ, либо уничтожить ихъ въ три часа грозными пушками Александровской цитадели! Иначе же, пока существуютъ на глазахъ у всѣхъ эти историческіе памятники прошлой независимо-

сти и славы — здѣсь никогда не будетъ ни полнаго мира, ни полнаго покоя, ни полнаго счастья! Или же все это надо перевоспитать, сдѣлать нашимъ русскимъ, во имя свѣтлаго *настоящаго* заставить забыть историческое *прошлое*, а это дѣлается если не вѣками, то долгими и долгими годами неуклонной, твердой и честной *русской* политики!.. Но съ нашими вѣчными колебаніями придемъ ли мы къ этому? А если и придемъ, то скоро ли?.. Для насъ, какъ кажется, остается теперь одно открытое поле — это *хлоская Поляши*. Съумѣемъ ли мы мирно взять ее и слить съ собою — вотъ въ чемъ вопросъ! И все-таки, въ концѣ концовъ, надо сознаться, что здѣсь родовитому ляху есть за что встать и побороться до послѣдней возможности, до послѣдняго издыханія историческихъ воспоминаній! Но... все-таки для меня, а вмѣстѣ со мною, кажись, и для каждаго русскаго — вся эта историческая, славная, шляхетская жизнь, всѣ эти мозолящіе глаза памятники — увы! — остаются чуждыми и не говорятъ моему сердцу того, что говоритъ ему московскій Кремль и Кіевскія святыни... Итакъ за что же здѣсь я встану и буду бороться противъ своихъ, противъ русскихъ?.. Вотъ онъ, роковой вопросъ!.. И неужели же, въ концѣ концовъ, для меня во всемъ этомъ дѣлѣ остается одна лишь блестяще-обаятельная польская женщина, одна Цезарина?»

Это была для Хвалынцева невыносимо тяжелая минута размышленій и нравственнаго сознанія. Ему тяжело было записывать на память себѣ эти роковыя строки.

VI.

Уже на службѣ.

1861 годъ отошелъ въ вѣчность, оставя въ наслѣдіе шестьдесятъ - второму смутное время въ Москвѣ и Петербургѣ и еще болѣе смутное, натянутое и тягостное положеніе въ Варшавѣ.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ со дня прибытія Хвалынцева въ этотъ послѣдній городъ. Въ это время онъ давнымъ-давно успѣлъ уже опредѣлиться въ полкъ и надѣтъ кавалерійскій мундиръ, что произошло еще на первыхъ порахъ его прибытія въ Варшаву. Въ полку его полюбили; начальство тоже взиало на него довольно благосклонно, и такимъ образомъ, новая, военная жизнь, захвата его въ свое русло, показалась ему доброю, простою и хорошею жизнью. Онъ попалъ въ честную армейскую среду, *честную*, конечно, не въ томъ смыслѣ, какъ понимается этотъ эластическій эпитетъ въ полярскихъ кружкахъ Москвы и Санктъ-Петербурга, но честную по-солдатски и вмѣстѣ съ тѣмъ по-человѣчески; въ среду, не умѣющую сидѣть на двухъ стульяхъ, не задаю-

щуюся выспренными социальными-политическими вопросами, но зато свято и неуклонно исполняющую свой долгъ (какъ бы онъ ни былъ иногда малъ и скромнень); въ среду, всегда умѣющую безропотно подставить свой лобъ и свою грудь, гдѣ потребуютъ интересы того (для иныхъ быть-можетъ и страннаго) принципа, который называется «русскимъ государствомъ», «русскою землею»; въ среду, умѣющую и всегда готовую, въ то же время, протянуть и братскую руку помощи и участія каждому несчастному, кто только въ нихъ нуждается. Въ тѣ годы, о которыхъ идетъ наше повѣствованіе, на эту скромную среду со всѣхъ концовъ російской и отчасти польской литературы и изъ многихъ кружковъ русскаго общества сыпались тысячи насмѣшекъ, оскорбленій и обвиненій, дышавшихъ сатирой; если только не крайнее ненависть, и каждый борзописецъ вмѣнялъ себѣ въ особенную заслугу лягнуть такъ или иначе человѣка, носящаго военный мундиръ и вѣрнаго извѣстнымъ принципамъ, забывая, что этотъ самый оплевыаемый и лягаемый человѣкъ еще такъ недавно отстоялъ грудью своею импровизированную, фиктивную крѣпость, которая называлась Севастополемъ; но это ему не вмѣнялось въ заслугу и обходилось молчаніемъ, а на видъ выставились исключительно темныя личности и темныя проявленія тогдашняго военного быта. Но наша заграничная революціонная печать, понимая то значеніе, какое имѣетъ военный элементъ и во внутренней и во внѣшней жизни государства, старалась, время-отъ-времени, заигрывать и кокетничать съ нимъ, высылая къ нему свои вопіющія и вызывающія прокламаціи и только тогда разражалась противъ него «анаемой» и «подлыми», когда ясно и осязательно убѣдилась на дѣлѣ, что никакія кокетливыя заигрыванья не приведутъ къ ея желанной цѣли.

Эта добрая среда открыто и просто, по-солдатски, приняла Хвалынцеву въ свое лоно и облюбила его какъ славнаго, хорошаго юношу, который по всему обѣщалъ быть хорошимъ кавалеристомъ и хорошимъ товарищемъ, и ни на единую минуту не заподозрила въ немъ принадлежности къ тѣмъ враждебнымъ для нея элементамъ, которыми кишѣла тогда Польша и которые, какъ накипь, всплывали время-отъ-времени на широкую поверхность нашей русской жизни.

Да въпрочемъ, и самъ Хвалынецъ за все это время никому не подавалъ ни малѣйшаго повода заподозрить себя въ тѣхъ цѣляхъ и намѣреніяхъ, ради которыхъ онъ вступалъ въ военную службу. Опредѣляясь на службу, онъ не пошелъ къ офицеру Паланицѣ, обратиться къ которому, какъ къ главному агенту «варшавскаго отдѣла русскаго общества земли и воли», ему было рекомендовано еще въ Петербургѣ, а вмѣстѣ того занялся просто служ-

бой, и былъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ, въ какое прихотливой судьбѣ угодно было забросить его такъ случайно и такъ неожиданно.

Одно только мучило, грызло и терзало его въ иные долгія и бессонныя ночи,—это странная, почти необъяснимая, почти роковая страсть къ графинѣ Цезаринѣ. Она не была для него тѣмъ добрымъ, простымъ, хорошимъ женщиной-человѣкомъ, женщиной-другомъ, какимъ во время оно являлась ему Татьяна Стрѣшневна; въ графинѣ Цезаринѣ Маржецкой онъ видѣлъ предестную, коварно-граціозную, обаятельную, влекущую къ себѣ женщину-самку, окруженную такимъ блестящимъ и поэтическимъ ореоломъ женственности, таинственности и революціонизма. Онъ не встрѣчалъ еще въ жизни своей подобныхъ женщинъ, и Цезарина вліяла и дѣйствовала на него какъ новость, какъ нѣчто невиданное, какъ нѣчто такое, что хочется постичь и разгадать во что бы то ни стало. Она была для него тѣмъ яркимъ и манящимъ пламенемъ лампы, на которое доверчиво и беззаветно летитъ въ открытое окно изъ мирной и темной глубины тихаго сада глупый мотылекъ, для того лишь, чтобы обжечь свои крылья, если только не поплатиться на этомъ предательскомъ пламени всею своею бѣдною жизнью.

Хвалынецъ жилъ въ средѣ своихъ полковыхъ товарищей и исподволь очень порядочно научился польскому языку. Русскимъ людямъ знаніе этого близкаго къ намъ языка достается не трудно въ томъ городѣ, гдѣ польскіе звуки, такъ сказать, носятъ, звучатъ и перекрепчиваются между собою въ самомъ воздухѣ. Не послѣднее также практическое школою языка для молодыхъ военныхъ служить Варшавскій театръ «Розмаитосци»¹⁾ и «кобѣты», то-есть тѣ вѣчно игривыя, вѣчно болтливыя и веселыя варшавянки-гризетки, что, несмотря ни на какую жалобу, ни на какіе декреты грозныхъ подземныхъ комитетовъ и трибуналовъ, во вся времена и вѣки, никоимъ образомъ не могутъ отказаться отъ своей женской слабости къ «москалямъ», которыхъ онѣ всегда по душѣ предпочитали своимъ варшавскимъ «элегантамъ». А эти милыя и веселыя «кобѣты» всегда водятся явно или подъ сурдинку въ каждой средѣ полковой молодежи, такъ что Хвалынецъ поневолѣ сталкивался съ ними у нѣкоторыхъ изъ своихъ полковыхъ товарищей, и такимъ образомъ варшавскій театръ и варшавскія женщины даже и въ ту политически-тяжкую годину невольно служили для него лучшей практической школою польскаго языка, которымъ иногда, въ свободные часы, занимался онъ еще и теоретически, посредствомъ чтенія и иныхъ упражненій. Въ относительно

¹⁾ Variété—театръ „разнообразія“, гдѣ даетъ свои представленія польская драматическая труппа.

короткое время онъ довольно основательно овладѣлъ этимъ языкомъ, въ сущности вовсе нетруднымъ.

Итакъ, онъ жилъ и служилъ себѣ, какъ живетъ и служитъ вообще обывательнымъ порядкомъ, то-есть довольно сносно, а въ это самое время на горизонтѣ варшавской политической жизни совершались событія, относительное значеніе которыхъ уже отмѣчено исторіей того смутнаго времени.

VII.

Терроръ и паника, и еще нѣчто.

Костелы были закрыты. Прелатъ Бялобже-скій, бывшій орудіемъ другихъ, а самъ по себѣ явившій предъ судомъ въ своей особѣ немо-щнаго и довольно безхарактернаго, довольно трусливаго старикашку, былъ приговоренъ къ годовому заключенію въ крѣпости, безъ лишена санна и ордена, хотя капитулу и краснымъ очень хотѣлось, чтобы его разстрѣляли, дабы этою новою казнью увеличить въ глазахъ Европы число польскихъ мучениковъ. Военное положеніе, какъ дѣтское пугало, все еще висѣло надъ Варшавой, тяготя собою одвѣхъ лишь русскихъ властей, но ни мало никого не пугая и не вразумляя; авторитетъ законной власти вслѣдствіе этого почти съ каждымъ днемъ падалъ все болѣе и болѣе, а вмѣстѣ съ его паденіемъ прогрессивно разыгрывались революціонныя страсти, вездѣ, гдѣ только можно: и на школьной скамейкѣ, и у семейнаго очага и предъ домашней исповѣдальней ксендза и монаха, и въ мѣстахъ общественныхъ собраний. Положеніе становилось все болѣе натянутымъ, и хотя не было рѣзкихъ публичныхъ проявленій демонстративнаго характера, тѣмъ не менѣе все, что могло подняться, въ грозной тишинѣ готовилось къ страшному взрыву, къ вооруженному возстанію, какими бы то ни было путями, съ единою мыслью: выйти полными побѣдителями.

Военное положеніе между прочимъ вызывало безпрестанные аресты; брали и за дѣло, и безъ дѣла, но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ эти аресты кончались сущими пустяками: нѣсколько дней заключенія въ полицейской «кдѣзѣ» или въ цитадели и только, такъ, что въ варшавякахъ разыгралась наконецъ своего рода модная страсть къ арестамъ: множество лицъ сами добывались ареста и просто-таки навязывались на него, какъ на особое отличіе, потому что этимъ пустякомъ приобрѣталась въ общественномъ мнѣніи репутація добраго патріота. Кому ни разу не довелось побывать если не въ цитадели, то хоть въ «кдѣзѣ», того зачастую начинали подозрѣвать въ шпіонствѣ и вообще въ патріотической неблагонадежности. Евреи тоже, словно-бы осо-

бой милости, добывались ареста въ качествѣ польскихъ возмутителей, и комическіе факты, какъ напримѣръ тотъ, что одинъ извѣстный варшавскій еврей-купецъ считалъ себя серьезно обиженнымъ, громко жалуясь, что сынъ его, никому не уступающій въ чувствахъ хорошаго поляка, не былъ еще ни разу арестованъ,—такіе факты случались сплошь и рядомъ. Многіе господа приобрѣли даже особенную ловкость и опытность въ искусствѣ быть многократно арестованными и каждый разъ выпутываться безъ серьезныхъ послѣдствій; а между тѣмъ эта продѣлка упрочивала за ними громкую репутацію отличнѣйшихъ патріотовъ. Такимъ образомъ, рядомъ съ серьезными и тихими подготовленіями къ грозной развязкѣ шла объ руку и эта мелочно-суетная, комически-шутовская сторона дѣла.

9-го февраля 1862 года, прибылъ въ Варшаву на архіепископскую кафедру ксендзъ Феликсъ Фелинскій. Еще до его прибытія общественное мнѣніе было уже предубѣждено въ дурную сторону относительно новаго архіепископа: уже одно то, что онъ назначенъ указомъ прямо изъ Петербурга, помимо капитула, и что до сей поры состоялъ профессоромъ въ Петербургской Духовной Академіи, дѣлало его весьма непопулярнымъ. Въ лицѣ его хотѣлось бы прославить новаго мученика за дѣло ойчизны, новую жертву московскаго гнета, а онъ межъ тѣмъ съ перваго же шага открылъ всѣ костелы для богослуженія, не одобрилъ политически-безтактное поведеніе ксендзовъ и пѣніе гимновъ, да вдобавокъ заговорилъ въ духѣ примиренія о либеральныхъ намѣреніяхъ правительства, лично ему извѣстныхъ. Это подняло противъ него дѣльную бурю толковъ, пасквилей, каррикатуръ, а одинъ реформатскій монахъ даже въ публичной проповѣди отдѣлывалъ его самымъ безпощаднымъ и оскорбительнымъ образомъ. Буря эта наконецъ разыгралась тѣмъ, что 10-го апрѣля, едва лишь Фелинскій взошелъ на кафедру въ фарѣ, какъ рѣчь его была заглушена свистками, шиканьемъ, крикомъ — и многочисленные коноводы почти силою принудили весь народъ выйти изъ храма. Для поддержанія собственнаго авторитета, молодой и элегантный Фелинскій задумалъ было составить себѣ особую партію въ средѣ модныхъ аристократическихъ клерикаловъ. Самъ онъ носилъ постоянно сутану фіолетоваго цвѣта; модныя девотки по его увѣщаніямъ рѣшились къ своей жалобѣ примѣшивать какой-нибудь бантикъ или ленточку того-же самаго цвѣта, но это послужило къ тому лишь, что всѣхъ этихъ барынь окрестили сатирическимъ прозвищемъ «фіалокъ Фелинскаго», а то еще обзывали и «коханками Фелинскаго». Такимъ образомъ, архіепископъ потерпѣлъ полное и рѣшительное фіаско. Поляки въ этомъ случаѣ оказались и относительно Феликса Фелинскаго такими-же непроницаемыми и политически-безтактными

слѣпцами, какъ относительно маркиза Віелепольскаго; и напрасно «Gazeta Polska» краснорѣчиво старалась вразумить ихъ, указывая въ немъ будущаго дѣятеля и героя польскаго дѣла—никакое краснорѣчіе, никакія вразумленія не помогали: идеи «примиренія» были нетерпимы, хотя весьма значительное большинство, такъ сказать, на собственной шкурѣ чувствовало всю крайнюю необходимость этого примиренія, потому что за послѣднее время торговля пришла въ страшный упадокъ, въ промышленности господствовалъ окончательный застой, заводы, фабрики, ремесленные мастерскія бѣднѣли и пустѣли съ каждымъ днемъ все болѣе, около друкъ третьей мелкихъ ремесленныхъ заведеній въ цѣломъ краѣ закрылись за положительнымъ отсутствіемъ рабочихъ рукъ; кредитъ падалъ, множество капиталовъ лопалось, круглое банкротство заглядывало во всѣ промышленныя и торговыя щели—странѣ грозилъ окончательный экономическій кризисъ. Массы рабочаго, ремесленнаго люда шатались безъ дѣла по улицамъ и дорогамъ, нищенствовали и до послѣдней нитки пропивались въ кабакахъ и баваріяхъ. Трудъ былъ заброшенъ въ ожиданіи *чего-то*—и вся эта полуголодная, *полупьяная масса*, въ *какомъ-то* тревожномъ, возбужденномъ состояніи, готовая на всякую демонстрацію, равно какъ и на всякую легкую наживу, глухо волновалась и нетерпѣливо ожидала близкой развязки. Какая будетъ развязка?—это было для названной массы дѣло темное, гадательное и почти невѣдомое: но трудъ все-таки сталъ, а кровожадные инстинкты вызывались наружу. Умѣренное большинство очень хорошо видѣло все это и понимало страшное, критическое положеніе своего края, но... у этого большинства не хватало духу возвысить свой голосъ: оно трусило и глухо молчало предъ грозною и темною силою революціонныхъ трибуналовъ. Грабежи, съ объявленіемъ военнаго положенія, не прекратились, а усилились: разбивали среди бѣла дня лавки, мастерскія, разрушали цѣлые склады и заводы, и это все безнаказанно творилось и въ Варшавѣ, и въ городахъ, и вообще въ губерніяхъ Царства. Рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы на улицахъ, въ домахъ, въ костелахъ и на дорогахъ не истязали самымъ безчеловѣчнымъ образомъ «дурныхъ полковъ»; ихъ забивали часто до смерти. Достаточно было кому-нибудь, по личной злобѣ, припиливать къ задку платья своего недруга или кредитора бумажку съ надписью «Szpieg»—и этотъ шпегъ¹⁾ избивался яростною толпою, гдѣ ни попало: на улицѣ или въ костелѣ. Полиція пряталась, не смѣя и носа показать, или появлялась только затѣмъ, чтобы подобрать изувѣченное тѣло. Цѣлыя толпы съ кастрюлями, сковородниками, свистками и трещетками собирались подъ окнами какого-нибудь «дурного по-

ляка» или «москаля» и задавали ему «козью музыку», финаломъ которой обыкновенно являлось огульное выбиваніе стеколъ уличными камнями,—и это еще была изъ самыхъ легкихъ мѣръ наказанія. По варшавскимъ улицамъ гордо разгуливали мальчишки, лѣтъ 16-ти—18-ти, одѣтые въ черныя блузы и подпоясанные пеньковыми веревками, петлею продѣтыми въ желѣзное кольцо. Эта веревка служила символомъ висѣльной петли, а самое появленіе милыхъ юношей на улицахъ долженствовало служить къ устрашенію «робкихъ патріотовъ». Это былъ какъ бы первообразъ будущихъ жандармовъ-выпателей, будущіе ихъ кадры.

Еще въ январѣ 1862 года пошли и по Варшавѣ, и по провинціи самыя положительныя слухи о вооруженіяхъ націи: назывались даже лица, у которыхъ сосредоточиваются денежные склады на закупку оружія, дѣлались заказы на бельгійскихъ оружейныхъ фабрикахъ, въ самой Варшавѣ устраивались тайныя экзерциргаузы, въ которые стекалась молодежь обучаться военному дѣлу по уставу Мѣрославскаго, экземпляры котораго въ десяткахъ тысячъ были распространены по Польшѣ и всему Западному краю. Игра шла почти уже въ открытую.

Съ одной стороны грозный терроръ, съ другой пѣмая паника; надъ тѣмъ и надъ другою—страшный экономическій кризисъ цѣлой страны, а подъ ними, какъ слабый—и надо сознаться—печально-комическій аккомпанементъ всей этой траги-комедіи, безпрестанныя и никого неувѣряющія увѣренія мѣстнаго начальства, что оно при военномъ положеніи имѣетъ въ рукахъ своихъ достаточно сильную власть для сохраненія общественнаго спокойствія...

VIII.

Hymn narodowy.

3-го мая—день знаменательный для *большаго* польскихъ патріотовъ. Это день знаменитой «конституціи 3-го мая», составленной Чарторыйскимъ. Вечеромъ, наканунѣ этого дня, за вечерней службой и въ самый день конституціонной годовщины, во время обѣдни, по варшавскимъ костеламъ вновь раздались революціонныя гимны, замолкнувшіе было на нѣкоторое время. Пѣніе этихъ гимновъ, конечно, сопровождалось обильными арестами при выходѣ изъ храмовъ. 3-го мая во время «мши»¹⁾ многочисленная публика собралась по преимуществу къ Свентему Кржижу, какъ въ самый модный храмъ того времени. На улицѣ, предъ костеломъ стояло много экипажей и толпы людей, между которыми замѣчались многочисленныя группы гимназистовъ и студентовъ.

Хвалынецъ какъ разъ въ это самое время

¹⁾ Шпіюгъ.

¹⁾ Обѣдня.

проходилъ по Новому Свѣту вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ полковыхъ товарищей и поневолѣ замѣшался въ толпу, которая стояла предъ статуей Христа въ терновомъ вѣнцѣ, упавшаго подъ тяжестью креста и указующаго на небо.

— А это вѣдь не просто, — замѣтилъ онъ своему однополчанину. — Должно быть у Кржижа опять что-нибудь творится.

— Да развѣ ты не знаешь? — отозвался тотъ; — вѣдь со вчерашняго дня опять запѣли. Навѣрное и теперь поютъ.

— О?.. въ самомъ дѣлѣ? — отозвался тотъ. — Вѣдь это крайне любопытно!

— Что тамъ любопытнаго! Орутъ себѣ во все горло да и только.

— Но я въ самой Варшавѣ никогда еще не слыхалъ этихъ гимновъ; зайдѣмъ, пожалуйста!

— Зайдѣмъ, пожалуй!

И оба товарища поднялись на ступени костельной паперти.

Съ трудомъ, чрезъ плотную массу народа, пробрались они во внутренность храма, но и то принуждены были остановиться почти въ самыхъ дверяхъ, за невозможностью двинуться далѣе. Здѣсь они столкнулись носъ къ носу съ жандармскимъ офицеромъ, бывшимъ своимъ однополчаниномъ. Хвалынцевъ на первыхъ порахъ своего вступленія въ службу еще засталъ его на короткое время въ полку, и потому былъ знакомъ съ нимъ. Жандармскій офицеръ былъ полячокъ по происхожденію и потому для пушаго заявленія предъ начальствомъ своей благонадежности и благонамѣренности, а равно и ради выгоды служебныхъ и экономическихъ, заблагоразсудилъ перейти въ полицейскіе жандармы. Въ полку ни мало не пожалѣли объ утратѣ сего товарища.

— А!.. господа!.. Милые, старые товарищи! — заговорилъ жандармъ, съ какой-то торопливой, зайскивающей любезностью, крѣпко и чисто по-польски пожимая обоимъ руки. — Вы сюда какими судьбами?

— А вы-то какими? — спросилъ его товарищъ Хвалынцева.

— Я?.. Э, я по необходимости, по службѣ!.. Такая неприятная служба, и совсѣмъ я къ ней, какъ вижу, неспособенъ... То-ли дѣло въ полку-то было!..

— Да впрочемъ вы вѣдь, кажись, и всѣ къ этой службѣ не совсѣмъ-то тово...

— Э, нѣтъ, не скажите!.. Есть, напротивъ, очень способные; но я-то собственно... Но что же дѣлать!.. Представьте, это полячье безмозглое вздумало снова эти... гимны свои дурацкіе... Ну, вотъ и послали, чтобъ арестовать ихъ... Удивительно глупый народъ, я вамъ скажу!.. Удивительно-съ глупый!..

— Что же вы такъ бранитесь, вѣдь вы сами...

— Нѣтъ-съ, то-есть, — торопливо и предупредительно перебилъ жандармъ, — то-есть я самъ собственно только католикъ, но что эти всѣ господа... это что же, помилуйте!.. Но что васто собственно, господа, привлекло сюда?

— А вотъ Хвалынцеву любопытно послушать, что это за гимны... никогда не слыхалъ еще.

— Э, помилуйте, есть тутъ что слушать!.. Ничего поучительнаго!.. такъ, просто дикая глупость одна...

— Но все же любопытно, — ввернулъ слово Константинъ Семеновичъ.

— Да, ну, если любопытно, то конечно... отчего жъ и не посмѣяться!

Но Хвалынцевъ не нашелъ, надъ чѣмъ бы тутъ можно было смѣяться. Сцена, открывшаяся предъ нимъ, не заключала въ себѣ ничего смѣшнаго. Предъ глазами его былъ высокій, свѣтлый храмъ, биткомъ наполненный народомъ, и весь этотъ народъ стоялъ на колѣняхъ; но предъ алтаремъ не было замѣтно ни одного священнодѣйствующаго лица. Впередѣ виднѣлась группа черныхъ, колѣнопреклоненныхъ женщинъ. На всѣхъ лицахъ лежала печать выразительной, озлобленной скорби, взоры горѣли молитвой, фанатизмомъ, отчаяніемъ, религиознымъ экстазомъ и ненавистью... Вверху гудѣлъ органъ, но аккомпанирующіе звуки его почти заглушались: вся эта плотная, колѣнопреклоненная масса, какъ одинъ человекъ, полною грудью, во весь голосъ издавала страшные, морозомъ подирающіе вопли, которые были мрачнымъ гимномъ отчаянія, ропота и укорины, обращенныхъ къ Богу.

Гимнъ только-что начинался. Хвалынцевъ съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивался къ выразительнымъ стихамъ его.

«Когда-жъ Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу!» въ одинъ голосъ гремѣла эта сила мужскихъ и женскихъ голосовъ, — и отъ мрачныхъ аккордовъ всей этой тысячегрудой зывающей массы, казалось, сотрясались самыя стѣны древняго храма:

Когда-жъ Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу

И даже воскресеніе изъ гроба неволи?!
Ужъ мѣра страданій исполнилась въ нашемъ гробу,

И жертвы, и смерть ужъ не страшны намъ болѣ!

Мы пойдемъ на штыки, на ножи палачей, —
Но только свободу, отдай намъ свободу!

Вѣдь наши отцы въ багряницѣ изъ крови своей
Твой крестъ защищали въ былую невагоду;

Въ крылатыхъ доспѣхахъ летѣли съ врагами на бой,

На сабляхъ несли Твое имя святое, —
За что же теперь ихъ сыны позабыты То-бой?!

За что присудилъ имъ мученіе злое?!
Зачѣмъ же, о, Господи! взоръ всеблагой Твоей

и слухъ
Отъ насъ отвращенъ и стenanій не чуетъ,

И предать тому своихъ вѣрныхъ Ты слугъ.
Кто крестъ Твой нещадно ужъ дважды би-
чаетъ.

Хвалынцевъ весь находился подъ страшно-гнетущимъ и потрясающимъ впечатлѣніемъ этихъ какъ бы изстрадавшихся, отчаянно-рѣшительныхъ и могильно-грозныхъ звуковъ: ни единой свѣтлой, умиляющей ноты—одна только скорбь, одно лишь отчаяніе и горькій, изступленный упрекъ да свѣтующая жалоба звучали въ этихъ аккордахъ. И дѣйствительно, пѣніе—или скорбѣ стоны и вопли, чѣмъ пѣніе—всей этой массы голосовъ, слитыхъ въ одно фанатически-изступленное чувство, въ одну мысль укоризны и отчаянія, и вмѣстѣ съ тѣмъ самый видъ этой тысячеглавой толпы, плотно слитой и поверженной на колѣни, то съ согбенными спинами, то съ дерзко и вызывающе поднятыми къ алтарю взорами, производилъ впечатлѣніе сильное, глубокое, потрясающее и мрачно-поэтическое. Онъ — человѣкъ, чуждый этому міру, человѣкъ иной національности,—въ эту минуту живо и глубоко почувствовалъ и позналъ ту страшную силу, которая можетъ и должна электризовать и фанатически вздымать пѣдья массы народа, настроеннаго подобнымъ образомъ. Онъ понималъ, что достаточно одной такой поэтической и эффектной минуты, чтобы она увлекла собою эти массы и на площадь, и подъ пули, и на баррикады. Онъ понималъ теперь, *что именно* скоевываетъ воедино волю и силу этихъ столь разнообразно поставленныхъ въ жизни людей, и что дѣйствительно можетъ возбуждать въ нихъ, хотя бы минутную, но глубоко-искреннюю готовность «идти на штыки и ножи палачей». Эта минута, заключающая въ себѣ это роковое *что*, вздымающее людей на подобную высоту духа, есть именно сила изступленнаго, религиозно-католическаго экстаза — сила польскаго костела.

Подавленный своимъ поражающимъ впечатлѣніемъ, онъ только слушалъ и глядѣлъ машинально, изъ чувства нѣкоторой вѣжливости улыбаясь полячку-жандарму, который въ это самое время что-то и о чемъ-то говорилъ ему, должно быть что-то очень любезное и, по его мнѣнію, вѣроятно остроумное, но что именно, Хвалынцевъ не слушалъ, не понималъ, да и не желалъ и не могъ понимать и слышать.

Взглядъ его былъ прикованъ къ одному мѣсту, у правой стѣны, гдѣ за нѣсколько мгновѣній предъ этимъ онъ вдругъ нечаянно встрѣтился съ другимъ, устремленнымъ на него взглядомъ.

У Хвалынцева закружилась голова отъ какого-то угарнаго, сладко-опьяняющаго чувства. Сердце вдругъ упало, застыло на одно мгновѣніе, но тотчасъ-же разыграло какимъ-то смѣшаннымъ ощущеніемъ страха, смущенія и радости.

Да; нѣтъ сомнѣнія, взглядъ устремленъ именно на него, но отчего-жъ, при всей его пристальности, въ немъ ни на единый мигъ не мелькнулъ лучъ пріивѣта? Отчего эти глаза глядятъ такъ холодно, такъ строго, съ оттѣнкомъ какого-то удивленія?.. Но сомнѣнія быть не можетъ: это она, графиня Цезарина... Это взглядъ ея столь хорошо ему знакомыхъ глазъ, ея лицо, ея выраженіе, ростъ и весь складъ фигуры — именно ея! Онъ узналъ ее окончательно! Идти къ ней не хотѣлось-бы, но... не хватало рѣшимости.

Межъ тѣмъ затихли послѣдніе, финальные аккорды гимна. Народъ повалилъ было изъ костела, но тутъ начались аресты. Противъ полячка-жандарма, между полицейскими солдатами, якобы въ качествѣ арестованнаго, помѣстился полячокъ-обыватель, изъ природы варшавскихъ «элегантовъ» съ двойнымъ, очень тщательно расчесаннымъ пробормомъ, съ усиками, вытянутыми въ струнку и съ парижской люишкой. «Элегантъ», хотя и самъ принадлежалъ къ ярымъ пѣвунамъ-патріотамъ, но находилъ не безвыгоднымъ для себя, какъ и многіе «элеганты» и неэлеганты того времени, служить и нашимъ, и вашимъ. Онъ посредствомъ незамѣтнаго и непонятнаго для непосвященныхъ глазъ условнаго знака, въ родѣ поигрыванія пѣпочкой при приближеніи какой-либо личности, давалъ этимъ жандарму знать, что такого-то или такую-то арестовать, молъ, слѣдуетъ, — и полячокъ-жандармъ, со всею официальною и притомъ со всею польскою «гржечносцю» немедленно арестовывалъ указаннаго субъекта. Впрочемъ, элегантъ свое дѣло дѣлалъ съ разборомъ, и очевидно, не безъ задней мысли патріотическаго свойства: указывалъ однихъ, онъ пропускалъ другихъ, по своимъ соображеніямъ, въ расчетъ которыхъ входила большая или меньшая пригодность даннаго субъекта къ дѣлу «свентей sprawy», либо принадлежность его къ той или другой политической партіи.

Сцена арестованія была изъ самыхъ непріятныхъ: однимъ (впрочемъ не очень многимъ) хотѣлось какъ-нибудь улизнуть, и они довольно комически старались исполнить этотъ маневръ разными стратегическими хитростями; другіе очень жалостно и униженно просили отпустить ихъ, но этихъ и еще было меньше, большинство-же позволяло себя арестовывать довольно равнодушно, чтобы не сказать вполне охотно. Одни изъ этого большинства принимали гордо-спокойный видъ «страдальцевъ за ойчизну», другіе, шедшіе подъ арестъ съ видимымъ удовольствіемъ, трунили и подшучивали надъ собой, надъ товарищами, надъ полиціей—вполнѣ безразлично, а третьи такъ даже сами съ просительнымъ видомъ обращались къ офицеру, «нѣхъ панъ бѣдзє такъ ласкавъ арестоваць мене! Нѣхъ панъ pozwoli и

мнѣ испѣ до кѣзы, бо и я спѣвалѣмъ, муи пане!» и жандармъ не отказывалъ ни единой изъ этихъ послѣднихъ просьбъ. Было очевидно, что всей этой комедіей ареста «добре обыва-тели» радѣхоньки воспользоваться ради легкаго и притомъ столь моднаго способа попасть въ герои, въ страдальцы, въ мученики за Польшу. Но несмотря на то, что каждый отлично понималъ значеніе этой комедіи, она сопровождалась другой комедіей слезъ, воплей, вздоховъ и проклятій на «утѣснителей», рас-точавшихся изъ толпы зрителей, между кото-рыми точно также было пропасть желающихъ попасть въ модные герои и героини, а между тѣмъ слезы и вопли раздавались съ такимъ отчаяннымъ видомъ, какъ будто всѣхъ этихъ арестантовъ сейчасъ-же поведутъ на висѣлицу. Контрастъ между этой дешевой сценой и тѣмъ грандіознымъ впечатлѣніемъ, которое за минуту еще дѣлалъ гимнъ колыбно-преклонен-наго народа, былъ слишкомъ быстръ и потому противно-гадокъ. Тутъ отъ великаго до смѣш-наго явилось теперь даже менѣе одного шага.

Оставаясь почти невольнымъ свидѣтелемъ этой печально смѣшной комедіи, Хвалынцевъ сквозь толпу обступившаго народа устремлялъ внимательно-разглядывающій взглядъ во внутрь костела—туда, въ ту сторону, гдѣ встрѣтился со взоромъ Цезарины. Она все еще стояла на своемъ мѣстѣ, какъ будто въ какомъ-то раздумьи, въ какой-то нерѣшительности и совсѣмъ безучастно относилась къ сценѣ арестации, разыгрывавшейся у входа. Между тѣмъ костель пустѣлъ все болѣе и болѣе: полиція приглашала удалаться всѣхъ избавлявшихся отъ ареста. Оставалась уже небольшая лишь кучка самыхъ упорныхъ или же самыхъ любопытныхъ патріот-овъ. Вдругъ, Хвалынцевъ замѣтилъ, что гра-финя Маржецкая, послѣ минутнаго колебанія, прямо направилась къ выходу очень твердой, увѣренной и смѣлой поступью.

Элегантъ, замѣтивъ ее, съ самымъ невин-нымъ видомъ предупредительно схватился за свою цѣпочку.

— Пршепрашамъ, муя пани!—вѣжливо заго-родилъ ей дорогу жандармъ.

Но графиня вдругъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, круто повернулась къ Хвалынцеву, какъ бы вовсе не замѣтивъ обращенныхъ къ ней словъ и движенія жандарма и, къ крайнему изумленію самого Константина, заговорила съ нимъ по-русски!

— Здравствуйте, господинъ Хвалынцевъ!—привѣтливо, какъ добрая, старая знакомая, ска-зала она, протянувъ къ нему руку.—Какая не-ожиданная встрѣча!.. Очень рада видѣть васъ!

Герой нашъ отчасти растерялся отъ нежиданности такого подхода и отъ прихлынувшей радости. Но и жандармъ просто ошалѣлъ, услы-хавъ русскую рѣчь въ костелѣ, со стороны жен-

щины, одѣтой въ очень изящное черное шелко-вое платьѣ, на которую его vis-à-vis элегантъ даже и въ это мгновеніе дѣлалъ свои предупредительные знаки. Эта русская рѣчь въ данномъ случаѣ казалась явленіемъ столь страннымъ, что, несмотря на упорное поигрываніе цѣпочки, жандармъ, предположивъ здѣсь какое-нибудь недоразумѣніе, не сомнѣвался въ ошибкѣ со сто-роны предупредительнаго элганта.

— Давно вы здѣсь, графиня?—спросилъ на-конецъ Хвалынцевъ, собравшись кое-какъ съ мыслями.

— Я?... только вчера изъ Петербурга!—солга-ла она, и солгала очень искусно, то-есть съ без-укоризненнымъ видомъ правды, простоты и не-винности.—Я ѣду за границу,—продолжала Це-зарина какъ ни въ чемъ не бывало,—но устала съ дороги и думала хоть одинъ день отдохнуть въ Варшавѣ... Между прочимъ, мнѣ было бы лю-бопытно посмотрѣть что это здѣсь дѣлается... Въ гостиницѣ, гдѣ я остановилась, горничная дѣвушка болтала что-то про какіе-то гимны... Мнѣ захотѣлось посмотрѣть, послушать... Я на-хожу, что это довольно оригинально, эти гим-ны—*vraiment*.

Жандармъ, уже не глядя на элганта, былъ вполне убѣжденъ, что созерцаетъ какую-нибудь русскую, петербургскую барыню. Хвалынцевъ тоже почти ротъ разинулъ отъ изумленія, услы-хавъ русскую рѣчь изъ устъ женщины, кото-рая—насколько онъ зналъ ее—всегда тщатель-но избѣгала употребленія этого ненавистнаго ей языка, такъ что онъ даже искренно былъ убѣ-жденъ до сей минуты, будто она очень плохо знаетъ и понимаетъ русскую рѣчь.

— Однако, здѣсь такая толпа... съ легкой гримаской окинувъ взоромъ паперть и улицу, заговорила Цезарина.—Будьте такъ любезны, дайте мнѣ вашу руку и проводите меня до мо-его экипажа.

Константинъ не заставилъ ее повторить себѣ просьбу. Почти внѣ себя отъ восторга, возбу-жденнаго всей этой неожиданной встрѣчей и лю-безностью, онъ подставилъ ей руку и—мимо жандарма, который даже слегка взялъ ей подъ козырекъ, словно бы извиняясь и давая доро-гу—провелъ ее вдоль толпы арестантовъ и зри-телей, занимавшихъ ступени паперти.

— Вотъ моя карета,—сказала графиня, ука-зывая глазами на очень изящный экипажъ съ англійскою упряжью, который стоялъ тутъ же передъ тротуаромъ.

Хвалынцевъ поспѣшилъ открыть ей дверцу.

— Благодарю васъ!—протянула она еще разъ ему руку.—Я могла быть арестована, но вы меня избавили отъ всѣхъ этихъ полицейскихъ непріятностей, а мнѣ, по нѣкоторымъ очень важ-нымъ для меня соображеніямъ, было бы вовсе не кстати теперь быть арестованною... Еще разъ благодарю васъ!.. До свиданья!

И она легко порхнула въ свою карету. Дверца

захлопнулась. Кучеръ тронулъ вожжи—и экипажъ помчался по Новому Свѣту.

Константинъ не успѣлъ еще опомниться. Все это произошло столь быстро, столь неожиданно и даже столь странно, что казалось ему какимъ-то тяжело-сладкимъ сномъ, мимолетной грезой: сейчасъ вотъ была здѣсь, говорила... онъ слышалъ этотъ знакомый, милый сердцу, мелодическій голосъ, онъ какъ будто еще чувствовалъ всѣми нервами прикосновеніе ея руки, мягкое, легкое пожатіе этихъ пальцевъ—все это было, и точно вѣдь *было* сейчасъ, сію минуту, и все это вдругъ исчезло куда-то, почти мгновенно и безъ слѣда... куда? зачѣмъ? — Богъ вѣсть! И когда-то снова придется встрѣтиться, да и встрѣтишься ль еще? — тоже Богъ вѣсть! — «Однако же она сказала «до свиданья», а не «прощайте», смутно и радостно подумалось ему, — «до свиданья... Значить, не всемо еще конецъ; значить, еще увидимся...»

Вдругъ, въ эту минуту на улицѣ раздались громкіе дружные крики, перешедшіе даже въ какой-то свирѣлый ревъ громадной толпы...

Хвалынцевъ какъ бы очнулся и оглядѣлъ, что вокругъ него происходитъ.

Полицейскій конвой сводилъ съ паперти арестованныхъ, и это-то шествіе было встрѣчено ревомъ со стороны толпы, наполнявшей площадь предъ Свентымъ Кржижемъ и памятникомъ Копернику. Въ переднихъ рядахъ этой толпы виднѣлось множество гимназистовъ, студентовъ Главной Школы и агрономовъ съ Маримонта. Вдругъ въ полицію полетѣли камни. Полицейскіе обнажили сабли, и дѣло уже готово было тотчасъ же дойти до новаго кроваваго столкновенія, но къ счастью, показались штыки... подошлѣ сильный военный патруль — и массы народа вдругъ смолкли... Съ тихимъ гомомъ ропота и ругательства онѣ тотчасъ же разбрелись въ стороны. Патруль мѣрнымъ шагомъ, въ грозномъ молчаніи, спокойно и твердо прошелъ мимо площади, за минуту еще столь шумно волновавшейся.

IX.

Слабая струна.

Хвалынцевъ все еще подъ обаяніемъ встрѣчи съ Цезариной, словно въ чадѣ, медленно и почти безсознательно двигался вслѣдъ за толпою расходившагося народа по Новому Свѣту. Вдругъ кто-то сзади ласково взялъ его подъ руку. Онъ оглянулся и вдругъ:

— Здравствуйте, Константинъ Семеновичъ!.. ха, ха, ха!.. Здравствуйте, батенька! Что, не бойсь, не ожидали такой встрѣчи? а?..

Предъ изумленными глазами Хвалынцева предсталъ и улыбался Василій Свитка.

— Какой встрѣчи?—сухо и недоумѣло проговорилъ Константинъ, не успѣвший сразу отръ-

шиться отъ своей мысли о встрѣчѣ съ графиней.—О какой встрѣчѣ вы говорите? съ вами, что-ли?

— Ну, да хоть бы и со мной, и... и еще кое съ кѣмъ... ха, ха, ха!.. шутилъ Василій Свитка. Ну, дайте же пожать вашу лапку!.. Такъ не ожидали-съ?

— Съ вами, признаться, не ожидалъ...

— А не со мной?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Хе-хе... Полноте, дружище!.. А кого вы сейчасъ въ карету-то подсаживали? ну-ка?—лукаво подмигнуть Свитка.—Все, батюшка мой, видѣлъ, все-съ!.. Отъ нашего вниманія ничто не ускользаетъ!

Хвалынцевъ нѣсколько смутился.

— Н-да, наблюдательныя способности у васъ-таки развиты изрядно,—процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— У меня-то? Еще-бы!.. Мнѣ-бы только и быть шефомъ полиціи! Ха, ха, ха!.. Да чего это вы точно-бы дуетесь на меня?—спросилъ вдругъ Свитка.—Разстались мы съ вами, кажись, по-дружески.

Хвалынцеву былъ крайне непріятенъ этотъ фамилиарно-дружескій, лукаво-добродушный тонъ, которымъ непрощенный пріятель нахально забираясь къ нему въ душу. «Какъ-бы отдѣлаться отъ этого барина?» подумалось ему, но отдѣлаться отъ Свитки вообще было не такъ-то легко, если самъ онъ не желалъ этого.

— Быть не въ духѣ, кажись, вамъ не отчего,—продолжалъ межъ тѣмъ Свитка,—потому что встрѣча съ графиней... это не должно дѣйствовать на васъ дурно...

— Оставьте вы, пожалуйста, мои встрѣчи! Они до васъ ни мало не касаются!—безъ всякой церемоніи огрызнулся Хвалынцевъ, высвобождая свою руку изъ-подъ руки пріятеля.

— Уй, какой сердитый!—шутливо и какъ ни въ чемъ не бывало воскликнулъ Свитка.—Да что это съ вами, голубчикъ? Или вы и въ самомъ дѣлѣ на меня дуетесь?

— И на васъ я ни мало не дуюсь, будьте покойны!

— Да я-то не беспокоюсь; но... этотъ тонъ, эта сухость... вы точно и говорить не хотите со старымъ пріятелемъ.

— Да говорить-то намъ не о чемъ.

— Какъ!—изумился Свитка.—У насъ съ вами было столько общихъ интересовъ...

— Да, *было*, но теперь ихъ *нѣтъ*,—подчеркнулъ Хвалынцевъ.

Пріятель на мгновеніе нахмурился и закусилъ губы. Онъ быстро сообразилъ нѣчто въ умѣ своемъ.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ,—началъ онъ тихо и кротко, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень серьезно.—Если у насъ уже нѣтъ общихъ интересовъ по извѣстному дѣлу, то все-таки остается личное знакомство... Противъ меня,

какъ частнаго человѣка, надѣюсь, вы ничего имѣть не можете? Мы можемъ не говорить и даже, пожалуй, совсѣмъ забыть про общее дѣло, какъ про дѣло не состоявшееся съ вашей стороны по какимъ бы то ни было причинамъ... васъ къ нему никто тянуть и насиловать больше не станетъ; но за всѣмъ тѣмъ предъ вами остается вашъ старый знакомецъ, какъ частное лицо. Неужели и въ этомъ разѣ вы имѣете противъ меня что-либо?

— Господь съ вами, ничего я противъ васъ не имѣю! — успокоительно произнесъ Хвалынцевъ, думая посредствомъ такого маневра поскорѣе отдѣлаться и отъ докучнаго объясненія, и отъ самого Свитки.

— Ну, а если ничего, такъ что-же это за тонъ такой со старымъ пріятелемъ?

— Э, Боже мой, да мало-ли что можетъ въ иной часъ быть на душѣ у человѣка! Нельзя-же вѣчно быть ровнымъ!

— Да; ну, это другое дѣло!.. Въ такомъ случаѣ я ни мало не въ претензіи! — успокоился Свитка, возвращаясь къ своему веселому настроенію. — Вы куда теперь направляетесь?

— Прямо по Новому Свѣту.

— Ну, вотъ, стало-быть, намъ и по дорогѣ! Хвалынцевъ ничего не сказалъ на это.

— А въ самомъ дѣлѣ, что за прелесть эта графиня Маржецкая! — заболталъ вдругъ Свитка, послѣ нѣкотораго молчанія, идя все рядомъ съ Константиномъ. — Вы были у нея здѣсь въ Варшавѣ?

— Нѣтъ, не былъ, — вскользь сказалъ Хвалынцевъ.

— О? въ самомъ дѣлѣ? — удивился Свитка. — Она живетъ на Уздовской аллеѣ... у нея премиленькій паллацо! просто игрушка!.. Она вѣдь, впрочемъ, уже недѣль около трехъ какъ пріѣхала въ Варшаву, но живетъ очень замкнуто... хлопоты по имѣнію, знаете... у намѣстника хочеть просить освобожденія изъ-подъ секвестра мужнина майората... Только не знаю, удастся ей...

Свитка, повидимому случайно, а въ сущности далеко не спроста заболталъ о графинѣ Маржецкой: онъ съ умысломъ распространился вскользь о ея дѣлахъ, желая показать Хвалынцеву, что ему кое-что извѣстно о женщинѣ, составляющей самую слабую и отзывчивую струну въ сердцѣ его пріятеля.

— Вы развѣ знакомы съ ней? — спросилъ Хвалынцевъ.

Маневръ, очевидно, сталъ удаваться. «Средство, какъ кажется, дѣйствуетъ!»

— Отчасти, да! — подтвердилъ Свитка. — Раза два я былъ по дѣлу; но у насъ съ ней есть одинъ домъ общихъ знакомыхъ, гдѣ и она, и я очень коротки, такъ что могу сказать, знаю и ее, и про нее достаточно.

— То-есть что же это «про нее»? — подозрительно спросилъ Хвалынцевъ.

— Да такъ, разное... То-есть, конечно, ничего дурного или предосудительнаго, — поспѣшилъ замѣтить Свитка, — но собственно и о ея жизни, бытѣ, привычкахъ, симпатіяхъ и антипатіяхъ...

— Ого! даже и о симпатіяхъ съ антипатіями! — недовѣрчиво улыбулся Константинъ. — Это заставляетъ предполагать очень короткое, хорошее знакомство.

— Да что-жъ, мудренаго нѣтъ! — сталъ оправдываться Свитка. — У насъ же, говоря вамъ, есть общіе короткіе знакомые, а Варшава относительно подготной своего ближняго — городъ совсѣмъ провинціальныи и благодушныи.

Сердце не камень — и маневръ подѣйствовалъ: Хвалынцевъ поддался на удочку. Подъ вліяніемъ недавней встрѣчи, онъ плохо маскировалъ тотъ живѣйшій интересъ, который невольно пробивался у него въ разспросахъ о Цезаринѣ. Затронувъ же его слабую струну, Свитка, исподволь, понемножку удовлетворялъ его жгучему любопытству, отвлекаясь поминутно въ своей болтовнѣ къ постороннимъ предметамъ и такимъ образомъ заставляя пріятеля предлагать себѣ все новыи и новыи вопросы о Цезаринѣ, то-есть заставляя его самого первымъ возвращаться все къ одной и той же интересной темѣ. Такое положеніе заставляло Хвалынцева въ свою очередь все мягче и дружелюбнѣ относиться къ пріятелю, такъ что когда они незамѣтно подошли къ воротамъ того дома, гдѣ обиталъ Константинъ Семеновичъ, то Свитка получилъ отъ него очень радушное предложеніе зайти къ нему хоть на минутку, отъ чего онъ, конечно, не отказался. На первый разъ только этого и было нужно Василию Свиткѣ. Черезъ полчаса онъ дружески простился съ Константиномъ, оставивъ ему, во-первыхъ, свой адресъ (то-есть вѣрнѣе сказать, одинъ изъ своихъ адресовъ), а во вторыхъ — обѣщаніе заглядывать къ пріятелю почаще.

X.

Свитка предлагаетъ сыграть въ кошку и мышку.

Выйдя отъ Хвалынцева, Свитка тотчасъ же кликнулъ «дружку» и приказалъ ему ѣхать въ Уздовскую аллею. Впадая въ площадь «Трехъ Крестовъ» (названіе, которое по-польски надо выговорить, точно чихнуть два раза: «трши крижи»), эта аллея является какъ бы продолженіемъ «Новаго Свѣта» и служить мѣстомъ жительства отборной, наиболѣе элегантнои и наиболѣе родовитой части варшавскихъ обывателей. Уздовская аллея, ведущая отъ «Трехъ Крижувъ» къ Лазенкамъ и Бельведеру, служить также и любимымъ мѣстомъ

предвечернихъ прогулокъ въ экипажахъ. По прекрасному шоссе, между рядами роскошныхъ, раскидистыхъ каштановъ, часовъ около шести пополудни, и особенно въ праздничные дни, здѣсь спуютъ самые разнообразныя экипажи, начиная отъ коляски обыкновеннаго, биржевого «дружжаря» и кончая самыми причудливыми тюльбюри, фаетонами и одноколками. Однѣ лишь російскія «линейки» являются рѣдкимъ исключеніемъ. Статскіе наѣзники, рѣдко обладающіе красивой и правильной посадкой, граціозныя наѣзницы галопируютъ то по дорожѣ, то цѣлой «кальвакадой», предоставляя въ удѣлъ скромнымъ пѣшеходамъ любоваться и завидовать...

Изъ-за рядовъ каштановыхъ деревьевъ выглядываютъ небольшіе, но очень изящные домики самыхъ разнообразныхъ и часто весьма причудливыхъ архитектурныхъ стилей. Одинъ уже вишій видъ этихъ домиковъ, обрамленныхъ изящными рѣшетками и пестрыми налісадниками, показываетъ, что они предназначены для обитанія избранныхъ, счастливыхъ смертныхъ, не заботящихся о меркантильно-промышленныхъ цѣляхъ, безъ чего не обходится ни одинъ домъ въ центрѣ города, но стремящихся къ удовлетворенію своего уютно-семейнаго комфорта. Всѣ эти домишки слишкомъ миниатюрны, чтобъ имѣть право называться «палладами», но они очень напоминаютъ собою прелестныя дачки, такъ что попавши въ Уяздовскую аллею, вамъ вдругъ начинаетъ казаться, что вы всеѣмъ уже за городомъ.

Предъ чугунною рѣшеткой одного изъ такихъ домовъ Свитка остановилъ своего «дружку».

На ступеньки подъѣзда вышелъ къ нему человекъ въ штиблетахъ и темно-коричневомъ фракѣ съ аксельбантомъ и графскими гербами.

— Графиня не принимаетъ,—объявилъ онъ самымъ категорическимъ образомъ.

Свитка, не удостоивая его излишнимъ разговоромъ, вынулъ свою карточку и, написавъ на ней «по крайне важному общему дѣлу», приказалъ немедленно передать ее графинѣ.

Минуты черезъ двѣ лакей снова вышелъ на подъѣздъ и вѣжливо проводилъ посѣтителя черезъ двѣ-три комнаты на внутреннюю террасу, выходящую въ небольшой, но очень изящный садикъ. Подъ навѣсомъ холщевой маркизы, въ зелени цвѣтущихъ гортензій, розъ и жасминовъ, встрѣтила своего гостя траурная графиня. Взглядъ ея скользилъ по немъ съ видомъ равнодушнаго вопроса, какъ по совершенно незнакомому человѣку.

— Позвольте напомнить,— началъ Свитка съ несовѣсть-то ловкимъ доклономъ, смутясь отчасти подъ этимъ равнодушно-вопросительнымъ взглядомъ, — имѣлъ честь въ Петербургѣ... у Колтышко... у васъ въ домѣ тоже...

— А, помню! — благосклонно кивнула головой Цезарина и, не протягивая руки, указала

ему на легкій плетеный стулъ, а сама плавно опустилась въ покойную качалку.

— Я къ вамъ по порученію комитета,— выпадалъ въ officialный тонъ, началъ Свитка.—Вы сегодня встрѣтили Хвалынцева, и онъ проводилъ васъ до кареты.

Маржецкая при этихъ словахъ вскинула на него нахмуренно-вопросительный взглядъ.

— Что-жъ изъ этого? — сухо и недовольно спросила она.

— Комитетъ имѣетъ до васъ великую и покорнѣйшую просьбу.

— А именно?

— А именно: заняться еще немножко этимъ юношей.

Графиня еще пуще нахмурила свои выразительныя брови.

— Я въ этомъ не вижу болѣе надобности,— сказала она подумавъ.

— Но комитетъ видитъ ее,— вѣжливо возразилъ Свитка,— и притомъ очень большую и настоящую... Комитетъ усерднѣе проситъ васъ оказать эту услугу общему дѣлу.

— Я полагаю, что она уже оказана мною слишкомъ достаточно.

— Къ сожалѣнію, нѣтъ! — пожавъ плечами вздохнулъ Свитка; — это растеніе нуждается еще въ нѣкоторомъ уходѣ и воздѣлываніи... Оно оказывается не слишкомъ-то податливымъ и трудно климатизируется.

— Въ такомъ случаѣ, я нахожу, прежде всего, что это растеніе не стоитъ вовсе никакого ухода,— улыбнулась графиня; — оно вполне бесполезно.

— Я позволяю себѣ согласиться съ этимъ мнѣніемъ,— мягко возразилъ гость. — Онъ намъ положительно нуженъ; а потому комитетъ и обращается къ вашему великодушію.

Графиня подумала.

— Если это такъ необходимо, то... въ крайнемъ случаѣ... конечно,—промолвила она съ несовѣсть-то большой охотой,—хотя признаюсь вамъ, мнѣ вовсе не улыбается эта миссія: онъ мнѣ и тогда еще надобѣлъ уже; а теперь опять!.. Это вѣдь ужасно! И главное, такъ скучно! — поморщилась Цезарина и сдѣлала очень милую гримаску. — И наконецъ, я все-таки остаюсь при прежнемъ моемъ мнѣніи: вы слишкомъ много обращаете на него вниманія, слишкомъ много возитесь съ нимъ, тогда какъ онъ ни почему не заслуживаетъ этого.

— Что-жъ дѣлать! — снова пожалъ плечами Свитка, — можетъ, первоначально это и была ошибка съ нашей стороны; но... мы, къ сожалѣнію, слишкомъ ужъ далеко зашли съ нимъ, онъ слишкомъ много знаетъ уже, посвященъ нѣсколько болѣе, чѣмъ бы слѣдовало, и потому нельзя бросить его на полудорогѣ... Надо продолжать, надо по необходимости вести до конца его.

— Хм... Но къ чему-же!.. Не лучше-ли вамъ

найти случай какъ-нибудь отъ него совсѣмъ отдѣлаться?

— То-есть?—внимательно вперилъ въ нее пылливый взглядъ Свитка.

— То-есть такъ, чтобъ онъ былъ для васъ безопасенъ.

— Но если онъ можетъ быть еще полезенъ? Отдѣлаться, конечно, всегда въ нашей власти, но мы хотимъ попытаться прежде обратить его на путь истины, а отдѣлаться—это уже крайнее средство, и мы будемъ имѣть его въ запасъ.

— Но неужели-жъ моего вліянія было еще недостаточно? вѣдь онъ тогда совсѣмъ уже было рѣшился!—спросила Цезарина съ нѣсколько тщеславнымъ и легкомысленнымъ сознаніемъ своего женскаго всецѣльнаго могущества.

— Къ удивленію и къ сожалѣнію — недостаточно!—съ улыбкой вздохнулъ Свитка.

Эти слова отчасти задѣли за живое женское самолюбіе графини.

— Что-же онъ, передумалъ?—спросила она, пренебрежительно двинувъ губою.

— Увы!..

— Значить онъ трусъ!

— Напротивъ!—съ убѣжденіемъ возразилъ ей Свитка.

— Такъ что-жъ это за колебанія? что за малодушная нерѣшительность?.. Онъ струсилъ,—говорю вамъ.

— Нѣтъ, онъ *разочаровался*.

— Въ комъ и въ чемъ?

— О, только не въ васъ!.. Никакъ не въ васъ, графиня!—съ живостью подхватилъ собесѣдникъ.

Цезарина презрительно и свысока усмѣхнулась.

— Много чести! — проговорила она. — Такъ въ комъ-же, если не во мнѣ?

— Мм... Какъ вамъ сказать!.. Отчасти въ нѣкоторыхъ дѣятеляхъ, а отчасти и въ самомъ дѣлѣ.

— Ну, и бросьте его съ Богомъ, когда такъ!

— Нелзя; слишкомъ далеко зашло, говорю вамъ! А вы одна только можете *очаровать* его снова... Ваша власть надъ нимъ безпредѣльна, насколько я понимаю... А онъ намъ еще пригодится.

— Не понимаю, на что это онъ можетъ годиться вамъ!—пожала она плечами.—Человѣкъ самый дюжинный и въ герои вовсе не годится.

— О, Боже мой! Да изъ насъ никто и не смотритъ на него, какъ на феникса,—съ живою подхватилъ Свитка.—Человѣкъ-то онъ, конечно, самый обыкновенный, но... вѣдь не богамъ-же горшки обжигать, въ самомъ дѣлѣ! А въ немъ есть нѣкоторыя очень пригодныя качества.

— Напримѣръ?—недовѣрчиво прищурилась графиня.

— Напримѣръ, онъ человѣкъ далеко не глупый,—это разъ.

— Но не положительно умный,—оспорила она.

— Пожалуй! Но положительнаго ума отъ него и не требуется. Во-вторыхъ, онъ крайне молодъ душою. Это и его недостатокъ, и его достоинство. Въ-третьихъ, онъ способенъ на увлеченіе: въ немъ есть страсть, и вы, графиня, конечно знаете эту сторону его характера.

— Въ-четвертыхъ!—перебивъ Свитку, стала она высчитывать,—человѣкъ онъ ужасно легкій, поверхностный, безъ малѣйшей основательности.

— Отчасти можетъ быть вы и правы,—согласился Свитка,—но эти качества въ немъ опять-таки отъ его молодости. Это для дѣла еще не помѣха, а въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, и достоинство. Но въ немъ есть энергія, есть упрямство, если не сила воли; я даже знаю случай, когда во время студенческой исторіи онъ обратился къ толпѣ товарищей съ очень разумною и одушевленною рѣчью—толпа его послушалась; стало быть, этотъ человѣкъ въ иныхъ случаяхъ можетъ даже и вліяніе свое оказывать, увлекать за собою. Вѣдь эта-то собственно черта и заставила насъ тогда обратить на него вниманіе.

— Ну, хорошо,—согласилась Цезарина,—въ Петербургѣ, между русскою молодежью онъ, пожалуй, могъ быть намъ полезенъ; но здѣсь-то что вы съ нимъ намѣрены дѣлать?

— Какъ что! Помилуйте!—горячо вступился Свитка.—У него есть уже свое назначеніе въ здѣшнемъ отдѣлѣ «Земли и Воли»—это первое! А затѣмъ—пропаганда въ войскахъ, между солдатами, между офицерами, и наконецъ, если онъ и попадется, если его сошлютъ или разстрѣляютъ, то подумайте, какая это прекрасная декорация для Европы!.. Для пользы, для болѣе очевидной правоты нашего праваго дѣла даже необходимо, чтобы въ нашемъ лагерѣ были настоящіе, кровные русскіе. Ихъ борьба за насъ еще болѣе санкціонируетъ наше дѣло! Подумайте!.. Это разъ рѣшено, и оно, говорю вамъ, необходимо, безусловно необходимо намъ!

Графиня ничего не отвѣтила, но видимо раздумалась надъ словами своего гостя.

— И потомъ,—продолжалъ онъ,—въ сущности что вамъ это стоитъ!.. А между тѣмъ услуга общему дѣлу, которому вы уже приносили столько добрыхъ, незабвенныхъ услугъ. Вы, говорю вамъ, всецѣльны надъ этимъ юношей: онъ любить васъ безпредѣльно и страстно; вамъ это будетъ такъ легко: немножко ласки, немножко кокетства, немножко горячихъ фразъ о дѣлѣ, да чуточку надежды въ его пользу—вотъ и все!.. Принесите, графиня, эту маленькую жертву, позаимтесь имъ еще немножко!

— Ахъ, я готова-бы, но... это, право, такъ скучно!—поморщилась она, какъ балованный капризный ребенокъ.

— Ну, и поскучайте немножко для благой

цѣли!—съ улыбкою упранивалъ Свитка. --Вѣдь приходится-же вамъ скучать иногда въ засѣданіяхъ «Доброчинности»¹⁾, это будетъ маленькая игра въ кошку и мышку, значитъ, нѣсколько веселѣе. Итакъ,—поднялся онъ съ мѣста,—какой отвѣтъ прикажете мнѣ передать отъ васъ комитету?

— Передайте, что я, пожалуй, согласна,—равнодушно сказала она, тоже подымаясь изъ своей качалки.—Хоть и скучно, но... нечего дѣлать! роль свою постараюсь исполнить исправно; только попросите пожалуйста вашихъ друзей впередъ не навязывать мнѣ болѣе подобныхъ ролей.

Свитка глубоко и почтительно поклонился.

— О, графиня!—проговорилъ онъ съ чувствомъ,—повѣрьте, что мы глубоко цѣнимъ ваше истинно патріотическое самопожертвованіе!.. Простите великодушно! Но... что-же дѣлать! обстоятельства вынуждаютъ просить у васъ этой новой жертвы... Принесите-же ее ради воскресающей Польши!

— Я уже сказала!—привѣтливо улыбнулась она, польщенная послѣдними фразами гостя.—Только когда-же вы доставите мнѣ случай какъ-нибудь кстати встрѣтиться съ этимъ Хвалынцевымъ?

— Я васъ увѣдомлю, графиня. Этотъ случай вѣроятно будетъ на-дняхъ же.

И онъ вторично откланялся ей глубоко-почтительнымъ и благодарнымъ поклономъ.

ХІ.

На волосѣхъ.

Свитка сталъ иногда захаживать къ Хвалынцеву. Посѣщенія его никогда не бывали продолжительны: онъ, что называется, «забѣгалъ» между дѣломъ и вѣчно торопясь опять по дѣлу, выкуривалъ одну-другую папироску, выпивалъ рюмку водки, закусивъ ее чѣмъ попало, и въ этотъ промежутокъ времени выбалтывалъ цѣлый коробъ городскихъ ходячихъ новостей, слуховъ и сплетенъ, въ которыхъ тогда, болѣе чѣмъ когда-либо, не было недостатка. Кромѣ того, посѣщенія его не были ежедневны: онъ всегда дѣлалъ промежутокъ между ними дня въ два, въ три, но каждый разъ какъ бы вскользь и мимоходомъ сообщалъ Хвалынцеву что-нибудь насчетъ графини Маржецкой: то расскажетъ, бывало, что вчера она каталась по Уздовской аллеѣ или гуляла съ сыномъ своимъ въ Лазенкахъ; то вдругъ, что нынче встрѣтилъ онъ ее у Свентого Кржижа, а третьяго-дня видѣлъ въ модномъ магазинѣ, какъ она покупала себѣ прелестную траурную шляпку, которая къ ней удивительно какъ идетъ! Или же сообщалъ о ходѣ ея дѣла и хлопотъ по мужнину майорату—

словомъ, ни одинъ визитъ не обходился безъ того, чтобы какъ-нибудь кстати не было упомянуто имя Цезарины или не сообщена о ней какая-нибудь, хотя бы то самая пустячная новость; и эти сообщенія, какъ водится, почти незамѣтно, исподволь и вполне естественно сводились на разговоръ о графинѣ. Мало-по-малу въ душѣ Хвалынцева образовался родъ потребности слышать и узнавать отъ Свитки новости о своемъ идолѣ и говорить о немъ. А Свитка межъ тѣмъ вливалъ въ него этотъ сладкій ядъ медленно, капля по каплѣ, съ хорошимъ и вѣрнымъ расчетомъ на послѣдовательность дѣйствія своего яда. Такъ, однажды онъ сообщилъ Константину, что вчера встрѣтился съ нею въ домѣ общихъ знакомыхъ и что она, выбравъ нарочно удобную минуту, разговорилась съ нимъ, вспоминала о томъ, какъ онъ захаживалъ къ ней въ домъ въ Петербургъ, въ то время, когда у нея скрывался Хвалынцевъ, и кстати спросила, что съ Хвалынцевымъ и гдѣ онъ теперь находится, и что дѣлаетъ, упомянула о своей неожиданной встрѣчѣ съ нимъ въ костелѣ и вообще явно интересовалась его личностью. Свитка вообще умѣлъ врать искусно и правдоподобно, такъ что Хвалынцевъ вполне вѣрилъ ему, тѣмъ болѣе, что всегда охотно вѣритъ тому, чему хочется вѣрить. Радужныя мечты и надежды цѣлымъ фантастическимъ роємъ снова закружились въ головѣ Константина. Послѣ этого сообщенія Свитка пропалъ и не показывался цѣлую недѣлю. Хвалынцевъ уже и раньше начиналъ чувствовать нѣкоторую нравственную потребность въ бесѣдахъ съ нимъ о Цезаринѣ, въ узнаваніи тѣхъ маленькихъ и ничтожныхъ, но въ высшей степени интересныхъ и пріятныхъ для влюбленной головы новостей и собошеній о любимой женщинѣ, которыя всегда оказывались въ запасѣ у Василя Свитки. Когда, бывало, Свитка не приходитъ дня два—Хвалынцевъ начинаетъ уже ощущать, что ему какъ будто недостаетъ чего-то, какъ будто какая-то неудовлетворенность, какое-то пустое мѣсто остается въ душѣ, которое восполнялось только съ новымъ приходомъ пріятеля. Не является Свитка и на третій день — Хвалынцевъ уже чувствуетъ какъ бы нравственную потребность видѣть его и узнать что-нибудь о Цезаринѣ, или по-крайней мѣрѣ хотѣ поговорить о ней. Наконецъ появляется этотъ неспособный своимъ отсутствіемъ Свитка—и Константинъ встрѣчаетъ его съ искренней, своекорыстной и плохо скрываемою радостью и дружески коритъ за продолжительную проволочку его «забѣжекъ». Ему бы хотѣлось уже, чтобы Свитка каждый день забѣгалъ къ нему, даже два раза въ день, даже больше—лишь бы слушать и говорить на томъ, столь раздражительно дѣйствующую на его влюбленную мысль и молодое, околдованное сердце.

Порою на него находили минуты грустныхъ

¹⁾ Благотворительное общество въ Варшавѣ.

сомнѣній и тяжелаго раздумья, и это были тѣ минуты, когда логика разсудка заявляла свой голосъ.

«Къ чему все это!» думалось тогда Хвалынцеву. «Разъ, что я уже по убѣжденію, по совѣсти, твердо рѣшилъ себѣ не быть болѣе съ *ними*; если я честно воротился назадъ къ своимъ, какое дѣло мнѣ до Цезарины?! И возможны ли, наконецъ, эти безумныя надежды на нее, возможна ли эта любовь, если эта женщина отдаетъ мнѣ ее только подъ условіемъ моей измѣны, самой низкой, самой черной измѣны изъ всѣхъ, какія лишь бываютъ на свѣтѣ?!

«О, если бы ты вѣрилъ въ это дѣло, если бы для тебя теперь еще были возможны, какъ въ первую минуту, хотя бы твои собственныя, личныя иллюзіи, если бы ты могъ заблуждаться въ этомъ *опытѣ*, считая его дѣйствительно *общимъ*, близкимъ и кровнымъ всѣмъ намъ — о, тогда бы... какое счастье! Я могъ бы честно любить, любить не противъ совѣсти, не противъ чести, не противъ долга... Тогда бы было, по крайней мѣрѣ, хоть какое-нибудь оправданіе этому чувству, этой несчастной, проклятой страсти. А теперь... теперь между мной и ею пѣлая бездна — непроходимая, безконечная бездна!.. Разъ, что ты не съ *ними* — эта любовь невозможна, безцѣльна, бесплодна! — Къ чему же она?.. бросить ее! вырвать ее вонъ изъ сердца, заглушить, задушить ее въ себѣ — это будетъ единственное умное и честное дѣло; это все, что остается мнѣ теперь!

«... Вырвать, задушить — легко сказать!.. Ну, и вырывай ее вмѣстѣ съ сердцемъ, души вмѣстѣ съ самимъ собою!.. И развѣ иначе возможно сдѣлать это?..»

И дѣйствительно, наперекоръ разсудку, наперекоръ даже самой совѣсти и чувству чести, Хвалынцевъ съ ужасомъ чувствовалъ, что въ немъ нѣтъ силъ отрѣшиться отъ этого проклятаго, слѣпотаго чувства, которое послѣ новой встрѣчи съ Цезариной, во всѣ эти послѣдніе дни обуяло его съ новою, еще неиспытанною досадой и неотразимою мощью.

Онъ, дѣйствительно, страдалъ, изнемогая въ безсильной борьбѣ съ самимъ собою, сознавалъ все свое нравственное ничтожество, всю свою немощь — и былъ истинно несчастливъ.

Всѣ товарищи ясно видѣли въ немъ какую-то странную перемену, но никто изъ нихъ, кромѣ Свитки, не подозрѣвалъ, что именно творится въ глубинѣ его сердца и совѣсти.

Онъ сознавалъ, что его вторичное сближеніе со Свиткой, и всѣ эти сообщенія, новости, извѣстія и разговоры о *ней* — совершенно напрасны и безцѣльны и просто глупы, наконецъ, что всего этого, по настоящему, вовсе бы не слѣдовало ему дѣлать, но...

И какъ скоро возникало въ душѣ это все-сильное *но*, онъ чувствовалъ, что съ него-то и начинается его собственное безсиліе воли,

его «нравственное паденіе». Въ эти минуты онъ былъ похожъ на залойнаго пьяницу, который мучительно сознаетъ весь вредъ, все безобразіе своей несчастной слабости и все-таки тянется къ рюмкѣ. И какъ для пьяницы эта рюмка несетъ съ собою одуряющій туманъ забвенія и какъ бы нѣкое облегченіе, такъ и для Хвалынцева въ этихъ Свиткиныхъ извѣстіяхъ и разговорахъ заключался подобный же туманъ сладкой одури. Онъ не шутилъ признавалъ въ себѣ эти минуты — минутами «нравственнаго паденія и немощи», но какъ скоро подъ раздражающимъ интересомъ хотъ знать о *ней* что-либо, если ужъ не видѣть ее самою, подъ обаяніемъ разговоровъ о любимой женщинѣ, подъ впечатлѣніемъ ея чуднаго образа, который весь такъ вотъ и рисуется при этомъ въ его воображеніи со всѣми своими благоухающими, яркими красками, — какъ скоро подъ влияніемъ всего этого забывалось сознаніе собственнаго паденія и немощи, Константину становилось вдругъ легко и отрадно. Такимъ образомъ, собственно самое это «паденіе» приносило ему съ собою счастливыя и ничѣмъ незамѣнимыя минуты облегченія и беззаветнаго забытья. Но уходилъ отъ него Свитка — и съ его уходомъ исчезали вскорѣ и счастливыя минуты, оставляя по себѣ только раздраженіе возбужденнаго и неудовлетворимаго чувства да новый грузъ старыхъ сомнѣній, укоровъ и печальнаго сознанія собственнаго презрѣннаго ничтожества.

Что жъ оставалось ему послѣ этого, при сознаніи полной невозможности побороть и убить въ себѣ свое несчастное, слѣпое чувство, — ему, который просто изнемогалъ, уставалъ и нравственно, и даже физически подвѣтомъ непрестанной борьбы съ самимъ собою? — Оставалось — почти нисколько, почти боясь признаться въ томъ самому себѣ — искать тѣхъ сладкихъ, облегчающихъ и беззаветно счастливыхъ минутъ одури и забвенія, которыя онъ самъ же заклеивалъ именемъ своего паденія нравственнаго. И онъ поэтому желалъ и ждалъ со всѣмъ нетерпѣніемъ влюбленной юности кратковременныхъ посѣщеній Василія Свитки, досадуя лишь на то, что зачѣмъ они такъ краткосрочны и не столь часты, какъ бы хотѣлось.

Свитка межъ тѣмъ хорошо понималъ все, что происходитъ въ душѣ Хвалынцева. Болтая въ первыя свои забѣжки о разныхъ городскихъ новостяхъ и лишь упоминая вскользь о Цезаринѣ, онъ мало-по-малу довелъ Константина до того, что въ послѣдующихъ посѣщеніяхъ графиня Маржецкая сдѣлалась почти исключительной темой ихъ разговоровъ. И сдѣлалось это какъ-то такъ незамѣтно, исподволь, какъ будто само собою, что впрочемъ и было вполне естественно при извѣстномъ уже исключительномъ настроеніи Хвалынцева. Но по-

свящая свои бесѣды графинѣ Цезаринѣ, Свитка тщательно избѣгалъ малѣйшаго напоминанія о «*отѣлѣ*» и прикосновенности къ нему самого Хвалынцева, словно бы между ними никогда ничего не существовало, кромѣ самаго простого *личнаго* пріятельства и знакомства, словно бы Константинъ, дѣйствительно, былъ совсѣмъ освобожденъ отъ всякаго нравственнаго обязательства, отъ всякой прежней связи своей съ «дѣломъ». И на подобную тактику у Свитки были свои довольно вѣрные расчеты: поступая такъ, онъ зналъ, что тѣмъ самымъ какъ бы устраняетъ отъ глазъ Хвалынцева грозный призракъ, какъ бы успокоиваетъ и мало-по-малу баюкаетъ его совѣсть; зналъ еще и то, что переводя своего друга на поле его чувства и страсти и исключивъ изъ своихъ отношеній съ нимъ самый призракъ «дѣла», онъ исподволь восстанавливаетъ подорванное довѣріе къ нему Хвалынцева. Возстановить же исполнѣ это довѣріе и на время убаюкать Константина—составляло для Свитки, въ отношеніи его, пока самое важное дѣло.

И вотъ, сообщивъ ему импровизованное извѣстіе о томъ, что Цезарина очень имъ интересовалась, Свитка вдругъ исчезъ на цѣлую недѣлю, давши впрочемъ на прощанье слово забѣжать на другой же день. Но прошелъ другой, и третій день, а пріятель не показывается. Въ тщетномъ ожиданіи его Хвалынцевъ впалъ наконецъ въ какое-то напряженно-нервное возбужденіе. Онъ вздрагивалъ при каждомъ звонкѣ въ его прихожей, и появленіе вмѣсто ожидаемаго лица кого-нибудь посторонняго раздражало его просто до нервической злости, маскировать и скрывать которую стоило ему труда не малаго. Последнее Свиткино сообщеніе окрылило и подняло его, какъ птицу, взлетѣвшую въ ясную высь, такъ что нравственная потребность видѣть добраго пріятеля достигла въ немъ до какой-то пламенной *Sehnsucht*,—и вотъ, напрасно прождавъ его три дня, Хвалынцевъ рѣшился наконецъ самъ идти и отыскивать Свитку. Последній имѣлъ свои основательныя причины какъ на то, чтобъ избрать себѣ нѣсколько, болѣе или менѣе секретныхъ и даже таинственныхъ мѣстъ для жительства, такъ равно и на то, чтобы въ этихъ квартирахъ какъ можно менѣе посѣщали его постороннія лица, и просить Хвалынцева, оставляя ему еще въ первый визитъ одинъ изъ своихъ адресовъ, не стѣсняться отдачи визита, а посѣтить его развѣ только въ случаѣ самой крайней и настоятельной необходимости. «Ужъ лучше къ вамъ, безъ всякихъ церемоній, я самъ почаше забѣгать стану!» сказалъ онъ тогда на прощанье,—и Константинъ Семеновичъ, вслѣдствіе таковой просьбы, до сей поры ни разу еще не потревожилъ пріятеля своимъ посѣщеніемъ. Но теперь онъ рѣшился идти къ нему. Отыскавъ на Электро-

ральной улицѣ показанный въ адресѣ домъ, онъ черезъ грязный дворикъ забрался по грязной деревянной лѣстницѣ на верхній этажъ грязнаго же каменнаго флигеля, но пожлая женщина, отворявшая ему дверь, увидя военный мундиръ и саблю, оглядѣла незнакомаго посѣтителя крайне подозрительно и коротко отвѣтила на его вопросъ, что Свитка здѣсь хоть и жилъ, но теперь болѣе не живетъ, потому что два дня какъ выѣхалъ неизвѣстно куда изъ Варшавы и неизвѣстно когда воротится.

Итакъ, надежда лопнула въ самомъ началѣ, да и впереди не теплится даже ни единого луча ея. Хвалынцевъ впалъ въ какую-то мрачно-тоскливую и нѣсколько злобную хандру. Мысль о Цезаринѣ, разожженная этимъ неожиданнымъ препятствіемъ, овладѣла имъ окончательно, до того, что, подавленный ею, онъ даже забылъ свои служебныя обязанности, за чтѣ и скушалъ онъ весьма вѣжливый, но весьма непріятный выговоръ, на который впрочемъ, будучи всецѣло поглощенъ все тою же неотступною и проклятою мыслью, не обратилъ ни малѣйшаго, даже самаго равнодушнаго вниманія. Все свое свободное время онъ сталъ шататься по городу, припоминая тѣ мѣста, гдѣ, по словамъ Свитки, тотъ встрѣчался съ Цезариной и такимъ образомъ проводилъ цѣлые часы то на Уздовской аллеѣ, то въ Лазенковскомъ паркѣ, то около модныхъ магазиновъ, въ сладкой надеждѣ встрѣтить еще разъ своего идола, но идолъ столь часто встрѣчаемый Свиткой, для Хвалынцева какъ будто накрылся шапкой-невидимкой. Порою находили на него прежнія, но теперь еще болѣе жуткія минуты раздумья и самогрызненія,—онъ злобно хохоталъ надъ собою, какъ надъ глупцомъ и мальчишкой, за эти сантиментальныя и нелѣпыя шатанья по завѣтнымъ мѣстамъ и съ полною рѣшимостью бросить свою дурь бѣжалъ домой, но черезъ нѣсколько времени тоскливая хандра снова выгоняла его на улицу.

Въ такомъ-то состояніи духа только что вышелъ онъ однажды изъ дому, какъ вдругъ внизу, подъ воротами неожиданно столкнулся со Свиткой. Хвалынцевъ вдругъ сталъ и радъ ему, и золъ на него какимъ-то смѣшаннымъ чувствомъ ребяческой свѣтлой радости и ребяческой досадливой злости.

— А я къ вамъ! — по обыкновенію весело заболталъ пріятель. — Вы куда? по дѣлу или гулять? Если гулять, то пойдемте, пожалуй, вмѣстѣ.

Они отправились, и въ отвѣтъ на горячія укоризны Хвалынцева, Свитка шутя оправдывался тѣмъ, что ему, молъ, была крайняя необходимость отлучиться на цѣлую недѣлю, что дѣло, молъ, прежде всего и прочее, въ подобномъ родѣ, и по обыкновенію у него нельзя

было разобрать, вретъ ли онъ все это, или же говорить правду суюу.

Разговоръ, само собою, обратился вскорѣ къ извѣстной излюбленной темѣ.

Свитка съ усмѣшкой слушалъ печально-комическую исторію сантиментальныхъ шатаній своего юнаго пріятеля.

— Господи Боже мой! Я просто не надивлюсь на васъ!—всплеснулъ онъ руками.— Вмѣсто того, чтобы бродить по городу рыцаремъ печальнаго образа или торчать таинственнымъ испанцемъ у нея подъ окнами, не лучше-ли и не проще ли гораздо было бы взять да и отправиться прямо къ ней въ домъ съ визитомъ?! И тѣмъ болѣе, вы вѣдь знали, что она до нѣкоторой степени даже интересуется вашей особой!.. Кокой же вы птенецъ еще батенька!

Хвалынцеву не понравилось въ душѣ послѣднее опредѣленіе откровеннаго пріятеля — не понравилось быть можетъ потому, что во многомъ и многомъ онъ былъ еще птенцомъ въ дѣйствительности. Однакоже онъ не выразилъ ничѣмъ своего маленькаго неудовольствія.

— Къ ней!? — изумленно возразилъ онъ, вскинувъ глазами на Свитку. — Да развѣ я могу идти къ ней?!

— А почему же бы и нѣтъ? Вѣдь вы же знакомы съ ней, и даже проживали въ ея квартирѣ.

— Вотъ потому-то и не могу,—похмуро проговорилъ Хвалынцевъ.

— Какъ! только потому?! Извините, я не понимаю, что вы этимъ хотите сказать. Поясните мнѣ, буде возможно.

— Извольте: съ чѣмъ я приду туда?

— Какъ съ чѣмъ?—со своею любезностью, съ своею любовью, съ чѣмъ угодно наконецъ!

— Послушайте, Свитка, это вовсе не шутки!

— А я, напротивъ думаю, что вы это все шутите! Право же шутите! Ей-Богу шутите! «Съ чѣмъ приду я»—ха, ха, ха!

Хвалынцеву было крайне тяжело высказать ему тѣ мысли и чувства, которыя въ рядѣ долгихъ и мучительныхъ сомнѣній удерживали его не только что отъ шага за порогъ Цезарины, но и заставляли голосомъ совѣсти и разсудка заглушать въ себѣ самую любовь къ этой женщинѣ. Но сколь ни тягостно было ему рѣшиться, онъ все-таки высказался предъ Свиткой вполне откровенно.

— Хвалынцевъ *вашъ* могъ-бы и быть у нея, и любить ее,—заклучилъ онъ свое признаніе,—но Хвалынцеву не *вашему* тамъ нечего дѣлать, да и нѣтъ ему тамъ мѣста!

— Ну, въ такомъ разѣ это ужъ ваше дѣло!—пробурчалъ Свитка, къ крайнему своему удивленію, не замѣтивъ въ Константинѣ во все время его исповѣди ни раскаянія въ его поворотѣ назадъ отъ «дѣла», ни даже сожалѣнія

о невозможности переступить порогъ графини Маржецкой. Хвалынцевъ просто поставилъ передъ нимъ только фактъ, каковымъ обнажали его въ собственныхъ глазахъ не страсть, не любовь, а строгая логика собственнаго разсудка.

— Н-да-съ, это ужъ ваше дѣло!—тѣмъ-же тономъ повторилъ Свитка.—И я ужъ тутъ помочь вамъ ничѣмъ не могу.

— Да я и не хочу, и не ищущу ничьей помощи!—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ой-ли?.. Значитъ, на собственные свои силы полагаемся?

— Да, то-есть на силу разсудка и на силу долга.

— Хм... фраза, мой другъ, не дурна! Одобряю!

— Я говорю не фразу, а то, что долженъ чувствовать.

— «Долженъ»!—вотъ въ этомъ-то и сила!.. А всегда ли вы это чувствуете?

— По крайней мѣрѣ, такъ велитъ и разсудокъ, и долгъ.

— А сердце какъ велитъ вамъ, позвольте полюбопытствовать?

— Оставимте сердце; его нечего слушать, гдѣ есть вещи поважнѣе.

— И это недурно сказано. Одобряю!.. Но *всегда-ли* вы покоряетесь разсудку и смиряете сердце, или только *иногда*?

— Оставимте этотъ разговоръ!—махнулъ рукою Хвалынцевъ.—Знаете пословицу: что съ возу упало, то пропало.

— Да; у того разини мужика, который не доглядѣлъ или не поднялъ, а поднять-то вѣдь всегда можно!—добавилъ Свитка.—Такъ стало быть никогда не рѣшитесь переступить порогъ графини Цезарины?

— Такъ думаю.

— Только *думаете*?

— Увѣренъ.

— О?!.. Хвалю за твердость характера!—сдѣлалъ ему ручку пріятель.

Они шли въ это время по Краковскому предмѣстью. На углу Трѣмбацкой улицы, къ стѣнѣ каменнаго дома прибита была уличная витрина, гдѣ за проволоочной рѣшеткой красовалась большая розовая афиша. Пріятели остановились и стали читать ее.

— А знаете-ли что, другъ любезный,—заговорилъ Свитка, прервавъ свое чтеніе,—я нахожу, что вы черезчуръ уже застоялись, какъ ваша кавалерійская лошадь, то-есть засидѣлись дома и захандрились,—вамъ необходимо развлечься!.. Поглядите на себя—вѣдь это просто срамъ! Отъ хандры да отъ вашихъ конюшень съ манежами скоро совсѣмъ плѣсенью покроетесь, и то вонъ борода-то ужъ сколько времени не брита!.. Сходите-ка вы лучше къ Квицинскому да побрейтесь, а потомъ въ театръ, да возьмите себѣ въ кассѣ билетъ на

нынѣшній спектакль. Взгляните, вѣдь прелесть что за спектакликъ!—Два акта изъ «Орфеуса въ пеклѣ», и при томъ самые веселые акты, а затѣмъ «Веселье въ Ойповѣ»—опера и балетъ. Оффенбахъ и Тарновскій! Это васъ хоть разсѣетъ нѣсколько.

— А что-жь, пожалуй! — равнодушно согласился Хвалынцевъ.

И Свитка непосредственно вслѣдъ за этимъ рѣшеніемъ проводилъ его въ кассу «Велькаго Театра», причемъ заботливостъ свою о пріятелѣ простеръ даже до того, что освѣдомился въ какомъ ряду и какой именно номеръ взялъ онъ, послѣ чего лично предоставилъ его въ парикмахерскую Квицинскаго и здѣсь простился.

— До Уяздовской аллеи! — бойко и весело скомандовалъ онъ гороховому дружкѣ, прыгнувъ въ его развалистую четырехмѣстную коляску.

XII.

Въ театрѣ.

Въ началѣ седьмого часа Хвалынцевъ вошелъ въ партеръ «Велькаго Театра». Со введеніемъ въ Варшавѣ военнаго положенія, спектакли начинались ровно въ шесть часовъ и кончались въ десять. На сценѣ шелъ уже пресловутый «Орфеушъ», и партеръ былъ почти полонъ. При взглядѣ на этотъ партеръ, Константинъ вдругъ почувствовалъ себя совсѣмъ какъ будто въ Россіи, какъ будто въ Петербургѣ: всѣ ряды пестрѣли военными мундирами: уланы, гусары, пѣхотинцы, штабные наполняли всѣ мѣста и являлись преобладающей публикой театра. Въ антрактахъ слышался повсюду русскій говоръ. Въ первомъ ряду кресель замѣтно видѣлась характерная сѣдоусая фигура башъ-Кадыкларскаго героя, князя Бебутова, который былъ въ то время комендантомъ Варшавы. Статскій костюмъ являлся рѣдкимъ исключеніемъ въ этой массѣ военныхъ мундировъ. Впрочемъ, въ среднихъ и, преимущественно, въ заднихъ рядахъ было нѣсколько «цивильныхъ», очевидно, поляковъ изъ которыхъ большинство придавали своимъ лицамъ такое постное, строго-холодное выраженіе, какъ будто желали дать почувствовать кому-то, что они находятся здѣсь вовсе не для собственнаго развлечения, а скорѣе по обязанностямъ какой-либо особой «народовой» службы. Они держались особнякомъ, не хлопали, не вызывали и не соприкасались ни съ кѣмъ изъ «москалей». Дамъ было очень мало, большою частію въ скромныхъ ложахъ верхнихъ ярусовъ или въ заднихъ мѣстахъ партера; но и эти напускали на себя постный видъ и всѣ безъ исключенія были одѣты въ черное. Сцена блистала яркими и пестрыми костюмами. Оркестръ былъ недурень, но голоса по большей части плохи; зато артистки, какъ женщины, были прелестны и, благодаря своимъ красивымъ бюстамъ и ли-

цамъ, вызывали порою оглушительный громъ рукоплесканій со стороны военной публики. Панна Квицинская одна только пѣла хорошо и, изображая *Кунидо* — стало-быть мальчика — получила на свою долю наибольшую дань аплодисментовъ.

По окончаніи «Орфея», когда еще большинство публики неистово гремѣло и хлопало, вызывая весь Оффенбаховскій Олимпъ и все царство Плутона, къ Хвалынцеву, котораго кресло было какъ разъ на проходѣ, приблизился какой-то скромный и совершенно неизвѣстный ему молодой человекъ изъ «цивильныхъ» и, прежде всего вѣжливо извинившись, обратился къ нему на французскомъ языкѣ съ вопросомъ:

— Вы видите вонъ ту литерную ложу съ лѣвой стороны съ закрытой ширмой?

Константинъ, нѣсколько озадаченный этимъ неожиданнымъ подходомъ и еще болѣе неожиданнымъ вопросомъ, отвѣчалъ утвердительно:

— Васъ тамъ ждутъ, — съ какимъ-то особымъ, нѣсколько таинственнымъ и значительнымъ выраженіемъ сообщилъ «цивильный».

— Меня?!—удивился Хвалынцевъ.

— Да, именно *васъ*; и мнѣ препоручили передать вамъ приглашеніе... Васъ ждутъ тамъ въ этомъ антрактѣ?

И вѣжливо поклонившись, молодой человекъ скромно отошелъ отъ Хвалынцева. «Это что еще за приключеніе!»—пожавъ плечами, подумалъ Константинъ Семеновичъ. Подходъ и сообщеніе неизвѣстнаго молодого человека — сообщеніе, выраженное столь таинственно и неопредѣленно, хоть кому бы могло показаться страннымъ и загадочнымъ, тѣмъ болѣе, что въ типѣ лица, въ манерѣ и въ акцентѣ таинственный вѣстникъ явно обнаружилъ свое польское происхожденіе. «Идти, или не ходить?» думалось Константину, котораго невольно брало нѣкоторое сомнѣніе въ виду исключительныхъ обстоятельствъ той эпохи. Конечно, остаться въ партерѣ было бы благоразумнѣе, но удалая молодость и любопытство, подстрекаемое таинственностью вызова, манили его въ закрытую ложу. Онъ подошелъ къ балюстрадѣ, отдѣляющей партеръ отъ оркестра, и старался засмотрѣть снизу вверхъ, не увидитъ ли что въ указанной ложѣ; но тамъ царилъ полусвѣтъ, въ которомъ ничего и никого не было видно. Кинувъ взглядъ вдоль по партеру, онъ замѣтилъ вдали своего извѣстителя, который стоялъ противъ него и смотрѣлъ на него пристальнымъ взглядомъ.—«Чортъ возьми! подумаетъ еще пожалуй, что я трушу!» мелькнуло въ головѣ Хвалынцева, и отъ этой мысли легкая краска стыда и досады выступила на его щеки. Онъ вспомнилъ впрочемъ, что бояться нечего, такъ какъ въ карманѣ его лежитъ маленькій заряженный револьверъ,—оружіе, безъ котораго въ то время не выходили изъ дому русскіе въ Варшавѣ, и окончательно увлеченный заманчивой стороной

таинственного приглашенія, твердымъ и спокойнымъ шагомъ направился къ указанной ложѣ. Однако же, сердце его забилось нѣсколько сильнѣе обыкновеннаго, когда онъ подходилъ къ ней по корридору. Остановясь предъ дверью ложи, Константинъ осторожно постучалъ въ нее, и дверь пріотворилась.

Хвалынцевъ невольно отступилъ на шагъ и смѣшался.

Предъ нимъ стояла Цезарина.

— Войдите!—ласково кивнула она ему головой, — здѣсь никого нѣтъ, я одна, входите смѣло!

Онъ переступилъ порогъ, и дверь за нимъ была захлопнута рукою графини.

Чувство, которое всегда овладѣваетъ искренно влюбленнымъ и несамонадѣяннымъ человекомъ при внезапной встрѣчѣ съ любимой, но малодоступной женщиной, всецѣло охватило Хвалынцева. Это чувство было смущеніе и радость. Цезарина своей улыбкой и дружескимъ тономъ своего разговора видимо старалась ободрить его. Это были добрыя, ласково-привѣтливыя, но ничего незначащія фразы, на которыя онъ отвѣчалъ, по большей части, односложными словами. Одни только глаза его выражали восторгъ и безпредѣльную радость, наполнявшіе въ эту минуту его душу. Но мало-по-малу онъ совладалъ со своимъ смущеніемъ и оправился.

— Скажите, зачѣмъ вы какъ будто избѣгаете меня?—прямо спросила его, наконецъ, Маржецкая. — Вѣдь вы знали, что я въ Варшавѣ!

— Почему же я могъ знать это?—возразилъ онъ, какъ бы оправдываясь.

— Неправда, вы хорошо это знали: вамъ Свитка про меня говорилъ и вы часто съ нимъ обо мнѣ разговаривали... Видите, я все знаю и знаю потому, что я сама съ нимъ часто о васъ говорила... Я интересовалась вами, и говорю вамъ это не скрываясь! — Мнѣ хотѣлось знать, какъ вы и что вы?.. Вѣдь мы—помните—въ Петербургѣ разстались съ вами какъ добрые друзья, а у полякъ есть то, что называется памятью сердца... Отчего вы не пріѣзжали ко мнѣ послѣ того, какъ мы встрѣтились съ вами въ костелѣ?—А я ждала васъ. Вѣдь я не даромъ же сказала вамъ тогда «до свиданья!»

Хвалынцевъ не совсѣмъ-то ловко и не совсѣмъ-то кстати сталъ оправдываться обиліемъ занятій по службѣ и тѣмъ, что не считалъ себя въ правѣ, не смѣлъ явиться къ ней, зная общее настроеніе здѣсь противъ «москалей».

— Все это вздоръ,—перебила графиня. — Вы для меня не москаль, а просто мой старый добрый знакомый.

Хвалынцевъ въ отвѣтъ на это обѣщалъ посѣтить ее въ непродолжительномъ времени.

— Отклывывать нечего, — весело возразила ему Цезарина. — Разъ, что мы встрѣтились, благодаря счастливому случаю, я хочу провести этотъ вечеръ съ вами.

Тотъ чуть не вспрыгнулъ отъ счастья.

— Вы свободны?—продолжала она.

— Совершенно.

— Въ такомъ случаѣ вотъ что: вы знаете мой адресъ?—Пріѣзжайте ко мнѣ послѣ спектакля, мы вспомнимъ съ вами наши петербургскіе вечера и скромные ужины! Но... прибавила она, раздумчиво и серьезно помолчавъ минутку. — О нашемъ посѣщеніи никто не долженъ знать, т. е. я разумѣю моихъ домашнихъ, мою прислугу. Вы знаете, какое время теперь!.. Поэтому мы съ вами устроимся вотъ какимъ образомъ: вы берите дружку и доѣзжайте до «Трехъ Крестовъ», а оттуда въ Узловъ ступайте уже пѣшкомъ. Изъ моего сада на аллею выходитъ чугунная рѣшетка и въ ней калитка есть; она будетъ открыта—ключъ у меня, и я уже сама, помимо прислуги, распоряжусь объ этомъ. Вы можете войти совершенно свободно въ мой садъ и подождите меня тамъ—я къ вамъ выйду, а къ тому времени мой холодный ужинъ будетъ уже на столѣ и я распоряжусь заблаговременно удалить прислугу, такъ что мы будемъ совершенно одни и внѣ всякой опасности отъ чьихъ бы то ни было глазъ! Согласны?

Хвалынцевъ не помнилъ себя отъ восторга и горячо поцѣловалъ протянутую ему руку.

— Теперь ступайте въ партеръ,—продолжала Цезарина, не выпуская изъ его ладони своихъ пальцевъ. — Досидите тамъ до конца спектакля, а я межъ тѣмъ сейчасъ отправляюсь домой, чтобъ успѣть всѣмъ распорядиться до вашего пріѣзда.

И она направилась изъ ложи. Хвалынцевъ хотѣлъ было послѣдовать за нею, чтобъ проводить до подъѣзда, но Цезарина отклонила его услуги. Закутавшись въ шаль, накиннутую ей на плечи ливрейнымъ гайдукомъ, она спѣшно пошла по корридору и, какъ легкая тѣнь, скрылась внизу на поворотѣ лѣстницы.

Хвалынцевъ, просидѣвъ нѣкоторое время въ театральной цукернѣ Люкса, вернулся въ театръ, когда въ оркестрѣ гремѣла уже мазурка и на сценѣ мелькала цѣлая вереница длиннорусыхъ хватовъ, въ яркихъ кунтушахъ съ «вылетами», въ «рогатынкахъ», заломленныхъ набекрень, и съ низко спущенными золотыми «пáсами». Подхвативъ каждыя по красивой женщинѣ, они лихо, съ громомъ, стукомъ и звономъ отхватывали съ ними старо-польскую мазурку, изображая пресловутое «Веселье въ Ойцовѣ». Тутъ мелькали теперь всѣ знаменитости варшавскаго балета: Менъе, Квятковскій, Тарновскій, Пухальскій, Попель, и его «дрцукá» бѣлокурая Попелювна, и панна Оливинскá, и панна Дылевская, какъ самыя красивыя представительницы женскаго персонала, а за ними прыгали уже всѣ эти панны Холевискія, Пиотровскія, Брандты, Страусы и прочія извѣстныя подъ общимъ именемъ «балетничекъ варшавскихъ». Русский партеръ то и дѣло гремѣлъ взрывами

рукоплесканій и дѣлалъ это по обыкновенію съ такимъ искреннимъ добродушіемъ, которое, казалось, ни на единый мигъ не допускало въ немъ и тѣни сомнѣнія, что всѣ эти по неволѣ прыгающіе Квятковскіе, Піотровскіе и Брандты, быть можетъ, въ эти самыя минуты шлютъ въ душѣ самыя искреннія и тяжкія проклятія апплодирующимъ «москалямъ».

Но Хвалынцеву было уже не до мазурки. Онъ весь былъ преполненъ такой восторженной радости, по поводу столь неожиданно назначеннаго ему свиданія, что готовъ бы былъ броситься на шею первому встрѣчному и весь міръ заключить въ свои объятія. Это была свѣтлая, свѣжая, безавѣтно молодая радость. Онъ былъ какъ въ чаду, какъ въ дурманѣ: пестрота партера и театральныя орнаменты, блескъ огней и блескъ сценическихъ костюмовъ, звуки оркестра, стукъ и звякъ и мельканіе мазурки, красивыя лица и плечи, и громъ рукоплесканій— все это сливалось для него въ одну какую-то смутную, неопредѣленную, но яркую и пеструю грезу. Онъ сидѣлъ въ партерѣ совершенно безучастно къ тому, что дѣлается вокругъ и что происходитъ на сценѣ, сидѣлъ потому только, что она велѣла ему досидѣть до конца спектакля, а самъ межъ тѣмъ нетерпѣливо, неудержимо рвался душою въ каштановыя аллеи Уздова, — туда, за чугунную рѣшетку, въ таинственную глубину темнаго, уединеннаго сада. Никакое сомнѣніе, никакая темная мысль ни на единое мгновеніе не омрачала его душу: онъ былъ убѣжденъ въ искренности назначеннаго ему свиданія, онъ безусловно вѣровалъ въ Цезарину и въ свое молодое, неожиданно прихлынувшее счастье.

Еще не было 10-ти часовъ, какъ спектакль уже окончился. Торопливо продравшись сквозь суету и движеніе расходящейся публики на освѣщенный газомъ подъѣздъ, мимо топчущихъ лошадей, мимо экипажныхъ колесъ и жандармскихъ касокъ, Хвалынцевъ вышелъ на площадь и, кликнувъ дружку, покатылъ въ Уздовскую аллею.

Странный видъ представляла Варшава того времени въ этотъ часъ вечера. Въ городѣ все уже было тихо и глухо, ставни закрыты, сторы спущены, лавки и магазины заперты, въ одномъ лишь театрѣ раздавались еще пока веселые звуки, на одной лишь театральной площади было еще яркое освѣщеніе и замѣчалась жизнь, движеніе, суета, говоръ, крикъ жандармовъ и «дружкарей»; но отъ остальнаго города, погруженнаго въ мракъ и молчаніе, вѣяло чѣмъ-то могильнымъ, зловѣщимъ, какимъ-то холодомъ и общимъ заговоромъ противъ кого-то и чего-то. По тротуарамъ виднѣлись ряды движущихся огоньковъ и около каждаго изъ нихъ темная тѣнь прохожаго. Эти огоньки напоминали собою не то блестящія звѣзды свѣтляковъ, когда они расплзаются по вѣтвямъ дерева, не то

какую-то странную, фантастическую процессію темныхъ тѣней со свѣтящимися точками. Это были послѣдніе, запоздалые пѣшеходы изъ «цивильныхъ», которые торопились поскорѣе добраться до дому изъ театра, изъ гостей, изъ «баварій» и «огрудковъ», такъ какъ послѣ 10-ти часовъ вечера появленіе на улицѣ «цивильнаго» человѣка, хотя бы даже и съ «латаркой», т. е. съ фонарикомъ, неизбѣжно влекло за собою, въ силу военнаго положенія, отправку «до цыркула», т. е. въ полицейскую часть, осмотръ, разспросъ и ночевку въ этомъ неприглядномъ пріютѣ. Съ 7-ми часовъ вечера обыватели обязаны были появляться на улицахъ не иначе, какъ съ «латарками», а въ 10 часовъ всякое движеніе въ городѣ окончательно уже прекращалось. Чтобы показаться на улицѣ послѣ этого урочнаго часа «цивильному» человѣку, необходимо было имѣть особый разрѣшительный билетъ изъ полиціи, а это дѣлалось съ большимъ трудомъ и то не для поляковъ, а почти исключительно для коренныхъ русскихъ людей изъ купцовъ и чиновниковъ. Одни офицеры имѣли право ходить по городу безъ фонаря, и потому послѣ 10-ти часовъ можно было услышать иногда на опустѣлой улицѣ лязгъ двухъ-трехъ сабель, такъ какъ наши военные, во избѣжаніе неприятныхъ столкновѣній, а иногда и встрѣчи съ кинжаломъ заговорщика, изъ-подъ какой-нибудь подворотни, предпочитали ходить по-двое или по-трое. Но чѣмъ болѣе удалялся Хвалынцевъ отъ городского центра, чѣмъ далѣе катилъ онъ по «Новому Свѣту», тѣмъ глуше и безлюднѣе становились улицы. Одиѣ только тѣни полицейскихъ торчали кое-гдѣ на углахъ да на перекресткахъ, да одинъ за другимъ двигались пѣхотные патрули, которые въ свое время были очень остроумно сравнены однимъ русскимъ корреопондентомъ съ извѣстными «уточками», безконечно выплывающими одна за другой изъ трень-бренькающей дѣтской игрушки. Вотъ мѣрно звуча кованными копытами, прослѣдовалъ шагомъ кавалерійскій разѣздъ, — сабли на-голо и пики на перевѣсъ чрезъ сѣдла; за нимъ черезъ нѣкоторое время, — другой подобный же разѣздъ, который скрылся за поворотомъ въ смежную улицу, — и снова молчаливыя тѣни полицейскихъ, снова мѣрный шагъ пѣхотныхъ патрулей, снова нѣмая тишина и пустыня межъ темныхъ каменныхъ громадъ лучшей улицы города... Вотъ въ который именно часъ Варшава ясно давала чувствовать свое ненормальное, исключительное положеніе; вотъ когда въ ея нѣмомъ воздухѣ начинало пахнуть какимъ-то зловѣщимъ заговоромъ! Въ обычные же часы дня поверхностный наблюдатель нашелъ бы, что она — ничего себѣ, городъ какъ городъ, мирно живущій своей обыденной жизнью, ибо днемъ не видать было на улицахъ даже солдатъ и поли-

цейскихъ въ количествѣ свѣше обыкновеннаго; напротивъ, ихъ было тутъ даже гораздо менѣе чѣмъ, напримѣръ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ; но съ наступленіемъ ночи, при видѣ этихъ нѣмыхъ патрулей, двигающихся въ нѣмой тишинѣ, каждый невольно начиналъ чувствовать себя въ положеніи человѣка, сидящаго на бочкѣ пороха или двигающагося по направленію какой-то подземной мины, которую вотъ-вотъ взорветъ со страшнымъ трескомъ,—и все полетитъ къ чорту!

XIII.

«Capre diem!»

Но Хвалынцеву въ настоящую минуту ничто подобное не приходило въ голову. Онъ весь былъ—ожиданіе скорого свиданія со своимъ идоломъ и, то и дѣло, ежеминутно погонялъ своего «дружжара» нетерпѣливыми возгласами: «прендзей! прендзей рушай! скорѣе!» — Но тотъ, пощелкивая бичомъ, и безъ того уже гналъ во всю рысь свою длинную пару. На площади Трехъ Крестовъ Константинъ расплатился съ дружжаремъ и, съ замираніемъ сердца, вступилъ въ густыя, темныя сѣни узадовскихъ каштановъ. Вотъ и знакомый палацъ графини Маржецкой. Тамъ, внутри, казалось, все уже давно покоится глубокимъ сномъ, и ни единая полоска свѣта не пробивается сквозь щели наглухо захлопнутыхъ ставень. И внутри, и снаружи, повсюду мракъ и тишина глубокая. Вотъ и чутунная рѣшетка. Константинъ нащупалъ калитку, подавалъ ручку запора, которая тотчасъ же поддалась на его легкое усиліе—и калитка открылась предъ нимъ свободно и безъ шума. Бережно подобравъ свою саблю, чтобы неумѣстный лягъ ея не нарушилъ окрестной тишины, онъ осторожными шагами пошелъ мимо стѣны дома, по песку садовой дорожки. Въ воздухѣ тихаго сада разливался запахъ резеды и левкоя. Тайнственные кудрявые кущи, въ глубину которыхъ убѣгали садовые дорожки, какъ-то сторожко и чутко глядѣли на необычнаго посѣтителя своими темными выпадами, словно бы и маня, и остерегая его въ одно и то же время. Константинъ завернулъ за уголъ и очутился предъ заднимъ фасадомъ палаца, около садовой террасы, заставленной цвѣтами и растеніями. На эту террасу выходила стеклянная дверь и два раскрытыя окна, которыя были слабо освѣщены матовымъ свѣтомъ лампы, разливавшимся изъ-подъ нахлобученнаго на нее абажура. Сердце Константина сильно и мѣрно стучало. Онъ осторожно, неслышными шагами поднялся на ступени и заглянулъ въ окна: въ комнатѣ никого не было; въ одномъ углу онъ разглядѣлъ круглый столъ, сервирован-

ный на два прибора. Повидимому, здѣсь уже было готово къ скромному ужину, обѣщанному графиней. Но гдѣ же сама она? гдѣ эта фея—обитательница этого палаца и этого сада, которые казались теперь Константину словно заколдованными,—гдѣ она?

Онъ, еще тише чѣмъ поднялся, сошелъ теперь со ступеней террасы и, мимо дикаго винограда и абрикосовыхъ деревьевъ, лѣнившихся по переплету рѣшетки вдоль домовой стѣны, пошелъ далѣе. Вотъ еще одно освѣщенное окно въ боковой комнатѣ, которое тоже выходитъ въ садъ и въ эту минуту стоитъ открытымъ настежь. Мягкій и теплый воздухъ ночи вливается въ него струей до того плавною и тихою, что даже не колеблетъ пламени свѣчи, поставленной на столикѣ близъ окошка, которое было прорѣзано на столько низко, что человѣку, стоящему на дорожкѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, можно было безъ всякаго затрудненія видѣть все, что происходитъ въ комнатѣ. И Константинъ, въ чаяніи увидѣть тамъ Цезарину, пожираемый нетерпѣніемъ и ожиданіемъ скорого свиданія, не удержался предъ искушеніемъ и заглянулъ въ окошко.

Вдругъ сердце его упало на мгновеніе, и онъ остановился какъ зачарованный, приковавшись взоромъ въ глубину освѣщенной комнаты. Тамъ была она. Онъ увидѣлъ ее въ томъ же черномъ платьѣ, въ какомъ была она за часъ предъ этимъ въ театрѣ. Только густыя, пепельныя косы были распущены, по домашнему, въ силу мѣстнаго революціоннаго обычая, и, рассыпаясь волнистыми прядями, падали на спину и плечи.

Она стояла почти въ профиль къ окну, опустивъ на колѣни позади своего раздѣтаго и тоже колѣнопреклоненнаго ребенка предъ образомъ Ченстоховской Богородицы, висѣвшимъ надъ его кроватью. Молитвенно сложивъ своему мальчику руки, она заставляла его повторять за собой, на сонъ грядущій, слова польской молитвы. Звучный, контральтовый голосъ ея дышалъ фанатическимъ упованіемъ, и каждое слово отчетливо и ясно доносилось до Хвалынцева. Послѣ обычнаго «Ойче нашъ, етуты есть въ небѣ», она заставила ребенка повторить за собою извѣстную «Литанію пилигрима»—эти фанатизирующие и сурово-мошныя, какъ бы изъ желѣза выкованныя слова молитвы, вылившейся изъ-подъ поэтическаго пера Адама Мицкевича.

— «Cyre elejson, Christe elejson!» внятно и плавно звучалъ голосъ Цезарины, сопровождаемый дѣтскимъ лепетомъ ея ребенка.— «Христе, услыши насъ! Христе, выслушай насъ! Боже Отче, изведшій люди Твоя изъ земли Египетской и возвратившій ихъ въ землю Святую,—возврати насъ въ отчизну нашу!

«Сыне Избавителю, Ты — замученный и распятый, воскресъ изъ мертвыхъ и дар-

ствуешь во славу, — воскреси изъ мертвыхъ отчизну нашу!

«Матерь Божья, Ты, которую отцы наши «Царицей Польши и Литвы» называли—избави Польшу и Литву!

«Святый Станиславъ, защитникъ Польши, молись за насъ!

«Святый Казимиръ, защитникъ Литвы, молись за насъ!

«Святый Иосифъ, защитникъ Руси, молись за насъ!

«Всѣ Святые, защитники Рѣчи Посполитой нашей, молитесь за насъ!

«Отъ неволи московской, австріяцкой и прусской избави насъ, Господи!

«Ради мученичества юношей литовскихъ, палками забитыхъ, въ рудникахъ и въ изгнаніи погибшихъ, избави насъ, Господи!

«Ради мученичества обывателей османскихъ, въ храмахъ Твоихъ и въ домахъ върѣзанныхъ избави насъ, Господи!

«Ради мученичества воиновъ, въ Кронштадтѣ убитыхъ, избави насъ, Господи!

«За раны, слезы и терпѣніе всѣхъ узниковъ, изгнанниковъ и странниковъ польскихъ, избави ихъ, Господи!

«Тебя молимъ и просимъ: услыши насъ, Господи!

«О брани всеобщей за вольность народовъ просимъ мы, Господи!

«Объ оружіи и орлахъ народныхъ нашихъ просимъ мы, Господи!

«О гробѣ костямъ нашимъ на землѣ нашей просимъ мы, Господи!

«Господу помолимся!

«Господи Боже всемогущій! Сыны народа воинскаго возносятъ къ Тебѣ руки безоружныя и зываютъ къ Тебѣ изъ чуждыхъ странъ: изъ глубины рудниковъ сибирскихъ, изъ степей Алжира, изъ снѣговъ камчатскихъ и изъ чужой земли французской, зане въ отчизнѣ нашей, Польшѣ—повѣрь, о Господи!—не вольно есть звать къ Тебѣ. Старцы наши, жены и дѣти молятся тебѣ лишь втайнѣ: мысля и слезами...

«Боже Ягеллоновъ, Боже Собіескихъ, Боже Костюшковъ, умиلسердися надъ нами и надъ отчизной нашей! Позволь намъ вновь молиться Тебѣ обычаемъ предковъ, на полѣ битвы, съ оружіемъ въ рукахъ, предъ алтаремъ, сложеннымъ изъ литавръ и пушекъ, подъ балдахиномъ орловъ и знаменъ нашихъ! Въ отчизнѣ же нашей дозволь молиться намъ въ храмахъ городовъ и весей нашихъ. Амен! Амен! Амен!»

Молитва давно уже была кончена, и мальчикъ, перекрещенный трижды своею матерью, давно уложенъ въ постель, и окно было захлопнуто и стора спущена, и свѣтъ свѣчи замѣнился слабымъ мерцаніемъ лампы, а Хвалынцевъ все еще неподвижно стоялъ на своемъ мѣстѣ, изумленный и пораженный силь-

нымъ и совершенно новымъ впечатлѣніемъ только что услышанной молитвы.—«Такъ вот онъ, этотъ глубокий и вѣчно живой родникъ польской ненависти къ намъ!» думалось ему. «Вотъ откуда бьютъ его неизсякаемая струя! Еще изъ пеленокъ, съ молокомъ матери, съ первымъ лепетомъ молитвы ребенокъ всасываетъ вражду и привыкаетъ къ ненависти!.. Борьба противъ мятежа понятна; но чѣмъ станешь бороться противъ дѣтской молитвы?!..»

* * *

Тихо стукнула стеклянная дверь на террасѣ—и по ступенямъ лѣстницы плавно заколебался темный силуэтъ сходящей женщины. Хвалынцевъ бросился къ ней на встрѣчу, но она легкимъ движеніемъ руки предупредительно остановила его не въ мѣру порывистое и страстное движеніе.

— Давно вы здѣсь?—заговорила она полупотомъ.—Васъ никто не замѣтилъ? Никто не видалъ, когда вы входили въ калитку?

Хвалынцевъ успокоилъ ее насчетъ полнѣйшаго своего incognito.

— Мы останемся съ вами въ саду, пока въ домѣ всѣ улягутся и заснутъ,—продолжала Цезарина.—Моя дѣвушка не спитъ еще. Дайте мнѣ вашу руку и пойдемте подальше, въ глубину—тамъ насъ не услышатъ, тамъ можно говорить свободно.

И она повела его въ отдаленный уголокъ сада, къ бесѣдкѣ, устроенной изъ кустовъ сирени и жасмина и осѣненной сверху свисавшими вѣтвями бѣлыхъ акацій. Тамъ стояла чугунная садовая скамейка.

Тихая ночь, благоуханіе цвѣтовъ и свѣжей травы, темнота сада, таинственность свиданія и близость любимой женщины, идущей рядомъ, рука объ руку, что позволяло ей спутнику осязательно чувствовать эту руку, по которой пробѣгала мгновенными легкая нервическая дрожь—все это слишкомъ сильнымъ электризовало Хвалынцева, все это раздражительно дѣйствовало и на душу, и на молодую кровь, погружая его въ дурманъ какого-то страстного опьяненія. Ради этой женщины, онъ чувствовалъ теперь въ себѣ рѣшимость на все, за одно ея слово, за единую ласку.

Они сѣли рядомъ, близко другъ къ другу. Цезарина взяла его руку.

— Я не даромъ позвала васъ сегодня; я хотѣла предложить вамъ одинъ серьезный вопросъ,—начала она послѣ нѣкотораго молчанія, какъ-бы собравшись съ мыслями для предстоящаго объясненія.—Помните-ли вы тотъ вечеръ въ Петербургѣ, когда я, только что окончивъ мое польское знамя, вамъ первому показала его?

Хвалынцевъ отвѣчалъ утвердительно.

— Помните-ли, — продолжала Цезарина, — вызванная вами, я сказала тогда, что буду принадлежать вся, отдамся съ гордостью, откры-

то, предъ цѣлымъ свѣтомъ, тому человѣку, который смѣло возьметъ это знамя и подниметъ его «за свободу вашу и нашу»? Помните ли вопросъ, который вы мнѣ сдѣлали при этомъ?

— Да; я спросилъ, что будетъ, если такимъ человѣкомъ окажется вдругъ русскій?

— Правда, и на это вамъ было отвѣчено, что все-равно, кто-бъ ни былъ онъ, лишь-бы шелъ за свободу моей родины, лишь-бы точно былъ героемъ! Тогда вы вызвались сами; вы сказали, что этимъ героемъ будете вы. Я не звала васъ, вы сами вызвались на подвигъ. Скажите, что побудило васъ тогда на это?

— Мое чувство и ваше обѣщаніе,—открыто отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Стало-быть, вы любили меня?

— Вы это видѣли... Вы это знаете.

— А теперь, Хвалынцевъ?—спросила она съ полузастиѣнчивой и полукокетливой улыбкой.

— Теперь, какъ тогда... Нѣтъ!—съ жаромъ перебилъ онъ самого себя.—Теперь болѣе! болѣе чѣмъ тогда!.. Время не охладило,—напротивъ, усилило это чувство!

Цезарина замолкла на минуту и раздумчиво потупилась.

— Если я вызвала васъ сюда, въ такую пору,—начала она наконецъ съ такимъ выраженіемъ, которое заставляло думать, что ей стоитъ нѣкотораго усилія дѣлать дальнѣйшее признаніе. —Если я подняла съ вами этотъ разговоръ, то вѣрьте, это потому... потому что... я помню прошлое... Однимъ словомъ, что тутъ таиться!.. Ну, да, потому что я сама люблю васъ! Я полюбила васъ еще тогда, въ Петербургѣ... Но я полька, не забывайте этого, Хвалынцевъ! Я полька, и потому моя любовь можетъ принадлежать только тому человѣку, который душу свою положитъ за Польшу! Вспомните, когда вы сказали, что *вы* будете тѣмъ москалемъ, который подыметъ мое польское знамя, я вамъ отвѣчала, что если это будетъ такъ, я ваша, *но только тогда, а не раньше!* Таковъ былъ мой отвѣтъ, и вы мнѣ обѣщали... Съ тѣхъ поръ прошло восемь мѣсяцевъ. Теперь... теперь, Хвалынцевъ, я готова быть вашей: я люблю васъ, но... отвѣчайте мнѣ прямо и честно: что вы сдѣлали въ теченіе всего этого времени для нашего общаго дѣла?

Что было отвѣчать ему?! Съ одной стороны—эта лихорадка ослѣпляющей страсти, эта женщина, признающаяся въ готовности любить его, эта близкая возможность полного, безграничнаго счастья, которое само говоритъ ему: «протяни только руку и бери меня!» а съ другой стороны—этотъ роковой и столь опредѣленно поставленный вопросъ: «что вы сдѣлали для общаго дѣла?»

— Я ничего не сдѣлалъ!—смутно, съ усиленіемъ прошепталъ онъ, безнадежно понуривъ свою голову.

— Отчего?—съ живостью спросила Цезарина, схвативъ его за руку.—Значитъ, вы не на столько любили меня? Значитъ, вы передумали, раскаялись, разочаровались?

Въ ея тонѣ, въ ея взглядѣ и жестѣ, которыми сопровождался этотъ вопросъ, заключалось нѣчто ободряющее, нѣчто такое, что должно было нравственно поддержать человѣка и поднять его снова на высоту тѣхъ требованій, которыя предъявлялись ему цѣною чувства этой женщины, цѣною полного обладанія ею.

— Вы праны: я разочаровался въ дѣлѣ!—признался наконецъ Хвалынцевъ.—*Ваше дѣло не наше!* Изъ ряда случайныхъ столкновеній я, какъ мнѣ кажется, достаточно узналъ его и—воля ваша—я не могу идти съ вами! *Ваше дѣло* требуетъ прежде всего, чтобъ я сдѣлался измѣнникомъ *своему* народу. Вѣдь вы не пошли бы на такую сдѣлку, графини? Такъ не требуйте-жь ее и отъ меня!

— Отъ васъ не требуютъ измѣны!—сурово холодно и строго заговорила Цезарина.—Напротивъ, васъ зовутъ во имя вашего же народа; вамъ говорятъ: ступайте за свободу *вашу и нашу!* Дѣло идетъ о взаимной помощи противъ общаго врага, а не объ измѣнѣ! Васъ зовутъ на дѣло вашихъ святыхъ мучениковъ, на дѣло вашихъ декабристовъ, на дѣло Герцена, на то дѣло, за которое сидятъ теперь въ казематахъ лучшіе, благороднѣйшіе представители вашего молодого поколѣнія, за которое на дняхъ еще погибли такіе же военные какъ вы, Арнгольдъ и Сливичій! Вы ѣхали сюда членомъ не польскаго комитета, а русскаго отдѣла «Земли и Воли», стало-быть ради вашего же народнаго дѣла! Нѣтъ, Хвалынцевъ!—заключила она съ одушевленіемъ, —или вы трусь, или вы любите не умѣете!

Константинъ вскочилъ словно ужаленный. Эти слова, какъ двойной ударъ ножа, вдвойнѣ поразили его самолюбіе. И услышать ихъ изъ устъ женщины, ради которой онъ всѣмъ былъ готовъ пожертвовать! Услышать въ такую минуту, когда она, казалось, совсѣмъ была готова отдаться ему!.. Это было уже слишкомъ. Ударъ ножа рассчитанъ былъ вѣрно. Будь Хвалынцеву не двадцать съ небольшимъ лѣтъ, этому удару можно было бы навѣрное предсказать промахъ, но его юность, его пылъ, его молодое, чуткое самолюбіе и его шальная страсть къ этой женщинѣ сдѣлали то, что ударъ, направленный ею, попалъ ему прямо въ сердце и врѣзался въ него глубоко колющимъ остриемъ ядовитаго слова.

— Я вашъ! — рѣшительно протянулъ онъ руку Цезаринѣ.—Не ради идеи, не ради дѣла, въ которое я и теперь не вѣрую, но ради васъ, единственно только ради васъ и ради любви моей къ вамъ отдаюся я въ вашу волю!.. Дѣлайте теперь со мной что хотите; если я вамъ

нуженъ, распоряжайтесь, приказывайте—я все исполню... Я не трусь и любить я умѣю!.. Вы увидите... я докажу вамъ это! — съ жаромъ задѣтлаго юнаго самолюбія закончилъ Хвалынцевъ, проговоривъ послѣднія фразы такимъ надтреснутымъ голосомъ, въ которомъ невольно прорвались горькія, жгучія слезы.

Цезаринѣ даже стало жаль его. Все-таки какъ женщина, она не могла, хотя бы и миловато, не скалиться надъ этою свѣжестью и чистотою чувства, надъ этимъ мальчишескимъ—врагомъ, москалемъ, который за одну ея ласку готовъ теперь хоть завтра же сложить предъ палачемъ свою бѣдную голову. Женщина—какъ она ни называйся, къ какому народу ни принадлежи, какой вражды ни чувствуй, племенной или политической, все-таки останется женщиной, всегда и прежде всего женщиной, у которой есть своя женская сторона чисто женскаго самолюбія, и этой-то женщинѣ прежде всего нравится суетно-гордое сознаніе, что ее любятъ, что она безо всякаго старанія, безо всякихъ усилій съ своей стороны, однимъ лишь обаяніемъ своей красоты и внутренней силы, даже и племенному врагу своему съумѣла внушить такую сильную любовь, такую слѣпую, восторженную страсть, что можетъ послать его подъ пули, подъ висѣлицу, подъ топоръ, можетъ заставить забыть ради нея и долгъ, и честь, и все на свѣтѣ! Въ польской же женщинѣ эта сторона женскаго самолюбія развита въ особенности сильно и чутко, быть-можетъ потому, что сами же польскіе мужчины своею извѣчною, традиціонною податливостію привили къ ней это свойство. Въ Польшѣ мужчина только орудіе; но властвуетъ, царитъ и управляетъ тамъ женщина. Такъ было издревле, такъ есть и нынѣ, и вся-то жизнь, вся цивилизація польская вполне наглядно выражается тою характерною фигурою мазурки, въ которой мужчина стоитъ, преклонивъ колѣно, а женщина вьется и кружится вокругъ него легкой и властительною сильфидой!

— Если такъ,—заключила Цезарина,—то вы завтра же отправитесь къ этому... какъ его? къ поручику Паланицѣ; вы этимъ исполните только то, что вамъ было указано еще въ Петербургѣ. Вы ему представите вашъ номеръ и номинацію, а тамъ—онъ ужъ укажетъ, что должно вамъ дѣлать. И тогда... тогда,—проговорила Цезарина глубоко убѣжденнымъ тономъ,—если вы честно исполните все, чего потребуетъ дѣло, приходите ко мнѣ, я слержу мое слово! Не сомнѣвайтесь и не бойтесь за себя и за дѣло: насъ много, у насъ цѣлыя легіоны, мы не можемъ не быть побѣдителями—и мы побѣдимъ! Мы побѣдимъ, если каждый будетъ вѣровать въ дѣло. Вѣруйте же въ меня, по крайней мѣрѣ, и ради меня дѣлайте то, что укажутъ!

И хвативъ руками виски Хвалынцева, она

приблизила къ себѣ его голову и припала къ его лбу беззвучнымъ поцѣлуемъ.

— Вотъ вамъ мое благословеніе!—смутно прошепталъ ея голосъ.—Теперь пойдемте; въ домѣ спать уже и насъ давно ждетъ ужинъ.

Хотя неожиданный переходъ къ столь прозаическому мотиву былъ, повидимому, слишкомъ крутъ и рѣзокъ, но Цезарина какъ-то вдругъ съумѣла придать ему ту немножко пикантную и изящную легкость, съ которой, среди самымъ патетическихъ минутъ, могутъ и умѣютъ говорить объ ужинѣ истыя француженки и польки. Съ этой минуты въ графинѣ Маржецкой исчезла возвышенная и пламенная патріотка, а осталась одна только милая, веселая и, на взглядъ, не совсѣмъ-то ужъ недоступная женщина.

Но это только такъ казалось. Графиня Маржецкая продолжала ту же игру и ту же комедию, только уже въ новой роли, и этотъ переходъ отъ суровой спартанки къ чему-то очень милому, увлекательному и легкому, не выходя впрочемъ изъ границъ достопримѣрной сдержанности, совершился въ ней, не покидая глазъ и чувство, какъ-то вдругъ, самъ собой, вполне естественно и, такъ сказать, органически. Все дѣло въ томъ, что она умѣла и *казаться и стать* всѣмъ чѣмъ угодно, не переставая въ то же время быть полькой и графиней Маржецкой.

Часъ, проведенный за ужиномъ, прошелъ легко, свободно, весело и потому незамѣтно. Цезарина задалась мыслию не давать ни на единый мигъ опомниться Хвалынцеву, помѣшать ему погрузиться въ себя, раздуматься и поразмыслить надъ своимъ положеніемъ и рѣшимостію на предпринятое дѣло; поэтому она все время держала его подъ страстнымъ обаяніемъ своей красоты, кокетства, граціи, маня и дразня, но не удовлетворяя его чувства и тѣмъ самымъ укрѣпляя въ немъ юношескую, беззабвѣтную рѣшимость добиться-таки торжества надъ нею, когда бы то ни было и во что бы то ни стало.

«*Capre diem*»! эгоистически припомнилось ему старое Гораціанское правило, когда, простясь съ Цезариной, онъ шелъ одинъ, глухой ночью, по Уяздовской аллеѣ, одурманенный своею страстью, надеждой и всѣми впечатлѣніями этого вечера: «Лови мгновенье!.. Хотя день да мой, но ужъ зато онъ будетъ моимъ вполне, безраздѣльно!.. И въ самомъ дѣлѣ, одна минута безумства, счастья и потомъ... въ расплату за нее пулю въ лобъ себѣ!.. И лучше! Жалѣть не стоитъ, да и не зачѣмъ!»

XIV.

Поручикъ Паланица.

Поручикъ Паланица обиталъ на улицѣ Фре-тѣ, неподалеку отъ того мѣста, гдѣ уже кон-

чаются городскія строенія и начинается пустынное, ровное поле цитадельной эспланады. Эта часть города и бѣдна, и тоже довольно пустынна. Она служитъ мѣстомъ обиталища для работниковъ и евреевъ самаго бѣднаго класса, которые кучатся и лѣпятся, словно какая грибошатая поросль, по убогимъ деревяннымъ лачугамъ да по старымъ полуразрушеннымъ «каменицамъ»¹⁾, на которыхъ дырявыя крыши съ провалившимися черепицами наглядно свидѣтельствуютъ какъ о ветхости построекъ, такъ равно и о скудости средствъ домовладѣльцевъ. Поручикъ Палаица нарочно избралъ себѣ для жительства эту пустынную и довольно отдаленную часть города, потому что она представляла ему двоякія выгоды: и отъ казармъ не далеко, да и опасности менѣе отъ постороннихъ глазъ и чужого вниманія: что за интересъ этимъ сосѣдямъ-евреямъ и мѣщанамъ-работникамъ наблюдать и знать, чѣмъ занимается въ тиши своего кабинета какой-то поручикъ, когда у нихъ и своего-то собственнаго дѣла да и насущныхъ нуждъ по горло!

Когда по темной, грязной и вонючей деревянной лѣстницѣ Хвалынцевъ подымался въ квартиру Палаицы, сердце его въ послѣдній разъ смутно ёкнуло подъ новымъ гнетомъ раздумья, укора и сомнѣнія. Онъ нарочно замедлил шагъ. «Подлость!» шепталъ ему какой-то внутренній голосъ. «Не вернуться-ли?»

А между тѣмъ, почти машинально, онъ все-таки подымался вверхъ по ступенькамъ.

Вотъ и площадка предъ дверью. Тутъ-же какая-то еврейка стирала въ корытѣ что-то въ родѣ пелёнокъ и вопросительно посмотрѣла на Хвалынцева.

Константинъ остановился въ замѣшательствѣ. Ему казалось, будто и эта еврейка, и тѣ ребятки, что играютъ на дворѣ, и тотъ дворникъ, что внизу указалъ ему лѣстницу и растолковалъ какъ пройти въ «мѣшканье пана Палаицы» — будто всѣ они знаютъ и догадываются о цѣли его посѣщенія. Разсудкомъ онъ постигалъ, что такое предположеніе нелѣпо какъ нельзя болѣе, но оно почему-то копошилось въ его душѣ и было причиной его смущенія.

«Не хорошее, не честное дѣло»... снова шепнулъ ему внутренній голосъ и, послѣ минутнаго колебанія, Константинъ уже повернулся было съ намѣреніемъ уйти, какъ вдругъ его окликнула еврейка:

— А чѣго панъ шѹка?..²⁾ 1) Може, до пана Палаицы?

Хвалынцевъ, какъ школьникъ, пойманный на мѣстѣ преступленія, смутился еще больше и, ужъ и самъ не постигая какъ и для

чего, отвѣтилъ ей утвердительно кивкомъ головы.

Предупредительная еврейка указала ему на дверь и даже сама дернула за шнурокъ звонка.

«Судьба... видно судьба!» мелькнуло въ умѣ Хвалынцева! «Но... дай Господи, чтобы его не было дома!»

Дверь пріотворилась, и изъ нея на половину выглянула чья-то физиономія.

Еврейка поспѣшила объяснить, что пришедшему пану нужно пана Палаицу.

— Ваше имя? — отнесся къ Хвалынцеву субъектъ, выглядывавшій изъ-за двври.

Тотъ назвалъ себя.

— Прощу! — буркнулъ сквозь зубы вопрошавшій и раскрылъ предъ нимъ настежь всю половинку.

Волей-неволей пришлось войти.

Константинъ очутился въ тѣсной и грязной прихожей — она же и кухня—гдѣ на первомъ планѣ кидался въ глаза закопѣлый очагъ или, такъ-называемый здѣсь, «коминъ», у окна на ларѣ лежалъ въ-растяжку и храпѣлъ денщикъ.

— Прощу!—снова буркнулъ ему отворявшій субъектъ и пропустилъ его въ слѣдующую комнату, неприглядная обстановка которой напоминала скорѣе номеръ скверной гостиницы, чѣмъ жилую квартиру осѣдлаго человѣка, и отличалась всѣми излишествами холостого неяршества.

Хвалынцевъ не зналъ за кого слѣдуетъ принимать стоявшаго предъ нимъ человѣка, который въ свой чередъ, остановясь по серединѣ комнаты, молча и вопросительно глядѣлъ на неожиданнаго гостя.

Это былъ мужчина лѣтъ двадцати-семи, длиннаго роста и жидкой комплекціи, къ которому какъ нельзя болѣе подходило бы прозвище «дылды». Онъ былъ смуглый и сильный брюнетъ, съ очень низкими лбомъ и коротко стриженными волосами, которые торчали на головѣ его какъ жесткая щетка; въ круто сведенныхъ густыхъ бровяхъ его присутствовало характерное выраженіе неуклонности и упорства, но сѣрые глаза уставлялись изъ-подъ этихъ бровей какъ-то тупо и неподвижно, напоминая своимъ выраженіемъ взглядъ соннаго окуня. Одѣтъ онъ былъ тоже довольно оригинально: на немъ красовалась малороссійская сорочка съ узорчато вышитымъ воротникомъ и пазухой; сорочка эта запускалась въ широкія нанковыя шаровары, которые тоже были запущены въ красные сафьянныя чоботы не то малороссійскаго, не то бухарскаго покроя. Малороссійскій широкій поясъ, гдѣ перебишались красный и зеленый цвѣта, стягивалъ его талію и съ обѣихъ боковъ спускался къ колѣнамъ своими длинными концами. Не доставало только бараньей шапки, чтобы сейчасъ

¹⁾ Каменница—каменный домъ.

²⁾ Чего вы ищете?

же поставить этого господина въ «живыя картины» изображать «парубка» на какомъ-нибудь спектаклѣ любителей.

Хвалынцеву было очень неловко стоять подъ упорно-неподвижнымъ взглядомъ неизвѣстнаго субъекта, и потому, чтобы прервать такое положеніе, онъ рѣшился еще разъ заявить, что ему нужно поручика Палаяницу.

— Я Палаяница,—глухимъ груднымъ голосомъ отвѣтилъ на это дылда, все-таки продолжая глядѣть на него своимъ рыбьимъ взглядомъ.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте...

И порывшись въ бумажникъ, Константинъ отыскалъ тамъ завѣтный клочокъ бумажки, данный ему Бейгушемъ еще въ Петербургѣ наканунѣ отъѣзда въ Варшаву, съ наставленіемъ предъявить его по пріѣздѣ поручику Палаяницѣ, какъ предсѣдателю варшавскаго отдѣла «Земли и Воли».

Этотъ клочокъ, оторванный съ одной стороны зигзагами и заключавшій въ себѣ недоконченное слово «заслуживъ», долженствовалъ служить Хвалынцеву его нравственнымъ аттестатомъ, такъ какъ другая половина бумажки, пересланная своевременно «Петербургскимъ Центромъ» къ Палаяницѣ, заключала въ окончаніи фразы ту степень довѣрія, которую предсѣдатель могъ оказать новому члену отдѣла «Земли и Воли», а свѣрка зигзага служила для него гарантіей, что предъявитель первой половины бумажки есть дѣйствительно то самое лицо, которое аккредитовано «Петербургскимъ Центромъ».

Константинъ молча подалъ этотъ клочокъ Палаяницѣ.

— Сейчасъ. Подождите тутъ, взявъ бумажку, буркнулъ ему дылда и, мѣшковато повернувшись, вышелъ въ другую комнату, причемъ не забывъ плотно затворить за собою двери.

Оставшись одинъ, Хвалынцевъ принялся разглядывать комнату. На стѣнѣ висѣли портреты Шевченки и философа Сквороды, да еще старинный малороссійскій торбанъ, наполовину съ оборванными струнами, и этимъ ограничивалось все убранство по эстетической части, на окнахъ — зола отъ папиросъ, на столѣ—папиросныя гильзы, вата и разсыпанный табакъ. Тутъ же лежало нѣсколько книжекъ, на заглавіе которыхъ Константинъ не преминулъ обратить вниманіе. То были «Кобзарь» Шевченка, либретто «Наташки-Полтавки», «Москаля Чаривника», да два или три разрозненные нумера «Основы».

Прошло минутъ около пяти, прежде чѣмъ Палаяница опять вернулся въ комнату, неся въ рукѣ два клочка бумажки.

— Вашъ нумеръ?—спросилъ онъ Константина.

— Онъ у меня записанъ... Кажется, что 7,342.

— Такъ точно,—подтвердилъ Палаяница. — Вы не ошиблись; дѣйствительно, вы записаны подъ этимъ нумеромъ.

И онъ показалъ ему оба клочка бумажки, сложивъ ихъ по зигзагу разрыва, такъ что Хвалынцевъ могъ теперь свободно прочесть всю фразу: «заслуживаетъ на полн е довѣріе № 7,342. В. О. Р. Об. З. и В.»¹⁾ Сбоку была приложена посредствомъ прессы синяя печать, гдѣ изображены двѣ руки, пожимающія одна другую, а вокругъ ихъ кольцомъ шла надпись: «*Wolnosc, Rovnosc, Niepodleglosc Wydzial Petersburgski*».

— Отчего такъ долго не являлись?—спросилъ Палаяница своимъ отрывистымъ тономъ, не выговаривая, а скорѣе какъ-то глухо бурча слова сквозь зубы.

— Не могъ раньше,—пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— Что жъ такъ? Могу знать причины?

— Да такъ, разныя... служба, то да се, не оглядѣлся пока,—мало ли что!

— Это не резонъ. Должны были тотчасъ явиться.

Хвалынцеву не понравился такой рѣзкій тонъ, напоминавшій нѣчто въ родѣ начальническаго выговора, поэтому онъ рѣшился отбросить въ сторону всякую уклончивость и объявилъ на прямикъ, что коли, молъ, вы такъ уже хотите знать, то я скажу вамъ прямо, что сомнѣнія одолевали, вѣры не было въ дѣло, потому и не шелъ.

— Отчего же вѣры не было? — спросилъ Палаяница.—Это странно: не было вѣры, а тутъ прописано, что заслуживаете полного довѣрія,—какъ же такъ?

— А очень просто, — усмѣхнулся Хвалынцевъ. — Въ Петербургѣ многое казалось такъ, а здѣсь на дѣлѣ показалось иначе.

— Гм... Отъ этого и сомнѣнія?

— Разумѣется.

— Гм... А теперь вѣра есть?

— Стало-быть есть, ежели я къ вамъ явился.

— Откуда же вѣра вдругъ взялась?

— Ну, на этотъ вопросъ отвѣчать вамъ довольно трудно, такъ какъ тутъ дѣло начинаетъ уже касаться для меня довольно тонкихъ психическихъ сторонъ,—возразилъ ему Хвалынцевъ.—Да и при томъ,—продолжалъ онъ,—разъ, что я здѣсь, у васъ, то это одно уже, кажется, можетъ служить доказательствомъ моей готовности къ дѣлу. А впрочемъ, если вы во мнѣ сомнѣваетесь, или я вамъ не нуженъ болѣе, то честь имѣю кланяться.

И онъ направился къ прихожей.

— Пойдите, пойдите! куда-же вы?—торопливо остановилъ его въ догонку Палаяница.—

¹⁾ То есть Варшавскій Отдѣлъ Русскаго Общества „Земли и Воли“.

Останьтесь, пожалуйста!.. Такъ вѣдь нельзя!.. Развѣ я сказалъ, что сомнѣваюсь, или что не нужно?.. Я этого не сказалъ!.. Вы напрасно обидѣлись. Я хотѣлъ только сказать, что долго ждалъ васъ, много времени даромъ потеряно, безъ пользы для дѣла—вотъ что хотѣлъ я, а не то, что вы думаете... Я радъ, очень радъ познакомиться... будемъ какъ товарищи.

И онъ, быстро протянувъ свою руку, не то что пожалъ, а скорѣе какъ-то рѣзко дернулъ книзу и давнулъ руку Хвалынцеву.

— Ну, вотъ и прекрасно... Садитесь. Прошу... Вы что пьете? водку или вино?

— Что случится... Впрочемъ благодарю васъ, теперь я не хочу ни того, ни другого.

— Ну, какъ знаете... А то можно послать? а?.. Вы безъ церемоній! Я самъ ничего не пью... никогда. Но товарищи приходятъ, тѣ пьютъ. Такъ какъ-же? послать что-ли?

Хвалынцевъ еще разъ поблагодарилъ и отказался.

— Впрочемъ, теперь мудрено-бы и послать,—продолжалъ Паляница, — потому денщикъ пьянъ, какъ стелька.. Видѣли? лежитъ тамъ... со вчерашняго дня лежитъ... Идіотъ совсѣмъ. Замѣчательный идіотъ! Да!.. Я нарочно взялъ такого.

— Для чего-же? вѣдь это очень неудобно,—отозвался Хвалынцевъ.

— Напротивъ. Самое удобное! Умный понималъ-бы все и... чортъ его знаетъ, могъ-бы выдать или сболтнуть. А этотъ и видить да ничего не понимаетъ... Такъ-то лучше! Спокойнѣе!.. А вчера какой случай былъ,—продолжалъ Паляница. — Вы знаете, почему онъ пьянъ.

— Откуда-жъ мнѣ! — пожалъ Константинъ плечами.

— Я вамъ расскажу. Курьезъ!.. Онъ со мною зубъ за зубъ, особенно какъ выпьетъ... Я ему позволяю—зубъ за зубъ-то... позволяю и ничего... мнѣ нравится, и потомъ — принципъ. Но вчера я далъ ему въ зубы... Ухъ, какъ! здорово далъ!.. А онъ, что вы думаете?.. а? Онъ меня на ѳтмашъ да въ грудь кулакомъ!.. Ей-Богу!

Хвалынцевъ невольно вытаращилъ глаза отъ крайняго изумленія.

— А?.. что?—продолжалъ невозмутимый Паляница, — вы не вѣрите?... Повѣрьте! Прямо въ грудь... Хорошо что не въ глазъ, фонарь бы подставилъ. Каковъ!.. а?

— Но какъ-же вы его держите еще?—воскликнулъ Хвалынцевъ, почти не вѣря ушамъ и не зная, что заключить по спокойному тону рассказа: вретъ-ли человекъ на смѣхъ или правду говорить.

— А что-жъ бы, по вашему? — возразилъ Паляница. — По моему прекрасно!.. Я послѣ этого на шею ему кинулся... въ объятія принять... разцѣловался... Да!.. И далъ рубль на

водку... Поощрять надо! Вотъ онъ и пьянствуетъ.

Хвалынцевъ ничего не возразилъ болѣе, но безпокойно-пытливый взглядъ его, пробѣгавшій по лицу и по всей длинной фигурѣ Паляницы, ясно выражалъ сомнѣніе, ужъ не сумасшедшій-ли полно предъ нимъ?

— Да; я радъ за него,—говорилъ межъ тѣмъ Паляница, — радъ въ его лицѣ за русскаго солдата!.. Онъ хоть идіотъ, денщикъ-то, но я тѣмъ болѣе радъ, потому это показываетъ, что въ немъ сознаніе проснулось... Понимаете, принципъ!.. Я нарочно далъ на водку, для того чтобы въ кабакъ пошелъ; въ кабакъ съ-пьянъ поди-ка, навѣрное товарищамъ сболтнулъ, а тѣ себѣ на умѣ, да другимъ шепнули, а въ результатъ, понимаете что? Сознаніе, что не все-же начальство насъ по зубамъ, а можемъ и мы начальство въ зубы!.. Такъ-ли?.. а?..

— Пожалуй и такъ,—согласился Хвалынцевъ,—но только что-же изъ этого выйдетъ, если дѣло пойдетъ такимъ образомъ?

— А! Это-то намъ и нужно!.. «Что выйдетъ?» Выйдетъ-то, что дисциплина фю-ит! Не станутъ уважать начальство, слушать не станутъ, не пойдутъ драться противъ поляковъ... Начальство будетъ безсильно и... ничего съ ними не подѣлаетъ. А затѣмъ они за поляковъ пойдутъ... освободиться помогутъ... Вотъ что!

— Это почему-же вы думаете?

— Потому что сознаніе усвоить... сознаніе правъ каждого человека на свободу... Мой поступокъ въ этомъ случаѣ есть самоотверженіе... высшее самоотверженіе... во имя идеи... Да-съ!.. Я такъ и понимаю!.. Пусть каждый офицеръ поступитъ такъ-же, и мы живо тиранию свалимъ!.. Свобода воцарится!.. Да!

— Хорошо-съ, но кто-же поведетъ ихъ за поляковъ, и почему опять-таки вы такъ увѣрены, что солдаты пойдутъ за нихъ?—спросилъ Хвалынцевъ, котораго заинтересовалъ ходъ логики курьезнаго субъекта.

— Кто поведетъ? мы!.. съ увѣренностью промолвилъ Паляница. — Мы и сами-же поляки!.. Вотъ кто! А пойдутъ во имя идеи... А кто за идею не поидетъ, тотъ за водку поидетъ, деньгами купимъ!.. У поляковъ есть деньги... Много денегъ! Всю европейскую дипломатію купили, вотъ что!

— Да вѣдь по вашей системѣ дисциплина-то — фю-итъ!

— Ну, фю-итъ!.. Такъ что-же?

— Какимъ-же образомъ послѣ этого вы будете вести ихъ въ дѣло и заставите себѣ повиноваться?

— А!.. мы, это совсѣмъ особъ статья!.. Намъ надо подорвать дисциплину только въ русскомъ войскѣ... поймите это... А тамъ мы ее снова возстановимъ!

— Какими-же судьбами?

— Очень просто-съ... Во-первыхъ развитіемъ гражданскаго долга... ну и мужества... социальныя идеи тоже... а во-вторыхъ, терроромъ... Гдѣ идея не поможетъ, тамъ казнить, разстрѣливать... вѣшать будемъ... Нѣсколько жертвъ, и конечно... Страху нагонимъ, и дисциплина возстановится... сама собою!

— А если начальство предупредить васъ подобными мѣрами? да если вы же первый и поплатитесь своей головой?

— Помилуйте, гдѣ ему!—махнулъ рукой Паланица, — не догадается!.. А если и догадается, такъ что-же?.. Пусть!.. Я радъ буду... съ удовольствіемъ!.. Я съумѣю умереть... благой примѣръ собой покажу... прочимъ... Последователи будутъ... Исторія, Герценъ свое слово скажетъ. Развѣ этого мало?.. Для этого можно умереть!.. Смерть—что, пустяки! Тѣфу! и только!.. Чтѣо челоѣкъ, что плевокъ, въ сущности, развѣ не одно и то же?.. Одно! Ей-Богу одно!

«Тѣфу, ты! какой непроходимый сумбуръ, однако!» съ жалостью и досадой подумалось Хвалынцеву. «Очевидно, у челоѣка зайчикъ какой-то въ головѣ бѣгаетъ».

— Скажите пожалуйста, гдѣ вы воспитывались?—безъ дальнихъ околичностей спросилъ онъ Паланицу, вовсе не принимая въ соображеніе насколько такой вопросъ можетъ показаться тому умѣстнымъ и пристойнымъ.

— Въ кадетскомъ корпусѣ,—безъ запинки буркнулъ длинный офицеръ.

«То-то ты и выглядишь такимъ закаломъ-кадетомъ!» подумалъ про-себя Хвалынцевъ.

— Впрочемъ, я остался очень недоволенъ кортиснымъ образованіемъ,—пояснилъ Паланица, — и потому уже на службѣ постарался самъ исправить себя... Нарочно въ Лондонъ ѣздилъ... Съ Герценомъ познакомился... Обѣдалъ у него... Впрочемъ, Бакунинъ мнѣ больше нравится... Радикальнѣе, знаете, и... того... глубже понимаетъ... настоящую суть... въ корень!.. Съ нимъ мы больше сошлись... Впрочемъ, знаете, у меня всегда... то-есть съ дѣтства еще страсть къ механикѣ была... все хотѣлъ технологомъ сдѣлаться, но... не удалось!.. Я самоучка... И теперь вотъ... тоже все... машинки разныя дѣлаю... изобрѣтаю...

— Какого-же рода машинки? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Радикальныя... То-есть, знаете... больше все въ революціонномъ смыслѣ и духѣ. Самыя радикальныя!

Константинъ снова выпучилъ глаза отъ изумленія.

— Чтѣо вы на меня такъ устались?—невозмутимо и серьезно спросилъ Паланица.

— Какъ это «радикальныя»?.. Объясните, пожалуйста, я не понимаю,—попросилъ Хвалынцевъ.

— Очень просто... Я вамъ могу показать

модельки... Все... какъ есть, все самъ, своими руками дѣлалъ... собственными-съ!.. И самъ изобрѣталъ... самоучкой... Да вотъ, коли интересуетесь, пожалуйста въ эту комнату!.. Прощу!

— И онъ отворилъ дверь въ смежную комнату, гдѣ помѣщался его кабинетъ и спальня.

Эта маленькая горница сдѣлала на Хвалынцева еще болѣе странное впечатлѣніе, такъ что въ немъ окончательно утвердилась мысль, будто въ головѣ поручика далеко не все обстоитъ благополучно.

Стѣны этой комнаты были выкрашены черной клеевой краской, потолокъ и полъ тоже, а карнизы, углы и ободки вокругъ двери и окна обведены бѣлыми каѣмками. Все это поражало глазъ чѣмъ-то траурнымъ, погребальнымъ, и это мрачное впечатлѣніе усиливалось еще тѣмъ, что по стѣнамъ кое-гдѣ были намаLEVаны бѣлой краской «Адамовы головы» со скрещенными костями. У одной изъ стѣн стояла желѣзная кровать, покрытая чернымъ солдатскимъ сукномъ, окаймленнымъ бѣлой полотняной полоской; наволочки на подушкахъ были тоже черныя, кашемировыя. Съ двухъ сторонъ надъ кроватью, на боковой стѣнѣ и въ головахъ, нарисованы большіе бѣлые кресты, какіе обыкновенно нашиваются на траурныхъ аналояхъ и престѣлкахъ. На стѣнахъ развѣшана странная коллекція, а именно: три челоѣческихкихъ, нѣсколько собачьихъ, кошачьихъ, конскихъ и бычачьихъ череповъ, челюсти, ребра, рога и разныя кости. Двѣ-три гравюры изображали сцены изъ испанской инквизиціи: на одной сжиганіе на кострѣ, на другой пытка на дыбѣ, на третьей что-то еще болѣе скверное. Словомъ, ничто въ этой странной комнатѣ не напоминало офицера: вся обстановка ея, приличная болѣе суровой келіи изувѣра-аскета, служила явнымъ обличіемъ мономаніи ея обитателя.

Хвалынцевъ былъ настолько пораженъ, что съ нескрываемымъ изумленіемъ оглядывалъ и стѣны, и хозяина.

— Все самъ устроивалъ... по секрету... на свои деньги, своими руками... и по своему вкусу!—похвалился предъ нимъ Паланица. — Сюда я никого не пускаю, кромѣ идиота и... самыхъ близкихъ людей... Но... вы—свой, про васъ писано, что заслуживаете довѣрія, поэтому вамъ тоже можно... вы, конечно, какъ товарищъ... понимаете?.. Коля скоро вѣрно полное довѣріе, я не скрываюсь... Вы не шпионтъ?.. Вѣдь нѣтъ? Не шпионтъ?.. а?.. Посмотрите, я вамъ покажу мои модельки... Прехорошенькія вещицы!.. Какъ вамъ понравится?..

И онъ снялъ со стола простыню, покрывавшую какія-то вещи.

Хвалынцевъ увидѣлъ, дѣйствительно, «прехорошенькія», то-есть очень искусно и шеголевато сдѣланныя, но престранныя игрушки.

— Что же это такое?—недоумѣло спросилъ онъ изобрѣтателя.

— Это вотъ, напримѣръ,—началъ Паляница, взявъ въ руки одну вещьцу,—это усовершенствованная гильотина! Обратите вниманіе, какъ быстро и спокойно опускается рѣзакъ!.. А? И ни малѣйшаго звука—тихо, плавно!.. Если эта отрубить голову, то гораздо лучше чѣмъ нынѣшнія... гораздо гуманнѣе... Кабы во Франціи, то привилегію дали бы... а? Какъ вы думаете?.. А это вотъ висѣлица... и тоже усовершенствованная,—продолжалъ Паляница, показывая другую модель.

Но Хвалынцеву стало противно разсматривать дальнѣйшіе продукты изобрѣтательности механика-самоучки, и потому онъ поспѣшилъ обратиться къ нему съ вопросомъ дѣлового свойства.

— Объясните, пожалуйста,—сказалъ онъ,—въ чемъ будутъ заключаться мои обязанности по «комитету» и какого рода работа для меня предполагается?

Этотъ вопросъ видимо затруднилъ Паляницу.

— То-есть, какъ вамъ сказать!—пожалъ онъ плечами.—Пока еще никакой особой работы... Я пока и самъ не знаю... но... подумаемъ... Тамъ, впослѣдствіи, увидимъ... А обязанности... Какія же обязанности? Повиноваться, конечно; дѣлать что укажутъ; обсуждать предметы разные, если потребуется. Ну, вотъ и все пока!

— Позвольте, однако,—возразилъ Хвалынцевъ.—Въ такомъ случаѣ, что же такое этотъ «Варшавскій Отдѣлъ Земли и Воли»? Мистификація что-ли?

Паляница даже обидѣлся нѣсколько.

— Какъ мистификація?.. Почему вы такъ заключаете?

— По вашимъ же собственнымъ словамъ. Откровенно говоря, я, идучи къ вамъ, воображалъ себѣ нѣчто гораздо болѣе серьезное, а тутъ вдругъ оказывается, что у васъ и дѣлать-то нечего!..

— Хм... Какой вы прыткий!.. Погодите, дѣло найдется... Всею своей чередъ... Дѣло будетъ, не беспокойтесь. Когда придетъ время, скажу. Ну, а пока приходите ко мнѣ почаще... познакомимся, потолкуемъ, у меня вы кое-кого встрѣтите. Приходите сегодня вечеромъ... а? Придете? да?

Хвалынцевъ далъ обѣщаніе и поспѣшилъ проститься съ Паляницей.

Смутное и тяжелое впечатлѣніе вынесъ онъ въ душѣ послѣ этого визита. «Гдѣ же эта русская революція? Гдѣ ея сила, если представителемъ ея является вдругъ какой-то полупомѣшанный кадетъ, который и самъ не знаетъ что нужно дѣлать?.. Неужели они всѣ такіе же, какъ этотъ маньякъ?» думалось ему. «Коли такъ, то хорошая компанія, нечего сказать! И что я стану съ ними дѣлать?»

Но онъ постарался убавить себя мыслию, что не слѣдуетъ поддаваться первому впечатлѣнію, что надо напередъ осмотрѣться, освоиться съ новымъ дѣломъ, ознакомиться ближе съ людьми, и тогда... тогда, смотря по обстоятельствамъ, либо самому стать головой и принять все дѣло въ свои руки, либо идти за другими, если только въ этомъ будетъ хоть какой-нибудь серьезный смыслъ и польза. «А если ни того, ни другого?» все-таки вставалъ въ головѣ назойливый скептическій вопросъ. Но могучимъ и всепокоряющимъ отвѣтомъ на него являлся образъ Цезарина и яркое, живое, обстоятельное воспоминаніе о вчерашнемъ свиданіи съ нею въ темномъ саду, о ея обѣщаніи, о словѣ, взятомъ ею... И тутъ уже въ горячей головѣ Хвалынцева всѣ разсудочныя соображенія, всѣ сомнѣнія разлетались какъ дымъ, тутъ же въ его душѣ возникалъ цѣлый рой блестящихъ радужныхъ надеждъ, порождаемыхъ слѣпою страстью, центромъ которыхъ была она—Цезарина, и все чувство, всѣ помыслы стремились только къ тому, чтобы добиться наконецъ ея полной любви, хотя бы въ расплату пришлось отдать и честь, и голову.

XV.

Варшавскій отдѣлъ «Земли и Воли».

Вечеромъ онъ снова пріѣхалъ къ Паляницѣ и засталъ уже тамъ двухъ-трехъ офицеровъ. Одинъ изъ нихъ, коротенькій человѣчекъ, съ одутловатымъ и лоснящимся отъ поту лицомъ, былъ однополчаниномъ Паляницы. Лицо его, не выражая ровно ничего, служило вывѣской полнѣйшаго внутреннего ничтожества. Онъ вообще говорилъ мало, а больше все отдувался, немилосердно пыхтѣлъ папироской и налегалъ преимущественно на бутылки стояваго предъ нимъ пива. Это былъ поручикъ Евгений Добровольскій, выдававшій себя, смотря по обстоятельствамъ, то за поляка, то за малоросса, хотя въ акцентѣ его явно сказывалось никакъ не малорусское, а чисто польское происхожденіе. Другой офицеръ, капитанъ Велертъ, въ разстегнутомъ сюртукѣ, съ ученымъ кантомъ, то и дѣло принималъ изломанно-небрежныя позы, закидывался въ кресло, задиралъ ногу на ногу, и все это ломанье поминутно сопровождалъ зѣвотой и какой-то кислой, брызгливой миной, которая не сходила съ его болѣзненно-блѣднаго, желчнаго и апатично-утомленнаго лица. Эта мина силилась изобразить презрѣніе къ кому-то и чему-то, дескать: все мнѣ надоѣло, потому что всѣ на свѣтѣ, кромѣ меня, дураки ужасные, пошляки непроходимые, одинъ я только и уменъ, и ученъ, и честенъ. Онъ, очевидно, игралъ здѣсь роль оракула и, обладая способностью безъ умолку трещать съ авторитетной наглостію о чемъ угодно и сколько угодно,

сыпля при этомъ именами и мудрыми словечками, приковывалъ къ себѣ подобострастное вниманіе остальныхъ членовъ кружка. Третій собесѣдникъ—саперный прапорщикъ Нарцисъ Кошкадамовъ, походилъ болѣе на семинариста въ военномъ платьѣ, чѣмъ на дѣйствительнаго офицера. На его небритомъ лицѣ болѣе всего кидались въ глаза выдающіяся скулы и острый подбородокъ. Выраженія глазъ нельзя было видѣть, потому что взглядъ ихъ прикрывался синими стеклами очковъ. Онъ то и дѣло пощипывалъ у себя волосики жиденькихъ усиковъ и все старался придать своей улыбкѣ проникающую язвительность. Говорилъ мало, безусловно соглашался во всемъ съ капитаномъ Велертомъ и, видимо, работая какъ вѣрный сеидъ предъ его особой. Можно было сразу же замѣтить, что Велертъ—идеалъ для Нарциса Кошкадамова, что Нарцисъ смотритъ его глазами, мыслить его умомъ, чувствуетъ его сердцемъ и неудачно стремится во всемъ подражать брюзгливому капитану. Его жидкіе и масляные волосы каштановаго цвѣта вились въ мелкія колечки и были неопратно и неприлично длинны, вслѣдствіе чего узенькій воротникъ его сюртука былъ сильно залосненъ, несмотря на то, что голова Нарциса сидѣла на длинной и какъ бы гусиной шеѣ. Эта голова то и дѣло упражнялась въ гимнастикѣ поддакивающихъ кивковъ, чуть только капитанъ Велертъ раскрывалъ ротъ, чтобы изречь какую-нибудь «великую истину». Во всемъ его складѣ, въ покроѣ сюртука и во всей неопратной наружности сказывался тотъ неприличный «шикъ», которымъ по преимуществу любить отличаться писаря, фельдшера и инженерные кондукторы семинарско-нигилистическаго пошиба.

Нельзя сказать, чтобы вся эта компанія произвела на Хвалынцева впечатлѣніе благоприятнаго свойства; къ капитану же Велерту онъ съ первой минуты почувствовалъ какую-то безотчетную антипатію, нѣчто отталкивающее. Въ особенности это претенціозное ломанье и эта кисло-брюзгливая улыбка болѣе ужъ стали ему противны.

Хотя Хвалынцеву и не выказали сухости или недовѣрія, но встрѣтили его совершенно равнодушно. Онъ засталъ все общество за чтеніемъ. Паляница, въ своемъ quasi-малорусскомъ костюмѣ, сидѣла на диванѣ, поджавъ подъ себя ноги, и вслухъ читала своимъ гостямъ листокъ Герценовскаго «Колокола», нѣсколько нумеровъ котораго было разбросано на столѣ.

— Свѣженькіе получили! Садитесь и слушайте!—пригласилъ онъ Хвалынцева, отрекомендовавъ его предварительно по чину и фамиліи всѣмъ собесѣдникамъ.—Господа! вниманіе!—прибавилъ онъ вслѣдъ за тѣмъ, возвысивъ голосъ.—Отвѣтъ на извѣстное вамъ письмо... Слушайте!

И началъ читать:

«Мы получили на дняхъ письмо изъ Польши отъ одного русскаго офицера, писанное отъ имени нѣсколькихъ товарищей его. Много тяжелыхъ минутъ, много устали и горя стираютъ такіа строки. Если больше будетъ такихъ офицеровъ, они легко очистятъ русское оружіе отъ ржавчины, которой его покрыла запекавшаяся на немъ польская и крестьянская кровь. Вотъ что онъ пишетъ между прочимъ: «Едва поляки замѣтили наши слабыя усилія сблизиться съ ними и смыть позорное пятно, лежащее на насъ, какъ братски подали намъ руку; имъ обязаны мы тѣмъ, что получаемъ «Колоколъ», имъ, что можемъ переслать это письмо. Къ сожалѣнію, они имѣютъ много правъ недовѣрять намъ, потому что офицеры часто принимаютъ на себя роль шпионовъ»... (Слѣдуетъ небольшой перечень шпионствующихъ офицеровъ, состоящихъ при варшавскомъ ордонансъ-гаузѣ.) Мы просимъ корреспондента еще разъ проверить имена, и тогда мы охотно ихъ отпечатаемъ, въ поощреніе другимъ».

— Надо проверить,—замѣтилъ кислый Велертъ.

— Непремѣнно надо! неpremѣнно!—тотчасъ же подхватилъ сеидствующій Кошкадамовъ.

— Да ужъ не бойтесь: вѣрно! И проверять нечего!—порѣшилъ Паляница.—Надо написать, чтобы поскорѣе пропечаталъ, не сомнѣваясь.

— А у васъ въ списокѣ есть такой-то? (Кошкадамовъ назвалъ фамилію одного плацъ-адъютанта).

— Нѣтъ, этого не помѣстили.

— Почему такъ?

— Мм... да о немъ не слыхать ничего такого.

— Это ровно ничего не значить, а онъ все-таки свинья! Представьте себѣ, какъ-то разъ въ театрѣ подходитъ ко мнѣ и вдругъ дѣлаетъ замѣчаніе, что у меня волосы чересчуръ длинны, что комендантъ замѣтилъ-де и послалъ его напомнить мнѣ о парикмахерѣ. Какое-съ?

— Ну, это, не есть доказательство шпионства,—рѣшился скромно замѣтить Хвалынцевъ.

— Какъ кому-съ!—фертомъ повернулся къ нему прапорщикъ, не совсѣмъ-то довольный мнѣніемъ Константина.—А по моему уже одинъ этотъ оранжевый воротникъ есть патентъ на шпионство! И при томъ, господа, надо было слышать тонъ, которымъ онъ позволилъ себѣ передавать замѣчаніе... Знаете, эдакая сухая полицейская вѣжливость... Я, конечно, промолчалъ, потому что не стоитъ же чортъ знаетъ съ кѣмъ затѣвать исторію и подвергаться неприятностямъ, но тѣмъ не менѣе этого господина неpremѣнно слѣдуетъ внести въ списокъ и пропечатать! Непремѣнно!

— Ну, ну, не горячись! внесу, внесу, будь покоенъ,—ублажилъ Нарциса Паляница.

— Мое мнѣніе, вовсе не слѣдуетъ имена печатать,—замѣтилъ коротышъ Добровольскій, пружась и созерцая свой стаканъ пива,—бо этимъ мы для нихъ только одолженіе сдѣлаемъ, потому что начальство за это ихъ же скорѣйшъ на повышение и къ наградамъ представлять.

— Совершенно основательно! — согласился Велерть. Физиономія Нарциса вытянулась въ недовольную мину, а шея, кажись, стала еще длиннѣе, но, какъ вѣрный сеидъ, онъ не посмѣлъ ни единымъ словомъ поперечить своему повелителю и, съ прискорбіемъ въ душѣ, долженъ былъ отказаться отъ сладкой надежды насолить посредствомъ «Колокола» лично для него непріятному офицеру.

— И то правда! Значитъ, написать, чтобы не печаталъ вовсе,—порѣшилъ Паляница, и снова взялся за «Колоколъ».

«...Мы думаемъ, что съ нашей стороны необходима искупительная жертва», продолжалъ онъ чтеніе. «Мы готовы на нее, и только ждемъ случая принести ее съ возможно большею пользою».

— А теперь, господа, слушайте слова самого Герцена!—и Паляница не безъ торжественности и даже съ декламацией прочелъ возвышеннымъ голосомъ слѣдующее:

«...Съ этимъ сознаніемъ прошлаго грѣха, съ этой готовностью пасть жертвой искупленія, съ этимъ смиреніемъ, можно надѣлать чудеса! Вашу руку, будущіе герои, будущіе мученики, будущіе воины русскаго земства!»¹⁾

— Ура!!—егозливо сорвался съ мѣста Кошкадамовъ, желая изобразить «неподдѣльный» восторгъ и увлеченіе.

— Вы понимаете... какъ много значитъ... это слово, господа!—растроганнымъ и взволнованнымъ голосомъ заговорилъ Паляница.—Да!.. это слово... вѣдь это... это благословеніе, господа!.. Шутка сказать!.. Герценъ... и вдругъ такое привѣтствіе... Этимъ гордиться надо, господа!..

— Ничего себѣ, статейка бойкая!—процѣдилъ сквозь зубы Велерть, небрежно покачиваясь на креслѣ.

— Нѣтъ! не говорите такъ! Не кощунствуйте!—возопилъ на него Паляница даже съ какимъ-то глухимъ завываньемъ въ голосъ.—Вѣра нужна, господа!.. вѣра и увлеченіе!

— Да что онъ вамъ дался? Папа римскій, что-ли?!

— Да! папа!.. больше, чѣмъ папа! — Монархъ русской революціи! Богъ! вотъ кто!.. Я только и свѣтъ узналъ, какъ его увидѣлъ! Прозрѣлъ!... А безъ него что я? Прохвость былъ и только! Я душу за него отдамъ! — стукнулъ себя въ грудь кулакомъ Паляница,—и при мнѣ... никому не позволю... никому! Никто не смѣетъ!... Да!

— Послушайте, поручикъ,—лѣниво заговорилъ Велерть.—Вы, какъ извѣстный матросъ, умиряете за генерала Джаксона. Я Герцена уважаю не менѣе васъ, но мнѣ кажется, что вѣра и рѣшимость на дѣло должны составлять продуктъ нашего собственнаго мышленія и чувства; мы ближе видимъ, ближе чувствуемъ и понимаемъ дѣло, чѣмъ онъ «съ того берега», и намъ вовсе не нужно никакихъ санкціонированій; мы и безъ нихъ пойдемъ себѣ сами! А вы его радите въ роль какого-то баньщика и хотите, чтобы онъ вамъ подавалъ пару вѣры и увлеченія.

— Велерть!.. Молчите!—завопилъ поблѣднѣвшій Паляница, нервно потрясая опущенными кулаками.—Молчите, капитанъ!.. Я хорошо понимаю васъ... У васъ вездѣ только свое «я» на первомъ планѣ... Вы слишкомъ самолюбивы... Вамъ кажется, что правительство не достаточно васъ оцѣнило... поэтому вы и злы на правительство... только поэтому!.. Поэтому вы и съ нами... Вы рассчитываете, что здѣсь скорѣе добудете извѣстность и славу... Вотъ почему вы тутъ, а не по призванію!

Слова Паляницы, повидимому, попали въ самую чувствительную жилку. Велерть закусилъ губу и всталъ съ видомъ оскорбленнаго челоуѣка, который на дерзость платитъ презрѣніемъ, взявъ свою кепи и удалился, отдавъ общій поклонъ, но не протянувъ руки хозяину.

Заметавшійся Нарцисъ Кошкадамовъ поспѣшилъ за своимъ идоломъ.

— И лучше!.. Провалитесь къ чорту!—буркнулъ вслѣдъ имъ Паляница.—Вотъ такъ-то и все у насъ! Чуть сойдемся, и поругаемся!.. Никакого единства!—обратясь къ Хвалынцеву, промолвилъ онъ какъ бы въ назиданіе. — А впрочемъ, чортъ съ ними!.. Кума съ возу—куму легче!

— Теперь они свой особый «Отдѣлъ» зачнутъ основывать,—насмѣшливо замѣтилъ Добровольскій.

— Ну и пусть!.. Надо будетъ писнуть къ Герцену... Ошелмимъ такъ, что никто вѣры не дастъ... Пусть тогда основываются!

— Это хорошо! — согласился коротышъ.— Але жъ когда писать, то надо какъ найскорѣйшъ, а то они и сами могутъ написать, предупредить могутъ.

— Не боюсь!—съ сознаніемъ собственнаго достоинства заявилъ Паляница.—Не боюсь!.. Онъ знаетъ кто я, и мнѣ больше повѣрять... можно сообщить въ формѣ протокола... и за печатью.

Этой быстро разыгравшейся сцены и послѣдующаго разговора было совершенно достаточно, чтобы Хвалынцевъ понялъ, что тутъ, въ этомъ крохотномъ кружкѣ, въ этомъ громкомъ «Отдѣлѣ Земли и Воинъ», царствуетъ полнѣйшая разладица и мелкая интрига, основанная на лич-

¹⁾ «Колоколъ», 1862 года, № 135.

ныхъ болѣзненныхъ самолюбяхъ. Онъ однако имѣлъ терпѣные досидѣть до конца вечера, въ расчетѣ, что не все же будутъ одни только чтенія да разговоры, что коснется же наконецъ Палаица и самой сути ихъ «общаго» дѣла, но увѣ! ожиданіе это было вовсе неосновательно. Поручикъ, поуспокоившись, снова принялся за «Колоколъ» и громко прочелъ весь нумеръ отъ доски до доски. Добровольскій, ни разу не вставъ съ мѣста, все время слушалъ его съ истинно воловьимъ терпѣніемъ, тупо погрузивъ свой взглядъ въ донце пивного стакана. Хвалынцеву стало наконецъ скучно, такъ что онъ исподтишка раза два скромно зѣвнулъ себѣ въ руку. Но это не укрылось отъ зоркаго Палаицы. Приостановивъ на минуту свое чтеніе, онъ замѣтилъ ему дружески внушительнымъ тономъ:

— Нѣтъ, однако, вы слушайте, а не зѣвайте!.. Вы слушайте, говорю, потому что... здѣсь каждое слово—откровеніе... каждая строка—евангеліе!

Но наконецъ была дочитана и послѣдняя строка послѣдняго нумера, возвѣщавшая, что слѣдующій листъ «Колокола» выйдетъ такого-то числа, и Палаица бережно сложилъ и спряталъ листокъ съ такимъ вздохомъ, какъ будто ему сердечно и глубоко жалъ, что нѣтъ у него еще, еще и еще безконечнаго продолженія этой «духовной пищи».

Разговоръ шелъ довольно вяло, потому что Палаица былъ вообще не мастеръ на краснорѣчивство, а Добровольскій и тѣмъ болѣе: онъ по большей части отдѣлывался односложными словами, рѣдко выдавливая изъ себя двѣ-три какія-нибудь недлинные фразы, и только все отдуживалъ да обтиралъ потный лобъ надъ своимъ пивомъ. Палаица снялъ со стѣны общипанный торбанъ.

— Давайте я вамъ «пѣсню чи то думку заспіваю!»—сказалъ онъ.

И усѣвшись въ свою любимую позу—«по-турецки» или «по-запорожски», поджавъ подъ себя ноги и подстроивъ инструментъ, онъ задумчиво забранчалъ по далеко неполнымъ струнамъ.

„Мовчить море, мовчать горы
Могилы сумують,
А надъ дитьми казацькими
Москали панують!“

чувствительно пѣлъ или, лучше сказать, нылъ Палаица своимъ глухимъ баритономъ, воображая себя въ эту минуту запорожскимъ казакомъ или бандуристомъ. Хвалынцевъ въ душѣ долженъ былъ сознаться, что это «нытье» вовсе не усадительно и далеко не мелодично.

— Вы малороссъ?—спросилъ онъ, когда Палаица кончилъ.

— Я? Эге! Съ-пить самого Пирятина!—похвалился поручикъ, заговоривъ вдругъ малороссійскимъ жаргономъ. — Батькіи уси палъ-тѣвськи та черныговськи!.. А ось мои боги!—

указалъ онъ на портреты Сковороды и Шевченка.

— И, какъ кажется, вы большою патріотъ малорусскій?—спросилъ Константинъ Семеновичъ.

— Я?.. Хиба жъ вы не бачите?!.. Плоть одѣ плоти и кость одѣ кости!.. И костюма дома иного не ношу, какъ только «оцѣй-ось»... А чтѣ я вамъ покажу еще!—сорвался онъ вдругъ съ мѣста, съ необычайно довольной улыбкой, и бросился къ платяному шкапу. Очевидно, Палаица попалъ на самого любимаго своего конька, и потому весь претворился какъ-то изъ суроваго буркающаго заговорщика въ наивно благодушнаго, распылчатаго хохла. Онъ вытащилъ изъ шкапа сермяжную свитку съ каптуромъ и широкія чумскія шаровары, насквозь пропитанныя дегтемъ.

— Ось вамъ! дивитесь-бо! — торжественно возгласилъ онъ, распяливая предъ Хвалынцевымъ эти чумацкіе доспѣхи и объясняя, что самъ добылъ ихъ подъ Чигириномъ у чумака! Якъ пахнуть!... а?!.. Понюхайте!

И поднеся къ своему носу шаровары, онъ съ истиннымъ наслажденіемъ потянулъ въ себя ихъ дегтарное благовоіе.

Хвалынцевъ не могъ удержаться отъ невольной улыбки.

Палаица замѣтилъ и обидѣлся.

— Вы улыбаетесь... Напрасно!.. Улыбаться нечему!—заговорилъ онъ, косясь и морщась, и притомъ сразу взявъ свой обыкновенный буркающій тонъ. — Смѣяться вообще легко-съ... да!.. къ сожалѣнію, очень легко-съ... Но надо напередъ почувствовать... проникнуться... Для иного это — штаны и только, а для иного — святыня... потому что это народное... это народъ... это труженникъ носить... это запахъ пота и крови труженника!.. Да-съ!.. А смѣяться можно надъ чѣмъ угодно... Смѣхомъ насъ не удивить!..

И онъ бережно заперъ въ шкафъ свои чумацкія «святыни». Хвалынцевъ изъ вѣжливости началъ было, впрочемъ довольно умѣренно, завѣрять его, что онъ, Палаица, ошибается, принимая его улыбку въ такую сторону.

— Такъ чему же вы улыбнулись... позвольте допытаться!?—покоился на него поручикъ. — Согласитесь, это довольно глупо.

Хвалынцеву стало наконецъ досадно.

— Да хотя бы тому, что нахожу въ васъ громадное противорѣчіе съ самимъ собою! — рѣшился онъ высказаться напрямикъ. — Вы, извините за откровенность, называете себя малорусскимъ патріотомъ, и въ то же время за поляковъ горой стоите, всѣмъ войскомъ помогать имъ собираетесь... Какъ это въ васъ одно съ другимъ совмѣщается?

— А чтѣ жъ такое?

— Да вспомните немножко исторію вашей родины, коли вы ее знаете!

— Помню и знаю-съ!.. Такъ что же?

— А то, что будь живъ хотя бы Тарасъ Шевченко, не говоря уже о Гонтахъ и Желѣзнякахъ, такъ вѣдь онъ, поди-ка, не благо-словилъ бы васъ на такое дѣло.

Палаица понуро задумался.

— Хм!—сказалъ онъ наконецъ.—Вы, можетъ полагаете, что Тарасъ назвалъ бы меня «не доробленнымъ»?.. была у покойника привычка такая... любить это слово!.. Хм... Такъ что ли?

— Пожалуй, вы и не ошибаетесь,—согласился Хвалынцевъ.

— Да-съ... Я не ошибаюсь!.. Но вы ошибаетесь!.. Я вамъ объясню... Полякъ съ малороссомъ, положимъ, злые враги... Но у меня и у поляка есть общій злѣйшій врагъ — правительство!.. Я помогу поляку свалить прежде всего этого общаго врага... а ужъ потомъ... тамъ мы сами промеемъ себя разберемся... И Герценъ говорилъ мнѣ то же, когда я въ Лондонѣ былъ... Это идея... Да-съ!.. И выходитъ все-жъ-таки, что смѣяться нечему!

«Кадетъ!.. Непроходимый кадетъ!.. И обломина-то какая!» мысленно повторялъ Хвалынцевъ, уходя отъ поручика Палаицы.

XVI.

Политика и жизнь наканунѣ взрыва.

Межъ тѣмъ, пока Хвалынцевъ, поглощенный своею страстью къ Цезаринѣ, жилъ исключительно въ мирѣ своего внутреннего чувства, своей борьбы и страданій, событія міра политическаго и жизни общественной шли своимъ чередомъ и близились къ роковой и грозной развязкѣ. Тайный комитетъ святой sprawy польской, готовясь къ открытому возстанію съ оружіемъ въ рукахъ, снѣшилъ заручиться сочувствіемъ европейской прессы. Чарторыйскіе и Замойскій не жалѣли денегъ на подкупы журналистовъ. Герцену не платили денегъ, но зато Герценъ былъ поддѣтъ на самолюбіе и купленъ обманомъ: партія магнатовъ, черезъ нѣкоторыхъ своихъ агентовъ, притворявшихся красными демократами, успѣла убѣдить его, что будто бы Центральный Комитетъ до такой степени преисполненъ благоговѣніемъ къ его доктринамъ, что объявилъ своимъ принципомъ «право крестьянъ на землю» и «право всякаго народа располагать своей судьбой». По этому поводу было даже подтасовано письмо къ нему въ Лондонъ. Герценъ поспѣшилъ объявить, что это письмо «отмѣчаетъ новую эпоху въ великой эпопее польской борьбы за независимость», потому что начала возстанія такъ широки де, такъ современны и такъ ясно высказаны, что мы де «не сомнѣваемся въ глубокомъ дѣятельномъ сочувствіи, которое возбудятъ ваши слова во всѣхъ русскихъ», а потому де «съ радостью пе-

редали ваши слова нашимъ соотечественникамъ, и благодаря васъ отъ всего сердца за то, что вы избрали насъ посредниками вашего сближенія съ русскими, мы не можемъ ничѣмъ достойнѣе отмѣчать вамъ, какъ печатая письмо къ русскимъ офицерамъ, стоящимъ въ Польшѣ». Это писмоиздателей «Колокола», начинавшееся словами: «Друзья и Братья!» всемирно старалось убѣдить русскихъ офицеровъ, что поддерживать правительство имъ невозможно, «не совершивъ сознательно преступленія или не унизившись до степени безсознательныхъ палачей», что «времени слѣпото повиновенія миновало» и что «дисциплина не обязательна тамъ, гдѣ она зоветъ на злодѣйство». — «Не вѣрьте этой религіи рабства (т. е. дисциплинѣ)», восклицали издатели «Колокола»; «на ней основаны величайшія бѣдствія народовъ! Не подымать орудія противъ поляковъ заставляетъ васъ совѣсть, уваженіе къ правотѣ ихъ дѣла, къ достоинству человѣка и наконецъ уваженіе къ нашему русскому земскому дѣлу». Они «съ чистой совѣстью, со страхомъ истины», совѣтовали имъ «идти подъ судъ, въ арестантскія роты, быть разстрѣлянными, быть поднятыми на штыки, но не подымать оружія противъ поляковъ»; они учили, какимъ образомъ слѣдуетъ организовать въ полкахъ тайные кружки съ цѣлью заговора и революціи, какъ «дѣлать пропаганду» между солдатами и увѣряли, что ежели офицеры бросятся съ русскими и польскими солдатами въ Литву и Малороссію, то имъ откликнутся «Волга и Днѣпръ, Донъ и Уралъ!»¹⁾ Герценъ въ этомъ случаѣ, по отзывамъ самихъ-же поляковъ, игралъ въ ихъ рукахъ «роль лимона, изъ котораго слѣдуетъ выжать послѣднія капли соку, для того, чтобы потомъ выбросить его за окно» — и Герценъ, ничто-же сумняшеся, дѣйствительно разыгралъ роль выжатого лимона. Но въ то время слово его значило еще много. Между тѣмъ, Центральный Комитетъ въ Варшавѣ, еще гораздо ранѣе Герценовскаго посланія къ «друзьямъ и братьямъ», т. е. со времени объявленія военнаго положенія, уже самъ по себѣ сталъ заботиться, чтобы приобрести сочувствіе войскъ, расположенныхъ въ краѣ, для чего и началъ распространять между войсками возмутительныя прокламаціи на русскомъ языкѣ, обращенныя непосредственно къ солдатамъ. Но всѣ эти попытки оказались тщетными: съ одной стороны, солдаты оставался неколѣбимо вѣрны своему долгу, а съ другой — ненависть и раздраженіе шляхты и мѣщанъ, фанатизированныхъ есендзами, были до такой степени велики, что ихъ уже не могли сдерживать никакіе совѣты, увѣщанія и предписанія Центральнаго Комитета: при каждомъ мало-мальски удобномъ случаѣ, гдѣ можно было рассчитывать на безнаказан-

¹⁾ „Колоколь“, 1862, № 147.

ность, солдатъ и офицеръ постоянно подвергались оскорбленіямъ. А этихъ случаевъ, несмотря на военное положеніе, было-таки достаточно много... Весь результатъ, какого успѣли добиться въ этомъ отношеніи члены Центрального Комитета, заключался въ томъ лишь, что нѣсколько офицеровъ, между которыми на двѣ трети были поляки, увлеклись ихъ комитетской и Герценовской пропагандой и поплатились за это жестоко. Поручики: Иванъ Аригольдъ, Василій Каплинскій, Станиславъ Абрамовичъ, подпоручикъ Петръ Сливицкій, унтеръ-офицеръ Францъ Ростковскій и рядовой Леонъ Щуръ сдѣлались жертвами этой пропаганды. Аригольдъ, Сливицкій и Ростковскій оказались виновными въ распространеніи между своими подчиненными возмутительныхъ сочиненій и вредныхъ идей, имѣвшихъ цѣлью колебать въ нихъ духъ вѣрности, и въ возбужденіи нижнихъ чиновъ къ явному неповиновенію начальству и къ открытому бунту. За эти преступления Аригольдъ, Сливицкій и Ростковскій, 16-го іюня 1862 года, по конфирмаціи графа Лидерса, были разстрѣляны во рву Новогеоргиевской крѣпости, а остальные сосланы на каторгу или подвержены срочному заключенію въ казематахъ. Герценъ по поводу ихъ смерти разразился слѣдующей іереміадой:

«16-го іюня 1862 г. совершилось великое преступленіе... Черный день этотъ будетъ памятенъ и вамъ, поляки, за которыхъ умерли три русскихъ (?) мученика, и ихъ товарищамъ, которымъ они завѣщали великій примѣръ, и намъ всѣмъ, которымъ они указали—не только, какъ это правительство, набѣленное прогрессомъ, легко убиваетъ, но какъ проснувшіеся къ сознанію офицеры наши героически умираютъ! ¹⁾

«Колоколъ», не взирая на обличающую явность именъ и фамилій, силился убѣдить, что преступники какъ эти, такъ и другіе «*всѣ русскіе*», а потому де «всѣхъ перестрѣлять нелегко», и съ замѣчательной наивностью возвѣщалъ, что «жертва эта была необходима», такъ какъ «она произвела наилучшее впечатлѣніе на поляковъ и войско» ²⁾. Въ повонзковскомъ лагерѣ, подѣ Варшавой, была устроена ничтожная демонстрація. Полякъ-офицеръ, поручикъ Готскій - Даниловичъ, въ сообществѣ съ поручиками Зейномъ и Огородниковымъ, обманымъ образомъ успѣли склонить священника, чтобы тотъ отслужилъ имъ панихиду по рабамъ Божиимъ Іоаннѣ, Петрѣ и Теодорѣ, и это, само по себѣ мизерное обстоятельство дало «Колоколу» поводъ пышно благовѣстить «о наилучшемъ впечатлѣніи на войско»!

Въ отмщеніе за казнь трехъ преступниковъ, Центральный Комитетъ постановилъ казнить

нѣсколько русскихъ и рѣшилъ начать съ исправляющаго должность намѣстника Царства, графа Лидерса, въ качествѣ лица, конфирмовавшего смертный приговоръ. Въ Саксонскомъ саду есть особое отдѣленіе, гдѣ устроенъ ресторанъ и заведеніе минеральныхъ водъ. Лѣтомъ, съ шести часовъ утра, тамъ уже пилить на скрипицахъ плохенькій оркестрикъ, прогуливаются варшавянки, какъ павы, въ полномъ туалетѣ, фланируютъ нѣкоторые «элеганты», дѣлаютъ свой моціонъ разные дряхлые «эмериты», пьющіе воды, и сидятъ за особыми столиками цѣлыя семейства со чады и домашицы, являющіяся сюда пить «млѣко» и утреннюю» каву со сметанкой». Въ лѣто 1862 года, тутъ-же можно было встрѣчать и генералъ-адъютанта Лидерса, который тоже пользовался минеральными водами. 15-го (27-го) іюня, въ 7½ часовъ утра, неизвѣстный человѣкъ подошелъ къ графу сзади и почти въ упоръ направилъ въ него дуло пистолета. Раздался выстрѣлъ, прожегшій воротникъ пальто. Графъ былъ раненъ. Убийца хладнокровно продулъ пистолетъ, положилъ его въ карманъ и, посреди гуляющей публики, преспокойно, неторопливымъ шагомъ, вышелъ изъ сада чрезъ «цукерню» на Граничную улицу. И между всей этой публикой не нашлось человѣка, который бросился бы за убійцей: никто не рѣшался или не желалъ преслѣдовать, не исключая даже и полицейскихъ агентовъ. Такимъ образомъ убійца остался неоткрытымъ, а «Колоколъ», возвѣщая объ этомъ происшествіи, заявлялъ, что несмотря на полное его равнодушіе къ тому, живъ-ли Лидерсъ или нѣтъ, «все-таки досадно, что его подыали до выстрѣла и реабилитировали до ранъ», и распространялъ увѣренія, будто въ Варшавѣ общественное мнѣніе и даже сама полиція приписываютъ выстрѣлъ русскому, но никакъ не поляку ¹⁾. «Колоколу» не хотѣлось, чтобы въ глазахъ Европы пятно перваго убійства пало на негодая польской національности.

Еще до этого выстрѣла, а именно въ концѣ мая мѣсяца, по Варшавѣ пошли слухи что въ Царство назначается новый намѣстникъ. Слухи эти не замедлили оправдаться на дѣлѣ. 29-го мая (10-го іюня) графъ Лидерсъ, при открытіи засѣданій Государственнаго Совѣта, объявилъ, что онъ получилъ отъ Государя Императора телеграмму, которая извѣщаетъ о назначеніи великаго князя Константина Николаевича намѣстникомъ Царства, а Маркиза Велепольскаго начальникомъ гражданскаго управленія.

Торжество этого магната послѣ недавняго паденія было теперь несомнѣнное, и, въ виду такого торжества, всѣ партіи замолкли противъ него на нѣкоторое время: дескать «наша взяла! Поглядимъ, что будетъ далѣе!» Переимѣну въ главномъ управленіи Края всѣ при-

¹⁾ „Колоколъ“, 1862 года, № 140.

²⁾ „Колоколъ“, 1862 года, № 143.

¹⁾ „Колоколъ“, №№ 139 и 143.

писывали исключительно влиянію маркиза, и онъ самъ не только не отрицалъ, но даже положительно заявилъ о томъ при первомъ удобномъ случаѣ.

Маркизь Велепольскій пріѣхалъ въ Варшаву за двѣ съ половиной недѣли до прибытія великаго князя, уже въ роли главнаго начальника по гражданскому управленію, то-есть въ роли «премьера», какъ называли тогда въ Варшавѣ, и на другой-же день, 5-го (17-го) іюня, при пріѣмѣ представителей всѣхъ подвѣдомственныхъ ему мѣстъ и учреждений, обратился къ нимъ съ рѣчью, изъ которой всѣ ясно увидѣли, что политическая программа его заключается въ автономіи, строго ограниченной предѣлами Царства. Эти предѣлы удовлетворили весьма немногихъ; большинство-же и слышать не хотѣло о какой-нибудь «Конгрессувкѣ»: «подавай всю Польшу», въ предѣлахъ, по крайней мѣрѣ, 1772 года—Польшу «вольную и неподлеглаю», съ сеймомъ, арміей и «флѣтой». Красная партія рѣшила «заявить недовольство» націи въ виду новаго порядка—убійствомъ великаго князя. Нѣкто Игнатій Хмѣленскій, сынъ польскаго помѣщика, со своимъ подручнымъ, портяжнымъ подмастерьемъ Радовичемъ, подыскали «нужнаго человека», тоже портяжнаго подмастерья, двадцати-двухлѣтняго парня Людвигъ Ярошинскаго, который взялся выполнить убійство.

На другой же день по прибытіи великаго князя злодѣи съ утра слѣдили за нимъ въ то время, когда онъ былъ въ православномъ соборѣ, но не дождавшись его выхода оттуда, отправились къ фарѣ, гдѣ нашли, что имъ точно также будетъ не безопасно совершить свое намѣреніе, которое однако же Ярошинскій успѣлъ выполнить въ тотъ же день вечеромъ, при выходѣ великаго князя изъ театра. Къ счастью, какъ извѣстно, пуля причинила только легкую рану. Ярошинскій былъ схваченъ на мѣстѣ. Сообщникъ же его, какой-то молодой человекъ, имя котораго Ярошинскому не было извѣстно, успѣлъ скрыться. Радовичу съ Хмѣленскимъ тоже удалось бѣжать за границу.

Маркизь Велепольскій, по поводу этого преступнаго покушенія, выступилъ въ засѣданіи Государственнаго Совѣта съ пышной рѣчью (вообще, маркизь очень любилъ произносить «руководящія рѣчи»), гдѣ заявлялъ о скорби и негодованіи, проникнувшихъ народъ польскій, когда «послѣ свѣтлыхъ дней, ночь изъ скрытой пещеры своей изринула это новое покушеніе, исполнившее весь Край ужаса». Но увы!—заявленіе о скорби и негодованіи поляковъ какъ нельзя болѣе расходилось съ истиной. Всѣ очевидцы и безпристрастные свидѣтели того времени очень живо еще помнятъ, что чувства эти выразились только въ русскомъ варшавскомъ кружкѣ, да въ русскомъ военномъ сословіи; у поляковъ же выразилась

одна только *сконфуженность*, которою руководили страхъ и опасеніе, что теперь-то вотъ вѣроятно будутъ приняты противъ нихъ самыя крупныя и крутыя мѣры. Но какъ скоро они увидѣли, что никакихъ крутыхъ мѣръ не предпринимается, то сконфуженность и страхъ тотчасъ же уступили мѣсто прежнему нахальству и удвоенной наглости. Ярошинскій, судившійся гласнымъ судомъ при польскомъ защитникѣ, былъ приговоренъ къ повѣшенію, и это общество, питавшее, по увѣреніямъ маркиза, такое сильное негодованіе къ убійцамъ, не затруднилось тотчасъ же признать въ Ярошинскомъ святого мученика, поклоняться трупъ его на висѣлицѣ и даже открыть особое небесное знаменіе, по поводу его смерти. Во время его казни случилось весьма обыкновенное при лѣтнихъ жарахъ явленіе туманнаго кольца вокругъ солнца. Это тотчасъ же было разъяснено какъ чрезвычайное небесное знаменіе, въ видѣ благословенія свыше, ниспосланное мученику. Трупъ оставался на висѣлицѣ до вечера, и во все это время толпы варшавскихъ обывателей, множество лицъ высшаго класса и въ особенности множество дамъ въ глубокомъ траурѣ приходили воздать «мученику» послѣдній долгъ патріотическаго благоговѣнія и, стоя на колѣняхъ, молились ему, какъ святому. Гиделяи по червонцу и даже болѣе продавали потомъ кусочки веревки, на которой онъ былъ повѣшенъ, и модныя патріотки оправляли эти кусочки въ золото, и какъ «реликвіи» вставляли къ себѣ въ медальоны, въ крестики, въ брошки, браслеты и кольца. А нѣкій ловкій портной изъ евреевъ сдѣлалъ даже очень выгодный «гешефтъ», въ теченіе цѣлаго мѣсяца все продавая по секрету сюртуку Ярошинскаго, и такимъ образомъ напродавалъ этихъ сюртуковъ значительное количество и на очень солидную сумму. Наконецъ, 28-го августа во всѣхъ варшавскихъ костелахъ открыто была отправлена панихида, «за душу новаго мученика свободы Людвигъ Ярошинскаго», какъ извѣщало о томъ объявленіе, которое одновременно въ изобиліи разбрасывалось на улицахъ.

Маркизь—надо отдать ему справедливость—очень энергически принялся за дѣла управленія и за свои реформы, стараясь развить какъ можно шире основы польской автономіи. Онъ ускорилъ введеніе на выборномъ началѣ губернскихъ уѣздныхъ и городскихъ совѣтовъ и открытіе ихъ дѣйствій. Для этой-то будто бы цѣли, подъ предлогомъ, что военное положеніе, на которомъ находился Край, препятствуетъ скорѣйшему введенію въ жизнь новыхъ институцій, маркизь Велепольскій настоялъ на снятіи этого военнаго положенія почти со всей территории Царства, за исключеніемъ лишь десяти городовъ, наиболѣе рѣзко проявлявшихъ въ себѣ революціонную смуту. Но главнѣй-

шимъ образомъ принялся маркизь «очищать» Край «отъ лишняго сора». Это «очищеніе» заключалось въ немедленномъ и быстромъ замѣщеніи всѣхъ должностей, какъ высшей, такъ и низшей администраціи, исключительно поляками. Съ этой цѣлью онъ удалилъ отъ должностей и изъ службы не только всѣхъ русскихъ чиновниковъ, но даже и тѣхъ изъ поляковъ, которые въ общественномъ мнѣніи не пользовались репутаціей хорошихъ и вполне надежныхъ патріотовъ.

Между тѣмъ русское правительство, все еще не теряя надежды на успокоеніе Края мирнымъ путемъ, не охладѣло въ своихъ уступчивыхъ намѣреніяхъ даже и послѣ примѣненія системы революціонныхъ убійствъ и террора, которые, по плану заговорщиковъ, должны были «упростить» и «ускорить» дѣло возстановленія Польши. Въ это время появилось первое воззваніе великаго князя намѣстника къ полякамъ, которое тономъ своей глубокой и доброжелательной искренности навѣрное сдѣлало бы самое свѣтлое, отрадное и миротворное впечатлѣніе на всякое другое общество; но для общества польскаго оно осталось вполне безплоднымъ. Великій князь между прочимъ исчислялъ въ этомъ воззваніи всѣ реформы, уже утвержденныя Высочайшею властію, въ удовлетвореніе дѣйствительныхъ потребностей Края, какъ-то: учрежденіе Государственнаго Совѣта, организація университета и училищъ, очиншваніе крестьянъ, эмансипація евреевъ, учрежденіе выборныхъ земскихъ совѣтовъ, преобразование администраціи и проч.

И что же?—Первымъ отвѣтомъ на воззваніе великаго князя со стороны не «красныхъ», а самыхъ «умѣренныхъ» и «бѣлыхъ» патріотовъ была дерзкая выходка, которая заключалась въ томъ, что эти господа подали графу Андрею Замойскому адресъ, гдѣ они гордо заявляли, что, какъ поляки, они тогда только станутъ съ довѣріемъ поддерживать правительство, «когда это правительство будетъ *нашимъ польскимъ*, когда, при свободныхъ институтѣхъ, будутъ *соединены всѣ области*, составляющія нашу отчизну», и въ заключеніе удостовѣряли, что они не умѣютъ «дѣлать любви къ отечеству» и любятъ *всю* свою отчизну, «въ тѣхъ предѣлахъ, которые начертаны ей Богомъ и завѣщаны народными преданіями».

Слѣдствіемъ этой выходки была высылка графа Замойскаго въ Петербургъ, гдѣ ему и предложено выхъзть за границу. Но паденіе популярнаго Замойскаго, какъ сильнаго соперника непопулярнаго маркиза Велепольскаго, уже окончательно раздражило и озлобило противъ послѣдняго все польское общество, которое въ ослѣпленной злобѣ своей не понимало сокровеннаго смысла и истиннаго значенія всѣхъ его дѣйствій и мѣропріятій... Не вполне еще понимали его въ то время и русскіе.

Между тѣмъ, событія быстро шли впередъ. Реформы Велепольскаго не удовлетворили никого. Умѣренные рѣшили, что надо возможно шире пользоваться даруемыми льготами, чтобы посредствомъ ихъ принести какъ можно болѣе пользы польскому дѣлу и какъ можно болѣе вреда причинить Россіи. Красные же шли напроломъ и, въ концѣ концовъ, посредствомъ террора, тиранически подчинили своей невидимой силѣ общественную волю. Противъ самаго Велепольскаго было сдѣлано два покушенія. Подметныя письма ежедневно грозили ему, но маркизь обезопасилъ себя тѣмъ, что на улицахъ показывался не иначе какъ въ глухой желѣзной каретѣ, окруженной десяткомъ жандармовъ, которые съ грохотомъ и пылью во всю прыть эскортировали его во время прогулдовъ.

Подземная революціонная организація не только не ослабѣла, но росла и крѣпла. Въ началѣ октября она дополнена учрежденіемъ «народнаго революціоннаго союза», задача котораго заключалась въ прямомъ вооруженномъ возстаніи не противъ мѣстной администраціи, но противъ Россіи, противъ русскаго Царя и русскаго народа, съ цѣлью возстановленія Польши во всѣхъ тѣхъ ея предѣлахъ, которыми исторически она когда-либо владѣла. Во главѣ этого союза стоялъ, помимо «ржонда народоваго», еще «комитетъ народовъ революційны», подъ предсѣдательствомъ Мѣрославскаго, причемъ однако «ржондъ народовъ» оставался въ полной своей силѣ. Интриги, происки, подконы и козни между тѣмъ и другимъ учрежденіемъ не замедлили обнаружиться съ перваго же дня ихъ существованія. Подпольныя газеты: «Рухъ», «Стражница» и другія, тотчасъ же опубликовали «Уставъ народнаго революціоннаго союза», «Уставъ народнаго революціоннаго комитета» и «Инструкціи для уѣздныхъ комитетовъ», а «Центральный Народный Комитетъ», или такъ называемый «ржондъ народовъ», въ свою очередь опубликовалъ въ тѣхъ же газетахъ свое постановленіе, въ силу котораго «каждый гражданинъ, любящій отчизну и желающій возстановить ея самостоятельность», долженъ былъ уплатить единовременно «надзвычайную» народную подать, основою которой служилъ капиталъ cadaго изъ гражданъ, считая въ процента отъ ста съ недвижимыхъ имуществъ и капиталовъ. Срокъ уплаты этой подати назначался къ 10-му ноября 1862 года. Въ Польшѣ находится весьма значительное число иностранныхъ колонистовъ, ремесленниковъ, фабрикантовъ и заводчиковъ, изъ которыхъ очень и очень многіе живутъ тамъ, не принимая русскаго подданства. Всѣ эти лица, а также большинство евреевъ и крестьянъ, уже много разъ обираемые и до этого времени ксендзами и разными пройдохами, чувствуя всю тягость послѣдней «над-

«вычайной» подати, отказались было платить ее. Тогда «ржондъ народовой» пустилъ въ дѣло поджоги. Города и села запылали по цѣлому Краю; пожары охватили Литву, Бѣлоруссію, Украйну, Волынь, Подолію, Познань и Галицію. Впослѣдствіи раскрылось самымъ положительнымъ образомъ, что первыми жертвами пламени дѣлались исключительно неисправные плательщики «податка надзвычайнаго», а отъ нихъ уже огонь самъ собою переходилъ и на жилища исправныхъ и добрыхъ «обывателей». Но замѣчательно вотъ что: террористы до такой степени успѣли на всѣ пылавшіе края и области нагнать паническій страхъ, что, несмотря на единоличныя появленія многихъ сборщиковъ, несмотря на явныя ихъ угрозы «спалить все до тла за отказъ въ платежѣ»—не было ни единого примѣра, чтобы хоть кто-нибудь изъ недовольныхъ обывателей рѣшился задержать и представить законнымъ властямъ подобнаго сборщика! Огонь подѣйствовалъ живо: обыватели, волей-неволей, спѣшили вносить требуемую подать.

Но эта мѣра была еще изъ числа «снисходительныхъ». Таковою охарактеризовали ее сами же поляки. Съ 2-го ноябрю стала примѣняться уже мѣра иного свойства: по всему Краю пошли ежедневно совершаться политическія убійства, по приговору «тайнаго трибунала», а часто и вовсе безъ всякаго приговора. Рѣшено было убивать всѣхъ вообще «несочувствующихъ», всѣхъ «сомнительныхъ» патріотовъ и чиновниковъ правительства, почему-либо признанныхъ вредными для народнаго дѣла, и приговоры имъ объявлять печатно въ подземныхъ газетахъ, гдѣ однако приговоры эти, для пушей вѣрности, печатались уже по исполненіи убійства. Такимъ образомъ, между прочимъ, въ Варшавѣ, середѣ бѣлаго дня, былъ заколотъ князьями чиновникъ Фелькнеръ. Убійство это совершилось въ пятомъ часу дня, а главный убійца еще въ семь часовъ вечера свободно разгуливалъ по всему городу въ окровавленной бѣлой чамаркѣ, и когда его спрашивали что значитъ эта кровь, то онъ съ самохвальствомъ и преспокойно отвѣчалъ всѣмъ и каждому, что заколотъ свинью и вслѣдствіе этого однимъ-де сквернымъ челоуѣкомъ стало меньше на свѣтѣ. Полицейскіе видѣли его окровавленную чамарку, встрѣчали его на многихъ пунктахъ города, но схватить убійцу ни одинъ изъ этихъ «добрыхъ польскихъ» полиціантовъ» не хотѣлъ или не рѣшился.

Въ Варшавѣ было жутко. Такъ, по крайней мѣрѣ, чувствовали себя въ ней русскіе люди. Въ ожиданіи взрыва, цѣлыя семейства русскихъ сходились на ночь въ чью-нибудь болѣе надежную квартиру, обыкновенно къ кому-нибудь изъ военныхъ, имѣвшихъ помѣщеніе въ казармахъ, занятыхъ войсками, и тамъ кое-какъ проводили свои безпокойныя ночи. По-

ляки сулили русскимъ повтореніе знаменитой «варшавской заутрени» и грозились вырѣзать всѣхъ поголовно, не щадя ни старости, ни женщины, ни младенцевъ. Гимновъ, кошащихъ концертовъ или иныхъ какихъ-либо демонстрацій болѣе не было: ихъ считали уже не нужными, но въ варшавскомъ воздухѣ, болѣе даже чѣмъ въ самый разгаръ демонстративнаго періода, чувствовалась теперь гнетущая, роковая тяжесть, предвѣщавшая съ минуты на минуту разраженіе грозы. Ремесленныя заведенія въ концѣ уже опустили; по улицамъ, «баваріямъ» и «кнейпамъ» съ утра и до ночи шатались бездѣльная молодежь низшихъ слоевъ населенія, небывалымъ образомъ сорила деньгами, появившимися въ ея дырjавыхъ карманахъ Богъ вѣсть откуда, и безшабашно предавалась необузданному разгулу: невидимые благодѣтели неусыпно старались какъ можно болѣе и скорѣе развратить и спойть ее съ кругу. По городу ходили рассказы, что каждую ночь въ катакомбы «Свентего Кржижа» и Капуцинскаго «кляштора» проводятъ чрезъ стародавніе подземные ходы множество людей, по очередному призыву, и тамъ ксендзы и монахи приводятъ ихъ къ присягѣ на вѣрность «ржонду», снабжаютъ оружіемъ и благословляютъ особо-избранныхъ на тайныя убійства. Молва нѣсколько разъ назначала уже день и часъ всеобщаго взрыва.

А въ то-же время столбцы европейскихъ газетъ наполнялись варшавскими статейками и корреспонденціями, въ которыхъ авторы, въ расчетъ на увеличеніе пламенныхъ европейскихъ симпатій, іезуитски-униженнымъ, сладенькимъ и притворно-святошескимъ тономъ стонали и жаловались на варварское безсердечіе «угнѣснителей», на изобиліе новыхъ и новыхъ жертвъ угнетенной отчизны, на раны, язвы и страданія распятаго народа и на всѣ лады причитали: «мученики! мученики! несчастные, бѣдные, высоко-христіанскіе, святыя мученики!» Это стереотипное выраженіе повторялось чуть не въ каждой строкѣ, и не было того поляка, который при этомъ тотчасъ-же не принялъ-бы на себя фізіономію Св. Бонифація.

XVII.

Жертва всеожженія.

Хвалынцеву хотѣлось, чтобы Цезарина знала, что онъ уже былъ у Паляницы и что такимъ образомъ воля ея исполнена. Это былъ впрочемъ только предлогъ, а въ сущности ему просто хотѣлось, какъ влюбленному челоуѣку, еще разъ быть у нея, видѣться съ нею, снова услышать изъ ея устъ слово надежды и ободренія, потому что онъ сильно нуждался въ немъ: проклятыи

сомнѣнія и внутренній голодъ, такъ ясно назвавшій ему поступокъ его подлостью, опять поднялись въ душѣ. Ему нужно было или съ твердостью порвать все сразу, или поскорѣе найти себѣ внутреннюю поддержку, которую только одна Цезарина и могла оказать ему. На первое у него не хватало твердости, потому что его сковывала несчастная страсть къ этой женщинѣ. Оставалось только второе: подлѣ Цезарины, подъ обаяніемъ ея ласки, ея взгляда, улыбки и голоса замирали всѣ сомнѣнія, засыпала совѣсть, и онъ чувствовалъ въ себѣ наркотическую рѣшимость очертя голову броситься въ пропасть. Нужды нѣтъ, что страсть его остается не удовлетворенною, — у него все-же есть пока животворящая надежда, что рано или поздно онъ возьметъ свое, — но ему просто нужно было видѣть Цезарину, хотя нѣсколько минутъ «быть съ нею», ощущать ея присутствіе для того только, чтобы наркотизировать себя снова, чтобы заглушать въ себѣ на нѣкоторое время этотъ изобличающій, неугомонный внутренній голосъ. Онъ поѣхалъ къ Цезаринѣ, но неудачно выбралъ время своего визита: поѣхалъ онъ днемъ — его не приняли. Съ досадой и смущеніемъ въ душѣ рѣшилъ онъ по неволѣ отложить свое посѣщеніе до вечера. Поѣхалъ вечеромъ — опять не приняли. Хвалынцевъ все-таки настоялъ, чтобы человекъ еще разъ доложилъ графинѣ, что онъ имѣетъ сообщить ей нѣчто весьма важное и потому проситъ назначить ему время пріема. Отвѣтъ на это былъ таковъ, что «ясневельможна пани грабина» очень извиняется, что она подумаетъ, извѣстить, но теперь никакъ, ни подъ какимъ видомъ, принять пана не можетъ. Пришлось отлѣхать ни съ чѣмъ, и лишь одна досада и болѣзненное ощущеніе тоски снова подступили къ сердцу Хвалынцева. На другой день онъ нѣсколько разъ подолгу прохаживался по аллеѣ мимо ея оконъ, все поджидая не выйдетъ ли она на прогулку, не поѣдетъ ли въ городъ или кататься. «Хоть бы одно мгновеніе взглянуть на нее! хоть бы мимолетнымъ взоромъ перемолвиться съ нею!» Но увы! неудачные ли часы выбралъ Константинъ для сторожевыхъ прогулокъ, или же графиня цѣлый день не выходила изъ дому, только онъ не видалъ ее и даже ея тѣни въ окошкѣ не удалось ему подмѣтить.

Но онъ имѣлъ терпѣніе и еще одинъ день провести подобнымъ же глупымъ образомъ, и все съ такимъ же печальнымъ результатомъ, такъ что даже «ревировый дозорца» замѣтилъ наконецъ его странное шатаніе все по одному и тому же опредѣленному пространству Уздовской аллеи и сталъ слѣдить за нимъ подозрительнымъ взглядомъ.

На слѣдующій день къ нему совершенно неожиданно забѣжалъ Василій Свитка и съ серьезнымъ видомъ подаль ему наглухо заклеенный конвертикъ.

— Былъ въ костелѣ, — пояснилъ онъ, — и тамъ просили меня передать.

— Письмо!.. Отъ кого? — взволнованно и какъ бы съ нѣкоторымъ предчувствіемъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Прочтите и отгадаете! — улыбнулся Свитка.

Константинъ вскрылъ конвертъ, взглянулъ на почеркъ — рука незнакомая, подписи никакой, писано по-французски. Вотъ что прочелъ онъ:

«Я знаю, что вы были у П. Но это только еще начало, не болѣе. Я жду продолженія. Не домогайтесь видѣть меня. *Теперь* я нигдѣ и ни въ какую пору не могу принять васъ, ни видѣться съ вами. На это — вѣрьте мнѣ — есть свои, очень серьезные и вполнѣ уважительныя причины... Не обвиняйте меня за это! Не ходите тоже мимо моихъ оконъ: это до извѣстной степени можетъ меня компрометировать: вспомните, теперь время какое... Да и къ вамъ вовсе не идетъ роль мечтательнаго испанца, въ то время, когда у васъ на рукахъ такое серьезное дѣло. Займитесь лучше имъ поприлежнѣе и простите тонъ моего замѣчанія, который однако же внушенъ мнѣ чувствомъ истинной къ вамъ дружбы. Вѣрьте одному: я все тотъ же добрый другъ вашъ и твердо помню мое слово. Сдержите ли ваше?.. Письмо это уничтожьте немедленно».

Хвалынцевъ прочиталъ это письмо разъ, другой, третій... Оно и уязвляло его слегка, и дарило ласковой надеждой. Эти строки писала ея рука, и ихъ нужно уничтожить. Возможно ли! Вѣдь это *все*, что остается ему пока отъ Цезарины, которая Богъ-вѣсть еще когда позволитъ видѣться съ собою. Онъ чувствовалъ, что уничтожить письмо у него не хватитъ ни силы, ни воли, потому что все сердце настойчиво проситъ сохранить эти строки, какъ святыню, какъ лучшую и единственную память о любимой женщинѣ — и онъ спряталъ его въ свой боковой карманъ.

— Позвольте, — остановилъ его Свитка, — мнѣ извѣстно, что это письмо должно быть уничтожено тотчасъ же.

Хвалынцевъ не сказалъ ни слова, но хмуро всплнулъ на него вопросительный взглядъ.

— Я не знаю и не имѣю права знать содержаніе письма, — продолжалъ Свитка, — но когда мнѣ вручали его для передачи вамъ, то пояснили, что оно должно быть истреблено тутъ же, въ моемъ присутствіи; поэтому, дорогой мой Константинъ Семеновичъ, вотъ вамъ и свѣча, и спички! Позвольте прислужиться: ужъ я за-одно и зажгу ее!

— Чтò за недовѣріе! — въ досадливомъ недоумѣніи пожавъ плечами, воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Отнюдь не недовѣріе! — предупредительно возразилъ ему Свитка. — Къ чему оно вамъ? «вещественный знакъ невещественныхъ отно-

шений», что-ли? Вы забываете, что у каждого из насъ въ любую минуту можетъ быть обыскъ... Ну, найдутъ, захватятъ у насъ это письмо? Хорошо развѣ?! Женщина будетъ скромпрометирована, а главное запутана... Пойдутъ всѣ эти неприятности, обыски, аресты, допросы—и все изъ-за пустого клочка бумажки!

Константинъ долженъ былъ сознаться себѣ, что въ словахъ пріятеля есть значительная доля правды, и потому съ затаенною грустью досталъ письмо изъ кармана, съ напряженнымъ вниманіемъ перечелъ его глазами еще и еще разъ, словно бы желая, чтобъ этотъ почеркъ, эти слова и строки подтверже и навсегда запечатлѣлись въ памяти его сердца и, все-таки съ тайной неохотой и сожалѣніемъ, медленно поднесъ бумажку къ зажженной свѣчѣ. Черезъ минуту отъ письма осталась только черная искоробленная пластинка легкаго пепла.

Константинъ невольно вздохнулъ и задумался.

— Жертва всесовершенія! — пошутилъ надъ нимъ пріятель.

XVIII.

Адресъ и разрывъ.

Хвалынцевъ сталъ иногда захаживать къ поручику Паляницѣ. Сколь ни противенъ былъ ему въ душѣ самъ Паляница, на котораго онъ принуждалъ себя смотрѣтьнисходительно, какъ на полуномѣшаннаго чудака, сколь ни противна съ перваго же раза показалась и вся остальная компанія, тѣмъ не менѣе онъ не прерывалъ съ этимъ кружкомъ своихъ отношеній, единственно во имя Цезарины, во имя того, что на это была ея воля, ея непремѣнное условіе, поставленное цѣною любви ея въ будущемъ.

Но ни Велертъ, ни Кошкадамовъ не бывали болѣе у Паляницы съ того самаго вечера, какъ произошла между ними ссора изъ-за Герцена. Они отдѣлились отъ «кружка», въ которомъ теперь Хвалынцевъ ни разу не встрѣтилъ никого, кромѣ неизмѣннаго Добровольскаго съ пивомъ, да самого хозяина съ его торбаномъ и модельками.

Какъ ни придетъ, бывало, Хвалынцевъ, непремѣнно застанетъ Паляницу на одномъ изъ любимыхъ его коньковъ: либо новую «радикальную» модельку сочиняетъ, либо на торбанѣ брянчитъ.

«Когда же, наконецъ, настоящее-то серьезное дѣло у нихъ начнется?» думаетъ себѣ Хвалынцевъ. Но о «дѣлѣ» идутъ только либеральные споры да разговоры, а самаго «дѣла» все еще пока ни на волосъ незамѣтно. Все только «Колоколъ» почитывается да изобрѣтаются разные способы пропаганды въ войскахъ и разные стратегическіе планы уничтоженія

Россіи, всеобщаго возстанія и т. п., но ни способы, ни планы ни на іоту не прилагаются къ дѣйствительности. «Неужели же и здѣсь все та же самая всероссійская говорильня, что въ Москвѣ и въ Питерѣ? Неужели ничего новаго, серьезнаго, «заправскаго»? думается Хвалынцеву, и начинаетъ ему сдаваться, что и точно ничего тутъ нѣтъ и не будетъ, кромѣ пустой болтовни. «Кто же кого, однако, тутъ надуваетъ? И ради чего всѣ эти пышные заголовки «отдѣловъ», всѣ эти рекламы въ «Колоколѣ», и что же наконецъ самый отдѣлъ-то составляетъ? Кто его члены и много ли ихъ?»

Сколько разъ ни пытался Хвалынцевъ задавать подобные вопросы Паляницѣ, тотъ либо отмалчивался, глубококомысленно и загадочно устремляя куда-то въ пространство свой неподвижный, тупой взглядъ соннаго окуня, либо же отдѣлывался короткими фразами, въ родѣ: «погодите!» «узнаете» «будетъ время; теперь не время еще».

— Да когда жъ оно придетъ, это время-то ваше!.. Поглядите, у поляковъ все кипитъ вѣдь!

— Ну, и пусть ихъ!.. У насъ свои задачи...

— Какія?

— Ну, тамъ... узнаете потомъ...

— Когда же?

— Когда время будетъ... Придетъ время, тогда всѣ пойдемъ... вмѣстѣ... Тогда узнаете...

— Да вы-то сами знаете хоть что нибудь?

— Я знаю.

— Извините, сомнѣваюсь!

— Сомнѣвайтесь, пожалуй... Во всякомъ случаѣ, это не *ваше* дѣло, а мое... Я руководитель, я глава отдѣла—мнѣ и знать!

На этомъ обыкновенно и прекращались всѣ разговоры о дѣлѣ.

Хвалынцевъ самымъ искреннимъ образомъ все болѣе и болѣе утверждался въ убѣжденіи, что весь этотъ пресловутый «Отдѣлъ Земли и Воли» есть не что иное, какъ пустѣйшій пухъ и мистификація, либо же невиннѣйшая забава «недоробленнаго» Паляницы, за которую однако же онъ можетъ при случаѣ поплатиться серьезнымъ образомъ, «и пропадетъ человѣкъ ни за грошъ, да мы-то, какъ дураки, туда же лѣземъ!»

Но это заключеніе, во всякомъ случаѣ, было слишкомъ преждевременно.

Однажды, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, онъ получилъ отъ Паляницы лаконическую записку слѣдующаго содержанія: .

«Приходите сегодня вечеромъ. Непремѣнно. Очень важное дѣло».

Константинъ отправился.

— Ну, вотъ, вы все пытались про дѣло... убивались по немъ,—встрѣтилъ его Паляница.—Вотъ вамъ и дѣло приспѣло... Садитесь и слушайте... Прощу!

И взявъ въ обѣ руки начисто переписан-

ный лист хорошей писчей бумаги, онъ, стоя, началъ глухимъ голосомъ, со свойственной ему торжественной декламацией, читать:

«Отъ русскихъ офицеровъ, стоящихъ въ Польшѣ».

— Это что жь такое?—въ недоумѣніи спросилъ Хвалынцевъ.

— Адресъ!—съ гордымъ самодовольствіемъ пояснилъ Паляница, — торжественный адресъ отъ всѣхъ русскихъ офицеровъ, стоящихъ въ Польшѣ... Наше, такъ-сказать, *profession de foi*... Отъ *всѣхъ* офицеровъ—понимаете! Шикъ, чортъ возьми!.. Европа заговоритъ, батюшка!.. Слушайте!

И онъ приступилъ къ дальнѣйшему чтенію: «Русское войско въ Польшѣ поставлено въ странное, невыносимое положеніе. Ему приходится быть палачомъ польскаго народа или отказаться отъ повиновенія начальству».

— Ну, кто же отказывается, однако, изъ массы-то?—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Не въ этомъ дѣло!—съ легкимъ неудовольствіемъ возразилъ Паляница.—Все равно, отказывается ли, нѣтъ ли, но... такъ нужно!.. Прошу слушать далѣе.

«...Солдаты и офицеры устали быть палачами. Эта должность сдѣлалась для войска ненавистною. Бить безоружныхъ, преслѣдовать молящихся по церквамъ, хватать прохожихъ на улицахъ, держать въ осадномъ положеніи поляковъ за то, что любятъ Польшу—съ каждымъ днемъ все больше и больше становится въ глазахъ войска дѣломъ безчеловѣчнымъ и потому преступнымъ. Проникнутое недовѣріемъ къ начальству и отвращеніемъ отъ своей безчеловѣчной службы, войско спрашиваетъ себя: ради чего оно будетъ палачомъ польскаго народа и какая въ томъ польза для народа русскаго!»

— Позвольте! — перебилъ Хвалынцевъ, — недовѣріе къ начальству, отвращеніе, да гдѣ же все это? И кто же, скажите по совѣсти, слышалъ отъ солдата подобные вопросы?

— Не въ томъ сила! Такъ должно!—слегка, но нетерпѣливо топнулъ ногой Паляница и сталъ читать про то, какъ до солдатъ доходятъ вѣсти, что внутри Россіи войску приказываютъ быть палачомъ народа русскаго и что войска въ Польшѣ смотреть на это съ омерзѣніемъ. «...Недавнее разстрѣливаніе въ Польшѣ русскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, любимыхъ и уважаемыхъ товарищами, исполнило войско трудно укротимымъ негодованіемъ. Еще шагъ въ подобныхъ дѣйствіяхъ правительства, и мы не отвѣчаемъ за спокойствіе въ войскахъ».

— Да кто это писалъ, скажите, Бога ради!—воскликнулъ Хвалынцевъ. — Послушайте, поручикъ, вѣдь мы съ вами не на лунѣ живемъ, а въ той-же Польшѣ, и принадлежимъ къ тому-же войску; ну, скажите же по чести, есть-

ли тутъ хоть слово правды? Гдѣ-же это «трудно укротимое негодованіе», когда сами мы съ вами не разъ слышали, какъ солдаты говорили про Арнольда и Ростковскаго: «собака съ собачья смертъ. Такъ, молъ, имъ и надо, измѣнникамъ!» Вы сами-же скорбѣли о подобномъ отношеніи къ нимъ. И наконецъ, какіе-же, они русскіе, когда и мы, и все войско очень хорошо знаемъ, что это были поляки.

— Герценъ говоритъ русскіе, и притомъ на нихъ русскій мундиръ—значитъ русскіе!—сухо и холодно замѣтилъ Паляница и сталъ читать далѣе про то, что постоянное дразненіе поляковъ полицейскимъ гнетомъ додразнить ихъ до возстанія. «...Что станетъ тогда дѣлать войско въ настоящемъ его настроеніи? Оно не только не остановитъ поляковъ, но *пристанетъ къ нимъ* и можетъ-быть никакая сила не удержитъ его. Офицеры удержать его не въ силахъ и не захотятъ».

— Такіхъ офицеровъ, однако, разъ, два, да и обчелся,—замѣтилъ Хвалынцевъ,—а вы возьмите общую массу ихъ! Эта масса, какъ сами знаете, подвергается слишкомъ многимъ и тяжелымъ оскорбленіямъ... Въ ней уже образовалась, къ несчастію, непримиримая ненависть къ полякамъ... Эту массу только пусти!

Паляница сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и гримасу, но на сей разъ промолчалъ, очевидно подавляя въ себѣ какую-то рѣзкую выходку противъ Хвалынцева, которая уже готова была вырваться.

— Но... продолжайте, пожалуйста!—пригласилъ его Константинъ Семеновичъ. — Любопытно знать, къ чему въ концѣ концовъ все это клонить?

— Я, наконецъ, не для васъ читаю... я это единственно для себя и для Добровольскаго,—буркнулъ покосясь Паляница и снова, взявшись за бумагу, воскликнулъ патетическимъ голосомъ.

«...Спасти войско только одно средство—перестать дразнить и угнетать поляковъ, не доводить ихъ до взрыва, снять позорное осадное положеніе и дать Польшѣ свободно учредиться по понятіямъ и желаніямъ польскаго народа».

— То-есть, значить, просто взять и уйти изъ Польши,—не утерпѣлъ Хвалынцевъ.

— Да-съ, взять и уйти.

— Согласенъ, пожалуй: но насчетъ осаднаго положенія, вѣдь оно ужъ и безъ того снимается; скоро и совсѣмъ его не будетъ.

— Ну и пушай!

— Стало-быть и просить объ этомъ нечего.

— Гдѣ просить? Кого?..

— Да въ адресъ-же, Господи!

— Въ адресъ?.. Ну нѣтъ-съ! Извините!.. Въ адресъ—это другое дѣло! Адресъ въ Европу пойдетъ!

— Какъ въ Европу? Вѣдь его же предполагается подать...

— Это зачѣмъ?

— Да вѣдь адресъ писанъ, чтобы его подавать.

— Это все-равно! Но только мы его подавать не станемъ.

— Такъ что-же это въ такомъ случаѣ,—выпучилъ Хвалынцевъ изумленные глаза,—упражненіе въ литературномъ стилѣ на заданную тему? На кой-же прахъ онъ писанъ, коли не подавать!

— Подавать не нужно... Вы слушайте далѣе! Здѣсь сказано вотъ что:

«...Мы обратились къ вамъ черезъ посредство печати и гласности, а не по начальству; начальство никогда не передало-бы вамъ нашего голоса—голоса правды». Ловко?... а?!. Что вы на это скажете?

«...Мы скрыли наши имена; искреннее слово честнаго человѣка начальствомъ считается за бунтъ, и назвавшись мы только подверглись-бы неzasлуженной карѣ».

Адресъ кончался словами: «Примите увѣреніе въ нашей искренности»¹⁾.

— Что вы на это скажете? Каково написано-съ?... А?—похвалился предъ Константиномъ Паланица.

— Что же, относительно стиля — искусно изложено; жаль только, что съ истиной расходится.

Паланица вспыхнулъ и насупился.

— Что вы хотите этимъ сказать?

— Да не болѣе какъ то, что еслибъ этотъ адресъ былъ написанъ отъ имени какого-нибудь извѣстнаго кружка, даже хотя-бы отъ нашего «Отдѣла», или отъ нѣсколькихъ единомысленныхъ офицеровъ, онъ имѣлъ бы свой *raison d'être*, но онъ пишется отъ имени *всѣхъ русскихъ офицеровъ въ Польшѣ*, — позвольте спросить, но чрезвычайъ-ли ужъ это хвачено? Кто уполномочивалъ составителя говорить за всѣхъ и увѣрять, что это *profession de foi* каждого?

— Такъ я лжецъ, по вашему?! — рѣзко вскрикнулъ Паланица.

— А развѣ *вы* авторъ адреса?

— Положимъ, хоть-бы и я.

— Въ такомъ случаѣ вы очень самонадѣянно расходитесь съ истиной.

— Однако, милостивый государь... вы, кажется, забываете, что... говорите мнѣ дерзости...

— Вамъ лично я не имѣлъ-бы никакой причины говорить ихъ; я высказалъ только свой взглядъ на адресъ, и полагаю, что собственно за этимъ и былъ приглашенъ сюда. Но,—перевѣрилъ самого себя Хвалынцевъ,—оставимте наши личные препирательства! Это самая безплодная почва... Скажите лучше, что предполагается сдѣлать съ этимъ адресомъ?

— Напечатать,—отвѣтилъ за Паланицу Добровольскій.

— Гдѣ? въ «Колоколѣ»?

— Ну, конечно!

— И такъ-таки отъ имени *всѣхъ*?

— Н-да... потому что... Однимъ словомъ, то такъ вже предположено.

— Но берете-ли вы въ расчетъ, что и Герценъ въ свою очередь можетъ спросить васъ: точно-ли это *profession de foi* всѣхъ офицеровъ?

— Мы вже думали объ этомъ, — сказалъ Добровольскій.

— Думали? гѣмъ лучше! Чѣмъ-же вы ему удостовѣрите общность адреса?

— Подписями.

— Какими?

— Офицерскими.

— Я васъ не понимаю, Добровольскій. Кто-жъ будутъ эти офицеры и много-ль ихъ будетъ?

— Много.

— Да нѣтъ, полноте играть въ жмурки!.. Ну и чего мы, въ самомъ дѣлѣ, въ своемъ-то собственномъ кружкѣ станемъ еще сами себя обманывать? Развѣ мы не знаемъ настоящаго положенія дѣла? Развѣ мы не знаемъ настроенія офицеровъ?

— Не у томъ сила, а подписи будутъ!

— Чьи? ваша, моя, да поручика Паланицы?

— И наши будутъ, конечно, тоже.

— А затѣмъ?

— А затѣмъ и другіе будутъ.

— Какимъ-же путемъ вы ихъ добудете?

— Есть тутъ одинъ человѣчекъ такой — писаромъ Минаевымъ прозывается — онъ и сдобудетъ¹⁾.

— Да полноте! Что за мистификація! — говорите проще и понятнѣе! говорите прямо!

— Я буду прямо! — вмѣшался наконецъ молчавшій доселѣ Паланица. — Говорю какъ начальникъ. Я — глава «Отдѣла» и потому я начальникъ, которому обязаны повиновеніемъ... Мои слова будутъ приказаніемъ... Предупреждаю объ этомъ... Мнѣ нѣтъ дѣла, сочувствуетъ кто или не сочувствуетъ; но разъ принадлежитъ къ нашей организаціи — долженъ исполнять безпрекословно, если приказываютъ... Я предупреждаю объ этомъ... Нарочно и заблаговременно... Поворотовъ нѣтъ у насъ и быть не должно!

— Хвалынцевъ очень хорошо понялъ, что вся эта выходка направлена исключительно

¹⁾ Писарь главнаго штаба войскъ 1-ой арміи, Минаевъ долгое время передавалъ агентамъ „ржонда народоваго“ всѣ секретныя распоряженія русскаго военнаго начальства. За эти преступленія онъ былъ разстрѣлянъ. № 29-ый приказа революціоннаго начальника города (Варшавы), извѣщая объ его казни, восклицаетъ о немъ: „благородный Минаевъ!“

въ его сторону. Это царапнуло его самолюбие и озлило.

— Адресъ долженъ быть посланъ съ подписями,—продолжалъ межъ тѣмъ Паляница.— Дѣло не въ томъ, какія это будутъ подписи, лишь бы были! Это нужно для Европы!.. Интересъ дѣла требуетъ, чтобы подобный адресъ былъ напечатанъ—и будетъ! Напечатаютъ безъ подписей, но Герценъ долженъ удостовѣрить, что подписи у него есть... Поэтому должны быть подписи... Минаевъ добудетъ изъ штаба списки... Онъ самъ составитъ списокъ офицерскихъ фамилій и принесетъ завтра. Вы умѣете писать разнообразными почерками?—безъ дальнѣйшихъ обиняковъ, напрямикъ, обратился Паляница къ Хвалынцеву.

— Ужъ не хотите ли вы заставить меня подписываться подъ чужія руки? — спросилъ этотъ послѣдній, сухо и съ нескрываемымъ презрѣнiемъ.

— Я васъ спрашиваю, умѣете ли?—настойчиво повторилъ Паляница.

— Нѣтъ, не умѣю.

— Да вы, можетъ, не пробовали?

— И пробовать не стану.

— Вѣдь это, въ сущности, такой пустякъ!

— Можетъ-быть.

— У меня уже припасены разнообразныя чернила: и черныя, и ржавыя, и блѣдныя, и синія—всякія! Будемъ писать попеременно, втроемъ, а затѣмъ... у васъ есть знакомый, Константинъ Калиновъ кій... Хороши вы съ нимъ?

— Никакого Калиновскаго не знаю.

— Ну, какъ не знаете!.. Наверно знаете!.. Можетъ подъ другой фамиліей?.. Какъ онъ тамъ, Францишекъ Пожондковский, что ли?

— Такъ, Пожондковский, — подтвердилъ Добровольскій.

Въ умѣ Хвалынцева мелькнуло что-то смутно знакомое, какъ будто онъ слышалъ гдѣ и когда-то эту фамилію, да только вспомнить не можетъ.

— Не припомню, — сказалъ онъ наконецъ.

— Онъ еще тоже Василіемъ Свиткой прозывается, — подсказалъ Добровольскій.

— Свитку знаете? — спросилъ Паляница.

Хвалынцевъ отвѣтилъ утвердительно.

— Ну, такъ вотъ что... Втроемъ намъ всѣхъ подписей не обварганить, а ихъ нужно штукъ пятьсотъ или четыреста по крайней мѣрѣ. Вы возьмите съ собою часть Минаевского списка съ подписнымъ листомъ и передайте его Свиткѣ... Объясните ему, конечно, въ чемъ дѣло... Попросите содѣйствія «Русскому Отдѣлу Земли и Воли», онъ ужъ все остальное дѣло живо обварганить! Пойдетъ листъ по рукамъ у поляковъ, — а они въ одинъ день покروютъ его подписями! У нихъ много найдется, которые пишутъ по-русски!.. Они это живо!

Хвалынцевъ поблѣднѣлъ и, тяжело подыав-

шись съ мѣста, выпрямился во весь ростъ. Сухія губы его нервно дрожали.

— Я... этого... не сдѣлаю, съ усиленіемъ и медленно проговорилъ онъ задыхающимся голосомъ.

— Нѣтъ, вы это сдѣлаете! — твердо и увѣренно возразилъ ему Паляница. — Вы обязаны повиноваться, и... не ваше дѣло разбирать, пригодно-ли то или это средство... Здѣсь средства хороши! Намъ не оставляютъ иного выбора!.. Вы должны подъ страхомъ смерти сдѣлать то, что вамъ приказывается, а иначе...

— Смерти не боюсь и мерзости дѣлать все-таки не стану... Довольно!.. Будетъ съ меня! — закричалъ Хвалынцевъ.

— Во имя данной мнѣ власти, объявляю... началъ было Паляница торжественнымъ тономъ, какъ вдругъ:

— Молчать! — повелительно крикнулъ ему Константинъ. — Какая власть?.. Гдѣ она?.. Гдѣ этотъ вашъ пресловутый «Отдѣлъ»?.. Онъ пухъ, мыльный пузырь! Онъ только въ рекламахъ «Колокола» существуетъ! Вы всѣ обманщики, фигляры! Я могъ поддаться, могъ идти открыто за дѣло, которое считалъ дѣломъ свободы, я не отступилъ бы предъ открытой борьбой, какъ бы безумна она ни была — ну, что жъ! я рисковалъ только своей жизнью, своей головой, и я бы положилъ ее... Но вы зовете меня на грязный подлогъ... Вы предлагаете шулерскую передержку съ тѣмъ, чтобы поднадууть и правительство, и общественное мнѣніе... Нѣтъ, милостивый государь!.. Стоп!.. Я не пойду за вами, и съ этой минуты я не членъ вашего мнѣйческаго «Отдѣла»!

И, не поклонившись, Константинъ удалился изъ квартиры поручика.

— Подлецъ!.. Измѣнникъ! — глухимъ и бѣшено-злобнымъ голосомъ крикнулъ ему послѣдъ Паляница.

XIX.

Трибуналъ пародовый.

Въ той части Варшавы, которая находится по сосѣдству съ замкомъ Зигмунда, фарой, Старымъ Мѣстомъ и «Подваломъ», и вообще извѣстна подъ именемъ Старого Города, есть одинъ замѣчательный домъ. Онъ выходитъ на двѣ улицы: Кршиве-Коло и Бржозовую, пролегающую гораздо ниже первой, подъ горою, такъ что домъ, о которомъ мы говоримъ, занимаетъ собою весь скатъ горы, и если посмотреть на него съ улицы Кршиве-Коло, то онъ представится вамъ въ видѣ весьма скромнаго и даже приличнаго трехъ-этажнаго домика. Но спуститесь на Бржозову и взгляните на него оттуда, снизу — и вы увидите потемнѣвшую отъ времени, древнюю каменную громаду въ шесть этажей подъ черепичной кровлей.

Всевозможныя галлерейки, корридоры, лѣстницы, проходы и выходы во дворы и дворики, лежащіе на различныхъ пунктахъ горнаго ска- та, одинъ выше другого, придающіе этому до- му какой-то лабиринтный и притомъ сквозной характеръ, какъ нельзя болѣе удобный для проскальзыванія разныхъ темныхъ личностей и для притона воровскихъ шаяекъ. И дѣйст- вительно, домъ Грабовскаго въ Варшавѣ почти то-же самое, что домъ Вяземскаго въ Петер- бургѣ, только, конечно, не въ такихъ громад- ныхъ размѣрахъ. Тутъ вѣчный притонъ бродячихъ женщинъ, бѣглыхъ людей и разнаго рода безпаспортныхъ бродягъ; поэтому для оби- тателей дома Грабовскаго въ Варшавѣ су- ществовало даже особое названіе: «legia nad- wislinska», то-есть надвислинскій легіонъ. Еще въ 1830 и 1831 годахъ этотъ домъ, какъ вспоминаютъ старожилы, игралъ нѣкоторую роль въ революціонномъ движеніи, хотя онъ же послужилъ однажды и средствомъ къ укры- тію и бѣгству нѣсколькихъ варшавскихъ обы- вателей, преданныхъ законному правительству, которые чрезъ мудреные проходы и закоулки этого дома успѣли избѣжать смерти отъ пре- слѣдовавшей ихъ по улицамъ толпы револю- ціонеровъ.

На шестомъ этажѣ этого дома есть неболь- шая квартирка, всего лишь въ двѣ комнаты, которая приходится вровень съ чердаками, подъ черепичной кровлей. Одно окно этой квартиры выходитъ на Бржозовую улицу, два окна съ правой стороны на мощный дворъ, и два съ лѣвой тоже во дворъ, поросшій тра- вой и кустарникомъ. Къ каждому изъ боковыхъ оконъ ведетъ отдѣльная ниша, длиною до са- жени; въ каждой изъ этихъ нишъ продѣлана вровень съ поломъ небольшая форточка, въ которую однако свободно можетъ пролѣзть че- ловѣкъ, даже весьма изрядной комплекціи. Эти форточки выкрашены совершенно подъ цвѣтъ стѣны, такъ что съ перваго взгляда трудно ихъ и примѣтить и на вопросъ о ихъ назна- ченіи можно было-бы отвѣчать, что служатъ онѣ дверцами для чего-нибудь въ родѣ шка- фиковъ, гдѣ хранятъ домашнюю посуду, дрова или иной какой-либо хламъ. Казалось бы и въ самомъ дѣлѣ, что можно предполагать особен- наго въ этой квартирѣ, за ея толстыми на- ружными стѣнами, какими вообще отличаются старыя варшавскія постройки? А между тѣмъ стоило лишь открыть любую изъ форточекъ, и «особенное» тотчасъ же выступило бы на сце- ну. За этими форточками, внутри капитальной стѣны, были устроены три темныя каморки, съ очень хорошо настланнымъ деревяннымъ по- ломъ, каждая аршина въ два съ небольшимъ въ квадратѣ, такъ что въ этихъ каморкахъ можно бы и стать очень удобно, а еще удоб- нѣе сидѣть, и человѣка три, четыре легко могли бы устроиться на время въ этомъ по-

тайномъ помѣщеніи. Изъ первой каморки су- ществуеъ проходецъ въ другую, а изъ этой въ третью, изъ которой особая лазейка, въ видѣ треугольнаго отверстія, выводитъ на чер- дакъ, а тамъ уже есть и слуховыя окна на крышу, и дверь на лѣстницу въ сѣни, и еще одна потайная лазейка, въ одномъ изъ самыхъ темныхъ чердачныхъ угловъ, которая ведетъ на смежный, но уже потайной чердакъ съ пло- ской кровлей. Если смотрѣть снаружи, со двора, то вамъ представится кровля, совершенно плотно прилегающая къ стѣнамъ и къ балкамъ потолка, въ родѣ того, какъ бываетъ это у во- сточныхъ саклей, такъ что подъ этой кров- лей никакъ невозможно заподозрить присут- ствіе чердака, а между тѣмъ онъ существуетъ, будучи устроенъ нѣсколько исключительнымъ образомъ, не такъ, какъ обыкновенно устраи- ваются вообще всѣ чердаки на свѣтѣ. Полъ его, представляющій очень прочную деревян- ную настилку, лежитъ не въ уровень съ верх- нимъ краемъ стѣнъ, а аршина на два ниже его, что и дѣлаеъ изъ этого чердака отлич- ный и преудобный тайникъ, гдѣ можно спря- тать множество вещей, въ родѣ оружія, поро- ху и платя, и вообще контрабанды, а въ случаѣ надобности, тамъ же могутъ укрыться на время болѣе двадцати человѣкъ, которымъ было бы неудобно только стоять, но сидѣть и лежать они могли бы наилучшимъ образомъ. Въ преж- нія времена, когда этимъ домомъ исключитель- но распоряжалась «легія надвислянська», лов- кіе контрабандисты постоянно пользовались этимъ потайнымъ чердакомъ для сокрытія сво- ихъ запрещенныхъ товаровъ, и это было имъ тѣмъ удобнѣе, что Висла и коммерческая при- стань находятся почти тутъ же, что назы- вается, подъ бокомъ.

Въ то время, къ которому относятся собы- тія нашего разсказа, въ описанной квартирѣ съ тайниками обиталъ одинокій старикъ, лѣтъ шестидесяти, совершенно лысый, сѣдобородый, въ очкахъ, и довольно еще красивый собой. Это былъ чиновникъ совѣта управленія, что на Красинской площади, по имени Владиславъ Крушинскій. Прошлая жизнь, полная увлече- ній, оставила свои слѣды на его лицѣ, при- взглядъ на которое вы могли бы сказать, что, судя по фizioноміи, натура у этого человѣка широкая, добрая и размашистая, но вамъ и въ голову отнюдь бы не пришло, что этотъ почтен- ный старецъ, въ качествѣ члена подземнаго ржонда, исполняеъ должностъ «начальника операторувъ» и вмѣстѣ съ двумя своими со- товарищами и помощниками держитъ въ сво- ихъ рукахъ всю «операторную часть ржонда народоваго». Операторскою частью называлась въ ржондѣ организація вѣшателей и кинжалъ- никовъ, которымъ уже впоследствии было при- своено болѣе громкое названіе «мстителей на- родовыхъ».

Двое ближайших помощников Крушинскаго были еще молодые люди. Одинъ изъ нихъ, Штейнгреберъ, студентъ Варшавской Главной Школы, происходилъ изъ мѣстныхъ «цивилизованныхъ» жидковъ, другой—Игнатій Труцинскій, сынъ жандармскаго подполковника русской службы, собственноручно приговорившій къ смертной казни даже своего родного отца, чтò и было вмѣнено ему ржондомъ въ особую, римско-гражданскую доблесть. Этотъ Труцинскій былъ поставленъ въ исключительное благоприятныя обстоятельства для подпольной дѣятельности. Онъ жилъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ въ Мировскихъ кошарахъ ¹⁾ на Бровариѣ, гдѣ квартируютъ всѣ варшавскіе жандармы и жандармскіе офицеры. Эта часть города, обитаемая исключительно военнымъ населеніемъ, почти совершенно отдѣлена отъ остальной Варшавы стѣной и заставой, гдѣ постоянно стоятъ на часахъ жандармы, обязанность котораго, между прочимъ, состояла и въ томъ, чтобы не пропускать въ районъ казармъ никого изъ статскихъ въ экипажахъ. Проживая въ такомъ привилегированномъ мѣстѣ, исключенномъ изъ-подъ всякаго надзора городской полиціи, Игнатій Труцинскій могъ совершенно спокойно и безопасно заниматься своими революціонными дѣлами по части «операторной».

Четвертый сотоварищъ названныхъ героевъ былъ ксендзъ Кароль Микосевскій, добывшійся въ данное время немалой популярности между варшавскою молодежью. До 1861 года онъ былъ бѣднымъ викаріемъ одной изъ варшавскихъ парафій (приходовъ), какъ вдругъ судьба ему улыбнулась: знакомая старушка, умирая, оставила ему 10,000 золотыхъ, и ксендзъ Кароль почувствовалъ себя счастливымъ. Онъ тотчасъ же напечаталъ свои проповѣди «объ опасностяхъ невоздержанія» и открылъ свой маленький «салонъ». Оставаться разъ въ недѣлю дома, подчивать гостей чашкой чая, стаканомъ воды съ сахаромъ и флер-д'оранжемъ, бутербродами съ ветчиной и сладкими пирожками или такъ-называемымъ «тястѣчкомъ»—это называется «имѣть салонъ», а ксендзъ Кароль, собирая къ себѣ праздную молодежь, фельетонистовъ, хроникеровъ и весь задній дворъ варшавской печати, кормилъ весь этотъ сбродъ отиѣнными ужинами—и въ воздаяніе за свое гостепріимство, былъ избранъ въ члены Центральнаго Комитета. Сдѣлавшись членомъ комитета, ксендзъ Кароль, успѣвшій около того же времени изъ викаріевъ стать пробощемъ и получить пробство на Желязной, для пущей безопасности, перемѣнилъ себѣ имя и назвался Сикстомъ. По ночамъ Сикстъ засѣдалъ въ комитетѣ или въ трибуналѣ, подписывалъ смертные приговоры, писалъ памфлеты противъ правительства и варшавскаго архіепископа, а

днемъ терся въ прихожей директора комисіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, которому извѣлялъ свое благородное негодованіе на революцію, ходилъ къ архіепископу на лобызаніе руки его преосвященства, и когда ему говорили тамъ о революціонныхъ крамолахъ и убійствахъ, онъ помахивалъ главою, вздыхалъ, закатывалъ глаза и приговаривалъ съ набожнымъ сокрушеніемъ: «O tempora! o mores!»

Въ сентябрѣ 1862 года, около семи часовъ вечера, въ чердачной квартиркѣ Владислава Крушинскаго собрались его сотоварищи: жидокъ Штейнгреберъ, Игнатій Труцинскій, ксендзъ Сикстъ, въ качествѣ наблюдающаго члена отъ Центральнаго Комитета, и Василиій Свитка, въ качествѣ обвинителя. Эти пять человекъ изображали собою соединенное присутствіе народнаго трибунала. На столѣ предъ ними стояло цинковое распятіе и у подножія креста былъ положенъ обнаженный кинжалъ. Эти два предмета изображали собою эмблему суда, и хотя подобные атрибуты, въ сущности, были совершенно не нужны, такъ какъ могли бы представить собою только лишнюю улику или лишнее затрудненіе въ томъ случаѣ, если-бы членамъ грознаго трибунала, при лязгѣ жандармской сабли за запертой дверью, пришлось ползкомъ пробираться въ форточки тайниковъ, тѣмъ не менѣе атрибуты эти присутствовали на судейскомъ столѣ, въ силу распространенной между поляками страсти къ мистическимъ, романтическимъ и страшнымъ декораціямъ. Въ той же комнатѣ на другомъ столѣ находились атрибуты иного рода, въ видѣ бутылки съ водкой, закуски и полудюжины «марцоваго» пива.

Компанія трибунала сидѣла за судейскимъ столомъ, курила, закусывала, прихлебывала пиво, но къ суду еще не приступала. Ксендзъ Сикстъ, въ разстегнутой сутанѣ, небрежно закинувшись на спинку стула, повѣствоваль о нѣкоторыхъ планахъ и намѣреніяхъ ржонда, и хотя, въ сущности, по силѣ ржондовыхъ постановленій, ему вовсе не слѣдовало бы болтать о томъ, чтò не относилось прямымъ образомъ къ вѣдѣнію членовъ трибунала и составляло въ нѣкоторомъ родѣ «государственную тайну» ржонда, но настойка и пиво въ совокупности съ душевной компаніей развязали болтливый языкъ Сикста, а между его собеседниками не нашлось ни одного, кто напомнилъ бы ему про обѣтъ молчанія, по той простой и естественной причинѣ, что каждому было крайне любопытно узнать о высшихъ и таинственнѣйшихъ намѣреніяхъ Центральнаго Комитета.

— Не жить! не жить москѣлю, а ни-ни!—съ увѣренностью доказывалъ Сикстъ, высчитывая по пальцамъ.—Во-первыхъ, рѣшено уже подорвать финансовый кредитъ Россіи. Вотъ-первыхъ...

— Шутка сказать, подорвать кредитъ!—со-

¹⁾ Кошары—казармы.

мнительно усмѣхнулся старикъ Крушинскій. — Какъ вы его подорвете у такого государства?

— Что за государство!.. Колоссъ на глиняныхъ ногахъ, и только!.. А подорвать — это пустяки! Рѣшено выпустить огромное количество фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ... Въ Лондонѣ уже работаютъ, а нашъ Игнатій Хмѣлянский — помогай ему Боже! — заблаговременно уже условился о заготовленіи и о привозѣ въ Край... Всѣ либеральныя правительства, вся Европа намъ въ этомъ дѣлѣ помогаютъ, потому... потому и для Европы важно, чтобы подорвать... Понимаете?

— А хорошо-ли поддѣланы? — небезъалчнаго любопытства освѣдомился Штейнгреберъ.

— Поддѣланы-то?.. О, мой польскій братъ мойжешового признанія! Поддѣланы такъ, что твой тѣтуле а ни на моментъ не задумался-бы принять и размѣнять любую сторублевку! Вотъ какъ поддѣланы!.. Но это что! — продолжалъ Сикстъ, — я говорю не жить, потому что кредитки кредитками, а мы еще нѣсколько блестящихъ фейерверковъ устроимъ! Вотъ такъ штука будетъ!

— Въ чемъ-же дѣло? — спросилъ юный и ретивый Трущинскій.

— А въ томъ, что рѣшено взорвать и сжечь всѣ казармы и бомбардировать цитадель конгревовыми ракетами!

— Ну-у! — недовѣрчиво махнулъ рукою старецъ.

— Чего «ну»! Не нукай, брацишку! Почекай трошечку!.. Я знаю, что говорю! Потому... мы уже вошли въ условіе съ двумя французами — специалистами... Одинъ, какъ его?.. Ганье д'Альбенъ, а другой Маньянъ... берутся сжечь и бомбардировать; только два милліона золотыхъ, шельмы, требуютъ за это!

— И вы дадите? — съ опасеніемъ спросилъ еврейчикъ.

— И мы дадимъ!.. Пятьсотъ тысячъ уже выдали въ задатокъ... Поѣхали во Францію дѣлать приготовленія.

— Да они надуютъ! — всплеснулъ руками Штейнгреберъ. — Я-бъ и самъ надуть, ей-Богу, кабы такія деньги!

— О, мой братъ мойжешового признанія!.. Надуть бы во имя ойчизны вольной и неподлегой!.. Хе, хе, хе!.. Что говоришь ты и что слышу я!?.. Gloria in excelsis!.. Ты надуть бы, а они не надуютъ... Имъ Наполеонъ не позволить, да и мы имъ въ Парижѣ цѣлый процессъ сдѣлаемъ, искъ предъявимъ, пускай-ко попробуютъ!.. Нѣтъ, благородная нація не надуетъ!.. ни-ни!.. а ни Боже мой! Не допускаю!.. Н-не допускаю!

— Два милліона! — покачалъ головой многоопытный старецъ. — Гдѣ ихъ взять, два милліона! Легко сказать, да гдѣ достать?

— Т-есъ!.. Не богохульствуй! Смири въ себѣ духъ строитивости и противорѣчія... Ты гово-

ришь, гдѣ достать? Хм!.. Я тебѣ скажу гдѣ! Во-первыхъ, при первой возможности мы воспользуемся казначействомъ, и мы имѣемъ на это право, потому въ казначействѣ чьи деньги? а?.. Польскія, не такъ ли? А если польскія, то имъ и подобаетъ быть въ рукахъ истиннаго польскаго правительства... Поэтому, при удобномъ случаѣ, сдѣлаемъ простую транспортацию!.. Понимаешь? то-есть изъ одной кассы въ другую... Это разъ. А во-вторыхъ, уже рѣшено выпустить въ несмѣтномъ количествѣ народовой облигации и заставить каждого обязательно принимать ихъ... Понимаешь, тутъ уже не двумя милліониками какими-нибудь пахнутъ!.. Подымай выше!

— Н-ну, а если братъ не стануть? — усомнился Штейнгреберъ.

— Чтѣ-о? — насушился на него Сикстъ. — Не стануть?.. Кто это не станеть?.. Твой тѣтуле, что-ли?.. Я тебѣ скажу на это, что ежели твой тѣтуле не станеть братъ, то ты же первый подпишешь ему смертный приговоръ и самъ-же вздернешь его на осиноый сукъ! И я благословлю тебя на подвигъ! И когда твой тѣтуле заплыветъ въ воздухъ мазурку, то твой дѣнцель охотно приметъ все сполна и за себя, и за братца, да еще прибавки попроситъ! Такъ ли я говорю? Вѣрно?.. Ну, значить, и не спорь со мной!

— Однако, панове, время уходитъ! — взглянувъ на часы, замѣтилъ Свитка. — Не пора ли за дѣло, а то какъ разъ рискуемъ вмѣсто дома переночевать въ козѣ: десятый часъ въ началѣ.

— Да чтѣ, много тамъ у васъ на сегодня? — дѣловымъ тономъ спросилъ старикъ Крушинскій.

— Нѣтъ, пустяки! Всего только два человека.

— Пхе!.. Стоило изъ-за такой дряни трибуналъ собирать! — замѣтилъ Сикстъ. — Я думалъ, двадцать по крайней мѣрѣ, а у него только двое!

— Господа!.. Именемъ ржонда народоваго я открываю трибуналъ! — поднявшись съ мѣста, торжественно — офиціальнымъ тономъ возгласилъ Крушинскій. — Прошу занять свои мѣста. Благословите, отче!

— И по слову председателя, вся компанія стала при своихъ стульяхъ, съ серьезнымъ видомъ молитвеннаго благоговѣнія сложивъ руки и преклонивъ головы, а ксендзъ Микошевскій, оборотаясь къ распятію, забормоталъ въ полголоса «молитву о помощи Духа Святаго предъ началомъ добраго дѣла».

Наконецъ, получивъ отъ него общее пастырское благословеніе, всѣ разсѣлись на свои мѣста и приняли натянутый офиціально-серьезный видъ, приготовляясь съ слушанію доклада Свитки, который вынулъ изъ своего портмоне тоненькую бумажку, свернутую въ самый маленькій шарикъ, тщательно расправилъ ее и, пододвинувъ къ себѣ поближе свѣчку, сталъ читать черезъ лупу микроскопиче-

ски написанныя строки. Первымъ обвинялся какой-то еврей-ростовщикъ Шмуль Путкамеръ, по доносу сборщика Юзефа Чауке, въ нежеланіи платить народовую подать, въ непочтительномъ отзывѣ о ржондѣ, высказанномъ будто бы въ глаза самому Чауке, при требованіи имъ уплаты подати, и, наконецъ, въ знакомствѣ его, Путкамера, съ частнымъ приставомъ Дроздовичемъ, что уже само по себѣ служитъ доказательствомъ его шпионской профессіи, а потому-де сей жидъ Шмуль Путкамеръ, недостойный называться именемъ поляка Моисея закона, приговаривается, какъ зловредный гражданинъ, къ смертной казни чрезъ отравленіе, ибо расправа посредствомъ кинжала, какъ болѣе благородная казнь, сочтена для него слишкомъ высокою, и онъ признанъ недостойнымъ подобной милости.

— Позвольте, господа,—вмѣшался Штейнгреберъ,—я немножко знаю этого Путкамера, но сильно сомнѣваюсь, чтобы онъ былъ шпиономъ. Знакомство съ Дроздовичемъ ничего еще не доказываетъ. Это бы надо разслѣдовать болѣе обстоятельнымъ образомъ.

— Вздоры!—закричалъ Микосшевскій.—Стоить еще задавать себѣ трудъ разслѣдовать!.. Изъ-за какого нибудь подлага жидюги!..

— Но вѣдь обвиненіе голословно! На чемъ этотъ Чауке основываетъ его?

— На внутреннемъ убѣжденіи и на знакомствѣ съ Дроздовичемъ, этого совершенно достаточно!—авторитетно порѣшилъ Сикстъ, осушивъ свой куфель пива.

— А что, ежели этотъ Чауке долженъ Путкамеру по векселю и путемъ доноса думаетъ избавиться отъ долга? — пустилъ загвоздку Штейнгреберъ, явно желавшій отстоять своего соплеменника.

— Ну, и помогай ему Боже,—отвѣтилъ на это ксендзъ Микосшевскій.—Во всякомъ случаѣ,—прибавилъ онъ,—Чауке *наизъ*, Чауке намъ извѣстенъ, а Путкамеръ нѣтъ; Чауке принадлежитъ къ организациі и служитъ сборщикомъ, и вдобавокъ очень хороший, усердный сборщикъ и благонамѣренный. Полякъ—уже по одному этому мы должны уважить его доносъ... Какое же довѣріе послѣ этого мы будемъ оказывать своимъ, если станемъ еще провѣрять ихъ показанія!.. *Mortus est!*.. Мой голосъ за казнь. Кто со мной, господа, и кто противъ?

Всѣ безусловно согласились съ Сикстомъ, и даже еврей Штейнгреберъ, при всемъ своимъ тайномъ нежеланіи, долженъ былъ присоединиться къ общему рѣшенію и подписать свое имя на протоколъ.

— Ну, кончайте скорѣй! кто еще тамъ у васъ? Я ужъ спать хочу!—нетерпѣливо обратился къ Свиткѣ ксендзъ Микосшевскій.

Обвинитель снова склонился надъ своей микроскопически-написанной бумажкой, но медлить надъ нею въ какой-то странной нерѣ-

шительности, нарочно стараясь показать видъ, будто онъ не можетъ разобрать написаннаго.

— Да читайте-же! Чего вы мямлите?—еще нетерпѣливѣе отнесся къ нему Сикстъ.

— Позвольте, сейчасъ...

И онъ началъ медленно, оттягивая слогъ за слогомъ, будто и въ самомъ дѣлѣ трудно разбираетъ буквы:

«По... по... по пред-ставленію... по пред-ставленію... пред... пред-сѣда... сѣда-те-ля...»

— Да что вы, читать разучились, что-ли?

— Мы... позвольте, сейчасъ... «По пред-ставленію предсѣдателя»...

— И Свитка снова замолкъ надъ бумажкой, но на этотъ разъ уже не показывая вида, будто не можетъ разобрать ее.

— Далѣе!—досадливо топнулъ ногой Микосшевскій.

Свитка молчалъ, будто и не слышалъ этого возгласа.

Микосшевскій пристально взглянулъ ему въ лицо и невольно удивился. Это лицо было блѣдно, съ глазами, заволочнутыми какимъ-то туманомъ, и отпечатлѣвало въ себѣ всѣ признаки разстройства и смущенія.

— Да что это съ вами?.. Вы на себя не похожи! Вамъ дурно, что-ли? — воскликнулъ Микосшевскій.

— Да, мнѣ не хорошо. Я не могу этого читать... то-есть прочесть не могу, поспѣшилъ онъ поправить свою обмолвку.—Пусть кто-нибудь другой читаетъ.

— А обязанность обвиненія?—поднялъ на него очки старикъ Крушинскій.

— Я не могу... Извините, господа... Я передаю мою обязанность... Читайте за меня сами... Я не могу, говорю вамъ... Обвиняйте сами кто знаетъ...

И проведя рукой по волосамъ, Свитка съ усиленіемъ поднялся съ мѣста и, почти шатаясь, въ какомъ-то странномъ волненіи, весь блѣдный вышелъ въ другую комнату.

Всѣ члены трибунала въ недоумѣніи вопросительно переглянулись между собою.

На минуту настало какое-то странное, нерѣшительное молчаніе.

Ксендзъ Кароль пожалъ плечами и, взявъ со стола бумажку и лупу, сталъ читать по запискѣ:

«По представленію предсѣдателя варшавскаго отдѣла русскаго общества «Земля и Воля», членъ означеннаго общества Константинъ Хвалынецъ, принадлежащій къ составу русскихъ войскъ, за измѣну общему дѣлу предается суду народнаго трибунала. Предсѣдатель, признавая его крайне опаснымъ для цѣлей и преуспѣянія дальнѣйшей дѣятельности общества, покорнѣйше проситъ Центральнаго Комитета озаботиться, чтобы приговоръ высокочтимаго трибунала былъ положенъ и приве-

денъ въ исполненіе въ возможно скорѣйшемъ времени».

— Повиненъ естъ!—окончивъ чтеніе, сразу произнесъ Микошевскій.—Ваше мнѣніе, господа?—обратился онъ къ членамъ.

— Смерть!—почти въ одинъ голосъ отвѣтили остальные.

— Гей, пане прокуратору!—крикнулъ Сикстъ въ другую комнату,—ваше мнѣніе? Съ большинствомъ согласны? а?

Свитка молчалъ.

— Э, да что это съ нимъ такое? Никакъ заболѣлъ и въ самомъ дѣлѣ?—процѣдилъ сквозь зубы ксендзъ и направился къ Свиткѣ, который сидѣлъ, отвернувшись къ окну и облокотясь на подоконникъ. — Что съ вами, другъ мой?—тихо произнесъ Микошевскій, съ нѣжностію склонясь надъ нимъ и участливо заглядывая ему въ лицо. Но каково же было удивленіе подгулявшаго Сикста, когда въ глазахъ сотоварища онъ замѣтилъ нѣчто похожее на слезы.

— Вы плачете?.. Другъ мой, что это?.. Нервы?—произнесъ онъ тише, чѣмъ въ полголоса.

— Если можно, спасите его!—крѣпко схвативъ руку Микошевскаго, порывисто прошепталъ Свитка.

— Кого?—недоумѣло спросилъ ксендзъ.

— Его... Хвалынцева... Это я запуталъ его въ дѣло... Я одинъ виноватъ... Повѣрьте! Клянусь вамъ! Я хорошо знаю этого человѣка и знаю, что онъ человѣкъ честный. Вся вина его только въ несходствѣ убѣжденій съ Палаицей. Примѣните къ нему статью кодекса объ изгнаніи... Можно устроить такъ, что само начальство вытуритъ его изъ службы, и пусть убирается къ себѣ въ Россію. Спасите, если можете!

— Милостивый государь, я вижу, что вы дѣйствительно больны, потому что говорите нелѣпости,—сухо возразилъ ему Микошевскій.

— Но я люблю этого человѣка, мнѣ жаль его! И мнѣ больно, что я ни за грошъ погубилъ его!.. Тутъ совѣсть говоритъ, поймите вы это!.. Я долженъ былъ по приказанію комитета обвинять его, а между тѣмъ... эта казнь противъ моего убѣжденія.

— О вашемъ убѣжденіи никто не спрашиваетъ,—серьезно перебилъ его ксендзъ,—и если бы вы имѣли не осторожность, гласно и формально отказаться въ той комнатѣ отъ обвиненія, вы сами подлежали бы суду трибунала. Но я шажу васъ, я промолчу объ этомъ. Стыдитесь! Вы, полякъ, за москаля!.. Ну, добро, жидъ за жиду стоялъ—это понятно; но полякъ за москаля... Фи! Я не узнаю васъ! Опомнитесь и берегитесь!

И войдя въ комнату засѣданія, Сикстъ произнесъ громко и увѣренно:

— Панъ прокураторъ боленъ, но онъ согласенъ съ общимъ мнѣніемъ.

Услышавъ эти слова, Свитка безсильно и покорно склонился головой на подоконникъ. Въ Варшавѣ онъ былъ не то, что въ Литвѣ: въ Варшавѣ онъ былъ не свободенъ: онъ долженъ былъ слѣпо подчиняться грозной и карающей власти комитета и какъ можно тщательнѣе таить отъ всѣхъ свои замыслы о самостоятельной роли, о сепарациі Литвы и о диктатурѣ надъ нею. Боже избави, если-бы здѣсь на него пала хоть малѣйшая тѣнь подозрѣнія, и тѣмъ болѣе, что здѣсь все, даже самая малѣйшая бездѣлица могла легко навлекать всякія подозрѣнія. Онъ и то уже поступилъ слишкомъ неосторожно, увлекшись человѣческимъ порывомъ своего сердца и такъ откровенно высказавшись предъ Сикстомъ о Хвалынцева. Надо было по необходимости подчиниться безопаданному рѣшенію Сикста, который, помимо номинальнаго предсѣдателя, вѣтилъ какъ хотѣлъ цѣлымъ трибуналомъ, и Свитка подчинился.

— Итакъ, рѣшеніе единогласно! — продолжалъ межъ тѣмъ Микошевскій. — Но теперь еще вопросъ, господа: родъ казни для послѣдняго субъекта?

— Кинжалъ!—единогласно отвѣтили члены.

— Да будетъ! Пишите приговоръ, пане Трущинскій,—заключилъ ксендзъ.

Забота объ исполненіи послѣдняго приговора возложена была Крушевскимъ на Штейнгребера, который убѣдительно просилъ уволить его отъ устройства казни надъ единоплеменникомъ, и въ замѣнъ освобожденія своего отъ убіиства еврея обѣщалъ казнить чрезъ своихъ подчиненныхъ кинжалщиковъ трехъ русскихъ или трехъ дурныхъ поляковъ. Ксендзъ Сикстъ великодушно разрѣшилъ ему это; — и черезъ четверть часа вся компанія, позажигавъ свои латѣрки, простилась съ хозяиномъ, торопясь добраться домой до урочнаго часа, послѣ котораго цвильнымъ людямъ воспрещалась ходьба по городу. И глядя на эти спокойныя лица да прислушавшись къ невинной болтовнѣ, никому и въ голову не могло бы придти, что эти люди всего лишь нѣсколько минутъ назадъ подписали смертный приговоръ двумъ человѣкамъ. Одинъ только Свитка хранилъ угрюмое и грустное молчаніе и поспѣшилъ проститься съ товарищами.

— Помните же мои слова и берегитесь... выкиньте дурь изъ головы, дружески говорю вамъ!—шепнулъ ему ксендзъ на прощанье, разительно пожимая руку.

XX.

Варшавскія труппы.

Броварная улица въ Варшавѣ идетъ подъ горою, вдоль берега Вислы, и не болѣе какъ ша-

гахъ въ двухстахъ разстояніи отъ него. Это улица весьма интересная. Тутъ вы встрѣтите оборванную бабу, которая съ метлой въ рукѣ, стоя по срединѣ мостовой, исправляетъ должность дворника, а вдоль стѣнъ убогихъ низенькихъ лачужекъ сидятъ старухи жидовки, похожія скорѣе на какихъ-то гномовъ, чѣмъ на существа, носящія образъ человѣческій: сидятъ онѣ подлѣ своего товара—лотка съ вялыми вишнями или гнилыми грушами, штопаютъ какую-то ветошь да парятъ на солнышкѣ свои древнія кости, въ тѣ дни, когда оно блещетъ надъ Варшавой. Жиденята, собаки, оборванцы, шарманки, подозрительные «лобусы» и еще болѣе подозрительные торгаши то и дѣло снуютъ взадъ и впередъ по этой улицѣ, на которой отъ ранняго утра до урочнаго часа вечера непрестанно проявляется самое бойкое движеніе. Это улица дѣятельная, торговая, съ сильно преобладающимъ еврейскимъ элементомъ. Но это элементъ, такъ-сказать, наружный, показной, который кидается вамъ въ глаза на самой улицѣ, въ окнахъ, у пороговъ входныхъ дверей, за стойками лавченковъ и т. д. А попробуйте заглянуть во дворъ любого изъ подобныхъ домишекъ, особенно (если это будетъ будній день) вечеромъ, около девяти-десяти часовъ, и вы совершенно неожиданно натолкнетесь на такое население, котораго въ теченіе дня совсѣмъ не примѣтишь—по очень простой, впрочемъ, причинѣ: днемъ его тамъ нѣтъ. Надо замѣтить, что самый родъ торговли на Броварной довольно исключителенъ: наружная сторона улицы, по преимуществу, шинкуетъ. Нѣтъ того сквернаго домишки, въ которомъ не помѣщалось бы что-нибудь въ родѣ кабака, кнейпы, баваріи, харчевни, кофейни или съѣстной лавки; преимущественно же благоденствуютъ шинки. Шинокъ—почти необходимая принадлежность чуть ли не каждаго дома на Броварной. И знакомясь съ характеромъ жизни «надворныхъ» непоказныхъ обитателей этой улицы, перестанешь удивляться такому изобилію этихъ увеселительныхъ заведеній и поймешь, что иначе и быть нельзя, что шинокъ тутъ является отцомъ-защитникомъ и матерью-кормилицей этого непоказнаго народа. Но распивочная торговля опять-таки составляетъ принадлежность вѣншнаго вида улицы и ея вѣншной жизни. Эта торговля, вмѣстѣ съ большею частью домишекъ, принадлежитъ хозяевамъ-евреямъ. Каждый почти домовладѣлецъ непрѣмѣнно держитъ шинокъ, и этотъ шинокъ служитъ тутъ чѣмъ-то въ родѣ круговой поруки: съ нимъ тѣсно связана *возможность* самаго существованія «надворныхъ» обитателей; онъ же является и поддержкой хозяина-еврея, ибо въ противномъ случаѣ постыдному пришлось бы лишиться своихъ непоказныхъ жильцовъ. Торговля Броварной улицы, какъ и самая жизнь ея, дѣлится на двѣ рѣзко раздѣльныя категоріи: наружную и надворную.

Если бы кто рѣшился войти въ любой изъ этихъ домишекъ, то первое, что представилось бы ему въ проходномъ корридорѣ, это — баба-дворникъ. Тутъ почти совсѣмъ нѣтъ мужчинъ, исправляющихъ дворничью должность. Баба-дворникъ это обыкновенно растрепанная женщина, со сбитой на сторону головной покрывкой, въ видѣ какого-то тряпья, въ ветхихъ лохмотьяхъ вмѣсто одежды, босая, старая, грязная, съ метлой въ рукахъ и въ то же время часто съ груднымъ ребенкомъ, подвязаннымъ у нея какъ-то черезъ плечо, съ помощію полотнянаго снаряда, напоминающаго своимъ устройствомъ нѣчто въ родѣ матросской койки. Среди томящаго лѣтняго зноя, какъ и въ зимній холодъ почти въ одномъ и томъ же неизмѣнномъ костюмѣ, развѣ только съ прибавленіемъ рваныхъ сапогъ, эта женщина-дворникъ всѣ свои дни проводитъ въ вѣчной работѣ: она и во дворѣ всякій хламъ убираетъ въ сторонку, и корридоръ подметаетъ, когда объ этомъ распорядится «ревиновый» ⁴⁾, и улицу мететъ, и дрова носить на общую печь, у которой, между прочимъ, отогрѣваетъ порою свои законченныя члены. Да и ночью-то не всегда ей бываетъ покойно: въ узкой, тѣсной каморкѣ, гдѣ съ трудомъ только можно повернуться и гдѣ едва найдется мѣстечко, чтобы прилечь отъ усталости, ее часто пронимаетъ холодъ и сырость, такъ какъ далеко не всѣ подобныя каморки бываютъ снабжены печами. Намаевшись въ теченіе дня отъ постоянной своей работы, она ложится спать все-таки позже другихъ обитателей дома, да и то, по стуку въ дверь, придется не одинъ разъ вскочить отъ сна и отомкнуть дверную защелку у входа. А просыпается баба-дворникъ, по обязанности, раньше всѣхъ—и опять за ту же работу!.. Такимъ образомъ, эта вѣчная труженица является крайне забытымъ, робкимъ существомъ: ей и отъ ревиноваго за непорядокъ достается, а отъ хозяевъ и подавно. Ей дается пріютъ, въ видѣ извѣстной уже каморки, да вдобавокъ еще какой-нибудь рублишко, или около того, въ мѣсяцъ жалованья. На эти средства она должна существовать часто съ ребятами, часто съ мужемъ, или приходящимъ къ ней «коханкомъ», которые въ непрѣмѣнную свою обязанность поставляютъ пропивать заработанные ею гроши. И на такую обязанность мужа или коханка никогда не слышится почти ни малѣйшаго ропота со стороны бабы-дворника. Такая ужъ любящая натура! Чуть только переступаетъ за порогъ охраняемой ею двери какой-нибудь господинъ, одѣтый приличнымъ образомъ (что впрочемъ въ этихъ мѣстахъ случается рѣдко), баба-дворникъ первымъ дѣломъ подвергается къ нему подъ руку и старается

⁴⁾ Окологородный надзиратель.

уничуждено облобызывать въ плечо, что на свѣжаго человѣка дѣйствуетъ особенно неприятнымъ образомъ, тѣмъ болѣе, что на первыхъ порахъ ничего подобнаго никакъ не ожидаешь. И если отдернешь отъ нея свою руку, бабодворникъ останется очень удивлена и растеряна—до того уже стали ей привычны подобныя лобыззанья.

По близости общей для всѣхъ обитателей печи (обыкновенно закопѣлый каминъ въ проходномъ корридорѣ) виситъ гдѣ-нибудь на стѣнѣ росписаніе жильцовъ дома, по числу занимаемыхъ ими квартиръ. Это росписаніе, если вы не знакомы съ условіями быта и жизни Броварной улицы, тоже не мало изумитъ васъ. Домишко ветхій, маленький, тѣсный, въ которомъ два-то семейства—еще куда бы ни шло—помѣстятся какъ-нибудь, а три—уже съ нѣкоторымъ трудомъ истѣсненіемъ, и вдругъ, роспись жильцовъ такого домишки гласитъ вамъ, что въ немъ имѣется тридцать квартиръ, иногда немного больше, такъ что цифра тридцать можетъ служить среднею для всѣхъ подобныхъ обиталищъ этой улицы. Вы невольно изумляетесь, какъ это, молъ, тридцать квартиръ? да откуда ихъ столько наберется? да гдѣ жъ онѣ всѣ, наконецъ, помѣщаются, если тутъ хватить мѣста всего-то только на двѣ, на три квартиры? И вы не ошибились: въ самомъ домишкѣ ихъ, дѣйствительно, не болѣе двухъ, трехъ. Но стоить вслѣдъ за бабой-дворникомъ пройти по клавише-подобнымъ гнилымъ и грязнымъ доскамъ корридора во внутрь двора, принадлежащаго этому домишкѣ—тутъ, среди разнаго хлама и мусора, тянутся по краямъ досчатыя клѣтупики, въ родѣ чуланчиковъ или дрянныхъ сарайшекъ для дровъ и ненужной рухляди. Вы такъ и думаете, что это не болѣе, какъ складочныя чуланы, имѣющіе свое обыкновенное назначеніе. Ничуть не бывало: это—квартиры, въ которыхъ живутъ люди и платятъ за наемъ ихъ хозяину. Мало того, тутъ есть еще свои аристократы и свои плебеи. Чтобъ убѣдиться, стоить войти въ любую изъ берлогъ той и другой категоріи, и вы будете имѣть довольно наглядное понятіе о томъ, что такое аристократія и что такое парій въ средѣ надворныхъ обитателей Броварной. Еврей-хозяева, конечно, въ этотъ расчетъ уже не входятъ, ибо они баснословныя Крезы въ сравненіи со своими жильцами.

Вотъ цѣлый рядъ чуланчиковъ, въ которые ведутъ кое-какъ прикрѣпленные на ржавыхъ петляхъ двери. Толкнуть хорошенько ногою любую изъ нихъ, сразу же и разсыплется да еще, пожалуй, и всему зданію ущербъ нанесетъ. На внутренней сторонѣ двери прилѣплена, посредствомъ хлѣбнаго мякина, Матка-Возка—обыкновенное изображеніе Ченстоховской Богородицы, какое вы найдете въ тысячахъ вар-

шавскихъ квартиръ, на дверяхъ чуть ли не каждой полки и религіознаго поляка.

Въ этой конурѣ замѣтны кое-какіе признаки скудной осѣдлости. У стѣнъ помѣщаются два, три подобія постелей—обыкновенно нѣсколько досокъ, положенныхъ на обрубки деревянныхъ колодъ и прикрытыхъ всевозможнымъ тряпьемъ грязнѣйшаго свойства и неопредѣлимаго цвѣта. У противоположной стѣны вкопана въ землю точно такая-же колода, и къ ней, въ горизонтальномъ положеніи, прибита гвоздемъ доска. Эта послѣдняя мебель имѣетъ назначеніе обыкновеннаго стола, къ которому, впрочемъ, никакого соотвѣстственнаго сѣдалища не полагается. Окошекъ тоже не полагается: ихъ съ успѣхомъ замѣняютъ пространныя щели и дыры въ крышѣ и стѣнахъ, сквозь которыя можетъ свободно продувать вѣтеръ, капать дождь, сыпаться снѣгъ и вообще представляется полная возможность заглядывать сюда всѣмъ воздушнымъ проявленіямъ погоды. О печахъ нечего и думать: ихъ замѣняетъ природная теплота человѣческаго тѣла и кой-какія лохмотья. Но все-таки пздѣсь является своего рода претензія на нѣкоторый комфортъ и эстетическую сторону жизни: на стѣнахъ развѣшаны грубыя малеванья разныхъ католическихъ святыхъ, обрывки модныхъ картинокъ, вырѣзки политичаеизъ разныхъ иллюстрированныхъ изданій, и, наконецъ, бутылочныя этикетки. Правда, всѣ эти изображенія загрязнены слѣдами мутныхъ потѣковъ, такъ какъ во время дождя въ эти людскія жилища стекаетъ съ крышъ вся грязная вода, а черезъ нѣсколько часовъ, глядишь, полъ, которыми служатъ просто голая земля, является чѣмъ-то въ родѣ сплошной густой и вонючей лужи. Претензія на эстетическую сторону жизни сказывается въ лѣтнюю пору и еще въ одной принадлежности большей части аристократическихъ помѣщеній. Принадлежность эта—всякія травы, цвѣты и зеленныя вѣтви, которыми посыпаютъ полъ и унизываютъ потолокъ, благо щелей достаточно. Такимъ образомъ у нѣкоторыхъ изъ броварныхъ аристократовъ является нѣчто въ родѣ своего собственнаго домашняго сада. Эти вѣтви и цвѣты все-таки хоть немного помогаютъ очисткѣ и освѣженію воздуха, который безъ этого спасительнаго средства спирается въ такихъ жилищахъ до крайне удушливаго зловонія.

Такое помѣщеніе аристократовъ.

Паріи селятся несравненно хуже, такъ что, наконецъ, приходишь въ сильное сомнѣніе: точно-ли ужъ возможно какое-либо существованіе при такой обстановкѣ, при такихъ условіяхъ жизни? А между тѣмъ, возможно; между тѣмъ люди живутъ тутъ цѣлыми годами, зиму и лѣто, и даже имъ весьма тяжело бываетъ разстаться со своимъ жилищемъ, до того ужъ они свыкаются съ нимъ!

Блудный сынъ, съ которымъ знакомить насъ евангельская притча, безъ всякаго сомнѣнія, сравнительно пользовался большими удобствами, во время жизни своей со свиньями, чѣмъ эти злосчастные пары Броварной улицы. Да что ужъ тутъ говорить о блудномъ сынѣ! Самые свиньи, собаки и прочія домашнія животныя, въ томъ положеніи, въ какомъ находятся они у всѣхъ почти фермеровъ, помѣщиковъ и многихъ крестьянъ, пользуются несравненно большими удобствами, чѣмъ эти жалкіе люди. Едва-ли можно даже вообразить себѣ что-либо подобное. Углы и трющобы московскіе и петербургскіе, поставленные въ самыя невыгодныя условія для человѣческаго существованія, все-таки ничто въ сравненіи съ безобразіемъ варшавскихъ трющобъ Броварной улицы. Въ тѣхъ видно, по крайней мѣрѣ, что такъ или иначе онѣ предназначаются для жизни человѣка; здѣсь же и невысказанному животному, какъ-бы, трудно-бы было помѣститься съ тѣмъ, чтобы постоянно дышать этимъ воздухомъ и вѣчно подвергаться всяческимъ влияніямъ стихій въ лѣтнюю и особенно въ зимнюю пору. Впрочемъ, иные изъ обывателей выговариваютъ себѣ на зиму особенное право: приходить въ шиннокъ во время сильнаго холода и тамъ отогрѣваться въ тепломъ воздухѣ. Большая часть хозяевъ соглашается на это условіе съ великодушною благосклонностью. Но устроить подобныя конуры и отдать ихъ подъ жилье, въ наймы людямъ, могла единственно лишь жидовская изобрѣтательность, умудряющаяся вытягивать свою долю выгоды изъ послѣдней, брошенной и, казалось-бы, ровно ни къ чему непригодной дряни.

Представьте себѣ самый тѣсный хлѣвъ, кой-какъ сколоченный изъ гнилыхъ барочныхъ досокъ, съ кой-какъ прилаженной дверкой, похожей болѣе на форточку, а иногда и просто съ дырой для входа, въ которую нечего и думать, чтобы пройти, какъ обыкновенно ходятъ люди, то-есть вытянувшись въ ростъ человѣческой, а надо пробираться либо ползкомъ, либо согнувшись, что называется, въ три погибели. Въ этой ямѣ уже нѣтъ никакихъ признаковъ осѣдлости: просто голыя дырявыя стѣны, дырявая досчатая настилка вмѣсто крыши (она же и потолокъ), а полъ — земля, устланная грязной, навозной соломой. На этой самой соломѣ люди сидятъ, ѣдятъ, спятъ, а бы прибавилъ и *ходятъ*, если бы тутъ была хоть какая-нибудь возможность ходить: остается одно средство — ползать. Такъ обыкновенно и дѣлается. Случается, что эти хлѣвы сдаются хозяевами въ наемъ съ условіемъ не выводить изъ нихъ домашнюю скотину, и тогда люди, уже буквально, живутъ вмѣстѣ со свиньями. Рядомъ съ такимъ жилищемъ, а иногда и прямо въ самой свилярнѣ помѣщается зловонный

складъ товара, сбытъ котораго даетъ средства для поддержанія существованія этихъ варшавскихъ парій. Но объ этомъ послѣ.

Обыкновенная цѣна за подобное помѣщеніе — десять злотыхъ, или полтора рубля серебромъ въ мѣсяцъ, значитъ, 18 рублей въ годъ, сумма весьма-таки не малая для чернорабочей поденщицы. И вотъ одні только свилярни, принадлежащія подобному домишкѣ, приносятъ хозяину-еврею 540 рублей годового дохода, если взять среднюю норму въ 30 квартиръ. Доходы съ шинка еще впятую превышаютъ эту цифру; но о нихъ мы говорить не станемъ.

Въ одной конуркѣ обыкновенно помѣщается отъ двухъ до шести человѣческихъ паръ, а иногда случается и больше того. Дѣти при этомъ въ расчетъ не идутъ, мы беремъ однихъ взрослыхъ. Эти пары нанимаютъ сообща свое логовище, значитъ, при совмѣстномъ житѣи четырехъ человѣкъ, на долю одной пары приходится мѣсячной платы 75 копѣекъ, а при шести — по четвертаку. Такая выгода, естественно, заставляетъ ихъ группироваться въ возможно большее число паръ, насколько лишь позволяютъ тѣсныя предѣлы такой человѣческой берлоги.

Всѣ эти пары соединены, каждая между собой, узами свободной любви, или, что одно и то же, свободного сожительства. Но при такомъ устройствѣ ихъ быта, вся гнетущая сторона жизни, весь производительный трудъ выпадаетъ исключительно на долю женщины, — совершенное подобіе африканскихъ кафровъ и полинезийскихъ дикарей. Женщина здѣсь полная, безусловная раба своего мужа или коханка. Она, отъ ранняго утра до поздняго вечера, несетъ тяжелый поденный трудъ, а самецъ ея въ это время засѣдаетъ безвыходно въ шинкѣ, изъ котораго выходитъ вечеромъ единственно затѣмъ, чтобы попробовать крѣпость своихъ кулаковъ на выносливомъ тѣлѣ самки, отобрать отъ нея дневной заработокъ, который завтра же будетъ имъ пропить, и затѣмъ, въ ожиданіи утра и предстоящаго пьянства, завалиться спать, какъ попало и гдѣ попало. Между этими парами зачистую происходятъ самыя отчаянныя драки, гдѣ пускается въ ходъ и дреколье, и топоръ, буде подъ руку какъ-нибудь попадется, — драки, составляющія вѣчный предметъ разбирательства въ XI циркулѣ и доводящія мужчинъ до тюрьмы. а случается и до каторжной работы.

Но что всего замѣчательнѣе, эти женщины, по большей части все старыя и сильно безобразныя, искренно привязаны къ своимъ сожителямъ, почти всегда добровольно отдаютъ имъ заработанные деньги, не ропщутъ на страшные побои и увѣчья, заставляющіе ихъ иногда по недѣлямъ отлеживаться въ грязномъ углу, почти безъ пищи, если изъ жалости кто-нибудь не кинетъ больной, какъ собакѣ, какой-нибудь огрызкомъ хлѣба, и наконецъ, избитыя, ободранныя, ограбленныя, онѣ еще идутъ вмѣстѣ съ

мужемъ, котораго за буйство забрала полиція, и съ энтузіазмомъ и горькими слезами, на колѣняхъ выпрашиваютъ ему въ циркулѣ помилованія.

И эти пары, кромѣ свободнаго сожителства, часто бываютъ еще связаны своими дѣтьми. Въ этой ужасной обстановкѣ, иногда среди зимней стужи, въ оледенѣлыхъ стѣнахъ и на оледенѣлой землѣ, женщина, безъ малѣйшей посторонней помощи, безъ малѣйшаго участія къ себѣ со стороны своего паразита-мужа и остальныхъ сожителей, производитъ на свѣтъ живое существо, которое зачастую тутъ же и умираетъ вмѣстѣ съ матерью. Это послѣднее приключеніе служить паразиту источникомъ великой досады и горя: кто жъ теперь будетъ зарабатывать деньги, которыя онъ безпрепятственно могъ бы относить къ шинкарю? И паразитъ съ горя напивается пуще обыкновеннаго, отдавая въ шиннокъ послѣднія лохмотья покойницы, которую межъ тѣмъ квартирные хозяева съ помощью полицейскаго комиссара торопятся свезти на кладбище, чтобы поскорѣй опростать мѣсто въ берлогѣ подъ новаго жильца или жилищу.

Атмосфера въ этихъ берлогахъ убійственная. Да и не мудрено: такова профессія, таковъ промыселъ этихъ парій. Съ самаго ранняго утра женщины, запасшись мѣшками и корзинами, выходятъ на работу, вразбродъ по всему городу, особенно же по торговымъ и грязнымъ кварталамъ. Здѣсь онѣ занимаются подборомъ всевозможныхъ уличныхъ нечистотъ, которыя послѣ уже, у себя на квартирѣ, группируютъ въ разные отдѣлы. Мужчины въ это время еще спать, а проснувшись, непосредственно отправляются въ шиннокъ и начинаютъ свое обыденное засѣданіе въ этомъ злчномъ и прохладномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ въ теченіе цѣлаго дня квартиры ихъ остаются почти совершенно пустыми. Изрѣдка развѣ попадетъ какая-нибудь женщина за домашней работой, то-есть за складкой и сортировкой подобранныхъ продуктовъ своей торговли, да мертвецки спящій въ повалку пьяный мужчина. Трезвыхъ и тѣмъ болѣе дѣятельныхъ мужчинъ совсѣмъ не видать между населеніемъ этихъ берлогъ.

Между тѣмъ вотъ какіе предметы составляютъ искомый товаръ труженицъ-женщинъ: пестъ, который покупаютъ у нихъ жида, отъ 30 до 40 коп. за корзинку, и потомъ перепродаютъ его перчаточникамъ, битое стекло на пуды (по 20 коп. за пудъ) черезъ тѣхъ же евреевъ сбывается стеклянными заводамъ на переливку; тряпье и оборванны бумажки (по 20 коп. за два пуда) идутъ на бумажныя фабрики, и наконецъ кости (по грошу фунтъ) на сахарные заводы.

Всѣ эти предметы зачастую сваливаются въ томъ же самомъ жилищѣ, заражая собою воздухъ до невозможной степени. Тутъ гнѣздо тифа и холеры. Но привычка—дѣло великое. Эти люди не только не смущаются присутствіемъ

собранныхъ продуктовъ, а еще умудряются иногда устраивать себѣ на нихъ временныя постели и спать на ложѣ изъ костей, покрытыхъ грудью рваныхъ и грязныхъ тряпокъ и бумажекъ. Выборомъ костей вообще не затрудняются. Чаще всего, конечно, попадаютъ къ нимъ кости убойнаго скота, но если попадется собачій или лошадиный остовъ, то и тѣмъ не пренебрегаютъ. Мѣстные старожилы говорятъ—не знаю, впрочемъ, насколько этому можно вѣрить—будто въ прежнее время, когда еще былъ совершенно свободенъ пропускъ за черту города, инныя женщины этого класса пробирались на кладбища, особенно въ тѣ ночи, когда продолжительнымъ и сильнымъ дождемъ поразмываетъ могилы, изъ которыхъ часто въ такихъ случаяхъ торчатъ человѣческія кости. Эти кости будто бы также служили имъ добычей и въ числѣ другихъ сбывались на заводы. Вообще же вся торговля этого народа происходитъ не иначе, какъ чрезъ посредство жидовъ-шинкарей, которые уже сами-по-себѣ имѣютъ дѣло съ фабриками и заводами.

Теперь надо посмотрѣть изъ какихъ классовъ общаго населенія складывается этотъ особенный изолированный классъ трущобныхъ обитателей Броварной улицы. Мужчины—всякій сбродъ: мѣщане, солдаты отставные, дворовые люди, прислуга, пропойцы-чиновники, выгнанные изъ службы, пропойцы-ремесленники, прогнанные отъ хозяевъ, замотыги-крестьяне и тому подобный людъ, изъ котораго обыкновенно формируется паразитный наросъ общества и который преимущественно предъ прочими классами, подъ влияніемъ невыгодныхъ условій подобной жизни, составляетъ наибольшее число кандидатовъ въ тюрьмы, исправительныя заведенія, арестантскія роты и каторжную работу въ сибирскихъ рудникахъ. Женщины по большой части принадлежатъ къ приплоду въ городъ крестьянскому сословію, но есть между ними и мѣщанки, попадаютъ даже личности и изъ выше поставленныхъ слоевъ общества. Женщины эти, за весьма немногими исключеніями, начиная съ развратной жизни, проходятъ мало-помалу всѣ ея степени и подъ старость оканчиваютъ существованіе въ берлогахъ Броварной улицы. Многія изъ нихъ тутъ и родились, и выросли, и даже состарѣлись; но кто былъ отецъ, кто мать—про то одному Богу извѣстно.

И такимъ образомъ тянется не жизнь, а прозябаніе этихъ жалкихъ людей, одинъ видъ которыхъ вмѣстѣ съ видомъ ихъ жилья не на шутку покоробитъ нервы и сожметъ жалостью сердце человѣка, которому впервые доведется все это увидѣть.

Броварная улица въ періодъ революціоннаго террора преимущественно поставляла контингентъ простыхъ работниковъ, заурядныхъ исполнителей «по части операторной». Здѣсь уже были готовые книжальщики и вѣшатели, для

которыхъ своя голова была не дорога, а дороги только тѣ пятьдесятъ копеекъ, что получали они въ сутки отъ агенто́въ ржонда, и тѣ полтора рубля, что, по положенію, выплачивались имъ за каждую удачно совершенную «операцію».

XXI.

Операторъ.

На другой день послѣ засѣданія тайнаго трибунала, добрый полякъ Моисеева закона, панъ Штейнгреберъ, съ самымъ невиннымъ видомъ пробирался внизъ по Бедварской улицѣ на Броварную. Онъ всегда принималъ самый беззаботный, самый невинный и благонамѣренный видъ, когда шелъ съ какимъ-нибудь рискованнымъ порученіемъ по своей специальности. Баба-дворникъ пропустила его въ темный корридоръ одного изъ двадцати-квартирныхъ домишекъ.

— А что, дома панъ Биртусъ?—спросилъ панъ Штейнгреберъ, предварительно изогнувшись для того, чтобы заглянуть во входную дыру одной надворной берлоги.

— Въ огрудкѣ!—не-хотя и раздраженно отвѣтила ему оттуда женщина съ синяками на лицѣ, возившаяся въ берлогѣ надъ сортировочной костей и бумаги.

Панъ Штейнгреберъ зналъ уже въ какомъ именно «огрудкѣ» можетъ засѣдать панъ Биртусъ и потому, не разспрашивая болѣе, вышелъ опять на улицу и пошелъ въ извѣстномъ ему направленіи.

Въ предѣлахъ «Старого Города», который скупился около площади «Старе Място» лабиринтомъ своихъ узкихъ, шумныхъ и грязныхъ переулковъ, съ высокими, узкими и пестрыми домами, гдѣ каждый изгибъ улицы, каждый камень, наконецъ, отзывается чѣмъ-то средне-вѣковымъ и именно католически-средне-вѣковымъ, — одною изъ наиболѣе оригинальныхъ особенностей являются приютившіеся тамъ и сямъ, за высокими стѣнами и каменными заборами, «огрудки», которые также называются «кнейпами». Въ прежнія времена, когда еще въ Варшавѣ и не слышно было о революціонномъ террорѣ, стоило пройтись иногда хотя бы по Подвальной улицѣ, лѣтомъ, часовъ около восьми вечера—до слуха вашего непременно донеслись бы изъ нѣсколькихъ мѣстъ веселые звуки музыки. Съ одной стороны, бывало, зудить вамъ въ ухо разбитая, хрипавшая шарманка, съ другой — разсѣкаетъ воздухъ рѣзкій тромбонъ, съ третьей—турецкій барабанъ съ металлическими тарелками размѣрено бухаетъ свои воинственные такты, тамъ—скрипка, здѣсь — кларнетъ; повсюду, бывало, видишь и слышишь, что жизнь тутъ ключетъ кипить, что Варшава—городъ веселый, беззаботный, что она звуки любитъ, движеніе лю-

битъ. Но въ то время, къ которому относятся событія нашего разсказа, надъ этой искони веселой частью города царилъ тягостная тишина, мертвенность, отсутствіе какого бы то ни было намека на веселый звукъ веселой жизни: все смотрѣло мрачно, злобно, подозрительно... Но огрудки, за исключеніемъ звуковъ, не переставали жить по старинѣ своей обычной жизнью.

Черезъ очень старую, толстую, окованную желѣзомъ дверь, панъ Штейнгреберъ вошелъ въ корридоръ еще болѣе стараго дома. Фонарь, постоянно вывѣшенный въ этомъ корридорѣ и тускло мигающій днемъ и ночью, указалъ ему проходъ во дворъ и оттуда въ «огрудекъ», извѣстный подъ фирмою «Эдемъ». Но чтобы попасть въ этотъ «Эдемъ» обитателей Броварной, надо было пройти всѣ пункты Дантовой «Комедіи» въ миниатюрѣ. Роль ада въ этомъ случаѣ игралъ мрачный, узкій и сырой корридоръ, выводящій въ чистилище, то-есть на дворъ, пространствомъ въ три-четыре квадратныхъ сажени, словно глубокий ящикъ, загороженный со всѣхъ сторонъ высокими стѣнами. Здѣсь ощущается уже нѣкоторое присутствіе свѣта. Я бы сказалъ «и воздуха», если-бы не побоялся сдѣлать мѣстную погрѣшность, такъ какъ еврейскіе дворы вообще чистотою воздуха не изобилуютъ. На то, впрочемъ, этотъ дворъ пслужить чистилищемъ, сквозь которое, по неуклюжимъ острымъ камнямъ да ветхозавѣтной грязи ведетъ путь въ «Эдемъ», гдѣ въ до-постанскія времена раздавались райскіе звуки хромого оркестрика, составленнаго изъ шести или семи убогихъ артистовъ еврейскаго происхождения, и гдѣ, какъ прежде, такъ и теперь, предлагается каждому пощителю за пять грѣшей куфель варшавскаго пива, которое, неизвѣстно почему, носить титулъ баварскаго, «самаго баварскаго, какого даже и въ Баваріи не найдете», по остроумному объясненію краснощекой Гебы.

На какихъ-нибудь десяти квадратныхъ саженьяхъ растутъ себѣ пять-шесть тощихъ кустиковъ сирени да акаціи; вдоль стѣнъ идутъ кой-какъ сколоченные навѣсы и животрепещущія бесѣдочки; въ глубинѣ — буфетъ съ разноразночными водками; со стороны — запахъ жарящагося масла, вѣрный признакъ огрудковой кухни, гдѣ мѣстный Каремъ являетъ алкающей публикѣ свое искусство во всевозможныхъ польскихъ снѣдахъ. По всѣмъ направленіямъ огрудка то и дѣло шныряютъ, либо съ тарелками, либо съ куфелями и бутылками; Гебы—«служонцы», изъ которыхъ инныя весьма миловидны и своими бойкими глазами очевидно пронзаютъ сердца многихъ «завсегда-таевъ» огрудка.

Въ самомъ заднемъ уголкѣ садика, въ рѣшетчатой бесѣдочкѣ, подъ покровомъ сиреневыхъ кустовъ, постоянно съ утра до ночи

ютилась нѣкая компанія крайне подозрительнаго свойства. Эта компанія, обратившаяся въ завсегдатаевъ «Эдема» съ того самого времени, какъ начались первыя уличныя демонстраціи въ Варшавѣ, основала въ укромной бесѣдочкѣ нѣчто въ родѣ своего клуба. При взглядѣ на эти обшарпанные, рваные костюмы самаго разнообразнаго цвѣта, покроя и характера, начиная съ фрака и кончая женской кофтой, а въ особенности, при взглядѣ на полупьяныя, наглыя и подлыя фізіономіи членовъ этой компаніи, которые каждого незнакомаго человѣка окидывали подозрительными, нахальными и дерзко вызывающими взорами, вы не усомнились бы отнести эту компанію къ категоріи уличныхъ мазуриковъ, которые собрались сюда запивать магарычи послѣ удачной ночной работы. И дѣйствительно, въ допостанское время эти молодцы, близко знакомые съ полицейскими камерами, были сполна извѣстны полиціи въ качествѣ любителей чужой собственности, но въ Варшавѣ описываемой минуты, въ Варшавѣ, управляемой подземнымъ ржондомъ, они съ гордостью называли себя патриотами. Ни одна уличная демонстрація, ни одинъ крупный скандалъ, ни одно костельное сборище не обходились безъ ихъ ближайшаго участія, и къ ихъ посредству обыкновенно обращались всѣ тайственные антрепренеры демонстрацій, устроители кошачьихъ концертовъ и т. п. Подозрительная компанія, называвшая себя *чернымъ братствомъ*, близко знала всю паразитную сводочъ мужского населенія Броварной, Кришвего-кола и другихъ трущобныхъ закоулковъ, могла и умѣла въ нужную минуту кликнуть и собрать толпы празднаго, полупьянаго люда, разсѣяться въ этихъ толпахъ и, каждый въ одиночку, настраивать ихъ извѣстнымъ образомъ на то или другое дѣло и направлять въ ту или другую сторону.

Члены «чернаго братства» если и знали взаимно имена другъ друга, то избѣгали употреблять ихъ. Въ «Эдемѣ» они обращались одинъ къ другому не иначе, какъ подъ литерами или нумерами: панъ А, панъ В, панъ С, панъ Нумеръ Тридесенты и, подъ этими-же литерами были извѣстны и тайнымъ антрепренерамъ ржонда.

Къ этой-то компаніи и направился теперь панъ Штейнгреберъ.

— Панъ D, на одну минуту... дѣло есть,—обратился онъ къ одному завсегдатаю, вѣжливо приподнимая свою шапку.

Сапожный подмастерье Биртусъ, извѣстный здѣсь подъ кличкою пана D и видимо пользовавшійся авторитетомъ между своими компаньонами, неторопливо, съ достоинствомъ поднялся съ мѣста и вышелъ изъ бесѣдки.

— Чтò такое? въ чемъ дѣло?—черезъ плечо спросилъ онъ Штейнгребера, отойдя съ нимъ

на приличное разстояніе и сядя за уединенно-торчавшій столикъ.

— Заказъ есть,—любезно сообщилъ ему цивилизованный еврейчикъ.

— Хм... рѣзвилькая работа? кабаны колотъ а?

— Такъ, вѣрно, муй коханы! У тебя есть смекалка!

— Хм... догадаться не трудно! — ухмыльнулся Биртусъ, расправляя усы. Онъ хоть и считался подчиненнымъ пана Штейнгребера, какъ начальника одного изъ операторскихъ отдѣловъ, но старался держать себя предъ нимъ съ «республиканскою независимостью», дескать, ровность, чортъ возьми, такъ ужъ полная ровность, и на начальство, значить, наплевать! Штейнгреберъ-же, не производившій лично «операций», а только руководившій ими, постоянно чувствовалъ нужду въ услугахъ пана Биртуса и потому въ сношеніяхъ съ нимъ благодарно пряталъ въ карманъ свою начальственную и относился къ своему подчиненному не иначе, какъ съ нѣсколько искательною любезностью.

— Такъ какъ-же? —помолчавъ съ минутку, спросилъ онъ размышлявшаго о чемъ-то Биртуса.

— То-есть, чего это «какъ-же»?—разсѣянно повернулъ тотъ голову.

— Да насчетъ заказа?

— Да чтò насчетъ заказа? Плохо вы платите, панове, не стоить съ вами и дѣла имѣть, вотъ что я скажу вамъ!—небрежно зѣвнулъ Биртусъ. — Обѣщали аккуратно выплачивать нашему брату по пятнадцати злотыхъ въ сутки, а вотъ ужъ одиннадцатый день, что отъ васъ и десѣтки!) не видать на пиво! Такъ вѣдь нельзя! На васъ такимъ манеромъ никто и работать не станетъ!

— Чтò-же дѣлать! времена теперь тугія!—сокрушенно вздохнулъ еврейчикъ.—Дай срокъ, вытуримъ москаля, все сполна уплатимъ...

— Эге!.. Уплатимъ!.. Нѣтъ, не бойсь, самъ ты изъ комитета на нашу работу крупными кушами получаешь, да только куши-то эти въ твоёмъ карманѣ остаются! Я вѣдь знаю! Меня не проведешь!

— Ай, убей-же меня Богъ!

— Ну, ну, не клянись, а то вѣдь и правду убьешь, пожалуй! Съ Богомъ, братъ, не шути! Это не свой братъ!

— Ну, хорошо, я доложу... Комитетъ разсмотритъ и уплатитъ, тутъ сомнѣній быть не можетъ!

— Нѣтъ, это чтò! Это мы уже слыхали не разъ!.. А ты, братъ, деньги на столъ, а тогда и разговаривать будемъ!

— Но подумай же, муй коханы, войди въ наше положеніе!.. вспомни только, вѣдь это дѣло ойчизны—святое дѣло! вѣдь это надъ подлымъ москалемъ надо совершить справедливую кару!

*) Пять копеекъ.

— Да что ты мнѣ про москаля поешь!.. Москаль-ли, поляк-ли — это намъ все-равно! Ты мнѣ заплати только, такъ я и тебя придушу, пожалуй, коли хочешь!

— Много чести, коханку, много чести!.. Ты очень любезенъ, но... все же...

— Ну, братъ, некогда мнѣ толковать тутъ съ тобой въ сухую! — рѣшительно поднялся Биртусъ. — Ты вотъ и пива не догадался поставить доброму человѣку, а хочешь, чтобъ я тебѣ шинку ⁴⁾ изъ москаля готовилъ!

— Одну минутку! — умоляя, остановилъ его за руку Штейнгреберъ.

— Чего еще?.. Вѣдь все уже сказано!

— Я прикажу пива подать.

— Приказывай, коли охота есть, а я къ своимъ пойду, тамъ разговоръ интересный...

— Но подумай, вѣдь это комитетъ! вѣдь это ржондъ народовой!.. Вѣдь это же все его декретомъ!.. Вѣдь съ комитетомъ шутить нельзя!

— Ахъ ты, шутъ полосатый! — нагло, руки въ боки, расхохотался въ глаза ему Биртусъ. — Боимся мы васъ, что-ли, со всѣми вашими комитетами?! Плевать я хочу на весь вашъ комитетъ! Не мы въ немъ, а онъ въ насъ нуждается! А хотите, чтобы мы на васъ работали, такъ держите уговоръ по чести, чтобы все это было благородно, какъ между порядочными людьми!.. Условались платить — ну, и платите, а тогда и требуйте! А то выходитъ, что прощальги, и насъ, простыхъ, добрыхъ людей, ремесленниковъ, только подъ знакомство съ Дитвальдомъ ⁵⁾ подводите! Это уже не честно!

— Одну минутку, душечко!.. одну минутку! — снова схватилъ еврейчикъ уходящаго Биртуса. — Большой секретъ есть, и до тебя лично касается.

Тотъ недоувѣрчиво и неохотно остановился.

— Слушай, брацшкю... я велю пива подать?.. А?

— Тьфу-ты, проклятый!.. От-то лайдакъ!.. Ай, Боже-жъ мой, Боже!

— Ну, говорю-жъ, одну только секундочку!.. Ну, слушай... Деньги, такъ и быть, я тебѣ выплачу сполна... сейчасъ-же, сію минуту... только выслушай.

— Плати деньги.

— Ну, ну, сейчасъ-же, говорю, сейчасъ... Вотъ видишь-ли...

— Плати деньги, или проваливай! — настойчиво и круто повторилъ Биртусъ.

— Ну, ну, хорошо... только заслони меня, — согласился жидокъ, запуская руку въ боковой карманъ, — или итъ лучше зайдѣмъ куда-нибудь въ такой уголокъ, гдѣ бы насъ не видѣли, а то неравно и другіе пристанутъ, а у

насъ насчетъ денегъ очень круто, говорю тебѣ!

И они прошли въ одну изъ незанятыхъ бесѣдокъ.

— Ну, заслони-жъ меня, дружочекъ...

— Да не видать, будь покоенъ...

— Нѣтъ, все-же заслонивши-то понадежнѣе будетъ... а то, ей-Богу, увидятъ!.. Я тебѣ скажу по секрету, что это я одному только тебѣ выплачиваю, и то не изъ казенныхъ, а изъ своихъ собственныхъ, изъ карманныхъ, — якъ Бога кохамъ и якъ пана кохамъ!

Биртусъ только выразительно подвигнулъ на это — дескать: нечего зубы-то заговаривать, «изъ собственныхъ», такъ я тебѣ и повѣрилъ!

Штейнгреберъ присѣлъ за столикъ и, стѣноржко озираясь по сторонамъ черезъ драночную зеленую рѣшетку, нерѣшительно вынулъ изъ кармана бумажникъ.

— Да заслони жъ меня, прошу тебя, отъ входа!

Биртусъ, спиною къ входу, сталъ, облокотясь на столъ, противъ своего начальника и ожидательно устремилъ на бумажникъ плотоядные взоры.

— Слушай, мопанку, — заговорилъ онъ вѣско и рѣшительно, — ты за-одно ужъ давай мнѣ и на долю товарищей.. я расплачусь съ ними, а то такъ неловко...

— Аѣ, не можно! какъ Богъ святъ на небѣ, не возможно! Только одному тебѣ, и то по дружбѣ!

— Ну, ну, ладно! только доставай поскорѣе!

Штейнгреберъ раскрылъ свой бумажникъ и сталъ уже отсчитывать ассигнаціи, какъ вдругъ Биртусъ, словно ловкая кошка, мгновенно цапнулъ его за руку и выдернулъ изъ нея деньги.

— Гевальт! — коротко выкрикнулъ было перепуганный еврейчикъ.

— Тсс!.. улышай! — шопотомъ предостерегъ его Биртусъ. — Чего ты? Успокойся!.. Я только пересчитать хочу, самъ лично удостовѣриться желаю, а ты *гевальт* орешъ!

И снѣ неторопливо сталъ отсчитывать мелкія бумажки. Оказалось, что у Штейнгребера въ наличности было шестьдесятъ рублей. Биртусъ отсчиталъ ровно половину.

— Ну, вотъ это мнѣ, а остальное тебѣ! — сказалъ онъ безапелляціонно-рѣшающимъ тономъ. — Такъ какъ ты говоришь, что это не казенныя, а твои, то я и подѣлился съ тобой побратски, а ты съ казны получи что мнѣ слѣдуетъ и за прошлое, и въ счетъ будущаго, да гляди, не проговорись моимъ товарищамъ, а то они остальное отъ тебя выудятъ — ребята вѣдь ловкіе!

— Но ты же долженъ подѣлиться съ ними! — невольно кислымъ тономъ пролепеталъ Штейнгреберъ.

⁴⁾ Ветчину, окорокъ.

⁵⁾ Дитвальдъ — имя привилегированнаго варшавскаго палача, который присутствовалъ при исполненіи казни, скрѣпляя смертельный протоколъ своей подписью.

— Нѣтъ, мопанку, ужъ это ты дѣлалъ, коли хочешь, а я не стану! Мнѣ вѣдь такая благодать не часто приходитъ!—замѣтилъ Биртусъ, пряча деньги въ боковой карманъ и застегиваясь, для пушей вѣрности, на всѣ пуговицы.— Ну, а теперь, мой почтенный шефъ, давайте и о дѣлѣ потолкуемъ, — прибавилъ онъ, быстро перемѣнивъ прежній грубоватый тонъ на самый вѣжливый и любезный.— Вамъ угодно, чтобы мы кабаны покололи и чтобы вамъ добрая шинка была? Это можно съ удовольствіемъ!

Штейнгреберъ, которому пришлось такъ внезапно и неожиданно разстаться съ половиною ржондовыхъ денегъ, тогда какъ онъ совсѣмъ былъ расположенъ считать ихъ своей собственностью, остался крайне огорченъ поступкомъ негодяя Биртуса, но—дѣлать нечего!—Биртусъ былъ ему нуженъ, и потому, скрѣпя сердце, онъ рѣшилъ покориться силѣ даннаго случая и расчелъ, что теперь ему лучше всего остается вступить въ свою «законную» роль начальника пана Биртуса.

— Трибуналь ржонда народоваго,—началъ онъ въ нѣсколько холодномъ и официальном тонѣ,—въ засѣданіи своемъ отъ вчерашняго числа приговорилъ къ смертной казни за измѣну москаля Хвалынцева. Это лицо будетъ указано. Именемъ трибунала повелѣваю тебѣ исполнить надъ нимъ приговоръ.

— Кому это? Мнѣ?—прищурился Биртусъ.

— Тебѣ, именемъ трибунала!—подтвердилъ Штейнгреберъ.

— Ну, ужъ это дудки!

— Какъ дудки?!—вскочилъ встревоженный еврейчикъ.

— Дудки, мопанку, дудки! Я вамъ и то уже самолично два приговора исполнилъ, а потому имѣю право расчитывать на нѣкоторое повышение въ организаціи! Что я вамъ, простой работникъ, поденщикъ дался, что ли?... Меня всѣ мои товарищи уважаютъ, а вы хотите, чтобъ я вамъ свиней кололъ, какъ простой рѣзникъ! Нѣтъ, чортъ возьми, позвольте тоже и мнѣ теперь распоряжаться, я самъ хочу быть паномъ и начальникомъ!

— Но, коханку, подумай, вѣдь это ужъ сопротивление власти трибунала...

— Ну, и сопротивление! такъ что же?

— Какъ что же?... Вѣдь это, въ нѣкоторомъ родѣ, съ твоей стороны бунтъ выходить?..

— Ну, да!... Ну, и бунтъ!... Конечно, бунтъ, на то и революція! А вы что себѣ думали?

Смѣявшійся Штейнгреберъ, не находя уже болѣе никакихъ возраженій и чувствуя, что онъ не власть, а простая лѣшка предъ этимъ «революціонеромъ», стоялъ предъ нимъ, смущенно и недоумѣло растопыривъ пальцы.

— Вотъ что я скажу тебѣ, мопанку!—хлопнувъ его по плечу, продолжалъ межъ тѣмъ Биртусъ.—Самому мнѣ изъ-за васъ больно ужъ риковать своей башкой не приходится! Довольно

съ васъ и тѣхъ двухъ моихъ «крестниковъ»! Тѣ заказы я исполнилъ вамъ честно, и баста! А то зарвешься и влопаешься... Это вѣдь рискъ! А я, коли хотите, заподражу вамъ чело-вѣка, который возьмется... Новичекъ еще, но это ничего! Обрабатываемъ! Угодно?

Штейнгреберъ согласился.

— Гдѣ жъ этотъ человѣчекъ? — спросилъ онъ.

— А вонъ, сидитъ съ моей компаніей... Совсѣмъ еще мальчишка, но это и лучше: по крайней мѣрѣ, легче уломаемъ, да и дешевле обойдется.

— А какъ зовутъ его?

— Зовутъ-то?.. А зовутъ его панъ Нумеръ Тридесенты.

— И скоро можно обработать?

— Къ завтрашнему дню будетъ готовъ, ручаюсь.

— Но какъ же мнѣ-то узнать про то?

— А я васъ извѣщу, вы ужъ распорядитесь только, чтобы ксендзъ привелъ его къ присягѣ, такъ какъ онъ чело-вѣкъ очень набожный и добрый католикъ, а объ остальномъ, кромѣ платы, и не заботьтесь: я все беру на себя; вы мнѣ только напередъ кабана укажите, котораго колоть, чтобы мы твердо въ лицо его знали; а то неравно можно ошибиться, ну, а это уже не хорошо, потому что вамъ тогда въ «Рухѣ» опять извиняться придется, что закололи-де по ошибкѣ.

Условившись такимъ образомъ съ паномъ Биртусомъ, панъ Штейнгреберъ не побрезгалъ пожать ему грязную руку и ушелъ изъ «Эдема», хотя и обнадеженный насчетъ «заказа», но сильно огорченный и раздосадованный въ душѣ по поводу дѣлажа, столь безцеремонно произведеннаго его прямыми подчиненнымъ.

«Ты у меня еще за это поплатишься! Я тебѣ этого не подарю!.. Надо будетъ при первомъ же случаѣ найти надежнаго чело-вѣка и приколотъ, во что бы то ни стало, это животное, а то иначе никакого уваженія, никакой дисциплины не будетъ», рѣшилъ про-себя панъ Штейнгреберъ, еще не успѣвъ даже выйти на улицу.

XXII.

Въ катакомбахъ.

Черезъ день послѣ этого свиданія, панъ Биртусъ очень набожно слушалъ вечернее «набоженство» въ Кармелитскомъ костелѣ, что на Краковскомъ предмѣстьи. О-бокъ съ нимъ стоялъ молодой и щедушный парнишка, лѣтъ восемнадцати, съ виду похожій на забулдыжнаго мастерового. Это былъ панъ Нумеръ Тридесенты. Выраженіе ожиданія въ его испитомъ лицѣ порою смѣнялось легкой тѣнью тоскаливаго раздумья и нерѣшительности. По этой

тѣни можно было бы замѣтить, что въ юношѣ происходитъ какая-то внутренняя борьба съ самимъ собой. Иногда эта тоскливость въ его лицѣ выступала до того ясно, что даже панъ D. Виртусъ замѣчалъ ее, и своимъ взглядомъ и своей миной старался подбодрить юношу. Въ половинѣ костельной службы мимо этой пары прошелъ Штейнгреберъ съ ксендзомъ Миколшевскимъ и кивнулъ Виртусу, который послѣдовалъ за нимъ въ другой конецъ костела. Нумеръ Тридесенты, оставшійся на своемъ мѣстѣ, оборотился въ ту сторону, видѣлъ, что панъ D. пошептался о чемъ-то съ цивилизованнымъ еврейчикомъ, а тотъ, въ свою очередь, отпустивъ отъ себя пана D., сталъ шептаться съ ксендзомъ, послѣ чего ксендзъ пробрался въ сакристию, не забывъ, по обычаю, идучи мимо главнаго алтаря, «пришклянчить»¹⁾ и слегка ударить себя кулакомъ въ перси. Скрывшись въ сакристию, ксендзъ Кароль уже непоказывался болѣе въ храмѣ. По окончаніи набожества, къ Виртусу подошелъ мягкой, неслышной и вкрадчивой походкой монахъ-кармелитъ и, беззвучно пошевеливъ губами, болѣе взглядомъ, чѣмъ словомъ пригласилъ Виртуса вмѣстѣ съ его спутникомъ слѣдовать за собой. Онъ провелъ ихъ въ сакристию и попросилъ обождать, пока всѣ посторонніе удалятся изъ костела. Минутъ десять спустя, когда массивный ключъ звонко повернулся въ массивномъ замкѣ главныхъ дверей, монахъ зажегъ потайной фонарикъ и, захвативъ съ собою связку большихъ ключей, снова пригласилъ Виртуса съ парнишкой слѣдовать за собой. Черезъ боковую узенькую и низкую дверку онъ вывелъ ихъ на обширный монастырскій дворъ и, ради предосторожности спрятавъ фонарь подъ полой своей широкой власяницы, повелъ вдоль костельной стѣны къ другой низкой, но широкой двери, которая вела въ костельные подвалы. Здѣсь онъ передалъ фонарь Виртусу, попросивъ поддержать его на минутку и заслонить свѣтъ фуражкой. Визгнувъ ключъ въ ржавомъ затворѣ, открылась одна половинка дверей — и на путниковъ изъ глубины мрачнаго подвала пахнуло сыростью и запахомъ плесени. Монахъ, придерживая дверь, пригласилъ ихъ спуститься туда первыми. Нумеръ Тридесенты услышалъ за собой стукъ захлопнувшейся грузной половинки и уже невольно вздрогнулъ, подумавъ, что его оставили здѣсь одного съ паномъ D., какъ въ ту жъ минуту мимо его беззвучно скользнула темная тѣнь, и монахъ, взявъ фонарь отъ Виртуса, пошелъ впереди ихъ, освѣщая и указывая дорогу.

Кармелитскій кляшторъ особенно замѣчательнъ своими длинными подземельями, которыя занимаютъ весьма большое пространство и образуютъ такое сѣпленіе различныхъ закоулковъ и развѣтвленій, что надо быть очень хорошо

знакомымъ съ ними, чтобы не спутаться и не заблудиться въ этомъ подземномъ лабиринтѣ. Подземелья эти, вырытыя довольно глубоко въ твердомъ грунтѣ и облицованныя древними большими кирпичами, почти всѣ имѣютъ видъ высокихъ и широкихъ залъ, съ полукруглыми сводами, которые покоятся на массивныхъ колоннахъ. Въ прежнее время, до отвода мѣстности на Повонзкахъ, катакомбы эти, имѣя назначенія усыпальницъ, были однимъ изъ самыхъ обширныхъ кладбищъ Варшавы. Но отцамъ-кармелитамъ представилась выгодная возможность отдать свои катакомбы подъ обширный винный складъ купцу Зейделю и вслѣдствіе этого часть гробовъ они посвозили по ночамъ на Повонзки, а съ остальною частью распорядились самымъ безцеремоннымъ образомъ: отвѣли одно подземелье, находящееся подъ главнымъ входомъ въ костель, и до верху завалили его костями и трупами, выброшенными изъ гробовъ, какъ попало, и накиданными въ груды, одинъ на другой; гробовыми же досками цѣлую зиму отопляли монастырскія помѣщенія. Самое смѣлое воображеніе едва ли могло бы представить себѣ болѣе ужасную и отвратительную картину, чѣмъ та, которую являютъ собою эти безобразныя груды человѣческихъ труповъ. Здѣсь неуваженіе къ смертнымъ останкамъ дошло до крайнихъ предѣловъ, и это кощунство оказывалось монахами единственно ради тѣхъ 15,000 злотыхъ, которые ежегодно получали они отъ купца Зейделя. Впрочемъ, всѣхъ мертвецовъ невозможно было упрятать и въ эту набитую до верху катакомбу, а потому въ нѣкоторыхъ боковыхъ камерахъ и корридорахъ, которые не заняты винными бочками, валяются еще куски истлѣвшей одежды, черепъ и ребра и кое-гдѣ попадаются полуразвалившіеся гробы, изъ которыхъ торчатъ человѣческія кости. Крысы и летучія мыши нашли себѣ привольное обиталище въ этихъ подземельяхъ: послѣднія цѣлыми рядами унижаютъ сырыя стѣны, поросшія грибочатою порослью, цѣпляясь одною изъ заднихъ лапокъ за кирпичныя скважины и висая внизъ головою.

Жуткое чувство безотчетнаго страха обуяло не только юношу, но и пана Виртуса, когда они, слѣдуя за тѣнью монаха, углублялись все дальше и дальше въ закоулки, корридоры и залы этого мрачнаго лабиринта, и особенно когда, бывало, хрустнетъ подъ ступнею сломавшееся ребро, или черепъ, нечаянно тронутый носкомъ сапога, шурша откатится въ сторону. Иногда крыса перебѣгала имъ дорогу, а летучія мыши, испуганныя свѣтомъ фонаря, цѣлыми вереницами со слабымъ пискомъ тревожно летали надъ головою, и широкія тѣни отъ ихъ неуклюжихъ крыльевъ, смутно колеблясь на стѣнахъ и на потолкѣ, казались какими-то призраками, которые трепетно поднимаются изъ этихъ полуразрушенныхъ

¹⁾ Преклонить колѣно.

гробовъ и возмущенно сопровождаютъ таинственное шествіе трехъ спутниковъ.

Наконецъ, въ одномъ изъ боковыхъ закоулковъ мелькнула полоса свѣта. Монахъ-путеводитель, поднявъ повыше фонарь, остановился въ проходѣ и сдѣлалъ пригласительный жестъ юношѣ, а Биртусу приказалъ остаться на мѣстѣ.

Панъ Тришдесенты боязливо покосился на своего ментора и замаялся: онъ не рѣшался слѣдовать далѣе въ одиночку.

— Ступай, ступай! не бойся! — ободрилъ менторъ и почти насильно втолкнулъ его въ смежную катакомбу.

Монахъ въ эту самую минуту скрылъ фонарь у себя подъ полой. Юноша обернулся назадъ, но тамъ уже былъ мракъ непроницаемый. Онъ глянулъ впередъ и остановился, пораженный невольнымъ страхомъ, шепча какую-то молитву и торопливо крестя свою грудь трепещущей рукой.

Здѣсь все было рассчитано на эффектъ, все клонилось къ тому, чтобы сразу произвести подавляющее и фанатическое впечатлѣніе на неопытнаго и мало развитого неофита.

Да и въ самомъ дѣлѣ, какому-нибудь юношѣ мастеровому можно было смутиться не на шутку, когда увидѣлъ онъ предъ собою, въ какихъ-нибудь пяти шагахъ разстоянія, старый черный гробъ, на крышкѣ котораго по серединѣ было поставлено Распятіе, а по бокамъ его горѣли двѣ желтыя восковыя свѣчи въ оловянныхъ шандалахъ. Предъ пьедесталомъ Распятія, какъ требовала обычная польско-революціонная формальность, блестяли два скрепленные кинжала, а по ту сторону гроба стояла черная фигура ксендза, лицо котораго было покрыто остроконечнымъ капюшономъ съ двумя дырами для глазъ. Этотъ капюшонъ, употребляемый монахами нѣкоторыхъ орденовъ, надѣвался польскими ксендзами въ подобныхъ случаяхъ нарочно, для большей безопасности: неофитъ не могъ видѣть черты лица приводящаго его къ революціонной присягѣ и черезъ то лишился возможности выдать его при случаѣ законному пратителству. За ксендзомъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, уже полускрываясь во мракѣ, неподвижно стояли два монаха, въ точно такихъ же нахлобученныхъ капюшонахъ, которые своей странной остроконечной формой придавали этимъ тремъ фигурамъ нечеловѣческой, страшный и зловѣщій характеръ.

— Приблизься, сынъ мой!.. Не бойся, ты между друзьями, — мягкимъ и кроткимъ голосомъ проговорилъ ксендзъ, замѣтивъ смущеніе юноши, но звукъ этого голоса, глухо выходившій изъ-подъ матеріи капюшона, казался страннымъ и неестественнымъ.

Мастеровой не двигался съ мѣста и все еще машинально продолжалъ креститься.

— Да ступай же ты, было!.. От-то дурень,

право! — досадливо буркнулъ ему сзади изъ мрака панъ Биртусъ и, для пущей убѣдительности, пихнулъ его впередъ обѣими пятернями.

Панъ Тришдесенты, убѣдясь, что менторъ его здѣсь, что онъ не покинутъ, уже нѣсколько спокойнѣе приблизился ко гробу.

— Преклони голову и колѣни, сынъ мой, — продолжалъ тотъ же кроткій и неестественный голосъ изъ-подъ капюшона.

Тришдесенты безпрекословно исполнилъ это требованіе.

— Добровольно ли ты пришелъ сюда, сынъ мой, и знаешь ли зачѣмъ приходишь?

— Добровольно... знаю, — прошепталъ юноша.

— Добрый ли ты полякъ и добрый ли католикъ?

— Добрый... вымолвилъ онъ уже нѣсколько внятіе.

— Любишь ли свою отчизну, нашу много-страдательную и на крестѣ распятую Польшу?

— Люблю, пане ойче!

— Желаетъ ли ея возстанія изъ мертвыхъ и освобожденія изъ-подъ ига нѣмцевъ и москалей?

— Желаю, ойче!

— Желаетъ ли служить ей и всего себя принести въ жертву, какъ добрый и вѣрный сынъ, ради счастья и свободы нашей общей матеріи — Польши?

— Желаю, ойче!

— Ненавидишь ли утѣснителей народа нашего всѣмъ сердцемъ, всѣмъ духомъ и всѣмъ помышленіемъ твоимъ.

— Ненавижу.

— Желаетъ ли мстить безпощадно и святою мстью всѣмъ врагамъ народа нашего?

— Желаю, пане ойче!

— Ты не присягалъ еще на вѣрность ржонду народовому?

— Нѣтъ еще, ойче!

— Въ такомъ случаѣ подыми руку, коснись ея края знамени и повторяй за мною то, что я буду говорить тебѣ.

При этихъ словахъ одинъ изъ монаховъ выступилъ изъ темноты, взявъ церковную хоругвь, прислоненную къ углу стѣны, и, развернувъ ее, наклонилъ нѣсколько древко надъ присягающимъ юношей, а ксендзъ, вынувъ изъ-за пазухи листъ бумаги, приблизилъ его къ свѣчѣ и началъ читать, отчетливо и медленно отдѣляя фразы.

Юноша повторялъ за нимъ каждое слово, невольно поддаваясь волненію религіознаго страха, къ которому такъ располагала вся исключительная обстановка этого таинственного обряда.

«Клянусь всемогущему Богу, говорилъ онъ вслѣдъ за ксендзомъ, — клянусь Пресвятой Его Матери и всѣмъ святымъ, что отнынѣ принадлежу къ народной организаціи, и что всѣ силы, имущество мое и жизнь я готовъ посвя-

тить для освобожденія отчизны. Клянусь, что всегда и вездѣ буду слѣпо и безусловно повиноваться повелѣніямъ Центральнаго Народоваго Комитета, какъ единственной законной власти и начальникамъ отъ него установленнымъ. Клянусь, что свято буду исполнять обязанности на меня возложенныя, что готовъ буду по первому требованію стать на указанное мѣсто съ оружіемъ, которое мнѣ будетъ дано, и начать сражаться съ врагомъ отчизны и пролить послѣднюю каплю крови за ея освобожденіе. Клянусь свято сохранить тайну, какъ на свободѣ, такъ и въ темницѣ, несмотря на мученія и истязанія. Если бы я нарушилъ сію клятву и сдѣлался измѣнникомъ отечества или не исполнилъ своихъ обязанностей, то да не минуетъ меня заслуженная казнь отъ Бога и людей въ настоящей жизни и въ загробной. Въ этомъ да поможетъ мнѣ Господь Богъ, Пресвятая Его Матерь и всѣ святые. Амен».

— Теперь, сынъ мой, наложи правую руку твою на эти кинжалы,—обратился ксендзъ къ юношѣ, указавъ ему на скрещенные клинки,—и повторяй за мною особую присягу мстителей народныхъ.

И онъ снова сталъ читать своимъ размѣреннымъ голосомъ:

«Присягаю Богомъ всемогущимъ на слѣпое повиновеніе ржонду родовому; клянусь непрекословно и твердой рукой исполнять тѣ казни, которыя будутъ мнѣ поручены, и принимаю на себя всю отвѣтственность предъ трибуналомъ народнымъ за промедленіе, а тѣмъ паче за неисполненіе убійства, возложеннаго на меня ржондомъ родовымъ. Амен».

— Цѣлуй крестъ на своей клятвѣ, сынъ мой,—внушительно заговорилъ ксендзъ, окончивъ присягу,—цѣлуй раны и язвы Распятаго и проси Бога, да поможетъ тебѣ, во имя этихъ ранъ и язвъ, твердо владѣть вручаемымъ тебѣ оружіемъ. Теперь ты выше, чѣмъ простой ратникъ-повстанецъ, ты принялъ двойную присягу и потому назначеніе твое неизмѣримо важнѣе и почетнѣе: ты ангелъ-мститель твоего народа. Нанеси смѣло и вѣрно смертельный ударъ твоимъ освященнымъ оружіемъ и знай, что самъ Богъ направляетъ твою разящую руку. Не ты разишь—самъ Богъ разитъ; ты же только избранный сосудъ, избранное орудіе разящаго Бога и Его святой воли. Богъ сохранить тебя здрава и невредима во всѣхъ путяхъ твоихъ; поэтому не бойся ничего. Святая церковь будетъ за тебя молиться неустанно, и каждый подвигъ твой на поприщѣ мстителя народнаго—въ книгѣ живота зачтенъ тебѣ будетъ въ такое доброе дѣло, за которое всѣ твои грѣхи простятся. Если-же Богъ похотѣлъ-бы,—продолжалъ ксендзъ со вздохомъ,—чтобы ты попался въ когти москалю, то да не смущается сердце твое и этимъ испытаніемъ, ибо ангелъ Господень сохранитъ

тебя и, незримо для врага, изведетъ изъ темницы. Но ежели-бы тебѣ предстояла и самая смерть отъ руки московской, то не смущайся и виждь въ этомъ всеблагій перстъ Божій, ибо это будетъ служить тебѣ видимымъ знаменіемъ, что ты угоденъ Господу, что Богъ еще при земной твоей жизни угодовалъ тебѣ райскій вѣнецъ и возвелъ въ санъ святыхъ своихъ великомучениковъ.

Прodeкламировавъ весьма гладко и не безъ патетизма всю эту тираду, ксендзъ подошелъ къ колѣнопреклоненному юношѣ и, наложивъ свои руки на его голову, произнесъ разрѣшительную молитву и далъ ему «отпустъ», т. е. прощеніе всѣхъ грѣховъ его.

— Завтра утромъ приходи къ обѣднѣ въ этотъ же костель: тебѣ дадутъ причастіе,—сообщилъ онъ ему въ заключеніе.

Вслѣдъ затѣмъ изъ глубины катакомбы выступилъ другой монахъ съ бѣлымъ металлическимъ подносомъ, на которомъ помѣщались церковное кропило и сосудъ со святой водой.

Съ почтительнымъ поклономъ и молча приблизился онъ къ ксендзу, приводившему къ присягѣ. Тогда ксендзъ прочиталъ молитву надъ кинжалами, благословилъ ихъ, окропилъ святой водой и, поцѣловавъ одинъ изъ клинковъ, подобно тому какъ цѣлуется на престольный крестъ, съ благоговѣніемъ подалъ его пану Тридесентеу, окропя и благословя заодно ужъ и его вмѣстѣ съ кинжалами.

— Во имя святой Польши и пролитой крови братій твоихъ, вручается тебѣ это освященное оружіе,—заговорилъ онъ снова въ томъ же патетическомъ тонѣ. — Храни его до времени у сердца, на груди, подъ одеждою твоею и употребляй съ честію, во славу Бога и отчизны. Теперь можешь встать, добрый сынъ мой. Привѣтствую и поздравляю тебя, какъ новаго бойца за вольность, ровность и неподлеглость нашу.

Панъ нумеръ Тридесенты вложилъ кинжалъ въ поданныя ему ножны и спряталъ его подъ жилеткой. Затѣмъ ксендзъ указалъ ему на выходъ, гдѣ ожидали его панъ Биртусъ и кармелитъ съ фонарикомъ. Юноша удалился.

Оставшіеся въ катакомбѣ сняли съ головъ капюшоны—и ксендзъ Кароль Микосшевскій обнаружилъ свою смиренно-мудрую фізіономію.

— А что, пане ксенже, не зайти-ли теперь ко мнѣ въ келью да не потребовать-ли намъ старой венгрии?—лукаво и добродушно подмигивая, предложилъ ему одинъ изъ монаховъ,—у насъ вѣдь добрая, заповѣдная!.. Одно слово: монастырская!

— Что-жь, нынче вѣдь разрѣшеніе вина и елея, а послѣ трудовъ такихъ и подавно подobaетъ!—шутливо согласился Микосшевскій.

— А у него, кстати, какія карточки фотографическія есть!—присовокупилъ другой монашекъ,—недавно изъ-за границы тайно привезли

намъ... Прелестъ, что за позы и что за фигуры! И больше все, знаешь, эдакъ, нашъ братъ монахъ смиренный фигурируетъ, ну и святые матери тоже; но есть и отъ мірскаго кое-что... Однимъ словомъ, очень, любопытно и завлекательно!

И смиренные служители церкви, припрятавъ въ уголокъ атрибуты только-что оконченной присяги, безопасно и весело болтая, покинули мрачныя катакомбы и отправились мирно наслаждаться постнымъ венгерскимъ виномъ и скоромными карточками.

ХХІІІ.

Узелокъ.

Въ минуту окончательнаго разрыва, когда Хвалынцевъ, сопровождаемый словомъ «измѣнникъ», вышелъ отъ поручика Паланицы, онъ былъ почти внѣ себя. Голова его горѣла, нервы были возбуждены, и въ мозгу роились безсвязныя отрывки какихъ-то мыслей. Одно только сознаніе, одно убѣжденіе выступало ясно и опредѣленно изъ этого хаоса мыслей и ощущеній, это то, что онъ поступилъ честно, разрывая съ компаніей революціонныхъ шулеровъ и плутовъ, что иначе и поступить нельзя, если не дѣлаться сознательно самому такимъ же революціоннымъ мошенникомъ. И въ то же время въ груди его ныло и щемило чувство, близко похожее на отчаяніе. Онъ сознавалъ, что разрывая съ Паланицей, онъ разрываетъ въ то же время не съ одной «Землей и Волей», а со всею польскою организаціею, въ которой помимо «Земли и Воли» для него не было, да и не могло быть мѣста и назначенія. Разрывъ же съ поляками былъ разрывомъ и съ Цезариной. Онъ зналъ, что тутъ нѣтъ выбора и нѣтъ иного исхода. Но чувство чести превозмогло надъ страстью. Въ эту минуту ему приходилось хоронить на вѣки и свою страстную любовь, и свои радужныя мечты и надежды. Вотъ въ чемъ крылась причина близкаго къ отчаянью чувства. Но какъ уйти отъ «дѣла», когда она ничего еще не знаетъ, когда она ждетъ и надѣется, и полна убѣжденіемъ, что ради ея онъ весь принадлежитъ этому «дѣлу»? — «Уйти такъ, какъ теперь уходишь, это значитъ скрыться, убѣжать, словно бы я испугался и струсилъ; это значитъ дать ей право презирать меня», думалось Хвалынцеву. «Нѣтъ я уйду открыто! Пусть знаетъ, пусть знаетъ все, и если она честный человекъ, если въ душѣ ея таятся хоть искра справедливости, она не должна, не можетъ осудить меня... Все же я унесу если не любовь, такъ уваженіе этой женщины».

И онъ рѣшился идти къ Цезаринѣ и высказать ей все, съ откровенной прямою.

Но сегодня было уже поздно приводить въ

исполненіе это намѣреніе, такъ какъ часовая стрѣлка показывала двѣнадцатый часъ ночи въ исходѣ. Хвалынцевъ, погруженный исключительно въ хаосъ своихъ мыслей и тревожныхъ чувствъ, рѣшительно не замѣтилъ, какъ пробродилъ столько времени по улицамъ. Но онъ не чувствовалъ ни малѣйшей физической усталости; напротивъ, внутри его какъ будто что подмывало идти и идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не отдыхая и не отдавая себѣ отчета куда и зачѣмъ идетъ. Ему казалось только, будто онъ стремится куда-то и къ чему-то, и въ этомъ безвѣстномъ, но неодолимомъ стремленіи заключается въ данный моментъ вся цѣль его существованія. Онъ скинулъ фуражку, обтеръ свой лобъ — и ночная прохлада освѣжительно подѣйствовала на его пылавшую голову. Это помогло ему нѣсколько придти въ себя. Константинъ остановился на минуту, чтобы осмотрѣться, куда занесло его, и узналъ вокругъ себя окрестности Лазенокъ и Бельведера. «Надо назадъ, домой надо», подсказалъ ему проснувшійся разсудокъ, и онъ повернулъ въ Уздовскую аллею. «А завтра къ Цезаринѣ, и все сказать ей!» рѣшилъ онъ самъ съ собой.

Но вотъ, идучи по пустынной аллеѣ, подходитъ онъ уже близко къ дому графини Маржецкой. Вокругъ господствуетъ фантастическій сумракъ, борясь сквозь вѣтви деревьевъ съ огнями газовыхъ фонарей; безлюдье и тишина глубокая, только листья каштановъ таинственно шепчутся между собой. Вотъ и знакомая чугунная рѣшетка вокругъ столь-же знакомаго дома; вотъ и стѣна, мимо которой съ такимъ замѣраніемъ сердца, весь радостный и счастливый, пробирался онъ разъ на назначенное ему свиданіе... Въ окнахъ темно, какъ и тогда-же. Вотъ и калитка... Но что это?!.. Хвалынцевъ остановился въ недоумѣніи. Рѣшетчатая калитка, вопреки обыкновенію, была не заперта; ее даже какъ будто нарочно оставили слегка открытой. «Что жъ это значитъ?» подумалъ озадаченный Хвалынцевъ. Сколько разъ, послѣ того свиданія, приходилось ему въ такую же позднюю пору проходить мимо этой самой рѣшетки — и калитка всегда была заперта на ключъ. Онъ это зналъ навѣрное, потому что иногда, поддаваясь почти безотчетному и чисто юношескому влеченію, мимоходомъ толкалъ ее рукой, думая про себя: «авось, на счастье отперто, и что, если отперто вдругъ для меня?» Но эти опыты привели его къ убѣжденію, что калитка всегда и для всѣхъ безъ исключенія, кромѣ того раза, остается запертою. «Кто жъ, помимо самой Цезарины, могъ отворить ее теперь? И для чего, или... для кого она можетъ быть отперта?»

И не взвѣсивая своего намѣренія, не задавъ себѣ даже вопроса: хорошо ли и умѣстно ли, зачѣмъ и по какому праву онъ это дѣ-

лаетъ, Хвалынцевъ перешагнуть порогъ и пошелъ мимо стѣны, знакомымъ путемъ, въ садъ графини Цезарины. Вотъ онъ завернулъ за уголъ. Полосы свѣта падали изъ оконъ на террасу и слабо освѣщали вѣтви ближайшихъ сиреней. Хвалынцевъ поднялся на ступени и вдругъ отшатнулся, не вѣря глазамъ своимъ.

Сквозь стеклянную раму двери, онъ въ первое же мгновеніе и какъ нельзя болѣе ясно увидѣлъ, что въ той самой комнатѣ, гдѣ и его принимали, близъ того же самаго накрытаго для ужина стола, на которомъ и теперь, какъ тогда, въ серебряномъ холодильнике стояло вино, въ хрустальной плоской вазѣ красиво рисовались разные фрукты, на томъ же самомъ роскошномъ диванѣ, гдѣ и онъ сидѣлъ, графиня Цезарина полулежала теперь въ объятіяхъ какого-то статнаго молодого красавца, одѣтаго въ изящную чамарку, закинувъ на его плечи свои обнаженные красивыя руки и, съ восторженно страстной влюбленной улыбкой глядя ему въ глаза, ласково и небрежно играла его роскошными кудрями.

Хотѣлось бы считать все это за сонъ и навожденіе, хотѣлось бы не вѣрить глазамъ, но увы!—невозможно было не вѣрить. Дѣйствительность этой неожиданной картины чужого счастья слишкомъ ясно и такъ-сказать осязательно предстала теперь передъ Хвалынцевымъ. Елена спала съ глазъ его. Онъ только тутъ понялъ, что эта женщина никогда его не любила, что онъ все время былъ въ ея рукахъ жертвой какого-то темнаго и злого обмана.

Вся кровь прихлынула ему къ головѣ. Оскорбленіе этого сознанныго обмана, мучительное чувство обиды, ревности и поруганной любви—все это разомъ заколесило въ груди его до ощущенія физической дурноты. Стиснувъ до боли свои зубы и неотводно глядя сквозь стекла широко раскрытыми, почти безумными глазами, онъ вдругъ рванулъ ручку замка; но дверь оказалась запертой. Затѣмъ и для чего онъ это сдѣлалъ, Константинъ и самъ себѣ не могъ хорошенько дать отчета.

Дребезжанье рванутой двери заставило между тѣмъ испуганно вздрогнуть и смутиться счастливую пару. Цезарина отшатнулась въ сторону.

Хвалынцевъ рванулъ вторично ручку, и вся дверь задребезжала еще сильнѣе подъ его напоромъ.

Красавецъ поднялся, плохо оправляясь отъ смущенія, подошелъ наконецъ къ двери и, приложивъ щиткомъ руку къ бровямъ, старался разглядѣть, что это творится тамъ, за темными стеклами?

— Кто тамъ?—нетвердо спросилъ онъ, попольски.

— Мнѣ надо видѣть графиню Цезарину. Отворите!—не помня себя, отвѣчалъ по-русски Хвалынцевъ.

Звуки русскаго языка и призракъ военнаго мундира еще болѣе повергли поляка въ смущеніе.

— Кажись, полиція,—пробормоталъ онъ упавшимъ голосомъ, оборотась къ Цезаринѣ.

— Полиція?.. Отворите! — приказала она вслѣдъ за мгновеніемъ внутренняго колебанія.

Но каково же было ея изумленіе, когда вмѣсто ожидаемаго жандарма, предъ ней очутился Хвалынцевъ.

Гордо закинувъ голову, со всей массой своихъ роскошныхъ пепельныхъ волосъ, она смѣло ступила шагъ впередъ, и все поблѣднѣвшее лицо ея одушевилось негодованіемъ, а каріе глаза изъ-подъ энергично сдвинувшихся бровей загорѣлись фосфорическимъ блескомъ.

— Это вы!?!.. глухимъ, но твердымъ и сдержаннымъ голосомъ проговорила она, измѣняя взглядомъ вошедшаго. — По какому праву... и какъ вы осмѣлились нахально врыватьсѣ ночью въ мою квартиру?

Хвалынцевъ собралъ всѣ усилія, чтобы по возможности овладѣть собой.

— Я пришелъ возвратить вамъ ваше слово, и взять назадъ мое обѣщаніе,—проговорилъ онъ голосомъ, прерывавшимся отъ волненія.

— Обѣщаніе?.. Слово?.. Какое слово?.. Я никакихъ вамъ словъ не давала!

— Избавьте отъ необходимости повторять ваше обѣщаніе, графиня!.. Вы понимаете, о чемъ говорю я... Тѣмъ болѣе, что едва ли вамъ будетъ по сердцу, если я стану распространяться въ присутствіи этого свидѣтеля,—сказалъ Хвалынцевъ, указавъ глазами на красавца, который стоялъ въ замѣшательствѣ и ровно ничего не понимая.

— Жозефъ!—обратилась къ нему негодующая Цезарина,—меня оскорбляютъ въ вашемъ присутствіи, а вы стоите и слушаете!

Красавецъ шагнулъ было впередъ, но Хвалынцевъ остановилъ его взглядомъ.

— Позвольте, — сказалъ онъ ему, — черезъ минуту, если угодно, я буду исполнѣ къ вашимъ услугамъ. А теперь, графиня, — продолжалъ онъ, — мнѣ остается только сказать вамъ, что я не желаю болѣе быть игрушкой политическихъ плутовъ и интригановъ... Я понялъ исполнѣ ваше пресловутое *дѣло*, и съ нынѣшняго дня окончательно разрываю съ нимъ мои связи... Полагаю, что въ виду нашихъ обоюдныхъ обѣщаній, вамъ было необходимо знать объ этомъ. Вотъ цѣль моего дерзкаго и неумѣстнаго прихода, за который, если этому господину угодно (онъ снова показалъ глазами на красавца), я готовъ дать ему удовлетвореніе.

— Да, милостивый государь, мнѣ это угодно,—съ вѣжливо-сухимъ поклономъ отозвался красавецъ.—Но только *дѣло* вотъ въ чемъ,—продолжалъ онъ съ иронической улыбкой,—наши шансы въ этомъ случаѣ не равны; вы относитесь ко мнѣ въ привилегированномъ положе-

ни: вы русскій и военный, а я полякъ. Если вы убьете меня, вамъ ничего не сдѣлаютъ, а убей я васъ, меня сошлютъ въ Сибирь, а можетъ-быть и повѣсятъ. Поэтому позволяю, если вы джентльменъ и понимаете, что такое обязанности чести, позвольте предложить вамъ иной способъ дуэли—на узелокъ. Не выходя отсюда, мы съ вами вынемъ жребій, и кому достанется, тотъ къ утру обязанъ покончить съ собой какимъ угодно способомъ. Это и вѣрнѣе, и шансы уравниваетъ. Угодно въ такомъ видѣ принять мой вызовъ?

— Принимаю!—не подумавъ, рѣшительно и сразу согласился Хвалынцевъ. Въ томъ нравственномъ положеніи, въ какомъ находился онъ въ данныя минуты, оскорбленный и обманутый въ самомъ сильномъ и завѣтномъ своемъ чувствѣ, подавляемый затаеннымъ презрѣніемъ къ самому себѣ за измѣну не польскому, а русскому дѣлу, и за ту глупую, жалкую роль, которую онъ такъ слѣпо разыгрывалъ столько времени, Константинъ съ радостью ухватился за мысль о смерти, которая представилась ему теперь единственнымъ и самымъ свѣтлымъ, самымъ желаннымъ исходомъ изъ его запутаннаго и безвыходнаго положенія. Въ эту минуту онъ не только желалъ, чтобы роковой узелокъ достался ему, но былъ убѣжденъ и даже вѣровалъ какъ-то, что онъ непременно ему достанется.

— Потрудитесь сейчасъ же приготовить жребій,—нетерпѣливо отнесся онъ къ противнику. Тотъ вынулъ изъ кармана батистовый платокъ, завязалъ одинъ конецъ его въ узелъ и почти-тельно подаль Цезаринѣ.

— Вы, графиня, единственный секунданта при этой дуэли,—сказалъ онъ ей съ рыцарскою безбоязностью. — Позвольте же изъ вашихъ рукъ принять намъ наши жеребьи.

Цезарина взяла платокъ, затѣмъ, отвернувшись нѣсколько въ сторону, перемѣшала въ пальцахъ два жеребьевые угла его и, расправивъ въ видѣ ушковъ оба маленькіе кончика, торчавшіе изъ ея сжатого кулака, протянула къ противникамъ свою руку. Тѣ одновременно взяли и одновременно выдернули жребіи.

Роковой узелокъ достался не Хвалынцеву.

— Досадно! — проворчалъ онъ сквозь зубы, оглядывая свой жребій и какъ-бы все еще не исполнѣ убѣждаясь, точно-ли онъ гладкій.

Между тѣмъ, легкая смутная тѣнь чуть замѣтно пробѣжала на мгновенье въ поблѣдѣвшемъ слегка лицѣ молодого красавца, который съ выраженіемъ какого-то страннаго недоумѣнія оглядывалъ узелокъ, словно-бы тоже не вѣря, что онъ могъ достаться на его долю. Но эта невольная игра лица и взгляда продолжалась не болѣе одной секунды. Затѣмъ молодой человекъ тотчасъ-же поспѣшилъ оправиться и овладѣть собою.

— Судьба! — съ нѣсколько принужденной улыбкой сказалъ онъ Цезаринѣ, пряча въ кар-

манъ свой платокъ, и тотчасъ-же спокойно и съ достоинствомъ обратился къ Хвалынцеву.

— Милостивый государь,—слегка, но вполне джентльменски поклонился онъ ему, — можете вполне быть увѣрены, что къ утру будетъ исполнено.

— Не сомнѣваюсь,—отвѣтилъ въ свой чередъ подобнымъ же поклономъ Хвалынцевъ. «А жалъ, что не мнѣ!» искренно подумалось ему при этомъ.

— Затѣмъ, графиня,—прибавилъ онъ, обратясь къ Цезаринѣ,—позвольте просить извиненія, что я такъ некстати и такъ грубо побеспокоилъ васъ... Честъ имѣю кланяться!

И онъ удалился изъ ея дома.

Гдѣ и какъ былъ проведенъ имъ остатокъ ночи, Хвалынцевъ и самъ не помнилъ. Равно не помнилъ и того, какія мысли бродили въ головѣ, какія чувства тѣснились и бушевали въ сердцѣ. Подъ утро онъ вернулся къ себѣ домой словно-бы въ какомъ-то одурманенномъ и окаменѣломъ состояніи. Чувствительность и способность воспринимать какія бы то ни было впечатлѣнія, казалось, совершенно притупились въ немъ къ этому времени. Не раздѣваясь, бросился онъ въ постель. Но спать-ли, нѣтъ-ли, въ томъ не могъ дать себѣ никакого отчета. Къ полудню слуга его догадался, что дѣло, кажись, плохо и бросился за полковымъ докторомъ. Врачъ осмотрѣлъ больного и открылъ въ немъ всѣ признаки нервной горячки. Онъ сообщилъ объ этомъ товарищамъ Константина; тѣ посѣтили больного, лежавшаго въ полномъ безпамятствѣ, и, такъ какъ ухаживать за нимъ одного лишь слуги не могъ почестся достаточнымъ и надежнымъ, то на общемъ совѣтѣ съ докторомъ было рѣшено перенести его въ Уздовскій госпиталь. Къ вечеру явились санитарные служители съ крытыми носилками, — и наступившую ночь Хвалынцевъ провелъ уже въ особой камерѣ, подъ надежной госпитальной кровлей.

XXIV.

Послѣ болѣзни.

Онъ пролежалъ около двухъ мѣсяцевъ. Сначала болѣзнь туго поддавалась усиліямъ врачей, но наконецъ наступилъ благотѣльный кризисъ и съ того самаго дня въ благополучномъ исходѣ горячки уже не могло быть сомнѣній. Молодая натура взяла свое, жизнь пересилила въ этой борьбѣ со смертію, и здоровье стало быстро поправляться, организмъ дѣятельно пополнялся новыми силами, такъ что въ первыхъ числахъ ноября Константинъ выпи-сался изъ госпиталя уже совершенно бодрымъ, сильнымъ и здоровымъ попрежнему.

А въ это время панъ Нумеръ Тридесенты давно уже принялъ свою присягу и ждалъ...

За Хвалынцевымъ исподоволь и незамѣтно слѣдили надежные глаза и уши, которые умѣли проникать повсюду, оставаясь въ глубочайшей тайнѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ трибуналъ народовой произнесъ надъ нимъ свой заочный приговоръ, предсѣдателью операторской части, старцу Крушинскому, очень хорошо и подробно былъ извѣстенъ, такъ-сказать, каждый шагъ Хвалынцева; этотъ старецъ день за днемъ слѣдилъ и зналъ весь ходъ его болѣзни, благодаря зоркому своему помощнику, Игнатию Трущинскому, который, въ качествѣ сына жандармскаго подполковника русской службы, имѣлъ возможность, подъ самыми невинными и законными предлогами, узнавать стороной все, что дѣлается въ военныхъ и вообще въ русскихъ сферахъ Варшавы. Въ госпиталѣ ему даже легче было слѣдить за Хвалынцевымъ, чѣмъ въ городѣ, когда онъ послѣ болѣзни снова попалъ на свою квартиру. Тутъ мѣшали и служба и товарищи, съ обществомъ которыхъ Константинъ теперь почти не разставался. Покончивъ съ Палаяницей, онъ встряхнулся и почувствовалъ душевную потребность честно и добросовѣстно заняться своимъ военнымъ дѣломъ, своей службой, и какъ можно ближе и сердечнѣе опять сойтись съ товарищами, отъ которыхъ одно время совсѣмъ было отшатнулся. И то, и другое вполнѣ удалось ему, потому что натура у него была дѣятельная, подвижная, а душа отзывчивая и открытая. Теперь онъ уже «не сидѣлъ на двухъ стульяхъ» какъ прежде, но все-таки далеко еще не зналъ душевнаго покоя. Его тяготило прошлое, укоряло и грызло сознание своей виновности, и какъ часто, бывало, щеки его невольно вспыхивали краской жгучаго стыда при воспоминаніи о своей жалкой роли у Цезарины и у Свитки, или при мысли о томъ, что онъ могъ, во имя страсти къ чуждой и мало знаемой женщинѣ, идти заодно съ врагами своего народа, которыхъ не уважалъ въ душѣ, противъ *своихъ*, которымъ, по самой природѣ, естественно и законно принадлежали всѣ симпатіи, вся родственность и любовь его. «Это подлость, больше которой нѣтъ на свѣтѣ!» говорилъ ему неумолимый голосъ совѣсти, и вотъ все чаще и все настоятельнѣе стала теперь приходить ему мысль объ очищеніи себя полнымъ покаяніемъ, о томъ, чтобы понести свою заслуженную кару, сколь бы она ни была тяжела и сурова, и воспрянуть изъ этой кары другимъ, совсѣмъ новымъ человекомъ, съ обновленнымъ и просвѣтленнымъ духомъ, со спокойною, чистою и примиренною совѣстью. Онъ всей душой стремился къ этому завѣтному желанію, и, будь онъ *одинъ*, его ни на минуту не остановилъ бы страхъ заслуженной кары; но въ томъ-то и сила, что въ этомъ отношеніи судьба его сцѣтана съ другими лицами, участіе которыхъ въ общемъ

«дѣлѣ» невольно обнаружилось бы изъ его откровеннаго признанія. Хотя нѣкоторыхъ изъ этихъ людей и ненавидѣлъ онъ въ душѣ своей, считая ихъ виновниками своего паденія, а другихъ презиралъ за ихъ тупое, самонадѣянное ничтожество, но все-таки нравственное чувство, его содрогалось предъ словомъ «доносъ». Это слово тяжело и жестоко страшило его. Онъ былъ бы воистину радъ и счастливъ возможностью полатиться за прошлое, если бы только дѣло раскрылось инымъ путемъ помимо его, если бы, напримѣръ, кто-нибудь изъ сотоварищей по заговору выдалъ его говой. О тогда бы все, все, что касается самого себя, одной лишь своей головы, все это чистосердечно положилъ бы онъ на вѣсы правосудія и смиренно принялъ бы очистительную кару! Но самому выдавать другихъ, хотя и презираемыхъ и ненавидимыхъ, самому брать на свою совѣсть вѣчный и тяжкій укоръ за чужую судьбу и свободу, за чужое несчастье, а можетъ и самую жизнь—нѣтъ, это невозможно! И онъ чувствовалъ, что на такой поступокъ никогда бы не хватило его. Хотя вся его преступность ограничивалась только знакомствомъ съ загадочнымъ Свиткой да вступленіемъ въ тайный союзъ Палаяницы, гдѣ болѣе болтали, чѣмъ дѣлали; хотя онъ и былъ убѣжденъ, что самъ этотъ маньякъ Палаяница, по глупости своей, едва ли можетъ кому и чему-либо нанести какой-нибудь вредъ, и хотя, наконецъ, виновность Хвалынцева заключалась только въ неясныхъ намѣреніяхъ, отъ которыхъ, впрочемъ, онъ отшатнулся при первомъ же шуллерски-нечестномъ предложеніи, но тѣмъ не менѣе тяжело ему было самое сознание, что онъ, какъ трипка, могъ допустить себя барахтаться въ грязи всего этого ничтожества, возжаться со всѣми этими проходимцами, называться ихъ единомышленникомъ и сотоварищемъ, нося честный русскій мундиръ и имѣя у себя настоящихъ и дѣйствительно честныхъ товарищей, — вотъ что грызло его душу и палило стыдомъ его щеки, и вотъ почему вопіяла въ немъ потребность гласнаго, открытаго покаянія, которое очистило бы и возродило его къ новой жизни и дало бы право снова открыто и прямо глядѣть въ глаза всѣмъ честнымъ людямъ.

Ему казалось, будто теперь онъ понималъ Цезарину. И это, пожалуй, было такъ, но только отчасти: польской сущности этой женщины онъ все-таки не понималъ, да и не могъ-бы понять въ то время. Но ему стало понятно, что она не ради своего чувства къ нему, а ради какой-то другой, совсѣмъ посторонней цѣли завлекла его въ опасное и чуждое ему дѣло, что въ отношеніяхъ къ нему у нея была какая-то фальшь, притворство, какой-то постоянный расчетъ, а вовсе не искреннее чувство. Это все стало теперь понятно для Хва-

лынцева, и были минуты, когда, вспоминая все, чѣмъ она съ первой встрѣчи завлекала его, и все, что обнаружилось для него только въ послѣднюю ночь предъ болѣзнью, вспоминая разсчитанное коварство, ложь, притворство, онъ, начиналъ ненавидѣть эту женщину, и ненавидѣлъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе ощущалъ боль своего разбитого, поруганнаго чувства къ ней и чѣмъ болѣе сознавалъ, въ какіе жалкіе шуты вышучивала его для чего-то эта обаятельная графиня Цезарина. Тутъ уже уязвленное молодое и чуткое самолюбіе питало въ немъ эту ненависть.—Но странное дѣло!—среди столь сильной ненависти, вдругъ иногда почему-то невольно приходило на память все неотразимое обаяніе Цезарины, вся красота ея, весь чувственный соблазнъ ея, и даже съ особенной яркостью вставала въ воображеніи именно та минута, когда въ образѣ разъяренной тигрицы, гордо закинувъ голову, съ этимъ грознымъ фосфорическимъ свѣтомъ глазъ, она опрокинулась на него всѣмъ негодованіемъ и всею яростью оскорбленной женщины, во время его послѣдняго ночного посѣщенія. Онъ вспоминалъ все впечатлѣніе этой минуты, отъ котораго духъ захватывало, вспоминалъ всю грозную прелесть и сверкающую красоту ея, въ какой величаво предстала она въ тѣ мгновенія, и увы! съ негодованіемъ на самого себя чувствовалъ, что, къ несчастію, не все еще кончено, не все еще умерло въ его сердцѣ относительно этой проклятой женщины. Наперекоръ самолюбію, наперекоръ чести и разсудку проявлялись-таки порою мгновенія, когда Константинъ сознавалъ, что все еще любить ее, любить въ самой ненависти, въ самомъ презрѣніи къ ней, и любить не душу, а только красоту, только это дивное, чувственное тѣло. Онъ боролся съ самимъ собой и превозмогалъ себя, но тѣмъ не менѣе подобныя минуты страсти, какъ шквалы, налетали еще порою на его душу, и Константинъ предчувствовалъ, что не мало борьбы, не мало самыхъ строгихъ и крутыхъ усилий надъ собой предстоитъ еще ему впереди, пока не одолѣетъ и не убьетъ окончательно своего непокорнаго, болѣзненнаго чувства, пока не воцарится въ душѣ его мирное и свѣтлое затишье.

XXV.

«По декрету трибунала».

Игнатій Трушинскій, знавшій Хвалынцева въ лицо, однажды, при случайной встрѣчѣ въ кондитерской Конти, гдѣ Константинъ игралъ съ товарищами на бильярдѣ, указалъ на него своему собрату Штейнгреберу. Цивилизованный еврейчикъ, замѣтивъ себѣ хорошенько черты лица и наружность Хвалынцева, сталъ выслѣживать, гдѣ и въ какіе часы онъ больше и чаще вы-

зываетъ. Оказалось, что онъ довольно часто прѣзжаетъ съ товарищами обѣдать въ ресторанъ Европейскаго отеля, откуда обыкновенно они переходятъ къ Конти сыграть партію-другую на бильярдѣ. Узнавъ это, Штейнгреберу уже не трудно было указать на него въ бильярдной залѣ пану Биртусу, которому нарочно, ради этого случая, былъ даже пожертвованъ скромный, но приличный костюмъ, безъ чего его не пустили-бы сидѣть и пить пиво въ аристократической цукернѣ. Послѣ этого, панъ Биртусъ принялъ на себя обязанность уже специально слѣдить за Константиномъ, и на слѣдующій же день, захвативъ съ собой пана Тридесентого, сталъ въ обѣденный часъ прогуливаться съ нимъ по Краковскому предмѣстью, мимо Европейскаго отеля, поджидая, когда подъѣдетъ Хвалынцевъ и наказывая своему ученику какъ можно лучше и вѣрнѣе запримѣтить себѣ этого «ладейка-москаля», чтобы потомъ, брани Боже, не вышло-бы какой ошибки. Въ урочный часъ Константинъ подъѣхалъ къ отелю и, пока расплачивался съ дружкаремъ, оба молодца Броварной улицы успѣли подойти какъ разъ къ самому подъѣзду, такъ что Хвалынцевъ прошелъ мимо ихъ въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія. Панъ Нумеръ Тридесенты въ это время достаточно успѣлъ схватить себѣ общее впечатлѣніе его наружности, такъ что на другой день, когда панъ Биртусъ захотѣлъ сдѣлать ему провѣрку, Нумеръ Тридесенты уже самъ первый указалъ ему подъѣхавшаго Константина. Биртусъ остался очень доволенъ его наблюдательностью и доложилъ Штейнгреберу, что теперь можно быть насчетъ «шинки» въ полной увѣренности и что ошибки произойти уже не можетъ.

Все это было дѣломъ четырехъ-пяти дней, не болѣе.

Но какъ ни зорко слѣдили эти господа за Хвалынцевымъ, какъ ни подстерегали его по разнымъ закоулкамъ и подворотнямъ вблизи его квартиры, обстоятельства случайнымъ образомъ складывались такъ, что мальчонкѣ-мастеровому крайне рискованно было бы приводить въ исполненіе приговоръ трибунала: то посторонняго народа много на улицѣ, то полицейскій дозорца напротивъ торчать и смотреть, то русскіе солдаты проходятъ, то самъ Хвалынцевъ идетъ. но не одинъ, а съ товарищами—все это неловко, неудобно, опасно и не позволяетъ рассчитывать на удачу дѣла и на вѣрность удара. Словомъ сказать, дѣло не выгорало. Время проходить, приговоръ подписанъ и данъ къ исполненію уже давнымъ-давно, а намѣченная жертва межъ тѣмъ преспокойно еще гуляетъ по варшавскимъ улицамъ. Ксендзъ Кароль Миконевскій началъ даже находить, что такое промедленіе наноситъ ущербъ достоинству и авторитету трибунала. Въ центральномъ комитетѣ, по этому поводу, были недовольны частію операторной, и

через Микосhevскаго сдѣлали формальное и строгое замѣчаніе шефу операторовъ, достопо-
чтенному старцу Крушинскому, который въ свою
очередь объявилъ выговоръ помощнику своему
Штейнгреберу. Надо замѣтить, что ржондъ на-
родовый вообще чрезвычайно любилъ подражать
всѣмъ формальнымъ канцелярскимъ порядкамъ
настоящихъ правительствъ и не скупился на
циркуляры, указанія, предписанія и выговоры
по всѣмъ своимъ нисходящимъ инстанціямъ.
Вся эта комическая пародія продѣлывалась съ
большою аккуратностью и замѣчательнымъ по-
стоянствомъ.

Жидокъ Штейнгреберъ, въ свою очередь, при-
налегъ на пана Биртуса и объявилъ, что если
дѣло пойдетъ и далѣе такимъ образомъ, то имъ
перестанутъ выплачивать жалованье.

Нумеръ Тришдесенты со дня своей присяги
началъ получать жалованье по три золотыхъ и
десять грѣшей въ день ¹⁾. На эту сумму онъ
могъ быть и сытъ и пьянъ ежедневно. Теперь
ему убавили содержаніе ровно на половину, такъ
что мальчонка долженъ былъ дѣлать выборъ:
или быть сытымъ, или быть пьянымъ, но со-
вмѣстно и то и другое стало уже для него недо-
ступно. Это огорчающее обстоятельство должно
было возбудить его энергію и рѣшимость; по-
тому-то подобныя мѣры и принимались всегда
противъ недостаточно-энергичныхъ кинжалыщи-
ковъ. Прошло еще дня три, исправительная
мѣра не подѣйствовала: Хвалынцевъ былъ живъ
и преспокойно продолжалъ показываться на
улицахъ. Нумеру Тришдесенту совсѣмъ пере-
стали платить жалованье. Это обстоятельство
обрекало его на дѣйствительный и безвыходный
голодъ. А тутъ еще паятъ Биртусъ объявилъ, по
приказанію шефа операторовъ, что если Нумеръ
Тришдесенты черезъ три дня послѣ настоящаго
объявленія не исполнитъ порученнаго ему при-
говора, то надъ нимъ самимъ будетъ исполнена
смертная казнь, какъ надъ ослушникомъ свя-
щенной воли народнаго трибунала. Поставлен-
ный въ безвыходное положеніе, съ одной стороны,
крайнимъ голодомъ, а съ другой—этой нешуточ-
ной угрозой, Нумеръ Тришдесенты увидѣлъ, что
какъ ни кинь, все клинъ выходитъ: убьешь Хва-
лынцева—повѣсятъ, не убьешь его—задушатъ,
и въ послѣднемъ случаѣ даже вѣрнѣе, чѣмъ въ
первомъ, потому что тамъ еще есть надежда
скрыться да и свои помогутъ, а тутъ ужъ нигуда
не скроешься и никто не окажетъ помощи. Ему
не оставалось никакого выбора, а при этомъ еще
Биртусъ соблазняетъ, что если, молъ, испол-
нишь казнь, то получишь пятнадцать золотыхъ
въ награду за работу и снова жалованье вы-
давать стануть. И вотъ, побуждаемый голо-
домъ и страхомъ наказанія, мальчонка рѣ-
шается дѣйствовать на-удалую.

Подъ вечеръ забрался онъ на лѣстницу, ко-

торая вела въ квартиру Хвалынцева, и рѣ-
шился дѣйствовать на-авось: если накроютъ
его прежде, чѣмъ онъ успѣетъ исполнить свою
«работу», значитъ, ужъ такъ ему на роду на-
писано пропадать. Онъ забился въ самый тем-
ный уголокъ подъ лѣстницей и, присѣвъ на
корточки, ждалъ появленія своей жертвы. По
его предположенію, Хвалынцевъ послѣ обѣда
долженъ будетъ вернуться домой, такъ, по
крайней мѣрѣ, уже нѣсколько разъ случалось
во время его наблюденій. Но вотъ бѣда, если
вернется не одинъ, а съ кѣмъ-нибудь изъ то-
варищей... У бѣднаго мальчонки, отъ этого
предположенія даже мураши по спинѣ побѣжали,
и онъ началъ горячо молиться, чтобы дѣло его
обошлось удачно, чтобы все устроилось такъ,
какъ слѣдуетъ. Время ожиданія было мучи-
тельно. Нѣсколько разъ по лѣстницѣ подыма-
лись и спускались какіе-то люди, жильцы этого
дома, и несчастный мальчонка жался глубже
въ свой уголокъ, крестясь и трепеща, чтобы его
какъ-нибудь не открыли.

Но вотъ послышались чьи-то твердые шаги
и лязгъ сабли. Сердце кинжалыщика забилося
чаще и сильнѣе. Онъ прислупался: судя по
звуку, это шаги одиночные. Притаившійся маль-
чонка далъ вошедшему подняться на нѣсколько
ступеней, и затѣмъ, торопливо крестясь, какъ
кошка, неслышно выскочилъ изъ-подъ лѣст-
ницы и на цыпочкахъ побѣжалъ въ догонку за
подымавшимся человекомъ. Въ снѣгахъ настоль-
ко уже господствовалъ сумракъ, что издали раз-
глядѣть черты лица было невозможно.

— Принепрашамъ пане! ¹⁾ робко произнесъ
кинжалыщикъ, остановивъ того на первой пло-
щадкѣ и стараясь разглядѣть физиономію.

— Чтѣ такое? — едва успѣлъ проговорить
остановленный, какъ вдругъ:

— По декрету трибунала! — воскликнулъ
узнавшій его кинжалыщикъ, съ размаху вонзя
свое оружіе въ стоявшаго предъ нимъ чело-
вѣка и опрометью, чуть не кубаремъ, кинулся
съ лѣстницы.

Дверь подъѣзда хлопнула, и убійца скрылся
изъ виду.

— Держи!.. лови!—что есть мочи закричалъ
Хвалынцевъ и бросился въ догонку. Выбѣжавъ
на тротуаръ, онъ успѣлъ еще замѣтить, какъ
какой-то человекъ бѣжалъ въ лѣвую сторону,
но въ ту-жъ минуту Константину показалось,
что убѣгавшій не то юркнулъ въ какія то во-
рота, не то просто провалился сквозь землю.
Однимъ словомъ, кинжалыщикъ въ ту-жъ ми-
нуту исчезъ у него изъ глазъ. Константинъ,
продолжая бѣжать, вдругъ почувствовалъ у
себя въ лѣвомъ плечѣ, около ключицы, какую-
то острую боль, до того сильную, что въ гла-
захъ у него помутилось. Онъ сдѣлалъ надъ
собою послѣднее усиліе, но успѣлъ только вы-

¹⁾ Пятьдесятъ копеекъ

¹⁾ Извините судары!

крикнуть еще разъ что-то неясное, зашатался и грохнулся почти безъ чувствъ на мостовую.

Люди проходили мимо, но не останавливались. Люди варшавские въ то время очень хорошо уже знали, что такое значить, если на улицѣ лежитъ человѣкъ, истекающій кровью. Иные изъ нихъ только косились на то мѣсто, гдѣ лежалъ онъ, и торопились уйти подальше, другіе же, на мгновеніе приостановясь около тѣла, плевали въ его сторону и, проворчавъ что-нибудь въ родѣ «пся кровь» или «пся юха», съ выраженіемъ ненависти, проходили мимо. Никто не нагнулся, чтобы подать помощь, никто не кинулся на розыски убійцы.

Полякъ-полицейскій, котораго прохожіе оповѣстили, что въ нѣсколькихъ шагахъ лежитъ какой-то раненый, неторопливо приблизился къ Хвалынцеву, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ и подаль призывный свистокъ сосѣдному дозорцу. Черезъ минуту подошелъ другой полицейскій, посоветовался съ товарищемъ какъ быть и что дѣлать, подумалъ, покачалъ головой и догадался, что надо бы позвать доктора. Поговорили, стоятъ ли еще ходить за докторомъ; но рѣшили, что неравно начальство, спросить зачѣмъ не исполнили этого, и потому въ огражденіе себя «съ легальной стороны», одинъ изъ полицейскихъ стукнулся въ дверь врача, проживавшаго въ нѣсколькихъ шагахъ по сосѣдству. Врачъ-полякъ, узнавъ, что помощь его нужна раненому кинжальщикомъ, отказался подъ предлогомъ собственной болѣзни, другой же польскій врачъ, къ которому послѣ этого поспѣшилъ полицейскій, сказалъ просто, что ему нѣтъ дѣла и нѣтъ времени для этого. Пришлось бѣжать въ казармы и отыскивать русскаго военного доктора.

Полуобморочное состояніе Хвалынцева продолжалось не долго. Оно было болѣе слѣдствіемъ внезапнаго испуга и потрясенія, чѣмъ опасности самой раны. Черезъ двѣ-три минуты Константинъ уже пришелъ въ себя и, съ помощью дозорца, поднялся на ноги. Подошли двое солдатъ, случайно проходившихъ мимо. Одинъ изъ нихъ оказался однополчаниномъ Хвалынцева и узналъ его. Онъ тотчасъ же кинулся оповѣстить двухъ товарищей Константина, жившихъ по сосѣдству, и побѣжалъ за полковымъ докторомъ. Между тѣмъ полицейскій, съ помощью другого прохожаго солдата, внесъ раненаго въ помѣщеніе ближайшей еврейской лавочки, чтобы оградить его отъ празднаго любопытства толпы, которая стала собираться тотчасъ же, чуть лишь замѣтила присутствіе дозорца на мѣстѣ происшествія. Въ числѣ любопытныхъ между прочимъ присутствовалъ и панъ Биртусъ, поджидавшій въ одной изъ ближайшихъ *баварій* результатовъ «работы» Нумера Тридцатого. Теперь онъ стоялъ съ самымъ невиннымъ и даже сострадающимъ видомъ, покачивая головою и какъ бы про

себя приговаривалъ въ полголоса: «Ай, Іезусть-Марія! оттожь лайдаки! Яка шкода, ай-ай-ай!.. От-то пршекленты»...

Черезъ нѣсколько минутъ приближали двое товарищей Хвалынцева, а за ними, спустя малое время, появились одинъ за другимъ и двое военныхъ врачей, привезенныхъ изъ разныхъ мѣстъ солдатомъ и полицейскимъ. Немедленно обмыли кровь и осмотрѣли рану, которая оказалась хотя и опасной, но далеко не смертельной. Рука убійцы была не вѣрна, да и толстая шинель Хвалынцева тоже оказалась нѣкоторую защиту. Поражено было плечо отъ ключицы къ лопаткѣ, но, къ счастью, легкое осталось не задѣто. Больному наскоро сдѣлали первую перевязку и, осторожно положивъ въ наемный экипажъ, перевезли его въ Уздовскій госпиталь, съ которымъ онъ еще такъ недавно разстался.

* * *

Въ мѣстныхъ кружкахъ русскаго общества всѣ были возмущены и изумлены этимъ покушеніемъ. Никто не понималъ, что за дѣла могла быть у убійцы въ этомъ случаѣ, и чѣмъ могъ Хвалынцевъ навлечь на себя такую кару народоваго ржонда. Толковали разное: одни говорили, что это была не болѣе какъ простая проба кинжала, который надо же было испытать на комъ-нибудь, а Хвалынцевъ случайно подвернулся подъ руку, и только; другіе передавали слухи, будто Центральныи Комитетъ рѣшилъ нападать подобнымъ образомъ на всѣхъ военныхъ и русскихъ безъ разбора и безъ исключенія; третьи увѣрили, что ударъ былъ направленъ въ Хвалынцева по ошибкѣ, а предназначался совсѣмъ для другого лица; словомъ, толковъ и разговоровъ въ первое время было множество.

Ожидали чѣмъ-то и какъ разъяснится смыслъ этого нападенія революціоннымъ «начальникомъ мяста» въ подпольномъ «Рухѣ»; но официалъный органъ подземнаго ржонда о случаѣ съ Хвалынцевымъ хранилъ упорное и глубокое молчаніе.

У ржонда были на это свои основательныя причины.

Панъ Биртусъ, терпѣвшій въ толпѣ и присутствовавшій у дверей еврейской лавочки все время, пока докторъ производили тамъ осмотръ раны, наблюдалъ и слушалъ, что говорится вокругъ по этому поводу. Слухъ о томъ, что рана вовсе не смертельна, не замедлилъ тотчасъ-же распространиться въ ожидавшей толпѣ черезъ хозяевъ лавочки и черезъ того-же полицейскаго дозорца, который присутствовалъ при осмотрѣ. Съ донесеніемъ объ этомъ прискорбномъ обстоятельстве, Биртусъ, какъ только повезли Хвалынцева въ госпиталь, сейчасъ-же отправился къ Штейнгреберу. Тотъ доложилъ шефу, и на другое утро послѣдовало экстренное засѣданіе трибунала для того, чтобы провѣрить и обсудить это обстоя-

тельство. Игнатій Трушинскій поѣхалъ навести справку и привезъ извѣстіе, что дѣйствительно рана сама по себѣ отнюдь не угрожаетъ смертію, если таковая не послѣдуетъ отъ какой-нибудь побочной причины. Достопочтенный Крушинскій по этому поводу приказалъ Штейнгреберу, чтобы неловкому кинжальщику непременно было дано двадцать горячихъ бизуновъ¹⁾, для науки, дабы на будущее время работалъ чище. А между тѣмъ поднялся вопросъ: какимъ образомъ объявить въ «Рухъ» о не вполне удавшейся экзекуціи? Ржондъ народовой имѣлъ обыкновеніе опубликовывать приговоры своего трибунала уже послѣ ихъ исполненія. Это дѣлалось для пушей вѣрности и безопасности, чтобы не попасть впросакъ, напечатать: человекъ казненъ, тогда какъ онъ еще здравствуетъ. Ржондъ понималъ, что такіе промахи вели бы къ ослабленію его террорическаго авторитета. Шефъ операторовъ въ данномъ случаѣ былъ того мнѣнія, что слѣдуетъ напечатать полный приговоръ, въ томъ видѣ, какъ онъ постановленъ трибуналомъ, съ примѣчаніемъ, что казнь исполнена тогда-то, и не вдаваться въ объясненія о неполной удачѣ кинжальнаго удара. Но Василій Свитка съ этимъ мнѣніемъ не соглашался изъ опасенія за свою шкуру. Онъ зналъ, что разъ это будетъ напечатано, русское правительство тотчасъ-же схватится за Хвалынцева, подыметъ новое слѣдствіе, и какъ знать! быть-можетъ Хвалынцевъ, озлобленный ударомъ кинжала, выдастъ и самого Свитку, и Паланицу, и многихъ другихъ изъ лицъ, прикосновенныхъ къ дѣлу, а это уже грозитъ серьезной опасностью центральной организаціи, тогда какъ теперь, изъ чувства самосохраненія, онъ, понятное дѣло, молчитъ о томъ, что самъ при-

надлежалъ къ заговору. Остальные члены нашли мнѣніе Свитки вполне основательнымъ.

— Въ такомъ случаѣ можно извиниться и сообщить, что ударъ нанесенъ по ошибкѣ, предложилъ Трушинскій.

— Нѣтъ, ужъ по моему лучше вовсе промолчать, чѣмъ извиняться и признавать свои ошибки!—порѣшилъ ксендзъ Микошевскій—и все безусловно согласился съ его мнѣніемъ.

Такимъ-то образомъ «Рухъ» и не обмолвился ни единымъ словомъ о казни Хвалынцева.

Но хотя «Рухъ» и молчалъ, а толки о происшествіи все-таки продолжались, и въ виду этихъ толковъ, Паланица съ Добровольскимъ да и самъ Свитка чувствовали себя не совсѣмъ-то хорошо. Ихъ одолевало опасеніе: а что, какъ вдругъ Хвалынцевъ добровольно принесетъ признаніе въ своей винѣ, рассчитывая на то, что правительство приметъ во вниманіе его разрывъ съ революціей и его рану, и потому положить ему легкое наказаніе, да и схватится за всѣхъ его соучастниковъ, скрывать которыхъ теперь Хвалынцеву нѣтъ никакого расчета, а напротивъ, есть полный расчетъ выдать ихъ всѣхъ головою? Это предположеніе казалось имъ очень основательнымъ и потому пугало не на шутку. Хотя панъ Нумеръ Тридесетый и получилъ свои двадцать бизуновъ, но отъ этого было не легче ни Свиткѣ, ни Паланицѣ, ни Добровольскому. Черезъ день, Василій Свитка, съ однимъ изъ своихъ фальшивыхъ, но вполне «законныхъ» паспортовъ, катилъ уже по желѣзной дорогѣ въ Литву, а еще черезъ день о Паланицѣ съ Добровольскимъ въ полковомъ приказѣ было объявлено, что они исключаются изъ списковъ, какъ пропавшіе безъ вѣсти. Оба на время бѣжали изъ Варшавы.

ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

«Do bronii!»

Смутно и мрачно истекали послѣдніе дни 1862 года. Поляки торопились разыграть послѣдній актъ своей нескончаемой драмы, а мѣра,

предложенная маркизомъ Велепольскимъ только помогла имъ ускорить это кровавое окончаніе. Въ видахъ «умиротворенія» края, онъ придумалъ административную мѣру, которая, въ сущности, не могла принести правительству никакой пользы, но зато до крайности раздражила городское населеніе и, можно сказать, поторопилось додразнить его до взрыва, который и безъ

¹⁾ Плетей.

того былъ неизбеженъ. Этой мѣрой явился рекрутскій наборъ, произведенный не обычнымъ порядкомъ, а по выбору полиціи, которая забирала въ солдаты личностей «подозрительныхъ и неблагонадежныхъ въ политическомъ отношеніи». Крестьяне-собственники и вообще хлѣбопашцы были избавлены отъ рекрутчины, зато разные челядинцы, мелкая шляхта, ремесленники, городскіе пролетаріи сдѣлались главною цѣлью набора. Цѣль же была та, чтобъ изъятіемъ изъ общественной среды «безпокойныхъ личностей» не допустить Край до возстанія. Мѣра была и не легальна, и бесполезна уже потому, что одна, сама по себѣ, она никоимъ образомъ не могла ни предотвратить возстанія, ни измѣнить его характеръ. Если бы у маркиза было желаніе «ускорить» взрывъ, съ тѣмъ, чтобы поскорѣе задупить революцію, то это одно могло-бы еще, пожалуй, хоть на сколько нибудь служить — не говорю «оправданіемъ», но — достаточнымъ объясненіемъ придуманной мѣры. Какъ-бы то ни было, въ результатъ онъ навлекъ на насъ одинъ только лишній и тяжелый упрекъ со стороны общественнаго мнѣнія Европы. А на нашу голову и безъ того сыпался тогда градъ упрековъ...

По Варшавѣ, да и по всему Царству Польскому, уже въ декабрѣ ходилъ слухъ, что лицъ, отмѣченныхъ въ наборъ, будутъ забирать по цѣлому Краю въ ночь съ 14 на 15-е января 1863 года. Паническій страхъ обуялъ на первое время значительную часть молодежи. Одни торопились распродать что было поцѣненное изъ вещей и бѣжать за границу, въ Галицію, гдѣ уже были сдѣланы всѣ приготовленія къ формированію бандъ, другіе кинулись къ «довудцамъ» и «организаторамъ» за совѣтомъ и покровительствомъ. Но тѣ и сами на первые дни потеряли головы, тѣмъ болѣе, что въ самомъ «ржондѣ» въ это время господствовали сильные раздоры и несогласія между комитетами: центральнымъ, бѣлымъ и краснымъ. Общія фразы: «Мы васъ не выдадимъ, мы защитимъ васъ», заключали въ себѣ мало утѣшительнаго: завербованные въ «бойцы свободы» требовали болѣе положительнаго указанія, но на ихъ домогательства доводцы давали двусмысленный отвѣтъ: «Сидите дома, это москали все только врутъ, ничего не будетъ! А еслибы васъ и забрали, то Комитетъ выручитъ!» Въ виду такой неопредѣленности, всѣ, кто чувствовалъ себя такъ или иначе скомпрометированнымъ, порѣшили: въ ночь съ 14-го на 15-е января не оставаться дома, чтобы такимъ образомъ спрятаться хоть на первое время, а тамъ — что Богъ дастъ и что ржондъ укажетъ!

Въ минуту этой паники Центральный Комитетъ почувствовалъ, что вліяніе его на массы начинаетъ колебаться, и потому рѣшился немедленно же вызвать вооруженное возстаніе, не дожидаясь пока совершится наборъ, и именно съ цѣлью предупредить эту мѣру. Въ виду та-

кой опасности, ему удалось, наконецъ, покорить себѣ и бѣлыхъ, и красныхъ, послѣ чего была выпущена пламенно написанная прокламація, призывавшая всѣхъ поляковъ «do broni», то есть къ оружію, внушая, что тотъ, кто хочетъ истинно служить Богу и отечеству, долженъ отнынѣ дѣйствовать огнемъ и мечемъ. Въ то же время подъ рукою было пушено въ «десятки» секретное приказаніе уходить тайкомъ «до лясу», а сборными пунктами для варшавскихъ выходцевъ назначены ближніе лѣса Кампиноскіе, Сѣроцкіе и Насельскіе. Въ этихъ лѣсахъ безоружные выходцы, получившіе при отправленіи по двѣ, по три злотувки на дорогу, должны были ожидать дальнѣйшихъ распоряженій. Выходить назначено было черезъ Петербургскую заставу или чрезъ Шмудѣвскую къ Радзиминову. Лозунгъ при этомъ былъ слѣдующій:

— Нѣхъ бендзе похвалены Езусъ Христусъ! ¹⁾

— И на вѣки вѣкувъ. Аменъ. А куда Богъ несетъ?

— На добре праце. ²⁾

Уходили обыкновенно подъ вечеръ, въ сумерки, отправляясь изъ домовъ по-одиночкѣ, или подъ-руку съ «воханкой» и таща на палькѣ узелокъ съ колбасами, булками и водкой. Но за «рогатками» скопilasъ уже цѣлая толпа этихъ выходцевъ. «Коханки» провожали ихъ за заставу, гдѣ, раздѣливъ послѣднюю закуску съ друзьями, возвращались въ городъ уже одиноки, а друзья цѣлыми партіями, цѣлыми толпами ежедневно направлялись по дорогѣ къ Сѣроцку. Полицейскіе чиновники изъ поляковъ, приставленные у «рогатокъ», никогда не останавливали и не задерживали этихъ путешественниковъ. Да и вообще, законныя власти, благодаря все тому же маркизу Велепольскому, не препятствовали имъ уходить, потому что — какъ говорили — маркизъ увѣрялъ, будто зимній холодъ и голодъ заставятъ этихъ господъ скорѣе возвратиться въ Варшаву.

Ровно въ полночь съ 10-го на 11-е января (22—23), по многимъ городамъ и мѣстечкамъ цѣлаго Края вдругъ раздался роковой ударъ призывнаго колокола. Это былъ заранѣе условленный сигналъ, по которому вездѣ и повсюду одновременно должно было вспыхнуть всеобщее возстаніе. Изъ этой полночи ржондъ задумалъ сдѣлать новую Вареломеевскую ночь для русскихъ. И едва раздался удары призывнаго колокола, какъ въ разные города и мѣстечки ворвались вооруженныя банды. Инсургенты вламывались въ дома, гдѣ по-одиночкѣ жили на постой русскіе солдаты, и убивали ихъ сонныхъ, въ постели. Съ нѣкоторыми же изъ захваченныхъ въ плѣнъ поступали варварски: выкалывали глаза, вырѣ-

¹⁾ Да будетъ препрославленъ Иисусъ Христосъ.

²⁾ На хорошую работу.

звали языкъ, обрубали уши, а въ селеніи Стокъ, близъ Сѣдлеца, гдѣ нѣсколько солдатъ Костромскаго пѣхотнаго полка заперлись въ жильѣ и защищались отсюда съ рѣдкой отвагой, повстанцы, не имѣвшие мужества одолѣть ихъ открытой силой, подожгли жильѣ и живьемъ сожгли не сдававшихся русскихъ. Рядъ подобныхъ жестокостей и это коварство ночного нападенія на сонныхъ и безоружныхъ сразу же поселили въ солдатахъ непримиримую злобу къ полякамъ.

Черезъ нѣсколько дней телеграфъ повсюду разнесъ вѣсть о новой Вареоломеевской ночи, и вся Россія, все, что было въ ней честнаго и русскаго, дрогнуло отъ негодованія. Одинъ только «Колоколъ» наперекоръ фактамъ, не переставалъ цинически-настойчиво увѣрять, будто «самое замѣчательное состоитъ въ томъ, что этой Вареоломеевской ночи не было, и не только не было, но само собою разумѣется, что о ней никогда никто, кромѣ полицейскихъ композиторовъ, и не думалъ». ¹⁾

Мрачно и жалко было начало возстанія въ дни, предшествовавшіе этой роковой полночи. Еще съ 10-хъ чиселъ декабря варшавскіе выходцы стали наполнять Кампиносскіе и Насельскіе лѣса. Послѣдніе были въ особенности удобны для побродячества, потому что они очень обширны, трупобисты, и, занимая пространство болѣе чѣмъ во сто верстъ, тянутся къ самой прусской границѣ. Въ эти-то глухія дебри и уходили по преимуществу варшавяки. Безъ теплой одежды и обуви, безъ денегъ, безъ провіанта и безъ оружія, жалкія, голодныя и холодныя партіи ютились кое-какъ на снѣгу, или въ слякоти подъ кустами да подъ корчами лѣснаго бурелома, пугаясь cadaго пороха, cadaго лѣснаго звука, въ которыхъ имъ все чудилось приближеніе москалей, казаковъ или «черкесовъ». ²⁾ Къ этимъ несчастнымъ партіямъ наѣзжали иногда на короткое время изъ Варшавы «делегаты ржонда» и будущіе «довудцы», и тогда къ пріѣзжимъ со всѣхъ сторонъ сыпались безконечныя жалобы: такой-то не получилъ водки при раздачѣ, тотъ колбасы требовалъ, тотъ хлѣба и сапогъ, этотъ просилъ теплую фуфайку, и всѣ вообще обвиняли отряднаго «ржондцу» и интенданта въ покражѣ нѣсколькихъ рублей съ копейками, такъ какъ панъ интендантъ купилъ только водки, колбасы и хлѣба, а пива не покупалъ. Гости укоряли «ржондцу» въ недостаткѣ патриотизма, и утыпали толпу тѣмъ, что въ свое время предадутъ его военному суду, а голодныхъ и босыхъ увѣщевали подождать терпѣливо до вечера или до завтра. Во избѣжаніе казачьихъ поисковъ, партіи эти не залежива-

лись подолгу въ однѣхъ и тѣхъ же берлогахъ, а перекочевывали ежедневно на новыя логовища. Эти перекочевки исполнены были всяческихъ тревогъ: въ каждомъ мѣстѣ напуганное воображеніе видѣло казака, и потому сторожевые ведеты то и дѣло положили двигающуюся партію ложными извѣстіями о появленіи москалей. При каждомъ подобномъ извѣстии, происходилъ переполохъ ужасный: одни кидались ломать сучья и вооружались ими, другіе прятались въ кусты, третьи спѣшили-удирать куда глаза глядятъ, и всѣ вообще отказывались отъ всякаго повиновенія, да и повиноваться-то, по большей части, было некому, такъ какъ импровизованные офицеры сгѣпили первыя удрасть и спрятаться подальше, при вѣсти о москалѣ. Такимъ образомъ, эти безоружныя и голодныя банды таяли болѣе чѣмъ на половину еще до встрѣчи съ противникомъ, который и не думалъ пока двигаться на поиски. Наконецъ, ропотъ на голодъ, холодъ и безоружность достигъ до Центрального Комитета, гдѣ нашли, что необходимо поддержать мужество и бодрость «бойцовъ свободы», и потому снова направили въ лѣса комитетскихъ делегатовъ, на сей разъ «уполномоченныхъ» объявить, что хотя пока еще и нѣтъ оружія, но оно хранится въ Плонскѣ, Плоцкѣ, Невиклѣ и въ другихъ мѣстахъ въ большомъ количествѣ, гдѣ и помѣряемся съ противникомъ; о маршрутахъ, молъ, уже позаботились, проводники уже готовы, и на каждомъ привалѣ будетъ вдоволь водки, пива, хлѣба и мяса. Бойцы свободы кричали: «vivat!» и шли скитаться въ новыя дебри, гдѣ однако не оказывалось ни проводниковъ, ни водки, ни хлѣба. Въ это время у Центрального Комитета не было еще составлено никакого военнаго плана: точно также какъ и въ лѣсахъ, тамъ еще шла пока невообразимая безтолочь и безурядица; время тратилось въ борьбѣ съ бѣлыми, которые умоляли отложить нѣсколько возстаніе, и съ красными, которые настаивали на томъ, чтобы направить безоружныя банды на Модлинъ и приказать имъ взять во что бы то ни стало Новогеоргиевскую крѣпость. Но наконецъ Комитетъ одолѣлъ, и тогда-то были присланы въ банды доводцы, но увы!—многіе изъ нихъ, одолѣваемые жалобами своихъ подчиненныхъ и въ страхъ за собственную свою шкуру, тайкомъ удирали отъ вѣранныхъ имъ отрядовъ, оставляя людей на произволъ судьбы, и скрывались у сосѣднихъ помѣщиковъ, гдѣ вдесять предавались упоенію толковъ о будущихъ побѣдахъ и ухаживанію за паненками. Нерѣдко случалось, что, среди такого времяпровожденія, покинутыя банды, случайно набредя на какой-нибудь панскій фольваркъ, отыскивали тамъ своего бѣглаго доводцу, который при этомъ воспламенялся патриотическимъ жаромъ, говорилъ имъ пламенные спичи, поилъ ихъ на да-

¹⁾ «Колоколъ» 1863, №№ 157 и 158.

²⁾ Кавказскіе казаки варшавскаго конвойнаго дивизиона издавна извѣстны у поляковъ подъ именемъ черкесовъ.

ровщину панской водкой и, при первой же удобной минутѣ, спѣшилъ вновь задать тайкомъ «драпака» отъ своего докучнаго воинства.

Но вотъ въ Комитетѣ, одолѣвшемъ своихъ противниковъ, нравственно занялъ первое мѣсто энергичный и необычайно дѣятельный Стефанъ Бобровский, а въ лѣса «варшавскаго отдѣла» отправился офицеръ русскихъ войскъ Сигизмундъ Падлевскій, пріятель Бобровскаго, не менѣе его дѣятельный и энергичный, чело-вѣкъ несомнѣннаго мужества, отчаянный, рѣшительный, съ сильной волей и деспотиче-ски-диктаторскими замашками. Эти два лица мигомъ перевернули по-своему все дѣло: яви-лись и «довудцы», явилось и оружіе, хотя и не въ такомъ количествѣ, какъ обѣщалось, и вотъ, первымъ и довольно быстрымъ послѣд-ствиемъ свершившагося переворота было напа-деніе на сонныхъ москалей, подъ звуки полу-ночного набата.

Но эта первая попытка, несмотря на всю ея внезапность, повсюду почти была отбита съ урономъ для поляковъ; роты русскихъ сол-датъ успѣли въ порядкѣ отступить въ мѣста своихъ полковыхъ штабовъ, поплатясь, конечно, каждая нѣсколькими людьми, которыхъ инсургентамъ удалось прирѣзать въ постели или захватить и изуродовать. Послѣ этого по-встанцы разсѣлись по всему Краю во множе-ствѣ мелкихъ партизанскихъ бандъ, которыя портили желѣзные дороги, рвали телеграфныя проволоки, грабили почтовые мальпосты и уби-вали проѣзжихъ, если тѣ имѣли на себѣ рус-скую военную форму. Едва приближались рус-скія войска, которыя небольшими подвижными колоннами по всеѣмъ направленіямъ искрещивали Край, повстанскія банды разсыпались, не дожидаясь боевой встрѣчи, съ тѣмъ чтобы тот-часъ же собраться вновь въ тылу прошедшей колонны. Если русскіе случайно натыкались на подобную банду, то какая-нибудь двадцати-минутная перестрѣлка рѣшала дѣло, и поляки вразсыпную искали себѣ спасенія въ бѣг-ствѣ. Хотя зима въ этомъ году стояла теплая, такъ что, напримѣръ, 15-го января въ Вар-шавѣ доходило до десяти градусовъ тепла, да и Висла всю зиму не замерзала, тѣмъ не ме-нѣе городскіе обыватели, составлявшіе главную силу бандъ, были далеко не привычны къ трудамъ и лишеніямъ бивуачной скитальче-ской жизни. Поэтому до начала марта парти-занскія дѣйствія шли вообще очень вяло и безсвязно. Главная задача состояла не въ томъ, чтобы драться, а въ томъ лишь, чтобы утомлять русскія войска безплодными поисками и демонстрировать предъ Европой газет-ными извѣстіями, что банды, молъ, есть и держатся, и дерутся, и уничтожить ихъ не-возможно. Но вотъ пахну́ли первые дни вес-ны—и возстаніе оживилось.

II.

Генералъ-довудца и его штабъ въ прадѣ-довскомъ замкѣ.

Въ одной изъ лѣсныхъ мѣстностей Авгу-стовскаго уѣзда, на крутомъ и обрывистомъ бе-регу Нѣмана, изрытомъ извилистыми и глубо-кими оврагами, поросшими кудрявою расти-тельностью, возвышается въ пустынномъ уеди-неніи старинный родово́й замо́къ графовъ Мар-жецкихъ. Толстыя кирпичныя стѣны этого дома, воздвигнутыя еще въ XVII вѣкѣ, не разъ под-вергались потомъ по частямъ наружной реста-враціи: вотъ башня, сохранившая еще и доселѣ свой первоначальный старо-польскій стиль, а рядомъ съ ней какая-то пристройка совершенно въ голландскомъ родѣ, далѣе—главный фасадъ съ большимъ крыльцомъ во вкусѣ «Рококо», возобновленный въ прошломъ столѣтіи; тутъ же и домашняя капелла, греческій фронтонъ, ко-торый явно указываетъ на время ея реставра-ціи въ началѣ нынѣшняго XIX вѣка; домаш-нія службы и хозяйственныя постройки, раз-бросанныя вокругъ, но нѣсколько поодаль отъ замка, строены уже безъ всякаго стиля, а про-сто себѣ такъ, какъ обыкновенно строятся онѣ на Литвѣ и въ Польшѣ. Длинная аллея вѣко-выхъ пирамидальныхъ тополей ведетъ къ ка-меннымъ воротамъ, за которыми раскинулся широкій дворъ, примыкающій къ главному ли-цевому фасаду. Противоположная сторона зам-ка, обращенная къ рѣкѣ, вся прячется въ ку-пахъ липъ, и вязовъ, и кленовъ стариннаго сада, который по двумъ оврагамъ красиво собъ-гааетъ къ самому Нѣману. Это уединенное мѣ-сто исполнено дикой прелести. Противный бе-регъ, и вправо, и влѣво, и въ глубину, на не-образимое пространство величаво поросъ вѣко-вѣчной дремучей пущей, которая темной тѣнью угрюмо опрокинулась въ Нѣманъ и кажется издали темносиней зубчатой стѣной, — такой характеръ контуровъ придаютъ ей остроконач-ныя верхушки высокихъ сосенъ и елей.

Графиня Цезарина весну этого года про-водила въ родовомъ замкѣ своего сосланнаго супруга.

Быль девятый часъ вечера. Заходящее сол-нце обливало розовымъ золотомъ старую бѣло-сѣрую башню и зарѣчныя лѣсныя вершины. На Нѣманѣ легкій, прозрачный туманъ подымался. Въ это время стояли уже ясные, чудные дни мая мѣсяца.

На половинѣ графини только-что начинали зажигать лампы. Въ старинной, но очень кра-сивой и комфортабельной гостиной, украшенной портретами прабабушекъ и старо-польскихъ дѣдовъ сгруппировалось вокругъ хозяйки не-большое общество. Всѣ сидѣли у раскрытыхъ оконъ, выходившихъ въ садъ, откуда въ яр-

кихъ раскатахъ доносилась переключка при-нѣманскихъ соловьевъ, мелодическіе высвисты чернаго дрозда и нѣжные стоны иволги.

Графиня Цезарина, придвинувъ къ себѣ рабочий столикъ, собственноручно прилаживала ярко-пунцовый плюмажъ изъ страусовыхъ перьевъ въ красивой бѣлой конфедераткѣ. Предъ нею лежала металлическая кокарда, которая долженствовала красоваться на той же конфедераткѣ у основанія плюмажа. Это была кокарда польскихъ «несмертельныхъ», то-есть безсмертныхъ уланъ, и потому изображала собой рельефную *Адамову голову* надъ двумя скрещенными костями. За кресломъ графини, немного сбоку и чуть-чуть облокотясь на его спинку, сидѣлъ высокій, статный и очень красивый молодой человѣкъ, въ какой-то предупредительной позѣ, будто «на чеку», будто весь готовый кинуться куда угодно по первому слову, по первому взгляду прелестной женщины, — сидѣлъ и, просто, впи-вался въ нее восторженно-влюбленными глазами. Противъ Цезарины, покойно и безцеремонно погрузясь въ глубокое кресло и смакуя съ ложечки кусокъ мороженаго, возсѣдалъ нѣсколько тучный мужчина, хотя и пожилого возраста, но необыкновенно представительнаго вида, съ характернымъ аристократическо-польскимъ лицомъ, выраженіе котораго дышало гордо-самоувѣреннымъ достоинствомъ и въ то же время благоволивой снисходительностью къ тѣмъ изъ окружавшихъ, которыхъ онъ считалъ ниже себя по общественному положенію. Впрочемъ, эта благоволивая снисходительность отнюдь не относилась у него къ самой хозяйкѣ, на которую онъ поглядывалъ такимъ взоромъ, что въ немъ сказывалась и легкая родственная фамиллярность, и легкая лакомость жирнаго кота, съ какою обыкновенно глядятъ на молодыхъ женщинъ самоувѣренные и бывалые, но уже отставные довеласы. «О! я все знаю, меня не проведешь! И если я уже самъ не могу завоевать тебя, такъ хоть погляжу какъ счастливъ тобою этотъ влюбленный юноша», казалось, говорилъ самодовольный взглядъ бывшаго довеласа. Это былъ двоюродный братъ мужа Цезарины, тоже графъ и тоже Маржецкій — извѣстный Сченский (Феликсъ) Маржецкій, на котораго въ сороковыхъ годахъ заглядывались женщины и въ Петербургѣ, и въ Варшавѣ, и въ Парижѣ. Всю жизнь свою проведя въ сферѣ идеальнаго поклоненія искусству и реальнаго поклоненія красотѣ женщинъ, онъ подъ конецъ своей фланерской жизни растратилъ все свое состояніе и сдѣлался самымъ аристократическимъ демократомъ, аристократическимъ краснымъ... Онъ рисовался, онъ бравировалъ этой ролью графа-радикала, хотя въ сущности не поступился бы ни единою изъ своихъ родовыхъ привилегій, и относился въ душѣ, а иногда и на словахъ, съ величайшимъ

почтеніемъ къ *своему* древнему роду. По его мнѣнію, одни только Маржецкіе были настоящіе, родовитые магнаты — ну, да пожалуй еще Чарторыйскіе съ Замоискими, а прочее все — такъ-себѣ, заурядная аристократія, немножко побольше обыкновенной шляхты. И потому, будучи въ душѣ заклятой «бѣлой костью», онъ, какъ «европейски образованный человѣкъ своего вѣка», считалъ, что вполне имѣетъ право быть демократомъ, если это ему нравится, а тѣмъ болѣе, если это его «позируетъ извѣстнымъ образомъ». Проиравшись окончательно въ рулетку, онъ пріѣхалъ теперь на родину, съ цѣлью «спасать отечество». Это былъ истинный дилетантъ во всемъ, эпикуреецъ, немножко атеистъ, немножко артистъ и поэтъ, и потому не захотѣлъ онъ, подобно другимъ родовитымъ собратамъ своимъ, копаться во тѣмъ подпольной конспираціи и дипломатической интриги. Нѣтъ, какъ истый рыцарь, графъ Сченский Маржецкій пріѣхалъ въ Польшу съ тѣмъ, чтобы выступить противъ врага на борьбу съ открытымъ забраломъ, лицомъ къ лицу, во главѣ своего отряда и съ громкимъ титуломъ доводцы-генерала, въ роли достойной рода Маржецкихъ, которые умѣли нѣкогда драться рядомъ съ Баторіемъ и Собіескимъ.

Третье лицо, державшееся около графа не то чтобы рядомъ и не то чтобы сзади, былъ старый напѣ знакомецъ, эксъ-уланъ, панъ Копецъ. Здѣсь очутился онъ случайно: организованная имъ маленькая банда была разбита въ первой же стычкѣ, а панъ Копецъ, при первыхъ выстрѣлахъ чуть ли не первымъ пустился на-утекъ съ поля битвы, успѣлъ кое-какъ скрыться въ лѣсахъ и, благополучно переправясь черезъ Нѣманъ, явился искать прибѣжища въ замокъ Маржецкихъ. Графъ Сченский, какъ генералъ будущихъ «регулярныхъ силъ» Августовскаго воеводства, великодушно предложилъ у себя пану Коцу должность начальника «всей кавалеріи» и мѣсто своего ближайшаго помощника по хозяйственной части въ «обозѣ»¹⁾ и въ «военномъ совѣтѣ», а пока, въ ожиданіи новыхъ военныхъ подвиговъ, эксъ-уланъ беззаботно проживалъ себѣ «на ласкавемъ хлѣбѣ» у графини Цезарины. Остальные трое мужчинъ, которыхъ Маржецкій называлъ своимъ штабомъ, были: «панъ адъютантъ» Поль Секерко — очень молоденькій, розовый и бойкій мальчикъ изъ хорошей дворянской фамиліи; «панъ капитанъ» — черномазый, угрюмый мужчина, лѣтъ уже сорокъ, избравшій себѣ псевдонимомъ прозвище «Сычъ», что какъ нельзя болѣе подходило къ его характеру, и наконецъ третій, «панъ поручикъ», небогатый и потому скромно державшійся парень изъ мѣстныхъ шляхтичей-чиновниковъ, который на видъ являлъ собой совер-

¹⁾ Обозъ — лагерь.

шенно безцвѣтную личность. Онъ обходился не только-что безъ псевдонима, но даже и безъ собственного имени, а называлъ себя просто «паномъ поручикомъ», и всѣ другіе тоже такъ его называли. Всѣ они красовались теперь въ своихъ шегольскихъ чамаркахъ, позвякивали шпорами, и, безъ всякой надобности, сидѣли при сабляхъ, очевидно необыкновенно гордые и счастливые тѣмъ, что находятся въ высокомъ обществѣ родовитыхъ и богатыхъ магнатовъ. Если прибавить къ этимъ лицамъ еще фигуру капеллана и траурную фигуру пожилой компаньонки, то общество, застѣвавшее въ гостиной графини, будетъ вполне очерчено въ надлежащей рамкѣ.

— О, это будетъ очень красиво, очень эффектно!—съ увлеченіемъ говорилъ статный юноша, сидѣвшій за кресломъ Цезарины.— Вдругъ пѣлый эскадронъ—*«эскадронъ смерти»*: черные съ бѣлымъ значки на пикахъ, черныя чамарки съ бѣлымъ крестомъ на груди, бѣлыя конфедератки съ краснымъ плюмажемъ и эта «трупья глуга»!..

— А кабы къ этому да еще красные плащи!.. Хорошо бы!—рѣшился скромно замѣтить панъ поручикъ, не вполне увѣренный какъ будетъ принято его замѣчаніе.

— О, тогда быто была «адская колонна»!—восторженно замѣтилъ адъютантъ-мальчикъ.— А хорошо бы, въ самомъ дѣлѣ, назвать эскадронъ «адской колонной», или «красными чертами»... а?.. «Красные черти» — ей-Богу не дурно! Въ одномъ названіи уже какая сила и выразительность!

— Нѣтъ, «эскадронъ безсмертныхъ» или «легіонъ смерти» гораздо поэтичнѣе: оно и мрачнѣе, и грознѣе, и внушительнѣе!—возражалъ статный поклонникъ Цезарины.

— Хорошо, — охотно согласился адъютантъ, — но тогда отчего же бы не сдѣлать такъ: одну часть назвать «эскадрономъ безсмертныхъ», другую «легіономъ смерти», третью «адской колонной», а четвертую «красными чертами»; развѣ у насъ не хватитъ людей на всѣ четыре части?

— Панъ ма раціе⁴⁾, — замѣтилъ графъ Сченский, сдѣлавъ адъютанту благосклонное движеніе рукою. — Ваша идея мнѣ нравится! Пожалуйста, заготовьте приказъ объ этомъ и, поскорѣе, на завтра же!

Адъютантъ поднялся съ мѣста и слегка щелкнулъ шпорами, явно желая сдѣлать поклонъ совсѣмъ «по военному».

— Но... вотъ что, — въ покровительственно-начальственномъ тонѣ отнесся къ нему черезъ плечо графъ Маржецкій, — скажите, мой милый, отчего я на васъ не вижу эксельбантовъ?.. Вы, кажется, адъютантъ, а эксельбанты, сколь-

ко мнѣ извѣстно, есть необходимая принадлежность адъютантской формы.

— Мнѣ бы и самому очень хотѣлось, — съ легкой застѣнчивостью залепеталъ вспыхнувшій юноша, — но... я не смѣлъ... я не зналъ, можно ли это...

— Не можно, мой милый, а должно! И вообще, прошу васъ всѣхъ, господа, строжайше соблюдать принятую форму, потому что... это вообще очень важно... Не забывайте, что мы будемъ «партизаны регулярные», это не то что всякій сбродъ... А вы, мой милый помощникъ и интендантъ, — обратился графъ къ пану Коппу, — пожалуйста распорядитесь, чтобы мой факторъ Шмуль завтра же съѣзжалъ въ Августовъ, и — какъ знаетъ, какъ хочетъ, но чтобы непременно привезъ двѣ пары эксельбантовъ... Я желаю, чтобы мой штабъ вообще носилъ эксельбанты. О, красивый мундиръ... это вообще очень, очень много значить и многое придаетъ человѣку!.. Не такъ ли, графиня? Вы, какъ женщина, конечно, вполне понимаете это?

— Мундиръ хорошъ на парадѣ, а мы готовимся къ бою, — мягко замѣтила Цезарина.

— О, конечно такъ! Но неужели вы думаете, что вашъ старый поклонникъ рѣшился бы уйти изъ родового замка графовъ Маржецкихъ, не сдѣлавъ парада въ честь такой прелестной хозяйки и такой патріотки?! Вы будете царицей нашего военного торжества, и я самъ проведу предъ вами мои войска церемониальнымъ маршемъ, самъ буду парадировать во главѣ и отсалютую вамъ моею дѣдовскою саблей... И тѣмъ болѣе, что какъ генераль пѣлаго военного отдѣла, а даже обязанъ — понимаете ли — *обязанъ*, по долгу службы, сдѣлать смотръ всѣмъ моимъ силамъ, прежде чѣмъ поведу ихъ противъ непріятеля... Мы должны взаимно познакомиться, они должны узнать и полюбить своего начальника. Не такъ ли, господа?

Генеральскій штабъ вполне согласился съ мнѣніемъ своего принцепала, потому что, болѣе или менѣе, каждому улыбалась пріятная идея попарадировать красиво на коняхъ предъ графиней и сосѣдними паннами, которыя, подъ предлогомъ воскресной «мши» въ костелѣ, непременно съѣдутся посмотрѣть на «своихъ народныхъ».

— Но жаль, что музыки не будетъ! Парадъ хорошъ при звукахъ воинственной музыки, — опять рѣшился вставить свое скромное слово панъ поручикъ изъ бѣдныхъ шляхтичей.

— Успокойтесь, милѣйшій! Вашъ генераль уже все предусмотрѣлъ и обо всемъ позаботился! — съ благосклонной улыбкой черезъ плечо замѣтилъ графъ своему поручику. — Мой Шмуль сообщилъ какъ-то, что здѣсь по Августовскому повѣту, шатаются какіе-то чехитрубадуры, семь человѣкъ, просто-себѣ странствующие музыканты, и я приказалъ ему поря-

⁴⁾ Резонно, основательно.

дять ихъ за хорошую плату въ мой корпусъ... Надо только придумать этимъ чехамъ соответственную форму... Я займусь этимъ вопросомъ. Мнѣ иногда, послѣ хорошаго обѣда, за доброй сигарой, за рюмкой ликера приходятъ хорошія идеи... будьте спокойны, я непременно займусь этимъ вопросомъ, и навѣрное изобрѣту и придумаю.

Цезарина приладила наконецъ красный плюмажъ, прикрѣпила кокарду и, любуясь на свою работу, подала конфедератку статному красавцу.

— Жозефъ, надѣньте на себя, примѣрьте, — сказала она. — Я хочу посмотреть, какъ къ вамъ идетъ.

Молодой человѣкъ исполнилъ ея просьбу и сталъ предъ ней въ непринужденной, но красивой позѣ, искоса поглядывая на свое изображеніе въ зеркалѣ. Самодовольная улыбка невольно скользила слегка по его губамъ: онъ чувствовалъ, что красивая шапка необыкновенно идетъ къ нему, что онъ очень хорошъ, что на него невольно любятъ всѣ и прежде всѣхъ и болѣе всѣхъ любитъ *она*, его королева. Но почувствовавъ, что нельзя-же долго и безъ нужды оставаться въ шапкѣ, онъ, не безъ внутренняго сожалѣнія, снялъ, наконецъ, свою конфедератку и благодарно поцѣловалъ руку Цезарины.

— Ну-съ, милостивый государь, а вы какъ-же? — шуточно и ласково обратился къ нему Маржецкій, — такъ-таки и не желаете у меня командовать эскадрономъ?

— Оставьте меня, генераль, при моей скромной роли, — вѣжливо уклонился молодой красавецъ; — все-равно я, по обязанности, буду впереди всѣхъ: я понесу знамя, которое дарятъ намъ графиня, и этой завидной доли мнѣ-бы никому не хотѣлось уступить.

— Въ такомъ случаѣ, я ничего не имѣю противъ, оставайтесь нашимъ «хорунжимъ» ¹⁾ и... я увѣренъ, что знамя графини поведетъ насъ къ побѣдамъ... Оно будетъ вдохновлять насъ воспоминаніемъ о лучшей женщинѣ, какую я только знаю на свѣтѣ, а этого одного уже достаточно, чтобы разбить хоть сорокъ, хоть пятьдесятъ тысячъ дрянныхъ москалей. Не такъ-ли, господа? вы согласны?

Лица штаба щелканьемъ шпоръ и легкими кивками изъявили и на сей разъ полное свое согласіе съ принципомъ.

— Треть-бремъ! Плюска! и готово! выпалилъ вдругъ панъ Копецъ, одной рукой направляя усы, а другой описавъ разящее движеніе по воздуху.

— Bravo, мой интендантъ, мой кавалеристъ! bravo! — слегка похлопавъ его по колѣну Маржецкій. — Что мнѣ въ васъ необыкновенно нра-

вится, такъ это ваша прямая старо-польская удалъ.

— Всегда былъ, есть и останусь кавалеристомъ! — снова выпалилъ экзе-уланъ, съ немалымъ самохвалствомъ, которое въ немъ однако всѣ признавали за откровенную прямоту и простоту натуры, свойственную старому рубакѣ.

— Раздѣляю вашу страсть къ кавалеріи, — благосклонно похвалилъ его графъ Сченский. — Полякъ по натурѣ своей рыцарь, человѣкъ благородный, и потому онъ кавалеристъ... Я понимаю, что у насъ никто изъ порядочныхъ людей не хочетъ идти въ пѣхоту: пѣхота это войско рабовъ, войско нѣмцевъ и москалей, а намъ, полякамъ, намъ прирожденно чувство шляхетности, и потому каждый изъ насъ стремится быть кавалеристомъ. Не такъ-ли?

— А я слышалъ, — началъ вдругъ адъютантъ, очевидно стараясь опять навести разговоръ на любимую свою тему, — я слышалъ, что въ корпусѣ Чаховскаго всѣ лица штаба носятъ очень красивые мундиры, эксельбанты, плюмажи и кромѣ того красные панталоны, какъ у французовъ.

— Красные панталоны? Въ самомъ дѣлѣ? — освѣдомился графъ. — А это дѣйствительно должно быть очень красиво... И притомъ красный цвѣтъ — традиціонный цвѣтъ демократизма и революціи, цвѣтъ либеральной Франціи... Parbleu! мнѣ это нравится... въ этомъ есть идея... хорошая демократическая идея!.. Какъ вы думаете объ этомъ, мой милый интендантъ? Не послать-ли намъ за одно Шмулы, чтобы онъ купилъ въ Августовѣ и красного сукна для меня и для штаба? Распорядитесь-ка объ этомъ завтра-же. А вы, господинъ адъютантъ, составьте приказъ, что для лицъ отряднаго штаба, въ дополненіе установленной формы, учреждаются красные панталоны; и хорошо-бы было, если-бы вы постарались при этомъ какъ-нибудь, отчасти, провести идею... идею — вы понимаете?

— Будетъ исполнено! — съ сияющимъ лицомъ поспѣшилъ завѣрить Поль Секерко, внѣ себя отъ радости, что отнынѣ будетъ шеголять въ красныхъ панталонахъ.

Въ эту самую минуту вошелъ ливрейный гайдукъ и доложилъ, что пріѣхали двое какихъ-то господъ, которые спрашиваютъ ясновельможнаго пана грабѣго ¹⁾.

— Меня? — нахмуривъ бровь, повернулся къ нему Маржецкій. — И сколько разъ еще повторять мнѣ вамъ, чтобы не смѣли величать меня ясновельможнымъ графомъ!.. На свѣтѣ много графовъ есть, а генераль августовскаго военнаго отдѣла только одинъ... Я — генераль, и не смѣть меня величать иначе!.. Кто такіе?

¹⁾ Знаменоносцемъ.

¹⁾ Графа.

— Не знаю... Одинъ цивилизый, а другой войсковый.

— Войсковый?... Польскаго войска?

— Н-нѣтъ... Сдается такъ, будто-бы москаль.

— Москаль?—невольно вырвалось у присутствующихъ, и всѣ въ тревожномъ недоумѣніи переглянулись другъ съ другомъ.

— Господа, что-жъ это значить?—пробормоталъ Маржецкій, не умѣя скрыть внутренняго безпокойства.

— Э, чего тамъ, что еще значить!—похрабрился эвсъ-уланъ,—просто, плюскъ! и баста!

— Тс... постойте, не кричите такъ!—досадливо остановилъ его за руку графъ Сченский и поспѣшно обратился къ остальнымъ мужчинамъ. — Господа, вы въ шпорахъ и при сабляхъ... Бога ради, снимите ваши сабли, спрячьте ихъ... да и сами-то лучше уходите, скройтесь на время...

— От-то еще! Чего бояться?! — похрабрился Копецъ, однако уже не совсѣмъ-то увѣреннымъ тономъ.

— Позвольте, нетерпѣливо—перебилъ его Маржецкій.—Надѣюсь, господа, вы понимаете, конечно, что не трусость говорить моими устами, но благоразуміе... спасительное благоразуміе... торопливо заговорилъ онъ, перебѣгая взоромъ съ одного на другого.

— Погодите,—спокойно перебила графиня.— Ты видѣлъ ихъ? — обратилась она къ лакею. — Сколько ихъ? Только двое или есть еще съ ними какіе-нибудь солдаты, жандармы, казаки тамъ что-ли?

— Э, нѣтъ! только двое, дали-Бугъ, какъ есть двое, и никого больше нѣту,—завѣрилъ гайдукъ.—Я видѣлъ, какъ они еще по аллеѣ подѣзжали: только двое и было.

— Въ такомъ случаѣ, господа, позвольте мнѣ, какъ хозяйкѣ, принять ихъ; а вы всѣ, не исключая даже и васъ, мой милый графъ, удалитесь на время... Вы выйдете потомъ, когда я разясню въ чемъ дѣло... Васъ позовутъ тогда.

И компанія добрыхъ вояковъ безпрекословно поспѣшила исполнить благоразумный совѣтъ графини, удалась на цыпочкахъ во внутренніе покои. Статный красавецъ хотѣлъ было остаться, но Цезарина безмолвнымъ жестомъ и взглядомъ отправила и его вслѣдъ за другими. Съ ней остались только ксендзъ да компаньонка.

— Проси!—приказала она лакею.

Черезъ минуту въ гостиную вошли двое запыхавшихся путниковъ. Одѣтый въ партикулярный костюмъ шелъ впереди. Цезарина взглянула въ него—и невольно вырвалось у нея восклицаніе удивленія. Она узнала въ немъ Василія Свитку.

— Позвольте представить вамъ, графиня, моего спутника,—проговорилъ онъ, указывая на

товарища. Онъ *наизъ* вполнѣ, хотя и носить пока военный мундиръ, но это только для большей безопасности: въ дорогѣ, знаете, казачи, пикеты и всякая сволочь попадается; это не лишнее: все-жъ-таки гарантія...

— Съ кѣмъ имѣю удовольствіе?... невинтно пролетѣла Цезарина, съ вопросительной и сдержанно-привѣтливой улыбкой приподнимаясь съ мѣста.

— Поручикъ Бейгушъ,—назвалъ себя товарищъ Свитки, раскланиваясь по привычкѣ краткимъ военнымъ поклономъ.—Помнится, разъ я имѣлъ честь встрѣтить васъ въ Петербургѣ, у нашего общаго пріятеля, у Колтышко... Но не въ этомъ дѣло. Я имѣю назначеніе въ военноподчиненный отдѣлъ Августовскаго воеводства и потому мнѣ надо видѣть генералаа. Могу я видѣть его?

— Сію минуту!

— И Цезарина сама пошла звать своего храбраго, но благоразумнаго кузена.

Успокоенный генералъ вышелъ къ новоприбывшимъ уже совсѣмъ по-генеральски.

— Чтѣ вамъ угодно?

Послѣдовала новая рекомендація и взаимное представленіе.

— Очень пріятно!—процѣдилъ сквозь зубы Маржецкій, не протягивая однако руку, а ограничась однимъ лишь благоволивымъ жестомъ.— Кто васъ прислалъ ко мнѣ?

— Тотъ, кто имѣлъ на это единственное право: ржондъ народовой.

— Склоняюсь предъ волею ржонда. Но зачѣмъ собственно вы присланы?

— Въ ваше распоряженіе, въ качествѣ офицера генеральнаго штаба.

— А я,—поспѣшилъ вставить Свитка,—я въ качествѣ гражданскаго делегата, на случай движенія въ Литву, такъ какъ я собственно принадлежу къ организаціи Литовскаго Отдѣла. Впрочемъ, я ѣду завтра же и постараюсь снова побывать у васъ уже въ лѣсахъ литовскихъ.

Маржецкій кивнулъ ему на это вскользь головой.

— Въ качествѣ генеральнаго штаба?—прищурясь, обратился онъ къ Бейгушу.

— *Офицера* генеральнаго штаба, — поправа его бравый поручикъ.

— Ну да, конечно, офицера... А имѣете вы достаточныя познанія для этого?... Сколько я знаю, должность офицера генеральнаго штаба имѣетъ свои особенныя обязанности и требуетъ, такъ-сказать... однимъ словомъ...

— Я кончилъ курсъ въ академіи,—поспѣшилъ заявить ему Бейгушъ, видя, что генералъ начинаетъ нѣсколько путаться.

— О, въ такомъ случаѣ я склоняюсь предъ авторитетомъ науки!.. Я слишкомъ проникнуть

священнымъ уваженіемъ къ наукѣ и потому склоняюсь!—слегка покачиваясь и раскланиваясь, сдѣлалъ графъ новое благоволивое движеніе рукой.

Увидя предъ собою не лѣсового, не импровизованнаго, а настоящаго офицера, да узнавъ еще въдобавокъ, что офицеръ этотъ кончилъ курсъ въ военной академіи, графъ Маржецкій въ душѣ необычайно обрадовался. Въ сущности, онъ не имѣлъ ровно никакого понятія о военномъ дѣлѣ, а ужъ о такихъ, по мнѣнію его «мелочахъ», какъ организованіе части, ея вооруженіе, снабженіе, обученіе — нечего и говорить. Графъ полагалъ, что это вовсе не его дѣло заниматься подобными пустяками, что это все предметы низшаго порядка, для которыхъ нужны чернорабочія руки, а онъ, благосклонно согласившійся принять на себя званіе начальника и генерала, ради вящаго прославленія фамиліи Маржецкихъ, онъ призванъ только направлять, воодушевлять, подавать доблестный примѣръ въ бою и вообще вести ко славы своихъ соотчичей. Поэтому свѣдущій военный человѣкъ пришелся ему теперь какъ нельзя болѣе кстати: по сосѣднимъ лѣснымъ фольваркамъ уже болѣе недѣли скрывались собранные люди, готовые идти въ банду, но съ ними ровно ничего не дѣлали, а только кормили да поили на счетъ патриотки-графини. Хотя панъ Копецъ и увѣрялъ все, что онъ «учитъ» и «приготавлиетъ», но результаты этого приготавливанія сказывались пока только въ томъ, что разношерстная сволочь, собранная изъ городской и «мястечковдой» черни, пьянствовала безъ просыпу, бездѣлничала, ссорилась и дралась между собой и начинала уже дебоширить по сосѣднимъ деревнямъ, что вызывало ропотъ и озлобленіе со стороны безучастныхъ хлоповъ. Время межъ тѣмъ уходило, и графъ очень хорошо начиналъ понимать, что въ средѣ его штаба никто не умѣетъ и не знаетъ какъ должно приступить къ дѣлу: всѣ хотять только командовать, властвовать, начальствовать, а поучить и потрудиться никто не желаетъ. Важнѣйшая забота графа, какъ и каждого, впрочемъ, генерала этого возстанія, состояла въ томъ, чтобъ избрѣсти костюмъ, *форменное платье* для своей банды и найти *хорошаго майора*, который дѣлалъ бы все дѣло по строевой части, а генералъ тѣмъ временемъ спокойно бы жуировалъ и пожиналъ себѣ лавры. Лица свиты и штаба предназначались не для дѣла, а болѣе для внѣшней обстановки, для эффектнаго «антуража», для красиваго вида да для того еще, чтобы генералу было съ кѣмъ позабавиться пріятной болтовней, пображничать и поиграть въ карты; вся же часть дѣйствительной работы и настоящаго дѣла, насколько оно исполнялось и существовало въ безшабашныхъ бандахъ, исключительно возлагалась на плечи чернорабочаго *майора*. «Май-

оръ» польской банды—это обыкновенно итальянецъ, венгерець, французъ, иногда полякъ, который кое-что и кое-какъ смыслить въ военномъ дѣлѣ. Онъ могъ командовать отъ имени главнаго вождя, но такъ, чтобы всѣ думали, будто это вовсе не онъ, а самъ генералъ командуетъ и распоряжается; поэтому ему предоставлялась извѣстная свобода дѣйствій, но съ тѣмъ условіемъ, чтобъ онъ не слишкомъ выставлялъ свое честолюбіе, не вдавался бы въ польскую политику, повиновался безъ разсужденій непогрѣшному ржонду, не дѣлалъ дурныхъ внушеній крестьянамъ противъ помѣщиковъ и почиталъ бы польское духовенство.

Эти условія графъ Маржецкій предложилъ и Бейгушъ, уведя его предварительно въ особую комнату, чтобъ избѣжать постороннихъ свидѣтелей, а такъ какъ Бейгушъ былъ ему очень и очень-таки нуженъ, то условія были предложены въ самой мягкой и деликатной формѣ, при чемъ графъ не попустился на самую очаровательную любезность.

Бейгушъ сразу понялъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, но его привела сюда не собственная, а иная воля, которой онъ обязанъ былъ слѣпо повиноваться, въ силу добровольной присяги и чтобъ окончательно очистить себя отъ черныхъ подозрѣній, возбужденныхъ противъ него еще въ Петербургѣ по поводу нежеланія ѣхать въ Литву. Петербургскому Центру, конечно, не могла быть извѣстна та нравственная метаморфоза, которая заставила браваго поручика искренно и честно полюбить свою «москѣвку-жену», послѣ нечестной продѣлки съ нею. Да и что было за дѣло этому Центру до какихъ бы то ни было метаморфозъ, разъ, что человѣкъ связалъ себя добровольно клятвой патриота. Поэтому тогдашнее колебаніе этого человѣка показалось членамъ «военнаго кружка» крайне подозрительнымъ. Бейгушъ долженъ былъ поневолѣ уступить грозному напору общественнаго мнѣнія своихъ товарищей — поляковъ и исполнить то, что отъ него требовалось, но тѣмъ не менѣе тѣнь сомнѣній и подозрѣнія сопровождала его съ тѣхъ поръ повсюду, и въ Вильнѣ и въ Варшавѣ. Надо было снять съ себя эту тѣнь, и для того надо было повиноваться слѣпо и безпрекословно.

— Я солдатъ, мое дѣло исполнить то, что приказываютъ,—коротко отвѣтилъ онъ графу Маржецкому на всѣ его предложенія и условія.

— Въ такомъ случаѣ, завтра же будетъ отданъ приказъ о назначеніи васъ майоромъ моего штаба!—крѣпко пожимая ему обѣ руки, съ самую тонкою любезностью заключилъ графъ, почувствовавшій, что теперь тяжкая гиря заботъ перекатилась съ его барскихъ плечъ на шею сговорчиваго поручика.

«Форма придумана, майоръ найденъ — чего жъ болѣе?! Остается только пожинать мирты Эраста и лавры побѣды», самодовольно по-

думалъ себѣ графъ-довудца, вводя вновь пожалованнаго майора въ гостиную, чтобы представить его членамъ своего штаба, которые успѣли уже проникнуть, что опасности нѣтъ никакой, что прибыли-де *свои*, и потому смѣло повысыпали въ гостиную, гдѣ въ волю могли теперь щеголять и рисоваться своими воинственными позами и рѣчами, своими «шттыфлями» ¹⁾, шпорами и саблями предъ «*цивильнымъ*» делегатомъ» Свиткой.

III.

На сборномъ пунктѣ.

Прошло двѣнадцать дней со времени прибытія Бейгуша въ замокъ Маржецкихъ. Въ это время было окончательно рѣшено на военномъ совѣтѣ вторгнуться въ предѣлы Гродненской губерніи, гдѣ и держаться въ лѣсахъ, дѣлая по временамъ партизанскіе налеты въ ту или въ другую сторону. Въ это же время Бейгушъ наскоро занялся кое-какой подготовкой людей и распредѣленіемъ ихъ въ уланы, въ *тирмеры* и въ косиньеры, а организаторъ Августовскаго воеводства успѣлъ окончить доставку въ замокъ разныхъ принадлежностей боевого снаряженія, которыя съ помощью жидковъ, подвозились по частямъ: то въ товарныхъ ящикахъ, то въ бочкахъ, то въ возахъ, наполненныхъ для виду сѣномъ и соломой, а кое-что доставлено даже и водой, въ нѣманскихъ «берлинкахъ». На ближайшихъ фольваркахъ графини по стодамъ и сараямъ уже нѣсколько дней стояло болѣе двухъ сотенъ коней, скупленныхъ и пожертвованныхъ въ банду окрестными помѣщиками. Сосѣдняя шляхта вся стремилась въ кавалерію, не желая мозолить свои благородныя ноги въ службѣ пѣхотной на ряду со всякимъ «быдломъ». Поэтому многіе изъ будущихъ кавалеристовъ, чтобы не тратиться на фуражъ, заблаговременно доставили своихъ Росинантовъ на фольварковое довольствіе графини. Наконецъ Бейгушъ успѣлъ кое-какъ сладиться съ «генераломъ» насчетъ времени сбора и оповѣстить будущихъ воиновъ о мѣстѣ, днѣ и часѣ. «Генералу» не особенно хотѣлось разставаться съ комфортабельной жизнью у гостепріимной кузины, гдѣ можно было такъ безопасно щеголять въ импровизованномъ военномъ костюмѣ, со всѣми этими «бугами», шпорами, эксельбантами и еще безопаснѣе разглаживать предъ почтительнымъ штабомъ объ «ойчизнѣ» и свободѣ, о Гарибальди и Мадзини, изобрѣтать новыя дополненія къ мундирной формѣ, отдавать приказы, говорить комплименты, мечтать о смотрахъ, парадахъ, фестиваляхъ и заранѣе тор-

жествовать будущія побѣды. Поэтому графъ Сченский, подъ разными благовидными предложениями, старался, по возможности, оттягивать время выступленія въ лѣса, и въ душѣ осталась даже не совсѣмъ-то доволенъ своимъ «майоромъ» за его излишнюю расторопность.

— Зачѣмъ такъ скоро? Слѣдите медленно: это, на мой взглядъ, самая лучшая тактика и самое вѣрное средство побѣждать врага!— съ любезно-кислою миной и тономъ дружескаго выговора внушалъ онъ Бейгушу.

Но вотъ прибылъ курьеръ народоваго ржонда, которымъ на этотъ разъ явилась какая-то барыня, привезшая въ шиньонѣ своемъ двѣ официальныхъ записки. Одна была отъ воеводскаго организатора, извѣщавшаго, что оружіе и все прочее доставленное уже снаряженіе находится въ самомъ исправномъ видѣ и въ полномъ комплектѣ, а потому де не угодно ли генералу дать квитанцію въ полученіи, что генералъ и не замедлилъ исполнить, не полюбопытствовавъ даже взглянуть, что это за оружіе и что за снаряженіе: для подобной «мелочной работы» у него былъ отдувавшійся за все «майоръ генеральнаго штаба». Но на этотъ разъ даже и ему не догадался графъ поручить предварительный осмотръ запакованнаго оружія. Другая же записка отъ лица Центрального Комитета формально и настоячиво предлагала немедленно же начать военныя дѣйствія и прежде всего сдѣлать попытку военной демонстраціи въ направленіи на Ковно или Гродно, смотря по тому, куда будетъ удобнѣе.

Послѣ этого у генерала уже не оставалось благовидныхъ предлоговъ для дальнѣйшей медлительности, и однако жъ онъ все-таки думалъ-было немножко помедлить подъ предлогомъ маленькаго насморка, который отъ лѣсной сырости можетъ обратиться въ злокачественный.

Цезарина, со всей женской деликатностью, старалась ему внушить, что дальнѣйшее промедленіе будетъ не совсѣмъ-то удобно для его воинской репутаціи въ глазахъ общественнаго мнѣнія.

— Берегитесь, милый генералъ,—замѣтила она съ легкой усмѣшкой.—Хотя мнѣ и очень пріятно ваше общество, но вы рискуете найти здѣсь вашу Капую, вы, который такъ пламенно стремились на поле битвы...

— Да, стремился, видѣть Богъ, стремился!—сахарно вздохнулъ старый ловеласъ,—но увѣ!.. я встрѣтилъ васъ, очаровательная графиня!.. А видя васъ, какой же Цезарь, какой Александръ или Ганнибалъ не сдѣлался бы капуанцемъ!?

— Ну, это вовсе не лестный комплиментъ для полки въ настоящую годину,—замѣтила графиня.

— Увы! что жъ дѣлать, но я чувствую, что

¹⁾ Штыфлями назывались высокія повстанскія ботфорты.

я вапъ капуанецъ!—отшучивался графъ, но вдругъ остановился, встрѣтивъ презрительный взглядъ Бейгуша, который присутствовалъ при этомъ разговорѣ. Съ этой минуты ясновельможный доводца глубоко и жестоко возненавидѣлъ въ душѣ своего расторопнаго майора.

— Надѣюсь, впрочемъ, графиня, вы понимаете, что это съ моей стороны не болѣе какъ шутка?—догадался онъ не совѣтъ ловко поправиться въ глазахъ Цезарины, послѣ минуты внутренняго смущенія.

* *

Время близилось къ полуночи. На уединенной лѣсной полянѣ, у одинокой избушки «кутника», нетерпѣливыми шагами прохаживался человекъ, закутанный въ кавказскую бурку. Въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ него стояло десятка два тяжело нагруженныхъ возовъ, около которыхъ тамъ и сямъ тихо разговаривали между собою хлопцы-подводчики. Вozы только-что прибыли, а человекъ въ буркѣ уже болѣе часа шагаль взадъ и впередъ, поджидая кого-то, и съ каждой минутой досадливое нетерпѣніе его становилось все сильнѣе и замѣтнѣе. Онъ останавливался, вглядывался въ темную даль, прислушивался, слегка нотапывая ногой, иногда бормоталъ про себя далеко нелестные эпитеты, адресованные къ кому-то отсутствующему, и снова принимался шагать по полянѣ. Это былъ Бейгушъ, одиноко пріѣхавшій верхомъ на сборный пунктъ въ заранѣе назначенное время. Изъ будущихъ воякъ никого еще не было.

Но вотъ наконецъ-то, уже во второмъ часу ночи, съ разныхъ сторонъ стали выходить изъ чащи лѣса люди по десятку, по два и болѣе. Иные изъ нихъ вели въ поводу незасѣдланыхъ коней. Молчаливо, съ таинственнымъ видомъ и поникшей головой приближались отсюда и отсюда новыя партіи. Сосѣдніе паничи пріѣзжали въ бричкахъ и нетычанкахъ, а за ними ѣхали фуры и телѣги съ разной поклажей этихъ паничей, надѣявшихся устроить свою «лѣсовую жизнь» какъ можно удобнѣе и пріятнѣе. Съ каждой минутой лѣсная поляна около хатки оживлялась все болѣе и болѣе, людской гомонъ и говоръ становился вольнѣе и громче, хотя и сохранялъ еще пока въ себѣ характеръ какой-то сдержанности и таинственности, подъ впечатлѣніемъ ночи и таинственной обстановки предпріятія. Тамъ и сямъ мигали красныя огненные точки западенныхъ «фаекъ»¹⁾ и папрорось. Но вотъ вмѣстѣ съ запахомъ табака и махорки, потянуло въ воздухъ ѣдкимъ дымкомъ: въ двухъ мѣстахъ накидали хворосту, словыхъ вѣтвей да соломы и развели костры. Послышался говоръ и смѣхъ нѣсколькихъ женскихъ молодыхъ голосовъ, хотя и не замѣтно было ни одной юбки, ни одного

обычнаго женскаго костюма. Это понаѣхавшіе паничи попривозили съ собою своихъ героинь, переодѣтыхъ въ буты и въ чамарки. Безъ такихъ героинь-патріотокъ не могла обойтись ни одна сколько-нибудь «порядочная» шляхетная банда.

— А гдѣ же генералъ?—освѣдомился у Бейгуша одинъ изъ подошедшихъ паничей.—Или еще не пріѣхалъ?

— Онъ и не пріѣдетъ,—неохотно отвѣчалъ Бейгушъ.

— Вѣроятно важныя занятія, совѣтъ военный или что-нибудь такое?

— Нѣтъ, скорѣе просто въ карты рѣжется,—замѣтилъ на это другой изъ подошедшихъ.

— Въ карты!—подхватилъ третій.—От-то шука! Пенкна шука, дали Бугъ, пандве. А чтѣ, не перекинуться-ли и намъ въ маленькій штоссиакъ.

И восприимчивые паничи сейчасъ-же постлали у костра два-три плаща, разсѣлись на нихъ въ тѣсный кружокъ; одинъ досталъ изъ чемодана двѣ новыя колоды картъ, другой пригнулъ водку, третій закусу, и всѣ, кажись, тотчасъ-же позабыли о цѣли, съ какой пріѣхали на эту поляну.

На душѣ у Бейгуша было смутно и досадно. Онъ подошелъ къ кучкѣ игроковъ и напомнивъ, что въ данную минуту такая забава вовсе неумѣстна, просилъ прекратить игру.

— Лучше-бы, господа, помогли мнѣ сдѣлать расчетъ людямъ: они еще не сосчитаны.

— Это до насъ не касается. Надѣмся, мы не урядники, а офицеры,—отвѣчали изъ кучки.

— Потому-то я и прошу васъ.

— Э, полноте! Садитесь-ка лучше съ нами.

— Господа, вы добровольно записались въ отрядъ, стало-быть знаете, чтѣ-такое военная дисциплина: Я пока еще не приказываю, а прошу васъ какъ старшій товарищъ.

— А почему это вы «старшій товарищъ»? Развѣ вы доводца? У насъ *генералъ* старшій, а другихъ мы пока еще не знаемъ,—опрокинулись на Бейгуша нѣсколько голосовъ разомъ.—И что это такое за различія *старшій* и *младшій*? Какъ шляхта, какъ офицеры, полагаю, мы всѣ равны въ обществѣ.

Бейгушъ тоскливо оглядѣлся вокругъ. Положеніе его было крайне затруднительно и неприятно: опереться было не на кого, и онъ живо почувствовалъ теперь, что одинъ въ полѣ не воинъ, что въ данную минуту онъ совершенно одинокъ и безпомощенъ противъ нѣсколькихъ нахаловъ, которые, пользуясь своимъ числомъ, не задумаются затѣять съ нимъ самую скандальную исторію, а пожалуй и драку. Что тутъ дѣлать? Какъ выйти изъ такого положенія?

— Господа, я еще разъ прошу васъ вспомнить, что дѣло, для котораго вы здѣсь, слѣд-

¹⁾ Курительная коротенькая трубка.

комъ серьезно и свято, — рѣшился онъ на послѣднюю попытку.

— Э, полноте! Ужь будто отечество погибнетъ отъ того, что мы прокинемъ двѣ-три талии!

— Такъ вамъ рѣшительно не угодно кончить?

— Ахъ, да перестаньте пожалуйста! Дѣлайте свое дѣло, если оно у васъ есть, и не мѣшайте намъ заниматься нашимъ.

— Въ такомъ случаѣ завтра вамъ придется сильно раскаяваться въ этомъ, — проговорилъ онъ, едва сдерживая въ себѣ кипѣвшее негодованіе, и отошелъ въ сторону. Другого, впрочемъ, ничего и не оставалось ему покамѣсть. Межъ тѣмъ время близилось къ разсвѣту. Надо было торопиться сборомъ и снаряженіемъ.

— Всѣ-ли на-лицо? — громко окликнулъ Бейгушъ толпу, раскинувшуюся на полянѣ.

— Кажись, что всѣ; по крайней мѣрѣ, ужъ съ полчаса какъ никто болѣе не подходитъ, — отвѣтилъ ему панъ Сташецъ, ржондпа ⁽¹⁾ одного изъ фольварковъ графини, выбранный въ старшіе урядники тиральеровъ.

По приказанію Бейгуша, толпа скупилась въ одно мѣсто и примолкла. Онъ вынулъ изъ бокового кармана списокъ и сталъ по именамъ выкликать людей. Кто былъ назначенъ въ тиральеры, тотъ шелъ въ особую кучу, направо, кто въ косиньеры — налѣво, а кавалерія толпилась нѣсколько въ сторонѣ съ табуномъ разномастныхъ и разнокалиберныхъ коней, на половину не снаряженныхъ и не засѣданныхъ. Наконецъ, перекличка и сортировка были окончены. Но тутъ, на первомъ-же шагу, встрѣтилась непредвидѣнная неудача: по спискамъ общая численность банды протаралась свыше шестисотъ человекъ, а на-лицо оказалось только четыреста съ чѣмъ-то. Лошади тоже не всѣ въ должномъ количествѣ, такъ что одна треть охотниковъ-кавалеристовъ, вмѣсто четырехъ конскихъ ногъ, благополучно оказывается только на своихъ на двоихъ... Бейгушъ считаетъ и людей, и коней, свѣриваетъ недочетъ и вновь пересчитываетъ. Толпа не хочетъ ждать, не стоитъ на мѣстѣ, галдитъ, поминутно разбредается во всѣ стороны: тамъ драка, тамъ смѣхъ, здѣсь ругань. Но вотъ наконецъ-то, послѣ долгихъ и тщетныхъ усилій, заранѣе выбранные урядники кое-какъ приводятъ эти кучи въ нѣкоторый порядокъ, заставляя ихъ строиться въ ряды съ помощью крѣпкой брани, зуботычинъ и подзатыльниковъ. А паничи-офицеры межъ тѣмъ все еще продолжаютъ себѣ преспокойно рѣзаться въ шпоссъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на хлопоты и распоряжкіи «майора». Но двухъ сотенъ, значившихся въ комплектъ, такъ-таки и не досчитался. Эти двѣ сотни разбрелись, Богъ вѣсть куда. Оказа-

лось, что иные люди, прокормившись и побравничавъ около трехъ недѣль на даровщину, заблагодарасудили переключаться въ другія банды, на томъ основаніи, что тамъ жалованья будто бы больше платятъ, другіе же не хотѣли даже идти на сборный пунктъ и остались на квартирахъ, а третьи, безъ объясненія причинъ, просто убрались по-добру-по-здорову, скрылись, сбѣжали и были отмѣчены «пропавшими безъ вѣсти».

Приступили къ разборкѣ оружія, мундировъ, амуниціи. Все, что было на полянѣ, шумно и безо всякаго порядка кинулось къ возамъ и стало разбивать ящики, бочки, вспарывать тюки, и тутъ-то послѣдовало новое неожиданное разочарованіе для Бейгуша. Организаторъ, обѣщавшій прислать четыреста ружей и востребованный съ графа квитанцію именно въ этомъ числѣ, прислалъ ихъ только двѣсти, да и то не бельгійскихъ штуцеровъ, какъ значилось въ его бумагѣ, а разнаго сброда и хлама, въ родѣ старыхъ карабиновъ, и мушкетеновъ, кремневыхъ ружей, охотничьихъ двустволокъ, бракованныхъ «туляковъ» и австрійскихъ винтовокъ. И все это оказалось Богъ-знаетъ въ какомъ видѣ: тамъ нѣтъ шомпола, здѣсь курокъ не дѣйствуетъ. Люди, бросившіеся впотѣмахъ на повозки, хватаютъ первое, что попало подъ руку. Кому досталось ружье, кому сабля, этому пистолетъ, тому патронташъ, иному одни патроны, а оружія никакого, одинъ тащить узду, другой сѣдло безъ потника. Бейгушъ выходитъ изъ себя, вынимаетъ саблю и, кинувшись въ толпу, начинаетъ вмѣстѣ съ урядниками плашмя фухтелать направо и налѣво. Съ помощью этого рѣшительнаго средства, кое-какой порядокъ снова восстанавливается на нѣкоторое время. Но тутъ опять новыя неудачи, новыя открытія: вахмистръ докладываетъ, что потниковъ нѣтъ болѣе чѣмъ на половину, про нихъ совсѣмъ забыли; зато бѣлыя конфедератки съ красными гарусными султанчиками всѣ на-лицо, и черныя чамарки съ бѣлыми крестами, и *голицевыя коллеты* съ красными отворотами и все это въ совокупности издали имѣетъ видъ очень красивый. Другой урядникъ докладываетъ, что значительное количество штыковъ вовсе не подогнаны къ ружьямъ: гайка у штыка черезчуръ узка и принадлежитъ ружью какого-то другого калибра, патроны не входятъ въ дуло, а другіе, напротивъ, идутъ уже слишкомъ легко, съ невозможнымъ заторомъ, капсюлей тоже нѣтъ, а тѣ, которые отыскались, подходятъ едва къ десятому ружью, не насаживаются на стержень, или слишкомъ слабы, не разбиваются, даютъ осѣчки. Одинъ жалуется на сапоги, которые жмутъ, другой на узкую чамарку, тотъ недоволенъ своимъ черезчуръ широкимъ картузомъ, этотъ цѣпкой отъ мундштука; нѣтъ принадлежностей къ

⁽¹⁾ Управляющій.

мундштуку, да и самъ мундштукъ никуда не годится. Люди, и безъ того уже достаточно деморализованные, начинаютъ громко роптать, видя во всемъ такую несостоятельность. Жалобы летятъ со всѣхъ сторонъ, а что отвѣчать на нихъ, и чѣмъ помочь дѣлу? Кто предвзрительно осматривалъ эти ружья? Кто укладывалъ ихъ въ ящики и въ повозки? Кто считалъ и дѣлалъ сборку всѣхъ этихъ предметовъ? Пронырливые евреи, трусливые аптекаря, болтливые адвокаты, невѣжды паны и чиновники, отроду не державшіе ружья въ рукахъ, фанатики-ксендзы и восторженные жидшны...

Зато «трупы глумы», со скрепченными костями, и эти черные съ бѣлымъ флюгеръ на пикахъ дѣлаютъ такое траурное, мрачно-поэтическое впечатлѣніе; зато неуклюжія и бесполезныя косы, оказавшіяся въ порядкѣ болѣе всего прочаго, такъ эффектно сверкаютъ на своихъ длинныхъ четырехаршинныхъ древкахъ; зато все это такъ красиво, такъ символично и во всемъ напоминаетъ «ойчизну за крижку распѣнту»... ¹⁾ А это-то и есть самое главное, въ этомъ-то и вся суть, по мнѣнію кобѣтъ ²⁾, ксендзовъ и адвокатовъ.

Съ каждой минутой ропотъ и жалобы становились сильнѣе. Урядники кое-какъ уговаривали рошущихъ, утѣшая и клянясь, что всѣ бѣды минуютъ, что все найдется, все исправится, лишь бы только тронуться въ походъ и перейти Нѣманъ, а тамъ ужъ все, все будетъ въ полномъ изобиліи и порядкѣ.

Бейгушъ молчалъ. У него не хватало духу расточать подобныя увѣренія обманутымъ людямъ и утѣшать тѣмъ, на что не могло быть и призрака обѣточной надежды. Слезы отчаянія готовы были брызнуть изъ его глазъ.

Но время не терпитъ — уже свѣтатъ начинается. Хочешь-нехочешь, а надо тронуться. Такъ повелѣваетъ ржондъ народовой, подъ страхомъ смерти и общественнаго позора, подъ страхомъ чернаго имени «здрайцы» ³⁾, за невыполненіе въ точности его безапелляціонныхъ повелѣній. И вотъ, краснѣя отъ жгучаго стыда, съ болью въ душѣ за судьбу этихъ четырехъ сотенъ людей, на половину безоружныхъ, онъ вынимаетъ саблю и неувереннымъ, надтреснутымъ голосомъ подаетъ команду.

— Впередъ! Маршъ!... Богъ помочь, панове! На Него надежда!

И не-хотя, молча и понуро, словно бы на смерть обреченная, банда тихо снимается съ мѣста и уходитъ въ глубину густого, болотистаго лѣса. Шалопан-паничи, по необходимости прекративъ игру и попойку, позавалились въ свои брички, и вмѣстѣ съ отважными

героньями поплелись вслѣдъ за бандой въ хвостъ длиннаго обоза.

IV.

Лѣсная маявка.

Графъ Сченский Маржедкій и приближенные лица его штаба, проведя вечеръ за картами, а половину ночи за веселымъ ужиномъ, покоились еще сладкимъ и безмятежнымъ сномъ, на пышныхъ пуховикахъ, по своимъ спальнямъ, когда отрядъ подошелъ къ мѣсту переправы, верстахъ въ трехъ ниже замка. Солнце уже сіяло на небѣ и предвѣщало жаркій день.

Уѣзжая съ вечера на сборный пунктъ, Бейгушъ усиленно просилъ капитана съ поручикомъ озаботиться, чтобы къ разсвѣту на мѣстѣ переправы, кромѣ парома, постоянно находившагося въ этомъ пунктѣ, приготовить еще столько лодокъ, сколько было возможно собрать въ ближайшей окрестности.

Но какова же была его досада, когда, подойдя къ Нѣману онъ не нашелъ ни одного челна, тогда какъ сдѣлать это было вовсе не трудно. Съ досады давъ сильныя шпоры коню, Бейгушъ помчался въ замокъ и приказалъ разбудить графа. Но сонный камердинеръ не отважился на такой подвигъ, оправдываясь, что ясновельможный недавно только изволилъ започивать и не приказалъ будить себя ни подъ какимъ предлогомъ.

Бейгушъ почти насильно ворвался въ его комнату.

— Генералъ! отрядъ уже готовъ и ждетъ на переправѣ! — проговорилъ онъ надъ ухомъ спящаго, безцеремонно тряся его за плечи.

— А?... что... какъ?... — въ просонкахъ хлопалъ тотъ глазами. — А!.. это вы?... что вамъ надо?... Вѣдь я жъ не велѣлъ будить себя... Дайте мнѣ спать, пожалуйста... Экая скотина этотъ Якубъ мой!..

Бейгушъ повторилъ свое сообщеніе.

— На переправѣ?... Что такое на переправѣ?... Кто на переправѣ? Отрядъ?... Ну и пускай его!.. И прекрасно!.. Переправляйтесь! — съ досадой бормоталъ полусонный доводца.

— Не на чемъ, генералъ, — замѣтилъ Бейгушъ.

— Что такое не на чемъ?... Мнѣ-то что? Это вѣдь ваша забота, ваше дѣло! Хорошо же у васъ порядокъ!.. Ахъ, ей-Богу!.. Вы мнѣ мой сонъ перебили... Я теперь и не усну пожалуй!..

— И прекрасно сдѣлаете...

— Да, вамъ легко говорить, а я цѣлую ночь не спалъ...

— Я тоже не спалъ ее. Повторяю, отрядъ дожидается васъ.

— Дожидается?... Хм... Ну, пусть подождетъ... Можно и потомъ переправиться... Отведите его въ лѣсъ обратно и подождите тамъ... Часовъ въ

¹⁾ Отечество, на крестѣ распятое.

²⁾ Женщины.

³⁾ Иамѣнника.

десять я приѣду... Прощайте, господинъ майоръ, мнѣ некогда...

И генералъ повернулся на другой бокъ, спиной къ Бейгушу, съ самымъ рѣшительнымъ намѣреніемъ не отвѣчать болѣе ни слова, ни звука и не поддаваться никакимъ настояніямъ.

Бейгушъ вышелъ изъ спальни, стукнувъ за собой дверь. Съ отчаянія онъ готовъ былъ рвать на себѣ волосы.

Но дѣлать было нечего. Лодокъ нѣтъ да и день на дворѣ, казаки разбѣзды могутъ случайно рыскать на томъ берегу, какіе-нибудь барочники на Нѣманѣ, какіе-нибудь проѣзжіе хлопцы увидятъ, разболтаютъ, — словомъ, при дневномъ свѣтѣ переправа и безъ того небезопасная становилась положительно невозможной. Нечего было и думать начинать ее въ эту пору, на одномъ паромѣ да на двухъ рыбацкихъ лодчонкахъ.

Слѣшно вскочивъ на взмыленного коня, со злобой и отчаяніемъ въ сердцѣ, помчался онъ обратно къ покинутому отряду и отвелъ его неподалеку отъ берега въ густую, непроходную чащу. Люди были голодны, а возы съ провіантомъ, собранные на окрестныхъ фольваркахъ графини, еще и не прибыли къ переправѣ, благодаря тому, что панъ интендантъ, онъ же и пачальникъ «всей кавалеріи», спалъ богатырскимъ сномъ въ зѣмкѣ, послѣ нѣсколькихъ бутылкокъ доброй венгринны и наливкокъ, осушенныхъ за ужиномъ. Бейгушъ готовъ былъ бросить все и бѣжать хоть на край свѣта. Ему было больно, совѣстно и стыдно глядѣть на жалкихъ и голодныхъ людей Августовскаго «корпуса», и только одно совѣстливое чувство чести и нравственнаго долга понудило его остаться вмѣстѣ съ ними, раздѣляя ихъ голодъ и усталость. Люди межъ тѣмъ не переставали роптать, и роптали тѣмъ болѣе, что шалопайные паничи, вмѣстѣ со своими героинями, опять раскинули коври и наметы около повозокъ и, немного проспавшись, снова занялись чаемъ, картами да закуской. Для нихъ лѣсная скитальческая жизнь, пока еще пѣлы были запасы, представлялась только веселой лѣсной «маявкой»¹⁾.

И чѣмъ сильнѣе, чѣмъ рѣзче былъ контрастъ между ропотомъ всякаго сброда, составлявшаго главную силу банды, и этимъ беззаботнымъ, сытымъ и пьянымъ смѣхомъ паничей съ ихъ женщинами, тѣмъ все злобнѣе и мрачнѣе становилось на душѣ у Бейгуша. Еще въ самомъ началѣ дѣла, на первомъ же шагѣ рискованаго предпріятія, онъ уже ясно сталъ предвидѣть теперь роковое начало конца его. Это, можно сказать, былъ уже конецъ въ самомъ началѣ и даже безъ всякаго начала. Отойдя нѣсколько въ сторону отъ бивуака, онъ раскинулъ подъ деревомъ свою бурку и отвернулся на ней отъ людей, стараясь притвориться спящимъ, чтобы

ничего не видѣть и не слышать, ни этого хлопскаго ропота, ни панскаго разгула. «Ахъ, если бы теперь пришли москаля, и если-бы первая пуля досталась на мою долю!.. Господи! Какое счастье мнѣ это было бы!» смутно и глубоко-искренне подумалось ему въ эту тяжелую минуту.

Часу уже въ первомъ днѣ на бивуакъ при-скакалъ юный Поль Секерко.

— Фу! насилу-то отыскалъ васъ! Экъ, въ какую глушь забрались! И не продерешся!—говорилъ онъ, отирая съ лица обильный потъ.—Что вы тутъ дѣлаете, майоръ? Генералъ недоволенъ: вы не прислали ему сказать о мѣстѣ бивуака; онъ прислалъ вамъ приказаніе, чтобы вы немедленно привели отрядъ во дворъ зѣмки и тамъ построили бы его развернутымъ фронтомъ.

— Это зачѣмъ?!—выпучивъ глаза отъ изумленія, воскликнулъ Бейгушъ.

— Какъ, помилюте, генералъ желаетъ, во-первыхъ, лично познакомиться со своимъ войскомъ, а во-вторыхъ, сдѣлать парадъ съ церемоніальнымъ маршемъ. Это его непремѣнная воля.

— Тьфу!.. какія глупости! — вскипятился Бейгушъ отъ досады.—Скажите, молодой человекъ, вашему генералу, что я ему середѣ днѣ не стану безъ нужды водить отрядъ на показъ постороннимъ людямъ! Это безуміе! Это значить рисковать удачей всей экспедиціи, портить въ самомъ началѣ все дѣло и играть судьбой и жизнью нѣсколькихъ сотенъ людей! Теперь не до парадовъ,—взволнованно жестикулировалъ онъ, будучи радъ, что есть человекъ, который передастъ всѣ его рѣзкости и горькія истины по прямому назначенію;—люди голодны, со вчерашняго дня и куска хлѣба не съѣли еще, а вашъ генералъ и не позаботился объ этомъ!

— Но генералъ непремѣнно желаетъ познакомиться,—въ затрудненіи пожималъ плечамъ Секерко.

— Ну, такъ пусть его приѣзжаетъ сюда и знакомится сколько душъ его угодно!

— Но... въ такомъ случаѣ надо выбрать здѣсь какую-нибудь удобную поляну.

— Выбирайте, коли охота.

И Бейгушъ безъ дальнѣйшихъ церемоній отвернулся и пошелъ прочь отъ юнаго адъютанта.

Едва къ четыремъ часамъ панъ Копецъ догадался прислать на бивуакъ провіантскія фуры съ ветчиной, хлѣбомъ и водкой, да и то благодаря лишь напоминанію Поля Секерко; но зато вслѣдъ за провіантомъ и самъ онъ прибылъ вскорѣ «до обозу».

— Майоръ, генералъ вами очень недоволенъ,—сухо обратился онъ къ Бейгушу.—Да-съ, недоволенъ и велѣлъ вамъ передать, что на этотъ разъ охотно извиняетъ, но впередъ не намѣренъ терпѣть никакихъ нарушеній его воли.

¹⁾ Маявка—весенній пикникъ.

Отыскали вы поляну для парада?.. Генераль въ шесть часовъ прибѣдетъ сюда со свитой и сдѣлаетъ смотръ войскамъ.

— Послушайте,—съ горечью усмѣхнулся Бейгушъ,—вы говорите, что вы старый слуга, неужели же вы не понимаете всей безсмысленности подобныхъ комедій въ настоящемъ положеніи?

— Но что жь дѣлать!—пожалъ Копецъ плечами.—Такова ужь его воля!.. Надо же потѣшить его... Вѣдь какъ хотите, все-таки *графъ*—шутка сказать!.. Такое лицо... Вѣдь это сила!.. Надо имѣть въ виду и будущее... тѣмъ болѣе, что уже распорядились принести сюда алтарь—ксендзъ будетъ служить молебенъ... Музыкантовъ тоже Шмуль привезъ сегодня утромъ... Это возбудитъ духъ отряда.

— Дѣлайте какъ знаете!—махнулъ рукой Бейгушъ.

Копецъ выкликнулъ изъ банды полѣсовниковъ, знакомыхъ съ мѣстностью, и приказалъ имъ выбрать по близости просторную поляну. Тѣ сказали, что знаютъ неподалеку подходящее мѣсто и вызвались проводить. Не давъ людямъ хорошенько окончить обѣдъ, эксъ-уланъ приказалъ имъ взять—оружіе и самъ повелъ всю орду вслѣдъ за проводниками, которые черезъ десять минутъ ходьбы привели всадниковъ на полянку, сажень около полтораста въ окружности. Здѣсь панъ Копецъ построилъ въ развернутомъ фронтѣ сперва кавалерію, потомъ тиральеровъ, наконецъ косиньеровъ, и занялся репетиціей парада. Бейгушъ стоялъ въ сторонѣ, не принимая никакого участія въ его хлопотахъ.

— Да помогите же мнѣ, наконецъ, господинъ майоръ генеральнаго штаба!.. Я, чортъ возьми, кавалеристъ и по пѣхотному не знаю!

— Въ чемъ прикажете помочь вамъ, господинъ полковникъ?—пожавъ плечами усмѣхнулся, подошелъ къ нему Бейгушъ.

— Какъ въ чемъ? Ну, покажите людямъ, какъ ходить въ ногу, какъ дѣлать «презентуй бронь», ¹⁾ научите салютовать господъ офицеровъ и какъ должно имъ парадировать мимо начальника.

— Лишнее, господинъ полковникъ! — махнулъ тотъ рукою.

— Какъ лишнее?! Вѣдь мы же, чортъ возьми, наконецъ, регулярное войско называемся,—должны-же мы умиѣть все это! Неужели васъ это не интересуетъ?

— Увы! я выжилъ уже изъ тѣхъ лѣтъ, когда нравится игра въ солдатики!—иронически, но вовсе не весело вздохнулъ Бейгушъ.

— Хо-о!.. Такъ по вашему, это игра въ солдатики?!

— Не болѣе. И если будетъ такъ продол-

жаться, то лучше распустить людей по домамъ сію же минуту.

— Однако, господинъ майоръ, у васъ чортъ знаетъ какой неподатливый характеръ.

— Да, въ особенности на бездѣльные вещи.

— Какъ?! Такъ я по-вашему бездѣльникъ?.. Такъ я бездѣльникъ?!—побагровѣлъ и забыгаль съковы усы панъ Копецъ.—Да я уши обрублю тому, кто осмѣлится сказать это мнѣ, старому кавалеристу!.. Я сатисфакцію!.. Да! Я сатисфакцію потребую!

— Во-первыхъ, я не называлъ васъ бездѣльникомъ,—замѣтилъ Бейгушъ спокойно и прямо глядя ему въ глаза,—а во-вторыхъ, если вамъ угодно удовлетворенія, извольте хоть сейчасъ. На чемъ прикажете?

— Какъ?! Вы вызываете меня на дуэль?.. Предъ фронтомъ!? при исполненіи моихъ служебныхъ обязанностей!? Вы, майоръ, меня, полковника!? Такъ *это* у васъ дисциплиной называется?.. Ге-ге! Хорошо-же! Пусть только пріѣдетъ генераль, я подамъ формальный рапортъ и потребую военного суда надъ вами!

Бейгушъ могъ только усмѣхнуться и пожать плечами на выходку храбраго пана, который такъ быстро и неожиданно перепрыгнулъ съ сатисфакціи на военный судъ, едва лишь замѣтилъ, что противникъ не попытлся предъ его угрозой. Эта сцена, впрочемъ, была прекращена появленіемъ ксендза и церковниковъ съ аналоемъ, образомъ и облаченіями. Панъ Копецъ нашелъ теперь благовидный предлогъ удалиться отъ Бейгуша и озабоченно занялся указаніями какъ и гдѣ установить походный алтарь и прочее.

Бейгушъ почувствовалъ, что приобрѣлъ себѣ еще одного новаго и едва-ли примиримаго врага въ лицѣ пана полковника.

«Господи! чѣмъ-же все это кончится?!» то-скливо грызъ его душу неотступный вопросъ, который подымало въ ней отчаяніе за участь людей и дѣла.

Но вотъ, на двухъ фурманкахъ пріѣхалъ графскій факторъ Шмуль съ музыкантами. Этихъ несчастныхъ чеховъ успѣли уже перерядить въ повстанскія чамарки, наобѣщавъ имъ золотыя горы и выдавъ въ задатокъ по пятнадцати злотыхъ на брата. Шмуль объявилъ, что «ясневельможны панъ энгераль» сейчасъ прибѣдетъ «до обозу» со всей свитой и съ самой «ясневельможной пани грабиной», которая тоже ѣдетъ верхомъ «на конику». Поэтому панъ Копецъ поторопился поставить музыкантовъ, со всѣми ихъ трубами, кларнетомъ и турецкимъ барабаномъ, на правый флангъ «арміи», и внушилъ имъ, что какъ только подѣдетъ генераль, то немедленно-бы грянули ему навстрѣчу «Еще Польска не згинала».

Прошло еще минутъ десять; и вотъ прискакалъ одинъ изъ трехъ «несмерцельныхъ» улановъ, выставленныхъ на дорогу съ тѣмъ, чтобы

¹⁾ На караулъ.

извѣстить отрядъ и указать къ нему путь генералу.

— Ёдетъ! ёдетъ!—кричалъ онъ, махая руками.

— Смирно! — гаркнулъ Копецъ на весь отрядъ.—Цихо, дзяблы! На ramen' брони!

И по этой командѣ вояки, кто какъ могъ и умѣлъ, взяли на плечо свое оружіе.

Копецъ что есть мочи шпорилъ и горячилъ коня, видимо стараясь гарцовать и рисоваться предъ фронтомъ.

Но вотъ изъ-за деревьевъ показалась веселая кавалькада.

— Презентуй брони!—снова гаркнулъ воинственный Копецъ и, салютуя саблей, короткимъ галопомъ поскакалъ навстрѣчу генералу.

Чехи грянули «Польшку», люди заорали «vivat!»—и графъ Сченсннй, рядомъ съ Цезариной и въ сопровожденіи красноштаннаго штаба, съ лихимъ и величественно-горделивымъ выраженіемъ въ лицѣ, какъ истый фельдмаршалъ поѣхалъ вдоль по фронту, «манифестуя» людямъ своей конфедераткой. Въ эти мгновенья онъ воображалъ себя чѣмъ-то очень близкимъ къ Наполеону предъ Аустерлицемъ.

Но объѣздъ «арміи», занимавшей по фронту очень небольшое протяженіе, продолжался гораздо менѣе трехъ минутъ, послѣ чего генераль слѣзъ съ коня и предложилъ ксендзу служить молебень.

— Вы понимаете, что я-то собственно не вѣрю, но для этихъ добрыхъ людей надо же показать себя добрымъ католикомъ,—не преминулъ онъ въ сотый разъ порисоваться предъ штабомъ и графиней своимъ «маленькимъ атеизмомъ».

Ксендзъ Игнацій принялся служить, а клиръ поддѣлвалъ ему нестройными голосами. Въ концѣ молебна принесли знамя, которое было привезено въ экипажѣ, сопровождавшемъ графиню.

Цезарина развернула полотнище и сама наклонилась предъ алтаремъ свой стягъ съ золотыми кистями. Костельный мальчикъ, въ бѣлой «комжѣ», подалъ кропило и святую воду. Ксендзъ прочиталъ молитву и окропилъ знамя. Тогда Цезарина торжественно вручила его «пану хорунжему». Снова грянули чехи «Польшку», и снова, еще громче прежняго, раздались повстанскіе виваты. Графъ былъ въ упоеніи, въ восторгѣ, и съ аристократическимъ чувствомъ любовался на картину «арміи», привѣтствовавшей свое нарядное знамя, которое такъ красиво развѣвалось въ воздухѣ. Онъ приказалъ полковнику командовать парадомъ, а самъ, склоняя предъ Цезариной и саблю, и голову, повелъ мимо нея свой корпусъ, подъ звуки трубъ и турецкаго барабана. Затѣмъ выскочилъ передъ фронтъ и сталъ говорить своей арміи воинственную рѣчь, гдѣ указывалъ и на знамя, и на Цезарину, и на Европу, которая съ надеждой смотритъ на героев отчизны и съ не-

терпѣніемъ ожидаетъ отъ нихъ побѣды надъ варварскими врагами католицизма, прогресса, цивилизаціи и свободы.

А затѣмъ снова музыка, крики «зѣхъ жіе Польска!» и виваты, лобзанья, обниманья, потрясаніе оружіемъ... Растроганный графъ отиралъ слезы умиленія; Копецъ ругался на москалей и гарцовалъ ни къ селу ни къ городу; штабъ «манифестовалъ» высоко поднятыми конфедератками и красовался красными штанами; ксендзъ Игнацій благословлялъ банду, кропила ее водой и давалъ войнамъ отечества «отпускъ» всѣхъ грѣховъ настоящихъ, прошедшихъ и будущихъ, а красивый знаменосецъ, подъ аккомпанементъ всего этого шума, восторженно клялся Цезаринѣ умереть съ ея знаменемъ въ рукахъ, но не отдать его москалямъ. Наконецъ, вся эта толпа, съ ксендзомъ и генераломъ, со Шмудемъ, знаменемъ и панами во главѣ, съ ревомъ и пѣніемъ подъ музыку «Съ дымемъ пожаровъ», двинулась обратно къ мѣсту бивуака, гдѣ ожидали ее новыя бочки съ водкой и пивомъ, присланныя ради праздника Цезариной, которая, проводивъ толпу, поѣхала домой въ приготовленной для нея коляскѣ.

Въ повстанскомъ лагерѣ пошло разливное море. Безсмертные и тиральеры съ косиньерами упивались водкой и пивомъ, а графъ, приказавъ раскинуть себѣ шатеръ, объявилъ своему штабу и паничамъ-офицерамъ, что намѣренъ задать имъ добрую «маювку» съ ужиномъ и жженкой. Панъ Копецъ, успѣвшій тотчасъ же перезнакомиться со всѣми героиннями-патріотками, находившимися въ бандѣ, представлялъ ихъ поочередно генералу, и тотъ остался въ полномъ восторгѣ отъ всѣхъ этихъ барынь, восклицая, что только одна безсмертная Польша можетъ рождать подобныхъ женщинъ-героевъ, и только въ Польшѣ женщина можетъ и умѣть на раду съ героемъ-мужчиной драться и умирать за отечество. Одна изъ героинь въ особенности понравилась старому ловеласу, такъ что онъ поторопился предложить ей у себя постъ «особо-довѣреннаго адъютанта», на что героиня согласилась съ величайшимъ и довольно кокетливо выраженнымъ удовольствіемъ, къ крайнему конфузу своего пріятеля-панича, который, отъ ревности и досады, приказалъ своимъ людямъ поскорѣе складывать пожитки, запрягать лошадей, и въ четверть часа укатилъ изъ банды во-свойси, представивъ счастливому сопернику-довудцѣ проливать кровь за отечество и украшаться «мритами Эрота и лаврами побѣды».

Цѣлый вечеръ продолжалось самое безшабашное веселье, дымились костры, челядь и «быдло» банды орали пѣсни, музыка гремѣла польки, кадрили и мазурки, героическія панны въ бутахъ отплясывали жестокой канканъ, ксендзъ говорилъ побасенки да ухаживалъ око-

ло яствъ и бутылокъ, а паны, перепивая другъ друга, хвалились оружіемъ, лошадьми и побѣдами надъ женщинами и надъ «москалемъ».

О Бейгушѣ, казалось, всё позабыли. Генералъ, упоенный не столько жженкой, сколько лестью окружающихъ, щедро раздавалъ имъ чины, должности и назначенія.

А ночь между тѣмъ наступала.

Бейгушъ рѣшился, наконецъ, не перемониться болѣе и окончательно выяснить свои фальшивыя отношенія къ бандѣ и ея генералу. Безъ всякаго доклада, единственный трезвый человѣкъ среди этого табора гулякъ, онъ вошелъ въ шатеръ Маржепкаго и объявилъ доводѣ, что имѣетъ настоятельную надобность переговорить съ нимъ наединѣ о серьезномъ дѣлѣ.

Графъ Сченский неохотно, съ гримасой, поднялся съ мѣста и вышелъ изъ шатра вмѣстѣ со своимъ «майоромъ».

— Послушайте, честный ли вы человѣкъ?— безъ дальнихъ околичностей, серьезно и неуступчиво приступилъ къ нему Бейгушъ, съ перваго же слова.

— Чтѣ за вопросъ, милостивый государь?!— возразилъ графъ, совсѣмъ уже готовый оскорбиться.

— Вопросъ самый естественный въ виду того, чтѣ вы дѣлаете. Вы забываете, что на васъ лежитъ нравственная отвѣтственность за судьбу всѣхъ этихъ людей; вы не позаботились даже окружиться цѣпью сторожевыхъ вѣдетовъ; русскія войска каждую минуту могутъ подойти и забрать насъ врасплохъ.

— Но... но это, кажись, ваша бы забота, господинъ майоръ?— всхорохорился обиженный доводца.—И, признаюсь, мнѣ очень странно, что вы приходите выговаривать мнѣ за то, за чтѣ собственно я бы долженъ вамъ сдѣлать выговоръ. Вамъ предоставлена власть, отчего вы не распоряжаетесь?

— Власть, которую однако вы на каждомъ шагу парализуете...

— Я?... Сдѣлайте одолженіе, распоряжайтесь; я буду очень доволенъ.

— Въ такомъ случаѣ, кончите сію же минуту вашу оргію, — рѣшительно предложилъ Бейгушъ.—Время начинать переправу; еще часа два, и уже будетъ поздно, а у насъ ничего не готово...

— Ну, начинайте!.. Начинайте, господинъ майоръ! Я, кажется, не мѣшаю и не препятствую.

— Во-вторыхъ, — продолжалъ Бейгушъ, — удалите сію же минуту изъ лагеря всѣхъ этихъ барышень и ихъ кавалеровъ.

— Зачѣмъ?... Это невозможно!

— Это необходимо, говорю вамъ, это первая причина безпорядковъ. Лагерь не бабье дѣло.

— О, какой ретроградный взглядъ! Женщина, которая съ оружіемъ въ рукахъ встаетъ

за свободу, такой же герой, какъ и мужчина; ихъ мѣсто рядомъ!

Бейгушъ махнулъ рукою, отвернулся и пошелъ прочь отъ генерала.

— Куда же вы, господинъ майоръ?... Пойдите, подождите!.. Куда вы?

— Вонъ изъ лагеря, — съ горечью отвѣчалъ тотъ, приостановясь на минуту. — Я вижу ясно, что мнѣ остается только одно: идти къ русскимъ и принести имъ свою повинную голову.

Графъ былъ не на столько хмѣленъ, чтобы не сознать, что ему угрожаетъ опасность лишиться единственнаго человѣка, знающаго военное дѣло и способнаго распоряжаться.

— Quelle idée! Quelle idée, mon brave! — сказалъ онъ притворно-дружескимъ и увѣщательнымъ тономъ, взявъ его за руку. — Зачѣмъ такой мрачный взглядъ!.. Вотъ видите ли, чтѣ... скажу откровенно... Вы говорите, барышни... Ну, хорошо, я согласенъ; только не теперь, а какъ-нибудь потомъ, послѣ... мы съ вами найдемъ благовидный предлогъ и удалимъ. А пока сдѣлайте мнѣ эту маленькую уступку!.. Я васъ прошу!.. Я къ вамъ пришлю сейчасъ на помощь Сыча и Секерко, начинайте съ ними переправу и распоряжайтесь всѣмъ отъ моего имени, но только не трогайте барышень и ихъ кавалеровъ: они всѣ право такіе славные!

Бейгушъ только плечами пожалъ. Вчера онъ думалъ было показать на этихъ панничкахъ примѣръ воинской строгости, а теперь убѣдился, что съ нихъ и взыскивать нечего, если первый примѣръ распушенности подаетъ самъ генералъ-доводца. Онъ еще разъ раздумался надъ своимъ печальнымъ положеніемъ. Чтѣ остается? Съ одной стороны настоячивое предписаніе Центрального Комитета, а съ другой — убѣжденіе въ окончательной невозможности сдѣлать что-либо путное съ такимъ генераломъ. А между тѣмъ, отвязаться отъ него невозможно: этотъ генералъ, которымъ ржондъ дорожилъ ради его громкаго имени, навязанъ былъ ему на шею какъ непремѣнное условіе, и, волей-неволей, Бейгушъ долженъ былъ ему подчиняться. Бросить все и головою выдать одного себя русскимъ? Бейгушъ чувствовалъ, что это было бы самое разумное, самое честное, но его останавливалъ страхъ предъ именемъ «здрайцы», измѣнника, которымъ заклеивать его навѣки предъ лицомъ цѣлой Польши. Это бы значило подтвердить тѣ подозрѣнія, которыя пали на него еще въ Петербургѣ, а въ душѣ его не было на столько нравственной силы и независимости, чтобы презрѣть все это во имя высшей правды, и потому, отчаявшись и не вѣря въ успѣхъ, онъ слѣпо рѣшился дѣйствовать на-авось, очертя голову, съ намѣреніемъ найти себѣ смерть подъ русскими пулями, и съ такою рѣшимостью началъ переправу полупьяной банды.

V.

Въ лѣсномъ «обозѣ».

Едва лишь къ семи часамъ утра успѣли окончить длинную процедуру этой переправы, которая производилась съ помощью парама и двухъ-трехъ рыбацкихъ лодокъ, добытыхъ по сосѣдству. Последнимъ переправился генераль со своимъ штабомъ, и чуть лишь ступилъ на противный берегъ Нѣмана, какъ тотчасъ же завалился съ свою коляску и заснулъ самымъ безмятежнымъ образомъ. Пьяный штабъ последовалъ благому примѣру, размѣстясь возможно удобнымъ образомъ въ своихъ фурманкахъ и нетычанкахъ, а за штабомъ не пропустили сдѣлать тоже самое и всѣ почти остальные офицеры.

Наконецъ отрядъ тронулся. Вѣковѣчная пуша скоро скрыла его въ глубинѣ зеленой чащи, но лѣсное движеніе было крайне затруднительно. Надо было идти узкой и вязкой тропой, которая обозначалась двумя колеями когда-то проѣхавшаго воза. Пѣхота и конница, идучи не болѣе какъ по два человека въ рядъ, растянулась вмѣстѣ съ обозами верстъ на пять. Эта длинная колонна безпрестанно разрывалась: возы и фурманки, которыхъ хватилъ бы, по крайней мѣрѣ, на трехтысячный отрядъ, поминутно вязли въ болотѣ и препятствовали движенію; приходилось останавливаться, скликать людей, вытаскивать неуклюжіе экипажи; всякъ при этомъ лѣзъ распоряжаться и командовать, но никто не хотѣлъ подсобить добровольно, пока-то, наконецъ, не выручало «быдло», т. е. косиньеры, которыхъ на эту «помочь» сгоняли нагайками. Колонна шла безъ охранительныхъ боковыхъ патрулей, несмотря на то, что Бейгушъ, тщетно разрывавшійся на части, безпрестанно, и лаской, и угрозами, посылалъ людей въ этотъ необходимый нарядъ; но ничто не помогало: патруль отдѣлялся, уходилъ въ сторону и затѣмъ либо дезертировалъ, либо самовольно слѣшилъ возвратиться къ колоннѣ, изъ боязни какъ бы не попасться въ лапы казакамъ.

Къ счастію банды, во всей окрестности, что называется, и духомъ казачьимъ не пахло. Малочисленные подвижные русскіе отряды не могли быть вездѣ и повсюду и — благодаря случайности — пуша, оставленная на время безъ всякихъ наблюденій, благополучно укрывала пока банду графа Сченснаго отъ роковой встрѣчи.

Панъ Копецъ, успѣвшій кое-какъ проспаться на походѣ, безпрестанно гарцовалъ на своей лошади, съ цѣлью показать «солдатамъ» собственную ловкость и лихость, и время отъ времени такъ усердно подгонялъ фухтелями отстававшихъ косиньеровъ, что одному не-

взначай поранилъ голову, а другому ухо разсѣкъ.

На каждомъ привалѣ генеральскія фуры и офицерскія повозки, пролагая себѣ путь къ группѣ начальниковъ, сгоняли отдохавшихъ людей въ сторону съ тропинки въ болото, причемъ отъ кучеровъ нерѣдко доставалось бичемъ неповоротливому «быдлу». Генераль съ офицерами весело принимались «подкрѣплять силы», пить и закусывать, а люди межъ тѣмъ голодали, довольствуясь лицезрѣніемъ закусывающаго начальства и питаясь пока приятнымъ обѣщаніемъ, что пойдете, молъ, вечеромъ на бивуакъ, а теперь-де некогда для васъ разворачивать провіантскія фуры.

Наконецъ, уже подъ вечеръ, пройдя нѣсколько болѣе двадцати верстъ, пришли на мѣсто ночлега. Тутъ среди пуши, торчала подъ деревьями одинокая хатка лѣсника; ее тотчасъ же заняли подъ помѣщеніе генерала и его «самаго довѣреннаго адъютанта», который, съ пенсне на носу, бойко передавалъ своимъ женскимъ голосомъ генеральскія приказанія. На этого «адъютанта» остальные героини банды стали уже поглядывать съ нескрываемой завистью и злобой, быть можетъ потому, что каждой въ душѣ хотѣлось бы занять такое первенствующее мѣсто около знатнаго доувдцы. Ксендзъ Игнацій не менѣе героинь-адъютантовъ необходимое лицо при бандѣ, въ качествѣ капеллана и узорѣшителя всѣхъ грѣховъ — тотчасъ же приступилъ къ дѣятельнымъ распоряженіямъ по части генеральской кухни и походнаго погреба. Бейгушъ межъ тѣмъ старался возстановить хоть какой-нибудь порядокъ и расположить лагерь такъ, чтобы въ виду нечаяннаго нападенія была возможность выстроиться всѣмъ частямъ для встрѣчи, но не тутъ-то было; панъ Копецъ, какъ начальникъ кавалеріи, и притомъ «полковникъ», не хотѣлъ подчиняться распоряженіямъ «майора»; начальники тиральеровъ тоже не соглашались располагаться на назначаемыхъ мѣстахъ, начальники косиньеровъ съ своей стороны представляли какія-то возраженія; Бейгушъ просто надсѣдался, стараясь втолковать имъ существенность своихъ распоряженій, необходимость какого-нибудь боевого порядка, но наконецъ долженъ былъ безнадежно махнуть рукою: его не слушали, не понимали, представляли нелѣпыя возраженія и, въ концѣ концовъ, расположились по собственному произволу, какъ кому казалось удобнѣе. Злосчастному «майору» съ перваго же шага суждено было встрѣтить въ средѣ своихъ товарищей споры, пререканія, партіи, каверзы и интриги, недоустріе и подозрительность, взаимный обманъ и чуть не взаимное предательство. Частные эгоистическіе интересы въ каждой мелочи сейчасъ же выступали на первый планъ, честолюбіе всѣхъ парализовало дѣйствія одного: никто не

хочетъ и не умѣетъ повиноваться, но всякій лѣзетъ, хотя и не умѣетъ, властвовать и повелѣвать. Съ перваго-же ночлега всѣ эти начальники отдѣльных частей, болѣе или менѣе, переругались другъ съ другомъ, и каждый передъ своими пріятелями и подчиненными утверждалъ заочно про остальныхъ, что всѣ они подлецы и измѣнники, а одинъ только онъ честенъ и одинъ лишь его взглядъ исключительно хорошъ и вѣренъ.

Едва уgomонилась и осѣлась кое-какъ сумятица и каша съ обозами да съ перемѣщеніями людей на бивуакъ, какъ началась нескончаемая процедура со сторожевой службой: никто не хочетъ идти на сторожевые посты, всякъ старается увильнуть, отлынять отъ этой трудной обязанности; офицеры, расположившись около повозокъ за картами да за закусками, не слушаютъ не хотятъ про какіе-то ведеты. — «Не наше дѣло, пусть другіе идутъ, мы безъ того устали!»

Бейгушъ проситъ наконецъ генерала, чтобы онъ самъ энергически и строго вмѣшался въ дѣло.

— Ахъ, любезнѣйшій мой майоръ!—съ кисловатой гримасой отвѣчаетъ ясновельможный,—не могу же я самъ поминутно мѣшаться во всѣ пустяки и мелочи!.. Постарайтесь сами какъ-нибудь уладить все это... Мнѣ, право, не до форпостовъ!

Нечего дѣлать: унтеръ-офицеры нагайками и фухтелями сгоняютъ людей на сторожевую службу и кое-какъ разставляютъ на указанныхъ мѣстахъ пикеты и нумера¹⁾. Проходить два часа—урочное время смѣны, а смѣнять никто и не думаетъ; проходитъ три и четыре часа, а часовые все еще стоятъ безсмѣнно: про нихъ какъ будто позабыли, и опять хлопочетъ злосчастный Бейгушъ, на сей разъ уже просто изъ человѣческаго состраданія; опять надо прибѣгать къ убѣжденіямъ, просьбамъ и ссорамъ, къ фухтелямъ и нагайкамъ, надо отыскивать очередныхъ стрѣлковъ и косиньеровъ, которые, чтобы отлынять отъ форпостовъ, разбрелись и попрятались подъ кустами, позарывались въ сѣно и солому. Но вотъ кое-какъ собрали смѣну—опять нареканія и проклятія; кто побойчѣе, тотъ, придя въ передовую цѣпь, не хочетъ становиться на номеръ, а кто помирнѣе, тотъ едва смѣнясь, сейчасъ же опять становится по неволѣ на мѣсто непокорнаго и, давъ отойти смѣнѣ, валится отъ усталости на землю и какъ убитый засыпаетъ подъ деревомъ.

И такимъ-то образомъ пошла лѣсная жизнь и въ слѣдующіе дни. На утро ксендзъ Игнацій обыкновенно служитъ «мышу», исповѣдуетъ и снова даетъ «отпусты» желающимъ;

Бейгушъ съ помощью урядничьихъ фухтелей кое-какъ собираетъ людей на ученіе; генералъ еще опочиваетъ послѣ вчерашнихъ трудовъ, а на его походной кухнѣ уже стучатъ поварскіе ножи, рубятся котлеты, жарятся бифштексы для привилегированнаго штаба, кипятъ самовары... И опять повторяются тѣ же исторіи съ форпостной службой, опять жалобы и недовольство: тому сапогъ не хватаетъ, тому водки не дали; возы съ припасами опустошаются довольно быстро, а панъ «интендантъ» и не думаетъ позаботиться о правильномъ расходованіи провіанта, такъ что около полудня оказывается уже надобность послать часть людей на фуражировку. Въ это предпріятіе снаряжаютъ все тѣхъ парій косиньеровъ въ томъ разсужденіи, что если ихъ перебьютъ москаль, то не такъ жалко; тиральеры нужны и потому ихъ слѣдуетъ побережечь. На половину босые и оборванные, грязные и презираемые, не слыша ни отъ кого привѣтливаго слова и видя поощреніе только въ фухтеляхъ, безъ гроша за душой, эти люди идутъ шататься по рѣдкимъ пущенскимъ поселкамъ да по хатамъ кутниковъ, требуя хлѣба, молока, сала и отбирая все это насильно. Наконецъ, къ вечеру приносятъ они «до обозу» набранные продукты. Интендантъ Конецъ подзываетъ улановъ и тиральеровъ и приступаетъ къ дѣлу: лучшіе куски офицерамъ и урядникамъ, затѣмъ кавалеристамъ и стрѣлкамъ, а скудные остатки косиньерамъ, которые все время оставались впроголодь. Быдло начинаетъ роптать, а за ропотъ панъ интендантъ приказываетъ отпустить по десятку горячихъ «бизуновъ» бунтующимъ зачинщикамъ.

Между тѣмъ въ генеральскомъ штабѣ вечерній балъ начинается. Бутылки не сходятъ со стола, самовары шипятъ, слуги едва поспѣваютъ угождать панскимъ прихотямъ. Чехи наигрываютъ польки да кадрили, и женскій элементъ банды опять выступаетъ на первый планъ въ своихъ мужскихъ костюмахъ. Каждый изъ панчей-офицеровъ непремѣнно старается «вести къ славі» свою коханку. Панъ поручникъ ведетъ къ славі панну Зосю, а панъ капитанъ панну Олесю, и каждая изъ нихъ состоитъ при своемъ другѣ въ качествѣ «особо-довѣреннаго ординарца». Этотъ отчаянный легіонъ вмѣшивается во все, сплетничаетъ, ссорится между собою и ссоритъ мужчинъ, мирится, цѣлуется, заливается мировую и снова сплетничаетъ, исповѣдуются у ксендза Игнація, причащаются, отплясываютъ канканъ и мазурку, дебоширятъ въ офицерскихъ оргіяхъ и въ концѣ концовъ дерется и царапается между собою... Ревность, брань, слезы, нѣжности и насмѣшки — и все это сплошь, подъ рядъ, безъ малѣйшаго перерыва и отдыха. Бейгушу на третій день подобной жизни стало глубоко противно его пребываніе въ бандѣ.

¹⁾ Нумерами у повстанцевъ назывались часовые на аванпостѣхъ.

VI

Гроза идетъ.

10-го мая прибылъ въ Вильну генералъ Муравьевъ, о которомъ европейскія газеты съ ужасомъ трубили, что онъ облеченъ полномочіями диктаторской власти. Поляки Сѣверо-Западнаго края знали Муравьева еще по преданіямъ тридцатыхъ годовъ, и новое появленіе его на политическомъ поприщѣ встрѣчено было въ ихъ средѣ затаеннымъ страхомъ и отчаяніемъ: они уже предвидѣли, что съ появленіемъ этого человѣка приходитъ конецъ святой справѣ, хотя и старались еще храбриться по наружности. Ржондъ народовой рѣшилъ, именно по поводу назначенія Муравьева, сосредоточить вооруженное возстаніе по преимуществу въ Литвѣ, съ цѣлю показать Европѣ, что Муравьевъ не пугаетъ поляковъ, что теперь-то они съ нимъ и поборются. Для этого были двинуты изъ «Конгрессувки» въ предѣлы Ковенской и Гродненской губерній всѣ шайки, какія только можно было сформировать или собрать изъ остатковъ прежнихъ бандъ. Вспыхнувъ на берегахъ Вислы, польскій мятежъ съ мая мѣсяца пошелъ усиленно гулять по лѣсистымъ берегамъ Вилии и Нѣмана. Вся его кровавая энергія сосредоточилась теперь почти исключительно на литовско-русской почвѣ; то тамъ, то здѣсь почти ежедневно происходили стычки и схватки, въ которыхъ непроходимыя литовскія пуши оказывали повстанцамъ не малые услуги, скрывая ихъ отъ поисковъ и преслѣдованія русскихъ отрядовъ. Въ этотъ періодъ возстанія поляки Литвы и Царства напрягали всѣ свои послѣднія усилія, чтобы поддержать мятежъ «противъ Муравьева». На разныхъ пунктахъ, во все не отдаленныхъ отъ мѣстъ расположенія русскихъ летучихъ отрядовъ, безпрестанно возникали новыя шайки не изъ десятковъ, а изъ сотенъ повстанцевъ. Правда, все это разсыпалось какъ горохъ и пряталось по лѣснымъ трупобамъ при первомъ появленіи русскихъ, но тотчасъ же собиралось вновь, чуть лишь минула на время опасность. Проходя черезъ какое-нибудь мѣстечко, повстанцы, если не чуяли ближайшаго сосѣдства нашихъ отрядовъ, забирали съ собой всѣхъ наличныхъ цирюльниковъ, кузнецовъ, слесарей, портныхъ и другихъ подходящихъ ремесленниковъ, которыхъ заставляли въ лѣсу работать на банды, подъ руководствомъ болѣе искусныхъ мастеровъ, прибывавшихъ въ лагерь обыкновенно изъ Вильны и Варшавы. По всѣмъ дорогамъ, тропинкамъ и проселкамъ начинали въ это время особенно замѣтно сновать какія-то темныя личности, не то шляхтичи, не то однодворцы, которые, бывало, вербуютъ по корчмамъ людей,

наводятъ справки, собираютъ и доставляютъ свѣдѣнія, ведутъ переговоры съ ксендзами и «ржондцами» имѣнныя, дѣлаютъ разныя покупки и отправляютъ ихъ «по назначенію», въ особенности же зорко слѣдятъ за духомъ, поступками и намѣреніями мѣстныхъ жителей, дабы знать кто другъ, а кто врагъ, кто «полякъ добрымъмысленцы» ¹⁾, а кто «шпегъ и здрайца» ²⁾. Эти эмиссары «главныхъ квартиръ» дѣйствовали тѣмъ успѣшнѣе, что по виду ничѣмъ не отличались отъ обыкновенныхъ жителей и никакимъ неумѣстнымъ, неосторожнымъ разговоромъ не изобличали своей профессіи. Только и было въ нихъ подозрительнаго, что внезапныя появленія въ какомъ либо мѣстѣ, невѣсть откуда, и столь же внезапныя исчезновенія невѣдомо куда.

Какъ громъ небесный, поразилъ литовско-польскихъ помѣщиковъ Высочайшій указъ 1-го марта 1863 года о прекращеніи всякихъ обязательныхъ отношеній къ нимъ крестьянскаго люда. Въ теченіе апрѣля мѣсяца, несмотря на всѣ проволочки и оттяжки мѣстныхъ гражданскихъ чиновниковъ польскаго происхожденія, указъ все-таки былъ обнародованъ въ большинствѣ селъ и волостей Сѣверо-Западнаго края. Крестьяне приняли съ восторгомъ вѣсть объ «окончательномъ своемъ освобожденіи: и православные и католики, безразлично, въ ознаменованіе этого событія, спѣшили ставить у себя «кашлицы» во имя Св. Александра Невскаго. Отъ разныхъ сельскихъ обществъ и приходовъ Виленской и Гродненской губерній посыпались благодарственныя письма Монарху и заявленія военнымъ властямъ о готовности давать «панское рушенье», помогать войскамъ, составлять изъ себя партизанскіе отряды и сельскія «варты» ³⁾. Въ самой Польшѣ было то же самое: около Кутнова и Влоцлавка, напри-
мѣръ, хлопы поголовно возстали на пановъ и заявили прямо о намѣреніи «рзвонць» ⁴⁾ свою шляхту и помѣщиковъ, такъ что полковнику Нелидову пришлось, во избѣжаніе кровопролитія, оставить ихъ волонтерами при своемъ отрядѣ. Военнымъ властямъ нерѣдко съ трудомъ надо было сдерживать крестьянскую злобу на пановъ,—злобу, накопившуюся вѣками и которая особенно сильно сказалась на литовской Руси, гдѣ съ именемъ поляка невольнo связывалась мысль о пропавшемъ гнетѣ во всѣхъ его разнообразныхъ проявленіяхъ, потому что литовскій полякъ—это не столько даже помѣщикъ (между помѣщиками были и русскіе), сколько его управляющій-шляхтичъ; полякъ—это не всегда губернаторъ, но навѣрное чиновникъ его канцеляріи, письмоводитель становаго; полякъ на литовской Руси—это все то, что стояло въ

¹⁾ Благомыслящій въ польскомъ духѣ.

²⁾ Шпіонъ и измѣнникъ.

³⁾ Караулы.

⁴⁾ Рѣзать.

непосредственномъ столкновении съ народомъ, что росло на немъ гнилымъ паразитнымъ грибомъ и постоянно давило его въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. И замѣчательный фактъ, что панская Вильна, Гродна и Ковна, равно какъ и Варшава, впервые облеклись въ глубокий трауръ въ самый день 19-го февраля 1861 года ¹⁾. Хотя Герценъ изъ силъ выбивался, стараясь увѣрить Россію и Европу, что Центральный польскій Народный Комитетъ начинаетъ возстаніе во имя земли и воли крестьянамъ, но это не помѣшало Центральному Комитету обмануть и Герцена, и крестьянъ. Центральный Комитетъ, если бы и захотѣлъ, то не могъ-бы дать ни земли, ни воли, потому что это значило-бы возстановить противъ себя и противъ возстанія всю громадную помѣщичью партію *бѣлыхъ*, которая дѣйствительно приносила ему громадные матеріальныя услуги и жертвы: и самый ржондъ народовой да и все это возстаніе только и могли еще кое-какъ держаться помѣщичьими деньгами и хлѣбомъ. Вотъ почему, повторяемъ, указъ 1-го марта поразилъ польскій мятежъ въ самое сердце. Но надо было во что бы ни стало продолжать этотъ кровавый пуфъ, показать Европѣ, что литовско-русскій крестьянинъ «не хочетъ царской воли», что въ отвѣтъ на нее, онъ идетъ въ лѣса, въ банды, и съ оружіемъ въ рукахъ братски умираетъ вмѣстѣ съ помѣщикомъ за общую польскую свободу и отчизну. Вотъ съ какой цѣлью въ апрѣлѣ и въ маѣ были двинуты изъ «Конгрессовки» новыя банды въ жмудскіе и гродненскіе лѣса, и вотъ почему въ числѣ доводцевъ стали все болѣе и болѣе попадаться имена знатныхъ дворянскихъ фамилій, этихъ, по выраженію Герцена, лучшихъ, поэтическихъ, рыцарскихъ и доблестныхъ представителей цивилизованной Европы ²⁾. Литовскіе ксендзы всемирно принялись предостерегать народъ отъ «коварной царской воли» и даже изобрѣли по этому поводу «тропарь преподобному отцу нашему Игнатію Лойолѣ», написанный и напечатанный по-русски, и заставляли гродненскихъ чернороссовъ заучивать его наизусть. Но ничто не помогало — ни рыцарскіе представители Европы, ни преподобный отецъ Лойола: восторгъ крестьянъ по поводу царской воли былъ неудержимъ, а злорада на пановъ и того болѣе: «Кабы только дали намъ ружья! Кабы только позволили, мы бы показали!» говорили безоружные

и не всегда достаточно защищенные крестьяне. Но должно же было Европѣ знать и вѣрить, что хлопы не желаютъ воли. Для этого ихъ насильно уводили въ банды и позволяли иногда свободно убѣгать изъ нихъ, а послѣ подобнаго побѣга, какой-нибудь ржондца или ксендза съ помѣщикомъ тотчасъ же извѣщали начальство официальнымъ донесеніемъ, что тамъ-то и тамъ-то проживаетъ повстанецъ *крестьянинъ* такой-то; земское начальство изъ польскихъ чиновниковъ, конечно, сейчасъ же забирало повстанца въ свои лапы, а нѣсколько дней спустя всѣ эти донесенія и эпизоды очень аккуратно появлялись въ заграничной печати. Одно только сельское православное духовенство въ эту печальную годину явило себя стойкимъ и мужественнымъ стоятелемъ за «хлопскую вѣру» и «хлопскую народность».

VII.

Побѣда въ Червеленахъ.

Графъ Сченсный Маржецкій, проснувшись въ одно утро въ своемъ лѣсномъ обиталищѣ, вспомнилъ наконецъ, что надо же что-нибудь сдѣлать на пользу и славу дорогой отчизны, и такъ какъ инструкція ржонда предписывала ему, по возможности болѣе и чаще, демонстрировать летучими отрядами въ разныхъ направленіяхъ и мѣстностяхъ Литвы, то Сченсный, собравъ военный совѣтъ, объявилъ, что намѣренъ съ «главными силами» держаться пока на мѣстѣ, въ избранномъ уже станѣ, а пануполковнику Копцу предлагаетъ произвести съ кавалеріей рекогносцировку «въ какомъ угодно направленіи».

Мѣстность пану Копцу, какъ «тутѣйшему» обывателю, была знакома хорошо, да при томъ и всѣ окрестныя помѣщичьи состоянія съ нимъ, болѣе или менѣе, въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Ну какъ не пощеголять предъ нимъ опять воинственною ролью доводцы? Какъ удержаться отъ соблазна, подмывающаго упитаться еще разъ оиміамомъ ихъ лести, подобострастныхъ встрѣчъ, поклоновъ и угощеній?.. Панъ Конецъ живо собралъ свои «шквалдроны несмерцельникувъ и дзябловъ червоныхъ» ¹⁾, снарядилъ самый легкій обозъ, причесть, конечно, не упустилъ прежде всего нагрузить запасами свою собственную фурманку и, захвативъ съ собой ксендза Игнацего да капитана Сыча, двинулся налегкѣ прямо на Червелены, въ гости къ старому своему добродѣю и благопріятелю, пану Котырло.

Панъ Конецъ, впрочемъ, не даромъ избралъ Червелены первою цѣлью своей экспедиціи. Еще наканунѣ его выступленія, въ лѣсной лагерь пробрался одинъ изъ эмиссаровъ, шны-

¹⁾ Этотъ историческій фактъ въ свое время былъ дважды подтверждаемъ „С.-Петербургскими Вѣдомостями“. (№ 55 и № 121, 1863 года). „Говоря о здѣшнемъ траурѣ, писано въ этой газетѣ, мы должны замѣтить, какъ многознаменательный фактъ, что эта модная манія увидѣла впервые свѣтъ въ тотъ великій день, когда ко всеобщей радости всѣхъ друзей человѣчества, былъ обнародованъ манифестъ 19-го февраля. Такое стеченіе обстоятельствъ наводитъ на многія, многія думы“

²⁾ „Колоколъ“. 1863, № 167.

¹⁾ Красныхъ чертей.

равшихъ по всѣмъ дорогамъ, и привезъ отъ пана Котырло дружескій поклонъ съ извѣстіемъ, что хлопы въ Червленахъ сильно волнуются, косо и сурово поглядываютъ на панскую усадьбу, служатъ молебны за Царя и зорко держатъ вокругъ всего имѣнія свою сельскую «варту», а главнымъ вдохновителемъ и двигателемъ ихъ въ этомъ направленіи является все тотъ же ненавистный хлопскій попъ Сильвестръ Коновичъ. Надо было помочь старому пріятелю возстановить силу его авторитета, устроить хлоповъ, наказать «схизматичкаго» попа и, кстати, собрать кое-какую контрибуцію; а такъ какъ выборъ направленія «рекогноспировки» генералъ оставилъ на волю самого Копца, то панъ полковникъ поэтому и махнулъ-себѣ прямо на Червлены. Путь предстоялъ верстъ на сорокъ съ чѣмъ-то и, какъ старый кавалеристъ, Копецъ предполагалъ окончить его въ одинъ переходъ, держась по преимуществу лѣсныхъ дорогъ, чтобы удачнѣе скрыть свое движеніе.

Судьба щадила пана Копца и позволила его отряду счастливо избѣжать опасной встрѣчи съ русскими. Между прочимъ, попался ему на дорогѣ какой-то парень въ «полукѣшкѣ», запряженномъ сытой лошадкой. Парень было «злякѣуся»¹⁾, наткнувшись на конныхъ повстанцевъ и хотѣлъ «задать драпака», но уходить было уже поздно и некуда; поэтому онъ—хочешь не хочешь—придержалъ «коняку» и снялъ свой «капелюхъ». ²⁾

— Стой, пся кровь! Скудова ѣдзешъ?—окликнулъ его Копецъ, заговоривъ съ нимъ «по-хлопскы».

— Съ Гостынки,—пробормоталъ тотъ съ поклономъ.

— А чи нѣма тамъ москалювъ?

— Не чутъ, паночку... Нѣма...

— А чи не споткавсе, часомъ, на дорози гдѣ зъ казаками?

— Нѣ, и на дорози не бачно было...

— А може, брешешъ, пся юха?

— А вбѣй мене Богъ!..

— То вольно ѣхаць?

— Вольно, вольно, паночку, а ниякъ адной души не бачу!

— А дакуль ѣдзешъ?

— А ось, тутай... по пана-ойца... по требу...

— По якъ требу?

— Та кажу, паночку, бацько хвѣры... вымрая... сповадацься хочя... послау по пана-ойца, кабъ хутчей привіезъ, а то може й не застаня...

— Ё, глупство!.. Брешешъ, хлопче!.. Выпрагай коняку та й гайдъ зъ нами! Уланемъ бендзешъ зроблѣны!

— Ой, паночку!—слезно взмолился испуганный парень.—Уся власць ваша... Не вольно

мнѣ, бо бацько, кажу, вымрая... Адпусциць мене, паночку!

— Ну, ну, было! Выпрагай... Прендо!..¹⁾ Тай сядай на конь, бо нѣма часу балакаць!..

— Ой, пане мой яснавьяможны!.. Змилуйся гля пана-Богъ!—повалился парень въ ноги Копцу.—Якъ жетакъ, бацько мой кривны... хвѣры, кажу...

— Гей, хлопцы!—обернулся полковникъ къ уланамъ. — Десять бизуновъ ему въ спину да сакай на конь силой, когда добромъ не хочеть!

Хлопцы не заставили повторить себѣ приказаніе: въ одну минуту лошадка была выпряжена, полукѣшкѣ брошенъ на дорогѣ, а парень отхлестанъ, посаженъ на свою коняку и поставленъ въ ряды защитниковъ отечества, между двухъ надежныхъ уланъ, которымъ велѣно держать его подъ присмотромъ.

— Пускай же не болтають москали, что въ бандахъ нѣтъ у насъ хлоповъ!—съ самодовольной усмѣшкой, крутя сивый усъ, обратился Копецъ къ ксендзу Игнацѣму, вѣдавшему рядомъ.

Подъ Червлены конная банда пришла уже вечеромъ, когда совсѣмъ стемнѣло, и заночевала въ Вишовникѣ—лѣсъ, стоявшій версты на три отъ мѣстечка. Копецъ тотчасъ же послалъ надежнаго эмиссара къ пану Котырло провѣдать, нѣтъ ли по близости москалей. Эмиссаръ воротился подъ утро, съ извѣстіемъ, что по всей окрестности тихо и не слышать о появленіи русскихъ отрядовъ. Эта вѣсть на много придала самоувѣренности пану Копцу, который порѣшилъ, что стало-быть въ Червлены слѣдуетъ войти не иначе, какъ триумфаторомъ, съ церемоніаломъ, съ парадомъ и трубными звуками, тѣмъ болѣе, что ради воскреснаго дня въ мѣстечкѣ соберется много пановъ и народа, стекающагося на базаръ и къ обѣднѣ.

Червленскаго ксендза и пана Котырло предупредилъ объ этомъ уже утромъ все тотъ же посланецъ. Но крупному землевладѣльцу и собственнику Червлень было крайне не по сердцу это торжественное вступленіе, ибо онъ зналъ, что за торжество пана Копца, котораго ему, какъ доброму патриоту, подобаетъ встрѣтить соотвѣтственнымъ образомъ, русская власть потянетъ къ отвѣту все его же, пана Котырло, за сочувствіе и помощь мятежникамъ; поэтому крупный землевладѣлецъ, не желавшій за торжество благопріятеля платиться контрибуціей съ собственного «маентка», живо составилъ въ головѣ своей планъ, что принять-то Копца онъ, пожалуй, и приметъ, но вслѣдъ за его уходомъ, сейчасъ же поѣдетъ къ ближайшему военному начальнику и заявить, что приходили-де повстанцы и, подъ угрозою смерти и пожара, насильно позабирали у него изъ экономіи фуражъ и сѣетные продукты. Составивъ себѣ такой

¹⁾ Испугался.

²⁾ Шапка.

¹⁾ Скоро.

ловкій планъ, панъ Котырло успокоился и даже не безъ удовольствія сталъ ожидать торжественнаго вступленія повстанцевъ.

Собравшійся народъ присутствовалъ еще въ церквѣ и въ костелѣ, когда панъ Копецъ, въ предшествіи четырехъ «шквдронныхъ» трубачей, которые что есть мочи трубили что-то такое «фанфарное», вступилъ въ Червлены во главѣ своего воинства. У околицы, на пикетѣ мѣстной сельской стражи имъ попалось три хлопа, изъ которыхъ одинъ конный, завидѣвъ повстанцевъ, ударился-было пѣликомъ по полю, съ цѣлю предупредить русскихъ о появленіи нежданныхъ гостей, но Копецъ послалъ въ догонку за нимъ нѣсколькихъ уланъ, которымъ и удалось перенять бѣднаго стражника. Захвативъ такимъ образомъ весь пикетъ, Копецъ объявилъ его военноплѣннымъ и подлежащимъ полевому суду «за измѣну». Связанныхъ хлоповъ притрочили къ сѣдламъ и, окруживъ опущенными пиками конвою, ввели въ мѣстечко въ хвостъ своей колонны.

Топотъ коней и звуки трубъ привлекли вниманіе обывателей. Все еврейское населеніе Червлень и всѣ крестьяне, оставшіеся на базарной площади «доглядать» свои возы, кинулись въ ту сторону, откуда вступали польскіе триумфаторы. Еврейки и маленькіе жиденята со страху подняли гвалтъ и вопли, а крестьяне какъ-то глухо, и скорѣе враждебно, чѣмъ дружелюбно загомонили между собой по поводу появленія народныхъ воиновъ. На лицахъ этой крестьянской толпы написано было недоумѣніе и нерѣшительность боязни.

Отрядъ остановился на площади предъ костеломъ. Ксендзъ, при колокольномъ звонѣ, съ крестомъ и «хоронгами», вышелъ на паперть и привѣтствовалъ побѣдоноснаго полковника. Шляхта, высыпавшая изъ костела, махала шапками и платками, кричала «vivat!» и восторженно кидалась въ ряды защитниковъ ойлизны, обниматься и цѣловаться съ ними. Мѣстные «шляхтянки» поспѣшали домой и щедро, полными фартуками и корзинами, выносили изъ своихъ «коморъ» гусинья полатки, сало, булки, колбасы, сыръ, молоко и сметану. Все это тотчасъ же побѣдалось, выпивалось или переходило въ кабуры да въ чемоданы воителей.

Пана Котырло не было. Узнавъ о намѣреніи Копца, онъ еще рано утромъ благоразумно послалъ извѣстить ксендза, что чувствуетъ себя нездоровымъ, и потому не можетъ со своимъ семействомъ присутствовать сегодня у обѣдни. Впрочемъ, въ обольщеніи своего торжества, Копецъ о немъ и не вспомнилъ. У него пока была другая, болѣе важная и, такъ сказать, «государственная» забота. Дѣло въ томъ, что на углу площади стоялъ домикъ, надъ крылечкомъ котораго помѣщалась деревянная доска съ надписью «Волостное правленіе» и съ намалеваннымъ на ней русскимъ государственнымъ гербомъ.

Принявъ отъ ксендза благословеніе, Копецъ отправился въ костелъ слушать «Те Деумъ» по поводу своего побѣдоноснаго занятія Червлень, а одного изъ офицеровъ отрядилъ со взводомъ «красныхъ чертей» — «ниспровергнуть русскаго орла, захватить всю наличную кассу и уничтожить слѣды наяздоваго владычества».

Взводъ «чертей», сопровождаемый толпой шляхты и любопытными евреями, направился къ волостному правленію и сталъ разстрѣливать вывѣску. Черезъ минуту весь орелъ былъ продырявленъ пулями и доска изщеплена. Все это совершалось совершенно серьезно, при оглушительныхъ виватахъ шляхты. Затѣмъ воители, не забывъ предварительно воспользоваться кассой, повыносили изъ правленія шнуровыя книги, дѣла, бумаги и, вмѣстѣ съ изщепленнымъ и снятымъ орломъ, сваливъ на площади все это въ одну кучу, подожгли ее. Виваты не умолкали, торжество было полное.

Между тѣмъ капитанъ Сычъ получилъ отъ Копца еще болѣе важное порученіе. Точно также съ особымъ взводомъ, онъ отправился къ православной церкви, гдѣ въ это время отецъ Сильвестръ совершалъ еще литургію. Приставивъ къ дверямъ караулъ, Сычъ вошелъ въ алтарь и потребовалъ, чтобы отецъ Конотовичъ немедленно же прочелъ своимъ прихожанамъ манифестъ народоваго ржонда и «манифестъ о секретной царской волѣ», а затѣмъ привелъ бы народъ къ присягѣ на вѣрность польскому «ржонду».

Священникъ наотрѣвъ отказался и просилъ Сыча не мѣшать ему продолжать службу.

Капитанъ пробормоталъ какую-то угрозу и удалился, оставивъ караулъ предъ дверями. Онъ поскакалъ къ пану Копцу съ докладомъ о рѣшительномъ отказѣ священника. Панъ полковникъ, подпѣвая звукамъ «Те-Деумъ», вскользь выслушалъ его докладъ и кратко буркнулъ въ отвѣтъ какое-то слово. Сычъ поклонился и вышелъ изъ костела.

Пять минутъ спустя, въ православную церковь шумно ворвалась толпа повстанскихъ улановъ, а тамъ, какъ разъ въ это самое время, торжественно растворились Царскія врата и въ нихъ показался отецъ Сильвестръ со Святыми Дарами.

— Со страхомъ Божиимъ и вѣрою приступите! — спокойно, твердо и громко раздался по храму его голосъ.

Нѣсколько человекъ съ обнаженными саблями и пистолетами въ рукахъ окружили его со всѣхъ сторонъ, а одинъ изъ урядниковъ накинута на него веревку и захлестнулъ петлю вокругъ шеи.

Отецъ Сильвестръ не дрогнулъ, только смертная блѣдность разлилась по лицу его.

Вдругъ раздался отчаянный вопль, и въ ку-

чу повстанцевъ ринулась обезумѣвшая женщина: то была престарѣлая жена отца Коновича, которая, вопя и зывая о помощи, борась руками и расталкивая злодѣевъ, пробивалась на выручку мужа. Народъ словно бы онемѣлъ и окаменѣлъ отъ ужаса; но нѣкоторые изъ прихожанъ очнулись и тоже кинулись было къ своему пастырю.

— Остановись!.. Я съ Дарами!..—крикнулъ женѣ своей отецъ Сильвестръ, опасавшійся не за жизнь свою, а за то, какъ бы въ этой толкотнѣ и сумятицѣ не пролить или не уронить на землю чашу.

Трое дюжихъ повстанцевъ подхватили женщину на руки и насильно отнесли ее въ сторону.

— Кто приступится, пулю въ лобъ!—грозно обернулся къ народу Сычъ, потрясая револьверомъ.—Тащиго!—приказалъ онъ своимъ приспѣшникамъ, кивнувъ на Сильвестра, и урядникъ повлекъ священника на веревкѣ.

Отецъ Коновичъ крѣпко прижалъ къ груди чашу и безтрепетно, твердою поступью, пошелъ за урядникомъ, чувствуя, что задыхается подъ петлей.

Вдругъ, въ эту самую минуту, продираясь сквозь караулъ, поставленный у входа въ церковь, вбѣжалъ запыхавшійся еврей изъ мѣстныхъ обывателей, жившій по сосѣдству съ отцомъ Сильвестромъ.

— Ой, вай! Ратуйтесен', панове! ратуйтесен', Москале идзон! Енгераль Ганецкій!.. Москале!—кричалъ онъ, размахивая руками.

«Енгераль Ганецкій»—это было магическое слово. Въ тотъ же мигъ урядникъ бросилъ веревку и давая Богъ ноги, а за нимъ капитанъ Сычъ и вся остальная братія, давая, толкаясь и перегоняя другъ друга, въ страхѣ и ужасѣ кинулись вонъ изъ церкви, скорѣе къ своимъ конямъ, и въ паническомъ безпорядкѣ поскакали на площадь, гдѣ межъ тѣмъ спокойно стояло остальное воинство, раздавались виваты и пылали дѣла волостного правленія.

Переполюхъ пошелъ ужасный. Увидя сотоварищей, сломя голову скачущихъ отъ церкви съ криками: «Москале! Ганецкій!» остальные взводы обоихъ «пквадроновъ» поддались точно такой же паникѣ. Кто-то изъ шляхтичей догадался дать знать пану Копцу, находящемуся еще въ костелѣ. Но панъ доудпа, гдѣ бы напередъ разузнать основательно въ чемъ дѣло, да возстановить хоть какой-нибудь порядокъ, опротивѣвъ вскочилъ скорѣе въ сѣдло и задалъ такого «драпака», что далеко опередилъ всю банду, благодаря прыткимъ и здоровымъ ногамъ своей лошади.

Не ранѣе какъ уже подъ самымъ лѣсомъ пришелъ онъ въ себя и заинтересовался разслѣдовать съ чего весь сыръ-боръ загорѣлся? Гдѣ эти москале и страшный Ганецкій? Откуда они показались? Кто и когда ихъ видѣлъ,

въ какой сторонѣ и далеко-ли? Кто далъ знать о нихъ? Или развѣ прискакалъ кто-нибудь съ пикетовъ? Оказалось, что никто ничего не знаетъ и не понимаетъ, никто ничего не видѣлъ, и съ пикетовъ люди не пріѣзжали, а просто крикнулъ одинъ только жидъ какой-то.

Копецъ ввелъ свою банду въ опушку лѣса и, велѣвъ одному надежному человѣку переодѣться въ крестьянское платье, послалъ его въ Червлены провѣдать о положеніи дѣла, да кромѣ того, направилъ два развѣзда обозрѣть мѣстность около мѣстечка и высмотрѣть, что дѣлаютъ покинутые пикеты. Черезъ часъ развѣзды вернулись и донесли, что люди на сторожевыхъ постахъ стоятъ-себѣ самымъ спокойнымъ образомъ, а еще нѣсколько времени спустя вернулся и переодѣтый посланецъ. Изъ его разсказа оказалось, что въ мѣстечкѣ болтаютъ, будто никакихъ москалей и духу близко не пахнетъ, а всю штуку удралъ еврей Зильберовичъ, который, провѣдавъ, что уланы пошли въ церковь вѣшать священника, вздумалъ спасти его отъ петли, такъ какъ вѣроятно имѣетъ съ нимъ какія-то дѣла и денежные расчеты.

Краска стыда и негодованія покрыла и безъ того уже багровое лицо пана Копца. Онъ выругался энергичнѣйшимъ образомъ и, рѣшивъ, что надо немедленно-же и во что-бы ни стало наказать измѣнниковъ, рысью повелъ свою кавалерію обратно въ Червлены.

Базаръ былъ въ полномъ разгарѣ, и народъ, толкая о сегодняшнемъ происшествіи, большими кучами толпился на площади, когда въ мѣстечкѣ снова показались повстанскіе «пквадроны», уже безъ трубныхъ звуковъ и безо всякаго торжества, но зато исполненные желаніемъ отомстить за свое посрамленіе. Трусоватость защитниковъ ойчизны сказалась слишкомъ рѣзко, явно и всенародно, ничтожность причины, возбудившей ихъ панику, обнаружилась слишкомъ скоро, и весь фарсъ торжественнаго вступленія разыгрался такъ жалко и смѣшно, что уязвленное самолюбіе волякъ не могло не вопіять о возстановленіи своего достоинства, хотя-бы для этого пришлось прибѣгнуть къ крови и пожару. Всѣ воляки чувствовали, что повстанскій авторитетъ ихъ можетъ быть спасенъ только въ томъ случаѣ, если имъ удастся нагнать на народъ жестокаго страха. Вступивъ на рысяхъ въ мѣстечко, они тотчасъ-же заняли всѣ выѣзды и тропинки, съ цѣлью не выпустить изъ Червленъ ни единого человѣка; затѣмъ окружили домъ отца Сильвестра и, арестовавъ на площади волостного старшину, приказали ему, подъ страхомъ смертной казни, сію-же минуту указать еврея Зильберовича и тѣхъ трехъ крестьянъ, что были захвачены на вартѣ и упущены изъ плѣна «при отступленіи».

Перепуганный старшина, къ груди котораго

была приставлена пара пистолетовъ, безпрекословно исполнивъ волю повстанскаго полковника, и черезъ десять минутъ предъ рядами польской конницы уже стояли, связанные по рукамъ, отецъ Сильвестръ, еврей Зильберовичъ и трое стражниковъ.

Народъ снова обступилъ повстанцевъ и смутно, въ ожиданіи чего-то страшнаго, стоялъ, обнаживъ свои головы.

На площадь вынесли откуда-то столъ и нѣсколько стульевъ.

Ксендзъ Игнацы взошелъ на этотъ столъ и оповѣстилъ народу, что желаетъ говорить проповѣдь. Часть повстанскихъ улановъ разсыялась между массою народа и, принявъ на себя полицейскія обязанности, кулакомъ и словомъ старалась возстановить достоподобную тишину и вниманіе.

— Во имя Ойца, Сына и Духа Святаго, — началъ Игнацы, набожно осылая себя католическимъ крестнымъ знаменіемъ. — Муи коханы браця и сiостры о Христуѣ! Вы въ глупой вашей простотѣ вѣрите царскимъ указамъ о волѣ, но вы не знаете что это за воля. Вотъ, слушайте, я прочитаю вамъ *подлинный* царскій манифестъ о *секретной* волѣ, тогда вы узнаете что оно такое. Внимайте, братія! Вотъ что гласитъ манифестъ московскій.

И, развернувъ печатный листъ, ксендзъ Игнацы началъ читать громко и явственно: «Объявляю всенародно, что воля есть Царя истребить всѣхъ католиковъ, начиная отъ господъ, потомъ дворянъ, всю шляхту, а кончить на крестьянахъ; за то вся ихъ земля и все имущество будутъ принадлежать къ тѣмъ, которые заострутъ ножи, косы и топоры. Осмѣяйте людей на резъ, всѣ за дѣло возьмитесь, будете богаты; Царь въ благодарность здѣлаетъ васъ членами и русскими дворянами; въ семь дѣлъ будутъ подтверждать отцы духовныя; въ томъ воля Божая! Возьмаетъ васъ общая русская любовь, наша славная вѣра и вся благочестъ, истребить католиковъ до единаго. А мы съ помощью церкви благословляемъ васъ и повелеваемъ укреплять духъ водкой, для истребленія слугъ дьявольскихъ, очистить свѣтъ отъ противниковъ Божыхъ. Богъ, церковь, царь повелѣваетъ!»¹⁾

Въ толпѣ между католиками пошелъ смутный говоръ. Шляхта, искренно или нѣтъ, но показывала видъ будто безусловно вѣритъ прочтенному манифесту и волновалась негодуя: «москалямъ велѣно рѣзать... Теперь всѣхъ, всѣхъ перерѣжутъ, камня на камнѣ не оставятъ, а вы, хлопы глупые, имъ помогаете!» Но хлопы-католики еще не выказывали никакихъ признаковъ волненія; они разду мчиво стояли, не зная вѣрить или нѣтъ, и скорѣе

склонялись на сторону недоумѣрія. Зато повстанскіе уланы принялись сильно агитировать мелкую шляхту. Между тѣмъ ксендзъ Игнацы снова подалъ знакъ ко вниманію, и черезъ нѣсколько минутъ площадь смолкла.

— Вы вѣрно слышали, — началъ онъ, — что теперь установлено правленіе польское, что это правленіе польское даетъ вамъ справедливую свободу, какъ у французовъ, и возвратитъ еще вашу прежнюю справедливую вѣру дѣдовъ и прадѣдовъ. Обманываетъ васъ москаль, толкуя, что эти паны поднялись, чтобы вернуть назадъ панцизну²⁾. Наше дѣло о справедливой свободѣ, которой наши отцы и дѣды издавна ожидали, и которую москаль съ кровопийцами вашими задержать хочетъ. Дѣло наше — дѣло такой свободы, которую самъ Богъ, прійдя на сей свѣтъ, желалъ установить и за которую пролилъ Свою святую кровь, претерпѣвая крестныя мученія. Миновала уже панцизна, миновала ваша обида, и никакая сила не вернетъ ее — ни московская, ни чертовская. Теперь то настало то время, что каждому будетъ отмѣрено такъ, какъ онъ самъ себя намѣритъ. Панъ будетъ злой — пана повѣсимъ какъ собаку, хлопъ будетъ злой — и хлопа повѣсимъ, а дворы ихъ и села сожгутся, и будетъ справедливая свобода, ибо того самъ Богъ желаетъ и Пречистая Богородица. Чиншовъ, оброку и податей въ казну московскую не платить, а платить только казнѣ польской, такъ какъ вы сами принадлежите правленію польскому. Ополченій и карауловъ по селамъ чтобы не было! А если поймутъ кого на вартѣ или изъ ополченія, то повѣсятъ — не теперь, такъ послѣ. За вашу свободу проливаютъ кровь справедливые люди, а вы, какъ тѣ Каины и Искаріоты, добрыхъ братій предаете врагамъ вашимъ! Правленіе польское спрашиваетъ у васъ, какъ вы смѣли помогать москалю въ нечистомъ дѣлѣ? Гдѣ былъ у васъ умъ, гдѣ была у васъ правда? Подумали вы о страшномъ судѣ Божиемъ? Вы скажете, что дѣлали по неволѣ, но мы люди свободные, и нѣтъ у насъ неволи, а кто изъ васъ хочетъ московской воли, тому мы пропишемъ висѣлицу³⁾.

Пока ксендзъ Игнацы съ высоты стола проповѣдывалъ народу, панъ Копецъ, присѣвъ къ тому же столу строчилъ краткій рапортъ графу Маржецкому о своихъ подвигахъ и дѣяніяхъ.

«Сего числа утромъ, писалъ онъ, я торжественно вступилъ было въ мѣстечко Червленны, Гродненскаго воеводства; отъ имени народнаго правленія низложилъ и уничтожилъ московское владычество; а на его мѣсто возвелъ польское народное правленіе въ лицѣ обывателя Антонія Юцевича, коего обязанность состоитъ въ представительствѣ народной гра-

¹⁾ Варшину.

²⁾ Исторически вѣрно. Проповѣдь эта была отпечатана въ Вильнѣ, въ день Св. Бартоломея, на особомъ листѣ, и распушена по всему Краю.

³⁾ Орфографія подлинника соблюдена въ точности.

жданской власти, пока не будетъ прочно введено постоянное правленіе ¹⁾).

«Измѣнники народному дѣлу будутъ немедленно же подвергнуты мною заслуженной карѣ, о чемъ вашему превосходительству донести честь имѣю».

Капитанъ Сычъ, вслѣдъ за подписью Копца, скрѣпилъ это донесеніе и своимъ рукоприкладствомъ, въ качествѣ правящаго должность адъютанта, а затѣмъ оно тотчасъ же было отправлено съ нарочнымъ въ станъ къ графу Маржецкому.

— Теперь же, о братія! — вѣщалъ между тѣмъ ксендзъ Игнацы, — да познаетъ всякъ изъ васъ милость польскаго правленія, которую оно оказываетъ вамъ, присоединяя васъ къ числу своихъ вѣрноподданныхъ, и да увидитъ всякъ его силу, дабы на будущее время вы себѣ крѣпко намотали на усъ, что ржондъ народовой не шутитъ съ измѣнниками отчизны. Вотъ, предъ вами нечестивый служитель алтаря, — указалъ онъ на связаннаго отпа Сильвестра, — священникъ, который, вмѣсто внушеній о послушаніи и любви къ законному вашему правительству научалъ васъ измѣнять дѣлу польской родины и помогать Богомъ проклятому московскому наѣзду, былъ «шпегомъ» этого наѣзда, возмущалъ васъ противъ кроткихъ и добрыхъ вашихъ помѣщиковъ, коихъ вся вина только въ томъ, что они суть добрые патріоты, училъ васъ вѣрить лживой волѣ царской и не вѣрить справедливой свободѣ польской. Преступленія эти многи и обильны и вопіютъ на небо! Вотъ предъ вами другая собака, — указалъ онъ на еврея Зильберовича, — жидъ, недостойный называться братомъ полякомъ Моисеева закона, жидъ, который осмѣлился смутить сегодня ложнымъ извѣщеніемъ ваше доблестное воинство народовое! Вотъ, наконецъ, эти три гнусные хлопа, которые, забывая Бога и совѣсть, забывая долгъ истинныхъ сыновъ отчизны, стали на стражу противъ насъ, своихъ кровныхъ братій и намѣревались извѣститъ москалей о нашемъ благодатномъ для васъ прибытіи. Но ни одно изъ этихъ намѣреній не удалось симъ гнуснымъ людямъ. Да познаете въ этомъ, о братія, перстъ Божій, сохраняющій насъ на всѣхъ путяхъ нашихъ, да не преткнемъ ногу нашу о камень, но да поборемъ льва и змія, василиска и скдрпія! Вы же, недостойные, идите во адъ къ отцу вашему дьяволу, принять достойную награду за ваше преступленіе! Да спалитъ огонь жилища ваши и да будутъ имена ваши анаема-про-

клаты нынѣ, и присно, и на вѣки вѣковъ! Амен!

Ксендзъ Игнацы слѣзъ со стола, а панъ Копецъ вскочилъ на подведеннаго ему коня и, высоко держа надъ головой конфедератку, провозгласилъ громко надъ толпой:

— Объявляю всѣмъ друзьямъ и недругамъ, что отнынѣ московское правительство въ Червленахъ и на всей окрестной землѣ мною низложено навсегда и возведенъ единый и вѣчный, законный нашъ польскій ржондъ народовой! Vivat! Нѣхъ жие Польска!

Шляхта и уланы, махая шапками, восторженно подхватили эти виваты и восклицанія.

Крестьяне же, по большей части, безмолвствовали. Они были смущены и напуганы появленіемъ вооруженной шайки, ибо по опыту уже знали, что защитники отечества добромъ не уходятъ ни откуды и что расправа у нихъ бываетъ коротка и безпощадна.

Между тѣмъ, панъ Копецъ втайнѣ сообразилъ себѣ, что хотя измѣнниковъ и необходимо надо повѣсить, но чортъ возьми, если неравно попадешься какъ-нибудь потомъ въ лапы къ москалямъ, да если они провѣдаютъ, что казнь-то совершена имъ, паномъ Копцемъ? — «Вѣдь ужъ тогда никакой пощады не жди: и самого навѣрное вздернутъ». Поэтому панъ-полковникъ сообразилъ, что гораздо благоразумнѣе будетъ, если онъ увильнетъ отъ видимой инициативы въ этомъ дѣлѣ, немножко ступуется, отойдетъ на второй планъ, а представитъ первыя и наиболѣе видныя, активныя роли капитану Сычу и ксендзу Игнацѣму. Капитанъ Сычъ весьма охотно принялъ его предложеніе распоряжаться казнью и съ видимымъ удовольствіемъ принялся устраивать «смертный кортежъ», затѣявъ обставить его какъ можно торжественнѣе. Онъ выстроилъ оба эскадрона шпалерой отъ площади до ограды православной церкви, окружилъ конвоемъ осужденныхъ, впереди шествія пустилъ трубачей, приказавъ играть имъ, что сами знаютъ, — «абы цосъ погржебовѣго», ¹⁾ и тѣ принялись усердно издавать какіе-то нестройные, дикіе звуки, раздиравшіе и душу, и ухо; а въ замокъ шествія панъ Сычъ отрядилъ особый взводъ «несмерцельнікувъ» въ томъ предположеніи, что ихъ «трупы головы», бѣлые кресты и черныя съ бѣлымъ флюгера будутъ какъ нельзя болѣе соответствовать общему мрачному впечатлѣнію. Присущая польскому характеру страсть къ театральничанью, къ позировкѣ, къ гримкимъ словамъ, къ мистическимъ и романтическимъ эффектамъ, даже и въ данномъ случаѣ ухитрилась найти себѣ поводъ къ особому «торжеству», въ которомъ вдоволь можно было порисоваться предъ толпой и особенно предъ женщинами, въ роли «грознаго меча правосудія».

¹⁾ Исторически вѣрно. Заимствовано изъ бумагъ и документовъ покойнаго полковника С. А. Райковского. Измѣнено только названіе мѣстечка, а именно: въ подлинникѣ, подписанномъ Колышкой, названо мѣстечко Эйрагола „Ковенскаго воеводства“.

¹⁾ Лишь бы что-нибудь похоронное.

Въ такомъ порядкѣ «смертный кортежъ», подъ предводительствомъ Сыча, медленно двинулся къ церковной оградѣ, гдѣ на перекладинахъ воротъ уже приготовлены были двѣ петли.

Отца Сильвестра и еврея Зильберовича подвели подъ висѣлицу.

Но панъ Сычъ не ограничился еще этимъ эффектом! Для пущаго назиданія и устрашенія толпы, онъ приказалъ, чтобы на мѣсто казни были приведены семейства осужденныхъ и заставилъ ихъ смотрѣть, какъ будутъ вѣшать. Жена и дѣти Зильберовича истерически вопили, рыдали и бились въ толпѣ своихъ соплеменниковъ, такъ что нѣсколько дюжихъ повстанцевъ едва могли удержать ихъ. Но когда привели мертвенно-блѣдную жену отца Сильвестра и поставили ее въ трехъ шагахъ отъ мужа, она уже не рвалась и не вопила, какъ давеча въ церкви. Въ лицѣ этой женщины царило, если можно такъ выразиться, какое-то спокойствіе ужаса, нѣчто высшее, чѣмъ обыкновенный страхъ или отчаяніе, словно бы она вполне сознавала какая это минута. Несчастная сдѣлала было шагъ къ мужу, но ее не допустили.

— Прощай!—тихо кивнулъ ей головою священникъ, и чтобы ободрить ее, хотѣлъ было улыбнуться, но улыбки не вышло, одна только конвульсивная судорога, вмѣсто нея, покрывила его посинѣлыя губы.

И онъ видѣлъ, какъ жена его опустилась на колѣни, какъ устремила взоры къ небу, на церковный крестъ, и, осѣняя себя его знаменіемъ, стала шептать какую-то молитву.

Повстанцы, исполнявшіе роли палачей, накинули на осужденныхъ петли. Еврей былъ уже безъ чувствъ, въ безсознательномъ состояніи, такъ что его пришлось поддерживать на ногахъ, какъ еуку, но отецъ Сильвестръ стоялъ, повидимому, спокойно и твердо.

— Господи! въ руки Твои предаю духъ мой!—прошепталъ онъ, вскинувъ къ небу взоръ, какъ вдругъ, въ это самое мгновеніе глгоцля крѣико дернули веревки—и двѣ страшныя фигуры закачались въ воздухѣ.

Глухой стонъ ужаса пронесся въ дрогнувшемъ народѣ, а колѣнопреклоненная женщина все еще глядѣла на небо и молилась.

Въ это время, въ нѣсколькихъ концахъ мѣстечка, взвились къ облакамъ клубы чернаго дыма—и народъ съ отчаянными криками: «Пожаръ!.. Горимъ!» кинулся въ разныя стороны.—Это ксендзъ Игнацы приказалъ своимъ приспѣшникамъ поджечь дома осужденныхъ «здрайцовъ», въ числѣ которыхъ были и три хаты пойманныхъ сельскихъ стражниковъ.

Панъ Копецъ собралъ людей своихъ «шквadroновъ» и повелъ ихъ изъ мѣстечка. За околицей, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ взятъ крестьянскій пикетъ, капитанъ Сычъ прика-

залъ повѣсить на ближайшей соснѣ и трехъ несчастныхъ хлопковъ, захваченныхъ «на вартѣ».

Повстанская кавалерія не успѣла еще спрятаться въ темномъ Вишовникѣ, а осторожный и предусмотрительный панъ Котырло, тайкомъ, окольными путями пробирался уже въ закрытой коляскѣ къ мѣстному военному начальнику, со слезнымъ донесеніемъ, что нагрянули-де нежданно-негаданно какіе-то неизвѣстные вооруженные люди, повѣсили нѣсколько человекъ, зажгли нѣсколько строеній и скрылись невѣдомо куда, а онъ-де и самъ едва укрылся отъ смертной опасности и разоренія, и теперь «какъ наивѣрно-преданный своему Царю и ойтечеству» спѣшитъ заявить обо всемъ законной власти, чтобы не было на него потомъ какихъ-либо подозрѣній и нареканій. При этомъ фizioномія Св. Бонифація была уже заранѣе разсчитана, обдумана и устроена себѣ благонамѣреннымъ паномъ Котырло.

VIII.

Тревога.

Графъ Маржецкій, получивъ донесеніе Копца, принялъ его съ такимъ восторгомъ, какъ словно то была вѣсть о великой побѣдѣ или о вооруженномъ занятіи цѣлаго края. Копія съ этого донесенія тотчасъ же была послана въ Центральной Комитетъ, съ просьбой немедленно напечатать ее въ «Вѣдомостяхъ зъ поля битвы» ¹⁾ и если возможно, то опубликовать и въ заграничной прессѣ. Вмѣстѣ съ этимъ, графъ отправилъ нарочнаго и къ Цезаринѣ съ письмомъ, въ которомъ напоминалъ о ея обѣщаніи посѣтить его лагерь, гдѣ онъ готовитъ цѣлый праздникъ для пріема столь дорогой гостьи, тѣмъ болѣе, что «всей его арміи» пламенно желалось бы отпраздновать въ ея присутствіи первой успѣхъ своего оружія въ Червленяхъ. Цезаринѣ и самой хотѣлось прокатиться «до обозу», взглянуть на поэтическую обстановку лѣсной жизни «польскихъ героевъ», устроить тамъ веселую «кальвакаду», проѣздиться верхомъ и вообще весело провести день, столь оригинальный и исключительный, какой наврядъ ли выдастся вторично въ жизни. Какая же польская женщина отказалась бы въ то время отъ удовольствія похвалиться при случаѣ предъ пріятельницами, что и она тоже была въ лѣсу, въ военномъ станѣ? А тутъ еще для нея, для нея одной готовятъ цѣлый праздникъ, весь корпусъ жаждетъ ее видѣть, и вдобавокъ, графъ Маржецкій увѣряетъ, что дорога вполне доступна, легка, непродолжительна и совершенно безопасна. Впрочемъ, послѣднее обстоятельство было безразлично для

¹⁾ Военные бюллетени „жжонда“, выходившіе въ Варшавѣ періодическими листками, подъ этимъ названіемъ.

Цезарины: ее не пугала опасность, — напротив, пылкой и впечатлительной душой ее даже хотѣлось порою риска и опасности, которые разнообразили бы монотонность ея сельского уединенія. Ей очень хотѣлось бы увидѣть настоящій бой, присутствовать на самомъ мѣстѣ сраженія, испытать что за чувства, что за впечатлѣнія волнуютъ въ это время человѣческую душу, увлечь другихъ къ героизму и самой увлечься, тѣмъ болѣе, что это все казалось ей такъ весело, такъ ярко и поэтично!.. А кромѣ того, хотѣлось еще увидѣть и своего статнаго красавца Жозефа, который долженъ быть такъ дивно хорошъ на породистомъ конѣ, съ ея знаменемъ въ рукахъ, предъ эскадронами польской кавалеріи... Однимъ словомъ, мысль объ этой поѣздкѣ исполнѣ улыбалась графинѣ Цезаринѣ; она обѣщала пріѣхать непременно, во что бы то ни стало, обдумала весь костюмъ и даже заблаговременно отправила въ лагерь дамское сѣдло и своего кровнаго, свѣтлосѣраго Баязета, съ Сангушковскаго завода.

Въ лагерѣ межъ тѣмъ шли усиленные приготовления къ пріѣзду и встрѣчѣ графини. Ксендзъ Игнацы весь ушелъ въ соображенія по части купиларнаго искусства, винъ и напитковъ, хлопоталъ, суетился, наблюдалъ за поварами, приказывалъ огородить елками, въ видѣ бесѣдки, извѣстное пространство лѣсной лужайки, гдѣ долженъ будетъ помѣститься обѣденный столъ; Поль Секерко устраивалъ иллюминацію къ вечеру и самъ клеилъ бумажные фонарики; Маржецкій снаряжалъ почетный караулъ для графини и обдумывалъ церемоніаль встрѣчи; благополучно возвратившійся Копецъ училъ церемоніальному маршу свою кавалерію; тиральеры готовили холостые патроны для залповъ во время обѣденныхъ тостовъ, чистили и исправляли перепачканные свои мундиры; чехи разучивали какой-то новый полонезъ, и однѣ лишь героини были не совсѣмъ-то довольны, такъ какъ Маржецкій приказалъ Копцу убрать ихъ куда нибудь на время посѣщенія Цезарины, такъ, чтобы и гдѣ-то ихъ не было слышно, да и фizioноміи не выставлялись-бы. Не былъ доволенъ еще и Бейгушъ, не принимавшій никакого участія во всѣхъ этихъ приготовленияхъ; но зато онъ позаботился усилить на всякій случай сторожевые посты, направить по разнымъ направленіямъ особые разъѣзды и приказалъ имъ глядѣть какъ можно зорче и слушать какъ можно чутче. Его давило и грызло словно-бы какое предчувствіе, что вся эта шумная потѣха ясновѣроятнаго доводцы и вся эта игра въ солдатики не обойдется даромъ...

Наконецъ насталъ и день праздника. Цезарина пріѣхала. Оваціи, манифестація, встрѣчи, виваты, полонезы, почетный караулъ и преклоненіе знамени, и чего-чего тутъ не было!.. Графиня сіяла отъ восторга, любовалась лѣсомъ, любовалась лагеремъ, косиньберами, кострами и

была беззаботно весела, какъ ребенокъ. Нарядъ ея удался какъ нельзя лучше: бѣлая бархатная конфедератка со страусовымъ плюмажемъ, изящный хлыстъ, перчатки съ крагами, венгерскіе сапожки съ золотыми звонкими подковками и фіолетовый атласный кунтушъ, весь расшитый серебромъ, съ откидными рукавами или такъ-называемыми «вылѣтами», надѣтый поверхъ блѣдно-палеваго платья-амазонки съ роскошнымъ шлейфомъ—все это было хотя и нѣсколько театрално, но необыкновенно эффектно, красиво, изящно, все такъ ловко на ней сидѣло, такъ удивительно шло къ лицу и гармонировало между собою, что и старый ловеласъ, и юный «хоронжій», красавецъ Жозефъ—оба онѣмъли отъ восхищенія и восторга, при первомъ же взглядѣ на свою героиню. Да и сама она чувствовала, что очаровательно хороша сегодня.

Графъ Сченснй и статный Жозефъ не покидали ее ни на минуту, предупреждая малѣйшій взглядъ, малѣйшее желаніе дорогой гостьи. И ксендзъ Игнацы, и панъ интендантъ Копецъ, еще до ея пріѣзда, ради усиленныхъ трудовъ своихъ хватившіе на радостяхъ «правдивой старой литевки», оба были теперь въ необыкновенно «добрымъ гумдрѣжѣ» и цвѣли, какъ піоны, отъ вина и удовольствія. Ксендзъ былъ особенно въ ударѣ, и потому всевозможныя «диктерійки», рѣмы, присловія и пословицы въ «старожитномъ» родѣ и духѣ лились у него рѣкою.

Наконецъ, послѣ объѣзда лагеря и прогулки на аванпосты, графъ Сченснй подаль Цезаринѣ руку и, подъ звуки полонеза, повелъ ее къ обѣденному столу, гдѣ ксендзъ Игнацы уже заранѣе взялъ на себя роль мажоръ-дома, оберъ-шенка, всеобщаго угощателя и увеселителя. И блюда, и застольный порядокъ, съ присовокупленіемъ разныхъ ксендзовскихъ «диктеріекъ»—все это было обѣщано графинѣ совершенно въ «добромъ, старожитномъ польскомъ родѣ», и потому достопочтенный ксендзъ, въ силу стараго обычая, не преминулъ предъ обѣдомъ прежде всего говорить громко молитву и благословить питія и яства. Въ разгаръ повстанскаго патриотизма у поляковъ во всемъ пошла мода на всякую «старожитность».

— Выпьемъ, шановне ¹⁾ панство, для начала по килишку венгловки, а по другому нашей правдивой литевской старушки!—поднявъ графинѣ и золотую чарку, возгласилъ ксендзъ мажоръ-домъ, обращаясь къ мужчинамъ.

Выпили, закусили и разошлись. Подали бульонъ изъ бараньихъ ножекъ.

— Выпіймы знувъ по килишку, жебы бярэне ножки не бѣгали!—опять возгласилъ Игнацы съ комически-серьезнымъ видомъ. Это уже у него начинались «диктерійки» и присловія, а потому всѣ мужчины сочли своимъ долгомъ

¹⁾ Почтенное.

разсмѣяться и, конечно, выпить. На всякое блюдо и на всякій напитокъ у ксендза Игнацего непремѣнно была въ запасѣ особая приправа, какъ того требовалъ «звычай старожитны». Подаютъ, напримѣръ, зразы съ кашей, артистически приготовленные, — ксендзъ предлагаетъ, чтобы зразы не смѣшались съ кашей, раздѣлить ихъ цитриновой наливкой.

Подаютъ новое блюдо въ старо-польскомъ порядкѣ.

— Ш-ша, панове! — разставляя руки, возглашаетъ ксендзъ все съ тѣмъ же необычно важнымъ и комически-серьезнымъ видомъ. — Ш-ша!.. Индыкъ надѣваны яблоками и сливами до насъ ѣдзе! ¹⁾

— Вѣнцъ, пужъ намъ робиць: чи уцѣкать, чи брониць сен? ²⁾ — съ комическимъ ужасомъ, въ тонъ ксендзу, восклицаетъ пионовый Копецъ.

— Э, фа, панове!.. Нѣхъ уцѣкаюн' москале, — махае ксендзъ рукою; — а мы, якъ порожонде людзе, зѣмы его-мосць, та й запиемы вишнювку, для того жебы индыкъ не балбѣталъ глупства и жебы была у насъ perilitas et oregis.

— От-такъ! — подхватываетъ Копецъ, — от-то есть бѣрдо дѣбрже, мѣсци панѣве! бо полякъ здѣвна сытъ не зъ того цо ie, а зъ того цо pie! ³⁾

— Ну, а тѣразъ, панове, жебы индыкъ не глѣдны у насъ сѣдзлять — предлагаетъ ксендзъ, — нѣхъ приннесон' намъ, и ему мнихувъ! ⁴⁾

— Ага, ага! — хлопаетъ въ ладоши Копецъ, — слышѣлемъ, же мнихи сон' вѣльке майстры на куры, индыки и бараны, — то мѣже и намъ они цо дорѣдзон' до стравѣня ⁵⁾.

— Мнихи, якъ ми сен' сѣде, сон'то людзе и еше Бѣже слуги, а зѣтымъ глѣднымъ сѣдѣць имъ есть неподѣбна! — докторально замѣчаетъ на это ксендзъ Игнацы. — Подѣйце жъ намъ папѣцикъ, для накаремѣнія мнихувъ! Нѣхъ же мнихи знаюн', же мы и ихъ ее запоминѣмы, и одмавиюн' за наше грѣхы пацюрже! ⁶⁾

— Але жъ знаѣлемъ еднѣго мниха, ктуры

¹⁾ Индюкъ, начиненный яблоками и сливами, ѣдетъ къ намъ.

²⁾ Однако, что жъ намъ сѣлать: или удирать, или обороняться?

³⁾ Полякъ искони сытъ не тѣмъ, что онъ ѣстъ, а тѣмъ, что пьетъ.

⁴⁾ Ну, а теперь, господа, чтобы индюкъ не сидѣлъ у насъ голодный, пусть принесутъ и намъ, и ему мниховъ (одно изъ любимѣйшихъ польскихъ блюдъ въ Литвѣ).

⁵⁾ Слыхалъ я, что монахи большіе мастера на куры, индюковъ и баранину, такъ можетъ стать-ся они и намъ порадуѣютъ.

⁶⁾ Монахи, какъ мнѣ кажется, люди и еще Божьи слуги, а потому голоднымъ сидѣть имъ не подобаетъ. Подайте жъ намъ папште, для накормленія монаховъ. Пускай же монахи знаютъ, что мы ихъ не забываемъ, и отчитываютъ за наши грѣхы по четкамъ.

пилъ вино, — замѣчаетъ Копецъ, съ особенной пристальностью устремляя взглядъ на ксендза и приложивъ къ своему носу указательный палецъ, — такъ сѣде ми сен', же не шкодзило бы даць напидъ сен' и напимъ мнихамъ ¹⁾.

Подобный-то нехитрый жартъ въ стародавнемъ вкусѣ, къ общему удовольствію состоятниковъ, сопровождалъ у ксендза Игнацего каждую перемену блюдъ и напитковъ. Онъ уже началъ былъ приговариваться къ тому, какъ послѣ обѣда станетъ почтенное панство подписывать «таго-ового, по трѣшку вишнѣскаго, запалимъ фаѣчки и бендземъ гадаць баѣчки» ²⁾, а панъ Копецъ уже задекламировалъ:

Еще польска не сгинаяла,
Кеды мы жѣемы,
Еще вудка не сплесняла,
Кеды мы шѣмы,

какъ вдругъ, гдѣ-то вдалькѣ раздался выстрѣлъ.

— Чу!.. Что такое? что это, панове? — сторожко поднявъ палецъ, въ нѣкоторомъ смущеніи заговорилъ графъ Маржецкій, обводя собесѣдниковъ пытливыми и встревоженными глазами.

— Выстрѣлъ, — отвѣтилъ ему Бейгушъ, который во весь обѣдъ не проронилъ еще ни одного слова.

— Какъ выстрѣлы?.. Зачѣмъ выстрѣлы?.. Кто смѣетъ стрѣлять безъ спросу?

— А хотя бы москале, почему знать?

— О, полноте, что это вы говорите!..

Однако безпокойство сильно-таки заиграло въ подвижномъ лицѣ графа. Онъ не умѣлъ скрывать своихъ ощущеній.

— Не пугайтесь, надо узнать напередъ, — холодно успокоилъ его Бейгушъ.

— Съ чего это вы взяли, что я пугаюсь, чортъ возьми!? «Пугаюсь» это мнѣ нравится! — бормоталъ графъ, силясь придать себѣ небрежную улыбку.

Раздался еще одинъ выстрѣлъ... другой, третій... еще и еще.

— Милѣйшій майоръ... Бога ради, что жъ это такое однако?

— Перестрѣлка, ваше превосходительство; развѣ вы не слышите? — иронически усмѣхнулся Бейгушъ.

— Перестрѣлка?.. Зачѣмъ? гдѣ перестрѣлка?..

— Судя по звуку, у насъ въ тылу. Барабанщики!.. Тревогу! — крикнулъ Бейгушъ, вставая изъ-за стола. — Гей! Коня мнѣ!.. Живѣ!..

— До бронц, панове! до брони! — понеслись по лагерю крики урядниковъ, мѣшавшая со звукомъ трубы и рокотомъ барабана. Въ мигъ под-

¹⁾ Однакожъ знавалъ я одного монаха, который пилъ вино, такъ мнѣ кажется, что не мѣшало бы дать напитокъ и нашимъ монахамъ.

²⁾ Того, другого, понемножечку всего; закуримъ трубочки и станемъ смѣшнѣть другъ друга побасенками.

плялась величайшая сумятица, бѣготня и безтолочь.

— Гей, живѣе запрягать экипажъ! — крикнулъ гайдукамъ своимъ графъ Сченский.

— Не экипажъ запрягать, а *сдѣлать коня*, ваше превосходительство! — выразительно поправилъ его Бейгушъ, уже заноса ногу въ стремя.

— Я не для себя... я для графини, — пробормоталъ покраснѣвшій доводца, котораго какъ школьника поймали на затаенной мысли.

— Графиня? ѣхать въ ту сторону нельзя: дорога отрѣзана. Развѣ вы не слышите, откуда приближаются выстрѣлы?

— Но... въ такомъ случаѣ, можно въ другую сторону?

— Я никуда не поѣду, я остаюсь здѣсь! — рѣшительно объявила Цезарина, съ сіяющимъ лицомъ и пылающимъ взоромъ, натягивая на руку перчатку.

Вдругъ прискакалъ уланъ изъ цѣпи, вопя что есть мочи: «москале! москале, панове!.. Москале!»

— Я поѣду разузнать въ чемъ дѣло, — сказалъ Бейгушъ Маржецкому, но тотъ стремительно вдругъ кинулся къ нему и схватилъ коня его за поводъ.

— Не уѣзжайте, Бога ради! — растерянно бормоталъ онъ. — Не уѣзжайте!.. Съ кѣмъ же я... съ кѣмъ же войско останется?!

— Войско остается съ вами: вы его начальникъ...

— Нѣтъ, Бога ради... Примите ужъ вы сами начальство... хоть на первое время... Видите, какая каша идетъ... Надо устроить ихъ... надо вести... Ведите, майоръ... умоляю васъ, ведите! Не стѣсняйтесь мною... я постою, постою ужъ... я потомъ... Ахъ, да ведите же, Бога ради!

— Хорошо. Только пустите прежде поводъ моего коня! — нетерпѣливо и досадливо откликнулся Бейгушъ и, давъ шпоры лошади, поскакалъ къ переполошенному отряду. Тамъ все еще шла сумятица. Лишь немногіе изъ офицеровъ находились на своихъ мѣстахъ, между солдатами, устраивая ихъ во взводы; большинство же кинулось къ своимъ повозкамъ и лошадямъ, думая болѣе о томъ, какъ бы удрать, нежели о томъ, чтобы сражаться. Урядники были значительно лучше этихъ офицеровъ: они ругались, кричали, дрались кулаками, фухтелями, саблями, но все-жъ-таки старались возстановить хоть какой-нибудь порядокъ. Панъ Копецъ оказался однако исправнѣе тиральеровъ и косиньеровъ. Нѣсколько лишнихъ стакановъ, выпитыхъ за обѣдомъ, немного придали ему храбрости и самодушной продерзости. Работая, что называется, всѣми легкими и нелегкими, онъ довольно живо успѣлъ выстроить свои «несмерцельные шквадроны», предъ фронтомъ которыхъ красовался уже на лихомъ конѣ панъ хороній, съ развернутымъ знаменемъ Цезарины. Она же,

смѣясь, какъ шальной ребенокъ, легкимъ ударомъ хлыста подбодрила своего сіятельнаго кузена, чтобы тотъ проворнѣе карабкался на лошадь, и рядомъ съ нимъ загарцовала сдержаннымъ троттомъ, подѣзжая на своемъ Баязетѣ къ кавалерійскому фронту.

— Иль со щитомъ, иль на щитѣ! Неправда ли? — бросила она мимолетное слово, проѣзжая мимо красавца Жозефа.

Тотъ молча кивнулъ ей головою.

— Э, я вижу, одинъ только Бейгушъ молodeцъ между вами, — засмѣялась графиня, — съ нимъ весело и любо! Ей-Богу!.. Посмотрите, какъ онъ живо устроилъ и косиньеровъ, и стрѣлковъ, а вы-то!..

Эти слова заставили Жозефа встрепенуться и постороже заглянуть въ свою помутившуюся душу. Межъ тѣмъ все уже было готово, и Бейгушъ, не адресуясь болѣе ни съ чѣмъ къ графу Маржецкому, какъ полный и самостоятельный начальникъ, самъ двинулъ отрядъ на позицію.

Выстрѣлы слышались все ближе и ближе, огонь становился сильнѣе и чаще, — но съ кѣмъ же это тамъ дерутся москале? Чтò за отрядъ и кто его доводца?

IX.

МЫ И ОНИ.

Пока Хвалынцевъ оправлялся отъ раны, нанесенной ему кинжаломъ пана Трпидесентёго, возстаніе, подобно костру, сложенному изъ сухихъ полѣньевъ и хворосту, успѣло съ трескомъ и дымомъ ярко распылаться по цѣлому краю. Въ Варшавѣ со-дня-на-день ожидали всеобщаго взрыва; поляки сами неоднократно уже назначали день и часъ, обѣщали поголовную рѣзню съ 22-го на 23-е марта, а постъ Пасхи зловѣщія слухи и фізіономіи еще болѣе стали гулять по Варшавѣ; потомъ подобныя же посулы были на 3-е мая — историческій день «заложенія крулевства», то-есть основанія польскаго государства и день знаменитой конституціи Чарторыйскаго, — словомъ, обѣщанія, угрозы и застраиванія повторялись почти періодически; но грозныя пушки Александровской цитадели, могущія чрезъ три часа обратить Варшаву въ груды развалинъ, глядѣли спокойно и строго изъ своихъ амбразуръ, и Варшава, *volens-nolens*, ограничивалась однимъ глухимъ волненіемъ. Теперь уже было не то, что въ періодъ демонстрацій 1861—62 года: теперь, въ случаѣ открытаго нападенія вооруженныхъ массъ городскихъ обывателей, едва ли кому изъ русскихъ властей пришло бы въ голову шутить и деликатничать. Ржондъ народовой, хотя и собирался бомбардировать цитадель конгревовыми ракетами, однако въ то же время очень хорошо зналъ и

свойство пушек этой цитадели, а потому рѣшился штурмовать Варшаву, полагаясь на своевременность европейскаго вооруженнаго вмешательства. Ржонду хотѣлось сохранить въ цѣлости столицу Польши для будущей Речи Посполитой.

Между тѣмъ «Колоколъ» въ началѣ 1863 года не только продолжалъ свои кокетливыя заигрыванія съ русскимъ войскомъ, но даже усилилъ ихъ до предѣловъ послѣдней возможности. Такъ, напримѣръ, новгородній свой спичъ онъ кончалъ «заздравнымъ кубкомъ въ хвалу и славу русскихъ воиновъ», увѣрялъ будто «казаку на Кавказѣ стало противно бить независимаго черкеса» ¹⁾, и будто «военные должны стать съ поляками по тому высшему нравственному закону, предъ которымъ блѣднѣютъ и краски знамени, и обѣты присяги» ²⁾, посылалъ русскихъ офицеровъ на казнь, утѣшал ихъ тѣмъ, что мы-де (то есть пѣздатели «Колокола») предъ ними, идущими на смерть, склоняемъ сѣдыя головы наши и просимъ ихъ благословенія ³⁾. Для большаго воздѣйствія на русское войско, «Колоколъ» завелъ на страницахъ своего «Общаго Вѣща» какого-то «Старообрядца», который увѣрялъ, что за русское правительство могутъ стоять только «нелюбители православія», что русскимъ людямъ «не нужно опасаться, но должно точно и съ увѣренностью надѣяться, что подъ польскимъ управленіемъ намъ будетъ несравненно лучше теперешняго тиранственнаго положенія», и все это потому, что «поляки не безчеловѣчны, не властолюбны и не грабительны, и ни за что не будутъ тѣснить и мучить народъ беззащитный; поляки суть истинные желатели свободы» ⁴⁾. «Братія старообрядцы! восклицалъ тотъ же голосъ, братія старообрядцы! Вызовите казаковъ изъ Польши! Спасите ихъ души отъ проклятія и научите ихъ лучше смерть принять, чѣмъ безчеловѣчно святотатствовать» ⁵⁾. Въ то же время другой голосъ, принадлежащій какой-то «Украинкѣ», обращался къ русскимъ женщинамъ съ заявленіемъ, что теперь «Россія

гибнетъ хуже чѣмъ во времена Минина» и что «ее надо спасти». «Сестры, будемъ же мы на этотъ разъ Мининимъ! приглашала «Украинка». Не допустимъ нашихъ мужей, братьевъ, сыновей окончательно сгубить себя. Употребимъ всю *силу любви* ¹⁾ нашей къ нимъ, чтобы поднять ихъ духъ до геройскаго, смѣлаго отреченія идти противъ поляковъ», и въ заключеніе объявляла, что «нѣтъ ничего тяжелѣе и грустнѣе чувства русскаго патріотизма ²⁾. Впрочемъ, въ этомъ послѣднемъ отношеніи Герценъ поступилъ еще рѣшительнѣе, начистоту причисливъ себя къ «русскимъ независимымъ, то-есть не несущимъ на себѣ креста патріотизма», и объявивъ, что онъ никогда «терпѣть не могъ патріотизма», потому что «это самая злая, ненавистная добродѣтель изъ всѣхъ» ³⁾. Вообще, кого-кого только не выкликалъ въ это время «Колоколъ» изъ нѣдръ Россіи! На его страницахъ безпрестанно фигурировали и «друзья-юноши», и «друзья - крестьяне», и «друзья-офицеры», и «друзья - семинаристы», которымъ «терять нечего», и «сестры-женщины», и «братія-солдаты», и «братія-старообрядцы» и наконецъ даже какой-то «многоуважаемый пнокъ». Всѣ эти друзья и братія съ павосомъ приглашались отречься отъ русскаго государства и возстать съ поляками и за поляковъ.

Но увы! разочарованіе «Колокола» настало даже гораздо скорѣе, чѣмъ можно было предполагать. Адресъ на имя великаго князя Константина Николаевича, подтасованный Варшавскимъ Отдѣломъ Земли и Воли, появился безъ подписей въ «Колоколѣ» въ концѣ 1862 года. Но спустя короткое время, на страницахъ европейскихъ газетъ раздался протестъ русскихъ офицеровъ, расположенныхъ въ Варшавѣ и Польшѣ, протестъ, покрытый множествомъ подписей и отвергавшій всякую солидарность съ подложнымъ адресомъ. «Печатавъ документъ, содержаніе котораго для насъ столь же непріятно какъ и безчестно, говорилось въ этомъ протестѣ, г. Герценъ находить достаточнымъ засвидѣтельствовать однимъ своимъ личнымъ ручательствомъ достовѣрность и подлинность письма, цѣль котораго выставить насъ измѣнниками Государю, отечеству и долгу. Г. Герценъ, по своей заботливой услужливости, отъ которой мы просимъ его освободить насъ, нашелъ нужнымъ давать совѣты относительно обязанностей нашего положенія. Мы не просили его объ этомъ и желали бы избавиться отъ такихъ попеченій. По его мнѣнію, честь наша требуетъ, чтобы мы помогали оружіемъ всякому безпорядку, всякому стремленію, которое враждебно правительству и общественному порядку. — Честь не допу-

¹⁾ «Колоколъ», 1863 (1-е января), № 153.

²⁾ «Колоколъ», 1863, № 154.

³⁾ Ibid.

⁴⁾ Вообще позволительно сомнѣваться, что врядъ ли подъ именемъ этого «Старообрядца» скрывался дѣйствительный старообрядецъ, а не кто либо изъ людей близкихъ редакціи и вовсе незнакомыхъ съ бытомъ и настроеніемъ русскаго народа. Эта догадка нагляднѣе всего подтверждается тѣмъ дѣланымъ, нарочно придуманнымъ языкомъ, какимъ въ дѣйствительности ни одинъ русскій человѣкъ не выражался. Для примѣра укажемъ хотя бы на такую наивную и крайне неумѣльную поддѣлку какъ *знахарь здравья* («Общее Вѣще», № 12) взамѣнъ слова *медики*. Очевидно, сочинитель забылъ или не домекнулся, что въ нашемъ простомъ народѣ, для опредѣленія этого понятія, искони существуетъ коренное русское слово *лѣкарь*.

⁵⁾ «Общее Вѣще» № 11.

¹⁾ Курсивъ въ подлинникѣ.

²⁾ «Колоколъ» № 158.

³⁾ «Колоколъ», № 167.

скаеть измѣны присягѣ, добровольно принятой. Наши обязанности въ Варшавѣ таковы же, какъ и вездѣ: вѣрность Императору и установленнымъ законамъ».

Но несмотря на этотъ протестъ, перепечатанный и въ самомъ «Колоколѣ», журналъ этотъ не переставалъ увѣрять, что подложный адресъ вовсе не подложенъ, и что напротивъ, протестъ составленъ подневольно и подписывался по принужденію начальствующихъ лицъ. Эти увѣренія, вопреки очевидной истинѣ, долго еще продолжались въ «Колоколѣ» со слѣпымъ и чересчуръ настойчивымъ упорствомъ. Но это упорство имѣло въ виду уже не Россію, а Европу, на которую нужно было напустить тьмы и мглы, такъ какъ въ европейской печати все сильнѣй и дружнѣй раздавались голоса, призывавшіе западныя державы къ крестовому походу противъ Россіи. — «Мы (т. е. Англія) должны соединиться съ Франціей и поддержать Австрію!» вопіялъ «Morning Post» (февр. 24), въ то время какъ «Колоколъ» усердно переводилъ и перепечатывалъ эти строки «Австрія и Англія обѣ должны требовать освобожденія Польши... Россія слишкомъ безсильна, чтобы напасть, а Пруссія, ея союзникъ, слишкомъ ничтожна; обѣ державы слабы, дезорганизованы и должны подчиниться рѣшенію остальной Европы, когда Наполеонъ, лордъ Пальмерстонъ, Рехбергъ и Гарибальди соединятся для достиженія общей цѣли». ¹⁾ Эти громы не ограививались одною Россіею: за честное союзничество съ нами, Герценъ неоднократно предрекалъ анаѣму и гибель Пруссіи и, между прочимъ, обращался къ ней съ такимъ пророчествомъ, что «нѣтъ-де, не бытъ тебѣ, Пруссія, во главѣ германскаго единства! Нѣтъ, ты сама развалишься, государство безъ народности, — военная нелѣпость, созданная королемъ-энциклопедистомъ!» ²⁾ Зато «очищенная Австрія» удостоивалась его кокетливыхъ похвалъ и поощреній за каждую поблажку повстанцамъ, за каждый подвохъ противъ Россіи, зато восхвалялъ онъ даже католическіе монастыри и ихъ монаховъ. ³⁾

Открылись военныя дѣйствія противъ повстанцевъ. Офицеры и солдаты честно исполняли свой долгъ. «Братья старообрядцы» не вызвали казаковъ изъ Польши, а сами стали присоединяться волонтерами къ русскимъ летучимъ отрядамъ; «русскія сестры» тоже не сдѣлались Мияниными по рецепту «Колокола», а употребили «силу любви» своей на ухаживаніе за ранеными въ госпиталяхъ Западнаго Края, въ качества сестеръ милосердія, на складчины въ пользу ихъ и семействъ русскихъ людей, священни-

ковъ да крестьянъ, замученныхъ повстанцами, — словомъ сказать, дѣло сорвалось, не выгорѣло, воззванія пропали втунѣ, обманчивыя надежды лопнули, — и вотъ, «Колоколъ», разражается іереміадою, которую такъ и озаглавилъ «Плачемъ»: «Ну, солдатики, вы хорошо отслужили вашу службу въ Польшѣ! Не забудьте и дома, какъ вы весело жгли господскія усадьбы, каково попили вина изъ панскихъ погребовъ, каково поразбивали сундучки съ ихъ добромъ, «при всемъ блескѣ пожара». Не все же поляковъ да поляковъ — вы ужъ не оставьте вашей милостью и нашихъ-то, русскихъ». Тутъ же вопіетъ онъ, что «пора пасть Россіи» и въ заключеніе обращается съ проклятіемъ: «Что же вы, анаѣмы, сдѣлали изъ всѣхъ усилій нашихъ? Все, что мы лѣпили по песчинкѣ, смыли ваши помочи, унесла ваша грязь, и черезъ пятнадцать лѣтъ я снова, идя по улицѣ, боюсь, чтобы не узнали, что я русский... ¹⁾ Слѣпая злоба его тутъ же необузданно предается фелетонному кощунству и глумленію надъ мертвыми, надъ памятью человѣка, случайно захваченнаго по дорогѣ и съ варварской жестокостью замученнаго жандармами-вѣшателями единственно за то только, что былъ одѣтъ въ русскій жандармскій мундиръ. ²⁾

Эта же злоба не разъ предавала поруганію имена тѣхъ русскихъ, которые за границу дѣлали денежные складки въ пользу нашихъ раненыхъ солдатъ и семействъ убитыхъ; зато имена поляковъ, казенныхъ за тайныя убійства, съ благоговѣніемъ вписывались въ «святые мартирологи» «Колокола». Складки эти были тѣмъ болѣе прискорбны лондонскимъ эмигрантамъ, что касса русскаго «фонда на общее дѣло» давно уже не обогащалась никакими посторонними приношеніями и съ каждымъ днемъ пустѣла все болѣе и болѣе. Напрасно «Колоколъ» безъ числа взывалъ о пожертвованіяхъ «въ общій фондъ» и «на общее дѣло» — ему уже никто не откликался изъ русскихъ. Но признаваясь, что никто не хочетъ болѣе жертвовать въ пользу «Земли и Воли», Герценъ въ слѣдующемъ же номерѣ впадалъ въ странное противорѣчіе съ самимъ собой, самонадѣянно увѣряя, что «говорить о силѣ общества «Земли и Воли» неумѣстно», ³⁾ и это въ то время, когда названное общество выпрашивало у варшавскаго ржонда *сто пятьдесятъ (150) рублей* «на поддержку польскаго дѣла въ Россіи!»

Вмѣсто недавнихъ заигрываній, на русское войско посыпались вслѣдскія клеветы, и Россія стала обзывать въ презрительномъ смыслѣ уже

¹⁾ «Колоколъ», № 157.

²⁾ Ibid.

³⁾ «Колоколъ» № 159. «Что за чудное свойство польскаго возстанія, что оно очищаетъ все, до чего коснется, даже Австрію и монастыри!»

¹⁾ «Колоколъ» № 158. «Плачь».

²⁾ Одна газета, описывая смерть капитана Грауерта, назвала его мученикомъ. Герценъ, между прочими выходками по этому поводу, восклицаетъ: «какъ удивятся въ раю! Это первый святой по корпусу жандармовъ!» «Колоколъ» № 150.

³⁾ «Колоколъ» № 161.

«казарменной, гвардейской и армейской Россіей». ¹⁾ Г. Огаревъ распинался въ неоднократныхъ увѣреніяхъ, что стотысячное русское войско въ Польшѣ «грабить хорошо, а дерется плохо и оттого не можетъ сладить съ двадцатью тысячами повстанцевъ», ²⁾ что солдаты наши еще «кое-какъ держатся въ перепалкѣ на дальнемъ разстояніи, но такъ какъ у поляковъ пороку мало, и они жалѣютъ зарядовъ и сейчасъ берутся за косы, то наши солдаты большую частью разбѣгаются по деревнямъ, гдѣ они грабятъ и убиваютъ всѣхъ безъ разбора». ³⁾

Чуть, бывало, зайдетъ рѣчь о варварствѣ русскихъ войскъ въ какой-либо деревнѣ и надъ какимъ-либо польскимъ помѣщикомъ, сейчасъ же слѣдуетъ сожалѣніе, что корреспондентъ позабылъ названіе деревни и имя помѣщика, но зато отлично помнитъ всѣ до единой русскія фамиліи! «Колоколь», въ своемъ слѣпомъ усердіи къ польскому дѣлу, договорился наконецъ до Бога-знаетъ какихъ нелѣпостей, въ родѣ заявленія, что должность министра внутреннихъ дѣлъ у насъ занимаетъ какой-то Келлеръ ⁴⁾, когда всему свѣту было извѣстно, что портфель этого министерства принадлежалъ тогда г. Валуеву, или что польскихъ помѣщиковъ арестовываютъ за то, что они «противу царскаго указа отпустили усы и бороды», ⁵⁾ что нашъ извѣстный русскій и православный генералъ Иванъ Ѳедоровичъ Ганецкій есть полякъ и называется Владиславомъ Казиміровичемъ или Казиміромъ Владиславовичемъ, что на постахъ и караулахъ при желѣзнодорожныхъ станціяхъ весь строй постоянно бываетъ пьянъ и, не выходя изъ фронта, производитъ насилія, грабежи и безчинства надъ пассажирами, что въ Вильнѣ не видать солдатъ иначе, какъ пьяныхъ, что очень много офицеровъ и нижнихъ чиновъ перешло къ инсургентамъ за плату 30 руб. въ мѣсяцъ и что, вообще, *наши драгуны* дружно работаютъ, тогда какъ извѣстно, что наши драгуны никогда и ни въ какихъ случаяхъ не имѣютъ нагакъ въ своемъ снаряженіи. Наконецъ, послѣ всего этого, Герценъ разражается истерическимъ крикомъ «подлые», посылая его всѣмъ русскимъ, не раздѣляющимъ его симпатій къ Польшѣ: «Подлые!.. Ни сердце, ни умъ, ни опытъ ничему ихъ не учать, оттого что они *подлые*», и тутъ-же отказывается отъ всякой солидарности съ Россіей. «Всѣ прежніе грѣхи, говоритъ онъ, всѣ настоящіе недостатки Польшы искупаютъ ей ея мученики и наши мучители. Ия смертью своей убиваютъ враговъ своихъ. Каждое замученное тѣло, брошенное грязными палачами въ землю польскую, освобождаетъ ее и освобождаетъ насъ самихъ

отъ призрачнаго патріотизма» ¹⁾... «Тотъ, кто любитъ народъ русскій, тотъ долженъ во искупленіе его звать на главу его кару очистительныхъ несчастій»—и Герценъ не задумывается призывать, въ видѣ такой кары, войну Европы на Россію, иронически подзадоривая эту старую Европу, что она, безъ сомнѣнія, имѣетъ полное право сложа руки смотрѣть, какъ лучшій, поэтический, рыцарскій, доблестный представитель ея—Польша, гибнетъ, терзаемая грубымъ, плотояднымъ животнымъ, паразитно выросшимъ на несчастномъ, забитомъ народѣ» ²⁾.

Появились извѣстныя ноты трехъ западныхъ державъ: Англіи, Франціи и Австріи — актъ величайшей политической наглости, которая, основываясь на призрачномъ правѣ трактатовъ 1815 года и забывая о правѣ завоеванія 1831 года, позволила себѣ вмѣшаться во внутреннія дѣла Россіи. Этой наглости, конечно, не мало способствовали подстрекающія заявленія о безсиліи нашего государства и о его внутреннихъ революціонныхъ броженіяхъ, то и дѣло раздававшіяся въ европейской печати, съ легкой руки «Колокола». Наглость этихъ требованій простиралась до того, что ноты иностранныхъ державъ осмѣлились низводить наше правительство на одну доску съ какимъ-то безымяннымъ подпольнымъ ржондомъ, приглашая насъ вступать съ этимъ ржондомъ въ политическія соглашенія и признать его воюющей стороной. Всѣ эти политическія каверзы и продѣлки совершались именно въ расчетъ на воображаемое безсиліе Россіи, въ расчетъ на то, что мы трусимъ и смиренно подчинимся ультиматуму трехъ западныхъ кабинетовъ. Но наши «благожелатели» жестоко ошиблись въ этомъ расчетѣ. Еще прежде дипломатическихъ отвѣтовъ князя Горчакова, раздался въ одинъ голосъ единодушный отвѣтъ цѣлой Россіи. Къ подножію трона со всѣхъ концовъ, со всѣхъ сторонъ, угловъ и закоулковъ Русской земли посыпались безчисленные адреса. Оскорбленный духъ народа всталъ и заявилъ себя такъ твердо, такъ рѣшительно, что западные благожелатели попятились.—«Что они такъ испугались»? вопрошалъ при этомъ «Колоколь», забывшій на этотъ разъ свои подуськиванія и поддѣванія разнымъ «Morning Post'амъ». «Чего они такъ испугались или чѣмъ ихъ всѣхъ такъ настрашали, что нельзя больше удержать вопль, крикъ, плачъ, завыванье патріотизма, усердіе безъ границы, преданность безъ смысла? Адресы, панихиды, молебны на чистомъ воздухѣ и въ воздухѣ, продымленномъ ладномъ, адреса отъ грамотныхъ и безграмотныхъ, отъ старообрядцевъ и новообрядцевъ, отъ курляндскихъ, эстляндскихъ и лифлянд-

¹⁾ «Колоколь» № 164.

²⁾ «Общее Вѣче» № 16.—Вызваніе духовъ.

³⁾ «Колоколь» № 163.

⁴⁾ Ibid.

⁵⁾ Ibid.

¹⁾ № 166.

²⁾ 167.

скихъ русскихъ, отъ временно-обязанныхъ крестьянъ и безсрочно-разоренныхъ помещиковъ, отъ старшинъ Рогожскаго кладбища и школярей (sic!) кладбища науки, называемаго «московскимъ университетомъ» ¹⁾.

Герценъ не понималъ, что тутъ не правительство, а весь народъ всталъ за свою историческую тяжбу, за свое право, добытое многолѣтнею «борьбою за политическое существованіе», какъ не понималъ и того, что у народа есть свой инстинктъ, свое чутье, котораго ничѣмъ и никогда не обманешь. Теперь онъ сталъ жалобно причитать о «простомъ сердцѣ простыхъ людей, которые безхитростно поддались официальному обману и, помня недавнее освобожденіе, воображаютъ, что отечество въ опасности», ²⁾ что народъ вѣритъ въ правоту неправого дѣла, будто награбленное нѣмецкимъ правительствомъ (то-есть Сѣверо и Юго-Западный край) есть его народное и законное достояніе, что за правительство «простодушню подастъ свой голосъ обманутое небывалою опасностью старообрядчество и крестьянство» ³⁾. Но и жалобныя причитанія продолжались недолго. Адресы попрежнему сыпались отовсюду; общее одушевленіе росло, готовность на всяческія жертвы за цѣлость, неприкосновенность и достоинство русской державы высказывалась слишкомъ громко, горячо, искренно, и Англія, въ виду этой высоты народнаго духа, первая попятилась назадъ. 8-го мая лордъ Россель заявилъ въ парламентѣ, что «при данномъ настроеніи русскаго правительства, а еще больше русскаго народа, не можетъ быть и рѣчи объ отдѣленіи какой-либо части этой великой имперіи», что шутки съ ней крайне опасны, а потому Англія и нельзя рисковать случайностями вооруженной борьбы. Отвѣтныя ноты князя Горчакова, написанныя съ достоинствомъ прямоты и твердости, подобающими державѣ, сознающей свое законное право, сдѣлали такое впечатлѣніе и на кабинеты, и на общественное мнѣніе Европы, что угрожающія позы трехъ нашихъ противницъ превратились въ вѣжливо-скромный и ласковый поклонъ. Противники отретировались. Полная дипломатическая побѣда Россіи была одержана блистательно, и Герценъ, съ сожалѣніемъ, съ горечью и грустью разочарованія воскликнулъ въ «Колоколѣ», что «войны не будетъ!» ⁴⁾. Пока изъ Финляндіи не было адресовъ, онъ всячески кололъ этимъ глаза русскому правительству, а когда адреса появились, то безцеремонно объявилъ, что они добыты стараніями чиновниковъ, обманомъ и подкупомъ ⁵⁾, и наконецъ рѣшилъ, что адреса всей Россіи есть ничего незначущая поддѣлка, но что въ то время русское общество

повально заражено «сифилисомъ патріотизма» ¹⁾. Въ это время «друзья-солдаты и офицеры» превратились у него уже въ палачей и грабителей, «друзья-старообрядцы» и «друзья-казаки» въ изуверовъ и святотатцевъ, а «друзья-юноши» были обозваны «наемными школярами». Нравственные связи съ Россіей были порваны, значеніе Герцена рухнуло навсегда. Его погубило польское дѣло. «Выжавъ до конца этотъ лимонъ», сами поляки отъ него отшатнулись, бросили и забыли, не сказавъ ему даже спасибо ²⁾.

Въ Варшавѣ межъ тѣмъ смутно гомонилась глухая тревога. Всякій день по вечерамъ за черту городского вала пробирались охотники «до ясу», мужчины и женщины. Одни уходили, другіе возвращались. Бѣжавшіе изъ города и послужившіе у Лангевича и у другихъ доводцевъ, преспокойно пріѣзжали себѣ въ отпускъ, на побывку къ варшавскимъ «родѣкамъ», проживали нѣкоторое время въ городѣ, фланировали по улицамъ да въ Саксонскомъ саду и снова уходили по-добру по-здорову въ какія-нибудь новыя банды. Многіе изъ этихъ временно-отпускныхъ принимали на себя роль «квестарей», на подобіе обыкновенныхъ цольскихъ квестарей, какіе всегда собирали на бѣдныхъ, ходючи по квартирамъ обывателей. Повстанскіе «квестаржи» точно также шлялись по разнымъ квартирамъ, по преимуществу появляясь въ русскихъ домахъ, въ то

¹⁾ № 168.

²⁾ Герценъ съ самаго начала своей пропаганды былъ почти исключительно орудіемъ польскихъ рукъ. Въ письмѣ его къ Чарнецкому («Колоколъ» 1863 года, № 159—«Десятилѣтіе вольной русской типографіи въ Лондонѣ») мы находимъ въ этомъ отношеніи въ высшей степени знаменательныя признанія. «Въ Россіи никто не откликнулся на первые призывы „Колокола“, говорить онъ въ этомъ письмѣ, но вотъ преждевременно состарѣвшійся, болѣзненный *Станиславъ Ворцель* встретился при вѣсти о русской типографіи; онъ помогалъ мнѣ дѣлать заказы, рассчитывалъ число буквъ, устраивалъ станокъ въ *польской типографіи*. Угасая, святой старикъ и передъ смертію благословилъ еще разъ нашу трудъ своей умирающей рукой. Второй листъ, выпущенный русской типографіей въ Лондонѣ, былъ о *Полши*. Крестьянское дѣло и *польскій вопросъ* сами собой легли въ основу русской пропаганды. И вотъ съ тѣхъ-то поръ, любезный Чарнецкій, мы десятый годъ печатаемъ съ вами безъ усталы и отдыха... *Помощь*, которую вы мнѣ сдѣлали *упорной, неуслышной вседневной работой*, страшно мнѣ облегчила весь трудъ... Въ лицѣ вашемъ *польская помощь и участіе въ нашемъ дѣлѣ не перечислялись*... Спасибо вамъ!.. И тѣмъ больше спасибо вамъ, что начала наши были темны и бѣдны. Три года мы печатали, не только не продавъ ни одного экземпляра, но не имѣя возможности почти ни одного экземпляра послать въ Россію; кромѣ первыхъ летучихъ листовъ, *отправленныхъ Ворцелемъ и его друзьями въ Варшаву*, все печатанное лежало у насъ на рукахъ или въ книжныхъ подвалахъ благочестиваго Paternoster R.w».

¹⁾ «Колоколъ» № 163.

²⁾ Ibid.

³⁾ «Общее вѣче» № 16.

⁴⁾ «Колоколъ» № 169.

⁵⁾ № 167.

время, когда мужчины отсутствуют, и безцеремонно требовали у запуганных женщин денег «на раненых». Въ этомъ отношеніи въ наиболѣе странное положеніе были поставлены русскіе домовладѣльцы, нерѣдко женатые на полькахъ. Они, напримѣръ, не смѣли требовать квартирную плату со своихъ польскихъ жильцовъ; иной жилецъ принесетъ только частицу денегъ, а остальные, говорить, удержалъ на общее дѣло, или съ меня-де взыскали въ счетъ наложенной на васъ подати. Вдругъ окажется, что пропала какая-нибудь домашняя рухлядь, бѣлье да платье или желѣзные вещи: пины, топоры, ножи кухонные и т. п., но толковать объ этомъ съ домовымъ «ржондцемъ» считалось не безопаснымъ, и потому поневолѣ приходилось смотрѣть на все сквозь пальцы. По нѣскольку разъ въ день, бывало, отворится дверь и войдетъ какой-нибудь подозрительный лобусъ: «Я, говорить, до ласу иду, не можете ли чѣмъ съ ласки паньской?» Другой изъ ласу вернулся: «Я, говорить, за ойчизну сражался, раненъ и ир., не будетъ ли милости помочь чѣмъ?» Третій изъ цитадели выпущенъ—политическій мученикъ, значитъ, страдалецъ за отечество, за свободу, тоже просить «въ ласки»—и ему тоже надо дать, и дать не пустякъ, не гроши какіе-нибудь, а по крайней мѣрѣ нѣсколько «злотувокъ», потому что въ противномъ случаѣ обидится и погрозится мщеніемъ народо-вымъ, а въ результатѣ домохозяину навѣрное приключится какая-нибудь неожиданная и далеко не безопасная мерзость. Такъ-же и квартиры извѣстныхъ артистовъ, артистокъ и вообще людей со средствами, на ряду съ русскими землевладѣльцами, подвергались подобнымъ же безцеремоннымъ визитамъ, съ просьбою «не оставите». Ржондъ объявлялъ не разъ, что подобные просители должны имѣть отъ него особое уполномочіе, бланкъ на квесту и на личную помощь, безъ которой просилъ обывателей денегъ имъ не давать; но это не дѣйствовало, и на сто просителей едва ли двое являлись съ «картѣчками» народоваго ржонда. Иные назойливо приходили по пяти, по шести разъ въ день, и на требованіе «картѣчки», отвѣчая какой-либо глухой угрозой, добивались-таки каждый разъ какой-нибудь подачки. Подобное вымогательство и тунеядство разрослись до такой громадной степени, что въ одной лишь Варшавѣ, въ теченіе первыхъ трехъ-четырехъ мѣсяцевъ возстанія, эти самозванные пройдохи понабирали въ собственные карманы болѣе ста тысячъ рублей серебромъ, на счетъ народоваго ржонда. Въ эту же эпоху и ксендзы болѣе чѣмъ когда-либо торговали особаго рода индულгенціями. Бывало, иная ревностная католичка, по слабости здоровья, не можетъ перепосить постной пищи, а межъ тѣмъ ксендзъ, приходящій къ ней въ домъ преподавать «реколекціи» (наставленія), требуетъ соблюденія поста, ради спасенія ойчизны. Чтобы помирить

одно съ другимъ, благочестивыя хозяйки вносили въ «фундушъ желѣзны» извѣстную сумму, которая, конечно, вручалась ксендзу-реколектору, и взаимно получали отъ ксендза, за его подписью и печатью, билетъ, который заключалъ въ себѣ разрѣшеніе употреблять скоромную пищу и заблаговременный «отпускъ» этого грѣха. Такой билетъ нерѣдко выдавался на цѣлый домъ, съ семействомъ, со чады, домочадцы, «служонцы», и даже съ «мѣшканцами» (жильцами), и въ знакъ особаго уваженія вѣшался иногда въ гостиной на стѣнѣ, на какомъ-нибудь видномъ и почетномъ мѣстѣ! Патріотическая экономія доходила до того, что очень многіе зажиточные люди перестали пить чай и отказывали себѣ не только въ лишннихъ «бутикахъ», въ «ренкавичкахъ» и въ «карвателькахъ», но носили даже чернаго цвѣта бѣлье, и это называлось тогда «сподней жалобой», то-есть нижнимъ трауромъ. Но сердце варшавянокъ не долго выдерживало искусъ простоты и скромности траурнаго наряда. Настали весенніе дни, зацвѣли каптаны Саксонскаго сада—и варшавскія дамы зацеголяли своей «жалобой» до того ужъ роскошно, что подпольный листокъ «Правда» (№ 10) обратился къ нимъ съ предостереженіемъ и вопросомъ: «неужели эти великолѣпныя убранства, эти метущіе дорожку шлейфы, эти кринолины, эти дорогія наряды и бурнусы, вышитые прехитрыми узорами юбки, балетные фестоны, пышныя кружева, шляпки съ удивительными перьями и наконецъ эти невѣроятныя прически—неужели все это согласно сколько-нибудь съ тѣмъ ужаснымъ положеніемъ, въ какомъ находится наше отечество? Правда, прибавлять листокъ, вы ходите *исключительно въ черномъ*, но развѣ въ этомъ заключается истинный трауръ? Это *мода*, и больше ничего!» Такимъ-то опредѣленіемъ заклеили органъ «ржонда» кокетливыя поползновенія варшавскихъ патріотокъ. А между тѣмъ эти же самыя шеголихи одной русскою дѣвушкой публично, на улицѣ, плевали въ лицо за то только, что у нея, при скромномъ черномъ нарядѣ, былъ надѣтъ на шеѣ розовый бантикъ. Но голосъ подпольной «Правды» на первый разъ не образумилъ патріотокъ: господство кружевъ, шлейфовъ и кринолиновъ продолжалось въ той-же силѣ. Варшавянки соглашались лучше не пить своей утренней «кавы и гербаты» въ пользу ойчизны, но не могли отказаться отъ криволины и шиньона. Тогда революціонный командантъ и подпольный оберъ-полиціймейстеръ напустили на нихъ нѣсколько десятковъ лобусовъ, вооруженныхъ палками съ острымъ желѣзнымъ крючкомъ на кончикѣ. Съ помощью этого снаряда, лобусы очень ловко и быстро срывали съ модницъ шиньоны и кринолины, оставляя ихъ на улицахъ часто даже безъ «сподней жалобы». Скандаловъ изъ этого выходило множество. Варшавяки и

особенно варшавянки возмущались не на шутку; раздались громкіе голоса противъ наглости ржонда, который, боясь потерять свою популярность, поспѣшилъ отказаться отъ всякой солидарности съ обрывателями и свалилъ всю вину сначала на какую-то партію «черныхъ», а потомъ просто-на-просто на русское правительство, что это, дескать, оно все нарочно подкупаетъ лобусовъ, чтобы отучить патриотовъ отъ жалобы. Но русское правительство въ этомъ случаѣ поступило практичнѣе: оно просто наложило на жалобу двадцати-пятирублевый штрафъ, и эта мѣра подѣйствовала гораздо существеннѣе палокъ съ крючками. Однако ловкія польки и тутъ нашли возможность извернуться, по пословицѣ «и Богу свѣчка, и чорту кочерга». — Выходя изъ дому, онѣ стали надѣвать на черныя платья сѣрыя юбки, и приди въ гости, снимали эти юбки въ прихожей вмѣстѣ съ верхней одеждой и такимъ образомъ все-же оставались въ «жалобѣ». Въ эпоху до штрафовъ и самыя свадьбы совершались не иначе, какъ въ траурѣ. Самый глубокой трауръ, надѣтый на невѣстѣ, во время вѣнчанія, служилъ даже признакомъ хорошаго тона. А сколько браковъ было заключено подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы молодой мужъ на слѣдующее-же утро отправился «до лису»! Браки этого рода вошли тогда въ особенную моду. Впрочемъ, подобныхъ модъ существовало множество и въ Варшавѣ, и во всей Польшѣ. Такъ, напримѣръ, у гимназистовъ сдѣлалось чѣмъ-то въ родѣ особаго и высшаго патриотическаго подвига обязанность получать изъ русскаго языка нули и единицы. Тотъ ученикъ, который сподрядъ весь годъ получалъ круглый нуль, удостоивался особенныхъ подарковъ, похвалъ и овацій со стороны родителей, знакомыхъ, польскихъ учителей, товарищей и преимущественно со стороны молодыхъ патриотовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было формально положено, что за каждый нуль изъ русскаго языка, избранная красивая дѣвушка или дама *обязана* была награждать наединѣ взрослога гимназиста своимъ страстнымъ поцѣлуемъ, и не иначе какъ страстнымъ, для того чтобы прелесть этой награды превозмогла страхъ начальническихъ взысканій и влекла къ новымъ подвигамъ. Другая, не менѣе замѣчательная мода состояла въ томъ, чтобы, проходя мимо православныхъ церквей, всенародно затывать себѣ уши при звонѣ русскаго колокола. Третья мода — отсутствіе на головахъ мужчинъ пуховыхъ шляпъ-цилиндровъ. Поляки почему-то считали эти шляпы исключительно принадлежностью русскихъ. И стояло лишь кому-нибудь показаться на улицѣ въ цилиндръ, чтобы толпа лобусовъ и мальчишекъ тотчасъ же окружила дерзновеннаго съ криками: «рура ангельска! рура ангельска!»¹⁾,

¹⁾ Англійская дымовая труба.

вслѣдъ за которыми нерѣдко слѣдовали комки нечистоты и грязи. Четвертая мода — отсутствіе какой бы то ни было музыки и пѣнія, за исключеніемъ патриотическихъ гимновъ. Впрочемъ, это была мода, такъ-сказать, принудительная со стороны ржонда; но замѣчательно, что даже полиціанты законнаго правительства сами запрещали музыку, — и горе, бывало, если появится на улицѣ какой-нибудь несчастный итальянецъ или чехъ со своей хриплой шарманкой! — Полиціанты тотчасъ же и безъ разсужденій тащили его «въ циркуль до кѣзы». — Такъ повелѣвалъ подпольный оберъ-полицімейстеръ, и правительственная полиція безпрекословно исполняла его распоряженія. Впрочемъ, это не покажется особенно мудренымъ, если принять въ соображеніе, что между варшавскими полиціантами много было тайныхъ агентовъ революціоннаго ржонда. Въ ряду модныхъ проявленій стояло также необычайное сочувствіе къ Гарибальди, и къ его аспромонтскому сапогу. Имя итальянскаго героя повторяли даже и тѣ, кто о немъ не имѣлъ никакого понятія: «есть-де въ Польшѣ такой человекъ, Гарибальди называется, онъ-де и все возстаніе поднялъ, онъ же и москалей выгонитъ». Фотографическія карточки его раскупались бойко; фотографы дѣлали хорошіе «гешефты» не только съ его портретами, но даже и со снимками съ его сапога, пробитаго пулей при Аспромонте. Варшавская фантазія изукрасила этотъ сапогъ эмблемами и атрибутами польскаго возстанія, окруживъ его косиньерами и аллегорическими фигурами Литвы, Польши, Свободы и пр. Столь же бойко раскупались карточки Лангевича и Пустовойтовой, о которыхъ рассказывали всевозможныя легенды самаго героическаго свойства. Сплетнямъ, суевѣріямъ, баснямъ и разговорамъ не было конца — и всему вѣрилось безусловно. — «Франція уже тутъ на границѣ!» болтаетъ одинъ. «Макъ-Магонъ съ 7-мъ корпусомъ уже вступилъ въ Люблинскую губернію и наполеоновскій орелъ летитъ на помощь польскому бѣлому орлу», прибавляетъ другой. — «Саксонскій консулъ арестованъ въ Варшавѣ, и такъ какъ французскій консулъ воспротивился этому акту возмутительнаго своеволія, то посланники отозваны», таинственно повѣствуетъ третій. — «Наполеонъ не посмѣетъ отказать въ помощи, потому что шавельскіе инсургенты послали ему письмо съ угрозою, если не поможетъ, то будетъ преданъ суду шавельскаго революціоннаго трибунала и неминуемо подвергнется «справедливой смертной казни»¹⁾. Герценъ съ Бакунинымъ собираютъ «легіонъ русскихъ братьевъ» Ученики военныхъ училищъ затѣваютъ бунтъ въ пользу поляковъ, солдаты поклялись, что впредь

¹⁾ Фактъ.

не будут сражаться, раскольники уже соединились съ повстанцами, Австрія наша союзница, «сама Хина (Китай) за насъ идзе!» Москаль бѣжитъ, и наши легіоны вездѣ одерживаютъ побѣды!»—Таковъ былъ общій тонъ всѣхъ разговоровъ и сообщеній. Общую увѣренность въ побѣдахъ поддерживали революціонныя «Вѣдомости съ поля битвы», гдѣ безпрестанно печатались громкіе бюллетени и донесенія о блистательно выигранныхъ битвахъ. Краковскій «Часъ» немедленно же перепечатывалъ эти извѣстія, откуда они расходились уже во всѣ европейскія газеты. Остальные летучіе подпольные листки — «Стражница», «Рухъ», «Новины Политичне» и «Правда» наперебой трубили о необычныхъ подвигахъ польскихъ героевъ, и все это сопровождалось твердою увѣренностью въ божественную помощь, которая уже проявляется въ чудесахъ и знаменіяхъ; говорили, что гдѣ-то въ близкой окрестности уродились чудотворные бобы съ изображеніемъ польскаго орла, что на Смочей улицѣ, близъ Повонзковскаго кладбища, выросло *држево чудотворне* съ изображеніемъ креста — и вся Варшава бѣжала на Смочу смотрѣть что за *држево*; и хотя никакого креста на немъ не приросло, тѣмъ не менѣе траурныя дамы стояли передъ деревомъ на коленяхъ и молились, ударяя себя въ грудь кулаками, а мужчины благоговѣнно обнажали головы. Одинъ парафіальный ксендзъ объявилъ въ проповѣди, что «Матка Бозка Ченстоховська» дала ему слово провести подъ цитадель французскій броненосный флотъ,—и опять вся Варшава, въ теченіе нѣсколькихъ дней, бѣгаетъ на берегъ Вислы и на мостъ, и смотритъ вдаль, наводитъ бинокли, подозрѣвая трубы и ждетъ когда-то появится наконецъ «Матка Бозка» съ броненоснымъ флотомъ. И добро бы дѣлало это простонародіе, а то нѣтъ: расфранченные «элеганты» и изящныя дамы прѣзжали въ экипажахъ и тоже наводили вдаль бинокли и лорнеты. Ловкіе евреи продавали носовые платки и сорочки, омоченные въ крови (вѣроятіе всего въ телячьей), увѣряя и божась, что это кровь того или другого изъ казненныхъ мучениковъ. И всѣ охотно вѣрили, или показывали видъ, что вѣрятъ столь грубой мистификаціи, раскупая нарасхватъ платки «святыхъ мученикувъ замордованныхъ». А между тѣмъ въ Варшавѣ повторялись безпрестанныя убійства. Рѣдко проходилъ день безъ того, чтобы не пала одна, двѣ и болѣе жертвъ отъ руки народовыхъ «операторовъ». Убивали мужчинъ, убивали и женщинъ; такъ, между прочими, была заколота кинжаломъ на мосту одна очень молоденькая и замѣчательной красоты дѣвушка изъ хорошаго семейства, въ то время какъ выходила утромъ изъ купальни — и вся Варшава только плечами пожала отъ недоумѣнія: сами поляки не могли понять, за

что сдѣлано такое убійство и чѣмъ могло провиниться или повредить ржонду это невинное существо? Подъ предлогомъ политической казни нерѣдко дѣйствовала личная месть и даже нѣчто хуже, а именно расчетъ отдѣлаться отъ назойливаго кредитора. Того-то закололи, этого зарѣзали, тамъ повѣсили, здѣсь отравили — только, бывало, и слышно изо-дня-въ-день по Варшавѣ, такъ что, наконецъ, подобнаго рода новости перестали даже производить свое впечатлѣніе: къ нимъ привыкли какъ къ явленію нормальному, и самое вниманіе общественное какъ-то притупилось къ нимъ вслѣдствіе безпрестанныхъ повтореній.

А на цитадельной эспланадѣ, время отъ времени, разыгрывались инныя трагедіи... Туманное утро. На сѣроватомъ фонѣ небосклона чернѣется силуэтъ эшафота, съ двумя столбами и перекладиной, покоемъ. Вокругъ него ряды войскъ; въ отдаленіи широко раскинувшаяся цѣль конныхъ казаковъ едва сдерживаетъ напоръ массъ любопытнаго народа. Вотъ послышался монотонный бой барабана... Изъ воротъ цитадели показалась процессія. Открываетъ это шествіе оригинальная фигура верхомъ на замундштученномъ ворономъ конѣ; на головѣ — цилиндръ, обвитый траурнымъ ремнемъ, на рукахъ бѣлые лайковыя перчатки, поверхъ чернаго фрака накинута на плечи широкая красная мантия съ кистями. Это — панъ Дитвальдъ, наслѣдственный «мечъ справедливосци» города Варшавы. За его красной мантией идутъ «гичелі», помощники и прислужники по его профессіи; а за ними въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія медленнымъ шагомъ выступаетъ ксендзъ-бернардинъ, въ своей коричневой хламидѣ, съ распятіемъ въ рукахъ, и рядомъ съ нимъ кто-то мертвенно-блѣдный, полуживой, полусознающій все совершающееся вокругъ него въ данную минуту... Онъ шатается отъ слабости, ноги его подкашиваются, — одинъ изъ гичелей поддерживаетъ его подъ руку; сзади жандармъ несетъ бѣлый саванъ съ остроконечнымъ капюшономъ; вокругъ этой группы сверкаютъ штыки конвоя, а по бокамъ ѣдутъ конные жандармы съ обнаженными саблями. Процессія останавливается предъ эшафотомъ. Осужденному велѣтъ обнажить голову. «Слушай, на кра-улы!» раздается команда, и вслѣдъ за ней звуки горновъ и барабановъ. Аудиторъ выступаетъ впередъ съ листомъ бумаги, и все умолкаетъ. На нѣсколько минутъ водворяется мертвая тишина. Слышится чтеніе приговора, а тамъ опять грянула дробь барабановъ. «Мечъ правосудія» подходитъ къ осужденному, беретъ его за руку и, подведя подъ висѣлицу, передаетъ своимъ помощникамъ а самъ торопится сорвать съ руки и брезгливо бросить на землю перчатку, «оскверненную» прикосновеніемъ къ убійцѣ. Гичелі принимаютъ за работу. Словно пауки, живо и

ловко опутываютъ они веревкой руки и ноги осужденнаго, напяливаютъ на него смертный мѣшокъ, закрываютъ голову и лицо канюшонкомъ, ставятъ на скамейку, черное ожерелье веревки уже захлестнуто вокругъ шеи... Мгновение—и бѣлая фигура болтается подъ покоемъ. Стовъ и гулъ раздается вдали за казачьей дѣлю... Панъ Дитвальдъ сосредоточенно смотритъ на свои карманные часы, считаетъ секунды и взглядываетъ порой на болтающуюся фигуру. Проходитъ минуты двѣ. «Скончоны!» тихо и авторитетно произноситъ онъ, и подъ протоколомъ казни подписываетъ свое имя съ традиціоннымъ титуломъ «мечъ справедливости». Войска уходятъ, красная мантия снимается, и все кончено... Но тамъ, въ массахъ народа не кончаются вопли, рыданія, колѣнопреклоненіе, изступленная молитва, изступленная злоба и рокотъ проклятій...

X.

Вновь испеченный.

Съ началомъ вооруженнаго возстанія, полкъ, въ которомъ служилъ Хвалынцевъ, выступилъ изъ-подъ Варшавы и отдѣльными эскадронами вошелъ въ составъ нѣсколькихъ отрядовъ. До Константина доходили иногда вѣсти объ экспедиціяхъ и стычкахъ, гдѣ участвовали его товарищи, въ то время, какъ онъ по неволѣ долженъ былъ лежать въ Уяздовскомъ госпиталѣ и возиться со своей раной, опасность которой требовала весьма тщательнаго, осторожнаго и продолжительнаго лѣченія. Ему до смерти надоѣло валяться на госпитальной койкѣ, въ то время, какъ другіе живутъ такой кипучей, лихорадочной жизнью и дѣятельностью, дерутся, борятся, испытываютъ столько новыхъ разнообразныхъ и сильныхъ впечатлѣній. Онъ всей душой рвался на волю изъ своей госпитальной палаты, а между тѣмъ медики каждый разъ утѣшаютъ, что лѣченіе идетъ правильно и прекрасно, но... все еще надо «погодить маленько», все еще рано выписываться.

Не разъ теперь глубоко и грустно раздумывался онъ надъ своимъ нравственнымъ положеніемъ. Давно уже онъ отрезвился, давно уже повязка спала съ его глазъ, и вѣры въ «общее дѣло» давно уже не было въ его душѣ; единственная связь съ этимъ «дѣломъ», созданная роковымъ недоразумѣніемъ и слѣпой страстью къ Цезаринѣ, была окончательно порвана, а предательскій ударъ княжала окончательно освобождалъ его отъ всякихъ отношеній и къ польскому заговору, и къ жалкой шайкѣ Варшавскаго Отдѣла «Земли и Воли». Теперь онъ могъ честно, безъ внутренняго разлада, безъ внутреннихъ противорѣчій съ самимъ собой чувствовать себя русскимъ, —

человѣкомъ своей родины и своего народа, который такъ громко и такъ высоко на весь міръ заявлялъ себя въ ту напряженную тревожную эпоху. Все, что было въ немъ чужого, наноснаго, извращеннаго при помощи талантливой пропаганды «Колокола» и иныхъ перусскихъ идей и стремленій — все это теперь отпало, смылось съ его души: правда жизни взяла верхъ надъ сочиненной и предвзятой ложью чуждой пропаганды. Но втайнѣ его все-таки свѣдалъ и грызъ неотвязный упрекъ совѣсти за свое прошлое, за временное отступничество отъ *своихъ*, за свое малодушное яканіе съ завѣдомыми врагами своей земли и народа. Онъ произнесъ полное осужденіе самому себѣ и жаждалъ только одного, чтобы милость судьбы дала ему возможность искупленія, которое было ему нужно не ради какихъ-либо выгодъ житейскаго спокойствія, не ради увѣренности, что его не тронутъ, не потянутъ къ расплатѣ—ни расплатъ, ни наказанія онъ не страшился: онъ принялъ бы ихъ покорно и легко, какъ должное, какъ заслуженное,—но искупленіе было нужно ему ради собственной совѣсти, ради внутренняго примиренія съ самимъ собой, все равно, будетъ ли принесено ему это искупленіе карающимъ приговоромъ военнаго суда или самъ онъ возьметъ его себѣ съ бою въ кровавой схваткѣ, и вотъ почему онъ такъ жадно стремился вырваться поскорѣе изъ стѣнъ Уяздовскаго госпиталя. Наконецъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ доктора объявили ему однажды, что онъ здоровъ совершенно, и чрезъ часъ его уже не было въ Уяздовѣ.

Приказъ о производствѣ его въ офицеры, по выслугѣ установленнаго срока, былъ полученъ еще въ то время, когда онъ лежалъ въ госпиталѣ. Наскоро обмундировавшись въ два три дня и явившись въ штабъ да по начальству, онъ на четвертый день, съ первой же «летучей оказіей», сопровождаемой конвоемъ казаковъ, въ числѣ другихъ попутчиковъ, ѣхалъ уже по назначенію къ своему эскадрону.

Эскадронъ майора Вѣтохина, куда командиръ полка зачислилъ теперь Хвалынцева, былъ на ту пору расположенъ въ мѣстечкѣ Нова-Руда Августовской губерніи, въ районѣ которой ему приходилось то занимать наблюдательные пункты, то держать кордонную линію, то вдругъ экстренно собираться и входить въ составъ какой-либо подвижной колонны, дѣлать громадныя переходы, рыскать по лѣсамъ и болотамъ, отыскивая повстанцевъ, разсѣвать и гнать ихъ при встрѣчѣ—все это, въ совокупности, представляло жизнь, исполненную самой кипучей дѣятельности, тревогъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній.

Командиръ эскадрона — старый сивоусый майоръ, холостякъ, прослужившій двадцать-два года все въ одномъ и томъ же гусарскомъ полку, подравнившійся на своемъ вѣку и противъ-

венгерцевъ, и противъ турокъ на Дунай, принялъ Хвалынцева такъ, какъ могъ принять только родной отецъ и какъ умѣютъ пока еще принимать у насъ молодыхъ офицеровъ старыя, закаленные въ армейской службѣ служаки.

— Испекли?—воскликнулъ онъ съ добродушной радостью, хлопнувъ Константина по наплечной корнетской гомбочкѣ.

— Какъ видите, майоръ...

— Вижу, голубчикъ, вижу! Уже не первый десятокъ вашего брата, вновь испеченнаго, у себя вижу, а пожалуй что и за сотню перевалило!.. Въ Бога вѣруешь?

— Вѣрую.

— Царя чтить?

— Чту.

— Товарищей уважаешь?

— Уважаю.

— А водку пьешь?

— Пью.

— Ну, обними меня!.. Поцѣлуемся!.. Гусаръ, значитъ, будешь хорошій... Ну, а на счетъ службы у меня ухо остро держи! Уговоръ лучше денегъ; хочешь служить, такъ напередъ знай: дружба дружбой, а служба службой.—Взыщу, я строго взыщу, коли за дѣло!.. А другомъ все-таки буду, и ты, старика, не осуди—потому таковъ ужъ порядокъ, дѣло святое!.. Чтѣмъ ни понадобится, бѣги прямо какъ къ отцу родному—отказу не будетъ! Эй! Чубарый!—крикнулъ онъ своего денщика,—приготовь-ка, братецъ, поживѣй закуску, да бѣги къ господамъ офицерамъ, скажи: майоръ-де немедленно проситъ изволятъ на водку—вновь испеченнаго корнета всприснуть, по обычаю!.. Живо!.. Ну-съ, ваше благородіе,—обратился онъ вслѣдъ за тѣмъ къ Хвалынцеву, — «кладите шляпу, сдѣньте шпагу», венгерку на распашку и будьте какъ дома, потому официальное представленіе ваше кончено.

Въ тотъ же самый день, въ убогой хатѣ того же самаго майора, эскадронные товарищи радушно приняли въ свою боевую среду новаго друга, и узы братства были заключены между ними съ перваго же раза. Ничто такъ не сближаетъ людей и не роднитъ ихъ между собою, какъ боевая жизнь и обстановка.

XI.

Рѣбакъ, ксендзъ-партизанъ и вѣшатель.

Во второй половинѣ мая мѣсяца, въ окрестностяхъ Новой-Руды пошли тревожные слухи о пѣлой бандѣ жандармовъ-вѣшателей, которая перекинулась черезъ Нѣманъ изъ Виленской губерніи, гдѣ-то неподалеку отъ Гайлунъ и Друскеникъ, и — во главѣ со своимъ доводцей, ксендзомъ Рѣбакомъ, — производить разныя безчинства, жестокости, казни и обла-

гаетъ крестьянъ подушной податью. Придя въ одну деревню и узнавъ, что тамошнія дѣвушки танцовали на своемъ сельскомъ праздникѣ съ солдатами проходившей роты, ксендзъ-довудца приказалъ собрать всѣхъ дѣвушекъ на выгонъ и пересѣчь ихъ до единой. Въ другомъ мѣстѣ приспѣшники его захватили отставного солдата, который служилъ сторожемъ при сельскомъ хлѣбномъ магазинѣ, выкололи ему глаза и вырвали изъ суставовъ руки, а потомъ ноги, «для того, чтобы впредь могъ исполнять какъ слѣдуетъ свою обязанность». Въ третьемъ мѣстѣ поймали по дорогѣ казака и живо изрѣзали его въ куски, еще гдѣ-то живьемъ закопали въ землю нѣмецкаго колониста, повѣсили русскаго учителя и фельдшера, распороть первому животъ, а второму прибивъ къ груди его паспортъ четырьмя гвоздями; какому-то крестьянину содрали съ головы кожу и оставили при немъ записку, что это «заломаль его медвѣдь польскій за сочувствіе и послуги медвѣдямъ русскимъ». Вообще, ни одинъ изъ доводцевъ не предавался такимъ изысканнымъ жестокостямъ, какъ знаменитый ксендзъ Рѣбакъ (червякъ), взявшій себѣ этотъ псевдонимъ изъ Мицкевича «пана Тадеуша» и стяжавшій громкую, но черную славу даже между своими соотечественниками. Оставляя по себѣ такіе ужасные слѣды, Рѣбакъ долгое время былъ рѣшительно неуловимъ. Онъ отлично зналъ край и, наговоря жестокаго страху на жителей, опасавшихся его мщенія и потому молчавшихъ о близкомъ присутствіи ксендза-вѣшателя, этотъ палачъ постоянно успѣвалъ съ замѣчательною ловкостью ускользнуть отъ преслѣдованія русскихъ отрядовъ, хотя и вертѣлся у нихъ то съ боку, то въ тылу, то прямо подъ носомъ. Становилось ли ему жутко въ Троцкомъ уѣздѣ, онъ перекидывался за Нѣманъ въ «Корону», ¹⁾ къ Сейнамъ, къ Августову или къ Маріамполю; начинали ль тѣснить и облавить его здѣсь, онъ снова уходилъ за Нѣманъ, куда-нибудь въ Ковенскую губернію и начиналъ разгуливать по Жмуди, а черезъ нѣсколько времени, гляди, опять появляется то тамъ, то сямъ на мѣстахъ своихъ прежнихъ подвиговъ. Въ этомъ отношеніи Рѣбакъ обладалъ замѣчательнымъ партизанскимъ талантомъ. Часто банда его раздѣлялась на нѣсколько мелкихъ отрядцевъ, подъ временнымъ начальствомъ особо-довѣренныхъ подручныхъ, и въ то время, какъ самъ онъ находился въ одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, подручные принимали на себя его псевдонимъ и дѣйствовали, то-есть казнили, въ разныхъ направленіяхъ. Такимъ образомъ, страшное имя его гремѣло одновременно во многихъ мѣстахъ и на зна-

¹⁾ „Корона“ поляки называютъ собственно королевскую Польшу, въ отличіе отъ Литвы и Руси, которыя считаются у нихъ „провинціями“, относительно-главной метрополіи.

чительныхъ разстояніяхъ, становилось чѣмъ-то вездѣсущимъ и приобрѣтало легендарное значеніе. Ксендзъ Рѣбакъ былъ вездѣ и нигдѣ; вездѣ куролесилъ, казнилъ, наводилъ ужасъ и нигдѣ не давался въ руки.

Какъ только дошли въ Августовъ слухи и вѣсти о появленіи Рѣбака, начальникъ мѣстнаго военнаго отдѣла тотчасъ же распорядился отправить на поиски нѣсколько отрядовъ въ разныхъ направленіяхъ.

XII.

Старый знакомый неожиданнымъ гостемъ.

Майоръ Вѣтохинъ со своими офицерами только-что садился во второмъ часу дня за обѣдъ, какъ подѣхала къ его хатѣ обывательская парная подвода, въ сопровожденіи четырехъ конвойныхъ казаковъ верхами.

— Кого Богъ даетъ?—спросилъ майоръ, взглянувъ оборачиваясь къ окну со своего мѣста.

— Чужой кто-то... старикъ... майорскіе погоны пѣхотные,—объявилъ одинъ изъ офицеровъ, ближе всѣхъ сидѣвшій къ растворенному окошку.

Черезъ минуту дверь отворилась.

— Хлѣбъ да соль, господа!.. Извините!—снимая на порогѣ запыленную фуражку, нѣсколько смущенно проговорилъ вошедшій, очевидно, никакъ не чаявшій попасть прямо къ обѣду.—Могу я видѣть эскадроннаго командира?—прибавилъ онъ, обводя присутствовавшихъ вопросительнымъ взглядомъ.

— Къ вашимъ услугамъ!—поднялся съ мѣста майоръ и назвалъ свою фамилію.

— Позвольте передать... отъ полковника Пчельникова,—съ полупоклономъ проговорилъ старикъ-пѣхотинецъ, доставъ изъ бокового кармана пакетъ за казенной печатью.

— Садитесь, пожалуйста,—предложилъ ему Вѣтохинъ и, сорвавъ конвертъ, пробѣжалъ глазами бумагу. По мѣрѣ чтенія лицо его все болѣе и болѣе озарялось довольной улыбкой.

— Поздравляю, господа, съ экспедиціей!—радостно проговорилъ онъ наконецъ, обращаясь къ своимъ офицерамъ, и въ полголоса, какъ бы подъ большимъ секретомъ, но вполне внятно сталъ читать имъ «конфиденціальное сообщеніе». «Вслѣдствіе предписанія г. начальника отдѣла, отъ такого-то числа, за № такимъ-то, вѣренный вамъ эскадронъ назначенъ въ составъ моего отряда, а посему предписываю вашему высокоблагородію, съ полученіемъ сего, немедленно изготавиться къ экспедиціи противъ появившейся въ окрестностяхъ шайки ксендза Рѣбака. Вѣренный мнѣ отрядъ прибудетъ въ мѣстечко Нову-Руду сего числа вечеромъ и послѣ трехчасоваго привала двинется въ направленіи на Красно, Сапоч-

кинь и Ятвице. Не дожидаясь моего прибытія, ваше высокоблагородіе имѣете выступить, въ видѣ авангарда, какъ наискорѣе, въ томъ же направленіи, своевременно посылая ко мнѣ донесенія обо всемъ, что будетъ замѣчено нашими разѣздами. Въ случаѣ если-бы шайка Рѣбака переправилась обратно за Нѣманъ, то, не стѣняясь переходомъ оной въ районъ Виленскаго военнаго округа, преслѣдовать безостановочно, но при этомъ вы имѣете озаботиться о средствахъ переправы для моего отряда. NN—скаго пѣхотнаго полка командиръ полковникъ Пчельниковъ».

— Ура!—крикнулъ было одинъ изъ офицеровъ, радостно сорвавшись съ мѣста.

— Тсс!.. остановилъ его эскадронный,—секретъ, господа, прежде всего секретъ!.. Тутъ вѣдь за каждымъ нашимъ шагомъ слѣдятъ и все передаютъ повстанцамъ: узнаютъ часомъ ранѣе, и пиши пропало! Вся экспедиція ни къ чему!.. Уйдутъ!..

И Вѣтохинъ сейчасъ же послалъ за эскадроннымъ вахмистромъ, чтобы отдать ему приказанія о секретномъ сборѣ.

Старый пѣхотинецъ сталъ откланиваться.

— Куда же вы, майоръ?—остановилъ его Вѣтохинъ.—Погодите!..

— Нельзя-съ, тороплюсь въ Пяски... тамъ велѣно мнѣ взять роту да пятьдесятъ казаковъ и тоже идти на поиски.

— Да вы туда какъ? На подводѣ?

— На обывательской, подъ конвоемъ.

— Такъ погодите же, пока перепрагуютъ... пять минутъ!.. Перекусите чѣмъ Богъ послалъ... Господа, угощайте майора!

Съ первой минуты появленія новаго гостя, его лицо, его голосъ и вся фигура сказались Хвалынцеву чѣмъ-то знакомымъ. Нѣкоторое время онъ взглядывался въ фізіономію старика и наконецъ подошелъ къ нему.

— Извините, майоръ, ваше имя Петръ Петровичъ Лубянской?—спросилъ онъ.

— Да, я Лубянской.

— Вы не знаете меня?

Старикъ пристально вскинулся на него глазами.

— Господи Боже мой!.. Да неужели Хвалынцевъ?!.. Батюшка!.. Какими судьбами?..

И они бросились въ объятія другъ друга.

Пошли разспросы: какъ? что? Старика усадили за столъ. Онъ-таки проголодался съ дороги. Хвалынцевъ между прочимъ неосторожно спросилъ его про дочку, про его Нюточку и вдругъ, замѣтивъ, что липо майора на мгновенье передернуло что-то глубоко и затаенно скорбное, спохватился, что вѣроятно сдѣлалъ какой-нибудь промахъ, но уже было поздно.

— Умерла,—отрывисто и какъ бы вскользь проговорилъ Лубянской.—Вотъ почему-то и я... какъ видите, тоже здѣсь,—продолжалъ онъ,—надоѣло, знаете, тамъ-то... Что, думаю, одному

бобылёмъ на старости лѣтъ блыкаться! И пошелъ сюда... Здѣсь все-же жизнь... И пользу какую ни есть принести можно... Да и тово... отлученіе, знаете, есть для себя... Здѣсь лучше... А умирать все-равно надо... такъ ужъ лучше здѣсь умереть... по-солдатски, по крайней мѣрѣ!.. Люди нашего вѣка, батюшка, все ужъ помаленьку на тотъ свѣтъ подбираться начинаютъ... Старуху Гореву помните?

— Тетку Татьяны Николаевны?—весь встре-пенулъ Хвалынцевъ. — Какъ не помнить, помните!.. Что-жь она?

— А тоже вотъ недавно... долго жить прика-зала.

— А Татьяна-то Николаевна какъ-же те-перь?—помолчавъ, спросилъ Хвалынцевъ, на ко-торого это неожиданное извѣстіе произвело нѣ-сколько грустное впечатлѣніе.

— Да что-жь Татьяна Николаевна!—пожалъ старикъ плечами,—одна осталась, круглой си-ротою...

— Не вышла замужъ?—понижая голосъ и съ чувствомъ какого-то затаеннаго внутренняго опасенія продолжалъ Хвалынцевъ, почувство-вавъ, что ему будетъ больно и тяжело узнать, если Татьяна позабыла его.

— Э, гдѣ ужъ!—махнулъ Петръ Петро-вичъ. — Помилуйте, за кого тамъ выйти... Да она, кажись, и не думаетъ объ этомъ. Фанта-зерка она большая, но хорошая, честная фан-тазерка.

— А что?—насторожилъ уши Хвалынцевъ.

— Да какъ-же!—усмѣхнулся майоръ. — Пи-салъ мнѣ этта недавно Устиновъ, Андрей Пав-лычъ... А, кстати,—перебилъ онъ самого себя,—Устиновъ-то... вы не слышали? Вѣдь онъ те-перь здѣсь, недалеко, по сосѣдству!

— Какъ такъ?—радостно встрепенулъ Хва-лынцевъ.

— Да какъ-же!.. Въ Гроднѣ!.. Тамъ у него, пишетъ, есть старый пріятель какой-то... Какъ бишь его?.. Забылъ... докторъ военный...

— Холодецъ?—подсказалъ Константинъ.

— Ну, ну, онъ самый и есть!.. Они вмѣстѣ и живутъ теперь.

— Да Устиновъ-то какими-же судьбами въ Гроднѣ очутился?

— А очень просто-съ. Вѣдь онъ въ послѣд-нее время въ Питерѣ жилъ безъ мѣста; ну, а тутъ вдругъ въ Сѣверо-Западный край русскихъ людей стали на службу вызывать, онъ и по-ѣхалъ учителемъ въ гимназію... Назначили въ Гродну, а тамъ нечаянно съ этимъ пріятелемъ своимъ столкнулся... И прекрасно, пишетъ, устроился!..

— Ваше высокоблагородіе, подвода готова,—доложилъ вошедшій казакъ и тѣмъ невольнo прервалъ дальнѣйшіе разспросы.

— Да и намъ, господа, время. Собирайтесь-ка поживѣе,—замѣтилъ Вѣтохинъ своимъ офи-церамъ.

— Ну, а Татьяна-то Николаевна?.. Вы про нее хотѣли что-то... Бога ради, хоть одно слово еще!—съ живымъ, и нетерпѣливымъ любопыт-ствомъ приставалъ межъ тѣмъ Хвалынцевъ, удерживая Лубянского за руку.

— Ну, батюшка, долго рассказывать!.. Не-когда!—благодушно улыбнулся ему старый майоръ, выходя изъ хаты и на ходу прощаясь съ офицерами. — Вотъ погодите,—прибавилъ онъ,—побьемъ Рѣбака, встрѣтимся, дасть Богъ, послѣ экспедиціи, тогда ужъ все расскажу вамъ на досугъ!

И черезъ минуту пароконная подвода, окру-женная четырьмя казаками, быстро покатила по дорогѣ въ Пяски, оставляя за собой облака золотистой пыли.

Въ это время гусары уже выводили изъ ко-нюшенъ лошадей и строились на площади предъ квартирой майора. Любопытные жидки озабо-ченно шныряли туда и сюда, стараясь проню-хать въ чемъ дѣло, а изъ-за угловъ подозри-тельно и враждебно выглядывали пытливыя фізіономіи разныхъ обывателей и обыватель-ницъ изъ мѣстной «дробной шляхты», которая въ этомъ внезапномъ сборѣ эскадрона инстин-ктивно уже учуяла что-то недоброе для своей «свентей справы» и только искала случая, какъ-бы предувѣдомить кого слѣдуетъ о грозя-щей опасности.

XIII.

Мученики, не вписанные въ „мартиро-логи Колокола“.

Первыя двѣнадцать верстъ эскадронъ слѣ-лалъ безъ всякихъ приключеній. Въ попут-ныхъ деревняхъ и мужичины, и женщины встрѣчали его совершенно спокойно, стоя груп-пами у своихъ хатъ, съ кучей разной дѣтвора; молодичицы охотно выносили ведра съ водой утолять жажду солдатъ, а мужики кланялись, снимали свои «капелюхи» и свободно отвѣчали на разспросы—все это для опытнаго майора служило вѣрнымъ признакомъ, что банда не посѣщала еще этихъ селеній и не бродила въ ближайшей окрестности. Но вотъ, прошли еще верстъ десять, и поведеніе крестьянъ въ дальнѣйшихъ деревняхъ рѣзко измѣнилось. Здѣсь уже, при входѣ отряда въ околипу, хлопъ ни на кого не глядитъ, прячется, пугается, спѣшитъ смущенно удрать куда-нибудь подаль-ше и на разспросы отвѣчаетъ однимъ лакони-ческимъ «нѣвѣмъ». Такое поведеніе тоже слу-жило однимъ изъ признаковъ, но это уже былъ вѣрный признакъ близости непріятели. Это значило, что банда только-что побывала въ деревнѣ, успѣла настращать крестьянъ, наобѣ-щать имъ висѣлицъ и пожаровъ за общеніе съ москалемъ, успѣла быть-можетъ кого нибудъ увести и повѣсить для примѣра, и теперь

скрывается гдѣ-нибудь тутъ же, въ ближайшемъ сосѣдствѣ. Эскадронъ усилилъ мѣры военныхъ предосторожностей и безостановочно двигался дальше. Вотъ лѣсъ навстрѣчу, и на самой опушкѣ его замѣчены уже явные слѣды недавняго становища: полупотухшій костеръ, окурки папиросъ, оборвыши бумажекъ, портянка какая-то, клочки разбросаннаго сѣна и соломы.

— Господи!.. Братцы, гляди-тко, страсть какая!—раздался вдругъ голосъ одного изъ солдатъ, посланныхъ обшарить мѣсто покинутого бивуака.

На зовъ его бросилось нѣсколько всадниковъ, которые вдругъ остановились у одного изъ деревьевъ въ безмолвномъ негодованіи и въ смущеніи. Предъ ними качался на суку обнаженный трупъ четырнадцатилѣтней дѣвочки, удушенной узломъ изъ собственныхъ косъ и повѣшенной за волосы. На груди ея пригвождена была бумажка съ надписью: *По подозрѣнію въ шпионствѣ.*

— Глянь-ко, братцы, дѣвонька-то... а? Ну, какого зла могла она сдѣлать!—покачивая головами, тихо говорили промежь себя гусары. Иные молча крестились и отъѣзжали прочь, другіе же озлобленно ворчали угрозу не давать убійцамъ пощады при встрѣчѣ. Просили-было у майора позволенія снять и закопать повѣшенную, «хоть съ молитвой, замѣсто христіанскаго погребенія», но мѣшкать было некогда: майоръ торопился накрыть банду врасплохъ и какъ можно скорѣе. Кто-то изъ солдатъ сорвалъ широкій листъ лопуха, положилъ его на землю, въ то мѣсто, надъ которымъ висѣла дѣвочка, и кинулъ на лопухъ копейку. Нѣсколько гусаръ молча послѣдовали примѣру товарища, и на лопухъ въ минуту образовалась кучка мѣдныхъ денегъ.

— Для чего вы это, ребята?—спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— А пушай, ваше благородіе, на похороны ей будетъ, — отвѣтилъ кто-то изъ жертвователей.

— Да вѣдь это напрасно: придетъ какой-нибудь бродяга-повстанецъ и преспокойно заберетъ себѣ ваши гроши.

— Ну, и пушай его, ваше благородіе, коли грѣха не боится!.. Это все-единственно! А только все-жъ ей отъ насти, значить, пушай на поминки душѣ ея будетъ...

Офицеры, по примѣру солдатъ, тоже бросили въ кучку сколько-то мелочи и тронулись далѣе.

Но не прошелъ эскадронъ и нѣсколькихъ десятковъ сажень, какъ невдалекѣ отъ дороги послышался слабый, страдальческій стонъ. Особый патруль бросился въ ту сторону, и черезъ минуту изъ чащи выскочилъ на дорогу ефрейторъ съ донесеніемъ:

— Ваше высокоблагородіе!.. Раненый казачекъ лежитъ неподалечку-съ... шаговъ съ двадцать въ сторону будетъ.

Вѣтохинъ съ Хвалынцевымъ бросились по указанію ефрейтора, и оба невольно вскрикнули отъ ужаса.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ раненаго валялись двое убитыхъ, а третій тутъ же висѣлъ на одномъ изъ деревьевъ, и въ этомъ третьемъ они вдругъ узнали старика Лубянскаго. На развороченную грудь его страшно было взглянуть.

Раненый казакъ былъ еще въ памяти и кое-какъ могъ разсказать случившееся. Оказалось, что часа три тому назадъ, когда Лубянской проѣзжалъ мимо этого мѣста по лѣсной дорогѣ, съ обѣихъ сторонъ ея, изъ чащи еловыхъ кустарниковъ, вдругъ раздалась залпы. Въ подлѣсной деревушкѣ майору перемѣняли подводу, а въ это время кто-то успѣлъ оповѣстить банду, которая устроила засаду. Подводчикъ былъ убитъ на мѣстѣ, майоръ раненъ въ бокъ, а съ нимъ вмѣстѣ и двумъ казакамъ досталось по пулѣ, остальные же двое кинулись-было на-утекъ, но одного изъ нихъ захватили, а послѣднему удалось-таки пробиться и ускакать по дорогѣ въ Пяски. Тогда повстанцы окружили путниковъ, стащили ихъ съ коней, а майора сняли съ подводы и всѣхъ повели въ чащу. Здѣсь надъ ними дѣлали разные надругательства.

— Ксендзъ обѣщалъ помиловать, — разсказывалъ казакъ!—«И раны вамъ, говоритъ, вылѣчимъ, и денегъ по пятнадцати рублей дадимъ, только, значить, переходите къ намъ въ банду». А майору ему на это самое въ року плюнуть изволили. «Ну, говоритъ, коли ты такъ, готовься. Пять минутъ вамъ всѣмъ на покаяніе!» и приказалъ достать веревки. Майоръ иначе-жъ не смутился, и мы тоже не захотѣли у ксендза крыжъ его цѣловать... Это его пуще всего взбѣсило. «Вы, говоритъ, теперь казаки, а я изъ васъ сдѣлаю улановъ», и приступилъ къ майору, велѣлъ снять съ него шюртукъ да рубашку и держать покрѣпче, а самъ кинжаломъ распоролъ ему грудь вдоль и поперекъ и приказалъ разворотить. «Эго тебѣ, говоритъ, лацканы будутъ, теперь ты по гвардіи». Майоръ хоть бы охнулъ! Только и сказали ему на все на это «собаку». — «Видно, говорятъ, не знаешь ты, собака, русскаго солдата!» и снова плюнуть въ него изволили. Тогда они стали вѣшать майора: подвѣсять, эдакъ, маленько и опять опустятъ, подвѣсять и опустятъ, чтобы, значить, мученьевъ больше предоставить ему, но иначе-жъ повѣсили-таки, наконецъ, и какъ только это вздернули, майоръ вдругъ руку изволили поднять и словно бы кулакомъ на нихъ на всѣхъ погрозились, такъ что ажно всѣ дрогнули отъ страху

и стоить пошелъ между ними...⁴⁾ А тутъ вдругъ пригналъ на клычѣхъ жидокъ какой-то и кричить: «Ратуйтеся! Москвѣ выступаютъ!» И тутъ они все ужаси какъ испугались! Вѣшать насъ уже некогда было, а приказали просто разстрѣлять, ну и впоыхахъ, уже садясь на коней, дали по насъ нѣсколько выстрѣловъ, товарищей на смерть убили, а меня Богъ помиловалъ: только поранили, значить... Оначе-жь я все-таки изъ опаски думалъ, что лучше мертвымъ прикинуться, и притворился эдакъ. А они, вѣрно, подумали, что убитъ и не трогали больше, и сейчасъ же все усаkali... И лошадей нашихъ угнали, проклятые!.. Больно ужъ лошадей-то жалъ, ваше скородіе!..

Пока раненный велъ съ передышкой свой рассказъ, подъѣхалъ эскадронный вахмистръ и объяснилъ, что солдаты въ придорожномъ рву отыскали еще одно тѣло: это былъ убитый подводчикъ. Вѣтохинъ приказалъ гусарамъ снять Лубянского и подобрать убитыхъ. Весь эскадронный обозъ состоялъ изъ двухъ обывательскихъ подводъ. На одну изъ нихъ сложили мертвыхъ, а другую уступили подъ раненаго и съ возможною скоростью двинулись далѣе. Движеніе въ незнакомомъ и довольно густомъ лѣсу оказалось крайне затруднительно. Надо было осторожно и внимательно осматривать все ближайшіе кусты и заросли, изъ которыхъ каждая могла таить въ себѣ засаду. Боковые патрули то и дѣло вазли въ болотныхъ трупобахъ, плутали въ чащахъ и ежеминутно рисковали отбиться отъ эскадрона. Соединеніе между ними кое-какъ поддерживалось только условными свистками, въ которыхъ они старались подражать голосамъ разной лѣсной птицы.

Ужасная смерть Лубянского, видимо, сдѣлала сильное и глубокое впечатлѣніе на весь эскадронъ. Гусары, слышавшіе рассказъ раненаго казака, мрачно передавали его въ рядахъ другимъ товарищамъ.

— Ваше высокоблагородіе!—въ полголоса обратился къ Вѣтохину подъѣхавшій вахмистръ.—Люди очинно просятъ васъ, не прикажите падить... потому больно ужъ обидно!..

Вѣтохинъ понурился и не отвѣтилъ ни слова. Онъ сдѣлалъ видъ, будто не слышалъ словъ своего стараго вахмистра. Отказать — значило заставить роптать на себя справедливо озлобленныхъ и оскорбленныхъ людей, а разрѣшить... Вѣтохинъ понималъ, къ какимъ ужаснымъ, беспощадно-кровавымъ результатамъ могло повести такое разрѣшеніе, а

онъ зналъ, что въ бандахъ попадаютъ не только насильно захваченные крестьяне, но даже и двѣнадцатилѣтніе дѣти.

Но ни на комъ изъ офицеровъ вся тяжесть недавняго впечатлѣнія не отразилась такой скорбной грустью, какъ на Хвалынцевѣ. Порой что-то похожее на рыданія давило ему грудь и сжимало горло. Въ душѣ его смутно проходила цѣлая вереница воспомнаній: скромное зальце въ славнубенскомъ домикѣ майора, и самъ майоръ въ своемъ стеганомъ халатикѣ за шахматной доской. Хорошенькая и капризная Нюта Лубянская... Устиновъ, Татьяна... И та звѣздная ночь вспоминается, когда они втроемъ возвращались со сходки у этой бѣдной Нюты... литературный вечеръ и несчастное приключеніе съ «Орломъ» гимназиста Шишкина... несостоявшаяся дуэль Устинова и снова Татьяна... А тамъ блуждающая мысль невольно какъ-то набредаетъ на закатъ солнца надъ Волгой, на послѣдній прощальный разговоръ въ садовой бесѣдкѣ съ Татьяной и на тѣ слова, которыя тогда говорила ему эта дѣвушка... И Богъ-вѣсть, зачѣмъ и для чего вспоминается теперь Хвалынцеву вся грустная прелесть ея простоты, ея скромнаго, дѣвственнаго, но глубокаго чувства, ея честный взглядъ, открытая, довѣрчивая улыбка и эта благоухающая свѣжесть ея молодости... Вспоминается и свое собственное чувство, которое зарождалось тогда въ его душѣ и которое было такъ безжалостно заглушено въ немъ ради другой обаятельной женщины... Казалось бы, давно ли все это было, а между тѣмъ уже цѣлая полоса жизни — и какой еще жизни! — прошла между этимъ недавнимъ прошлымъ и настоящимъ... И все это было забыто, все такъ скоро изгладилось въ душѣ, но вдругъ — сегодняшняя встрѣча съ майоромъ, мимолетный разговоръ съ нимъ за столомъ и эта неожиданная, трагическая кончина снова поднимаютъ въ душѣ все прошлое, съ такой поразительной яркостью, съ такой болѣзненно-шемящей жаждой возврата всего, всего, что нѣкогда было столь дорого и мило... «Что онъ хотѣлъ мнѣ сказать о ней и не успѣлъ досказать?» мучилъ Хвалынцева безотвѣтный вопросъ, который заставлялъ предполагать за собой многое...

Но вдругъ размышленія его были прерваны двумя гусарами, прибывшими изъ передоваго разбѣзда. Одинъ изъ нихъ тащилъ за поводъ какую-то клячу, на которой сидѣлъ, весь сгорбившись, помертвѣлый со страху еврей, а другой, ѣхавшій сбоку, внушительно держалъ на изготовкѣ пистолетъ, направленный въ високъ сына Израилева.

— Еврея переняли, ваше скородіе! — доложилъ передовой майору.

— О?... Что же онъ, знаетъ что-нибудь?—отозвался Вѣтохинъ.

— Говоритъ «нищъ», оначе-жь, надо бытъ

⁴⁾ Исторически вѣрно. См. рапортъ частнаго военнаго начальника Кѣлецкаго уѣзда военному начальнику Радомскаго отдѣла отъ 7-го мая 1863 года (Военный журналъ отъ 19-го мая. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1863 года, № 113) о смерти Полоцкаго пѣхотнаго полка капитана Никифорова.

вретъ, ваше скородіе, потому кабы ему не знать, то такъ бы прямо и ѣхать по дорогѣ, а онъ этта чуть завидѣлъ разъѣздъ, сейчасъ стрекача въ сторону—насилу догнали-съ!

— Бетхеръ, допытайте-ка его тамъ, въ обозѣ, да осмотрите напередъ, не найдется ли чего?—обратился майоръ съ неприятнымъ порученіемъ къ старшему поручику.

Конвоиры потащили арестанта на клячѣ вслѣдъ за Бетхеромъ, въ хвостъ эскадронной колонны.

— Готовъ фухтеля, ребята!—послышался оттуда озлобленный голосъ поручика, у котораго еще сердце не уходило послѣ недавней картины казенныхъ и который поэтому радъ былъ сорвать его на первыхъ порахъ хоть на подозрительномъ еврей.

— Ой вай! гевалтъ! Ясневельможны пане! Ваше високоблагхордне благхородю!—завопилъ умоляющій плыникъ, при видѣ нѣсколькихъ впезапно обнаженныхъ сабель.

Между тѣмъ его обыскали и въ сапогѣ подъ подошвой нашли «мандатъ» на должность сельскаго жандарма народоваго ржонда, написанный на имя Сруля Шепшела. Ясная улика была на лицо.

— То не мои чоботы, дѣли-бугхъ, не мои!—отпѣкивался еврейчикъ.

Но разговаривать было бесполезно.

— Въ фухтеля его!

— Уй, пачакѣйце! Впиштеко доложу, впиштеко!—упалъ онъ на колѣни и признался, что дѣйствительно состоитъ въ должности сельскаго жандарма, на обязанность котораго возложено шпіонство за русскими властями и войсками, своевременное предувѣдомленіе о ихъ мѣропріятіяхъ и движеніяхъ, а также наблюденіе за поведеніемъ жителей; признался также, что должность эту принялъ, во-первыхъ, потому, что получаетъ за нее десять рублей жалованья—«алежъ кѣпсько плацонъ, лайдаки!»¹⁾ а во-вторыхъ еще — и это главное — потому, что такая почетная должность внушаетъ уваженіе «великыи страхъ» къ его «властной персонѣ», а за этотъ страхъ онъ можетъ взимать съ нихъ въ свою пользу разные негласные поборы. Затѣмъ открылъ онъ, что о назначеніи отрядовъ противъ Робака тотчасъ же дано было знать по секрету мѣстному «начальнику» народныхъ жандармовъ, «ажъ въ Августова», и чуть ли еще не по телеграфу, и что о выстушеніи «гузарскѣго шквадруну» извѣстилъ его тоже сельскій жандармъ изъ сосѣдняго мѣстечка, который былъ предувѣдомленъ такимъ же образомъ другимъ своимъ товарищемъ-сосѣдомъ и въ свою очередь успѣлъ предупредить его, еврея, прискакавъ во весь духъ окольными путями, а онъ, Сруль Шепшель, уже извѣстилъ «его превелебну мосць

пана ксендза Робака, ктуры былъ тутай, алежъ якъ задалъ драпака, такъ ажъ до тыхъ часъ драпье!»¹⁾

— Куда онъ направился? По какой дорогѣ? Въ какое мѣсто?—допытывалъ поручикъ Бетхеръ, межъ тѣмъ какъ четыре гусара стояли надъ евреемъ, готовые принять его въ фухтеля своими обнаженными саблями.

Сруль Шепшель сначала было заминался и отпѣкивался: «кеды жъ я вѣмъ», да «что я знаю», но потомъ объявилъ, что если «ясневельможны войсковы москале» дадутъ ему «пянть-дзѣсенць рубли», то онъ ужъ такъ и быть откроетъ имъ и всю банду и самого Робака выдастъ головою. Пятидесяти рублей конечно ему не дали и даже не пообѣщали, а просто отправили связаннаго и подъ надежнымъ конвоемъ въ авангардный взводъ, приказавъ указывать дорогу и вести прямо на банду, съ тѣмъ, что если обманетъ или хоть чуточку покривитъ душой, то будетъ тотчасъ же изрубленъ на мѣстѣ.

Блѣдный жидокъ, притроченный къ сѣдлу своей «шкапы», съ закрученными на спину руками, весь дрожа и бормоча про-себя какую-то молитву да потряхивая пейсами, потрусилъ рысцою впередъ къ авангарду, между двумя гусарами. Съ одной стороны лезвіе сабли, а съ другой—остріе опущенной на-перевѣсъ пикки очень неприятно блестя у него предъ глазами и безмолвно, но внушительно убѣждали, что кривить душой теперь уже нѣтъ ему ни малѣйшей возможности.

Между тѣмъ наступилъ уже вечеръ. Въ лѣсу становилось сумрачно и сыро. Коня, сдѣлавъ почти тридцати-верстный переходъ, съ однимъ незначительнымъ приваломъ, начинали уже нѣсколько уставать подъ своимъ тяжелымъ походнымъ व्यюкомъ. Но останавливаться среди незнакомаго лѣса было бы рискованно, и потому Вѣтохинъ рѣшилъ продолжать путь, пока не выберется на открытую мѣстность, тѣмъ болѣе что Сруль Шепшель увѣрялъ и божился, будто скоро конецъ этому лѣсу. И точно, черезъ полчаса показались между порѣдѣвшими стволами сосенъ блѣдныя просвѣты угаснаго заката.

Вскорѣ послѣ этого эскадронъ выбрался изъ опушки на открытую и широкую поляну, то-пушную въ тускломъ и слегка туманномъ сумракѣ вечера, сквозь который тамъ и сямъ мигало нѣсколько огоньковъ въ какихъ-то двухъ-трехъ деревнюшкахъ. Было тихо и на землѣ, и въ воздухѣ, только собаки заливались гдѣ-то около жилья да болотныя жабы далече въ какомъ-то тинистомъ ставку, подъ корявыми вербами, поднимали вечерній концертъ, монотонно выводя свои урчащія и своеобразно-ме-

¹⁾ Да скверно платятъ, негодяи!

¹⁾ Который былъ здѣсь, но какъ задалъ стрекача, такъ и до сихъ поръ удираетъ.

лодические стоны. Вѣтохнѣ остановился и стаянулъ къ себѣ разсыпанные по лѣсу боковые развѣзды.

Вдругъ впереди послышался, все болѣе и болѣе приближавшійся, быстрый конскій топотъ. Но въ авангардномъ взводѣ тихо: ни выстрѣла, ни голосовъ не слышно.

— Что жъ это значить? Неужели свои?— въ полголоса обратился Хвалынцевъ къ майору.

— Ахъ, далъ бы Богъ, на подмогу!.. это бы недурно!—проворчалъ тотъ въ отвѣтъ, но на всякій случай перестроилъ эскадронъ изъ справа-по-шести во взводную колонну, чтобы въ моментъ выстроить фронтъ и встрѣтить атакой, если, неровнѣе часть, окажется вдругъ непріятель.

Между тѣмъ многочисленный топотъ слышался все ближе и ближе, и вскорѣ на дорогѣ сквозь густую пыль показалась какая-то темная масса. Очевидно, эта масса спокойно прошла мимо гусарскаго авангарда.

— Свои!.. Теперь нѣтъ сомнѣній,—замѣтилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Полусотня сто-ой! послышался оттуда чей-то командный голосъ, и топотъ стихъ въ ту же минуту, а на встрѣчу къ эскадрону отдѣлился и поскакалъ одинъ всадникъ.

— Эсауль Малявкинъ,—отрекомендовался онъ, подѣхавъ къ майору и приложивъ къ козырьку руку, на которой болталась опущенная нагайка.

— Откуда вы?—освѣдомился Вѣтохнѣ.

— Изъ Пяскова... Бѣгимъ на выручку... Пригналъ эта казачокъ насчетъ несчастья съ майоромъ Лубянскимъ... Ну, мы сейчасъ же по тревогѣ и выступили... Всю дорогу, почитай, на рысяхъ гнали... Пѣхотные тоже поспѣшаютъ за нами... Банду не встрѣнули?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ еще!—вздохнулъ майоръ, пожавъ плечами.

— Досадно, чортъ!—крякнулъ сотникъ и, какъ бы для пушаго выраженія этого чувства, стегнулъ нагайкой по крупу своего вертляваго дончака-головодѣра.—А не знаете ль, майоръ, прибавилъ онъ,—какія насчетъ насъ инструкціи были у Лубянскаго?

— Въ подробности не сказывалъ, а бумага его вмѣстѣ съ сюртукомъ забралъ съ собой Рѣбакъ,—отозвался Вѣтохнѣ.

— Что жъ намъ дѣлать теперича?.. Какъ прикажете?

— Да что жъ, конечно, присоединяться къ эскадрону и дѣйствовать вмѣстѣ, пока полковникъ Пчельниковъ не пришлетъ изъ отряда особыхъ приказаній.

— Слушаю-съ!

И сотникъ опять закатилъ двѣ добрыя нагайки своему головодѣру, который крутымъ поворотомъ взвился подъ нимъ на дыбы и какъ стрѣла помчался къ полусотнѣ.

Рѣшено было сдѣлать часа на четыре при-

валъ у ближайшей деревни, гдѣ подождать, пока подойдетъ пѣхотная рота, заготовить для нея сколь возможно болѣе обывательскихъ подводъ, выкормить лошадей и дать закусить людямъ, которые съ раняго обѣда ничего не ѣли, да за-одно уже похоронить и своихъ покойниковъ.

Подожли къ околицѣ, и первымъ же дѣломъ, выставивъ вокругъ казачьи «бекеты», послали кое-кого изъ донцовъ пошарить по хатамъ да по стодамъ, не отыщется ли «языка» какаго.

Офицеры межъ тѣмъ улеглись себѣ въ кучку, подъ заборомъ крайней хаты, и принялись за сухомятную закуску, испивая изъ походной майорской фляги. Тутъ же рядомъ лошади мѣрно хрустѣли въ тишинѣ зубами, выѣдая подвѣшенные торбы ¹⁾, а люди поочередно принимали изъ рукъ вахмистра общую чарку водки, добытой въ жиновскомъ шинкѣ, безъ котораго не обходится ни одинъ польскій и литовскій поселокъ. Костровъ не разводили, чтобы не привлекать на себя безъ надобности вниманія повстанскихъ шпионовъ, которые, въ разныхъ видахъ и образахъ, безпрестанно шныряли тайкомъ вездѣ и повсюду. Эта предосторожность была необходима, потому что повстанскія банды никогда не шли нашимъ отрядамъ на встрѣчу, а всегда удирали заблаговременно, и потому, чтобы вѣрнѣе настичь и захватить ихъ, необходимо нужно было, по возможности, скрываться отъ предупредительнаго вниманія польскихъ шпионовъ.

— Ваше скородіе! языка въ стодалѣ поймали! Только молчить, не сказывается, шельма!—доложилъ вдругъ бойкій казачій урядникъ, за которымъ нѣсколько товарищей вели скрученного повстанца, въ чамаркѣ, въ штыфляхъ и въ рогатывкѣ. По всѣмъ наружнымъ признакамъ, это былъ одинъ изъ представителей «дробной шляхты» польской, а его костюмъ указывалъ на несомнѣнное знакомство съ лѣсомъ. Вѣтохнѣ приказалъ препроводить его для разспросовъ въ казачью полусотню, гдѣ нагайки очень скоро развязали упорный языкъ шляхтича. Оказалось, что это былъ одинъ изъ членовъ шайки Рѣбака, оставленный здѣсь для наблюдений за отрядами, по случаю отсутствія мѣстнаго жандарма. Отъ него же было узнано, что Рѣбакъ, бывшій здѣсь часа три назадъ, ударился на-утекъ къ Нѣману, по направленію къ замку графовъ Маржецкихъ. Это показаніе совершенно согласовалось со свѣдѣніями, добытыми на пути отъ Сруля Шепшела. Медлить было нечего.

— Константинъ Семенычъ!—озабоченно обратился майоръ къ Хвалынцеву.—Черезъ

¹⁾ «Выѣдать торбу»—кавалерійское выраженіе, значить съѣсть отиѣренную дачу овса, засыпаемаго въ холщевый мѣшочекъ, который подвѣшивается лошади къ мордѣ.

часть, а не то и скорѣе, какъ только лошади выйдутъ торбы и кончатъ водопой, берите вашъ взводъ да двадцать казаковъ на придачу, ну и этого «языка», пожалуй тоже, и живо, голубчикъ, какъ можно живѣе валийте въ погоню!.. Захватите ксендза, если успѣете, на переправѣ, или помѣшайте ей, или задержите, пока мы подоспѣемъ съ пѣхотой... Можете развлечь или заманить его на себя — однимъ словомъ, что удастся, лишь бы только слѣдъ его не потерять изъ виду!

Хвалынцевъ былъ утомленъ не менѣе другихъ, но это отдѣльное, самостоятельное порученіе льстило его молодому самолюбію — чувству, которое достаточно возбудило въ немъ и силъ, и бодрости, и энергіи. Онъ съ благодарностью пожалъ руку майора и пошелъ распорядиться да поторонить людей своего взвода.

Между тѣмъ въ полѣ, немного въ сторонѣ отъ эскадрона, вѣскольکو гусаръ и казаковъ рыли желѣзными заступами широкую могилу, и тутъ же двое солдатиковъ наскоро мастерили православный крестъ, матеріаломъ для котораго послужили запасные подковные гвозди да двѣ жердины, выгашенныя изъ садовой изгороди. Вскорѣ эта печальная работа была готова. Весь эскадронъ и полусотня въ благоговѣйномъ молчаніи, съ обнаженными головами, обступили могилу. Принесли на шинеляхъ четыре трупа и бережно опустили въ неглубокую яму.

На деревнѣ какой-то казакъ отыскалъ у одной хозяйки восковую свѣчу «громницу», которую крестьяне въ Западномъ краѣ теплятъ предъ иконами во время грозы и зажигаютъ надъ покойниками. Теперь ее тоже затеплили и воткнули въ выкопанную рыхлую землю на краю могилы, въ головахъ четырехъ русскихъ мучениковъ. Старый, сивоусый вахмистръ какъ-то строго и угрюмо прочиталъ въ полголоса «Отче нашъ» да «Богородицу» и перекрестилъ усопшихъ и ихъ общую братскую могилу. Майоръ со всѣми офицерами первые бросили на нихъ по горсти земли, а за офицерами стали, крестясь, подходить и бросать пригоршни казаки попеременно съ гусарами. Хвалынцевъ, которому еще впервые доводилось видѣть подобный обрядъ военного христіанскаго погребенія, трепетно ощущалъ въ душѣ, что эта святая минута, во всей своей трогательной простотѣ, подъ звѣзднымъ небомъ тихой, темно-синей ночи, полна глубокаго и таинственна-тихаго величія. Чувствуя, что слезы вновь закипаютъ въ груди, но весь отрѣшась на время отъ самого себя, весь отдавшись строгому впечатлѣнію этого разлитаго вокругъ величія, онъ безмолвно и вдумчиво глядѣлъ на мертвое лицо Лубянскаго, по которому смутно и неровно колебался цсрою скользкій отсвѣтъ восковой свѣчи.

— Пора... собирайтесь, голубчикъ!—вывелъ его изъ этого полузабытѣя голосъ Вѣтохина.

Константинъ еще разъ перекрестился и отдалъ земной поклонъ усопшимъ.

Черезъ двадцать минутъ его команда, съ притроченнымъ въ сѣдло и связаннымъ по рукамъ проводникомъ-повстанцемъ, уже неслась по проселку крупной рысью, исчезая изъ глазъ отдыхавшаго отряда въ тускломъ сумракѣ теплой, благодатной ночи.

XIV.

П о г о н я.

Было уже позднее утро, когда Хвалынцевъ, проплутавъ по милости проводника всю ночь Богъ-вѣсть по какимъ всеямъ и дебрямъ, выбрался наконецъ на настоящую дорогу и подошелъ къ замку Маржецкихъ. Повстанецъ, очевидно, съ умысломъ повелъ сначала команду совершенно въ противную сторону, и когда часа въ четыре утра, при вѣздѣ въ одну приѣманскую деревню, Хвалынцевъ справился у крестьянъ о направленіи своего пути, то оказалось, что онъ очутился отъ замка Маржецкихъ по крайней мѣрѣ верстъ на двадцать въ сторону. Проводникъ, снятый съ лошади, палъ на колѣни и слезно сталъ клясться и увѣрять, что онъ невиненъ, что впотѣмахъ да въ страхѣ за свою судьбу, и притомъ связанный по рукамъ, онъ самъ невольно сбился съ дороги. Эти слезы и выраженіе испуга показались Хвалынцеву на столько искренни, что онъ не далъ позволенія разстрѣлять или повѣсить шляхтича, о чемъ просили его взводный вахмистръ и казачій урядникъ.

— Пригодится еще,—кратко отвѣтилъ имъ Константинъ и велѣлъ построже караулить его.

Люди и лошади послѣ такого форсированнаго марша пришли въ крайнее утомленіе. О дальнѣйшемъ пути, не давъ напередъ отдыха часа на четыре, по крайней мѣрѣ, нечего было и думать. Выставивъ необходимые пикеты и приказавъ смѣнять ихъ черезъ каждыи часъ, Хвалынцевъ позволилъ размундштучить коней и освободить имъ подпруги. Люди, свободные отъ караула, задали торбы и сразу-же, какъ убитые, заснули подлѣ своихъ лошадей, не выпуская изъ рукъ оружія.

Безъ четверти въ восемь часовъ утра, проснувшійся Хвалынцевъ поднялъ свою команду и на-рысѣхъ пошелъ далѣе, но уже по вѣрной дорогѣ. Связанный шляхтичъ, повидимому, служилъ добросовѣстно.—«Но чортъ-ли теперь въ его услугѣ!» досадливо думалось Константину. «Рѣбакъ навѣрное ушелъ уже за Нѣманъ или вильнулъ куда-нибудь въ сторону»... Досаднѣе всего было то, что первое самостоятельное порученіе кончается такъ неудачно.

Около десяти часовъ подошли къ замку

Маржецкихъ. Вызвали старика «каштеляна», который съ низкими поклонами объявилъ, что ни о какихъ повстанцахъ у нихъ и не слыхать, что сама ясновельможна пани грабина рано утромъ сегодня уѣхала «до Августова», и что, если угодно, отрядъ можетъ осмотрѣть весь замокъ, обыскать всѣ службы, всю «экономію», и въ заключеніе весьма радушно предложилъ людямъ водки, шинки ¹⁾ и хлѣба, а конямъ оброку ²⁾ и сѣна. Люди были голодны, да и запасъ фуража истощился, и потому Хвалынцевъ не отказался ни отъ того, ни отъ другого. Пока вахмистръ съ нѣсколькими гусарами, на всякій случай, для бѣдшаго удостовѣренія, наскоро дѣлали осмотръ замка и службъ, всѣ припасы были уже розданы по рукамъ. Благодаря распорядительному каштеляну и расторопнымъ челядинцамъ, все это было исполнено менѣе чѣмъ въ десять минутъ.

Хвалынцевъ предложилъ плату—каштелянъ поотрѣзъ отказался и пояснилъ, что ясновельможна пани грабина разъ навсегда приказала давать русскому войску безвозмездно все, что бы ни потребовалось.

— Ну, а повстанцамъ вы тоже даете?—усмѣхнулся Хвалынцевъ.

— Э, тѣ и сами возьмутъ, когда нагрянутъ!—уклончиво отвѣтилъ старый каштелянъ и съ низкими поклонами проводилъ со двора команду.

Подкрѣпясь передъ этимъ сномъ, а теперь пишей, люди Хвалынцева стали гораздо веселѣй и бодрѣй. Запалили носогрѣйки, повели между собой разговоры, слышались шутки; одинъ взводный балагуръ очень живо и смѣшно изображалъ какими образами ксендзы заманиваютъ панковъ до ясу—и Богъ его знаетъ, откуда и какъ онъ все это такъ характерно и типично подмѣтилъ. Товарищи-солдаты и самъ Хвалынцевъ невольно смѣялись, слушая ловкаго рассказчика и подходили уже близко къ парому, когда къ Константину подѣхалъ казачій урядникъ.

— Ваше благородіе, сакма есть!—радостно заявилъ онъ, указывая нагайкой на траву близъ дороги.

— Что такое сакма?—переспросилъ непонявшій его Хвалынцевъ.

— А это, ваше благородіе, по нашему, по казачьему, значитъ людской да конскій слѣдъ, сакма-то... И видно, что свѣжая, недавняя—извольте хоть сами взглянуть.

Константинъ съѣхалъ вмѣстѣ съ урядникомъ съ проселка и дѣйствительно убѣдился въ свѣжести слѣда.

— Да это, быть можетъ, напи раньше насъ поспѣли,—замѣтилъ онъ сомнѣвающимся тономъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, это повстанецъ... это аны такъ ѣздютъ...

— Почему же ты такъ думаешь?

— Да ужъ мы знаемъ!.. Это видко сразу, который *енъ*, а который наши... Мы ужъ доподлинно знаемъ и пѣхотную подошву, и казачью подкову... Вотъ, взгляните на глинку, на слѣдокъ: тутъ гвоздь другой, не русскій гвоздь, подбойка, значитъ, не та, да и шипъ не казачій... Нѣтъ, ваше благородіе, ужъ это *енъ* прошелъ безпрѣмѣнно! будьте благонадежны!—заключилъ урядникъ съ полной и окончательной увѣренностью.

Подшли къ переправѣ. Паромъ оказался на томъ берегу, да и лодки тамъ же вытаснены на песокъ. Толкнулись въ сторожку, гдѣ жили паромщики,—ни души. Подали кличъ на ту сторону—никто не откликается: очевидно, и тамъ никого нѣтъ, всѣ разбѣжались. А слѣды межъ тѣмъ сближаются какъ разъ къ мѣсту причала, и притомъ совсѣмъ свѣжіе, ясно и рѣзко отпечатлѣнные на сыроватой глинистой почвѣ; видно, что переправа вотъ-вотъ только-что окончена, быть можетъ, не прошло еще и часу!

Чувство досады при видѣ полной неудачи своего порученія охватило Хвалынцева такимъ живымъ ощущеніемъ, что ему даже обидно сдѣлалось—обидно на себя, на проводника, на случай, на судьбу, на весь свѣтъ, однимъ словомъ, онъ представлялъ себѣ какъ подѣдетъ Вѣтохинъ, увидитъ всю суть и укоризненно скажетъ ему съ досадливой горечью: «Эхъ, батюшка!»... Больше ничего не нужно, никакого другого слова, но это «батюшка» просто ужасно для самолюбія!.. Подавляемый тяжестью этого чувства, онъ рѣшилъ себѣ, что надо по крайней мѣрѣ исполнить хотя послѣднюю часть порученія—приготовить средства для переправы отряда. Какъ это сдѣлать?

— Чтó, ребята, не возьмется ли кто переплыть на ту сторону?—обратился онъ къ людямъ.

Тѣ смѣрили на глазъ разстояніе и силу течения, которое около того берега было весьма-таки быстро.

— Мудрено, ваше благородіе,—въ полголоса замѣтилъ урядникъ,—кабы лодочку какую.

— Да гдѣ жъ ее взять у чорта!—досадливо выбранился Хвалынцевъ и кинулъ вокругъ себя ищущій взглядъ, не найдетъ ли около чего подходящаго? Этотъ взглядъ мимолетно скользнулъ по бревенчатому срубъ сторожки.

«А вѣдь изъ бревень-то можно бы плотъ связать?» домекнулся онъ про-себя и энергически обратился къ солдатамъ:

— Разноси, ребята, сторожку!.. Живо... По бревнамъ! Шанцевый инструментъ есть съ собой?

— Два топора у нашихъ прихвачено,—доложилъ урядникъ.

— Руби, живѣе связи... Давай плотъ мастеришь!

¹⁾ Ветчины.

²⁾ Овса.

— Да безъ лома врядь ли чтò подѣлаешь... Чѣмъ ихъ выворачивать станемъ?

— Ничего, замѣсто лома колья пойдутъ—лѣсу вокругъ довольно. А вязать будемъ чумбурами.

— И тò,—согласился урядникъ, и работа закипѣла.

Въ это время къ Константину подошелъ плѣнный повстанецъ и слезно сталъ просить, нельзя ли развязать ему руки, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить его страданія. Взглянувъ на затекшіе, посинѣлые пальцы плѣнника и сознавая, что дальнѣйшая жестокость ни къ чему не поведетъ, Хвалынцевъ приказалъ развязать его. Освобожденный повстанецъ кинулся сначала цѣловать полу его пальто, а потомъ очень усердно принялся помогать гусарамъ и казакамъ въ ихъ работѣ. Онъ сбросилъ съ себя чамарку и остался въ одной сорочкѣ. Солдаты, видя такое усердіе, не препятствовали ему подсоблять сколько душѣ угодно, и даже весьма благодушно стали подтрунивать. «Порадѣй, порадѣй-ка, братецъ, на міръ, поработай на москалей!.. На мать-Рассей работишь, значитъ!» Чрезъ нѣсколько времени плѣнный, обтирая съ лица обильный потъ, подошелъ къ Хвалынцеву и попросилъ позволенія отойти нѣсколько сажень къ рѣкѣ, чтобы утолить свою жажду. Константинъ, руководя работой и будучи весь поглощенъ этимъ занятіемъ, не обратилъ на него особаго вниманія и потому мимоходомъ, разсѣянно далъ свое позволеніе. Людямъ тоже было не до повстанца. Вдругъ, минутъ пять спустя, кто-то изъ солдатиковъ, указывая на Нѣманъ, возвѣстилъ товарищамъ:

— Гляди, гляди, ребята!.. Полячекъ - то нашъ!.. Утекаетъ, шельма.

Все повернули головы по направленію его руки и увидѣли плывущаго плѣнника, который усиленно гребъ руками и достигалъ уже середины рѣки.

— Убѣгить, проклятый!.. Стрѣлять бы надо,—замѣчали казаки.—Чернолобовъ, у тебя глазъ мѣткій; бери-ка винтовку, догони его. Позвольте, ваше благородіе?

— Погожь, ребята,—разсудительно замѣтил урядникъ;—винтовки наши и на томъ берегу его дохватятъ, а напередъ лучше давай поглядимъ: коли доплыветъ, значитъ и намъ можно. Тогда и лодки, и паромъ живо сюда переправимъ. Это онъ намъ, спасибо, пробу дѣлаетъ.

И урядникъ, вмѣстѣ съ Чернолобовымъ, взведя курки, взяли на изготовку свои винтовки и внимательно стали слѣдить за плывущимъ повстанцемъ. Бѣлая его сорочка, при каждомъ взмахѣ рукъ, ярко сверкала на солнцѣ въ серебристыхъ брызгахъ, то показывался надъ водою, то исчезая въ ней.

— Доплыветъ,—замѣчали иные, наблюдая усилія бѣглеца.

— Ой, гдѣ ужъ!.. Гляди-ка, слабнуть сталъ,—отзывались нѣкоторые.

— Ей-ей доплываетъ, шельмецъ!.. Чернолобовъ, ты, братъ, гляди: какъ только на берегъ станетъ выходить, тутъ ты его и спущай обратно въ воду.

— Ладно, не промахнусь,—со спокойной и увѣренной насмѣшкой кивнулъ Чернолобовъ, не сводя съ пловца внимательнаго взора.

Тотъ межъ тѣмъ выплылъ уже въ полосу самаго быстрого теченія, которое замѣтно выдѣлялось въ массѣ спокойной воды рѣзвой игрой солнечныхъ блестокъ и особою рябью. Силы видимо измѣняли ему, взмахъ руки становился все рѣже, тяжеле. Онъ напрягалъ послѣднія усилія, но теченіе относило его отъ берега. Вотъ окунуло его... вотъ опять вынырнуло... кружитъ... закрутило... Еще одно ужасное, невѣроятное усиліе... Плыветъ, плыветъ... Нѣтъ, опять-таки окунуло... Вынырнетъ или нѣтъ?.. Если вынырнетъ, то пожалуй и доберется... Вынырнуло.

— Гляди, Чернолобовъ, не зѣвай!

— Не галди подъ руку: знамо!

— Цѣлся!

Но нѣтъ, несчастный мелькнулъ надъ поверхностью на одно лишь мгновеніе и снова канулъ въ воду... Прошла минута, двѣ—все спокойно, тихо, и масса воды такъ плавно несется мимо и мимо, и золотыя блески надъ быстриной прыгаютъ въ глазахъ и змѣистыми струйками обгоняютъ другъ друга.

— Тутъ ему и аминь!—опуская винтовку, нарушилъ, наконецъ, общее глубокое молчаніе казакъ Чернолобовъ, и работа закипѣла снова.

— Ваше благородіе!—подошелъ къ Хвалынцеву урядникъ.—Пушай, значитъ, плоть будетъ плотомъ и аны за имъ работаютъ, а мы тѣмъ часомъ авось-либо лодки сюда переправимъ.

— Да какими же судьбами?—недоумѣло спросилъ Хвалынцевъ.

— А очинно просто-съ!.. Порохонщиковъ! Гуськовъ! тащи сюда эти два бревна да давай чумбуры!—приказалъ онъ двумъ ловкимъ казакамъ.

Живо оба бревна плотно связаны чумбурами и спущены на воду. Еще живѣе раздѣлись до нага двое казаковъ и, взявъ каждый по длинному шесту, смастеренному тутъ же изъ срубленныхъ елокъ, сѣли верхомъ на пару связанныхъ бревенъ и поплыли черезъ рѣку, то опираясь шестами въ дно, то работая ими какъ веслами. Теченіе относило пловцовъ въ сторону, и на самой быстринѣ, гдѣ ихъ стало крутить, была однако минута весьма критическая, но казачье счастье, какъ видно, пришло на помощь русскому авось,—и хоть трудно было, очень трудно, но смѣлчачи благо-

получно выбрались на противный берегъ. Тутъ онъ сдвинули въ воду обѣ лодки, привязавъ одну къ другой все тѣмъ же чумбуромъ, захватили весла и вернулись къ товарищамъ. Теперь уже не трудно было переправить потребное количество людей, дружныя усилія которыхъ помогли скорѣ одолѣть паромъ, спустить его на воду и, съ помощію шестовъ, пригнать на свой берегъ. Все это было дѣломъ менѣе получаса. Команда переправилась вся сполна за одинъ разъ. Половина лошадей умыстилась на паромѣ, а остальныхъ пустили за нимъ да за лодками вплавъ на поводахъ, — и все обошлось какъ нельзя лучше. Хвалынцевъ вернулъ на ту сторону и паромъ, и лодки съ шестью казаками, которымъ были сданы на руки всѣ чумбуры, топоры и приказано какъ можно скорѣ вязать плотъ, чтобы доставить отряду Вѣтохина лишнее средство для скорѣйшей переправы. Этимъ же казакамъ онъ вручилъ и записку къ майору, наскоро написанную карандашемъ на клочкѣ бумаги. Въ ней онъ кратко извѣщалъ его о всѣхъ главнѣйшихъ своихъ приключеніяхъ, мѣропріятіяхъ и о намѣреніи идти на поискъ Рѣбака въ Гродненскую пушу, гдѣ свѣжая «сакма» будетъ служить ему вѣрнымъ указаніемъ для открытія банды.

Но не успѣли еще люди засѣдлатъ лошадей, какъ у переправы показались казаки, гусары, а затѣмъ и пѣхотинцы на подводахъ. Хвалынцевъ ясно разглядѣлъ между всѣми типичную фигуру Вѣтохина на его статномъ горячемъ жеребцѣ, и видѣлъ, какъ одинъ изъ оставленныхъ казаковъ подалъ ему записку. Отдѣляясь на своемъ конѣ нѣсколько въ сторону отъ команды, Константинъ подѣхалъ къ самой водѣ и старался напряженно, хотя и тщетно слѣдить, какое впечатлѣніе дѣлаетъ на майора его донесеніе.

Тотъ прочелъ и бросилъ взглядъ на противный берегъ.

— Съ Богомъ! Сейчасъ буду вслѣдъ за вами! — послышался съ той стороны его голосъ.

Хвалынцевъ до этой самой минуты грызло беспокойное сомнѣніе — не испортилъ-ли онъ все дѣло тѣмъ, что не успѣлъ выполнить въ точности данного ему порученія? Какъ молодой и неопытный офицеръ, которому впервые довелось дѣйствовать самостоятельно, онъ, естественно, хотѣлъ отличиться и въ то же время былъ недовѣрчивъ къ самому себѣ и полонъ сомнѣній: такъ-ли онъ дѣйствуетъ какъ слѣдуетъ? Это былъ щекотливый вопросъ самолюбія, вопросъ болѣе важный для него самого, для его собственнаго сознанія, чѣмъ для другихъ: ему важно было получить увѣренность въ самомъ себѣ, въ правильности своихъ распоряженій, и потому-то это съ *Богомъ!* долетѣвшее съ того берега, сразу ободрило, успокоило и даже развеселило

его. «Слава Тебѣ, Господи! Значитъ, я пока ничего еще не испортилъ», подумалось ему при этомъ, и онъ бойко, весело и увѣренно скоандовалъ движеніе впередъ своимъ людямъ.

XV.

Б о й.

Старыя высокія сосны и между ними густой, хорошо выросшій ельникъ, перемѣшанный съ ольхой и осиною, приняли въ свою прохладную сѣнь маленькій отрядецъ Хвалынцева. Зоркіе и сметливые казаки вели путь по «сакмѣ», которая все далѣе и далѣе углублялась въ пушу. Сначала почва была суха и песчаная, а потомъ попеременно пошла болота. Старые пни, поросшіе мохомъ, вывороченныя корчи и между ними большія болотныя ямы, наполненныя разными гадами, представляли на каждомъ шагѣ преграду для движенія. Мѣстами лѣсъ до того становился густъ и болотистъ, что казалось-бы, только съ опытными проводниками можно было проникать въ его глубину, а между тѣмъ казаки, никогда не бывавшіе въ этой пушѣ, ничто-же сумняся, продавали себѣ дорогу по одной лишь «сакмѣ», то-есть, говоря вѣрнѣе, просто по какому-то чутью, по врожденному нюху и смѣткѣ. Эта обширная пуша далеко не во всѣхъ концахъ и урочищахъ своихъ извѣстна жителямъ рѣдкихъ лѣсныхъ деревень и поселковъ; хорошо знаютъ ее только «кѣтники», одиноко живущіе въ лѣсу, да и тѣхъ-то свѣдѣнія иногда простираются не далѣе нѣсколькихъ верстъ въ окрестности своего жилища. Но вотъ болота перемежаются иногда съ «грѣдомъ», гдѣ почва становится суха и возвышенна; здѣсь множество грибовъ и ягодъ, земляника рѣдетъ по склонамъ небольшихъ пригорковъ, кучи бурелому валяются повсюду и мирно истлѣваютъ себѣ, долгіе годы не тронутые ничьею рукою. Высокіе кусты орѣшника разрослись мѣстами такъ густо и часто, что съ трудомъ пробираться сквозь эту массу зелени: въ двухъ шагахъ ничего не видно. Глубоко-мирнымъ, вѣковѣчнымъ и глухимъ покоемъ вѣетъ подъ сѣнью пуши, такъ что Хвалынцеву, который невольно отдался впечатлѣнію этого лѣса, вдругъ показалась дикою самая мысль о враждѣ, войнѣ и крови среди этой поэтической тишины и покоя. Тутъ скорѣ всего проникали въ душу историческія воспоминанія сѣдой, баснословной древности. Такъ и казалось все, будто на этихъ пустынныхъ «урочищахъ»¹⁾ встаютъ образы Кейстута, Скиргайло, Ольгерда, Гедимина, Миндовга... Празднества въ заповѣдныхъ лѣсахъ въ честь Перкуна, жреца

¹⁾ Урочисько - урочище.

и поэтъ Лиздейко, священный неугасимый зничъ и его весталки-вайделотки.

Вдругъ раздавшійся выстрѣлъ и рѣзкій свистъ пули мимо самого уха разомъ вернулъ Хвалынцева изъ области мечтаній къ суровой дѣйствительности. Звукъ былъ настолько рѣзокъ и неожиданъ, что Константинъ, никогда еще неслыхавшій свиста пули, не вдругъ и сообразилъ, чтò оно такое.

— Что это?.. Неужели выстрѣлъ? — спросилъ онъ ѣхавшаго рядомъ вахмистра, съ недоумѣніемъ оглядываясь по сторонамъ.

— Такъ точно-съ, — тихо отвѣчалъ тотъ со спокойной и легкой усмѣшкой, которая вѣроятно относилась отчасти къ неопытности молодого корнета.

Хвалынцевъ замѣтилъ и понялъ эту усмѣшку, невольно покраснѣвъ за свой недоумѣлый вопросъ. Но онъ тотчасъ-же овладѣлъ собой и захотѣлъ показаться молодцомъ предъ людьми. Остановя свой взводъ и приказавъ казакамъ спѣшиться, отдать повода гусарамъ, а самимъ разсыпаться въ цѣпь, онъ, пока тѣ еще справлялись съ конями, лихо выскочилъ впередъ, чтобъ осмотрѣть расположеніе врага и мѣстность.

— Не суйтесь, ваше благородіе, безъ нужды впередъ: подстрѣльнутъ ни за копейку; — добродушно предостерегъ его казачій урядникъ.

— Да гдѣ-жъ непріятель, однако? — сдѣлавъ видъ будто не слыхалъ предостереженія, спросилъ Константинъ, ища глазами противниковъ и, къ удивленію своему, никого и ничего не видя.

— А вонъ аны... вонъ-вонъ за бугорками, да подъ корчами позалегши... Извольте видѣть? — объяснялъ урядникъ, указывая рукой на мѣстность впереди, шагахъ въ семнадцать разстоянія.

Еще одна пуля свистнула мимо.

— Эхъ, ваше благородіе!.. право-же говорю, не торчите больно на виду у ево... Вѣдь ѣнь по вамъ, сударь, мѣтитъ...

Въ эту минуту новая пуля шелкнулась рядомъ въ стволъ ольхи, задѣвъ напередъ нѣсколько сучьевъ — и двѣ-три зеленые вѣточки, срѣзанныя ею, тихо упали на землю.

— Огонь! — громко подаль команду Хвалынцевъ, и казаки открыли перестрѣлку.

— Эхъ, хорошо-бы атаковать ихъ сразу-же! — словно-бы ни къ кому не обращаясь, но искоса пытливо взглянувъ на урядника, — замѣтилъ Хвалынцевъ.

Казакъ только улыбнулся на это. — «Молодо-зелено», какъ будто сказала его улыбка.

— Кабы сушь да полянка, такъ оно-бы ништо себѣ, — проговорилъ онъ въ отвѣтъ, — а то вонъ впереди опять болото, да пенъ, да колода... ѣнь тоже хитеръ — ишь, за болото залегъ себѣ и стрѣлять... Конному, значить, по вѣдому мѣсту никакъ не способно.

Хвалынцевъ и самъ понималъ, что «не способно», а все-таки молодая кровь играла, и возбужденные нервы стали сказываться ему какимъ-то новымъ, никогда еще не испытаннымъ ощущеніемъ, въ которомъ было и нѣчто лихорадочное, и нѣчто щекотное, нетерпѣливое и слегка ноющее, словно-бы зудъ какой-то въ груди и въ самомъ сердцѣ.

— А мы вотъ что, ваше благородіе, — продолжалъ урядникъ, — пока ѣнь лежитъ себѣ, да пукать, будемъ и мы пукать полегоныку; назадъ побѣгитъ, за имъ пойдемъ, а напиратъ станеть, поглядимъ сколько у ево силы есть: коли очинно ужъ большая сила, ну, назадъ чуточку подадимся, а малая сила, пушай его подходить: въ рукопашную примемъ.

При мѣстныхъ условіяхъ, съ горстью людей, да еще обремененныхъ конями, дѣйствительно, ничего другого пока и не оставалось. Важно было только не упустить банду, задержать ее на мѣстѣ до прихода пѣхоты, а ужъ тамъ все дѣло будетъ рѣшено и покончено минутъ въ двадцать, не болѣе! Хвалынцевъ, на усиленіе казаковъ, спѣшилъ и послалъ въ цѣпь четырехъ гусарскихъ «наѣздниковъ», вооруженныхъ въ то время короткими пистолетами, и отправилъ по одному ряду направо и налево наблюдать за своими флангами, а двухъ нарочныхъ услалъ назадъ, приказавъ имъ скакать какъ можно скорѣе и дать знать майору, что банда открыта.

Вѣтохнѣ, зная, что всадникамъ Хвалынцева, въ случаѣ встрѣчи, будетъ крайне трудно и даже почти невозможно дѣйствовать среди густого лѣса, поспѣшили первымъ же дѣломъ переправить на паромѣ пѣхотную роту, которая тотчасъ раскинула охранительную цѣпь и пошла по слѣду Хвалынцева. Нарочные не успѣли отѣхать и полторы версты, какъ патнулись на пѣхотинцевъ. Еще ранѣе этой встрѣчи, слышавъ выстрѣлы, они бѣгомъ, по-одиночкѣ, кинулись узкой тропинкой на звукъ — выручать своихъ конниковъ. Черезъ четверть часа стрѣлки смѣнили въ цѣпи казаковъ и открыли рѣдкій, но мѣткій огонь по непріятелю. Чуть неловко выставится изъ-за пня какая-нибудь голова или фигура, въ то жъ мгновеніе нарѣзная пуля скашиваетъ ее съ мѣста, и подстрѣленный повстанецъ вздрогнетъ, завертится и падаетъ ничкомъ на землю. Не прошло и десяти минутъ, какъ ротный командиръ уже велѣлъ горнисту трубить наступленіе — и пара барабановъ грянула бой къ атакѣ. Стрѣлки, перескакивая съ кочки на кочку, съ пня на пенекъ, черезъ валежникъ и колоды, бѣгомъ приближались къ непріятелю. Повстанцы едва лишь замѣтили это движеніе, какъ уже начали отступать, но отступали сдержанно, неторопливо и даже соблюдая нѣкоторый порядокъ. Нашимъ порой было видно межъ деревьями, какъ они уводятъ своихъ коней и, судя по этому признаку, почти уже не оставалось со-

мнѣнія, что отрядъ имѣетъ дѣло именно съ конной бандой Рѣбака, изъ которой двѣ трети людей были теперь спѣшны. По этой относительной стойкости можно было предполагать, что суровый ксендзь-партизанъ держитъ своихъ людей въ крѣпкихъ рукахъ, примѣняя вѣроятно и къ нимъ ту же самую безпопачно-жестокую дисциплину, благодаря которой навелъ онъ повсюду ужасъ на хлоповъ. Чуть только представлялась мало-мальски удобная позиція, спѣшныя повстанцы сейчасъ же занимали ее и старались хоть на двѣ, на три минуты задержать наступленіе русскихъ. Хвалынцевъ съ гусарами и казаками слѣдовалъ въ нѣкоторомъ разстояніи за резервнымъ пѣхотнымъ взводомъ.

Вскорѣ прибылъ Вѣтохинъ съ остальной кавалеріей и принялъ начальство надъ отрядомъ. Ознакомясь съ положеніемъ боя, онъ, по примѣру Рѣбака, пока кавалеріи нечего было дѣлать, спѣшилъ двѣ трети казаковъ и послалъ ихъ усилить стрѣлковую цѣпь, гдѣ такимъ образомъ прибавилось около тридцати лишнихъ винтовокъ. Это обстоятельство значительно колебало первоначальную стойкость повстанцевъ: они теперь уже не думали о занятіи позицій и задержкѣ нашего напора, а заботились только о томъ, какъ бы поскорѣе уйти изъ-подъ выстрѣловъ. Огонь ихъ цѣпи сдѣлался значительно слабѣе и съ каждой минутой угасалъ все болѣе и болѣе...

Но вотъ предъ русскимъ отрядомъ неожиданно открылась обширная лѣсная поляна— совершенно ровное и сухое мѣсто, пространствомъ около трехъ верстъ по окружности, занятая большей частью подлѣшью, на которой зеленѣли яровые всходы.

Вѣтохинъ, сопровождаемый трубачемъ да двумя ординарцами—гусарскимъ и казачьимъ юнкерами, выѣхалъ въ цѣпь, чтобы осмотрѣть вновь открывшуюся мѣстность, на которой должны были въ точности обнаружиться силы противника, и вдругъ увидѣлъ на противоположной сторонѣ поляны, подъ самой опушкой, какія-то колонны, повидимому, совершенно готовые къ бою. Колонны эти не двигаются и какъ будто ждутъ атаки, въ центрѣ у нихъ сверкаютъ косы, а за ними, по бокамъ, вѣютъ флагера кавалеріи.

— Что за притча такая? Откуда Богъ счастье еще посылаетъ?—проворчалъ себѣ подъ носъ старый служака и велѣлъ стрѣлковой цѣпи занять опушку по сю сторону поляны, а казакамъ садиться на конь.

Банда Рѣбака, межъ тѣмъ выйдя на просторъ, подала нѣсколько назадъ свое правое плечо, вѣроятно, въ томъ расчетѣ, что при фронтальномъ преслѣдованіи, русскіе, увлеченные пыломъ боя, быть-можетъ, не замѣтятъ новыхъ силъ по ту сторону поляны и такимъ образомъ подставятъ свой лѣвый флангъ атакѣ

совершенно свѣжаго непріятеля. Но Рѣбакъ ошибся. Едва лишь успѣлъ Вѣтохинъ осмотрѣть мѣстность и отдать свои первыя распоряженія, какъ полусотня донцовъ была уже готова и, по знаку сотника Малавкина, съ неистовымъ, пронзительнымъ гикомъ бросилась лавой на разстроенную цѣпь Рѣбака. Въ минуту вся эта цѣпь была опрокинута, смята и перекрошена на мѣстѣ, а большая часть коней и обозъ, не успѣвшій уйти, достался тутъ же боевымъ призомъ казакамъ за ихъ лихую атаку. Изъ-за облака пыли, поднявшагося надъ мѣстомъ свалки, видно было, и какъ уцѣлѣвшіе люди и нѣсколько всадниковъ удираютъ черезъ поле подъ прикрытіе банды, стоявшей подъ лѣсомъ.

Въ ту минуту, когда у казаковъ шла еще самая горячая свалка, изъ-подъ лѣсу выдвинулась на рысяхъ часть повстанческой кавалеріи и явно выказала намѣреніе идти на выручку атакованнымъ. Первый полускадронъ гусаръ пошелъ ей на встрѣчу. Но еще издали замѣтивъ его приближеніе, поляки вдругъ остановились и повернули назадъ. Гусары, выждавъ нѣкоторое время, тоже вернулись шагомъ на свое мѣсто. Между тѣмъ польскіе стрѣлки, разсыпанные по противоположной опушкѣ, открыли огонь. Первые выстрѣлы ихъ были сдѣланы по возвращающимся гусарамъ, но выстрѣлы вполне безвредные, такъ какъ большая часть пуль, посылаемыхъ разными «дубельтовками», «карабинками», «мушкетами» и тому подобнымъ огнестрѣльнымъ хламомъ, даже не долетала до цѣли. Рѣдко развѣ которая пуля, пущенная изъ бельгійскаго пистолета или австрійской винтовки, не вдалекѣ простонетъ мимо ушей своимъ заунывнымъ звукомъ и шлепнется въ сухую землю, поднявъ маленькій дымокъ пыли. Русскіе стрѣлки стали отвѣчать на огонь повстанцевъ.

Хвалынцевъ, стоя пока въ бездѣйствіи предъ своимъ взводомъ, вынулъ изъ футляра висѣвшій у него на наплечномъ ремнѣ военный бинокль и принялся наблюдать и разглядывать непріятеля. Вскорѣ онъ замѣтилъ, что нѣсколько въ сторонѣ отъ фронта, въ сопровожденіи трехъ-четырехъ человекъ, изъ которыхъ одинъ одѣтъ былъ англійскимъ грумомъ, развѣзжается на чистокровномъ свѣтлосѣромъ конѣ какая-то эффектная амазонка. На ней можно было разглядѣть бѣлую конфератку съ пунцовымъ плюмажемъ, фіолетовый кунтушъ и шлейфъ блѣдно-палеваго платья. Надъ повстанской кавалеріей, оставшейся пока безъ движенія, колебались черныя съ бѣлымъ значки на сверкающихъ пикахъ, а посрединѣ фронта и нѣсколько впереди его развѣвалось красивое знамя: одна сторона пунцовая, другая бѣлая, на пунцовой—бѣлый орелъ и серебряная надпись, а на бѣлой виденъ образъ какой-то; золотая бахрама блистала вокругъ полотнища. Что-то знакомое сказалось Хвалынцеву въ этомъ красивомъ

знамени, и сказалося скорѣе чутьемъ какимъ-то, чѣмъ по точному опредѣленію. Онъ сталъ вглядываться пристальнѣе. «Неужели... Боже мой, неужели это знамя Цезарины?! Кажется, оно... Оно самое!» не безъ внутреннего волненія подумалось Константину, и онъ снова перевелъ бинокль въправо, на эффектную амазонку. Теперь ее можно было наблюдать еще ближе и лучше. Держась внѣ поражаемаго пространства, около лѣваго крыла «тираль-ровъ», она спокойно выдвинулась впередъ и стала на среднемъ разстояніи между крайними звеньями цѣпи польскаго лѣваго и русскаго праваго фланговъ. Съ этого пункта ей можно было свободно охватывать взоромъ общую картину начинавшагося боя. Поминутныя вспышки бѣлыхъ дымковъ на двухъ противоположныхъ опушкахъ ясно указывали направление боевыхъ линій обоихъ противниковъ. Съ лѣвой стороны, ближе къ амазонкѣ, стоялъ гусарскій эскадронъ, готовый къ бою; съ правой, въ центрѣ, сверкала колонна косянъеровъ, красовались «красные черти» и траурно чернѣлись «несмертельные» со своимъ роскошнымъ знаменемъ.

Хвалынцевъ продолжалъ еще разглядывать, когда амазонка случайно повернула лицо на русскіхъ гусаръ и нѣкоторое время осталась въ этомъ положеніи. «Она!» подсказалъ Константину инстинктъ его собственнаго сердца. — «Она!» подтвердилъ онъ самому себѣ съ непоколебимой увѣренностью, и какой-то злобный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и радостный трепетъ мгновенно пробѣжалъ по его тѣлу. Въ это время отъ амазонки отдѣлились двое красноштаннхъ всадниковъ: одинъ представительнаго вида, пожилой и тучный, а другой миловидный и розовый юноша, совсѣмъ почти мальчикъ. Эти всадники, обогнувъ свою цѣпь, во всю прыть помчались за ея фронтомъ къ своей кавалеріи. При смѣлой наѣздинцѣ остались только грумъ да еще одна странная фигура, которой, казалось бы, вовсе не свойственно быть на конѣ, принимая во вниманіе ея ксендзовскую сутану.

Вскорѣ въ рядахъ повстанской кавалеріи обнаружилось какое-то движеніе: два-три всадника, махая саблями, заехали и заметались предъ фронтомъ, слышались звуки сигнальных трубъ, затѣмъ крики команды.

Константинъ, видя, что что-то такое начинается, поспѣшилъ спрятать въ футляръ свой бинокль, и когда послѣ этого снова поднялъ глаза, то увидѣлъ, что вся польская кавалерія гурьбой несется уже черезъ поле, съ крикомъ «ура», держа направленіе на гусаръ.

Вѣтохинъ, слѣдя за общимъ ходомъ дѣла, случайно находился въ это самое время не при эскадронѣ, а шагахъ въ пятистахъ на лѣвомъ флангѣ, который только-что былъ усиленъ частью людей изъ резервнаго взвода.

— Что это? Никакъ они въ атаку? — обер-

нулся онъ на своихъ ординарцевъ, замѣтивъ несущуюся кавалерію. — Эка, дурачье какое! Съ такого-то разстоянія да вдругъ прямо карьеромъ!.. Хороши, нечего сказать!.. Прелестны!.. трубачъ! «Атаку»!

И вотъ зарокотали по полю знакомые кавалеристамъ звуки «похода», полные въ строгой своей простотѣ какого-то грознаго величія. Этотъ сигналъ — верхъ кавалерійской поэзіи! Его знаютъ не только люди, — его и кони понимаютъ. Все встрепенулось въ эскадронѣ при этихъ обаятельныхъ звукахъ.

— Слава тебѣ, Господи!.. Наконецъ-то! — шопотомъ пронеслося по фронту. Офицеры, стоявшіе на своихъ мѣстахъ, словно бы дѣлая нравственную провѣрку себѣ и товарищамъ, какъ-то пытливо и серьезно переглянулись между собой.

Межъ тѣмъ Вѣтохинъ, не выжидая пока окончатъ трубачъ, звуки котораго должны были только заблаговременно предупредить эскадронъ — далъ шпоры коню и поскакалъ къ гусарамъ.

— Пики къ ата-а-а-а! — еще издали раздалась его звучная команда. — И въ то же мгновеніе послышался металлически-шипящій свистъ вынимаемыхъ сабель, а пики разомъ поднялись и разомъ наклонились впередъ, описавъ дугу, сверкнувшую въ воздухѣ.

Повстанская кавалерія межъ тѣмъ еще азартнѣе галдитъ, несется, машетъ саблями, руками, локтями; красивое знамя такъ и вьется предъ ея толпой.

Вѣтохинъ, словно бы на простомъ обыденномъ ученіи, отъѣхалъ передъ фронтомъ нѣсколько въ сторону, окинулъ людей спокойнымъ увѣреннымъ взглядомъ и, будто желая пропустить эскадронъ мимо себя церемоніальнымъ маршемъ, не суетясь, не суетясь, негромкимъ, мѣрнымъ голосомъ подаетъ команду.

— Эскадронъ! Равненіе на право! *Шагомъ* — ма-аршъ!

И по знаку его сабли фронтъ тихо и плавно двинулся съ мѣста, хотя люди и не безъ труда справлялись съ ретивыми конями. Еще едва слышавъ звуки знакомаго сигнала, лошади по привычкѣ стали уже подбираться, горячиться, безпокоиться: копыта нетерпѣливо бьютъ и роютъ землю, зубъ грызетъ удила, съ которыхъ брызжетъ бѣлая пѣна, яркія ноздри раздуваются, строго озирающійся глазъ исполненъ огня, легкая нервная дрожь ощущается въ персяхъ и весь конь неудержимо рвется впередъ, чужая атаку.

— Безъ суеты, безъ суеты, господа офицеры! Пока нѣтъ карьера, покорнѣйше прошу равняться! — энергически и начальнически-строго звучитъ голосъ майора. — Эй, ты тамъ! въ первомъ взводѣ!.. третій человекъ второго отдѣленія... Кто тамъ это? Бондаренко? Не

суети, братецъ, безъ толку коня! Поводъ на себя!.. Спокойнѣе... Хорошо, ребята!

— Р-р-р-ради стараться, ваше вскородіе!— дружно и весело загремѣло по фронту.

А повстанцы несутся, несутся съ блескомъ, съ шумомъ, съ крикомъ и гамомъ, и успѣли уже порядочно разбросаться въ стороны. Разстояніе до противника было слишкомъ велико, чтобы можно было атаковать съ мѣста карьеромъ; поэтому ихъ лошади, проскакавъ едва лишь половину даннаго разстоянія, стали уже выказывать признаки утомленія, закидываться въ сторону, переходить въ галопъ, а потомъ и въ рысь мало-по-малу. Такимъ образомъ стройность атакующей массы была нарушена еще задолго до столкновенія съ противникомъ; это неслись уже не эскадроны, а просто пестрая толпа, ватага, орда какаля-то. И когда эта орда съ удивленіемъ увидѣла, что противникъ встрѣчаетъ ея атаку не болѣе какъ шагомъ, съ такой выдержкой, съ такимъ твердымъ спокойствіемъ, одною стройною и плотною массою, всемирно сдерживая до времени пылъ горячихъ коней, нравственный духъ и рѣшимость орды замѣтно поколебались. Напрасно панъ Конецъ воинственно махалъ саблей, напрасно заскакивалъ и туда и сюда, оборачивался на свои «шквадроны», ругался и подбодрялъ ихъ патріотическими возгласами,—его всадники задерживали поводъ и уменьшали рысь на каждомъ шагѣ.

Между противниками оставалось уже не болѣе полутораэта шаговъ разстоянія, какъ вдругъ...

— Маршь - марришь!!—скомандовалъ Вѣтохинъ — и эскадронъ, какъ стрѣла, пущенная изъ лука, всей стройной массой въ одно мгновеніе, молча, ринулся на повстанскихъ всадниковъ, такъ что только земля дрогнула и загудѣла подъ копытами да вѣтеръ засвисталъ въ ушахъ, шумя флюгерами грозносклоненныхъ пикъ.

Повстанцы не выдержали и дружно дали тылъ еще до удара. Гусары налетѣли на бѣгущихъ, послышался гулъ и шумъ размашистой сшибки, трескъ ломаемыхъ пикъ и лязгъ скрестившихся сабель, глухой звукъ наносимыхъ ударовъ, стонъ, проклятія и крики о пощаду. Одни изъ повстанцевъ разметались по полю, а другіе, ошатавъ отъ страху, неслись такъ-таки прямо на свою пѣхоту. Тамъ поднялось смятеніе ужасное, кутерьма, суматоха, паника.

— Панове косиньержи напрудъ, бо тыральеры не пршимаен'! ¹⁾ слышатся голоса какихъ-то начальниковъ.

— Инфантерія на бокъ, альбо до лясу...

Язда скаче! Мѣйсце для ѣзды... Мѣйсце! ¹⁾ кричатъ и машутъ другіе.

— Уцекайце, панове косиньержи, бо зъ тылу гарматы стоен'! ²⁾—возвѣщаютъ третьи, которымъ со страху вдругъ почудились въ тылу небывалыя пушки.

Все это, какъ стадо барановъ при степномъ пожарѣ, металось изъ стороны въ сторону, не зная какъ быть, не понимая что дѣлать.

Русская пѣхота съ барабаннымъ боемъ открыла энергическое наступленіе.

— Матка Божска!.. Пане москале, змилуйсен'! Ратуйтесен' панове!.. До лясу!.. Прендзей до лясу!.. Не даваць пардону!—носятся надъ повстанскими кучами разные голоса и возгласы.

Казаки Малавкина, оставивъ всѣхъ этихъ «несмертельныхъ» и «красныхъ чертей» на жертву гусарамъ, съ фланга бросились лавой на польскую пѣхоту. Въ одну минуту и «тыральеры», и «косиньеры» образовали изъ себя какую-то жалкую кашу; одни кидались на колѣни и протягивали руки, взывая о пощаду, другіе, побросавъ оружіе, пустились что есть духу бѣжать подъ защиту лѣса.

— Прендко!—со смѣхомъ кричали имъ во слѣдъ казаки, дѣйствуя не столько шашкой, сколько нагайками по спинамъ.—Прендко, панове! Шибче бѣги! Утекай поскорѣе, а то въ дургорядъ не уйдешъ!

Одна только кучка, человекъ въ десять, лучшихъ, наиболѣе храбрыхъ людей, со всѣхъ сторонъ оцѣтываясь штыками да косами, стойко оставалась на мѣстѣ, не подпуская къ себѣ казаковъ. Душой этой горсти храбрецовъ былъ Бейгушъ, подъ которымъ еще въ самомъ началѣ дѣла была убита лошадь. Теперь же, въ минуту крайней опасности, видя, что уже все гибнетъ, онъ схватилъ винтовку убитаго стрѣлка и одушевленно кликнулъ кличъ окружавшимъ его людямъ; но изъ всей толпы едва лишь десять-двѣнадцать человекъ отозвались на призывъ начальника. Нѣсколько казаковъ гикали и кружились около оцѣтенившейся кучки, но ничего не могли съ нею подѣлать, пока не подбѣжала пѣхота и кинулась на нее въ рукопашную. Обѣ стороны дрались съ остревеніемъ, и въ особенности повстанцы, для которыхъ дѣло шло не о побѣдѣ, а только о томъ, чтобы кунить себѣ смерть возможно дорогѣй цѣной. Тутъ безпощадно работали штыки и приклады, но эта ужасная, кровавая работа продолжалась не долго: въ двѣ-три минуты все было кончено, горсть храбрецовъ не существовала. Избитый прикладами и раненый штыкомъ, Бейгушъ упалъ, но не просилъ пощады. Одинъ изъ солдатъ занесъ уже было

¹⁾ Пѣхота въ сторону или въ лѣсъ. Кавалерія скачетъ! Мѣсто для кавалеріи!

²⁾ Удирайте, господа косиньеры, потому что въ тылу пушки стоятъ.

³⁾ Господа косиньеры, впередъ, потому что стрѣлки не выдерживаютъ.

надъ нимъ штыкъ, чтобы «прикончить» его на хвѣстѣ, но къ счастью или несчастью Бейгуша, молодой прапорщикъ, командовавшій взводомъ, на долю котораго досталась борьба съ храброй кучкой, стремительно кинулся къ солдату и въ роковой моментъ отвелъ рукою штыкъ въ сторону.

— Не тронь! Это начальникъ!—закричалъ онъ.—Бери его въ плѣнъ, ребята!.. Живьемъ бери!

Бейгуша подняли и взяли. Онъ не сопротивлялся и только кинулъ грустный взглядъ на молодого офицера.

— Не благодарю васъ: вы оказали мнѣ очень дурную услугу,—проговорилъ онъ ему слабымъ голосомъ; но тотъ почти не слышалъ этихъ словъ и велъ своихъ людей далѣе.

Между тѣмъ гусары, послѣ перваго налета, разсѣявъ польскую кавалерію, разсѣялись и сами по полю, преслѣдуя и тамъ, и здѣсь отдѣльныя группы всадниковъ.

Вдругъ, Хвалынцевъ замѣтилъ, что мимо его, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, одиноко несется красивый всадникъ, въ рукахъ котораго развѣвается знакомое знамя. Этотъ всадникъ видимо торопился уйти съ мѣста сшибки, направляя своего коня въ ту сторону, гдѣ отдалѣнно отъ всѣхъ стояла скорбная и блѣдная Цезарина, которую ксендзъ Игнацы и англійскій грумъ съ двухъ сторонъ умоляли пощадить себя, уходить, спастись какъ можно скорѣе. Но она словно бы и не слышала или не понимала ни просьбъ, ни доводовъ и продолжала стоять въ какомъ-то нѣмомъ и окаменѣломъ состояніи.

Константинъ съ перваго взгляда узналъ въ лицо знаменосца, и молнией сверкнуло въ его головѣ воспоминаніе о немъ, о Цезаринѣ, о дуэли на узелокъ, и о словахъ «будетъ исполнено».

Какое-то странное чувство поднялось въ его груди—чувство насмѣшливо-радостной злобы и презрѣнія, желаніе мести и желаніе быть замѣченнымъ Цезариной.

Давъ сильныя шпоры коню, онъ въ тотъ же мигъ безотчетно пустился въ погоню за «хоронжимъ»: нѣсколько сильныхъ скачковъ—и его конь очутился рядомъ съ Жозефомъ.

— А! зѣ мѣртвыхъ встѣлы! ¹⁾—закричалъ, налетая на него Хвалынцевъ, и въ тотъ же мигъ плашмя полоснулъ его по лицу саблей. Затѣмъ, дѣломъ одного мгновенія было перекинуть эфесъ въ лѣвую руку, а правую схватить за древко. Константинъ на лету, упершись въ стремя, рванулъ это древко съ такой силой, что знамя очутилось въ его рукѣ, а панъ Жозефъ, потерявъ балансъ, вылетѣлъ изъ сѣдла и шлепнулся на землю.

— Молодецъ, корнетъ!—гдѣ-то вдалекѣ за

собою услышалъ Хвалынцевъ ободряющій, веселый голосъ Вѣтохина.

Вся эта сцена произошла въ нѣсколькихъ саженьяхъ предъ Цезариной.

Константинъ раздумчиво замедлился на мгновеніе и... беззавѣтно поддался соблазну внезапно мелькнувшей ему мысли. Задержавъ коня, онъ тихо подѣхалъ къ Цезаринѣ.

— Графиня, я сдержалъ свое слово! Какъ видите, я взялъ и несу ваше знамя...

Но вдругъ раздался выстрѣлъ изъ револьвера, и въ тотъ же мигъ Хвалынцевъ почувствовалъ, какъ что-то съ необычайной силой ударило его въ правую лопатку. Онъ коротко вскрикнулъ, зашатался въ сѣдлѣ и поникъ головою. Рука его тихо выпустила знамя и, вмѣстѣ съ нимъ, Константинъ безъ чувствъ упалъ къ ногамъ Цезарины.

— Честь спасена, графиня!.. Не знаю, я, кажется, раненъ, но наше знамя не взято! Я возвратилъ его!—кричалъ поднимавшійся изъ пыли Жозефъ, подбѣгая къ своей амазонкѣ и потрясая револьверомъ, одно гнѣздо котораго удачно было разряжено на Хвалынцевъ.

— Подите прочь!.. На вашемъ лицѣ виденъ слѣдъ фухтеля,—съ холоднымъ презрѣніемъ проговорила ему Цезарина и, отвернувшись, отѣхала въ сторону на своемъ Баязетѣ.

Въ это время на Жозефа налетѣли два гусара, случайно видѣвшіе издали его выстрѣлъ по Хвалынцеву.

— О, ля Бога!.. Змилуйсен', пане!—едва успѣлъ воскликнуть красивый знаменосецъ, какъ остріе пики сверкнуло у его груди, и въ то жъ мгновеніе выдернулось изъ нея, покрытое алою кровью.

Другой гусаръ, занеся свою саблю, подскакалъ къ Цезаринѣ, но вдругъ рука его остановилась въ самомъ началѣ разящаго движенія; осадивъ своего коня, рубака съ самымъ наивнымъ изумленіемъ глядѣлъ въ лицо увернувшейся и отскочившей женщины.

— Тьфу, ты чортъ!—воскликнулъ онъ наконецъ, оскаливъ широкой улыбкой свои бѣлые зубы,—я думалъ что путное, а это баба!

И покачивая головою, гусаръ со смѣхомъ надъ своей ли неудачной попыткой, или надъ «бабой», которую принять за повстанца, отѣхалъ прочь отъ Цезарины.

— О, ля Бога!.. Пани грабина!—съ новыми мольбами приступилъ къ ней чрезъ минуту блѣдный, перепуганный ксендзъ, который въ то время, пока налетѣвшій гусаръ предавался недоумѣнію, успѣлъ вмѣстѣ съ грумомъ «дать драпака» въ сосѣдніе орѣховые кусты, но замѣтивъ оттуда, что опасность миновала, перешибилъ свой страхъ и вернулся къ графинѣ съ послѣдней попыткой.—О, ля Бога!—молилъ онъ чуть не со слезами.—Попадите!.. вы губите даромъ и себя, и насъ. Ну, что тутъ

¹⁾ Воскресшій изъ мертвыхъ.

дѣлать?!. Все кончено... ничего любопытнаго больше не будетъ... Умоляю въ послѣдній разъ, ускоримте, пока есть время, пока насъ не забрали!..

— Да, вы правы: больше здѣсь нечего дѣлать! — съ горечью вздохнула Цезарина, и давъ хлыста Баязету, поскакала въ кусты съ ксэндзомъ и громомъ.

Черезъ минуту она уже была среди густой чащи, совсѣмъ въ сторонѣ отъ того направленія, по которому пѣхота русскаго отряда вела по лѣсу дальнѣйшее преслѣдованіе разсѣянной банды.

Графъ Сченский Маржепкій успѣлъ ускользнуть еще гораздо ранѣе, воспользовавшись той минутой, когда Цезарина, около которой онъ, сконфуженный и ничтожный, вертѣлся безъ всякаго дѣла, предложила ему атаковать русскаго гусаря. Графъ Сченский повезъ это приказаніе пану Копцу, а самъ, подъ шумокъ, когда «несмертельные шквалдроны» съ гамомъ и гвалтомъ ринулись впередъ, благоразумно ретировался въ лѣсную чащу.

Въ боковомъ карманѣ его оставалось еще до девяти тысячъ рублей «народовыхъ денегъ», полученныхъ на содержаніе банды, а съ эдакимъ кушемъ, при нѣкоторой удачѣ — лишь бы только москалей не встрѣтить! — не трудно было пробраться за границу и, по примѣру уже многихъ доводцевъ, на нѣкоторое время зажить во все свое удовольствіе гдѣ-нибудь въ Дрезденѣ или въ Парижѣ, вѣщая по курзаламъ да по клубамъ о своихъ подвигахъ во славу и за свободу дорогой «ойчизны».

Цезаринѣ тоже вполне благополучно удалось ускользнуть съ мѣста боя, благодаря тому обстоятельству, что вниманіе двухъ гусаръ было отвлечено Хвалынцевымъ. Рядовой, заколовшій Жозефа, тотчасъ же спрыгнулъ съ коня и наклонился надъ своимъ офицеромъ.

— Ваше благородіе!.. Живы, аль померли? Эй, Лишухинъ! Чего зубы-то скалишь? Ступай живѣе сюда!.. Глянь-ка!.. корнета-то никакъ убили...

Лишухинъ, все еще ворча про «бабу», подѣхалъ къ товарищу и, съ коня, внимательно посмотрѣлъ на лежавшаго Константина.

— Подержи-ка поводъ, — обратился къ нему первый гусарь, отдавая свою лошадь, а самъ попытался осторожно приподнять Хвалынцева за плечи.

Тотъ очнулся и застоналъ отъ мучительной боли.

— Виновати, ваше благородіе!.. Одначе жъ славу Богу... ваше благородіе живы!.. А мы ужъ было подумали, что вы совсѣмъ тово... искренно обрадовался солдатикъ. — Скажи, Лишухинъ, доложи майору!

Гусарь въ ту жъ минуту далъ шпоры и, держа на поводу лошадь товарища, помчался отыскивать эскадроннаго командира.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ отыскалъ его, доложилъ о ранѣ корнета и проводилъ на мѣсто. Вѣтохинъ прискакалъ съ ординарцами.

— Живъ? — тревожно спросилъ онъ у оставшагося гусара, который, склонясь надъ Хвалынцевымъ, поддерживалъ на своемъ колѣнѣ его голову.

— Такъ точно-съ!.. изволятъ быть живы, ваше высокоблагородіе!

Майоръ слѣзъ съ коня и заботливо осмотрѣлъ раненаго.

— Куда угораздило? — освѣдомился онъ съ ласковой, ободряющей улыбкой.

— Не знаю... боль во всей спинѣ, но... кажись, что въ правую лопатку, — отвѣтилъ тотъ, стараясь подавить въ своемъ лицѣ невольное выраженіе страданія и боли.

— Ну, въ такомъ случаѣ, поздравляю съ первой боевой раной и съ крестомъ за храбрость!.. Сколько могу судить, рана вѣроятно не опасная! — весело ободрялъ Вѣтохинъ, пожимая Хвалынцеву руку, и тотчасъ же сдалъ его на попеченіе одному изъ своихъ ординарцевъ, приказавъ взять подъ раненаго телѣгу и какъ можно скорѣе привезти изъ обоза эскадроннаго фельдшера, чтобы на мѣстѣ же сдѣлать первую перевязку.

Везти раненыхъ въ Августовъ или въ Сейны было гораздо дальше, чѣмъ въ Гродну, а потому майоръ Вѣтохинъ предпочелъ этотъ послѣдній пунктъ, въ которомъ кстати находился и ближайшій военный госпиталь со всѣми необходимыми удобствами. Уже поздною ночью, по окончаніи дѣла, доставили въ этотъ городъ русскаго и польскаго раненыхъ, а также и гурьбу плѣнныхъ, подѣ достаточно-сильнымъ конвоемъ. Плѣнные немедленно были сданы въ острогъ, раненыхъ же размѣстили въ обширномъ госпиталѣ. Хвалынцева внесли на носилкахъ въ офицерскія палаты, гдѣ нашлась для него свободная койка въ особой комнатѣ, а Бейгуша положили въ арестантскомъ отдѣленіи.

Въ числѣ убитыхъ повстанцевъ плѣнные кавалеристы называли пана-полковника Копца и адъютанта Поля Секерко. Что же касается до ксендза Робака, то этотъ ловкій партизанъ-вѣшатель успѣлъ-таки скрыться съ двумя или тремя изъ ближайшихъ своихъ помощниковъ, покинуть всю остальную банду на жертву казнямъ.

XVI.

Сестра.

Длинный переѣздъ на тряской подводѣ, и притомъ въ напряженномъ сидячемъ положеніи, такъ какъ рана не позволяла лежать на спинѣ, истомилъ Хвалынцева до такой степени, что во дворѣ гродненскаго госпиталя его сняли съ воза почти въ безчувственномъ состояніи. Дежурный

ординаторъ, съ помощью двухъ сонныхъ фельдшеровъ, сдѣлалъ ему новую перевязку и уложилъ, въ сидячемъ положеніи, въ особое покойное кресло на винтахъ, гдѣ Константинъ могъ наименѣ испытывать страданія, причиняемыя раной. Боль распространялась отъ лопатки на всю спину, страшно отдавалась въ груди, въ плечѣ и совершенно парализовала правую руку, которая покоилась на широкой перевязи. Лежать ему можно было только на лѣвомъ боку, да и то съ трудомъ, такъ что онъ поневолѣ предпочиталъ сидячее положеніе, какъ наименѣ причинявшее страданій. Подъ утро, съ помощью одного изъ наркотически-успокоительныхъ средствъ, дежурному ординатору удалось погрузить Хвалынцева въ сонъ, въ которомъ сильно нуждался его организмъ, истомленный усталостью, болью и потерей крови.

Долго ли продолжалось это забытие болѣзненного и неровнаго сна, Константинъ не могъ опредѣлить себѣ; но онъ пришелъ въ сознаніе вслѣдствіе одного вѣшняго ощущенія, котораго менѣ всего могъ ожидать въ настоящемъ своемъ положеніи.

Онъ ясно почувствовалъ на своемъ лбу легкое прикосновеніе мягкой и нѣжной, какъ будто женской руки.

«Что это?.. Въ правду, или только чудится?» смутно подумалось ему.

Онъ открылъ глаза: дневной свѣтъ пробивался сквозь опущенную штору.

— Пить... пить хочу,—тихо произнесъ онъ, чувствуя жгучую, сильную жажду.

Чья-то заботливая рука осторожно поднесла къ его пересохшимъ, лихорадочно воспламененнымъ губамъ кружку лимонаду.

Онъ жадно приникъ къ краю сосуда и медленными глотками сталъ утолять свой внутренній жаръ живительнымъ и прохладнымъ напиткомъ. Рука, на которую неволью упали его взоры, показалась ему женской рукой... Блѣдная, молодая, изящно выточенная, съ длинными, прекрасной формы пальцами... «Чья это рука?.. кто это?» вспало ему на мысль, и онъ, переставъ пить, поднялъ глаза на стоявшую съ боку женщину.

Предъ нимъ обрисовались строгія складки темнокоричневаго платя, бѣлая пелерина, бѣлый фартукъ и бѣлый чепецъ сестры милосердія.

«Но Боже мой, что жъ это?!.. Видѣние? сонъ? галлюцинація, или и точно правда?..» Точно ли въ-явь мелькнули ему знакомыя, добрыя черты прекраснаго лица,—лица, нѣкогда столь милого и дорогаго?..

— Таня?!.. смутно прошепталъ онъ, не вѣря глазамъ. —Таня... Татьяна Николаевна... Вы ли?

— Тсс... Не говорите... докторъ запретилъ пока... Вамъ вредно!—заботливо предупредилъ его ласковый, нѣжный и давно знакомый голосъ.

Но онъ не могъ успокоиться: явленіе этой дѣ-

вушки было столь неожиданно, казалось столь страннымъ и почти сверхъ-естественнымъ, что душой его овладѣло понятное смѣненіе. Онъ все еще не вѣрилъ ни глазамъ своимъ, ни слуху, и не могъ сообразить что́ это значитъ, зачѣмъ, почему и какими судьбами эта дѣвушка присутствуетъ здѣсь, въ госпиталѣ, въ такую минуту и въ такомъ исключительномъ костюмѣ?.. Онъ, полагавшій ее за тридевять земель, въ глухомъ поволжскомъ городѣ, или въ далекой степной деревнѣ, вдругъ во-очію видить ее предъ собой—и гдѣ же, и въ какое время?—когда кругомъ кипитъ война, бушуютъ политическія страсти, кишитъ измѣна, предательство, и каждый день обгащается кровью новыхъ убійствъ...

— Господи!.. Что это мнѣ чудится!.. Къ смерти, что ли?.. какъ бы про-себя пробормоталъ онъ, не сводя съ нея крайне изумленного и недовѣрчиво-тревожнаго взгляда.

— Къ жизни!.. къ жизни!—порывисто и съ глубокимъ внутреннимъ убѣжденіемъ прошептала она, стремительно бросаясь на колѣни предъ его кресломъ и схвативъ его свободную, здоровую руку.—Ничего тутъ нѣтъ необыкновеннаго,—продолжала дѣвушка, спѣша вывести его изъ тревожнаго недоумѣнія,—ровно ничего!.. Я уже нѣсколько недѣль здѣсь, въ этомъ госпиталѣ... Тетушка недавно умерла, а время теперь такое... нужное время—сами знаете... Я пошла въ сестры... Предлагали мнѣ въ Вильну или въ Варшаву, но я предпочла здѣсь, потому что здѣсь теперь Устиновъ служить... Онъ все же свой человѣкъ, близкій другъ и преданъ мнѣ... И все же не совсѣмъ ужъ одна я, при немъ-то, на чужой сторонѣ. Вотъ и только!.. И все, какъ видите, очень просто это... и ничего необыкновеннаго!.. Узнала сегодня, что въ ночь привезли васъ и выпросилась ухаживать... сказала, что старый знакомый... ну и позволили, слава Богу... Вотъ вамъ и все объясненіе!

Татьяна видимо торопилась подробнѣе высказать и разъяснить Хвалынцеву все дѣло, чтобы ни минути лишней не держать его въ безпокойномъ состояніи сомнѣній и недоумѣнія, такъ какъ это состояніе могло бы вредно отозваться на его здоровьи.

Онъ, не встрѣчая сопротивленія, приблизилъ къ своимъ губамъ ея руку и молча приникъ къ ней тихимъ, благодарнымъ поцѣлуемъ.

На глаза его навернулись невольныя слезы, а въ умѣ, столь же неволью, возникло сопоставленіе двухъ женщинъ: одна встала предъ нимъ со всѣмъ эффектнымъ обаяніемъ своей патріотической миссіи, во всемъ поэтическомъ блескѣ заговорщицы, со всѣмъ обаяніемъ красоты, пламеннаго энтузіазма, фанатической ненависти и коварства,—встала такъ, какъ еще вчера встрѣтилъ онъ ее: подъ свистомъ пуля, среди лихой атаки, на ея кровномъ конѣ, въ блестящемъ, хоть и нѣсколько театральномъ

костюмъ... И рядомъ съ ней это строгое платье сестры милосердія, эта скромная, не бывшая ни на какой эффектъ нравственная чистота, любовь и христіанское самоотверженіе простой, безхитростной русской женщины.

Только въ эту минуту внутренно понявъ и оцѣнивъ Хвалынцевъ разницу между той и другой. Хотѣлось ему сказать этой Танѣ: «Прости меня, если можешь!.. Я много виновать предъ тобой, чистая, честная душа, и много за то наказанъ!» Но взглянулъ на нее еще разъ и не сказалъ того, что хотѣлось. Словъ не нужно было, потому что это доброе, спокойно свѣтлое лицо и безъ того уже все было озарено кроткой улыбкой любви и прощенія. Въсто словъ ту же самую мысль высказалъ ей взглядъ Хвалынцева, и дѣвушка, казалось, женскимъ чутьемъ своимъ угадала и сознательно почувствовала значеніе и поняла смыслъ его безмолвно говорящаго взгляда. Она отвѣтила ему тихимъ пожатіемъ руки, и Константину показалось, что съ этой минуты внутренній миръ былъ заключенъ между ними.

Тихо скрипнула дверь, и позади Хвалынцева послышались чьи-то осторожные шаги.

— Не спить?—шопотомъ спросилъ мужской голосъ.

Татьяна отвѣтила отрицательнымъ кивкомъ головы.

— Здравствуйте, Хвалынцевъ!.. Узнаете старого знакомаго?

Константинъ поднялъ глаза, и радостная улыбка засвѣтилась на его страдающемъ лицѣ: предъ нимъ стоялъ докторъ Холодецъ, все такой же бодрый, славный, симпатичный, какъ и въ первую встрѣчу. Большой слабо протянулъ ему свою здоровую руку.

— Ну, вотъ, сказывалъ я вамъ на прощанье, что только гора съ горой не сойдется, а мы съ вами навѣрное! И привелъ Богъ, какъ видите,—говорилъ Холодецъ, подсаживаясь около него на табуретъ.—Что, батюшка, лопатку поляки царапнули? Ничего, починимъ! Придется только поистерзать васъ немного разными пластырями да перевязками, вообще пачкотней этой,—ну, да ужъ дѣло наше такое, безъ того невозможно.

И Холодецъ сообщилъ, что главный докторъ поручилъ спеціально ему вести леченіе Хвалынцева, и что онъ еще съ апрѣля мѣсяца, за недостаткомъ врачей, временно прикомандированъ къ госпиталю, гдѣ большая часть раненыхъ постоянно поступаетъ на его попеченіе.

— А я къ вамъ стараго пріятеля привелъ, сказалъ онъ,—угадайте-ка, кого?

— Знаю... догадываюсь... Гдѣ онъ?—оживленно спросилъ Хвалынцевъ.

— Здѣсь, въ дежурной комнатѣ дожидается. Вы только не волнуйтесь, Бога ради, и молчите побольше, а ужъ предоставьте намъ развлекать

васъ, коли желаете. Захаровъ!—обратился Холодецъ къ фельдшеру, стоявшему у дверей,—проводи-ка, братъ, сюда Андрея Павлыча.

Свиданіе съ Устиновымъ, послѣ двухлѣтней разлуки, хоть было и радостно, но для Хвалынцева, въ глубинѣ души его, отзывалось застенчивой грустью. Ему больно было за самого себя, за ту сторону своей внутренней жизни, которая, послѣ разрыва съ Паланицею и Цезариной, такъ тяготила его и все-же оставалась глубокой тайной для всѣхъ друзей его. Теперь, предъ его скорбнымъ ложемъ, неожиданный случай свелъ троихъ людей, дорогихъ его сердцу.

Эта дѣвушка, отвергнутая имъ когда-то ради иной женщины, и этотъ школьный другъ и товарищъ, позабытый имъ въ томъ водоворотѣ, куда швырнула его рука чуждыхъ заговорщиковъ, и этотъ докторъ, нравственно поддерживавшій его въ одну изъ скверныхъ минутъ жизни—всѣ они здѣсь теперь на лицо, и всѣ какъ были, такъ и остались простыми, прямыми и честными людьми, которые имѣютъ нравственное право, съ чистой совѣстью, открыто глядѣть въ глаза всему міру... И онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что каждый изъ этихъ трехъ людей любить его по-своему, горячо и безкорыстно, даже и она, эта Таня, любить не перестала, хотя ея любовь и не дала ей ничего, кромѣ горя, не оставила она душѣ никакого просвѣта, никакой надежды и въ концѣ концовъ привела въ общину сестеръ милосердія... Онъ зналъ еще и то, что эти люди смотрятъ на него, какъ на честнаго человека, вѣрятъ въ него, убѣждены въ немъ и съ негодованіемъ отвергли-бы малѣйшую тѣнь сомнѣнія, еслибы такая могла быть брошена на него кѣмъ-либо, а между тѣмъ... онъ долженъ скрывать свой прошлый грѣхъ и заблужденіе, таить отъ нихъ ту сторону своей внутренней жизни, которая самому была столь невыносимо тягостна, и тягостна именно тѣмъ, что надо было одному безраздѣльно нести ее до времени въ глубинѣ души своей, не смѣя облегчить себя откровеннымъ и полнымъ признаніемъ.

XVII.

Честный шагъ.

Съ такимъ внимательнымъ и свѣдущимъ врачевъ, какъ Холодецъ, и съ такой заботливой сидѣлкой, какъ Татьяна, леченіе Хвалынцева шло очень успѣшно. Чрезъ два мѣсяца рана затянулась, только правой рукой не могъ онъ еще владѣть свободно. Почти ежедневно, въ послѣобѣденное время, навѣщалъ его Устиновъ и просиживалъ съ нимъ часа по два, по три, развлекая его то чтеніемъ, то разговоромъ, главной темой котораго, конечно, были жгучія текущія событія. Татьяна, съ тѣхъ поръ, какъ

страданія Хвалынцева значительно уменьшились, стала уже рѣже показываться въ его комнатѣ: ея обязанности призывали ее къ другимъ страдальцамъ, которые теперь болѣе Константина нуждались въ ея заботливомъ уходѣ и попеченіяхъ. Ни слова о прошломъ за все это время не было сказано между Хвалынцевымъ и ею. Она являлась къ нему только сестрой милосердія и другомъ, но не болѣе, и не подала ни малѣйшаго повода завести рѣчь о прошломъ. Заводить-же самому такую рѣчь — Хвалынцевъ не считалъ возможнымъ. Слишкомъ многое удерживало его отъ этого шага, и прежде всего сознаніе своей глубокой виновности предъ отвергнутой имъ дѣвушкой. Да и какое-же будущее могъ-бы онъ предложить ей, если и самъ-то не былъ еще увѣренъ въ своемъ собственномъ будущемъ? Онъ могъ съ каждымъ днемъ ожидать, что участіе его въ заговорѣ раскроется помимо его воли и что за это участіе, быть-можетъ, придется вскорѣ понести искупительную кару. Онъ не боялся, а напротивъ, желалъ этой кары, и какова-бы ни была предстоящая ему судьба, ожидалъ ее съ покорнымъ спокойствіемъ. Тутъ онъ одинъ виноватъ и одинъ понесетъ за себя расплату. Но послѣ всего, что было, обречать эту дѣвушку еще на новыя страданія, на новую тревожную неизвѣстность Хвалынцевъ считалъ невозможнымъ: противъ этого возставала вся лучшая, вся человѣческая и честная сторона его натуры.

Однажды замѣтилъ онъ, что Устиновъ пришелъ къ нему въ какомъ-то грустномъ настроеніи духа. Послѣ нѣсколькихъ оборотовъ разговора, который на сей разъ, вопреки обыкновенію, не совсѣмъ-то клеился между ними, Хвалынцевъ спросилъ его что это значитъ?

— Прегрустное письмо получилъ—сообщилъ Устиновъ.—Помнишь ты Шишкина?

— Шишкина?—переспросилъ Константинъ, не совсѣмъ-то ясно отдавая себѣ отчетъ, кто-бы могъ быть этотъ Шишкинъ, и почему эта фамилія кажется ему нѣсколько знакомою.

— Ну, да; гимназиста Шишкина, въ Славнобубенскѣ,—продолжалъ пояснять Устиновъ.—Того самаго, что на литературномъ вечерѣ, который устраивалъ покойникъ Лубянской, дернулъ вдругъ публично «Орла»—исторія, изъ-за которой у меня чуть не состоялась дуэль съ Подвилянскимъ, изъ-за которой меня поцѣпномъ осливали,—ну, неужели не помнишь?

— А-а!.. Какъ-же, какъ-же!.. подхватилъ Хвалынцевъ,—теперь вспоминаю! Гимназистъ Шишкинъ, который умѣлъ отлично декламировать стихи и былъ, кажись, выгнанъ за это изъ гимназій, затѣмъ исчезъ куда-то... Помню и «Орла», и Шишкина, и всю эту глупую исторію...

— Благодаря которой, однако,—замѣтилъ Устиновъ,—а долженъ былъ убраться изъ Славно-

бубенска и теперь наконецъ очутился въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

— Ну, такъ что-же этотъ Шишкинъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да вотъ, представь себѣ, какая исторія вдругъ оказывается!—Совершенно неожиданно получаю я сегодня отъ него изъ петербургской пересылочной тюрьмы письмо, которое онъ пишетъ наканунѣ своего отправления въ Сибирь на каторгу.

— На каторгу?.. За что?.. Неужели за «Орла» на каторгу?

Нѣтъ, почти чѣмъ-за «Орла»,—зараспространеніе въ Жигулевскихъ горахъ «золотыхъ грамотъ», вмѣстѣ съ какимъ-то Василиемъ Свиткой...

— Свиткой?!—воскликнулъ Хвалынцевъ, невольно поблѣднѣвъ при послѣднемъ словѣ.

— А что? Тебѣ развѣ знакомо это имя?—спросилъ Устиновъ, отъ котораго не укрылись ни странный тонъ невольно вырвавагося восклицанія, ни эта внезапная блѣдность, ни взглядъ, исполненный смущенія и тревоги.

— Къ несчастію, слишкомъ хорошо знакомо,—помолчавъ и какъ-бы собравшись съ мыслями, тихо проговорилъ Хвалынцевъ.

— Какими судьбами?—поднялъ на него удивленный взоръ маленькій математикъ, еще болѣе пріявъ въ недоумѣніе отъ послѣднихъ словъ своего пріятеля.

— Объ этомъ послѣ... Потомъ расскажу какъ-нибудь,—уклонился Хвалынцевъ.—Такъ что-же Шишкинъ-то... Говори, пожалуйста... Это любопытно,—въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ старался онъ навести разговоръ на прерванную тему.

— Да что Шишкинъ... Подцѣпилъ его въ крутую минуту этотъ самый Свитка.—А что за Свитка? Про то и самъ онъ никогда не зналъ да и о сѣ пору не знаетъ!... Зачали они вмѣстѣ пропагандировать въ лѣто 61-го года на Волгѣ, пока не нарвались въ одной какой-то деревнѣ на здравый мужичій смыслъ; мужики ихъ заприѣмили, заподозрили, хотѣли было руки назадъ скрутить да въ становую квартиру; однако же не удалось на тотъ разъ: выручилъ кистень да револьверъ, чуть убійства не вышло... Скрылись пріятель въ Самарскую губернію, а оттуда въ Питеръ пробрались, но только послѣ студентской исторіи Шишкина на родину выслали, въ Славнобубенскъ, а тамъ онъ прекрасно было устроился, получилъ мѣсто въ пароходной компаніи, занялся дѣломъ, средствами поправился и мать свою, старуху, пріютить у себя,—ну, словомъ, совсѣмъ отрезвился малый и зажилъ себѣ порядочнымъ и честнымъ человѣкомъ, какъ вдругъ — нужно же случиться такому обстоятельству!—вхалъ онъ прошлой осенью на пароходъ, и случись тутъ же на палубѣ нѣсколько жигулевскихъ мужиковъ изъ той самой деревни, гдѣ онъ со Свиткой въ пропагандѣ подвизался.

Признали сразу! И въ лицо, и по складу признали, да на первой же пристани и заявили по начальству, что промежъ ними «смутитель» ѣдетъ. Того, разумеется, сейчасъ же сцапали, пошло особое формальное слѣдствіе, чуть не цѣлая деревня была вызвана въ качествѣ свидѣтелей-очевидцевъ, и каждый на слѣдствіи почти сразу признаетъ въ лицо: даже того мальчонку, что перевозилъ его со Свиткой на Самарскій берегъ, и того откопали,—ну, словомъ, уликъ собралось достаточно, да наконецъ, и самъ повинился, признался во всемъ, что было... Отправили въ Петербургъ, судили, и вотъ тебѣ финалъ всей этой исторіи, — каторга!

— Это ужасно!—какъ бы про-себя проговорилъ Хвалынцевъ, медленно проводя по лбу рукой.

— Да, мой другъ, и ужасно потому, что случилось уже въ то время, когда человѣкъ совсѣмъ отрезвѣлъ, когда изъ него и для общества могло бы выработаться что-нибудь путное и полезное... Каково въ такомъ-то вотъ положеніи идти на каторгу, если даже самому себѣ не остается призрачнаго утѣшенія, что я-де политическій мученикъ, страдалецъ за убѣжденія!.. А тутъ еще безпомощная и больная старуха-мать на произволъ судьбы остается!..

«Да, платиться, когда отрезвѣлъ и когда не остается самому себѣ даже призрачныхъ утѣшеній—грустно», подумалось Константину. А Устиновъ и не подозревалъ, въ какой мѣрѣ и какъ близко эти самыя слова подходятъ къ его другу и какъ чутко ударили они его по сердцу.

— По какимъ же причинамъ онъ написалъ тебѣ это?—полураспѣнно и послѣ довольно долгаго раздумчиваго молчанія спросилъ Хвалынцевъ, видимо находясь еще подъ давленіемъ какой-то другой посторонней мысли.

— Да просто изъ благодарной памяти: вѣдь я любилъ его,—пояснилъ Устиновъ. — Ну да вѣроятно и душу отвести хотѣлось, напоследокъ высказаться хоть предъ кѣмъ-нибудь въ такую тяжелую минуту... Это такъ естественно.

«Высказаться хоть предъ кѣмъ-нибудь!».— Какъ была понятна Константину такая нравственная потребность! Какъ самому ему хотѣлось порой высказаться! А въ данную минуту, вслѣдствіе разсказа Устинова, эта жажда чистосердечной исповѣди овладѣла имъ еще болѣе.—«Пора!.. пора!» говорилъ ему какой-то неотразимый, настойчивый внутренній голосъ, въ то время какъ мысль предавалась раздумью о судьбѣ несчастнаго Шишкина.—«Пора!.. Видно и въ самомъ дѣлѣ всѣмъ намъ приходитъ время расплаты за прошлое»...

— Но скажи пожалуйста, что это за личность?—продолжалъ межъ тѣмъ Устиновъ,—ты говоришь, что знавалъ этого Свитку?

Константинъ, не выходя изъ своего раздумья, вмѣсто отвѣта, утвердительно кивнулъ ему головой.

— Точно ли онъ Свитка и насколько это имя законно принадлежитъ ему, я не знаю,—заговорилъ онъ наконецъ, послѣ нѣкотораго молчанія, въ теченіе котораго Устиновъ смотрѣлъ на него вопросительнымъ взглядомъ, какъ бы выжидая болѣе опредѣленнаго отвѣта и разъясненія.—Я знаю только одно,—продолжалъ Константинъ, — что у этого человѣка есть нѣсколько именъ, между прочимъ и имя Свитки; но кто онъ такой въ сущности и какъ его подлинное имя—это мнѣ извѣстно столько же, сколько тебѣ и Шишкину, а между тѣмъ...

И какъ бы оскѣпши на полусловѣ и не досказавъ своей мысли, Хвалынцевъ снова отдался какому-то раздумью, которое снова вызвало вопросительный взглядъ со стороны учителя; но теперь къ этому взгляду примѣшался уже отблескъ нѣкотораго недоразумѣнія. Это безпрестанно возвращающееся раздумье и этотъ тонъ невольнаго казались Устинову нѣсколько странными и загадочными.

— Да, и между тѣмъ этотъ человѣкъ имѣлъ громадное вліяніе на мою судьбу,—высказался наконецъ Хвалынцевъ.

— На твою судьбу?... на твою?... Вліяніе, говоришь ты?—съ возрастающимъ удивленіемъ повторилъ вслѣдъ за нимъ Устиновъ.

— Да, мой другъ, вліяніе, — подтвердилъ Константинъ.—И при томъ, быть-можетъ, столь же роковое, какъ и на судьбу этого Шишкина.

— Воля твоя,—пожалъ учитель плечами,—я тебя не совсѣмъ понимаю!

— Погоди, поймешь и узнаешь все очень скоро,—слегка усмѣхнулся Хвалынцевъ. — Да вотъ что,—продолжалъ онъ, — зачѣмъ откладывать въ долгій ящикъ—благо мы одни и времени еще есть достаточно... Бери-ка вотъ на столѣ карандашъ да бумагу... Я попрошу тебя записывать и потомъ переписать то, что я тебѣ продиктую... Извини, голубчикъ, прибавилъ онъ,—радъ бы былъ и самъ это сдѣлать, да рука еще не совсѣмъ свободно дѣйствуетъ.

И онъ, въ возможно краткой, сжатой и точной формѣ письма, сталъ диктовать Устинову всю послѣдовательную исторію своего вступленія въ заговоръ, своихъ отношеній съ «Варшавскимъ Отдѣломъ Земли и Воли», и своихъ разочарованій по поводу подложнаго адреса на имя великаго князя Намѣстника; послѣдствіемъ которыхъ былъ ударъ кинжаломъ «за измѣну дѣлу». Цезарина не была названа въ этомъ письмѣ: онъ не хотѣлъ компрометировать и путать въ свое дѣло женщину, и только разсказалъ о ней Устинову, чтобы не оставлять для него загадкой главную причину своихъ сумасбродныхъ увлеченій дѣломъ, совершенно для него чуждымъ.

Быль названъ въ письмѣ поручикъ Паля-

ница, о которомъ въ то время имѣлось уже положительное официальное свѣдѣніе, что онъ убитъ при Пясковской Скалѣ, въ дѣлѣ съ Лангевичемъ, въ банду котораго бѣжалъ незадолго до того времени; названы были еще Добровольскій, открыто командовавшій шайкой, Веллертъ и Кошкадамовъ, завѣдомо бѣжавшіе за границу, и наконецъ Василій Свитка—псевдонимъ безусловно загадочный для самого Хвалынцева. Письмо было написано просто и правдиво, и отъ начала до конца дышало искренностью и горячимъ увлеченіемъ. — «Я не смѣю рассчитывать на милость и не прошу пощады, говорилось тамъ въ заключеніе. Я ожидаю заслуженной мною кары и приму ее какъ должное и справедливое возмездіе, во искупленіе моихъ заблужденій и ради очищенія своей собственной совѣсти, ради нравственнаго примиренія съ самимъ собой».

Устиновъ остался неожиданно и сильно пораженъ всѣмъ, что открыло ему это письмо, погрузившее его въ глубокое раздумье.

— Послушай, Константинъ! — заговорилъ онъ наконецъ, перечитавъ еще разъ написанное. — Я не знаю, что ты намѣренъ съ этимъ письмомъ дѣлать, но по моему не лучше ли его поскорѣй уничтожить?

— Ни за что въ мірѣ! — на-отрѣзъ отказался Хвалынцевъ.

— Но... по крайней мѣрѣ, къ кому ты намѣренъ адресовать его?

— Къ Муравьеву.

— Какъ?!.. вскопчилъ съ мѣста Устиновъ. — Къ Михаилу Николаевичу?!

— Да, къ нему непосредственно, — спокойно подтвердилъ Хвалынцевъ. — Прямой путь, самый простой и короткій, и тѣмъ болѣе, что, будучи здѣсь, въ Гроднѣ, я временно нахожусь подъ его начальствомъ, стало быть имѣю на такой поступокъ даже нѣкоторый законный поводъ.

— Сумасшедшій! Да подумалъ-ли ты...

— Э, мой другъ! — нетерпѣливо перебилъ Константинъ. — Откровенно говоря, мнѣ уже не въ-моготу больше ни мое фальшивое положеніе, ни эта проклятая неизвѣстность за свою участь. Лучше-же порѣшится все сразу и скорѣе!

— Но вѣдь изъ Вильны не жди ужъ пощады.

— Я и не жду ее. И... что бы тамъ ни было, я рѣшился... твердо и безповоротно!

Устиновъ пересталъ возражать и грустно поникъ головой.

— Еще одна послѣдняя просьба, — дружески обратился къ нему Хвалынцевъ, — во-первыхъ, до времени никому ни полслова, ни намека, — понимаешь? А во-вторыхъ, переписи ты мнѣ это къ завтраму начисто, я подпишу и — отправимъ его съ Богомъ... Только дай слово,

что непременно отправимъ! — поспѣшили онъ прибавить торопливо и заботливо.

Устиновъ отвѣчалъ молчаливымъ знакомъ согласія.

На слѣдующее утро все было исполнено по желанію Константина и письмо въ тотъ-же день пошло по назначенію, а къ ночи мѣстный военный губернаторъ получилъ уже изъ Вильны лаконическую телеграмму: «Немедленно арестовать корнета Хвалынцева, впредь до дальнѣйшаго о немъ распоряженія».

XVIII.

Русская сила.

Польскимъ патріотамъ Сѣверо - Западнаго края очень не хотѣлось вѣрить, что вновь назначенный начальникъ есть именно прежній гродненскій губернаторъ. Одни утѣшались мыслью, что назначенъ «Амурскій», другіе ласкали себя надеждой, что «Карсскій», стараясь и то, и другое мнѣніе навязывать даже русскимъ. Но сколь ни отгоняли они отъ себя эту тревожную вѣсть, она подтвердилась во всей своей силѣ: 14-го мая генералъ Муравьевъ былъ уже въ Вильнѣ.

Онъ засталъ Край въ полномъ разгарѣ мятежа. Съ разбитіемъ шаекъ на одномъ мѣстѣ, онѣ мгновенно являлись на другомъ, возникая изъ разсѣянныхъ остатковъ. Болѣе мирная часть крамольнаго дворянства ютилась на «гражданскихъ» мѣстахъ революціонной организации, тогда какъ болѣе воинственная или «завзятая» ушла въ банды. Все что было изъ шпихетства въ боевомъ настроеніи, уже ратовало въ лѣсахъ, а женщины насмѣшками и мольбами, обольщеніями и цѣной собственнаго цѣломудрія выгоняли «до ясу» и послѣднихъ изъ оставшихся почему-либо дома. Магнаты рассчитывали на «широкія плечи» вліятельныхъ защитниковъ, которые будто бы найдутся для нихъ въ Петербургѣ, и пребывали въ полной увѣренности, что правительство не рѣшится примѣнить къ нимъ лично никакой чрезвычайъ уже рѣзкой и крупной мѣры, а ксендзы точно также были твердо увѣрены, что они ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ дѣйствію закона, примѣняемаго къ мирянамъ, что ихъ судить можетъ только Римъ и установленная отъ него католическая церковная власть, въ которой они всегда найдутъ защитниковъ, а не судей, и эта увѣренность ксендзовъ въ личной своей безопасности и въ безнаказанности въ началѣ возстанія была несокрушима.

Муравьевъ, первымъ же дѣломъ, выдѣлилъ рѣзкой чертой изъ мѣстнаго населенія ополченное общество, то-есть ту среду, гдѣ именно гнѣздилась крамола. Онъ круто перемѣнилъ систему, которой до него держались въ Краѣ представители высшей русской власти, и изъ

строга оборонительной сдѣлать ее рѣшительно наступательной. Надо было прежде всего сломить увѣренность магнатовъ и ксендзовъ въ ихъ безнаказанности и въ безсиліи законной власти; и вотъ 22-го мая выкарный ксендзъ Станиславъ Ишора, за возбужденіе въ костелѣ народа къ мятежу, былъ приговоренъ къ смертной казни, въ Вильнѣ, на торговой площади. День былъ базарный, почему и собралось въ городѣ множество окрестнаго народа. Въ толпѣ были пущены увѣренія, что Муравьевъ на подобную мѣру не отважится, что «самъ Наполеонъ» ему этого не позволитъ, что это будетъ безразсудный вызовъ римскому папѣ, что вся латинская Европа вторгнется въ предѣлы Россіи искать возмездія за Ишору, что это только шутка, которая устраивается ради театральнаго эффекта, чтобы напугать страху и сейчасъ-же помиловать. Но когда всенародно, среди бѣла-дня, грянулъ залпъ — въ толпѣ раздалась стона и вопли виленскихъ горожанокъ. Первая паническая вѣсть съ необычайной быстротой разнеслась по цѣлому Краю. Черезъ два дня, 24-го мая, точно также всенародно были разстрѣляны въ Вильнѣ, за возбужденіе народа къ мятежу, двое подсудимыхъ — одинъ ксендзъ, а другой шляхтичъ. 27-го мая, графъ Леонъ Плятеръ, предводитель шайки, разбившей транспортъ съ оружіемъ близъ Креславки, былъ разстрѣлянъ въ Динабургѣ. 28-го мая, въ Вильнѣ повѣшенъ захваченный предводитель банды Колышко, уличенный кромѣ того въ разграбленіи сельскихъ правленій, общественныхъ дѣлъ и въ повѣшеніи должностныхъ лицъ. 6-го іюня, въ Ковнѣ, разстрѣляны корниѣ Бѣлздоръ, взятый съ оружіемъ въ рукахъ, а въ Могилевѣ тотъ-же приговоръ исполненъ надъ поручикомъ Корсаковымъ, надъ двумя прапорщиками Манцевичами и надъ предводителемъ шайки, эмигрантомъ Анцыпоу. 10-го іюня разстрѣляны въ городѣ Лидѣ ксендзъ Фальковский, а 15-го іюня повѣшенъ въ Вильнѣ военный воевода Литвы и Бѣлороссіи, капитанъ Сѣраковский ⁴⁾.

24-го мая по всему Краю было введено военное положеніе: въ каждомъ уѣздѣ утверждено военно-гражданское управленіе, съ безусловнымъ подчиненіемъ ему всѣхъ мѣстныхъ властей и всего населенія, при строгомъ предписаніи «ограждать крестьянское сословіе отъ покушеній мятежниковъ»; образованы сельскія

стражи и конные разъѣзды для наблюденія за проезжающими, всѣ помѣщики, ихъ прислуга, шляхта, ксендзы и римско-католическіе монастыри обезоружены, и обезоруженіе это произведено въ теченіе трехъ дней по цѣлому Краю; помѣщики обязаны жить безотлучно въ своихъ имѣніяхъ, съ возложеніемъ на нихъ строжайшей отвѣтственности за укрывательство бродягъ, за образованіе скопищъ въ чертѣ ихъ имѣній и за содѣйствіе мятежу деньгами или припасами; латинскому духовенству объявлено, что за возбужденіе населенія къ мятежу члены его подвергнутся всей строгости законовъ, «безъ принятія отговорки, что были-де вынуждены, ибо служители алтаря еще менѣе другихъ должны подчиняться симъ угрозамъ»; помѣщики, управители, настоятели монастырей, равно какъ и сельскія общества, обязаны, подѣ опасеніемъ строгаго суда, немедленно доносить о всякихъ мятежныхъ проявленіяхъ въ ихъ чертѣ; на имѣнія всѣхъ прямо или косвенно содѣйствовавшихъ мятежу, наложенъ секвестръ, и кромѣ того наложенъ на всѣхъ вообще помѣщиковъ десятипроцентный немедленный сборъ съ ихъ доходовъ на покрытіе военныхъ издержекъ; военные же суды предписано кончать безъ замедленія и приговоры тотчасъ же приводить въ исполненіе.

Но при самомъ рѣшительномъ и безпощадномъ напорѣ на крамолу, Муравьевъ понимаетъ, что ему слѣдуетъ дѣйствовать съ величайшей осмотрительностью и тактомъ, дабы, возстановляя законную власть, не подать ни малѣйшаго повода къ явному противодѣйствію ей, не дать случая никакой шальной выходкѣ, въ присутствіи власти, оказать ей неуваженіе или ослушаніе. Послѣ этихъ радикальныхъ мѣръ, крамола могла дѣйствовать только ощупью, исподтишка, всячески скрываясь отъ русскаго глаза. Но карающая сила тотчасъ являлась на мѣсто преступленія и страхомъ грознаго примѣра отбивала отъ охоты повтореній и участія. Вслѣдъ за истязаніями, произведенными на панской мызѣ, — мыза тотчасъ же была разрушаема до основанія; за истязаніями въ шляхетской «околицѣ», — околица немедленно сжигалась, шляхта выводилась на поселеніе въ Сибирь, и вслѣдъ затѣмъ плугъ бѣлорускаго хлопа вспахивалъ самое мѣсто мятежнаго поселка, чтобы и слѣдовъ его не оставалось. Нѣсколько такихъ своевременныхъ примѣровъ, — и неистовства шляхты сразу прекратились. Дворяне-землевладѣльцы и католическое духовенство, а особенно высшее, были поставлены въ неизбѣжную необходимость, безъ всякихъ увертокъ, ясно и категорически высказаться, намѣрены ли они быть вѣрноподданными. Это было для нихъ тяжелѣе всего, особенно же въ виду соблазнительнаго увѣдомленія князя Чарторыйскаго, что 16-го іюня иноземная помощь непремѣнно будетъ уже на мѣстѣ, въ предѣлахъ Польши и Жмуди. Такое увѣреніе ма-

⁴⁾ Сѣраковский, съ прїѣздомъ въ Вильну, измѣнилъ партіи красныхъ и перекинулся на сторону бѣлыхъ. Истребленіе помѣщичьихъ шаекъ въ Витебской и Могилевской губерніяхъ, равно какъ и пораженіе Сѣраковского при Гудишкахъ, были громовые удары, понесенные бѣлыми въ теченіе апрѣля мѣсяца. Красные съ самодовольствомъ смотрѣли какъ гибнуть ихъ противники: пораженіе при Гудишкахъ они привѣтствовали какъ собственную побѣду (См. Рачъ — «Матеріалы для исторіи мятежа, 1863 года», стр. 207).

гически дѣйствовало и на бѣлыхъ, и на красныхъ, которые рѣшили держаться до прибытія англичанъ, французовъ и австрійцевъ, во что бы то ни стало, а между тѣмъ слѣды революціонной литовской организаціи вскорѣ начали быстро разоблачаться. Спутанный узелъ ея развязывался нитка за ниткой. 20-го мая былъ арестованъ одинъ изъ самыхъ «сильныхъ умовъ» и наиболѣе видныхъ «филяровъ велькаго будованья», крупный собственникъ графъ Викторъ Старжинскій, а къ 1-му іюня крупныя помѣщики Осерко, Антоній Еленскій и Францъ Далевскій уже сидѣли въ крѣпости. Яковъ Гейншторъ, уцѣлѣвшій четвертый членъ комитета бѣлыхъ, отказался отъ всякихъ дальнѣйшихъ дѣйствій и совѣщаній. Такимъ образомъ, «Литовскій Отдѣлъ» партіи бѣлыхъ былъ разрушенъ въ первые же дни Муравьевскаго управленія, а съ паденіемъ этого бѣлаго комитета, въ которомъ собственно и заключалась вся нравственная и матеріальная сила возстанія, пересталъ дѣйствовать и «Петербургскій Отдѣлъ» со своимъ комиссаромъ Іосафатомъ Огрызкой. Красные снова стали у кормила революціонной власти и сгруппировались около желѣзнодорожнаго чиновника Дюлорана, которому варшавскій ржондъ передалъ главную власть надъ «Литовскимъ Отдѣломъ».

Въ это-то время Константинъ Калиновскій, сынъ бѣднаго ткача изъ-подъ Свислочи, *) бывшій студентъ Петербургскаго университета, рѣшился привести въ исполненіе свой давно задуманный планъ. Съ помощью происковъ въ центральномъ ржондѣ, предъ которымъ доселѣ онъ разыгрывалъ смиренную роль покорнѣйшаго слуги ему удалось добиться того, что Центральный Комитетъ назначилъ новыми членами въ Литовскій Отдѣлъ людей, рекомендованныхъ самимъ же Калиновскимъ. Эти люди—собственные его креатуры, находились у него въ полной нравственной зависимости. Такимъ образомъ подъ Дюлораномъ очутились помощники, замыслившіе крамолу противъ крамольнаго ржонда. Близорукій Дюлоранъ, ничего не подозревая, рекомендовалъ ихъ съ наилучшей стороны членамъ Варшавскаго Центрального Комитета, а между тѣмъ Калиновскій, помимо его, объявилъ себя самовластнымъ и независимымъ диктаторомъ Литвы; креатуры его охотно приняли «министерскіе портфели», и одураченный Дюлоранъ, боясь признаться, что прослалъ диктатуру Калиновскаго, поспежалъ въ Варшаву съ докладомъ, будто «генералъ Муравьевъ разбилъ уже вдребезги всю литовскую организацію» и будто дальнѣйшее сопротивленіе тамъ невозможно. Варшавскій ржондъ, совсѣмъ уже изъ постороннихъ рукъ узнавъ въ чемъ кроется истинное дѣло, и встревожась отложеніемъ Калиновскаго, послалъ къ нему его университет-

скаго товарища Оскара Авейде «уломать» повваго диктатора, урезонить его не отдѣляться отъ ржонда, во имя любви къ общей польской отчизнѣ. Но тщетно бѣгалъ Авейде на виленское нѣмецкое кладбище для свиданій и переговоровъ съ Калиновскимъ. Этотъ послѣдній не соглашался ни на что и заявилъ, что ему дѣла нѣтъ до «Короны», что Литва и Бѣлоруссія совершенно особое и самостоятельное государство и что «такой глупой башкѣ, какъ Варшава, нельзя вручать судьбу Западнаго края».

Между тѣмъ «бѣлые» увидѣли уже ясно всю безвыходность своего положенія; 16-го іюня прошло, а иноземная помощь не явилась, зато Муравьевъ день-о-то-дня все больше и суровѣе налагаетъ на нихъ свою желѣзную руку. Литовскіе паны исподтишка стали «отцураться» отъ возстанія, заявлять себя невинными жертвами, сваливать всю вину на красныхъ и уже подумывали о поднесеніи вѣрноподанническаго адреса. Заваривъ кашу, они спѣшили теперь удалиться отъ ея расхлебыванья. Тщетно диктаторъ Калиновскій внушалъ своимъ подручнымъ, что «революціонныя власти должны съ неподатливыми жителями обращаться суровѣе власти правительственной». Страхъ закона пересилилъ страхъ революціоннаго террора. Въ половинѣ іюня Вильна уже совершенно преобразилась и все болѣе и болѣе принимала видъ русскаго города. Польскіе патріоты боялись подать даже малѣйшую тѣнь своего недавняго нахально-крамольнаго настроенія, и ясно стало всему городскому населенію, что законная власть вполнѣ утвердилась. Все обратилось къ обычнымъ, мирнымъ занятіямъ, съ особеннымъ торжествомъ праздновались царскіе дни, на площадяхъ гремѣла музыка, собирався и гулялъ народъ. Въ день тезоименитства Государыни, 22-го іюля, Вильна со всѣми своими переулками заблистала вечеромъ великолѣпной иллюминаціей: для каждаго окна нашлась покорная рука, которая зажгла свѣчи, а костелы точно желали перепедаголить другія зданія и, соперничая между собой, изошрялись въ блестящія декоративныя иллюминаціи... А казалось бы, давно ль было время, когда въ день рожденія Государя, 17-го апрѣля, городъ былъ погруженъ въ глубокій мракъ, и на темной улицѣ, предъ однимъ казеннымъ зданіемъ; едва освѣщеннымъ нѣсколькими плашками, толпа школьниковъ вопила: «Ахъ, какая блистательная, какая торжественная иллюминація!».. Давно ли кадеты вилецкаго корпуса громкими возгласами заявляли изъ оконъ свое неудовольствіе командиру гвардейскаго полка, который стоялъ передъ строемъ; давно ли русское духовенство, въ которое плевали при встрѣчахъ, избѣгало выходить изъ домовъ, и по городу ходили слухи о рѣзнѣ русскихъ то въ ночь на Страстную пятницу, то на Свѣтло-Христово Воскресеніе, и русскіе тревожно баррикадировали окна и две-

*) Гродненской губерніи Волковыскаго уѣзда.

ря, готовясь къ отпору, на случай ночного нападенія; давно ли, въ ожиданіи скорого прибытія французовъ, поляки лукаво перемигивались, когда гвардейцы перемональными маршемъ вступали въ Вильну, послѣ разбитія шаекъ. «Какой-то маршъ заиграютъ москѣли, когда пойдутъ за Двину?» громко раздавались при этомъ изъ толпы бахвальныя возгласы. Давно-ли наконецъ, помѣщики, снаряжавшіе у себя шайки, напѣвали въ то же время русской власти свою старую пѣсню о «легальности» и жаловались, что русскіе священники подзадориваютъ крестьянъ къ бунту противъ пановъ-землевладѣльцевъ, такъ что подъ воздѣйствіемъ такихъ напѣвовъ, военачальники не знали что имъ предстоитъ на завтра: писать ли реляціи о разбитіи шаекъ, или оправдательные отвѣты противъ заявленій польской легальности. Казалось бы давно ли все это творилось?

А теперь...

27-го іюля торжественно былъ представленъ дворянствомъ вѣрноподданнической адресъ. «Красные» пришли въ ужасъ. Они вѣдь хорошо понимали, что одними своими силами, безъ нравственной и, главное, безъ матеріальной поддержки дворянства, въ Литвѣ они ничего не подѣлаютъ, и потому рѣшились удерживать силою террора выскользающее изъ заговора дворянство. Но Муравьевскія мѣры нагнали такого страха, что изъ мѣстныхъ жандармовъ-князьяльщиковъ, несмотря на всѣ старанія Калиновскаго, не нашлось ни одного, который рѣшился бы привести въ исполненіе кровавый декретъ диктаторскаго трибунала. За наемными убійцами пришлось посылать въ Варшаву; и вотъ, въ отместку за адресъ, 29-го іюля, въ квартиру виленскаго губернскаго предводителя дворянства г. Домейко, вошелъ подъ благовиднымъ предлогомъ неизвѣстный человѣкъ, нанесъ ему нѣсколько ранъ кинжаломъ и скрылся на улицѣ.

Слѣдствія этого покушенія были до того ужасны для литовской организаціи, что Калиновскій и его друзья назвали «іюльской катастрофой» ударъ, разразившійся надъ ними. Убійца и его товарищъ были пойманы, несмотря на то, что обрили себѣ усы и бороды и перерядились въ женское платье. Весь городъ въ одну ночь былъ подвергнутъ общему повальному обыску, причемъ открыты всѣ городскіе жандармы-князьяльщики, вся городская организація и все управленіе диктатора. Въ теченіе августа семь человѣкъ ближайшихъ исполнителей террора были повѣшены въ Вильнѣ. Эти казни и аресты нагнали на заговорщиковъ такой панический ужасъ, что изъ Вильны разбѣжались всѣ уцѣлѣвшіе приспѣшники диктатора. Калиновскій остался одинъ, и даже ржондъ варшавскій прекратилъ свои домогательства укротить и подчинить его своей власти. Ржондъ хотѣлъ теперь помимо его отвоевать

себѣ Сѣверо-Западный край и потому снова собрали шайки съ Августовской губерніи, для вторженія въ предѣлы Гродненской и Ковенской территорій. Августовскіе крестьяне отвѣтили на эту новую попытку извѣстной депутаціей, которая 6-го августа явилась къ Муравьеву, прося его принять августовскихъ крестьянъ подъ свою защиту для спасенія отъ неистовствъ и насилій.

«Іюльская катастрофа», такъ-сказать, наступила мятежу на горло и окончательно задавила его въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Дальнѣйшія проявленія были уже только агоніей, предсмертными его судорогами. Такіе результаты были достигнуты глубоко обдуманнѣе, а главное — рѣшительными мѣрами. Исполнено было то, что до того почиталось невозможнымъ.

Муравьевъ за мятежными шайками, за этимъ видимымъ проявленіемъ мятежа, видѣлъ и скрытую во тьмѣ мятежную организацію, а за этою послѣднею — мятежную польскую интеллигенцію, питаемую шляхетными традиціями и іезуитизмомъ костела, изъ-за которыхъ на почвѣ сѣверо-западной Россіи періодически возобновляется борьба русской силы съ чужезднымъ полонизмомъ.

Но наконецъ-то русскіе люди увидѣли въ этомъ Краѣ возрожденіе общественныхъ признаковъ русскаго господства и русской жизни, увидѣли возобновленіе разрушавшихся православныхъ храмовъ, администрацію — русскую по своему личному составу, водвореніе русскаго языка въ школахъ, въ общественныхъ и присутственныхъ мѣстахъ, русскія выѣски, русскія гульбища, русскій театр. Но рядомъ съ этими наружными признаками были положены и внутреннія начала къ кореннымъ преобразованіямъ. Едва прошло двѣ недѣли со дня прибытія Муравьева — мятежъ еще кипѣлъ и бушевалъ, паны и шляхта были полны еще тревожныхъ ожиданій иноземной вспомогательной силы, а Муравьевъ, чуя за собою мощный голосъ цѣлой поднявшейся Россіи, и ободренный настроеніемъ мѣстнаго русскаго земледѣльческаго населенія, сдѣлалъ уже первыя распоряженія объ устройствѣ быта сельчанъ, основанныя на истинномъ духѣ и смыслѣ «Положеній 19-го февраля», а не на своекорыстныхъ и лукавыхъ изворотахъ польской «легальности». Призванные сюда русскіе мировые посредники приступили къ дѣлу въ духѣ закона, равно обязательнаго для обѣихъ сторонъ — столь же и для пановъ, сколько и для хлопцовъ, а озабоченное мѣстное дворянство, искони привыкшее понимать, что дѣйствіе закона есть собственно не что иное, какъ пристрастная поддержка его дворянскихъ выгодъ и интересовъ — это дворянство завопило въ заграничныхъ листкахъ «о правильно организованномъ грабежѣ», о социализмѣ и коммунизмѣ Муравьева и его посредниковъ. Въ іюлѣ повѣрочныя коммисіи уже при-

ступили къ работамъ, а въ то же самое время были положены прочныя начала и къ тому, чтобы мѣстныя воспитательныя и учебныя заведенія не могли уже быть на будущее время разсадниками ополченныхъ патріотовъ и патріотокъ. Русскій народъ и русское преподаваніе смѣло, какъ коренные хозяева, вошли въ мужскія и женскія гимназіи и школы, а вмѣстѣ съ тѣмъ даны были широкія средства и приложено полное вниманіе къ учрежденію наивозможно большаго числа чисто-русскихъ сельскихъ школъ для образованія народа.

XIX.

Желѣзный человѣкъ.

Арестъ Хвалынцева продолжался нѣсколько недѣль. Въ теченіе этого времени одинъ только докторъ Холодецъ да Татьяна, въ качествѣ гостиничной «сестры», могли навѣщать его въ положенное время. Они знали теперь причину этого ареста, узнали и тотъ путь, который вовлекъ Константина въ заговоръ, и тѣ нравственные укоры, которые суждено ему было переиспытать, и потому-то теплое, дружеское участіе обоихъ служило ему не малымъ источникомъ нравственной поддержки и утѣшенія: въ ихъ лицѣ онъ видѣлъ, что порядочные люди отъ него не отвернулись, что дѣвушка, любившая его когда-то, остается ему добрымъ другомъ, со всею ободряющею силою, со всею мягкою деликатностью, на которую бываетъ способно всепрощающее, простое и чистое сердце женщины. Ни намекомъ, ни взглядомъ никогда не выразила она ему ни малѣйшаго упрека за прошлое, но при этомъ слово «любовь» все же не выговаривалось какъ-то между ними. Татьяна новая, какую узналъ и понялъ онъ только теперь, оставалась для него, какъ и въ первое время болѣзни, только другомъ, только «сестрой». Что касается суроваго будущаго, которое должно послѣдовать за этимъ арестомъ, Константинъ и теперь, какъ прежде, ждалъ его покорно и спокойно. Порою одно только удивляло и его, и друзей его: это то, что дни ареста проходили за днями, а между тѣмъ онъ ни разу еще не былъ подвергнутъ даже предварительному допросу со стороны мѣстной военно-слѣдственной комиссіи. Холодецъ попытался развѣдать стороною, есть ли въ этой комиссіи какое-либо дѣло или переписка о Хвалынцевѣ, но оказалось, что ни дѣла, ни переписки никакой не имѣется, да и не было.

Между тѣмъ, леченіе пришло къ благополучному концу; Константинъ чувствовалъ себя уже совершенно здоровымъ и могъ легко и свободно владѣть рукою. Онъ подалъ рапортъ о выздоровленіи и въ тотъ-же день былъ перемѣщенъ на городскую гауптвахту. Здѣсь уже посѣщенія друзей поневоля прекратились, такъ

какъ, при строгомъ арестѣ, къ нему не допускали никого.

Однажды, раннимъ утромъ, въ камеру, гдѣ содержался Хвалынцевъ, вошелъ жандармскій поручикъ и разбудилъ его.

— Потрудитесь поскорѣе одѣться: вы должны немедленно ѣхать,—сообщилъ онъ.

— Куда?.. Вѣрно, въ комиссію?.. Наконецъ-то!—проговорилъ Константинъ, испытывая даже чувство нѣкотораго довольства при мысли, что сообщеніе жандармскаго офицера, вѣроятно, предвѣщаетъ ему скорый конецъ той томительной скуки и темной неизвѣстности, въ которыхъ находился онъ со дня перемѣщенія на гауптвахту.

— Вы ѣдете въ Вильну,—продолжалъ жандармъ.—Я получилъ предписаніе сопровождать васъ по желѣзной дорогѣ.

— Въ такомъ случаѣ,—сказалъ Хвалынцевъ,—вамъ, вѣроятно, извѣстно, и то мѣсто, куда вы должны меня сдать по пріѣздѣ?

— Безъ сомнѣнія,—улыбнулся жандармскій поручикъ.

— А не будетъ съ моей стороны нескромностью, если я спрошу васъ куда именно?

— Ни мало... Отчего-же!

— Въ такомъ случаѣ?..

— Мнѣ вѣрно доставить васъ непосредственно къ генералъ-губернатору,—сообщилъ офицеръ.—Однако, одѣвайтесь живѣе,—поторопиль онъ арестанта, взглянувъ къ себѣ на часы.—Мы отправляемся сейчасъ-же, съ утреннимъ поѣздомъ.

Хвалынцевъ не заставилъ долго ожидать себя и чрезъ десять минутъ, вмѣстѣ съ конвоиромъ, ѣхалъ уже на желѣзную дорогу.

* *

Пріемная зала въ вилекомъ дворцѣ была полна посѣтителями, когда дежурный адъютантъ ввелъ туда Хвалынцева, который былъ сданъ ему съ рукъ на руки жандармскимъ офицеромъ.

Константинъ скромно помѣстился у края окна и издали сталъ осматривать присутствовавшихъ. Все, что собралось здѣсь, ожидало утренняго выхода грознаго генерала. Затѣненное безпокойство, робость и томленіе ясно отпечатлѣвались на многихъ лицахъ изъ числа тѣхъ, которымъ довелось еще впервые присутствовать и ожидать въ этой залѣ. Въ одномъ концѣ стояла, тихо разговаривая, группа военныхъ генераловъ и штабъ-офицеровъ, затянутахъ въ полную парадную форму; въ другомъ—группа статскихъ чиновниковъ, между которыми видѣлось два-три священника и нѣсколько черныхъ фраковъ съ серебряными крестами въ память работъ по освобожденію крестьянъ и съ широкими золотыми цѣпами на шеѣ. То были нѣкоторые изъ новыхъ мировыхъ посредниковъ, вызванныхъ изъ внутренней Россіи. Рядомъ съ ними въ какомъ-то на-

пряженномъ и благоговѣйно-чинномъ молчаніи, стояло нѣсколько крестьянскихъ депутацій со своими сельскими старостами и старшинами; нѣсколько евреевъ съ раввиномъ, нѣсколько смиренноликыхъ ксендзовъ и монастырскихъ опатовъ (настоятелей), десятка полтора пановъ-помѣщиковъ, предстоявшихъ здѣсь частію во фракахъ, но болѣе въ своихъ дворянскихъ мундирахъ, затѣмъ нѣсколько обывателей съ разными просьбами и нѣсколько польскихъ дамъ-просительницъ подъ вуалями, съ блѣдыми и грустными лицами, которые такъ не гармонировали съ веселымъ и свѣтлымъ цвѣтомъ ихъ нарядовъ... Тутъ былъ и панъ Пшепендовскій, «соприсоединившійся и возсокупившійся», которому, послѣ неудачнаго постанія, очень хочется съ помощью «возсокупленія», вынырнуть на теплое мѣстечко, «для того какъ онъ наусегда былъ вѣрнымъ собакой и увесъ животъ свой подъ престолъ отечества желаетъ подложить». Тутъ были и панъ грабя Слосципскій, который съ юркостью вертѣлся между русскими чиновниками, найдя среди ихъ своихъ петербургскихъ знакомыхъ и видимо желая показать предъ «вилѣнскими родаками», что онъ тутъ «свой человѣкъ», на короткой и независимой ногѣ, «совсѣмъ sans façon», и потому, значитъ, онъ «сила», дипломатъ, политикъ и необычайно ловко умѣетъ обдѣлывать свои дѣлишки.

Вглядываясь пристальнѣе, Хвалынцевъ, среди дворянской группы, замѣтилъ и своего знакома, пана Котырло, который тоже явился сюда съ заявленіемъ о своемъ всегдашнемъ «наивѣрнопреданствѣ», делѣя мысль «о примиреньи и забвенью». Надъ этими двумя группами ксендзовъ и пановъ, по преимуществу, вѣялъ духъ томленья и унынія, который они старались прятать подъ личиною кротости и покорства.

Но вотъ распахнулись двери—и изъ смежной комнаты, среди мертвой тишины, водворившейся въ залѣ, ясно послышался звукъ старчески медленныхъ, но твердыхъ шаговъ. Хвалынцевъ могъ замѣтить, какъ невольно поблѣднѣли и вытянулись польскія лица при мѣрномъ стукѣ этой походки. Несмотря на все свое предшествовавшее спокойствіе, онъ самъ почувствовалъ внутри себя нѣчто жуткое, замирающее, при наступленіи минуты, которую имѣлъ полное право считать для себя рѣшительной и роковой.

Въ дверяхъ показалась столь характерная и всѣмъ извѣстная фигура.

Ни на кого не глядя, ни къ кому не обращаясь, генераль вышелъ на середину залы и, сдѣлавъ общій поклонъ, не торопиво, но зорко и внимательно, нѣсколько исподлобья осматриваясь вокругъ и обвелъ своимъ пристальнымъ взглядомъ одну за другой всѣ собравшіяся группы. Затѣмъ, замѣтивъ православныхъ свя-

щенниковъ, направился прямо къ нимъ и подошелъ подъ благословеніе сѣдовласаго протоіерея, какъ старшаго между ними. Внимательно выслушаны были просьбы и заявленія священниковъ, и еще внимательнѣй и радужнѣй были они отпущены послѣ аудіенціи. Смиренноликіе ксендзы, искоса поглядывая на нихъ, достаточно могли понять и оцѣнить значеніе и смыслъ такого приѣма и предпочтенія, оказаннаго прежде всѣхъ представителямъ православнаго духовенства, тогда какъ до Муравьева это предпочтеніе всегда принадлежало имъ, а не русскимъ священникамъ.

Послѣдовало представленіе военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, затѣмъ крестьянскихъ депутацій и наконецъ дошла очередь до пановъ-помѣщиковъ. Съ тѣмъ же сосредоточеннымъ вниманіемъ выслушивалъ генераль заявленіе каждаго изъ нихъ и негромкимъ голосомъ дѣлалъ свои вопросы и замѣчанія. Этотъ голосъ былъ тихъ, совершенно спокоенъ и въ высшей степени ровенъ, таковъ же точно былъ и взглядъ; но предъ этимъ голосомъ и взглядомъ, гдѣ просвѣчивала желѣзная, непреклонная воля, испытывали неодолимое смущеніе и трепетъ тѣ самые магнаты, которые искони сами привыкли, чтобы предъ ними все преклонялось и трепетало. А какъ были глубоко почтительны и низки тѣ поклонны, которые отвѣшивали эти гордыя головы и негнущія спины, когда генераль, выслушавъ одного, переходилъ къ слѣдующему!.. При видѣ этого человѣка, Хвалынцевъ въ этой сдержанности и строгой простотѣ его почувствовалъ присутствіе дѣйствительной и громадной нравственной силы, предъ которою невольно гнулась и нѣмѣлая сила, заносчивая, кичливая и самонадѣянная.

Но вотъ, обходя постепенно присутствовавшихъ, генераль остановился, наконецъ, предъ Константиномъ и поднялъ на него взоръ съ выраженіемъ вопроса.

— Корнетъ Хвалынцевъ,—назвалъ его дежурный адъютантъ, слѣдовавшій за генераломъ съ листкомъ бумаги, на которомъ записаны были фамиліи представлявшихся.

Старикъ нѣсколько мгновений держалъ Константина подъ магнетическимъ вліяніемъ своего пристальнаго, твердаго и внимательнаго взгляда, который былъ встрѣченъ однако взглядомъ открытымъ и прямымъ, и затѣмъ, съ легкимъ полупоклономъ промолвивъ «пождитѣ», отошелъ по порядку къ одной изъ просительницъ.

Минутъ чрезъ двадцать аудіенціи были окончены, и тѣ же твердые, медленные шаги затихли за затворившеюся дверью. Публика мало-по-малу удалась, и наконецъ Хвалынцевъ остался одинъ въ этой громадной опустѣвшей залѣ, которая на своемъ долгомъ вѣку видѣла въ своихъ бѣлыхъ стѣнахъ столько мо-

нарховъ и столько историческихъ личностей. Но вотъ, чрезъ нѣсколько минутъ появился вновь дежурный адъютантъ и пригласилъ Хвалынцева слѣдовать за собою въ кабинетъ генералъ-губернатора.

При этомъ у Константина невольно екнуло и шибче забилося сердце. Роковая минута наступила. Онъ постарался собрать все присутствіе духа, чтобы, по возможности, спокойно и тверже переступить порогъ кабинета, предъ дверью котораго адъютантъ его оставилъ, пригласивъ жестомъ слѣдовать далѣе.

Хвалынцевъ очутился въ довольно обширной и чрезвычайно просто убранной комнатѣ, гдѣ стояли старинной формы стулья и кресла съ деревянными спинками и кожанымъ сидѣньемъ, старинные большіе часы, огромная карта Сѣверо-Западнаго края и очень большой рабочий столъ, за которымъ, въ разстегнутомъ сюртукѣ, съ дымящимся длиннымъ чубукомъ сидѣлъ тотъ, котораго звали «грозою литвиновъ».

Онъ тяжело, съ нѣкоторымъ усиліемъ, поднялся съ кресла и пригласилъ Хвалынцева приблизиться.

— Я получилъ ваше письмо, — началъ онъ все тѣмъ же тихимъ и ровнымъ голосомъ, глядя ему прямо въ глаза своимъ неотводнымъ и внимательно испытующимъ взглядомъ. — Долженъ сознаться, — продолжалъ онъ, — что это письмо понравилось мнѣ, оно писано очень искренно и съ честнымъ чувствомъ. Однако же я счелъ нужнымъ на время арестовать васъ. Это, между прочимъ, нужно было и затѣмъ, чтобы собрать о васъ болѣе полныя свѣдѣнія да и провѣрить отчасти то, что вы говорите. Очень радуюсь, что собранные факты вполне подтвердили о васъ доброе мнѣніе, которое я составилъ себѣ, судя по этому письму. Вы увлеклись, конечно, но... кто молодъ не былъ!... И притомъ же вы собственною кровью дважды искупили ваше заблужденіе. Этого довольно. Возвращаю вамъ ваше оружіе — вы свободны отъ ареста.

И съ этими словами онъ подалъ Хвалынцеву его саблю.

Константинъ могъ ожидать всего, но ужь никакъ не такого исхода. Онъ едва вѣрилъ своимъ глазамъ и уху — до такой степени расходился фактъ, совершившійся сію минуту, съ представленіемъ о «безсердечномъ варварѣ», о «виленскомъ палачѣ», какъ трубили объ этомъ человѣкѣ на весь міръ европейскія газеты. Лучъ безпредѣльной, глубокой и живой благодарности краснорѣчиво, хоть и безмолвно сверкнулъ въ радостномъ взорѣ Хвалынцева.

Старикъ замѣтилъ это и добродушно слегка улынулся.

— Садитесь, корнетъ!.. Потолкуемъ! — указавъ на кресло, вдругъ неожиданно предложилъ онъ, когда тотъ подстегнулъ возвращенную саблю. И, къ пущему удивленію Хвалын-

цева, въ тонѣ, которымъ были сказаны послѣднія слова, и въ томъ выраженіи лица, какое ихъ сопровождало, вдругъ оказалось необычайно много доброй и разумной простоты и такой сердечности, которая встрѣчается какъ коренное свойство въ матерыхъ русскихъ натурахъ. Это широкое, старчески-обрюзгое лицо, озаренное теперь благодушно-серьезной улыбкой, этотъ чубукъ, дымящійся въ губахъ, спокойные, умные глаза и даже этотъ сюртукъ разстегнутый — все это такъ живо, такъ наглядно представляло патриархальный, безпритязательный типъ русскаго, матераго барина, въ его простомъ деревенскомъ обиходѣ, и ничто не напоминало въ немъ того грознаго человѣка, предъ которымъ нѣсколько минутъ назадъ трепетало столько человѣческихъ существованій.

— Я получилъ о васъ наилучшую аттестацію отъ вашего командира, — заговорилъ старикъ, пыхтя изъ своей трубки. — Васъ рекомендуютъ, какъ дѣльнаго и даровитаго офицера, да кромѣ того, вы изъ университета, стало-быть, человѣкъ не безъ образованія... Скажите, какія ваши намѣренія, и вообще, что вы думали бы относительно дальнѣйшей вашей жизни?

— Служить, — отвѣтилъ Хвалынцевъ.

Генералъ на минуту задумался.

— Хотите служить у меня? — предложилъ онъ. — Мы, дастъ Богъ, сойдемся поближе, я узнаю покороче ваши способности, и тогда... мнѣ сдается, что вы съ пользою могли бы послужить въ этомъ Краѣ по крестьянскому дѣлу. Что вы на это скажете?

Константинъ сказалъ, что служба этого рода всегда казалась ему очень симпатичною, что еще въ университетѣ, прежде вступленія на военное поприще, онъ предполагалъ посвятить себя именно этой службѣ, въ губерніи, гдѣ находится его имѣніе, и съ этою цѣлью изучалъ «Положеніе 19-го февраля» и внимательно слѣдилъ за ходомъ крестьянскаго дѣла.

Умный и проницательный старикъ въ дальнѣйшемъ разговорѣ очень тонко и незаметно сумѣлъ, такъ-сказать, выщупать и проэкзаминовать Константина относительно его знакомства съ крестьянскимъ дѣломъ и, въ концѣ концовъ, остался доволенъ полученными результатами.

— Я зову васъ къ себѣ именно для крестьянскаго дѣла, — замѣтилъ онъ, подымаясь съ мѣста, причемъ, конечно, поднялся и Хвалынцевъ. — Въ здѣшнемъ Краѣ это теперь самое настоящее и святое дѣло, для котораго мнѣ прежде всего нужны честные люди. Но, — продолжалъ генералъ, — прежде чѣмъ приступить вамъ къ работѣ, я хочу, чтобы вы исполнѣ познакомились съ моимъ взглядомъ на условія жизни этого края. Помните, что Сѣверо-Западный край — *Россія*, а проживающіе въ немъ враждебные Россіи поляки и ополяченные сотруд-

ники польской sprawy суть измѣнники и мятежники, безъ всякихъ облегчающихъ обстоятельствъ. Мои мѣры круты, я знаю это, но всѣ мои мѣры истекаютъ изъ одного основнаго положенія: очистить эту русскую землю отъ всего польскаго наноса, истребить, искоренить все, что польская интеллигенція, русской жизни враждебная, исподволь успѣла вдавить крамольнаго въ русскую почву и которая въ теченіе пяти вѣковъ терзала здѣсь Русскую землю. Вы должны твердо помнить и глубоко сознавать, что здѣсь народъ—*русскій*, шляхетство—*ополяченное*, а каждый вновь воздвигаемый костель—новое знамя для мятежной борьбы противъ русской жизни. Таковъ окончательный выводъ изслѣдованій минувшихъ судебъ и настоящаго положенія западной Россіи. И когда, съ изгнаніемъ полонизма, ополяченный Западный край снова станетъ русскимъ, тогда немислямо будетъ никакое возстаніе и въ Польшѣ; тогда исчезнутъ и иноземныя надежды имѣть въ полякахъ постоянную фистулу противъ силы Россіи ¹⁾).

XX.

„Патріоты“.

Такъ какъ Хвалынцевъ былъ привезенъ въ Вильну только въ томъ, что было на немъ надѣто, то ему въ тотъ же день пришлось возвратиться въ Гродну, чтобы взять тамъ свое бѣлье и кое-какія необходимыя вещи, доставленныя къ нему изъ эскадрона еще во время леченія его въ госпиталь.

Торопясь захватить пассажирскій поѣздъ, онъ изъ дворца поѣхалъ прямо на желѣзную дорогу.

Свѣтло и мирно было теперь у него на душѣ, точно бы съ него разомъ сняли тяжелый гнетъ, точно бы почувствовалъ онъ въ себѣ приливъ новыхъ силъ, новой энергіи и нравственной бодрости. Съ свѣтлымъ упованіемъ и вѣрой смотрѣлъ онъ на будущее, на честный и серьезный трудъ, который предстоитъ ему вскорѣ. Словно изъ бронзы отлитый, вставалъ передъ нимъ типичный и характерный образъ старика, желѣзнаго деспота, предъ которымъ въ залѣ трепетало столько людей, и добраго, простаго человѣка, который въ своемъ кабинетѣ успѣлъ чутко подмѣтить честное сердце въ молодомъ человѣкѣ, разглядѣть на что онъ годенъ, ободрить, поднять его нравственно своимъ довѣріемъ и сразу приурочить къ тому дѣлу, гдѣ онъ могъ принести самую существенную пользу своей странѣ и народу. Съ признательнымъ, горячимъ чувствомъ въ душѣ, Константинъ далъ самому себѣ обѣтъ посвятить всю жизнь,

всѣ силы свои этому благому дѣлу и честно идти твердымъ, неуклоннымъ путемъ къ той цѣли, которую показалъ ему прозорливый и разумный опытъ сильнаго умомъ и волей «желѣзнаго человѣка».

Наскоро пообѣдавъ въ столовой дебаркадера, онъ взялъ билетъ и поспѣшилъ заранѣе занять себѣ въ вагонѣ мѣсто поудобнѣе. Въ томъ отдѣленіи, дверцу котораго растворилъ предъ нимъ кондукторъ, сидѣлъ уже какой-то пассажиръ. Хвалынцевъ помѣстился напротивъ и искоса оглядывалъ его такимъ взглядомъ, какимъ всегда оглядываютъ входящіе въ вагонъ своего случайнаго сосѣда. Это былъ тучный, отмѣнно упитанный человѣкъ несомнѣнно російскаго, черноземнаго пошиба, представитель тѣхъ благосклонныхъ и мирныхъ захолустій, отъ которыхъ, по выраженію гоголевскаго городничаго, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Что-то смутно знакомое, гдѣ-то видѣнное, когда-то встрѣченное сказалось Хвалынцеву въ лицѣ и во всей фигурѣ упитаннаго соотечественника. «Кто бы такой это могъ быть?» подумалось ему въ то время какъ пыливый взглядъ искоса еще разъ скользнулъ по лицу сосѣда?—«Ба!.. да вѣдь это славнобубенскій привилегированный и празднопроживающій острякъ и философъ Подхалютинъ!» вдругъ доめкнулся онъ, ясно припомнивъ себѣ даннаго субъекта съ послѣднимъ брошеннымъ на него взглядомъ. Константинъ уже хотѣлъ было сказать ему «здравствуйте!» но во время вспомнилъ, что представлены они другъ другу не были, а только встрѣчались кое-когда и кое-гдѣ въ славнобубенскомъ обществѣ. Поэтому, вмѣсто «здравствуйте», онъ прислонился поудобнѣ въ уголъ своего эластическаго сидѣнья и развернулъ предъ собою нумеръ какой-то петербургской газеты, купленный на станціи.

Уже пробилъ второй звонокъ, когда передъ дверцею вагона послышался снаружи чей-то хрипло-басистый голосъ:

— Кондукторы!.. Эй! Что вы, дьяволы, оглохли здѣсь, что ли? Или, полячье, по-русски не понимаете?.. Я васъ выучу, р-ракаліи!.. Отводи мнѣ мѣсто въ вагонѣ, гдѣ попросторнѣе!

Кондукторъ раскрылъ дверцу и между Хвалынцевымъ и его vis-a-vis неуклюже полѣзла въ вагонъ чья-то кудластая, бородастая, несуразная и высокая фигура, съ поднятымъ до ушей воротникомъ толстаго пальто, въ надвинутой на глаза войлочной шляпѣ, съ сакъ-воляжемъ, дубиной, подушкой, шляпнымъ футляромъ и волочащимся пледомъ. Фигура наконецъ втѣзла, ворча себѣ подъ носъ какіе-то нелестныя эпитеты, невѣсть къ кому обращенныя, и повернувшись задомъ къ своимъ сосѣдямъ, съ кряхтѣньемъ и сапомъ стала возиться въ другомъ концѣ отдѣленія, размѣшая и прилаживая свои дорожныя вещи.

Хвалынцевъ, не обращая вниманія на не-

¹⁾ Подлинныя слова и мысли графа М. Н. Муравьева (См. В. Рачъ, стр. 219 и 239).

уклюжую возню новаго пассажира, продолжалъ читать свою газету, какъ вдругъ:

— Ба, ба, ба!.. Знакомыя всѣ лица!—раздался около него пріятно удивленный голосъ, и прежде чѣмъ успѣлъ онъ опомниться, его уже облапили чьи-то безцеремонныя объятія, а уста, обрамленные мохнатою растительностью, напечатлѣли на щекѣ его мокрый поцѣлуй. Отъ этихъ устъ Константина обдало спиртуознымъ букетомъ, и едва успѣлъ онъ нѣсколько отстраниться да поднять глаза, какъ вдругъ, къ необычайному изумленію своему, воочию узрѣлъ предъ собою Ардальона Полоярова.

— Не ожидали-съ?.. Признаюсь, оно точно!.. Ха, ха, ха!.. И самъ я не ожидалъ, ей-Богу!.. Здравствуйте, батенька!—говорилъ онъ своимъ обычнымъ безцеремоннымъ тономъ повидимому вовсе не замѣчая того холодно-удивленнаго взгляда, которымъ уставился на него Хвалынцевъ. Быть можетъ, впрочемъ, къ такому настроенію располагало Ардальона Михайловича то состояніе «легкаго подпитія», въ какомъ обрѣтался онъ въ данную минуту.— Астафій Егорычъ! Батенька! Голубчикъ! А вы-то здѣсь какими судьбами?—отвернувшись на минуту отъ Хвалынцева, говорилъ межъ тѣмъ Ардальонъ Подхалютину, растопыряя предъ нимъ руки и готовясь точно также заключить и его въ свои непрошенныя объятія.

— Извините... Съ кѣмъ имѣю честь?—както затруднительно поживаясь, промямлилъ ему Подхалютинъ.

— Господи!.. Да неужели не признали?.. Ардальона-то Полоярова?.. Батенька!.. Это вѣдь я самый!.. Въ Славнобубенскѣ то мы съ вами хоть и не близко были знакомы—такъ только, встрѣчались кое-гдѣ, но я помню какъ вы всѣхъ этихъ тамошнихъ прохвостовъ отлично чехвостили, и я всегда вамъ въ томъ сочувствовалъ и отъ всей души за то вамъ въ ножки кланяюсь и уважаю!

Эта несуразая, грубая лестъ не осталась однако безъ воздѣйствія на податливую натуру отроscopic, который впрочемъ, не зная близко господина Полоярова, могъ относиться къ нему вполне безразлично, и потому подкупленный его «сочувствіемъ», «уваженіемъ» и «поклономъ въ ножки», съ радушной улыбкой, словно бы и въ самомъ дѣлѣ узнавъ въ его лицѣ своего хорошаго стараго знакома, протянулъ ему руку.

Полояровъ, которому такое пожатіе, что называется, «пошло въ повадку», не замедлилъ тотчасъ же подѣбсть къ Подхалютину рядомъ.

— Ахъ, батенька,—заговорилъ онъ даже въ нѣсколько умиленномъ тонѣ,—просто, не повѣрите вы, какъ то-есть это пріятно здѣсь, въ этомъ краѣ, такъ-сказать, просто на чужбинѣ, среди этого, знаете, подлага полячья, вдругъ

встрѣтиться съ настоящимъ русскимъ человекомъ! Да еще со старымъ знакомымъ, съ землякомъ! Вѣдь, это то-есть, просто какъ родного встрѣтишь!

«Однако что жъ это такое?» подумалъ себѣ при этихъ словахъ Хвалынцевъ, кинувъ изъ-за газеты любопытный взглядъ на Полоярова. «Что за метаморфоза?.. Ардальонъ Полояровъ въ роли «патріота» да еще не просто, а квасного патріота!.. Курьезъ да и только!»

И онъ, оставя на время газету, рѣшился не только прислушаться, но даже, если потребуется, то и вступить съ Ардальономъ въ подходящий разговоръ, лишь-бы уяснить себѣ смыслъ и значеніе явленія столь неожиданнаго и курьезнаго.

— Ну, скажите вы мнѣ, — говорилъ межъ тѣмъ Ардальонъ отроscopicу,—давно-ли вы изъ Славнобубенска?

— Не болѣе недѣли,—отвѣчалъ тотъ.

— И вѣрно за-границу катите?

— Я-то?.. А что я тамъ забылъ? Что мнѣ тамъ дѣлать?.. Я вѣдь безъ крайней нужды не ѣзжу никуда, все больше дома привыкъ сидѣть. А здѣсь, вотъ неподалеку... Въ Гродненскую губернію ѣду.

— Батенька! Да вѣдь и я туда-же! — радостно выпучилъ глаза Ардальонъ Михайловичъ.

«Вотъ те и на!» подумалъ при этомъ Хвалынцевъ. «Какъ это, зачѣмъ и для чего-бы Полоярову ѣхать вдругъ въ Гродненскую губернію?»

— Нѣшто на службу? — слегка нахмурился Полояровъ, уставясь съ серьезнымъ видомъ на Подхалютина.

— Нѣтъ, имѣніе покупать,—объявилъ упитанный философъ.—Русскому дѣлу, батюшка, послужить хочется... Теперь ва Краѣ, пишутъ вонъ въ газетахъ, требуется усиленіе русскаго землевладѣльческаго элемента, и сказываютъ, что изъ конфискованныхъ имѣній есть прекрасныя, и будто вскорѣ можно будетъ любое пріобрѣсти за сущіе пустяки, за безцѣнокъ! Такъ вотъ и ѣду, чтобы заблаговременно выглядѣть себѣ подходящее.

«Экой свинтусъ!» невольно подумалось Хвалынцеву. «Русскому дѣлу послужить, за безцѣнокъ, въ пользу собственнаго кармана! И съ какимъ достолюбезнымъ, наивнымъ цинизмомъ все это высказывается!»

— А вы здѣсь, батенька, какими судьбами?—обратился вдругъ Полояровъ къ Константину, съ безцеремонной любезностью дотрогнувшись ладонью до его колѣна.

— Что я-то здѣсь, въ томъ нѣтъ мудренаго: служу, какъ видите, — пояснилъ ему Хвалынцевъ, не замедливъ убрать свое колѣно изъ-подъ руки Ардальона,—а вотъ лучше объясните, какими это судьбами вы-то сюда попали?

— А очень просто-съ. Русскихъ чиновниковъ стали на службу вызывать, и притомъ на усиленныхъ окладахъ... А я тоже нѣкогда чиновникомъ былъ, административное мѣсто занималъ — дѣло, значитъ, знакомое — ну и поѣхалъ! И вся не долга!.. У насъ вѣдь изъ эстаго просто!

— Вы какое-же мѣсто занимать изволите?—спросилъ его Подхалютинъ.

— Мм... Да пока еще, собственно, никакого... Надо, знаете, осмотрѣться сначала, сообразить что будетъ подходящее... Я послалъ пока въ распоряженіе гродненскаго губернатора, а тамъ посмотримъ... Можетъ по акцизу, можетъ по контролю — не знаю еще... Но самому мнѣ хотѣлось-бы лучше по администрации или по крестьянскому дѣлу... Вообще что-нибудь такое, гдѣ-бы можно было, знаете, непосредственное вліяніе оказывать, то-есть, знаете, эдакъ того... въ ежовыхъ-съ...

И при этомъ Ардалъонъ сдѣлалъ такого рода выразительный жестъ, какъ будто ухватилъ за шиворотъ кошку, сжалъ въ кулакъ и нагнетательно придавилъ ее къ полу.

— Вы представлялись въ Вильнѣ?—спросилъ Подхалютинъ.

— А какъ-же-съ!.. Всенепремѣннѣйше!—не безъ самодостинства похвалился Подолжовъ.—И даже могу сказать цѣлый анекдотъ произошелъ при этомъ! Прекуръзная штука, ей-Богу!

— А именно?—съ видомъ вниманія подвинулся къ нему философъ.

— А именно, что когда я представлялся, онъ меня и спрашиваетъ: «Давно-ли приѣхали?» А я ему на то говорю: «То-есть куда это? въ Вильну?» Замѣтилъ, что сказалъ я *Вильну*, а не *Вильно*. «А! говорить, у васъ Вильна склоняется?» А я ему: «Не токма что Вильна, говорю, но предъ вашимъ превосходительствомъ *все здѣсь склоняется*, такъ ужъ Вильна-то и подавно!» А? Каково загнулъ?.. Ловко?! Ха, ха, ха! Понравилось! Ей-Богу!

— Ну, и что же вамъ сказалъ на это?

— Онъ-то?.. Мм... то-есть... Ничего не сказалъ... Посмотрѣлъ... только исподлбья и прочь отошелъ... Но я знаю, что понравилось... Мнѣ одинъ человѣкъ сказывалъ... Да и не могло не понравиться, согласитесь, потому оно и смѣло, и находчиво, и комплиментъ, и правда, и все что хотите!

Философъ хотя и безмолвно, однимъ только движеніемъ головы, но все-таки выразилъ, что конечно вполне соглашается.

— Знаете,—продолжалъ Положаровъ, подвинувшись еще ближе къ сосѣду и, съ видомъ задушевной откровенности, многозначительно и таинственно понижая тонъ. — Я вамъ скажу-съ, что этого человѣка никто не понимаетъ: ни Россія, ни Европа... Да-съ, не понимаютъ! Но... могу сказать, я его понималъ, заочно понималъ, и потому пошелъ сюда на службу... Вы

думаете, онъ что такое? Патриотъ? Генераль? Укротитель?.. Хе-хе!.. Все это вздоръ-съ! Ничего не бывало!.. Н-нѣтъ-съ, тутъ подымай выше!.. Не знаю, понимаетъ ли и сознаетъ ли даже онъ самъ свое предопредѣленіе, свои задачи и цѣли такъ, какъ, напимѣръ, я ихъ понимаю, но... между нами сказать, окруженъ-то онъ не совсѣмъ удачно. А кабы ему да побольше людей нашего бы закала!.. Го-го! Мы бы всю эту «реформу» живо двинули да и до конца довели бы... Радикально-съ... То-есть, въ какъ!

И Ардалъонъ опять выразительно сдѣлалъ свой жестъ радикальнаго свойства. Найдя себѣ охочаго и досужаго слушателя, онъ радъ былъ поболтать, а подъ воздѣйствіемъ своего «подпитія», и самъ не замѣчалъ, какъ выбалтывается все больше да больше, да и насчетъ такого, про что въ трезвомъ состояніи обыкновенно хранилъ угрюмое, но многозначительное молчаніе.

— Наши, къ сожалѣнію, не понимаютъ этого и ругаютъ,—все въ томъ же таинственно-откровенномъ тонѣ продолжалъ Подолжовъ.—А почему? Потому дураки! Не знаютъ, гдѣ раки зимуютъ!.. А я понялъ!.. Н-да-съ! я понялъ... и не убоился идти сюда на службу... Они меня теперь, пожалуй, поддецомъ ругаютъ, думаютъ, поди-ка, что я перекинулся и продалъ себя; а я не подлецъ, я—пионеръ!.. Я смотрю такъ, что все равно съ кѣмъ бы ни идти: съ ними ли, или съ правительствомъ, лишь бы я шелъ къ честной идеѣ. Не такъ-ли?.. А они ругаютъ!.. А мнѣ плевать! Ругай себѣ сколько хочешь, брань на вороту не виснетъ!.. У меня прежде всего—идея... То-есть, вы понимаете, *честная* идея... Я, напимѣръ, батюшка мой, однажды цѣлый капиталъ могъ бы имѣть... Двадцать-пять тысячъ — шутка сказать!.. Н-да-съ! Капиталъ!.. И ужъ вѣдь совсѣмъ вотъ въ рукахъ былъ, проклятый, взять бы да въ карманъ положить его, а я нѣтъ... Упустилъ!.. То-есть не то что *упустилъ*, это я вру, не то слово сказалъ, но отказался... самъ добровольно отказался, потому у меня прежде всего, говорю, идея, да и свои убѣжденія тоже!.. Понимаете-съ?

Философъ опять въ сочувственномъ смыслѣ утвердительно покачалъ головой.

— А они пушай ругаются! Сволочь!—презрительно махнулъ Ардалъонъ рукою.

— То-есть кто это они?.. русскіе?—освѣдомился Подхалютинъ.

— Нѣ-ѣтъ, помиуйте, какіе тамъ русскіе! нагилсты!

— Да-а?!—съ удивленіемъ расширилъ ротъ и выпучилъ глаза философъ, словно бы ему довелось услыхать интереснѣйшую и необычайную новость.

— Да, нигилисты, — подтвердилъ Положаровъ.—Они!.. Все они это!.. Дрянной народишко,

никакъ съ нѣмъ каша не сварилъ.. Ужь на что въ нашей ассоціаціи, устроилъ-было я имъ коммуну, и все это, понимаете, прекрасно такъ, образцово, на разумныхъ экономическихъ началахъ... тутъ и ассоціація труда, и самопомощь, и круговая порука, артель и равноправіе, и все такое...

— Ну, и что же?

— Сорвалось!... И не то, чтобы полиція,—вѣтъ-съ, а просто сами разрушили... Во-первыхъ, даже мнѣ самому довѣрія никакого не дѣлали, а безъ довѣрія развѣ возможно? Сами подумайте!... А во-вторыхъ, никакого единодушія не было.. Одинъ подъ другого мины да подкопы, да подвохи разные... Подлецы!... Однако же я не унывалъ, и кое-какъ удалось мнѣ все это снова сплотить—и опять-таки разрушили...

— Кто же на этотъ разъ былъ разрушителемъ?—вставилъ вопросъ Хвалынцевъ, для котораго исповѣдь Полоярова не лишена была даже своего рода психическаго интереса.

— Анцыфровъ плюгавый, — помните? сообщилъ тотъ.

— Это вышъ-то сателлитъ неизмѣнный?

— Какой онъ сателлитъ! Просто, сволочь, и только! Вообразите себѣ,—и Полояровъ снова фамиллярно дотронулся до колѣна Хвалынцева.—Жили мы это сообща вчетверомъ: я, онъ, Малгоржанъ нѣкто, да еще Затцъ... Помните въ Славнобубенскѣ Лидинку Затцъ?—обратился онъ къ Подхалютину.

— Какъ же, она и теперь тамъ, — подтвердилъ философъ.

— Ну, вотъ!... Возжался я было одно время съ ней, хотѣлъ перевоспитать, думалъ, прокъ будетъ, да надоѣло, потому — дурища... Она послѣ этого и подружисъ съ Анцыфровымъ, а потомъ и Малгоржана въ гражданскіе мужья на пристяжку взяла—вмѣстѣ, значить. Анцыфровъ и ну ревновать! Она его била за это, больно-таки била—ей Богу! Иной разъ даже жаль бѣднягу станеть, какъ усядется съ ножками на подоконникъ, въ комочекъ эдакъ, и горько плакать начнеть,—это послѣ трепки-то... Тутъ его и мѣсто постоянное было, на подоконникѣ. Только, знаете, терпѣлъ, терпѣлъ онъ это, да вдругъ... И подумаешь, кто бы ожидалъ отъ этого зайца подобной-то прыти!... Носъ откусилъ ей, представьте!

— Какъ носъ?—воскликнули въ одинъ голосъ оба слушателя.

— Да такъ! Носъ, какъ есть носъ! Ей Богу!.. Больно ужъ, значить, окрысился. Какъ захватилъ его, среди горячей трепки, зубами, такъ и отмахнулъ по самый хрящикъ!.. Пожевалъ, пожевалъ, да и выплюнулъ.—Это со злости-то... Каковъ? Думали ужъ-было мы пришить бы ей какъ-нибудь кончикъ-то, да ничего не подѣлаешь, никакъ не возможно, потому въ сумятицѣ-то этой какъ-то нечаянно его подъ каблукомъ раздавили—вконецъ негоденъ сталъ...

Такъ и осталась безъ носу. Ну, а въ такомъ видѣ, сами согласитесь, что-же ей въ Петербургъ-то дѣлать? И поневолѣ должна была къ мужу въ Славнобубенскъ вернуться.

— И тотъ ее принялъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А какъ же жъ бы не принять-то? Вѣдь она по начальству пошла, какъ законная жена. Кто жъ ее иначе содержать бы сталъ, безъ носа то? Ничего не подѣлаешь!

— Но зато, вернувшись на мужнее иждивеніе, она, по крайней мѣрѣ, не можетъ сказать, что осталась съ носомъ, — плоско сострилъ славнобубенскій остроловъ и философъ.

— Да, вамъ хорошо говорить, вамъ все смѣшки да шутки! — съ легкимъ упрекомъ возразилъ Полояровъ.—А подумайте каково мнѣ-то было!... Носъ!... Въ сущности что такое носъ?.. Ну, что такое носъ, я васъ спрашиваю? — Нюхательный и сморкательный аппаратъ, не болѣе. А между тѣмъ, изъ-за этого дурацкаго носа цѣлое предпріятіе погубило!.. И какое предпріятіе!... Честное, высокое, проводящее въ жизнь новыя начала!...

— Это коммуна то? — доめкнулся Подхалютинъ.

— Н-да-съ, коммуна! Подите-ка, устройте ее снова!... Въ этомъ проклятомъ, пошломъ обществѣ — я вамъ говорю — ничего не устроишь путнаго! Ты для нихъ надрываешься, изъ кожи лѣзешь, мозгъ костей своихъ сушишь, а они, пошляки, возьмутъ да сами же все и разрушатъ!.. Сволочь, какъ есть сволочь, и только! Плюнулъ я на нихъ послѣ этого и прочъ пошелъ. Что жъ, когда не понимаютъ!...

— Но почему же носъ разрушилъ коммуны? — методически спросилъ Подхалютинъ.

— А потому что не съ кѣмъ стало жить: Затцъ уѣхала, Анцыфрика въ кутузку засадили—не кусай, значить, носовъ!—и остался я одинъ съ Малгоржаномъ, а эта свинья восточная вдругъ вздумала было жить на мой счетъ, на даровщинку.—«Ну, ужъ вѣтъ, думаю, это аттанде-липранди!» Ассоціація труда — дѣло иное, а на мои заработкія деньги—шалишь кума, въ Саксоніи не бывала! И протурилъ его къ чорту... то-есть, вѣрнѣе сказать, самъ переѣхалъ въ шамбръ-гарни... Ну, и облыкался это кое-какое время по Питеру, по редакціямъ путался, а тутъ вдругъ повстанье это поднялось, весна пришла, въ Сѣверо-Западный край русскихъ дѣятелей вызывать стали,—я подумалъ-подумалъ, да и махнулъ себѣ!—«Все, молъ, склоняется, такъ ужъ Вилья-то и подавно!...» Ха, ха, ха!.. Н-нѣтъ, чортъ возьми, каково ловко загнулъ-то, подумайте!.. а?.. Какову фразочку отмочилъ ему!.. Курьезъ да и только! Вѣдь это, просто, хотъ въ историческую хрестоматію! Ей-Богу!..

— Но только ужъ здѣсь едва ли коммуны

заводить придется?—съ видомъ добродушія, слегка подтрунилъ Подхалютинъ.

— Здѣсь-то?.. А что вы себѣ думаете?—многозначительно и самохвально подмигнувъ Ардальонъ Михайловичъ.—Здѣсь, гляди, можно, пожалуй, завести кое-что и пошире коммуны!.. Коммуна—это для Питера было хорошо, а здѣсь вѣдь почва-съ! Непочатая почва! Просторъ!..

— Да что вы съ этой почвой сдѣлаете?

— Какъ что?.. Мало ли что!.. Помилуйте!—Во-первыхъ, это поляче проклатое, паны. Что такое паны?—Привилегированное сословіе, дворянскій элементъ, феодальныя традиции—гни ихъ въ бараній рогъ, сметай долой! Это одно уже расчищаетъ почву. Во-вторыхъ, ксендзы. Что такое ксендзы?—Представители религіознаго культа—долой его! Довольно уже было въ исторіи невѣжества и суевѣрій!.. Дайте мнѣ только волю, я бѣ вамъ показалъ, что можно тутъ сдѣлать! Но... въ двухъ главныхъ вещахъ я радикально не согласенъ съ Муравьевымъ. Онъ хочетъ на мѣсто польскаго землевладѣнія, водворить русское. Это вздоръ. Не надо никакого землевладѣнія, никакого дворянства, никакой интеллигенціи, ни польской, ни русской! А потомъ—это православіе, на мѣсто ксендзовъ-то. Это ужъ, по моему, еще хуже! Народъ здѣсь, говорятъ, индифферентенъ къ религіознымъ вопросамъ; тѣмъ лучше: этимъ, по настоящему, слѣдовало бы воспользоваться, пока не ушло еще время. И этого то наше дурачье не понимаетъ!.. Вотъ-съ почему я и говорю, что Муравьевъ все-таки ниже своей задачи: онъ не сознаетъ, въ чемъ настоящая суть, не понимаетъ дѣла такъ, какъ должно, какъ понимаютъ его люди иного закала. А пойми онъ только да захоти—го-го! Чтобы тутъ можно понадѣлать! Батюшки!..

— И вы съ такими взглядами ѣдете сюда на службу?—уже безъ малѣйшей тѣни прежней своей благосклонности, очень сухо и даже непріязненно спросилъ Подхалютинъ, котораго стало очень-таки непріятно покоробливать во время сего послѣдняго монолога.

— А что же-съ? Чѣмъ не взгляды?—отозвался внезапно озадаченный Ардальонъ.—Нешто вы иныхъ придерживаетесь?

— Помилуйте, я—патріотъ!..

— Да и я патріотъ!—подхватилъ Полояровъ.

— Я русскій человѣкъ,—не слушая и подфыркивая, продолжалъ недовольный философъ.

— Да и я, кажись, не французскій!

— Я, наконецъ, самъ дворянинъ, и ѣду теперь именно съ цѣлью, какъ вы говорите, водворить русское землевладѣніе, имѣніе глядѣть!..

— Да и я поглядѣлъ бы!—Развѣ я прочь отъ этого? Зачѣмъ не поглядѣть, помилуйте! И выходить, что намъ нѣ изъ-за чего спорить! Мы, въ сущности, совершенно согласны другъ съ другомъ, а ежели я что и говорилъ, такъ это

только такъ, вообще... Больше съ отвлеченной, теоретической точки зрѣнія, для пріятнаго разговора, не болѣе-съ!.. Могу васъ честью увѣрить!.. Я вамъ, кажись, и за правительство стоялъ, и нигилистовъ ругалъ—припомните, развѣ неправда?... А впрочемъ извините, ежели что не показалось...

И Ардальонъ съ заискивающимъ взглядомъ и улыбкой, какъ бы ища себѣ нравственной поддержки, хотѣлъ было обратиться къ Хвалынцеву, но тотъ круто взялся за свою газету, не обративъ ни малѣйшаго вниманія ни на улыбку, ни на взглядъ Ардальона.

Полояровъ почувствовалъ себя не совсѣмъ-то ловко. Онъ только теперь спохватился, что благодаря «подпитію», заболтался черезчуръ уже далеко и храбро, а потому и не замедлилъ струсить.

Упитанный философъ отвернулся отъ него къ окну и, явно показывая, что не желаетъ болѣе продолжать разговора, упорно глядѣлъ сквозь стекло на несущіеся мимо телеграфные столбы, желтоватыя поля и жиденькій ельникъ. Хвалынцевъ тоже углубился въ газету.

Полояровъ посидѣлъ-посидѣлъ, какъ на иголкахъ, безцѣльно повертѣлъ въ рукахъ папирску, поулыбался какой-то не то смущенной, не то иронической улыбкой, но наконецъ, видя въ своемъ смущеніи, что ничего дѣлать не высидишь, неуложке поднялся съ мѣста, перешелъ на свой диванъ и грузно бухнулся на него всѣмъ своимъ тѣломъ, съ ногами. Затѣмъ, повернувшись къ сосѣдямъ спиною да уткнувъ носъ въ подушку, сначала притворился будто спитъ, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ захрапѣлъ съ похмѣлья.

XXI.

Онъ самъ хотѣлъ того.

Прямо съ машины Константинъ полетѣлъ на квартиру къ Холодцу, который жилъ вмѣстѣ съ Устиновымъ. Внезапное появленіе его среди двухъ друзей, ничего еще не знавшихъ про то, какъ сегодня раннимъ утромъ увезли его прямо съ гауптвахты въ Вильну, произвело эффектъ не малый. Но когда онъ передалъ имъ всю исторію своей аудіенціи у Муравьева и конечный результатъ ея, Холодецъ просто не хотѣлъ вѣрить, а Устиновъ радостно бросился къ нему на шею. Ни одинъ изъ нихъ—а самъ Хвалынцевъ менѣе чѣмъ кто-либо—не отважился бы даже мечтательно предположить подобнаго исхода. Наименьшее, что, по ихъ общему мнѣнію, могло ожидать Константина, это ссылка въ какую-нибудь отдаленную губернію, подъ надзоръ полиціи, съ лишеніемъ или ограниченіемъ нѣкоторыхъ правъ, и вдругъ, вмѣсто того—такое довѣріе, оказанное вмѣстѣ съ полнымъ забвеніемъ про-

шлаго... Радость ихъ была велика и сердечна.

— Бога ради! Я хочу видѣть Татьяну Николаевну!—сорвался Хвалынцевъ, опомнясь отъ первыхъ впечатлѣній свиданія и радости друзей своихъ.—Бога ради! если возможно, господа, сейчасъ же! Непремѣнно! Поѣдемте!

Холодецъ объяснилъ, что черезъ часъ, по смѣнѣ ея другой дежурной «сестрой», она должна освободиться на весь вечеръ отъ своей обязанности.

— Тогда поѣзжайте,—прибавилъ онъ. — А мнѣ невозможно. Надо еще къ одному трудно больному ѣхать.

Въ сказанное время оба пріятеля входили уже въ скромную, чистенькую келью Татьяны. Неожиданное появленіе освобожденнаго Хвалынцева и здѣсь было встрѣчено радостнымъ изумленіемъ. И здѣсь точно также разсказъ о сегодняшнихъ событіяхъ, торопливо передаваемый попережку обоимъ друзьями, былъ принятъ съ самымъ теплымъ и живымъ участіемъ. Такъ сочувственно слушать и радоваться могла бы только добрая, любящая сестра.

Но внутренно, въ самой затаенной глубинѣ души, Хвалынцевъ остался озадаченъ. Онъ рассчитывалъ встрѣтить здѣсь другое, не сестринское сочувствіе. Онъ надѣялся, что какой-нибудь лучъ ея мимолетнаго взгляда, или легкой трепетъ руки во время пожатія, или тонъ перваго восклицанія встрѣчи, или что-нибудь такое, чего не выразишь, но инстинктивно, электрически почувствуешь, быть-можетъ невольно прорвется и обнаружитъ въ этой сдержанной натурѣ то чувство любви, которое нѣкогда билось для него въ груди этой дѣвушки. Онъ ожидалъ отъ нея радости невести, но нашелъ только радость сестры, сочувствіе хорошаго, преданнаго друга. Это его и озадачило, и огорчило втайнѣ. Онъ думалъ, что Татьяна, въ глубинѣ души, все-таки любитъ его по-старому, и только помня оскорбленіе, нанесенное ея чувству, изъ гордости не хочетъ первая показать ему проблески этого чувства.

Но сегодня, казалось ему, наступилъ именно такой моментъ, что если прежняя любовь еще живетъ въ ея сердцѣ, то она невольно хотѣла въ чемъ-нибудь должна прорваться наружу,—и увя! этого-то онъ и не нашелъ въ Татьянѣ. «На себя пеняй!» подсказала ему совѣсть, въ то время какъ жадное, эгоистическое сердце, почувствовавъ утрату и вмѣстѣ съ тѣмъ ударъ самолюбію, готово было-бы упрекать и жаловаться. «На себя пеняй! Не ты-ли самъ, покидая ее ради другой, просилъ не отнимать у тебя ея дружбы?.. Только дружбы! Она и даетъ ее тебѣ, даетъ въ полной мѣрѣ... Чего же болѣе!» И онъ съ затаенной горечью въ душѣ покорился приговору этого голоса.

Между имъ и Татьяной такъ и осталось внутренно что-то недосказанное...

XXII.

Нѣчто о борьбѣ за существованіе.

Штыкъ, пропоровшій бокъ Анзельма Бейгуша, оставилъ свои роковыя послѣдствія: рана слегка коснулась легкаго, но эта царапина стояла ему чухотки. Находясь на попеченіи Холодца, и благодаря его заботливости, онъ содержался въ особой комнатѣ арестантскаго отдѣленія, гдѣ ему были предоставлены возможные удобства. Рана затянулась довольно скоро, но начало чухотки осталось. Холодецъ, по обязанности врача, ежедневно являясь къ больному и добросовѣстно слѣди за его болѣзнію, своимъ заботливымъ вниманіемъ сдѣлалъ то, что Бейгушъ мало-по-малу совсѣмъ освоился съ нимъ и отъ души полюбилъ своего симпатичнаго доктора. Минуты его посѣщеній были единственными свѣтлыми минутами для больного арестанта, когда отъ удрученной головы его отлетали на время черныя думы о предстоящей трагической развязкѣ. А что развязка неизбѣжно должна быть трагической, въ томъ Бейгушъ не сомнѣвался, зная военные законы. Онъ былъ дезертиръ, взятый съ оружіемъ въ рукахъ,—стало быть, судъ не долготъ и конецъ извѣстенъ. Онъ былъ уже осужденъ, и только послѣдняя развязка задерживалась его болѣзнію. Одно время несчастному сильно хотѣлось извѣстить о себѣ жену, покинутую въ Петербургѣ, просить ея, чтобы пріѣхала и облегчила ему своимъ присутствіемъ послѣднія минуты; но мысль о томъ, что онъ заставитъ ее быть свидѣтельницей своей казни превозмогла порывъ любящаго сердца, и Бейгушъ ни единымъ словомъ не извѣстилъ о себѣ Сусанну. Онъ былъ увѣренъ, что если написать ей хоть одно слово, она примчится тотчасъ-же. А сколько страданій и какая пытка ожидаютъ ее! Да и самому-то легче-ли будетъ видѣть мучительное горе любимой женщины!.. Одинъ только Холодецъ, во время своихъ посѣщеній, разсѣивалъ безысходную и томительную скуку его одиночнаго заключенія. Иногда онъ приносилъ ему кое-какія книги и газеты, которыя Бейгушъ посподволь прочитывалъ въ тѣ минуты, когда чувствовалъ себя нѣсколько лучше и свѣжѣе.

Однажды, войдя къ нему, Холодецъ засталъ его въ глубокомъ и видимо тяжеломъ раздумьи надъ нѣсколькими газетными листами. На пріветливый вопросъ, что съ нимъ такое, больной молча подвинулъ къ нему лежавшій сверху листъ и указалъ пальцемъ на заглавіе одной статейки. Это былъ переводъ извѣстной брошюры Прудона о «Польскомъ вопросѣ».

Перекинувъ взоръ отъ газеты на Бейгуша, Холодецъ не безъ удивленія замѣтилъ, что онъ

не то что взволнованъ, а скорѣе потрясенъ чѣмъ-то нравственно.

— Бога ради, что съ вами такое? Что за причина?—повторилъ онъ съ участіемъ.

— Вы не читали этого?—тихо проговорилъ Бейгушъ.

— Брошюру Прудона? слыхалъ, но не читалъ еще.

— Ну, такъ прочтите... Читайте вотъ эти строки... Вспомните, что я полякъ, и тогда вы поймете что со мной...

Холодецъ скоро сталъ пробѣгать глазами указанное мѣсто.

— Читайте громко, если можете,—попросилъ Бейгушъ.

Тотъ исполнилъ его желаніе.

«Польша идетъ наперекоръ всѣмъ соображеніямъ, читалъ онъ, въ то время какъ больной съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ своими большими, лихорадочно блещущими глазами за малѣйшимъ движеніемъ его лица, будто стараясь уловить и разгадать на немъ отблескъ сокровенной мысли. — Ея мнимая цивилизація въ средніе вѣка, продолжалъ докторъ, есть не болѣе какъ восточная роскошь, ея литература—подражаніе латинистамъ; ея республика, съ терминами, заимствованными у древняго Рима—лишь оперная декорация; ея набожность—отчаянное ханжество. Ничего искренняго, ничего прочнаго у этихъ чувственныхъ натуръ, преданныхъ всему неистовству страстей, всѣмъ побужденіямъ эгоизма, всѣмъ прихотямъ своей фантазіи. Дворянскіе предразсудки доведены до ребячества, до безумія; отчужденіе дисциплины возведено въ требованіе чести; всѣ понятія извращены, и вы видите поляковъ то лже-роялистами, то лже-аристократами, то лже-демократами, то лже-католиками, то лже-протестантами, то лже-революонерами, какъ были они лже-дворянами; они останутся вѣрными только иезуитамъ».

— И это говоритъ человѣкъ, который для столькохъ изъ нашей молодежи былъ богомъ, оракуломъ, каждому слову котораго мы вѣровали, отъ котораго мы въ правѣ были ждать сочувствія и одобренія!—съ глубокою горечью проговорилъ Бейгушъ, грустно качая головою.

— Но развѣ онъ говоритъ неправду? — пожалъ Холодецъ плечами.

— О, еслибы неправду!—изъ глубины груди издохнулъ больной; — тогда бы это не было такъ тяжело и горько... Читайте далѣе... Вотъ здѣсь читайте,—нервно указалъ онъ на другое мѣсто газеты.

«...Вы и теперь остаётесь дворянами, продолжалъ Холодецъ, вы и теперь, точно такъ же какъ и прежде, хотите властвовать и распоряжаться другими... Вы хотите возродиться, но возродиться внѣ условій новѣйшей жизни. Возстановленіе вашей народности повлекло бы за собой въ Польшѣ, какъ вамъ

очень хорошо извѣстно, реакцію и усиленіе шляхетскаго элемента, который, придавъ другую форму зависимости крестьянъ, отсрочилъ бы на нѣсколько вѣковъ созданіе польскаго народа; въ Россіи возстановленіе ваше повлекло бы заглушеніе въ зародышѣ общественной свободы; въ Венгріи—усиленіе мадьярской партіи, подобно вамъ враждебной простому народу и національностямъ; въ Пруссіи и Германіи—поддержаніе старой феодальной партіи, отвергаемой самими католиками во Франціи, Бельгіи и повсюду—обезпеченіе имъ црства промышленнаго феодализма, царство жидовъ, бывшее первой причиной и основаніемъ новѣйшаго пауперизма; въ католическомъ мрѣ—укрѣпленіе клерикальной и иезуитской партіи, которая въ тягость всѣмъ религіознымъ душамъ. И все это клонилось бы къ удовлетворенію аристократизма, который заслужилъ свое паденіе и не умѣетъ умереть. Или логика не играетъ въ человѣческихъ дѣлахъ никакой роли, или таковы послѣдствія, которыя повлекло бы за собою возстановленіе Польши. Развѣ двадцать три милліона крестьянъ, освобожденныхъ русскимъ государемъ, представляютъ намъ подобную опасность? Я протестую противъ такой измѣны народному дѣлу. По примѣру вашихъ предковъ, я противопоставляю вамъ veto французскаго гражданина. Поляки! прошедшее, настоящее, будущее, свобода, прогрессъ, право, революція и договоры — все осуждаетъ васъ. Вамъ остается только покориться этому приговору. Колебаться было бы съ вашей стороны недостойно. Припомните энергическія слова, съ которыми, по увѣренію Светонія, обратился къ Нерону римскій солдатъ, когда этотъ гнусный императоръ, совершившій столь ужасныя преступленія, не рѣшался умереть: «Развѣ смерть такое несчастье?»

Дочитавъ до конца, Холодецъ молча положилъ листъ и молча взглянулъ на Бейгуша. Тотъ сидѣлъ въ глубокомъ, сосредоточенномъ, раздумьи, подперевъ рукою низко опущенную голову.

«Развѣ смерть такое несчастье», медленно и тихо повторилъ онъ какъ бы про-себя, прерывая минутное молчаніе.—И это все, что остается послѣ столькохъ жертвъ, усилій и страданій!.. Боже мой, неужели же мы не правы?!. Неужели не только мы, но и всѣ наши прошлые вѣка—одна преступная ошибка?!. Умирать съ такимъ сознаніемъ, вѣдь это ужасно!..

— Послушайте, — спокойно и раздумчиво началъ Холодецъ. — Что касается васъ и насъ, что касается нашей многовѣковой борьбы, то тутъ, мнѣ кажется, нѣтъ ни правыхъ, ни виноватыхъ. Вы правы по-свѣдому и мы по-своему точно также.

— Какъ такъ?—оживленно поднялъ голову Бейгушъ, сверкнувъ своими лихорадочными

глазмп.—А три раздѣла, развѣ это не великое преступленіе восемнадцатаго вѣка?.. Послѣ этого правъ и волкъ, зарѣзавшій ягненка!

— Да, милый паціентъ мой, по-своему правъ и волкъ, зарѣзавшій ягненка. Вы привели примѣръ, пожалуй, очень подходящий, съ тою впрочемъ оговоркою, что вы не ягнята, да никогда ими и не были. Называйте это какъ хотите: великимъ ли преступленіемъ восемнадцатаго вѣка или иначе какъ; отрицайте, пожалуй, нашу славянскую кровь,—пустъ мы, по-вашему, тураны,—не въ томъ ли равно въ сущности? Мы знаемъ чтѣ мы такое, и этого съ насъ довольно. Наша тяжба началась не вчера и не сегодня, она идетъ уже болѣе десяти вѣковъ, и я никакъ не стану утверждать, что нынѣ мы положили конецъ ей. Кажись что да, а какъ знать!—быть можетъ и *нынѣ*. Извѣстна вамъ Дарвиновская теорія борьбы за существованіе?

— Такъ чтѣ-жъ изъ этого?—вопросительно поднялъ на него Бейгушъ свои взоры.

— Перенесите вы тотъ же самый извѣстный физиологическій законъ этой борьбы съ естественно-исторической на историко-политическую почву—и наша тяжба, наша съ вами борьба станетъ для васъ понятна! Каждый живой организмъ долженъ себѣ съ бою завоевывать право на свое существованіе, и процессъ его естественнаго развитія и роста необходимо совершается на счетъ другихъ, менѣе сильныхъ организмовъ, часто одного и того же рода. Мы съ вами—это два зерна, брошенные въ общую почву, слишкомъ близко одно къ другому. И тому, и этому надо жить, но чтобы жить, надо пускаться въ почву глубже и шире свои корни, а вмѣстѣ намъ тѣсно, мы мѣшаемъ другъ другу, одинъ изъ насъ затрудняетъ естественный ростъ другого. Отсюда невольная борьба—борьба за существованіе, гдѣ играютъ роль не одни политическіе вопросы, а всѣ, рѣшительно всѣ жизненные условія ваши и наши. Чья возьметъ? Это вопросъ внутренней силы зерна. Въ комъ болѣе естественныхъ силъ, болѣе здоровыхъ жизненныхъ зачатковъ, тотъ скорѣе вынесетъ борьбу и останется побѣдителемъ. Если не виноваты вы, когда вамъ хочется жить такъ, какъ вамъ кажется лучше, то виноваты ли мы, если, при такомъ же точно стремленіи, въ нашемъ зернѣ болѣе живыхъ соковъ и силъ чѣмъ въ вашемъ? Чтѣ-жъ тутъ дѣлать!.. По закону физиологіи остается умереть, но развѣ и въ самомъ дѣлѣ смерть такое несчастіе?

* * *

Бейгушъ не былъ разстрѣлянъ. Смерть отъ скоротечной чахотки застала его на госпитальной койкѣ. Жена его, узнавшая объ этой смерти совершенно случайно, изъ корреспонденціи одной газеты, снова очутилась «вдовушкою

Сусанной». Безпристрастная истина однако обязываетъ насъ сказать, что горе ея по исчезнушемъ мужѣ было хотя и сильно, но не продолжительно. Въ началѣ 1863 года она какъ-то случайно встрѣтилась гдѣ-то со своимъ восточнымъ кузеномъ, и Малгоржанъ, возобновившій съ нею прерванное знакомство, скорѣй успѣлъ снова покорить себѣ ея слабое сердце. Сусанна утѣшилась. Но Малгоржанъ, проученный опытомъ, сталъ если не умнѣе, то гораздо практичнѣе прежняго. Онъ успѣлъ убѣдить Сусанну, чтобы она отдала ему въ распоряженіе половину своего капитала, который будетъ употребленъ на очень выгодное и самое вѣрное предпріятіе. Сусанна послушалась и вручила ему двадцать тысячъ. На эти деньги Малгоржанъ въ одной изъ бойкихъ улицъ открылъ гласную кассу ссудъ, обзавелся прекрасной квартирой, прекрасною мебелью и обстановкой, среди которой и помѣстился вмѣстѣ съ Сусанной, а въ довершеніе всѣхъ своихъ операцій, блаженствъ и удовольствій сталъ иногда пописывать обличительныя статейки въ одной изъ газетъ мелкой петербургской прессы, на послѣднихъ страницахъ которой въ то же время неизмѣнно красовалось видное объявленіе о его гласной кассѣ.

XXIII.

Послѣдній изъ Могикапъ.

Оскару Авейде такъ и не удалось уговорить Константина Калиновскаго снять съ себя диктатуру и примириться съ Варшавскимъ ржондомъ. Чувствуя, что пребываніе въ Вильнѣ съ каждымъ днемъ становится все рискованнѣе, Авейде подъ конецъ радъ уже былъ согласиться на всѣ условія диктатора, лишь бы только убраться поскорѣе изъ-подъ глазъ Муравьева. Но бѣгство подъ сѣнь Варшавы не удалось ему: при отъѣздѣ, Авейде былъ арестованъ на дѣбаркадерѣ.

Межъ тѣмъ диктаторъ Литвы до времени успѣвалъ еще кое-какъ ступшевывать себя предъ полиціей, безпрестанно мѣняя въ Вильнѣ свои фамиліи и квартиры. Изъ «подвластныхъ» ему воеводствъ и повѣтовъ до него доходили самыя плачевныя донесенія и вѣсти: шайки то и дѣло бѣгали за Нѣманъ, съ тою единственно цѣлю, чтобы пообѣдать послѣ нѣсколькихъ дней голоданія; на предписаніе добыть оружіе «для освѣженія», повятовой комиссаръ доносилъ, что могъ достать только три ружья, да и то съ величайшимъ трудомъ; на предписаніе собирать новыя подати для поддержки возстанія, квестіры отвѣчали, что у помѣщиковъ опустѣли кошельки послѣ Муравьевскаго десятипроцентнаго сбора. Въ кассѣ литовскаго ржонда, ситавшей у себя рубли сотнями тысячъ, оста-

валось только шесть тысяч всего-на-всего ¹⁾. При Моловидахъ уже давно была разсыяна послѣдняя банда бѣлыхъ, а доводцы красныхъ требовали денегъ на продовольствіе. Калиновскій приходилъ въ отчаяніе. Учрежденная Муравьевымъ сельская стража, которая въ самомъ началѣ казалась диктатору весьма подручной вещью, если только удастся поднять крестьянъ на пановъ и москалей, оказалась теперь гибельной для всѣхъ его начинаній. Доставка припасовъ, разсылка довѣренныхъ лицъ, сборы, движеніе шаякъ, словомъ, вся революціонная дѣятельность стала почти невозможной, благодаря сельской стражѣ: повсюду — сущій, зоркій и подозрительный глазъ озлобленнаго хлопа слѣдилъ за малѣйшимъ проявленіемъ этой дѣятельности и наконецъ довелъ-таки пановъ до сознанія, что не русскіе, а поляки составляютъ «наядзъ» въ Западномъ краѣ.

Позднѣе осенью 1863 года шаякъ уже не существовало, только кое-какіе жалкіе остатки, по нѣсколько человѣкъ, бродили еще въ жмудскихъ и самогитскихъ лѣсахъ, грабя и воруя у одинокихъ лѣсныхъ «кутниковъ», ради дневного пропитанія. Теперь уже не нужно было посылать на поиски за ними ни военныхъ отрядовъ, ни даже летучихъ командъ. Эти послѣдніе были замѣнены сборами охотниковъ изъ крестьянъ, съ придачей имъ по нѣскольку солдатъ или казаковъ. Дѣйствія подобныхъ охотниковъ противъ бродягъ обратились положительно въ нѣчто въ родѣ облавъ на дикаго звѣря. А между тѣмъ въ бумагахъ, которыя удавалось захватывать у такихъ повстанцевъ, все еще попадались заготовленные рапорты и реляціи фантастическихъ доводцевъ о новыхъ побѣдахъ надъ русскими войсками, объ отличномъ революціонномъ настроеніи народа, и все это не иначе какъ за номеромъ и печатью, и все это, по старой памяти, предназначалось для заграничной прессы, ради мороченья европейской публики. Зимой были пойманы послѣдніе два доводца, ксендзъ Мацкевичъ (Рѣбакъ) и Червинскій, которые за множество неслыханныхъ изувѣрствъ, совершенныхъ ими, заплатились висѣлицей.

Калиновскій окончательно потерялъ голову. Постепенно лишившись всѣхъ своихъ помощниковъ, онъ все-таки не могъ оставить Вильны, и продолжалъ считать ее стратегическимъ ключомъ своей диктаторской позиціи. Рѣшаясь, что называется, идти на проломъ, добиваться

немедленно новаго возстанія во что бы то ни стало, вопреки очевидной дѣйствительности и здравому смыслу, онъ сплился возобновить организацію по губерніямъ и завести съ ней хоть какія-нибудь сношенія. Это было теперь уже не дѣло, а скорѣе одна только безумная мечта мономана, фанатика революціонной идеи. И тѣмъ не менѣе, нашлось-таки нѣсколько жепцинъ и ксендзовъ, которые не задумались подать диктатору руку и возмечтать вмѣстѣ съ нимъ о возрожденіи и продленіи возстанія. Нашлись и обязательные евреи, чтобы за деньги служить ему почтальонами и, съ помощью своей собственной еврейской послуги, предохранять его отъ опасности, всячески проносивая и заблаговременно извѣщая о ней диктатора. Но увь! шесть тысячъ, оставшіяся еще въ распоряженіи Калиновскаго, скоро всѣмъ уже изсякли, благодаря еврейскимъ послугамъ, и онъ остался, наконецъ, одинъ одишенекъ, безъ друзей и евреевъ, безъ гроша денегъ и безъ куска хлѣба со своимъ лишь фантастическимъ титуломъ диктатора Литвы да все съ одной и той же неугомонной и горячечной идеей... Напослѣдокъ, одинъ только ксендзъ-бернардинъ да двѣ добрыя патріотки были единственными личностями въ Вильнѣ, которыя знали кое-что о существованіи Калиновскаго, да и то потому лишь, что въ одно изъ трехъ мѣстъ поочередно являлся онъ для ночлега.

Вся польская организація была уже раскрыта, весь заговоръ распутанъ, вся дѣятельность диктатора Литвы обнаружилась для правительства самымъ яснымъ и положительнымъ образомъ, а между тѣмъ самъ диктаторъ все-таки продолжалъ скрываться, словно бы для этого правительства онъ былъ покрытъ сказочной шапкой-невидимкой. Его выдали сами же поляки, и, что замѣчательно всего, выдали въ то уже время, когда онъ былъ нищъ, убогъ и совершенно безвреденъ. Изъ губерніи неоднократно приходили отъ нихъ указанія на квартиры, куда онъ являлся для пріема донесеній и отдачи распоряженій своихъ; но пока въ его карманѣ оставался послѣдній рубль, евреи не переставали служить ему и предупредительно спасать отъ угрожавшаго ареста. Съ послѣднимъ рублемъ прекратилась и ихъ послѣдняя послуга. Тогда-то одинъ изъ членовъ подпольной губернской организаціи, знавшій у кого именно скрывается въ Вильнѣ диктаторъ, указалъ на него слѣдственной комиссіи, и такимъ образомъ, въ концѣ января 1864 года, Калиновскій былъ арестованъ. Послѣдній изъ могиканъ, онъ представлялъ собою послѣднее знамя мятежа. Во время его килучей дѣятельности и даже послѣ ареста, между низменнымъ виленскимъ населеніемъ, равно какъ и на Жмуди, долгое время бродили темные слухи, что гдѣ-то, молъ, въ Виль-

¹⁾ Одинъ только заграничный бюджетъ приходовъ, которые не могли быть скрыты, составляетъ 78,750,000 фр., изъ коихъ болѣе 17 тн миллионъ было внесено польскими патріотами одного лишь Сѣверо-Западнаго края, а отчеты показали, что изъ польскихъ пожертвованій 51,605,080 фр. были расхищены разными ревнителями. А сколько украденныхъ денегъ не попали еще въ эти отчеты!.. (См. В. Рагъ, стр. 237).

нѣ проживаетъ «Круль Литвы», который хочетъ «адхилиться отъ поляковъ» и завести «свое властне крулевство».

7-го марта 1864 года Вильна была свидѣтельница последней политической казни. Утромъ, при грохотѣ барабановъ подъ эскортомъ жандармовъ и пѣхотнаго конвоя, по городу везли на висѣлицу осужденнаго. Онъ былъ блѣденъ, но совершенно спокоенъ.

Хвалынцевъ, случайно проѣзжая въ это самое время по улицѣ и будучи остановленъ процессіей, шедшей на встрѣчу, спросилъ у одного изъ эскортировавшихъ офицеровъ, кого это будутъ вѣшать?

Константина Калиновскаго, диктатора Литвы,—было ему отвѣтомъ.

Онъ вскинулъ взглядъ на блѣдную фигурку, сидѣвшую на высокой колесницѣ, и вздрогнувъ самъ поблѣднѣлъ невольно.

Въ осужденномъ диктаторѣ онъ узналъ Василія Свितку.

Могъ ли онъ думать, что этотъ невзрачный скромный и сѣренькій на видъ человѣчекъ будетъ играть такую роль въ польскомъ возстаніи!.. Но теперь ему ясно вспомнилось, какъ этотъ самый человѣчекъ, два года назадъ, въ скверномъ номерѣ жидовской гостиницы въ Гроднѣ, экзальтировано предлагалъ ему братски раздѣлить съ собой либо громкую славу и счастливую будущность при осуществленіи великой идеи, либо за ту же самую идею веревку гильотиннаго эшафота. Онъ зналъ заранее куда идетъ и что его ожидаетъ... Не потому ли и умеръ онъ съ такой твердостью и спокойствіемъ, какъ могутъ умирать только глубоко убѣжденные люди...

* * *

Та дѣвушка, которую онъ любилъ, которую въ минуты своего восторженнаго поклоненія ея красотѣ, стоя на колѣняхъ предъ нею, называлъ королевой Литвы, не присутствовала при его казни. Панна Ванда оставалась въ Гроднѣ и только чрезъ стоустую молву узнала о судьбѣ, постигшей ея друга. Скорбь ея была велика и отчаянна, она рвалась и металась по всему дому, хотѣла топить въ Нѣманѣ, хотѣла съ зарженнымъ пистолетомъ ѣхать въ Вильну и убить Муравьева, но...

Время взяло свое, и панна Ванда утѣшилась.

Черезъ два года съ небольшимъ, она благополучно вышла замужъ за русскаго чиновника, нарочно принявъ для этого православіе, и изъ панны Ванды превратилась въ госпожу Кулакову.

Впрочемъ, «что имя? Звукъ пустой!»

Несмотря на русскую фамилію и на православіе, принятое по расчету, г-жа Кулакова остается въ душѣ все такой же панной Вандой, все также выдается иногда на-единѣ съ ксендомъ Виниторомъ, все такая же полька по духу,

понятіямъ и привычкамъ, держитъ подъ башмакомъ своего супруга, и въ двухъ своихъ маленькихъ ребятишкахъ усердно воспитываетъ подъ сурдинку двухъ будущихъ «патріотовъ».

XXIV.

Хлопское «дзякуймо!» *)

Ардальонъ Полояровъ не долго наслужилъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Гродненскій губернаторъ, снисходя къ его усиленнымъ просьбамъ, приспособилъ сего «дѣятеля» къ крестьянскому дѣлу, но увѣ!--не прошло и нѣсколькихъ мѣсяцевъ какъ «дѣятель» намудрилъ, начудесилъ и... проворовался. Взялъ онъ съ пана Котырло легкую благодарность, и взялъ ее впередъ, съ тѣмъ чтобы оставить за нимъ кое-какія угодія, да и съ крестьянъ тоже заручился благодарностью, и при томъ за тѣ же самыя угодія. Дѣло всплыло наружу. Произвели негласное разслѣдованіе и призадумались: какъ быть съ «дѣтелемъ»? Формальнымъ образомъ предать его суду? Оно бы и можно, да не совсѣмъ-то ловко: это значило-бы дать разнымъ благожелателямъ поводъ колотъ намъ глаза и кричать: «вотъ они каковы ваши дѣтели!» И потому мѣстная власть порѣшила уволить его тотчасъ же въ отставку съ предложеніемъ немедленно удалиться изъ Края. Ардальонъ Полояровъ почувствовалъ себя безвинно обиженнымъ, даже кровно оскорбленнымъ «въ самыхъ священныхъ своихъ чувствахъ и принципахъ», и потому уѣхалъ въ Петербургъ, пылая непримиримымъ негодованіемъ къ виленской администраціи. Въ Петербургѣ, шатаясь по разнымъ редакціямъ, онъ съ благороднымъ негодованіемъ сталъ отзываться о «дѣтеляхъ» и не безъ похвалыбы сообщалъ, что удаленъ изъ Края «за распространеніе социализма между крестьянами», цитируя эту якобы оффиціальную фразу не иначе какъ съ ѣдкой проноіей.

— А вы въ самомъ дѣлѣ распространяли?—вопрошали его иные.

— Я былъ только вѣренъ самому себѣ,—серьезно и вѣско отвѣтствовалъ Полояровъ,—«понимай, дескать, какъ хочешь», и за симъ далѣе уже слѣдовала краснорѣчивая фигура умолчанія.

Вскорѣ послѣ этого въ умѣренно-либеральной и умѣренно полякующей газетѣ г. Цемпа появился рядъ ядовитыхъ «статей», въ которыхъ подъ прозрачнымъ флеромъ изобличалась и порицалась виленская администрація.

— Я отомстилъ за себя,—многозначительно замѣчалъ Ардальонъ своимъ пріятелямъ, когда тѣ хвалили ему эти статьи, «исполненныя такою благороднаго сочувствія къ цивилизованной и угнетенной націи».

*) Дзяковать—благодарить; дзякуймо—благодаримъ, спасибо.

Въ настоящее время уже не одна виленская администрація, а все, рѣшительно все безъ разбора служить предметомъ его угрюмага порицанія. Теперь у него уже нѣтъ болѣе подраздѣленія людей на *мы* и *подлецы*, — теперь у Ардальона Полоярова уже весь свѣтъ безъ исключенія обратился въ подлецовъ, и даже самихъ ингилистовъ въ снисходительныя минуты называетъ онъ не иначе какъ мерзавцами. Ходить онъ какимъ-то маньякомъ промежъ живыхъ людей, болтается мрачно и здѣсь, и тамъ, и кто бы ни говорилъ ему, онъ только ворчитъ про себя сквозь зубы: «Знаемъ, молю, знаемъ подлецы!.. мерзавцы!» такъ что, наконецъ даже и сами пріятели Ардальона Полоярова не могутъ опредѣлить съ точностью — исключаетъ-ли онъ изъ числа подлецовъ свою собственную особу. Изъ всѣхъ идей, волновавшихъ его нѣкогда, одна только глубокимъ гвоздемъ засѣла въ его голову и, обратясь въ нѣкоторую манію, вѣроятно, не покинетъ этой головы уже до конца дней злосчастнаго Ардальона. При воспоминаніи о ней, онъ оживляется и еще болѣе начинаетъ злобствовать.

Что-же за идея такая и что за воспоминаніе? Увы!.. Эта идея о томъ, что онъ въ свое время могъ бы цѣлый капиталъ имѣть — «шутка-ль сказать, двадцать-пять тысячъ!» — Капиталъ! громадный капиталъ и... всѣмъ пренебрегъ, отъ всего самъ добровольно отказался.

* *

Чтобы поправить путаницу, которую натворилъ въ своемъ участіи дѣятель Полояровъ, надо было посылать на мѣсто особую комиссію, въ число членовъ которой было назначенъ и Хвалынцевъ. Разобравъ дѣло, комиссія выяснила претензіи обѣихъ сторонъ и привела ихъ къ добровольному обоюдному соглашенію. Панъ Котырло выказалъ при этомъ даже замѣчательную уступчивость въ пользу своихъ бывшихъ «подданныхъ». При заключеніи этой сдѣлки, кромѣ членовъ, пана и сельской «громады», находилось еще и нѣсколько ближайшихъ сосѣдей-помѣщиковъ. Наконецъ, когда все дѣло было завершено благополучнымъ образомъ, председатель комиссіи обратился къ «громадѣ» съ нѣсколькими словами.

Что-жъ, братцы, — сказали онъ, — вашъ панъ, какъ видите, разверстался съ вами по чести и безъ спору, вы получили вѣдаль всего: и земли и угодій. Вѣдь надо и поблагодарить его за это. Какъ вы думаете?

— А вѣже-жъ! Якъ нада, дакъ нада! — отозвались въ громадѣ.

И вслѣдъ затѣмъ изъ среды крестьянъ вышелъ одинъ человѣкъ, преклоннаго возраста, который былъ очевидно побойчѣе прочихъ. Выступивъ впередъ и снявъ свою шапку, онъ низенько поклонился пану и окружавшимъ его помѣщикамъ.

— Дзякуймо, пане, — заговорилъ онъ при

этомъ, — та и вамъ, паночки дзякуймо, што вы зрабили ¹⁾ тоё вашо повстанье! Во кабъ вы ёго не зрабили, тобъ намъ и по вѣкъ такого ужитку та цаста не бачици ²⁾.

Выслушавъ столь оригинальную и откровенную благодарность, паны невольно почувствовали нѣкоторую неловкость и слегка сконфузились; члены комиссіи, съ легкой, сдержанной улыбкой, тоже потупили долу очи.

«Вотъ оно, приличное правоученіе и вмѣстѣ съ тѣмъ эпитафія всему этому повстанью!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ, въ то время когда вся громада, вслѣдъ за своимъ ораторомъ, не безъ нѣкоторой добродушной ироніи повторила мірское «дзякуймо!»

XXV.

Роковая дилемма.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Рядъ новыхъ событий нашей внутренней и внѣшней европейской жизни отодвинулъ на дальній планъ 1863-й годъ и сдѣлалъ его уже достояніемъ исторіи. Съ одной стороны, страсти улеглись, съ другой — ушли въ глухую, сокровенную глубину души и тамъ затаились. Многое нами сдѣлано, частью удачно, частью нѣтъ, а многое и забыто. Мы народъ не злопамятный. Да кромѣ того и нѣтъ въ насъ той систематической, неуклонно-настойчивой послѣдовательности въ достиженіи разъ постановленныхъ цѣлей, какой отличаются наши германскіе сосѣди. Мы легко прощаемъ, легко забываемъ — до какой-нибудь новой встряски, если таковую вздумается кому-либо задать намъ. Тогда мы снова подымаемся разомъ, какъ одинъ человѣкъ, и покажемъ свои зубы и когти. Минетъ невзгода, пройдетъ извѣстный періодъ времени, и мы снова уляжемся, снова забудемъ... Быть-можетъ это хорошо, быть-можетъ дурно. Кто его знаетъ!..

Когда люди въ домѣ спятъ, мыши въ подпольѣ начинаютъ свою подтачивающую работу.

Итакъ, прошло нѣсколько лѣтъ. Славнобубенскій острословъ и философъ Подхалютинъ, съ цѣлью «послужить русскому дѣлу», удачно высмотрѣлъ и еще удачнѣе купилъ себѣ имѣніе, всади въ него не мало денегъ, пожилъ годъ-другой, но наконецъ нашель, что это скучно, и сдѣлъ имѣніе въ аренду компаніи жиновъ, которая «для легальности» выдвинула подставного арендатора, и ухалъ съ Богомъ въ свой столбулезный Славнобубенскъ. Въ этомъ случаѣ не онъ былъ первый, не онъ и послѣдній... Но какъ бы то ни было, а дѣло русскаго землевладѣнія въ Западномъ краѣ можно, кажется, считать-дѣломъ неудавшимся, и вина въ этомъ никакъ не на сторонѣ правительства.

¹⁾ Зрабиць — сдѣлать.

²⁾ Бачиць — видѣть.

Зато панъ Котырло сидитъ себѣ смирно и тихо, «при своихъ пенатахъ», умѣренно плачется на тугія времена, подчасъ увѣряетъ даже, будто въ Краѣ никакого такого повстанія вовсе и не бывало, что паны сидѣли себѣ смирно въ своихъ имѣніяхъ, а по Краю гуляли шайки какихъ-то лайдаковъ-разбойниковъ, что «дворанство» всегда было «наивѣрно-преданнѣйшей подпорой Царю и отечеству», а теперь, вслѣдствіе черной интриги Каткова, «одклевано» и за все, про все сдѣлалось невинной жертвой, тогда какъ съ этимъ добрымъ и вѣрнымъ «дворанствомъ» давно бы надлежало помыслить о полномъ «примиреньи и забвеньи».

Мужъ графини Цезарины, еще до начала вооруженнаго возстанія высланный на житіе въ Славнобубенскъ, сумѣлъ съ теченіемъ времени какъ-то такъ устроить, что ему перемѣнили мѣсто ссылки и дозволили жить въ одномъ изъ русскихъ городовъ, лежащихъ на линіи Петербурско-Варшавской желѣзной дороги. Здѣсь часто посѣщаетъ его графиня Цазарина; которая благополучно успѣла избѣжать послѣдствій своего визита въ повстанскую банду. Время почти нисколько не измѣнило ея наружности: она все такъ-же обаятельна, и въ послѣдніе годы все чаще и чаще начинаетъ показываться на петербургскомъ горизонтѣ, ловко, а иногда и не безуспѣшно стараясь возобновить свои, нѣкогда прерванные, добрыя отношенія во вліятельныхъ сферахъ. Зачѣмъ это ей нужно—про то ей знать... Панъ грабя Слосичицкій въ этихъ случаяхъ нѣрѣдко бываетъ спутникомъ графини Цезарины, и все что-то предпринимаетъ, что-то устраиваетъ, все хлопочетъ о чемъ-то и иногда продолжаетъ по-прежнему неожиданно летать изъ Петербурга въ Вильну, изъ Вильны въ Варшаву, въ Парижъ, въ Женеву и т. д. Онъ теперь, между прочимъ, состоитъ въ большой дружбѣ съ Мойсеемъ Фрумкинымъ, которому кто-то далъ большія деньги, съ тѣмъ, чтобы Фрумкинъ, при подставномъ редакторѣ, издавалъ умѣренно-либеральную газету въ защиту «эзраэлитскихъ интересовъ», а панъ грабя серьезно думаетъ, что интересы евреевъ и интересы польско-дворанской интеллигенціи весьма удобно могутъ ужиться въ русской прессѣ подъ сѣнію «умѣреннаго либерализма». Панъ грабя вообще старается, чтобы до поры до времени казаться какъ можно умѣреннѣе, и если желаетъ для своихъ «родаковъ» возстановленія нѣкоторыхъ утраченныхъ правъ и привилегій, то это только ради поддержки и развитія между ними «консервативныхъ элементовъ».

Полковникъ Пшецыньскій перемѣнилъ родъ службы, причислился къ одному изъ министерствъ и теперь хлопочетъ о довольно вліятельномъ административномъ мѣстѣ, желая получить его не иначе какъ въ Польшѣ или въ Западномъ краѣ, дабы тамъ въ пользу русскаго

дѣла примѣнить свою испытанную служебную опытность.

Одинъ только ксендзъ-каноникъ Кунцевичъ по-прежнему остается въ Славнобубенскѣ, служа утѣшеніемъ мѣстной польской колоніи, которая съ 1863 года значительно тамъ увеличилась и, по преимуществу, служить теперь по желѣзнымъ дорогамъ.

Бывшій славнобубенскій губернаторъ Непомукъ Анастасьевичъ Гржибъ-Загржимбайло со своей огненной супругой въ настоящее время находится въ Петербургѣ. Нѣкоторое время онъ оставался причисленнымъ къ министерству, но потомъ, при помощи такого туза какъ Почебутъ-Коржимскій, ему удалось заполучить весьма солидное мѣсто, на которомъ онъ сидитъ довольно прочно и очень, очень осторожно работаетъ при случаѣ «ad maiorem Dei et patriae gloriam». Его супруга, между прочимъ, подружилась съ графиней Цезариной, для которой служить иногда, въ нѣкоторомъ родѣ, необходимою ступенью во вліятельныя гостиныя петербургскаго свѣта.

И такъ, слава Богу, все пока обстоитъ благополучно!

Польская эмиграція, которая вслѣдъ за послѣднимъ повстаніемъ разсѣялась по лицу Европы, нынѣ скучивается все болѣе и болѣе въ гостепріимной Швейцаріи, гдѣ, впрочемъ, муниципальныя власти не знаютъ какъ отдѣлаться отъ этихъ милыхъ гостей своего отечества. Эмиграція подѣлилась на безчисленное множество кружковъ и партій, которыя всѣ враждебны другъ другу и, засѣдая въ своихъ избранныхъ «кнейпахъ», безъ конца сплетничаютъ, ругаются, дерутся между собой, обличаютъ то того, то другого члена въ измѣнѣ, въ воровствѣ народныхъ фундушовъ, въ предательствѣ и т. д., и въ то же время неустанно конспирируютъ, агитируютъ, поддѣлываютъ русскіе кредитные билеты и вообще представляютъ собой одно изъ печальнѣйшихъ явленій современной социальной жизни. Одно время между этими партіями бродила мысль о томъ, чтобы въ 1872 году, въ память столѣтней годовщины перваго раздѣла Польши, произвести какую-нибудь яркую демонстрацію въ одной изъ раздѣленныхъ земель бывшей польской «Короны». Галиція считалась между ними наиболѣе подходящей для подобной цѣли. Отголоски этого проекта проникли и въ нашъ Западный край, но отголоски до такой степени смутные, что на нихъ даже не стоило обратить хоть сколько-нибудь серьезнаго вниманія. Между тѣмъ эмиграція не оставляла своей «животворной идеи». Она и сама ни одной минуты не рассчитывала на успѣхъ, она была убѣждена, что попытка будетъ раздана тотчасъ же, но все-таки намѣревалась привести ее въ исполненіе ради того только, чтобы «заявить свой протестъ», чтобы показать

міру, что хотя и сто лѣтъ прошло со времени раздѣла, но Польша все еще не «згинѣла», какъ вдругъ, среди всѣхъ этихъ споровъ, вздоровъ, интригъ и подпольныхъ приготовленій, неожиданно грянули первые боевые выстрѣлы при Саарбрюкенѣ. Эти выстрѣлы застigli врасплохъ и не однихъ поляковъ, которые, послѣ ихъ громоваго эхо, всѣ вдругъ притаились и замерли въ напряженномъ ожиданіи. Конечно, никто въ Европѣ не слѣдилъ съ болышимъ напряженіемъ за франко-германской борьбой и никто увѣренъ не былъ, что поляковъ не ожидаетъ ея счастливаго для Франціи исхода. Затаенныя надежды стали оживать... но увѣ!—погромы Верта и Гравелоты сильно поколебали такія надежды и привели чающихъ движенія воды въ печальное недоумѣніе. Вслѣдъ за тѣмъ въ устахъ всего міра прозвучало имя Седана. Вмѣстѣ съ катастрофой для Наполеона, Седанъ былъ катастрофой и для поляковъ. Онъ разомъ пришибъ смертельнымъ ударомъ всѣ ихъ блестящія надежды и планы.

«Что дѣлать? Какъ быть теперь? Что будетъ

дальше?» всталъ предъ ними безпощадный, роковой вопросъ—и взоры поляковъ смущенно обратились на Сѣверъ.

...«Что будетъ дальше?»

Суждено ли длиться еще и еще этой «борьбѣ за существованіе» между двумя силами? Сознаетъ ли, наконецъ, одна изъ нихъ неизбежную дилемму, которая съ безпощадной логикой говорить ей: «либо исчезай съ лица земли, безслѣдно растворяясь въ культурномъ германскомъ началѣ, либо сливайся съ русскимъ народомъ, чтобы возродиться какъ народъ въ могучемъ славянствѣ». Признаетъ ли польская интеллигенція прямо и честно этотъ единственный-возможный для нея выходъ, или же, оставаясь вѣрной своимъ традиціямъ, ничему не научась и ничего не умѣя забыть, попытается вновь разразиться еще однимъ кровавымъ пучкомъ?

Какъ знать!—Это покажетъ будущее, которое, быть можетъ, наступитъ и гораздо ранѣе, чѣмъ можно, повидимому, ожидать его.



(СОВРЕМЕННЫЙ ОЧЕРКЪ).

Чѣмъ былъ и чего вдругъ лишился ~~нашъ~~
Пшепендовскій.

— Какъ.. Я?.. У мене?.. У мене сочувствие?—Пррсс!.. Къ мятежникамъ?.. Къ тымъ канальямъ?—А ни Боже мой!.. И что это только такое вы говорите! Я, сударь мой, есть капитанъ-справникъ; этое одзначаеъ: я естъ друхъ порадка.

— Э-э, нѣтъ! Усѣхъ должны были отпра-
влять! Усѣхъ! И мене тоже, ежели такъ бу-
демъ судить!.. Помилуйте, на челоѣвка усе
можно сказать!.. Но надо доказаты наперодъ,
надо доказаты!.. Надо разсмотрѣть въ легаль-
ной стороны, бо такъ не можно!

— Да насчетъ взносов доказательства есть.

— Ну, и что жъ изъ того?... Ну, и есть!.. Але-жъ будемъ мы такъ говорить: вы сидите-себѣ мирно и покойно у своихъ, можно сказать, пенатовъ; при васъ ваша любимая жѣна... и ребенки тутъ на полу кувыркаются... и все это такъ пріятно вамъ, и вы ни о чемъ дурного не думаете себѣ, и никому никакого зла не желаете,—а тутъ вдрухъ входятъ до васъ у двоихъ, але и по три гайдука — такі галгане!—и втотчасъ съ кыжаломъ у брухо, альбо и зъ тымъ... зъ револьверемъ... Какъ приставятъ до носу та и говорить вамъ: «прошен-пана офяровацъ цокольвѣкъ за майонтковъ паньскихъ до фундушу народового!» — Ну, и когда жъ они такъ застигнуть васъ—и вы по своей неволѣ даете, бо они втотчасъ же забіють васъ, а у васъ жѣна, а у васъ потомки ваши ползаютъ, и вы помирать не хотите... Ну и данъ, только одыжитесь вы скорѣйшъ, лайдаки проклятые!

— Оно пожалуй и такъ; но ужъ будто къ вамъ такъ просто и спокойно могли входить эти господа и требовать съ ножомъ у горла?

— А какъ же-жъ иначе? Непремѣнно зъ нѣжемъ, чи еще зъ револьверемъ!

— Да вѣдь вы были исправникомъ...

— Ну, то такъ есть! И наусегда былъ добрый справникъ, и одъ начальства отличне аттестованы! Но что жъ зъ того?

— Да вѣдь при исправникѣ всегда казаки, цѣлая команда,—и при васъ вѣдь были тоже казаки.

— А, полноте, пожалуста! Чѣто такое казаки?... Казаки!—Вы просто не можете имѣть себѣ никакого о томъ воображенія! Одъ нихъ никакого защищенія, а одно только разоренье есть, бо онъ только и сидитъ себѣ у жида въ кѣрмѣ, и какъ надрызгается этои самои водки, то и лежить себѣ кверху брухомъ, какъ свинья какой.

— Зачѣмъ же вы допускали до этого? Зачѣмъ же не взыскивали?

— А чѣто жъ я могу? Я тутъ ничего не могу... бо я жъ не злой человѣкъ, и душу имѣю добрую.

— Мужики, однако васъ, кажись, не со-всѣмъ-то долюбляли.

— Бо я спуска не давалъ! И вы усѣ, господа мыровіи посредники, вы усѣ, позвольте вамъ выразить, имѣете совсѣмъ фальшиве воображеніе — на этотъ щотъ. Мужикъ — онъ только нынѣ притворяется такимъ добрымъ, такимъ вѣрнопреданнымъ, а до этого дурацкаго повстанія мужикъ былъ найпервшій бунтовщикъ! найпервша бѣстія! Вы напрасно воображаете себѣ, чѣто тутъ чѣто нѣбудъ дворянство... Конечно, и въ дворянствѣ код-чѣто было, але гдѣ паршива овца не водиться? Но только повѣрте на чести, дворянство—и это наусегда было найпервша опора престола и ойте-

чества... Оно еще и мужиковъ одъ бунтовъ воздерживало!—То такъ есть! Какъ честный чловѣкъ! Я смотрю безпристрастно, а потому такъ и говорю! А за паршивыхъ овецъ, — то нынѣ усѣ мы жертвами выходимъ. Такъ не можно! И зъ тыми, которые какъ я, напримѣръ, наусегда были у вѣрнопопдаѣствѣ, надо ужъ помыслить о примиренью и забвенью.

Такъ разсуждалъ панъ Пшенпендовскій съ мировымъ посредникомъ Ивановымъ, сидя подѣ тѣнью развѣсистыхъ деревьевъ, въ публичномъ саду города N.

Панъ Пшенпендовскій выглядѣлъ совершенно паномъ не то что маленькой, а почти маленькой руки, занимая какую-то неопредѣленную серединку между паномъ средней руки и паномъ руки маленькой. На видъ ему было лѣтъ сорокъ, и такъ было ему и въ дѣйствительности. Выраженіе лица имѣло въ себѣ нѣчто исполнѣ польско-благонамѣренное. Хорошіе темнорусые усы носилъ онъ по шпяхетски, тоненькая полоска бакенбардъ спускалася отъ одного уха, убѣгала подѣ подбородокъ, къ шеѣ, и такой же тоненькой полоской восходила къ уху другой стороны лица. Взглядъ пана Пшенпендовскаго передъ низшими выражалъ презрительную и какъ бы начальственную надменность (вѣроятно въ силу старой исправничьей привычки), передъ маленькими людьми изъ русскихъ—полную и отчасти горделиво-равнодушную независимость; передъ почтенными стариками «конпатріотами» — пріятную почтительность чловѣка, уважающаго старость и готоваго у нея поучаться; передъ ксендзомъ взглядъ пана Пшенпендовскаго выражалъ скорбное сочувствіе чѣму-то и кроткую, пригнетенную покорность кресту, посланному отъ Бога; передъ російскимъ высокимъ начальствомъ этотъ разнообразный взглядъ и таялъ, и умилялся, и извивался жирнымъ угремъ, и выражалъ даже патріотизмъ вѣрнопреданный, неизмѣримый, и полную готовность лечь костями противъ враговъ единства, покоя и счастья нашего «общаго, великаго и вселюбезнаго отечества». Словомъ сказать, это былъ взглядъ до послѣдней степеніи гибкій. Гибкости взгляда вполнѣ соотвѣтствовали гибкость спины, шеи и головы, которыя тотчасъ умѣли принимать то самое положеніе, тотъ самый характеръ, что, смотря по требованіямъ обстоятельствъ любой данной минуты, принималъ гибкій взглядъ пана Пшенпендовскаго.

Панъ Пшенпендовскій не толстъ и не худощавъ, не высокъ и не низокъ, а такъ-себѣ, нѣчто средне-пропорціональное,—одѣтъ всегда довольно опрятно, но никакъ не по модѣ, а именно такъ, какъ умѣютъ одѣваться одни только Западнаго края помѣщики не то что средней и не то что совсѣмъ маленькой руки. Панъ Пшенпендовскій походилъ на помѣщика душъ двухсотъ (говоря по-прежнему), и въ

прежнее счастливое время дѣйствительно былъ обладателемъ двухсотъ душъ крестьянскихъ. Сто у него было своихъ, да сто взялъ по со- сѣдству за женой. Панъ Пшенпендовскій въ своимъ окологдѣ былъ извѣстенъ за добраго обывателя, добраго семьянина, добраго католи- ка и добраго человѣка. Последняго о немъ мнѣ- нія не раздѣляли одни только крестьяне того уѣзда, гдѣ онъ исправничалъ—по своему, весь- ма исправно. Панъ Пшенпендовскій былъ сча- стливымъ отцомъ двухъ дѣтей—сына Стаса и дочери Брони, которымъ было: одному четыре, а другой три года, и не менѣе счастливымъ супругомъ очень хорошенькой и очень вкусной пани Пшенпендовской, которая въ дѣйствитель- ности считала себя двадцать восемь лѣтъ, но всему свѣту было извѣстно, по ея словамъ, что ей всего только двадцать - четвертый годъ. Этотъ фатальный двадцать-четвертый годъ не- измѣнно фигурировалъ у нея въ каждомъ под- ходящемъ случаѣ уже ровно четыре лѣта сря- ду, что впрочемъ ни сколько не мѣшало пани Фелиція быть очень хорошенькой, очень вкус- ной женщиной и казаться, дѣйствительно, мо- ложе своихъ лѣтъ. Всѣ знаемые и родни и сосѣди называли это супружество не иначе какъ самымъ счастливымъ и самымъ примѣр- нымъ супружествомъ,—и панъ Пшенпендовскій въ качествѣ человѣка, равно какъ и въ каче- ствѣ исправника, пользовался всеобщимъ ду- шевнымъ расположеніемъ добрыхъ-пановъ-обы- вателей своего уѣзда, за что и былъ въ тече- ніе трехъ трехлѣтій неизмѣнно избираемъ ими въ должность исправника.

Мирно и счастливо текли исправничьи дни пана Пшенпендовскаго, который даже съ 1861 года успѣлъ заслужить себя имя добраго, хотя и осторожнаго патріота; російское начальство тоже атестовало его добрымъ, расторопнымъ, примѣрно-усерднымъ и надежно-исполнитель- нымъ чиновникомъ—и такимъ образомъ эти счастливые дни и счастливая атестація длились бы можетъ до самаго смертнаго часу, если бы, на бѣду пана Пшенпендовскаго, не нанесъ Богъ въ этотъ Край графа Муравьева. Староопыт- нымъ, зоркимъ и чуткимъ орломъ влетѣлъ по- койникъ на этотъ Край и... между прочимъ, ми- молетомъ клюнулъ пана Пшенпендовскаго: взялъ да и порѣшилъ его относительно исправничьей должности.

Тутъ началось горе пана Пшенпендовскаго. Съ одной стороны, надъ нимъ возсіалъ ореолъ— въ нѣкоторомъ родѣ политическаго мученика, страдальца за патріотическую пдею, хотя и ма-ленькаго, а все же таки мученика и все жъ та- ки страдальца; но, съ другой стороны, карма- ны пана Пшенпендовскаго потерпѣли ошланный ущербъ, потому что еще передъ началомъ по- встанія, онъ—по настояніямъ духовника, сулив- шаго ему милости небесныя, и по неотступнымъ требованіямъ жены, соблазнявшей его своимъ

милостями земными,—дозвоплъ ей распоря- диться значительной частью капиталца, ско- пленного на службѣ. Она, въ порывѣ патріоти- ческаго увлеченія, взяла да и отдала этотъ ка- питалецъ пану Пипемыкѣ, который былъ тогда «организаторомъ повятовымъ». Организаторъ, конечно, выдалъ пани Пшенпендовской самую вѣрную квитанцію, по которой ржондъ народо- вый, какъ только совершится полное восстано- вленіе ойчизны, непременно выплатитъ ей весь капиталъ и даже съ процентами. Пани Пше- пендовская, разумеется, повѣрила—и развѣ можно было не вѣрить? А панъ организаторъ, межъ тѣмъ, захвативъ всю свою кассу, ушелъ до лясу, въ банду. Банда конечно была разбита, но пану Пшемыкѣ удалось удрать за границу, а съ нимъ удрали и денежки пани Пшенпендов- ской, которая однако непременно получить ихъ по квитанціи, когда вольна и неподлегла ойчиз- на... и проч. И вотъ, такимъ образомъ, панъ Пшенпендовскій вдругъ остался на бобахъ: и мѣсто потерялъ, и капитала лишился; а между тѣмъ у пана Пшенпендовскаго есть «любимая жона», у пана Пшенпендовскаго его потомки ползають—и всѣ они вмѣстѣ съ самимъ па- номъ Пшенпендовскимъ, «кушать желаютъ», и панъ Пшенпендовскій, какъ добрый отецъ и до- брый супругъ, очень хорошо это чувствуетъ. Что тутъ дѣлать пану Пшенпендовскому?..

«Что дѣлать?—Что робиць?» въ этомъ-то и весь вопросъ его, насущный вопросъ, заклю- чается.

Имѣныице не даетъ почти никакого дохода, хозяйство истощено ежегодными контрибуціями, лайдакамъ хлопамъ, по милости новыхъ Му- равьевскихъ посредниковъ, пришлось таки урѣзать отъ себя добрые надѣлы; а подлые хлопы почти-что отказываются работать на па- на Пшенпендовскаго, а коли и пдутъ, то за не- помѣрную цѣну,—а панъ Пшенпендовскій межъ тѣмъ, вмѣстѣ съ потомками, очень и очень ку- шать желаетъ. Ну, и по жъ terazъ мусіе робиць несчетныи паны Пшенпендовскій?..

Что мусіе панъ робиць?—вопросъ дѣйстви- тельно рокового свойства.

Панъ Пшенпендовскій, при каждомъ подхо- дящемъ случаѣ, сталъ ругать, порипать, поно- сить «дурацкѣ повстанье» и его «дурацкихъ будовниковъ», заговорилъ о томъ, что онъ всег- да былъ «вѣрнымъ собакой», и запѣлъ хорошо извѣстную нынѣ въ цѣломъ Краю пѣсенку «о примиренью и забвенью».

Панъ Пшенпендовскій нашелъ наконецъ, что онъ мусіе terazъ робиць, якъ добры полякъ и добры обывацель.

ГЛАВА II.

Что наводитъ пана Пшенпендовскаго на хорошую идею.

Панъ Пшенпендовскій все еще благодуще- ствовалъ подъ густой тѣнью деревьевъ. Онъ

только-что кончилъ разговоръ съ мировымъ посредникомъ Ивановымъ, который, раскланявшись съ собесѣдникомъ, оставилъ его одного мечтать о прелестяхъ примиренія и забвенія.

— А! тату! Тату сѣдзѣ подѣ джевемъ, а мама шука тату. Идзѣ до мамы!—запищали вдругъ подѣ самымъ ухомъ пана Пшенпендовскаго двое его потомковъ,—обстоятельство, изведшее его изъ области мечтаній о примиреніи и забвеніи.

Онъ поднялъ глаза—передъ нимъ въ трехъ шагахъ стояла пани Фелиція, тоже вышедшая подышать прохладою майскаго вечера.

Панъ Пшенпендовскій подвинулся и далъ ей подлѣ себя мѣсто на скамейкѣ.

— Шліома сапожникъ приходилъ,—начала пани Пшенпендовская, сразу направляя разговоръ на хозяйственныя и домашнія надобности.

— А чего ему надо?—не глядя на нее, равнодушно и вскользь замѣтилъ панъ Пшенпендовскій, хотя самъ очень хорошо зналъ, зачѣмъ могъ придти сапожникъ Шліома, но панъ Пшенпендовскій любилъ иногда тѣшить себя «воображеніемъ», будто онъ независимый ни отъ кого и очень богатый панъ, къ которому люди могутъ приходять ни за чѣмъ инымъ, какъ только на поклонъ и съ просьбой о какой-нибудь паньской милости. Съ такимъ точно равнодушнымъ и независимымъ видомъ и теперь спросилъ онъ свою супругу: «а чего ему надо?»

— Известно чего! Денегъ хочетъ, денегъ просить приходилъ,—съ недовольнымъ видомъ возразила супруга.

— А я и самъ хочу! Я и самъ попросплѣ бы!

— Говорить, что до полиціймейстера пойдетъ, когда не отдадимъ, больше ждать не хочеть...

— От-то ёще! всяка свиня до полиціймейстера!—пришелъ вдругъ панъ Пшенпендовскій въ справедливое негодованіе. — Какъ былъ справникомъ, тогда, небойсь, не говорилъ о полиціймейстерѣ, а теперь ужъ и до полиціймейстера!

— Отъ Файтовой тоже приходили,—продолжала докладывать супруга.—Велѣла сказать, что въ кредитъ ничего больше отпускать не можеть... Тоже денегъ просить.

Панъ Пшенпендовскій сидѣлъ, положивъ обѣ руки на набалдашникъ своей палки, а на руки положивъ подбородокъ. На сей разъ онъ ничего не сказалъ, а только весьма энергически сплюнулъ въ сторону.

— И отъ хозяина приходили: за квартиру срокъ,—докладывала межъ тѣмъ, какъ голосъ неутомимой совѣсти, пани Фелиція.

— От-то псаявѣрный родъ! И что же мнѣ душу прозакладывать для нихъ, или что!—волновался панъ Пшенпендовскій.—Э, нѣтъ! Надо въ деревню ѣхать поскорѣ! Здѣсь одно разоренье!

— А въ деревнѣ чѣмъ жить будешь?

— О-ля бога! И что за вопросы!

— И въ деревнѣ жить нечѣмъ... въ деревнѣ хуже еще.

— Э, подите пожалуйста! И вы, какъ вижу, за-одно со Шліомами и Файтовыми мучить меня собрались!.. Ну и нечѣмъ! Ну, и хуже будетъ! И что жъ я буду дѣлать?

— У Стася подошвы отлетаютъ... Бронѣ платьице новое надо бы... Стасю! не бѣгай такъ много,—обратилась она вдругъ къ старшему потомуку своего супруга,—лучше сядь коло мамы... Не бѣгай, мое сердце, а то бутки со-всѣмъ расползутся.

Бутки Стася были вовсе не въ такомъ уже плачевномъ состояніи, чтобы надо было ежеминутно опасаться за ихъ существованіе, но для пани Фелиціи это разбереженіе своихъ ранъ и ранъ супруга доставляло какое-то особаго рода мрачное удовольствіе. Ей, дѣйствительно, порой приходилось очень жутко: молодость и прежняя привычка къ довольству, къ извѣстнаго рода комфорту и общественному почету, въ качествѣ пани исправниковой, и, наконецъ, сознаніе своей милосидности—все это, въ совокупности, были такія вещи, которыя тянули пани Фелицію еще и пожить, и повеселиться, и показаться въ свѣтъ, и блеснуть, но... «дурарѣе повстанье» лишило ее всѣхъ этихъ пріятностей и удовольствій. Во время оно пани Фелиція пѣвала по костеламъ «Боже цось Польске», носила конфедератку и жалобу—трауръ по ойчизнѣ—и была, не шутя, очень интересна собою и своей ролью ярой патріотки. Вся окружала молодежь, въ чамаркахъ и кунтушахъ, вслѣдствіе этого увивалась вокругъ прелестной пани исправниковой, жужжала ей о ея красотѣ и гражданскихъ доблестяхъ—и пани исправникова, довольная собою, своими побѣдами и своими доблестями, плавала на верху блаженства. Но... плачевныя обстоятельства и «пршекленты наяздъ москевськи» унесли безвозвратно это блаженство. Пани Пшенпендовской было это очень досадно и преебидно, но такъ какъ ничего уже больше не подѣлаешь, то пани Пшенпендовская въ жуткія минуты стала беречь раны своего честолюбиваго сердца и домашняго экономическаго положенія, съ мрачнымъ наслажденіемъ изливая всю боль этихъ ранъ на своего супруга, вѣроятно въ силу пословицы: кого люблю, того и бью. Изъ своихъ домашнихъ прорѣхъ она сдѣлала даже предметъ нѣкоторой рисовки, не лишенной даже своего рода гордости и достоинства. Часто указывая своимъ знакомымъ на эти раны и прорѣхи, она не безъ эффекта восклицала: «вотъ до чего довели насъ москалѣ! полюбуйтеся, люди добрые!» И бутки маленькаго Стася играли при этомъ не послѣднюю роль. Знакомые сочувственно качали головами, прискорбно вздыхали и отдавали должную справедливость

гражданскимъ чувствамъ «несчастливой пани Пшенпендовской».

Однако же роль гордой и твердой въ своемъ несчастіи гражданки — роль, избранная по необходимости — начинала уже нѣсколько надѣдаться ей.

Туалетное зеркало говорило ей каждое утро, что густая коса ея еще очень мягка и волниста, что румянецъ еще играетъ во всю щеку, что цвѣтъ лица и свѣжъ, и здоровъ, что хорошенькіе глазки еще горятъ блескомъ неуходившейся жизни, — словомъ, что вся она еще слишкомъ полна этой жизни и хороша собой, и потому, стало быть, имѣетъ пока полное право пользоваться и наслаждаться жизнью. Разъ отвѣдавши общаго почета и, въ нѣкоторомъ родѣ, власти — экс-исправничиху тянуло опять и къ власти, и къ почету, и къ увиваньямъ молодежи, и къ такому положенію, которое давало бы достаточныя средства на все на это, — такъ ужъ на чорта ли тутъ избранная по необходимости роль твердой въ своемъ несчастіи гражданки!

Раны-то свои она отъ этого еще пуще бередила и еще пуще изливала боль и желчь свою на супруга, но ролью все-таки, въ глубинѣ души своей, сильно и постоянно тяготилась.

— Ахъ, Боже мой! — начала она, какъ бы перемѣняя прежнюю докучную тему о бутикахъ, Шлюмахъ и Файтовыхъ, — какую прелесть я сейчасъ видѣла! Иду мимо магазина Закрушевской, а у нея въ окнѣ новая шляпка выставлена... Представь себѣ, мой милый, прелесть, что за шляпка!.. Соломенная, à la chinoise, и вся пунцовымъ макомъ убрана, вся эдакъ макомъ, макомъ!.. Ахъ, какая прелесть!.. Вотъ, думаю, кабы мнѣ такую шляпку... Вѣдь ужъ я мою второй годъ ношу — это ужасно!

Панъ Пшенпендовскій улорно молчалъ и глядѣлъ въ землю, опершись подбородкомъ на палку.

— Пану Пшенпендовскому, кажись, вовсе не угодно слушать меня!.. нервно и обиженно заговорила вдругъ пани Фелиція, — вы, кажется, не удостоиваете меня даже и разговоромъ... О, мой вѣжливый панъ Пшенпендовскій! Что же, съ женою такъ и слѣдуетъ...

— Ай, Іезусъ-Марія! да отвяжитесь вы отъ меня! И безъ васъ тошно! — вдругъ весь сморщась, закричалъ панъ Пшенпендовскій, словно бы ему на мозоль наступили. — Тутъ у человека серьезныя размышленія, а вы со своимъ макомъ, макомъ... Ну, и что мнѣ до вашего мака!.. Чѣмъ же я могу помочь въ этомъ?..

— Не быть такимъ, какимъ вы стали, — внушительно и менторски замѣтила ему супруга.

— Благодарю за наставленія!.. Очень обя-зали!.. ужъ довольно я ихъ слушаю!

— Да лучше бы было, кабы побольше слушали. Я на дурное не наставляю...

— Что и говорить!.. Теперь макъ да пу-стырнякъ, а по чьей милости я всего капита-лу лишился?.. было бы не совать деньги на дурацкія пѣванья, такъ и шляпы были бы!.. А теперь что я буду дѣлать?

— Что дѣлать? — тономъ оракула, внуши-тельно, но въ то же время вдругъ кротко и ласково сказала пани Фелиція, — что дѣлать? не сидѣть, сложа руки, а szukać мѣстца, муй коханы! Да, мѣста искать — вотъ что дѣлать!

Панъ Пшенпендовскій отнялъ отъ палки свой подбородокъ и молча поглядѣлъ на суп-ругу удивленнымъ и недоумѣвающимъ взгля-домъ. Это было для него совсѣмъ новое слово въ устахъ его супруги.

— Мѣстца szukać... задумчиво и озада-ченно пробормоталъ онъ. — От-то есть идзя!.. Мѣстца szukać... Э?.. Дали-бугъ, пенкнаштука!

На главной аллеѣ городского сада оказалось вдругъ нѣкоторое движеніе. Взоры гуляющихъ обращались болѣе или менѣе все въ одну сто-рону, нѣкоторые мужчины приподнимали шля-пы и почтительно раскланивались; нѣкоторые же, напротивъ, сѣлишили принять какое-то ра-внодушно-независимое выраженіе и какъ бы не замѣчать, игнорировать движеніе, сдѣлав-шееся болѣе или менѣе общимъ въ гуляющей публикѣ.

По главной аллеѣ, въ сопровожденіи какого-то чиновника, изволилъ шествовать, въ изящ-номъ Шармеровскомъ пальто и лѣтней легонь-кой шалочкѣ, его превосходительство. Онъ очевидно находился въ благодушественномъ настроеніи и болталъ о чемъ-то съ чиновни-комъ.

Дежурный частный приставъ, состроивъ та-кую физиогномію, будто онъ здѣсь такъ-себѣ и самъ по себѣ, случайно зашелъ прогулять-ся, не безъ почтительности слѣдовалъ на при-личной дистанціи, шагахъ въ пятнадцати, за его превосходительствомъ.

Его превосходительство проходилъ какъ разъ мимо той скамейки, на которой сидѣлъ съ су-пругой панъ Пшенпендовскій.

Панъ Пшенпендовскій, еще за пять шаговъ до его приближенія, почтительно привсталъ съ мѣста и, приятно сгибая спину, обнажилъ свою голову. Пани Фелиція, въ качествѣ дамы, осталась на скамейкѣ, но тоже не безъ пріятно-сти обратила взоръ свой на встрѣчу подходя-щему превосходительству.

Его превосходительство съ подобающей не-брежностью отвѣтилъ на поклонъ пана Пше-пендовскаго, но осѣдлавъ носъ золотымъ пенс-на, въ свою очередь не безъ пріятности и весьма внимательно поглядѣлъ на неизвѣстную ему и столь вкусную пани Пшенпендовскую, которой при этомъ невольно вспомнилось, что часто съ такимъ точно выраженіемъ жирные коты посматриваютъ на лакомый кусочекъ мяс-ного. Она замѣтила тоже, что не успѣлъ еще

его превосходительство миновать ее, какъ уже обратился съ какимъ-то замѣчаніемъ къ чиновнику, и по лукаво и масляно ослабленной физиогноміи этого чиновника она почти съ полной увѣренностью заключила, что замѣчаніе его превосходительства было сдѣлано не иначе, какъ только насчетъ ея, пани Пшепендовской. Пани Пшепендовская, при этомъ сознаніи, не могла внутренне воздержаться отъ скромной, но пріятной улыбки.

Не прошло и пяти-семи минутъ, какъ къ пани Пшепендовской подскочила дебелая «пани Пшесныцкая» съ озабоченнымъ, но сіяющимъ лицомъ. Пани Пшесницкая, вдова преклонныхъ лѣтъ, была и свахой, и закладницей, и посредницей при продажѣ и куплѣ, и даже ходатаемъ по дѣламъ во всѣхъ присутственныхъ и неприсутственныхъ мѣстахъ. Вѣчная хлопотунья и непосѣда, не взирая на свою дебелость, она отличалась особой specialностью: знать всѣхъ и все, состоять въ знакомствѣ съ цѣлымъ городомъ, имѣть входъ и доступъ повсюду, быть въ одно и то же время вездѣ и нигдѣ. Если пани Пшесницкая и не была съ кѣмъ знакома лично, что впрочемъ могло почестся большой рѣдкостью, то она все равно знала незнакомаго въ лицо, по фамиліи, по мѣсту, по положенію,—словомъ, знала почти всю подноготную. Это была живая справочная книга города N.

— Ахъ, моя пани! моя пенкна, моя дрога пани!—затараторила она сразу, подсѣвъ къ супругу пана Пшепендовскаго и горячо потрясая ей руки.—Что сейчасъ было!.. Ахъ, какое происшествіе!.. если-бъ вы только знали, что сейчасъ было!.. Я нарочно, въ ту-жъ минуту побѣжала къ вамъ, чтобы разсказать вамъ... Нѣтъ, но вы представить не можете себѣ, что сейчасъ было!..

— Ну, ну?—нетерпѣливо подуськивала пани Фелиція.

— Но нѣтъ, вы только представьте себѣ!.. Это прекрасно!.. Это чудесно!.. Вы знаете Камневича?.. Ну, вотъ того самого Камневича, что служить въ полиціи... Частный приставъ... Да вотъ онъ сейчасъ же проходилъ мимо! Я его знаю давно, даже когда три года назадъ жена его родила (онъ тогда былъ помощникомъ), такъ я же имъ и крестнаго отца нашла, — безъ меня и тутъ не обошлось! Ну, такъ вотъ подходитъ онъ ко мнѣ—а я тутъ съ секретаремъ надворнаго суда вонъ тамъ, позади вась, на скамейкѣ сидѣла... говорила ему объ одномъ дѣлѣ—вѣдь вы знаете, у меня все дѣла, куча дѣлъ, бездна дѣлъ, а помощника вѣдь нѣту—одна, вездѣ одна и все сама, вездѣ сама—конечно, бѣдная вдова!.. Ну, такъ вотъ, мы говорили о дѣлѣ, а этотъ Камневичъ вдругъ и подходитъ ко мнѣ. — «Позвольте узнать, говорить, не знаете-ли вы, кто эта пани позади вась сидитъ?»—и самъ на васъ по-

казываетъ.—А вамъ на что? говорю.—«А мнѣ нужно».—А на что вамъ нужно?—«А не скажу», говорить.—Ну, вы не скажете, и я не скажу!—«Нѣтъ, Бога ради, скажите!»—Да отстаньте вы, говорю, почему я знаю!—«Нѣтъ, говорить, вы знаете!»—А хоть и знаю, да не скажу! посылайте, говорю, своихъ шпеговъ дождаться, а мнѣ какое дѣло!.. — «Но мнѣ нужно, крайне нужно, говорить,—и нужно сейчасъ, сію минуту!»—Говорите, зачѣмъ!—«Не могу!»—Ну, и я не могу!—Видитъ онъ, что со мной ничего не подѣлаешь, отводитъ меня въ сторону и говоритъ: «меня, говорить, губернаторскій чиновникъ сейчасъ просилъ узнать, поскорѣе, бо генералъ замѣтилъ эту пани».—А какъ онъ, говорю, замѣтилъ? вѣрно что нибудь злое готовить? — «Э, нѣтъ, говорить, онъ ее пріятно замѣтилъ». Ну тутъ я ему и сказала: это, говорю, пани Пшепендовска сидитъ.

— Такъ и сказали?—перебила пани Фелиція, сверкая самодовольными взорами.

— Такъ и сказала! Это, говорю, пани Пшепендовска, и видѣла, какъ онъ тотчасъ подошелъ къ чиновнику. Нѣтъ, но вы только представьте себѣ! вы только представьте!..

Но пани Пшепендовской нечего уже было представлять, потому что въ эту самую минуту его превосходительство опять проходилъ по главной аллеѣ, мимо пани Пшепендовской и опять маслянымъ котомъ поглядывалъ сквозъ пеньсн на сіе лакомое блюдо... Пани Пшесницкая тотчасъ же примолкла, а пани Пшепендовская скромно и съ величайшимъ достоинствомъ потупила долу свои глаза.

Зато панъ Пшепендовскій вторично приподнялся съ мѣста и, вновь пріятно сгибая спину, отвѣсилъ вторичный почтительный поклонъ.

Послѣ этого его превосходительство еще раза три прошелъ мимо—и три раза пани Пшепендовская потупляла долу свои очи, все съ тѣмъ же скромнымъ достоинствомъ, но потупляла ихъ такъ, что его превосходительство—если онъ только не совсѣмъ ужъ дуракъ на этотъ счетъ—непремѣнно долженъ былъ понять, сообразить и почувствовать, что никто иной какъ онъ, единственно онъ своей собственной особой, служить пріятной причиной этого не менѣе пріятнаго потупленія. И его превосходительство, кажись, такъ и понималъ.

— Такъ, такъ, муй коханы! тршеба шукаць мѣстця!—настойчиво и увѣренно, съ легкимъ вздохомъ подтвердила пани Пшепендовская своему супругу. Но супругъ уже былъ навсѣденъ на хорошую идею.

ГЛАВА III.

Какъ пани Пшепендовская добивалась „да“ безъ „если“.

Пани Пшепендовская не любила даромъ терять времени и, хоть и полька, но всегда слѣ-

довала русской поговорки, которая учит ковать железо, пока оно горячо. Она еще в зорь же вечер тщательно вымыла губкою шею и плечи и заплела въ мелкія косички свои волосы, дабы на завтра они казались еще волнистѣе и держались бы облачно-легкими, пушистыми колечками и змѣйками вокругъ ея лба. Пани Фелиція очень хорошо знала, что *boucles d'amour* необыкновенно идутъ къ ея личику. Съ вечера же были и юбки крахмаленныя приготовлены, и вообще весь нарядъ хорошо обдуманъ.

Панъ Пшенпендовскій хотя и видѣлъ всѣ эти необычайныя приготовленія, но не понималъ, что оно значитъ и куда клонится, ибо на завтрашній день ни въ гости они никуда не званы, ни праздника особеннаго, кажись, тоже нѣтъ никакого. Онъ посредствомъ осторожнаго вопроса у супруги рѣшился наконецъ удовлетворить своему законному любопытству. Но супруга въ отвѣтъ только глянула на него такимъ краснорѣчивымъ взглядомъ, который исполнѣ ясно говорилъ ему: молчи-де, индюкъ, коли не понимаешь! — и среди своихъ хлопотъ не удостоила его никакихъ дальнѣйшихъ объясненій. Панъ Пшенпендовскій кротко покорился своей участи и не разспрашивалъ больше.

На утро пани Фелиція причесалась какъ нельзя болѣе къ лицу и одѣлась весьма авантюжно. Она послала нанять себѣ извозчика и отправилась въ костелъ. Тамъ нарочно была заказана ею «мша», дабы Богъ и всѣ Святые Его услышали молитвы пани Пшенпендовской и послали ей вожделѣнный успѣхъ въ предстоящемъ дѣлѣ. Она тутъ же дала всѣмъ святымъ обѣщаніе, что если они помогутъ ей, то она, по успѣшному окончаніи дѣла, отслужитъ имъ еще одну мшу, но только уже болшую, парадную, потому что тогда будутъ лишнія деньги, которыя, стало-быть, можно съ удовольствіемъ истратить на богоугодное служеніе.

Пани Пшенпендовская молилась столь горячо, что, выходя изъ костела, почти уже не сомнѣвалась въ полномъ и счастливомъ успѣхѣ.

Она приказала извозчику ѣхать прямо къ его превосходительству. Теперь какъ разъ наступалъ у его превосходительства обычный часъ пріема просителей. Пани Фелиція съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца, но тѣмъ не менѣе весьма рѣшительно вступила въ генеральскую залу и скромно, съ видомъ просительницы, опустилась на стулъ.

Вчерашній чиновникъ тотчасъ же весьма развязно подлетѣлъ къ пани Пшенпендовской и освѣдомился что ей угодно.

— Мнѣ до самого пана генерала, — несловосхотливо пѣдя и растягивая слова, отвѣчала просительница.

Господина генерала, — внушительно поправилъ ее чиновникъ. — Я могу доложить ему.

— А пожалуйста, будьте такой ласковій! — пріятно вдругъ улыбнулась она ему. — Скажите, что я имѣю интересъ до господына генерала. Пускай они мене пріймутъ... Да скажите имъ, что моя фамилья: Пшенпендовска... Фелиція Пшенпендовска.

Чиновникъ дробной и ловкой походкой, напоминающей походку московскихъ половыхъ, подлетѣлъ въ кабинетъ его превосходительства.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ съ легонькимъ отгѣнчкомъ какого-то двусмысленнаго довольства въ лицѣ и обратился къ просительницѣ:

— Пожалуйте! Его превосходительство проситъ васъ къ себѣ въ кабинетъ... Э-э... нынѣ его превосходительство не принимаетъ, — онъ очень занятъ, громко и официально возгласилъ онъ, обернувшись ко всѣмъ остальнымъ просителямъ, — потрудитесь пожаловать завтра, въ назначенные часы.

Просители со вздохомъ и съ вытянутыми физиономіями поплелись вонъ изъ залы.

Явное предпочтеніе, оказанное передъ всѣми остальными, обѣщало пани Пшенпендовской доброе начало.

Шумя своими юбками и стараясь придать походкѣ еще болѣе граціозной легкости, она съ нѣкоторымъ замираніемъ вступила въ кабинетъ его превосходительства.

— Чѣмъ могу служить, сударыня? — съ умѣреннымъ полупоклономъ началъ генералъ, стараясь держать себя и говорить въ тонѣ строгого офиціальномъ. Но взглядъ жирнаго кота, быть-можетъ и помимо воли его превосходительства, изъ-подъ пенсне скользилъ по всей фигурѣ граціозной пани Пшенпендовской.

— Ваше пресходзицельство, — съ запинкой заговорила немножко смущенная просительница, сдѣлавъ ему глубокий реверансъ и низко потупя глаза въ землю, — звыните за осмѣлость мою... имѣю большой интересъ до вашего пресходзицельства...

— Въ чемъ дѣло-съ?... Готовъ слушать, сударыня!

— Я — несчастлива женщина... имѣю двоихъ малютокъ, ваше пресходзицельство... и мужа имѣю... а лежъ онъ не имѣетъ никакого мѣста... Осчастливьте, ваше пресходзицельство!..

Пани Пшенпендовская для пущаго эффекта даже прослезилась немножко и, вынувъ батистовый платокъ, очень граціозно приложила его къ глазамъ. Опытная женщина знала, что легкія, умѣренные слезы, при собожденіи извѣстной граціи, очень идутъ къ ея личику.

— Вы просите о мѣстѣ мужу? — освѣдомился генералъ.

— Такъ есть, ваше пресходзицельство!

— Вашъ мужъ кто?

— Пшенпендовскій, ваше пресходзицельство.

— Что это такое Пшенпендовскій?

— Пшепендовскій, ваше пресходзицельство, это така фамилья есть.

— Гм!.. Пшепендовскій... фамилья... гм!.. Ну, да, я знаю что фамилья; конечно фамилья; не чинъ же это какой—Пшепендовскій!

— Такъ есть! не чинъ, алежь только фамилья...

— Гм... да, да... фамилья... Но что онъ такое?

— Былъ капитанъ-справникомъ, ваше пресходзицельство, алежь въ тимчасомъ усега лишний!

— Гм!.. Почему-жь-такъ? Вѣрно отрѣшенъ отъ службы?

— То такъ есть. Алежь онъ одрѣшонный не одъ себе, а по клеветамъ, ваше пресходзицельство... То было одно кламство такое, а онъ усегда былъ очень преданный... И ребенковъ такъ воспитаемъ, жебы и они тоже преданные были, бо то жь усе одно глупство, ваше пресходзицельство, и мы того не хотимъ.

— Какое же вы мѣсто желаете?

— Какое загодно будетъ вашему пресходзицельству, алежь пристойное мѣсто... бо намъ тоже и жить чѣмъ должно. Ежели бы какое при самомъ вашемъ пресходзицельствѣ!—прибавила она вкрадчиво, подымая умилные, многообѣщающіе и масляно-просящіе глазки на генерала.—Кабы такъ, то это было бы намъ за лучше всего, бо и мужъ, и я—мы усегда до начальникувъ своихъ очень преданные.

— Преданность нужна не начальнику,—докторально замѣтилъ генералъ,—преданность нужна дѣлу, сударыня, дѣлу-съ!

— Ну, то это-жь само и есть, ваше пресходзицельство! Это усе на одно выходить!

— Далеко не одно, сударыня! Мнѣ нужны чиновники исполнительные, усердные къ дѣлу, толковые.

— Але жь мы будемъ и всердны, и сполнительны!—живо подхватила пани Фелиція.—Когда только прикажете, ваше пресходзицельство, то такъ одъ разу и будетъ! Мой мужъ, завѣраю васъ, до службы очень скорый!.. Не одкажите несчетливой матери! будьте какъ ойтець ребенкамъ моимъ!

Батистовый платокъ опять весьма кстати и весьма граціозно появился передъ влажными глазками пани Пшепендовской.

— Гм!.. Вашъ мужъ католикъ?—раздумчиво спросилъ генералъ.

— То-естъ... онъ не то чѣто католикъ... а только онъ есть рожденный въ томъ, бо и ойтець и matka его были католики, алежь онъ очень сполнительный и скорый до дѣла, ваше пресходзицельство.

— Все это прекрасно, сударыня, но... вы знаете... обстоятельства доказали... Мы не имѣемъ гарантій довѣряться, послѣ того, что было... Я бы лично очень радъ, но... извините, не могу!

— Алежь какой ваше пресходзицельство

не добрый!—кокетливо проговорила пани Пшепендовская.

— Душевно бы радъ,—пожалъ плечами генералъ,—но... не могу! И даже мѣста никакого въ виду не нахожу. Честь имѣю кланяться, сударыня!

Пани Пшепендовская замедлилась на минутку въ колеблющемся раздумьи и вдругъ—бацъ передъ генераломъ на колѣни.

Тотъ такъ и отскочилъ отъ нея. Въ первый мгновенья пораженный такимъ неожиданнымъ пассажемъ, онъ даже разобратъ ничего не могъ и только безсознательно слышалъ, какъ зашумѣли крахмальные юбки просительницы.

Она, въ патетической позѣ, съ простертыми впередъ руками, на колѣняхъ ползла къ ошеломленному генералу.

— Ваше пресходзицельство!.. ваше пресходзицельство!.. Умру, а не встану!.. Не встану по тѣхъ поръ, поки не будете какъ ойтець намъ!

Генералъ вконецъ растерялся.

— Полноте... встаньте... встаньте, сударыня!.. Боже мой... какъ вамъ не стыдно!.. Что же я могу?.. Я васъ прошу!—бормоталъ онъ, силясь поднять ее съ колѣнъ.

— Не встану! Не сойду, ваше пресходзицельство!—страстнымъ и отчаяннымъ голосомъ говорила пани Фелиція, сопровождаая слова свои соотвѣтственными умоляющими жестами.—Какъ Бога прошу васъ!.. Не оттолкните! Сдѣлайте мнѣ эту прозьбу—и подѣлайте со мной тогда что хотите!—Возьмите жизнь, возьмите сердце, возьмите душу мою!.. Я—уся вашего пресходзицельства!—алежь муй добрый, муй дрогий, муй велькодушный, муй справедливый пане генералу! Въ молитвахъ моихъ—перше имя ваше!.. Для ребенковъ моихъ! для малютковъ!

И говоря эти слова, она схватила правой рукой генеральскую руку, а лѣвой обнимала его колѣна. Генералъ нашелся въ крайне затруднительномъ и непріятномъ положеніи. Въ обуявшемъ ее паосѣ, пани Фелиція и сама не замѣчала, что рука ея, охватывая генеральскія колѣни, доставляетъ ему самое непріятное ощущение. Прикосновение ея пальцевъ щекотало ему поджилки, а генералъ боялся щекотки. Онъ морщился, ежился и подрыгивалъ легонько ногами, стараясь такъ и сякъ высвободиться изъ столь страннаго положенія; но увлеченная просительница ничего больше не замѣчала. Ни морщенье, ни подрыгиванье не могли принести никакой защиты—непріятель атаковалъ столь быстро и столь рѣшительно, что генералъ порѣшилъ наконецъ сдаться.

— Хорошо, хорошо! Только встаньте, пожалуйста!—закричалъ онъ и, сдѣлавъ послѣднее отчаянное усиліе, отпрыгнулъ отъ нея въ сторону—и такимъ образомъ освободилъ свои щекотливыя поджилки.

Ему было и конфузно, и досадно—досадно до такой степени, что онъ хотѣлъ даже растопаться и раскричаться самымъ распекательнымъ образомъ на свою неотвязную просительницу, но глянулъ на нее—и...

Передъ нимъ, въ пяти шагахъ разстоянія, простерши къ нему красивыя руки, стояла на колѣняхъ, съ дрожавшей слезкой въ краснорѣчиво-безмолвныхъ глазахъ, такая прелесть, такая красивая женщина, что его превосходительство чуть было заикнулся, да тутъ же и оскѣлся на первомъ звукѣ... Просто духу не хватило раскричаться и растопаться на такую хорошенькую просительницу.

«Всѣ мы люди, всѣ человѣки!» подумалъ про себя его превосходительство. — «А и шельмовство же эти польки!»

Но помысливши таковое, онъ еще болѣе сконфузился.

— Да встаньте же, Бога ради, сударыня!.. Ну, что же вы наконецъ со мною дѣлаете!.. Ну, въ какое положеніе вы меня ставите!.. Ну, мнѣ, наконецъ, совѣстно... Ну, умоляю васъ!—разставя руки и пожимая плечами, бормоталъ генералъ въ тонѣ почти совсѣмъ жалобномъ.

Пани Пшепендовская стояла на колѣняхъ и глядѣла на него молящимъ взоромъ, и въ этомъ взорѣ, помимо его прямого выраженія, сквозило еще и другое—нѣчто страстное, манящее, многообещающее...

Генералъ махнулъ рукой и отвернулся, что бы не видѣть.

«Отойди отъ соблазна и сотвори благо», подшепнуло ему чувство служебнаго долга и благонамѣренной цѣломудренности, хотя его превосходительство насчетъ цѣломудрія, вообще говоря, былъ слабовать малую толику.

«А вѣдь хороша, чортъ возьми!.. И тово... во всѣхъ статьяхъ!» подшептывало ему въ то же самое время и какое-то другое чувство, которому генералъ не подобралъ подходящаго названія.

— Ваше превосходительство! — снова было начала пани Пшепендовская.

— Ну, ну, хорошо, хорошо!—поспѣшилъ перебить ее генералъ.—Все, что отъ меня будетъ зависѣть... все, что могу... Однимъ словомъ, мы тамъ посмотримъ... Навѣрное не общаю, но если... если можно—мы посмотримъ.

— Ваше превосходительство! муй дрогій, муй сердечный, велькодушный!—снова раздался молящій голосъ просительницы, и снова она сдѣлала быстрое, порывистое движеніе къ его колѣнямъ.

Его превосходительство, поймавъ свои поджилки, поспѣшилъ дать стрекача отъ нея въ сторону, за свой письменный столъ, стоявшій посрединѣ комнаты, и остался такимъ образомъ насторожѣ, дабы этотъ столъ могъ ему служить въ всякомъ случаѣ надежной преградой между прекрасной просительницей и его поджилками.

— Я ужъ сказалъ... Я ужъ сказалъ вѣдь вамъ! Если возможно, я съ удовольствіемъ,—убѣдительно говорилъ онъ за своимъ барьеромъ.—Ну, и будьте покойны, сударыня! Все, что могу, то сдѣлаю!

Пани Пшепендовская живо вскочила съ колѣнъ.

— Ваше слово?—стремительно проговорила она, бросаясь къ генералу и ловя его руку.

— Я ужъ сказалъ... вѣдь я сказалъ уже... Если возможно, то да!—бормоталъ въ отвѣтъ его превосходительство, дѣлая ретираду вокругъ письменнаго стола.

— Генеральське слово вашего пресходзицельства?—настойчиво и граціозно-кокетливо говорила просительница, все еще ловя его руку и наступая на непріятеля. И наконецъ—таки поймала его за рукавъ.

Генералъ опять почувствовалъ серьезное опасеніе за свои поджилки.

— Ну, да, да! Слово!.. Если только могу...

— Безъ «если», ваше пресходзицельство!.. И на что-жь это «если»? Ай, какой же-жь вы право упрямый!.. Ну, скажите безъ «если»! Тожъ гораздо простѣйш! Ну, и чего же вамъ стоить? Ну, когда же я васъ такъ прошу!.. Повѣрте на словѣ, женщина усегда сдумѣтъ быть вамъ на томъ очень, очень благодарной, говорила она съ большою выразительностью и съ большимъ, чисто польскимъ, обольстительно-лукавымъ кокетствомъ, а сама крѣпко-крѣпко жала его руку и нѣжно засматривала въ глаза, и все это такъ искусно продѣлывала менѣе чѣмъ въ полушагѣ разстоянія отъ пожилого холостяка, что онъ даже чувствовалъ ея взволнованное дыханіе и легкій ароматъ пудры, слегка покрывавшей пушисто-взбитые волосы.

Его превосходительство не выдержалъ и осклабясь опять установилъ на нее масляный взглядъ жирнаго кота. Пани Пшепендовская очень тонко это чувствовала и соображала.

— Ну? ну, пускай же вы скажете да! Ну, только безъ «если»! Ну, да? да? генеральське слово?—граціозно и кокетливо выпрашивала она съ какой-то особенной фамильярностью.

— Ну, да! Слово!—порѣшилъ наконецъ его превосходительство.

ГЛАВА IV.

Какъ нынѣ думаетъ панъ Пшепендовскій.

— Ну, муй коханы дурню! хоть и менѣе, але-жь завше кепъ, дурень! Подзенькуй пану Богу!.. воскликнула пани Фелиція съ торжествующимъ и сіяющимъ лицомъ входя въ комнату мужа.

— Цо такого?—выпуская изо рту чубукъ, лѣниво повернулся къ ней панъ Пшепендовскій.

— Эге! «цо такого!» гдѣ бы встать да броситься къ женѣ, да поблагодарить ее, да руки

ея поцѣловать,—а онъ, индикъ,—«цо такого»! Какъ вамъ это понравится?

— Але за цо-жь то ренки? за цо индикъ?—отчасти обидчиво возразилъ панъ Пшенпендовскій.

— За цо?.. Амѣстьцо вышукала, отъ за цо!—съ торжествомъ возразила пани Фелиція и величественно протянула въ воздухъ руку своему индюку для достодожднаго цѣлованія.

Индюкъ запахнулъ халатъ, расшитый шнурами, на подобіе венгерки, и поднялся въ полнѣйшемъ недоумѣніи; однакоже протянутую выжидательно руку поцѣловалъ безъ всякаго пресловія.

— Але жъ якимъ способомъ?!—пожимая приподнятыми плечами и растопыря ладони, изобразилъ панъ Пшенпендовскій живую фигуру изумленія.

Супруга передала ему способъ, только не совсемъ такъ, какъ оно происходило въ дѣйствительности.

Она очень подробно рассказала ему, какъ просила во имя мужа и малыхъ дѣтей, но кое о чемъ и умолчала,—словомъ сказать, рассказъ ея представлялъ собою изданіе исправленное и сокращенное и приспособленное къ назиданію добродѣтельныхъ мужей.

Пшенпендовскій только руками разводилъ да глазами хлопалъ—столь чудно и столь хорошо все это выходило.

— А!—протянулъ онъ не безъ важности, многозначительно подымая носъ.—Розумемъ!.. розумемъ! Онъ для того такъ и респектовалъ... для того и обѣщанье далъ... Такъ такъ! это потому!

— Почему?—слегка нахмуривъ бровь, спросила пани Фелиція.

— Бо мамъ гэрба!—съ аристократическимъ гоноромъ пояснилъ панъ Пшенпендовскій.

— Гэрба?.. Ну, и цо-жь зъ тѣго?

— А якъ-же-жь?! Бо естемъ шляхциць родовиты! бо естемъ Пшенпендовскій—розумѣшь то, душечко?

— Пфф!.. Пшенпендовскій!.. Цо-жь то есть такъ «Пшенпендовскій»?—съ маленькой досадой и выдвинувъ небрежно губу возразила пани Фелиція. Ей дѣйствительно было досадно, что индюкъ, вмѣсто благодарности за ея самоотверженіе, вдругъ сталъ приписывать весь успѣхъ дѣла ничему иному, какъ только тому, что онъ «гэрба мае» и что онъ—«Пшенпендовскій».

— Цо такого есть Пшенпендовскій?! Цо такого Пшенпендовскій?!—съ ироніей оскорбленнаго аристократизма, наступалъ на нее индюкъ.—Пшенпендовски у гэрбу свемъ майон'пул-козицы! ⁴⁾ Цалы пул-козицы! Разуме то, муя пани, чи не разуме?Отъ-цо есть такого Пшенпендовскій!

— Гэрба! гэрба!.. И что пмъ за дѣло до вашего гэрба?

— От-то ёще! Чьто за дѣло!—Почитайте-ко газеты! Газеты почитайте, тогда и узнаете! Теперь консервативный элементъ въ дѣло у нихъ пошелъ; теперь они за интересы землевладѣнныя и дворянства—потому и поддержка дворянству! Потому и мнѣ поддержка! Теперь понимаете, что значитъ гэрбъ и чему мы есть обязаны?

— Гэрба! гэрба!—продолжала въ томъ же задирающемъ и поддразнивающимъ тонѣ пани Фелиція.—У меня и свой собственный гэрбъ есть! И ужъ если генераль и сдѣлаетъ что, то ужъ конечно не для вашего, а для моего гэрба, когда вы знать хотите!

— Ну да! Ну, конечно для вашего! Что и говорить, для вашего, для вашего!—иронически раскланивался передъ ней панъ Пшенпендовскій.—Нашли гдѣ гэрбъ... И какой у васъ гэрбъ?—Гэрбарій, а не гэрбъ!

— Ну и гэрбарій! а все жъ таки вотъ для гэрбарія сдѣлають, а не для вашей пул-козицы! Куды ваша пул-козица годится? изъ нея и бѣфштекку не сготовишь! Ужъ молчи лучше со своимъ «гэрбомъ» и цѣлуй руку умной жены!

И рука снова кокетливо была протянута къ индюку, и индюкъ снова поцѣловалъ ее.

И было въ домѣ пана Пшенпендовскаго на сей день веселье, довольство и счастье.

Но прошло нѣсколько дней, прошла недѣля, и другая, и третья, даже полтора мѣсяца прошло, а о мѣстѣ ни слуху, ни духу.

Мало-по-малу прежнее озлобленное уныніе смѣнилось мимолетное довольство единственнаго счастливаго дня. Панъ Пшенпендовскій снова приунылъ и погрузился въ какія-то созерцательныя, сосредоточенныя и молчаливыя думы надъ своимъ длиннымъ черешневымъ чубукомъ, изъ котораго, подъ-стать его настроенію, уныло исходили струйки Жукровка дыма (онъ хотъ былъ и патріотъ, но придерживался по старинѣ Василя Жукова). Файтова опять не стала вѣрить въ кредитъ; Шлюма подобно ходячему memento mori, опять ежедневно стучался въ дверь и надобдалъ угрозами о полиціймейстерѣ; и сапоженки маленькаго Стася успѣли уже дѣйствительно запросить кашни.

А мѣста нѣтъ какъ нѣтъ! — И генеральское слово не помогаетъ.

А пани Пшенпендовская между тѣмъ очень хорошо знаетъ, что стоило бы генералу сказать одно только это желанное слово, сдѣлать одно только мимолетное распоряженіе—и теплое мѣсто было бы готово къ услугамъ пана Пшенпендовскаго.

Пани Пшенпендовская нѣсколько разъ понавѣдалась въ генеральскій домъ, но по большей части все неудачно: то генераль не принимаетъ, то выйдетъ къ ней въ залу—и, на ряду съ другими просителями, отвѣтитъ, пожимая плечами.

— Что дѣлать, сударыня! Душевно бы радъ,

⁴⁾ Пол-козы.

да все еще нѣтъ подходящей вакансіи... Потерпите немного.

И затѣмъ, равнодушно откланявшись, продолжаетъ далѣе. Но въ кабинетъ уже больше не зоветъ ее.

А между тѣмъ пани Фелиція слышитъ отъ пани Пшесницкой, что вотъ такому-то дали такое-то мѣсто, а такому-то—такое, и слухи эти всегда подтверждаются, всегда оказываются вполне справедливыми; стало быть мѣста-то есть, да только замѣщаютъ ихъ все «быдломъ наяздовымъ», а вѣрнопреданный панъ Пшепендовскій сидитъ на бобахъ и ждетъ у моря погоды.

— Ну и что жъ вашъ гѣрбарій?.. И гѣрбарій, видно, не помогаетъ нынче! Довольно они этихъ гѣрбаріевъ видѣли!.. Не удивите!—укоризненно и желчно обращается къ супругѣ панъ Пшепендовскій, давая волю своему грустно-мрачному и озлобленному настроенію.

И пани Фелиція только фыркала на него съ оскорбленнымъ достоинствомъ, но въ полемику уже не вступала.

А между тѣмъ идея о мѣстѣ такъ понравилась пану Пшепендовскому, и такъ живо онъ представилъ его себѣ, и такъ приятно вообразилъ себя какъ-бы совсѣмъ уже на мѣстѣ, и такъ разлакомился мечтами и предвкушеніемъ этой благодати, что теперь тѣмъ паче подвергся тоскѣ безплоднаго ожиданія. Ему ужъ во что-бы то ни стало хотѣлось заполучить себѣ теплое мѣстечко.

И вотъ, время отъ времени, слышитъ панъ Пшепендовскій, что панъ Подлецкій принялъ православіе и получилъ мѣсто, панъ Мерзецкій принялъ православіе и получилъ недуренькое мѣсто, панъ Гадъ принялъ православіе и получилъ прекрасное мѣсто...

«Э! от-то есть штука!» грустно мыслить себѣ панъ Пшепендовскій. «Ну, и цо жъ terazъ робиць?...»

«Кедысь-то была тутей Польска земля, и правдзивы поляки были, и правдзива стара вудка, правдзива наша святая вяра католицька, и мазуречки, и косцелы, и родовите паньство, шляхетство, рыцерство гонорове, и статуты, и сервитуты, и правда польска, и гоноръ польскій, и вшистко, вшистко и повшендзе была тутей Польска, а terazъ... terazъ то южь ниць нима!.. Ниць!.. Terazъ едне православье и вѣрноподданьство!.. Гм... вѣрноподданьство! Ну и цо-жъ? Ну, и вѣрноподданьство! Ну, и православье!.. Але цо-жъ такого!?

«Кеды жъ не можно и зъ православьемъ? От-то глупство! Ну, и бендземы православны! И на вѣрноподданьство навроцимысен! А вы, дурни, мысляли, же-то южь нима намъ terazъ жаднѣго способу до житця у покою езъ бялему свѣтци! От-то дурни! А мы до православья навроцимысен! У вѣрноподданьство пуйдземы, и баста! А цо, панове москале? Хе, хе, хе-е!.. Дулю сгдоцили! От-то такъ же и есть!»

Панъ Пшепендовскій сталъ серьезно подумывать о томъ, чтобы принять православіе.— «Теперь не гербы и не гербарія мѣста даютъ, а вѣрноподданьство и православье... И развѣ не все одно?» мыслилъ онъ надъ своимъ чубукомъ.

«Развѣ Богъ не одинъ? креститься такъ, либо такъ, признавать папу или не признавать—от-то есть глупство! Ну, и буду я хотѣ «православный», але кто-жъ меня повѣритъ въ душѣ: чи естемъ всходный, чи естемъ католикъ? когда-жъ не можно почитать въ душѣ и папу, и косцель, ходи до всходной церкви?»

«Ну, глупство! Едне тильке глупство, и венцей ниць! Абы быть добрымъ полякомъ, добрымъ чловѣкомъ, добрымъ патріотомъ (но только очень осторожнымъ), а тамъ—католикъ ли я, или православный—это ровно ничего не значить!»

«Абы только народъ, масса, абы только быдло хлопские не переходило на православье, абы оно оставалось подъ костеломъ; а когда приметъ православье шляхтичь, чиновникъ, и даже ксендзъ—это ровно ничего не значить. Люди цивилизованные, люди интеллигенціи пусть принимаютъ! Наши обстоятельства требуютъ того! Отъ этого не вредъ, а скорѣе польза святѣй справ!»

Однажды онъ сообщилъ свои мысли супругѣ. Ту сначала было поразило это обстоятельство.

— А дѣти!.. И дѣти тоже будутъ всходными?—воскликнула она, чуть не въ ужасѣ всплеснувъ руками,—и я буду всходна?.. Какъ! чтобы я въ московську схизму?—да ни за что на свѣтѣ! Ни сама не пойду, ни дѣтей развращать не позволю! Не позволямъ, да и баста!.. Не позволямъ!

Панъ Пшепендовскій даже пригнулся отъ ярости своей супруги, столь ревнующей о вѣрѣ. Но переждавъ эту бурю, онъ осторожно сталъ развивать ей свои мысли о томъ, что дѣти и она могутъ и не принимать православія, что онъ одинъ только приметъ, ради полученія мѣста — единственно только ради мѣста, а безъ того пропадай оно и совсѣмъ! что ему будетъ еще лучше, еще сподручнѣе тогда дѣйствовать на пользу святѣй sprawy польскей, потому что присоединеніе къ православію развяжетъ ему руки, заставитъ московське правительство не обращать на него больше особаго вниманія какъ на православнаго—и потому стало быть вѣрноподданнаго и боль шене опаснаго чловѣка; что это православіе относительно его, пана Пшепендовскаго, вотреть хорошие очки власти наяздовой, заставитъ ее глядѣть на него сквозъ пальцы, и главное—это православіе дастъ ему доброе, теплое мѣсто, а мѣсто, въ свой чередъ, дастъ возможность дѣйствовать подъ рукою на пользу ойчизны, но только дѣйствовать умнѣе, осторожнѣе, осмотрительнѣе, чѣмъ было до «ду-

рацкего повстанія», и что наконецъ она, пани Пшепендовска, какъ мать и добрая патриотка, всегда сѣмѣетъ изъ своихъ дѣтей—будь они даже хоть и православные—сдѣлать добрыхъ и задылхъ поляковъ и что стало быть, въ концѣ концовъ, опасаться, волноваться и неистово кричать «неповоляю!» ровно не изъ чего.

Пани Пшепендовская, вразумленная столь краснорѣчивыми доводами супруга, не противурѣчила болѣе благими его намѣреніямъ и даже сознала въ душѣ всю ихъ неоспоримую пользу.

Панъ Пшепендовскій послѣ этого еще пуще сталъ поносить передъ русскими людьми и поляковъ, и повстаніе, и его дѣятелей, и ксендзовъ (ксендзовъ въ особенности). Заговорилъ онъ о томъ, что всегда былъ въ душѣ русскимъ патриотомъ, что по документамъ и предки его были русскими, но только совратились въ католичество,—что пора ему (да и всѣмъ вообще) возвратиться въ лоно своего русскаго отечества и въ лоно православной церкви,—что они-то самые, эти возвращенные въ лоно, и будутъ лучшими и передовыми бойцами въ этомъ Краю за русское дѣло. И много еще другихъ подобныхъ рѣчей говорилъ панъ Пшепендовскій, при каждомъ случаѣ, какъ только доводилось ему бесѣдовать въ исключительно русскомъ обществѣ. Онъ настоятельно сталъ искать сближенія съ русскими. И многіе русскіе слушали, развѣся уши, пана Пшепендовскаго и отдавали ему даже искреннее сочувствіе. Въ нѣкоторыхъ русскихъ кружкахъ о немъ составилось даже очень лестное для него мнѣніе, и панъ Пшепендовскій торжествовалъ. Съ помощью подобной тактики, онъ исподволь очень ловко обдѣлывалъ свои дѣляшки, ради которыхъ и составлялъ себѣ предварительно эту хорошую репутацію въ русскомъ обществѣ.

Между поляками панъ Пшепендовскій держалъ себя иначе. Тутъ онъ больше все старался помалчивать, предоставляя первенство въ разговорахъ своей супругѣ, а самъ время отъ времени только вздыхалъ выразительными вздохами сокрушенія—и всѣмъ видномъ, всѣмъ характеромъ своимъ изображалъ неизбежную, (хотя и вѣроятно только временную) покорность роковымъ обстоятельствамъ.

Съ этого же времени панъ Пшепендовскій сопричислилъ себя къ искателямъ мѣстъ. Онъ такъ ужъ и осмотрѣлъ настоящимъ искателемъ мѣста, и вздыхалъ какъ искатель мѣста, и кланялся, и улыбался, и руку пожималъ, и разговаривалъ по преимуществу о мѣстахъ, и чутко настораживалъ уши, когда при немъ чей либо посторонній разговоръ начиналъ касаться вакансій, смѣщеній, опредѣленій и вообще какихъ бы то ни было мѣстъ.

Даже на улицѣ, при столкновеніи съ какимъ-нибудь знакомымъ, когда тотъ встрѣчалъ его обычнымъ привѣтствіемъ:

— Янъ сен-машъ, пане?

Панъ Пшепендовскій кисло-сладко отвѣтствовалъ:

— Алежъ такъ... Мѣстця шукаемъ!

И начинался разговоръ о мѣстѣ.

Наконецъ панъ Пшепендовскій услышалъ однажды, что даже и панъ Пшепендлинскій—такъ-таки самъ наясвѣйши-панъ Пшепендлинскій принялъ православіе и получилъ за то лестное отличіе и прелестное мѣсто!

Это окончательно уже порѣшило пана Пшепендовскаго.

Онъ взялъ и тоже принялъ православіе.

ГЛАВА V.

Какъ пани ищетъ и какъ находитъ панъ Пшепендовскій.

Панъ Пшепендовскій гладко выбрилъ себѣ подбородокъ, припомадилъ волосы и натянулъ на плечи свой старый фракъ, застегнувъ его на-глухо, сверху донизу, на всѣ пуговицы. Панъ Пшепендовскій во фракъ разительно походилъ на грача. Даже фizioномія его въ этомъ нарядѣ имѣла въ себѣ нѣчто грачовое; оттопырившіяся фалды у него совсѣмъ не сгибались и торчали какъ-то на-отмашъ и нѣсколько въ стороны, напоминая собою грачовый хвостъ. Кланялся, напримѣръ, панъ Пшепендовскій—и фалды его топорщились, а нижнія полы ихъ, описывая дугу, отлетали кверху ровно настолько насколько сгибалась спина при поклонѣ. И такимъ образомъ, эти фалды составляли какъ-бы одно нераздѣльное и одухотворенное цѣлое съ самимъ паномъ Пшепендовскимъ. По ихъ отлету можно было вполне вѣрно опредѣлить степень значительности поклоновъ пана Пшепендовскаго.

Панъ Пшепендовскій надѣлъ и пуховый цилиндръ, не ради чего иного, какъ только ради вящаго заявленія своей благонамѣренности, ибо правдивые поляки еще такъ недавно не любили носить цилиндры (и особенно во времена повстанскія), почитая ихъ принадлежностью московскихъ шпеговъ и чиновниковъ, но теперь они ихъ очень любятъ, потому что стараются дружить съ нѣмцами—и въ то же время показываютъ русскимъ свою шляпную «вѣрно-преданность». Затѣмъ панъ Пшепендовскій вышелъ изъ дому. Пани Фелиція проводила его молитвами, благословеніями и добрыми пожеланіями счастья и удачи.

Панъ Пшепендовскій—хотя уже и православный—но не выдержалъ-таки и озираясь, словно-бы дѣлая что дурное, и опасаясь, какъ-бы его не запримѣтили, тайкомъ забѣжалъ прежде всего до косцелу, выбралъ тамъ себѣ темное, укромное мѣстечко «у хуточку» и прип-кліяничилъ, т. е. преклонилъ колѣна, помахивая головой и ударяя себя въ грудь кулакомъ пра-

вой руки. Хоть онъ передъ принятіемъ православія и философствовалъ, въ вольнодумномъ духѣ, что Богъ — одинъ для всѣхъ, вездѣ и всегда и повсюду; однако же, отправляясь на совершеніе важной житейской задачи, забѣжалъ тайкомъ и урывкомъ не въ церковь, а въ костелъ, въ полной увѣренности, что католическіе святые какъ-то болѣе ему съ-родни и значить скорѣе и охотнѣе помогутъ, чѣмъ святые православные, съ которыми онъ познакомился только недавно да и то поневолѣ — «бо панъ мястиа шука».

Панъ Пшенпендовскій вышелъ изъ костела, озираясь по сторонамъ не безъ тревожныхъ опасеній. Однако — слава Богу! — никто его не примѣтилъ. На душѣ у него просвѣтлѣло, потому — и святымъ помолится, и москалей надуль, что впрочемъ для него было одно и то же, и стояло на равной степени добродѣтели.

И вотъ, онъ уже въ прихожей у его превосходительства.

Генеральскій швейцаръ встрѣтилъ его какъ знакомаго, потому что панъ Пшенпендовскій былъ знакомъ съ генеральскимъ швейцаромъ. А былъ знакомъ онъ съ нимъ потому, что генеральскій швейцаръ тоже былъ шляхтичъ, только шляхтичъ, отправляющій швейцарскую обязанность, и во-вторыхъ потому еще, что панъ Пшенпендовскій, въ качествѣ искателя мѣста, не считалъ удобнымъ пренебрегать знакомствомъ генеральскаго швейцара. Поэтому онъ еще гораздо раньше нашелъ себѣ возможность познакомиться, на всякій случай, съ швейцаромъ и даже съ генеральскимъ камердинеромъ, полагая такой маневръ дѣломъ для себя не бесполезнымъ.

— А! Муй коханы, муй дроги! — радушно потрясъ онъ руку швейцара. — А что? Принимаютъ?

— Принимаетъ.

— А что? какъ слышно? у духѣ сегодня, чи не у духѣ?

— Полагаю, что въ духѣ.

— Ну, хвала Богу! хвала Богу! — облегченно вздохнулъ панъ Пшенпендовскій.

— А что? — прищурился на него швейцаръ.

— А такъ, мѣсця шукамъ... Прѣсѣти иду.

— Гм!..

Швейцаръ многозначительно и глубококомсленно кивнулъ головой.

— А по?... якъ-то тамъ?... чи можно? — колеблясь между страхомъ и надеждой, осторожно освѣдомился панъ Пшенпендовскій.

— Можно!

И швейцаръ, ради пушаго удостовѣренія, покровительственно подмигнулъ ему глазомъ.

— Ну, то я тутъ повѣшу пальтъ... нехъ повиси трошечку... Можно?

— Можно, можно!

И панъ Пшенпендовскій, дабы не утруждать своего знакомаго, самъ снялъ съ плечъ и самъ

повѣсилъ на вѣшалку свое платье, затѣмъ запаснымъ носовымъ платкомъ обмахнулъ пыль съ отлично вычищенныхъ сапогъ, поправилъ передъ зеркаломъ галстукъ, самолично повязанный ему нынѣ супругой, пригладилъ волосы, подергалъ книзу фракъ, провелъ рукой по ворсу пухового цилиндра — и съ трепетомъ въ сердцѣ, шепча про-себя молитву вшистцямъ свентымъ, поднялся по лѣстницѣ въ пріемную залу.

Тамъ уже ожидали нѣсколько просителей.

Панъ Пшенпендовскій тотчасъ же окинулъ ихъ быстрымъ и зоркимъ глазомъ и убѣдился, что все это, болѣе или менѣе, свои — краёвы обывацѣли. Поэтому онъ вступилъ въ залу съ видомъ вполне независимымъ и, съ положительнымъ сознаніемъ собственного достоинства, помѣстился у окна.

Рядомъ съ нимъ помѣщалась какая-то старушенція въ ватномъ канорѣ, несмотря на теплые дни, и въ какой-то допотопной шали — по виду непремѣнно благочестивая братчица какого-нибудь изъ костельныхъ братствъ. Старушенція все кашляла и копошилась въ своемъ ридикюль, перебирая какія-то «монатки»: тряпье, опорки, чулки, кусочки сахара, стеариновые огарки и засаленныя дѣловыя бумаги. Старушенція эта имѣла уже много и много лѣтъ хожденіе и по какому-то дѣлу. По какому именно? — ужъ это она и сама, за давностію времени, успѣла позабыть, но все-таки ходила по привычкѣ.

Нѣсколько ближе къ дверямъ запертаго кабинета стояла въ уголочкѣ сорокалѣтняя женщина съ глазами и носомъ, покрашенными отъ слезъ и съ пятью ребятами малъ-мала меньше.

Вотъ проходитъ какой-то русскій полковникъ.

Панъ Пшенпендовскій, хотя и незнакомъ съ полковникомъ, тѣмъ не менѣе приветаетъ со стула и съ любезной, сдержанной улыбкой встрѣчаетъ его легкимъ полупоклономъ. Въ улыбкѣ пана Пшенпендовскаго есть и любезность, и въ то-же время маленькое достоинство.

Полковникъ мимоходомъ взглядываетъ на него недоумѣлымъ взоромъ, но тѣмъ не менѣе киваетъ головой, съ той нерѣшительностію, съ какой обыкновенно отвѣчаютъ на случайный поклонъ совершенно незнакомаго человѣка.

Панъ Пшенпендовскій еще разъ любезно раскланивается, уже съ видомъ знакомаго.

Полковникъ останавливается противъ него и взглядывается ему въ фізіогномію, какъ-бы стараясь припомнить что-то.

— Павелъ Ѳедосѣичъ, кажись? — вопрошаетъ онъ, полупротягивая руку.

— Пшенпендовскій... глотая звуки, бормочетъ ему съ поклономъ искатель мѣста и торпливо ловитъ протянутую руку, сѣвши потрясъ ее отъ всей души своей.

— Шукинъ?... Павелъ Ѳедосѣичъ Шукинъ, если не ошибаюсь?—спрашиваетъ полковникъ, сбитый съ толку поклономъ пана Пшенпендовскаго и принимая его за какого-то своего знакомаго.

— Пшенпендовскій, господинъ пулковникъ... Пшенпендовскій.

Полковникъ вглядывается въ него съ полнымъ недоумѣніемъ и въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ пробормотавъ ему: «извините! ошибся!» отходитъ въ сторону.

Тѣмъ же менѣе, панъ Пшенпендовскій все-таки очень доволенъ и, съ достоинствомъ крутя свой усь, опускается на стулъ.

Въ залѣ появился панъ Загрэмбо, прежній знакомецъ пана Пшенпендовскаго, радикалъ и патріотъ, который однако нынѣ вездѣ ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ пана Пшенпендовскаго: въ какихъ-то счетахъ не поладили между собой.

Панъ Пшенпендовскій, завидя его, какъ-бы невзначай отворачивается къ окну и, равнодушно поигрывая цѣпочкой, выглядывающей у него изъ-подъ фрака, начинаетъ напѣвать себѣ что-то подъ носъ и внимательно разглядывать на улицѣ какую-то тумбу.

Панъ Загрэмбо, косясь на своего врага, проходитъ мимо—и панъ Пшенпендовскій успокаивается и снова принимаетъ равнодушно-независимый видъ, исполненный чувства собственного достоинства, какъ будто не онъ отвернулся къ окну отъ пана Загрэмбы, а панъ Загрэмбо отъ него отвернулся.

Вотъ въ дверяхъ показывается ксендзъ-каноникъ Лущкевичъ и отдаетъ всѣмъ общій поклонъ очень мягонькаго и очень смиреннаго свойства.

Панъ Пшенпендовскій на мгновеніе смутился, совсѣмъ вконецъ смутился и растерялся: ксендзъ Лущкевичъ внезапно появился предъ нимъ, какъ голосъ неумытнотой совѣсти, какъ судъ общественнаго польскаго мнѣнія надъ регатомъ. Но смущеніе длилось не болѣе мгновенья: панъ Пшенпендовскій вспомнилъ, что онъ православный и, стало быть, въ нѣкоторомъ родѣ, сила. Поэтому онъ грузно шлепнулся на стулъ, высоко задралъ ногу на ногу и нахально заломаясь, постукивая носкомъ сапога да покручивая усь, съ независимымъ видомъ уставился глазами въ ксендза Лущкевича.

Но ксендзъ, смиренно проходя мимо, пустилъ исподтишка на пана Пшенпендовскаго долгій, тонкій и язвительный взглядъ.

Панъ Пшенпендовскій не выдержалъ: какъ бы невзначай подымается онъ со стула и скромно сложивъ обѣ руки у борта своей шляпы, которую держитъ прижавъ къ животу, принимаетъ вдругъ огорченно-кроткій видъ.

Ксендзъ проходитъ мимо.

Панъ Пшенпендовскій, при его прохожденіи, вздыхаетъ очень глубоко и очень прискорбно,

словно бы желая въ чемъ оправдаться или изобразить изъ себя невольно и невинно угнетенную жертву. Какъ-то вдругъ духу не хватило выдержать бойкій видъ православнаго и онъ остался весь въ какой-то смиренномудрой, кающейся и потупленной позѣ. Впрочемъ, ксендзъ-каноникъ, крестомъ сложивъ на груди ладони, сдѣлалъ теперь видъ, будто проходя вовсе и не замѣчаетъ пана Пшенпендовскаго.

Черезъ нѣсколько времени, когда впечатлѣніе встрѣчи съ Загрэмбой и ксендзомъ успѣло уже улечься и сгладиться, появилась какая-то хорошенькая панна.

Панъ Пшенпендовскій тотчасъ же старается держать себя молодцомъ и какъ бы даже отставнымъ военнымъ, играетъ цѣпочкой и, прѣдка переминаясь, подтопываетъ ножкой, оправляется и лихо крутитъ свой усь.

Панна мимоходомъ обращаетъ на него нѣкоторое вниманіе. Панъ Пшенпендовскій чувствуетъ себя удовлетвореннымъ и предупредительно спѣшитъ подставить ей свой собственный стулъ. Панна, молча поблагодаривъ его кивкомъ головы, скромно опускается на предложенное ей мѣсто.

Панъ Пшенпендовскій, стоя рядомъ, запускаетъ на нее сверху скромно-лукавый взглядъ, подрыгиваетъ колѣнкой, покручиваетъ усь и молодцовато прихорашивается.

— Вамъ кого вгодно видѣть? — рѣшается онъ, наконецъ, тихимъ голосомъ обратиться къ хорошенькой паннѣ.

— Мнѣ до пана губѣрнатора...

— До *господина* губѣрнатора!—ласково, но внушительно поправляетъ ее панъ Пшенпендовскій.

Панна поняла намекъ и сконфузилась.

— Вы до него дѣло какое имѣете? — продолжалъ панъ.

— Такъ... свой интересъ...

— Ну, то потрудитесь пообождать трошечку... Они теперь занятые, но они скоро звонятъ выйти... Они вообще очень обходительный и ласковій чловѣкъ... Они усе что могутъ, то непрѣмѣнно издѣлаютъ для васъ; вы посидите,—объясняетъ паннѣ Пшенпендовскій такимъ авторитетнымъ, покровительственнымъ тономъ, какъ будто онъ здѣсь офиціальное и при томъ *свое* лицо, нѣчто въ родѣ дежурнаго чиновника особыхъ порученій, и продолжаетъ сверху запускать на панну свои масляные и скромно-лукавые взгляды.

Въ эту самую минуту подходитъ къ нему только-что явившійся сюда панъ Груздецкій, одинъ изъ сосѣдей пана Пшенпендовскаго по имѣнію.

— От-то спотканье!.. муй дроги! якъ сенманшъ? Цо робишъ, коханы?—громко и радушно обратился онъ къ пану Пшенпендовскому.

— Мое почтенье!—громко, по-русски и съ удареніемъ отвѣчаетъ ему тотъ, платя взаим-

нымъ, но какъ-то сухохато-сдержаннымъ прп-вѣтомъ на радушіе пана Грузецкаго.

— По то за «почтенъе»? По яковскъку то панъ муве? Мабудъ по-татарскъку? то не розу-мемъ!—презрительно выдвинувъ губу, въ пол-голоса побравировалъ панъ Грузецкій.

— Тс!.. Гм-гм!.. Кхе-кхе-кхе!.. нарочно по-громче раскашлялся панъ Пшенпендовскій, какъ бы желая заглушить неумѣстные звуки ком-прометирующаго языка,—и покорнѣйше прѣшу изо мною по-польску не говѣрить, бо я по-польску не говору и не понимаю даже, что то есть—таки за энзык! И что это вы такое!—солидно, тихо т. е. почти шопотомъ, но какъ бы усовѣщевая, и слегка укоризненно покачи-вая головой, заговорилъ онъ, пожимая руку пана Грузецкаго, которому, между прочимъ, состоялъ долженъ по векселю сотни двѣ руб-лишекъ.—И здѣсь же по-польску не говораъ... Здѣсь есть русски энзык! и еше покорнѣйше пропу говораъ изо мною не иначе, какъ по русскъку... Штрафъ берутъ!

При словѣ «штрафъ» панъ Грузецкій при-кусилъ языкъ, подтянулъ въ себя нижнюю гу-бу и съ полупоклономъ выпучилъ глаза, какъ бы выражая этимъ: «вотъ оно какъ?.. Ну, спасибо!»

Панъ Грузецкій думалъ, что штрафы боль-ше ужъ не взимаются; а если не взимаются, то почему же и не побравировать?

— Вы по какому дѣлу?—спросилъ Пшенен-довскій пана Грузецкаго.

— Э!.. недѣимки есть... одстрочки хочу про-сить... Просто, хочъ порѣзаться! — кисло и грустно объявилъ помѣщикъ. — А вы жъ «за-чѣмъ»?

— М-м... такъ, дѣла есть!—небрежно и не безъ многозначительности отвѣтилъ панъ Пше-пендовскій, мотнувъ головою.—Мнѣ до самаго генерала,—прибавилъ онъ еще небрежнѣе.

— Э?.. От-какъ! Какія жъ такіа дѣла?

— Але-жъ такъ... Есть тутъ общее дѣло одно у его и у меня... ну, посовѣтоваться и... доложить; такъ для того и повидаться надо,—говорилъ панъ Пшенпендовскій съ небрежно-стью, сквозь которую проглядывала важность и даже загадочность сфинкса—и сфинкса не простого, а сфинкса-политика и, пожалуй, въ нѣкоторомъ родѣ, хоть бы и государственнаго человѣка.

Панъ Грузецкій медленно и съ явнымъ уваженіемъ кивнулъ на это головой.

А панъ Пшенпендовскій остался доволенъ, что успѣлъ—таки сосѣду пустить пыли.

Въ эту минуту онъ усмотрѣлъ, что по залѣ бойкой и дробной походкой на каблучкахъ проносится знакомый ему чиновникъ, Панъ Пшенпендовскій тотчасъ же подлетѣлъ къ не-му и, разставя руки полуфертомъ, причемъ грачовый хвостъ самъ собою приподнялся квер-ху, тише чѣмъ въ полголоса спросилъ его, съ

самой любезной, сладкой и искательной улыб-кой:

— И позвольте взнать, ихъ превосходитель-ство скоро зволятъ выйдти?

— Въ назначенное время выйдеть. Вамъ что угодно?

— А я такъ... я любопытенъ только знать, какъ скоро они выйдутъ, бо я просьбу до нихъ имѣю,—тихо изъяснялъ панъ Пшенпендовскій, въ полунаклоненной позѣ и продолжая держать по-луфертомъ свои опущенныя руки. — Позвольте васъ просить—будьте такой ласковій!—доложи-те ихъ превосходительству, что до нихъ госпо-дынъ Пшенпендовскій дѣло имѣеть... Пшенен-довскій... будьте такой добрый!

— Потрудитесь обождать; какъ выйдеть, то-гда и объяснитесь.

— Такъ подождать прикажете?.. Очень хо-рошо!.. То я подожду... благодарю вамъ!

И поклонившись чиновнику, панъ Пшенен-довскій, не безъ пріятной легкости скользя по до-щеному паркету, возвратился на свое мѣсто.

— Чьто вы въ него спрашивали?—любопытно освѣдомился панъ Грузецкій.

Панъ Пшенпендовскій скорчилъ независимо-небрежную гримаску.

— А такъ... говѣрили между сѣбя,—отвѣчалъ онъ.—Сказалъ, жебъ онъ поскорѣйшъ доложить тамъ у габинету, чьто я жду... ну, и о дѣлѣ кое-чьто перемолвили.

Панъ Грузецкій въ отвѣтъ удовлетвори-тельно и коротко кивнулъ головою.

Панъ Пшенпендовскій и этимъ остался очень доволенъ. Для чьего собственно продѣлывалъ онъ всѣ эти штуки—онъ и самъ едва ли бы могъ отвѣтитъ съ точностью. Надобности въ нихъ не представлялось ни малѣйшей, но... ужъ такая видно у пана Пшенпендовскаго на-тура, чьто любятъ подлизаться ко всему, чьто только носятъ на себѣ какой бы то ни было признакъ общественнаго положенія, вліянія, значенія и власти, и въ то же время натура эта никогда не прочъ покичиться, порисоваться своимъ собственнымъ будто-бы достоинствомъ и значеніемъ, насчетъ которыхъ пану Пше-пендовскому очень лестно пускать пыль въ гла-за и самому себѣ, и стороннимъ людямъ.

Распахнулись торжественно двери—и въ за-ду вышелъ его превосходительство.

Все, чьто было въ залѣ—все поднялось со стульевъ, слегка засуетилось, затревожилось... сердца ёкнули, взоры обратились на звѣзду... Панъ Пшенпендовскій вскочилъ раньше про-чихъ, подбодрился, пріерпился, подергалъ кни-зу фракъ, поводитъ плечами, такъ, какъ слов-но бы его блоха въ лопатку кусала,—и уси-ленно, по гусиному, вытягивая шею изъ во-ротничка рубашки—всю фигуру, взглядомъ, душою и сердцемъ, казалось, стремился въ сторону его превосходительства.

При появленіи особы, съ паномъ Пшепендовскимъ точно лихорадка какая-то сдѣлалась: стоя на своемъ мѣстѣ онъ то шляпу вертѣлъ, вода ладонью по ворсу, то колѣнкой подрягивалъ, то подошвой притопывалъ, то воротнички поправить, то фракъ книзу потянетъ, или пылинку заботливо сниметъ съ обшлага, то возьметъ шляпу въ лѣвую руку и опуститъ ее по шву, а большой палецъ правой руки заложитъ за бортъ фрака, между пуговицами, то вдругъ перехватитъ свой цилиндръ въ правую, или уткнетъ его полями подъ мышку, а взорами и сердцемъ и гусино-вытанутой шеей весь стремится въ сторону его превосходительства.

По залѣ раздавался голосъ генерала. По преимуществу слышались вопросы: «вамъ что-съ?»—«чѣмъ могу служить?» или короткія, отрывистыя фразы въ родѣ: «нельзя-съ!.. не могу-съ!.. Душевно бы радъ, но не могу, не могу, сударыня, не могу-съ!.. Очень хорошо-съ!.. Дать справку!.. Пошлите отношеніе!.. Хорошо-съ, не беспокойтесь!..» и т. п.

Его превосходительство постепенно переходилъ отъ одного просителя къ другому.

— Ктуты то есть панъ генераль?—приставала къ пану Пшепендовскому справа убогая и подслѣповатая старушенція.

— Оставьте мене пожалуйста!—кратко и сухо обернулся на нее панъ Пшепендовскій.

— Але-жъ я имѣю до пана генерала... и невѣмъ ктуты есть панъ генераль? Прошен' пана...

— И покорнѣйше прошу оставить мене у покою.

— Але-жъ прошен' пана! Естемъ бѣдна кобѣта!.. Нехъ панъ бендзе такъ ласкавъ!—слезно шептала глуповатая старушенція.—От-то тень самы, у мундужу?.. а?

— Вопросы неумѣстны!—еще разъ сухо и строго-внушительно обернувшись, надъ самымъ ухомъ старушенціи, тихо огрызнулся панъ Пшепендовскій и круто отворотился съ недовольнымъ видомъ, снова изображая взоромъ и сердцемъ порывъ къ его превосходительству!

— Вамъ что-съ?—подходитъ генераль къ красноносой вдовѣ, окруженной пятью ребятами.

— Ваше пресходзицельство!—слезно начинаетъ та, —я несчастлива удова... мужъ мой въ губѣрнской тыпографіи корректы правилъ, але-жъ померъ, и я а ни-ниці ничего не имѣю... не оставте, ваше пресходзицельство!.. От-то есть пять малыхъ ребенковъ и кормиться не имѣю чего... Прошу пособья...

— Я не социалистъ, сударыня! Я не социалистъ!—съ сухимъ наклоненіемъ головы, кратко отвѣтствовалъ генераль.—Ничего для васъ не могу... Не могу, сударыня!

— Але и что-жъ я теперь должна подѣлать пзъ нимъ, ваше пресходзицельство?—Они еще малые и таки глупія...

— Я не социалистъ, сударыня, я не социалистъ!

— Ну, и мы то теперь помирать должны...

— Какъ вамъ угодно, сударыня, какъ вамъ угодно...

Панъ Пшепендовскій строго смотритъ на вдову, и въ лицѣ его выражается неудовольствіе, даже негодованіе, что вотъ-де глупая женщина приходитъ беспокоить—и кого же беспокоить!—съ такими пустяками.

Панъ Пшепендовскій совершенно недоволенъ вдовой.

Его превосходительство подходитъ къ пану Загребмо и начинаетъ распекать.

— Да, такъ-съ!—раздается рѣзкій, недовольный голосъ его превосходительства. — Этого нельзя-съ!.. Я этого не позволю! Не допущу-съ!.. Да я васъ, милостивый государь, въ 24 часа административнымъ порядкомъ... Я съ корнемъ вырву всѣ эти штуки-съ!.. Да-съ! Да-съ!..

Панъ Загребмо, радикалъ и патриотъ, дрожить и теряется и, весь блѣдный, съ трудомъ бормочетъ заикающимся голосомъ:

— Ва... ва... ваше... вапше... Помилуйте... вапше...

Панъ Пшепендовскій стоитъ, держась обѣими руками за поля приподнятой къ груди шляпы и, глядя въ ея дно, при каждомъ словѣ генерала, киваетъ головой, какъ бы поддакивая ему и поощряя генеральскую распеку. Лицо его ясно изображаетъ, насколько онъ возмущенъ какимъ-то неизвѣстнымъ ему дѣйствіемъ со стороны пана Загребмы. Глядячи въ дно цилиндра, онъ, при каждомъ рѣзкомъ возвышеніи начальственнаго голоса, поддакивая кивками, бормочетъ про себя:

— Эге?... эге?... От-то то-то такъ!.. Такъ, такъ!.. А что? а что?... Эге?... То такъ и слѣдъ!.. такъ и слѣдъ!.. Эге!.. такъ есть... такъ!

Генераль кончилъ распеку и солидно дѣлаетъ какое-то отческое, миролюбивое внушеніе смренно-стоящему ксендзу-пробощу.

Панъ Пшепендовскій уже не глядитъ на дно цилиндра, хоть и все еще держитъ его передъ грудью обѣими руками, только уже донцемъ не книзу, а прямо отъ себя и дѣлаетъ постыную физиономію. Голова немножко склонена на бокъ; взглядъ несмѣло коситъ въ сторону его превосходительства.

Его превосходительство подходитъ и слушаетъ пана Груздецака, который вдругъ очень бойко сталъ объяснять свои бѣды и жалобы чисто «по-татарську», то-бишь по-русски.

— Нельзя-съ! Не могу-съ! Душевно бы радъ, но не могу... Вы знаете—законъ... Законъ прежде всего! Не могу!—отрывисто говоритъ генераль.

Панъ Пшепендовскій, опустивъ голову и руку съ цилиндромъ, а другую приложивъ къ

сердцу, горестно приподымает плечи и сокрушенно вздыхаетъ. Передъ нимъ мерещатся въ туманѣ двѣсти рублей долгу по векселю...

Его превосходительство изволить мило шутить съ хорошенькой панной.

Панъ Пшепендовскій, плотно приставивъ пожку къ ножкѣ, стоитъ-себѣ совершенно милымъ песикомъ, у котораго тихо и нѣжно виляющій хвостикъ загнуть кверху изящной закорючкой. Цилиндръ его опять приподнять къ груди; ладонь плавно поводитъ и гладитъ по шелковому ворсу; въ лицѣ лукаво-скромная усмѣшка; застѣнчиво и какъ бы кокетливо опущенный взглядъ устремленъ на цилиндръ; шеп, какъ у котика, то и дѣло выгибается впередъ, а грачовый хвостъ такъ и норовитъ почтительно приподняться. «Ай-ай, и какой же жь право милый шутникъ нашъ его превосходительство!» говоритъ общее и какъ бы заигрывающее выраженіе физиогноміи пана Пшепендовскаго.

Но вотъ генералъ почти ужь къ нему подходить... вотъ онъ уже въ нѣсколькихъ шагахъ, съ вопросомъ: «вамъ что угодно?» обращается къ какому-то просителю, послѣ котораго сейчасъ же очередь и пана Пшепендовскаго.

Грачовый хвостъ начинаетъ дѣлать легкія, но усиленные движенія, и опять блоха какъ будто за лопаткой ходитъ, судя по движеніямъ подтягиваемыхъ плечъ. Панъ Пшепендовскій бодрится, прикручиваетъ усь; въ лицѣ нѣкоторое волненіе; когтички чуть-чуть подрягиваютъ и каблучки пристукиваютъ. Это все означаетъ, что онъ примѣряется, норовитъ, прицѣпляется половчѣй и предупредительнѣе сдѣлать первый поклонъ его превосходительству.

— Вамъ что-съ?

— Пшепендовскій, ваше превосходительство!...

Грачовый хвостъ тотчасъ же на-отмашъ отлетаетъ кверху; опущенныя руки, конечно, полудертомъ; каблучки прищелкиваютъ. Панъ Пшепендовскій, приятно сгибая спину и клоня на лѣвый бочекъ голову, дѣлаетъ поклонъ съ легкой подскочкой, причемъ животъ у него мгновенно подтянуть въ себя, а грачовый хвостъ оттопыривается и когтички непремѣнно подрягиваютъ, выражая тѣмъ самымъ всю ловкость, стремительное усердіе и безконечное почтеніе пана Пшепендовскаго.

— Что вамъ угодно?—повторяетъ генералъ.

— Пшепендовскій, ваше превосходительство.

— Что такое?

— Пшепендовскій... ваше...

— Какъ?.. Какъ вы говорите?

— Пшепендовскій... дворянинъ Пшепендовскій, ваше превосходительство.

— Пшепендовскій?

— Такъ есть, ваше превосходительство! дворянинъ Пшепендовскій.

Надо замѣтить, что при каждомъ отвѣтѣ грачовый хвостъ непремѣнно, болѣе или менѣе, топырится кверху, и одна ножка дѣлаетъ *dis-sade en arrièrre*, что придаетъ всему корпусу пана Пшепендовскаго положеніе собирающагося летѣть Меркурія.

— Да-да, понимаю,—киваетъ ему генералъ,— понимаю!.. Ну-съ, такъ что же собственно вамъ угодно?

— Ваше превосходительство!—съ солиднымъ достоинствомъ начинаетъ проситель, не измѣняя своего наклоннаго полуферта;—принявъ православье, а потому... честь имѣю... объ опредѣленію! (поклонъ съ каблучками).. Объ опредѣленію, ваше превосходительство! (вторичный поклонъ съ отлетомъ грачоваго хвоста).

Генералъ разсматриваетъ пана Пшепендовскаго.

— Вы приняли православіе?

— Такъ есть, ваше превосходительство! Имѣлъ честь возсоединиться и соприсовокупиться!

— Ну, поздравляю, душевно поздравляю! очень радъ! Такъ что же вы?

— Явился собственно дождичъ и заявиль о томъ вашему превосходительству... бо какъ зная вашу ласку и доброту... осмѣлилъ... себе. Имѣю честь объ опредѣленію...

— Вы хотите на службу?

— Мѣста желаю, ваше превосходительство, соотвѣтственнаго мѣста, для того какъ желаю увесъ животъ свой подъ престолъ ойчества, подложить, а потому...

— Валъ чинъ?

— Пшепендовскій, ваше превосходительство!.. У штабсъ-офицерскому рангу... надворный совѣтникъ, ваше превосходительство. И моя жона, ваше превосходительство, уже честь имѣла являться до вашего превосходительства, и ваше превосходительство были такой ласковій, что обѣщали ей, а потому... честь имѣю...

— А, да-да помню, помню. Пшепендовскій—не чинъ, а фамилія... Помню!—домекнулся генералъ, припомявъ свои шкотливый поджилки.—Вы были, кажись, исправникомъ?

— Капитанъ-справникомъ, ваше превосходительство... И по разумѣню своему, сколько могъ... старался.

— Да, но тутъ вѣдь были нѣкоторыя обстоятельства... Я приказывалъ тогда навести справкп...

— Обстоятельства, ваше превосходительство,—торопливо и заботливо перебилъ панъ Пшепендовскій,—обстоятельства—могу чesъью завѣриць—одъ одной только клеветы... бо я былъ наусегда какъ самый вѣрный собака, и меня за то самыи же поляки одклеветали. От-то то сама и есть эта польская интрига! Она сама и есть, ваше превосходительство!.. Они мене даже до двоухъ разовъ почти подъ шибеницу подводили и зъ тѣмъ... зъ кывжаломъ у брухо заколотъ на мѣ-

ренье имѣли, але жъ не закололи, бо Богъ спасъ... одинъ только Богъ, вѣрно уже для того, что былъ я какъ вѣрный собака. А ови мене одъ тыхъ одъ самыхъ поръ недоколотымъ свиньей называютъ... Такъ и называютъ, ваше превосходительство!.. «Пшепендовскій—это, говорить, недоколотый свиня!»

Генераль разсмѣялся.

— Панъ Пшепендовскій въ ту-жъ минуту поспѣшилъ и этотъ смѣхъ обратить въ свою пользу.

— Такъ есть точно, ваше превосходительство!—подтвердилъ онъ съ глубокимъ поклономъ,—недоколотый свиня, и дѣти его недоколоты поросенки... Такъ и говорятъ! Пшепендовскаго ребенки, то недоколоты поросенки! На ребенковъ, на малютковъ, ваше превосходительство!..

— Хорошо. Я постараюсь... я сдѣлаю. Имѣю честь кланяться!

— И генераль направился-было далѣе.

— Но панъ Пшепендовскій, извиваясь и изгибаясь, мелкими скользящими шажками, почти на цыпочкахъ, застѣмилъ встѣдъ за генераломъ.

— И такъ, ваше превосходительство, позволяте имѣть у надею?

— Хорошо, хорошо... Я сказалъ уже.

— Позволите, ваше превосходительство, мнѣ самому аль бо и жднѣ моей понавѣдаться?..

— Можете, можете-съ!

— И какъ скоро прикажете, ваше превосходительство?

— На дняхъ, на дняхъ же...

— Слушаю-съ. Имѣю честь... покорнѣйше благодарить ваше превосходительство!

При этомъ грачовый хвостъ въ послѣдній разъ отлетѣлъ на-отмашъ—и панъ Пшепендовскій съ сіяющимъ и гордымъ видомъ собственного достоинства, окинувъ взоромъ всѣхъ остальныхъ просителей и не замѣчая болѣе даже пана Груздецаго, вышелъ изъ залы той слегка скользящей и покачивающейся походкой, которая очень напоминаетъ походку облаканнаго пѣсика.

— Ну, и цо жъ? можно повиншоваць? (поздравить)—пріятельски улыбаясь, обратился къ нему швейцаръ въ прихожей.

— Пальто!—авторитетно крикнулъ ему панъ Пшепендовскій, звѣрски и гордо надвинувъ на глаза свою шляпу.

Удивленный швейцаръ машинально подаль ему верхнее платье.

— Дзенькуенъ,—небрежно кивнулъ ему панъ и съ важностью, весь радостный и сіяющій, вышелъ за двери.

Дальнѣйшее дѣло вела уже сама пани Пшепендовская. Въ такомъ же точно интересномъ видѣ, какъ и въ прошлый разъ, она черезъ нѣсколько дней поѣхала къ его превосходительству, и послѣ этого какими-то необъяснимыми судьбами

успѣла-таки добиться того, что его превосходительство принялъ ее въ своемъ кабинетѣ, забывъ даже про щекотливыя поджилки.

— Ваше пресходзицельство, издѣлайте мнѣ это,—кокетливо и вкрадчиво сказала ему на прощаньи прилестная и даже на сей разъ обольстительная пани Фелиція.—Вы только издѣлайте и... и... и тогда (она томно и порывисто вздохнула) тогда вы увидите... я... О, да! вѣрте мнѣ!.. Я съумѣю хорошо, хорошо одблагодарить вамъ... Моя благодарность—увѣмъ чымъ только можете благодарить женщина, но... только издѣлайте мнѣ это, ваше пресходзицельство!..

ГЛАВА VI.

Самая короткая, но самая вѣская и назидательная.

Панъ Пшепендовскій получилъ мѣсто. Точка.

ГЛАВА VII.

Тоже не длинная, но и нелишенная назидательности.

Какое именно мѣсто получилъ панъ Пшепендовскій—это для читателя вопросъ совершенно равнодушный. Достаточно сказать, что мѣсто было не безъ теплоты, соотвѣтственное рангу, почти независимое и даже не лишенное нѣкоторой вліятельности. Генераль не то, чтобы самъ отъ себя далъ ему мѣсто,—но онъ списался, снесся съ кѣмъ слѣдовало, попросилъ, порекомендовалъ, похлопоталъ—и панъ Пшепендовскій очутился на мѣстѣ. Но... къ немалому изумленію его пресходзицельства, прелестная пани Фелиція даже вовсе не поѣхала поблагодарить его—хоть бы только изъ приличія, хоть бы въ общей пріемной, хоть бы даже при постороннихъ лицахъ. Она, вмѣсто себя, послала съ тысячью благодарностей самого пана Пшепендовскаго. Панъ Пшепендовскій принялся за службу ретиво. Онъ былъ дѣлецъ не дурной, какъ и каждый полякъ на русской службѣ. На первое время онъ въ особенности постарался зарекомендовать себя насчетъ дѣловитости и служебнаго рвенія, потомъ насчетъ благонамѣренности своихъ убѣжденій. Даже въ церковь на первое время онъ ходилъ еженедѣльно: въ субботу ко всенощной и въ воскресенье къ обѣднѣ; а ужъ о праздникахъ и торжественныхъ дняхъ нечего и говорить! Тутъ онъ являлся однимъ изъ первыхъ, въ мундирѣ, присвоенномъ должности, становился на такое мѣсто, гдѣ бы могли его видѣть разныя вліятельныя начальственные лица, и молился, молился, молился... Такъ усердно и ревностно молился, что мѣстный владыко даже радовался обрѣтенію такой примѣрной овцы въ словесное стадо, здѣ имѣ пасомое. Все это служило ему на пользу. Задача была въ томъ, чтобы

упрочить свою репутацію приобрести полное до-
вѣріе и крѣпко устояться на своемъ мѣстѣ—
столь крѣпко, чтобы не какими клещами мож-
но было его оттуда вытащить.

И... съ теченіемъ нѣкотораго времени, панъ
Пшенпендовскій и репутацію упрочилъ, и довѣ-
ріе приобрѣлъ, и на мѣстѣ хорошо укрѣпился.

А затѣмъ, тоже съ теченіемъ нѣкотораго вре-
мени, въ губернскомъ городѣ N. слышатъ люди
добрые, что не вѣсть по чьимъ стараніямъ та-
кой-то русскій чиновникъ вдругъ полетѣлъ съ
мѣста; надъ такимъ-то слѣдствіе назначено; та-
кой-то подъ судъ нежданно-негаданно угодили;
того-то просто уволили безъ всякихъ поясненій
и мировой посредникъ Ивановъ тоже полетѣлъ,
и... и самъ его превосходительство наконецъ
покачнулся. Дивятся люди добрые: откуда все
сіе бысть?—А паны Пшенпендовскіе мало-по-ма-
лу поднимаютъ голову, дышатъ легче, отраднѣе,
лѣзутъ въ гору и занимаютъ мѣста *ad maiorem*
Dei et patriae gloriam.

ГЛАВА VIII.

Панъ Пшенпендовскій въ лонѣ правосла- вія и своего семейства.

Посмотрите вы на этого прекраснаго, при-
мѣрнаго отца семейства! Сколько любви и благо-
душія! Сколько мирнаго счастья и довольства
своимъ прекраснымъ положеніемъ—подъ сѣнью
двуглавой птицы на службѣ и подъ сѣнью бла-
говолящихъ пенатовъ, у родного, семейнаго
очага!

Панъ Пшенпендовскій только что всталъ отъ
вкуснаго и сытнаго обѣда, въ которомъ каждое
блюдо, соотвѣтственно «краѣвымъ» вкусамъ,
было обильно приправлено подливой изъ топле-
наго масла.

Панъ Пшенпендовскій сидитъ въ своемъ «га-
бинетѣ», передъ пріятнымъ и веселымъ огонь-
комъ камина, погружаясь въ глубокое, покойное
кресло. Въ зубахъ у него ковырялка, въ рукѣ
длинный чубукъ съ дымящимся Васильемъ Жу-
ковымъ, въ лицѣ дремотная, тихая улыбка без-
мятежнаго довольства.

Позади его рабочій письменный столъ; на сто-
лѣ служебныя дѣла и бумаги, портретъ супруги
съ двумя потомками и просвирка съ вынутой
частицей. Эту просвирку панъ Пшенпендовскій
неизмѣнно держитъ на своемъ столѣ, дабы буду-
чи на виду у всѣхъ—она могла для каждого по-
сторонняго человѣка служить видимымъ доказа-
тельствомъ православія и благочестія пана Пше-
нпендовскаго.

Для видимаго же доказательства благонамѣ-
ренныхъ и патріотическихъ чувствъ Пшенпен-
довскаго, на стѣнѣ этого самаго кабинета, гдѣ
прежде красовались изображенія разныхъ поль-
скихъ патріотическихкихъ знаменитостей, въ родѣ
Костюшки, Клинскаго, Понятовскаго, Хлопиц-

каго, Мицкевича и Лелевеля—нынѣ развѣшены
у него портреты всѣхъ членовъ Императорской
фамиліи, а по бокамъ ихъ портреты графа
Муравьева и генераль-адъютанта фонъ-Кауфа-
мана 1-го. Какой-же дерзкій осмѣлится, послѣ
столь явныхъ и краснорѣчивыхъ доказатель-
ствъ, хотя на минуту усомниться въ искрен-
ности благочестія, благонамѣренности, патріо-
тизма и преданности пана Пшенпендовскаго?!

Ради этихъ же цѣлей, въ переднемъ углу
виситъ у него большой православный образъ
св. Александра Невскаго и лампадка при немъ
теплится; образа же прежнихъ католическихъ
патроновъ пана Пшенпендовскаго удалены те-
перь въ заднія, непоказныя комнаты, куда не
можетъ проникнуть глазъ посторонняго чело-
вѣка и гдѣ межъ тѣмъ, главнѣйшимъ обра-
зомъ, свершается весь обычный, повседневный
кругъ домашняго обихода и семейной жизни.
Впрочемъ, это удаление въ заднія комнаты ни
мало не лишило прежнихъ патроновъ преж-
няго почитанія и поклоненія со стороны пана
Пшенпендовскаго. Теперь онъ ничего больше,
какъ только сталъ жить двойной жизнью— и
отъ этого явилось какъ бы два пана Пшенпен-
довскихъ. Одинъ панъ Пшенпендовскій былъ
на службѣ и въ показныхъ комнатахъ, другой
панъ Пшенпендовскій— среди невидимаго для
постороннихъ глазъ домашняго обихода и въ
комнатахъ заднихъ!

Въ данную минуту, хотя тутъ и кабинетъ,
и просвирка, и портреты на лицо, но такъ
какъ никого посторонняго нѣтъ, то мы и за-
стаемъ здѣсь пана Пшенпендовскаго второго,
т. е. такого, какимъ онъ является въ лонѣ
своего счастливаго семейства.

Мы застаемъ его въ одинъ изъ счастливыхъ
моментовъ жизни. Онъ только вчера получилъ
новую денежную награду за свою ревностную
службу; ему не о чемъ больше на сей день
заботиться—и потому, пока до полной дремо-
ты, онъ намѣревается почитать газету «Но-
вое Время», на которую состоитъ подписчи-
комъ, ибо почему жь ему и не подписаться,
если издаетъ ее «закомиты чловѣкъ» и такъ
сказать «родакъ кривны»... А для сторон-
нихъ, при случаѣ, панъ Пшенпендовскій объ-
ясняетъ свое чтеніе такимъ замысловатымъ
аргументомъ: читаю-моль затѣмъ, чтобы знать,
съ чѣмъ не соглашаться и чего не дѣлать.

Пани Фелиція, конечно, не можетъ не знать,
что мужъ только еще вчера получилъ денеж-
ную награду, а она сегодня въ одномъ мага-
зинѣ выглядѣла себѣ прелестную шелковую
матерію, изъ которой должно выйти безпо-
добное, восхитительное платье. Поэтому пани
Фелиція необыкновенно ласкова и пріятлива
со своимъ индюкомъ.

Она улыбаясь подходитъ къ индюку, садится
сперва на ручку кресла, а потомъ пересажива-
ется на колѣна и, обвивъ своею бѣлою, вкус-

ною рукою его шею, ласково треплетъ его по щекѣ нѣжною ладонью.

Панъ Пшепендовскій, какъ котъ, которому легонько щекочутъ подъ шейкой, масляно щуритъ глаза отъ наслажденія.

Панъ Пшепендовскій плаваетъ въ облакахъ счастья, потому тутъ у него и родные пенаты, и любимая жена, и потомки у ногъ на коврѣ кувыркаются и ползаютъ... и все это такъ прекрасно, и пріятно ему, и онъ ни о чемъ дурного не думаетъ себѣ, и никому никакого зла не дѣлаетъ,—а тутъ маленький Стасикъ разставилъ на полу оловянныхъ солдатиковъ, купленныхъ ему въ подарокъ изъ тѣхъ-же наградныхъ денегъ, и выкрикивая: «Пу-у!.. пу-у!.. бацъ! пафъ!» стрѣляетъ палочкой изъ жестяного ружья въ этихъ самыхъ солдатиковъ. И такъ это весело маленькому Стасику, и солдатики валятся отъ выстрѣловъ его дѣтскаго ружья—и Стасикъ прыгаетъ съ такимъ искреннимъ, дѣтскимъ восторгомъ, бьетъ въ ладоши и восклицаетъ:

— Тату!.. а, тату!.. поглѣндай: южъ пентъ москалевъ забилемъ! Цалы пентъ москалевъ совъзастрѣнѣны!... а?

Панъ Пшепендовскій смотритъ на «забавки» Стаса, и думаетъ о «забавкахъ» супруги, а супруга межъ тѣмъ такъ нѣжно гладитъ мягкой рукою его щеку и волосы, немножко трепля и взбивая прическу, и наконецъ цѣлуетъ въ лобъ.

Панъ Пшепендовскій благодарно смотритъ на супругу и думаетъ: «Иезусть-Марія, какой я счастливый!»

Супруга цѣлуетъ его еще разъ—въ щеку.

Панъ Пшепендовскій смотритъ на нее уже масляно.

Супруга даритъ и еще одинъ поцѣлуй—уже прямо въ губы...

Панъ Пшепендовскій начинаетъ глядѣть на нее уже очень лакомо, отставляетъ въ сторону чубукъ, обнимаетъ ее талію и уже самъ тянетъ къ ней губы.

— А-ну, а-ну, еще разъ! еще разъ, муя кохана!—тихо говоритъ онъ ей.—А-ну-бо, ну, покажь мнѣ, какъ это ты тогда тамъ... того... того... хе-хе-хе!.. того дурня... москаля цѣловала?! а?.. Ну, признайся! цѣловала? а?

Пани Фелиція мигомъ оставляетъ его шею, вскакиваетъ съ колѣнъ—и подавшись на шагъ назадъ, весьма величественно устремляетъ на индюка удивленный и оскорбленный взоръ.

Панъ Пшепендовскій понялъ, что, чертучуръ уже увлекшись и нѣжностью, и вображеніемъ, далъ дурацкій промахъ, и торопится какъ-нибудь поправить дѣло.

— Хе, хе, хе!—искательно смѣется онъ.—Але жъ то шутки, шутки!.. Якъ Бога кохамъ, тильке шутки, муя кохана и венцей ницъ!

И за сямъ прибавляетъ совершенно серьезно, съ достоинствомъ и даже не безъ величія.

— Прошенъ пани завше вѣдаць, же то нигды не мыслямъ злѣго на жѡну!

Пани мысленно воспоминаетъ прелестную матерію и потому съ улыбки, въ знакъ примиренія и забвенія, слегка хлопнувъ пальцемъ по носу своего индюка, спокойно отходитъ въ сторону и садится на кресло.

— Тату! тату! еще пентъ москалевъ забилемъ!—кричитъ маленький Стасикъ, прыгая и хлопая въ ладоши.

— О?.. пентъ москалевъ?.. А якій же люты до москалевъ! Ото-то люты!—въ тонъ ему покачивая головою, умиляется счастливый отецъ.—А ну, ходзь до мнѣ! Ходзь!.. ходзь-ту!.. Сядай тутей!.. на коника... Ну?.. гопс-ля! От-такъ!

И маленький Стасикъ ловко вскакиваетъ верхомъ на родительское колѣно.

— Ну, повѣдзь мнѣ,—говоритъ ему панъ Пшепендовскій,—повѣдзь прендзей, чымъ мыслянь быць найлѣпѣй?

— Повстаньцемъ бендемъ!.. До лясу мамъ уцѣкаты!—бойко отвѣчаетъ Стасикъ.

— Ого!.. повстаньцемъ? и заразь вже до лясу!.. От-то кровь!.. А кто ты есть такій?

— Естемъ полякъ!—еще боѣче кричитъ мальчонка.

— Э-э!.. тсс!.. съ шутливой строгостію останавливаетъ его панъ Пшепендовскій и прибавляетъ назидательнымъ, хотя и шутливымъ тономъ: —нигды не мувь, же естешъ полякъ. Теразь южъ нима полякевъ—москале сглоцили! Теразь есть тильке едне «вѣроподданство» и «православье»,—розумѣнь тее? —«Вѣроподданство и православье»!.. Естешъ вѣроподданньи москаль!

— Нѣ!.. Нѣ!.. не хчемъ у москале!.. не хчемъ! не хчемъ!—чуть не съ ревомъ, кобясь, кричитъ маленький Стасикъ.

— А на цо то не хцешъ?.. Ну, давай по русську вчиться!—менторски шутитъ панъ Пшепендовскій.—Ты есть фруктъ одъ чресла моего и для того ты есть поросенокъ. Розумѣешь? Нѣ, не розумѣешь?.. Ну, давай пѣсню спѣвай! Спѣвай зъ татемъ! Учи сен! Ну?!

Бо-о-же ца-ра храни...

— На цо то глупству такому учиць малего!—съ неудовольствіемъ вмѣшалась пани Фелиція.—Стасю! Сердце мое! не слухай тату! то—бѣ! кака! Идзь лѣпѣй до мамы! мама другу пѣсенку заспѣвай! Така ладна пѣсны!

Еще польска не згинѣла,
Пуки мы жіемы.

— Тату! а, тату!—приставалъ межъ тѣмъ маленький Стасикъ.—Цо-то есть таке: «Боже ца-ара»?

— А!.. «Боже цара храни»?—вразумительно сталъ объяснять ему панъ Пшепендовскій.—«Боже цара храни»—то есть московська «Боже цось польска». Розумѣшь то разъ.

Розумѣть, тату!

— А по русску не хочешь учиться?

— Не хчемъ!

— От-то заядлы!.. от-то кровь! Ну, сядай на коника! Сядай. Гопс-ля! Ну, теразъ естешъ польски уланъ! Повстанецъ!.. Гопъ, гопъ, гопъ, гопъ, гопъ, гопъ!..

И слегка придерживая Стася руками, панъ Пшепендовскій, въ темпъ рыси, сталъ качать его верхомъ на колѣнѣ, приговаривая въ тактъ речитативомъ:

Їдзе, їдзе панъ, панъ,
На конику самъ, самъ,

А за панемъ жидъ, жидъ,
А за жидемъ попъ, попъ,
А за попомъ хлопъ, хлопъ—
По колушку лопъ! лопъ!
А по Стасю шлепъ! шлепъ!
Шлепъ! шлепъ! шлепъ! шлепъ!

И панъ Пшепендовскій надѣлялъ своего потомка нѣжными и легкими родительскими подшлепниками.

— Ну, от-такъ ладне?—обратился онъ къ нему въ заключеніе.—Ладне?! — Ну, идъ до мамы!.. Идъ!.. Гуляй!.. Гуляй, вірноподданы поросенокъ!

Подъ каштанами Саксонскаго сада.

(ИЗЪ ВАРШАВСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

— Послушайте, Крестовскій, такъ вы рѣшительно не вѣрите?

— Рѣшительно не вѣрю,

— Но, другъ Горацио, вспомните старую истину, что есть многое въ природѣ...

— Что и не снилось нашимъ мудрецамъ.— Очень хорошо помню и знаю. Но такъ какъ я не мудрецъ, во-первыхъ, а во-вторыхъ, такъ какъ мнѣ вообще очень многое снится, то я и тѣмъ паче могу не вѣрять.

— Такъ что-жь это по вашему?

— Галлюцинація, обманъ зрѣнія, обманъ чувствъ, ощущеній...

— Ну, такъ, такъ, такъ! всеконечно такъ!.. Скажетъ человѣкъ себѣ хорошее слово въ родѣ какого-нибудь «рефлекса» или «галлюцинаціи»—и успокоится, и доволенъ собою, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ однимъ этимъ словомъ онъ все объяснилъ, все порѣшилъ, все покончилъ! Да скажите же вы мнѣ на милость: отчего, напримѣръ, эта самая ваша «галлюцинація» нигдѣ и никогда больше не повторялась со мною, какъ «галлюцинація»,—и отчего, напротивъ, *ощущеніе* ея повторялось вполнѣ тождественности съ тѣмъ самымъ ощущеніемъ, которое нѣкогда дала эта... ваша... «галлюцинація», какъ вы ее называете? Отчего-съ это?.. Что-же, въ самомъ дѣлѣ, Юмъ, что-жа, напустилъ ее на меня?

— Не Юмъ, а извѣстное настроеніе, извѣстное состояніе нервовъ...

— Знаю, знаю! за симъ по порядку должны

идти «рефлексы» и прочее!.. Скажите, пожалуйста, вы какъ понимаете Юма?

— Юма?.. Я его никакъ не понимаю.

— Ну, нѣтъ, однако! Что это... какъ онъ, по вашему?

— Полагаю, что ловкій престижигаторъ—не болѣе.

— Въ родѣ братьевъ Девенпортовъ? да?.. Нѣтъ, батюшка мой! Въ томъ-то и сила, что это не фокусникъ, не шарлатанъ, а человѣкъ больной недугомъ той невѣдомой высшей силы, присутствіе которой въ немъ самомъ тяготитъ его. Что это за сила?—онъ и самъ того не знаетъ, но онъ боленъ ею. Замѣтите еще вотъ какое обстоятельство: Юмъ никогда не дѣлалъ изъ своей силы предмета спекуляціи, онъ не давалъ за деньги публичныхъ представленій, не раскидывалъ афишъ, никогда не эксплуатировалъ своей способности въ пользу кармана. Мало того, на сколько я его знаю, онъ даже не любитъ говорить объ этой силѣ, онъ избѣгаетъ разговоровъ о томъ, что самому ему такъ тяжело, такъ непріятно. Онъ вообще очень скромнень. Шарлатаны поступаютъ не такъ! Шарлатаны кричатъ, трубятъ о себѣ всевозможными способами, драпируются въ мантию таинственности и набиваютъ карманы рублями, мороча почтеннѣйшую публику. Братья Девенпорты, когда вамъ угодно, въ любую данную минуту, изобразить передъ вами свое спиритическое представленіе; съ Юмомъ же не такъ: зачастую у него проходитъ нѣсколько недѣль, нѣсколько мѣсяцевъ, когда эта сила оставляетъ

его, и онъ тогда становится такимъ же обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ вы, какъ я, какъ всѣ мы, грѣшныя. Въ это время — запылите вы его всѣми сокровищами Голконды и Калифорніи—онъ ничего не покажетъ вамъ, по той простой причинѣ, что это внѣ его человѣческой возможности, что это совсѣмъ отъ него не зависитъ. Онъ за нѣкоторое время, за нѣсколько часовъ, вдругъ, что называется, ни съ того, ни съ сего, начинаетъ чувствовать приближеніе своего пароксизма. Онъ явно становится разстроеномъ, нервенъ, унылъ и просто боленъ передъ этимъ приближеніемъ—боленъ и послѣ пароксизма. Я видѣлъ его въ эти минуты и могу вамъ свидѣтельствовать, что это непритворно: такъ притворяться нельзя. Холоднаго пота на лбу и ста двадцати биеній пульса въ минуту—не сдѣлаешь себѣ никакимъ притворствомъ. Онъ видимо страдаетъ въ эти минуты. Онъ мученикъ своей собственной невѣдомой силы, игрушка ея прихотливыхъ напѣвъ, ея капризовъ, ея жертва, ея пропія и насмѣшка надъ человѣческимъ разумомъ, коли вы хотите! Вотъ что такое въ сущности этотъ Юмъ.

— Вы его знаете?

— Знавалъ въ Парижѣ.

— И видѣли его подъ напѣвомъ этой «силы»?

— Видѣлъ разъ. Но пожалуйте не дѣлайте такихъ проницательныхъ удареній надъ словомъ «сила»!

— Слушаю-съ. Что же такое вы видѣли?

— Мало того, что видѣлъ! Говорю вамъ: я—я самъ ощущалъ на себѣ дѣйствіе его воли и силы!

— Это любопытно.

— Вы думаете? Но я вамъ скажу нѣчто еще курьезнѣе: въ ощущеніи этой «галлюцинаціи» былъ своего рода таинственный, пророческій смыслъ. Вы улыбаетесь? — погодите немножко! Успѣете потомъ!.. Если-бъ вы знали, что это была за галлюцинація и какое значеніе имѣла она для меня потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ! Вотъ бы вамъ тема для разсказа-то, для повѣсти! Чего вы опять такъ улыбаетесь?

— А вы хотите, чтобы я откровенно признался вамъ?

— Желалъ-бы, другъ Гораціо! желалъ бы!

— Извольте, принцъ. Я невольно, хоть можетъ быть и не совсѣмъ-то скромно, улыбнулся своей собственной мысли... Мы съ вами настолько хорошіе пріятели, что вамъ можно сказать ее. Видите-ли... Если-бъ вы знали, сколь часто и сколь многія изъ прелестныхъ дамъ и даже очень юныхъ барышень говорили мнѣ: «ахъ, monsieur Крестовскій, если-бъ вы знали мою жизнь, если-бъ вамъ разсказать ее—вотъ бы вамъ богатая тема для романа! вы бы непременно описали ее!»—Эти прелестныя дамы очень искренно думаютъ себѣ, что нашему брату

больше и дѣлать нечего, какъ только заниматься описаніемъ ихъ жизни. Иныя изъ нихъ и покушались описывать свои «чувствія», но, увы!—долженъ признаться вамъ—никогда никакой изъ этого темы не выходило!

— Гм!.. Понимаю!—Но меня утѣшаетъ то, что я не прелестная дама, а капитанъ генеральнаго штаба. Поэтому изъ моей темы, быть можетъ, нѣчто и выйдетъ. Только предупреждаю: если когда-нибудь вы задумаете «воздѣлать» ее, то вашъ разсказъ или вашу повѣсть посвятите духу парыцы Семирамиды.

— Вавилонской?

— Ей самой.

— Это, въ нѣкоторомъ родѣ, *conditio sine qua non*?

— Всенепремѣннѣйше! Даете слово?

— Да я еще не знаю въ чемъ дѣло.

— А дѣло вы сейчасъ узнаете. Тсс!.. Пойдите... Вотъ она!

* * *

Это было весной, въ Варшавѣ. Я встрѣтился съ моимъ хорошимъ пріятелемъ капитаномъ Черкутскимъ на главной аллеѣ Саксонскаго сада. Мы пошли рядомъ, повернули гуляючи на одну изъ тѣнистыхъ боковыхъ дорожекъ и устланныхъ на чугунной скамейкѣ. Майское солнце было горячо и ярко заливало своими лучами: алмазные брызги фонтана, широкую площадку съ группами нянекъ и ребятишекъ, густую, мягкую зелень каштановъ, разслабленнаго старичка, котораго ежедневно привозили сюда въ креслахъ грѣться на солнышкѣ и дышать ароматомъ свѣжаго майскаго сада, — варшавскихъ «элегантовъ» съ неизмѣнными лющиками, въ неизмѣнныхъ «камашахъ» и ружовыхъ ренкавичкахъ», и группы гуляющихъ мужчинъ и женщинъ, въ легкихъ, изящныхъ нарядахъ, которые прилетѣли сюда вмѣстѣ съ модными парижскими картинками послѣдняго весенняго сезона.

Капитаны были въ полномъ цвѣтѣ, бѣлая акація благоухала. Сквозь просвѣты мягко нѣжащей глазъ кудрявой зелени, не успѣвшей еще потемнѣть и запылиться полѣтнему, виднѣлись тамъ и сямъ бѣлыя неподвижныя статуи и движущіяся фигуры гуляющихъ варшавянокъ, которыя издали казались тоже бѣлыми въ своихъ свѣтлыхъ, легкихъ нарядахъ, подъ игрою свѣта и тѣни богатнаго полдня.

Мы съ Черкутскимъ сидѣли въ густой тѣни, которая мелкой, золотисто-рябищей сѣткой ложилась на песокъ дорожки.

Я невольно изумился, когда капитанъ вдругъ, дотронувшись слегка до моего колѣна, такъ неожиданно и такъ многозначительно проговорилъ мнѣ это: «тсс!.. Пойдите... Вотъ она!»

— Кто она?.. гдѣ?.. которая? — спросилъ я въ недоумѣніи.

— Она!.. глядите налѣво... Смотрите—смотрите... замѣйте ее хорошенько!

По дорожкѣ шла женщина, все болѣе приближаясь къ намъ. Она должна была пройти мимо насъ въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія. Какъ и въ чемъ она была одѣта—я не замѣтилъ, потому что вниманіе мое всецѣло обратилось на нее *всю*, на ея общее, и потомъ на ея лицо. Помню только, что впечатлѣніе ея вѣнчано, ея костюма было строго-изящное, аристократическое, что очень рѣдко встрѣчается въ полькахъ. Онѣ обворожительны, но... жанромъ своимъ болѣе походятъ на кокотокъ. Эта же, которая къ намъ приближалась, была царица... строго хороша какъ статуя, изящна какъ женщина, проста какъ само изящество. Тутъ слегка сквозила и южная нѣга вакханки, и холодная сдержанность строгой Дианы; тутъ было отсутствіе всякихъ претензій, какъ въ ребенкѣ, и женственность Офеліи, и царственная простота королевы. Казалось, никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ ей не къ чему бы было рисоваться собой, выдвигать себя. Загнѣтая между сотнями женщинъ, она все-таки невольно выдвинулась бы одной только силой своей сущности. Это была и мадонна, и мейфестофель—вмѣстѣ, въ одномъ существѣ, въ одной женщинѣ, въ одномъ полномъ и гармоническомъ сліяніи. Ея каштаново-золотистые волосы были особенно замѣчательны: при яркомъ солнцѣ она казалась блондинкой, въ тѣни-же это была совсѣмъ брюнетка. Брюнеткой должна бы была казаться она и въ замѣ, при вечернемъ освѣщеніи. Въ ней нѣсколько проглядывалъ южный, какъ будто итальянскій типъ—и все вмѣстѣ было такъ хорошо, такъ изящно, что я невольно заглядѣлся на нее.

Она приближалась. Выразительно-очерченные глаза ея спокойно и холодно смотрѣли мимо насъ впередъ, вдаль по дорожкѣ.

Черкутскій почтительно и—какъ показалось мнѣ—отчасти смущенно привсталъ и поклонился ей.

Отвѣтомъ на это былъ мимолетный, равнодушный, легкій кивокъ совсѣмъ аристократическаго свойства.

— Вы ее знаете?—спросилъ я, когда она была уже въ нѣсколькихъ шагахъ впереди насъ.

— Знаю. А что?.. Хороша?

— Излишне и спрашивать. Кто она?

— Она?.. Моя героиня.

Было очень жарко. Мы лѣниво пробрались на террасу садовой пукерии и снова уѣлись подъ холщевой маркизой. Тутъ было и прохладно, и очень удобно; наше уютное мѣстечко, около маленькаго столика, со всѣхъ почти сторонъ обильно заслонялось олеандрами, гертензиями, померанцевыми и миртовыми деревьями. Мы спросили себѣ по «шклянкѣ» холодной содовой воды съ сиропомъ и закурили сигары.

— Объясните, пожалуйста, что это значить: «моя героиня»?—отчасти подозрительно спросилъ я.

— Каждый романъ имѣетъ свою героиню. Это вамъ, господа беллетристы, лучше всего должно быть извѣстно.

— А у васъ это котораго романа героиня?

— Того самаго, о которомъ я вамъ сейчасъ только говорилъ и дарилъ тему для повѣсти.

— Но... позвольте!—перебилъ я.—Вы мнѣ говорили о Юмѣ и о своей какой-то галлюцинаціи. Развѣ эта женщина и Юмъ съ царицей Семирамидой имѣютъ у васъ какое-либо соотношеніе?

— Вотъ въ томъ-то и сила, что имѣютъ.

— А! это, дѣйствительно, становится нѣсколько любопытно. Не знаю, каковъ будетъ вашъ романъ, но героиня, во всякомъ случаѣ, сама по себѣ достойна быть героиней.

— Такъ что-же? Рассказывать? Я, кстати, нѣсколько въ ударѣ.

— Непремѣнно рассказывайте. Я уже и теперь весь превратился въ службу и вниманіе настолько, что даже сигара моя потухла.

— Закурите ее снова и слушайте. Только—чур!—помните условіе насчетъ посвященія.

* * *

Я далъ слово, и теперь въ точности выполняю свое обѣщаніе.

ГРЕЗА.

(Посвящено царицѣ Семирамидѣ).

Это было въ Парижѣ, въ 1858 году. Я задавалъ себѣ обыкновенную дозу моціона въ Елисейскихъ поляхъ, въ тотъ часъ, когда паркъ кишить народомъ. Это—какъ вы знаете—самая пестрая выставка всего элегантнаго Парижа и его прожорливаго, вовсе неэлегантнаго деми-монда.

Когда мнѣ ровно нечего дѣлать, я очень люблю глазѣть на пеструю, беззаботно-суетливую толпу: это обыкновенно приводитъ меня въ хорошее настроеніе духа. Такъ было и въ тотъ разъ. Я гулялъ и глазѣлъ, и вдругъ встрѣтился съ нашимъ княземъ Г***. Самъ по себѣ князь былъ милѣйшій человекъ, который съ большимъ достоинствомъ поддерживалъ въ Парижѣ убѣжденіе въ баснословномъ умѣніи нашихъ *boysars russes* жить и неистощимо сорить деньгами заграницей. Онъ шелъ подъ руку съ какимъ-то худощавымъ блондиномъ средняго роста, въ усахъ, съ физиономіей, которая поразила меня своей болѣзненной нервною. Это былъ Юмъ. Князь познакомилъ насъ. Раза два мы втроемъ прошлись взадъ и впередъ по аллеѣ.

— Какъ вы на сегодня располагаете собой?—спросилъ меня князь.

— И самъ еще не знаю!—пожалъ я плечами.

— Если такъ, то приходите обѣдать.

Я общалъ—и въ шесть часовъ былъ уже въ великолѣпномъ отелѣ князя. Насъ было всего пять человѣкъ, считая въ томъ числѣ хозяина и Юма: одинъ молодой русскій натуралистъ, одинъ извѣстный французскій художникъ и я. Юмъ былъ молчаливъ и—какъ замѣтилъ я—ѣлъ очень мало. Ко всѣмъ разговорамъ относился онъ большей частью совсѣмъ безучастно, какъ-будто его мысль занята была совершенно другимъ въ это время. Печать гнетущей болѣзненности не сходила съ его лица, которое мгновенными отсвѣчивало иногда подавляемымъ внутреннимъ страданіемъ. Это чувство особенно сказывалось въ его меланхолическихъ, голубовато-сѣрыхъ глазахъ. Послѣ обѣда князь подошелъ къ нему и спросилъ тихо.

— Вы, кажется, нѣсколько дурно себя чувствовали?

Лицо Юма, какъ показалось мнѣ, передернуло легкимъ нервнымъ движеніемъ.

— Нѣтъ, не то,—отвѣчалъ онъ,—но со мною опять... опять начинается *это*. Я это чувствовалъ еще давеча утромъ.

— Васъ это тяготитъ, сколько замѣтно?

— Да, немного. Впрочемъ, я уже давно привыкъ. Это пройдетъ.

— Но какъ долго продолжается такое состояніе?

— Смотря какъ. Иногда очень долго, иногда нѣтъ. Чѣмъ скорѣй облегчишь себя проявленіемъ этой силы, тѣмъ легче проходитъ.

— Но вѣдь эти проявленія не обходятся вамъ безъ страданій.

— Отчасти. Но оно во всякомъ случаѣ сопровождается страданіемъ—и тѣмъ больше, чѣмъ долѣе сдерживаешь въ себѣ эту силу, чѣмъ долѣе не даешь ей выхода.

— Такъ что-жь, доставьте себѣ это облегченіе.

Въ лицѣ Юма появилась на одно мгновеніе тѣнь раздумчиваго колебанія.

— Пожалуй,—согласился онъ,—если только это не будетъ вамъ и гостямъ вашимъ неприятно.

О непріятности нечего было и говорить. Присутствовать при спиритическомъ сеансѣ Юма, о которомъ въ тѣ годы столько говорили,—кто-бъ отказался отъ такого рѣдкаго и счастливаго случая?

Мы перешли въ кабинетъ хозяина. Мраморный каминъ пылалъ тамъ яркимъ пламенемъ, отражавшимся въ такихъ фантастическихъ блесткахъ на стали рѣдкаго и богатаго оружія, которымъ увѣшаны были стѣны. Въ этихъ рыцарскихъ кольчугахъ, панцыряхъ и шлемахъ, глядѣвшихъ на насъ изъ оваловъ темно-пунцовыхъ щитовъ, казалось, были закованы ихъ древніе обладатели, окруженные, словно лучами, своими алебардами, копьями, саблями и

мечами. Лампы были потушены, за исключеніемъ одной, помѣщавшейся на массивномъ дубовомъ столѣ во вкусѣ *Mouen-à-ges*, который стоялъ посрединѣ комнаты, покрытый тяжелой ковровой скатертью, съ наваленными на него книгами, кипсеками, альбомами. Изъ нишъ, какъ-бы съ какимъ-то таинственнымъ любопытствомъ, выглядывали двѣ обнаженныя мраморныя женщины, рѣзца Розетти.

Юмъ сѣлъ отдѣльно, поодаль отъ прочихъ, въ высокое готическое кресло, передъ каминомъ, лицомъ къ огню, такъ что этого лица никому не было видно. Я очень удобно помѣстился на широкой мягкой оттоманкѣ, столь располагающей къ грезамъ и послѣ-обѣденной нѣгѣ. Остальные тоже размѣстились, какъ кому было удобнѣе.

Наступала мертвая тишина.

Всѣ сидѣли почти неподвижно, только на лицѣ у каждаго мелькала невольная, ажитированная улыбка таинственного ожиданія чего-то особеннаго, сверхъ-естественнаго.

Прошло минуты три въ напряженномъ состояніи этого рода. Тишина ничѣмъ не прерывалась—каждый изъ насъ даже дыханье невольно сдерживалъ.

Вдругъ на дубовомъ столѣ послышался шорохъ.

Мы не безъ любопытства и съ явнымъ недоумѣніемъ переглянулись другъ съ другомъ. Ближе всѣхъ къ столу сидѣлъ ученый натуралистъ, но отъ него до борта этого стола оставалось, по крайней мѣрѣ, сажень разстоянія. Очевидно, никто изъ насъ никоимъ образомъ не могъ дотронуться до стола, чтобы незамѣтно, ради пріятельской мистификаціи, произвести этотъ легкій, но очень странный шорохъ, похожій на шелестъ газетной бумаги.

Я взглянулъ на Юма. Онъ сидѣлъ, глубоко погрузясь въ свое кресло, какъ-бы въ изнеможении опустивъ голову и прикрывъ глаза ладонью облокоченной руки. Ни малѣйшаго внѣшняго проявленія не выказалъ онъ при этомъ шорохѣ.

— Можетъ быть подъ столъ завалилась какъ-нибудь газета?—скептически, полупопотомъ проговорилъ естествоиспытатель;—да не заползла ли туда ваша собака, князь?

— Встаньте, господа, кто нибудь и поглядите, пожалуйста,—тихо сказалъ Юмъ, не измѣняя своего положенія.

Натуралистъ всталъ съ мѣста, приподнялъ скатерть и внимательно поглядѣлъ подъ столъ.

— Ничего нѣтъ... пусто!—проговорилъ онъ, недоумѣло пожавъ плечами.

Въ эту самую минуту одинъ изъ настольныхъ кипсековъ раскрылся самъ собой.

Натуралистъ невольно вздрогнулъ и еще невольнѣе попятился.

— Однако, что-жь это!—пробормоталъ онъ, опускаясь въ свое кресло.

Никто не отвѣчалъ ему. За исключеніемъ самаго Юма, всѣ смотрѣли теперь на столъ съ величайшимъ вниманіемъ.

Вдругъ листы этого кипсека сами собой стали медленно переворачиваться, одинъ за другимъ, какъ-будто чья-то невидимая рука постепенно перебирала ихъ, какъ-будто кто-то разсматривалъ тамъ рисунки.

Признаюсь откровенно: въ этотъ мигъ я почувствовалъ, какъ мое сердце стало вдругъ медленно и неровно колотиться въ груди полными, усиленными биеніями. Я испытывалъ неосознанное присутствіе чего-то сверхъестественнаго, чего-то такого, что было выше моихъ силъ, выше моего пониманія. Но я видѣлъ ясно, что происходитъ на столѣ. Мои глаза не могли меня обманывать—я это чувствовалъ—или же глаза всѣхъ остальныхъ были равно подвергнуты одной и той же галлюцинаціи.

Вдругъ, прямо надъ моей головой, я услышалъ сухое шелканье взводимыхъ курковъ. При этомъ, конечно, невольное движеніе и взглядъ вверхъ на стѣну: между восточными шапками, кинжалами и ятаганами на дорогомъ персидскомъ коврѣ висѣло нѣсколько турецкихъ пистолетовъ въ артистической, богатой оправѣ. Когда я глядѣлъ на нихъ, курки продолжали шелкать. Я замѣтилъ, что всѣ они стоятъ уже на второмъ взводѣ.

— Одинъ изъ пистолетовъ заряженъ!—сѣшшно предупредилъ князь. — Давеча утромъ я стрѣлялъ въ цѣль и не успѣлъ разрядить его.

«А ну, какъ его вдругъ дернетъ нелегкая спустить курокъ?» подумалось мнѣ—и не скажу, чтобы съ особенно пріятнымъ ощущеніемъ.

— Онъ не выстрѣлитъ; онъ сейчасъ тихо спуститъ курокъ!—слабымъ груднымъ голосомъ успокоилъ Юмъ.—И точно. Я видѣлъ своими глазами, какъ тихо подалась назадъ стальная пуговка, замѣняющая въ азіатскомъ оружіи нашу собачку, и какъ осторожно опустился кремневый курокъ.

На душѣ у меня чуточку отлегло; однако, изъ понятнаго чувства предосторожности и самохраненія, я отодвинулся со своего мѣста нѣсколько впередъ, въ сторону, и уже не прислонился къ самой стѣнѣ, а предпочелъ облокотиться съ краю на боковой валикъ, такъ что между стѣной и моей спиной осталось около двухъ четвертей разстоянія. Это хотя и было нѣсколько менѣе удобно относительно сибаритскаго комфорта, но зато гораздо спокойнѣе въ разсужденіи взводимыхъ курковъ.

Молодой ученый, который, въ качествѣ естествоиспытателя, конечно, считалъ себя матеріалистомъ и мыслящимъ реалистомъ,—поглядѣлъ на меня съ легкимъ отгѣнкомъ насмѣшливой проиіи, едва замѣтно скользнувшей по губамъ его, что, безъ всякаго сомнѣ-

нія, я долженъ былъ отнести на счетъ моей храбрости, которая только-что заявила себя съ несомнѣмъ-то блистательной стойкой стороны. Вѣроятно, по его мнѣнію, я, въ качествѣ военнаго, да еще кавалериста, долженъ былъ безпрепятственно подставить свое темя подъ таинственный выстрѣлъ.

«Ладно, батюшка, пронизируй!» подумалъ я себѣ въ утѣшеніе. «Посмотримъ, какъ-то ты у насъ улыбнешься, какъ если вдругъ съ тобой случится нѣчто не совсѣмъ-то пріятное для твоего мужества!»

Но это размышленіе мое печально было прервано новымъ проявленіемъ чего-то невѣдомаго присутствія. Представьте себѣ наше всеобщее изумленіе, когда книги, кипсеки, газеты и альбомы вдругъ стали слетать со стола во всѣ стороны, когда они полетѣли внизъ и запрыгали по полу словно бы въ конвульсіяхъ какой-то дикой книжной пляски! Это было и чудно, и уморительно, такъ что мы не могли удержаться отъ смѣха. А въ это же самое время на столѣ подъ ковровой скатертью запрыгали десятки чьихъ-то невидимыхъ рукъ. Онѣ приподнимали и волновали скатерть, на которой ясно можно было видѣть очертаніе кончиковъ пальцевъ и цѣлыхъ рукъ, обращенныхъ къверху ладонями. Пляска святого Витта продолжалась съ минуту подъ скатертью и на полу, потомъ руки исчезли одна за другой; книги также успокоились и совершенно неподвижно улеглись на коврѣ, какъ попало.

Въ это время на письменномъ столѣ самъ собой пошелъ бронзовый колокольчикъ по направленію къ борту и упалъ на полъ; но падая, онъ зазвонилъ порывисто и быстро самымъ сильнымъ, пронзительнымъ звукомъ.

Непосредственнымъ и естественнымъ слѣдствіемъ этого звона было появленіе лакея, который остановился въ дверяхъ, съ почтительнымъ выраженіемъ вопроса на лицѣ, въ ожиданіи какого-либо приказанія.

Мы опять переглянулись между собой: стало быть это не *кажется*, стало быть это опять-таки не галлюцинація зрѣнія и слуха, если посторонній, не заинтересованный ближайшимъ образомъ человѣкъ услышалъ звонокъ и явился какъ бы по обычному требованію.

— Подбери эти альбомы и положи ихъ на столъ,—приказалъ ему хозяинъ.

Лакей исполнилъ все, что было нужно, но подымая послѣднюю книгу, вдругъ отдернулъ руку и преуморительно припрыгнулъ на мѣстѣ.

— Что съ тобой?—спросилъ князь.

— Ничего, ваше сіятельство... такъ... не то колынуло, не то щипнуло что-то въ руку и въ ногу.

— Ну, хорошо. Ступай себѣ.

Человѣкъ поднялъ съ полу книгу на сей разъ уже безпрепятственно и удалился, затворивъ за собой двери.

Послѣ этого на минуту опять воцарилась мертвая тишина и полное спокойствіе.

Вдругъ—глядимъ—нашъ молодой естествоиспытатель начинаетъ блѣднѣть, все болѣе и болѣе; глаза его неподвижно, съ выраженіемъ ужаса, вперяются прямо передъ собой; наконецъ все лицо его покрывается глубокой, смертельной блѣдностью: на немъ явно написанъ мучительный страхъ и даже боль какая-то, — и весь онъ словно бы оцѣпенѣлъ отъ ужаса.

— Бога ради... Бога ради, нельзя ли это кончить!—глухо-молищимъ и почти задыхающимся голосомъ пролепеталъ онъ, видимо ослабѣвая и чуть удерживаясь отъ обморока.

— Что съ вами?—съ участіемъ кинулся къ нему хозяинъ.

— Я чувствую, что мою руку схватила чья-то другая холодная, тяжелая, мертвая рука... Да, это мертвая рука сжимаетъ точно желѣзными тисками....

— Теперь вы ничего больше не чувствуете?—спросилъ Юмъ, не оборачиваясь и ни мало не измѣняя своего положенія.

— Теперь ничего... Отпустила,—съ облегченнымъ вздохомъ проговорилъ ученый и, какъ бы приходя въ себя, провелъ по лбу ладонью.—Фу, Боже мой, какое непріятное, какое тяжкое и страшное ощущеніе!—сказалъ онъ.—Никогда не пожелалъ бы ни другимъ, ни себѣ испытать вторично такое дружеское пожатіе.

«Ага! что, братъ, мыслящій реалистъ?» подумалъ я себѣ. «Гдѣ же твое матеріалистическое мужество?»—и молодой ученый, какъ показалось мнѣ, очень хорошо понимая теперь, въ свою очередь, прямое значеніе моего взгляда, и потому послалъ мнѣ легкую улыбку дружескаго, примирительнаго значенія.

— Не хочетъ ли кто, господа, испытать еще какоенибудь ощущеніе?—предложилъ Юмъ, изъ подъ своей облокоченной руки.

— Пожалуй, я хочу! только нельзя ли чтонибудь хорошее, пріятное?—отозвался я.

— Отчего же нѣтъ! Что вы хотите? Что именно?

Я въ затрудненіи пожалъ плечами.—«Чего бы, и въ самомъ дѣлѣ, пожелать мнѣ?»

— Ну, что же можетъ быть пріятнѣе поцѣлуя?—съ чисто французскою живостью отозвался художникъ.—Берите поцѣлуй, monsieur Tchercontsky! et rien plus!

— Поцѣлуй? — пожалуй! съ величайшимъ удовольствіемъ!—лишь бы только это не былъ ледяной поцѣлуй мертвеца или какой-нибудь старой мегеры.

Я замѣтилъ, какъ Юмъ тихо улыбнулся изъ подъ руки своей.

Но прежде, чѣмъ на мою долю выпало какое-либо ощущеніе, я видѣлъ, какъ художникъ вдругъ нервно задрогалъ, задержался и захоталъ на своемъ креслѣ,—въ томъ родѣ, какъ хохочутъ маленькія дѣти, когда нянька, раз-

ставя два пальца и пошевеливая ими, постепенно приближаетъ руку свою къ грудкѣ или къ животу ребенка, приговаривая въ ладъ: «идетъ коза рогатая, идетъ коза бодатая, на маленькихъ ребятушекъ — быръ-быръ-быръ-быръ!»

Французъ корежился, подпрыгивалъ и заливался неудержимымъ хохотомъ.

— Что съ вами? Чего вы?—обращались къ нему всѣ съ невольнымъ смѣхомъ, при видѣ его комическихъ кривляній.

— О, Боже мой... ой, ой, ой!—черезъ силу лепеталъ онъ, захлебываясь отъ смѣху.—Нѣтъ, нѣтъ, будетъ.. оставьте!.. довольно... довольно же, прошу васъ!

— Да что такое съ вами?

— Меня по всему тѣлу щекочатъ болѣе десятка рукъ.

— Мужскихъ или женскихъ?—улыбнулся князь.

— Женскихъ! женскихъ! кажется, женскихъ!.. Ой, ой, ой, Боже мой!.. Оставьте же, умоляю! Ха, ха, ха! ха, ха, ха!

— Если женскихъ, то это должно быть вамъ пріятно,—замѣтилъ ученый.

— Да, это пріятно въ принципѣ,—заявилъ французъ, освободившись наконецъ отъ своей щекотки,—но на дѣлѣ, послѣ обѣда — благодарю покорно!

— Что-жъ, добрый смѣхъ помогаетъ пищеваренію.

— Благодарю покорно!..благодарю покорно!—отфыркивался художникъ.

— Это васъ уже не наши ли русскія русалки щекотали?—обратился къ нему князь.

— А, можетъ быть, можетъ быть!—любезно и охотно согласился французъ.—Но какія же онѣ у васъ глупыя, эти ваши русскія русалки! Вѣдь такъ можно защекотать до смерти!

— Въ этомъ-то и состоитъ ихъ специальность.

— Совершенно неосновательная специальность. Совершенно неосновательная!

Французъ наконецъ успокоился, и опять воцарилась тишина невозмутимая.

Вдругъ въ открытомъ кабинетномъ роялино тихо-тихо зазвенѣла струна—потомъ еще одинъ подобный же звукъ. Это не былъ тотъ обыкновенный звукъ, который издается отъ прикосновенія къ клавишамъ, но какъ будто кто-то дотронулся до самой струны. Онъ скорѣе походилъ на легкій музыкальный стонъ эоловой арфы.

Мы чутко насторожили уши.

Вдругъ — тихій акордъ... другой... третій... и словно бы подъ сурдину полилась тихая, сладкая и какая-то совершенно неизвѣстная мелодія, полная нѣги и мечтательной прелести, полная влюбленныхъ звуковъ, словно бы ожданіе, томленіе, легкая грусть, и призывъ—призывъ кого-то къ любви и забвенію.

Я совершенно отдался обаянію этой дивной мелодіи, какъ вдругъ... Да, я это очень хорошо, очень живо помню — даже до мельчайшей отчетливости помню теперь, черезъ нѣсколько лѣтъ, то, что испыталъ въ ту минуту!

Я не видѣлъ, но ясно чувствовалъ, какъ кто-то изъ-за спины тихо начинаетъ склоняться надо мной, надъ моимъ лѣвымъ плечомъ.

Я сидѣлъ все въ томъ же положеніи, какое принялъ въ моментъ, когда услышалъ надъ собой шелканье взводимыхъ курковъ, такъ что между мной и стѣной все еще оставалось достаточно пустого пространства, — но почувявъ около себя близость какого-то существа, невольно отклонился въ сторону.

— Сидите покойно... не бойтесь, — почти шопотомъ успокоилъ Юмъ, замѣтивъ мое движеніе.

Я принялъ прежнее положеніе. Теперь уже около меня никого не было.

Мнѣ стало даже нѣсколько досадно на себя за свою неумѣстную робость. «И нужно же было уклониться!» посылалъ я себѣ мысленные упреки. «Теперь вотъ вспугнулъ, и можетъ быть уже ничего больше не почувствую. Этакая обида! этакая трусость нелѣпая!»

А чудная струнная мелодія межъ-тѣмъ все лилась и струилась, млѣя въ своей влюбленной вѣгѣ и сладко изнывая мечтательной грустью.

И вотъ — вотъ опять начинаю чувствовать, что надъ лѣвымъ плечомъ кто-то тихо-тихо склоняется — словно бы я въ сладостной дремотѣ и этотъ *кто-то* боится потревожить, боится разбудить меня.

Но теперь уже я самъ, осторожно, слегка повернулъ и склонилъ свою голову влѣво, поближе къ этому таинственному *существу*.

Вотъ, оно склоняется все ниже и ниже, какъ будто хочетъ приблизиться, прилечь къ самому лицу моему... Вотъ, по щеку моей какъ будто слегка скользнулъ чей-то мягкій, шелковистый локонъ... Да, я чувствовалъ, какъ мою щеку чуть-чуть задѣло это прикосновеніе, — и это именно была прядь волосъ, именно локонъ!

Я сидѣлъ не шелохнувшись, а сердце въ груди словно бы совсѣмъ затаило свое бѣненіе — оно начинало такъ сладко обмирать легкой и будто тоскливой тревогой ожиданія.

Вотъ, я чувствую, что *кто-то* совсѣмъ уже близко, совсѣмъ почти у моей щеки; я невольно впиваю чье-то легкое, скользящее по ней дыханіе, и это дыханіе такъ мягко, такъ тепло, такъ нѣжно и такъ сдержанно, словно бы тотъ, кто дышетъ, даже и этимъ боится пробудить меня. И вмѣстѣ съ тѣмъ я обоняю легкое, чуть замѣтное благоуханіе... Да, да, это тонкій ароматъ женщины, изящной, изысканной женщины, вѣчно, во всѣ времена и вѣки неотъемлемо присущій ей! Я узнаю его!

Но вотъ, еще одинъ мигъ — и я чувствую, такъ чѣм-то мягкія, теплыя губы чуть-чуть при-

коснулись къ моей щеке такимъ робкимъ, трепетнымъ, едва ощущаемымъ поцѣлуемъ, какимъ въ первый разъ въ жизни стыдливо цѣлуетъ дѣвственная, цѣломудренная душа того, кто завладѣлъ ею любовью.

И вотъ, еще разъ — такой же тихій, стыдливый поцѣлуй.

Вотъ, эти невидимыя губы передвинулись нѣсколько дальше... Третье прикосновеніе уже смѣлѣе... еще смѣлѣе...

Эти ароматныя уста какъ будто ищутъ моихъ губъ... Вотъ они нашли уже ихъ уголокъ, губную ямку, онѣ остановились у самаго края — и снова прикосновеніе нѣжное, любовное... Дальше, дальше — и наконецъ губы слились...

О, что это былъ за поцѣлуй! что за адски-божественный поцѣлуй! Клянусь вамъ, — до той блаженной минуты ни одна земная, живая женщина не дарила меня даже тѣмъ подобнаго поцѣлуя! Неужели же то былъ поцѣлуй мертвой женщины? Нѣтъ, то былъ поцѣлуй безплотнаго духа, но откуда онъ? съ небесъ или изъ ада? Въ немъ было и то и другое — и адъ и небо, и святость и грѣхъ. Онъ трепеталъ такимъ могучимъ приливомъ страсти, такимъ изступленіемъ жгучаго желанія и въ то же время такимъ нѣжнымъ, высокимъ блаженствомъ чистоты, безграничной любви, что ни одна земная женщина не могла бы сочетать въ своемъ поцѣлуѣ столько искушающаго соблазна и столько чистой дѣвственности.

Эти лобзанья закружили и одурманили мою голову. Глаза мои заволокли туманомъ, дыханіе стало порывисто, сердце такъ трепетно и сладко обмирало, — я невольно, самъ того не замѣчая, простиралъ впередъ свои руки, силясь удержать, обнять, уловить неудовимое...

Но вотъ, она робко, какъ бы не-хотя, какъ бы съ грустью оторвала отъ меня свои уста — я совсѣмъ обезсилѣлъ.

А невѣдомая мелодія, межъ тѣмъ, все звучала такой безпредѣльной тоской и безпредѣльной страстью. Эта мелодія дышала нѣгой азиатскихъ, тысячевѣдныхъ, яркихъ и синихъ ночей... Быть можетъ, такіе звуки раздавались когда-то въ сѣдой, отдаленной древности, среди роскошныхъ, царственныхъ садовъ, на благословенныхъ берегахъ Тигра и Евфрата.

Но вотъ она отлетѣла отъ меня; я уже не ощущалъ ея прикосновенія, не чувствовалъ ея близости — и вмѣстѣ съ этимъ струнные звуки тоже замолкли, какъ будто бы стихли и затерялись въ какой-то свѣтлой, лунной, безконечной дали... Одинъ только легкій, неуловимый ароматъ, оставленный ею, все еще какъ будто чуялся, но вскорѣ и онъ испарился. Если это былъ сонъ, то хорошо-бъ никогда не просыпаться.

Я чувствовалъ нѣгу, истому и слабость.

— Хотите еще? — смутно, какъ бы сквозь дремоту слышался мнѣ голосъ Юма.

— Нѣтъ, нѣтъ! довольно! — прошепталъ я,

отрицательно покачавъ головою.— Это слишкомъ хорошо, чтобы повторяться такъ часто!.. Да у меня и силъ не хватить.

— Помните же, что вы сами сказали *довольно!*—съ какой-то странной многозначительностью проговорилъ Юмъ.

Эта послѣдняя фраза показалась мнѣ загадочной. «Чтобъ она могла значить? надо спросить его, надо допытать!» думалось мнѣ.

Сеансъ былъ оконченъ. Юмъ поднялся съ кресла и вытянулся во весь ростъ, заломивъ свои руки, какъ словно бы это у него была привычка послѣ долгаго и глубокаго сна. Никогда я не забуду лица его въ эту минуту. Оно было мертвенно-блѣдно и страдало каждой своей фиброй. Тяжелое утомленіе, какъ бы послѣ долгой, непосильной борьбы, было разлито во всѣхъ чертахъ его, но глаза, полные электричества и магнетизма — одни только глаза горѣли жарко, лихорадочно. Я никогда не видалъ до этихъ поръ, чтобы голубовато-сѣрые глаза сѣверянина могли горѣть такимъ образомъ.

На лбу его выступилъ холодный потъ. Нашъ молодой натуралистъ подошелъ къ нему и взялъ за пульсъ.

— Ого!—сказалъ онъ,—сто двадцать въ минуту! Вамъ надо въ постель.

Юмъ тихо улыбнулся и отрицательно покачалъ головою.

— Мнѣ теперь, правда, нѣсколько тяжело,—проговорилъ онъ, силясь вдохнуть въ себя побольше воздуха,—но зато черезъ часъ я буду здоровъ совершенно.

Когда онъ наконецъ совсѣмъ уже успокоился, я подошелъ къ нему и спросилъ о значеніи его загадочной фразы.

— Вы сами не захотѣли идти далѣе,—улыбнулся онъ.

— А если бы я не сказалъ *довольно*, тогда бы что?

— Тогда?.. Тогда ощущенія ваши продолжались бы.

— Ну, и что-жь?

— Не знаю. Могло бы кончиться, пожалуй, припадкомъ катаlepsii, если вы очень нервны.

— И это незаконечно бы длилось — все то-же ощущеніе поцѣлуя?

— Не знаю. Можетъ быть.

— О, въ такомъ случаѣ, я готовъ каяться, что сказалъ «довольно».

— Хм!..

Онъ загадочно улыбнулся.

— Вы готовы каяться... А что если вмѣсто поцѣлуя вы бы почувствовали, напримѣръ, какъ вокругъ вашего горла вдругъ захлестнулась змѣя, обвила бы и стянула вашу шею и стала бы перебирать по ней своими холодными, склизкими кольцами? Тогда что?

— О, нѣтъ! Это было бы ужасно!—воскликнулъ я, содрогаясь при одной мысли о возможности такого ощущенія.

— И такъ, вы сдѣлали хорошо, сказавъ себѣ и ей довольно,—заклучилъ Юмъ, пожамкая мою руку.

— Виновать, я еще одно хочу спросить васъ,—обратился я къ нему.

— Что именно хотите вы?

— Вы говорите: «себѣ и ей». Я хочу знать, кто это она? Кто цѣловалъ меня?

Юмъ поглядѣлъ на меня пристально и серьезно, но въ задумчивыхъ глазахъ его блуждала легкая улыбка.

— Васъ цѣловала царица Семирамида, сказалъ онъ безъ малѣйшаго признака шутки. Но я усомнился.

— Вы это мнѣ серьезно говорите? — спросилъ я.

— Я никогда не шучу этимъ дѣломъ. Болѣзнь и несчастьемъ вообще не шутятъ, — отвѣтилъ онъ—и мы разстались.

Прошло нѣсколько лѣтъ—и что же?.. Какъ вы думаете, чѣмъ отразилось въ моей жизни это роковое, а можетъ быть и спасительное «довольно?»

* *

Какъ и во что обыкновенно влюбляются люди?

Вы скажете: въ женщину?

— Это совершенный предрассудокъ. Можно влюбиться не въ женщину, а въ часть женщины: такъ сказать, не въ цѣлое, а въ дробь. Я знаю, что эта мысль на первый взглядъ можетъ показаться парадоксомъ... Вы скажете даже, что это нелѣпость. Пусть такъ. Но развѣ нелѣпость не можетъ быть фактомъ? Приводя себѣ на память общественную и частную, историческую, политическую и всякую иную жизнь, вы конечно согласитесь, что это зачастую бывало такъ, что самая повидимому невозможная нелѣпость переходила въ область «совершившагося факта». А если такъ, то что-жь мудренаго въ томъ, что можно влюбиться не въ женщину, а въ часть женщины? По крайней мѣрѣ въ моей жизни это было тоже «совершившимся фактомъ».

Вамъ, конечно, извѣстно то мѣсто человеческой шен, которое въ просторѣчій очень характерно называется «душкой». — И такъ, я былъ влюбленъ въ женскую душку.

Это была самая прелестная, самая очаровательная душка изъ всѣхъ, какія я знавалъ и знаю на свѣтѣ! Я готовъ навадать ей бездну самыхъ восторженныхъ эпитетовъ — и это не мудрено: я говорю о ней, какъ человѣкъ влюбленный—о предметѣ своей страсти. Хотя это было и давно, но... я всегда склоненъ хранить въ душѣ хорошее, свѣтлое и благодарное чувство воспоминанія о всемъ томъ, что было мной любимо когда-то; да и при томъ-же, все, что изящно и прекрасно по самой своей сущности, чтѣ въ состояніи привлекать и увлекать человека — то, конечно, всегда имѣетъ неотъем-

лемо-законное право на яркій, восторженный эпитетъ. И эпитетъ, въ такомъ случаѣ, будетъ лишь самой бѣдной долей хвалы и почтенія, какую можетъ воздать человѣкъ прекрасному.

* *

Влюбиться въ женскую душу, и только въ одну душу, исключительно въ нее—согласитесь сами—обстоятельство до нѣкоторой степени экстраординарное. Случилось оно со мною въ лѣто 1859 года. Я уже былъ тогда въ Варшавѣ. Но, хотя и въ краткихъ словахъ, а надо начать дѣло аб ово. Еще во время моего заграничнаго путешествія познакомился я въ Швейцаріи съ одной во всѣхъ отношеніяхъ достойной и прекрасной особой. Случай—и одинъ только случай сдѣлалъ такъ, что недѣли полторы мы прожили ближайшими сосѣдями въ одномъ женеvскомъ отелѣ, сходясь ежедневно за табль-д'отомъ; случаю же угодно было свести насъ потомъ у подошвы Юнгфрау, на которую мы взбирались въ упорно-безмолвномъ сообществѣ какого-то англичанина—одного изъ тѣхъ характерно-типичныхъ представителей джентльменскаго типа съ пледомъ и гидомъ, которые неизмѣнно суются вамъ на глаза въ любомъ уголкѣ западной Европы. И раньше еще, и во время этого взбиранья на Юнгфрау, я имѣлъ возможность и охоту оказывать сказанной особѣ кой-какія маленькія услуги, что и послужило первоначальнымъ поводомъ къ нашему знакомству. Тотъ-же всемогущій и слѣпой случай столкнулъ насъ потомъ въ Парижѣ, въ гостиной одного очень порядочнаго и почтеннаго русскаго семейства, которое до того времени очень долго жило въ Варшавѣ. Я познакомился съ этимъ семействомъ въ Парижѣ, она же была съ нимъ старая знакомка. Довольно частыя встрѣчи въ этомъ домѣ сблизили и даже нѣсколько скрѣпили наше знакомство. Я никогда не позволялъ себѣ тѣхъ отношеній къ этой женщинѣ, которыя называются пошлымъ, по всей справедливости, словомъ «ухаживаніе». Я никогда, ни разу, ни одной минуты не ухаживалъ за ней—и можетъ быть, не что иное, какъ именно отсутствіе съ моей стороны какихъ бы то ни было поползновеній этого свойства, послужило къ нашему сближенію. Мы съ ней стали мало-по-малу просто-себѣ добрыми знакомыми. Общность нѣкоторыхъ симпатій, впрочемъ болѣе артистическаго, чѣмъ политическаго свойства, общность нѣкоторыхъ взглядовъ и понятій сдѣлала изъ насъ въслѣдствіи, пожалуй, хорошихъ пріятелей—но и только. Несмотря на то, что она была и молода, и прекрасна, и, какъ вдова—совершенно независима, и кромѣ того имѣла въ себѣ всѣ данныя, существующія на сладкую пагубу непрекрасной половины рода человѣческаго,—несмотря на все это, ни одна грѣшная мысль не заползла въ мою голову: желаніе увлечься ею, влюбиться въ нее—и самъ не знаю почему, только ни

разу не закралось въ мою душу. А чего бы, казалось, естественнѣй и проще! Но—видно, такъ было спокойнѣй, пожалуй, даже оригинальнѣй, если хотите, и потому мы оставались при одномъ тихомъ, доброжелательномъ чувствѣ простой пріязни. Мы стали съ ней пріятелями совершенно такъ, какъ становятся ими мужчина съ женщиной, женщина съ женщиной. Я могъ только сказать про нее, что она, молъ, хорошій человѣкъ,—и она про меня тоже.

Когда въ началѣ 1859 года я былъ переведенъ на службу въ Варшаву, мы встрѣтились тамъ какъ старые, совсѣмъ хорошіе знакомые. Отношенія, завязавшіяся между нами за границей, и здѣсь теперь не выходили изъ своей однажды взятой, привычной нормы. Она была полька и при томъ варшавянка. Это было еще во времена до-повстанскія, когда въ массѣ польскаго общества далеко не сказывалось той враждебной розни и отчужденія въ отношеніи русскіхъ, какія проявились съ 60-го и особенно съ 61-го года. При томъ же, благодаря уже чисто моей фамиліи, смахивающей на польскую, варшавскіе паны зачастую принимали меня тоже за «родовитаго пана»—и потому нисколько не шокировались встрѣчами со мной въ гостиной пани Б***. Впрочемъ, въ тѣ времена, и притомъ какъ новый человѣкъ въ Варшавѣ, я былъ еще слишкомъ наивенъ относительно истинныхъ чувствъ, питаемыхъ панями къ «наязду», и не подозревалъ, въ невинности души своей, чтобы встрѣча въ знакомомъ домѣ съ русскимъ офицеромъ и порядочнымъ человѣкомъ (какимъ я имѣю слабость считать себя) могла бы кого либо шокировать. А въ сущности, ни до пановъ, ни до ихъ чувствъ, и ни до кого, и ни до чего мнѣ дѣла не было: я зналъ себѣ только одно, что мнѣ очень пріятно вѣчера два въ недѣлю проводить у пани Амеліи; зналъ, что и ей это не скучно,—и потому относился къ этому дѣлу чисто эгоистически, не принимая ни въ какое соображеніе пановъ, встрѣчавшихся мнѣ порой въ ея домѣ.

* *

Разъ какъ-то прихожу я къ ней вечеромъ. Уже давно было получено мной право входить къ ней безъ особенныхъ докладовъ и церемоній: просто, бывало, спросишь себѣ: дома?—«дома».—Принимаютъ?—«принимаютъ»—и идешь прямо въ гостиную. Такъ было и теперь; беззвучными шагами, благодаря мягкой ковровой дорожкѣ, прошелъ я до самой гостиной, дверь въ которую была полурастворена,—и невольно остановился на порогѣ.

Въ глубинѣ этой комнаты, на маленькомъ столикѣ стояла лампа, покрытая темнымъ абажуромъ, который оставлялъ всѣ предметы въ полумракѣ; но яркій розовый свѣтъ обильно падалъ изъ-подъ него на часть кушетки, на

которой въ бѣлой батистовой блузѣ полулежала она, совсѣмъ закинувъ назадъ свою голову. Она вѣроятно дремала, потому что вовсе не замѣтила моего присутствія. Въ комнатѣ, какъ видно, стояла долгая, ничѣмъ не возмущаемая тишина.

Видя, что пани Амелія не перемѣняетъ своего положенія, я остался въ нерѣшительности—будить ли ее, или нѣтъ, — въ дверяхъ, на своемъ мѣстѣ.

Лица ея не было видно: оно оставалось въ тѣни, но зато яркій свѣтъ ударялъ на ея грудь, на ея плечи и шею.

Какая же это прелесть! Какая строгая правильность очертаній! Что за роскошная шея и какъ она артистически создана! Я помню одну картину—кажется, что Поль-Делараша, —впрочемъ, навѣрное не ручаюсь: я видѣлъ многія галлерей и помню самыя картины, т. е. тѣ изъ нихъ, которыя дѣлали на меня впечатлѣніе; но—грѣшный человѣкъ!—не особенно запомнятъ на имена художниковъ, и откровенно сознаюсь въ такомъ «вандализмѣ». И такъ, я помню одну картину: посерединѣ залива, колоритъ котораго дышетъ Италіей, плыветъ большая, просторная лодка, щедро устланная и драпированная богатыми коврами; широкія тяжелыя складки одну изъ нихъ ниспадають за бортъ и полощатся въ тихой влагѣ соннаго залива. Въ лодкѣ — группа изъ нѣсколькихъ мужчинъ и женщинъ. Что за прелестныя женскія головки! Въ рукахъ у нѣкоторыхъ музыкальные инструменты, мандолина, ноты, и посреди этой изящно скомпанованной группы возвышается одна стройная, роскошная женская фигура. Она стоитъ въ лодкѣ, въ рукахъ у нея ноты, голова приподнята, чудные итальянскіе глаза полны страстнаго вдохновенія и смотрятъ впередъ, какъ будто въ гаснущій край далекаго неба. Она поетъ—и вы словно чувствуете, какія полныя, звучныя ноты волной плывутъ изъ этой сильной, богатой груди. И какая славная, лебединая, царственно-артистическая шея у этой итальянки! У гениальныхъ пѣвицъ, такъ сказать, у пѣвицъ прирожденныхъ непремѣнно должна быть именно такая шея, такое горло.

Что-то знакомое молніей мелькнуло въ моей памяти. Гдѣ я видѣлъ это? Когда я видѣлъ? Во снѣ? На яву?—Нѣтъ, именно я видѣлъ это на той самой картинѣ!

Яркій свѣтъ лампы падалъ теперь на точно такую же лебедино-роскошную, красивую шею.

И увы! —обладая такой шеей, пани Амелія все же не была пѣвицей.—Это, впрочемъ, доказываетъ только общеизвѣстную истину, что нѣтъ правила безъ исключенія.

И странное дѣло! И какой же я чудакъ, однако! Ну, какъ это, право: быть столько времени такъ хорошо знакомымъ съ женщиной—и ни разу, до этой самой минуты не замѣтить, что она обладаетъ такой прелестью! Правда,

что *всѣ* она очень хороша собой; но правда опять же, что и я съ первой и до послѣдней минуты, зная какъ она хороша, тѣмъ не менѣе съ какимъ-то равнодушіемъ какъ бы не чувствовалъ, не замѣчалъ этого, какъ бы пропускалъ мимо глазъ и сердца ея наружность, цѣня въ этой женщинѣ одно только доброе пріятельское расположеніе къ моей особѣ.

Не знаю, право, находить ли это на человѣка совсѣмъ особенное, безотчетное настроеніе—знаю только одно, что подъ впечатлѣніемъ первой минуты, весь отдавшись ему, я стоялъ неподвижно и глядѣлъ на неподвижно-лежавшую женщину... Никакихъ особенныхъ помысловъ, никакихъ особенныхъ своекорыстныхъ желаній, ничего этого мнѣ и въ голову отнюдь не приходило: я просто глядѣлъ и любовался, не будучи въ состояніи даже и самому себѣ дать отчетъ, зачѣмъ и для чего я это дѣлаю—словно бы изъ темнаго фона большого холста передъ глазами рельефно выдѣлялся одинъ залитый свѣтомъ уголокъ, въ которомъ случайно совмѣстилось нѣсколько живыхъ чертъ прекрасно-созданной картины. Да, это именно было то самое чувство и впечатлѣніе, съ какими вы невольно останавливаетесь передъ мастерской картиной, нечаянно бросившейся вамъ въ глаза,—и я не знаю, сколько времени я въ состояніи былъ бы простоять подъ обаяніемъ этого безотчетнаго наслажденія, если бы она не подняла чутко свою голову, почувствовавъ, вѣроятно, сдержанное присутствіе посторонняго человѣка.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Она нервно вздрогнула.

— Ахъ, Боже мой, это вы!.. А мнѣ сквозь дремоту почудилось, будто въ дверяхъ кто-то стоитъ и смотритъ,—проговорила она, подавая руку.

— Вы не ошиблись: я точно стоялъ, и смотрѣлъ... и, кажись, довольно долгое время.

Она съ легкимъ удивленіемъ оглядѣла мое лицо.

— Что это, въ васъ какъ будто особенное что-то сегодня?

— Мудренаго нѣтъ. Вы знаете, на чтѣ глядѣлъ я и чѣмъ любовался?

И я, полушута, полусерьезно разсказалъ ей все, чѣмъ былъ пораженъ за минуту передъ этимъ.

Она выслушала меня съ дружескимъ смѣхомъ. Въ лицѣ ея играла не то лукавая, не то снисходительная улыбка.

Я присидѣлъ у нея цѣлый вечеръ, болтая какъ и всегда, и точно такъ же какъ всегда записавъ нашихъ разговоровъ—то серьезныхъ, то шутивно-веселыхъ—не истощался и на этотъ разъ, ~~но~~ я не могъ не замѣтить, что она въ теченіе этого вечера раза три—не знаю, нарочно или случайно—закидывала на нѣсколько мгновеній свою голову, позволяя любоваться своей шеей. И каждый разъ послѣ этого, замѣ-

чая мой любующійся взглядъ, она встрѣчала его своими тонко-улыбающимися глазами, въ которыхъ сквозъ полусушительную и полудукавую строгость проглядывало неуловимое женское кокетство. Она какъ будто дразнила меня своей чудной шеей.

* * *

Я ушелъ отъ нея подъ страннымъ впечатлѣніемъ, которое преслѣдовало меня всю дорогу и потомъ дома всю ночь, даже и во снѣ не давая покою. Я старался не думать о немъ, настраивалъ свои мысли на другіе предметы, старался развлечься музыкой, принимался за чтеніе, начиная съ польскаго историка Шайнохи и кончая Поль-де-Кокомъ—все было напрасно! Ни Шопенъ, ни Мендельсонъ, ни Шайноха, ни даже самъ Поль-де-Кокъ, составляющій, какъ извѣстно, по преимуществу «офицерское чтеніе»—никто изъ нихъ не настроилъ на иной ладъ мои мысли, ничто не перебило моего перваго впечатлѣнія. Мендельсонъ съ Шопеномъ, напротивъ, еще помогли усилить его. Спать мнѣ рѣшительно не хотѣлось—и потому я и хватался и за то, и за другое.

Въ воображеніи моемъ неотступно рисовалась полужающаяся женская фигура съ закинутой назадъ головой, освѣщенная розоватымъ свѣтомъ. Она выступала передо мной словно бы изъ какого таинственнаго, волшебнаго мрака, со своей красивой, антично-выточенной шеей—и впечатлѣніе этой грезы было столь велико, что стоило лишь закрыть глаза—и она ужъ рисуется такъ рельефно, такъ полно, какъ будто наяву, какъ будто и впрямь она передъ глазами.

Я приписалъ это просто разстройству нервъ и—*volens-nolens*—подчинился своему неотвязному впечатлѣнію, тѣмъ болѣе, что въ немъ не было ничего для меня непріятнаго.

Я былъ увѣренъ, что оно «пройдетъ сномъ», какъ говорится, что на утро я все позабуду и примусь за обычныя свои дѣла и занятія; но настало утро, а съ нимъ и дѣла, и занятія, а я... я не избавился отъ вчерашняго. Правда, впечатлѣніе было теперь значительно слабѣе, чѣмъ тогда: дневной свѣтъ и житейская толчея брали таки свое; но все же порой, или лучше сказать, мгновеніями, передо мною вставалъ вчерашній образъ. Словно бы насильственно врывался онъ, незванный и непростенный, въ мои мысли, въ мою душу, въ мое воображеніе—и своимъ появленіемъ озадачивалъ разсудокъ: «зачѣмъ? къ чему? и что это, наконецъ, творится со мной? И что такое въ этой шеѣ? И почему же не другое что, не лицо, не глаза, которые у нея дѣйствительно предестны, почему наконецъ не вся она, а именно одна только шея этой женщины мерещится мнѣ вездѣ и повсюду—и даже не шея, а то, что называется женской душкой?»

Днемъ это было слабѣе, но вечеромъ, когда я остался одинъ у себя дома—вчерашнее впе-

чатлѣніе снова встало передо мной со всей вчерашней силой. Такъ прошло дня три, и каждый слѣдующій день являлся точнымъ повтореніемъ прошлаго—въ мирѣ моей внутренней жизни.

Проклятая душка! Неотступная греза!.. Я, наконецъ, просто сталъ досадовать и негодовать на себя. «Это не что иное, какъ непозволительная нравственная распущенность, капризъ празднаго воображенія, это все «отъ нечего дѣлать» со мной! Надо встряхнуться и выбросить вонъ изъ головы эту нелѣпую грезу!»—Такіе-то упреки, и такіе-то выговоры посылалъ я самому себѣ и принималъ такіа дѣльные рѣшенія,—а нелѣпая греза словно бы и знать не хотѣла ни строгихъ упрековъ, ни мудрыхъ рѣшеній, и что ни вечеръ—всецѣло охватывала мой внутренній миръ и уносила за собой воображеніе. У меня родилось дикое, до болѣзненности настойчивое желаніе поцѣловать эту душку. Кажись, вотъ только бы поцѣловать—и всему конецъ, все какъ рукой снيمеть! Я самъ не могъ не смѣяться надъ собою за такую странную, причудливую прихоть. Но смѣхъ и досада ни мало не помогали дѣлу: болѣзненно-дикий капризъ властвовалъ надо мною во всей своей силѣ.

Я вамъ разсказываю исторію, до нѣкоторой степени весьма странную; тѣмъ не менѣе—это глубоко-правдивая исторія. Это исторія одного изъ болѣзненныхъ уклоненій воли человѣческой, которое, Богъ-вѣсть почему и какъ ворвавшись въ нравственный организмъ, незамѣтно переходило въ *idée fixe*, въ своего рода манію. Подобнаго рода состояніе вѣроятно представило бы собой извѣстный интересъ для психіатра. Представьте себѣ положеніе помѣшаннаго чело-вѣка, который вполне сознавая, что онъ помѣшанъ,—знаетъ источникъ, и пунктъ своего помѣшательства, и всѣ его симптомы, и, отлично сознавая все это, тѣмъ не менѣе никакъ отъ него не можетъ отдѣлаться. Со мной было нѣчто подобное.

* * *

Однажды воротясь домой, я нашелъ у себя на столѣ запечатанную записку.

«Что это значитъ, что вы шестой день уже глазъ не кажете? Вы не больны, потому что васъ ежедневно встрѣчаютъ на улицахъ. Сегодня вечеромъ я дома. Пріѣзжайте каяться въ своемъ проступкѣ».

— Въ самомъ дѣлѣ, поѣду и... и покаюсь. Покаюсь! разскажу ей всю правду, авось хоть этимъ избавлюсь отъ своей нелѣпости!—рѣшилъ я и поѣхалъ.

— Что за причина, что вы такъ долго глазъ не казали?

— Причина?.. причина есть—и пожалуй, довольно для меня уважительная.

— Какая?

— Ну, назвать ее вамъ я бы нѣсколько затруднился.

— Только *нѣсколько*?—значитъ не *совсѣмъ*! Я, вѣдь вы знаете, очень любопытна и потому хочу знать причину!

— Видите ли, это вещь до такой степени дикая и нелѣпая, что вы, конечно, прежде всего расхохотаетесь.

— Тѣмъ лучше! Я ужъ давно не смѣялась.

— А если... если къ смѣху прибавится нѣкоторое чувство оскорбленія?

— Оскорбленія?... На кого или на что?

— На вашего покорнѣйшаго слугу.

— Какой вздоръ! за что-жь я могу на васъ оскорбляться?

— За то, что моя нелѣпость въ извѣстной мѣрѣ дерзка.

— Добрымъ пріятелямъ иногда и дерзость прощается.

— И вы общаете простить?

— Не только простить, но общаю даже не разсердиться. Видите ли, какое великодушіе!

— Не вѣрнѣ ли сказать: величественное презрѣніе съ высоты собственнаго пьедестала?

— Охъ, какъ кудряво и витіевато! Нѣтъ!—и потому нѣтъ, что величественнымъ презрѣніемъ мы даримъ только нѣкоторыхъ нашихъ поклонниковъ, а съ вами мы только друзья, и вы не поклонникъ мой. Это уже уравниваетъ отношенія. Для васъ я не мадонна, я не на пьедесталѣ, а на землѣ,—поэтому кайтесь, исповѣдуйтесь: я буду слушать «въ извѣстной мѣрѣ дерзкую» нелѣпость.

— Извольте: во-первыхъ я просто боленъ; а во-вторыхъ—я боленъ оттого, что влюбленъ.

— Ба!.. поздравляю!.. Въ кого же? въ молодую дѣвушку?

— Нѣтъ.

— Въ женщину?

— Нѣтъ.

— Ну, наконецъ, въ меня, что-ли?!

— Н... несовѣтъ-то.

— Такъ въ кого же, Богъ мой?!

— Въ шею.

— Какъ?... Что вы сказали?..

— Я сказалъ: въ шею, то есть въ душу, вотъ въ это мѣсто.

Она вскинула на меня удивленные глаза—и отъ всей души расхохоталась.

— Что вы въ самомъ дѣлѣ за нелѣпости говорите!

— Кому—нелѣпости, а мнѣ такъ и жутко приходится.

Я рассказалъ ей, въ какой мѣрѣ преслѣдуетъ меня моя неотступная греза, какое странное желаніе порождаетъ она во мнѣ—и какъ порой самъ я не знаю куда бы дѣваться и какъ избавиться отъ нея. Я говорилъ совершенно серьезно, потому что и въ самомъ дѣлѣ это уже становилось тяжело для меня: я опасался развитія въ себѣ маніи—и притомъ маніи столь исклю-

чительной по своей сущности. Мнѣ уже было не до шутокъ; я говорилъ съ горечью и непритворной досадой на самого себя за свое малодушіе и болѣзненность воли.

Начавши смѣхомъ, она подъ конецъ слушала меня уже очень серьезно; только въ глазахъ ея, устремленныхъ на меня, невольно просвѣчивало недоумѣніе и изумленіе какое то.

— Да вы это и точно не шутя?... медленно и тихо проговорила она, обводя меня озабоченнымъ и испытующимъ взглядомъ. — Какъ же помочь вамъ?

— Просить о помощи не стану!—предупредилъ я.—Да если я и рассказалъ-то вамъ про это, такъ только потому лишь, что думалъ-себѣ, не избавлюсь-ли хотя посредствомъ разсказа отъ этого кошмара.

— Лекарство, судя по вашимъ словамъ, есть, но, признаюсь, очень ужъ радикальное!—улыбнулась она.— Вы лучше займитесь-ка дѣломъ какимъ-нибудь посерьезнѣе; это отвлечетъ васъ, и вы вылечитесь.

— Благодарю за совѣтъ! и я имъ непременно воспользуюсь, лишь бы вылечиться. А если нѣтъ?

— Если нѣтъ... Ну, тогда... тогда посмотримъ!—не то шутя, не то загадочно какъ-то сказала она съ лукавой улыбкой.

* *

И зачѣмъ были сказаны ею эти послѣднія слова! Зачѣмъ сопровождалась они такой усмѣшкой! Все это было сдѣлано съ такимъ лукавымъ женскимъ коварствомъ, какимъ, кажись, съ особенной щедростію надѣлила природа истыхъ варшавянокъ. И для чего ей понадобилось смущать еще болѣе мою душу—ей, съ которой мы такъ хорошо и просто, такъ «по человѣчески» сдружились?—Такъ, ни съ того, ни съ сего, ради одной кокетливой прихоти, изъ мимолетнаго каприза! А впрочемъ, кто ее знаетъ!—быть можетъ, оттого-то именно и сдѣлала, что я слишкомъ долго и слишкомъ упорно видѣлъ въ ней только человѣка и не хотѣлъ совсѣмъ видѣть женщину. Но, какъ бы то ни было, а только ея тонъ, ея взглядъ, улыбка и послѣдняя фраза, подающая какую-то смутную, неопредѣленную надежду—все это въ совокупности было причиной, что моя греза не улетуничалась... Напротивъ, эта женщина какъ будто подстрекнула меня. Порой, мнѣ становилось досадно на нее за эту выходку: я какъ-то привыкъ глядѣть на нее съ болѣе серьезной стороны, а это—если хотіе—было въ отношеніи меня ужъ даже и не по пріятельски, а чисто по женски, и черезчуръ ужъ по женски! Однако же, досадуя и на себя, и на нее, я тѣмъ не менѣе не фазаставался съ своей маніей, которая—что дальше, тѣмъ все глубже да крѣпче коренилась въ моемъ сердцѣ, въ моей односторонне-направленной фантазіи!

Желая добросовѣстно послѣдовать совѣту, я

принуждалъ себя заняться «какимъ-нибудь» серьезнымъ дѣломъ, и даже брался за разные занятія, одно другого будто «серьезнѣе», но увылъ—все сіе оставалось втунѣ.

Съ этого времени въ отношеніи меня у пани Амеліи стала проявляться весьма тонкая кокетливость, какой я никогда не замѣчалъ въ ней доселѣ. Она *умѣла* быть кокетливой, такъ что это у нея, дѣйствительно, выходило хорошо. Женскій тактъ и свѣтская ловкость указывали ей достодолюжную мѣру, и потому въ ея кокетливости было нѣчто изящное. Множество женщинъ умѣютъ *кочетничать*, но очень рѣдкія изъ нихъ умѣютъ быть изящно и тонко кокетливыми. Кокетничанье первыхъ нерѣдко оскорбляетъ ваше эстетическое чувство, зачастую смѣшитъ, а еще чаще бываетъ просто противно; кокетливость же вторыхъ имѣетъ въ себѣ нѣчто влекущее, обаятельное, даже и тогда когда вы знаете, что это нарочно дѣлается ради той или другой цѣли.

Въ отношеніяхъ нашихъ прозвучалъ какой-то новый мотивъ; они отгѣнились нѣсколькими новыми штрихами, которыхъ не замѣчалось прежде. Она по-прежнему считала себя моимъ добрымъ пріятелемъ, но... это уже былъ для меня пріятель-женщина. Въ этого пріятеля я былъ влюбленъ самымъ страннымъ, самымъ причудливымъ образомъ—и пріятель, вовсе не по-пріятельски, заботился исподволь раздуть во мнѣ эту искорку, которая, безъ его заботъ, очень можетъ быть что и потухла бы вскорѣ.

Я не заводилъ съ ней болѣе разговоровъ о моемъ болѣзненно-странномъ чувствѣ, за которое все такъ же продолжалъ негодовать на себя въ глубинѣ души, но—грѣшный человѣкъ!—не могъ воздерживаться, чтобы каждый разъ не любоваться на предметъ моей исключительной страсти—и каждый подобный взглядъ она встрѣчала своей лукавой улыбкой, изъ которой я могъ ясно заключить, что она какъ нельзя лучше понимаетъ, какое чувство вызываютъ у меня подобные взгляды. Эти улыбки были мнѣ досадны. Лучше всего, въ такомъ случаѣ, конечно, было бы не глядѣть вовсе, но этого я не могъ, и потому старался любоваться ею исподтишка. Однако же, почти каждый разъ она, какъ школьника, ловила меня на этой продѣлкѣ.

— Ну, что же? Вы все еще больны?—съ какимъ-то вызывающимъ задоромъ и дружеской насмѣшливостью спросила она однажды.

Вопросъ былъ предложенъ слышкомъ прямо, чтобы не понять, и совершенно неожиданно, чтобы не удивиться. Я взглянулъ на нее удивленнымъ взоромъ.

— Что вамъ вздумалось спросить жени объ этомъ?

— Какъ что? Я думаю, ваша манія немножко и меня касается.

— Да вамъ-то развѣ это не все равно?

— А вы не допускаете дружескаго участія?

— Въ васъ?—ни малѣйшаго!

— Это почему?

— Потому что въ васъ, напротивъ, замѣтно нѣкоторое стараніе поддерживать во мнѣ эту манію.

Она разсмѣялась.

— Сказать откровенно,—созналась она,—ваша манія немножко забавляетъ меня. Но отчего же вы-то съ того самого разу ничего болѣе не говорите о ней?

— Оттого что меня она вовсе не забавляетъ.

— И вы не хотите лечиться?

— Лечиться нечѣмъ.

Вся она въ эту минуту была какъ-то странно и нервно оживлена. Яркіе глаза метали веселыя искры, въ щекахъ рдѣлъ румянецъ, на губахъ открыто дрожала ея прелестная, лукавая улыбка.

— Полноте дичиться и серьезничать!—сказала она съ безавѣтной веселостью.—Моя шея вовсе не такое серьезное дѣло. Вѣдь вы влюблены не въ меня, а въ мою душу?

Увы!.. я уже давно подмѣтилъ въ себѣ, что не одна душка, а вся она, вся какъ есть, стала предметомъ моей маніи.

— А если не въ одну только душку?—проговорилъ я, глядя ей въ глаза испытующимъ взглядомъ.

Въ лицѣ ея мелькнула легкая гримаска.

— О, нѣтъ, это уже не будетъ оригинально!.. Влюбиться въ женщину—да кто же въ насъ не влюбляется!.. Мнѣ потому-то именно и нравится ваша манія, что она исключительна! Это тоже моя прихоть!—а знаете-ли, что я себѣ рѣшила?

— Что?

— Что моя душка—но только душка!—принадлежитъ вамъ. Если вы съумѣете ограничиться одною ею, то... съ этой минуты вы ея владѣтель.

И снова засмѣявшись своимъ искристо-веселымъ, безавѣтнымъ смѣхомъ, она, какъ рѣзвый, шаловливый ребенокъ, вдругъ встала съ мѣста, совсемъ близко подошла ко мнѣ—и глядя мнѣ въ лицо своими ярко смѣющимися, вызывающими глазами, медленно закинула назадъ свою голову.

Роскошная, мраморно-античная шея обнажилась передо мною.

Вотъ она—та минута, о которой я мечталъ такъ страстно!

Въ замيرانіемъ сердца, желая и не смѣя, пытался я прочесть въ ея взорѣ позволеніе коснуться ея поцѣлуемъ; но эти глаза, заволокнутые теперь какой-то туманной, истомной влагой, были полузакрыты.

Я робко приблизилъ къ ней свои губы, какъ вдругъ...

Въ смежной комнатѣ ясно послышались чьи-то шаги и шелестъ шелкового платья.

Амелія вздрогнула, отшатнулась отъ меня и бросила капризно-досадливый взглядъ на дверь, въ которой, въ эту самую минуту, съ наипрѣятнѣйшей улыбкой на устахъ, появилась чета—супругъ и супруга—принадлежавшіе къ числу варшавскихъ знакомыхъ пани Амеліи.

Трудно бы было придумать что либо болѣе не кстати, чѣмъ это досадное появленіе.

Проклятый случай! Я просто губы искусалъ себѣ отъ злости, однако—нечего дѣлать!—надо было притворяться равнодушно-любезнымъ, бесѣдовать съ полнѣйшимъ спокойствіемъ о какихъ-то пустякахъ и выносить всю эту пытку въ теченіе дѣлаго часа, но на большее не хватило уже терпѣнья.

Амелія пошла провожать меня до порога слѣдующей комнаты.

— Завтра въ это время... не будетъ никого... быстро шепнула она мнѣ и выразительно сжала мою руку.

Всю ночь, все утро, весь день я былъ въ какомъ-то чаду, тяжело-сладкій дурманъ котораго напывалъ на меня иными минутами.

Я съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ вечера. Какое странное, но и какое заманчивое свиданье было мнѣ назначено!—Свиданье ради души, и только ради ея одной! Но эта душа была уже моею...

Ровно въ девять часовъ вечера, какъ назначено, я уже былъ на Уяздовской аллеѣ, у двери пани Амеліи.

Меня встрѣтила горничная и подала письмо: «Злой случай рѣшительно идетъ наперекоръ намъ. Вчера въ одиннадцать часовъ вечера я получила телеграмму отъ моего дяди. Онъ очень боленъ и умоляетъ, чтобы я, не медля ни одного дня, тотчасъ же пріѣзжала къ нему въ его подлюблинское имѣнье. Бѣдный старикъ совсѣмъ одинокъ и нуждается въ родственномъ попеченіи. Сегодня въ три часа я выѣзжаю. Прощайте, надолго-ли—не знаю! Но лучше сказать «до свиданья»! Ваша «душка».

Я вернулся домой, избѣженный новой неудачей и влюбленный болѣе чѣмъ когда либо.

Сказавши въ письмѣ своемъ, что злой случай рѣшительно идетъ наперекоръ намъ, Амелія была права, можетъ, даже болѣе чѣмъ думала: злой случай настолько пошелъ наперекоръ, что мы съ ней съ тѣхъ поръ не видались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Время отъ времени до меня долетали урывками кой-какія свѣдѣнія о ней, черезъ общихъ знакомыхъ,—и такимъ образомъ я зналъ, что она прожила мѣсяца четыре въ Люблинской губерніи у дяди, а потомъ уѣхала съ нимъ въ Спа, потомъ съ нимъ же проживала въ Дрезденѣ, а потомъ... потомъ я совершенно потерялъ ее изъ виду. Самому мнѣ года два пришлось прожить въ Августовѣ, такъ что когда въ концѣ 62-го года меня снова перевели въ Варшаву, мы ужь были совершенно незнакомы съ прежними «общими знакомыми»—

и потому мнѣ рѣшительно не у кого было узнать про пани Амелію, да признаться сказать, и самъ-то я теперь немного интересовался этимъ предметомъ, потому что четырехлѣтній промежутокъ времени, исполненный самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній, самъ по себѣ уже служилъ отличнымъ лекарствомъ противу всякихъ маній. Все что я въ ту пору случайно зналъ о пани Амеліи—такъ это лишь то, что ея нѣтъ въ Варшавѣ; но гдѣ она находится—про то мнѣ не было извѣстно.

* * *

Въ послѣднихъ числахъ марта 1863-го года отрядъ изъ четырехъ ротъ пѣхоты и сотни казачковъ выступилъ въ экспедицію, подъ командой полковника Н. Я былъ въ то время командированъ въ распоряженіе начальника люблинскаго отряда и на сей разъ находился при отрядѣ. Дня четыре мы проходили по дебрямъ и трющамъ, дѣлая дьявольскіе переходы по пятидесяти верстѣ въ сутки—и все это втунѣ! Были извѣстія, что въ окрестныхъ мѣстахъ гдѣ-то скитаются двѣ порядочныя банды, но кладъ этотъ, несмотря на всѣ наши усилія, не давался намъ въ руки. И хотъ бы какой слѣдъ! А между тѣмъ мы знали, что онѣ гдѣ-то вотъ тутъ—что называется подъ носомъ—укрываются. Это была своего рода игра не то въ прятки не то въ жмурки. Полная бесплодность четырехдневныхъ усиленныхъ поисковъ становилась наконецъ досадна. Солдаты злились и роптали на повстанца: «тоже, молъ, лядъ его дери, воинъ называется! хорошъ воинъ, коли отъ дѣла утекаетъ! коли ты есть воинъ, такъ выходи въ поле на чистоту, а не хоронись въ трющобу!» Но повстанцы не раздѣляли солдатскихъ возрѣній и предпочитали хорониться, исполняя это на сей разъ въ высшей степени ловко. Вернуться домой съ пустыми руками не хотѣлось, а между тѣмъ мы почти уже теряли всякую надежду на успѣхъ нашихъ поисковъ.

Наконецъ, на пятый день, помню, на пути къ одному мѣстечку попадется намъ по дорогѣ нетычанка, и въ ней одинъ-одинешенекъ катитъ какой-то «сестный еврейчикъ». Замѣтивъ издали нашъ авангардъ, онъ было хотѣлъ юркнуть въ сторону, въ перелѣсокъ, но наши казаки благополучно переняли его и представили начальнику отряда. Еврейчикъ страшно перетрусилъ (а особенно въ виду казачьихъ нагаекъ, на которыя—основательно или нѣтъ—могъ разсчитывать въ глубинѣ души своей) и умоляя «не выдавать его повстанцамъ», сообщилъ подъ «вѣлкимъ закрѣтемъ» свѣдѣнія весьма интересные. Изъ его разсказа оказывалось, что банда человѣкъ въ пятьсотъ скрывается въ верстахъ пятнадцати разстоянія, въ Сморовицкомъ лѣсу, что доводца ея—какой-то панъ, который прозывается «Ночью», и что эта «Ночь» находится въ данный моментъ не при бандѣ,

а съ утра еще вмѣстѣ съ своимъ адъютантомъ укутила въ Ильяшевскій фольваркъ, «до старе́го пана грабе́го Зымянто́вскэ́го», тамъ вѣроятно будетъ и обѣдать, а «до ясу» вернется только ночью. Еврейчикъ сознался, что все это въ точности извѣстно ему было потому, что нынѣшнимъ утромъ онъ ѣздилъ покупать водку для своего шинка, но что повстанцы напали на него, заставили отвезти ее къ себѣ въ Сморовицкій лѣсъ, не заплатили «а ни гроша» и даже хотѣли повѣсить. Истина очевидно заключалась въ томъ, что еврейчикъ, по доброй своей охотѣ, продавалъ повстанцамъ водку и отвозилъ ее до ясу. Для пущей вѣрности порѣшено было удержать его при отрядѣ, одна часть котораго направилась въ обходъ, а другая прямой дорогой къ лѣсу. На мою долю выпало особое порученіе. Дали мнѣ тридцать чело-вѣкъ казаковъ съ однимъ хорунжимъ и велѣли на рысяхъ двинуться къ Ильяшевскому фольварку, накрыть тамъ пана «Ночь» съ его адъютантомъ, произвести вообще самый тщательный обыскъ и ожидать на мѣстѣ прибытія отряда. Ильяшевскій фольваркъ, по показанію еврея, отстоялъ на 12 верстъ правѣе отъ Сморовицкаго лѣса, такъ что намъ надо было съ мѣста тотчасъ же взять влѣво и идти къ фольварку кратчайшимъ путемъ, что могло составить приблизительно верстъ около двадцати. Приказаніе отдано мнѣ безъ малаго въ часъ пополудни; стало быть, къ тремъ часамъ, если ничто особенное не помѣшаетъ, я могъ разсчитывать быть уже на мѣстѣ.

— Тѣмъ лучше! Какъ разъ къ обѣду!—по-рѣшилъ полковникъ.—Съ Богомъ!

И маленький отрядчикъ мой двинулся обыкновенной казачьею «ходой».

«Этотъ панъ «Ночь», какъ видно, не прочь посибаритничать, если оставляетъ банду ради обѣда», думалъ я себѣ, «и вѣроятно тамъ, кромѣ лакомаго обѣда, есть какая-нибудь лакомая приманка въ родѣ прелестной пани или молоденькихъ паненокъ». А эти пани и паненки являются обстоятельствомъ весьма неудобнымъ при такихъ порученіяхъ, какое мнѣ надлежало исполнить. Первое то, что онѣ хитры и фанатичны́е мужички, а второе, что ужь никакимъ образомъ не обойдешься безъ патетическихъ сценъ, въ которыхъ будутъ если не мольбы съ обольстительными просьбами, то ярыя проклятія и разныя выходки съ претензіями на картинный героизмъ; и ужь во всякомъ случаѣ, какъ то, такъ и другое непременно будетъ сопровождаться аккомпанементомъ слезъ и рыданій. Все это, особенно при обыскѣ этихъ прелестныхъ панъ и паненокъ, всегда ставило исполнителя такихъ порученій въ самое неприятное, щекотливое положеніе.

Предполагая себѣ подобную перспективу моей экспедиціи, я уже заранѣе испытывалъ нѣкоторое недовольство по поводу предстоящихъ

сценъ того или другого рода. «Дай-то, Господи, чтобы тамъ никакихъ этихъ паненокъ и въ заводѣ не было!» думалъ я себѣ. «Дѣло и короче, и проще будетъ!»

Зато товарищъ мой, хорунжій Савва Парменычъ Халивкинъ былъ невозмутимо тихъ и спокоенъ. Онъ, зная себѣ, только посасывалъ свою носогрѣйку (короткій чубучекъ, который торчалъ у него изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ усовъ), да зорко поглядывалъ впередъ и по сторонамъ—«не пошлетъ-ли Богъ сѣраго зайчика», что означало у него, «на выскочить ли гдѣ изъ-подъ куста повстанчикъ». Но повстанчикъ ни откуда не выскакивалъ, и Савва Парменычъ напрасно утомлялъ свое глѣдкое староказачье око. Его нависшіе усы и брови вмѣстѣ съ бронзовымъ лицомъ, успѣвшимъ навѣки вѣчные загорѣть подъ кавказскимъ солнцемъ, придавали на первый взглядъ всей его физиогноміи угрюмую суровость; но достаточно было взглянуть въ глаза Саввы Парменыча, чтобы тотчасъ же угадать въ немъ добродушнѣйшаго изъ смертныхъ. У него были безконечно добрые глаза—добрые по-дѣтски. Сидѣлъ онъ на своей поджарой, маленькой, пѣгой кобыленкѣ совѣтъ «кренделемъ», какъ говорится по кавалерійски,—и этотъ видъ кренделя еще пуще придавала ему его шапочка съ замасленнымъ отъ-времени краснымъ околышемъ, которая лежала на его сѣдой головѣ блинкомъ, «по старосвѣтскому», сильно сдавшись съ затылка напередъ, что вмѣстѣ съ носогрѣйкой придавало Саввѣ Парменычу видъ необыкновенно типичный. Онъ уже двѣнадцать лѣтъ теръ лямку въ первомъ офицерскомъ чинѣ, въ который за отличіе былъ произведенъ изъ урядниковъ,—и являлъ собой истаго, матераго казака, свято храня всѣ старыя казачьи привычки.

Револьверовъ, напримѣръ, не любилъ.—«Зачѣмъ онъ мнѣ? больно ужь деликатная штука! Я съ нимъ обращаться не умѣю, говорилъ онъ, а вотъ у меня пистоль есть—это какъ разъ по мнѣ! Дѣдовскій еще! Да вотъ еще нагайка есть добрая, ну да пашка, пожалуй, вотъ и будетъ съ меня! Самое любезное дѣло!»—И дѣйствительно, нагайка, оправленная въ черное серебро (единственная роскошь Парменыча), неизмѣнно висѣла на ремнѣ черезъ лѣвое плечо его.

Отрядъ нашъ двигался по разнообразной и мѣстами довольно красивой мѣстности, нащупывая невѣдомую дорогу разспросами у встрѣчныхъ крестьянъ и евреевъ. Было уже около трехъ часовъ пополудни, когда мы изъ небольшого дубоваго лѣса выѣхали на полянку, по которой извивалась какая-то быстрая рѣчка, а на противоположномъ крутомъ и мѣстами обрывистомъ берегу ея расположился Ильяшевскій фольваркъ;—только въ сущности это былъ вовсе не фольваркъ, хотя при немъ и виднѣлись разныя хозяйственные пристройки, а ско-

рѣ бы могъ онъ назваться, въ своемъ родѣ, просто замкомъ. То былъ прекрасный домъ, и даже съ двумя башнями, построенный во вкусъ прошлаго столѣтія, прочно, фундаментально. Хотя онъ и стоялъ теперь въ упадкѣ, съ отвалившейся мѣстами штукатуркой, съ проросшими по кровлѣ мхомъ и травой, съ гнѣздами ласточекъ надъ окнами, тѣмъ не менѣе въ постройкѣ его явно сказывалась магнатская затѣя, о чемъ свидѣтельствовали лѣпныя, побитыя временемъ работы по карнизамъ — и гербъ на фронтонѣ! Къ этому дому отъ самаго моста вела густая аллея пирамидальныхъ тополей, а за ней виднѣлся большой, старый садъ, надъ зелеными купами котораго, немного въ сторонѣ отъ замка, возвышалась готическая башенка небольшого костела. Мѣсто было очень красивое, съ этой рѣчкой, съ этими нависшими надъ ней ветлами и корявыми, бородавчатыми вербами, съ глинистыми обрывами и съ этими тополями и купами небольшихъ лѣсковъ, синѣвшихъ тамъ и сямъ по окрестнымъ пригоркамъ.

Казаки вскачь пустились черезъ мостъ, чтобы съ налету, какъ можно поспѣшнѣй занять Ильяшевскій фольваркъ и не дать тамъ никому опомниться.

Однако расчетъ нашъ оказался не совсѣмъ-то вѣренъ: настъ, какъ видно, замѣтили еще въ то время, когда мы только что показались изъ дубоваго лѣска на полянѣ. Хотя разстояніе это было не болѣе полуторы версты — и проскакать его требовалось много-много пять минутъ, тѣмъ не менѣе въ замкѣ успѣли извѣститься о появленіи гостей неожиданныхъ. Мы застали на дворѣ нѣкоторый переполохъ: управляющій, очевидно шляхтичъ, въ чамаркѣ, стоялъ на крыльцѣ и, приложивъ жирную руку щиткомъ къ глазамъ, глядѣлъ вдоль аллеи на наше приближеніе, отдавая въ то же время какимъ-то батракамъ какія-то спѣшныя приказанія. Прислуга, съ перепуганными лицами, бѣгала отъ дома къ службамъ и отъ службъ къ дому, исчезая въ его просторныхъ сѣняхъ. Двери хлопали, собаки заливались лаемъ.

Казаки вихремъ влетѣли во дворъ — трахъ! долой съ коней мигомъ — и пока одинъ урядникъ отдѣлялъ и размѣщалъ наружные посты, я съ нѣсколькими своими людьми вошелъ въ домъ и со всей возможной «гжечнѣстью» велѣлъ вести себя къ пану грабію Зымянтовскому. Экономъ привелъ насъ въ столовую. У окна передъ столомъ, на которомъ были поставлены водки и закуска, въ высокомъ вольтеровскомъ креслѣ сидѣлъ сѣдой старикъ, весьма почтенной наружности, съ типичнымъ старо-польскимъ лицомъ и не менѣе типичными усами. Онъ былъ подагрикъ. При нашемъ появленіи, его домашній капелланъ, смиреннoliкій ксендзъ, почтительно поддерживая старика подъ руку, помогъ ему приподняться съ кресла.

— Чему обязанъ честию видѣть васъ, господа, у себя въ домѣ? — обратился къ намъ графъ, такимъ тономъ, въ которомъ сказывалось радушіе, смѣшанное съ горделивымъ достоинствомъ стараго магната.

Въ вашемъ домѣ находится теперь довудца банды, извѣстный подъ псевдонимомъ «Ночь» — это причина нашего появленія, — объяснилъ я ему, смягчая жестокость своего посѣщенія взаимной вѣжливостью, насколько допускала ее небольшая сухость оффиціального тона.

Старикъ и ксендзъ видимо смугились, но послѣдній тотчасъ же притворился крайне удивленнымъ.

— Вы получили ошибочныя свѣдѣнія. Въ моемъ домѣ кромѣ моихъ домашнихъ, никого нѣтъ и не было! — отрицательно качнувъ головою, отвѣтилъ графъ, все еще не совсѣмъ-то оправившійся отъ своего смущенія.

— Охотно допускаю, что свѣдѣнія это ошибочны, — согласился я, — но... тѣмъ не менѣе, я имѣю приказаніе произвести въ вашемъ домѣ обыскъ.

Въ отвѣтъ на это онъ только горько улыбнулся и пожалъ плечами — дескать, ваша воля!

Въ эту самую минуту растворилась дверь — я бросилъ взглядъ по направленію къ ней и остался глубоко пораженъ неожиданностью.

Въ столовую вошла пани Амелія.

Она была нѣсколько взволнована, словно бы послѣ усиленнаго движенія или быстрой, поспѣшной ходьбы. Наши глаза встрѣтились — и я замѣтилъ, какъ въ ея изумленномъ взорѣ вдругъ мелькнуло какое-то свое особое соображеніе, освѣтившее этотъ взоръ какъ будто доброй надеждой на что-то.

— Черкутскій!.. Monsieur Черкутскій... Выли это? — взволнованно проговорила она искренно-удивленнымъ тономъ, и быстро направившись ко мнѣ, совсѣмъ по старому, по дружески протянула мнѣ свою руку.

— Не торопитесь оказывать мнѣ знаки вашей дружбы: я къ вамъ являюсь крайне непріятнымъ и недружелюбнымъ гостемъ, — поспѣшилъ я предупредить ее, уклоняясь отъ рукопожатія и ограничиваясь замѣнъ того однимъ лишь почтительнымъ поклономъ.

Выслушавъ это, она разсмѣялась, повидимому самымъ искреннимъ образомъ.

— Что же, ищите! Ищите, какъ можно тщательнѣе! но увѣ!.. поиски ваши будутъ безуспѣшны! Я въ первый разъ даже слышу это имя — «Ночь!»

— Тѣмъ не менѣе, — пожалъ я плечами, — я обязанъ исполнить данное мнѣ приказаніе.

— Что, пока что, вы, господа, конечно не откажетесь раздѣлить съ нами нашъ деревенскій обѣдъ? — радушно предложилъ старый графъ. — Я вижу, что господинъ капитанъ — старый знакомый съ моей племянницей; тѣмъ лучше! Вы,

капитанъ, я думаю, и устали, и проголодались съ дороги?.. Прошу покорно! А нанъ экономъ распорядится, чтобъ и команда ваша была накормлена.

Я замѣтилъ, что столъ былъ сервированъ на шесть приборовъ. Два изъ нихъ предназначались хозяину и его племянницѣ, два могли быть поставлены для капеллана и, пожалуй, для пана эконома; но для кого же оставались еще два, если не для «Ночи» съ его адъютантомъ? На эти-то два послѣдніе прибора и указалъ хозяинъ мнѣ и Саввѣ Парменичу.

Я почувствовалъ крайне затруднительное и неловкое положеніе: старый графъ предложилъ мѣсто за своимъ столомъ съ такимъ патріархальнымъ, старо-польскимъ радушіемъ, а между тѣмъ съ нашей стороны онъ не могъ встрѣтить ничего, кромѣ рѣшительнаго отказа. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, прикажете садиться за столъ человѣка, къ которому вы пришли съ порученіемъ столь непріязненнаго свойства? И тѣмъ болѣе, что, сколь ни искренно, повидимому, было его радушіе, не могли же мы думать, чтобы наше посѣщеніе было ему пріятно. Въ силу всѣхъ таковыхъ соображеній, я поспѣшилъ поблагодарить и отказаться за себя и за моего товарища отъ его приглашенія, подъ тѣмъ простымъ предлогомъ, что мы-де ужъ обѣдали.

Старикъ, какъ кажется, угадалъ истинную причину нашего отказа.

— Господа!.. Могу увѣрить васъ честью—мой столъ не отравленъ!—предупредилъ онъ съ шутливо-иронической улыбкой,—и... и наконецъ, условия войны не мѣшаютъ гостепріимству.

— И все-таки, графъ, позвольте отказаться,—сказалъ я, рѣшаясь быть откровеннымъ,—во-первыхъ, эти два прибора были приготовлены не для насъ, потому что мы къ вамъ неожиданные и едва-ли желанные гости,—продолжалъ я,—а во-вторыхъ, сколь я ни цѣню ваше радушіе, но... все же я не думаю, чтобы и вамъ было пріятно видѣть насъ, а намъ сидѣть за вашимъ столомъ, имѣя въ перспективѣ подобное порученіе, и потому—не посѣтуйте на меня за мою нѣсколько грубую откровенность.

Графъ только поклонился на это—дескать, какъ вамъ угодно!

— Итакъ, можете приступать къ обыску,—сказалъ онъ вслѣдъ за симъ очень сухимъ и даже нѣсколько надменнымъ тономъ.

Савва Парменичъ распорядился и крикнулъ урядника съ двумя казаками, которые тотчасъ же принялись за дѣло. Я просилъ Савву Парменича, чтобы ужъ онъ одинъ заправлялъ всей этой исторіей, а самъ предпочелъ остаться совершенно пассивнымъ зрителемъ.

Неожиданность появленія Амеліи и эта встрѣча съ нею ставили меня просто втупикъ. Признаюсь вамъ откровенно, что въ глубинѣ души я чувствовалъ такую неловкость,

такое смущеніе, что лучше бы, кажись, было сквозъ землю провалиться, чѣмъ стоять подъ ея взглядами, въ которыхъ какъ-будто сказывалась какая-то пытливость, словно-бы ей хотѣлось заглянуть въ мою душу и коварно подмѣтить, чтѣ такое тамъ теперь творится. Мнѣ было просто совѣстно, стыдно передъ нею, передъ женщиной, которую я искренно называлъ когда-то своимъ добрымъ другомъ, и къ этому-то доброму другу я входилъ теперь невольнымъ врагомъ—и не личнымъ, а въ силу одного лишь принципа и въ силу его же нужно было стать неумолимымъ исполнителемъ даннаго приказанія, сдѣлаться камнемъ, заглушить въ себѣ самое естественное человѣческое чувство, которое подымалось во мнѣ, требуя снисхожденія для женщины, нѣкогда столь сумасбродно любимой мною. Но... все, что я могъ сдѣлать, это—остаться пассивнымъ свидѣтелемъ всего происходящаго передъ моими глазами. Встрѣчая, или скорѣе чувствуя, на себѣ пытливый взглядъ Амеліи Б., я кусалъ себѣ губы съ досады, старался избѣгать встрѣчи съ ея взорами и въ то же время проклиналъ въ душѣ и свою роль, и свое назначеніе, и ту минуту, когда начальнику отряда вздумалось возложить его на мою особу. Послѣ первой минуты нашей встрѣчи, въ теченіе всего этого времени мы не сказали съ нею ни слова, хотя она вмѣстѣ съ дядей, опиравшимся на руку капеллана, неотступно присутствовала при самомъ обыскѣ, постепенно переходя изъ комнаты въ комнату съ Саввою Парменичемъ и его казаками.

Пришли наконецъ въ кабинетъ старого графа. Онъ тотчасъ же вручилъ уряднику ключи отъ своего стола и отъ высокаго бюро со старинными бронзовыми украшениями. Въ столѣ ничего особеннаго не оказалось. Урядникъ принялся за бюро—и въ этомъ помѣщеніи, повидимому, тоже ничего не заключалось. Казакъ, однако, зоркимъ окомъ оглядѣлъ все его внутреннее устройство, поведвигалъ всѣ ящички и вдругъ ухмыльнулся про себя, словно-бы смекнувъ нѣчто особенное. Вслѣдъ за симъ онъ внимательно пригнулся къ донцу одного помѣщенія, нажалъ пальцемъ какой-то винтъ—и донце вдругъ отскочило само собою, съ тѣмъ особеннымъ звукомъ, который издаетъ хорошая стальная пружина.

Въ это мгновеніе я невольно окинулъ взглядомъ старого графа и его племянницу вмѣстѣ съ капелланомъ. Ксендзъ какъ-будто испугался чего-то. Амелія же быстро переглянулась значительнымъ взглядомъ со старикомъ и мгновенно поблѣднѣла.

Графъ Зымянтовскій грустно и какъ-то безсильно опустилъ на грудь свою сѣдую голову.

— Что тамъ такое?—обращаясь къ уряднику, спросилъ Савва Парменичъ.

— Тайная шкатулка, ваше благородіе! Бу-

маги какіясь-то лежать!—отозвался тотъ и подалъ ему тщательно подобранную пачку.

— Ишь ты, механикъ-самоучка какой! просто Кулибинъ, да и только!—добродушно-лукаво подмигнувъ мнѣ мой старикъ хорунжій, кивнувъ на своего урядника.

У меня просто сердце сжалось: я понялъ, что въ этомъ ящикѣ крылось нѣчто роковое для графа, а быть можетъ и для его племянницы. А мнѣ въ глубинѣ души такъ хотѣлось, чтобы нашъ обыскъ прошелъ для нихъ благополучно, чтобы мы ни въ домѣ, ни внѣ его не нашли у нихъ ничего такого, чтò могло такъ или иначе отозваться горемъ на судьбѣ этой женщины—моего стараго «друга»!... И вдругъ—эта проклятая находка!

Савва Парменычъ сталъ разсматривать пачку. Въ ней было нѣсколько квитанцій ржонда и повстанскихъ доводцевъ въ принятыхъ деньгахъ и припасахъ, очень много компрометирующихъ писемъ и другихъ бумагъ, да кроме того пѣлый списокъ лицъ, составлявшихъ мѣстную «повятову» организацію. Этотъ списокъ придавалъ находкѣ нашей особенную важность.

— Получите на храненіе!—передалъ мнѣ Савва Парменычъ всѣ эти бумаги.

Я молча, не глядя ни на кого, принялъ отъ него пачку и сунулъ ее въ боковой карманъ своего сюртука. Но, совершая эту операцію, я чувствовалъ на себѣ значительный, долгій, пристальный взглядъ Амеліи—и опять—таки искреннѣйшимъ образомъ пожелалъ себѣ провалиться сквозь землю.

И въ самомъ дѣлѣ, это было безвыходное и чортъ знаетъ до какой степени неприятное положеніе! Пусть каждый, вспомя мое прошлое по отношенію къ этой женщинѣ, поставитъ себя на мое мѣсто и, я увѣренъ, никто не пожелалъ бы себѣ пережить подобныхъ минутъ!

Обыскъ внѣ дома не привелъ ни къ какимъ результатамъ. Казаки пересмотрѣли самымъ тщательнымъ образомъ всѣ помѣщенія, подвалы, надворныя строенія, службы, загонныя сараи, погреба, чердаки, обшарили и костель—нигдѣ ни малѣйшихъ признаковъ повстанскихъ атрибутовъ! Пана «Ночи» съ его адъютантомъ словно бы и не бывало! А между тѣмъ два лишнихъ прибора стояли на столѣ. Оставалось думать только одно, что мы нагрянули ранѣе пріѣзда «Ночи» и что стало быть теперь ужъ едва-ли онъ попадетъ въ наши руки.

* *

Обыскъ былъ оконченъ, но уѣхать—несмотря на все мое пламеннѣйшее желаніе какъ можно скорѣе убраться, исчезнуть изъ этого дома—мы не могли: намъ было дано самое точное приказаніе ожидать на мѣстѣ прибытія отряда. Хочешь-нехочешь, надо оставаться!

Казаки наши, выставивъ свои «бекеты» вокругъ дома и на всѣхъ наиболѣе важныхъ

пунктахъ по окрестности, расположились бивуакомъ посреди широкаго двора. Савва Парменычъ, кивнувъ мнѣ идти за собою, привелъ меня къ своей пѣгой кобыленкѣ и—какъ чело-вѣкъ запасливый—досталъ изъ одной сѣдельной чушки походную фляжку, а изъ другой холодную жареную курицу, завернутую въ синюю сахарную бумагу, засимъ добылъ отъ своихъ казачковъ походныхъ сухариковъ, и мы съ нимъ перекусили съ немалымъ аппетитомъ.

— Такъ-то, батя мой, лучше!—говорилъ онъ!—потому, значить, окромя Господа Бога никакому пану за эту курицу не благодарентъ!

Съ невыразимо-тягостнымъ чувствомъ вернулся я въ комнаты. Тамъ не встрѣтились мнѣ ни графъ, ни Амелія—да и слава Богу! потому что встрѣча съ нею невольно смутила бы меня. Я это чувствовалъ и даже—признаюсь откровенно—боялся повторенія встрѣчи, и особенно если бы она случилась съ глазу на глазъ. Сила обстоятельствъ неожиданно поставила насъ въ какое-то странное и даже фальшивое положеніе относительно другъ друга, и потому, конечно, лучше бы было не встрѣчаться.

Въ домѣ было тихо, такъ что казалось, будто тамъ ни души нѣтъ: старый графъ, какъ объяснилъ намъ панъ эконокъ, находился на половинѣ своей племянницы. Мы не находили нужнымъ обременять его излишнимъ и во всякомъ случаѣ стѣснительнымъ присмотромъ въ эти послѣдніе часы пребыванія его въ своемъ домѣ, да къ тому же оно казалось и совершенно излишнее, такъ какъ фольваркъ со всѣхъ сторонъ былъ оцѣпленъ зоркими бскетами, и стало быть нашъ арестантъ не могъ отъ насъ скрыться. Да и куда бы скрылся онъ со своей подагрой?

Послѣ шестидесяти-верстныхъ четырех-суточныхъ переходовъ, къ которымъ слѣдовало прибавить еще и сегодняшнюю двадцати-верстную проѣзду на рысяхъ, нѣтъ ничего мудренаго, что мы чувствовали значительное утомленіе. Парменычъ, подкрѣпившись холодной курицей, растянулся и тотчасъ же захрапѣлъ въ диванной, а я прошелъ въ смежный съ нею кабинетъ стараго графа и расположился тамъ въ глубокомъ креслѣ.

Это утомленіе и потомъ всѣ впечатлѣнія нынѣшняго дня и моей встрѣчи вызвали во мнѣ какое-то возбужденное разстройство нервъ. Сна у меня не было, но иными минутами я впадалъ въ какую-то полудремоту.

Вечерѣло.

Красное и даже ярко-багровое солнце садилось за рѣчкой. Просвѣты рдѣющаго неба сквозили между темными сучьями и стволами деревьевъ. Среди тишины ясно былъ слышенъ съ рѣчки шумъ мельничныхъ колесъ и блеаніе возвращавшагося стада, которое толнясь переправлялось черезъ греблю. Я открылъ форточку—и въ комнату повѣяло тѣмъ особен-

нымъ, ранне-весеннимъ, вечерѣющимъ воздухомъ, который имѣетъ въ себѣ странное и неотразимое свойство производить во мнѣ какую-то тихую, млѣющую истому. Я необыкновенно люблю это сладкое и вмѣстѣ съ тѣмъ слегка жуткое чувство весенней истомы: оно имѣетъ въ себѣ для меня нѣчто манищее, зовущее въ какую-то свѣлую, широкую даль, исполненную смутныхъ, но золотыхъ надеждъ; оно подымаетъ грудь молодымъ, могуче-вольнымъ дыханіемъ и заставляетъ полнѣе биться сердце. Въ эти минуты какъ-то цѣлостнѣе чувствуешь жизнь, живую, возрождающуюся, ранне-весеннюю жизнь, вмѣстѣ съ которою и самому хочется жить, и жить до одури, до упоенія. Это — чувство птицы, стремительно вздымающейся въ поднебесную высь, въ бодрящій и нѣжащій океанъ весенне-мягкаго воздуха.

Кабинетъ стараго графа былъ убранъ не безъ вкуса. Нѣсколько старыхъ картинъ и фамиліныхъ портретовъ глядѣли изъ потемнѣвшихъ отъ времени золотыхъ рамъ. Оленьи и лосьи рога группами украшали стѣны, на которыхъ красиво развѣшано было нѣсколько звѣринныхъ шкуръ. Вся обстановка показывала, что это кабинетъ стараго и страстнаго охотника. Недоставало только ружей, сабель и охотничьихъ ножей, которые при началѣ возстанія были отобраны у всѣхъ обывателей земель повстанскихъ. Но зато по бокамъ широкаго камина висѣли два медальона съ рыцарскими, старо-польскими доспѣхами. Шлемы, панцыри, кольчуги, алебарды и протазаны были оставлены графу — какъ оружіе, въ наши времена вполнѣ безвредное и имѣющее только смыслъ для археологическихъ воспоминаній.

Заходящее солнце искрилось своими послѣдними угасающими лучами на темной стали этого оружія. Комната все болѣе и болѣе наполнялась вечернимъ полумракомъ — и ничѣмъ невозмущаемая тишина, вмѣстѣ съ надвигавшимся все болѣе сумракомъ, становилась все глубже и глубже.

Этотъ кабинетъ отчасти напомнилъ мнѣ теперь нѣчто знакомое, давнишнее...

Да, вотъ и шлемы и панцыри были похожи на эти, и алебарды почти такіе же — только на гѣхъ искрился каленый огонь камина, а на этихъ заходящее солнце играетъ... И такая же тишина, такая же нѣсколько таинственная обстановка — тамъ только роскоши было гораздо больше, но въ общемъ впечатлѣніи есть нѣчто сходное.

Лѣтняя мысль моя дремотно стала блуждать въ далекихъ воспоминаніяхъ, и это блужданье переходило въ легкую грезу. Мнѣ вспомнился кабинетъ въ парижскомъ отелѣ князя Г., вспомнился бѣлокурый человѣкъ съ болѣзненно-блѣднымъ, глухо-страдающимъ лицомъ, сидящій въ глубокомъ готическомъ креслѣ передъ каминомъ, закрывшись облокоченной рукою... Какія странныя вещи видѣлись тогда мною! Какія стран-

ныя ощущенія испытывались!.. «Помните же, что вы сами сказали *довольно*» — что значили эти слова?.. зачѣмъ онъ сказалъ ихъ!.. А какіе звуки! Какая мелодія раздавалась!..

Мысль моя все болѣе и болѣе путалась въ полузабытыхъ образахъ и воспоминаніяхъ. Мгновеньями эти образы вставали теперь передо мною необыкновенно ярко и потомъ блѣднѣли, никли, исчезали, расплывались въ какой-то туманной тѣмѣ, и снова всплывали, и снова тонули. Это были, пожалуй, и грезы, и дремота, но только не сонъ. Мнѣ казалось, что я не сплю, но лишь испытываю то особенное, истомное, полусознательное состояніе, которое наплываетъ на человѣка между сномъ и бдѣніемъ. Не знаю, были ли глаза мои открыты или нѣтъ — вѣрнѣе, что нѣтъ, но мнѣ словно бы помнится, какъ все болѣе и болѣе блѣднѣли и потухали отблески заката и какъ все глубже надвигался вечерній сумракъ, окутывая тихую мглой всѣ окружающіе предметы, всю комнату, каминъ, и окна, и драпировки...

И вдругъ я чувствую, какъ изъ-за спины кто-то тихо начинаетъ склоняться надо мною, надъ моимъ лѣвымъ плечомъ.

«Это — греза», на мгновеніе мелькнулъ во мнѣ слабый отблескъ сознанія — и мысль моя снова пошла лѣтливо и дремотно плутать въ туманъ воспоминаній.

А между тѣмъ, что-то склоняется все ниже и ниже, какъ-будто хочетъ приблизиться, прилечь къ самому лицу моему, но такъ тихо, такъ робко, словно боясь потревожить, разсѣять мою дремоту.

Вотъ, по щекѣ моей, чуть-чуть коснувшись ея края, слегка скользнулъ чей-то мягкій, шелковистый локонъ... и кто-то совсѣмъ уже близко, совсѣмъ почти у моей щеки... я невольно выпиваю чье-то легкое, вѣющее по ней дыханіе — и это дыханіе такъ мягко, такъ тепло, такъ нѣжно и такъ сдержанно, словно бы и въ немъ чуеться боязнь пробудить меня. И въ то-же время я обоняю легкое, чуть замѣтное благоуханіе... О да! и оно мнѣ знакомо: это тотъ самый тонкій ароматъ изыщной, изысканной женщины! Я снова узнаю его! Но вотъ еще одинъ мигъ — и я чувствую, какъ чьи-то мягкія, теплыя губы чуть-чуть прикоснулись къ моей щекѣ трепетно-робкимъ, едва ощущаемымъ поцѣлуемъ... Еще одно прикосновеніе, уже смѣлѣе... еще смѣлѣе... Эти ароматныя уста какъ будто ищутъ моихъ губъ... они нашли уже ихъ уголъ, губную ямку, они остановились у самаго края — и снова прикосновеніе, нѣжное, любовное... Дальше, дальше — и наконецъ наши губы слились.

Я невольно вздрогнулъ и очнулся.

Что же это такое?.. Я не сплю! И это не сонъ, не грезы! — Въ это самое мгновеніе женскія руки вскинулись на мои плечи, и вмѣстѣ съ поцѣлуемъ я почувствовалъ чьи-то крѣпкія, живыя объятія.

Широко раскрывъ глаза, я старался вглядѣться и разгадать себѣ: кто это и что это значитъ? Передо мною, совсѣмъ припикнувъ къ моей груди, стояла на колѣняхъ женщина.

Я оторвалъ отъ нея мои губы и сдѣлалъ движеніе, чтобы отстраниться отъ этихъ объятій.

— Кто это?

— Милый... милый... Тсс!.. ни слова!.. Бога ради, тише!—слышался мнѣ какой-то сдержанный, страстный шепотъ.—Это я... я... Ты не узналъ меня?

— Пани Амелія... что вамъ угодно?

— Тише же, говорю!.. Молчи и лови минуту—она твоя!

И она снова припикла ко мнѣ совсѣмъ обаяніемъ нѣжной женской страсти.

Мой сюртукъ былъ растегнутъ. Сколь ни горячи казались ея поцѣлуй и объятія, но... я замѣтилъ, какъ ея рука скользнула къ моему боковому карману. Тамъ лежали арестованныя бумаги. Я мигомъ понялъ настоящее значеніе и этихъ поцѣлуевъ и этого послѣдняго свиданія. Быстро поднявшись съ мѣста, я остановилъ ея руку.

— Спаси старика... Спаси! Отдай мнѣ эти бумаги—я уничтожу ихъ! Что тебѣ это стоитъ!?. Спаси!—лепетала она молящимъ шепотомъ, склоняясь къ моей груди и вся дрожа отъ волненія. —Вѣдь ты же любилъ меня когда-то... вѣдь мы были друзьями... Бери меня! дѣлай со мною что хочешь! Я—твоя раба, твоя собственность, твоя игрушка, но только отдай мнѣ эти бумаги!

Какое проклятое положеніе! Какую жестокую муку выносилъ я въ эту минуту!.. Спаси!.. Да, сердце говорило мнѣ: «спаси!»—но гдѣ мое право на это? Спаси старика во имя моего личнаго чувства, но какъ? — цѣной измѣны моему долгу, моей военной чести, наконецъ цѣной измѣны своему народу и его вѣковому народному дѣлу!—Послѣднее чувство пересилило. Я съ болью въ душѣ задалъ въ себѣ личный, эгоистическій голосъ сердца и холодно отказалъ ей.

Она гордо отстранилась отъ меня—и кинувъ мнѣ въ лицо взглядъ, полный ненависти, молча вышла изъ комнаты.

* *

Я не сразу успокоился и пришелъ въ себя, послѣ того какъ она удалась изъ кабинета. Все происшедшее здѣсь за минуту было слишкомъ неожиданно и странно, чтобы не взволновать меня до глубины души. Я долго ходилъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, совершенно озадаченный и какъ бы подавленный всѣмъ этимъ обстоятельствомъ.

«Что это съ нею?» думалось мнѣ. «Вспыхнувши-ли искры былого чувства, или одинъ только ловкій маневръ? Да; это маневръ, потому что въ ту самую минуту, какъ губы ея прикасались ко мнѣ, ея рука прокрадывалась къ моему карману. Но если маневръ, то какая же

актриса! Какая мастерская, гениальная игра! Да; это задача: соединить въ своемъ непрощенномъ поцѣлуѣ столько огня, страсти и нѣги—и думать въ эти самыя мгновенія о томъ, какъ бы половче вытащить бумаги!

«Но вотъ что странно: отчего это до такой поразительной точности повторилось ощущеніе поцѣлуя, испытаннаго мною пять лѣтъ назадъ? Или, можетъ, я поддался только самообману; можетъ, оно только такъ почудилось мнѣ оттого, что весь этотъ кабинетъ, вся обстановка эта почему-то вдругъ напомнили мнѣ ту обстановку, въ которой случилось нѣкогда и *она*; можетъ не что иное, какъ это самое обстоятельство сообщило совсѣмъ особое настроеніе моей мысли, навело на старыя, полузабытыя воспоминанія? можетъ, все оно только отъ этого?»

— Можетъ быть!

И я опять отдался моимъ воспоминаніямъ.

«Помните же, что вы сами сказали *довольно*... вы сдѣлали хорошо, сказавъ это себѣ и ей...» вспомнились мнѣ слова Юма, которыя въ то время остались для меня совсѣмъ непонятны. Да; съ такой странной, загадочной улыбкой, въ ту минуту, какъ я готовъ былъ каяться, что сказалъ «довольно»,—онъ мнѣ возразилъ: «а что, молъ, еслибы вмѣсто поцѣлуя вы почувствовали, какъ вокругъ вашего горла вдругъ захлестнулась змѣя, обвила бы и стянула вамъ шею и стала-бы перебирать по ней своими холодными, склизкими кольцами?» О, это были, въ своемъ родѣ, пророческія слова! И не сейчасъ-ли только подтвердился ихъ загадочный смыслъ? Да; и точно, я сдѣлалъ хорошо, сказавъ себѣ и ей *довольно*! Вотъ она, эта змѣя, которая чуть было не захлестнулась вокругъ моей шеи! Вотъ оно это сладкое, обаятельное ощущеніе, за которымъ—поддайся лишь ему вполне—навѣрное бы слѣдовало безчестіе, горькій срамъ и позоръ измѣны своему долгу, своему народному дѣлу, и тогда изъ этого положенія еще самымъ лучшимъ, самымъ легкимъ и даже самымъ желаннымъ искупительнымъ выходомъ служила-бы веревка гипеля или двѣнадцать пуль, отправленные въ мое гѣло! Но это была бы лишь ничтожная расплата за преступленіе; а вѣдь безчестіе и позоръ остались-бы навѣки!

* *

Мнѣ было душно. Я подошелъ къ раскрытой оконной форточкѣ. На дворѣ совсѣмъ ужъ свѣчерѣло. Полная луна стояла надъ деревьями сада! Въ воздухѣ чулся все тотъ-же бодрящій ночной холодокъ ранне-весенняго времени. Мнѣ захотѣлось пройтись по саду, чтобы вволю надышаться и освѣжить себя. «Заодно ужъ повѣрить-бы свои посты, да и *наши* скоро подойти должны», подумалъ я и вышелъ въ садъ, черезъ дверь, которая прямо изъ кабинета вела на террасу. Вышелъ я тихо, такъ что едва-ли кто могъ бы замѣтить мое отсутствіе. Прямо передо мною шла въ глубину сада густая каштановая

аллея. Лунный свѣтъ причудливой сѣткой падалъ на дорожку, сквозя между стволами и голыми прутьями деревьевъ. Ни шелеста вѣтра между вѣтвями, ни птичьяго вскрика, ни звука какого съ дальней окрестности не было слышно—глубокая тишина царила надъ спящимъ садомъ. Въ сторонѣ отъ каштановой аллеи, на расчищенной небольшой лужайкѣ стоялъ костель со своею готической башенкой. Съ правой стороны бѣлая стѣна его ярко освѣщалась луною. Картина была очень красивая.

Я свернулъ на лужайку и направился къ костелу. Мнѣ хотѣлось посмотреть его поближе. Но, идучи вдоль стѣны, вдругъ замѣтилъ я, что низенькая боковая дверца, ведущая въ сакристію, отперта и стоитъ полуразрушенной. Это показалось мнѣ нѣсколько страннымъ, потому что давеча, когда осматривали костель, эта дверца оставалась замкнутой, а входили мы тогда черезъ главные двери.

Я переступилъ порогъ и вошелъ въ сакристію. Оглядѣлся вокругъ—два небольшія окна пропускали достаточно луннаго свѣта, чтобы сквозь его слегка-туманный сумракъ видѣть всѣ предметы этой комнаты. На стѣнѣ висѣлъ черный процессіальный крестъ съ серебрянымъ распятиемъ и темный портретъ «фундатора» этого костела; по другой стѣнѣ стоялъ старый дубовый шкафъ съ рѣзьбою, со множествомъ ящичковъ и створокъ, запиравшихъ меньшіе шкафчики, составлявшіе особые отдѣленія большого. Одна изъ этихъ створокъ была раскрыта: обстоятельство тоже не безъ нѣкоторой странности, потому что давеча—я это хорошо помню—самъ ксендзъ собственноручно, при насъ, отпиралъ и запиралъ каждое отдѣленіе. «Кому-бы и зачѣмъ могло понадобиться идти сюда въ эту пору?»—Грѣшный человѣкъ, признаюсь: я подумалъ—было на кого либо изъ нашихъ казачковъ: «ужь не изъ нихъ ли, молъ, кто вздумалъ похозяйничать насчетъ костельнаго добра?»—Изъ сакристіи прошелъ я въ самый костель.

Тамъ стояла глубокая тишина.

Лунный свѣтъ фантастическими узорами падалъ на каменный помостъ сквозь разноцвѣтные круглыя стекла готическихъ оконъ и какъ-то таинственно наполнялъ внутренность храма все тѣмъ-же мягкимъ прозрачно-туманнымъ сумракомъ, въ которомъ слабо выдѣлялись статуи святыхъ, по бокамъ алтарей, и посерединѣ у скамеекъ—ряды хоругвей, неподвижно висѣвшихъ широкими складками на своихъ древкахъ.

Одни только хоры, гдѣ помѣщался органъ, оставались погруженными въ глубокій, непроходимый мракъ.

Я внимательно оглядѣлся вокругъ себя—и вдругъ, шага на три въ сторону, у бокового алтаря замѣтилъ что-то особенное, чернѣвшееся на полу.

Я подошелъ поближе и взглянулъ: большой ко-

веръ, покрывавшій помостъ передъ этимъ алтаремъ, былъ на половину отвернутъ съ одного края, прилежавшаго къ стѣнѣ, и въ этомъ-то самомъ мѣстѣ чернѣлъ своею пастью открытый люкъ, который очевидно велъ куда-то въ глубь, въ какое-то подземелье.

«А, это—новосты!» подумалось мнѣ. «Давеча, при осмотрѣ коверъ лежалъ въ порядкѣ, на обычномъ своемъ мѣстѣ, а намъ было и не въ домекъ, что онъ прикрываетъ собою крышку люка какого-то. Это интересно—что тамъ такое? И кто, и зачѣмъ, для какой надобности открылъ его теперь, ночью?»

На минуту я остановился передъ этимъ люкомъ въ раздумьи; какъ быть и на что рѣшиться тотчасъ-же? Идти-ли за казаками? будить Савву Парменича?—Но это отыметъ много времени, и когда мы снова придемъ сюда, почему знать, можетъ уже будетъ поздно: можетъ, чье-то таинственное посѣщеніе костельныхъ подземелій такъ и останется для насъ неразрѣшенной загадкой.

— Чего тутъ медлить! лучше самому!—рѣшилъ я себѣ.—Револьверъ мой въ карманѣ и—слава Богу—заряженъ воими шестью пулями: стало-быть—впередъ!

Я вынулъ изъ напестольныхъ канделябръ восковую свѣчу, чиркнулъ спичку и зажегъ фитиль.

Передо мной освѣтилась каменная лѣстница, спускавшаяся въ какой-то темный, сырой подвалъ. Деревянная крышка на петляхъ, поднятая и прислоненная теперь къ стѣнѣ, была пригнана такъ, что вплотную прикрывала собою спускъ—и оставаясь всегда подъ ковромъ, не могла быть замѣтна.

Заслоняя рукою свѣтъ отъ тяги сырого и холоднаго воздуха, струя котораго стремилась изъ подземелья, я сталъ спускаться по неровнымъ каменнымъ ступенямъ, число которыхъ не превышало десяти или двѣнадцати!

Передо мной открылся фамильный склепъ графовъ Зымянтовскихъ. Нѣсколько черныхъ гробовъ стояло въ рядъ и у стѣнокъ; надъ нѣкоторыми изъ нихъ сохранились вѣдланныя въ стѣну мраморныя и мѣдныя доски, съ латинскими эпитафіями. Склепъ былъ небольшой съ низкими, но готическими сводами, опиравшимися на четыре колонны. Полъ выстланъ плитою. Все здѣсь такъ строго, мрачно, холодно, и вѣтъ нѣмымъ величіемъ и тишиною смерти.

Я оглядѣлся—и въ стѣнѣ, противоположной спуску, замѣтилъ низенькую, массивную дубовую дверь, окованную желѣзными скобами. Я легонько толкнулъ ее—не заперта.

«Значитъ, тамъ» подумалъ я себѣ—и переступилъ порогъ: небольшая площадка узенькаго корридора и снова каменная лѣстница, куда-то въ глубь, въ какую-то тьму непроsvѣтлую. Я спустился по ней ступеней пятъ.

надцать, и тогда снова открылся передо мною корридоръ, узкій и не высокій, но совершенно достаточный для роста самого высокаго чело-вѣка. Постройка его обличала явную старину и, безъ сомнѣнія, принадлежала къ числу тѣхъ же магнатскихъ затѣй, какъ и самый замокъ.

Но едва я успѣлъ спуститься въ этотъ корридоръ, какъ вдругъ, на противоположномъ концѣ его, увидѣлъ мигающую звѣздочку свѣта. Насколько именно былъ длиненъ самый корридоръ — я не могъ судить, но свѣтъ въ концѣ его былъ слишкомъ ясенъ, чтобы оставалась какая-либо возможность ошибиться въ томъ, что это свѣтъ свѣчи.

Я на мгновение приостановился. — «Кто это тамъ — здѣшніе-ли обыватели, наши-ли враги, или наши казаки? Если враги, то моя свѣча, надо сознаться, вовсе не дурная цѣль для ихъ пистолетовъ; если казаки, то все-таки лучше загасить огонь, потому что онъ заранѣе даетъ имъ знакъ о чѣмъ-то постороннемъ приближеніи и заставляетъ принимать свои мѣры предосторожности. Пятиться назадъ — похоже на трусость. Нѣтъ, я назадъ не по-пачусь, ни въ какомъ случаѣ не попачусь!..» да къ тому же — я вѣдь и любопытенъ какъ червяная женщина, и это-то любопытство сильнѣе всѣхъ остальныхъ аргументовъ подстре-кало меня идти впередъ. Всѣ эти соображенія были дѣломъ одного мгновенья. Мигомъ загасилъ я свѣчу, но не бросилъ ее, а сунулъ въ карманъ, — спички со мною, стало быть, если бы понадобилось освѣщеніе, то оно явится тотчасъ же, — и послѣ этого, я, осторожной ступней нащупывая себѣ дорогу и придержи-ваясь за стѣнку рукой, сталъ подвигаться впередъ, къ свѣтящейся точкѣ.

Колеблющийся свѣтъ съ каждымъ шагомъ все болѣе и болѣе сближался со мною. Я шелъ на цыпочкахъ, для того чтобы звукъ шаговъ моихъ не могъ-бы заранѣе подать вѣсть о моемъ приближеніи.

Наконецъ, я замѣчаю, что мигающее пламя свѣчи сблизилося со мною уже не болѣе какъ на двадцать шаговъ разстоянія.

Я остановился, прислонясь къ стѣнѣ. Опустивъ руку въ карманъ, гдѣ лежалъ мой ре-вольверъ, я постарался придать своему слуху всю возможную чуткость.

Тотъ, кто приближался ко мнѣ — былъ оди-нокъ; по крайней мѣрѣ, несмотря на все на-пряженіе моего уха, я не могъ различить звука никакихъ другихъ еще шаговъ, кромѣ легкаго шелеста чьей-то одиночной походки.

Сердце во мнѣ стукнуло легкой тревогой ожиданія какой-то невѣдомой встрѣчи.

Свѣтъ межъ-тѣмъ приближался... вотъ уже онъ менѣе чѣмъ въ десяти шагахъ, такъ что я смутно могу различить какую-то темную фигуру.

Кто же бы это? мужчина? — но звукъ по-ходки слишкомъ легокъ, слишкомъ такъ-ска-зать воздушенъ для мужского шага; — женщи-на? — но какую же женщину понесетъ сюда нелегкая въ эту пору, да и зачѣмъ? къ чему? съ какой цѣлью? Мертвые ли предки графовъ Зымянтовскихъ совершаютъ тутъ свои ноч-ныя прогулки? — но отъ послѣдней мысли я самъ не могъ не улыбнуться.

А между тѣмъ, то, что приближалось ко мнѣ — казалось женщиной. Это былъ какой-то блѣдный обликъ, покрытый темнымъ плат-комъ — и весь абрисъ невѣдомой фигуры, съ каждымъ шагомъ ея, все болѣе обнаруживалъ длинныя, спускающіяся складки какого-то чер-наго покроя, который легче всего могъ бы быть принятъ за женское платье.

Вотъ она уже въ двухъ шагахъ отъ меня. Неровный свѣтъ скользитъ по лицу ея и на-лагаетъ на него такія рѣзкія, колеблющіяся тѣни, что рѣшительно не даетъ никакой воз-можности ясно опредѣлить себѣ черты этого облика. Видно только, что это что-то блѣдное, покрытое чѣмъ-то темнымъ...

Я ступилъ шагъ впередъ и, совершенно не-ожиданно для нея, взялъ ее за ту самую руку, которая держала свѣчу,

Отвѣтомъ на это движеніе былъ легкій за-мирающій крикъ испуга.

Крикъ былъ женскій.

Я взглянулъ въ лицо и узналъ его.

— Пани Амелія!

Но она, какъ видно, не узнала моего голо-са — и, вся дрожа, продолжала вглядываться въ меня широко-раскрытыми испуганными гла-зами. Наконецъ искра сознанія мелькнула въ ея взорѣ.

— Это вы?.. зачѣмъ вы здѣсь?.. зачѣмъ? — пролепетала она сильно-взволнованнымъ голо-сомъ, не сводя съ меня пораженнаго и въ то же время пытливаго взгляда.

— Обо мнѣ что!.. Но зачѣмъ вы здѣсь, въ такомъ мѣстѣ, въ такую пору? — проговорилъ я, стараясь и тономъ, и жестомъ, и взглядомъ какъ можно болѣе успокоить ее.

Она, какъ-бы пробуждаясь, провела по лицу рукою и, перемогая въ себѣ свое волненіе, засмѣялась мнѣ въ глаза одной только легкой улыбкой. Но что это за морозно-холодная, что за ледяная улыбка мелькнула на губахъ ея!

— Ею нѣтъ здѣсь болѣе... Напрасно!.. не ищите! — проговорила она, отрывательно качнувъ головою.

— Кого вы разумѣете? — спросилъ я.

— Его! кого же болѣе?!.. Того, кого вы искали! Полковникъ «Ночь» уже на волѣ... и адъютантъ его тоже.

— Гдѣ-жъ они были? неужели здѣсь?

— Здѣсь, съ самого пріѣзда вашихъ каза-ковъ, — холодно и даже съ какимъ-то вызы-вающимъ сарказмомъ надо мною улыбающаяся она.

— Но какъ же это?—недоумѣло пожалъ я плечами.

— А! вамъ хочется знать?.. Что же, мнѣ все равно! Я, пожалуй, буду откровенна... потому что... да потому что теперь мнѣ все равно! Онъ спасенъ уже!.. Видите ли, господинъ Черкутскій, я была на столько счастлива, что изъ окна моей комнаты увидѣла, какъ ваши казаки только-что выѣзжали изъ лѣсу. Этого было довольно, чтобы понять въ чемъ дѣло... Въ тотъ же мигъ съ ними съ двумя я бросилась сюда— и спрятала ихъ. Я успѣла это кончить какъ разъ въ ту минуту, когда вы вошли въ домъ; и когда ваши казаки обыскивали костелъ, тѣ уже сидѣли въ нашемъ склепѣ; а вы и не догадались, что подъ ковромъ есть люкъ... Вотъ вамъ и все!.. А теперь я ихъ выпустила! Хотите знать: какъ?—засмѣялась она все тѣмъ же ледянымъ, уничтожающимъ смѣхомъ.—Извольте, и это, пожалуй, могу сказать вамъ!

Она была сильно взволнована; неуспокоившіеся еще отъ недавняго испуга глаза ея сыпали искры торжествующей ненависти и насмѣшки, и все лицо дышало какой-то восторженной экзальтаціей. Еслибъ она была въ нормальномъ, спокойномъ состояніи, то весьма вѣроятно, у нея съ перваго же мгновенія мелькнуло бы сознаніе, что ея откровенность далеко уже переступаетъ достоподобные предѣлы; но теперь она какъ-бы бравировала передо мною: въ ея взорѣ, въ ея улыбкѣ, въ ея голосѣ, во всей фигурѣ ея такъ явно сказывались вызовъ и торжествующая ненависть надъ врагомъ, который дался въ обманъ! Ей какъ будто хотѣлось въ-конецъ подавить, уничтожить меня—и ужъ если нечѣмъ другимъ уничтожить, такъ хоть этой откровенностью!

— Видите встъ это?—продолжала она, вынувъ изъ кармана большой старинный ключъ.—Онъ лежалъ въ ящикѣ въ сакристіи, и вы дажесами видѣли его при обыскѣ; вашъ товарищъ—помните—спросилъ даже, что это за ключъ, а ему сказали что это отъ старой дзвонницы ¹⁾. Ну, вы всѣ и повѣрили! а это ключъ отъ подземнаго хода. Сколько лѣтъ ужъ построенъ—и можетъ быть только теперь довелось ему впервые сослужить свою добрую, польскую службу. Видите ли, какъ все это ловко?—снова засмѣялась она, не сводя съ меня своего взгляда.—Теперь, какъ добрый москаль, вы можете меня арестовать, пытать, мучить, казнить—я не сморгну и глазомъ, и бровью не поведу, потому что онъ спасенъ, — понимаете ли *спасенъ!* и мнѣ все равно теперь, что бы ни случилось со мной!

— Прежде всего успокойтесь: съ вами ничего особеннаго не случится,—предварилъ я, сохраняя все возможное хладнокровіе,—а *онъ* и безъ того, вѣроятно, будетъ пойманъ, не теперь, такъ

послѣ: это рѣшительно все равно; но ужъ разъ что я вошелъ сюда, мнѣ бы хотѣлось видѣть этотъ ходъ до конца—будьте такъ любезны, и какъ хозяйка, потрудитесь мнѣ показать его?

Она помедлила въ минутномъ колебаніи, но тотчасъ согласилась и повидимому весьма даже охотно.

Я снова засвѣтилъ мою свѣчу. Амелія и при этомъ улыбнулась.

— Видѣла одно мгновеніе и свѣтъ вашъ,—пояснила мнѣ она, въ отвѣтъ на мой вопросительный взглядъ,—но признаюсь, никакъ не предполагала, что это вы... я думала, кто нибудь изъ домашнихъ.

Мы отправились. Корридоръ былъ узокъ настолько, что идти двоимъ въ-рядъ становилось затруднительно. Она предложила мнѣ идти впередъ, я не нашелъ достаточной причины отказать ей; но на пути я замѣтилъ, что она видимо замедляетъ свой шагъ и какъ бы старается отстать отъ меня. Я не сказалъ ей объ этомъ, но зато и въ свою очередь въ первое мгновеніе укоротилъ походку. Я шелъ на неизвѣстное—и кто-жъ бы мнѣ поручился, что тутъ нѣтъ какой нибудь засады: но даже если бы и допустить, что никакой засады нѣтъ, то во всякомъ случаѣ это явное отставанье могло бы хотъ кому показаться нѣсколько подозрительнымъ: зачѣмъ она это дѣлаетъ? неужто съ одною только лукавой цѣлью выпутить меня, напустить на меня робость, насмѣяться надо мной своимъ страшаньемъ?

Одна возможность такого плана показалась уже мнѣ оскорбительной, и потому желая показать полное пренебреженіе къ какому бы то ни было застраиванью, я не обернулся болѣе назадъ ни разу и быстро пошелъ впередъ своею твердой и звучной походкой.

Черезъ минуту я достигъ конца этого корридора. Дубовая, низенькая дверка служила ему выходомъ. Она была замкнута.

Здѣсь только, дойдя уже до цѣли, я обернулся назадъ—и къ удивленію своему не нашелъ позади себя ни свѣта, ни пани Амеліи.

Коварная шутка надо мною все-таки была сыграна! Но зачѣмъ? съ какою цѣлью?

Я замѣтилъ въ дубовой дверкѣ маленькое, круглое, сквозное отверстіе для пропуска свѣжаго воздуха—и заглянуть въ него. Тихая звѣздная ночь, осеребренная лучами полной луны, царила надъ землею. Дверка эта выходила въ оврагъ, обильно поросшій кустарникомъ,—и было слышно, что по дну этого оврага звонко пробирается между камнями быстрый рѣчка.

Дѣлать здѣсь мнѣ болѣе было нечего, и я отправился обратно.

Въ склепѣ Амеліи не было.

Я поднялся по послѣдней лѣстницѣ, ведущей въ костелъ, и только здѣсь лишь увидѣлъ ее надъ самымъ люкомъ. Она стояла безъ свѣчи, въ потьмахъ, и держалась рукой за край крышки.

¹⁾ Кодокольни.

держа ее на балансе, такъ что одно лишь небольшое движеніе—и крышка мгновенно захлопнулась бы надо мной.

Я между тѣмъ подымался по лѣстницѣ, равнымъ неторопливымъ шагомъ, стараясь придать своей походкѣ возможно болѣе спокойствія.

— Пани Амелія, чѣмъ можно объяснить ваше внезапное исчезновеніе?—спросилъ я ее самымъ простымъ, обыкновеннымъ тономъ.

Она ласково взяла меня за руку и въ этомъ ласковомъ, но увѣ... притворномъ движеніи сказала вся коварно-обаятельная, исполненная могуществомъ обольщенія, душа женщины, душа истой польки.

— Другъ мой... *старый* другъ мой!—сердечно заговорила она, встрѣчая мои слова своей прелестной улыбкой.—Я сейчасъ вотъ могла бы захлопнуть надъ вами эту крышку—и ни одинъ изъ москалей никогда не узналъ бы, гдѣ вы и что съ вами... Если бы это такъ случилось, наши бумаги остались бы въ склепѣ и мы были бы спасены; но... я этого не сдѣлала... и потому отдайте мнѣ ихъ просто.

Теперь уже пришелъ мой чередъ улыбнуться ей той самой улыбкой, какую я встрѣтилъ на ея губахъ тамъ въ подземельи.

— Увы, прекрасная моя пани!.. вамъ остается теперь только пожалѣть, что вы дѣйствительно не захлопнули надо мной эти доски!—вѣжливо пожалъ я плечами—и вмѣстѣ съ этимъ принялъ изъ ея руки крышку и спокойно опустилъ ее надъ люкомъ.

* * *

Я еще доканчивалъ мою работу, то естьправлялъ коверъ и опять вставлялъ въ канделябръ взятую мной свѣчу, когда Амелія вышла уже изъ костела. Вернувшись домой, я засталъ Савву Парменыча на крыльцѣ. Онъ выслушивалъ какое-то донесеніе урядника.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ я.

— А вотъ-съ, наши подходятъ: разъѣзды повстрѣчались!—значитъ, сейчасъ прибудутъ! Ну-съ и поздравить можно съ счастливой экспедиціей: бандя захвачена-съ и въ лоскъ разбита!—съ довольнымъ видомъ, похлестывая слегка по ступенькамъ нагайкой, сообщилъ Савва Парменычъ.

И дѣйствительно, не прошло и четверти часа, какъ отрядъ вступалъ уже во дворъ Ильяшевскаго фольварка.

* * *

Отрядный начальникъ, въ освѣщенной двумя лампами залѣ, принималъ отъ насъ отчетъ о нашемъ порученіи. Одну группу, окружавшую его, составляли офицеры отряда, а въ другой стояли: старый графъ съ племянницей, капелланъ съ экономомъ и нѣсколько человѣкъ домашней прислуги.

— А какъ же, господа, «Ночь-то», «Ночь?»

Неужто же онъ такъ и ускользнетъ отъ насъ?—говорилъ полковникъ.

Я взглянулъ на Амелію и встрѣтился съ ея взглядомъ. И что это былъ за взглядъ! нѣмой, неподвижный, но какой выразительный! Какой понятный для меня—и только для одного меня изъ всѣхъ присутствующихъ!

«Ну, выдашь меня, или не выдашь ты, старый другъ, нѣкогда столь влюбленный въ меня?» говорилъ мнѣ этотъ вызывающій взглядъ. Я потупилъ глаза и ограничился въ своемъ донесеніи отрядному начальнику одной лишь официальной стороной дѣла, что доводца, молъ, «Ночь», при самомъ тщательномъ обыскѣ всего фольварка, нигдѣ ни найденъ; хотя такой, на-примѣръ, признакъ, какъ два прибора за столомъ, легко могъ указывать если не на его присутствіе въ этомъ домѣ, то на возможность ожиданія его,—однако же, несмотря на самые бдительные разъѣзды и ведеты, ни «Ночь», ни адъютанта его ни откуда въ виду не показывались.

Кончивъ свое донесеніе, я невольно поднялъ глаза на Амелію. Она была блѣдна—и стояла закусивъ губу и какъ бы видимо колеблясь внутренно между мучительнымъ страхомъ и робкой надеждой; но когда я кончилъ и взглянулъ на нее—въ ея взорѣ мелькнулъ свѣтлый лучъ безпредѣльной благодарности. Старый графъ съ племянницей, ксендзомъ и экономомъ, при эскортѣ казаковъ, въ ту же ночь были отправлены въ ближайшую военно-слѣдственную комиссію, а отрядъ нашъ, переночевавъ на мѣстѣ, поутру отправился на новые поиски.

* * *

Прошло три года. Въ зиму 1866 года на масляной былъ маскарадъ въ залахъ Большого Варшавскаго театра. Я толкался между черными фраками и пестрыми масками по всѣмъ заламъ—и уже намѣревался-было ѣхать домой, отъ невыносимой скуки, какъ вдругъ мою руку взяла необыкновенно изящно и со строгимъ вкусомъ одѣтая маска.

Я никакъ не ожидалъ такого пассажи и потому оглядѣлъ ее съ чувствомъ самаго непритворнаго удивленія.

— Старый другъ!—раздался изъ-подъ черныхъ кружевъ ея голосъ, почему-то показавшійся мнѣ гдѣ-то и когда-то знакомымъ.—Я очень рада, что встрѣтилась съ тобою... я должна еще поблагодарить тебя.

И она съ чувствомъ, горячо и крѣпко показала мою руку.

— За что?—спросилъ я.

— Постарайся догадаться.

— Не мастеръ отгадывать загадки.

— Однако?

— Безъ всякихъ «однако».

— А въ женскія души ты больше не влюбляешься?

По мнѣ словно искра какая-то пробѣжала.

Я узналъ теперь этотъ голосъ и догадался, *кто* говоритъ со мною.

— Я былъ влюбленъ только въ одну... въ ту, которая теперь передо мной.

Она вдругъ засмѣялась этимъ, столь хорошо знакомымъ и памятнымъ мнѣ, искристо-веселымъ смѣхомъ.

— Но за что же ты благодаришь меня?—спросилъ я.

— За *Ночь*,—лаконически отвѣчала она.

— Я слышалъ, что онъ вскорѣ послѣ того былъ убитъ въ какой-то стычкѣ—ты знаешь это?

— Знаю!—утвердительно и даже съ какимъ-то гордымъ достоинствомъ кивнула она головой.—Онъ хорошо кончилъ... да онъ и не могъ кончить иначе.

— Послушай... одинъ вопросъ!..

— Чего ты хочешь?—спрашивай!

— Ты любила его?

Она помедлила и шла рядомъ со мной, низко потупивъ голову.

— На этотъ вопросъ я отвѣчать не буду, —

едва слышавъ я ея тихій и какъ-будто трепещущій шопотъ.

Послѣ такого отвѣта я уже не рѣшался продолжать на эту тему, тѣмъ болѣе что и самый отвѣтъ, при всей своей уклончивости, былъ слишкомъ ясенъ, чтобы не понять истиннаго его смысла.

— Скажи мнѣ,—началь я снова,—могу я теперь по-старому иногда бывать у тебя? Ты мнѣ позволишь это?

— Нѣтъ не позволю!—было ея рѣшительнымъ отвѣтомъ.—Времена, милый мой, слишкомъ уже измѣнились.

— Но... могу ли я, по крайней мѣрѣ, узнавать тебя?

Она подумала съ минуту.

— Да, при встрѣчѣ ты можешь кланяться.

И съ этими словами, освободивъ мою руку, она быстро исчезла въ густой и пестрой толпѣ.

И вотъ, съ тѣхъ поръ она даритъ меня при каждой встрѣчѣ своими сдержанными кивками; но иногда, несмотря на безмолвно-холодный поклонъ, я читаю въ ея глазахъ что-то хорошее, задушевное, — быть-можетъ, это мимолетная тѣнь воспоминаній о прошломъ.

